Автор:

- Владимир Дмитриевич Успенский

«Тайный советник вождя»

Описание

«Тайный советник вождя» — книга-сенсация. Это роман-исповедь человека (реального, а не выдуманного), который многие годы работал бок о бок с И. Сталиным, много видел, много знал и долго молчал. И, наконец, с помощью В. Успенского, заговорил — о своем начальнике, его окружении, о стране. Честно рассказывает — без прикрас, но и без очернительства. В книге масса интереснейшей информации, имеющей огромную познавательную ценность.

Успенский Владимир Тайный советник вождя

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ АВТОРА

Книга эта серьезна, сложна, в чем-то даже противоречива на первый взгляд, поэтому читателю придется смириться с некоторыми авторскими пояснениями. Когда вышел в свет мой роман-эпопея «Неизвестные солдаты», самый уважаемый наш современный литератор Михаил Александрович Шолохов дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР. Потом мы обменивались письмами, телеграммами. Я отправил своему Учителю большое послание, в котором весьма нелестно отзывался о мемуарах генерала С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», упрекал автора не столько в фактических огрехах, сколько в стремлении всеми силами скрыть ошибки, просчеты И. В. Сталина и свои собственные. Ради этого генерал использовал малопочтенные способы: умалчивание, передержку, однобокий показ людей и событий. И говорилось в моем послании, что к каким бы ухищрениям ни прибегал Штеменко, а правда только одна, рано или поздно все тайное станет явным.

Резкое было письмо. А Михаил Александрович ответил мне так:

«Дорогой Успенский!

Правда-то одна, но ее нет ни в рецензируемой тобой книге, ни в самой рецензии… С одной стороны — желание обелить, с другой очернить.

Я вовсе не за «золотую» середочку, но холодная объективность нужна в обоих случаях. В одном только ты прав: книга Штеменко рассчитана на обывателя (в том числе и военного), и очень жаль, что автор висел над редакторами, а не наоборот!

Обнимаю. М. Шолохов.

21.4.69 г. Вешенская.»

Вот тогда и созрело у меня решение с «холодной объективностью» разобраться в том, что связано с жизнью и деятельностью выдающегося человека нашей эпохи — Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну и взялся за это.

Мне было трудно, очень трудно, особенно в то время, которое называем теперь периодом застоя, когда все, что было связано с именем Сталина, хранилось за семью печатями, когда сам писательский интерес к этой теме вызывал раздражение и подозрение властей предержащих. Работал я без всякой моральной и материальной поддержки, на свой страх и риск, ради дела отказывая себе во многом. Разыскивал, собирал почти исчезнувшие крупицы прошлого, сопоставлял их, обдумывал, пускался на всякие ухищрения, чтобы добыть необходимые материалы.

Помог случай. А может быть, и не случай, а закономерность. Давно известно: когда очень хочешь, когда неотвратимо хочешь и стремишься к чему-либо, тебе поможет даже враг. И уж тем более помогут друзья, единомышленники.

Я искал нужные мне сведения, нужных людей, а в то же время кто-то искал и меня.

* * *

Все началось, как в заурядном детективе, — с телефонного звонка. Многие писатели в первой половине дня к телефону не подходят, не отрываются от стола — рабочее время. Но я был не особенно занят и снял трубку.

— Товарищ Успенский?

— Да.

— Меня зовут Николай Алексеевич. Здравствуйте. — Говорил явно старик: с хрипотцой и придыханием.

— Здравствуйте.

— Мне очень нужно с вами увидеться.

— По какому поводу?

— Не будем вдаваться в подробности. Вопрос такой, что его не следует обсуждать по телефону.

Да, конечно, это был очень пожилой человек, каждое слово давалось ему с трудом. Говорил он сдержанно, без эмоций. В голосе, однако… этакая — командирская нотка. Едва заметная, правда, но все же… Генерал? С военными людьми мне часто доводилось тогда встречаться.

Помедлив, я поинтересовался:

— Не по поводу ли военных мемуаров?

— Слишком важный вопрос, — повторил старик и добавил чуть тише: — В свое время мне советовал обратиться к вам генерал-полковник Белов.

— Он умер.

— Да, к сожалению, Павел Алексеевич скончался в декабре шестьдесят второго года, — старик назвал точную дату.

С этого момента дело получило совсем другой оборот. Фамилия Белова — надежный пароль. Очень большое место занимал Павел Алексеевич в моей судьбе, очень дорога мне память о нем. Если читателю захочется узнать и понять, почему и как переплелись наши пути, каким образом это отразилось на моей жизни — пусть познакомится с книгой «Поход без привала», которая выпущена Воениздатом в 1979 году, а до этого

(сокращенный вариант) печаталась в журнале «Наш современник». Все, связанное с Беловым, для меня свято.

— Когда и где? — спросил я. Ответ был обдуман заранее:

— Поворот с Рублевского шоссе в Кремлевскую больницу знаете?

— Разумеется. (Еще бы не знать: я живу на Рублевском шоссе. Значит, не только телефон, но и адрес мой известен этому Николаю Алексеевичу. Впрочем, он мог найти его в справочнике Союза писателей СССР.)

— Остановка сто двадцать седьмого автобуса, если ехать из города.

— Понятно.

— Пройдите сто метров дальше по тропинке параллельно шоссе. Жду вас сегодня в двадцать один ноль-ноль.

— Условились.

— Спасибо. — В трубке раздались короткие гудки.

Признаюсь, этот не совсем обычный разговор не только заинтриговал, но и насторожил меня. Свидание вечером на лесной тропинке? Не розыгрыш ли? Но ведь назван Белов, да и голос слишком серьезен… На всякий случай надо захватить кого-то с собой, не объясняя подробностей. Пусть наблюдает издали. В то время в Москве находился мой надежный товарищ, приехавший с другого конца страны. Я позвонил ему в гостиницу и предложил совместить приятное с полезным — прогулку с беседой. Он согласился и, сам не зная того, стал свидетелем одной из самых важных встреч в моей жизни.

Отправляясь на свидание, я думал о том, что скорее всего услышу обычную просьбу: помочь в работе над воспоминаниями. Люди определенного круга знали, что я не только писатель, но историк по образованию, военный историк по призванию. Много раз осуществлял так называемую «литературную запись» мемуаров. А проще говоря, садился и писал книгу за «бывалого человека», используя собранные им документы, его наброски, устные рассказы. Такую работу проделал я с одним высокопоставленным государственным чиновником, с одним полковником, с пятью генералами и, двумя маршалами. Разными они были. С некоторыми, наиболее образованными и умными, работали совместно, а один генерал оказался настолько безграмотным, что не мог письменно изложить ни факты, ни самые элементарные мысли. Пришлось «изображать» за него все, от начала и до конца. Благо основные документы были под рукой.

Соглашаясь на такую полутворческую работу, я руководствовался прежде всего не заработком, а ценностью материала, вкладывал свой труд лишь в те опусы, которые обогащали меня. Беседуя с «бывалыми людьми», изучая их личные архивы (при подобной совместной работе люди раскрываются полностью), узнавал такие подробности событий, о которых даже сами мемуаристы не хотели упоминать в своих книгах. А рассказывали охотно, понимая, что иначе эти сведения уйдут вместе с ними. Ведь в государственные архивы попадают далеко не все бумаги. Кроме того, архивы можно подчистить в угоду тем или иным руководителям. А из свидетелей, из участников событий не «вычистишь» то, что они видели, что сами творили!

Итак, солнце еще не скрылось за горизонтом, когда я вышел из дома и вместе с товарищем направился к месту встречи. Расстояние-то: прогуляться тридцать минут. Было это в мае, когда деревья уже оделись листвой и погода стояла ровная, теплая, с долгими светлыми зорями.

Точно в назначенное время свернул на тропинку и увидел человека, сидевшего, подстелив газету, на стволе поваленного старого дуба. Не сразу он заметил меня, и в течение нескольких секунд, приближаясь, я имел возможность разглядывать его. Китель цвета хаки с отложным воротничком и накладными карманами, какие носили еще до войны, был несколько великоват ему, особенно ворот: похудел, усох, значит, старик. Брюки-галифе заправлены в хромовые сапоги с узкими голенищами. Наверное, нелегко в таком возрасте наклоняться, натягивать сапоги, но привычка, как говорится, — вторая натура. Или сырости опасался в весеннем лесу?

Голова непокрытая и совершенно седая. Даже не седая: уцелевшие еще волосы успели не только побелеть, но и пожелтеть, особенно на висках, где собственно и не волосы были, а редкий желтоватый пушок. Только брови сохранили еще темный цвет: кустистые брови с изломом выделялись на восковом, в глубоких морщинах, лице, придавая ему хоть какую-то живинку. Он покойником выглядел бы, если бы не эти темные брови да еще глаза, глянувшие вдруг в мою сторону. Блеснули они молодо, заинтересованно: любопытство и даже тревогу увидел я в них, но взгляд тотчас погас, глаза словно остекленели, стали деловито-равнодушными. Старик умел владеть собой. Когда поднялся мне навстречу, на лице его была приятная, но все же казенно-заученная улыбка. Роста он среднего. Если учесть, что годы давили на плечи, заставляя изрядно сутулиться, то в расцвете сил он был, вероятно, не ниже ста семидесяти пяти сантиметров — по себе прикидываю, — имел хорошую строевую выправку, которая угадывалась в нем даже теперь.

Прямой, с едва заметной горбинкой, нос, горделивая посадка головы, тонкие, длинные пальцы, манера держаться с чувством собственного достоинства, никоим образом не унижавшим собеседника, — все это выдавало в нем аристократа, получившего хорошее воспитание. Я сразу понял, что человек этот благороден по сути своей, он не способен искать личную выгоду, «выкручиваться» (ненавижу это мерзкое слово, выражающее столь же мерзкое поведение). Такие, как он, до конца отстаивают то, что считают справедливым, но никогда не унизятся до того, чтобы добиваться успеха беспринципно, любой ценой, любыми средствами. Как он только уцелел в наше время, этот старик, как прошел сквозь страшные бури нашего жестокого века, которые ломали тех, кто не гнулся?!

Еще ни одного слова не было сказано между нами, а я уже проникся уважением к Николаю Алексеевичу, хотя мысленно повторял себе, что нельзя поддаваться первому ощущению. Пожал костлявую, невесомую и чуть вздрагивающую руку:

— Рад вас видеть.

— Спасибо. И коль скоро инициатива принадлежит мне, позвольте сразу, без разведки боем, перейти в наступление, — с улыбкой ответил он.

— Разведка, конечно, уже проведена? И агентурная, и войсковая?

— Безусловно, — кивнул Николай Алексеевич. — Подготовка была тщательная… Суть в том, — понизил он голос, — что мне пришлось долгие годы, очень долгие годы работать с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И не просто работать. Мы были друзьями, я пользовался его полным доверием. Время от времени делал заметки. Чаще всего очень короткие, о чем теперь сожалею. Кое-что удалось вспомнить и записать в последние годы. Сохранились некоторые документы, способные пролить свет… —

было заметно, что старик волнуется, ему не хватало воздуха. — Хотел взяться сам… Поздно… Силы не те… И талант нужен…

Он умолк, стараясь справиться с дыханием. Молчал и я, вникая в услышанное. Что это? Писательская удача, которая выпадает далеко не каждому? Великое ли счастье для меня или, наоборот, то испытание, которое собьет с избранного творческого пути, уведет в неизведанные, непролазные дебри?.. Но я всегда руководствуюсь правилом: лучше пожалеть о сделанном, чем о несделанном.

— Извините, мне трудно, — продолжал между тем Николай Алексеевич. — Слишком долго я носил все это в себе. Но пришел срок. И вы, Владимир Дмитриевич, тот человек, которому я полностью доверяю. Полностью верю в вашу порядочность. Мне говорили, что вы из тех, на кого можно положиться.

— Этим я обязан генералу Белову?

— Не одному лишь ему. Знаю, как вы работали с Семеном Михайловичем. Он говорил… Но суть не только в этом. Я считаю, что ваш роман «Неизвестные солдаты» — самая правдивая книга о минувшей войне. По охвату событий, по достоверности ей нет равных. (Прошу читателей простить, это не мои слова, и я обязан их привести здесь, чтобы ясно стало, почему выбор Николая Алексеевича пал на меня. — В. У.) Особенно справедлива и важна та идея, тот взгляд на события, который пронизывает книгу. Роль народа. Считаю эту идею единственно правильной. Сие и предопределило обращение к вам… Есть, правда, еще одна причина, — преодолев небольшую паузу, продолжал собеседник, — но это уже личное, я об этом скажу потом, если будем работать…

— Приятно слышать… Но давайте уточним: чем я способен помочь?

— Передам вам все материалы, записи, наброски. Расскажу, что смогу. А вы поступайте, как считаете нужным. Только, чтобы не пропало. Пишите очерки или документальную повесть… Это не должно умереть вместе со мной, понимаете? Вот Белова нет, а дела его прозвучали… Здесь же более высокая, самая высокая ступень. Не сорваться бы, не сфальшивить…

— Понимаю, — сказал я. — Понимаю прежде всего свою ответственность, если возьмусь. Но ваши условия, ваши требования?

— Их два. После меня останется единственный близкий мне человек. Ему жить… Ей жить дальше, — поправил себя Николай Алексеевич. — Нужен такт, чтобы моя откровенность не коснулась ее, не повредила бы ей.

— Можете быть спокойны.

— Благодарю. И еще: сколько вам потребуется времени на работу?

— Не знаю. Но года три — как минимум…

— Хорошо, — кивнул Николай Алексеевич. — Ровно через три года вы вернете все бумаги мне или… или тому, кто обратится к вам от моего имени. Все бумаги, — повторил он. — Из тех же соображений…

— Слово чести.

— Вполне удовлетворен.

— Однако поймите меня правильно: где гарантия, что записи достоверны, что бумаги, документы — не фальсификация? Я даже не знаю, настоящим ли именем назвались вы. А я не настолько молод, чтобы тратить годы на работу, которая, извините, может оказаться сомнительной.

— Закономерное беспокойство, — удовлетворенно, с чуть заметным оттенком снисходительности, произнес Николай Алексеевич. — В

достоверности вы убедитесь, едва возьметесь за бумаги. Они скажут вам сами за себя. Но я предвидел ваши сомнения. Мы вместе встретимся с человеком, которого вы знаете.

— С кем?

— С Георгием Константиновичем. — Глаза старика вновь блеснули молодо и вроде бы даже озорно. Вспыхнули и сразу потухли. — Вы ведь знакомы с ним?

— С маршалом Жуковым? Да.

— Если вас не затруднит — завтра в это же время. Поворот с кольцевой автодороги на дачу Георгия Константиновича вам известен? Там запретный знак.

— «Кирпич», знаю.

— Тогда против этого «кирпича», за автострадой, метрах в ста от дороги.

— В сторону Рублева? — уточнил я.

— Да, там есть въезд в лес.

— Но почему за дорогой?

— Там спокойней, — усмехнулся Николай Алексеевич, — там прогуливаются пенсионеры.

Старик заметно устал, хотя и не показывал этого. Вяло шевелился язык, невнятно звучали слова.

— Буду без опоздания, — поспешил заверить я. — Куда вас проводить?

— Спасибо, идите к автобусу.

Метров через пятьдесят, на изгибе тропинки, я обернулся. Возле старика была женщина в темном платье. Белел воротник, но лица я не разглядел. Заметил только, что она стройная, повыше Николая Алексеевича. Взяв старика под руку, медленно повела к шоссе. Там, на обочине, стояла автомашина. Небольшая. Скорее всего, «Москвич».

Хлопнула дверца, заработал мотор. Звук удалился. Тихо стало в сумрачном весеннем лесу, лишь птицы затевали свой вечерний концерт.[1]

Мой дальневосточный товарищ, терпеливо ожидавший в зарослях, обиделся тогда на меня. Не до прогулки мне было, не до разговора с ним. Торопился скорее вернуться домой, подумать о предстоящем свидании с Жуковым, тем более что от первой встречи с ним впечатление осталось не самое приятное. Я видел его у генерала Белова. А Павел Алексеевич и Георгий Константинович были не просто старыми приятелями, но еще и друзьями-соперниками, хорошо чувствовали сильные и слабые стороны друг друга. И если Жуков, сделав рывок в конце тридцатых годов, намного обогнал в службе своего товарища, то ведь оба знали, что этого могло и не случиться, могло быть совсем по-другому. Долгое время шли она «голова к голове», оба были порученцами у Буденного, вдвоем разрабатывали боевой устав конницы. А потом Павел Алексеевич не раз оказывался у Жукова в подчинении, сталкивались их характеры, конфликты порой обострялись до крайности. Но дружбу они сохранили.

Году этак в шестидесятом помогал я Павлу Алексеевичу в работе над его книгой воспоминаний «За нами Москва». А Жуков тогда обдумывал свои будущие мемуары, искал помощников-литераторов. В ту пору Павел Алексеевич и Георгий Константинович особенно часто перезванивались, уточняли ход военных событий, обменивались мнениями, далеко не всегда совпадавшими.

Нам с Павлом Алексеевичем удалось найти редчайшие документы, объясняющие, почему наше контрнаступление зимой 1941/42 года под

Москвой не получило полного развития и решительного завершения. Это были сведения о поставках военной промышленностью различных видов боеприпасов в действующую армию, о наличии патронов, снарядов, мин на фронтовых складах и в войсках. Цифры потрясающие, хотя и понятные. Ведь значительные наши стратегические запасы были либо уничтожены, либо достались врагу, а предприятия, переместившиеся на восток, только обживались в новых краях. Ну, прямо хоть голыми руками воюй. Некоторые из цифр, приведенных в книге Белова, использовал потом в своих мемуарах Жуков. А тогда он как раз приехал познакомиться с этими документами к Павлу Алексеевичу на квартиру, на 1-ю Брестскую улицу. И посмотреть фотографии периода боев под Москвой.

Широкая публика представляет себе Георгия Константиновича по портретам и по кино, в котором артист Ульянов попытался воссоздать не только характер, но и внешний облик Жукова. Насчет характера говорить сейчас не буду, а вот внешность получилась очень даже близкой к оригиналу. В жизни, правда, все у Георгия Константиновича было резче и грубей, начиная от большого, тяжелого подбородка до излишне «командирского» голоса, от жесткого взгляда до неколебимой уверенности. Плюс еще мужицкая хитрованная сметка, редко встречающаяся у людей, выросших в интеллигентных семьях.

Когда я увидел его у Белова, выглядел Георгий Константинович вполне браво. Молодой муж, молодой папа. Особенно заметна была его моложавость рядом с быстро старевшим Павлом Алексеевичем Беловым.

Беззлобно подтрунивая над Жуковым, Павел Алексеевич говорил: вот, мол, оказывается, как новая женитьба на пользу пошла. «А что, — отшучивался тот. — И ты давай обзаводись женой и малыми ребятишками. Пороха хватит!» — «Евгению Казимировну свою куда дену?» — «Такая красавица не пропадет…»

Мы долго сидели втроем в небольшом кабинете Белова, разбирали документы и фотографии. Я, естественно, помалкивал да слушал. Человек очень тактичный, Павел Алексеевич понял, что я испытываю некоторую неловкость, сказал Жукову: «Помнишь, Жора, свою директиву от 21 декабря 1941 года: в честь дня рождения Сталина город Одоев взять?» — «Помню. Мог бы пораньше управиться. А то пока захватил, пока донесение пришло…» — «Там, понимаешь ли, немцы были. И стреляли.» — «На то он и враг, чтобы стрелять», — сказал Жуков. А Павел Алексеевич, словно не заметив насмешливости, продолжал свое, обо мне: «Вот Владимир Дмитриевич тогда в Одоеве был, четырнадцать лет ему стукнуло. И я, понимаешь ли, у них в доме остановился». — «Ну, повезло, значит», — кинул на меня взгляд Жуков. — «Кому? — спросил Павел Алексеевич, — кому повезло?» — «Обоим, — колюче усмехнулся Георгий Константинович. — И освободителю, и освобожденному».

Был тогда Георгий Константинович в хорошем настроении, весел был, но все равно напорист и резок без надобности…

И вот теперь, при второй встрече, я едва узнал Жукова, настолько он изменился. Мы с Николаем Алексеевичем стояли на лесной дорожке, а к нам приближался старичок в длинной зеленоватой генеральской шинели без погон, в далеко не новой фуражке. Вечер выдался прохладный, сеял мелкий, едва заметный дождик, и Жуков, наверное, озяб, лицо было серое, с каким-то свинцовым налетом. Маленькая собачонка семенила за ним: может, его, а может, бродячая, приблудная.

Георгий Константинович первым уважительно поздоровался с Николаем Алексеевичем. Пошутил:

— О самочувствии не спрашиваю, бодры, как всегда.

И верно, рядом с Жуковым, напоминавшим старого лесника в обходе, Николай Алексеевич выглядел просто молодецки в своем элегантном сером плаще и серой шляпе с небольшими полями.

Мне Жуков кивнул: дескать, узнал. Протянул холодную ладонь — пожатие было сильным. Спросил отрывисто:

— Памятник поставили?

Я сразу не сообразил — кому.

— Павлу Алексеевичу? Знаете, хорошим людям в личных делах не везет даже после смерти. Когда грузили пьедестал, камень поперек раскололся. Скрепили.

— Будет время — съезжу на Новодевичье, поклонюсь, — сказал Жуков и пошел вперед, увлекая нас за собой.

Остановились на просеке. Вокруг — ни души. Жуков повернулся ко мне.

— Николай Алексеевич может ошибаться… Как и все мы, — смягчил он свою грубоватость. — Но неправды от него не услышишь. Товарищ Сталин ценил каждое его слово. — Помолчал, окинув меня оценивающим взглядом. — Будешь работать — не торопись. Перед чинами-званиями не робей. Сегодня чин — завтра пыль… Пиши, как было. Но не затягивай. Пора, пора…

Через несколько дней на Рублевском шоссе, возле остановки автобуса, Николай Алексеевич передал мне два чемодана. И опять вместе с ним была женщина, лица которой я так и не успел разглядеть. Немолодая, во всяком случае лет за сорок. Я решил, что это его дочь.

Тетради и отдельные листы с записями, различные документы, фотографии были рассортированы по годам и событиям, аккуратно уложены в папки. Знакомясь с этими материалами, я думал: как лучше использовать их? Тут и подробные дневниковые заметки, и короткие, взволнованные наброски из нескольких фраз, сухие архивные справки и довольно поэтические зарисовки природы. В общем, это лишь основа для работы. Предстояло найти тот стержень, который может объединить разрозненную мозаику в цельное художественное полотно.

А не является ли лучшим стержнем, лучшим сюжетом сама долгая и насыщенная событиями жизнь Николая Алексеевича?

Все, что следует дальше, рассказано от лица Н. А. Лукашова — он хотел, чтобы была эта фамилия.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Иосиф Джугашвили не был хорошим солдатом. Больше того, он был никуда не годным солдатом. Низкорослый, рябой, длиннорукий, он выделялся среди молодых, крепких сибиряков своим нерусским обличьем, медлительностью, солидным возрастом. И выделялся, разумеется, не в лучшую сторону. Фельдфебель Охрименко, бравый служака, отмеченный крестами и на японской, и на германской войнах, даже в лице менялся, видя неуклюжую фигуру Джугашвили на левом фланге ротного строя. Всю картину портил ему новобранец. И вообще этот грузин доставил фельдфебелю много забот и хлопот, начиная с самой обмундировки.

Выдал ему рубаху по росту — а рукава до локтей. Сменил на два размера больше — рукава как раз, а подол до колен. Шинель каблуки закрывает, не нашлось короче.

Любил Охрименко, чтобы все у него было в полном порядке. Приказал ротному портному подогнать по фигуре обмундирование новобранца. А вот куда определить Джугашвили — эта задача оказалась не под силу даже многоопытному фельдфебелю. На плацу, в карауле от солдата никакого прока. Маршировать, ружейные приемы исполнять, начальству браво ответить — не способен. Выведи такого на смотр — сраму не оберешься. К тому же еще и политический, прямо из ссылки. Смутный человек… Но при всем том очень даже грамотный, вроде бы из духовного сословия, важные господа им интересуются. Одна разодетая дама в шикарном возке за ним приезжала.

Учитывая все эти разносторонние обстоятельства, фельдфебель Охрименко новобранца не притеснял и службой не обременял. Сперва при ротной канцелярии держал его, чтобы помогал писарю. Но и тут Джугашвили надежды не оправдал. Почерк у него был неважный, и казенную бумагу по всем правилам составить не мог. Какие-то лишние, непонятные и подозрительные словечки проскакивали. К тому же офицеры в канцелярию наведывались, а там этот страхолюдный абрек… Пусть уж лучше подальше от глаз при каптенармусе обретается, сапоги да портянки, котелки да ложки считает.

Так рассказывал о взаимоотношениях фельдфебеля и необычного солдата поручик Давнис, временно исполнявший обязанности командира роты. Рассказывал охотно и весело, особенно смакуя и живописуя находчивость бравого Охрименко, всякий раз добавляя новые смешные подробности.

Случай сам по себе очень редкий: о каком-то солдате почти каждый вечер говорили в избранном обществе большого сибирского города. И говорили не только со смехом.

Теперь самое время объяснить, как в этом городе, в этом обществе оказались мы с женой. С начала 1916 года я служил в штабе Юго-Западного фронта, командовать которым назначен был замечательный полководец Брусилов Алексей Алексеевич. Он хорошо знал меня и весьма благожелательно относился, видя во мне надежного сторонника его смелых идей, начинаний. Летом, когда успешно развивалось наступление наших войск, вошедшее в историю под названием «Брусиловского прорыва», я был направлен в 8-ю армию генерала Каледина, действовавшую на главном направлении, стремившуюся отбить у германцев город Ковель. Мне было предписано наблюдать за действиями больших сосредоточений нашей артиллерии, предназначенной для прорыва глубокой и сильно укрепленной обороны противника. В обязанность мою входило также анализировать взаимодействие артиллерии и пехоты не только при прорыве укрепленных позиций, но и в глубине вражеской обороны; выяснить способность артиллерии разных калибров сопровождать пехоту, прокладывая ей путь огнем на промежуточных и отсечных позициях неприятеля.

Работа была интересная, мне передавали, что сам Брусилов читает мои донесения, и это было весьма лестно. Однако, как частенько случается на войне, дело мое неожиданно прервалось. В конце июня артиллерийский дивизион, с которым я продвигался, попал в очень трудное положение. Германская пехота упорно атаковала наши позиции, в некоторых местах

совершенно истребив пехотный заслон. Когда начинался этот бой, меня ранило в ногу, я пролежал в землянке до той поры, пока стало известно, что все офицеры дивизиона перебиты, возглавлять отражение неприятеля некому. К счастью, рана была не очень болезненной, я выбрался из землянки и принял командование.

Атаки мы отразили, но меня контузило и покалечило еще раз. Взрывной волной бросило на лафет пушки, ком земли ударил в грудь с такой силой, что я несколько дней едва дышал, теряя сознание от боли. Опасался, что легкие совершенно отбиты.

Санитарный поезд доставил меня в Омск, в небольшой и очень уютный госпиталь с хорошими врачами, где здоровье мое быстро пошло на поправку. Вскоре я с палочкой гулял по двору и чувствовал себя довольно бодро, только в груди поламывало, особенно когда менялась погода. Доктор предупреждал: остерегайся туберкулеза.

Там я получил от своей милой жены длинное письмо, в котором тревога и беспокойство смешивались с радостью, что я, слава Богу, живой и, наконец, впервые с начала войны, нахожусь далеко от «этого ужасного фронта». И она, конечно, не может не воспользоваться случаем увидеть меня и ухаживать за мной, а поэтому без промедления выезжает в Омск. И еще написала жена: после излечения мне, наверное, дадут отпуск для окончательной поправки здоровья, и хорошо бы провести это время вдвоем, как можно дальше от «ужасной войны». Ее подруга, родственница вице-губернатора Восточной Сибири, давно и настоятельно зовет к себе в гости и будет очень рада принять нас. У нее хороший дом в Красноярске и есть еще охотничий домик в тайге на берегу Енисея, откуда можно верхом добраться до знаменитых красноярских скал-столбов. При домике настоящая сибирская баня и целый подвал местных солений и маринадов.

Как устоишь перед такими соблазнами? Я посоветовался с врачом, он сказал, что сибирская зима мне будет полезна (только на большие морозы не выходить), а отдых на лоне природы полезен вдвойне. Я тут же ответил жене, что с нетерпением жду ее.

Началась самая счастливая полоса в нашей жизни с Верой — Вероникой Матвеевной. Обвенчались мы незадолго до войны и лишь несколько недель провели вместе. Тогда была радость узнавания, привыкания. А теперь не только повторился медовый месяц, теперь мы, умудренные войной, дорожили каждым днем и часом, радуясь тому, что они выпали нам, и старались не заглядывать в туманное будущее. В первый же вечер в Красноярске отправились на каток, кружились там под звуки гарнизонного духового оркестра, и я даже забыл про боль в ноге, про затрудненное дыхание.

Жена моя была просто чудо. Говорят, что для каждого человека есть на свете его половина, с которой только он и может вкусить всю прелесть жизни. Люди стремятся найти, разыскать свою половину, да редко кому удается. Отсюда и разочарования, несбывшиеся надежды, искалеченные судьбы, многие другие беды. А мы с Верой нашли друг друга… Впрочем, иногда у меня появлялась мысль, что Вера с ее тактом, ее умом и чуткой душой могла бы составить счастье любому порядочному человеку, а мне просто повезло встретить ее.

Красота Веры была неброской и раскрывалась скорее дома, нежели на людях. Увы, есть такие женщины, и их немало, которые в обществе всегда приятно возбуждены, умело подкрашены, напудрены, причесаны. Способны пококетничать, словцо острое или интригующее к месту

вставить. Они блещут на балах, на приемах, в театрах. На вечеринках. Они привлекательны, за ними ухаживают, особенно мужчины под хмельком. Но поглядите на этих женщин потом, дома, когда они, усталые и вялые, сбрасывают с себя мишуру, стирают краску, являя преждевременные морщины и нездоровую кожу, испорченную злоупотреблением косметикой.

Особенно неприятны подобные женщины по утрам: с измятыми лицами, раздражительные, ворчливые, неряшливые. С жалобами на мигрени, на дурное настроение. Оживают и веселеют они лишь во второй половине дня, когда вновь надобно наряжаться, краситься, отправляться на люди, очаровывать своим «обаянием». Но каково мужу-то с такой благоверной? Он ведь видит ее в полной реальности, в естественном состоянии, и лишь очень воспитанный человек (или равнодушный супруг, имеющий любовниц) может не показать своего отвращения.

Вероника моя была полной противоположностью обрисованным выше дамам. Как-то уж очень хорошо умела она держаться среди людей. Благожелательно, мило, естественно, без всякой игры, образуя вокруг себя атмосферу, в которой не было места пошлости и интрижкам. С белым лицом северянки, с глазами прозрачно-голубыми, она и волосы имела светлые, и одежду предпочитала светлых тонов. Удивительное ощущение чистоты и прозрачности создавалось вокруг нее. Я говорю прежде всего о чистоте душевной, совершенно незамутненной, может быть, даже несколько наивной. Что-то детское, трогательное было в восхищении Веры красотой всего сущего, мною, нашим с ней счастьем. Все просто и понятно было мне, когда находился рядом с ней, легко различалось дурное и хорошее, важное и случайное. Я не переставал радоваться ниспосланному мне благу. И живя друг для друга, мы мало внимания обращали на внешние события, на те страсти, которые кипели тогда во всех слоях общества.

К концу шестнадцатого года обстановка в России обострилась настолько, что необходимость перемен ощущалась повсюду, даже в спокойном и благополучном Красноярске. Затянувшаяся война надоела всем. Никто не хотел рисковать собственной жизнью или жизнью близких людей неизвестно за что. За Дарданеллы? Не слишком ли дорогая плата? Даже для меня, кадрового военного, подполковника, получившего специальную подготовку, совершенно неясна была цель этой громадной войны, превратившейся в бессмысленную бойню, кровавую мясорубку. Что же говорить о младших офицерах или о солдатской массе, о всем народе? Боюсь, что ясной цели не видел ни сам Николай II, ни государственные деятели, его окружавшие. В скорую победу над Германией трудно было поверить; да и сама победа — какие перемены, какую радость принесет она, чем окупит миллионные жертвы?!

Русских офицеров, как и все общество, особенно раздражала и оскорбляла обстановка, сложившаяся в доме Романовых. Истерическая царица-немка вкупе с придворными шлюхами без зазрения совести наслаждалась близостью темного, звероподобного мужика Гришки Распутина, выполняя его дурацкие капризы, и в то же время помыкала безвольным и нерешительным своим супругом. Мерзко это было до крайности.

Да, перемен ждали все, от самых низов, от рабочих и крестьян, до генералов и промышленников. Особенно революционно была настроена интеллигенция. Очень многие люди, и я в том числе, совершенно не знали, не понимали, на какой новый путь должна повернуться страна, но в

необходимости резкого поворота не сомневались. Царь и его режим утратили авторитет, изжили себя и теперь были для государства тормозом и помехой.

Вот при такой обстановке, при таком умонастроении общества и появился в Красноярске политический ссыльный Джугашвили, который давно выступал за революцию, был дружен с братом казненного революционера Александра Ульянова, поднявшего руку на самодержца. Про Джугашвили говорили, что он бывал за границей, что он один из создателей небольшой, но очень крепкой и радикальной партии. Еще до войны, на вечеринке в Петербурге, в Калашниковской бирже, Джугашвили вел себя бурно и смело, во весь голос призывал сбросить царя. Его арестовали и в который уж раз отправили в ссылку на Енисей, за Полярный круг. Там он и провел несколько лет, а лишь в декабре 1916 года его мобилизовали в армию и по этапу доставили в Красноярск, в 15-й Сибирский запасный полк.

Все эти особые обстоятельства просто не могли не привлечь тогда к Джугашвили внимания публики. Тем более, что имя его было окружено загадочным романтическим ореолом, который особенно волнует и привлекает молодежь, незамужних и вдовых дам средних лет, коих в ту военную пору было множество, да и просто любопытствующих. А созданию такого ореола, сама того не желая, во многом способствовала Матильда Васильевна Ч.,[2] женщина бальзаковского возраста, весьма эмоциональная и решительная, я бы даже сказал, не боясь обидеть ее, с авантюристическим складом характера. У нее и обличье было соответствующее: прямые плечи, порывистые движения, резкий голос, жесткие волосы цвета спелой соломы, подчеркивающие смуглость лица.

Перед войной случайно и нелепо погибли ее муж и десятилетний сын. Мальчик купался, начал тонуть, а отец, не умевший плавать, бросился спасать его… С трудом оправившись от такого удара, Матильда Васильевна отправилась за границу, вела там рассеянный образ жизни; охотилась в Африке на диких животных, заботилась о каких-то молодых художниках в Бразилии и еще что-то делала, не испытывая затруднений в средствах.

Вообще, это был феномен, способный появиться только в разноплеменном государстве Российском. Томная лень армянской аристократки смешивалась в ней с хмельной удалью русского князя-гвардейца, воевавшего на Кавказе; педантичности и расчетливости остзейской баронессы противостояла самоотреченность московского ученого-исследователя, на свои скромные средства отправлявшегося в северные экспедиции. Ну, а кроме всех этих разнообразных качеств унаследовала Матильда Васильевна от предков титулы, положение в обществе и весьма обширные владения, позволявшие ей вести совершенно независимое существование.

Излечив в дальних странах свои душевные раны, эта женщина решила возвратиться на родную землю. Поскольку приехать с запада было затруднительно, она через Японию добралась пароходом до Владивостока, а оттуда поездом начала свое неторопливое путешествие по Сибири. Побывала у родственников в Иркутске, а затем остановилась в Красноярске. И не только для того, чтобы покататься на лыжах и принять участие в деятельности дамского благотворительного общества. Последнее явилось для Матильды Васильевны хорошим прикрытием,

позволявшим ей бывать в казармах и заботиться о «бедных солдатиках». Особенно об одном из них.

Знакомство Матильды Васильевны не с кем-нибудь, а именно с Джугашвили, не было, конечно, случайным. Где-то в дальней стороне виделась Матильда Васильевна со своей подругой — политической эмигранткой, давно не бывавшей в России. Людмила Николаевна (ее фамилию назову при более существенных обстоятельствах) тоже была женщиной оригинальной, независимой, из богатой семьи. Она-то и рассказала странствующей миллионерше о бунтаре, об умном грузине, авторе революционных статей, который безвестно пропадает в сибирских дебрях, попросила по возможности облегчить его участь. И уже если Матильда Васильевна помогала где-то в Бразилии страдающим борцам, то в своем-то Отечестве как не помочь! Опять же дело, забота, возможность приложить свои силы, чего ей так не хватало…

Думаю, что в пылу воспоминаний Людмила Николаевна не удержалась, коснулась не только политической стороны, но и чисто мужских достоинств своего давнего друга. Сие ведь не одними словами выражается, но и интонацией, и особым блеском глаз. Во всяком случае Матильда Васильевна Ч. была весьма заинтригована и, оказавшись в Красноярске, сразу же проявила горячий интерес к Джугашвили. Однако, как ни странно, проявление участия и несколько попыток познакомиться ближе были вежливо, но твердо отвергнуты опальным бунтарем в солдатской шинели. Это еще более разожгло интерес и стремление Матильды Васильевны. Она, попросту говоря, потеряла голову. Об отъезде из Красноярска даже не помышляла. В запасном полку бывала, вероятно, чаще, чем его командир. Где бы ни появлялась, рассказывала о тяжелом положении наших солдат, о несправедливом гонении на мужественных, передовых людей.

Собеседникам, коим надоедали ее общие рассуждения, ничего не стоило направить речь Матильды Васильевна в более определенное русло, для этого следовало лишь упомянуть фамилию Джугашвили. Слушать о нем было гораздо интересней. Дамы внимали с неподдельным любопытством, некоторые даже с завистью. Поручик Давнис — скрывая усмешку. А моя милая Вера очень страдала за Матильду Васильевну: неловко и обидно ей было, что все переживания этой женщины слишком обнажены и некоторые используют их для своего развлечения и увеселения.

Как и другие люди нашего тогдашнего круга, я, ни разу не видевший Джугашвили, волей-неволей знал о нем много всяких подробностей. Известно мне было, что в ссылке его содержали особенно строго, отправив дальше других революционеров к Ледовитому океану, в станок Курейку, и ему, южанину, было очень трудно в тамошней стуже. И что после долгой полярной зимы родился там у Иосифа Джугашвили сын, которого назвали Александром. (Матильда Васильевна говорила об этом без укора, без ревности, даже с какой-то печальной гордостью: вот, мол, на краю света, в каторге, а мужчина оставался мужчиной…)

Куда-то писала она о Джугашвили, отправляла какие-то запросы, телеграммы, хлопоча о смягчении его участи, об освобождении из солдат. Однажды с сияющим видом поведала нам с Верой вот что. Считают, будто Иосиф Виссарионович сын сапожника, но это не так. Посудите сами: разве поступил бы сын сапожника и крепостной крестьянки в духовное училище, а затем в духовную семинарию? Весь секрет в том, что мать Иосифа была

очень красива и не могла не привлечь внимании своего хозяина — князя. Нет ничего удивительного, что князь позаботился затем о развитии мальчика, о его дальнейшей участи. И вполне естественно (при этом Матильда Васильевна лукаво улыбалась), что мальчик, осознав свое двойственное положение, с юных лет проявил недовольство, стал бунтарем. Он был достоин большего, старался расправить крылья. Прошлое тяготило его. Покинув дом, он не возвращался больше в семью, в родные места. К тому же он еще и поэт. Грузинский литератор Чавчавадзе, обладавший хорошим вкусом, включил одно из стихотворений Джугашвили в грузинскую азбуку. Его стихами на Кавказе наслаждаются дети, а он томится и терзается здесь.

Слушая Матильду Васильевну из вежливости, и даже с некоторым любопытством, я не имел ни желания, ни оснований возражать ей. Всякое бывает на этом свете… Солдат-революционер, да еще сын князя — случай все же незаурядный и не лишенный некоторого шарма.

К месту будь сказано: некоторое время спустя довелось мне услышать еще одну версию о родителях Джугашвили. Отец его, дескать, не кто иной, как известный путешественник Пржевальский, бывавший в гостях у князя. Даже портреты мне демонстрировали, утверждая, что Сталин и Пржевальский очень похожи, и не только лицом, но и фигурой, осанкой. Я сперва полностью отверг эту версию, так как знал, что в начале 1879 года Пржевальский отправился в свое второе путешествие по Центральной Азии, но затем, прикинув время и расстояние, пришел к выводу: и это возможно. Тем более что месяц и даже год рождения записывали со слов родителей, иногда много времени спустя после того, как ребенок родился. Такой разговор у нас еще впереди.

Из всех этих предположений достоверно только одно: Иосиф Виссарионович не любил вспоминать о Гори, о своем детстве, а если и упоминал, то лишь о матери и никогда — об отце, который, судя по всему, в свою очередь относился к Иосифу очень холодно. В тридцатых годах, помнится, я рассказал Сталину на даче обо всех этих версиях. И еще об одной, которую распространяли враги Иосифа Виссарионовича и которая была, по их мнению, причиной того, что Сталин не ездил в родные места. Речь шла об изнасиловании несовершеннолетней девушки, из-за чего, мол, Джугашвили выгнали из семинарии, а близкие и знакомые подвергли его презрению.

Над последней версией Сталин посмеялся: до чего додумались ненавистники! А про отца ничего не сказал. Умышленно или нет — не знаю. Ни возражений, ни утверждений. Хотя вообще-то он тяготел к четкости и определенности во всем, что имело отношение непосредственно к нему. Однако подобные разговоры между нами будут потом, а тогда, в Красноярске, совсем другие заботы и тревоги обуревали меня. Отпуск близился к концу, чувствовал я себя вполне сносно и долг повелевал мне возвратиться в действующую армию. Но Боже, кто бы знал, как тяжело мне становилось при одной лишь мысли, что предстоит снова расстаться с милой Верой, что впереди мрачная неизвестность. Потомственный военный, я с детства привык к тому, что принять смерть за Отечество — не страшно, почетно. Собственная гибель не очень пугала меня до последней встречи с Верой. А теперь я до краев был наполнен радостью бытия, и в то же время росло опасение, что сосуд слишком хрупок. И Вере без меня будет скверно. Я понимал это и чувствовал ответственность за нашу маленькую семью.

Между тем, приложи я некоторые усилия, покриви совестью, и фронт отодвинулся бы от меня на продолжительное время. Многие наши знакомые восприняли бы это как нечто совершенно естественное, не противоречащее офицерскому и человеческому достоинству. Меня поражало, сколько же «окопалось» в глубоком тылу чиновников, крепких молодых людей, а главное — офицеров. Под самыми разнообразными предлогами они отсиживались в тепле и уюте, пережидая войну. Особое раздражение (может, потому, что часто их видел) вызывали у меня двое. Уже названный поручик Давнис, человек, пышущий здоровьем, умудрился все военные годы провести за Уралом, не слышал ни одного боевого выстрела. Это был типичный фат, красавчик из аристократических салонов, нагловатый и уверенный в своей мужской неотразимости. Унаследованная от предков-французов способность с неприкрытой, обезоруживающе-наивной (я бы сказал, с бесстыжей) откровенностью добиваться у женщин определенной цели часто приносила ему удовлетворение желаний, к чему он и привык. С такими, как он, женщины сходятся беззаботно, играючи, уверенные, что все кончится легко и просто. Раздолье таким фатам в военное время, когда настоящие мужчины в окопах! И хоть много женщин было вокруг, этот щеголь, нимало не считаясь с моим присутствием, выбрал главным объектом своего внимания Веру. Ухаживал за ней упорно, не обижаясь на ее холодное отношение, даже насмешки. Несколько раз я видел, как смотрит он на мою жену издали; и взгляд его — тяжелый, мрачный, исступленный — пугал меня. Так смотрит терзаемый голодом хищник на близкую, но недоступную ему жертву. Он прыгнет, нанесет удар при малейшей возможности: никаких нравственных преград для такого животного не существует.

Он портил мне настроение, этот Давнис, и я, возможно, не всегда был справедлив по отношению к нему. Воспринимал бы его иначе, не добивайся он благосклонности Веры. А теперь даже друг Давниса, повсюду следовавший за ним прапорщик Оглы, вызывал у меня неприязнь.

Странная это была пара: аристократ с холеным лицом, изъяснявшийся на трех языках, и сын какого-то полудикого сибирского князька, едва говоривший по-русски, скуластый, с приплюснутым носом на широком лице, всегда блестевшем, как подгорелый намасленный блин. Глаза у него понимающие, хитрые и жестокие — только заглянуть в них почти невозможно, настолько они узкие.

Прапорщик Оглы много пил, не пьянея, ни с кем, кроме Давниса, не разговаривал. Изредка, когда его очень просили, выпрямлялся во весь свой высокий рост и, налившись яростью, принимался рубить бросаемые в воздух дамские батистовые платки. Ахал, приседая, со свистом рассекал воздух кривой саблей, и располосованный надвое платок опускался на пол. Иногда, изловчившись, прапорщик Оглы успевал разрубить летящий платок на три и даже на четыре части.

Служебными заботами оба приятеля не очень себя утруждали. По несколько дней пропадали где-то, сказываясь, что на охоте; кутили в ресторанах, катались на тройках. Знающие люди говорили, что отец прапорщика Оглы очень богат, на его землях много ценного леса и нашли золото… Да, для этих молодых людей и война была не война.

Поручик Давнис, появившийся в обществе после одной из попоек, первым принес известие о том, что солдат Джугашвили обмишулился и ему грозит суд. За самовольный уход из казармы более чем на четыре часа: это можно квалифицировать как попытку совершить дезертирство.

— А ведь все женщины, женщины, — смеялся Давнис, поглядывая на побледневшую Матильду Васильевну. — Такой самоотверженный борец за справедливость, но при всем том естество своего требует, — издевался поручик. — А денег мало, какие у солдата деньги? Вот и пришел в Дунькину слободку, к самым дешевым. Да еще, может, в очереди пришлось постоять.

Хлопнула дверь — это выбежала из комнаты Матильда Васильевна.

— Поручик, вы бы воздержались при ней, — сказал я.

— Простите, не вижу необходимости.

— Зачем обижать ее?

— Она сама виновата, сотворила себе кумира. Из кого? Из солдата, из политического преступника. Розовой кисеей окутала. Страдалец! А он шасть — и в Дунькину слободу![3]

— Речь не о Джугашвили, — возразил я. — Не следует касаться Матильды Васильевны.

— Будет исполнено, — шутливо щелкнул каблуками Давнис. — Честь женщины — щит наших пороков.

На том и кончилось бы мое весьма скромное отношение к делам рядового Джугашвили, и совсем по другому руслу потекла бы моя жизнь, не прояви тогда свой решительный характер Матильда Васильевна. Она приехала вечером к нам домой, осунувшаяся, в черной траурной мантии. Глаза у нее были, как у человека, способного на любую крайность. Она готова была упрашивать, пасть на колени, молить, унижаться… Она любила — эта немолодая женщина. И я тогда всем сердцем любил свою милую Веру и способен был понять силу и муки настоящего чувства. И, подавив самолюбие, некоторую даже брезгливость, согласился встретиться, поговорить с солдатом Джугашвили, хоть и не совсем понимая, для чего это нужно. Замолвить за него словечко перед воинским начальством, перед вице-губернатором и перед губернатором вполне могла и Матильда Васильевна. Но она была настолько потрясена случившимся и так возбуждена, что я не решился ни в чем отказать ей. Выдвинул только одно условие: увижусь с Джугашвили не в казарме. Ехать к солдату мне было бы совершенно унизительно. Матильда Васильевна поспешила заверить, что завтра в полдень Джугашвили будет у нее дома.

— Он не под стражей? — удивился я.

— Его проводит фельдфебель.

По глазам милой Веры я понял, что она очень довольна моим согласием, и это в значительной степени сгладило неприятность встречи с провинившимся солдатом.

День следующий выдался очень хорошим. Морозец держался градусов под тридцать, но совершенно без ветра: дымы над крышами поднимались прямо к ярко-синему небу. Солнце улыбалось лучисто, будто радуясь тому, что наступил перелом зимы, время поворачивает к весне. Розовато отсвечивал снег на склонах сопок, а Караульная гора, высившаяся над городом, сверкала вся, как глазированный кулич.

Велел извозчику ехать дальней дорогой, чтобы продлить удовольствие. Мимо бревенчатых домов с расписными ставнями, мимо высоких, глухих заплотов из толстых плах выкатились мы на простор Енисея, лихо пронеслись до самых причалов. Дышалось легко, я совсем не ощущал боли в груди, как до контузии.

Швейцар принял у меня шинель. Я спросил, здесь ли солдат, и швейцар ответил, что точно-с, здесь, проведен в гостиную, а фельдфебель ожидает на кухне. Не заходя к Матильде Васильевне, я сразу же направился в гостиную, чтобы поскорее покончить с тяготившим меня обещанием.

Поручик Давнис явно сгущал краски, рассказывая о рядовом Джугашвили. Старался, чтобы смешней и веселей было. Навстречу мне поднялся с кресла самый обыкновенный солдат, каких много, на которого в другой обстановке я не обратил бы внимания. Он именно поднялся, а не вскочил, не вытянулся, как положено солдату при появлении офицера. Я давно заметил, что людей пожилых трудно выдрессировать до полного автоматизма, а за людей интеллигентных, мыслящих неохотно брались в этом отношении даже самые опытные унтеры. Привить им воинскую выправку гораздо сложнее, чем деревенским парням.

Передо мной стоял коренастый, плотного телосложения человек, лет под сорок, со смуглым усталым лицом, на котором заметно проступали рябинки. Лоб невысокий, даже узкий, обрезанный черной полоской коротко постриженных волос. Несколько велик был нос, как у многих кавказских жителей. Показалось, что руки длинноваты и тяжеловаты по сравнению с туловищем. И малоподвижны, особенно левая. В общем, ничего уродливого, вызывающего насмешку в нем не было, и это успокоило меня. Дело в том, что я с невольной опаской отношусь к людям, имеющим какие-либо отклонения от нормы, какие-нибудь физические недостатки. Такие люди обычно болезненно-мнительны, преувеличивают свою ущербность: навязчивая мысль о собственной неполноценности накладывает отпечаток на их психику. Это относится к людям невысокого роста: чем они ниже, тем сильнее психический пресс. Одни из них становятся завистливыми, злыми, мстительными, другие — коварными и хитрыми, третьи одержимы идеей во что бы то ни стало доказать свое превосходство над всеми прочими. Честолюбие движет ими. А случается, что все три качества объединяются в одном человеке. Он становится опасным для окружающих. Образцовым примером честолюбивого коротышки можно считать Наполеона.

Рядовой Джугашвили и ростом был низковат, и внешними достоинствами не отличался, но, повторяю, ничего особенного в нем я не заметил. Вроде бы солдат как солдат. Однако, здороваясь со мной, он пристально посмотрел мне в глаза, и таким пронизывающим был его взгляд, что показалось: Джугашвили мгновенно просветил меня, проник в мою сущность, понял, кто перед ним. Это было неприятно, смутное недовольство возникло во мне. Стараясь приглушить это ощущение, сказал преувеличенно бодро:

— Наслышан о вас, весьма наслышан… А, собственно, кто вы по убеждениям?

— Отбывал ссылку как большевик, — раздельно и веско произнес солдат, будто подчеркивая, что ценит каждое свое слово.

— Меньшевики, большевики — странные словообразования. Игранье, забавы какие-то… Говорят, в этих ваших партиях на первых ролях выступают евреи?

— Есть и они, — ответил Джугашвили все столь же весомо, размеренно: голос его звучал ровно, негромко, глуховато. — Мы не придаем особого значения национальности… Мы интернационалисты.

— В принципе это можно понять, — кивнул я. — Если уж рай, то рай для всех. Идеал христианства.

— Церковь обещает рай на том свете, требуя взамен полного смирения здесь, на земле. Но кто знает, есть ли тот свет? — едва заметно улыбнулся солдат. — Мы хотим, чтобы люди были счастливы при жизни. Все люди, весь народ, а не избранные одиночки, — подчеркнул он.

Говорил Джугашвили с чувством собственного достоинства, даже с оттенком некоего превосходства, как с учеником, и это выбивало меня из привычной колеи. Собеседник явно не уступал мне в эрудиции, в умении вести дискуссию, но это был всего лишь рядовой солдат со стриженой головой, а солдатами я привык командовать, передвигать, как пешки, обращаться на «ты» или, в редких случаях, снисходительно-ласково произносить «братец». Однако беседовать в таком тоне с Джугашвили представлялось совершенно невозможным, и я терялся. А он понял мое состояние. Вновь прострелив пытливым, понимающим взглядом, сказал, словно бы рассуждая вслух:

— Офицеры русской армии, даже самые образованные и передовые, слабо разбираются в вопросах политики.

— Естественно. У офицеров четко определенный круг обязанностей. Заниматься политикой нам официально запрещено. Слуга царю и Отечеству — остальное не имеет значения.

— Такая вода — на нашу мельницу, — удовлетворенно продолжал Джугашвили. — На мельницу наших пропагандистов и агитаторов. Офицерам трудно противопоставить что-нибудь веское нашим самым элементарным доводам.

— Не могу не согласиться.

— Даже авантюрист, полуграмотный крикун, прочитавший две-три популярные брошюры, способен победить в споре неглупого офицера и привлечь массы на свою сторону. Иногда это даже плохо.

— Очень плохо, — засмеялся я. — Трогательное совпадение взглядов, хоть и смотрим мы с совершенно разных позиций. В моем представлении любая политическая игра — это, извините, нечто мелкое, пошлое.

— Политика политике рознь, — невозмутимо возразил Джугашвили. — Если добиваться собственной выгоды — это одно. Стараться для людей, для народа — совсем другое.

— Конкретизируйте.

— Народ, например, устал от войны, народу не нужна война, народ против нее, — при этих словах я впервые увидел короткий, энергичный жест Джугашвили: резкое движение, согнутой правой рукой с распрямленной ладонью от себя, сверху вниз — сей жест стал впоследствии неотъемлемой частью его облика.

— Возможно, — согласился я. — Но что же требуется народу?

— Ему нужно полное равенство, освобождение от сословных пут. Крестьянам нужна земля. Рабочим — фабрики и заводы.

— А вы спрашивали у него?

— У кого? — не понял Джугашвили.

— Откуда вам известно, что необходимо народу? Вы обращались к нему? Вот вы, сами?

— Почему лично я? Что нужно народу — знает наша партия.

— Сколько их, этих партий, и у нас в стране, и во всем мире?! Каждая декларирует, что именно она выражает интересы народа, страны. Короли, цари, ханы, диктаторы, между прочим, всегда утверждали то же самое… Но Господь с ними. Лучше скажите мне, что такое народ? Вон тот извозчик за окном? Или гимназист с ранцем? Или краснорожая прачка с неохватным

задом? Или вон тот крестьянин, едущий на базар в надежде охмурить покупателей-горожан? Или проститутка из Дунькиной слободы? — не удержался я.

— И они тоже. — Джугашвили насупился, но голос его звучал по-прежнему ровно. — Однако наша партия выражает прежде всего интересы трудящихся масс, прежде всего рабочих и крестьян.

— Ну, знаете ли, рабочих в нашей стране малая горстка. А крестьяне… Вам часто приходилось бывать в русских деревнях?

— Нет, — качнул головой Джугашвили. — Я не бывал в русских деревнях… Только в ссылке, в Сибири.

— Тогда как же вы беретесь выражать интересы крестьян, не умея отличить супонь от подпруги, супесок от глинозема, волнушку от рыжика, избу от мазанки, чапыги от лемеха? Интересы огромного океана крестьян, составляющих суть, силу России?! У зажиточных, богатых мужиков одни чаяния, у среднего крестьянина — другие, у лодырей, пьяниц, неудачников — совершенно иные: как бы нажраться, ничего не делая.

— У крестьян всех национальностей есть общие интересы, — продолжал свое Джугашвили. — Все крестьяне хотят получить помещичьи, царские, монастырские земли, чтобы трудиться не на эксплуататоров, а для себя. — Он умолк, прислушался, обернулся на звук шагов.

В гостиную вошла Матильда Васильевна. На постаревшем лице ее — холод и строгость. Нервно теребя пальцами бахрому черной шали, она сдержанно кивнула мне, затем Джугашвили и спросила весьма сухо, не хотим ли мы кофе или чаю.

Я посмотрел на солдата. Он молчал, скрывая волнение. Матильда Васильевна глянула на него, глаза их встретились: укоряющие, гневные, вопрошающие глаза женщины и возбужденно-блестящие — Джугашвили. В его взгляде не было уверенности, твердости, но я не заметил и никакой виноватости, раскаяния и понял, что первой не выдержит, потупится, сникнет Матильда Васильевна. И, прерывая затянувшуюся паузу, сказал:

— Хорошо бы чаю, покрепче.

Женщина быстро вышла. Мне показалось, что Джугашвили, проводивший взглядом ее стройную, гибкую фигуру, подавил вздох, и это развеселило меня. Забавная все же историйка! Ну, чем вам не Лермонтов: горячее сердце под грубой солдатской шинелью с одной стороны и возвышенная романтическая аристократка с другой. Черт возьми, не будь я женатым!..

— Вы, конечно, понимаете, почему она сердится?

— Догадываюсь, — сказал Джугашвили.

— Эко вас понесло, право, — игриво посочувствовал я и сразу же пожалел о своем насмешливо-покровительственном тоне, увидев, как побледнело лицо Джугашвили, резче выделились рябинки. Пожалуй, я переступил грань приличия, пролегающую между равными людьми, солдатская форма сбила меня с толку. Но Джугашвили в этой ситуации оказался, как говорится, на высоте. Быстро справившись с собой, ответил с вежливой твердостью:

— Признателен за ваше участие, но есть определенные сферы…

— Поверьте, я не хотел вас обидеть.

— Понимаю, — он обошел вокруг стола, остановился против меня, сказал, выделяя каждое слово: — Меня задержали на улице, когда возвращался в казарму. А куда ходил — это сказал я сам.

— Вот как?.. Объяснили бы по крайней мере Матильде Васильевне. Простите, но она очень переживает…

— Она меня не спрашивала и, кажется, не хочет спрашивать. Эта женщина решает и делает все сама, и за себя, и за других.

— Вы верно определили ее сущность, — улыбнулся я. — Доверьте мне поговорить с ней.

— Спасибо. Но сначала ответьте, как меня накажут за самовольный уход к этим, — он брезгливо пошевелил пальцами, — к этим девкам из слободы?

— Другого солдата заставили бы уборные чистить. Или на гауптвахту, на хлеб и воду. Но вы политический, могут придраться.

— Это еще вопрос, — сказал Джугашвили. — А если дознаются, что был в железнодорожных мастерских? Меня начнут спрашивать, что там делал, с кем встречался…

— Да, — кивнул я, — штрафного батальона не избежать.

— Зачем же мне подводить своих товарищей и себя? — спросил Джугашвили.[4]

В этом был некий элемент скрытности, столь чуждый мне, но логика солдата убеждала. Не возражая по существу, я спросил, несколько даже польщенный его доверчивостью:

— Почему вы не опасаетесь говорить мне все это?

— Не хочу, чтобы думали обо мне плохо, — пояснил Джугашвили.

— Ценю ваше откровение. И предлагаю вот что. Поскольку над вашей головой сгущаются тучи, не лучше ли вам отбыть в другое место?

— Каким образом? — заинтересовался Джугашвили.

— В понедельник отправляется команда в Ачинск. Это недалеко, но там другие люди, другие командиры, другие заботы. Там формируются маршевые роты для отправки на фронт, а это уже не тыловые забавы.

— Я был бы очень признателен вам, — у Джугашвили чуть дрогнул голос. — Было бы очень хорошо для меня. Мне нужно на запад.

— Считайте, что вы включены в команду. И не благодарите. Ускорить отправку гораздо легче, чем задержать в тылу.

— Да, но есть существенная разница между маршевой ротой и штрафным батальоном, — сказал Джугашвили. — Спасибо.

Разговор был окончен. Солдат медленно пошел к выходу. Мельком глянул в трюмо. По его движениям, по выражению лица я видел, что ему не хочется покидать уютную гостиную, расставаться с достойным собеседником, возвращаться в тесную казарму, где он, рядовой Джугашвили — ничто, где каждый унтер может безвозбранно помыкать им, где нет для него ровни, где он чужак, объект для солдатских насмешек.

— Трудно вам? — невольно вырвалось у меня, и теплота моего голоса тронула, растопила его.

— Тяжело, — печально произнес он. — Особенно с фельдфебелем. Весь месяц. Совершенно не укладываюсь в его рамки, никак не найдет мне подходящее место, втискивает в прокрустово ложе.

— Вы какого года призыва? — спросил я, подумав, что в службе от Джугашвили нет никакой пользы, даже наоборот: будет сеять смуту среди солдат.

— Призыв девятьсот третьего, — ответил он. — Ратник ополчения первого разряда.

— Так, так… Ополченец… Это упрощает дело. Можете подать прошение об освобождении вовсе от воинской службы. Возраст. Перенесенные болезни. У вас ведь что-то с рукой.

— Подам сегодня же!

— А я сейчас поговорю с кем требуется.

Так закончился этот малый житейский эпизод, о котором я скоро перестал вспоминать.

2

Судьба моя, как и каждого человека, изобилует событиями самыми разнообразными. Многое довелось пережить и увидеть, о многом хотелось бы рассказать. Но, не пытаясь объять необъятное, буду говорить лишь о том, что так или иначе связано с Джугашвили-Сталиным. О тех неведомо кем определенных путях, которые приводили нас к неожиданным встречам. То есть расскажу о том, что стало самым главным в моей долгой жизни.

Когда отрекся от престола Николай II и началась свистопляска со сменой министров и правительств, в самом трудном и неопределенном положении оказались фронтовые офицеры. С одной стороны — ненависть солдатских масс, считавших по глупости, что именно офицеры по своей воле гонят их в бой, на смерть (будто сами офицеры вместе с ними, впереди них, не шли на огонь!), а с другой — полная неопределенность руководства, отсутствие поддержки сверху, лишение прав и привилегий. Высшее начальство требовало продолжать войну до победного конца, причем не помогая при этом фронтовым командирам, а лишь подрывая их авторитет в глазах солдат.

Совершенно не желая заниматься политическими дрязгами, выяснять, кто на данном этапе прав или виноват, какая партия хуже, я попытался определить, что в эти смутные дни важно для меня, русского офицера? И решил: во внутренних наших делах мы разберемся сами, страсти перегорят и угаснут. Неприятности случаются даже в самых хороших семьях. Но скверно будет, коли нашими внутренними неурядицами воспользуется враг, захватит наши западные губернии, достигнет победы, нанесет урон, от которого стране трудно будет оправиться. Значит, цель у меня, у патриота, в данном случае одна: используя любую возможность, бороться против главного нашего врага, против германцев.

С такими благими намерениями вернулся к своему прежнему месту службы, в штаб Юго-Западного фронта, и только там понял, сколь велики происшедшие перемены. Организованной военной силы, как таковой, почти не существовало. Солдаты сами снимали и выбирали командиров, сами решали, выполнять приказ или нет. Дезертирство было огромное. Фронт еще держался благодаря чувству долга офицеров, унтер-офицеров и солдат старшего возраста, ощущавших хоть в какой-то степени ответственность за судьбу России, но видно было, что скоро все рухнет и рассыплется окончательно. Этому способствовала разлагающая деятельность агитаторов, понаехавших откуда-то в войска. И почти все — евреи. Солдаты жадно слушали их. То есть слушали и впитывали то, что отвечало солдатским желаниям. Солдат не интересовала победа над германцами, не сулившая личной выгоды, их не привлекали рассуждения о социализме, интернационализме и всем таком прочем, зато лозунги о немедленном мире, о равенстве, о дележе земли сразу западали им в

головы. Стремление поскорей вернуться домой, к своим бабам и ребятишкам подстегивалось понятным, злобно-простым призывом гнать в три шеи всех богачей, делить их имущество. Помещиков — к ногтю, барские угодья — себе. Эти идеи, доступные самой широкой массе, проповедовали эсеры и большевики; разлагающее войска влияние этих партий быстро росло. А противопоставить им было нечего. Упрощать, обращаться к самым первородным инстинктам всегда легче, хотя и опасно. Большевики же, как я понимал, не страшились всеобщего хаоса, жертв и напролом шли к своей цели.

Не застал я, возвратившись на фронт, и своих любимых начальников, под командованием которых привык служить и чьим доверием пользовался. В мае 1917 года генерал Брусилов был назначен Верховным Главнокомандующим и уехал в Могилев. Не оказалось на месте и генерала Каледина. Казаки избрали его атаманом Войска Донского, он направился в Новочеркасск, где и возглавил местное «войсковое правительство». Вместо Каледина в славной 8-й армии, столь ценимой Брусиловым и не раз отличавшейся в боях, были теперь люди, весьма для меня неприятные: генерал Корнилов и комиссар Борис Савинков — оба себялюбцы и интриганы. Причем ясно было, что Корнилов стремится к тому, чтобы занять пост командующего Юго-Западным фронтом, чего он вскоре и добился.[5]

Болезненно ощущал я свою бесполезность, бессмысленность своего пребывания в штабе фронта и очень обрадовался тому, что Алексей Алексеевич Брусилов не забыл обо мне: в июле поступило распоряжение о переводе меня к нему, в Ставку Верховного Главнокомандующего. Собрался я быстро, дал жене телеграмму о смене адреса и тотчас выехал по назначению. И каково же было мое разочарование, когда, прибыв в Могилев, я узнал, что генерал Брусилов смещен Временным правительством, а вместо него назначен стремительно делавший карьеру генерал Корнилов. Получилось так: от кого уехал, к тому и приехал. Вот уж, воистину, свистопляска!

Махнув на все рукой, я, едва вступив в должность, сказался больным (у меня действительно изрядно побаливала грудь) и попросил отпуск для окончательного излечения. При тогдашнем беспорядке и безразличии никто даже расспрашивать меня не стал. Люди уезжали просто так: захотел и отправился восвояси. А я оформил надлежащие бумаги и лишь тогда поторопился к своей милой жене.

Уезжал с тяжелым сердцем, горько переживая распад нашего многовекового воинского организма. Все мои предки, коих только можно упомнить, служили под славными военными знаменами государства Российского. Генеральских чинов не достигали, не всем это дано, однако сражались всегда достойно и храбро, выходя в отставку либо по ранению, либо по возрасту в звании капитана, майора или полковника.

Среднего достатка дом наш был известен во всей губернии и за пределами ее прежде всего хорошей библиотекой, в коей собраны были книги по военному искусству на различных языках. А еще — всевозможными памятными трофеями, добытыми в баталиях моими предками. Кунсткамера действительно была занимательная. Начиналась она со шведской каски времен петровской борьбы за Балтийское море, похожей на помятую металлическую тарелку с большими полями. Рядом — ключ от немецкого городка возле Берлина, сдавшегося нашим при Семилетней войне. Кривой турецкий ятаган из-под Измаила. Пуговицы с

мундира плененного французского генерала. Бухарский халат, привезенный из походов отважного полководца Скобелева. Вражеское ядро из Севастополя. Еще один ятаган с серебряной рукояткой, попавший в глубь России через сотню лет после первого: трофей моего отца из-под Плевны, что в Болгарии.

Ко всему этому надобно прибавить интереснейшую коллекцию боевых наград: медалей, крестов, орденов разных степеней, заслуженных моими предками. Я же к великолепному набору воинских призов добавил маленький, почти игрушечный «манлихер». Целясь в меня, австрийский офицер расстрелял все патроны и, поняв безвыходность положения, учтиво и с достоинством протянул «манлихер» мне — рукояткой вперед. А я отправил его домой. Невозможно было достать патроны к этому оружию, а без патронов зачем оно на фронте?

С малолетства гордился я нашей семейной коллекцией. В детские и юношеские годы прочитал почти всю нашу библиотеку, знал многое из военной истории, держал в молодой памяти сотни примеров из различных сражений и при всем том чуть было не сделался первым нарушителем давней семейной традиции — служить России на военном поприще. Детское воображение мое потрясли… паровозы, увиденные на картинках, а затем и воочию. Мне казалось, что будущее — за этими скоростными стальными чудовищами, которые побегут по всей земле, все изменяя на ней, объединяя страны и народы. И мне захотелось создавать эти умные машины, управлять ими.

Отец мой к этому времени скончался от мучивших его боевых ран, а мама даже довольна была, что я не стремлюсь на военную службу. Она считала, что я не очень крепок здоровьем, к тому же мягок и впечатлителен. Она говорила, что паровозы — тоже слишком грубо для меня, лучше избрать что-то более достойное, более благородное.

Так и получилось, что вместо кадетского корпуса поступил я в реальное училище своего губернского города, которое и окончил с общим баллом 4.5 (это считалось весьма хорошо). Во всяком случае такой балл открывал мне двери в любое высшее техническое учебное заведение, в университет, не говоря уже о военном училище, куда шли, как правило, молодые люди, имевшие общий балл гораздо ниже. Поэтому многие наши знакомые были удивлены, когда узнали о моем намерении стать офицером. А удивляться-то было нечему, к этому времени паровозы стали явлением обыкновенным, я совершенно охладел к ним и, пусть это не прозвучит слишком выспренно, осознал свою высокую обязанность перед Отечеством — оборонять оное. В ту пору образованная молодежь неохотно поступала в военную службу. Но ведь кто-то должен заботиться о сохранении и увеличении мощи Российского государства, и на ком же лежит в первую очередь такая ответственность, ежели не на мне, потомственном военном, с детства познавшем боевые традиции, многие атрибуты и закономерности военной науки.

Ну, а дальше — обычная лестница. Учеба, служба, звания. Строгий конкурс при поступлении в Академию Генерального штаба, который я преодолел успешнее многих других благодаря фундаменту знаний, заложенному в реальном училище.

Требования в академии были очень суровы, занятия напряженны чрезвычайно, однако и пользу за два года слушатели получали большую. Академия не только расширяла кругозор, но и приучала мыслить самостоятельно, без шаблона, анализировать обстановку, принимать

строго обоснованные решения. И вот что любопытно: очень многие воспитанники Академии Генерального штаба, самого высокого военного учебного заведения старой России, впоследствии смогли правильно оценить значение Октябрьской революции, перешли на ее сторону. Во всяком случае процент «академиков», принявших революцию, значительно выше, нежели во всем офицерском корпусе. Точнее — около восьмидесяти процентов.

Окончил я академию по второму разряду, то есть без дополнительного курса, готовившего офицеров непосредственно для работы в Генеральном штабе. Дело заключалось в том, что я еще не определил для себя, где же мое место, в строю или в штабах, а посему не стремился особенно на дополнительный курс, не столько дававший новые знания, сколько углублявший специализацию.

После выпуска из академии был период, когда изрядное честолюбие обуревало меня, хотя вообще-то я всегда особенно ценил в людях скромность, сдержанность и даже самоотречение ради службы: примером был генерал Брусилов. Но как было не погордиться втайне собой: молод, строен, с великолепным образованием, с широкими перспективами и… гм-гм, недурен внешне. Лицо, правда, несколько удлиненное, продолговатое, а так вполне, знаете ли…

Оказывается, самоуверенность, некая даже самовлюбленность проступали во мне настолько заметно, что при первом знакомстве даже насторожили и оттолкнули будущую жену мою Веронику, для которой, при ее чуткости, открытости и глубокой порядочности, весьма неприятным было любое зазнайство, напыщенность, фанфаронство. И хорошо, что я сразу понял, угадал: с ней можно и нужно быть только самим собой. Чуть лучше ты или хуже — не это главное. Важна твоя искренность.

Отец Вероники принадлежал к одному из шестнадцати древнейших и почетнейших родов России. К тем боярам, которые имели право избирать царя из своей среды и когда-то посадили на трон Романовых. Но, имея громкие титулы и большие богатства, отец Вероники в браке своем оказался совершенно несчастливым. Супруга его, не родив ни одного ребенка, жила лишь в собственное удовольствие, развлекаясь в свете или «отдыхая» от развлечений на берегу Средиземного моря, годами не видела своего благоверного. Да и он не стремился видеть ее, особенно когда полюбил другую женщину, дочь уездного чиновника, подарившую ему, человеку далеко не молодому, единственного ребенка — Веронику.

Связь эта не являлась тайной для окружающих, но фактический брак не был скреплен формальными узами. И все же отец нашел возможность позаботиться о будущем Вероники. Не унаследовав его титула, дочь получила хорошее воспитание, образование и обширное имение в центре России.

Двухэтажный дом екатерининских времен, с белыми колоннами, украшавшими фасад, стоял на довольно высоком холме с пологими скатами. Старый парк спускался по южному и западному склонам к реке. С противоположной стороны — лес, а за ним — четыреста десятин пахотной земли, которая после реформы шестьдесят первого года сдавалась в аренду крестьянам, принося хоть и не очень большой, но постоянный доход.

В этом благословенном уголке и попытались мы с Вероникой укрыться от стремительно нараставшей бури, надеясь, что пронесется она стороной, над большими городами, не зацепив нас. Опять на длительное

время остался я наедине со своей милой женой и снова испытал огромное всепоглощающее счастье. Ощущение легкости, прозрачности, невесомости сохранилось у меня от тех быстролетных недель. Днем мы собирали грибы, удили рыбу или гуляли и шалили, порой даже грешно шалили в нашем пустынном парке. И в доме тоже было гулко, пустынно, дворни почти не осталось: только старая горничная, ее сестра — повариха и сторож — истопник. Да еще верный конюх, управлявшийся теперь не только с лошадьми, но и с коровами и овцами. Это были надежные люди, не поддавшиеся всеобщему поветрию: разрушать, хватать, рвать, грабить.

Мы нисколько не страдали из-за малого количества дворовых людей, даже не замечали каких-либо неудобств. Мы были поглощены друг другом и не очень расстраивались, когда доходили до нас печальные новости. У одного помещика, дескать, отобрали весь скот, у другого взяли всю землю вместе с урожаем; к третьему ворвались ночью вооруженные мужики, разгромили дом, а самого выгнали. Подобные сообщения проскальзывали, чуть царапая, но не задевая сердце. Наверное потому, что самое невероятное, самое потрясающее происходило не во внешней среде, а внутри нас. Любовь наша, не утратив своей чистоты и целомудрия, переросла в нечто новое, мало известное мне и совсем неизвестное Веронике. Это было обоюдное раскрытие, обоюдное доверие до конца. Мы пришли к такому состоянию, о котором нельзя говорить, когда все взаимно доступно и все — радость. Мы были потрясены и увлечены своим физиологическим взаимочувствием. Вероника моя даже внешне изменилась, еще более похорошела: округлились, смягчились ее формы, она словно бы созрела, превратилась из девушки в женщину, плавными, грациозными стали ее движения, жесты. Я был без ума от нее, она постоянно волновала и притягивала.

По ночам Вера, утомившись, крепко спала рядом со мной, а меня все чаще и сильней охватывали приступы тревоги за наше будущее, за завтрашний день, даже за эти вот стремительно бегущие ночные часы. Страшное чудилось в разбойном посвисте осеннего ветра, в шуме дождя, в постукивании закрытых ставен. Я поднимался, проверял запор на дубовой двери нашей комнаты и, понимая, сколь ненадежно это укрытие, клал под подушку револьвер, а у изголовья — кавалерийский карабин и гранату.

За себя я не боялся. Нападет мужичье, бандиты — отстреляюсь, уйду. Я же профессиональный военный — пусть являются трое на одного, даже пятеро. Отобьюсь. А нет — значит так на роду написано: не от руки неприятеля принять смерть, а от своей озлобленной черни. Но как моя Вера, моя наивная, слабая, беззащитная Вера?! Где укрыть ее, как оборонить от опасности?!

В первой половине октября установилась вдруг очень хорошая погода. Солнце пригревало почти по-летнему. И вот в одно теплое лучезарное утро явилась к нам делегация крестьян. Вызвали меня с женой. Мы вышли, остановились на ступенях парадного подъезда. Я был в военной форме.

Мужиков — полтора десятка. Почти все пожилые, бородатые, они сгрудились плотной толпой, выдвинув вперед бойкого крестьянина лет тридцати, с шальными блудливыми глазами, с всклокоченными волосами. Одежда — старая солдатская гимнастерка и шаровары — порвана в клочья, будто собаки драли, сквозь прорехи желтело грязное тело. Мог бы хоть заштопать, латки пришить. Но он даже вроде бы рисовался, гордился драньем и грязью, как рисовались юродивые, старавшиеся в самоуничижении перещеголять один другого.

Заговорил крестьянин вполне здраво и даже с претензией на городской манер, и я подумал, что это «отчаянная голова», какие есть в каждой деревне, которых осторожные мужики выпускают на ударную позицию для разведки, для выяснения обстановки. А сказал он примерно следующее:

— Барин и барыня, вы на нас не серчайте, мы к вам с добром пришли. Гля-ко, сколь вашего брата вокруг пожгли и поубивали, а вы у нас милуетесь, как у Христа за пазухой. Сами мы вам бед не чинили и другим не дозволяли, потому как на барыню нам грех зуб точить, справедливая барыня. И ты, барин, от войны раны залечивал, это мы с полным пониманием. Но теперича кончилось ваше время насовсем. Если не мы, то другие вас раскурочат и добычей попользуются, а нам это невтерпеж, потому как богатство в имении испокон веков нашим трудом наживалось. Вот и порешили мы всем миром заявить мультиматом, — мужичонка оглянулся горделиво: какое слово выдать сумел! И продолжал: — Примайте наш мультиматом без всякой ругани. Чтоб через двадцать четыре часа… Берите два тарантаса, две пары коней. Вещи, которые с собой поднимете, разрешаем… Разве это не по справедливости? — мужичонка, лихо подбоченясь, глядел на меня, а лицо выдавало беспокойство и даже страх. Что-то теперь будет? И остальные крестьяне замерли в тесной куче, будто испуганные собственной смелостью.

Я не сразу осознал услышанное. Как-то нелепо, глупо все было. Такое чудесное чистое утро — и напыщенная болтовня драного крестьянина, выгонявшего нас из дома. Не укладывалось в голове, что лишаемся мы привычного пристанища, дорогой нам обстановки, вещей. Нас просто вышвыривали. И кто? Безликое мужичье! Грохну сейчас из револьвера поверх голов — и исчезнет, пропадет это стадо.

В ту секунду, когда рука сама потянулась за оружием, почувствовал я вдруг легкое пожатие пальцев Веры, и сразу пресекся порыв: подумал, что станет с ней?

— Скажи им, завтра уедем, — попросила она. — Утром. Так будет лучше.

Я молчал, ошеломленный происходившим. И лишь после того, как Вера повторила свою просьбу, шагнул к мужикам.

— Ну, благодарите барыню… Только ради нее… Завтра нас здесь не будет. А теперь вон с глаз моих!

Крестьяне попятились, кланяясь, и ушли. А ближе к вечеру появились четверо молодых мужиков в солдатских фуражках и с винтовками. Скорее всего — из дезертиров. Они взяли под охрану конюшню и скотный двор, но в дом не входили.

Нет нужды описывать наш скорбный отъезд. Скажу только о том, какой умницей оказалась моя милая Вера, открывшаяся мне в тот раз еще с одной стороны. Ведь ей было, конечно, тяжелей, чем мне. Имение-то принадлежало Вере, здесь она выросла, это было ее наследство, ее приданое.

Вещи наши были уложены в две повозки (мизерная часть того, что хотелось бы захватить), мы уже готовы были тронуться в путь, когда из деревни хлынули мужики и бабы и, не дождавшись нашей отправки, распространились по всей усадьбе, начали дикий, алчный грабеж. Я старался не смотреть по сторонам, не обращать внимания на восторженные вопли, стук топоров, мычание испуганных коров; торопил конюха, уезжавшего с нами, но у него, как на грех, что-то не ладилось.

— Коля, подойди, здесь очень интересно, — позвала Вера.

Я подумал, что она отвлекает меня, видя мое взвинченное состояние.

— Оставь, пожалуйста… Нам придется перепрягать лошадей.

— Ты все же взгляни, — попросила она. — Это совершенно неповторимо.

Я поспешно направился к ней. Да, черт возьми, безобразие невероятное! Доброе милое гнездо наше выворачивали наизнанку грубые, нахальные руки. Возле клумбы, прислоненное к стволу старого клена, стояло большое венецианское зеркало в массивной резной раме из черного дерева: шедевр итальянских мастеров середины восемнадцатого века, с большими предосторожностями доставленное когда-то в Россию и высившееся у нас в гостиной от пола почти до потолка. Как только умудрились вытащить его из дома: вероятно, через большое арочное окно.

— Посмотри, посмотри, пожалуйста, — настаивала Вера.

Я увидел в зеркале ее усталое, бледное лицо, резче проступила на нем черная родинка над правым глазом, ближе к виску. Грустно и извиняюще улыбнулась жена.

— Надо спешить, — сказал я ей, — покончить со всем этим.

— Милый, ты не на меня гляди. Ты посмотри, всмотрись, — повторила она последнее слово. — Это же картина в раме.

Что там еще? Огромный простор вмещало зеркало. Синее небо, желтый белоколонный фасад нашего дома, склон холма, уголок леса, необъятные дали, дорога к деревне…

— Великолепное историческое полотно, — горечь и восхищение звучали в голосе Веры. — Если бы это остановить, запечатлеть… На дороге-то что творится! А жанровые сценки! Ты оцени, милый, это же для кисти великого мастера!

А, вот она о чем! О мужиках и бабах, муравьиной цепочкой растянувшихся по дороге от холма до самой деревни. Вели наших лошадей, гнали коров, коз, несли кур и гусей, и все это с вороватой поспешностью, с опаской, как бы не отняли те, кто сильней. И доски тащили, и двери, и оконные рамы, какие-то мешки, ящики, узлы. А фон — чистейшей синевы небо. И рама, с четырех сторон отсекающая «кусок жизни».

Впрочем, картина была бы неполной, если бы я ограничил свое перечисление, не сказав о «переднем плане», отражавшемся в зеркале.

Две бабы мутузили друг друга, вцепившись в волосы — не поделили перину: вокруг вихрился пух. Пьяный распоясанный мужик с ночным горшком на голове нес в одной руке японскую этажерку из бамбука, а в другой — бронзовый подсвечник. У крыльца самодовольно улыбалась круглощекая девка, напялив поверх сарафана кружевной пеньюар.

Нет, просто невыносимо было терпеть этот вандализм. Все, что десятилетиями со вкусом, обдуманно собиралось в доме и вместе представляло большую ценность, начиная от библиотеки и коллекций до венецианских зеркал, сейчас ломалось, рассыпалось, растаскивалось по мелочам, было обречено на уничтожение. И видеть это в красивой раме было особенно горько и стыдно.

— Разбить? — спросил я жену.

— Зачем? — успокаивающе улыбнулась она. — Пусть сами на себя смотрят. По-моему, некоторым из них становится совестно.

Для нее это имело значение?!

Скорей бы уехать! Я боялся, что не выдержу, сорвусь. В тарантасе у меня лежали гранаты и карабин. А Вера, угадав мое состояние, взяла меня за локоть, чуть прижалась ко мне, заглянула в глаза, спросила:

— Знаешь, милый, почему я не очень волнуюсь?
— Думаешь, это ненадолго, скоро вернемся сюда?
— Нет, Коля, совсем нет, — застенчиво улыбнулась она и, приподнявшись на цыпочки, сообщила тихо и радостно: — У нас будет ребенок!
Если бы весь холм с домом и парком взлетел бы вдруг на воздух с треском и дымом, я не поразился бы так, как поразился в тот момент словам милой моей Веры! И едва схлынуло потрясение, первой четкой мыслью было: не ошиблась ли она?
— Ты совершенно уверена?
— Да, Коля, да! Пока были сомнения, я молчала.
— Я просто не знаю… Я не могу выразить…
— Не совсем ко времени, — сказала она, — но тут уж ничего не поделаешь.
— Какая ты умница! — поцеловал я ее хрупкую, почти невесомую руку. — Сейчас это наоборот гораздо важнее, чем когда-либо.
— Почему, Коля?
— У нас появилась цель, появился ориентир.
— И не надо принимать близко к сердцу все остальное, разные неприятности, правда? — словно убеждая себя, сказала она. — Ты согласен?
— Конечно, — ответил я голосом, обретшим привычное уверенное звучание. — Теперь мы будем думать о будущем. Теперь у нас есть будущее!

3

Меня поймут люди, которые, несколько лет находясь в супружестве, хотели иметь ребенка и не имели его, сами испытали непроизвольное нарастающее беспокойство и даже страх: вдруг у нас с любимой женщиной ничего не сможет получиться? Чья вина? И что же нам делать? Признаюсь, я не раз задумывался об этом. И Вера потом, когда мы уже приехали в Москву, сказала мне: очень угнетало ее то, что никак не может понести ребенка, усиливалось ощущение неполноценности, пустоцветности. Теперь в этом отношении все стало на место — забота о Вере, тревога о ее здоровье отодвинули на задний план другие события, переживания.
Теперь в этом отношении все стало на место — забота о Вере, тревога о ее здоровье отодвинули на задний план другие события, переживания. Может быть, чрезмерное беспокойство о Вере как раз и привело к ужасной трагедии, может, надо нам было жить рядом, не разлучаясь, вместе переносить трудности, не ища лучшего?! Но очень уж я любил Веру, очень хотел, чтобы не испытывала она неудобств и стеснения.
В Москве было холодно и голодно. Очень голодно. Рабочим выдавали хоть небольшой, но все же паек. Изворотливые дельцы, торгаши пользовались услугами спекулянтов. Хуже всех было таким, как мы, то есть людям, не привыкшим заботиться о себе и вдруг оказавшимся на обочине жизни. Мы были, если и не обязательно врагами, то, во всяком случае «чужими» для новой власти, наши знания, наш опыт (в том числе и военный) словно бы вообще не требовались ей. А ловчить, изворачиваться, унижаться ради куска хлеба мы не умели, да и достоинство не позволяло. Пользуясь этим, какие-то темные личности увивались возле развенчанных

аристократов, перепродавали, меняли на продукты, на дрова их ценности, безбожно обманывая при этом непрактичных людей.

Знакомых в Москве оказалось мало, да и жили они замкнуто, занятые своими бедами и заботами. Чувствовали мы себя одинокими и очень обрадовались, встретив здесь Матильду Васильевну. Как и прежде, активность, жажда деятельности били в ней через край. К происходившим вокруг событиям она относилась с насмешкой. Революция? Ни одна порядочная страна не обошлась без таких потрясений. Во Франции этим революциям счет потеряли. Постреляют, побесятся, посуетятся — и все возвращается «на круги своя». Частичное перераспределение богатств и привилегий в пользу новых энергичных людей — вот что это такое. Надобно не терять голову и не лезть в драку, если не знаешь точно, за что следует драться. А таким, как мы (подразумевалась беременность Веры), вообще следует спокойно жить-поживать где-нибудь в богоспасаемом захолустье, ожидая прибавления семейства.

Она, конечно, во многом была права, но легко ей было рассуждать о «перераспределении» богатств, имея капиталы, вложенные в кофейные плантации Бразилии и какие-то рудники в Африке. Там ничего не «перераспределяли».

Матильда Васильевна и прежде относилась к нам с большим расположением, а теперь, прочувствовав наши трудности, прониклась такой заботливостью, что мне становилось просто неловко от ее хлопот. То, что я сделал когда-то по ее просьбе для Джугашвили, не шло ни в какие сравнения с тем, что делала она для нас. Такая уж это была увлекающаяся натура, ее всегда бросало из одной крайности в другую. А тут еще воспоминания о собственной московской молодости, об утраченном ребенке — это притягивало ее к нам. Для нас же, не имевших родственников, забота старшей, знающей женщины представлялась ценной во всех отношениях. Тогда я еще не понимал, что чрезмерной предприимчивости, энергичности надобно опасаться не меньше, чем бездеятельности и равнодушия.

Когда-то в начале зимы, когда клонился к концу хмуренький снегопадный день, Матильда Васильевна явилась к нам в неурочный час весьма веселая и возбужденная. Прямо с порога сообщила: завтра утром отправляется поезд на юг, к Ростову-на-Дону. Несколько вагонов идут с особой охраной, в них едут семьи французских дипломатов и коммерсантов. Пришлось изрядно похлопотать, чтобы получить два места в купе (о том, каких денег ей это стоило, Матильда Васильевна даже не упомянула). А Ростов — это благословенный край. Во всяком случае оттуда рукой подать до тихого изобильного Новочеркасска, где поддерживает твердый порядок донской атаман Каледин и куда отправилось уже много хороших семей. А если не Новочеркасск, то Кавказ, где у нее есть гостеприимные родственники. Куда бы ни ехать, везде будет теплей, сытней и безопасней, чем в Москве, и, конечно же, она, Матильда Васильевна, ни на минуту не оставит Веронику без своего внимания.

— А что же я? Останусь здесь?

Матильда Васильевна ответила, что мне лучше не рисковать. Теперь офицеры стремятся на Дон, к Каледину. Большевики стараются воспрепятствовать этому. И солдатня совсем распоясалась, офицеров выбрасывают из вагонов, даже убивают. Очень опасно. А с женщин какой спрос? Тем более, что вагон-то дипломатический. Я же приеду на юг при первой возможности, как только поулягутся страсти разбушевавшейся

черни, и большевики или какая-то другая власть покончат с анархией и беспорядком.

Не хотелось мне расставаться с Верой, да и ей со мной тоже, но доводы Матильды Васильевны представлялись нам разумными. Тем более, что жить в Москве становилось невыносимо. С едой мы еще перебивались, кое-как расплачиваясь фамильными драгоценностями, но холод в доме стоял невозможный, наш верный конюх Игнат, оставшийся с нами, при всем старании не мог разыскать достаточно дров.

Сказалось и мое отношение к генералу Каледину. Я знал его как человека порядочного, рассудительного, твердого в своих убеждениях, не способного кривить душой. Помня о том, что генерал всегда высказывал мне свое расположение, я написал ему коротенькое письмецо с просьбой, поелику возможно, принять участие в судьбе моей жены, находящейся теперь в особенном положении. И добавил, что при первой же возможности последую за ней и сочту за особую честь представиться уважаемому генералу.

С тем и отпустил я Веру вдаль, в неизвестность. А сам, помучившись первые дни одиночеством, задумался над дальнейшей своей участью. Надо было как-то определяться, но я совсем потерялся в хаосе событий и не способен был понять, где правда, где кривда, в каком строю мое место. Тогда и пришла мысль: разыскать человека, чей разум, чьи скромность и порядочность ценил я несравнимо высоко, чьи полководческие способности считал самыми совершенными — Алексея Алексеевича Брусилова.

Давно подмечено, что у людей особых, незаурядных, жизнь складывается необычно, во всем выделяя их из мельтешащей массы. Обязательно то в одном, то в другом повернет их судьба противу стандартов и правил. Алексей Алексеевич десятки лет провел на военной службе, сражался с турками в передовых отрядах, всю германскую находился на фронте и ни разу не был ранен, контужен или хотя бы поцарапан пулей или осколком, кои во множестве проносились мимо него! А теперь, в декабре 1917 года, я с большим трудом разыскал Брусилова в лечебнице Руднева, прикованным к постели после сложной операции.

Зачесанные назад волосы его стали совсем седыми, как и усы. Высокий, выпуклый лоб придавал вид мудреца. Глаза очень внимательные, живые: в них сразу отражалось настроение Алексея Алексеевича; они засветились радостно, когда он увидел меня.

В небольшой палате генерал лежал один, и мы могли беседовать с полным откровением. Улыбаясь, Брусилов говорил мне, что во время войны его не оставлял вопрос: когда же получу свое? Даже неловкость испытывал: столько людей погибло, столько искалечено было при исполнении его приказов, а он, их начальник, словно заговоренный. Право, неудобно. А уж когда взял отставку и поселился в Москве, думать о своей порции металла перестал. Но в ноябре дом его, что неподалеку от штаба Московского военного округа, оказался в центре боевых действий. Стреляли из винтовок красные, а белые — даже из пулемета. Повышибали стекла. А вечером 2 ноября мортирный снаряд пробил три стенки и разорвался в коридоре, который делил квартиру на две части. Осколки перебили Алексею Алексеевичу правую ногу ниже колена.

— Чей был снаряд? — спросил я.

— Какое это имеет значение? Важно то, что я все-таки получил порцию и буквально с доставкой на дом, — он засмеялся. — Поверьте, очень

мучительно было, да и сейчас болит и заживать будет долго, но на душе, ей-богу, спокойнее стало. Я свое получил, — повторил Брусилов.

— Во время этих боев вы не выходили из квартиры?

Алексей Алексеевич понял подоплеку моего вопроса, строгость появилась в глазах.

— Нет. Я твердо решил не примыкать ни к той, ни к другой стороне. Вам известно, что я всегда был противником излишнего и бессмысленного кровопролития, даже на войне. Тем более, если льется наша славянская кровь… И еще — мое звание, мое положение недавнего Верховного Главнокомандующего. Ко мне являлись офицеры и генералы, являлись представители офицерских организаций. Им нужен мой авторитет, чтобы повести за собой колеблющихся. От моего неверного шага могли пострадать сотни людей. А я против междоусобицы, я остаюсь в стороне, нисколько не заботясь, что об этом подумают другие. Мне важен результат. Больше того, я пытаюсь мысленно приблизиться к рабочим и крестьянам, к нынешним революционерам, чтобы понять их.

— Какие-то выводы уже сделаны?

— Нет, — сказал Брусилов. — Понять их мне трудно. Я не сочувствую тем, кто разжигает братоубийственную борьбу. Но я считаюсь с интересами народа и твердо знаю: кто выступает против него, под любыми лозунгами и любыми фразами, — тот авантюрист. Правда, в конечном счете, всегда за народом, этому учит история.

— А мы с вами, вот вы, я, наши родные, знакомые — разве мы не народ? — Я всегда раздражался, если о народе говорили, подразумевая лишь необразованные, темные, безликие массы и оставляя за пределами этого понятия людей моего круга, нашу многочисленную интеллигенцию, военных, предпринимателей. Ванька-сапожник — это представитель народа. Тот же самый смекалистый Ванька, открывший сапожную мастерскую, заслуживший уважение всего квартала, — это уже не народ, а эксплуататор…

Брусилов ответил, подумав:

— Мы с вами принадлежим к очень небольшой части населения, которая, в силу разных обстоятельств, руководила, направляла жизнь государства, вырабатывала политику. Причем в последние десятилетия делала это настолько скверно, что завела страну в военный и экономический тупик. Против этого утверждения вы не возражаете?

— Нет.

— Следовательно, должны прийти новые руководители, более отвечающие духу времени. Кто? Этого я не знаю.

Алексей Алексеевич откинулся на подушки. Разговор утомил его, и я почел за должное откланяться, пообещав вскорости вновь навестить генерала. Уже у самой двери услышал неловкое покашливание и оглянулся. Казалось, он хочет сказать еще что-то.

— Слушаю вас.

— Николай Алексеевич, голубчик, не сочтите за труд, проведайте моего Алешу. По-моему, у него плохо.

— Разве он здесь? — обрадовался я. — Где живет?

Брусилов назвал адрес.

Сложные взаимоотношения Алексея Алексеевича с его единственным сыном всегда были не очень понятны мне. Видел только, что они доставляли Брусилову серьезные огорчения. Это представлялось тем

более странным, что оба они — и отец и сын — были людьми добропорядочными, сердечными, бескорыстными.

С чужих слов я знал, что Алексей Алексеевич горячо любил свою первую жену и был с ней совершенно счастлив. Но, имея слабое здоровье, она часто и подолгу болела, а затем скончалась, оставив Брусилова-старшего с ребенком.

Второй раз женился Алексей Алексеевич поспешно и странно. В молодости когда-то нравилась ему совсем еще юная девица Надя Желиховская. Запало в память первое чувство: года через три после смерти жены разыскал генерал Брусилов в Одессе Надежду Владимировну и обвенчался с ней. Но семьи у них, по-моему, не получилось. Для себя, для собственного удовольствия жила Надежда Владимировна, мало заботясь о душевном состоянии и бытовом устройстве нашего талантливого полководца. Купаясь в лучах его славы, занималась благотворительностью, госпиталями, пожертвованиями, любила быть на виду, порхать среди людей своего нового круга. Дорвалась одесская заурядная дама до высокого общества и утратила чувство меры. И с Алешей Брусиловым-младшим общего языка не нашла. Впрочем — и не искала, стараясь лишь отдалить его от отца.

Алеша Брусилов окончил Пажеский корпус, стал корнетом лейб-гвардии конногренадерского полка и одно время по молодости лет вел жизнь беззаботную, легкую, как, впрочем, почти все гвардейские офицеры такого возраста. Скромный же его отец огорчался. Особенно, когда Алексею из-за разных неприятностей пришлось даже на некоторый срок оставить военную службу: ведь Брусилов видел в сыне наследника и продолжателя своих дел.

Мы с Алешей встречались в Петербурге, были коротко знакомы, и потому я обрадовался возможности вновь увидеть приятеля. И не только Алешу, но и его избранницу хотел посмотреть. Совсем недавно Матильда Васильевна с явным огорчением рассказывала нам с Верой о том, как сын знаменитого генерала, блестящий жених перед самой революцией взял да и обвенчался вдруг с девицей молодой, смазливой, но чужого круга, к тому же очень строптивой, кичливой, несдержанной. Небось не только на красоту польстился, но и на богатство семьи Котляровских-Остроумовых. Ну, а тем лестно было породниться с полководцем Брусиловым, с Верховным-то Главнокомандующим, извлечь из этого выгоду. Такое пристрастие звучало в словах Матильды Васильевны, что мне казалось: был у нее какой-то интерес, переживала она за кого-то, кто потерпел фиаско в этой истории.

С женитьбой Алеше не повезло: я в этом убедился сразу, едва пришел к нему. Мы обнялись, расцеловались по-братски, и не знаю, чего было больше — радости или горечи. Не ахти как выглядел я в штатском пальто с чужого плеча, в фуражке без кокарды, исхудавший, кое-как выбритый за неимением горячей воды. И у Алеши лишь выправка осталась от бравого гвардейца-кавалериста. Обмякшим, растерянным показался он мне, а в глазах — тоска. Одет скверно: какой-то сюртук на нем, поношенные брюки, давно не стрижен. В комнате голо: диван, стул да книги на столе.

— С сентября без должности и без денег, конечно, — развел он руками. — А им прежде всего деньги нужны, — кивнул Алеша на стенку. — Для них весь смысл в деньгах, а зачем они теперь?

Заглянула в дверь пожилая полная дама со строгим, каменным лицом, постояла, раздумывая, отвечать ли на мой поклон, и удалилась.

Донеслось ее презрительное определение: «Такой же нахлебник, как наш».

Алеша покраснел, смутился, начал торопливо говорить, что он найдет себе работу, он теперь усиленно изучает бухгалтерию и уверен, что сумеет получить место… Осекся, пристально посмотрев на меня, и произнес другим тоном, резко:

— Думаешь, нужда у них? Сундуки полные. Жратвы на пять лет по кладовым рассовано. Буржуи проклятые! Вот семейка! Не могу я здесь больше, Коля!

— Уйди.

— Трудно. Так я к ней привязался, — показал он фотографию над столом. — Красавица-то какая, а? Одной лишь улыбкой искупает день неприятностей… Но ты прав, я сбегу. Давай вместе?! — по-мальчишески загорелся Алеша.

— Куда?

— В армию. В войска.

— Нет теперь просто войск, есть белые, есть красные. Ты к каким?

— Отец говорил, не надо братского кровопролития… Есть же какие-то части, которые держат германцев, не пускают их сюда.

— Части, может, и есть, да нам в них не место. Они своих офицеров повыгоняли. Привычных. А тут мы явимся неизвестно откуда. Подполковник и гвардейский корнет.

— Да, — втянув голову и выставив острые плечи, вздохнул Алексей, — но я все равно сбегу. На тебя надеюсь. Если узнаешь что-нибудь, сразу сообщи мне.

Я пообещал и ушел от него с тяжелым сердцем. А едва добрался до дома, старый конюх, совмещавший теперь все обязанности при мне и по дому, подал измятый, затертый конверт, пахнущий потом, кислятиной полушубка и едва заметно — духами.

Каким чудом добрался до меня пакет, по каким дорогам, по чьим карманам и запазухам его мотало, — затрудняюсь сказать. Но это была, наконец, долгожданная весточка с юга. Матильда Васильевна писала, что пользуется открывшейся вдруг оказией и поспешно отправляет несколько строк. Доехали они сносно. Вера бодра, и все у них хорошо. Квартира спокойная, с едой нет никаких затруднений. Постарайтесь, мол, при первой возможности присоединиться к нам, тем более, что она, Матильда Васильевна, весной намеревается уехать за границу.

И еще сообщала заботливая женщина, что встретила в Новочеркасске много знакомых, в том числе капитана Давниса и подпоручика Оглы, которые по-прежнему неразлучны. Они постоянно находятся в городе и бывают у них в гостях… Наверное, успокоить меня хотела этим сообщением Матильда Васильевна: среди своих, дескать, мы. Однако новость эта принесла такую тревогу, что я не заснул всю ночь. Представлялось наглое, сладострастное лицо Давниса, вспомнился плотоядный взгляд, каким взирал он на Веру: взгляд жестокого хищника, затаившегося в засаде. И они, эти двое, теперь там, возле моей слабой, беззащитной жены!

К утру я твердо решил любыми способами, хоть пешком, но обязательно добраться до Новочеркасска.

Большими и малыми фронтами исполосована была Южная Россия весной 1918 года. Красные, белые, немцы, казаки, анархисты, повстанцы-самостийники, просто бандиты: всюду своя власть, свои порядки. Причем каждая власть, даже вчера родившаяся и величиной с уезд, считала себя самой главной, самой справедливой, а в каждом постороннем видела врага, которого надо либо убить, либо запрятать в кутузку. Любая власть имела свою охрану, свои дозоры, сторожевые посты, и их было так много, что, миновав один пост, непременно попадешь на другой.

Возле Белгорода меня схватили матросы. Чудом избежав расстрела, я уничтожил все имевшиеся документы, обменял френч и галифе на вшивое солдатское рванье и начал выдавать себя за фельдфебеля, который пробыл два года в плену, а теперь направляется домой, к Азовскому морю. Маскировка оказалась удачной. Для красных фельдфебель не был безусловным врагом, все-таки не офицер. А для белых — почти свой человек, первая опора офицера на службе.

В общем, ехал я, шел, крался до самой весны, в Новочеркасске за это время успела несколько раз перемениться власть. Белых выгнали красные, потом явились немцы, а за ними — опять генералы с казаками.

Очень не хотелось прибыть к Вере оборванцем и с совершенно пустыми руками. Торжественной и радостной представлялась мне наша встреча. В Ростове носатый ювелир долго обнюхивал последнюю оставшуюся при мне ценность — перстень с изумрудом, и, конечно, предложил четверть цены. Состояния делали на нашем горе мерзкие скупщики и менялы. Но я сказал, что мне терять нечего, сейчас я взорву эту вонючую конуру вместе с собой и, разумеется, вместе с ростовщиком и всеми его грязноприобретенными богатствами. Он тут же увеличил цену вдвое, но большего я от него не добился.

На вырученные деньги удалось приобрести вполне приличное офицерское обмундирование довоенного образца, артиллерийскую фуражку. Для жены купил пуховый платок, чему особенно радовался. Невесомый и теплый, он согреет плечи Веры, и ей, наверно, будет очень приятно.

В сырой, туманный день добрался я наконец до Новочеркасска. Тихий городок этот, со множеством садов и палисадников, весь пропитан был горьковатым запахом молодой, еще липкой листвы, дурманом оттаивающей, отдохнувшей земли. Я шагал торопливо, спрашивая у встречных нужную мне улицу. Воистину крылья несли меня, и весь я наполнен был радостным возбуждением. Сейчас увижу ее, единственную свою, родного своего человека! Нет, теперь уже не единственную, они вдвоем ждут меня! Хоть не родившийся еще сын, но он уже есть! Или дочь?

С замирающим сердцем открыл я тяжелую калитку с массивным кольцом щеколды, вошел в просторный двор, мощенный булыжником. Справа — добротный дом на кирпичном фундаменте. В глубине двора — аккуратный флигель, хозяйственные постройки. Окна флигеля, наглухо занавешенные изнутри, глядели безжизненно, подслеповато. И вообще выморочно, глухо было на этом дворе за высоким забором. И я вдруг понял, что Веры здесь нет, причем нет давно, и меня сразу охватила такая слабость, что захотелось сесть.

Скрипнула дверь, на крыльцо вышел пожилой мужчина, вернее — старик, в потертом чиновничьем сюртуке со множеством тусклых пуговиц. Какие-то старухи выглядывали из-за его спины. Сильно прихрамывая,

чиновник спустился по ступенькам. Чуть склонив голову на длинной морщинистой шее, он разглядывал незваного гостя без тени удивления, будто давно ждал, и было в его взгляде нечто безнадежно-печальное, заставившее меня сжаться.

— Подполковник Лукашов, — поспешил представиться я.

— Супруг Вероники Матвеевны? — это был не вопрос, он словно бы сам ответил себе.

— Где Вера? Уехала?

— Можно сказать, уехала, — неопределенно ответил чиновник, переводя взгляд на флигель.

— Когда? Далеко?

— Далеко, — вздохнул он. — Пройдите туда, пожалуйста.

Дверь во флигель давно не открывали, замок проржавел, поддался не сразу, со скрипом. В просторной, хорошо обставленной комнате было сумрачно, держался серый запах давно не топленного помещения. Старый чиновник прохромал к окну, раздвинул занавеску. Потом пересек комнату по направлению к кровати, необычно покрытой какой-то черной клеенкой, открыл шкафчик у изголовья, осторожно взял с полки толстую книгу, а из нее достал записку.

Едва я взглянул — буквы закачались, поплыли в моих глазах. Но я преодолел слабость, прочитал и раз, и другой, стараясь понять смысл.

«Коля! Родной! Они погубили и его, и меня. Жить больше нельзя. Не могу. Рухнуло все, теперь только грязь, пакость, и ничего уже не поправить. Господь, накажи их!

Прости, прости и прощай!»

Тяжесть невероятная согнула меня. Я почти упал, и все же выпрямился, разыскал взглядом чиновника и спросил, смутно видя его:

— Кто? Капитан Давнис?

— И второй скуластый, здоровый, из сыроядцев, — голос доносился словно бы издалека, я плохо слышал, но мозг мой воспринимал каждое слово, они будто застревали в голове, наполняя ее колющей болью. — И третий был с ними, вероятно, из рядовых, — торопливо продолжал чиновник, будто спешил освободиться от мучившего его груза. — Они сюда несколько раз являлись. Навязчивые такие, беспардонные господа. Вероника Матвеевна велели их не принимать, я отказывал им, а этот Оглы даже толкнул меня.

— Давно? — выдавил я.

— Случилось-то?.. В самые те дни, когда Каледин застрелился. Они все тут с ума посходили, бежать готовились, а погода холодная, январь кончался. Ну, и явились эти трое среди дня пьяные. Особенно капитан. Разве бы я их удержал?.. Сразу во флигель. Потом крик… Поскорей туда. А они уже… На полу она, одежда вся в клочьях. Очень, значит, сопротивлялась. А бандиты эти вожжи сняли в сенях, привязали к ногам и раздвинули… Как станины у пушки…

Это последнее, что я слышал, ясно представляя себе страшную картину. Затем какая-то пустота, тьма. И пробуждение совершенно опустошенного человека, словно бы избитого, израненного, с защемленным сердцем. Я осознал себя сидящим на кровати, увидев чиновника со стаканом в руке. Но я не хотел пить, вообще ничего не хотел, кроме беспамятства, небытия, и в то же время понимал, что обязан вынести все до конца, выяснить, как это было. Кто же еще кроме меня?

— Она… Она умерла сразу?

— Нет-нет, офицеры бросили ее и ушли, — опять зачастил чиновник, радуясь, вероятно, тому, что выложил уже самое главное и теперь остались только некоторые подробности. — Мы ухаживали за ней этот день и весь следующий. Переодели ее. Плоха была, сознание теряла. Высохла, как древняя мумия. Глаза страшно блестели. Словно спит, а глаза открыты. Потом боли у нее начались сильные. Но не кричала. Только подушку к животу прижимала и губы кусала. Лицо черное… Жена моя хотела при ней на ночь остаться, но Вероника Матвеевна не позволила. Идите, мол, спите, мне легче… Но какой там сон! Спозаранку скорее к ней, а она на коленях стоит и уже совсем холодная… Едва распрямили, чтобы в гроб-то…

— Сама себя? — тихо спросил я.

— Удавилась, — еще тише ответил чиновник, или опять слух изменил мне. И снова вокруг была тьма, бездонная пустота, но я не мог погрузиться в нее, меня отвлекала, мешала боль в голове, то тупая, то вдруг вспыхивающая так остро, что содрогалось, корежилось все тело. Я бился затылком о стену, но этой боли, внешней физической боли, не ощущал.

Не знаю, как бы я обошелся тогда, если бы не старик. Он влил мне в рот какую-то жгучую жидкость, я поперхнулся, закашлялся, потом, взяв стакан, сам сделал несколько глотков. Наверное, это был спирт. Во всяком случае, я обрел способность держаться на ногах и тоскливо подумал о том, что это еще не все, я обязан жить, думать, сделать что-то, рассчитаться за Веру, за себя… А в глубине души тлела крохотная, подспудная надежда: может это ошибка, чудовищное недоразумение?

— Где она? — спросил я.

— Дойти сможете? — участливо произнес чиновник и, перехватив мой взгляд, закивал. — Пойдемте, пойдемте.

Ковылял он медленно, и путь по пустой, длинной, однообразной улице показался мне бесконечным. Но вот открылся простор полей, невысокий холм с церковью чуть в стороне от домов. Возле храма — деревья и кусты с обвисшими от сырости ветками. Мокрый, потемневший забор. Старик повел меня не в ворота, не за ограду, а левее, где возле кладбища тянулся овражек. На склоне его увидел я десятка полтора земляных холмиков, и старых и свежих. И оттого, что Вера лежит здесь, на отлете, в овраге, злоба начала подниматься во мне. На себя, что приехал так поздно, на хромающего старика.

— Почему не там?! — показал я на ограду и осекся, сообразив: самоубийц на кладбищах не хоронят.

— Ладно хоть здесь разрешил батюшка-то знакомый, — со вздохом ответил чиновник, и я подумал, что должен быть признателен этому человеку за его старания, хлопоты.

— Спасибо. Я заплачу…

— Христос с тобой, — укор и обида звучали в его голосе. Сделав еще несколько шагов, показал осевший глинистый бугорок. — Вот… Оплыла могилка-то, пора подправить да дерном обложить.

Я тупо смотрел на влажную землю, не в силах взять в толк, что здесь под этими желтыми комьями лежит моя Вера. Возле случайного кладбища, в чужом краю. Да как же так!

— Завтра и поправим, а сейчас поздно. — Чиновник мешал сосредоточиться. — Комендантский час у нас. Строго. Стреляют без предупреждения.

— Вы идите, — сказал я, желая остаться в одиночестве. Он понял, но пошел неуверенно, волоча ногу, оглядываясь. Опасался за меня. Но все же удалился.

Теперь я мог никуда не спешить. Достиг своей крайней точки. Дальше ничего не было. Надо только обезопасить себя от патруля, если появится. Осмотрелся. Со стороны поля меня можно было увидеть — заросли здесь невысокие, редкие. Зато со стороны кладбища — большой куст, уже одевшийся молодыми листочками. Я лег между могилой и кустом. Укрытие идеальное. Не обнаружат и с пяти шагов, тем более, что уже заметно стемнело. В гуще кладбищенских деревьев пробовала голос какая-то птица. К ней присоединилась другая. Слишком радостны и беззаботны они были, к тому же мешали мне слушать, не приближается ли кто. Хлопнула дверь — в церкви или в поповском доме. Заговорила женщина, ее перебил мужчина. Не один — несколько мужчин. Говорили лающе, резко. Немцы, что ли? Слов не разобрать. Протопали, удаляясь, тяжелые шаги.

Я ближе придвинулся к холмику, чувствуя ледяную стынь, тянувшую из могилы. Глубокая ли она? Вряд ли. Зимой, да в такое время, когда много смертей, кто станет долбить мерзлый грунт. Значит, Вера вот тут, совсем рядом. В этой стороне ее голова, — я размышлял вполне логично, обоснованно, и это успокаивало меня.

Значит, со мной все в порядке. Я разумен и поступаю правильно… Земля только сверху сырая, оттаявшая, а чуть глубже, конечно, смерзшиеся комья, лежащие неплотно, с зазорами. Если проделать отверстие длиною хотя бы в руку, Вера услышит меня, даже если буду говорить шепотом…

Расковыряв ямку, склонился над ней, прижался лбом к глине, ощущая все ту же ледяную стынь и думая, что Вера давно и постоянно теперь в этом холоде: мрачно, пустынно ей там. И начал говорить, как стремился сюда, как добирался… Но нет, это было совсем не то… Бить мне хотелось эту проклятую глину, и кричать Вере, и ругать ее! Что же ты сделала?! Как ты могла?! А я?! Для кого и зачем я теперь? Вот пришел и останусь с тобой. Совсем. Разве ты не знала, что я поступлю так?!

Вера, Вера! С годами все зарубцевалось, забылось бы и, может, мы опять были бы счастливы?.. Не так, как прежде, но все равно… Или ты мудрее меня и сразу поняла: стараться быть счастливым — это не есть счастье. Сломанное дерево не срастется!.. Но теперь вообще ничего не осталось ни для тебя, ни для меня на этом свете. Вот только те двое. Давнис и Оглы. Они что же, так и будут жить по-прежнему, словно ничего не случилось? Они где-то ходят, дышат, жрут, смеются, — у меня даже стон вырвался от нахлынувшей ненависти к ним. Я сказал бы об этом Вере, но что-то мешало мне. Не надо напоминать ей… И вообще я испытывал какую-то скованность, не мог делиться с ней всеми мыслями и чувствами. Почему? Наверное, не совсем, не до конца верил, что тут лежит она. А если все же ошибка?..

Что же, я так и буду сомневаться, никогда не поверю безоговорочно, что она похоронена здесь?! Да, до тех пор, пока сам не увижу ее. Хотя бы на миг. В самый последний раз.

Думая так, я бесшумно, по-звериному, руками и ногами разбрасывал землю, углубляясь в могилу, и существо мое раздвоилось. Я шел к ней, стремясь скорей оказаться рядом, взглянуть, дотронуться, И в то же время сознавал, что этого не следует делать, это противоестественно, лучше запомнить Веру красивой, светлой, идеальной, какой она всегда была для меня. Ведь смерть, особенно насильственная, уродует, искажает,

опустошает… И запах. Его потом не забудешь… Впрочем, что забывать, если я сам останусь с ней. Да и нет в этом ничего отталкивающего. Разве мало я видел трупов, и не зимой, а в жару. Мой друг Стас Прокофьев, с которым мы вместе поступали в училище, вместе занимались, командовали полуротами в одном батальоне, — он погиб в пятнадцатом году. Его завалило землей при взрыве, откопали только через неделю. Дни были теплые, трупы разлагались быстро. Но ведь я сам привел его в порядок, уложил в гроб. Совесть у меня чиста перед ним, и помню я не распадающуюся плоть, а веселого, жизнерадостного своего друга. Так почему же не могу я взглянуть на Веру?!

Чем глубже, тем труднее было копать. Там земля еще не прогрелась, лед не растаял. К тому же комья были мокрыми, скользкими от просочившейся сверху воды. А слежались и смерзлись они так, что я ободрал руку, обломал ногти, совершенно, впрочем, не чувствуя боли; пальцы занемели от холода. И сил оставалось все меньше.

Разум возобладал над инстинктом, я сообразил: надобно найти какой-нибудь инструмент. Но встать и ходить рискованно. И не потерять бы в темноте место. Поэтому я пополз вдоль кладбищенской ограды на четвереньках, отсчитывая сажени и обшаривая рукой землю. Вскоре мне повезло: я нашел толстую короткую палку, заостренную с одной стороны. Наверное, кол, к которому привязывали козу или теленка. С этой добычей возвратился к могиле и принялся работать с заметным успехом. В какую-то минуту даже подумал: вот так рождаются легенды о чертях, о выходцах с того света. Что подумал бы случайный прохожий или припозднившаяся парочка, увидев среди ночи роющуюся в могиле грязную всклокоченную фигуру с колом в руке?.. Какие бы вопли раздались!

Стал работать осторожней, останавливаясь и прислушиваясь.

Еще боялся — сумею ли открыть гроб. Как он заколочен? Хватит ли у меня сил оторвать крышку? Надо бы отдохнуть, но нельзя: скоро утро, небо на востоке уже посветлело.

Наконец, кол ударил в доску. Я разгреб землю. Доски были такими тонкими, что прогибались под моей тяжестью, и я боялся: хрустнут, сломаются, придавят Веру. «Скорее!» — торопил я себя, отбивая комья вокруг гроба. Пришлось еще и вбок немного подрыть, чтобы было куда сдвинуть крышку.

С тягучим скрежетом подались проржавевшие гвозди. Крышка сдвинулась, я приподнял ее на ребро и увидел что-то светлое, вроде подушки, а на ней — знакомые черты лица. Вера! Но, боже, как она изменилась! Нос, скулы, подбородок, надбровные дуги — все выпирало, все было туго обтянуто кожей, все было непривычно резко и остро. Я коснулся губами ее лба и сразу же отстранился: он был холодней, чем земля, он обжег меня, разгоряченного, своей безразличной стылостью, оттолкнул каменной твердостью. Это потом я сообразил, что под крышку не проникала сверху вода и Вера не оттаяла. А тогда жгучий холод и страшная твердость как-то отрезвили меня. Я осознал, что здесь действительно находится моя Вера, но не вся, а лишь ее оболочка, мертвое тело, далекое от меня, ото всех. А настоящая Вера, с ее радостями и муками, она во мне, она в далеком нашем имении, она в том флигеле, где осталась ее последняя записка. Нет, она не исчезла, она со мной и будет жить столько же времени, сколько и я. А вот за это измученное, искалеченное, застывшее тело я обязан рассчитаться самой страшной местью, чтобы негодяи испытали хотя бы часть тех душевных и

физических мук, которые они причинили беззащитной женщине. Они совершили нечеловеческое — их должна постигнуть подобная же кара. Чтобы они визжали от неотвратимого ужаса.

Только я один могу это сделать, иначе не будет покоя ни мне самому, ни Вере, живущей в душе моей!

Еще одно должен был я знать точно. Изогнувшись, почти сломавшись в пояснице, я просунул руку дальше под крышку гроба, под одежду жены и осторожно провел пальцами по ее животу, от выступавших ребер к ногам. Ошибиться было невозможно. Низ живота не просто бугрился, там явственно ощущался круглый выступ, который я накрыл ладонью. Это была голова моего ребенка. Я только не мог понять: затылок это или его лицо. Как лежат неродившиеся дети?

На какие-то секунды рассудок мой опять затуманился, но я уже имел цель, я знал, что мне предстоит еще сделать на этом свете, и поэтому усилием воли заставил себя сосредоточиться. Больше того, я совершил полностью осмысленный поступок. Достал из кармана тонкий и мягкий пуховый платок. Что лучше: накрыть лицо Веры или укутать плечи? Или так, чтобы платок грел и ее и ребенка?

Оказалось, что на плечи невозможно — нельзя пошевелить, приподнять, настолько все примерзло к доскам. И я аккуратно растянул платок от груди до ног Веры. Потом поцеловал ее и пообещал, что еще вернусь. Насовсем или нет, но вернусь обязательно, и лишь после того, как расквитаюсь за нас троих. Не знаю, может, в ту ночь что-то случилось с моей психикой, и на какой-то период я перестал был прежним человеком. Возможно. Во всяком случае, тогда проснулся, и зажил во мне ловкий, жестокий, целеустремленный зверь, который упорно повел меня к намеченной цели, не позволяя расслабиться, остановиться в пути, остерегая от случайной преждевременной гибели. Это он подтолкнул меня: скорей засыпай могилу и прячься сам, иначе тебя заметят, арестуют, посадят. Рассвет уже наступил.

Старый чиновник, приковылявший на кладбище, застал меня в положении совершенно ужасном: измученный, весь в грязи, над полураскрытой могилой.

Велев мне лечь и не подниматься до его прихода, чиновник с несвойственной ему быстротой отправился домой, принес лопату, плащ с капюшоном и даже флягу с водой. Помог мне умыться и хоть немного привести себя в порядок. Затем, обрядив меня в длиннополый плащ, повел к себе. Но не в свой дом, а в соседний, к сестре, чтобы в новой обстановке я хоть немного отдалился от пережитого, успокоился и отдохнул.

5

Бывает так: человек, одержимый одной мыслью, одним страстным желанием, даже будучи очень пьян, продолжает действовать целеустремленно, разумно, добиваясь своего. Потом он не способен вспомнить подробности, последовательность событий, сказанные им слова — только по результатам сможет понять, что поступал правильно. Лишь отрывочно, как сквозь туман, припоминаю я, чем занимался, покинув Новочеркасск с единственной целью: разыскать Давниса и Оглы. Но при этом поступки мои были, вероятно, вполне правильными. И на людей, с которыми доводилось встречаться, даже на старых знакомых, офицеров и

генералов, я не производил отрицательного впечатления, не казался им человеком больным.

В белых штабах и войсках немало обреталось тогда моих прежних сослуживцев, особенно по Юго-Западному фронту. От них я узнавал все, что нужно. У меня хватило соображения не спрашивать напрямик о двух негодяях. Услышав от кого-нибудь, что я разыскиваю их, они бы насторожились, приняли какие-то ответные меры. Но нет, я допытывался обиняком. Справлялся о других офицерах и о Давнисе и Оглы в том числе.

Я шел, как собака по следу, и след этот становился все отчетливее. Он привел меня из Ростова в Тихорецкую, оттуда — под Царицын к генералу Мамонтову, в большую станицу Нижнечирскую. Путь был далекий, а время летело. Близилась середина августа того же злосчастного восемнадцатого года; дни держались знойные, к полудню в голой, раскаленной степи нечем было дышать. Бои велись главным образом на рассвете, пока не иссякнет прохлада. Казачьи полки, переправившись на левый берег Дона, захватили Калач, нанесли под Кривой Музгой такой удар красным, от которого те, казалось, не в силах будут оправиться: до Царицына оставались считанные километры.

Как раз в это время я узнал точно, в каком полку служат оба негодяя и на каком участке фронта находится этот полк. Следовало найти повод для поездки туда. Зная честолюбие генерала Мамонтова, я предложил ему свои услуги: составить для истории описание победных боев за Царицын. Естественное дело для офицера Генерального штаба. Сразу же выразив согласие, Мамонтов даже не скрывал своей радости и предупредил только, чтобы весь материал был дан ему на предварительное прочтение. У меня в руках оказался документ, открывавший доступ на любой участок фронта, чем я и не замедлил воспользоваться.

В сопровождении трех казаков перебрался на левый берег Дона и там узнал, что положение белых войск не так уж блестяще, а скорее наоборот. Когда вступление в Царицын казалось уже совсем близким, у красных сменилось командование, они нанесли несколько сильных контрударов, остановили наступавших, погнали на запад. Произошло это столь неожиданно, действия красных были так энергичны, что многие казачьи сотни и пехотные батальоны оказались рассеянными или совсем разбитыми. От полка, где служили оба негодяя, уцелели лишь жалкие остатки, с трудом пробившиеся назад, к Дону. Капитана Давниса и поручика Оглы среди них не было. Позабыв осторожность, я расспрашивал, кто и где видел их в последний раз. Несколько человек подтвердили, что Давнис и Оглы, когда полк наступал, находились в авангардном отряде, который был окружен красными. Молодой прапорщик божился, что сам видел в бинокль, как Давнис и Оглы, вероятно, легко раненные, шли по степи под конвоем красных солдат.

Первой и единственной мыслью моей, когда узнал об этом, было: немедленно перейти линию фронта. Я не задумывался над последствиями такого поступка, над тем, какая пропасть разделяет ту и другую стороны. В общем-то и здесь и там русские, а моя цель выше и важней междоусобной драки. Единственно, что заботило меня, — как пересечь фронтовую полосу, кем сказаться на той стороне. Любой красноармеец может «шлепнуть» белого офицера, и никто не остановит его, даже похвалят.

Хорошо бы мне спрятаться, укрыться так, чтобы фронт прокатился мимо, чтобы горячка боя оказалась за спиной. А уж там, на территории красных, видно будет, сориентируюсь по обстановке.

Отпустив верховых казаков за Дон, чему они несказанно обрадовались, я остался с пластунами, имевшими приказ оборонять левобережный хутор. Пожилой, степенный есаул, командир пластунов, пригласил меня в добротный бревенчатый дом. Там посреди горницы был стол, ломившийся от разнообразной закуски, а у окна установлен пулемет, смотревший вдоль хуторской улицы. Есаул пояснил, что тут у него и квартира, и штаб, и боевая позиция. Я же польстил его самолюбию, сказав: совмещать приятное с полезным дано не всякому, повоевать надо изрядно, чтобы научиться такому искусству. Но поскольку здесь шумновато, а мне желательно выспаться, то отдохну на сеновале. В случае чего пусть меня разбудят.

— До вечера красные не сунутся, — уверенно произнес есаул. — Какая война при таком солнце, испечешься. В степи пусто, только разъезды маячат.

Ординарец, прихвативший пикейное покрывало и подушку с хозяйской кровати, проводил меня на просторный сеновал над погребицей, наполовину заваленный сеголетним душистым сеном. Горячий воздух здесь, под нагретой крышей, казался густым и вязким, дышать было трудно, все тело покрывалось испариной. Помучившись в духоте, я отодвинул широкую доску, сбросил вниз, в сарай, несколько охапок сена, подушку и покрывало, а затем сам спрыгнул туда. Конечно, здесь было гораздо прохладней. И погреб рядом. Поднял тяжелую крышку — из темноты пахнуло сыростью, гнильцой. Ладно, на всякий случай есть где затаиться.

Бой, как и предполагал есаул, завязался вечером. Началась винтовочная пальба где-то на подступах к хутору, потом приблизилась, потом ударили пулеметы. По звукам нараставшей стрельбы я понял, что красные атакуют напористо и обходят хутор с левого фланга.

Дважды кто-то прибегал, поднимался по лесенке на сеновал, звал меня, но я не ответил.

У красных имелось несколько трехдюймовых орудий, но, вероятно, мало снарядов. Они били изредка, стремясь подавить пулеметы. Это им не очень-то удавалось, однако снаряды подожгли хутор. Ветер разносил снопы искр, одна за другой загорались крыши, пылали сараи. У меня на погребице становилось все светлее. И вот с жадным треском огонь охватил сено над головой, на сеновале, сквозь щели пробились язычки пламени. Этак заживо сгореть можно или задохнуться дымом и гарью. Выскакивать на улицу? Там стрельба, крики, близкие разрывы гранат. Как раз угодишь под пулю. И в погреб лезть жутковато. Обрушатся горящие бревна, завалят. Испечешься, как картошка в костре. Но это — крайность. Зато какой подходящий случай!

Я рискнул. Осторожно спустился в темное подземелье, задвинув за собой тяжелую дубовую крышку. Чиркнув спичкой, осмотрелся. У дальней стены — мокрая солома, прикрывавшая остатки запасенного на лето льда. Несколько кадок и бочек. С квасом, с солеными огурцами. Это оказалось кстати: когда и где теперь придется перекусить? Я с удовольствием съел пяток огурцов, запив их кислым крепким квасом. И, присев на ступеньку, стал ждать, чем все это закончится.

Сарай действительно скоро рухнул, пожар бушевал над моей головой, и погреб постепенно наполнялся дымом, заставлявшим меня спускаться все ниже, к земляному полу, где легче было дышать. А жара нарастала. Мне, право, было жаль, что пропадет, испортится все вкусное добро, заготовленное хозяевами.

О себе почти не думал. В трудной обстановке решения приходят словно бы сами собой. Снял френч, сорвал погоны. Когда стало совсем невмоготу от жары, опустил френч в кадушку с квасом, подержал, чтобы намокла материя. Накинул френч на голову и, став на ступеньку, затылком надавил крышку люка. Она не то что раскрылась, она распалась, настолько истлела в огне. Раскаленные угли посыпались на меня. К счастью, сухие бревна и доски уже сгорели; ничего, кроме груды углей, не оказалось на люке, и я, затаив дыхание, одним рывком выскочил из пожарища. Отбросил дымящийся френч. Оказался посреди улицы: мокрый, закопченный, грязный, в нижней рубахе, в прожженных галифе и в совершенно не пострадавших превосходных сапогах, какие положены лишь старшим офицерам и генералам. По этим-то сапогам красноармейцы, проходившие мимо, сразу опознали во мне беляка и, разумеется, не рядового.

— Ребяты, откель он взялся?

— Из ада выскочил, недобиток!

— Значит, добить его в самый раз!

Это был критический момент, которого я больше всего боялся. Я молчал и не двигался, опасаясь еще больше осложнить свое положение. А красноармейцы, сгрудившись, обсуждали:

— Осмелился, вошь тифозная.

— Глянь, может, там еще есть?

— А, нехай горят!

Подошел еще кто-то. Раздался резкий голос:

— Что за пугало?

— Ахвицер из погреба выскочил. Кокнуть его?

— Я те кокну! Приказа не знаешь: всех офицеров в штаб полка на допрос. Ряшкин, веди.

Невероятное облегчение ощутил я и чувство признательности к этим вот красным, у которых есть, оказывается, строгие приказы, определенный порядок. У меня появилась возможность осмотреться, освоиться в новом положении.

Конвоиром оказался курносый крепыш в старой гимнастерке, такой выгоревшей и застиранной, что похожа была на белую солдатскую рубаху времен скобелевских походов. Шаровары аккуратно заплатаны на коленях, ботинки, хоть и разбитые, но не заскорузлые, смазанные дегтем. Винтовку держал привычно, вид у него был бравый, и я понял, что мне с ним повезло. Не новичок, который может наделать глупостей из-за чрезмерной старательности, но и не заматеревший до крайности фронтовик, видевший-перевидевший все, для которого чужая жизнь — пустой звук. Устанет в дороге, озлится, пристрелит, а потом доложит: бежать, мол, пытался, стервец…

Мой конвоир был средних солдат; он и царской строгой службы хватил, и на войне побывал, но человечности еще не утратил, не закоснел от смертей и крови. Вел меня вполне прилично, изредка покрикивая для собственного взбадривания. Только на сапоги мои смотрел этот крепыш Ряшкин с такой завистью, что я не сомневался: разует.

— А ну, стой! — не выдержал он наконец. — Садись на камень.

Я сел.
— Размер-то подходящий, — глазами нацелился Ряшкин.
— Что? — я будто не понял.
— Сапоги, говорю, скидавай. Да побыстрей, не телись!
Обидно мне было слышать грубость, подчиняться солдатской прихоти, но что поделаешь? Конечно, бросившись на него, я мог вырвать винтовку и прикончить на месте эту обнаглевшую деревенщину. Мог убежать в степь. Но зачем? Я ведь сам стремился в плен и теперь нечего давать волю своему самолюбию.
Сев поодаль и положив винтовку, Ряшкин торопливо натягивал на грязные, в черных разводах портянки мои новые красивые сапоги, а я смотрел на него и думал: хам есть хам при любой власти и любой расцветке — хоть красный, хоть белый, хоть какой. Разве мамонтовский казак оставил бы на пленном хорошие сапоги? Да никогда. С ногами бы оторвал. И Ряшкин тоже. Суть в благородстве, в воспитании… Но тут же вспомнился мне Давнис — обрусевший французский аристократ, вхожий в такие высокие круги, куда мне, простому русскому дворянину, закрыт был доступ, — разве он не пакостней, не страшней в сотню раз любого мужика, любого казака, которые по нужде добывают себе одежду-обувку?
— Чего буркалы-то выкатил! — мой конвоир грубил, совестно ему было. — Тебе все одно дальше штаба дороги нет, босиком дотопаешь. А мне сапог на всю войну хватит.
Я промолчал: у каждого свои заботы.
Мы отправились дальше, и, как показалось мне, шли очень долго. Я ведь не привык без обуви, изранил ступни, разбил о камень большой палец и не шагал, а тащился, прихрамывая на обе ноги. И ожоги давали о себе знать. Особенно на плече и бедре. И двое бессонных суток вымотали меня. А было уже утро, и солнце палило. Спасибо Ряшкину: он остановился у колодца, позволил мне напиться и окатить себя из бадейки холодной водой. Стало полегче. Но вскоре пыль, осев на мокрое, покрыла меня с головы до пят серой коростой. Еле живой дотащился я до станции и упал на жесткую сухую траву в тени церковной стены. Немного отдохнув, осмотрелся. Вокруг сидели лежали еще десятка два пленных, офицеров и рядовых: многие были ранены. Кто-то стонал. Кружились большие наглые мухи. Чуть в стороне покуривали конвоиры, и мой в том числе.
На площади перед церковью — повозки, подседланные лошади, даже длинный черный автомобиль возле поповского дома. Туда тянулись провода полевого телефона. Там, конечно, находился штаб, где должны были нас допрашивать, но почему-то не торопились.
Послышались громкие голоса, какие-то распоряжения. С крыльца спустились двое командиров. Один в полувоенной одежде и без оружия, второй затянут офицерской портупеей, с наганом и шашкой. Вероятно, чин имели немалый: следовавшие за ними люди держались с явной почтительностью. Да и наши конвоиры вытянулись, замерли, едва заметив начальство.
С трудом приподнявшись, я оперся спиной о кирпичную степу, разглядывая красных командиров, направлявшихся к автомобилю. Лицо того, что в полувоенном френче с накладными карманами, показалось знакомым. Где я видел его?.. Да неужели? Не ошибка ли?
— Ряшкин! — позвал я.
Конвоир шагнул ближе.
— Чего приспичило?

— Слушай, тот, который впереди, Джугашвили? — в сильном волнении спросил я.

— Рехнулся? Сам ты небось Джугашвили. Это товарищ Сталин!

Сталин? Мне доводилось слышать эту фамилию в Москве. Он — член первого большевистского правительства, председатель по делам национальностей. Знал я и о том, что он теперь возглавляет оборону Царицына, но эта фамилия никак не ассоциировалась у меня с рядовым Иосифом Джугашвили…

Некогда было рассуждать, сомневаться. Сейчас он сядет в автомобиль. Если и ошибка, я ничего не потеряю…

— Конвоир! — строго сказал я Ряшкину. — Немедленно иди к Сталину и доложи: здесь подполковник Лукашов из Красноярска.

— Подполковник? — почтительно удивился Ряшкин моему званию.

— Живей, живей! Это очень важно!

К неописуемой радости моей, Ряшкин пошел. Неуверенно, бочком приблизился к машине. Заговорил с кем-то, указывая на Сталина. Его пропустили. Сталин повернулся, выслушал солдата, посмотрел в сторону церкви. Я сделал знак рукой.

Да, это был он! Сильно изменившийся, сразу не узнаешь, но все же он: я убедился в этом, напряженно вглядываясь, пока Сталин шел ко мне. Он выглядел моложе, стал худощавей, светлей лицом. Отрастил густые усы. Но главная перемена заключалась в другом. Я видел его сдержанным, несколько даже подавленным в неблагоприятной для него обстановке, а теперь уверенность и решительность сквозили во всем: от посадки головы до походки.

— Вот они, — почтительно указал на меня Ряшкин.

Джугашвили-Сталин пристально разглядывал меня, брови приподнялись, выражая недоумение, и я сообразил: как ему распознать в грязном, обгорелом, изнуренном человеке некогда с иголочки одетого самодовольного подполковника, с которым беседовал давно и недолго. Но ведь голос-то не меняется!

— Здравствуйте, — сказал я. — Вот ведь где довелось встретиться…

Он промолчал, но по выражению лица я понял: что-то шевельнулось, пробудилось в нем, и поторопился напомнить:

— Вас тогда перевели в Ачинск.

— Совершенно верно, — глаза его чуть-чуть потеплели. — Как вы попали сюда?

— Перешел на вашу сторону.

— Перешел? — Он чуть подался ко мне. Затем требовательно посмотрел на конвоира, ища подтверждения.

Ряшкин заморгал растерянно, переступил с ноги на ногу. Поймав мой полный надежды взгляд, покосился на сапоги. Правдивый все же оказался мужичок. Стукнул прикладом о землю и доложил:

— Так точно! Оне сами выскочили, и без стрельбы…

— Рад слышать, — сказал Сталин. Через плечо, не оборачиваясь, распорядился: — Товарищ Власик, отвезите его в Царицын, пусть вылечат. Под вашу личную ответственность. Когда поправится, скажете мне.

— Будет исполнено.

— До свидания, — с легкой улыбкой произнес Сталин. И, чуть помедлив, повторил: — До скорого свидания, Николай Алексеевич.

Я был поражен: он помнил мое имя!

…Пройдет много лет, после смерти Сталина недоброжелатели его, обвиняя во всех грехах, припомнят и этот случай, будут упрекать задним числом: своих товарищей по партии, верных пролетариев не щадил, карая за малейшие срывы, уничтожал, а раненого белого офицера под Царицыном пожалел, спас. Как это, мол, расценивать?

Задававшие такой вопрос не замечали или не хотели замечать его нелепости, тенденциозности. Сколько было в ту пору пленных белогвардейцев, сколько их видел-перевидел Сталин. Сотни. И что, разговаривал он с ними, заботился, спасал? Если и сделал исключение для одного офицера, то причины имелись веские.

6

Некто Власик, чьим заботам я был поручен, оказался исполнительным и деятельным. Ночью мы находились уже в Царицыне. Привезли меня в длинное, похожее на казарму, здание недалеко от вокзала. Часовые знали Власика в лицо, пропустили нас, ничего не спросив. На втором этаже мне предоставили вполне приличную комнату с кроватью и тумбочкой. А предварительно я еще (стараясь не смочить обожженные места) обмылся в нетопленой бане, примыкавшей с тыла к казарме.

Вызванный утром старичок-доктор отнесся ко мне очень сочувственно. Обработал ожоги, порезы на ногах и сказал, что все это не опасно, гораздо важнее для меня полный покой, хорошее питание и крепкий сон. «Сильное переутомление, отдохнуть требуется. Нервы, нервы», — несколько раз повторил он, обращаясь не столько ко мне, сколько к Власику. Тот кивал, ухмыляясь, и его ухмылка, я чувствовал, не нравилась доктору.

— Весьма признателен, — сказал я врачу. — Постараемся выполнить ваши предписания.

— Молодцом, молодцом, — похвалил он. — Могу навестить больного завтра, — это уже к Власику, — но сюда, в ваше учреждение, просто так не пропустят.

— Назовете свою фамилию, я дам указание, — напыжился Власик. Он ушел вместе с врачом, а под вечер вернулся, принес два свертка, большой и малый. В одном оказалось офицерское обмундирование, даже фуражка без кокарды и старые, хотя и крепкие сапоги. В другом — хлеб, сахар, чай и вобла.

— Кипяток в тамбуре возле дежурного, — сказал Власик. И предупредил: — На улицу соваться не советую. Не пустят…

— Учту.

— Учитывай или не учитывай — все одно: без меня ни шагу и точка, — ухмылка у него была наглая, держался он с подчеркнутым превосходством и вообще сразу произвел на меня неблагоприятное впечатление. Лет ему было меньше, чем мне, но он был из числа тех, кто предрасположен к полноте, фигура расплывчатая, рыхлая, физиономия тоже. Комиссарская кожаная куртка тесновата. Плоская кепчонка сдвинута низко на лоб. Хоть и не преминул Власик за наше короткое знакомство несколько раз подчеркнуть что он пролетарий, из рабочего класса, я все же не мог его представить никем, кроме как половым из трактира или официантом из ресторана средней руки. Слащавая улыбочка: «чего изволите» — и холодный расчет в глазах. Будет лебезить перед сильным, перед богатым, а при возможности без зазрения совести оберет до последней копейки пьяную жертву. Видывал я субъектов такого склада среди вестовых,

ординарцев. Подобострастно улыбается начальству и готов издеваться над тем, кто ниже его. Я прежде чурался подобных людей, но теперь находился в таком положении, когда знакомства не выбирают.

Для Власика я был загадкой, он не мог смекнуть, как разговаривать со мной. С одной стороны, вроде бы офицер, «белогвардейская сволочь», с которой и толковать нечего, а с другой, Сталин заботится, вылечить велел и все такое прочее. Мне смешно было наблюдать, как пытается Власик определиться, найти линию поведения.

— Ну, оклемался, что ли? — спросил он. — Хватит с тебя, завтра доложу, что здоров.

Да, пора было указать ему надлежащее место. Спустив ноги с кровати, я с подчеркнутым пренебрежением поманил его пальцем.

— Ты чего? — удивился Власик.

— Ближе, — ледяным тоном произнес я. — Здесь! Стоять! Если еще раз услышу обращение на «ты»…

— Ха! — перебил он, вновь обретая свою нахальную усмешку. — Ишь, чего захотел… — Однако осторожность взяла все же верх. — А как еще величать? Может, «барин»? Или «ваше благородие»?

— Разрешаю называть меня гражданином и даже обращаться по имени-отчеству, — продолжал я окатывать Власика холодной водицей, — иначе перестану замечать вас. Это во-первых!

— Будет и во-вторых? — Он все еще пытался насмешничать.

— Будет. Завтра в присутствии Сталина я дам вам пощечину и объясню, чем она вызвана.

— Ну, ты… Ну, вы это бросьте. — Он даже отшатнулся к порогу. — А то ведь можно и схлопотать, — теперь он был явно растерян.

— Марш отсюда! За дверь! — скомандовал я. — И без стука в эту комнату не входить!..

Власик не выдержал моего тона, моего взгляда: он был озадачен, был обозлен, но все-таки выполнил мое распоряжение — исчез. А в следующий раз, прежде чем войти, постучал.

Приобщил, в общем, наглеца, недавнего, как выяснилось, унтера, к элементарной вежливости, и стал ждать. От предстоящего разговора зависело очень многое, и мне трудно было сохранить спокойствие. А Власик, как назло, долго не появлялся. Лишь во второй половине дня потный, запыхавшийся взбежал он по лестнице, поздоровался торопливо и сказал:

— Он у себя…

Повел меня мимо покосившихся заборов, мимо мертвых, холодных паровозов, куда-то на запасные пути станции. Там стоял состав из нескольких пассажирских вагонов первого класса. Бойцы в гражданском, одетые всяк по себе, несли караул возле подножек. Прохаживался морячок с деревянной коробкой маузера через плечо. Он окинул меня цепким, запоминающим взглядом, молча кивнул: проходите.

Миновали просторный салон, где работали несколько человек, склонившись над бумагами. Кто-то говорил по телефону. Дробными очередями строчила пишущая машинка.

Дверь. Еще дверь. Власик подтянулся, поправил кепчонку, постучал костяшками пальцев.

В кабинете-спальне Сталин находился один. Он, видимо, отдыхал, полулежа на диване возле стола. И одет был по-домашнему. Темная

гимнастерка с расстегнутым воротом — из какой-то мягкой материи. Такие же брюки заправлены в неказенные, не по шаблону сшитые сапоги.

— Пусть дадут чай, — сказал Сталин Власику и, улыбнувшись, указал мне на кресло. — Садитесь. Как ваше здоровье, Николай Алексеевич?

— Весьма признателен вам. — Я запнулся, не зная, как обращаться к нему. Он догадался:

— Иосифом Виссарионовичем зовут меня.

— Спасибо. Мне очень повезло, что встретился с вами.

— Не будем забегать вперед. Время покажет. А теперь хотелось бы знать, почему вы у нас?

Я не имел никаких причин скрывать, с какой целью перешел фронт. Наоборот, даже рассчитывал на Сталина, с его помощью больше надежды разыскать негодяев, если они в плену. Но мне трудно было говорить о своем горе, кощунственным казалось открывать чужому человеку то, что произошло с Верой. И вообще я отвык быть откровенным, делиться пережитым. С декабря семнадцатого года, после разговора с Алексеем Алексеевичем Брусиловым, я только тем и занимался, что молчал, таился, выдавал себя за другого, скрывая от всех непоправимое свое несчастье.

Пауза затягивалась. Хорошо, что вошел Власик. Пока он расставлял на столе стаканы, о чем-то советуясь со Сталиным, я внимательно разглядывал профиль Иосифа Виссарионовича. У него отросли волосы: густые, пружинистые, черные, зачесанные назад — целая шапка волос. В Красноярске, при первой встрече, он был острижен, голова казалась маленькой, а нос — слишком большим. Нет, крупноват, конечно, нос, однако не очень. Это Давнис, вышучивая солдата, утрировал, бывало, для смеха… Стоп! Этот негодяй исполнял обязанности командира роты, с его стороны грозила Сталину неприятность.

— Помните капитана Давниса? — вырвалось у меня.

— Поручика?

— Ну да, тогда он был поручиком. Вырос теперь негодяй!

Сталин посмотрел на Власика, застывшего у двери. Видно было — очень хочет послушать. Но взгляд Иосифа Виссарионовича был таков, что любопытный сразу исчез.

— Я помню, — сказал Сталин. — А в чем дело?

— Ищу его, чтобы задушить своими руками. Его и Оглы… Мне бы только добраться до них, не знаю, что с ними сделаю. Огнем буду жечь!

— Успокойтесь. Выпейте чаю и успокойтесь.

Нет, я уже не мог сдерживаться. Прорвалось то, что копилось, болело, терзало меня все последние месяцы. Я видел, как вздрагивают мои руки, слышал, как неузнаваем напряженный голос, но не в состоянии был остановиться: говорил, говорил, говорил, наполняясь признательностью к Сталину за то, что он так внимательно, сочувственно, сопереживающе слушает мою исповедь. А когда я сказал, что сотворили негодяи с моей Верой, глаза Сталина блеснули яростью, он ударил кулаком по столу.

— Позор! — глухо произнес он. — Это не люди, цис рисхва,[6] это разбойники с большой дороги!

И тут случилось такое, на что я, выгоревший, опустошенный, никак, казалось бы, не был способен: я заплакал, с трудом сдерживая конвульсивные, истерические движения. Сталин, тактично, отвернувшись к завешенному окну, курил, давая мне время справиться со своей слабостью.

— Их мало расстрелять, этих бандитов, — произнес он. — Не знаю, как поступить, но расстрел — слишком легкая смерть для них.
Собравшись с силами и подавив рыдания, я продолжил рассказ о своих странствиях и поисках, но теперь Иосиф Виссарионович слушал меня менее внимательно, думая о чем-то. Спросил:
— Скажите, вы воевали против нас?
— После революции я вообще не сделал ни единого выстрела. Это ведь можно проверить…
— Не надо проверки. Я убежден в вашей порядочности и, надеюсь, никогда не услышу от вас неправды.
— Все, что угодно, выскажу самое обидное и неприятное, но неправды не будет! — воскликнул я. — Слово чести!
— Это очень весомое слово, — торжественно произнес Сталин, будто принимая от меня присягу на верность. — Со своей стороны я во всем постараюсь помочь вам, Николай Алексеевич. Если понадобится — обращайтесь в любое время.
Сталин дважды нажал кнопку звонка. В дверях появился Власик.
— Прошу запомнить, — сказал ему Иосиф Виссарионович, — мы полностью доверяем товарищу Лукашову. Выдайте ему оружие и круглосуточный пропуск. И помогите разыскать тех людей, которых он назовет…
Да, этот человек, с которым так случайно свела меня судьба, был достоин самого глубокого уважения хотя бы за то, что мог верить, за то, что не боялся никакой ответственности, сам принимал любые решения. И это чувство — чувство глубокого уважения — возникло и окрепло во мне.

7

Уставшее за день разбухшее солнце тускло светило сквозь серую завесу пыльного воздуха: на багровый расплывчатый шар можно было смотреть, не щурясь. Теперь бы грозу с очищающим, освежающим дождиком, но на дождь не было никакой надежды. Измученный духотой и пылью, не имея чем заняться, решил я засветло лечь спать, но тут появился возбужденный Власик. Поправив нелепую кепчонку, произнес с наигранной бодростью:
— Магарыч с вас причитается… еще малость, и не встретились бы с ними на этом свете!
— С кем? — переспросил я, боясь ошибиться.
— Да с этими офицерами вашими…
— Где они?
— В надежном месте, — ухмыльнулся Власик. — Цепляйте оружие, на свидание пойдем.
Я засуетился, торопясь и нервничая, а Власик успокоил по-свойски:
— Не гоношитесь, куда им деться! Все одно — нынче каюк! Всю баржу ликвидируем…
— Какую баржу?
— На которой пленная контра собрана — охотно сообщил Власик. — Там их сотня гавриков, половина, небось, перемерла в трюме.
— Не ошибаетесь, эти там?
— Ваши-то? Сам проверял. Я по своей службе ошибок не позволяю, — горделиво ответил Власик.
После моего разговора со Сталиным он был откровенен, более-менее вежлив и даже, вроде бы, заискивал передо мной.

На пролетке выехали мы к берегу Волги, к отдаленному причалу. Вокруг пусто, разросся бурьян. Возле деревянного настила несколько лодок, катер и старая, низко осевшая баржа.

— Эта? — дрогнуло мое сердце.

— Нет, здесь внутренние контрики, которые по нашим штабам служили, а сами для белых старались. Эти не дозрели еще. Другая баржа на реке, — неопределенно махнул Власик.

Причал охранялся усиленным нарядом бойцов, таких же, как и у вагона Сталина: по виду рабочие, одетые не по форме. Как я понял, не красноармейцы, а специально отобранные красногвардейцы, прибывшие в Царицын вместе со Сталиным. У них в будке дежурного имелся телефон. Власик позвонил куда-то, сказал, что у него все готово, спросил, нет ли других указаний. Вероятно, не было, и мы без промедления спустились к лодке. Там сидел за веслами моряк в бескозырке, в бушлате поверх тельняшки. Он ворчливо заметил, что надо спешить: река широкая, а ночь будет темная… На это Власик возразил, что у нас есть «летучая мышь», помигаем, и нам ответят хоть с баржи, хоть с причала.

Моряк греб умело и сильно, лодка скользила быстро, без всплеска. Держась рукой за мокрый борт, я пытался сосредоточиться, решить, как поступлю с негодяями. Сколько мечтал о мщении, так стремился к этой единственной цели, что теперь, когда она была рядом, даже растерялся. Если б Давнис и Оглы попались мне тогда в Новочеркасске, я рвал, резал бы их на куски! Но теперь во мне было уже не бешенство, глухая черная ненависть давила душу тяжелой плитой. И снять, расколоть ее можно, лишь отомстив за Веру.

Я представил ее в могиле, в гробу, накрытую пуховым платком, словно бы вновь ощутил холод и твердость ее заледеневшего тела, окаменелую головку ребенка, и всколыхнулась ярость.

Стемнело, когда лодка неслышно подошла к низкому просмоленному борту широкой старой баржи. Кто-то принял от нас конец, помог мне выбраться на палубу. Даже окрепший ветерок не смог развеять густой смрад, державшийся здесь. Запах разложения, человеческих испражнений, гнилой воды поднимался из щелей, над закрытым люком. Внизу, под палубой, угадывалось какое-то шевеление, скрежет, шуршание: будто раки терлись, скреблись в тесном садке.

— Порядок? — начальственно спросил Власик.

— Как приказано.

— Глубину мерили?

— На две таких хватит. Вы шуруйте свое, а мы готовы.

Власик зажег фонарь, хотя темнота еще не сгустилась. Моряк вынул маузер, кивнул мне ободряюще:

— Начнем представление? — Откинув крышку люка, он крикнул в зловонное черное чрево: — Капитан Давнис, поручик Оглы, на выход!

Усилилось шевеление под палубой, нарастал шум голосов, слышались стоны. В проеме люка появилась всклокоченная голова, обросшее щетиной лицо. Меня будто в грудь толкнуло — узнал негодяя с невинной ангельской физиономией. Совсем малое расстояние разделяло нас, нога моя сама поднялась для удара, как вдруг лицо Давниса исказила гримаса ужаса, с диким воплем откинулся он назад, исчез в люке, но и там продолжал вопить, может, целую минуту. Вся баржа наполнилась гулом, затрещала и качнулась от движения людей, кинувшихся подальше от люка.

— Господа офицеры, всем оставаться на месте! Тихо! — скомандовал я. И, убедившись, что распоряжение подействовало, продолжал: — Господа, здесь подполковник Лукашов. Верно, многие помнят меня по прежней службе. Я обязан сообщить нелегкую весть. Сейчас вы умрете. Что поделаешь, война есть война, и нынче такой кон выпал вам! — Полная тишина воцарилась внизу после этих слов. — Прошу, господа, встретить смерть с честью, как подобает русскому офицеру. Но среди вас есть двое, которые недостойны умереть вместе со всеми. Капитан Давнис и поручик Оглы зверски изнасиловали в Новочеркасске мою беременную жену, чем довели ее до самоубийства. Они преступники. Избавьтесь от них, господа, вышвырните их сюда. Для них — суд особый.

Негодующими возгласами взорвалась тишина. Под палубой кипела борьба, раздавалась ругань, и я, вздрагивающий от ярости и нетерпения, очень боялся, что офицеры сами расправятся с негодяями.

Моряк понял меня. Выстрелил над люком из маузера, крикнул зычно:

— Волоки их сюды живьем!

Появился Давнис, выпихиваемый снизу. Он судорожно цеплялся за край люка, извивался ужом, стремясь вернуться обратно в толпу, во тьму. И тонко, визгливо кричал, захлебываясь, без слов: «ай-ай-ай-ай!»

Опрокинутый навзничь, он лежал передо мной на палубе, дергаясь длинным телом. Глаза его были крепко закрыты, лицо залито кровью.

Поручик Оглы вылез сам. Его смуглая скуластая рожа выражала такую ненависть, что моряк поосторожничал: сильной рукой прижал его к палубе. Пьяный он, что ли, этот Оглы: глаза сверкают, как у бешеного… Нет, пьяными они были тогда, когда ворвались к Вере! Сукин сын Давнис с ума сведет меня своим истошным визгом!

— Да замолчи же ты, трусливая шкура!

Я выхватил шашку в с размаху, вертикально вонзил ее в горло Давниса: шашка вошла с хрустом, визг пресекся, сменившись булькающим хрипом. Негодяй дергался, как жук на булавке, я ощущал каждое движение и радовался той боли, которая корежит его тело. А когда начал он затихать, я со звериным, освобождающим наслаждением повернул шашку несколько раз, продолжая раздирать его горло и злорадно ощущая, что мерзавец еще чувствует боль.

Наверно, со стороны это выглядело дико и страшно. Власик подскочил ко мне с выпученными глазами на совершенно белом лице, ухватил за правую руку:

— Да вы что?! Ваше благородие! Ты совсем съехал! Нельзя так!

— Оставь! — крикнул я, голос и вид мой были настолько ужасающи, что Власик отпрянул куда-то за люк.

Бросившись к приподнявшемуся Оглы, я ударил его ногой в висок, чтобы повернуть к себе ненавистную рожу, а затем наискось полоснул по ней шашкой. И еще раз: сильно, глубоко, крест-накрест!

Шатаясь, пошел к борту, чувствуя, что сейчас меня вырвет. Хотел сунуть шашку в ножны, но никак не мог попасть. Чертыхнувшись, кинул ее в воду.

Моряк крепко обнял меня сзади за плечи, повел к лодке. Баржа гудела, выла, трещала у нас под ногами, а корма ее все быстрей, все заметней погружалась в воду.

— Шевелитесь, шевелитесь, не успеем! — торопил нас кто-то. Сунув руку за борт, зачерпнул горстью воду, обмыл пылающее лицо. Ничего в эти минуты не испытывал, кроме омерзения. Было так скверно и муторно на душе, что я жадно схватил протянутую моряком флягу и торопливыми

глотками осушил ее до последней капли. А в голове болезненной жилкой билась, пульсировала лишь одна мысль:

«Человек я или нет? Могу ли я, после всего происшедшего, считать себя человеком?!»

8

Несколько дней меня никто не тревожил. Я ел, пил, валялся на койке, даже выходил на прогулку, но делал все как во сне, автоматически, без всякого интереса. Никакие угрызения совести меня не мучили, доведись еще раз свести счеты с негодяями, я поступил бы точно так же. Но что-то переменилось во мне, оборвалось в душе, и было такое ощущение, что я и сам теперь мертвый. Все чаще возникало желание отправиться в Новочеркасск, лечь там в знакомую могилу и пустить пулю в лоб. А старый чиновник, если его попросить, сделает все остальное. Я поступил бы так, но не осталось энергии, чтобы снова хитрить, таиться, перебираясь через фронт, через казачьи станицы и хутора. К тому же, не мог я уйти, не повидавшись со Сталиным: какие-то обязательства были теперь перед ним.

Начал забегать Власик, приносил продукты. О том страшном вечере не вспоминал, но в поведении, в голосе его угадывались теперь почтение и даже робость. Он не только стучался, но и кепку снимал, переступая порог. Только раз, крутнув головой, произнес уважительно, с завистью:

— Отчаянный вы! Аж я напугался!

Не дождавшись ответа, положил на стол сверток с воблой и хлебом, бесшумно исчез.

В конце концов нельзя же было только валяться на постели да есть казенный паек. Надо было что-то решать! Через того же Власика я попросил Сталина принять меня.

На сей раз беседовали мы не в кабинете-спальне, а в рабочем салоне. Думаю, что это не было случайностью, Иосиф Виссарионович не любил случайностей даже в мелочах и все старался продумать заранее. Мы больше не предавались воспоминаниям.

Поздоровавшись, Сталин спросил, что я теперь намерен делать, чем заняться?

— Не знаю, мне безразлично.

— Так не бывает, — сказал Иосиф Виссарионович. — Так не может быть долго.

— Я потерял все.

— Пока человек жив, потерять все невозможно. У вас нет семьи, но у нас есть Отечество.

— Где? По какую сторону фронта?

— Родина человека там, где его народ, где интересы его народа, — назидательно произнес Сталин, и слова его затронули меня лишь потому, что почти так говорил и мой уважаемый учитель — генерал Брусилов. И подумалось: кроме Брусилова есть еще лишь один человек, понимающий меня, принявший участие в моей судьбе. Оба они находятся по эту сторону фронта. А на той стороне для меня нет ничего дорогого. Больше того, если белым известно о затоплении баржи с офицерами… Нет, хватит, надо быть последовательным, а не метаться, как заяц.

— Не знаю твердо, на чьей стороне истина и справедливость, — сказал я, — но знаю одно: мое место здесь, с вами. На гостеприимство белых я теперь не рассчитываю.

— И правильно делаете, — улыбка тронула губы Сталина, исчезла под густыми усами. — У белых тоже есть разведка, и, к сожалению, неплохая разведка. Там не будет пощады, вы понимаете это?

— Да, я пойду вместе с вами, Иосиф Виссарионович. До конца.

— И не ошибетесь, — весело произнес он и сразу же заговорил о том, что, вероятно, обдумал заранее. — Я не очень хорошо разбираюсь в военных вопросах. А у вас, Николай Алексеевич, большой опыт, солидная теоретическая подготовка… Кроме того, мне приходится заниматься и другими делами, трудно уследить за всем. Поэтому убедительно прошу вас принять на себя некоторые заботы.

— Что именно?

— В моем представлении офицер Генерального штаба — это энциклопедист. Вот и желательно, чтобы вы знали все.

— В каких пределах?

— Хочу, чтобы вы были в курсе военных событий во всей Южной России. Чтобы в любой момент можно было получить у вас совет, консультацию по нашим войскам и войскам противника. Что вам для того требуется?

— Прежде всего — полное ваше доверие.

— Это само собой разумеется.

— Доступ ко всем источникам информации, к сводкам, разведываемым данным в оперативном управлении или отделе высшего штаба, если таковой здесь имеется.

— Штаб есть, — нахмурился Сталин, — нечто подобное штабу.

— Почему «подобное»?

— Потому что бывший полковник Носович, присланный сюда Троцким, не сумел или не захотел наладить работу, но сделал все, чтобы ее развалить… Вы знакомы с Носовичем?

— Нет. Но наслышан.

— Он принес здесь не пользу, а вред. Если и имеются достоверные сведения, то в группе войск товарища Ворошилова. Разумно будет прикомандировать вас туда. Меня вообще интересуют положительные стороны и недостатки наших штабов снизу доверху. А вам есть с чем сравнить, сопоставить. Будет полезно получить ваши соображения. — Помолчав, произнес тихо, даже проникновенно: — Я очень надеюсь на вас, Николай Алексеевич, У нас почти нет своих военных специалистов, а те, которых направляет Троцкий, не внушают доверия. Наши командиры воюют с ошибками, спотыкаются на ровном месте. Нам очень нужны специалисты, способные послужить надежной опорой.

— Но опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление.

— Это ваши слова? — быстро спросил Сталин.

— Кажется, Стендаля. Считаю их правильными.

Иосиф Виссарионович не сразу высказал свое мнение. Прошелся вдоль салона, бесшумно ступая, и я опять обратил внимание на его сапоги: это была обувь особого пошива, не стесняющая ногу, на довольно толстой подошве. Возвратившись к столу, Сталин произнес:

— В этом есть рациональное зерно. Разве можно надеяться на людей, которые бросаются выполнять распоряжение, не задумываясь, как и что. Трудно верить людям, которые только поддакивают, только соглашаются. Либо это глупцы, либо двурушники, приспособленцы, которые скрывают

свои мысли. — И, улыбнувшись, повторил: — Опираться можно лишь на то, что сопротивляется… Что же, Николай Алексеевич, это надежная основа для нашей совместной работы.

9

Должен признаться, что пользы от меня в ту пору, особенно в первое время, было немного, хотя бы потому, что я оказался среди новых, непонятных мне людей, отличавшихся от тех, с кем приходилось общаться прежде. И еще потому, что штаба как мыслящего, объединяющего центра в группе войск Ворошилова попросту не существовало. Боевые действия велись полупартизанскими способами на самой примитивной основе. Сведения о противнике были скудные. Предвидение, планирование, разработка операций — все это полностью отсутствовало. Начинали белые наступать на определенном участке — туда направлялись и наши силы. Обнаруживалось слабое место у противника — наши там развивали активность.

В общем, все это было довольно естественно в тех условиях, когда новые вооруженные силы только начинали складываться. Но ведь это — стратегия одного дня. Наши войска под Царицыном не имели ни планов на будущее, ни ясной, конкретной цели. Чего мы намерены достигнуть? Удержать город? Этого слишком мало. Пассивной обороной положение не спасешь. Рано или поздно белые соберут силы, обойдут Царицын, захватят его штурмом. Успех придет к нам лишь в том случае, если мы наметим задачи по разгрому неприятеля и будем действовать для выполнения этих задач.

Таковы были мои соображения, когда я согласился принять участие в организации штаба новой 10-й армии, которая начала создаваться в последних числах сентября 1918 года из разрозненных соединений, частей и отрядов, составлявших до сей поры группу войск товарища Ворошилова. Он же назначен был и командовать армией. С созданием ее следовало спешить, не теряя ни часа, так как было совершенно ясно: белые концентрируют под Царицыном большие силы, готовят новое наступление, чтобы еще до зимы овладеть важнейшей крепостью на Волге.

Занятый этими заботами, я переселился на Московскую улицу, в дом 12, в трехэтажное здание, взятое себе армейским Реввоенсоветом. Помещение было просторное и достаточно удобное. Внизу — телефонная и телеграфная станции, комендантская команда. Непосредственно штаб занимал второй этаж. Здесь же я и спал, а обедал этажом выше, в столовой, руководствовала которой жена Ворошилова Екатерина Давыдовна, жившая там же.

Памятуя разговор со Сталиным, я неохотно занимался конкретными делами. Хотелось подняться до того уровня, на котором, к примеру, работал в годы германской войны штаб 8-й армии, не говоря уже о штабе Юго-Западного фронта. Сталину требовались не детали, не подробности — их он получал по другим каналам, — ему нужен был анализ, нужны были замыслы, предложения. Над этим я и трудился, опять же без особого успеха, так как не было достаточной информации. Мне все же удалось установить реальную численность наших войск под Царицыном и приблизительно определить силы, средства и потенциальные возможности противостоящего неприятеля.

В общем-то, я был доволен. У меня имелось какое-то место и занятие на этом свете.

Людей для пополнения наших полков под Царицыном было тогда достаточно. А вот с оружием и обмундированием — плохо. Осень на дворе, а одеть бойцов не во что, винтовок — мизерное количество. Сталин и Ворошилов слали в Москву, в Реввоенсовет республики телеграммы, требуя доставки оружия и боеприпасов. Я как раз находился в вагоне у Сталина, когда готовилась очередная депеша. В ней говорилось: «Обещанных же в Москве винтовок и обмундирования до сих пор нет. В настоящее время в Царицынских складах: 1. Нет снарядов (осталось 150 — сто пятьдесят штук). 2. Нет ни одного пулемета. 3. Нет обмундирования (осталось 500 комплектов). 4. Нет патронов (остался всего миллион патронов)».

Иосиф Виссарионович сам составлял эту депешу, уточняя у меня цифры. Усталый Ворошилов, только что вернувшийся с передовой, молча поставил под документом свою подпись ниже подписи Сталина. Затем, распростившись, уехал. Тогда я высказал то, что не считал уместным говорить при других. Довольно резко я заметил, что у Москвы не один Царицын, не один фронт, она физически не в состоянии обеспечить всех вооружением и боеприпасами, тем более что важнейшие промышленные и сырьевые районы страны захвачены белыми. Да ведь и раньше центральные военные органы занимались не выпуском военной продукции, а ее разумным распределением. Уж что-что, а обмундирование шилось во всех округах, да и техника, боеприпасы изготавливались не только в Петербурге и Москве, но и во многих других городах, в том числе и в Царицыне. А мы здесь только разрушаем, только останавливаем производство, вместо того чтобы на месте организовать выпуск необходимого.

Было такое впечатление, что подобная мысль просто не приходила Иосифу Виссарионовичу в голову. Он, как и другие руководители, выдвинутые революцией, был озабочен лишь одним: удержаться, победить любой ценой. Для этого использовать все возможности. Приехал, мобилизовал, поднял, бросил в бой — и дальше. Эти люди не понимали, что если берешь, то надо и производить, по крайней мере, столько же, если не больше, чтобы удержать экономику от полного краха. Сталину же, занятому чрезвычайными делами, латавшему дыры на фронте, вероятно, некогда было думать об этом, а уж заниматься тем более.

— Еще три месяца назад промышленность Царицына давала почти половину довоенной продукции, благодаря этому удержали город. А сейчас заводы, фабрики, мастерские практически стоят, — сказал я.

— Мы взяли людей для обороны города, — недовольно ответил Сталин. — Хуже, если бы враг захватил Царицын вместе с действующими предприятиями.

— Есть уголь, есть металл, есть даже взрывчатка.

— Знаю об этом не хуже вас, — тяжело ронял Сталин. — Мы не можем вернуть с фронта рабочих.

— Хотя бы минимум. Привлечь женщин, подростков. Обеспечить хлебом.

— Это легко сказать, Николай Алексеевич. Говорим мы много. А что конкретного можете сделать вы?

Начиная разговор, я не думал, что он приобретет такой характер. Но и лицом в грязь не хотелось ударить. Вспомнилось поступившее в штаб донесение о вагонах с черным немецким сукном, которое удалось

захватить у казаков. Противнику послали германцы, а попали вагоны к нам. Сообщил об этом Сталину, прибавив:

— Можно шить гимнастерки и шаровары.

— Вот как? — голос Иосифа Виссарионовича звучал доброжелательно. — Сколько обмундирования можно изготовить?

— До двух тысяч комплектов.

— На целый полк! А какое потребуется время?

— Две недели, примерно, — не очень уверенно произнес я.

— Понимаю, дело для вас непривычное, — улыбнулся Сталин, — товарищ Власик поможет вам, он неплохой организатор.

— Тем, кто будет работать, — полтора фунта хлеба в день.

— Согласен.

— И заинтересовать их. За добросовестное и досрочное выполнение заказа — премия сукном. Два-три метра.

— Не слишком ли? — усомнился Иосиф Виссарионович.

— Мы выиграем во времени и в качестве.

— Хорошо, — утвердил Сталин.

И, ей-богу, я испытывал большое удовлетворение, когда в октябре, в дни сильного наступления белогвардейцев, мы отправили на передовую несколько батальонов. Холодно уже было, а на бойцах не истлевшие (с той войны!) гимнастерки, а новая форма из плотного, теплого материала. Это была заметная польза делу, которому я начал служить.

10

Не забыть бы о другой барже, стоявшей у причала, про которую Власик сказал, что там находится «внутренняя контра». Как я узнал впоследствии, на эту баржу царицынские чекисты отправляли тех, кого считали предателями, опасными преступниками. Наверное, и эта баржа очутилась бы на дне вместе со своим живым грузом (и «концы в воду»), если бы не помешали некоторые обстоятельства.

Конечно, в ту пору я почти совсем не знал особенностей характера Сталина, его устремлений, пристрастий, не понимал подоплеки событий. Все это прояснится некоторое время спустя. И будет правильнее изображать события царицынского периода в основном так, как я воспринимал их тогда.

Приехав в Царицын летом 1918 года, Иосиф Виссарионович много сделал для укрепления обороны города и всего юго-востока республики. Он навел твердый порядок: прекратил свободную торговлю хлебом, пресек спекуляцию, мобилизовал на фронт рабочих. Он и сам трудился без отдыха, и других заставлял действовать напряженно. Благодаря его стараниям белые были отброшены на Дон. Толкаемые его энергией, его настойчивостью и твердостью, довольно регулярно шли в центральные районы страны эшелоны с хлебом, отправлялась каспийская нефть. Даже вагоны с арбузами уходили к северу, к голодающей Москве.

Если меня спросят, выстоял бы тогда стратегический пункт Царицын без Сталина, я отвечу: не уверен. Вполне возможно, что белые захватили бы город, а — не вышло. При всем том мне казалось, что и сам Сталин, и Ворошилов, и другие люди из ближайшего его окружения слишком много времени тратят на заботы, не связанные с укреплением обороны города, тем более с налаживанием быта, экономики. Они непрерывно вели какую-то междоусобную борьбу, отвлекавшую их от главных целей.

В середине августа, в трудные дни, когда передовые отряды белых вышли на подступы к городу и кое-где даже прорвались к Волге, в эти дни в Царицыне начались вдруг во всех штабах аресты, вносившие сумятицу, дезорганизованность. Брали бывших офицеров, служивших теперь в Красной Армии, но не всех подряд, а тех, кто был направлен Троцким, кто был близок к этим посланцам из центра. Их обвинили в принадлежности к контрреволюционной организации, в саботаже, в заговоре и вообще во всех смертных грехах. Особенно — полковника Носовича, присланного Троцким еще весной для налаживания штабной работы. Арестованные оказались на барже под строгой охраной. Но, в отличие от пленных офицеров, избавиться от них было гораздо труднее. У них имелись защитники в Москве, требовалось доказать, что они действительно являются «контрой».

Не будучи знакомым с Носовичем, я расспрашивал о нем людей и составил представление, как о человеке, знавшем штабную работу и трудившемся в Царицыне хоть и без особого энтузиазма, но вполне добросовестно. Другое дело, что, обладая повышенным честолюбием, не имел он прочных нравственных основ (может, растерял их в неразберихе революционного периода). Во всяком случае, установить конкретные факты, подтверждавшие измену Носовича, чекистам не удалось. Казнь (затопление баржи) задерживалась. А тут из Москвы поступила телеграмма с категорическим требованием освободить военных специалистов.

Отпущенный Носович сразу отбыл в штаб Южного фронта, чем и спасся. Потому что в сумятице боев, пока разбирались, кто прав, кто виноват, большая группа военспецов во главе с инженером Алексеевым была все же ликвидирована. Причем столь поспешно, что повторное распоряжение из Москвы освободить «заговорщиков» уже не застало их в живых. Но настоятельные требования центра, к счастью, спасли многих людей из числа тех, положение которых казалось безвыходным. Десятки военспецов вернулись с баржи. Лишь единицы могли двигаться сами, настолько они были истощены, ослаблены пребыванием в тесном, вонючем трюме. Среди этих счастливцев был и мой знакомый по 8-й армии Юго-Западного фронта Дмитрий Михайлович Карбышев, чье имя получило впоследствии мировую известность. Член коллегии по инженерной обороне государства (была такая в восемнадцатом году), он строил укрепления из бетона и брони на подступах к Царицыну, возле станции Гумрак. И, как бывший царский офицер, угодил на баржу.

Какова все же судьба?! От воды суждено было принять смерть Карбышеву. В своей Волге не утонул, нет: заледенел в фашистском концлагере!

Волей-неволей встает вопрос: был ли контрреволюционный заговор, готовился ли действительно в Царицыне мятеж бывших офицеров? А может, это самый первый из тех «заговоров», которые потом изобильно виделись Сталину в течение всей его жизни, а то и специально фабриковались в угоду ему услужливыми приспешниками, затем «успешно ликвидировались», принося бессовестным дельцам лавры и славу?!

Так вот, я прочитал тогда в Царицыне все бумаги, познакомился со всеми обвинениями в адрес «заговорщиков» и могу утверждать, что обвинения были наивны и бездоказательны. Нет фактов, подтверждающих саботаж, подготовку мятежа. К тому же бумаги были состряпаны задним числом уже после того, как Носовича освободили, а Алексеева

расстреляли с группой «бывших». Впоследствии и эти бумаги были уничтожены. Как объяснил мне Власик: «Насчет заговора точно, все знали, доказывать времени не было». — «Такая формулировка не имеет юридической силы», — сказал я. — «Революционная формулировка», — беззаботно возразил он. «Не революционная, а бандитская!» Он побагровел от таких слов: — «То есть как это так?» — «Очень просто. Подозреваю — убью: таким правилом может руководствоваться кто хочет, и белогвардеец, и простой уголовник. Что же в этом от революции?»

Вероятно, и Сталин, и Власик, и другие люди, причастные к уничтожению военспецов, не чувствовали твердой уверенности в своей правоте, может быть, даже опасались, что с них спросят. И возрадовались они, узнав, что полковник Носович перешел к белым! А затем оный полковник сам преподнес им оправдательный козырь. Он подал генералу Деникину докладную записку о своей деятельности в красном штабе, особо выделив контрреволюционную работу, в том числе организацию «заговора» в Царицыне. Это главный документ, освещающий те печальные события, но считать его правдивым никак нельзя. Ведь Носович бежал к Деникину не потому, что идеи белого движения были ему очень уж дороги (мог бы перебежать гораздо раньше), а из-за своей трусости и беспринципности. Его арестовали один раз — чудом спасся от смерти. И в штабе Южного фронта находился под подозрением, при первой же неудаче на нем могли отыграться, поставить к стенке. Надежней было перейти к белым, а потом убраться подальше от войны. Но для этого он должен был реабилитировать себя в глазах офицерства, в глазах Деникина. Доказать, что не столько приносил пользу красным, сколько вредил им. А факты — пожалуйста: заговор в Царицыне, о котором шумят сами красные. Вот подробности, вот фамилии. Тем более, что эти данные никому не могли повредить: все названные Носовичем люди были уже расстреляны.

Мне казалось тогда, и впоследствии я не изменил своего мнения, что военспецы, бывшие офицеры, пострадали в Царицыне не из-за причастности к заговору, а из-за того, что были присланы Троцким и считались его ставленниками. А Иосиф Виссарионович, я это заметил сразу, относился к Троцкому с неколебимой ненавистью. Эта ненависть распространялась на всех и на все, что было связано с Троцким. Именно поэтому не сложились взаимоотношения Сталина с хорошим человеком, известным нашим генштабистом Андреем Евгеньевичем Снесаревым, которого можно считать самым первым военным советником Иосифа Виссарионовича. Авторитетный военный ученый Снесарев прибыл из Москвы в Царицын в мае 1918 года, чтобы возглавить обширный Северо-Кавказский военный округ. Сталин, как мы знаем, приехал несколько позже и с менее широкой целью — укрепить оборону волжской цитадели. На первых порах эти руководители успешно сотрудничали, помогая один другому. Объединяла общая работа: создание и укрепление новой Красной (для генерала Снесарева просто русской) армии, дабы остановить кайзеровские войска, вышедшие к устью Дона. Однако взгляды кое в чем рознились. Снесарев считал главной задачей борьбу с немцами, а Сталин — не только с немцами, но и, прежде всего, с контрреволюцией, с белогвардейцами. Но взаимное понимание существовало.

Они вместе выезжали на линию фронта, в войска. Представьте себе картину: Сталин в скромной полувоенной одежде и Андрей Евгеньевич в форме генерал-лейтенанта царской армии, при погонах и знаках отличия,

чем удивлял и шокировал командиров полупартизанских полков и батальонов новой рабоче-крестьянской армии. А Сталин уважительно относился к такой генеральской принципиальности. Однако до поры до времени.

Положение изменилось, когда Иосиф Виссарионович узнал, что Снесарев направлен в Северо-Кавказский военный округ не только по предложению начальника Генерального штаба М. Д. Бонч-Бруевича, но и по настоянию Л. Д. Троцкого. И что Троцкий из Москвы непосредственно связывается с командующим округом, давая ему указания, игнорируя Сталина. А Снесарев Иосифа Виссарионовича не информирует. Чей он человек?

В июле 1918 года генерал-лейтенант был арестован вместе со своим штабом и оказался на той второй барже, которая была предназначена для «внутренней контры». Однако Снесарев, как и Карбышев, был вскоре отпущен и уехал из Царицына. Потом, разобравшись что к чему, Иосиф Виссарионович сожалел о случившемся. И навсегда сохранил добрую память о своем первом военном советнике. В 1930 году Андрей Евгеньевич был взят под стражу органами ОГПУ по обвинению в руководстве некоей антисоветской группой бывших офицеров. Приговорен к расстрелу. Узнав об этом, Иосиф Виссарионович засомневался и послал Ворошилову записку: «Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10 годами. Сталин». Это подействовало. А затем Андрей Евгеньевич был вообще освобожден, дожил до 1937 года и тихо скончался дома на руках своей милой дочери Евгении Андреевны.

Ненависть к Троцкому и ко всему, что исходило от этой личности, заставляла Сталина, с одной стороны, отталкивать от себя многих людей, а с другой, это же самое чувство объединяло его с любым противником Льва Давидовича: в частности, в Царицыне, с командармом-10 Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Между ними, казалось бы, мало общего, но они с полуслова понимали друг друга, словно связанные духовным родством.

Ворошилов держался со Сталиным, как со старшим братом: вроде бы вровень, позволяя себе и шуточки, и словесные выпады, но и с большим уважением, с безусловной почтительностью. Ростом оба невысоки, Сталин сложен не лучшим образом, а Ворошилов строен, ловок, легок, подтянут. Иосиф Виссарионович замкнут, нетороплив, слова произносит веско, обдуманно. А Ворошилов горяч, вспыльчив, речь его часто опережает мысли. Сталин прекрасно владеет собой, по его лицу, жестам, по тону не поймешь настроение. У Ворошилова же все отражается в карих живых глазах: и радость, и злоба. В гневе лицо его багровеет, губы маленького рта плотно сжимаются, пальцы вздрагивают. Когда Климент Ефремович в таком состоянии, противоречить ему осмелится не каждый.

Иосиф Виссарионович, к которому сходились в Царицыне все нити военного и гражданского управления, предпочитал оставаться в тени, жил в своем вагоне, стоявшем на станционных путях, а не в городе. Не любил появляться на людях, произносить речи. Он не из тех, кто мог произвести впечатление на толпу, зажечь ее, выкрикивая горячие лозунги. Понимая это, он не занимался тем, что могли лучше сделать другие. Зато он обладал даром, который дается немногим. Сталин умел и любил обдумывать, взвешивать, плести сеть нужных ему взаимоотношений, подготавливать требуемую ситуацию. А затем, приняв решение, упрямо добиваться его выполнения.

Иосиф Виссарионович действовал размеренно, последовательно, настойчиво, словно бы экономя энергию, а Ворошилову, казалось, этой энергии некуда было девать. Спал мало, вскакивал рано, и одно стремление постоянно обуревало его: организовывать, приказывать, руководить. Если у него не было сразу десятка забот, сиюминутных задач, он закисал, нервничал.

Ни с кем, пожалуй, в Царицыне не чувствовал себя Сталин так легко и свободно, как с Климентом Ефремовичем. И на «ты» был лишь с ним одним, хоть и называл, как всех своих партийных товарищей, обязательно по фамилии. Только с Ворошиловым он тогда смеялся, причем смех у него был негромкий, хрипловатый, гортанный и какой-то очень открытый, захватывающий. От души радовался человек. Малоподвижное лицо его оживлялось, добрело, влажно поблескивали глаза. Смех очень менял Иосифа Виссарионовича.

Я понял, откуда меж ними такое взаимопонимание и близость, когда узнал от Ворошилова, что знакомы они давно, с апреля 1906 года. Климента Ефремовича, приехавшего в Стокгольм на партийный Съезд, поселили в уютной комнатке, куда вскоре привели еще одного делегата, который, знакомясь, назвал фамилию Иванович. Был этот делегат жизнерадостен, любил посмеяться, охотно слушал и рассказывал комические истории. Климент Ефремович чувствовал себя скованно в заграничном городе, не решался зайти в одиночку в ресторан, помешавшийся в их доме на первом этаже: оттуда доносились вкусные, манящие и не всегда понятные запахи. А новый знакомый, оказавшийся грузином Джугашвили, увлек его попробовать тамошнюю кухню. Ну и какое-то интересное приключение вышло у них там (мужчины-то были молодые), в подробности они не вдавались, но каждый раз, когда вспоминали, им становилось весело.

Видя смеющегося Иосифа Виссарионовича, я легко представлял его юным — стеснительным, добрым. Тем более что там, в Царицыне, сорока лет от роду, он выглядел далеко не старым, даже бравым, особенно когда закручивал кончики густых, чуть рыжеватых усов. Был хорошим собеседником. Любил театр. В ту пору в Царицыне гастролировала довольно интересная труппа москвичей, уехавших от голода на более-менее благополучный юг. Были известные актеры, молодые красивые актрисы, одной из которых увлекся Сталин (об этом мы еще вынуждены будем вспомнить). Любопытно было наблюдать, как Иосиф Виссарионович собирался на вечерний спектакль (на свидание!). Выходил в тамбур или спускался из вагона в тапочках, неся щетку и гуталин. Сам чистил сапоги на виду у часовых, у всех (это при его-то положении члена правительства, особого уполномоченного на юге!).

Вообще он очень следил за собой, аккуратно одевался, каждый день брился. Военная фуражка, заломленная по-казацки, чудом держалась на копне жестких волос. А как охотно и лихо козырял он в ответ на приветствия — пошли на пользу строевые занятия в запасном сибирском полку!

Власик был недоволен тем, что Сталина трудно охранять по вечерам, что он часами остается наедине с женщиной и в вагон является очень поздно. Контра может пронюхать, устроить засаду… А мне нравилась простота Иосифа Виссарионовича, его естественный демократизм. Но уже тогда, озабоченный многочисленными делами, ожесточающейся борьбой, он смеялся все реже, становился более суровым…

Да, старый друг, как говорится, лучше новых двух, тем более такой, каким был для Сталина Ворошилов; вместе прошли длинный и нелегкий путь. Но ведь и с Троцким оба они встречались: он для них давний знакомый. Более того, ему доверен высокий руководящий пост, он Председатель Революционного Военного Совета всей республики. Причем, сам же Сталин и доверил. Парадокс, но к вознесению Троцкого, к его военной карьере Иосиф Виссарионович был, оказывается, лично причастен. В революционной спешке, вероятно, не оцепив все последствия, он, как говорится, руку приложил. Вот постановление Совета Народных Комиссаров, опубликованное «Известиями ВЦИК» 14 марта 1918 года:

«Ввиду ходатайства члена Высшего Военного Совета товарища Шутко об освобождении его от занимаемой им должности члена Высшего Военного Совета это ходатайство удовлетворить. Товарища Троцкого назначить членом Высшего Военного Совета и исполняющим обязанности председателя этого Совета.

Товарища Троцкого, согласно его ходатайству, освободить от должности Народного Комиссара по иностранным делам. Временным заместителем Народного Комиссара по иностранным делам назначить товарища Чичерина.

Товарища Подвойского, согласно его ходатайству, от должности Народного Комиссара по военным делам освободить. Народным Комиссаром по военным делам назначить товарища Троцкого.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары В. Карелин, И. Сталин».

Официальный документ, черным по белому. Откуда же у Иосифа Виссарионовича такая неприязнь, такая ненависть к Троцкому? Почему Ворошилов морщился, как от зубной боли, слыша эту фамилию? Что произошло, что изменилось?

Никогда прежде не сталкивался я с политиками, с партийными деятелями, совершенно не понимал их стремлений и, по совести сказать, испытывал брезгливость от их хлопот. Мне представлялось, что каждая партия и каждый ее функционер озабочены только одним: отпихнув других, добраться до власти, отхватить для себя и своих сторонников кусок поувесистей… Подчеркиваю, для себя и для своих — вот что было противно мне, с младых ногтей усвоившему: добиваться собственного благополучия за счет кого-то — постыдно. Любая борьба за власть — это, в конечном счете, борьба за перераспределение благ. Одни отнимают ценности у других. Тот — беднеет, другой — богатеет, потом — наоборот. Вечная история. Уж распределили бы эти ценности как-нибудь по достоинству человека, исходя из той пользы, которую он приносит обществу. Между прочим, любовь моя к генералу Брусилову зиждилась не только на глубоком уважении к его военному дарованию, но и на духовной близости. Алексей Алексеевич был образцом честности, он говорил, что ни в чем и никогда не ищет для себя выгоды и наград, не о своем благополучии печется, а токмо о благе России, — и это была правда.

В начале нашей совместной работы мне казалось, что Сталин тоже принадлежит к числу кристальных людей, которые живут и трудятся лишь ради высокой идеи, не заботясь о собственных интересах, не опускаясь ради них до интриг и склок. Такие люди могут ошибаться, но за целеустремленность, за преданность делу им прощается многое. Кроме того, я испытывал признательность к Иосифу Виссарионовичу за его

заботу обо мне. Привязанность моя к нему и дружеское расположение возрастали, углублялись. Но при всем том был момент, когда в фундаменте наших, так основательно складывавшихся отношений едва не возникла трещина. И косвенным виновником был все тот же Троцкий.

Вот фактическая сторона этого дела. В самом конце сентября 1918 года был учрежден Революционный Военный совет Южного фронта. Иосиф Виссарионович хотел, чтобы командующим фронтом назначили Ворошилова. И сам Климент Ефремович надеялся и стремился занять новый пост, хотя мне лично думалось, что он совершенно не готов к этому. Одно дело командовать полупартизанской армией на сравнительно небольшом участке и совсем другое — руководить действиями войсковых масс на огромном пространстве, задумывать и осуществлять крупномасштабные операции, обеспечивать снабжение, пополнение, обучение резервов и многое, многое другое. Тут одной энергичности и желания мало, нужны опыт, знания, способности. Мне казалось, что Сталин поддерживает Ворошилова лишь потому, что сам имеет весьма смутное представление о руководстве войсками, об оперативном искусстве и тем более — о стратегии. И невдомек мне было, что они просто вели политическую игру.

В общем я считал правильным, что командовать Южным фронтом поставили боевого генерала П. П. Сытина, а помощником утвердили Ворошилова. Конечно, Сытин никогда звезд с неба не хватал, они приходили на его погоны с выслугой лет, но человек он был добросовестный, а главное — с солидным военным опытом. Не вызвало недоумения и то, что штаб фронта намечено было разместить в Козлове. Такой крупный руководящий орган не должен находиться близко от передовой, разжигая у противника соблазн разгромить его. И другое: в полосе фронта не только царицынское направление, фронт велик, и каждый его участок по-своему важен. А район Царицына — как раз полоса для одной армии. Управлялась здесь 10-я, ну и дальше управится, особенно если усилить вооружение.

С первым положением: Ворошилов — помощник командующего, — Иосиф Виссарионович, как я понимал, мог в конечном счете согласиться. Сам он — член Реввоенсовета фронта, значит, уже два голоса есть. Еще один член Реввоенсовета Минин занимал нейтральную позицию и не мог серьезно влиять на ход событий. Но решение дислоцировать штаб и Козлове перетянуло чашу весов. «Троцкий хочет перевести нас туда и оторвать от нашей десятой армии, — говорил Иосиф Виссарионович. — Троцкий намерен лишить нас реальной опоры. Он поддерживает требование Сытина, чтобы члены Реввоенсовета не вмешивались в оперативные вопросы. Командовать будет Сытин, а мы — пешки при нем. Троцкий желает превратить нас в безголосых наблюдателей. Не выйдет!»

Взрыв, если так можно выразиться, произошел 29 сентября. Стремясь достигнуть разумного согласия, Сытин сам приехал в Царицын. С ним прибыли Минин и член Реввоенсовета республики Механошин — «соглядатай Троцкого», как называл его Сталин.

Иосиф Виссарионович держался на заседании спокойно, с достоинством, охлаждая порывы Ворошилова, когда тот начинал горячиться. Безусловно и категорически отверг Сталин требования о невмешательстве в оперативные вопросы и о размещении штаба фронта в Козлове. Минин осторожно, с оговорками, поддержал его.

Впервые присутствовал я на Военном совете красных столь высокого уровня, и многое показалось мне странным, перевернутым с ног на голову. Испокон веков в армии властвовал неписаный закон: если старший начальник каким-то образом дал понять, что не полностью удовлетворен тобой, твой долг немедленно подать рапорт о переводе или отставке. Это дело чести не только офицерской, но и просто человеческой. Конечно, после февральской революции, когда в армии появилось много скороспелых офицеров, особенно из евреев, положение значительно изменилось. Порядочность, достоинство все больше отходили на задний план, уступая нахрапу, обману, карьеризму. Вот и теперь: о какой чести и дисциплине можно говорить, ежели Ворошилов видел в своем начальнике не авторитетного полководца, старшего наставника, а лишь царского генерала, чуть ли не врага, оттесняющего его от кормила власти. Сработаться, понять друг друга на такой основе не было никакой возможности.

Разошлись.

Ворошилов и Минин отправились вместе со Сталиным в штабной вагон, где продолжили без Сытина и Механошина неофициальное совещание. Впрочем, почему неофициальное? Только протокол не велся, а в остальном это было форменное заседание Реввоенсовета Южного фронта, на котором присутствовал помощник командующего и оба члена Реввоенсовета. Не было, правда, самого командующего, в чьи оперативные решения собравшиеся не имели нрава вмешиваться, но это не смущало их. По старым понятиям участники такого совещания за спиной своего начальника преступали закон, являлись заговорщиками и подлежали суду. Но времена-то были уже другие.

Сталин говорил немного, давая возможность высказаться Ворошилову. А тот, обращаясь к Минину, доказывал, что Троцкий ведет свою линию откровенно и нагло, насаждая повсюду верных себе людей. Он оторвался от партии, слишком долго находясь за границей, а теперь ищет себе опору. («Создает опору», — поправил Сталин.)

Для меня все это звучало, как откровение. Впервые услышал я тогда фамилии Калинина, Фрунзе, Артема, Орджоникидзе. Оказывается, это — последовательные большевики, которые проделали весь путь борьбы вместе с Лениным, а сейчас Троцкий стремится оттеснить их на второй план. Не обидно ли это? («Не только обидно, но и совершенно неправильно!» — опять уточнил Сталин.)

Разговор в салоне затянулся почти до утра. Не имея привычки к ночным бдениям, я несколько раз задремывал в кресле. Наверное, можно было уйти, испросив разрешения, но мне казалось, что Иосиф Виссарионович огорчится. Последнее время повелось так, что я не только знакомился со всеми важнейшими документами, но и находился при Сталине на всех совещаниях, встречах, касавшихся военных дел. Было очевидно, что он приобщает меня к своим заботам, и такое доверие было небезразлично мне.

Результатом заседания явилась телеграмма, отправленная утром в Москву, в Реввоенсовет республики, следовательно, тому же Троцкому. Содержание ее представлялось мне беспрецедентным: она требовала снять Сытина с поста командующего Южным фронтом и назначить на его место Ворошилова, чья подпись, между прочим, тоже «скромно» стояла под этим документом.

Какой смысл жаловаться Троцкому на действия Троцкого? Но я не знал тогда, что Иосиф Виссарионович, словно опытный шахматист, рассчитывает игру на несколько ходов вперед.

Прошли сутки, и понеслась в Москву к Троцкому еще одна телеграмма: положение Царицына становится все более серьезным, требуются точные указания.

Они, эти указания, поступили 3 октября. Телеграмма Троцкого была резкой: «Приказываю тов. Сталину, Минину немедленно образовать Революционный Совет Южного фронта на основании невмешательства комиссаров в оперативные дела. Штаб поместить в Козлове. Неисполнение в течение 24 часов этого предписания заставит меня предпринять суровые меры». О Ворошилове вообще не упоминалось, как о личности в данном случае совсем несущественной, чем Климент Ефремович был кровно обижен. А Сталин, к моему удивлению, остался доволен. Даже улыбнулся, но не по-доброму, а как-то мстительно: скорее не улыбнулся, а усмехнулся, холодно щурясь:

— Теперь у нас есть все основания обратиться непосредственно в Центральный Комитет, — сказал он.

Вот эта депеша, посланная из Царицына в 18 часов 30 минут того же дня:

«Председательствующему ЦК Партии коммунистов Ленину.

Мы получили телеграфный приказ Троцкого. Мы считаем, что приказ этот, написанный человеком, не имеющим никакого представления о Южном фронте, грозит отдать все дела фронта и революции на Юге в руки генерала Сытина, человека, не только не нужного на фронте, но и не заслуживающего доверия и потому вредного. Губить фронт ради одного ненадежного генерала мы, конечно, не согласны. Троцкий может прикрываться фразой о дисциплине, но всякий поймет, что Троцкий не Военный Революционный Совет Республики, а приказ Троцкого не приказ Реввоенсовета Республики.

Необходимо обсудить в ЦК вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересов фронта и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов, совершенно не считающихся с условиями места и времени и грозящих фронту развалом. Пересмотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных контрреволюционеров.

Все вопросы мы предлагаем ЦК обсудить на первоочередном заседании, на которое в случае особенной надобности мы вышлем своего представителя.

Член ЦК партии Сталин.

Член партии Ворошилов».

Вот так случайно оказавшийся между двух огней порядочный человек генерал Сытин одним росчерком пера был зачислен в «предатели из военных специалистов». А себя авторы депеши величали «виднейшими членами партии» — эта лишенная элементарной скромности формулировка покоробила меня больше всего, о чем я и не медлил сообщить Иосифу Виссарионовичу. Он посмотрел гневно, с лица отхлынула кровь. Одно его слово, и я тоже окажусь в числе предателей. Но молчать не буду, нет.

— Я предупреждал вас: выскажу любую неприятность.

— Помню, — резко произнес Сталин. — Но какой смысл махать руками после драки? Следовало сказать раньше.

— Моего мнения не спрашивали.

— Впредь читайте документы за моей подписью и уточняйте формулировки, — он совсем остыл и говорил без обиды, по-деловому. — И не стесняйтесь критиковать меня.

— Вы хотели сказать — не бойтесь. Я и не боюсь. За страх не служу, выгоды не ищу.

— Это хорошо. Это очень даже хорошо, дорогой Николай Алексеевич, — улыбнулся он.

6 октября Сталин уехал на несколько дней в Москву, чтобы продолжить свое сражение с Троцким. И, словно воспользовавшись его отсутствием, белые начали второе наступление на Царицын, более мощное, гораздо лучше подготовленное, нежели летом. Я безотлучно находился на Московской, 12, обобщая и анализируя донесения, стекавшиеся в штаб армии. И чем дальше, тем непригляднее обрисовывалась картина. Оборонительные наши линии прогнулись под натиском белых. До 10 октября войска еще сохраняли единый фронт, отступая понемногу и довольно организованно. Однако за неделю боев были израсходованы почти все резервы, мало осталось боеприпасов, а натиск противника не уменьшался, даже возрастал. По имевшимся у меня сведениям (от пленных), командующий Донской армией генерал Денисов ввел в действие едва половину своих сил. Самое худшее для нас было еще впереди, о чем я и сказал Ворошилову, когда тот, усталый до полусмерти, грязный и голодный, появился наконец в армейском штабе. И еще в резкой форме заявил ему, что армия не имеет постоянного твердого руководства. Сам Ворошилов и его ближайшие помощники бросаются туда, где складывается критическое положение, совершенно упуская из виду другие участки. Заштопают одну дыру, а в это время оборона лопается еще в двух местах.

Разговор этот происходил в столовой у Екатерины Давыдовны. Ворошилов торопливо ел, поглядывая на меня красными от бессонницы глазами, лицо было обиженное, сердитое. Казалось, скажет грубость: сидишь, мол, в тылу, рассуждаешь… Но в голосе его прозвучали виноватые нотки:

— Что же вы предлагаете, а?

— Вам выезжать на передовую лишь в крайнем случае. Там есть начальники дивизий, командиры полков… Основное внимание — станции Воропоново. Желательно заранее подтянуть туда оставшиеся резервы. На этом направлении Денисов делает главную ставку.

— Почему?

— Достаточно взглянуть на карту с нанесенной обстановкой, оценить конфигурацию.

— Где это карта?

— Пойдемте.

Многое из того, что увидел тогда Ворошилов на большой штабной карте, охватывающей не только подступы к Царицыну, но и соседние участки, явилось для него неожиданным. Хорошо зная положение одной дивизии, он, как оказалось, имел смутное представление насчет общего состояния дел. По моей настоятельной просьбе он потом больше суток пробыл в штабе армии, занявшись наконец наболевшими вопросами, увязкой, согласованием действий соединений и частей, выработкой общего плана

на ближайшие дни. Но я видел: чувствует себя не в своей тарелке, не осознает необходимости такой работы. Он привык быть там, где трудно, в батальоне или в полку, отражать атаки и ходить в контратаки, увлекая за собой бойцов, руководить по принципу «делай, как я!». А от командарма требовалось совершенно другое. Подняться до обобщений он был не способен.

Как я и предполагал, в середине октября самые ожесточенные бои развернулись возле станции Воропоново. Там ясно обрисовывался таран, которым генерал Денисов хотел пробиться к Царицыну. Однако нам удалось подтянуть туда кое-какие резервы, перебросить несколько батальонов с других участков.

Слава богу, к этому времени в Царицын вернулся Сталин, и оборона обрела надежное руководство. Иосиф Виссарионович почти не покидал своего вагона, координируя действия наших сил, решая вопросы снабжения, резервов и т. д., а Ворошилов получил полную возможность заниматься тем, чем привык. Сведения от него поступали то из Морозовской дивизии, то из отряда бронепоездов. А когда возник кровавый узел у станции Воропоново, Климент Ефремович оказался, разумеется, там.

Постоянной связи со станцией не было, донесения приходили отрывочные, скудные. Сеяли панические слухи беженцы. В городе толковали о том, что казаков под Воропоново тьма-тьмущая, они неудержимо прут на Царицын, начальник 1-й Коммунистической дивизии Худяков убит, а командарм Ворошилов исчез неизвестно куда.

— Николай Алексеевич, — обратился ко мне Сталин. — Сейчас отправляем на Воропоново бронелетучку. Поезжайте, выясните, что с Ворошиловым. Разберитесь в обстановке и сообщите свои предложения.

— Будет выполнено, — ответил я.

Меня особенно встревожили слухи о гибели Худякова. Других товарищей, конечно, тоже жалко, однако без потерь на фронте не обойтись. Но если нет Худякова — кому же воевать?! Там, на передовой, он был, по моему мнению, главным действующим лицом!

Николай Акимович Худяков представлялся мне человеком незаурядным, с большим будущим. Это был опытный, храбрый офицер, заслуживший признание в боях с германцами. О его воинском мастерстве, о его мужестве свидетельствовали хотя бы награды: ордена Георгия Победоносца и Станислава, Георгиевское оружие. Офицеров с таким набором наград можно было встретить нечасто. И если 10-я армия Ворошилова добивалась успехов, то значительную роль в этом играл бывший штабс-капитан Худяков, нынешний начальник 1-й Коммунистической дивизии.

Куда же без него?

Через полчаса короткий состав из паровоза и двух блиндированных вагонов уже находился в пути. Ехали быстро и без задержек. Навстречу, вдоль железнодорожного полотна, двигались повозки с ранеными, шли группы беженцев. Много было одиночных бойцов, некоторые — без оружия.

Впереди, над горизонтом, виднелись клубы дыма.

Бронелетучка остановилась у входных стрелок, проникнуть дальше на станцию не было возможности. Все пути были забиты эшелонами, отдельными вагонами, пассажирскими и товарными. Много беженцев и неорганизованных бойцов. У первого встречного командира я узнал, что

Ворошилов где-то на станции, что километрах трех отсюда прорвались белые, их отбросили штыковой атакой. А затор на путях потому, что нет ни одного паровоза.

Кое-что прояснилось. Моряку, начальнику бронелетучки, я приказал выявить вагоны с наиболее важным грузом (в первую очередь — боеприпасы) и сформировать состав для скорейшей отправки в Царицын. Но с отъездом подождать, пока я найду Ворошилова и приготовлю донесение для Сталина.

Разыскивая штабной вагон Климента Ефремовича, я обратил внимание вот на что. Неподалеку от Воропоново велась беспорядочная пальба, заглушаемая довольно сильной артиллерийской канонадой. Горели соседние хутора. А на самой станции — ни одного разрыва, ни одного пожара. Сделать вывод было не очень трудно. Казаки знают о скопившихся здесь эшелонах и намерены захватить их целехонькими. Отвлекая наше внимание по фронту, они наверняка готовят неожиданный удар с фланга или даже с обоих флангов. Причем удар будет нанесен в ближайшие часы, до наступления темноты. Ночь — не для казачьей лавы. На станции, среди рельсов и шпал, вагонов и стрелок — не самое подходящее место для конницы в темное время суток. А ждать утра белым невыгодно: за длинную ночь добыча может ускользнуть. Казаки не такие люди, чтобы упустить воинский приз.

Штабной вагон Ворошилова стоял в противоположном конце станции на вторых путях. К счастью, Климент Ефремович оказался на месте. Было еще несколько командиров, среди них (чему я очень обрадовался!) — начдив 1-й Коммунистической Худяков, хоть и раненый, но обходившийся без посторонней помощи. Показалось, что и Ворошилов ранен: на порванном, обгорелом френче — пятна крови. (Но выяснилось, что зацепило не его — помогал вынести пострадавшего товарища.)

Климент Ефремович был доволен моим появлением, расспрашивал, как в Царицыне, на других участках фронта; сказал, что напишет Сталину, а подробно, мол, сами доложите ему. На мой вопрос, как он оценивает положение, Ворошилов ответил довольно сдержанно: очень трудно, долго не устоим… Худяков выразился более откровенно: «Не будет подкреплений, до завтра Воропоново наше. Утром — конец».

Я посоветовал создать на дорогах заслоны, чтобы останавливать уходящих бойцов и возвращать их на передовую. Таких дезертиров (в тот период их считали не дезертирами, а несознательными гражданами) было не просто много, а слишком много: более пятидесяти процентов личного состава. Что спросить с мобилизованных крестьянских парней, у которых одна думка: не помереть ни за белых, ни за красных. Так вот, заслоны должны останавливать их и возвращать на передовую.

Худяков тотчас послал людей исполнить этот совет. А вот мои слова о том, что казаки постараются неожиданным налетом сегодня же захватить станцию, были встречены с большим сомнением.

— Не сунется казара, — заявил Худяков. — Три атаки мы сегодня отбили, кровь из них выпустили. Они тоже, думаю, не железные.

— Свежих бросят, — возразил я. — У них есть свежие силы.

— Может, и верно. Для казаков эти вагоны дюже приманчивые, — поддержал кто-то.

— Осторожность не помешает, — рассудил Климент Ефремович. — Одну роту выдвинем вот сюда, перекроем балку. Другую — на северо-запад. Распорядись, Худяков.

Тот, не спеша, хромая, вышел. Предложив мне выпить чаю, Ворошилов пристроился возле откидного столика писать донесение. Но едва я успел сделать несколько глотков, на путях раздались крики:

«Казаки! Тикайте!»

— А, черт! — у Ворошилова сломался карандаш. Он вскочил, поправляя кобуру, прислушиваясь к истошным бабьим воплям. — Все за мной!

На станции — полный хаос. Беженцы метались из стороны в сторону, лезли под вагоны. Ревели дети. Раненые красноармейцы ковыляли, кто как мог, некоторые ползли, попадая под ноги шарахающейся толпе. Бойцы станционной охраны пытались остановить бегущих, но когда затрещали близкие выстрелы, сами кинулись врассыпную, бросая винтовки.

Паника — это и нужно казакам! Ворваться с ошеломляющим гиканьем и свистом, врезаться в толпу, сбивая с ног бегущих. Удар клинка сверху, самым концом, с потягом — и голова надвое, как спелый арбуз!.. И моя голова тоже?!

Ворошилов и еще трое с ним катили по платформе пулемет. Я прикинул: ту сторону, где вокзал, они прикроют. А правее? Там никого нет! Побежал туда, за вагоны, схватив валявшуюся винтовку и жалея о том, что хорошо вооруженная бронелетучка осталась у входных стрелок. Вот какой-то пригорок, молодые, испуганные красноармейцы в свежих неглубоких окопах. Напряженные лица. Сейчас сорвутся эти красные солдатики, бросятся в степь…

— Лежать! — скомандовал я. — Всем оставаться на месте? Огонь по моей команде!

Упал рядом с «максимом». Бледный парнишка в кубанке никак не мог заправить трясущимися руками ленту. У него будто окоченели и не гнулись толстые грязные пальцы. Я оттолкнул его, вставил ленту, прилег поудобней и только тогда осмотрелся внимательно, оценил обстановку. Против нас была не конница. Казачья лава катилась по пологому склону гораздо левее, а здесь наступала пехота. Солдаты, наверное, торопились добраться до станции не позже кавалеристов, чтобы тоже отхватить кус добычи. Шли быстро, почти бегом, не ложась под редкими выстрелами. Да и что было ложиться: разрозненная пальба с нашей стороны не причиняла им вреда.

— Спокойно! — крикнул я красноармейцам. — Выбирайте цель, чтобы бить наверняка! Сейчас мы их пощекочем!

Можно было полоснуть очередью, заставить белых уткнуться носом в землю, но я не спешил. Важна первая, неожиданная очередь, чтобы сразить несколько атакующих, дать острастку другим. Чтобы лежали и не рыпались, стервецы! Пулемет — большая сила в умелых руках, а я эту машинку знал досконально. После русско-японской войны мы, молодые офицеры, очень увлекались этим новым, перспективным оружием. По сложности сие, конечно, не паровоз, к которому я в свое время охладел. И вообще, я долгом почитал владеть всеми огнестрельными средствами, кои имелись на вооружении нашей армии. А иначе какой к черту из меня командир. Немало часов провел я в пулеметной команде, разбирая и собирая «максим» и более легкие кавалерийские пулеметы, учился прицеливаться, стрелять без промаха.[7]

Ощутил пальцами знакомое сопротивление гашетки и жаждал преодолеть его, но что-то не позволяло мне сделать последнее: нажать, надавить. Это ведь даже увлекательно: подчинить себе резко, жестко

вздрагивающий металл, ровно повести ствол и увидеть, насколько точно легла цепочка твоих смертоносных пуль.

Ну, нажимай, бей!

Не сразу понял я, что не воспринимаю наступающих как противника. Что я привык видеть в прорези прицела? Мишенные фигурки японцев или германцев. Мне доводилось стрелять в наступающих немцев: они были в чужих шинелях, в касках, они вообще были врагами, а тут передо мной находились те самые солдаты, вместе с которыми я сражался три года. Наши шинели, папахи, погоны! Казалось, что я тоже двигаюсь вместе с ними. Только чуть впереди и сбоку, и вижу их всех. Но почему они идут на меня с такой опаской, почему страхом и ненавистью искажены их лица, почему так страшно блестят их штыки? А офицеры, мои коллеги, выставили револьверы, шагают пригнувшись и целятся прямо в меня.

Пора, пора было нажать гашетку, я понимал это, но внутренний тормоз мешал сделать последнее усилие. Этот офицер, что впереди, он так похож на меня, даже одет так, как я любил одеваться. Фуражка с крутым, почти вертикальным «морским» козырьком, короткая, чуть ниже колен, шинель. Сухощавая, подтянутая фигура, впалые щеки. Может, это действительно я, довоенный и военного времени, спокойный, уверенный в своей правоте, влюбленный в чудесную женщину, благородный, ничем не униженный и счастливый?! Но этой женщины уже нет, и вообще нет ничего позади, все сжег бушующей над Россией огонь: многое переменилось вокруг, а он (ты?) остался по-прежнему бодрым, беззаботным, веселым? Где отсиделся, как укрыл душу свою? Или ты принципиально против всего, что есть, ты за старое, сгнившее, над чем смеялись, издевались мы сами до всех этих революций?! Нет, ты — не я! Не хочу и не могу быть таким, я ушел дальше, вперед, а ты не смог… Зачем же ты раздваиваешься, мучаешь меня?! Я ведь не поверну к вам, белые, я чужой для вас, я убивал таких, как вы, на барже!

Пулемет размеренно забился в моих руках, выпуская длинную, в половину ленты, очередь. И те, кто обнаглев, бежали в центре цепи, кто был ближе ко мне, полегли, не успев осознать опасность. А я засмеялся. Это была отличная очередь. Стрелял не какой-то фабричный вахлак, только что надевший шинель, а кадровый военный. Даже унтеры, прослужившие при пулеметах два-три года, не могли похвастаться, что сразили одной очередью полдюжины наступающих. А я уложил их: и того офицера, наверное, капитана, в моей фуражке, в моей шинели. Может, я убил самого себя, прошлого?

Больше стрелять я не мог. Не было сил притронуться к пулемету.

— А, мерзость! — выругался я, опасаясь, что вновь начнет колотить меня нервная дрожь, как случалось после смерти моей Веры. Нездоров я был все-таки, нервы пошаливали.

Встал и зашагал на станцию, где сник бабий визг, прекратилась бессмысленная суета. Слабость и неясность были во мне. Только профессиональная привычка заставляла улавливать и понимать все, что творилось вокруг. «Максим», оставленный мной, продолжал стрелять: мальчишка в кубанке очухался. А раз стреляет он нечасто и короткими очередями, значит, белые не очень-то досаждают ему. И если бы бой там возгорелся с крайним напряжением, я бы возвратился к пулемету.

В тот день я окончательно преодолел рубеж, отделявший мое прошлое от настоящей жизни, а самое главное — от будущей.

Кризис наступил 16 октября. В этот день белые расширили брешь, образовавшуюся по обе стороны Бекетовки, выбили остатки наших войск со станции Воропоново и двинулись дальше, к Садовой и к Царицыну. На этом направлении генерал Денисов ввел новые силы для развития успеха. А у нас не имелось резервов. Такое вот чрезвычайное положение: линия фронта напряжена и готова лопнуть, в одном месте — зияющая прореха, в другом, на самом опасном участке — большая дыра, в которую вливаются войска противника, почти не встречающие сопротивления.
Вечером в салон-вагоне Сталина обсуждали, что еще можно предпринять для удержания города. И даже — как вывести уцелевшие части из-под удара, если придется оставить Царицын. О том, что эта мысль уже прочно утвердилась в умах, свидетельствовало многое. Вокзал был оцеплен стрелками, выставлены пулеметы на случай, если неприятель вдруг прорвется сюда. Стоял под парами паровоз, готовый в любую минуту вывезти вагон Сталина, и еще полдюжины специальных вагонов. За вокзалом расположился отборный эскадрон с запасными лошадьми, с легкими тарантасами: на случай, если путь поезду будет отрезан и придется уходить грунтовыми дорогами. И еще — на реке возле специального причала ожидал пароход.
Предусмотрительно все это было, но грустно.
Настроение в салоне Сталина — близкое к похоронному. Уж во всяком случае — не обстановка делового совещания. Появлялись какие-то командиры, партийные и городские руководители. Сообщали невеселые новости. Бесшумно входили молодые замкнутые секретари Иосифа Виссарионовича, приносили бумаги, о чем-то спрашивали негромко. Сталин, чувствовалось, был возбужден гораздо сильнее обычного, почти не переставал дымить трубкой, изрядно отравляя воздух, но держался в общем-то хорошо, говорил обычным своим ровным голосом, и это очень нравилось мне. Проигрывать тоже надо уметь без истерики, с достоинством — это одна из отличительных черт порядочного человека.
А вот Климент Ефремович близок был к срыву. Измотали его неудачи, напряжение последних дней, потеря близких товарищей, тяжело было ему смириться с мыслью, что не может исправить, изменить положение. Безнадежно, устало смотрел он на карту. Оживлялся, когда поступали донесения, но, не уловив в них ничего обнадеживающего, вновь скисал. Возле него, как привязанный, неотступно держался начальник артиллерии армии Кулик, чернявый, похожий на цыгана, особенно теперь, когда оброс окладистой бородой. Я мало знал Кулика и не интересовался им, составив мнение после первого же разговора. Было ясно, что уровень его не превышает фельдфебельский, в лучшем случае — уровень прапорщика военного времени. Он, вероятно, мог командовать артиллерийской батареей. При хорошем начальнике штаба справился бы кое-как и с дивизионом. Но командовать артиллерией армии? Он даже не знал, что это такое, каковы его функции. Есть пушки, есть цель: заряжай да пали — вот и вся стратегия Кулика. А поднялся он на свою высокую должность благодаря преданности Клименту Ефремовичу: Кулик не стеснялся подчеркивать это. И еще потому, что среди знакомых слыл храбрецом, не кланявшимся пулям. Я же, много насмотревшись за годы войны, перестал ценить такой элементарный, часто показной героизм, зато научился

ценить мужество более высокого рода — способность иметь свое мнение и отстаивать его перед начальством.

Созерцание аспидно-черной бороды Кулика, печальные размышления о его неспособности управлять артиллерией, видимо, и натолкнули меня на мысль, показавшуюся достаточно интересной. В этой нервозной обстановке я вообще чувствовал себя довольно спокойно и не утратил своего обычного состояния. Терять мне было нечего, если и переживал, то за Иосифа Виссарионовича, на плечи которого легла бы ответственность за все неудачи. Обидно за него. И вот еще что. Для всех окружающих, включая и Сталина, сложившаяся обстановка являлась прямо-таки трагической. Вояки-то они были недавние. А я из истории и по собственному опыту ведал, сколь переменчиво военное счастье. Доводилось нам и сдавать города, и возвращать потом их. Кроме того, я понимал, что даже при самом худшем для нас развитии событий белым потребуется не менее двух суток, чтобы овладеть Царицыном. А это изрядный срок. Чудес, конечно, не бывает, но мало ли что может случиться. Не все поддается предвидению. Захочет удача — и улыбнется нам: белые поосторожничают, допустят просчет, отодвинется срок нашего поражения, подоспеет помощь. Однако, на бога, как говорится, надейся, но сам не плошай! Сидел я, помалкивая, в углу салона, поглядывая на карту, на бороду Кулика, прикидывал. И как-то не заметил, что Иосиф Виссарионович внимательно наблюдает за мной. Подняв голову, встретил его вопрошающий и поощряющий взгляд:

— Николай Алексеевич хочет что-то сообщить нам?

— Не знаю. — Он застал меня врасплох. — Есть одна идея.

— Какая же, позвольте узнать?

— Давайте попробуем подумать за генерала Денисова, — не очень уверенно начал я.

— Ну-ну, думайте! Вам это сподручней и ближе, — раздраженно бросил Климент Ефремович.

Гневом блеснули глаза Сталина.

— Что это за тон, товарищ Ворошилов? Вы говорите совсем неправильным тоном, — резко и коротко махнул он правой рукой.

— Ничего, не беспокойтесь, — злые слова Климента Ефремовича оживили меня, вывели из равнодушного созерцания. — Он ведь прав, Иосиф Виссарионович, образ мышления генерала Денисова мне гораздо ближе и понятней, нежели ему. И не ошибусь, если заявлю: все действия Денисова определяются сейчас тем, что он и его офицеры полностью уверены в своем подавляющем превосходстве, в полном успехе, в быстрой победе.

— Допустим. — Сталин слушал меня с интересом. — Что же из этого следует?

— В этом сила Денисова, но в этом же и его слабость. Обратите внимание, он даже разведки не ведет. Он знает, что у нас ничего нет в запасе. Никаких неожиданностей с нашей стороны. Его войска движутся в колоннах, выслав лишь ближние дозоры. И эту самоуверенность мы можем использовать.

— Каким образом?

— Одну минуту, Иосиф Виссарионович… Сколько у нас артиллерийских стволов? — повернулся я к Кулику. У того аж борода дернулась от неожиданности. Наморщив лоб, он переспросил:

— Всего?

— Да, здесь, под Царицыном?
— Стволов двести наберется.
— Снарядов?
— Кое-где по сто на орудие.
— Так вот, — теперь я говорил, обращаясь к Сталину, — в нашем распоряжении вся нынешняя ночь. Это немало! Если начать прямо сейчас, к рассвету мы сумеем собрать все орудия возле Садовой. До последней пушчонки. Нет сомнений, что Денисов утром всеми силами обрушится на нас именно под Садовой, где ему сопутствует удача, чтобы проложить прямой путь к Царицыну. И вдруг по плотным боевым порядкам его частей — сосредоточенный огонь двухсот орудий. Десять, пятнадцать тысяч снарядов! Представляете, что будет?
— Сразу двести орудий? — усомнился Ворошилов. — Такого и на германской наверняка не бывало!
— Мы оголим весь остальной фронт, — полувопросительно произнес Сталин.
— Надо рискнуть. Если мы и отступим на других участках, это — не поражение, не разгром. Судьба Царицына решается под Садовой, генерал Денисов собрал там свои силы в крепкий кулак.
Все молчали. А я уже не мог сдержать себя и продолжал:
— В шестнадцатом году фронт Брусилова не имел перевеса над противником. Другие наши фронты имели, а Юго-Западный нет. Но наступать решил все же Брусилов, потому что победу добывают не бездействием, не обороной, а инициативой, смелостью, энергичностью. Алексей Алексеевич пошел на обдуманный риск, он снял незаметно для врага со всех участков артиллерию крупных и средних калибров, сосредоточил ее в районе главного удара и пробил, проломил оборонительные линии германцев, казавшиеся неразрушимыми и непреодолимыми. Так начался брусиловский прорыв, ставший примером…
— Успеем ли мы? — размышляя вслух, произнес Иосиф Виссарионович. — Товарищ Ворошилов, товарищ Кулик, сколько потребуется времени, чтобы доставить орудия с самых дальних участков?
Кулик колебался, медлил с ответом, зато Климент Ефремович, я видел, уже загорелся, почувствовав возможность сделать нечто конкретное, рискованное, почти невыполнимое, но все же возможное. Вдохновлять, распоряжаться, вести за собой — это его стихия.
— Если прямо сейчас, успеем, товарищ Сталин! Пошлю самых надежных людей, подстегнем! Кулик, показывай, где батареи!
— Приступайте, — сказал Сталин, — и приступайте без проволочки. Пусть все батареи движутся к Садовой. Там их встретят. А Николай Алексеевич позаботится о том, где выгоднее, где целесообразнее поставить орудия…
Признаюсь, наступившая ночь была одной из самых тревожных в моей жизни. Я боялся, что недооценил способностей генерала Денисова, опытности его разведки. Вдруг сейчас казаки не спят перед боем, перед решительным наступлением, а скрытно приближаются к Садовой? Вдруг они нанесут удары на тех участках, где мы сняли всю артиллерию? Опасался я и того, что наши ординарцы не разыщут в ночи батареи, что будет путаница, задержка, артиллеристы собьются с дороги, просто не успеют занять новые позиции. Все могло быть, а идея-то моя. Но не рискует только трус или равнодушный. А на войне вообще не обойдешься

без риска. Мне казалось, что Сталин понимал это и готов был поделить ответственность за принятое решение.

При всем том уповал я на одну особенность человеческой психики. В кризисной ситуации появляются у людей какие-то дополнительные возможности, дремлющие в обычное время. Там, где усилий троих не хватило бы, справляется один. Где и днем заблудиться можно, идут безошибочно, как по нитке. И особенно удивительно, что люди сами чувствуют, когда именно возникает крайняя необходимость мобилизовать все свои внутренние резервы. Причем ощущают это не отдельные лица, а сразу вся масса, находящаяся в угрожаемом районе.

К рассвету все было готово. По тогдашним меркам сосредоточить двести орудий на узком участке казалось событием невероятным. Ничего подобного еще не было в гражданской войне. Ну, и генерал Денисов — молодец, не подвел меня, действовал самым элементарным образом. И все по той же причине: абсолютно не сомневаясь в успехе. Его части выдвинулись к Садовой в походных колоннах и лишь под огнем нашего охранения начали неохотно разворачиваться в боевые порядки. Вражеская пехота заполнила все видимое пространство, и наши стрелки, безусловно, не сдержали бы натиска. А ведь вдвое больше, чем пехоты, было у Денисова кавалерии. Казачьи сотни, казачьи полки скапливались в балках и даже на открытых местах, готовые хлынуть в прорыв, гнать красных, сходу ворваться в Царицын.

И на головы этих уверенных в победе людей, в эти плотные построения точными, прицельными залпами совершенно неожиданно ударили две сотни орудий. Страшный грохот сотрясал всю округу. От одного звука кони шарахались в страхе, сбрасывая седоков, неслись куда попало. Каждый снаряд, взорвавшийся в тесных боевых порядках, убивал и калечил сразу десятки врагов. А орудия продолжали греметь, вихри разрывов взметывались все чаще. Ошеломленные, оглушенные, перепуганные белогвардейцы в панике бросились назад, кидая винтовки. А по этим толпам — еще и еще фугасы, шрапнель!

Это было форменное избиение. Артиллеристы крушили бегущих до тех пор, пока остатки пехоты и конницы не скрылись за холмами. Тогда в бой вступили наши полки. Вдохновленные успехом красноармейцы преследовали деморализованных казаков, не позволяя им останавливаться, захватывая богатые трофеи. Мы добились большого, решающего успеха, почти не имея потерь в тот день.

Так начался второй перелом под Царицыном, надолго остудивший наступательный пыл белых. И, что самое главное, это событие прочно связало мою судьбу с судьбой Сталина. Он раз и навсегда уверовал в глубину моих военных познаний, в полезность моих советов, проникся уважением не только к моим способностям (он переоценивал их), но и к авторитету генерала Брусилова. Это вообще было особенностью негибкого характера Сталина: либо он принимал человека целиком, зачисляя его в разряд «своих», либо не принимал совершенно, относясь с полным равнодушием, не замечая. Ну, и еще были, конечно, враги, достойные лишь одного — уничтожения. Оттенков Сталин почти не ведал.

На всю жизнь усвоил тогда Иосиф Виссарионович одно из правил военного искусства, понял, как важно сосредоточить на решающем участке силы и средства, нанести по противнику неожиданный, массированный удар. Сия истина, имевшая особое значение в сочетании с другими формами ведения боевых действий, для Сталина со временем

стала догмой, а любая догма, как известно, способна принести вред. Такой перекос очень и очень даст знать себя в дальнейшем. Когда Рокоссовский перед операцией «Багратион» выступит против штампа, его судьба, его жизнь повиснут на волоске. Но об этом позже.

Ну, и еще один подобный результат нашего удачного артиллерийского удара. Недавний унтер Кулик, не отличавшийся ничем, кроме способности энергично выполнять приказы, запомнился Сталину как надежный, расторопный артиллерист, хороший организатор. Спустя два десятка лет, выдвинутый на очень высокий пост, Кулик своим неразумением и неумением нанесет ощутимый ущерб техническому развитию и боевой подготовке наших Вооруженных Сил.

13

Вскоре, в том же октябре восемнадцатого, Иосиф Виссарионович уехал из Царицына. Признаюсь, мне очень не хватало его. При нем я чувствовал себя уверенно и спокойно. И вот нужно было опять привыкать к одиночеству.

Распутица и наступившие за ней морозы значительно снизили накал военных действий. Казаки старших возрастов разбредались по хуторам, чтобы зимовать дома, поправлять хозяйство. И наши полки поредели; остались на передовой лишь те красноармейцы, которые имели теплое обмундирование. Увеличилось дезертирство. Оградившись боевыми охранениями, противники расположились на зимних квартирах.

Говорят, что убийцу тянет на место, где было совершено преступление. Я, разумеется, не считал себя убийцей и уж тем более преступником, я лишь воздал должное мерзким негодяям, но мне иногда просто не верилось, что была та мрачная ночь на Волге, вонючая баржа, искаженное ужасом лицо Давниса… Может, это один из кошмарных снов, терзавших меня после смерти Веры?

Когда замерзла река, я разыскал примерно то место, где затонула баржа. День был пасмурный, тусклый. Мела поземка. Лед зеленоватый, обдутый, чистый. Неужели вот тут, близко, сотня скрюченных под низкой палубой тел в офицерских мундирах? Мои бывшие сослуживцы… И эти двое… Нет, скорее всего, под напором воды разошлись доски старой баржи, далеко унесло течением трупы, и ничего не осталось на ровном песчаном дне…

Все уплывает, проходит, отгораживается глухой ледяной прозрачностью.

Как и раньше, я представлял себе: вот доберусь до Новочеркасска, вернусь к могиле жены… Но стремление это было теперь скорее умозрительным, привычным, нежели сердечным. Меня не тянуло в Новочеркасск с прежней силой, я был уже достаточно разумен, чтобы понять: зимой туда дорога закрыта. По степи не пойдешь, в открытом поле не спрячешься, не заночуешь. А в станицах, на хуторах — заставы, сразу спросят, кто и откуда. Называть свою фамилию я не мог, слишком много грехов накопилось перед белыми. И скверно, если опознают под чужой фамилией. Шпион, значит, красный лазутчик. Только одна возможность достигнуть Новочеркасска оставалась у меня: с войсками армии, в которой я ныне служил.

Затишье на фронте отразилось и на моем образе жизни. Дел было совсем мало. Я позволял себе несколько дней вообще не являться в штаб,

сказываясь больным, и никого это не заботило. Ни разу не вспомнил обо мне Ворошилов. И это в общем-то закономерно: для него я был одним из военспецов, к которым он относился неблагожелательно. Подал когда-то дельный совет — и ладно, спасибо на этом. Климент Ефремович ведь не знал наших взаимоотношений со Сталиным. Да и вообще нелегко ему приходилось после отъезда Иосифа Виссарионовича: допекал его Троцкий телеграфными нотациями, предупреждениями и выговорами. А в конце концов даже самолично приехал в Царицын «навести порядок».

Я, конечно, не мог быть по отношению ко Льву Давидовичу объективным и беспристрастным. Симпатии мои были на стороне Иосифа Виссарионовича, его отношение к Троцкому невольно передалось и мне. Но думаю, даже если бы я раньше ничего не слышал о Льве Давидовиче, первое впечатление все равно оказалось бы отнюдь не благоприятным.

Трудное было время, суровое и голодное. Сталин, к примеру, имевший большие возможности для собственного комфорта, никогда такими возможностями не пользовался и жил очень скромно. А вот Троцкий не понимал или не желал понимать обстановки. Он прибыл в поезде из специально оборудованных бронированных вагонов — поезд был настолько тяжел, что его тянули два паровоза. Пожалуй, это был целый город на колесах с «населением» в 235 человек, со всевозможными удобствами, даже с горячей ванной. О благополучии путников заботились два десятка проводников, дюжина слесарей и электромонтеров. О здоровье — четыре медика. О питании — десять работников кухни, занимавшей целый вагон. Там хозяйничали три повара, причем один был грузин, другой армянин, а третий специалист по европейским блюдам — на все вкусы. Имелась телеграфная станция и радиостанция, способная принимать передачи Эйфелевой башни — Троцкий желал знать, что происходило в мире. Был вагон-гараж с автомобилями и цистерна с бензином. Ну и так далее. Не знаю, включались ли в общий список так называемые «лица, не состоящие в командах» — этих лиц, когда поезд прибыл в Царицын, насчитывалось восемь. Среди них запомнилась Лариса Рейснер, преданно делившая с высшим военным руководством тяготы походной жизни (уж не это ли послужило причиной того, что В. И. Ленин охарактеризовал 17 июня 1919 года положение в Ставке Троцкого точным словом — «вертеп»).

За несколько часов до прибытия Троцкого в Царицын приехал персональный духовой оркестр Льва Давидовича, высланный вперед. Музыканты, поднаторевшие в помпезных встречах, выстроились на перроне. А когда состав остановился, когда распахнулась бронированная дверь и Лев Давидович осчастливил встречавших своим появлением, грянула «Марсельеза». Все это не могло не произвести впечатление. Не на всех одинаковое, разумеется.

Охрана поезда состояла из специально подобранных людей, преданных Троцкому, в основном латышей и евреев. Девяносто человек в кожаных брюках и куртках, на левом рукаве у каждого металлический знак, отлитый по спецзаказу на Монетном дворе с надписью «Предреввоенсовета Л. Троцкий». Лев Давидович гордился своей «кожаной сотней», дал охранникам полную свободу действий: «во имя революции» они позволяли себе все, что хотели. Я насмотрелся на них. Наглые молодчики обшарили царицынские склады, загружая в вагоны все лучшее, от продуктов до мебели. Туда же перекочевали различные ценности, реквизированные у богачей. Делалось это без всякой

отчетности, и никто не знает, в чьих карманах осело золото и бриллианты, чьим семьям надолго обеспечили безбедное (мягко говоря) существование. Хватали все по принципу: после нас хоть потоп! Да и сам Троцкий, как мне показалось, относился безразлично ко всему, что в той или иной степени не задевало лично его интересов.

Внешний вид Троцкого тоже не понравился мне. Председатель Реввоенсовета Республики, можно сказать Верховный Главнокомандующий, вот и одевался бы и вел себя соответствующе. Козлиная бородка — это ладно. А вот просторное цивильное пальто и расхристанная лохматая шапка — совсем ни к чему. Хоть бы что-то от формы, хоть бы немного подтянутости. И шагал он странно, выворачивая наружу носки (впрочем, так ходят многие евреи, это особенно заметно, если смотреть сзади). Нет, такому Главнокомандующему лучше не появляться перед воинским строем.

В том, что он, совершенно штатский гражданин, не обладал военными способностями, признавался впоследствии и сам Лев Давидович. В его мемуарах есть такие строки: «Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет…» «Я не считаю себя ни в малейшей степени стратегом». А раз так, для чего же, спрашивается, взвалил он на собственные плечи труднейшую ношу — возглавил вооруженные силы Республики? Да для того, чтобы иметь надежный рычаг при осуществлении своих идей. Кто владеет в военное время армией и флотом, тот практически владеет страной, во всяком случае может в любой момент взять бразды государственного правления в свои руки. А на поражения, на потери, допущенные по его вине, из-за его неумения, Троцкому было наплевать. Аборигены — лишь материал для воплощения огромных всемирных замыслов…

На красноармейцев, шеренгами вытянувшихся вдоль перрона для встречи, Троцкий не обратил никакого внимания, не остановился перед ними, не поздоровался. Просто не заметил их, и я сказал себе, что такого не позволял даже царь: мне доводилось бывать на смотрах. Зато со штабными, с военспецами Троцкий, видимо, в пику Ворошилову, беседовал долго, спрашивал, как они обеспечены, каковы условия для работы. Об этом, разумеется, стоило поговорить, но не на перроне, не для показухи, а совсем в другой обстановке.

Меня, незнакомого, Троцкий окинул острым колющим взглядом. Я представился. Он протянул руку. Пожатие было несильным, но энергичным, со встряхиванием. И сразу пошел дальше. Запомнились одутловатые щеки, небольшие плотные усы. Он был скорее шатеном, даже светлым шатеном, нежели брюнетом. Бородка почти светлая, рыжеватая что ли.

В каждом из нас есть, разумеется, и плохое, и хорошее, причем хорошего, как правило, больше. Исходя из этого, я старался заметить в Троцком какие-либо привлекательные черты, но нашел их немного. Да ведь и видел-то его несколько часов. Человек он подвижный, деятельный, острый на язык. Быстро схватывал обстановку, но мне все время казалось, что наши события совсем не волнуют его. Занимаясь войной, он очень далек от нее, от наших мук, наших болей, вызванных взаимным кровопролитием.

Не помню, в тот или в другой раз услышал я фразу Троцкого, выражавшую его философское кредо: «Конечная цель — ничто, движение — все!» Сама по себе, на мой взгляд, концепция эта бесспорна. Все

движется, борется, развивается. Остановка — смерть. Но громогласно проповедовать эту истину в тогдашней обстановке было бессмысленно и даже вредно. Не очень-то вдохновила бы красноармейца, мерзшего в окопах, кормившего вшей, рисковавшего жизнью, мысль о том, что конечная цель — защита Царицына — это пустяк, важен лишь сам процесс обороны. Или взять крестьянина, поднявшегося на борьбу за совершенно конкретное дело: за свою свободу, за землю для своей семьи. Скажи ему, что это — ерунда, что все будет меняться, земля станет твоей, потом не твоей, не в том, мол, суть, важна сама революция, само движение. Плюнет крестьянин, воткнет штык в землю и пойдет до хаты, ругаясь: нет правды на белом свете, одна путаница.

Никакой пользы не приносила тогда звонкая философская фраза, а вред от нее был очевиден. Истины ради отмечу вот еще что. Как я узнал позже, эту броскую и четкую формулировку «родил» отнюдь не сам Лев Давидович. В серии статей «Проблемы социализма», которые принадлежат ревизионисту марксизма Эдуарду Бернштейну, сказано: «Конечная цель, какова бы она ни была, для меня — ничто, движение же — все». Лев Давидович, как видим, лишь позаимствовал и слегка модернизировал эту фразу.

Троцкий не скупился на указания и распоряжения. Но беда в том, что указания давались без соблюдения элементарных воинских правил, зачастую непосредственно исполнителям, в обход старших начальников. К примеру, начдив получал распоряжение, о котором не знал командующий армией. Может, от высокомерия это шло (сами, мол, разберутся), а может, нарочно поступал так Троцкий, третируя Ворошилова, подчеркивая неприязнь к нему, умаляя его в глазах подчиненных.

Климент Ефремович был подавлен, молчалив, угрюм. Он понимал, что недолго продержится теперь на посту командарма, жаль ему было расставаться со своим детищем, с 10-й армией, которая возникла и сформировалась во многом благодаря его усилиям. Но хоть и очень огорчен был Ворошилов, он старался не показывать своего расстройства, перед Троцким не заискивал, держался независимо. И произошло то, чего следовало ожидать. После отъезда Троцкого в декабре поступило распоряжение: Климент Ефремович был отстранен от командования. Он убыл в Москву, а оттуда в Киев, его включили в состав Временного революционного правительства Украины, только что освобожденной от германцев.

14

Из всех многочисленных встреч, коими одарила меня судьба, я останавливаю внимание главным образом на встречах с теми людьми, с которыми довелось сталкиваться не один раз, пришлось вместе работать, переживать и горе, и радость. Одним из таких стал новый командующий 10-й армией Александр Ильич Егоров. При первой же встрече проникся к нему полным расположением. Когда я представился в числе работников штаба, Александр Ильич обрадовался:

— Очень приятно! Большой привет вам от бывшего солдата из Красноярска, — улыбнулся Егоров, и я понял, что направлен он сюда не без вмешательства Сталина. — Прошу вас к себе в двадцать часов.

Новый командарм занял апартаменты, в которых обитал Ворошилов с женой, но не все четыре комнаты, а лишь две: кабинет-приемную и

спальню. Когда я пришел, в кабинете накрыт был ужин: гречневая каша, самовар, заварка в большом чайнике и колотый сахар.

— Скромно живете, — пошутил я. — В Царицыне, слава богу, продовольствие еще не перевелось.

— Знаете, Николай Алексеевич, по сравнению с тем, что на Севере, такой стол — роскошь. Там дети голодными просыпаются, голодными спать ложатся. Мне сейчас даже неловко…

— Надо привыкать, казак против нас — сытый, крепкий, силенка требуется, чтобы с ног сбить.

— Буду стараться! — засмеялся Егоров.

Все понравилось мне в Александре Ильиче. Было в нем что-то от былинных русских богатырей. Не рост, как раз рост у него самый обычный, средний. А вот плечи большие, сильные, грудь широкая.

Черты лица простые, крупные. И удивительное сочетание: тяжелый, раздвоенный ямочкой подбородок свидетельствовал о незаурядной воле, а в целом лицо было очень добродушное, даже доброе. Выделялись глаза: светлые, умные, понимающие глаза человека спокойного, рассудительного, интеллигентного. Одет он был в солдатскую гимнастерку, тесноватую в плечах. В манере держаться, разговаривать не было ни малейшего наигрыша, стремления как-то «подать» себя. Он отдыхал, чуть откинувшись на спинку стула, расслабившись, скрестив на груди могучие руки. И еще одно: стремление к тому, чтобы не было никакого недопонимания, к ясности во всем. Он и это слово-то повторял чаще других.

— Хочу, чтобы у нас была полная ясность, Николай Алексеевич, — весело произнес он. — Товарищ Сталин сказал мне о вас много хороших слов. Если понадобятся советы — буду обращаться к вам: вы здесь старожил.

— С удовольствием, все, что смогу.

— Не премину воспользоваться. И прямо сейчас, — посерьезнел Александр Ильич. — Такое впечатление, что в армии не очень рады моему приезду. Точнее — совсем не рады, есть даже недовольные. Это что — неверие в бывшего офицера?

— Отчасти. И сам Ворошилов, и многие его выдвиженцы с подозрением относятся к военспецам. Участь кое-кого из военспецов незавидна, — сказал я. — Но это, пожалуй, еще не самое главное. Ворошилов собрал армию из разрозненных полков, из партизанских отрядов. С этой армией он дважды отстоял Царицын. Все командиры в армии — друзья и приятели Климента Ефремовича. И вдруг дорогого начальника снимают, а вместо него появляетесь вы. Из Москвы и «бывший». Хорошо хоть, что здесь знают, что вы член партии большевиков, — говорилось об этом. А не то могли и в штыки принять…

— Веские факторы, — качнул тяжелым подбородком Егоров. — Но как преодолеть барьер отчуждения?

— Время поможет. Несколько успешных боевых операций.

— А если ускорить процесс?

— На первых порах, Александр Ильич, вам многое покажется странным. Хотя бы то, что некоторые командиры полков явно не на своем месте. Не по деловым качествам, по дружеской привязанности назначались. Но вы не переиначивайте сразу, не ломайте сложившиеся отношения.

— Ни в коем случае, — сказал Егоров. — Пусть все идет своим чередом, пока не осмотрюсь, пока не будет полная ясность.

— А теперь продолжайте то, что не успел завершить Ворошилов: реорганизацию армии, превращение ее в настоящий воинский организм. Нет еще четкости в звене рота-полк. Нет тылового аппарата. Слабоват штаб. В процессе реорганизации можно постепенно заменить некоторых командиров. И еще: я хоть и далек от политики, но вижу, что комиссары нам нужны, да побольше. Командиры у нас, как правило, из крестьян, из казаков, этакие атаманы, буйные Стеньки Разины — всяк себе голова. А комиссары, как я убедился, укрепляют дисциплину, остужают горячие головы, служат организующим началом.

— Спасибо, Николай Алексеевич. — Егоров улыбнулся. — Да что же мы чай-то не пьем, остынет…

Давно ни с кем не было мне так легко, как с Александром Ильичем. После отъезда Сталина я вообще разговаривал только по служебным делам, пользовался репутацией молчуна и отшельника. Сыграло свою роль и то, что Егоров тоже был одинок первое время в Царицыне, искал встреч со мной. У нас было много общего. Люди одного поколения, мы прошли примерно одинаковый путь: оба фронтовика, оба дослужились до звания подполковника. Егоров, правда, получил при Временном правительстве звание полковника, но с усмешкой вспоминал об этом шатком правительстве и его «щедрости». И оба мы главной целью своей имели служение Отечеству, нашей России. Для Егорова эта цель была, вероятно, ощутимой, конкретной, он гораздо раньше меня определил свое место в революционных событиях. С самого начала он пошел с солдатами, с народом и — редчайший случай среди недавних офицеров! — вступил в партию большевиков. А я, выбитый из седла личной своей трагедией, долго плыл по течению. Хотя делами-то крепче многих других причалил к одному берегу.

Важную особенность отметил я в Егорове при первой же встрече, и она потом подтверждалась многократно: Александр Ильич обладал завидной способностью мыслить широко, масштабно, умел не только анализировать, обобщать, но и прогнозировать, а сей дар — редкость. Военный практик, превосходно знавший тактику, оперативное искусство, он при всем том имел стратегический склад ума — свойство, еще более редкое, бесценное и не сразу обнаруживаемое. Обычно такие люди, обладающие богатствами духовными, не любят бывать на виду, искать почестей — это им даже в тягость. Их славой (как, впрочем, и их дарованием) зачастую пользуются другие: энергичные деятели, рвущиеся к власти, к высоким постам.

Ну, это — рассуждения. А рассказывая о Егорове того времени, я остановился бы на двух его начинаниях, имевших большое значение для Советской страны, для всего хода гражданской войны. Летом 1918 года Александр Ильич со свойственной ему тщательностью обдумал и разработал докладную записку на имя В. И. Ленина, обосновал необходимость создания для обороны молодого государства дисциплинированной регулярной армии. А чтобы порядок начинался с самого верха, чтобы были люди, ответственные за военные успехи и неудачи, за все военное строительство, предложил учредить должность Главнокомандующего Вооруженными силами Республики, организовать при Главкоме авторитетный штаб для руководства всеми боевыми действиями.

Предложения Егорова были одобрены и быстро осуществлялись. Сам он приносил немалую пользу: был председателем Высшей аттестационной комиссии по приему бывших офицеров в Красную Армию; одним из

комиссаров Всероссийского Главного штаба. Но, как сказал мне, полного удовлетворения не испытывал, считая, что его место на фронте, где может применить все то, что было продумано, выношено, понято. И вот тут речь пойдет о втором важном деле, которое Александр Ильич осознал раньше других, которому отдал много сил и энергии — о создании крупных масс красной конницы.

После русско-японской войны начался закат прославленной русской кавалерии. Считалось, куда, мол, она против артиллерийских орудий и скорострельных пулеметов! Так, для разведки, для патрулирования, для вспомогательных действий. Это мнение еще более укрепилось в период первой мировой войны, когда враждующие стороны зарылись в землю, оградив свои траншеи минными полями и колючей проволокой. Пехота с танками не могла прорвать такие позиции, что же говорить о кавалерии. Месяцами, даже годами томилась конница без работы. Кое-кто совсем сбросил ее со счетов: забот много, а толку мало. Однако тогда война была позиционная, а гражданская с самого начала обрела совершенно иной характер. Нигде не было сплошного фронта. Бои, сражения велись на отдельных участках, за отдельные города или районы. Войска редко закапывались в землю. Фланги, тылы были открыты. Победу одерживал тот, кто действовал быстро и решительно, маневрируя своими силами, охватывая и обходя неприятеля. А маневр, стремительность — это как раз для кавалерии.

Особенно проявилась решающая роль конницы на юге, на всем юге, начиная от Уральска, от Оренбурга до Северного Кавказа и далее до самого Днепра. На степных просторах коннице было где разгуляться. Людей, с детства привычных к седлу, — много. И коней достаточно. Белые генералы сразу учли эту особенность. Казачья конница составляла на юге более половины их войск. У нас же кавалерии было мало, и она не имела самостоятельной роли. Кавалерийские эскадроны или полки входили в состав обычных стрелковых дивизий, превращаясь часто в «ездящую пехоту». И никто до Егорова не пытался выбить из рук белогвардейцев их козырную кавалерийскую карту.

— В организационном отношении конница сейчас устойчивей, основательней пехоты, — рассуждал Александр Ильич. — Каждый пехотинец — сам по себе. Вскочил, перекусил, чем придется, винтовку в руки и пошел. Ничем он не связан со взводом, с ротой. А у кавалеристов — общее хозяйство. Лошадей надо накормить, обиходить — тут в одиночку не управишься, тут крепкая низовая ячейка.

Я полностью был согласен с Егоровым и со своей стороны всячески старался способствовать Александру Ильичу. Под его командованием наши части отразили еще один натиск на Царицын, погнали белогвардейцев на юго-запад до самого Маныча. И в то же время постепенно осуществлялось то, что Егоров считал особенно важным.

Еще при Ворошилове (и Сталин активно содействовал этому) почти вся конница, имевшаяся в 10-й армии, была сведена в одну кавалерийскую дивизию, которой командовал Борис Максевич Думенко. Из отрядов и отрядиков, из полупартизанских полков и эскадронов родилась эта дивизия, собрали ее, можно сказать, по коню, по уздечке. Хоть и невелика численно, а боеспособность имела высокую. Почти все люди прошли империалистическую войну, каждый всадник — отменный рубака и меткий стрелок.

Эта дивизия могла бы послужить основой для более крупного формирования. Само собой получалось, что командовать таким формированием должен был Думенко. Кому же, ежели не ему: он самый видный, самый авторитетный среди казацко-кавалерийской вольницы Дона и Кубани. Его имя обладало большой притягательной силой для фронтовиков. Это ведь он создал на юге первый красный кавалерийский полк, затем бригаду и вот теперь возглавил первую кавалерийскую дивизию. И возглавил вопреки мнению Ворошилова, которому ничего не оставалось делать, как согласиться. Выскочил начдив из низов: хочешь не хочешь, а считайся с ним.

Климент Ефремович, командуя 10-й армией, вынужден был признать военный талант Думенко. Он терпел его. Почти так же относился к Борису Макеевичу и новый командарм Егоров, считавший, что с дивизией этот партизан справится. Но ни Ворошилов, ни тем более Егоров не хотели, чтобы Думенко возглавил более крупное кавалерийское соединение, о котором мечтали и тот, и другой.

Недавний вахмистр Думенко имел, разумеется, определенные навыки строевого командира, был храбр, горяч, мог покорить земляков страстными призывами к борьбе со всемирными эксплуататорами. Везучий человек, он имел к тому же броскую, привлекательную внешность, но, наверное, не нашел для себя четкой руководящей линии. Ему нравился сам процесс драки, напряженной борьбы. Но когда окреп, организовался враг, для защиты Республики потребовались регулярные войска, подчинявшиеся единому руководству, единому плану борьбы. А Думенко поступал так, как считал нужным. Поведение его было непредсказуемым. Черт его знает, в кого он намерен стрелять сегодня, в кого будет стрелять завтра, кто у него друг, кто нет… Ему могло показаться неуважительным какое-то слово а письменном приказе, и он, разорвав бумагу, поворачивал дивизию в противоположном направлении. Или вдруг отправлялся в рейд по тылам белых, не удосужившись поставить в известность штаб армии, и никто не знал, где дивизия, куда запропастилась… В ней ведь нет ни коммунистов, ни комиссаров. Думенко — царь, бог и вершитель судеб.

На вызовы в штаб армии Думенко не являлся, посылая вместо себя Буденного, который был у него и помощником, и начальником штаба. А когда Егоров сам приехал в кавалерийскую дивизию, Борис Макеевич был изрядно навеселе, грубил, обращаясь к командарму на «ты». И заявил: «Глаз да глаз нужен за тобой. Снаружи ты вроде красный, а нутро какое?..» Только выдержка помогла Александру Ильичу не сорваться. Больше того, через сутки он вновь наведался к Думенко, когда тот протрезвел, долго беседовал с начдивом с глазу на глаз, после чего ретивый кавалерист неделю ходил как побитый.

А между тем имелся человек, почти столь же авторитетный среди конников, разбиравшийся в военном деле не хуже Думенко, но волею судьбы оставшийся на вторых ролях. Суть в том, что не Думенко присоединился к нему, а Семен Михайлович со своим отрядом влился в более крупный отряд Бориса Макеевича. И получилось, что Думенко, добившись известности, славы, величественно восседал на дивизионном троне, а практическими делами, в том числе и боевыми, занимался неутомимый, вездесущий, напористый Семен Михайлович Буденный. Воинских отличий у него было побольше, чем у Думенко, он принадлежал к числу немногих, кто имел полный набор георгиевских крестов и медалей всех степеней, то есть самое высокое отличие за героизм. Послужил и

повоевал он не меньше, чем Думенко, однако не занесся, не утратил понимания своего места под солнцем. Худощавый, ловкий, всегда аккуратно, даже щеголевато одетый, он в ту пору еще не носил тех усов, которые со временем стали определяющей чертой его портрета. Были у него усы, но обыкновенные казацкие, не закрывавшие скуластого лица с плоскими плитами щек, с крупным носом. Глаза — как небо зимой — холодные, чуть подернутые дымкой. Рукопожатие жесткое. И вообще он казался выточенным из крепкого дуба: если толкнешь — ушибешься.

Судя по всему, Буденный был сторонником укрепления дисциплины и организованности, искал связи с руководством армии, самостоятельность сочеталась в нем с исполнительностью, выработанной за долгие годы службы. Хорошо отзывались о нем Сталин и Ворошилов. Новый командарм-10 Егоров все чаще прямо обращался к Семену Михайловичу, минуя «непредсказуемого» Думенко. Я тоже считал, что если кто-то из кавалеристов достоин выдвижения, так это Буденный.

Между тем Александр Ильич постепенно укреплял дивизию Думенко людьми и артиллерией. В начале мая 1919 года Егоров подчинил себе еще одно воинское соединение, имевшее громкое название: 2-я Ставропольская рабоче-крестьянская кавалерийская дивизия товарища Апанасенко. Численность этой дивизии — всего две тысячи человек вместе с обозниками, да три артиллерийских орудия, но костяк был надежный. Александр Ильич передал Апанасенко кавалерийский полк, входивший ранее в состав 32-й стрелковой дивизии. Затем вызвал к себе в полевой штаб, на станцию Двойничная, Семена Михайловича. Я присутствовал при этом разговоре. Бориса Макеевича Думенко не было. Болел он или был уже тяжело ранен, — не помню точно. Эта рана, начиная с мая, надолго потом выведет его из строя. Во всяком случае, Буденный выполнял обязанности начдива, и я редко видел его таким возбужденным, как в тот день.

Наверное, у него уже была предварительная беседа с Егоровым, он сразу понял командарма. Александр Ильич заявил, что обстановка на фронте, активизация донской и кубанской конницы требуют немедленного создания в противовес им сильного кавалерийского соединения. Приказ о формировании конного корпуса готов. В него войдет 4-я кавдивизия (созданная Думенко) и дивизия Апанасенко, которой присвоен шестой номер. Командовать корпусом будет Буденный.

Семен Михайлович поднялся со стула. У него было счастливое лицо победителя, добившегося желанной цели.

— Товарищ Егоров… Я это… До самой последней капли, — хрипло произнес он, сжимая эфес шашки.

— Дорогой Семен Михайлович, хочу, чтобы была полная ясность, — дружески улыбнулся Александр Ильич, — мы ведь с вами понимаем, какие громы и молнии обрушатся теперь на наши головы, не правда ли?

— Пущай обрушиваются задним числом.

— Отстоять нашу идею, опрокинуть все обвинения мы сможем только делом. Победа нам нужна, убедительная победа, Семен Михайлович.

— Я знаю, — сказал Буденный.

Вот так он и родился — первый в Красной Армии кавалерийский корпус. Новый командир корпуса вскоре уехал к себе, а Егоров остался ожидать неприятностей. Ведь решение о создании Конного корпуса он принял самолично, не имея формального права. Больше того, он хорошо знал, что против этой идеи, против этого решения обязательно резко выступит Председатель Реввоенсовета Республики Троцкий. По крайней мере, по

двум причинам. Это ведь Егоров прошлым летом обратился с докладной запиской к товарищу Ленину, доказав необходимость ввести должность Главнокомандующего Вооруженными силами Республики и создать авторитетный штаб при Главкоме. Хотел ли Егоров или нет, но он основательно качнул положение Троцкого, до той поры единолично ведавшего всеми военными делами. Слишком уж ответственный груз лежал на плечах человека, раньше никогда не занимавшегося военными вопросами, но выпускать из своих рук реальную власть он не желал. Хоть как-нибудь, лишь бы я! А учреждение новой должности и нового штаба значительно ослабило его позиции.

Это одно. Кроме того, Троцкий был вообще против, активно против создания в Красной Армии кавалерийских соединений. Есть эскадроны, есть полки — ну и хватит. При этом Троцкий не утруждал себя подыскиванием веских аргументов, а просто говорил, что конница — аристократический род войск, в ней прежде служили князья и графы, она была на привилегированном положении и пролетариату теперь не нужна. Конница в представлении Троцкого ассоциировалась почему-то лишь с казаками, а к казакам он испытывал прямо-таки физиологическую ненависть. Когда-то в еврейском местечке пережил он погром, учиненный черносотенцами и поддержанный казаками. Грабили, жгли погромщики еврейские лавки, аптеки, врывались в лома, били сопротивляющихся. В зареве пожаров с гиканьем проносились по улицам хмельные, чубатые казаки, хлестали нагайками тех, кто не успел увернуться. С тех пор и угнездилась в мстительном сердце Троцкого ненависть, замешанная на страхе. Он и не скрывал свое отношение к казакам, при каждом удобном случае повторяя, что казачество надо стереть с лица земли, вырвать с корнем.

Находясь зимой 1918/19 года близ Дона, я был свидетелем того, как постепенно угас пыл боев, как пришла Красная Армия в казачьи станицы и мир начал устанавливаться на Тихом Дону. И совершенно уверен: не вспыхнуло бы там восстание, не пролилось бы столько российской крови, не было бы для Республики стольких осложнений и бед, если бы не вредоносная политика. Казаки — народ гордый. Они и бедность, и трудности переживут, они бы ко всему притерпелись, если бы не оскорбления, унижения, злобные провокации со стороны эмиссаров Троцкого. Казакам спарывали лампасы с шаровар, ревкомы упраздняли слово «станица»…

В том шикарном поезде, в котором с тремя поварами разъезжал по фронтам Троцкий, имелся вагон-типография, выпускалась персональная, можно сказать, газета под названием «В пути», печатались многочисленные приказы. Несколько экземпляров газеты присылалось для сведения в штаб 10-й армии. Попал к нам и номер от 17 мая 1919 года со статьей «Восстание в тылу», вышедшей из-под пера самого Троцкого. Очень покоробила эта статья Егорова и меня. В ней говорилось, что восстание на Дону надо прижечь каленым железом. Ну, это закономерно. А дальше следовало требование безжалостно уничтожать не только мятежников, но и жителей казачьих хуторов и станиц. «Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление!» Да как же так?! На войне почти каждый населенный пункт берется с боем, «оказывает сопротивление». Значит, будем уничтожать все деревни, станицы, города, истреблять население, детей и женщин? Да и вообще, при чем тут семьи, мирные жители? Так ведь в

короткий срок оголим, истребим всю Россию, мы — одну половину, белые — другую. Для кого же, для чего же воюем?

Оказалось — это еще цветочки! Я был совершенно потрясен, когда узнал задним числом, что по настоянию Троцкого ЦК РКП(б) еще 24 января 1919 года принял директивное решение об уничтожении казачества, подписанное Яковом Мовшевичем Свердловым (он же Соломон Мовшевич Иешуа). Речь шла о «массовом терроре», о «поголовном истреблении», что и начало осуществляться решительно и поспешно. Особенно «отличились» в массовых убийствах Якир, Гиттис, Ходоровский, Френкель, проявившие собственную инициативу и изобретательность при выполнении указаний Свердлова и Троцкого.

Вдумайтесь, это же надо: принять решение об уничтожении населения на территории, равной европейскому государству! И кого уничтожать: прекрасных тружеников-земледельцев, замечательных воинов, оберегавших рубежи Отечества. В мировой истории, полной всяческих трагедий, не было столь варварских официальных решений! Вполне понятно, что по донским станицам и хуторам поползли страшные слухи: в Москве, мол, постановлено извести все казачество под корень. Ну и, естественно, ожесточение борьбы возросло, многие казаки, даже не желавшие воевать, брались за оружие. Все это было известно, без сомнения, Ленину, известно Дзержинскому. Не могли они не знать на своих должностях! Или так уж силен был Свердлов, что никто не мог выступить против него?! Не берусь утверждать, по чьей инициативе, но выступили. 16 марта того же 1919 года Пленум ЦК РКП(б) отменил варварскую директиву: это совпало со смертью самого Якова Мовшевича от какой-то странной болезни. Однако отмена не носила характера официального распоряжения, на местах искоренение казачества продолжалось. В считанные месяцы прибавилось на степных просторах более миллиона могил, по хуторам и станицам выкашивались все подряд: мужчины и женщины, дети и старики.

Ставленники Троцкого свирепствовали не только на Дону, они готовы были уничтожить и кубанских, и терских, и уральских казаков. Однако основная масса красных бойцов и командиров не пошла в этом отношении за Троцким и его сторонниками. Такие полководцы, как Егоров и Буденный, такие военно-политические руководители, как Сталин и Ворошилов, открыто выступили против линии Троцкого. В войсках его имя вызывало неприязнь и страх. Еще бы: если в части, в подразделении были отказы от выступления на фронт, Троцкий приказывал строить полк и расстреливать каждого десятого. Или каждого пятого. Что ему — людей жаль? А если в подразделении был перебежчик, Троцкий расстреливал комиссара. Такая патология была у этого эпилептика. Даже термин ввел — «децимация» — расстрел каждого десятого для устрашения остальных. А теоретически, с присущим ему цинизмом, обосновал свои действия вот как:

«Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока, гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади».

Человеконенавистническое кредо! А ведь он им руководствовался! Вместе с ним в поезде постоянно находился особый трибунал,

беспощадный и скорый на расправу — никогда не оправдывавший, а только каравший.

После всех зверств Льва Давидовича в восемнадцатом-двадцатом годах, меня не очень удивило то, как жестоко расправился он с участниками Кронштадтского мятежа, залив крепость кровью и правых и виноватых. И уж, конечно, не воспринял я потом, спустя годы, как нечто потрясающее, сверхъестественное, решение Сталина об уничтожении кулачества как класса. Притерпелся к безудержной жестокости Троцкого, Уншлихта, притупилась восприимчивость. К тому же Сталин, в отличие от Троцкого, вел речь не об уничтожении людей-кулаков, а о политической акции, о ликвидации класса, то есть, как я понимал, о лишении кулаков их экономической силы. Существенная, на мой взгляд, разница.

Вернемся к событиям гражданской войны. На Дону восстание, на Кубани создана новая белая армия, Лев Давидович охрип, требуя полного искоренения казаков, а в этот момент командарм Егоров отдает приказ о создании первого в Республике Конного корпуса. И больше половины, примерно две трети личного состава этого корпуса — казаки! Воздадим должное мужеству и дальновидности Александра Ильича. Попробуйте только представить себе, чем кончился бы рейд генерала Мамонтова на Воронеж, поход Деникина на Москву, не окажись тогда на самом решающем участке борьбы мощное кавалерийское соединение Семена Буденного!

Только одного этого, только создания Конного корпуса и затем Первой Конной армии с лихвой достаточно, чтобы Александру Ильичу Егорову был воздвигнут достойный памятник. А ведь это лишь часть того, что он совершил для победы Советской Республики, для развития и укрепления наших Вооруженных Сил.

15

Один бой, важный бой, который был выигран Егоровым над картой, еще до первых выстрелов.

25 мая 1919 года войска Деникина начали с дальних подступов новое наступление на Царицын. Утром к нам на станцию Ремонтная, где находился поезд командарма, пришло донесение: белые форсируют реку Сал в районе хутора Плетнева. На правый берег переброшены значительные силы пехоты, наши стрелковые подразделения не могут их остановить и отбросить. Вполне возможно, что на этом направлении деникинцы наносят основной удар.

— Они начинают там, где мы предполагали, — произнес Александр Ильич, едва я по его вызову вошел в салон. По своему обыкновению Егоров словно бы постеснялся сказать, что предполагал-то, собственно, только он, а у меня были колебания на сей счет. Накануне я даже высказался против того, что Егоров отвел с передовой весь корпус Буденного и скрытно сосредоточил его как раз возле названного хутора, на северных скатах высот. Но такова уж была тактичность Александра Ильича.

— И все-таки не отвлекающий ли это маневр? — высказал я опасение.

— Не думаю, — ответил Егоров. — Другой крупной группировки у них нет, и чтобы создать таковую, потребуется несколько суток. А сейчас, Николай Алексеевич, взгляните на карту. Любопытная картина, не правда ли?

Карта была не штабная, а лично Егорова, которую он вел сам и с которой никогда не расставался. Скрупулезно было нанесено положение наших войск и противника. Вот хутор Плетнев. Корпус Буденного навис над флангом деникинцев, переправившихся через Сал. Нет, они явно не знают, что здесь наша конница. И если деникинцы будут развивать наступление на запад, что они, скорее всего, и сделают, то с востока можно ударить им в тыл, отрезать от переправ.

— Они не рискнули бы, если бы им было известно, где Буденный, — вслух рассуждал Александр Ильич. — Буденный двигался ночью, не заходя в населенные пункты… Я велел приготовить лошадей, Николай Алексеевич, вам и себе. Не сочтите за труд поехать со мной.

— С удовольствием. Но зачем ехать вам?

— Нужно, Николай Алексеевич, очень нужно. Для Буденного это первое сражение в новой должности.

Даже наша кратковременная поездка была организована безупречно, как и все, за что брался обстоятельный и предусмотрительный Александр Ильич. В дороге мы несколько раз получили донесения из района боев и были в курсе событий. Деникинцы переправили через Сал по меньшей мере два полка пехоты и продолжали форсирование, оттесняя от реки наши подразделения. Именно оттесняли, даже не пытаясь опрокинуть. Это еще раз доказывало, что здесь противник готовится к стремительному рывку, не отвлекаясь на второстепенные задачи.

В мае солнце заходит поздно, однако оно уже склонилось к горизонту, когда мы приехали к Буденному. Обе его дивизии отдыхали. Картина открылась удивительная. Насколько хватал глаз, повсюду — на скатах и в низинах — расположились бойцы. Тысяч пять или больше. Эскадронами, полками спали они в степи на молодой траве. Под присмотром коноводов тут же паслись кони. Сам Семен Михайлович тоже похрапывал, раскинувшись на бурке. Жалко было будить его, но время не ждало. Александр Ильич, отстранив ординарна, тронул Буденного рукой. Никакого впечатления. Толкнул посильнее.

— А? — приподнялся Семен Михайлович, часто моргая. — Пора?

— Вот именно, — улыбнулся Егоров. — Прошу извинить, доспите потом.

— Товарищ командующий! — как пружина, взметнулся Буденный. — Что случилось?

— Пока ничего, но есть возможность крепко помять бока неприятелю. Поднимайте и стройте корпус.

Егоров и я были приятно удивлены тем, что произошло после команды Буденного. Не очень-то просто в полевых условиях построить хотя бы полк, на это требуется время. Тем более — кавалеристам. И самому бойцу надо сообразить, что к чему, привести себя в порядок, найти эскадрон, взвод, отделение, да ведь еще и коня надо отыскать, подседлать или хотя бы подтянуть подпругу. А тут целый корпус, две дивизии, дюжина полков готовы были через пятнадцать минут выступать в поход и начать бой. Чувствовалась выучка. Александр Ильич похвалил Буденного. Тот сдержанно улыбнулся, был доволен.

Пока корпус строили, Егоров успел объяснить Семену Михайловичу обстановку, поставил задачу. План был прост и надежен. 6-я кавдивизия Апанасенко выходит к хутору Плетневу с запада, где держится наша пехота, и вместе со стрелками атакует противника, приковывая к себе внимание белых. Тем временем Буденный с 4-й кавдивизией незаметно подходит к переправе с востока, от хутора Гуреева, и всеми своими

полками обрушивается на деникинцев с тыла, отсекая от реки. Чтобы у врага было больше паники и неразберихи, удар нужно нанести в сумерках, как только диск солнца скроется за горизонтом.

— Мы будем у Апанасенко, — сказал Егоров. — Коней нам смените, дайте свежих да повыносливей.

Без плана, без замысла, без предварительной прикидки всех возможностей на войне не обойтись, но в моей многолетней и разнообразной практике не было случая, чтобы бой или сражение протекали точно так, как было задумано. Ведь враг-то противодействует, внося свои поправки в развитие событий, да и всяких случайностей не избежать, поэтому обязательно требуется по ходу дела вносить изменения, надеяться на инициативу самих исполнителей. Особенно в быстротечных схватках подвижных, маневренных войск, будь то конница или мотопехота.

Вместе с передовыми эскадронами 6-й кавдивизии мы прибыли к месту боя в самый критический момент. Накопив на правом берегу Сала крупные силы, деникинцы решили уничтожить наш заслон, все еще державшийся за хутором. Он особенно не досаждал белым, однако оставлять его на ночь враг опасался. Но если белые ликвидируют заслон, то 6-й кавдивизии придется разворачиваться для атаки в степи без прикрытия, под огнем неприятеля. Егоров мгновенно оценил положение.

— Николай Алексеевич, скачите, пожалуйста, к Буденному, скажите ему, что мы начинаем атаку раньше. Пусть и он поторопится, если успеет.

— Буденный услышит, как разрастается бой — поймет.

— Ах, Николай Алексеевич, — с легкой укоризной промолвил Егоров. — Может и не понять. Он прежде всего о своей дивизии думает, а не обо всем корпусе. Не перестроился он еще, это непросто. Скачите, помогите ему, пожалуйста.

Примерно час потребовался мне, чтобы добраться до Семена Михайловича. За это время бой западнее Плетнева разгорелся ожесточенный, била артиллерия. А Буденный, как и предполагал Егоров, не обеспокоился этим. Он готовил для атаки свою дивизию, готовил умело, был целиком поглощен делом, упустив из вида, что отвечает и за другую дивизию, за всю операцию в целом. Да, он еще не чувствовал себя командиром корпуса. Он не заторопился и после того, как я передал ему указание Егорова. Семен Михайлович ждал, пока выдвинутся к реке пулеметные тачанки. Они должны огнем отсечь белых от переправы, а затем бить по левому берегу, чтобы враг не подбросил подкрепления. В общем, затянул Буденный до сумерек, но и атака его дивизии прошла, надо отдать должное, безупречно. Деникинцы обнаружили у себя в тылу конницу, когда поздно было уже что-то предпринять. Зажатые с двух сторон, белые заметались в панике. Многие сдались в плен, сопротивлявшихся вырубили. Назад, через Сал, успели перебраться лишь считанные десятки деникинцев. За полтора часа враг потерял примерно три пехотных полка со всем оружием. Задуманное белыми наступление обернулось для них трагедией.

И все было бы хорошо, но пропал Егоров. Бойцы рассказывали: первую атаку эскадронов 6-й кавдивизии деникинцы не только отразили, но и сами продвинулись вперед (пока Буденный еще не вступил в бой). Тогда Александр Ильич собрал отступивших кавалеристов и повел их спасать наш заслон, приковав к себе внимание неприятеля. Сам поскакал впереди группы всадников. Больше его не видели.

Долго искали командарма в окрестностях хутора, и самом хуторе, в садах и огородах, на берегу Сала. Попробуй найти в темноте, среди множества трупов, стонущих раненых. Наконец, обнаружили Александра Ильича метрах в трехстах от хутора. Доскакал он все же до беляков. Валялись вокруг убитые люди и лошади. А Егорову пуля вошла в левое плечо. Он потерял большое количество крови, ослаб, был плох. Я с помощью бойца перевязал его, но место для перевязки неудобное, да и волнение мне помешало: кровь продолжала сочиться.

На скаку спрыгнул с коня Буденный, оттолкнув всех, упал на колени возле Егорова, опытным взглядом сразу оценил положение. Разодрал свою нижнюю рубашку, быстро и ловко наложил повязку. А лицо у него было растерянное, в глазах (один раз в жизни я только и видел!) стояли слезы, смотрел на Егорова умоляюще: «Выживи, выживи!».

Сам он отнес Александра Ильича к повозке, потом на станции сам же бережно перенес его из повозки в вагон. (И разве мог тогда я, свидетель этой трогательной, искренней сцены, предположить: пройдут годы, и Семен Михайлович выскажется за смертельный приговор человеку, которого так хорошо знал, которому многим был обязан. И ни один мускул не дрогнет на его лице, ни на секунду не затуманится ледяной блеск его глаз).

За тот бой у переправы одним из первых в стране получил Александр Ильич Егоров орден Красного Знамени. Так было отмечено его военное мастерство и личное мужество. А я простился с ним на вокзале в Царицыне. Армейский врач настоял, чтобы Егорова отправили в Саратов к какому-то знаменитому хирургу. В одном вагоне с Александром Ильичом увезли и Бориса Думенко: состояние его было тяжелым, он бредил.

Прошло еще некоторое время, и Царицын, столь долго и упорно отражавший наступления неприятеля, пал под натиском деникинцев. Все-таки многое зависит не только от войск, но и от тех, кто ими командует. Город держался при Ворошилове и Сталине, даже не имея, казалось бы, достаточно сил для обороны. Город держался при Егорове. И не только держался — враг был отброшен. А не стало талантливого военного руководителя, энергичного организатора, и белые довольно легко захватили крепость на Волге. И виноватых нет. Какая же у человека вина, если он не способен: разве что только в том, что не осознал своей неспособности, принял на себя ответственность… Говорят, что солдатами не рождаются. Возможно. В эпоху массовых армий солдат средней руки готовят из всех подряд: не тысячами, а миллионами. А вот полководцу одной лишь учебы, одного опыта мало. Полководцем надо родиться.

16

Странное было тогда время: ни чинов, ни званий, ни постоянных обязанностей. Даже документов у многих людей не было, пользовались старыми, дореволюционными. Во всяком случае у меня не оказалось письменных свидетельств о том, что служил в Красной Армии. При спешном отступлении из Царицына я был озабочен лишь одним: сжечь штабные бумаги, представлявшие ценность для деникинцев. Сам выбрался из города, не забежав даже за баулом на квартиру.

Потом был пароход, битком набитый военными и гражданскими. Затем этот пароход остановили у какой-то пристани, всех здоровых высадили на сушу, а судно загрузили ранеными. Дальше я шел пешком, нигде не

задерживаясь, так как опасался попасть к продолжавшим наступать белым. Наконец теплушка: несколько суток без еды в грязном вагоне, и вот я в Москве. Солдатская гимнастерка, голубые офицерские брюки, изрядно запачканные в дороге, и довольно хорошие сапоги — вот и все, что было на мне и при мне. Даже фуражку потерял при ночной посадке на пароход.

К кому мне являться теперь, докладывать о прибытии? Егоров лечится, Ворошилов — на Украине. Иосиф Виссарионович — неизвестно где, вроде бы в Смоленске, а может и нет… И куда мне, собственно, торопиться? Что я, присягу давал служить в Красной Армии? Нужен был — использовали. Ну и ладно, может, еще вспомнят. И чего там греха таить: хотелось, чтобы вспомнили, пригласили.

Москва после долгого отсутствия показалась мне пустынной и нищенски обнаженной. Даже разросшаяся летняя зелень не могла скрыть унылых облупившихся стен в глубине дворов: они открылись там, где сожжены были заборы. Ходил я по улицам, и горько, больно мне было за нашу первопрестольную, совсем еще недавно такую богатую, хлебосольную, щедрую. И еще страшней было думать, что главные испытания, главная разруха, наверное, впереди. С юга приближается Деникин, а красные, разумеется, не сдадут столицу без жестокого боя. Будущее Москвы решалось на фронте, и мое место было там, но идти в какие-то учреждения, просить, доказывать, кто я, подвергаться допросам, проверке было унизительно и противно.

Чем жил тогда? Рвал недозревшие яблоки в одичавшем бесхозном саду и варил их, чтобы отбить кислоту. Собирал грибы. Почему-то много было крепких, не червивых сыроежек. Моя квартирная хозяйка, строгая на вид, но сентиментальная эстонка — светловолосая, длинноногая и очень носатая — давала мне иногда к грибам чайную ложку соли. Она вообще благоволила ко мне и — одинокая женщина — строила вроде бы некоторые планы… Раза два в неделю (чаще я не хотел, остерегаясь сближения) мы пили с ней чай, угощались добротным пирогом. Она с детским любопытством расспрашивала о войне и все не могла понять, кто я такой: белый или красный? А вообще-то ей это было безразлично, она дорожила мной, как порядочным жильцом. Страшно одной в квартире, тем более по ночам — грабили.

После долгих колебаний, вызванных и запутанной историей моей, и неопределенностью положения, и затрапезным видом, решился я все-таки побывать у своего глубокоуважаемого генерала Брусилова. И чуть было позорно не ретировался с порога, весьма недоверчиво встреченный женой его Надеждой Владимировной. Она, разумеется, была права, оберегая мужа от незваных гостей. К бывшему русскому Главкому пытались попасть люди всякие, в том числе и посланцы высшего белого генералитета, пытавшиеся склонить Брусилова на свою сторону. А то вроде бы странно получалось: самый известный генерал, самый прославленный полководец мировой войны находится не в белом стане, а живет в Москве, у большевиков. И убеждали Брусилова, и угрожали ему, и, как я узнал потом, даже выкрасть его хотели белые и сделать своим объединяющим знаменем. Но у Брусилова позиция была твердая и незыблемая. Он говорил: «Правительства меняются, а Россия остается, и все мы должны служить только ей по той специальности, которую избрали. Власть зависит от народа, пусть народ и решает. А мы все, от солдата до генерала, исполнители его воли».

Встретил меня Алексей Алексеевич с большой радостью. Тактично не расспрашивал о Вере: до него дошел слух, что жены моей нет в живых. Выглядел Брусилов неважно, был слаб, худ. Жилось ему нелегко. Он не пристал ни к тем, ни к другим, не получал денежного содержания, пайка. Больше того, в сентябре восемнадцатого, когда эсеры совершили покушение на Ленина и убили Урицкого, когда в ответ на это был объявлен красный террор, Брусилов был арестован вместе с другими «бывшими», два месяца провел в тюрьме, еще столько же — под домашним арестом. Изрядно пострадал он от революции, но на прямой вопрос, в чьих рядах пошел бы сражаться, Алексей Алексеевич ответил мне:

— Будущее принадлежит красным.

— Позвольте узнать, почему?

— Они выражают волю народной массы. Разгулявшейся, бунтующей, опьяненной свободами массы. Большевики, по крайней мере, пытаются организовать ее, повести за собой. Наши бывшие друзья живут прошлым и сражаются за прошлое, за свои личные интересы. А это шатко и бесперспективно.

— Если вы так считаете, почему бы вам не примкнуть к красным? Они высоко ценили бы вас. И к тому же, какое политическое звучание!

— Дорогой мой Николай Алексеевич, — невесело усмехнулся Брусилов. — Я давно бы поступил таким образом, и лишь одно обстоятельство не позволяет… Сражаться против соотечественников я не способен. Мне больно даже слышать о том, что льется русская кровь, гибнут русские люди, слабеет наше Отечество.

— С запада нам угрожают белополяки.

— Мне трудно воспринимать поляков как врагов. Это наша родня, такие же славяне.

Видя, что подобный разговор слишком волнует Брусилова, я постарался отвлечь генерала рассказом о том, как воспользовался его методом сосредоточения артогня и дал совет Сталину под Царицыном. Брусилов слушал с интересом, даже схему попросил набросать, но вдруг опять посуровел, произнес с горечью:

— Свои против своих…

Что мне оставалось делать? Заговорить о нейтральном, о семейных делах? Очень интересно было узнать, где теперь мой товарищ Алеша Брусилов-младший.

— Бежал из плена, — сказал Алексей Алексеевич.

Я не понял его:

— Разве Алеша воевал?

— Сражался на семейном фронте. Справился, разорвал оковы.

— Да где же он сейчас?

— Если бы знать! — вздохнул Брусилов. — Исчез, никакой весточки. Недосмотрел я за ним, все некогда было.

Слушал я прерывающийся голос старого генерала и думал: вот встретились двое и не могут побеседовать спокойно. Какую тему ни тронь, чего ни коснись, — везде боль. И одному тяжко, и другому, но мне все-таки легче, я намного моложе, в моем возрасте быстрей заживают переломы, зарубцовываются раны.

Забегая вперед, скажу здесь о том грехе, который по недомыслию своему принял вскорости на свою душу. Малый, вроде бы, грех-то, а не давал он мне покоя всю жизнь. Что мне стоило доставить радость старому

человеку, окрылить его на какое-то время? Я ведь и хотел сделать это, но закрутился в текучке, в сиюминутных заботах и, порадовавшись сам, упустил возможность порадовать моего генерала. А случилось вот что. В октябре девятнадцатого я находился при Сталине в штабе Южного фронта. В самые трудные для Республики дни, когда белые взяли Орел и шли на Тулу, встретил я на разбитой осенней дороге милого друга своего — Алешу Брусилова. Не задавленного семейной жизнью «нахлебника-офицеришку», как именовала его красавица-жена со своими обывателями-родственниками, а прежнего бравого кавалериста, веселого и лихого краскома в фуражке со звездой, в длинной кавалерийской шинели, в щегольских сапогах, на которых красовались шпоры с малиновым звоном.

Как с неба свалился — спрыгнул он с высокого жеребца, тискал меня, вертел, целовал в щеки, захлебываясь вопросами: где, что, как, давно ли из Москвы, видел ли отца? И терпеливо поджидая своего командира, по три в ряд далеко вытянувшаяся на дороге, стояла колонна всадников.

— Вот он, отряд мой! — с гордостью показал мне Алеша. — Орлы мои! — и, понизив голос, добавил, — Идем в рейд с червонными казаками Примакова. Левый фланг Деникина крошить будем, вот как! — озорно подтолкнул он меня. Стиснул мои плечи, легко вскочил на жеребца. И, уже отъехав порядочно, крикнул: — Отцу напиши, Коля, я не успел! До встречи!

Ушел Алеша Брусилов кромсать деникинские тылы и пропал, исчез со всем отрядом. А я не нашел времени сообщить о нашей встрече старому генералу.

Разное говорили тогда о судьбе Алеши. Будто нарвался отряд на засаду, и первыми легли под пулеметным огнем командир с комиссаром. А еще: будто ночью окружили белые деревню, где остановился отряд, и выкосили всех красных бойцов подчистую. И был даже зловредный слушок о том, что генеральский сын, дескать, перешел к Деникину и теперь под чужой фамилией служит там адъютантом.

Всякое говорили, перемывая косточки. До тех пор, пока в декабре в газете «Боевая правда» появилась заметка под заголовком: «Белые расстреляли б. корнета Брусилова». И короткое сообщение: «В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян б. корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал красной кавалерией и попал в плен к белым в боях под Орлом».

Первой моей мыслью было: значит, держался Алеша стойко, не пошел на компромисс, раз не помиловали его. И со страхом представил себе, как будет читать эти строки Алексей Алексеевич, надеявшийся увидеть своего единственного сына, терзавшийся тем, что мало времени уделял ему… А ведь я мог бы хоть ненадолго, хоть на два месяца осчастливить отца, написав ему о встрече на фронтовой дороге…

Мог и не сделал: иногда это отягощает совесть сильнее хоть и ошибочного, хоть и неправильного, но свершенного.

17

В ту осень девятнадцатого года многие считали, что Совдепии пришел конец. Взглянешь на карту и убедишься. Войска Деникина захватили Кубань, Дон, Нижнее Поволжье, Украину и победным маршем двигались на центральную Россию. От Курска, от Орла далеко ль до столицы?! А задержать врага некому, весь фронт на юге развалился под ударами

неприятеля. Разбегались, прятались, чтобы переждать сложный момент, колеблющиеся, слабодушные и равнодушные. И особых почестей, думаю я, достойны те люди, которые поднялись на борьбу с врагом именно в те дни, когда все висело на волоске, не ища личной выгоды. Воистину проявили они доблесть и благородство: на гибель шли — не на славу! Тем более вчерашние офицеры, которые знали, что от белых им не будет никакой пощады, а в случае неудачи и свои же, красные, не простят. Это я не только об Алеше Брусилове, но и об Александре Ильиче Егорове, да и без ложной скромности — о себе самом. Чего умалчивать-то: именно тогда совершил поступок, которым гордился и горжусь по сию пору. В тот день, когда белые взяли Курск и пришли сообщения, что рассыпается, разбегается не столько Рабоче-Крестьянская в ту пору, сколько крестьянская Красная Армия, отправился я в Спасские казармы, что около площади трех вокзалов. Там спешно готовились пополнения для фронта, и я попросил, чтобы меня взяли в стрелковую часть.

Встретили меня без особого энтузиазма и даже с заметной подозрительностью, но я воспользовался, как теперь говорят обыватели, «блатом», назвал фамилии большевиков Сталина и Ворошилова, с которыми, дескать, рука об руку воевал в Царицыне. Мне сказали, что проверят, но все же взяли. Я получил винтовку и должность командира отделения во втором взводе маршевой роты. И не моя «вина», что на этом посту пробыл лишь несколько дней: в той горячке и суматохе мои слова действительно умудрились проверить. Где-то в военных верхах прозвучала моя фамилия, и вот по распоряжению товарища Сталина «военспец Лукашов» был срочно направлен в заново создавшийся штаб Южного фронта. Для меня это была двойная радость: 8 октября по настоянию В. И. Ленина тяжелейший груз ответственности за главное военное направление, по существу ответственность за судьбу Республики, принял на свои широкие плечи Александр Ильич Егоров. К нему членом Реввоенсовета Южного фронта был назначен И. В. Сталин. Так что я опять оказался вместе с дорогими, уважаемыми людьми!

Когда говорят или пишут о событиях осени девятнадцатого года, о начале решающего разгрома белогвардейщины, очень много места уделяют замыслам, планам нашей стороны. Я понимаю, откуда это пошло. Чрезмерно старались историки угодить Иосифу Виссарионовичу, рекламируя «сталинский план разгрома Деникина», выдвинутый и осуществленный якобы вопреки предательскому плану Троцкого. По мысли Сталина, дескать, удар следовало нанести по линии Орел — Курск — Харьков — Донбасс. Что и принесло стратегический успех. Потом, после смерти Сталина, доказывалось, что эта идея отнюдь не его. Ломались копья в дискуссиях, не отличавшихся объективностью, и за горячими спорами о планах отодвинулись, затушевались сами события.

Замыслов, предложений, как отбросить белых, в ту осень действительно было много. Хороших и разных. Намечались различные пути нашего наступления. От Царицына на Ростов, в тыл Деникину. На тот же Ростов, но через Миллерово — Вешенскую, чтобы выбить у врага главную опору — область Войска Донского. И, конечно, удар в центре, через Харьков, о чем, кстати, раньше всех упомянул в одном из выступлений Ленин.

Планы-то планами, а Деникин продолжал свой триумфальный марш. Повторяю, наш фронт фактически развалился под ударами белых. Но вот появились Егоров и Сталин, брошенные на решающее направление, и словно бы произошло чудо. Буквально через неделю фронт был воссоздан,

деникинские полки остановлены севернее Орла, затем они попятились, побежали. Вот что надо бы ученым исследовать самым тщательным образом. Я же ограничусь лишь некоторыми своими наблюдениями.

На мой взгляд, необходимо выделить по крайней мере три фактора, которые обеспечили тогда наш успех. Прежде всего — очень своевременное и решительное напряжение сил Республики, даже последних, самых крайних наших возможностей. «Все на борьбу с Деникиным!» — таков был лозунг. Партийная мобилизация почти сплошь оголила тыловые ячейки большевиков. Ставили под ружье кого только можно. Подчищали в складах последние запасы патронов, снарядов, обмундирования. Из Тулы прибыл полк, ложи винтовок — белые: на заводе не успели даже покрасить.

Справедливости ради отмечу, что весь октябрь и весь ноябрь, то есть в самый тяжелый период, две трети пополнения и военных грузов шли не к нам на Южный фронт, а на Юго-Восточный, который Троцкий, ставший Наркомвоеном, и Главком — уважаемый Сергей Сергеевич Каменев, продолжали считать главным. Однако командующий Южно-Восточным фронтом Василий Иванович Шорин воспользоваться полученной поддержкой не сумел и ощутимых результатов не добился. А вот Егоров и Сталин, хоть и пришли почти на пустое место, хоть и оказались на острие вражеского удара, хоть и получили гораздо меньше помощи, смогли все же переломить ход событий. Очень удачным, просто на редкость удачным оказалось сочетание командарма с членом Реввоенсовета, — и это я числю вторым определяющим фактором.

Иосиф Виссарионович тогда никаких военных талантов не проявил, да и не мог проявить того, чего не имелось. Военные познания его были невелики, и он, рассудительный человек, понимал это, не стеснялся учиться у Егорова азам полководческого мастерства. Сталин сам говорил впоследствии, что по-настоящему ознакомился со стратегией по боевой карте Александра Ильича. И вот что надобно особенно оценить: в отличие от Троцкого, который везде и всюду безапелляционно навязывал свое дилетантское мнение, у Иосифа Виссарионовича достало ума не вмешиваться в работу Егорова. Более того, он заботился о том, чтобы никто не отвлекал Александра Ильича от главных забот, не дергал, не портил нервы. Он полностью доверил Егорову все боевые дела. И кто — Сталин доверил! Тот самый Сталин, который еще совсем недавно, после вражеского мятежа в Петрограде, опять высказывал сомнение в полезности бывших офицеров, просил ЦК партии пересмотреть отношение к ним. А с Егоровым — никаких колебаний. И не по принципу «доверяй, да проверяй» (подглядывай в щелочку), а положился безоговорочно. Именно поэтому Александр Ильич чувствовал себя уверенно, ощущая полноту ответственности. И действовал без опасений, решительно, как считал нужным.

Кстати, и на себе испытал я такое вот полное, открытое, безоглядное доверие Сталина, очень располагавшее, привязывавшее к нему, я бы сказал — окрыляющее. Такому доверию просто невозможно изменить, его невозможно не оправдать. Но подобной чести удостаивались немногие. Лишь очень добросовестные, порядочные люди — Иосиф Виссарионович угадывал таких безошибочно. Впоследствии, правда, он стал приближать к себе людей другого толка, безусловно преданных лично ему, закрывая глаза на недостатки. Но это будет потом…

Как член Реввоенсовета Южфронта занимался Иосиф Виссарионович организацией партполитработы в войсках, подбором начсостава, подготовкой и доставкой резервов, подвозом боеприпасов, продовольствия, фуража, обмундирования. Сражался за то, чтобы воинские эшелоны шли не только к Шорину, но и к нам. Ограждал Егорова от бумажного потока, наставлений, требований, запросов, разъяснений: они рекой плыли от Наркомвоена, от Главкома, из Полевого штаба. Имея все в ЦК партии, в различных центральных ведомствах, Сталин улаживал там наболевшие вопросы, а когда требовалось, — связывался непосредственно с Лениным. В этом отношении он был просто незаменим. У Егорова была полная возможность сосредоточить все помыслы, все усилия, все организационные способности на ведении боевых действий, на обдумывании перспектив.

Помню, как пробивал Иосиф Виссарионович «пробку» на узловой станции Горбачево. Погода была мерзкая: холодный дождь со снегом, грязь разливанная. В войсках кончались патроны, не было курева. А на Горбачах застряли два эшелона.

Начальник станции и комендант, оба замызганные, небритые, с воспаленными глазами, — едва на ногах держались. Глядя на них, я думал: просить, кричать, приказывать бесполезно. Они выдохлись. Привыкли к угрозам. Их даже удивило, что Сталин, имевший самые широкие полномочия, вплоть до расстрела саботажников, прибывший с сильной охраной, и вообще персона весьма важная, заговорил с ними ровным, спокойным, негромким голосом:

— У вас исправные паровозы. Почему бездействуют?

— Нет топлива.

— Нет угля? — уточнил Сталин.

— И угля нет ни крошки, и дров — ни полена.

— Почему не позаботились заготовить дров? Чья это обязанность?

— Не знаю, чья обязанность, но мы позаботились, — обозлился начальник станции. — Мы заготовили! — почти истерически выкрикнул он. — На ползимы дров было! А налетел такой вот уполномоченный с конвоем и приказал грузить все дрова в Москву и немедленно. Или сразу к стене! Москва замерзает!

— Как фамилия уполномоченного? — спросил Сталин. — Николай Алексеевич, выясните, я приму меры от таких наскоков.

Выждав, пока начальник станции немного остынет, Иосиф Виссарионович заговорил снова:

— Что в этих постройках?

— Склады. Почти пустые. Контора. Купеческий дом.

— Очень хорошие бревна, — произнес Иосиф Виссарионович. — И близко… Товарищ комендант, берите всю нашу охрану. Приведите сюда сто жителей. И пятьдесят пил достаньте. Постройки разобрать, бревна распилить. За час на одну пилу минимум десять чурбаков. Расколоть пополам — двадцать поленьев. Это уже тысяча поленьев… Товарищ комендант, — голос Сталина звучал жестко и требовательно, — под вашу личную ответственность. Первый эшелон отправить через три часа. Второй — через шесть. И чтобы топливо на паровозах было в оба конца. А пока паровозы в пути, продолжайте готовить дрова. Эшелоны будут идти, даже если понадобится разобрать весь поселок. Вам понятно?

И вот составы, полтора суток простоявшие на станции, казалось, безнадежно застрявшие там, двинулись на юг точно в указанный срок. В

самые трудные часы напряженного боя наши стрелки получили вдоволь патронов, загрохотала наша артиллерия, и взбодрилась, поднялась, пошла вперед залежавшаяся пехота.

А сколько их было, подобных «пробок», неурядиц, глупости, саботажа…

После того как Егоров и Сталин возглавили фронт, белые еще продолжали продвигаться вперед: невозможно было сразу погасить инерцию мощной волны, катившейся без задержки от самого Ростова, требовалось к тому же добиться психологического перелома прежде всего у своих бойцов и командиров, свыкшихся с неизбежностью отступления. При Егорове и Сталине белым удалось захватить еще один большой город — Орел. Но успех успеху рознь. Если раньше деникинцы сильными ударами опрокидывали, громили противостоящие им красные войска и затем, гуляючи, шли дальше, до следующего города, до следующего рубежа, то под Орлом они триумфа не достигли. Егоров заранее вывел на север все обозы, тыловые подразделения, резервные части; отправил на переформирование толпы беглецов, отставших от разбитых полков. Наши оборонявшиеся роты, продержавшись на окраинах Орла сколько смогли, отошли вполне организованно и заняли указанные им рубежи.

Егоров твердо знал первейшую суворовскую заповедь, которую часто повторял и Алексей Алексеевич Брусилов: сражение сперва надобно выиграть умом, а потом уж на поле брани. Главная обязанность полководца — думать, причем думать не только за себя, но и за противника, чтобы понять его замыслы, его маневр. Подобный дар имеют немногие. Александр Ильич, к счастью, в полной мере обладал им.

Лучшие силы Деникина, стремившиеся к Москве, были собраны в кулак и быстро двигались на север в узкой полосе, не отдаляясь от железной дороги: распутица кругом, а рельсы надежны. К тому же главную ударную мощь белых составляли бронепоезда и артиллерийские батареи, перевозимые на платформах. По рельсам шло все снабжение с юга. Это и учел Егоров: сие я считаю третьим решающим фактором.

Значит, дробящий кулак — в узкой полосе возле железной дороги. А справа и слева что? В летне-осенних боях отборные деникинские части, офицерские полки значительно поредели. Чтобы не уменьшилась численность войск, белые проводили мобилизацию молодых возрастов в захваченных селах и деревнях. Бывалых солдат, фронтовиков, ненавидевших офицеров еще с германской войны, деникинцы брать опасались, а необстрелянная молодежь, к тому же насильно призванная, — это далеко не самое лучшее пополнение. Так и получилось, что только на острие клинка остались у деникинцев надежные, закаленные части. Они дрались умело, упорно — знали, за что. И совсем другое — полки, прикрывавшие фланги, расширявшие захваченную территорию. Может, их и не назовешь слабыми, но они не шли ни в какое сравнение с опытнейшими, отлично вооруженными подразделениями, составлявшими основу Добровольческой армии.

Деникинцы сразу почувствовали, как изменилась тактика красных. Егоров не искал больших, решающих боев с наступавшей группировкой. Не выгодно было нам: враг-то на главном направлении все еще был сильнее. Однако белые не могли теперь делать большие рывки от города к городу. Стремясь затупить, истощить вражеский клин, Егоров ставил на его пути барьер за барьером. Прибывший из Тулы полк окопался перед полустанком. Дальше, возле станции, — полк калужан. Еще глубже — москвичи; потом — батальоны, быстро сформированные из остатков наших

рассеянных дивизий. И теперь каждый километр, каждый населенный пункт деникинцы вынуждены были брать штурмом.

Враг останавливался, развертывал боевые порядки, подтягивал артиллерию, готовил и начинал атаку. Наши, не выдержав натиска, отходили, но возле следующей деревни, станции или возвышенности все повторялось снова. Опять противник вел разведку, выдвигал артиллерию. Развернувшись цепью, белые шли под дождем, по непролазной грязи навстречу нашим пулям. Перебегали, падали, матерясь: мокрые, заляпанные, измученные. И это — раз за разом. Сутки, другие, третьи. А едва ослабевал натиск врага (не железные — надобно и отдохнуть), сразу активизировалась наша пехота, стремясь вернуть утраченные позиции, изматывая белых, не позволяя им, как говорится, ни поспать, ни пожрать. Вымотались деникинцы до ручки, засыпали сидя или даже стоя. Ну и потери у них были заметные, особенно увеличилось число заболевших.

Однако успех операции, по замыслу Егорова, надлежало искать не в центре, а на растянутых и слабых вражеских флангах, в слабозащищенном тылу. Новых войск Александр Ильич почти не имел, но зато принял самые энергичные меры, чтобы разыскать, нацелить на боевые действия остатки наших рассеянных, разбитых частей. По всем дорогам скакали кавалеристы со строгим приказом: кто остался от батальона, от полка, от дивизии — всем немедленно и решительно атаковать на своем участке деникинцев, теснить их, сколько возможно. И выяснилось, что разрозненных, оказавшихся без руководства наших войск на флангах и в тылу противника осталось немало. Получив ориентировку и четкий приказ, они приступили к активным действиям, помогая армиям, которые, по приказу Егорова двинулись вперед правее и левее железной дороги. Армии эти были, конечно, слабоваты, но и противник перед ними не очень силен. Благодаря решительности, требовательности командующего шевельнулись, тронулись, пошли на врага большие массы людей, начали теснить деникинцев на разных направлениях, прорывая, разрушая их тонкие защитные линии, враг вынужден был оттягиваться к железной дороге. Но и там у белых просто не было возможности оборонять каждый участок насыпи на протяжении десятков и сотен верст. То в одном, то в другом месте перерезали ее наши части, перехватывали единственную вражескую артерию.

Перестали подходить с юга эшелоны с боеприпасами, с пополнением. Застряли бронепоезда. Некуда было отправлять раненых и больных. Белые командиры, боясь полного окружения, смотрели теперь не столько вперед, сколько назад, и думали уже не о параде в близкой Москве, а о том, как бы спасти остатки своих войск и себя. Ударная группировка начала пятиться, наши пошли вперед, наступил психологический перелом, и процесс этот продолжал развиваться и ускоряться, особенно после того, как белые оставили Орел.

Это был уже заметный успех, но успех еще шаткий, переменчивый. Главные силы Деникина были целы. Они могли отдохнуть, пополниться, вновь захватить инициативу. Фронтальным наступлением мы лишь оттесняли врага, освобождали территорию, а требовалось другое: разгромить и уничтожить его войска. Вот теперь-то и сказалась еще одна дальняя задумка Егорова.

Вспомним, кто одним из первых в Красной Армии осознал важную роль конницы в маневренной войне, коей являлась война гражданская? Кто заботился о том, чтобы создать у нас крупные кавалерийские соединения

и отдал приказ об организации конного корпуса Буденного? И вот теперь этот корпус успешно, даже очень успешно сражался на левом крыле Южфронта, разгромил конницу Мамонтова и Шкуро под Воронежем, шел через Касторную на Новый Оскол. Сокрушающим лезвием вонзился он во вражеский тыл. А с противоположной стороны, на правом — западном крыле нашего фронта, подобную задачу решали червонные казаки начдива Примакова, тоже действующие за спиной деникинцев. И, заглядывая вперед, Егоров увидел, предугадал маневр, который мог решить исход всей кампании. Это — стремительное движение конницы Буденного все глубже в тыл врага, на его важнейшие коммуникации. Движение безостановочное, быстрое, увлекающее за собой медлительную пехоту. Чтобы центр тяжести событий находился там, где это особенно невыгодно противнику. Буденный смел и расчетлив, он сумеет осуществить рискованный замысел, надо только усилить его, добавить войск, возвысить его авторитет. Не развернуть ли Конный корпус в Конную армию? Такого еще не бывало в мировой практике, чтобы создавалась целая армия кавалеристов. Но мало ли чего не бывало прежде, на то она и революция, чтобы творить новое!

Не берусь утверждать категорически, у кого впервые родилась мысль о создании Конной армии, может, сразу у нескольких человек — так подсказывала обстановка. Знаю только, что в штабе Южного фронта об этом первым заговорил Александр Ильич. И он же сделал первый практический шаг для осуществления этой идеи: придал Буденному несколько бронепоездов, а главное — усилил его 11-й кавалерийской дивизией. В отличие от основных полупартизанских дивизий Семена Михайловича — 4-й и 6-й, в которых коммунистов и комиссаров почти не было, 11-я кавдивизия формировалась в центре страны на новой организационной основе. В ней имелось много рабочих, партийцев, боевой дух ее был особенно высок.

Итак, Егоров воевал, осуществляя в трудных условиях крупномасштабные операции, а Сталин, находясь рядом с ним, учился у Алексея Ильича, как готовить и проводить оные операции. Для Сталина это была большая и важная школа, заложившая фундамент того, что проявится потом во время Второй мировой войны. Нельзя понять многие последующие решения и действия Иосифа Виссарионовича, если не учитывать того опыта, который он, до этого в основном политический руководитель, получил на Южном фронте, работая вместе с Егоровым.

Той осенью в значительной степени определилось и мое место при Сталине, те обязанности, которые довелось потом в разных вариантах выполнять до самой его смерти. Должности советника при Сталине не существовало. Да он со своим самолюбием и не потерпел бы официальных советчиков. Но ему нужны были люди, которым он совершенно доверял, мнение которых охотно выслушивал, на плечи которых мог без колебаний переложить часть своего груза. Одним из таких людей волею судеб оказался я, ставши негласным советником Сталина, в первую очередь по военным вопросам.

Повторю, что сам Иосиф Виссарионович в ту пору слабо разбирался в стратегии, в оперативном искусстве и даже в элементарной тактике. Чего уж там — с военной картой работать еще не мог — не занимался он этим прежде. А показывать свою некомпетентность, вносить дилетантские предложения, утверждать решения, суть которых не совсем понимал, Сталину не хотелось. Я же с удовольствием делился с ним своими

соображениями, основанными на солидном теоретическом фундаменте и практическом опыте. Делился, естественно, когда оставались вдвоем, но, по его просьбе, присутствовал с ним на всех военных заседаниях, совещаниях. Ему, очевидно, импонировала моя молчаливость, стремление быть незаметным, держаться в тени. После трагических событий моей жизни я стал неразговорчив и вообще сторонился людей, особенно тех, которые любят задавать вопросы. Сталина это устраивало. В полном распоряжении Иосифа Виссарионовича было два ума — его собственный и мой. Любое событие, любое решение он мог оценивать, по крайней мере, с двух точек зрения.

В штабе Южного фронта, в Серпухове, Сталин бывал нечасто, точнее сказать, наездами. Проводил в Москве, в других местах по несколько дней, иногда целую неделю. Ведь будучи членом Реввоенсовета Южфронта он выполнял и другие обязанности как член ЦК партии, как народный комиссар по делам национальностей, как нарком государственного контроля. Это требовало времени. Я удивлялся: зачем на одного человека возлагать столько забот, он же просто физически не может во все вникнуть, трудиться с полной отдачей, без спешки. Людей, что ли, надежных не хватало на все должности?!

Уже в ту пору Иосиф Виссарионович, не любивший беспричинности, нелогичности, случайностей, большое значение уделял тому, как предстать перед людьми, какое впечатление произвести. Заранее обдумывал поступки, слова, жесты. Даже одеждой все заметнее подчеркивал свое двоякое положение: военного деятеля и партийного руководителя. Шинель носил солдатскую, просторную и длинную; в такую обрядил его когда-то в Красноярске бравый фельдфебель Охрименко. Привык, значит. А на голове — лохматая ушанка, какие носили обычно рабочие в Питере (молодая жена Аллилуева в Петрограде подарила). Френч у Сталина военного фасона, со стоячим воротником, с накладными карманами, но пуговицы обтянуты материей. И брюки штатские. Фуражку он тогда почти не носил, она плохо держалась на его пышной, пружинистой шевелюре. Усы не щеточкой, как у штафирок, а совсем военные, густые, подбритые снизу ровной чертой. Но вояки, особенно кавалеристы, закручивали кончики усов в стрелку, обретая лихой вид, а для Сталина это было бы слишком. Он знал меру.

Находился ли Иосиф Виссарионович в Серпухове или уезжал, при всех условиях я должен был знать, что делается на Южном фронте, какие у нас успехи и неудачи, какие распоряжения поступили сверху или отданы Егоровым; численность наших и вражеских войск, наличие боеприпасов; данные разведки, расположение госпиталей, местонахождение бронепоездов и многое, многое другое. Вопросы Сталина бывали самые неожиданные. То он просил охарактеризовать командира энского полка; то интересовался, какие силы Деникина отвлечены на борьбу с Махно; то вдруг ему требовались сведения, сколько подков необходимо отправить в 11-ю дивизию. И я всегда, вернее почти всегда, сразу и безошибочно отвечал ему, чем и тешил свое собственное честолюбие. Я жил только интересами фронта, вникая буквально во все, и Иосиф Виссарионович ценил это. Случалось так: приезжает Сталин в Серпухов, а в это время Егоров находится где-то в войсках. Мне приходилось делать обзор событий по всему фронту. Александр Ильич Егоров настолько привык к этому, что, отправляясь в путь, обязательно говорил мне, какие сведения выделить, к чему привлечь внимание Сталина.

Я был доволен своей работой, независимым положением, кругом людей, с которыми приходилось общаться. Многое перенял для себя у Егорова. Хорошим человеком оказался уполномоченный Реввоенсовета Южфронта Григорий Константинович Орджоникидзе. Интеллигентный, образованный дворянин, обладавший чувством юмора, — с ним приятно было работать и коротать минуты отдыха. А вскоре в Серпухове появился и Климент Ефремович Ворошилов. Его тайком вывез из Москвы Сталин.

Весьма неудачно сложилось у Ворошилова минувшее лето. Он формировал на Украине новую 14-го армию. Создавалась она из партизанских отрядов, из остатков разбитых полков, из добровольцев; умелых командиров почти не имела, а к военспецам — бывшим офицерам — Ворошилов по-прежнему относился с недоверием и даже с ненавистью, хотя вопрос этот был уже ясно и недвусмысленно решен партией. Ну, и никаких успехов не смогли добиться Климент Ефремович и его ближайший помощник Кулик. Всю Украину захватил враг.

Тут уж мстительный Троцкий воспользовался возможностью свести счеты с Ворошиловым. По его распоряжению в трибунале началось следствие. Ворошилова обвинили в нарушении приказов, в преступном, небрежном отношении к существующим установкам и положениям, в применении отрядно-партизанских методов командования и ведения боевых действий, что привело к поражению, к потере Украины. Вот и оказался Климент Ефремович в столице: не у дел и с нависшим над головой карающим мечом. А Сталин взял да умыкнул его подальше от Троцкого, в свою вотчину, под защиту своих войск. Тем более что знал: командующий фронтом Егоров возражать не станет — сам на ножах с Троцким.

Александр Ильич по душевной простоте, по российской щедрости своей в незлопамятству не мог не порадеть знакомому сослуживцу, совершенно не беря в расчет лютую ненависть Ворошилова ко всем дворянам и офицерам. Три богини, вечные пряхи, в военные годы, казалось, совершенно запутавшиеся в своих нитях, хаотично рвавшие их, на самом деле вполне обдуманно и хитроумно переплетали судьбы, завязывая такие немыслимые узелки, которые предстояло в будущем разрубать с болью и кровью. В Царицыне Ворошилов начал формировать 10-ю армию, а завершил формирование, создал регулярное войсковое объединение Александр Ильич. На Украине Ворошилов собрал, слепил 14-ю армию, но когда выяснилось, что остановить врага эта армия не может, командовать ею послан был Александр Ильич, который и совершил невозможное, сорвал вражеское наступление. Сдав после этого 14-ю армию Иерониму Петровичу Уборевичу, сам Егоров возглавил Южный фронт, где и нашел пристанище подследственный Ворошилов. Вот какая вытягивалась цепочка.

У нас в Серпухове Климент Ефремович сперва чувствовал себя напряженно, поглядывал выжидающе, плотно сжимал тонкие губы маленького рта, что придавало его лицу обиженное выражение. Но, приветливо встреченный Егоровым, быстро оттаял, обрел уверенность. Он даже меня узнал и поздоровался. А в Царицыне-то вроде и не замечал.

Егорову и Ворошилову было о чем потолковать и что вспомнить. Оставив их ужинать, Иосиф Виссарионович вышел со мной в соседнюю комнату, спросил шутливо:

— Николай Алексеевич, где укрыть нам этого беглеца? Чтоб Наркомвоен не дознался и чтобы с пользой для дела?

Я сразу подумал о 61-й стрелковой дивизии, которая перебрасывалась к нам с Восточного фронта и сосредоточивалась в городе Козлове. Положение в ней было, выражаясь на тогдашний манер, аховое. Боеспособностью и дисциплиной она на востоке не отличалась, к тому же, как это часто бывает, перед отправкой из нее забрали лучших командиров и комиссаров, приберегли для себя. В пути личный состав разболтался. Едва прибыла первая бригада, начались случаи прямого неповиновения. Обмундированы люди плохо, вооружение слабое. После знакомства с этой дивизией я хотел предложить Реввоенсовету расформировать ее, обратив личный состав на пополнение других, надежных соединений. Но если послать туда столь опытного командира, как Ворошилов… Даже не начдивом, а исполняющим обязанности: для этого достаточно на первых порах устного распоряжения Егорова, без утверждения Москвы. Только не обиделся бы Климент Ефремович: армиями командовал, был членом правительства Украины, и вдруг — на дивизию.

— Интересное соображение, — сказал Сталин, словно бы подчеркивая свои слова коротким, энергичным жестом руки. Это само собой получалось у него, когда он соглашался, утверждал что-то сразу, охотно, без малейшего колебания. — Пусть Ворошилов едет в шестьдесят первую. А насчет самолюбия — он поймет. Это временно. Считаю, что он станет членом Реввоенсовета Конной армии.

— А она будет?

— Мы создадим ее в ближайшие дни, — уверенно ответил Сталин.

А Егоров, узнав о нашем предложении, как всегда, смог посмотреть еще дальше. Пусть, дескать, товарищ Ворошилов не только приводит в порядок 61-ю дивизию, но на базе ее создает резервную ударную группу. Добавим туда еще одну стрелковую дивизию, кавалерийские полки. Если почему-либо сорвется, затормозится наступление Буденного, у нас будет в запасе еще одна группировка, чтобы влиять на развитие событий.

Климент Ефремович сразу же выехал к месту службы.

18

Что-то неладное произошло вдруг с Егоровым. Будто с разлета наткнулся человек на стену, ударился больно, сник, опустил крылья.

Для таких открытых натур, как Александр Ильич, таиться, скрывать что-либо — это мука мученическая. А он таился. Завелись у него среди штабных прихлебатели, поздним вечером проскальзывали к нему на квартиру или в салон-вагон. Вместе с ними хмельным зельем пытался Егоров залить какое-то лихо. По утрам выходил опухший, невыспавшийся, иногда даже небритый. Избегая встреч со Сталиным, старался скорее уехать в войска.

В конце ноября или в декабре, во всяком случае уже после наших крупных побед, меня среди ночи, часа в два, неожиданно пригласил Иосиф Виссарионович. Сам-то он уже тогда имел привычку ложиться поздно (или рано?), часа в три-четыре, но другим отдыхать не мешал, не дергал после полуночи, работая один. А тут — на тебе!

В кабинете — завеса табачного дыма. На диване, в самом углу — растерянный, виноватый Егоров. Не в обычной своей позе (скрестив на груди сильные руки), а ссутулившийся, поникший. Сталин быстро ходил от стены до стены. Лицо возбужденное, глаза поблескивали сердито.

— Николай Алексеевич, — Сталин, как пистолетом, нацелился трубкой, — какую должность вы занимали в пятом-шестом годах?

— Весьма скромную. Командовал полуротой.

— Значит, совершенно такая же должность! — Иосиф Виссарионович сказал это Егорову и вновь повернулся ко мне. — Николай Алексеевич, если бы вам тогда приказали стрелять в бунтовщиков, вы бы стреляли?

— Конечно!

— Вы слышите?! — воскликнул Сталин. — Объясните, почему?

— Я принимал присягу, давал клятву выполнить любой приказ. Без этого не может существовать никакая армия. А в политике мы не разбирались, офицерам категорически запрещалось интересоваться политикой. Мы с вами когда-то говорили об этом, Иосиф Виссарионович.

— Помню, — подтвердил он. — И со своей стороны добавлю: в пятом году вы оба были молоды, а молодежь чаще ошибается, чаще допускает промахи… Знаете притчу о фарисеях?

— Разумеется.

— Пусть тот, у кого нет ни одного греха, первым бросит в грешницу камень… Хороши бы мы были, если бы карали друг друга за прошлые наши недостатки!

— О чем речь, Иосиф Виссарионович?

— Речь о товарище Егорове, — чубук трубки нацелился на Александра Ильича. — Он был подпоручиком и вывел свою полуроту на площадь в Тифлисе. Ему было приказано преградить путь демонстрации возле Александровского парка, что он и выполнил. И даже получил награду за свои действия. Так я говорю, товарищ Егоров?

— Да, — впервые подал голос Александр Ильич.

— Теперь он узнал, что среди тех, кто вел рабочих на демонстрацию, был и я. Теперь его, видите ли, мучает совесть… Будто он мог предвидеть, что мы встретимся. Сплошная интеллигентщина! Хуже, чем у Достоевского! Как будто не Егоров впоследствии поднял своих солдат за революцию! Как будто не он вступил в нашу партию и вот уже второй год очень успешно сражается с нашими врагами!

— Камень был на душе, — смущенно произнес Егоров. — Как узнал, что вы там были, могли под пулю попасть…

— Какой такой камень?! — Голос Сталина зазвучал осуждающе. — Разве партии когда-нибудь не доверяла вам? Мы же прекрасно понимаем, какая была обстановка, какая неразбериха, особенно после царского манифеста. Все перепуталось. Когда солдаты-украинцы подпоручика Егорова стреляли по грузинским демонстрантам, в то же самое время командир сорок девятого Брестского пехотного полка грузин-полковник Думбадзе отдал приказ стрелять по рабочим Севастополя. А солдат того же полка еврей Яков Войтевлянер, почти не знавший русского языка, выстрелил в полковника Думбадзе… Только очень подготовленные политически люди могли тогда понять и оценить обстановку.

— Мучился, как от занозы в сердце, ей-богу, — вздохнул Егоров.

— Зачем мучиться? Сели бы мы с вами за стаканом чаю, поговорили бы о Тифлисе, вынули бы занозу из сердца и из головы. Как говорит пословица: кто старое помянет… А вы знаете, Николай Алексеевич, что он хотел сделать? — в голосе Сталина звучала обида. — Он приготовил письмо Ильичу, кается в своих давних грехах и просит назначить его на менее ответственное место, где не будет терзать совесть. Он, видите ли, разбирается в искусстве, сам поет, жена у него актриса, и он мог бы стать

директором Мариинского театра. А? Каково? Командующий главным фронтом республики — и Мариинский театр! Ну, разве не достоевщина?!

— В театре, товарищ Сталин, тоже борьба…

— Но не те масштабы! Вы здесь нужны, здесь решается судьба нашей революции. Я прошу и требую порвать письмо, которое вы мне показали. Оно принесет только вред и вам и всему нашему делу. Ильич хорошо знает, на каком посту от вас больше пользы. А если письмо станет известно Троцкому или его приспешникам, они не упустят случая облить вас грязью. В том числе и за Тифлис.

— Хорошо, товарищ Сталин, я сейчас же порву письмо, — поднялся Егоров, доставая конверт.

— И больше никогда не будем возвращаться к этому вопросу, — решительно произнес Сталин.

— Я рад, что разговор состоялся. Теперь между нами нет никакой стены.

— Очень ценю вашу откровенность, товарищ Егоров, — сказал Иосиф Виссарионович, заново набивая трубку. — И хочу, чтобы ничто не отвлекало нас от главного, не мешало нам развивать боевой успех. Перед нами Донбасс, перед нами важнейший экономический район, богатый углем, железом и хлебом. Это сейчас для Республики особенно важно. И освобождать Донбасс будете вы!

В обычное время, привыкнув, я почти не замечал акцента Иосифа Виссарионовича. Но когда Сталин говорил эмоционально, резко, в повышенном тоне, у него получалось «нэ» вместо «не» и особенно заметно, даже неприятно резало слух «ви-и» вместо «вы».

— Освобождать Донбасс будете ви-и, — повторил он, подчеркивая свои слова коротким, сильным движением руки.

19

Только очень важная цель принудила Егорова и Сталина оголить штаб фронта, вместе отправиться в далекое и рискованное путешествие. Салон-вагон командующего и салон-вагон члена Реввоенсовета рядом, в центре состава. В соседнем пассажирском вагоне — оперативная группа штаба, Пархоменко, Щаденко и я. И Ворошилов со своей неизменной спутницей, одесской еврейкой Екатериной Давыдовной Горбман, с которой познакомился и оженился в ссылке на севере. И с той поры был неразлучен. Чего им не хватало для полного счастья, — это ребенка. Его во всю жизнь так и не дал им Бог, несмотря на привязанность Екатерины Давыдовым к мужу и их неразлучность.

В голове состава находился вагон охраны, в нем несколько человек, пользовавшихся особым доверием Сталина. Среди них — мой царицынский знакомый Власик, наглый и жестокий по отношению к тем, кто ниже его, и раболепствующий перед начальством, особенно перед Иосифом Виссарионовичем. Готов был растянуться на полу, чтобы Сталин ступал по нему. Беспринципный слуга, выбившийся «из грязи в князи». Лишь объективности ради добавлю, он был неприятен мне, как вообще бывает неприятен соучастник минувших сомнительных деяний, чье присутствие вызывает тяжелые воспоминания.

До Воронежа ехали обычным порядком. Там к составу, перед вагонами и после них, прицепили платформы с запасными шпалами и рельсами. Настороженно выглядывали из-под шпал тупорылые пулеметы.

Под защитой бронепоезда наш состав двинулся дальше по тем местам, где недавно отгремели бои, где железнодорожное полотно было заштопано на скорую руку. Миновав Касторную, с большим трудом дотянули до станции Новый Оскол, где еще дымились присыпанные свежим снегом пожарища. Оттуда на санях — в село Велико-Михайловку, затерянное средь степных просторов, в штаб Семена Михайловича.

6 декабря 1919 года в этом селе произошло событие, влияние которого долго потом сказывалось на всей жизни нашей страны и с особой силой отразилось на начале и ходе Великой Отечественной войны. Здесь впервые сошлись вместе и заключили дружественный союз люди, которые потом более тридцати лет определяли основные линии развития государства, те люди, влияние которых сказывается и по сию пору. В бревенчатом доме на Телеграфной улице встретились Егоров, Ворошилов и Буденный, коим суждено стать первыми Маршалами Советского Союза. С ними за столом сидел человек, которому доведется носить редчайшее воинское звание Генералиссимуса, доведется вершить судьбу огромного государства и в мирные дни, и в годы самой кровопролитной войны. С этой встречи начался отсчет многих достижений Иосифа Виссарионовича — с одной стороны, и отсчет многих трагедий и неудач — с другой.

Можно спорить о каких-то подробностях, деталях, но несомненно главное: именно с этой встречи началось прямое и неуклонное восхождение Иосифа Виссарионовича к твердой власти. Он получил реальную основу для достижения своих целей.

В тот холодный ветреный день было организационно оформлено создание небывалого в мировой военной практике кавалерийского объединения, был зачитан приказ о преобразовании Конного корпуса Южного фронта в Первую Конную армию. Командовать поручалось Буденному. В состав Реввоенсовета армии вошли старые знакомые Иосифа Виссарионовича — Ворошилов и Щаденко. Было намечено значительно увеличить численность объединения (в нем было тогда около семи тысяч человек), добавлялась артиллерия, в Конармию вливались отряд бронепоездов, автобронеотряд, авиационная группа. В общем, срочно делалось все, чтобы превратить Первую Конную в мощную и надежную опору Республики. И в надежную опору тех, кто создавал Конармию, преодолевая сопротивление все того же Троцкого, понимавшего, что в этой армии у него нет или почти нет сторонников.

Дело было сделано, и мы (я не отделяю себя от группы инициаторов) могли быть довольны, могли радоваться. Однако причины для радости у каждого были свои, каждый шел к этому свершению собственной дорогой и преследовал собственные цели. Самым бескорыстным был, пожалуй, в данном случае Егоров. Он был доволен как человек, раньше других военных специалистов понявший роль крупных масс конницы в гражданской войне. Его стремления увенчались созданием целой конной армии! Первой среди всех времен и народов: Александр Ильич испытывал профессиональную гордость.

В Велико-Михайловке Егоров обдумывал, набрасывал план предстоящих боевых действий. Утвержденный Реввоенсоветом Южного фронта, план этот превратился вскоре в официальную директиву, которая предопределила ход дальнейших событий. Операция замысливалась огромная, на большом пространстве от Днепра до Дона. В ней участвовало много войск, но особая роль отводилась Буденному. Его ударная группа в составе Конармии, 9-й и 12-й стрелковых дивизий должна была

стремительно ворваться в самый центр Донецкого бассейна. А затем — дальше, до Азовского моря, до Таганрога, чтобы рассечь надвое все войска Деникина, отрезать Добровольческую армию от казачьего Дона. «Обращаю внимание т. Буденного, — подчеркнул в директиве Егоров, — что от быстроты и решительности действий его ударной группы будет зависеть успех всей намеченной операции.»

Точный расчет полководца и творческое вдохновение незаурядной личности сочетались в этом замысле Александра Ильича. Верил он, что Буденный, окрыленный новой высокой должностью, чувствующий поддержку свыше, сумеет выполнить намеченный план.

На совещании в Велико-Михайловке, в доме на Телеграфной улице, восседал Егоров, словно патриарх, со спокойной добродушной улыбкой в своей любимой позе, скрестив на груди могучие, широкие в кисти руки русского богатыря, слушал выступления, вспыхивающие споры, лишь изредка вставляя словцо, будто чуть-чуть подправляя веслом плывущую по фарватеру лодку.

Если уж для Егорова, озабоченного стратегическими замыслами, создание Конной армии было событием значительным и радующим, то что же говорить о Семене Михайловиче? Два года назад — унтер, он вдруг вознесся на совершенно сказочную высоту. Год назад — командир партизанского отряда, затем — эскадрона, помощник командира полка. А нынче — генерал! И не просто генерал — бригадный, дивизионный, корпусной, а командующий армией! Никакой кавалерийский начальник за всю историю человечества на такую вершину не поднимался, даже звания соответствующего не имелось! А поддержка какая: и Егоров, и Сталин. И товарищ Калинин месяц назад к нему приезжал: вот, мол, Семен Михайлович из крестьян, а полководцем стал! Это, дескать, по-нашенски, по-пролетарски! Теперь Калинин, который сам из мужиков, горой стоит в Москве за Буденного.

Уже в то время, в самом начале своей карьеры, Семен Михайлович был убежден: на высоком посту просто так не удержишься, надо не только добросовестно выполнять свои обязанности, но и сметать тех, кто станет на пути. Решительности ему было не занимать, беспощадности научила война (если не я его, то он меня!). Недавно, в сентябре, он разоружил только что сформированный Донской казачий кавалерийский корпус, арестовал его командира — Филиппа Кузьмича Миронова и весь штаб. Видел в этом корпусе и в Миронове прямых конкурентов, способных затмить его славу.

Впрочем, Миронов был хоть и опасным, но не самым главным соперником. Имелся и пострашнее — Борис Макеевич Думенко. К служебному соперничеству примешивались личные счеты, глубокая личная обида. Долгое время широкая тень Бориса Думенко загораживала Буденного, и он вынужден был, подавив самолюбие, считаться с этим, потому что на Сале и Маныче, на Среднем и Нижнем Дону слыл Думенко первым и самым большим красным кавалеристом.

С помощью Егорова стал Буденный командиром кавкорпуса, когда увезли в госпиталь Думенко. Корпус так и назвали «буденновским». Почта в то время либо совсем не ходила, либо запаздывала на полгода, но в тесном мире кавалеристов все было известно, слухи неведомыми путями распространялись без задержки по всему Дону и всей Кубани. Знали конники: Думенко не столько ранение свое тяжелое переживал, сколько то, что вылетел из большого седла. А Семен захватил все хозяйство.

Словосочетание «корпус Буденного» действовало на Думенко, как красная тряпка на быка.

Правая рука не повиновалась, грудь была так изувечена, что при резком движении Борис Макеевич задыхался, но не мог он смириться с тем, что бывший помощник — Семен вознесся на генеральскую высоту. Отдыхать бы Думенко, детей да внуков пестовать, а он уехал из лазарета и всю свою бешеную энергию употребил на то, чтобы подняться вровень с Буденным. Собрав разрозненные эскадроны, изъяв кавалерийские части и подразделения из стрелковых дивизий, наскоро, с грехом пополам на одном самолюбии сформировал Думенко некое соединение, именовавшееся Конно-Сводным корпусом. Бойцов-то было меньше, чем в любой буденновской дивизии, но лиха беда начало. Думал Борис Макеевич, что потекут, побегут к нему бывшие сослуживцы (в том числе и от Буденного), что соберет он под свое крыло массу красных казаков и иногородних. Но времена уже были не те, кончалась партизанщина, дезертиров и перебежчиков карали по закону военного времени. И все же Конно-Сводный корпус рос помаленьку, вызывая тревогу и беспокойство Буденного. Сегодня соотношение один к трем, а завтра — черт его знает! Как ни суди, а Бориса Макеевича почитают в станицах.

И вот теперь Семен Михайлович командует уже не корпусом, а Конной армией, в которую любой корпус может войти составной частью. Обскакал Буденный своего соперника, попробуй догнать!

Радостные эмоции Егорова, Буденного и мои были на поверхности, их можно было видеть и объяснить. Создали новое объединение для разгрома врага — вот и хорошо! А если еще и личная заинтересованность в этом есть — тем лучше, тем надежней. И, пожалуй, меньше всех чувства свои проявлял Иосиф Виссарионович. Казался даже равнодушным, погруженным в какие-то размышления. Но, как выяснилось впоследствии, именно он вместе с Ворошиловым возлагал на Конную армию такие большие надежды, что мы и представить себе не могли. В этом проявилась одна из черт Сталина, позволявших ему выходить победителем в долговременных закулисных, невидимых битвах. Если мы, военные, жили сегодняшними и завтрашними событиями, то он, политик, заглядывал в отдаленное будущее. И расчетливо расставлял нас, своих помощников, на нужные позиции. То есть, добиваясь нынешних успехов, пытался готовить, формировать грядущие свершения. Я тогда еще не понимал этого.

В ту пору, через два года после Октябрьского переворота, в Советской республике было несколько лиц, занимавших особое, хотя и не равноценное положение. Первым и главным среди них был, безусловно, Владимир Ильич Ленин, чье имя не только у нас в стране, но и во всем мире словно бы ассоциировалось с понятием «революция». Глубокий теоретик, выдающийся практический руководитель, он, ко всему прочему, после покушения Фанни Каплан, был окружен ореолом мученика, страдальца. Авторитет Ленина был настолько высок в Республике, что никто не шел в сравнение с ним. Даже самоуверенный Троцкий, не признававший ничьей мудрости, кроме своей, и тот не пытался стать вровень с Владимиром Ильичом, а довольствовался тем, что считал себя вторым человеком в новом государстве. И основания для этого у него имелись. Многие его сторонники занимали (благодаря ему) высокие посты и безусловно поддерживали своего патрона.

Троцкий не только ведал организацией Красной Армии, но и принимал большое участие в создании карательных органов. Командный состав и

там, и там, работники штабов и руководящих инстанций — наполовину, если не на две трети, были выдвиженцами самого Льва Давидовича или его помощников. В руках Троцкого находилась реальная сила, придававшая ему вес и уверенность, он мог уничтожать или третировать своих противников, в том числе даже известных партийцев. Пример тому — Ворошилов, изрядно пострадавший от Троцкого. А вот Сталин, хоть и занимал ответственные посты в партии и государстве, надежной вооруженной опоры не имел и являлся лишь энергичным, дисциплинированным добросовестным исполнителем указаний ЦК и самого Ленина.

Трудно под Царицыном — туда направляют Сталина. Плохо в Петрограде — получай, Иосиф Виссарионович, чрезвычайные полномочия, наводи порядок. Страшная угроза на юге — давайте, дорогой товарищ Сталин, принимайте вместе с Егоровым самый опасный фронт. Все это было почетно, Иосиф Виссарионович гордился таким доверием Ильича, но отзови его с поста, на котором только что вершил важные дела — и Сталин лишь рядовой боец партии. И опять его судьба зависит от того же Троцкого, за спиной которого десятки дивизий. К тому же Троцкий уже понимал, что главный его противник — Сталин, вокруг которого начинают сплачиваться идейные враги Льва Давидовича и те, кто был им обижен.

В этой усилившейся борьбе Сталину мешала замкнутость, неумение быстро сходиться с людьми. На партийных съездах встречался он со многими потенциальными сторонниками, единомышленниками, но ни с кем не сблизился. Давно знакомые Калинин, Фрунзе, Артем оставались для него партийными товарищами, но не друзьями. Даже на Кавказе, где Иосиф Виссарионович вел работу до революции (исключая время ссылок), у него не было верных друзей. А приехав в семнадцатом году в Питер, он вообще оказался в одиночестве в новой для него обстановке. Жил только революцией. Личное — встречи с одной старой знакомой (речь о ней впереди) и любовь к молодой Наде Аллилуевой, которая стала его женой и в которой он так хотел обрести верного человека.

Два совершенно различных сильных характера — Сталин и Троцкий, ужиться они не могли, кто-то должен был взять верх. Сталин искал опору. И те, кто примыкал к нему, безусловно признавая за ним лидерство, становились соратниками на всю жизнь. В этом отношении особая роль выпала на долю Ворошилова и Буденного.

В руках Троцкого большая часть общевойсковых армий. Но такая армия — организм нестабильный, быстро меняющийся: текучка бойцов и командиров, изъятие частей и целых соединений способны за короткое время обновить личный состав, изменить настроение, ориентацию. А Конная армия — это совсем другое. Взвод, эскадрон, полк — ячейки крепкие, почти нерасторжимые. Свои традиции, общая забота о конском составе и многое другое связывали в кавалерии людей. Это и учитывал Сталин, активно поддерживая, продвигая по инстанциям идею создания мощного кавалерийского соединения. И обязательно под руководством Буденного и Ворошилова, которые относились к Троцкому, как и сам Иосиф Виссарионович. Проверенные по Царицыну люди, такие, как Щаденко и Пархоменко, помогут укрепить руководство во всех звеньях, выдвинут на командные должности надежных людей. Это будет такой орешек, который не по зубам никакому противнику: ни белогвардейцам, ни Троцкому.

И вот — действует Реввоенсовет Первой Конной. Теперь у Сталина есть на всякий случай надежная военная сила. Оставалось решить еще один вопрос — о партийности Семена Михайловича. Станет он коммунистом — возрастет роль большевиков в армии, да и самому Буденному будет легче руководить войсками с помощью партийцев. И вообще: много ли в Красной Армии на высоких должностях выходцев из самых низов да еще с партийным билетом в кармане?! Единицы. Попробуй сними такого!

После утреннего заседания в Велико-Михайловке Ворошилов, а затем Сталин каждый порознь беседовали с Семеном Михайловичем. О чем говорили — не знаю, но на вечернем заседании, когда два Реввоенсовета (Южного фронта и Первой Конной) продолжили совместную работу, Иосиф Виссарионович прежде всего заговорил о Буденном. Вот, мол, Семен Михайлович давно и всей душой стремится стать членом партии, делами доказал преданность революции, но до сих пор в горячке событий не может оформить свое членство.

— Когда вы подавали заявление о желании вступить в партию? — спросил Сталин.

— Еще весной, — приподнялся Буденный.

— И что же?

— Ответа из политотдела десятой армии не получил.

— Вот видите, — развел руками Иосиф Виссарионович. — Могло быть так, товарищ Егоров, вы тогда командовали десятой?

— Командовал армией, но не политотделом, — уточнил Александр Ильич.

— И все же, как вы думаете, почему Семену Михайловичу не дали ответа?

— Бои начались, марши, переброски… Меня ранило, да и корпус Буденного вскоре вышел из подчинения десятой.

— А могли быть в политотделе недобросовестные работники? — продолжал Сталин.

— Не берусь судить. Но ответ обязаны были дать, — сказал Егоров.

— К сожалению, в этом вопросе была допущена явная ошибка. Мы, товарищи, можем исправить ее, — предложил Иосиф Виссарионович. — Я лично даю рекомендацию товарищу Буденному и не сомневаюсь, что он оправдает доверие. Кто еще?

— Я рекомендую товарища Буденного, — сказал Ворошилов.

— И я даю свою рекомендацию, — присоединился Щаденко.

— Очень хорошо, — резюмировал Иосиф Виссарионович, — Предлагаю принять товарища Буденного в наши ряды и считать его членом РКП(б) с момента подачи заявления.

— С марта, — подсказал Семен Михайлович.

— Считать его членом РКП(б) с марта девятнадцатого года. Кто за?

Члены двух Реввоенсоветов подняли руки. Я, как беспартийный, в голосовании не участвовал. Мое место в стороне, возле большой печки. Мое дело слушать, запоминать да отвечать на вопросы, если они возникнут.

С этого дня у Семена Михайловича появились два «крестных отца»: Егоров — по военной линии и Сталин — по партийной. Одному из них Буденный верой и правдой будет служить всю жизнь.

Приняв Семена Михайловича в партию не в ячейке, а на заседании Реввоенсоветов, да еще сразу в члены, а не в кандидаты, да еще задним числом, Сталин нарушил существовавшие тогда правила. Упоминаю об

этом для того, чтобы выделить еще одну черту характера Иосифа Виссарионовича. Сам устанавливавший строгие порядки, выдвигавший незыблемые догмы, он, когда требовалось, нарушал любые установления, от кого бы они ни исходили. Иосиф Виссарионович никогда не плыл по течению, не стремился против течения, расходуя силы: он плыл туда, куда считал нужным. К намеченной цели.

20

Два дня Иосифа Виссарионовича мучил насморк. Он не расставался с большими носовыми платками, и часто их менял. Сморкался стеснительно, отворачиваясь от собеседников. Голос его, и без того низкий, звучал еще глуше. Иногда он поводил плечами, будто в ознобе.

Обычная простуда? Нет. Я уже неоднократно замечал, что такое состояние появляется у Сталина, когда он крайне возбужден, взволнован. Один или со мной — хмур, раздражителен, а на людях, наоборот, — подчеркнуто спокоен, говорит монотонней обычного, все движения замедленны, заторможены. При первом знакомстве Иосиф Виссарионович показался мне весьма хладнокровным, не похожим на горячих, взрывчатых южан. Однако довольно скоро я убедился, что это лишь маска, что человек он очень впечатлительный, легко возбудимый, но все эмоции подавляет усилием воли, постоянно держа себя в крепкой узде. Трудная жизнь приучила — тюрьмы, ссылки. А ведь это очень тяжело — искусственно поддерживать такое состояние. Ну, вспыхнул бы, отбушевал, разрядился — и легче бы стало. А он давил в себе гнев, обиду, страх, не позволяя им проявиться даже в жестах. Сильные переживания лишь вызывали в нем столь же сильное напряжение воли для полного сокрытия чувств. Внешне он казался невозмутимым. Но вдруг появлялись симптомы простуды: насморк, хрипота, озноб. Вероятно, организм нашел хоть какую-то форму нервной разрядки.

По этой неожиданной вспыхнувшей его болезни я понял, насколько тревожился Иосиф Виссарионович, приехав в Велико-Михайловку. Он не был уверен, что все пройдет гладко, обернется пользой ему и общему делу. В любую минуту мог вмешаться Троцкий, воспротивиться созданию Конармии, сорвать планы. Да и своенравный Семен Михайлович — полновластный хозяин кавалерийских дивизий — выдвигал совершенно неприемлемые требования. Он, к примеру, настаивал, чтобы в Реввоенсовет Конармии вошли не только представители со стороны (Ворошилов и Щаденко), но и еще два человека из его конницы. Уперся — с места не сдвинешь. Пришлось лавировать, убеждать.

На последнем вечернем заседании я подумал: все закончилось благополучно, если мои предположения о здоровье Сталина верны, он должен поправиться в самое ближайшее время. Причин-то для напряжения больше нет. И действительно, за поздним обильным ужином на квартире Буденного он чувствовал себя гораздо лучше, свободней, почти не сморкался. Охотно пил вино, произнес тост и даже косил глазами в сторону хоть и не молодой, но весьма пригожей хозяйки с роскошными формами.

Утром он уже не пользовался носовым платком, однако пережитое волнение еще сказывалось, его слегка познабливало. Когда сел в санки, укутался тулупом так, что лишь черная шапка виднелась.

Отправились на передовую. Александру Ильичу очень хотелось увидеть кавалеристов в бою, наши и неприятельские действия. Иосиф Виссарионович сказал, что тоже поедет. При случае он потом мог заявить: своими глазами видел, как сражаются отважные конники товарища Буденного.

Нам повезло: и погода была хорошая, с бодрящим морозцем, и бой развернулся такой, какие случаются редко. Никто не ждал, что именно и этот день вражеская конница нанесет нам фланговый удар в районе населенного пункта Волоконовки, а затем, опять же по воле случая, сама окажется зажатой между 4-й и 6-й буденновскими дивизиями. На ровном пространстве, на белых полях, столкнулись кавалерийские массы, противники сошлись лицом к лицу, огневой бой перерос в жестокую, дикую рубку.

О том сражении немало написано, я не буду подробно рассказывать о нем, не это сейчас важно. Мы наблюдали за схваткой с холма, сами подвергаясь опасности. Видели многие подробности. А когда сражение кончилось и стихли выстрелы, спустились на поле брани. Все мы, в том числе и Сталин, не были новичками на фронте, успели повидать и убитых, и раненых. Но на этом залитом кровью поле не просто убивали, здесь кололи пиками, рубили, кромсали саблями. Потом по трупам, по валявшимся раненым несколько раз прокатились разгоряченные боем кавалерийские лавы: кованые копыта коней топтали, обезображивали тела. Меня даже замутило от этой страшной картины. Ворошилов был бледен. Сталин удивленно, растерянно смотрел то в одну, то в другую сторону. Сказал, отступая от мертвеца с размозженной головой:

— Это чудовищно!.. Семен Михайлович, что же это такое? Разве нельзя избегать таких ужасов и таких больших жертв?!

За дословность не ручаюсь, не записывал тогда, но произнес Сталин нечто подобное, и Семен Михайлович близок к истине, приводя высказывание Иосифа Виссарионовича в своих воспоминаниях. Не уничтожать белых солдат, а громить, рассеивать неприятеля, брать в плен — вот о чем говорил Сталин под впечатлением того боя.

После смерти Сталина довелось слышать сомнения и даже упреки: не мог, дескать, Иосиф Виссарионович произнести такое. Он ведь жестокий, бессердечный, твердый, как камень. Правильно, было в нем и то, и другое. Но ведь не родился же он таким. Всему свое время.

Вскоре после боя под Волоконовкой мы, соратники Сталина, поздравили его с первой наградой. За успехи, достигнутые минувшим летом, свидетелем которых мне быть не довелось, знал только понаслышке. Удивительно, что при этом судьба свела, поставила рядом двух противников. Решение о награждении Троцкого оформлено протоколом № 67, о награждении Сталина — под следующим номером. Вот этот документ, подтверждающий военные заслуги Иосифа Виссарионовича.

«Протокол № 68 заседания Президиума ВЦИК от 27 ноября 1919 года. (Калинин, Енукидзе, Невский, Рыков, Смидович).

О награждении члена Президиума ВЦИК и члена Реввоенсовета Южного фронта товарища И. В. Сталина орденом Красного Знамени.

В минуту смертельной опасности, когда окруженная со всех сторон тесным кольцом врагов, Советская власть отражала удары неприятеля, в минуту, когда враги рабоче-крестьянской революции в июле 1919 года подступали к Красной Горке, в этот тяжелый для Советской России час, назначенный Президиумом ВЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович

Джугашвили (Сталин) своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии.

Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнем, личным своим примером воодушевлял ряды борющихся за Советскую Республику.

В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной его дальнейшей работы на Южном фронте, ВЦИК постановил наградить И. В. Джугашвили (Сталина) орденом Красного Знамени.

Председатель ВЦИК М. Калинин

Секретарь А. Енукидзе».

21

Ровно месяц, а правильнее — всего месяц, потребовался Конармии, чтобы дойти до Ростова-на-Дону и захватить некоронованную деникинскую столицу. И не просто дойти по бездорожью, в зимнюю стужу, преодолев большие пространства, но и разбить в многочисленных боях лучшие части белых, расколоть надвое их фронт, освободить Донбасс. Что там ни говори, а главную роль в разгроме Деникина, как и задумал Егоров, сыграла Первая Конная. Она не только сама стремительно катилась на юг, но и увлекала за собой пехоту двух соседних армий. Честь и слава за это Первой Конной! Честь и слава ее начальникам — Буденному и Ворошилову, которые и победу сумели одержать, и в ходе боев усилили свое детище: Конармия значительно выросла. И, конечно, честь и слава руководителям Южного фронта — Егорову и Сталину: они наметили верные планы и выполнили все замыслы. А если кто-то возразит, что дело не в Егорове и Сталине, что и без них результат был бы таков же, я только пожму плечами в ответ. И, пожалуй, напомню такой исторический факт. В первой половине января 1920 года мало кто сомневался, что деникинцам пришел конец. Оставалось лишь добить их. Конная армия в Ростове, левее ее на подступы к Северному Кавказу вышли 7-я, 9-я и 10-я общевойсковые армии. Казалось, еще один нажим, и будет поставлена точка.

В Москве кто-то поторопился. Южный фронт был преобразован в Юго-Западный (против белополяков), командовать им остался Егоров. На новую работу — восстанавливать разрушенное хозяйство — уехал Сталин. А войска, совершившие славный поход, были переданы в состав Юго-Восточного фронта, которым командовал Василий Иванович Шорин (вскоре этот фронт будет переименован в Кавказский). И произошел срыв, которого не ожидали ни мы, ни белые. Наступление наших войск, в том числе Первой Конной, приостановилось. Почему, как? Объяснить все можно. Войска выдохлись, понесли большие потери, оторвались от баз снабжения. Плохо одеты. Боеприпасов почти нет. Все это правильно, однако такое положение возникло не сразу. Почти весь декабрь оно было таким, но войска действовали, двигались, гнали белых. Их вела вперед неутомимая мысль Александра Ильича Егорова, находившая все новые и новые возможности для продолжения наступления. Их толкала вперед энергия Сталина, его постоянное давление на командный состав, его неумолимая требовательность. И как только войска перестали ощущать влияние этих двух выдающихся руководителей, — фронт замер.

Ничего худого не хочу сказать о Василии Ивановиче Шорине. Наоборот, если бы мне предложили высказать свое мнение о главных полководцах, командовавших фронтами, внесших своим мастерством наибольший вклад

в победу красных войск, я без колебания поставил бы на первое место Егорова. Затем — равнозначных по воинским способностям Фрунзе и Шорина. Потом — Тухачевского.

Много сделал Шорин для советской власти, причем в самые трудные для нее месяцы. Не терял выдержку при неудачах, когда война казалась проигранной, продолжал работать, надеясь на успех, готовя его. В ратном деле, командуя фронтами, Фрунзе и Шорин были примерно равны, но Фрунзе-то еще партийный, политический руководитель, имя его получило широкую известность, а Шорин — бывший полковник Генерального штаба, военспец. Году этак в двадцать третьем его тихо-мирно уволили из армии. Работал в Ленинграде, крепил в Осоавиахиме оборону страны. Затерялся вроде бы Шорин. Но Буденный и Ворошилов не могли смириться с тем, что жив человек, конфликтовавший с ними, хорошо осведомленный не только об успехах, но и об их провалах, о не совсем добропорядочных поступках (хотя бы с теми же Мироновым, Думенко). Пришло время, и разыскали старого полководца, не дали дожить до естественной смерти. Было горько узнать о гибели этого порядочного человека, добросовестно защищавшего революцию.

Кстати, во время гражданской войны в Республике была учреждена особая награда «За боевые отличия, выказанные высшими начальствующими лицами в действующей армии». Это — почетное революционное оружие со знаком ордена Красного Знамени, или «золотая шашка» — «золотое оружие», как его называли. Всего лишь двадцать один человек в нашей стране удостоился этой награды. 8 августа 1919 года первыми получили его Главком Вооруженных Сил РСФСР Сергей Сергеевич Каменев и командующий фронтом Василий Иванович Шорин — «За боевые заслуги в боях против Колчака».

Считаю, что Шорин был в принципе прав, когда в начале двадцатого года констатировал; «Общее наступление на юге выдохлось». Он приказал трем общевойсковым армиям перейти к обороне, накапливанию силы, а Первой Конной — давить на противника, не выпуская инициативы, и захватить Батайск. При этом Шорин, увы, не посчитался с тем, что главное качество конницы — маневр, быстрота, неожиданность. Буденновцы вынуждены были атаковать в пешем строю укрепления противника.

Штурм следовал за штурмом, потери были велики, успехов — никаких. В другое время (как это и было минувшим летом) Буденный послал бы Шорина куда подальше. Но теперь Семен Михайлович был командующим армией, коммунистом и решения принимал не самолично, на это имелся Реввоенсовет.

Началась неразбериха: Буденный и Шорин сражались не столько с белыми, сколько друг с другом. Василий Иванович обвинял Семена Михайловича в невыполнении приказов, в разложении, а Буденный, в свою очередь, доказывал по разным инстанциям, что Шорин дает вредные распоряжения и намерен своими неправильными действиями погубить, уничтожить красную кавалерию. Некоторое представление об этом конфликте дают сохранившиеся (публиковавшиеся) документы. Но знакомясь с ними, надо делать скидку на горячность Буденного и Ворошилова, на то, что в пылу борьбы они иной раз слишком сгущали краски.

Буденный по прямому проводу в Курск Сталину — утром 3 февраля: «Конармия в тягчайших условиях; совершенно изолированная, тает не по дням, а по часам. Атмосфера вокруг Конармии, созданная соседями и

комфронта, совершенно лишает возможности работать. Сегодня должен был выехать к вам Щаденко с подробным докладом. Но ответственность момента требует нашего общего присутствия на фронте. Убедительная просьба нас всех: немедленно приехать вам сюда для ликвидации создавшегося положения, что единственно может спасти фронт…»

Ответ Сталина:

«Дней восемь назад, в бытность мою в Москве, в день получения мной вашей шифротелеграммы, я добился отставки Шорина и назначения нового комфронта Тухачевского — завоевателя Сибири и победителя Колчака. Он сегодня только прибыл в Саратов и на днях примет командование фронтом. В Реввоенсовет вашего фронта назначен Орджоникидзе, который очень хорошо относится к Конармии… Что касается моего выезда, я, вы знаете, не свободен, назначен председателем Совета труда Юго-Западного фронта и без согласия Совета обороны не могу выехать. Во всяком случае же передам вашу записку Ильичу на заключение, если вы не возражаете. Окончательный ответ могу дать только после переговоров с Ильичом. Об одном прошу: берегите Конную армию, это неоценимое золото Республики. Пусть временно пропадают те или иные города, лишь бы сохранилась Конная армия».

У аппарата Ворошилов:

«Иосиф Виссарионович, положение настолько тягостное, что ваш приезд является единственным якорем спасения. Передайте нашу покорнейшую просьбу Ильичу, пусть он вас отпустит всего на день или полтора. Мы все несказанно рады, что смещен Шорин. Если приедете в Ростов, то на месте убедитесь, что простого смещения, да еще с повышением, для него недостаточно. Мы все считаем его преступником. Его неумением или злой волей (в этом разберется суд) загублено лучших бойцов, комсостава и комиссаров до 40 % и до 4000 лошадей. Если почему-либо Ильич не согласится на ваш приезд, хотя он в интересах Республики необходим, настоите, пожалуйста, на немедленном выезде в Ростов Орджоникидзе. У нас связи с Саратовым нет и не было… Заодно вторая просьба: укажите на крайнюю необходимость срочного пополнения Конармии. Самая захудалая конница, болтающаяся в тылах Кавказского фронта,[8] в наших руках сделается наилучшим боевым и ценнейшим материалом для Республики».

На следующий день, 4 февраля, Иосиф Виссарионович связался по прямому проводу с Орджоникидзе. Вот их разговор (сокращены лишь второстепенные подробности):

Сталин:

«Здравствуй. Два дня ищу, в Саратове ли? Нашел. Дважды говорил с Конной армией. Выяснилось: 1. Шорин до сих пор продолжает командовать вопреки приказам. 2. Шорин ведет войну с Конной армией. За период последних операций отобрал у нее подчиненные ей в оперативном отношении две стрелковые дивизии. Командарм-8 Сокольников создал вокруг Конармии атмосферу вражды и злобы… В результате этого — полная дезорганизация всего правого фланга. Узнав все это, ЦК партии потребовал от меня немедленного выезда в район правого фланга для разрешения вопросов на месте, но я не мог выехать по некоторым причинам, о которых я здесь говорить не стану. По моему глубокому убеждению, ваш новый комфронта и члены Реввоенсовета должны принять следующие меры: 1. Немедленно удалить Шорина. 2. Выехать самим на правый фланг. 3. Объединить группу Думенко с Конармией в

одну мощную силу, подчинив первую последней. 4. Передать Конармии в оперативное подчинение две стрелковые дивизии для опоры на флангах. 5. Отставить командарма-8 Сокольникова без промедления… Обо всем этом считаю своим долгом сказать тебе на основании всех имеющихся у меня данных…»

Орджоникидзе:

«Здравствуй. Все, что ты передал, я понимаю, но из-за отсутствия связи мы были не в силах изменить создавшееся положение. Шорин со вчерашнего дня уже не командует, приказ ему вручили в Купянске. Надеемся, все это удастся уладить, хотя с некоторым запозданием…

Лично я полагаю, что нам по приезде на место удастся живо покончить с этой бессовестной травлей».

Сталин:

«Прямую связь с Конармией по техническим условиям дать не можем, но можем связать вас с ней путем передачи нашей аппаратной… Ради бога, выезжайте только поскорее на фронт».

Первым и главным результатом всех этих переговоров было то, что Реввоенсовет Кавказского фронта отменил приказ о наступлении Конармии в невыгодных для нее условиях. Буденному предлагалось готовиться к нанесению флангового удара по противнику, чего Семен Михайлович и хотел. Но все это была лишь внешняя, видимая сторона бушевавших тогда противоречий, которые со временем, особенно в период репрессий тридцатых годов, отразятся на тысячах судеб. Чье влияние в войсках окажется выше, чьи сторонники возьмут верх — в этом была вся суть. Если за спинами Шорина и Сокольникова, хотели они того или нет, угадывалось бледное лицо Троцкого, то из-за плеча Буденного, Ворошилова, Орджоникидзе напряженно и внимательно смотрели прищуренные глаза Сталина. И я все больше приобщался к этой борьбе честолюбий, в конечном счете — к борьбе за власть.

В первой половине февраля 1920 года Иосиф Виссарионович неурочно пригласил меня в свой салон-вагон:

— Дорогой Николай Алексеевич, придется вам поехать на юг. Я, к сожалению, не могу.

— Цель?

— Помогите товарищу Орджоникидзе правильно разобраться в обстановке. И товарищу Тухачевскому тоже. Нам во что бы то ни стало надо сохранить и усилить Конную армию. В Москве, как вы знаете, сложилось слишком неправильное представление о ней.

— Буденный сам разжигает страсти.

— Я не оправдываю товарища Буденного, однако его поступки совершенно несоразмерны с тем, в чем его обвиняют. Разложение и неподчинение — это слишком тяжелые обвинения.

— Если Буденный и допускал просчеты, то не больше, чем другие командиры, — попытался сформулировать я. — А заслуги его велики.

— Совершенно верно, — охотно согласился Иосиф Виссарионович. — Положите на чашу весов победы наших кавалеристов… Товарищ Орджоникидзе разделяет наше мнение, но ему трудно понять, в чем причина неуравновешенности самого товарища Буденного. Пока будет существовать яблоко раздора, Буденный не гарантирован от любых срывов.

— Вы имеете в виду Конно-Сводный корпус Бориса Макеевича Думенко и стремление Думенко превзойти своего соперника?

— Это важнейшая причина. — Сталин был доволен, что я ухватил его мысль. — Командующий фронтом Шорин пришел к Ростову со своей конницей, с корпусом Думенко, которого поддерживал, в которого верил. И у Буденного половина людей, если не больше, молятся на Думенко. Столкнулись два начальника, причем столкнулись в родных местах, где все их знают, а это, в свою очередь, обостряет самолюбие каждого. И если мы не поможем сейчас Буденному, то я не знаю, удержится ли он в седле. Наш прямой долг поддержать его.

— Понятно, — сказал я. — Вижу свою задачу в том, чтобы Орджоникидзе и Тухачевский уяснили особенность обстановки и били в одну цель с нами.

— Когда сможете выехать?

— Только побреюсь и соберу белье.

— Спасибо, Николай Алексеевич. — Сталин медлил, будто хотел сказать еще что-то. Я ждал. Он заговорил, осторожно подбирая слова. — Ваш путь, дорогой Николай Алексеевич, лежит через Новочеркасск… Я вас прошу — не казните себя… Теперь уже ничего не поправишь… А ваше здоровье, поверьте, нужно не вам одному…

Слезы навернулись на глазах, чтобы скрыть их, я торопливо пробормотал что-то невразумительное и быстро вышел. Чувство глубокой признательности к этому человеку, вернувшему мне жизнь, тактично относившемуся к моей душевной драме, переполняло меня.

22

Люди, изучавшие труды Ленина, интересовавшиеся ходом гражданской войны, знакомы с тревожной телеграммой Владимира Ильича, которую он послал Тухачевскому и Орджоникидзе. В ней говорилось: «Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Буденного». Была такая телеграмма, из истории ее не выкинешь, как слово из песни. Исследователи, литераторы пытались объяснить, чем же было вызвано беспокойство Владимира Ильича, такое его отношение к командарму Первой Конной. На ведущее место выдвигалось опять же неповиновение Шорину, говорилось о разгуле кавалеристов в Ростове, о самочинных реквизициях, когда не поймешь, где военная необходимость, а где банальный грабеж. (Но что поделаешь, ведь Конную армию никто не снабжал, она жила за счет населения, за счет трофеев.) Упоминалось о том, что особоуполномоченный Реввоенсовета Конармии комендант Ростова Александр Пархоменко учинил в городе пьяный дебош, захватил автомашину, принадлежащую командарму-8 Сокольникову, рубанув при этом красноармейца-часового шашкой.

Конечно, случай сам по себе скверный, из ряда вон выходящий. Тем более что было задето самолюбие Григория Яковлевича Сокольникова. Профессиональный революционер, много лет проведший в эмиграции, он вернулся в Россию после Февральской революции. Через Германию, в запломбированном вагоне, вместе с Лениным, Арманд, Зиновьевым, Радеком и другими. Участвовал в Октябрьских событиях, был среди большевиков человеком известным. У него — вальяжная, господская осанка, красивое холеное лицо. Каков он политик, я не знал, но что 8-й армией командовал плохо, это факт. Да и как еще мог командовать целой армией человек, никогда не имевший отношения к военной службе, и вдруг вознесенный на такую высоту? Подобные скороспелые

«полководцы» Деникина почти до самой Москвы допустили: трудно сказать, чего от них больше было на фронте, вреда или пользы. Ко всему прочему, Сокольников отличался капризностью и вспыльчивостью. На съезде партии в девятнадцатом году старый большевик Осинский-Оболенский (потомок Рюриковичей!) обвинил Сокольникова во лжи. А тот, не найдя веских аргументов, рассвирепел, бросился на Оболенского, ударил по лицу.

За рукоприкладство Григорий Яковлевич Сокольников был выведен из членов ЦК партии, но командующим 8-й армией его оставили. К сожалению. Между ним и между руководством Первой Конной (армии действовали на одном направлении) постоянно возникали трения. При этом мои симпатии были на стороне Буденного и Ворошилова. Они воевали хорошо, лихо, умело, а у Сокольникова только гонор да самоуверенность. Армия Буденного росла, крепла в боях, одерживала победу за победой, а армия Сокольникова таяла и разваливалась. И уж, конечно, Сокольников не упустил возможности «отыграться» на Пархоменко, выставив перед Москвой конармейцев в самом неблагоприятном свете. Александр Пархоменко, лучший друг Ворошилова, был приговорен Военным трибуналом к расстрелу (помилован ВЦИК, а точнее — сердобольным Калининым).

Однако не только и не столько этим был встревожен Владимир Ильич: бессмысленная гибель двух наших дивизий возле станицы Мечетинской, смерть прославленного начдива Азина — вот чем было вызвано острое беспокойство Ленина. А что привело к такой трагедии? Как ни поворачивай дело, все-таки прав был Иосиф Виссарионович, видевший корень зла прежде всего во взаимоотношениях Буденного и Думенко. Мне довелось разбираться в этом вопросе. И вот что поразительно: сколько уж десятилетий минуло с гражданской войны, сколько событий свершилось, а на Дону и Кубани, на Сале и Маныче ветераны красной конницы до сих пор делят себя на буденновцев и думенковцев, до сих пор у многих стариков сжимаются кулаки, когда слышат имя Семена Михайловича. Уходят герои давних битв, но их дети, их внуки продолжают спорить о том, кто был прав, кто честнее и вернее служил революции. Почему Буденный с первой встречи и до последней секунды люто ненавидел Тухачевского, с особой охотой ратовал за смертный приговор для него? Почему имена легендарных героев гражданской войны Азина и Гая на много лет были вычеркнуты из всех списков, даже упоминать о них было опасно?

История эта сложная и запутанная. Я выделю лишь то, что необходимо для понимания дальнейших поступков основных персонажей этой книги. Начнем, как говорится, от печки.

Итак, Бориса Макеевича Думенко можно считать первым организатором красной конницы на юге. Буденный, примкнувший к нему со своим отрядом, долго находился в тени этого известного кавалериста. Партизанские отряды и полупартизанские красные полки занимались самообеспечением, поэтому конфликтов с населением было больше, чем достаточно. Особенно отличались лихие хлопцы из эскадрона Буденного. Что ни станица, то жалобы на грабеж, на дебоширство. А когда прибежала к Думенко изнасилованная немолодая женщина в разодранном платье, Борис Макеевич, говорят, чуть не задохнулся от ярости. Вызвал Буденного и не стал разбираться, кто да что. Глянул грозно: «Я тебя упреждал?» — «Было». — «Распустил вожжи, теперь отвечай… Я прощу — народ не простит… Плетюганов тебе!»

Наказание, как свидетельствуют очевидцы, было в общем-то символическим. Хлестнули несколько раз. Но кого хлестнули?! Семена Буденного, геройского фронтовика, обладателя полного георгиевского банта! На него, на такого заслуженного, даже офицер в царской армии не имел права руку поднять, его только особый суд мог наказать. А тут — свой же станичник, недавний унтер!

Умел, ох, умел Семен Михайлович ненавидеть люто, непрощаемо и притом глубоко таить до поры до времени свою ненависть. Пока сила была на стороне Думенко, Буденный помалкивал, исправно нес службу. Но пришел и его срок, подчинил он себе красную кавалерию. Добился, чего хотел.

Однако судьба-злодейка не преминула вновь скрестить их пути, столкнув давних соперников лоб в лоб. Армия Буденного захватила Ростов, а вскоре в тот же район с войсками Шорина вышел через Новочеркасск Конно-Сводный корпус Думенко. Несмотря на то, что Буденный был теперь старше по должности, Думенко считал унизительным подчиняться своему бывшему помощнику, даже если этого требовали интересы дела. Самолюбие не позволяло. Хорохорился Думенко, держась за прошлые заслуги и не понимая, как много перемен свершилось за минувшие месяцы.

Чем стала к началу двадцатого рода Первая Конная? Это три действующих и одна формирующаяся дивизии с четкой организацией, с сильной артиллерией, с сотнями пулеметов на тачанках. Это бронепоезда и самолеты, умелые штабы и мобильные тыловые подразделения. Это более тысячи членов партии на пятнадцать тысяч бойцов, политотделы во всех соединениях, партийные ячейки не только во всех полках, но и в эскадронах. Это сплав боевого мастерства Семена Михайловича с большим опытом партийно-политической работы, которым обладал Климент Ефремович, да плюс организаторский талант Ефима Щаденко. Это, наконец, полная поддержка со стороны таких авторитетных деятелей, как Егоров и Сталин.

А Конно-Сводный корпус Думенко, который Семен Михайлович презрительно называл не иначе как «Сбродным корпусом», насчитывал три или три с половиной тысячи всадников, набранных с бора по сосенке. Дисциплина слабая. На штабных должностях — случайные люди, в лучшем случае — пьяницы, а в худшем — саботажники. Политическая работа практически отсутствовала. Прислали в корпус комиссаром дельного большевика Микеладзе, руководившего до этого подпольем в тылу деникинцев, но Думенко сгоряча сразу же выразил комиссару свое недоверие, не пожелал делить с ним власть. А через короткий срок нашли Микеладзе мертвым неподалеку от штаба: был зарублен шашками. Кто прикончил его, не дознались.

Не тот, совсем не тот стал Думенко после тяжелого ранения, ослаб и душевно, и физически, а гордыню имел прежнюю. Ему бы влиться в армию Буденного, тогда конфликт, вероятно, был бы исчерпан, но Думенко хотел действовать самостоятельно, хотел тоже стать командармом, возвратить былую славу. Ко всему прочему, вознамерился Борис Макеевич первым вернуться победителем на Сал и Маныч, где зачиналась когда-то красная конница, где было много родных и знакомых, рассчитывал пополниться там земляками. Вот уж этого Семен Михайлович никак не желал допустить. Победитель-то он, ему и въезжать со своей армией в станицы Платовскую и Великокняжескую. А Думенко со своей «сбродной» командой

пусть в хвосте тащится. Семен Михайлович не скупился на хулу, обвиняя Бориса Макеевича в измене, в стремлении перейти к белым, намеревался даже арестовать его, как арестовали Миронова, но не было подходящего случая.

Теперь понятно, почему Буденный упорно и настойчиво предлагал командованию Кавказским фронтом собственный план: собрать Конармию в кулак, перебросить по правому берегу Маныча в район Платовской, Великокняжеской, железнодорожной станции Шаблиевки и там нанести удар в стык Донской и Кубанской армий Деникина. Этот план не отвечал замыслу операции, которую готовили Тухачевский и Орджоникидзе. Однако я откровенно раскрыл последнему всю подоплеку событий, изложил мнение Иосифа Виссарионовича и собственные соображения. Григорий Константинович Орджоникидзе все понял. Не знаю, какие доводы привел он Тухачевскому, во всяком случае тот тоже пошел навстречу. План Буденного был принят с одним уточнением. В приказе, который был отдан Первой Конной, говорилось: заняв район Платовской — Великокняжеской, Конармия должна затем повернуть свои главные силы на запад и, взаимодействуя с другими соединениями, захватить станицу Мечетинскую, важный опорный пункт белых на подступах к Ростову. Таким образом и Буденный был доволен, и замысел Тухачевского в принципе не нарушался, только увеличивалось расстояние, которое кавалеристам надлежало преодолеть.

Бросок на Платовскую был очень трудным: более ста километров по бездорожью, по глубокому снегу, через разрушенные войной хутора, где не осталось ни продовольствия, ни фуража. Но буденновцев как на крыльях несло в родные места. Дошли, выбили противника, затеяли радостный праздник.

Люди веселились, ликовал и Семен Михайлович. Однако ему требовалось теперь мозговать, куда прокладывать дальнейший маршрут. Как витязь на распутье, с той лишь разницей, что перед Буденным лежали не три, а две дороги, и думать он должен не только за себя — за целую армию. Одна дорога — на юг. Рукой подать — железнодорожная станция Торговая, обширное село Воронцово-Николаевка. Там крупные силы противника, которые так или иначе необходимо уничтожить. Близкая, верная цель, к тому же богатые трофеи.

Второй путь, как сказано в приказе Тухачевского, — на запад, к станции Мечетинской. Значит, опять гнать конницу сто с лишним верст по сугробному бездорожью, изматывать людей и лошадей. Для чего в такую даль, когда белые рядом, есть кого бить? К тому же где-то под Мечетинской обретается Думенко со своим «сбродным» корпусом. Встречаться с ним — никакого удовольствия. Пусть один повоюет. Прищемят ему деникинцы нос, ну и хрен с ним.

Привычный повиноваться приказам, Буденный, наверное, все же выполнил бы столь важное распоряжение Тухачевского, если бы не одно обстоятельство. Ударили вдруг редкостные для тех мест морозы. Температура упала до двадцати, затем — до двадцати пяти градусов. В населенном пункте зябко, а попробуй оказаться в открытой степи, где гуляет леденящий ветер! Укрыться негде — хутора сожжены. Обмундированы люди скверно, у многих бойцов гимнастерка — на голое тело, да шинель. Хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит.

Никуда не денется эта Мечетинская. Вот потеплеет, можно двинуть туда сильный отряд, — так рассуждал Буденный, не захотевший или не смогший понять: он воюет не сам по себе, операция его армии — лишь часть обширного плана, где взаимозависимы действия разных соединений. Не имея связи со штабом фронта и не торопясь ее устанавливать, Семен Михайлович поступил по-своему, а события, между тем, развивались совсем не так, как он предполагал.

Белые генералы — не тот противник, с которым можно шутки шутить. Они не прощали ни одной ошибки. Другое дело, что массы народа были не на их стороне, опоры у них не было, но воевали они очень даже неплохо. Едва узнали, что Конная армия, основная сила красных, ушла из района Ростова, приняли быстрые и весьма разумные меры. Нанесли неожиданный удар, захватили город, вернули себе «деникинскую столицу», важнейший узел коммуникаций. Возникла угроза Донбассу, и это очень встревожило военное и партийное руководство в Москве. По указанию Ленина к Ростову были срочно двинуты дивизии с другого фронта.

Но и это не все. Сложившуюся обстановку белые сочли удобной для разгрома Конармии. Каким образом? Бросить на фланг и в тыл Буденному всю имевшуюся кавалерию. За несколько дней генерал Павлов собрал более двенадцати тысяч донских и кубанских казаков. Энергии и опыта у Павлова было достаточно. Морозы, насторожившие Буденного, не испугали генерала. Наоборот, Павлов считал, что его закаленные казаки выдержат трудный поход, нападение на красных, которые разбрелись отдыхать по теплым хатам, будет неожиданным и эффективным.

В самом начале рейда Павлов стремительным ударом опрокинул Конно-Сводный корпус Думенко, но преследовать и добивать не стал, жалея время. Затем в степи его разъезды обнаружили две красные дивизии. Не ожидая встречи с противником, они спокойно шли к станице Мечетинской, да и чего опасаться, если согласно приказу сюда уже должны были двинуться полки Буденного. Но их-то как раз и не оказалось. Фланги у дивизий открытые, ровная местность удобная, для стремительной кавалерийской атаки. И генерал Павлов воспользовался таким подарком судьбы… Мощная казачья лава внезапно обрушилась на 1-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию Г. Гая, в коротком бою рассеяла ее и уничтожила по крайней мере две трети красных бойцов. Остальных вынесли, спасли от погони крепкие кони.[9] Расправившись с Гаем, генерал Павлов повернул все свои двадцать четыре полка против 28-й стрелковой дивизии Владимира Азина, прославившейся на Восточном фронте и лишь недавно прибывшей в эти места. Дивизия была окружена в степи плотным кольцом. Пулеметы отказали на морозе. А по нашим стрелкам прямой наводкой ударила белая артиллерия, затем с четырех сторон хлынули казачьи лавы. Красные воины сопротивлялись отчаянно и почти все полегли под ударами шашек, под пулями. Лишь триста вырвались из кольца. В общем, 28-я стрелковая была уничтожена, орденоносец — начдив Азин попал в плен и был казнен белыми.

Так расплачиваются на войне за самовольство, за невыполнение приказов.

Падение Ростова, опрокинутый корпус Думенко, разгром двух красных дивизий — у Владимира Ильича имелись веские основания для беспокойства, для резких слов о Буденном. Заварил Семен Михайлович такую кашу, что вроде бы и не расхлебать — обожжешься. Но, видно, под

счастливой звездой он родился и пользовался особым покровительством бога Марса. Сколько было и есть полководцев, которые делают все разумно, верно и оказываются битыми. А Семен Михайлович и знаний не имел, и с логикой не считался, поступая против правил, повинуясь каким-то внутренним импульсам, а в конечном счете лавры победителя доставались ему. Значит, всей своей сутью, образом мышления соответствовал он условиям именно той гражданской междоусобной войны, которая и породила его.

Как получилось в тот раз? Четверо суток без горячей пищи, почти без отдыха мотались казаки Павлова в лютый мороз по голой степи. Ослабли, выдохлись. Много было обмороженных, отставших, сбившихся с пути. Чуть живые добрались белые до жилых мест, одна только мысль владела всеми: попасть в дом, обогреться, заснуть. С полуночи до рассвета пытались казаки атаковать занятые буденновцами станицы, но каждый раз откатывались, встреченные пулеметным и ружейным огнем. Их отбрасывали контратаками, но они остервенело лезли к спасительному теплу снова и снова.

Около пяти тысяч убитыми и замерзшими потерял тогда генерал Павлов. Рискованным рейдом, бессмысленными атаками белые сами способствовали уничтожению своей лучшей конницы. А потери Конармии были минимальными.

Оттеснив Павлова на Средний Егорлык, Буденный, подчинив себе стрелковые дивизии, обрушился на корпус генерала Крыжановского, расколотил его, взял богатые трофеи. Затем, не давая врагу передышки, грянул на деникинцев, сосредоточившихся возле станицы Егорлыкской и станции Атаман. Здесь завязалось кровопролитнейшее и, можно сказать, решающее сражение за Северный Кавказ. Понимая это, белые бросили против Буденного все, что только могли. Даже Ростов оставили без боя, направили свои лучшие части все туда же, на Первую Конную, крушившую деникинские тылы. Полк за полком, дивизия за дивизией подходили к месту сражения, и Буденный поочередно бил, рассеивал, уничтожал их. Конечно, и Конармия понесла очень большие потери, но она сделала главное: за несколько суток перемолола основные силы Деникина, после чего враг на юге уже не сумел оправиться. Воспользовавшись успехом, быстро пошли вперед четыре общевойсковые армии Кавказского фронта.

Каким судом судить после этого Семена Михайловича? В чем он виноват, а в чем прав? Не дает жизнь однозначных ответов.

Буденный сознавал значение своего успеха, чувствовал себя очень уверенно. Шорина они с Ворошиловым спихнули при помощи Сталина. Арестован и обвинен в измене Думенко, ждет в Ростове трибунала, и не избежать ему смерти. Белых расколошматили к чертовой матери! Кругом шестнадцать! Рассуждая так и чувствуя свою силу, Семен Михайлович решился еще на один шаг. Зная, что командующий фронтом Тухачевский не очень-то благожелательно относится к нему за самостийность, за рискованные выкрутасы, чуть было не приведшие к тяжелым последствиям, Буденный замыслил приструнить свое новое начальство. А то ведь хрен его знает: и следствие назначить может за невыполнение приказа, и под арест взять. Вопреки существующему порядку намерился явиться к командующему без вызова. Надо объясниться, пока не поздно. И как только пришло известие, что служебный вагон Тухачевского находится на станции Батайск, Буденный и Ворошилов отправились туда с

сильным конвоем, способным не только станцию оцепить, но и весь город под контроль взять.

Для Тухачевского появление буденновского отряда в Батайске было полной неожиданностью, и, согласитесь, любые мысли могли прийти в его голову, любые сомнения. Однако Тухачевский, человек решительный и к тому же воспитанный, принял Буденного и Ворошилова сразу, едва доложили о них. Поздоровался, пригласил в салон, но, едва лишь гости переступили порог, спросил резко и требовательно:

— Товарищ Буденный, почему не выполнили моего распоряжения об ударе на Мечетинскую, а повели Конную армию в район Торговой?

Семен Михайлович заранее подготовился к такому разговору, принялся неторопливо излагать насчет небывалых морозов, насчет генерала Павлова, который попер против погоды.

— Вам известно, к чему привело невыполнение вами боевого приказа?

Это был вопрос посложнее, за ним обрисовался соответствующий пункт возможного решения военного трибунала. Никакой конвой не защитит, не спасет. Буденный напрягся, ледяным немигающим взглядом попытался сломать взгляд Тухачевского.

Стояли друг против друга: заматеревший, налитый силой, усатый вояка, пятнадцать лет не покидавший седла, смекалистый и беспощадный, пропахший махоркой и конским потом — и стройный красивый юноша, очень чистенький, аккуратный, я бы сказал даже барственный, с брезгливо-ироническим разрезом рта (Тухачевский выглядел моложе своих двадцати семи). Сколько подобных юнцов перевидал за свою жизнь Семен Михайлович, сколько их было, молоденьких офицериков, помыкавших им! Потом не одному такому вот чистенькому красавчику располосовал он голову тяжелой шашкой с большой медной рукояткой. А этого не то что клинком — соплей в талии перешибешь. Но за его спиной власть, сам Ленин направил его сюда.

Семен Михайлович отвел взгляд, повернулся к Ворошилову. Не выдержал твердого, укоризненного взгляда Тухачевского или не хотел, чтобы заметил командующий ту ненависть, которая закипела в нем к этому дворянчику, чистоплюю, позволяющему себе бестрепетно и строго говорить с ним, с Семеном Буденным! А если уж начинал Семен Михайлович ненавидеть, то навсегда — в этом отношении Михаилу Николаевичу Тухачевскому крепко не повезло. А он и не понял, продолжал ставить вопросы, в принципе совершенно правильные, но слишком прямые, не щадившие самолюбия Буденного.

— Как вы здесь очутились? Почему без моего ведома оставили армию? Я вас не вызывал, — произнес Тухачевский, все еще не предлагая Буденному сесть.

Мне было ясно, что командующий прекрасно понял смысл сцены, которую пытались разыграть перед ним: неожиданное появление, шумящий за окнами вагона грозный конвой…

Тухачевского на испуг не возьмешь. Металл столкнулся с металлом, надо было что-то предпринимать. Я пошел в конец вагона, в купе Григория Константиновича Орджоникидзе. Тот сидел на диване и пил чай с хлебом, кося глаза в раскрытую на столике книгу.

— Назревает взрыв, — сказал я.

— Кто там? — рассеянно поинтересовался Григорий Константинович.

— Буденный и Ворошилов, совсем неожиданно.

— А Тухачевский, конечно, ощипывает им перья? — поднялся Орджоникидзе. — Жаль, что меня не предупредили.

— Тухачевский знает, кого и как встретить.

— Но он совсем не знает законов гостеприимства, — добродушно возразил Григорий Константинович. — Он молод, а дорожить гостями начинаешь лишь в нашем возрасте.

Орджоникидзе пригладил усы под большим вислым носом, шагнул в коридор и первыми же словами, звонким веселым голосом разрядил накалившуюся атмосферу.

— Не ругай их, Михаил Николаевич, не надо ругать. Противник разбит, сам знаешь, и разбит в значительной степени Конной армией. А еще Екатерина Вторая сказала, что победителей не судят. Давай и мы не будем судить! — засмеялся Григорий Константинович. — Давайте будем радоваться все вместе.

Разговор пошел легче, спокойней. Гости расположились в салоне.

Тухачевский развернул карту…

Такой была их первая встреча, и я думаю, что Семен Михайлович должен был простить требовательность, официальность, колючесть Тухачевского. Особенно после того, как узнал, что в кармане командующего лежала телеграмма Ленина, в которой говорилось о полном разложении у Буденного. Однако Семен Михайлович не простил.

23

Сколько раз бывал я в Новочеркасске, а вот не знаю этого города, ничего не помню в нем, кроме дома за высоким забором, злосчастного флигеля в глубине двора и кладбища на окраине — все мои эмоции связаны с ними. Через два года, в мае двадцатого, снова приехал я туда, где навсегда остался самый близкий мне человек. На этот раз весна выдалась солнечной, яркой, много было цветов. Сады стояли сплошь белые, и белизна эта в сочетании с небесной синевой создавала торжественное настроение, действовала возвышающе и очищающе.

На станции удалось взять извозчика, я велел ему ехать на кладбище. Мужичонка оказался разговорчивый и малость навеселе:

— Гляжу на вас и не пойму, кто такой, — рассуждал он. — По всему обличию сразу видать — ваше благородие, а фуражка со звездой. Бриджи самые что ни есть офицерские, а на плечах никаких следов от погон…

— Не все ли равно?

— Дык интересно. И товарищей пролетариев возить надоело, никакого дохода от них, себе дороже.

Я не мешал ему болтать — он отвлекал от тяжелых дум, рассеивал чувство вины, нараставшее во мне. Вот ведь Веры давно нет, а я здоров, бодр, ощущаю полноту жизни, не могу не замечать красоты. Я не с ней, как хотел раньше. Более того, я стал за это время иным, отдалился от нее, от нашего общего прошлого, захвачен новыми заботами. Поняла бы она меня, моя Вера?

Отпустив извозчика, я быстро прошел мимо церковной ограды к овражку. Кусты здесь стали выше и гуще. Могилу я не сразу узнал. Она была обложена дерном, обнесена оградкой со скамеечкой внутри. И даже увядшие цветы лежали на холмике. Значит, старый чиновник наведывался.

— Прости меня, Вера, — сказал я, опустившись на одно колено, — прости, что не был так долго… Ты ведь слышала, здесь тоже стреляли. Такая вражда, такие огненные завесы везде, только теперь пробился сюда…

Ухоженная, аккуратная могила, затянутая салатовой зеленью молодой травы, казалась мне чужой, не располагала к откровению. Не верилось, что именно здесь в ту страшную ночь я разгребал руками землю, ломал ногти о мерзлые комья, пытаясь добраться до Веры, увидеть ее. И сейчас я не стал даже рассказывать ей, как рассчитался с двумя негодяями. Самому неприятно было. Упомянул лишь о том, что они получили от меня все, на что я способен.

Из дорожного чемоданчика достал походную флягу, налил в крышку коньяк, по русскому обычаю выпил за свою жену, чтоб земля ей пухом и нашему неродившемуся ребенку тоже. Про Москву шептал Вере, про последнюю встречу с Алексеем Алексеевичем Брусиловым и сыном его Алешей. Постепенно пустела фляга, и соответственно нарастало во мне раздражение: почему это моя жена вынуждена теперь вечно лежать на задворках, отсеченная от других людей, от церкви высокой оградой?! Что это за несправедливость?! Советская власть, за которую я воевал, вообще не признает религии, а тут такие предрассудки…

— Хочешь, перезахороню тебя? — спросил я. И подумав, ответил себе: нет, не надо трогать, шевелить гроб, нарушать покой Веры. Заговорил опять: — Раз так, мы сделаем по-другому. — Встал, одернул френч. — Подожди, скоро вернусь.

Тогда в Новочеркасске только что развернулся запасный кавалерийский полк, который должен был быстро готовить пополнение для Первой Конной (по указанию Ленина). В основном за счет опытных донских казаков, попавших в плен или отсиживавшихся по хуторам. Маршевые эскадроны для Конармии особенно важны были в связи с предстоящими боями против белополяков. Но никто из членов Реввоенсовета еще не побывал в запасном полку, все были заняты организацией марша конницы от Дона к Днепру. Поэтому Щаденко, ведавший в Первой Конной управлением формирований, узнав, что я еду через Новочеркасск, очень просил задержаться в городе, проинспектировать полк, передать командиру ряд указаний, а свои выводы и предложения в письменном виде переслать Реввоенсовету Конной. Соответствующий мандат мне был выдан.

Командир запасного полка, человек степенный, повоевавший, встретил меня доброжелательно и рад был каждому совету: он варился здесь в собственном соку. Трудно ему было налаживать дело без помощи и руководства сверху. Все — сами. Даже оружие добывали самостоятельно, любыми правдами и неправдами. Особенно было плохо с обмундированием, его совершенно не получали.

Мы побывали в двух эскадронах, и я убедился: порядок в полку вполне удовлетворительный, занятия шли на хорошем уровне, дежурная служба неслась четко, кони сытые, ухоженные. Командиру полка было приятно, что я заметил это.

Сказав, что пробуду в полку трое суток и договорившись о квартире, я огорошил командира такой неожиданной просьбой, что он не сразу понял, шучу я или говорю серьезно. Но вообще-то мужчина оказался сообразительный, побывавший, видимо, в разных переделках. Выслушав мое объяснение, он даже обрадовался:

— А что?! Мы вот тоже потери несем от бандитов, от болезней умирают бойцы. А хороним, где придется. Непорядок! Зарезервируем землю, чтоб по всем правилам, на настоящем кладбище.

От слов — к делу. Верхом, в сопровождении трех всадников, поехали мы к церкви и своим появлением изрядно переполошили старух на паперти да и самого батюшку: чернобородого, черноглазого, с темным морщинистым лицом, в котором угадывалось что-то турецкое. В те годы появление военных не сулило добра.

— Тесно живете, батюшка! — сказал командир полка, оглядывая с высокого коня кладбище. — Места свободного не видно. Небось, прихожане жалуются?!

— Сетований не слышно, а места совсем не осталось, что верно, то верно, — подтвердил священник. — В последнее время многих прибрал господь, особенно власть имущих.

— Кого и за что прибрал, — это другой разговор, — сказал командир полка. — Хотим мы тебя порадовать, батюшка. Разрушай забор вот с этой стороны и переноси его дальше сажен на двадцать. Чтоб тот кустарник и весь край оврага вошел.

— Не наша земля-то, не церковная, — осторожно возразил священник. И чувствовалось: очень заинтересовало его такое предложение.

— Земля повсюду народная. Как командир Красной Армии, я отвожу эту полосу для захоронения наших геройских бойцов, которые все крещеные и, значит, церковным порядкам не противоречат. Ну и для прочих горожан-прихожан, чтоб без тесноты и давки. А вы смотрите, чтобы все могилы, какие там есть и будут, содержались в полном порядке. С вас спросим. Уяснил, батюшка?

— Бумагу бы надобно.

— Завтра получите выписку из приказа.

— Спасибо, благослови вас господь за богоугодное дело. — Священник вскинул руку для крестного знамения, но своевременно спохватился. Поняв, что перед ним начальство, воспользовался благоприятным моментом. — Ограду-то мы разрушим, а новую как поставим? Ни материалов, ни людей нет.

— Материал найдешь, тут немного надо, — ответил командир полка. — А люди будут. Завтра к десяти пришлю взвод. Тридцать человек поработают два дня. Хватит?

— Куда уж лучше-то! — обрадовался священник. — Со всеми делами управимся.

Командир уехал, оставив мне коновода. А я вместе со священником пошел к могиле жены.

24

Весной 1920 года в «Правде» были опубликованы материалы, привлекшие внимание каждого русского офицера, в каком бы лагере он ни находился. На многих, особенно на белогвардейцев, эти материалы произвели ошеломляющее впечатление. 5 мая в этой газете появился приказ Реввоенсовета Республики, в котором, в частности, говорилось: «Образовать при Главнокомандующем всеми вооруженными силами высокоавторитетное по своему составу Особое совещание по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции…» В состав Особого совещания были включены русские

полководцы, отличившиеся во время первой мировой войны, в том числе хорошо знакомые мне генералы А. М. Зайончковский, А. А. Поливанов, А. А. Цуриков. Какие только слухи не распространялись о них: замучены в большевистских застенках, расстреляны, умерли от голода. А они и многие другие, оказывается, не только живы, но выразили готовность служить Советской власти. Особенно же потрясло всех, в том числе и меня, что председателем Особого совещания был назначен бывший Верховный Главнокомандующий русской армией, лучший полководец мировой войны, мой дорогой учитель Алексей Алексеевич Брусилов! В то время я не знал, что еще 18 апреля Алексей Алексеевич подал заявление о вступлении на службу в Красную Армию.

Вместе с приказом была напечатана статья с такими словами: «В высокой степени знаменательно, что А. А. Брусилов признает безусловно правильной советскую политику, выразившуюся в безоговорочном признании независимости Польской республики. Не менее знаменательно и то, что А. А. Брусилов самым фактом предложения своих услуг для дела борьбы с буржуазно-шляхетской Польшей как бы подтвердил от лица известных кругов, что рабоче-крестьянская власть имеет право ждать и требовать поддержки и помощи от всех честных и преданных народу граждан, независимо от их прошлого воспитания, в той великой борьбе на Западе, от которой зависит будущее России».

Для меня решение Алексея Алексеевича стать на защиту молодой Республики имело особое значение. Я бесповоротно утвердился в своем собственном выборе, а теперь получил еще одно подтверждение, что выбор этот абсолютно правильный: даже такой принципиальный и независимый человек, как Брусилов, добровольно занял место в том же строю.

Не успели еще улечься страсти, вызванные созданием Особого совещания, как 30 мая и опять же в партийной «Правде» появился новый важнейший документ — призыв «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». Вот что в нем говорилось:

«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку-Россию».

И опять первым подписался под этим документом Брусилов!

Что творилось в последующие дни в военных комиссариатах по всей Республике! Шли и шли бывшие офицеры, излечившиеся от ран, считавшиеся прежде больными, даже воевавшие ранее на стороне белых! Только сказала им Советская власть о своем полном доверии — и получила для фронта прекрасные боевые кадры! А ведь это в те дни, когда белополяки дошли до Днепра, а Врангель начинал наступление на юге.

И это не все. Специальной шифрованной телеграммой Владимир Ильич Ленин приказал Реввоенсовету Республики подготовить авторитетное обращение-манифест для офицеров врангелевской армии с гарантией полной безопасности в случае перехода на нашу сторону. Подписи: председатель ВЦИК М. И. Калинин и председатель Особого совещания при Главкоме А. А. Брусилов.

Отпечатанное в виде листовки, обращение это было распространено в Северной Таврии, в Крыму. На многие умы повлияло оно, помогло спасти много жизней.

Популярность Брусилова была огромной, роль его выступления — тоже. Вот красноречивый факт. В августе 1920 года на фронте сложилось критическое положение. Наше наступление в Польше приостановилось, белополяки активизировались. 13-й армии грозил разгром. На юге теснил нас Врангель. Страна напрягала для борьбы все силы. И в эти дни линию фронта перешел врангелевский офицер. Потребовал доставить его в штаб Юго-Западного фронта и там сообщил: в Крыму создана тайная организация, объединяющая большую группу офицеров, занимающих высокие должности. В их числе — значительное количество генштабистов (были и мои однокашники по учебе). Организация готова произвести переворот, сбросить Врангеля, объявив Крымскую армию Красной Крымской армией. Условие одно: командовать этой армией в течение года будет А. А. Брусилов, который, дескать, сумеет отстоять справедливость, защитить солдат и офицеров от гонений и преследований, добросовестно решит все наболевшие вопросы.

Сообщение о перебежчике ушло в Москву. Известно, что Ленин встретил новость заинтересованно, предложил обсудить в ЦК партии. Не знаю, почему назревавшее событие не произошло, а свершись оно — и не было бы кровопролития в Северной Таврии, на Сиваше, на Перекопе. В составе наших вооруженных сил оказалась бы еще одна большая, хорошо оснащенная армия. Наверняка иначе развернулись бы события на берегах Вислы.

Если кто и был противником всего этого, то в первую очередь Троцкий со своими приспешниками. К тому времени он привлек из западных местечек большое количество своих собратьев, направив их на средние руководящие посты в государственный аппарат и в армию. Эти кадры готовы были выполнить любое указание Льва Давидовича. Однако сии полуграмотные дельцы не шли ни в какое сравнение с образованными, принципиальными, честными офицерами, которые могли бы прийти на службу новой России. Они преградили бы путь потоку, хлынувшему из местечек во все города и районы страны. Разве Льва Давидовича устраивало такое положение?!

И вот Крым, ценой больших жертв и усилий, отвоеван. Множество офицеров, юнкеров, бывалых казаков и солдат сдались в плен. Своим же, русским. Многие (почти все из числа сдавшихся) прошли через две войны, мировую и гражданскую, были, можно сказать, профессиональными воинами. Превосходнейший боевой материал! Но как им распорядиться?! Брусилов предлагал сформировать офицерские, казачьи эскадроны, даже полки, отправить их в Среднюю Азию против басмачей. Этим достигались две цели: недавние белогвардейцы доказали бы лояльность новой власти, начали бы служить ей, да и с басмачами было бы разом покончено, профессионалы быстро посшибали бы их с седел. А то ведь потом борьба с басмачами растянулась до тридцатых годов, было погублено много

мирных жителей, вырублено много молодых и неопытных красных бойцов. Все жертвы и жертвы…

Но нет, не послали закаленных воинов в Среднюю Азию. С ними поступлено было примитивно и варварски. Их уничтожили в Крыму. Сколько? По примерным подсчетам от 50 до 60 тысяч человек! Целую армию! Цвет российского воинства, который мог бы послужить укреплению новых вооруженных сил, который сыграл бы свою роль и в будущих войнах! Готовый костяк командных кадров для войны с теми же фашистами! Но этих людей использовали лишь на то, чтобы полить кровью, чтобы их телами удобрить сухую крымскую землю. Говорю об этом не с сарказмом — с глубочайшей горечью.

Кто виновен в крымской трагедии? Кто распорядился уничтожить десятки тысяч пленных? Во всяком случае, не Сталин, на которого принято сваливать все грехи. Сталин не имел к этому никакого отношения. Секретный приказ отдал Троцкий. За исполнение отвечала «пятерка», руководимая Пятаковым. Его сообщники Розалия Землячка и венгерский еврей Бэла Кун удовольствие, вероятно, получали, наблюдая, как косят из пулеметов русских юношей — юнкеров, вчерашних гимназистов, студентов. Расчищали пространство для своих единородцев.

Особое коварство и подлость проявлены были в Краснодаре. Там под видом регистрации собрано было более 7 тысяч ранее сдавшихся врангелевских офицеров, отпущенных для свободного проживания на Северном Кавказе. Но недолго пожили. С регистрации никто не вернулся, все были расстреляны.

Истребляли пленных тайком, до нас с Брусиловым доходили лишь запоздалые слухи…

Различными делами занимался тогда Алексей Алексеевич в Красной Армии, но я выделю лишь то, что знакомей мне. Сам бывший кавалерист, Брусилов, как и Егоров, не считал, что конница изжила себя. Наоборот, он говорил, что у кавалерии есть будущее, надо только разумно подходить к ее использованию. И первым долгом — восстановить в стране конское поголовье, которое за годы войны уменьшилось с 35 до 11 миллионов голов, причем исчезли лучшие, самые выносливые, самые породистые кони. Эту работу и возглавил Алексей Алексеевич, став главным военным инспектором коннозаводства и коневодства и одновременно начальником Управления инспектора кавалерии РККА, то есть главным руководителем и организатором всей нашей конницы. Вместе с ним, по совету Иосифа Виссарионовича, работал и я.

Почему и для чего — это будет понятно из дальнейшего рассказа. В апреле 1922 года Сталина избрали Генеральным секретарем Центрального Комитета партии. Конечно, в ту пору пост этот не был столь важным, решающим, как впоследствии. По-прежнему недосягаемой вершиной был в стране Ленин. По-прежнему значительную роль в военных делах играл Троцкий, но и Сталин, если и не шагнул дальше Льва Давидовича, то, по крайней мере, шел вровень с ним. Забот у Иосифа Виссарионовича значительно прибавилось, занимался он, естественно, в основном партийными, политическими делами, но и связь с войсками продолжал укреплять, постепенно оттесняя Троцкого.

Вскоре после победы над Врангелем Иосиф Виссарионович настоял на том, чтобы я перешел под крыло своего старого учителя Брусилова; помогал бы ему, семидесятилетнему, в трудах и заботах, даже в писании мемуаров, в коих могло быть много поучительного. Сталин хотел, чтобы я,

как и прежде, был в курсе всех дел военного ведомства, знал все теории, веяния, даже слухи. И еще: находясь при «главном кавалеристе» Республики, я мог заботиться о сохранении опоры Сталина — Первой Конной армии, о тех ее людях, которых Иосиф Виссарионович считал надежными соратниками. Это было особенно трудно, потому что началась послевоенная массовая демобилизация войск.

За мной числилась тогда большая четырехкомнатная квартира неподалеку от Кремля со стороны Боровицких ворот. Но занимал я только две комнаты, остальные, за капитальной стенкой, использовал для своих нужд Иосиф Виссарионович. У него имелся свой вход со стороны двора, своя кухня. Общались мы через дверь в стене, совершенно звуконепроницаемую, и с моей, и с его стороны скрытую портьерами.

Появлялся Сталин нечасто — раза два в неделю, и в самое разнообразное время: и днем, и вечером, и поздно ночью. Приезжал либо в хорошем настроении, либо (почти всегда) в дурном расположении духа, а в обычном состоянии — очень редко. Наверное, не желал показывать свое расстройство людям, в семье, хотелось ему скрыться, уединиться, отдохнуть душой или поразмыслить над чем-то. Вот и искал одиночества. А я, значит, не был ему в тягость. Впрочем, он не всегда приглашал и меня.

В плохом настроении Иосиф Виссарионович не пил, усаживался в большое кресло и молча курил трубку, долго и сосредоточенно глядя в одну точку. Лишь по движению бровей можно было понять, что он напряженно размышляет, сомневается, ищет…

Будучи доволен чем-то, радуясь чему-либо, Сталин обязательно приглашал на свою половину меня, много говорил, не прочь был выпить. Иногда — коньяк, но чаще — сухое вино, которое не доставляло мне особого удовольствия, и я не отказывался лишь для того, чтобы не огорчить Иосифа Виссарионовича, не разрушить компанию.

Хозяйство на половине Сталина вел Николай Власик. Заботился о еде, о чистоте, по-моему, даже пол мыл сам, никого не допуская в эту тайную обитель. Не знаю, имелась ли у Власика другая должность, но он явно не переутруждал себя и от спокойной малоподвижной жизни начал жиреть: выперло пузо, а главное — раздались, набухли щеки. От безделья или для того, чтобы придать солидность своей внешности, Власик принялся отращивать бородку. Дело шло быстро, однако борода была хоть и большая, в завитках, но какая-то жидкая, розовая кожа просвечивала сквозь нее. Новым своим украшением Власик тешился, гордился и явно хотел услышать мнение товарища Сталина или мое. Я помалкивал, так как вообще избегал беседовать с этим неприятным человеком, у которого были две крайности: услужливость перед начальством и пренебрежение, подозрительность ко всем остальным. А Иосиф Виссарионович однажды, придя в плохом настроении, вскинул голову, внимательно осмотрел комнату, будто видел ее впервые, и сказал:

— Власик, подойди к зеркалу.

Тот приблизился.

— Что видишь?

— Себя, — удивленно ответил Власик. — Лицо.

— Не лицо, а жопа в кустах, — смачно, с акцентом произнес Сталин.

Эти убийственные слова будто смыли бороду Власика. С этого дня и до самой смерти он никогда больше не пытался приукрасить или изменить

свою внешность. А что касается резкости Сталина, то она в ту пору начинала проявляться все чаще.

На нашей квартире не бывали московские знакомые или соратники Иосифа Виссарионовича, за исключением Анастаса Микояна. Привозил Сталин лишь каких-то кавказцев, тут впервые я увидел моложавого Лаврентия Берию. Он держался очень скромно, тихо разговаривал о чем-то с Власиком, бесшумно, по-кошачьи ходил по комнатам, в ванную, на кухню. И вроде бы обнюхивал углы. После его посещения на всех дверях сменили запоры, поставили более надежные.

Впрочем, гости бывали редко, обычно мы с Иосифом Виссарионовичем оставались вдвоем. Я рассказывал о новостях в военном ведомстве, в инспекции кавалерии. Он интересовался, как идет работа над воспоминаниями Брусилова. Спрашивал шутливо:

— Ну что, заново разгромили германцев в Галиции осенью четырнадцатого года? В который раз?

— Не только это. Соображения Брусилова не лишены оригинальности.

— Познакомьте, если не трудно.

Я взял рукопись.

— Пожалуйста. Вот что пишет Алексей Алексеевич об ответственности руководителя: «Я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник, под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания, а соответствующий начальник штаба, который по закону — лишь исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает, что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава — как бы лицо подставное, так сказать, парадное. Мне всегда казалось, что начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо должно быть только одно: сам начальник, а ни его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они не значились; если же начальник не соответствует своей должности, то не дядьку следует менять, а самого начальника смещать»… Думаю, Иосиф Виссарионович, это относится не только к военным…

— Убегание ответственности — первый признак загнивания руководства, — сердито произнес Сталин, очевидно имея в виду какого-то определенного человека. — Очень правильно пишет Брусилов, не дядьку менять следует. У нас теперь все больше людей, которые хотят занимать высокие посты, хотят пользоваться большим почетом, а ответственности нести не желают. Окружают себя заместителями и помощниками, чтобы в случае неудачи свалить вину… Работать не хотят, отвечать не хотят. Но не спрячутся, не выйдет! Все равно потребуем с них! — И неожиданно спросил: — Когда будет готова книга?

— Не менее года потребуется.

— Прошу сразу дать ее мне.

Разумеется, я охотно выполнил это пожелание и могу засвидетельствовать, что Сталин несколько раз перечитывал воспоминания Брусилова, подчеркивая некоторые места. Многое из того, что заинтересовало Сталина, было потом использовано им в военной практике. Не раз еще вспомнит он о том, кто должен нести ответственность. При нем ни один начальник, даже самый высокий, не мог укрыться за помощника или заместителя, свалить на них свои ошибки, свою вину.

Или вот тройничный принцип построения армейского организма, который отстаивал Брусилов (три отделения — взвод; три взвода — рота и так далее). Этот принцип, позволяющий более гибко управлять войсками и вести бой (в отличие от громоздкого четверного построения снизу доверху), обрел в лице Сталина самого активного сторонника. Наши Вооруженные Силы были со временем в значительной степени перестроены по этой системе, что уже само по себе положительно отразилось на их боеспособности.

В двадцатых годах Иосиф Виссарионович учился военному искусству теоретически главным образом у Брусилова и практически у Егорова. Это — первые и главные его педагоги в области оперативного мастерства и военной стратегии.

Вернемся к мемуарам Брусилова. Работа над ними продвигалась медленно, и виной тому не столько ухудшившееся здоровье Алексея Алексеевича, сколько различные осложнения на «фронте внешнем и на фронте внутреннем», как говорил он. Усилия Брусилова по укреплению и развитию конницы, по восстановлению конского поголовья в стране зачастую не находили поддержки высших руководителей, а порой даже самые разумные начинания встречались в штыки. Помните особое отношение Троцкого к кавалерии? Это отношение стало еще более резким после того, как была создана Первая Конная, которую Лев Давидович считал «вотчиной и оплотом» Сталина. Ни одной возможности не упускал Троцкий, чтобы вставить кавалерии палки в колеса. Это очень мешало Брусилову, нервировало его.

Нелегко было Алексею Алексеевичу и на «внутреннем фронте», в семье. Слишком уж честолюбивая и эгоистичная жена его Надежда Владимировна никак не могла смириться с утратой высокого положения «первой военной дамы», того ореола почтительности, к которому успела привыкнуть. Она ругала большевиков, мечтала о загранице, увлекалась мистикой, спиритизмом. А главное — ей казалось, что Алексей Алексеевич не то и не так пишет. Вмешивалась, навязывала свое мнение. Больше, дескать, надо рассказывать о жизни в кругу семьи, о встречах со знаменитостями, о самом себе, наконец. Я же, наоборот, советовал Брусилову подробнее анализировать замысел, подготовку и проведение боевых операций, освещать поучительные моменты баталий, разбирать просчеты наши и неприятельские, характеризовать полководческие способности отдельных лиц. Надежда Владимировна не хотела с этим мириться, и тем самым я нажил в ней врага и почти перестал, к моему глубокому огорчению, бывать у них дома. Жаль. Я почитал Алексея Алексеевича как отца своего, и он тоже очень тепло относился ко мне.

Позволю себе привести еще одну маленькую выдержку из бумаг Брусилова. Мой дорогой генерал писал: «Я подчиняюсь воле народа — он вправе иметь правительство, которое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой Советской власти, но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною Родины».

Таково кредо Алексея Алексеевича Брусилова. И мое тоже. Здоровье генерала продолжало ухудшаться. Усилились боли в ноге — давала себя знать рана. Алексей Алексеевич, скрепя сердце, подал в отставку. Хоть и не сразу, она была принята. Однако с существенной оговоркой: Брусилов оставался для особо важных поручений при Реввоенсовете Республики.

Этот пост он занимал до самой смерти, которая недолго заставила себя ждать.

Скончался Алексей Алексеевич 17 марта 1926 года. Похоронили его в Новодевичьем монастыре у Смоленского собора. Вернулся я оттуда подавленный и совершенно разбитый. С уходом Брусилова закончилась целая полоса моей жизни, порвались последние нити, связывавшие меня с прошлым.

25

Троцкий быстро и беспощадно сокращал Красную Армию, даже не сокращал, а разгонял. Увольнялись не только красноармейцы, но и опытные, заслуженные командиры. За короткий срок в десять раз уменьшились наши Вооруженные Силы: с пяти миллионов пятисот тысяч до пятисот шестидесяти тысяч. Это сущий пустяк при наших просторах, при нашей огромной границе. Мы стали одним из самых беззащитных государств в Европе. Есть общепринятый показатель — количество солдат на десять тысяч населения. В 1924 году этот показатель выглядел так:

Франция — 200 солдат (самая большая армия в Европе).

Эстония — 123 солдата,

Румыния — 95 солдат,

Польша — 93 солдата.

А мы, окруженные со всех сторон врагами, имели всего 41 бойца на десять тысяч населения! Такое сокращение подрывало саму основу русской армии, вело к потере боевых кадров, славных традиций, материальной базы. Это был саморазгром. Как говорил потом Сталин: «Если бы Бог нам не помог и нам пришлось бы впутаться в войну, нас распушили бы в пух и прах».

А что же, Лев Давидович был настолько глуп, что не понимал этого? Все ему было ясно, как в светлый день, и он совершенно сознательно гнул свою линию, прикрываясь очень даже революционным тезисом. С внутренней контрреволюцией, дескать, покончено, а иностранные армии нам не страшны, зарубежные рабочие и крестьяне не станут с нами воевать, возьмет верх пролетарская солидарность.

И это сказано сразу после того, как мы вышвырнули со своей русской земли германцев и белополяков, японцев и белочехов, англичан, канадцев, американцев! Вот уж воистину фарисействовал Лев Давидович! Как фарисействуют его последователи.

Нет, Троцкий не желал, чтобы Республика совершенно ослабла и пала жертвой интервентов. В таком случае он сам потерял бы все. А он, наоборот, собирался укрепить собственное положение. Сокращая армию, Троцкий рассчитывал, прежде всего, изгнать из нее своих противников, неугодных ему людей, признававших в первую очередь авторитет Фрунзе, Сталина, Ворошилова. А затем возродить полки и дивизии, поставив в руководство только своих приверженцев.

Другими словами — он хотел полностью завоевать военную власть, чтобы диктовать условия, проводить свою линию. Борьба за вооруженные силы была лишь частью общеполитической борьбы, причем наиболее важной, решающей частью. Это хорошо понимали Сталин и Фрунзе. Не было сомнений, что Троцкий доберется и до Первой Конной, дислоцировавшейся на Северном Кавказе. Собственно, попытки ликвидировать ее уже были. Это ведь Лев Давидович предложил и

настаивал: надо послать усиленный конный корпус через Афганистан в Индию, чтобы произвести там революцию… А где взять усиленный конный корпус, если у нас имелось в то время лишь одно постоянное кавалерийское объединение — Первая Конная армия? Предложение Троцкого фактически означало отправить к черту на кулички именно ее (все остальные кавалерийские соединения и объединения возникали на короткие сроки, были слабы и распадались, как, например, Вторая Конная армия). Верный был способ избавиться от буденновской конницы!

Не берусь оценивать предложение Троцкого с политической точки зрения (экспорт революции), но — для человека военного его авантюристичность и бессмысленность была очевидна. Смогла бы кавалерия, не имея тылов, не пополняясь людьми и конским составом, пройти тысячи верст по пустыням Средней Азии, по афганскому каменистому безводью, преодолеть трудные горные перевалы? Уже сама эта задача представлялась невыполнимой: конница вымоталась бы, не одолев и половины пути. А как встретит вооруженных пришельцев афганское население, только что отбившееся от англичан, подозрительно и недружелюбно настроенное ко всем европейцам, ко всем «неверным», видя в них лишь завоевателей-колонизаторов? С боями пришлось бы пробиваться.

Если предположить самое лучшее, самое невероятное: пятнадцать-двадцать тысяч измученных всадников после долгих мытарств доберутся все же до Индии, что тогда? Кто там ждет их, что они смогут сделать в совершенно чужом краю? Поднять революцию? Да там же стоят крупные силы английских войск, там формирования местных феодалов. От нашей конницы и следа не останется.

Авантюра, конечно, была явная, Ленин не поддержал ее, выступил против, и индийский поход, слава богу, не состоялся. Но Троцкий не из тех, кто отступает от своих замыслов. Он не мытьем, так катаньем! Следовало ожидать, что заявит примерно так: у нас кадровых стрелковых дивизий почти не осталось, а на Северном Кавказе конная армия бездельничает под южным солнцем, хлеб на навоз переводит. Конармии грозила общая участь. А кто мог противостоять давлению Троцкого? В связи со всеобщим сокращением инспекция кавалерии была уже расформирована, осталась лишь должность помощника Главкома по кавалерии. Этот пост по предложению Сталина занял Буденный. Но Семен Михайлович был тогда неопытным новичком в Москве, в руководящих учреждениях. Насколько уместен и самобытен был он в бою, настолько же беспомощным оказался сперва в новой ипостаси. Это все равно, что очень хорошего, но полуграмотного пастуха-практика поставить вдруг директором всесоюзного научно-исследовательского института по развитию животноводства.

Не зная, как держаться, какие козыри пускать в ход, Семен Михайлович инстинктивно хватался за единственную свою опору, к месту и не к месту упоминая о боевых заслугах, всячески подчеркивая преданность Советской власти и партии. «С меня партия человека сделала!» — это было надоевшим рефреном его разговоров и выступлений. Однажды в порыве раздражения я посоветовал ему меньше говорить, не лезть в дела, которых не понимает, дабы не допускать ошибок, а заняться учебой. «Чему учиться-то?» — спросил он. — «Всему. И с самых азов!» — «Оно верно, курсы бы мне какие пройти», — согласился Семен Михайлович.

Со временем при военной академии было создано специальное отделение для малограмотных, но заслуженных ветеранов. Конечно, условия там были щадящие, занимались они без отрыва от работы, но все же кое-чему научились.[10]

Я ждал, что Иосиф Виссарионович со дня на день спросит меня, как быть с Первой Конной, как сохранить надежные соединения? Долго и много думал об этом, зато, когда начался важный сей разговор, был полностью готов к нему, имел даже соответствующую карту. Мы сидели дома возле окна за столиком, на котором красовалась бутылка вина и два бокала. Власик принес яблоки.

Я начал с того, что Конную армию как полноценное объединение сохранить не удастся. Значит, надо сберечь хотя бы ее дивизии или отдельные полки. Как это сделать? Не дожидаясь, пока Троцкий потребует расформирования Первой Конной, мы сами расформируем ее. Мы — это помощник Главкома по кавалерии Буденный и новый командующий Московским военным округом Ворошилов. Думаю, поможет в этом и Фрунзе. Одну дивизию перебрасываем вот сюда (показал я на карте), в район Минска, для укрепления западной границы. Другую — в район Воронежа, где вспыхивают кулацкие восстания. Если нам понадобятся эти дивизии, их за сутки можно перебросить по железной дороге в Москву.

Особое место в моих замыслах отводилось 14-й Майкопской кавдивизии, самой сильной и самой надежной. Я предложил перевести ее в Московский военный округ, в непосредственное подчинение товарища Ворошилова. Всего в округе десять дивизий, из них девять слабые, территориальные, и только одну, кавалерийскую, мы постараемся сохранить полностью, чтобы она в любой момент могла выступить против любого врага. Чтобы одна стоила девяти.

— Хорошая мысль, правильная мысль, — одобрил Иосиф Виссарионович. — Но не переборщим ли мы с 14-й кавдивизией? Троцкий на дыбы встанет, поняв нашу стратегию.

— А мы сделаем это без всякого шума. Изменим номер дивизии. Пусть она считается, к примеру, десятой.

— Но не снимайте наименования «Майкопской», люди гордятся этим почетным званием, — сказал Сталин, разглядывая карту. — Ну что же, Николай Алексеевич, я полностью согласен с вами. Кавалерийские дивизии будут теперь еще ближе к нам. Оттуда мы будем черпать нужные кадры. Свяжитесь с товарищем Буденным и Ворошиловым и действуйте.

Рискуя надоесть читателю, упомяну еще об одной маленькой хитрости, которая была предложена мной и осуществлена для перестраховки, для введения в заблуждение наших противников. В ряде небольших городов были размещены совершенно безобидные, на первый взгляд, отдельные кавалерийские эскадроны для несения гарнизонной службы. В основном — в узловых пунктах на пути к Москве. Что представляли они из себя, покажу на примере отдельного эскадрона, дислоцированного в Острогожске.

Подлежавшая сокращению кавалерийская бригада из буденновской армии была сведена в кавалерийский полк, затем в эскадрон. Количество бойцов значительно уменьшилось, но оружие было полностью сохранено, командный состав получал жалованье по своим прежним должностям. На учете были люди и кони в соседних населенных пунктах. В случае необходимости этот эскадрон за сутки мог превратиться в полк, за двое суток — в полноценную кавалерийскую бригаду. Вот такие резервы были у

нас, в руках Буденного и Ворошилова, а следовательно, — в руках Сталина.

Несмотря на десятикратное сокращение войск Республики, Троцкий не добился своей цели. В смутное время, в период болезни и смерти Ленина, когда обострилась битва за власть, Иосиф Виссарионович имел такую реальную и послушную вооруженную силу, какой не имел никто.

Начинался новый этап борьбы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Иосиф Виссарионович знал, что я с брезгливостью отношусь ко всяким политическим игрищам, к разным там правым и левым, к фракциям и оппозициям, видя во всем этом лишь вредную для государства, ослабляющую государство борьбу за место у пирога между партиями, группами людей и, в конечном счете, между отдельными личностями. У меня была простая позиция: я русский человек, мне дорого и важно то, что идет на пользу государства Российского. К этой моей позиции Сталин относился с уважением, во всяком случае, не переубеждал меня. Иосифу Виссарионовичу важно было, что я предан Отечеству и дружески верен ему самому. Вероятно, он сознательно, умело использовал такие мои убеждения, мое умонастроение в своих конкретных целях. Будучи в партии главным специалистом по национальным делам, он обязан был знать, что думает по тому или иному поводу образованный, рассуждающий русский патриот, славянин (в руководстве партии и государства русских, украинцев, белорусов насчитывалось тогда мало, но страна-то была в основном славянской!). Этим и объясняется, вероятно, что круг вопросов, с которыми обращался ко мне Иосиф Виссарионович, становился все шире.

Привлек меня Сталин и к той работе, которая летом и осенью 1922 года была, пожалуй, самой важной, к созданию нового советского многонационального объединения. Одним из первых познакомился я с идеями Иосифа Виссарионовича на этот счет, а затем и с планом, который фигурировал под названием «План автономизации» и значительно расширил трещину, наметившуюся во взаимоотношениях между Сталиным и Лениным. Чтобы понять, почему возникло отчуждение и почему «план автономизации» был с треском провален, надо хотя бы кратко упомянуть о некоторых предшествовавших событиях.

После двух революций и за годы гражданской войны совсем еще недавно могучее, строго организованное государство наше превратилось в груду административных «обломков». Румынские бояре отрезали Бессарабию (Молдавию). Отделилась Польша, прихватив Западную Украину и Западную Белоруссию. Граница проходила рядом с Минском, а оттуда и до Москвы рукой подать. Скверно было на Балтике. Столетиями боролась Россия за выход к этому морю, с трудом прорубила «окно в Европу», и вот рухнуло все мгновенно. Не смогли удержать (а может, не особенно и старались?!) Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, образовалось там «лоскутное одеяло», на котором, поторопились улечься западные государства. У нас вместо широкого окна осталась лишь узенькая «форточка» — из Петрограда через мелководный Финский залив.

На Дальнем Востоке — «буферная» республика. В Средней Азии вообще не поймешь что: хозяйничали там ханы, эмиры и все сильней ощущалось влияние англичан. Горько было видеть, как распадается наша страна и очень обидно, что лозунг «За единую и неделимую!» был выдвинут не Советской властью, а белогвардейцами. За этим лозунгом шли многие патриоты, не очень-то разбиравшиеся в политике: они не могли смириться с развалом нашего великого государства. То, что собиралось веками, за что плачено было кровью, разбазаривалось предателями с непонятной щедростью.

Вероятно, Ленина, верившего в неизбежность и близость мировой революции, не очень волновало изменение границ, утрата той или иной территории. Какие уж там рубежи, зачем они, если повсюду у власти свой брат — пролетарий! Владимир Ильич писал: «Пусть буржуазия затевает презренную жалкую грызню и торг из-за границ, рабочие же всех стран и всех наций не разойдутся на этой гнусной почве».

Насчет рабочих судить не берусь, но буржуазия, действительно, затеяла грызню, отхватив при этом большой «кус» нашей территории, расшатав всю нашу административную систему. Обстановка складывалась весьма скверная, распад государства надо было остановить, и чем скорее, тем лучше. Иосиф Виссарионович понимал это.

Думаю, что в ту пору Сталин уже твердо решил стать главой нашей страны и вольно или невольно расценивал все явления с точки зрения будущего руководителя. Ему, конечно, хотелось, чтобы государство было единым, сильным. Да и я не переставал твердить ему, что сложившееся положение опасно для всех нас.

Была еще и такая сторона: мы, великороссы, давно не переживали, не испытывали то, что постоянно давит на малые народы — опасность порабощения, уничтожения. Мы как-то утратили чувство осторожности. Да и украинцы в значительной степени тоже. А для грузин, для других народностей Кавказа и Закавказья эта опасность была и оставалась близкой реальностью. Не случайно в свое время Армения, Азербайджан и Грузия добровольно вошли в состав Российского государства, укрылись под надежной защитой. Сталин лучше многих других деятелей в Москве и на местах представлял картину ближайшего будущего. Армян при первой возможности беспощадно вырежут турки, персы, курды, турецкие черкесы. Грузинам не избежать той же участи: раздробления и зверского истребления. Про Азербайджан и говорить нечего: слишком много охотников на его территорию, на его нефть. Промышленность приберут к рукам англичане, землю присоединит Персия: к своему Южному Азербайджану прибавят Северный, только и всего.

К родным местам каждый неравнодушен. Заботясь о сохранении всех частей страны, Иосиф Виссарионович думал прежде всего о Кавказе. Пока шли споры — разговоры об укреплении государственности, Сталин без всякой шумихи готовил почву для того, чтобы объединить Грузию, Армению, Азербайджан в Закавказскую советскую федеративную социалистическую республику. Слив свои силы, они могли первое время защищаться хотя бы от самых близких врагов, от разбойных нападений персов и турок.

Давайте глянем теперь, что представляла собой наша страна во второй половине 1922 года. Что уцелело от бывшей великой империи? Прежде всего хоть и урезанный со всех сторон, однако прочный и надежный костяк — Российская федерация (РСФСР). Тесно связана с ней была

Белоруссия, выделяясь лишь некоторыми формальными признаками. На Украине сложнее. Если восточные районы и центр ее, со смешанным населением, с древними общерусскими традициями, стремились к единой государственности, то на западе имелось немало жовтоблакитников, петлюровских и гетмановских недобитков, готовых драться за «независимую Украину», тем паче за руководящие посты в предполагаемой самостийно-опереточной державе. На юге — только что народившиеся республики, создавшие свою Закавказскую федерацию. В Средней Азии — полный политический хаос. Прибавим к этому отсутствие какого-либо законодательства, какой-либо платформы для объединения республик. И, как мне казалось, чрезмерное потакание со стороны Москвы капризам местных политических руководителей.

Разве не безобразие, разве не предательство национальных интересов: значительная часть русских людей очутилась вдруг прямо-таки в положении иностранцев на землях, давно освоенных, окультуренных нашими предками. Вот потрясающий по цинизму, по безответственности пример. Не могу представить, о чем и как думали Ленин и Калинин, подписав 26 августа 1920 года декрет об образовании автономной Киргизской Социалистической Республики, свалив при этом в одну кучу, без всяких границ, территории казахов, киргизов, туркмен, узбеков, да плюс еще сибирские и уральские земли, испокон веков заселенные выходцами из России и с Украины. Резанули по живому из-за незнания географии? Заискивая перед националистами? Из неприязни к уральскому, сибирскому, семиреченскому казачеству? Вот соглашение, принятое 26 апреля 1921 года на основании вышеуказанного декрета:

«1. Уезды Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский и Атбасарский выходят из состава Омской губернии и образуют Акмолинскую губернию, входящую в состав Киргизской Социалистической Советской Республики Советской Федерации.

2. Губернским центром вновь образуемой Акмолинской губернии объявляется город Петропавловск…»

Одним росчерком пера «великие интернационалисты», не задумываясь о последствиях, отрезали от России сразу 15 уездов, более 1000 населенных пунктов, где трудились на земле только российские крестьяне, казаки, куда киргизы или казахи наведывались лишь кочуя со скотом. Так же несправедливо было поступлено с обитателями уральских берегов, с русскими городами Гурьев, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Верный. Миллионы русских и украинцев оказались вроде бы людьми второго сорта в новых, неизвестно на каком основании организованных республиках. И не только в Сибири и в Средней Азии, но и в других регионах.

С таким вот «хозяйством» и должен был управляться (помимо других многочисленных обязанностей) Нарком по делам национальностей Сталин, стремившийся удержать, спаять, сохранить все, что еще возможно. Его даже упрекали в ограниченности мышления, в том, что не уповал на грядущую мировую революцию и чуть ли не скатывался к пресловутому лозунгу «единая и неделимая!». Однако Сталин был тверд в своей позиции. Стирание границ, мировая революция — это еще впереди. То ли будет, то ли нет. А враг существует сегодня, и бороться с ним способно лишь сильное единое государство. В этом отношении Иосиф Виссарионович имел в моем лице надежнейшего соратника.

Интересно вот что. Первое время после революции повсюду чувствовалось какое-то ошалелое стремление к самостоятельности, к политической независимости. Я убедился в этом, когда весной восемнадцатого пробирался из Москвы в Новочеркасск. Что там говорить про нации, про народности: чуть ли не каждая губерния пыталась стать государством, уезды и даже волости объявляли себя независимыми республиками, создавая собственные «вооруженные силы». Однако чем дальше, тем быстрее исчезало такое вот центробежное устремление. Опьянение свободой сменилось похмельем, затем здравыми размышлениями. Разруха, беспорядки, кровопролитие, болезни надоели всем. Люди начали возвращаться к простым истинам. Мы должны быть сильными, чтобы защититься от любого врага. Мы должны сообща пользоваться всеми богатствами, чтобы вести нормальный образ жизни. Например, степные районы задыхались без леса, а на севере не было подсолнечного масла, фруктов. Временных торговых договоров между республиками было теперь явно недостаточно. Это осознали сперва на периферии, в республиках. Оттуда пошли настоятельные требования о более тесном объединении. Первым проявил инициативу ЦК большевистской партии Украины. Начались переговоры об урегулировании и уточнении федеративных отношений между УССР и РСФСР. Речь велась о создании единой федерации — вот что я хочу особенно подчеркнуть. Не желая отстать от Украины, подобные предложения выдвинула Белоруссия, все республики Закавказья.

Дела шли так, как хотел Иосиф Виссарионович. 10 августа 1922 года по его инициативе — по инициативе генерального секретаря ЦК РКП(б) — Политбюро приняло решение создать комиссию для подготовки предложения по усовершенствованию федеративных взаимоотношений между РСФСР и другими республиками. А если сказать проще — комиссию по выработке основ для объединения всех раздробленных частей в единое целое государство. И настолько это было важно, что Сталин не терпел ни малейшего промедления. На следующий же день Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило состав комиссии. Первым по списку, естественно, значился И. В. Сталин. Далее: В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, С. А. Агамали-оглы (от Азербайджана), А. Ф. Мясников, а точнее — Мясникян (от Армении), П. Г. Мдивани (от Грузии), Г. И. Петровский (от Украины), А. Г. Червяков (от Белоруссии) и еще несколько авторитетных товарищей.

Комиссия, как видим, была очень даже представительная, каждая из республик занимала в ней достойное место, однако первую скрипку по своему положению играл в ней Иосиф Виссарионович. К этому времени здоровье Ленина настолько ухудшилось, что его оберегали от забот и волнений, даже не сообщили о создании и работе комиссии.

Проект решения, названный «Планом автономизации», подготовил, консультируясь с вышеназванными членами комиссии, сам Иосиф Виссарионович. Работал он несколько вечеров на нашей квартире, изолируясь от других дел, при этом был радостно возбужден, весел и считал, что план ему удался. Я был первым читателем проекта, и думаю, что Сталин специально познакомил меня с планом. Мнение партийных товарищей ему было известно, теперь хотел узнать, что думает русский человек, независимый и беспартийный.

Я, конечно, не очень разбирался в тонкостях, но должен сказать, что «План автономизации» не вызвал у меня сомнений и возражений. Все в нем было просто и правильно. Республики объединяются на равных

началах в единое государство. Власть, существующая в Москве, распространяется на всю новую федерацию. При этом республики сохраняют и свои местные органы власти, свой язык, право решать целый ряд внутренних вопросов. То есть сохраняют свою автономию в границах единого государства. Все понятно, чего еще больше желать-то? Разве что вообще отказаться от дробления на республики, ввести по всей стране прежнюю систему губерний и областей. Так я и сказал Сталину.

— По-моему, Иосиф Виссарионович, этот план никого не ущемляет и никому не дает преимуществ. Главное — полное равенство. А остальное не имеет значения: от мелких споров и раздоров даже в дружной семье не избавишься.

Примерно так же отреагировали на этот проект и почти все члены комиссии. «План автономизации» был принят без поправок и добавлений. Украина, Белоруссия и Закавказская федерация входят в РСФСР на правах автономных республик — формулировка простая и четкая. Однако на местах такое решение не нашло всеобщей поддержки. Против него выступили прежде всего те честолюбивые деятели, которые сами рвались к государственной власти. Пусть и небольшая страна, да своя, можно самому править.

ЦК КП(б) Украины в принципе высказал свое согласие. Компартии Азербайджана, Армении полностью поддержали решение. Белоруссия осторожничала, высказавшись за то, чтобы сохранить пока прежнее положение. А самый тяжелый удар по плану и по настроению Иосифа Виссарионовича нанесла Грузия, точнее — ЦК компартии Грузии, где верховодил П. Г. Мдивани, собравший вокруг себя группу националистов и очень уж стремившийся обрести всю полноту власти. Не без его старания «План автономизации» был признан в Грузии преждевременным и не подлежащим обсуждению партийных масс — такого обсуждения Мдивани боялся. Формулировка отказа была туманной: «Объединение хозяйственных усилий, общей политики считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости». Сталин не без иронии расшифровал это таким образом: «Пусть государство нам помогает, пусть государство нас защищает, а во всем остальном мы сами по себе».

В неловкое и трудное положение поставили Иосифа Виссарионовича руководители из Тифлиса. И в ЦК, и в партии вообще Сталин считался не только крупнейшим знатоком национального, вопроса, но и вроде бы постоянным представителем Грузии, посланцем одного из коренных народов нашей страны. А по существу Грузия-то и отказала ему в доверии…

Впрочем, нет: считать, что отказала Грузия, было бы слишком (в ту пору подавляющее большинство грузин еще ничего не слышало о Сталине). Отказала ему в поддержке группа Мдивани. Воинственный национализм этой группы для меня, например, был совершенно бесспорен. К чему стремился Мдивани? Владычествовать хотел, вот что. Не только в Грузии, но и вообще за Кавказским хребтом. План был прямолинеен: превратить Закавказскую федерацию в Грузинскую федерацию, включающую в себя Азербайджан, Армению, Аджарию и Абхазию. И при этом заручиться поддержкой РСФСР на случай войны, экономических трудностей.

Невозможность такого варианта пытался доказать Мдивани по поручению Сталина рассудительный и очень порядочный человек — Григорий Константинович Орджоникидзе, возглавлявший Закавказский крайком партии. И раз, и два, и три принимался он переубеждать

Мдивани, но это имело вроде бы даже обратное действие: Мдивани становился все более самоуверенным, чванливым, а позиция его все более жесткой. Мдивани наглел…

Дошло до того, что корректный и терпеливый Орджоникидзе, прекрасно знавший, сколь велико преимущество разума перед силой, после долгих разговоров не выдержал, вскипел, утратил самообладание и нанес сторонникам Мдивани удар, выходящий, так сказать, за рамки словесной дискуссии. В горячем споре один из приверженцев Мдивани — А. Кабахидзе — назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком», за что и получил увесистую пощечину…

Нет, я не оправдываю поступок Григория Константиновича. К тому же ему крепко «досталось на орехи». Его осудили многие руководители, в том числе и Сталин, считавший, что кулак — это не довод в политическом споре. Ну, а Кабахидзе и Мдивани, разумеется, затаили обиду на всю дальнейшую жизнь, которая, кстати, оборвалась у них почти одновременно с жизнью Орджоникидзе. Не без вмешательства Сталина. Но до этого тогда, в 1922 году, было еще далеко.

Так называемый «грузинский инцидент» продолжался долго, был сложен и запутан, вовлек в себя множество людей, доставил изрядные огорчения Владимиру Ильичу, ухудшил его здоровье. Не буду рассказывать об этом подробно, тем более что некоторые детали так и остались неясными для меня. Скажу только: разногласия разрослись до такой степени, что грузинский ЦК решил всем составом выйти в отставку. В Москве эту группу поддерживали Каменев, Бухарин и Зиновьев. Они считали, что члены грузинского ЦК правы, возмущаясь военно-командным стилем руководства Заккрайкома, высказывая свой особый подход к вступлению Грузии в новое общее государство. Все это вызывало негодование Сталина, именовавшего членов Грузинского ЦК «фракцией национал-коммунистов».

Специальная партийная комиссия, в состав которой входили Ф. Э. Дзержинский (председатель), Д. З. Мануильский и В. С. Мицкевич-Капсукас, расследовав деятельность членов грузинского ЦК, Заккрайкома и поведение Орджоникидзе, решительно поддержала точку зрения Сталина. А вот Владимир Ильич остался недоволен работой и выводами комиссии. Он считал, что надо политическую ответственность «за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию возложить на Сталина и Дзержинского…» Каков нонсенс, а? Грузин и поляк в роли великорусских шовинистов?! Диву даешься!

Страсти накалялись. Владимир Ильич письменно обратился к Троцкому с просьбой разобраться в грузинском вопросе, защитить грузинских товарищей перед ЦК партии. «Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастность. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я мог бы быть спокойным».

Наступил ответственнейший момент во взаимоотношениях двух лидеров — Сталина и Троцкого. Поддержи Лев Давидович тогда Иосифа Виссарионовича в трудное для него время, и многое было бы смягчено, прощено, утихло бы пламя взаимной ненависти. Сталин умел быть благодарным.

Лев Давидович понимал, конечно, всю сложность обстановки. И опять затеял столь свойственную его натуре двойную политическую игру. Зачем открыто выступать против линии Сталина-Дзержинского? Какая выгода?

Нет, сославшись на болезнь, он отклонил просьбу Ленина, не взял на себя никаких официальных обязательств по запутанному «грузинскому делу». Формально к нему не могло быть претензий ни с чьей стороны. Но в своих выступлениях, в статье по национальному вопросу, которая появилась в «Правде», в своих «поправках» к тезисам Сталина к XII съезду партии — везде Троцкий с изрядной порцией яда критиковал Иосифа Виссарионовича, указывая на его ошибки. Тот, мол, преувеличивает опасность мелкобуржуазных, меньшевистских, националистических уклонов на местах и национального либерализма в центре, но не видит или не хочет видеть опасности великодержавного шовинизма. Ну и так далее. Пуще всего боялся Лев Давидович сильного государства с крепким славянским ядром. В таком государстве ему и его сообщникам просто нечего было делать. Эта боязнь питала и питает до сей поры последователей Троцкого — непримиримых врагов русской державности…

Я, однако, забежал вперед… В конце сентября 1922 года на нашей квартире собрались приехавшие из Грузии партийные деятели, которых приглашал к себе в Горки Владимир Ильич, познакомившийся с «Планом автономизации». Не знаю, был ли тогда у нас Мдивани, но точно запомнил Думбадзе, которого Сталин называл по имени — Ладо, и М. С. Окуджаву. Встретив гостей, я ушел на свою половину и не появлялся потом весь вечер. Однако Сталин специально оставил дверь приоткрытой, лишь задернув ее портьерой. Разговор был очень резкий и громкий. Иосиф Виссарионович несколько раз сорвался на крик, чего с ним почти никогда не случалось. Но его можно было понять: конфликт был очень серьезен. И все по вине земляков…

Итак, образованием единого государства занялся сам Ленин. Изучив документы, связанные с «Планом автономизации», побеседовав со многими представителями республик, Владимир Ильич пригласил к себе Сталина. В хороший солнечный день бабьего лета мы с ним на автомашине поехали в Горки. Дорога оказалась ухабистой, нас изрядно трясло и качало, но Иосиф Виссарионович не замечал этого, поглощенный своими мыслями. Хмурился. Несколько раз порывался сказать что-то, но сдерживал себя: рядом был незнакомый водитель.

Зачем Сталин взял меня в ту поездку? Наверно, ему требовалась моральная поддержка. Грузины против выдвинутого плана… Белорусы колеблются. Но все другие-то — за! Можно что-то уточнить, изменить… Вот, мол, мнение русского человека, интеллигента, патриота. Может быть, он и не рассчитывал выдвигать меня на первую линию, но присутствие мое вселяло в него уверенность. Как всегда при сильном и тщательно скрываемом волнении, Иосифа Виссарионовича познабливало, он доставал носовой платок.

Райским местом показались мне Горки. Тишина, многоцветье осеннего леса, красивые аллеи, горьковатый запах прелой листвы… Открывавшиеся с окраины парка живописные дали очень напоминали просторы, которыми я любовался когда-то с балкона нашей усадьбы. Да и дворец напомнил наш с Верой дом. Однако все это я заметил и оценил позже, когда Ленин и Сталин уединились для разговора. Сперва мое внимание было приковано к Владимиру Ильичу. Показалось, что выглядит он не так уж плохо, как можно было ожидать после всех разговоров о его здоровье. Но вскоре стало ясно, что лишь хороший день да оживление, вызванное встречей, взбодрили его. Желтоватая кожа обтягивала заострившиеся скулы. Шел он медленно, говорил, делая значительные паузы. Причем говорил громко,

рассуждал вслух, не делая тайны ни от кого, кто мог его слышать — так поступают люди, абсолютно убежденные в своей правоте. Из его слов, долетавших до меня, я понял, что Ленин считает «План автономизации» не шагом вперед, а чуть ли не шагом назад. Республики, дескать, уже освоились с самостоятельным положением, создали свои органы управления, построили национальный аппарат — ломка вызовет недовольство. Значит, объединяться надо на иной, на принципиально новой основе. Не механическое подчинение республиканских органов власти соответствующим высшим органам РСФСР, а полное равноправие каждой республики. Для этого создать еще один, новый этаж власти, общегосударственной власти, в которой все республики будут иметь одинаковое представительство.

Иосиф Виссарионович при мне возразил только раз, сказав, что мы усложним дело, утяжелим руководство, разведем чиновников, если ко всем имеющимся организациям создадим еще общий ЦИК, общесоюзные наркоматы и прочие многочисленные учреждения. Будет еще один этаж бюрократии. И это в угоду капризам некоторых «независимцев» из одной-двух республик.

— Нет-нет! — быстро произнес Ленин. — Их найдется много, таких независимцев, и во всех республиках. Они способны появляться вновь и вновь. А мы сразу выбьем почву у них из-под ног.

То, что предлагал Ленин, представлялось вроде бы убедительным. Но он, как говорится, «шил костюм» на свой рост. Для него, с его живым характером, эрудицией, гибким умом, с его авторитетом, естественным и интересным был изменяющийся, нарастающий процесс созидания. Сталин же, в силу своего совершенно иного характера, хотел покончить с делом один раз и надолго, навести полный порядок в одном вопросе и браться за другой. Он, конечно, мог обдумывать, вести, направлять сразу несколько дел, но чем дальше они затягивались, тем сильнее раздражали его, любившего четкость, категоричность. Он не был столь многообразен, как Ленин, для которого разбираться сразу в десятках процессов было совершенно обычным состоянием. Вполне естественно, что Иосиф Виссарионович хотел строить такое государство, которым легче, проще было бы управлять. Сталин хотел завершения, результата, а Ленин, вероятно, считал, что сейчас надо лишь повернуть поток в нужное русло, не бетонируя накрепко берега, чтобы при необходимости легче было варьировать, искать иных возможностей.

Разговор их длился долго. Они прогуливались по парку, заходили в библиотеку — и опять вернулись на воздух. Владимир Ильич заметно устал, речь его сделалась вялой. Только взгляд был живой, ироничный. Чувствовалось, что он доволен беседой.

Перед отъездом сели они в плетеные кресла на балконе. Неяркое, но теплое солнце освещало белую балюстраду, густую пеструю листву за их спинами. Я с особым волнением смотрел на двух вождей, думая о том, что в их руках находятся судьбы многих народов, судьба России, от этих людей зависит ход мировой истории. И потому, что долго не мог отвести взор, картина эта ярко врезалась в память.

Во всем они были разные, абсолютно во всем: от одежды, внешнего облика до способа излагать свои мысли, даже до самих мыслей. Сталин в высоких сапогах, в черных брюках и белом кителе, застегнутом на все пуговицы, со стоячим воротником, имел вид строгий, сидел чуть подавшись вперед, в позе угадывалось некоторое напряжение. А Ленин

свободно откинулся в кресле, забросив ногу на ногу, сложив на животе руки. На нем штиблеты, просторные брюки, не стесняющий движений теплый френч с расстегнутым отложным воротником. Его раскованность, естественность особенно подчеркивались сдержанностью, военной строгостью Сталина.

В последнее время Иосиф Виссарионович редко ездил по стране, много сидел за столом, начал полнеть, округлилось, посветлело лицо, менее заметны стали рябинки. Ленин же наоборот был худ, черты лица заострившиеся. Лоб казался таким огромным, что приковывал к себе внимание. А лоб Сталина оставался непропорционально узким, хоть он и зачесывал назад густые, пружинистые волосы. Брови тоже густые, с изломом. Он был в ту пору привлекателен, находился в расцвете лет, особенно украшала его улыбка, смягчавшая суровость. Но улыбался он редко. А Ленин часто. И улыбался, и смеялся, поглядывая на Иосифа Виссарионовича с необидной снисходительностью, как учитель на зарвавшегося, но своевременно остановленного ученика. И подумалось мне: очень сильна идея, объединявшая этих вот совершенно непохожих людей, с разными характерами, вкусами, темпераментом, прошлым и будущим. Впрочем, отталкиваясь от одной опоры, они уже тогда шли каждый своим путем. Вскоре после того, как мы вернулись в Москву, Иосиф Виссарионович обронил фразу:

— План автономизации не так уж плох сам по себе, — сказал он. — Однако план построения государства слишком важен для того, чтобы его выдвинул Сталин.

Что касается меня, то мое мнение осталось неизменным. Считаю: если бы республики объединились так, как предлагал Иосиф Виссарионович, мы избежали бы потом многих трудностей, неразберихи, бюрократической волокиты. Меньше было бы поводов для разных обид. Почему, скажем, маленькая Эстония, до революции вообще никогда не считавшаяся государством, а так себе, провинцией, — имеет свой ЦК партии, а огромная Россия его не имеет? Почему Грузия обладает правом выхода из состава СССР, а Абхазия или Аджария нет? Да и многое другое.

Будь жив Владимир Ильич, принципы объединения республик изменялись бы, наверняка, по требованию времени, обстоятельств. Для Ленина это было просто. Сталин же, как я говорил, не любил сворачивать с проложенных рельсов. Другие руководители тоже опасались нарушить сложившееся равновесие. Вот и «катились» по наезженному, привычному пути.

Отмена «Плана автономизации» имела для Иосифа Виссарионовича целый ряд неприятных последствий. По сути ему было выражено недоверие. Он оказался отринутым от основных решений при важнейшем событии — рождении нового государства. В доклад об образовании СССР, который Сталин готовил для Объединительного съезда, было внесено много ленинских поправок, которые фактически изменили его суть.

Открылся съезд 30 декабря 1922 года в Москве, в очень студеный день. Владимир Ильич не присутствовал — опять подвело здоровье. Но его влияние ощущалось во всем. И получилось, что основными фигурами на этом чрезвычайном форуме стали Михаил Иванович Калинин и (неожиданно для многих) приехавший с Украины Михаил Васильевич Фрунзе. Они вели съезд, задавали тон, а Иосиф Виссарионович вынужден был держаться в тени. Самолюбие его оказалось уязвленным еще раз.

Как получилось, что не без ведома Ленина избран был Иосиф Виссарионович генеральным секретарем ЦК РКП(б), а очень скоро Владимир Ильич в известном «Письме к съезду» выступил против его пребывания на столь высоком посту?! Считая Сталина одним из выдающихся деятелей партии, Владимир Ильич предлагал все же подумать о том, чтобы назначить на пост генерального секретаря другого человека. Какого же? Который отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно: более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, менее капризен и т. д. Владимир Ильич особенно подчеркивал, что эти отрицательные качества Сталина, сосредоточившего в своих руках большую власть, могут приобрести решающее значение.

Ну, как в воду глядел! И приобрели, и много вреда принесли государству нашему, коммунистическому движению вообще, да и самому Сталину, у которого было много хороших задатков, только «крен» получился на один борт. А как же все-таки произошло стремительное возвышение Сталина, как он закрепился на ключевых позициях, с которых трудно было сбить или оттеснить его? Я много думал над этим.

До революции и первое время после нее Иосиф Виссарионович был не только одним из верных последователей Ленина, но, что особенно важно, одним из самых деятельных и, пожалуй, самых дисциплинированных. Он безусловно и любой ценой выполнял все, что поручал ему Ленин. Среди болтунов, которых много появилось тогда, Иосиф Виссарионович выделялся своей энергией, большим чувством ответственности. Владимир Ильич ценил эти его качества. Взаимное уважение, взаимное доверие было полным. До определенного времени.

Впервые черная кошка пробежала между ними в августе 1920 года. Сталин опять был на самом опасном направлении. Вместе с Александром Ильичом Егоровым возглавлял Юго-Западный фронт, руководил разгромом белополяков. Был освобожден Киев, затем почти вся Украина. Первая Конная армия, надежда и опора Иосифа Виссарионовича, сыграла в тех сражениях решающую роль. Прорвав вражеский фронт, она искалечила тылы белополяков, проложила путь пехоте.

Казалось, все складывается удачно для наших войск. Западный фронт Тухачевского приближался к Варшаве. На юге Буденный вместе с пехотной группой Якира устремился к Львову. Стоило взять этот большой город, и рухнуло бы все южное крыло белопольского фронта. Но обстановка вдруг осложнилась. Из Крыма в Северную Таврию вывел свои дивизии барон Врангель. Он угрожал тылам наших войск, он мог повернуть на Донбасс, способен был вдохнуть надежду в затаившуюся контрреволюцию, и опять вспыхнуло бы повсюду пламя междоусобной борьбы.

Белополяки тем временем успели сколотить значительную группировку под Варшавой: стянули туда двенадцать дивизий, половину своих вооруженных сил. Они намеревались перейти в контрнаступление. Развернулась цепь событий, во многом определивших нашу неудачу, не позволивших вернуть Польшу в семью советских республик, оставивших поляков в стане противника. Не удалось нам соединиться с революционерами, поднявшими восстание в центральной Европе. А как знать, может, действительно мировая революция была тогда реальностью?! Во всяком случае — революция в Европе.

О причинах срыва много спорили участники тех событий, до сих пор спорят историки… Кто хочет знать подробности, того я отсылаю к статьям А. И. Егорова, С. С. Каменева, С. М. Буденного, М. Н. Тухачевского, Б. М. Шапошникова, В. К. Триандафиллова. Эти работы порой резки, тенденциозны, но в совокупности дают представление о происходившем. А мне важно лишь одно: сказать о том, как Иосиф Виссарионович впервые не выполнил распоряжение Ленина.

Еще в апреле того же 1920 года Реввоенсовет республики выработал план ведения войны с панской Польшей, начавшей против нас боевые действия. Варианты плана обсуждались в ЦК партии, их изучал Степан Степанович Данилов, с которым В. И. Ленин советовался обычно по военным вопросам (о Данилове я расскажу позже). По поручению Центрального Комитета партии Сталин уточнил с главкомом С. С. Каменевым окончательный вариант плана, а перед этим мы до глубокой ночи просидели над планом вдвоем. Сам же Сталин и докладывал последний вариант на заседании Политбюро, которое состоялось 28 апреля. И этот план был утвержден. Он предусматривал, что главный удар в направлении Минск — Вильна — Варшава наносит Западный фронт. Юго-Западный наступает на Ровно — Брест. И вот что важно: после выхода фронтов на линию Бреста они должны будут объединиться в один Западный фронт, чтобы добить основные силы белополяков в районе Варшавы.

Все это в принципе было правильно. Однако планы планами, а война войной. Получилось так, что Юго-Западный фронт добился больших успехов на своем направлении и не хотел отказываться от благоприятных перспектив. Кому не жаль упускать лавры победителя?! И когда 2 августа Центральный Комитет партии подтвердил свое прежнее решение о слиянии фронтов, у Сталина было уже другое мнение, другое настроение. Бросай, значит, налаженное дело, срочно создавай Реввоенсовет нового Южного фронта, нацеленного против врангелевцев! Хмуря брови, читал он депешу главкома, присланную Егорову:

«С форсированием армиями Запфронта р. Нарева и овладением Брест-Литовском наступает время объединения в руках Командзапа управления всеми армиями, продолжающими движение к р. Висле, т. е. передачи в ближайшие дни 12 и 1-й Конной армий из Югзапфронта в распоряжение Командзапа».

Иосиф Виссарионович смял бланк телеграммы и швырнул на стол. Кроме всего прочего, это распоряжение отнимало у него главную военную опору — Конармию. Попадет она в руки Тухачевского, у которого нет и не может быть хороших отношений с Буденным. Рассыпется Конармия на отдельные дивизии. И нет ее… Да Буденный со своим характером все сделает, только бы не подчиняться Тухачевскому, не выполнять его распоряжений.

От Егорова Иосиф Виссарионович вернулся в свой салон-вагон, а там уже ожидала более важная для него депеша, не от главкома, а от самого Владимира Ильича.

«Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем в Сибири, опасность Врангеля становится громадной… Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать Ваше заключение. С главкомом я условился, что он дает Вам больше патронов, подкреплений и аэропланов».

Патроны, конечно, нужны были, и подкрепление тоже, но без 1-й Конной и Львов не возьмешь, и Врангеля остановить нечем…

Раздосадованный Иосиф Виссарионович немедленно дал короткий ответ: «Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками».

Ленин был удивлен:

«Не совсем понимаю, почему вы недовольны разделением фронтов. Сообщите ваши мотивы». Вместе с этой телеграммой Сталину был послан полный текст принятого решения.

Иосиф Виссарионович молчал долго, больше суток. Чтобы не сорваться в гневе. Выслушивал доводы рассудительного Егорова (меня тогда не было с ними). И думал. Поняв, что барьер не преодолеть, менять свои замыслы придется, он, по совету Александра Ильича, постарался выбрать наименьшее зло. Иосиф Виссарионович телеграфировал в Политбюро о согласии передать Западному фронту требуемые армии, но просил штаб и Реввоенсовет Юго-Западного фронта не дробить, а целиком преобразовать их в штаб и Реввоенсовет Южного фронта. Просьба эта была удовлетворена, реорганизация несколько упростилась, но хаос все равно получился изрядный.

Хотя бы так. Штаб Западного фронта прямой связи с переданными ему армиями не имел, в том числе и с Первой Конной, вынужден был направлять свои директивы и указания через штаб Юго-Западного фронта, который теперь становился штабом Южного фронта, и у него хватало новых забот и хлопот. Директивы шли по трое, четверо суток, превращаясь в ничего не значащие бумажки. А с наиболее важной директивой, предписывавшей Конармии прервать Львовскую операцию и повернуть на Варшаву, получилось вот что. 15 августа Тухачевский дал из Минска такое распоряжение:

«Командарму 1-й Конной с получением сего вывести из боя свои конные части, заняв участок от района Топоров и к югу частями 45-й и 47-й стрелковых дивизий… Всей Конармии в составе 4, 6 и 14 кавдивизий четырьмя переходами перейти в район Устилуг, Владимир-Волынский».

Пока эту телеграмму передавали из инстанции в инстанцию, пока она дошла до Буденного, в ней осталась лишь подпись Тухачевского, а подписи члена Реввоенсовета Западного фронта Уншлихта не было (как выяснилось позже, ее пропустил один из телеграфистов). По существовавшим правилам директива или приказ, не скрепленные подписью члена Реввоенсовета, не считались действительными. Этим и воспользовался Семен Михайлович, продолжая наступать на Львов. Пока-де разберутся, пока следующая телеграмма придет. Тем более что противоречивые директивы поступали и от Главкома Каменева, и от Наркомвоена Троцкого. Сам господь бог не разобрался бы, какие указания выполнять в первую очередь. Ко всему прочему Буденный знал, что Иосиф Виссарионович, несмотря на требования из Москвы, отказался подписать приказ о прекращении Львовской операции, считая это ошибкой, и добивался, чтобы Конная армия вообще не уходила на север.

Результат раздоров и неразберихи оказался печальным. Конармия вплотную приблизилась к Львову, сковав там несколько белопольских дивизий. Еще бы нажим — и победа. Но тут Буденного заставили все же повернуть в сторону Варшавы. В общем и Львов не взяли, и к Варшаве Первая Конная не успела (или не захотела успеть). Противник начал контрнаступление.

Кто несет ответственность за такой срыв? Тухачевский утверждал, что во всем виноват Буденный. Тот, в свою очередь, нападал на Тухачевского. Некоторые историки видят корень зла в том, что Сталин не выполнил четких указаний Владимира Ильича. Сам Ленин, выступая на X съезде партии, сказал по этому поводу так: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка. Я сейчас не буду разбираться, была ли это ошибка стратегическая или политическая, ибо это завело бы меня слишком далеко…»

Понятно: очень уж больным был тогда этот вопрос, не утративший и доныне своей остроты. На многие судьбы он повлиял. Бывалые кавалеристы любили одно время песню, в которой имелись такие слова: Рейдом прорвались глыбоко в Польшу Чулы «даешь!» пид Варшавой…

Действительно, поили тогда наши кавалеристы коней в Висле, только не буденновцы, а воины Третьего конного корпуса: им командовал знакомый нам боевой командир Гай, который в восемнадцатом году освободил родной город Ленина. Корпус Гая двигался стремительно, увлекая за собой пехоту: эта группа не только вышла на Вислу, но и перерезала основные магистрали, связывавшие Польшу с западом. Рядом была Германия. Еще рывок, и две пролетарские революции слились бы в единую волну. Судьба Пилсудского и его приспешников висела на волоске. Это был как раз тот момент, когда для достижения успеха достаточно еще лишь одного усилия. Может быть, одной дивизии. Но в самый ответственный день на решающем участке такая дивизия не появилась. А общие результаты плачевны.

Третий конный корпус и пехота двух армий оказались в кольце. С одной стороны, нейтральная Германия, а с другой — стена неприятельских войск. Несколько раз бросались красноармейцы в атаку, на прорыв, но безуспешно. Кончились боеприпасы. И тогда Гай взял на себя ответственность за принятие трудного, однако правильного решения: перейти границу Германии, интернироваться там, чтобы сохранить главное — людей. Мне довелось читать в его дневнике:

«С тяжелым сердцем, многие со слезами на глазах, но организованно, с развернутыми знаменами, с «Интернационалом», под убийственным огнем артиллерии противника, мы перешли границу, уведя с собой в Германию 600 раненых, 2000 пленных и 11 польских орудий».

Короче говоря, повторилась трагедия, случившаяся в начале двадцатого года под Ростовом. И ситуация схожая, и действующие лица те же. Там Буденный не выполнил приказа командующего фронтом Тухачевского, не повернул свою армию на станицу Мечетинскую, чем поставил под удар другие войска. Там были разгромлены белыми две наши дивизии: стрелковая В. Азина и кавалерийская Г. Гая. И в августе того же года произошло нечто подобное. Только в более крупном масштабе. Опять Буденный не выполнил боевого приказа, не посчитался с распоряжениями Тухачевского, и вот молодая республика лишилась целой группировки: конного корпуса и двух армий. Это, по сути, и определило исход польской кампании.

Буденный в адрес Гая сказал тогда: «Каждый сам должен уметь воевать, а не надеяться на других…». Не понял, значит, Семен Михайлович, что такое оперативное взаимодействие. Или опять же не захотел понять.

Я не утверждаю, что поверни Буденный на Варшаву, и события потекли бы по более удачному для нас руслу. Были в обоих вариантах свои плюсы и

минусы. Однако приказы выполнять надобно безусловно: без этого нет армии, нет победы. Но не ради разбора военных действий пишу об этом, а ради того, чтобы показать ту пропасть, которая со временем рассечет весь командный состав наших вооруженных сил: на одной стороне окажется Сталин с теми людьми, с которыми воевал, которым полностью верил, а на другой — все или почти все остальные. В том числе, разумеется, Тухачевский и Гай, хорошо знавшие полководческий уровень Буденного, Ворошилова, да и самого Сталина, хотя последний в ту пору полководцем себя не числил, а был военно-политическим руководителем. Лишними, опасными свидетелями были Тухачевский и Гай. Пройдет время, и отольется им это тяжелым свинцом.

После упомянутых событий, после неудачи в Польше, Владимир Ильич начал испытывать некоторое недовольство Сталиным, пристальнее приглядывался к нему. Во всяком случае, и Сталин, и Егоров, добившиеся блестящих успехов в борьбе с Деникиным и белополяками, овеянные славой победителей, были мало-помалу отстранены от решающих военных дел, получили возможность отдохнуть после своих головокружительных викторий. А разгром Врангеля был доверен большевику, хотя и заслуженному, но не очень-то еще известному тогда — Михаилу Васильевичу Фрунзе. Что он и сделал вполне успешно.

При всем том в апреле 1922 года, сразу после XI съезда партии, Пленум ЦК избрал Иосифа Виссарионовича генеральным секретарем РКП(б). А если выразиться точнее (как Ленин в своем известном письме о Сталине), тот «стал» генсеком. Полюбопытствовав, я просмотрел протоколы соответствующих заседаний, но не нашел в них ответа, кто голосовал «за», кто «против».

В ту пору всю деятельность, всю жизнь партии направлял Владимир Ильич, все важные вопросы обсуждались на Политбюро. А секретариат ЦК и руководители секретариата занимались делами административными, организационными. Это был исполнительно-контролирующий орган. От него, конечно, кое-что зависело, но далеко не все. А между тем партия росла численно, быстро усложнялись стоявшие перед ней задачи, секретариат не справлялся с работой, много было волокиты, укоренялся бюрократизм. Авторитет секретариата был невысок, необходимо было поднять всю его деятельность на новый уровень, навести четкий порядок во всем. Это как раз для Сталина с его строгостью, жестокостью. А чтобы подчеркнуть, выделить значение секретариата ЦК в системе партийного аппарата, руководитель впредь должен был именоваться не просто секретарем (как раньше Свердлов и другие), а Генеральным секретарем Центрального Комитета. И хотя эта административная в общем-то должность не давала каких-то особых прав, она открывала путь к большой власти… От человека, который готовил вопросы для Политбюро, а потом контролировал осуществление решений, зависело многое. Да и не все текущие вопросы выносились на обсуждение, их можно было решать в рабочем порядке. И Генеральный секретарь Сталин умело пользовался этим.

Кстати сказать, XI съезд партии был первым, на котором мне довелось присутствовать. Не в качестве делегата, конечно: Иосиф Виссарионович просил меня находиться в кулуарах на всякий случай; действительно, несколько раз обращался ко мне с вопросами, давал поручения. Он развил тогда бурную деятельность и подспудно, через других людей, влиял на работу съезда, готовил для себя благоприятную почву.

Владимир Ильич, сделавший политический отчет ЦК, выступавший в прениях, был все же очень болен, слаб и не мог без отдыха присутствовать на заседаниях. Появлялся неожиданно в президиуме, садился в глубине сцены, накинув на плечи пальто. Внимательно выслушивал делегатов с мест. Потом столь же неожиданно и бесшумно уходил к себе в кабинет или дальше по коридору — в квартиру. Раза три с ним исчезал и Сталин. Всем в общем-то ясно было, что конкретно руководить многотрудными делами партии должен физически крепкий человек, а Владимир Ильич поможет указаниями и советами.

Многие делегаты считали, что теперь, после завершения гражданской войны, когда главным стало объединение республик в одно государство, партию не обязательно должен возглавлять русский товарищ. Есть Ленин, есть Калинин, олицетворяющие советскую власть. А от других национальностей кто на самом верхнем верху? И коль скоро речь заходила об этом, назывались две фамилии — Троцкий и Сталин.

Сторонники Троцкого горланили в кулуарах, рвались выступать на заседаниях, но шансы их были невелики. Чванством, зазнайством, наглостью Лев Давидович успел оттолкнуть многих товарищей по партии. И Ленин, на мой взгляд, не поддерживал его. Влияло и то, что делегаты — посланцы различных национальностей, хотели видеть Генеральным секретарем представителя одного из коренных народов страны, способного понимать и защищать их интересы. Все это вместе взятое и сказалось потом на работе Пленума ЦК.

Есть еще одно обстоятельство, которое обязательно надо учитывать, чтобы лучше понять Сталина и то, что с ним связано. Раньше всех это обстоятельство подметил Михаил Иванович Калинин, опубликовавший в 1925 году в «Правде» статью «Перед судом партии». Писал он об основных типах коммунистов-большевиков, создавших партию, боровшихся в подполье, готовивших и свершивших революцию. Сталина в этой статье Калинин выделяет особняком, не включая в число тех, кто был «основным хребтом партии». Об Иосифе Виссарионовиче сказано следующее: «…и были типы полного подпольщика, как Сталин, который не мог показать носа на улицу, но он работал в другой сфере; это уже организатор целых политических кампаний, комбинаций, комитетов и т. д.».

Точно подметил Михаил Иванович в своей искренней простоте. Сталин, действительно, не любил работать на улице, на заводе, с массами, он предпочитал плести замысловатые сети-интриги, оставаясь до поры до времени в стороне от шума. Если появлялась важная цель — не упускал никаких возможностей, чтобы достигнуть ее. Вот и тогда: не жалея времени, Иосиф Виссарионович готовился к XI съезду, рассылал в губернии своих партийных эмиссаров, подсказывал, кого следовало бы выбрать делегатом, беседовал со многими из них в Москве. Помогал ему Микоян, другие товарищи. Это тоже принесло свои плоды.

В общем — Иосиф Виссарионович стал генсеком. Потом уж начались разговоры о его грубости, резкости, капризности. Но я не считаю, что по натуре своей Сталин был груб, невнимателен к людям. Отнюдь. Он редко пользовался грязными словами, осуждал матерщину. Не любил скабрезных анекдотов, до которых обычно падки грузины. Заботливо относился к друзьям, охотно советовался с теми, от кого надеялся получить разумный совет. Но в характере его имелись черты, доставлявшие неприятность тем гражданам, которые оных не знали, не учитывали. Он любил работать по-

своему, собственными методами и не терпел тех, кто выбивал его из привычной колеи.

Помню историю с двумя крестьянскими ходоками, прибывшими с Урала. Жалоба у них была на местных партийных работников. Вопрос этот показался кому-то серьезным, мужиков пропустили к генсеку. Я в этот момент был у него. Иосифу Виссарионовичу нравились люди смекалистые, энергичные, быстрые. Краткое обсуждение, решение — и действуй. Терпеть не мог медлительных тугодумов. А мужики, расположившись в кабинете, будто на весь день пришли, повели разговор степенно, издалека… Их, разумеется, можно понять. Сельское общество снарядило ходоков на последние гроши, крестьяне и на лошадях ехали, и чугункой добирались целый месяц, и в столице не сразу достучались до главного партийца. Их обида казалась им важнейшей, заслонила все на свете. Прежде чем открыть свою боль, хотели уяснить, какой человек перед ними, что за душой у этого рябого да чернявого, с жучиными усами. Ну и вежливость деревенская не позволила приступить сразу к сути. Сперва надобно о том, да о сем… Откуда, мол, родом, как поживает семья, много ли детишек?!..

Сталин отвечал сквозь зубы. Для него — нож острый говорить о себе, о своем прошлом, о своих близких и вообще переливать из пустого в порожнее вместо того, чтобы сразу брать быка за рога. Вот Михаил Иванович Калинин с неподдельным интересом стал бы расспрашивать: почему да как сгорела у ходока изба, сколько леса нужно на новостройку, чем будет крыть крышу, да и хороший ли там печник?.. Для Михаила Ивановича это было важно, ведь за каждым ходоком стоит целая волость: отношение к ходоку в Кремле — это отношение Советской власти ко всему крестьянству. А Сталина раздражала лишняя говорливость, отвлекавшая его от существенных забот. Воспользовавшись паузой, он спросил:

— Какая у вас жалоба или просьба ко мне?

— Видишь, мил человек, деревня у нас хоть и небольшая, и покрупней есть в уезде, да три корня в ней. От трех семей она зачалась, и три фамилии…

— У меня нет времени выслушивать родословную вашей деревни. Конкретно, что привело вас сюда? — Сталин говорил с тем чрезмерным спокойствием, которое скрывало его раздражение. Он уже клокотал внутри. А мужики продолжали:

— Это самое, значит, и привело. Потому как три корня и каждый за себя. Оно, значит, кое-кто и переженился, корнями-то переплелись, а отличие какое-никакое имеется. По фамилиям опять же…

— Вон! — тихо скомандовал Сталин, указав на дверь.

— Чево? — опешили ходоки.

— Вон отсюда, — еще тише произнес Иосиф Виссарионович, подавляя свой гнев. — Обдумайте, что вам нужно, тогда явитесь! Все!

— Ну, спасибо, господин партийный товарищ, — попятился, кланяясь, старший бородатый крестьянин. — Рыбка-то, она, значит, тово, с головы… От чего ушли, к тому пришли…

Я последовал за мужиками, постарался успокоить их, объяснить занятость Сталина. А старший твердил, упрекая младшего: «Знамо, к Ленину надо было стучаться. А ты сюды потянул, вроде бы Ленин и Сталин одной кумпании. А он видишь как…»

Когда я возвратился в кабинет, Иосиф Виссарионович успел справиться со своим гневом, только глаза еще были сердитые. Спросил:

— Миротворчеством занимались?

— Ходоки будут жаловаться на вас.

— Значит, они на всех жалуются. Специалисты по кляузам… О чем вы беседовали?

Я рассказал. Три корня в деревне, три клана, можно считать. Все партийцы — из одного клана, сватья-братья. Ячейка большевиков — сплошная родня, горой друг за дружку. Самоуправство в деревне, в волостном совете, даже в уезде своя рука. Все прочие — как батраки. Им худшие земли, дальние покосы, наряды в извоз. Себе — все лучшее. Помощь от государства получили — родне. И не возрази — в грязь втопчут. До полусмерти избили одного смелого парня. А кто докажет, если круговая порука! Бандиты, а не коммунисты.

Сталин мрачнел, раздумывая:

— Пошлем решительного человека, пусть разберется на месте. Открыто, при всех. Будут виноватые — выбросить из партии и под суд. А если клевета — наказать клеветников. — И усмехнулся: — Пока ходоки домой вернутся, чтобы все было сделано!

Однако вышло не совсем так, как хотел Иосиф Виссарионович. О его разговоре с мужиками стало известно Ленину. Осуждение и тревогу высказал по этому поводу Владимир Ильич.

Еще случай, не менее показательный. Повторю, что Иосиф Виссарионович по-своему очень любил, глубоко уважал Ленина: это был единственный человек, которого Сталин считал выше себя и подчиняться которому не считал зазорным и оскорбительным. Лишь немногих он ставил вровень с собой. Чем больше укреплялся у власти, тем заметнее это ощущалось, а потом он и вообще воспарил… Однако Владимир Ильич был и оставался для него вождем и учителем, раз и навсегда признанным авторитетом. Усугублявшаяся болезнь Ленина очень беспокоила Иосифа Виссарионовича, он заботился о том, чтобы создать для выздоровления все необходимые условия.

Состоялось специальное решение ЦК, запрещавшее нагружать Ленина работой, волновать его, даже читать газеты. Но он скорей без еды прожил бы, чем без постоянной информации, без ощущения пульса времени. Уговорил Надежду Константиновну, упросил, чтобы читала ему газеты: хотя бы немного, выборочно. Чтобы сообщала главные новости. И она делала это, считая меньшим злом, нежели полная изоляция. Ленин, естественно, тревожился, задумывался, делал запросы, давал указания, в том числе и в адрес ЦК.

Кроме фактов заботы Сталина о Ленине, я не сбрасываю со счетов и предположение о том, что полное отключение Владимира Ильича от текущих дел в ту пору очень устраивало честолюбивого Иосифа Виссарионовича, не терпевшего контроля, коллективных решений. Он уже вошел во вкус полновластного хозяйствования. И вдруг, неожиданно, ленинское вмешательство, ленинские указания, круто менявшие все планы и замыслы, словно бы подчеркивавшие его, сталинское, несовершенство. Когда это повторилось в очередной раз по какому-то важному поводу, Сталин сорвался. Сняв телефонную трубку, потребовал Надежду Константиновну. Голос был беспощаден, обнаженно груб:

— Ты почему, старая… — Он задохнулся от ярости. — Почему нарушаешь постановление Центрального Комитета? Кто тебе дал право? Ты что, хочешь Ильича в гроб загнать? Не допустим! Перестань читать ему, а то мы посадим возле него другую…

Никогда прежде Крупская не жаловалась на резкость Сталина. Более того, она с пониманием относилась к той дружеской грубоватости, с которой общались бывшие подпольщики, прошедшие через тюрьмы, каторги, ссылки. А теперь не выдержала оскорблений, сказала Владимиру Ильичу. Вернее, тот сам спросил, заметив ее расстройство. А узнав, выразил Сталину категорическое осуждение. И, что особенно любопытно, сообщил о поведении Сталина Зиновьеву и Бухарину. Для чего? Чтобы они влияли на Иосифа Виссарионовича? Или видел в них продолжателей своего дела, ревнителей того стиля руководства, сторонником которого он был? Ну, а затем — упомянутое выше «Письмо к съезду», в котором Владимир Ильич четко изложил соответствующие соображения.

Отрицательное отношение к Сталину, как к руководителю партии, нараставшее у Владимира Ильича, повлияло, думаю, и на «План автономизации»: он был встречен недоверчиво, раскритикован и похоронен. С другой стороны, споры и расхождения ни в коей мере не отразились на отношениях Сталина к Ленину. Как и раньше, Иосиф Виссарионович видел в Ленине великого теоретика и организатора, а себя считал его верным учеником и последователем. Однако он понимал, что дни Владимира Ильича сочтены, и стремился быстрее укрепить свое положение в партии и государстве.

Смерть Ленина потрясла Иосифа Виссарионовича сильней, чем многих других руководящих партийцев. Знаете, как в семье: хоть больной, хоть и не у дел, а все же есть в доме мудрый отец, который способен всех рассудить, дать верный совет. Он пока еще отвечает за все. Но вот не стало его, и разом вся ответственность легла на плечи старшего сына. Причем ответственность за семью большую, многоязыковую, бурную, разоренную. Далеко не каждый согласился бы принять на себя столь тяжкий груз. Пожалуй, никто и не рвался в тот момент взять бразды правления из остывающих рук вождя, а Сталин сделал это без колебаний, как и надлежало поступить Генеральному секретарю партии.

…Измученный, осунувшийся приехал он вечером на нашу квартиру. Текли ночные часы, а он все ходил и ходил по комнате, не уезжая домой и не ложась спать. Мне было жаль его. Вспомнил про мандарины, несколько дней назад доставленные из Батума — они лежали в прохладном месте возле окна. Отобрав лучшие, предложил Сталину. Он кивнул: потом, мол, потом, и продолжал ходить, нещадно дымя трубкой. Задержался возле стола, записал несколько фраз, сказал мне:

— Посидите здесь.

— Не помешаю?

— Нет… Такая черная ночь…

Я подремывал в кресле, а он не прилег. В утреннем свете лицо казалось испитым, серым, но, к моему удивлению, чувствовал он себя бодрей, чем вчера. Он был доволен тем, что закончил важную работу. 26 января, на траурном заседании Всесоюзного съезда Советов, произнес Сталин составленную им от имени партии клятву Владимиру Ильичу, и клятва эта произвела тогда на людей сильнейшее впечатление, на какой-то срок сплотила разномыслящих, колеблющихся, сомневающихся.

Я, беспартийный, наизусть помню клятву и считаю этот документ по его краткости, огромному содержанию и эмоциональному накалу одним из сильнейших и красноречивейших в мировой истории. Буквально на одной страничке Иосиф Виссарионович определил, что такое коммунист-ленинец, изложил до предела сжато основу всего объемного,

многосложного марксистско-ленинского учения, дал торжественное обещание хранить и развивать заветы вождя.

Те часы, когда Сталин работал над клятвой, аккумулируя в четких фразах знания, размышления, опыт всей своей предшествовавшей жизни, были для него часами высочайшего душевного взлета. Воистину: кто ясно мыслит, тот ясно излагает!

Поведение Сталина, его переживания, вызванные смертью Владимира Ильича, естественны и понятны. А как же вел себя Лев Давидович Троцкий, претендовавший на высшую власть в стране? Известие о смерти Ленина застало его в Сухуми. Он не счел нужным прервать свой отдых и ехать с теплого юга в морозную Москву, продемонстрировав еще раз равнодушие к Владимиру Ильичу. А в день похорон Ленина, в скорбный день всей страны, Лев Давидович прогуливался по берегу моря, впитывая его величие и «всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте», — так напишет он потом в книге «Моя жизнь».

Беспардонность Льва Давидовича типична и говорит сама за себя. Пуп земли, вершитель революции, возведенный в этот высокий ранг собственным самомнением и лакействующими, заинтересованными приспешниками! Он ставил себя вровень с Лениным, считал свое положение абсолютно незыблемым. И обмишулился!

Вскоре после кончины Владимира Ильича состоялся XIII съезд партии. Естественно: при подготовке его Иосиф Виссарионович использовал все свои незаурядные организаторские способности. Многие делегаты находились под впечатлением клятвы, которую дал Сталин. Но ведь существовало письмо Ленина, прямо адресованное делегатам съезда, и молчать о нем было нельзя.

Коммунисты обсудили послание Владимира Ильича. Немало горьких слов довелось тогда услышать Сталину… Он пообещал учесть все критические замечания. Ему поверили. Съезд решил оставить Иосифа Виссарионовича на посту генерального секретаря партии. До следующего форума. Никто, конечно, не предполагал, что он будет занимать эту высокую должность три десятилетия.

3

В присутствии посторонних мы со Сталиным почти не разговаривали, Иосиф Виссарионович предпочитал не афишировать свое интеллектуальное подспорье, и это вполне естественно, я не видел ничего унизительного для себя. Разве при всех самодержцах, даже при всех президентах и прочих демократических главарях советники выходили когда-нибудь на первый план?! Они многое решали и решают, но их не видно.

Вспоминаю об этом в связи с неожиданным дневным вызовом в ЦК, в кабинет Иосифа Виссарионовича. Можно было предположить, будто случилось нечто из ряда вон выходящее. Я в общем-то был готов к любым сложным вопросам, но разве предугадаешь!

— Николай Алексеевич, такое имя Растам Ц. о чем-нибудь говорит вам?

— Уж не тот ли офицер, который отличился в турецкой кампании?

— Как раз он, — не очень охотно подтвердил Сталин. — Что, действительно хорошо воевал?

— Известен личным мужеством и умелым руководством. Брусилов, помнится, ставил в пример.

— За пределами Грузии его знают?
— Даже больше, чем в Грузии: имя его было известно в армии.
— Тем хуже для нас, — сказал Сталин. — В Москву приехала его внучка, обратилась ко мне с просьбой.
— Если просьба выполнима…
— Это как смотреть, — раздраженно произнес Сталин (при мне он не сдерживался). — Ее брат-офицер воевал у Деникина, замешан в делах грузинских националистов.
— Каждый идет своим путем, — осторожно сказал я, чтобы не накалять страсти. — Упорствует ли он в своих заблуждениях?
— Он уже ни в чем не упорствует. Эта женщина просит указать, где он похоронен.
— Всего-то? — невесело усмехнулся я.
— Там общая могила. Большая могила. И, конечно, без гробов. А женщина хочет увезти брата домой…
— Она очень настаивает?
— Вы не знаете грузинских обычаев. — Сталину неприятен был разговор, он злился, вместо «вы» у него получалось пронзительное «ви-и». — Соберутся родственники хоронить труп в родной земле, будет большой траур, много разговоров, много шума.
Раздражение Сталина передалось и мне. Я не мог взять в толк, почему такие деятели, как он, руководствуются не простыми человеческими понятиями порядочности, добра и зла, а обязательно подводят «классовую платформу». Ну, расстреляли врага, противника, это закономерно и понятно каждому: борьба идет. Отдали бы его тело родным, и вся недолга. Мертвый — уже не навредит. И я сказал Иосифу Виссарионовичу:
— Женщина приехала издалека, движимая естественными чувствами, зачем же чинить помехи?
— Не хочу обращаться к Дзержинскому, — поморщился Сталин. — Мы с ним не слишком большие друзья…
Да уж, конечно! Не так давно Дзержинский в запальчивости сказал о Сталине: «Откуда взялся в нашей партии этот политический уголовник?!..». Перегнул палку Феликс Эдмундович. Естественно, что Иосиф Виссарионович, не прощавший обид, тоже пускал ядовитые стрелы в адрес Дзержинского. Но разговор об этом увел бы нас далеко в сторону.
— Поручите хлопоты мне, — предложил я. — Возьмусь за них хотя бы ради того, чтобы избавить женщину от оскорблений и колкостей. Элементарную вежливость у нас забыли в пылу справедливой борьбы.
— Ваша ирония сейчас не обязательна, — сказал Сталин. — Помогите ей, чем сумеете, — Иосиф Виссарионович явно доволен был, что избавился от неприятной заботы.
У меня было достаточно знакомых в высоких инстанциях, через которых я быстро навел справки и выяснил все возможности. В тот же вечер встретился с женщиной в приемной ЦК. Помещение для посетителей было унылое, с казенной мебелью, стены бурого цвета. Женщина стояла возле окна, глядя в темные стекла. То ли черный плащ, то ли монашеская накидка на ней, скрывавшая всю фигуру от плеч и почти до щиколоток, сзади видны были только густые волосы, собранные в большой пучок. На висках — седина. Это не казалось странным, пока она не повернулась лицом. Усталой, изможденной женщине было никак не более двадцати пяти лет. И сколько седых волос! Безнадежность читалась в ее глазах, казавшихся особенно большими в обводах синевы от утомления и

недосыпа. Передо мной была одна из «бывших», одна из тех, кто испил в последние годы полную чашу унижений, кто и жил-то теперь неизвестно как и все же не был сломлен, не был растоптан! Эта молодая женщина, хрупкая, бледная до прозрачности, она ведь приехала в далекую Москву не для себя, ради мертвого брата. Экономит каждую копейку, в трамвае, наверное, не ездит, не то что на извозчике. Трудно понять, что толкнуло меня — поздоровавшись и представившись, вдруг сказать:

— Pour moi c'est un devoir de vous aider.[11]

В голосе моем прозвучало самое обычное сочувствие, от которого она, вероятно, отвыкла, которого никак не ожидала встретить здесь. Посмотрела на меня снизу вверх, удивленно, с радостной растерянностью, будто нашла что-то хорошее и еще опасалась верить в такую находку. Прозвучал торопливый вопрос:

— Vous etes officier, n'est pasce?[12]

— Oui, madame.[13]

Вот ведь как случается: несколько фраз — и мы прониклись взаимным доверием, и ничего больше не требовалось объяснять. Было вполне естественно, что я отправился проводить ее. Долго шли по темным улицам, она остановилась у знакомых за Белорусским вокзалом. Назвалась она Катей, Екатериной Георгиевной. Потом уж, через неделю, когда я решился пригласить ее к себе на чай, она объяснила: настоящее имя Кето, но это ей не очень нравится, а в Москве она даже стеснялась представляться Кето Георгиевной. Ну, а для меня-то, тем более по первому знакомству, осталась Катей, с этим именем вошла в мое сердце.

4

Напомню: Владимир Ильич предлагал обдумать способ перемещения Сталина с поста генерального секретаря, чтобы выдвинуть вместо него другого человека, который был бы более терпим, лоялен, более внимателен к товарищам, менее капризен и т. д. Считаю, что Ленин имел при этом в виду совершенно определенную кандидатуру. И вряд ли ошибусь, назвав Михаила Васильевича Фрунзе — другого столь достойного товарища просто трудно представить. Жизнь, революция, без спешки, но очень уверенно выдвигали его на самый первый план.

Как говорится, всем он взял. Верный соратник Ленина. Боевик-подпольщик. Эрудированный марксист с большим опытом организационной работы. Интеллигентный, образованный человек. (Интересно, что еще в 1903 году гимназист Миша Фрунзе с двумя товарищами совершил поход вокруг озера Иссык-Куль, при этом были собраны около семисот видов растений, занявших полторы тысячи гербарных листов. Колоссальный труд! Сия коллекция и доныне хранится в ботаническом институте Академии наук СССР). Владел английским, французским, немецким языками. Вежливость сочеталась в нем с твердой принципиальностью. Презирая грубость, высокомерие, хамство, он говорил, что эти низменные категории не имеют ничего общего с решительностью и требовательностью.

Михаил Васильевич — герой Перекопа, блестяще завершивший эту операцию гражданской войны.

Для партии особо важным был в ту пору национальный вопрос: Фрунзе выделялся и в этом отношении. Живое воплощение дружбы народов. Наполовину русский, наполовину молдаванин. Долго жил в Средней Азии,

а среднеазиатский узелок являлся одним из труднейших. И на Украине работал Фрунзе, там его знали, уважали, делегировали на Объединительный съезд СССР, где он оказался ведущим деятелем при рождении Союза равноправных республик.

Очень высок был авторитет Михаила Васильевича среди военных. И не только благодаря успехам на фронте. Он первым после гражданской войны начал выступать с предложениями по поводу строительства новой регулярной армии. Горе-теоретики кричали, что любые вражеские войска рассыплются в столкновении с нами из-за классовой солидарности рабочих и крестьян. Фрунзе же, наоборот, утверждал, что легких побед не будет, сражения впереди ожесточенные. Поэтому армия наша должна быть массовой, хорошо обученной, хорошо вооруженной. Спасибо Михаилу Васильевичу за то, что он, не жалея сил, отстаивал этот правильный путь. Причем убедительно отстаивал… Сравните его выступления с выступлениями хотя бы Ворошилова: они защищали одни позиции, но сколь велика разница. У Климента Ефремовича — призывы да пламенные слова укреплять армию, он нажимал на революционный дух, на пролетарскую сознательность. Вел одну ноту: при царе было плохо, теперь — хорошо. Обороняй новую жизнь! Но, увы, на лозунгах далеко не уедешь. Иной раз даже вредны голые лозунги без учета конкретных обстоятельств. А Фрунзе рассуждал здраво. Вот, например, его слова, показавшиеся тогда странными многим товарищам, но не потерявшие практической ценности и по сию пору: «Современное военное дело, характеризующееся широким применением техники, крайне сложно. Помимо умения и сознательности, оно требует от каждого бойца ловкости, сноровки, расторопности и отчетливости в действиях. Исполнение уставных требований с «прохладцей» и «с развальцей» — верный путь к поражению. Вот почему всякий, кто приравнивает бездушную муштровку старой царской армии, — либо ничего не смыслит в военном деле, либо просто — враг и предатель…»

Крепкий это был удар по демагогам, прикрывавшим революционной фразой свою неспособность обучать войска.

Иосиф Виссарионович полностью разделял взгляды Фрунзе, поддерживал его усилия по строительству Красной Армии. Правда, Сталин ревниво относился к быстрому выдвижению Михаила Васильевича на политической арене, но это уже другая, личная сторона. Беспокоило Иосифа Виссарионовича и то, что самые надежные друзья его, Ворошилов и Буденный, все больше сближались с Фрунзе, относясь к нему с почтением. Знали ведь, как расположен к нему Владимир Ильич. Насколько искренен при этом был Ворошилов — утверждать не берусь, но Буденный не очень-то умел скрывать свои чувства. С Фрунзе он связывал надежды на будущее: Михаил Васильевич, со своей стороны, тоже ценил «народного маршала» и помогал ему. Кстати, Фрунзе числил себя по кавалерии, носил синие петлицы и шпоры.

В начале 1925 года при активном участии Сталина группа полководцев-большевиков разом и окончательно отстранила от армии Троцкого и взяла на себя заботу по реорганизации и укреплению Вооруженных Сил. Председателем Реввоенсовета СССР и Наркомвоенмором стал Михаил Васильевич Фрунзе, а его заместителем — Климент Ефремович Ворошилов. В состав нового Реввоенсовета, наряду с другими товарищами, вошли Тухачевский, Орджоникидзе, Буденный, а затем и Егоров: то есть люди, которые отличились на фронтах гражданской войны и были хорошо

знакомы как Фрунзе, так и Сталину. Троцкому оставалось только проглотить эту пилюлю: на стороне Сталина была и политическая и военная сила, буденновские дивизии готовы были по первому распоряжению вступить в Москву, а в руках Ворошилова находился столичный военный округ.

То, о чем давно мечтал Иосиф Виссарионович, произошло. Правда, не совсем так, как хотелось: Троцкого-то отстранили, однако Красная Армия не стала еще послушным орудием в руках Сталина, ее возглавлял хоть и единомышленник, но человек твердых правил, решительный, смелый, пользовавшийся в стране и в партии не меньшим авторитетом, чем Генеральный секретарь. И вот тут начались события, представлявшиеся мне странными. Понять их трудно было даже тогда, а теперь, спустя время, вообще вряд ли кто-нибудь разберется.

Привязанность Климента Ефремовича к своему непосредственному начальнику возросла вдруг до невероятных пределов. Жили они в одном доме, в одной машине ездили на службу, вместе бывали в войсках, вдвоем упражнялись в верховой езде и стреляли в тире, рядом сидели в президиумах. Было такое впечатление: если они расстаются, то лишь на ночь. Фрунзе был слаб здоровьем, его мучила язва желудка, физические перегрузки, нарушение режима питания очень вредили ему, но, несмотря на это, Ворошилов каждый свободный день использовал для того, чтобы увлечь «друга Мишу» на охоту, в леса и болота, к похлебке из котелка, которую даже здоровый желудок не всегда выдерживает.

К месту будь сказано: такое увлечение охотой было у Климента Ефремовича кратковременным и угасло, едва он лишился партнера.

Только по счастливой случайности, как принято говорить, Ворошилов не оказался рядом с Фрунзе как раз в тот момент, когда Михаил Васильевич попал в автомобильную катастрофу. Всегда вместе, а тут повезло Ворошилову, отвлекли какие-то дела.

Михаил Васильевич отделался ушибами. Врачи рекомендовали постельный режим, детальное обследование, но Климент Ефремович убедил друга, что лучшее лекарство — пребывание на природе. Как было не поверить такому доброхоту: еще недавно, 31 января 1924 года, Ворошилов сделал на Пленуме ЦК партии обстоятельный, проникнутый подлинной заботой доклад об охране здоровья руководящих кадров. Вот он и укреплял здоровье Фрунзе, увлекши его на охоту в болотистую глухомань за сто верст от Москвы. А там какой режим для язвенника?

Потом, правда, выпал небольшой перерыв. Климент Ефремович уехал в Крым, в Мухалатку, где отдыхал Сталин. Проведя вместе несколько дней и обстоятельно обсудив все проблемы, они пригласили к себе и Михаила Васильевича. Было начало сентября, бархатный сезон, самое хорошее время. Только охота была тогда неудачной. Ворошилов и Фрунзе карабкались по склонам крымских гор, пробирались каменистыми расселинами в дальние леса. Приезжали без добычи, совершенно измотанные, но довольные. А во дворце охотников ожидал роскошный стол с батареей разнообразных бутылок. При виде такого удовольствия даже самый заядлый трезвенник не удержался бы от искушения.

Возвращение в Москву было для Михаила Васильевича трагическим. Он не ехал, его везли: медицинская сестра не позволяла вставать с постели. Однако в столице, отдохнув, он почувствовал себя лучше и с удивлением узнал, что на 29 октября ему назначена операция. Вот что сообщал он жене, оставшейся в Крыму: «Когда ты получишь это письмо, в твоих руках

будет уже телеграмма, извещающая о результатах. Я сегодня чувствую себя абсолютно здоровым, и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть, уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть…»

Много различных слухов ползало тогда после смерти Фрунзе. Не буду напоминать их. Как у артиллеристов прежде был обязательный закон: не вижу — не стреляю, так и я не хочу и не могу утверждать или отрицать то, чего не видел своими глазами, о чем не имею собственного твердого мнения. Скажу только, что Сталин очень колебался, прежде чем дал разрешение на операцию. Интересовался врачами, ассистентами, различными подробностями. Я не придавал этому значения: случалось и раньше, что Иосиф Виссарионович переживал за кого-то из больных товарищей. Помню, что оперировали Фрунзе в Солдатенковской больнице. Остальное — смутно… Мы с Иосифом Виссарионовичем в каком-то полуосвещенном зале с рядами стульев, с возвышением для президиума. Клуб или помещение для заседаний? Шла операция, а мы в этом пустом зале. Очень взволнованный Сталин шагал по проходу мимо стульев. Метался, как в клетке, словно обуянный сомнениями. Часто сморкался. Задерживаясь возле меня, смотрел невидящими, будто обращенными вовнутрь, глазами. И вдруг сказал, словно прося совета:

— Еще не поздно! Еще можно остановить!

В чем он сомневался? Что его мучило? Какую грань боялся переступить?

Не я один был в том помещении, не я один слышал вырвавшиеся у Сталина слова. Они дали повод для различных, даже самых крайних предположений и толкований. Один известный в свое время писатель утверждал, что смертельный исход операции был предусмотрен заранее.

Через двое суток Михаил Васильевич скончался. Официально объявили: от паралича сердца. А было ему всего сорок лет, и на сердце он прежде не жаловался.

Климент Ефремович написал тогда статью «Памяти дорогого друга», в которой говорил о важных делах, начатых Фрунзе и требовавших продолжения, развития. А еще через несколько дней, 6 ноября 1925 года, Ворошилов назначен был на ту должность, которую занимал Михаил Васильевич — на самый высокий военный пост в нашей стране. Отныне и на долгие пятнадцать лет стал он Народным комиссаром, ведавшим вопросами обороны, самым надежным и послушным помощником Иосифа Виссарионовича. Под руководством Климента Ефремовича готовились наши войска ко второй мировой войне и вступили в нее.

Сталин и Ворошилов сохранили светлую память о Фрунзе — он ни в чем не помешал им. Климент Ефремович взял к себе детей Михаила Васильевича — Татьяну и Тимура; он и Екатерина Давыдовна станут воспитывать их наравне с другим приемным сыном — Петром.

Кто особенно переживал смерть Михаила Васильевича, так это Буденный. Смелый он человек, отчаянный, но кончина Фрунзе вроде бы напугала его. Мне еще предстоит сказать о Семене Михайловиче и хорошие, и горькие слова, а сейчас хочу лишь выделить неколебимое упрямство, с которым Буденный всегда повторял: «В газетах сообщили, что Михаил Васильевич скончался от сердца». Это вот: «в печати сообщалось» или «в газетах сообщалось» он выделял обязательно, будто подчеркивал: не его слова, не его мнение. Где грань? Лучше уж не

встревать в это неопределенное, смутное дело, где почти нет фактов, одни эмоции.

5

Закономерность очевидна: чем больше неприятностей было у Сталина, чем хуже он себя чувствовал, тем чаще появлялся на нашей квартире. Самолюбие не позволяло ему показываться перед людьми (даже перед близкими, даже перед женой) утомленным, разбитым, больным. А здесь Иосиф Виссарионович, укрывшись ото всех, наедине или вдвоем со мной полностью расслаблялся, отдыхал, набирался душевных сил. Николай Сергеевич Власик позаботился о том, чтобы квартира наша осталась никому неизвестной. И о безопасности тоже. В проходном дворе появилась кирпичная стена, наглухо отгородившая подъезд, которым пользовался только Сталин. Возле подъезда или около арки постоянно дежурил дюжий «дворник» с военной выправкой.

Однажды Иосиф Виссарионович приехал рано, еще засветло, но настолько усталый, настолько измочаленный, что едва доплелся до своего любимого места, до небольшого столика у окна, где всегда стояла бутылка вина и ваза с фруктами. Снял и повесил на спинку стула китель, оставшись в солдатской бязевой рубахе, далеко не первой свежести, зажелтевшей подмышками. Мне стало жаль его: измученного, огорченного, неухоженного. И шевельнулась неприязнь к Надежде Аллилуевой: куда же она смотрит, полная сил и энергии молодая женщина!

Опустившись на стул, Иосиф Виссарионович выпил несколько глотков вина, внимательно, будто впервые, осмотрел комнату, произнес с наигранной бодростью:

— Неплохая квартира… А что, Николай Алексеевич, если я поселюсь здесь всей семьей, с женой и детьми. Но без Власика. Поместимся?

— И вас уплотняют? Неужели вы нарушили партмаксимум? — не удержался я от сарказма. — Тесновато вам будет.

— Я-то привычный, — коротко взмахнул он рукой. — Но Надежда Сергеевна, Василий, Яков…

— Да вы что, Иосиф Виссарионович, всерьез, что ли?

— Абсолютно серьезно, Николай Алексеевич. Хватит, завтра буду просить ЦК, чтобы освободили меня от обязанностей Генерального секретаря. Думаю, освободят и с этого поста, и со всех других.

— Да вы ведь уже просили об этом, после тринадцатого съезда партии, если не ошибаюсь.

— Да, просил, но тогда категорически отказали. А теперь я буду категорически настаивать на своем!

— Но почему, что случилось?

— Они мешают мне работать. И Троцкий, и Зиновьев, и все их последователи занимают очень выгодную позицию. Никто не хочет принимать на себя ответственность, никто не желает везти тяжелую практическую телегу. Пусть везет Сталин. Пусть он надрывается, пусть кряхтит, этот ишак! А они только критикуют, они только смотрят со стороны. Они подхлестывают критикой, они обсуждают правильность пути, они указывают дорогу, а ишак вези, спотыкайся, ошибайся. Тебя же и носом ткнут в твои ошибки… Бухарин вернулся из эмиграции тощий, как голодный щенок, а сейчас больше ста килограммов… Раздобрел на

революции, при спокойной жизни. Но Сталин им не ишак, нет! Я завтра же потребую освобождения!

— А если откажут?

— Если откажут… Если они захотят продолжать эту игру, — в прищуренных глазах засветилась злость, — то пускай пеняют на себя. Хватит церемониться с теми, кто раскачивает государственную повозку то вправо, то влево. Мы пойдем вперед самой прямой, самой короткой дорогой. И пусть не жалуются, если попадут нам под колесо…

Вот такой, примерно, состоялся у нас разговор. Иосиф Виссарионович упоминал о том, что его опять упрекают, будто бы он скрыл от партии и от народа так называемое «завещание» Ленина с нелестным отзывом о нем, Сталине. Подобные упреки звучали и в дальнейшем, особенно после смерти Иосифа Виссарионовича. Да неправда же, ничего он не скрывал! Чтобы этот вопрос был полностью ясен, давайте прочитаем первую часть речи Сталина на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 года. Выступление это интересно еще и тем, что раскрывает взаимоотношения Сталина и Троцкого. И, к тому же, дает ясное представление о стиле речей Иосифа Виссарионовича, об ораторских качествах, о его логике, о его способности убеждать слушателей.

«Товарищи! У меня времени мало, поэтому я буду говорить по отдельным вопросам.

Прежде всего о личном моменте. Вы слышали здесь, как старательно ругают оппозиционеры Сталина, не жалея сил. Это меня не удивляет, товарищи. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает, лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, все плутни оппозиции, надуть его, пожалуй, не так-то легко, и вот они направляют удар прежде всего против Сталина. Что ж, пусть ругаются на здоровье.

Да что Сталин, Сталин человек маленький. Возьмите Ленина. Кому не известно, что оппозиция во главе с Троцким, во время Августовского блока, вела еще более хулиганскую травлю против Ленина. Послушайте, например, Троцкого: «Каким-то бессмысленным наваждением кажется дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении» (см. «Письмо Троцкого Чхеидзе» в апреле 1913 г).

Язычок-то, язычок какой, обратите внимание, товарищи. Это пишет Троцкий. И пишет он о Ленине.

Можно ли удивляться тому, что Троцкий, так бесцеремонно третирующий великого Ленина, сапога которого он не стоит, ругает теперь почем зря одного из многих учеников Ленина — тов. Сталина.

Более того, я считаю для себя делом чести, что оппозиция направляет всю свою ненависть против Сталина. Оно так и должно быть. Я думаю, что было бы странно и обидно, если бы оппозиция, пытающаяся разрушить партию, хвалила Сталина, защищающего основы ленинской партийности.

Теперь о «завещании» Ленина. Здесь кричали оппозиционеры, — вы слыхали это, — что Центральный Комитет партии «скрыл» «завещание» Ленина. Несколько раз этот вопрос у нас на пленуме ЦК и ЦКК обсуждался, вы это знаете. (Голос: «Десятки раз»). Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что «завещание» Ленина было адресовано на имя XIII съезда партии, что оно, это «завещание», было оглашено на съезде (голоса: «Правильно!»), что съезд решил единогласно не опубликовывать его, между прочим, потому, что Ленин сам этого не хотел

и не требовал. Все это известно оппозиции не хуже всех нас. И тем не менее, оппозиция имеет смелость заявлять, что ЦК «скрывает» «завещание».

Вопрос о «завещании» Ленина стоял у нас — если не ошибаюсь — еще в 1924 году. Существует некий Истмен, бывший американский коммунист, которого изгнали потом из партии. Этот господин, потолкавшись в Москве среди троцкистов, набравшись некоторых слухов и сплетен насчет «завещания» Ленина, уехал за границу и издал книгу под заглавием «После смерти Ленина», где он не щадит красок для того, чтобы очернить партию, Центральный Комитет и Советскую власть, и где все стоит на том, что ЦК нашей партии «скрывает» будто бы «завещание» Ленина. Так как этот Истмен находился одно время в связях с Троцким, то мы, члены Политбюро, обратились к Троцкому с предложением отмежеваться от Истмена, который, цепляясь за Троцкого и ссылаясь на оппозицию, делает Троцкого ответственным за клевету на нашу партию насчет «завещания». Ввиду очевидности вопроса, Троцкий действительно отмежевался от Истмена, дав соответствующее заявление в печати. Оно опубликовано в сентябре 1925 года в № 16 «Большевик».

Позвольте прочесть это место из статьи Троцкого насчет того, скрывает ли партия и ее ЦК «завещание» Ленина или не скрывает. Цитирую статью Троцкого:

«В нескольких местах книжки Истмен говорит о том, что ЦК «скрыл» от партии ряд исключительно важных документов, написанных Лениным в последний период его жизни (дело касается писем по национальному вопросу, так называемого «завещания» и пр.); это нельзя назвать иначе, как клеветой на ЦК нашей партии. Из слов Истмена можно делать тот вывод, будто Владимир Ильич предназначал эти письма, имевшие характер внутриорганизационных советов, для печати. На самом деле это совершенно неверно. Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и ее съезду с предложениями, письмами и пр. Все эти письма и предложения, само собою разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов XII и XIII съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии, и если не все эти письма напечатаны, то потому, что они не предназначались их автором для печати. Никакого «завещания» Владимир Ильич не оставлял, и самый характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого «завещания». Под видом «завещания» в эмигрантской и иностранной буржуазной и меньшевистской печати упоминается обычно (в искаженном до неузнаваемости виде) одно из писем Владимира Ильича, заключавшее в себе советы организационного порядка. XIII съезд партии внимательнейшим образом отнесся и к этому письму, как ко всем другим, и сделал из него выводы применительно к условиям и обстоятельствам момента. Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собою злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии» (см. статью Троцкого «По поводу книги Истмена «После смерти Ленина», «Большевик» № 16, 1 сентября 1925 г., стр. 68).

Кажется, ясно? Это пишет Троцкий, а не кто-либо другой. На каком же основании теперь Троцкий, Зиновьев и Каменев блудят языком,

утверждая, что партия и ее ЦК «скрывают» «завещание» Ленина? Блудить языком «можно», но надо же знать меру.

Говорят, что в этом «завещании» тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей Генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту.

Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и, когда партия обязывает, я должен подчиниться.

Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту.

Что же я мог еще сделать?

Что касается опубликования «завещания», то съезд решил его не опубликовывать, так как оно было адресовано на имя съезда и не было предназначено для печати.

У нас имеется решение пленума ЦК и ЦКК в 1926 году о том, чтобы спросить разрешение у XV съезда на напечатание этого документа. У нас имеется решение того же пленума ЦК и ЦКК о напечатании других писем Ленина, где Ленин отмечает ошибки Каменева и Зиновьева перед Октябрьским восстанием и требует их исключить из партии.[14]

Ясно, что разговоры о том, что партия прячет эти документы, является гнусной клеветой. Сюда относятся и такие документы, как письма Ленина о необходимости исключения из партии Зиновьева и Каменева. Не бывало никогда, чтобы большевистская партия, чтобы ЦК большевистской партии боялись правды. Сила большевистской партии именно в том и состоит, что она не боится правды и смотрит ей прямо в глаза.

Оппозиция старается козырять «завещанием» Ленина. Но стоит только прочесть это «завещание», чтобы понять, что козырять им нечем. Наоборот, «завещание» Ленина убивает нынешних лидеров оппозиции.

В самом деле, этот факт, что Ленин в своем «завещании» обвиняет Троцкого в «небольшевизме», а насчет ошибки Каменева и Зиновьева во время Октября говорит, что эта ошибка не является «случайностью». Что это значит? А это значит, что политически нельзя доверять ни Троцкому, который страдает «небольшевизмом», ни Каменеву и Зиновьеву, ошибки которых не являются «случайностью» и которые могут и должны повториться.

Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в «завещании» насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина»…

Напомню, что речь эту Иосиф Виссарионович произнес в 1927 году. А последний раз это выступление публиковалось в 10-м томе его сочинений, который увидел свет в 1950 году. Из этого следует простой вывод: ни до войны, ни после нее Иосиф Виссарионович не скрывал от партии и народа

«завещание» Ленина. Все упреки по этому поводу в адрес Сталина — досужая выдумка, если не сказать больше. На его совести много грехов, зачем же приписывать еще и этот, заведомо ложный!

6

Любовь к Кате пришла ко мне, как благодатный ласковый дождь после долгой изнурительной засухи. Много лет я был одиноким, очерствел и оскудел душевно, может быть, даже постарел не по возрасту, а вспыхнувшее вдруг чувство согрело меня, пробудило все лучшее, размягчило, омолодило и вернуло ощущение многоцветности, многогранности жизни. И с ней, с Катей, произошло нечто подобное. Потеряв брата, еще раньше потеряв жениха, она лишилась самых близких людей, сердце ее надолго опустело и охладело: ее-то сердце, оказавшееся таким щедрым, таким богатым! На людях моя горянка казалась слишком уж строгой и замкнутой, тяжелые годы совершенно отучили ее смеяться; она и улыбалась-то редко, только лишь мне. Но как лучились, как сияли при этом ее чудесные глаза: темные, глубокие и зовущие. Она отдала мне свою честь, свою нерастраченную любовь. Мы обрели друг друга в большом и холодном мире — этим сказано все.

Иосиф Виссарионович, разумеется, знал о переменах, которые произошли у меня, однако тактично разговор по этому поводу не заводил. Он теперь реже бывал на нашей общей квартире, дверь между нашими половинами почти не открывалась. Мне было тягостно думать, что я стесняю Иосифа Виссарионовича, лишаю его возможности отдохнуть или поработать в полной изоляции. И еще: волновало меня не то, что брат Кати расстрелян ЧК, а как относится к этому Сталин, не компрометирует ли его наше соседство. Выбрав удобный момент, я спросил, нужно ли мне переехать на другую квартиру?

— А чем вас не устраивает старая? — пытливо глянул Иосиф Виссарионович. — Вам тесно в двух комнатах?

— Меня и Катю устраивает все. О вас беспокоюсь.

— Не надо тревожиться обо мне. — Легкая улыбка скользнула у него под усами. — Я не против настоящего положения. Вот когда у вас пойдут дети, тогда посмотрим… От маленьких детей много крика. Выдержит ли наша стена?

— Спасибо.

— Я очень рад, Николай Алексеевич, что вы нашли достойную женщину. Грузинские мужчины часто привлекательны, крупные черты лица придают им мужественный вид, даже заведомым трусам, — усмехнулся Сталин. — И наоборот, крупные черты лица не украшают грузинских женщин, огрубляют их внешне; они редко выглядят красивыми даже смолоду, и быстро стареют. Грузинская женщина некрасива, но она прекрасна, можете мне поверить. Сколько в ней чистоты, преданности, большого ума. Грузинская женщина держит на себе всю семью… Впрочем, я могу быть пристрастным.

— Будьте, — сказал я. — Ведь я тоже пристрастен. Я люблю Екатерину Георгиевну и выполню одну ее просьбу, но предварительно хочу посоветоваться с вами.

— Пожалуйста, — сказал Сталин. — Мою первую жену, мать Якова, тоже звали Екатериной. Такое вот совпадение, — тряхнул головой, будто

отгоняя подступившие воспоминания. — Какой совет вам нужен, Николай Алексеевич?

— Катя хочет венчаться в церкви. Она христианка, я тоже.

— Разве вы верующий? — приподнялась, изогнувшись, бровь Сталина.

— Общепринятый обычай. Катя столько пережила, что теперь боится… Уверена, что церковь принесет нам счастье.

— Ну, что же, — произнес, подумав Иосиф Виссарионович. — Мы не одобряем религию, мы боремся с церковными пережитками, мы воюем за благополучие людей на земле, а не на сомнительном том свете, но церковные обряды у нас не запрещены… Екатерину Георгиевну не следует сейчас же перевоспитывать, но постарайтесь убедить ее, чтобы не крестила ребенка.

— Думаю, что она согласится, но при условии, Иосиф Виссарионович, — улыбнулся я. — Если вы будете на гражданском обряде.

— Чтобы я был крестным отцом?! — понял и засмеялся Сталин. — Что значат слова, никуда от них не уйдешь. Крестный отец, опять «крест»… Нам не только обряды, но и слова придется менять. А пока договорились, Николай Алексеевич, за мной дело не станет. Только чтобы вы с ней не подкачали. Так и передайте Екатерине Георгиевне.

7

Всегда я очень тревожился, если Иосиф Виссарионович становился вдруг слишком спокойным и сдержанным, скрывая свое раздражение, свой гнев. Чем хладнокровнее, инертней он выглядел, тем сильнее было внутреннее давление. Ладно, если накопившееся напряжение просочится через какую-нибудь отдушину, не вызвав взрыва, чреватого опасными последствиями — особенно у человека, отмеченного большой властью.

Несколько ночей подряд Сталин провел вдруг на нашей квартире. Приезжал поздно, сразу ложился спать. В одиннадцать дня за ним приходила машина. Можно было догадаться — у него очередная неприятность в семье. Я выяснил: была ссора, и Надежда Сергеевна, забрав детей, уехала к своему отцу в Ленинград.

Сталин был настолько взвинчен, что никого не хотел видеть, перестал пользоваться услугами цирюльника, брился сам.

Власик пришел утром на мою половину, сказал испуганно:

— Уж больно он странный, Николай Алексеевич! Стоит у зеркала с бритвой и будто окаменел. Вода стынет, три раза менял, а он только правую щеку выбрил.

Сталин, действительно, находился возле зеркала. Скособочившись, подняв руку с бритвой до подбородка, он смотрел на себя тусклыми, желтоватыми глазами и, кажется, ничего не видел.

— Добрый день! — громко произнес я.

Он медленно повернул голову, глянул недовольно, сказал со злой иронией:

— Еще один Никола-угодник… (Власика ведь тоже звали Николаем.)

Ну, насчет угодника было слишком даже для Сталина.

— Кто давал вам право так говорить со мной? Я никогда никому не угождал и не буду! — Голос мой прозвучал отрезвляюще-резко.

— А кто мне может не дать право? — скривились губы Иосифа Виссарионовича.

— Я!

— Каким образом?
— Вызову на дуэль.
— Вы это серьезно? — кажется, он очухался.
— Вполне.
— Но это невозможно! — Да, судя по улыбке, Сталин пришел в себя. — Вас немедленно арестует Власик (тот, дуболом, принял стойку, как хищник перед прыжком).
— Это вопрос чести. Значит, вы боитесь! — продолжал я не щадить его.
У Сталина бешено сверкнули и сразу просветлели глаза. Сдержался. Положив бритву, всем корпусом повернулся ко мне. Произнес вполне осмысленно, рассудительно, даже с юмором:
— Нет, я не боюсь. Но для дуэли мне требуется разрешение Центрального Комитета партии. Могут не дать.
— Надежная защита.
— Но что же мне делать? — пожал плечами Сталин: разговор явно заинтересовал его.
— Сесть к столу и написать вашей жене в Ленинград. Теплое хорошее письмо. Сообщите Надежде Сергеевне, что намерены приехать за ней.
— Почему я должен первым? Она ушла сама, увезла грудного ребенка…
— Мы мужчины, Иосиф Виссарионович. И вообще, первый шаг к примирению всегда делает тот, кто умней.
— Разве что так… — в голосе Сталина звучало явное облегчение. — Но мне трудно писать. Лучше я позвоню ей. Скажу, что сам приеду за ними.
— Как хотите. Однако сегодня я вас никуда не пущу, а на завтра вызову сюда врача.
— Какого врача? — не понял он.
— Невропатолога, — жестко сказал я. — Владимира Михайловича Бехтерева. Он крупнейший специалист.
Сталин сразу как-то обмяк под моим требовательным взглядом, бессильно повисли вдоль туловища руки. Произнес сдавленно:
— Пусть осмотрит дома… Но не сейчас, а когда вернется Надежда. Тогда я буду чувствовать себя лучше.
На том и порешили.
Через несколько дней жена Иосифа Виссарионовича возвратилась в Москву, и в их семье на некоторое время восстановилось относительное спокойствие. Но лишь на некоторое…
Трудно, невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу двадцатых годов и обостривший самые скверные черты его характера, если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни. Много сил, нервов, душевной энергии расходовал он на работе. И ему, человеку впечатлительному, замкнутому, очень нужен был домашний уют, теплая семейная атмосфера, где он мог бы сбросить напряжение, получить разрядку. Сталин очень стремился к этому, хотел иметь надежный семейный очаг и не просто красивую жену, а верного единомышленника и ласковую добрую хозяйку. Это ведь очень важно, когда есть надежный тыл, где можно успокоиться, восстановить силы. Особенно когда тебе уже под пятьдесят. Но ничего подобного у Иосифа Виссарионовича не имелось. Дома не получал он ни радости, ни вдохновения. Одна лишь дополнительная нервотрепка. И чем дальше, тем сильнее…
О своей первой жене, Екатерине Сванидзе, скончавшейся в двадцать два года от брюшного тифа, вспоминать он не любил, если говорил о ней,

то с оттенком уважения, но не больше. Сожалений о ее ранней кончине, горечи утраты — этого не было. И к сыну, Якову Джугашвили, относился с удивительным равнодушием, не свойственным для грузин, которые обычно очень любят своих близких, особенно детей, а уж мальчиков — наследников тем паче. Причина тут вот какая. Родился Яков в 1907 году, сразу после первой, неудачной революции, в самое трудное для Сталина время. Аресты, ссылки, подполье — Иосиф Виссарионович почти не видел сына, который рос у родственников жены, у Сванидзе, людей, в общем-то чуждых Иосифу Виссарионовичу, и сам Яков становился постепенно чужим для него.

Долгое время Сталин вел холостяцкую жизнь и, наверное, вообще не завел бы новой семьи, если бы не особый случай, получивший постепенно этакую романтическую окраску. Я бы сказал — роковой случай, роковой дважды и трижды.

Представьте себе картину. Начало нашего века. Летний день на берегу теплого моря. Вдоль кромки воды прогуливается хорошо одетая женщина, рельефными формами и томной улыбкой привлекающая внимание пылких южан. Заговорилась с усатым франтом и не заметила, как набежавшая волна смыла ее двухлетнюю дочку. Только белое платьице мелькнуло средь мутной пены. Гибель казалась неизбежной, но тут, как в сказке, появился молодой грузин, смело бросился в кипящий вал, нырнул, нашел и вынес на берег прекрасное крохотное существо.

Думаю, все это выглядело не столь трагично и героически, как рассказывалось впоследствии. «Было нечто подобное», — с улыбкой говорил Сталин. Дело в том, что он во всю свою жизнь так и не научился плавать, а уж нырять — тем более. Вероятно, девочка барахталась там, где воды было по колено взрослому человеку. Болтливая мамаша, чуть не прококетничавшая своего ребенка, могла потом нафантазировать невесть что. Во всяком случае, именно тогда впервые увидел Иосиф Виссарионович свою будущую жену Надежду Аллилуеву.

Шли годы. История о чудесном спасении превратилась в семейную легенду, волновавшую сердце подраставшей девочки. Да и герой легенды время от времени давал знать о себе. Вот отец Нади — Сергей Яковлевич — познакомился на конспиративной квартире с молодым, смелым революционером Сосо Джугашвили: им предстояло перевезти из Тифлиса в Баку ручной печатный станок, тайно изготовленный рабочим железнодорожных мастерских. Вот в трудные годы реакции Сергей Яковлевич, занимая приличную должность в Петербурге, создает и возглавляет специальный денежный фонд для ссыльных революционеров — большевиков. Товарищам по партии, в далекую Сибирь, шли деньги, посылки с продуктами и одеждой. Такой помощью пользовались Яков Свердлов, Коба-Сталин… «Это он, тот самый!» — говорили о нем в семье.

И вот — начало июля 1917 года. Временное правительство перешло в наступление. В Петрограде расстреляна мирная демонстрация. Разгромлена редакция газеты «Правда». Ленин и другие большевики обвинены в шпионаже и государственной измене. Издан приказ об аресте Владимира Ильича.

События тех трагических дней, когда Ленин вынужден был опять перейти на нелегальное положение, когда в ЦК обсуждался вопрос, отправляться ли Владимиру Ильичу на суд, когда сам он заявил: «Я явлюсь на суд Временного правительства и добьюсь, чтобы он был открытым судом, и превращу его а суд над контрреволюцией…» — события тех

трудных дней хорошо известны. Мне важно лишь вот что. Когда полиция искала Ленина по всему городу, когда шли повсюду аресты и обыски революционеров, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной укрылись в трехкомнатной квартире заведующего кабельной электросетью Невского района Сергея Яковлевича Аллилуева и его жены Ольги Евгеньевны. Сюда же пришли вскоре члены ЦК РСДРП(б) Сталин и Орджоникидзе, другие товарищи. Тут вырабатывалась тактика на ближайшие дни, здесь по предложению Сталина было принято решение тайно переправить Владимира Ильича в Разлив.

Из дома вышли в сумерках, после девяти вечера. На Ленине — старое рыжеватое пальто, серая кепка надвинута на лоб — узнать невозможно. Рядом с ним шагали Вячеслав Иванович Зоф, секретарь сестрорецкой партийной организации, и балтийский матрос Юргис Стимун. Немного сзади Сталин и Аллилуев. Так проследовали до вокзала, где Владимир Ильич сел в последний вагон последнего в ту ночь поезда…

Вместе с Аллилуевым возвратился Иосиф Виссарионович на квартиру, где оставался потом еще несколько суток. По достоинству оценил он надежное и спокойное укрытие в этой семье. И, конечно, подействовал на него восхищенный взгляд шестнадцатилетней гимназистки — красавицы Нади. Взаимное чувство вспыхнуло между ними сразу. И вскоре они провели свою первую ночь в поселке Левашово, на даче. И ей и ему почему-то особенно запомнилось, что там, на полянах, в разгар лета, было много земляники.

Сталину исполнилось тогда тридцать восемь лет, но Надя не ощущала разницы в возрасте, настолько Иосиф Виссарионович был бодр, весел, полон энергии; военная форма и решительность выделяли его среди штатских людей, бывавших в семье Аллилуевых.

Родители не возражали, отец не имел решающего голоса в домашних делах, а мать — Ольга Евгеньевна, сама убежавшая с Аллилуевым (через окно, ночью, с узелком в руках), когда ей было всего четырнадцать лет, страсть как любила пикантные положения. А тут такой романтический случай: объявился спаситель Нади, ниспосланный свыше!

Тогда и соединились Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна в семейную пару. И все у них шло хорошо первые годы. Сталин любил молодую жену, ездил к Наде при каждой возможности с фронта, сам молодел рядом с ней: задорной, страстной и нежной. Будни начались позже, когда наступило мирное время. Надежда Сергеевна переехала к мужу в столицу, и они поселились в кремлевской квартире. Ну, не такие уж серые будни, а обычная семейная жизнь, нисколько, впрочем, не тяготившая Иосифа Виссарионовича. Наоборот, он был очень доволен, что у него есть жена и маленький сын Вася, имеется свой собственный теплый угол. Даже привычку работать ночью и ложиться в четыре утра поломал тогда ради жены, а это нелегко далось ему. И вообще для Нади он готов был на многое. Никогда не заботившийся о своем благополучии, он вынужден был теперь «пристраивать» многочисленных родственников Аллилуевых, в том числе и их побочного клана Енукидзе. Кому-то требовалась одежда, кому-то еда, кто-то заболел и просил положить в хорошую больницу. Сталин делал и это, через силу, скрепя сердце, но делал ради жены, хотя сам ходил в одной и той же шинели, а при сильном холоде — в потертой шубе, которую привез из последней ссылки.

На многое готов он был ради любимой женщины, ради семьи, лишь бы эта женщина жила для него, для их общего благополучия. Но Надежда

Сергеевна была слишком молода и слишком эгоцентрична, чтобы понять свое историческое предназначение. Ей хотелось быть самостоятельной, чем-то руководить, а не вытирать нос ребенку да заботиться об обедах для усталого мужа. Как сказал поэт: «Лицом к лицу лица не увидать…» Надо было вырасти очень умной, чуткой, самоотверженной, чтобы по достоинству оценить человека, который дома кажется самым обычным, таким, как все. Ест, спит, иной раз даже похрапывает. Одно время животом мучился. Это на службе он — организатор, идеолог, вождь, а в семье, в постели — привычный муж, со всеми человеческими недостатками и слабостями.

Странно: мы знаем, как часто сердобольные женщины отказываются от личного счастья ради больных, калек, возятся с пьяницами, с оболтусами, щедро отдавая им свое тепло, знания, эрудицию. Вытаскивают из бытовой грязи пустяковых заурядных мужчин, делая это чуть ли не с удовольствием, с гордостью обреченных на подвиг. А с другой стороны, в истории слишком мало отмечено женщин, которые столь самоотверженно служили бы большой, сильной личности. Скорее наоборот — они отравляли жизнь великим людям. Классический пример в этом отношении — Софья Андреевна Толстая. Достаточно познакомиться с ее дневниками, чтобы понять: осознав разумом избранность и величие Льва Николаевича, она не восприняла душой его огромность, самобытность. Мелкая оказалась душа-то, заурядная. Самая обычная женщина, она из кожи вон лезла, чтобы проявить себя, не уразумев, что единственная возможная заслуга, единственная цель, оправдывающая ее существование — быть опорой Льва Николаевича, отдать свои силы, чтобы увеличить его силы, влить задатки свои в его мощный талант. О работе бы его пеклась, о спокойствии, о здоровье. А она даже на старости лет, сидя у постели больного мужа, мечтала о своем любовнике, о духовном и всяком прочем общении с ним.

Или жена Пушкина, дофлиртовавшая до того, что мужу пришлось защищать свою и ее честь на дуэли. В могилу свела величайшего поэта. А после его смерти обрела другую постель. Даже славную фамилию поторопилась сменить.

А жена Герцена, осквернившая святая святых — беременность: с ребенком в чреве изменила великому мыслителю со случайным смазливым музыкантом!

Многое мне было не по нутру в Сталине. Имелась у меня возможность удалиться от него и идти своим путем. Но осознал свое место под солнцем. Кто я? Обычный военный, образованный человек, чуть лучше или чуть хуже сотен подобных. Высший мой потолок — генерал, штабист. А Сталин — избранник фортуны, на нем лежит отпечаток истории… И уж коли выпало мне быть рядом с ним, то заботиться следует не о собственных интересах, а лишь о том, как своими способностями увеличивать его возможности. Но такое понимание, вероятно, более доступно мужчинам, нежели женщинам. Во всяком случае Надежда Сергеевна Аллилуева редчайшей участи и счастья, выпавшего ей, своего предназначения в этом мире так и не поняла. А может, свыше определена была для нее роль не созидающая, а сугубо отрицательная, разрушающая…

Переехав в Москву, молодая хозяйка Надя Аллилуева первое время обживалась на новом месте, возилась с маленьким Васей, радуясь самостоятельности, хорошей квартире, своему необычному положению…

Можно сказать, царицей стала, ежели сравнить с недавними временами. Обстановка, конечно, поскромнее, но все же… Потом освоилась она с новизной, притупилась острота, и пришла скука. Бойкая и общительная Надежда Сергеевна хотела бывать в компании, знакомиться, развлекаться, показывая свои способности. А в окружении Сталина встречала лишь людей солидных, остепенившихся, занятых серьезными делами. И жены у них тоже были пожилые, обремененные семейными и служебными заботами. Ей хотелось ходить по гостям, посещать увеселительные зрелища, танцевать и смеяться, а Иосиф Виссарионович был нелюдим, даже родственников Надежды встречал неохотно, через силу выдавливая улыбку. Ну и, умнее, опытнее ее он был многократно. Что для Надежды Сергеевны было открытием, он знал давным-давно, обсуждать известное не имел никакого желания. Что же еще оставалось: супружеская близость? Она была уже привычной, слишком обыкновенной для молодой женщины, не удивляла и не окрыляла ее. Общая постель может накрепко соединить двоих совершенно различных людей, ежели они получают взаимное физиологическое удовольствие, но эта же постель способна усилить рознь, даже ненависть между супругами, первое время вроде бы довольными и счастливыми. Давала знать себя разница в возрасте, а главное — утомляемость Иосифа Виссарионовича: он мало спал, редко отдыхал, выматывался на работе до изнеможения. А Надежда Сергеевна, сидючи дома, сладко кушая и вволю отлеживаясь, только обрела женское понимание, женскую страсть: главным ощущением, мучавшим ее, была острая неудовлетворенность, застилавшая все остальное, ввергавшая в беспричинное раздражение, заставлявшая метаться, тосковать, нервничать. Особенно проявлялось это в двадцать пятом-двадцать седьмом годах, когда Аллилуева носила, а затем взращивала маленькую Светлану. Прямо бес какой-то на нее напал. Все сильней сказывалась в Надежде Сергеевне материнская кровь, заметней проявлялась наследственность. Скверное брало верх над хорошим.

Отец ее, Сергей Яковлевич Аллилуев, человек был весьма положительный. Выходец из зажиточной крестьянской семьи Воронежской губернии, он с детства показал приверженность к технике и от природы был, как говорится, мастером на все руки. Поучившись и ставши механиком, уехал на Кавказ, прокладывать железнодорожную магистраль, водил паровозы. Там судьба свела с революционерами, познакомился с марксистским учением, записался в социал-демократы. Всю жизнь потом преданно служил революционным идеалам, не гоняясь за постами и должностями. Добросовестно выполнял самую простую и самую необходимую работу: печатал листовки, собирал тайные сходки, укрывал бежавших из ссылки товарищей, снабжая их документами и, по возможности, деньгами. То есть делал то главное, без чего не могла существовать партия, не ища при этом, как и многие другие тогдашние партийцы, никакой выгоды для себя.

В революционном движении Сергей Аллилуев принадлежал к числу тех искренних, чистых людей, которых называли «марксистами-идеалистами». Столь же искренним, цельным, идеалистичным был он и в любви, в семейной жизни. Очень мягкий, очень доверчивый, сам не способный на измену, на двуличие, он полностью доверял супруге своей Ольге Евгеньевне и, как сам сказал мне однажды, долгое время чувствовал вину перед ней. Почему? Да потому, что «соблазнил» ее бежать из родного дома совсем девочкой. И невдомек ему было, что имелась другая сторона

у этого приключения: рано развившаяся тифлисская девица Оля Федоренко, натура чрезвычайно сексуальная, в свои младые годы уже с ума сходила от сладострастия и готова была броситься под первого попавшегося мужчину. А тут вежливый, симпатичный и вполне самостоятельный человек подвернулся. Как было не умыкнуться с ним.

В массе добропорядочных женщин встречаются порой особы, у которых половое влечение затмевает все прочее. На первый взгляд они особенно не выделяются, красотой блещут далеко не все, но они словно бы пропитаны сексом, словно бы источают какие-то флюиды, возбуждающие мужчин. Во что их не одень, они всегда будто обнажены, выпячиваются все «притягательные» места. В такую сногсшибательную особу превратилась и Ольга Евгеньевна, слишком рано начавшая половую жизнь. Особенно обострились ее желания после нескольких родов. У этой жгучей красавицы во взгляде, в улыбке, в походке — во всем проявлялась чувственность, затмевавшая здравый смысл: Ольга Евгеньевна не видела ничего предосудительного в своих многочисленных флиртах, в естественном, казалось ей, стремлении утолить половой голод. Что постыдного-то, если очень хочешь, не можешь сдержать желание?!

Я вовсе не намерен осуждать эту женщину, да и какой смысл осуждать, бранить человека за то, что ему не дано понять. Тем более, что (пусть это не покажется парадоксальным) Ольга Евгеньевна была хорошей семьянинкой, надежным товарищем Сергея Яковлевича, доброй и заботливой матерью. Гостеприимная, веселая, практичная, она помогала мужу в подпольной работе, скиталась за ним по разным городам, носила передачи в тюрьму, добивалась, чтобы выпустили на свободу. Содержала семью, обшивала, кормила, воспитывала детей: на все ее хватало. А муж редко бывал дома, особенно первые пятнадцать лет жизни. То под арестом, то выслан, то скрывается в подполье, то уехал с партийным поручением, то лежит больной после операции. И вообще не отличался Сергей Яковлевич физической силой. Вот и одолевало молодую здоровую женщину необоримое желание, несколько раз в год случались у нее интересные «приключения», не доставлявшие, впрочем, неприятностей семье. Ольга Евгеньевна в те годы четко определяла грань, переступив которую, можно было нанести вред детям и мужу. Страсти свои она удовлетворяла тайком, «на стороне».

Право, странная жизнь этой «святой грешницы», совмещавшей самоотверженное служение семье, делу мужа с невероятными эротическими взрывами, удивительная судьба ее супруга, еще более удивительные и трагические судьбы их детей — все это интереснейший материал для романа. Книга может получиться увлекательной, поучительной и страшной. А начать бы с той наследственности, которая досталась Ольге Евгеньевне. Среди предков ее числятся немцы и евреи, украинцы, грузины и турки; не считалось зазорным, что одна из близких родственниц жила в холе и неге на содержании богатого торговца табаком.

Да и сама Ольга Евгеньевна словно бы коллекционировала мужчин разных национальностей, стараясь определить, с каким занятней, приятней. Уж кто-кто, а она могла порассказать, чем отличается в постели армянин от поляка, грузин от мадьяра, грек от болгарина. К сожалению, она и рассказала об этом на закате жизни слишком охотно, не испытывая угрызений совести. Упоминала интимнейшие подробности, будто вновь переживая, смакуя испытанное когда-то удовольствие. В конце тридцатых

годов мне доводилось частенько встречаться с ней, совершать прогулки по аллеям Дальней дачи. Теща Иосифа Виссарионовича была на четыре года старше его, но выглядела очень моложаво, на лице почти не было морщин. Бедрами покачивала, как этуаль на бакинской набережной. Гибель детей, полный разрыв с мужем, другие трагедии — будто не коснулись ее. До самой смерти в мыслях и разговорах Ольги Евгеньевны главным образом было то, что она именовала «любовью».

«Может, черная роза не всем нравится, но как это необычно, как пикантно! — без тени смущения повествовала она о себе. — И вынослива черная роза! Какие бури, какие страсти она у меня выдержала!.. Знаете, однажды у меня было сразу двое мужчин, молодых пылких мужчин, мы совсем не спали ночь, день и еще ночь. Много было шампанского… Им удавалось задремывать по очереди, но я-то была одна. Впрочем, это было уже как во сне, но желание не исчезало, даже наоборот… Когда один из них воскликнул: «И после всего тебе даже не больно!», у меня хватило сил горделиво усмехнуться и сказать: «Еще! Хочу еще!»

Господи, я сквозь землю готов был провалиться от таких откровений, а она, нисколько не стесняясь, продолжала живописать достоинства своей черной розы. Но когда я, собравшись с духом, спросил, от кого же у нее дети, Ольга Евгеньевна обиделась, ответила с холодной напыщенностью: «Дети только от мужа! Ведь я католичка!»

Гм: при таком количестве любовников, да еще имея несколько мужчин сразу, попробуй понять, от кого понесла… Но возражать я не стал. Ей лучше известно. Может, организм католичек обладает в этом отношении какой-то особенной избирательностью.

Удивительно, откуда столько энергии бралось у этой невысокой, хрупкой на вид женщины — бешеной энергии, чем дальше, тем больше лишавшей ее чувства ответственности перед семьей. Даже в очень трудном для питерцев холодном и голодном январе 1918 года Ольга Евгеньевна умудрилась в очередной раз «влюбиться» в какого-то венгра. Объявила больному, не встававшему тогда с постели мужу и детям, что она еще достаточно молодая женщина, ей хочется личной жизни, а не семейного прозябания. И перебралась к очередному любовнику, переложив все семейные заботы на плечи шестнадцатилетней гимназистки Нади, которая (яблочко от яблони!) вскоре сама влюбилась в человека на двадцать два года старше ее и уехала с ним — со Сталиным, разумеется. А Ольга Евгеньевна, понаслаждавшись «личной жизнью», пока не надоела венгру, как ни в чем не бывало, возвратилась во всепрощающую семью. Вероятно, прощали ей потому, что считались с ее патологией, влиявшей на психику.

Мне казалось, что на Сергея Яковлевича Аллилуева совершенно похожа была лишь старшая дочь Анна. Нос и рот у нее, безусловно, отцовские, да и характер столь же добрый и мягкий. Сыновья, Павел и Федор, при первом взгляде на них напоминали мать: такие же глаза, такие же губы. А Надя вообще все унаследовала от Ольги Евгеньевны: черты лица, фигуру, походку. Белозубая красавица со смуглой кожей южанки — как мать в молодости. Только нравом построже.

К таким понятиям, как скромность, достоинство, Ольга Евгеньевна на старости лет была совершенно глуха, чем изрядно досаждала Иосифу Виссарионовичу. Он был одним из немногих представителей сильной половины рода человеческого, к кому Ольга Евгеньевна обращалась без малейшего жеманства, кокетства, но зато совершенно бесцеремонно:

будто настолько осчастливила Сталина, что ему вовек не рассчитаться. Это она, дорогая теща, вывезла из Ленинграда многочисленных родственников и помогла каждому занять достойное место. «Иосиф! — требовательно говорила она. — Павлу нужна квартира. Ну, что это такое, он ютится в одной комнате». Или: «Иосиф, в магазине нет соли, позаботься, пожалуйста». И это — товарищу Сталину, который вершил общегосударственные и мировые дела!

Меня раздражала приземленность этой женщины, ее эгоизм, но кто знает, может, Ольга Евгеньевна была определенным противовесом судьбы, переключавшим внимание Сталина на обычные житейские заботы. Это ведь тоже надобно. После ее смерти никто не осмеливался поступать так. А меня, способного высказать Иосифу Виссарионовичу претензии, мелочи быта не особенно интересовали.

Дачных охранников, шоферов, прислугу Ольга Евгеньевна в грош не ставила и бранила постоянно, как заправская барыня: все боялись и сторонились ее. Мужа своего, Сергея Яковлевича, во всеуслышанье крикливо упрекала за то, что он воспользовался ее молодостью, соблазнил, увлек, а потом ничего не дал взамен: при ее красоте, при ее возможностях она, мол, достигла бы гораздо большего. (Я просто не представляю, чего еще хотела эта, извиняюсь, дама, ставшая, благодаря своей дочери, тещей великого человека? Не осознала Ольга Евгеньевна своего счастливого взлета, как не поняла этого и воспитанная ею дочь!)

В конце концов Сергей Яковлевич Аллилуев при всей своей вежливости, мягкости и деликатности настолько возненавидел супругу, а открывшиеся давние измены вызвали в нем такое презрение, что он не испытывал к Ольге Евгеньевне никаких чувств, кроме гнева и брезгливости. С конца двадцатых годов они хоть и жили в Москве на одной квартире или на одной даче, но каждый имел свои комнаты, встречались за едой, да и то не всегда. Не только физическая, но и духовная связь порвалась совершенно. Оказавшись за одним столом с Ольгой Евгеньевной, ее муж в буквальном смысле слова испытывал тошноту. Может быть, еще и потому, что от нее шибало застарелой смесью острых духов, которая постоянно «обогащалась» новыми оттенками.

Конечно, Надежда Сергеевна Аллилуева-Сталина была гораздо умнее матери, глубже сознавала свою ответственность, пыталась обуздать собственные порывы. В отличие от Ольги Евгеньевны, она старалась заглушить в себе физиологическое начало. Это более или менее удавалось ей до второй беременности. Но когда понесла будущую Светлану, желание захлестнуло ее, а после родов возросло еще больше, затмило, заглушило другие ощущения. А что мог дать ей поглощенный делами Иосиф Виссарионович, подумывающий о полувековом юбилее? Нежность, ласку, вспышку на несколько минут? Этого для нее было так мало.

Чувствуя унижающую его в собственных глазах неспособность удовлетворить жену, Иосиф Виссарионович раздражался, становился резким и грубым. Ну и Надежда Сергеевна тоже злилась, психовала без видимых причин.

А между тем совсем рядом находился молодой мужчина, обожествлявший Надежду Сергеевну. Семья Сталина жила неподалеку от Троицких ворот, на втором этаже кремлевского дома. На первом — семья Орджоникидзе. Там была выделена комната и для Якова Джугашвили, где он спал, занимался, играл в шахматы. Однако значительную часть дня проводил наверху. Внешне похожий на отца, Яков разительно отличался

от него характером, был добр, простодушен, застенчив. Он недавно приехал из Грузии, не имел знакомых в Москве, стеснялся слабого знания русского языка, сутулости, неказистой внешности. И самым близким человеком для него стала Надежда Сергеевна. Потому что она была всего на семь лет старше Якова, потому что знала и уважала его родственников, дядей и тетей Сванидзе, потому что ей тоже скучно и одиноко было в чужом городе, в казенной квартире, где появлялись только члены семьи да пожилые соратники мужа.

Они быстро привязались друг к другу… Им было весело вместе, имелись общие интересы: Яков много читал, много знал и, когда преодолевал стеснительность, становился увлекательным собеседником. Молодой Джугашвили, до сей поры издали с благоговением поглядывавший на девушек, оказался рядом с красивой женщиной, которую ничуть не портила беременность.

Думаю, Надежда Сергеевна ничего не делала нарочно, обдуманно, чтобы привлечь Якова. Но он, почти целыми днями находясь в квартире, видел эту женщину всякой: спавшей, полуодетой, в коротеньком облегающем халатике. При нем она не стеснялась кормить грудью, когда родилась Светлана. Все это вроде бы будничное, житейское. Ей, наверное, приятно было ловить восхищенные взгляды Якова, ощущать его волнение, трепет.

Если мне, человеку постороннему, редко бывавшему в кремлевской квартире Сталина, взаимоотношения Надежды Сергеевны и Якова Джугашвили казались необычными, то уж Иосиф Виссарионович просто не мог не заметить влюбленности Якова и благожелательности Надежды. Ничего серьезного тогда меж ними не было, однако Сталин нервничал, ревновал, постоянно находился в напряжении, что никак не улучшало его здоровья, работоспособности. Он старался возвысить, утвердить себя в собственных глазах и глазах жены какими-то выдающимися достижениями, свершениями, а она вроде бы и не замечала дел, успехов Иосифа Виссарионовича. Он все чаще терял душевное равновесие, столь необходимое руководителю партии, государства… (Эх, женщины, женщины!)

Я подумывал о том, чтобы деликатно поговорить с Надеждой Сергеевной, рассказать ей, как остро переживает Сталин семейные неурядицы, да не знал, с какой стороны подступиться? С женой своей, с Катей, советовался по этому поводу. Она считала — лучше подождать. Возможно, после рождения ребенка все уладится само собой.

Нет, не уладилось. Долго назревавший скандал произошел. Не знаю, что послужило поводом для вспышки, да это и не важно: горючего материала накопилось много, он занялся бы не от одной, так от другой искры. Надежда Сергеевна упрекала мужа в черствости: в том, что ни она, ни дети не ощущают его тепла, что он занят только своими делами, своей карьерой. Вылилось, в общем, все наболевшее, причем вылилось в резкой скандальной форме. Возмущенный Иосиф Виссарионович сказал ей несколько грубых фраз, среди которых одна была грязная, услышанная в ссылке и не забытая. Вот тогда-то Надежда Сергеевна забрала детей и уехала к отцу, в ту пору еще жившему в Ленинграде.

Тяжело переживал Сталин ссору. Ему хотелось, чтобы он сам и все, связанное с ним, было абсолютно правильным, безупречным, надежным. Он уже примерял для себя место в мировой истории, и вдруг зауряднейший бытовой скандал с истерикой и убеганием из дома, чего не

скроешь от знакомых. А ведь он так привязан был к жене и особенно к маленькой Светлане, мысль о том, что они далеко, он не увидит их ни сегодня, ни завтра — угнетала Иосифа Виссарионовича. Вот почему он внял моему совету и первым сделал шаг к примирению, позвонил в Ленинград.

8

Владимир Михайлович Бехтерев был звездой первой величины на горизонте не только российской, но и мировой медицины. Достаточно сказать, что, кроме всех прочих заслуг, он основал в 1908 году психоневрологический институт и долго руководил им. А кто из наших сверстников не помнит созданное Владимиром Михайловичем лекарство, знаменитые «капли Бехтерева», а попросту «бехтеревку»?! Именно его, человека опытного, авторитетного, который не допустит ошибку и не побоится сказать правду, решили мы с Надеждой Сергеевной пригласить к Сталину. Мнением кого-то другого Иосиф Виссарионович мог бы пренебречь, но семидесятилетний ученый Бехтерев, светило в своей области — с ним нельзя было не считаться.

Он осмотрел Иосифа Виссарионовича дважды за одни сутки. Утром и поздно вечером после работы. На кремлевской квартире. Кроме Надежды Сергеевны и меня, никто не знал о визитах Владимира Михайловича. Шоферу, с которым я ездил за Бехтеревым, не было известно, кого он доставил. И даже всеведущему охраннику Власику не назвали фамилию. Ну, а в порядочности ученого мы были убеждены, он обязан был хранить профессиональную тайну.

Заключение Владимира Михайловича было безрадостным. Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определенно выраженной в данный момент чрезмерной подозрительностью, манией преследования. Болезнь обостряется сильным хроническим переутомлением, истощением нервной системы. Только исключительная воля помогает Сталину сохранять рассудительность и работоспособность, но этот ресурс не безграничен. Требуется тщательное обследование и длительное лечение, хотя бы в домашних условиях. А главное — отдых, воздух, снятие психического давления, физическая закалка организма. И, разумеется, постоянный щадящий режим с учетом возраста.

Для медика, для специалиста слово «параноик» — обычный термин, обозначающий одну из многочисленных болезней, поддающуюся лечению. Но меня больно кольнуло это слово. Значит, и я, не замечающий недуга Иосифа Виссарионовича, хорошо понимающий его, тоже такой?!

Странно, однако на самого Сталина заключение Бехтерева не произвело особого впечатления. Подозреваю, что ему говорили уже о заболевании, и довольно давно. Вероятно, он имел дело с психиатрами еще до революции. Один из Сванидзе говорил, что Иосиф Виссарионович обращался к врачу вскоре после рождения Якова.

Из всего того, что рекомендовал Бехтерев для поправки здоровья, Сталин изъявил согласие выполнить два условия: систематически принимать лекарство и отдохнуть осенью возле моря, походить на охоту. О сокращении объема работы не могло быть и речи…

Надежду Сергеевну я очень мягко попросил (наедине, разумеется), чтобы позаботилась о спокойной обстановке в семье. Она ответила холодным взглядом, давая понять: взаимоотношения с мужем — их сугубо

личное дело. Однако через несколько минут, смягчившись и уяснив мою правоту, сказала, что постарается… И могу подтвердить: держалась Надежда Сергеевна довольно долго, года полтора, создавая если не благополучие в семье, то хотя бы видимость благополучия. Это хорошо, но только этого было все же мало для полного восстановления здоровья. А отойти от дел и лечиться Иосиф Виссарионович никак не хотел. Для него это было равно политической смерти. Если устраниться от руководства — значит, навсегда: конкурентов много. Тем более — лечение у психиатра. Сумасшедший, псих — разве может такой человек занимать руководящий пост?!

Да что там лечение: Сталин боялся, как бы не получил огласку сам визит Бехтерева. Надежде Сергеевне и мне он верил — не выболтаем. К тому же наши слова — это лишь слухи, предположения. Но совсем другое, если о болезни скажет сам Бехтерев. А он стар, рассеян и вообще вне контроля. Мало ли что может сорваться с его языка. И тогда конец политической карьере… Это был новый пунктик, мучивший Иосифа Виссарионовича, давивший на психику.

Успокоился Сталин лишь тогда, когда Бехтерев умер. Произошло это вскоре после памятного визита. Скончался пожилой человек, в этом в общем-то не было ничего особенного. Но у меня эта смерть вызвала гнетущее ощущение собственной причастности к чему-то темному, мерзкому.

Примерно за неделю до смерти Бехтерева на моей и Сталина квартире появился Лаврентий Берия со своей сладкой улыбкой. И еще один грузин средних лет, довольно интеллигентного вида, больше я его никогда не встречал. Иосиф Виссарионович беседовал с ними за бутылкой вина. Потом второй гость ушел, Сталин и Берия остались вдвоем, разговаривали очень долго.

В отношениях между Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Павловичем тот момент оказался переломным. В дальнейшем Берия стал приезжать в Москву все чаще, Сталин охотно уединялся с ним.

Глубоко ошибается тот, кто считает, что в наше время можно что-то скрыть, утаить, спрятать концы в воду. На какой-то срок — да! Но любое преступление, особенно лица высокопоставленного, все равно всплывает, ударит если не его самого, то родственников, соратников. Обязательно найдутся прямые или косвенные свидетели. Не стало Берии, и всплыл вот такой факт, вернувший меня к прошлым сомнениям. Выяснилось, что перед смертью Бехтерева у него побывали Лаврентий Павлович и тот самый грузин интеллигентного вида. Они привезли ученому виноград, другие фрукты, хорошее вино. Вместе съездили в Большой театр. Владимир Михайлович был весел, охотно отведал дары солнечного Кавказа. Но сия трапеза оказалась для него последней. Об этом рассказала женщина, находившаяся тогда при Бехтереве.

После похорон у нее еще раз побывал спутник Берии, предупредил, чтобы она никогда и нигде не упоминала о тех, кто приезжал в гости. Так припугнул женщину, что она долго молчала, живя в постоянном страхе. Но и о ней, вероятно, забыли. Да и кто бы поверил ей?

А она, конечно, забыть не могла. Минуло время, и она нашла с кем поделиться мучавшими ее воспоминаниями.[15]

9

Слишком много событий вершилось почти одновременно, с разницей в дни или месяцы, поэтому я могу перепутать их очередность. Это существенного значения не имеет: хронику создадут историки, которые займутся когда-нибудь биографией Сталина. А у меня — исповедь.

В бытность свою инспектором кавалерии, Алексей Алексеевич Брусилов организовал полевую поездку (верхом) представителей всех частей московского гарнизона с целью проверить уровень подготовленности среднего командного и комиссарского состава. Собраны были сто человек — самых различных должностей: командиры эскадронов и работники Главного штаба, комиссары стрелковых батальонов (им тогда полагалась лошадь), несколько интендантов и даже военные медики.

Маршрут, проложенный Алексеем Алексеевичем, был не только длинным, но и сложным, проходил по различным участкам местности: по просторным полям, густым лесам, руслам рек, по возвышенностям. Первый этап — вдоль Волоколамского шоссе до города Истры (кстати, в поездке участвовали по крайней мере три будущих военачальника, которым в сорок первом доведется воевать в тех местах). Как и думали мы с Брусиловым, на этом этапе выявились и отсеялись наиболее неподготовленные. Таких оказалось десятка полтора, больше половины — политработники. Объяснение простое: на службу пришли недавно, с заводов, с флота, к коню не привычны. Мы выделили их в особую группу, сократив маршрут и придав несколько заядлых кавалеристов из казаков.

Основной отряд вышел в район северо-западнее Истры и, решив на местности несколько тактических задач, повернул почти назад. Достигнув Павловской Слободы, мы вдоль речки Истры, по правому ее берегу, проследовали до самого устья. Форсировав там Москву-реку, взяли от села Знаменского влево, на Барвиху, а затем лесами — на Кунцево.

Напряженная поездка эта, продолжавшаяся почти неделю, была столь же полезна, сколь и утомительна, однако Брусилов проделал всю ее вместе с нами. Иногда верхом, но большей частью в крытой коляске, которая, собственно, была тогда нашим штабом и командным пунктом. Занятия проводились по организации разведки, движения войск, их охранения на марше, по маскировке. Было трудно, зато интересно и весело — такое впечатление осталось у многих участников похода. А в моем личном плане эта поездка совершенно непредвиденно отразилась на взаимоотношениях с Иосифом Виссарионовичем — иначе я не стал бы упоминать о ней.

Меня всегда волновала и притягивала таинственная связь между кажущейся случайностью событий и предопределениями судьбы, когда вроде бы изолированные, разрозненные факты и явления выстраиваются вдруг в неразрывную цепочку и приводят к закономерным свершениям. Почему, например, Алексей Алексеевич избрал именно этот маршрут? Я думал — только из целесообразия. Ан, нет. За городом Истрой параллельно железной дороге тянется небольшая и очень живописная речка Маглуша. Я был несколько удивлен, когда в деревне Филатово наш командир приказал отряду остановиться на отдых, а меня взял с собой для рекогносцировки. Ехали мы верхом вдоль речки. Алексей Алексеевич был заметно возбужден, дышал часто, как при сильной жаре, поправляя изжелта-седые усы.

Впереди, в широкой долине, возник силуэт пирамидального храма. Я бросил взгляд на картину: населенный пункт Глебово. Что-то знакомое, я слышал о нем когда-то, но не мог вспомнить.

Деревня как деревня. Ряды изб. Остатки барской усадьбы. А вот храм, действительно, хорош! Даже старания местных разрушителей изувечить, испохабить это старинное сооружение не смогли испортить его красоты. Шатровая колокольня, окруженная по углам четырьмя башнями-звонницами, возвышалась над деревней, над местностью, придавая всему пейзажу некую завершенность.

— Казанская церковь, — негромко произнес Брусилов, снимая фуражку с синим околышем и поднимаясь на стременах. — Чудесное место, неправда ли?.. Река Истра, ее притоки — древняя обитель наших пращуров…

— Подъедемте ближе, — предложил я.

— Нет, это было бы бестактно с моей стороны. Меня могут узнать, — ответил Брусилов. — Да и смотреть нечего. Обломки, — усмехнулся невесело. — На новых картах не совсем точное обозначение, Николай Алексеевич. Вернее — новое название. А прежде сей населенный пункт был известен как Глебово-Брусилово. Счастливейшие дни провел я в этой усадьбе. Думал, что и похоронят здесь…

Алексей Алексеевич повернул коня, и мы поехали назад. Так попрощался он незадолго до смерти со своим прошлым. Больше мы не говорили об этом, но навсегда остался во мне храм над красивой речкой Маглушей, колокольня, устремленная в небо.

Смею сказать, что теперь я неплохо знаю ближнее и дальнее Подмосковье, столь разнообразное, что природных контрастов, живописных пейзажей, даже глухих уголков, разместившихся на этой сравнительно небольшой территории, хватило бы для западноевропейского государства средних размеров. И зная, скажу: нет для меня прекраснее мест в Подмосковье, чем бассейн реки Истры и еще та часть побережья Москвы-реки, что тяготеет к истринскому водосбору. От Звенигорода до Рублева. Благодарен я Алексею Алексеевичу Брусилову за то, что открыл мне сию неповторимую жемчужину в природном ожерелье столицы. В свою очередь очень хотелось мне приобщить к этим местам Иосифа Виссарионовича, чтобы познал и полюбил прелесть нашей Центральной России. Нет в ней чрезмерной восточной пышности, нет яркой, ошеломляющей назойливости юга, но уж если откроет она кому свою застенчивую, величавую красоту, если кто увидит и поймет суровую нежность и постоянство, тот никогда не забудет ее, не изменит ей. А Сталин, как ни странно, изъездив Сибирь, побывав за границей, долго работая в Москве, почти не знал, не видел окрестностей нашей столицы. Это же противоестественно! Вот и задумал я организовать неутомительное путешествие на лодках по Истре. Тем более, что и Бехтерев советовал: смена впечатлений, разрядка, отдых на природе очень нужны Иосифу Виссарионовичу. А что может быть лучше отдыха по речке в теплый летний день!

Надежда Сергеевна поддержала эту идею и обещала уговорить Сталина, чтобы он хоть на краткий срок оторвался от работы. А его, к нашему с ней удивлению, и уговаривать не пришлось. Он познакомился с маршрутом, усмехнулся в усы: «Очень своевременное предложение. Считаю, что с нами должен поехать Анастас Иванович Микоян»… Я подумал: при хорошем настроении попал к Иосифу Виссарионовичу. Но потом выяснилось, что была веская причина для столь быстрого согласия. Все же никто и никогда не знал, что у Сталина на уме.

Из Кремля выехали в шесть утра на двух автомашинах. Несмотря на такую рань, солнце уже припекало. Меня радовала погода: на небе ни

единого облачка. Хочу тут, между делом, опровергнуть одно довольно распространенное мнение: Сталин, дескать, не любил солнца, яркого света. Это неправда, пущенная в обиход поверхностными наблюдателями. Не надо смешивать разные вещи. Да, он работал обычно с закрытыми шторами, чтобы не отвлекали ни свет, ни звуки. К старости у него побаливали глаза — это верно. При обнажающем беспощадном освещении он вроде бы стеснялся среди посторонних своей заурядной внешности. Всяко бывало. Но с другой стороны, Сталин любил прогуливаться в одиночку или с близкими, привычными людьми не в пасмурную, а именно в солнечную погоду. И на юге, и в Подмосковье. Нравились ему прогулки по зимнему лесу, когда сияет солнце и ослепительно блестит снег. А после войны в такие дни любил сиживать со мной на открытой террасе, закутавшись в теплый тулуп. В эти минуты он продолжал работать — думал.

Вернемся к нашему путешествию. Автомобили доставили нас в Павловскую Слободу, где поджидали хорошие просмоленные плоскодонные лодки: для неглубокой капризной Истры нужны были такие. Погрузившись в них возле Лешковской горы, мы начали свой водный поход средь высоких, заросших старым лесом берегов. Зелень была густая и свежая, вода чистейшая и прохладная. Воздух — прелесть. Березки на прибрежных полянах лукаво манили водить хоровод вместе с ними.

Путешественники были довольны и веселы. Ворошилов на первой лодке грянул вдруг «Из-за острова на стрежень…» Присоединилась и Надежда Сергеевна. Сталин подпевал им. Слух у него был хороший, сказывалась и подготовка в духовной семинарии. Обычно монотонный, приглушенный голос его менялся при пении, звучал проникновенно и чисто.

На нашей лодке хористов не оказалось. С тех пор, как отзвучали романсы моей первой жены, незабвенной Веры, я почти не слушал вокалистов и музыкантов, только марши да солдатские песни. По крайней мере, определенность есть в них. Николай Власик по своей должности привык редко открывать рот. Третий в лодке, Анастас Иванович Микоян, проявил любопытство к тем местам, мимо которых мы проплывали, расспрашивал меня.

Как выяснилось, Анастас Иванович плохо представлял себе быт среднерусского крестьянства, мало смыслил в сельском хозяйстве. Ну, скажите, как можно заниматься продовольственными вопросами, сырьем, снабжением, не умея отличить на поле рожь от овса, лен от конопли?! А ведь надо заботиться об урожайности, о сохранении собранного. Анастас Иванович отвечал полушутливо, что урожай и государственная политика — это не совсем одно и то же, что он имеет дело в основном с цифрами да руководящими товарищами, но недостатки свои постарается исправить. Тем более что Михаил Иванович Калинин обещает свозить его в родную деревню на жатву, а заодно показать, как растут в лесу боровики, подосиновики и рыжики, не говоря пока о других грибах, в которых сразу не разберешься. Ну, конечно, такой прогресс в расширении специальных познаний нашего выдающегося деятеля в области легкой и пищевой промышленности несколько успокоил меня.

Итак, мы плыли по Истре мимо чудесных берегов, заросших ивняком. Об отсутствии рыболовов и купальщиков позаботился Власик. Но вот Климент Ефремович и Иосиф Виссарионович решили поменяться на веслах, их лодка резко накренилась. Власик ахнул, не удержался от упрека:

— Потопят, разбойники, королеву!

У меня вырвалось:
— Без вашей помощи не получится. Это вы мастер по затоплению речных деревянных судов!
Власик глянул удивленно, насупился. Спустя несколько минут, когда Микоян свесился за борт, разглядывая какого-то жука на воде, произнес укоряюще:
— Вы это самое, Николай Алексеевич, чем кумушек считать, вы бы того…
И надолго отвел взгляд…
Я оценил по достоинству его возросший культурный уровень, его юмор, а главное — потенциальную опасность. Можно понять, почему Иосиф Виссарионович не любил свидетелей, даже если это очень хорошие люди. Лучше покойники с доброй славой, чем живые, многознающие соратники. Гуманной такую точку зрения не назовешь, но и с категорическим осуждением я бы не стал торопиться. Жизнь сложна. Тем более — жизнь крупнейшего политического деятеля.
К полудню путешественники явно устали, жара давала себя знать. На высоких холмах открылась деревня Тимошино. По левую руку, невидимое за лесом, лежало село Степановское. Висячий мостик, соединявший здесь берега, как над кавказскими горными реками, привлек внимание и Сталина, и Микояна. Пора было сделать привал.
Сперва пошел ровный, частично распаханный луг, а слева был крутостенный обрыв со старыми парковыми липами и с подлеском, особенно густым в двух или трех глубоких оврагах, прорезавших береговую кручу. Луг буквально исходил жаром, колебалось над ним зыбкое марево, а на террасе под лесистым обрывом держалась тень, было нежарко, приятно. В узкой полосе между речкой и откосом воздух не столь сухой, как на открытых местах. И ключ с холодной водой был тут, в устье овражка.
Это место я облюбовал заранее. Подчиненные Власика, побывавшие здесь, потрудились в разумных пределах. Возле старой вербы, нависшей над Истрой, сооружен был примитивный, но надежный причал. На краю оврага мы с Власиком обнаружили, где условлено было, берестяную кору для разжигания костра, сухие дрова, рогулины и перекладины для шампуров. Все остальное мы привезли с собой, дабы не лишать путешественников приятных забот и волнений: не забыты ли соль или перец?
Николай Власик, любивший основательно и разнообразно набить собственное брюхо, оказался умелым официантом и поваром. С помощью Микояна он нанизывал на шампуры исходящие соком куски молодой баранины. На скатерти появилась холодная закуска, грибы и огурчики, сало и ветчина, красивые бутылки.
Ворошилов укладывал плахи, чтобы удобней было сидеть возле «стола». Я подносил хворост, распоряжался костром. Надежда Сергеевна плескалась в реке, срывая кувшинки. Иосиф Виссарионович помогал ей, не рискуя, однако, далеко заходить в быстрые струи.
Чудесно было!
Основательно проголодавшись, все поторапливали Власика: скорей, кулинар! На закуску набросились так, что холодная курятина, вкуснейшая гусиная построма и упомянутые огурчики исчезли мгновенно. У Сталина — под вино, у Микояна и Ворошилова — под коньяк, а у нас с Власиком — под водку. Надежда Сергеевна, как всегда, не пила, однако пригубливала на этот раз в знак одобрения и солидарности.

Наелись и блаженно отдыхали, лежа возле костра, любуясь пейзажем, слушая плеск бегущей волны. Иосиф Виссарионович, не спеша покуривая папиросу, предложил каждому рассказать по анекдоту. Он охотно слушал их, даже про него самого, только чтобы остроумно и без похабщины. Он говорил: анекдот характеризует прежде всего рассказчика, ведь человек запоминает и передает другим не все подряд, а то, что ему нравится. Однако в этот раз такая лакмусовая бумажка не действовала, учитывалось присутствие Надежды Сергеевны.

Первым вызвался Климент Ефремович, не любивший ждать.

— Собрались в компанию три мыши: английская, французская и наша. Выпили бутылку-другую. Английская мышь тихо, незаметно удалилась и спать улеглась. Французская подмазалась перед зеркалом и побежала к любовнику. А наша говорит: «Эх, скукота! Трахну еще пол-литра и пойду Ваське-коту морду бить!»

Микоян сказал, что этот анекдот хорош уже тем, что краток. И сам теперь постарается не длиннее.

— Бежит, понимаешь, заяц. Слышит из-за куста нежный голос: «Дорогой, зачем торопишься, я тут совсем одна...» Ну, зайчишка сразу туда. Шорох там за кустами, ахи-охи, ветки трещат. Потом, понимаешь, совсем тихо стало, — плутовато прищурился Анастас Иванович. — Выходит из-за куста красивая рыжая лиса, вытирает с морды заячий пух и радуется: «Вот как хорошо знать хотя бы один чужой язык!»

Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна засмеялись сразу, Климент Ефремович чуть спустя. А Власик, недоумевающе поглядывая на Микояна, доел шашлык, взялся за сало и вдруг фыркнул, едва не подавившись, расплылся в улыбке. Все снова расхохотались: дошло!

— У меня так коротко не получится, — сказал Сталин. Голос его звучал размягченно. — Теперь много путешественников на Кавказе, много туристов на Военно-Грузинской дороге. Показатель возросшего уровня жизни, — усмехнулся он. — Там есть мостик над пропастью. Висячий мостик, как здесь над Истрой. Узкий, качается. А под ним глубина. Без привычки глянешь — голова закружится. Один здоровый грузин приспособился робких переносить. Правой рукой несет, а левой балансирует, чтобы не упасть. И с каждого — по рублю. А потом сообразил: если сразу двоих нести, вдвое больше заработать можно. Взял одного туриста под правую руку, другого — под левую, и пошел. А мостик качается, равновесия нет, сейчас упадет. Освободил руку — турист улетел в пропасть. Грузин чуть не плачет, успокаивает себя: «Ну, хрен с ним, с этим рублем, два раза схожу!»

— Берия! — брезгливо вырвалось у Надежды Сергеевны. — Силенок у него не хватит, конечно, человека перенести, а отношение бериевское.

— Почему ты так плохо относишься к Лаврентию Павловичу? — у Сталина было благодушное настроение после хорошего застолья, но глаза сразу холодно сощурились.

— Приторный он и скользкий.

— Это твои эмоции, это не факты, — жестче произнес Иосиф Виссарионович, покосившись на Власика, у которого даже уши оттопырились от любопытства. — Товарищ Берия надежный чекист, и я ему доверяю. Он быстро погасил вражеский мятеж у мингрелов...

— Бил и виноватых, и правых.

— Ты ничего не понимаешь в этом, и не нужно тебе понимать, — ответил Иосиф Виссарионович. — Лучше сходи в реку, возле берега глубоко, зато посередине, на течении, мелко, ведь так, товарищ Ворошилов?

— Дно песчаное, ровное, — подтвердил тот.

— Спасибо, но не сейчас, — Надежда Сергеевна занялась баулами, в которых хранился наш провиант.

Это была единственная «тучка», ненадолго омрачившая тот теплый и беззаботный день. Неприятный осадок, оставшийся после стычки, быстро улетучился. Основательно отдохнув (мы с Микояном даже вздремнули в тени деревьев), участники похода взбодрили себя купанием, небольшой дозой напитков и двинулись дальше. Климент Ефремович пересел в лодку к Микояну, а я занял место в лодке у Сталиных. Сознаюсь — по собственной инициативе: мое присутствие вообще действовало на Иосифа Виссарионовича успокаивающе, а тут я еще мог отвлечь эту бойкую пару от ненужных сейчас мыслей и разговоров, рассказывая об окружающей местности, о прекрасных храмах в Дмитровском, Знаменском и Уборах, историю которых, особенно последнего, я хорошо знал.

Вскоре за местом нашего бивака Истра «уперлась» в высокую лесистую гряду, на которой стоит древнее село Дмитровское с врезающейся в самое небо стройной колокольней. Не имея сил преодолеть мощный барьер, речка под прямым углом поворачивает влево, к югу, и дальше выписывает большие и малые кривули и загогулины вплоть до самого устья. В зеленом коридоре вода бежит быстро, течение так несло наши лодки, что можно было совсем не грести. Сталин сидел на корме и шевелил веслом, направляя ковчег, куда считал нужным. При этом мы явно отставали от другой плоскодонки, хотя там рулевой работал веслом не чаще нашего.

Присмотревшись, я заметил, что Иосиф Виссарионович старается вести лодку строго по прямой линии. Выберет ориентир у следующего поворота, нацелит нос плоскодонки и неукоснительно держит курс. А между тем течение шарахалось от берега к берегу, усилившийся к вечеру ветер отжимал суденышко вправо, но Сталин не замечал или не хотел замечать этого, упрямо держался своего курса. Да еще и сердился, когда лодку вдруг стремительно несло к обрыву или разворачивало поперек реки. Путь наш не укорачивался, а удлинялся. Иосиф Виссарионович все чаще старательно налегал на весло. Микоян-то был хитрее. Удерживал свою плоскодонку в струе, и она двигалась вперед почти без борьбы, простым, естественным ходом.

Поучать Иосифа Виссарионовича я не хотел. Пусть получит физическую нагрузку, ему полезно. Да и вообще, к чему советы, морализация на отдыхе?!

Начался последний этап похода. Вот позади осталась господствующая над всей обширной долиной Дмитровская колокольня с чуть покосившимся крестом. Справа до самых Уборов тянулся ровный, как стол, огромный луг. Слева ощетинился огромными желтоствольными соснами почти вертикальный высочайший склон, скрывавший Петрово-Дальнее. А впереди уже обрисовывалось за Москвой-рекой на пологой горе село Знаменское с церковью прямо против устья Истры.

Пересекши Москва-реку, мы причалили у невысокого глинопесчаного яра, сплошь испещренного гнездами ласточек-береговушек, всполошившихся при нашем появлении. Здесь ожидал человек Власика, принявший от нас лодки. Все пошли к автомашинам, стоявшим поодаль, на

луговой дороге, а Сталину я предложил подняться на береговую кручу, поросшую разновозрастным сосновым лесом: она была за оврагом.

Усилия, потребовавшиеся на то, чтобы одолеть подъем, с лихвой окупились чудесным видом, открывшимся с высоты птичьего полета. Вокруг нас, под ногами, яркое разнотравье, особенно пахучее вечером. Теплым, медвяным, приятно-сухим был воздух: такой держится лишь над песчаной местностью, хорошо прогреваемой солнцем. За спиной — просторные поля, домики села Знаменского, густые заросли старого кладбища и — полукольцом — темнеющий лес вдали. А глянешь вперед, влево, вправо — повсюду верст на десять (а слева даже и больше!) видна зеленая долина Москва-реки, просматривается извилистая Истра. То серпом среди зарослей блестит вода, то озерком, то ровным прямым каналом. А за речками везде леса по возвышенностям, прямо-таки разлив хвойных лесов.

— Удивительная открытость! — произнес Иосиф Виссарионович, пораженный огромным простором, и я был доволен, что он понимает и разделяет мое восхищение. — Орлиное место! — сказал он. — Орлиный утес! Какое у него название?

Садившееся за Дмитровским солнце окрашивало воды двух рек в розовые и оранжевые тона. Темнели, чернели леса, а небо над головой все еще оставалось голубым, ласковым. Тихо шумели сосны вокруг. Под их аккомпанемент я рассказал Иосифу Виссарионовичу о том, что эти красивые места были облюбованы пращурами-вятичами с незапамятных времен. Многие века стоит тут, к примеру, село Знаменское, в прошлом Денисьево. Примечательно: песок здесь сплошной, никогда не бывает грязи, воздух целебный, настоянный на хвое окружающих лесов. Еще Петр Первый оценил по достоинству эти места, а Екатерине Второй они так понравились, что хотела возвести дворец на возвышенности и отдыхать на старости лет от трудов праведных в тишине, любуясь пейзажами. Даже план строений наметила. Однако не сложилось что-то у нее, так и умерла в заботах, не осуществив мечты. Осталось с той поры лишь название — Катина гора, на которой мы и стояли.

Не только в красоте окрестностей, в ощущении легкости и полета крылась для Сталина и для меня притягательная сила этой надречной возвышенности. Немало ведь на свете женских имен, хороших и разных, но почти все они для тебя лишь звук, обозначение, наименование. А вот имя Екатерина — Катя сопровождало Сталина всю жизнь: от матери, от первой жены до последней внучки. И мне это имя было близким, принесшим надежду и радость!

Так впервые побывали мы с Иосифом Виссарионовичем на горе, а затем прошли по кладбищу и по лесу, где потом доведется нам бывать много раз. И всегда — вдвоем. И похорониться я задумал на том возвышенном, открытом, песчаном кладбище. Сталин-то не вправе был выбирать себе место, а я мог… Но все это позже, а в тот вечер Микоян и Сталин преподнесли мне сюрприз, которого я никак не ожидал. Оказывается, предложенная мной поездка по Истре совпадала с желаниями того и другого, они хотели посмотреть эти края: западное Подмосковье нравилось им.

Если ехать из Москвы по Успенскому шоссе, просто невозможно не обратить внимания на краснокирпичный фигурный забор, не очень высокий, но массивный, чем-то напоминающий зубчатые стены столичного Кремля. Это слева после станции Усово, сразу за деревней Калчуга, где

шоссе круто спускается к речушке Медвенке (скорее даже — к ручью), промывшей себе глубокую долину, покрытую густым лесом, непролетной соловьиной чащобой. Местность здесь имеет что-то общее с Кавказом. И замок за кирпичным забором словно бы перенесен к Медвенке со скал над Курой или Араксом. Этот дворец, хоть и пострадавший за годы революции, но в основном сохранившийся, облюбовал для себя Анастас Иванович Микоян. Немало, знать, поездил он по Подмосковью, пока нашел этот райский уголок, располагавший и к работе, и к отдыху. Родной Кавказ рядом с Москва-рекой, чего же еще желать?!

Ну, вообще-то дворцы и замки существуют как раз для того, чтобы их занимала господствующая элита, и все же мне было как-то обидно. Тут для Иосифа Виссарионовича самое подходящее место.

— Нет, — улыбнулся Сталин, выслушав меня. — Зачем нам такая роскошь? Пусть живет товарищ Микоян. А мы будем наведываться к нему в гости.

— Не ближний свет.

— Почему, Николай Алексеевич? — продолжал шутить Сталин. — Мне тут тоже понравилось одно место. На холме, среди леса. Надежда Сергеевна согласна. И Микоян неподалеку со своими винными погребами…

При мне была подробная военная карта. Развернув ее, я попросил Иосифа Виссарионовича показать, где. Он заинтересовался, отыскал место. А я взял циркуль, воткнул острую ножку в перекресток Успенского шоссе и Медвенки, провел окружность, радиусом в десять километров. Просто очертил прилегающую к дачам и довольно известную мне территорию, совершенно не предполагая, что примерно определил зону, в которой долгое время, не только при жизни Сталина, но и потом, будут вынашиваться и приниматься важнейшие партийные, государственные, научные мировые решения. Выдающиеся деятели различного толка будут трудиться и отдыхать на этом ограниченном пространстве между Ромашково и Николиной горой, между Одинцовым и Дмитровским. Список велик и продолжаем: Сталин и Горький, Микоян и Молотов, Хрущев и Фадеев, Буденный и Брежнев, великие академики и актеры.

И основной круг собственной судьбы очертил я тогда…

А добавить надобно еще вот что. За долгие годы работы в Москве Иосиф Виссарионович имел несколько дач возле столицы. Главная из них, так называемая «Блины», находилась в Кунцеве, на ней Сталин проводил много времени, особенно зимой. В жаркие летние дни любил иногда прогуливаться по обширному парку в имении Липки, что по дороге на Дмитров, однако ночевал там очень редко: по пальцам пересчитать.

Постепенно особую роль в жизни Сталина приобрела западная дача. Там он отдыхал со своими родными, возле нее встречался со мной, бывал у Микояна. С предвоенных лет и чем дальше, тем чаще совершали мы там лесные прогулки. Он отрывался от многочисленных дел и забот, от тех людей, с которыми вынужден был постоянно общаться и которые надоедали ему. Там он, хоть изредка, виделся со своими детьми, затем с внуками. Там, ближе к реке, со временем обзавелся дачей его сын Василий.

Да, многое произойдет в случайно очерченном мною круге. Между собой тот западный дом Сталина называли мы — Иосиф Виссарионович, Микоян, я и Власик — только нам понятным кодом «ДД» — Дальняя дача.

Чем крупней, величественней историческое событие, тем больше пищи дает оно для размышлений, сопоставлений, предположений, попыток объективного анализа, установления закономерностей. После каждого великого свершения неизбежен взрыв теоретических исследований. А ведь у нас позади остались три революции, мировая и гражданская войны. Естественным было стремление мыслящих людей поделиться пережитым, подвести итоги, хотя бы примерно обвеховать дорогу в будущее. Руководителю партии Сталину сам бог, как говорится, велел заниматься всем этим, задавать тон теоретическим изысканиям. И он вполне преуспел на таком поприще. Мне, например, его работы на многое открыли глаза. Прежде всего «Об основах ленинизма», «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов». Думаю, что и другим людям, подобно мне, как раз и не хватало знания основ марксистско-ленинской теории, понимания тактики большевиков.

Признаюсь: классические работы Маркса и Энгельса мне трудновато было осваивать. Не та подготовка, не та психика. Странной казалась методология, встречались непонятные термины, незнакомые фамилии, ссылки на труды, о которых я не имел ни малейшего представления. В подробностях, в дискуссиях тонули главные мысли, их надобно было выуживать. А Иосиф Виссарионович просто и четко, с убедительной логикой излагал суть марксистских теорий. Благодаря ему миллионные массы людей разных слоев общества, и я в том числе, приобщились к марксистско-ленинскому учению.

В конце двадцатых годов все руководители, большие и малые, очень стремились выступать, произносить громкие и длинные речи, болтунов развелось чрезмерно. Слова-то легче произносить, чем в конкретных делах разбираться. Ну, Сталин просто обязан был выступать, направлять — это неотъемлемая часть его работы. Еще понимал я роль Михаила Ивановича Калинина, который разъезжал по стране, забираясь в самые отдаленные волости, и на местах растолковывал людям политику Советской власти. А вот всякие спорщики, разжигатели дискуссий, правые и левые уклонисты, бухаринцы и зиновьевцы просто раздражали меня необязательностью их настырной болтовни. Есть же линия партии, выработанная на съезде, ну и держись ее. А они выдвигали какие-то требования, идейки, поправки: тявкали (извините за грубость), чтобы привлечь к себе внимание, в пылу дебатов забывая об элементарных приличиях. Ворошилов назвал Бухарина хвостом Троцкого. В свою очередь, и Бухарин не остался в долгу, пустил с трибуны дурно пахнущую частушку:

Клим, идея не нова, Мыслишь ты неправильно: Лучше быть хвостом у Льва, Чем задницей у Сталина.

Фи!

Сами дискуссионеры вряд ли считали, что их идеи многого стоят. Это лишь способ не затеряться в толпе, проявить себя, удержаться на поверхности политической жизни, у власти, возле сладкого государственного пирога. Громкими фразами маскировали борьбу за личные интересы, за собственное благополучие: для меня это было хуже, чем откровенное мещанство, обывательское приспособленчество.

Увлечения теоретизированием не избежали в ту пору и военные. Но тут все было чище и к пользе дела. Необходимость требовала подвести итоги сражений, которые гремели в Европе, особенно у нас в стране, с четырнадцатого до двадцать второго года. Значительно изменилась

структура армий, их вооружение, тактика и даже стратегия. Первым сделал попытку обобщить недавнее прошлое Алексей Алексеевич Брусилов — о его книге мы уже говорили.

Интересную работу о разгроме Деникина подготовил Александр Ильич Егоров. Но это — о минувшем. Я тщательно следил за военной прессой и радовался тому, что наши товарищи пытаются осмыслить настоящее и заглянуть в будущее. Чего, кстати, почти не наблюдалось в зарубежных странах. Там военная литература шла по двум руслам. Генералы, победившие германцев, зарабатывали своими мемуарами славу и деньги. Побежденные оправдывались, пытаясь переложить вину на чужие плечи. А я, между тем, с гордостью за наших военных приносил Сталину новые статьи и книги, советуя, на какие страницы, на какие мысли обратить особое внимание. Проблемы подготовки к будущим войнам обстоятельно анализировал мой давний знакомый Борис Михайлович Шапошников, отдельные вопросы с большой смелостью и знанием дела углубляли Михаил Николаевич Тухачевский, Владимир Кириакович Триандафиллов, Константин Брониславович Калиновский. Причем труды двух последних («Характер операций современных армий» и «Танки в обороне») имели особое практическое значение. И вообще, не следовало бы забывать этих людей, рано ушедших из жизни, но успевших много сделать для наших Вооруженных Сил.

В двадцатых годах еще не принято было расхваливать товарищей по партии, своих начальников, руководителей, говорить об их мудрости и гениальности, всенародно, с трибуны, признаваться в любви к ним. Тогда в это не верили, осмеяли бы за подхалимаж. Гораздо чаще и суровей звучала критика. Вообще это правильно, это нужно для сохранения здоровой атмосферы в обществе. Но человек есть человек, у каждого свои слабости, свои сомнения, каждому приятно одобрение, хорошее слово. И как ни странно, в моральной поддержке особенно нуждался Иосиф Виссарионович, казавшийся многим гранитным монолитом, воплощением спокойствия.

Ведя страну по совершенно неизведанному пути, Иосиф Виссарионович обрек себя на тяжелейшую ношу, искал дорогу, отбивался от неприятелей справа и слева, ощущая злобное дыхание затаившихся ниспровергателей, ненависть мощного капиталистического мира. Попробуй устоять, не качнуться, не сломаться под таким грузом. Только огромная сила воли, данная от природы, да искренняя вера, что трудится не для себя, на благо миллионов людей, что он в ответе за судьбу народа, может быть, даже всего человечества — только это укрепляло его! Но ведь, кроме рассудка, душа была, требовавшая поддержки, участия. Мое дружеское расположение не имело решающего влияния. Тем более что я далеко не всегда одобрял поступки Иосифа Виссарионовича.

Трудясь как одержимый, Сталин хотел, конечно, чтобы кто-то публично оценил его деятельность, похвалил бы, привлек внимание к его повседневной напряженной работе. И тут, к месту, появилась книжка Климента Ефремовича Ворошилова под необычным для того времени названием: «Сталин и Красная Армия». Написана она была казенно и скучно, однако Иосиф Виссарионович представлялся в ней как один из лучших, и даже самый лучший военный руководитель гражданской войны. Он, дескать, был главной опорой Ленина в организации обороны Советской страны. Где создавалась смертельная опасность для Красной Армии, где наступление контрреволюции и интервентов грозили самому

существованию Советской власти — туда направлялся Сталин. Где смятение, паника могли в любую минуту превратиться в беспомощность, катастрофу, — там появлялся товарищ Сталин.

В этой книжке отразился не только горячий характер Ворошилова, всегда способного перехватить через край, но сказался и полемический задор, сказалось ревностное стремление дать оплеухи всем своим врагам и главное — Троцкому. Объяснялось это еще и тем, что как раз тогда Лев Давидович взялся за свой, заранее разрекламированный сионистами труд, в котором подробно рассказывалось, как он, Троцкий, подготовил Октябрьскую революцию, затем создал Красную Армию рабочих и крестьян и как под его непосредственным руководством пролетарские войска доблестно расколошматили всех внутренних и внешних врагов.

Главным действующим лицом Октября и гражданской войны сделал Троцкий свою персону. Без него не было бы никаких побед. Ну, Ленин ему еще помог, братья-евреи способствовали, а в основном благодарить надо только его. Написана сия трехтомная эпопея живо, увлекательно, влияние ее на умы нельзя преуменьшать. Мои знакомые, проведшие много лет на западе уже после войны, утверждают: англоязычные народы Старого и Нового Света, а также испанцы и итальянцы, население Латинской Америки и Японии имеют совершенно однобокое представление о наших революционных событиях. И лишь благодаря книгам Троцкого, которые во вред нам рекламируются и распространяются за рубежом до сих пор.

Вот, действительно, парадокс: человек, совершенно не понимавший Россию, проведший всю жизнь за границей, чуждый нашим бедам и радостям, стал в глазах Запада главным знатоком и пропагандистом наших событий. В лучшем случае он мог написать исследование: «Сионизм и гражданская война в России», тут он мог выразить нечто свое, но Троцкий замахнулся на монументальное произведение, посвященное восхвалению самого себя.

Климент Ефремович, естественно, знал про опус Троцкого, в котором и Ворошилову, и Егорову, и Буденному, и Сталину отводилось неправомерно малое место. Буквально за бортом событий оставались все эти товарищи. А зная это, Климент Ефремович в полемике, может быть даже сознательно, перегнул палку, основательно перегнул, укрепляя позиции Сталина и его соратников. Иосиф Виссарионович, тогда еще не очень высоко ценивший свои военные заслуги, первый раз прочитал книжку Ворошилова и явно ощутил неловкость, усмехался над некоторыми страницами. Но не возражал, не спорил. Ему позарез нужна была такая политическая и моральная поддержка, усиливавшая его положение в партии, придававшая ему уверенность. И кому неприятна похвала, даже чрезмерная?

Потом, перелистывая книгу Ворошилова, постепенно привыкая к ней, Иосиф Виссарионович поверил, что так все и было.

Не скажу, что работа «Сталин и Красная Армия», появившаяся в 1929 году, плоха сама по себе. Разные могут быть оценки фактов, разные точки зрения, подход к событиям. Все это естественно. Плохо другое: в общем-то средняя, явно тенденциозная книжка Ворошилова стала эталоном, была вскоре превращена в ту единственную призму, через которую рассматривалась в дальнейшем не только военная деятельность Сталина, но и вся история гражданской войны. Из этой истории было вычеркнуто все, что могло разрушить ореол славы Сталина, а следовательно, Буденного и Ворошилова. Например, гибель двух дивизий (Азина и Гая)

возле станицы Мечетинской, невыполнение ленинского приказа о повороте Конной армии на Варшаву. Сократилось количество публикаций по истории гражданской войны, оставалась лишь тематика, связанная с деятельностью Иосифа Виссарионовича.

11

В сентябре выдались яркие, теплые, праздничные дни. Солнце светило щедро, но уже не утомляло жарой. Много было цветов.

Один из таких дней оказался счастливым для нашей маленькой семьи — родилась дочка.

Я очень тревожился за Катю, акушерка, следившая за состоянием моей жены, беспокоилась тоже: у нее узкий таз, и роды могли доставить нам неприятность. Однако все обошлось, умница моя управилась быстро, промучившись всего три часа. Наверно, мы чрезмерно волновались до родов, а когда появился крепкий, нормальный ребенок, напряжение сразу упало, все успокоились, внимание к роженице ослабло.

Иосиф Виссарионович поздравил одним из первых, прислал Кате большой букет, а мне — ящик коньяка. Надежда Сергеевна позвонила по телефону, предложила помощь няни, которая кормила Светлану. Занятый приятными хлопотами, строя радужные планы, я не сразу заметил, как изменилась Катя: притихла, сникла, в лихорадочно блестевших глазах появились испуг и тоска. Акушерка же и главный врач не спешили сообщать мне ужасную новость, предпринимая все, чтобы спасти Екатерину Георгиевну. (Послеродовая гангрена — раньше я даже не слышал об этом. А когда услышал, было уже поздно).

И опять, как когда-то в Новочеркасске, как на барже в Царицыне, я утратил на некоторое время ощущение реальности, перестал контролировать себя, существовал будто во сне, руководствуясь не разумом, а инстинктом. Но теперь я быстрее справился с потрясением, потому что со мной остался маленький беспомощный человечек — продолжение Кати и мое. Я нужен был дочке и не имел права поддаваться своим переживаниям и болезням.

Низко и навсегда кланяюсь Кате за то, что собственной гибелью она явила миру новую жизнь, не оставила меня одиноким в дебрях мироздания, где без дочери скитался бы я, как путник в бескрайней пустыне.

И еще я сказал себе: двум самым дорогим женщинам моя любовь не принесла счастья. Нет смысла испытывать судьбу третий раз. И необходимости такой тоже нет. Моя радость, моя надежда, мое будущее — у меня в руках!

12

Много раз упоминал я фамилию Троцкого, да и вообще, читатели неоднократно слышали, конечно, о нем, о троцкизме, но, думаю, далеко не все представляют отчетливо, что это за человек, в чем сущность его идей. Троцкизм стал каким-то выхолощенным понятием, и это, наверняка, не случайно. Есть люди, которые сознательно стараются превратить в пустой звук, приглушить то, что важно еще и по сию пору, что всплывает, проявляется постоянно, только под другими ярлыками.

Даже представители моего поколения, видевшие и слышавшие Троцкого, далеко не всегда понимали, за что он сражался, почему столь рьяно нападал на ленинскую, а потом и сталинскую линию партии. Что ему надобно? Сам рвался к высшей власти? Тем, кто интересуется внешней стороной событий, чисто политической, так сказать, стороной, советую познакомиться с первоисточниками, хотя бы с речью Сталина «Троцкизм и ленинизм», которую он произнес еще в ноябре 1924 года. Иосиф Виссарионович говорил тогда: «В данный момент, после победы Октября, в настоящих условиях НЭПа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он старается привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело превращения России нэповской в Россию социалистическую».

И еще: «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение». Обратили внимание — похоронить! — война шла не на жизнь, а на смерть. И это — между членами, руководителями одной партии, которые сами готовили революцию. Однако ставили они перед собой разные цели, ждали от нее совершенно различных результатов. И в этом источник жесточайших противоречий. Сталин хотел видеть Россию могучей, высокоразвитой, независимой. Для Троцкого выгоднее, чтобы страна осталась аграрной, с полукустарной промышленностью, тесно связанной с Западом. Но почему? И откуда взялся этот деятель, чьи интересы он пропагандировал и защищал?

У меня сохранилась справочная брошюра «Наше правительство», выпущенная московским издательством «Красная новь» через несколько лет после революции. Сведения там приводятся довольно куцые, но они все же дают некоторое представление… Про Народного комиссара по военным и морским делам, Председателя Реввоенсовета Республики написано, что он, Лев Давидович Троцкий (по-настоящему Лейба Бронштейн) родился в 1879 году (ровесник Сталина). Где осчастливил свет своим появлением — не сказано. Отец и дед его «занимались сельским хозяйством» (очень расплывчатая формулировка). Наукой овладевал Троцкий в хедере, а затем в реальном училище. С семнадцати лет якобы живет своим трудом. С того же возраста принимает участие в революционной работе. В 1898 году его арестовали, выслали в Сибирь. Вскоре бежал за границу, где и находился до 1905 года… Появилась надежда на успех восстаний — вернулся в Россию, где вскоре опять был задержан. Однако в 1907 году вновь уехал в теплые зарубежные края, там подвизался (во Франции, в Испании, в Америке) до следующей революции, до мая 1917 года.

Уточним некоторые факты. Прежде всего о том, каким образом его дед и отец «занимались сельским хозяйством». Они были крупными земельными арендаторами на юге России. Все их ближайшие родственники — типичные представители еврейской буржуазии: торговцы, ростовщики, спекулянты. Они поддерживали постоянную связь с руководителями мирового сионизма. Достоверно известно, что папаша купил имение близ Херсона. До революции отец Льва Давидовича успел сколотить почти миллионное состояние, а потом, благодаря покровительству сына, сохранил значительную часть своих богатств. В самое трудное для страны голодное время сынок устроил своего папу на теплое место, верховодить хлебными делами в столице. На этой должности сам не помрешь с голода и близких своих поддержать сможешь.

Странным представляется нам псевдоним, появившийся у Льва Давидовича при первом аресте. В одесской тюрьме был в ту пору надзиратель Троцкий. Познакомившись с ним, Лев Давидович навсегда перестал быть Бронштейном. Любопытно, чем уж так привлекла его эта фамилия, что связывало Льва Давидовича с надзирателем?

Из ссылки бежал он за границу, бросив в Сибири жену с двумя детьми — девочками. Находясь в эмиграции, материальных затруднений не испытывал. Богатая родня помогала. А вскоре женился на дочери торговца, имевшего солидный капитал. Получил высшее образование. Обзавелся сыном — тоже Львом, который, когда подрос, пошел по стопам отца. Другой сын был более далек от него.

Скрывать свои цели, врать, изворачиваться Лев Давидович был великий мастер. Безудержное многословие, беспринципность и ложь — вот свойства его натуры, и они же — его оружие в политической борьбе. Он мог произносить речи по восемь-девять часов, затапливая, изнуряя слушателей словесами. А однажды побил, вероятно, мировой рекорд: незадолго до Октября говорил с трибуны Петроградского Совета в общей сложности двадцать часов за одни сутки! Измором брал!

Известный партиец М. С. Ольшанский писал о Троцком, что тот «врет ради процесса вранья, соврет и «забудет», опять соврет и опять «забудет». Или открестится от своих слов, вывернется как-нибудь». До чего же много общего с Иудушкой Головлевым, не правда ли? Отсюда и точное, несмываемое клеймо — Иуда Троцкий.

Выросший в семье со строгими еврейскими обычаями, где русским языком не пользовались, Лев Давидович почти двадцать лет провел в чужедальних странах. Что он знал о народах России, об их боли, их нуждах и интересах? А ничего. Плевать ему было на русских и украинцев, на татар и азербайджанцев, на киргизов, чувашей, армян и всех других. Он в глобальном масштабе мыслил об угнетенных, этот политический гастролер. Намечалась удача — спешил к нам в Россию, чтобы не прозевать, захватить пост повыше. А в опасное время отсиживался в удалении, отдыхал на тучных капиталистических нивах, жирок накапливал. Еще и Ленина поучать и направлять пытался, всюду лез со своими замечаниями, показывая, что и он тоже трудится на благо пролетариата. А вот русскому Калинину или грузину Сталину некуда было бежать, никто не ждал их за границей с распростертыми объятиями. И не стремились они дезертировать с поля боя, мужественно несли тяжкий крест неравной борьбы с царизмом.

Есть разница?!

Какова же все-таки цель Льва Давидовича, ради чего вел он жестокое, затянувшееся сражение не только внутри партии, но и на международной арене? Этот вопрос я задал Иосифу Виссарионовичу, когда он предупредил о предстоящей встрече с Троцким на нашей квартире. Я должен был присутствовать при беседе. В качестве кого? «Роль секунданта вас устраивает?» — полушутя ответил Сталин. «Но меня не устраивает, что я не в курсе дела». «Это поправимо», — заверил Иосиф Виссарионович. Вот тогда я и получил с его слов некоторое представление о реальном троцкизме, о подоплеке происходящих событий.

Впрочем, к разговорам о троцкизме, о сионизме мы возвращались не один раз, я достаточно хорошо усвоил соображения Сталина по этому поводу. В двадцатых-тридцатых годах он частенько повторял четкую формулу: «Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или

хорошие люди». И не только повторял, но и руководствовался на практике: никакой предвзятости у Иосифа Виссарионовича, и об этом я уже упоминал, не было, отношение к человеку определялось не столько происхождением, сколько позицией — на чьей он стороне. Так почему же Сталина особенно ненавидят, проклинают сионисты и троцкисты, вплоть до того, что совершенно неправомерно сравнивают его с Гитлером?! Мое мнение таково: занимаясь в партии национальными делами вообще, Иосиф Виссарионович не мог не уделять внимания настойчиво, скандально выдвигаемому определенными лицами еврейскому вопросу в России. Писал об этом и до и после революции. Особенно интересна в этом отношении его классическая работа «Марксизм и национальный вопрос», от которой сионисты шарахаются, как черти от ладана, всячески стараясь «замолчать» ее. Получилось, что именно Сталин вскрыл корни сионизма и троцкизма, показал их методы борьбы, их цели. И не только теоретически насолил. Своей практической деятельностью сорвал их замыслы развалить партию, разрушить государство, обескровить армию, превратить страну в полуколонию для сионистского и американского капитала. Отсюда и ненависть. Иосиф Виссарионович рассуждал не без сарказма:

В России еврейство не приживалось долго. Климат не тот — холодно. На фруктах, на дарах природы не просуществуешь — трудиться надо всерьез. Кроме того, после долгого татаро-монгольского нашествия, сплотившего в общей борьбе народ, русичи с недоверием относились к чужеземцам. Даже при Петре Первом, когда государственные «двери» были распахнуты настежь, когда хлынули немцы и датчане, голландцы, — даже тогда евреи почти не проникали в глубь России. Разве что единично, для разведки. На Украине приторговывали, занимались ростовщичеством, осваивали Бессарабию, черноморское побережье. Там же, на юге, расселились караимы, оставшиеся после распада Хазарского каганата, существовавшего на Северном Кавказе, на волжском Прикаспии. Количество евреев заметно возросло при разделе Польши, где их было много: с территорией перешли. Это можно считать началом массового проникновения евреев в Россию. Впрочем, они не торопились, уютно чувствуя себя в Западной и Центральной Европе, обзаводясь соответствующими фамилиями, чаще — немецкими. Из поколения в поколение их становилось больше. Назревала необходимость дальнейшего расселения, продвижения на восток. На «освоение» новых земель шла в первую очередь беднейшая часть еврейской общины. Терять нечего, а вдруг — найдешь?!

Слова Иосифа Виссарионовича не вызывали с моей стороны никаких возражений. Более того, я готов был развить его мысль таким образом. После разгрома Наполеона стала наша Россия самой могучей военной державой. И не только военной. Быстро развивалась экономика. Блистательных высот достигли многие виды искусства: литература, музыка, живопись. Девятнадцатый век стал золотым веком России, когда она десятилетиями возглавляла и вела за собой цивилизованное человечество. Наша промышленность могла выпускать что угодно: от паровозов, на которых ездила вся Америка, до прекрасных тканей; от самолучших артиллерийских орудий и огромных дредноутов до сложных, тончайших приборов. У нас родился электросвет, родилось радио. Американские Соединенные Штаты были еще в ту пору слабой страной. Нажились, разбогатели они на чужом горе во время мировой войны, сверхвыгодно торгуя оружием и продовольствием. Западная Европа

одряхлела и топталась на месте, почти не пополняя своих экономических и духовных богатств. А огромная Россия, ставшая государством престижным и перспективным, манила фантастическими природными кладами. Тем более что своих предпринимателей, спекулянтов в ней явно недоставало. Да и дельцы-то были неопытны, патриархальны, без широких международных связей. Русская интеллигенция почти не участвовала в управлении государством, отдавая свои силы служению народу, распространяя грамоту, культуру, науку, помогая крестьянству освободиться от безынициативности, оставшейся от крепостного права. Ну, не благодатные ли возможности, не благодатные ли обстоятельства для тех, кто не скован никакими правилами, кто стремился лишь к одному: нажиться, устроиться повыгоднее самому и устроить своих близких?

Русское правительство воздвигало на пути миллионов евреев, пытавшихся прорваться на просторы страны, крепкий заслон, определив черту оседлости, протянувшуюся через западные районы Украины и Белоруссии. Это — граница. За ее пределами, в глубине России, разрешалось селиться лишь людям, образованным, одаренным, полезным государству. Много нареканий и проклятий раздавалось по поводу этой черты оседлости, но что в ней, собственно, было плохого? Каждый народ должен иметь какую-то основную территорию, трудясь там, жить за счет собственного производства. Сохраняются язык, обычаи, традиции. Возьмите хоть башкир, хоть хакасов, хоть чукчей — разве они против того, что имеют свой район расселения, где основные вопросы решают единородцы, где изучают в школах свой язык, издаются свои газеты и книги? Это же превосходно! Но, оказывается, не для всех. Евреи отвыкли создавать, производить такие первичные ценности, как зерно, мясо, уголь, железо. Им нужна нация, обосновавшись ВНУТРИ которой, они могут торговать, развлекать, советовать, руководить. А поселившись кучно в местечках за чертой оседлости, они оказались в трудном положении. Рядом такие же «специалисты»: ювелиры, музыканты, маклеры, спекулянты, часовщики, организаторы, в лучшем случае сапожники и портные. Народ такой, что пенок не снимешь. А кто побогаче, кто поголовастей — получили разрешение жить в России. Они там инженеры, врачи, ученые, денежки у них шевелятся…

Конечно, я упрощаю, но хочу, чтобы читатель понял особенность обстановки: несколько миллионов евреев жили у нас плохо, всеми силами и средствами старались опрокинуть заслоны, хлынуть в российские города и веси, оттеснить с выгодных мест, с управленческих постов добродушных аборигенов, не имевших навыка в беспощадной борьбе на выживание.

Иосиф Виссарионович напомнил мне одну из заповедей сионистов: «Не еврейское имущество — свободное имущество». Эта циничная заповедь, не устаревшая и теперь, развязывает иудеям руки и избавляет от угрызений совести… А ведь в России нееврейского имущества было много! И кто же его захватил?!

Сталин рассуждал таким образом. Коренное население берет из окружающего мира лишь то, что нужно, инстинктивно заботясь о будущем, о внуках и правнуках. Тут жили предки, тут будут жить и потомки. А пришельцев это не заботит. Они нынче здесь, через полвека — в другой стране. Пришельцам лишь бы взять. Вот они и раздергивают, растаскивают материальные и духовные ценности, составляющие национальное богатство страны. Торопятся, создают ажиотаж, развращают неустойчивую часть местной молодежи. Особенно проявилось

это в Германии, где велика плотность населения, а природные ресурсы ограничены. Немцы веками привыкли к кропотливому труду, к бережливости, пунктуальности, а ведь эти качества не назовешь плохими. Немец рассчитывал возможности своей семьи, своего города на несколько поколений вперед. А пришелец в стремлении взять все сегодня путал его карты. Ловкий, смекалистый, привычный к деловому риску еврей начал вытеснять медлительного и сентиментального немецкого купца, интеллигента. И юристов, и артистов, и ремесленников. Вот и росла, копилась в Германии черная ненависть, на этом и сыграл потом Гитлер, объявивший евреев врагами рода человеческого.

Это не оправдание идеологии фашизма, это лишь объяснение.

В многообразной и огромной царской России, где природных богатств хватало для всех (только трудись!), деятельность сионистов была менее ощутима. Разве что в верхах: сионисты постепенно пробирались к руководству промышленностью, имея надежную поддержку богатых зарубежных предпринимателей. А трехмиллионная еврейская масса, томившаяся за чертой оседлости, напоминала сжатую до предела пружину, готовую при первой возможности распрямиться, сломать все барьеры. «Равноправие и еще раз равноправие: остальное сделаем мы сами!» — таков был лозунг.

Сталин хорошо знал идеологию и устремления руководителей мирового сионизма, таких, как пресловутый Герцель и иже с ним. Эти руководители мечтали о том, чтобы образовать постоянную богатую страну — базу для еврейства, рассеянного по всему свету, воссоздать «землю обетованную», где господствовали бы иудеи, а трудились представители других наций. Такая «обетованная земля» стала бы центром и штабом сионистского движения, туда сходились бы тайные и явные нити управления всей мировой экономикой, оттуда оказывалось бы влияние на политику всех правительств. Необходимость подобного государства была настолько злободневной, что руководители сионизма перешли от слов к делу, подыскивая территорию. Еврейские миллиардеры семейства Ротшильдов предложили использовать английскую колонию Уганду. Герцель даже соответствующее соглашение заключил с министерством колоний Великобритании. Но что такое в конечном счете Уганда? Клочок земли под жарким африканским солнцем. Предприимчивым людям не развернуться, если их много приедет. Расовая проблема опять же: как бы не занести в будущие поколения иудеев большой процент негритянской крови.

Начинание угасло.

Взгляды сионистов все чаще обращались к России. Богатство, территория, выгодные условия — это само собой. Кроме того, там много национальностей, легче действовать среди них. И обстановка подходящая: назревает бунт, революция, идет сложный процесс, результаты его будут зависеть от энергичных людей…

Руководители сионизма никогда не проявляли себя слишком открыто, не делали широковещательных заявлений. Поменьше слов — больше денег, так убедительней, считали они. Пример — Троцкий. Проведя за границей много лет, он никогда не испытывал финансовых трудностей. За это время он побывал в кабинетах всех ведущих сионистских деятелей в Париже и Лондоне, в Мадриде и Нью-Йорке. Он мог выступать под любым знаменем, мог выкрикивать любые лозунги — сионисты не только не мешали, но тайно способствовали ему во всем, потому что главная цель его полностью

совпадала с устремлениями сионистов: создать богатое государство под их эгидой.

Сионисты радовались, что еврейская прослойка в России значительно возросла с началом мировой войны за счет беженцев из Польши, Прибалтики, Бессарабии, устремившихся в глубь страны, подальше от немцев. Фронты взломали черту оседлости, еврейские массы неуловимо и неудержимо, как ртуть, разлились по стране, концентрируясь там, где больше богатств или возможностей для карьеры. Старая власть в стране была уничтожена сверху донизу, новый аппарат управления, судебные, карательные и другие органы создавались с трудом, везде не хватало грамотных людей, желающих служить Советам. Иудею не требовалось даже проявлять особой старательности, чтобы занять перспективную должность. Он кто? Пролетарий, сын несчастного портного, которого беспощадно эксплуатировал царский режим. К тому же он представитель народности, угнетавшейся самодержавием и увидевшей солнечный свет лишь после революции. Ну, а еще он лишен предрассудков, имеет друзей на высоких постах.

За два-три года еврейские местечки обезлюдели. Оттуда вышло более половины новых руководящих кадров на всю страну и по любым отраслям, начиная от чекистов и кончая экономикой. От учителей до дипломатов. От директоров и начальников до идеологов. Еще процентов десять постов заняли латыши, немцы, венгры, и лишь в волостях и уездах заметную часть руководителей представляли местные жители.

Сталин говорил: нельзя утверждать, что сионизм полностью поддерживал Октябрьскую революцию. Тактика мирового сионизма была скорее выжидательной. Точнее: благосклонно-выжидательной. Во главе нового государства — стоит еврей Свердлов. Прекрасно! Не стало Свердлова — всей Красной Армией, всей военной силой, всеми военными делами в стране руководит Троцкий. Вторая фигура после слабого здоровьем Ленина. Сам-то Владимир Ильич понимал, разумеется, ситуацию, считал, что в борьбе с врагами надо использовать всех возможных союзников и попутчиков.

Хочу особенно выделить вот что. Исходя все из той же формулы — «Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди» (с политической, разумеется, точки зрения, — Н. Л.) — Иосиф Виссарионович проводил четкую грань между евреями, как представителями одной из национальностей, и между носителями сионизма. Он говорил так: основная масса еврейского населения в ходе революции и после нее добилась того, чего хотела: равных прав, возможности свободно работать, учиться, выбирать место и образ жизни. Они — как все. Другое дело — сионизм; сионисты — ударный захватнический отряд мирового империализма. А Троцкий и его сторонники — это агрессивные агенты сионизма. За господство над Россией троцкисты ведут с нами непримиримый бой на всех бастионах: на экономическом, на идеологическом, национальном…

Большую ошибку допускает тот, кто считает Троцкого человеком недалеким, чрезмерно упрямым, как его изображают некоторые прямолинейные авторы. Лев Давидович был безапелляционен, нетерпим, полон спеси — это верно. Вел себя с вызывающей наглостью. На заседания Политбюро ЦК (даже при Ленине, а после Ленина еще чаще) приходил с толстым томом иностранного словаря. Пока дело не касалось лично его — сидел и демонстративно занимался, выписывал на узкий лист слова.

Обсуждались важнейшие вопросы, а Троцкий лишь изредка поднимал голову, усмехался скептически, бросал ядовитую реплику и опять — за словарь. Все, дескать, что вы говорите — чепуха! Как надо поступать, знаю один я… До поры до времени Сталин терпел.

При всем том Лев Давидович обладал умом быстрым и гибким, имел разносторонние знания, когда надо было, был мягок, обходителен, осторожен. В борьбе со Сталиным он не гнушался никакими средствами. Сегодня мог вылить на Иосифа Виссарионовича ушат демагогических помоев, а завтра всенародно раскаяться, взять свои слова обратно. Не сосчитать, сколько раз он признавал себя виновным, клялся исправиться. Таков один из его тактических приемов. Россия представлялась Льву Давидовичу огромным испытательным полигоном, на котором он и его сторонники могут делать что угодно, учинять любые, хоть марксистские, хоть сионистские социальные эксперименты. Какой он видел нашу страну, каким представлял наш народ? Обратимся к его произведениям. Вот характерные цитаты.

«Она, в сущности, нищенски бедна — эта старая Русь… Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой, беспощадно деградировано…» Ну, каково, а? И еще: «Жизнь… протекала вне всякой истории: она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи…»

Одним махом зачеркивал Троцкий всю историю, всю культуру, все могущество древних славянских народов, распростерших свои крылья от Балтики до Тихого океана, обогативших мир несравненной музыкой, величайшей литературой…

А управлять этими народами, этими «темными массами» надо вот как: «Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой мобилизованной рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям… Рабочая масса должна быть перебрасываема, назначаема, командируема точно так же, как солдаты».

Вот и весь сказ! А ведь это даже не аракчеевщина, а гораздо хуже — это элементарное рабство. Таким представлялся Троцкому результат революции, таким, в самом сжатом виде, было его кредо.

Конечно, Лев Давидович не считал, что сионисты должны занять все руководящие посты в социалистическом государстве. Невозможно это в многонациональной России, тем более что к иудеям здесь привыкли относиться как к коварным обманщикам, предки которых выдали на муки, на растерзание Иисуса Христа. Нет, наряду с евреями Лев Давидович выдвигал и поддерживал представителей русской интеллигенции. Расчет был прост. Огромная страна потребует миллионов шесть руководителей для государства, промышленности, армии; деятелей науки и культуры. Самое большое — миллионов девять или десять элиты. При этом два-три миллиона евреев будут занимать ключевые посты и, связанные круговой порукой, явятся решающей и незыблемой силой. Весь прочий народ, получив элементарные блага и свободы, заинтересованность в производстве, останется той массой, которая будет создавать богатства и ценности, необходимые для страны, для обеспечения элиты. Отсюда и различные средства, возможности для укрепления мирового сионистского движения. Вполне вероятно, что Россия превратится и ту «землю обетованную», о которой многие века мечтали евреи в диаспоре.

Вот документ, который Лев Давидович привез с собой из Испании и содержанием которого постоянно руководствовался в повседневной практике:

ПИСЬМО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ЕВРЕЕВ К ИСПАНСКИМ

Дорогие братья в Моисеевом законе. Мы получили ваше письмо, в котором вы извещаете нас о муках и горе, которые вы переносите и которые нас заставляют так же страдать, как и вас. Мнение великих сатрапов и раввинов таково. Относительно того, что вы говорите, что король Испании заставляет вас делаться крестьянами, сделайтесь таковыми, ибо вы не можете иначе поступить. Относительно того, что вы говорите, что вас заставляют покинуть ваше имущество, сделайте ваших сыновей купцами, чтобы у них (испанцев) мало-помалу отнять их имущество. Относительно того, что вы говорите, что у вас отнимают вашу жизнь, сделайте ваших сыновей врачами, аптекарями, вы отнимете у них их жизни. Относительно того, что вы говорите, что они разрушают ваши синагоги, сделайте ваших детей священниками, теологами, и вы разрушите их церкви. Относительно того, что они причиняют вам другие мучения, старайтесь, чтобы ваши сыновья были адвокатами, прокурорами, нотариусами и советниками, постоянно занимались государственными делами для того, чтобы, унижая их, вы захватили эту страну, и вы сумеете отомстить за себя. И не нарушайте совета, который мы вам даем, чтобы вы путем опыта увидели, как вы из презираемых станете такими, с которыми считаются.

Хосе Мария Сберби. «Всеобщий сборник испанских выражений», т. 10. Мадрид — 1878 г.

Понимая, что со Сталиным шутки плохи, что почва все более ускользает из-под ног, Троцкий одну за другой выдвигал идеи, на первый взгляд интересные, вроде бы даже полезные, но в конечном счете сводившиеся к одному: к усилению влияния сионизма. Вот, казалось бы, чисто теоретический вопрос: Лев Давидович принялся утверждать, что социалистическая революция в одной стране, в том числе в России, победить не может. Власть, дескать, взяли, но если не победит революция во всей Европе, то и у нас социализм не устоит перед консерватизмом, пролетариат просто доведет до конца буржуазную революцию, и только. А кто не верит в это, болен национальной ограниченностью.

Вот как закручено. А суть-то простая. Революция у нас не разобщила, не разъединила коренные народы. И чем дальше, тем больше выдвигались на руководящие посты национальные кадры. А сторонников Троцкого становилось меньше. Следовательно, в России главной сионистской задачи не решить. А если победит революция во всей Европе (надо помочь в этом), то для общего руководства обязательно потребуется определенная организация, состоящая из самых активных интернационалистов. В каждом из государств есть евреи, они прежде всего сомкнутся в руководящую силу. Короче говоря — в России установить сионистское господство трудно хотя бы потому, что в республиках маловато евреев. А в каждом европейском государстве они имеются. Поэтому всеми средствами надо сближать Россию с Западной Европой.

Вместе со своими сторонниками подготовил Троцкий потрясающий по цинизму проект декрета «О самой угнетенной нации». Утверждая, что евреи везде и всюду, особенно в России, подвергались самому тяжкому гнету, преследованиям и унижениям, авторы проекта требовали теперь

для еврейского населения особых льгот и прав: при получении жилой площади, при поступлении в учебные заведения, при выдвижении на руководящие посты и т. п. И многое было достигнуто ими за счет такой вот ошеломляющей наглости, вопреки установленному в стране полному равноправию всех народов.

С русским человеком, которого можно обвинить в великодержавном шовинизме, упрекнуть в принадлежности к «господствующей» нации, Троцкому и его сторонникам сражаться было бы проще, чем со Сталиным. Ведь Иосифу Виссарионовичу великодержавный шовинизм не припишешь, он — грузин. И ярлык националиста не навесишь, он не Грузией руководит, не за интересы этой республики воюет, он за всех.

Сталин находился у власти и думал не о себе, а об интересах партии и государства, не отделяя себя от них, не ища каких-то корыстных целей. Он стремился к тому, чтобы страна была богатой и сильной. Троцкий же рвался к рулю ради себя и ради идеи, чуждой и даже враждебной нашему государству. Иосиф Виссарионович имел сильную опору внутри страны. Троцкий — за рубежом. В России количество сторонников Льва Давидовича во второй половине двадцатых годов заметно уменьшилось, но вели они себя шумливо и нагло, будто в преддверии решающего сражения. Грозились в скором времени взять реванш…

Особенно распоясались сионисты на Правобережной Украине, ближе к польской границе, чувствуя поддержку из-за кордона. Многочисленные подпольные организации сионистов действовали там почти открыто. Молодые евреи разгуливали с желтыми могендовидами — шестиугольными звездами на груди. Это — отличительный знак принадлежности к высшей всемирной нации (так что не гитлеровцы придумали выделять евреев среди других людей, приказывая носить желтые звезды, пальма первенства принадлежит самим сионистам).

В Каменец-Подольске и ряде других городов бушевали митинги и еврейские демонстрации, раздавались с трибун выпады против Сталина и вообще против Советской власти, зато в избытке были портреты Троцкого. Звучали призывы установить связь с Вейцманом, Бен-Гурионом и остальными сионистскими лидерами, координировать с ними действия.

Молодчики с шестиконечными звездами не то что предлагали, а безапелляционно требовали создать для евреев особую автономную республику со своим правительством и даже указывали территорию: от Одессы до Гомеля с центром в Виннице (или хотя бы от Винницы до Черного моря). Украинцев при этом не спрашивали, согласны ли они. В общем, это была та же идея Троцкого о воссоздании «земли обетованной», только начинаемая с малого. Освоить эту территорию, потом расширить ее границы.

Даже угрозы звучали: не будет своей республики у теплого моря, молодые евреи уедут в Палестину, на древнюю прародину, чтобы организовать там иудейское государство. (Действительно, уехали многие, когда на Украине ничего не вышло, а Троцкий вынужден был покинуть нашу страну).

В массе своей евреи не очень-то стремились к собственной государственности, понимая отрицательные для себя последствия. Придерживались старого сионистского тезиса: для евреев государство — весь мир, граница пролегает там, где есть хоть один иудей.

И все же обстановка сложилась такая, что я не мог не обратиться к Иосифу Виссарионовичу. Пришел к нему с картой, положил на стол.

— Взгляните, где проходили наши рубежи в четырнадцатом году. Далеко на западе. Здесь — со Швецией. Здесь — с Германией, аж за Варшавой. Здесь — Австро-Венгрия. За горами, за долами. На далеких землях воевали. А теперь? Белофинны в одном переходе от Ленинграда. Возле Минска — белополяки, от станции Негорелое до столицы Белоруссии им, по сути дела, тоже один бросок. И прямой путь на Смоленск, на Москву. Почти к допетровским пределам ужаты мы.

— Все это нам известно, — сказал Сталин. — В чем дело, Николай Алексеевич?

— В том, что в случае войны трудно нам будет на этих направлениях. В относительной безопасности только южный фланг, расстояние от границы до Киева дает возможность иметь крепкую оборону, позволяет осуществлять маневрирование. Но если там возникнет сионистская республика, эта территория будет для нас потеряна. Сионисты мгновенно найдут общий язык с капиталистами, мы и глазом не успеем моргнуть, как вражеские войска окажутся на подступах к Киеву. Как мы будем тогда строить свою стратегию? Как будем защищаться?

— Дорогой Николай Алексеевич, часто ли, с вашей точки зрения, я поступаю несообразно, а проще говоря, делаю глупости?

— Случается, что перестаю понимать вас.

— А вы постарайтесь понять. Чтобы остановить натиск сионистов, нам приходится вести гибкую политику, используя всю политическую палитру, от обещаний до самых крутых мер. Из этого исходите. А насчет границ можете не беспокоиться. Спасибо за напоминание. Мы сделаем все, чтобы противник не продвинулся к нам ни на один шаг. Более того, мы постараемся отодвинуть рубежи на максимальную дистанцию, как было прежде.

— Дай-то бог! Но когда это будет?

— Наберитесь терпения, Николай Алексеевич. Я вам обещаю это. А я не уважаю людей, которые не выполняют своих обещаний, — с улыбкой заключил Иосиф Виссарионович.

Слова Сталина несколько успокоили меня, однако за развитием событий я продолжал следить внимательно. Белополяки исподволь подтягивали к нашей границе отмобилизованные дивизии. Они находились в полной готовности и могли в любой момент начать боевые действия. А повод всегда найдется. Спровоцировать конфликт могли те же украинские сионисты. И особенно, конечно, Троцкий. Я при каждой возможности напоминал Сталину об этом.

— Да, двум медведям не ужиться в одной берлоге, — посетовал Иосиф Виссарионович.

— На медведей вы оба не очень похожи, — не без иронии ответил я. — Медведи решают спор раз и окончательно. Рев, драка, кровь, шерсть летит — до победы или до бегства одного из них.

— Хотите сказать, что мы смахиваем на шакалов, которые никак не могут поделить кость?

— Ради бога, Иосиф Виссарионович, неужели я так дурно воспитан? Не только друзья меня выбирают, но и я выбираю себе достойных друзей. А если вам необходим пример из жизни животных, то, скорее, собака и шкодливая кошка: ненавидят, но живут в одном доме.

— Вы правы, этому надо положить конец, — кивнул Сталин, — хотя бы один из нас должен быть медведем.

— Троцкий совершенно не подходит для такого амплуа. Хитер и вертляв.

— Наши мнения совпадают, — усмехнулся Иосиф Виссарионович.

На следующий день состоялась их последняя встреча, не отмеченная в анналах истории, но имевшая существенное значение для дальнейшего хода событий. Лев Давидович, не зная, куда его привезли, настороженно и удивленно рассматривал скромное убранство нашей квартиры. Выглядел он после неофициальной ссылки в Алма-Ату очень неважно, жизнь крепко побила его. Какой-то нахохлившийся, помятый. Веки припухшие. Меж бледных щек — вислый банан носа. Глаза скрыты стеклами пенсне. Бородка совсем жидкая: даже не бородка, а воинственно и нелепо торчащий клок волос. Шевелюра же по-прежнему густая, седеющая. Сняв хромовую куртку и кожаную фуражку, он потирал руки и слегка покусывал губы, нервничая.

Находясь на трибуне, произнося горячие речи, сам распаляясь от них, Лев Давидович производил, особенно издали, некоторое впечатление, а вблизи, рядом со спокойным, основательным Сталиным — смотреть не на что. Особенно теперь. Издерганный, взвинченный. Как же он при всем том управляется, извиняюсь, с несколькими любовницами? Что им нравится в нем?! Его известность, положение, возможности, деньги?

О любовных приключениях Льва Давидовича ходили анекдоты и легенды, веселившие публику. Он не считался ни с чьим мнением, но от этого мнения не переставали существовать, работая отнюдь не в его пользу. Троцкий предпочитал блудить с еврейскими женщинами вольного поведения, не ведавшими нравственных ограничений. Не случайно, значит, попадались ему особы крикливые, ухватистые. Переспав с ним ночь, почти каждая во всеуслышанье объявляла себя женой «самого Троцкого». Эти многочисленные «жены» добивались привилегий, писали заявления, скандалили в учреждениях, осаждали резиденцию Льва Давидовича. Даже коменданту Кремля приходилось урезонивать их. Мерзопакостно все это было.

Как и положено хозяину, Иосиф Виссарионович, принимая гостя в своем доме, был учтив, вежлив, однако не называл Троцкого ни по фамилии, ни даже «товарищем». «Вы» — и все. Пригласил к столу Льва Давидовича и сопровождавшего его мужчину, скорее даже парня лет двадцати пяти, типичного русича: светловолосого, голубоглазого, с простодушной улыбкой на курносом лице. Этакий вроде бы увалень из вологодских или архангельских лесов, но, чувствовалось, смекалистый и себе на уме. Он тогда очень понравился мне, и жалею, что не довелось повстречать больше.

С этим своим то ли секретарем, то ли телохранителем Лев Давидович разместился по одну сторону стола, мы с Иосифом Виссарионовичем — по другую. Сталин наполнил бокалы мускатом, предложил тост за обоюдополезное взаимопонимание. Троцкий лишь пригубил. Все остальные выпили. Парень — с явным удовольствием, и принялся закусывать фруктами.

Постараюсь уточнить, когда произошла встреча. Значит, в январе 1928 года Троцкий, снятый со всех должностей за борьбу против партии и народа, был выслан в Алма-Ату. По политической 58-й статье, сроком на три года. Вообще-то ссылку можно считать условной: Лев Давидович отправился в Казахстан с семьей, захватив охотничье ружье, боеприпасы и даже охотничью собаку по кличке Форд. Троцкому было назначено

ежемесячное пособие в 50 рублей. В городе Верном, то есть в Алма-Ате, он получил благоустроенную квартиру из двух комнат и кухни. Имел свободу передвижения. Дачей обзавелся в большом яблоневом саду на территории пригородного совхоза ГПУ, который снабжал семью Троцкого свежими продуктами, от мяса до овощей. Не так уж плохо для политического ссыльного!

Ровно через год Лев Давидович снова появился в Москве. Тогда и пригласил его к себе Сталин, основательно подготовившись для беседы. Начал разговор с тех условий, какие были созданы Троцкому:

— У вас имелись все возможности отдохнуть, поправить здоровье. Мы надеялись, что вы отступите от дел и забот, проведете время с пользой для организма, избавитесь хотя бы от хронических поносов и обмороков, — не без насмешки сказал Сталин. — Избавились?

— Просил бы не вмешиваться в мои личные заботы, — загорячился Троцкий.

— На политической деятельности отражается все, в том числе физическое состояние. А вы пренебрегли возможностью. Не использовали… Вы продолжали расходовать силы на борьбу с партией, продолжали вести свою линию на раскол.

— Я не отказывался от своих позиций.

— Позиция — это одно. А стремление к власти, ожесточенные нападки — совсем другое.

— Какие нападки, если я был связан по рукам и ногам?

— Неужели? — скептически произнес Иосиф Виссарионович, извлекая из папки какую-то бумагу. — Вот тут цифры вашего бюджета, доходы и расходы семьи Троцкого в Алма-Ате. Вы получали по 300 рублей из Госиздата, вам посылали деньги родственники и ваши сторонники, отрывая от себя… Но это действительно ваше дело, — предупредил Сталин возражения Льва Давидовича. — Нас интересует, не сколько вы получали, а сколько и на что тратили. За девять месяцев, с марта по ноябрь, ваша семья израсходовала на питание 1026 рублей. За аренду дачи уплачено 253 рубля. Это не очень большие суммы. А вот за восемь месяцев для поездок на охоту, за использование лошадей на охоте вы заплатили якобы 2504 рубля. Местные товарищи из ГПУ обратили внимание на такое несообразие. И еще на то, что в отчете не указаны почтовые расходы. Какие они? Ведь с апреля по октябрь, то есть за семь месяцев, вами отправлено было более 800 писем и около 500 телеграмм. Больших телеграмм.

Троцкий, нервничая, покусывал нижнюю губу:

— Это допрос?

— Зачем допрос. Вы знаете, что допрашивают в другом месте. Я привожу цифры, которые заставляют задуматься.

— Меня не лишали права на переписку.

— Переписка переписке рознь. Находясь в щадящих условиях, вы использовали наш гуманизм, наше терпение в корыстных целях. Продолжали руководить своими сторонниками, продолжали сколачивать, объединять и идейно вооружать их, продолжали науськивать… В этой папке копии ваших директивных посланий московскому подполью, которые были отправлены через Бегина. Здесь инструкции в Барнаул Сосновскому по распределению обязанностей и по созданию секретной системы связи между вашими сторонниками в Сибири. Обращение к

Мандельштаму. Письмо в Чердынь — Грюнштейну. В Самарканд — для Ашкенази… Нужно зачитать?

— Я не забываю написанного, — дернулся Троцкий.

— Тогда зачитаю то, о чем вы можете и не предполагать. — Сталин взял лист из другой папки. — Машинистка Вержбицкая, работавшая у вас в Алма-Ате, жалуется, что вы буквально подорвали ее здоровье чрезмерным трудом. Темп вашей бурной деятельности возрастал с невероятной скоростью, — иронизировал Иосиф Виссарионович. — Ваш стенограф не успевал записывать ваши мысли, ваша машинистка не успевала перепечатывать ваши бумаги за весь день, вы оставляли Вержбицкую по ночам… Вот ее слова: «Троцкий сейчас готовит авторский труд по подготовке новой революции. Дела нынешнего строя из рук вон плохи. По мнению Троцкого, правительство из крестьян создает мелкую буржуазию вместо того, чтобы крестьян обратить в пролетариев…» Это — интересное соображение, — прокомментировал Сталин и продолжил чтение: — «Троцкий хочет произвести переворот и посадить в кресла своих соплеменников-евреев. Вот и будет царство антихриста. Троцкий намерен церковь и духовенство загнать в подполье».

— Оно и так уже загнано ими! — не выдержал я.

Сталин кивнул, а Троцкий, пропустив реплику мимо ушей, произнес:

— Не несу ответственности за то, что выбили из машинистки в ГПУ.

— Вержбицкая — человек порядочный и глубоко верующий. Своими сомнениями, своим страхом перед антихристом она делилась с близкими, со священнослужителем. А когда ее слова получили известность, подтвердила их.

— Женская болтовня.

— Почему болтовня? — возразил Сталин. — Мы располагаем документами, которые свидетельствуют о результатах вашей активной деятельности в ссылке. Не далее как в октябре вы получили отчет своих единомышленников с Украины. Вот, пожалуйста: «Количество оппозиционеров — около 700 партийцев, около 600 комсомольцев. Наиболее крупные группы в Киеве, Харькове, Одессе. Всего охвачено 18 городских пунктов. Хуже всего обстоит дело в Донбассе. Там всего 2–3 группы и то не в решающих районах. По подсчетам ГПУ, на Украине имеется 600–700 оппортунистов. Как видите, информировано оно неплохо»… Ваши сторонники, кстати, тоже неплохо информированы о положении в ГПУ, — Сталин скомкал лист и бросил его на стол. — Мы выясним, каким образом сведения утекают из ГПУ, и наведем там порядок… Я еще не утомил вас? Продолжать или не нужно?

Троцкий пристально посмотрел на него, голос прозвучал устало:

— Чего вы хотите? Если перемирия, то на какой платформе?

— Вы мешаете партии достичь поставленных целей.

— Конечная цель — ничто, движение — все, — автоматически повторил Лев Давидович свой постулат. — За каждым перевалом — новый перевал, за каждым достижением — новое достижение. Иначе застой…

— Эти слова мы слышали много раз; — поморщился Сталин. — Если так рассуждать, можно утратить всякую перспективу и сидеть, сложа руки. А мы не сложим. Мы укажем народу ясную дорогу, по которой он должен идти.

— Именно вы? — усмехнулся Троцкий.

— Да, именно мы, последовательные ленинцы. — Голос Сталина звучал жестко. — И мы больше не намерены терпеть тех, кто ставит палки в колеса.

У Троцкого дернулись плечи, он хотел возразить, но промолчал, лишь сильнее прикусил нижнюю губу. А Сталин продолжал тихо и твердо:

— Ви-и знаете, что я не бросаю слов на ветер. Терпение наше истощилось. Окончательно истощилось, — подчеркнул он коротким, резким движением руки.

— Это угроза?

— Это предупреждение. Самое последнее предупреждение. Уезжайте к своим. Вам есть куда ехать, вас примут с распростертыми объятиями, а мы не будем чинить препятствий. Поймите раз и навсегда: идеи сионистов у нас не пройдут.

— Но не пройдет и идея грузинского господства!

— Такой идеи просто не существует, — ответил Сталин. — Мы интернационалисты в самом широком смысле, и в этом наше великое превосходство. Ибо национализм вообще, а сионизм в частности — это последний бастион, на котором капиталисты постараются дать коммунистам решающий бой. И вы это прекрасно понимаете. А если не понимаете, то тем хуже для вас.

— У этой проблемы есть несколько различных граней, — начал Троцкий, но Иосиф Виссарионович перебил его.

— Дискуссия не состоится! Их было достаточно. Хватит.

Следя за их разговором, я, разумеется, был полностью на стороне Иосифа Виссарионовича, однако ощущал при этом некоторую горечь: будущее нашего Российского государства по иронии судьбы пытались решать эти двое: еврей и грузин, а мы с вологодским парнем присутствовали в качестве безгласных статистов, как фон. Вероятно, и парень почувствовал это, перестал есть, не улыбался больше, слушал сосредоточенно, поглядывая на Сталина, пожалуй, с большим уважением, чем на своего шефа.

Об этой горечи, об ощущении несправедливости я сказал Иосифу Виссарионовичу, когда мы остались одни. Он ответил не сразу. Подумал, взвешивая слова:

— Что лучше, Николай Алексеевич, алчные, искушенные в наживе типы, которые не имеют здесь никаких корней, способные хлынуть сюда со всего света и растащить, разбазарить все, что только возможно, или небольшой трудолюбивый народ, кормящий сам себя, связанный с русским народом общностью истории, общностью экономики, общей религией? Народ-брат, который никогда не враждовал со старшим братом и не ищет выгод за его счет?! Кто действительно лучше: ставленник мирового ненасытного сионизма или сознательный интернационалист, представитель небольшого дружеского народа?

— Могу сказать только одно, — ответил я, — с уважением и доверием отношусь к товарищу Сталину. К вам, Иосиф Виссарионович. Это все.

Он улыбнулся:

— Ви-и правы. Среди грузин есть и такие представители, как лидер меньшевиков Ной Жордания, строящий нам всяческие козни из Парижа… Чем он лучше сионистов? — И, помолчав, Сталин повторил:

— Вы правы, спасибо. Постараюсь доставить вам как можно меньше разочарований.

Прошло несколько месяцев после этого разговора, и Троцкий покинул Россию. 19 ноября 1929 года «Правда» опубликовала сообщение ТАСС: «Л. Д. Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением Особого Совещания при ОГПУ. Вместе с ним, по его желанию, выехала его семья». Иосиф Виссарионович был очень доволен. А я, улучив момент, поинтересовался: не задумывается ли он над тем, что Троцкий, находясь в полной безопасности за границей, может натворить изрядное количество гадостей? Не лучше ли было бы как-то ограничить его здесь, в своей стране? Оставить его в Алма-Ате.

— Нет, — ответил Сталин. — Конечно, самый хороший враг — мертвый враг. Но за спиной Троцкого стоят внушительные силы, способные причинить нам большие неприятности. — Секунду поколебавшись, объявил откровенно: — Они дали мне знать об этом без обиняков. Это было похоже на ультиматум. Но если Троцкий слишком развяжет язык, здесь остались заложники, много заложников. Борьба еще не закончена. Троцкий сам написал своим сторонникам: «Непримиримая борьба должна быть рассчитана на долгий срок». Мы готовы…

— Лев Давидович отдыхает теперь ни океанском берегу и радуется, небось, своей счастливой звезде, строит новые планы.

— Ему рано радоваться, — усмехнулся в усы Сталин. — И планы его несбыточны.

13

Для понимания наших с Иосифом Виссарионовичем взаимоотношений следует постоянно иметь в виду одно существенное обстоятельство. Кроме полного доверия и уважения друг к другу, Сталин очень ценил мою безусловную правдивость. Я не хотел, да в силу своего характера просто не мог скрывать собственные мысли, говорить не то, что думаю, отказываться от сложившегося у меня мнения под чьим-то давлением. Нет, только если переубедят вескими доводами. А поскольку мы со Сталиным многое воспринимали и расценивали по-разному, то споры, столкновения происходили у нас постоянно.

Человек твердых решений, Иосиф Виссарионович, один раз и навсегда отказавшись от своего «Плана автономизации», принесшего ему столько забот и неприятностей, последовательно и принципиально руководствовался ленинскими указаниями насчет объединения советских республик и строительства нового социалистического государства. А оно росло. В мае 1925 года в состав СССР вошли Узбекистан и Туркмения. В 1929 году — Таджикистан. Постепенно страна приближалась к своим прежним границам, хотя до полного воссоединения всех оторванных или оторвавшихся частей было еще далеко.

Вот парадокс: Сталин если в душе не распростился с идеей «автономизации», то никогда не вспоминал о ней и добросовестно выполнял заветы Владимира Ильича. А я, в спорах с Иосифом Виссарионовичем, зачастую приводил его прежние доводы. Я считал, что допущена ошибка, причем такая, которая будет сказываться долго и обойдется нам дорого. Несколько раз перечитывал оглашенное делегатам XII съезда РКП(б) письмо Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации». Некоторые доводы представлялись мне слишком категоричными и односторонними. Возможно, я не прав, но никто пока не сумел доказать мне этого. Развитие событий — тоже.

Владимир Ильич в своем письме говорил: долгие годы господства большой нации над малыми, последствия проводимой ее правящими кругами политики великодержавного шовинизма оставляют такой глубокий след, такую стену взаимного недоверия и отчуждения, устранить которые сразу, одним только провозглашением и даже соблюдением формального равенства наций, невозможно. Нужно, кроме этого, добиться, чтобы отношение большой нации к ранее угнетенным народам, ее заботливость и особая чуткость к ним, к их национальным чувствам возместили то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены правительством «великодержавной» нации.

Полно, отчего это русские, украинские, белорусские рабочие и крестьяне (я не разделяю эти народы; они неразрывны не только по своему славянскому корню, но и жили всегда одной жизнью, с одинаковым укладом, порядком, правилами), отчего эти рабочие и крестьяне, подвергшиеся такому же угнетению со стороны правительства, как и все другие народы, должны вдруг отвечать за действия этого самого, ими же свергнутого, правительства?! Совершенно новая Советская власть, откинув все прошлое, отказалась платить долги самодержавия. Так почему же русские, украинцы, белорусы должны рассчитываться по национальному векселю, к которому они, повторяю, не имели никакого отношения! Нелогично и обидно для наших народов, что выставлялись они угнетателями национальных меньшинств. А какой шовинизм, какое порабощение с их стороны могли быть? Разве где-нибудь в шинке, в кабаке один рабочий, подвыпив, назовет другого косой мордой, так ведь оба они в таком состоянии, что и не разобраться, кто из них и впрямь косой, а кто нет.

Да и вообще, был ли он, пресловутый великодержавный шовинизм по отношению к народам Российской империи? Это я не к тому говорю, что люди, мол, хорошо жили. Нет, многие жили плохо, бедно, особенно крестьяне центральных и северных губерний России: и земли неважные, и близость властей сказывалась. У русских, белорусских, украинских тружеников было не больше (а то и меньше — при крепостничестве) прав и льгот, чем у всех народов. Вот евреев, действительно, ограничили чертой оседлости, поэтому они и кричали о шовинизме. Но если и считать, что Россия была тюрьмой народов, то в первую очередь она была тюрьмой для русских, украинских, белорусских трудящихся. В таком духе я и вел разговоры со Сталиным.

— Вот вы грузин, — сказал я ему. — Согласитесь, что грузинский крестьянин или рабочий никогда не жил хуже русского крестьянина или рабочего. Трудились одинаково, бастовали в защиту одних и тех же требований. О каком притеснении, покорении, порабощении можно вести речь, если Грузия вошла в состав России не только добровольно, но и по собственной инициативе, обретя тем самым защиту от врагов, столетиями опустошавших ее, устраивавших кровавую резню. Скажите, каких прав, имевшихся у русских и украинцев, не имели грузины? Вот вы — из простой семьи, а в духовную семинарию были приняты, могли при желании достигнуть высот церковной власти.

— Думаю, что у грузин нет в этом вопросе никаких претензий, — ответил Иосиф Виссарионович.

— А у кого они есть? У армян и азербайджанцев, у которых дела обстоят точно так же? Или, к примеру, у калмыков, которые во всем уравнивались

с казаками, вели свободный образ жизни, имели скота, сколько душа пожелает?! А может быть, у финнов, сохранивших абсолютно все свои обычаи, имевших даже собственную конституцию? О народах Средней Азии вообще не может быть никакой речи, они вошли в состав нашей страны недавно, влияние России почти не чувствовалось, если кто и эксплуатировал их, так только местные богатеи. Как грелись мусульмане под теплым солнцем возле мечетей, как кормились щедрыми дарами свой южной земли, так и продолжали, только в более спокойной обстановке, защищенные русским солдатом от набегов с юга, от колонизаторской политики англичан. Узнали бы они хоть ненадолго, каков колониализм в Индии, тогда бы сравнили. А вот хлеб научили их сеять русские переселенцы, от эпидемий избавили русские врачи, первые школы открыли русские интеллигенты.

— Послушаешь вас, так вообще никакой эксплуатации не было, — словно бы подзадорил Сталин.

— Нет. Я говорю о том, что русский, украинский, белорусский народы находились в совершенно одинаковом положении с другими народами. Больше того: ряд малых народностей, особенно на северо-востоке, пользовались привилегиями и льготами, которых не имели жители центральных губерний. Якуты, например, не служили в армии, с них брался чисто номинальный налог, жили они как хотели. Так почему же теперь мы, русские, должны расплачиваться за обиды и ущемления, которые были нанесены, или якобы нанесены, правительством, в «историческом прошлом»?

— Большие нации должны быть великодушными и чуткими, чтобы иметь полное доверие и полную дружбу со стороны малых народов.

— Что же теперь, танцевать перед ними, заискивать?

— Заискивание тоже унижает, — сказал Сталин. — Надо понять: чем меньше народ, тем ревностней заботится он о своей самобытности, о независимости. И для этого, Николай Алексеевич, есть основания. Малому народу трудней сохранить себя, свою культуру, отсюда болезненное самолюбие, обостренная подозрительность.

— Да, основания в принципе имеются, — согласился я. — Но не в нашей стране. Никто не покушается на самобытность даже самого малого народа. Наоборот, советская власть дает им все возможности для развития. Даже за уши тянет тех, кто не спешит развиваться. И никто не возражал бы, коль скоро речь шла бы только об этом, об одинаковых условиях для всех наций, но почему русские, украинцы, белорусы должны чувствовать себя виноватыми перед другими народами? Почему мы должны теперь отдавать средства, чтобы поднять выше своего уровня уровень Грузии и других окраинных республик, где рабочие и крестьяне живут не хуже, а даже лучше, чем у нас?

— Потому, что интернационализм доказывается не словами, а делами, — сказал Сталин.

— Но интернационализм — не улица с односторонним движением. Все на окраины и ничего в центр! Другие народы должны благодарить русских уже за то, что мы на своих плечах вынесли всю тяжесть мировой и гражданской войны, которая почти не затронула Закавказье и практически не задела Среднюю Азию. Что-то никто не торопился помочь нам в двадцать первом — двадцать втором годах, когда на берегах Волги погибли от голода миллионы русских крестьян. Дети и женщины, дорогой Иосиф Виссарионович, не считая искалеченных на всю жизнь физически и

душевно. Или что: чем больше передохнет «великодержавных шовинистов», тем лучше?

— Успокойтесь, Николай Алексеевич, — нахмурился Сталин. — Возьмите себя в руки и не впадайте в крайность. Другие народы помогали в меру своих возможностей.

— Ну, возможности-то были, только меры оказались не слишком действенными. На Кавказе наслаждались шашлыком из баранины, в Средней Азии фрукты гнили, а в Поволжье трупы некому было хоронить. Несколько миллионов, — повторил я.

— В смерти голодающих Поволжья повинны не народы других республик, а создавшаяся обстановка и наша государственная неорганизованность, неумение собрать и доставить в срок необходимое продовольствие.

— Допустим, была из ряда вон выходящая ситуация, — согласился я, сдерживая свое раздражение. — Но вот теперь идет обычная жизнь. И что же? В каждой, даже самой малой республике, меньшей, чем российская область, есть свой центральный партийный орган, есть правительство, которое защищает перед центром экономические и политические интересы своего народа. Там кусок на общегосударственные нужды не урвешь. Только интересы русского народа некому защищать. С русскими губерниями центральное правительство что хочет, то и делает, произвольно и безнаказанно.

— Такая структура сейчас наиболее уместна, — сказал Сталин.

— Для кого? Для русского народа?

— Для всей страны.

— Ерунда и безобразие! — не сдержался я. — Почему мы должны везти всех в рай на своем горбу, изнывая от тяжести?! Самое страшное, что теперь происходит, это даже не политическое ущемление русских, а тот грабеж, который развернулся в наших губерниях и на Украине.

— Не слишком ли громкое слово «грабеж»? — прищурился Сталин.

— Другого определения не подобрать. Нам-то с вами к чему дипломатия, Иосиф Виссарионович! Можно понять, когда молодая республика гребла из центральных губерний все в годы гражданской войны. Больше негде было брать. А что дальше? Восстановление хозяйства, развитие, — и опять в ответе за все те же Россия, Украина, Белоруссия?! Выкачиваются ценности из церквей и музеев, из хозяйств и семей. Богата, очень богата была наша земля! Повсюду дворянские имения, дворцы, православные церкви, зажиточные купцы, справные мужицкие дворы, масса заводов и фабрик! Несть им числа! Со времен разгрома татаро-монголов, на протяжении пятисот (пятисот!!!) лет копилось, оседало по городам и весям страны нашей добро. От каждого урожая, от продажи скота, леса, пеньки, угля, пушнины, железа и многого прочего десятилетиями, столетиями складывалось наше национальное состояние, от рубля к рублю, превращаясь в золото и серебро, в драгоценные произведения искусства, в тучные стада, в обихоженные луга, пахоту и леса. Не грабежом, не насилием, а честным трудом крестьян и ремесленников были созданы наши богатства. Вот они-то как раз и пошли в распыл! Во всех уездах и городах реквизировали, изымали драгоценности, вплоть до серебряных ложек. И не секрет для вас, Иосиф Виссарионович, что занимались этим главным образом люди, близкие к Троцкому, его посланцы, умевшие заботиться не только о государственной казне. Если не половина, то во всяком случае значительная часть огромнейших реквизированных

богатств осела в их карманах. Сам Троцкий, кстати, присвоил себе ценнейшую коллекцию марок, принадлежавшую Николаю Второму. Сейчас начинают всплывать наши богатства в Париже и в Лондоне. Банкиры-сионисты многомиллионные состояния на них делают, и будут делать, и многое еще уплывет из нашей страны…

— И все же вы преувеличиваете, Николай Алексеевич, — сказал Сталин. — Некоторое количество картин и драгоценностей мы вынуждены в закрытом порядке отправить за границу и продавать с аукциона в Германии, Франции и Америке. Товарищ Микоян занимается этим. Нужна валюта.

— Хотя бы Третьяковскую галерею не грабили!

— Мы стараемся сохранить самое лучшее, — ответил Сталин. — Но эти аукционы дают нам треть всей валюты. Она нужна для строительства заводов и электростанций.

— Это и есть грабеж национальных ценностей! То, что уплывает сейчас, никогда не вернешь. Ради сиюминутных интересов мы обогащаем капиталистов. Потомки не простят нам этого, — продолжал я, волнуясь. — Разве можно жить за счет прошлого, за счет ценностей, накопленных многострадальным трудом все тех же русского и украинского народов?! Или грузину Джугашвили и армянину Микояну безразлично все это? — сознательно уколол я.

Сталин сдержался. Голос его звучал даже спокойней обычного:

— Продажу мы будем сводить до минимума.

— Шапку Мономаха-то, надеюсь, не продадите, не обменяете на два токарных станка?

— Нет, Николай Алексеевич, — еще более хладнокровно произнес Сталин, хотя и чувствовалось, что он кипит гневом. — Ми-и будем отрывать руки тем, кто использует ценности не для обогащения государства, а для собственных нужд.

— Слишком много рук, все не поотрываем, — горько усмехнулся я. — Да и богатства уже не у тех, кто реквизировал на местах, растеклось по родственникам, переправлены за границу. Лет через пятьдесят внуки и правнуки эмиссаров Троцкого будут покупать себе автомашины и дачи, котиковые манто и бриллиантовые ожерелья…

— Я разделяю ваше недовольство, — сказал Сталин. — Мы решительно закроем шлагбаум перед бесчестными приобретателями.

— Каким образом? Внуки, родственники найдут оправдание. Наследство от дедушки — и взятки гладки! К тому же это лишь один канал утечки богатств, есть и другие, совершенно официальные, утвержденные руководящими органами. Наши советские рубли плывут и плывут от центра на окраины.

— Что вы имеете в виду?

— А хотя бы заводы, переведенные из РСФСР и Украины в Туркмению, Таджикистан, Грузию и другие республики. Может, там заводы позарез нужны? Да там даже кадров для них нет, они наполовину простаивают, а в тех городах, откуда их вывезли, квалифицированные специалисты остались без работы, обивают пороги биржи труда. Это черт знает что!

— Это перераспределение материальных ресурсов, — сказал Сталин. — Необходимо создать равные материальные возможности.

— Не разрушайте то, что есть, что работает, приносит доход. Приспичило, так стройте на новом месте новые предприятия.

— Нет, вы, безусловно, пристрастны, Николай Алексеевич, и я ценю у вас именно это, — улыбнулся Сталин. — В своих симпатиях вы неизменны.

— Не пристрастия — истина! — горячо возразил я. — Вот моя записная книжка. Официальные данные. РСФСР считается наиболее развитой республикой, и поэтому в ее бюджет отчисляется только 64.3 процента поступлений промыслового налога. Остальные 35.7 процента переводятся в общегосударственный бюджет и используются на нужды других республик. А ведь у нас своих внутренних национальностей-то сколько? От долган на севере до осетин на юге! В бюджете же других республик налоговые отчисления остаются полностью. Но и это еще не все. Это еще цветочки! От сумм однократного обложения, которые производятся по особым случаям, в бюджете РСФСР остается лишь 54 процента. В бюджете Туркменистана, Закавказской федерации — 75 процентов. Кроме того, союзного бюджета на ирригацию, строительство железных дорог, на перевод кочевого населения к оседлости и т. д. и т. п.! Вот еще цифры, чтобы сразу отделаться от них: за два года расходы на развитие народного хозяйства увеличились в центральных районах РСФСР примерно на 50 процентов, а в Узбекистане в 2.5 раза, в Туркмении в три раза. И это все за счет центра! На кой черт нам такое равноправие и где же тут справедливость, Иосиф Виссарионович?! — закончил я свою несколько сумбурную и слишком горячую речь. А у него словно бы совсем спало напряжение.

— Это как смотреть, Николай Алексеевич. Не тот ли самый великодержавный шовинизм, с которым мы боремся, говорит сейчас в вас?! Ведь государство — это дерево, которое должно развиваться пропорционально, и ствол, и ветви.

— Если ветви слишком разрастаются, они перестают приносить плоды. Тяжелеют и обламываются.

— Мы будем следить, как садовник следит за своим садом.

— В конечном счете не страшно; пусть отломится один-другой сук… Непоправимо другое: вдруг омертвеет ствол, на котором все держится. Погибнут все ветви.

— Ми-и понимаем это, — сказал Сталин.

Нет, я не переоценивал значение наших, порой случайных, разговоров, бесед. Иосиф Виссарионович терпеливо (хотел сказать «охотно», но это не совсем верно) выслушивал мое мнение, но поступал так, как считал нужным. Заслугу свою я вижу лишь в том, что раз за разом привлекал его внимание к болевым точкам, пытался показать ему события в различных ракурсах. Однако не преуспел. Свидетельство тому — резкий упадок развития Российской Федерации по сравнению с другими республиками, что ощущалось уже перед войной и особенно заметно стало в послевоенные годы. Еле-еле справившись с разрухой, федерация наша, всем помогавшая и ни от кого не имевшая помощи, так и не смогла обеспечить своему населению того уровня жизни, который был достигнут в республиках Закавказья или Средней Азии. Когда в причерноморских городах царило полное изобилие, в Поволжье хлеб выдавался по карточкам. Где уж было подняться трем республикам: российской, украинской и белорусской, наиболее пострадавшим от войны и продолжавшим нести на себе основной груз государственных забот и расходов! О, господи! Взять хотя бы налоги на косточковые плодовые деревья. Это же смех сквозь самые горькие слезы! Копейки выжимало Министерство финансов. В Средней Азии, на Кавказе было изобилие

фруктов. В Грузии сады вообще не облагались налогами, выращивай и продавай мандарины, груши, виноград, лимоны. А в центральных областях люди платили даже не за яблони, нет: за сливы, за вишни. Вот до чего озверел министр финансов Зверев! А кому охота платить сверх меры, где взять деньги? Ну и пошли под топор почти все сады в нечерноземной и черноземной зонах России. На огородах одна бузина уцелела. И безналоговая рябина.

Видели вы крестьянские дома на Кавказе, на черноморском побережье? Это же виллы, особняки, коттеджи! А в российских деревнях даже через двадцать лет после войны можно было встретить избы, крытые соломой, с земляным полом. В райцентрах и по сию пору стоят повсюду древние покосившиеся домишки, окруженные такими же покосившимися заборами. Чтобы убедиться в этом, садитесь-ка вы, начальнички, в свои комфортабельные лимузины и прокатитесь хотя бы по районным городам и поселкам столичной области, не говоря уж о других областях.

Мой старый знакомый, хороший экономист, подсчитал: если принять средний материальный уровень жизни в Российской федерации за единицу, то на юге Украины этот уровень равен двум единицам, в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии — двум с половиной-трем единицам, а в приморских районах Грузии и Азербайджана этот уровень за счет южных фруктов, теплого моря и северных курортников достигает четырех единиц. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями.

Для сравнения приведу еще одну цифру: в 1925–1929 годах Туркмения удовлетворяла сама лишь одну десятую часть своих экономических потребностей. Девять десятых необходимого для этой республики завозилось из центральных областей. Так был заложен фундамент благосостояния.

Ничего не скажешь: щедро и с лихвой «расплатились» трудящиеся России за долги, которых никогда не делали, за политику царского правительства, к которой не имели никакого отношения, за непомерно раздутые легенды об угнетении национальных меньшинств. Лишь спустя много лет спохватились: засыхает ствол, гибнет, пропадает наше Нечерноземье!

14

После смерти моей жены Кати я на некоторое время особенно сблизился с семьей Иосифа Виссарионовича. Кормилица и няня маленькой Светланы, деревенская женщина с щедрым сердцем, уроженка рязанских краев Шура Бычкова очень помогла мне в самом начале пестовать дочку. Надежда Сергеевна постаралась, нашла степенную, образованную, а главное — заботливую воспитательницу, жившую прежде в хорошем дворянском доме, а после революции пробавлявшуюся случайными уроками музыки и французского языка. Она была довольна, что обрела тихую пристань и вскоре очень привыкла, привязалась к моей дочке. Я радовался тому, что это чувство оказалось у них взаимным.

Все тихо и мирно было в семье Сталина в ту пору; с конца двадцать шестого по двадцать восьмой год. Бегал и шалил шустрый, разбалованный Вася. Редко поднимался на второй этаж Яков, проводивший свободное время в своей келье: единоборствовал с боксерской грушей, вырабатывая упорство и силу, либо сражался за шахматной доской с сыновьями

Михаила Ивановича Калинина Сашей и Валерианом, жившими по соседству.

Новый семейный росток, любимица отца и матери, рыжеватая улыбчивая Светлана, начавшая ходить и лепетать, сблизила своих родителей, сгладила противоречия. Это был период, когда Надежда Сергеевна смогла подавить в себе метания и поиски, стремление к какой-то самостоятельности. С другой стороны, она или успешно боролась со своим чрезмерным темпераментом, или нашла возможность, удачно скрываемую, удовлетворять свои потребности, избавляясь тем самым от невроза. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, обретя крепкий тыл, заметно взбодрился, чаще шутил и вообще выглядел человеком совершенно нормальным, даже добродушным и чутким. Это, в свою очередь, отражалось на деятельности партии, государственных учреждений, на всей жизни страны. Люди повсюду начали оправляться, приходить в себя после долгих войн, переворотов, терроров, угроз, смертей, грабежей.

Ощущался какой-то стабильный порядок, какая-то законность. Торговля росла, везде появлялись продукты.

Упаси бог, я не связываю все напрямик с положением в семье Сталина. Нет, время наступило такое; затишье после шквала. Но в стране, где все нити власти сосредоточены в руках одного человека с крутым характером, физическое и психическое состояние этого человека, колебания его настроения тоже имеют существенное значение.

А между тем в семье Сталина назревал новый кризис, хотя Иосиф Виссарионович не догадывался об этом. Правда, он злился и хмурился порой, если в Москву из Ленинграда приезжал знакомый Нади, с которым она когда-то училась, дружила в ранней молодости. Иосифу Виссарионовичу неприятны были их встречи, он считал, что Надежда слишком откровенна с этим посторонним человеком и слишком уж весела с ним.

Одно время к ним на квартиру часто захаживал сосед — Серго Орджоникидзе, и Сталин вроде бы даже ревновал его. Но все это было мимолетно и полушутливо. И гром грянул не из новой тучи, а все из того же облака.

Днем Шура Бычкова ушла, как обычно, гулять с детьми, но что-то случилось у Васи: пуговица оторвалась или подтяжка, и они возвратились в неурочное время. Василий ворвался в комнату матери, няня вошла следом и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении несколько странном для обычной беседы. Разумеется, няня-кормилица промолчала бы, но Вася проявил столько удивления и любопытства, что было ясно: на его роток никакими силами не накинешь платок. И Надежда Сергеевна, со свойственной ей решительностью, дождалась поздно вечером мужа и сама начала разговор. Может, хотела представить картину в более-менее приемлемом свете. Но это — мое предположение. Знаю лишь, что объяснение было бурным. Удар оказался неожиданным для Иосифа Виссарионовича и поэтому особенно болезненным. Он, конечно, отпускал ядовитые насмешки, говорил резко и грубо, чем подлил масла в огонь.

Вспыхнула и выплеснулась у Надежды Сергеевны злость к человеку, которого перестала любить и терпела возле себя лишь ради детей. Под горячую руку наговорила она Иосифу Виссарионовичу много такого, что трудно простить, а тем более забыть. Ей, может, даже легче стало после

подобного откровения. А Сталину было очень горько, очень плохо. Но самым страдающим, самым уязвленным в этой истории оказался невезучий Яков Джугашвили. То дорогое и нежное, что было в нем, теперь выставлялось напоказ, на укор и насмешку людям грубым и черствым. И вину свою, конечно, чувствовал он перед отцом, перед Надеждой Сергеевной, перед всеми. В такой тупик загнал себя Яков своими мыслями, переживаниями и раскаянием, что выход оставался только один. Думал он, что нажатием курка принесет облегчение себе и всем, да еще и пожалеют его. Простодушный идеалист не способен был взять в толк, что Сталина, кроме личных неприятностей, беспокоила еще внешняя сторона этого дела. Если скандал получит огласку, обретут козырь в борьбе за власть политические противники. Всеми силами стараясь замять, заглушить конфликт, даже на людях хотел появиться с Надеждой Сергеевной, чтобы продемонстрировать благополучие, а Якова черт подтолкнул взяться за револьвер.

Рука у юноши тряслась, с оружием обращаться он не умел и, думаю, впал в обморочное состояние раньше, чем грянул выстрел. Метил Яков в сердце, но пуля лишь пропорола кожу. И радость, и стыд испытал он, очнувшись. Теперь был двойной позор: подумают люди, что нарочно учинил такую душещипательную мелодраму. Но стреляться во второй раз было выше его сил. Да и револьвер отобрали, а у кровати его неотлучно дежурили то родственница Сванидзе, то кто-нибудь из Енукидзе, то Зинаида Гавриловна Орджоникидзе.

Вечером Иосиф Виссарионович пригласил меня поехать с ним: тягостно ему было возвращаться домой. Я трясся рядом со Сталиным в машине, с ненавистью думая о том, сколько сил и здоровья отнимают у него многочисленные милые родственники — пропади они пропадом вместе со своей мелкотравчатой возней и бессмысленными переживаниями!

Машина остановилась. Иосиф Виссарионович вышел. Потоптавшись, шагнул к двери, ведущей на первый этаж. В комнате Якова мы появились неожиданно, без стука. Очередная дежурная — носатая, черная, в черном платке, — молча поднялась со стула и с видом оскорбленного достоинства проследовала в коридор.

Испуганный Яков, без кровинки в лице, приподнялся на кровати, заискивающе глядя на отца. Иосиф Виссарионович при посторонних никогда не говорил по-грузински, но тут случай был особый, как можно больней хотел хлестнуть сына. Бросил презрительно:

— Какой ты мужчина! Даже выстрелить не мог как следует!

Повернулся на каблуках и вышел стремительно!

После этого прискорбного случая Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна продолжали жить вместе, соблюдая внешние формы супружества, но вряд ли можно было назвать их мужем и женой. Несли, как могли, свой семейный крест. Яков вскоре уехал в Ленинград. К Василию мать и отец относились одинаково прохладно. Если что и было у них общего, так это привязанность к подраставшей Светлане.

Для Иосифа Виссарионовича столь нелепая семейная обстановка обернулась периодическими обострениями его душевной болезни. Надежде Сергеевне тоже было несладко. Металась, ища свое место под солнцем, стараясь занять себя работой, учебой. Редкие тайные встречи с мужчиной не удовлетворяли, а только пугали ее. Прогрессировало расстройство нервной системы.

В те годы сложилось правило, которого Иосиф Виссарионович неуклонно придерживался до последних своих дней: он старался сам читать письма и телеграммы с жалобами, просьбами, предложениями, поступающими в его адрес. Не в ЦК, а лично ему. Редко кто из высокопоставленных лиц делает это, ссылаясь на недостаток времени. А он не ссылался.

Сперва почта была невелика, но поток писем рос быстро, справиться с таким наплывом одному не было никакой возможности, сотрудники направляли письма в соответствующие организации, отбирая для Сталина самые важные, готовя обзор поступивших писем. Иногда он давал указания отобрать для него корреспонденцию, поступившую по тому или иному вопросу. А время от времени распоряжался: все, что поступило сегодня, — на стол. И терпеливо просматривал десятки, может быть, даже сотни писем. Это помогало ему ощущать пульс событий, понимать настроение людей. Ну и — контроль за работой сотрудников, отвечающих за почту. Не дай бог, если попадались жалобы, что на чье-то письмо не ответили или отделались отпиской.

По его поручению я вел корреспонденцию, поступавшую от военнослужащих или касавшуюся военного ведомства, военной промышленности. А порой он просил просмотреть почту за весь день.

Вот в моих руках письмо с одного из заводов, работавших на оборону. Человек, подписавшийся неразборчиво, сообщил, что у них обвинены во вредительстве и арестованы два старых опытных инженера, что обвинения — сплошная ложь и подтасовка фактов. Местные руководители прикрывают клеветой собственное головотяпство, пострадали честные люди, а предприятие скоро без инженеров останется, кто будет продукцию выпускать? Одними лозунгами оборону не укрепишь. Я дал это письмо Иосифу Виссарионовичу и, получил его напутствие, сам поехал на завод, благо он находился поблизости от Москвы. Директором оказался бывший матрос, балтийский «братишечка», во время гражданской войны «давивший контру» под Архангельском и в Сибири. Потом кто-то вспомнил, что он был торпедоносцем на эсминце, следовательно «подкован» в технике. Подучили малость на краткосрочных курсах и очутился он красным директором на большом и сложном предприятии. Чувствовал себя здесь очень неважно, так как не разбирался ни в экономике, ни в организации производства, и сам, честный человек, признавал это.

Мой мандат произвел на него внушительное впечатление. Поговорили без обиняков и сразу стала ясна картина. Вышел из строя один из трех дорогостоящих станков, купленных за границей. Золотом было плачено. Работавший на нем молодой парень, вопреки требованиям инженера, хвастая перед приятелями своей «лихостью», значительно превысил допустимое число оборотов. Инженер еще раз предупредил, что станок может не выдержать, но парень «отбрил» специалиста: «Это по вашим буржуазным нормам не выдержит, а по нашим только давай». Ну и случилось то, что должно было произойти: пока инженер разыскал начальника цеха, в станке «полетела» шестерня, еще какие-то детали.

— При чем же тут инженер? — спросил я. — Он может нести ответственность лишь за то, что не настоял на своем… Есть инструкция о работе на данном станке. Она висела на стене перед глазами рабочего.

Кроме того, этот парень прошел соответствующее обучение и сдал технический минимум.

— А если инженер по злобе сунул в станок какую-нибудь железку? — отвел взгляд директор.

— Доказано? Железки нашли?

— Как докажешь: никто ничего не видел. Но рабочий говорит — мог сунуть. Долго возле станка стоял.

— Что же ему издали, с другого конца цеха надо было парня уговаривать? Да ведь этот инженер сам станок-то отлаживал… Вы гадаете на кофейной гуще, без всяких оснований льете грязь на человека, а явный преступник, наглый невежда, вдвое превысивший число оборотов в станке, ходит по заводу, задрав нос.

— Не привлекать же его к ответственности… — вздохнул директор.

— Обязательно привлечь в назидание другим.

— Да поймите же, дорогой товарищ, инженер тот не наш, а парень всего год из деревни, активист комсомольской ячейки! Как же я с ним!

— А вы понимаете, что своими действиями дважды и трижды усугубляете ошибку?! Виновный — не наказан. Безвинный — пострадал. Звание комсомольца запятнано, ваше имя — тоже. Что теперь думают о вас? Выгораживаете, мол, своих, а беспартийных топите. Народ видит. Письма вот пишут. А станок стоит, потому что специалист, способный его наладить, упрятан за решетку.

— Хрен тут поймешь, — выругался бывший матрос. — У меня самого от этой катавасии голова кругом идет. А сверху звонят — не давай комсомольца в обиду.

Я высказал свое сочувствие директору, оказавшемуся меж двух огней.

Разобраться с другим инженером было еще проще, стоило подойти к делу объективно, без предвзятости. По его вине якобы сорвалось выполнение важного заказа, его участок не выдал своевременно одну из главных деталей. Но почему? Да потому, что не поступил металл, необходимый для изготовления этой детали, а нарушить технологию опытный специалист категорически отказался, считая, что надежность детали значительно уменьшится, будут возможны аварии.

Опять вроде бы все ясно: заказ сорван по вине снабженца, не обеспечившего доставку требуемого металла. Но снабженец-то свой, выдвиженец из низов, постоянный оратор на всех собраниях. Поговорив с ним, я убедился: человек совершенно не разбирается в производстве. Он искренне недоумевал, с чего это заартачился балда-инженер, какая муха его укусила?

Все это я доложил Иосифу Виссарионовичу, присовокупив, разумеется, свои выводы. Настоящих инженеров и техников, получивших капитальное образование, имевших опыт, у нас кот наплакал. Именно они — опора нашего производства, а не те полуграмотные скороспелки, которых мы готовим теперь в спешном порядке. Не издеваться надобно над специалистами, не унижать их, а всемерно беречь, заботиться. Любого балбеса за год можно превратить в хорошего слесаря, а инженеры выковываются десятилетиями, да и то не из всех. А уж если кто и вредители, так те, кто ломает станки, а вину сваливает на других, дискредитируя таким образом партию и комсомол.

— Всех вредителей мы будем карать без пощады. А они у нас есть, — сказал Сталин.

На том заводе, разумеется, порядок был наведен. Инженеров освободили, вернули в цеха, директора сняли, лихого работничка-парня отдали под суд. Партийным и комсомольским руководителям тоже было воздано должное. Однако это лишь частный случай и, как принято говорить, не типичный для того времени. Почта все чаще приносила письма о вредительстве и вредителях, эти слова упоминались в разговорах, мелькали на страницах печати. Порой казалось, что врагами наводнена вся страна. Может, были случаи вредительства или сопротивления скрытых врагов, то есть такие случаи наверняка даже имели место в период индустриализации и коллективизации, но от чрезмерной подозрительности во много раз больше пострадало людей случайных, допустивших самые обычные ошибки, просчеты, без которых не бывает ни одного дела. А то и ничего не допустивших, ставших козлами отпущения за чужое неумение, чужие грехи. И, может быть, не желая того, немалую роль сыграл при этом Иосиф Виссарионович, задавая тон своим стремлением обязательно найти конкретного виновника, ответчика, не понимая того, что порой повинны бывают не отдельные люди, а обстоятельства.

Сам очень добросовестный, живущий только ради дела, ради идеи, он не способен был понять тех, кто работает для личных благ, для денег, квартиры, совершенно не терпел расхлябанности, лени, равнодушия, отсутствия инициативы, считая все это чуть ли ни преступлением. Вот твой участок, вот твои обязанности: сделай все добросовестно и как можно скорее, без ссылок на трудности и объективные причины — другого подхода для него не существовало.

Иосиф Виссарионович, бесспорно, был несколько прямолинеен. Вот, предположим, новая стройка. Готов проект, назначены руководители, определено место, выделены средства, даже специалисты приглашены из-за границы. Так, дорогие товарищи, все предусмотрено? Ничего не забыли? Тогда приступайте. К такому-то сроку стройка должна быть завершена. Спросим с вас по всей строгости.

Все вроде бы правильно. А жизнь — гораздо сложней и полна неожиданностей. Руководители, хорошие организаторы, хорошие знатоки в одной отрасли — ничего не смыслят в другой, в новой. Оборудование запаздывает. Рабочие, набранные по деревням, умеют только землю копать, да тяжести таскать, в лучшем случае плотничать — их надо обучать соответствующим специальностям. А бараки дырявые, иной раз половина людей простужена, лежит на нарах, особенно, когда свирепствует грипп. Вокруг голая степь, ни дров, ни угля на зиму. С продуктами перебои. Да мало ли еще что. И буксует, замедляет темпы важная стройка. А Иосиф Виссарионович, на стройплощадках сам не бывавший, удивлен и рассержен: в чем же дело, товарищи? Вам созданы все условия, а вы не справляетесь, срываете план. Что это? Безответственность? Непонимание партийной линии? Или козни классовых врагов? Пусть органы разберутся…

Вскрывать настоящие причины трудно, скучно, особенно для молодых, энергичных людей. Да и знания нужны, чтобы вскрыть-то, дать объективный анализ, наметить пути к успеху. Гораздо проще и эффективней «разоблачить» вредительское гнездо, особенно, если там какой никакой пожаришко был или взрыв, хотя бы случайный. Сразу видны конкретные виновники. А руководителям стройки, если они не попали в

число вредителей, есть на кого свалить неудачи, прикрыть собственное головотяпство.

Для Иосифа Виссарионовича, считавшего, что классовая борьба не затихает, а обостряется, что враги разных мастей, как внутренние так и внешние, стараются сорвать все наши начинания, версия о вредительстве звучала убедительно, вполне укладывалась в схему, подтверждала его теоретические изыскания. Для местных руководителей, для неудачливых организаторов производства ссылка на вредителей стала панацеей от многих бед, удобным громоотводом. Всегда найдется какой-нибудь подозрительный кулак, нэпман, бывший поп, офицер или чиновник. Для трудящихся — понятное, убедительное, конкретное объяснение. Если плохо — вот вам вредитель. Если хорошо — да здравствуем мы!

Лазарь Моисеевич Каганович, занимавший самые высокие партийные и хозяйственные посты, любил повторять: «Каждая авария на производстве, каждая ошибка и каждое вредительство имеют свое имя, отчество и фамилию. Виновных — к самой строгой ответственности!» С этим нельзя не согласиться, но виновных-то надо было искать без предвзятости, объективно. Да ведь и преступление преступлению рознь. По глупости, но неумению вывел из строя станок, ну и получи свои пять лет. Но столько же получал и человек, нанесший стране гораздо больше ущерба, несоизмеримо больше. Известно, что вывоз сырья за рубеж не выгоден государству, разорителен для государства. Шли на это, скрепя сердце, чтобы приобрести за валюту хотя бы те же станки. Но ведь что и как продавать?! Вывоз круглого леса, например, это прямой ущерб, это явное вредительство! Изготовь из этого леса пиломатериалы — и получишь в десять раз больше. Работа — элементарная. Но ведь надо организовать, усилия приложить. А кругляк грузи и гони через границу. Такие горе-руководители, такие «дельцы», грабившие государство, заслуживают самой высшей меры наказания, расстрела с конфискацией имущества. Но они получали по пять-шесть пет, а то и вообще ничего не получали, если считались людьми своими, надежными — хотя бы в представлении того же Кагановича. Я говорил об этом Иосифу Виссарионовичу, он разделял мою точку зрения, но решительных действий не предпринимал. Для него экономика была лишь частью политической борьбы, одним из рычагов укрепления своей власти.

Еще раз повторяю, враги давали себя знать. То появлялась какая-то Промпартия, то удалось раскрыть подпольную организацию буржуазных специалистов в Шахтинском районе Донбасса. Не берусь судить, насколько сплочены и опасны были эти наши противники, во всяком случае подобные факты имели место, хотя, разумеется, не в том баснословном количестве, как о них писали и говорили. В раздувание подозрительности, в «разоблачение» всякого рода вредителей изрядную лепту внесли деятели литературы и искусства средней руки, создатели произведений того уровня, который доступен был для самой широкой массы населения, преодолевавшей сложные барьеры на пути интеллектуального развития. Писать о трудовых буднях нелегко, да и читать не велика охота. У большинства людей работа однообразна. Ну, какой-то порыв можно изобразить: трудовой штурм, борьбу со стихийным бедствием, из ряда вон выходящие случаи. Но на них одних далеко не уедешь. К тому же еще и сюжет нужен, столкновения, схватки. Интрига, кульминация, развязка. Как тут обойтись без тайных врагов, без вредителей. Конструкция элементарная. Вчерашний рабочий или

крестьянин-бедняк, прошедший фронтовую закалку, ведет за собой на трудовые подвиги народную массу. Он — носитель всего передового, хорошего, доброго. А старый техник или инженер (в деревне бывший богатей) — это ядовитая змея, затаившаяся и выжидающая момента, когда выгодней укусить. Но бдительные работники разоблачают этого паразита чуть раньше или чуть позже укуса. Таков расхожий стандарт (с вариациями) для романов и повестей, для поэм и сценариев. Только география, колорит был разным. От Амура до Днепра, от хутора до столицы. Задумывались ли эти культурно-литературные деятели, торжествуя победы над врагами, какой вред приносят они, сея рознь и настороженность, отвлекая массу людей от размышлений, от анализа, от поисков правильного пути?!

16

Программа индустриализации нашей страны, кратко и четко сформулированная Иосифом Виссарионовичем в шести пунктах, не вызывала у меня никаких сомнений. Все в ней было обдумано, верно, весомо. Действительно, существо индустриализации состоит не в простом росте промышленности вообще, а прежде всего в росте ее сердцевины — машиностроения, ибо только это обеспечит увеличение материальной базы, поставит нашу страну в независимое от капиталистов положение. Разве не так?

Коренными задачами в борьбе за индустриализацию являются: повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, борьба за трудовую дисциплину, режим экономии. Сие тоже бесспорно. Ну и так далее.

Радоваться бы надо такой программе, которая, кстати, предусматривала неуклонное улучшение материального положения трудящихся. Радоваться и работать. Но сколько же появилось скептиков. Одни говорили, что сами не осилим, все равно надо идти на поклон к западу. Другие вопрошали: а зачем это? Не лучше ли оставаться нам страной аграрной, развивая легкую промышленность для народных нужд, а не замахиваться на тяжелую индустрию, требующую напряжения всех сил?! Иосиф Виссарионович спорил, отстаивая свою точку зрения.

Гуляя в парке, я слышал, как подвыпившая компания пела частушку: Калина, калина, Шесть условий Сталина, Из них четыре Рыкова И два — Петра Великого!

Нет, это не народное творчество, а сочинение образованного, злого политика. Разве обязательно изобретать что-то новое? Это же не самоцель, это же не реклама: ах, какой я умный, преподношу сногсшибательные идеи! Иосиф Виссарионович, исходя из мирового опыта и конкретной обстановки в стране, сформулировал четкие, правильные и понятные всем задачи по развитию нашей промышленности. И в этом его заслуга.

17

Товарищ Эрнест неплохо владел русским, но говорил столь горячо, взволнованно, что путал наши снова с немецкими, безбожно калечил фразы. Иосиф Виссарионович, не понимавший половины сказанного, пригласил меня в качестве переводчика. Разговор этот происходил у нас в

квартире и не протоколировался; он был продолжением официальной беседы, состоявшейся а ЦК, причем продолжением, вероятно, более откровенным, без оглядки на присутствующих, на стенографистку.

Эрнест убеждал Иосифа Виссарионовича, что рабочий класс Западной Европы расколот надвое, расходует силы в междоусобной борьбе, и не только из-за реформистов. Сами, мол, углубляем пропасть…

— Но мы не можем и не должны замазывать наших разногласий с социал-демократами, — сказал Сталин.

— Не должны, — согласился Эрнест. — Немецкие коммунисты хорошо помнят, что еще в двадцать четвертом году вы охарактеризовали социал-демократию как умеренное крыло фашизма. Мы помним ваши слова о том, что нужна не коалиция с социал-демократами, а смертельный бой с ними, как с опорой фашистской власти. Но сейчас расколом среди рабочих Европы активно пользуются Гитлер и Муссолини, этот раскол на руку им, они напрямик ломятся вверх. Только единый, сплоченный рабочий класс может остановить их. Перед напором фашизма меркнут наши противоречия.

— Не меркнут, а становятся еще заметней, — возразил Иосиф Виссарионович. — Социал-демократия как раз и есть питательная почва фашизма. Это одна сторона. Но имеется и другая. Гитлер и Муссолини — лишь частный случай. А социал-демократия — это постоянный фактор, влияющий на рабочее движение во всем мире, расчленяющий это движение и ослабляющий нас, коммунистов. Это наш постоянный конкурент и противник. Именно поэтому мы будем вести с социал-демократией сражение до полного искоренения.

— Но это способствует укреплению фашизма!

— Гитлер и Муссолини — временные фигуры на историческом горизонте, — повторил Сталин. — Такие, как они, появляются и исчезают бесследно. А социал-демократы чем дальше, тем заметней приносят нам вред и будут приносить все больше. Они пытаются разрушить главную нашу платформу. Для победы над ними мы можем позволить себе временный блок с любыми союзниками.

— Я понимаю вас, когда смотрю на события отсюда, из Москвы. Принимаю логику ваших рассуждений. Здесь — стратегия. Но когда находишься там, где идет бой, многое выглядит иначе. Особенно у нас в Германии.

— Почему именно в Германии? — спросил Сталин.

— Мы, немцы, гораздо дисциплинированнее французов или англичан, мы привыкли точно выполнять указания, решение Коминтерна о борьбе с социал-демократами воспринято нашими коммунистами как приказ: хочешь не хочешь, а действуй. И мы выступили против своих же товарищей-рабочих, против друзей, вместе с которыми еще недавно поднимали красное знамя революции, сражались на одних баррикадах. Со своей стороны, социал-демократы обижены и оскорблены тем, что мы объявили их вольными или невольными пособниками фашизма.

— У рабочих должна быть только одна партия — Коммунистическая партия, — сказал Сталин.

— Но какой ценой! Рабочий пошел у нас против рабочего, брат против брата. Мы деремся между собой, а громилы-наци делают свое дело. Адольф Гитлер близок теперь к власти, как никогда.

— Немецким коммунистам сейчас особенно трудно, — подтвердил Сталин. — Немецкие коммунисты оказались между двух огней. Но

яростная борьба только закаляет партию. Отсеется весь мусор, останется здоровое ядро и мы еще посмеемся вместе над нашими страхами и над Гитлером, — улыбнулся Иосиф Виссарионович.
— Пока что Гитлер смеется и над нами, и над социал-демократами, — невесело ответил Эрнест. — Получается так, будто мы сами расчищаем ему дорогу.
— Это явное преувеличение.
— Во всяком случае мы не способны теперь оказать фашистам решительного сопротивления...
Немецкий товарищ столько раз и с такой горечью, с такой ненавистью повторил во время разговора новое для меня имя — Гитлер, — что оно с того дня врезалось в мою память.

18

Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Партбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно отбилась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим антирисуется, а наше дело маленькое: чтоб в избе сыто да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, серников, сахара да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью.
Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное, народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватило и людей накормить, и скот, и птицу, да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926-27 года продали за границу 153 миллиона пудов — подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня, зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны — около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому, что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства: у них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств и они работали в основном на себя, обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение.
Выход виделся только один: создавать на новой основе крупные, экономически выгодные хозяйства.
Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России. Иосиф Виссарионович едва сдерживал гнев, когда при нем говорили: давайте, дескать, развивать крепкие крестьянские дворы, уже теперь дающие значительную долю товарного хлеба. Чего их бояться, зажиточных семей-то? Они ведь не страшнее, не хуже городских предпринимателей,

торговцев, которым дали свободу действий при НЭПе и чья инициативность помогла восстановить нашу промышленность.

— Нет и нет! — решительно возражал Сталин. — В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее девять десятых всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов, но они дают пока в восемь раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха — кулак. Его надо убрать с дороги.

— А есть что будем? — этот вопрос не мог не интересовать меня.

— Мы объединим мелкие, распыленные крестьянские хозяйства в коллективы для совместной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин, тракторов, удобрений, с использованием научных приемов интенсификации земледелия. На практике покажем крестьянину преимущества коллективной работы, убедим его.

Так говорил Иосиф Виссарионович — в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах с высоких трибун, в частных беседах, и не было серьезных оснований не соглашаться с ним. Крупное хозяйство целесообразней мелкого? Безусловно! Однако действовать надо очень осторожно, без спешки. Ведь была уже в России попытка объединить крестьянские семьи, заставить крестьян работать сообща, по четкому распорядку, иметь общий скот…

— Когда? Где? — спросил Сталин.

— В первой половине прошлого века, в военных поселениях, насаждавшихся Аракчеевым, а затем Бенкендорфом. Крестьян переселяли в общие дома-связки, на работу отправляли каждый день по сигналу, трудились они по расписанию и в страду, и когда нечего было делать. Несогласных гнали в Сибирь. И пошло от этого, с позволения сказать, труда оскудение и разорение, продолжавшееся несколько десятилетий. А кончилось все бунтом, кровопролитием, возвращением к прошлому способу хозяйствования.

— У нас совершенно другие цели, совершенно другая основа, — возразил Иосиф Виссарионович. Мы заботимся прежде всего об интересах народа.

— Тут важен сам принцип, — упорствовал я, — принцип полной осознанности и заинтересованности. Вы, конечно, знаете о полководце Отечественной войны фельдмаршале Барклае де Толли?

— Слышал.

— Оный фельдмаршал, Михаил Богданович, человек насквозь военный, и тот возмущен был чрезмерной заорганизованностью крестьян, усматривал в этом один только вред. Вот его слова. — Я полистал блокнот. — Михаил Богданович писал, что успех может быть только там, где «земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ, так и для других занятий и позволенных промыслов, где повинности, на него возложенные, не превышают сил и способностей его и где, наконец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством не в ином, а в его роду, и никакое самовластие не может лишить поселянина эти прав…». Думаю, что фельдмаршал близок к истине.

— Сапожник рассуждает о выпечке пирогов, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Оставьте, пожалуйста, мне эту цитату.

Я оставил. А чего добился? Сталин поступил как раз противоположно тому, что утверждал Михаил Богданович. И еще — у Сталина сложилось почему-то превратное мнение о Барклае де Толли, и он навсегда зачислил фельдмаршала, вполне порядочного человека, в разряд «махровых реакционеров».

В ту пору мне ближе и понятней были устремления не Иосифа Виссарионовича, а главного в нашем правительстве знатока русской деревни Михаила Ивановича Калинина. Он настойчиво подчеркивал, что крестьянин должен войти в колхоз или совхоз только добровольно, без подпихивания, иначе он и работать не будет. Мужик должен сам понять, что в колхозе ему лучше — тогда дело станет надежным.

Мы с Михаилом Ивановичем несколько раз беседовали на эту тему, исходя не из теории, как Сталин и Микоян, а из практического опыта, из понимания особенностей деревенской жизни. Хочу отметить, что Калинин редко и неохотно употреблял слово «кулак», заменяя его определениями «справный хозяин», «самостоятельный крестьянин». Оно и верно. Октябрьская революция уравняла всех, богатеев и бедняков, поставив их на одну исходную линию. Все крестьяне получили одинаковые возможности, одинаковое количество земли на человека. Бывшие бедняки при этом имели даже некоторые преимущества. А вот распорядились-то крестьяне землей по-разному, и очень скоро, за несколько лет, стало ясно, кто способен к труду, а кто, неисправимый бездельник, неудачник, пропойца. Начав с одного уровня, деревня опять стремительно расслоилась на три основных категории. Тот, кто работал не щадя себя и, как говорится, живот надрывал — тот быстро окреп. Но это в основном был уже не прежний кулак, даже по своему корню. Добротным хозяйством обзавелись вчерашние бедняки и середняки. Много было и тех, кто со всей страстью сражался с белогвардейцами за землю и волю, а теперь с такой же страстью обрабатывал свой надел. Как же назвать таких людей врагами новой власти? Тем более, что сама власть еще недавно поощряла их, призывала давать как можно больше продуктов, сырья. Да и вообще, как определить ту ступень, до которой крестьянин еще не кулак, еще свой человек, а не лютый враг?! Лишней мерой зерна? Лишней коровой? Зыбкий критерий. На Кубани, к примеру, средним считалось хозяйство с парой лошадей, с двумя-тремя коровами, с упряжкой быков, с овцами. Среди скотоводов юга человек с сотней овец слыл чуть ли ни бедняком. А где-нибудь возле Вологды, в Нечерноземье, крестьянина с двумя лошадьми, с коровой и телкой записывали в кулаки. Ну, и бедняк стал, конечно, совершенно не тот. Советская власть всем дала возможность трудиться, а уж как ты эти возможности используешь, это твое дело. Всегда обнаружится изрядное количество людей безответственных, равнодушных, ленивых, привыкших существовать на авось, не думая о завтрашнем дне. Перекантуются как-нибудь на подхвате, за счет куска с богатого стола. Эти люди неисправимы и неистребимы, они были, есть и будут, и чем зажиточней общество, тем таких бездельников (в разной форме) становится больше. Уже в шестидесятых годах было подсчитано и опубликовано, что восемьдесят процентов всех дел в нашей стране осуществляют двадцать процентов работников, из них примерно половина представители умственного труда. И лишь двадцать процентов дел со скрипом «проворачивают» остальные восемьдесят процентов

трудоспособного населения. А вот потребляют и те и другие практически одинаково!

Еще одну особенность деревенской жизни обсуждали мы с Михаилом Ивановичем Калининым, а потом он и я, каждый в отдельности, говорили об этой особенности Иосифу Виссарионовичу. Сельское хозяйство, при своей внешней грубости, простоте, вроде бы даже примитивности — структура очень уязвимая, очень тонкая, чувствительная к любому вмешательству, легко ранимая. Сельское производство меньше всего поддается строгой регламентации, планированию, то есть всему тому, что так любо и приятно было Иосифу Виссарионовичу. Слишком много факторов влияют на урожай, на заготовку кормов, на продуктивность скота, причем влияют независимо от усилий руководства, от стараний и желаний крестьян. Хотя бы погода. Засуха или ливень, заморозки или град — да мало ли еще что. Но это — лишь самая заметная, самая известная сторона проблемы. Есть и другие.

Труд рабочего и служащего можно организовать, направить, учитывать для справедливой оплаты. А жизнь крестьянина сообразуется только с условиями и требованиями его хозяйствования. В страдную пору хороший мужик работает неделями без отдыха, оставляя на сон несколько часов в сутки. Пашет, сеет, косит, скирдует, стараясь не упустить драгоценное быстролетящее время. Зато зимой, когда все убрано в закрома, все припасено и рассчитано, он может хоть месяц лежать на печи или гулеванить по родным и знакомым. Или на курорт ехать при новой-то власти. Он работает не для нормы, не для плана, а для конечного результата. Только при этом возможен успех. Крестьянин сам в ответе за каждый куст картошки, за каждый пшеничный колос. Он при прополке не выдернет вместе с сорняком морковку или свеклу: а ведь присланные ему на помощь горожане, случается, ополовинивают все поле. Скотина у хозяина накормлена, напоена и подоена своевременно.

И еще. Сельский труд очень тяжел, но он еще и радостен, притягателен: в отличие от рабочего и служащего крестьянин создает, выращивает свое детище от начала и до конца, от зерна до плода. Это — процесс разнообразный, меняющийся, творческий, а творчество всегда привлекает. Попробуйте сами посадить хотя бы грядку лука, ухаживайте за ней, поливайте, проплывайте — и вы убедитесь, как приятно срывать сочные зеленые перья, какими вкусными они вам покажутся. Или вы, предположим, завели кошку, через год-другой так привязались к ней, что вроде бы и жить без нее трудно. А какова привязанность и любовь крестьянина к теленку, которого взлелеял-выходил и который становится коровушкой-кормилицей!

К сожалению, коллективный труд, при всех его положительных качествах, ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века. В колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра — другое; сегодня работает на одной пощади или машине, завтра — на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка за сегодня, не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой, холява и халтурщик, плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а холява бросил его под дождем, в грязи, несправным. Ты повозмущался раз-другой-третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. «Отбарабанил» свое время, выполнил задание «от» и «до», сунул руки в карман и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз

заплатит. У колхоза денег не хватит — государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое, и подбросит.

Я думаю: надо было принять в колхозы самых добросовестных людей, способных работать на совесть. И в три шеи гнать лодырей, горлопанов, халтурщиков. Шли бы они в город, дворниками или подсобниками. А нет — надобно было искать какие-то особые формы, при которых общественные интересы полностью сливались бы с личными. Но такой подход, поиски лучших форм требовали терпения, а Сталин не хотел больше ждать. Время шло, крестьяне в колхозы не торопились. Иосифу Виссарионовичу надоела эта волынка, неопределенность. Успешно развернувшаяся индустриализация убедила его, что давление сверху, твердое руководство и жесткий контроль способны преодолеть все преграды, подавить врагов, скептиков, маловеров. Так и с коллективизацией: надо решить раз и навсегда. Сделать еще один переворот, теперь в сельском хозяйстве. Кулаков, имеющих влияние в деревне, способных противостоять указаниям властей, немедленно нейтрализовать. Всех остальных крестьян слить в четкие сельскохозяйственные подразделения, которые поддаются управлению и контролю.

27 декабря 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о своем решении начать сплошную коллективизацию. Тон его речи, слова, которые он использовал — все свидетельствовало о том, что начинается не просто политическая или организационная кампания, а беспощадное сражение. «Срок последнего решительного боя с внутренним капитализмом уже наступил…». «Разбить кулачество в открытом бою…». «Ликвидировать как класс».

Этот резкий и неожиданный поворот по отношению к деревне вызвал недоумение и возмущение даже у некоторых соратников Иосифа Виссарионовича — из числа тех, кто еще позволял себе иметь собственное мнение. Михаил Иванович Калинин, не выступая открыто против линии Сталина, продолжал убеждать его: не нужно спешить, пороть горячку. У нас появляется все больше машин, денег, мы будем давать их колхозам, они окрепнут, станут привлекательными для крестьян. Придет момент — сами хлынут. И не следует огульно притеснять зажиточного самостоятельного мужика. Даже наоборот: разумно было бы привлекать наиболее дееспособных, хозяйственных, авторитетных крестьян на свою сторону, выдвигать их в руководство колхозами. Они лучше других могут организовать любую работу.

Дорогой Михаил Иванович в глубине души все еще оставался марксистом-идеалистом, не мог понять, что Сталин занимался не личностями, а классами. Решение принято: кулачество подлежит искоренению, а ты зажиточных мужиков намечаешь в руководство колхозами. Этак в погоне за целесообразностью грани классовой борьбы размыть можно. Нам требуются стопроцентные пролетарии, ничего не имеющие, которые получают от нас кое-что и, безусловно, пойдут за нами.

И другого не понял Михаил Иванович. Чтобы сразу поставить колхозы на ноги, требуется земля, нужна материальная база: общественные постройки, машины, скот. Где все это взять? Бедняк, середняк много в колхоз не принесет, дом свой под правление, под склад не отдаст. Значит, в каждой деревне, в каждом селе необходимо взять наиболее зажиточных крестьян, угнать их подальше, в Сибирь или на север, лес рубить, а имущество передать коллективному хозяйству, обратив в материальный

фундамент, на котором можно начать строительство социалистической деревни.

До принятия окончательного решения Сталин довольно терпеливо и внимательно выслушивал мнения товарищей, но уж если решение было обнародовано, если он заявил о чем-то с трибуны или в печати, возражать было бесполезно. И опасно. Радетеля и ходатая по крестьянским делам — Михаила Ивановича Калинина — чтобы он не мешал действовать, Иосиф Виссарионович отправил на Кавказ подлечить здоровье. Калинин не хотел, возражал, но верные нукеры Сталина, образно говоря, подхватили главу государства под руки и быстро доставили к месту назначения. Тишина в горах, чистый воздух, полная отстраненность от дел, надежная охрана — чем не отдых?!

И началась в деревне великая ломка, о которой мы все знаем, последствия которой ощущаются до сей поры. За три-четыре месяца произошло столько событий, что их хватило бы на десятилетия. Из сельскохозяйственного производства была изъята наиболее энергичная и работоспособная прослойка (оказавшись в далеких суровых краях, эти деловые люди быстро освоили новые места, особенно в Сибири). Вместо того, чтобы зимой готовиться к весеннему севу, крестьяне ходили по бесконечным собраниям, спорили, колебались, поддавались панике, прятали добро, гноили зерно, чтобы не валить его в общий котел.

У Иосифа Виссарионовича очень развито было чувство новизны, стремление к самому высокому современному уровню во всем. В конце двадцатых — начале тридцатых годов он руководствовался одной мыслью: если мы стремительно преодолеем расстояние, отделяющее нас от высокоразвитых капиталистических стран, или погибнем. Умозрительно я вполне воспринимал необходимость индустриализации, резкого подъема сельского хозяйства, но, вероятно, не мог подняться выше своего дворянского, офицерского разумения. Во многом я оставался человеком своего времени, паровоз и пулемет до сей поры мне гораздо ближе, чем самолеты или реактивные снаряды. Полностью сознавая, что будущая война будет войной моторов (всемирным испытанием для моторов!), я все же, во время коллективизации, очень беспокоился… о лошадях.

Да, в нашей аграрной стране за три года было забито около десяти миллионов голов крупного рогатого скота (это почти столько же, сколько имели все США), десять миллионов свиней, семьдесят миллионов овец и коз, мы стали производить сельскохозяйственной продукции в два раза меньше, чем в голодных 1918–1919 годах. Но я считал это страшное явление временным. Больше всего меня беспокоило то, что мы потеряли почти восемнадцать миллионов лошадей, особенно молодняка — столько же, сколько за всю мировую и гражданскую войны. Была подорвана основа нашей конницы.

Действительно, во время Великой Отечественной войны мы испытывали, особенно первые два года, острейшую нехватку в лошадях. Достаточно сказать, что только Монголия дала нам для кавалерийских соединений и для обозов около четырехсот тысяч лошадей.

Война с гитлеровцами окончательно добила наше конское поголовье. Наша страна, имевшая прежде самых лучших лошадей и в самом большом количестве, совсем оказалась без них. А вот весьма индустриализованные американцы и по сю пору имеют чуть ли не десяток миллионов коней и свое воинское кавалерийское соединение. А мы только один кавалерийский полк.

Вернемся, однако, к коллективизации. Когда начал таять снег, встали вопросы: кто будет сеять? На каком тягле? Какими семенами? Если прежде все эти заботы лежали на множестве плеч, помаленьку давя на каждое, то теперь партия и государство взвалили груз на себя, стали ответчиками за все.

Меня, естественно, волновало то, как проводимая реорганизация отразится на боеспособности наших войск. Надо сказать, что русская армия испокон веков сильна была своими унтер-офицерскими кадрами. Таких кадров не было в вооруженных силах никаких других стран, даже в Германии, где этому делу уделялось большое внимание. На унтер-офицерах держалась у нас вся внутренняя служба, порядок, дисциплина, обучение молодежи, они непосредственно вели бой. Ведь у нас во многих частях даже не было взводных офицеров, взводами командовали унтеры, а молодые офицеры назначались сразу полуротными, то есть один на два взвода.

Унтеров готовили без спешки и тщательно, даже в военное время. Отбирали наиболее смекалистых, решительных, грамотных, направляя их в учебные команды. Там полгода занятий, затем экзамены. После этого присваивалось звание вице-унтер-офицера, то есть младшего командира без должности, и только положительное проявив себя на освободившейся должности, человек получал права унтер-офицера.

Кто энергичен, добросовестен, требователен на военной службе, тот и в мирной жизни таков. Унтеры старой армии, младшие командиры Красной Армии, люди, как правило, хозяйственные, честолюбивые, с организаторским опытом, вернувшись в деревню быстро добивались успеха, выделяясь из общей массы. Об этом я и напомнил Иосифу Виссарионовичу, Он не сразу понял, к чему я клоню. Пришлось пояснить:

— В случае войны, если понадобится проводить широкую мобилизацию, наша армия останется без хребта, без младшего комсостава. Раскулачивание выкашивает его. Чтобы создать корпус опытных младших и средних командиров, потребуются долгие годы. И все равно таких закаленных кадров у нас не будет.

— Среди раскулаченных много младших командиров? — уточнил Сталин.

— Подавляющее большинство.

— А вы не преувеличиваете, Николай Алексеевич?

Сталин всегда с трудом воспринимал то, что не совпадало с его взглядами или просто было неприятно ему. Зная это, я заранее готовил точные сведения.

— По моей просьбе, Иосиф Виссарионович, проведена выборочная проверка в трех военных округах. Среди кулаков и подкулачников, выселенцев за пределы Северо-Кавказского края, число бывших унтер-офицеров и младших командиров Красной Армии составляет почти девяносто процентов. Мы разрушаем опору.

— Спасибо, Николай Алексеевич, это очень серьезно, — сказал Сталин, расправляя чубуком трубки прокуренные усы. — Хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Но что нам делать? Не возвращать же назад высланных? Что вы предлагаете?

— Увеличить количество полковых школ и курсов младшего и среднего комсостава, улучшить их обучение.

— Не возражаю. Подготовьте решение, мы согласуем его с товарищем Ворошиловым.

— Но это лишь полумера, Иосиф Виссарионович. У нас были бесценные кадры и надо постараться сохранить хотя бы то, что еще не утрачено.

— Мы подумаем над этим, — согласился Сталин.

Действительно, через несколько дней Иосиф Виссарионович дал устное распоряжение не зачислять в кулаки и подкулачники младших и средних командиров запаса, отличившихся в боях гражданской войны. Распоряжение, разумеется, было хорошее, но слишком расплывчатое, Что значит «отличившихся» — это слово можно было толковать по-разному. И поступило распоряжение с запозданием, когда основная масса раскулаченных была уже отправлена в холодные края. В промедлении усматриваю и свою вину: не сообразил, не осознал сразу…

Между тем, как говорится, весна вступала в свои права. Читая сводки о подготовке и развертывании посевной, Иосиф Виссарионович все больше мрачнел. В деревне полная неразбериха, деревня выявляет подкулачников, режет скот, сгоняет под одну крышу овец, коз, даже кур, ждет новых указаний. Кого еще разорять? И опасается: а вдруг, действительно, и баб велят сделать общими — последняя осталась собственность!

Разброд в деревне. А сорвется весенний сев, не будет урожая, где взять хлеб для рабочих, для армии? Сырье для промышленности? Это же какие вспыхнут скандалы! В некоторых районах обстановка накалена, можно ждать крестьянских восстаний. И Сталин дрогнул. Был момент, когда он даже испугался, реально представив размеры надвигавшейся катастрофы. Он заболел и несколько дней не появлялся в рабочем кабинете.

Надо было срочно принимать меры. После длительного «отдыха» с Кавказа доставили в Москву Калинина. Ему поручалось растолковывать, разъяснять новую политику в сельском хозяйстве. А дабы было что растолковывать и разъяснять, Сталин воспользовался старым проверенным приемом. В статье «Головокружение от успехов» он указал народу, на кого следует излить гнев, вызванный перегибами в колхозном движении. Это, мол, внутренние и внешние враги со своими подпевалами старались исказить намеченную линию, нарушали принцип добровольности, принудительно обобществляли жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу. В общем, стремились своими провокациями рассорить крестьянство с Советской властью.

Сталину пришлось временно отступить, пожертвовав при этом частью партийных работников, действовавших на местах, но маневр оказался своевременным. Сам Иосиф Виссарионович после статьи выглядел носителем справедливости, надежным и заботливым другом крестьянства. Это ведь тоже надо уметь — так сориентироваться!

Страсти постепенно улеглись, основная буря миновала, поверхность крестьянского океана успокоилась. За год-два коллективизация повсюду была завершена. А потом, как и следовало ожидать, наступил голод. Вся система сельского хозяйства была нарушена, и восстановить ее на новой основе было не просто.

19

Летом тридцатого года Иосиф Виссарионович предложил членам Политбюро ознакомиться, как идет строительство ленинского мавзолея (ровно через год после начала работы). Меня включили в группу сопровождающих. Сталин хотел, чтобы я оценил положение дел с точки

зрения будущих демонстраций и военных парадов: на мавзолее оборудовалось место для руководителей партии и правительства, а справа и слева от него возводились капитальные трибуны на десять тысяч зрителей. Соответственно уменьшался размер площади.

Вначале считалось, что на возведение мавзолея потребуется четыре-пять лет, но работа двигалась быстро, можно было надеяться, что завершится она через несколько месяцев. А ведь не только сооружался мавзолей, одновременно реконструировалась вся Красная площадь. Сняли трамвайные линии, замостили ее брусчаткой. Памятник Минину и Пожарскому переместили ближе к храму Василия Блаженного. В те дни площадь напоминала большой строительный полигон. Повсюду виднелись каменные глыбы разных цветов и размеров. Возле ГУМа вытянулись деревянные мастерские — бараки, в которых резались, а затем шлифовались до зеркального блеска облицовочные плиты.

Иосиф Виссарионович держал сооружение мавзолея под своим контролем, возникавшие затруднения сразу же устранялись. Особые хлопоты вызвал монолит черного лабрадора, весом в шестьдесят тонн, траурным бордюром уложенный по фасаду мавзолея, над входом. Добыли его в Житомирской области, в Головинским карьере, за шестнадцать верст от железнодорожной станции. Долго ломали головы, как довезти до рельсов. Иосиф Виссарионович говорил об этом по телефону с секретарем украинского ЦК. Тот сетовал: никакая повозка не выдержит. «Сделайте большую прочную телегу на восьми или десяти колесах», — посоветовал Сталин. Так и поступили. Два трактора медленно тянули повозку к железной дороге. Не больше двух километров в день. А на станции уже поджидала специальная платформа на шестнадцати колесах.

В Москве тяжелейший монолит тоже доставил много хлопот. Надо бы обтесать глыбу до нужных размеров, выровнять лицевую линию. Попробуй поднять и подкатить такую громадину к шлифовальному станку, установить, как требуется!

Мы пришли в мастерскую, когда монолит был почти обработан. Мастера прорубили гнезда для букв и инкрустировали красным гранитом слово «ЛЕНИН». Этим ответственным, тонким делом занимались два человека. Климент Ефремович принялся расспрашивать их, как да что? У него легко получались такие разговоры: просто, с шуточкой, без сюсюканья или, наоборот, высокомерия. Он сам веселел и радовался: в знакомую обстановку попадал человек. А Иосиф Виссарионович держался в стороне, замыкаясь больше обычного. Он не любил привлекать к себе взгляды: он просто не знал, о чем в таких случаях говорить с людьми. О пустяках — не мог, не умел. А суть ему всегда была известна заранее: консультировался, с кем нужно. Мелкие подробности его не интересовали — это дело специалистов. Давать мастерам какие-либо конкретные советы было бы глупо, они лучше разбирались, что к чему. При большом скоплении людей, в неизбежной при этом сутолоке и говорильне, Иосифу Виссарионовичу трудно было сосредоточиться на главном, тем более в непривычной обстановке. Он предпочитал молчать. Я держался возле него, чтобы молчать вместе или дать ему возможность обмениваться со мной ничего не значащими, но облегчающими фразами. Гораздо приятней и полезней было бы для Сталина осмотреть Красную площадь и мастерские ночью, когда никого нет, в сопровождении трех-четырех специалистов, ответственных работников. Выслушать их, подумать, дать указания. А тогда была акция внешнего, так сказать, значения: Политбюро проявляет

неусыпную заботу о том, чтобы увековечить память Владимира Ильича, парадный выход для прессы, для истории — чтобы знали грядущие поколения.

Было выяснено, в чем нуждаются строители, чтобы скорее завершить работу. Сталин распорядился: все найти и дать без промедления. Он произнес лишь несколько фраз. Из них особо запомнилась: «Стройте так, чтобы мавзолей простоял сотни и тысячи лет!»

После осмотра члены Политбюро возвратились в Кремль, а я долго еще оставался на Красной площади. С несколькими военными товарищами мы подсчитывали, уточняли, какое количество войск здесь разместится, каков порядок построения и прохождения мимо мавзолея. Вывели небольшой оркестр и роту курсантов, они промаршировали несколько раз по тому маршруту, которым и ныне следуют пешие парадные расчеты. При этом выявилось одно неприятное обстоятельство. В углу между Историческим музеем и кремлевской стеной, как раз там, где войска делают поворот, выходя на последнюю прямую, звуки оркестра искажались, расплывались. Развернуться на ходу, быстро, в тесноте и без того трудно, а когда исчезает ритм — тяжело вдвойне. Попробовали с большим оркестром — результат тот же. Не знаю, всегда ли было так или акустика изменилась после реконструкции площади, но с этим пришлось считаться. Я доложил Иосифу Виссарионовичу. Он был в хорошем настроении и заметил шутливо:

— Какой вы дотошный, Николай Алексеевич. Можно быть совершенно спокойным, когда дело поручено вам.

— Спасибо. Но как с акустикой?

— Никак, — сказал Сталин. — Что это за войска, которые сбиваются с ноги, если музыка звучит не совсем четко? Пусть больше и лучше готовятся. От музея до мавзолея расстояние порядочное, успеют найти ногу.

К концу октября того же тридцатого года строительство мавзолея было завершено. Всего за шестнадцать месяцев, вместо нескольких лет. Вдохновенный труд: темпы высочайшие, качество — тоже! На реконструированной площади в центре столицы, в центре страны высилось отныне прекрасное сооружение, притягивающее к себе мысли и чувства людей всего мира, как друзей, так и врагов. Поэма из мрамора рождена была архитектором А. В. Щусевым, помогавшими ему инженерами, мастерами, рабочими. Поэма-памятник в честь самого необычного человека нашего времени!

Еще при жизни Ленин был не просто руководителем партии, государства, а неким явлением, равнозначным понятиям «революция», «советская власть». Он олицетворял эти понятия. В годы тяжких испытаний он смог объединить все слои населения от высокообразованных ученых до неграмотных крестьян, сплотил людей разных национальностей. А когда его не стало, когда образовалась в руководстве зияющая брешь, современники с особой силой оценили талант Ленина. Некому было заменить его, и, отодвигаясь от нас, фигура его не уменьшалась, как обычно бывает в призме времени а, наоборот, разрасталась, ярче выделялись ее объемность и многогранность.

Часто встречаясь со Сталиным, работая вместе с ним, я просто не мог не сравнивать Иосифа Виссарионовича с Владимиром Ильичем, и сравнения эти, увы, были не в пользу первого. Иные масштабы, иной калибр, прежде всего различия чисто человеческие.

Стишок такой был:

Только при очень ненастной погоде Можно смикититъ, кто лучше из них: Ленин в ботиночках лужи обходит, Сталин идет в сапогах напрямик.

Ленин жил для народа, и об этом хорошо сказал Алексей Максимович Горький: «Я знаю, что он любил людей, а не идеи, вы знаете, как ломал и гнул он идеи, когда это требовали интересы народа…» Действительно, было так. А Иосиф Виссарионович (тоже ничего не желая для себя), жил прежде всего для идей, ради них, и чем дальше, тем сильнее верил, что разбирается в практике коммунистического строительства лучше всех современников. Люди, с их разнообразными требованиями, поисками, сомнениями, житейскими заботами порой даже мешали ему осуществлять задуманные планы, четкие и грандиозные. Не все люди, а те, кто возражал, спорил и вообще проявлял самостоятельность, то есть поступал так, как было при Ленине. А Сталину, у которого нарастала раздражительность и подозрительность, казалось, что это выпады и козни лично против него. Много развелось противников и оппонентов, от них проще и надежней избавиться, чем переубеждать.

Эпигоны всегда правоверней основоположников. Хотя бы потому, что основоположник живет поисками, сомнениями. Он борется, ошибается, созидает. Он не мнит себя святым. А эпигоны лишь хранят и развивают достигнутое, причем развивают, как правило, то, что понятней и выгодней им. На фундаменте, который в муках исканий создает основоположник, последователи строят дворцы собственного благополучия или крепости для ведения своей борьбы. Особенно заботятся о целости и сохранности фундамента те, что ведут роскошную жизнь во дворцах. И чем бездарней эпигон, чем меньше в нем истинной веры, тем яростней цепляется он за каждую букву основоположника, видя в этом поплавок, удерживающий на поверхности политического потока.

При Иосифе Виссарионовиче и после него было много подобных людей. Он боролся с ними, но они ловко маскировались и словами, и делами. В отличие от них, Сталин был честным и добросовестным учеником Ленина, он видел смысл своей жизни в осуществлении идей марксизма-ленинизма. Курс намечен был верный. А ошибаться человек может и на самом правильном пути, особенно если шагает первым, прокладывая дорогу в будущее.

20

В феврале 1931 года я прочел в газете речь Иосифа Виссарионовича на конференции производственников. Он говорил об экономической неразвитости нашей страны, о том, что советская страна отстала «от передовых капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Правильно было сказано, ибо страна, разрушенная войнами, гражданской междоусобицей, раздираемая внутрипартийной борьбой, слишком медленно восстанавливала и развивала свое хозяйство. Однако меня до глубины души возмутили такие слова Сталина: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били польско-литовские паны. Били японские бароны. Били все — за отсталость…»

Я подчеркнул эти фразы красным карандашом, показал Сталину и произнес с резкостью, которая в общем-то не свойственна мне:

— Вы не должны были говорить так.
— Почему? — Иосиф Виссарионович удивился моей запальчивости.
— Охаивать, очернять то, что было до нас, уже само по себе скверно.
— Классовая борьба продолжается.
— В любой борьбе нельзя унижаться до клеветы! (Сталин побледнел, но смолчал). А здесь — ложь! — ткнул я пальцем в напечатанное. — За тысячу лет своего существования государство Российское, начав с маленького княжества, раздвинуло свои пределы до Балтики на западе и Тихого океана на востоке, от Северного полюса — до границ Индии, стала самой большой страной мира и, позволю себе заметить, самой сильной и самой просвещенной. У нас даже в глухой деревне двое из пяти мужиков знали грамоту. Мы, между прочим, и Аляской, и западом Америки владели. По глупости дешево отдали их торгашам, охмурялам из Вашингтона. И не нас били, а мы били и в конечном счете победили всех, кто посягал на нас, кого вы перечислили. И шведов, и французов, и турок, и немцев. Разве что перед японцами один раз, в пятом году, сплоховали. А вы, Иосиф Виссарионович, походя, между прочим, ради эффекта, ради красного словца зачеркнули все это. И уж если быть справедливым, то как раз советская власть, которую вы представляете и возглавляете, умудрилась за короткий срок растерять то, что было нажито столетиями, от наших богатств, от нашего золотого запаса, до территории. Это ведь после революции мы утратили Бессарабию и Польшу, Прибалтику и Финляндию, не считая концессий и контролируемых территорий вроде КВЖД в Манчжурии.
— Не моя вина, — нахмурился Сталин. — Вы знаете мою точку зрения на этот счет.
— Речь не о конкретных виновниках, меня поражает: как же у вас повернулся язык возводить такую напраслину? Даже в полемическом пылу нельзя топтать и пачкать то, что свято. Вы оскорбили, унизили наше прошлое, всю нашу историю, весь русский народ. Попробуйте спроецировать такую ситуацию на Грузию, сказать нечто подобное о грузинском народе, о его истории, и представьте себе, как это воспримут грузины!
Иосиф Виссарионович помрачнел. Злость была в карих глазах. Промах свой он сознавал, мои искренние слова больно кололи его. А я, разгорячившись, не мог остановиться:
— Вы отталкиваете от себя массы. Можно понять, когда наши враги-троцкисты всерьез обсуждают, а не лучше было бы, если бы Наполеон победил в двенадцатом году, и Россия присоединилась бы к европейской цивилизации, а не встала бы над ней, диктуя свои условия. Для сионистов, действительно актуальный вопрос.
— Не передергивайте, Николай Алексеевич. Идет борьба, и у меня было обычное политическое выступление в защиту быстрейшего экономического развития нашей страны.
— Разумею, чем диктовались ваши слова. Но это оскорбительно для русского народа. Наши предки поставили замечательный памятник национальным героям Минину и Пожарскому, мы чтили и чтим свято их имена, а те, кто стремится испохабить, уничтожить нашу историю, истребить национальное самосознание русских, жалеют о том, что этот памятник, как и вообще все наше прошлое, не удалось сравнять с землей. Знаете, как поэт Джек Алтаузен во всеуслышанье призывает расплавить памятник Минину и Пожарскому? Стихи сочинил:

Случайно мы им не свернули шею, Подумаешь, они спасли Расею! А, может, лучше было б не спасать?..

Чувствуете, какая наглая подлость! Дожили, допустили, чтобы сионисты так рассуждали о нашей истории! Не Россия им нужна, а наша территория, населенная серыми мужиками. Это что, классовый подход, как вы говорите?

— Это спекуляция на классовом подходе, — резко ответил Сталин.

— Где грань? Попробуйте разобраться сами, — сказал я и, круто повернувшись через левое плечо, ушел от Иосифа Виссарионовича.

Не люблю ссор, не люблю стычек с людьми, которые мне дороги. Бывало так: скажу что-нибудь в повышенном тоне, а потом совесть мучает — зачем лишняя трата нервов? Но в тот раз я нисколько не раскаивался. Есть нечто такое, чего нельзя прощать даже лучшим друзьям, иначе утратить себя, свое место в этом большом и шатком мире.

К затронутой теме, одинаково неприятной, кстати, как для Иосифа Виссарионовича, так и для меня, мы возвращались потом, в середине тридцатых годов, еще несколько раз. Обстоятельства заставляли. Гнев, боль душевную мне приходилось сдерживать. Сталин чем дальше, тем больше ценил не столько эмоции, сколько неопровержимые факты. И я, разумеется, учитывал это. Старался быть спокойным, докладывая ему о надругательствах над военными, погибшими в Бородинском сражении. Начал с перечисления: уничтожены барельефы на памятнике Кутузову, надписи на памятниках кирасирам, лейб-гвардейцам и матросам гвардейского экипажа. Разрушен памятник герою сражения Уварову. С согласия вышестоящих организаций, Можайский райисполком продал артели каких-то дельцов собор бывшего Колочского монастыря, построенного на Багратионовских флешах. А ведь это не просто собор, на просто исторический памятник, там погребены многие тысячи русских солдат. Раньше это место было святым, а теперь там свалка мусора.

Иосиф Виссарионович слушал меня с обычной внимательностью, но я чувствовал, что мои слова не очень задевают его. Ну что же, главный заряд, который не мог оставить его равнодушным, был прибережен напоследок:

— Вам известно, конечно, что князь Багратион Петр Иванович, замечательный полководец и мужественный воин, был торжественно погребен со всеми почестями на Бородинском поле, как раз там, где пролилась его кровь, где получил смертельную рану. Благодарные потомки воздвигли монумент, поставили памятник, там был склеп.

— Как это был? — насторожился Сталин.

— А вот так: был и нет его! Монумент разрушен. Могильный памятник продан на слом организации под названием Рудметаллторг. Склеп взорван и разграблен. Исчезли все реликвии: награды героя с золотом и драгоценными камнями, его боевая шпага, украшенная алмазами. В поисках ценностей алчные грабители выбросили из гроба останки Петра Ивановича, топтали его кости… Я побывал там. Большей мерзости я не видел. Загаженная гробница, осколки костей, клочья мундира, — голос выдал мое возмущение.

Сталин долго молчал, набивая трубку. Пальцы его на этот раз плохо слушались его, табак сыпался на пол. Заговорил, четко отделяя слово от слова:

— Генерал Багратион — великий сын грузинского народа, и мы…

— Растоптаны не останки сына грузинского народа, а одного из тех полководцев, кто одержал победу над Наполеоном, принес славу государству Российскому, укрепил и возвысил общую Родину нашу! Поймите же, на Бородинском поле уничтожают не памятники, а саму память, пытаются вычеркнуть из наших умов, из нашей истории одну из славных вех.

— Вероятно, это глупая самодеятельность местных властей или происки алчных грабителей, — успокаивающе произнес Иосиф Виссарионович, но у меня и на это было что возразить.

— Нет! Все делалось и делается по согласованию с Наркомпросом, который, как известно, отвечает за сохранение исторических памятников.

— Ви-и уверены?

— Беззакония творятся на вполне идейной основе, — горько усмехнулся я. — На уцелевшей еще стене Колочского монастыря, над поруганными могилами русских солдат крупными буквами выведен лозунг: «Довольно хранить наследие проклятого прошлого!». Вот так расценивают теперь нашу победу над Наполеоном и спасение России от иностранного нашествия.

— Кто? — резко спросил Сталин. — Кто отвечает за это?

— Музейный отдел Наркомпроса.

— Кто заведует этим отделом?

— Некий Резус-Зенькович.

— Мы разберемся!

Одним из недостатков советской власти я считаю то, что она никогда не заявляла о своей борьбе за могущество нашего Российского государства. Странная, страусиная тактика! Ясно, что не будь России, мощного притягательного ядра, все объединение рассыплется на мелкие, незначимые и поработимые крупными соседями части. Зачем же умалчивать об этой реальности?! Объяви мы, к примеру, в годы гражданской войны, что боремся за свободную, единую Россию, в которой все равны, так и сражений бы ожесточенных не произошло, во всяком случае накал их был бы значительно слабее. Кому охота биться против своих… Думаю, что отсутствие четких общенациональных лозунгов и призывов было на руку Троцкому: в расплывчатой космополитической стихии ему с соратниками легче было воду мутить, власть держать.

А Иосиф Виссарионович в тот раз сам явился ко мне с извинениями. Редко, очень редко такое случалось с ним: он признал собственную неправоту! Произнес проникновенно:

— Дорогой Николай Алексеевич, я допустил промах. Понимаю основательность и верность ваших суждений.

Раскаяние было искренним.

Возможно, именно тогда начался поворот в сознании Иосифа Виссарионовича, который со временем привел его к совершенно противоположной трактовке русской истории. Особенно это проявится у Сталина в военные годы. Вспомним его призывы гордиться военной славой Александра Невского, Дмитрия Донского, Богдана Хмельницкого, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Он восхищался мастерством Ушакова и Нахимова, чтил Ивана Грозного и Петра Первого, узрел в себе их продолжателя в деле возвеличивания Российского государства.

Он прочитал почти все серьезные книги по русской истории: он гордился славным наследием россиян и с конца тридцатых годов говорил с любой трибуны, и внутренней и международной, не иначе как «мы, русские»,

подчеркивая тем самым непосредственную связь с прошлым, преемственность. Иосиф Виссарионович сумел подняться до понимания, что он представляет великую, огромную, многонациональную, единственную в своем роде Россию. Он осознал сие, преодолев жесткие рамки своих политических убеждений, и это делает ему честь!

21

Будучи несогласным с поступками Сталина в период коллективизации и последовавшего затем голода, а также видя, что слова, советы мои не оказывают на него заметного влияния, не приносят пользы, я расстался бы с Иосифом Виссарионовичем, и, найдя спокойную службу, занялся бы воспитанием своей дочки. Лишь одно обстоятельство не позволяло уйти. Простая порядочность говорит о том, что нельзя покидать товарища, когда ему худо. А Сталин переживал далеко не лучшие дни… Жестокость, торопливость и непродуманность при создании колхозов, страшная, растянувшаяся на несколько лет голодовка, выкосившая население целых уездов, статья «Головокружение от успехов», поставившая под удар работников низового и среднего руководящего звена, расплатившихся карьерой и жизнью за чужие ошибки, — все это привело к тому, что авторитет Иосифа Виссарионовича в партии резко упал. Открыто говорилось: Сталин становится диктатором, дальше так продолжаться не может, партии нужен другой, более разумный, справедливый руководитель, свободный от груза допущенных ошибок. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом и с особой тревогой ждал предстоящего съезда партии, как всегда интригуя, готовя в делегаты нужных людей. Но беда в том, что нужных и послушных становилось все меньше: колебались даже давние приверженцы Сталина.

И в семье опять было скверно. Собственно, семьи-то уже не существовало, одна видимость, внешняя форма, соблюдавшаяся ради детей, ради престижа. Еще в тридцатом году Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна окончательно перестали быть мужем и женой в общепринятом понимании этих слов. Решительно отказалась от супружеских обязанностей Надежда Сергеевна. У нее имелась отдельная комната, где она и спала. А Иосиф Виссарионович отдыхал, как придется. На диване в маленькой комнатке рядом со столовой или в домашнем кабинете на кушетке, если долго засиживался за работой. Довольно часто оставался на нашей обшей квартире, где заботами Власика всегда застлана была узкая железная койка с жесткой пружиной, стояла в буфете бутылка вина, имелась непортящаяся закуска. Мы разговаривали по ночам. Иосиф Виссарионович не жаловался, но выглядел плохо.

Опять это подчеркнутое, слишком уж невозмутимое спокойствие: много душевных сил тратилось на то, чтобы выглядеть совершенно нормальным, невозмутимым, хладнокровным.

Трудно было Иосифу Виссарионовичу, но он держался без срывов. А Надежда Сергеевна оказалась слабее. Отсутствие нормальной половой жизни, неурядицы в доме, постоянное напряжение измотали ее. Тридцатилетняя женщина, казалось бы, полная сил, превратилась в форменную неврастеничку, несколько раз с ней случались истерики, сопровождавшиеся судорогами. Мужа она возненавидела, это отразилось и на отношении к детям. Они были неприятны Надежде Сергеевне, раздражали ее, она старалась меньше видеть их. Маленькая Светлана,

пожалуй, не чувствовала наступившего отчуждения, а Василий болезненно переживал незаслуженную обиду, присматривался и уже понимал кое-что. В мальчишеской душе накапливались подозрительность, недоброжелательность не только к матери, но и вообще к женской половине человечества.
Надежда Сергеевна легко чувствовала себя лишь среди сверстников, с которыми занималась теперь в Промакадемии, надеясь получить специальность и стать совершенно независимой от Иосифа Виссарионовича. Любила бывать среди незнакомых и малознакомых людей, никому не говорила, кто она, скрывала фамилию. Отказывалась ездить на машине, одевалась как можно скромней. Слишком уж подчеркивала самостоятельность, отчужденность от мужа: лишним и ненужным все это было, осложнялось и без того напряженное состояние и Сталина, и ее самой.
Лучший выход из тупика был таков: Надежда Сергеевна заканчивает академию и едет работать в Харьков. Коллега по академии Никита Хрущев обещал обо всем позаботиться. Кроме того, в Харькове была сестра Анна, муж которой Станислав Францевич Реденс являлся одним из руководителей украинских чекистов. Подобным образом Надежда Сергеевна собиралась поступить, и все были бы довольны, но помешал случай.
Отмечалась пятнадцатая годовщина Октябрьской революции. После торжественной части состоялся товарищеский ужин в узком кругу, проще говоря — банкет. Иосиф Виссарионович не отличался чревоугодием, не пил много вина, но любил продемонстрировать этакое широкое гостеприимство, чтобы стол ломился от яств на все вкусы, чтобы красовались батареи различных бутылок. Так было и в этот раз.
Рядом со Сталиным сидела Надежда Сергеевна в строгом темном платье. Дальше — ее подруга Полина Семеновна Молотова (Жемчужина) с Вячеславом Михайловичем. Был Ворошилов с Екатериной Давыдовной, Орджоникидзе с Зинаидой Гавриловной, Куйбышев со своей Евгенией Коган и все другие, кому полагалось присутствовать на таких мероприятиях. Обстановка дружеская, настроение радостное, подогретое соответствующим образом. Провозглашались тосты: за победу революции, за партию, за достигнутые успехи, за мудрое руководство и, разумеется, лично за товарища Сталина.
Женщины пригубливали. Некоторые основательно. Мужчины пили. Только Надежда Сергеевна каждый раз ставила свой бокал совершенно нетронутым. На это не обращали внимания, так как все было известно: она вообще в рот не берет никакого зелья. Даже с Иосифом Виссарионовичем, который по грузинскому обычаю считал, что к обеду и за ужином на столе должна быть бутылка вина и каждый, включая детей, может пить по желанию, даже с ним конфликтовала по этому поводу в первые годы совместной жизни. Хотя, конечно, в расхождениях между ними сие не было главным.
— За это нельзя не выпить.
— Ты же знаешь, Иосиф, — сдержанно произнесла она. — Тем более сейчас, за этим столом.
Ему бы промолчать, не обратить внимания, не обострять, но он был разгорячен вином.
— Почему?
— Совесть не позволяет, — голос звучал напряженно и резко.

А Сталин опять не понял, или не захотел понять, что Надежда Сергеевна взвинчена, что она на пределе. Спросил:

— При чем тут совесть?

— Пир во время чумы! — вырвалось у нее. — Сборище демагогов! Вы тут болтаете о своих успехах, изощряетесь в похвалах, превознося друг друга, а по стране стон катится от ваших мудрых решений, половина земли не возделывается, мужики в город бегут, тюрьмы забиты до отказа…

— Перестань! — оборвал ее Сталин, поняв, наконец, что началась очередная истерика. — Замолчи!

— Не хочу больше молчать! Вы разглагольствуете о свободе и демократии, а другим не даете и рта раскрыть! Люди затихли, люди запуганы, а я не могу и не буду! Вы за роскошным столом жуете утиную построму, закусываете мандаринами и рассуждаете, какой шашлык лучше, какой коньяк приятней, а в эти минуты тысячи деревенских детей умирают с голода на руках беспомощных матерей. А чтобы никто не знал об этом в столице и за границей, ваши войска оцепили районы, охваченные голодовкой, не позволяют выйти оттуда, ваши подручные сжигают вымершие деревни вместе с трупами, чтобы не осталось никаких следов. Кучка авантюристов, вот вы кто! Злобные карлики,[16] связанные круговой порукой!

Сталин растерялся, но растерянность быстро сменилась гневом. Лицо стало не просто бледным, как обычно в таком состоянии, а почти белым, глаза горели яростью. Будь у него револьвер, он застрелил бы, наверно, жену. Он протянул руку, намереваясь заткнуть ей рот, но я, опомнившись, вклинился между ними, повлек Надежду Сергеевну к выходу. Она уже не могла произносить слова, они клокотали в стиснутом спазмами горле. Тело дергалось и было таким горячим, что от Надежды Сергеевны веяло влажным жаром.

Мне помогала Полина Молотова, тоже возбужденная, выкрикивавшая что-то в поддержку подруги.

Все произошло очень быстро, в считанные секунды. На дальних концах стола даже не заметили этой сцены. А кто заметил — не разобрался. Ну, а те, кто находился ближе к Сталину, сумели сохранить выдержку. И хотя настроение некоторых товарищей было испорчено, застолье продолжалось своим чередом. И тосты звучали прежние, правда, их теперь произносили те, кто сидел в отдалении.

Полина Молотова погуляла с подругой по ночному Кремлю. Убедившись, что Надежда Сергеевна более-менее успокоилась, отправила ее спать. А Иосиф Виссарионович засиделся в тот раз за столом дольше обычного. Пил коньяк, был мрачен, обдумывал что-то. Представляя, в каком состоянии он находится, какие глупости может натворить, я не уезжал, поджидая его. Предложил:

— Провожу вас.

Сталин промолчал. И вообще, пока шли до его подъезда, произнес всего лишь одну фразу, прозвучавшую как приговор:

— Она опозорила меня; она — враг!

В окне Надежды Сергеевны, несмотря на позднее время, горел свет. Я попросил Иосифа Виссарионовича не наведываться сейчас к ней, а выяснить отношения завтра, когда успокоятся нервы. Он кивнул и скрылся за дверью.

А дальше было вот что. В семь часов Каролина Тиль, занимавшая несколько странную должность коменданта кремлевских квартир,

пожилая, очень аккуратная и пунктуальная немка из Риги, вошла, как всегда, к Аллилуевой, чтобы разбудить ее и пригласить к завтраку. Переступила порог и вскрикнула от ужаса: Надежда Сергеевна лежала на полу возле кровати в луже загустевшей крови, уже подернувшейся черной коркой. В руке пистолет, подаренный братом Павлом.

Опомнившись от шока, Каролина Тиль бросилась в детскую, подняла там няню — Сашу Бычкову. Вместе они сделали то, что показалось им самым важным: постарались, чтобы труп не выглядел безобразно, отталкивающе. Обмыли Надежду Сергеевну, переодели ее, вытерли кровь. То есть, не желая того, убрали все, что помогло бы следователю установить истину. Впрочем, никто и не решился бы проводить следствие.

Лишь наведя в комнате полный порядок и принарядив покойницу, Тиль и Бычкова позвонили Полине Молотовой, а затем и Енукидзе — начальнику охраны Кремля. А Иосиф Виссарионович, между тем, все еще спал в комнате рядом со столовой, ни у кого не было достаточно мужества разбудить его и сообщить новость. Приехали Ворошилов и Молотов, квартира была полна людей, когда Сталин наконец проснулся, прислушался:

— Что происходит?

Я решил: надо сказать все с глазу на глаз, подготовить его. Услышав страшное известие, он напрягся, как тугая струна. Крепко сцепив пальцы рук, покачивался взад и вперед, сидя на постели, не поднимая головы. Потом глянул на меня какими-то странными, застывшими и пожелтевшими глазами, произнес:

— Еще один удар в спину!

— Надо идти туда, Иосиф Виссарионович.

— Сейчас?! — вздрогнул он.

— Чем скорее, тем лучше. А то просто неудобно.

В комнате Надежды Сергеевны он осмотрелся опасливо, будто впервые попал сюда, шагнул к кровати, но не нагнулся, не поцеловал жену, только пристально глядел на нее. Каролина Тиль передала Иосифу Виссарионовичу письмо, обнаруженное на столе, и адресованное ему. Сталин механически развернул бумагу, начал читать, потом быстро оборотился ко мне, лицо его выражало гнев и недоумение. Протянул мне лист, посмотрите, мол, что же это такое? Но мне в те минуты было не до письма, смерть молодой женщины потрясла меня. Запомнились лишь первые резкие строки, повторявшие то, что Надежда Сергеевна высказала на банкете. «Надо быть воистину гениальным человеком, чтобы оставить без хлеба такую страну, как Россия». И тут же сугубо личный упрек: она забыла, она даже припомнить не может, когда вместе ходили в театр…

Раздались какие-то возгласы, испуганный плач Светланы, и не скажу точно, сам я в этот момент вернул письмо Иосифу Виссарионовичу или он взял его из моих рук. Не взглянув больше на покойницу, вышел из комнаты. В дальнейшем я не видел этого письма, вероятно, Сталин уничтожил его. Потом он вспоминал о нем раз или два, с трудом сдерживая гнев.

Посмертное послание Надежды Сергеевны окончательно отринуло Иосифа Виссарионовича от жены, зачеркнуло все хорошее, что было прежде у них. Даже на похоронах не смог Сталин преодолеть всколыхнувшуюся ненависть. Когда близкие прощались с покойницей дома, он подошел к гробу, склонился над ним. Что там увидел, что почувствовал — одному лишь ему известно. Лицо Иосифа Виссарионовича

исказилось судорожной гримасой: злость, страх, недоумение читались на нем. Резкий отталкивающий жест правой руки был таким сильным, что гроб качнулся, голова Надежды Сергеевны сдвинулась на подушке.

Сталин быстро пошел к двери.

Гроб с телом Надежды Сергеевны был перевезен в помещение хозяйственного управления ЦИК, где впоследствии разместился ГУМ. Здесь состоялась гражданская панихида. Иосиф Виссарионович провел возле гроба жены лишь несколько минут: его снимали фотокорреспонденты. Я назвал бы это своего рода кратким визитом вежливости. Сталин отдал необходимую протокольную дань.

Провожать жену на Новодевичье кладбище он не поехал. Я, конечно, понимал психическое состояние Иосифа Виссарионовича, и все же его действия показались мне странными. Он редко поддавался эмоциям и почти никогда не руководствовался ими. Рассудочность, логика — вот что для него характерно. Здравый смысл требовал, чтобы Сталин до конца присутствовал на траурной церемонии, продемонстрировал свою скорбь (о чем, кстати, и будет туманно сказано в официальных сообщениях).

Лишь спустя время мне стало ясно, что Иосиф Виссарионович и в тот раз не изменил себе, руководствовался именно рассудком, а не чувствами. На церемонии присутствовало много родственников Надежды Сергеевны, которые считали, что ее погубил муж, были женщины — свидетельницы последней безобразной ссоры. Кто-то мог не выдержать, особенно на кладбище, при людях оскорбить Сталина, бросить в него камень в прямом или переносном смысле. Иосиф Виссарионович вынужден был бы ответить, получился бы скандал, политические последствия которого трудно предвидеть. Так что осторожность была не излишней.

А на Новодевичьем он побывал через сорок дней после смерти жены вместе со мной, никого больше не поставив в известность.

Началась работа над памятником. Она была поручена известному скульптору И. Д. Шадру. Иосиф Виссарионович попросил меня предварительно побеседовать с Шадром. Задача была трудная, ответственная и даже щекотливая. К счастью, скульптор сумел уловить некоторые нюансы. Во всяком случае, памятник не вызвал у Сталина возражений и в 1933 году был установлен на кладбище, удивляя своей необычностью. Православные захоронения всегда возвышаются над уровнем земли, будь то холмик или каменная плита. А здесь наоборот: беломраморная плита образует беломраморный же столбик с закругленной верхушкой. За столбиком, в углублении — небрежно брошенная черная роза. Через некоторое время, не знаю когда и по чьему указанию, мраморная роза была заменена более аляповатой бронзовой, которая, впрочем, тоже вскоре потемнела, почернела.[17]

Все связанное с женой, напоминавшее о ней, было настолько неприятно Иосифу Виссарионовичу, что он после смерти Надежды Сергеевны решил даже сменить квартиру. Из Петровского дворца его семья перебралась в здание Совнаркома.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Два события предопределили перелом в жизни и деятельности Сталина, в проводимой им политике, в формах и методах руководства. На первый

взгляд, события эти кажутся совершенно разновеликими и несовместимыми, одно из них сугубо личное, другое — общественное, и все же я думаю, что именно они, вместе взятые, направили Иосифа Виссарионовича на новую стезю.

Кончина Надежды Сергеевны и ее предсмертное поведение, которое Сталин считал предательством, обострили худшие качества Иосифа Виссарионовича, такие, как подозрительность, вспыльчивость, жестокость. Он ведь по-своему любил Надежду Сергеевну, даже очень любил, считая ее самым близким, интимно-близким человеком, верил ей, рассказывал о своих делах, колебаниях, срывах. Доверялся, как доверяются дорогой женщине в роднящие минуты общения. А она вдруг оказалась не только плохой супругой, но и (в его глазах) политическим противником.

Сталин был выбит из колеи, утратил в ярости какие-то основополагающие ориентиры. Гнев кипел в нем, готовый вылиться на тех, кто мешал ему в работе или хотя бы мог помешать. Много крови, много насилия видел он за свою жизнь (в ссылках, в тюрьмах, в боях), и ни то, ни другое не могло теперь стать для него преградой на пути к важной цели.

В начале 1934 года собрался XVII съезд партии, который вошел в официальную историю как «съезд победителей», а в неофициальную — как «съезд смертников». Впрочем, на нем действительно выявилась, а затем надолго утвердилась у власти небольшая, но монолитная группа победителей: сам Сталин и несколько близких ему товарищей. Совершенно произвольно назвав поражения успехами, выдав несомненные конфузии за явные виктории, Иосиф Виссарионович опрокинул своих оппонентов и еще раз утвердился в простой истине: сила солому ломит.

О том, что на съезде его ждут большие неприятности, может быть, даже полный крах, Иосиф Виссарионович знал заранее. Слишком долго стоял он у руля, вопреки указаниям Ленина, слишком большую власть сконцентрировал в своих руках, перестав считаться с мнением других партийцев. Многих разочаровали последствия поспешной коллективизации, оставившей страну без продовольствия, без сырья для легкой промышленности, принесшей массовые, ничем не оправданные жертвы. Многим претила резкость, категоричность Сталина. Некоторые считали его явно больным, место которому не в Политбюро, а на Канатчиковой даче, на улице Матросской тишины, в желтом доме, или в другом подобном заведении.

Иосиф Виссарионович, разумеется, учитывал все эти настроения и готовился к самой решительной бескомпромиссной борьбе. Ему было просто невозможно выпустить бразды правления. Он хотел довести начатое до конца. Он мечтал стать великим деятелем, заметным в мировой истории. С другой стороны, он понимал: у него столько противников, столько людей так или иначе пострадали от него, что тихо, незаметно отойти в сторону невозможно. Его собьют с ног и растопчут. Троцкого не было в стране, но сколько его сторонников оставалось на руководящих постах в высших звеньях партии, государства, карательных органов?! Эти люди не упустили бы своего шанса!

Сместить руководителя — лишь половина дела. Важно, кто займет его место. Тут у противников Сталина не было единодушия. Назывались фамилии Бухарина, Рыкова, даже Зиновьева, но никто из них не представлял реальной угрозы, каждого могла поддержать какая-то группа, но отнюдь не подавляющее число делегатов. Если кто и

пользовался тогда в партии большим авторитетом, почти не уступавшим авторитету Сталина, так это Сергей Миронович Киров. С той разницей, что позиции Иосифа Виссарионовича заметно ослабли, а популярность Сергея Мироновича быстро росла. Все, кто знал Кирова, с похвалой отзывались о его энергичности, широком кругозоре, партийной принципиальности и особенно — о его корректности, заботливом отношении к товарищам, к трудящимся, что выгодно отличало его от Сталина. Вопрос заключался в том, захочет ли сам Киров сражаться за высшую власть, пойдет ли он на неизбежный раскол и разброд в рядах партии. А решиться все должно было на съезде, так как Политбюро поддерживало Иосифа Виссарионовича, даже оказывало на Сергея Мироновича соответствующий нажим. Но не очень сильный. Во-первых, потому, что Киров находился далековато, в Ленинграде, и пользовался там полным доверием мощной партийной организации. А, во-вторых, человек он был такой, что на любое действие мог ответить решительным противодействием.

Перед самым началом съезда Сергей Миронович выступил вдруг в северной столице с докладом о работе ЦК ВКП(б), который удивил и привел в замешательство не только его сторонников, но и противников. Известно, что о деятельности Сталина отзывался Киров достаточно сдержанно, но на этот раз основная часть пламенной речи была посвящена безудержному восхвалению Иосифа Виссарионовича. Пожалуй, еще никто до той поры не превозносил так Сталина, и я сочту за должное подтвердить это несколькими цитатами. Вот слова Сергея Мироновича:

«Товарищи, говоря о заслугах нашей партии, об успехах нашей партии, нельзя не сказать о великом организаторе тех гигантских побед, которые мы имеем. Я говорю о товарище Сталине.

Я должен сказать вам, что — это действительно полный, действительно всегранный последователь, продолжатель того, что нам оставил великий основатель нашей партии, которого мы потеряли вот уже десять лет тому назад.

Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин. За последние годы, с того времени, когда мы работаем без Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого был бы не товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа — это должна знать партия — проходит по указаниям, по инициативе и под руководством товарища Сталина. Самые большие вопросы международной политики решаются по его указанию, и не только эти большие вопросы, но и, казалось бы, третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его, если они касаются рабочих, крестьян и всех трудящихся нашей страны…

Могучая воля, колоссальный организаторский талант этого человека обеспечивают партии своевременное проведение больших исторических поворотов, связанных с победоносным строительством социализма».

Каковы эпитеты, каково восхищение, каков общий тон, а?!

Пожалуй, не меньше других был ошарашен речью Кирова и сам Сталин.

— Что это такое? Он считает меня политическим мертвецом?

— Почему? — не понял я.

— Слишком похоже на некролог. Восхвалить и похоронить. Или Киров не уверен в своей победе и отказывается от борьбы?

— А если он искренне выражает свое отношение к вам?

— Нет, дорогой Николай Алексеевич, слишком много патоки. Это обдуманный ход… Оправдываться ему не в чем. Тогда для какой цели такие восторги?

— Берия вообще хвалит вас без зазрения совести, прямо в глаза, но это не вызывает ваших сомнений.

— Лаврентий Павлович льстец. Он прокладывает себе дорогу сюда, в столицу. Его намерения мне совершенно понятны. А Сергей Миронович до элементарной лести себя не унизит.

— Значит, тем более ему ясно, что подобное выступление и именно сейчас пойдет, Иосиф Виссарионович, нам на пользу. Киров укреплял позиции наших сторонников, поколебал сомневающихся, отвлек на себя огонь многих критиков. Мы должны быть благодарны ему.

— Сергей Миронович предан делу партии, но все же политика остается политикой, — задумчиво произнес Сталин.

По интонации, по холодному прищуру глаз я понял, что в этих словах кроется какой-то особый смысл. Я привык к скупым жестам, по оттенкам голоса угадывать его состояние, представлять ход мыслей.

Он продолжал:

— Бывает облыжное охаивание, а тут можно заподозрить облыжное восхваление. Для какой цели? Если все начинания, все дела партии и государства, все успехи — это, прежде всего, заслуга Сталина, значит, и за все неудачи, даже самые мелкие, несет ответственность только Сталин. Указан точный адрес: вот ответчик за все ошибки.

— А разве они были, ошибки-то?

— Не иронизируйте, Николай Алексеевич. Еще Ильич очень правильно говорил, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. От себя добавлю: ничегонеделанье само по себе большой порок.

— Ленин добавлял о тех, кто упорствует в ошибках и заблуждениях.

Иосиф Виссарионович не стал возражать. Подумав, усмехнулся невесело:

— Видите, как получается после слов Кирова. Разговор зашел о наших успехах, а потом сполз к ответственности за ошибки. Разве это не политика?! А в политике так: набивают цену, чтобы дороже продать.

И вот — съезд. Иосиф Виссарионович выступил с тщательно продуманным докладом, подвел итоги достижений социалистического строительства, особенно в области индустриализации. Успехи, бесспорно, имелись. Сталин утверждал, что учение о возможности построения социализма стало у нас господствующей силой в народном хозяйстве, а все остальные уклады пошли ко дну. Колхозы победили окончательно и бесповоротно. Очень понятно выразился он насчет разных уклонов в политике: «…главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали таким образом разрастись до государственной опасности».

Все, казалось, шло к нашему долгосрочному или бессрочному отпуску. Большинство делегатов съезда было настроено против Сталина, они не скрывали, что намерены голосовать за Кирова, и только чудо помогло тогда Иосифу Виссарионовичу удержаться на гребне. Точнее, не чудо, а позиция самого Сергея Мироновича. Не знаю, стремился ли он действительно избежать раскола партии, или не хотел в трудное время принимать на себя весь груз ответственности, или счел, что не пришло еще время менять руководство: масса рядовых партийцев не сможет отказаться от Сталина — во всяком случае Киров не вел активной борьбы

за пост Генерального секретаря. Наоборот, он выступил с предложением принять доклад Сталина как решение съезда, как партийный закон, как программу работы на ближайший период, тем самым поддержав и укрепив позиции Иосифа Виссарионовича: кто выдвинет программу, тот и проводит ее в жизнь. Но даже и после такого выступления Сергея Мироновича Сталин при выборах нового Центрального Комитета оказался не на первом месте.

Итак, формально у руля остался Сталин, но симпатии, доверие съезда и партии были на стороне Кирова. По существу, он был теперь в партии фигурой самой авторитетной и притягательной. А что важнее в политике? Должность или авторитет?

Сталин не то чтобы добился победы — он с великим трудом избежал поражения. И конечно, сделал для себя категорические выводы. Прежде всего, до следующего съезда ликвидировать всех противников (любых убеждений, любой национальности, любого положения), выступавших или способных выступить против него. Заменить их новыми людьми, самыми простыми, без широких знаний и политического опыта, которые верят ему, будут преданы только ему.

Укрепить свою власть в партии и государстве — такую задачу поставил он перед собой.

Сразу после съезда на стол Иосифа Виссарионовича легли списки делегатов, где отмечены были все, кто не оказал ему активной поддержки. Таких было много. С них и следовало начать, чтобы полностью обезопасить себя от встреч с этими людьми в повседневной работе и на следующих партийных форумах. В цифрах это выглядит так: всего на «съезд победителей» прибыло 1966 делегатов, из них 1108 человек были (в течение трех лет) арестованы.

«Лицемеры, — говорил о них Сталин. — Почему они не критиковали меня с трибуны в своих выступлениях? Это была бы открытая честная борьба… Но нет, устраивали овации, они били в ладоши и улыбались, а потом втихомолку голосовали против меня. Это двурушничество! Ми-и не можем, не имеем права доверять им!»

Положение Иосифа Виссарионовича значительно упрочилось. И его сторонников тоже, особенно тех, кто открыто демонстрировал свою преданность вождю, связывая с ним свое будущее. На одном из обедов на Кунцевской даче взял слова Лазарь Моисеевич Каганович, произнес то ли тост, то ли очень короткую речь, запавшую в головы присутствовавших:

— Мы все говорим: ленинизм… ленинизм… ленинизм. А ведь Ленина давно нет. Сталин сделал больше, и надо говорить о Сталинизме с большой буквы, а о ленинизме хватит!

Пожалуй, лишку перебрал Лазарь Моисеевич. Все притихли, глядя на Сталина. Он промолчал, даже вроде бы поморщился недовольно. А ведь не возразил…

С тех пор термины «ленинско-сталинское учение», «сталинизм» — все чаще стали звучать с трибун, употребляться в печати и на радио, в книгах и научных трудах. Да ведь и действительно — сталинизм — это определенный этап в теории и практике марксизма-ленинизма, от этого никуда не уйдешь. Воспринимать и оценивать можно по-разному, но факт остается фактом.

Быстро и желчно отреагировал на распространение нового термина Троцкий, снедаемый злостью и завистью. Вместо «сталинизма» он породил и ввел в оборот презрительно-уничижительное слово «сталинщина». Оно

имело хождение лишь за рубежом. И только в послехрущевские времена его «взяли на вооружение» доморощенные троцкисты и крикуны-критиканы.

2

Рассказывая о Кирове, вспомнил я сейчас старое присловье: «о мертвых или хорошо, или ничего». Вспомнил и засмеялся — в таком случае мне говорить не о чем и не о ком. Почти все, кто упомянут здесь, уже находятся на том свете. Да и я буду там, в своей старой компании, вместе со своими сверстниками, к тому времени, когда выйдет эта книга, если она вообще выйдет. Странная логика: вроде бы смерть сама по себе уравнивает и хорошее и плохое. Значит, о любом из тех, кто был до нас, критическое мнение высказывать нельзя? Нет, не могу согласиться с этим. Жизнь каждого человека должна быть рассмотрена и оценена объективно, если, разумеется, она вообще заслуживает оценки, если человек не относился к той массе, о которой написано: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют…»

Смерть — не индульгенция, не оправдание, она не снимает ответственности за содеянное. Иначе зло, вредоносность или преступное безразличие будут неискоренимы. А уж тем более мертвый о мертвых может говорить на равных всю правду. В смысле искреннего изложения своего мнения.

Как-то повелось у нас односторонне оценивать людей. Если хвалить, то безудержно, вознося до небес, а если ругать, то уж расшибать на все корки, показывая лишь темные стороны и забывая о светлых. Вот теперь, когда я пишу, о Сталине твердят только плохое. О Кирове — только хорошее. А почему, для чего? Их нет, они оба в равном положении, ни тот, ни другой не способен самостоятельно защищаться ни от хулы, ни от чрезмерных восхвалений. Полезней и справедливей ныне оценивать каждого из них с разных точек зрения, осветить их фигуры не избранными частями, а полностью, с ног до головы.

Вовсе не намерен я возводить скверну на Сергея Мироновича. Но и не хочу, чтобы звучали в его честь восторженные дифирамбы. Человек он был энергичный — безусловно. В коммунизм верил, самоотверженно работал ради идеи, не ища выгоды для себя. С товарищами по партии, действительно, был вежлив, внимателен, заботился о них. Однако при всем том не могу я выбросить из памяти печально известную историю о массовом переселении коренных питерцев, о жестоком и необязательном в мирное время акте, когда имелось много различных справедливых путей для разрешения сложных ситуаций.

В начале тридцатых годов до крайности обострилось в Ленинграде положение с жильем. Да и как ему было не обостриться, ежели новых домов после революции почти не строили, а народа прибавлялось: много прихлынуло руководящих евреев со шлейфами своих местечковых родственников (претендовали на самую лучшую жилплощадь), да и крестьяне стремились из голодающих деревень в город, к твердому заработку, к надежным продовольственным карточкам. Примерно 20 тысяч семей (около ста тысяч человек), считавших себя пролетарскими, настойчиво требовали: даешь фатеру, даешь условия! За что боролись?

Надо было принимать какие-то меры. Начались различные заседания и совещания по этому поводу. Появился проект: на мой взгляд, очень даже обоснованный и толковый — быстро соорудить (или восстановить) возле Ленинграда два кирпичных завода. Обжигать также напольный кирпич. И главное, сразу приступить к строительству упрощенных пятиэтажных домов на сто квартир каждый. За два-три года возвести двести таких зданий и выйти из кризиса. Реально ли это? Вполне. Пятьдесят бригад по пятьдесят человек и еще пятьсот человек на кирпичных заводах — всего требовалось три тысячи рабочих. Их и искать не надо, люди слонялись тогда без дела, ждали своей очереди на бирже труда. Только приставь к месту, только дай работу и плати — счастливы будут. И особой техники, особых капиталовложений не требовалось. Лопаты, носилки, мастерки, пилы да топоры. Леса кругом — заготовляй бревна, режь доски, брусья. Создалась бы новая строительная организация со своей базой и действовала бы дальше, разрастаясь и укрепляясь. Но для этого нужно было не на заседаниях языки мочалить, а конкретно руководить, формировать, изыскивать, направлять. Требовались условия: любое созидание не обходится без напряжения.

К сожалению, в ту пору больше ценились фразы, чем дела, больше верили заявлениям, чем поступкам. К тому же у руководителей не исчезла иждивенческая привычка жить за счет «проклятого прошлого». Еще раз «прижать к ногтю» враждебные классы, обеспечив за их счет пролетариев — это, во-первых, быстрей и проще, без всякой организационной возни, а во-вторых, сие и выглядит революционно, как последовательная, принципиальная, непримиримая борьба со всеми недобитыми элементами. Но поскольку упомянутые элементы «прижимались» уже много раз, квартиры их неоднократно уплотнялись и втискивать новых людей было уже некуда, Сергей Миронович решил разрубить гордиев узел одним ударом: выселить десятки тысяч лиц непролетарского происхождения не только из квартир, но и вообще из города, отправить их в административном порядке в те отдаленные холодные края, где пресловутый Макар не пас своих столь же пресловутых телят. Что и было выполнено с присущей Сергею Мироновичу энергией.

Пострадали не только старухи и старики, бывшие сановники и чиновники, титулованные и нетитулованные граждане бывшего «света» и «полусвета», но в основном пострадала интеллигенция: музыканты и врачи, адвокаты и инженеры, научные работники, искусствоведы. За одни сутки их вышвыривали из квартир и с носильными вещами командировали по назначению. Мужчин, правда, среди них было мало, мужчины или погибли, или давно уже стали таежными лесорубами, землекопами, добытчиками цветных металлов на рудниках. Высылались женщины, дети.

Если проявленную тогда Кировым жестокость сравнить с жестокостью Сталина, ставшую притчей во языцех, то сравнение будет отнюдь не в пользу Сергея Мироновича. Одно дело бороться с кулаками, с целым классом, осуществляя определенную идею, а другое — выбрасывать на улицу, отправлять в ссылку ни в чем не повинных людей. Проводя, к примеру, коллективизацию, Иосиф Виссарионович не знал, не предполагал, какие жертвы и трудности вызовет эта акция, какую голодовку она принесет. Так получилось помимо его воли. А Киров сознательно (отказавшись от гуманного, но более хлопотного пути) обрек на муки, на гибель одних людей, ради прихоти других. Кто же ему дал право — распоряжаться многими тысячами судеб?!

Иосиф Виссарионович был очень недоволен событиями в Ленинграде. Они получили широкую и неприятную огласку. При огульном выселении пострадали люди, нужные государству: ученые, специалисты высокой университетской квалификации, известные всему миру деятели культуры. Алексей Максимович Горький высказал свое резкое осуждение. Никто из пострадавших не выступал непосредственно против Сталина, следовательно, Иосиф Виссарионович не видел никаких причин для их изоляции. А теперь что же? Кто уцелел из ученых — удастся ли их использовать для дела, не возненавидели ли они Сталина за те обиды, которые нанес им Киров?

Был момент, когда Иосиф Виссарионович, вспыхнув, хотел вообще отменить незаконную акцию Кирова, вернуть в Ленинград всех высланных. Этим самым и сопернику своему Сергею Мироновичу нанес бы удар. Но такой выпад даже самому Сталину показался тогда слишком резким и несвоевременным. Да и как поймут, воспримут это решение те, кто уже вселился в квартиры: а ведь эти люди в массе своей ближе, дороже, надежней, чем высланные.

Иосиф Виссарионович ограничился тем, что в разговоре по телефону выразил Кирову свое явное неодобрение. А Вячеслав Михайлович Молотов с оттенком пренебрежения сказал тогда и неоднократно повторял впоследствии: «Киров не политик и не организатор, он лишь умелый пропагандист».

Последний раз я беседовал с Сергеем Мироновичем осенью тридцать четвертого года, приехав в Ленинград по двум делам, которые в то время считались совершенно секретными. Суть первого такова. Как известно, тогда был период быстрого развития авиации, особенно военной. Достаточно сказать, что у нас появились машины, способные летать со скоростью до шестисот километров в час, поднимаясь на десять километров и даже выше. Во многих странах «вошли в моду» скоростные бомбардировщики, считавшиеся почти неуязвимыми для средств ПВО. И прежде всего потому, что такие машины очень трудно было обнаружить на дальней дистанции. Звукопеленгация, распространившаяся тогда, утрачивала свою эффективность. Услышишь, увидишь — а самолет уже над объектом, уже сыплются бомбы.

Однако не каждый газ находит соответствующий противогаз. Пытливые умы искали новые способы обнаружения быстродвижущихся целей. И вот в Пскове у командира зенитно-артиллерийского полка В. М. Чернова родилась идея использовать для обнаружения самолетов не звуковые, а радиоволны. Эту мысль подхватил молодой инженер Павел Кондратьевич Ощепков, служивший в полку после окончания института. Вдвоем, не имея лаборатории и вообще каких-либо условий для творчества, эти инициаторы разработали и обосновали весьма интересный проект, причем ведущая роль принадлежала инженеру Ощепкову. Оригинальный проект встретил одобрение в Управлении противовоздушной обороны РККА, его очень горячо поддержал заместитель Наркома Обороны Михаил Николаевич Тухачевский, активный сторонник технических новшеств в наших Вооруженных Силах, имевший особый нюх на все важное и полезное.

Без проволочек в Ленинграде развернулась работа по созданию «разведывательной электромагнитной станции». К этому делу подключились крупнейшие ученые, радиоспециалисты. Естественно, что и Сергей Миронович Киров не оставался в стороне, следил за ходом работ,

помогал изобретателям. Материалы дефицитные требовалось разыскать, заказы внеочередно разместить по заводам. Кирова можно считать прямым «шефом» нашей радиолокационной станции. Можем гордиться: проводившиеся тогда у нас первые в мире опыты по радиообнаружению самолетов дали положительные результаты. Были созданы радиолокационные станции РУС-1, РУС-2 и портативная станция «Пегматит». В ту пору они, кстати, именовались не радиолокаторами, а электровизорами. Действовали они настолько надежно, что были приняты на вооружение и применялись в самом начале Отечественной войны. Особенно успешно — на подступах к Ленинграду. Ранним утром 22 июня несколько расчетов радиолокационных станций одновременно предупредили о приближении вражеских самолетов. А ровно через месяц, когда гитлеровцы попытались произвести первый массированный налет на нашу северную столицу, расчет станции «Редут» заблаговременно сообщил на главный пост ВНОС о появлении в воздухе гитлеровской армады. Сразу же были приведены в боевую готовность зенитчики, взмыли в небо наши истребители. Такая «теплая» встреча явилась полной неожиданностью для фашистов. Более десятка «мессеров» и «юнкерсов» были сбиты, остальные рассеяны на подступах к городу, и повернули восвояси.

Многие замыслы фашистского командования сорвали тогда наши радиолокаторщики, сами оставаясь загадкой для врагов. Даже гитлеровский аэродром сумели засечь в районе станции Сиверской. Его, естественно, разбомбили вместе с находившимися там самолетами.

Это уже потом, не имея во время войны возможности в достатке выпускать свою сложную технику, стали мы пользоваться английской и американской радиолокационной аппаратурой. Но первыми были наши изобретатели, я хочу это особо подчеркнуть и для несведущих, и для тех, кто, раскрыв рот, смотрит на запад, не видя отечественных достижений. [18]

Сталин поручил мне ознакомиться с ходом работ и доложить ему, сколь необходима новая аппаратура, каковы ее возможности. И вторая цель моей поездки тоже была связана с внедрением новой военной техники. Иосиф Виссарионович просил меня составить собственное мнение о положении дел в Особом техническом бюро по военным изобретениям специального назначения — сокращенно Остехбюро. Любопытно, как возникла эта закрытая научно-конструкторская организация. В 1921 году молодой и никому не известный тогда изобретатель Владимир Иванович Бекаури обратился к Владимиру Ильичу Ленину с просьбой принять и выслушать его. Встреча состоялась. Бекаури продемонстрировал несколько своих изобретений, причем одно из них произвело на Ленина особое впечатление. Речь шла об управлении на расстоянии при помощи звуковых волн, радиосигналов. Например: Финский залив перегораживается минами, когда к ним приближаются вражеские корабли, подается особый сигнал, и мины взрываются. На сухопутье вдоль границ можно установить такие мины. В узлах дорог, на маршрутах движения вражеских колонн закладываются мощные фугасы, и, когда надо, — противник взлетает на воздух.

Можно было спорить о каких-то частностях, но безусловным было одно: Ленин понял, что перед ним талантливый человек, полный желания искать и творить. Вопрос об изобретениях Бекаури рассматривался на заседании Совета Труда и Обороны, после чего инженеру были предоставлены самые

широкие возможности для работы. Создав и возглавив в Питере Остехбюро, Владимир Ильич Бекаури повел дело столь уверенно, умно и напористо, что за несколько лет превратил свое детище в мощное учреждение не только с лабораториями и мастерскими, но и с заводами, с испытательным полигоном. Это был целый научно-исследовательский комплекс, разрабатывавший одновременно несколько десятков проблем. От создания ночного бинокля до самолетных радиостанций, от новых торпед до прибора по обнаружению металлических масс под водой, от взрывателей до малогабаритных источников электропитания. Охват широчайший. Правда, я высказал Бекаури свое сомнение: такие фугасы, безусловно, полезны и нужны, однако существенного значения на ход военных событий они оказать не могут, тем более при условии ведения маневренных действий на большом пространстве. Владимир Иванович ответил, что не смотрит на свою работу узко, дело не только в фугасах, но в управлении на расстоянии вообще: с помощью радио, звука и других средств — это шаг в будущее.

Чтобы не возвращаться к проблеме, скажу лишь, что в Остехбюро, сменившем свое сложное название на обычный стандарт «Конструкторское бюро № 5» (если не ошибаюсь с номером), в этом бюро были заложены основы многих достижений техники, которыми долгое время пользовались наши Вооруженные Силы. Особой же заботой самого Владимира Ивановича всегда оставались приборы управления взрывами на расстоянии. В наших инженерных войсках были созданы специальные минные подразделения ТОС — техники особой секретности. Во время Отечественной войны эти подразделения сказали свое слово. Достаточно вспомнить такой факт. Отступая из Харькова, наши саперы заложили большой фугас под одним из крупных зданий города. Когда там обосновались и спокойно обжились гитлеровцы, линию фронта пересек радиосигнал. Взрыватели сработали. В результате вермахт потерял сразу несколько десятков офицеров.

Но это — потом. А тогда у Сталина, отправившего меня в Ленинград, была личная просьба к Бекаури. Имелось у этого разностороннего человека одно увлечение, если хотите знать, даже чудачество: ради собственного удовольствия он создавал несгораемые шкафы различных размеров, и каждый — особой конструкции, исключавшей всякую возможность взлома или подбора ключей. Сталин хотел, чтобы Владимир Иванович изготовил такой сейф лично для него. Я оговорил разрешение присовокупить свою такую же просьбу. Ведь через мои руки проходили документы, которые представляли особый интерес и для внешних врагов, и для внутренних недоброжелателей. Душа болела, когда оставлял такие бумаги в ящике стола или прятал их на полке среди книг. С сейфом системы Бекаури было бы куда спокойней.

У меня сложилось впечатление, что наши просьбы доставили Владимиру Ивановичу определенное удовольствие. При всех разносторонних дарованиях он больше всего, вероятно, любил свои сейфы, и ему было приятно, что авторитет его в этом деле так высок: сам Иосиф Виссарионович обратился к нему. А может, несгораемые шкафы были особенно дороги Бекаури еще и потому, что творил он их собственными руками от начала и до конца, это были его персональные детища, рассчитанные на долгий срок.

Узнав, что мне предстоит встреча с Сергеем Мироновичем Кировым, собеседник заволновался, чаще поглаживая блестящую желтоватую

голову. Сказал: родственники некоторых сотрудников Остехбюро подверглись неоправданным гонениям, выселены из Ленинграда черт знает куда. Это какое-то самоуправство, отсутствие элементарной согласованности. Вот фамилии сотрудников, которых коснулось это несчастье. Он, Бекаури, настаивает на том, чтобы его людям были созданы нормальные условия для работы. Хорошо, если об этом скажу Кирову и я.

Передаю здесь лишь смысл слов Владимира Ивановича, форма же выражения была очень горячей и резкой. Прозвучала гневная тирада о лицемерах, которые стараются прикрыть классовой борьбой прорехи в собственной голове и собственном сердце.

Я, конечно, изложил Сергею Мироновичу претензии Бекаури, передал список. Дня Кирова это, как показалось, не было неожиданностью. Он поморщился недовольно, сунул лист в какую-то папку. И вообще к моему визиту Сергей Миронович отнесся очень даже прохладно. Совсем недавно он беседовал по тем же вопросам с инженером Ощепковым, с заместителем Наркома обороны Тухачевским. Это были официальные лица, а я в глазах Сергея Мироновича являлся фигурой, близкой к нулю. Военный специалист, каких много, занимавший какую-то скромную должность. Направлен в Ленинград Сталиным — только поэтому я и был принят в Смольном: визит, не переросший рамок визита вежливости, продолжался всего двадцать минут.

Справедливости ради надо сказать, что Киров был чем-то озабочен, куда-то спешил и, пожимая на прощанье руку, извинился — не мог уделить больше времени. Я ответил: мои вопросы по Ленинграду исчерпаны, мнение составилось, а насколько удовлетворен нашей беседой он сам, какую пользу извлек, — это зависело лишь от него.

После этих слов Киров, человек сообразительный, хотел, кажется, продолжить наш разговор, но было уже поздно.

А с Владимиром Ивановичем Бекаури мне повезло увидеться еще раз, когда были готовы три оригинальных сейфа разных размеров. Средний из них — для меня. Иосиф Виссарионович был удовлетворен, когда у него появились надежнейшие шкафы. В общем, все были довольны. Но увлечение необычайными сейфами, как ни странно, в конечном счете слишком дорого обошлось Владимиру Ивановичу — он нажил себе такого врага, которого в то время не пожелал бы я иметь никому. Сложные запоры сейфов делали их недоступными для Лаврентия Павловича Берии. Считавший своим долгом знать все обо всех, он, увы, не имел доступа к бумагам, хранившимся в нескольких бекауриевских сейфах.

Лаврентий Павлович никогда не осмелился бы вскрыть шкаф Сталина, но он представлял, что хранится у Иосифа Виссарионовича в тайниках: почти все бумаги, почти все документы так или иначе проходили через руки сотрудников Берии. Однако его тревожили наши беседы со Сталиным, длительные прогулки вдвоем. Он очень хотел знать, что же хранится в моем сейфе и еще в одном маленьком несгораемом ящике, который некоторое время находился у меня на квартире и на даче и который Сталин никогда не открывал в присутствии посторонних.

Насколько я знаю, Лаврентий Павлович по меньшей мере два раза сам обращался к Бекаури, просил и требовал дать ему шифр, выложить тайну недоступности сейфов, однако принципиальный и добросовестный изобретатель не считал возможным передать секрет в третьи руки. Более того, он увлеченно работал еще над одним, сверхзамысловатым шкафом. Для Берии это было уже слишком.

Большую пользу принес стране талантливый изобретатель Бекаури и, наверное, мог бы сделать еще очень многое. Но Берия позаботился о том, чтобы выдающийся инженер не затруднял бы его впредь своими неразрешимыми загадками.

8 сентября 1937 года заместитель начальника Управления НКВД по Ленинградской области Н. Е. Шапиро-Дайховский выдал ордер на арест Владимира Ивановича Бекаури. Ровно через пять месяцев в Лефортовской тюрьме состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда. Председательствовал И. О. Матулевич, правая рука и надежный помощник армвоенюриста В. В. Ульриха, «отличившегося» на процессе над «группой Тухачевского» и на многих других подобных процессах. В своей среде Матулевич был известен как незаменимый судья-скоростник, успевавший рассматривать за день два-три десятка дел. Обвиняемому для оправдания — две минуты. Владимир Иванович уложился в столь краткий срок, опрокинул все домыслы. Но это не имело значения: приговор был подготовлен заранее. Бекаури был расстрелян сразу же после суда.

В то время Наркомат внутренних дел возглавил Н. И. Ежов, сам Берия держался в тени, хотя давно уже влиял на деятельность карательных органов. Чужими руками убрал Лаврентий Павлович строптивого изобретателя. Не только отомстил этому упрямцу, но и использовал его имя в сложной интриге — для «разоблачения» близкого Сталину человека, своего опасного противника — Авеля Софроновича Енукидзе. Схема простая. Бекаури и Енукидзе были давними друзьями, закончили в Тбилиси техническое железнодорожное училище, встречались за границей в командировках. Фашистская разведка «завербовала» Енукидзе и Тухачевского. Те, в свою очередь, общаясь с Бекаури, втянули его в свою преступную группу. А Бекаури потом вербовал сотрудников Остехбюро, военных моряков, всячески вредил сам, разрабатывая негодную военную технику… Ничего не скажешь — умело, ловко и беспощадно действовал Лаврентий Павлович.

3

Киров и Берия — в моем представлении они связаны неразрывно. Понимаю собственную субъективность, но что же поделать: при воспоминании о Сергее Мироновиче сразу всплывает и другое имя.

Было лишь два человека, которые с самого начала и откровенно ополчились против Лаврентия Павловича, едва он возник на большом политическом горизонте. Прежде всего — Надежда Сергеевна Аллилуева. Ненависть ее проявлялась эмоционально, бурно, вне зависимости от конкретных фактов. Может, она инстинктивно ревновала его к Сталину, первой почувствовала то скверное влияние, которое оказывал на Иосифа Виссарионовича льстивый, коварный хитрец?! «Он плохой человек! Он негодяй!» — во всеуслышанье повторяла Надежда Сергеевна. А в последние месяцы жизни еще добавляла: «Он страшный, от него можно ожидать самого худшего!»

Берия опасался безграничной, отчаянной и прямо-таки патологической ненависти Надежды Сергеевны. Она могла бы кошкой броситься на него и выцарапать маслянистые выпуклые глаза. Лаврентий Павлович избегал ее. А если доводилось встретиться где-нибудь, держался незаметно, исчезал при первой возможности. У Аллилуевой гнев бурлил, а Берия мрачно копил злобу против нее, против всех и всего, что связано с ней. Это выльется

наружу, когда Надежда Сергеевна уйдет из жизни и некому будет защищать ее родственников. Вскоре мы увидим, какой особенный интерес проявит к ним Берия.

Вот как бывает: Надежду Сергеевну, не располагавшую никакими компрометирующими его сведениями, Лаврентий Павлович боялся как черт ладана. А вот Кирова, который знал всю темную подноготную, Берия встречал насмешливой полуулыбкой. Если и опасался Сергея Мироновича, то умело скрывал это.

Вражда двух десятилетий имела глубокие корни. Сергей Миронович Костриков еще в 1907 году начал работать репортером газеты «Терек», выходившей во Владикавказе, а репортерам известно бывает многое. Имея журналистскую хватку, писал Костриков легко и хлестко, добился популярности и вскоре стал по существу редактором этой газеты. Информацию получал разностороннюю. К чести Кострикова, надо сказать, что он выделялся не только как репортер, но и как автор вполне серьезных статей, например о Льве Толстом. А свои критические выступления Сергей Миронович подписывал псевдонимом «Киров». В ту пору и Сталин заметил, оценил его как активного партийного вожака. Во время гражданской войны назвал его «русским знатоком национальных сложностей по Кавказу».

Кирову было доподлинно известно, что представляет собой Лаврентий Павлович Берия, этот, по его словам, «шарлатан и беспощадный авантюрист», сотрудничавший с грузинскими националистами, а в 1919 году в Баку являвшийся агентом мусаватистов (Берия утверждал впоследствии, что сделал это якобы по заданию большевистской партии, а сведения передавал в штаб 11-й Красной Армии опять же Кирову). Кому Лаврентий Павлович служил на самом деле, определить было трудно. Во всяком случае, его разоблачили как вражеского шпиона, арестовав на месте преступления. Велось следствие. Боевая обстановка была сложной, поэтому Киров послал в Москву телеграмму, прося разрешения расстрелять предателя. Такой приказ был отдан. Однако выполнить его сразу не удалось. Берия каким-то образом оказался на свободе (вполне возможно, что об этом позаботился Сталин), нашел себе авторитетных покровителей. А жаль, что тогда не уничтожили ядовитую змею — это самый большой упрек, который я мог бы адресовать Сергею Мироновичу, да и сам он трагически расплатился за свою промашку.

А ухмылялся Берия при виде Кирова потому, что знал: для Сталина прошлое Лаврентия Павловича не имело отрицательного значения. Даже наоборот. Иосиф Виссарионович был убежден: у Берии положение безвыходное, он будет служить, как самый надежный пес. Хотя бы потому, что Иосиф Виссарионович спас Берию от второго ареста, грозившего ему неминуемой гибелью. В 1921 году, после проверки комиссией ВЧК деятельности Азербайджанского ЧК (комиссию возглавлял Кедров), Берия был вызван в Москву. Его должны были «взять» при выходе из вагона — Дзержинский подписал ордер на арест. Но вмешались Наркомнац Сталин и Микоян. После резкого разговора со Сталиным Дзержинский отменил арест и в сердцах порвал ордер. Подробности этого дела всплыли через много лет, на июльском Пленуме ЦК КПСС 1953 года. Сталина уже не было в живых, а Микояну пришлось оправдываться за покровительство Берии.

Общее между просто бандитами, просто авантюристами и авантюристами политическими состоит в том, что при неудаче они расплачиваются ссылкой, тюремным заключением, иногда — самой

жизнью. А разница такая: в случае успеха, даже очень крупного, бандиты и авантюристы ими же и остаются, разве что только богатыми. А политический бандит, если ему повезет, сбрасывает запятнанную одежду, обряжается в официальный мундир, превращается в руководителя. Его защищают закон и оружие, его превозносят, ему подражают… Лаврентий Павлович своевременно уяснил это, из простого авантюриста «переквалифицировался» в авантюриста политического и преуспел на таком поприще.

В двадцатых годах Сталин лишь изредка, в самых необходимых случаях, пользовался «услугами» Берии, держа в строгой тайне свою связь с ним. Это было очень удобно: Лаврентий Павлович с преданными ему земляками мог устранить любого человека, а Сталин вроде бы не имел к этому никакого отношения. В свою очередь Иосиф Виссарионович всегда негласно поддерживал Берию, заботился о его продвижении по службе. Стараниями Иосифа Виссарионовича Берия был выдвинут руководителем ГПУ Грузии, хотя тамошние партийные работники были против.

В 1931 году Иосиф Виссарионович отдыхал в Цхалтубо. Туда же по долгу службы, для охраны Сталина, приехал и Берия. Встречались они ежедневно. Это было время, когда Сталин особенно нуждался в надежных, не рассуждающих и небрезгливых исполнителях своих далеко идущих замыслов. Он и Лаврентий Павлович Берия настолько хорошо поняли друг друга, что, вернувшись в Москву, Сталин сразу поставил на заседании ЦК вопрос о назначении Берии вторым секретарем краевого комитета партии Закавказской Федерации, в которую входили Азербайджан, Армения и Грузия. Это предложение было встречено в штыки и членами ЦК, и представителями Закавказской Федерации. Орджоникидзе, считавший Берию «продажной шкурой» и подлецом, вообще отказался присутствовать на этом заседании. Все были против, один лишь Лазарь Моисеевич Каганович, который, кстати, и вел заседание, поддержал Сталина, не поскупившись на похвалы Берии. В общем, предложение провалилось (тогда, до XVII съезда партии, мнение членов ЦК было весомым, каждый высказывал то, что считал нужным. Выступавшего с критикой не выбрасывали за борт, как стало потом).

Сталин был раздражен, и я нисколько не сомневался и том, что он добьется своего. Он умел бороться за нужных ему людей. Опытный организатор, мастер закулисных комбинаций, Иосиф Виссарионович нашел другой путь к цели. В самый короткий срок партийное руководство Закавказской Федерации было перетасовано в «рабочем порядке», а проще сказать — разогнано. Берия стал вторым секретарем Заккрайкома. Более того, еще через несколько месяцев Закавказская Федерация вообще была ликвидирована, а Лаврентий Павлович вознесен на пост первого секретаря ЦК КП Грузии. Иосиф Виссарионович считал, что этим самым он убил сразу по крайней мере двух зайцев: Грузией отныне руководил преданный и послушный ему человек, а противники и оппоненты Сталина убедились, что выступать против него нет смысла, он всегда одержит верх.

Пользуясь доверием Иосифа Виссарионовича, Берия действовал решительно и беспардонно. Вот только один факт. Менее чем за полгода Лаврентий Павлович сменил первых секретарей в тридцати двух районах Грузии. И знаете, кто стал первыми секретарями райкомов? Начальники районных отделов НКВД! Это не анекдот, это — печальная правда.

Расположение Сталина к Лаврентию Павловичу особенно возросло после того, как тот торжественно преподнес своему покровителю книгу «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» с трогательной авторской надписью, хотя, если разобраться, к авторству Берия имел весьма косвенное отношение. Книгу эту составил коллектив грузинских историков. Лаврентий Павлович по собственной инициативе зачитал несколько глав рукописи на партийном активе в Тбилиси, сделав таким образом заявку на соавторство. Посоветовал историкам больше внимания уделить Джугашвили-Сталину. А затем и сам приложил руку, приписав Иосифу Виссарионовичу разнообразные заслуги. После бериевского редактирования получилось так, что, не будь Иосифа Виссарионовича, и большевистской партии не было бы в Закавказье, а может, и Октябрьская революция не свершилась бы. Грузинские историки не могли возразить против такой передержки, некоторые вообще не узнали о ней: историков одного за другим втихомолку увозили в тюрьму и расстреливали. Вот и остался Лаврентий Павлович единственным «автором» вышеназванного опуса. А Иосиф Виссарионович был доволен: его политическая деятельность на Кавказе была теперь подтверждена солидным наукообразным исследованием.

Итак, отношение Сталина к Кирову неуклонно и заметно ухудшалось, а к Лаврентию Павловичу — наоборот. Отразилась на этом и смерть Надежды Сергеевны. Долго и добросовестно поработав по поручению партии на Кавказе, Сергей Миронович одно время пользовался особым расположением Сталина. К тому же был своим человеком в семье Аллилуевых, а затем и в семье Иосифа Виссарионовича и Надежды Сергеевны. Она и Киров в какой-то мере противостояли влиянию Берии. Но вот не стало Надежды Сергеевны, и Киров лишился своего главного союзника в борьбе с беспринципным и коварным противником. Лаврентий Павлович чаще приезжал из Тбилиси в Москву, подолгу оставался наедине с Иосифом Виссарионовичем, обзавелся в столице постоянной резиденцией.

Летом 1934 года Сергей Миронович отдыхал вместе с Иосифом Виссарионовичем на юге, но, по-моему, этот отдых не принес удовлетворения ни тому, ни другому. А пока два старых товарища, два вожака, пользовавшихся теперь в партии равным авторитетом, прогуливались по зеленым крымским аллеям, Лаврентий Берия, коему надлежало обретаться в Грузии, почти безотлучно находился в столице, иногда ночевал на нашей общей квартире, где по-прежнему хозяйничал Николай Власик, быстро нашедший общий язык с Берией, относившийся к нему как к непосредственному начальнику. От Власика мне стало известно, что Берия несколько раз выезжал в Ленинград, проводя там два-три дня. Обязательно встречался с чекистом М. П. Фриновским, который возглавлял в северной столице секретную операцию по вылавливанию террористов, заброшенных якобы из-за кордона «Общерусским воинским союзом» для ликвидации партийных и советских руководителей. Но либо террористов не оказалось, либо маскировались они очень умело — никого выловить не удалось. Однако Фриновский заслужил похвалу: какое-то задание он сумел выполнить. Был отозван в Москву на более высокую должность.

В декабре было совершено покушение, всколыхнувшее всю страну. Некто Николаев подошел к Кирову и выстрелил в него без всяких помех, будто и не существовало никакой охраны. Николаев был задержан и

ликвидирован. Были также ликвидированы все свидетели этого события, все те, кто вел следствие или вообще имел хотя бы косвенное отношение к убийству Кирова, что-то видел или слышал, о чем-то мог рассказать. Были решительно обрублены все нити, ведущие к этому делу. Вот и спорят люди до сих пор: кто, почему и для какой надобности направлял руку стрелявшего?

Я предупреждал читателей: категорически утверждать буду лишь то, что видел собственными глазами, что знаю с достоверностью, в чем убежден. Все остальное — размышления и предположения.

Да, Сталин считал Кирова очень опасным соперником — это с особой остротой проявилось на XVII съезде партии. Да, Сергей Миронович во многом мешал Иосифу Виссарионовичу. Хотя бы в уничтожении людей, выступавших против Сталина на упомянутом съезде. В дальнейшем он мог сделаться непреодолимым препятствием на пути осуществления тех планов, которые вынашивал Иосиф Виссарионович. Так что со всех этих точек зрения Сталин был заинтересован, чтобы Сергей Миронович отправился в то путешествие, из которого не возвращаются. Но логическая связь между такой заинтересованностью и самим фактом убийства — это еще не доказательство. А настоящие доказательства были уничтожены настолько продуманно и многоступенчато, как не уничтожались никогда раньше.

Другой аспект. Кому желательна, важна, просто необходима была смерть Кирова? Все тому же Берии. Вопрос стоял так: один из них должен уйти. Исчезнуть совсем! Лаврентий Павлович, рвавшийся к власти, знал, что Киров помешает ему занять высокий пост, даже если того пожелает Сталин. Принципиальности Кирову не занимать, а запугать его невозможно. Понимал Берия и то, что в развернувшейся подспудной борьбе симпатии Сталина на его стороне, молчаливая поддержка Лаврентию Павловичу обеспечена, особенно в случае удачных действий.

Еще не выздоровевший, не окрепший душевно после смерти жены, обиженный и озлобленный поведением делегатов XVII съезда, Иосиф Виссарионович, как никогда раньше, старался выявить и сплотить вокруг себя самых надежных людей, на которых можно опереться без колебаний. В армии таковыми были Ворошилов, Буденный, Егоров. В партии — Молотов, Каганович, Жданов, Хрущев, Андреев. В личных делах, где требовалось исключительное доверие, — я. А в карательных органах, которые приобретали все большую важность, преданным исполнителем желаний Сталина мог стать Берия, не опасавшийся замазать себя грязью и кровью хотя бы потому, что и без этого весь был изгваздан ими.

Я не убежден, что трагическая развязка конфликта между Кировым и Берией свершилась по инициативе Иосифа Виссарионовича. Кроме всего прочего, Сталин был слишком осмотрителен и осторожен, чтобы сделать такой шаг. Но жизнь, повторяю, сложна, зачастую определяющими в ней являются не яркие краски, а полутона, легкие штрихи. Находясь при Сталине долгие годы, я не помню случая, чтобы он взял на себя инициативу, распорядившись расправиться с кем-то из бывших соратников, товарищей. Он мог выругать, раскритиковать человека, мог заявить, что такой-то «нам больше не нужен». Случалось, что человек после этого исчезал бесследно, а бывало и так, что после всей критики, после резкой брани, работал и жил, словно ничего не произошло. Я не способен был уловить той грани, на которой кончалась у Сталина просто вспышка гнева и за которой вставал безапелляционный приговор. А вот у

Берии был особый нюх, он точно улавливал, когда Иосиф Виссарионович мысленно выбрасывает кого-то сразу из всех списков. Лаврентий Павлович в этом не ошибался, во всяком случае не ошибался долго, до последних лет жизни Сталина. Лишь тогда, совершенно зазнавшись, Берия, как мы увидим, потерял свое пресловутое чутье.

Мы о многом, да практически обо всем, о самом интимном, беседовали бывало с Иосифом Виссарионовичем, но никогда не касались в своих разговорах убийства Кирова. Не желал этого Сталин, хотя я видел, что смерть Сергея Мироновича долго мучила его. Но почему? Может, жалел старого товарища, соратника? Или совесть не давала покоя?

Когда пришла весть об убийстве, Иосиф Виссарионович сразу же в специальном поезде, в сопровождении очень сильной охраны, выехал в Ленинград. Я — при нем. В одном купе со следователем Львом Шейниным, который стал в будущем довольно известным писателем. Этакий компанейский, ухватистый, гибкий — способный выявить и доказать все, что от него требовали. Быстро делал карьеру, проворный…

В нашем вагоне находился и Николай Сергеевич Власик, отвечавший за безопасность Сталина. Очень был тогда встревожен главный охранник. Судя по его возбуждению, можно было подумать, что в Питере стреляют подряд во всех руководителей партии.

На вокзале выстроились для встречи местные ответственные работники, весь руководящий состав Ленинградского ГПУ во главе со своим начальником Филиппом Медведем. Едва поезд остановился, из вагонов высыпали прибывшие с нами охранники, молча встали справа и слева от каждого из встречавших, за их спинами.

Медленно, очень медленно спустился на перрон Сталин. Лицо злое, окаменевшее. Холод был сильный, но Иосиф Виссарионович, казалось, не чувствовал этого, не натянул даже кожаные перчатки, нес их в правой приподнятой руке.

Сталин делал шаг за шагом, и мертвая, давящая тишина густела вокруг. Напряжение возросло настолько, что у меня дыхание перехватило.

Остановившись возле Медведя, Сталин резко хлестнул его перчатками по лицу. Раз и другой. Два шлепка. Испуганный, приглушенный выкрик. И в это же мгновение охранники обезоружили всех встречавших и, подталкивая, повели куда-то. Все это без голосов, без сопротивления, как в кошмарном сне.

Безусловно, сия акция, сия сцена были продуманы и подготовлены заранее. Пощечины Сталина — не мгновенная вспышка гнева. Он ударил Медведя так, чтобы видели присутствующие, чтобы об этом знали историки. Продемонстрировал свое отношение.

С вокзала поехали в больницу, в прозекторское отделение, где уже произведено было вскрытие Кирова. Увидели собственными глазами, что он мертв. Там же находилась жена Кирова Мария Львовна Маркус со своей сестрой. Сталин выразил им соболезнование. Затем Иосиф Виссарионович довольно долго разговаривал с врачом — хирургом Юлианом Юстиновичем Джанелидзе, который появился возле Сергея Мироновича через несколько минут после покушения и вместе с профессором хирургом Василием Ивановичем Добротворским составлял акт о смерти Сергея Мироновича. Обычно Сталин никогда не говорил по-грузински в присутствии посторонних, но на этот раз изменил своему правилу, хотя Джанелидзе хорошо знал русский язык. Вероятно, были какие-то важные обстоятельства…[19]

Начальник Ленинградского ГПУ Филипп Медведь не был сразу отстранен от обязанностей, некоторое время он еще оставался на посту вместе со своим помощником И. В. Запорожцем. Этого помощника незадолго до покушения направил в Ленинград лично Ягода. Последний раз я видел Медведя в Смольном, в кабинете Кирова, когда он, Ягода, Молотов, Ворошилов и Жданов, в присутствии Сталина, допрашивали Леонида Васильевича Николаева, который стрелял в спину Сергея Мироновича. Убийца показался мне безвольным, жалким человечком, а не твердым, решительным террористом, убежденным в своей правоте. Какая там убежденность: Николаев бился в истерике на полу. Он даже не узнал Сталина, не понял, кто перед ним. Кричал что-то несвязное, можно было разобрать только одну повторявшуюся фразу: «Что я наделал! Что я наделал!» Допрос пришлось прекратить. Николаева увели, точнее — вытащили под руки.

В отличие от Николаева, его жена Мильда Драуле держалась спокойно, ссылаясь на то, что ничего не знает. Говорили мы и с другими свидетелями. Меня заинтересовали некоторые факты, не получившие впоследствии огласки. Например, когда второй секретарь Ленинградского обкома партии М. С. Чудов по кремлевской «вертушке» связался с ЦК ВКП(б), чтобы сообщить о покушении на Кирова, у телефона оказался почему-то Л. М. Каганович — первый секретарь Московского областного и городского комитета партии. Он спокойно выслушал известие, сказал, что разыщет Сталина, и повесил трубку. А Иосиф Виссарионович позвонил в Ленинград минут через десять.

Еще странность: все товарищи, переносившие Кирова из коридора, с места покушения, а кабинет, единодушно утверждали, что первым на место происшествия прибыл профессор-кардиолог Георгий Федорович Ланг, пытался оказать Кирову помощь. Однако фамилия профессора не была даже упомянута в официальном документе. Так что же, находился он возле Кирова или нет?

Кто-то, кажется Ворошилов, предложил вызвать Людмилу Шапошникову — любовницу Сергея Мироновича. Мне доводилось видеть ее, это была рослая, статная женщина с роскошными, отливающими золотом, волосами, с характером решительным и твердым. Киров боготворил ее и, вероятно, рассказывал многое. Она могла бы пролить какой-то свет на события. Однако Сталин, подумав, сказал:

— Мы не должны рыться в постельном белье. Если нужно, Шапошниковой займется Ягода. А мы не будем рыться в постельном белье.

Вслед за Николаевым и Драуле комиссия намеревалась допросить Борисова, охранявшего в трагический час Сергея Мироновича, но почему-то отставшего в самый ответственный момент. Члены Политбюро ждали десять, пятнадцать минут — Борисова не было. Иосиф Виссарионович наливался свинцовым спокойствием, не предвещавшим ничего хорошего. Ягода нервничал, суетился, у него подергивалась левая щека: этакий, растерянный местечковый провизор.

В комнату вошел, а вернее ворвался Власик с выпученными глазами, с прилипшей к потному лбу челкой. Что-то быстро, горячо шептал на ухо Сталину — Иосиф Виссарионович, обладавший острым слухом, даже отстранился. Затем, подавив своим тяжелым сардоническим взглядом вопрошающие взгляды присутствовавших, произнес:

— И этого сделать не сумели… Свидетель Борисов, которого везли к нам, только что попал в автомобильную катастрофу, на углу улицы

Воинова. Он почему-то вывалился из машины и почему-то разбился насмерть… Борисов погиб и не сможет дать нам показаний. Товарищ Власик говорит, что обстановка в Ленинграде неблагоприятная во всех отношениях. Опасная обстановка. Местное руководство не может или не хочет принять соответствующие меры, — ударил он взглядом Медведя. — Придется поручить другим товарищам навести здесь порядок.

Вот и все. Члены Политбюро отбыли в Москву: их безопасность в северной столице не была, якобы, гарантирована. Все сотрудники ленинградского ГПУ были отстранены от «дела Кирова». Следствие возглавил вызванный из Москвы заместитель начальника ГПУ СССР С. А. Агранов. Ему активно и охотно помогал мой знакомый Лев Шейнин. Совместными усилиями они быстро добились от Николаева «признания» в том, что он являлся участником подпольной антисоветской, троцкистско-зиновьевской группы: эта группа поручила ему убить Кирова в отместку за разгром зиновьевской оппозиции… Считаю нужным отметить, что физические воздействия на арестованных тогда еще не применялись.

Потом были разные другие признания. Мутная, в общем, история. Медведь давал одни показания, Запорожец — другие. Ягода (после ареста) — третьи, его личный секретарь П. П. Буланов — четвертые. Темная вода…

Убийство Кирова послужило сигналом к началу «большого террора» 1935–1940 годов. Это общеизвестно. Я же хочу направить луч света на С. А. Агранова. И вот почему. Сам по себе он ничего особенного не представляет, фигура скользкая, ныне почти совсем затерявшаяся в дебрях истории. Но ведь это, повторяю, он, начиная с 3 декабря 1934 года возглавлял следствие по убийству Кирова. Как вел, в чьих интересах — это другой вопрос. Факт тот, что Агранов доподлинно знал, как и что произошло, он располагал всеми материалами. Даже спекулировал на этом, набивая себе цену.

Агранов — бывший эсер. С 1915 года — в партии большевиков. С 1919 по 1921 год ни много, ни мало — секретарь Совнаркома. Затем, вплоть до 1937 года, занимал ответственные должности в системе ГПУ — НКВД. Оставаясь в глухой тени, готовил и проводил такие операции, которые не должны были получать никакой огласки. Он знал слишком много и догадывался, что рано или поздно его уберут те, для которых подобные знания опасны. Агранов прятал в тайниках материалы, которые, как он считал, помогли бы ему в нужный момент поторговаться за свою жизнь.

Когда Агранов стал лишним и опасным в сложной игре, его исключили из партии «за систематическое нарушение социалистической законности», — какая, великолепная формулировка, не правда ли?! И, естественно, расстреляли.

Тайники Агранова были вскрыты агентами Берии. За исключением одного, самого важного — тайник с документами об убийстве Кирова так и не был обнаружен. Остались только вторичные бумаги. А где основные? Этот вопрос постоянно мучил Лаврентия Павловича, не давал покоя Сталину. Вдруг — всплывет нежелательное?! Этим, частично, и объясняется их постоянное, неослабевающее желание искоренить всех, кто хоть что-то знал о смерти Сергея Мироновича, стремление найти, разыскать исчезнувшие документы. Поторопились они с Аграновым. А бумаги так и не были найдены. Может, погибли во время войны, может, лежат себе-полеживают до сих пор.

Из Грузии поступило сообщение о том, что старая мать Иосифа Виссарионовича слабеет с каждым часом и хочет попрощаться с сыном, со всей родней. Сталин виделся с матерью очень редко (переезжать в Москву она отказалась), но относился к ней с глубокой почтительностью — это была последняя ниточка, связывавшая его с детством, с далеким прошлым. Про сапожника Виссариона Джугашвили, погибшего от ножа в пьяной драке, он никогда не вспоминал, по крайней мере вслух, никогда не называл его отцом, хотя вообще-то у грузин очень развита уважительность к старшим, а к старшим родственникам — особенно.

Весть была невеселая, но я обрадовался ей, надеясь использовать как предлог для того, чтобы оторвать Сталина от напряженной работы: ему требовался отдых, требовалась смена обстановки, новые впечатления. Иосиф Виссарионович буквально ходил по краю пропасти, рискуя сорваться в темную пучину психического расстройства. Нервное переутомление, несколько сильнейших неприятных потрясений и беспрерывный труд доконали его. Днем — оперативные дела, совещания, заседания, встречи, беседы, а вечером, ночью — обдумывание, писание статей, выступлений. Спал он мало, не соблюдая режим. Ложился то в два, то в три, то в четыре часа, иногда даже в шесть, а в одиннадцать, во всяком случае к полудню, вновь был на ногах. Время от времени появлялся вдруг не свойственный ему алчный аппетит, в такие периоды он много ел. Даже специально сшитый китель не мог скрыть выступавший живот.

Когда-то в детстве, играя со сверстниками, Иосиф сильно разбил руку. Она воспалилась. Местная знахарка долго лечила какими-то мазями. Помогло. Однако рука плохо сгибалась и разгибалась в локте. Когда я познакомился со Сталиным, сие не очень бросалось в глаза. Но со временем рука становилась все менее подвижной, была чуть согнута. Это раздражало его.

Стареть начал Иосиф Виссарионович. Заметно поседели и поредели волосы, углубились морщины, одрябли веки. Словно бы усохли, осели десны. Наступил тот возраст, когда организм мужчины претерпевает необратимые изменения, нарушаются некоторые функции, что влечет за собой ряд последствий. Полуболезненное состояние и сознание постепенного угасания делают людей вспыльчивыми, капризными. У Сталина и раньше проявлялись эти качества, а теперь — возросли. Очень нужно было дать ему разрядку. Он и сам понимал, что это необходимо и, когда появился веский предлог, не стал возражать, принялся собираться в дорогу.

Глубокой ночью к пустынному перрону Курского вокзала подошел короткий спецсостав из вагонов международного класса. Эти деревянные, коричневые с красноватым оттенком вагоны в большом количестве выпускались еще до мировой войны, до четырнадцатого года, и, по-моему, ничего лучшего вагоностроители не достигли до сей поры. У них был мягкий, бесшумный ход. Над ступеньками подножек — аркообразная крыша. Медные, как на кораблях, поручни. Внутри отделаны красным деревом, на полах — ковры. Оборудованы были эти вагоны в соответствии с тем, для чего или для кого предназначались. У Сталина — большой салон для совещаний, кабинет, спальня с туалетной комнатой, в которой можно было принять горячую ванну. А вагон, в котором ехал я, состоял из просторных одно- и двухместных купе. Между каждой парой купе —

туалет со всеми удобствами, но без ванны. Очень хорошо было жить и работать в таких вагонах, особенно, если поездка затягивалась надолго. На любой станции, в любом городе можно было сразу подключиться к телефонной и электросетям, к железнодорожному телеграфу.

Во время Великой Отечественной войны в таких вагонах часто размещались крупные штабы, вплоть до фронтовых. Многие вагоны были брошены при отступлении или разбиты бомбами. Уцелели лишь несколько десятков. Но и после войны эти ветераны долго еще несли свою службу, удивляя выносливостью и радуя комфортом. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, начиная с тридцатых годов, ездил только в таких вагонах.

Наш спецсостав шел к югу на невысокой скорости, без спешки. Днем остановки были редкими и короткими, только для смены паровоза. Но с наступлением темноты, особенно после полуночи, поезд задерживался на каждой крупной станции. Иосиф Виссарионович выходил гулять обычно со мной. Разумеется, перрон в такие минуты был совершенно безлюден, даже охранники, оцепившие его, умело маскировались, поэтому прогуливаться было приятно. Мы с Иосифом Виссарионовичем каждый раз вспоминали, как и что было у нас тут во время гражданской войны, особенно когда гнали Деникина. А если Сталину случалось бывать на какой-то станции без меня, он подробно и охотно рассказывал, что делал здесь. Я радовался: поездка, хоть и очень затягивавшаяся, уже приносила пользу его здоровью.

Вообще говоря, Иосиф Виссарионович не очень-то стремился на Кавказ, с большим удовольствием отдыхал в Крыму или в центральной полосе России; на одной из своих дач. Его раздражало навязчивое внимание земляков, помпезность встреч, бурное проявление эмоций. Не любил он пылких речей, шумных застолий, когда все взгляды сосредоточивались на нем. Поэтому, если и бывал на Кавказе, то лишь в совершенно изолированных местах, чаще всего на берегу моря. В Тифлис, а уж тем более на родину, в село Диди-Лило и в Гори, его совершенно не тянуло. Но в тот раз мы побывали там.

Захудалый домишко сапожника Джугашвили был заботами Берии окружен роскошным мраморным павильоном, дабы «сохранить первую обитель великого вождя на вечные времена», — как выразился сам Лаврентий Павлович. По этому поводу Сталин ничего не сказал, но молчание его можно было воспринимать как одобрение.

Стараниями все того же предусмотрительного Берии мать Иосифа Виссарионовича занимала в Тбилиси бывший губернаторский дворец с прекрасным большим парком. Собственно, занимала она лишь одну комнату, да еще в нескольких комнатах обосновались ее приживалки, такие же древние старухи, все в черном, словно монахини. Будь они способны играть в прятки, получали бы большое удовольствие от этой игры в пустынном дворце и в парке. Но им, по-моему, было не очень уютно на таком просторе, они постоянно держались тесной кучкой. Мать Иосифа Виссарионовича ничем не выделялась среди них, разве что множеством крупных веснушек, усыпавших все, что только можно усыпать. Особенно заметны они были на лице, не по-южному бледном, лишенном загара. Волосы совершенно седые, только сзади, на шее, сохранили еще рыжеватость: это становилось видно, когда она снимала черный платок.

В своем строгом наряде, со скромно сложенными на груди руками, бывшая крестьянка Екатерина Голидзе-Джугашвили выглядела вполне

респектабельно. Особенно когда (очень редко) водружала на нос пенсне. При этом даже некоторую надменность обретало ее лицо.

По-русски старая женщина не говорила и почти ничего не понимала, поэтому, вероятно, Василий и Светлана не пользовались ее вниманием, она смотрела на них равнодушно, а беседовала только с Яковом, который когда-то жил вместе с ней. Ну, и особенно, конечно, довольна была сыном Иосифом, уважившим ее своим приездом. Причем мать совершенно не радовалась тому, что он занимает какую-то высокую, не очень понятную ей, должность. Наоборот, была огорчена тем, что Иосиф надолго останется в России, и повторяла: «Лучше бы ты возвратился домой и нашел себе спокойную уважаемую работу…» Растроганный словами матери, Сталин слушал ее с доброй улыбкой, какой я не видел уже давно. Хотелось надеяться на перемены. Вот приедет он в Москву совершенно здоровым, кончится темная полоса подозрительности, метаний.

Может, сказал кто-то старухе, или сама она догадалась, что я особенно близок к Иосифу Виссарионовичу. Тот же Берия мог сообщить. Так или иначе, но мне передали ее желание увидеться и поговорить. Я охотно согласился и пошел за позвавшей меня женщиной, столь же сухой и аскетичной, как и другие дворцовые старухи, но более быстрой, с резкими движениями. Она достаточно хорошо изъяснялась по-русски.

Мать Сталина начала расспрашивать, как живет ее сын, кто о нем заботится, чем и когда кормит, кто стелет постель, стирает белье, ухаживает при болезни. Я объяснил, упомянув при этом Валентину Истомину, появившуюся в квартире Иосифа Виссарионовича вскоре после кончины Надежды Сергеевны.

— Она красивая? — спросила старуха.

— Она очень мила, приятна, обходительна.

— Эта женщина любит Иосифа?

— Не знаю, — пожал я плечами. — Она ведет все хозяйство.

Старуха помолчала, потом произнесла со вздохом:

— Передай ей мою просьбу. Пусть она заботится о моем сыне как мать и жена. Больше некому о нем заботиться. Дети Иосифа живут для себя, а я скоро умру. Скажи ей, что я буду молиться за нее и здесь, и на том свете…

— Хорошо, передам все слово в слово.

— И о тебе тоже буду молиться, — продолжала она. — Вижу, что ты любишь Иосифа, и буду просить Господа нашего, чтобы он дал тебе здоровья и счастья.

Я поклонился ей.

На следующий день, прощаясь с матерью, Сталин пообещал снова приехать при первой возможности. А она в ответ благословила его и сказала:

— Ах, Иосиф, как жаль, что ты не стал священником и живешь так далеко!

Это были последние слова, которые Сталин слышал от матери. В 1937 году она скончалась. Иосиф Виссарионович был весьма огорчен утратой, хотя, конечно, понимал неизбежность. Похоронили мать Сталина в Тбилиси возле церкви Святого Давида, почему-то рядом с могилой замечательного писателя Грибоедова.

Молитвы старой грузинки, вероятно, дошли до всевышнего, Валентина Истомина оказалась как раз той женщиной, которую каждая мать хотела бы видеть вопле своего сына. Скромная, вроде бы незаметная, но полная энергии, считавшаяся экономкой, она взяла на себя все заботы о быте

Иосифа Виссарионовича, и заботы эти были ей не в тягость, а в радость. Одежда, еда, лекарство — да мало ли еще что нужно стареющему человеку. Валентина любила его, почти двадцать лет оставалась при нем, и этим сказано все. Сталин нашел в ней как раз ту доброту и то понимание, которого так не хватало ему в других женщинах. В том числе и в тех, которые появлялись уже при Валентине. Вероятно, остается лишь сожалеть, что подобная встреча не произошла раньше.

К чести Валентины Истоминой, она никогда не пользовалась тем особым положением, которое занимала, вела образ жизни тихий и скрытный. У нее не было врагов и завистников, всем приятна была ее улыбка, и те, кто хорошо был знаком с ней, ласково и уважительно называли ее Валечкой.

И еще — о матери. Вскоре после того, как почтенной старой женщины не стало, распространился слух: перед самой смертью она, якобы, сказала, кто настоящий отец Иосифа. Подчеркиваю слово «якобы», мне ведь не довелось самому беседовать с кем-либо, кто слышал это непосредственно из ее уст. В те годы опасались говорить о родословной Иосифа Виссарионовича, и все же новость разошлась довольно широко, особенно на Кавказе. Поскольку в начале повествования упоминалось, что отцом Иосифа Виссарионовича одни считали местного князя, другие — путешественника Пржевальского, объективность заставляет меня упомянуть и вновь появившуюся версию, тем более, что многие горийцы, например, до сих пор убеждены в ее достоверности.

Ну вот: названа была фамилия богатого торговца Эгнатошвили, который, дескать, и позаботился о том, чтобы Иосифа приняли в духовное училище, а затем в духовную семинарию. Надо сказать, что у Эгнатошвили имелось два законных сына, к которым, кстати, Сталин относился весьма благожелательно. Василий Эгнатошвили занимал пост секретаря Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, а другой брат (имя запамятовал) заслужил звание генерала, я несколько раз встречал его в Кремле.

Сразу встает вопрос: было ли общее в облике братьев Эгнатошвили и Иосифа Виссарионовича? Если и да, то не бросалось в глаза. При большом-то желании между грузинами всегда можно обнаружить какое-то сходство. Но уж если говорить о сходстве, то с моей точки зрения, Иосиф Виссарионович фигурой, осанкой и даже чертами лица больше все же напоминал знаменитого путешественника. А сам Сталин, повторяю, никогда и ничего не говорил о своем отце.

Из Тбилиси привез я сувенир: старую потрепанную книжечку на грузинском языке, выпущенную задолго до революции — учебник для детишек, приобщавшихся к грамоте. Там были стихи Иосифа Джугашвили. И еще заполучил несколько его стихотворений, переведенных на русский. Одно имеет биографическую, личностную что ли, основу, выражает ощущение, горечь мечтателя, борца, пророка, не понятого в родном краю: Ходил он от дома к дому, Стучась у чужих дверей, Со старым дубовым пандури, С нехитрою песней своей. А в песне его свободной, Как солнечный блик чиста, Звучала великая правда, Возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень. Заставить биться сумел, У многих будил он разум, Дремавший в глубокой тьме. Но вместо величья славы Люди его земли Отверженному отраву В чаше преподнесли. Сказали ему: «Проклятый, Пей, осуши до дна… И песня твоя чужда нам, И правда твоя не нужна!»

А вот другое стихотворение, более лирическое:

Когда луна своим сияньем Вдруг озаряет мир земной, И свет ее над дальней гранью Играет бледной синевой, Когда над рощею в лазури Рокочут трели соловья, И нежный голос саламури Звучит свободно, не таясь, Когда, утихнув на мгновенье, Вновь зазвенят в горах ключи, И ветра нежным дуновеньем Разбужен темный лес в ночи, Когда беглец, врагом гонимый, Вновь попадет в свой скорбный край, Когда, кромешной тьмой томимый, Увидит солнце невзначай, — Тогда гнетущей душу тучи Истает сумрачный покров, Надежда голосом могучим Мне сердце пробуждает вновь. Стремится ввысь душа поэта, И сердце бьется неспроста: Я знаю, что надежда эта Благословенна и чиста!

Стихотворения эти дают некоторое представление о творческих возможностях их сочинителя. Но при переводе, даже очень хорошем, обогащающем, всегда утрачивается какая-то часть индивидуальности, ритмики, колорита. Мне хотелось услышать, как звучат стихи по-грузински, как читает сам автор. Попросил его об этом, гуляя по саду в Кунцеве, когда Иосиф Виссарионович был в хорошем расположении духа, в размягченном состоянии. Он, удивленный, остановился возле отцветающего куста пиона, долго молчал, произнес:

— Нет, Николай Алексеевич. Стихи писались давно. Очень давно. Еще в прошлом веке. В нашем веке я стихов не сочинял и даже не помню, как это получалось. Но и тогда, в юности, я не читал свои стихи вслух. Чужие читал, а свои нет.

— Почему?

— Неловко было. Революционер и вдруг пишет стихи о луне, о чувствах… Наверно, просто стеснялся.

— А теперь-то?

— Теперь тем более, — улыбнулся он. — В моем возрасте вспоминать прегрешения молодости… Нет, увольте, язык не поворачивается. Дела давно минувших дней! Не надо об этом, — заключил Иосиф Виссарионович, поглаживая пальцами увядающие лепестки пиона.

5

После Отечественной войны, особенно после неблагоприятных событий в Китае, у нас все реже стали говорить о собственной культурной революции тридцатых годов. И это правильно, так как подобное выражение, прикрывавшее действия, далекие от культуры, звучало иногда просто издевкой. Возможно, кому-то сие и нравилось, возможно, мое мнение покажется спорным, однако самый верный способ познать истину — это выяснить все точки зрения.

Если же всерьез говорить о преобразованиях в области культуры, то начались они вместе с преобразованиями октябрьскими и наиболее заметны, наиболее ощутимы были в первые годы, в первое десятилетие советской власти. Перед всеми трудящимися распахнулись двери музеев, театров, концертных залов, не говоря уже о клубах, избах-читальнях. Великие произведения искусства разных видов и жанров стали доступны всем: смотри, читай, любуйся, впитывай! И школа для всех — только учись! Для рабочих — рабфаки, особые привилегии при поступлении в учебные заведения, их брали в любые техникумы и вузы, закрыв доступ детям «лишенцев» и разных там «бывших». Под руководством Михаила Ивановича Калинина старая русская интеллигенция (хоть и подвергавшаяся гонению в то время), российские учителя совершили

буквально подвиг — за несколько лет полностью ликвидировали безграмотность в стране, приобщили к интеллектуальной жизни многие миллионы рабочих, особенно крестьян. И это все, и многое другое, прошу заметить, произошло в двадцатые годы. Так что говорить о какой-то особой культурной революции тридцатых годов было бы просто смешно.

Для Иосифа Виссарионовича, в совершенстве овладевшего умением маскировать правильными, привлекательными фразами свои решения и действия, термин «культурная революция» имел двойной и тройной смысл. Первый, общедоступный для широких масс: создание новой по содержанию социалистической культуры, которая будет служить делу партии, приобщение к этой культуре рабочих и крестьян. А из наследства прошлых поколений взять то, что полезно для нас. Вся эта работа, начатая Октябрем, продолжалась, шла своим чередом. Однако любая революция, в том числе и культурная, не только создает и утверждает, но, прежде всего, отрицает, низвергает, отбрасывает. Как раз эта сторона вопроса была особенно важна Иосифу Виссарионовичу. Он говорил мне про два зуба, которые будут постоянно болеть и мешать, если их не вырвать самым решительным образом. Это, разумеется, образное сравнение, но Сталин действительно усматривал две обширные группы, вернее, две составные части нашего общества, которые требовалось «выключить из игры».

Первая группа — руководящие работники, главным образом те, кто давно в партии, давно занимается партийной или государственной деятельностью, кто работал с Лениным, привык к ленинскому стилю, знал истинные возможности Сталина, а не только стороны, которые демонстрировал народу и партии сам Иосиф Виссарионович. Эти люди понимали его просчеты, были способны на резкую критику — они были опасны. Многие из них (вместе с сотрудниками, сторонниками, родственниками) уже числились в особых списках.

Другая нежелательная Сталину группа была более обширной, расплывчатой, разнообразной. Это — и служащие, и врачи, и инженеры, и военные деятели, и ученые, и педагоги — представители интеллигенции, сохранившие вольнолюбивые традиции, зародившиеся еще у декабристов, в среде разночинцев, весьма окрепшие к концу девятнадцатого — началу двадцатого века. Дух бунтарства, если хотите, внедренный постепенно интеллигенцией в народные массы, и привел оные массы к революции. Эти люди не могли принимать идеи на веру, слепо выполнять указания и директивы, они привыкли думать, сравнивать, высказывать свои соображения. Такую свободомыслящую прослойку нельзя было оглушить громом речей, ослепить яркими лозунгами, увлечь лубочными картинками прекрасного будущего. Они сомневались сами и высказывали сомнения других. Подчинить, подкупить таких трудно. Лучше — убрать. И не частями, а по возможности сразу в большом количестве. Заменить их надежными людьми, самыми простыми, элементарными, черепные коробки которых наполнены не знаниями вообще, а только тем, что необходимо знать исполнителям. Такой человек, поднятый из низов, будет счастлив оттого, что сидит в президиумах, что хоть и по складам, но все же читает с трибуны речь, подготовленную для него. Получив некоторые материальные блага, он будет дорожить ими, своим положением, с трепетной благодарностью станет взирать на тех, кто выделил его из общей массы.

Иосифу Виссарионовичу требовались не мыслители, а надежные помощники, проводники его идей, его воли. Но очистить место для них желательно было без борьбы на баррикадах, без винтовочных залпов, без крови на улицах. Произвести такую замену, такую революцию надо было расчетливо, твердо, но не поднимая шума. То есть «культурно».

XVII съезд убедил Иосифа Виссарионовича, что откладывать задуманную акцию больше нельзя. Или он добьется своего, прочно укрепится на вершине власти, или его сомнут, скинут.

Предлогом для официального начала массовых репрессий послужило убийство Сергея Мироновича Кирова. Значит, враги подняли голову, сделали нам вызов. Мы вынуждены принять его и открываем встречный огонь по нашему противнику.

В партии началась кампания по проверке, по упорядочению хранения документов, а по существу — элементарная чистка. Ну, а когда лес рубят — щепки летят! Тут уж, мол, ничего не поделаешь. При этом в хаосе летящих щепок несведущему человеку трудно было даже уяснить, какие деревья рубят. Изолировали одного высокого руководителя — с ним связан десяток подчиненных. Брали этот десяток — за каждым тянулась ниточка еще к дюжине. Покатившийся ком стремительно нарастал.

С горечью, с сердечной болью воспринимал я гибель знакомых товарищей, не всегда веря, что они действительно стали «врагами народа». Но как было разобраться в событиях?!

Трудно вообще осуждать человека, к которому дружески расположен, который делал для тебя что-то хорошее. А ведь я к тому же знал, что Иосиф Виссарионович ведет давний принципиальный бой с троцкистами-сионистами, настолько ожесточенный, что перемирия быть не может. И еще одно обстоятельство смущало меня. Ведь не Иосиф Виссарионович начал практику судебного преследования политических противников, и даже не противников, а тех, кто не соглашался с проводимой в каком-то конкретном случае линией партии. Не Сталин сформулировал термин «враг народа». Появился этот термин давно, в конце восемнадцатого века, во времена Великой Французской революции. Еще тогда якобинцы объявляли врагами народа тех, кто «способствует замыслам объединенных тиранов, направленным против республики». Вот кому принадлежит пальма первенства.

В Советской стране этот термин впервые прозвучал 28 ноября 1917 года, когда на заседании Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин внес предложение об аресте (как записано в протоколе) «виднейших членов ЦК партии, врагов народа, и предании их суду революционного трибунала». Необходимо только уточнить: речь шла не о большевиках, а об аресте членов ЦК партии кадетов, которые организовали в тот день контрреволюционную демонстрацию. А за демонстрацию — к ответу. Это предложение было принято единодушно, за него голосовали Менжинский и Красиков, Бонч-Бруевич и Троцкий. Против ареста и отправки в трибунал голосовал только Иосиф Виссарионович Сталин — посчитал несправедливым. Оказавшись в одиночестве, он затем, чтобы не разрушать единства, наряду с другими поставил свою подпись под декретом, который был написан Лениным. Мало кто знал об этом случае, но я-то знал и помнил.

Один факт, один случай — это еще не показательно. Но вот — Кронштадтский мятеж 1921 года. Когда на Политбюро обсуждался вопрос, что делать с восставшей крепостью, Сталин выступил против штурма,

против кровопролития. Нужна, дескать, выдержка. Если мятежников не трогать, они сами сдадутся через две-три недели. Совсем иную позицию занял Троцкий. Упрекнув Сталина в мягкотелости, он потребовал выжечь каленым железом (одно из любимых его выражений!) очаг контрреволюции. И по собственной инициативе принял на себя полную политическую ответственность за сей акт.

Мятеж был подавлен с таким варварством, что даже многие сторонники отшатнулись от Льва Давидовича. По распоряжению Троцкого была учинена форменная резня. Кровь текла по улицам Кронштадта, смешиваясь с весенними ручьями. Были уничтожены не только восставшие моряки, но и многие женщины, проживавшие в крепости (семьи бывших офицеров, чиновников, сверхсрочников). Истреблено почти все население. Это была дикая, свирепая вакханалия, которой нет никаких оправданий.

Не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский, руководивший штурмом крепости. Когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне, отделывался короткой фразой: «Я выполнял приказ». Правильно, выполнял распоряжение Троцкого. Но разве не мог Тухачевский запретить расстрел пленных, разве не в его силах было приостановить грабежи, насилия, уничтожение мирных жителей?! Одного слова было достаточно, чтобы пресечь вакханалию. Ведь в штурме крепости, наряду с другими войсками, участвовала 27-я стрелковая дивизия, с которой он проделал боевой путь от Урала до Омска, разгромив Колчака: бойцы этой дивизии были преданы Тухачевскому, это была чуть ли ни его личная гвардия. Однако Михаил Николаевич своего веского слова не произнес. Почему? Считал, что Троцкий «проводит в жизнь» решение Политбюро? Или опасался, что его, как и Сталина, обвинят в мягкотелости?

До самой своей смерти отражал потом Лев Давидович упреки в жестокости, в иезуитской аморальности. По поводу Кронштадтских событий он писал: «Я готов признать, что гражданская война — отнюдь не школа гуманизма. Идеалисты и пацифисты вечно обвиняют революцию в «крайностях». Но суть вопроса в том, что «крайности» проистекают из самой природы революции, которая и есть «крайность» истории. Пусть те, кто хотят, отвергают (в своих журналистских статейках) революцию по этой причине. Я же ее не отвергаю».

Сталин, разумеется, хорошо знал как деяния, так и теоретические изыскания Троцкого. И учился кое-чему у заклятого врага, пополняя свой арсенал.

И вот — тридцатые годы. Чистки. Из рядов ВКП(б) выбрасывали даже с такой расплывчатой формулировкой, как «за неактивность». Подобный ярлык можно было навесить кому угодно. Больше всего я переживал за тех товарищей, которых выгоняли, учитывая их происхождение. Ну, разве виноват человек, что родился в дворянской семье, или в том, что его отец был купцом, профессором, фабрикантом?! Да ведь такого человека вдвойне, втройне надо было ценить! Он отказался от сословных благ ради общих целей, он порвал со своим кругом, осознал важность идеи и пошел бескорыстно служить ей во имя освобождения угнетенных. Большинство таких товарищей начали работать в партии еще до революции, не испугавшись тюрем, ссылок. А те, кто вступил в партию, когда белогвардейцы приближались к Москве, когда Советская власть держалась на волоске?! Партийный билет тогда можно было приравнять к мандату, дававшему право на самые страшные муки в деникинских застенках, на право быть повешенным в числе первых! Около двухсот

тысяч человек записались тогда в партию и пошли на фронт. А теперь многих из них исключали. И кто? Да те самые, за освобождение которых сражалось старшее поколение большевиков. У этих «новых», возглавивших чистки, было одно преимущество — пролетарское происхождение. Следовательно, предполагалось и особое чутье, помогавшее им враз распознать «гнилую сущность» тех, кто чем-то отличался от них.

Уверен, что люди, ставшие коммунистами по убеждению, более надежны, более непоколебимы, чем те, чье сознание определяется главным образом бытием. Такие готовы не отдавать, а приобретать. Они пойдут туда, где им выгодней.

В этой главе было уже несколько цитат. Позволю себе привести еще три.

«Нынешняя великая пролетарская культурная революция является совершенно необходимой и весьма своевременной в деле укрепления диктатуры пролетариата, предотвращения реставрации капитализма и строительства социализма».

И другая выдержка:

«Надо ниспровергнуть горстку самых крупных лиц в партии, стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути… Некоторые из этих людей пролезли в партию, захватили руководящие посты. Они поддерживают и защищают всякого рода нечисть. Все они карьеристы, лжеблагородные люди, представляющие класс эксплуататоров».

И последняя:

«Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей партии и во всей стране в основном (полностью невозможно) свалить правых, а пройдет семь-восемь лет — и снова поднимем движение по выметанию нечисти: впоследствии еще надо будет много раз ее вычищать».

Думаете, это слова Сталина? Да, они вполне могли бы принадлежать ему, но написал их в 1966-67 годах не кто иной, как Мао Цзэдун. Одни и те же термины, одинаковая интонация, единая суть. Подобные высказывания китайского вождя заставили меня еще раз подумать, что же все-таки перевешивает: объективная закономерность развития или особенности характера того или иного руководителя? Ну, возьмем, например, наш XVII съезд и аналогичный ему, самый представительный, самый торжественный 8-й съезд Китайской компартии. Этот китайский форум объявил о строительстве социализма в стране, подвел итоги побед и свершений. Как и у нас, почти один и тот же сценарий. Но на этом форуме мало почтительности было проявлено к Мао, и он сразу начал преследование, искоренение делегатов, ликвидацию всего, что связано с этим съездом. Три четверти делегатов были убиты или оказались в тюрьме. Развернулась «культурная революция» с массовым избиением старых кадров, с выдвижением на первый план молодых, необразованных, послушных хунвейбинов.

Не является ли подобный процесс обязательным для любой крупной, самостоятельной страны, в которой на определенном этапе революционного развития диктатура класса перерастает в диктатуру партии, а затем — в диктатуру вождя, в культ сильной личности? Поразмыслить бы над этим теоретикам. В Китае, где все делалось по восточному образцу, более жестоко и откровенно, суть так называемой «культурной революции» проявилась обнаженнее и неприглядное.

Так что же все-таки такое «культ личности»? Случайность или закономерность определенного этапа развития в определенных условиях?

Вскоре после смерти Иосифа Виссарионовича появилось стихотворение «Про орла», символика которого настолько прозрачна, что не оставляет никаких сомнений, о ком идет речь:

Никто не знал, каким путем, Видать, действительно был хватом, Орел вдруг сделался вождем В краю обширном и богатом. Простым и скромным был вначале, Ему б таким и оставаться. Но возражений не встречая, Вождь начал быстро зазнаваться. Он чувство меры потерял От здравиц и аплодисментов И самолично расклевал Своих возможных конкурентов. Каков размах, каков полет, Будто у льва из перьев грива! Кричи «Ура-а-а!», лесной народ, Осанна! Аллилуйя! Вива! А он средь облаков парил, И с ним — надежнейшая свита — Такие ж хищные орлы: Родня, друзья и сателлиты. Кивок вождя — для них закон. Готовы растерзать любого, Кого укажет клювом он, Кто против них промолвит слово. Зверье голодное молчит, Жратву несет орлиной стае. Колотят — даже не рычит. Лишь в норах горестно вздыхает. Но есть у всех один финал. И для орла настало время. Животный мир возликовал, Когда с него свалилось бремя. А как теперь для птиц и для зверей? Ясна ли прозаическая истина: Власть вообще разлагает вождей, Неограниченная — неограниченно!

Стихотворение, пожалуй, не безукоризненное с эстетической точки зрения, бывают и лучше, можно спорить и о его содержании, но оно во многом симптоматично, имеет свои безусловные достоинства. Особенно — последнее четверостишие, звучащее как предостережение: автор, вероятно, сознательно выделяет завершающие строчки, резко изменив ритм, заставив читателя словно бы споткнуться на последней фразе и поразмыслить над ней.

А ну, дорогой товарищ, остановись, призадумайся. Основательно призадумайся.

6

Среди партийных руководителей, близких к Сталину, одним из самых порядочных, одним из наиболее благородных (не только по происхождению, но и по натуре своей) был, без сомнения, Григорий Константинович Орджоникидзе. Внешне похожий на Сталина (такой же нос, такие же усы, даже манера разговаривать), но отличался тем, чего так не хватало Иосифу Виссарионовичу: был доброжелателен, вежлив, умел не одергивать собеседников, а убеждать их без всякой обиды, вескими доводами. Энергии, организаторского таланта — в достатке. Он был человеком конкретных дел, далеким от болтовни, от закулисных интриг. Наше машиностроение, наша тяжелая индустрия развивались стремительными темпами — и в этом немалая заслуга Григория Константиновича. Новые электростанции, новые заводы и шахты — всюду вносил он лепту. Его деяния по заслугам оценивал Иосиф Виссарионович.

Вспоминаю светлый летний день на Дальней даче, негромкий, успокаивающий шум ветерка в шатрах высоких сосен. Заехали мы за детьми Сталина, потом гурьбой отправились в гости к Микояну, в его замок, окруженный зубчатой краснокирпичной стеной. На поляне возле речки Медвенки по мановению ока раскинулась скатерть-самобранка с коньяком, винами, фруктами, восточными сладостями. Здесь были только свои, близкие. Иосиф Виссарионович возлежал на циновке, с

удовольствием потягивая любимый мускат «Красный камень», доставленный из Массандры.

Дети шалили, играли в лесу, плескались в мелководной речушке. Воспользовавшись тем, что мы остались втроем, Орджоникидзе произнес негромко и, вроде бы, полушутя:

— Знаешь, Сосо, сегодня в «Правде» двенадцать раз упомянуто твое имя.

— Вот как? — насмешливо прищурился Иосиф Виссарионович. — Может, ты скажешь, сколько раз было вчера?

— И это скажу. Вчера было девять, и ни разу не упоминалось слово «партия».

— Разве это так важно, Серго?

— Излишества никогда и ни в чем не приносят пользы. Это похоже на слишком громкий крик о самом себе.

— Это не крик, Серго, — деловито и спокойно, как о давно обдуманном, сказал Сталин, доставая из коробки папиросу. — Это такой тон, к которому следует привыкнуть самим и приучить других.

— Разве необходимо? — разговор шел доверительно, самым интимным образом.

— Да, страна огромна, в ней десятки разных языков, сотни разных обычаев, несколько вероисповеданий.

— Мы создаем единую социалистическую культуру…

— Совершенно верно, Серго. У нас есть замечательные ученые, у нас есть большие писатели, есть хорошие инженеры и музыканты, но огромная масса людей находится еще на очень низком уровне развития. Это и русское и грузинское крестьянство, это кочевой казах, и узбек в пустыне, и оленевод-якут. Совсем по-разному живут и думают эти люди. Подавляющее большинство их совершенно не понимает оттенков и тонкостей нашей борьбы. И не обязательно понимать. Но как объединить их? — Сталин словно бы начертал в воздухе знак вопроса резким движением правой руки. — Нужны простые идеалы, простые слова, доступные для всех. Нужна не советская власть вообще, не партия вообще с ее органами и организациями, нужен конкретный человек, который воплощал бы высшую власть, к которому можно обращаться, называть по имени, слова которого звучали бы как закон. В любой пирамиде нужна завершающая фигура.

— Царь? Самодержец? — спросил Орджоникидзе, обескураженный рассуждениями Иосифа Виссарионовича.

— Народ столетиями привык выполнять волю властелина, и отвыкнуть от этого сразу невозможно, — продолжал Сталин развивать свою мысль. — Тем более сейчас, когда в стране много хаоса, много безответственных болтунов, когда нам угрожают враги извне и внутри: сейчас люди тем более жаждут твердой опоры, людям требуется власть, воплощенная в одном лице. И это не самодержавие, товарищ Орджоникидзе, — повысил голос Иосиф Виссарионович, — это необходимая мера, чтобы навести в партии и в стране строгий порядок. Хватит политического фразерства. Пора выбросить весь балласт и сосредоточить усилия на развитии нашей экономики, нашей армии.

— В твоих словах много правды, — сказал Григорий Константинович. — Но руководство партии нельзя подменить одним человеком, он не может объять необъятное. Даже такой человек, как ты.

— Речь идет о конкретной фигуре, которая видна всем и отовсюду.

— Я понимаю, но и ты пойми: сразу найдутся приспособленцы и подхалимы, которые будут служить не идее, не партии, а только этой фигуре. Подхалим ничего не хочет делать, подхалим не желает трудиться, но он громче всех кричит: «Да здравствует товарищ Сталин!» И этим он обеспечит себе карьеру.

— Преувеличиваешь, товарищ Орджоникидзе. Бездельников и приспособленцев мы выведем на чистую воду. Не с такими справлялись, — усмехнулся Иосиф Виссарионович, наливая себе вина.

Подобные малоприятные разговоры, я бы даже сказал — словесные стычки, вспыхивали между Сталиным и Орджоникидзе все чаще, они были следствием расхождения во взглядах по многим вопросам. И взаимное охлаждение этих друзей шло на пользу прежде всего Берии: он коварно, исподволь раздувал их взаимную неприязнь.

После смерти Кирова Орджоникидзе был последним барьером на пути Берии, последней стеной, отделявшей Лаврентия Павловича от Сталина, от большой власти в Москве. Формально Берия все еще считался секретарем Компартии Грузии, но это была лишь вывеска для непосвященных. Почти все время Берия находился теперь возле Сталина, не жалея медовых слов для восхваления «самого величайшего из грузин», внушая ему самоуверенность, в которой Иосиф Виссарионович так нуждался в часы депрессий, вдалбливая мысль о том, что гению, ведущему народ к счастью, дозволены в борьбе все средства и методы.

Лаврентий Павлович вошел в такое доверие, что фактически ведал всей охраной Сталина и Кремля. А главное — негласно контролировал весь карательный аппарат, все репрессивные органы государства. Ягода, а затем Ежов, непосредственно возглавлявшие репрессии, были лишь высокопоставленными марионетками, приспособленными загребать жар. При этом Сталин, не желая пачкать кровью и грязью себя, стоял словно бы в стороне от событий, лишь подсказывая через Берию, что и когда требуется предпринять. В любой момент, в случае крайней необходимости, Иосиф Виссарионович мог прибегнуть к своему испытанному способу: возложить всю ответственность на неразумных деятелей, на перегибщиков. А те из деятелей, которые знали слишком много, постепенно убирались со сцены. В свой срок полетел в ад Ягода. Предусмотрительные черти готовили там местечко и для наркома Ежова, не сомневаясь, что и он будет вскоре отправлен к ним коротать время, оставшееся до Великого Суда.

Берия очень нужен был Сталину, без его молчаливого понимания и быстрой, беспощадной исполнительности Иосиф Виссарионович остался бы как без рук. Сталин желал вообще держать Берию всегда при себе, но для этого требовалось отсечь, забыть сомнительное прошлое фаворита. Кое-кого по собственному выбору Берия убрал сам, но как поступить с Орджоникидзе, которому были известны все темные пятна биографии Лаврентия Павловича? Возникла мысль поменять их местами, дать Орджоникидзе руководство Компартией Грузии, а Берию перевести в Москву. Но Лаврентий Павлович не хотел этого, от подобной перестановки он ничего не выигрывал. Где бы ни находился Орджоникидзе, опасность разоблачения не уменьшалась. Поэтому и доказал Берия Иосифу Виссарионовичу, что Григорий Константинович не имеет права стоять во главе грузинской или какой-нибудь другой коммунистической партии. Почему? Да потому что это партия пролетариата, рабочих и крестьян, которая борется против всех эксплуататоров, в том числе против

помещичьей знати. А Орджоникидзе — бывший дворянин, одним своим присутствием он подрывает доверие к руководству пролетарской партии. Неужели нет других достойных людей из рабочих и крестьян, из трудовой интеллигенции?

Довод был хоть и формальный, но логически правильный, вполне классовый, и Сталин принял его к сведению. Да и самостоятельность, принципиальность Григория Константиновича все больше раздражала Иосифа Виссарионовича. Теперь Орджоникидзе представлялся ему не столько надежным помощником, сколько помехой на пути к желанным целям.

Взрыв назревал исподволь. Я обратил внимание на некоторые малозаметные, но характерные детали. Когда отмечался женский день, члены Политбюро собрались вместе с женами. То ли в Большом театре, где давали новую грузинскую оперу, привезенную из Тбилиси, то ли где-то на торжественном заседании. Не в этом суть. Они сидели на почетных местах вот в каком порядке: Орджоникидзе, затем его располневшая, раздобревшая Зинаида Гавриловна, потом Сталин, далее жена Андреева Дора Моисеевна и другие. Так вот, Иосиф Виссарионович придвинул свой стул ближе к Доре Моисеевне: между Сталиным и четой Орджоникидзе образовался заметный промежуток. Несколько раз Иосиф Виссарионович заговаривал с Андреевой, улыбался, но ни одного взгляда не бросил в сторону Орджоникидзе. Словно их и не было.

Григорий Константинович из партии намеревался выйти, которая, по его словам, перестала быть ленинской, большевистской. Подобный демарш нанес бы тяжелый удар по престижу Сталина. Не знаю, какой выход из создавшейся ситуации нашел в конечном счете Иосиф Виссарионович, какое решение предложил он Григорию Константиновичу. Известна лишь развязка, В один отнюдь не прекрасный день — 18 февраля 1937 года — они очень долго беседовали с глазу на глаз на квартире Сталина. Всегда бодрый, жизнерадостный Орджоникидзе на этот раз возвратился домой, как говорят, «не в себе». Был мрачен, удручен. Закрылся в кабинете и писал что-то. Потом позвал своего помощника Александра Петровича Головкина, передал ему два пакета. Один — в Наркомтяжпром. На другом, красном пакете, было написано: «Иосифу Джугашвили от Орджоникидзе». Попросил отправить немедленно. А вскоре после того, как Головкин вышел из кабинета, грянул выстрел. Зинаида Гавриловна бросилась туда, закричала «Серго убили!». Набрала номер сталинского телефона: «Серго убит!»

Нет, убийство исключается. Никого из посторонних ни в доме, а тем более в кабинете не было. Благородный человек сам ушел из жизни, не изменив своим идеалам, принципам. Понял, вероятно, что не способен влиять на развитие событий, все больше отклонявшихся от ленинской линии.

Первым на квартиру Орджоникидзе прибыл Иосиф Виссарионович. Пытливо всмотрелся в лицо встретившего его Головкина:

— Не выдержало сердце?

— Да, — поколебавшись, ответил Головкин. — Разрыв сердца.

— Вы умный человек, — произнес Сталин. — Вам нужно занимать высокий пост. Я думаю — в органах НКВД.

И прошел в кабинет к мертвому.

На следующий день в «Правде» появилось сообщение, набранное крупным шрифтом: «Товарищ Орджоникидзе Г. К. страдал

артериосклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной, после удаления в 1929 году…» Ну, и так далее. За подписью наркома здравоохранения и медицинских светил.

7

В стране оставался лишь один общественный деятель, с чьей независимостью, с чьим международным авторитетом Иосиф Виссарионович вынужден был считаться. От этого совершенно самостоятельного человека в любое время можно было ожидать бесконтрольных выступлений, критики, разоблачений. Закрыть ему рот не имелось возможности, и Сталин, побаиваясь его, старался расположить к себе, привлечь на свою сторону. Речь идет об Алексее Максимовиче Горьком. Прославленный пролетарский писатель после многолетних зарубежных странствий вернулся с благословенных курортов Италии к нам в бурлящую, много перестрадавшую Россию и поселился с семьей своего сына Пешкова в Москве у Никитских ворот в роскошном особняке, который принадлежал до революции миллионеру С. П. Рябушинскому.

Надобно отметить, что Иосиф Виссарионович, уроженец второй половины романтического для нашей страны XIX века, принадлежал к той плеяде образованных людей, которые сохранили глубокое трепетное уважение к писателям, к их необычному труду, сливающему воедино прошедшее и будущее.

Я говорю, разумеется, о настоящих, искренних писателях, которых в России девятнадцатого века было подавляющее большинство. Имелись, конечно, и борзописцы, продававшие свое перо властям, воспевавшие существующий строй, щедро одарявший их наградами и золотыми монетами. Были и тихони, бренчавшие песенки о любви, о природе, о блаженстве и наслаждении. Однако, и те, и другие остались где-то за кулисами развернувшейся общественной драмы, они не в счет.

Уважение к писателям, связанное с некоторым недоумением, даже с определенной робостью перед их дарованием, Иосиф Виссарионович пронес через всю жизнь. Они — загадка, невозможно понять, чего ждать от них. Сегодня похвалишь, а завтра он черт знает что выкинет. Хорошо бы со всеми, как с Маяковским — уроженцем родного Кавказа. Владимир Владимирович публично, громогласно продекларировал свою преданность партии, откровенно признал важность партийного руководства поэзией и даже прямо обратился с просьбой к Иосифу Виссарионовичу:

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, С чугуном чтоб и с выделкой стали, О работе стихов, от Политбюро, Чтобы делал доклады Сталин.

Спасибо поэту за доверие. Политический руководитель просто не мог не откликнуться на такой искренний призыв. К тому же Маяковский уже поставил свинцовую точку на своем творчестве, на своей мятежной судьбе, не способен на каверзные поступки, неожиданности, не изменит своего мнения. Любить мертвых всегда спокойней и проще. Их можно канонизировать. Поэтому Иосиф Виссарионович с легким сердцем увековечил его память, заявив категорически, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи.

С Владимиром Владимировичем все было ясно. А вот с другими-то творцами как, особенно с Максимом Горьким, который находился в зените мировой славы?! Скажет плохое слово — и раскатится оно по всей стране

и по всей земле. Не получилось бы, как при Романовых было некоторое время: два царя в России, один в Петербурге, другой — в Ясной Поляне, и не понять, кто авторитетней для мировой общественности. Горький-то, к примеру, совсем не зависел от Сталина и был вроде бы неуязвим: самим фактом присутствия, существования держал в постоянном напряжении Иосифа Виссарионовича, заставляя опасаться огласки, тщательно скрывать некоторые решения и дела, даже откладывать их. При нем «культурная революция» не могла бы получить желаемого размаха.

Повторяю еще раз: Алексей Максимович был для Сталина не только и не столько талантливым писателем, но прежде всего влиятельнейшей политической фигурой мирового масштаба.

Убрать Горького? Слишком рискованно. Малейшая неудача, малейший срыв — и разразится невероятный скандал. Лучше без крайностей. Надо попытаться «приручить» Горького, используя его разрекламированную приверженность к пролетариату, его заступничество за всех сирых и неимущих.

Вскоре после того как Горький вернулся в Союз и принялся разбираться, что здесь хорошо, а что плохо, Иосиф Виссарионович пригласил писателя к себе на Дальнюю дачу. Ритуал, разумеется, был продуман заранее. Все просто, естественно, очень даже по-человечески. На обед — русские щи, а для желающих — уха. Гречневая каша опять же по желанию — с маслом или мясной подливкой. Компот, чай, яблоки. Обычный обед Сталина без всяких излишеств и кулинарных ухищрений.

После обеда — неторопливая беседа на открытом воздухе, возле клумбы, где пахло цветами, порхали бабочки, пролетали пчелы. Был здесь старый большевик Сергей Аллилуев, давнишний знакомый Горького, известный ему своей честностью и порядочностью. Была Ольга Евгеньевна Аллилуева, сохранившая значительную долю прежней красоты и полностью — стремление нравиться мужчинам. В искусстве обольщения она была столь опытной и изощренной, с такой точностью улавливала слабые, податливые струнки избранного объекта, что и на Горького произвела заметное впечатление. Глаза его поблескивали, когда смотрел на моложавое лицо, на рельефно обтянутую платьем фигуру с умело подчеркнутыми формами.

Был здесь угловатый, дичившийся подросток Вася, была очаровательная в своем белом платьице рыжеватая девочка Светлана с простодушным любопытством на лице. Была моя дочка, очень застенчивая, с трудом отрывавшаяся от отцовской руки. А занимался с детьми, развлекал их легендарный красный нарком Ворошилов, весь в ремнях, в блестящих поскрипывающих сапогах, очень непосредственный и веселый. Он к месту рассказал, что приобщился в детстве к пению в церковном хоре, каким хорошим музыкантом и воспитателем был их регент, Климент Ефремович до сих пор благодарен ему: музыка, особенно опера, — это высочайшее наслаждение.

Слова Ворошилова умилили Алексея Максимовича чуть ли не до слез. Он заговорил о том, сколь много на Руси самородков, талантливых людей из народа, как трудно им было в прежние времена и как мудро поступает Советская власть, открыв доступ широким массам ко всем шедеврам настоящего искусства.

И была еще нянька — Шура Бычкова, воспользовавшаяся случаем поглядеть на великого писателя через щель полуприкрытой двери и ненароком выдавшая свое присутствие: дверь распахнулась, Шура чуть не

упала, вызвав общее оживление и веселый смех. Она была тут же представлена Горькому, как его читательница и почитательница.

В общем, побывал Алексей Максимович в крепкой, дружной семье, где господствует взаимопонимание, где растут обычные дети, где никто не способен на коварство, жестокость и прочие мерзости. Именно такое впечатление и сложилось у Горького.

Деловые вопросы обсуждались во время прогулки по проселочной дороге, бежавшей по краю леса к Москве-реке. Когда Алексей Максимович заговорил о неурядицах в стране, о том, что буржуазная печать всячески раздувает и умело использует в своих целях наши недостатки, Сталин охотно поддержал его. Да, жить и работать нам нелегко. У партии, у рабочего класса не было никакого опыта в строительстве социализма, отсюда и неизбежные ошибки, перехлесты. Ведь мы первые, мы прокладываем путь всему человечеству и не в спокойной обстановке, а под злобный вой врагов, преодолевая их козни, их сопротивление. Но у нас большие успехи, очень большие успехи, сообщения о них появляются в печати, однако пропагандируются недостаточно. Серьезные писатели проходят мимо нашей повседневной борьбы, повседневных достижений.

— Бранить, подмечать недостатки всегда проще, — сказал на это Алексей Максимович. — О положительном писать труднее. Требуется глубокое знание дела, терпение.

— Было бы желательно сосредоточить внимание литераторов на наших успехах, — продолжал Иосиф Виссарионович. — Это будет очень полезно. Наш опыт необходим пролетариям всего мира.

По этому поводу расхождений между Сталиным и Горьким не оказалось. Алексей Максимович обещал подумать о создании специального журнала, который освещал бы достижения молодой советской республики для нашего и зарубежного читателя. И сам, дескать, напишет серию очерков, сравнивая дореволюционную жизнь трудящихся с той, которая расцветает теперь.

Затем Алексей Максимович пожаловался на то, что его весьма беспокоит разобщенность писателей, которые разделились на враждующие группы вместо того, чтобы единым фронтом выступать под знаменем революции. И опять Сталин поддержал Горького, заявив: в Политбюро тоже встревожены столь ненормальным положением, но до сей поры не было авторитетного человека, большого, всеми уважаемого мастера, который мог бы объединить литераторов в одну творческую организацию и возглавить ее. А теперь приехал Алексей Максимович, это ему по плечу, и было бы очень хорошо, если бы он принял нелегкий труд на себя. Со своей стороны он, Сталин, обещает конкретную поддержку Политбюро. Будет принято соответствующее решение. Можно собрать наиболее видных писателей на организационное совещание, выслушать их мнения и предложения.

— Устроим такую встречу у меня дома, — сказал Горький. — За чашкой чая. Порассуждаем без протоколов и стенограмм.

— Можно и так, хотя не совсем понятно…

— Напуган писатель, дорогой Иосиф Виссарионович. И не только писатель, многие интеллигенты напуганы, и актеры, и ученые наши. Молчат они или, чувствую, говорят не совсем то, что у них на уме, а это худо, — вслух размышлял Горький. — Целую, знаете ли, заповедь выработали, совершенно противную открытой русской натуре. И ядовитая заповедь… Не думай! — Вот первое правило… Подумал — не говори!..

Сказал — не пиши!.. Написал — не подписывай!.. Если подписал — откажись!.. А лучше — не думай!.. Вот оно как. Не надобно нам такого, совершенно не надобно! Совесть и откровенность на первом месте должны быть.

— Заповедь трусливого обывателя, — нахмурился Сталин.

— Плохая заповедь, — кивнул Горький. — Но худо и то, что возникла надобность в ней. Существуют, значит, у нас фискалы, доносчики и безвинно пострадавшие есть. Посему в доме своем я строгий порядок завел: никаких стенограмм, никаких записей. Каждый волен выражать свои мысли, говорить о чем хочет, что хочет — и без всяких последствий.

— Разумно, — согласился Иосиф Виссарионович. — Давайте соберемся у вас. И чем скорее, тем лучше.

Так и порешили. Однако быстро лишь сказка сказывается. Потребовалась значительная работа, прежде чем такое совещание стало возможным. 23 апреля 1932 года появилось постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», которое ликвидировало ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), другие литературные группы и поставило в повестку дня вопрос о создании единого Союза советских писателей. Но и после этого требовалось еще согласовать платформы различных группировок, найти общую для всех линию. Лишь в октябре того же года Алексей Максимович известил Сталина: все готово для большого принципиального разговора, срок назначен, милости просим.

С утра у Иосифа Виссарионовича начался легкий насморк, первейший признак его напряженности, загнанного вовнутрь волнения. Как всегда в такие часы, он был особенно сдержан, особенно спокоен, каменно-невозмутим: готовил себя к беседе с писателями, продумывал варианты, возможные выпады против него.

Члены Политбюро приехали на Малую Никитскую в девять вечера и сразу проследовали в просторную столовую, окна которой были наглухо закрыты шторами. Громоздился здесь объемистый буфет, вдоль стен были расставлены столы и стулья. Писатели рассаживались без чинов и званий, где придется. Некоторых я знал в лицо. Михаила Шолохова, недавно громко заявившего о себе «Тихим Доном»; худощавого деловитого, озабоченного Александра Фадеева; удивительного мастера слова Александра Малышкина. Еще — Леонида Леонова, Федора Гладкова, Всеволода Иванова. А всего набралось человек пятьдесят.

Председательствовал, естественно, хозяин квартиры. Он начал беседу довольно казенными фразами:

— Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы литературы… Трудами рабочих и крестьян создано в нашей стране громадное количество дел. Меняется даже география… Литература не справляется с тем, чтобы отразить содеянное…

Все слушали Горького с заметным напряжением, вызванным необычностью обстановки, и Сталин, поняв, что нужно разрядить атмосферу, подал несколько шутливых реплик. Умел Иосиф Виссарионович, когда нужно и независимо от собственного настроения, выглядеть обаятельным, простым, добродушным, умел очаровывать собеседников.

Кто-то из писателей сказал:

— У нас в России сеять разумное, доброе, вечное — это лишь половина работы. Посев надо полить кровью, чаще всего собственной.

— Вы имеете в виду наше время? — всем корпусом повернулся Сталин.
— Так было всегда, — последовал уклончивый ответ.
— Значит, такая у нас почва. Слишком тяжелая почва, — иронически развел руками Иосиф Виссарионович, и, хотя речь шла об очень серьезном, многие заулыбались, оценив быстроту и точность сталинских слов.
На этом заседании, затянувшемся до утра, были заложены основы будущего Союза писателей. Разнородное, непокорное, капризное литературное племя самоохватывалось теперь определенными рамками, получало собственную организацию, способную защищать интересы пишущих. Ну и управлять такой организацией сверху, наблюдать за ней было гораздо легче, нежели за разрозненными, расплывчатыми группировками.
Много говорили, спорили в ту ночь о творческом методе. Упоминались разновидности реализма: «пролетарский», «монументальный», «революционно-социалистический» и даже «критический» реализм. В конце концов большинство присутствовавших сошлись на термине «социалистический реализм». Признаюсь, мне было не совсем понятно, что такое творческий метод, каким методом пользовались, к примеру, Гомер, Рабле, Пушкин? В этом вопросе я чувствовал себя профаном, так как по-дилетантски ценил в искусстве, в литературе простое триединство: эстетическое наслаждение, воспитательно-познавательное значение и увлекательность, без которой любое произведение становится скучным. А где начинается скука, там пропадает искусство. Но в тот раз свое мнение я держал при себе. А суть социалистического реализма представлялась мне стремлением к так называемой «третьей действительности». То есть: показывать жизнь, явления, события, характеры не такими, какими они должны быть. Значит, хорошее возвышать, делать примером, а скверное, соответственно, представлять в самом неприглядном, отталкивающем виде. Для воспитания масс, только что потянувшихся к высотам культуры и знаний, такой подход, упрощенный для общедоступности, мог быть полезным на каком-то этапе.
А Иосиф Виссарионович молодец! Он принял живейшее участие в дискуссии о социалистическом реализме, ни в чем не проигрывая при этом писателям — специалистам. Особенно, когда речь зашла о том, что включает в себя этот метод. Некоторые товарищи были против термина «народность», сие, мол, входит в понятие партийности искусства. А Иосиф Виссарионович возразил, что понятие «народность» гораздо шире, чем «партийность». «Витязь в тигровой шкуре» никак не назовешь партийным произведением, но оно прекрасно, так как выражает извечное стремление народа к счастью и справедливости. Поэтому, отказавшись от народности искусства, мы обедним себя, зачеркнем многие шедевры прошлого, подорвем важные корни, традиции…
На этом же совещании была сделана попытка определить роль и место писателей в новом обществе. Сталину хотелось, чтобы была четкая, ясная, уважительная формулировка. Слова Алексея Толстого о том, что писатели есть каменщики крепости невидимой, каменщики души народной — эти слова Иосифа Виссарионовича не устраивали, казались ему расплывчатыми. «Инженеры человеческих душ» — такое определение почему-то больше понравилось Сталину. Да и сами писатели, как мне показалось, были довольны.[20]
Итак, Горький приставлен был к конкретному делу, загружен большой и полезной работой по консолидации литературных сил. Однако

потенциальная опасность, исходившая от Алексея Максимовича, не уменьшилась, и Сталин постоянно помнил об этом. По его указанию Горького усиленно снабжали по разным каналам информацией об успехах на стройках и в колхозах, о развитии малых народностей, о новых школах и вузах, о враждебных происках империалистов, о том, что враги готовятся напасть на нас и мы должны быть бдительными, чтобы дать сокрушительный отпор любому агрессору. Вся эта информация, естественно, была абсолютно достоверной и не могла не воздействовать на впечатлительную душу писателя. Но не могли укрыться от Горького и массовые репрессии, захлестывавшие страну. Исчезали его старые знакомые, честнейшие люди, представители славной русской интеллигенции, исчезали коммунисты — создатели партии, бойцы ленинской гвардии. Как? Зачем? Почему? Человек, очень чуткий к несправедливости, Алексей Максимович начал выражать свое недовольство. Пока еще в частных разговорах. Он приглядывался, размышлял, прежде чем перейти к поступкам.

Учитывая такое положение, Иосиф Виссарионович со свойственной ему тщательностью принялся готовиться к новой встрече со знаменитым писателем. При этом ставились две главные цели. Убедить Алексея Максимовича, что усилившаяся борьба с внутренними врагами всех мастей — это суровая необходимость, которая в интересах пролетариата. Затем осторожно, без нажима, довести до Горького такую мысль: через несколько лет Сталин будет отмечать свое шестидесятилетие, взялся бы Алексей Максимович за книгу о нем, о ведущем деятеле мирового революционного движения! Поучительная, полезная могла бы получиться книга. Вот Анри Барбюс уже пишет. Хорошо это, разумеется, но все же Барбюс далек от нашей жизни, от нашей реальной действительности. И обидно, что за рубежом-то работают, создают, а у нас пока нет.

Сумеет Сталин заинтересовать такой идеей Алексея Максимовича — будет убито сразу несколько зайцев. Дела Иосифа Виссарионовича прославит гений, творения которого переживут века. Да и общая работа над книгой связала бы их одной веревочкой, окончательно перетянула бы Горького в сталинский лагерь.

Иосиф Виссарионович еще раз перелистал основные произведения Горького, освежил в памяти факты его биографии. Но была в этой подготовке и негативная сторона: меня очень беспокоило, что к столь деликатному вопросу был подключен Берия, никогда не приносивший удачи тем людям, в чью сторону обращалось его внимание. На этот раз Лаврентий Павлович готовил секретное досье, отражавшее различные стороны личной жизни писателя. В частности, его любвеобильность, не раз вызывавшую семейные неприятности. Алексей Максимович и теперь, несмотря на солидный возраст, много времени уделял своей обаятельной снохе Надежде Алексеевне Пешковой, жене сына Максима. Вел с ней продолжительные беседы об искусстве, ездил в театры, в музеи, подолгу уединялись они на втором этаже, в ее комнате, где Надежда Алексеевна повесила портрет Горького собственной работы. И хотя хозяйство семьи вела другая энергичная красивая женщина — Олимпиада Дмитриевна Черткова, беспредельно преданная Горькому, все же главенствовала в доме Надежда Алексеевна. Не видевшись день, Алексей Максимович начинал скучать о ней. А сын Максим, человек разносторонне одаренный, быстро увлекавшийся и остывавший, то пускался в дальние странствия на самолетах и пароходах, то развлекался и охотился с друзьями, то всецело

отдавался своим излюбленным автомобилям, сделавшись весьма хорошим водителем. Сам возился с двигателями, обожал скоростную езду и гонял до изнеможения.

Ко всему прочему, Максим не отличался хорошим здоровьем — слабоват он. Случались даже обмороки. А сам Горький, хоть и покашливал, хоть и слыл чахоточным, болезнь свою залечил, оказывается, еще до революции, был физически крепок и бодр.

Берия показал схему дома, на которой была изображена лестница, ведущая от Горького наверх, к Надежде Алексеевне. И утверждал, что этой, мало кому известной лестницей, пользуется в особых случаях та и другая сторона. Не в этом ли одна из причин того, что Максим охладел к семье?

Я возмущен был предположениями Берии и сказал, что обсуждать такие подробности просто непорядочно и что любая попытка шантажировать Горького обречена на провал: даже намек на подобные обстоятельства вызовет со стороны Алексея Максимовича гнев, действия самые решительные, которые навсегда поссорят его со Сталиным, оттолкнут от нас. Иосиф Виссарионович согласился со мной, сказав: «Не следует ворошить чужое белье». Согласился потому, что понял мою правоту. Горький — не та фигура, которую можно сломать, запугать. Ну, а Берия — тому хоть плюй в его выпуклые бесстыжие глаза, ему все равно божья роса. Да и глаза-то спрятаны под толстыми стеклами, не попадешь…

В ту пору Лаврентий Павлович официально еще не работал в Москве, а посему с особым усердием угадывал и исполнял невысказанные или высказанные лишь наполовину пожелания Сталина. К концу разговора Берия позволил себе еще раз привлечь внимание Иосифа Виссарионовича к сыну Горького:

— Это самое больное место, это самое уязвимое место писателя, — сказал он. — При любом происшествии Горький будет переживать за сына сильней, чем за себя самого.

Сталин кивнул и велел Лаврентию Павловичу убрать досье. Берия аккуратно завязал белые тесемки коричневой папки и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь.

К Горькому поехали среди дня на трех легковых машинах. Охранники заняли посты в воротах, в подъездах, подчеркнув тем самым, какой опасности со стороны классовых врагов подвергаются всюду руководители партии. Сталин тогда был нездоров, лицо желтоватое, заметнее выделялись оспинки. Набухшие нижние веки на треть скрывали глаза. Горький сразу понял состояние Иосифа Виссарионовича, помягчел, пропала резкость, звучавшая в его голосе, смотрел на гостя с явным сочувствием. Сам Горький был в простой голубой рубашке и с феской на голове.

Два радетеля за интересы неимущих беседовали долго, закрывшись в библиотеке. Томясь ожиданием, я листал какие-то альбомы на столике и думал о том, что при всем желании, при всем преклонении перед талантом Горького, не могу поставить его рядом с Толстым. Почему? Вот Лев Николаевич, хоть и граф, а ближе к народу, сильней любил народ, гордился им и верил в него. За границей, что ли, долго пробыл Алексей Максимович, перестал понимать некоторые особенности нашей жизни. Словно бы не знает, что он единственный, кто может служить противовесом Сталину во всей стране, влиять на Иосифа Виссарионовича своим авторитетом… Но на этот раз я, кажется, ошибся в своих

рассуждениях. Вышли они оба хмурые, явно неудовлетворенные разговором. Горький глухо закончил фразу, начатую еще в библиотеке:

— …согласиться никак не могу. И уж извините, буду выступать против неразумного насилия…

— Если враг не сдается, его уничтожают — это ваши слова, — напомнил Сталин.

— Врага — да! Но прежде всего надобно убедиться, что перед нами действительно беспощадный враг. А если человек ошибается, если думает не так, как я, — его не убирать, а переубеждать требуется. И самому к его доводам прислушаться, чтобы понять, за кем правда. А вдруг он прав?

Иосиф Виссарионович не ответил. Простились они вежливо, спокойно, взаимно пожелав доброго здоровья. Я понял, что Сталин даже не намекнул Горькому о своем предстоящем юбилее. Не та была обстановка.

После этого посещения забота о Максиме Горьком не только не уменьшилась, но и значительно возросла. Делалось все, чтобы жизнь его протекала спокойно и благополучно. Когда знаменитый писатель отправлялся на отдых в облюбованный им дворец в Горках Десятых, туда сразу прибавляли соответствующий обслуживающий персонал. С продуктами в ту пору было трудно, однако Горькому предоставлялась возможность не нуждаться ни в чем. Мне иной раз унизительно было, но по просьбе Иосифа Виссарионовича я неоднократно исполнял обязанности, граничащие с амплуа снабженца. И только потому, что, по мнению Сталина, это составляло тайну.

Я шел в Манеж, где размещался гараж правительственных машин. Сверкая лаком, стояли рядами лимузины. Для иностранных гостей, для своего руководства. Черный «линкольн» Надежды Константиновны Крупской, прекрасный «паккард» Клары Цеткин, скоростная машина Климента Ефремовича. Миновав эту вереницу шикарных авто, я подходил к полугрузовой машине, садился рядом с водителем, и мы отправлялись в секретный уголок Кремля. Я не оговорился, нет: тогда не было секретного отдела, особого отдела, сектора или управления, тогда еще существовало такое полунаивное название, как «ленинский уголок» или «красный уголок»: в деревне, на заводе, в казарме.

Так вот, в секретном уголке Кремля мы брали требование на особые продукты, о которых в ту пору наш народ и слыхом не слыхал. Великой редкостью были апельсины и ананасы, маслины или анчоусы. Лишь на специальном складе можно было получить их, а также все достижения отечественной кухни — разные копчения и соления. Только ради Сталина я раза три съездил в эти рейсы: доставляли продукты на квартиру Горького и потом в Горки Десятые. Противно мне было все это, о чем я и заявил Иосифу Виссарионовичу. Отказался.

Как еще ублажал Сталин знаменитого писателя? Был, например, создан под руководством А. П. Туполева удивительный по тем временам самолет, на котором испытатель М. М. Громов 17 июня 1934 года совершил первый полет. Представьте себе зарю авиации, когда наиболее развитые страны радовались появлению десятиместных машин. А у нас поднялся в воздух цельнометаллический самолет с фюзеляжем длиной 32.5 метра, общая площадь «жилых мест» в котором превышала 100 квадратных метров! 8 членов экипажа и 72 пассажира! Ничего себе, а? Лишь после войны мировая гражданская авиация достигнет такого уровня! Мы были впереди!

Стоял вопрос: как назвать самолет-гигант? В Политбюро было мнение дать самолету имя «Иосиф Сталин». Но Иосиф Виссарионович почему-то был против. Или не считал эту машину абсолютно надежной (не дай бог, «Иосиф Сталин» потерпит аварию!), или знал, что могут появиться машины и лучше. А может, была очередная политическая интрига: он спросил, кто является самым великим человеком в нашей стране? Я ответил — писатель Максим Горький. Масштаб достижения авиаторов соответствует масштабу его всемирной славы.

Так и получила эта машина свое название. Алексей Максимович был польщен. Естественно: и ему не чужды были простые человеческие ощущения, Но при всем том напряженность между ним и Сталиным продолжала возрастать. И я, не менее Иосифа Виссарионовича, боялся, что струна лопнет со звоном и треском, со всеми эмоциями, свойственными писателям, и мы обретем в лице Горького такого яростного и талантливого обличителя, какого и свет не видывал.

Наверное, по незнанию обстановки я волновался даже больше Сталина. Я ведь не догадывался о той непоправимой утрате, которая вскоре постигнет Алексея Максимовича. 1 мая 1934 года он вместе с сыном был на Красной площади, оба восторгались парадом и демонстрацией (даже Максим, несмотря на определенный скептицизм, был доволен). Затем сын уехал в Подмосковье на весеннюю охоту. Вернувшись, заболел воспалением легких и скоропостижно скончался. Сын умер, отец был убит горем, состарился сразу на много лет. Событие потрясло его, однако не настолько, чтобы он перестал понимать ситуацию. Когда после смерти Максима (не прошло и двух часов) к нему прибыли члены Политбюро, чтобы выразить сочувствие, он нашел в себе силы усмехнуться и сказать: «Это уже не тема. Не будем возвращаться к этому разговору».

Очень скоро выяснилось, что Горький не сломлен. Он продолжал переписываться с корреспондентами во всем мире, он действовал, мыслил, мог додуматься и высказать черт знает что! Но уже новые удары ожидали его. К этому времени в дом Горького вполз и прочно обосновался в нем, стал своим человеком в семье некий молчаливый почтительный тихоня с клиноподобным лицом и всегда печальным взором. Волосы прилизанные, уши прижатые, будто приклеенные. Такой не взорвется, не нашумит, не выскажется открыто, а затаится, уйдет в тень, лелея свои мыслишки и замыслы, — я опасаюсь таких. Выделялись у него только странные клочковатые усики. А самое яркое — четыре эмалированных ромба на красных петлицах. Так выглядел тогда Генрих Григорьевич Ягода[21] — главная фигура а органах безопасности. Вежлив, обходителен, аккуратен — приятный был собеседник за чашкой чая.

Говорил Ягода негромко, пришепетывая, будто стеснялся своей легкой картавости, которая проявлялась, когда он повышал голос. Но, несмотря на недостатки речи, умел заинтересовать, убедить собеседника, во всяком случае, сноха Горького слушала его подолгу и охотно. Утешал овдовевшую женщину и при людях, и наедине: у самого Алексея Максимовича уже не было для этого ни сил, ни желания.

Ну, вдова — это понятно, объяснимо. Но как Ягода добился расположения Горького? Великого писателя не тяготило присутствие Генриха Григорьевича: трапезничал с ним, внимал, узнавая новости. А Ягода не злоупотреблял его терпением: вовремя заводил разговор, вовремя умолкал, удалялся. А главное, пожалуй, вот что. Вся жизнь Горького была отдана литературе, это была среда его обитания, он не мог

без нее, как без воздуха. Теперь, ослабев, он меньше читал, меньше встречался с собратьями по перу. Ягода возмещал этот пробел, сообщая Алексею Максимовичу литературные и окололитературные новости. Это представлялось вполне естественным, ведь Ягода имел, хотя и косвенное, отношение к тогдашнему писательскому кругу. Его родственником по жене был известный рапповский лидер Леопольд Авербах, «прославившийся» упорной, беспощадной травлей Есенина, Маяковского, Булгакова… Деятелен Авербах (племянник Якова Мовшевича Свердлова) был зело, хотя литератор слабый, язык не поворачивается называть его писателем. Творческим взлетом Авербаха был очерк о поездке на строительство Беломоро-Балтийского канала вместе с другим деятелем, членом Верховного Суда СССР Ароном Александровичем Сольцем. До небес превознес Авербах этого человека: какой умный, какой демократичный, какой справедливый… Кукушка хвалила петуха.

Однако и это, прости меня Господи, еще не вся дьявольщина. В молодости, до революции, Ягода работал у отца Якова Свердлова — гравера и владельца тайной мастерской по изготовлению фальшивых документов, печатей, а возможно, и денежных знаков. Ученик оказался достойным своего жуликоватого учителя: дважды обкрадывал мастерскую и пускался в бега. Но, растратившись, возвращался к старому Мовше.

Благодаря Якову Свердлову после Октября Ягода получил ответственную должность и начал быстро расти по службе. А вот брат Якова по имени Зиновий (среди близких — Зина) полностью порвал со своей семейкой, отрекся от родственников с их сомнительным прошлым, от их веры, и был проклят грозным ритуальным проклятием. Но Зиновия вскоре усыновил сердобольный писатель Максим Горький, тронутый душевными метаниями молодого человека. Так началась сложная, запутанная, авантюрная биография Зиновия Пешкова. Но нас интересует другое. Скорее всего, Зиновий и ввел своего знакомца Ягоду в горьковскую семью, помог ему сблизиться с Алексеем Максимовичем, с его сыном и снохой.

Представляете, какие прочные, незримые, глубинные нити связывали Свердловых, Ягоду, Авербаха и им подобных людей! Это была липкая паутина, проникавшая всюду, стремившаяся опутать все звенья партийного, государственного аппарата. Считая, что нити этой паутины тянутся к Троцкому, Сталин рвал ее, отсекая то одно, то другое звено. Однако она смыкалась, соединялась снова и снова. Где-то в труднодоступной глубине таились корни родства, общей веры, единой цели.

Короче говоря, Генрих Григорьевич Ягода стал в доме, в семье Горького, своим человеком, обретя доступ во все комнаты, ко всем замкам. Мог выполнить, что сам хотел или что прикажут.

На мой взгляд, не меньше смерти сына отразилась на писателе гибель самолета «Максим Горький». 18 мая 1935 года гигантская машина поднялась над Ходынским аэродромом, над Ходынским (ныне Октябрьское) полем. В тот день должны были «катать» ударников с московских предприятий. А в первый полет над окраинами столицы пошли инженеры и рабочие — непосредственные создатели этой машины. Рядом с «Максимом Горьким» (для контраста, что ли, чтобы подчеркнуть размеры) крутился истребитель И-5, выделывая в опасной близости всевозможные фигуры. Летчик-истребитель Благин был мастером своего дела, но все же зачем такой риск? Лавры Чкалова не давали покоя? А чем

руководствовались те, кто разрешил Благину «резвиться» в воздухе?! Пассажиры, ожидавшие на аэродроме своей очереди, ахали, наблюдая за его пируэтами. Но вот истребитель, пытаясь совершить петлю вокруг крыла «Максима Горького», врезался в него, и обе машины, большая и малая, понеслись к земле, разваливаясь на куски.

Нечто символическое узрел во всем этом писатель. Дух его был подавлен.

— Всему конец, — сказал тогда Алексей Максимович. И не ошибся. Выпрямиться, воспрять он больше не смог.

18 июня 1936 года я, по просьбе Сталина, находился в Горках Десятых, где в старом дворце с колоннами лежал Алексей Максимович, страдавший «катаральным изменением в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности», как указывалось в медицинском бюллетене. Возле Горького дежурили врачи, которым доверяли Сталин и Берия. Собственно, ночевал-то я в другом месте, неподалеку от Горок Вторых, на Дальней даче, а рано утром приехал во дворец к писателю — по Успенскому шоссе это близко.

Воскресное утро было на редкость душным, все говорило о приближении грозы. В 11 часов 10 минут, когда сердце Горького сделало последний удар, буквально секунда в секунду, раздался сильнейший раскат грома, само небо треснуло, раскололось, забрав к себе в огненном фейерверке молний душу гения, составляющую, вероятно, частицу всеобъемлющей души всеобъемлющего творца.

Ураганный ветер пронесся над тем клочком земли, пригнул вершины деревьев, ломал их, разрушал стены, сбивал с ног людей, окропляя все и вся слезами дождя. Затем, в затихающем грохоте, в удаляющемся сверкании молний, хлынул сильнейший, но короткий, успокаивающий и целительный ливень.

Горький ушел от нас. Я был одним из тех, кто стоял у его гроба. Приезжал и Иосиф Виссарионович. Он был спокоен и озабочен какими-то другими делами.

В огромном творческом наследии Алексея Максимовича осталась крылатая фраза, уже упомянутый мной лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают». В принципе, это верно. Только о каком враге речь: о враге государства или своем личном неприятеле по квартире, по цеху, по партии? Сей лозунг допускал широкие толкования и был особенно дорог тем, что подарил его Иосифу Виссарионовичу самый большой гуманист нашей эпохи. Вручил индульгенцию, пригодную для самых разнообразных случаев.

Началось следствие, чтобы выяснить, в какой мере к смерти Горького причастны тайные и явные противники нашей партии и правительства. «Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода вместе с врагами народа — Троцким, Зиновьевым и Каменевым — состояли в заговоре против Ленина, против партии, против Советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. Провокаторские попытки срыва Брестского мира в начале 1918 года; заговор против Ленина и сговор с «левыми» эсерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 1918 года; злодейский выстрел в Ленина и ранение его летом 1918 года; мятеж «левых» эсеров летом 1918 года; намеренное обострение разногласий в партии в 1921 году с целью расшатать и свергнуть изнутри руководство Ленина; попытки свергнуть руководство партии во время болезни и после смерти Ленина; выдача

государственных тайн и снабжение шпионскими сведениями иностранных разведок; вредительство, диверсии, взрывы; злодейское убийство Менжинского, Куйбышева, Горького — все эти и подобные им злодеяния, оказывается, проводились на протяжении двадцати лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их прихвостней — по заданиям иностранных буржуазных разведок…

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение».

Цитата взята из книги «История ВКП(б), Краткий курс».

Если кому и было справедливо воздано должное на одном из судилищ, на процессе по делу «правотроцкистского блока», так это человеку, который причинил много зла, но имя которого остается в тени. Я имею в виду Генриха (Гершеля) Ягоду, который «проходил» под номером три, сразу после Бухарина и Рыкова.

Это он возглавил в 1934 году ОГПУ, затем его назначили наркомом внутренних дел, генеральным комиссаром государственной безопасности. Первым он был в новом Наркомате и закладывал, так сказать, фундамент этой организации. При нем значительно расширилась в стране сеть лагерей, которые надо было кем-то заполнять. Он разработал и внедрил систему доносов, насадил повсюду секретных сотрудников. Опыт у него — до революции имел контакты с царской охранкой. И сам в конце концов будучи арестован, испытал на себе «работу» бездушного механизма, созданию которого отдал много сил. От допросов «с пристрастием» до смертной казни.

На процессе «правотроцкистского блока» Генрих Ягода признал себя виновным в самых страшных грехах. Он, оказывается, был польским шпионом и агентом гестапо, он подготовил убийство Кирова и отравил Горького и Куйбышева. Я так и не мог понять, лгал он или нет? А если лгал, возводил на себя напраслину, то зачем? От кого отводил подозрения?

Не только в связи с Ягодой, но и вообще в связи с процессами «по делам» противников Сталина скажу еще вот о чем. Иосифу Виссарионовичу никак не откажешь в смелости, в решительности, и все же он с какой-то странной осторожностью, понижая голос, говорил о масонстве, испытывая, как мне кажется, страх и ненависть к этой организации, более тайной и более сильной, чем даже всемирный сионизм. Масонство — словно бы запретная тема: заговоришь и сразу кто-то услышит, сделает выводы. Насколько помню, до войны при мне Иосиф Виссарионович лишь несколько раз, в минуты крайнего раздражения, не сумев сдержать себя, упоминал о масонах. Впервые — до процесса над Бухариным, в середине тридцатых годов. В то время Бухарин несколько раз ездил за границу, выясняя судьбу какого-то архива, чуть ли не архива Карла Маркса. В Париже, в Вене. На стол Иосифа Виссарионовича легло донесение (не могу припомнить: или от руководителя нашей агентурной разведки в Европе Кривицкого, или от заведующего особым отделом Наркомата иностранных дел Деканозова), в котором сообщалось, что в Вене дважды встречался и беседовал Бухарин с высокопоставленными масонами и, вероятно, получил от них какие-то инструкции.

«Опять масоны, опять они! — взорвался тогда Сталин, резким движением сбросив со стола пепельницу. — Они не душат до смерти, но

они давят, сковывают руки и ноги! У этого дракона неисчислимое количество голов! Мы рубим одну — появляются десять! Но масоны не заставят меня служить им! Я не глупее их! Поглядим, кто окажется наверху!» — «Вы один, а они во всем мире». — «Со мной партия». — «Партий было и будет много, а масонство едино и долговечно. Если не при жизни, то после смерти они сделают с вами, что захотят. Свалят на вас все грехи века, затопчут в грязь». — «А пролетариат, а интернационал — они не позволят!» — «Ну, не знаю», — ответил я.

Еще раз подобный разговор произошел между нами, когда стало известно о второй женитьбе Якова Джугашвили (об этом будет сказано далее). И опять Иосиф Виссарионович опасливо и гневно посетовал на то, что масоны все тесней окружают его, проникают к нему, стараются навязать свою волю.

Вот что странно. Прошло много лет, давно нет Иосифа Виссарионовича. После Второй мировой войны снята, хоть и далеко не полностью, таинственная завеса со всемирного масонства. О масонах пишут за рубежом, о них знают, некоторых из них (без особого, впрочем, успеха) пытаются привлекать к судебной ответственности. Только у нас — полное молчание. Будто и не существует этой организации, щупальца которой проникли во все уголки земного шара. А пора бы задуматься над тем, какую роль играли масоны из ближайшего окружения Сталина, других наших руководителей, какие задания они выполняют, какими средствами добиваются своих целей.

8

Иосиф Виссарионович много читал. Почти каждый день, несмотря на занятость. Знакомился с научной, политической, технической литературой. Увлекался литературой художественной, видя в ней незаменимый учебник человековедения. Специально для него переводились немецкие, французские, английские, испанские романы, повести: и классические, и те, которые рисовали картину современного положения в этих странах. Последние давали ему определенное представление об обстановке, международном положении и уж, во всяком случае, пищу для размышлений. Сталин зачастую знакомился с произведениями по машинописному тексту, некоторые рекомендовал для широкого читателя. Однако большинство таких переводов использовалось лишь им да членами Политбюро. Или в соответствующих ведомствах. Я, например, читал все, что имело отношение к военному делу. Впрочем, у меня имелось преимущество, моих знаний хватало, чтобы осилить подлинники на трех языках, поступавшие из-за границы.

Известный ученый Фредерик Жолио-Кюри писал в свое время: «Шедевр искусства, бесспорно, более незыблем, нежели научное творчество, но я убежден, что ученого и художника ведут те же побуждения и требуют от них тех же свойств мысли и действия. Научное творчество на его высочайших вершинах тоже взмах крыльев. Художник и ученый, таким образом, встречаются, чтобы создавать во всех формах Красоту и Счастье, без которых жизнь была бы слишком унылым шествием…»

Это так, но каковы же романтики начала нашего века, а! Во второй половине века найдется ли ученый, способный написать столь возвышенные слова!

Цитату эту я привел для того, чтобы проявить позицию Иосифа Виссарионовича. Красоту и Счастье он воспринимал не как нечто важное для людей само по себе, а как цель классовой борьбы. Все виды науки и особенно искусства были для него прежде всего полем сражения на идеологическом фронте. Ничто не существовало просто так, для людей вообще, все представлялось ему ступенями классовой борьбы, эти ступени надобно было завоевывать, удерживать, двигаясь выше и дальше.

Иосиф Виссарионович четко представлял, сколь велика и своеобразна роль писателей в жизни общества, особенно в государствах со строгим, концентрированным управлением. По существу, писатели — единственная сила, единственная частичка общества, независимая непосредственно от руководителей, от государственного аппарата, от правительства. Вот рабочему, к примеру, не дадут станка, не обеспечат материалом, не найдут сбыта для его продукции, — сиди и тоскуй, как тоскуют миллионы рабочих в капиталистических странах. Можно отстранить от дела инженера, врача, крестьянина, даже актера. Но писатель, поэт — неотделимы от своего труда. Разве что только как душа от тела… В тюрьму его засади, держи на хлебе и воде, с закованными руками и ногами, а он возьмет да сочинит гениальное стихотворение, которое прозвучит по всему миру, потрясая умы и сердца, бумерангом ударит гонителей, преследователей. Примеров тому множество, от древней истории до наших дней. Юлиус Фучик создал свой замечательный «Репортаж с петлей на шее» в гитлеровской тюрьме со строжайшим режимом. Муса Джалиль писал стихи в камере Моабита.

Сталин говорил, что один хороший роман способен принести социализму больше пользы, чем работа всех пропагандистов и агитаторов нашей партии за несколько лет. Такая книга дает представление о наших думах и поступках, о наших целях и образе жизни, привлечет к нам множество новых людей. А с другой стороны — одна талантливая, но враждебная книга способна принести такой опустошительный вред, что дезавуирует наши идеологические усилия за долгое время, выставив в смешном виде руководителей или показав их коварными злодеями, чинушами, себялюбцами.

Сила талантливого произведения сокрушительна, не ограничена по времени и пространству. Если оно создано, его не арестуешь, не уничтожишь: запрещенное здесь, оно вырвется на волю в другом месте. И коль скоро в потоке обычной литературы появляется из ряда вон выделяющаяся книга, не следует набрасываться на нее, воевать с ней, преследовать автора. Мудрость заключается в том, чтобы использовать данное произведение и его создателя в нужных партии и стране целях. Или позаботиться о том, чтобы появился достойный литературный противовес.

Сталин никогда не смешивал писателей, вообще талантливых людей, с администрацией творческих организаций. Настоящий писатель или художник в аппарат не пойдет, разве только по требованию партии, как А. А. Фадеев. Настоящий талант живет своим творчеством и в прямом и в переносном смысле. А вот после Сталина, как я понимаю, утратилась грань между творцами и чиновниками от искусства, возобладали последние. Отсюда и многие утраты. В погоне за спокойствием и благополучием чиновники без труда оттесняют на задний план житейски беззащитных творцов. Или подвергают их гонению, стараясь избавиться

от них, пополняя тем самым сильнейшими борцами мирового масштаба ряды наших идеологических противников.

Известен разговор Сталина с Поликарповым,[22] приставленным в свое время от партии к Союзу писателей. Пожаловался Поликарпов на то, что литераторы — народ своенравный, капризный, неорганизованный, работать с ними чрезвычайно трудно.

— Ничем не могу помочь, — пожал плечами Иосиф Виссарионович. — Мы можем заменить кого угодно, мы можем заменить любого наркома, но заменить писателя не в наших силах. Придется работать с такими, какие есть. Других у нас нет.

Сталин не только советовал быть терпеливыми, доброжелательными и заботливыми по отношению к писателям, но и сам в этом отношении являл неплохой пример. На удивление сложны, интересны были его взаимоотношения с Михаилом Булгаковым. Считая его очень талантливым, Иосиф Виссарионович прощал Булгакову многое, чего никогда не простил бы близким людям, товарищам по партии. Вспомним полную остроумного сарказма, феерической булгаковской фантазии повесть «Собачье сердце». Великолепный хирург, смелый экспериментатор берет с улицы Шарика, скромную дворняжку, которая ведет обычный для себя образ жизни, с трудом добывая пропитание на холодных городских улицах. Хирург делает революционную операцию: пересаживает собаке некоторые органы погибшего пролетария-уголовника. И вот добропорядочная дворняжка постепенно превращается в заурядного человекообразного хама, быстро наглеющего в благоприятной для него обстановке двадцатых годов. Осознав выгоду своего плебейского происхождения, свою безнаказанность, новоявленный гибрид пьет, бездельничает, грубит, всячески притесняет породившего его интеллигента, вплоть до того, что с помощью домкома пытается вытеснить врача с жилой площади, где тот, кстати, оперирует. Чтобы спастись от совершенно распоясавшегося хама, есть только один выход: вернуть его в прежнее собачье состояние. Что и делает хирург.

Прочитав рукопись, Иосиф Виссарионович был просто ошарашен. Несколько дней раздумывал, прежде чем высказал свое мнение: «Хлестко! Очень хлестко! Отдельные страницы даже сильнее, чем у Салтыкова-Щедрина. Такой острый талант должен служить нам!»

Судьба Булгакова была предопределена этими словами. Люди, осмелившиеся лишь вякнуть против Советов, против Сталина, мгновенно оказывались у черта на куличках, а создатель смелой, прямо-таки сбивающей с ног сатиры разгуливал по столице и работал над новым произведением.

В то время, когда не остыл еще накал гражданской войны, о белых офицерах если и упоминалось, то лишь с ненавистью, как об извергах и кровопийцах, с прибавлением самых бранных слов, а на сцене, ошеломляя зрителей, шла булгаковская пьеса «Дни Турбиных», герои которой, золотопогонники, представители враждебного класса, выглядели самыми обычными, даже весьма милыми, порядочными людьми, со всеми человеческими слабостями и достоинствами. Это была дружная дворянская семья, справедливая и бескорыстная, с развитым чувством чести, с высоким русским патриотизмом. Не сосчитать, сколько раз сверхбдительные и сверхосторожные блюстители архиклассовых догм запрещали эту пьесу, выбрасывали из репертуара, а она вновь и вновь появлялась во МХАТе. Почему? Да потому, что ее любил смотреть Сталин.

Власик предупреждал администрацию театра: на следующей неделе должны быть «Дни Турбиных». И «зарезервированный» спектакль мгновенно возобновлялся.

Иосиф Виссарионович питал какое-то особое пристрастие к этой пьесе. Шестнадцать раз наслаждался он этим шедевром. Один раз — с Кировым. Трижды — вместе со мной. Чаще всего — вдвоем с весьма пожилой женщиной, фамилию которой, я давно уже обещал назвать и обязательно назову вскоре.

Это не были официальные, торжественные выезды в театр. Никто, за исключением определенных лиц, не подозревал, что в зрительном зале находится Сталин. Обычный спектакль, и только. А Иосиф Виссарионович был счастлив в эти минуты, ощущая то, что близко было его молодости, очищаясь духовностью Турбиных от повседневной засасывающей, ожесточенной и отупляющей борьбы с врагами, с бюрократами, дураками и подхалимами. Долго и беззвучно смеялся Иосиф Виссарионович над приключениями Лариосика. Затихал, подаваясь вперед, когда появлялась Лена-светлая, грустил с ней, не скрывая влюбленности в этот образ. Однажды спросил меня: не напоминает ли Лена Матильду Васильевну Ч.?

Да-да, ту светскую даму-путешественницу, очень богатую и немного взбалмошную, которая случайно оказалась в семнадцатом году в Красноярске и приняла самое горячее участие в судьбе ссыльного революционера — солдата Джугашвили! Господи, кто бы мог подумать, что этот железный человек бережно хранит память о ней, что воспоминания, связанные с Матильдой Васильевной, трогают и согревают его! Впрочем, горькие струи в жизни всегда тесно переплетаются с приятными, а время постепенно сливает их в единый поток.

Таково было личное отношение Иосифа Виссарионовича к пьесе «Дни Турбиных». А официальное, как руководителя партии и государства?.. Он, конечно, знал, какая буря бушевала вокруг произведений Булгакова, с какой злобой, даже с непристойностями обрушилась на него критика. Появились десятки, сотни рецензий, и все ругательные. В. Киршон, Л. Авербах, В. Блюм, Р. Пикель, не стесняясь в выражениях, печатно утверждали, что этот самый Мишка Булгаков, именующий себя писателем, в залежалом мусоре шарит, подбирает объедки после того, как наблевала дюжина гостей, что его Алексей Турбин — сукин сын, и автор от героя недалеко ушел. Даже сам А. Луначарский заявил 8 октября 1926 года в «Известиях», что Булгакову нравится «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля» (это вокруг Лены-то!). И вообще от пьесы «идет вонь», как было сказано на совещании в агитпропе.

Да, Сталин знал, какому остракизму подвергается Булгаков, и все же поддерживал его. Когда говорили, что «Дни Турбиных» — пьеса вредная, противоречащая нашим принципам классовой борьбы, Иосиф Виссарионович усмехался в усы:

— Наоборот. Она убедительно показывает силу революции. Даже такой крепкий орех, как семья Турбиных, не выдержал и распался. Не устояла белая гвардия… Глубже надо вникать в суть дела.

Свое мнение Иосиф Виссарионович изложил и обнародовал в «Ответе Билль-Белоцерковскому», который был опубликован в начале 1929 года. Там, в частности, сказано: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если

даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь. «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма.

Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»

Известны также слова Сталина, сказанные Горькому: «Вот Булгаков! Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!»

Об уважении, об особом отношении свидетельствует и то, что Иосиф Виссарионович читал все письма, отправленные ему Булгаковым, в которых писатель не только сетовал на свою тяжкую участь, прося отпустить его в поездку за границу, но и хлопотал о своих пострадавших друзьях. Например — об арестованном драматурге Н. Эрдмане. Ведь это же факт, что Сталин звонил Булгакову домой, беседовал с ним. Когда у Булгакова резко обострилась болезнь почек, что и явилось причиной смерти, в его доме раздался звонок Поскребышева: «Товарищ Сталин просит узнать, какая помощь нужна?..» Кто еще из руководителей партии за всю историю страны Советов оказывал такое внимание рядовому писателю, не состоявшему в руководящих органах, беспартийному, к тому же гонимому критикой?! Не было больше ничего похожего!

Для полного понимания взаимоотношений Сталина и Булгакова надо упомянуть одно малоизвестное, но существенное обстоятельство. Приехав осенью 1921 года в Москву, писатель-драматург познакомился в МХАТе с умной, обаятельной женщиной Ольгой Сергеевной Бокшанской, машинисткой и секретарем Немировича-Данченко. Зачастил к ней на квартиру, где и встречался с Иосифом Виссарионовичем. Это был период, когда очень сильное, но кратковременное увлечение Сталина Ольгой Сергеевной близилось к концу, он охладел к ней, хотя связи поддерживались до самой ее смерти в 1948 году. И увлечение Булгакова Ольгой Сергеевной, тоже очень сильное, переросло в ровную дружбу. А женился Булгаков на младшей сестре Ольги Сергеевны, на Елене Сергеевне; женился в третий раз, но окончательно, прожив с ней до конца своих дней. Естественно, Иосиф Виссарионович видел в квартире старшей сестры Елену Сергеевну, она произвела на него очень хорошее впечатление, он помнил о ней. Все это не могло, конечно, не сказываться.

Знаю, что Иосиф Виссарионович, получив письмо Булгакова с просьбой разрешить выезд за границу, вначале ничего не имел против. Пусть отдохнет человек, наберется сил, новых впечатлений. Не вернется — тем хуже для него, такова ему и цена… Даны были соответствующие указания — отпустить. Но в самый последний момент взяли верх другие соображения, можно сказать, эгоистического порядка. У Иосифа Виссарионовича были свои виды на талантливого драматурга.

Не кому-либо, а именно Булгакову заказал один из московских театров пьесу о Сталине: разумеется, не без ведома Иосифа Виссарионовича. Основные аспекты были оговорены заранее, а все остальное полностью доверялось писателю. Сталин считал: если уж Булгаков возьмется, это будет не скороспелый боевик, не чрезмерные восторги услужливого блюдолиза, а настоящее произведение, способное жить долгие годы. По его мнению, Булгаков был близок, понятен еще и потому, что и сам Иосиф Виссарионович в какие-то часы и дни погружался в полуреальный странный мир фантастических грез, воспаряясь над грешным и суетным

миром, иногда даже теряя четкое ощущение границы между привидевшимся и реальным.

Писатель и в этот раз остался верен себе. Он создал пьесу о хорошем грузинском юноше с большими задатками, о его друзьях, о том времени, когда рос и мужал Сосо Джугашвили, принося радость окружающим людям. Автор словно бы предлагал Сталину (и другим тоже) оглянуться, посмотреть на себя в прошлом, подумать, что утрачено, потеряно в дальней дороге, что еще можно восстановить. Конечно, это было совсем не то, на что рассчитывал Иосиф Виссарионович, однако, пьеса могла увидеть свет, если бы не одно обстоятельство: Сталин, как мы знаем, очень не любил вспоминать о своем детстве, о семинарских годах, о сапожнике Джугашвили, о своем туманном происхождении. Разумеется, выдвинуть это доводом для отказа от пьесы Сталин не мог. Он нашел другую формулировку:

— Все молодые люди похожи один на другого. Что может быть интересного и поучительного в их короткой жизни? Особенность, индивидуальность каждого еще не проявилась. Не понимаю, зачем ставить такую пьесу?!

Ее не поставили и не напечатали.

Такая же участь постигла и вторую, более завершенную пьесу Булгакова о Сталине, условно называвшуюся «Батум». Будучи самостоятельной, она как бы продолжала линию, начатую в пьесе о детстве и юношестве Джугашвили. Но здесь выведен был уже молодой революционер, руководитель батумской стачки и демонстрации 1902 года: остроумный, обаятельный, пользующийся уважением трудящихся, почтительным отношением со стороны товарищей. Мне пьеса понравилась, хотя перестарался, пожалуй, Булгаков, выведя Джугашвили слишком уж опытным, знающим, авторитетным. Не был еще Джугашвили таким в самом начале века. Этот налет, эту прямолинейность можно было снять при подготовке спектакля, которая развернулась во МХАТе летом тридцать девятого года, незадолго до сталинского юбилея. Однако режиссеры и актеры, наоборот, усилили те аспекты, которые вызывали мое сомнение. Спектакль получился льстивый, слишком уж воспевающий, несколько даже слащавый. Булгаков был недоволен. Иосиф Виссарионович, послушав однажды за сценой, инкогнито, как идет репетиция, был огорчен. А через несколько дней вынес свой решающий приговор: «Помпезно и плоско. Такой спектакль нам не нужен».

Иногда пишут о том, что Булгаков подвергался преследованиям, его произведения запрещались, что жизнь его была трудной. А у кого она легкая?! Однако не зачислил же его Иосиф Виссарионович в разряд врагов. Смею уверить, что НКВД не вмешивалось в его творческие дела. Можно теперь говорить что угодно, однако факты неоспоримы: в сталинские времена были созданы шедевры нашей литературы «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия». А когда они увидели свет, чуть раньше или чуть позже — принципиального значения не имеет.

Булгаков — не исключение. Столь же уважительно относился Сталин и ко многим другим писателям. В том числе к Алексею Толстому, бывшему графу, вернувшемуся из эмиграции. Особенно после того, как Толстой создал роман «Петр Первый», ставший настольной книгой Иосифа Виссарионовича: в этом самодержце Сталин видел достойный образец российского правителя, мудрого и смелого, жестокого и щедрого, коему следовало подражать если не во всем, то во многом. Ну и конечно, очень

обрадовался Иосиф Виссарионович появлению «Хлеба», где сам Сталин был главным героем, фигурировал на одном уровне с Лениным. Стоило ли после этого придавать значение веселым гулянкам, всяким чудачествам титулованного писателя, идущим от широкой русской натуры.

А вот прекрасному писателю, отличному стилисту Пантелеймону Романову не повезло. Уж не фамилия ли виновата? До сей поры не могу понять, что сделал он или сказал, вызвав долгое, непреходящее раздражение властей предержащих. Ругали его произведение «Без черемухи», но что в нем особенного, антисоветского? Ничего. Обычная для того времени любовная житейская история, да и теперь сколько угодно таких. А на Пантелеймона Романова навесили когда-то ярлык, и оказался он за бортом отечественной литературы.

Перечитывал Сталин «Севастополь» и «Люди из захолустья» Александра Малышкина, ценил язык и стиль этого своеобразного писателя. Но когда начались нападки на Малышкина, защищать его почему-то не стал. Может, и не заметил Иосиф Виссарионович этих нападок в текучке многочисленных дел.

О Паустовском говорил Сталин примерно так:

— Мастер старой школы, очень большой мастер. Читаю его, вижу оттенки красок, ощущаю аромат цветов.

Очень серьезно, очень сдержанно, с некоторым изумлением относился Иосиф Виссарионович к творчеству Шолохова. Это ведь не классик из старых, из дореволюционных, этот взял да и появился вдруг, ни с того ни с сего. Неброский, невысокий человек, разом перевернувший в сознании людей всего мира сложившееся представление о гражданской войне, о казаках. Писатель он, безусловно, гениальный, не ниже уровня Горького, но чего он принесет больше — вреда или пользы, вот вопрос. После «Поднятой целины» Сталин решил — польза несомненная: на нашу мельницу воду льет. Но, перечитывая «Тихий Дон», Иосиф Виссарионович каждый раз возвращался к сомнениям, никак не мог взять в толк: хороший персонаж Григорий Мелехов или плохой, одобряет автор новую власть на Дону или нет? Мелехов-то привлекает, вызывает большую симпатию, а он — враг. В отличие от заурядного, ничем не притягивающего Мишки Кошевого.

Сила воздействия романа была такова, что даже Сталин — участник сражений на Дону, — даже он начал думать о казаках иначе, усмотрев в них не оголтелых врагов, а надежную военную силу, способную быть опорой не только старой, но и новой власти. Было реабилитировано само понятие «казачество», в Красной Армии появились казачьи полки в своей традиционной форме, вернулись к нам алые башлыки, кубанки, бурки, и это очень радовало меня, как и вообще любая преемственность в военном деле. Войска без традиционных корней, без славной истории, без геройских боевых знамен — это толпа наемников, это перекати-поле, которое покатится туда, куда погонит сильный ветер.

В Москву приезжал казачий хор, созданный при участии Шолохова, и Сталин с удовольствием слушал донские и кубанские песни. Более того, с согласия Иосифа Виссарионовича в 1936 году на сходах Вешенского района Сталин был принят в казаки и с того времени, не будучи еще ни маршалом, ни генералиссимусом, часто появлялся перед военными в брюках с красными казачьими лампасами.

Читал Иосиф Виссарионович в основном прозу, чаще всего — русскую классику. Его можно зачислить в специалисты по творчеству Салтыкова-

Щедрина, он вполне мог бы защитить диссертацию. Даже в обычных разговорах цитировал меткие, хлесткие фразы сатирика, использовал их в официальных выступлениях. А вот Достоевский казался ему вялым, нудным и вредным, уводящим от дела, от борьбы. За книги Льва Толстого принялся Сталин лишь во время Отечественной войны. Конечно, читал и раньше, но поверхностно, разрозненно и, наконец, проштудировал их досконально. Те произведения, где речь идет о военных действиях, об отношении русского народа к войне.

Прозу и стихи Пушкина читал Иосиф Виссарионович охотно, однако, чувствовалось, в основном лишь для развлечения. Несколько раз возвращался к «Руслану и Людмиле», к сказкам. Особенно почему-то смешила его сказка о попе и смекалистом работнике-балде.

Стихи Лермонтова и «Герой нашего времени» напоминали Иосифу Виссарионовичу собственную молодость, любовные и другие приключения. Из грузинских классиков особенно выделял Шота Руставели, в минуты досуга, находясь в хорошем настроении, с удовольствием перелистывал страницы юбилейного издания «Витязя в тигровой шкуре». Чаще даже не читал, а любовался чудесными иллюстрациями-вклейками. Это была книга большого формата, на русском языке. А рисунки, прикрытые тонкой вощеной бумагой, были, действительно изумительны. Мне тоже нравилось именно это издание, я тоже частенько любовался им. Не знаю, куда исчез сей памятный том после смерти Иосифа Виссарионовича, весьма сожалею, что не взял, не сберег эту книгу. Пусть не покажется странной сентиментальность старика, но я скучаю и тоскую по этому фолианту, который так долго и так привычно лежал у Иосифа Виссарионовича на столе, много раз доставлял наслаждение, тихую радость ему и мне.

А вот еще случай курьезный, но для Сталина вполне характерный. Однажды я застал его в прекрасном расположении духа. На столе перед ним была детская книжка с иллюстрациями.

— Убедительный образец того, что даже стихи для детей могут служить политике. Вам знакомо это произведение, Николай Алексеевич?

Несколько удивленный торжественным тоном, я взглянул на обложку и улыбнулся. Это был «Тараканище» Корнея Чуковского. Мы с дочкой недавно читали о злом усатом великане.

— Что здесь веселого? — спросил Сталин.

А у меня, в свою очередь, готов был сорваться с языка иронический и отнюдь не невинный вопрос: если эти стихи политические, то кого выводит автор под видом страшного, жестокого усача, испугавшего всех зверей, слава которого чрезмерно и не по делу раздута? Уж не Семена ли Михайловича? Или самого Иосифа Виссарионовича?

Понимая, что Сталин наверняка обидится, и, что еще важней, может пострадать автор, я сдержался и ответил: книжка имеется у моей дочки, никакой политики в стишках нет.

— Как же вы не видите, когда суть вот она, прямо на поверхности, — укорил Иосиф Виссарионович. — Помните мое заключительное слово на XVI съезде партии, когда я критиковал лидеров правой оппозиции, сравнивая их с чеховским Беликовым? Они боялись всего нового, выступали против ликвидации кулачества, как класса, против создания колхозов и совхозов… Чуковский фактически дает нашу критику, только по-писательски, в доступной для всех форме. Он, безусловно, очень талантливый человек.

У меня не было оснований возражать против последнего утверждения. Кто знает, где истинная грань между одаренностью, талантом или большим талантом?!

Возвратившись домой, я взял брошюру «Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду партии» и перечитал ту часть выступления, о которой говорил Сталин. Вот как характеризовал он лидеров правой оппозиции:

«Особенно смешные формы принимают у них эти черты человека в футляре при появлении трудностей, при появлении малейшей тучки на горизонте. Появилась у нас где-нибудь трудность, загвоздка, они уже в тревоге: как бы чего не вышло. Зашуршал где-нибудь таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти. (Общий хохот). Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить свое: «Как так таракан? Это не таракан, а тысяча разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти!» И пошла писать губерния… Бухарин пишет по этому поводу тезисы и посылает их в ЦК, утверждая, что политика ЦК довела страну до гибели, что Советская власть наверняка погибнет, если не сейчас, то по крайней мере через месяц. Рыков присоединяется к тезисам Бухарина, оговариваясь, однако, что у него имеется серьезнейшее разногласие с Бухариным, состоящее в том, что Советская власть погибнет, но, по его мнению, не через месяц, а через месяц и два дня. (Общий смех). Томский присоединяется к Бухарину и Рыкову, но протестует против того, что не сумели обойтись без тезисов, не сумели обойтись без документа, за который придется потом отвечать. «Сколько раз я вам говорил, — делайте что хотите, но не оставляйте документов! Не оставляйте следов! (Гомерический хохот всего зала. Продолжительные аплодисменты). Правда потом, через год, когда всякому дураку становится ясно, что тараканья опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвастовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов, что таракан этот к тому же такой тщедушный и дохлый. (Смех. Аплодисменты). Но это через год, а пока изволь-ка маяться с этими канительщиками…»

Да, как видим, у Сталина и у Чуковского полнейшая антитараканья солидарность. Один и тот же образ. К сожалению, я не встречался с Корнеем Ивановичем, не спрашивал у него, как, когда, под влиянием чего появился пресловутый «Тараканище». Но факт остается фактом. Сталин раз и навсегда зачислил Чуковского в число своих сторонников. Сильнейшие бури, коснувшиеся многих писателей, обошли Корнея Ивановича стороной. Он спокойно прожил свою долгую жизнь. А после смерти Сталина сгорел его дом в Переделкино, погибла большая библиотека, некоторые документы…

Вот как бывает: в течение многих лет имя Сталина было для миллионов людей олицетворением всего самого лучшего, самого справедливого. Это — один перегиб. Теперь же, особенно в среде творческой интеллигенции, наблюдается явный перехлест в другую сторону. Иосиф Виссарионович — это дьявол во плоти, деспот, кровавый маньяк. Зачеркивается все хорошее, что было сделано при нем. Экономические достижения. Подъем

духа, энтузиазм, чистота помыслов, жизнь ради будущего — а ведь все это было.

Плох Сталин? Но ведь именно при нем многоцветно и разнообразно расцвела советская литература. Не говорю о Горьком, пришедшем из дореволюционного прошлого. Но как объяснить, что в те годы, когда правил «деспот», раскрыли свои способности прозаики Шолохов и Малышкин, Булгаков и Фадеев, Платонов и Паустовский? Это в его эпоху написали свои лучшие произведения Цветаева и Маяковский, Симонов и Ахматова. При нем вознесся витязь российской поэзии Твардовский, ни разу, кстати, не унизившийся до славословия Иосифу Виссарионовичу. А при этом был ценим тем же Сталиным по достоинству.

Перефразируем закон физики: чем ощутимей противодействие, тем сильнее бывает действие. Талант, как и характер, проявляется в борьбе. Одни люди приспосабливаются к обстоятельствам, извлекая выгоды для себя, другие отстаивают такие необходимые человечеству принципы, как честь, добросовестность, верность. Приспособленцы — исчезают. Принципиальные, преодолев все трудности, остаются.

9

Лозунг «Кадры решают все!» представлялся мне наивным до смешного. Утверждение на том же уровне, что «Волга впадает в Каспийское море» или «хлеб едят». Конечно, люди, специалисты, добросовестные труженики определяют все, а как же иначе. Сказал Сталину:

— Мудрость граничит с простотой, но та, в свою очередь, граничит с примитивизмом. В данном случае, не перепутаны ли границы?

— Лозунг должен быть краток и понятен всем, — возразил Иосиф Виссарионович. — Лозунг необязательно анализировать, его надо усваивать и руководствоваться им. И, кстати, Николай Алексеевич, речь идет не о людях вообще, а о тех кадрах, которые нужны нам. Добросовестных работников мы найдем, специалистов обучим. Гораздо важней сейчас выделить и поднять из общей массы именно тех, кто нам предан, будет надежно и решительно выполнять нашу волю, не тратя времени на сомнения и болтовню.

— Чью волю?

— Центрального Комитета партии, если хотите, — усмехнулся Сталин.

То, что люди по-разному понимают, воспринимают этот лозунг, Иосифу Виссарионовичу ничуть не мешало. Я знал одного известного ученого, который тогда говорил обрадованно: «Наконец-то будут оценивать по заслугам, по делам, а не по речам и происхождению, тем лучше!» Этот ученый и многие другие наивные граждане как-то не обратили внимания, что почти одновременно с этим лозунгом был выдвинут и другой, уточняющий суть первого. А именно: «Незаменимых людей у нас нет!» Взятые вместе, они являли собой тезисы весьма суровой, я бы даже сказал, — страшной программы. Тем более что этой формулой руководствовался не только сам Иосиф Виссарионович, но и весь аппарат сверху до самого низу. Преданность лично товарищу Сталину и тому делу, которому он служит, — все остальное не имело значения.

Вот что, к примеру, произошло с Петром Ананьевичем Красиковым, человеком в высшей степени образованным, порядочным, самостоятельным в суждениях и поступках. И, кстати, одним из старейших членов партии, его стаж исчислялся с 1892 года. Старше его в партии

было лишь несколько человек. У Ленина стаж шел с 1893 года. С Владимиром Ильичом познакомился Красиков еще в Красноярской ссылке, с той поры был его соратником, последователем, верным другом. II съезд партии, который состоялся в 1903 году и на котором большевизм оформился политически и организационно, открывал, как известно, Плеханов. Он же был и председателем. А вице-председателями были Ленин и Красиков.

Имея юридическую подготовку, Петр Ананьевич при советской власти занимался, естественно, вопросами правосудия и в те годы, о которых идет речь, являлся заместителем председателя Верховного Суда СССР. Сталин знал независимый характер Красикова, его принципиальность и всегда держал оного на почтительном расстоянии. А еще Петр Ананьевич был в партии этаким снобом, что ли. Он считал настоящими революционерами таких лишь товарищей, как Плеханов, Ленин, Кржижановский, Чичерин, Бонч-Бруевич, то есть людей, которые ринулись в борьбу за общее благо, отказавшись от богатства, от сословных привилегий, потеряв все. Была разница между ними и теми деятелями, которых волна революции подняла на гребень, которые, ничего не утратив, наоборот, приобрели все и были озабочены тем, как сохранить собственное благополучие. Их в государстве, в партии становилось все больше.

Так вот, в самый разгар репрессий, в тридцать шестом или тридцать седьмом году, Петр Ананьевич после нескольких попыток добился встречи со Сталиным. Заявил ему:

— Сложилась обстановка, в которой невозможно осуществлять правосудие.

— Почему? Объясните.

— К нам в Верховный Суд поступают дела, по которым очень трудно принять законные решения. Через печать и радио заранее создается мнение, что подсудимый — враг народа. Как оправдать такого? Но и карать его не за что, нет состава преступления.

— А вы не вмешивайтесь в такие трудные дела, — со скрытой насмешкой посоветовал Сталин. — Пусть ими занимаются другие юристы.

— Обязан по долгу службы. И по совести. Как старый большевик, не могу оставаться равнодушным к несправедливости. И буду бороться всеми доступными мне средствами.

— Плохо, — сказал Сталин.

— Что плохо? — не понял тот.

— Что вы старый большевик, — холодно отрезал Иосиф Виссарионович. — Не только старый, но и отставший от жизни. Нам нужны люди, принятые в партию после тридцать четвертого года. Они надежней.

— Как вы смеете! — вскипел Красиков. — Я прошел с партией весь путь, от самых истоков, участвовал в работе всех ее съездов…

— Тем хуже для вас, — Сталин круто повернулся и удалился, не попрощавшись, оставив потрясенного Петра Ананьевича в полной растерянности.

А далее — обычный для того времени сюжет, повторявшийся с различными вариациями, но имевший одну развязку. Красиков был отстранен от должности, выселен из Кремля, фамилию его вычеркнули из всех списков. Он не был больше ни делегатом, ни депутатом, не появлялся в президиумах, имя его исчезло с газетных полос.

Году этак в тридцать девятом Петр Ананьевич поехал в правительственный дом отдыха в Железноводск. Там через несколько дней его нашли мертвым в туалете. С самого утра никто не хватился, а потом обнаружили окоченевший труп. Кто обнаружил, при каких обстоятельствах — неизвестно. Мертвого тайком вывезли из дома отдыха и сразу же похоронили, не показав даже близким.

Жена Красикова Наталья Федоровна ходила по разным инстанциям, просила разрешения перевезти труп в Москву. Не без моей помощи ей удалось договориться в Наркомате путей сообщения о специальном вагоне. Однако на месте ее встретил возле поезда чекист в такой же зеленой фуражке с прямым козырьком, какую носил и сам Сталин, и твердо посоветовал не настаивать на перевозке мужа. «Чтобы избежать других неприятностей», — многозначительно подчеркнул он.

Запугать Наталью Федоровну было непросто, эта женщина тоже имела характер. Она ходила в горком партии, звонила в Москву, но никто не сумел помочь ей. Наталья Федоровна смогла лишь обнести могилу оградой и прикрепить к скромному надгробию табличку с фамилией, датами жизни и смерти. И — член ВКП(б) с такого-то года…

Через несколько месяцев мне довелось быть в Железноводске, я решил навестить могилу Петра Ананьевича и был поражен увиденным запустением. Ограда была изломана, над земляным холмиком — кособокая дощечка с надписью «П. А. Красиков». И никаких дат, вероятно, чтобы не привлекать внимания.

Летом 1935 года произошло событие, само по себе не очень значительное, но получившее широкую известность в среде военных руководителей. Одни восприняли его как случайность, казус, другие — как тревожный, настораживающий симптом, заставлявший крепко задуматься. В Минске был арестован Гайк Дмитриевич Гай (Гайк Бжишкян), достаточно знакомый читателям этой книги. Тот самый Гай, дивизия которого в 1918 году штурмом взяла Симбирск и вошла в историю Красной Армии как Самаро-Ульяновская Железная дивизия. Пригласили Гая вместе с женой в Белоруссию на празднование пятнадцатилетия освобождения этой республики от белополяков, и там же, на даче Совнаркома, он был задержан. Вроде бы за связь с иностранной разведкой. Люди, хорошо знавшие Гая, не очень-то верили в это. Так или иначе, но арест Гая связывали с именем Буденного, против которого вспыльчивый армянин выступал несколько раз. Критиковал за невыполнение в минувшей войне планов и приказов командования, что привело к разгрому дивизий Азина и Гая в районе станицы Мечетинской, к срыву нашего наступления на Варшаву, — об этом мы уже говорили. Семен Михайлович, дескать, воспользовался какой-то зацепкой, чтобы убрать деятеля, раскрывавшего его неудачи. И в определенной степени, значит, неудачи Ворошилова и Сталина, которые руководили войсками вместе с Буденным.

Зацепка, однако, была не очень весомой. Иосиф Виссарионович поосторожничал, в дело вмешиваться не стал, не высказался ни «за» ни «против». Известный полководец гражданской войны оказался в странном положении, вроде бы арестованный, но не совсем… Открытого суда над ним не было, где-то в верхах решили на время отправить Гая из столицы в провинцию, в Ярославль, изолировать от коллег, от любопытствующей публики. Ну и близко — сразу можно вернуть в Москву, если ситуация изменятся.

Везли Гая в обычном пассажирском вагоне с символической охраной. Что за охрана — судите сами. Оставив пальто в купе, Гайк Дмитриевич пошел в туалет. Как раз в то время, когда поезд огибал по крутой дуге гору неподалеку от станции Берендеево. Здесь поезд всегда замедляет движение. Или знал Гай об этом, или предупредили его: именно на том месте он выбил ногой стекло в туалете и выпрыгнул из вагона. Не выдержал, значит, восточный человек подневольного положения, возжаждал полной свободы.

Я узнал о побеге от Сталина. Он позвонил среди ночи, сообщил известные ему подробности случившегося и попросил немедленно выехать на место происшествия. Проследить за розыском: чтобы Гая обязательно поймали, но при этом не «наломали дров». Как я понял, не изувечили бы, а тем более не убили. При задержании возможно всякое.

— Какой нетерпеливый, до тюрьмы еще не доехал, а уже сбежал, — ворчливо произнес Иосиф Виссарионович. — Мы хотели как лучше, а он обостряет. Пусть теперь отдохнет в Коровниках,[23] да чтобы охраняли построже.

— Сначала найти надо.

— Пусть ищут быстрее. И поосторожней, — еще раз предупредил Сталин, не желавший, вероятно, вызвать недовольство Тухачевского, Уборевича, Гамарника и других военных руководителей, имевших в ту пору весомый авторитет и значительное влияние.

Я привычно собрал походный чемоданчик.

В Москве почти не ощущалась осень, разве что желтые листья на асфальте говорили о ней, а вот за городом я сразу почувствовал, что кончилось благоприятное время. Смотрел из окна поезда. Утро долго боролось с ночным мраком, да так и не осилило полностью, день стоял сумрачный, мглистый, с затуманенным горизонтом. Оранжевость осинников, изумрудность озимых полей — все краски были неяркими, приглушенными, только конусообразные ели выделялись тем, что выглядели не зелеными, даже не черно-зелеными, а почти черными: от влажности, что ли?

Берендеевская округа накрыта была низкими беспросветными тучами, шел мелкий дождь; как мне сказали, шел с небольшими перерывами уже третьи сутки. Повсюду были лужи, с крыш капало, под сапогами чавкала грязь. В почтовое отделение станции Берендеево, где разместился штаб поимки Гая, грязи нанесли столько, что невозможно было понять, какой там пол. На улицах, вдоль заборов, стояло множество разных автомашин. Начальства всех рангов, от общесоюзного до областного, было столько, а уж рядовых тем более, что можно было подумать: ожидается большое сражение.

О моем приезде знали. Молодой не известный мне начальник из НКВД, с ромбами на петлицах (в это ведомство пришло много новых людей), познакомил с обстановкой. Говорил, как оправдывался: пошли вторые сутки, а беглец не изловлен, хотя делается все по инструкции. Но дожди, мокрядь помешали собакам взять след. А вокруг глухие леса, болотистые топи, недоступные до зимы… Я успокоил начальника: действует, мол, правильно. Взяли под контроль территорию в радиусе пятидесяти километров — дальше до начала поисков Гай уйти не успел бы. Перекрыли дороги, населенные пункты. Проверяются все виды транспорта, опрошены водители, предупреждено местное население. Отпечатаны и раздаются жителям фотографии Гая. А беглец словно в воду канул.

Я ничего не смог подсказать руководителю поисков, посоветовал лишь продолжать начатое. Вариантов могло быть много. Гай человек бывалый. Если успел выбраться из этого района до оцепления, то ищи-свищи ветра в поле. Но это уж не наша забота, пусть занимаются другие. Однако беглец мог затаиться в лесной глухомани, в брошенной избушке, даже в жилом доме у сердобольной крестьянки. Ничего не оставалось, кроме как последовательно, методично обследовать все окрестности. Я лишь предупредил, что Гая надо брать живым и здоровым, без применения чрезвычайных мер. Это предупреждение не очень-то понравилось поисковикам, но я подчеркнул: требование идет сверху, является обязательным. Со строгой персональной ответственностью.

Прошли еще сутки — ничего нового. Нудный дождь, грязь, ругань, раздражение, звонки из наркомата, злые лица. Ну, начальство, засевшее на станции Берендеево, хоть обсушиться, обогреться могло в домах, пообедать и даже выпить стопку за ужином. А каково сотням, тысячам красноармейцев, прочесывавшим от зари до зари болотистые леса, ночевавшим у костров, полуголодным, мокрым, простуженным?! С делом Гая, виновен он или нет, должны разобраться соответствующие органы. А люди-то страдают за что?

Сочувствуя бойцам, томясь бездельем, вспомнил я прием, часто применявшийся в разные времена у разных народов. Не самый, может быть, добропорядочный, но надежный. А вспомнив, обратился к районным властям, чтобы выяснить, в чем особенно нуждается местное население? Мне ответили: в одежде и обуви. Плохо и с тем, и с другим. Я немедленно предложил начальнику с ромбами быстро и широко объявить о том, что гражданин, обнаруживший бежавшего преступника, получит полный комплект одежды: полушубок, шапку, сапоги и костюм. Начальник заколебался, но я объяснил ему, что комплект одежды несравнимо дешевле для государства, чем использование вне казарм нескольких батальонов и сотен сотрудников НКВД, задействованных в операции только на нашем участке. Никто не знает округу, укромные места лучше, чем здешние жители. Если Гай тут — его обнаружат. Если он уже далеко, это не наша вина. Ну, а материальную ответственность за выделение казной комплекта одежды я могу взять на себя. Начальник же обязан за несколько часов всеми средствами оповестить народ о назначенном поощрении. Элементарный расчет был на крестьянскую, на мелкобуржуазную психику: без ощутимой выгоды крестьянин не почешется, пальцем не двинет.

Считаю — сработало именно это. На следующий день к учителю в селе Давыдовском, неподалеку от станции Берендеево, явился корявый, скверно одетый мужичонка. Сославшись на свою серость, малую грамотность, принялся расспрашивать: верно ли, что какой-то убивец сбежал с поезда, теперь его ищут и вроде бы обещали с ног до головы одеть-обуть того, кто на убивца укажет? Не враги ли? Не обман ли от властей? А может, еще и деньги обещаны к одежонке?

Учитель сразу смекнул, что к чему. Сам был заинтересован в скорейшей поимке преступника, считая его опасным уголовником. Боялся за своих учеников, предупреждал, чтобы за околицу не выходили, за опятами, за клюквой в лес не бегали. Ну и нажал учитель на мужичка: «Выкладывай, как на духу!» Тот помялся-помялся и выложил. Ездил он за сеном к дальним стогам. Уже воз навьючил, когда увидел в соседнем стогу лаз, и вроде бы что-то шевельнулось там, в глубине. Колхозник перетрусил и

скорее — в село. Никому ничего не сказал, распряг лошадь и отправился к учителю за советом. Ну а тот, естественно, знал, как поступить. Вскоре в Давыдовское прибыла группа захвата. Начальство срочно выехало на дрезине. Оно же, это начальство, на той же дрезине доставило беглеца в Берендеево.

Выглядел Гай скверно. Грязные ботинки, измятые брюки, какой-то бесформенный свитер — даже фуражки не было. Волосы слипшиеся, всклокоченные. Намерзся за несколько суток в стогу, оголодал. Его осторожно спустили на землю, повели, поддерживая с двух сторон. Настолько слаб? Нет, почему-то почти не ступал на левую ногу, волочил ее.

Я возмутился. Улучив момент, сказал начальнику с ромбами:

— Вас предупреждали, — никаких мер воздействия! Что с ногой?

У того исчезло радостное оживление. Ответил торопливо:

— Ничего не было. Он даже вылез сам, не вытаскивали. А ногу повредил, когда из вагона прыгнул. Потому и не ушел далеко.

Бледное лицо Гая выражало усталость и безразличие. Оживился он лишь в ту минуту, когда увидел меня. Мы с ним официально не были знакомы, но несколько раз встречались в служебной обстановке, и он сразу понял, что я тут не случайно. В заблестевших глазах — смущение и надежда. А мне вспомнилось, что испытал я давным-давно, в восемнадцатом году, когда оказался под конвоем у красных, среди совершенно чужих людей, и вдруг узнал в одном из командиров Иосифа Джугашвили. Крепко повезло мне в тот раз.

Гая отвели на почту, дали умыться, вернули брошенные им в вагоне пальто и фуражку, покормили. Врач осмотрел поврежденную ногу и принял необходимые меры. После этого я попросил оставить нас вдвоем. Все вышли. Гай жадно курил, дорвавшись до папирос. Я сказал ему:

— Задам важный вопрос и попрошу ответить искренне. Разговор останется между нами. Знать о нем может только один человек.

— Иосиф Сталин? — сообразил Гай.

— Товарищ Сталин, — подтвердил я. — Зачем вы, Гайк Дмитриевич, совершили побег, с какой целью? Намеревались уйти за границу к нашим врагам?

— Этого я и боялся, — потерянно произнес он. — Боялся, что расценят именно так.

— А каким образом можно еще расценить? Вы что, хотели скрываться в стране под чужим именем?

— Нет! Пробрался бы в Москву, обратился в Политбюро, к самому Сталину.

— Это наивно, никто не допустит. Вас сразу бы арестовали.

— Не прямо к Сталину. Встретился бы с Микояном. Он хорошо знает меня, через него… Но я не собирался оправдываться. Мне не в чем оправдываться. Попросил бы только одно: дать мне самое трудное задание, послать в самое опасное место, хотя бы на войну в Китай, чтобы я мог погибнуть с пользой и честью, доказать свою преданность партии. Чтобы моя жена и дочь… Других помыслов у меня не было. Вы верите мне? — с надеждой спросил Гай.

— Вполне, — успокоил я взволнованного, болезненно возбужденного человека. И повторил это же, вернувшись в Москву, в разговоре с Иосифом Виссарионовичем. Подчеркнул, что слова Гая звучали убедительно.

— У меня нет особых претензий к нему, — вслух рассуждал Сталин. — Но у него нашлось много противников, и обвинения выдвинуты серьезные. Утверждают, что Гай в двадцатом году столкнулся с агентурой Пилсудского и, по крайней мере, не сделал всего того, что мог бы сделать под Варшавой… Утверждают, что, уведя свои войска в Германию, спасая их от белополяков, Гай установил связь с немецкой разведкой… Сейчас он очень осложнил свое положение, но мы оставим побег без последствий, словно его не было. Гая отвезут туда, куда и везли. Пока он в Коровниках, наши органы не спеша разберутся во всем.

Так, собственно, и было. Наказания за побег Гай не понес. В Ярославле у него была отдельная камера, сносное питание, имел возможность читать, переписываться с родными. Но «разбирательство» затягивалось. А после процесса над группой Тухачевского, после ареста других военных руководителей надежды на освобождение Гая истаяли. Могу лишь еще раз сказать, что Сталин до самого конца не утратил уважение к Гаю. Об этом свидетельствует то, что с ним хорошо обращались в тюрьме. В декабре 1937 года ему разрешили свидание с женой. А буквально через несколько дней, в полной секретности, без присутствия обвиняемого, без участия свидетелей, суд рассмотрел дело Гая и вынес смертный приговор, который сразу же был приведен в исполнение…

Печальную историю Гайка Дмитриевича я излагаю довольно подробно по двум причинам. Насколько мне известно, это был единственный побег, совершенный у нас в то время арестованным военачальником высокого ранга. Больше никто из них не пытался бежать. Ну, а еще — это был один из первых порывов ветра, предвещавший тот ураган, который вскоре обрушился на наши Вооруженные Силы.

10

В период массовых репрессий был один человек, которого особенно ненавидели Ягода, Ежов, Гоглидзе, Кобулов, Берия и другие выдающиеся экспериментаторы в деле «преобразования лиц высокопоставленных в лиц далекоотправленных» — сия циничная фраза принадлежала верному соратнику Берии, его помощнику Гоглидзе. С каким восторгом они свалили бы этого человека, растоптали бы за то, что он пытался вмешиваться в их «деятельность». Да и самому Сталину доставлял он немало хлопот.

Речь идет о главе нашего государства, о Председателе ЦИК СССР, с января 1938 года Председателе Президиума Верховного Совета СССР — Михаиле Ивановиче Калинине. Он тогда, пожалуй, был единственным государственным деятелем высшего звена, который возражал против необоснованных арестов и казней, делал попытки восстановить справедливость. Вот тридцать седьмой год. Арестованы Шотман, Правдин, Енукидзе. И сразу последовал резкий протест Калинина. Он просил Сталина принять для беседы жену Шотмана, которую Иосиф Виссарионович хорошо знал. Еще бы не знать: в 1912 году она переправляла его из Финляндии через границу. И все же Сталин наотрез отказался беседовать с кем-либо по поводу арестованных.

Итоги подобных «стычек» между Сталиным и Калининым были не в пользу последнего. Являясь главой государства, Михаил Иванович почти не обладал реальной властью, и чем дальше, тем больше ограничивал его в этом отношении Иосиф Виссарионович, забирая все бразды правления в собственные руки. Система расправы с ведущими гражданскими и

военными деятелями упрощалась. НКВД готовил предложения по приговорам (проекты приговоров), Сталин утверждал их. После этого никто и ничто не могло изменить, переиначить. Дела проштамповывал суд Военной Коллегии, решения его не подлежали обжалованию даже в Президиуме Верховного Совета. И все же Калинин не прекращал борьбы, так раздражавшей бериевскую рать. Он не имел возможности влиять на решения Сталина, но ведь и помимо этого были сотни, тысячи судебных дел по всей стране; волна репрессий, начавшаяся в центре, катилась к окраинам. В приемную Верховного Совета шли письма с просьбой посодействовать, разобраться, восстановить истину. Вот лишь один из многочисленных ответов Калинина — он обращается к коменданту стрелковой охраны Смоленска:

«У вас в детском приемнике в течение двух лет работала воспитательницей беспризорных гр. Прудникова Ф. А. В январе месяце она вами была уволена с работы в связи с тем, что муж ее был исключен из партии и выслан.

Считаю увольнение гр. Прудниковой только по этой причине необоснованным. Считаю возможным оставление ее на работе, если за ней лично нет порочащих фактов».

Когда в стране господствует беззаконие, то хоть собственным авторитетом помочь человеку!

Нет, Калинин не мог, конечно, своим вмешательством в отдельные судьбы изменить общий ход событий, и все же этот пожилой большевик с седой бородкой в своем упрямом стремлении к справедливости (учитывая его высокий пост) был явной помехой для бериевской компании и представлял существенную опасность. Ведь фортуна изменчива! Несведущие люди могли только удивляться, почему же Сталин терпит Калинина? Совершенно необязательно было арестовывать Михаила Ивановича, затевать судебный процесс — Берия со своими умелыми «экспериментаторами» располагал большими возможностями и разнообразными средствами для того, чтобы проводить намеченную кандидатуру в последний путь. От автомобильной катастрофы до внезапной кончины от разрыва сердца в собственной постели. Но к Михаилу Ивановичу никто не мог подступиться. Суть в том, что Калинин необходим был Сталину. Прежде всего как очень удобная ширма. Кто стоит во главе рабоче-крестьянского государства, что за личность? Пожалуйста: выходец из крестьян, тесно связанный с деревней, к тому же и сознательный питерский пролетарий, двадцать лет работавший у станка — что еще нужно?!

Теперь вторая сторона. Государство наше все еще оставалось в основном крестьянским, подавляющее большинство населения жило в деревнях, крестьяне со времени революции привыкли, что на самом высоком верху стоит «свой человек», мужик, защитник их интересов Михайло Иванович Калинин. Простой и доступный. В него верили. Кому еще пожалишься, ежели не ему? И Сталин очень хорошо понимал настроение масс, ни в коем случае не хотел лишаться столь надежного, понятного народу, прикрытия. Союз Серпа и Молота: наш Калинин был буквальным символом, живым гербом Советского государства. Ограничить возможности Михаила Ивановича — это да. Но остаться без него — ни в коем случае. Для огромной массы населения Советская страна без Калинина — будто Новый год без Деда-Мороза.

Кстати, о новогоднем празднике и новогодней елке. Широкая молва приписывает восстановление давнего народного обычая, запрещенного после Октября, одному лишь Михаилу Ивановичу. Люди говорили: «Калинин вернул праздник». Или — детям, увидевшим наряженную елку: «Вот подарок дедушки Калинина». А это не совсем так. Первым выступил за возвращение праздника Секретарь ЦК ВКП(б) Павел Петрович Постышев, человек очень деятельный, разумный, решительный, много лет проведший на военной и комсомольской работе. Это о нем скупой на похвалу Василий Константинович Блюхер сказал как-то: «Имя его служило прямо знаменем на Дальнем Востоке».

Так вот. 28 декабря 1935 года «Правда» опубликовала статью Постышева, в которой говорилось:

«В дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Какие-то, не иначе как «левые», загибщики, ославили это детское развлечение как буржуазную затею.

Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, политработники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей.

В школах, детских домах, во дворцах пионеров, детских клубах, детских кино и театрах — везде… Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь им в этом деле…

Я уверен, что и комсомольцы примут самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком.

Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!»

Убедительно выступил Постышев. Эту идею сразу же горячо поддержал Калинин, помнивший, сколько радости приносит людям новогодняя елка. Было принято соответствующее решение. И зажглись повсюду веселые новогодние огоньки на зеленых красавицах… А затем наступила та пора, когда имена Постышева, Блюхера и многих других «восточников», которых Сталин знал мало, которые представлялись ему слишком самостоятельными и малопочтительными, были вычеркнуты из всех списков, вымарывались тушью в исторических книгах. И все, что связано было с возвращением новогодней елки, приписывалось лишь Калинину, его доброте и заботливости. Это не его вина. И в общем-то, спасибо ему за возрожденный праздник.

В тот период, когда я особенно сблизился с Михаилом Ивановичем, положение его было двойственным, сложным. Мне импонировали его совестливость, отвращение к хитростям, интригам, стяжательству. Его скромность и доброта. Он был одним из немногих, кто ничего не искал для себя и своих близких, всей душой верил в святость марксистско-ленинских идей, искренне радовался успехам советской власти.

В ту пору Михаил Иванович болезненно переживал разрыв с родной деревней. Ездил он туда, в свою избу, всю жизнь, примерно года до тридцать пятого. Лучший отдых в милых сердцу лесах и лугах, в доме, согретом ласковой улыбкой матери. Агитировал земляков в колхоз вступать. А потом увидел, что дела в колхозе идут скверно, его поддержка, материальная помощь не помогают, а, наоборот, усугубляют положение. Крестьяне отходят от дел и забот, ленятся, перекладывают работу друг на друга, становятся лодырями, захребетниками, иждивенцами государства. Перестал ездить туда, лишив себя лучшего отдыха. Говорил: надобно что-то менять, перестраивать, заинтересовывать мужиков, вернуть тягу к работе. Но вносить какие-либо изменения он был не в силах, так как сложившаяся структура руководства, прямого подчинения с самого верха до самого низа, вполне устраивала Иосифа Виссарионовича.

Как я уже отмечал, Сталин имел незаурядную способность привязывать к себе нужных ему людей, очаровывать их своей эрудицией и обаянием, подогревать самолюбие, идти на некоторые уступки, постепенно затягивая человека в круг своих интересов, своего бытия, своих правил, превращая его в соучастника, ответственного за события. Что касается Калинина, то можно вспомнить случай прямо-таки парадоксальный. Михаил Иванович всегда был против «памятников при жизни»: распространения портретов, присвоения имен предприятиям, населенным пунктам. За исключением Ленинграда. В этом случае он не возражал, тем более что переименование произошло после смерти Владимира Ильича.

У меня есть текст выступления Михаила Ивановича на открытии Дома крестьянина в Кимрах. Когда земляки предложили переименовать этот город в честь Михаила Ивановича, он заявил: «Я считаю, совершенно излишне переименовывать уезд моим именем… Я решительно возражаю; это нецелесообразно практически — раз, и, наконец, это доказывает нашу чрезмерную спешку, наше неуважение, до известной степени, к прошлому. Конечно, мы боремся с прошлым строем, это верно, но все, что было ценного в прошлом, мы должны брать. Вот когда мы умрем и пройдет лет пятьдесят после нашей смерти, и наши потомки поймут, что мы совершили что-то заслуживающее внимания, тогда они могут вынести решение, а мы еще молоды, мы, товарищи, не можем себя оценивать. Слишком самоуверенно думать, что мы заслужили переименования места нашим именем».

Вот ведь сколько весомых, правильных доводов привел Михаил Иванович — и совершенно в соответствии со своей натурой. Его доводы не устарели и для дальнейших переименователей, тем более, когда переименовывали города и районы, не спрашивая жителей. Но как же получилось, что через десяток лет Михаил Иванович подписал Указ о присвоении своего имени не какому-то заштатному городишке, а старинной Твери, сыгравшей немалую роль в истории государства Российского, вошедшей с таким названием в народную память?!

Свистопляску с переименованиями начали Троцкий и Зиновьев. Вскоре после революции Лев Давидович потешил свое самолюбие, добившись того, что город Гатчина превратился в Троцк. Такое же название обрела Юзовка на Украине, после Октября, дабы укротить претензии украинских националистов, по велению Ленина переданная из состава Российской Федерации в распоряжение Украинской республики. В то же время Елисаветград стал Зиновьевском. «Очень скромные люди, —

саркастически говаривал тогда Сталин. — Позаботились о собственном величии».

Прошло время, и двух «Троцков» Льву Давидовичу показалось мало. Их на карте-то не найдешь, эти городки. Не соответствуют величию! Да и позавидовал Лев Давидович тому, что имя Ленина увековечено в названии северной столицы. И Яков Мовшевич Свердлов удостоен высокой чести: его фамилию дали крупнейшему городу на Урале, бывшему Екатеринбургу. А он, Троцкий, чем хуже? Зачем ждать смерти, когда есть возможность теперь же похлопотать о себе?! На Москву, конечно, замахиваться не надо, это не пройдет, а вот областной центр — вполне. И начал добиваться Лев Давидович, чтобы город с явно «контрреволюционным» названием — Царицын — получил новое наименование.

Иосиф Виссарионович, естественно, был взбешен. Что там ни говори, а это ведь он в самые трудные месяцы руководил обороной Царицына, сумел сохранить для республики важнейший Южный форпост. Этому городу как раз и носить имя Сталина, а не гастролера, который раз или два съездил туда в комфортабельном поезде. Явная несправедливость! Надо принять решительные, быстрые меры. И вот 10 апреля 1925 года форпост на Волге обрел звучное наименование — Сталинград, с коим и вошел навеки в историю, по крайней мере в историю войн.

Лиха беда — начало. Вскоре появились на географической карте Сталинабад, Сталинск, Сталинир и так далее. Ну и других руководителей, членов Политбюро нельзя обижать. Возникли Ворошиловград, Киров, Молотов и Молотовск, Каганович, Куйбышев. А Нижний Новгород стал городом Горьким; еще в 1932 году, при жизни пролетарского писателя. Экая, право, скромность… А Михаил Иванович, глава государства, почему в стороне? Как выглядят на его фоне другие товарищи? Нет уж, раз ты из нашей когорты, будь любезен, не нарушай общих порядков… Напор был столь сильным и стремительным, что Калинин не устоял, «поднес» свое имя древней Твери, оказался «завязанным» в общий круг соискателей прижизненной славы. В смысле психологического срыва это было почти равносильно отказу от собственных убеждений, подписанию себе смертельного приговора. Что-то сломалось в Калинине — сие особенно важно было Иосифу Виссарионовичу, стремившемуся «приручить» Михаила Ивановича, сделать его податливым и послушным. Однако, несмотря на надлом, до этого было еще далеко.[24]

Сталина беспокоили не столько хлопоты Михаила Ивановича по защите отдельных пострадавших граждан, сколько его публичные выступления. Не считаясь с укоренявшимся тогда правилом читать заранее подготовленные и согласованные речи, Калинин по старинке, как в ленинские времена, выходил к любой аудитории и говорил, как хотел, что считал нужным. При своей искренности такое мог сказануть, что потом не исправишь. Вот назовет всенародно Сталина нарушителем законов, заварит бучу на весь мир… Контролировать надобно такого оратора, но как?

Иосиф Виссарионович без обиняков заявил мне: он спокоен лишь в том случае, если на ответственные выступления вместе с Калининым еду я… Надеялся на мою рассудительность и решительность, учитывая мое возрастающее влияние на Михаила Ивановича. Спросил меня: верно ли, что Калинин, выступая, беседуя, не избегает самых острых вопросов, а

потом просит своего помощника: «Ты там приведи в порядок стенограмму, добавь шаблона в начале и в конце, тогда и в печать можно…»

— А что особенного? — удивился я.

— Шаблон — это наши лозунги, призывы, руководящие указания? — нахмурился Сталин.

— Они же действительно бывают шаблонными, набивают оскомину частым употреблением. А Михаил Иванович говорит о том же, проводит ту же линию, только по-своему, интересно, применительно всякий раз к конкретному случаю.

— Я бы не хотел поучать уважаемого человека, — со значением произнес Сталин.

— Ну, хорошо, хорошо… Скажу ему, что слово «шаблон» не очень уместно.

— Вас он послушает, — удовлетворенно кивнул Иосиф Виссарионович.

Каюсь, насчет этого слова я ничего не сказал Михаилу Ивановичу, случай не подвернулся. После разговора со Сталиным я был лишь на одном, хоть и очень памятном, выступлении Калинина в закрытой аудитории (официальные, общеизвестные речи приходилось, разумеется, слушать и позже). А тогда, 29 мая 1938 года, мы приехали к студентам Института государственного права и государственного управления. Название несколько странное, да и институтом это заведение можно считать только с очень большой натяжкой.

По общепринятым понятиям институт — высшее учебное заведение, куда принимаются люди, имеющие соответствующую подготовку, среднее образование. А сюда направлялись по другому принципу, сюда поступали без среднего образования, а выпускались без высшего. Знания, развитость решающего значения не имели. С мест присылали активистов, чтобы «подгустить смазку в мозгах». Брались граждане пролетарского происхождения, проявившие свою приверженность партии и Советской власти. Мозги у них свежие, не загруженные знаниями, дающими возможность сопоставлять, размышлять, сомневаться. Вкладывай в такие головы заранее подготовленные идеологические блоки, набивай лозунгами и инструкциями — вот и получатся надежные исполнители.

Помню, в феврале 1918 года «Правда» поместила заметку об открытии Вторых петроградских артиллерийских курсов (со временем они стали одним из лучших артиллерийских училищ страны). Так вот, газета писала, что от поступающих на курсы требовалось умение «бегло читать, без искажения излагать прочитанное; уметь писать и знание 4-х правил арифметики». Так ведь то был первый год революции, труднейшее время. А через двадцать лет для поступления в ответственнейший институт страны, готовящий руководящие кадры, даже такие знания, как я понял, были необязательны. Знакомство с этим заведением, расцветшим на почве «культурной революции», не рассеяло, а лишь усугубило мой скептицизм. Приведу несколько цитат из стенограммы продолжительной беседы. Вот первый отклик на предложение Калинина рассказать, «что хорошего или дурного выносите вы из института?»

«Один из студентов (так в стенограмме). Я батрак, пастух. Что мне дал за три года институт? До этого я был малограмотным. На советской работе я не работал до института. Я работал по найму. До 1929 года был рабочим. Потом пошел на рабфак. В 1935 году меня послали в совпартшколу. А оттуда я пришел в институт. Сейчас я сам себя не знаю — настолько я вырос. Разбираюсь в той литературе, которая дается. Знаю советский

государственный аппарат. Когда я был на практике, то там увидел, что действительно разбираюсь в работе советского государственного аппарата. Я много узнал за это время. Конечно, учиться еще придется много. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь.

Калинин. Я хотел обратить ваше внимание вот на что. Товарищ начинает свою речь с того, что он пастух. И это не он один. Почти все так начинают. Это очень трафаретный прием. Если это говорит колхозник, то это понятно. А от студента, грамотного человека, руководящего работника не требуется — кто он был, а нужно знать, кто он сейчас. А кто он был, так эта стадия давно прошла, и ее пережевывание ничего не дает, потому что великолепные бюрократы выходят и из пастухов, и из сыновей кулаков получаются хорошие работники. Это, конечно, не исключает общую оценку, что если брать в средних величинах в общей прослойке, то среди потомков кулаков мы найдем больше врагов, чем среди потомков середняков или потомков пастухов. Но вот сейчас вам совсем не следовало начинать с этого… Вы ученые люди, и у вас должен быть развит вкус, вкус деликатного. Я не хочу вас обидеть. Но когда слышишь, что человек говорит, что он пастух или сын пастуха, то этим он высказывает внутреннюю гордость, такую же, как тогда, когда прежде говорили: «я дворянин». Поэтому тыкать этим не следует. Когда вас об этом спросят, тогда вы скажете: я такой-то, мое происхождение такое-то… Эта гордость имела значение в начале революции, это имеет значение, когда об этом говорит колхозник или рабочий, который только что поднимается. Но когда уже человек поднялся на сравнительно высокую ступень знания, тогда это — не та гордость. Никто не спросит у знаменитого ученого Павлова, сын он пастуха или графа. И для Горького важно не то, что он сын баранщика, а что он великий писатель… Кичливость происхождения — это, до известной степени, уже архаично. Это еще было понятно в первые годы революции, а теперь, когда мы двадцать лет уже сами хозяева, нам эта кичливость не нужна. Класс, который идет вперед и сам твердо верит в себя, в этом не нуждается. Все знают, что пастухи, пролетарии, бывшие бедняки у нас сейчас хозяева нашей земли, так что нам нечего об этом говорить. Вот если начнется какой-нибудь спор и кто-либо скажет: «Что же, что ты рабочий, я и сам сын пастуха».

В принципе я согласен с Калининым, но меня коробило вот что: государственные руководители, больше всех говорящие о равенстве людей, вроде бы строящие на этом всю политику, в то же время сами опровергали свои основы, разделяя людей не только по их личным достоинствам, а и по происхождению.

Теперь еще цитата. Говорит бойкая женщина по фамилии Гордиенко.

Гордиенко. Я изъявила желание поехать в Орджоникидзевский край, потому что меня там знают с тех пор, как я начала работать. Хочу работать в секторе кадров. Постараюсь преломлять себя на работе.

Калинин. «Преломлять» — это другое слово. Сюда оно не подходит. (И, вероятно, обеспокоенный самодовольно-самоуверенным тоном этой явно полуграмотной выпускницы, Михаил Иванович спросил: — А что вы читали из беллетристики?

Гордиенко. С этим делом у меня обстоит плохо. Читала я мало. (Она будто бравировала этим.) Можно по пальцам перечесть все. Читала Горького «Мать», Островского «Как закалялась сталь», читала «Я — сын трудового народа» (книжечка для детей среднего школьного возраста).

Калинин. Сколько времени вы потратили на то, чтобы прочесть «Мать» Горького?

Гордиенко. Долго.

Калинин. Я считаю, что с классиками обязательно нужно познакомиться — с Гончаровым, Тургеневым, Толстым, Некрасовым, Гоголем, Пушкиным, Чеховым, Горьким. Если хотите хорошо составлять документы, читайте Чехова. Я считаю, что лучше его никто не пишет: коротко, сжато, ясно, прекрасный, настоящий русский живой язык. Чем больше вы будете читать, тем больше он будет нравиться. Это один из крупнейших наших художников. Он жил в безвременье, но дал много, у него нужно учиться. Прекрасный язык у Гончарова… У нас очень много близких по значению слов, а чтение литературы дает понимание их употребления. Вы будете иметь дело с народом. Вам нужно говорить с ним хорошим языком, чистым, ясным, простым. А это самое трудное. Имейте в виду, что беллетристика — это одно из важнейших пособий для наших работников… Смотрите, читайте беллетристику. Видно, вы еще во вкус ее не вошли. Посмотрите, сколько Маркс уделял времени беллетристике… Он критиковал Эжена Сю. Сколько он останавливался на Бальзаке…»

Пока Михаил Иванович делился своими мыслями, я наблюдал за аудиторией. С интересом слушали Калинина только преподаватели да некоторая, незначительная часть так называемых «студентов». Подавляющее большинство собравшихся не только не понимали его, но и не в силах были скрыть удивления. Чего ждали эти «заостренные на классовую борьбу» молодые женщины и мужчины в возрасте от двадцати до тридцати лет? Они ждали указаний, как разоблачать троцкистов и бухаринцев, как очищать госаппарат от подозрительных элементов, какую линию им проводить на местах в ближайшее время. (Кстати, мне было известно, что по меньшей мере треть студентов уже отличилась своей бдительностью, писали доносы или выдвигали устные обвинения против своих сослуживцев, коллег, даже родственников. Тогда это считалось проявлением лояльности.) Да, таких вот установок ждали собравшиеся от главы государства, старого большевика, который был для них чуть ли не святым чудотворцем. А Калинин призывал к скромности, советовал набираться знаний, думать, книжки читать. И не только безупречную марксистскую литературу, но и называл каких-то буржуйских, дворянских авторов, графа Толстого припомнил. У себя в ячейках осуждали тех, кто разными там графьями интересуется, а Михаил Иванович уважение проявляет. Поди разберись…

Многие из этих студентов были бы хороши каждый на своем месте, на заводе, в деревне, в учреждении. Добросовестно работали бы, имели семьи. Но их вырвали из знакомой среды, бросили в непонятный мир, где надо осматриваться и обживаться с самого начала, с азов, невзирая на возраст. Попробуй-ка без предыдущей подготовки освоить накопленные человечеством знания, прочувствовать, воспринять художественные ценности. Даже те, кто хотел этого, просто не смогут, не успеют. Им указали одну тропу — по ней они и пойдут. И этим вот полуграмотным людям, едва пробудившимся к духовной жизни, едва вкусившим от древа познания, этим людям предстоит занять руководящие посты в государственном аппарате. И надолго, на последующие тридцать-сорок лет! Боже мой, каково будет житье в том районе, в той области или крае, одним из руководителей которого станет, к примеру, известная нам Гордиенко, к двадцати пяти годам осилившая всего три книги, из них одну

— детскую? А ведь она с кадрами работать намерена, она кадры выращивать будет. Наберет подобных себе работников. Бабенка самоуверенная, энергичная, развернет активную деятельность.

Всплыли в памяти слова Гете: «Не знаю ничего ужаснее деятельного невежества…» А ведь оно процветает…

Да, огорчила меня беседа в Институте государственного права и государственного управления. Михаил Иванович тоже был удручен. Редкий случай — контакта с аудиторией у него не получилось. Студенты отмалчивались, говорил главным образом сам Калинин да еще председательствовавший Шнейдер. Пока мы ехали в машине, Михаил Иванович вздыхал, пощипывая свою клинообразную бородку.

Возле «Националя» отпустили автомобиль, решили немного пройтись пешком. Вечер выдался сырой, теплый. В пустынном Александровском саду лишь кое-где виднелись на мокрых скамейках пары. Сладостно и волнующе пахла молодая листва. Михаил Иванович немного приободрился. Шел осторожно, постукивая палочкой, как слепой. В последнее время у него ослабло, ухудшилось зрение, а в сумерках вообще почти ничего не видел. Я придерживал его за локоть.

Не хотелось мне делиться впечатлениями, добавлять Калинину огорчений, но Михаил Иванович сам, вероятно, испытывал желание излить наболевшее.

— Мы были не такими, — сказал он, — мы совсем другими были в их возрасте.

— Вполне естественно, — согласился я. — Вы, Михаил Иванович, более четырех лет жили в интеллигентной генеральской семье почти на правах сына, прочитали книги из обширной библиотеки.

— Со мной — частный случай. Я говорю о своих товарищах из рабочей массы, с которыми вошел в революционное движение. Мы по десять-двенадцать часов трудились на заводе, спали в бараках или снимали комнатушки, питались кое-как, но занимались в подпольных кружках, учились, жадно вбирали знания. Просто удивительно — сколько успевали читать. Сотни книг! А наши горячие споры, обсуждения, поиски истины! И ведь мы еще практическую революционную работу вели. Агитация, листовки, подготовка стачек… И все это простые труженики.

— Лучшие труженики, — сказал я. — Самые одаренные, самые способные. Вам было к чему стремиться, вас вела высокая цель, жертвенность ради благородного дела. А сегодняшние наши слушатели — это не те люди, которые выделялись в борьбе. Отсюда и начало начал их дум, речей, действий. «Я был пастухом» или «мой отец был чернорабочий», — вот главная карта, которой они козыряют… Не все, конечно, однако — многие, — смягчил я свои слова, заметив болезненную гримасу Калинина.

— Далеко не все! — поспешно согласился Михаил Иванович. — Они проявили себя на практической работе…

— Это, знаете ли, сейчас не очень трудно.

— Почему?

— Кричать: «Да здравствует наша власть, да здравствует наша партия!», когда эта власть и эта партия господствуют, когда за твоей спиной весь государственный аппарат, все карательные органы, вся армия — мягко говоря, не очень рискованно. Сложность другая: попробуй разобраться, кто в такой обстановке громче и чаще поет хвалу властям — человек, преданный делу, или приспособленец? У подхалима, карьериста

больше оснований вещать о своей преданности, чтобы выделить себя, чтобы на виду быть, чтобы вверх выдвинуться.

— И времени у таких больше, — вздохнул Михаил Иванович. — Кто занят практической работой, тому недосуг выкрикивать лозунги, разве что с трибуны по праздникам.

— Однобокость, тенденциозность в этом институте безусловная. Принимают только членов партии — это я у Шнейдера спрашивал.

— Естественно, — не удивился Калинин. — Кто же еще будет управлять государством?

— Не все же партийные у нас в стране… А корабль вести должны самые умные, способные.

— Одно не исключает другого.

— Знаете, Михаил Иванович, как Владимир Ильич в военную академию приезжал в апреле девятнадцатого? Первое подобное учреждение в Красной Армии было. История-то вот какая. Прежняя наша Академия Генерального штаба, Николаевская академия, была эвакуирована из Петрограда в Екатеринбург. Ну, в этот, в Свердловск. А когда началось наступление Колчака, вернуть академию не успели. Да и не очень старались, наверное. Часть преподавателей отступила с Красной Армией, часть перешла на сторону белых. И богатейшее имущество академии колчаковцам досталось: учебные пособия, карты, книги, оборудование кабинетов. Так что в Москве надо было создавать академию почти заново. Отвели для нее дом на Воздвиженке, где раньше охотничий клуб был. Потребовалось вмешательство Ленина, его письмо потребовалось, чтобы сохранить важнейшее военное заведение. Ну, а когда учеба стала налаживаться, Владимир Ильич был приглашен в академию. Приехал, познакомился с работой, выступил перед слушателями и преподавателями… Извините за подробности, Михаил Иванович, рассказываю их вот к чему. Владимир Ильич поинтересовался, много ли среди слушателей первого набора коммунистов. В армии-то их тогда было раз-два и обчелся. А Ленину ответили: восемьдесят процентов. И вы думаете, Ленин обрадовался такой цифре. Нет, он спросил: чем объяснить, что в академию принято так мало беспартийных товарищей? И уточнил свой вопрос: не пересолили при приеме? Не поприжали беспартийных в ущерб качеству? Не мало ли в академии, готовящей кандидатов на высокие военные посты, подготовленных товарищей? Ведь среди слушателей оказалось восемнадцать процентов вчерашних солдат, двенадцать процентов вообще не имели представления о военной службе — из числа партийных работников. Какая польза от них будет на практике? Восполнит ли учеба пробелы? Вот о чем беспокоился Ленин, вот как подходил к подбору кадров.

— Это предупреждение, — сказал Михаил Иванович. — Он предупреждал, чтобы не допускали перегибов. Но разве он не говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством?

— Вероятно, имелись в виду одаренные женщины, случайно оказавшиеся в кухарках. Как вы, Михаил Иванович, случайно оказались токарем, хотя могли бы стать инженером.

— Ленин не уточнял, — улыбнулся Калинин.

— Справится, пожалуй, и кухарка, — согласился я, — но при одном условии: если она честный, добросовестный исполнитель, и не более того. Если она только служит проводником идей и энергии такого мощного генератора, каким был Ленин. Если же полуграмотная бабенка берется

самостоятельно варить кашу на государственной кухне, то достойна сожаления участь народа, которому предстоит расхлебывать ее политическую и экономическую стряпню. Не кастрюля кулеша — в сортир не выльешь.

— Это вы о тех выпускниках, с которыми мы беседовали? — уточнил Калинин. — Не они же будут решать принципиальные вопросы. Для этого есть Центральный Комитет, Верховный Совет.

— Решать-то будет товарищ Сталин, а претворять в жизнь его решения, причем с восторгом и без колебаний, без учета местных особенностей, будут такие вот представители новой элиты, коих мы лицезрели.

— Они не вечны, — сказал Калинин.

— Они заполнят государственный аппарат на долгие годы, постепенно доползут до самых верхов, подготовят себе такую же смену, чтобы потом спокойно доживать век за спинами своих ставленников.

— И все же они не вечны, — повторил Калинин. — А жизнь — не ровная дорожка, на ней много ухабов, когда одни слетают с облучка, другие садятся. Важно, куда ехать и зачем ехать. Наступит срок — все лишнее отпадет, как короста после болезни…

Такая убежденность звучала в его голосе, что я не стал возражать. Возможно, что этот полуслепой человек, с трудом различавший предметы вблизи, имел дар заглядывать вперед гораздо дальше меня.

Через некоторое время с глазами у Михаила Ивановича стало совсем скверно. Вопрос стоял так: или операция, или полная слепота. Калинин нервничал и в конце концов согласился на операцию.

Прошла она благополучно. Михаил Иванович уехал в Сочи, чтобы укрепить здоровье. Туда же отправилась и жена его Екатерина Ивановна Калинина-Лорберг, давняя подруга еще со времен первой революции.

Состояние Михаила Ивановича улучшалось. Я слышал, как Лаврентий Берия, уже окончательно обосновавшийся в Москве, говорил Сталину: скоро «беспокойный староста» вернется с Кавказа и опять будет совать ему, Берии, палки в колеса. Надо, мол, чтобы он твердо знал границы своих возможностей.

И вот в один отнюдь не прекрасный день в Сочи пришла телеграмма: Екатерину Калинину срочно вызывали на работу. Нечто подобное случалось и прежде, Екатерина Ивановна быстро собралась и отправилась в путь.

Поезд пришел в Москву вечером. В учреждении уже никого не было, а дежурный не смог объяснить женщине, кто и зачем вызывал ее, кому позвонить. Отложив заботы на завтра, она отправилась домой. А в полночь, когда Екатерина Ивановна уже собралась спать, на квартиру явились двое в штатском. Очень вежливые, предупредительные, они сказали, что товарищ Берия просит ее приехать немедленно, чтобы посоветоваться по некоторым вопросам.

Связавшись по телефону с дочерью Лидой, Екатерина Ивановна договорилась встретиться с ней пораньше, еще до работы, и ушла из дома. Надолго. На семь лет. С пребыванием в холодном северном городе Воркуте. «Основанием» для высылки послужил клеветнический донос, который даже не проверялся и не расследовался.

Жена Михаила Ивановича оказалась в числе «врагов народа». Поверил ли этому Калинин или нет, я не знаю, но удар, во всяком случае, был страшный, точно и коварно рассчитанный. Попробуй-ка теперь, Михаил Иванович, выступить в защиту лиц, арестованных по политическим

мотивам! Со своей женой не разобрался, в своем доме змею не разглядел, куда уж ему в другие-то дела лезть! Короче говоря, и здоровье, и дух Михаила Ивановича были надломлены непоправимо. Он сник, затих, стал совсем незаметен. Много времени проводил дома, с удовольствием читая книги по истории государства Российского. Если и доводилось ему теперь выступать, то не речи произносил, а читал, как и все, по бумажке проверенный и отредактированный текст. Работа свелась в основном к подписанию заготовленных Указов Верховного Совета да вручению орденов награжденным. При этом специальный сотрудник предупреждал, чтобы не жали сильно его руку. Но в пылу благодарности почти все отмеченные забывали об этом, а народ-то был здоровый — полярники и шахтеры, летчики да моряки. И таких человек пятьдесят за один прием. У Михаила Ивановича постоянно болела правая рука от пальцев до самого плеча.

Встряхнула Калинина только война. Но не надолго. Он был уже слишком болен и слаб. Скончался Михаил Иванович вскоре после нашей Победы.

11

Рассказывая о явлениях скверных, я отнюдь не забываю о том хорошем, что было у нас в тридцатых годах, о достижениях и свершениях. Мое желание — внести в мозаику истории свои фрагменты участника и очевидца, по возможности правдивые и объективные. Как бы там ни было, но Иосиф Виссарионович занимался не только упрочением своих политических позиций, не только борьбой за власть, но, главным образом, укреплением экономики страны, повышением уровня жизни народных масс.

Политические репрессии мало касалась простых людей, обывателей, зато перемены к лучшему были сразу заметны. Наступило явное облегчение, особенно ощутимое после голодного периода коллективизации. Кончилась в деревне неразбериха, обрабатывались колхозные земли, росли урожаи. Появились в достаточном количестве хлеб, овощи. Перестали быть редкостью мясо, масло, яйца. После 1934 года были отменены продовольственные карточки. В магазинах можно было приобрести одежду, утварь, скобяные изделия.

Европу и Америку терзал экономический кризис, люди не знали, куда приложить руки. А у нас совершенно не осталось безработных, все были при деле, имели возможность зарабатывать на пропитание. Промышленность развивалась быстрыми темпами. Мы сами выпускали трактора, автомашины, аэропланы. Четко действовал транспорт. В Москве строилось метро, создавались прекрасные подземные дворцы для общенародного пользования. Даже старые москвичи, ворчавшие по поводу снесения Триумфальной арки или Сухаревой башни, теперь приумолкли. Одно с лихвой замещалось другим.

В конце 1936 года свершилось событие, очень укрепившее позиции Иосифа Виссарионовича во всей стране. Была принята новая Конституция, которую тут же начали именовать Сталинской Конституцией. Многим людям она принесла радость и облегчение. Была, наконец, отменена самая мерзкая разновидность дискриминации — дискриминация по происхождению, существовавшая с октября семнадцатого года. Нынешние люди послевоенного поколения даже не представляют себе, что такое «лишенцы». А ведь это было! Бывшие аристократы, купцы,

предприниматели, офицеры, чиновники, служители культа, часть интеллигенции, а главное — члены их семей, их дети были лишены гражданских прав, как и члены семей «врагов народа», кулаков и подкулачников. Все они не имели права голоса на выборах, их не принимали на службу в государственные учреждения, не допускали учиться в специальные и высшие учебные заведения. Сколько талантливых девушек и юношей остались за стенами вузов! Какой-нибудь пропойца-столяр мог безнаказанно облить помоями (в прямом и переносном смысле) детей царского офицера (совершенно невиновных, что родились в такой семье, как негр невиновен в том, что у него черная кожа). Воинствующий атеист, не боясь ответственности, мог дергать за бороду служителя культа или переколотить стекла в его окнах. И тому подобное. А «лишенцев»-то у нас в стране были миллионы, два десятилетия чувствовали они себя недочеловеками, унижаемыми и беззащитными. Теперь Сталинская Конституция давала им политические права, они могли избирать и быть избранными во все органы Советской власти. Они могли учить своих детей. Их как равноправных граждан защищал суд. В лице этих людей, большей частью образованных, думающих, деятельных, Иосиф Виссарионович обрел надежную опору. Во всяком случае, превратил их из противников в активных или пассивных сторонников.

Обрадовала Конституция и самостоятельных, крепких хозяев, энергичных мужиков, вчерашних кулаков и подкулачников, которые во множестве были выселены на Север. Умелые, хваткие работники, они быстро и основательно обжились в новых местах, трудились на многочисленных стройках, на заводах, на новых шахтах и рудниках. И по труду, в отличие от лодырей, получали хорошие деньги, числились в передовиках производства. Да плюс еще теперь гражданские права! Значит, детей поднять можно! Многие не жалели о том, что их силком оторвали от тяжелой, полунищей крестьянской доли. Предложили бы ехать назад — не согласились. Они осваивали далекие богатые края, принося выгоду государству. Но русская деревня навсегда потеряла самых цепких, предприимчивых, неутомимых тружеников. Это было ощутимо и невосполнимо. А сейчас-то я хочу сказать, что даже значительная часть кулаков, пострадавших от Советской власти, связывала отныне с именем Сталина свою политическую реабилитацию, свое растущее благополучие.

Все достижения в стране, все улучшения жизни исходили от Иосифа Виссарионовича. А от кого же еще? Пропагандисты, как говорится, били в одну точку. Доверчивые добросовестные наши люди читали газеты, слушали радио. А там везде — Сталин, Сталин… С середины тридцатых годов восхваление Иосифа Виссарионовича по всем официальным каналам шло таким нарастающим путем, что мне иногда было даже неловко за него. Стыдно ведь слушать, если при тебе о тебе говорят, какой ты умный, талантливый, добрый, сердечный. Остановить бы надо такого оратора, извиниться перед слушателями за его нескромность. Увы!

Частенько вспоминался мне приведенный ранее разговор Сталина с Орджоникидзе насчет концентрации, персонификации власти. Сотни лет, из поколения в поколение росла и крепла в народе вера в царя и в Бога. Эта высшая сила решает все, руководит всем, в конечном счете отвечает за все. Просто и ясно в душе человека, когда он знает, что на небе есть Бог, а на земле царь. Ты только делай свое дело, не переступай

установленные заповеди, надейся на лучшее, и все зачтется тебе, если не на этом, то на том свете.

И вдруг народ остался без царя, без Бога, без привычных жизненных правил. Советская власть — это, конечно, хорошо, да только уж очень расплывчато, неопределенно. Какие-то «цики», «вцики», «цека», «вчка», наркомы, совнаркомы — поди разберись. А кто же главный хозяин? Кто принимает решения, отвечает за их выполнение, наказывает нерадивых, защищает обиженных?! Кто могуч и справедлив, кому можно пожаловаться? Что уж говорить, даже образованным, демократически настроенным людям надоела тогда сложность, запутанность управления, надоело так называемое коллективное руководство, когда не найдешь концов: кто принял решение, кто его выполняет, с кого спросить за ошибки. Проголосовали, разошлись — решение есть, а спрашивать не с кого. Коллективная ответственность — это полная безответственность. А Сталин был реальным человеком, олицетворявшим власть. Он дал клятву у гроба Ленина идти намеченным курсом, так и шел, заботясь о простых людях, обо всех вместе и о каждом в отдельности. И как только времени хватает ему знать все, думать обо всем!

Народу, еще не отвыкшему от Бога, нужен был новый кумир, новый символ. Осточертели споры, дискуссии, колебания, отсутствие определенности. Людям свойственно не только рассуждать, но и верить. Причем верить — легче. И тяга к вере особенно сильна в переломные периоды истории, когда нарушены традиции, привычные связи, когда человек мечется, пытаясь определить свое место в происходящих событиях. Вот тут-то и нужен кумир, за которым можно идти без колебаний, с полной уверенностью в том, что он выведет в светлое царство. А другого политического деятеля такого масштаба, другого светоча такой силы, как Сталин, тогда не имелось. И если требовался Бог, то Иосиф Виссарионович был первым кандидатом на эту роль. И, понимая это, он старался делать все возможное, чтобы окружить себя соответствующим ореолом. Но и работал он с таким напряжением и самоотречением, с каким редко трудятся обыкновенные смертные. Он действительно старался вникать во все — от самого большого до самых малых подробностей быта. Трудно мы жили перед войной, после нее — многого не хватало, но строгий порядок был во всех звеньях. Сталин сам не оставался равнодушным к недостаткам и в людях не терпел безынициативности, лени, отсутствия горения. Он мог, например, снять трубку городского телефона, позвонить наркому связи:

— Здравствуйте. Вы читали сегодня газету «Труд»? Не читали? Вот как! Может быть, ваших работников каждый день критикуют в печати, а вы не обращаете на это внимания… Ах, обращаете… Почему у вас плохо работает справочное бюро? Почему телефонистки вашего коммутатора разговаривают грубо? Наведите порядок и доложите. Желаю вам спокойной ночи.

В результатах можно было не сомневаться.

Я удивился широте познаний и интересов Сталина. Сегодня, например, заслушивался вопрос о снабжении продовольствием Дальстроя, осваивавшего Магаданскую область, золото Колымы. Сталин говорил о том, сколько стоит перевозка пуда хлеба морем через Владивосток, во что обходится доставка килограмма моркови или яблок. Называл фамилии агрономов, которые выращивают в условиях Колымы (в совхозах НКВД) лук, картошку, карликовые огурцы. Указывал на резервы оленеводства и

рыболовства, на возможность создания птице- и свиноферм. Такое впечатление, что он всю свою жизнь занимался лишь этим делом. На столе в его кабинете я видел подшивку тоненького журнала, издававшегося в Магадане, стопку местных газет, пачку писем с Колымы.

На следующий день Иосиф Виссарионович столь же обоснованно, аргументированно говорил об Артеке, о необходимости превратить его в интернациональный пионерский лагерь. Еще заседание: он ставит на обсуждение вопрос о строительстве новых сахарных заводов на Украине. Об укреплении южной границы. И так далее, и тому подобное. Я не намереваюсь рассказывать об этой, достаточно известной стороне деятельности Иосифа Виссарионовича. В архивах сохранились, наверное, соответствующие протоколы, решения. Добросовестный исследователь может найти и использовать их. А мой долг — говорить о том, что не отражено в бумагах, что забывается или уже забыто: о той подводной части айсберга, о той стороне жизни Иосифа Виссарионовича, которая была скрыта для посторонних, о которой зачастую даже не знали близкие к нему люди.

Еще раз хочу повторить: он был великолепный труженик, он работал на износ. Работал и днем, и ночью. По какому-то делу он пригласил меня в полдень. Я поразился, увидев его. Бледное, испитое лицо, словно неподвижная маска: одутловатые щеки, опухшие глаза. Иосиф Виссарионович стоял у окна какой-то кособокий, изломанный, несчастный. Каждый человек в минуты усталости, духовного упадка может выглядеть очень скверно. А Сталин выглядел так не минутами, а часами и днями. Я тогда подумал мимолетно, что его надобно одеть в жесткий, подтягивающий, выпрямляющий военный мундир. А вслух сказал:

— Прошу подойти к зеркалу.

Он послушно подошел. Диковато, удивленно разглядывал себя. Провел пальцем по щеке, а в глазах было удивление: неужели это он?

— На кого вы похожи? — укоризненно произнес я.

— На ночное страшилище?! — усмехнулся он. — На бледного вурдалака?

— Ответы оставьте при себе, Иосиф Виссарионович. Вам нужен немедленный отдых. По праву старого друга беру командование. Все в сторону! Едем за город. Там скучает моя дочка. Едем немедленно.

Сталин молча, удрученно последовав за мной.

Чудесно провели мы день в лесу за Калчугой. Собирали землянику. Очень много было черники. Попадались какие-то ни ему, ни мне неизвестные грибы. Иосиф Виссарионович обнаружил возле дороги высокий удивительный боровик и минут пять любовался, сидя возле него на траве, пока не надоели комары. На краю леса, откуда открывался вид на Знаменское, мы подремали в стогу свежего сена. Потом прошли до Москва-реки, поднялись на Катину гору, не спеша вернулись по вечернему лесу домой. Поужинали с сухим вином. В двадцать три Иосиф Виссарионович лег спать и — чудо! — отдыхал до одиннадцати часов утра. Такого еще не бывало. Он ограничивался обычно шестью часами.

Каким бодрым, веселым, полным сил и юмора был он на следующий день! И как я жалел, что нет у него любимой и любящей женщины, способной установить нормальный режим, сберегающий его здоровье, сохраняющий его психику!

В повседневной работе Иосифа Виссарионовича мне хочется отметить две особенности. Это, как я уже говорил, тщательная, всесторонняя подготовка к любому вопросу. Он чувствовал себя хозяином всей страны,

опасался чего-либо не учесть, пропустить, ошибиться. Уж если речь шла об освоении Северного морского пути, то Сталин знал не только историю этой великой эпопеи, ему известны были все основные экспедиции, все полярные станции, фамилии многих радистов, летчиков, капитанов и штурманов северных судов. Он держал в памяти технические данные ледоколов, количество потребных грузов, горючего… Я часто жалел, что по всем другим вопросам у него нет такого надежного, абсолютно доверенного советника, такого специалиста, каким был я в военных делах. Я разгружал в этой важнейшей работе его память, снимал напряженность. Но если у него появился бы еще один такой же доверительный тайный советник, я бы, вероятно, не смог справиться со своей ревностью. Вообще-то я знал, что Сталин советуется по многим другим вопросам с различными людьми. Но с тем, что было особенно дорого и важно ему, что не должно было получить огласки, он обращался только ко мне. И я ценил это превыше всего.

Так вот. Сам, в общем-то, дилетант (никто не может охватить все), Иосиф Виссарионович терпеть не мог дилетантизма у специалистов. Уж если ты обязан знать свое дело, так знай его досконально. Если Сталин видел, что специалист не готов давать четкие и ясные ответы — горе такому верхогляду, как бывало при Петре Первом. Никакие помощники, замы, референты не способны были помочь такому руководителю. Не знаешь, не можешь — катись ко всем чертям! На Колыму, пустую породу снимать с золотоносных жил! Вот поэтому и ответственность во всех линиях была высокая, и государственный аппарат работал четко, без сбоев. Надо сделать — будет выполнено в лучшем виде, вот и весь разговор. Когда и как — вопросы категорически третьестепенные.

Сталин охотно выслушивал мнение знающих специалистов, даже если оно не совпадало с его мнением, с его замыслами. Взвешивал шансы за и против, исследовал, изучал ситуацию с разных точек зрения. Учитывая при этом, что выгодно ему, а что не надобно. Потом выносил решение, которое являлось категорическим, окончательным, хотя, может, и не всегда правильным. Но кто способен сказать, какое решение верное, а какое ошибочное, пока не пройдет много лет, пока не восторжествует объективная истина? Хуже нет, если решения и постановления, даже самые правильные, не осуществляются или осуществляются наполовину. Это разлагает всех, и народ, и исполнителей законных решений, давая возможность сомневаться, варьировать, делать снисхождения.

Я знал много, очень много людей, занимавших высокие государственные и партийные должности. Чем они поражали меня? Своей обычностью, заурядностью, даже ограниченностью. Заурядность — это вообще всемирная болезнь руководящих деятелей нашего времени. Никто не хочет, чтобы правила яркая личность, все желают, чтобы у руля находился средний человек, выполняющий задания благоденствующей группировки, стоящей за его спиной.

Конечно, Иосиф Виссарионович был менее образован, менее интеллигентен, менее умен и гибок, в хорошем понимании этого слова, чем Ленин, но он, во всяком случае, не был заурядным, выделялся широтой интересов, эрудицией, работоспособностью среди других партийных и государственных деятелей. Меня он, например, просто удивлял иногда совершенно неожиданными вопросами и поручениями. В июле тридцатого года пригласил к себе:

— Николай Алексеевич, выезжайте завтра в Воронеж. Там намечено провести первое десантирование наших парашютистов. Будут сброшены двенадцать человек и упаковки с вооружением, вплоть до ручных пулеметов.

— Я не очень разбираюсь в том, что связано с авиацией.

— И я не специалист по воздухоплаванию, — сказал Сталин. — А это значит, что мы с вами смотрим и воспринимаем одинаково. У авиации большое будущее, Николай Алексеевич, особенно в военном деле. Обратите там внимание на конструкцию парашюта. Он должен быть прост, доступен для массового использования и надежен. Подумайте о возможных действиях парашютистов в тылу противника.

Пришлось ехать. В подобных случаях, в зависимости от обстоятельств, я был либо в составе комиссии, либо рядовым членом инспектирующей группы — кем угодно, только не посланцем Сталина. Мне надлежало видеть и знать не парадную, показную, а реальную, будничную сторону дел. Иосифа Виссарионовича интересовало это, а не торжественный отчет, материал для газет.

Испытания под Воронежем прошли нормально. Погода стояла ясная, безветренная. Одна группа десантников выбросилась с высоты триста метров, другая — пятьсот. Все были вооружены наганами. Затем с трех самолетов сбросили на парашютах груз, бойцы разобрали карабины, гранаты, пулеметы, патроны. На мой взгляд, все делалось быстро, организованно. Только пулеметы были облегченные, старой системы, которые использовались в кавалерии. Требовалось увеличить огневую мощь десантников, ведь им предстояло действовать изолированно, без поддержки соседей. Об этом я и доложил Иосифу Виссарионовичу в присутствии Наркома обороны Ворошилова. Должен заметить, что Климент Ефремович без всякого энтузиазма отнесся к новшеству. Однако 24 октября того же года Реввоенсовет страны, по предложению Сталина, разослал на места приказ о развитии воздушно-десантного дела. И оно развивалось. У нас и в Германии, может быть, даже чрезмерно. Почему я так говорю? Слишком уязвимы парашютисты при массовой переброске и высадке, если речь идет о сильном неприятеле, имеющем противовоздушную оборону — истребительную авиацию и зенитную артиллерию. Практика в общем-то подтвердила это. В мае 1941 года немцы при высадке десанта на остров Крит потеряли столько парашютистов, что сочли проведение подобных операций нецелесообразным и больше не прибегали к ним. И наши десантники, высаживавшиеся в начале 1942 года под Вязьмой, тоже понесли очень большие потери, хотя польза была несомненная. Я уже тогда, при зарождении воздушно-десантных войск, считал, что они — войска не массовые, а отборные, элитные, предназначенные для выполнения особых задач в тылу врага: для диверсий, для захвата и удержания плацдармов…

Еще об особых поручениях. Год 1933-й. Иосиф Виссарионович, пригласив меня, поздоровался и указал на кресло, а сам продолжал телефонный разговор с Ленинградом, сделав жест: «слушайте». Скоро я уяснил суть. В кругах белоэмигрантов за рубежом, особенно в Польше, распространялись слухи о том, что в Ленинграде, в склепе Казанского собора, погребен лишь бальзамированный труп фельдмаршала Кутузова, а сердце его, дескать, осталось в Бунцлау (по-польски — Болеславец), где замечательный полководец скончался и где родственники поставили ему памятник. Теперь в западной печати замелькали снимки этого памятника с

подписями: «Здесь лежит сердце Кутузова», «Сердцу патриота не место в Совдепии» и тому подобные пропагандистские мерзости. Иосиф Виссарионович посоветовал Кирову создать авторитетную комиссию во главе с известным ученым В. Г. Богораз-Таном, вскрыть склеп и выявить истину. Сделать это без огласки. Важно иметь точные, неопровержимые данные.

Я не входил в состав комиссии, но с одним ленинградским чекистом присутствовал при обследовании саркофага. Вместе с группой ученых (пять-шесть человек) и тремя рабочими спустились в подвал Казанского собора, в подземелье, где воздух был сухим, чистым. Совершенно не ощущалось запаха плесени или тлена. Рабочие разобрали с одной стороны кладку склепа. Посреди его оказался невысокий постамент, на котором и покоился саркофаг.

Очень осторожно была сдвинута крышка. Два ощущения боролись во мне. Было чудом, великим счастьем увидеть останки человека, чье имя чтила вся Россия, которого весь мир знал, как победителя Наполеона. И страшно: а вдруг останки Кутузова за сто с лишним лет настолько истлели, что рассыплются, обратятся в пыль от нашего вмешательства?..

Тело, несмотря на бальзамирование, действительно истлело, это был прах, слежавшийся настолько, что еще сохранил первоначальную форму. Зато цилиндрический серебряный сосуд в изголовье совершенно не поддался времени, металл лишь потемнел.

Наверное, это было кощунством: без предварительной подготовки, без дезинфекции вскрыть сосуд. Но никто из нас не решился бы изъять его из захоронения, отнести в лабораторию, привлечь к исследованию новых людей — могла нарушиться секретность. Да и любопытство подталкивало нас. Один из ученых взял сосуд в руки, с очень большим трудом отвернул крышку. Внутри была прозрачная жидкость, а в ней — хорошо сохранившееся сердце, почти не потерявшее естественный цвет.

Все по очереди заглянули в сосуд, стараясь не дохнуть туда. Потом завинтили крышку, опустили сосуд на прежнее место. Рабочие восстановили положение саркофага, заложили стену склепа.

Акт вскрытия был составлен немедленно и подписан членами комиссии. Было два или три экземпляра и все с подписями. Один из этих экземпляров я положил на стол Иосифа Виссарионовича, высказав при этом пожелание не ввязываться в грязную кампанию, которую подняли наши противники за рубежом. Недостойное это дело — спекулировать памятью великого полководца. Пошумят и умолкнут. А наши руки должны быть чистыми.

— Согласен, — сказал Сталин. — Мне это тоже не по душе… Только в случае крайней необходимости…

Насколько я помню, такой необходимости, к счастью, не возникло, акт о вскрытии не был обнародован. Если кто знает о нем, то лишь специалисты-историки, занимающиеся изучением Кутузова.

Это — прошлое. А вот случай с Мамлакат. Помните известную фотографию: улыбающийся Иосиф Виссарионович, этакий добрый, заботливый папаша, вместе с круглолицей смуглой девочкой, у которой косички были заплетены по таджикскому обычаю, на груди — орден Ленина. Всю нашу страну облетел этот снимок. Светлана Сталина говорила как-то, спустя время, уже будучи студенткой: «Какой он тут радостный, а со мной ни одного хорошего снимка нет!» Тон был шутливый, но горечь улавливалась.

Одиннадцать лет было Мамлакат, девочке из многодетной семьи, когда она стала стахановкой. Школьники ходили собирать хлопок, пионерское звено создали, помогая взрослым. Детям даже удобнее было собирать: сорта низкорослые, наклоняться не нужно. Так вот, если дяди и тети брали за день по пятнадцать-двадцать килограммов, то проворная Мамлакат, приспособившись работать двумя руками, успевала собирать по восемьдесят килограммов! Люди не верили, приходили смотреть, из соседних колхозов приезжали, из столицы республики. А она заявила: буду собирать по сто килограммов в день, и добилась-таки своего, феноменальная девочка! Слава пришла к ней. А она продолжала наращивать темпы и установила рекорд, собрав руками за рабочий день триста килограммов хлопка! Ее возили в Москву, в Ленинград, в Артек, она стала первой в стране пионеркой-орденоносцем!

Все это хорошо, да только отразилось перенапряжение на здоровье девочки. Лучшие врачи Таджикистана сделали ей операцию. А Иосиф Виссарионович, обеспокоенный состоянием Мамлакат, попросил меня проследить за дальнейшей жизнью ударницы. Потом время от времени, даже в военные годы, вспоминал и спрашивал о ней.

Мамлакат училась в лучшем интернате республики, овладевала в институте иностранными языками. Все у нее шло нормально. А Иосиф Виссарионович уже незадолго до смерти, перебирая в разговоре события минувших лет, поинтересовался, чем занимается Мамлакат, вышла ли замуж, есть ли дети.

Я успокоил его.

Были такие вопросы, задавать которые кому-либо, кроме меня, Сталин считал по каким-то причинам неудобным, может быть — неэтичным. Незадолго до войны он обратился ко мне:

— Николай Алексеевич, выясните без лишних разговоров, где и кем служил Гитлер в шестнадцатом году, в ту пору, когда я был мобилизованным ополченцем.

Надо сказать, что наша заграничная разведка тогда работала гораздо лучше контрразведки, избалованной и расслабленной избиением собственных кадров, не скрывавшихся и не оказывавших сопротивления. Так что нужные сведения я получил быстро.

— Австриец Адольф Шикльгрубер-Гитлер не пожелал служить в австрийской армии, в конце шестнадцатого года поступил добровольцем в 16-й пехотный полк 6-й Баварской дивизии, которая размещалась в западных районах Германии и в восточных районах Франции. Отмечено пристрастие к политическим разговорам и к пиву. По неподтвержденным данным, в районе дислоцирования остался его ребенок. Позже Гитлер иметь детей не мог в связи с ранением в мошонку. Кроме того, в восемнадцатом году он был отравлен французским газом, на некоторое время утратил зрение…

— Какого пола ребенок? — проявил интерес Сталин.

— Не выяснено.

— Какое звание имел Гитлер?

— Ефрейтор.

— А я был рядовым. Невелика разница, — усмехнулся Иосиф Виссарионович, думавший о чем-то своем. И вдруг произнес: — Исторические параллели опасны, очень опасны.

Я так и не понял, зачем ему потребовались эти сведения и это сравнение. Ну, вообще-то, чем больше знаешь, тем лучше.

Примерно в то же время или немного раньше, в тридцать восьмом году, меня срочно вызвали вечером в Кремль, на квартиру Сталина. Поднялся к нему на второй этаж, оставив шинель в небольшой, отделанной деревом, прихожей. Он вышел встретить, пригласил не в кабинет, а в спальню — был нездоров, простужен. Вероятно, принял лекарство: на столике лежали таблетки и стоял почти пустой стакан. Поверх серого френча набросил на плечи одеяло, сняв его с койки. Знобило, значит. Я мысленно выругал Валентину Истомину, оставившую Иосифа Виссарионовича без догляда. Ей больше нравилось хозяйничать на Дальней даче, где находились дети. Но там и без нее народу было достаточно.

Много говорилось о пуританском образе жизни Сталина. Это в общем-то верно. Одевался он скромно, полувоенно, носил солдатскую шинель. Старая сибирская шуба была у него от одной германской войны до другой. Спал на жесткой койке, мебелью пользовался самой необходимой, в пище не был требовательным, капризным. Но шло ли это от его натуры? Не всегда. Он и поесть любил вкусно, и бутылочку муската «Красный камень» мог осушить с удовольствием, и вареньем из грецких орехов лакомился охотно. Пока жива была мать, она часто присылала из Грузии фрукты и это варенье, особенно нравившееся ему. Дары щедрого края не переводились у Иосифа Виссарионовича и потом, когда не стало матери, но он как-то охладел к ним. Не из родных рук — вкус что ли был не тот?

Из русских блюд особенно любил уху и щи. Но, занятый делами, размышлениями, питался нерегулярно, когда и как придется, нарушая режим. Ел ночью, перед сном, что считается вредным. Валентина Истомина просто не способна была навести порядок в этом отношении.

Поразительный факт: человек, который мог иметь все, к услугам которого была целая страна, являвшийся в определенном смысле самым богатым в мире, — этот человек не имел тех элементарных удобств, той заботы и уюта, какие есть почти у каждого семейного гражданина. А Сталин с молодых лет не знал семейного уюта, мало видел ласки и постепенно привык к этому, выработал свои правила и привычки, от которых ему трудно было бы отказаться даже в случае необходимости. Но и ее, необходимости этой, не возникало. Валентина Истомина едва успевала «держать» кремлевскую квартиру, Кунцевскую и Дальнюю дачи, вести обширное хозяйство, заботиться о детях Сталина, об их учебе. Да и родственники Надежды Сергеевны еще требовали внимания, особенно ее мать. Вот и носилась Валентина за город и обратно. А других женщин Иосиф Виссарионович не допускал тогда в свои дела, в свою личную жизнь.

Итак, Сталин в тот вечер был болен и явно раздражен чем-то. Едва поздоровавшись, сказал:

— Вы артиллерист. Не помните ли такую фамилию — Никитин?

— Полковник Никитин? — спросил я, собираясь с мыслями. Время было такое, что одно неаккуратное слово могло причинить кому-то большие неприятности. — Полковник Никитин весьма порядочный человек из потомственной офицерской семьи. Десять поколений Никитиных служили в полевой артиллерии, а это значит — воевали на передовой.

— В этом и есть его особая порядочность? — усмехнулся Сталин.

— Корни, Иосиф Виссарионович, на многом отражаются. Вот вам факт, получивший среди артиллеристов широкую известность. Полковник командовал на германском фронте 23-й артбригадой. А его сын, подпоручик Владимир Никитин, закончивший Михайловское

артиллерийское училище, по воле случая был направлен командиром огневого взвода как раз в эту бригаду. И что вы думаете, отец выделял сына, создал ему какие-то условия? Он всегда и неукоснительно ставил взвод Владимира на самый ответственный рубеж. Отцу тяжело было испытывать судьбу, но совесть его чиста. Кстати, и отец, и сын сражались потом в Красной Армии.

— Да, — сказал Сталин, — полковник Никитин возглавил после революции воздушную оборону Петрограда. Но меня интересует молодой Никитин — инженер, кораблестроитель, — Иосиф Виссарионович тронул какие-то листки на столе.

Еще не зная, почему возник разговор о Никитиных, я был доволен, что сумел сразу сказать о них хорошие слова. В душе Иосифа Виссарионовича сохранилось глубокое уважение к офицерам славной русской армии. Не перед прапорщиками и поручиками военного времени, массу которых породили нужды фронта, а перед кадровыми военными, для которых Родина и честь были превыше всего, которые готовы были бестрепетно отдать жизнь во имя Отечества. И не только свою, но и жизнь собственных детей. Они могли ошибаться, но они всегда были искренни. С почтением относился Сталин к памяти Раевского, Брусилова, не говоря уж о Суворове и Кутузове, причисляя к этой когорте и благородного грузина Багратиона, которым всегда гордился. Может, все-таки текла в Иосифе Виссарионовиче княжеская кровь, дававшая знать о себе?! Или вперед он заглядывал, предчувствуя, что еще будут важны, просто необходимы для страны главнейшие традиции и устои победоносной российской армии и даже внешние ее атрибуты, такие, как погоны, офицерские звания…

Мысль уводит меня несколько в сторону, однако не могу не сказать об одном из первых просмотров кинофильма «Чапаев». На Сталина очень подействовала сцена психической атаки, где каппелевские офицеры, подтянутые и аккуратные, четкими шеренгами идут на пулеметный огонь. Хладнокровно покуривая, помахивая стеками. Падают, гибнут, но упорно рвутся вперед. Там был маленький эпизод, где убитые и раненые каппелевцы не просто падают, а кувыркаются с разбегу, дрыгают в воздухе ногами. Заурядный комический кадр, рассчитанный повеселить массового зрителя.

— Хороший фильм, — сказал тогда Иосиф Виссарионович. — Полезный фильм. А то место, где офицеры кувыркаются через голову, лучше убрать.

— Это смешно, товарищ Сталин, — попытались возразить ему.

— Потому и убрать. Мужество нельзя осмеивать, нельзя очернять издевкой. Ни в коем случае.

— Но это белогвардейцы!

Иосиф Виссарионович окинул говорившего свинцовым взглядом, произнес сдержанно:

— Пусть наши красные офицеры, когда потребуется, решительно идут на пули, идут на смерть, зная, что их мужество достойно оценят и свои, и противник. Вам это понятно?

Никто больше не спорил. А я, может, и любил Сталина за такие вот моменты: он словно взлетал над политическими интригами и будничными заботами, поднимался до самых больших общечеловеческих высот.

Тогда, кстати, впервые прозвучало из уст Иосифа Виссарионовича слово «офицер» применительно к командному составу Красной Армии. Официально же это старое доброе слово вновь придет в наши войска лишь во время битвы за Сталинград… Жизнь заставит, война поторопит.

Однако вернемся к вечернему разговору. Выслушав мои похвальные отзывы о Никитиных, Иосиф Виссарионович подобрел, ослабло его раздражение. Словно продолжая спор с каким-то оппонентом, начал говорить о том, как важно нашей стране иметь свой «большой флот». Кто имеет армию, имеет одну руку; кто имеет армию и флот, у того две руки, — привел он известный афоризм. А мы должны, мы обязаны иметь все для своей защиты.

Я высказал полное согласие.

— У нас мало средств, у нас очень мало средств, это верно, — продолжал Сталин, кутаясь в одеяло. — И все же есть такие заботы, на которые мы не можем жалеть денег. Сэкономим, недоедим, по копеечке соберем среди народа, а «большой флот» создадим! Немцы строят мощные линкоры «Тирпиц» и «Бисмарк». Очень сильные линкоры, но нам они не страшны. У нас заложен и строится «Советский Союз» — самый могучий линейный корабль в мире. Он преградит путь «Тирпицу» и «Бисмарку». Но что мы будем делать с линейными крейсерами Гитлера? У них сильное вооружение и очень большая скорость. Нам нужен такой же тяжелый крейсер, даже сверхтяжелый крейсер, который будет способен догнать германские крейсера и потопить их… Спроектировать и построить его необходимо в самый короткий срок. За несколько лет. Наша промышленность выдержит теперь такую нагрузку. А проектировать и строить тяжелый крейсер «Кронштадт» мы поручим вашему потомственному артиллеристу Владимиру Никитину.

— Не знаю, какой он конструктор, — сказал я.

— Вы что, как некоторые сверхбдительные товарищи, возражаете против этой кандидатуры?

— Ни в коей мере. Но я могу рекомендовать Никитина только как артиллериста и честного человека.

— Он давно уже стал кораблестроителем. Он создал очень хорошие сторожевые корабли типа «Ураган», и они теперь надежно служат на всех флотах. Под его руководством создан самый быстроходный в мире лидер «Ленинград». Сорок три узла на ходовых испытаниях. На шесть-семь узлов больше, чем лучшие зарубежные корабли этого класса с подобным вооружением. И такого человека хотели заменить другим только потому, что тот, другой — от станка… Черт знает, что делают, — вновь начал злиться Иосиф Виссарионович.

Чтобы успокоить его, я поторопился сказать:

— Ну, если дело в надежных руках, значит — с Богом!

— Да, начнем. К сорок пятому году страна Советов будет иметь свой «большой флот!» — твердо и даже торжественно произнес Сталин.

Через несколько дней конструктор был вызван к Иосифу Виссарионовичу. Я поразился, когда увидел стройного, с хорошей выправкой человека средних лет. Владимир был так похож на отца, что у меня сдвинулось ощущение времени, и я едва удержался, чтобы не обратиться к инженеру, как к давнему хорошему знакомому. Штатский костюм — вот что удержало меня. Старшего-то Никитина я знал только в форме.

Впервые, пожалуй, пожалел я тогда, что нет у меня сына, такого вот продолжателя моих дел и замыслов.

Ну, а корабли строились. Причем надежно и быстро. Увы — война помешала спустить их на воду. А окажись они в море, ни один вражеский

корабль не смог бы тогда соперничать с «Советским Союзом» и «Кронштадтом».

12

Хорошо, конечно, иметь сыновей-наследников, но опять же смотря каких. Иосиф Виссарионович редко и весьма сдержанно говорил о своих отпрысках. Яков Джугашвили, живший в Ленинграде, успел дважды жениться, и оба раза неудачно: второй раз — особенно неудачно, с точки зрения Сталина. После первой свадьбы быстро выяснилось, что любви нет, что брак — ошибка, молодая чета распалась тихо и безболезненно. Вполне возможно, что Яков тогда не поборол еще в себе память о Надежде Сергеевне, всех других невольно сравнивал с ней, и сравнения эти были не в их пользу. Надежда Сергеевна, конечно, была женщина незаурядная, да ведь еще и ее опыт, и то почтение, которое испытывал к ней Яков…

Если к первому браку сына Иосиф Виссарионович отнесся равнодушно, то вторая женитьба встревожила его, вызвала сомнения и подозрения. Дело в том, что танцовщица Юлия Исааковна Мельцер была видной, красивой еврейкой. Чем прельстил ее щуплый, мелковатый Яков, почему пошла за него, развалив благополучную семью, бросив мужа? Позарилась на то, что отец занимает высочайший пост: обеспеченность, выгода на всю жизнь? Или еще хуже — опять козни сионистов: не мытьем, так катаньем внедриться в святая святых, проникнуть в высший эшелон власти?!

Иосиф Виссарионович не был юдофобом, у меня язык не повернется назвать его так. Он ровно, одинаково относился ко всем нациям и народностям, никого не выделяя и не охаивая. Но надо уяснить вот какой оттенок. Почти всю свою сознательную жизнь Сталин вынужден был сражаться с троцкистами, с другими оппортунистами и ревизионистами, пытавшимися захватить господствующие посты в партии и государстве. Сталин, характер которого не отличался гибкостью, считал всех этих людей такими же врагами, как и приверженцев буржуазного строя. А подавляющее большинство троцкистов были евреями.

В семнадцатом году Троцкий и его компаньоны, примчавшиеся на готовенькое из-за рубежа, шустро понасажали всюду своих людей, оттеснив членов партии, работавших в подполье в собственной стране. Таких как Сталин, Калинин, Андреев, Ворошилов, и многих-многих других: они оказались вроде бы чернорабочими или подмастерьями в революции. Давайте посмотрим, что представлял собой Совнарком в первые месяцы Советской власти. Русских — 2 (Ленин и Чичерин), армянин — 1, грузин — 1, евреев — 18… Военный комиссариат, возглавляемый Троцким. Русских — нет, латыш — 1, все остальные (34 человека!) евреи. Наркомат внутренних дел (карательные органы) — все евреи. Наркомат финансов. Из 30 человек 26 евреев. Наркомат юстиции — 18 евреев.

Скажите, можно было считать такое положение нормальным? Что это, если не экспансия мирового сионизма?! Вполне естественно, что когорта Сталина вела ожесточенную войну с Троцким и троцкизмом за право народов, населявших Россию, самим определять свою судьбу. Хочу подчеркнуть, борьба велась не с евреями, нет! Каждый человек воспринимался по своим достоинствам, у многих товарищей, у Куйбышева, Ворошилова, Молотова, Андреева, Кирова жены были еврейками. Это ничего не значило. Война шла с сионизмом, который проявлялся в деятельности троцкистов и, прежде всего, в устремлениях и поступках

самого Льва Давидовича. Вопрос, как мы помним, все более обострялся: у власти либо Сталин со своими соратниками, представителями разных народов страны, либо Троцкий с сионистским шлейфом, расширявшимся за его спиной до всемирных масштабов.

Сталин четко определил свои позиции еще осенью 1926 года, когда октябрьский Пленум вывел Троцкого из состава Политбюро. И не только Троцкого. В политических кругах «гулял» в ту пору анекдот: «Чем отличается Иосиф от Моисея?» Ответ: «Моисей вывел евреев из Египта, а Иосиф — из Политбюро…» Сталин не отмолчался, в одном из выступлений объяснил: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры. Пытаются разложить изнутри партию и государство…» Думаю, Сталин не кривил душой. Ведь были же потом в составе Политбюро и Каганович, и Мехлис…

Иосиф Виссарионович вроде бы одержал победу над Троцким. Но был ли успех полным? Отнюдь нет. Многотысячная масса тайных и полуявных сторонников Льва Давидовича сохранилась в партии, они пронизывали государственный аппарат, цепко поддерживали друг друга, влияли на хозяйственное, научное, культурное развитие. Если сделать срез самого высокого руководящего звена, то картина вырисовывалась весьма занятная, не очень-то изменившаяся по сравнению с первыми послереволюционными месяцами. В 1936 году из числа 115 членов Совнаркома не евреев было лишь 18. ЦК ВКП(б): евреев — 61, не евреев — 17, с неустановленной национальностью — 7 человек. В Госплане евреев — 12, не евреев — 3. Печать — все двенадцать центральных газет и журналов возглавляли евреи! Удивительное, ни с чем не сравнимое, я бы сказал, потрясающее положение сложилось в органах ГПУ, затем НКВД, особенно при Гершеле Ягоде. В 1936 году в составе высшего руководства этого ведомства было 14 евреев и лишь 6 представителей других национальностей.

В личном сейфе Иосифа Виссарионовича хранился список (не знаю, кем составленный) руководящих работников карательных органов того периода, когда этот орган возглавлял Ягода. Особо подчеркивалось, что почти весь начальствующий состав — выдвиженцы Ягоды. И почти против каждой фамилии пометка — еврей. Рано или поздно все становится известным. Ради справедливости люди, пострадавшие в годы репрессий, или их потомки должны узнать фамилии тюремщиков, насильников, палачей. Вот они (все — сионисты).

Непосредственные помощники Ягоды по его ведомству. Цитирую: Начальник хозяйственного отдела — Миронов Л. Г. Начальник особого отдела — Гай М. И. Начальник заграничного отдела — Слуцкий А. А. Начальник транспортного отдела — Шанин А. И. Начальник антирелигиозного отдела — Иоффе И. Л. Начальник уголовно-следственного отдела — Вуле. Начальник главного управления внутренней безопасности — Могилевский Б. И.

В главном управлении лагерей и ссыльных пунктов ГПУ (НКВД) работали: Начальник Управления — Берман Я. М., его заместитель — Фирин С. Я. Начальник по Украине — Канцельсон С. Б. Начальник лагерей Карелии — Коган С. Л. Начальник лагерей Северной области — Финкельштейн. Начальник лагерей Соловецких островов Серпуховский. Начальники лагерей в Свердловской области: Погребинский, Шкляр. Начальник лагерей в Казахстане — Полин. Начальники лагерей в Западной Сибири — Шабо, Гогель. Начальник спецлагеря в Верхнеуральске —

Мезенец. Начальник лагеря в Ленинградской области — Заковский. Начальник лагеря в Саратовской области — Пиляр. Начальник лагеря в Сталинградской области — Райский. Начальник лагеря в Горьковской области — Абрампольский. Начальник лагеря на Северном Кавказе — Файвилович. Начальник лагеря в Башкирии — Зелигман. Начальник лагеря в Восточно-Сибирской области — Троцкий. Начальник лагеря в Дальневосточном районе — Дерибас. Начальник лагеря в Среднеазиатском районе — Круковский. Начальник лагеря на Украине — Белицкий. Начальник лагеря в Белоруссии — Леплевский.

Тут, конечно, неполный список. Всего лишь около 95 % лагерных начальников были лицами еврейского происхождения. Эти должности приносили огромные доходы взятками с родственников заключенных за улучшение режима, за начисление зачетов, за досрочное освобождение и т. п. Не говоря уж о том, что сии лица выполняли истребительные обязанности, предусмотренные Всемирным Сионом.

Много времени спустя, в шестидесятых годах, когда появились термины «культ личности Сталина» и «сталинизм», я, вспомнив этот список и деяния троцкистов, еще раз подумал о том, что неправильно валить на Иосифа Виссарионовича всю вину за массовое избиение руководящих кадров. Кто больше повинен в этом: сталинизм или сионизм? Во всяком случае, именно сионисты создали пресловутый ГУЛАГ, «прелести» которого им самим потом довелось испытать.

Еще показательный нонсенс. В тридцатых и сороковых годах более половины преподавателей русского языка, литературы и истории а городских школах европейской части РСФСР были иудеями. Вы можете представить себе: в школах Тбилиси историю Грузии, грузинский язык и литературу преподают, скажем, русские или украинцы или казахи? Я не могу. Да и зачем? Лучше всех знают и любят свою историю, свой родной язык в Грузии грузины, в Узбекистане — узбеки. Это естественно. Так почему же, для чего преподавать русским детям русскую историю и русский язык брались представители совершенно иного народа, не имевшие ничего общего с русской культурой? Да потому что язык, литература, история — это идеология, это нравственный фундамент общества. Как направишь людей с малолетства, так они и пойдут. История есть политика, опрокинутая одной стороной в прошлое, а другой нацеленная в будущее… «Оккупировав» русские школы, сионисты готовили покладистые, разоруженные поколения, которые послужат им в будущем. И не ошиблись. Служат. Увы, посмотри на себя!

Народившееся у нас тогда же искусство кино оказалось почти полностью в руках сионистов. Господствующие высоты удерживали они и в музыке, в журналистике. Видный деятель народного просвещения Луначарский наставлял педагога: «Пристрастие к русскому языку, к русской речи, к русской природе… это иррациональное пристрастие, с которым, быть может, не надо бороться, если в нем нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно воспитывать». На практике это означало: забыть о Родине, о патриотизме. Многие последователи Луначарского этим и руководствовались, зачеркивая, охаивая все русское. Вот и выросли целые поколения, лишенные национальных корней, национального самосознания, способные продаться за красивые тряпки, готовые плясать под одуряющий грохот дешевой западной музыки.

Правильно сказано: какие песни слышишь в детстве, такие поешь всю жизнь!

Сионисты-троцкисты, не изменив своей сущности и своих целей, приспособились к новой обстановке, ожидая момента, чтобы проявить себя. Если бы Сталин покачнулся, они бы свалили и добили его. Вызвали бы из дальних палестин своего кумира Льва Давидовича, а уж он с огнем и кровью истребил бы сторонников Сталина, повернул бы государство на свой курс. Во всяком случае, так считал Иосиф Виссарионович, постоянно, почти физически ощущавший существование Троцкого. Не мог Сталин оставаться спокойным, пока главный соперник обретался в подлунном мире: везде и всюду чудились его козни.

Сталин знал, что одним из способов проникновения в руководящую верхушку государства, надежным средством, открывающим доступ к богатству и силе, сионисты считают смешанные браки. Еврейки должны выходить замуж за аборигенов, облеченных высокой властью. Вообще — за хозяйственных, военных, политических работников, деятелей культуры. Будут влиять на них соответствующим образом. Пусть евреи женятся на девушках из семей местной элиты и сами становятся членами этой элиты. Ребенок еврея будет носить фамилию отца. Он свой. А дети, рожденные еврейкой от любого брака, — свои не только по духу, но и по крови. Они — лучшие проводники сионизма в странах обитания. Именно поэтому и насторожил Иосифа Виссарионовича второй брак Якова. Менее всего хотел Сталин, чтобы представители (а может, и тайные лазутчики) из стана противника пробрались непосредственно в его семью. А когда узнал, что инициатива этого брака принадлежит Юлии, ушедшей от прежнего мужа к Якову, недоверие и подозрения Иосифа Виссарионовича возросли еще больше.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Обращаюсь к вам, мои критики и хулители, которых, знаю, найдется немало. Одно то, что книга эта написана не по привычным канонам, вызовет недовольство тех, кто свыкся с воспитательно-развлекательным стандартом. Меня нетрудно обвинить во всех грехах. Одни могут сказать, что Лукашов превозносит коварного, жестокого деспота Сталина; другие же, наоборот, будут утверждать, что сочинитель охаивает мудрого вождя и полководца. А ведь я ни той ни другой крайности не желаю, рассказываю лишь о своих впечатлениях. Жизнь — это единый, сложный поток, вмещающий в себя множество переплетающихся, смешивающихся струй — человеческих судеб, и далеко не всегда можно отделить хорошее от плохого, добро от зла. Тем более что хорошее для одного может оказаться плохим для другого. Главное — я писал от души и готов принять любые укоры за исключением двух. Никто не имеет права упрекнуть меня в отсутствии любви к России или в утрате веры в социализм. На такие выпады я скажу вот что.

Глубоко сомневаюсь в искренности людей, которые к месту и не к месту восхваляют существующий[25] строй, цитируя руководящие указания вышестоящих товарищей. Такие люди всячески воспевали Сталина, создавая нездоровую обстановку вокруг него, потом первыми же отвернулись от Иосифа Виссарионовича и принялись воспевать «потрясающие» достоинства Хрущева. А затем, плюнув ему вслед, начали восхищаться Брежневым. Нет, не для страны они так стараются, а токмо

для своего удобства, ради собственного благополучия. Куда полезней было бы всегда открыто говорить о том, что наболело, что мешает, требует переделки. И не только говорить, но исправлять. Однако сие — трудно, сопряжено с неприятностями, с возможными гонениями. А восторгаться — и проще, и выгодней!

Не надо бояться соли на собственных ранах. Забудешь о прошлой боли — станешь бесчувственным. Запамятуешь горький опыт — набьешь новые синяки.

Должен сказать, что те события, которые принято называть массовыми репрессиями, не особенно касались меня. Страдали главным образом партийные и советские работники разных рангов, среди которых я почти не имел знакомых. И совсем другое дело, когда репрессии распространились на военных руководителей, которых я знал, каждого из которых мог оценить по достоинству. С болью сердечной вспоминаю сейчас о тех горьких событиях, особенно трагических потому, что развертывались они на мрачном фоне надвигавшегося военного урагана.

К началу тридцатых годов в мире сложились и все заметнее проявляли себя два очага войны. На востоке — экономически окрепшая Япония, все еще одурманенная успехами 1905 года, бесцеремонно захватывала новые территории в Китае и Маньчжурии, то в одном, то в другом месте пыталась прощупать острыми ударами прочность наших, весьма растянутых пограничных линий. На западе Германия постепенно освобождалась от пут Версальского договора, исподволь восстанавливала свои вооруженные силы, мечтая о реванше, о расширении территории. Разумеется, Сталина не могли не беспокоить воинственные устремления наших соседей, мы очень внимательно следили за развитием событий как на западе, так и на востоке.

Всю сознательную жизнь я отдал служению русской армии, главным образом армии Советского государства, являлся одним из наиболее осведомленных людей в нашей военной системе, причем осведомленность моя была в силу необходимости очень разносторонней. Я обязан был знать все: от уровня подготовки старшего начальствующего состава до особенностей новой самозарядной винтовки Токарева, от подробностей мобилизационного плана до стоимости пуговицы на краснофлотском бушлате. И все, что происходит в армиях наших возможных противников — тоже. Повторяю сие не ради похвальбы, а лишь для того, чтобы с полной ответственностью заявить: начиная с тридцатого и примерно по тридцать шестой год наша Красная Армия была самой сильной в мире, наиболее оснащенной и обученной, располагала передовой военной теорией и самыми опытными, самыми подготовленными командными кадрами.

Давайте разберемся подробней. Что представляли собой в ту пору вооруженные силы других государств? В Соединенных Штатах регулярной армии, способной вести операции в широких масштабах, практически не было. Существенной силой, рассчитанной на оборону, можно было считать лишь их авиацию и военно-морской флот. Франция и Англия все еще упивались своей мертворожденной победой в мировой войне, продолжали делить лавры, всерьез привыкнув к мысли, что это они, без участия России, без влияния немецкой революции, измотали и сокрушили кайзеровскую Германию. Они жили прошлым, не торопясь перевооружаться, считая, что боши разгромлены в пух и прах и что рамки Версальского договора надежно гарантируют победителей от возрождения германской военной мощи. Но ее-то, эту мощь, как раз и

наращивали немцы, всячески обходя условия договора. Они обрабатывали общественное мнение внутри страны, изучали и осваивали все новое, что появлялось у нас, у самураев, у тех же французов.

По численности, по организованности и по полевой выучке на первом месте среди зарубежных армий были японцы. Но они имели ряд уязвимых мест. Это — слабая техническая оснащенность пехоты, разбросанность войск на больших пространствах, отсутствие опыта ведения крупных операций в современных условиях. Самурайская заносчивость подпитывалась успехами на китайской земле, но там японцы имели дело лишь с полупартизанскими соединениями.

А мы? Мы сохранили лучшее, что было в царской армии, от традиций до командного состава, мы накопили опыт не только мировой войны, но и гражданской, самой разнообразной, самой трудной по масштабам и формам. Причем мы сражались фактически со всеми потенциальными противниками, били германцев и японцев, вышвырнули из своей страны интервентов-англичан, американцев, французов. У нас в запасе было много солдат, воевавших на полях Маньчжурии еще в пятом году, прошедших затем закалку огнем, начиная с четырнадцатого года и до конца гражданской. Каждый из них стоил пяти новобранцев.

Не буду говорить о нашей замечательной, выносливой, стойкой пехоте, о нашей единственной в мире лихой массовой коннице, о нашей артиллерии, по качеству и подготовленности всегда на голову превосходившей артиллерию других армий — это уж наше традиционное преимущество. Однако более точным показателем состояния и перспектив вооруженных сил является развитие новых родов войск, в ту пору бронетанковых и авиации. У японцев они были в зачаточном состоянии. Французы и англичане об авиации заботились скорее теоретически, чем практически, не столько выпуская самолеты, сколько разрабатывая доктрины массированного использования своих воздушных флотов. А вот от танков они, выдумавшие эти грозные машины, почти отказались. Их опыт, приобретенный на тесных западноевропейских полях, в условиях позиционной войны, затмил им глаза. Действительно, танки оказались не очень эффективными при глубоко эшелонированной обороне, насыщенной различными препятствиями, минными заграждениями, артиллерией. Но кто сказал, что следующая война будет позиционной? Мы считали, что при быстром развитии техники и скоростей предстоящие боевые действия будут носить стремительный маневренный характер.

Так думали и германские генералы. Однако у немцев еще не было ни новой военной техники, ни обученных кадров. И то, и другое запрещал германцам Версальский договор. Однако немцы не сидели, сложа руки. Теперь пришло время сказать, теперь это не тайна: своих офицеров, своих военно-технических специалистов германская армия частично готовила в нескольких танковых и авиационных центрах на территории нашей страны. Вернее, не они готовили, а мы обучали немцев, знакомя их с нашей техникой, с работой наших штабов, передавая свой опыт. Генералы Гудериан, Браухич и многие другие полководцы, которые ворвутся в нашу страну летом сорок первого года, прошли у нас очень хорошую школу, досконально знали наше вооружение, нашу тактику, принципы обучения наших войск и управления ими в бою.

Как это стало возможным? Во-первых, сказалось личное отношение Иосифа Виссарионовича. Он никогда не воевал сам с немцами, не испытывал к ним неприязни, не опасался их: они ведь, действительно,

потерпев поражение в мировой войне, были в военном отношении очень слабы. Он считал немецкий пролетариат, всех трудящихся немцев передовой, революционной нацией, давшей миру целый ряд корифеев коммунистического движения. Ему нравился немецкий язык. Он верил в честность, добропорядочность, пунктуальность германцев, хотел дружить с ними, обрести в них надежных союзников в борьбе с возможным противником (в этом — один из корней последующих просчетов Иосифа Виссарионовича).

С другой стороны, он испытывал прямо-таки фанатичное недоверие к англосаксам. Считал их прожженными дипломатами, которые всегда хитрят, ища выгоду, держат кукиш в кармане, заставляя других таскать для них горячие каштаны из огня. Англосаксы и французы — это, собственно, была хорошо знакомая Сталину Антанта, возглавлявшая походы против нас во время гражданской войны и остававшаяся грозной военно-политической силой. Именно эта сила, считал он, готовит новое нападение, намереваясь бросить против нас в первом эшелоне боярскую Румынию, панскую Польшу, прибалтов, маннергеймовскую Финляндию. Конечно, дола истины в этом была, и большая доля, но я, как и некоторые другие военные старшего поколения, придерживался иной точки зрения.

Прежде всего: нельзя открывать карты перед любым потенциальным неприятелем. Это — азбука. Сегодня немцы слабы, а завтра быстро усилятся, у них огромный потенциал. Что тогда?.. И вообще Германия была и оставалась нашим традиционным, классическим противником. Французы, англичане, североамериканцы могли расширяться за счет новых земель, в том числе и заморских. С ними у нас не было территориальных споров-раздоров. Только идейные, политические. А Германия, государство континентальное, к тому же лишившееся в мировой войне своих колоний, со всех сторон стиснута была обручем давно сложившихся границ, она могла расшириться лишь в ту сторону, где обруч слабее, а просторы за ним — больше. Немецкие стратеги смотрели либо на Францию (но она крепка была союзом с англосаксами), либо на восток, где раскинулись обширные славянские земли, где только-только встало на ноги первое в мире социалистическое государство, не имевшее ничьей поддержки, изолированное от других стран.

Я не уставал повторять Иосифу Виссарионовичу, что рано или поздно германцы двинут на нас свою военную машину. Но Сталин не способен был тогда поверить этому, он хотел видеть в немцах надежных друзей. И видел до тех пор, пока Гитлер, закрепившись у власти и плюнув на Версальский договор, начал преследовать коммунистов, принялся быстро наращивать мускулы рейха, не скрывая своих захватнических планов. К этому времени мы уже основательно помогли немцам в обучении их командных кадров, в подготовке военных специалистов. Немцы знали у нас если не все, то многое. Их разведка имела подробные досье на весь наш командный состав, от полкового звена и выше. Правда, впоследствии Иосиф Виссарионович основательно спутал вражеские карты, ликвидировав значительное количество наших кадровых военачальников: новые появлялись и тоже исчезали, да так быстро, что германская разведка просто не успевала завести на каждого «личное дело» с фотографиями и характеристиками. Но это уже горький юмор. Сарказм.

Армия же наша в начале тридцатых годов была действительно хорошо обучена и снабжена. У нас было все: и умелые кадры, и новая техника. Если иностранные армии располагали лишь танковыми полками, то у нас

еще в 1932 году был создан и прошел боевую подготовку механизированный корпус имени К. Б. Калиновского (безвременно погибшего в авиационной катастрофе теоретика и практика бронетанковых войск, очень много сделавшего для их развития). Так вот, корпус этот насчитывал в своем составе около 500 танков, более 200 бронеавтомобилей, 60 орудий сопровождения. Представляете, какова была силища!

Среди военных теоретиков, досконально разработавших различные формы ведения боевых действий, я особенно выделил бы В. К. Триандафиллова, А. И. Егорова, М. Н. Тухачевского, Б. М. Шапошникова. В широко развернутой сети училищ, академий, курсов готовились и повышали свое мастерство многие тысячи командиров. Были восстановлены, наконец, персональные воинские звания (лейтенант, майор, капитан и т. д.), о чем я неоднократно просил Иосифа Виссарионовича. Это сразу выделило из общей массы военнослужащих командный состав, способствовало укреплению его авторитета, усилению порядка и организованности в частях.

Очень радостное, может быть, одно из самых счастливых событий моей жизни — крупнейшие маневры осенью 1935 года в Киевском военном округе, вошедшие в историю под названием «Киевские маневры». Это был великолепный смотр наших достижений. Я находился при группе иностранных наблюдателей, вместе с французскими и итальянскими военачальниками, торжествовал в душе, видя удивление на их лицах. Признаюсь, были моменты, когда я с трудом сдерживал слезы радости, гордясь нашей великолепной армией!

В маневрах участвовали все рода войск, и не просто участвовали, а взаимодействовали самым теснейшим образом. Стрелковый корпус, усиленный танковыми батальонами и артиллерией Резерва Главного Командования, прорвал укрепленную полосу «неприятеля», затем успех был развит введенным в прорыв кавалерийским корпусом, тоже имевшим танки. В тылу «врага» был высажен крупный авиационный десант. А тем временем механизированный корпус вместе с кавдивизией «окружил и уничтожил» группировку противника в своем тылу.

Действовали войска напряженно, стремительно, точно. Стрелковые части совершали длительные переходы (до 200 километров) и марш-броски, не имея отставших. Более тысячи танков перемещались на 500–650 километров, причем средняя скорость днем достигала 20 километров в час — тогда это было много. Авиация заполнила воздух, «работая» на малых высотах, и не только днем, но и ночью.

Да, я был счастлив, ощущая себя частичкой этого боевого щита нашей Родины, видя перед собой лучшее, до чего поднялось мировое военное искусство!

В то время, в период апогея, Красная Армия имела в своих рядах 1 миллион 100 тысяч бойцов. Мы располагали 88 стрелковыми и 19 кавалерийскими дивизиями, 4 механизированными корпусами и двумя десятками механизированных бригад. По всем показателям армия наша была сильнейшей. И невозможно было предположить, что после такого подъема начнется застой, регресс, упадок.

В ноябре того же 1935 года определилась наша руководящая военная верхушка, впервые появились маршалы Советского Союза, сразу пятеро. О каждом из них надобно сказать хотя бы несколько слов, чтобы пролить свет на последующие события. Безусловно, самым одаренным среди этих

полководцев был наш давний знакомый Александр Ильич Егоров. Напомню два его важнейших качества. Еще в годы гражданской войны он управлял самыми трудными и обширными фронтами, задумывал и организовывал крупнейшие операции, накопил большой полководческий опыт. Собственно, он у нас один был такой. Это раз. Да еще глубокие знания, сочетавшиеся со способностью мыслить широко, стратегическими масштабами.

Многие годы возглавлял Штаб РККА, преобразованный затем в Генеральный штаб РККА, Александр Ильич был среди наших военных главным авторитетом. Человек скромный, старавшийся держаться в тени, он, тем не менее, предопределял и направлял ход развития наших Вооруженных Сил, объединяя таких несхожих, отрицательно относившихся один к другому полководцев, как Тухачевский и Буденный, сторонников каждого из них.

В военном отношении Сталин чувствовал себя за Егоровым как за каменной стеной, полностью доверяя ему.

Самым молодым, самым энергичным и перспективным среди маршалов был Михаил Николаевич Тухачевский. Оригинальное мышление, умение быстро анализировать обстановку, принимать верные решения и настойчиво добиваться их осуществления — вот что отличало этого воспитанного, вежливого человека. А еще — очень быстро улавливал, схватывал все новое, что появилось в военной науке, в военной технике. Это он вместе с Кировым добивался создания у нас первой авиадесантной бригады. Ведая вопросами вооружения, Михаил Николаевич много сил отдал развитию бронетанковых войск, авиации, радиосвязи. Особенно заботился о противотанковой артиллерии, которая и создалась-то у нас его стараниями. А ведь к этому он и практик был с изрядным опытом (фронтами командовал), и важнейшие теоретические проблемы разрабатывал, особенно по использованию новых родов войск.

О Василии Константиновиче Блюхере скажу, что подняться до руководства войсками в масштабе всей страны ему было трудно. А вот командующего фронтом такого, как он, обыщешься и не найдешь. К тому же воевал в Сибири, на Дальнем Востоке, хорошо знал этот отдаленный и очень тревожный в ту пору театр возможных боевых действий.

Если звезда Егорова в полную силу ярко сияла в зените, если звезда Тухачевского поднималась все выше, а Блюхера ровно, устойчиво светила в небе, то блеск двух других звезд заметно потускнел, становился скорее легендарным, чем реальным. Отдадим должное Ворошилову. Он много сделал в годы гражданской войны, добросовестно потрудился на посту Наркома, занимаясь укреплением обороноспособности страны. Но при всем том Климент Ефремович был деятелем не столько военным, сколько военно-политическим, и последнее качество в нем все заметнее перевешивало. Военная теория и военная практика стремительно развивались в новых условиях, а Ворошилов так и оставался на уровне политработника двадцатого года. Он и сам считал, что его обязанность — вести наши Вооруженные Силы верным сталинским курсом, в этом видел свою главную задачу, гарантировавшую от ошибок и срывов.

Ворошилов и Буденный не очень стремились, а, может быть, просто и не могли воспринять многие новшества. Конечно, проще лечь рядом с бойцом в окопе или в тире, показать ему, как нужно целиться, спускать курок. Гораздо проще научить одного красноармейца стрелять, чем проанализировать, почему весь полк или вся дивизия отстают в огневой

подготовке. Полуанекдотические поступки — «личный пример» наркома — никак не могли заменить разумных широкомасштабных выводов и решений.
Напомню историю, случившуюся на Белорусских маневрах и получившую известность в войсках, как якобы положительный пример конкретного руководства. «Красные» десантники приземлились на парашютах в тылу «синих», захватили «укрепленный пункт». Ворошилов, наблюдавший за их действиями, остался доволен быстротой и решительностью.
Возвращаясь в штаб, подъехал к реке. Машина задержалась возле понтонного моста, наведенною саперами. Под командованием лейтенанта саперная рота готовилась к бою, красноармейцы рыли окопы, устанавливали пулеметы.
— Через час маневры заканчиваются, а вы только собираетесь воевать, — полушутя сказал Ворошилов.
Но молодой лейтенант ответил очень серьезно:
— Получено сообщение, что в нашем тылу высадился десант «противника». Парашютисты могут появиться здесь и захватить мост. Час — это немалое время, товарищ нарком!
— Безусловно! — кивнул Климент Ефремович. — Час на войне дорого стоит. Одобряю ваши действия.
Прошло несколько минут. И вдруг с той стороны, откуда приехал Ворошилов, послышался гул моторов. Долетела приглушенная расстоянием песня.
— Это они! — насторожился лейтенант. — Они думают, что все кончилось. Разрешите принять бой, товарищ нарком?
— Разрешаю. Но где посредник?
— Он сказал, что учения завершились, и уехал в штаб.
— Ладно, нахмурился Климент Ефремович. — Я сам буду посредником.
Грузовые машины с парашютистами выкатились из леса. Десантники, обрадованные «победой», возвращались в свою часть. Они были так самоуверенны, что забыли всякую осторожность. Не выслали разведку, не проверили, нет ли «мин» на шоссе.
— Проучите их хорошенько, товарищ лейтенант! — рассердился Ворошилов. — На войне такая халатность обернулась бы большими потерями, а то и полным поражением!
Из окопов застрочили замаскированные пулеметы, загремели дружные винтовочные залпы холостыми патронами. В несколько минут автомашины были «уничтожены», десант «рассеян», все командиры «убиты». Парашютисты никак не могли оправиться от неожиданности, от удивления. Их начальник подбежал к саперному лейтенанту и сказал с обидой:
— Ученья позади, уже вечер, зачем вы устраиваете такие шутки?
— До окончания маневров еще несколько минут, — возразил сапер.
— Какое значение они имеют, когда общий исход ясен?
— Пусть нас рассудит посредник, — у сапера не сходила с лица улыбка. — Вот он, направляется сюда.
Десантник обернулся и увидел перед собой Народного Комиссара Обороны.
— Надеюсь, полученный урок вы запомните на всю жизнь, — строго произнес Ворошилов.
Бойцы, конечно, запомнили. Но из-за трех-четырех подобных случаев наркому не стоило ехать на маневры. Он действовал на уровне командира

батальона, может быть, полка. А охватить весь комплекс взаимодействия войск, осмыслить принципиальные закономерности, проявившиеся тогда, он не мог… Борис Михайлович Шапошников писал в ту пору:

«Наши штабы сплошь и рядом превращаются общевойсковыми начальниками в простые канцелярии. Между тем использовать штаб надлежащим образом — это святая обязанность каждого начальника. Стремиться же одному все сделать вообще нельзя, ибо, как сказал Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное». Так вот, товарищи, только при помощи штаба это и можно сделать. Тот же начальник, который захочет скакать в цепи и одновременно руководить действиями артиллерии, а также регулировать движение обоза, — тот начальник будет отсутствовать в своем соединении, никакого управления не будет, и бой пойдет самотеком…»

Не понимая этого, Ворошилов и Буденный по-прежнему надеялись на собственный пример в бою да на вдохновляющие лозунги. В сочетании с принуждением и контролем. Сие, вероятно, был их предел. Возможно, Климент Ефремович понимал это, поэтому нервничал. Он топтался на привычном пятачке и чем основательней осваивал это место, эту ступень, тем сильнее держался за нее. Надежным другом казался ему Семен Михайлович Буденный. А между тем положение Буденного было еще более шатким.

Ни в коей мере не хочу я развенчать или унизить имя человека, дела которого вошли в нашу историю. С уважением отношусь к командующему 1-й Конной армией. Он сражался самоотверженно. Однако всему свое время. И очень плохо, когда человек перестает соответствовать занимаемой должности. Как актер, которому пора на пенсион. Ну, наберись гражданского мужества, отстранись от забот, уйди на отдых! Но, увы, такого стремления не наблюдал я у лиц, вкусивших известности и славы.

Вспомним: Конная армия в период расцвета имела максимум 20 тысяч бойцов, 60 орудий, 200 пулеметных тачанок. Солидная махина. Управлять ею было под силу Семену Михайловичу. Один боевой участок, одна задача, один удар — все ему удавалось в знакомой стихии. Да и после войны принес он заметную пользу. Во многом благодаря его заботам у нас восстанавливалось конское поголовье, и как начальник инспекции кавалерии Семен Михайлович, заступивший на место Брусилова, был заметен. Многочисленная конница Красной Армии отличалась хорошей подготовкой, ее потенциальные возможности в новых условиях еще не были исчерпаны. Однако сам Семен Михайлович, окончив академический курс для малограмотных военачальников, не осознал, что полученных знаний недостаточно, чтобы руководить сложными государственными делами. Если вспомнить формулу: «самоуверенность незнающего, уверенность познающего, сомнения познавшего», то Буденный находился где-то между первой и второй позициями. А то, что щелкопер Тухачевский статейки пишет, науку вперед толкает, — это еще ничего не значит. Как у нас было: вы к нам на танках, а мы к вам на санках, вот и поглядим, буржуазные вояки, кто кого?!

Егоров всегда оставался для Буденного старшим начальником, командующим фронтом, вызывавшим почтение. Чувствовал Семен Михайлович разницу, отделявшую его, выдвиженца, от настоящего талантливого полководца. Тем более что и для Сталина мнение Егорова являлось самым веским. А вот Тухачевский был для Буденного по-

прежнему мальчишкой, поручиком, дворянчиком, хоть и талантливым, но совершенно чужим. «Случайно не побитый нами», — сказал он однажды. Семен Михайлович ненавидел его тяжко и затаенно: это осталось с весны двадцатого, когда Тухачевский при первой же встрече обвинил Буденного в неподчинении, в самостоятельной явке, в невыполнении приказаний и чуть не отдал под суд. Но чуть, вообще говоря, не считается, а вот Буденный считал. Кроме того, Тухачевский был уверен, что Семен Михайлович и Климент Ефремович (при молчаливом согласии Сталина) сознательно не выполнили приказ Ленина в двадцатом году о переброске Первой Конной армии под Варшаву. А это определило судьбу мировой революции, во всяком случае, лишило нас шансов на соединение с пролетариями Германии и Венгрии. Вот как далеко простирались рассуждения Тухачевского, и Семен Михайлович прекрасно понимал их весомость. Это уж не говоря о том, что Тухачевский прямо ставил в вину Буденному: занимался междоусобицей, борьбой за власть с Думенко, подвел под удар врага Конно-Сводный корпус, погубил две наших дивизии — Гая и Азина. Да не будь Сталина — трибунал занялся бы Семеном Михайловичем! Но пока Иосиф Виссарионович был жив и надежно защищал своего давнего соратника, Буденный следил за Тухачевским, как тигр из засады. Если пошатнется — добить. Чтоб разом ликвидировать дамоклов меч, постоянно висевший над ним и над головой Ворошилова. А Климент Ефремович, кроме того, вообще всей душой ненавидел бывших дворян, помещиков, царских офицеров. Эта его болезненная ненависть проявилась еще на VIII съезде РКП(б), когда Ворошилов был ведущей осью «военной оппозиции» и выступил с горячей, злой речью против привлечения в Красную Армию специалистов из числа «бывших», против ленинской позиции в этом вопросе. Владимир Ильич основательно окатил его холодной водой.

Ворошилов и Буденный, когда сложилась выгодная для них ситуация, сразу же воспользовались открывшимися возможностями. Напомню свои слова о том, что Сталина никак нельзя обвинять во всех репрессиях, в уничтожении отдельных лиц. Он повинен главным образом в том, что создал обстановку, в которой доносы, злоупотребление властью, беззакония стали обычным явлением. Да, Иосифа Виссарионовича раздражала, беспокоила самостоятельность, прямота суждений Тухачевского, Блюхера, Егорова, Уборевича, Корка, Якира и многих других военных руководителей. Сталин расчистил себе место на политической сцене, победил почти всех политических соперников, сделался единственным лидером в партии и государстве. Он уже свыкся с мыслью о своих особых руководящих способностях, привык к безусловному подчинению, а самая мощная, решающая сила в стране — армия и флот — еще не полностью принадлежали ему. Тухачевский, Уборевич, Блюхер и многие другие полководцы могли высказывать свое недовольство тем или иным решением, не преклонялись перед гениальностью вождя.

Товарищи, воевавшие на Южном фронте, но не в Первой Конной, знали о командующем Егорове, однако почти ничего не слышали тогда о Сталине. Для «восточников», сражавшихся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, Иосиф Виссарионович, как участник войны, вообще ничего из себя не представлял. Это вот повезло Тухачевскому, он был и «восточником», и «западником», со Сталиным встречался и в Москве, и на юге, и на Западном фронте. Ведь Иосиф Виссарионович выделял людей по двум признакам: использовал либо хорошо знакомых (даже с отрицательными

качествами, на которых можно было «играть»), либо тех, кто демонстрировал ему свое преклонение, способность без возражений выполнять любое указание. Последних в армии и на флоте тогда было еще немного.

Как относился Иосиф Виссарионович к Тухачевскому? Могу сказать только одно: весьма уважительно. Ценил его ум, практическую хватку, стремление к новому. В мае 1931 года Тухачевский провел в Ленинграде необычайный парад: по Дворцовой площади прошли грузовики с бойцами в кузовах. Сталин одобрил — пора создавать нашу мотопехоту. Тухачевский заботится о подготовке военных парашютистов — Сталин полностью «за». Таких примеров — множество. Но с Тухачевским Иосиф Виссарионович виделся изредка, зато рядом всегда находились рьяные противники молодого военачальника: Ворошилов, Буденный, Щаденко. Каждое слово, сказанное ими о Тухачевском, было наполнено ядом. «Прожектер. Чистоплюй. На скрипочке поигрывает. Занесся. С иностранцами знается. Нет ему полной веры». И так далее. Это постепенно действовало, как действует ржавчина на железо.

В ту пору Ворошилов любил повторять свой отзыв о давнем друге Александре Пархоменко: это был, дескать, замечательный, светлый человек, и вся его жизнь — как песня! А Тухачевский однажды уточнил неосторожно: «Как пьяная песня!» Подразумевался дебош в Ростове-на-Дону, удар шашкой красноармейца, захват автомашины командарма-8, за что, как мы знаем, Пархоменко осужден был в 1920 году военным трибуналом… Слова Тухачевского дошли до Климента Ефремовича и отнюдь не улучшили взаимоотношений двух военачальников. Даже не будь ничего другого, кроме этой фразы, Ворошилов все равно свел бы счеты…

В слякотный майский вечер 1937 года мне позвонил Сталин и попросил немедленно приехать. Я чувствовал себя неважно, у дочери была температура, хотелось побыть с ней, но не столь уж часто Иосиф Виссарионович вот так, не предупредив заранее, изъявил желание встретиться. Значит — не пустяк. В таких случаях не отказываются, на разные причины не ссылаются.

У Сталина только что закончилось какое-то заседание. Вероятно — трудное. Еще не выветрился густой запах табака. Иосиф Виссарионович, расслабившись, сидел в кресле, в своей любимой позе: руки на животе, колени широко расставлены, а ступни, наоборот, сдвинуты. Сказал о том, что свирепствует грипп, посоветовал мне быть осторожным. Видно было, что ему хочется посидеть вот так спокойно, поговорить о пустяках, но он умолк, напрягся, встал и направился к своему сейфу, доставая из нагрудного кармана ключи. Открыл одну дверцу, лязгнул другой, протянул мне тонкую аккуратную папку:

— За эти бумаги Ежов заплатил три миллиона рублей. Посмотрите, стоят ли они такой суммы?!

Взял со стола кипу газет и вышел в соседнюю комнату. А я осторожно и даже с некоторым трепетом открыл папку. В ней было всего лишь пятнадцать-двадцать страниц. Сколько же стоила каждая из них? Каждая строчка?

Бросились в глаза штампы германской разведки — абвера: «Конфиденциально», «Совершенно секретно». Начал читать — и глазам своим не поверил. Это было письмо Михаила Николаевича Тухачевского к единомышленникам-военачальникам о необходимости избавить страну от

гражданских руководителей и захватить государственную власть в свои руки. Назывались фамилии… Подпись была мне хорошо знакома, я видел ее много раз. Подлинная подпись Михаила Николаевича. И все же не верилось.

Все остальные документы были на немецком языке. На одном из донесений абвера — резолюция Адольфа Гитлера, с приказанием организовать слежку за генералами вермахта, которые по долгу службы встречались с Тухачевским и могли быть связаны с ним. Почерк и подпись — несомненно самого фюрера. Другие бумаги были второстепенны и не запомнились.

Я успел дважды прочитать все досье, прежде чем возвратился Сталин. На этот раз он не сел, а остановился возле степы, прислонившись спиной. Молча смотрел на меня.

— Иосиф Виссарионович, это лишь фотокопии.

— Но подписи подлинные, — мы удостоверились.

— Как попало к нам это досье?

— Документы были выкрадены во время пожара в здании абвера. Их пересняли. Фотокопия оказалась у главы чехословацкого правительства. Господин Бенеш сообщил нам.

— Я не убежден, что это не фальсификация!

— Но кому и зачем нужда такая фальсификация?

— Нашим противникам, которые намереваются воевать с нами. Этим досье они ставят под удар наших крупнейших военачальников.

— Я согласен с вами, Николай Алексеевич. Эти документы заставляют задуматься, но не внушают полного доверия. Однако, к сожалению, сведения о заговоре военных против руководителей партии и правительства поступили и из других источников. Говорю только для вас. Позавчера и вчера следователь Радзиловский допрашивал бывшего начальника управления штаба РККА Медведева, и тот сообщил о существовании заговора военных. И назвал фамилии руководителей: Тухачевский, Якир, Путна, Примаков… Те же самые фамилии. Не слишком ли много совпадений?

— Но ведь Михаил Евгеньевич Медведев года четыре как уволен из армии.

— Да, уволен. Но о заговоре он узнал еще в тридцать первом году.[26]

— Просто голова кругом…

— Дорогой Николай Алексеевич, мне тоже не очень верится. Но факты… Я не могу видеть лица этих людей! Фальшивые улыбки! — Сталин сорвался на крик, умолк, овладев собой. — Мы вынуждены принять решительные меры.

— Арест?

— Приказ уже отдан. А с вами я хочу посоветоваться о составе суда. Нужны авторитетные люди, которые вынесут справедливое решение.

— Ворошилова — ни в коем случае! — воскликнул я.

— Согласен. Тем более что для этого имеются особые причины, — усмехнулся Сталин.

Через месяц после нашего разговора состоялся первый процесс над военными, за которым последовали потом другие процессы. Я присутствовал на этом судебном разбирательстве, у меня сложилось определенное мнение, но, прежде чем высказать его, приведу официальное сообщение, опубликованное в печати:

«Вчера, 11 июня с. г., в зале Верховного суда Союза ССР Специальное судебное присутствие в составе: председательствующего — председателя Военной коллегии Верховного суда Союза ССР армвоенюриста тов. Ульриха В. В. и членов Присутствия — зам. народного комиссара обороны СССР, начальника Воздушных Сил РККА командарма 2 ранга тов. Алксниса Я. И., Маршала Советского Союза тов. Буденного С. М., Маршала Советского Союза тов. Блюхера В. К., начальника Генерального штаба РККА командарма 1 ранга тов. Шапошникова Б. М., командующего войсками Белорусского военного округа командарма 1 ранга тов. Белова И. П., командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 2 ранга тов. Дыбенко П. Е., командующего войсками Северо-Кавказского военного округа командарма 2 ранга тов. Каширина Н. Д. и командарма 6 кавалерийского казачьего корпуса им. т. Сталина комдива тов. Горячева Е. И. в закрытом судебном заседании рассмотрело в порядке, установленном Законом от 1 декабря 1934 года, дело Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М. и Путны В. К. по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1-б, 58-8 и 58–11 УК РСФСР.

По оглашении обвинительного заключения на вопрос председательствующего тов. Ульриха, признают ли подсудимые себя виновными в предъявленных им обвинениях, все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью.

Судом установлено, что указанные выше обвиняемые, находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР, систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в целях подрыва мощи Рабоче-Крестьянской Красной Армии, подготовляли на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать расчленению Советского Союза и восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов.

Специальное судебное присутствие Верховного суда Союза ССР всех подсудимых — Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М. и Путну В. К. признало виновными в нарушении воинского долга (присяги), измене Рабоче-Крестьянской Армии, измене Родине и постановило: всех подсудимых лишить воинских званий, подсудимого Тухачевского — звания Маршала Советского Союза и приговорить всех к высшей мере уголовного наказания — расстрелу».

Такова была официальная версия. А теперь — собственные впечатления. Прежде всего — «процессом» это судилище не назовешь. Длилось оно всего один день, разве можно за такой короткий срок разобраться в серьезнейших вопросах. Да никто из организаторов судилища и не хотел разбираться. Подсудимым разъяснили, что слушанье дела проводится в том порядке, который установлен законом от 1 декабря 1934 года (мы уже упоминали об этом законе). Что это значило? Защитники к судебному процессу не допускаются; приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Официальное сообщение категорически утверждало, что «все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью». Это — явная передержка! Никто из обвиняемых (кроме

Примакова) на суде не сказал о своем якобы сотрудничестве с иностранной разведкой, то есть не подтвердил главное обвинение. И вообще никаких фактов, подтверждающих связь с зарубежной разведкой или заговор против Сталина, приведено не было. Тухачевский, например, сказал так:

«У меня была горячая любовь к Красной Армии, горячая любовь к Отечеству, которое с гражданской войны защищал… Что касается встреч, бесед с представителями немецкого генерального штаба, их военного атташата в СССР, то они были, носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Немцам показывалась наша военная техника, они имели возможность наблюдать за изменениями, происходящими в организации войск, их оснащении. Но все это имело место до прихода Гитлера к власти, когда наши отношения с Германией резко изменились».

Разве это похоже на признание в том, что он служил в иностранной разведке?!

Впрочем, версия о передаче врагам «шпионских сведений», о «совершении вредительских актов» вообще была скомкана, сведена до минимума, об этом почти не говорили, а ведь это обвинение было основным! Зато событиям второстепенным, менее существенным, уделялось неоправданно много времени. С большой и резкой речью выступил Буденный, обвинив Тухачевского, Уборевича и Якира в том, что они настаивали на создании крупных танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию. Семен Михайлович расценил это как вредительство. По тому тону, по тому злорадству, с которым говорил Буденный, я понял: наконец-то Семен Михайлович излил то, что многие годы копилось и клокотало в нем против Тухачевского.

Наиболее кропотливо и досконально разбирался вопрос: состояли или нет подсудимые в сговоре против Ворошилова с тем, чтобы отстранить его от руководства Красной Армией? Ответы были однозначные: да, мнение такое существовало, разговоры о том, что Ворошилов явно не на своем месте, велись.

Имея поддержку других военачальников, Уборевич и Гамарник[27] должны были обратиться по этому поводу в Центральный Комитет партии, в Правительство. Но разве это заговор?

Подсудимые пытались рассказать о тех ошибках, которые были допущены Ворошиловым, о его неумении и промахах, но председатель Ульрих сразу же пресекал такие заявления. А действия подсудимых в отношении Ворошилова расценил как террористические намерения против наркома.

В «последнем слове» обвинение в шпионаже, в измене, в намерении восстановить капитализм, «ломать диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой» — это обвинение признал лишь Виталий Маркович Примаков, бывший отважный кавалерист, в корпусе которого сражался когда-то мой друг Алеша Брусилов. Выступление его напоминало бред сумасшедшего. Да и выглядел он совсем измученным, сломленным. Его арестовали на год раньше других подсудимых — по обвинению в троцкизме (в этом было немало истины) и, вероятно, «подготовили» к состоявшему процессу. Еще до того, как были взяты Тухачевский и «сообщники», Примаков написал 8 мая 1937 года Ежову: «В течение 9 месяцев я запирался перед следствием и в этом запирательстве дошел до такой наглости, что даже на Политбюро, перед товарищем

Сталиным, продолжал запираться и всячески уменьшать свою мину…» Это письмо есть в «деле» Примакова. Оно — материал для раздумий, сомнений и размышлений.

Все остальные подсудимые говорили о своей преданности революции, лично товарищу Сталину. Просили о снисхождении. Но чьи уши могли прежде всего их услышать! Уши Ворошилова, который давно намеревался насолить Тухачевскому и другим военачальникам: не только за прошлые разногласия, но и видя в них претендентов на высшее руководство в Красной Армии.

Какое там снисхождение! Климент Ефремович торжествовал! Через день после процесса он с удовольствием подписал приказ наркома обороны за № 96, в котором излагался приговор, подчеркивалось, что враги народа пойманы с поличным и при этом особенно выделил Тухачевского — только его фамилия, вместе с фамилией Гамарника, была названа в приказе. Так что Ворошилов свел с ним все свои счеты. Развязал узелки, завязавшиеся еще на гражданской войне…

А как же члены суда — В. К. Блюхер, Б. М. Шапошников, И. П. Белов, П. Е. Дыбенко — люди, чья честность и порядочность не вызывают никаких сомнений? Они наверняка были ознакомлены с документами немецкой разведки, хотя официально в качестве улик бумаги абвера на процессе не упоминались. Члены суда были поставлены в такие условия, что не могли не согласиться с приговором. В самом деле. Никто из подсудимых не опроверг обвинений в измене, предъявленных им в общих чертах, а Примаков все эти обвинения подтвердил. Дальше. Подсудимые признали свои просчеты, допущенные работе по укреплению Красной Армии («могли бы действовать и лучше»), что было расценено, как подрыв могущества нашей державы. Фактически все сознались в том, что считали Ворошилова не соответствующим занимаемой должности и готовы были выступить против него. Это военнослужащие-то против своего начальства?! Разве не преступление!

Подписывая приговор, названные члены суда (другие подписывали без колебаний) уповали, вероятно, на то, что участь осужденных будет все же смягчена. И никто из судей не предполагал, что они прокладывают страшную дорогу для себя, для многих своих коллег. Почти все они будут вскоре арестованы, сами пройдут через физические и нравственные испытания, через которые прошли участники «группы Тухачевского». Их призыв к милосердию тоже не будет услышан.

Негодование мое вызвали резолюции, оставленные на письме И. Э. Якира, с которым он обратился из тюрьмы к Сталину, заверяя его в своей преданности идеям коммунизма и лично Иосифу Виссарионовичу. Однако Сталин расценил это по-своему: Якир, мол, хитрит, стремится выйти сухим из воды или, по крайней мере, оправдать себя перед народом, перед историей. Спустя время найдут документ в архиве, прочтут и поверят: какой хороший и честный был этот Якир!.. Но нас вокруг пальца не обведешь, — решил Сталин и начертал на письме: «Подлец и проститутка». «Совершенно точное определение»; — добавил Ворошилов. Рядом расписался Молотов. «Предателю, сволочи и б…ди одна кара — смерть!» — Это слова Л. Кагановича. Будто на стене сортира. Но там — безымянное творчество, а здесь автографы высокопоставленных деятелей.

— Как можно писать такое о товарище по борьбе, по работе?! — сказал я Сталину. — Это же расписка в собственной беспринципности,

удостоверение собственного хамства. Матерщинник в руководстве государством — это, извиняюсь, скверный пример. Чего же тогда требовать от других?!

Сталин насупился. А когда он хмурился, лоб у него становился слишком узким, некрасиво узким. От бровей до кромки волос — один сантиметр.

— Определение «политическая проститутка» — не новость, — сказал он, — Им пользовались и до нас.

— Проститутками являются как раз те, кто вчера жал руку Якиру, а сегодня под вашей резолюцией малюют матерные слова.

— Не допускаете, что это искренние эмоции?

— Слишком декларативно, — возразил я. — Прошу вас, не торопитесь, поговорите с Якиром и обязательно с Михаилом Николаевичем Тухачевским. Последствия их гибели могут быть очень тяжелыми.

— Никакой катастрофы не будет, — произнес Иосиф Виссарионович с уверенностью человека, хорошо продумавшего все варианты.

Однако с Тухачевским Сталин все-таки встретился. Беседа та была короткой, корректной и успокоила Михаила Николаевича настолько, что оказался совершенно неподготовленным к дальнейшим событиям, к смертной казни. А может, это и лучше: он до последней секунды не верил в трагический конец. Он улыбался, когда его среди ночи вели во двор внутренней тюрьмы на расстрел. Он даже успел крикнуть перед залпом: «Да здравствует Сталин!»

Отдавая должное военным способностям Тухачевского, не могу не сказать о своем отношении к нему, как к личности. Карьерист он, что, впрочем, свойственно довольно широкой прослойке военного и чиновного люда. Но при этом еще и себялюбец, способный на поступки, далеко не украшающие. Только один пример. После революции виднейшим военным теоретиком стал у нас бывший царский генерал Александр Андреевич Свечин. Ему принадлежат многие интересные разработки, а основным трудом этого ученого можно считать «Стратегию», принесшую очень большую пользу для образованности нашего комсостава от среднего до самого высокого звена. Не углубляясь в подробности, замечу: «концепция измора», обоснованная Свечиным, его «стратегия измора» противника являлись не только вкладом в военную науку, но и обогащали арсенал практических действий. А основным оппонентом Свечина выступал не кто иной, как, Михаил Николаевич Тухачевский, стремившийся занять место главного военного теоретика нового поколения. Ну и «расплатиться» со Свечиным, который использовал некоторые факты польской кампании 1920 года, выставлявшие Тухачевского не в лучшем виде.

Со своей стороны Михаил Николаевич выдвинул и отстаивал так называемую «стратегию сокрушения», как наиболее отвечающую целям и возможностям рабоче-крестьянских вооруженных сил, соответствующую идее всемирной пролетарской революции. Хотел быть святее выдающихся марксистских светил. Столкновение точек зрения, дискуссия — это хорошо в разумных пределах, когда споры ведутся ради поисков истины, а не ради личной выгоды, личных амбиций. К сожалению, Михаил Николаевич выбрал путь, не делавший ему чести. В апреле 1931 года он, занимая пост командующего Ленинградским военным округом, организовал пленум секции по изучению проблем войны Ленинградского отделения Коммунистической академии при ЦИК СССР. Выступил с докладом «О стратегических взглядах Свечина». Конкретикой этот доклад не отличался, зато наполнен был черной критикой, оскорблениями, угрозами,

причем бил Тухачевский явно ниже пояса, обвиняя Свечина в классовой враждебности, во вредительстве. А ведь знал, что положение бывшего царского генерала и без того не столь прочное. И как опровергнешь Тухачевского, если у него почти нет фактов, а только обидные липкие ярлыки?!

Автор «Стратегии», по утверждению Михаила Николаевича, является агентом интервентов, «защитником капиталистического мира от наступления Красной Армии». Вот показательная цитата: «Свечин ловко умеет маскироваться, ловко умеет надевать на себя «марксистскую тогу», бросаясь «марксистскими» фразами и терминами, хотя, конечно, на самом деле он никогда не стоял даже близко к марксистской идеологии. Я не знаю, насколько сознательно, насколько бессознательно Свечин — агент буржуазии, но в том, что он в своих действиях объективно — агент буржуазии, это не может подлежать сомнению».

Результатом резкого, уничтожающего выступления Тухачевского было то, что на Свечина легла черная тень, он отошел от дел, а Михаил Николаевич действительно занял ведущее место среди военных теоретиков нового поколения, да и по должности продвинулся вперед, получив пост заместителя наркома обороны и звезды маршала на петлицы. Но тот, кто топит других, рискует и сам быть утопленным. И Тухачевский, и Свечин трагически погибли почти в одно и то же время. А их теории пережили своих авторов и, как часто бывает, практически слились, когда были отброшены крайности. Стратегия сокрушения не помогла нам стремительно одолеть Финляндию, зато показала Сталину, что необходимо разумно сочетать сокрушение и измор. А вот Гитлер не осознал этого. С самого начала и до конца он упрямо исповедовал концепцию сокрушения, которая воплощалась в его блицкригах, в молниеносных войнах. Начало было удачным, а финал известен.

Сталин впоследствии, по привычке упростив ситуацию с репрессиями среди военных, свел ее в основном к борьбе двух группировок: с одной стороны, Ворошилова, Буденного, Щаденко, а с другой — Тухачевского. Уборевича, Якира.

— Эти две группы были непримиримы, — сказал он. — В сложившейся обстановке мы не могли допустить раскола в военном руководстве. Требовалось, чтобы военные вели единую линию. Думаю, это пошло на пользу Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Такой выбор он сделал. Или такое объяснение нашел для себя.

2

За какие-то считанные месяцы Вооруженные Силы наши, на укрепление которых мы затратили много энергии и средств, были изрежены, словно лес под натиском свирепого урагана. Там, где высились сотни великанов, остались единицы. И среди них — Александр Ильич Егоров, чье положение казалось наиболее устойчивым и незыблемым.

По тогдашней мерке широко отмечен был пятидесятилетний юбилей Александра Ильича. Его фотографии печатались в газетах. Сталин тепло поздравил Егорова, выразив свою уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве. Но в те же торжественные дни пришло в Кремль письмо от одного пожилого грузина. Почтой или передал кто-то из рук в руки — не знаю. Сталин взял это письмо со стола, когда в кабинете находились я и Берия. Прочитал вслух. Текст был примерно такой: «Кацо, кого

превозносишь?! Ты не забыл, что офицер Егоров стрелял в нас в Тифлисе, когда была первая революция? Награду от царя за нашу кровь получил? Посмотри, вспомни». И несколько вырезок из старых газет.

— Вот что, Лаврентий, — сказал Иосиф Виссарионович, — я знаю, в кого и когда стрелял товарищ Егоров. Но я не знаю, в кого и когда стрелял человек, подготовивший этот донос. — Сталин намекал на далеко не безукоризненную биографию самого Берии. — Может, ты хорошо знаешь этого человека, Лаврентий?

— Я все выясню, — поторопился заверить Берия.

— Выясни и прими меры, — усмехнулся Иосиф Виссарионович.

Да, многое могло проститься Егорову. И стрельба по демонстрантам, и то, что Александр Ильич примыкал когда-то к эсерам. Это не касалось лично Сталина, не мешало достижению его целей. А вот случайной обиды, принизившей вроде бы роль Сталина в гражданской войне, он не простил. Да и была ли обида-то! При болезненном, обостренном самолюбии Иосифа Виссарионовича ему легкий укол представлялся иной раз тяжелым ударом.

Совершенно неожиданно Егоров был отправлен командовать Закавказским военным округом. Уехал в Тбилиси. Много ходил по городу, изменившемуся за минувшие годы. И вот странная особенность: Александр Ильич не любил гражданской одежды, не привык к ней, а по Тбилиси прогуливался только в штатском.

Дела двигались своим чередом. Однако вскоре поступил срочный вызов из Москвы на совещание. Для военных людей — явление обычное. Егоров ответил телеграммой:

«Наркому обороны Ворошилову. Выезжаю. Временное командование округом возложил начштаба Львова…»

Остановился он в санатории «Архангельское». Там последний раз виделся со своей дочерью.

После совещания его пригласил к себе на дачу один из старых соратников. Были Хрулев, Щаденко и кто-то третий.

Александр Ильич собирал картины, особенно любил батальные полотна, имелись у него и оригиналы, и хорошие копии. В тот раз ему показали картину «Сталин на Южном Фронте», где Иосиф Виссарионович изображен возле телеграфного аппарата, с лентой в руках. С почтением, с восхищением смотрит на сосредоточенное лицо Сталина телеграфист…

— Хорошая картина, — сказал Щаденко.

— Хорошая, — согласился Егоров. И словно черт дернул его за язык, добавил полушутя: — Только не совсем верная.

— Почему?

— А командующий фронтом где? Меня нет даже на заднем плане.

Через три часа Александра Ильича арестовали. Произошло это как раз в тот период, когда Сталин чувствовал себя плохо, был особенно подозрителен, раздражителен. А я находился на юге и узнал о случившемся слишком поздно.

Спрашивать, почему убрали Егорова, не имело смысла. Повод, причину, можно найти всегда.

— Зачем это сделали? — Я не назвал фамилию, но по резкому, укоризненному тону Иосиф Виссарионович сразу понял, о ком речь.

— Он слишком много возомнил о себе. Он хотел стать выше всех.

— Александр Ильич никогда не стремился к этому.

— Нам лучше знать, — возразил Сталин, но в словах его не было обычной уверенности, он вроде бы убеждал не только меня, но и себя.

— Можно было не спешить, выяснить…

— Пожалуй, с этим действительно поторопились, — сказал Иосиф Виссарионович. — Но незаменимых людей у нас нет.

— Заменимы руки, почти любые. Их много. А талант единичен. Егорова заменить некем! Вы отрубили голову нашей армии!

— Не преувеличивайте, Николай Алексеевич, в нашей армии много хороших голов. Борис Михайлович Шапошников, например, не хуже Егорова разбирается в военных вопросах. И скромен.

— Борис Михайлович весьма образованный, весьма порядочный человек, прекрасный штабной работник. Но он не полководец, я не знаю, командовал ли он хотя бы сражавшейся армией…

— В случае большой войны нам нужен будет как раз крупный штабной специалист, способный осуществлять наши замыслы, — самоуверенно произнес Сталин.

— Вы, кстати, тоже не командовали воюющей армией, а тем более фронтом… У нас теперь вообще не осталось ни одного бывшего комфронта. Последняя голова полетела, — повторил я.

Было впечатление, что Иосиф Виссарионович уже тогда раскаивался в содеянном. Наступит срок, и жизнь заставит его не раз глубоко пожалеть о том, что Егорова нет рядом. Хорошо хоть действительно сохранился Шапошников, над головой которого одно время тоже сгустились мрачные тучи. В ту пору, в 1938 году, в центральном военном аппарате имелась явная раздвоенность, кроме Генерального штаба существовало специальное управление, которое ведало административными делами. Получалось так, что Генштаб в основном решал теоретические вопросы (планы строительства Красной Армии, планы стратегического развертывания, готовил заявки для промышленности), а управление размещало заявки, комплектовало, дислоцировало войска и так далее. Курировал Управление заместитель Наркома обороны Ефим Александрович Щаденко. По должности они вроде на равных, но у Шапошникова была самостоятельная работа, а Щаденко всю жизнь ходил в заместителях и высшую точку свою видел в том, чтобы занять пост начальника Генерального штаба. Чем он хуже, в конце концов, этого бывшего золотопогонника?!

Не понимал, значит, Щаденко свою полнейшую несравнимость в военных делах с Борисом Михайловичем. Человек огромной эрудиции, высочайшей культуры, большой собранности, Шапошников умел анализировать обстановку, обладал даром предвидения, мы обязаны ему жизнедеятельностью наших высших военных органов. А Щаденко, энергичный организатор, способен был лишь осуществить принятое решение, даже крупномасштабное, но ни о каком стратегическом мышлении не могло быть и речи. Держался он на старых заслугах, на старых связях. И все острей завидовал Шапошникову, его способностям и возможностям.

Придирки и нападки Щаденко на Бориса Михайловича обострились до предела. Что бы ни предпринимал Генштаб, какие бы правильные, оригинальные замыслы ни разрабатывал, заместитель наркома Щаденко все встречал в штыки, тормозил осуществление. Он мешал работать Борису Михайловичу, делал это грубо, зло, топорно. Лишь мягкость, интеллигентность Шапошникова до поры до времени спасали положение.

Но продолжаться бесконечно это не могло, тем более что поползли провокационные слухи: в августе 1935 года Шапошников, находившийся тогда по служебным делам в Чехословакии, был якобы завербован иностранной разведкой.

Надо было как-то позаботиться о нормальных условиях работы Генштаба, отвести угрозу, нависшую над Борисом Михайловичем. Однако нарком Ворошилов занял выжидательную позицию, не желая, видимо, конфликтовать со старым другом Щаденко, но и не поддерживая его нападок на Шапошникова.

Смекалистым политиканом стал к тому времени Климент Ефремович, умело взвешивал шансы за и против. Кто такой Шапошников? С одной стороны, явно классовый враг: царский офицер, генштабист, военный разведчик. Сколько их вырубили под корень, а этот уцелел… Как ему доверять, а он на высочайшем посту, где должен находиться надежный, твердокаменный пролетарий. Но если глянуть с другого бока, получается так: Шапошников добровольно пришел в Красную Армию и служил честно. А Сталин теперь приближает к себе образованных да мозговитых, пользуется их советами, не опасаясь потускнеть, принизиться на таком фоне. Умеет поставить себя вровень с самыми эрудированными, с самыми мыслящими. И даже над ними. А сам-то Ворошилов, как Буденный, старается держаться от таких подальше, чтобы не выделяться среди них в худшую сторону.

Все это важно, однако — не главное. Климент Ефремович догадывался, на каком прочном растворе замешано взаимопонимание и даже своеобразная дружба Сталина и Шапошникова — на обоюдной ненависти к Троцкому. В начале гражданской войны Лев Давидович высоко оценивал способности бывшего полковника, но довольно скоро разочаровался, поняв, что Шапошников не разделяет его убеждений, не будет послушно шагать к той цели, к которой стремился Троцкий. Убедившись в том, что Шапошников патриот, для которого на первом плане интересы своего народа, обвинил его в «великорусском шовинизме».

Как известно, Троцкий был не только очень жесток, но и скор на расправу, нежелательных людей убирал без суда и следствия, преподнеся, кстати, Сталину урок беспощадности. Приклеив Шапошникову ярлык «шовиниста», Лев Давидович по сути обрек его на расстрел. Лишь случай помог Шапошникову избежать смерти, о чем впоследствии Троцкий сожалел — не довел начатое до конца.

Зная все это, Сталин раз и навсегда зачислил Шапошникова в круг своих самых надежных соратников, непримиримых борцов с троцкизмом. Отсюда ясно, почему Ворошилов осторожничал, не решаясь открыто выступить против Шапошникова.

Захватив с собой главный трехтомный труд Бориса Михайловича «Мозг армии» (Сталин высоко ценил эту работу), я пошел к Иосифу Виссарионовичу, рассказал о странных отношениях Генерального штаба с Управлением, о нападках Щаденко, о распространяемых слухах. Предупредил:

— Мы лишились нашего самого большого военного практика Егорова. Теперь нашу армию хотят лишить мозга. Что же останется? Одна руководящая роль партии?

Сталин помрачнел. Оказаться без Шапошникова было не в его интересах. Иосиф Виссарионович был очень расположен к нему, полностью доверял Борису Михайловичу: это единственный официальный

деятель, которого Сталин всегда при людях называл не по фамилии, а по имени-отчеству; единственный военный, на которого Сталин никогда не повышал голос, словно бы даже благоговея перед вежливостью и безупречной правдивостью Шапошникова.

— Им не удастся нанести нам такой удар, — сказал Сталин. (Кому это «им», я не понял.) — Бориса Михайловича никто не посмеет тронуть. — И, подумав, тут же принял решение: — Мы ликвидируем ненужный параллелизм руководства. Все управления должны быть включены в состав Генерального штаба. Этим мы поднимем роль нашего Генштаба. А для того, чтобы укрепить авторитет Бориса Михайловича, введем его в состав Главного Военного Совета… Вы согласны со мной?

— Да, Иосиф Виссарионович. Ведь Шапошников не только сам по себе, он создает целую школу умелых штабных работников.

— «Школа Шапошникова» — хорошее определение, — улыбнулся Сталин.

В ноябре того же года Борис Михайлович представил Главному Военному Совету страны тщательно отработанный доклад на тридцати страницах. Он включал разделы: вероятные противники, их вооруженные силы и возможные оперативные планы и, соответственно, основы нашего стратегического развертывания на Западе и Востоке. По существу, это был первый и единственный тогда документ, определявший наши военные перспективы и планы. Ведь ход дальнейших событий почти полностью подтвердил все прогнозы и выводы Шапошникова.

Реорганизация Генерального штаба, произведенная по предложению Сталина, очень помогла нам в сохранении и развитии «мозгового центра» армии. Наш Генштаб значительно приблизился к требованиям того времени и действовал бы еще лучше, если бы не упадок здоровья Бориса Михайловича. Он работал много, очень много, преодолевая постоянную одышку, недомогание и слабость.

После одного из докладов Иосиф Виссарионович задержал у себя Бориса Михайловича, потребовал хоть и с улыбкой, но вполне серьезно:

— Измените, пожалуйста, ваш распорядок дня. Начальнику Генштаба нужно работать четыре часа. Остальное время вы должны лежать на диване и думать о будущем.

Это был очень разумный совет. К сожалению, Борис Михайлович не мог выполнить его, слишком велика была в ту пору нагрузка, а работать без полной отдачи — не для такой натуры.

После Шапошникова пост начальника Генерального штаба занимали короткий срок то К. А. Мерецков, то Г. К. Жуков. Но это было совсем не то. Имея опыт командования крупными военными силами, являясь хорошими полководцами, они слабо разбирались в специфической службе Генштаба, по существу, запустили многое из того, что было начато до них. Особенно это показала развернувшаяся война.

В июле 1941 года, в самое трудное время, Борис Михайлович снова возглавил Генеральный штаб и внес очень большой вклад в достижение победы над гитлеровцами.

3

Прошел я сквозь страшные войны, многое пережил, много страданий натерпелся, повидал такое, что никому не дай бог видеть: разорванные тела, скрюченные трупы умерших от голода, зияющие раны, которые

невозможно ни закрыть, ни лечить. Жутко бывало, ужас охватывал. Казалось бы — закалился. И при всем том едва не потерял сознания, когда увидел пытку, услышал звериный стон человека, из-под изуродованных ногтей которого сочилась кровь. Омерзение, стыд за род людской испытал я, глядя на злобно-сосредоточенные довольные лица палачей!

Нет, дорогие товарищи, война — это одно, там обе стороны вооружены, там без издевательства побеждает наиболее сильный, наиболее ловкий, наиболее умный. Там честно проливается кровь. И совсем другое, когда несколько дюжих палачей терзают человека, который не способен оказать им сопротивления. Дикая картина! И способны на такую мерзость лишь ненормальные субъекты с искалеченной, опасной психикой: их надо либо уничтожать, либо полностью изолировать от общества.

Есть на земле такие участки, где веками гнездится боль. Облюбовала она определенные места, обжилась, пустила корни, затягивает туда страдальцев и мучает их. Одно из таких мест в Москве — это Лубянка, начало улицы, носившей такое название. Если идти от площади — справа. Когда-то там пытали, казнили мятежных стрельцов, бунтовщиков Пугачева. Со временем в глубине небольшого, холодно-казенного сквера, отделенного от улицы массивной решеткой, вырос странный двухэтажный особняк голубого цвета с белыми полуколоннами, с балконом над парадным входом, на балконе — тоже решетка. А вдоль крыши по фасаду, свидетельствуя о вкусе создателей особняка, выстроились какие-то темные вазы. Сие здание использовали для своих целей ежовские и бериевские соратники; многие «враги народа», особенно из числа военных, приняли здесь адские муки…

И вот что удивительно, после памятных решений партии на Двадцатом съезде, страшное заведение было ликвидировано, палачи ушли. Но боль осталась! Там открыли платную стоматологическую поликлинику. Со всей Москвы ехали те, кому невтерпеж было переносить страдания. Отдавали деньги в кассу, шли к врачам. А те драли зубы, долбили и вырывали корни, не обращая внимания на стоны и крики. Привычное дело, поток, сотни пациентов проходили через их руки. Но врачи-то хоть имели благородную цель, облегчение несли людям.

Потом поликлинику прикрыли, вновь задвинулись решетчатые ворота.

А еще остались там от прежних мрачных времен черные кошки. Раньше, может быть, их специально держали изощренные следователи, чтобы создать у арестованного тяжелое предчувствие, подавленное состояние. Я зашел туда лет через двадцать после войны и увидел в сквере возле особняка старого черного кота, дремавшего на солнцепеке. А рядом играл черный котенок. Сохранилась, значит, живучая порода.

Из всех поручений Сталина, которые мне довелось выполнять, визиты на Лубянку, особенно в камеру пыток, были самыми тяжкими. Я и сейчас содрогаюсь, вспоминая о них. Не стану приводить подробности, но и обходить молчанием отвратительные факты нельзя, без них мозаика окажется неполной и трудно будет объяснить некоторые существенные явления нашей дальнейшей жизни.

Визиты мои пришлись как раз на то время, когда кончалось господство «ежовых рукавиц» и начиналось продолжительное полновластное царствование в карательных органах Лаврентия Берии. Вероятно, Сталин в этот период хотел иметь разностороннюю оценку положения в органах и, думается, направлял туда не только меня, выслушивал не только мое мнение. Убежден, что не все «контролеры» возмущались пытками, были и

такие, которые одобряли их, во всяком случае, не выступали против, боясь навлечь на себя гнев того же Ежова. А на мои слова, на мои упреки Сталин ответил: классовая борьба обостряется, в такой обстановке нельзя жалеть и щадить врагов.

— Но зачем такая жестокость?!

— А разве вы, Николай Алексеевич, не были жестоки со своими врагами? — напомнил мне Сталин. — Причем это были ваши личные счеты, а сейчас гораздо хуже: мы имеем дело с противниками нашего строя, с теми, кто ненавидит наш народ, наше государство. Как змея должна быть змеей, так и тюрьма должна быть тюрьмой. Иначе зачем нужны тюрьмы?

Когда речь заходила о врагах, об обострении классовой борьбы, он порой, становился страшным, в нем ничего не оставалось, кроме испепеляющей ненависти. Глаза почти желтые, расширившиеся — в них сумасшедшая ярость, бешеная энергия, несгибаемая твердость: казалось, он готов собственными руками задушить, растерзать любого противника. Но такое накатывало на него редко, таким видели Сталина лишь самые близкие соратники: Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян. Ну и я: при мне он вообще никогда не старался скрыться под какой-нибудь маской, оставался самим собой.

Почему я, выйдя после первого посещения Лубянки в полуобморочном состоянии, не отказался от дальнейшего участия в проверках? Да потому, что рассчитывал хоть чем-то помочь несчастным, поддержать их душевные силы, вселить надежду. Каждый просил меня сообщить товарищу Сталину о полной невиновности. Я обещал это, говорил им, чтобы терпели, не подписывали фальсификационные показания. Например, говорил об этом бывшему начальнику артиллерии 25-й стрелковой Чапаевской дивизии Н. М. Хлебникову, у которого были изувечены палачами пальцы. И комкору М. Ф. Букштыновичу, совершенно белому как полотно, то ли от потери крови, то ли от нервного перенапряжения. При этом слова мои были адресованы не только страдальцам, но и косвенно их мучителям. Я уйду, омерзительные каты опять останутся наедине с арестованными — это верно, однако каждый подумает; а вдруг Сталин поверит в невиновность этих командиров, прикажет освободить их, что тогда? Как отплатят они за муки? Вот на этот психологический момент я рассчитывал. И, хотелось бы думать, не без успеха. Выдержал же Константин Рокоссовский все угрозы, не подписал клевету, возведенную на него, и в сороковом году, незадолго до войны, получил свободу. Но не каждый мог перенести пытки, да ведь и «профессиональный уровень» палачей был различным.

Не знаю, помогла ли Хлебникову и Букштыновичу моя поддержка или сами они, люди большой воли, сумели выстоять, не «признаться» в том, чего не было, — во всяком случае, тот и другой оказались на свободе. Причем Михаил Фомич Букштынович сыграл заметную, особую, я бы сказал, удивительную роль на завершающем этапе войны. Но об этом — в свое время.

Я не очень разбираюсь в юриспруденции, однако горький жизненный опыт убедил меня: повсюду законы гораздо чаще защищают власть, нежели справедливость. И чем власть сильнее, деспотичнее, тем заметнее перетягивает на свою сторону чашу весов правосудия. Вот понадобилось подвести под массовые репрессии формальную юридическую основу, и сразу нашлись «специалисты», которые быстро сделали это, а заодно и собственную карьеру. Был нарушен один из главнейших столпов

справедливости, так называемый «принцип презумпции невиновности», который гласит: не человек доказывает свою невиновность, а государство, карательный аппарат должны доказать его вину. И это весьма верно. Как может человек, тем более содержащийся под стражей, опровергнуть предъявленные ему обвинения, снять с себя подозрения?! Надо ведь провести следствие, собрать факты, найти свидетелей… А государственный аппарат имеет все возможности, чтобы восстановить истину. Во всяком случае, имеет их неизмеримо больше. В период же массовых репрессий о справедливом расследовании не заботились. Пусть арестованный доказывает, что он чист и свят.

Особенно угодил руководству карательных органов и самому Иосифу Виссарионовичу энергичный юрист Андрей Януарьевич Вышинский. Во всех цивилизованных странах давно уже бесспорна истина: признание собственной вины нельзя считать решающим доказательством. А вдруг человек ненормален? Вдруг он берет все на себя, чтобы выгородить другого, настоящего преступника? Вдруг следователь вынудил сделать это, добиваясь какой-то собственной выгоды? Да мало ли еще что. Поэтому признание вины — это лишь одно из доказательств, отнюдь не главное. Подобный подход связан с тем же справедливым «принципом презумпции невиновности». А вот Вышинский утверждал обратное: признание человеком вины превосходит другие доказательства. Подписал протокол допроса — отвечай по всей строгости.

Такой метод очень даже устраивал тех, кто возглавлял массовые репрессии, развязывал им руки: любой ценой вырви у арестованного признание! Одного можно припугнуть видом крови, из другого выбить, выдавить признание пытками. И нет человека. В лучшем случае ищи его в каком-нибудь северном лагере.

Юридические «труды» Андрея Януарьевича Вышинского — это не ошибка добросовестного, но заблуждающегося исследователя. Это явная попытка теоретически обосновать самочинные действия органов, придать хоть какую-то видимость законности. Отсюда и одно из главных положений, выдвинутых Вышинским: установить объективную истину в суде невозможно, ибо нельзя при этом использовать практику, как критерий истины. Преступление-то, мол, не воссоздашь, не повторишь во всех деталях. Суд использует те материалы, которые дает ему «дело»… Но извините, дорогие сограждане, он значит просто «утверждает» это самое «дело», все зависит от тех, кто состряпал оное! Ну да, ведь суд-то все равно объективную истину установить не способен… Каков подход!

На практике это выглядело так. 1 декабря 1934 года был принят закон, который исключал нормальное правосудие для дел о террористических актах. Далее — закон от 14 сентября 1937 года, упрощавший судебный процесс и фактически ликвидировавший защиту по делам лиц, обвиняемых во вредительстве. Стало действовать «Особое совещание», выносившее решения быстро и однозначно. Более того, Наркомат внутренних дел присвоил себе право самому принимать решения о сроках наказания, без всяких там судебных процессов и юридических норм. Без нарушения ранее существовавших социалистических законов невозможно было делать то, что тогда делалось. Эти законы фактически утратили свою силу, хотя формально и были закреплены в новой (Сталинской) Конституции. Давно ведь известно: если истина, мешает силе, то прежде всего страдает сама истина.

Наличие в государстве дурных установлений и правил отнюдь не снимает вину, ответственность с тех людей, которые осуществляют эти установления. Человек — не машина, не механический исполнитель. У него подразумевается наличие сердца, мозга, совести. Вина его тем сильнее, чем ревностней, охотней проводит он в жизнь дурные порядки. С детских лет, со школьной скамьи человек обязан твердо знать, что зло наказуемо, что рано или поздно он обязательно ответит за мерзопакостные поступки, если их совершил. Ни верноподданническое служение кумиру, ни ссылка на объективные обстоятельства не спасут от заслуженной кары. Раньше Церковь приучала людей к мысли о том, что за содеянное при жизни зло придется ответить на том свете. Теперь Господа Бога и «тот свет» отменили. Значит, некому осуществлять великий и праведный суд над теми, кто посягает на беззащитных, втаптывает в кровь и грязь человеческое достоинство, отнимает жизнь?!

Граф Монте-Кристо, безвинно отсидев семнадцать лет, через многие годы предъявляет счет своим обидчикам: тем, кто донес на него, кто поступил несправедливо. И это воспринимается как должное — добро торжествует. После Второй мировой войны были осуждены 86 тысяч гитлеровских военных преступников. Их и теперь еще вылавливают, карают. Вина гитлеровских палачей огромна, однако следует учитывать, что они уничтожали в застенках, травили газом, мучили и убивали политических или военных противников. Но какова же степень вины тех, самых лучших, принципиальных, большевиков-ленинцев, наших военачальников, доказавших преданность Родине и партии в огне сражений?!

Я знал, к примеру, Николая Васильевича Крыленко как человека сильного, особенно в моральном отношении. Биография его известна: профессиональный революционер, юрист, друг Владимира Ильича Ленина и всей его семьи. В историю Крыленко вошел многими памятными делами. Один из организаторов штурма Зимнего дворца, он был направлен затем и город Могилев, в Ставку, которую возглавлял генерал Духонин. Там Николай Васильевич отдал 20 ноября 1917 года лаконичный приказ № 972, о котором узнали все русские офицеры: «Сего числа прибыл в Ставку и вступил в должность Верховного Главнокомандующего армиями и флотом Российской республики. Прапорщик Крыленко».

Первый большевик на столь высоком посту!

Когда в 1938 году Крыленко был арестован по приказу Ежова, это не вызвало у меня удивления. Николай Васильевич был и оставался представителем старой ленинской гвардии, которая теперь только мешала Иосифу Виссарионовичу. Потрясло меня другое: как сломали его! Через месяц пребывания в тюрьме Крыленко подписал признание в том, что якобы с 1930 года состоял в антисоветской организации и занимался вредительством. Еще через месяц, в апреле, Николай Васильевич «признал», что до революции вел борьбу против Ленина, а после Октября вместе с Пятаковым и Каменевым вынашивал планы борьбы с партией…

Я, конечно, не поверил ни единому слову. Но до какого же состояния надо было довести мужественного большевика, чтобы он оклеветал самого себя, свое славное прошлое! Какие же средства использовались!

Суд над Николаем Васильевичем (если это можно назвать судом!) продолжался всего двадцать минут. Были оглашены лишь его признания, и зачитан приговор — расстрелять! В полном соответствии с теоретическими изысканиями приснопамятного А. Я. Вышинского.

И вот вопрос: разве под угрозой смертной казни заставляли следователей, палачей издеваться над арестованными, терзать их? Отнюдь! Кто не мог, не хотел этого делать, для тех имелись другие должности. Палачами, жестокими надсмотрщиками становились маньяки, садисты, получавшие определенное удовольствие, или совершенно бессовестные карьеристы, выслуживавшиеся перед начальством.

Где они теперь? Сколько их? Не сквозь землю же провалились? Я не задумывался над этим до одного случая. Лет через восемь-десять после смерти Иосифа Виссарионовича мне довелось побывать в мастерской известного скульптора Вучетича. Старые знакомые попросили проконсультировать его по некоторым вопросам.

В хорошем месте была мастерская. Вообще, я люблю тот район Москвы возле Петровской (Тимирязевской) академии, где уцелела в центре столицы обширная лесная дача, где до последнего времени были еще тихие зеленые улочки. А у Вучетича, в его переулке между Старым и Новым шоссе (теперь их как-то переименовали), деревянные домики стояли лишь по одной стороне, среди деревьев, а на другой, за забором, тянулся глухой парк с липами, посаженными еще Петром Первым. Прекрасный уголок для спокойной творческой работы.

Вечер выдался теплый, я решил пройтись пешком до шлагбаума на Рижской дороге. Машину отправил к бывшей церкви за переездом. Приятно было шагать по тихой улице, где виднелись за деревьями старые дачи, а воздух наполнен был освежающим запахом леса. Впрочем, и сюда уже добрались строители (будто мало им пустошей), прямо в уникальный лес врезались фундаменты, кирпичные серые стены домов. А я шел довольный, умиротворенный и немного грустный: вот и этот благословенный, старинный уголок начала теснить неудержимая, бессмысленная урбанизация. И вдруг чуть не вскрикнул от удивления. Только многолетняя закалка помогла мне сдержаться. Навстречу деловито, пригнув голову, шествовал человек средних лет в поношенной военной форме без погон. Вот по этому характерному наклону головы, по пробору, разделявшему надвое светлые волосы, как тропа на поле созревшей пшеницы, я и узнал одного из палачей, изощрявшегося в пытках над нашими полководцами. Глянул в лицо: точно, он. Мелкие невыразительные черты, острый носик, узкие глаза. Еще в тяжкие тридцатые годы выделил я его среди других палачей: молодой он был, распаленный, злорадствующий, кичащийся своим превосходством над людьми, имевшими громкие, славные имена. Другие следователи-палачи были постарше, поосторожней, не демонстрировали столь откровенно свою рьяность.

Я не окликнул, не остановил его. Повернулся и поплелся следом. Это получилось как-то само собой. Значительно отстав, я все же проводил его до старого деревянного дома, неподалеку от большой кирпичной школы. Видел, как он вошел в единственный общий подъезд и открыл дверь с правой стороны.

Всегда презирал я шпионов, а тут сам не заметил, как превратился в сыщика. Сел на бревна возле женщин, лущивших семечки. Мало ли стариков прогуливается вечером по улице, да еще в районе, где заселяются новые дома. А старички любопытны, расспрашивают, что здесь было, как люди живут, какие достопримечательности, где магазины? Словоохотливые старожилы делятся своими знаниями. Без труда узнал я, что демобилизованный офицер (две полосы на погонах были, а сколько

звезд — никто не помнил), несколько лет назад поселившийся здесь, занял треть старого, почерневшего от времени домика. Жена у него, двое детей. Семья тихая, женщина работает в новой больнице вроде бы фельдшерицей, дети вежливые, скоро школу закончат. А вот сам чудной, странный какой-то. На мой вопрос, в чем заключается странность, собеседницы ответили не сразу.

— Кто ж его знает. Незаметный он. Пьет только по праздникам, не скандалит, жену не бьет. А вот когда дрова колет, смотреть страшно, — пояснила одна. — Злость в нем неуемная, лицо перекошено, глаза бешеные.

— В первом годе, как только сюда сменялся, он крысу в сарае поймал. Большую. Ну, убил бы и ладно, крысы-то, они ведь противные, — припомнила другая. — А он крысу в лес отнес, подвесил на сук и костер под ней развел. Крыса визжит, корчится, глаза у нее лопнули, паленым воняет, а он стоит как истукан и скалится, радуется. На визг, конечно, ребятишки сбежались, мы подошли. Страшно смотреть было, крыса-то обуглилась, а все дергается. Ну, мужики наши прикрыли это кино, а жильцу сказали: такого безобразия у нас чтоб больше не было, дети по ночам спать не станут… И что за мода — вредность такую творить! Гляди, мол, мы по второму кругу не упреждаем… И верно, он в первый и последний раз…

Если у меня и были еще какие сомнения, то слова женщин окончательно убедили: я не ошибся. Тот самый палач! Проторчал всю войну в тылах. А как взялась партия вскрывать беззакония, начальство уволило его потихоньку. Живет теперь среди людей, и совесть его не мучает. Наоборот, тоскует, наверное, что рано оборвалась карьера, копит зло против тех, кто вывернул наизнанку темное прошлое, выкинул за борт накопившуюся гадость. Не дай бог такой тип снова обретет должность, власть! Но нет, теперь уж не получится у него. Однако живет он совсем неплохо, даже почетом пользуется. И сколько же их таких по стране, «воевавших» не с вооруженными гитлеровцами, а со своими, советскими людьми?! Не с уголовниками, отбывавшими заслуженный срок, а с безвинными «политическими» заключенными, в массе своей не способными оказывать активного сопротивления… Неужели преступления истязателей, палачей останутся без наказания, забудутся за давностью лет?! Замазанная краской несоскобленная ржавчина все равно остается ржавчиной, хоть и скрыта от глаз; ее не видно, однако она точит, разъедает металл.

Так спокойно я рассуждаю теперь, когда прошли годы после случайной встречи с негодяем. А тогда я, охваченный тяжелыми воспоминаниями, не удержался от решительных действий. Дождался, пока он снова вышел из дома. Опять последовал за ним, теперь не скрываясь. Он почувствовал что-то неладное — занервничал, остановился. А я заявил, что узнал его, что помню, как вот этими самыми руками он истязал заслуженного нашего генерала…

— Чего надо? Чего привязался?! — с тупым однообразием повторял негодяй, избегая смотреть мне в глаза. — Попробуй докажи теперь! Мотай отсюда, старый идиот!

Его наглость, его «тыканье» в мой адрес подлили масла в огонь.

— Докажу, — повысил я голос. — Жив Букштынович, жив Рокоссовский, живы и другие товарищи. Я приду с ними. Я сообщу все вашим детям, а

товарищи покажут им свои шрамы. Я познакомлю ваших детей со всеми подробностями, понимаете вы это, садист?!

Тут он побелел, лицо его вдруг совсем обескровилось, утратило подвижность, превратилось в белую маску. Наверное, он очень любил семью, и я поразил его в самое больное место. Я торжествовал и сгоряча нанес еще один, пожалуй, чересчур сильный удар.

— Наберитесь мужества, сами сообщите все своим близким. Или стыдно? Или язык не поворачивается? А сдирать ногти с пальцев, ломать кости людям было не стыдно? Если вы не скажете детям сами, это сделают за вас другие. И в ближайшие дни!

С тем я и ушел. Но что-то мучило меня, я не знал, насколько правильно поступил. Что делать в таких вот случаях? И через несколько суток опять поехал на ту улицу, вновь подошел к женщинам, судачившим в своем «клубе» — на сваленных бревнах. От них я узнал, что жилец повесился! И не просто повесился, а сделал все обдуманно, профессионально, наверняка: сунув голову в приготовленную проволочную петлю, перерезал себе горло.

Я понял, что он ничего не сказал детям. И правильно. На его месте я поступил бы таким же образом, ушел сам, унося с собой ответственность за содеянное. Жестокость порождает жестокость, за все надо расплачиваться. Самому — не другим.

А в том, что произошло — Бог нам судья. И ему, и мне.

4

Теперь, сквозь призму лет и событий, мы иначе, чем тогда, воспринимаем и оцениваем многие явления, вырывая их из обстановки, господствовавшей в ту пору, изолируя от настроений, от образа жизни, от уровня мышления тридцатых годов. А ведь положение в мире было тогда суровое, грозное. Пожалуй, одна лишь Америка, разбогатевшая на поставках мировой войны, блаженствовала за океаном, не зная других бед, кроме безработицы. А Европа уже изведала страшную мясорубку, ожесточилась в долгой и ничего не решавшей войне, особенно побежденные немцы. Все ясней становилось, что новой бойни не избежать, а верх одержит тот, кто будет сильнее, организованнее, то есть те правители, которые сплотят вокруг себя массы в собственном государстве, дадут им понятную заманчивую идею, сосредоточат в руках максимум власти. Одна за другой рождались и крепли диктатуры: Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Франко в Испании. Вообще, двадцатые-тридцатые годы в Европе характерны буйством политических интриганов, авантюристов. Они спешили «поцарствовать», вкусить славы, набить карманы, словно чувствовали, что скоро стреножит их новая большая война, а после войны появится атомное оружие, резко ограничившее возможности политических интриганов. Появится другая мера ответственности. А пока, по словам Ромен Роллана, господствовали «маньяки, одержимые отвлеченными идеями, помешанные на логике, всегда готовые принести других в жертву какому-нибудь из своих силлогизмов. Они постоянно говорили о свободе, но меньше всего были способны понимать и терпеть ее».

В нашей стране положение осложнялось не только внешней обстановкой (одно социалистическое государство против всего капиталистического мира), но и внутренней борьбой, продолжавшейся

после гражданской войны и ожесточавшей людей. Вот пример, показывающий, как за короткий срок изменилась психика граждан, как очерствели в кровавых схватках сердца. В 1906 году, когда лейтенанта Шмидта после восстания на «Очакове» приговорили к казни через повешенье, во всей России, по всем тюрьмам искали, но не нашли палача, который публично привел бы приговор в исполнение. Даже палачи-профессионалы отказались от такой «чести».

Повешенье заменили расстрелом. Вывезли Шмидта на пустынный остров Березань, поставили его и еще трех моряков к вкопанным столбам. Для расстреляния был подобран взвод матросов-новобранцев, самых забитых, неграмотных. Для перестраховки за матросами построили взвод пехотный, сплошь из инородцев, которые по-русски читать не могли и объяснялись с трудом. Для них фамилия Шмидта была пустым звуком. Но даже и эти люди не желали брать грех на душу. В четырех человек с близкого расстояния стрелял взвод — три десятка винтовок. А после первого залпа убит был лишь один матрос. Шмидт и его сосед ранены. А матроса Антоненко пули вообще не задели.

Столь же неточным оказался и следующий залп. Антоненко стоял невредимый. А третий раз матросы-новобранцы стрелять отказались. Их место занял пехотный взвод. Снова грянул залп, но моряк, хоть и раненный, держался на ногах.

Никто не хотел убивать даже незнакомых людей. Однако войны, взаимная ненависть расшатали нравственные основы общества, поднялась со дна всякая бездуховная грязь и, получив права, начала оказывать влияние на весь жизненный процесс. Для подобных субъектов расстрелять человека все равно что орех щелкнуть.

Эти оттенки тоже надо учитывать для понимания того, в какой обстановке работал Сталин, чем вызывались его решения, которые новому поколению могут показаться слишком крутыми и жестокими.

Я стремлюсь осветить те грани характера Иосифа Виссарионовича, которые лучше знаю. Но образ этот многосложный. Хорошо, если найдутся люди, которые постараются осветить другие особенности, другие дела Сталина. Может, тогда и сложится объемный портрет. А он нужен не только для нас, но и для потомков, для понимания исторических процессов. Как ни суди, по-доброму или по-плохому, но одно бесспорно: людей, подобных Сталину, на нашей памяти было немного. По пальцам пересчитаешь.

Конечно, я мог, если не порвать, то хотя бы ослабить наши дружеские связи. Но я дорожил ими, так как привязался к Иосифу Виссарионовичу, ценил его отношение ко мне. Вокруг Сталина все меньше оставалось товарищей, способных говорить ему правду. Росло влияние льстивого Берии, появлялись какие-то подхалимы. И была мысль: если я не открою ему глаза на истину, то кто решится сделать это?

И еще. Иосиф Виссарионович стремился к воссоединению всех российских земель, утраченных во время революции. Сие было и моей мечтой, смыслом жизни. Я радовался, что так же настроен и Вячеслав Михайлович Молотов, ведавший тогда у нас внешней политикой.

Часто вспоминались слова Брусилова: «С кем народ, с тем и я». Мне казалось, что основная масса народа идет за Сталиным. Значит, это и мой путь.

Трогала его забота обо мне. Пусть не всегда последовательная, не всегда необходимая, но зато искренняя. Вскоре после того, как в Красной

Армии были введены персональные звания и пересмотрена форма комсостава, Иосиф Виссарионович сказал шутливо:

— Николай Алексеевич, вы офицер Генерального штаба. Нет ли у вас замечаний по новому обмундированию генштабистов?

— Удобная, красивая форма с элементами традиций русской армии.

— А вам она сшита?

— Пока еще нет.

В тот же день ко мне явился закройщик, через несколько суток обмундирование было готово. Нравился мне китель с бархатным воротником, окантованным белой каймой. В нем я и предстал перед Иосифом Виссарионовичем. Он осмотрел мундир очень внимательно и остался доволен.

— Мы будем постоянно улучшать и совершенствовать форму бойцов и командиров Красной Армии. — удовлетворенно произнес он. — Это один из способов укрепления дисциплины. — И вдруг, остановившись рядом, переменил тему разговора. — Николай Алексеевич, а вам не обидно, что многие ваши сослуживцы, ваши ровесники далеко обошли вас в звании?

— Не сетую. Девизом Лукашовых, извините за выспренность, давно уже служат слова Суворова: «Не льстись на блистание, но на постоянство».

— Воздаю вам должное, дорогой Николай Алексеевич. При необходимости мы можем присвоить вам любое звание. Но было бы нежелательно выделять вас, привлекать к вам внимание. Генерал Лукашов сразу будет заметен, а просто Лукашов может инкогнито появляться там, где нужно. Впрочем, у вас и так очень высокое звание: советник по важнейшим военным и государственным делам. Тайный советник, — подчеркнул Иосиф Виссарионович.

— Это скорее не звание, а должность.

— И то, и другое. В дореволюционном табеле о рангах тайный советник занимал высокое положение. А звания нашего времени от вас не уйдут.

— Спасибо. Меня вполне устраивает то, что есть.

Я действительно привык к своей не совсем обычной работе, которая мне нравилась многообразием и ответственностью, и почти не думал о чинах и званиях. Разве самолюбие иногда страдало: тот же Борис Михайлович Шапошников, мой боевой коллега, был известен теперь по всей стране, да и в мире, а я так и остался подполковником, нахожусь в столь густой тени, что совершенно не виден и не слышен. Даже старые товарищи потеряли меня, забыли обо мне. Но ведь, с другой стороны, именно такой советник, не имеющий ничего внешнего, работающий только на него, такой советник и нужен Иосифу Виссарионовичу.

Если исходить из прежней табели о рангах, то я, скромный подполковник Генерального штаба, обрел весьма высокий — второго класса — чин: действительный тайный советник при царе имел право носить по три орла на золотом погоне. В военной иерархии это означало: полный генерал или адмирал. А ежели считать по гражданскому ведомству — обер-камергер или обер-гофмаршал, то есть лицо, приближенное к царствующей семье. Вот как вознес меня Сталин! Над собой я подшучивал: быстро, рывком, «революционным путем» сделал блестящую карьеру! Оставаясь при этом в полной неизвестности.

Тут уместно будет вспомнить вот что. Кто знал или знает сейчас о Степане Степановиче Данилове? Разве что родственники да самые дотошные историки. В книгах о партии, о революции и гражданской войне я не встречал эту фамилию. А вот в биографической хронике В. И. Ленина

она упомянута более двадцати раз. Не парадоксально ли? Пожалуй, нет. Ведь Степан Степанович выполнял при Владимире Ильиче обязанности, чем-то схожие с моими; никаких существенных решений по делам военным Ленин не принимал, не проконсультировавшись предварительно с Даниловым. В архивах сохранились документы с пометками Ленина: «на отзыв Данилову». А сколько раз он советовался со Степаном Степановичем устно?! И не только по военным, но и по административным вопросам, по поводу деятельности партийных организаций и советского аппарата на местах, в губерниях, городах и уездах. Если что и парадоксально, то вот какой факт: насколько я знаю, Данилов не имел военного образования, специальной подготовки. Как же он разбирался в сложных военных вопросах?!

Сведения о нем скудные — лишь основные вехи. Родился в Чувашии в 1877 году в семье священника (возможно, Ленин знал Степана Степановича еще в юности?). Окончил духовное училище. Поступил на медицинский факультет Томского университета, но проучился недолго: исключили за участие в студенческой забастовке. В 1904 году, будучи земским статистом в Ярославле и одновременно занимаясь в юридическом лицее, вступил в партию большевиков. Вел подпольную работу в Казани, в Симбирске, был ночным редактором «Правды».

Сразу после Февральской революции — председатель исполкома Костромского Совета. С ноября 1917 года и до самой смерти Владимира Ильича работал в высших военных органах, постоянно находясь возле Ленина и никогда не выступая на первый план. Вот его должности: с 1918 года заместитель председателя Высшей военной инспекции, председатель временной центральной комиссии по борьбе с дезертирством, затем комиссар Всеросглавштаба и член Особого Совещания при Главнокомандующем. В июле 1921 года Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров о назначении Данилова членом Реввоенсовета Республики. Высочайшая военная должность! Прямо скажу, бывшие генералы и офицеры недоумевали: будет ли на таком посту польза от человека, не изведавшего основательно военной службы? Но, значит, обладал Степан Степанович и знаниями, и светлым умом, и интуицией в достаточной мере, чтобы давать советы Владимиру Ильичу. И, вероятно, был очень предан Ленину.

Больше ничего о Данилове сказать не могу. Видел его только раз, уже после смерти Владимира Ильича. Нас познакомили, но разговор не состоялся: Степан Степанович был в ту пору тяжело болен, плохо себя чувствовал. Он уже уволился со всех военных постов и занимался, если не изменяет память, издательской деятельностью.

Вернемся, однако, к тому времени, когда Иосиф Виссарионович, заботясь обо мне, произвел меня в ранг действительного тайного советника при собственной персоне, возвысил тем самым до уровня полного генерала. Спасибо. А не прошло и месяца — снова разговор о моих интересах:

— Николай Алексеевич, извините, что вмешиваюсь в личную жизнь, но ваши бытовые условия мне не нравятся, — сказал Сталин. — Совершенно не нравятся.

— Чем?

— У вас и квартира, и кабинет, и библиотека — все вместе. Это учреждение, а не жилплощадь. Раньше мы были бедны, раньше мы были

моложе и мирились со многими неудобствами. А теперь и здоровье хуже, и работать приходится больше. Так совершенно нельзя.

— Не то чтобы совершенно, а порой трудновато бывает. Дочь подросла, домработница…

— Вот именно, — кивнул Иосиф Виссарионович. — Лес, тишина, свежий воздух — это полезно и ребенку, и вам. Необходим загородный дом недалеко от Москвы и недалеко от меня. Вчера и был на Успенском шоссе, заехал и посмотрел. Вам тоже надо съездить. Может, понадобится что-то переделать.

— Я не совсем понимаю…

Он пристально посмотрел на меня и вдруг произнес с грустью:

— Все мы не вечны, дорогой Николай Алексеевич. Хочу, чтобы вы ни от кого не зависели, когда не станет меня.

— Об этом я говорить не желаю.

— Говори не говори, а время идет, — невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Юристы позаботятся, чтобы этот дом принадлежал вам и вашим наследникам.

— Очень признателен, — я был не только ошеломлен, но и растроган такой заботой. — Мне, конечно, было бы очень хорошо за городом, тем более что и места там знакомые, привычные по казенной даче. Но у меня нет… Простите, нет абсолютно никаких сбережений.

— Неужели вы думаете, что я не знаю об этом! — повеселел Иосиф Виссарионович. — Вы внесете символическую сумму, которая не очень обременит вас.

— Просто неловко.

Сталин резко повернулся ко мне, желтовато блеснули глаза.

— Вы знаете, сколько у нас появилось хапуг и стяжателей! — гневно произнес он. — Вчера арестовали жену нашего очень уважаемого товарища, партийного работника. Прикрываясь его авторитетом, эта женщина брала на ювелирной фабрике золото и камни по самой низкой цене. Обогащалась. За чужой счет ехала в князи… А вы? Сколько имений, сколько земли взяла у вас революция?

Я ответил. А Сталин продолжал:

— Этот дом, в котором вы будете жить, этот участок земли — лишь мельчайшая доля того, что вы утратили. Но даже если бы вы ничего не утратили, вы, Николай Алексеевич, заслужили гораздо больше.

— Значит, опять стану помещиком? — пошутил я.

— Нет, не станете, — серьезно ответил Иосиф Виссарионович. — Это вам для отдыха и для работы от благодарного народа за долгую, трудную и честную службу.

— Лучше, если просто от вас.

— Ну что ж, — весело согласился он. — От меня, как от руководителя народа, как от главы нашей партии.

Повторю еще: очень тронула меня забота Иосифа Виссарионовича. Он словно бы угадал мое смутное, еще не определившееся желание, и угадал очень точно. Поселиться в уютном особнячке среди старого соснового леса, поблизости от Москвы-реки — что может быть лучше! Дом и участок пришлись мне по сердцу. Свое, не временное жилье. Было теперь где поразмыслить спокойно, поработать. В дачный кабинет я перевез любимые книги. В гараж, за неимением собственной автомашины, мы с дочкой поставили велосипеды. Дочка и женщина, которая вела хозяйство, тоже влюбились в наш дом и проводили здесь все свободное время.

А самое главное, пожалуй, вот что: протянулись от нашего дома тропинки, по которым нравилось ходить не только мне, но и Иосифу Виссарионовичу. Постепенно мы к ним очень привыкли. Если в прежние годы мы со Сталиным встречались главным образом по делам, то теперь все чаще и чаще отдыхали вдвоем, иногда — с дочерьми. Он звонил, заезжал за мной, оставлял автомобиль возле дома, и мы отправлялись гулять. Или я приезжал к нему — благо, что близко. С этого времени он практически отказался от всех других дач. Оставались только «Блины» — дом в Кунцеве, где ему нравилось уединенно работать, и Дальняя дача, где почти постоянно находились его дети, Василий и Светлана. Там же рядом и Микоян обретался со своими мальчиками, и Молотов обзавелся большой дачей в лесу на берегу реки против Убор. Туда же, в этот красивый район, в «подмосковную Швейцарию», между Барвихой и Успенским, потянулись и другие высокопоставленные деятели. В обширных лесах вокруг Жуковки, где еще недавно любил охотиться Владимир Ильич, быстро и бесшумно росли удобные виллы. Но тогда, до войны, их было еще не очень много.

5

В самом конце октября 1938 года состоялось расширенное заседание Политбюро, на которое, по поручению Сталина, меня пригласил Поскребышев.

— Какой вопрос? — поинтересовался я.

— НКВД, — коротко ответил Поскребышев, никогда но телефону не вдававшийся в подробности.

На этот раз — не мое ведомство, чужая епархия, но либо я понадобился Иосифу Виссарионовичу, либо он считает, что я должен получить некую информацию, быть осведомленным.

Кроме членов Политбюро присутствовало довольно много людей. За длинным столом сидели тесно, плечо в плечо. Возле Николая Ивановича Ежова человек пять или шесть, кто в форме, кто в гражданском, но все явно провинциалы, встревоженные и взволнованные тем, что оказались в Кремле, на самом верху. Против них — Л. М. Каганович, контролировавший и направлявший в ту пору деятельность НКВД.

Хмурился, потирая высокий лоб, писатель Михаил Александрович Шолохов. Он-то, как выяснилось, и был «возмутителем спокойствия». Рассматривалось так называемое «дело Шолохова». После войны, после смерти Сталина, оно получило широкую известность, упоминается в шолоховской переписке, подробно изложено в воспоминаниях бывшего секретаря Вешенского райкома партии П. К. Лугового. Поэтому я не буду вдаваться в детали, а упомяну лишь то, что необходимо для уяснения сути.

В 1937 году было арестовано все руководство Вешенского района, во главе с первым секретарем райкома, всего семь или восемь человек. Обвинение стандартное — «враги народа». И участь ждала их соответствующая: расстрел или лагеря. Но тут поднялся на дыбы Шолохов. Поехал в Москву, добился встречи со Сталиным, принялся доказывать, что вешенские товарищи — верные коммунисты, преданные делу партии. Все они — его друзья. Если они враги народа, то и он тоже.

Выслушав горячие слова писателя, Иосиф Виссарионович тут же позвонил Ежову и попросил его лично разобраться с делом арестованных

вешенцев. И к тому же, для объективности, встретиться с арестованными в присутствии Шолохова. Тем самым Иосиф Виссарионович ясно выразил свое отношение… Ну, а результат был такой: все обвинения рассыпались, как карточный домик, они были или подтасованы, или «выбиты» на допросах. Все товарищи были освобождены и полностью реабилитированы — Петр Луговой опять занял должность первого секретаря райкома.

Казалось бы — все в порядке. Ан нет, самолюбие Николая Ивановича Ежова было крепко ущемлено. По существу, он дважды расписался в ошибках двух организаций, которыми руководил. Как нарком внутренних дел: были арестованы невинные люди, обвинение против которых состряпали сомнительными способами. Пришлось признать это и извиниться. Второе: как секретарь ЦК ВКП(б) и председатель комиссии партийного контроля он допустил неправильное исключение коммунистов. И вынужден был лично подписать бумагу о восстановлении их в рядах партии, и еще раз принести свои извинения. И это он, человек, обладающий почти неограниченной властью, по одному слову которого брали под стражу десятки людей! Разве не обидно, не оскорбительно для него фактически дважды плюнуть в собственную физиономию! А кто виноват? Писатель, бумагомарака, не имеющий ни должностей, ни званий. Подумаешь, книгу сочинил! Еще не известно, польза или вред для советской власти от этого самого «Тихого Дона».

Ненависть Ежова была так велика, что он решил уничтожить, стереть в порошок писателя, осмелившегося встать у него на пути. Средства для этого имелись испытанные. Начальник Ростовского областного управления НКВД получил указание собрать материал на Лугового и, главным образом, на Шолохова. Он, мол, является руководителем повстанческих отрядов на Дону, у него в доме собираются командиры повстанческих групп, обсуждают планы свержения Советов. Конкретно этой «работой» занялись сотрудники областного аппарата НКВД Коган и Щавелев, а также сотрудники районного отделения внутренних дел. Избивая арестованных казаков, угрожая им оружием, добывали показания против Шолохова. Более того, Коган направил в Вешенскую своим агентом инженера Ивана Погорелова, бывшего комсомольского работника, орденоносца. До этого его выгнали с работы, ему грозило исключение из партии, грозил арест, но ему было сказано: соберешь данные против Шолохова — снимем с тебя все подозрения.

Погорелов действительно вошел в доверие к Луговому и Шолохову, часто бывал у писателя дома, мог быть стать веским «свидетелем» против него. Но честный был человек, совесть заела. Пришел к секретарю райкома, выложил всю правду. Тот сразу понял, какая угроза нависла над Михаилом Александровичем, над ним самим, над теми, кто недавно был освобожден и оправдан. Упекут в тюрьму, состряпают дело, потом попробуй докажи, что невиновен.

Луговой с Погореловым отправились к Шолохову. Дождавшись ночи, они на машине писателя, никому ничего не сказав, вместе с Михаилом Александровичем выехали в Москву. Их пытались перехватить по дороге, но не смогли.

В столице Шолохов добился встречи со Сталиным и имел с ним продолжительную беседу, отнюдь не по вопросам художественного творчества. Просил оградить его и вообще честных людей, коммунистов, от клеветы и преследования.

И вот — заседание Политбюро. Были приглашены работники Ростовского областного НКВД и Вешенского районного отделения. Здесь же находились Погорелов и Луговой. Можно было бы удивиться, зачем Сталин собрал столько людей, зачем ему понадобился спектакль со многими действующими лицами, если он мог решить вопрос одним своим словом, одним телефонным звонком, но я не удивился: я слишком хорошо знал Иосифа Виссарионовича и с самого начала заседания понял, какие серьезные последствия оно будет иметь.

Председатель Ростовского НКВД начал пространно докладывать о том, как плохо работает Вешенский райком партии. Луговой возразил ему: район считается одним из лучших на Дону… Борьба сторон шла на равных, но вот Молотов подал реплику: почему в области пять тысяч арестованных коммунистов, почему не разбираются с ними, не выпускают невиновных, а, наоборот, арестовывают новых и новых? Что, в области все коммунисты — враги народа?

Такой вопрос Молотов мог задать наверняка лишь с согласия Сталина.

Атмосфера сгущалась. Иосиф Виссарионович остановился возле Когана. Тот вскочил, под пристальным взглядом Сталина лицо его стало меловым.

— Скажите, вы получали указания оклеветать товарища Шолохова?

— Да, получал.

— Вы засылали к товарищу Шолохову в качестве доносчика и провокатора находящегося здесь товарища Погорелова?

— Да, засылал.

— Вы угрожали на допросах оружием, добиваясь клеветнических показаний против товарища Шолохова?

— Да, угрожал, — как заведенный, обреченно повторял Коган.

— Кто давал вам такие распоряжения?

— Начальник областного НКВД товарищ Григорьев. — Голос Когана дрогнул. — Эти распоряжения были согласованы с товарищем Ежовым.

— Нет! — поднялся Ежов. — Я ничего не знаю об этом!

— Может, у вас очень короткая память, товарищ Ежов? — перевел на него отяжелевший, похолодевший взгляд Сталин. — У вас есть возможность ее освежить. Вы практически обезглавили Ростовскую партийную организацию. И другие наши организации. Николай Алексеевич, — повернулся вдруг он ко мне. — Сколько военных работников арестовано за последний год?

— С мая прошлого года, со дня процесса над группой Тухачевского, — сорок тысяч человек.

— Вы слышали, товарищи, сорок тысяч! Это не борьба за чистоту наших рядов, это огульное избиение кадров. Я подозреваю, что к военным работникам применялись те же методы, что и в Ростове. Из них вышибали показания, которые нужны были Ежову. Во всем этом надо глубоко разобраться…

Не знаю кому как, а мне стало ясно: песенка Николая Ивановича Ежова, «кровавого карлика», была спета. Может, еще и побултыхается на поверхности какое-то время, но он уже обречен. Сталин начал поднимать «откатную волну»; опыт в этом деле у него имелся большой. Устроив спектакль, Иосиф Виссарионович достиг нескольких целей. Выдающийся советский писатель воочию убедился, как тщательно и объективно разбирает Политбюро сложные вопросы, как заботится о людях, о справедливости сам Сталин.

Еще вот что. Ежов, конечно, допустил грубейшую ошибку, из числа тех, которые не прощал Иосиф Виссарионович. Один раз он уже выступал в защиту Шолохова и его друзей. Выбор Сталина был ясен. А Ежов, ослепленный злобой, опьяненный властью, решил поступить по-своему, выбрал окольный путь, чтобы расправиться с Шолоховым. Не посчитался с мнением Сталина, вышел из подчинения и тем самым вынес себе приговор. Да и вообще пора, пора было убирать Ежова, он слишком много знал, слишком одиозной стала эта фигура. Он сыграл свою роль, хватит.

Вскоре Николай Иванович Ежов был арестован вместе со своими многочисленными соратниками и помощниками. Почти все они были расстреляны.

В узком кругу Иосиф Виссарионович, словно подводя окончательную черту, сказал о Ежове категорически:

— Это двурушник и скрытый агент империализма.

— Но почему? Как же так? — вырвалось у меня. А Сталин объяснил охотно:

— Ежов маскировался тем, что беспощадно уничтожал якобы наших врагов, а на самом деле истреблял подряд всех партийцев, в том числе искренне преданных нам. И в то же время пригревал и покрывал вражеское гнездо, свитое в собственном доме. Его жена Евгения Соломоновна, являвшаяся по совместительству любовницей литератора Исаака Бабеля, создала у себя на квартире в Кисельном переулке, под самым носом у руководства НКВД, притон и приют для заядлых троцкистов. Как Ежов мог не знать об этом? О враждебных нам сборищах на его квартире?.. Он перестал служить Советскому государству и начал сотрудничать с нашими врагами. И теперь понес заслуженное наказание, — удовлетворенно закончил Сталин.

Могу добавить только одно. Евгения Соломоновна покончила с собой, едва узнала об угрозе ареста. Боялась, значит, расплаты. Это все, что мне известно. О ее деятельности, о ее роли в судьбе Ежова, о степени ее вины судить не берусь.

В декабре 1938 года Народный комиссариат внутренних дел возглавил Лаврентий Павлович Берия. О его делах речь впереди, а сейчас хочу, к месту, сказать вот о чем. У меня сложилось такое впечатление, что Сталин с самого начала не был полностью убежден в виновности Тухачевского, Уборевича, Якира и других военных руководителей. Его одолевали сомнения. Вспоминается такой факт. В Кремле состоялось совещание высшего комсостава РККА, на котором обсуждался процесс по делу изменников Родины. Присутствовали командиры, недавно вернувшиеся из Испании. Почти все выступавшие говорили о бдительности, о том, что они подозревали тех, кто теперь осужден.

Но вот слово дали Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. Все присутствовавшие, в том числе и Сталин, хорошо знали, что Мерецков долго служил вместе с Уборевичем. Ждали, что Мерецков начнет каяться, рассказывать о своем недоверии к Уборевичу и так далее. А он заговорил совсем о другом, о боевом опыте, который получен в Испании и требует обобщения и распространения. В зале раздавались недовольные реплики, кто-то крикнул: «Говори о главном!», а Кирилл Афанасьевич продолжал развивать свою тему. Обстановка накалялась. Вмешался сам Иосиф Виссарионович, спросил Мерецкова, как он относится к повестке дня совещания? А Кирилл Афанасьевич ответил такими словами, что многие, наверно, втуне пожалели его:

— Удивляюсь товарищам, которые говорили здесь о своих подозрениях и недоверии. Если они подозревали, то почему же раньше молчали? Это странно. А я Уборевича ни в чем не подозревал, безоговорочно ему верил и ничего плохого не замечал.

Зал замер: все, конец Мерецкову! А Иосиф Виссарионович произнес доброжелательно:

— Мы тоже верили. Вы честный человек, товарищ Мерецков, и я вас правильно понял. А ваш испанский опыт не пропадет, вы получите более высокое назначение.

И действительно — получил. Вот ведь как обернулось! А после ареста Ежова Иосиф Виссарионович приказал тщательно расследовать, как готовился процесс над группой Тухачевского-Уборевича. Были допрошены все, кто вел следствие, кто имел отношение к суду. Сразу выяснилось, что арестованные подвергались пыткам, что признания были вырваны силой, в них много путаницы, что ни один пункт обвинения фактически не доказан. (Документы абвера, полученные через Бенеша, при этом не упоминались.) Расследование показало, что все выдвинутые против Тухачевского и Уборевича — подтасовка и ложь, что преступники не они, а те, кто готовил процесс. Их, этих преступников, следователей ежовского клана, судили и ликвидировали. Но, увы, при этом пострадавшие военачальники не были оправданы, реабилитированы. Почему? Может, на Сталина продолжало влиять досье абвера? Или не хотел признавать, что допустил большую ошибку? Сталин — не ошибается! В политике ведь так: выбирают вариант, который не обязательно справедлив, но обязательно выгоден.

6

Знаете, кто, по мысли Сталина, должен был сменить Ежова на посту Наркома внутренних дел? Тридцатичетырехлетний, полный сил и энергии, прославленный летчик Валерий Павлович Чкалов, известный своим мужеством, честностью, прямотой. На первый взгляд такая идея может показаться странной, однако меня она не удивила, я, как всегда, постарался понять, что же двигало Иосифом Виссарионовичем? Его странное, почти мистическое отношение к небу, к авиаторам, которые, как он считал, приносят ему удачу, умножают своими достижениями его славу?! Но это лишь одна, эмоциональная сторона. Важнее другое. Чкалов пользовался любовью и уважением народа, он мог бы укрепить пошатнувшийся авторитет НКВД, ставшего чуть ли ни пугалом, мог навести порядок в этой сложной организации: с ним пришли бы новые люди, которые убрали бы соратников Ежова, скомпрометировавших себя чрезмерным усердием и слишком много знавших. Чкалов освободил бы тех, кто ни в чем не виновен, а это опять же было выгодно Сталину, говорило бы о его стремлении к справедливости. При всем том репрессивные органы, контрразведку продолжал бы курировать от ЦК Лаврентий Павлович Берия, надежный слуга Иосифа Виссарионовича. Если кого и не устраивал такой вариант, то лишь Берию, который боялся быть отодвинутым на второй план.

Наверно, была бы большая польза, если бы Чкалов действительно возглавил Наркомат внутренних дел. В принципе он дал согласие на это, испросив разрешение сначала провести испытания нового военного самолета И-180, прекрасной машины, которая могла превзойти немецкий «Мессершмитт-109». Чкалов даже начал приобщаться к своей будущей

должности, бывал на судебных процессах, высказал свое недоумение, свое несогласие с некоторыми приговорами, считая их необоснованными. И не кому-нибудь высказал, а самому Сталину. Я не знаю подробностей той долгой вечерней беседы, но Поскребышев с возмущением говорил потом, что Чкалов выскочил от Сталина раздраженный, демонстративно хлопнув дверью.

Этот хлопок дорого обошелся прославленному летчику. Я не думаю, что Сталин давал какие-либо указания о его дальнейшей судьбе, но уж Берия-то не упустил возможности, открывшейся в связи с тем, что отношение Сталина к Чкалову резко изменилось. 15 декабря 1938 года Валерий Павлович, проведя первый испытательный полет на И-180, разбился, не дотянув нескольких сотен метров до аэродрома: двигатель отказал из-за переохлаждения. Случайность? Возможно. Однако, как выяснилось впоследствии, если бы «не сработала» эта случайность, дали бы себя знать другие. Они ожидали Чкалова не только в испытательном полете, но и на охоте, куда он намеревался отправиться. Вряд ли смог он разорвать сжимавшееся вокруг него кольцо. Но это — для документального детектива. Берия, во всяком случае, остался тогда доволен. Он, а не Чкалов, возглавил Наркомат внутренних дел.

Укоренившись в Москве, Лаврентий Павлович чувствовал себя весьма уверенно. Отныне он никого не боялся, за исключением, разумеется, самого «хозяина». А тот в ту пору полностью доверял ему.

Новая метла по-новому метет — это сразу сказалось на всем, даже в быту тех, кто был близок к Иосифу Виссарионовичу. Кончилась нормальная жизнь персонала, имевшего какое-либо отношение к Сталину, обслуживавшего семью в Кремле и на дачах. Все были взяты на службу в органы, получили соответствующие звания, обязаны были являться на собеседования и занятия. И повара, и садовники, и все прочие. Даже постаревшая няня Светланы получила звание младшего лейтенанта. Но она, единственная, пожалуй, заявила во всеуслышание, что чихать хотела на всю эту ерунду. Ни разу не надела форму и ни на какие инструктажи не являлась. Берия не решался трогать эту женщину, заменившую Светлане мать. Светлана такой скандал могла закатить, что Лаврентию Павловичу жарко бы стало. Для Иосифа Виссарионовича Светлана — единственный свет в окошке, он называл ее «хозяюшкой», «воробышком, согревающим мое сердце». Попробовал бы кто выступить тогда против нее! И вот, благодаря вольнодумству няни и независимому характеру Светланы, на Дальней даче, где постоянно жили также родители Надежды Сергеевны Аллилуевой, сохранялась спокойная семейная обстановка. Это, пожалуй, был единственный островок, на который не распространялось влияние Берии. А за пределами этого крохотного «пятачка» Лаврентий Павлович распоряжался повсюду.

Заняв новый пост, Берия прежде всего позаботился о том, чтобы «убрать» тех людей, которые знали Иосифа Виссарионовича до 1905 года, знакомых по Гори, по духовной семинарии, по началу революционной работы. Для чего, какая тут была подоплека? Уловил Лаврентий Павлович желание Сталина «освободиться» от тех, с кем встречался в детстве и в юности. Могу сказать точно, что Иосиф Виссарионович не отдавал распоряжения устранить родственников своей первой и второй жены. Сие столь же достоверно, как и то, что относился он ко всей этой многочисленной родне весьма настороженно, постоянно ожидая каких-

либо каверз или подвоха. И вообще они слишком много знали о его обычных человеческих слабостях.

Искоренение родственников Иосифа Виссарионовича вел Лаврентий Павлович планомерно, по старшинству. Сначала был арестован брат первой жены Сталина, один из старейших революционеров Грузии, примерно ровесник Иосифа Виссарионовича — Александр Сванидзе. После семнадцатого года он занимал высокие посты в своей республике, был членом ЦК Грузинской компартии. Его супруга, выросшая в богатой еврейской семье, получила музыкальное образование, пела в опере. Ее тоже взяли вместе с Александром. Затем — сестру Александра по имени Марико (Маро), работавшую у Енукидзе, и самого Енукидзе.

Из тюрьмы Сванидзе не возвратились.

Настала очередь аллилуевской линии. Тут опять совпали личные интересы Сталина и Берии. Оба они всегда настороженно относились к мужу Анны — сестры Надежды Сергеевны — к Станиславу Реденсу. Почему? Этот поляк был верным другом Дзержинского, благодаря Феликсу Эдмундовичу занимал высокие посты в ЧК. Для Иосифа Виссарионовича это служило отнюдь не лучшей рекомендацией. Кроме того, в семейном конфликте Реденсы всегда поддерживали Надежду Сергеевну, это ведь к ним она намеревалась уехать от Сталина после окончания Промакадемии. А Берия встречался с Реденсом, когда тот работал в Грузии, между ними возникли резкие трения. И вот, едва став Наркомом внутренних дел, Лаврентий Павлович срочно вызвал Реденса, находившегося в Казахстане, в Москву и после недолгого разговора в своем кабинете отправил в тюрьму. Вскоре его расстреляли.

Брат Надежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной Павел Аллилуев, к тому времени известный дипломат, не скрывал своего возмущения расправой со Сванидзе и Реденсом. Дважды он приезжал к Иосифу Виссарионовичу в Кремль, ожидал его на Дальней даче, намереваясь поговорить о родственниках, защитить их, но Сталин не пожелал встретиться с Павлом Сергеевичем. Больше того, один за другим были арестованы почти все друзья и просто сотрудники Павла Сергеевича, вокруг него образовалась пустота. А осенью 1939 года он неожиданно скончался от сердечного приступа. Кто и как довел его до такого состояния, — трудно сказать. Темное дело. Во всяком случае, Берия после войны сумел обвинить вдову Павла Сергеевича в том, что она, будучи вражеской шпионкой, отравила мужа. И вдову вместе с Анной Реденс тоже упрятали в тюрьму на десять лет.

Ну, хватит перечислений. Хочу сказать лишь вот что: из всей родни по линии сталинских жен уцелели только старики Аллилуевы — Ольга Евгеньевна и Сергей Яковлевич. Может быть, их спасло покровительство «хозяйки» Светланы, вместе с которой они жили. А может, не тронули их потому, что не представляли они никакой угрозы Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу. Теперь Сталин мог писать, говорить о своем прошлом, что хотел: возражать, оспаривать было некому.

Ольга Евгеньевна как-то очень спокойно восприняла трагедию своих детей. Обладательница «черной розы» была по-прежнему моложава, деятельна, если о чем и вспоминала вслух, то о своих любовных похождениях, и чем дальше, тем беззастенчивей. А Сергей Яковлевич, потрясенный смертью дочери, постыдным поведением жены, всеми последующими событиями, замкнулся так, что из него слова нельзя было

вытянуть. Молча, сосредоточенно возился с какими-то железками, что-то чинил, поправлял. Вот так тихо и скромно дотянул он до 1945 года.

Ко мне Берия, сделавшись Наркомом, приставил двух охранников, Какулию и Какабадзе, оба темные, волосатые, жилистые. Встретишь ночью — шарахнешься от таких абреков. Они следовали за мной на улице, один из них дежурил или возле моей городской квартиры, или в будочке возле дачи. Постоянное присутствие этих соглядатаев надоедало и раздражало. Обходился же прежде без них. Казалось, что абреки не столько охраняют меня, сколько ждут распоряжения Берии инсценировать несчастный случай с летальным исходом.

Решил при первой же возможности попросить Иосифа Виссарионовича, чтобы освободил меня от опеки, и вообще сказать ему: слишком уж заметным, слишком назойливым становится засилье грузин, причем самых необразованных и невоспитанных. Все нации неоднородны, а живущие в горах, в резко различающихся условиях — тем более. В Грузии есть граждане избалованные, обнаглевшие на легких доходах за счет продажи фруктов, за счет курортников, привозящих большие деньги на берег моря. Но не эти баловни судьбы, курортные бабники, определяют лицо нации. Есть труженики виноградных и чайных плантаций, кукурузных полей, есть шахтеры и металлурги, учителя и врачи, которым нелегко достается каждая копейка. Есть художественная интеллигенция с глубокими самобытными корнями. Славилась Грузия гостеприимством, щедростью, добротой, однако имелись там и полудикие, заносчивые, обидчивые горцы, из числа которых Берия черпал свои кадры охранников. Оказавшись вдали от родных мест, в совершенно чуждой среде, эти нукеры готовы были без рассуждений выполнить любое поручение, были равнодушны ко всему и ко всем. Чтобы закрепить их преданность, Берия выделял семьям «своих» горцев дома и разработанные участки земли возле моря, в долинах, выселив оттуда в Среднюю Азию прекрасных традиционных садовников и огородников — греков, украинцев, болгар, турок. Я доложил об этом Сталину, вернувшись из очередной поездки на юг, но Иосиф Виссарионович был, вероятно, в курсе дела и не придал никакого значения моим словам.

Чаша терпения моего переполнилась, когда в Москве появилась Александра (Ася) Какашидзе, которую считали дальней родственницей и любовницей Берии. Ее вдруг назначили комендантом кремлевских квартир. Лаврентий Павлович был явно неравнодушен к этой странной особе с нервически-резкими движениями. Ходила она в полувоенной форме, всегда с кобурой на ремне, распоряжалась безапелляционно гортанным неприятным голосом — будто ворона каркала. Влияние ее не только в Кремле, но и вообще в органах безопасности быстро росло. Когда арестовали нескольких командиров по ее прямому указанию, по капризу этой бабенки, я счел необходимым высказать свое мнение Сталину, причем сделал это при Берии и в весьма решительной форме. Упомянув о своих охранниках, о засилии бериевских ставленников, что вызывало у многих людей закономерное недовольство. Иосиф Виссарионович слушал меня спокойно, даже слишком спокойно и сосредоточенно, что свидетельствовало о нараставшей буре. У Берии же побагровели мясистые щеки, кровью налились глаза под стеклами очков. Крикнул что-то по-грузински, заговорил зло, кивая в мою сторону, однако Сталин сразу оборвал его:

— Лаврентий, сколько раз повторять: говори на русском языке, — ледяным тоном произнес Иосиф Виссарионович. — Мы не в батумском ресторане.

— Это касается только нас!

— Здесь не место для личных разговоров. Мы находимся на службе партии и государства, а в Советском Союзе государственный язык русский. Или ты хочешь, чтобы мы все не понимали друг друга?

— Нет, я не хочу, — сразу сник Берия, сообразив, что выговор не случаен, что это лишь вступление, за которым может последовать взрыв гнева.

Лицо Сталина побледнело, он хмурился. А Берия хорошо знал, каким испепеляющим разрядом может разразиться сгущавшаяся туча.

— Великий и мудрый! — почтительно заговорил Лаврентий Павлович (не знаю, как по-грузински, но по-русски это звучит слишком уж льстиво, я бы сказал, с примитивной, отталкивающей лестью). — Великий и мудрый, прости, если я ошибаюсь!

— Кого ты набрал в охрану, Лаврентий?! Каким местом ты думаешь, Лаврентий, и думаешь ли вообще?!

Тут я не удержался:

— Одни фамилии чего стоят! Обратите внимание, кроме Какулии и Какабадзе, есть еще и Какачишвили, Мочаидзе, Мочевариани, Бесик Цалколомидзе и даже Ирод Джопуа.

— Вот как?! — произнес Сталин, несколько ошеломленный таким перечнем, и умолк, задумавшись.

Вероятно, я, не заметив того, пересек грань, отделяющую сарказм от юмора, и это спасло Берию. Мысли Иосифа Виссарионовича потекли в другом направлении, и он разразился не гневом, а смехом:

— Лаврентий, где ты набрал сразу столько засранцев?! — с особым нажимом произнес он смачное слово. — Зачем ты привез сюда засранцев со всей Грузии? — весело и почти беззвучно смеялся Сталин, расправляя чубуком трубки усы. — Отправь их назад, не позорь себя и меня. Найди им дело в Пицунде и на Рице.

— Сейчас, великий и мудрый! — воскликнул Берия, стараясь улыбнуться. — Отправлю сегодня!

— Можешь не торопиться. Даю тебе неделю вычистить авгиевы конюшни, — Иосиф Виссарионович еще продолжал веселиться. — Ты все понял, Лаврентий Павлович Какуберия?

Да уж, конечно, Берия-Какуберия уяснил, как мог он тогда сорваться на пустяке. И запомнил этот разговор, отнюдь не улучшивший наши с ним взаимоотношения. Ну а страхолюдные волосатые охранники сразу же исчезли из Кремля. Если и встречались потом, то лишь изредка — в наружной охране, среди телохранителей самого Лаврентия Павловича. Многих нукеров отправил он на Кавказ, а вот Александра Какашидзе осталась. И не только осталась, но и творила все, что хотела. Каркающий голос этой черной вороны звучал в Кремле все чаще и громче. Имея особое разрешение Берии, она присутствовала на Лубянке на допросах «с пристрастием», разжигая самолюбие, а следовательно, и злость палачей. Особое удовольствие получала она, видя, как мучаются сильные, красивые мужчины, теряют свое достоинство, человеческий облик.

Не только присутствовала и смотрела! Часто она являлась на Лубянку в болезненном состоянии, взвинченная и мрачная, как с похмелья, глаза были безжизненные, тусклые. Ей требовалась нервная встряска.

Принималась за дознание и вела его так, что даже опытным палачам становилось не по себе. Александра оживала, веселела, в глазах появлялся блеск, когда корчились мужчины от невыносимой боли в половых органах. Такую изощренность позволяла себе лишь эта садистка.

На Лубянке ее называли Асей, при этом имени цепенели все — от заключенных до руководящих работников. Если от Ежова, имевшего явные отклонения в психике, шарахались в коридорах, прятались в туалетах и в комнатах женщины, работавшие в НКВД и не имевшие возможности даже пожаловаться на насильника, то Ася своим появлением нагоняла страх на мужчин. Приехав в Москву лейтенантом, Какашидзе стремительно повышалась в чинах, звания присваивались ей вопреки всякому порядку, чуть ли не дважды в год. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом. Почему же он снисходительно взирал на «художества» этой родственницы Берии? Объяснение может быть только одно. В тридцатых годах Иосиф Виссарионович еще находил время ездить на юг, к морю. До меня доходили подробности ночных веселий, которые устраивались на даче за Пицундой, в Четвертом ущелье. Были застолья в узком кругу — их организовывал Лаврентий Павлович. Он и позаботился о партнерше для Сталина, сам удостоверившись в ее незаурядных способностях. Вероятно, и на Иосифа Виссарионовича патологическая особа произвела существенное впечатление. Не продолжая свиданий в Москве, никоим образом не раскрывая бывшую связь, Сталин все же испытывал, вероятно, приятное состояние, думая об этой женщине. А может, изредка виделся с ней, — утверждать или отрицать не берусь.

Когда схлынула волна репрессий, когда сам Иосиф Виссарионович заговорил о несправедливом избиении партийных кадров, о перегибах, я счел возможным напомнить ему о лютости Аси и о том, что Берия не выполнил указание Сталина.

— Какое указание? — насторожился он.

— Об отправке в Грузию всех засранцев.

— Нет, это указание выполнено, — усмехнулся Сталин, понявший, о чем пойдет речь.

— Александра Какашидзе находится в Москве.

— Мне известно, — весело продолжал Иосиф Виссарионович. — Но Берия привел веский довод. Вы же сами говорите, что отправить приказано было засранцев, а не…

— Формальная логика. Уловка.

— Конечно, уловка, — согласился Сталин, — но не лишенная остроумия, и это уже хорошо. А насчет Александры Какашидзе мы подумаем. Призовем к порядку.

Действительно, серьезный разговор с Асей состоялся. Ее «набеги» в камеры следователей прекратились (или обставлялись так, что никто не знал о них). Однако стремительное восхождение по служебной лестнице продолжалось. До майора, насколько помню, доросла она. По нынешним меркам не так уж высоко, да? Но надо учитывать вот что: в тридцатых годах воинские звания в армии и в органах госбезопасности были весьма неравнозначными. У капитана госбезопасности в петлицах красовались три «шпалы», как у армейского подполковника (с соответствующими правами). А у майора госбезопасности на петлице — ромб, как у комбрига, что соответствовало в общем-то генеральскому званию. Парадокс — Александра Какашидзе была единственной женщиной, достигшей тогда

такой высоты. Каково? Недаром же говорили о ней: «Сильнее Аси зверя нет!»

7

Чем меньше оставалось в окружении Сталина самостоятельных людей, имеющих не только собственное мнение, но и смелость изложить оное, тем чаще Иосиф Виссарионович испытывал желание беседовать со мной. Понимал он, что со слащаво-льстивым Берией, с беспрекословно поддакивающими Молотовым, Микояном и другими товарищами можно утратить ощущение реальности, потерять навыки спора, противодействия. Обычно раз в неделю он приглашал меня в кремлевскую квартиру на обед, накрывавшийся на восемь человек. Собирались точно к девятнадцати в просторной столовой, которая одновременно были и семейной библиотекой.

Рядом с Иосифом Виссарионовичем усаживалась Светлана, остальные гости (члены Политбюро или наркомы) размещались кто где хотел. Каждый сам наливал или накладывал в тарелку по собственному желанию. Ели не спеша, с вином, с деловыми и шутливыми разговорами, расспрашивали Светлану о школе, о преподавателях. Обед затягивался часа на полтора. Потом все (или несколько человек) продолжали беседу в домашнем кабинете Иосифа Виссарионовича, окна которого выходили к Царь-колоколу и Царь-пушке. Довольно часто (в зависимости от настроения Сталина и желания Светланы) вся компания отправлялась в кинозал. Для этого надобно было пересечь Кремль. Со стороны шествие выглядело довольно странно. По обширному, пустынному, неярко освещенному двору деловито вышагивала долговязая худенькая Светлана, за ней не без труда поспевал Иосиф Виссарионович. Далее — по двое, по трое — гости. Мы с Берией — в конце «колонны». А в отдалении и сзади бесшумно двигались охранники, чуть пофыркивал броневик сопровождения.

Просматривали новую кинохронику и обычно два (а то и три) наших и заграничных фильма. Затягивалось это часов до двух, и лишь глубокой ночью расходились мы по квартирам. Конечно, некоторые фильмы были интересны, но мне гораздо больше нравились наши послеобеденные разговоры с Иосифом Виссарионовичем в его кабинете. Иногда в таких «посиделках» принимали участие Ворошилов, Микоян. Почти непременно присутствовал Берия, который в конце тридцатых годов прямо-таки неотступно следовал за Сталиным, не желая, чтобы тот оставался с кем-либо наедине.

Наши беседы с Иосифом Виссарионовичем выходили, в представлении Берии, за все дозволенные рамки, изумляли и потрясали его. Он считал, что с полным откровением можно толковать только о женщинах, он боялся политических тем (слабо разбираясь в них), боялся вспоминать прошлое (чтобы случайно не выдать себя) и не способен был понять, что я в какой-то мере являлся для Сталина лакмусовой бумажкой, оселком, с помощью которых он выверял, оттачивал свои мысли, суждения.

Особое удивление вызвал у Берии наш спор о преимуществах и недостатках таких форм правления, как самодержавие и диктатура партии или одного лица. Я утверждал, что любая диктатура, как и самодержавие, — это власть не от народа и не для народа, а лишь для какой-то части его: господство меньшинства над большинством, а сие

несправедливо. Чем сильнее диктатура или самодержавие, тем резче разница между правящей элитой и массой. Но есть и различие, отнюдь не в пользу диктатуры. Каждый деспот, по воле случая оказавшийся у власти и опьяненный ею, озабочен главным образом тем, как удержаться на вершине пирамиды. Для этого он идет на любые ухищрения, на любое насилие. А царю такого не надобно. Он получил власть по закону и передаст ее наследникам. Он не является инициатором борьбы за власть, он лишь подавляет в случае необходимости тех, кто вознамерился сломать установленный порядок, захватить верховодство. А это — совсем другое дело.

Главное в том, что царь — самодержец, потомственный правитель, в ответе и за прошлое, и за настоящее, и за будущее страны. Мерзкие деяния предков кладут тень на него самого, он знает: любой просчет, любой срыв скажется на его детях и внуках. А диктатор и окружающие его лица — безответственны, для них нет традиций и законов, они сами себе закон. У них нет прошлого и нет будущего. Вышли из пустоты и исчезнут в черной пропасти времени. Живут одним днем, стараясь выжать из народа все соки сегодня, потому что «завтра» для них, для их близких не существует. В этом источник многих бед нашего времени.

— Имя Сталина будет жить вечно! — не удержался от торжественного возгласа Берия.

— В наших спорах о присутствующих не говорят, — одернул его Иосиф Виссарионович. И ко мне: — Продолжайте, пожалуйста.

— За триста лет царствования дома Романовых в политической борьбе погибли всего сотни, при широком толковании — несколько тысяч человек. Пятеро декабристов, Александр Ульянов с товарищами. Мы их имена помним. А за последние десятилетия, когда разгорелась борьба между партиями, между претендентами на власть, полетели головы без числа, миллионы голов — и правых, и виноватых. Диктатура губит все, с чем она не согласна…

Берия насторожился в своем кресле: почему медлит хозяин, не дает команду арестовать смутьяна?! А Сталин, словно наслаждаясь его злобно-растерянным видом, сделал долгую паузу и произнес как ни в чем не бывало:

— Николай Алексеевич, до сих пор вы ничего не сказали о достоинствах диктатуры. А ведь они есть. Никакая диктатура не смогла бы существовать без поддержки масс.

— Сильная сторона диктатуры — противоположность слабостям самодержавия. При царизме отсутствует приток новых людей, свежей крови в главный эшелон власти, нет естественного отбора сильнейших, умнейших руководителей. Отсюда — вялость, косность самодержавия, замедленность развития. Диктаторы же, наоборот, всегда энергичны, чутки к новому.

— Совершенно верно, — кивнул Сталин. — Они не боятся разрушать отжившее, чтобы расчищать место для будущего.

— И безответственность в определенной степени помогает диктаторам.

— Объясните.

— Самодержец не может обещать народу того, чего не способен выполнить. Коли сказал — должен сделать. Каждое невыполненное обещание подрывает авторитет его самого, наследников. Диктаторы же — люди временные. Чтобы удержаться у власти, они могут обещать полную свободу, полное счастье, сытость и обилие, рай на земле — все, что

угодно. Когда народ устает ждать одних благ, ему обещают другие, более заманчивые. Люди верят, им хочется надеяться на лучшее, они охотнее воспринимают лозунги «щедрых» демагогов, нежели правдивые, но скромные обещания здравых руководителей. Каждый диктатор, жонглируя призывами и обещаниями, одурманивает, словно бы ослепляет, обывателей. Один сулит им сытость и спокойствие, другой — мировое господство. И вот люди ждут, не теряют надежды от обещания до обещания, до тех пор, пока диктатура разваливается. А она разваливается обязательно.

— В какие сроки? — спросил Сталин.

— Коли не под влиянием извне, то после своей победы, когда выявится ее бесперспективность. По формуле: можно всегда обманывать одного человека, можно какое-то время обманывать весь народ, но все время обманывать весь народ — на это не способен никто.

— Формула звучит убедительно. А чем вы ее подтвердите?

— Любое замкнутое сообщество: государство, партия, вооруженные силы — любая закрытая организация предрасположена к загниванию и разложению. В силу своей закрытости и полного общественного контроля, при огражденном от критики руководстве такие сообщества рано или поздно, однако, загнивают обязательно, причем болезнь начинается с головы, совершенно не контролируемой при диктатуре. Более того, любая закрытая организация в конечном счете легко становится преступной. Последний пример — Адольф Гитлер. Став диктатором, он не считается ни с законами, ни с правилами и во внутренних делах, и во внешних. Беспринципность и обман, демагогия и насилие — вот оружие Гитлера и его партии.

— А как не допустить преступлений? — спросил Сталин. — Какие гарантии?

— Гарантии? Свободная критика всех государственных звеньев, всего руководства до самого верха, публичное обсуждение всех мероприятий. Сокращение до крайней необходимости военных и государственных тайн. Полностью независимый суд. Требуется оппозиция, которая сразу вскроет образовавшуюся гниль, заставит людей смотреть на события с различных точек зрения, действовать не в угоду диктатору, а ради общественных интересов. Оппозиция выравнивает линию, выправляет изгибы, помогает не допускать ошибок.

— Согласен с вами, — произнес Сталин.

— За чем же остановка?

— Легко сказать — оппозиция. — Иосиф Виссарионович говорил с усмешкой. — Оппозиция оттягивает на себя массу времени, массу сил, отвлекает от движения по главному направлению, к главной цели. Оппозиция — это противник, который рвется к власти, не давая уверенности, что новая власть будет лучше прежней. Хлопотно и опасно иметь легальных соперников внутри страны. Нам, например, дорогой Николай Алексеевич, вполне достаточно ваших возражений, критики и предложений. Они весомы и полезны. Вы и есть наша оппозиция, причем обладающая великолепным качеством: вы не против нас, вы за нас, вы хотите, чтобы всем было лучше, и мне в том числе. Так я вас понимаю?

— Оппозиция — это коллектив, это сила, имеющая влияние, заставляющая опасаться себя. А я, скорее, выступаю в роли шута при короле: шуту дозволено говорить все, что думает. В нашем случае — не для веселья, а для контраста.

— История знает факты, когда шуты оказывали большое влияние на жизнь государства, нежели министры и целые кабинеты министров. Но вы — наш друг, Николай Алексеевич, а разве шуты и короли бывают друзьями? Дружба предусматривает равенство.

— Возможно. Справедливо лишь то, что я не против вас и не стремлюсь к власти.

— Это тоже очень существенно, — произнес Сталин. — У вас нет личных, шкурнических интересов. От такой оппозиции только одна польза.

— А вот у Лаврентия Павловича другое мнение, — повернулся я в сторону Берии, смотревшего на меня округлившимися настороженными глазами. — Лаврентий Павлович готов без промедления отправить меня на Лубянку, в самую изолированную камеру. Не правда ли?

Берия молча пожал плечами.

— Отвечай, Лаврентий! — весело прищурился Сталин. — Скажи, что ты думаешь?

— Сделаю, как будет приказано.

— Отвечай прямо, Лаврентий! — Сталин продолжал улыбаться, но голос его звучал требовательно. — Считаешь нужным арестовать его?

— Да! — Берия тонко чувствовал, когда можно смягчить Иосифа Виссарионовича лестью, когда пошутить, а когда необходимо говорить только правду, какой бы она ни являлась, дабы не вызвать гнев.

— Значит, считаешь нужным убрать товарища Лукашова?

— Да! — твердо повторил Берия.

— Ну, что же, это хорошо, когда у человека есть определенная точка зрения, — заметил Иосиф Виссарионович, прохаживаясь по кабинету. Остановился возле Берии, жестким взглядом заставив Лаврентия Павловича подобраться, вскочить с кресла. Спросил вкрадчиво, тихо: — У тебя крепкая память, Лаврентий?

— Никогда не забываю твоих слов, великий и мудрый!

— То, что услышишь сейчас, запомни особенно. Если когда-нибудь с Николаем Алексеевичем что-нибудь случится, если хоть один волос упадет с его головы, то же самое, но еще хуже, будет с тобой и со всеми твоими родственниками! — Сталин ткнул чубуком трубки в грудь Лаврентия Павловича, жест был таким резким, что Берия отшатнулся.

— Я понял, великий и мудрый!

Конечно, Берия знал, что Сталин не забывает своих указаний и обещаний. Сказанное тогда Иосифом Виссарионовичем серьезно осложнило последующее бытие Лаврентия Павловича. Не желая того, я стал источником постоянного беспокойства. Насколько проще было бы ему устроить автокатастрофу, пустить пулю из-за угла, отравить меня, спровоцировать… Среди помощников Берии имелись специалисты по таким грязным делам. Но теперь-то перед ним стояла противоположная задача: беречь от всяких случайностей.

Лаврентий Павлович нес персональную ответственность за меня. Но как предусмотреть все? Навязчивую опеку, охранников за спиной я не терпел. И образ жизни вел не замкнутый, как руководители партии и правительства, передвигавшиеся по разработанным, надежным, охраняемым маршрутам: я ездил и ходил, куда понадобится, выполнял различные поручения Иосифа Виссарионовича, связанные с неожиданными поездками, даже с риском. Но ведь Сталин не принял бы никаких объяснений, никаких ссылок на объективные условия. Так и вышло, что, ненавидя меня, Берия готов был Богу молиться, чтобы со мной не

произошло ничего плохого. И чтобы никто не знал, не догадывался, какое положение при Сталине я занимаю. Во избежание недоразумений. На мой взгляд, и с той, и с другой задачей Берия справлялся вполне успешно.

А вот другой разговор, тоже состоявшийся в присутствии Лаврентия Павловича поздним вечером в рабочем кабинете Сталина. Он начал сам, причем совершенно неожиданно: или отвечая на чей-то вопрос (может, собственной совести?), или размышляя вслух, выказывая при этом полное доверие к нам:

— Много крови? Утверждают, что слишком много крови, — проворчал он. — Даже если не утверждают, я по глазам, по лицам вижу затаенные упреки. Можно подумать, что Сталин не политический деятель, а палач.

— В стране действительно слишком много обвинений в предательстве, — сказал я. — Шпиономания какая-то…

— Вот и Николай Алексеевич тоже…

— Растет подозрительность. Доносы.

— Давайте разберемся, — жестом остановил Сталин. — Выступая в несвойственной вам роли адвоката, вы, Николай Алексеевич, оказываетесь иногда правы. Учти это, Лаврентий, — бросил он взгляд в сторону Берии. — Но спрашиваю вас, почему буржуазные государства должны относиться к нашему социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных буржуазных государств?

— Об этом вы уже говорили…

— Да, говорил на Пленуме Центрального Комитета и готов повторять еще и еще раз, потому что считаю эту формулу правильной. А вы не считаете?

— В принципе это верно. Только ведь и Ежов, и Берия…

— Не смешивайте меня с этим врагом и ублюдком, — резко произнес Лаврентий Павлович.

— Хорошо, не буду. Но, Иосиф Виссарионович, товарищ Берия по-своему и довольно оригинально использует вашу формулировку. Он утверждает, что лучше покарать сто невинных, чем оставить на воле одного врага. А это уж, извините, такой подход, что можно только руками развести. Опять получается: слишком много жертв.

— Неужели вы считаете, что жертв было бы меньше, если бы победили наши враги? — Сталин с любопытством смотрел на меня.

— Надо уточнить, какие враги? Их много.

— Совершенно верно. Белогвардейцы, эсеры, интервенты, последователи Троцкого… Но давайте посмотрим. Белогвардейцы не пощадили бы никого из нас, большевиков, они не простили бы крестьян и рабочих, взявших в свои руки землю, фабрики и заводы. Вы же помните, сколько восставших крестьян погибло в Сибири. А лагерь смерти на острове Мудьюг, созданный англо-американскими интервентами?

— Это гражданская война, а на войне всегда льется кровь.

— Ладно, — посуровел Иосиф Виссарионович. — Возьмем то, что непосредственно касается нас. Разве Сталин имеет отношение к расстрелу царской семьи в восемнадцатом году, когда в мрачном подвале убивали детей, женщин? Нет, Сталин не имеет отношения к варварской акции в Екатеринбурге, к той неприглядной акции, которую до сих пор не простил нам западный мир, которая вызвала ответный террор — белый террор! Но

я знаю, знаю, кто был зачинщиком и вдохновителем! — Он так стукнул трубкой по большой мраморной пепельнице, вытряхивая табак, что Берия вздрогнул, а я убоялся: не треснет ли трубка или пепельница.

Иосиф Виссарионович начал волноваться. Отвердело лицо, медленней, сдержанней стали движения.

— Кто послал на завод Михельсона эсерку Фанни Каплан стрелять в Ленина отравленными пулями? Разве это изуверство придумал и направлял я? Нет, дорогой Николай Алексеевич! Все это делали другие… Донское казачество искоренял не Сталин. И к величайшему голоду двадцать первого — двадцать второго годов Сталин никакого отношения не имел. А кто, входя со своей пехотой в украинские села, объявлял: если будет обнаружено оружие, расстреляем каждого десятого жителя. А оружие тогда, в гражданскую, было повсюду. И расстреливали каждого десятого, не щадя женщин и детей. Это не Сталин. Это так называемый борец за справедливость Иона Якир.

— Речь о более близких событиях.

— Не торопитесь, — жестом остановил меня Иосиф Виссарионович. — Дойдем и до них. Не будем смягчать, дорогой Николай Алексеевич: революция — дело крайне болезненное. Революция — это не лечение пилюлями, а решительная хирургическая операция без всякого наркоза. Операция в полевых условиях, во вражеском окружении, поспешная. А ваш покорный слуга — только один из хирургов… Вам знакома фамилия — Саенко?

— Это по ведомству Дзержинского? Чекист?

— Да, из харьковской чрезвычайной комиссии. Еще в девятнадцатом году у него в чека при пытках арестованным загоняли гвозди под ногти, выкалывали глаза. А мертвых выбрасывали в овраг за домом. Прямо из окна. Всех выбрасывали, потому что живыми от Саенко не уходили… Это что, тоже вина Сталина?! Нет! — ответил он сам себе. — Я узнал об этом гораздо позже. И не одобрил… А письма Владимира Галактионовича Короленко, посланные Луначарскому, читали?

— Да, изданные в Париже, если не ошибаюсь, в двадцать втором году.

— Знаете, что ни на одно из писем Луначарский так и не ответил? Уклонялся. А почему? Правду ведь писал Короленко, обвиняющую правду. О том, как чекисты расстреливали людей в административном порядке, без суда, как убивали прямо на улице, на глазах жителей, а собаки лизали вытекавшую кровь… Разве Сталин допускал когда-нибудь такое гнусное безобразие?! — резким движением он расстегнул ворот, едва не оторвав пуговицу. — Обязательная регистрация в ВЧК всех царских офицеров, их уничтожение или высылка, это что — Сталин?.. Никакого отношения! А вспомните, как Троцкий добивался, чтобы в нашей стране был сохранен военный коммунизм, ратовал за трудовые округа наравне с военными, чтобы рабочие и крестьяне трудились под надзором надсмотрщиков, словно рабы, обогащая правителей?! Добиться этого можно было только одним путем — подавив сопротивление всех недовольных.

— Слава Богу, такого не случилось.

— Считаете, что заслуга принадлежит господу Богу? — прищурился Сталин. — А может, тем, кто вел и ведет беспощадную войну с троцкистами?! Еще несколько фактов. В мае семнадцатого, при Временном правительстве, состоялся всероссийский сионистский конгресс, суть которого сводилась к тому, как сделать Россию большой провинцией для иудеев.

— Я слышал об этом, но не воспринял всерьез.

— Меня всегда поражала уступчивость, политическая наивность русской интеллигенции!.. — развел руками Иосиф Виссарионович. — А между тем в мае следующего года сионисты провели в Москве конгресс еврейских общин. Главный лозунг конгресса — да здравствует воинствующий сионизм! И в том же году, летом, с помощью председателя ВЦИКа Якова Мовшевича Свердлова сионисты протащили через Совнарком закон о смертной казни за антисемитизм. Удивительнейший закон. — Иосиф Виссарионович был теперь внешне спокоен, сдержан, размеренными мелкими шажками ходил от стены до стены. — С русским, с украинцем, с грузином, с азербайджанцем, со всеми другими вы можете поспорить, поругаться, даже подраться, лишь на иудея вы не можете возвысить голос, не имеете права ни в чем ему отказать. Только попробуйте поговорить круто, не принять на работу или на учебу — это основание, чтобы привлечь вас к судебной ответственности. Вплоть до расстрела. А ведь они даже не стояли у власти. Что бы они творили, если бы стояли?!

— Дело Сергея Есенина, — подсказал Берия.

— И это тоже. Сионисты привлекали к ответственности Сергея Есенина за «чрезмерное» воспевание России. И его друзей-поэтов Ивана Ерошина и Алексея Ганина.

— Ганин был приговорен к смертной казни и расстрелян в двадцать пятом году, — уточнил Берия.

— Принял мученический венец за стихи. А Бухарин тогда же начал печатать против Есенина свои оголтелые злые статьи.

— Но и вы, Иосиф Виссарионович, не очень жаловали Есенина?!

— Он хороший поэт, но слишком национальный поэт. Мы вынуждены бываем иногда идти на уступки в своих оценках. С классовых позиций, — уточнил он.

— А вот поговаривают: идеи и мысли Бухарина быстрее и без потерь помогли бы вести вперед государство.

— Бухарин, Бухашка, — поморщился Иосиф Виссарионович. — Не будьте же вы так доверчивы, Николай Алексеевич, научитесь отличать политических деятелей от болтунов.

— Но ведь Ленин высоко ценил его.

— Да, в определенное время. Бухарин и ему подобные политиканы полезны были в тот период, когда нужно было ломать, разрушать. А когда потребовалось создавать новое, претворять теорию в практику — какая польза от него и от таких, как он? Бухарин выдвигал одну теорию за другой, выступал то с одной, то с другой идеей, а через год признавал их ошибочность, открещивался от них. Хитрая лиса, которая держит нос по ветру, чтобы хоть каким-то образом держаться у власти. Домашние его так и называли — Лис. Кроме выдвижения спорных идей, он ни на что не способен и никому не нужен… Между прочим, в восемнадцатом году, когда Ленин настаивал на заключении Брестского мира, Бухарин требовал арестовать Владимира Ильича. Но кто мог гарантировать жизнь арестанта, да еще в то бурное время?! А! — резко махнул рукой Иосиф Виссарионович, будто отталкивая неприятное. — Что за кумир этот Бухашка! У него жена больная, а он сошелся с Эсфирью Гуревич. А потом с юной Лариной, дочерью троцкиста, который считал необходимым любой ценой загнать русский народ в лагеря труда. И Бухарин подхватил эту теорийку. А как загонять? Силой, ломая сопротивление?! Опять жестокость, опять кровь. И крови могло быть гораздо больше, чем сейчас.

Делать революцию, добиваться победы одного класса над другим невозможно в белых перчатках.

— Да, — сказал я, — перчатки быстро изгваздаются. Однако сохранить при этом чистую совесть вполне возможно.

— Ми-и надеялись на Ягоду. Ми-и очень надеялись на Ежова, он казался вполне добросовестным человеком.

— И Берия кажется теперь вам таким?

— Уверен, что Лаврентий Павлович приложит все силы, чтобы исправить положение и выполнить поставленные перед ним задачи.

— Да, великий и мудрый!

— Помолчи, — брезгливо поморщился Сталин. И продолжал: — Борьба с внешними и внутренними врагами идет бескомпромиссная. Или они, или мы. Знаю, как будут судить обо мне в будущем. Как об Иване Грозном. Сначала обвинения. Но со временем потомки поймут и справедливо оценят нашу борьбу, нашу правоту. Вероятно, меня будут упрекать в твердости и бессердечии. Но ни один честный человек не сможет обвинить меня в личной заинтересованности.

— Блажен, кто верует!

— Тепло тому на свете?! — полувопросительно подхватил Иосиф Виссарионович. — Нет, мне как раз часто бывает очень неуютно и холодно. Мы закладываем фундамент будущего. Кто-то должен расчищать грязь, убирать завалы, прокладывать дорогу для тех, кто идет следом?! Эта неблагодарная работа выпала на нашу долю, мы не имеем права от нее отказываться и обязаны довести ее до конца.

— Вы не только веруете, но заражаете, увлекаете других, даже меня, не очень-то молодого человека.

— Спасибо за хорошие слова, Николай Алексеевич. Все больше людей шагает теперь в ногу с нами. Но немало еще таких, которые готовы бороться с нашими установками, которые терпеть не могут Сталина. «Восточный идол. Чингиз-хан с телефоном», — так соизволил выразиться обо мне гражданин Бухарин. А Каменев удивлялся наигранно: «Азиат, а гарема не имеет.» Впрочем, какой он к черту Каменев, этот Лев Борисович Розенфельд!.. Доудивлялись, голубчики! — Сталин сжал кулаки. — А на расправу-то жидковаты, — зло усмехнулся он. — Григорий Зиновьев поэта Гумилева Николая Степановича без колебаний и содроганий к стенке поставил. А когда самого на расстрел повели, так идти не смог, на карачки осел. Под руки его из камеры волокли… Вот Михаил Павлович Томский сам с собой догадался покончить. Человек был порядочный, за рубеж от трудностей не убегал… Так-то, дорогой Николай Алексеевич! Даже в те годы, когда мы были заодно, когда обращались по-дружески: Каменюга, Бухашка, Зин, Коба — даже тогда эти лицемеры между собой презрительно называли меня «шашлычником». Да, я не могу избавиться от акцента. Да, я не получил такого образования, какое получили некоторые из них. Но я всей душой люблю народ, чувствую себя представителем всех советских национальностей. А что знают о народе они, подолгу жившие за границей, после революции поселившиеся у нас во дворцах, в фешенебельных гостиницах, каждый год отправлявшиеся отдыхать и лечиться на курорты Италии? Лозанна им нравилась. Жены в Берлине у лучших врачей рожали. Советских врачей им мало… Не знают они народных забот, дорогой Николай Алексеевич. Мы с вами трудимся, ошибаемся, переживаем, ночи не спим, а они лишь критикуют нас, выдвигают для поддержания своего престижа приманчивые идеи. И я

уверен: пройдет несколько десятилетий или даже столетие, и обо мне скажут: Сталин всю жизнь боролся за будущее, за самостоятельность русского и всего советского народа, отбивая настойчивые поползновения наших врагов.

— А может, наоборот, будут восхвалять тех, кого сейчас осуждаем, начнут ставить памятники погибшим.

— Когда и почему погибшим? — вопросом ответил Сталин. — При Ленине, при Дзержинском? Во время революции, после нее?

— Теперь, в тридцатых годах.

— Ах, вот что, будут ставить памятники Ягоде, Ежову, их прихвостням — следователям и палачам, которых покарала советская власть.

— Не знаю, достойны ли. Но вот Каменев, Томский, Рудзутак, Рыков, Зиновьев…

— То есть заядлые троцкисты, — подытожил, усмехнувшись, Иосиф Виссарионович. — Неисповедимы пути Господни… Только необходимо соблюдать историческую последовательность и справедливость. Надо начинать с памятников боярам, которые строили козни прогрессивному царю Ивану Грозному и поплатились за это. А на Красной площади, на месте казни, необходим памятник стрельцам, бунтовавшим против Петра Первого… Очень много будет памятников жертвам разных эпох по всей стране, — насмешливо продолжал Сталин. — Очень много будет памятников тем, кто по колени в крови стремился к власти, кто сам убивал, а потом оказался в числе пострадавших. Очень много работы для скульпторов и архитекторов. — Передохнул и закончил серьезно: — Пусть всем этим когда-нибудь займутся историки. А нам надо жить и работать. Мы будем твердо вести линию нашей партии, будем делать то, что намечено партией.

Он замолчал, ссутулился, поблек лицом. Кончился порыв, проявилась усталость. Но спустя несколько секунд нашел в себе силы улыбнуться и сказал Берии:

— Видишь, Лаврентий, что получается? Не только наши враги, не только некоторые обыватели, но и верный друг Николай Алексеевич — все упрекают нас: много крови. А дыма без огня не бывает. Учти!..

Этот долгий разговор заставил меня основательно подумать и пересмотреть некоторые впечатления прошлых лет. И, чтобы не возвращаться к той беседе, скажу еще вот о чем. Вернувшись домой, я перелистал брошюрки Николая Ивановича Бухарина, обновленно, с особой остротой, воспринял его выпады против Есенина, как нашего российского певца-поэта.

Не навязывая своего мнения, приведу лишь пару цитат. Вот что писал Бухарин: «Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера»: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще».

Или:

«С легкой руки Сергея Есенина, этой «последней моды», у нас расползлось по всей литературе, включая и пролетарскую, жирное пятно этих самых «истинно русских блинов…» Знакомясь с подобными эскападами, надо не упускать из виду, что это не просто мнение читателя Бухарина, проскользнувшее в печати, а высказывание одного из крупных государственных деятелей своего времени, почти непререкаемого

авторитета в области идеологии. Подобные удары для поэта — как кувалдой по голове.

Вполне естественно, что у Бухарина нашлись помощники-подражатели, желавшие выглядеть как можно лучше в его глазах, подпевать ему. На Есенина ополчилась в печати целая шайка, возглавляемая А. Крученых. В эту компанию входили Безыменский, Авербах, Киршон. Как только они не обзывали Есенина! «Кулацкий поэт», «великий развратитель юных умов» и так далее и тому подобное. «Чем большие успехи будут делать наши колхозы, тем быстрее будет уходить Есенин вдаль. Сплошная коллективизация, как органический процесс, и индивидуалистическая песнь Есенина — антиподы».

Да, не радовала, значит, русская национальная песня слух некоторых сверхреволюционных деятелей! Попробуйте представить себе состояние Есенина при такой травле!

Хочу еще раз отметить, что Иосиф Виссарионович обладал феноменальной памятью, особенно в том, что хотя бы косвенно имело отношение лично к нему. Кого угодно мог удивить совершенно неожиданным возвращением к тому, что давно прошло и забылось. Спустя долгое время после беседы, о которой сказано выше, достал он однажды из своего бекауриевского сейфа стопку бумаг с большой скрепкой, резко выдернул первый лист, протянул мне:

— Вы когда-то интересовались, посмотрите.

Это был подлинный акт о том, что 28 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» был обнаружен мертвый поэт Сергей Есенин с петлей на шее. Акт составили сотрудники милиции и врач, вызванный на место происшествия. Из документа явствовало, что письма о причинах своей гибели поэт не оставил. Врач, осматривавший мертвеца, зафиксировал: смерть наступила за пять часов до обнаружения трупа, то есть примерно в пять часов утра. Далее говорилось, что на голове погибшего обнаружены следы ударов, а также взрезаны вены, что могло послужить причиной смерти до того, как на шее поэта оказалась петля. Я, потрясенный, сразу спросил Сталина, как он ко всему этому относится?

— А как я могу относиться, если есть заключение врача, — раздраженно произнес Иосиф Виссарионович и, взяв у меня акт, решительно порвал его. — Много у нас разных неприятностей, недоставало еще и этой на весь белый свет.

— Но… — хотел возразить я, однако Сталин прервал меня:

— Взгляните на следующий документ.

Я посмотрел. Это было заключение судебно-медицинского эксперта А. Г. Гиляревского, который производил вскрытие трупа. Он не подтвердил выводы первого врача и констатировал, что от момента смерти до обнаружения трупа прошло более семи часов. Разница существенная.

— Я не обратил внимания на фамилию, кто первый врач?

— Николай Алексеевич, нам достаточно скандалов, — повторил Сталин. — Врач будет молчать. Хочу, чтобы вы поняли: нам известно об этом деле не больше того, что есть в этих бумагах, и ковырять глубже мы не хотим. Это не принесло бы ничего, кроме новых неприятностей.

— И все же: убийство или самоубийство?

— Ви-и знаете мое отношение к Есенину, но скажу еще раз. Он был хороший поэт, очень большой поэт, я не поддерживал его, но я никогда не желал ему зла. Он не мешал мне. Были и есть другие, которые видели и видят в нем только врага…

Я промолчал. А что мог я возразить Иосифу Виссарионовичу? Если бы речь шла о военных вопросах, я обязан был бы докапываться до всех основ, до самого корня. Это моя работа, я за нее отвечал. А поэзия — не по моей части. Хорошо, что по-дружески, по-человечески Сталин делился, советовался со мной, облегчая, вероятно, собственную душу. На большее в данном случае я не имел никакого права.

Давняя это история, но все же: вдруг где-то сохранились записи врача, который первым осматривал Есенина?! Да-да, жалею, что не обратил внимания на его фамилию, но может кто-то помнит? Удастся ли в конце концов раскрыть тайну смерти поэта?!

К месту будь сказано: русская есенинская деревня со своим многовековым укладом, со своими прекрасными традициями, глубокими корнями была ликвидирована не Сталиным. Не в годы коллективизации и даже не в годы Великой войны, подорвавшей, безусловно, многие ее основы, оставившей ее без мужиков. Российскую деревню-кормилицу разгромили, развратили, добили торопливые, безмозглые или, наоборот, хитрые, гребущие под себя и для себя и при этом ни за что не отвечавшие деятели, чиновники, хозяйничавшие во времена Хрущева и особливо — при Брежневе.

А разговор о жестокости имел вот какие последствия.

Разбирая утреннюю почту на своем рабочем столе, я обнаружил плотный немаркированный конверт с моей фамилией и инициалами. Вскрыл. В пакете одна машинописная страница без обращения, без подписи и без даты. Прочитал:

«В феврале 1923 года (месяц и год подчеркнуты. — Н. Л.) на Никитском бульваре г. Москвы покончил с собой выстрелом в висок член партии Скворцов (из рабочих), являвшийся ревизором но обследованию деятельности ГПУ. При нем найден нижеследующий документ, адресованный в ЦК РКП(б). «Товарищи! Знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране завоеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения, как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению тов. Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я принимал бессознательное участие, числясь ответственным работником компартии. Искупая смертью свою вину, я шлю вам последнюю просьбу: опомнитесь, пока не поздно, и не позорьте своими приемами нашего великого учителя Маркса и не отталкивайте массы от социализма».

Не опомнились, значит. Или невозможно было опомниться, остановиться в разгоравшейся борьбе не на жизнь, а на смерть! Но кто счел необходимым познакомить меня с документом? Думаю, Лаврентий Павлович. А для чего? Знаете, мол, Николай Алексеевич, что происходило в карательных органах сразу после революции. А ведь партией и государством руководил отнюдь не Иосиф Виссарионович, так что не он начинал… Есть над чем поразмыслить.[28]

8

Артист Иосиф Виссарионович был не блестящий, но ведь и не требовалось ему перевоплощаться, у него была лишь одна, зато главная роль, которую он исполнял строго и неукоснительно. К тому же и

режиссер он был замечательный, умевший заранее, без афиширования готовить нужные ему спектакли, да еще так, чтобы в самое подходящее время четко выразить запрограммированную суть, идею. Вот типичная сцена. Прием лучших комбайнеров, приехавших со всей страны. Многие люди впервые в столице, среди членов правительства, в совершенно непривычной обстановке. Терялись, робели. Добрый, усатый, улыбающийся Иосиф Виссарионович беседовал то с одним, то с другим передовиком, по-отечески расспрашивал о жизни, о достигнутых успехах, о том, что им мешает. Советовался, как распространить опыт. Обстановка создалась деловая, доверительная, радостная, люди откровенно говорили обо всем.

На трибуне — крепкий, немного мешковатый деревенский парень. На щеках здоровый румянец. Комбайнер он отличный — все знают. А движения скованны, неуверенны. И начал речь свою необычно. Сказал четыре слова:

— Я, товарищи, сын кулака… — И смолк, озираясь.

В напряженной тишине послышался спокойный, доброжелательный голос Сталина:

— Сын за отца не отвечает. Продолжайте, пожалуйста.

Зал замер, будто пораженный шоком, слышно было, как всхлипнул парень, вытиравший хлынувшие слезы. А потом, словно взрыв, грохнули аплодисменты. Видать, многих так или иначе касался этот больной вопрос.

Да ведь и самого Сталина тоже. С какой стати должен был бы Иосиф Виссарионович отвечать на пьяные дебоши и скандалы сапожника Джугашвили?!

Так родился лозунг, мгновенно получивший известность по всей стране, возведший Сталина в ранг защитника обиженных, невинно страдающих. Этот лозунг читали и слышали все. Но мало кто знал, что вскоре, в 1937 году, был принят очень жестокий и абсолютно несправедливый закон, по которому не только дети, но и ближайшие родственники человека, совершившего с точки зрения властей военно-политическое преступление, несли ответственность за него. По этому закону семьи «изменников родины» (в том числе перебежавших на сторону врага, попавших в плен, просто работавших на территории, занятой противником) подвергались высылке минимум на пять лет, а имущество конфисковывалось.

Пытался я доказать Сталину, что введение системы заложников — вопиющее безобразие, и только руководители, не верящие в свою силу и справедливость, могут опуститься до низкопробной мести, что, наконец, подобный закон не укрепит нас, а лишь озлобит сотни тысяч, миллионы людей.

Иосиф Виссарионович колебался, прежде чем высказать свое решающее мнение. Однако на принятии закона настаивали Ворошилов и Буденный. Несмотря на многочисленные аресты в армии, они все же не были уверены в своем влиянии, им нужен был еще один рычаг для упрочения положения в вооруженных силах. Опасались, что без круговой поруки, без системы заложников, разбегутся, рассыплются в случае большой, трудной войны многие полки и дивизии. Недоверие, подозрительность по отношению к командному составу достигла предела.

Итак, закон был принят и принес потом много бед невинным людям. Послужил он не консолидации, не сплочению общества, а лишь вбил новые разъединяющие клинья. Матери, жены, сестры «врагов народа»

оказались в ссылке, особенно когда началась война. Дети изолировались от родителей, чтобы не испытывали их «пагубного» влияния.

Меня, конечно, прежде всего интересовало положение семей наших репрессированных военных руководителей. Жены и матери — люди взрослые, позаботятся о себе сами, но каково детям с их неокрепшими душами?! Их увезли в Астрахань, в специальный детский дом. Воспользовавшись первой же возможностью, я побывал там, побеседовал с директором, познакомился с условиями, в которых жили девочки и мальчики. Условия были обычные для детских домов, неплохие. Но, разумеется, существовал определенный режим, имелась негласная охрана: с территории не выйдешь, не убежишь.

Сие детское учреждение пользовалось, естественно, особым вниманием со стороны местных органов. Наезжали и представители из Москвы. К удивлению директора, я был первым из столичных гостей, кто заговорил с ним не о строгости по отношению к «спецконтингенту», не о бдительности и т. д., а, наоборот, посоветовал не забывать, что он имеет дело с девочками и мальчиками, у которых такие же права, как у всех советских детей. Надо воспитывать их в таких же правилах, уделять им как можно больше внимания и заботливости — ведь они не по своей воле расстались с родителями. Представителям местных органов мои слова явно пришлись не по нутру, но я резко заявил, что буду контролировать положение дел.

Директор показался мне человеком добрым и понимающим, воспитатели — обычные для таких учреждений. Дети выглядели здоровыми. Они занимались в школе, в различных кружках. О веселости, жизнерадостности, конечно, не могло быть речи. Но вот что потрясло меня, незабываемо осталось во мне. В праздничный день побывал я там. Было торжественное собрание, посвященное годовщине революции. Я незаметно вошел в зал и увидел знакомых детей: возле гипсового бюста Ленина стояли в почетном карауле, с галстуками на белых блузах, Светлана Тухачевская, Владимира Уборевич, Петр Якир. Над ними — знамя, такое же знамя, под которым отстаивали советскую власть их отцы.

Теперь отцов уже не было…

Господи, до чего сложна, запутанна жизнь!

Пройдет немного времени, и эти дети, достигнув совершеннолетия, разделят участь своих матерей, старших родственников и тоже окажутся в ссылке, в самых далеких, глухих районах. Но закон есть закон, в нем определен срок. Постепенно, отбыв его или просто получив самостоятельность после детского дома (разные были дома), дети «врагов народа» начали возвращаться на прежние места жительства, в том числе и в Москву. Особенно много вернулось в 1942 году — кончился срок первой массовой ссылки. Девушки и юноши поступали в институты, в университеты. Это очень беспокоило Берию. Особенно когда осложнилась обстановка под Сталинградом, когда казалось, что режим висит на волоске, и Сталин в связи с этим (чтобы не торжествовали враги!) распорядился уничтожить уцелевших еще в лагерях политических противников.

С детьми репрессированных поступили совершенно в бериевском стиле. Лаврентий Павлович нашел возможность вновь обвинить их. Каким образом? Мастер всяческих подлостей, специалист по растлению душ человеческих, Берия выпустил из лагеря, после соответствующей обработки и самых щедрых обещаний, одного молодого человека, фамилию которого я не хочу называть, она известна и поныне. Этот

общительный юноша в форме лейтенанта-фронтовика, с нашивкой за ранение, появился в Москве вместе с несколькими «боевыми приятелями», грудь которых украшали награды. Его охотно принимали в семьях «врагов народа», особенно радовались сверстники и сверстницы, с которыми он когда-то томился в Астраханском детском доме. Гордились, умилялись этим парнем, фронтовым разведчиком: вот, мол, один из нас, а как преданно, геройски служит Родине! И мы все такие же, только доверьте нам! Раскрывали чаяния свои перед этим веселым юношей и его «приятелями». Откровенничали, не подозревая, что это очередное коварство Берии, очередная ловушка, подготовленная им, увы — не без ведома Иосифа Виссарионовича, начавшего к тому времени опасаться расплаты за содеянное со стороны нового поколения родственников своих истинных и мнимых политических врагов.

Бойкий очаровательный провокатор разъезжал по Москве, разыскивал семьи бывших военных руководителей, восстанавливал связи, устраивал молодежные вечеринки с редким в то время вином, вел вольные откровенные разговоры, которые охотно поддерживались его «приятелями»-лейтенантами.

А потом последовали аресты, и все, о чем говорили и спорили, оказалось известно следователям, причем в искаженном виде. Передернуть можно любые слова, особенно если несколько «свидетелей» топят одного обвиняемого. «Приятели»-лейтенанты — сотрудники органов не стеснялись в выражениях. Показывали то, что требовалось для следствия. Владимира Уборевич, Светлана Тухачевская и многие другие вновь оказались в лагерях. Однако и провокатор, выдававший себя за фронтовика, недолго пользовался свободой. Как только миновала надобность, его вновь запрятали в лагерь, правда, отныне уже в качестве сексота, что давало ему некоторые бытовые преимущества и ежемесячное денежное довольствие. Пятьдесят рублей в месяц, если не ошибаюсь.

Вспышка «вторичных» арестов завершилась в 1944 году. Одной из последних пострадала дочь старого большевика-ленинца Бубнова. Студентку Елену Бубнову обвинили в подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича. Ее товарищ, шофер «скорой помощи», должен был, якобы, перекрыть своей машиной улицу в намеченном месте, остановить автомобиль Сталина. Ну, а Елена Андреевна Бубнова — стрелять из окон квартиры.

Последовал скорый суд. Бубнову упрятали за решетку, где она и пробыла более десяти лет. А когда после смерти Сталина начали пересматривать «дела» пострадавших, молодой сотрудник госбезопасности поехал на место предполагавшегося «преступления». Он зашел в квартиру, из которой должны были стрелять в Иосифа Виссарионовича, и с удивлением обнаружил, что из окон этой квартиры стрелять попросту некуда. Они выходили в узкий двор, на глухую стену соседнего дома… Побывала там после освобождения и Елена Андреевна. Любопытство привело посмотреть.

Чтобы не возвращаться больше к тому Указу, самому нелепому в истории нашего Советского государства, еще раз забегу вперед. Только в сорок первом году в плен к фашистам попало несколько миллионов наших военнослужащих. Особенно много украинцев и белорусов. Однако их родные места были оккупированы гитлеровцами, на их семьи упомянутый закон распространиться не мог. Зато из российских областей потянулись на восток эшелоны, переполненные женщинами, детьми, стариками. За

«преступления» мужей, отцов, братьев, оказавшихся в плену, их высылали в Сибирь. А что такое сорвать с корня женщину с двумя-тремя ребятишками в трудные дни войны? По пути в ссылку их еще кое-как кормили. А на месте они должны были добывать харчи, одежду сами. Но как? На родине имелся огородик, картошка в погребе, знакомые помогли бы… А в Сибири эти люди оказывались совершенно беспомощными. Умирали от истощения, от холода.

Затем последовала вторая волна ссыльных по названному выше Указу. Обстоятельства вот какие. Занимая местность, фашисты отдавали распоряжения всем жителям под страхом смертной казни выходить на свою прежнюю работу. И везде выходили, трудились кто как, лишь бы числиться в списках, получать паек. Но когда началось освобождение областей, где немцы пробыли несколько месяцев, всех мужчин, выходивших на работу при гитлеровцах, зачислили в разряд предателей, пособников, изменников Родины. Для них — тюрьма или расстрел. Для семей — ссылка. В освобожденных районах были таким образом арестованы почти все оставшиеся в оккупации мужчины. Больные, инвалиды, не призванные в армию по возрасту и так далее. Это была последняя чистка, выкосившая мужское население центральных и западных областей России. Опять эти места пострадали несравненно больше других. Что поделаешь — они ближе к столице и не имели никаких промежуточных защитных инстанций в виде, например, своего республиканского ЦК. Все эксперименты, все перегибы сразу отражались на центральных районах. Пока, к примеру, постановление, закон дойдут до Армении или Азербайджана, пока там интерпретируют их применительно к местным условиям, накал, ажиотаж очередной кампании уже спадет, перегибов почти не будет. А вся боль доставалась российскому центру. Так доставалась, что после войны российские области вообще оказались без мужчин.

Справедливости ради не могу умолчать о принципиальности Иосифа Виссарионовича, который считал, что законы распространяются и на его семью. Когда выяснилось, что Яков Джугашвили находится в плену, его жена Юлия Мельцер-Джугашвили два года провела в заключении. В одиночной камере. Не пять лет, но все же… Однако маленькая дочь Якова, внучка Иосифа Виссарионовича, печальной участи избежала, в отличие от всех остальных детей. По блату, так сказать, не испытала маленькая Галя Джугашвили того, что было уготовано другим детишкам, не имевшим столь влиятельного дедушку.

Через некоторое время, когда началось массовое освобождение наших западных районов, выяснилось, что там фактически работало в период оккупации все взрослое население. А как же иначе? Умерли бы с голоду, не говоря о расстрелах уклонявшихся. Возникла дилемма: призвать миллионы мужчин Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики в нашу истощенную потерями армию или отправить этих мужчин в ссылку в Сибирь, на «трудовой фронт»?

Сама жизнь заставила приостановить в сорок третьем году действие закона. На Украине, в Белоруссии, Молдавии карались лишь те, кто сознательно переметнулся на сторону гитлеровцев, вместе с ними участвовал в преступлениях против советского народа. Это естественно. Но пока дошли до понимания столь простой истины, Россия-то наша опять пострадала. Да и вообще: не народ же виноват в том, что территорию

захватывал враг, устанавливая на ней свой порядок. Если кто и должен был отвечать, так это те лица, которые пустили фашистов в глубь страны.

Теперь, когда я сопоставляю лозунг Иосифа Виссарионовича «Сын за отца не отвечает! Дети за родителей не в ответе!» и пресловутый Указ, заставивший страдать многих граждан, невольно вспоминается коротенький анекдот. Приходит человек к психиатру: «Что со мной, доктор? Думаю одно, говорю другое, делаю третье?» — «Извините, — отвечает доктор, — но от сталинизма не лечим…»

И это я пишу при всем уважении к Иосифу Виссарионовичу. Но светлое есть светлое, а темное есть темное.

9

Буденный рассказывал о себе:

«Вижу, дело плохо, трех маршалов посадили, вот-вот до меня доберутся. Поехал на дачу, выкопал из-под яблони два «максима», затащил на чердак. Занял оборону одним пулеметом на север, другим на юг. Вскорости, гляжу, едут. Выскочили энкавэдэшники из машины, ломят ворота. Я по ним трах-тах-тах. Попадали, отползли. С тыла обходят. Я — из другого пулемета. Они назад по-пластунски. Окапываться начали. Звоню отцу:

— Товарищ Сталин, за мной приехали, взять хотят!

— А вы?

— Отстреливаюсь пулеметами.

— Патронов много?

— Десять коробок.

— Сколько продержитесь?

— Часа полтора.

— Разберемся.

Снова стреляю. Через час подкатывает полуторка. Энкавэдэшники повскакивали, машут: прекрати огонь. Подобрали убитых и раненых, погрузили в машину, укатили. А у меня телефон зазвонил:

— Товарищ Буденный, мы все выяснили. Произошло недоразумение.

— Спасибо, товарищ Сталин!

Ну, передохнул, гильзы стреляные смел в угол. И вдруг снова звонок:

— Товарищ Буденный, а откуда у вас на даче станковые пулеметы?

— Именное оружие, товарищ Сталин. Реввоенсовет и вы лично наградили меня шашкой и наганом, а бойцы Первой конной преподнесли именные пулеметы.

— Это очень хорошо, когда бойцы любят своего командира. Но плохо, когда пулеметы стоят между вами и нашими карательными органами. Это непорядок. Пусть у нас нигде не будет преград. Сдайте свои пулеметы под расписку.

— Слушаюсь, товарищ Сталин.

Связался с Климентом Ефремовичем, вместе поехали в арсенал, сдали мои «максимы». Возвращаемся назад. Ворошилов загрустил, а я улыбаюсь. Он спрашивает:

— Чему радуешься, Семен Михайлович? Без защиты остался.

— Ха, у меня в саду две пушки и снаряды закопаны. Картечь. Сегодня же на чердак затащу…»

Такой вот анекдот рассказывал Буденный, но не в тридцатые годы, а после того как не стало ни Берии, ни Иосифа Виссарионовича. Это,

разумеется, шутка, но мне хорошо известно другое: ложась спать, Семен Михайлович вынимал из кобуры пистолет, загонял в ствол патрон и оставлял оружие на стуле или на тумбочке, не далее расстояния вытянутой руки. Не знаю, как дома, а в поездках — всегда. Он объяснял это привычкой, сохранившейся с гражданской войны, которая, дескать, чревата была всякими неожиданностями. Семен Михайлович твердо верил: прав тот, кто выстрелил первым. Главное — остаться в живых, а в остальном разберемся. И это при том, что даже в самые трудные годы репрессии меньше всего угрожали Ворошилову и Буденному. Не хотел Иосиф Виссарионович лишаться самых надежных друзей и помощников, наоборот, всячески содействовал укреплению их позиций в армии.

И уж если Сталин свел счеты со своими подлинными и мнимыми противниками, то Ворошилов и Буденный — тем более! Убрали всех, кто мог сказать слово против них, кто был знаком с темными сторонами их прошлого. Тухачевского, например. Или вот наиболее характерный случай. Давайте вспомним выдающегося полководца гражданской войны Николая Акимовича Худякова. Я уже рассказывал о том, как отличился он, командир 1-й Коммунистической дивизии, в боях за Царицын. Много раз спасал положение. Закончив Алексеевское военное училище, он воевал затем в 4-м Заамурском полку на Юго-Западном фронте, в Галиции. Там я и познакомился с ним. Светлого ума был человек и отчаянной храбрости офицер. Награжден был орденом Георгия Победоносца, орденом Св. Станислава с мечами и бантом, офицерским Георгиевским оружием. И этот храбрый боевой офицер выступил в начале 1917 года против войны, против напрасного кровопролития! По распоряжению Керенского штабс-капитан Худяков был разжалован и заключен в Каменец-Подольскую крепость. Генерал Корнилов настоял на том, чтобы его приговорили к смертной казни. Однако привести приговор в исполнение помешала Октябрьская революция.

Далее — мужественная борьба за торжество Советской власти. Бои на Волге. С октября 1918 года — член партии большевиков. После 1-й Коммунистической дивизии командует 3-й Украинской социалистической Красной Армией (К. Е. Ворошилов в то время был членом правительства на Украине). Разгром формирований атамана Григорьева. Борьба за Одессу. Восемь ранений в боях! Орден Красного Знамени и Почетное революционное оружие (дважды!). И при всем том Худяков оставался лишь скромным военным специалистом при Ворошилове. Если Климент Ефремович и одерживал победы под Царицыном и на Украине, то в основном благодаря полководческому таланту Худякова. И тот, и другой понимали это, а такое положение никак, разумеется, не устраивало Наркома Ворошилова. Он приложил немало стараний, чтобы держать Худякова подальше от Москвы, в безвестности. Николай Акимович был отозван из армии на хозяйственную работу и в 1925 году отправлен на Северный Сахалин, где возглавил разведку и освоение дальневосточных нефтяных богатств. Поработал там много и пользу стране принес очень большую. У нас на востоке появилась база горючего!

В Москве он почти не появлялся, в печати не выступал. И все-таки Климент Ефремович побаивался Худякова: вдруг напишет свои воспоминания или расскажет широкой аудитории правду о военных действиях! И померкнут легенды о непобедимых и непогрешимых полководцах Ворошилове и Буденном. Разве можно это допустить?

Николай Акимович Худяков был ликвидирован. Его арестовали, дай Бог памяти, в 1938 году, а в следующем году он был расстрелян как враг народа. Его фамилия была вычеркнута из истории. А все его достижения под Царицыном и на Украине автоматически перешли к Клименту Ефремовичу, укрепляя известность и славу Наркома.

Пишу об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть: нельзя сваливать всю ответственность за массовые репрессии только на Сталина. Он даже не знал о гибели Худякова и целого ряда других товарищей. Соратники Иосифа Виссарионовича, которые пользуясь обстановкой, всеми силами укрепляли свое положение, тоже виновны во многом. С них тоже спрос.

Кто, например, заставлял члена Политбюро В. М. Молотова написать резолюцию о расстреле жен «врагов народа» Косиора и Постышева? Да никто. Проявил инициативу, преследуя какие-то свои интересы.

Ворошилов и Буденный не только убирали тех, кто был опасен для них или неугоден им, но и выдвигали на ответственные военные должности своих верных людей. Независимо от умственных способностей, от образования, а лишь по одному принципу — личной преданности. Люди с кругозором эскадронных командиров становились вдруг комдивами и комкорами. К лету сорок первого года примерно девяносто процентов нашего начальствующего состава в звене дивизия-армия были скороспелыми, полуграмотными выдвиженцами Ворошилова и Буденного из тех, кто знаком был им по Первой конной. Только из этого кладезя черпались кадры, будто и не было у нас других славных армий! А ведь известно: плохо, когда нет умелых военачальников, но еще хуже, когда командуют, руководят неумелые военачальники. Тем более, в армейских условиях, где приказы не обсуждаются, а лишь исполняются, любая глупость, любая ошибка чреваты самыми тяжелыми последствиями.

Высшая государственная власть, принимая различные установления, просто неспособна предусмотреть, регламентировать все конкретные варианты, все житейские случаи. Умные, самостоятельные люди используют такие установления, законы, инструкции применительно к обстоятельствам. Так и было до массовых репрессий в армии. А когда к руководству пришли необразованные, несамостоятельные, полностью зависящие от начальства исполнители, любые указания и распоряжения стали восприниматься и выполняться буквально, от точки до точки, творчество вытеснялось формализмом. Скороспелые руководители прятали свое неумение, свою безынициативность за правильной фразой, за цитатой: «Так сказал товарищ Сталин!» или «Так распорядился Нарком Ворошилов!». Слово в слово — вот и весь диапазон.

Например, упор на наступательные действия всегда был основным принципом подготовки наших войск. Но при этом и обороняться учились, и отходить. А после известного заявления о том, что мы будем бить любого врага на его собственной территории, возник опаснейший перекос. Учить стали только наступлению. Командиров, отрабатывавших оборонительные действия, зачисляли в «пораженцы». А те, кто пытался приобщить свои батальоны и полки к труднейшему искусству отступления, вообще попадали в разряд подозреваемых. Это же вредители, подрывающие дух войск! Их арестовывали, судили. Зато раздольно было безответственным крикунам, демагогам. О каком творчестве, о каких поисках и достижениях могла идти речь в подобной обстановке?!

Рассказываю сейчас и вспоминается мне лицо Ворошилова того времени. На Семене-то Михайловиче с его железными нервами, с давней привычкой

сметать любого, кто становился на пути, события конца тридцатых годов почти не отразились. Разве что осунулся, да глаза, будто прихваченные изнутри морозом, стали холоднее и жестче. А вот худощавый Ворошилов еще более высох, легла на его потемневшее лицо печать озлобленности. К сожалению, запамятовал фамилию художника, который сделал тогда серию небольших портретов Климента Ефремовича — штук шесть. Сознательно или нет поступил художник, но на портретах 37–38 годов прежде всего выделена ожесточенность.

Новые люди, поднявшиеся на командные посты вместо «врагов народа», по незнанию или по чрезмерной услужливости перед начальством подвергали гонению, искоренению все то, что было связано с именами репрессированных предшественников. Тухачевский и Егоров, к примеру, много сил приложили для создания у нас самых мощных в мире бронетанковых войск. Не стало этих маршалов, и начались среди рьяных борцов за собственную карьеру и просто среди недальновидных товарищей разговоры о том, что крупные бронетанковые соединения нам без надобности, ни у французов, ни у англичан их нет, и ничего, обходятся. Военный опыт, дескать, показывает, что иметь бронекорпуса нецелесообразно… А какой опыт-то был? Бои у Хасана да в Испании: все это без размаха, в небольших масштабах. Ну и порешили наши военные деятели «рассыпать» бронетанковые корпуса, оставить бригады да дивизии. И это в то время, когда фашисты, используя наши недавние достижения, поспешно организовывали у себя мощные танковые группы. Фашисты создавали бронированные кулаки, а мы свои кулаки, наоборот, разжимали. Но пальцами можно лишь тыкать, разящего удара ими не нанесешь. Я говорил об этом, доказывал, спорил. А новоявленные генералы, используя ситуацию, действовали вполне «успешно», подрывая могущество наших Вооруженных Сил.

Только после Халхин-Гола, особенно после роковых неудач в войне с белофиннами, спохватились мы, начали вновь формировать танковые и механизированные корпуса. Торопились, лепили на скорую руку из уцелевшего еще материала, но уже не было кадров, устарела техника, а новую выпускать не успевали. Срочно переводили в танковые войска командный состав из конницы. И там, и тут, мол, быстрота, маневр. Но это лишь внешние, формальные признаки. Многие десятки и сотни хороших кавалерийских командиров оказались вдруг в незнакомом роде войск, а переучиваться не оставалось времени. Среди них — генералы, даже будущие маршалы: Богданов и Лелюшенко, Стученко и Рябышев, Черевиченко и Москаленко, Гречко и Рыбалко и многие, многие другие ветераны буденновской армии. Трудно им пришлось, особенно в начале войны. Но еще трудней тем, кто оказался тогда под их руководством, кто жизнями расплачивался за их неумение.

Помните о том концентрированном ударе, который нанесли под Царицыном по белогвардейцам наши артиллеристы? О нем шла речь в начале книги. Тот самый удар, который помог нам удержать в своих руках хлебную житницу и транспортную артерию. Брусиловскую идею предложил тогда Сталину я, а при осуществлении идеи своей энергичностью расторопностью отличился Г. И. Кулик, чем и привлек к себе внимание Иосифа Виссарионовича. Ну, надежный, деятельный — это, безусловно, хорошие качества, однако не только они являются определяющими для высокого военного руководителя. До периода репрессий Кулик занимал должности, соответствующие его знаниям,

опыту, интеллекту. Думаю, мог бы командовать артиллерийским полком. А он вдруг вознесся на головокружительную вершину — стал маршалом Советского Союза, возглавил артиллерию Красной Армии. Вот уж действительно, «незаменимых людей у нас нет!». И взвалили тяжкую ношу на совершенно неприспособленные плечи.[29]

Что ему было известно? Как вести огонь из полевых орудий. Из трехдюймовок и шестидюймовок периода гражданской войны. Картина ясная и понятная. А разоблаченный враг Тухачевский насаждал в нашей армии чужие нравы, развивал артиллерию противотанковую. Какие-то пукалки: ни грохота, ни воронки, ни стрельбы на дальние расстояния. Ослабить хотел нас Тухачевский-то… Такова были примитивная логика малограмотного Кулика. А поскольку этот свежеиспеченный маршал «заворачивал» у нас всей артиллерией, он и «наворотил» столько, что едва разобрались потом. В частности, почти полностью прекратил выпуск противотанковых орудий, заменяя их привычными полевыми орудиями. Расформировал многие противотанковые артиллерийские части. «Исправил», в общем вред, нанесенный Тухачевским. Вот и вступили мы в сражение с бронированными армадами гитлеровцев, почти не имея противотанковой артиллерии. Ее пришлось срочно, с огромными трудностями воссоздавать в ходе войны.

Давно замечено, что многие генералы, выросшие в мирное время, оказываются непригодными в боевой обстановке. В дни мира на генеральские должности выходят чаще всего не самые лучшие, не самые достойные (их самобытность, оригинальность обычно не укладываются в формальные рамки), а либо те, кто имеет какую-нибудь тянущую «руку», либо середняки, добросовестные исполнители, с которыми удобно работать начальству. А уж при репрессиях выдвижение вообще шло по принципу «преданности», либо по «чистым» анкетам. Но беспощадная война быстро содрала мундиры с тех, кто позаимствовал их с чужого плеча. Сталин послал маршала Кулика на запад, разобраться в обстановке, координировать действия наших войск под Минском, создать там линию фронта. Будто Кулик знал, как это сделать. Будто достаточно отдать приказ — и все свершится само собой. С таким же успехом можно было человека, едва знакомого с нотами, поставить дирижером симфонического оркестра.

Кулик не просто растерялся в сложной обстановке, но и в полном смысле слова потерялся, пропал, исчез. Может, попал в плен? Только этого нам еще не хватало: маршал, которому все известно о нашей артиллерии, в руках врага в первые же дни войны!

К счастью, до этого не дошло. Кулик бродил где-то с утратившими связь и ориентировку частями, но не сделал даже попытки организовать, сплотить их, повести за собой. Больше того, бросив маршальский мундир, он облачился в какой-то зипун, в лапти и таким «бравым воякой» доплелся наконец до наших сражающихся войск.

Не думаю, что Кулик особенно выделялся в худшую сторону среди многочисленных скороспелых выдвиженцев того времени. Просто пост у него был выше, а потому и просчеты, ошибки, благоглупости заметней. А в сумме бесталанность и беспомощность всей этой массы военных выдвиженцев поставила нашу страну на грань военной катастрофы.

Очень горько мне было видеть, как слабеет Красная Армия, теряя лучшие кадры, теоретиков и практиков, как отвлекается от боевой подготовки внутренняя борьба, чистки и проработки, как падает ее

технический и организационный уровень. Наша армия, еще недавно столь мощная, остановилась в своем развитии, откатилась назад, перестала быть кадровой в широком понимании этого слова. Случайно собранные под знамена люди, одетые в форму и чуть-чуть обученные — это еще не Вооруженные Силы! Зато полностью, неделимо укрепился в армии авторитет Сталина и его ближайших военных помощников — Ворошилова и Буденного. Это Иосиф Виссарионович считал главным. Наверстать упущенное по военной линии он намеревался в ближайшие пять-шесть лет, для чего разрабатывалась соответствующая программа. Но слишком велики были утраты. Да и враг не дремал, прекрасно понимая, что сражаться с нами надобно как можно скорее, пока мы не оправились от внутренних потрясений. К Гитлеру можно относиться как угодно, только не надо считать его дураком. Шансов, которые казались ему надежными, он не упускал.

Да, мы были очень ослаблены. Армия и флот лишились примерно 43 тысяч командиров, арестованных или уволенных со службы по политическим мотивам (значительная часть их, правда, вскоре будет возвращена в строй). Читатель, конечно, вправе усомниться в точности, в объективности моих суждений. Я и сам не отрицаю того, что не могу быть абсолютно беспристрастным. И отнюдь не претендую на полную истину. Лучше всего в этом случае привлечь документ, который без всяких комментариев говорит сам за себя.

Итак: во время гражданской войны на Кавказе отличился брат В. В. Куйбышева — Н. В. Куйбышев. Насколько я знаю, он умело командовал дивизией, освобождал родные края Иосифа Виссарионовича, был на виду, а главное — пользовался большим уважением местного населения. В Грузии его считали своим человеком, он чуть ли ни всю свою военную службу провел в тех местах, выдвинулся на высокий пост командующего Закавказским военным округом. Позволю себе привести здесь стенограмму заседания Военного совета при Наркоме обороны СССР (21–27 ноября 1937 года), высказывания комкора Н. В. Куйбышева и его оппонентов. Цитирую:

«Тов. Куйбышев: Подытоживая результаты инспекторских смотров, окружных учений, военный совет округа оценил военную подготовку войск ЗакВО как стоящую на неудовлетворительном уровне. Основная причина того, что мы не изжили всех эти недостатков, заключается в том, что у нас округ был обескровлен очень сильно.

Тов. Ворошилов: Не больше, чем у других.

Тов. Куйбышев: А вот я вам приведу факты. На сегодня у нас тремя дивизиями командуют капитаны, но дело не в звании, а дело в том, товарищ народный комиссар, что, скажем, Армянской дивизией командует капитан, который до этого не командовал не только полком, но и батальоном, он командовал только батареей.

Тов. Ворошилов: Зачем же вы его поставили?

Тов. Куйбышев: Почему мы его назначили? Я заверяю, товарищ народный комиссар, что лучшего мы не нашли. У нас командует Азербайджанской дивизией майор. Он до этого времени не командовал ни полком, ни батальоном и в течение шести последних лет являлся преподавателем военного училища (смех).

Голос с места: Куда же девались командиры?

Тов. Куйбышев: Все остальные переведены в ведомство Нарковнудела без занятия определенных должностей. Я думаю, что это не их беда, что

они не имеют опыта. Откуда может быть хорошим командиром Грузинской дивизии Дзабахидзе, который до этого в течение двух лет командовал только ротой и больше никакого командного стажа не имеет.

Тов. Буденный: За год можно подучить.

Тов. Ворошилов: Семен Михайлович считает, что если ротой умеет хорошо командовать, то и армией сможет.

Ирония звучит в реплике Климента Ефремовича?! Или тонкое чувство юмора, связанное с «отправкой» опытных командиров в ведомство НКВД «без занятия определенных должностей»?! Не знаю… Остается добавить только одно: сам комкор Куйбышев, осмелившийся оспаривать мнение начальства, был вскоре репрессирован и тоже оказался «без должности» в названном выше ведомстве. Где и обрел свой конец.

Справедливость требует, впрочем, сказать, что падение уровня боеготовности наших вооруженных сил объясняется не только репрессиями. Великая война приближалась, очаги ее уже пылали на Западе и на Востоке. Обстановка заставила быстро увеличивать количество наших войск, привлекая на службу людей, совершенно необученных. За несколько лет численность возросла в три раза. Рядовых можно было найти, младших командиров можно было подготовить, но где взять командиров среднего и высшего звена?! Вдвое увеличилось количество военно-учебных заведений, но это был задел на будущее, а пока нехватка военных руководителей была огромной. В 1938 году некомплект командных кадров составлял 45 тысяч человек. К январю 1940 года цифра возросла до 60 тысяч. И это при том, что в войска возвратились 13 тысяч репрессированных. Положение было сложнейшее.

10

В июле-августе 1938 года советские войска после долгого перерыва столкнулись с кадровыми войсками другого государства. На самом краю русской земли, возле озера Хасан, японцы попытались захватить две господствующие сопки: Безымянную и Заозерную. Как известно, попытка эта окончилась для самураев полным провалом, их основательно щелкнули по носу. Однако конфликт был слишком локален и скоротечен, чтобы можно было сделать обобщающие выводы о боеспособности нашей и японской армий. Сталин вообще не придал этому событию существенного военного значения, использовал его только в политических целях, для внешней и внутренней пропаганды. Иосиф Виссарионович отдавал себе отчет в том, что на Дальнем Востоке образовался один из узлов долговременного напряжения между нами, быстро развивавшейся Японией и огромным по населению Китаем. И все же, извините за тавтологию, Дальний Восток был далековат для Сталина, освоившего Восточную Сибирь (благодаря ссылкам) лишь до Прибайкалья. Он был человеком запада, человеком Европы. А она тогда тоже требовала напряженного внимания, Гитлер уже протянул ляпы к Австрии, Чехословакии, Испании. Шла грандиозная игра, и Сталин, естественно, был озабочен, как извлечь в ней выгоду. Он думал о возвращении наших утраченных западных территорий, желательно мирным путем. А военные конфликты — это для Ворошилова, которого в ту пору Иосиф Виссарионович считал надежным полководцем. В связи с этим напомню одно из удивительных свойств Сталина. Он назначал человека на должность и проникался уверенностью: если этот человек занимает

должность Наркома, значит, он самый большой знаток в своей отрасли. Как-то не всегда улавливал Иосиф Виссарионович, что не место красит человека.

Хасаном занимался не только Ворошилов, но и живые еще в то время непосредственные руководители операции Блюхер и Штерн. У каждого было свое мнение по этому вопросу. Самой простой и четкой была точка зрения Ворошилова: как можно скорее выбросить японцев с нашей территории, сделав это любой ценой. И действительно, победа скоро была одержана. Но как? Симптомы были настораживающие. Мы с Борисом Михайловичем Шапошниковым, каждый сам по себе, вели подробные отчетные карты, чтобы иметь единое мнение для доклада Иосифу Виссарионовичу. Прежде всего отметили наши чрезмерные потери, не укладывавшиеся в разумные пределы. Вызваны они были тем, что военных руководителей сковывали политические соображения, исходившие от Ворошилова. Японцы-то вторглись на нашу территорию, не считаясь ни с какими правилами, значит, бей и крути их беспощадно, в полную силу. А Климент Ефремович осторожничал, боялся расширения конфликта и поэтому запретил использовать для маневра, для обходи и окружения противника вражескую территорию. Войска наши оказались в трудных условиях. Двигались без дорог, но болотистой местности, сосредотачивались для штурма на виду у японцев, под их огнем. А главное — штурмовали Безымянную и Заозерную напрямик, в лоб, идя навстречу вражеским пулям и снарядам. Расплата за это — несколько тысяч жизней.

Иосиф Виссарионович не придал значения потерям, его устраивал конечный результат. В итоговом приказе, утвержденном Политбюро ЦК, основные недостатки операции не получили глубокого раскрытия. Было впечатление, что даже сам Ворошилов не уяснил в достаточно степени наши промахи. Он не поднялся от фактов до крупных обобщений. Или понимал, что широкий, объективный анализ будет не в его пользу. Не раскрыв всей картины, он выделил частность. По его настоянию в итоговом приказе был особо подчеркнут пункт о том, что бойцы при наступлении не в полную меру использовали малую шанцевую (саперную) лопатку, не умели быстро окапываться при сближении с противником, это и послужило, дескать, причиной излишних потерь. Ворошилов сам вписал в проект приказа такие слова: «Наш долг — добиться от бойца уважения и любви к своей лопате и научить его пользоваться ею так же быстро и сноровисто, как он орудует ложкой за столом».

Сказано броско, конкретно, доступно для красноармейца. Тут тебе и забота о людях и полная ясность — опять стрелочник виноват… И ликвидация недостатков — пара пустяков. Научить бойцов пользоваться лопатой можно за неделю. При усиленной тренировке — даже и за три дня…

В том же 1938 году известный наш летчик В. К. Коккинаки совершил первый беспосадочный перелет из Москвы до Владивостока. Это было очень большим достижением. И своего рода — предупреждение для японцев. Ваши, дескать, острова вполне достижимы для советских бомбардировщиков. Иосифу Виссарионовичу понравились незамысловатые стишки, появившиеся в то время в печати, читавшиеся и даже распевавшиеся с эстрады:

Генерал лихой Араки Явно ищет с нами драки. Если надо, Коккинаки Долетит до Нагасаки И покажет нам Араки, Где и как зимуют раки!

Иосиф Виссарионович вознамерился даже привести этот стишок в одном из своих выступлений: вот, мол, что народ у нас думает. Но я отсоветовал — не тот уровень. Да и военный министр Японии генерал Садаи Араки к тому времени (насколько я помню) был уже смещен со своего поста.

В общем, хасанские события не вызвали в наших вооруженных силах каких-либо существенных перемен. И японцы не поняли, сильна ли Красная Армия или ослаблена уничтожением кадров. А ведь в зависимости от этого Япония намеревалась строить свою дальнейшую политику. И вот в мае следующего года самураи спровоцировали новый, более обширный конфликт, по существу, развернули необъявленную войну против Монгольской Народной Республики на рубеже реки Халхин-Гол. А поскольку мы с монголами связаны были договором о дружбе и взаимопомощи, то с самого начала в этой войне принял участие наш Особый корпус под командованием Н. В. Фекленко. Я этого товарища почти не знал, но, судя по вялым, нерешительным действиям корпуса, полководческими способностями Фекленко не отличался.

И сейчас, и в дальнейшем, когда речь пойдет о большой войне, я не буду описывать ход боевых действий — это общеизвестно. Если и придется рассказывать о какой-то операции, то лишь в той мере, в какой участвовал сам. Моя цель — запечатлеть те подробности, те ситуации, которые не получили широкой огласки, по тем или иным причинам выпали из поля зрения современников.

Халхин-Гол привлек внимание Сталина гораздо больше, нежели Хасан. Масштаб событий был крупнее, да и носили они международный характер — бои развернулись на территории дружественного государства. Впервые ощутил Иосиф Виссарионович неблагополучие в нашем военном руководстве, слабость командного состава. Все посты заняты, а доверить ведение боевых действий некому. Первый тревожный звонок прозвучал: кого послать в Монголию, кто сможет достойно возглавить фронт, добиться решительного успеха?

Этот вопрос был задан мне словно бы между прочим, в числе других, но я сразу отметил, с каким интересом ожидал Иосиф Виссарионович ответа.

— Работа для Блюхера. Восточный театр военных действий хорошо известен ему.

Сталин промолчал. А я вновь заговорил после паузы:

— В Монголии воевал Рокоссовский, командовал там кавалерийской бригадой в сражениях с Унгерном. Рокоссовский на Лубянке, он еще жив.

Иосиф Виссарионович нахмурился. Хотелось услышать его мнение, но он отвернулся.

— Направьте Ворошилова, — развел я руками.

— Не годится. Товарищ Ворошилов нам нужен в Москве. Это во-первых. А во-вторых, он слишком крупная фигура для конфликта, он привлечет слишком много внимания. Самураев на Халхин-Голе должен разбить энергичный начальник соответствующего масштаба. Комкор или командарм.

— Тогда Белов.

— Шутки сейчас не ко времени, — резко произнес Сталин. — Вы меня прекрасно понимаете, Николай Алексеевич. Разве у нас нет молодых и вполне надежных военачальников?

— Я имею в виду не того Белова, который командовал до ареста Белорусским военным округом, а генерал-майора Павла Алексеевича Белова. Вы должны его помнить. Это он разрабатывал с Калиновским

первую инструкцию по боевому применению танков. Кончил академию. Служил в инспекции кавалерии у Буденного.

— Где он сейчас?

— Командует дивизией. Отлично командует. Человек культурный, способный самостоятельно решать и действовать. Отстал в росте, так как ошибочно исключался из партии.

— Ошибочно? — переспросил Сталин.

— Да, в тридцать седьмом. Разобрались, восстановили.

— Это хорошо, — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. — Такие люди нам очень нужны. И все же не тот уровень. Белов не командовал корпусом даже на маневрах, а там боевые условия, там у нас не просто корпус, а Особый, с большим количеством танков и авиации. Мы, очевидно, развернем его в армейскую группу.

На этот раз промолчал я, не желая соглашаться. Слова Сталина не убедили меня. В вырубленном лесу нашего комсостава П. А. Белов заметно выделялся над молодым подростом и мелколесьем. Я знал его года этак с двадцать пятого, когда он командовал кавалерийской бригадой (два кавполка), уже в ту пору, не достигнув еще тридцати лет, он занимал генеральскую должность и успешно справлялся с ней. Мне импонировали интеллигентность, эрудиция, этакая военная романтичность Павла Алексеевича. Его человечность, скрываемая за суровой внешностью кавалериста-фронтовика. В любом деле он был хорош: холодная голова и горячее сердце. С бухты-барахты в бой не кинется, все взвесит, подумает и за себя, и за противника.

Недостатки же его по тому времени были таковы. Не пролетарий — из семьи служащих. Сразу после революции находился в белом Ростове-на-Дону, юнкерскую форму носил. И, хотя он участвовал потом в создании первых отрядов Красной Армии, сражался во многих битвах, закончил гражданскую войну командиром кавалерийского полка, кое-кто помнил только начало: происхождение и погоны. И еще: в Первой конной служил он уже после войны (тоже командовал полком), поэтому «старые» буденновцы его мало знали. Вроде и свой, а вроде и не совсем. Тем более что очень уж грамотный, новшества быстро воспринимал. Калиновский считал его знатоком бронетанковых войск, своим первым помощником. Триандафиллов говорил: мало кто знает тактику пехоты, как Белов. Уборевич рекомендовал Павлу Алексеевичу перейти на преподавательскую работу, делиться своими знаниями, опытом. И ведь все это — о кавалеристе. Но ведь хвалили-то Белова главным образом те, кого опасались буденновцы, кто теперь «освободил» места для ставленников Семена Михайловича. А Павел Алексеевич оказался словно бы между двух вражеских лагерей. Он был просто за партию и советскую власть. Я хорошо понимаю его и ему подобных, потому что сам находился тогда почти в таком же положении.

До тридцать девятого года существовало негласное, но обязательное правило: все жалобы, апелляции подвергшихся репрессиям лиц высшего командного состава (начиная от комбригов), адресованные Сталину, или в ЦК, или в Политуправление РККА, обязательно ложились на стол Иосифа Виссарионовича. Подлинник или копия с решением. Первое время Иосиф Виссарионович просматривал все документы. Для сведения. Не высказывая своего мнения, не вмешиваясь в действия соответствующих инстанций. Но несколько товарищей, которых считал особенно нужными, взял под защиту. А потом апелляций стало столько, что Сталин просто не

успевал с ними знакомиться. Читал выборочно. Систематическое знакомство с военной частью его корреспонденции лежало, как вы помните, на мне. Вот и письмо Павла Алексеевича Белова в ПУРККА тоже попало в мои руки. В нем Белов сообщал, что партийная организация управления 7-й кавалерийской дивизии исключила его из рядов ВКП(б), что он отстранен от командирской работы… Впрочем, познакомьтесь с его, типичной для той поры, апелляцией:

«Прошу партийную комиссию ПУРККА пересмотреть основательность мотивов моего исключения и восстановить меня в партии. Ниже представляю объяснения по обвинениям, которые мне предъявлены.

1. Белов скрыл службу у белых.

Объяснение. Был на территории белых в Ростове-на-Дону короткое время с декабря 1917 по январь 1918 года. Никогда не скрывал этого, наоборот, отражал во всех документах, а именно: в биографии, послужном списке, карточке партийного учета. Нашел возможность уехать с территории белых в самом начале белого движения. Вскоре по партийной мобилизации сражался против них. Никогда не выступал на стороне белых, а с оружием в руках бил их. Таким образом, мне нечего скрывать от партии, нечего стыдиться, но есть чем гордиться.

2. В 1922 году скрыл от партии антисоветское письмо брата.

Объяснение. Здесь явное недоразумение. Брата у меня никогда не было. Я единственный сын у своих родителей. Об антисоветском письме ко мне никогда раньше не слышал. Если и существовало какое-либо подобное письмо, то до меня не дошло, а потому и не могло быть мной скрыто. Это письмо имеется в деле, но мне его не показали. Раз оно имеется, то легко установить истину. Обвинение облыжное, и я его отрицаю.

3. В июне 1925 года на своей квартире Белов вел антисоветский разговор с Лериным и Свиридовым.

Объяснение. Обвинение вымышленное. Этого случая не было. В октябре того же года меня приняли в члены партии. В ячейке на собрании был председателем уполномоченный отдела т. Лихачев, который не мог бы не знать об этом «случае».

4. Жена Белова полька и имеет связь с сомнительными людьми.

Объяснение. Жена принимала активное участие в гражданской войне в рядах 1-й Конной армии. Была замужем за командиром полка, убитом на польском фронте. Потом была замужем за командиром бригады 14-й Кавдивизии Рябышевым (ныне командир 13-й кавдивизии). Никакой связи с заграницей не имеет. С политической стороны я своей жены стыдиться не могу. По простоте сердечной я на собрании первичной парторганизации, разбиравшей мое дело, рассказал, что у жены были знакомства, которые мне не нравились. Я эти знакомства пресек. Однако мой рассказ был понят неправильно, вызвав сомнения. Не надо было мне об этих вещах говорить.

5. Белов писал в мае 1937 года письма Уборевичу.

Объяснение. Написано было два письма. Они есть в деле. Если их прочитать полностью (а не выдержки, как на собрании), то в них не найти ничего предосудительного. Письма были вызваны разговором с Уборевичем, который угрожал мне переводом на преподавательскую работу и требовал доказательств (свидетелей) моего местонахождения в феврале 1918 года. Письма говорят о моей борьбе за свою партийность. К сожалению, я тогда не знал, что Уборевич шпион и враг народа. Я с ним считался тогда, как с начальником и кандидатом в члены ЦК.

6. Белов участвовал в очковтирательстве.

Объяснение. К стыду моему, в этом случае я виноват перед партией. Враг народа Сердич (бывший командир корпуса) организовал очковтирательство. Это заключалось в том, что Сердич заранее сообщил о предстоящей проверочной мобилизации 40-го кавполка. Вызвал к себе начальника первой части штаба дивизии и проинструктировал его. Я об этом узнал, но не догадался сообщить партии. Об этом знали по крайней мере десять ответственных членов партии, но поступили так же, как и я. Вину за собой признаю.

Я всегда был честным и преданным членом нашей партии. Прошу не делать меня политическим мертвецом. Прошу восстановить меня членом ВКП(б). С высоким званием члена партии я буду вести борьбу за победу социализма».

Судьба Белова, как и многих других командиров, висела тогда на волоске. Партийная комиссия политуправления, как правило, подобные решения не пересматривала. А мне очень не хотелось, чтобы наша армия теряла еще одного одаренного командира-практика, способного к серьезным теоретическим изысканиям. К тому же у Белова имелся довольно надежный шанс: как никак, а служил в Первой конной, у Семена Михайловича, чье мнение теперь влияло на многое. И вот с апелляцией Белова я поехал к Буденному, сообщил суть дела. Он поинтересовался, знает ли Сталин? Я ответил: нет, но доложу ему, если мы сами не сможем утрясти этот вопрос. И добавил, нажимая на самолюбие:

— Ваши кадры, Семен Михайлович. У вас порученцем служил. И не родственник он арестованного Белова, как считают некоторые.

— Точно? — спросил Буденный.

— Абсолютно.

— Ладно. У меня тоже лежит письмо от Павла Алексеевича, просит помочь, — не без самодовольства произнес Семен Михайлович. — Он ценный и всесторонне подготовленный командир.

— Вот и выскажите свое мнение.

— К тому же — не родственник… — рассуждал вслух Буденный. — И вы ходатайствуете…

— Хорошо бы перевести его в другое место и с повышением, — предложил я.

— Ладно! — Семен Михайлович взял лист бумаги и размашисто написал несколько строк.

Я поблагодарил его и ушел со спокойной душой. А затем узнал, что Белов переведен на юг, что доверенная ему дивизия, еще недавно числившаяся в отстающих, отличается хорошей боевой и политической подготовкой.

Несколько отвлекся я от того разговора со Сталиным в конце мая 1939 года, когда Иосиф Виссарионович поинтересовался моим мнением, кого направить в Монголию. Не приняв кандидатуру Белова, он назвал фамилию Жукова. Сие меня несколько озадачило. Примерно ровесник Белова, прошел Жуков такую же служебную лестницу и был столь же мало известен Сталину. Мог запомниться разве что такой факт. Года полтора назад Жуков прислал на имя Сталина большую и очень резкую телеграмму: над ним нависла угроза исключения из партии, он требовал разобраться принципиально, по справедливости. Не просил, а именно требовал. Необычность этой телеграммы привлекла внимание Иосифа Виссарионовича. На место пошел ответ: проявить по отношению к члену партии Жукову полную объективность. Именно после этого и начался

быстрый рост Жукова. Обогнав сослуживцев, он стал заместителем командующего Белорусским военным округом.

Вскоре я выяснил, кто «дал» Сталину эту фамилию. Оказывается, у Сталина состоялся острый разговор с Ворошиловым и Тимошенко. Недовольный положением в Монголии, Иосиф Виссарионович спросил: «Кто там командует войсками? Фекленко? Что он из себя представляет?» — «По званию комбриг». — «Это мне известно. Еще что?» — настаивал Сталин. Ворошилов ответил: лично с Фекленко не знаком, деловых качеств не знает. У Сталина прорвалось раздражение: «Безобразие! Чепуха! Там идет война, а нарком не может объяснить, кто воюет, как командует нашими войсками! Что это такое, товарищ Ворошилов?! Надо послать туда другого человека, который способен взять инициативу в свои руки».

Тут и прозвучала фамилия Жукова. Ее назвал Тимошенко, под непосредственным командованием которого Георгий Константинович служил продолжительное время.

Жуков был немедленно вызван в Москву, к Ворошилову и без задержки отправлен в Монголию. Там он убедился, что Фекленко сидит в глубоком тылу, ведет спокойную жизнь, не стремясь к активным действиям. С этим было покончено. Фекленко был отстранен от должности, а Жуков, наращивая свои силы, принялся готовить удар по японцам.

Полководческая самобытность, твердый характер Жукова проявились в Монголии сразу и во многих аспектах. Я же отмечу один факт. Помните, после гибели Егорова, Тухачевского и других лучших наших военачальников нашлись люди, стремившиеся разрушить все, что было создано ими. Эти люди раздробили, «рассыпали» наши мощные бронетанковые корпуса. И даже теорию соответствующую подвели. А вот Жуков, исходя из конкретной обстановки, не колеблясь, опрокинул своими действиями утверждения горе-теоретиков. Собрал все имевшиеся у него танки в кулак и этим сильным кулаком сокрушил японскую оборону. Успех был заметный. Этот успех, кроме всего прочего, реабилитировал нашу старую верную идею массированного использования танков (перехваченную у нас и разрабатывавшуюся Гудерианом).

Сталин был доволен: «А ведь показали мы самураям, где раки зимуют», — неоднократно повторял он.

Георгия Константиновича Жукова в Москве встретили с почетом, как и подобает встречать победителя. Иосиф Виссарионович и члены Политбюро долго беседовали с ним, расспрашивали о состоянии, о боеспособности наших и японских войск. Вполне естественно, что после этой беседы Жуков направлен был командовать Киевским военным округом — одним из важнейших. А затем его назначили начальником Генерального штаба, что, впрочем, не соответствовало ни темпераменту, ни уровню подготовки Георгия Константиновича. Он ведь прежде всего деятельный, смелый организатор…

Сражение на Халхин-Голе — это первый большой шаг Жукова по тому пути, который приведет его в бессмертную немногочисленную когорту лучших полководцев всех времен и народов. Японцы на Халхин-Голе получили такой зубодробительный удар, поражение их было настолько безусловным, что враз отрезвило самурайские головы. Враг на востоке понял, что теперь не девятьсот пятый год, что к русским лучше не соваться ни при каких обстоятельствах. Это и только это удержало японцев от нападения на Советский Союз в критический момент 1941 года, когда гитлеровские дивизии находились под Москвой, когда крах

большевиков представлялся неизбежным. Казалось: хватай, рви нашу территорию. Но самураи не решились. Они выжидали. И правильно поступили. Напади они в тот момент, нам было бы чрезвычайно скверно. Однако, в конечном счете гораздо хуже стало бы потом им.

А я думаю, как повернулись бы события, окажись на месте Георгия Константиновича Жукова Павел Алексеевич Белов? Может, наши действия в Монголии развивались бы не столь стремительно, но в общем произошло бы то же самое. Ведь оба были полководцами одной школы, примерно одного уровня. Слава богу, что в те трудные годы уцелели они и еще несколько таких же талантливых военачальников. Счастливый случай помог тогда им, а следовательно, и всем нам.

Необъявленная война в Монголии завершилась 31 августа. А на следующее утро нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Тогда же, 1 сентября 1939 года, был принят у нас закон о всеобщей воинской обязанности. К сражениям надо было готовить всех.

11

Большой мастер политических комбинаций, Иосиф Виссарионович сделал очередной, тщательно продуманный ход. Мы знаем, как в разгар коллективизации он выступил со статьей «Головокружение от успехов», открестившись от всяких перегибов, злоупотреблений, переложив ответственность за ошибки на плечи низовых партийных работников. К этому испытанному методу прибег он и в 1938 году, опасаясь, что кровь и грязь массовых репрессий запятнают его светло-серый китель. 19 января в «Правде» появилась передовая статья, в которой было заявлено, что минувший год ознаменовался большими успехами в очищении рядов партии от троцкистско-бухаринских лазутчиков фашизма. «Призыв товарища Сталина о ликвидации идиотской болезни — беспечности, о повышении бдительности, возымел действие — партийные массы возмужали, закалились на той громадной очистительной работе, которая проведена партией… Трудно переоценить результаты выкорчевывания троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов — эти результаты равны выигрышу страной социализма большого сражения с капиталистическим миром».

Изрядно сказано!

В том же номере было опубликовано сообщение о Пленуме ЦК ВКП(б), который обсудил вопрос об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков. В своем постановлении Пленум потребовал покончить с массовыми огульными исключениями. Было написано буквально так; «Известно немало фактов, когда парторганизации без всякой проверки и, следовательно, необоснованно исключают коммунистов из партии, лишают их работы, нередко даже объявляют, без всяких оснований, врагами народа, чинят беззакония и произвол над членами партии…

Еще не вскрыты и не разоблачены отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путем применения репрессий против членов партии.

Картина в общем вырисовывалась такая: Центральный Комитет и лично товарищ Сталин знать не знали и ведать не ведали о произволе, о перегибах, о массовом истреблении партийных кадров. А вот теперь узнали, теперь наведут порядок, упрячут за решетку тех, кто злоупотреблял. Они в ответе. А Иосиф Виссарионович, как всегда, выглядел хорошим, заботливым, добрым.

Появилась ширма, за которой Сталин мог укрыться в случае необходимости. Начались и практические перемены. Карательная машина продолжала работать (через месяц после Пленума ЦК состоялся громкий процесс над членами право-троцкистского блока), однако крен постепенно становился другим. Главная особенность (и странность!) новой обстановки заключалась в том, что исправлять допущенные «ошибки», восстанавливать «справедливость» было поручено субъекту, который вот уже несколько лет из-за спины Сталина негласно руководил репрессиями, разжигал пламя подозрительности. Лаврентию Павловичу Берии доверялась эта забота.

За несколько дней до утверждения Берии на посту Наркома внутренних дел я высказал Иосифу Виссарионовичу свое мнение но этому поводу. Сталин был в превосходном настроении, ответил:

— Он хорошо знает свои обязанности. Кто способен поймать черную кошку в совершенно темной комнате? — улыбнулся Иосиф Виссарионович, перефразируя Конфуция. — Мало кто способен. А Берия, поймает, даже если будет ловить с завязанными глазами.

— Верно, — согласился я. — Даже если в этой комнате вообще не будет кошки, Берия все равно обнаружит и схватит ее.

— Безусловно! — весело согласился Сталин, чуть подергиваясь от тихого, почти незаметного смеха.

Ставши наркомом, Лаврентий Павлович вскоре сделал на заседании Политбюро заявление, которого меньше всего ожидали от него. Сказал, примерно, так: в 1937 году количество арестов по сравнению с предыдущим годом выросло в десять раз. Брали огульно. Тюрьмы забиты, следователи не успевают работать. Ежов перегнул палку, ежовщина принесла больше вреда, чем пользы. Пора отбросить «ежовые рукавицы», пора поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать… Все присутствующие были ошеломлены, потрясены, один Иосиф Виссарионович оставался спокоен: заявление Берии было, разумеется, согласовано с ним, а может и подсказано самим Сталиным.

Количество арестов действительно начало сокращаться (почти все, кого Иосиф Виссарионович считал своими возможными противниками, были уже ликвидированы). Кое-кто был освобожден. Из числа арестованных военных — примерно каждый третий. Это радовало меня и в какой-то мере примиряло с Лаврентием Павловичем. О Берии заговорили, что он, мол, восстанавливает справедливость, вскрыл злоупотребления, тайно творившиеся за спиной товарища Сталина. Слово «ежовщина» сделалось синонимом жестокости. А если аресты и продолжались, то теперь уж, безусловно, только оправданные и необходимые.

Свалить все ошибки на тех, кто был до тебя, под лозунгом восстановления истины и добра начать деятельность с расчищенного места, с новой точки отсчета — это давний, испытанный ход. До меня, дескать, все было скверно — при мне все будет хорошо. Вот вам новая заманчивая программа, давайте ее осуществлять — такова нехитрая формула. Применялся подобный ход множество раз, но что

удивительно, — всегда срабатывал безотказно. Может, народ просто не знает об этом приеме, каждое поколение воспринимает его как окрыляющую откровенность?! Велико у людей стремление к счастью, велико желание хороших перемен, велика надежда на лучшее будущее — до ослепления велика! Вот и играют на этих чувствах профессиональные политические деятели, стремящиеся закрепиться у власти.

К Берии применимы многие отрицательные эпитеты: беспринципный, коварный, льстивый, жестокий, развратный, но назвать его человеком заурядным никак нельзя. Он был деятелен, неудержим и изворотлив в достижении своих целей, имел какую-то феноменальную интуицию, позволявшую ему предугадывать мысли, расчеты, надежды Сталина. Очень угодил Лаврентий Павлович Иосифу Виссарионовичу, выпустив в Москве книгу, «обогащенную» новыми сведениями о революционной деятельности Джугашвили-Сталина, а главное — новыми соображениями и идеями. Он утверждал, что партия большевиков имеет два истока, возникла из двух центров. Это — Союз борьбы за освобождение рабочего класса во главе с В. И. Лениным и — Закавказские партийные организации, созданные и руководимые И. В. Сталиным. В такой идее, в таком утверждении Иосиф Виссарионович очень нуждался. Самолюбие требовало. Недавно известный французский писатель Анри Барбюс восторженно охарактеризовал его как человека «с головою ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата», сформулировал четкое определение: «Сталин — это Ленин сегодня».

Эта фраза была не совсем по душе Иосифу Виссарионовичу. Она не ставила его вровень с Лениным, она говорила о том, что он лишь последователь и продолжатель Владимира Ильича. А он желал быть в одной плоскости с Лениным. Как неразрывны и равнозначны Маркс и Энгельс, так и он хотел быть неразрывным и равнозначным с Владимиром Ильичом. В лозунгах, в призывах, в печати все чаще повторялись словосочетания «Маркс — Энгельс, Ленин — Сталин». «Учение Маркса — Энгельса, Ленина — Сталина». Но это в призывах, в газетах — без глубоких теоретических корней, без прочной платформы. А Лаврентий Павлович первым заложил научный фундамент, поведав всей стране и всему миру о том, что большевистская партия зародилась в двух центрах, выросла на двух основаниях — Ленинском и Сталинском.

Да, очень порадовал Лаврентий Павлович Иосифа Виссарионовича и надолго закрепил свои позиции, свое исключительное положение возле вождя. За этот опус Берия получил Ленинскую премию, кстати сказать — одним из последних в довоенное время. С 1939 года премия была переименована в Сталинскую.

Когда Берия возглавил наркомат внутренних дел, ему прежде всего надо было отмежеваться от преступных действий Ягоды и Ежова, с чего, собственно, он и начал. Для этого требовалось убрать лишних свидетелей, навести лоск. А соответствующий опыт в этом отношении имелся изрядный. Личный состав чекистов при Сталине уже обновляли несколько раз, чтобы скрыть от непосвященных многое и многие тайны.

В двадцатых годах были навсегда убраны многие чекисты, работавшие под руководством Дзержинского. Одновременно уничтожались и соответствующие документы. Так что на некоторые эпизоды трудно теперь пролить свет. После смерти Ленина, например, в тщательно охраняемой внутренней тюрьме на Лубянке участились случаи, определявшиеся как «убит при попытке к бегству» или «погиб при

попытке к бегству». Причем бежать пытались наиболее опасные в политическом отношении арестанты. Не скажу, чтобы Сталин особенно опасался известного политического деятеля Бориса Савинкова. Однако неприятностей этот смелый умный противник способен был доставить много. Его удалось заманить из-за границы в Москву, а что дальше? Казнить — значит вызвать негодование, озлобление и за рубежом, и в своей стране. Сложная задача разрешилась сама собой: Савинков взял да и выбросился из окна во внутренний двор тюрьмы. Зачем это понадобилось ему, жизнелюбцу, которому грозило всего лишь десять лет ссылки? И что за тюремное окно без решетки?

Из чекистов двадцатых годов, повторяю, уцелели очень немногие. Следующий состав — это те, кто работал в период коллективизации, кто боролся с троцкистами и бухаринцами. Их тоже мало уцелело после тридцать седьмого года. Не говоря уж о Ленинграде, где состав ЧК сменили целиком, не оставив никого из тех, кто мог бы хоть что-то сказать о событиях, связанных с гибелью Кирова.

С приходом Берии начался третий период. Лаврентий Павлович стремился убрать тех сотрудников, которые проводили до него массовые репрессии, занимались избиением партийных и военных кадров. Тут сразу было несколько выигрышей. Наказывались «виновники» необоснованных репрессий — справедливость торжествовала. Ликвидировались компрометирующие нити, тянувшиеся к высоким руководителям. Ну и для своих надежных ставленников расчистил место Лаврентий Павлович. Этот новый, бериевский состав и сохранился потом до гибели Берии, до XX съезда партии. Тогда его соратники крепко поволновались. Кто постарше — был отправлен на пенсию. Кто помоложе — получил работу в народном хозяйстве, в отделах кадров и подобных учреждениях.

О Сталине после вышеупомянутого съезда писали и говорили, что для него главной была идея, но не люди. А между тем человек — это вершина созидания. Он рождается один раз, чтобы прожить радостную, счастливую жизнь — сие соответствует идеалам коммунизма. Все остальное — подсобное, второстепенное: материал, обеспечивающий процветание человечества. А Иосиф Виссарионович, наоборот, превращал людей в материал для великого социального эксперимента, пытаясь осуществить то, что считал правильным, наиважнейшим.

Для более глубокого уяснения природы сталинской твердости, даже жестокости, хочу обратить внимание на одну его немаловажную черту, на своеобразное отношение к смерти. Иосиф Виссарионович был атеистом. Для него не существовало потусторонней жизни, загробного царства. И все же детские впечатления, религиозность матери, пребывание в духовной семинарии не прошли бесследно. Сохранилось глубоко скрытое, подсознательное представление о том, что недолговечно, тленно лишь тело, а душа продолжает существовать всегда, но не активно, не проявляя себя действием, а только наблюдая, сострадая, каясь или радуясь. Каждому человеку легче жить с таким ощущением, а Иосифу Виссарионовичу, постоянно находящемуся на острие борьбы, на грани риска, тем более. Поэтому смерть (особенно чужая) не казалась ему полной всеуничтожающей катастрофой, окончательным разрешением всех тревог и забот земных. Нет, исчезает лишь оболочка. Хорошо жил человек, успел сделать что-то важное для людей, значит, надолго останется среди них, в их памяти. А это ведь тоже жизнь. Не случайно, значит, повторял

Иосиф Виссарионович стихи академика Н. А. Морозова, где были такие строчки:
Живой средь мертвых мертв, А мертвый жив в живых![30]

Сталин стремился увековечить себя грандиозными делами и памятниками на долгий срок. Замыслы его были велики и хороши, но ему не хватало возможностей, он раздражался, использовал не всегда лучшие способы достижения целей. А мне нравилось, что Сталин чувствует себя ответственным хозяином большого дома, нашей страны, заботится о будущем государства, смотрит далеко вперед. Это ведь он еще в конце двадцатых годов выдвинул идею освоения целинных земель, это ведь при нем вырос Комсомольск-на-Амуре, возникли поселения на Колыме, при нем начали строить Байкало-Амурскую магистраль (готовая часть пути была потом разобрана в силу необходимости во время войны). А два больших, жизненно важных для страны канала, изменивших водно-транспортную сеть, решивших вопрос снабжения столицы водой, и другие проблемы! Создавались эти сооружения под непосредственным руководством Сталина. Беломорско-Балтийский канал был далеко, но вот на канал Москва-Волга Иосиф Виссарионович ездил несколько раз. Со мной — дважды.

Сталина упрекают теперь, что многие великие сооружения возводились, мол, руками несчастных заключенных. Ругают его за это. А я не могу согласиться. Во-первых, на этих и других больших стройках было много вольнонаемных, работали и красноармейцы. Во-вторых, если речь идет об уголовниках, то сам Бог велел, чтобы они трудились с полным напряжением, искупая свою вину перед обществом. И для безвинных политических страдальцев такая работа была лучше тоскливого времяпрепровождения за решеткой. Подавляющее большинство политических были искренними коммунистами, патриотами, утешением для них было то, что они, хоть и в столь необычной форме, продолжают приносить пользу Отечеству. В конечном счете не ради величия Сталина, а ради укрепления, ради процветания нашей страны велась вся эта работа.

Страдая чрезмерной подозрительностью, Иосиф Виссарионович с оттенком недоверия относился почти ко всем людям, даже к родственникам, постоянно ожидая неприятностей. Окажи доверие человеку, а он оступится, ошибется, скомпрометирует. Вот если бы выполнил задачу, свершил то, что ему поручено, и исчез… С мертвыми гораздо проще. Все определено, ясны плюсы и минусы. Одного можно хвалить со спокойной душой, другого ругать. Этого принципа, кстати, придерживаются многие руководители многих стран. Не очень-то хвалят при жизни больших ученых, самостоятельных мыслителей, оригинальных писателей — то есть людей беспокойных, ищущих. Неизвестно, куда они еще повернут, что разыщут. Это уж после смерти их превозносят благодарные соотечественники. Так было и при Сталине, только все грани проявлялись обнаженней и резче, опять же в силу того, что смерть в его понимании не являлась последним решающим рубежом. Он любил смотреть в небо — это усиливалось с возрастом. Небо странно волновало и притягивало Иосифа Виссарионовича своей беспредельностью, бесконечностью существования. Какую загадку видел он там?

Сталин поощрял любые попытки подняться ввысь, освоить безмерные просторы. Несколько раз он с горечью говорил о том, что каждый новый шаг в высоту дается с огромными трудностями и оплачивается потерей смелых, упорных товарищей. К ним, к этим отважным людям, Иосиф

Виссарионович относился с особой заботой, с почтительным уважением. Болезненно переживал Сталин гибель Усыскина и его соратников, пытавшихся проникнуть в тайны стратосферы. Иосиф Виссарионович поехал на похороны, сам нес урну с прахом. Лицо было скорбное, будто потерял близких друзей. Может, думал о том, что в небе встретил он сопротивление, которое не в состоянии преодолеть, что где-то там, в неизвестности, есть решающая, недоступная пониманию сила…

День выдался морозный, но Иосиф Виссарионович был настолько потрясен, настолько погружен в свои мысли, что не замечал холода, хотя приехал в фуражке. Уши у него начали белеть. Я снял свою теплую шапку, надвинул на голову Сталина. Она была мала ему, особенно при опущенных ушах, сидела торчком, покосившись, но, во всяком случае, согревала. А он даже внимания не обратил. Потом, возле автомобиля, машинально принял из моих рук фуражку. И все думал о чем-то отрешенно, поглядывал на хмурое, суровое небо…

До сих пор мы говорили главным образом о тех, кто безвинно пострадал в тридцатые годы. Но безвинно, на мой взгляд, пострадали далеко не все репрессированные. Попробуем разобраться.

Сам Господь Бог, а если говорить всерьез, земные служители Бога, служители разного ранга нацелены большей частью на то, чтобы отпускать всем смертным грехи, особенно кающимся. Но ведь за все, за хорошее и плохое, сотворенное им, человек так или иначе должен расплачиваться. Неужели любые грехи можно искупить? А за неискупимые кто должен карать? Что, если Сталину, прошедшему воспитание в духовном училище и в духовной семинарии, заранее предопределено было место не в той когорте, которая печется о спасении душ человеческих, а стать одним из тех, кто карает за грехи непростительные, не подвластные никакому земному суду?! Посмотрите пристально: по существу, все политические, государственные, военные деятели, подвергшиеся репрессиям, сами ведь проливали людскую кровь, и не только на практике, по наитию, но и глубокомысленно обосновывая физическое уничтожение во имя различных, в том числе классовых, целей.

Полководцы гражданской войны, красные и белые, разжигающие междуусобную бойню, натравлявшие брата на брата, твердой рукой наводившие «белый» или «красный» порядок в городах и селах, захваченных то одной, то другой враждующей стороной — сколько преступлений висит на их совести?! А чекисты первых лет революции, расстреливавшие предполагаемых противников по собственному усмотрению, разве эти чекисты не несут ответственности за сотни тысяч жертв? Нет, классовая борьба — это не оправдание жестокости, дикому своеволию, анархизму. Человек рано или поздно за все ответит сам. И чем раньше он осознает это, чем меньше зла натворит, тем легче ему жить потом, особенно в старости.

Отходя от рассуждений, давайте вспомним подтверждающие примеры. Ну, хотя бы то, что в достаточной степени известно было среди современников. Доказано, что Октябрьский переворот произошел в нашей стране довольно спокойно, почти без жертв. При штурме Зимнего, например, никто не убит, лишь нескольких граждан придавила толпа, врывавшаяся во дворец. Пять или шесть солдат перепились в винных подвалах Зимнего, их не удалось спасти. Выражаясь тогдашним языком, революция «триумфально шествовала по стране». И это действительно так. Назрело — свершилось. Все естественно и справедливо. Но очень

скоро проявили себя те, кто жаждал власти, стремился управлять от имени революции, уничтожая несогласных, сомневающихся.

Летом 1918 года в тихом городе Архангельске, где постепенно укоренялась советская власть, очень активно проявил вдруг себя облеченный доверием центра Особо уполномоченный Совнаркома большевик Михаил Кедров, не знавший, вероятно, куда употребить с пользой здоровье и силу. Ну и советница у него нашлась — ироничная Ревекка Пластинина, при царе отбывавшая в северных краях срок ссылки.

Михаил Кедров разогнал городскую думу, в которой преобладали меньшевики и эсеры (влияние эсеров на севере вообще было особенно сильным). За пару недель в Архангельске и в уездных северных городах, куда дотянулись руки Кедрова, были во множестве арестованы учителя, торговцы, священники, чиновники, врачи, ветеринары, газетчики, агрономы и прочие представители буржуазии и буржуазной интеллигенции. К ним являлись во второй половине ночи, в самое глухое время, уводили в тюрьмы, а за нехваткой мест в тюрьмах — в подвалы казенных домов. И расстреливали без суда и следствия. Целыми семьями. Случалось, что и вешали. Но за что? Почему? Да только потому, что Особоуполномоченный Кедров посчитал их врагами. Как его назвать, кем его считать после этого? Борцом за советскую власть или преступником?

Я совершенно уверен, что англо-американо-канадская интервенция на нашем севере имела вначале успех (до Котласа враги дошли!) в значительной мере потому, что местные жители были напуганы, дезориентированы действиями таких злодеев, как Кедров. Словом «большевик» детишек стали пугать.

Кто знает, мучила ли впоследствии Михаила Кедрова совесть за совершенные преступления, появлялись ли «мальчики кровавые в глазах?» Жил он себе припеваючи, но наступило время, когда стал он рьяным борцом за справедливость и законность. Это когда самого «припекло». Году в тридцать восьмом или тридцать девятом его младший сын Игорь, тайный агент НКВД в Наркомате иностранных дел, был заподозрен в шпионаже. Почувствовав угрозу ареста, кинулся в борьбу за самого себя. Написал письмо Шкирятову о несправедливом отношении и вообще злоупотреблениях работников особых органов. Вмешался и Михаил Кедров, отправив в высокие инстанции два послания: Сталину и Калинину. Предвзято, мол, относятся к моему сыну (о старшем, о Бонифации, умалчивал, не привлекая к нему внимания). Вот как засуетился Кедров, когда черное крыло распростерлось непосредственно над его семьей. Игорь Кедров был расстрелян как зарубежный шпион. Призвали к ответственности и Михаила Кедрова. Но его, старого большевика, Верховный суд (не без вмешательства М. И. Калинина) оправдал. Редчайший случай для того времени. Узнав обо всем этом, Иосиф Виссарионович высказал свое мнение:

— Железный Феликс вспоминал, как Кедров железной рукой наводил порядок в Архангельске. Искоренил двести буржуазных семейств. Может, и больше. Без суда. Почему же он возмущается, когда в законном порядке наказан его сын? Невиновный — освобожден. Виновного — покарали. Что же в этом несправедливого?

— А как бы вы себя чувствовали, Иосиф Виссарионович, если бы в подобном положении оказался один из ваших сыновей? Как бы вы поступили?

— Как поступил бы я? — Сталин задумался, машинально потирая правой рукой левую руку. — Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Что заслужил, то получи! Малейшее отступление от такого принципа может разложить любое общество, любое государство, тем более такое разнообразное государство, как наше…

Да, на все, даже на свою семью он смотрел словно бы со стороны, а вернее — с высоты своего полета.

Что же касается Кедрова, то ему, несмотря на официальное судебное оправдание, не удалось все же избежать кары. Осенью 1941 года он был расстрелян с группой «врагов народа» где-то в тылу, в Саратове, что ли… Добавили впопыхах к какому-то списку. «Шлепнули» его, как «шлепал» когда-то он.

Ну, ладно, Михаил Кедров — это практик, не всегда, может, и размышлявший над своими поступками, над своими решениями. Но вот Николай Иванович Бухарин, образованный человек, мыслитель, теоретик, который по своему положению в партии и государстве, по своему внутреннему состоянию просто не мог не размышлять, не мог не предвидеть. Этот человек, считавшийся чуть ли не образцом гуманности и демократии, в работе «Экономика переходного периода» собственноручно и категорически начертал:

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Жуткое утверждение, не правда ли?! Люди для Бухарина — человеческий материал. А все перегибы двадцатых — тридцатых годов, это лишь «метод выработки коммунистического человечества». Как все просто, когда дело касается других. А если сам вдруг окажешься не высокопоставленным мудрецом, а этим же материалом?!

Вспоминал ли Бухарин свое категорическое утверждение, находясь в тюремной камере, всеми возможными способами пытаясь сохранить собственную жизнь?

Мне довелось слышать, как некоторые товарищи, пострадавшие в годы репрессий, говорили с горькой иронией: «За что боролись, на то и напоролись». Я только не понимаю, при чем тут ирония, это ведь действительно так. С ними поступали таким же образом, каким поступали они по отношению с другим. Бумеранг возвращается. Зачастую, правда, возвращается с опозданием и бьет по мертвым, что не приносит особой пользы. Гораздо важнее, чтобы каждый гражданин, каждый руководитель еще при жизни получал по заслугам. Тогда крепче думали бы, прежде чем делать. Многих ошибок, перекосов и преступлений удалось бы избежать.

12

Переехав в Москву, Лаврентий Павлович перевез в столицу и своих ближайших родственников. Семейные дела Берии ни в коей мере не интересовали бы меня, если бы не одна, открывшаяся вдруг, подробность. Читатель, наверно, помнит, при каких обстоятельствах встретил я Екатерину Георгиевну, ставшую моей женой и матерью нашей дочери. Катя-Кето приехала тогда из Грузии просить Сталина, чтобы ей разрешили похоронить на семейном кладбище тело расстрелянного брата, бывшего офицера российской армии… Мы с ней познакомились.

Примерно при таких же обстоятельствах и Лаврентий Павлович увидел впервые свою будущую жену. Было это, когда Берия подвизался на посту начальника ГПУ Грузии. В своем спецпоезде он разъезжал по республике. Любил бывать в поселке Гульрипши, неподалеку от которого родился в мингрельском селе Мерхеули: сей факт свершился в самом конце минувшего века.

Однажды на станцию, где стоял спецпоезд, пришла семнадцатилетняя девушка-мингрелка. И тоже, представьте себе, просить за родного человека. Чтобы начальник ГПУ отпустил арестованного брата, которому грозил расстрел. С подобными просьбами являлись многие, но редко кого пускали к Берии. А девушку Нино пустили. Лаврентию Павловичу показали просительницу через окно вагона, ему понравилась ее свежесть, ее фигура с чуть полноватыми ногами и крепкими бедрами. Он говорил потом, что увидел красавицу…

Девушку привели в вагон. Берия пригласил ее в купе и запер изнутри дверь… Короче говоря, из вагона Нино не вышла и в свою деревню не возвратилась. Берия увез ее. Не знаю, как сложилась судьба брата Нино, а сама она вскоре стала официальной женой Лаврентия Павловича, родила сына.

Нина Теймуразовна действительно была красива и к тому же умна. Хорошо вела дом, воспитывала ребенка, сама училась, чтобы стать химиком. А жизнь ее, на мой взгляд, была горька и трудна. У нее в Москве почти не было знакомых, никто не ходил в гости, и она ни к кому не ходила. Всегда дома, всегда одна — как в роскошной тюрьме. Лаврентий Павлович бывал груб с женой, бесцеремонен, не считался с ней, не щадил ее самолюбия. Привозил в дом, на свою половину, случайных «разовых» женщин. Появлялся на людях со своей постоянной любовницей, известной актрисой, лучшей в ту пору исполнительницей роли Кармен.

Незадолго до войны мне довелось побывать в доме Берии, в особняке за высоким глухим забором: на Садовом кольце, возле площади Восстания. Лаврентий Павлович, приняв пост наркома внутренних дел, как я уже говорил, позаботился об освобождении некоторой части репрессированных лиц, в том числе и военных. Было установлено, что военным товарищам возвращаются звания и должности, дается определенная компенсация за нанесенный им ущерб. Я же, зная, из какого ада они выходят, подготовил решение: каждый из освобожденных подлежит тщательному медицинскому обследованию с обязательным направлением в санаторий или в дом отдыха. Вместе с семьей. Для восстановления физических и нравственных сил. Против санатория и домов отдыха никто не возражал, а насчет обследований у Берии оказалось особое мнение. Он требовал, чтобы окончательное медицинское заключение давалось при освобождении врачами НКВД. Причина была мне понятна, и я настаивал на своем: речь идет о пригодности к строевой или нестроевой службе, поэтому и обследовать военных товарищей должны военные медики, руководствуясь положениями, существующими в Наркомате обороны.

Выносить этот частный и щекотливый вопрос на Политбюро Лаврентий Павлович, естественно, не хотел, пригласил меня для разговора к себе домой. Я поехал: любопытно было узреть, какое гнездо свил себе Берия. С другой стороны — Иосиф Виссарионович часто обращался ко мне по самым неожиданным делам, считая, что я должен знать все, что имело хотя бы малейшее касательство к военному ведомству. Сам он никогда ни к кому

не ездил, но, вполне возможно, его могло заинтересовать, как живет, каков в домашней обстановке один из его ближайших помощников, носивший военную форму.

За обеденным столом мы с Лаврентием Павловичем довольно быстро нашли компромиссное решение по поводу медицинского обследования, никоим образом не ущемлявшее интересы освобождаемых товарищей и устраивавшее руководителей наркомата внутренних дел, стремившихся соблюсти респектабельным фасад своей организации. Надо сказать, что многие люди в домашних условиях выглядят совершенно иначе, чем на работе, при исполнении служебных обязанностей. Наглец, самодур и грубиян в присутствии жены и детей может вдруг оказаться ласковой послушной овечкой, а мягкий, вежливый начальник, душа-человек в своем учреждении, едва переступив порог семейного очага, оборачивается злобным и жестоким деспотом. Однако Берия не принадлежал ни к тем, ни к другим. Угодливым и заискивающим он был только перед Сталиным. Других же считал стоявшими ниже себя, со всеми, и на службе и дома, как я убедился, был барски высокомерен, резок. Равнодушен он был ко всему, что не касалось лично его интересов. Считаю, что в глубине души он презирал всех, что для него не было людей с их чувствами, мыслями, переживаниями, он видел только фигуры в игре, которые можно переставлять или отбрасывать, стремясь к своей цели.

Впрочем, разница между Берией в его служебном кабинете и Берией за домашним обеденным столом все же была. На службе он никогда не снимал очки (без оправы, с большими толстыми стеклами), хотя зрение имел нормальное. Людей, что ли, пугал холодным блеском стекла? Или не хотел, чтобы видели выражение его голубоватых выпуклых глаз?

Он сидел против меня, с удовольствием пил, много ел, похваливая Нину Теймуразовну, которая умело управляла поварами и сама знала тайны грузинской кухни. Без очков лоб Лаврентия Павловича казался слишком уж выпуклым, удивляли белесые, не свойственные грузинам, брови. То, что волосы у него светлые, было привычно, а брови в тот раз привлекли мое понимание. И вообще — без больших поблескивающих очков выглядел он как-то очень уж ординарно, заурядно, взгляду не на чем было зацепиться на его бесцветном, с одутловатыми щеками, лице.

Нина Теймуразовна меняла блюда, переставляла тарелки, рюмки, фужеры. Делала это так своевременно и быстро, будто все получалось само собой. Словно ее и не было. Сидела чуть в стороне от мужа, с застывшей на красивом лице улыбкой, сквозь которую проглядывала печаль и какая-то ранняя, не по возрасту, усталость.

Ворвался в столовую их сынишка Серго, очень похожий на отца, только посмуглее, да черты лица очерчены резче, не расплывчатые. Тут впервые увидел я, как потеплели и прояснились глаза Лаврентия Павловича. Он погладил по голове мальчика, прильнувшего к его колену, произнес что-то обычное в таких случаях: «поздоровайся с дядей», наверное. Серго поздоровался, и в ту же секунду появилась гувернантка: извинившись перед нами, она предложила мальчику пойти с ней. Причем сказано это было не по-русски, не по-грузински, а по-немецки, и не так, как говорят люди, освоившие этот чужой для них язык, а именно так, как говорят в Германии, и еще точнее — в Северной Германии, на берегах Балтики.

— Немка? — спросил я, когда мальчик и гувернантка скрылись за дверью.

— Да. У них сейчас урок языка… Она очень добросовестная и аккуратная, — пояснила Нина Теймуразовна, будто оправдываясь.

— Несколько языков знает, — добавил Лаврентий Павлович, прихлебывая из большого фужера. — Надежна со всех сторон.

Последние слова Берии отнюдь не избавили меня от неприятного ощущения. В ту пору всем было уже ясно, что войны с фашистами нам не избежать, что Германия для нас враг номер один. А возле человека, ведающего разведкой и контрразведкой, знающего самые важные государственные тайны, в доме его, где накоротке решаются важнейшие вопросы, где он говорит о делах по телефону, живет, пользуясь влиянием и авторитетом, гувернантка немецкой национальности. Вероятно, она была человеком честным, порядочным, но не слишком ли высока ступень риска?! Да и зачем? Разве нельзя было найти гувернантку русскую или грузинку? Сколько тысяч, десятков тысяч людей были арестованы, отправлены в лагеря и в мирное время, и на фронте при возникновении малейшего подозрения. А гувернантка, к которой очень привязан был сын Берии, обреталась в семье Лаврентия Павловича всю войну. Она помогла мальчику Серго овладеть немецким и английским языками, она была хорошей воспитательницей и принесла пользу. Все так. Но мне подобное положение дел показалось тогда странным.

Став взрослым, Серго женился на внучке Алексея Максимовича Горького — Марфе. У них родился сын, названный, если мне не изменяет память, Максимом Пешковым.[31]

После обильных возлияний (я в ту пору мог пить много, не теряя головы, не утрачивая чувства ответственности) разговор за столом перешел почему-то на имена. Каковы настоящие, исконные имена в России, каковы в Грузин? Лаврентию Павловичу и Нине Теймуразовне это было интересно, мне тоже. Я ведь кое-что знал о Грузии благодаря своей жене Кето Георгиевне и многолетнему общению с Иосифом Виссарионовичем. Крупный специалист по женской части, Лаврентий Павлович, рассказал о наиболее популярных в Грузии женских именах, чьи именины празднуют зимой (наша встреча как раз была в середине зимы). Например — Тина, а полностью Тинатин: обозначает «светлый солнечный луч» и особенно распространилось после того, как появилась поэма «Витязь в тигровой шкуре». Так зовут главную героиню поэмы. Не менее широко распространено и имя Нина — Нино, давным-давно принесенное в Грузию женщиной — просветительницей из Каппадокии, проповедовавшей христианское учение.

Нина Теймуразовна оживилась, будто речь шла непосредственно о ней, и еще больше похорошела. Заметив это, Лаврентий Павлович ухмыльнулся и повел речь об именах простонародных, которые родители дают своим чадам, руководствуясь только собственной фантазией. Особенно в глухих селах. Был, дескать, у него случай, еще до переезда в Москву, когда возглавлял грузинскую компартию. Посетил он передовое предприятие, так к нему подходили стахановцы и стахановки, знакомились. Одна назвала свое имя — Макоцэ. Он переспросил, она повторила, чуть смутившись. Ведь «макоцэ» по-грузински означает «поцелуй меня». Вот каким имечком наградили родители! Берия окинул взглядом ее фигуру. Вполне подходяще, к тому же и молода. «Хорошо. Такой симпатичной девушке нельзя отказать». В тот же вечер стахановку встретили у проходной доверенные люди Лаврентия Павловича. Посадили в машину, привезли куда надо, велели помыться в ванной и проводили к хозяину.

— Я выполнил и значительно перевыполнил просьбу, — посмеиваясь, сообщил Берия, будто анекдот рассказал. В присутствии Нины Теймуразовны мне было очень неприятно слушать это повествование. Женщина сразу замкнулась, померкла, на лице появилась заученная маска-улыбка, будто вся эта история, все пикантные подробности, которые смаковал муж, не имели никакого отношения к ней… Да, действительно, нелегко ей жилось.

Кстати, я никому не рассказывал о случае с девушкой Макоцэ, фактически об одном из насилий, учиненных Берией, но Иосифу Виссарионовичу, как выяснилось впоследствии, эта история была известна. Она всплывет после войны, едва Берия окажется не в фаворе.

А тогда, покончив с обильным и вкусным обедом, мы с Лаврентием Павловичем пошли в его персональный тир, оборудованный в том же доме (стрелять — это было его увлечение, его хобби, как теперь говорят). Конечно, мне в моем возрасте лучше было бы отдохнуть после сытного застолья, но у Лаврентия Павловича клокотала нерастраченная энергия, подогретая коньяком, он пригласил, настоятельно пригласил меня, желая, вероятно, продемонстрировать свое мастерство. Мне было интересно, как он стреляет. Ну и собственное офицерское реноме хотел поддержать.

Странными были мишени. К тому времени в войсках и в Осоавиахиме учебные стрельбы выполняли по возможному противнику, по силуэту в каске германского образца. А в персональном тире Берии оказались силуэты мужчины и женщины, без всяких намеков на то, к каким из наших противников они принадлежат. Довольно симпатичные силуэты, даже рука не сразу поднялась стрелять в них. Лишь после того, как Берия послал свои пули близко к девятке, взыграло и мое ретивое: неужели этот выскочка бьет лучше меня?!

Тщательно прицелившись, я положил шесть пуль одна к одной в центр мишени. Лаврентий Павлович, подкреплявшийся в этот момент возле столика, на котором красовались бутылки коньяка и различные фрукты, был удивлен и даже раздражен. Вероятно, в подобной ситуации его холуи сознательно стреляли хуже своего начальника. А теперь он был уязвлен. Торопливо выполнил упражнение — не догнал меня. Еще раз — опять результаты хуже. И тогда, ожесточившись, оскалив зубы, Берия принялся безудержно палить то по одной, то по другой мишени: обслуживающий человечек, бесшумный и бесплотный, как тень, едва успевал подавать ему заряженные пистолеты.

13

Восемнадцатый съезд партии, состоявшийся в марте 1939 года, решительным образом отличался от всех предыдущих съездов. Раньше представители партийных организаций собирались на свои форумы для того, чтобы поговорить о наболевшем, поспорить, поделиться опытом, выявить недостатки, сообща наметить новые цели и пути достижения их. Так было всегда, и в этом я, например, как раз и видел главное значение съездов. А иначе зачем тратить время и средства.

Никаких дискуссий, острых, неожиданных вопросов на этот раз не возникало. Делегаты слушали, что говорят руководители, устраивали овацию и единодушно одобряли все предложения, все пожелания Сталина, облекая их в форму официальных решений. Они поддержали бы

любую, самую абсурдную мысль. Иосиф Виссарионович торжествовал. Я попытался несколько умерить его ликование:

— Монополизация идей ведет к духовному оскудению народа. Вам желательно иметь сообщество кретинов?

— Нам нужно общество, состоящее из надежных людей. Которые способны работать, а не заниматься болтовней.

Да, Иосифу Виссарионовичу требовались только исполнители. Чуть лучше, чуть хуже — это не имело значения. Лишь бы действовали быстро и беспрекословно. Остальное он брал на себя. Он был уверен, что может думать и решать за всех.

Хочу, чтобы читатель представил несколько отвлеченную, но вполне реальную картину. В один прекрасный день, вскоре после съезда, Иосиф Виссарионович, гуляя в хорошем расположении духа по дачным аллеям, присел на скамейку, окинул внутренним взглядом оставшийся позади жизненный путь и сам поразился: какую же колоссальную, невероятную работу проделал он, начав неудачным семинаристом и поднявшись на заоблачную вершину правителя одного из крупнейших государств мира! Огромная и многообразная, воинственная и могучая, богатая и непокорная Русь послушно и организованно следовала теперь по тому пути, который намечал он. Сталин достиг того, чего никогда не добивались другие: навел порядок в государстве, извечно страдавшем от отсутствия оного. Противники обезврежены. Каждый гражданин был приставлен к месту и занимался определенным делом. Одни руководили, другие добывали уголь или создавали машины, третьи организованно выходили в поля и на фермы. Все было обрамлено надежными рамками карательных органов и прикрыто от внешних посягательств войсками. Это, разумеется, в общих чертах. Имелись еще недостатки, которые требовалось устранить в ближайшие годы.

С радостью и гордостью сознавал Иосиф Виссарионович, что именно он венчает созданную им стройную пирамиду. Как горный орел, зорко следит с вершины за течением жизни. И окончательно уразумел Сталин то, о чем догадывался и раньше: сама судьба назначила его повелевать массами людей, творить Историю.

Народ охвачен энтузиазмом, народ верит, что нет таких крепостей, которых, под руководством Сталина, не взяли бы большевики. Всего за десять лет, могучим рывком, преодолена экономическая пропасть, отделявшая Советский Союз от высокоразвитых капиталистических государств. Какой ценой? Имеет значение не цена, а результат: по объему валовой продукции страна вышла на второе место в мире! У нас теперь свои тракторы и свои танки, свои пароходы и самолеты! Разве это не чудо?!

В 1937 году собран рекордный урожай, доказавший преимущество коллективного ведения хозяйства при строгом контроле сверху. Все люди сыты, одеты, обуты: жить стало лучше, жить стало веселей!

По всему Союзу, даже в тех республиках, где до революции не было грамотных, не было своей письменности — везде завершен переход к всеобщему обязательному начальному образованию: еще недавно об этом можно было лишь мечтать!

Иосиф Виссарионович понимал, что достигнутое — не только его заслуга. Во всех государственных свершениях — труд товарищей по партии, которая все еще несла в себе заряд ленинской энергии. В часы просветления Сталин сознавал, что побеждал не лично он, побеждало

верное, обоснованное учение, которое он исповедовал. Но подобные просветления случались все реже. Гораздо приятнее была мысль о своей исключительности, особом предназначении на земле. К тому же и Лаврентий Павлович постоянно убеждал его в этом, приучив, как к сладкой отраве, к эпитету «великий и мудрый». Да и что, собственно, плохого в этом? Каждый народ достоин такого правления, которое он заслуживает и поддерживает. Народные массы, лишенные церкви, объекта веры, искали себе нового конкретного кумира, народные массы увидели и восприняли божественный нимб, все ярче сиявший вокруг головы Сталина. Люди хотели этого, а кто ищет, тот и обрящет!

Мать Иосифа Виссарионовича, истинно православная женщина, до последних дней своих мечтала о том, чтобы сын стал священником и служил Богу. А он вознесся выше, гораздо выше: сам стал богом для миллионов людей, они теперь служили ему.

14

Дальняя дача. Посреди просторной лужайки — деревянный стол «на одной ноге», врытый в землю, похожий на гриб. Около него три легких плетеных кресла. Денек нежаркий, но ясный: где-то поверху шел северный ветер, шевелил кроны сосен, а внизу дыханье его ощущалось лишь холодными струями, прорывавшимися сквозь нагретый солнцем воздух в подлеске. Острые, даже покалывающие были струйки.

Мы с Иосифом Виссарионовичем, сидя метрах в двух друг от друга, слушали патефон, по очереди вставая, чтобы покрутить ручку и сменить пластинку. Потом эту обязанность взяла на себя Валентина Истомина. Принесла на серебряном подносе крепко заваренный ароматный чай, присела на свободное кресло рядом с Иосифом Виссарионовичем, глядя на него сияющими глазами. Она прямо-таки расцветала, оказываясь возле него, и Сталину, я замечал, приятно было в теплых лучах, исходивших от этой женщины. Понимая, что даже одним своим видом она выдает свое чувство, Валентина старалась не приближаться к Иосифу Виссарионовичу при посторонних. А ко мне она привыкла, не испытывала стеснения.

Была очередь Сталина менять пластинку, но Валя поднялась с ласковой ворчливостью:

— Сидите уж, отдыхайте.

— Спасибо, — сказал я. — Там сверху Русланова.

У Сталина был очень хороший набор пластинок. В основном — русские народные песни, грузинские и украинские, белорусские и сибирские. Последние советские песни. Кроме того Рахманинов, Чайковский, Глинка, популярные оперные и балетные мелодии, романсы. Оперетты Кальмана, вальсы Штрауса, разнообразные марши. Очень он любил духовой оркестр. В общем, все новинки и наши, и зарубежные попадали к нему: последние он прослушивал, но оставлял лишь немногие, без пустякового джазового грохота, утрированного истерического взвизгивания и хрипения.

Музыкой Иосиф Виссарионович увлекся всерьез с середины тридцатых годов. Душевное равновесие приносила она, да и времени у Сталина стало больше для себя. Первое время слушал пластинки один, но затем все чаще и чаще со мной, когда выяснилась общность наших вкусов. И заводить патефон надоело самому — через раз все-таки лучше.

Побывали мы как-то со Сталиным на опере молодого композитора Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова». Мне опера решительно не

понравилась. Я убежден вообще, что музыка держится на двух китах. Первый, примитивный, доступный всем — это ритм. От негритянских тамтамов до наших оркестровых барабанов. Второй — мелодия. Творцом мелодии является либо талантливый композитор, либо ее веками вынашивает народ. В тонком, умелом, мастерском сочетании этих двух компонентов — вся сила музыки, вся сила этого обобщенного вида искусства, действующего не на разум, а на чувства, на интеллект. А музыка Шостаковича показалась мне тогда смесью примитивного барабанного ритма с кафешантанной мелкобуржуазной пошлятиной, под которую дрыгают ногами, задрав юбчонки, девицы легкого поведения парижских подмостков. До примитивного звукового иллюстрирования пошлых житейских фактов унизил музыку автор. Разве это не утонченная порнография?

Иосиф Виссарионович тоже был удивлен и шокирован столь разнузданным упрощением серьезного искусства.

— Зачем нам мещанская пустопорожняя эстрада? Что может нравиться в этом кривляний и цинизме? — недоумевал Сталин. — Может, я не профессионально разбираюсь, так пусть скажут специалисты, музыковеды.

Вскоре в «Правде» появилась статья «Сумбур вместо музыки», которая была резковата по тону, однако суть ее не вызывала сомнений. Правильная была статья. Думаю, что замечания, высказанные в ней, пошли на пользу Дмитрию Шостаковичу. Охладили его пыл в погоне за дешевым успехом.

Вот с той поры мы и слушали пластинки вместе с Иосифом Виссарионовичем. Иногда спорили, но чаще просто наслаждались прекрасным. Не было у нас общей точки зрения на новые советские песни. Появилось их много, однако чаще всего — пустые крикливые агитки, мелкая разменная монета. Я говорил: надо строже отбирать их, чтобы приобщать народ, особенно неопытную, колеблющуюся молодежь, к настоящему искусству, а не к легкодоступной пошлятине. А то ведь масса, только что пробудившаяся к интеллектуальной жизни, всерьез, на несколько поколений вперед, примет все эти музыкальные пустячки за высокие достижения цивилизации. А может, народной массе как раз и нужны элементарные поделки, доступные всем?

Сталина занимало другое. Он говорил, что агитационные, зажигательные песни очень нужны, они выполняю мобилизующую, настраивающую роль. В принципе, это правильно. Однако суть в том, хороша или плоха сама по себе эта песня. Меня, например, до глубины души возмущал куплет:

Мы с железным конем все поля обойдем, Соберем, и посеем, и вспашем. Наша поступь тверда, И врагу никогда Не гулять по республикам нашим!

Вдумайтесь, какой бессмысленный набор слов! Насчет железного коня — это ладно. А дальше? Как можно собрать урожай, потом посеять, потом еще зачем-то вспахать неизвестно что… Труд наизнанку. И еще: если мы «железным конем» обходим все свои поля, то причем тут «твердая поступь» по отношению к врагу, и вообще, с какой стати они должны «гулять» по республикам нашим? Не пригласим — и не будут гулять. А ежели воевать начнут, так уж это, извините, не гулянье.

— Песня взбадривающая, — улыбнулся Иосиф Виссарионович. — Смысла в ней, конечно, немного, но настроение она поднимает. Пророческая песня, пусть используют.

Да уж, действительно — «пророческая»! Очень скоро после ее появления незванный враг на «железных конях», неся смерть и разрушение, прошел по дорогам восьми наших союзных республик. Несколько лет «гуляли» фашисты по нашей земле.

15

Мало пишу я в этом разделе о семейных взаимоотношениях. И не случайно. После смерти Надежды Сергеевны охладел Иосиф Виссарионович к детям, отдалился от них. Да и время было слишком бурное, борьба слишком жестокой: отнимали они все силы и внимание. Но вот к концу тридцатых годов поутихли внутригосударственные бури, а войны еще не нагрянули: Сталин, утвердившись на желанном пьедестале, чаще позволял себе кратковременный отдых. И возраст брал свое: шесть десятков лет — груз ощутимый. Тянуло на природу, на Дальнюю дачу, к Светлане. Однако, как и прежде с женой, не находил он с детьми спокойствия, удовлетворенности. Не чувствовал родства душ, способных продолжать его дело, гордо нести дальше его фамилию. Не повезло человеку в личной жизни, а отсутствие семейной доброты, ласки, радости не могли не отражаться на его состоянии и, соответственно, на работе. Пресловутая раздражительность Сталина, его гневные вспышки во многом проистекали отсюда.

О женитьбе Якова Джугашвили мы уже говорили. Его Юлия Мельцер оказалась не только красивой, но и достаточно тактичной. Я бывал у них в Ленинграде. Потом семья переехала в Москву. Сложилось впечатление, что они любят друг друга, особенно Яков жену. Застенчивый, носатый, узкоплечий, Яков, впервые согретый большим теплом, как-то расправился, посолиднел, хорошо смотрелся рядом со своей броской супругой. А главное — Юлия никогда не настраивала его против отца. Наоборот, подчеркивала, что Иосифу Виссарионовичу трудно на высоком посту, ему не до них, он заботится о всем народе.

И хотя Иосиф Виссарионович по-прежнему считал: Яков слишком Джугашвили, чтобы стать Сталиным, в его отношении к сыну наметилось явное потепление. Особенно после того, как сын поступил в 1939 году в Артиллерийскую академию на командный факультет. До этого Яков окончил институт инженеров транспорта, но Сталину почему-то не нравилась эта специальность. А теперь Яков «определился», как казалось Иосифу Виссарионовичу. Только ведь не угадаешь, чем сегодняшнее деяние оборотится в будущем.

В военной форме, вообще украшающей мужчин, Яков Джугашвили выглядел более мужественным, уверенным. И все-таки оставалась в нем какая-то мягкость, я бы даже сказал — робость. Совсем ничего не было от решительности и категоричности Сталина. Даже лицом не похож на отца. Одна из определяющих черт внешности Иосифа Виссарионовича — узкий лоб. А у Якова лоб нормальный, высокий, чистый… Не в отцовскую породу пошел сын.

Встреч с Иосифом Виссарионовичем Яков избегал. На Ближней даче, в «Блинах», я его никогда не видел. Наведывался лишь на Дальнюю дачу, где жили бабка и дед Аллилуевы, где часто бывала Светлана, в ту пору умная, добрая, рассудительная девочка, в характере которой, впрочем, уже начинали проявляться капризность и эгоизм.

Мне показалось, что Яков ищет (нерешительно, но ищет) разговора со мной наедине. Я предоставил ему такую возможность. С северной стороны дачи, за высоким забором, были большие заросли лесной малины. Малозаметная железная калитка, выводившая в ту сторону, была постоянно закрыта, но однажды я попросил отпереть ее — когда созрели красные ягоды. И вывел «на малину» все дачное общество.

Кто прихватил с собой кружку, кто легкую коробочку, только у невезучего Якова каким-то образом оказалась в руках эмалированная кастрюлька, совершенно не сочетавшаяся с его новенькой, хорошо сшитой формой. Удобная была мишень для шутников.

Яков держался поближе ко мне. Я чувствовал, что он очень хочет, но не осмеливается спросить о чем-то. С тех давних пор, когда он только приехал в Москву и называл меня дядей Колей, прошло много времени, мы редко виделись, но мое доброе к нему отношение не переменилось. Чтобы он почувствовал это, я первым задал ему вопрос, личного, так сказать, порядка. Почему мол, он, имея инженерское образование, пошел в артиллерию, а не в пионерные войска?

Ответит ли он искренне? И вообще поймет ли меня? Пионерными войсками в русской армии до середины прошлого века назывались войска инженерные. Знает ли об этом слушатель военной академии Джугашвили-Сванидзе?

— Так захотел отец, — доверчиво ответил Яков. — Он посоветовал… Считаете, лучше, если бы я стал дорожником или сапером?

— Инженерные знания артиллеристу не повредят, только помогут… Но ты, кажется, хочешь сказать мне что-то?

— Да. — Он положил на землю пустую, мешавшую ему кастрюльку, помолчал и произнес с отчаянной решимостью: — Дядя Коля, как вы думаете, могу ли я побывать на Новодевичьем кладбище?

Он давно не называл меня так, я был тронут, сразу понял его переживания, тревогу, волнение. Он хотел навестить могилу Надежды Сергеевны Аллилуевой, на которой не бывал со дня похорон, но не знал, как поступить. И доверился мне.

— Ты хочешь знать, как отнесется к этому Иосиф Виссарионович?

— Да, если ему станет известно.

— Можешь не сомневаться, ему доложат. Тайком ничего делать не надо, это только усложнит ваши взаимоотношения.

— Но как же мне поступить?

— Подождем. Я постараюсь найти решение, не ущемляющее его самолюбия.

Стремление Якова побывать на могиле Надежды Сергеевны было вполне естественным, но реакцию это могло вызвать очень неприятную, граничащую со взрывом — в зависимости от настроения Иосифа Виссарионовича. Мне надо было подумать основательно.

В ту пору статус Новодевичьего кладбища весьма отличался от послевоенного. Там хоронили тех, у кого были прежде погребены родственники. То есть самых обычных людей — по наследству. Но все чаще там хоронили тех, кто пользовался большой известностью, кто прославился на всю страну. Артистов и писателей, знаменитых конструкторов, академиков, героев, генералов… Жители Москвы и приезжие ходили на Новодевичье и в будни, и в праздники отдать дань уважения, поклониться своим великим согражданам.

Довелось мне слышать байки о том, что Иосиф Виссарионович якобы навещал могилу жены, подолгу сидел там на скамеечке, предаваясь тоске и печали. А кладбище, дескать, перед его приездом тщательно прочесывали и за каждым памятником прятался охранник… Чушь все это! На могилу Сталин не ездил — он вычеркнул Надежду Сергеевну из своей судьбы разом и безвозвратно.

Скамеечка возле надгробия Аллилуевой действительно была установлена, а в крепкой монастырской стене поблизости от могилы пробили калитку — чтобы родственники не пользовались общими воротами. Ходили через эту калитку отец и мать Надежды Сергеевны, пока сами были живы. Изредка с ними приезжал Василий. Никаких особых мер при этом не принималось. Два-три охранника сопровождали, не подпуская к могиле посторонних посетителей и любопытствующих, коих всегда находилось порядочно.

Чаще Василия у матери бывала Светлана. Ее, наследницу, оберегали более тщательно, однако не устраивали никаких прочесываний, кладбище не закрывалось, отсекался лишь небольшой участок, где захоронена Надежда Сергеевна. А закрыли Новодевичье, сделали его недоступным для простых людей уже потом, при Леониде Ильиче Брежневе. Почему? Что понадобилось скрывать? Боялись демонстраций возле могилы Хрущева, паломничества к могиле Твардовского? Возможно. Однако, думаю, это не главное, это лишь повод, а не причина. Брежневские соратники закрыли Новодевичье для того, чтобы превратить это кладбище, пантеон — памятник замечательным личностям, в место захоронения чиновников: по должностям, по номенклатуре. Великий чиновник захватил полную власть, великий государственный и партийный бюрократ заботился сам о себе. На Новодевичьем стали хоронить не тех, кого любил народ, а никому не известных министров, их многочисленных замов. Если раньше почти каждый, даже самый скромный памятник на могиле артиста, писателя, генерала был произведением искусства, то при Брежневе начали появляться однообразные обелиски, громоздкие надгробья, отнюдь не свидетельствующие о хорошем вкусе и чувстве меры.

Высокопоставленные чиновники-бюрократы полностью оккупировали Новодевичье, выставили охрану, навели порядок, устраивавший их. По пропускам туда стали ходить. Но это, повторяю, уже после Сталина.

А нам с Яковом помог случай. К сожалению, печальный. Скоропостижно скончался подполковник М-в, которого я знал по совместной службе в штабе генерала Брусилова. Офицер был дельный, но моложе меня, поэтому близко мы не сошлись, однако друг о друге помнили, при случае передавали приветы через общих знакомых. Один из них и сказал мне о М-е: жена, мол, убита горем, осталась дочка, как бы помочь им… А похороны завтра на Новодевичьем.

Припомнилось: подполковник имел прямое отношение к артиллерии, после гражданской войны преподавал на курсах, может быть, и в Артиллерийской академии поработал? Короче говоря, я сразу же позвонил Якову Иосифовичу, и мы условились о встрече.

Он привез много цветов. Слишком много — это не могло не привлечь внимания собравшихся, и Яков, которого никто из близких и знакомых покойного не знал, выглядел странно: он понимал это, застеснялся, стушевался. Пришлось мне вмешаться, взять у него часть цветов (для М-а); а с остальными отправить его в сторонку. Вроде бы человек просто

помогал мне. Хорошо, что начался дождь и вся церемония завершилась довольно быстро.

Идти к могиле Надежды Сергеевны сам Яков не решился. Пошли вместе. Он очень волновался, побледнел, и я всерьез забеспокоился: не будет ли ему дурно?! Вероятно, Яков Иосифович считал себя виновным в том, что не сложилась общая жизнь у Сталина и Аллилуевой, мучило сознание вины перед ними; может быть, даже возлагал на себя какую-то долю ответственности за преждевременную смерть Надежды Сергеевны. Давил на него этот тяжкий груз.

Минут десять провел Яков возле могилы. Положил цветы, постоял, склонив голову с гладко причесанными намокшими волосами. А я, оставшись в сторонке, за кустом, внимательно смотрел во все стороны. Ей-богу, любопытно: выявят нас или не выявят? И каким образом?

Народа в непогоду на кладбище было мало. Прошли мимо две женщины в трауре, пожилая дама с мальчиком-подростком.

И то ли сторож, то ли рабочий с лопатой в руке, в брезентовом плаще с надвинутым на голову капюшоном. Этот вроде бы даже и не заметил нас.

Когда покинули кладбище, я сказал Якову, чтобы он не беспокоился и не волновался: вряд ли мы заинтересовали кого-нибудь… Поездка — экспромтом, времени на Новодевичьем провели немного. Если у кого-то и возникло подозрение насчет нас, то невозможно было успеть среагировать… Так я рассуждал и получил возможность еще раз наглядно убедиться в своей наивности и в том, насколько недооцениваю тех, кто следит, контролирует, охраняет…

Прошло недели две, а то и больше. Я уж забывать стал о посещении кладбища. Но вот в Кремле, в кабинете Иосифа Виссарионовича состоялось обычное, какие бывали довольно часто, совещание по текущим военным делам. После полуночи, когда все разъехались и был отпущен Поскребышев, мы остались вдвоем.

В разное время в разных кабинетах Иосифа Виссарионовича побывало множество людей. И письменно, и устно рассказывают, каковы они были, как стояли столы, каким деревом были обшиты стены. Когда возникнет надобность, я расскажу о некоторых существенных особенностях кабинетов Иосифа Виссарионовича, в точности скопированных для себя Берией. А пока лишь одна подробность. Непосредственно за кабинетом-комнатой для заседаний находилась, как и принято, еще одна, так называемая бытовая комната с отдельным входом. Там и диван для отдыха, и зеркало, и туалет, и запас всего необходимого, чтобы подкрепиться. И стол с подготовленными к данному заседанию документами, справочниками, картами. Я предпочитал проводить время именно в этой комнате, не на глазах у заседающих.

О наличии такой комнаты, естественно, знали многие. Сталин, бывало, уходил туда, выходил. Но никому, кроме, наверно, Берии не было известно, что там в стене имеется незаметная дверца, ключ от которой был только у Сталина. А за дверцей — малая комнатушка без окна, с надежным сейфом, который изготовлен был светлой памяти изобретателем Владимиром Ивановичем Бекаури. Именно там Иосиф Виссарионович хранил то, что касалось только его. Документы, которые он считал особенно важными. Их было немного, но они были: при мне Сталин несколько раз открывал свой личный сейф.

В тот вечер, а вернее в ту ночь, о которой я сейчас рассказываю, Иосиф Виссарионович был спокоен, доброжелателен, доволен. Пригласил

посмотреть фотоснимок, который, дескать, мог меня заинтересовать. Открыл маленькую комнату, включил свет, повернул ключ в сейфе и извлек увеличенную фотографию, увидев которую я чуть не ахнул от удивления. На ней — согбенный Яков, его мокрая голова: раскладывает цветы по мраморному надгробью. А на втором плане, за полуголым осенним кустом, вполне отчетливо обрисовывалась моя фигура. Кто снял, с какой точки?!

— Что взять с Якова? Молодость неосмотрительна. Такой дождь, а он без головного убора, — отеческим тоном, но не без доли насмешливости, произнес Сталин. — Но вы-то, Николай Алексеевич, как вы в такую погоду без зонтика?! Не бережете себя. Могли бы простыть. Могли быть плохие последствия.

— Это что, угроза? — насторожился я.

— Помилуй Бог, какой вы ершистый! — засмеялся Сталин. — Разве хорошо, если вы заболеете? К тому же, Николай Алексеевич, у вас нет никакого опыта конспирации! — Он искренне веселился. — При проклятом царском режиме вы бы, с такими способностями, просто не вылезали бы из тюрьмы и с каторги. Про Якова даже не говорю. Он едва успевает подумать, как его мысли становятся известными кому надо и кому не надо. Этакий Пиросмани, закупивший в городе сразу все цветы…

Сказав это, он разорвал фотографию пополам, потом еще и еще — на мелкие кусочки. Хотел бросить их на пол, но, подумав, сунул в карман. А я, воспользовавшись паузой, спросил:

— Считаете, что мы с Яковом Иосифовичем поступили неправильно?

— Наоборот! — коротко, отсекающе махнул он рукой. — Яков должен, переехав в Москву, бывать на могиле. Лучше, если со всей семьей. Иначе — непочтение к родственникам. И было бы совсем неправильно, несправедливо, если бы Яков, оказавшись на Новодевичьем, не посетил бы Надежду Сергеевну. Это было бы ошибкой, это могло вызвать ненужные пересуды… Так что спасибо за заботу, дорогой Николай Алексеевич. Все было правильно, если не считать возможной простуды. А конспиратор вы все же никуда не годный, — усмехнулся он. — Надеюсь, в этом вы полностью согласитесь со мной?

Я вынужден был признать его правоту. Обмишулились мы с Яковом Иосифовичем. Инцидент этот, к счастью, не имел для него никаких ощутимых последствий.

В тот же вечер, а вернее в ту же ночь, Иосиф Виссарионович огорошил меня еще одной новостью:

— Да будет вам известно, Николай Алексеевич, у меня появился внук.

— Внучка, — уточнил я.

— Именно внук. Незаконный и неизвестный. От меня пытались скрыть, — нахмурился он. — Вот проверенные, не вызывающие сомнений сведения. — Сталин за уголок, двумя пальцами, приподнял над столом лист бумаги и сразу же отпустил. — Весной тридцать пятого года Яков Джугашвили познакомился с временно проживавшей в Москве гражданкой Ольгой Голышевой… Очень близко познакомился, — не удержал иронии Иосиф Виссарионович. — В январе следующего года гражданка Голышева родила в городе Урюпинске сына, с которым и проживает там, в Сталинградской области.

— Как нарекли мальчика?

— Женей… Евгений Яковлевич Джугашвили.

— В таких случаях принято поздравлять! — Я уже оправился от неожиданности.
— Поберегите поздравления для любезного вашему сердцу папаши, порадуйте Якова!
Ернический тон Сталина не понравился мне, я уже готов был напомнить о его внебрачном сыне, оставшемся на Енисее после туруханской ссылки. Не ему осуждать… Однако Иосиф Виссарионович сам понял, вероятно, что не совсем прав. Произнес примирительно:
— Каковы сюрпризы, дорогой Николай Алексеевич…
— А вы не хотите увидеть мальчика? — спросил я и понял, что коснулся больного места.
— Почему я могу хотеть, если Яков даже не поставил меня в известность, если я узнаю через органы!.. А его это ребенок?.. Я не слышал от Якова ни одного слова. Разве так поступают! — в голосе Сталина звучала обида.
— Может быть, опасается…
— Зачем опасаться? Я что — злодей?! Мог порадовать отца, мог посоветоваться… Взрослый мужчина. Не страус, чтобы голову в песок!
— В таких сугубо личных делах, Иосиф Виссарионович, судья только Бог. Да еще собственная совесть.
— Вот пускай Всевышний и занимается этим вопросом, — сердито ответил он и надолго умолк, набивая и раскуривая трубку, успокаиваясь.
В таком, значит, щекотливом положении оказался Яков Иосифович… А Василия, младшего сына, Сталин бесповоротно решил направить в авиацию, которую считал самым перспективным родом войск. И вообще: один сын артиллерист, другой — летчик, не так уж плохо.
Ох уж этот Василий… Откуда берется в людях жестокость? По наследству передается, что ли? Мальчишкой Вася любил, бывало, отламывать хрупкие крылья майских жуков. Вечером наловит, а утром сядет на скамье под теплым солнцем, деловито отрывает коричневые крылышки, аккуратно складывает их — они были похожи на маленькие корытца. И со странным интересом смотрит, как расползаются искалеченные жуки, как расправляют они тонкие подкрылья, пытаясь взлететь.
Пожалуй, единственным человеком, которого Василий опасался и даже боялся (кроме отца), была моя дочь. Ей было лет восемь, когда они вместе гуляли на лесистом склоне возле ограды микояновской дачи. Вася поймал на берегу Медвенки лягушку и принялся надувать ее через соломинку. Дочка моя потрясена была таким безобразием.
— Негодный мальчишка, как тебе не стыдно!
— Молчи, малявка! — Вася показал ей язык. И тогда она, девочка уравновешенная и рассудительная, вспыхнув, ударила Василия по рукам ореховой палкой. Наверное, это очень больно. А на Васю удар произвел потрясающее впечатление. Может быть, неожиданностью. Он отшатнулся, поскользнулся на склоне, упал лицом вниз, расквасив нос. Закапала кровь. Совершенно перепуганный, Вася, закрыв лицо ладонями, с истерическим криком бросился прочь.
Не знаю, сам ли он решил или игравшие с ним дети подсказали, но Вася никому не пожаловался, заявивши дома, что шлепнулся, подвернув ногу. И с той поры слово моей дочери было для него законом, он бледнел, если она повышала голос. Даже после войны, когда требовалось унять загулявшего генерала Василия Сталина, просили приехать мою дочь.

Одного появления ее было достаточно для того, чтобы с Василия слетела пьяная спесь, он обретал способность соображать.

Вообще молодые грузины или полугрузины с большим уважением, с почтением и опаской относятся к «своим» женщинам, подлинным хозяйкам их жизни. Увы, эту похвальную почтительность некоторые грузинские мужчины «компенсируют» потребительским отношением к женщинам других национальностей. Но у Василия был случай особый. Он даже несколько писем прислал моей дочери, когда уехал в Качу учиться на военного летчика.

Очень подтягивает, меняет молодых людей военная служба: в этом я убедился еще раз, когда по поручению Иосифа Виссарионовича отправился в южное наше училище, известное строгими порядками, имевшее хорошие инструкторские кадры. Сталин попросил проверить, не попустительствуют ли там его сыночку и детям других высокопоставленных родителей, не портят ли их щадящими условиями.

Прибыл я туда в форме подполковника с предписанием Генерального штаба на предмет подробного ознакомления со всеми сторонами быта, обучения, воспитания будущих летчиков. Все было бы просто и по-деловому, если бы не чрезмерная опека Берии, особенно проявлявшаяся в то время. Еще слишком свежим было указание Сталина о персональной ответственности за меня. А поскольку при выездах я выходил из-под контроля его сотрудников, он давал знать о моем маршруте представителям особых органов на местах. Меня принимали с таким вниманием, с такой заботой, которые не соответствовали моему скромному формальному положению; это не ускользало от наблюдательных людей, вызывало недоумение. И на этот раз, судя по тому, как встретил меня начальник училища (вовсе не обязанный встречать), я понял: представитель органов, не полагаясь только на себя, довел до сведения начальства, что прибывает специальный посланец… Я даже вынужден был просить начальника училища дать мне возможность поработать скромно, тихо, не привлекая любопытства.

Начал с общего осмотра. Порядок в Каче во всем был образцовый. Побывал я в ангарах, в двухэтажном кирпичном здании курсантской казармы. Внизу — классы, учебные кабинеты, ленинская комната. На втором этаже — спальня. В столовой кормили сытно и довольно вкусно: я с удовольствием ел гуляш с макаронами из общего котла.

В 3-й эскадрилье имелась особая группа курсантов, состоявшая из сыновей партийных и военных руководителей. В ней тогда, в 1940 году, проходили обучение знакомые мне юноши: Владимир Ярославский, Алексей и Степан Микояны, Василий Сталин. Военная форма и приобретенная выправка так изменила этих молодых людей, что я не сразу распознал их среди других курсантов. Братья Микояны остались малорослыми и щуплыми, несмотря на сытный борщ и гуляш, на увесистые посылки со сладостями, которые часто присылала заботливая мама. Может, сладости как раз и портили аппетит этих будущих авиационных генералов? Василий же Сталин окреп, раздался в плечах, утратил вертлявость и вообще производил благоприятное впечатление. Преподаватели и инструкторы не жаловались на него (я заметил бы, если они не решались высказать отрицательное мнение).

Конечно, держать в руках такую группу избалованных юношей, имевших прямой выход в самые верха, в храм власти, о котором командиры-инструкторы имели только приблизительное представление, — держать в

руках такую группу было очень трудно или даже вообще невозможно, если бы не Тимур Фрунзе (выросший со своей сестрой в семье Ворошилова). Он выделялся среди товарищей умом, открытым, веселым характером и даже телосложением. Высокий, светловолосый, с ясной улыбкой, Тимур был добродушен, общителен, но мог, когда надо, проявить твердость, решительно осадить зарвавшегося курсанта. Он был не только официальным старшиной этой группы, но и ее признанным лидером. Для начальства — счастливейшая находка, спасение от неприятностей: в случае необходимости командиры всегда действовали через Тимура.

Он, кстати, оказался потом наиболее подготовленным летчиком среди названных молодых людей. Одни после училища увлеклись техникой и конструированием, другие сразу выдвинулись в руководители (Василий Сталин заботами подхалимов стремительно «взмыл» в генералы), а Тимур сражался на фронте. 19 января 1942 года летчик-истребитель Фрунзе в районе Старой Руссы, прикрывая наземные войска, вступил в бой с группой вражеских самолетов. И погиб смертью героя… Как это часто бывает, не уберегли самого смелого, самого чистого, самого нужного. Он способен был на многое.

Утешаю себя лишь мыслью о том, что он сделал главное: отдал жизнь, защищая Родину! Один из сыновей Микояна — Владимир — тоже. Слава таким, как они!

В память о погибшем друге-летчике (будущий генерал-майор авиации) Владимир Ярославский изменил свое имя, стал Фрунзе Емельяновичем Ярославским… Фрунзе продолжал воевать.

А в училище, повторяю, Тимур задавал тон всей необычной группе курсантов, никому не делая поблажки. Вплоть до того, что приучил братьев Микоянов не в индивидуальном порядке съедать обильные мамины дары, а выкладывать содержимое посылок на общий стол.

Не ограничившись дневными наблюдениями и беседами, я попросил начальника училища ночью поднять курсантов по тревоге, а сам проследил за действиями особой группы. Нет, она не выделялась в худшую сторону, этих молодых людей тренировали, как всех.

Кстати, Василий Сталин, узнав меня, заулыбался и чуть из строя не выбежал, но Тимур остановил его каким-то словом. Василий подчинился послушно, привычно — это тоже понравилось мне. Из Василия вышел бы толк, окажись он и после училища под командованием таких принципиальных, авторитетных для него командиров из своего круга, как Тимур Фрунзе.

И еще. Климент Ефремович Ворошилов, величавший Иосифа Виссарионовича горным орлом, когда впервые увидел Василия в летной форме, не удержался от похвалы: «Молодой сокол!.. Сталинский сокол!» После этого и укоренилось в нашей армии такой выражение. Даже центральную газету Военно-Воздушных Сил окрестили «Сталинским соколом». Так она называлась до 1953 года, до смерти Иосифа Виссарионовича.

Авиация — это область, в которой для Сталина удивительным образом слилось личное и общественное. Вспомним его постоянное, в какой-то мере болезненное тяготение к небу, стремление уяснить, понять, что есть там, наверху, решить какие-то мучившие его сомнения. И вот крылья обрел сын, кровно сблизивший Иосифа Виссарионовича с манившей, загадочной высью. Да ведь и самого Василия авиация в первые годы учебы и службы преобразила, сделала серьезней, строже, ответственней. У

Сталина появилась надежда, что сын будет достойным продолжателем его дел. Во всяком случае, какое-то время он не отказывался от этой мысли.

С другой стороны, Иосиф Виссарионович прекрасно понимал важнейшую роль авиации в освоении огромных просторов нашей страны, а главное — ее место в будущей войне. Не только под влиянием доктрины Дуэ — сама жизнь подсказывала. К тому же авиация давала возможность быстро и с особым эффектом продемонстрировать миру успехи нового Советского государства. Линейный корабль, к примеру, долгие годы надобно проектировать, строить, оборудовать. А самолеты — вот они. На изготовление новых образцов уходят лишь считанные месяцы. Наши авиаторы летят через всю страну — от столицы до Тихого океана или через Северный полюс в Америку, бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, вселяя гордость за наши свершения, достижения сталинской эпохи.

Надо отдать должное Иосифу Виссарионовичу: его руководство авиацией не было дилетантским. Он вникал во все детали теории и практики, знал положение дел на основных авиационных заводах, обдумывал перспективы, подыскивал наиболее достойных людей на руководящие должности. Думаю, что Гитлер очень даже осмысленно и коварно воспользовался горячим пристрастием Иосифа Виссарионовича к авиации, предприняв совершенно необычную акцию. Он разрешил нашим специалистам побывать на ведущих авиазаводах Германии, познакомиться с организацией производства, со всеми техническими особенностями новейших немецких истребителей и бомбардировщиков. «Мессершмитт» хотите увидеть? Пожалуйста! Еще что?.. Таким откровением он не только удивил, но и нравственно обезоружил Иосифа Виссарионовича, заставил поверить в то, что Германия не держит камень за пазухой, не готовится атаковать нас. На Сталина эта инсценировка подействовала. Тем более что не только самолеты, но и все новые немецкие танки прямо на заводах, в процессе изготовления показаны были нашим соответствующим специалистам. И это в ту пору, когда у нас господствовала обстановка сверхсекретности, когда большой штат сотрудников следил за соблюдением тайн, в общем-то никому не нужных. К примеру, мы чуть ли не каждый год меняли нумерацию некоторых полков, чтобы враг не знал, где какой стоит, а немцы открыли наименование частей и соединений, их численность и вооружение (что не помешало фашистам, когда потребовалось, быстро сосредоточить эти соединения для неожиданного удара там, где намечало германское командование).

Сделав столь решительный, демонстративный шаг для завоевания нашего доверия, Гитлер, думаю, ничего не потерял. То, что мы узнали о немецких самолетах, о новых немецких танках, не имело существенного значения. У фашистов были свои конструкции, у нас — свои, у них — своя технология, у нас — другая. Если бы мы и решили как-то использовать полученные сведения, то просто не успели бы: слишком мало времени оставалось до начала войны.

16

О Светлане — особый разговор. Почему особый? Да потому, что Иосиф Виссарионович долгое время видел в ней свою наследницу,

продолжательницу громких дел. Она — крайняя надежда. Недостатки Василия были слишком очевидны, чтобы прочить его на высокие посты, — склонен к удовольствиям, к легкой, беззаботной жизни. Науки осваивает с трудом. Ответственность брать на свои плечи не хочет. В общем — обыкновенный человек, и с положительными качествами, и с недостатками. Иосиф Виссарионович понимал это, по-своему любил Василия, но возможности его оценивал вполне объективно.

Иное дело — Светлана. Училась она всегда очень хорошо, была сообразительная, много читала, умела отстаивать свое мнение. Пока была девочкой, во всем слушалась отца, охотно выполняла его просьбы и поручения. Последняя веточка в роду, к ней Сталин испытывал особую нежность. И с малых лет старался привить ей решительность, твердость, желание руководить, быть хозяйкой в самом широком понимании этого слова. Хозяйкой всего окружающего, всей страны, самого Иосифа Виссарионовича. Он охотно подчинялся, уступал ей, давая почувствовать вкус лидерства. В письмах к Светлане, в разговорах с ней Сталин не скупился на ласковые слова, но чаще всего называл ее «нашей хозяйкой», «моей хозяюшкой». Он исподволь внедрял в нее эту идею. И она, еще не обремененная женскими страстями, борениями, охотно принимала такую игру, с удовольствием командовала, верховодила. Иосиф Виссарионович обольщал себя надеждой, что со временем сможет передать ей все бразды правления. Были же царицы не только в Грузии, но и в России, среди них — выдающаяся императрица Екатерина Вторая… Речь теперь не о троне, конечно, но почему бы Светлане не занять высочайший пост в новом государстве?!

Положительно, он очень любил свою дочку. Отдыхая в Крыму или возвращаясь с Кавказа, никогда не забывал послать ей или привезти фрукты. Особенно мандарины. Не потому что они ей очень нравились, а потому что хорошие мандарины были тогда редкостью даже на сталинском столе. А он «находил» для Светланы самые крупные, самые вкусные, получая удовольствие от таких забот о своей маленькой принцессе.

Годы шли, Светлана подрастала, менялась. Все чаще с тревогой и обидой замечал в ней Иосиф Виссарионович то, чего опасался: проявлялись материнские черты, такие, как повышенная возбудимость, чрезмерное увлечение то одними, то другими необязательными заботами, определенный эгоцентризм, выражавшийся в неспособности, в нежелании понять огромность, величие отца и его дел. Как и для матери, для Светланы гораздо ближе становились собственные мелкие, обыденные, пустячные хлопоты и тревоги. Пожалуй, я первым осознал неспособность Светланы подняться на тот уровень, о котором мечтал Сталин. Не сразу сказал ему об этом, не желая разочаровывать, надеясь, что минуют издержки молодости и Светлана нормализуется, цепкий ум и начитанность позволят ей одолеть внутренний хаос. Точнее — из похотливой, неуправляемой девицы сможет она стать строгим, волевым человеком.

Не слишком ли велики требования? Жизнь у нее была такая, что трудно позавидовать. Быть дочерью великого вождя, единственной на всю страну, ощущать на себе постоянно сверхчеловеческий пресс — не так-то просто. Даже сильная натура может согнуться, расплющиться, не говоря уже о девушке с незавидной психикой, унаследованной от одного и от другого родителя.

Светлана и моя дочь — почти ровесницы. Одна няня когда-то приглядывала за ними. И у той, и у другой — наполовину грузинская кровь. Только у Светланы — со стороны отца, а у моей — от матери. Но насколько же огромна разница между ними! Моя дочь росла уравновешенной, доброй, в меру серьезной, я бы сказал — смелой для своего возраста, активной и откровенной. Светлана же была скрытной, болезненно-стеснительной и в то же время легко возбудимой девушкой с явным, как теперь говорят, комплексом неполноценности. Своей дочери я без колебаний доверил бы управление государством, она делала бы это ответственно, спокойно, выслушивая надлежащих специалистов. А Светлану я не подпустил бы ни к какому рулю. Слишком много эмоций, порывов, необдуманных поступков.

Светлане всегда было нелегко. По материнской линии унаследовала она обостренную сексуальность, начавшую проявляться лет с четырнадцати: бунтующая плоть терзала, нервировала ее, не находя никакого выхода. Она вынуждена была скрывать, подавлять желания, даже самые естественные. Поговорить, разрядиться словами ей было не с кем. Вырастай она в обычных условиях, начала бы бегать на свидания, была бы у нее какая-то отдушина. Лет в семнадцать — восемнадцать вышла бы замуж. Сильный мужчина погасил бы ее горячность, превратил бы в уравновешенную женщину, обычную, добрую мать и хозяйку. Но этого не могло быть. Наоборот, все складывалось уродливо, противоестественно.

Представьте себе юную девушку с присущей этому возрасту стыдливостью, застенчивостью. А за ней по пятам всюду следует охранник-мужчина. Мало ли что может случиться: резинка у чулка отстегнулась, да просто, извините, пукнуть приспичило, терпенья нет. А в двух шагах от тебя, как привязанный, торжественно шествует охранник.

В школе у Светланы имелась отдельная комната рядом с кабинетом директора. Краснея под любопытными взглядами, девушка обязана была укрываться там до и после уроков, проводить перемены. В этой комнате, в одиночестве, ела она проверенный (не отравлен ли!) завтрак или просто скучала у окна. Ни с одной ровесницей не могла она подружиться, ни с одним мальчишкой не прошлась, держась за руку. Чувства и переживания, свойственные ее возрасту, не получали у Светланы никакого выхода: нагнетались, копились и загнивали. Будь Светлана красавицей, а еще лучше — красивой дурой (такое сочетание является наиболее распространенным), дела обстояли бы проще. Шествовала бы она мимо людей, мимо других девушек с гордо задранной головой, преисполненная чувства собственного достоинства. Но Светлана сознавала, что она не отличается привлекательностью, что внешне она не хороша. В молодости сие воспринимается очень болезненно (пока не поймешь, что это — не самое главное), очень угнетает, особенно если вокруг тебя здоровые, красивые, самоуверенные, молодые люди.

Получив от бабки и от матери обостренный женский потенциал, Светлана, увы, не унаследовала привлекательности, русско-цыганской яркости Аллилуевых, рельефной фигуры. Рыжеватая, худенькая, бесцветная, она не привлекала мужского внимания. Лицо заурядное, фигура плоская: ни груди, ни бедер. И ноги — только для ходьбы, а не для любования.

Такая внешность — и страстное, раздирающее желание нравиться. И постоянное сомнение в возможности этого. И охранник за спиной, сковывающий своим присутствием каждое движение, пресекающий все

встречные взгляды. Вполне достаточно оснований, чтобы утратить и жизнерадостность, и надежды, и душевное равновесие.

Всем своим существом Светлана ждала встречи с тем, кто обратит на нее внимание, не побоится ее положения, пробьет окружающую ее стену. Полураскрытая роза тянулась к поцелую. Весьма благоприятным было такое ее состояние для вторжения авантюриста, наглеца или человека, стремившегося достичь корыстных целей. «Возьми — я твоя!» Так и будет, когда появится смекалистый, бойкий, видавший виды (тертый и потертый) кинорежиссер Леля Каплер. Это случится позже, во время войны. А сейчас вернемся к основной линии нашего повествования. Видя, как мучается Светлана, какой ненормальный образ жизни вынуждена вести, я старался держать свою дочь подальше от нее и вообще от подросших «кремлевских» детей. Определил в обычную школу, и она училась там, равная среди равных, не чувствуя себя ни униженной, ни вознесенной.

В лице дочери много черт, доставшихся от матери. Рассудительность, доброта и тактичность — тоже от нее. Хочу, чтобы от меня унаследовала любовь к Великой России — колыбели многих народов, мою добросовестность и аккуратность. И еще стремление, которое так четко выразил светлой памяти генерал Драгомиров: «Никогда не выделяться; больше значить, чем казаться».

Думаю, дочь хорошо помнит сей афоризм. И надеюсь, вслед за мной она еще скажет свое слово.

17

Задала моя умница задачку нелегкую. Спросила:

— Папа, Яков Иосифович ведь сын Иосифа Виссарионовича? Сын Сталина, верно? И Светлана с Васей тоже Сталины. А дядя Яша почему-то Джугашвили?

— У них были разные мамы.

— Значит, у дяди Яши мамина фамилия?

— Нет, нет. — Я принялся объяснять и даже на бумаге начертал своеобразную родословную. В этом мы разобрались быстро, только главное ни она, ни я не могли уразуметь: почему Иосиф Виссарионович взял себе именно этот псевдоним, не какой-то другой.

Думать-то приходилось, да только вскользь, без особого любопытства. Дело в том, что я, хоть и знал когда-то ратника ополчения первого разряда Джугашвили, совершенно не воспринимал Сталина с этой настоящей фамилией. Очень уж удачен был псевдоним, отвечавший и облику, и внутреннему содержанию, всей сути Иосифа Виссарионовича. Короткое четкое слово — и все понятно, непоколебимо-просто. Играло роль и то, что легко и естественно сочетался этот псевдоним со словом «Ленин». Партия Ленина — Сталина. Или Ленин — Сталин: звучит в унисон, вторая фамилия словно бы продолжает первую.

Однажды у нас с ним зашел разговор о псевдонимах, но я не придал значения беседе, не записал слова Иосифа Виссарионовича — другим был занят. Мы возвращались тогда поездом с Кавказа, отдохнувший Сталин был мягок, задумчив, распахнут, что ли, охотно предавался воспоминаниям о том, как скрывался от царской охранки. Я сказал, что ему, наверное, помогал псевдоним, сбивавший со следа ищеек. Сталин отвечал примерно так: «Это и верно, и не совсем верно. По-настоящему я сменил фамилию только один раз, когда понял, что этого требует

революционная работа. Написал я статью, обращенную к пролетариату всей России. Значит, прежде всего — к русским, украинским, белорусским рабочим, потому что их было большинство. И к финским рабочим, и к латышским, и к польским. А фамилия — Джугашвили. Слишком трудная для восприятия, тем более для не очень грамотного человека. Чуждо звучит. Что за автор под такой фамилией, чему он научит? Оставаться Джугашвили, значит, оставаться прежде всего грузинским революционером. А коммунизм — будущее всех народов, коммунизм интернационален».

Я спросил: «Псевдоним Сталин — не созвучно ли с Лениным?» — «Почти, — весело улыбнулся Иосиф Виссарионович. — Действительно, мне хотелось, чтобы это слово подчеркивало близость и верность Ильичу. Но только с одной стороны. — И резко, как это он умел, переменил тему разговора: — Вам нравится такая фамилия?» — «Да». — «Мне тоже!» — засмеялся Иосиф Виссарионович и прервал беседу.

Но почему все-таки Сталин? Он ведь скрывался и под другими фамилиями, ставил другие подписи под своими печатными работами. Перечислим хотя бы основные: Намерадзе, Бесошвили, Гелашвили, Като, Коба. Тут имеется определенная ясность: нечто свое, близкое. Хотя, разумеется, в каждом отдельном случае была особая причина.

Не вызывала у меня вопросов и фамилия Иванович, с которой он отправился в свое время за границу на съезд партии. Конспирация: выдавал себя за югослава, тем более что и внешностью был схож. Но ведь был еще и псевдоним Чижиков — почему? «Это случайность», — равнодушно ответил на мой вопрос Иосиф Виссарионович. Ну, ладно — случайность. А откуда же Стефин? От Стефы? А Солин? От слова «соль»? Лишь с 1913 года, отбросив навсегда другие фамилии, он оставил себе единственную — И. Сталин.

Заинтересовавшись псевдонимами двух вождей, мы с дочкой решили сначала выяснить, откуда взялась фамилия Ленин: может, это приоткроет нам кое-что? Вот ведь нашли себе хобби… Как известно, псевдонимов у Владимира Ильича было великое множество, около сотни. Охотно и часто подписывал он свои работы фамилией Ильин — в честь отца. А псевдоним Ленин появился первый раз в январе 1901 года, вскоре было подписано письмо, отправленное им из Мюнхена Плеханову. В феврале того же года новый псевдоним оказался и под статьей «Г. г. «критики» в аграрном вопросе. Очерк первый». Статья была опубликована в журнале «Заря». А потом появилась брошюра Ленина «Что делать?», поднявшая много шума, вызвавшая особое внимание. В департаменте полиции на эту книжку и на ее автора было заведено специальное досье. С той поры псевдоним Ленин стал для Владимира Ильича главным на всю оставшуюся жизнь, с ним он вошел в мировую историю.

Старые большевики, в разговорах с которыми доводилось касаться этой темы, так или иначе связывали псевдоним с сибирской ссылкой Владимира Ильича. Кто-то утверждал, что в Шушенском он спас тонувшую девочку. Ее звали Леной. Вот и врезалось в память это имя. Однако известно и другое: молодой Ульянов принадлежал к числу людей, для которых ничто человеческое не чуждо. Одно время и довольно основательно увлекался он миловидной Еленой (слышал я утверждение, что она была полькой, полячкой). Свадьба с Надеждой Константиновной могла бы и не состояться. Но даже и после свадьбы, возможно, остались в душе какие-то чувства.

Это — одна из версий, и выглядит она довольно правдоподобно. В начале нашего века было среди литераторов, среди людей пишущих такое поверие: брать псевдонимом имя своей любимой. Тут тебе и романтика, и волнующая тайна, и желание доставить удовольствие избраннице, и даже, если хотите, признаться в своем чувстве. Загляните в газеты, журналы того времени — чего только не встретите! В. Раин — следует понимать «Ваш, Рая!» (у Сталина был черновик одной из его ранних статей, подписанный так, но в печати сей псевдоним, насколько я знаю, не появлялся). Или — П. Натальин — «преданный Наталье». А то и без всякой маскировки, без вуали: Я. Катин, Я. Татьянин и так далее. Хоть и наивный, но не самый плохой способ продемонстрировать свое отношение, напомнить о себе.

Косвенно эту версию подтверждает вот что. Вскоре после смерти Владимира Ильича редакция московской газеты «Комячейка» письменно обратилась к Надежде Константиновне Крупской с просьбой рассказать о псевдониме мужа. Думаю, что вопрос этот не доставил ей удовольствия. Женщина искренняя, не умевшая говорить неправду, она вынуждена была найти такую формулировку:

«Уважаемые товарищи! Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним Ленин, никогда его об этом не спрашивала. Мать его звали Мария Александровна. Умершую сестру звали Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене в ссылке он не был».

Здесь все правильно, хотя, может, и странно на первый взгляд. Женщина, прожившая в Владимиром Ильичом четверть века, делившая с ним многие радости и трудности, не знает, почему он Ленин? Ну, что же, она могла предполагать, но не знала точно, не спрашивала, не желала спрашивать. Это свидетельствует прежде всего о ее тактичности и порядочности.

Я высказываю лишь свое мнение. Есть и другие объяснения. Не берусь судить о их достоверности. Действительно, на реку Лену не ссылался Владимир Ильич. Но он, конечно, много слышал о ней. Осенью 1897 года он познакомился в Минусинске с революционером-литератором Феликсом Яковлевичем Коном, отбывавшим срок в Якутии. Кон увлекательно рассказывал о далекой реке Лене, о ее диком могуществе, красоте. Это не могло не произвести впечатления.

Несколько лет спустя Ульянов начал работать в газете вместе с Плехановым, который подписывал свои статьи псевдонимом Волгин — по названию великой русской реки. Вполне возможно, что Владимир Ильич припомнил рассказы о Лене, текущей среди глухих мест, едва пробудившихся к творческой созидательной жизни, ждущих коренного преобразования.

«Было так, что Плеханов взял фамилию Волгин, вероятно, и Владимир Ильич взял Ленин по реке в Сибири», — эти слова принадлежат брату Владимира Ильича — Дмитрию Ильичу Ульянову. Запись беседы хранится в Ульяновске, в музее В. И. Ленина. Сие — самая официальная версия.

А как же все-таки с Иосифом Виссарионовичем? Этот вопрос невозможно было полностью обойти, когда составлялась «Краткая биография» Сталина (в которой он, кстати, совершенно выхолощен, как человек, одни лишь цитаты из разных работ, скрепленные редкой цепочкой жизненных фактов). Объяснение появилось такое.

При неудачном побеге Джугашвили из ссылки (а убегал он пять или шесть раз) начальство решило примерно наказать его во дворе тюрьмы — по старому обычаю пропустить сквозь строй. Били, дескать, палками солдаты из тюремной охраны, даже руку повредили ему. А Джугашвили мужественно перенес тяжкое испытание с гордо поднятой головой, ни разу не опустив ее, не застонав. Видевшие все это заключенные кричали якобы из окон: «Крепок, как сталь!», «Стальной революционер!». Отсюда и псевдоним.

Старательные помощники Иосифа Виссарионовича включили в рукопись биографии этот эпизод, однако Сталин решительно вычеркнул его. Усмехнувшись, произнес:

— Такого не надо. Лишнее.

Сей акт был зачислен в счет его скромности.

Однажды в 1939 году (месяц не помню) Иосиф Виссарионович позвонил мне после двадцати двух часов, во всяком случае поздно вечером. Сказал глухо, будто был болен:

— Николай Алексеевич, скончался наш давнишний и верный друг. Надо проститься.

Он не назвал имени. Значит, не счел нужным. В таких случаях лучше не спрашивать. Да и какой смысл.

— Понятно, — ответил я. — Завтра?

— Скоро заедем к вам.

— Жду.

Была уже полночь, когда подошла к дому машина «Паккард». Сопровождающих машин на этот раз не было. Иосиф Виссарионович пожал мне руку. Впереди с шофером сидел Власик. Никто не произнес ни слова. И хотя мысль о человеке, покинувшем наш несовершенный мир, тревожила, вызывало законное любопытство, я присоединился к общему молчанию. Значит, такое состояние у Иосифа Виссарионовича, не надо мешать ему.

Остановились возле большого темного казенного здания. Власик повел нас по длинному полуосвещенному холодному коридору. Открылась дверь, мы оказались в просторной комнате. Посредине, на возвышенности, вероятно, на столе, покрытом материей, стоял гроб. Несколько свечей в изголовье освещали исхудавшее, изжелта-белое лицо с темными провалами глазниц. Я вздрогнул от неожиданности, поняв, что перед нами женщина. Показалось — знакомая. Впрочем, первые минуты я почти не смотрел на покойницу, настолько странным было поведение Иосифа Виссарионовича. Редко, очень редко можно было увидеть его столь скорбным. Плечи опустились бессильно, в глазах блестели слезы, и, чего никогда не случалось, отвисла нижняя челюсть, придав лицу выражение растерянности и беспомощности. Вздрагивающей рукой поправил что-то на груди покойницы, низко склонил голову, вглядываясь в нее.

Не родственница ли Иосифа Виссарионовича?

Я подступил ближе и лишь тогда узнал очень измененную смертью женщину. И потрясла меня не сама смерть, а открывшееся вдруг отношение Сталина к умершей. Я удивлен был своей недогадливостью, своим простофильством: как же раньше-то не понял, не сообразил!..

Грех, наверное, у одра покойницы вспоминать интимные подробности ее прошлого, но тогда сопоставления, открывшиеся вдруг догадки захлестнули меня. Чтобы привести в порядок мысли, чтобы не мешать Сталину в горькие для него мгновения, я отошел в сторону, к двери, и

оттуда смотрел на желтоватое лицо, чуть шевелившееся, казалось, в колеблющемся свете свечей.

Давайте, внимательный читатель, вспомним самые первые страницы опуса, где речь идет о том, как и почему познакомился я в Красноярске с рядовым Джугашвили. Случай свел меня с Матильдой Васильевной Ч., принявшей горячее участие в судьбе ссыльного грузина. Но где эта экстравагантная женщина узнала о нем, человеке совершенно иного круга?.. За границей от своей подруги Людмилы Николаевны, которая просила ее заинтересоваться судьбой Джугашвили, а будет надобность — и помочь ему.

Сейчас — уместная и последняя возможность рассказать об эмигрантке-революционерке, которая, не подозревая того, повлияла на весь ход моей жизни, явилась прямым «виновником» появления этой книги и многих других событий. Так вот: Людмила Николаевна Сталь родилась в 1872 году в городе Екатеринославе, в весьма состоятельной семье. Отец — известный фабрикант. Естественно, что дочь его получила хорошее образование, знала языки, музицировала. Обаятельная, умная, решительная — ничем ее Бог не обидел. Казалось бы, только радуйся, наслаждайся своими возможностями. А она, отрешившись от всех благ, пошла в революцию, обрекла себя на трудности, на борьбу, на преследования и гонения ради счастья для всех. Член партии с 1899 года — многие ли могли похвастаться таким стажем?! О ее мужестве и находчивости легенды ходили среди большевиков. Иосиф Виссарионович не только с восхищением, но и с гордостью рассказывал мне о ней, о том, как они познакомились и многократно встречались до того дня, когда она после революции пятого года надолго уехала за границу. Были они настолько близки, что ей Иосиф Виссарионович доверял то, чего не доверял никому: первое прочтение и правку своих работ.

Он говорил, что Людмила Николаевна помогла ему понять звучность и силу великого русского языка.

Снова увиделись они лишь после февраля семнадцатого года. Сталин приехал в Питер с востока, покинув солдатскую казарму, а Сталь — с запада, из-за границы. Встретились и некоторое время работали вместе, рука об руку: Людмила Николаевна была агитатором Петербургского комитета партии, а Иосиф Виссарионович, состоявший членом Политбюро ЦК, принимал непосредственное участие в деятельности Петербургского комитета. Не без помощи Людмилы Николаевны занимался он тогда партийной печатью, писал статьи. В этот раз их близость продолжалась до того часа, когда Иосиф Виссарионович встретил Надежду Аллилуеву и сразу увлекся ею.

Что же, Надя была молода, красива. А Людмиле Николаевне шел пятый десяток. Ни ум, ни обаяние, ни заботливость не могли возместить того, что унесли годы. Они расстались. Откомиссарив гражданскую войну на фронтах, Людмила Николаевна перешла затем на работу в ЦК партии, была редактором массовой литературы в Госиздате.

Конечно, Надежда Сергеевна Аллилуева знала о дружеских отношениях мужа с миловидной пожилой большевичкой. Ревновала ли? Вряд ли. Не видела в ней соперницу. При жизни Надежды Сергеевны Сталин если и встречался с Людмилой Николаевной, то очень редко. На нашей общей квартире она не бывала, но я знал, что Власик отвозил ей какие-то пакеты, потом доставлял назад.

В тридцатых годах Людмила Николаевна была научным сотрудником Государственного музея Революции СССР. Это было очень удобно для Сталина. Эрудированная большевичка, знаток марксистского учения, сама — «живая история» революции, она готовила материалы, требовавшиеся Иосифу Виссарионовичу, делала выписки, подыскивала соответствующие цитаты из классиков для обогащения его работ, редактировала их. Являясь надежным, скромным и скрытым помощником, Людмила Николаевна в какой-то мере играла при Иосифе Виссарионовиче такую же роль, что и я: была его тайным советником, с той лишь разницей, что круг ее деятельности был значительно уже моего. Со мной Сталин общался постоянно, а с ней — лишь время от времени.

Кстати, Сталь — та самая женщина, с которой Сталин инкогнито бывал в Малом театре, смотрел во МХАТе «Дни Турбиных».

Один раз Иосиф Виссарионович виделся с Людмилой Николаевной у меня на даче. Мы вместе отобедали. Держалась она очень естественно, была остроумна, мила — чувствовалось хорошее старое воспитание. Мне было приятно ее общество. Сталин выглядел гораздо моложе Людмилы Николаевны (разница в возрасте очень чувствовалась). В ее отношении к Иосифу Виссарионовичу ощущалась нежная грусть.

После обеда они прогуливались в саду, оживленно разговаривали. Потом остановились в беседке. Сталин продолжал говорить, а Людмила Николаевна записывала. Затем Иосиф Виссарионович уехал, а она пробыла у нас до самого вечера, ходила с моей дочерью по старому сосновому лесу.

Вскоре после этой встречи Людмила Николаевна Сталь была награждена орденом Ленина. Такой высокой чести удостаивались тогда немногие.

И вот — гроб в темной комнате, глухая ночь, колеблющееся пламя свечей возле желтого лица и темные провалы глазниц: в них не попадал свет.

Иосиф Виссарионович поцеловал Людмилу Николаевну в лоб и вышел. Я — следом.

Улицы были совершенно пусты. В окнах — ни одного огонька. Машина неслась быстро. За все время ни Сталин, ни я, ни Власик не произнесли ни одного слова. Не требовалось. Слишком давно и хорошо мы знали друг друга. Лишь прощаясь возле моего дома, Иосиф Виссарионович, придержав дверцу машины, сказал тихо:

— Какая потеря…

— Как невероятно переплетаются судьбы! — отозвался я.

— И столько оборванных нитей…

Переживания Сталина нетрудно понять. Много было вокруг него разных людей, но таких, которым он полностью доверял, испытывал давнее дружеское расположение, — единицы. И среди этих единиц особое место занимали мы с Людмилой Николаевной. Взаимоотношения Сталина с ней и со мной были совершенно исключительными. Однако и кроме нас в разное время имелись у Иосифа Виссарионовича особо привечаемые товарищи, к которым он обращался по тем или иным конкретным вопросам. Один из них, Илья Давыдович Гоциридзе, по мнению Сталина, очень хорошо разбирался в делах транспортных и строительных. И надежен был.

Как и когда они познакомились, я не знаю. Насколько мне известно, среди грузинских революционеров-подпольщиков Гоциридзе не значился. Уже после Октября окончил он Тбилисское техническое училище. Затем, как активный комсомолец, был направлен в Московский институт

железнодорожного транспорта. Не берусь судить, какой инженер из него получился, но умелым, энергичным организатором он был безусловно. Турксиб, Северный Сахалин, переустройство железнодорожного узла во Владивостоке — вот основные этапы его деятельности до того дня, когда Сталин позаботился о том, чтобы Гоциридзе вызвали в Москву.

Очень большое значение придавал Иосиф Виссарионович сооружению столичного метрополитена. Для него это была не просто транспортная артерия, подземные дворцы должны были стать своеобразными памятниками эпохи его правления, как впоследствии и высотные здания. А доверенным лицом Сталина, его недремлющим, взыскательным оком сделался на метрополитене Илья Давыдович Гоциридзе. Под непосредственным его руководством строился перегон от станции «Кировская» до «Дзержинской», он возводил станцию глубокого заложения «Красные ворота». Но главным достижением Гоциридзе была станция «Маяковская».

Просторная и красивая, облицованная серебристо-серой нержавеющей сталью вместо мрамора, она отличалась особым изяществом. Иосифу Виссарионовичу эта станция очень правилась, несколько раз он ездил по ночам любоваться ею. Именно после этого Гоциридзе стал главным негласным советником Сталина по строительству. С ним беседовал Иосиф Виссарионович о своей новой даче у истоков Волги. Некий символический смысл придавался этому сооружению. Однако побывал Сталин на той даче лишь два раза — далеко было ездить.

Многими знаками внимания отмечен был Илья Давыдович. В 1939 году он стал начальником строительства Московского метро, заместителем Наркома путей сообщения. Затем — генералом железнодорожных войск. Получил звание лауреата Сталинской премии. Умер в середине шестидесятых годов, находясь на пенсии.

Много слышал я об Илье Давыдовиче от Сталина, но встречался лишь несколько раз. Могу отметить только одну черту его характера — держался он независимо, с большим достоинством, как человек, знающий себе цену и не боящийся ответственности. Иосиф Виссарионович уважал таких. А я упоминаю о Гоциридзе для того, чтобы подчеркнуть: Сталин прекрасно понимал, что один человек, даже весьма одаренный (он сам!), не способен охватить все многообразие жизни, и поэтому использовал соображения, помощь других товарищей. Была у него целая когорта таких, как Илья Давыдович, полуофициальных советников, способных дать консультацию, предложить интересную идею, не претендуя на первенство, на приоритет. Достаточно было, того, что их замыслы воплощаются в деяниях Сталина, служат достижению успеха. Общим для этих очень разных людей было не только то, что каждый из них превосходно знал свое дело, но главным образом то, что они, не страшась потерять должность и вообще оказаться в опале, имели мужество всегда откровенно высказывать свое мнение.

18

Очередное поручение Сталина не только удивило меня, но вызвало неприятное ощущение. И сам он говорил неохотно, через силу, стараясь подавить раздражение:

— Николай Алексеевич, есть несколько сообщений, которые нуждаются в тщательной проверке. В негласной проверке, чтобы не бросить тень на

человека. И, может быть, придется дать по рукам чересчур ретивым сочинителям.

— На кого донос? — прямо спросил я.

— Сообщения по поводу товарища Микояна, — недовольно поморщился Сталин. — Его обвиняют в перерожденчестве, в отходе от коммунистической морали. Он, как помещик, как феодал, накапливает богатства в имении, эксплуатирует чужой труд, чуть ли не право первой ночи себе присвоил…

— Кто автор доноса?

— Не хочу никакой предвзятости, Николай Алексеевич, поэтому не отвечаю на ваш вопрос. Надеюсь услышать объективное мнение.

— Скверный душок во всем этом, Иосиф Виссарионович. Я не следователь, не филер. И не хочется обижать подозрением товарища Микояна.

— Не надо обижать. Осмотрите его дачу. Хотя бы под предлогом инвентаризации. Это нужно. А мне самому учинять проверку было бы не совсем удобно. Вы согласны?

Такой довод трудно опровергнуть.

— Будет комиссия? — спросил я.

— Не следует привлекать широкого внимания. Только вы и еще один человек от Берии.

Вот оно что! С этого бы и начал! Фигуры в игре сразу встали на свои места, выявился закоперщик, а уж определить его цель — не составляло труда. Я хорошо знал Лаврентия Павловича, настолько хорошо, что понимал мотивы его действий. Не только почему он поступает в том или ином случае так, а не иначе, но и чего он хочет достигнуть.

Да, Берия был садист по натуре, готовый гадить всем, кто мог стать ему поперек дороги. Но он был пакостником хитрым, гибким, а потому особенно страшным. Быстрая карьера, полное доверие Сталина сделали его наглым, однако он не утратил осторожности и постоянно был, как говорится, себе на уме. Не сомневаюсь: уже тогда, в конце тридцатых годов, амбиции Берии простирались настолько далеко, что он втайне считал себя самым вероятным преемником Сталина. Со временем, разумеется. А почему бы и нет? Его наверняка поддержал бы Лазарь Моисеевич Каганович. Огромная власть находилась в руках и самого Лаврентия Павловича. Особенно ощущалось это до войны, когда армия была обезглавлена, ослаблена репрессиями. Потом, за годы боевых действий, армия и флот наберут силу, вырастет авторитет военных руководителей, они смогут противостоять влиянию Берии. Но это — после Победы.

Очень внимательно следил Лаврентий Павлович, чтобы никто из партийных и государственных деятелей не «обскакал» его, не вышел на первый план, не потеснил в восприятии Сталина. Конкурент или не конкурент — этим определялось отношение Берии ко всем коллегам по высшему эшелону власти. Как я понимал, главными «соперниками» представлялись ему двое: Вячеслав Михайлович Молотов, пользовавшийся неограниченным доверием Сталина, позволявший себе в узком кругу называть его давней партийной кличкой Коба. И Михаил Иванович Калинин, которого, как считалось, особенно уважал народ. Но и тому и другому Берия сумел подмочить репутацию, репрессировав их ближайших родственниц. А что это за кандидат в вожди, у которого в собственной семье подвизался враг народа?!

Конечно, дезавуировал бы Берия и Климента Ефремовича Ворошилова вместе с Буденным, но не по зубам оказался орешек. Сталину необходимы были эти надежные боевые соратники, Иосиф Виссарионович был уверен, что с их помощью он может полностью контролировать Вооруженные Силы страны. В руках легендарного героя Ворошилова была вся армия. Утратить Климента Ефремовича и Семена Михайловича — значит ослабить веру в непобедимость наших полководцев, наших войск. Да и зачем терять их, кто их заменит? Только они и остались.

Вполне лояльно относился Берия к тем деятелям, которые, как он думал, не способны были преградить ему путь к достижению цели. Андрей Андреевич Андреев, например, скромный труженик, искренний партийный функционер, про которого Сталин говорил: «За те участки, за которые отвечает товарищ Андреев, я совершенно спокоен». Занятый конкретными делами, Андрей Андреевич не гнался за славой, не стремился выделиться, не плел интриг. Берию такой член Политбюро вполне устраивал.

Вот и Анастас Иванович Микоян не являлся вроде бы конкурентом Берии. Даже определенное расположение проявлял всегда Лаврентий Павлович к Микояну: человек свой, южный, легче общий язык найти, столковаться. И вдруг — неожиданные выпад против Анастаса Ивановича, попытка ошельмовать его, принизить в глазах Сталина. Для какой цели? И почему выбрана именно эта — бытовая, дачная сторона его жизни? Других возможностей не имелось, что ли, у Берии?

Суть выяснилась для меня сразу. К этому времени, к концу тридцатых годов, почти сложился в чудесных подмосковных лесах от Барвихи до Успенского тот особый правительственный район, который я назвал «Малым Кавказом». Своеобразным центром его, и географическим и архитектурным, являлся замок Микояна над ручьем Медвенкой. Обнесенный кирпичной, почти крепостной стеной, замок стоял на крутом склоне, на господствующей высоте и имел, выражаясь военным языком, стратегическое значение в данной местности. Он контролировал главный узел дорог: автомагистраль из Москвы на Горки-II и далее — на Успенское, ответвление на Одинцово (Красногорское шоссе) и важнейший перекресток, от которого особые дороги уходили в глубь леса, к скрытым там дачам. Причем и Рублевско-Успенское, и Красногорское шоссе пролегали здесь в узком дефиле: справа и слева крутые склоны, густые леса — свернуть, проехать другим путем нет никакой возможности. Кто держал в руках замок, тот при определенных обстоятельствах получал большие выгоды, в любой момент мог взять под контроль, закупорить узкое «горло», связывавшее со столицей весь особый район.

Поместье Микояна было самым заметным, выделялось расположением и архитектурой, но не являлось наиболее обширным и наиболее красивым. Если ехать по Рублевско-Успенскому шоссе, то километра через три будет еще одна речушка, промывшая на пути к Москве-реке глубокий заросший овраг. Начиная отсюда и до деревни Бузаново высится вдоль дороги хороший елово-сосновый лес с примесью березок. И почти незаметен съезд, еще до мостика через овраг уходящий вправо и тоже пересекающий речушку. И не видна в лесу высокая изгородь из колючей проволоки, а затем еще и глухой зеленый забор, протянувшийся по периметру на несколько километров. Здесь, от села Знаменского, от Катиной горы и до Бузанова, раскинулся вдоль реки, на прогреваемом солнцем косогоре, роскошный лесной массив. Участок километра три в длину и до двух в ширину. Чудесный воздух, настоянный на хвое. Ягодные

поляны. Полно грибов. Купанье, рыбалка, дикие утки, облюбовавшие протоку у островка. Гнезда ласточек-береговушек в песчаных обрывах за речкой. И тишина.

Всей этой благодатью пользовался Вячеслав Михайлович Молотов. Дворец его расположен был идеально. Цветущая поляна, полуоткрытая со стороны речки, прекрасные успокаивающие виды. Вблизи — обширное ровное поле, охваченное серпом Москвы-реки, на втором плане — старинные Уборы с древней церковью, а еще дальше, по горизонту, — зеленели леса.

Такому райскому поместью мог позавидовать богатый аристократ или капиталист. Кое-кто из партийных наших товарищей высказывал недоумение: зачем коммунисту Молотову такая роскошь, такой простор? Он не писатель, не художник, чтобы жить и работать в уединении, на природе, бывает там от случая к случаю. Но Сталин, съездив в поместье Вячеслава Михайловича, пресек подобные разговоры. Он сказал: дача предоставлена человеку, ведающему иностранными делами, и служит не личным, а государственным целям. Здесь Молотов может принимать почетных зарубежных представителей, глав государств…

Вопрос был исчерпан для всех, в том числе и для Берии. Между тем «Малый Кавказ» разрастался. В густых лесах над Москвой-рекой появлялись (против Петрово-Дальнего) новые дачи-особняки, скрытые от глаз людских деревьями и зелеными заборами. И мой небольшой домик был поблизости от тех мест. Иосиф Виссарионович тоже все охотней ездил теперь на Дальнюю дачу. А там он практически выпадал из-под контроля, из-под влияния Лаврентия Павловича. На «Малом Кавказе» складывались особые взаимоотношения узкого круга людей, а Берия оказался за пределами этого круга.

Еще в 1937 году, сразу после ареста Власа Чубаря, Лаврентий Павлович взял себе его шикарную дачу с огромным участком. Большой белый дом среди сосен. Богатая библиотека, собственный кинозал, где Берия любил в одиночку смотреть зарубежные фильмы. Все вроде бы хорошо, но Лаврентию Павловичу очень хотелось утвердиться в замке Микояна, в главном стратегическом пункте на перекрестке дорог. Такова цель. А способ — скомпрометировать Микояна, вышвырнуть его из поместья, самому прочно закрепиться в центре особого района, на господствующей высоте.

Все, казалось, учел самоуверенный Лаврентий Павлович, даже время выбрал такое, когда Микоян со своей хлопотливой и хозяйственной женой Ашхен Лазаревной, с пятью детьми и многочисленными родственниками уехал на юг. И все-таки Берия допустил ошибку. Насчет интриг у Сталина был богатейший опыт, он не только сам умело плел их, но и разгадывал интриги других. И умел постоять за людей, которых считал преданными себе и полезными для общего дела.

Микоян был одним из таких. У них имелось много общего, хотя Анастас Иванович гораздо моложе Сталина, родился в 1895 году. Как и Сталин, шел он по церковной части и продвинулся на сем пути гораздо дальше Иосифа Виссарионовича. Не только окончил армянскую духовную семинарию, но и учился в духовной академии. Там, кстати, и познакомился с основами марксизма.

Крепкие узы и в прошлом, и в настоящем связывали его со Сталиным. В двадцатых годах, например, Микоян неоднократно по личному поручению Сталина выезжал в крупные провинциальные центры, проводил там

соответствующую подготовительную работу при выборе делегатов на партийные съезды. Думаю также, что и малый рост Микояна играл некоторую роль. До конца тридцатых годов, пока окончательно не утвердился в единовластии, Сталин недоброжелательно относился к высоким людям, на которых приходилось смотреть снизу вверх. Это уж потом, воспарив надо всеми, он перестал третировать высоких и даже возлюбил их. Вот, дескать, какие богатыри служат мне верой и правдой, признают мое бесспорное превосходство…

Короче говоря, проверку мы начали вдвоем, я и представитель Берии, какой-то очень уж неприметный с виду субъект с крадущейся походкой, с вытянутым, как собачья морда, лицом. Откровенно любопытствующий, нагловатые глаза, шарящие в поисках какой-нибудь гадости, грязи. Даже неловко было появляться рядом с ним на людях, я держался подальше, да и он довольно быстро сообразил, что ничего общего между нами нет и не может быть.

Поместье Микояна, казавшееся обширным со стороны, от дороги, было в общем-то сравнительно небольшим. Территория, вытянувшись над Медвенкой, суживалась к югу и завершалась почти острым углом. В здании, напоминавшем башню старого замка, размещались хозяйственные службы, а семья Анастаса Ивановича занимала аккуратный, приятный дом под жестяной салатового цвета крышей, стоявший среди деревьев в глубине участка.

Я отметил: три выезда имелось у Микояна. Главный — на автостраду. Другой — с противоположной стороны. И еще одни ворота, судя по всему, давно не открывавшиеся, вели в густой лес, где едва заметная дорога петляла среди глухих оврагов. В любую сторону мог умчаться в случае надобности Анастас Иванович. И еще, как в заправском средневековом замке, имелись в кирпичной стене две узкие малозаметные калитки с обитыми железом дверями. Они тоже выводили в лес над Медвенкой.

Возможно, все это досталось Микояну в наследство от дореволюционных хозяев.

Обстановка на даче была спокойная, дружелюбная, как в прежние времена в богатых помещичьих имениях при заботливом хорошем барине, который задавал тон своей справедливостью, шутками, ровным отношением ко всей прислуге, от приближенной горничной до мальчика на побегушках.

Имелся небольшой сад, о нем не стоило бы упоминать, если бы не садовник, являвшийся своего рода экспериментатором. Он пытался выращивать на подмосковной земле кавказские деревья. Даже сибирские кедры росли у него.

Удивил меня огород, очень обширный, разнообразный. Для таких дач обычны лишь цветочные клумбы и прогулочные аллеи, а вот Микоян оказался человеком заботливым: не случайно, значит, ведал в стране вопросами снабжения, обеспечением населения. Завел свое натуральное хозяйство, кормил не только семью, но и обслуживающий персонал свежей первосортной продукцией. На огороде тянулись ряды клубники, выращивались редиска, лук, петрушка, укроп, репа, редька и даже разлапистые мясистые листья хрена виднелись кое-где. Набирали сок крупные помидоры. Особого сорта, небольшие пупырчатые огурчики сами просились в рот. Слышалось похрюкивание, мычание коров, кудахтанье кур. Две женщины пронесли бидон с молоком. Девушка — полное решето свежих яиц.

В подвалах тесно было от ящиков и бочек, от банок с соленьями и вареньями. Здесь на льду хранились такие запасы, что можно было обеспечить недельным питанием двухтысячный стрелковый полк. Имелось все: от солонины до шампанского, от свежих фруктов до каких-то сушеных корешков, висевших под потолком.

Во дворе, в подсобных помещеньях, продолжалась работа по заготовке впрок щедрых даров природы. Был в разгаре грибной сезон. Девушки и ребята из Жуковки, из Усова, Калчуги, из Горок-II, из Лайкова обильно несли подосиновики, маслята, но особенно много (из-под Сареева и из-под Борков) — молодых белых грибов. Со сборщиками сразу же расплачивались по твердой цене, а грибы сортировали для дальнейшей переработки. Часть (немного) — на жаркое, часть (большинство) — на засолку, часть — на маринование. Я сам люблю и собирать, и чистить, и засаливать, и есть грибы в любом виде, — поклонники всех составных частей этого цикла встречаются не часто, — поэтому был просто заворожен потоком поступающих и перерабатываемых грибов. Должен сказать, что места там вообще грибные. Никогда не забуду, как дочка моя, уже после войны нашла возле дачи Василия Сталина удивительные подосиновики: они стояли прямо возле дороги, как миниатюрные белые башенки с красными крышами. В последний наш поход туда за грибами (у меня еще хватило сил!) дочка на одном месте, возле комля вывороченной ветром огромной сосны, набрала целую корзинку молодых, пружинистых толстоногих опят. А я бродил рядом и ничего не нашел. Глаза, значит, ослабли… Не раз еще буду я вспоминать о тех лесах: они дороги были и мне, и Иосифу Виссарионовичу, там резвились когда-то наши подрастающие дети.

Веселый ажиотаж заготовок на микояновской даче был таков, что я не мог не принять в нем участия. Сортировал грибы — одно удовольствие. Сборщицы уходили в леса рано, до солнца, а с усыханием росы уже появлялись на микояновском подворье, высыпали из лукошек крепыши боровики с темно-коричневыми шляпками, с плотной белой мякотью ножек, хранивших запах лесной свежести. С каким удовольствием я (проверяльщик-то!) перебирал их, сидя на лавке рядом с очень молодой женщиной Паней Колоникиной. Озорная, словно бы налитая играющей в ней силой, она была работницей умелой и неутомимой. Привлекательность лица нисколько не портило легкое косоглазие; даже наоборот, придавало этакий «шарм», что ли. Мимо таких женщин не проходят, не окинув их взглядом. Анастас Иванович ценил эту труженицу. Вскоре Паня удачно вышла замуж за рабочего, мастера на все руки. Микоян «благословил» этот брак, помог построить дом в селе Знаменском.

Из всей обслуги в имении Микояна юная женщина Паня меньше других говорила об Анастасе Ивановиче, не распространялась о его простоте, заботливости, внимании. За этим молчанием угадывалось глубокое уважение к хозяину. Зато очень охотно превозносила достоинства Микояна его экономка, выделявшаяся своей уверенностью, вальяжной походкой.

Сразу же отказавшись от совместных обедов с коллегой по проверке (не хотелось сближения с ним), я решил питаться вместе с обслуживающим персоналом дачи. К тому же общение с этими людьми помогло бы мне скорее выяснить положение дел и закончить неприятную часть миссии. Мой напарник, которого я мысленно называл «собачьей мордой», с удивлением и явным нежеланием следовал за мной по амбарам, подвалам,

кладовым. Он просто не понимал, зачем это?! А я, наблюдая за ним, уяснил вот что: чиновнику его положения вовсе не требуется в подобных случаях искать истину, думать, вникать. Выводы заранее подсказаны начальством, надобно только обосновать, подтвердить их свидетельскими показаниями, фактиками. Но вместе со мной такая вот, с позволения сказать, «работа» у бериевского представителя не получалась.

Положение в имении Микояна произвело на меня самое благоприятное впечатление. Люди были довольны. Атмосфера доверительная. Шутя говорю: обслуга была в любой миг готова внять сигналу трубы и выйти на крепостные стены, дабы защитить и свое, и микояновское благополучие. Однако защищаться не требовалось, по крайней мере от меня. Вникнув в порядок жизни на даче, я мог твердо сказать: здесь никто не унижен и не обижен. Обслуживающий народ чувствовал себя спокойно и хорошо.

Взять хотя бы питание. Справа от въезда в имение (со стороны Калчуги), отдельно от дворца стояло двухэтажное здание столовой. Наверху — зал для гостей. В полуподвале кухня. На первом этаже кормится персонал. Утром нехитрый, но плотный завтрак. Кипяток, заварка, сливочное масло — по потребности. Хлеб белый и черный. Кастрюля с сахарным песком и другая — с рафинадом. Сыпь, клади, сколько хочешь. В обед — наваристое, вкусное первое блюдо. На второе каша, вермишель или картошка, обязательно с мясом. В общем, ели «от пуза», как выражаются иногда крестьяне. Единственное требование — не свинячь. Прибери за собой, отнеси посуду в мойку.

На кухне царствовала строгая повариха Настя Воронова из близлежащей деревни Сареево, женщина средних лет, худощавая и остроносая. Я запомнил ее по двум причинам. Проработала она у Микояна лет двадцать пять, отличаясь не только мастерством и выдумкой в приготовлении самых разнообразных блюд, но и виртуозностью в своем деле. Во время застолий она, переодевшись, появлялась порой среди гостей, привлекая внимание.

И по ассоциации помню ее. На Дальней даче Сталина работала поварихой тоже Настя из местных. Но той Насте было гораздо труднее. На Дальнюю дачу было нацелено одно время внимание зарубежной разведки и, естественно, всегда внимание наше контрразведки. Та Настя даже под подозрение попадала: об этом будет рассказано в свое время, если удастся завершить задуманную книгу.

А пока так. Узнав, что я участвую в расследовании, Лаврентий Павлович Берия сразу утратил к этому делу интерес. Понял, что Сталин желает иметь объективную информацию, что Микояна под удар Иосиф Виссарионович не подставит. Значит, стоп! Берия быстро улавливал такие оттенки. Лучше уж остаться без замка на «Малом Кавказе», чем идти наперекор Сталину. Во всяком случае, бериевский представитель «собачья морда» действовал настолько вяло, что я вынужден был поторапливать, подстегивать его. Пока я осматривал помещения «на предмет определения необходимости капитального или косметического ремонта», мой коллега либо покуривал на крылечке, на солнцепеке, либо дегустировал запасы кладовых, прикладываясь к бутылкам с виноградным вином и закусывая почему-то исключительно вареньем разных сортов. А в свободное от этих занятий время вел персональный опрос женщин, любопытствуя, не состоит ли с кем-нибудь из них Микоян в близкой связи, а если и состоит, то каким образом.

Ответы были отрицательные. «Право первой ночи» новоявленный «феодал» Микоян себе не присвоил, ничью честь чрезмерными притязаниями не оскорбил. Если и уделял особое внимание некоторым женщинам, то, вероятно, на основе полной взаимности. А в таких случаях женщины умеют держать язык за зубами.

Ничего, что могло бы бросить тень на репутацию Анастаса Ивановича, я лично не обнаружил. За исключением весьма развитого хозяйства и наполненных кладовых. Но на это как посмотреть. О чем я и сообщил Иосифу Виссарионовичу.

— Микоян заботливый человек, — рассудительно произнес Сталин. — У нас все еще слишком много пропадает добра. Если каждый житель сельской местности будет иметь корову — мы станем только богаче от этого.

— Вы говорили так в одном из своих выступлений, — припомнил я. — Но справедливость требует отметить: у Анастаса Ивановича запасов слишком много для семьи.

— Он щедро делится ими. Он помогал свежими продуктами многим больным товарищам, — ответил Сталин и продолжил свою мысль: — Если каждый колхозник будет иметь свою корову, это гораздо лучше, чем одна корова на пять колхозных дворов. Иначе не деревня будет кормить город молочными продуктами, а колхозники будут ездить в город за маслом, что совершенно противоестественно. И товарищ Микоян поступает правильно, заготавливая все возможные продукты. Это целесообразней, чем брать продовольствие для семьи, для обслуживающего персонала в городском магазине, через свой наркомат. Товарищ Микоян имеет такую возможность, но он не хочет жить за счет государства, как некоторые бесхозяйственные лица. Вы согласны со мной?

— Вполне, Иосиф Виссарионович. Сам теперь лук и укроп выращиваю на грядках. Тем более что у Микояна готовят не по-казенному, а от души, очень вкусно. Особенно хорошо солят грибы, огурцы и капусту.

— Пробовали? — весело спросил Сталин.

— Иначе не докладывал бы так уверенно.

— Скажу, чтобы и мне прислали немного его огурцов и капусты. Тоже отведаю урожай с соседского огорода, — засмеялся Иосиф Виссарионович.

19

Мне часто доводилось видеть Сталина за рабочим столом, он мог часами трудиться, не сходя с места, и все же я не воспринимаю его в таком статичном состоянии. Он любил двигаться, ходить, ему лучше думалось, когда неторопливо, попыхивая трубкой, шагал он по комнате, от стены до стены. Я много раз советовал ему бросить вреднейшее пристрастие — курение, но для него трубка была успокаивающим средством. Оставив ее, он на длительное время вылетел бы из колеи, никакие лекарства не помогли бы. Я думал над этим: еще неизвестно, что лучше.

Хождение во время заседаний, официальных встреч и бесед — это не только привычка, выработанная за долгие годы стремлением погасить возбуждение, физической разрядкой снять напряженность. Такая манера давала Сталину целый ряд преимуществ перед собеседниками. Вот хотя бы самое простое: если сидящий человек медленно реагирует на реплику, не сразу отвечает на вопрос, он производит не лучшее впечатление, выглядит тугодумом. А Сталин, прохаживаясь, набивая или раскуривая

трубку, был вроде бы занят делом, имел время, хоть и короткое, но очень важное время для обдумывания и принятия решений. Часто — весьма ответственных. Или еще. Никто из собеседников не мог отвернуться от Сталина, он видел, когда было нужно, их реакцию, выражение глаз, лиц, улавливал все оттенки — от радости до испуга. А сам, если был потрясен, удивлен или раздражен какой-то новостью, имел возможность пройти по ковру спиной к собравшимся, успокоиться, взять себя в руки. Поэтому и являл, в конечном счете, образец выдержки и хладнокровия. Ну и вообще он привык быть центром притяжения, центром внимания, ему нравилось, чтобы головы поворачивались за ним, как шляпки подсолнухов за солнцем.

Однажды он сказал мне, что чувствует себя маятником, движущим стрелки часов. Я не стал противоречить. Сравнение не совсем точное, но оно выражает непосредственное ощущение Иосифа Виссарионовича. А я мысленно сравнивал его с постоянно сжатой пружиной, которая крепко и беспрерывно давит на все окружающие механизмы, большие и малые, заставляя их вращаться, передавая движение все дальше и дальше. Величайший запас энергии требовался для того, чтобы производить подобные действия, сказывающиеся по всей огромной стране на протяжении многих лет.

Вообще к концу тридцатых годов сложились основные привычки и правила Сталина, которые сохранились потом до конца его жизни. Он, например, овладел мастерством говорить обо всем ровным голосом, не выдавая своих эмоций. Об уборке урожая, о смертной казни, о передовиках производства — все одинаково, глуховато, негромко, с большими паузами посреди фраз, заставлявшими слушателя напрягаться, томясь беспокойством: а что дальше? Случалось, что после таких пауз Иосиф Виссарионович ошарашивал человека совершенно неожиданным выводом.

Вот товарищ Иванов. Ему неловко сидеть, когда Сталин на ногах. Он крутит головой, видя то спину, то профиль расхаживающего Иосифа Виссарионовича. Монотонный голос звучит то ближе, то дальше.

— Вы, товарищ Иванов, допустили необдуманный поступок, не сообщив товарищам по партии, что перед революцией были вольноопределяющимся.

— Я только подал прошение, а служить не пришлось.

— Вы зря не сказали об этом товарищам по партии, — следует длинная пауза, в течение которой Иванов ждет решения своей участи, не надеясь ни на что хорошее. И вдруг Сталин круто останавливается перед ним, в желтоватых глазах теплый блеск, голос звучит мягче. — Мы, товарищ Иванов, понимаем и ценим патриотизм и романтизм шестнадцатилетнего гимназиста, готового пойти в бой за Родину…

— Товарищ Сталин, я всегда был искренен перед партией, — растроганно говорит преисполненный благодарностью Иванов.

— Мы учитываем это. Вы, как добросовестный и преданный человек, должны занять более высокий пост. Мы просто не вправе не использовать такие опытные и надежные кадры.

Человек уходил окрыленным, готовым преклоняться перед Сталиным. Горы способен своротить за оказанное доверие.

Случалось, конечно, и совершенно противоположное. Вот вызван пожилой, заслуженный нарком Петров. Иосиф Виссарионович, расхаживая по кабинету, обласкивает его словами:

— Вы, как подобает большевику, отдаете делу все свои силы…

— Это мой долг, товарищ Сталин, — скромничает Петров, ликуя в душе. Он уже прикидывает, каким орденом его наградят. И вдруг Сталин бросает на него холодный, тяжелый, давящий взгляд:

— А не трудно ли вам работать на вашем посту? Мы понимаем, не хватает времени, мешает здоровье.

— Подлечусь, товарищ Сталин, — теряется нарком.

— Это не выход из положения, товарищ Петров. Это не устраивает ни вас, ни нас. Кого бы вы порекомендовали на свое место?

— Я… Я не думал, — бормочет собеседник.

— А как вы относитесь к товарищу Сидорову?

— Дело знает… Энергичный. Но молод.

— А разве молодость плохое качество?

— Н-нет…

И покидал бывший нарком кабинет, едва волоча ноги. А назавтра Политбюро утверждало вместо него Сидорова, обещая ему поддержку и помощь. На первых порах новый нарком действительно был на особом положении, ему старались не отказывать в просьбах, прощали ошибки. Но до определенного времени. На столе у Поскребышева лежал список с указанием срока назначения того или иного товарища на высокую должность. И почти с каждым происходило вот что. Месяца через четыре, иногда через пять, получив нужную информацию, соответствующим образом настроив себя, Сталин срочно вызывал нового наркома. Встречал его с гневным лицом, обрушивал град упреков, даже оскорблений, не всегда заслуженных. Это у вас плохо, это запущено: указывались конкретные факты, назывались фамилии. Нарком пытался возразить: было, мол, но до меня, за старые ошибки я не ответчик. И тогда Сталин говорил твердо и жестко, чтобы нарком запомнил раз и навсегда:

— Вам доверено руководство, вы хозяин, за все спросим без всяких скидок. Вы и только вы отвечаете перед государством по всей строгости. Вам понятно, товарищ Сидоров?!

Обычно после такой, с позволения сказать, беседы нарком ясно осознавал меру своей ответственности и полноту своей власти. Он становился самостоятельным, требовательным, инициативным, если, конечно, способен был стать таковым.

Иногда Сталин погружался вдруг в какое-то полузабытье, в полусонное состояние. Сидел расслабленный, с потускневшими глазами, не двигая ни одним мускулом. В такие минуты все его внутренние силы сосредоточивались на осмысливании чего-то очень важного, на обдумывании вариантов, последствий того или иного решения. Присутствие мое или Власика ему не мешало, а мы делали вид, что ничего не замечаем, вели себя, как обычно, только меньше разговаривали да к Сталину с вопросами не обращались. Чаще всего Иосиф Виссарионович «выплывал» из такого состояния несколько вялым, но в хорошем настроении, удовлетворенным. Иногда — разбитым и мрачным.

Авторы, писавшие о Сталине, обязательно упоминают о том, как он расхаживал по кабинету, как набивал свою трубку. И в кино показывают. Верное, так было. Но это стало теперь шаблоном. А мне хочется выделить еще одну подробность. С середины тридцатых годов появился у Иосифа Виссарионовича своеобразный, только ему присущий жест. Давая понять, что разговор окончен, он чуть вскидывал согнутую в локте руку: ладонь не выше плеча. Это движение имело двойной смысл: отпускающий и благословляющий. Сталин показывал, что собеседник свободен и что

желает ему удачи. Человек, получивший такое пасторское напутствие, мог считать, что им довольны, ему доверяют, на него возлагают надежды. Только лишь в таком случае позволял себе Сталин этот необычный, полураскованный жест, радовавший и вдохновлявший людей не меньше, чем доброе слово.

Очень любил Иосиф Виссарионович прогулки на свежем воздухе, только возможностей для этого было мало, мешала занятость. Но иногда нам удавалось выкроить время. Обычно шагал Сталин размеренно, быстро и мог преодолеть большое расстояние. Полное удовольствие получал, если вокруг было пустынно, никто не таращил удивленных глаз, не наблюдали из-за кустов охранники. Лишь в такие редкие часы чувствовал он себя не руководителем, отвечающим за все, а просто человеком, земным жителем. Он мог долго, задрав голову, любоваться зеленой шапкой высоченной старой сосны, со скрупулезным вниманием собирать на прогретом взгорке землянику, затаив дыхание, следить за игрой красивых бабочек или слушать вечернее пение птиц. Но все это, подчеркиваю, при одном условии: если не ощущал посторонних взглядов. Меня он нисколько не стеснялся, я не мешал проявлению его естества. Больше того, без меня он просто не мог совершать прогулки за пределами дачи. С посторонними людьми, с охранниками он не пошел бы. Не отправился бы и в одиночку. Какой смысл? Ведь он не отдыхал бы, а думал об осторожности, опасаясь любых встреч. А в моем присутствии он забывал обо всем, полностью полагаясь на мою предусмотрительность, был доволен и, как я считаю, счастлив. Иосиф Виссарионович понимал пользу таких прогулок, испытывал нарастающее стремление к ним.

Еще одно обстоятельство. Сталин ни в чем не любил перемен, касалось ли это одежды, мебели, окружающей обстановки. Передвинутый стол в кабинете мог вызвать у него длительное раздражение. Переложенная в другое место книга — гнев. Так и на прогулках. Новые места не всегда нравились ему. Под настроение. Трава вдруг казалась ему замусоренной, много репейника, бурьяна. Или заросли орешника чересчур густы, ничего не видно с тропинки. Считаю, нам основательно повезло, мы нашли такое место, которое раз и навсегда понравилось Сталину. Сохраняя свое постоянство, свою неизменность, это место каждый раз радовало нас маленькими, не раздражающими, приятными открытиями. То лисьи норы находили в лесу (сюда приезжал когда-то охотиться Владимир Ильич), то удивительное дерево, похожее на лиру, мы обнаруживали, то целое семейство ежей, мал-мала меньше, встречалось на нашем пути. Смею утверждать, что приверженность к нашему лесу (между Калчугой и Знаменским) послужила причиной того, что Сталин отказался от дальних вояжей, от прогулок в других местах. Несколько лет перед войной и потом всю войну он не ездил отдыхать в Грузию, к Черному морю. Он всем сердцем привязался тогда к скромному уголку Центральной России, был покорен неброской, глубокой и неизменной красотой.

Бывало и раньше, что от Дальней дачи или от моего домика мы со Сталиным ходили к Москве-реке. Однако это были случайные маршруты. Но вот однажды, направляясь по правой стороне Рублевско-Успенского шоссе от Медвенки к Горкам-II, мы не захотели выходить из леса на открытое место, и перед милицейским постом номер один, чуть-чуть не дойдя до дороги на Знаменское, повернули вправо по затравеневшему проселку, бежавшему по самому краю леса, кое-где скрывавшемуся среди орешника, под кронами сосен. Так вот просто свернули и пошли, не

догадываясь, что будем ходить здесь еще десятки раз, что этот уголок останется для Иосифа Виссарионовича самым любимым, самым дорогим до последних дней его жизни.

Село Знаменское, как и вообще многое в России, открывается не сразу. Глянь с поворота от Успенского шоссе: расстилается впереди большое поле, справа и слева окаймленное лесом, вдали виднеются крыши домов, купы деревьев, какие-то постройки на горизонте. А вся суть, вся неожиданность таятся в большом распадке, в большом провале между ближним и дальним планом. Есть что-то манящее, незавершенное в пологих скатах полей, в стекающих по косогорам лесах, которые таинственно замыкают окоем. Ждешь чего-то необычного. И чудо свершается. В Знаменском, возле церкви, обнаруживаешь, что вокруг не равнина, что село стоит на высоком берегу, господствуя над многокилометровой округой, над двумя реками, совершенно невидимыми от шоссе. А от церкви или с Катиной горы далеко просматривается в обе стороны долина Москвы-реки и впадающей в нее Истры. Той самой Истры, по которой мы когда-то путешествовали на лодках.

Мы с Иосифом Виссарионовичем, повторяю, ходили не по наезженной дороге, бегущей в Знаменское через поле, а правее, по чуть заметному проселку или даже по тропинке, повторявшей все изгибы опушки. Шагаешь — и ни одного человека навстречу, разве что услышишь голоса женщин, работающих на грядах. Сосны с березами, много орешника, небольшие полянки — чудесный там лес. А в конце дороги, где проселок, превратившийся в тропку, сбегал по крутому склону на луг, горделиво высились старые липы, дубы. Но главное все-таки сосны. Огромные желтоствольные сосны, простоявшие столетия, много повидавшие, помнившие еще приезд царицы Екатерины. И другой старинный сосновый бор виднелся отсюда: за Москвой-рекой, левее Петрова-Дальнего. Там, над Истрой, стояли, может быть, самые высокие сосны во всем Подмосковье.

Мы спускались на луг. Несколько раз, еще до отъезда в Качу, в училище, ходил с нами Вася Сталин. Эти места ему тоже настолько понравились, что со временем он обзавелся дачей в этом лесу, правее нашего маршрута, за первым оврагом.

Прошагав лугом метров триста, мы по пологой тропинке поднимались в гору мимо небольшого кладбища в ограде (после войны оно совершенно исчезло), оставляя слева двуглавую красавицу церковь, проходили между нею и приземистым деревянным домиком священника (или дьякона?), летом сокрытого деревьями и высокой сиренью. В ту пору церковь еще работала, в ней и крестили, и отпевали… Боюсь, что именно наши прогулки сослужили для нее плохую службу. Молчит Сталин по поводу работающей церкви до поры до времени, а вдруг рубанет со всего плеча по местным властям за антирелигиозную пассивность?! Прикрыть бы ее без всякого шума. И прикрыли этак году в тридцать девятом, застраховавшись от неожиданностей, хотя Иосиф Виссарионович не выражал никакого неудовольствия. По-моему, даже приятно ему было видеть аккуратную, обихоженную церковь, он радовался спокойствию, доброму русскому благолепию и ничего не собирался менять, нарушать здесь.

Головотяпы выказали свое рвение, а Иосиф Виссарионович, как обычно в таких случаях, не стал вмешиваться. Если он и не одобрял разрушение церквей, старинных зданий, сбрасывания колоколов и прочих бесчинств, то и не выступал против по целому ряду причин. Сказывается, мол,

народный гнев, копившийся веками. А религия в принципе бесполезна, несовместима с марксизмом. И вообще история показывает: любой диктатор всегда в конфликте с любой верой, даже если она формально поддерживает его. Дух верующего свободен, а это вызывает у диктатора по меньшей мере раздражение. Значит, он не полновластный хозяин. Тот же Гитлер притеснял церковь. Иосиф Виссарионович хорошо понимал, сколь важна и многообразна была объединяющая и просветительная роль православной церкви на огромных, со многими национальностями, просторах России. Храм, даже в далекой деревне, это, как правило, настоящее произведение искусства, воспитывающее эстетический вкус. Храм — архитектурный центр селения и всей близлежащей округи. Ориентир на местности (в метель или в тумане ехали, шли на звон колокола). Храм — это место сбора, это своего рода клуб, где можно было приобщиться к красоте и культуре (одно пение чего стоило!). Храм, религия — главный источник нравственного воспитания (не укради, не убей и многие другие заповеди). Храм — центр грамоты, образования. И вообще вся жизнь человека, от крещения до отпевания, была связана с храмом, с церковью. Во всяком случае, каждый был уверен, что его похоронят по всем правилам, что за него помолятся, его помянут. Ну, а еще: два-три священнослужителя в храме успешно выполняли то, что теперь делают многочисленные чиновники загсов, регистрировали в церковных книгах рождение и смерть прихожан, давали соответствующие справки.

К гонениям, которые обрушились на православную церковь сразу после Октябрьской революции, Сталин отношения не имел. Кому-то другому очень важно было уничтожить духовный источник, тысячу лет питавший народные массы, кому-то другому понадобилось перевести известное утверждение «религия — опиум народа», как «религия — опиум для народа». А это далеко не одно и то же. В январе 1918 года был принят декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства». За осуществление декрета, засучив рукава, принялись сотрудники пятого отдела Наркомюста, среди которых не было ни одного православного! Не об отделении церкви от государства пеклись подвижники этого отдела, который по справедливости называли Ликвидационным. Они, действительно, ликвидировали все и вся, что связано было с православной верой: монастыри, храмы, памятники, священнослужителей. Трудно сказать, сколько всего было расстреляно, зарублено саблями, замучено в тюрьмах протоиереев, митрополитов, священников. Только с 1918 по 1922 год и только по суду было расстреляно 2691 церковнослужителей, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц. А сколько без суда и следствия?!

В те же самые годы ликвидированы были около семисот монастырей (дававших, кстати, большое количество сельхозпродуктов). Часть монастырей превратили в тюрьмы, некоторые затем приспособили под лагеря: благо заборы и стены были высокие, а подвалы обширные. Вот так действовал Наркомат юстиции, и отнюдь не под руководством Сталина творились вышеупомянутые беззакония и безобразия. Наоборот, во второй половине тридцатых годов Иосиф Виссарионович делал попытки остановить процесс разрушения, были приняты меры по сохранению памятников культуры, развернулись реставрационные работы, особенно после войны. Восстановлены были дворцы и храмы, взорванные гитлеровцами. Вместо того чтобы валить все на Сталина, можно провести

общественное расследование хотя бы но нескольким случаям, выявить и морально осудить настоящих виновников.

Вот Знаменская церковь, объединяющая весь живописный ландшафт, являвшаяся неотъемлемой частью триады ансамбля старых храмов (Уборы, Дмитровское, Знаменское). Мы с Иосифом Виссарионовичем не сразу даже и заметили, что церковь бездействует, что опустел домик священника. Какой же перестраховщик отдал распоряжение прикрыть храм, обрекая его на разрушение? С кого спросить?

Во время войны церковь еще служила людям, в ней находился склад. Это уже потом начали бить и калечить бесхозное помещение. Но основной удар, уже после смерти Сталина, нанесла храму киностудия «Мосфильм». Она сняла в том районе несколько картин: очень уж местность красивая, своеобразная. В церкви учинили реальный пожар, необходимый по сюжету, и выгорело внутри все, что могло гореть, покоробилось железо на куполах. Добили, в общем, деятели искусства замечательное сооружение, остались лишь голые стены да дырявая крыша. И никто не понес ответственности. Может, «Мосфильму» и восстановить храм за свой счет, воссоздать необходимую часть тройственного архитектурного ансамбля?!

До церкви (низом, по краю луга) мы с Иосифом Виссарионовичем доходили обязательно. Иногда нас ждала там машина, но чаще мы поднимались наверх, не привлекая внимания, пересекали главную, обычно пустынную днем улицу села, и далее шли по узенькому переулку, по которому из церкви носили на кладбище покойников (а после закрытия церкви все равно обязательно от нее); переулок всегда был усеян еловыми лапами различной давности — и усохшими, и свежими: так устилают здесь последний путь своих близких. Я имею в виду не маленькое исчезнувшее кладбище возле церкви, а большое и все расширяющееся кладбище, на котором хоронят не только жителей Знаменского. Старая часть его густо заросла сиренью, благоухающей по весне, над кустарником высятся мощные кряжистые сосны. В их кронах гнездится невероятное количество грачей и ворон, с рассвета и до позднего вечера царит там непрерывный то веселый, то озабоченный, то тревожный гомон.

Наши маршруты много беспокойства доставляли Николаю Власику. Он христом-богом молил меня предупреждать о прогулках заранее, чтобы мог принять свои меры, расчистить путь, поставить незаметную охрану. Но предупредить не всегда удавалось, бывало, что Сталин ко мне приезжал внезапно.

Однажды что-то произошло на улице Знаменского, кажется, похороны были там. Смущенный Власик встретил нас, едва вышли из леса. Сталин насупился, увидев его, на полуслове оборвал разговор. Терпеть не мог неожиданностей.

Власик, робея, попросил к церкви не подниматься, улицу не пересекать. Машина ждала на лугу. Иосиф Виссарионович сказал резко: «Столько у вас людей, а не можете сделать самого простого. Дармоеды!»

Лицо Власика было растерянным, жалким. Неудобно чувствовал я себя перед ним. Но такой чрезвычайный случай произошел только единожды.

С тыльной стороны Знаменского кладбища открывается новый простор. За полем, над Москвой-рекой, виден лесной массив, окружающий дачу Молотова, угадывается Успенское. Правее и ближе, на противоположном берегу, — колокольня Уборовской церкви, а еще правее, за Катиной горой, соединяет небо и землю высокая, стройная колокольня в селе Дмитровском. Острый ее шпиль прорывает облака. Над колокольней даже

в хмурую погоду часто виден небольшой, похожий на глаз, просвет в тучах. Днем — голубой, а по вечерам светящийся изнутри разными оттенками, подаренными заходящим солнцем: от нежной розовости до тревожного багрянца.

Я назвал это явление «оком Божьим». Иосиф Виссарионович сперва подтрунивал надо мной, затем, убедившись несколько раз, что разрыв в облаках, хоть небольшой, есть почти всегда, попытался дать объяснение с физической точки зрения. Думается — не очень успешно. Постепенно он свыкся с моим определением. Даже некое мистическое состояние возникало в нем при виде сияющего или голубеющего «глаза» над колокольней в сплошной хмаре туч. Его тянуло сюда в трудные минуты и чем ближе к концу жизни, тем чаще.

Очень любил он смотреть с Катиной горы на Истру, на весь простор, открывающийся словно с высоты орлиного полета. Однажды сказал, вздохнув глубоко и радостно:

— Какое величественное спокойствие! Это настоящая красота. Она вселяет силу и веру.

Мне было приятно, что он испытывал такое чувство. Действительно, лучшим отдыхом для Иосифа Виссарионовича были наши прогулки.

Спасибо Катиной горе, многострадальной Катиной горе: чего только не происходило с ней, хотя бы только на моем веку. Во время войны местные жители свели лес на дрова, полностью обнажилась вершина, остались лишь деревца на крутом склоне. Уцелели отдельные сосны, высившиеся среди подроста горделивыми великанами.

После победы военно-строительное ведомство развернуло здесь большой карьер, «съевший» чуть ли не четверть горы — песок очень хороший. А когда карьер прикрылся, совхоз организовал там свалку, чтобы засыпать образовавшийся «кратер». Десятилетиями возили всякую дрянь, от гнилья до проржавевшего локомобиля. И это — совсем рядом с рекой, считанные метры: сочится ручеек, несет грязь и заразу. А с противоположной стороны растет, отделяя от Знаменского, съедая землю, овраг.

При Никите Сергеевиче Хрущеве (который, кстати, дачу имел по соседству) не осталось в крестьянских хозяйствах коров, зато многие жители села завели коз. Паслись они на горе, полностью состригая вместе с травой проклюнувшиеся деревца, не давая лесу возобновиться. И только в середине семидесятых годов, когда исчезла последняя коза, появились наконец на вершине Катиной горы молодые сосенки. Но выживут ли, не погибнут ли в кострах туристов, под колесами легковых автомашин, прорывающихся сюда, несмотря на «кирпич»?!

Потом грянула еще одна беда. Подорожала на рынках картошка. Каждый житель Знаменского, совхоза «Горки-II» захотел вырастить свой урожай. Устраивали огороды, кто где желал, возили навоз. Плуги искалечили в нескольких местах вершину горы, вспороли целину. Но картошка там приживалась плохо. Менее упорные отступились.

Катина гора невелика. Примерно триста на сто — сто пятьдесят метров. Но это — высшая точка большой округи над долинами двух московских рек. Красивейшее место. Только здесь растут удивительные реликтовые травы, запах летом необычайный. Здесь любил бывать Иосиф Виссарионович Сталин. Почему бы не сделать эту гору ландшафтным и историческим микрозаказником с одной лишь задачей: не портить, не

разрушать этот маленький своеобразный уголок русской природы?! Потомки были бы весьма благодарны нам!

20

Во время прогулки Сталин сказал мне то, о чем я уже догадывался:

— Гитлер хочет заключить с нами пакт о дружбе, военный союз и широкое торговое соглашение.

По тону Иосифа Виссарионовича понял: ему интересно знать мое мнение.

— Очень стремится к этому? — спросил я.

— Добивается настойчиво и поспешно. Получено четвертое предложение вести переговоры.

— Значит, в ближайшее время Гитлер начнет войну. Не против нас. Он желает иметь крепкий тыл.

— Его планы понятны. Сначала на них, — движением головы показал Сталин на запад.

— И наверняка выиграет партию у англосаксов. Но мы, заключив с Гитлером союз, проиграем в любом случае. Если он победит Запад, то, окрепнув, повернет на Восток. Если он потерпит поражение, потерпим поражение и мы, как его союзники.

— Почему союзники? Мы не говорим о союзничестве, — решительно возразил Иосиф Виссарионович. — О военном договоре не может быть и речи. Мы не забываем, что главной целью Гитлера является завоевание восточных территорий. Но почему бы нам не заключить пакт о ненападении? Даже худой мир лучше ссоры. Гитлер будет воевать при всех условиях, при пакте и без него. Гитлер просто не может не воевать. Его военная машина закручена до предела. Пушка заряжена, и фитиль подожжен.

— Чаще всего победителем оказывается тот, кто наблюдает за битвой со стороны, — напомнил я старую истину.

— Нам нужно время. Пять-шесть лет, — произнес Сталин. — Пакт о ненападении, и ничего больше! Это предел. Товарищ Молотов согласен.

— Эмиссары Гитлера уже здесь?

— Прибыл Риббентроп. Его, между прочим, обстреляла наша зенитная батарея. Вскоре после того, как самолет пересек границу.

— Не попали?

— В самолете несколько пробоин, но до Москвы дотянул.

— Как реагирует Риббентроп?

— Он шутит. Он говорит, что сам убедился в бдительности нашей противовоздушной обороны.

— И никаких официальных демаршей?

— Нет. Он нацелен заключить договор и не хочет обострять положение.

— Это его дело. А вот служба оповещения у нас допустила оплошность.

— Разберитесь, Николай Алексеевич, пусть накажут виновных. Но без шума. Если Риббентроп не заинтересован в огласке, то мы тем более.

— А зенитчиков надо поощрить, они молодцы. В мирное время, без повышенной боевой готовности обнаружили самолет, определили, что не наш, успели открыть огонь.

— И даже попали, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Удачно попали, показав свою меткость и, кажется, не повредив дипломатии. Их

следует отметить, они не задаром едят свой хлеб. Но без всякой огласки, без шума, — повторил Сталин.

Прошло еще несколько дней, и свершилось событие, о котором спорили, спорят и еще будут спорить. 23 августа 1939 года пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан. Гитлер сразу ринулся в схватку. Лавина Второй мировой войны сорвалась и с грохотом покатилась, уничтожая все на своем пути. Если подписание пакта и ускорило начало сражения, то, с другой стороны, договор дал нам в ту пору определенные выгоды. Вопрос о том, как мы смогли ими воспользоваться.

21

Итак, 1 сентября 1939 года Гитлер спровоцировал войну с Польшей. Устоять перед таким противником поляки не имели никакой возможности. Ситуация сложилась напряженнейшая. Не могли мы допустить, чтобы фашистские войска вышли на подступы к Минску, на прямую дорогу к Москве. С другой стороны, открылась редчайшая возможность вернуть наши исконные земли — Западную Белоруссию и Западную Украину.

Почему же Сталин не двинул наши войска в Польшу сразу после нападения немцев? Это было бы справедливо, оправдано обстановкой. Гитлер даже подталкивал нас, желая расширить пропасть между нами и Англией и Францией. Но Иосиф Виссарионович проявил дальновидность и выдержку. Советские армии оставались на месте, мы не выступили в роли агрессора. О состоянии войны с Германией заявили Франция и Англия. Началась Вторая мировая, и развязана она была, прошу заметить, без нашего участия. Мы перешли границу лишь после того, как судьба Польши была решена, когда нам оставалось только взять под свое крыло районы, населенные украинцами и белорусами, издавна входившие в состав нашего общего государства. Вот и получилось, что из числа ведущих европейских стран Советский Союз вступил в сражение последним. И как бы в дальнейшем ни развертывались события, Сталин тогда, осенью 1939 года, политически уже выиграл только что начавшуюся мировую войну. Да, я не оговорился: он еще тогда одержал политическую победу во Второй мировой!

Утром 17 сентября войска Красной Армии перешли в наступление по всей линии советско-польской границы, протяженность которой равнялась 1410 километрам. Удар намечался стремительный, с небывалыми темпами — от 60 до 80 километров в сутки. Скептики сомневались в такой возможности. Однако — получилось, несмотря на выявившиеся при этом недостатки. В первый день «застряла» только 6-я армия комкора Филиппа Ивановича Голикова, встретившая возле Тернополя ожесточенное сопротивление поляков. Возникали крупные стычки и в других районах. Возле Галича, например, после ночного боя был взят в плен раненый полковник Андерс, чье имя через несколько лет получит, как увидим, широкую известность, причем не славную, а позорную.

Наши и германские дипломаты, чтобы избежать столкновений, заранее определили разграничительную линию, пролегавшую примерно там, где проходила пресловутая «линия Керзона». Немцы получили приказ остановиться в полосе Сокаль — Львов — Владимир-Волынский — Брест — Белосток. Наши спешили выйти туда не позже, а по возможности раньше германцев. Не в гости прийти, а самим встретить гостей.

За несколько суток до перехода границы я выехал по поручению Сталина в район Минска с удостоверением представителя Генерального штаба. Иосиф Виссарионович хотел, чтобы я понаблюдал и критически оценил действия наших войск. Если потребуется изменить что-то в ходе событий, срочно связаться с ним.

Опытные военачальники знают, сколь велика разница между войсками в лагерях, в казармах и теми войсками, которые привыкли действовать в поле, перемещаться, не имея «постоянной прописки». Очень трудно, болезненно дается такая привычка. Никакие учения не способны создать реальную полевую обстановку, в них всегда много условностей, они коротки по времени.

Движение колонн, отдых, питание, транспортировка тяжелого оружия, организация дорожной, медицинской, ветеринарной служб, управление частями на ходу и многое другое разом обрушивается на командный состав. Справиться со всем этим трудно, тем более в соединениях, которые годами находились на казарменном положении.

Очень много было отставших бойцов. Перепутались колонны, заблудились обозы. Некоторые командиры умудрились «потерять» свои подразделения. Были артиллерийские полки, выступившие в поход без запаса снарядов, надеясь, что подвезут, нагонят машины. На перекрестках создавались гигантские пробки. Счастье, что не имелось сильного противника, способного воспользоваться нашими недостатками. И при всем том мощная лавина войск, катившаяся по всем дорогам, производила ошеломляющее впечатление. В том числе и на фашистских пилотов, которые регулярно и нагло производили разведывательные полеты. Ну и чисто арифметические итоги того похода говорят сами за себя. В той быстротечной кампании мы потеряли всего 737 человек убитыми и 1360 ранеными. Официальных данных о безвозвратных потерях поляков не имеется, достоверно известно лишь, что в плен мы взяли более 200 тысяч польских солдат и офицеров. Большая цифра. Рассчитались, в общем, за неудачи 1920 года. Всем и всегда надобно воздавать должной мерой.

20 сентября с передовыми частями наших войск я на броневике приехал в Брест, в знакомую еще по старой службе Брестскую крепость. Она была занята немцами после кровопролитного боя с поляками. Некоторые укрепления оказались взорванными. В этом месте немцы пересекли разграничительную линию и обязаны были передать крепость нам.

Бронетанковой бригадой, которая первой достигла Бреста, командовал известный мне Семен Кривошеин, тоже, конечно, бывший буденновец, выделявшийся среди ветеранов Первой конной тем, что когда-то учился в гимназии, знал иностранный язык (кажется, французский) и имел опыт войны в Испании, побывал там добровольцем. Во всяком случае, по отношению к иностранцам, в данном случае — к немцам, он чувствовал себя достаточно уверенно, и это было приятно. Присутствовал я, не представляясь, на встрече в крепости комбрига Кривошеина и командира немецкого танкового корпуса Гейнца Гудериана. О последнем был изрядно наслышан и считал полезным увидеть его, понаблюдать, оценить. Когда Гудериан практиковался у нас, на него, естественно, было заведено соответствующее дело, но с той поры прошло много времени, этот генерал стал одним из создателей германских бронетанковых сил и, пожалуй, ведущим теоретиком, проповедовавшим позаимствованную у нас доктрину массированного использования бронетанковых войск. Некоторые положения он, естественно, развил, расширил, внес кое-что новое. Уж я-

то, прочитавший в подлиннике его «Ахтунг! Панцерн!», знающий досконально труды всех наших теоретиков, мог сравнивать.

В ту пору немцы уже начали почтительно именовать Гудериана «танковым богом». Да, пожалуй, в гитлеровской Германии он был наилучшим среди генералов-танкистов. Среднего роста, прямоплечий, с круглой головой на короткой шее, с усиками «а ля фюрер», он был полон энергии, подвижен, холодно вежлив. Ощущалось и некоторое зазнайство, плохо скрытое чувство превосходства над окружающими. Он только что блестяще продемонстрировал свое мастерство, пробив броневым кулаком польскую оборону, стремительно пройдя через всю Польшу от ее западной до восточной границы, наступая «до последней капли бензина». Еще продолжались бои в Варшаве, в других районах, а Гудериан уже захватил Брест и развернул свои танки навстречу отступавшим польским дивизиям. Теоретики подтвердили свои идеи на практике. Ему было чем гордиться.

Это так! Но не забудем, что Гудериан лишь перенес на германскую почву то, что было у нас в теории и практике до событий 1937 года. Гудериан шел вперед, а мы отставали. Устаревшие военные теории хуже, чем устаревшее оружие. Сменивший маршала Тухачевского новоявленный маршал Кулик говаривал так: «Чево мудрить? На кой хрен реактивные снаряды, в них наш боец не разбирается. Самое надежное — полевые орудия на конной тяге, да боеприпасов побольше». Это, увы, не горькая ирония. На практике за подобными дремучими рассуждениями стояло вот что. Снаряд среднего немецкого танка пронизывал броню нашего БТ-7, а наш снаряд вражескую броню не пробивал. Танкисты Гудериана три недели провели в маршах, в боях, но состояние частей и подразделений было таким, будто они явились в Брест после прогулки. Полный порядок, вся техника в сборе. Немцы готовы были сразу развернуться для нового боя. А вот бригада Кривошеина, совершив марш без противодействия противника, потеряла в пути половину боевых машин. Ломалась техника, запасных деталей не оказалось, заблудились где-то грузовики со снарядами и патронами.

Гитлеровцы сделали для себя некоторые выводы, и не в нашу пользу. Но вели они себя очень корректно. Без всяких споров точно в согласованное время покинули крепость, забрав с собой все, что могли увезти и унести. Однако запасы в казематах, на складах были столь велики, что и для нас осталось значительное количество провианта, амуниции, боеприпасов. Советские войска торжественно вступили в нашу старую надежную крепость и разместились в ней.

Мы вернулись! Слезы были у меня на глазах. Господи, сколько прекрасных, мужественных русских офицеров не сражались бы против Советов, против красных, сколько российской крови не пролилось бы за единую и неделимую машу страну, если бы люди обладали даром заглядывать вперед, если бы могли предположить, что увидят, как увидел я, наши войска, вновь марширующие по брусчатке Бреста, по улицам других славянских городов, в Бессарабии и Прибалтике!

Освободительный поход был завершен. Я приехал в Москву возбужденный и счастливый. Не умея льстить, я готов был сказать самые теплые слова Иосифу Виссарионовичу за его правильную политику, принесшую большой бескровный успех, позволившую вернуть наши исконные территории. И Молотову тоже спасибо: тогда заслужил он в народе почетный титул «собирателя русских земель».

Но это — эмоции. Сталину я доложил, что немецкие подразделения сколочены, обучены и вооружены лучше, чем наши: это касается и пехоты, и танков. В хорошую сторону выделялась наша конница, проявившая надежную организованность в длительных маршах. Особенно подчеркнул профессиональную подготовку немецких офицеров, отлично налаженное управление войсками во всех звеньях. Сказал, что генерал Гудериан — опасный противник. Он принадлежит к той традиционной немецкой школе, которая если и зависит от Гитлера, то лишь в силу необходимости, в силу совпадения интересов. Гудериан самостоятелен, нешаблонен, способен принимать смелые решения. Слабость его, на мой взгляд, в чрезмерной самоуверенности. Это черта многих немецких генералов.

Выслушав меня, Иосиф Виссарионович задал несколько уточняющих вопросов, а затем с довольной улыбкой посоветовал отдохнуть: впереди, дескать, не менее значительные события.

Да, я понимал, что это всего лишь начало. Колесо большой войны уже вращалось, остановить его было невозможно. Сейчас, на первом этапе мы оказались в выигрыше. Граница наша отодвинулась значительно дальше на запад, мы получили простор для маневра, возможность создать сильное, укрепленное предполье. Но теперь между нами и гитлеровцами не было буфера. Вот они — а вот мы. И те, и другие настороже, в полной боеготовности. Это — как сухие смолистые дрова: пламя может вспыхнуть от любой искры.

22

Сто дней, с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, продолжалась война с белофиннами, ныне почти забытая, заслоненная кровопролитными битвами гигантских масштабов, но роль ее в развитии советско-германских взаимоотношений столь велика, что не сказать о ней — значит оставить на историческом полотне белое пятно, искажающее картину. И Сталину, и другим руководителям из его окружения эта малая война открыла глаза на многое, заставила пересмотреть сложившиеся взгляды, догмы. Наши враги, как и наши союзники, тоже сделали свои далеко идущие выводы. Не будь этой войны или завершись она нашей быстрой, внушительной победой, наверняка не напал был на нас Гитлер в июне сорок первого.

Впрочем, по порядку.

Обязан сказать, что одним из «поджигателей» этой войны, в числе других так называемых «стариков» из числа военных с дореволюционным стажем, был ваш покорный слуга. Как и начальник Генерального штаба Борис Михайлович Шапошников, я всегда считал границу с финнами на Карельском перешейке несправедливой и опасной. Она была навязана нам в те дни, когда страна переживала большие трудности, когда нашим руководителям, которые старались спасти революцию от врагов, наседавших со всех сторон, было не до перешейка. А Финляндия, получившая самостоятельность и полную поддержку западной буржуазии, обрела при этом еще и важное стратегическое преимущество. Граница проходила настолько близко от нашей северной столицы, что финны могли обстреливать ее из орудий крупных калибров. Один бросок от границы до Ленинграда, до важнейшего экономического и политического центра, до главной базы Балтийского флота. И это — в напряженной обстановке начавшейся уже Второй мировой войны.

Иосиф Виссарионович поступил правильно, предложив финнам отдать нам часть территории на Карельском перешейке. Не за «спасибо» разумеется, а получив соответствующую компенсацию в другом районе. При этом финны ничего не теряли, территориально оставались в большом выигрыше. Но финны не захотели. А точнее — не захотели те, кто стоял у них за спиной, направляя их политику. Понадеялись финны и на свои мощные укрепления, созданные при помощи Англии, Франции и Германии.

Нам оставалось одно — воевать, отодвинуть границу штыками. Тем более, что военному и политическому руководству нашей страны это не представлялось трудным. Ну что такое Финляндия? Недавняя российская провинция, по территории и населению примерно с Архангельскую область. Навалимся — голыми руками возьмем, лишь бы сугробы не помешали. Подобное шапкозакидательское настроение особенно проявилось на Военном совете, который собрал Сталин, чтобы обсудить план войны.

Докладывал Борис Михайлович Шапошников. Оперативный план был заранее подготовлен, я принимал участие в его уточнении и корректировке. Считаю, очень правильный, выверенный был план. В нем учитывалось состояние и дислокация войск противника, значение его укрепленных полос, определялось количеством и техническая оснащенность наших войск, способных решительно и быстро провести кампанию. Мы брали оптимальное соотношение, необходимое в таких случаях: примерно один к трем. Это требовало выдвижения к финской границе значительного количества пехоты с танками и самолетами из глубины страны, снятия дивизий с других направлений. И частичной мобилизации запасников.

— Слишком уж размахнулся Генштаб! — подал реплику нарком Ворошилов.

Неторопливый и обстоятельный Шапошников не успел даже ответить, как прозвучал шутливый вопрос Сталина:

— Борис Михайлович, а вы тот ли план взяли с собой? Может, вы докладываете нам оперативный план войны с Германией?

— В доверенной мне работе я стараюсь не допускать ошибок, — сухо ответил Шапошников. А Сталин, с глубочайшим уважением относившийся к нему, во всех случаях обращавшийся к Шапошникову, как и ко мне, только но имени-отчеству, поторопился объяснить:

— Не обижайтесь на мое замечание и на слова товарища Ворошилова. С политической точки зрения наш пограничный конфликт с Финляндией должен оставаться не более чем местным недоразумением. Не надо превращать его в событие большой международной важности, привлекать излишнее внимание наших неприятелей за рубежом.

— Тем более важно нанести мощный, стремительный удар, решить все в самый короткий срок.

— Это верно. Однако в данном случае пусть воюет не вся наша страна, не вся наша армия, что было бы слишком большой честью для белофиннов, а только Ленинградский военный округ. Хотя бы формально, но так. Товарищ Мерецков, — обратился Сталин к командующему округом, — как вы считаете, вам действительно нужна такая большая помощь, чтобы справиться с Финляндией? У вас не хватит сил в своем округе, который мы преобразуем в Ленинградский фронт? Мерецков ответил буквально так:

— Да, помощь нужна, особенно в артиллерии и авиации. Может быть, не в таких размерах, какие были названы, но без усиления нам не обойтись.

— Посчитайте и доложите… Завтра, — уточнил Сталин. — А сейчас ответьте на вопрос: способен ли Ленинградской фронт под вашим командованием в короткий срок разгромить белофиннов?

Лишь несколько секунд боролся Мерецков с волнением и сомнением. Ответить «нет» — значит признать свою несостоятельность, и фронт будет доверен кому-то другому.

— Мы выполним решение партии и правительства.

— Ну вот, хорошо, — ответил Иосиф Виссарионович. — А мы, со своей стороны, окажем фронту большое содействие. Наркомат обороны будет помогать вам, — уточнил Сталин. — А Генеральный штаб не будет больше заниматься этими операциями местного масштаба. У Генерального штаба есть другие задачи. Поэтому Бориса Михайловича и Николая Алексеевича попрошу задержаться, а все остальные свободны, товарищи.

— Надеюсь, нам не грозит Колыма? — негромко спросил Шапошников, собирая бумаги.

— Нет, но белофинны могут радоваться, вы теперь выведены из игры. Как, возможно, и я.

Простившись с участниками заседания, Иосиф Виссарионович пригласил нас в «бытовую» комнату, куда расторопный Поскребышев тотчас принес крепко заваренный чай и лимоны. Когда остались втроем, Сталин сказал:

— Вы люди чисто военные и с военной точки зрения представленный вами оперативный план заслуживает самого большого внимания. Но вы не учитываете того, что я и товарищ Ворошилов считаем сейчас особенно важным, не учитываете политических аспектов событий. Пограничный конфликт с Финляндией — это одно. Большая война на государственном уровне — это совсем другое. Такая война вызовет самую неблагоприятную реакцию за рубежом. В конце концов это просто нехорошо: Гулливер схватился с лилипутом. У лилипута сразу найдутся сочувствующие защитники. Крупная концентрация войск, мобилизация — нас будут разносить на все корки еще до начала событий. Мы поссоримся и с немцами, и с французами, и с англичанами.

— Концентрацию, мобилизацию можно провести энергично, в короткий срок, — возразил Шапошников.

— Нет, Борис Михайлович, и вы и, как вижу, Николай Алексеевич, не поняли меня. Воевать, повторяю, будет не страна, а лишь Ленинградский фронт. Пусть эту операцию местного значения проведут молодые военачальники. А вам лучше пока отдохнуть.

— Подать в отставку? — уточнил Шапошников.

— Ну зачем же в отставку, дорогой Борис Михайлович, — улыбнулся Сталин. — Я знаю, что вам, как и мне, нравится черноморское побережье Кавказа. Там еще зелено. Поезжайте в Сочи, набирайтесь здоровья, А те товарищи по Генштабу, которые вместе с вами разрабатывали оперативный план и являются его сторонниками, пусть пока едут в Прибалтику, для уточнения границ. А вот Николай Алексеевич…

— Простите, Иосиф Виссарионович, но я недавно отдыхал в теплых краях.

— Это хорошо. Оставайтесь здесь и со стороны, критически постарайтесь оценить развитие событий. Нам это очень важно.

Итак, Шапошников и многие его сотрудники покинули Москву. Генштаб фактически перестал действовать, и это как раз в то время, когда началась война. Веское доказательство, что Сталин чересчур верил в свои силы, в способности преданных ему полководцев и в общем-то не очень

серьезно отнесся к развязавшемуся конфликту. Однако события быстро погасили его оптимизм, вызвали недоумение, а затем и некоторое замешательство.

Конечно, пятнадцать финских дивизий (каждая, впрочем, больше нашей по численности) не выдержали бы натиска войск Ленинградского фронта, если бы не первоклассная система оборонительных рубежей, которую создал бывший офицер русской армии Маннергейм и которая носила его имя. Перед нашей пехотой — сплошные минные поля и колючая проволока в двадцать, тридцать, иногда — в сорок (!) рядов, вместо обычных трех-четырех. Перед танками — доты. Полтора метра железобетона и метра два-три камней, наваленных сверху. Цемент марки «600». Не пробьешь никаким снарядом. Под такой толщей в одном доте укрывалось до десяти пулеметов, несколько артиллерийских орудий. Боеприпасы, продовольствие, запасы воды — в особом каземате. Огневые точки были расположены так, что секторы обстрелов перекрылись, каждый дот или дзот мог защищать подступы к двум соседним. Ну, а в отдаленных, труднодоступных местах, где у белофиннов не было мощных укреплений, нашу пехоту, вооруженную в основном винтовками, встречали лыжники, имевшие пистолеты-пулеметы, косили наших бойцов плотным огнем с близкого расстояния. Снайперы-«кукушки» стреляли прицельно, укрывшись в кронах деревьев.

Опасаясь ослабить войска на востоке и на западе, на линии соприкосновения с фашистами, советское командование не стало снимать оттуда наши кадровые, наиболее боеспособные дивизии. В соединения, действовавшие против белофиннов, направлялся поток запасников. Они попадали на северный фронт, едва умея стрелять, в шинелях, в ботинках с обмотками.

И морозы! Столь страшных холодов, как в ту злосчастную зиму, мы прежде не знали. Сама природа была против нас. Обычная среднемесячная температура января в Москве примерно -10 градусов по Цельсию. Случается, ртуть термометров падает на короткое время до отметки -25 или даже -30 градусов. А тогда, в сороковом году, произошло небывалое. 17 января в Москве мороз усилился до 42 градусов! Возле города Клин была зарегистрирована рекордная цифра, достойная полюса холода — минус 51 градус! При этом не следует забывать, что Московская область находится гораздо южнее Финляндии. По всей России вымерзли тогда яблони в садах. Отказывали термометры. Русские красноармейцы, особенно уроженцы северных областей, еще кое-как держались, терпели невиданную стужу, а южане выбывали из строя — не те условия.

Полная неожиданность происходившего, уязвленное самолюбие мешало нашим военным руководителям объективно, самокритично оценить положение. Их инициативы не достигали цели, их авторитет падал час от часу все ниже. Но Ворошилову и Мерецкову казалось: еще один нажим, еще один сильный удар — и линия Маннергейма будет прорвана, враг побежит. Победа, слава, почет — не за горами! И они гнали на сорок рядов колючей проволоки, на минные поля, под шквальный огонь белофиннов новые и новые тысячи, десятки тысяч наскоро обученных, слабо вооруженных бойцов, только что мобилизованных в центральных и северных областях России. А массированный огонь был страшен, гораздо страшнее, чем в первую мировую войну. За каждый метр продвижения мы платили десятками трупов. На подступах к дотам валами громоздились окоченевшие мертвецы.

Попробовали наступать севернее Карельского перешейка, а там — непроходимые леса, сугробы по грудь, вражеские засады, воздействие авиации. Белофинны отрезали две наших дивизии, судьба их была печальна… Нет, уж лучше бить напрямик, в лоб. Тем более что Сталин торопил, ждал сообщений об успехах. А дни шли, складывались в недели, не принося утешающих сведений.

За месяц тяжелых боев Ленинградский фронт преодолел только предполье, только приблизился к основным укреплениям линии Маннергейма, а штурмовать ее уже не было сил: ни материальных, ни моральных. Войска выдохлись.

Я тогда очень болезненно, как самое кровное для себя дело, воспринимал наши неудачи (как и Шапошников, мучавшийся неизвестностью на отдыхе в Сочи). Но еще более тяжелым и страшным представлялся мне стремительный упадок уровня боевой готовности всех наших вооруженных сил. А суть вот в чем.

В большой политике, в высшем военном руководстве, как и вообще в любой политике, в любом руководстве, существует некий закон равновесия. У этой группы людей одна точка зрения, у другой — другая. Пока различные мнения примерно равны в своем влиянии на лидеров, дело идет не самым лучшим образом.

А перекосы печальны. Отошел от руководства Шапошников, и сразу же резко возросло влияние Ефима Александровича Щаденко, давнего друга Ворошилова и Буденного.

Я знал Ефима Александровича с момента рождения Первой конной армии. В ту пору за востроносость кавалеристы называли его между собой «кочетом». И, наверно, не только за востроносость: было в нем что-то дерзкое, воинственно-заносчивое, петушиное. В Конармии ведал он вопросами формирования и укомплектования и тогда, в условиях гражданской войны, вполне справлялся со своими обязанностями.

Поднимаясь по ступеням служебной лестницы к самому ее верху, Ворошилов и Буденный тянули следом и друзей-приятелей, опираясь на них. Как мы уже говорили, Щаденко занимался теперь формированием и укомплектованием всех наших вооруженных сил. И, более того, претендовал на должность начальника Генштаба, считая, что вполне справится с этой ответственной должностью. Ошибочно, между прочим, считал.

Ефим Александрович рассудил так. Оперативный план, подготовленный Шапошниковым, предусматривал усиление Ленинградского фронта кадровыми, сколоченными и обученными дивизиями. Может, это и правильно, да ведь план-то отвергнут, товарищ Сталин высказался против. Под тем предлогом, что, мол, шума надо поменьше. И нельзя ослаблять другие стратегические направления. Значит, сделаем так. Дивизии, полки остаются на своих местах, но из каждого полка возьмем лучшую роту — и сразу на фронт, в бой. Быстро и никакого шума.

Не из государственных, не из военных, а из личных, честолюбивых соображений исходил Щаденко, приняв такое решение, добившись поддержки Ворошилова и одобрения Сталина. Срочно начали изымать по всей стране лучшие роты из всех полков, даже в Особых пограничных округах, уже одним этим снизив общий уровень боеготовности наших войск. А разрозненные роты, попав на Ленинградский фронт, растворялись в общей массе, почти не влияя на нее.

Давно известно, насколько велико значение сплоченности, спаянности любого воинского организма. Вот полк: люди в нем одинаково обучены, имеют штатное вооружение, каждый боец знает своего соседа, своего начальника, надеется на него. Командиры знают способности и возможности друг друга, кому что лучше доверить, кто с чем лучше справится. Отработано взаимодействие стрелков, пулеметчиков, артиллеристов, саперов… Такой полк втрое, вчетверо сильнее, чем наспех собранная воинская часть, где тот же командир роты не знает, каков его сосед слева или справа, каковы требования начальников, кто поможет ему в трудную минуту… Лить воду на огонь по каплям или плеснуть из ведра — есть же разница, хотя вода в любом случае остается водой! Дивизия М. П. Кирпоноса, например, прибывшая целиком с берегов Волги, сразу хорошо показала себя в боях. Но это был редкий случай, в основном Ленинградский фронт пополнялся слабообученными призывниками и разрозненными подразделениями, которые изымались из своих полков. [32]

Я попросил Иосифа Виссарионовича принять меня, высказал свое возмущение тем, что при огромных потерях войска наши пополняются неразумно, безобразно: так ничего не исправишь. И вообще нужны крутые меры, чтобы в корне изменить положение.

— Какие? — спросил он, наливая в бокал мускат (мы беседовали с глаза на глаз в его кремлевском домашнем кабинете).

— Немедленно прекратить наступление. Наши атаки — это самоистребление. Они вредны. Сейчас у нас нет надежды на успех, если мы даже удвоим количество войск.

— Неужели обстановка настолько безнадежная?

— Я пробыл там пять дней, видел своими глазами.

— Чего недостает? Артиллерии? Авиации? Мы можем дать и то и другое.

— Артиллерия застревает в сугробах и отрывается от пехоты. А которая на передовой — используется плохо. Взаимодействие не налажено. Пушкари сами по себе, пехотинцы тоже, с авиацией у них практически нет никакой связи. Радиосвязь нигде не налажена.

— Почему застревают в сугробах, объясните мне, Николай Алексеевич? Мы дали туда много автомашин, дали много тракторов из народного хозяйства.

— Стоят они, эти машины и трактора. Без горючего. В заносах. Нет для них обогревательных пунктов, ремонтных средств. Острая нехватка дорожных, инженерно-мостовых, строительных подразделений. Все делалось в спешке, непродуманно, на скорую руку… Мерецков — он же в Испании воевал. А тут север. И еще, Иосиф Виссарионович: подавляющее большинство наших командиров по своему уровню не отличается от своих подчиненных. Недавние командиры отделений и взводов просто не способны заменить вырванных из армии комбатов, командиров полков и дивизий. Руководство боем — это не болтовня на собраниях. Пока не поздно, надо исправить ошибки, освободить из тюрем и лагерей наших военачальников. Которые еще живы.

Иосиф Виссарионович не ответил. Глядел в темное окно, сжимая рукой набитую табаком трубку. Я понимал, насколько трудно ему отрешиться от привычной мысли о скорой победе. Кроме всего прочего, как возликуют наши многочисленные враги! Орешек, дескать, оказался не по зубам. Снизится престиж Красной Армии. Консолидируется антисоветский лагерь. И без того белофиннам оказывали материальную помощь

Соединенные Штаты, Англия, Франция. Даже Гитлер и Муссолини посылали белофиннам самолеты, другое вооружение. Немцы почти прекратили военные действия на западе, сидели в окопах против французов, ничего не предпринимая. Ожидали, как развернутся события на северо-востоке, в Финляндии.

Да, нелегко было Иосифу Виссарионовичу принять решение, затягивающее войну!

Оторвав взгляд от окна, он грузно повернулся ко мне:

— Насколько я понимаю, вы, Николай Алексеевич, предлагаете вызвать в Москву Шапошникова с планом Генштаба?

— Я предлагаю немедленно прекратить наступление и начать всестороннюю подготовку будущего штурма. Пусть войска освоятся на местности, произведут детальную разведку, накопят необходимые средства для подавления огневых точек противника, для уничтожения его заграждений. Путь пехоте обязаны будут проложить артиллерия, авиация. Да и теплое время близится, и световой день увеличивается — это в нашу пользу.

— Значит, надо вызвать Шапошникова. И командование фронта надо сменить, — сказал Сталин.

Со второго захода, если так можно выразиться, задача была решена. С трудом, с потерями, израсходовав массу боеприпасов, линию Маннергейма мы все же взломали. Финское правительство, испугавшись полного разгрома, поторопилось заключить мир. А мы «постеснялись» перед лицом других держав закрепить свой успех, ввести свои войска на территорию Финляндии, ликвидировать тем самым северный плацдарм, на который явно рассчитывали фашисты. А вот Гитлер не постеснялся. Послал вскоре туда свои дивизии, открыл вместе с финнами фронт против нас, усугубив для Советского Союза тяжесть войны. Но это потом. А в борьбе с белофиннами определенный успех был достигнут, хотя, конечно, заплатили мы за него дорого. В той «зимней войне», как называют ее финны, мы потеряли около 70 тысяч убитыми, вдвое больше ранеными и обмороженными.

И все же, смею утверждать, конкретный конечный результат был в нашу пользу. Граница отодвинулась на 150 километров от Ленинграда. Не будь этого, белофинны вместе с немцами одним ударом захватили бы в сорок первом году нашу северную столицу, а это обернулось бы для нас большой бедой, вся война пошла бы другим руслом, жертв и трудностей, вероятно, было бы значительно больше. Так что надо отдать должное предусмотрительности нашего руководства. А с другой стороны (диалектика!), финская кампания в определенной мере отрезвила Сталина и близких ему деятелей, охладила не в меру разыгравшееся самомнение, заставила думать, искать пути для скорейшего укрепления страны и армии. Только времени оставалось мало.

Нонсенс: в вопросе о войне с Финляндией Сталина в первый и последний раз безоговорочно поддержал не кто иной, как Троцкий. Постоянно критикуя Сталина, проводимую им политику, рисуя Иосифа Виссарионовича как злобное чудовище, как прирожденного преступника, Лев Давидович тем не менее всегда повторял, что при любых обстоятельствах будет безоговорочно защищать СССР, государство рабочих, от всех внешних врагов. Был, значит, в этом для него интерес. К чести Троцкого, он не изменил свою точку зрения, хотя сам оказался в трудном положении, многие западные друзья отвернулись от него.

Троцкий заявил: действия Сталина в Финляндии имели целью укрепить обнаженный фланг Советского Союза против возможного нападения Гитлера. Это — законное стремление, и любое Советское правительство, оказавшись в той же ситуации, было бы вынуждено укреплять свои границы за счет Финляндии. Стратегическим целям пролетарского государства следовало отдать предпочтение перед правом Финляндии на самоопределение… Лев Давидович настолько энергично призывал тогда «защищать Советский Союз», что поднял бурю возмущения среди зарубежных сторонников. Его обвиняли даже в том, что он сделался, якобы, «апологетом Сталина». А он просто был опытней и дальновидней многих своих соратников.

Еще несколько штрихов скорее политических, нежели чисто военных. Весной 1940 года в руки Сталина попал документ, ныне известный историкам, а тогда тайно добытый нашей разведкой за рубежом (или умело подсунутый заинтересованной стороной). Это была копия письма Гитлера Муссолини, в котором германский фюрер высоко оценил действия Красной Армии в период финской кампании. Имелась даже такая фраза: «Принимая во внимание возможности снабжения, никакая сила в мире не смогла бы, или если бы и смогла, то только после больших приготовлений, достичь таких результатов при морозе в 30–40 градусов и на такой местности, каких достигли русские уже в начале войны».

— Вот что думает Гитлер. — сказал мне Иосиф Виссарионович, прочитав сию выдержку из письма. — Он очень высокого мнения о боевых возможностях наших войск. Он не видит даже тех недостатков, которые видели мы сами и которые стараемся ликвидировать.

— Можно подумать, что у немцев нет разведки, что представители германских штабов не сидели от первого до последнего залпа на передовой вместе с финнами. Очень опасно считать противника глупее себя.

— Бывает и глупее. А бывает, что ошибается, — сказал Сталин. — Вы скептически настроены к этому письму…

— Напомню вам цифры, наделавшие много шума, когда их опубликовали после Февральской революции. В газетах появилось сообщение, что Россия потеряла в войне с Германией убитыми, ранеными и пленными восемь миллионов человек, а немцы — вдвое меньше. И что это есть объективный, неопровержимый приговор всему правящему классу, всей господствующей верхушке страны. А наши потери сейчас, в лесах Финляндии, не вдвое, а впятеро больше, чем у неприятеля. И Гитлер прекрасно осведомлен об этом.

— Приговор правящей верхушке? — переспросил Сталин.

— Не будем толковать об оценке. Важно уяснить позицию Гитлера.

— Нет, Николай Алексеевич, вы хотите подчеркнуть, что горькая правда лучше подслащенной лжи.

— Никаких сомнений.

— У меня тоже, — произнес Иосиф Виссарионович (похвально хотя бы то, что он старался быть самокритичным). — И при всем том мнение Гитлера, каким бы оно ни было, не является для нас определяющим. Это лишь пища для размышления. Мы учтем ошибки, выявленные финской кампанией, примем меры для их устранения.

— По-моему, мы тратим на это слишком много времени, — вырвалось у меня, — на выявление ошибок и их исправления.

Сталин промолчал.

Не могу не отметить, как в тот период совершенно неожиданно отличился мой давний знакомый Николай Сергеевич Власик. Слабо разбираясь в военных делах, он тем не менее, по воле случая принес большую, не побоюсь даже заявить — очень большую пользу нашим вооруженным силам. Ну, прежде всего надо сказать, что он всеми правдами и неправдами добился присвоения ему высокого воинского звания. Честолюбив был зело, и вот исхитрился. Не помню, что дали ему, «комбрига» или «комдива», во всяком случае, при переаттестации в 1940 году он стал генерал-майором, это уже нечто определенное. Для того, чтобы получить звезды в петлицах (погонов, как известно, у нас тогда еще не было), требовался некоторый стаж войсковой службы. Изворотливый Власик, продолжая оставаться главным лицом в охране Сталина, умудрился зачислиться на ответственную должность в Управление пограничными войсками и даже успевал что-то делать там по снабжению, подписывал какие-то бумаги. А должность была, разумеется, генеральская.

Получив звание, он «вознесся», и опять, как когда-то в молодые годы, поперла наружу хамская сущность — как и у многих его коллег. Стал высокомерным и наглым по отношению к тем, кто ниже его, даже походка изменилась: шествовал вальяжно, пузцом вперед. Надобно было его осадить, как осадил я его когда-то в Царицыне. Встретившись с ним один на один, сказал с нарочитой веселостью:

— А, товарищ генерал-майор, Николай Спиридонович! (Он почему-то терпеть не мог своего настоящего отчества, стеснялся, что ли?) Мундир на вас хорош, прямо маршальский. Бороду не намерены отрастить для пущей солидности?

Он растерялся, смотрел на меня выпученными белесыми глазами. Но мужлан-то был поднаторевший, научившийся смекать быстро и дипломатично. Соображал лишь несколько секунд, потом произнес ядовито:

— Нет, товарищ генерал без звания, бороды не будет, у нас крепкая память, не сумневайтесь!

Вот как удивил он меня! Не столько быстротой реакции, сколько обретенными познаниями. Есть такое понятие — офицер без звания. Призван, определен человек в офицерский корпус, но чин еще не назначен, звание не присвоено. Так и мой статус, по сравнению с новым твердым статусом Власика был, в его понимании, неофициальным и шатким. Он не упустил возможности уколоть меня, ничем не рискуя. Окрестил, подтрунивая, генералом без звания. Стерпевши эту шутку раз и другой, я в конце концов намекнул, что без звания-то может остаться он сам. Власик сделал соответствующий вывод, спеси у него поубавилось.

В общем-то, мы поддерживали вполне лояльные взаимоотношения. Что поделаешь: состояли на одной службе, свыклись за долгие годы. В какой-то мере сближала и общая неприязнь к начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии Г. И. Кулику. Завидуя его карьере, Власик вполне резонно считал, что Кулик никак не умнее, что организатор он ничуть не лучше, чем сам Николай Сергеевич. Я же вообще считал маршала Кулика, по деяниям его, истинным врагом Отечества, каждый раз, слыша его фамилию или думая о нем, вспоминал известные строки:

Хотя услуга нам при нужде дорога, Но все ж услужливый дурак опаснее врага.

Год за годом я боролся, без особых, впрочем, успехов, со «старовведениями» Кулика. Он упрямо проталкивал то, что было в гражданскую, что было известно Сталину, против чего особенно активно «воевал» Тухачевский. Основой артиллерийского вооружения Кулик считал 107-миллиметровую пушку, хорошо знакомую Ворошилову, Буденному и Сталину по боям гражданской войны. Но времена-то изменились. Кулик не хотел или не способен был признавать новое. Или, как мы уже говорили, просто искоренял все, что было внедрено «врагами народа». Добился: выпуск 45- и 76-миллиметровых орудий был прекращен. И даже большего: оснастка для выпуска этих артиллерийских систем была вывезена из заводских цехов. Это уж война доказала: наши 76-миллиметровые орудия были самыми лучшими орудиями в мире в течение всего периода с 1941 по 1945 год.

Кулик добивался также снятия с вооружения противотанковых ружей, по его мнению неэффективных. И в то же время всячески поддерживал проблематическое предложение Сталина о создании самозарядной полуавтоматической винтовки. И резко критиковал пистолет-пулемет, сконструированный В. А. Дегтяревым: кому, дескать, нужна эта «пукалка», которая бьет на двести — триста метров?! Зачем выпускать пистолет-пулемет (ППД) «в ущерб государственным интересам!» — вот как ставился вопрос. Но автомат Дегтярева был очень хорош для ближнего боя, я советовал вооружить им нашу конницу, разведывательные подразделения, пограничников, части войск государственной безопасности. Однако я мог только вносить предложения, высказывать свое мнение, а решения принимались другими. А единое мнение Кулика, Ворошилова, Буденного было достаточно тяжеловесным.

Наркомат обороны настаивал на прекращении производства ППД и, более того, сообщил о том, что не заказывает заводам автомат, как оружие, не пригодное для армии, потребное разве что бандитам при ограблении банков. Так было сказано в официальном документе. Сострили. Ну, а если армейских заказов нет, вопрос сам по себе снимается (хотя производство ППД было уже отлажено, что потребовало больших затрат).

Конечно, в ту пору трудно было предположить, что автоматы, вытесняя винтовку, станут основным стрелковым оружием второй мировой войны и последующих лет. Я, разумеется, не был провидцем, волхвом, но твердо знал истину: все технические новинки надо тщательно исследовать — какую пользу они могут принести нашей армии? Ведь когда-то и пулеметы внедрялись с трудом. Ну и недоброжелательное отношение мое к Кулику имело значение. Все это определило мою позицию в разговоре с Власиком, когда он обратился ко мне по поводу ППД. Было это в «Блинах»: Иосиф Виссарионович работал в кабинете, я прогуливался по аллее, а Николай Сергеевич подошел и, как говорится, без раскачки, сказал:

— Вчера нарком вооружения товарищ Ванников перехватил меня после заседания. Переживает насчет пистолетов-пулеметов. Просит сохранить заказ на ППД от пограничных войск. Армия-то отказалась, но мы не армия…

Я хорошо знал, какие доводы могут повлиять на Власика. Спросил:

— Как на заставах отзываются о пистолетах-пулеметах?

— Говорят, что удобно, надежно. И мы ведь не армия, у нас своя система, — повторил он.

— Товарищ Сталин высказал свое мнение по поводу автоматов?

— Пока нет.
— А вперед вы смотрите?
— Нельзя без того, — солидно ответствовал Власик.
— Завтрашний день всех систем вооружения, это скорострельность, эффективность при максимально возможной простоте. Из этого следует исходить.
— Значит, оставим заказ? — полувопросительно произнес Власик. — Средства-то выделены…
— Считаю, так будет правильно.
— Ладно, благодарствую вам, Николай Алексеевич.
Нет, не меня — его надо благодарить! Как ни суди, а именно стараниями Власика производство автоматов продолжалось, и главное, не ликвидировано было соответствующее оборудование, промышленная база. Начавшаяся вскоре война с белофиннами показала, сколь велико преимущество подразделений, вооруженных автоматами. На одну нашу пулю противник отвечал десятью, а то и больше. Это очень важно в бою на короткой дистанции: в населенном пункте, в лесу, при атаках и при их отражении. Иосиф Виссарионович довольно быстро уяснил сию истину. В его присутствии был испытан трофейный пистолет-пулемет «Суоми». Финский автомат настолько понравился, что Сталин сразу предложил вооруженцам быстро наладить выпуск такого же автомата. Но тут вооруженцы проявили характер, заявив: для чего копировать чужую модель, когда у нас есть, выпускается малыми сериями, свой, ни в чем не уступающий финскому, а по некоторым показателям даже превосходящий, пистолет-пулемет. Иосиф Виссарионович сказал: финский автомат имеет круглые дисковые магазины, вмещающие семьдесят патронов, а наши плоские коробчатые «рожки» — в четыре раза меньше. Я ответил: мы тоже можем использовать дисковые магазины для ППД, хотя они тяжелы, неудобны. Но какой смысл выпускать финский автомат, если он хуже нашего?
— Конкретно, чем хуже? — спросил Сталин.
— Не всегда срабатывает подача патронов. Для устранения этой неисправности надо вскрыть крышку диска, а это требует времени и навыка. В бою трудно. Во-вторых: при сильном встряхивании, при ударе самоустраняется задержка и «Суоми» произвольно начинает стрельбу, что очень опасно.
— Вы убедились в этом?
— Да.
— Значит, будем выпускать наши автоматы, — решил Сталин. — Как можно скорей. Фронт требует. Сколько автоматов у нас на складах?
— На армейских складах менее десяти тысяч. Кулик ликвидировал.
— Действительно, услужливый дурак опаснее врага, — произнес Сталин фразу, которую я, насколько помню, не употреблял в его присутствии, но он, оказывается, знал не только сей афоризм, но и кому я его адресовывал. Мне было приятно. Ради справедливости, напомнил:
— Благодаря Власику не был снят заказ на пистолеты-пулеметы для пограничников.
— Помню. Сколько в пограничных войсках ППД?
— В пределах пятидесяти тысяч.
— Немного, но хоть кое-что. — Иосиф Виссарионович нажал кнопку, в кабинете появился Поскребышев. — Немедленно изъять у пограничников

все пистолеты-пулеметы Дегтярева и передать их в действующую армию. Поняли? Немедленно! Сразу на фронт! Самолетами! Все… Нет, погодите…

Сталин повернулся ко мне:

— Сколько автоматов промышленность может дать в месяц?

— Сейчас не больше десяти тысяч.

— А сколько требуется?

— Вдвое больше.

— Двадцать тысяч… Подготовьте необходимое решение, — сказал он Поскребышеву.

— Это нереально, — возразил я. — Нет мощностей, нет заготовок.

— Если необходимо — будет реально… Товарищ Поскребышев, укажите эту цифру. Со следующего месяца двадцать тысяч, и ни на один автомат меньше!

Ну, что же, к концу войны с белофиннами мы действительно подняли производство ППД до этого уровня. Одна ошибка была исправлена. Не самая главная, но все-таки…

До сих пор я убежден, что трудная война с белофиннами, обнажившая многие наши слабости, подвигнула Гитлера скорее, пока мы не окрепли, напасть на нас. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что Советский Союз — колосс на глиняных ногах: толкни посильней, он и развалится. Самый выигрышный момент для вторжения, пока не осуществлялась намеченная Сталиным государственная программа технического переоснащения, повышения боеспособности советских войск. Учитывая это, Гитлер начал тайно, решительно, быстро готовить молниеносную войну на востоке.

23

Программа перевооружения была у нас хорошая, продуманная, обоснованная возросшими возможностями экономики. Программа уже осуществлялась, а события в Финляндии значительно ускорили этот важный процесс.

Финская кампания заставила задуматься многих. Каждый делал выводы соответственно своему характеру, житейскому опыту, умственным способностям и занимаемой должности. Бывший буденновец, ярый приверженец конницы, долговязый Семен Тимошенко, сверкавший новыми маршальскими звездами, высокими лакированными сапогами и бритой головой, стал вдруг убежденным сторонником пехоты, утверждая, что она и только она способна решить исход боевых действий в любых условиях. Учитывая слабую подготовку и слабую дисциплину личного состава нашей пехоты, неумение полностью использовать возможности оружия, нарком Тимошенко изо всех своих богатырских сил принялся наводить порядок в стрелковых подразделениях, обращая особое внимание на обучение бойцов и младших командиров. Эта сторона подготовки войск была понятней, ближе ему. И в принципе это было правильно, от состояния пехоты зависело очень многое. Но слабость наша была в другом, в отсутствии опытного, обученного комсостава во всех звеньях.

Маршал Кулик по-прежнему упорно расхваливал свое любимое «болото» — полевую артиллерию, особенно на конной тяге, старательно расширяя выпуск пушек и гаубиц. Кулик утверждал, что в войне с белофиннами артиллерия сыграла решающую роль, пройдя по снегам вслед за пехотой и взломав вражеские укрепления. В этом тоже имелась доля истины. Но

крен был неправомерно велик: человек, ведавший у нас вопросами перевооружения, выступал против непонятной ему реактивной техники, против восстановления танковых, механизированных дивизий и корпусов. Причем выступал столь последовательно и упорно, что на одном из совещаний Сталин был вынужден резко одернуть его. Но не подействовало даже это. Кулик просто не мог подняться выше данного ему потолка.

Семен Михайлович Буденный после финской войны отмалчивался, так как сказать ему было нечего. Конница в боевых действиях почти не участвовала. Некоторые торопливые товарищи сделали вывод: кавалерия, как род войск, утратила свое значение. Количество кавалерийских дивизий было сокращено до 13, хотя каждая дивизия стала сильнее, получив танковый полк. Я считал, что опыт, полученный в Финляндии, слишком локален: в условиях лесисто-болотистой местности, зимой, перед сильно укрепленной обороной противника наши подвижные части и соединения не имели возможности проявить себя. Однако «большая война» будет вестись не на «пятачке», а на широких просторах, будет иметь маневренный характер, и конница при этом еще может сказать веское слово. Свое мнение я отстаивал перед Иосифом Виссарионовичем в присутствии Буденного, и Семен Михайлович был очень доволен такой поддержкой.

Маршал Ворошилов, долгие годы возглавлявший наши Вооруженные Силы, болезненно переживал срыв в Финляндии. Был тих, вежлив, уклонялся от дискуссий, от выступлений и словно бы продолжал недоумевать: как же так? Что произошло? Столько лет старался, работал! Искренне верил в свой песенный лозунг: «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом!» А вышло наоборот. Могучего удара не получилось, враг не разбит, а крови пролилось много и, главным образом, нашей.

Климент Ефремович как-то незаметно отходил от конкретных военных дел, от руководства Вооруженными Силами. Все чаще и громче звучали новые фамилии: Жуков, Мерецков, Кирпонос, Павлов… Зная, что после гибели Егорова и Тухачевского у нас не осталось полководцев, способных охватывать мысленно большой круг событий, я особенно присматривался к людям, проявлявшим тягу и способности к стратегии. Этим был обеспокоен и Борис Михайлович Шапошников, здоровье которого не улучшалось. При всем своем уважении к Георгию Константиновичу Жукову, должен сказать, что стратегическим дарованием он не отличался. Другой склад ума, другой характер. Он превосходно знал тактику, разбирался в оперативном искусстве, он мог наладить взаимодействие войск, заставить их выполнить поставленную задачу. Он был незаменимый организатор, прекрасный исполнитель больших замыслов, причем сражался не по шаблону, творчески. Но вынашивать крупномасштабные решения, предвидеть ход событий — на это он даже не претендовал.

Георгий Константинович — полководец суворовского типа, суворовского уровня. Это очень высокий уровень. Александр Васильевич Суворов выигрывал важнейшие сражения, целые кампании. Но ход и исход большой войны определяют все же такие дальновидные военачальники, каким был Кутузов.

Чтобы не обиделись на меня поклонники Георгия Константиновича, чтобы не вызывать их нареканий, приведу слова самого Жукова, который здраво оценивал свои возможности, понимал, какой именно талант

отпущен ему. Вот что он писал в своих воспоминаниях: «Надо сказать, что из всех военных дисциплин я больше любил тактику и всегда с особым удовольствием ею занимался». И еще: «Должен вновь отметить, что меня лично всегда увлекала тактическая подготовка, как важнейшая отрасль всей боевой подготовки войск. Я усиленно занимался ею на протяжении всей своей долголетней военной службы от солдата до министра обороны».

Да, Жуков, повторяю, — знаток тактики, мастер оперативного искусства, но он никогда не был стратегом, а вот стратегов-то нам и не хватало. Частности, в разных масштабах, видели многие, но общую военную картину не мог охватить никто. Еще в довоенную пору Шапошников выделял стратегические задатки, добросовестность и работоспособность генерала Антонова Алексея Иннокентьевича, который потом и заменил Бориса Михайловича в Генштабе, когда здоровье последнего стало совсем скверным. Широтой и смелостью оперативно-стратегического мышления отличался генерал-лейтенант Ватутин Николай Федорович, ставший перед войной первым заместителем начальника Генерального штаба. Подчеркиваю своеобразие его дарования: перехлестываясь за рамки оперативного искусства, оно почти поднималось до стратегического осмысливания ситуации. Но завершенности Ватутину еще не хватало. Более осторожным, но более глубоким стратегом представлялся мне генерал-майор Александр Михайлович Василевский, тоже работавший в Генштабе. Это были очень перспективные товарищи, лишь молодость, отсутствие опыта большой войны мешали им развить и проявить свои задатки. Бритва оттачивается на оселке.

В апреле 1940 года был собран Главный Военный Совет, на котором присутствовали командующие округами, армиями, многие командиры соединений и частей, участвовавших в боях с белофиннами, руководители Наркомата обороны и других заинтересованных ведомств. Были подведены итоги завершившейся кампании.

17 апреля на Главном Военном Совете выступил Иосиф Виссарионович. Он многое смягчил в тексте, к подготовке которого и я руку приложил, но все же Сталин ближе других подступил к главным причинам наших ошибок. Он говорил о необходимости изучения командным составом особенностей ведения боевых действий в новых условиях.

— Культ традиций и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, помешал перейти на рельсы современной войны, — подчеркнул Иосиф Виссарионович. — Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибает как командир. Он должен этот опыт обязательно дополнить опытом войны современной…

Правильно было сказано, да только без анализа того, откуда взялось у нас столько неучей, неумех. Хорошо хоть, что в конкретных делах Сталин проявил больше понимания и решительности. С введением у нас всеобщей воинской повинности я вздохнул облегченно. В армию втягивалась теперь огромная прослойка деятельных людей, которым государство прежде не доверяло, тем самым словно бы отталкивало в лагерь наших противников. В лице этих людей мы получили образованное, мыслящее пополнение. Сперва новый закон проводился медленно, со скрипом, с косыми взглядами на выходцев из недавних «лишенцев», из семей кулаков, священников, инженеров и тому подобных элементов. Однако финская война резко ускорила ломку социальных разграничений. Наша армия

получила хорошие кадры для формирования технических частей, развития моторизованных сил, войск связи.

Для работы с новыми кадрами требовались политруки, комиссары более высокой квалификации. Политрук, способный лишь читать вслух газету, произносить общеизвестные лозунги да повторять азы политграмоты, только что открыв их для себя самого, — такой политрук никак не устраивал парней, закончивших семилетку, десятилетку, техникум. Слаб был тогда политсостав. Зачастую это — вчерашние бойцы, выделившиеся своей активностью в годы репрессий. Менять их нужно было или хотя бы образовывать как можно скорее. Срочно была создана сеть политучилищ. Но ведь малограмотного человека ни в каком училище быстро не «подкуешь». И я, поразмыслив, дал Иосифу Виссарионовичу вот какой совет. После революции большое внимание уделялось сельской школе, поднятию грамотности крестьянских масс. Цель была — дать всем хотя бы начальное образование. В связи с этим сельские учителя имели у нас отсрочку, в Красную Армию не призывались. А ведь это — люди со средним и высшим образованием, имеющие опыт воспитательной работы. Дать им военную, специально-политическую подготовку, и кадры окажутся незаменимыми. Ведь в армии они будут работать с теми людьми, которые недавно сидели перед ними за партами, у которых они пользовались особым авторитетом.

Отсрочка была снята. На военную службу признали сельских работников народного образования, членов партии и комсомольцев. Их направили в училища, на годичные курсы. Опять черпнули из нашей российской глубинки, казавшейся неистощимой, опять взяли самых лучших, самых грамотных, но эта мера в той напряженной обстановке была необходима. За год-полтора мы получили сразу двадцать тысяч отличных политработников.

С душевной болью вспоминаю о них. Какие это были чистые, добрые и умные люди: не случайно ведь в учителя-то пошли. Как вгрызались они в военную науку, несколько наивно щеголяя военной формой! Они старались узнать побольше, сделать все, как лучше. Но время, время… Получив лишь азы военных знаний, ушли они политруками в роты и батареи наших западных округов, на этих должностях встретили гитлеровское нашествие. Поднимали в атаку своих недавних учеников, первыми бросались под вражеские танки. И полегли они, чудесные люди, на полях сорок первого года все или почти все. Ни разу не довелось мне потом встретить политработника из того славного учительского призыва.

Но дело свое они сделали.

Возвращались в армию командиры, ошельмованные, оклеветанные в 1937–1938 годах. По распоряжению Сталина пересматривались дела военных, которые еще уцелели в застенках. А уцелели главным образом те, у кого хватило сил и мужества перенести пытки, унижения, но не признать свою «вину», не поставить подпись под сфабрикованными бумагами. Сразу после финской войны для повышения авторитета высшего командного состава у нас было введено звание «генерал» и «адмирал». Указ был опубликован 7 мая 1940 года. Что там ни говори, а «комбриг», «комдив», «комкор» — это лишь определение должностного положения, а строгое, твердое слово «генерал» было освящено славой побед, военных традиций и уже само по себе вызывало особое уважение. Отныне в наших Вооруженных Силах числилось 966 генералов разных уровней и 74 адмирала. Хорошо! Но одновременно стало известно и о том,

что звание Маршала Советского Союза присвоено начальнику Главного артиллерийского управления Г. Кулику и С. Тимошенко, который, к тому же, стал Наркомом обороны. Возвышение этих лихих буденновцев-ворошиловцев меня огорчило. Что они представляли собой по сравнению с таким колоссом, как Егоров! Да ведь ничего! Унтеры. Одно лишь успокаивало: большая маршальская звезда украсила петлицы нашего замечательного военноштабного руководителя Бориса Михайловича Шапошникова. Хоть один эрудированный, широко и смело мыслящий человек среди пяти маршалов.

А деловой разговор, начатый на Главном Военном Совете, вскоре получил неожиданное продолжение в более узком кругу. Очень торжественно, с размахом отметили тогда первомайский праздник. Состоялся внушительный парад, на котором продемонстрирована была новая военная техника. Затем началось шествие трудящихся. Цветы, смех, весенняя яркость создавали приподнятое настроение. Новые и новые колонны вливались на Красную площадь, казалось, что вся Москва собралась сюда, в центр. Сталин простоял на мавзолее долго, часов до четырех или пяти, лишь один раз подкрепившись бокалом вина и бутербродом. Однако усталости не чувствовал, был доволен. Остальные руководители, естественно, тоже.

После трудной зимы, после перенесенных потрясений, разочарований хотелось Иосифу Виссарионовичу убедиться в могуществе и крепости Красной Армии, в единстве и сплоченности народа. Надежную поддержку ощутить, уверенность. И людям, наверное, хотелось этого, демонстрация получилась искренней, впечатляющей. Сталин был доволен, что это увидели, осознали представители других держав; особенно Германии и Японии. Пусть еще раз задумаются господа.

Когда закончилась демонстрация, несколько десятков человек, руководители партии, правительства, военные товарищи поехали на Кунцевскую дачу Сталина. Я тоже был приглашен туда, что не доставило мне никакого удовольствия. Расположена эта дача в безрадостной низине, отгороженной от Москвы-реки лесистой грядой: горизонт ограничен, простора нет. И лес там какой-то хмурый, темный. Этот лесной массив, оказавшийся в черте города, сохранился до сей поры по левую сторону Минского шоссе. А главное, конечно, в том, что там, в «Блинах», безраздельно господствовали Берия и Власик со своими многочисленными подручными. Уже тогда это была их вотчина. Лаврентий Павлович говорил, что бывает спокоен лишь в те часы, когда Сталин находится в Кремле или на Кунцевской даче.

Не хотелось мне и новых знакомств, от которых трудно уклониться на праздничных обедах и ужинах. Наблюдать со стороны, держась в тени, — стало моей натурой. Я привык к положению тайного советника, старался ни с кем не сближаться во избежание лишних вопросов. А в ту пору в окружении Иосифа Виссарионовича начали возникать новые люди из штатских, ничего не знавшие обо мне, никогда не встречавшие меня в официальной обстановке и поэтому, естественно, проявлявшие любопытство: это, мол, что за фигура?

Я пропустил тот первый момент, когда возле Сталина появилось еще одно доверенное лицо, его секретарь и помощник Поскребышев. Мне он не понравился. Всплывший из ничего, из какой-то Богом забытой деревни с довольно противным названием: Сопли или Слюни — нарочно не придумаешь, — он быстро оказался необходимым, незаменимым для

Сталина. Вознесен на сказочную высоту, потрясен своим счастьем, беззаветно предан и к тому же аккуратен, самоотвержен в работе. Высшую степень обожания можно было увидеть в его глазах. Служить Иосифу Виссарионовичу — в этом вроде бы состоял смысл его существования. А я не мог преодолеть своей настороженности. Какие-то слухи ползли за Поскребышевым, о его связях со Свердловым, с Ягодой, вплоть до того, что он имел отношение к уничтожению царской семьи. Но суть не в этом. Поскребышев был женат на сестре жены Льва Седова, сына Льва Давидовича Троцкого. Оный сын обосновался вместе с отцом за границей и активно помогал воинствующему папаше вести борьбу со Сталиным. Прямо скажем — родство Поскребышева не располагало к доверию. Все та же липкая троцкистская паутина, опутывавшая руководящие звенья страны. Сколько ее ни рвали, она опять смыкалась. К тому же супруга Поскребышева в 1937 году была арестована и, как знать, не разгорится ли у мужа чувство мести? Хоть и говорил он, что эта женитьба была ошибкой, но все же… Немалый риск — держать возле себя подобного помощника. Он может хоть пулей, хоть ядом… Других, что ли, нет, более надежных? А Иосиф Виссарионович держал. Обладая обостренной интуицией и железной логикой, хорошо разбирался он в людях, особенно при оценке их верности, преданности.

Молчаливого, добросовестного чиновника Поскребышева в свое время заметил в аппарате ЦК партии Мехлис, выдвинул его на очень ответственный, очень важный пост — помощником Сталина и заведующим Особым сектором. Рассчитывал Мехлис, что на самом верху, возле вождя, постоянно будет находиться надежный, преисполненный благодарности человек, у которого больше возможностей, чем у некоторых членов Политбюро. Своя рука, свои глаза, свои уши. От того, как будет подготовлен и доложен Сталину тот или иной материал, зависело многое. Однако Поскребышев оказался умнее, дальновиднее и, может, просто искренней, сердечней своих недавних покровителей. Очень скоро он дал понять, что служит только Иосифу Виссарионовичу и никому больше. И действительно: почти на двадцать лет он станет доверенным лицом Сталина, его неразлучным спутником, освобождавшим от многих повседневных забот.

Внешне А. Н. Поскребышев был неказист. Роста малого — почти карлик. А голова на короткой шее — велика непомерно. Он всегда стригся наголо для того, чтобы отросшие волосы не подчеркивали еще сильнее несоразмерность головы и туловища. Лоб у него большой, покатый — лоб мыслителя, а черты лица грубые, словно вырубленные топором. Крупный нос, крупный подбородок, оттопыренные уши. Никакой эстетики, никакой красоты — все только для выполнения возложенных функций. Идеальный клерк, способный быстро понимать замыслы патрона, даже предугадывать их, и решительно претворять в жизнь.

Достоинств Поскребышева не преуменьшаю. Он был неутомим, скрупулезен, хранил в памяти все указания и пожелания Сталина, безошибочно чувствовал его состояние, настроение, всякий раз зная, какую и в каких пределах инициативу следует проявить, какие бумаги приготовить, кого к какому времени вызвать и так далее. Он ничего не забывал, не терял, следил за ходом дел Сталина, за его временем и при этом не был назойлив, заметен, словно его и не существовало, словно обо всем помнил и все совершал сам Иосиф Виссарионович.

Безусловно, Поскребышев являлся ценнейшим работником, хотя, повторяю, симпатии к нему я никогда не испытывал. Встречаться в «Блинах» с ним, с какими-то малоизвестными мне людьми не хотелось. Но Сталин, обычно оберегавший меня от «выхода в свет», на этот раз почему-то проявил настойчивость. Я не счел возможным противоречить ему в присутствии других товарищей.

К нашему приезду на даче все уже было готово для приема гостей. На веранде и на лужайке под открытым небом сервированы длинные столы. На них вина, водка, коньяк, холодные закуски, фрукты. А поскольку люди прибыли не пообедав, на отдельном столе возвышались супницы с горячими щами, с ухой. Кто хотел — наливал себе. Спиртными напитками каждый распоряжался по своему усмотрению.

Как обычно, последовали полуофициальные тосты за праздник трудящихся, за нашу армию, за наступившую весну. Подано было горячее второе. Один из новичков начал было торжественный спич, прославляющий Сталина, но быстренько свернул «выступление», увидев недовольство на лице Иосифа Виссарионовича. По инициативе Сталина беседа перешла в деловое русло. Будто рассуждая вслух, советуясь не только о количестве, но и о качестве нашего вооружения. Промышленность готова принять новые повышенные заказы, но наши военные руководители сами не знают твердо, что им требуется, — при этом Иосиф Виссарионович так глянул на Кулика, что тот дернулся: водка плеснулась из рюмки.

— Думаю, наши военные не справились со стоявшей перед ними задачей, — ровным голосом продолжал Сталин в полной тишине. Его слушали, боясь шелохнуться. — За реорганизацию, за перевооружение Красной Армии и Военно-Морского Флота придется взяться и нам, людям гражданским. Мы ведь тоже кое-что можем. Так что рассчитывайте, товарищи военные, на нашу помощь и наш строжайший контроль. А тебя, железный нарком, — Иосиф Виссарионович повернулся к Ворошилову, на лице промелькнула усмешка, — тебя мы попросим взять на себя военно-политические вопросы обороны страны. «Почетная отставка», — подумал я.

Сталин постепенно утрачивал веру в способности своих старых боевых соратников, но не знал, кем заменить их. Слишком узки были возможности выбора.

24

Иосиф Виссарионович хотел, чтобы я докладывал ему о всех интересных идеях, замыслах, воплощениях, связанных с перевооружением наших войск. Начиная с весны сорокового года, я много ездил по конструкторским бюро, по военным заводам и полигонам. Столько было важного, работа развернулась столь значительная и многообразная, что впору хоть особую книгу об этом писать. Ведь к сорок первому году мы имели лучший в мире танк Т-34: как ни старались наши враги и союзники превзойти нас, он остался самым надежным, самым экономичным, я бы даже сказал — самым красивым танком второй мировой войны.

Это ведь у нас появился замечательный штурмовик, названный «летающим танком», который по праву считается самым удачным, самым сильным в своем классе самолетом того времени.

Мы, и только мы, имели к началу битвы с фашистами самый новый, принципиально новый вид вооружения — реактивные снаряды. Знаменитые батареи «катюш» наводили ужас на гитлеровцев. И вообще артиллерия наша как была всегда, так и осталась традиционно самой передовой, самой точной, самой сильной. Особенно выделялись 76-миллиметровые орудия, не имевшие конкурентов во всех армиях. Другое дело, что этого отличного оружия нам не хватало, мы не всегда правильно, умело использовали то, что дали нам талантливые изобретатели, самоотверженные труженики заводов — это другой вопрос. Подобный разговор может увести нас далеко в сторону. Приведенными фактами я хочу подчеркнуть одно: пришло все это не само по себе, потребовалась большая организационная работа, преодоление косных взглядов, инерции. И тут Сталин оказался на высоте. Перед войной и во время ее он досконально знал все наши военно-технические дела, сам советовался с конструкторами, бывал на полигонах. И если появился у нас, к пример, 120-миллиметровый полковой миномет Б. Шавырина, то в него, в этот миномет, вложена и какая-то частичка энергии Иосифа Виссарионовича. Для того времени это была смелая новинка. Гитлеровцам удалось создать подобный 120-миллиметровый миномет, весьма нужный в боях, лишь в 1943 году, да и то практически это была копия нашего.

Иностранные батальонные минометы тех лет (самые распространенные во всех армиях) имели калибр 81.4 миллиметра. Считалось, что это наиболее целесообразно, отвечает всем предъявляемым требованиям. Но у наших конструкторов, у известного инженера Н. Дороговлева возникла вот какая мысль. А что, если создать миномет калибром 82 миллиметра? При этом мы сможем использовать для стрельбы мины батальонных минометов (повторяю, самых распространенных) иностранных армий. А нашими минами стрелять из чужих минометов нельзя, диаметр у них больше, в ствол не входят. Вот вам экономия боеприпасов за счет противника.

Нашлись скептики, сомневающиеся. Работа могла затормозиться, если бы не твердое, решающее слово Сталина: «Делайте образцы, испытывайте. А вы, Николай Алексеевич, проследите, скажите о трудностях, если возникнут».

Батальонный миномет сослужил нам очень большую службу. Не было своих мин — стреляли трофейными. Особенно когда перешли в наступление, начали захватывать вражеские склады боеприпасов. Германская промышленность, заботясь о своих минометчиках, заодно обеспечивала минами и нас.

Запомнились испытания нового стального шлема, предъявленного на утверждение, если не ошибаюсь, в первой половине сорокового года. Манекен в форме советского бойца с каской на голове был выставлен в зале, где заседала комиссия. Зеленая каска с красной звездой замечаний не вызывала. Создатель ее, волнуясь в присутствии Сталина, рассказывал о своей работе, об отличии нового шлема от старого образца. Зачитан был протокол испытаний (на каком расстоянии, под каким углом пробивают каску пули, осколки). В общем чувствовалось: шлем всем понравился. Однако Сталин не спешил высказать свое мнение, зная, что оно будет окончательным.

— У кого есть вопросы? — обратился он к присутствующим.

— Разрешите мне, — поднялся Семен Михайлович Буденный. — Я еще раз… проверю.

— Пожалуйста, — кивнул Иосиф Виссарионович.
Буденный стремительно пошел к манекену, вытягивая из ножен шашку, и вдруг, ахнув, нанес по каске сильнейший, с потягом, удар. Металл взвизгнул, манекен качнулся, но каска выдержала. Однако клинок, соскользнув с нее, начисто отсек манекену «руку».
Еще удар — и клинок, вновь соскользнув, врезался в «плечо» манекена.
Члены комиссии восхищались силой Буденного, крепостью клинка и каски, а лицо Сталина хмурилось.
— Думаю, товарищи, мы не можем утвердить такой образец, — сказал он. — По такому шлему будет соскальзывать не только клинок, но и пули, и осколки, летящие сверху.
— Каска-то хорошая, прочная, — высказал свое мнение довольный, возбужденный Семен Михайлович. — Борта бы у нее немного загнуть. Это можно? — спросил он конструктора.
— Вполне.
Пока обсуждали подробности, я передал Иосифу Виссарионовичу коротенькую записку. Лучше было убрать с каски звезду, она облегчала врагу прицеливание, особенно снайперам.
Сталин едва заметно кивнул мне и сказал, не называя фамилии, что есть еще и такое предложение. Как к этому отнесется комиссия?
Звезда была снята. А каска после переделки и новых испытаний была принята на вооружение, оказалась гораздо удобней и надежней в наших условиях, чем те шлемы, которые носили фашисты.

25

Уместно и по времени действия, и по сути вернуться к убийству Льва Давидовича Троцкого. Теперь читатель, знакомый с предыдущим изложением, лучше и глубже осознает некоторые особенности того странного и в общем-то неожиданного события. Да, неожиданного. Мы редко говорили с Иосифом Виссарионовичем о Троцком, это не по моей части, но все же у меня сложилось мнение: Сталин не спешил окончательно рассчитаться со своим противником, хотя возможностей было достаточно. Сталин постоянно держал Льва Давидовича «на прицеле», каждый его шаг, каждый поступок, каждое слово были известны в Москве. В наших органах безопасности имелся целый отдел, занимавшийся Троцким, всегда готовый организовать его ликвидацию. Особенно активизировался спецотдел, когда его возглавил Леонид (Наум) Эйтингон, сражавшийся, кстати, в Испании на стороне республиканцев, имевший связь с Эутасией Марией Каридад дель Рио — матерью Рамона дель Рио Маркадера, который поставит последнюю точку в затянувшемся противоборстве. Координировал эту операцию под кодовым названием «Утка» молодой майор госбезопасности (читай — комбриг) Павел Анатольевич Судоплатов: с ним мы еще встретимся на страницах книги.
Троцкого могли отравить в Скандинавии, утопить в рейсе через океан, погубить в автомобильной катастрофе в Америке, застрелить в Мексике на его вилле в Койоакане, но такой команды никто не давал. Почему? Можно считать, что Сталин не хотел того шума, того пропагандистского взрыва, которые раскатились бы по всему миру. Какой бы причиной ни была вызвана смерть Троцкого, вину все равно возложили бы на Сталина, а он, естественно, не нуждался в такой, с позволения сказать, «славе». Не желал Иосиф Виссарионович создавать Троцкому ореол жертвы,

страдальца, великомученика, столь притягательный для простого народа, не хотел, чтобы Иудушку записали в святые. Ну и самолюбив был Иосиф Виссарионович, ему доставляло удовольствие одерживать победу за победой над своим врагом номер один, над очень сильным врагом. Троцкий сдавал одну позицию за другой, теряя авторитет, сторонников, он метался и злобствовал, а Сталин торжествовал, возвышаясь даже в собственных глазах. У Троцкого болтовня, теорийки, а мы реально создаем государство рабочих и крестьян, осуществляя ленинские заветы. И вот в 1940 году, когда авторитет Троцкого был подорван, когда значительная часть его сторонников в нашей стране была обезврежена, когда мы экономически окрепли, когда Сталин заявил, что социализм в СССР в основном построен и началась ощутимая либерализация всей жизни, когда Лев Давидович не мог уже оказать существенного влияния на ход событий, его убрали. Не странно ли?

И у нас, и за рубежом объяснение давали такое: развернулась война, грохотали пушки, лилась кровь, гибли многие тысячи солдат и мирных жителей — в такой обстановке смерть какого-то политического деятеля где-то в далекой Мексике могла пройти, да и прошла, почти незаметно, без шумихи, без взрыва общественного недовольства. Большинство людей вообще не узнали об этом, а узнавшие не придали значения. В подобном объяснении что-то есть, но я хочу сказать и свое слово. Считаю, что Лев Давидович, желая или не желая того, сам спровоцировал трагический инцидент. Он действительно страдал и метался, понимая: история катится дальше без него, выдвигая новых мировых лидеров, а он оттеснен на обочину, его перестают замечать, его не слышат, не слушают. И он решил еще раз громко заявить о себе, вызвать большой скандал. Каким образом? Обвинив Сталина в том, что он, этот каверзный Иосиф, самолично свел в могилу своего друга и учителя, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Причем самым подлым способом.

Никогда раньше Троцкий не помышлял, вероятно, о такой версии, о таком шаге. Можно предположить, как родилась подобная мысль. Впервые, еще неуверенно и туманно, Лев Давидович заговорил об этом в узком кругу примерно в конце 1938 года, нащупывая логическую связь между давним знакомством Сталина с фармацевтом Ягодой, сплетая эту нить с другой, со спорами-раздорами между Сталиным и Лениным в последние годы жизни Владимира Ильича. Толчком для этого послужило заявление Генриха Ягоды на процессе «правотроцкистского блока», когда Ягода признал себя виновным в убийстве Менжинского, Куйбышева, Горького. А разве не мог он и в убийстве Ленина принимать участия? Вместе со Сталиным, под руководством Сталина. Ведь Ягода мертв, возражать не способен. Такой иезуитский ход подсказал Льву Давидовичу его изощренный ум. Очень выигрышный ход, но в то же время и очень опасный для самого Троцкого. Он, разумеется, понимал, что на удар Сталин ответит ударом, поэтому не сразу взялся за перо, обдумывая, вынашивая идею, оценивая последствия. И только когда в политической игре не осталось весомых шансов на успех, решился бросить на чашу весов свой последний козырь.

Напомню: Иосиф Виссарионович знал каждый шаг, каждый поступок Троцкого, в окружении оного всегда были люди, державшие связь с Москвой. Сообщение о том, что Троцкий начал работу над статьей, приписывая Сталину отравление Ленина, вызвало у Иосифа Виссарионовича приступ не то что гнева, а ярости. «До чего докатился,

подлец! Воистину Иудушка Головлев! Пускай на себя пеняет!» А через несколько дней, на прогулке, Иосиф Виссарионович, уже успокоившийся, взвесивший все «за» и «против», сказал мне: «Мы предупредили его. В последний раз. Он азартный, но он должен подумать и понять».

О том, каким было «последнее предупреждение», хорошо известно. Ночью один из охранников виллы-крепости в Койоакане, где жил Троцкий, открыл ворота и впустил группу вооруженных людей во главе с мексиканским коммунистом, талантливым художником Сикейросом. Стрельба была очень большая, но ни сам Троцкий, ни его родственники не пострадали. Лев Давидович, видите ли, очень удачно спрятался под кроватью. И эта кровать, и стена над ней были буквально изрешечены пулями. А ниже — ни одной. Полагать, что это случайность, — наивно. Мексиканцы превосходные стрелки, били с близкого расстояния. Они, конечно, знали, где Троцкий. Судорожно дергавшаяся нога Льва Давидовича появлялась из-под полога. И надо же так — не попали в него! А вот громко повторенное несколько раз предостережение не трогать Ленина, наверняка, дошло до слуха Льва Давидовича. И уж безусловно ознакомился он с содержимым конверта, который оставлен был на столе одним из нападавших — с фотокопиями документов, долго хранившихся у Иосифа Виссарионовича в бекауриевском сейфе и извлеченных оттуда, когда возникла крайняя необходимость. Это прежде всего черновик «херема», ритуального еврейского проклятия, выполненный рукой Троцкого — почерк его был знаком многим. Текст таков: «Да будет проклят, изгнан, испепелен Владимир Ульянов (Ленин)! Никто да не общается с ним. Никто да не спасет его из огня, из воды, от обвала и от всего, что может его уничтожить. Пусть каждый отказывается от его помощи. Пусть дети его считаются ублюдками. Если он кому встретится, пусть каждый отойдет от него на семь шагов, как от прокаженного!»

Следующая страница — копия предложения Троцкого назначить лечащим врачом Ленина, который начал чувствовать недомогание, профессора Гетье, близкого друга и верного последователя Льва Давидовича. Оба документа помечены декабрем 1921 года. Энергичный профессор взялся за работу столь умело, что уже через несколько месяцев Владимира Ильича свалил первый удар, парализовавший его.

Еще несколько страниц — заключения четырех врачей из разных городов, сделанные после смерти Ленина по анонимной (без указания фамилии) истории болезни Владимира Ильича. Все четыре эксперта пришли к заключению, что пациенту были поставлены ошибочные диагнозы.

Я пытался понять, чем заслужил Владимир Ильич высокую честь получить ритуальное проклятие, кому и зачем это было нужно? Разобрался с помощью Иосифа Виссарионовича. В тот период партия большевиков, взращенная Лениным, фактически не являлась самостоятельной, она была лишь одним из отделений Коминтерна и обязана была выполнять все постановления и указания этого международного центра. Представителей России там раз-два и обчелся, да и те известно какой национальности. А между тем Коминтерн пользовался большим влиянием и располагал крупными средствами — опять же за счет России. Имел развитую сеть опорных пунктов по всему земному шару, свои печатные органы и несколько учебных заведений только в одной Москве, таких как Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского. Даже своих разведчиков-агентов готовил.[33]

Опирался Коминтерн не столько на большевиков, сколько на крайне националистическую Еврейскую коммунистическую партию. Характерно: Центральный комитет этой партии находился в Зарядье рядом с синагогой и гостиницей «только для евреев». Как в Америке — «только для белых». Ячейки этой националистической партии пронизывали весь государственный аппарат.

Стремясь после смерти Якова Михайловича (Соломона Мовшевича) Свердлова прибрать к рукам всю высшую власть в стране, Троцкий как раз и рассчитывал, что Коминтерн и Еврейская компартия помогут ему достичь этой цели. Взаимопонимание было полным. Оставалось преодолеть последний барьер — оттеснить с руководящих постов В. И. Ленина, а еще лучше физически уничтожить оного. (Сталин в ту пору активно за власть еще не боролся). Несколько покушений на Владимира Ильича не принесли ожидаемых результатов, но насторожили его сторонников. Троцкистам предстояло действовать обдуманней, тоньше. Тем паче, что и сам Ленин, вникнув в ситуацию, принял меры по усилению своего влияния в Коминтерне, по нейтрализации ЦК Еврейской компартии. Владимир Ильич не согласился узаконить предложенный Троцким «Декрет о самой угнетенной нации», который закреплял преимущество еврейского населения над всеми другими народами России. Как же после всего этого не подвергнуть Ленина ритуальному проклятию?! И не подкрепить это проклятие делом, приставив к нему лечащего врача-профессора, лучшего друга Троцкого, готового выполнить любые пожелания Льва Давидовича!

Ну вот: вылезши после обстрела из-под кровати и ознакомившись с содержанием оставленного ему конверта, Троцкий основательно призадумался. Одно лишь опубликование полученных документов нанесло бы ему непоправимый ущерб, подорвало бы остатки авторитета в мировом революционном движении. Или покрыло бы черным пятном его надгробье — Сталин не остановится ни перед чем, «визит» мексиканских боевиков уже доказал это. Есть ли возможность укрыться, защититься от них?

На какой-то срок Лев Давидович отложил работу над «разоблачительной» статьей, но она тянула его, не давала покоя. И упрям был — решился все же лезть на рожон, как случалось и прежде: авось повезет. На всякий случай принял меры безопасности: усилил оборону своего дома-крепости, сменил некоторых охранников, увеличил их количество, ввел строгий пропускной режим.

Обычно писал Троцкий быстро, лихо и гладко, а вот статья, известная под названием «Сверх-Борджиа в Кремле», давалась ему с трудом, потребовала больших усилий, он несколько раз переделывал набросок, датированный октябрем 1939 года. И все равно статья получилась клочковатая, разностильная, с повторами — в ней преобладали эмоции, а не аргументы. Впоследствии эту статью переводили с языка на язык, внося соответствующие термины и речевые обороты, редакторы одно сокращали, другое развивали, усиливали, объясняли, делая материал доступным для читателей своих изданий. Текст искажался. Даже одна из лучших публикаций (в американском издании «Либерти лайбрери корпорейшн») имеет отличия от подлинника. Я буду цитировать по самому первому варианту, который стал известен в Москве людям, близким к Иосифу Виссарионовичу. Приведу несколько отрывков, характеризующих суть этого завершающего выстрела Льва Давидовича в его многолетнем сражении со Сталиным.

«Последний период жизни Ленина был наполнен острым конфликтом между ним и Сталиным, кульминацией которого был полный разрыв между ними. Шло время, и Сталин все больше использовал возможности, которые давал ему его пост, чтобы мстить своим противникам. Мало-помалу Ленин пришел к убеждению, что некоторые черты характера Сталина вредны партии. Отсюда созрело его решение сделать Сталина просто рядовым членом ЦК. Состояние здоровья Ленина внезапно ухудшилось в конце 1921 года. Первый удар случился в мае 1922 года. В течение двух месяцев он не мог двигаться, говорить и писать. В июле он начал медленно поправляться. В октябре он вернулся в Кремль и снова взялся за работу. В декабре он начал критиковать преследования, к которым прибегал Сталин. Он выступил против Сталина в вопросе о монополии внешней торговли и готовил для предстоящего съезда партии выступление, в котором собирался обрушиться на Сталина.

…В середине декабря 1922 года Ленин по состоянию здоровья не мог присутствовать на конференции. Сталин немедленно скрыл от Ленина многую информацию. Были введены меры блокады ближайшего окружения Ленина. Ленин был охвачен тревогой и возмущением. Несколько строчек, продиктованных Лениным 5 марта 1923 года стенографистке, которой он доверял, говорили о том, что он порывает все личные и товарищеские отношения со Сталиным. Эта записка — последний оставшийся от Ленина документ.

…Сталин не мог уже сомневаться в том, что возвращение Ленина к активной деятельности означало бы его политическую смерть. Только смерть Ленина могла открыть ему путь.

На встрече членов Политбюро — Зиновьева, Каменева и меня — Сталин информировал нас, когда секретарь вышел, что Ленин вызвал его и просил дать ему яд. Ленин снова утратил дар речи, считал свое положение безнадежным, предвидел новый удар, не доверял врачам. Он сохранил полную ясность ума и безумно страдал.

«Естественно, мы не можем даже подумать о том, чтобы выполнить его просьбу, — воскликнул я. — Гетье (врач Ленина) не теряет надежды, Ленин еще может поправиться».

«Я сказал ему все это, — ответил Сталин не без раздражения, — но он не внемлет разуму. Старик страдает, он говорит, что хочет иметь под рукой яд. Он воспользуется им, если будет убежден в том, что его положение безнадежно».

Никакого голосования не было, потому что не было официального заседания. Но мы расстались с сознанием того, что не можем даже подумать о том, чтобы послать Ленину яд.

Всего за несколько дней до этого Ленин написал свой безжалостный постскриптум к завещанию. А через несколько дней он порвал все личные отношения со Сталиным. Почему же он обратился именно к Сталину с такой трагической просьбой? Ответ прост. Он видел в Сталине единственного человека, который мог дать ему яд, поскольку Сталин был в этом непосредственно заинтересован. Возможно, он хотел проверить Сталина. С какой готовностью Сталин захочет воспользоваться такой возможностью? В те дни Ленин думал не только о смерти, но и о судьбе партии.

Но просил ли действительно Ленин у Сталина яд? Не было ли все это выдумкой Сталина, чтобы подготовить себе алиби? У него не было оснований бояться проверки, ибо никто не мог спросить больного Ленина.

Более чем за 10 лет до пресловутых московских судебных процессов Сталин признался Каменеву и Дзержинскому, своим союзникам в то время, что самое большое удовольствие в жизни ему доставляет внимательно следить за врагом, все тщательно подготовить, без жалости отомстить, а затем спокойно пойти спать.

На последнем крупном судебном процессе в марте 1938 года особое место на скамье подсудимых занимал Ягода.

Какая-то тайна связывала Сталина с Ягодой, который 16 лет работал в ЧК и ГПУ, вначале помощником, а затем руководителем. И все это время он был самым доверенным помощником Сталина в борьбе против оппозиции. В 1933 году Сталин наградил Ягоду орденом Ленина, в 1935 году он сделал его генеральным комиссаром государственной обороны, то есть маршалом политической полиции.

Во время большой «чистки» Сталин решил ликвидировать соучастника своих преступлений, который знал слишком много. В апреле 1937 года Ягода был арестован и, в конечном итоге, казнен.

На судебном процессе выяснилось, что у Ягоды, который был раньше фармацевтом, был специальный кабинет, где хранились яды, откуда он выносил пузырьки и передавал их своим агентам. В его распоряжении было несколько токсикологов, для которых он создал специальную лабораторию. Разумеется, невозможно представить себе, чтобы Ягода создал такое предприятие для своих личных нужд.

Ленин просил дать ему яд — если он действительно просил об этом — в конце февраля 1923 года. В начале марта его снова парализовало. Но могучий организм при поддержке его несгибаемой воли оправлялся от болезни. К весне он начал медленно поправляться, более свободно передвигаться, он слушал, как ему читали, способность речи восстанавливалась. Прогнозы врачей становились все более обнадеживающими.

Сталин стремился к власти любой ценой. Он уже довольно крепко держал ее в руках. Цель была близка, но еще ближе опасность, исходящая от Ленина. В его распоряжении был фармацевт Ягода.

О смерти Ленина мы с женой узнали по дороге на Кавказ, где я надеялся избавиться от инфекции, происхождение которой до сих пор остается тайной для моих врачей. Я немедленно телеграфировал в Кремль: «Считаю необходимым вернуться в Москву. Когда похороны?» Ответ был получен примерно через час: «Похороны состоятся в субботу. Вы не успеете вернуться. Политбюро считает, что, учитывая состояние вашего здоровья, вы должны ехать в Сухуми. Сталин». Почему такая спешка? Почему именно в субботу? Только в Сухуми я узнал, что похороны были перенесены на воскресенье. Было безопаснее держать меня подальше, пока тело не было забальзамировано, а внутренние органы кремированы.

Когда я спросил у врачей в Москве, какова непосредственная причина смерти Ленина, которую они не объясняли, они не могли ответить мне на этот вопрос. Вскрытие было проведено с полным соблюдением ритуала, об этом позаботился сам Сталин. Но хирурги не искали яд. Они поняли, что политика стоит выше медицины».

Этой статьей Троцкий предопределил свою дальнейшую судьбу, подписал себе смертный приговор, приблизив развязку. Сталин мог простить заклятому врагу многое, но такого наглого клеветнического выпада — ни за что. 20 августа 1940 года, как известно, в кабинете

Троцкого появился Рамон дель Рио Маркадер и нанес Льву Давидовичу удар ледорубом по голове. На следующий день Троцкий скончался. В мире, охваченном кровопролитной войной, событие это действительно осталось почти незамеченным. А Маркадер, отбыв свой срок в мексиканской тюрьме, дожил потом до шестидесяти пяти лет. Умер на Кубе, а погребен у нас, неподалеку от Ближней дачи Сталина, на Кунцевом кладбище. Скромная могила и короткая надпись:

«Герой Советского Союза ЛОПЕС Рамон Иванович».

Круг замкнулся.

26

Гитлер готовил войну, а мы готовились к войне — между этими вроде бы одинаковыми понятиями очень большая разница. И мы, и фашисты знали — столкновения не избежать. Советская Россия была главным препятствием для Гитлера на пути к мировому господству. Победив нас, фюрер получал неисчерпаемые экономические запасы, территорию и людские ресурсы для осуществления своих замыслов. Мы, конечно, не могли смириться ни с этим, ни с самим фактом существования фашизма — наиболее ярого и активного противника коммунизма. От Балтики и до Черного моря наши войска стояли теперь непосредственно против немецких войск; и мы, и они находились в состоянии повышенной боевой готовности, напряжение не спадало. Разница в том, что мы ни в коей мере не стремились развязать войну и даже наоборот, всеми силами пытались оттянуть начало ее. Фашисты же знали, когда и где они нанесут удары, сколько войск используют на первом этапе, какими мерами обеспечат скрытность своих действий.

Какова же была в общих чертах позиция Иосифа Виссарионовича в той сложной, запутанной обстановке? Прежде всего — объективная ситуация. У нас с Германией взаимовыгодный договор о ненападении (а Сталин никогда не считал договоры пустыми бумажками). Германии важно торговать с нами. Заключен договор о ненападении с Японией. Значит, тут не случайность, а закономерность, стремление стран «оси» иметь с нами хорошие отношения. А любая отсрочка войны — полезна.

Дальше. Зачем Гитлеру, не закончив сражения с Англией, ввязываться в другую битву? Где логика? Разведка и Генштаб сообщают, что на наших границах развернуто не более половины фашистских дивизий — этого мало для вторжения. Значительная часть гитлеровских войск «увязла» на Балканах, в Югославии, только начинает освобождаться. И время для нападения на нас в этом году уже упущено. Все немецкие военные авторитеты считают, что наносить удар по Советскому Союзу следует не позже второй половины мая, чтобы иметь запас хорошей погоды, добиться решающих успехов до осенней распутицы. Ну, а май прошел, и июнь протекает…

Теперь другая сторона: возрастающее количество тревожных сообщений. Конечно, они беспокоили Иосифа Виссарионовича, хотя он был поставлен в известность немцами: германское командование готовит бросок через Ла-Манш в Англию, этой трудной операции будет предшествовать небывалая по масштабам дезинформация с целью запутать, сбить с толку англичан и американцев. Эта дезинформация включала переброску некоторых немецких дивизий с запада в Польшу,

распространение слухов о том, что Гитлер собирается напасть на Советской Союз.

К сообщениям любого характера и из любого источника Иосиф Виссарионович относился с разумным скептицизмом, не принимая на веру, сопоставлял и обдумывал различные данные. Если бы о том, что Гитлер готовит в июне вторжение, сообщил один наш агент или два, Сталин, пожалуй, придал бы этим сведениям особое значение. Но подобные донесения поступали к нему с разных сторон. Об этом предупреждали англичане (с запада) и радировал Зорге (с востока), причем назывался даже срок начала боевых действий. Об этом сообщали военные атташе и дипломаты, об этом болтали на улицах Варшавы и Берлина пьяные германские офицеры. Такое обилие информации вызывало сомнения. Немцы умеют тщательно хранить свои тайны, а сейчас важнейшие сведения буквально просачивались через все щели. Что-то здесь не так. Гитлер провоцирует нас, хочет узнать нашу реакцию? Или действительно отвлекает внимание англичан?

Имел ли Иосиф Виссарионович основания испытывать недоверие к нашей агентурной разведке за рубежом? Увы, да.

Хотя бы такой факт. Наш резидент в Западной Европе, считавшийся очень надежным, Вальтер Кривицкий переметнулся вдруг в тридцать седьмом году на сторону Троцкого (вероятно, всегда был его тайным поклонником), раскрыл себя, затаился где-то во Франции. Отсюда — сомнения в надежности других агентов, особенно тех, кто не из нашей страны, у кого не было в Союзе близких родственников. Этих, которые без корней, вполне могли перевербовать и использовать в своих целях западные разведки, считал Иосиф Виссарионович.

Надо еще помнить, что Сталина никогда не оставляла мысль: хитрые англосаксы не упустят малейшей возможности столкнуть нас с немцами, ослабить и тех, и других. А оставаться в дураках у Сталина, естественно, не имелось никакого желания.

Иосиф Виссарионович был политическим игроком крупнейшего масштаба, настойчивым и последовательным, способным предусмотреть множество вариантов. Но он все же был несколько патриархальным, слишком искренним — если можно применить к политической игре такие слова. У игроков ведь тоже есть свои принципы, пределы коварства, которые не принято нарушать, а Гитлер оказался даже не игроком, а совершенно беспринципным подонком, ходы и поступки которого были непредсказуемы.

Вот хотя бы одно существенное, но не очень известное событие: о нем ни разу не говорили публично ни Черчилль, ни Сталин, хотя, конечно, были детально осведомлены. И правильно поступали — есть такие скользкие, пикантные, что ли, вопросы, которых не должны касаться почтенные руководители великих держав, дабы не скомпрометировать себя, не скатиться до уровня заговорщиков, шахов или там президентов мелких государств. Касаться, повторяю, не должны, на это есть специальные лица, но знать обязаны.

Так вот, в конце сорокового — начале сорок первого года возникла вдруг возможность изменить ту сложнейшую ситуацию, которую создал Гитлер, резко повернуть ход истории. Надежда слабая, призрачная, но отмахнуться от нее, не использовать открывшихся шансов было бы по меньшей мере неразумно. Нам стало известно, что британский военный атташе в Болгарии Александр Росс, с согласия своего лондонского

начальства, ведет в Софии тайные переговоры ни больше ни меньше, как о похищении Гитлера. Инициатором этих переговоров явился болгарин Киров, родственник жены генерал-лейтенанта Ганса Бауэра, личного пилота фюрера. Этот пилот, разочаровавшись в идеях национал-социализма, ввергшего мир в пучину войн, принесшего большие беды немецкому народу, наглядевшись, что представляет собой сам Гитлер, решил покончить с войной, с фашизмом, передав фюрера в руки его противников.

Это, согласитесь, не совсем обычное положение мы обсуждали лишь однажды: полуофициально, втроем. Сталин, Андреев и я. Не с Берией, а с Андреем Андреевичем Андреевым, и удивляться тут нечему. Объясню. В начале двадцатых годов работая вместе с Дзержинским, Андрей Андреевич стал пользоваться полнейшим доверием и уважением Феликса Эдмундовича. Причин много. Из крестьян, бывший рабочий, русский — таких тогда в высшем эшелоне власти можно было по пальцам пересчитать. Деловит. Скромен. Молчалив — слово клещами не вытянешь.

В ту пору к себе на родину возвращались бывшие военнопленные, сражавшиеся в годы гражданской войны на стороне Советов: поляки, чехи, немцы, австрийцы, словаки, люди других национальностей. Это были большевики-интернационалисты, нацеленные на мировую революцию, на социализм. Одни потом работали в подполье в своих странах, стали крупными политическими деятелями. Другие устраивались на производство, в государственный аппарат, в вооруженные силы. Кто нелегально, а кто и легально, с дипломатическими паспортами, приезжал в СССР. Связь с некоторыми из них Дзержинский поручил, а точнее, доверил поддерживать Андрею Андреевичу. Он и делал это, сам бывая, как профсоюзный лидер, в Париже и в Берлине уже при сталинском руководстве. Иосиф Виссарионович называл тех зарубежных товарищей «людьми Андреева» и всячески оберегал их, не передав эту группу ни Ягоде, ни Ежову, ни Берии. Знали о них только Андреев и в общих чертах сам Сталин.

Строго говоря, они не являлись нашими агентами, не были завербованы, не получали денег, наград, званий. Но они, искренние друзья, убежденные коммунисты, очень помогали нашей стране. Если, к примеру, требовалось перепроверить какие-то важные факты, Сталин поручал это Андрееву. И его «люди» не подводили. Вот и сообщение о готовящемся похищении Гитлера пришло как раз от одного из этих товарищей. В его надежности не сомневался даже Иосиф Виссарионович, недоверчивость которого иногда выходила за все разумные рамки. Но он все же высказал мысль: а не стал ли болгарский товарищ жертвой дезинформации, сфабрикованной англичанами?! Не провокация ли это? Случай такой, что один неосторожный шаг, одно неосторожное слово могут вызвать самые различные неприятности. Поэтому ни сам Сталин, ни член Политбюро Андреев заниматься этим вопросом не должны. На официальном уровне — никаких разговоров, обсуждений, действий.

— Николай Алексеевич, возьмите это на себя, — сказал Сталин. — В частном порядке. Вам же интересно знать, как и что? И нам сообщайте новости между делом. Не докладывайте, нет, — усмехнулся он. — А так, приватно. В дружеском разговоре. И подберите себе помощников, которые знали бы не всю картину, а отдельные детали. Нужна сугубая осторожность.

— Понял вас.

Замысел был очерчен. Сталин и Андреев остались вроде бы вне его. Со мной работали два дипломата, поддерживавшие связь с Софией, один наш кадровый разведчик и два представителя Военно-Воздушных Сил. Но все они, подчеркиваю, «вели» только каждый свое направление, не представляя сути и цели всей операции.

События между тем развивались довольно быстро, план похищения Гитлера обрастал конкретными подробностями. При одном из очередных полетов на запад Ганс Бауэр уводит машину с курса и со стороны Па-де-Кале направляет ее на английский военный аэродром возле города Фолкстон на берегу моря. Верные Бауэру люди из экипажа самолета нейтрализуют охранников Гитлера. А истребители сопровождения, обнаружив отклонение от курса, наверняка не решатся открыть огонь по машине, в которой находится Гитлер. Расстояние невелико, успех решат минуты и даже секунды.

Противовоздушная оборона и наземные службы в районе Фолкстона были предупреждены: по немецкому четырехмоторному самолету не стрелять, а, наоборот, сделать все для его безопасного приземления. На аэродроме постоянно находилась специальная автомашина с офицерами, которым надлежало незамедлительно доставить «гостя» в Лондон.

Поскольку Иосиф Виссарионович полностью передал в мои руки ведение необычной неформальной операции, я на свой страх и риск, решил «прощупать» наших партнеров, проверить серьезность их намерений. Наш болгарский товарищ, опять же через некоего Кирова, сделал вот какой намек: а нельзя ли посадить самолет с Гитлером на нашей советской территории? Повторяю, это была только моя инициатива, Сталин ни за что не дал бы тогда согласия на это. Ведь мы не воевали с немцами, Гитлер не был нашим врагом, у нас имелся пакт о ненападении, наши страны развивали взаимовыгодную торговлю. И Киров, и, вероятно, генерал-лейтенант Бауэр понимали это. Ответ был уклончивым. В том смысле, что прибытие Гитлера в Советский Союз не изменит кардинальным образом ход военных и политических событий, не приблизит мир, к чему стремился Ганс Бауэр. С одной стороны, это убедило меня в серьезности намерений Бауэра, а с другой — я позволил себе размышлять так: решительный отказ не прозвучал, значит, при каких-то условиях, при резкой перемене обстановки, доставка к нам Гитлера не исключалась. Исходя из этого, подчиненные мне сотрудники ВВС дали по своей линии секретное предупреждение: коль скоро появится над нашей территорией четырехмоторный самолет типа «Кондор» — не сбивать его, а способствовать приземлению на ближайшем аэродроме. К сожалению, некоторые командиры восприняли это указание расширительно, не трогали немецкие разведывательные самолеты, все чаще появлявшиеся над нашей территорией и, пользуясь безнаказанностью, проникавшие все глубже в наши пределы.

Иосиф Виссарионович, которому я в полушутливой форме во время обеда, после ухи, рассказал обо всем этом, отнесся к событиям более серьезно, нежели я ожидал. Задумался на несколько минут, произнес суховато: «Николай Алексеевич, в этой игре нельзя упустить момент, когда надо остановиться». — «Но ведь играю-то я, лицо неофициальное», — пришлось напомнить. «Все равно. Слишком велика ставка», — сказал он. Можно было понять, что проводимая акция доставляет ему тревогу, вызывает сомнения.

Развязка, причем совершенно неожиданная, наступила 10 мая 1941 года. В этот день на территории Англии приземлился германский самолет, беспрепятственно пропущенный противовоздушной обороной и немцев, и англичан. Значит, свершилось?! Гитлер в руках британцев? Все теперь пойдет непредсказуемо, по иному руслу? Иосиф Виссарионович был возбужден, озабочен, с нетерпением ждал дополнительных подробных сообщений. Успокоился он лишь после того, как нам стало известно: самолет, во-первых, приземлился не в Фолкстоне, а очень далеко от намеченного места, в Шотландии. Во-вторых, это был не «Кондор», а более легкая машина. И, главное, прилетел в Англию не фюрер, а его заместитель по партии Рудольф Гесс, фигура, безусловно, тоже весьма значительная: второе лицо в гитлеровской империи.

Об этом «визите» публике известно теперь многое, хотя еще далеко не все. Есть смысл вспомнить о некоторых странностях, задать загадки любителям детективов. Так вот: нет сомнения, что в Шотландии приземлилась не та машина, в которой Гесс вылетел из Германии. Та, вылетевшая, имела один бортовой номер, а приземлившаяся — другой. Но ведь в воздухе номер не перекрасишь! И еще: вылетевшая машина не имела дополнительных топливных баков под крыльями, а у приземлившейся баки были. Так куда же свалился с неба Рудольф Гесс? Может быть, все-таки на аэродром Фолкстона? Или вообще все было иначе? И немцы, и тем более англичане настолько тщательно маскируют все, что связано с Гессом, что, по-моему, запутали и продолжают запутывать сами себя. Англичане скрывали Гесса от глаз людских. Его запрещали фотографировать. С ним не встречался никто из тех, кто прежде видел его. После войны, осужденный как нацистский преступник, он опять же был полностью изолирован от окружающего мира, являясь единственным заключенным в просторной тюрьме-крепости Шпандау, охранялся надежней, чем склад с атомными бомбами. И при всем том не усмотрели тюремщики. Гесс, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством, что тоже является спорным. Но самое-то существенное вот в чем. Английский хирург Хью Томас, человек достаточно известный, компетентный, при осмотре заключенного не обнаружил на его теле никаких шрамов, хотя точно знал, что еще в годы первой мировой войны Рудольф Гесс получил тяжелое ранение в грудь и следы такого ранения не могли не сохраниться. Усомнившись, что заключенный является тем самым Гессом, за которого его выдают, хирург начал свое собственное расследование и пришел к твердому убеждению, что в Шпандау находится кто угодно, только не Гесс. А вскоре после того, как хирург предал гласности свои выводы и таинственной фигурой заинтересовалась пресса, Рудольфа Гесса не стало…

Меня, впрочем, во всей этой запутанной истории занимает не ее конец, а начало. Была ли придумана и разработана версия о похищении Гитлера для того, чтобы «прикрыть» перелет Гесса и переговоры с ним? Или, наоборот, вся эта операция «прикрывала» события еще более важные? Если кто-то скажет, что в Лондоне в те майские дни вел переговоры сам Гитлер, я не стану спорить по этому поводу. Во всяком случае, мы тогда в Москве, пытались разобраться в ситуации, никаких возможностей не исключали. Но если и разобрались, то, увы, с некоторым опозданием.

Изложенное выше — любопытно само по себе, однако это лишь несколько затянувшаяся присказка. А вот и самое главное. Англосаксы издавна кичатся своими демократизмом, чуть ли не избытком свободы

слова, печати. Рассчитано все это на своих простаков и на тех, кто способен преклоняться перед британскими образцами в других странах. На самом же деле, кормя широкую публику дешевыми сенсациями и пустяковой информацией, англичане испокон веков приучились строжайше хранить те секреты, которые способны нанести хотя бы малый вред государству. Но, пожалуй, никогда не хранили они так тщательно никакую тайну, как хранят все то, что связано с майскими переговорами сорок первого года в Лондоне. Обычный для англичан срок раскрытия всех секретных документов — через двадцать, в крайнем случае, через тридцать лет. Действительно, вроде бы нет смысла хранить их дольше, сменилось целое поколение. С учетом этих правил, вся информация по «делу Гесса» должна была стать достоянием гласности в 1972 году. Многие исследователи ждали этого, чтобы пролить свет на странные события, непосредственно предшествовавшие нападению Германии на Советский Союз. Однако не дождались. Рассекречивание названных документов было отложено британским правительством аж до 2002 года. Сверх всяких пределов![34]

Чего же так боятся английские хранители тайн? А боятся они, вероятно, показать своему народу и народам других стран, в защиту которых демагогически выступают, торгашеское поведение собственных беспринципных буржуазных правителей, способных на любые предательства ради корыстных целей. Особенно опасаются открыть правду людям военного поколения. Да и послевоенным тоже. Вместе с теми, кто не доживет до следующего тысячелетия, не сможет узнать, что хранится в «деле Гесса», давайте хотя бы бегло познакомимся с документами. О подробностях говорить не могу: и место не позволяет, и память подводит, но общее представление получить можно.

В интересующем нас досье — девяносто восемь страниц совершенно секретного машинописного текста переговоров высокопоставленных деятелей Англии и Германии о заключении сепаратного мира. Разумеется, за счет ущемления других государств. По существу, речь шла о новом разделе территории земного шара между германцами, англосаксами и частично японцами. Третья империя претендовала (вместе с Италией и франкистской Испанией) практически на всю Европу, в значительной мере уже оккупированную фашистами. Германия поглощала Чехословакию, Югославию, Венгрию, Грецию, Польшу. Восточная Пруссия расширялась за счет Литвы, Латвии и Эстонии, которые вообще прекращали свое существование. Англосаксы, так и не признавшие факт вхождения этих регионов в состав Советского Союза, без колебаний соглашались отдать всю Прибалтику Гитлеру. В дальнейшем господство немцев распространялось на Белоруссию, Украину, на Центральную часть России вплоть до Урала. Фашисты рассчитывали также на Северную Африку и на нефтеносные районы Ближнего Востока.

А что получала Англия? Кроме передышки в войне — сохраняла свои прежние колониальные владения, расширяя их за счет африканских стран, а в Азии (плюс к Индии!) за счет Персии, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и, возможно, Азербайджана. Для США — обе Америки и Сибирь с ее огромными просторами и богатствами. Японцам, если будут разумно вести себя, — часть Дальнего Востока, земли Китая. Всем, в общем, сестрам по серьгам.

Немцы намеревались одолеть Россию, не имея за спиной врагов-англосаксов: их черед наступит потом. Англичане же хотели за счет

предательства, за счет, сепаратного договора с фашистами получить передышку в войне, а там видно будет. Но на чем же не сошлись высокие беседовавшие стороны? Главным образом на судьбе Франции. Такую мелочь, как Литва, Латвия и Эстония, одни могли отдать, а другие взять без особого ущерба или прибытка. Разменная монета для крупных держав. Нужная разменная монета. Не будь таковой, за всякий конфликт приходилось бы расплачиваться по большому счету, собственными интересами. Не выгодно. Другое дело — Франция. От ее положения зависело многое. И равновесие в Европе, и само дальнейшее существование Англии на ее островах. Ну и другие расхождения зафиксированы были в протоколах переговоров. И общественное мнение, особенно в Америке, сыграло свою роль. Сделка в общем не состоялась, вспоминать о тех переговорах англичанам позорно и до сих пор. А в наше представление о возможности войны с Германией все эти события внесли тогда дополнительную путаницу.

Единственный, может быть, положительный для нас фактор: японцы каким-то образом тоже проведали о попытке сепаратного сговора германцев с англосаксами и насторожились. Немцы, друзья по оси Рим — Берлин — Токио, могли, оказывается, подложить свинью своим драгоценным союзникам! Японцы стали осторожнее, осмотрительнее и не ринулись в сражение на стороне Германии в самые трудные для нас осенние дни сорок первого года. Но не будем перескакивать через события.

Чаша весов колебалась. Иосиф Виссарионович не принимал решений, ожидая сообщения от одного из наших разведчиков в Европе, пожалуй, главного нашего агента на Западе, его сведениям Сталин привык верить. Это — польский еврей, родившийся в старой России, настоящая фамилия у него была еврейская, не записал я ее по вполне понятным причинам, а потом забыл. Однако на Западе этот агент известен: после войны он уехал в Израиль, там жил, давал интервью. Так вот, этот человек был очень хорошо законспирирован, имел связи в правительственных кругах нескольких стран и всей душой ненавидел фашизм. Он мог бы работать и не на нас, но против нас работать тогда был не способен, так как считал Советский Союз основным противником гитлеризма.

Коль скоро я упомянул об этом агенте, нельзя не сказать в связи с ним об известном писателе — Илье Григорьевиче Эренбурге. Из воспоминаний Эренбурга известно, что сам товарищ Сталин звонил ему по телефону, помогал «продвинуть» в печать роман. С чего бы это? Сталин звонил далеко не всем писателям, тем более не занимавшим руководящих постов. Хватало у Иосифа Виссарионовича других дел и забот. Или Сталин считал Эренбурга великим писателем? Отнюдь. Его литературные способности, особенно до войны, расценивал довольно скромно.

Еще подробность. Многие друзья Эренбурга были арестованы, погибли в лагерях. Назовем хотя бы такие популярные фамилии, как Бабель, Кольцов, Мейерхольд. А их приятель Илья Григорьевич как ни в чем не бывало разъезжал по белу свету, писал об Испании, жил во Франции, без особых трудов пересекал границы, возвращаясь в Союз.

Надо понять вот что. Сорвав замыслы по созданию в России государства под управлением сионистов, этакой «земли обетованной», центра притяжения всей диаспоры, ликвидировав конкуренцию Троцкого и соратников, Иосиф Виссарионович вовсе не намеревался проводить политику преследования евреев по национальному признаку, как поступил

Гитлер. В Советском Союзе не выделяли евреев из числа других народов, они имели равные со всеми права и обязанности. Это была единственно верная политика. Тем более что Сталин хорошо понимал могущество всемирной сионистской империи, не имевшей названия и границ, но захватывавшей ключевые позиции в экономике (а следовательно, и в политике) Англии, Соединенных Штатов и некоторых других стран.

В борьбе с фашизмом сионистская империя была для нас самым надежным союзником. Гитлер имел своей целью полное истребление евреев, это была реальная угроза, и тот, кто противостоял фашизму, автоматически пользовался всесторонней поддержкой сионистского мира. С этим нельзя было не считаться — сионисты задавали тон всему Западу. Не имея официальных каналов связи с этой необычайной империей, Иосиф Виссарионович возлагал особые надежды на Эренбурга, прекрасно разбиравшегося в ситуации. Знакомства Ильи Григорьевича с сионистами были обширны, многообразны. Возможность поддерживать старые связи и заводить новые ему предоставлялась. То, о чем правительство не могло говорить во всеуслышание, Сталин или кто-то другой по его поручению доводил до сведения Эренбурга. Можно было не сомневаться, что поднятая проблема или просьба в ближайшее время будет обсуждена в высших сионистских кругах.

Этой линией связи Сталин пользовался лишь в особых случаях, но заботился о том, чтобы «канал» всегда был готов к действию.

Составив один раз представление о человеке (даже заочно, даже самое субъективное), Иосиф Виссарионович, как я говорил, мнения своего не менял, а если и менял, то с очень большим трудом — такой он был в этом отношении консерватор. А Эренбург попал в поле его зрения давно, в хорошую минуту, стал для Иосифа Виссарионовича одним из тех людей, с именами которых ассоциировалась удача.

Дело в том, что по примеру Владимира Ильича Сталин любил оживлять свои выступления литературными образами, делавшими статьи и речи более интересными и, между прочим, подчеркивавшими эрудицию автора. Соответствующий материал готовила, как мы уже знаем, Людмила Николаевна Сталь, тайная советница вождя по вопросам литературы, культуры, искусства. В начале 1924 года, когда Сталин обнародовал один из главных своих трудов — «Об основах ленинизма», Людмила Николаевна подсказала ему злободневный пример из современной жизни для важнейшей главы «Стиль в работе». Позволю себе привести довольно обширную цитату не только в связи с Эренбургом, но и потому, что она в значительной мере определяет подход Сталина к практической работе вообще. Вот его строки:

«Речь идет не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе, то особенное и своеобразное в практике ленинизма, которое создает особый тип ленинца-работника. Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе. В чем состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности?

Этих особенностей две: а) русский революционный размах и б) американская деловитость. Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной работе.

Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский революционный размах — это та

живительная сила, которая будит мысль, двигает вперед, ломает прошлое, дает перспективу. Без него невозможно никакое движение вперед. Но оно имеет все шансы выродиться на практике в пустую «революционную» маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе. Примеров такого вырождения — хоть отбавляй. Кому не известна болезнь «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества, имеющая своим источником веру в силу декрета, могущего все устроить и все переделать? Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и… «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно вскрывает болезнь — это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над такими больными так зло и беспощадно, как Ленин. «Коммунистическое чванство» — так третировал он эту болезненную веру в сочинительство и декретотворчество».

Естественно, прежде чем назвать в столь ответственном опусе фамилию Эренбурга, Иосиф Виссарионович прочитал его произведение. Был покороблен резкостью, бранчливостью автора, но в принципе счел правильным, тем более что Людмила Николаевна рекомендовала именно этот пример.

Работа «Об основах ленинизма» получила широчайшую известность, Сталину приятно было вспоминать все, что связано с ее созданием. В том числе — и об Эренбурге. Хлестким и уместным оказался литературный факт. Книги этого писателя Сталин потом регулярно просматривал, интересовался его судьбой, а когда возникла необходимость, использовал Илью Григорьевича как скрытый канал для связи с мировой сионистской империей.

Бывая во Франции, в Испании, Эренбург встречался не только с сионистскими деятелями, но и с тем нашим ведущим агентом, фамилию которого я запамятовал. И почта от этого агента поступала в Москву на имя Эренбурга: переписка у него была большая. Не хочу сказать, что Илья Григорьевич являлся сотрудником особых органов, но в годы напряженной борьбы он выполнял не совсем обычные обязанности, внося вклад в общее дело не только публицистическими выступлениями.

И вот по секретным каналам поступило сообщение от нашего главного европейского агента, на которого возлагались большие надежды. Сталин познакомил меня с донесениями. В общем-то агент не открывал ничего нового, он утверждал, что война должна начаться 22 июня.

— Такое впечатление, что вся наша разведка пользуется одним источником, — ворчливо произнес Иосиф Виссарионович. — Если этот источник немецкий, то они неплохо осуществляют план дезинформации, может быть, даже переигрывают. Если же этими сообщениями англичане хотят подтолкнуть нас на войну с Гитлером, то из таких замыслов ничего не получится. Мы дадим через ТАСС сообщение, что ни на какие провокации не поддадимся.

Я слушал его, верил ему и все же испытывал жутковатое ощущение: что, если это не игра, не козни наших противников, а простая суровая правда?..

Нужно учитывать и чисто психологическую сторону. Сталин привык к мысли, что он не ошибается, что дела в конечном счете идут так, как он намечает, как он хочет. И возраст наш был таков, что располагал к

привычному, размеренному образу жизни. Иосиф Виссарионович «разменял» седьмой десяток, стал добрее, мягче, спокойней. Лавры великого полководца не очень привлекали его: слишком уж хлопотно добывать их. Я хорошо знаю, что Сталин думал тогда не о том, как вести большую войну, а как избежать ее. Это не могло не наложить отпечаток на его размышления и действия.

Дни между тем шли своим чередом, радуя теплой, ясной погодой, благоприятными видами на урожай. Мы с Иосифом Виссарионовичем часто гуляли по лесу, ходили слушать соловьев над речкой Медвенкой. Настроение было хорошее, и хотелось верить, что самые трудные годы, самые тяжелые испытания остались позади.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Последний мирный вечер в Москве был теплым, празднично-шумным, веселым. Много нарядных людей на улицах, много улыбок, цветов. В средних школах — выпускные балы. Из распахнутых окон школьных зданий лилась музыка, любимые мною вальсы. Часов в девять над центром города прошел освежающий дождь, потом вновь выглянуло из-за облаков солнце. Дневная духота сменилась приятной прохладой. На горизонте громоздились причудливые грозно-темные тучи.

Все это я видел, пока ехал в машине из городской квартиры на Кунцевскую дачу Иосифа Виссарионовича. Для чего? Для того, чтобы по субботнему обыкновению помыться в баньке: к этому удовольствию Сталин пристрастился еще в сибирской ссылке. После жгучего мороза или пронизывающей северной сырости очень полезно было прокалиться сухим паром, похлестаться пахучим березовым веником, выгнать из всех мышц и костей ломоту и простуду, словно бы очиститься, помолодеть. Особенно хорошо натапливала когда-то баньку, умела поддать жару (иной раз даже не водой, а квасом плеская на раскаленные камни) та женщина, у которой родился в ссылке внебрачный сын Иосифа Виссарионовича. Так что и воспоминания у него были приятные.

Банька, построенная по указанию Сталина в «Блинах», была проста и напоминала обычную сибирскую, крестьянскую. Бревенчатые стены, оконце, полок… С расчетом на четыре-пять человек. А пользовались только мы двое, да еще допускался иногда Николай Власик, дабы потереть спины: под его непосредственным доглядом баньку убирали, обихаживали, топили. Пытался распространить свое «покровительство» на баньку некто Паукер, ведавший при Ягоде охраной членов Политбюро, однако, это ему не удалось; свидетелями интимной жизни становились лишь люди самые надежные, прошедшие испытания временем и событиями.

К концу тридцатых годов наши субботние омовения стали традиционными. Осенью и зимой — каждую неделю. Летом — пореже. Иосиф Виссарионович расслаблялся, отдыхал от тяжкого груза размышлений, решений. Основательно попарившись, мы с ним, взяв бутылку коньяка, в тулупах и валенках выходили на террасу дачного дома посидеть в креслах, подышать чистым морозным воздухом. Летом ограничивались бутылкой сухого на той же террасе, в ночной тишине. На Сталина это действовало очень благотворно. Он потом крепко и долго

спал, на следующий день чувствовал себя бодрым, полным сил. С каждым годом подобная разрядка была Сталину все нужней, ведь ему шел седьмой десяток. Внешне он мало менялся. Смуглое, мускулистое тело — могли бы позавидовать и некие сорокалетние граждане. Цепкая память, страсть и неутомимость в работе.

Но я-то видел, как поседела и поредела его недавно еще густая шевелюра: особенно быстро редели волосы у затылка, там уже просвечивала лысина. Валкой, замедленной, грузноватой стала походка. В общем, для своего возраста он был вполне в форме. Соответствовал. Я несколько раз говорил об этом Иосифу Виссарионовичу, доставляя ему тем самым успокаивающее удовлетворение.

В тот вечер, а точнее в ту ночь, Сталин приехал из Кремля в «Блины» позже обычного. Был утомлен, молчалив. Парился без удовольствия, вроде бы по обязанности. Потом, спустя время, я попытался восстановить подробности, но вспомнилось немногое. Обычно, моясь, мы не говорили о делах, отдыхали, а на этот раз Иосиф Виссарионович не мог, видимо, отключиться от забот, если не прямо, то косвенно возвращался к ним. В стороне Филевского парка, помнится, раздался гул авиационных моторов. Власик приоткрыл дверь, убедился, что это самолеты, и принялся рассказывать о том, что для самолетов, направляющихся из Москвы на запад или наоборот, с запада к столице, отличным ориентиром и днем и ночью служит Москва-река. Летчики «выходят» к реке возле Можайска, и она надежно выводит их хоть в Тушино, хоть на Центральный аэродром, хоть к самому центру столицы.

— Откуда тебе все это известно? — недовольным голосом спросил Сталин.

— Я же недавно из Минска на военной машине летел… Все летчики знают…

— И не только наши, — добавил я. — В немецких авиационных штабах есть специальная карта, на которую нанесены целесообразные маршруты полетов. В мировом масштабе. В том числе и над нашей территорией. Варшава, Минск, Смоленск, Можайск — вдоль железной дороги. Но ближе к Москве сеть дорог становится гуще, можно запутаться. А Москва-река только одна. Маршрут — над ней, над нами, вплоть до Кремля.

— Не беспокойтесь, Николай Алексеевич, — саркастически усмехнулся Сталин. — Вражеская авиация не застанет нас голыми. Днем я звонил товарищу Тюленеву[35] и потребовал повысить готовность противовоздушной обороны. Так что мойтесь спокойно!

— Спасибо за заботу, — в таком же тоне ответил я. А Власик хоть и промолчал, но всем видом показывал, насколько он восхищен подобной предусмотрительностью нашего вождя.

И еще. Может, по натуре не переносил Власик долгого молчания, а может, обязанностью своей считал развлекать Сталина, да и меня, особенно на отдыхе, во всяком случае, говорил много, стараясь попасть под настроение: то анекдот выложит, то преподнесет какой-нибудь занимательный случай. Не сумев, видимо, определить настроение Сталина, он повел речь о самом, на его взгляд, обычном и безобидном: о полях и лесах. Был он, дескать, на Дальней даче, был в Горках Вторых и в Знаменском: зелень там везде так и прет. Рожь поднялась дружная. Трава на лугах такая высокая и густая, что коса вязнет. Только убирай, только прячь лето в стога, но не успевают сельские труженики. Жаль, если добро пропадет: ведь хорошее сено своего времени требует.

— Они и не могут успеть! — Сталин произнес это настолько резко и раздраженно, что Власик умолк, недоумевая, какую промашку допустил. А Иосиф Виссарионович, ожесточенно похлестав веником спину, повернулся ко мне: — Вот вам первая ласточка. Думаю, мы еще не раз почувствуем нехватку рабочих рук, особенно в сельском хозяйстве…

Иосиф Виссарионович имел, конечно, в виду те настоятельные предложения усилить наши войска, с которыми к нему несколько раз обращались военные руководители. В мире шла война, обстановка на наших границах была сложной, поэтому и Генеральный штаб, и Наркомат обороны, и Наркомат Военно-Морского Флота единодушно просили призвать на службу часть резервистов. Я считал это правильным. Однако Сталин довольно долго колебался, размышлял. С одной стороны, опасался ослабить наше быстро развившееся народное хозяйство, с другой — тревожился: а как отреагируют немцы и японцы?! В конце концов доводы военных руководителей склонили на свою сторону чашу весов. Мобилизации у нас не было, но призыв резервистов мы осуществили: не сразу, а частями, в различных районах страны. Людям объясняли: для проведения весенне-летних учений. Не знаю, заметили это немцы или нет, во всяком случае, никаких претензий они нам не предъявляли. А мы направили в войска ни много ни мало, а восемьсот тысяч приписников и продолжали призывать их, так что число мобилизованных начинало приближаться к миллиону. Это позволило нам пополнить до штата девятнадцать приграничных дивизий, начать развертывание нескольких армий в глубинных округах страны и даже постепенное передвижение армий на запад.

Военные руководители были довольны, а Иосиф Виссарионович нервничал. Он был убежден, что «большая война» начнется не раньше следующего года, а преждевременное увеличение наших войск может лишь обострить политическую и военную ситуацию. Ну и промышленность, и особенно сельское хозяйство, действительно лишались многих, причем самых сильных рабочих рук.

— Из двух зол всегда приходится выбирать наименьшее, — напомнил я.

Сталин промолчал, не желая, вероятно, продолжать трудный разговор. Однако пауза длилась недолго: Власик твердо знал свои обязанности банного развлекателя. Хитрованный человек, он всегда находил, что сказать, даже если совсем не о чем было говорить. Имел в запасе несколько вариантов. Он знал, что Сталину интересна любая новая информация, что центральные утренние газеты Иосиф Виссарионович обязательно просматривает, а вот до ведомственных газет, до «Вечерней Москвы» у него руки не доходят. И когда возникали «пустоты», Власик принимался рассказывать, что, например, сегодня напечатано в «Вечерке». Вот, мол, начался массовый завоз овощей в столицу, и народ доволен. Вышли два больших тома, посвященных жизни и творчеству Лермонтова. Завтра, в воскресный день, намечено много развлечений — гуляй в свое удовольствие! Выступает в парке Леонид Утесов; на ипподроме — рысистые бега, труппа Большого театра дает «Ромео и Джульетту»… Народный артист Москвин сфотографирован и пропечатан в газете: ловит рыбу в Москве-реке и призывает горожан выехать на природу, потому что день ожидается жаркий. Но многие, наверно, отправятся на открытие водного стадиона «Динамо», куда только что завезен песок, или на станцию Планерная, где будут соревнования мотоспортсменов.

— Это нужно и полезно, — ворчливо, но уже без раздражения произнес Сталин. — Народ хорошо поработал всю неделю, пусть набирается сил… А товарищ Москвин, значит, рыбу ловит? Я не знал, что он рыбак…

Все же банька и в этот раз расслабляюще, успокаивающе подействовала на Иосифа Виссарионовича. Он повеселел, покряхтывал удовлетворенно, когда Власик поддавал пару. Потом спросил, не буду ли я возражать, если мы выпьем вина прямо здесь, в раздевалке, ему нынче хотелось бы сразу лечь спать. Предложение было принято, и Власик быстро «организовал» все, что требовалось.

Иосиф Виссарионович остался отдыхать в «Блинах», а я поехал на московскую квартиру. Солнце еще не взошло, но самая короткая ночь в году — она ведь такая светлая! В городе все еще звучала музыка из распахнутых школьных окон. Завершались балы, молодые люди высыпали на улицу, радуясь яркой заре, предвещавшей новую интересную жизнь. Особенно выделялись девушки в светлых платьях. Многие танцевали. Издали казалось — кружатся, порхают белые бабочки. И думал я: скоро уж наступит время, когда среди счастливых выпускниц окажется и моя дочь. И Светлана Сталина. Что их ждет впереди?

С такой мыслью я и заснул. Впрочем, заснул ли? Показалось — только успел задремать, как раздался резкий звонок телефона, стоявшего у изголовья. Этот телефон давно не звонил среди ночи, и я понял: случилось нечто из ряда вон выходящее. И голос я не сразу узнал:

— Николай Алексеевич? Извините, что в столь неурочное время…

— Да уж, — проворчал я.

— Говорит адмирал Кузнецов.[36] Чрезвычайная новость. Немецкая авиация пыталась бомбить Севастополь. Налеты авиации произведены на другие наши базы на Черном море и на Балтике.

— Провокация? — Сон как рукой сняло!

— Считаю, что это широкомасштабная организованная акция. Это война, Николай Алексеевич! Приказ о военных действиях мною отдан. Не могу дозвониться до товарища Сталина. Его не хотят будить.

— С кем вы связывались?

— С товарищем Маленковым. Он считает меня сумасшедшим и сейчас проверяет сведения. А время не ждет. Надо докладывать.

— А Тимошенко?

— У него еще нет ясности. Он и Жуков говорят с округами по ВЧ.

— Хорошо. Попытаюсь дозвониться.

Положив трубку, я несколько минут сидел на кровати, охватив руками голову. Откуда-то доносились звуки вальса, мешавшие сосредоточиться. Я был в полной растерянности. Разговор с Кузнецовым представлялся каким-то кошмаром… А может, и действительно все это пригрезилось мне? Или Кузнецов сошел с ума? Это бывает: люди не выдерживают напряжения, ответственности…[37]

Связываться с Маленковым или Поскребышевым? Звонить дежурному генералу, потребовать, чтобы разбудил Сталина?.. А вдруг ничего нет, и я окажусь в глупейшем положении… Нет, надо ехать в Наркомат ВМФ, к Кузнецову, самому убедиться. Там рядом, через улицу, и Наркомат обороны.

Вызвал дежурную машину и начал поспешно одеваться. Натягивал сапоги, когда в утренней тишине снова резко ударил телефонный звонок.

— Лукашов. Слушаю.

— Как же так? Николай Алексеевич, что же это такое? — Говорил Сталин. Даже не говорил, нет: это были испуганные, удивленные восклицания совершенно потрясенного человека. Острую жалость почувствовал я. Усталый пожилой руководитель только лег, предвкушая сон, и вдруг его будят, сообщают страшную новость. Для меня она тяжелая, а каково же ему, несущему на себе бремя ответственности за все?! Его окружают столь же пораженные новостью люди, ждущие его указаний, привыкшие выполнять его волю, а ему сейчас требовалось прежде всего дружеское участие, нравственная поддержка.

— Дорогой Иосиф Виссарионович, — я старался говорить обычным тоном, даже спокойнее и бодрей, чем всегда. — Случилось то, что не раз уже бывало в истории. Вероятно, совершено разбойничье нападение. Скоро выяснятся масштабы и будет ясно, какие контрмеры надо принять.

— Немецкие генералы так распоясались…

— Нет, Иосиф Виссарионович, дисциплинированные немецкие генералы сами никогда не решатся на конфликты, не пошлют авиацию бомбить наши города. Это политическое решение.

— Но Гитлер не может, не должен… Он не предупредил меня! Он заверял…

— В свое время Наполеон тоже двинул на нас войска, не предупредив о начале войны. А тогда более рыцарскими были нравы.

— Значит, война?

— Вполне возможно. Надо скорее выяснить обстановку. Что сообщает германское посольство?

— Пока ничего. Вече[38] пытается установить связь с графом Шуленбургом.[39] Может, еще обойдется. — В голосе Сталина звучала надежда. — Может, удастся уладить конфликт. Хотя, конечно…

— Готовиться надо к худшему, — понял я. — Сейчас выезжаю к адмиралу Кузнецову, он звонил. И в Генштаб.

— Поезжайте, — одобрил Иосиф Виссарионович. — От Кузнецова поступают достоверные сведения. А от этих двух (я сообразил: от Тимошенко и Жукова) ничего не добьешься. Немцы бомбят города — вот и все, что они знают.

Сталин повесил трубку. Я спустился к подъехавшей машине. Шофер спокойно позевывал и был удивлен тем, что я попросил его ехать быстрее. На улицах все еще встречались нарядные школьники-выпускники, в Москве продолжался праздник.

2

В Наркомате обороны в тот утренний час — нервозность и суетливость. Подкатывали автомашины, доставлявшие с квартир и дач ошеломленных, сдернутых с постелей людей. В коридорах, в кабинетах их встречали те, кто извелся за ночь от напряженного и безрезультатного бдения. В холле, буквально на выходе, увидел я бритоголового, голенастого, шагавшего, как журавль, Тимошенко и плотного, осанистого, словно бы из металла отлитого, Жукова: они торопились в Кремль. (Тогда у Генерального штаба, возглавляемого Жуковым, не было своего помещения. Генштаб теснился под одной крышей с Наркоматом обороны.)

По своему положению, я имел дело лишь с ограниченным кругом людей, которые давали мне необходимую информацию. В особых, экстремальных случаях мог использовать и другие, весьма широкие полномочия. Однако

для разговора с первым заместителем начальника Генштаба Николаем Федоровичем Ватутиным никаких полномочий не требовалось. Мы общались постоянно и хорошо знали друг друга. Я с удовлетворением отметил, что Ватутин не утратил самообладания, был, наверно, одним из немногих, кто в те тревожные, сумбурные часы сохранил светлую голову, способность рассуждать спокойно и здраво. Он уже завел для себя особую карту, на которой появились первые пометки. Мы с ним констатировали бесспорные факты.

Первое. Без объявления войны, внезапно, противник нанес бомбардировочной авиацией массированные удары по ряду городов, по железнодорожным узлам в Прибалтике, в Белоруссии и на Украине.

А также (в первую очередь) по военно-морским базам на Балтике и на Черном море.

Второе. Одновременно с нанесением бомбовых ударов (примерно в 3–4 часа) сухопутные войска противника перешли в наступление вдоль всей нашей западной границы, за исключением участка Ленинградского военного округа. Достоверных сведений о развитии приграничных боев пока нет.

Несколько ранее, обеспокоенные сообщениями перебежчиков, разведывательными полетами немецких самолетов, сосредоточением фашистских войск у самой нашей границы и целым рядом других тревожных сведений, нарком обороны и начальник Генштаба подготовили срочную директиву военным советам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов. Директива была согласована с И. В. Сталиным. В ней говорилось о возможном нападении немцев 22 или 23 июня. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. В то же время войскам быть в полной готовности, встретить внезапный удар немцев или их союзников. Было приказано занять огневые точки укрепленных районов на границе, рассредоточить авиацию по полевым аэродромам, тщательно замаскировав ее, привести в боевую готовность противовоздушную оборону. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.

Эта директива, подписанная Тимошенко и Жуковым, была дана в округа в 00:30 минут 22 июня. Я подумал: пока с этой директивой разберутся (в воскресную-то ночь) в военных советах округов, пока выработают и спустят соответствующие распоряжения в штабы армий, затем корпусов, дивизий, полков — сколько же времени пролетит, пока директива дойдет до непосредственных исполнителей? К полудню дошла бы![40]

Далее. В 7 часов 15 минут, когда уже не осталось сомнений, что война началась, в округа была передана вторая директива — на этот раз более решительная и твердая. Войскам приграничных округов предписывалось всеми силами и средствами обрушиться на прорвавшиеся части противника и уничтожить их. То есть не обороняться, а нанести контрудары.

Увы, через некоторое время выяснилось, что эта директива дошла только до штабов округов и штабов некоторых армий. Но у них не оказалось связи с войсками. Радиостанций было очень мало, а проводную связь во многих местах порвали немецкие диверсанты и парашютисты. Они же перехватывали и делегатов связи, направлявшихся в дивизии, в полки, в батальоны с устными или письменными приказами. Не получив никаких распоряжений, командиры на местах просто не знали, что делать,

многие не решались даже открывать огонь по наступающим немцам. А мы в Москве тешили себя мыслью о том, что в бой вступают наши регулярные части, что противник получит должный отпор.

Такая уверенность особенно окрепла во мне, когда побывал в Наркомате Военно-Морского Флота. Это рядом, через улицу. Там, в отличие от Наркомата обороны, не было никакой суеты и неразберихи. Напряженная, но вполне деловая обстановка. Тон задавал сам морской нарком Николай Герасимович Кузнецов. Прямо скажу, очень нравился мне этот рослый, крепкого телосложения северянин, невозмутимый и сдержанный, с крупными чертами лица, которое могло быть суровым, но никогда не было злым. Импонировала его интеллигентность, стремление не рубить с плеча, разобраться в любом деле. И еще — его самостоятельность, способность брать на себя полную ответственность за свою работу, что, кстати, очень ценил в людях Иосиф Виссарионович. Но так получилось, что, совсем не желая того, я несколько раз основательно подвел Кузнецова, вызвав к нему неприязнь ряда авторитетных в то время руководителей.

В 1938 году в составе группы, которую возглавлял Андрей Александрович Жданов (этот бывший речник курировал в Политбюро весь флот), я побывал в Ленинграде. Жданов знакомился со строительством новых боевых кораблей, выяснял, что требуется для ускорения и улучшения дела. Посетили эсминец, крейсер. Я — в составе его «свиты». На обеды, которыми моряки угощали гостей, Жданов не оставался, а я и некоторые другие члены комиссии не отказывались от традиционного флотского борща в уютных кают-компаниях. Тем более что визиты Жданова были кратковременными, а мы работали на крейсере несколько дней, проверяя боевую подготовку, моральный дух. Я был в штатском, интересовался артиллерией, меня и принимали за инженера-артиллериста. При мне не стеснялись вести разговоры, особенно на отдыхе, после хорошей закуски. Некоторые по-свойски называли меня «папашей». Я не обижался. И уж, конечно, у меня нашлось потом доложить Сталину кое-что, совершенно ускользнувшее от Жданова и его помощников.

Мы строили Большой флот, и успешно строили его с технической точки зрения. Но у этого флота не было «головы», не было единого сильного руководства. В тридцатых годах морских наркомов снимали с поста столь же стремительно, как и назначали, не дав осмотреться, проявить себя. А самое странное и страшное — на этот высокий специфический пост, требовавший особых знаний, назначались люди, имевшие о флоте весьма смутное представление. Один издавал приказы, противоречащие всем флотским традициям. Другой повелел носить краснофлотцам ремни поверх робы — рабочего платья. Как поверх гимнастерки. Мне объяснили, что при этом моряк застрянет в первом же люке. В общем, на флотах своим высоким начальством были недовольны многие, от рядовых до командиров соединений. Обо всем этом я и рассказал Сталину, кратко охарактеризовав двух последних наркомов ВМФ. Неплохим человеком был П. А. Смирнов, зарекомендовавший себя умелым армейским политработником. Но в морских делах он ничего не понимал, авторитетом не пользовался. И уже совсем вроде бы удивительно, каким образом оказался наркомом М. П. Фриновский. В НКВД он считался опытным следователем, но никогда не ступал на палубу корабля. Можно было лишь догадываться, что Фриновский — доверенное лицо Берии, который стремился насадить повсюду верных себе людей. Кстати, это тот самый

человек, который, как мы уже говорили, предположительно застрелил Я. Б. Гамарника на его квартире, что было обставлено как самоубийство. [41]

— Фриновский не только следователь, он работал в пограничной охране, а в погранохране есть и моряки, — сказал Сталин.

— Может ли он отличить форштевень от ахтерштевня, знает ли иностранные флоты, способен ли вести морское сражение?!

— Он способен проводить линию партии, — нахмурился Сталин. — А освоиться на флоте ему помогут специалисты.

— Моряков учат годами, десятилетиями. Рядовой краснофлотец много пота прольет, много шишек набьет, прежде чем ему доверят штурвал. А Фриновскому доверено управление всеми морскими силами. Если катер сядет на мель, это еще полбеды. Но если весь флот…

— Ми-и тоже обеспокоены этим, — продолжал хмуриться Сталин. — Некомпетентные начальники опасны вообще, а на море и в воздухе опасны вдвойне. Но где взять надежных, умелых людей? Адмирал Исаков? Нет, Иван Степанович занят важнейшим делом, судостроением, и сейчас в командировке в Америке. Лев Михайлович Галлер? Тоже нет. Он замечательный штабной работник, на нем при любом наркоме флот держится… Так кого же назначить? Вы можете дать фамилию?

— Я назову требования. Народным комиссаром должен быть человек, безусловно знающий и любящий флот, имеющий специальную подготовку. Он должен иметь боевой опыт, хотя бы минимальный. И не должен быть болваном.

— Последнее требование наиболее трудное, — усмехнулся Сталин. — Товарищ Жданов называл мне перспективную фамилию, но он даже не адмирал, он капитан первого ранга, недавно вернулся из Испании. Мы доверили ему Тихоокеанский флот… Кузнецов, так зовут этого человека… Скоро восемнадцатый съезд партии, мы предложим ему выступить и познакомимся ближе…

Судьба Кузнецова была решена. Выбор оказался очень удачным. У Николая Герасимовича были глубокие специальные и общие знания (владел французским, испанским языками), широкий кругозор, умение управлять твердо, но тактично. Доброжелателен. Много лет провел на палубах кораблей. Моряки потом говорили мне, что после долгой удушливой атмосферы на флотах повеяло свежим ветром, люди встрепенулись, флот ожил, быстро набирал силы. А с другой стороны, Берия, когда Фриновский был изгнан с флота, потерял всякую надежду прибрать к рукам военно-морские силы. Лаврентий Павлович понимал, что к честному, смелому, добросовестному Кузнецову не подступиться. Значит, надо свалить, утопить его при первой возможности. Вот так «обзавелся» Николай Герасимович злопамятным врагом, и я частично был повинен в этом.

Минувшее вспомнилось, пока слушал в кабинете Кузнецова скупой, четкий рассказ о том, что произошло на флотах. По словам Кузнецова, все попытки авиации противника прорваться к военно-морским базам окончились полным провалом. Флоты развернулись по-боевому и ждут указаний.

Спокойствие Николая Герасимовича передалось и мне. Скверно, разумеется, что началась война, да еще так внезапно, но ведь сколько было войн на моем веку, начиная с русско-японской! Тяжко нам будет, но и на этот раз одолеем с Божьей помощью супостата.

— Николай Алексеевич, а не отдохнуть ли вам? — участливо спросил Кузнецов, подумав наверно, что я задремываю в кресле. — За этой дверью комнатка с диваном, — показал он. — А то ведь свалимся все от бессонницы… Будут вас искать — разбудим.

Я воспользовался предложением и второй раз в эту ночь, а точнее, в это утро заснул на какой-то короткий срок.

3

В девять часов Поскребышев прислал за мной машину. Как обычно, я прошел не через приемную, не через рабочий кабинет Сталина, а сразу из коридора, через закуток с охраной, в личную комнату Иосифа Виссарионовича, или, как ее еще называли, в «комнату за кабинетом». Этим ходом с малозаметной дверью в коридоре, насколько я знаю, пользовались кроме хозяина только три человека: Поскребышев, Берия и я. Да и то не всегда.

Основные качества любого человека раскрываются обычно в самые напряженные часы, под гнетом тяжелых событий, когда невозможно лукавить, «показывать» себя лучше, чем есть. К Алексею Николаевичу Поскребышеву, как, наверно, заметил внимательный читатель, я относился предвзято, с некоторой долей раздражения, ценя в нем лишь одно: безусловную, полнейшую, прямо-таки собачью (в самом лучшем понимании) преданность Иосифу Виссарионовичу. Он даже распоряжения, любые слова Сталина произносил точно с тем оттенком, с которым они были сказаны. Так вот, в сложной и нервозной обстановке того утра особенно проявилась главная особенность моего оборотного тезки: деловитость. Поскребышев был на посту, он добросовестно, инициативно, несуетливо выполнял свои обязанности. И я оценил эту его способность.

За дверью, в рабочем кабинете, было много людей: члены Политбюро, Тимошенко, Жуков, Ватутин. Я спросил Поскребышева, чем они заняты. Оказывается, готовят сообщение о войне, с которым должен выступить по радио Вячеслав Михайлович Молотов.

— Почему не Сталин? — удивился я.

— Его просили, но он решительно отказался, — объяснил Алексей Николаевич. — Он заявил, что сейчас ему нечего сказать людям, пусть говорит нарком иностранных дел. Иосиф Виссарионович дал понять: если о войне скажет Сталин, война станет необратимым фактом. Если Молотов — еще что-то можно поправить.

— Значит, он надеется?

— Он не хочет упустить ни одного шанса… И еще. — Поскребышев на секунду замялся. — Боюсь, что он простудился. После бани. Сел голос… Вы сами поймете…

Поскребышев ушел в кабинет, оставив меня в растерянности. То, что он сказал, было, мягко говоря, неприятно услышать. Иосиф Виссарионович простыл… Нет, не баня тут виновата. Я достаточно хорошо знал симптомы определенного сталинского состояния. До той минуты во мне преобладало ощущение перелома, крутых перемен, когда прошлое, привычное вдруг отсекается и грядет новое, неизведанное, все делится на «до» и «после», но едва услышал слова Поскребышева, это щемящее ощущение сменилось нарастающей тревогой за здоровье Сталина. Возможен психический срыв. В такой-то момент!

Алексей Николаевич принес из кабинета проект Указа Верховного Совета о проведении мобилизации, подготовленный Наркоматом обороны. Сталин, бегло прочитав проект, не высказал своего мнения, а положил бумагу на условленное место на своем столе. Поскребышев знал: в таком случае надо срочно и быстро проконсультировать документ. Иногда это делалось по телефону. А на этот раз Сталин распорядился заранее пригласить меня. В связи с указом и для совета по другим могущим возникнуть вопросам.

— Желательно за двадцать минут, — сказал Поскребышев.

— Постараюсь.

Я достаточно хорошо знал мобилизационные принципы и соответствующую документацию старой армии, затем периода гражданской войны и последовавшего мирного времени. Прочитав проект, сразу понял, что составлен он торопливо и далеко не во всем соответствует сложившейся обстановке и нашим реальным возможностям. Составлен по принципу: лишь бы отреагировать, лишь бы принять меры. Что такое призвать под ружье сразу пятнадцать возрастов по всей стране? Около пятнадцати миллионов мужчин самого активного возраста. Зачем столько? В течение месяца наши вооруженные силы могли принять в себя, в формирования первой очереди, миллионов пять-шесть: это больше, чем вся германская армия. А еще десять миллионов? Будут болтаться без толку, забивать формировочные пункты, транспортные артерии, потреблять на досуге казенный харч, вместо того чтобы приносить прямую пользу на заводах, на сенокосе, при уборке урожая. Их надо призывать не огулом, создавая сумятицу и беспорядки, а по мере необходимости. Кстати, такой подход к делу не утратил значения и теперь, когда пишу эти строки. Тем более, что мобилизационная готовность (с наличием соответствующих запасов и резервов промышленности) в ту пору была у нас значительно выше, чем при Хрущеве или при Брежневе. Чем дальше, тем хуже. Политики начали торговать нашим военным преимуществом, заслуживая сомнительную популярность за рубежом: для наших врагов чем мы слабее, тем лучше. Возникни вновь крайняя ситуация, мы бы оказались гораздо менее готовыми к отражению врага, чем в сорок первом году. Болтовней, уговорами врагов не остановишь.

Я тогда внес несколько существенных поправок в проект указа. Суть такова. Провести не просто мобилизацию, а всеобщую мобилизацию мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет во всех западных регионах, которые мог захватить враг (Прибалтика, Белоруссия и Украина до Днепра). То есть полностью сохранить для армии этот контингент. Обратить его на пополнение кадровых дивизий или вывести из угрожаемой зоны для дальнейшего использования. Далее. Мобилизацию объявить только в европейской части страны, призвав пока лишь десять возрастов. Этого вполне хватит. В других военных округах брать людей строго по потребности.

Иосиф Виссарионович сам пришел за проектом указа — наверно, хотел увидеть меня. О чем-то спрашивал, что-то уточнял — все это вылетело из памяти, было несущественно. Меня волновало только его состояние. Он был настолько спокоен, медлителен, рассудителен, что я понял: внутренне напряжен до предела. Он несколько раз доставал платок. Начинался насморк — признак того, что организм выходит из-под контроля. Но чем, как было отвлечь Иосифа Виссарионовича, остановить процесс? Я начал

говорить о сообщениях с флотов, но Сталин, будто не слыша, прервал меня и попросил не уезжать. Да я и не собирался…

В принятом указе о мобилизации некоторые мои пожелания были учтены. В Среднеазиатском, Забайкальском и Дальневосточном военных округах мобилизация не проводилась. Слава богу, не всех мужчин сгребли и бросили в сумятицу. Пригодились потом сибиряки и дальневосточники. Да и железные дороги не были забиты, катая людей туда-сюда. И без того поток грузов возрос чрезмерно.

Ровно в полдень Молотов объявил по радио о нападении гитлеровских войск. Страна узнала о войне, а в Кремле, в руководящей верхушке, несколько спало напряжение, улеглась нервозность. Поделились известием с народом, и вроде бы легче сделалось. После бессонной ночи люди, наконец, расслабились, вспомнили, что со вчерашнего дня ничего не ели. И выяснилось, что никто не знает, что сейчас, в новых условиях, надо предпринять, какой конкретной работой заняться (кроме военных, конечно). Надо было отдохнуть, собраться с мыслями, подумать. Сталин никого не задерживал, и его кабинет опустел. Поскребышев намекнул насчет обеда, но Иосиф Виссарионович отказался, попросил принести крепкого чая и что-нибудь сладкого. Мы с ним устроились за длинным столом, друг против друга. Лицо его заметно осунулось, но в общем-то выглядел он неплохо, уже не было того каменного спокойствия, вслед за которым часто наступала тяжелая психическая реакция. Он был утомлен, несколько подавлен, в глубине души продолжал еще недоумевать, сомневаться, еще не осознав всю суть и необратимость свершившегося. Но мысли его текли по новому руслу.

К этому времени Прибалтийский, Западный Особый и Киевский Особый военные округа были преобразованы в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты, а командующие округами превратились соответственно в командующих фронтами. Все они были молоды, недавно еще командовали дивизиями или корпусами и не имели никакого опыта руководства крупными массами войск в боевых условиях. Только теоретическое представление, полученное на академических лекциях или почерпнутое из учебников. Мы говорили о них и думали, как я убедился, об одном и том же: сожалели, что среди наших военных нет Егорова, Тухачевского, Уборевича… Александр Ильич Егоров стал бы Верховным Главнокомандующим. У него стратегическое мышление, знания, организаторские способности. Лучший, да, пожалуй, единственный настоящий, с самым большим стажем командующий фронтами на гражданской войне… Иероним Петрович Уборевич, сам литовец, возглавил бы Северо-Западный фронт. Михаил Николаевич Тухачевский — наиболее ответственный, Западный. Он воевал на том направлении еще в первую мировую, потом в гражданскую. А вот кому доверить Юго-Западный фронт? Тут бы я руками развел. Иона Якир не потянул бы. Он больше военно-политический руководитель, чем военный, он хорош для мирного времени. Блюхер? Он специалист по Восточному театру военных действий и должен был бы находиться на своем месте. О нем говорили: «Когда Блюхер на Дальнем Востоке, там можно держать на несколько дивизий меньше…»

— Николай Алексеевич, — голос Сталина звучал хрипло, — помните присловье товарища Егорова (он не поправился, произнеся слово «товарищ», может быть, и не заметил) насчет ясности? «Нужна полная ясность», «Хочу, чтобы ясно поняли», — любил повторять он… А какая

может быть ясность, если никто ничего не знает и не докладывает ничего определенного! Наши командующие фронтами, вероятно, растерялись. Надо подкрепить их. Мы решили послать на Юго-Западный фронт к Кирпоносу товарища Жукова. Пусть выяснит обстановку, ускорит нанесение контрударов по зарвавшемуся противнику. А на Западный фронт, в помощь Павлову, направим товарищей Шапошникова и Кулика. У товарища Шапошникова опыт, у Кулика — энергия.

— Жуков никогда не командовал фронтом такого масштаба. Один неумелый или два неумелых — какая разница! Только мешать друг другу будут. А мое мнение о способностях Кулика вам известно.

— Что же, будем сидеть сложа руки? — неуверенно произнес Иосиф Виссарионович. — Надо же действовать…

— Генерал Брусилов говорил так: чем выше штаб, тем раньше начинается его влияние на подготовку событий и тем меньше он влияет на ход сражений, когда таковые начинаются. Чем ближе к месту событий, тем значительнее роль непосредственных исполнителей. Это про штабы, Иосиф Виссарионович, а в государственном масштабе эта закономерность проявляется еще резче. Мы теперь будем пожинать плоды государственной и военной работы за последние годы. К тому же главное на сегодня уже сделано: объявлено о состоянии войны, о мобилизации, войска получили приказ дать отпор и отбросить неприятеля.

— Мы не знаем, что происходит там, на границе.

— Неразбериха, как и бывает в подобных случаях, — ответил я. — Неожиданное нападение, утрата управления, неорганизованность, отсутствие связи. Сейчас ход событий зависит от командиров среднего и низшего звена, которые принимают конкретные решения. Или не принимают — по неспособности. Поверьте мне, к концу дня или ночью штабы дивизий, корпусов, армий более-менее разберутся в обстановке, доложат командующим фронтами, а те в свою очередь в Генштаб и наркому. Поэтому главное сейчас — набраться терпения, как это ни трудно.

— Может, Николай Алексеевич, вам поехать на фронт вместе с Жуковым?

— Не хочу уезжать, по крайней мере в ближайшие дни, когда многое решается.

— Почему? — пытливо глянул на меня Иосиф Виссарионович, и в его помутневших глазах я заметил беспокойство: неужели, мол, плохо выгляжу.

— Это будут очень трудные, может быть, самые трудные дни. Хочу находиться недалеко от вас.

— Пусть будет так, — согласился он.

Поскребышев доложил о прибытии Тимошенко. Я направился в Генштаб, к Ватутину, оставшемуся за Жукова. Сообщения из армий и фронтов поступали редко и были противоречивы, по ним нельзя было составить представление о силах врага, о направлении его ударов. Не знаю, какими делами занимался в это время Сталин, но меня он больше не вызывал. А я чем дальше, тем сильнее беспокоился о его здоровье. Шла уже вторая бессонная для него ночь. Без отдыха, без обеда и ужина — долго ли он выдержит такую нагрузку?!

Валентину Истомину я попросил иметь наготове в кремлевской квартире горячую и холодную закуску. Бутылка вина и фрукты были на столе. Несколько раз звонил Поскребышеву: не освободился ли Сталин. Наконец,

Алексей Николаевич усталым голосом ответил, что Иосиф Виссарионович один, вроде бы намерен прилечь на диване, и сразу соединил меня с ним. А я попросил Сталина срочно прийти в квартиру по важнейшему делу. И повесил трубку.

Подействовало. У него хватило сил добраться до квартиры. С трудом переступил порожек. Лицо бледное, недовольное. Я встретил его решительным натиском:

— Иосиф Виссарионович, извольте немедленно поесть и ложитесь спать, пока не начался рассвет. Это необходимо, вы не имеете права выходить из игры. Это не просьба, это, если хотите, приказ!

— Даже так? — Он грузно опустился на стул, усмехнулся. — Вы правы. Война только начинается, и нельзя, просто невозможно не спать всю войну, — попытался пошутить он. — Только сразу разбудите меня, если возникнет необходимость.

Так мы условились. По совести говоря, я боялся: Сталин настолько переутомлен и возбужден, что не сможет уснуть. Но подействовала, вероятно, привычная домашняя обстановка, подействовало вино. Он затих сразу, едва вытянулся на своей узкой жесткой постели. Я попросил Истомину находиться в соседней комнате, чтобы никто и ничто не нарушило его отдых. Отключил телефон. А сам занял место рядом с дежурным генералом, твердо решив ни при каких условиях не будить Сталина, пока не проснется сам.

4

23 июня постановлением советского правительства и Центрального Комитета партии была создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР под председательством народного комиссара обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, на которую было возложено руководство боевой деятельностью. Вот сколько торжественно-официальных слов, и почти все с большой буквы! И сразу же возникает закономерный интерес: почему Сталин, всегда стремившийся сосредоточить власть в своих руках, не боявшийся отвечать за все, на этот раз передоверил важнейшую роль другому лицу? Хотя члены Политбюро просили и даже настаивали на том, чтобы Ставку возглавил Иосиф Виссарионович. Нет, в этом случае он не хитрил, не искал какой-то политической выгоды. Я думаю так: он еще не понял, что война стала всеобъемлюще-главным событием, его еще продолжали интересовать сводки о результатах посевной кампании, о сроках начала сенокоса. Он вообще, как мы знаем, не любил непредусмотренных перемен, медленно и неохотно, с раздражением воспринимал все неожиданное, незапланированное. С возрастом это становилось заметнее, для принятия какого-то решения Сталина требовалось подготовить заранее, чтобы он свыкся с мыслью, проникся ею, обдумал и счел своей.

Настоящий профессиональный игрок соблюдает определенные правила. В том числе в политике, в дипломатии. Для Иосифа Виссарионовича подписанный протокол, договор, соглашение — все эти формальности были святы. Он представлял не какую-то второстепенную страну с интригами и переворотами в правящей верхушке, а единственную в мире Великую Россию, первое социалистическое государство, что и налагало на него особую ответственность. Могучий корабль, который он вел, должен был уверенно идти проложенным курсом без всяких зигзагов. На мостике

— осмотрительный, добросовестный капитан. А нападение немцев перечеркнуло все его представления о политической порядочности, честности руководителей великих держав. Это вне всяких правил! Кому же в конце концов можно верить? Сталин терзался сомнениями: ошибся? Почему? Какие будут последствия? Такой удар мог выбить из седла даже человека с гораздо более устойчивой психикой. Иосиф Виссарионович ощущал нарастание болезни и поэтому не хотел, не мог в те часы взять на себя еще одну тяжелейшую нагрузку — непосредственное руководство боевыми действиями. У него не хватило бы сил.

За многие годы я и практически, и теоретически изучил его болезнь, ее симптомы и течение. У разных людей она проявляется по-разному. Медики знают по крайней мере три варианта. Один из них, наиболее тяжелый, когда болезнь непрерывна и беспросветна. Это — устойчивая шизофрения. Второй: приступы более-менее периодичны, во всяком случае их можно предвидеть, иногда даже купировать. И, наконец, самый распространенный вариант: болезнь протекает слабо, скрытно, человек ничем не отличается от здоровых людей, забывает, а то даже и не знает о том кресте, который несет. Приступы, или «всплески», как их называют специалисты, случаются очень редко, под влиянием чрезвычайных душевных потрясений. У Иосифа Виссарионовича как раз и было нечто подобное.

Какие проявления? О некоторых я уже упоминал. Скованность движений, речи. Беспричинные вроде бы вспышки грубости, жестокости. Или, наоборот, чрезмерное умиление. Скорые, не взвешенные решения, распоряжения, как говорится, — «под настроение». Общаться с больным в такой период, в период параноического расстройства, очень трудно, это я хорошо знаю. Но тут опять же есть градация. Одних людей больные ругают, срывая свой гнев, злость, не стесняясь в выражениях. К другим относятся с особой почтительностью, видя в них, как Сталин во мне, свою опору, защиту, надежду на исцеление. В моем присутствии, испытывая полное доверие, Иосиф Виссарионович успокаивался: может, в этом и было его спасение, и он понимал это. Как считают врачи, для пожилого человека с неуравновешенной психикой потерять в критический момент опору, разочароваться в друзьях, остаться наедине со своими сумбурными мыслями — очень рискованно. Болезнь может перейти в острую, почти неизлечимую стадию: надо оберегать подобных людей, которых в общем-то много: пусть верят в нас, в нашу заботу о них — это весьма способствует выздоровлению. При так называемой «амбулаторной шизофрении» они не нуждаются в госпитализации. Выражаясь научно, «негативные симптомы склонны к компенсации».

Иосиф Виссарионович о болезни ни с кем никогда не разговаривал, за исключением разве что Надежды Сергеевны да меня. Однажды по случаю приоткрыл мне свое понимание досаждавшего ему недуга. Когда-то в сибирской ссылке Сталин обморозил нос, застудил слизистую оболочку, и с тех пор время от времени начали возникать «проливные насморки», как он выразился. Насморки действовали на нервы, держали его в напряжении, нагнетая раздражительность, заставляя уклоняться от общения с людьми. Можно понять, каково состояние: намечено ответственное выступление, важное совещание или, к примеру, встреча с дипломатами, с учеными, а у тебя мутные глаза, тебя знобит, главное — из носа течет, необходимо часто сморкаться, меняя платки. А на свидание в таком состоянии? А лечь рядом с женщиной, понимая, что ей противно? И это при сталинском-то

самолюбии… С годами трудно стало понять, что являлось причиной, а что следствием вспышек недуга. Если когда-то физическое состояние вызывало раздражение и напряженность, то в дальнейшем зачастую именно нервное перенапряжение, переутомление оборачивались обострением болезни. Такой вот запутанный психофизиологический клубок: не определишь, какой кончик важнее.

Кстати, общаться с «незаконченными» шизофрениками хоть и трудно, однако интересно и даже порой полезно. Как правило, они остроумны, оригинальны — медицина этого не отрицает. У них развито честолюбие и — избирательно — очень развита память, как опять же у Иосифа Виссарионовича. А еще его отличала особая сила воли, на чем он и держался. Он мог придавить, заглушить в себе «всплески» болезни, но, разумеется, далеко не всегда. Я очень тревожился: что же будет теперь, когда непредвиденные события обрушились на него, выбив из колеи?!

Да, «всплесков» и последовавших за ними депрессий избежать не удалось. Это произошло дважды. Причиной были дополнительные толчки. Вот первый из них. Мы знаем, что Сталин очень любил авиацию, много времени отдавал ее созданию и укреплению. В авиации служил его сын Василий. У нас было большое количество военных самолетов, более двадцати тысяч (в том числе, правда, и учебные, и устаревшие). Естественно, что лучшие авиационные соединения с новейшей техникой, с умелыми летчиками — «сталинскими соколами» — базировались на западе. Иосиф Виссарионович был уверен, что они отразят любое нападение, разобьют любого воздушного противника, надежно прикроют наземные войска. Но почти вся авиация первой линии, по меньшей мере две трети, погибла в первую военную ночь. Немцы уничтожили ее неожиданными ударами по нашим аэродромам. Точные цифры еще не были известны, но само сообщение потрясло Иосифа Виссарионовича.

Второй толчок — падение Минска буквально через несколько дней после начала войны. Западнее этого города оказались в окружении большие массы наших войск, по сути, фашисты открыли себе дорогу на Смоленск, а там и до Москвы рукой подать. И поскольку реакция в обоих случаях была примерно одинакова, расскажу лишь об одном всплеске.

Начало обычное: насморк и, конечно, пожелтевшие глаза. Возможно, была температура, но ее не мерили. Сталин бранил Власика по поводу и без повода, при всех других был каменно-спокоен, наедине со мной вял, безволен, послушен. Никакими делами не хотел заниматься. Раздражался, когда к нему обращались по сложным вопросам. Есть же Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Берия, Микоян… К ним, к ним! Что они, задаром хлеб едят?!

Вероятно, не мог он уразуметь, что все его сотоварищи-соратники напоминали в тот момент беспомощных детишек, оставшихся вдруг без родителей. Отученные от самостоятельности, они привыкли выполнять его решения: в общем это была неплохая команда, но в ней не оказалось ни одного человека, способного взять на себя управление попавшим в шторм кораблем. Каждый привык отвечать за свой участок работы, Сталин консолидировал их деятельность, направлял, давал перспективу. И вдруг оставил штурвал, укрылся сперва на квартире, потом на даче. В обычное мирное время его отсутствие было бы не очень заметным, но в новой военной обстановке, требовавшей быстрого реагирования на самом высоком уровне, сложный партийный и государственный аппарат, замыкавшийся на Сталине, просто не мог работать без него. Корабль еще

двигался, но только по инерции. Растерянные и беспомощные соратники Иосифа Виссарионовича звонили ему по телефону, разыскивали, приезжали на дачу, но отступались, убедившись, что он действительно болен. На какое-то время страна осталась без руководства. В критический момент… Это было очень опасно.

Попытаемся, однако, понять Иосифа Виссарионовича (осудить всегда проще). Он давно уже считал себя не только хозяином страны, но и умнейшим, предусмотрительным политиком, способным видеть дальше других, строить будущее по своим планам. Он был уверен, что водит Гитлера за нос, навязав ему мир, оттянув начало войны. А германский фюрер коварно обманул его, выставив недальновидным, чрезмерно доверчивым руководителем. Что теперь думает о нем народ? А что сам он должен о себе думать, из «мудрого» (он уже верил в это) превратившись в обманутого?

Двое суток Иосиф Виссарионович не работал, не желал никого видеть, кроме меня. Один день с утра до вечера пил вино и коньяк, но лишь один день. Понимая, что у него не простуда, не ангина, а совсем иная болезнь, принимал лекарства, подчиняясь мне и Валентине Истоминой. Много спал. А затем порадовал меня предложением прогуляться. Хороший признак! Болея, Иосиф Виссарионович был малоподвижен, не выносил яркого света, особенно солнечного. А стремление двигаться, возобновление интереса к окружающему свидетельствовали о приливе сил, об улучшении состояния.

Ему надоела кунцевская дача, где в любой момент и по любому поводу к нему могли обратиться (позвонить) члены Политбюро. А может, захотелось сменить обстановку: он перебрался на Дальнюю дачу к дорогой сердцу Светлане, да и поближе ко мне.

Наша выздоровительная прогулка получилась несколько странной. Солнечным утром мы вышли на перекресток Рублевско-Успенского и Красногорского шоссе возле Первого поста, но направились не к Знаменскому, как обычно, а к микояновской даче. Само собой получилось: вероятно, потому, что дорога там идет под уклон, ослабленному болезнью Сталину шагать было легче. Этакий природный коридор, с обеих сторон сплошные зеленые стены: мощные стволы старых высоких сосен, под ними густой подлесок. Заросшие травой опушки обдавали нас ароматом цветения нагретой хвои; чуть приметен был запах грибной плесени, который даже в жаркое лето стойко держится в непрогреваемой чаще.

Слева обочина залита горячими лучами, там давно уже отцвели одуванчики, она казалась седой, пушистой от множества белых шариков. А справа, на теневой стороне, одуванчики отцвести не успели, здесь расстилался золотистый ковер. Под кустами много лютиков. Мне нравились те и другие обильные и яркие цветы перволетья. А Сталин вдруг остановился, губы его дрогнули, скривились.

— Желтизна, — сказал он.

— Да, на этой стороне цветы всегда держатся дольше.

— Как ви-и не понимаете, отвратительная желтизна! Цвет измены! — раздраженно воскликнул Сталин и принялся яростно топтать одуванчики и лютики, выкрикивая: — Мерзость! Измена! Мерзость!

Бил носком сапога, бил каблуком с такой силой, что вылетали комья земли. Власик, державшийся в отдалении, бросился к нам, не понимая, что произошло: я остановил его резким жестом. А Сталину я не мешал, давая ему возможность разрядиться, излить гнев. И лишь когда лицо покрылось каплями пота, а движения сделались менее резкими, крепко взял его за

руку, увлек назад, к Первому посту, где ожидала машина. Никто не должен был видеть его измочаленного, обессиленного, потерянного, поэтому я велел Власику ехать на мою дачу: это близко. И прямо скажу: радовался случившемуся, надеясь, что «взрыв» назрел и миновал, кризис, к счастью, остался позади.

Действительно, после этой вспышки Иосиф Виссарионович почувствовал себя лучше. Реже сморкался. Просветлели, прояснились глаза. Однако был слаб, после обеда сидел часа четыре в беседке в кресле один, подремывая. Мы с дочерью оберегали его покой. А вообще-то никто и не догадался искать его на моей даче. Дозвонилась только Светлана, тревожно спросила, где отец. Я сказал, чтобы она не беспокоилась. А на вопросы Молотова, Берии, Жданова, Кагановича и всех других пусть ответствует: завтра в полдень Сталин будет в своем кабинете. И Поскребышев пусть знает об этом.

Надо было удержать его при себе, оставить на ночь у меня или по крайней мере на Дальней даче, где была Светлана, где Власик позаботился бы, чтобы до «хозяина» никто не дозвонился, не разыскал. Ближе к вечеру, убедившись, что силы Иосифа Виссарионовича восстанавливаются, я предложил ему поехать на наше любимое место отдыха, на Катину гору, где оптимизм и уверенность черпали мы, любуясь величественным спокойным пейзажем. Иосиф Виссарионович охотно согласился. Власик тотчас выслал туда своих охранников.

Да, много на свете чудесных мест, но я приник душой к Знаменскому, к Катиной горе, и ничего не было для меня прекрасней и дороже. А Сталину еще, наверно, нравилось подсознательно и то, что там все же возвышенность, орлиная высота, в какой-то мере напоминавшая ему Кавказ.

Сели на узловатые корни старой сосны, выбивавшиеся из песчаной почвы на самом краю речного обрыва, и долго молчали, оглядывая простор полей, покатый взлобок близкого противоположного берега, извилистую долину Истры. Слева, за молотовской дачей, больше пространства (верст на десять, до Успенского), а справа и впереди больше красоты. Лесной массив тянется от Петрово-Дальнего до невидимого вдали села Степановского. На крутом берегу Истры хорошо различимы в зеленой массе желтые стволы старых высоченных сосен, а дальше леса сливаются в сплошной ковер, лишь в одном месте рассекаемый просекой, убегающей в сторону Нахабино. Все уместилось тут, возле двух речек, Москвы и Истры: и поля, и луга, и леса, и села, и древние храмы — была тут в миниатюре вся наша грешная и святая Русь. Сталин, вероятно, испытывал здесь нечто подобное тому, что испытывал я. Глядя на солнце, спускавшееся между грибановским лесом и колокольней Дмитровской церкви, он произнес:

— Великая Россия! Сколько она вынесла! Татары, поляки, французы — все откатилось и сгинуло, а Россия незыблема. И эта война минует, а Россия останется. — И вдруг, пытливо глянув на меня, спросил: — Как вы считаете, Николай Алексеевич, я теперь обязан уйти в отставку?

— Почему?

— Несостоятельный руководитель, поддавшийся обману, не оправдавший доверие народа. Как поступают в таких случаях порядочные люди?!

— Случай случаю рознь!

Я понимал, насколько трудно было Сталину заговорить об этом, подавив самолюбие. Ему известно было: его растопчут, уничтожат, едва лишится своих постов. Ему припомнят все: и личные ошибки, и ошибки партии на ее трудном, неизведанном пути. Он будет в ответе за голодные годы и раскулачивание, за ссылки и расстрелы, за все государственные просчеты и неудачи. На него «свалят» многое, ему не выжить, не уцелеть, и все же он заговорил об отставке. Совесть требовала?

— Если складывать бремя власти, то не сейчас, — как можно спокойнее возразил я. — Страна и партия лишатся привычного руководства. Начнется разлад, борьба за власть — и это во время войны! Вы в ответе за то, что было, и за то, что есть. Допустили срывы — исправляйте их, а не ввергайте государство в анархию. Не осложняйте положение.

— Вы уверены…

— Это единственно правильный путь. Честный путь. Иначе… Иначе я буду презирать вас.

— Спасибо, — сказал Иосиф Виссарионович. — Другими словами: сам нагадил — сам и убирай?!

— Формулируйте, как хотите. Сейчас важно не увеличивать растерянность, сомнения, а продемонстрировать нашему народу, врагам, всему миру спокойную уверенность. Что мы можем? Сперва определить, что и в какой последовательности делать. Затем энергично решать поставленные задачи. А устраивать самосуд — непозволительная роскошь. Пусть решает история. Добьемся успеха, тогда спрашивайте себя, в отставку или куда… А пока и не заикайтесь. Сейчас это самый большой вред, который только можно было бы принести…

Выслушав мою тираду, Иосиф Виссарионович долго молчал. И спросил вдруг совсем не о том, о чем мы говорили:

— Что сделает Адольф Гитлер, если я окажусь в его руках? Расстреляет? Повесит? Выставит на посмешище?

— Во всяком случае, казнит, конечно, нас с вами.

— Нас?

— Я не отделяю себя, вместе так вместе. Покатятся наши головы.

— У Гитлера есть гильотина?

— По крайней мере две действующие, причем одна — в женской тюрьме.

— Немцы… — пожал плечами Сталин. — Разве гильотина целесообразней расстрела?

— Больше торжественности, значительности, символики. На страх другим полетят головы советских руководителей, всех подряд. Лучше не попадаться!

— Какой древний способ… Но о всех вы не беспокойтесь. Нашу участь разделят Калинин, Жданов, может быть, Андреев — они не из тех, кто думает лишь о собственных персонах.

— А Молотов?

— Вече дипломат, он укроется где-нибудь у нейтралов. Берия сбежит на Восток. Кагановича вывезет на самолете Рокфеллер или кто-то другой из еврейских миллионеров, поселят в Мексике… Ворошилов тоже под нож гильотины или на виселицу не попадет. Будет отстреливаться до последнего патрона, а последний — себе. А Семен Михайлович кинется в партизаны. Соберет ветеранов, ускачет на Дон, на Кубань, в леса Кавказа. Так что не исключено — мы вдвоем останемся, — развел руками Иосиф Виссарионович.

Разговор хоть и шуточный, но довольно мрачный, однако я был рад тому, что Сталин вновь обрел чувство юмора. Значит, выздоровление шло полным ходом.

Между тем солнце уже исчезло за грибановской лесной гривой, и все изменилось вокруг. Над головой небо еще оставалось голубоватым, приобретая розово-желтоватый оттенок, а весь горизонт с западной стороны, от Петрово-Дальнего до Убор, охвачен был багряным пламенем, которое разгоралось ярче, расширялось, а Москва-река и Истра казались кровавыми потоками в траурной окантовке черных берегов. Лишь белая колокольня Дмитровской церкви гордо, светло и прямо высилась над черно-багряным фоном, чуть розовая в последних лучах солнца, еще касавшихся ее маковки с православным крестом.

В расширившихся глазах Сталина мерцали красные блики, а лицо его, обращенное на запад, казалось багровым: во всем этом было нечто мистическое. С тяжелым вздохом, почти со стоном, вырвалось у него:

— Там горят сейчас наши братья и сестры!

У меня мороз пробежал по коже: он был бы сильным священником, истовым проповедником! Всплыла картина из кинофильма «Александр Невский», где псы-рыцари бросают в огонь детей…

— Спасать надо! — сказал я и умолк, удивленный тяжкими взрывами, докатившимися из-за реки. Захлопали далекие пушечные выстрелы. Неужели с фронта, от границы! Уж не с ума ли схожу? Но голос Сталина вернул к реальной действительности:

— Это на полигоне в Нахабино. Вечером хорошо слышно… Не пора ли нам?

Да, конечно, надо было возвращаться в Москву, к накопившимся делам, к трудным заботам.

5

История свидетельствует: во все большие войны российская армия вступала недостаточно подготовленной, враг нападал внезапно, добиваясь тем самым первоначального перевеса. Причин тому много: громоздкость и неповоротливость государственного аппарата, медлительная «раскачка», наша извечная доверчивость и миролюбие, пресловутое русское «авось». Так было при нашествии Наполеона, так было в начале русско-японской, а затем первой мировой войны. Опасная эта тенденция проявляется чем дальше, тем больше, хотя, с другой стороны, развитие техники убыстряет ход войны, делает ее начальный период все более важным, а теперь даже и решающим. Известие о переходе Наполеона через границу достигло Петербурга с большим опозданием, но это в общем-то ничего не меняло. А вот запоздалое сообщение о том, что к Москве приближаются вражеские самолеты или ракеты, может оказаться роковым.

До революции царь-самодержец, объединявший гражданскую и военную власть, в случае вооруженного конфликта автоматически становился высшим военным руководителем, отвечавшим за все перед династией, перед Богом и перед страной. Государство и армия даже на малый срок не оставались без управления, без «головы»: хороша ли, плоха ли, а голова имелась. К тому же генералы, офицеры, будучи профессионалами, крепко знали свои обязанности, берегли честь свою и своих полков. Конечно, в семье не без урода, но основной костяк

генеральско-офицерского корпуса был крепок, самостоятелен, опытен. Так что управление войсками в любой период довольно надежно обеспечивалось сверху донизу. А у нас в сорок первом году, в начале войны, это важнейшее звено — управление — оказалось очень слабым. Нас били, мы отступали, но вина за это лежит не на войсках: они, особенно кадровые части, готовы были выполнить свой долг, многие до конца выполнили его в первых сражениях, но что они могли сделать без твердого, умелого управления, без общего замысла, без перспектив… «Кризис руководства» — так озаглавил я свои наброски, подборку материалов о том трудном периоде.

Мы уже говорили, что 23 июня Ставку Главного Командования возглавил маршал С. К. Тимошенко — на Ставку возлагалось руководство всей боевой деятельностью. Не берусь судить, правильным ли было это решение, может, руководство войной сразу же, хотя бы формально, должен был возглавить Сталин — задним числом рассуждать всегда проще. И упрекать Семена Константиновича Тимошенко за ошибки и неудачи тоже не стал бы. Он в отличие от таких смекалистых военно-политических деятелей, как Ворошилов, был человеком военного склада, прямодушным, требовательным, умевшим подчиняться распоряжениям свыше и добиваться исполнения приказов от тех, кто находился ниже по служебной лестнице. Особыми талантами не обладал, но был добросовестен, в меру порядочен, имел крепкие нервы, терпение, выдержку, что тоже важно для военного руководителя. Это помогло Тимошенко нести тот неимоверный груз, который возложен был на его богатырские плечи.

Есть давняя, элементарная, но не устаревшая, как все проверенное временем, формула. Триединство в руководстве. Сперва — оценка сложившейся обстановки с возможным прогнозом перспектив, это база для принятия соответствующего решения. Затем — само решение. И третье — осуществление намеченных мероприятий с учетом меняющейся ситуации. Так вот: всю первую неделю войны Тимошенко, как и все другие руководящие деятели, был лишен того, что лежит в основании триединства — достоверной информации. Ставка и Генштаб получали отрывочные, не всегда точные, порой слишком эмоциональные сведения. Ну, например, 26 июня вроде бы никакой угрозы Минску еще не было, а на следующий день пошли сообщения, что бой идет за столицу Белоруссии. И не поймешь, то ли немцы в Минске, то ли их отбросили.

К сожалению, даже ту скудную и противоречивую информацию, которая поступала из войск, некому было в Москве основательно обдумывать, анализировать. Начальник Генштаба Жуков мотался где-то на Украине, неизвестно чем занимаясь, в основном собирая сведения. Маршал Шапошников, пока не заболел, пытался помочь командованию Западного фронта. Там же подвизался и маршал Кулик, пропавший где-то вместе с войсками 3-й армии. В окружение угодил, кое-как выбрался. На помощь Шапошникову и Кулику был послан Ворошилов. Это было какое-то нашествие маршалов — почти все на одном фронте. А зачем? Чтобы своими разнообразными советами мешать молодому, верившему в их авторитет командующему фронтом Павлову принимать самостоятельные решения? Боже упаси от такого количества сановных советчиков.

Позвольте отступление в повествовании. Всю свою офицерскую жизнь считаю себя виновным в необоснованном возвышении Кулика, который заслужил доверие Сталина осуществлением подсказанных мною действий

осенью восемнадцатого года под Царицыном. С моей, так сказать, «подачи» взлетел Кулик на самый верх военной иерархии, стал маршалом. А финал оказался трагикомичным или скорее просто анекдотичным. В войну и после нее бытовали различные россказни о разжаловании Кулика. Неприятно мне было слушать домыслы. Старики повторяют их и теперь. А не лучше ли восстановить истину? Тем более что я был свидетелем, когда Кулик вошел в кабинет и произнес обычное «здравствуйте». Сталин окинул его холодным взглядом:

— Кто такой? Представьтесь.

— Маршал Советского Союза Кулик по вашему…

— Лапти где?

— Товарищ Сталин…

— Где лапти, где рубище, в котором вы карабкались из окружения? Я много видел в своей жизни, но ни разу не видел Маршала Советского Союза в лаптях! Вот бы возрадовались немецкие генералы, попади вы в их руки! Весь мир обошли бы сенсационные фотографии… Гитлер ликовал бы, как вы считаете, Николай Алексеевич?

— Раньше в таких случаях стрелялись, дабы не запятнать честь своего рода, — сказал я, — Офицерскую честь.

— Это слишком. Мы сами вырастили таких, как он, а других у нас нет… Товарищ Кулик!

— Слушаю! — вытянулся тот.

— Генерал-майор Кулик, вы свободны.

— Но…

— Отчисленный в резерв генерал-майор Кулик, вы свободны, — резче повторил Сталин и, отвернувшись, потянулся за трубкой.

Это было довольно мягкое решение и совершенно в духе Сталина. Безусловно, провинившегося Кулика надо было припугнуть, наказать, но при этом учитывалось, что человек он преданный, на которого можно положиться. Ну, а если не тянет, значит, не ту ношу взвалили. Короче говоря, «свой» — это решало все. В одном месте не смог — пригодится в другом. Кстати, в тот раз Иосиф Виссарионович действительно лишь припугнул Кулика, но не разжаловал. Позаботился даже о том, чтобы Григорий Иванович поправил в госпитале свое здоровье…

Пока Кулик в его пресловутых лаптях бродит где-то в «мешке» западнее Минска, давайте вернемся в Москву, в Ставку Главного Командования. Значит, самодержца-царя, который обязан по своей должности сразу принять на себя руководство воюющей страной и воюющими войсками, как мы знаем, не было. В стране коллективное руководство, никто конкретно не отвечает за события ни перед прошлым, ни перед будущим. Разве только Сталин, никогда не отказывавшийся от ответственности. Однако он болен, переваливал из одного приступа в другой. Политбюро? Сборище говорунов, никто не решался без Иосифа Виссарионовича принять какое-либо действенное постановление. Да и не знали, какие постановления нужны, как направлять ход событий. Вдруг ошибешься, вдруг не в ту сторону… Верховный Совет? Такое же сборище, только увеличенное в сто раз. Что же оставалось Председателю Ставки Верховного Главнокомандования Семену Константиновичу Тимошенко, не блиставшему, как и все надежные исполнители, собственными способностями? Только одно: действовать в соответствии с той доктриной, с теми планами, которые имелись у нас на случай войны. Формула была выработана в ту пору, когда Наркомат обороны возглавлял Климент

Ефремович Ворошилов. Любой агрессор разобьет свой медный лоб о советский пограничный столб. Отразить нападение противника и громить на его собственной территории — такова основополагающая посылка. Закрепленная, между прочим, в популярной песне:

Мы войны не хотим, но себя защитим. Оборону крепим мы недаром! И на вражьей земле мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом!

Вот и поступал Тимошенко, сообразуясь с официально-песенной доктриной. Не зная, что происходит в приграничных районах, не надеясь выяснить реальную обстановку, нарком начал осуществлять ранее разработанную идею, то есть нанести контрудары по войскам противника, остановить их, отбросить, а затем разгромить агрессора на его территории. И пошли-поехали на запад, навстречу врагу наши кадровые дивизии, танковые и кавалерийские корпуса. Вслепую, по старым планам. Некоторые действительно нанесли контрудары, и довольно успешно, некоторые же сами залезли в окружение, в пресловутые «мешки» и «клещи»… Что же, отдадим должное немецким генералам, сумевшим полностью использовать благоприятную для них ситуацию. Придет время, и мы тоже своих возможностей не упустим.

Если у нас и были тогда, в самые первые дни, успехи, то не благодаря умелому руководству, а только благодаря героизму рядовых бойцов, командиров среднего и младшего звена. Мне рассказывали впоследствии, как геройски сражались 24 июня на рубеже реки Щара пехотинцы и артиллеристы 55-й стрелковой дивизии, оказавшейся на пути гудериановских танков, катившихся к Минску. Дивизия задержала противника на целый день, затем остатки ее отошли на новые рубежи. Может, как раз этого дня и не хватило впоследствии немецким танкистам, чтобы ворваться в Москву! Там же, на Щаре, рота из 11-го стрелкового полка со штыками наперевес бросилась в критический момент на вражеских автоматчиков. Немцы косили бегущих очередями, но никто не залег, не остановился. Порыв и напор были столь яростны, что фашисты не выдержали, побежали. Маленький бой был выигран, хотя на каждого убитого немца пришлось пятеро наших. Можно посмотреть на этот эпизод так: по неумению, по отсутствию опыта бросилась рота в штыки на автоматный огонь, на верную смерть. Но можно взглянуть иначе: на том приграничном рубеже полегли бывалые фашистские вояки, которых как раз и не хватило потом противнику в битвах под Москвой, под Сталинградом.

После войны много появилось у нас знатоков и критиков, с легкостью необыкновенной и всяк по-своему заявлявших: это было не так, это было ошибкой, в одном случае не учли, в другом не предусмотрели. Ах, как легко рассуждать спустя время, когда определилась вся обстановка. А попробуй хоть на час вперед посмотреть, учесть все факты… Хорошо сказано на этот счет в «Витязе в тигровой шкуре»: «Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны…» Именно «героем», а не «стратегом», как интерпретируют теперь. Иосиф Виссарионович, знавший подлинный текст, возмущался. Слово, приведенное в эпосе, явно соответствует понятию «герой», тем более что в прежние времена не было даже такого термина — «стратег». Да и вообще, «бой» и «стратег» — разновеликие понятия.

К чему я это? К тому, что не приемлю упреки, наветы «героев со стороны», которые упрекали Тимошенко, Ставку, все наше руководство в грубых ошибках, допущенных якобы в первую неделю войны. В сложившейся тогда обстановке никто, пожалуй (за исключением

многоопытного Егорова), не смог бы ничего сделать. На войне всегда какая-то сторона сильнее, а мы расплачивались за предыдущие прегрешения. Объективно оценивая возможности Семена Константиновича Тимошенко, скажу: он добросовестно сделал все, что мог, на что был способен. Не умом брал, так выдержкой, спокойствием. Хорошо хоть, что не поддался растерянности, панике, настойчиво пытался организовать управление войсками. Но что поделаешь, если Бог не дал ему полководческих высоких способностей.

«Маршальское нашествие» (сразу три маршала, как мы помним, были посланы на Западный фронт) не принесло ощутимых результатов. От Кулика, от Шапошникова, от Ворошилова не поступало точных сведений или конкретных, обоснованных предложений, они там сами варились в кипении страшных, непонятных событий. Связь с ними чаще отсутствовала, чем налаживалась, что подтверждало мысль о хаосе и неразберихе, усугубляло нервозность. Поступали сообщения о немецких танках на Березине, о вражеских десантах в нашем тылу. Где правда, где вымысел: у страха глаза велики. Чтобы получить сведения из первых рук, Иосиф Виссарионович предложил мне отправиться в действующую армию.

28 июня я вылетел на Западный фронт. Самолет «Си» был новый, военный, скоростной. Мы без всяких приключений добрались до Минска, но сесть там не смогли: город горел, в нем шли бои, по дорогам двигались немецкие танки. Вражеские колонны мы заметили и значительно восточнее Минска, они явно нацеливались на Могилев и, страшно было подумать, на Смоленск. А между тем бои продолжались еще в тылу немецких войск, на всем пространстве от границы до Минска. Я облетел в тот день большой район и отметил крупные очаги сопротивления на реке Щаре, возле Белостока. И даже целое сражение, бушевавшее на окраине Налибокской пущи. Все это не могло не тормозить продвижение немцев. Во всяком случае, пехота и обозы далеко отстали от вырвавшихся вперед танковых колонн, и, по моему мнению, их порыв должен был вскоре иссякнуть.

Горечь испытывал я, глядя с высоты на землю. Зеленые, черные, серые колонны шевелились, ползли по дорогам в разных направлениях, словно гусеницы. Повсюду — на обочинах, на полях, на опушках — несметное количество муравьев-пешеходов: двигались на восток беженцы, раненые воины, остатки разбитых частей. И везде — над селами, полями и лесами — широкие шлейфы дыма. При солнечном свете бледным, почти незаметным было пламя пожаров, казалось, что дым рождается сам по себе: клубится, постепенно растягиваясь, редея, кое-где нависая над землей в несколько слоев — из разных источников. Не знаю, проникал ли дым в кабину, но я порой ощущал запах гари.

В Могилеве я разыскал Бориса Михайловича Шапошникова. Он был совершенно измучен. Болело сердце. Одышка. Он с трудом держался на ногах, но, как всегда, был корректен, несуетлив, чем отличался от окружавших его командиров, каждый из которых кому-то что-то приказывал, кого-то распекал, создавая видимость полезной деятельности. Мы с Шапошниковым уединились на первом этаже старого и прочного кирпичного здания, вздрагивавшего от разрывов авиабомб. Обсудили положение и сопоставили наши мнения. Расхождений практически не было. Уже теперь ясно: главный удар немецких войск нацелен на Москву, они любой ценой, вбивая клинья, обходя узлы сопротивления, рвутся на Смоленск, ближе к нашей столице. Армии

первой линии Западного фронта разгромлены и противодействовать фашистам не способны. Резервы прибывают россыпью и сразу бросаются в бой; их разрозненные контрудары не приносят ощутимой пользы. Многие эшелоны с войсками и техникой даже не доходят до фронта, их уничтожает вражеская авиация. Что можно сделать в таких условиях? Не об контрударах думать надо, а о том, как измотать противника жесткой обороной. Всем войскам, которые на передовой, всем, кто оказался в окружении, — один приказ: от корпусов до рот, от дивизий до взводов, до каждого отдельного бойца, где бы они ни находились, обороняться до последней возможности! Держать железные, шоссейные, проселочные дороги, вокзалы, мосты, пригодные для обороны дома. Важен каждый выигранный день, каждый час, пока «раскачивается» наша огромная страна.

Дальше. Направлять на Западный фронт, как на самый опасный, не только войска, прибывающие из тыла, но и некоторые армии с Украины, где положение представлялось менее угрожающим. И по возможности не бросать их в бой «с колес», концентрировать на линии Западная Двина, Днепр, чтобы создать сильный оборонительный рубеж, способный остановить противника. А создавая фронт по Днепру, позаботиться об организации еще одной, тыловой линии в непосредственной близости от Москвы, Ленинграда и Киева, формируя там новые дивизии, обучая их и готовя к боям.

И еще очень важное. Руководство Западным фронтом расписалось в своей беспомощности. Уровень управления со стороны Ставки весьма далек от совершенства. Не обсуждая, чья в этом вина, а чья беда, мы с Борисом Михайловичем решили так. Началась война не на жизнь, а на смерть. Воюют не армии, воюют государства, может быть, даже две различные общественные системы. И руководить этой борьбой миров с нашей стороны должен не просто военный специалист, не один из наркомов, а самый главный, самый авторитетный в стране и в партии человек, способный сосредоточить в руках всю власть. А таким человеком мог быть только Сталин. И мы договорились просить его, чтобы взял на себя всю ответственность хотя бы сейчас, в самое смутное, самое трудное время.

Приехавший в Могилев Климент Ефремович согласился с нашей оценкой обстановки и с нашими предложениями, однако сказал: Сталин вряд ли одобрит идею создания резервной линии обороны на подступах к Москве. Это дело не только военное, но и политическое. Как это повлияет на людей? Угнетающе. А врагов вдохновит.

— Это и ваше мнение? — спросил Шапошников.

— Не нужно спешить, не нужно порождать пораженческое настроение, — ответил Ворошилов. — Это недопустимо. Будет достаточно формировать западнее Москвы резервные армии.

Климент Ефремович не отрешился, да и не мог в краткий срок отрешиться от тех концепций, которые создавал и пропагандировал многие годы. Наша армия — самая могучая, мы будем не обороняться, а бить и громить любого противника. Но пока вот не получалось… Ворошилов не был готов пожертвовать многим ради главного, не осознал неизбежность больших жертв. Его очень тревожило: чем больше территории мы утратим, тем сильнее это отразится на престиже высоких руководителей. А беспокоиться-то следовало не о престиже, надо было искать пути к военным успехам.

Взгляды Ворошилова во многом совпадали со взглядами Сталина, в этом я, к сожалению, убедился, вернувшись в Москву. Тогда, в конце июня и самом начале июля, Иосиф Виссарионович в глубине души считал, что наши неудачи скоро кончатся, враг будет остановлен, отброшен. Трудно, ох как трудно ему было ломать себя, веру в собственную мудрость и непогрешимость!

А вот наши соображения о том, что он должен объединить в своем лице руководство государством, партией и войной, Сталин встретил не только благосклонно, но, как мне показалось, с радостью. Вероятно, на него оказывали давление в этом отношении члены Политбюро, вполне возможно, что и в нем самом зрело осознание такой необходимости, но он еще не окреп душевно, не смог сам без благожелательного подталкивания сделать решительный шаг. Но обстановка заставила. 30 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли совместное постановление: ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил для проведения отпора врагу образовать Государственный Комитет Обороны (ГКО). Ему передавалась вся полнота власти. Решения и распоряжения ГКО должны были беспрекословно выполняться всеми партийными, советскими, военными и комсомольскими органами, а также всеми гражданами СССР.

Председателем ГКО был назначен Сталин. Если до войны власть Сталина имела какие-то формальные ограничения, то теперь он обрел полные диктаторские права. Выше и больше — некуда. И вот свойство характера: заняв высочайший пост, фактически созданный им же самим, Иосиф Виссарионович сразу же начал обретать утраченную уверенность, снова почувствовал себя полным хозяином, ответственным за все. Считаю, что в тот напряженный период сие принесло большую пользу. Страна, оставшаяся было без руководства, вновь обретала его.

6

Иосиф Виссарионович просто обязан был объявиться перед народом. Война шла уже вторую неделю, и люди начали недоумевать: где товарищ Сталин, почему молчит? Особенно тревожились работники партийного и государственного аппарата, привыкшие получать четкие директивы. Пора, пора было Иосифу Виссарионовичу показать себя, чтобы к его отсутствию не привыкли, не воспринимали это как должное. Самое время выступить не под первым впечатлением, а обдуманно, сделать некоторые выводы, указать цели.

Существовало по крайней мере два наброска речи, один текст был подготовлен Молотовым, другой — Калининым (оба готовились на всякий случай, вдруг будет поручено им). Набросок Михаила Ивановича начинался словами: «К вам обращаюсь я, братья и сестры!» Вспомнил, значит, Калинин свое первое обращение к народу, когда весной девятнадцатого, после смерти Свердлова, стал Председателем ВЦИК. Так предварил он тогда свою речь.

Заявление, подготовленное Молотовым, было более сухим, но зато обстоятельным и почти завершенным. Однако Сталин не воспользовался им, а взял набросок Калинина, но из него сохранил лишь несколько строк. Остальное написал сам, причем с редкой для него искренностью в официальном документе, с откровенной прямотой. Политическое чутье не изменило ему. Пока люди, ошеломленные случившимся, не сделали еще

собственных выводов, надо начать отсчет событий с самого плохого, с первой ступени, чтобы потом каждый успех, доставивший радость, вселявший надежды, можно было записать в свой актив. Умелый политик должен своевременно показать все сложности момента, стряхнуть с себя, пользуясь ситуацией, груз допущенных ошибок. Документ получился краткий и сильный. Сталин доверительно рассказал о трудном положении, в котором оказалась страна:

«…Враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

…Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп.

…Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором…

…В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов (я был против этой фразы, но Сталин сказал, что она укрепит веру людей в успех, и оставил ее. — Н. Л.). Храбрость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается весь народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от

благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим».

Иосиф Виссарионович, на мой взгляд, смог уяснить и сформулировать главное в быстросменной текучке событий.

Да, требовалось как можно быстрее сломать инерцию мирного времени, в том числе и неоправдавшуюся надежду на то, что будем бить агрессора на его территории. Понять страшную реальность — это было тогда очень важно.

«…Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки…»

Вот так: подавляющее большинство политиков способны только регистрировать события, некоторые из них — анализировать свершившиеся факты. А Сталин принадлежал к числу тех немногих, которые брали на себя смелость заглядывать в будущее. И не всегда ошибался, хотя любые прогнозы трудны.

Надо, конечно, учитывать, что, готовясь к выступлению перед народом, Иосиф Виссарионович не обрел еще той уверенности, того спокойствия, какими обладал перед войной. Не знал, каким образом будет встречено заявление о постигшем страну бедствии, равносильное признанию своих личных ошибок. Не обернутся ли откровенные слова против него самого, не возложат ли люди на него всю вину за провал, за столь неожиданный и трагический поворот событий?!

Это состояние Иосифа Виссарионовича проявилось сразу, едва он 3 июля начал говорить в микрофон. Глухой, негромкий голос звучал с такой тревогой и такой болью, так проникновенно, как не звучал никогда раньше и никогда потом. Особенно доверительно произнес он первые слова: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Он даже задохнулся от волнения!

Вырвавшись из глубины души, слова эти никого не оставили равнодушными. Дрогнули миллионы сердец, слезы затуманили миллионы глаз. Поняли люди, что Сталину тяжело и трудно, как всем: может, даже тяжелей и трудней на его высоком посту. Осознали: забыв прошлые обиды и неурядицы, надо всем вместе, единым строем идти против врага! Те, кто был равнодушен к Сталину, и даже те, кто ненавидел Сталина, пострадав от него, готовы были теперь встать по его призыву на защиту Отечества.

Люди, слышавшие сталинское выступление, запомнили его на всю войну, на всю жизнь. Не знаю, что в речи было важней: откровенные факты, суровая сдержанность, чувство семьи единой, оказавшейся вдруг в опасности… Вероятно, все вместе. Знаю только: чтобы выступить так, необходимо иметь большие способности и необходим был высокий душевный подъем, передавшийся миллионам слушателей.

На следующий день после выступления по радио Председатель Государственного Комитета Обороны Сталин подписал решение о формировании дивизии народного ополчения. Мне довелось участвовать в подготовке этого решения, запомнились некоторые подробности. Было, образно говоря, два истока, которые потом слились в одну реку, в одно движение, получившее официальный статус. Еще 24 июня Совет Народных Комиссаров постановил создать военизированные добровольческие подразделения — истребительные батальоны. Руководство этими формированиями осуществлял специальный штаб, образованный при НКВД. Личный состав батальонов — главным образом партийные и советские активисты, физически крепкие, но не подлежавшие по тем или иным причинам призыву в Красную Армию.

Цель истребительных батальонов — охрана предприятий, учреждений, других важных объектов, а также борьба с вражескими парашютистами и диверсантами, особенно в прифронтовой полосе. Численность батальона — от ста до двухсот человек. Эти подразделения принесли определенную пользу. Некоторые из них участвовали в оборонительных боях, другие влились в отступавшие воинские части, третьи послужили базой для создания партизанских отрядов. Польза, повторяю, была, но армейское командование и Генштаб не обращали на них особого внимания, ведь «истребители» числились по линии Наркомата внутренних дел.

В первые же дни войны, как известно, резко осложнилось положение Ленинграда. Враг наступал со стороны Прибалтики, туда были брошены все силы. Но в войну, увы, включилась Финляндия, ее Юго-восточная армия завязала бои на Карельском перешейке, а Карельская армия двинулась на Петрозаводск. Было ясно, что наши войска не смогут остановить противника на всех направлениях. Но что же делать? Военный совет Северного фронта и Ленинградский горком ВКП(б) срочно начали создавать добровольческую армию, наметив довести ее численность до двухсот тысяч человек. Там и возродилось, и прозвучало вновь полузабытое название — народное ополчение.

Я узнал об инициативе ленинградцев, когда возвратился с Западного фронта в Москву. Это перекликалось с замыслом Шапошникова и моим: создавать оборонительные рубежи на подступах к крупнейшим городам. Обязательно — на подступах к столице, чтобы обезопасить ее от всяких неожиданностей. Это было тем более важно, что в конце июня все кадровые полевые войска Московского военного округа ушли на фронт. А вновь создаваемые части были еще неукомплектованы, необучены… Обсудив с Шапошниковым некоторые подробности, я без промедления позвонил Сталину.

— Иосиф Виссарионович, вы, конечно, знаете, какую роль в трудные моменты русской истории играло народное ополчение.

— Знаю. Сам был когда-то ратником-ополченцем.

— В Ленинграде ополчение уже создают. И в Москве есть такие возможности…

— Сколько дивизий мы можем вооружить здесь?

— Не менее десяти.

— Спасибо, Николай Алексеевич, это очень своевременное и полезное предложение. Готовьте решение, а мы рассмотрим его.

Идея заключалась в том, чтобы собрать как можно больше людей, не подлежащих мобилизации, формально непригодных к строевой службе, и как можно быстрее обучить, подготовить их к боям. Иметь хоть какую-то

реальную силу для непосредственного прикрытия Москвы. Подсчитали: в течение месяца можно сформировать и вооружить двенадцать дивизий народного ополчения по десять тысяч человек в каждой. Винтовками, гранатами и даже ручными пулеметами снабдить сможем. А вот со станковыми пулеметами, с орудиями разных калибров положение было хуже.

В ополчение брали добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Отказывали лишь тем, кто явно не подходил по своим физическим данным. Широко привлекались женщины: медики, политработники, связисты, технические специалисты, повара, «ворошиловские стрелки» — снайперы. В каждую дивизию старались направить хотя бы несколько десятков кадровых командиров или тех запасников, которые имели опыт финской войны.

Хорошие люди пришли в ополчение. Много было преподавателей, ученых, студентов, творческих работников. Одних писателей больше ста человек — целая рота. К глубокому нашему огорчению, обстановка осложнилась так быстро, что ополченцев очень скоро пришлось отправить на передовую. Слабо обученными, без тяжелого оружия. Они сражались потом под Вязьмой, многие оказались в кольце. Гитлеровские профессиональные вояки знали, кто противостоит им. «Выколачиваем московские мозги», — хвастались они и печатно, и устно.

Мало кто из тех замечательных людей дожил до конца войны. Утраты были велики. Но и значение ополченческих дивизий трудно переоценить. В боях за Москву они принесли очень большую пользу, а затем были переформированы в обычные номерные дивизии.

А вот — запомнившийся казус. Как-то в июле или в начале августа Сталин спросил меня, сколько в Москве и на подмосковных складах винтовок и автоматов. Я ответил. Винтовок было мало, а автоматов еще меньше, все сразу шло в войска.

— Звонил Хрущев, — недовольно произнес Иосиф Виссарионович. — Сообщил, какую работу провели по мобилизации масс: он это умеет — словами народ вдохновлять. Но вдохновленному народу нужно еще и оружие. Хотя бы винтовки.

— Просил винтовки? — уточнил я.

— Жаловался, что звонил Ворошилову, еще кому-то, но везде отказ. Не дают. Нету, — развел руками Сталин и поморщился, заметив, что посыпался пепел из погасшей трубки. Не любил неаккуратности.

— Вы пообещали?

— Я сказал: Никита Хрущев, вы где находитесь? Вы находитесь на Украине. Это государство такое же обширное и богатое, как Франция. У вас есть индустрия, есть сырье, есть любые специалисты. У вас есть все, вы строите танки, самолеты и военные корабли. Если нужны винтовки, почему не наладили выпуск, а обращаетесь в Москву?! Это можно назвать иждивенчеством, а можно еще хуже.

— Психология временщика. Вчера в Москве, сегодня в Киеве, завтра еще где-то. Вдохновил массы — и покатил дальше, куда пошлет партия.

— Не надо так, Николай Алексеевич, — нахмурился Сталин. — Хрущев добросовестный энергичный работник, достойный доверия. Мы ему подсказали, он сделает.

— Но лишь после того, как вы объяснили ему насчет Франции… Бедной была бы Франция!

Читатель, конечно, понимает, что я не пытаюсь воссоздать всю многообразную историю минувшей войны, а лишь рассказываю о тех событиях, участником или свидетелем которых мне в той или иной степени довелось быть и которые непосредственно касаются Иосифа Виссарионовича. Одни из этих событий общеизвестны, и я только высказываю свое отношение к ним, свое видение, свою точку зрения. О других событиях по каким-либо причинам долго не упоминалось, о третьих вообще был осведомлен лишь я или узкий круг лиц, из которых почти никого теперь нет в живых. Не забывайте, пожалуйста, об этом, знакомясь с моей исповедью, не пеняйте на отсутствие последовательности. Достоверные исторические исследования создают наши славные историки, каждый раз обновляя свои оценки при очередной смене руководства. А у меня только воспоминания.

Не следует думать, будто после подписания с Германией пакта о ненападении наши военные деятели совсем опустили руки и перестали заботиться об укреплении обороноспособности. Да, их били по рукам, хотя бы таким документом, как известное сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года. Однако в вооруженных силах было достаточно людей, которые понимали: политики могут позволить себе все, что угодно (любые игрища, говорил я), а у армии, у флота одна задача — защищать страну! Осуществлялась не только долгосрочная стратегическая программа перевооружения и укрепления наших войск, но и велась кропотливая, подспудная работа по подготовке к отражению германской и японской агрессии.

Послевоенные исследователи или не знают некоторых существенных фактов, или по каким-то причинам не придают им значения. Примеры? За месяц до начала боевых действий в Московском военном округе приступили к негласному формированию полевого управления еще не существовавшего тогда Южного фронта. Командующим войсками этого потенциального фронта был назначен генерал армии И. В. Тюленев, а членом военного совета армейский комиссар 1 ранга А. И. Запорожец. На третий день войны командование и штаб Южного фронта уже приступили к управлению войсками, сражавшимися с немецкими, венгерскими и румынскими дивизиями. Так что не из «ничего» возник Южный фронт, он был организован заранее. А уж в какой степени справился со своей задачей — это другой вопрос.

Незадолго до нападения гитлеровцев в глубинных областях страны было создано несколько полнокровных армий, причем сделать это удалось настолько скрытно, что германская разведка ничего не знала. Речь пойдет об одной из новых, о 19-й армии, с которой мне довелось познакомиться особенно близко. Судьба ее довольно типична. Развертывалась весной сорок первого в Северо-Кавказском военном округе. Дивизии постепенно пополнялись за счет приписного состава до штатов военного времени. А люди были какие! Казаки, осоавиахимовцы, «ворошиловские стрелки», «ворошиловские всадники»! К этим званиям теперь можно относиться скептически, но в ту пору они давались лишь после соответствующей подготовки. Казак, пришедший тогда в дивизию, мог отлично стрелять, владел шашкой, имел спортивную закалку.

Формировал армию генерал Иван Степанович Конев (он же командовал округом со штабом в Ростове-на-Дону). Я довольно хорошо знал этого самоуверенного товарища, не упускавшего возможность козырнуть, что родом из крестьян, из самых низов, на империалистической войне

дослужился до унтера. Целиком и полностью, мол, из народной массы. В гражданскую войну — комиссар, участник разгрома Колчака. С моей точки зрения, Конев был не боевой командир, а скорее военно-политический деятель такого же типа, как Климент Ефремович Ворошилов. При Ворошилове и рос. Энергичен. Предан партии Ленина — Сталина, имеет военную подготовку, больше ничего и не требовалось.

Нет, мы не так уж плохо готовились к сражениям с гитлеровцами, как об этом кричат послевоенные кликуши. Наряду с другими войсками, сильная 19-я армия предназначалась для того, чтобы нанести контрудар по возможному противнику на юго-западном направлении, загнать неприятеля в припятские болота и там уничтожить. Идея была правильной. Весь май полки и дивизии этой армии постепенно перебрасывались на Украину якобы для проведения учении. Истинную же цель не знал никто, кроме Конева и, естественно, нескольких ответственных работников Наркомата обороны и Генерального штаба.

К началу войны 19-я армия почти полностью сосредоточилась в районе Черкасс, расположившись в палаточных городках. А вскоре после того, как прогремели на границе первые залпы, форсированным маршем двинулась к реке Тетерев, чтобы занять оборону по рубежу старого Киевского укрепленного района. Создавался этот УР еще до освобождения Западной Украины, в последнее время был в полном запустении, сооружения заросли бурьяном, оружие было снято, бронированные укрытия для артиллерийских орудий и пулеметов начали оседать, разрушаться. И все-таки, занятый кадровыми, хорошо вооруженными частями, этот УР стал бы надежным щитом Киева, послужил бы прочной тыловой опорой для войск, которые вели приграничное сражение. Замысел был правильный. Однако 19-я армия не успела занять Киевский УР и уж тем более восстановить его. Когда немцы захватили Минск, когда танки Гудериана двинулись к Смоленску и стало ясно, что главный удар неприятель наносит на московском стратегическом направлении, было принято решение срочно перебросить сюда, навстречу врагу, несколько армий с других участков фронта. В том числе, и как можно скорее, 19-ю. А предложение было внесено Шапошниковым и мною, поддержано Жуковым и Тимошенко. Мы с Борисом Михайловичем исходили из того, что московское направление, безусловно, является главным. Опыт показал, что, начиная войну с каким-либо государством, Гитлер каждый раз поражал прежде всего сердце страны, бросал свои войска по прямой на столицу. Вероятно, так он вознамеревался поступить и теперь. Но для того чтобы добиться быстрого успеха на определенном направлении, наступающий должен сосредоточить здесь свои основные силы. Значит, на других участках (на Украине и в Прибалтике) у немцев меньше сил и средств, меньше резервов, и мы можем снять оттуда некоторое количество своих войск. Конечно, рокировка целых армий в разгар сражений — дело весьма сложное и даже опасное, но мы считали, что именно это позволит нам быстро укрепить самое важное западное направление. А затем и сюда, и на другие участки подойдут войска из глубокого тыла, вновь создаваемые соединения. Увы, и Борис Михайлович, и особенно я в значительной мере жили еще представлениями империалистической и гражданской войн, еще не учитывали многого: большую подвижность наземных механизированных и моторизованных войск, роль авиации, опыт и организованность немецких армий, неумение наших молодых командиров

управлять соединениями и объединениями. И нам, людям уже пожилым, приходилось переучиваться, осваивать новое в ходе боевых действий.

— Где сейчас командный пункт Западного фронта? — спросил меня Сталин.

— В Гнездове — дачный поселок Смоленска. Там Тимошенко и часть штаба.

— Вылетайте в Смоленск, — распорядился Иосиф Виссарионович. — Помогите Шапошникову[42] проконтролировать прибытие и использование войск. Особенно девятнадцатой армии. — И, помолчав, добавил: — Вылетайте с наступлением темноты. Днем там хозяйничает немецкая авиация… Жду ваших сообщений, выводов, предложений.

И вот я снова на Центральном аэродроме. Совсем недавно вылетал отсюда курсом на Минск, а теперь маршрут был гораздо короче, всего лишь до Смоленска. Да и то неизвестно, можно ли там приземлиться, немецкие танки были где-то поблизости.

Слава богу, все обошлось благополучно. Утром я добрался до Гнездова и там встретился с Тимошенко и Шапошниковым, которые только-только пробудились от короткого сна. Вместе позавтракали, круто соля свежий крестьянский хлеб и запивая парным молоком. На гул вражеских самолетов, на глухие взрывы авиабомб, от которых содрогался дачный деревянный домишко, никто не обращал внимания. Немцы бомбили Смоленск и шоссе, все это стало уже бытом, горьким, но привычным фоном.

Смачно отхлебывая из большой кружки, Тимошенко выразил пожелание, чтобы я побывал на передовой, на прифронтовых дорогах, посмотрел, что там творится. Для доклада товарищу Сталину. Можно, мол, поехать с его заместителем генералом Андреем Ивановичем Еременко. Я промолчал — надо было сориентироваться в обстановке.

Побеседовав после завтрака с Борисом Михайловичем Шапошниковым, узнал новости, отнюдь не радующие. Особенно по 19-й армии, на которую возлагались большие надежды, ради которой я и приехал на Западный фронт. Переброска армии из-под Киева началась успешно. Прозевали немцы начало рокировки. Головной эшелон, в котором находилось все армейское управление, без помех проследовал до станции Рудня, возле которой намечено было развернуть в лесу штаб армии. Почти без потерь прибыли к местам разгрузки эшелоны 127-й и 129-й стрелковых дивизий, входивших в состав 25-го стрелкового корпуса. Они усилили нашу группировку в районе Смоленска. А потом фашисты словно бы спохватились, начали почти беспрерывно бомбить все станции, через которые шло с юга подкрепление на Западный фронт: Фастов, Дарницу, Конотоп, Брянск, разъезды и полустанки. Велики были разрушения на железнодорожных магистралях, велики потери в людях и технике.

Эшелоны 19-й армии вынуждены были следовать не к месту назначения, а двигаться туда, куда можно, где не разрушен путь. Войска выгружались в Вязьме, в Ржеве, на других далеких от фронта станциях. Некоторые составы были загнаны к черту на рога, аж на Валдай, оттуда полки вынуждены пехом добираться до районов сосредоточения. Не ближний свет! И путаница была, и переподчинение целых дивизий. Монолитная армия, укрепившись на выгодном рубеже, могла бы нанести большой урон неприятелю, но она была раздроблена и рассеяна, даже не вступив в бой. Определенная вина ложилась на Конева, не сумевшего организовать переброску войск. Мало проку, что он бомбардировал телеграммами

Кагановича, отвечавшего за железнодорожные перевозки. Самому надо было соображать.

Не только 19-ю армию постигла при переброске печальная участь. И в других армиях были большие потери. А мы с Шапошниковым сделали для себя соответствующие выводы: о рокадной переброске войск, о маневрировании резервами в зоне деятельности вражеской авиации. Не сразу, но выводы эти впоследствии скажутся, воплотившись в официальные документы. Мы, как всегда, медленно запрягали…

Итак, мне надо было разыскать генерала Конева. Казалось бы, чего проще: командарм должен находиться в штабе или на командном пункте и оттуда оперативно руководить всеми делами, и боевыми, и тыловыми. Но это — если настоящий командарм, а не попрыгунчик, еще не уяснивший своей роли, не отрешившийся от принципа «делай, как я!».

Иван Степанович Конев принадлежал к числу тех людей, о которых у Сталина по каким-то причинам сложилось хорошее мнение. Один раз и надолго, если не навсегда. Похвалил, выдвинул, значит, в обиду не даст. Ежели, конечно, не будешь выступать против него, якшаться с подозрительными элементами. А с Коневым получилось вот что.

Еще в начале тридцатых годов кто-то из наших военных деятелей рассказал на досуге при Сталине такую историю. Осенью 1919 года 5-я армия Тухачевского успешно продвигалась в глубь Сибири, к Омску — столице «верховного правителя» России адмирала Колчака. Город был близок, но белые взорвали мост через широкий Иртыш. Застряли на западном берегу эшелоны с боеприпасами, с пополнением, санитарные поезда, а главное — артиллерия и бронепоезда, прокладывающие своим огнем путь пехоте. Успешно начатое наступление могло сорваться. Колчак получил бы передышку, пополнил бы свои силы, нанес ответный удар. Положение было сложным.

Двадцатидвухлетний Конев, недавний унтер-артиллерист царской армии, был тогда комиссаром бронепоезда № 102, больше известного под названием «Грозный» — такое имя дали ему балтийские моряки, составлявшие костяк команды. Чтобы восстановить рухнувший мост хотя бы «на живую нитку», требовался минимум месяц. Но ушедшая вперед пехота погибает без артиллерийской поддержки!

«Что мы можем сделать?» — обратился Конев к командиру бронепоезда Пеатриковскому, который был старше, опытнее и значительно образованнее комиссара. А Пеатриковский, поразмыслив, высказал предположение весьма рискованное, трудноосуществимое, но, пожалуй, единственно возможное в той ситуации. Энергичный, напористый Конев сразу оценил идею командира и взялся за ее осуществление. Лихих моряков-балтийцев послал в ближайшие поселки, деревни, на железнодорожные станции. Вскоре оттуда начали прибывать группы жителей с ломами, кирками, лопатами. Крестьяне на санях. Пожарные команды с насосами. Людей разбивали на группы, каждую из которых возглавлял боец ремонтно-восстановительной бригады бронепоезда.

Одни взрывали, долбили мерзлую землю, готовя пологий спуск к реке. Другие наращивали тонкий еще лед. Третьи несли и везли из населенных пунктов бревна и доски разобранных домов, заборов, сараев, делая поверх льда настил. А на него укладывали шпалы. Тянули рельсы. Несколько тысяч человек без отдыха трудились на широком просторе Иртыша сначала при тусклом свете холодного ноябрьского дня, а затем при свете костров. А руководил всей этой работой молодой комиссар, разом

решавший все сложности. Сюда — подбросить людей! Здесь — поднажать именем революции!

Переправить состав по льду — ответственность за это взял бы на себя далеко не каждый. И ведь не простые вагоны, а тяжеловесные, обшитые стальными плитами, с пушками и пулеметами. Под таким грузом гранит раскрошится!

Первым буквально-таки на руках спустили с берега паровоз. Медленно катился он через реку. Угрожающе потрескивали бревна. Но лед выдержал!

Один за другим перекатили через Иртыш вагоны и вновь собрали состав. Вся эта операция заняла ровно сутки. Бронепоезд «Грозный» пошел на Омск, к месту боя. А следом двинулись по настилу другие поезда…

Иосиф Виссарионович с интересом выслушал эту историю, задал несколько уточняющих вопросов. Сам-то ведь он не воевал на Урале и в Сибири, не сблизился ни с кем из «восточников». А в тот раз произнес удовлетворенно: «Нам расписывают заслуги Тухачевского, Блюхера, Уборевича, а простые люди остаются в тени. Чапаев, Конев — вот кто истинные герои, вот кто обеспечил победу над Колчаком». Ну, Чапаева, как известно, не было в живых, а с Коневым Иосиф Виссарионович встречался на партийных съездах, раз или два прилюдно высказал ему свое расположение. Вполне естественно, что Иван Степанович быстро шагал вверх по служебной лестнице и чувствовал себя весьма уверенно, по крайней мере, до начала сражений. А когда гром грянул, он, не имея опыта и достаточных знаний, не смог справиться с многотрудными обязанностями командарма. Вернее, не смог хорошо справиться с обязанностями. И это, разумеется, была вина и беда не только Конева, но и многих наших новых командиров и полководцев разных рангов.

Какое уж там руководство войсками, разбросанными на огромном пространстве, ведущими бои, находящимися на марше, стягивающимися в районы сосредоточения, если в штабе и на командном пункте 19-й армии целые сутки не видели Конева и даже не знали, где он находится. В штабе Западного фронта сведения о нем были более свежие: на двух машинах выехал в район Витебска, чтобы выяснить обстановку. Сообщений от него не поступало. Известно только, что попал под бомбежку, его разбитый и обгоревший ЗИС-101 видели в придорожном кювете.

— Придется мне ехать в Витебск, — сказал я, не испытывая никакого желания отправляться в опасную неизвестность.

— Поезжайте, голубчик. — Шапошников словно бы извинялся: нужно, мол, что поделаешь. — Если найдете Конева, передайте просьбу вернуться в Рудню для выполнения прямых обязанностей. И при любой возможности связывайтесь с нами, мы крайне нуждаемся в точных сведениях. Где немцы, какие у них замыслы — мы лишь предполагаем…

В штабе Западного фронта еще не знали, что вражеские танки быстро идут на Смоленск — 15 июля они появятся на окраине города. Начнется продолжительная и кровопролитная Смоленская битва.

Вечером с двумя сопровождающими я выехал на эмке в сторону Витебска. Немецкие летчики, трудившиеся весь день, видимо, отдыхали. Было много пожаров. С наступлением темноты они, казалось, разгорались все ярче. Шоссе изувечено бомбами, много объездов. На обочинах — искореженная техника, трупы коров, лошадей. Навстречу шли толпы беженцев. По полям, вдоль шоссе, гнали в тыл скот. Отступавших

красноармейцев было мало, в основном раненые. Я расспросил их: оказывается, какой-то генерал под Витебском задерживает отходящие подразделения, особенно танки и артиллерию, ставит их в оборону. Это сообщение успокоило меня: впереди, значит, есть наши войска.

Генералом, который останавливал на шоссе отступавших, оказался не кто иной, как Иван Степанович Конев. Впрочем, организацией обороны он занимался накануне, а я разыскал его утром возле Витебска на холме, где он умело командовал огнем трехорудийной батареи, забыв в упоении боя обо всем другом. Еще бы: сумели уничтожить несколько вражеских пушек и минометов! Без фуражки, покрытый копотью, в обгорелой одежде, Конев ничем не отличался от других артиллеристов, разве что возрастом. Иван Степанович не сразу понял меня, медленно остывая, отходя от азарта. Достал из кармана носовой платок, хотел вытереть лицо, но платок был черным, Иван Степанович удивленно посмотрел на него, выругался и бросил.

Я передал Коневу просьбу Шапошникова: как можно скорее возвратиться на армейский командный пункт, наладить управление войсками, поддерживать постоянную связь со штабом Западного фронта. Причем сделал это не в той мягкой форме, какая была свойственна Борису Михайловичу, а более официально. И надавил на самолюбие Конева, сообщив: маршал Тимошенко поручил своему заместителю генералу Еременко разыскать и возглавить соединения 19-й армии, оставшиеся без руководства, а штаб армии переместить к станции Кардымово. Это подействовало на Ивана Степановича, как красный цвет на быка. Как? Без него распоряжаются его войсками и даже перемещают штаб?! Конев был настолько разозлен, что сразу же укатил на полуторке в тыл, даже ради вежливости не предложив мне ехать с ним: или забыл в спешке, или общение со мной, мое присутствие не доставляли ему удовольствия. Кстати — обоюдно.

Побывав в штабе 220-й стрелковой дивизии, которая вела бой за Витебск, я выяснил там некоторые примечательные подробности, наводившие на размышления. Оказывается, наши отступавшие войска, никем свыше не руководимые, не получавшие приказов, не знавшие обстановки, по инерции «проскочили» Витебск. Войск было много, они потоком двигались через город больше двух суток. Были и танки, в том числе тяжелые КВ, и достаточное количество артиллерии. Но никто не командовал, никто не распорядился, чтобы войска заняли выгодный оборонительный рубеж по Западной Двине, имевший очень важное значение. То есть я хочу особо подчеркнуть: на разных участках фронта мы имели достаточно сил для того, чтобы остановить противника, затормозить его продвижение, выбить танки, обескровить пехоту. Но не было дельных руководителей, организаторов. Сумел же генерал Рокоссовский почти в то же самое время по собственной инициативе остановить, сплотить вокруг себя тысячи беглецов, создать из них в районе Ярцево целое воинское соединение, отразить натиск гитлеровцев на важнейшем направлении. Имя его тогда сразу зазвучало. Но таких фактов, увы, было немного.

Итак, Витебск был покинут нашими войсками, откатившимися столь стремительно, что город почти сутки оставался бесхозным. Впрочем, нет! Нашелся какой-то смелый командир, капитан или майор, который создал из местных жителей, из осоавиахимовцев, из красноармейцев отряд, равный примерно роте, и занял оборону на западной окраине Витебска. И

тут встает вопрос. К этому сроку Конев, собрав разрозненные подразделения, уже контролировал шоссе восточнее города. Более того, к Витебску подошли передовые части 220-й дивизии, в том числе артиллерийский полк и танковый батальон. В распоряжении Конева была целая ночь, он мог бы выдвинуть войска туда, где закрепилась рота осоавиахимовцев, и уж ему-то, командарму, просто нельзя было не оценить оперативное значение рубежа Западной Двины. Но и сам Конев, и прибывавшие войска на восточных окраинах города остались. Почему же была упущена хорошая возможность? Неужели Ивану Степановичу ума не хватило сообразить? Или все было гораздо проще: измотался до предела, к тому же контуженный при бомбежке, он свалился без сил и заснул. А когда проснулся и оценил обстановку, было поздно. Немцы уже раздробили роту осоавиахимовцев и вошли в город. Но осоавиахимовцы все же сыграли свою роль. Встретив сопротивление, фашисты поосторожничали, бросили вперед только пехоту, а танковые подразделения, чтобы не ввязываться в бой, двинулись по западному берегу реки в северном направлении.

И лишь когда день полностью вступил в свои права, когда небо вновь заполонила вражеская авиация, когда немцы подтянули артиллерию, Конев, наконец, приказал 220-й дивизии овладеть оставленным городом. И дивизия овладела, и продержалась в Витебске несколько суток. Но ведь всем известно, тем более людям военным, что атакующая сторона несет потерь, по крайней мере, втрое больше, чем сторона обороняющаяся. Да и вообще, зачем же так: отдать врагу город, а затем, через считанные часы, штурмовать его. Одно «утешение»: во время этого штурма командарм заменил убитого командира батареи и удачно стрелял по врагу из трех артиллерийских орудий. Впрочем, через несколько дней Иван Степанович сам встал за первого номера к 45-миллиметровой пушке, прицелился и подбил немецкий танк, а потом, как говорится, по садам и огородам добежал до какой-то автомашины и еле-еле унес ноги… Нет, в личном мужестве Коневу не откажешь. За те два боя, под Витебском и при подбитии танка, он вполне достоин медалей «За отвагу». Но полководцам, насколько я знаю, их не давали. От полководцев требовались заслуги другого рода.

Убедившись, что 220-я стрелковая дивизия надежно удерживает район Витебска, я возвратился в штаб Западного фронта. От Шапошникова узнал, что обстановка не улучшилась, что немецкие войска приблизились к Смоленску. Сюда же подошли 127-я и 129-я стрелковые дивизии, Конев энергично руководит их действиями, но опять оставил без внимания другие свои соединения, другие армейские заботы. Его просто не хватало на все. А еще Борис Михайлович посетовал: разговаривая по ВЧ со Сталиным, генерал Конев доложил о своих успехах под Витебском и намекнул на то, что ему, мол, мешают работать, что заместитель командующего фронтом пытается подменить его, отдает распоряжения через голову, вплоть до смены командного пункта. Такую черту Конева — постараться доложить первым и при этом показать себя в выгодном свете — такую черту я знал, как знали и многие другие товарищи. Это вызывало раздражение Жукова, насмешливую улыбку Ватутина, даже хладнокровный непробиваемый Тимошенко хмыкал и морщился. А Сталин будто не замечал ничего, хотя прекрасно понимал все намеки Ивана Степановича.

— А теперь, голубчик, позвоните в Москву, — сказал Шапошников. — Товарищ Сталин просил позвонить, как только появитесь. Вот телефон, а я не стану отвлекать…

Иосиф Виссарионович сразу взял трубку. Голос был недовольный.

— Здравствуйте, Николай Алексеевич, где вы запропали?

— Я не пропадал, был в районе Витебска.

— Какое там сейчас положение?

— Довольно устойчивое. Двести двадцатая дивизия держит оборону на высотах восточнее города, контролирует шоссе.

— Это очень хорошо, — одобрил Сталин. — Хоть за этот участок не болит душа. Значит, товарищ Конев навел там порядок?!

— С ошибками, но навел. Мог бы действовать лучше.

— Нам важен конечный результат, а он в нашу пользу. Танковая группа Гота ушла от Витебска на север, немцы теряют время.

— Не умаляю заслуг Конева, но не следует их преувеличивать.

— А что там за конфликт между Коневым и Еременко? Чего они не поделили?

Ну уж такими-то «событиями» не надо было отвлекать Сталина от дел, занимать его время. Я ответил:

— Борьба самолюбий. Конев не справляется с армией, а помощи не терпит. Это мелкая вспышка, генералы уже помирились.

— Скажите Тимошенко и Шапошникову, чтобы товарища Конева не обижали и не притесняли. Он неплохо воюет и доказал это под Витебском. В ближайшее время мы отзовем Бориса Михайловича в Москву, посоветуйтесь с ним, кого назначить начальником штаба Западного фронта.

— Отзыв Шапошникова отразится на уровне руководства фронтом. Некому будет оценивать обстановку в целом, предвидеть завтрашние события.

— А в Москве есть кому?! Генштаб только собирает сводки за прошедшие сутки… Живем одним днем, — сердито произнес Сталин, — без перспективы, без четких замыслов.

— Вы не совсем правы, — возразил я.

— Не время спорить, Николай Алексеевич. Готовьте предложение, кем заменить товарища Шапошникова. И возвращайтесь скорее. Это все.

Разговор закончился. Убежден, что Иосиф Виссарионович в ту пору слишком переоценил способности Конева, умевшего, как я уже говорил, первым и с выгодой для себя доложить об успехах. Сталину тогда, как и всем нам, очень хотелось получить хорошие сведения, порадоваться удаче. Ну а Иван Степанович радовал больше других, хотя от рубежа к рубежу вместе с соседними армиями отступал. 12 сентября Конев был неожиданно назначен вместо Тимошенко командующим Западным фронтом. Я был удивлен и огорчен этим назначением. Всего лишь месяц удержался Конев на столь высоком посту, но этот месяц был для нас трагическим. С именем Конева связано крупнейшее поражение на московском стратегическом направлении, едва не обернувшееся для нас полной катастрофой. Об этом — в свое время. А сейчас напомню факт, который мог произойти только в обстановке той напряженности и неразберихи, которые были летом сорок первого года. Об этом факте писал в своих воспоминаниях Андрей Иванович Еременко, а я лишь кое-что добавлю к его словам.

В боях за Смоленск весьма отличился командир 57-й танковой дивизии полковник В. А. Мишулин: проявил личное мужество, героизм и умело руководил своими частями. Был он ранен, попал в госпиталь, но там вдруг узнал, что один из его полков оказался в окружении. Тут уж не до лечения. Мишулин сел в бронеавтомобиль, ночью пробился через вражеское расположение к своим танкистам, поднял их настроение, организовал удар: под его руководством полк с боем прорвал кольцо окружения.

В госпиталь Мишулин больше не вернулся. Обнаружив западнее Смоленска передовые отряды гитлеровцев, полковник с остатками дивизии по собственной инициативе вступил в бой, разгромил вражеский разведотряд и прикрыл правый фланг нашей 20-й армии. Еременко сам наблюдал за этим боем и был в восторге.

Возвратившись в Москву, я вскоре прочитал в газете официальное сообщение о том, что В. А. Мишулину присвоено звание Героя Советского Союза и звание генерал-лейтенанта танковых войск.

Ну это уж слишком, не соответствовало никаким установлениям! Герой Советского Союза — вполне понятно. Повышение в звании — ладно: два поощрения! Случается и такое, если заслужил человек. Но чтобы из полковников перескочить через ступень и получить звание не генерал-майора, а сразу генерал-лейтенанта, такого еще не бывало! Тут явно какое-то недоразумение. Позвонил в штаб Западного фронта, и выяснилось вот что.

Андрей Иванович Еременко сам написал представление на Мишулина. Почерк у него отнюдь не каллиграфический, со знаками препинания не все в порядке, да и торопился. Текст был такой: «Представляю полковника Мишулина к званию Героя Советского Союза и к воинскому званию генерал, генерал-лейтенант Еременко».

А телеграфист, передавая в спешке, может быть даже под бомбежкой, сократил или пропустил одно слово. И получилось: «Представляю… к воинскому званию генерал-лейтенант. Еременко».

Но как же в Москве-то не разобрались? Впрочем, тоже понятно. Пришло ходатайство с фронта, на этом основании составили бумагу, подписали, удовлетворили. Одно было ясно — документ прошел мимо Сталина. Или не обратил на него внимания. Награждением орденами, присвоением звания Героя Иосиф Виссарионович обычно не занимался, для этого существовал специальный аппарат, был определенный порядок. Но звания генералов — обязательно через него. Сталин держал в памяти фамилии почти всех крупных военачальников, включая генерал-майоров. А уж генерал-лейтенантов тем паче.

Их было у нас немного более ста: восемьдесят один общевойсковой, тридцать три — родов войск и шестеро по ведомству Берии в войсках НКВД. Почти с каждым из них Сталин беседовал. И я знал их всех. Хотя бы по личным делам. Но когда пришла реляция на Мишулина, меня не было в Москве, а Сталин, значит, оказался настолько загружен, что ему было не до присвоения званий. Вот и «проскочил» документ.

Я посоветовался с Поскребышевым, тот поставил в известность Жукова. Решили Сталину не докладывать, пока сам не обратит внимание на незнакомого генерала. А то ведь начнется расследование, кому-то достанутся синяки да шишки…

В действительности никто не был наказан, но для самого Мишулина такое событие сыграло не самую лучшую службу. Его, боевого командира,

все время держали на вторых ролях, он ходил в «замах», чтобы не выпячиваться, чтобы фамилия как можно реже появлялась в документах. И лишь в самом конце войны, как-то за ужином, когда у Сталина было хорошее настроение, я шутливо рассказал о том казусе.

— Ну и Еременко! Сколько у него анекдотичных случаев, — тихо засмеялся Иосиф Виссарионович, — И адъютант у него был по фамилии Дураков, и часы он раздавал вместо орденов метким стрелкам — директор часового завода на него жаловался…

Подумав, Сталин добавил удовлетворенно:

— Вот, товарищи, оказывается, и у нас есть свой поручик Киже! Даже не поручик, а генерал. — Шуткой все и закончилось.

9

Стремительно прошел я через приемную. Поскребышев не успел даже подняться из-за стола, только рукой безнадежно махнул вслед. Охранник у двери, знавший меня в лицо, посторонился. Иосиф Виссарионович сидел на своем председательском месте за малым столом с грудой бумаг, просматривал газету, держа в руке карандаш. Мельком глянул — «Красная звезда».

Отдыхал Сталин, расслабившись. При моем появлении не удивился, но сразу как-то подобрался, что ли: такой уж человек, даже при мне, видевшем его в самых различных состояниях, старался выглядеть строгим и сильным. Хотел я сказать — монументальным, но нет, вдвоем со мной он на это не претендовал. Чувствовал меру.

— Иосиф Виссарионович, час назад над Москвой появился немецкий самолет. Вероятно, разведчик. Прошел над улицей Горького, над центром.

Показалось, Сталин вздрогнул. Во всяком случае, дрогнули его плечи. За последнее время ему довелось выслушать много тяжких, потрясающих сообщений, он притерпелся к ним, воспринимал не болезненно, внешне спокойно. Однако мое сообщение даже в ряду других трагических новостей, как я понимал, являлось особым. Надо было смягчить не только восприятие Сталина, но и реакцию, которая могла быть бурной и скверно отразилась бы на многих людях.

— Над Кремлем? Прямо над нами? — именно этот факт особенно поразил его. Он сидит тут, руководит миллионными войсками, а над его головой летает гитлеровский разведчик! — Немец наблюдал? Фотографировал?

— Думаю, да.

— Почему не докладывает противовоздушная оборона? Они что, сдохли все там?! — Рука его потянулась к телефону. Гроза была близка, надо было предотвратить…

— Командование ПВО выясняет, вероятно, обстановку, не следовало бы ему мешать, — задержал я руку Иосифа Виссарионовича. — Вам нужны точные факты, командование доложит все данные.

— А откуда известно вам? — Вопрос подразумевал, не выступаю ли я в виде амортизатора.

— Мне только что позвонил со своего командного пункта командир полка майор Кикнадзе.

— Просил вашего заступничества? Это он пропустил самолет? — Раздражение Сталина не смягчила даже фамилия земляка, к которому он относился с особым расположением.

— Фашистский разведчик прошел к нам незамеченным, подробности выясняются, — повторил я. — А майор Кикнадзе в заступничестве не нуждается. Он хотел успокоить: в районе дач никаких происшествий.

— Скажите, такой заботливый, — скептически хмыкнул Иосиф Виссарионович. — Этак мы не найдем, с кого спросить. Кто виноват, кого наказывать?

— Виноватых нет.

— Они всегда есть, надо только найти.

— Тогда начинать надо не с командира полка Кикнадзе, не с командующего ПВО, даже не с Климовских и не с Павлова. Об этом мы с вами уже беседовали. И о том, кстати, что следует не столько выяснять, кто больше виноват, сколько исправлять положение.

Мои слова задели его, он хотел ответить, но в этот момент зазвонил телефон, Сталин снял трубку и по начавшемуся разговору я понял: руководство ПВО докладывает ему о случившемся. И был рад, что воспринимает он сообщение не горячась, делая какие-то пометки на листке бумаги.

— Состояние противовоздушной обороны Москвы обсудим на Государственном Комитете Обороны, — произнес Сталин. — Готовьте ваши предложения... Нет! Никаких оттяжек. Постановление примем не позже, чем завтра. Все!

Окончив разговор, повернулся ко мне. Помолчал, вздохнул:

— Поезжайте, пожалуйста, сейчас к товарищу Кикнадзе, выясните обстановку, узнайте, в чем он нуждается, что предлагает для улучшения обороны. И постарайтесь успеть сегодня же в шестой авиакорпус. По тем же вопросам. Мы пошлем туда двух советников ГКО, но у них будут свои задачи. Желательно нынче получить все сведения. Когда вернетесь — сразу прошу ко мне.

— Будет выполнено.

— Передайте привет товарищу Кикнадзе и мое пожелание ему говорить обо всем откровенно, не боясь никакой критики в адрес начальства.

— А иначе я просто не буду с ним беседовать.

— Речь идет не о наших с вами принципах, Николай Алексеевич, речь идет о майоре, на которого давит пласт уставов, инструкций, традиционного чинопочитания. Надо не сковывать этого майора, а, наоборот, помочь ему, — улыбнулся Иосиф Виссарионович, и это была одна из первых его улыбок, увиденных мною после начала войны.

Путь предстоял недалекий: полтора, от силы два часа на автомашине. За это время надо было оценить, проанализировать обстановку с учетом всех известных мне данных, сделать предварительные выводы, наметить предложения, но лишь в такой форме, чтобы их можно было изменить или дополнить при получении новой информации. Анализ и выводы, прикидки на будущее — это как раз то, чем я любил заниматься и в чем, смею надеяться, до некоторой степени преуспел. Объективность, осторожность, накопленный опыт не позволяли мне ошибаться почти никогда. Но если прежде в годы гражданской войны и после нее мозг мой действовал быстро, энергично вырабатывая соответствующие рекомендации (а может, тогда обстановка была проще, элементарнее?), то с возрастом, с усложнением военной и политической ситуации мне требовалось все больше времени для того, чтобы взвесить все факты, «прокатать» мысленно различные варианты и найти тот, который я мог бы отстаивать с чистой совестью. И давайте-ка, благосклонный читатель, поразмыслим

вместе на том недолгом пути, который вел от Кремля на юго-запад, вдоль Москвы-реки до командного пункта майора Кикнадзе.

Итак, 8 июля 1941 года над нашей столицей впервые и прямо среди дня появился вражеский самолет. Разведчик. Каким образом он прорвался через систему ПВО? Можно сказать только одно: он пришел не с того направления, откуда ждали появления фашистской авиации, а севернее, со стороны Волоколамска. Летел не над железной дорогой, которой придерживались авиаторы, а, наоборот, прокрался над бездорожной лесистой местностью. Пилот был, безусловно, весьма опытный: до сих пор неизвестно, кто. В зоне обороны самолет, идущий на большой высоте, приняли за свой и потеряли к нему интерес. Поняв это, летчик, снижаясь, прошел над Тушино, над Соколом и стадионом «Динамо» до Кремля, над Замоскворечьем до Измайлова, а там, убоявшись, наверно, появиться над Щелковским аэродромом, повернул обратно. Разведчик мог засечь расположение военных объектов, движение на магистралях — все то, что интересовало его.

Опознали фашиста лишь на выходе из Московской зоны ПВО. Взмыли истребители, но было уже поздно, догнать наглеца они не смогли. Иосифу Виссарионовичу, конечно, было особенно неприятно, что Гитлер с удовольствием потирает руки, разглядывая аэрофотоснимки Кремля. За каким, мол, окном кабинет Сталина? Обидно, разумеется, но дело не в самолюбии, а в том, случаен ли или закономерен прорыв вражеского разведчика? Может, наша противовоздушная оборона вообще ничего не стоит? Какие меры принять, чтобы укрепить ее и постараться обезопасить столицу?

Эти вопросы впервые возникли тогда после начала войны. Неудачи на фронте были столь велики и опасны, что отодвинули на задний план все остальное, в том числе и противовоздушную оборону столицы. Хотя, безусловно, все мы, от Иосифа Виссарионовича, от командования наших ВВС и ПВО до меня грешного, для которого авиация была дальше всех других родов войск, знали, что представляет собой угроза с воздуха. Известна была нам доктрина итальянского военного теоретика генерала Дуэ, утверждавшего еще в двадцатых годах, что войну можно выиграть без участия сухопутных армий или с их минимальным участием за счет одних лишь уничтожающих налетов тяжелой бомбардировочной авиации на промышленные центры, города и транспортные узлы неприятеля. Скажу даже, что одно время, в начале тридцатых годов, доктрина Дуэ оказывала заметное влияние на Сталина: именно тогда он обратил особое внимание на состояние нашей авиации, на ее развитие — в чем мы и добились успеха.

Делали мы, разумеется, свои выводы из военных событий в Западной Европе, которые не прекращались с тех дней, когда прозвучали первые выстрелы в Испании. Изучали структуру, состояние, стратегию и тактику немецких военно-воздушных сил. Более того, по указанию Гитлера, германцы передали нам несколько боевых машин различных типов: «Мессершмитты-109 и -110», «Хейнкель-111», бомбардировщик «Юнкерс-88». Подчеркнули свое доверие, расположение к нам, сделали жест, ничем, по существу, не рискуя. Мы не могли их копировать. Во всяком случае, хорошо уже то, что наши авиаторы, наши испытатели летали почти на всех немецких машинах, знали их боевые качества, их особенности. Надежная это была техника, ничего не скажешь. Но ведь и наша не уступает немецкой. И это не голословное утверждение.

Еще в тридцать седьмом году у нас был испытан тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Петляков-8» (забытая страница нашей истории). Машина была прекрасная. По грузоподъемности, по скорости, по вооружению она превосходила все самолеты такого типа, даже позднейшие американские «летающие крепости», получившие широкую известность в годы второй мировой войны. И раньше всех создали мы эту машину, и была она лучше других, но в серию не пошла. И не потому, что производственных мощностей не хватало. Опять же по глупости тех людей, которые живут одним днем, не умея заглянуть в будущее. Есть доктрина: мы будем бить врага на его собственной территории — малой кровью, могучим ударом. Раз так — для чего нам нужны дорогостоящие мощные бомбардировщики, в Америку, что ли, летать?! Даешь побольше легкой фронтовой авиации! Тут, кстати, и экономия средств для народного хозяйства. Одному из ведущих авиационных заводов предложено было выпускать… детские велосипеды. Это все равно как к космическому кораблю цеплять телегу.

Конструкторская мысль у нас не стояла на месте. Наоборот, тридцатые и сороковые годы — это расцвет технических идей, воплощающихся в практику, несмотря на ограниченные возможности. Говорю только об авиации. К началу войны мы имели замечательные боевые самолеты «МиГ-3», «ЛаГГ-3», «Як-1», не уступавшие, а по некоторым показателям даже превосходившие немецкие машины таких же типов. Другое дело, что этих самолетов было еще очень мало, их производство только налаживалось. Так что Гитлер, действительно, и с этой точки зрения выбрал самое удобное для себя время развязать войну.

Наше руководство, и Сталин в первую очередь, прекрасно понимали, что немцы в случае войны обязательно будут бомбить наши стратегические объекты, в том числе и Москву, хотя по тогдашним понятиям она находилась весьма далеко от германских аэродромов. Мы принимали меры по защите воздушных подступов к столице. Москву прикрывали части 1-го корпуса ПВО, состоящего из отдельных зенитно-артиллерийских полков, подразделений прожектористов, слухачей, наблюдателей и связистов. В общей сложности путь воздушному противнику преграждали 550 зенитных орудий среднего и 28 орудий малого калибра, ровно 100 установок счетверенных пулеметов, 580 постов ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения, связи), 318 прожекторных станций и 68 постов аэростатов воздушного заграждения. Силы вроде бы и немалые, но и пространство большое.

Значительные надежды возлагались на истребительные авиационные полки, дислоцированные в Подмосковье. Они имели 387 самолетов. Буквально за сутки до начала войны эти полки были сведены в особый 6-й истребительный авиакорпус, командовать которым был назначен полковник И. Д. Климов: при единственной нашей встрече он показался мне человеком энергичным, исполнительным, но не способным выдумать пороха. Что же, надежные исполнители тоже очень нужны.

И вот теперь, после прорыва вражеского разведчика, возникли вполне закономерные сомнения: а надежна ли система противовоздушной обороны столицы? Прежде чем принять решение, Сталину требовались данные. Как можно больше и из различных источников. Чтобы учесть все и не ошибиться. Напомню, что я был отправлен в зенитно-артиллерийский полк майора Кикнадзе. А поскольку этот полк занимал примечательное

место не только в Московской зоне ПВО, но и во всей Красной Армии, то и рассказать о нем следует подробней, начиная издалека.

Через несколько дней после победы Октябрьской революции на Путиловском заводе было срочно завершено оборудование нового бронепоезда, предназначенного не только для борьбы с сухопутными войсками, но и с авиацией противника. На площадках — восемь орудий. Стволы четырнадцати пулеметов выглядывали из амбразур. И название громкое: «Стальной противосамолетный бронепоезд», или «Стальной дивизион». Основой команды бронепоезда стали путиловцы. В состав этого дивизиона входила и 2-я батарея, которая вскоре отделилась от этой воинской части.

Бронепоезд принимал участие в боях с полками генерала Краснова под Гатчиной, отличился под Псковом, где преградил путь кайзеровским войскам, двигавшимся на Петроград. А в начале ноября 1918 года 2-я железнодорожная противосамолетная батарея была отправлена на бронированных платформах на Северный фронт, и с этого дня началось ее самостоятельное существование. Отвоевавши на нескольких фронтах, летом 1920 года 2-я батарея прибыла в Баку. Это был период, когда началось освобождение Закавказья от националистов и интервентов. В феврале 1921 года в Грузии разгорелось восстание против национал-меньшевистского правительства и его английских покровителей. Сталин тогда очень внимательно следил за развитием событий. На помощь грузинам пришла Красная Армия. 2-я противосамолетная батарея была среди тех воинских подразделений, которые первыми вступили в Тбилиси. А затем и в Батуми. На необыкновенное воинское подразделение Иосиф Виссарионович просто не мог не обратить внимания. Путиловцы среди освободителей Грузии! Это ли не образец пролетарского интернационализма?!

По указанию Сталина 2-я батарея была привлечена к подавлению контрреволюционного мятежа, вспыхнувшего в Западной Грузии. А для этой операции использовались лишь самые надежные подразделения, в которых, кстати, было много кавказцев.

В 1925 году противосамолетная батарея была вновь передислоцирована в Баку для охраны нефтяных промыслов. Еще через шесть лет она была переформирована в 193-й зенитно-артиллерийский полк. Время от времени Иосиф Виссарионович интересовался судьбой этой воинской части, и естественно, что туда направляли служить хороших командиров, отличных выпускников военных училищ.

Вспомнил Сталин о зенитчиках и летом 1939 года, когда в его кабинете зашла речь об усилении Московской зоны ПВО, о формировании новых частей. Время было тревожное. В Монголии наши войска сражались с японцами. Из Западной Европы столь густо тянуло гарью и дымом, что впору было закрыть все окна и форточки. И уж во всяком случае позаботиться о защите нашей столицы.

Иосиф Виссарионович был в спокойном, хорошем состоянии. Прохаживаясь вдоль длинного стола, сказал: «Зачем нам новички под Москвой, на ответственных позициях? Разве у нас нет закаленных частей с боевыми традициями, с революционными традициями? Недавно товарищ Лукашов рассказывал мне о боевых стрельбах 193-го полка. Все батареи поразили цель. Стопроцентный успех. Почему нам не взять такой хороший полк под Москву, а вместо него сформировать для защиты бакинских нефтепромыслов два или даже три новых полка? Пусть учатся».

«Одна батарея полка находится сейчас на Халхин-Голе и показала там высокое боевое мастерство, — подкрепил я слова Сталина. — Она сбила несколько японских самолетов, точно вела огонь по наземным целям, в том числе и по танкам». «Вот видите, товарищи, — развел руками Иосиф Виссарионович, обращаясь к присутствовавшим. — Мы должны ценить таких замечательных воинов».

Слова Сталина, конечно, оказались решающими. Без промедления был подписан приказ о передислокации 193-го зенитно-артиллерийского полка в Подмосковье. А следил и отвечал за это не кто-нибудь, а сам Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Вместе с ним я побывал в летних лагерях, где временно разместились прибывшие зенитчики. Полк действительно производил очень хорошее впечатление. На новом месте отлично выполнил проверочные стрельбы. Только техника была устаревшая, особенно автомашины. Об этом же докладывал и командир полка Михаил Геронтьевич Кикнадзе — я тогда впервые познакомился с ним. Впечатление? Артиллерист умелый, образованный, с быстрой реакцией. Командир требовательный, добросовестный, но горяч, вспыльчив, самолюбив. Инициативен, ответственности не боится. В общем, на месте был человек. И у Семена Михайловича сложилось примерно такое же мнение.

Повышенное внимание Буденного к полку не ослабевало. Дня через два после нашей поездки он позвонил мне: «Есть предложение выдвинуть 193-й полк в юго-западный сектор Московской зоны, прикрыть особое направление». Поняв обходный маневр маршала, я ответил довольно расплывчато: «Семен Михайлович, уровень подготовки полка вам известен». Тогда он рубанул напрямую: «Полк надежный. Но надо ли докладывать товарищу Сталину?» — «Думаю, нет, у него достаточно других забот. Хотя со временем он, конечно, узнает». — «Желательно, чтобы от вас», — польстил мне Семен Михайлович. «Наши взгляды на этот полк совпадают, — успокоил его я. — Но обязательно должен знать товарищ Берия». «С ним уже согласовано», — ответил довольным тоном Семен Михайлович… Осторожным он стал. Обезопасил себя со всех сторон.

Суть вот в чем. Сектор, отводившийся 193-му полку, считался наиболее ответственным в кольце зенитной артиллерии, которое опоясывало столицу. Здесь протекала Москва-река, пролегали железные и шоссейные дороги, бегущие с запада к столице. А реки и дороги, напоминаю, служили ориентирами для летчиков. Но была и еще одна причина, о которой не говорилось вслух, но перед которой меркло остальное. Сектор прикрывал не только подступы к столице, но и тот район, где находились дачи наших верховных правителей, где постоянно жили их родные и близкие. Возле Успенского — большая дача Молотова, затем Дальняя дача Сталина, о которой упоминалось много раз. Потом, за Медвенкой, кирпичный замок Микояна на «малом Кавказе». Ближе к реке — роскошные апартаменты Берии. Всего не перечислишь. Да и я обретался там же: в сосновом бору чуть ближе к Москве. А своя рубаха всегда ближе к телу.

Естественно, что этот район находился под строгим контролем госбезопасности. Личный состав воинских формирований, размещавшихся поблизости, проверяли с особой тщательностью. А тут — целый полк, и не только поблизости, а прямо в особом районе. И не винтовки на вооружении, а дальнобойные пушки. Действительно, задумаешься, прежде чем принять решение.

Логика Семена Михайловича и Лаврентия Павловича была мне совершенно ясна. Полк переброшен к Москве по указанию Сталина, пользуется его особым вниманием, нельзя же задвинуть зенитчиков куда-нибудь на задворки. А с другой стороны, Сталин же и несет какую-то долю ответственности за эту воинскую часть. Конечно, об этом никто не заикнется, но факт есть факт. К тому же Иосифу Виссарионовичу приятно, что полком командует земляк — грузин, что там есть и другие кавказцы. В случае, если Сталин пожелает посмотреть полк, майор Кикнадзе не стушуется, сумеет показать достижения. Может и вспылить, проявить характер — это иногда тоже нравится Иосифу Виссарионовичу.

Все же я недооценил тогда предусмотрительности двух «мудрецов». Прежде чем закрепить за 193-м полком ответственный сектор, Буденный и Берия сочли нужным сделать один предварительный проверочный ход, пропустить зенитчиков через Красную площадь на предстоящем параде в честь 22-й годовщины Октябрьской революции. Посмотреть, какова будет реакция Сталина, и тогда уж сделать последние выводы. Додумались до этого «мудрецы» в конце сентября или даже в начале октября, когда до парада оставалось совсем мало времени. А ведь надо же сформировать, натренировать расчеты, тем более что полк еще никогда не участвовал в столь ответственном мероприятии.

Дважды выезжал я тогда к майору Кикнадзе, наблюдая за подготовкой подразделений, дал несколько советов. Орудия заменять не стали, только покрасили. А вот автомашины пришлось заменить полностью, старые могли подвести. А к новым водители должны были привыкнуть, обкатать их. Работы хватало, но зенитчики трудились, как говорится, с большим подъемом, и майор Кикнадзе показал себя хорошим, дотошным организатором. Измотался так, что ввалились щеки, лихорадочно блестели глаза. Я посоветовал, повелел ему на правах старшего отдохнуть двое суток. Спать, есть и снова спать, ни о чем не думая. Это, наверно, был один из самых правильных советов, которые мне когда-либо приходилось давать. И зерно упало в благоприятную почву.

Командовал парадом Семен Михайлович Буденный, принимал — нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов.

И какой это был парад, свидетельствовавший о преемственности наших вековых военных традиций, о возросшей оборонной мощи! Конечно, злопыхатели, которые втихаря радовались нашим неудачам, чужеродные элементы, антипатриоты не поймут меня, но я уверен: даже те русские люди, которые сражались в гражданскую на стороне белых за единую и неделимую нашу империю — даже они восторгались бы вместе со мной, видя этот парад обновленной могучей армии. Конница прошла по Красной площади на рысях, голова к голове, — а где и когда, кроме как у нас, способны были на такое кавалеристы, это же высший класс! И конная артиллерия достойнейшим образом соблюла все традиции, столь дорогие русскому офицерству и непонятные, безразличные для чужаков. Первая батарея — на рыжих, и тоже рысью, конечно. Вторая батарея — на вороных. Третья — на гнедых. А кони-то, кони какие! А посадка у всадников уверенная, горделивая!

Затем — военная техника, которой на том параде было особенно много. Грозной лавиной прокатилась она по Красной площади, производя внушительное впечатление. Отлично выглядели и зенитчики. Автомашины с орудиями на прицепе шли по шесть в ряд, строго выдерживая равнение. В кузовах застыли боевые расчеты. А из репродукторов гремел голос

диктора: «Движутся автомашины с зенитными пушками на буксире. На марше часть, начало которой положил артиллерийский дивизион, созданный в 1917 году путиловскими рабочими…» Не думал я тогда, глядя на зенитчиков с трибуны, гордясь и волнуясь за них, что много раз услышу еще такие слова, что будет этот полк гвардейским и что уже на склоне лет увижу по телевизору, как выйдет на Красную площадь гвардейская зенитная ракетная часть, родившаяся в далеком семнадцатом…

Ну а тогда, в 1939 году, личному составу полка была объявлена благодарность. Сталину понравился полк, он запомнил фамилию командира. И судьба зенитчиков была решена: 193-й полк занял самый ответственный сектор в Московской зоне обороны. А это не только высокая честь, но и очень большая ответственность, бесконечная трепка нервов: постоянные проверки, комиссии, показательные учения — начальство рядом. Хорошо хоть, что Михаил Геронтьевич Кикнадзе был из тех общительных, энергичных, любивших показать себя людей, которым излишнее внимание не в тягость, а только горячит кровь.

И вот теперь, июльским днем, я снова ехал к Кикнадзе на его командный пункт. Майор обосновался на холме, с которого хорошо просматривалась долина реки. У гостеприимного грузина нашлась бутылка хорошего коньяка. Немного подкрепившись, мы прошли на позицию ближайшего огневого взвода. Я не мог не обратить внимания на инженерное оборудование командного пункта и боевых позиций. Чувствовалась умелая, хозяйская рука. Орудийные ровики углублены до уровня стволов. У приборов на поверхности только визиры. Все землянки выложены изнутри кирпичом, в них уютно и сухо. Кирпичом же выложены и ходы сообщения. Оказывается, со старых, заброшенных построек кирпич. Некоторые сооружения имели железобетонные перекрытия, способные защитить не только от осколков, но и от прямого попадания мелких и даже средних бомб.

Все это было прекрасно, только вот настроение Кикнадзе оставляло желать лучшего. Он был очень расстроен прорывом гитлеровского воздушного разведчика. Я, как мог, успокоил его, и деловой разговор состоялся.

Майор считал, что в полку еще не изжито благодушие мирного времени, что личный состав не настроился психологически на войну, она вроде бы идет где-то и нас не касается. Бойцы стараются нести службу, но нет у них еще острой фронтовой напряженности. Я сказал, что ее и не будет до первого боевого столкновения с противником, до первых жертв. Тогда появятся и опыт, и злость, и уверенность. Кикнадзе согласился со мной. Это, мол, забота командиров и политработников полка, но есть и другие причины, которые зависят не от зенитчиков, а от высокого, может быть, самого высокого командования.

Внимательно слушая майора, я отсеивал второстепенные подробности, стараясь выделить главное. Ведь Сталин занят сейчас тысячью дел, ум его перегружен. И моя задача, выделив главное, четко сформулировать предложения, имея для каждого твердое обоснование. Кикнадзе сетовал на то, что противовоздушная оборона не является плотной. До войны считалось, что достаточно перекрыть лишь основные направления, железные дороги, шоссе, реки, над которыми пойдут самолеты противника. Эти направления действительно перекрыты. Но вот немецкий разведчик прокрался среди дня над обширными лесными массивами, где нет ни наших наблюдателей, ни батарей. И таких «дыр» много, а прикрыть

их нечем, в 193-м полку, например, никаких резервов. И в соседних полках тоже. Если нет возможности быстро развернуть новые зенитно-артиллерийские полки, то надо срочно пополнить батареями, людьми и техникой уже стоящие на позициях части.

Я прикидывал мысленно: в артиллерийских полках, в арсеналах Московской зоны ПВО и Московского военного округа имеется значительное количество зенитных орудий, как старых, так и новых образцов. Вполне возможно быстро сформировать несколько десятков батарей. Но нужны люди. Специальностью зенитчика овладеешь не сразу, а время не ждет. Надо взять работников арсеналов, артпарков, складов и тех заводских рабочих, которые знакомы с артиллерийскими системами. Это — костяк. Новые батареи — сразу в полки. Там их по возможности пополнить людьми из других батарей, местными добровольцами (от добровольцев тогда отбоя не было). Впрочем, это уже детали. Главное — влить в 193-й полк и в другие полки хотя бы по две-три батареи, а уж командиры сами разберутся, как подготовить и использовать их.

Второе, на что сетовал Михаил Геронтьевич, — ненадежная связь. Для гибкого, быстрого управления надо иметь постоянную связь с батареями, с соседними полками, с командованием, с постами ВНОС, со своими наблюдательными постами, один из которых вынесен аж под Можайск. Штатных средств не хватало. Можно каким-то образом использовать гражданские постоянные линии связи, но для этого требуется решение «наверху», требуются соответствующие специалисты. Я заверил Кикнадзе, что доложу об этом как раз там, где могут решить проблему.

От зенитчиков — к авиаторам, в 6-й истребительный корпус, который, как я упоминал, был создан на базе отдельных авиаполков перед самой войной. Там уже находились присланные Сталиным представители, а точнее сказать, советники Ставки. Я в свою очередь представился командиру корпуса полковнику Климову и присоединился к другим товарищам, уже начавшим работу. Они вели разговоры, а я только прислушивался да приглядывался. Прямо скажу, к этим новоявленным советникам отношение у меня было скептическое. Ко всему прочему, задето было мое самолюбие, а я ведь тоже человек, не лишенный эмоций.

С самого начала военных действий стремительно нараставшие события заставили Сталина искать новые способы руководства. Для влияния на ход событий, хотя бы для получения достоверных сведений об этих событиях, об обстановке на том или ином участке фронта он срочно посылал туда своих личных представителей. И Жукова, и Шапошникова, и Кулика, и даже меня — для сбора точной информации. В начале это делалось спонтанно, случайно, а со временем сей метод руководства получил четкую форму: официальные представители Ставки Верховного Главнокомандования в течение всей войны выезжали на самые ответственные участки фронта.

А вот у другого начинания была иная судьба. В первую же военную неделю при только что образованной тогда Ставке Главного Командования была создана группа советников по различным вопросам, в которую вошли военнослужащие разных званий и положений, от майора до генерала, но обязательно специалисты в своем деле. Для чего такая группа понадобилась Сталину? Вспомнил, вероятно, как советовался с генералом Снесаревым и со мной в годы гражданской войны, делая свои первые шаги на новой для него стезе. А теперь вот и война обширней, и руководство сложней, и техника разнообразней — значит, и советников

надо побольше. Я даже обиделся. Конечно, минуло время, когда я мог дать ответ на многие вопросы военной обстановки, все расширилось, усложнилось невероятно. Но ведь у нас-то с Иосифом Виссарионовичем были особые, абсолютно доверительные отношения, а другие специалисты как были, так и остались просто должностными лицами, какой ярлык к ним ни приклеивай. Спасибо хоть, что меня не зачислили официально в «группу советников», оставив при прежнем свободном статусе. Наверно, Сталин даже и не думал обо всем этом, о моем самолюбии — не до того ему было. Но я-то думал.

Эмоции со счета не сбросишь, но я все же старался быть объективным и хочу сказать: среди новоявленных советников были люди весьма достойные, приносившие заметную пользу. Назову хотя бы одну фамилию: в ту пору подполковника Генерального штаба Грызлова. Он, Анатолий Алексеевич, в первые дни войны находился в Идрице, где с весны формировался под руководством генерала Д. Д. Лелюшенко 21-й механизированный корпус. Гроза грянула, а корпус не имел еще половины техники, совсем не было артиллерии. А как без нее против танков?! Вот парадокс: пушки в Идрице есть, сто единиц, на два артиллерийских полка, но взять их нельзя, они числятся в резерве Главного Командования. Надо было обращаться в Москву, добиваться. Время требовалось. А Грызлов распорядился — берите немедленно. Лелюшенко не мог решить этот вопрос, другие генералы не могли, а представитель Генштаба взял на себя ответственность. Девяносто пять орудий были переданы мехкорпусу и очень помогли ему в завязавшихся боях, особенно в борьбе с танками. Что бы делал Лелюшенко без этих орудий?!

Да, удачный случай. Молодец Грызлов. И все же, посчитав, что «группа советников» долго не просуществует, я не ошибся. Сталин не любил общаться с новыми людьми. Кроме того, советник по долгу службы был обречен говорить Сталину только правду, а в первое военное лето она была очень горькой. Далеко не каждый отважился излагать истину под жестким взглядом Сталина, не считаясь с его настроением. Так их можно пересчитать на пальцах. Шапошников, Жуков, Кузнецов, Ватутин, Василевский… Даже Буденный и Ворошилов предпочитали отмалчиваться либо смягчать свои доклады. В общем, «группа советников» постепенно растаяла, растворилась и больше не возобновлялась. Но тогда, в июле, она действовала, присматриваясь к советникам, я убедился, что они хорошие специалисты, объективные люди, стремящиеся осмыслить реальное положение, выработать рекомендации. Мне оставалось только помалкивать да делать свои выводы.

Почему наши истребители не сумели среди бела дня догнать и уничтожить вражеский самолет? Прежде всего, подвела плохая связь, о самолете сообщили с большим опозданием, когда он значительно удалился от наших аэродромов (значит, у летчиков, как и у зенитчиков, связь — узкое место, подчеркнул я для себя. Надо обязательно выяснить возможность использования гражданских линий). Далее. Полки 6-го авиакорпуса имели на вооружении в основном истребители «И-16». Эти монопланы еще недавно считались хорошими скоростными самолетами. В небе Испании фашистские летчики шарахались от них, опасаясь вступать в единоборство. Но прошло немного времени, и бои на Халхин-Голе показали, что японские истребители действуют против наших на равных. А спустя еще два года, к началу войны с Германией, мы уже значительно уступали немецкой технике. Новых машин, которые превосходили

гитлеровские самолеты, промышленность выпускала еще мало. Новые машины шли на укомплектование авиационных полков первой линии и, как мы знаем, погибли. А теперь немцы уже в Минске и даже ближе, реальная угроза воздушного нападения нависла над нашей столицей.

Опыт подсказывал, что атаковать вражеская авиация будет не только в светлое время суток, но скорее всего ночью. Немецкие летчики привычны к ночным действиям. А большинство летчиков 6-го авиакорпуса, в основном молодежь, действовать в темноте не обучены. Лишь в 11-м истребительном полку практиковались ночные полеты. Да и машины были лучше, чем в других частях; успели освоить «яки».

Как же быть в такой ситуации? Я впервые обратился с вопросом к полковнику Климову:

— Есть в корпусе летчики с боевым опытом, воевавшие в Монголии или Финляндии?

— Да. Но немного.

— Хватит на две эскадрильи?

— Но тогда в полках останутся лишь новички, — настороженно ответил Климов. Понятна была его тревога, однако меня беспокоило общее положение дел в Московской зоне. Может, сегодня, может, через неделю или две, лучше позже, чем раньше, фашисты бросят на нашу столицу авиацию. Десятки, а то и сотни вражеских бомбардировщиков устремятся к Москве, и скорее всего ночью. Зенитная артиллерия нанесет им какой-то урон, частично рассеет их, а как с теми, которые прорвутся через заслон зенитного огня? Справятся ли с ними наши виртуозы, единицами поднявшиеся с разных аэродромов?! На это трудно рассчитывать.

У меня зрело такое предложение. Собрать всех опытных летчиков, в том числе инструкторов, летчиков-испытателей в три эскадрильи, посадить на наши отличные машины и дислоцировать на самых опасных направлениях. Это необходимо не только для того, чтобы спасти столицу от бомбовых ударов, но и для психологического давления на немецких пилотов. Они с первого же налета должны понять — легкой прогулки не будет ни днем ни ночью. Будет кровавый бой, будет схватка с летчиками, ни в чем не уступающими им. Чтобы с опаской, со страхом летел немец к Москве, думая не о том, как прицельно положить бомбы на объект, а о том, удастся ли вернуться живым…

Поделившись своими соображениями с полковником Климовым, я поторопился в Москву. Была уже ночь. Составив короткую записку с выводами и предложениями, пошел к Иосифу Виссарионовичу на доклад. Он принял меня в комнате за кабинетом. Мой почерк и стиль были ему хорошо знакомы, он сразу уловил суть, задал несколько уточняющих вопросов. По ним я понял, что он уже знаком с обстановкой. Знал даже количество орудий, которые можно сегодня дать подмосковным зенитчикам. Спросил его:

— Больше я вам не нужен?

— Устали? Домой?

— Да. Наездился.

— А я не устал? — вырвалось у него. — А мы с товарищем Поскребышевым из железа?! Он за столом уснул…

Внимательно посмотрел на Иосифа Виссарионовича. Лицо его было серым, под глазами набрякли мешки. Опущены плечи, шея казалась длиннее. Он ведь старше меня, а ему не у кого взять разрешение на отдых…

— Подумал, что никакой пользы, — извиняющимся тоном начал я, но он прервал мягко.
— Ничего, извините… Не сдержался. Трудно одному, Николай Алексеевич. Не успеваю охватить, сосредоточиться, вникнуть… Отдохните, пожалуйста, здесь. Сейчас будем обсуждать, как укрепить воздушную оборону Москвы. Могут возникнуть вопросы.
Выпив стакан чая, Сталин ушел в кабинет. Дважды в ту ночь он обращался ко мне за какими-то уточнениями. Вероятно, не очень существенными, иначе я запомнил бы. Думаю, он вполне мог обойтись без меня, но, работая на пределе, чувствовал себя, наверно, увереннее и спокойнее, зная, что я рядом, за дверью.
Многими разными делами занимался в те сутки Сталин. Я же был участником лишь одного события. 9 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «О противовоздушной обороне Москвы», в котором была намечена широкая, конкретная программа увеличения оборонительных сил и средств. Эта программа начала выполняться немедленно. Я был доволен тем, что в ней были учтены все мои предложения. За короткий срок в 1-м корпусе ПВО количество зенитных орудий среднего калибра возросло до 800, малого калибра — до 250, появилось большое количество новых постов ВНОС. Численность самолетов в 6-м истребительном авиакорпусе достигла 585, причем на пополнение пришли боевые машины нового образца. Теперь мы более спокойно могли смотреть в наше московское небо.

10

Сталин предложил: при первой же попытке немцев нанести бомбовый удар по нашей столице члены Государственного Комитета Обороны посетят командный пункт Московской зоны противовоздушной обороны, чтобы на месте познакомиться с его деятельностью, возможностями и потребностями. Был и другой аспект. Никто не мог представить, какой силы будет удар, какие вызовет жертвы и разрушения. Не применят ли гитлеровцы отравляющие вещества? При всех условиях командный пункт ПВО был самым надежным убежищем. Оборудованный на глубине 50 метров под одним из домов в центре города, он имел автономное жизнеобеспечение, свой источник энергии, фильтры для очистки воздуха, запасы воды, продовольствия. И, что очень важно, надежные линии связи.
Своевременно оповестить Сталина и других членов ГКО поручено было мне. На командном пункте ПВО постоянно дежурили люди, которые точно знали, когда и где нахожусь я или мой дублер из группы советников. Однако день проходил за днем, ночь за ночью, я успел по заданию Сталина еще раз съездить на фронт, а немецкая авиация не появлялась. Это было тем более странно, что отдельные гитлеровские самолеты проникали значительно восточное Москвы: была, например, отмечена бомбежка воинского эшелона, следовавшего из Горького. Напряжение в ПВО ослабевало, я слышал разговоры о том, что немцы, дескать, не решаются бросить авиацию на Москву, опасаясь потерь, что у них не хватает сил, растянутых по фронту. Будучи не согласен с таким мнением, я всюду, где мог, повторял: нельзя терять бдительность ни на минуту, немцы — фокусники, они обязательно придумают какую-нибудь пакость. Хватит с нас одного внезапного нападения.

Спустя время из опроса пленных летчиков, из других каналов мы узнали, что гитлеровское командование готовило воздушный удар по Москве неторопливо и тщательно, придавая этому акту не только военное, но и большое политическое значение. Весь мир должен был узнать о том, как германские военно-воздушные силы стирают с лица земли древнюю русскую столицу. Узнать и устрашиться. На Москву нацелены были бомбардировочные эскадры 2-го воздушного флота, укомплектованные новейшими машинами — «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88», опытными летчиками, бомбившими многие города Европы. Не только асы из авиационных эскадр «Вевер» и «Легион Кондор» были там, но и эскадра особого назначения «Риф» — все они прославились в небе Испании, Польши, Греции, Франции, Югославии, Англии. Немцы рассчитывали с первого раза подавить нас количеством и мастерством. А нанести этот удар было приказано ровно через месяц после начала войны.

Вечером 21 июля я находился в комнате связи по соседству с кабинетом Сталина. По телеграфу начали поступать первые вечерние сводки с фронтов. Сидя за маленьким столиком у окна, я занимался этими сообщениями, делая пометки на своей карте и короткие записи в блокноте. Солнце уже склонилось до уровня крыш, но было еще достаточно светло, электричество не зажигали. Это ведь не просто, как в мирное время, включил лампочки и продолжай работать. Надо для светомаскировки наглухо закрыть, зашторить окна, отрезать себя от мира, остаться без свежего воздуха, без вечерней зари, без звезд…

Меня позвали к телефону. Спецдежурный командного пункта противовоздушной обороны сообщил ровным, казенно-спокойным голосом, в котором все же угадывалось напряжение:

— В двадцать один ноль-ноль над Смоленском прошли немецкие бомбардировщики. Курс на Москву.

Я бросил взгляд на часы: двадцать один час две минуты — отлично сработало оповещение.

— Сколько?

— Первая волна примерно шестьдесят машин. На подходе вторая. Высота первой волны четыре тысячи метров, второй — пять тысяч.

Черт с ней, с высотой!

— Когда они будут над Москвой?

— В зону зенитного огня одиночные самолеты-разведчики войдут через час двадцать пять минут.

— Значит, над Москвой не раньше, чем через полтора часа?

— Так точно. Сообщение принято?

Я подтвердил.

При сигнале «Воздух» все другие заботы отходят на второй план. Быстро — в приемную Сталина. Сказал об опасности Поскребышеву, у того растерянно забегали глаза.

— Сообщите сами?

— Да. Оповещайте членов ГКО.

Сталин был занят какими-то бумагами и не сразу, а медленно, заторможенно воспринял, осмыслил мои слова. Поморщился — оторвали его от размышлений.

— Не будем торопиться, — произнес он. — Мне еще надо поработать. Пусть члены Политбюро… Члены ГКО, — поправился Сталин, — пусть они соберутся здесь через час.

— Через сорок минут, — уточнил я.

— Хорошо, Николай Алексеевич, — только теперь я уловил его тревогу. — Мы успеем?

— Вполне.

— Вчера фашисты впервые пытались бомбить Ленинград. Сегодня — нас. Это что-то новое, над чем следует подумать.

— Новое, — сказал я. — Немцы, вероятно, считают, что приграничные сражения закончены. И это действительно так. Начинается следующий этап. Фашисты нацеливают свои силы на три главных объекта, на три наших столицы: на Москву, на Киев, на Ленинград. Аэродромы передвинулись ближе — это существенное условие.

— Спасибо, Николай Алексеевич, ви-и помогли нам понять эту грань, будем учитывать эти обстоятельства.

В исторической, в мемуарной литературе мне встречались после войны примерно такие фразы: «На командный пункт ПВО прибыли члены ГКО. Командующий Московской зоной ПВО генерал М. С. Громадин и командир 1-го корпуса ПВО генерал Д. А. Журавлев доложили воздушную обстановку…» Попробую хоть чуть-чуть раскрыть то, что стоит за сухими строчками.

Среди членов ГКО не оказалось тогда начальника Генштаба Г. К. Жукова, — вероятно, он находился на фронте. Некоторые другие члены, впервые очутившиеся в оборудованном подземелье, были явно ошеломлены увиденным, обилием новой, незнакомой им техники. Особенно привлекал внимание большой светоплан, на котором отражалась воздушная обстановка (не только строй вражеских самолетов, но даже их типы). Почти непрерывно звучал репродуктор — докладывала разведка из разных точек Подмосковья. Я уже писал о том, насколько велики были наши достижения в радиотехнике. Это уж после войны, восстанавливая разрушенную страну, мы, жестоко пострадавшие, отстали от других государств, почти ничего не потерявших во время мирового пожара или, наоборот, разжиревших на чужих бедах. А в сорок первом году, напомню, у нас были хорошие радиолокационные станции, каких не имела ни одна другая держава. Эти станции предупредили ленинградскую ПВО о первом налете гитлеровской авиации. Такая же станция располагалась и в секторе 193-го зенитно-артиллерийского полка майора Кикнадзе.

Иосиф Виссарионович, как и я, был хорошо знаком с новой техникой, она не удивляла его. Нас (сужу в основном по себе) обуревали иные чувства. Мы в безопасности. А как же те люди, которые остались на поверхности, в домах — миллионы москвичей? Тысячи авиабомб обрушатся на них, не исключено, что немцы применят химическое оружие. Что мы увидим утром? Руины и трупы?

Надо понять, со временем все выяснится: и результативность авианалетов, и возможности нашей противовоздушной обороны, но тогда это было впервые, мы еще ничего не представляли себе. Нам было известно одно: над Смоленском, с интервалом в десять минут, прошли по меньшей мере четыре волны гитлеровских бомбардировщиков по 50–60 самолетов в каждой. Армада! А моя дочь была на даче, как раз на пути этой армады. И Светлана Сталина тоже. И опять огромная тревога за наших дочерей незримо, незаметно ни для кого, сближала, роднила нас. Мы без слов понимали друг друга. Я чувствовал, как волнуется, переживает, даже робеет Иосиф Виссарионович перед надвигавшейся угрозой, хотя внешне он был совершенно спокоен и даже приветлив. Я мысленно пытался ободрить его, вселить уверенность.

Очень хорошо держались хозяева командного пункта генералы Журавлев и Громадин. Не дрогнуть, остаться самим собой в присутствии самого высокого начальства — на это способен далеко не каждый. А генералы, вежливо и коротко отвечая на вопросы членов ГКО, продолжали делать свое дело. Сталин понял, что вопросы мешают генералам, посоветовал не отвлекать их.

Из репродуктора раздался голос командира авиакорпуса полковника Климова:

— Товарищ командующий! Атака началась. Во взаимодействии с прожектористами нами сбито два и подбито пять вражеских самолетов. Бомбардировщики подходят к зоне зенитного огня.

«Молодцы истребители! — подумал я. — Отличились наши летчики-ночники!»

— Командующему зенитной артиллерией! Предупредить части о приближении самолетов, — приказал Журавлев. Повернулся к Сталину: — Вводить в бой все средства?

— А как иначе?

— Придержать. Если враг засечет все наши огневые точки, он постарается подавить их, у нас не будет никаких сюрпризов для гитлеровцев. А сейчас — не последний налет.

Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу: «Конечно, вводить, конечно, использовать все имеющиеся средства!» Нынешний бой важен и политически, и психологически. Потом может быть всякое, важно не поддаться, не сломаться в самом начале. Перехватив взгляд Сталина, я чуть заметно кивнул, произнес беззвучно, одними губами:

«Вводить!»

— Не дайте противнику бомбить столицу, — произнес Иосиф Виссарионович, — а мы вам поможем всем, что потребуется. Противовоздушная оборона Москвы не будет испытывать с вооружением и боеприпасами затруднений.

Это развязывало руки Громадину и Журавлеву. Они распорядились: «Вести огонь всеми средствами!»

Конечно, находясь в глубоком благоустроенном подземелье, не слыша выстрелов и разрывов, не видя вспышек пламени, мы лишь в общих чертах могли воспринимать накал развернувшегося сражения. Сначала представление было довольно ясным: мы следим за событиями по светоплану, по картам. Первая волна бомбовозов — пятьдесят машин, — наткнувшись на стену заградительного огня, не рискнула войти в нее, самолеты начали разворачиваться вправо и влево, некоторые сбросили свой груз на позиции зенитчиков. Такая же участь ожидала и вторую волну. Однако следом подходила третья, и к этому времени в воздушном пространстве все настолько перемешалось, запуталось, что я, например, не в силах был разобраться. Часть бомбардировщиков первой и второй волны уходила назад. Однако большинство, разбившись на пары и тройки, пытались в разных местах проскочить зону зенитного огня, меняя направление, заходя значительно севернее или южнее Москвы-реки. Опытные летчики старались пробиться или пробраться к городу индивидуально, на разных высотах, пользуясь тем, что внимание наших зенитчиков приковано к третьей и четвертой волнам бомбовозов.

Это были самые напряженные минуты. Ну, прорыв одиночек, мелких групп — это ладно, от всех случайностей не оборонишься. Но если прорвется целая волна, каков будет урон! А вслед ей пойдут и другие

машины! Однако доклады с рубежа поступали хоть и взволнованные, но обнадеживающие. И только раз вырвался отчаянный крик: на каком-то командном пункте взывали по телефону, забыв выключить микрофон «большой» связи:

— Климов, Климов! Прорвались пять бомберов! Они над Раздорами, над Раздорами! Брось своих ребятишек, Климов! Христом-богом! По гроб жизни!..

В наступившей тишине прозвучал хрипловатый, проникновенный голос Иосифа Виссарионовича:

— Какие люди! Какие замечательные у нас люди!

Насколько я помню, это единственное, что громко произнес он за все время, пока продолжалось сражение. Ободряющие слова. Надо обладать разумом и тактом, чтобы в напряженный момент придержать свой язык, не давать дилетантских советов специалистам. Не мешать им. Сталин поступал именно так, в отличие от многих болтунов и демагогов, не умеющих своевременно промолчать. Ведь способность не мешать, не ломать, не перестраивать, не подминать под себя то одно, то другое — этот дар не менее важен, а, быть может, более важен, чем стремление всюду совать свой нос, желание переиначивать.

Результаты первого воздушного налета на нашу столицу общеизвестны. В нападении участвовало 210 фашистских бомбардировщиков и десятка полтора разведывательных самолетов. Что-то около двадцати машин было уничтожено. К Москве прорвались лишь единицы, серьезного ущерба они не причинили. Мировая сенсация не удалась. Но мы, конечно, понимали, что это лишь начало единоборства.

Когда стало ясно, что воздушное нападение гитлеровцев отбито, Иосиф Виссарионович попрощался за руку с генералами Журавлевым и Громадиным, со всеми, кто находился возле нас на командном пункте. Каждому сказал «спасибо». Обратился ко мне:

— Николай Алексеевич, подготовьте приказ с благодарностью воинам противовоздушной обороны Москвы. Пусть сегодня же представят к наградам отличившихся.

— Сейчас займусь этим.

Было раннее утро — привычное для Сталина время ложиться спать. Он пригласил меня в свою машину, спросил:

— Вы поедете сегодня на дачу?

— Да.

— Постарайтесь, пожалуйста, побывать у моих. Узнайте, как старики (он имел в виду отца и мать Надежды Аллилуевой, которые постоянно жили на Дальней даче). Спросите Светлану, не хочет ли она быть в Москве?

— На даче надежное укрытие.

— Посоветуйте ей непременно пользоваться этим укрытием. Даже спать там. Или пускай переедет в город.

— Обязательно поговорю с ней.

— И еще, Николай Алексеевич. Постарайтесь найти время, сегодня или завтра, побывайте у наших зенитчиков, передайте им большое спасибо. Людям будет приятно.

— Безусловно.

— Если поедете к майору Кикнадзе, возьмите с собой в подарок ящик коньяка. А какого коньяка — это вам лучше знать, — улыбнулся он.

— Неужели вам не сообщили марку?! — в тон Иосифу Виссарионовичу ответил-полуспросил я.

— Или ваши доброжелатели не разобрались в подробностях, или я не запомнил, — тихо рассмеялся Сталин. — А ящик все-таки захватите. Порадуйте Кикнадзе и зенитчиков.

11

Первый успех окрылил, укрепил уверенность воинов противовоздушной обороны, начиная от рядового бойца и до командования ПВО, ослабли колебания, сомнения. «Врезали мы гадам один раз — врежем и в другой!» — это я привожу слова сержанта, командира зенитного орудия. Но одна удача может быть и случайной. Многое решал второй налет.

22 июля испортилась погода, небо затянула плотная пелена туч. Днем несколько раз появлялись немецкие разведывательные самолеты, даже сбрасывали бомбы на позиции зенитчиков, держа воинов ПВО в напряжении, не давая им отдыхать. Измотать хотели. Но и наши командиры не лыком шиты. Боевые расчеты оставались возле одного орудия на каждой батарее, другие же спали или занимались необходимыми работами — доставкой боеприпасов, например. Подносили к орудиям четырехпудовые ящики со снарядами.

Мы с майором Кикнадзе побывали на нескольких батареях, благодарили зенитчиков за отличные действия минувшей ночью. На одной из батарей я увидел несколько воинов среднего возраста, лица которых показались знакомыми. Но где я их видел, когда? Михаил Геронтьевич Кикнадзе, заметив мое недоумение, объяснил, улыбаясь: это, дескать, артисты, известные всей стране. Оказывается, еще до войны над 193-м зенитно-артиллерийским полком шефствовала оперно-драматическая студия имени Станиславского. Артисты бывали у зенитчиков, выступали перед ними, руководили кружками художественной самодеятельности. В свою очередь, воины ездили в Москву на концерты. А после нападения гитлеровцев многие артисты выразили желание служить в «своем» полку. Актрисы Веселова и Давиденко стали санинструкторами. Режиссер Муромцев был назначен командиром взвода, режиссер Флягин — политруком. Непосредственно возле орудий действовали недавние артисты, а теперь рядовые и сержанты Лифанов, Куманин, Леонидов, Глебов, Беспалов… Управлялись, как заправские артиллеристы. Некоторые были уже командирами орудийных расчетов. Я разговаривал с двумя из них. Артисты-зенитчики были бодры, если на что и жаловались, так только на физическую усталость. Особенно тяжело было заряжающим. Надо поднять снаряд, загнать в патронник и произвести выстрел. И это — десятки раз подряд, быстро и без передышки.

В полк я приехал во второй половине дня, надеясь потом провести ночь на даче: там было близко, поэтому не торопился. Только собрался уезжать, как посты наблюдения сообщили — с запада идут самолеты. Майор Кикнадзе включил микрофон.

— Батареям — боевая тревога!

Было 22 часа 30 минут. Покидать теперь зенитчиков было неудобно, словно бы сбежал с места боя.

На этот раз бомбардировщики шли за пеленой облаков на высоте 6–7 тысяч метров. Их было очень много. И построение не такое, как вчера. Наши наблюдатели насчитали не меньше десяти волн, или, иначе говоря, эшелонов. Рассчитывали фашисты, что хотя бы нескольким группам

удастся прорыв. Причем атаковали не только с западного направления, но и севернее и южнее.

Бить по самолетам не было возможности — не видно. Майор Кикнадзе приказал вести огонь заградительный. Все батареи работали с максимальным напряжением. Стволы орудий накалились так, что на них чернела краска. В небе вспыхнули и вывалились из туч огненными кометами два бомбардировщика. Какая батарея их сбила — трудно было установить. И не в этом дело. Напоровшись на стену разрывов, первая волна повернула обратно. Вторая — тоже. И тогда гитлеровцы, остервенев, начали сбрасывать свой смертоносный груз на позиции зенитчиков. Десятки медленно опускавшихся горящих шаров — светящихся бомб — озарили всю окрестность холодным, мертвенным светом. «Юнкерсы» и «Дорнье», снижаясь, бомбили прицельно обнаруженные батареи или просто швыряли бомбы «по площади», надеясь уничтожить наши линии связи, склады, транспортные пути, наблюдательные посты. Пламя охватило постройки, деревья — все, что могло гореть. Грохот стоял такой, что я закрыл ладонями уши. Вздрагивала и качалась земля. Я впервые попал в такой ад! Казалось, никто не останется в нем живым. Но батареи работали, батареи держали стену заградительного огня, и, наткнувшись на нее, очередная волна бомбардировщиков рассыпалась, поворачивала назад. А непропущенный вражеский самолет — это уже успех!

Бой продолжался почти до рассвета. Когда умолкла стрельба, я вышел из командного пункта. Еще догорали пожары. Все вокруг было засыпано вывороченной землей. Черными кратерами зияли воронки. Полуоглохший, ощущая страшную усталость во всем теле, я простился с майором Кикнадзе, пожелав ему спокойного дня.

— Не дадут покоя, — ответил он. — Одиночные самолеты идут от Смоленска.

Мой шофер, любивший быструю езду, на этот раз вел машину осторожно, лавируя среди воронок. Проехали мимо батареи. Там, голые по пояс, закопченные и грязные, бойцы восстанавливали полуразрушенные позиции. Рядком, как в строю, лежали убитые. Я снял фуражку.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 23 июля фашисты бросили на Москву 350 бомбардировщиков. Страшно представить, какой урон причинили бы они нашей столице. Но на пути врага встали наши ночные истребители. Из всей армады к столице прорвались и сбросили бомбы только два фашистских самолета. Для москвичей ночь прошла почти спокойно. А сколько наших зенитчиков и летчиков погибло тогда на подступах к городу — этого я не знаю…

12

Поздно вечером 26 июля Иосиф Виссарионович позвонил мне на дачу, сказал, словно бы продолжая недавно прерванный разговор, — привык к тому, что я сразу понимаю его.

— Николай Алексеевич, каково ваше мнение по поводу немцев? И с политической, и с военной точки зрения?

Редкий случай: я не смог сразу представить ход его мыслей, не готов был к ответу. Другими заботами полна голова. Анализ противовоздушной обороны столицы, положение на западном направлении, подготовка к поездке на юг, на левое крыло огромного фронта. И личное. Война войной,

а жизнь жизнью: моя дочь проходила классическую ступень юности, время первых — трогательных и опасных в своей искренности и жертвенности — увлечений. Тех в общем-то случайных и обманчивых увлечений, поддавшись которым, люди терзаются или, по крайней мере, испытывают угрызения совести всю дальнейшую жизнь. Одна из многочисленных вариаций типа Ромео и Джульетты. Бесперспективное чувство, способное завести девочку лишь в трагический тупик. Я был как раз озабочен, чтобы дело не зашло слишком далеко, тем более что парень, по-своему неплохой, но совершенно не определившийся выпускник десятилетки, со дня на день должен был уехать в артиллерийское училище. Хотел даже пригласить к нам Светлану Сталину, она чуть постарше моей дочери, вроде бы построже характером, пусть поговорит с ней. И вдруг — неожиданный и не очень понятный вопрос Иосифа Виссарионовича. Сказал в ответ первое, что пришло на ум:

— Мое мнение о немцах? Ну, знаете… Кто с мечом придет…

— Дорогой Николай Алексеевич, это нам известно не хуже, чем вам. Членов Политбюро и меня лично интересуют в данном случае не германские фашисты, а наши советские немцы. Их компактные поселения в районе Одессы, а главное на Волге, в нашем стратегическом тылу, где их особенно много. Их отношение к войне? Фронт продвигается в глубь страны, это осложняет обстановку. Нам желательно знать ваше развернутое мнение о немецких поселенцах в России вообще, о поведении немецких колонистов в годы мировой войны, особенно в годы гражданской войны. С кем они были, против кого или против чего выступали? И разумеется, их нынешнее положение, перспективы. Территория немцев Поволжья как плацдарм для агрессоров? Отмечены случаи появления там фашистских парашютистов. Какова надежность советских немцев на фронте? По этому поводу имеется несколько мнений, хотелось бы знать ваше. — Помолчав, подышав в трубку, Сталин добавил не очень уверенно: — Есть предложение переселить немцев от фронта. В Сибирь. Возможно, это будет лучше для всех: и для государства, и для них самих.

— Ясно. Прошу двое суток на обдумывание, — ответил я.

— Не торопитесь. Национальные вопросы всегда особенно трудны. Важно смотреть вперед и не ошибиться… Мы с товарищем Кагановичем ждем ваших предложений до августа. Надо взвесить все.

— Каганович? — насторожился я. — Но при чем тут он?

— Товарищ Каганович отвечает у нас за эвакуацию населения и промышленности в глубинные районы страны.

— Но возможное переселение немцев — это, скорее, по линии Берии!

— И товарища Кагановича тоже. Он будет непосредственно заниматься этим в Политбюро.

— Нельзя же пускать волка в овечье стадо!

— Странная аллегория, Николай Алексеевич.

— Ничего странного! Он ненавидит немцев… И с его твердостью и шумливостью…

— Мы все теперь ненавидим немецких фашистов, весь народ должен ненавидеть немецких фашистов, иначе мы не добьемся успеха в этой войне.

— Фашистов, Иосиф Виссарионович, а не немцев!

— Ви-и считаете, что это различие правомерно, когда на карту поставлено наше существование?

— Безусловно! Не все немцы одинаково относятся к Гитлеру, к войне. Тем более — советские немцы. Зачем нам отталкивать друзей?.. Когда прийти к вам с моими соображениями?

— Условимся через Поскребышева.

— Пусть при нашем разговоре присутствует Лазарь Моисеевич, — предложил я.

— А вот это как раз и необязательно. Вероятно, соображения ваши и товарища Кагановича будут очень различны. Нам не нужно тратить время на споры, нам не нужна драчка. Нам нужно знать различные мнения. Нам необходимо учитывать все мнения, — повторил он.

Да, правильно: когда речь шла о важных государственных делах, наши личные взаимоотношения полностью отметались Сталиным, я оставался для него только советником, который по мере возможности должен был выдавать объективную информацию (поправку на мои индивидуальные особенности Иосиф Виссарионович делал сам). Я понимал, что мое мнение не всегда было решающим, у политиков бывают свои сиюминутные, спекулятивные, конъюнктурные соображения, свои выгоды, но я говорил только то, что думал, что считал своим долгом сказать. И давайте будем честными: в нашей стране, как и в других государствах, отнюдь не все деятели, решающие судьбу страны, выслушивали, выслушивают или хотя бы готовы выслушать тех, кто не согласен с ними. Даже деятели не самых высоких уровней, но определенную власть имущие. Свобода высказывания, самовыражения — это всегда улица с односторонним движением, с явной или, наоборот, хорошо скрытой системой регулирования. А вот Сталин выслушивал самые противоположные мнения. Часто противоречил ему нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов, досаждал своими возражениями нарком вооружения, а затем нарком боеприпасов Б. Л. Ванников — трижды Герой Социалистического Труда, подвергавшийся, кстати, аресту при жизни Сталина.

Что там ни говори, а Иосиф Виссарионович умел ценить не подхалимов, а людей, преданных работе, ему лично, приносящих пользу общему делу. И тот, кто был честен, прямодушен, не искал сомнительной выгоды, тот имел возможность откровенно высказывать свое мнение.

Отношение к немцам во время войны, когда нас бьют, когда мы отступаем, когда вся наша пропаганда нацелена на то, чтобы преодолеть барьер добродушия и воспитать жгучую ненависть к германским фашистам, это особая, сложная ситуация. Да, какие-то меры нужны. Но я не мальчишка, готовый впадать в восторг по поводу каждого решения, зреющего в недрах партийного и государственного руководства.

Известно: с давних времен германцы были для нас противниками во многих войнах, мы, славяне, испокон веков мешали их стремлению захватить новые земли на востоке, расшириться — на западе и без них тесно. При всем том (диалектика!) германцы были противниками достойными, в определенном смысле способствовали развитию нашей военной техники, нашей науки. Происходило взаимопроникновение на протяжении многих десятилетий как у нас, так и в Германии, полезное, уверен, для той и другой стороны.

В историческом процессе мы, славяне, связаны с немцами прочными узами, в том числе и языковыми, и экономическими. Гораздо больше связаны мы с ними, чем с англо-американской плутократией, которую возглавляют всякие там Рокфеллеры и иже с ними. Хоть я и воевал с

германцами дважды, бескомпромиссно, однако дух германской нации мне понятен и близок, я уважаю решительность, честность, добросовестность, некий даже идеализм немцев. Германец надежен. Вместе с нами, с русскими, некоторые упорные германцы шли через всю Сибирь на восток, обживали берега Тихого океана, Аляску, запад теперешних Соединенных Штатов… Для таких вот, для «наших» германцев и название-то возникло соответствующее — «немцы». Свои, мол, люди, только вроде немые, по-нашему не разумеют. Широко вошедшее в обиход, это слово свидетельствует прежде всего о том, что у нас много было этих «немых», которым народ явно сочувствовал.

Еще к единоверцам-грекам всегда хорошо относились. А всяких там англосаксов народ почти не знал. Только морякам было известно: это торгаши, которые шманаются по морям-берегам в поисках грабительской выгоды. Мало знали в России до восемнадцатого века и французов, которые хлынули к нам со своими модами, со своим игривым легкомыслием и навязчивым языком лишь после революционных потрясений в своей стране: выплеснулась к нам мутная, бесполезная эмиграционная пена. Эти аристократы-нахлебники весьма отличались от деловых немцев, приносивших нам пользу в конкретных делах: мосты, фабрики и дороги помогали строить. А сочинителей фривольных песенок, хотя бы типа частушек, у нас и своих было в избытке.

Наша аристократия настолько переплелась корнями, сроднилась с германской аристократией, что бесполезно было искать различия и противоречия. Германские ремесленники во многих русских городах настолько обрусели, настолько стали «своими», что их никто и ничем не выделял, если они не хотели выделяться сами. Сообразуясь с общностью многих народов России, помня о «плане автономизации» Сталина, я, грешным делом, подумывал: зачем мы подчеркиваем, искусственно раздуваем особенности, отличия наших народов и наций, вместо того чтобы выделять, брать за основу то, что консолидирует, объединяет? У нас же одна страна, одни цели. Давайте как можно меньше придавать значения национальным различиям. Границы разного рода республик — долой! Тем более что во многих местах они просто случайны. В огромную Якутию, например, вошли районы, в которых никогда не жили якуты или составляли лишь небольшую часть населения по сравнению с тунгусами (эвенками и эвенами). Эстония, никогда не имевшая своей государственности, числится почему-то союзной республикой в отличие, к примеру, от многомиллионной Башкирии… Странно!

Не лучше ли было иметь общее для всех административное деление, области или штаты (как в Америке), — это целесообразная структура для государства. Каждый гражданин любой национальности может жить где хочет, пользуясь равными для всех правами, по желанию изучая тот язык, который преобладает в области его проживания. Где много чувашей — чувашский, и так далее. А общий язык один, русский, чтобы все понимали друг друга. Так нет же, мы всегда, с создания общего Союза, стремились словно бы нарочно очерчивать национальные границы, подчеркивать национальные особенности, давать национальные привилегии и послабления — чем народ меньше, тем привилегии больше. Зачем, спрашиваю, кому это нужно: раздувать национализм — этот своего рода форпост капитализма в борьбе против социалистических идей?! Каким, спрашиваю, нашим врагам это было выгодно? Кого привлекать за это к самой жестокой ответственности?!

И вот мне предстояло всесторонне обдумать важный вопрос о положении советских немцев в крайне обострившейся военной обстановке. Конечно, не я буду принимать решение, но и мои выкладки способны повлиять на Сталина, склонить в ту или иную сторону чашу весов. Прежде всего — объективные данные. Советских немцев у нас насчитывалось около двух миллионов. Цифра немалая. Больше, чем население иной союзной республики. Не на много меньше, чем количество евреев. Но если о евреях в стране знали все, их и громкие, и полугромкие имена возносились, были «на слуху», то о немцах упоминалось редко, было такое впечатление, что их у нас всего-то несколько десятков тысяч. Объяснялось это не только скромностью, сдержанностью самих немцев, но и их особым положением в нашей стране. Едва успела окончиться одна мировая война, унесшая миллионы жизней, а уже Германия разжигала следующую, собирая под свои знамена немцев во всем мире. Быстро расползалась по Европе коричневая краска фашизма. В таких условиях советские — а я, хорошо понимавший их, сказал бы «русские» немцы, — не очень-то старались привлекать к себе внимание. Хотя стыдиться или скрывать им было нечего, русские немцы внесли свои заметный вклад в укрепление Российского государства, вместе со славянами и другими народами нашей общей страны прошли через трудные исторические испытания.

При Петре Первом в Москве, как известно, появилась Немецкая слобода, ставшая еще не «окном», а пока что «форточкой» в Европу, через которую прибывали к нам саксонцы, баварцы, вюртембержцы.

Многие из них весьма добросовестно, как и подобало германцам, служили в армии и на флоте, участвовали в знаменитых петровских походах, достигли высоких чинов и званий. И, обрусев, растворились среди местного населения. Это — первая немецкая волна, первый наплыв. От него остались разве что только фамилии.

Следующий наплыв был более мощным и продолжительным. Появился декрет Екатерины Второй, приглашавший немецких крестьян, ремесленников, торговцев на пустующие земли нашей Великой империи. Приглашенные немцы обживали тогда, за малочисленностью коренных обитателей, земли Приднепровья, Черноморского берега, Таврию и Северную Таврию. Действительно, надо же было заселять эти пустынные края, только что освобожденные в геройских сражениях русскими войсками от турок, от крымских татар. Шли, ехали туда целыми семьями люди из Центральной России, с Украины и еще — из Германии. Кого же можно считать там, в названных выше местах, коренными жителями? Ну не турок же завоевателей — это ясно: они пришли и были изгнаны. И все же? Русских поселенцев, следовавших за боевыми российскими полками? Греков, хлынувших туда с юга? Немцев, заселивших большие степные пространства? Евреев, «завоевавших» вольный город Одессу? Или наших украинцев, спускавшихся на юг по руслам рек, создавших многие поселения, превративших в поля и пастбища еще недавно дикие земли? Да никого, думаю, не надо считать «коренным», не надо противопоставлять одних другим: пусть на общих основаниях живет здесь всяк человек, который не вредит нашему большому общему государству. А если еще и укрепляет оное — то честь ему и хвала! Таким было и есть мое мнение — мнение русского человека, русского офицера.

Далее. Еще одна волна переселенцев из Германии прокатилась в девятнадцатом веке в глубину нашей страны, в Поволжье, в Самарскую и

Саратовскую губернии. Этих немцев было много. Они жили обособленными поселками, колониями, сохраняя свои национальные особенности, даже диалекты тех мест, откуда они или их предки прибыли. Очень хорошо вели сельское хозяйство. После Октябрьской революции, не без участия Сталина, занимавшегося в стране национальным вопросом (напоминаю еще раз его «план автономизации», который я считал очень удачным), положение немцев в Советском государстве было четко определено: в 1924 году была образована автономная республика немцев Поволжья, а еще — несколько национальных немецких районов на Украине и в Сибири, там действовали национальные школы, выходили журналы, газеты и книги на немецком языке. Чего еще лучше-то?

Несправедливо, если не назову хотя бы несколько фамилий, которые являлись и являются гордостью всей нашей страны: их не числят ни немцами, ни русскими — они почитаемы всем народом. Вот лишь самый краткий перечень (от людей прошлых веков до нынешних, послевоенных лет). В искусстве: Д. Фонвизин, А. Фет, К. Брюллов, С. Рихтер. Среди мореплавателей и полярных исследователей: И. Крузенштерн, Ф. Беллинсгаузен, Ф. Литке, О. Шмидт, Э. Кренкель. Среди ученых: Б. Якоби, Б. Раушенбах, В. Энгельгардт, один из зачинателей космонавтики Ф. Цандер. Наши герои Р. Зорге и его коллега Р. Клейн, генерал С. Волкенштейн, защитники Брестской крепости А. Дулькайт, полковой врач В. Вебер… И еще многие, очень многие русские немцы, на долю которых выпали очень тяжелые переживания.

Ведь это же страшно, когда те, с кем ты стоишь по одну сторону баррикад, начинают сомневаться: а свой ли ты?

Если говорить о революционерах, то к моему краткому списку обязательно надо добавить хотя бы такие, почитаемые В. И. Лениным имена, как П. Шмидт, поднявший восстание на Черном море, как Н. Бауман. Ну и хватит — теперь о главном для меня военном аспекте.

Первая мировая война не была, как известно, классовой или даже межнациональной: империалистические государства вели борьбу за территории, за передел мира. В Австро-Венгрии, например, был призван на борьбу против России Ярослав Гашек, который, подобно персонажу его книги — пресловутому Швейку, не смог «открутиться» от участия в боевых действиях за чуждые для него цели. С другой стороны, право быть призванным на борьбу с Германией и Австро-Венгрией имели практически все народы и народности России, в том числе и русские немцы, независимо от места проживания — в пригородах Одессы или в Поволжье. Они принимали военную присягу и добросовестно исполняли ее. Это я говорю о фронтовых немцах, солдатах и офицерах, не беря в счет тех, кто занимал, благодаря близости к нашей царице-немке, высокие государственные посты.

По известным мне данным Генерального штаба русской армии, мы практически не имели случаев предательства и измены со стороны немцев, сражавшихся в наших рядах против кайзеровских войск. Процент перебежчиков и сдавшихся в плен не превышал соответствующих процентов среди представителей других национальностей. В сводках неоднократно подчеркивалось, что те подразделения, в которых есть русские немцы, особенно устойчивы в обороне.

Слухи, распространявшиеся об изменах, полевых войск в общем-то не касались. Если и были среди наших немцев предатели, то в самом высоком эшелоне власти, среди приближенных царицы. А этот эшелон был столь

же далек для рядового немца, как и для рядового русского или, скажем, татарина. Отсюда и вывод: немецкие колонии в нашей стране никакой отрицательной роли для нас в битвах первой мировой войны не сыграли. В этом я уверен.

А вот с гражданской войной сложнее. Зажиточному немецкому колонисту революционные преобразования были, мягко говоря, не очень нужны. Но тут сказалось одно из свойств германского характера — привычка к порядку. Колонист терпел, помня, что дисциплина, законоположение — прежде всего. Если была возможность, тайком помогал белым, надеясь на восстановление старых, привычных порядков. И совсем другое — немцы молодые, недавние фронтовики, отвыкшие работать, пристрастившиеся к беззаботно-походной жизни. Эти охотно приняли участие в начавшейся междоусобице, не упуская из виду и свою выгоду — улучшить свое положение здесь, в России. На стороне контрреволюции немецких формирований практически не было. Более того, появление кайзеровских войск на Украине в 1918 году было встречено многими колонистами недоброжелательно, а в некоторых местах буквально «в штыки». Сформировался довольно сильный 1-й Екатеринштадтский Коммунистический немецкий полк, который боролся с кайзеровскими оккупантами. Это, в общем-то, естественно и понятно: колонисты, много десятилетий прожившие в России, ясно представляли себе, что попытка сломать сложившиеся условия, пересмотреть границы не сулит ничего, кроме разрастания межнациональной борьбы, чреватой самыми непредвиденными взрывами, фанатизмом, кровопролитием.

Успешно сражался против деникинцев и врангелевцев добровольческий Бальцеровский немецкий полк. Но мне особенно хотелось бы привлечь внимание к другому полку, ко 2-му немецкому кавалерийскому полку, входившему на завершающем этапе гражданской войны в состав Первой Конной армии. Тут вот какая подробность. Вполне боеспособный, хорошо организованный, отличавшийся дисциплинированностью, этот полк в Конной армии все же был чужеродным формированием. Почему? Немецкая кавалерия всегда была «тяжелой» (в металлических доспехах), прямолинейно-ударной, громящей: в этом ее большое отличие от стремительно-отчаянной русской конницы, особенно от полуанархической, казачьей. Как атаковали врага немцы? Неслись на противника тяжелой громадой, не считаясь с пулеметным и артиллерийским огнем, сокрушали противника своей мощью, имея при этом большой урон. А буденновская лава, нарвавшись на опасное, губительное сопротивление, сразу растекалась, как ртуть, уходила вправо и влево от вражеского огня, от контрудара, откатывалась, исчезала. Но лишь для того, чтобы через час-другой собраться в условном месте и изготовиться к новому броску, используя новую обстановку. Это была гибкая, сложная тактика, основанная на давних традициях, на землячестве, на взаимном доверии. Полупартизанщина, к которой дисциплинированные немцы никак не могли приспособиться. Ни в одном роде войск интуиция, пожалуй, не имеет такого значения, как в кавалерии. Тяжелая немецкая конница не смогла приспособиться к новым условиям и прекратила свое существование раньше, чем кавалерия в вооруженных силах других стран. Германия развязала вторую мировую войну, имея лишь одну кавалерийскую дивизию и несколько охранных кавалерийских частей и подразделений.

Внимательный читатель помнит, вероятно, как весной двадцатого года я приезжал в Новочеркасск, чтобы навестить могилу своей жены Веры и

проинспектировать по просьбе Щаденко запасный кавалерийский полк, готовивший пополнение для Конармии, выдвигавшейся тогда с Северного Кавказа к Днепру, навстречу белополякам. Три эскадрона в этом полку были укомплектованы лихими вояками, донскими казаками, добровольно сложившими оружие перед Красной Армией. Обучать этих мастеров боя было нечему, только бы порядок наладить. А четвертый эскадрон состоял из немцев-крестьян: все среднего возраста, осанистые, степенные, медлительные. И кони под стать хозяевам — тяжелые ломовики. Трудно было представить этот эскадрон в стремительной казачьей лаве. Я посоветовал командиру запасного полка немецкий эскадрон не дробить, отправить его в Конармию отдельной боевой единицей. А Щаденко написал, что немцев лучше всего использовать для обороны, для несения патрульной и караульной служб, для очистки тыла от махновцев и других бандитов. Благодаря этому письму Щаденко счел меня, вероятно, специалистом по национальным формированиям, сам потом обращался ко мне за консультациями по этому поводу и направлял других товарищей.

Истины ради надо отметить, что какая-то часть немецких колонистов, особенно в Причерноморье, в районе Одессы, если не с откровенной радостью, то вполне доброжелательно встретила в восемнадцатом году кайзеровскую армию, оказывала помощь германскому командованию. А предусмотрительная германская разведка позаботилась о том, чтобы создать в немецких поселениях густую законспирированную агентурную сеть, которая в свою очередь протягивала щупальца по всей Советской стране. Наши контрразведчики в двадцатых — тридцатых годах не раз выявляли и обнаруживали такие щупальца, но, как стало ясно потом, вскрыли далеко не всю агентурную сеть. Это тоже нельзя не учитывать.

А что впереди? Могут ли гитлеровцы рассчитывать на поддержку немцев Поволжья? Почему бы и нет? Не всех, разумеется, но какой-то части. Вполне. Могут они высадить там, на Волге, крупный десант и, опираясь на местное население, пополняться за счет его, удерживать значительную территорию, перерезать наши важнейшие коммуникации, железные дороги и Волгу, по которым шел с юга на фронты в центр страны основной поток горючего? Из Азербайджана, с Северного Кавказа. Это же вопрос жизни и смерти! Увы, риск имелся. И очень большой. На карту ставилась судьба наших вооруженных сил. А выход? Разумнее всего, думал я, спокойно эвакуировать немецкие семьи с Волги, не ущемляя их ни морально, ни материально, в глубинные районы страны, за Урал, куда, кстати, эвакуировались жители многих прифронтовых областей. Не выставляя при этом наших русских немцев врагами и не наживая тем самым действительных врагов в их лице.

Все вроде бы правильно, однако меня тревожило, что заниматься немецкими делами, по словам Сталина, поручили Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Страшно было представить, сколько дров он наломает, как достанется от него нашим немцам, и правым и виноватым, без скидки на пол и возраст, сколько будет горя, слез, напрасных смертей.

Каждый деятель из ближайшего окружения Сталина отвечал за определенный участок партийной, государственной работы и, кроме того, нес этакую неофициальную, морально-политическую, что ли, нагрузку. Михаил Иванович Калинин, ставший главой нашей страны, нашим президентом, еще весной 1919 года, словно бы олицетворял преемственность ленинского дореволюционного и послереволюционного руководства с теперешним, сталинским. И вообще, дорогой наш Михаил

Иванович был сплошным символом, народным фасадом государства рабочих и крестьян. Ведь он сам тверской крестьянин, не порывавший связи с деревней (даже член колхоза), он же питерский пролетарий с двадцатилетним стажем, он же революционер, полтора десятка раз подвергавшийся при царе арестам. Вот вам неразрывный союз рабочих и крестьян, вот вам олицетворение серпа и молота, кои украшали герб. Вячеслав Михайлович Молотов — он ведь тоже из старой большевистской гвардии, живое свидетельство того, что нынешнее руководство прочно связано с прошлым. К тому же Молотов имел чудесную способность понимать и воспринимать замыслы Сталина, верить в них, как в свои собственные, не колеблясь осуществлять на практике.

Далее — Андрей Андреевич Андреев, добросовестный, в меру инициативный работник, партийный функционер, как называли таких товарищей германские коммунисты. В свое время замечен и выдвинут был Владимиром Ильичом во время дискуссии о профсоюзах. Два года трудился непосредственно с Лениным, затем с Дзержинским. Представитель среднего возраста — разве это не преемственность в руководстве партии!

Андрей Александрович Жданов, дворянин, интеллигент, корнями уходящий в глубину отечественной истории. Члены Политбюро, правительства — это не случайные люди, не перекати-поле в степи, а дети наших народов. К тому же Жданов знаток поэзии (и это действительно так), разбирался в музыке, мог сам исполнить на рояле нечто серьезное, из классики. В противоположность, в разнообразие ему — человек из низов — Семен Михайлович Буденный, способный развернуть мехи баяна или по-казацки рвануться в пляс. Он и Климент Ефремович понятны, близки крестьянской и рабочей массе, оба олицетворяли силу Красной Армии, были свидетелями того, как Иосиф Виссарионович вместе с ними создавал и выращивал советские войска.

Говорю об этом лишь для того, чтобы стало ясно, какой странной фигурой в ближайшем окружении Сталина являлся Лазарь Моисеевич Каганович. Гражданин без прошлого. С моей точки зрения — и без будущего. Это был какой-то сгусток жестокости, все, что поручалось ему, он выполнял самыми крайними способами, не щадя людей. Более того, я считаю: он был в нашем руководстве генератором жестокости, постоянно своим примером поднимая ее уровень, подталкивая членов Политбюро и самого Сталина на самые крутые меры. Есть же политические приговоры, по которым все, от Сталина до Крупской, соглашались с формулировкой «выслать из страны» и лишь Каганович с Мехлисом писали — «расстрелять». При всем том Каганович почему-то очень не любил немцев. Пострадал, что ли, от них в свое время, как Троцкий от казаков?..

Когда состоялся у нас первый громкий процесс о вредителях по так называемому шахтинскому делу? В конце двадцатых годов? Были арестованы немецкие специалисты, и Лазарь Моисеевич, в ту пору член ЦК и секретарь ЦК партии, буквально слюной исходил от радости. Получите, мол, свое, пивохлебы-сосисочники! Восторгался выступлением на пленуме ЦК (1928 год) А. Рыкова, который заявил по поводу упомянутых арестов: партия должна подчинять те или иные процессы вопросам политики, а не руководствоваться абстрактным принципом наказания виновных по справедливости, к вопросам об аресте нужно подходить не столько с точки зрения интересов уголовной практики или принципа справедливости, сколько с точки зрения нашей большой политики.

Вот тут я, Лукашов, никогда не был согласен с политиканами. Только законы государства, а не мнение какой-то группы людей могут определять порядок в стране. Иначе — произвол или анархия. Впрочем, произвол и анархия часто бывают как раз и нужны оппозиционерам, каким-то формальным или неформальным объединениям, для достижения своих, как правило, узкокорыстных, целей. Такой, значит, была точка зрения Рыкова и восхищающегося его словами Кагановича. Вот, значит, когда и кем откровенно и цинично высаживались, лелеялись ростки беспринципности, беззакония, насилия, которые пышно расцветут потом в тридцатых и сороковых годах, особенно при Гершеле Ягоде. А те, кто пестовал всходы, ростки жестокости, разве они не несут ответственности за то, что они насадили и вырастили на своих участках, прикрываясь всегда спиной общесоюзного «садовода» Сталина?

Много выступлений Кагановича я слышал, и главное впечатление такое: он всегда призывал к уничтожению, к разрушению, к пролитию крови. И, знаете, что было особенно ужасно? Я мог понять Троцкого, любой ценой добивавшегося своих целей — хоть весь русский народ извести, но достигнуть своего (понять, но, разумеется, не принять). Я мог уразуметь, чего и как добивается Сталин (хотя не всегда был солидарен с ним). По крайней мере, ясно было, за что сражается тот или другой, во имя чего губит своих противников. А Кагановича понять я не мог. Он готов был уничтожать всех: немцев, русских, украинцев, своих соплеменников — кого угодно. У него, как и у Мехлиса, спрашивали: почему же такое гонение на евреев, ведь ты сам еврей! Но и тот, и другой высокомерно отвечали, особенно Мехлис: я не еврей, я — коммунист! Какая-то даже более страшная сила, чем сионизм, стояла за ними, заставляя их действовать несообразно с общечеловеческими понятиями.

Еще задолго до войны Каганович составил, подписал и разослал по всей стране директиву, в которой говорилось, что религиозные организации, в том числе православные и католические церковные советы, синагогальные общества, мусаваллиаты и все другие, подобные им, являются в нашей стране легально действующей контрреволюционной силой, которая имеет влияние на широкие массы… А что значило подобное заявление в то время? Ясно: с организованной контрреволюцией борьба ведется на уничтожение, оправданы любые меры против церковников. Если сразу после революции такая борьба велась стихийно, то в дальнейшем Каганович обосновал и поощрил ее официальным декретом. Прозвучал новый сигнал к разрушению храмов, мечетей, синагог. Даже сам Сталин ничего не мог противопоставить ультрареволюционной деятельности Кагановича, которая находила поддержку не только среди еврейской молодежи, но и вообще среди сельской и рабочей молодежи, рвущейся к конкретным, ощутимым делам. А самое простое и ощутимое — это разрушение. Самое доступное — не создавать новое упорным трудом, а совершать видимость деятельности, оплевывать, охаивать то, что было раньше. А ведь при этом охаиватели унижают твоих предков, твоих родителей, тебя самого, подрываются твои корни. Ты теряешь уважение к своему народу, к самому себе. И становишься рабом тех, кто организует и направляет это охаивание. Увы, юность всегда экстремальна, нетерпелива, не отягощена знаниями, легко воспламеняется и нацелена отнюдь не на созидание. Благодатная почва для критиканов, ниспровергателей, горлопанов и карьеристов.

В узком кругу Лазаря Моисеевича называли частенько Кабан Моисеевич. Не только за плотно-звериное телосложение, за щетинистые усы, не только потому, что родился он в селе Кабаны где-то неподалеку от Киева, но главным образом потому, что он с глухой и слепой целеустремленностью, как разъяренный тяжеловесный кабан, напрямик стремится к цели, круша все, что можно сокрушить на своем пути. Но как настоящий кабан огибает все же при этом стволы деревьев, так и Лазарь Моисеевич достаточно умело огибал непробиваемые препятствия. Он, например, никогда и ни в чем не выступал против Сталина. И в то же время Иосиф Виссарионович вынужден был считаться с ним и с Мехлисом. Может, опасался казаться менее революционным, чем они? Или какие-то сверхмощные силы стояли за ними, не позволяя Сталину убрать их с пути, даже если они допускали серьезные ошибки и срывы.

С апреля 1930 года по март 1935 года Лазарь Каганович возглавлял московскую партийную организацию, по существу был полным хозяином столицы и даже столичной области. У Сталина тогда имелось много забот, шла борьба за власть, поэтому Каганович оставался бесконтрольным и творил, что хотел. И натворил. Целенаправленно уничтожался исторически сложившийся облик Москвы.

Деятельный «кабан» шел напролом, плевать ему было на прошлое и настоящее столицы — ничто не связывало его с этим городом, кроме каких-то особых, лишь ему известных интересов. Вот некоторые из его «деяний». По предложению Кагановича или с его разрешения, была уничтожена часть бульваров Садового кольца, были снесены Сухарева башня. Красные и Иверские ворота (последние — с часовней), разобрана Триумфальная арка. А главное — разрушен великолепный храм Христа Спасителя, на месте которого Каганович вознамерился воздвигнуть памятник себе, своему правлению: создать гигантский Дворец Советов с залами на двадцать пять тысяч кресел и стульев. Но Вышние силы посмеялись над ним, образовав там яму, бассейн. Лишь восшествие на столичный партийный престол Н. С. Хрущева в 1935 году спасло Москву от дальнейших разрушений. Ведь Каганович замышлял не только снести ГУМ (якобы для расширения Красной площади), но уничтожить и сам Кремль, вместе с его церквями. Вот простор-то был бы для новостроек!

Я тогда говорил Сталину: в каждом городе, а тем более в Москве, первым секретарем и городским головой обязательно должен быть уроженец данного города, любящий его, болеющий за него. Но нет, повсюду, по всей России лезли, пробивались к руководству чужие люди со своим уставом. Политики, а не радетели.

Извинившись за отступление, возвращаюсь к патологической жестокости Кагановича. Как забыть январь 1933 года, когда Лазарь Моисеевич выступил на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) и напрямик заявил: мало мы, товарищи, расстреливаем! По мере роста успехов социализма классовая борьба обостряется. Да, обостряется, враг оказывает сопротивление, брызгая ядовитой слюной. А мы либеральничаем с врагами. Особенно на местах. В судебных органах установилась порочная практика, дают преступникам срок не по высшему пределу, часто даже по низшему. Чистить надо судебный аппарат, укреплять его такими товарищами, которые справедливо и безжалостно будут карать всех врагов.

Это была критика, направленная в значительной мере в адрес Генерального секретаря партии И. В. Сталина, обвинявшая его в мягкости

по отношению к классовому противнику, подстегивавшая, толкавшая к более крутым действиям. С одной стороны, неприятно было выслушивать Иосифу Виссарионовичу такие слова перед XVII съездом партии, на котором различные противники хотели дать ему отставку, а с другой — подобная критика была ему даже на пользу. Ах, он слишком мягок и либерален?! Ну, не обессудьте!

В достаточной мере зная характер Кагановича, его «истребительные» методы, я имел все основания опасаться, что в отношении русских немцев Лазарь Моисеевич поступит особенно круто. И ненависть его к немцам сыграет роль, и военная обстановка в этом отношении для него выгодна, он ею воспользуется. Все это я держал в уме, вырабатывая и обосновывая свою позицию. Конечно, большая концентрация лиц немецкой национальности на ограниченной территории могла привести к нежелательным эксцессам. Среди немцев, особенно среди шаткой, неустоявшейся молодежи, могли оказаться лица, склонные поддержать гитлеровцев. Значит, на всякий случай надо вывезти немцев Поволжья в глубь страны, при этом ничем не ущемляя их, ничем не выделяя среди всех других, эвакуируемых с запада. Но, как выяснилось, Лазарь Моисеевич имел иной взгляд на эту проблему.

Я был готов к подробному разговору с Иосифом Виссарионовичем. На всякий случай подготовил и справку, умещавшуюся на одной машинописной странице. Однако Сталин занят был другими многочисленными делами, слишком уж напряженное было время, битва шла за Смоленск. Мне позвонил Поскребышев:

— Товарищ Лукашов? Товарищ Сталин просил узнать, какие материалы у вас о немцах Поволжья?

Я ответил. А он:

— Вопрос о чрезвычайных мерах по обеспечению безопасности тыла, в том числе о выселении немцев из европейской части страны, будет рассматриваться сегодня. Нужны ваши соображения. Машину высылаю. — Поскребышев, напомню, обладал редким даром, он точно передавал не только содержание, но и тон, которым говорил по тому или иному поводу Сталин, каким было дано то или иное указание. Опытные люди сразу понимали, для чего их вызывают в Кремль, будут хвалить или предъявлять претензии. Мне все было ясно. Уточнил только:

— Докладывает Каганович?

— Да, его предложения на столе.

— Военнослужащих-то он хоть не касается?

— Ждут ваших соображений, — сухо ответил Поскребышев.

На обсуждении я, как обычно, не присутствовал. Да и было ли оно, обсуждение-то? Через несколько дней, уже в августе, мне стал известен специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации АССР немцев Поволжья. Для предотвращения диверсионных актов в стратегически важном районе. Сам этот указ не вызвал у меня возражений, он был продиктован военной обстановкой. Но ведь одно дело — принятие закона, а другое — его исполнение, которое зависит от многих условий, в том числе и от конкретных исполнителей. Принимался указ без детализации, и этим, естественно, воспользовался Кабан Каганович. Немцы были не просто эвакуированы, как предлагал я, а выселены (между статусом эвакуированных и высланных очень большая разница) — частично в Сибирь, а главным образом в северные, глухие районы Казахстана, где впоследствии начнется разработка целинных земель.

Кроме того, по инициативе главного исполнителя указа Кагановича, многие немцы, «подозреваемые в шпионаже» (а заподозрить можно кого угодно!), были отправлены в лагеря на Печору. Но самое мерзкое и глупое, на чем настоял Каганович, — отчисление немцев из действующей армии. Это и оскорбление патриотов, коммунистов, готовых сражаться за Советскую Родину, и ослабление наших вооруженных сил (что ни говори, а немцы всегда были хорошими, дисциплинированными, стойкими вояками!). И еще, бросая в губительные сражения массу советских людей различных национальностей, мы при этом вроде бы специально спасали только наших немцев. Они, конечно, были отправлены на трудовой фронт, работали в тылу, но это все же не передовая, не гибельные атаки… Сей парадокс был осознан и частично исправлен лишь тогда, когда у нас появилось много пленных германцев, когда возник Комитет Свободной Германии. Так получилось, что многие пленные стали вроде бы нашими союзниками в борьбе с Гитлером, а свои советские немцы находились на положении ссыльных.

Коллизии возникали вообще поразительные. Указ-то (с кагановичевским акцентом) был принят, но по партийной линии никаких разъяснений не последовало. Многие немцы-коммунисты, оказавшись в ссылке, оставались членами партии, платили взносы. Ссыльные — с партийными билетами… Вот как бывает!

Побаливала тогда моя совесть. Почему я не добился встречи со Сталиным, не изложил решительно свою точку зрения? Против таких политиков, как Каганович, надо действовать одним способом — таран на таран! Но я, увы, нередко уступал таким, как он: иногда по мягкости характера, иногда недооценивая важности происходящего, не придавая особого значения всяким там решениям, постановлениям. Бумага, мол. А от бумаг зависели судьбы. Надо ведь быть докой-чиновником, чтобы за каждой буквой проголосованного решения видеть, как сия буква или отсутствие ее отразится на живых людях.

В том, что с немцами Поволжья поступили абсолютно правильно, не был, на мой взгляд, полностью убежден и Иосиф Виссарионович. Он, конечно, не мог не обратить внимания на то, что немцы, каким-либо образом оставшиеся в Красном Армии, хорошо сражаются против гитлеровцев. Он, разумеется, знал, сколь добросовестно и результативно трудятся наши немцы в тылу. Особенно на строительстве алюминиевого завода на Урале, в Красногурьинске. Этот завод был очень нужен нашей военной промышленности, возводили его не только быстро, но и с хорошим качеством. И когда я предложил для морального поощрения послать строителям благодарственную телеграмму Верховного Главнокомандующего, Иосиф Виссарионович сразу же согласился. А Каганович, хоть и ощетинил свои усы, но возражать не посмел. Вот текст:

«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на Базстрое, собравшим 353785 рублей на строительство танков и один миллион 820 тысяч рублей на строительство эскадрильи самолетов, мои привет и благодарность Красной Армии».

Знаю, что когда на уральскую стройку пришла эта телеграмма, там был праздничный день. Первый праздничный день за всю войну. Теперь, ради объективности, посмотрим на проблему с другой стороны. А очень ли скверно обошлись у нас с российскими немцами? Как поступали в сопоставимых случаях другие государства? О Германии даже говорить не

хочется, все знают, что фашисты уничтожили, физически истребили десятки миллионов людей разных национальностей. Но это забылось, вроде бы даже простилось — на то они и фашисты. Однако я уверен, что национал-социализм в Германии жив, затаился и еще покажет себя.

А как относились к представителям противоборствующих национальностей государства, которые кичатся своей демократичностью, во многом ли отличались они от фашистов? В 1939 году, едва началась война, англичане создали особый трибунал, куда вызывались все немцы, оказавшиеся в этой стране, в том числе и выступавшие против Гитлера, бежавшие из Германии от преследования. Всех проверяли скрупулезно и дотошно, выявляя вражеских агентов и их пособников. На всякий случай немцев интернировали и отправляли в концентрационные лагеря — наиболее тяжелыми условиями отличался лагерь на острове Мэн. Но и этого англичанам показалось мало. Интернированных переправляли в Канаду, создав для них большой лагерь в Квебеке. Там было и голодно, и холодно. Интернированные подвергались оскорблениям, издевательствам. Многие не выдерживали. Пожалуй, нигде в лагерях не было столько самоубийств, как в Квебеке.

Ладно, англичан еще более-менее можно понять. Гитлеровцы бомбили их города, топили их корабли. Фашисты готовились к захвату их территории. Опасность была реальная, поэтому и упрятали англичане подальше представителей немецкой национальности. Гораздо труднее понять и оправдать действия американцев. После коварного нападения самураев на Пирл-Харбор в декабре 1941 года сенат США принял решение изолировать лиц японского происхождения, проживающих на территории страны, в том числе имевших американское гражданство. Сравним: гитлеровцы преследовали, вплоть до уничтожения, людей, имевших одну восьмую еврейской крови. Американцы пошли еще дальше — до одной шестнадцатой японской крови.

Все они (в том числе и дети, и старики) были согнаны в концентрационные лагеря, в бараки за колючей проволокой на голых унылых равнинах в пустынной местности. Только в первую очередь туда было отправлено около ста тридцати тысяч человек. Охраняли строго. Сколько осталось в живых — не знаю. А ведь на американском континенте не было боев, не было ни одного вражеского солдата, не было особой территории, населенной только японцами (как у нас немцами), не имелось, следовательно, плацдарма, выгодного для противника. Вполне можно было не томить, не гноить людей в лагерях.

Впрочем, чему удивляться: холодная расчетливость, эгоизм, насилие — характерная черта потомков первопоселенцев США, прямолинейных, упорных, неколебимо твердых в достижении целей, выгоды. Они и историю-то свою начали с великого кровопролития, с уничтожения коренного населения, индейских племен. Ну, а читатель, сопоставив наше отношение во время войны к российским немцам, гитлеровцев — ко всем инородцам, англичан — к оказавшимся в Великобритании германцам, американцев — к лицам японского происхождения — читатель пусть судит сам: где была необходимость военного времени, где звериное человеконенавистничество, где чрезмерная неоправданная жестокость.

Парадокс: я, офицер Генерального штаба, постоянно тяготевший к артиллерии (к моим выводам и предложениям прислушивался даже сам генерал Брусилов), всю гражданскую войну и сразу после нее занимался в основном конницей. А в начале Отечественной войны пришлось заниматься главным образом тем родом войск, который известен был мне менее других, — авиацией. Вероятно, потому, что роль авиации в тот период была очень важна, Сталин уделял ей особое внимание, а я, как всегда, вращался в кругу его самых животрепещущих интересов. И действительно, немецкая авиация играла тогда огромную, в некоторых сражениях даже решающую роль. Фашисты бомбили наши транспортные узлы, срывая переброску на фронт резервов, уничтожая людей и технику, обрушивали взрывчатку на передовые позиции, на войсковые тылы, высаживали воздушные десанты, сеяли панику, а нам нечего было противопоставить гитлеровцам, захватившим полное господство в «пятом океане». Почти нечего.

Считаю, что успехов в сорок первом году немцы добились главным образом за счет авиации. Она парализовывала действия наших войск, давила на психику, подрывала у бойцов и командиров веру в успех еще до встречи с германской пехотой и танками. Не будучи хозяевами воздуха, фашисты со всей своей наземной техникой, даже используя фактор внезапности, наверняка не продвинулись бы дальше линии Рига, Смоленск, Киев. Выдохлись бы.

Во второй половине июля нарком ВМФ адмирал Николай Герасимович Кузнецов пожаловался в доверительном разговоре на сухопутчиков. Ну, пожаловался — не то слово. Просто сказал с горечью о некоторых неурядицах. Может, надеялся, что его слова дойдут до Сталина, а может, просто так поделился. Мы в ту пору, несмотря на разницу в возрасте, на различие прошлой жизни, быстро сближались. Вероятно, потому, что в среде, окружавшей меня, не было другого столь самобытного и, особо подчеркиваю, интеллигентного человека из числа новых, сравнительно молодых военачальников. Я не говорю о дореволюционных офицерах, о маршале Шапошникове, о генерале Говорове и других представителях старой гвардии, речь идет о тех, кто выдвинулся в последнее время, перед войной. Почти все они страдали от нехватки культуры, малой образованности и, как следствие, от узости взглядов. Они были категоричны, а категоричность, как известно, признак ограниченности. Или, точнее, можно сформулировать так: ограниченность — категорична.

Вот три крестьянских сына, которых Советская власть подняла на высоты военного руководства. Почти ровесники. В истоках, в судьбах много общего. Но колоссальная разница между ними поражала меня!

Георгий Константинович Жуков — решительный, дерзкий, самоуверенный, налитый грубой силой, ломающей все преграды. Оригинальное мышление. Жестокая твердость… Такие черты выделил бы я у него.

Иван Степанович Конев — практичный, смекалистый, самолюбивый, волевой деятель, наполовину военный, наполовину политический и, как все политики, склонный к интригам. Видимо, политикам без интриг не удержаться у власти.

Наконец, Николай Герасимович Кузнецов — рассудительный, добропорядочный, глубоко знавший свое трудное флотское дело. Большой, неторопливый, улыбчивый, он пользовался искренним уважением подчиненных. Если Жуков и Конец умело пользовались

хлесткими оборотами народного языка, то Николай Герасимович к тому же свободно изъяснялся по-немецки, по-французски, по-испански и, кажется, по-английски. Разбирался в литературе (перевел на русский несколько книг), в музыке, увлекался историей. Был прекрасным собеседником. И при всем том за внешней мягкостью, за ровностью и сдержанностью крылась несгибаемая сила воли, перед которой пасовал даже Жуков со своей непреклонностью, со своими капризными вспышками. Металл сталкивался с металлом. Если Николай Герасимович был в чем-то убежден, если настаивал на своем всегда продуманном, аргументированном предложении, его не способен был переломить сам Иосиф Виссарионович. Приказать — да. Заставить отказаться от своего мнения — нет. И вот ведь ирония судьбы, этого человека, к которому так хорошо относился, я подвел дважды, оказав ему медвежьи услуги. Первый раз, когда вызвал к нему неприязнь мстительного Берии, — об этом уже писал. И второй — когда, сам не желая того, вроде бы столкнул Кузнецова с Жуковым, остро и болезненно воспринимавшим не то что соперничество, а даже хотя бы сопоставление не в его пользу.

К месту пришлось: я вкратце передал Иосифу Виссарионовичу разговор с Кузнецовым. Суть: Балтийский флот вошел в войну со своей сильной и хорошо подготовленной минно-торпедной авиацией. Специальная техника. Летчики, годами обучавшиеся, тренировавшиеся для ударов по военным кораблям, по транспортам противника. Для этих асов много «работы» на море, а их используют не по назначению. Сухопутные войска, потеряв свою авиацию, заставляют морских летчиков бомбить танковые колонны врага, его наступающие войска, артиллерийские позиции. Пользуясь тем, что флот находится у него в оперативном подчинении, командующий фронтом распоряжается морскими летчиками как хочет, иногда через голову флотского командования. Даже 8-я армия имеет такое право. Хотя гораздо лучше было бы сделать наоборот, подчинить флоту все сухопутные войска в прибрежных районах. Флот — организация устойчивая…

— У армии и у флота один враг, — ответил Сталин. — У армии и у флота одна цель: остановить и разгромить неприятеля.

Общие фразы — вот вроде бы и вся реакция. Но разговор этот запомнился Иосифу Виссарионовичу и, вероятно, повлек за собой некоторые размышления. Через несколько дней Сталин предложил мне присутствовать на очередном докладе начальника Генерального штаба Жукова. Не первый раз, кстати. На таких докладах всегда был кто-либо из членов Политбюро, чаще других Мехлис или Молотов. А тогда в кабинете Сталина было только трое. Жуков сидел за длинным столом, развернув на нем свою карту, через несколько стульев — я, тоже со своей картой, Иосиф Виссарионович медленно прохаживался от малого стола до двери. Обстановка была деловая, не предвещавшая осложнений. Но вдруг Иосиф Виссарионович задержался возле меня:

— Николай Алексеевич, так что говорил товарищ Кузнецов о минно-торпедной авиации?

Это неспроста! Но для чего?! Привыкши к эскападам Сталина, я начал монотонно пересказывать известное. Однако Сталин остановил меня:

— Давайте ближе к делу. Вам было поручено изучить вопрос, почему Военно-Морской Флот начал войну без потерь. Изложите нам свои соображения.

Мое мнение он знал, у нас была беседа по этому поводу, но хотел, значит, чтобы я высказался при Жукове. Пришлось повториться. Говорил я тогда кратко, а сейчас, чтобы читателю был ясен ход событий, приведу некоторые подробности. По опыту войны в Испании, участником которой был Кузнецов, из анализа хасанских событий (он тогда командовал Тихоокеанским флотом) Николай Герасимович пришел к выводу: надобно создать четкую, постоянную систему готовности флотов и всего Военно-Морского Флота к любым неожиданностям. Чтобы было так: дана команда — и флоты сразу, без раскачки, вступают в бой.

Многие военачальники того времени, даже из числа тех, кто побывал в Испании, часто повторяли слова о необходимости выиграть время, перевооружить наши войска. Через два-три года мы, дескать, будем способны разбить любого противника. А Николай Герасимович категорически не соглашался с такой позицией. Ну, во-первых, возможный противник тоже не намерен сидеть сложа руки, тоже будет оснащать свои войска техникой, совершенствовать свою выучку. Да и вообще, разве можно так рассуждать! Полк или корабль, армия или флот могут иметь сегодня одно вооружение, завтра другое, могут быть численно больше или меньше — это все факторы меняющиеся. Важно, чтобы армия и флот, каждая часть и подразделение были хорошо обучены, умели максимально использовать свое оружие, и самое главное — чтобы они были морально готовы к войне. В любую минуту.

Я не раз слышал от Николая Герасимовича утверждение: хорошо, что флот имеет свой Наркомат, может проводить боевую учебу по своим планам, по своей системе, учитывая исторический опыт, специфику. Ведь привести в готовность флот с его кораблями и частями, разбросанными на огромном пространстве, гораздо сложнее, чем, скажем общевойсковую армию, как правило, дислоцирующуюся на определенной территории. Да чего там целый флот: попробуй собери и доставь на рейд моряков, уволенных на берег с корабля! Сколько потребуется времени!

Не дать врагу застигнуть нас врасплох — вот чему были подчинены в предвоенные годы мысли и действия наших моряков, прежде всего самого Николая Герасимовича. И как результат — стройная, отработанная на практике трехступенчатая система боевой готовности. Довольно простая, всеобъемлющая, выверенная схема. Детище, можно сказать, адмирала Кузнецова.

Готовность № 3 — это обычное состояние кораблей и частей. Они занимаются боевой учебой, соблюдают установленный распорядок, содержат в полной исправности оружие и механизмы, имеют определенное количество топлива и другие запасы. Когда объявляется готовность № 2, корабли и части получают снаряды, торпеды, горючее и вообще все, что требуется для ведения боевых действий. Увольнения сокращаются до минимума. Устанавливается специальное дежурство. Распорядок дня, учеба — все строится с учетом напряженного положения. Такая готовность, хоть она и вызывает определенные трудности, может продолжаться неделями, даже месяцами. И, наконец, самая высокая готовность — № 1. Объявляют ее лишь в том случае, если обстановка становится опасной. Получив сигнал, каждый корабль, каждая воинская часть действует по имеющимся инструкциям. В Корабельном уставе 1939 года было сказано:

«Весь личный состав на своих местах по боевому расписанию. Средства корабля полностью изготовлены к немедленному действию». Такая

система сама по себе требовала от моряков большой организованности, слаженности действий всех кораблей, воинских частей, учреждений и служб, поддерживала постоянную бдительность и строгую дисциплину. К тому же многочисленные тренировки помогли довести эту систему почти до совершенства.

Самые первые удары гитлеровская армия нанесла в ночь на 22 июня 1941 года по флотским базам, в частности по Севастополю, но удар этот не застал моряков врасплох. Еще до полуночи штабом флота была получена телеграмма, которую дал на свой страх и риск, ни с кем не согласовывая, Николай Герасимович. Приведу ее, не расшифровывая сокращений: «СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДРФ. Оперативная готовность номер один немедленно. Кузнецов». И это, поймите, в тот момент, когда Тимошенко и Жуков еще гадали: будет — не будет! Когда Сталин, правда, нервничая, мылся в баньке. Когда командующий Белорусским военным округом генерал Павлов, на войска которого нацелилась армада немецких танков, в прекрасном настроении возвращался из театра домой.

На флотских базах прозвучал сигнал «Большой сбор», взревели сирены, ожили рупоры на улицах, объявляя тревогу. Корабли начали принимать боевые торпеды, снаряды, мины. Зенитчики сияли с пушек предохранительные чеки. На аэродромах летчики-истребители опробовали пулеметы.

В 02:00 Черноморский флот находился в полной боевой готовности. А через час пришло сообщение о появлении вражеских самолетов. Они подходили к городу на небольшой высоте. Опасность была явная. В 03 часа 07 минут 22 июня начальник штаба флота контр-адмирал И. Д. Елисеев дал команду открыть огонь, чем и вошел в историю: это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на нас гитлеровцам. И опять же приказ, отданный без согласования с высшими инстанциями. Яркие лучи прожекторов ослепили немецких летчиков, дружно ударили зенитные батареи и корабельная артиллерия. Несколько бомбардировщиков загорелось, другие, беспорядочно сбросив свой груз, повернули обратно. Вслед им понеслись флотские истребители.

Что это? Удача, случайность? Нет, так было везде: на Краснознаменном Балтийском и на Северном флотах, на Пинской и Дунайской военных флотилиях. Везде враг сразу получил отпор. Более того, наша морская пехота начала активные действия. Моряки форсировали Дунай, захватили плацдарм на румынском берегу: высаживайтесь, армейские части, наступайте, громите врага! Но армейскому командованию было не до наступления.

Это же факт: в ночь на 22 июня 1941 года наша сухопутная авиация потеряла 1200 боевых машин, причем новых, лучших машин. Лишь немногие летчики успели подняться в воздух, основная масса самолетов была внезапно разбомблена немцами на аэродромах. А флоты не потеряли за первые сутки ни одного корабля и ни одного самолета, нанеся урон неприятелю. К тому же командование Черноморского флота, взаимодействовавшего с войсками Одесского военного округа, предупредило об опасности ВВС округа, там приняли соответствующие меры, и потери оказались не очень значительными.

В первые дни войны никто не занимался сопоставлениями и подсчетами, не до того было. Но в июле приведенные здесь цифры стали известны Иосифу Виссарионовичу и ошеломили его. Он даже не поверил сперва: неужели не потеряли ни одного самолета? Вызвал для доклада Кузнецова,

поручил мне перепроверить полученные сведения. Ошибки не было. Значит, все военные события развивались иначе, если бы… Если… Авторитет Кузнецова сразу же очень вырос для Сталина, адмирал выдвинулся (по заслугам) в самый первый ряд военных деятелей, вошел в тот узкий круг людей, которых Иосиф Виссарионович считал незаменимыми и на которых опирался всю войну.

Как ни старался я говорить сжато, сообщение мое заняло минут десять. Сталин продолжал прохаживаться по кабинету, слушал рассеянно, думая о чем-то своем. Жуков был хмур, неподвижен, как каменное изваяние, лишь раза два потер рукой массивный подбородок. И вдруг, воспользовавшись небольшой паузой, сказал резко:

— Я все это знаю. Теряем время.

— Почему же теряем, повторение — мать ученья, — спокойно ответил Сталин. И поинтересовался: — Вы, товарищ Жуков, бывали в Кронштадте?

Георгий Константинович повел плечами, а Сталин продолжал, не дожидаясь ответа:

— В Кронштадте есть памятник адмиралу Макарову, на котором запечатлены вещие слова «Помни войну!». Коротко и точно. Так вот — моряки руководствовались этой формулой, а кое-кто нет.

— Эти кое-кто руководствовались официальными государственными документами.

— Вы не правы, товарищ Жуков. Для военных существует только одно правило, только один закон — тот самый, что на памятнике Макарову… Больше я вас не задерживаю. До свидания.

Едва за Георгием Константиновичем закрылась дверь, Сталин сказал со вздохом:

— Такой здоровый, такой сильный мужик, а воюет с бумагами. Он у нас закис над бумагами, как вы думаете, Николай Алексеевич?

— Считал и считаю, что Жуков строевой командир, его место на фронте, а не за письменным столом.

— Когда товарищ Шапошников будет в Москве?

— Не позднее первого августа.

— Свяжитесь с ним еще раз, напомните, чтобы не задерживался ни в коем случае, — сказал Сталин.

Я ощутил радость и облегчение, поняв, что вопрос о замене Жукова решен. Ну какой он, в самом деле, начальник Генерального штаба?! Он не мозг, он движущая сила, сгусток энергии.

Сдав дела Борису Михайловичу Шапошникову, Георгий Константинович получил новое назначение: стал командующим Резервным фронтом. Жуков расценил это как понижение что, впрочем, и было. Такая перемена в его жизни, хоть и косвенно, но связанная с именем Кузнецова, раз и навсегда повлияла на отношение Георгия Константиновича к нашему выдающемуся адмиралу.

14

Бомбить Берлин! Вначале эта мысль показалась абсурдной — я говорю о себе. Наши войска, отступая, ведут напряженнейшие бои по всему фронту, положение наше неустойчивое, вражеская авиация господствует в воздухе, почти каждую ночь немецкие бомбардировщики стремятся прорваться к Москве. Гитлеровская пропаганда на весь мир шумит о близкой победе, и этой пропаганде верят, потому что фашисты за

короткий срок пробились в глубь Советской страны. Нам, как говорится, не до жиру, быть бы живу. А Николай Герасимович Кузнецов выдвинул вдруг предложение нанести удар по вражеской столице! Сам нарком ВМФ не мог принять такое решение, имевшее не столько военное, сколько политическое значение. Он обратился к Сталину.

Николай Герасимович впоследствии рассказывал мне, как родился у него в конце июля столь дерзкий замысел. Обидно было, что вражеские бомбы падают на нашу столицу, что немецкая печать, немецкое радио ликуют по этому поводу. А мы что же, не способны ответить?! В те дни командование Военно-Морского Флота готовило массированный налет на Пиллау, где базировались вражеские корабли. Самолеты должны были подняться с ленинградского аэродромного узла. На карте Николая Герасимовича протянулись прямые линии от пригородов северной столицы до вражеской базы. Кузнецов мысленно продлил их дальше, до паукообразного темного пятна в левом нижнем углу карты. И, как говорил мне, волнение охватило его: а если попробовать? Только достанем ли?

На Балтике авиаторы, как и на других флотах, были превосходны. Случались, конечно, потери в боях: обычные, один к одному. Эта небольшая утрата быстро восполнялась. Флотские летчики были хозяевами воздушного пространства над морем, над побережьем. (Об этом лучше всего свидетельствует бывший противник. Журнал «Маринер рундшау» в 1962 году писал: «Советская авиация ВМС после первых недель некоторой неясности положения добилась почти неоспоримого превосходства в воздухе над морем».) Более того, морских летчиков, как мы знаем, использовали для помощи армейским частям, флотскую авиацию переподчиняли армейским начальникам. Она успевала и на суше, и на море. Авиаторы «работали» с такой нагрузкой, что за месяц накопили опыт и мастерство, для приобретения которых в других условиях не хватило бы и года. Летчики не подведут! А как техника?

Вместе со своим другом контр-адмиралом Владимиром Антоновичем Алафузовым, который был тогда заместителем начальника Главного морского штаба, Кузнецов долго «колдовал» над картой. Нет, с ленинградских аэродромов до Берлина не дотянуть. А не попробовать ли с острова Эзель? Алафузов рассчитал: если идти над морем по прямой, то получится. Не задерживаясь, не маневрируя, сбросить бомбы и сразу, опять же прямым курсом, назад. Упустишь минут двадцать — до аэродрома не дотянуть. А если туман или неисправность? Ведь под самолетами вражеская территория. Короче говоря, все должно было быть идеальным. А ответственность за неудачу ложилась, разумеется, на инициатора, на Кузнецова. Не посылает ли он лучшие экипажи я лучшие машины на верную гибель? Другой человек открестился бы от трудной и опасной идеи. А Кузнецов, радевший лишь о пользе дела, решительно взял ответственность на себя.

Прежде чем докладывать Сталину, моряки проверили все еще раз вместе с командующим ВВС ВМФ С. А. Жаворонковым и ведущими специалистами. Пришли к выводу: если самолеты примут полный запас горючего и пятьсот килограммов бомб каждый, они могут преодолеть девятьсот километров до Берлина и возвратиться обратно. В оба конца — шесть часов пятьдесят минут. И еще несколько минут в запасе.

Иосиф Виссарионович был удивлен, услышав предложение Кузнецова. Сразу понял, какую пользу может принести намеченная операция, если закончится успешно. Но велика ли надежда на успех? Задал много

вопросов, дабы убедиться, что все взвешено, подготовлено. Поинтересовался, кто поведет морских орлов. Кузнецов ответил: опытный флотский летчик Евгений Николаевич Преображенский.

Разрешение было получено. И вот в 21 час 7 августа 1941 года пятнадцать крылатых машин 1-го минно-торпедного авиационного полка стартовали с аэродрома на острове Эзель. Набрали высоту более шести тысяч метров. Температура в кабинах самолетов упала до 40 градусов ниже нуля. Управлять бомбардировщиками было трудно, зато на такой высоте менее опасны вражеские ночные истребители, да и огонь зениток не так страшен.

На подходе к Штеттину обнаружили гитлеровский аэродром. Там включались и гасли посадочные прожекторы, аэродром принимал самолеты. Советских бомбардировщиков сочли за своих. Замигали огни — предложение на посадку. Разнести бы в клочья это осиное гнездо, но впереди была более важная цель. Еще полчасика, и появилось на горизонте быстро разраставшееся пятно света. Берлин даже не был затемнен: ведь Геринг клятвенно заверил немцев, что на столицу рейха не упадет ни одна бомба!

Трудно сказать, кто больше волновался в ту ночь — инициаторы или исполнители, летчики, приближавшиеся к Берлину, или адмиралы Кузнецов и Алафузов. Беспокоились все, кто посвящен был в операцию, в том числе и Сталин. Я находился в Наркомате ВМФ, готовый сообщить Иосифу Виссарионовичу поступавшие новости. Но их долго не было, действия летчиков стали во всех подробностях известны нам позже.

Полковник Преображенский аэронавигационными огнями дал команду экипажам рассредоточиться и каждому выходить на свою цель. Под крыльями — столица врага! По линиям фонарей прослеживались улицы, при свете луны хорошо видна была река Шпрее. И ни единого выстрела, ни одного прожекторного луча. Если противовоздушная оборона и «засекла» самолеты, то продолжала считать их своими.

Тяжелые бомбы понеслись к земле. В центре города вспыхивали разрывы. Берлин сразу погрузился во тьму, зашарили по небу лучи, переплелись в воздухе трассы зенитных снарядов. Но было уже поздно, самолеты ложились на обратный курс.

Через несколько часов Николай Герасимович, не скрывая радости, сам доложил Сталину, что первая бомбардировка вражеской столицы завершилась полным успехом и машины вернулись на свою базу. Иосиф Виссарионович был очень доволен, распорядился представить участников операции к наградам, а наиболее отличившихся — к званию Героя Советского Союза. Что и сделал Николай Герасимович с большим удовольствием.

Для фашистов удар по Берлину был полной неожиданностью, они даже не разобрались, что произошло. В немецких газетах появилась информация: «Английская авиация бомбардировала Берлин. Имеются убитые и раненые. Сбито шесть английских самолетов». Военное руководство Великобритании, предполагая какой-то подвох, опубликовало официальное разъяснение: «Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7–8 августа английская авиация над Берлином не летала». А пока на западе судили да рядили, что к чему, по столице рейха был нанесен еще один удар, затем еще. По всему свету разнеслась удивительная новость: русские бомбят Берлин!

Так и было! Фашистские армии приближались к Москве и Ленинграду, гитлеровцы готовились отметить скорую и окончательную победу. Они утверждали, что русская авиация полностью уничтожена, и вдруг эта «уничтоженная» авиация почти каждую ночь сбрасывает бомбы на фашистский город, пугая врагов и радуя друзей Советской страны. Немцы предприняли много усилий, чтобы не допустить бомбардировщиков к своей столице. Опасность поджидала советских летчиков повсюду: в берлинском небе, над морем, даже на своем аэродроме, к которому прорывались вражеские самолеты. Флотские авиаторы несли потери, но вновь и вновь отправлялись в далекие рейды.

Налеты на Берлин продолжались до 5 сентября, до той поры, когда пришлось оставить Таллин и базу на Эзеле. Эффект был велик, особенно психологический. Может быть, впервые тогда в Германии люди начали задумываться: куда же ведет их Гитлер со своими сообщниками? Не наступит ли расплата за все то, что совершают фашисты?[43]

15

8 августа, день первого налета на вражескую столицу, запомнился мне еще двумя разновеликими, но существенными событиями. Ставка Верховного Командования была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования с некоторыми изменениями ее структуры. А Верховным Главнокомандующим отныне стал Иосиф Виссарионович Сталин, назначенный на этот пост Президиумом Верховного Совета СССР и сосредоточивший в своих руках все бразды власти. Окончательно сложился высший военный орган, не претерпевший потом существенных изменений до полного разгрома фашистской Германии.

В тот же день Сталину был доложен проект приказа Военно-инженерного управления о немедленном развертывании строительства оборонительного рубежа и специальных заграждений внешнего пояса обороны Москвы. Увы, возникла такая необходимость. Я предварительно познакомился и с проектом приказа, и с приложенной к нему картой. Начинаясь от Тарасовки, рубеж проходил по линии Хлебниково, Черкизово, Нахабино, Павловская Слобода, река Истра, Знаменское, Борки, Перхушково, Плещеево, Красная Пахра, Сергеевка, Домодедово. Такие знакомые, дорогие места — даже дрогнуло сердце. Здесь когда-то совершали мы полевую поездку под руководством Алексея Алексеевича Брусилова. Здесь, на Истре, провели мы жаркий летний день с Иосифом Виссарионовичем и его женой, смею сказать — счастливый памятный день с купанием, с шашлыком у костра. В Знаменском вообще каждый бугорок нам известен. А теперь там по глубокому лесистому оврагу протянется рубеж, дача Молотова останется по ту сторону фронта, а дача Сталина и мой домик — по эту, ближе к Москве. Надо хоть Катину гору-то, любимое место мое и Иосифа Виссарионовича, не разрыть, уберечь… Я передвинул на карте линию несколько западнее, к Успенскому, выделив противотанковый ров, начинающийся от реки. Иосиф Виссарионович, сравнивая потом мой варианте проектом Военно-инженерного управления, сразу и без слов понял меня, внес поправку.

Дело есть дело, надо смотреть вперед, готовиться не только к хорошему, но и к самому худшему. Я понимал это, и все же знакомство с проектом внешнего оборонительного пояса Москвы вызвало очень

неприятное ощущение, оставило горький осадок. И у Сталина тоже. Но проект был утвержден, приказ был отдан, строительство началось.

16

Наказанье Господне, свыше ниспосланное Иосифу Виссарионовичу, — его сын Яков Джугашвили. Много разных неприятностей доставил он отцу, но главная, самая потрясающая неприятность была, оказывается, впереди. Напомню: весной 1941 года Яков Иосифович окончил Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского. Поскольку поступил он туда не по собственному желанию, а по совету отца, то и особого старания к занятиям не проявлял, что и отразилось в оценках. И с ними мог бы, конечно, в любом штабе «окопаться», но Яков, человек искренний, честный, не эксплуатировавший свою фамилию, по мере возможности умалчивавший, что он сын Сталина, и в тот раз поступил, «как все». Получил направление на должность командира батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии.

Уместно заметить: в ту пору многим выпускникам военных академий сразу же присваивались звания, соответствующие тем штатным должностям, на которые их направляли. Старший лейтенант Яков Джугашвили занял, как видим, капитанскую должность, однако в звании его не повысили. Были, конечно, люди, стремившиеся «позаботиться» о сыне вождя, — это подтверждается документами. Вот вывод из аттестации, данной старшему лейтенанту Я. Джугашвили перед окончанием академии: «За время прохождения войсковой стажировки на должности командира батареи выявил себя подготовленным. Достоин присвоения звания капитан. Командир 151-го учебного отделения полковник Сапегин». Однако другой, более опытный и принципиальный начальник, учитывая вероятно, что Джугашвили прежде в войсках не служил, не убоялся начертать резолюцию:

«С аттестацией согласен, но считаю, что присвоение звания капитан возможно лишь после годичного командования батареей. Генерал-майор артиллерии Шереметов. 30 марта 1941 года».

Это — документ времен пресловутого «культа личности». Такое было возможно тогда. А возможно ли было потом?..

Имея характер совершенно не военного склада, мягкий и застенчивый, Яков Иосифович и освоиться-то не успел на новом месте, как грянули страшные испытания. Дивизия, в которой он служил, должна была сразу выступить на фронт. Во второй половине дня 22 июня он связался по телефону с Кремлем. Сталин был занят, у него в кабинете находилось несколько человек, поэтому Поскребышев, как бывало в таких случаях, переключил Якова на мой телефон — я работал в бытовой комнате за кабинетом. Так уж сложилось само собой: со стариками Аллилуевыми занимался всегда Поскребышев, а я вроде бы «курировал» молодежь, общаясь с детьми Сталина, других деятелей. Для меня это было ближе и проще, я лучше мог понять их, ведь моя дочь находилась среди них. И только мне доверял Иосиф Виссарионович самое личное, что не должно было быть известно никому другому, даже Поскребышеву. Дела семейные — это была ахиллесова пята, постоянно ноющий, раздражающий нерв Сталина.

Говорил Яков громко, бодро, но я уловил в его голосе и волнение, и неуверенность. Упомянул он о жене Юлии и дочурке Гале. Я подумал: уж

не ищет ли Яков возможности остаться в тылу? Может, подспудно тлеет в нем такое желание? Ведь это очень просто: Поскребышев позвонит куда следует, скажет несколько слов, и немедленно переведут Джугашвили в Москву или в глубинный военный округ… Но это, с моей точки зрения, было бы несправедливо и унизительно для него, это равносильно бегству с поля битвы, после чего порядочный человек навсегда перестанет уважать себя. «Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор!» И Сталин, конечно же, придерживался такого мнения.

— Николай Алексеевич, мне хотелось бы услышать отца, — смущенно произнес Яков, — если можно.

— Подожди.

Я приоткрыл дверь в кабинет. Иосиф Виссарионович недовольно посмотрел на меня, но сразу же понял: случилось нечто серьезное. Вошел в комнату и взял трубку.

О чем говорил Яков, не знаю. Во всяком случае, говорил недолго, а к концу беседы Сталин нахмурился: может, и ему пришла в голову та же мысль, что и мне, — о желании Якова остаться в тылу? Последние слова Иосифа Виссарионовича врезались мне в память:

— Понятно… Иди и сражайся! — твердо сказал он. Не давать сыну никаких поблажек, отправить на фронт вместе со всеми — это делает честь Сталину. Хороший или плохой был отец — вопрос спорный, во всяком случае сам он старался не выделять своих детей среди других, не создавать им особых условий. Пусть, дескать, привыкают к реальной жизни. А вот многие партийные и государственные деятели, в отличие от Иосифа Виссарионовича, поступали иначе. И в войну, и особенно после нее. Расчищали дорожку своим чадам. Помните: молодежь ехала навстречу трудностям поднимать целину, строить нужную стране Байкало-Амурскую магистраль, а дети и внуки хрущевско-брежневской рати отправлялись на тепленькие дипломатические должности за рубеж, грели руки в организациях, занимавшихся торговлей с иностранцами. Какая огромная разница!

Итак, простившись по телефону с отцом и со мной, старший лейтенант Яков Джугашвили отбыл на Западный фронт. На некоторое время я просто забыл о нем. Такой вихрь событий, что и о себе-то некогда было подумать. Жив, более-менее здоров, и ладно. Аккуратности, чистоте всегда был я привержен, а за первые недели войны оброс седыми лохмами, бриться стал реже и плохо. Якова вспомнил только раз, когда познакомился с копией открытки, которая была отправлена им из Вязьмы в адрес жены, — заботой Берии эта копия оказалась на столе Сталина.

«Дорогая Юлия! Все обстоит благополучно. Путешествие довольно интересное. Единственное, что меня беспокоит, это твое здоровье.[44] Береги Галку и себя, скажи ей, что папе Яше хорошо. При первом удобном случае напишу более подробное письмо».

Иосиф Виссарионович о сыне не спрашивал до конца июля, а потом начал вдруг проявлять тревогу. Вероятно, Берия сообщил ему о сложившемся положении: старший лейтенант Джугашвили исчез, подробности выясняются.

Безусловно, Сталин был бы очень доволен, если бы Яков, живой и здоровый, мужественно сражался с гитлеровцами. Это же замечательно: сын Верховного Главнокомандующего своим примером увлекает за собой бойцов! Конечно, Иосиф Виссарионович переживал бы, узнав о том, что Яков погиб в сражении за социалистическое Отечество. Еще раз скажу:

несмотря ни на что, на все неприятности, которые приносил старший сын, Сталин все же оставался отцом и был, например, очень рад, когда Яков бросил гражданскую специальность и поступил в Артиллерийскую академию. Какая-то надежда у Иосифа Виссарионовича засветилась: есть достойный, посерьезневший наследник. Но надо учитывать и другой аспект: Сталин всегда оставался прежде всего руководителем партии и великого государства, а затем уже просто человеком, безусловно подчиняя первому последнее, как это было и у Ивана Грозного, и у Петра Великого, и у многих других людей столь же высокого полета. Смерть Якова на поле брани была бы для Иосифа Виссарионовича огорчительным, но не самым худшим вариантом. В нравственном отношении она давала ему многое. Верховный Главнокомандующий, сын которого геройски погиб в бою, имел полное моральное право посылать в огонь сражений детей других матерей и отцов. Это подкрепляло бы не только его право руководителя, но и освобождало бы от внутренних сомнений. Но, увы, Яков Джугашвили был слишком слабым, заурядным человеком, просто обывателем, не способным позаботиться о престиже отца даже в самые трудные для Сталина и для всей страны дни. Я не считаю Якова сознательным врагом своего отца, мстившим Иосифу Виссарионовичу за собственные жизненные неудачи. Нет, он, несмотря на внешнюю привлекательность, одухотворенность, был бескрыл, бесхарактерен, зауряден для того, чтобы подняться до понимания своего положения в нашем сложном мире. Говорю это не в упрек Якову, к которому всегда относился с душевным расположением, а только ради справедливости. Знаю, что потомки многих товарищей могут обидеться на меня за откровенные высказывания в этой книге, но ведь кто-то должен, не поддаваясь никаким влияниям, личностным и временным, восстанавливать истину.

9 августа 1941 года из Ленинграда специальным самолетом был доставлен особо секретный пакет от члена Политбюро ЦК ВКП(б), члена военного совета Северо-Западного направления А. А. Жданова. В сопроводительной записке было очень коротко сказано: вот немецкая листовка, распространяемая вражескими пропагандистами… Без комментариев.

А листовка, прямо скажем, была впечатляющая. Одна сторона еще так-сяк, довольно обыкновенная для того времени. Привожу полностью:

«Товарищи красноармейцы!

Неправда, что немцы мучают вас или даже убивают пленных. Это подлая ложь! Немецкие солдаты хорошо относятся к пленным. Вас запугивают, чтобы вы боялись немцев. Избегайте напрасного кровопролития и спокойно переходите к немцам». Здесь же обычный, выделенный рамкой, «пропуск в плен», гласивший: «Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону Германских Вооруженных Сил. Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят на работу».

Действительно, первое время бывало, что и кормили, и устраивали, и даже домой отпускали тех, чьи семьи проживали на оккупированной территории.

Сказанное на одной стороне листовки рассчитано на массу, на ширпотреб. Мало ли в Красной Армии всяких обиженных, колеблющихся, уголовных преступников. Пусть прочитают, подумают. Может, и бросят

оружие, поднимут руки вверх перед победоносными гитлеровскими войсками. А вот вторая сторона листовки имела характер важной политической акции, направленной на подрыв авторитета советского командования, на самооправдание людей неуверенных, трусоватых… Впрочем, судите сами.

Четкая фотография. По лужайке прогуливаются трое. Одного немецкого офицера, засунувшего руки в карманы распахнутой шинели, можно не считать, он тут сбоку-припеку. Затем весьма привлекательный немолодой немец в кителе и галифе, с отличной выправкой, без фуражки: светлое лицо и совершенно белые (или седые) волосы. Плечо в плечо с ним черноволосый, темнолицый, в каком-то темном балдахине (может, широкая гимнастерка без ремня) и тоже без головного убора Яков Джугашвили. Жестикулирует, что-то объясняя немцу. Выражение лиц у всех деловое, спокойное: приятели на прогулке, да и только. Именно это поразило меня и сразу же вызвало вспышку гнева у Иосифа Виссарионовича.

— Цис рисхва! Позор несмываемый!

— Может, он попал в плен раненый, без сознания, — предположил я.

— Он не имел права попадать в плен ни при каких обстоятельствах. Он мог бы покончить с собой там, у немцев, а не разгуливать с германскими офицерами! Позор! Он всегда думал только о себе и никогда обо мне, о чести нашей семьи. Для меня он больше не существует, — отрезал Иосиф Виссарионович.

Я всматривался в фотографию, стремясь понять, не фальшивка ли, не фотомонтаж? Нет, не похоже. Тем более что рядом — копия рукописного текста: «Дорогой отец! Я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей Германии. Обращение хорошее. Желаю здоровья, привет всем. Яков».

Вот какой он заботливый, даже здоровья папочке пожелал — это было на издевку похоже. А писал он своей рукой, в этом не было никаких сомнений, я знал все особенности его почерка.

Под фотографией текст-призыв: «Немецкие офицеры беседуют с Яковом Джугашвили. Сын Сталина, старший лейтенант, сдался в плен немцам. Если уж такой видный советский офицер и красный командир сдался в плен, то это показывает с очевидностью, что всякое сопротивление германской армии совершенно бесцельно. Поэтому кончайте все войну, пользуйтесь нашими пропусками и переходите к нам».

Да, крепко подыграл Джугашвили фашистам. Удар был силен и с совершенно непредвиденной стороны, по крайней мере, для меня.

У Иосифа Виссарионовича, всегда ожидавшего какого-либо подвоха от Якова, были, возможно, какие-то смутные предчувствия. У меня мороз пробежал по коже, когда стало ясно: 14-я танковая дивизия оказалась в окружении неподалеку от Витебска как раз в тот время, когда я находился там, правда, на другом участке. А ведь послал-то меня туда не кто иной, как Иосиф Виссарионович. Знал ли он, где воюет его сын? Или просто неясная тревога томила, угнетала Сталина? Он почти безошибочно определил место, откуда грозила опасность непосредственно ему, только не осознал, что это за опасность и как ее предотвратить.

Немцы, конечно, без зазрения совести использовали тот факт, что сын Сталина находится у них в плену. Листовки, подобные той, которую переслал нам Жданов, были напечатаны гитлеровцами в огромном

количестве и распространялись на разных участках фронта. И оказывали определенное воздействие, особенно на бойцов, попавших в окружение.

Надо было как-то разобраться с Яковом, принять какое-то решение. А поскольку дело касалось прежде всего лично Сталина, его семьи, то обсуждение состоялось не в служебном кабинете Иосифа Виссарионовича, а на Кунцевской даче, за поздним обедом и после него. Присутствовали: Шапошников, Молотов, Берия и я. Сталин сразу поставил Лаврентия Павловича в тупик прямым и суровым вопросом: можно ли установить, где находится Яков, выкрасть его или провести операцию, после которой официально объявить, что старший лейтенант Джугашвили не покорился врагу и погиб от рук гитлеровских палачей. Молотов поддержал: как ни прискорбно, а принять все меры, даже самые крайние, необходимо. Фашистская пропаганда использует факт пребывания Джугашвили в плену как козырную, беспроигрышную карту во всемирном масштабе. Прогерманская пресса во многих странах затевает вредную для нас шумиху.

Берия без обычной для него самоуверенности начал пространно рассуждать о том, что немцы, конечно, будут охранять Якова особенно тщательно, переводя его с одного места на другое. Но мы, дескать, попытаемся выявить, где он… Борис Михайлович Шапошников мягко, но достаточно веско изложил свое мнение, сводившееся вот к чему. Будучи начальником штаба Западного фронта, он убедился, что наша военная контрразведка, органы НКВД растерялись в сложных условиях отступления, они дезорганизованы и если бьют, то чаще своих, а не противника. Немецких диверсантов, шпионов, если таковых обнаруживают, расстреливают на месте. Это величайшая глупость. Вражеских агентов, наоборот, надо беречь, долго и тщательно допрашивать, сопоставляя сведения, стараться перевербовывать их, вести радиоигры с противником. Ничего этого нет, как и нет в данный момент действенной разведки и контрразведки. Отсюда вывод: найти и нейтрализовать Якова Джугашвили нам сейчас не удастся. Не надо даже затевать никаких акций, не надо проявлять интереса к пленному. Это только возвысит его авторитет в глазах неприятеля.

— Но мы должны что-то ответить немецкой пропаганде, мы должны что-то противопоставить врагу! — произнес Сталин.

— Никакой реакции — вот самый лучший ответ. Пошумят и перестанут. Никаких официальных подтверждений или опровержений. Кто-то у нас поверит немцам, кто-то посчитает листовки очередной гитлеровской фальшивкой.

Я поддержал Шапошникова: во время войны рождается много слухов, почти все они исчезают с такой же быстротой, как и появляются на свет.

— Пусть будет так, — согласился Иосиф Виссарионович и, не сдержавшись, стукнул кулаком по столу. — Но каков мерзавец! Мы самыми строгими мерами боремся против сдачи в плен, а он там беседует, видите ли, с немецкими офицерами…

— Указ о ссылке родственников? — осторожно спросил Берия.

— Безусловно. Почему мы должны делать исключение для Якова Джугашвили? Законы пишутся для всех.

— А дочь?

Иосиф Виссарионович несколько секунд колебался, решая участь своей внучки Гали, которую, впрочем, никогда не видел, а ей было уже года два или три. Вспомнил свою четкую формулу:

— Дети за отцов не отвечают. Отвезите ее к старикам на Дальнюю дачу. А эту одесскую еврейку (он никогда не называл Юлию Мельцер по имени) — в Красноярский край. Пусть погреется под сибирским солнцем.

— Не надо бы, Иосиф Виссарионович, — возразил я. — Она будет среди людей, она не сможет все время молчать. Слухи о Якове получат подтверждение. Пусть побудет в тюрьме, в одиночной камере, в хороших условиях, но ни с кем не общаясь…

Молотов кивнул, соглашаясь со мной. Шапошников промолчал. Сталин посмотрел на Берию:

— Как ты?

— Тюрьма надежней. Когда брать, сегодня?

— Подождем подтверждений, чтобы не было никакой ошибки, — сказал Иосиф Виссарионович.

Судьба Юлии Мельцер была решена. В одиночной камере она проведет два года. Мне доводилось слышать, что в этот период Иосиф Виссарионович часто виделся со своей внучкой Галей, уделял ей особое внимание. Это неправда. В те тяжелые годы Сталин, полностью поглощенный делами военными, государственными, почти забыл о семье, Светлану не видел месяцами. С Василием встречался чуть чаще. А с маленькой Галей общался раза два или три, не проявляя никаких эмоций. А когда Юлия Мельцер оказалась на свободе и взяла Галю к себе, он вообще словно бы забыл о существовании той и другой. Чужими были они для него.

То, что произошло с Яковом Джугашвили, сразу же и в значительной степени отразилось на судьбе его сводного брата Василия Сталина. Позаботился о нем Берия.

У Лаврентия Павловича скулы сводило, когда вспоминал о пленении Якова. Вину за это Иосиф Виссарионович мог полностью возложить на него. «Почему недосмотрел со своими органами? У тебя что, людей мало? Чем занимаются твои дармоеды?» Берия своему покровителю сатане кланялся за то, что пронесло, что не испепелила его молния сталинского гнева… Другие дела больше беспокоили тогда Иосифа Виссарионовича, да и всегда настороженно относился он к Якову, ожидая от него какой-нибудь очередной пакости. Ну и дождался, и не очень-то был удивлен, не раскалился до крайности. Но если бы нечто подобное произошло еще и с Василием — тогда уж точно не сносить бы Лаврентию Павловичу головы. И Берия сделал все, чтобы остепенить своевольного, самолюбивого, склонного к поспешным, необдуманным поступкам Василия.

После окончания в 1940 году Качинской военной школы летчик Василий Сталин (кстати, неплохой летчик-истребитель) благодаря подхалимам делал стремительную карьеру. Пробыв лишь несколько месяцев в авиационном полку, поступил на командный факультет Военно-воздушной академии. Впрочем, в том же году и покинул ее, не показав прилежания и способностей в познании сложных наук. Ему нашли заведение попроще: и январе 1941 года послали на Липецкие авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрилий (хотя эскадрильей он не командовал). В мае Василий эти курсы окончил, а через месяц стал инспектором-летчиком Управления ВВС Красной Армии. Должность авторитетная, почетная, а главное — тыловая, что особенно важно было для Берии. Однако положение Василия не исключало его вылетов а район военных действий, участия в боях. Черт его знает, этого веснушчатого взбалмошного юнца, рыжеватого, как и Светлана. Низкорослый, худой,

весом всего килограммов на пятьдесят с небольшим, он выглядел пареньком-подростком. И даже мундир (высокую должность он получил в девятнадцать лет!) не придавал ему солидности.

Для убережения Василия от всяких случайностей Берия, посоветовавшись с военными, добился назначения своего подопечного на пост начальника инспекции ВВС КА. Была также подготовлена инструкция о том, что начальник инспекции, как лицо весьма ответственное, не имеет права приближаться к линии фронта, пересекать ее, вступать в воздушный бой с противником даже над нашей территорией. Таким образом, стремительно возвысив Василия Сталина, сообразительный Берия убил сразу нескольких зайцев. Обезопасив юного авиатора, он тем самым обезопасил себя. И Иосифу Виссарионовичу доставил удовлетворение: сын продвигался по службе без вмешательства отца и занял такое положение, что о нем можно было не беспокоиться.

17

Неприятности на фронте следовали одна за другой. Сталин, естественно, нервничал, принимал различные меры, чтобы исправить положение. Разочаровавшись в молодых полководцах, таких, как Павлов, расстрелянный после падения Минска, как Кирпонос (и даже частично в Жукове), Иосиф Виссарионович решил доверить бразды правления своим старым, надежным соратникам: может, они сумеют стабилизировать положение, добиться успеха?! В середине июля были образованы главные командования трех стратегических направлений. Главнокомандующим Северо-Западным направлением был назначен маршал Ворошилов, Западное возглавил маршал Тимошенко, а Юго-Западное — маршал Буденный. О Семене Михайловиче я думал так: театр военных действий знает он хорошо, хитер, горячку пороть не станет, если и не принесет пользы, то и вреда от него не будет. Послужит амортизатором, смягчающей инстанцией между Москвой и фронтовыми, армейскими командующими: как-никак давний друг Сталина, известны ему те струнки Иосифа Виссарионовича, на которых можно сыграть.

Теперь о Тимошенко. На предвиденье, на масштабную инициативу он не способен, но у него имелись несколько важных для того времени качеств. Знание обстановки, знание комсостава и, самое главное, редкостное хладнокровие: не запаникует, не потеряет голову в самых трудных условиях, даже на краю катастрофы. Вот только реакция замедленная: пока поймет, пока обдумает, пока примет решение — время и пролетело, противник добился своей цели. Тимошенко не успел на одно событие отреагировать, а немцы уже начали следующую акцию. И все же более подходящей фигуры на пост главнокомандующего Западным направлением я, например, в ту пору не видел.

Против кого я готов был возражать, так это против Климента Ефремовича. Речи произносить, проекты обсуждать, предложения выдвигать — это он горазд. Но не полевой он командир, не полководец, не организатор боевых действий. Однако Сталин все еще придерживался мнения, что исполнители конкретных дел, специалисты всегда найдутся, важно другое — чтобы высокий руководитель был человеком надежным, способным добиваться осуществления главных замыслов, генеральной линии. Вот и улетел Ворошилов в Ленинград — «осуществлять».

Положение было очень сложным на всех фронтах, но на северо-западе и на западе имелась хоть какая-то ясность, определилось направление главных вражеских ударов, можно было делать прогнозы, намечать контрмеры. А на юго-западе обстановка все более запутывалась. Судя по сообщениям из Киева и по телефонным разговорам Сталина с Кирпоносом, последний не мог разобраться, что происходит, перестал контролировать положение. Каким образом оказались в кольце на небольшом пятачке возле села Подвысокое остатки соединений 6-й и 12-й армий вместе с командованием, штабами, политаппаратом? Можно ли пробиться к ним, вывести из окружения хотя бы часть сил?

Особенно почему-то беспокоила Сталина судьба членов военных советов той и другой армии: Петра Митрофановича Любавина, до нападения немцев первого секретаря Донецкого обкома партии, и Михаила Васильевича Груленко, который возглавлял прежде Станиславский (после войны Ивано-Франковский) обком партии. Переживал Иосиф Виссарионович за своих партийных выдвиженцев, не хотел, чтобы такие авторитетные, много знающие лидеры оказались в руках гитлеровцев. Я не был знаком с этими товарищами, но выяснить судьбу политработников, командования вообще положение окруженных армий и соседней с ними 18-й армии Южного фронта было поручено мне. Наверно, по той же причине: Иосиф Виссарионович был уверен, что получит от меня объективный доклад с конкретными выводами. Ну и одно дело проверяющий генерал — представитель со свитой; куда он пробьется, куда доберется?! И другое — малозаметный подполковник с несколькими автоматчиками. Обычный вроде бы делегат связи (делегатами назывались тогда посланцы командования). Но у этого малозаметного посланца, то есть у меня, имелось в потайном кармане уникальное удостоверение, подписанное самим Сталиным и открывавшее на территории нашей страны доступ всюду и ко всему. Этим документом я не злоупотреблял, пользовался в самых крайних случаях.

То, что увидел, оказавшись в первых числах августа в южных степях, произвело гнетущее впечатление. На большом пространстве юго-западнее Киева от Винницы, от Казатина и до Первомайска, почти до Николаева фронта практически не было. Под палящим солнцем отходили осколки разбитых соединений, зачастую никем не управляемые, брели группы красноармейцев и бойцы-одиночки. Тяжелого оружия — танков, артиллерии — я почти не видел, все это, наверно, бросили, потеряли при поспешном отступлении. Над дорогами, заполненными войсками, обозами, беженцами, гуртами скота безнаказанно резвились немецкие самолеты, сея смерть, ужас, панику. Никто не хоронил вздувшиеся, разлагавшиеся трупы, некому было позаботиться о раненых.

В этой обстановке я со своими спутниками потерялся, как песчинка среди беснующихся волн. Мотало нас вместе с неизвестно куда отступавшими войсками, и ничего я не мог изменить, ничего не мог подробно узнать, ни о чем не мог доложить Иосифу Виссарионовичу. Какие уж тут доклады, сообщения, когда штаб ближайшей дивизии не разыщешь, его либо нет уже, либо он в движении, на переходе. Хаотичный вал отступления затянул меня в такие глубины, откуда мало кому посчастливилось выплыть.

Меня потеряли в Москве. Мне довелось увидеть и пережить то, что испытали на себе воины самого низшего, основополагающего звена. Это очень меня обогатило. Может быть, и мои советы Иосифу Виссарионовичу

оказались потом более конкретными и, смею надеяться, весомыми и полезными.

Итак, увы: 6-я и 12-я армии задыхались в кольце севернее Гайсина, пробиться туда не было никакой возможности, радиосвязь отсутствовала. Бойцы и командиры, вырвавшиеся из окружения, ничего не знали о судьбе руководства. Лишь годы спустя стало известно, что члены военных советов этих армий Любавин и Груленко, о которых беспокоился Сталин, погибли, прорываясь из кольца. Когда кончились боеприпасы и не осталось ничего, кроме плена, два политработника обнялись и израсходовали на себя последние пули. Но об этом, повторяю, стало известно много позже. А тогда была полнейшая неясность — неразбериха во всем, в том числе, кстати, и в действиях немцев.

Опрокинув наш фронт, фашисты по всем представлениям должны были устремиться к Киеву, к важнейшему политическому и военно-стратегическому центру. Ведь на финишную прямую, на довольно короткую прямую, они вышли! И, к моему удивлению, не воспользовались этим. Их мощные подвижные соединения, достигшие Казатина и районов южнее его, не двинулись на северо-восток, на столицу Украины, не двинулись и на восток, ближайшим путем к Днепру, а совершенно неожиданно повернули на юг, к далекому Черному морю. Особенно странно положение выглядело на карте. Стрелы вражеских соединений были нацелены на город Николаев, в устье Южного Буга, и на Херсон, в устье Днепра. В некоторых местах стрелы круто загибались почти на запад. Наверно, немецкие солдаты сами удивлялись, видя, что наступают вслед за солнцем — в сторону своего фатерлянда.

Сознательно ли пошло вражеское командование на такой странный маневр? Думаю, и да, и нет. Фашисты понимали, что Киев мы будем защищать упорно, не жалея сил, потери будут большие, а немцы старались всячески избегать людских утрат, не ввязываться в затяжные бои, а маневрировать, искать слабые места в нашей обороне, ошеломлять, окружать, добиваться успехов малой кровью. И они пошли туда, где почти не встречали сопротивления, громя с фланга и даже с тыла войска нашего Южного фронта. Цель: разбить 18-ю и 9-ю советские армии, отрезать всю Молдавию, значительную часть южной Украины вместе с Одессой, создать условия для захвата Крыма. Да, немцы воевали умело, по-новому, полностью используя свое превосходство в технике, стремительность, организованность, самоуверенность. Дивизии 18-й армии, принявшие на себя основной удар механизированной лавины, не могли противостоять гитлеровцам. Конечно, фашисты тоже несли потери, но движение их колонн тормозилось не столько нашим сопротивлением, сколько доставкой горючего.

Вот что я видел своими глазами восточнее города Балты. Вдоль южного берега речки Кодыма окапывался стрелковый батальон. Я решил переждать здесь, у воды, жаркое полуденное время, смыть въевшуюся в поры дорожную пыль, при возможности прополоскать белье, гимнастерку и, извиняюсь, портянки. Приказал водителю замаскировать машину под прибрежными вербами. И шофер, бойцы-автоматчики сразу бросились к воде, а я сперва прошелся с комбатом вдоль линии обороны, поговорил с ним. Пожилой, степенный капитан-запасник из Харькова успел уже повоевать, был легко ранен; он произвел на меня положительное впечатление. О своем батальоне капитан говорил скупо и неохотно. Людей много, да что проку?! Почти все бойцы из Западной Украины, в армии не

служили, винтовки держат, как палки. Командиры взводов и рот — из запаса. На весь батальон, на тысячу человек (почти двойная численность!) лишь несколько кадровых командиров. Пулеметов нет. Обмундирование получили не полностью, на складах не оказалось обуви и головных уборов. Кто в капелюхе, кто в кепке. У одного домашние чоботы, у другого сандалии, третий вообще босиком… Пока отходили сюда, к Балте, несколько раз попадали под бомбежку, потеряли треть личного состава. И не только от бомб. Люди разбегались, потом не могли найти свое подразделение. Некоторые — из местных, — исчезали, не желая уходить далеко от дома…

— Воевать сможете? — напрямик спросил я.

— Появится за речкой пехота — попугаем из винтовок… Да и чем воевать? — развел руками капитан. — Подобрал на дороге пушку-сорокопятку с десятком снарядов, вот и вся артиллерия… Э, да что там!.. Чего у нас вдоволь, так это еды. Не бросать же немцу добро… Прошу на обед. Хотите борщ, хотите кулеш с салом.

— С удовольствием. Только помоюсь, — сказал я и присоединился к своим бойцам, наслаждавшимся прохладой текучей воды.

Со стороны Балты доносилась канонада, а у нас на речке было спокойно, тихо и зелено. Даже самолеты ни разу не появились. На горячем солнце быстро высохла постиранная одежда. Я успел пообедать с комбатом и даже вздремнул на шинели возле машины. Разбудили меня пулеметные очереди и голос шофера:

— Товарищ подполковник, чтой-то неладное!

Мгновенно натянув сапоги, вскочил и осмотрелся. Первая заповедь военного человека, от рядового бойца до полководца: прежде всего с возможной точностью оцени обстановку. Пулеметы, три или четыре, били почему-то не из-за реки, откуда ожидались немцы, не с запада, со стороны Балты, а как раз с противоположной стороны, с востока: где-то там, довольно, впрочем, далеко, находился город Первомайск, куда я намеревался ехать в поисках штаба 18-й армии.

Оттуда же, с востока, отходили вдоль берега, вдоль свежеотрытых окопов, бойцы: те самые, из полуобмундированного батальона. К ним присоединялись красноармейцы, вылезавшие из стрелковых ячеек, ходов сообщений. А вот и бегущие появились. Молодой паренек, всклокоченный и без ремня, волочивший по земле винтовку, чуть не сбил меня с ног.

— Стой! — крикнул я, выхватив пистолет. — От кого бежишь? Куда?

— Та герман, пан командир! С кулеметами, на мотоциклетках!

— Где?

— Ось там, на шляху!

Судя по стрельбе, мотоциклистов было не много, вероятно, разведка. Но в этот момент откуда-то донеслось гудение двигателей, чей-то истошный вопль резанул слух:

«Хлопцы, тикайте! Танки идуть!»

И побежал почти весь батальон. Одни красноармейцы по берегу, другие, бросив винтовки, лезли в воду, плыли на ту сторону. Искаженные страхом лица, обезумевшие глаза. Я попытался задержать несколько человек, но они просто не понимали, чего от них требуют.

— Танки же! Танки! Сбоку зашли!

Сообразив, что панику не унять, я вместе с шофером и автоматчиками быстро поднялся на высотку, где находился командный пункт капитана, с которым недавно обедал. Там возле комбата собралась группа человек в

двадцать и там же стояла пушка-сорокапятка, готовая открыть огонь. Но стрелять было пока не в кого. Капитан, смотревший в бинокль, подтвердил, что на дороге действительно появились вражеские мотоциклисты, а теперь еще и грузовики, вероятно, с пехотой. Сколько грузовиков — за пылью не видно. Подойдут ближе — можно будет ударить по ним. А меня комбат попросил немедленно уехать, так как отвечать за штабного подполковника он не намерен. Если встречу какое-либо начальство, чтобы доложил: капитан такой-то занял оборону на высоте фронтом на север, собирает рассеянный батальон. Ждет указаний на отход или поддержки.

Капитан, конечно, очень надеялся установить связь с командованием, я обещал помочь. Отдав комбату все имевшиеся гранаты, отправился в путь, переживая за горстку людей, оставшихся со своей пушчонкой у реки «фронтом на север». Но что делать, капитан должен был выполнять свои обязанности, а я — свои.

Двое суток мотался потом по степным дорогам среди растрепанных, потерявших связь и управление войск, стихийно стремившихся на юг и на юго-восток. Немцы появлялись то с запада, то с востока, оказывались даже впереди: их моторизованные и танковые части опережали нашу отступавшую пехоту. Вспыхивали бои за населенные пункты, за перекрестки дорог. И почти все наши войска, даже те, которые организованно отступали на юг, были в конце концов отсечены немцами, продвинувшимися вдоль Южного Буга. Уйти из замыкавшегося кольца удалось главным образом тем, у кого были колеса. Меня как раз и спасло то, что автомашина была надежной, а водитель умелый.

Штаб 18-й армии, а точнее остатки штаба я разыскал юго-восточнее Воскресенска в междуречье Южного Буга и Ингула. Несколько крытых грузовиков, несколько легковушек, полуторки комендантской роты и связистов. Со штабом находился и командующий армией генерал-лейтенант Смирнов Андрей Кириллович. Я ценил способности этого человека. На русско-германском фронте он был поручиком, командовал ротой и воевал, кстати, здесь же, на Украине. А когда царская армия рассыпалась, Смирнов вернулся домой в Петроград и вскоре стал там инструктором по формированию и подготовке красногвардейских отрядов. Участвовал в боях с Юденичем. В сражениях с белополяками успешно командовал стрелковой бригадой. Затем — служба, учеба в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Командовал стрелковой дивизией, затем корпусом. После пребывания на Дальнем Востоке — назначен начальником высших стрелковых курсов «Выстрел», а через год стал начальником Управления учебных заведений Красной Армии. Война застала Смирнова на посту командующего Харьковским военным округом.

Один из немногих уцелевших создателей Красной Армии, опытный и образованный военачальник, Андрей Кириллович был, на мой взгляд, среди тех столпов, на которых держались наши Вооруженные силы и оказался потом в числе тех позабытых руководителей, которые приняли на себя первые, самые страшные удары врага. Лавры же, как известно, достаются победителям, особенно тем, кто после победы умеет горласто заявить о себе. Смирнов же погиб в бою в октябре сорок первого. Вечная память этому славному командиру.

Мы с ним не были друзьями или близкими знакомыми, но на протяжении многих лет время от времени встречались по разным делам. Виделись в конце декабря 1940 года на большом совещании командного состава

Красной Армии, на котором присутствовали члены Политбюро. Не было только Сталина, который неважно себя чувствовал, но я каждый вечер подробно рассказывал ему обо всем происходившем. С докладом «Характер современной оборонительной операции» выступил генерал армии И. В. Тюленев. С докладом «Характер современной наступательной операции» — генерал армии Г. К. Жуков. Выступления их были основательные, широкозахватные, но, по моему мнению, не очень конкретные. Слишком много было предположений и предложений типа: желательно перевести артиллерию на механическую тягу, необходимо учитывать, что немецкое командование накопило опыт ведения современной войны, и так далее. Мне, по совести говоря, особенно понравился тогда доклад Андрея Кирилловича Смирнова «Бой стрелковой дивизии в наступлении и обороне». Смирнов исходил из конкретной ситуации, конкретных возможностей.

Давно ли было то совещание, чуть более полугода назад, но за минувшие месяцы Андрей Кириллович внешне изменился настолько, что я не узнал бы его, встретив случайно на улице. Он и всегда-то был худощавый, подтянутый, без лишнего веса — настоящая офицерская косточка, а теперь не то чтобы похудел, а иссох, почернел, как мумия: от переживаний, от усталости, от жары. Ввалились щеки, остро выпирал подбородок, крупнее казался прямой, римского типа, нос, выпуклее и больше лоб. У Андрея Кирилловича были хорошие глаза: добрые, внимательные, пристальные, а теперь в них, в выражении лица угадывались боль и скорбь.

Смирнов тоже удивлен был моим видом: измучен, покрыт коростой пыли, глаза красные от недосыпа, от солнечного блистания, ночных пожаров, огненных вспышек разрывов. А встрече мы взаимно обрадовались, обнялись. Андрей Кириллович был искренне доволен: к нему в пекло редко приезжал кто-нибудь, а если и приезжал, то чтобы подстегнуть, высказать недовольство, а не разобраться, не посоветовать. И если мне досталось крепко и физически, и морально в начале войны, то уж ему, все время находившемуся на передовой, тем более. Правда, он был моложе, выносливее.

Андрей Кириллович буквально породил и вынянчил 18-ю армию, познавшую, как и многие другие армии, и горечь поражений, и радость побед, вознесенную в некие послевоенные годы на высоты славы отнюдь не за деяния, а по случайности, в угоду одному государственному лицу, служившему в ней. При этом не упоминалось, что армия была трижды разгромлена: в августе сорок первого, еще при Смирнове, затем осенью того же года в Донбассе, еще — почти полностью — летом сорок второго, когда отходила от Дона до Туапсе. Из остатков каждый раз возрождалась она, пополнялась новыми соединениями. Этой армии суждено было пройти невероятно длинный путь отступления от Буковины, от города Черновцы и до Кавказских гор. Какой еще армии довелось отступать больше?! Но и в наступлении прошла она весь этот путь и даже более долгий. А началась 18-я утром 22 июня 1941 года, когда генерал-лейтенант А. К. Смирнов получил в Харькове директиву Генерального штаба о формировании новой армии и быстрейшем убытии на передовую. И уже к вечеру следующего дня управление 18-й выехало в Каменец-Подольский, чтобы там принять под свое крыло часть войск Юго-Западного фронта, пополнить их мобилизованными людьми, остановить продвижение противника в Буковине и северной части Молдавии. По составу армия планировалась

полнокровной и достаточно сильной: два стрелковых и механизированный корпуса, противотанковая артиллерийская бригада и другие части усиления. Однако все эти войска разрозненно уже втянулись в бои, уже отступали под нажимом гитлеровцев по дорогам, которые контролировала фашистская авиация, нарушая связь и снабжение. Уже вклинились в нескольких местах немецкие танки, и начинался тот хаос, который я видел своими глазами и с которым не мог справиться даже такой умелый и спокойный командарм, как Смирнов. Впрочем, на других участках было еще хуже. Соседи справа, 6-я и 12-я армии, как мы знаем, оказались в кольце. Такая же участь грозила несколько раз и 18-й армии, но генералу Смирнову удавалось избежать полного окружения, сохранить костяк своего объединения. А это было ох как нелегко! Отступавшим войскам пришлось переправляться через Прут, через Днепр, дважды через Южный Буг, стягиваясь к мостам, попадая в пробки под огнем противника, при полном господстве его авиации. Можно себе представить результаты каждой из таких переправ! И все же армия, отходя и пополняясь мобилизованными, вела арьергардные бои, по мере возможности задерживая неприятеля.

Я приехал к Смирнову в тот момент, когда его армия переживала очередной кризис, может быть, самый тяжелый с начала войны. Случилось вот что. 6 августа подвижные части 1-й танковой группы противника сделали из района Первомайска стремительный бросок на юг и захватили Вознесенск, где с трудом были остановлены срочно переброшенными туда кавалеристами генерал-майора П. А. Белова. Фашисты продвинулись вдоль восточного берега Южного Буга, отрезав пути отхода 18-й армии, оставшейся в степях за рекой. Войска армии покатились на юг и на юго-восток к Новой Одессе, но там не оказалось никаких переправ, и разрозненные части устремились дальше — на Николаев. Лишь 8 августа кавалеристы генерала Белова, подтянув два своих инженерных парка, навели хороший мост под защитой зенитчиков, переправились сами и обеспечили переправу остатков 18-й армии в междуречье Южного Буга и Ингула.

По сути дела, армию надо было создавать почти заново, переформировывая части и соединения за счет местных ресурсов, и одновременно отражать натиск гитлеровцев. Этим и занимался Андрей Кириллович Смирнов, не отчаявшийся в столь скверных условиях. Не запаниковал старый, закаленный вояка, как некоторые товарищи, прибывшие с гражданки, не закаленные суровой и переменчивой воинской действительностью. Впервые, кстати, услышал я тогда фамилию Брежнева, получившего впоследствии широкую известность.

У Смирнова голова пухла от неразрешимых, казалось, забот, нервы были на пределе, а тут еще одна неприятность: из Николаева, из штаба и политуправления Южного фронта звонок за звонком — в полосе вашей армии пропал первый заместитель начальника политуправления фронта полковник Л. И. Брежнев, до войны секретарь Днепропетровского обкома партии. Фигура! 4–5 августа Леонид Ильич находился юго-западнее Первомайска в частях, контратаковавших немцев, а затем закрепившихся на правом берегу речки Кодыма (то есть примерно там, где я отдыхал в полуобмундированном батальоне). О дальнейшем можно было только догадываться, предполагая самое худшее. Повторю: наступающие немецкие танки прорвались от Первомайска на Вознесенск, перерезав пути отхода 18-й армии на восток. Двое суток мотался я тогда по дорогам

среди хаотичных толп, стремившихся незнамо куда под бомбежкой, а то и под артиллерийским обстрелом неприятеля, и добрался до своих благодаря надежной машине, умелому шоферу и некоторому опыту ориентировки в сложных условиях. А Брежнев? Не постигла ли его участь коллег, тоже недавних секретарей обкомов, а затем членов военных советов 6-й и 12-й армий Любавина и Груленко? Имел я одной из задач выяснить судьбу этих товарищей, а тут, рядом со мной, потерялся и третий крупный партийный работник. Теперь я получил довольно полное представление, как это могло произойти.

Не стану, однако, вводить читателя в заблуждение, лучше забегу немного вперед: через несколько дней на пути в штаб Юго-Западного направления побывал я в Днепропетровске, где формировалась резервная армия, и там узнал некоторые подробности о Брежневе. При прорыве немцев на Вознесенск Леонид Ильич действительно оказался в самой гуще разбитых, отступающих войск. Новичок на фронте, к тому же, естественно, очень боявшийся, до жути боявшийся попасть в плен. Он, вероятно, на какое-то время утратил самообладание. Обороняться некому, кругом немцы, все кончено. Проскочив на машине между вражескими колоннами и совершенно не представляя, куда продвинулся противник, где искать своих, Брежнев махнул прямиком на восток, в родной город. Беспокойство за семью подгоняло его. Не знаю уж, как успел, будто на крыльях несло, во всяком случае часов через восемь он был уже в Днепропетровске, явился домой в гражданской одежде, без фуражки, со свалявшейся шевелюрой.

Очутившись в глубоком спокойном тылу, Леонид Ильич быстро пришел в себя и сообразил, что поступил не совсем правильно, оторвавшись неожиданно для начальства столь далеко от войск, вдохновлять которые был направлен. Побрившись и почистившись, Леонид Ильич поторопился в обком, где радостно был встречен друзьями, жаждавшими узнать военное положение. Разъяснив, где и что примерно происходит, Брежнев сказал, что прибыл в город проверить строительство оборонительных рубежей, ускорить отправку на передовую подкреплений. Вместе с представителями обкома побывал в 273-й стрелковой дивизии, которая, впрочем, еще до его посещения начала выдвигаться к линии фронта. И лишь управившись с этим и с другими делами, показав активную деятельность, Леонид Ильич связался с членом военного совета Южного фронта А. М. Запорожцем и доложил, где находится и чем занимается. Запорожец был доволен уж тем, что руководящий политработник не исчез, объявился, и разрешил Брежневу остаться в Днепропетровске, заботиться о резервах и об эвакуации промышленных предприятий: в этот город из Николаева, оказавшегося в угрожаемом положении, должны были переместиться штаб и политуправление фронта.[45]

А командарм Смирнов основательно понервничал из-за Брежнева двое суток.

При всей сложности ситуации, при всех потерях и утратах судьба 18-й армии сложилась тогда гораздо удачнее, нежели 6-й и 12-й армий. Большая заслуга в этом Андрея Кирилловича Смирнова. Другим бы военачальникам такую же светлую голову, такую выдержку, какими обладал этот бывший поручик! Он не дрогнул в самые трудные дни, в критической ситуации, когда казалось, что все потеряно, что войск нет, иди сам со штабными командирами на немецкие танки или пускай пулю в лоб. Он твердо верил, он по опыту знал, что на передовой обязательно

уцелели поредевшие дивизии, полки, батальоны, отдельные группы бойцов, объединенные каким-либо инициативным командиром. Случайные очаги сопротивления в случайных местах. Люди ждут указаний, помощи от командования. И Смирнов, даже не имея никакой связи, известий из частей и соединений, неуклонно и обязательно делал вот что. Два раза в сутки, утром и вечером, штаб армии отправлял подчиненным войскам приказы генерала, в которых кратко, для ориентировки, давалось положение в полосе армии и соседей, зачастую предположительно, но все же это были сведения, необходимые для комсостава. Далее указывались рубежи обороны, пути отхода, пункты сосредоточения, ну и вообще то, что положено. Копии этих приказов (соответствующие выписки) посылали в штабы корпусов, дивизий, бригад, даже если несколько суток не было известно, где они, что с ними. Специальные посланцы, от сержантов и до капитанов, на мотоциклах, велосипедах, верхом, а то и пешком настойчиво разыскивали на передовой нужное соединение или остатки его. Далеко не всегда, но все же находили какие-то группы воинов, вручали приказ старшему по должности или по званию. И свершалось почти чудо: то в одном, то в другом месте остатки войск занимали оборону, даже наносили контрудары по врагу, тормозя его продвижение, давая возможность своим вырваться из кольца. Смирнов, конечно, не знал обо всех подобных событиях, но верил, что распоряжения его приносят пользу.

Кто-то может сказать: это, дескать, формализм, бюрократический стиль, даже фанатизм какой-то — отправлять в неизвестность, в пустоту приказ за приказом, почти не имея ответных донесений, теряя одного за другим делегатов связи. Но я считаю, что в той обстановке Смирнов поступал очень даже правильно. Часть войск приказы получала, они цементировали остатки полков и дивизий, люди ориентировались в обстановке, чувствовали, что о них помнят, проявляют заботу. И отступление не превращалось в бегство.

С другой стороны, вот что: названные выше аккуратные, по всем правилам составленные документы, перечисляющие номера соединений, рубежи обороны, пути отхода и т. д., не дают верного представления о той обстановке, в которой они создавались, по ним нельзя судить о реальном ходе событий. В них нет духа времени, в них только дух высокого штаба. А ведь эти и подобные документы — основные, опорные свидетельства трагического положения на юге Украины в ту пору. Они сохранились в архивах, ими пользуются исследователи, ученые, литераторы. Я читал книги, написанные по этим документам. Там все соответствует штабным бумагам, все выглядит так, как выглядело из армейского штаба. А других бумаг от первых месяцев войны не сохранилось. И весьма однобокая получается картина. А потом наши штабные и политотдельские умельцы наловчились сочинять такие приказы, донесения и прочее, что комар носа не подточит. Отчетная документация была в полном порядке.

Так что пользоваться архивами надобно весьма осторожно и осмотрительно, с соответствующей поправкой на ветер времени. Да ведь и подчищались архивы-то в угоду тем или другим высокопоставленным лицам, менявшимся после войны.

Мы с Андреем Кирилловичем беседовали откровенно, нечего нам было утаивать друг от друга в той сложной ситуации. Развал фронта, отступление, жертвы, угроза оказаться в кольце, явное превосходство вражеской техники на земле и в воздухе — все это на меня, не новичка на

войне, действовало угнетающе. Но я вроде бы гость на фронте, приехал и уеду, а Смирнов постоянно на передовой, несет на себе тяжелый груз ответственности за неудачи, за гибель людей, за утрату территорий. На что он надеется, где черпает силы в неравной борьбе, способной сломить даже очень крепкие души? Я не удивился, услышав от старого вояки твердый ответ: «Верю в партию, в мудрость и дальновидность товарища Сталина». Это не казенные слова, не отговорка. Андрей Кириллович, как многие бойцы и командиры на фронте, трудящиеся в тылу, был убежден, что неудачи наши временные, что где-то на Волге, на Урале готовятся силы, которые разгромят гитлеровцев. Эта вера поддерживала людей. На что еще, на кого еще, если не на партию и товарища Сталина, можно было надеяться? Без твердого единого руководства многонациональная страна рассыплется, рухнет под вражескими ударами. На Сталина, принявшего на себя все бремя власти и всю полноту ответственности, надеялся даже я, лучше других знавший сильные и слабые стороны Иосифа Виссарионовича. Прямо скажу: чувствовал себя уверенно, зная, что именно он стоит у руля, ведя наш корабль сквозь обрушившийся ураган. Заменить Сталина было тогда некем, да и вообще невозможно. В стране начался бы разброд, распад, люди утратили бы перспективу. Со Сталиным мы все вместе вошли в войну, самую страшную в истории человечества, и только вместе с ним, под его руководством могли выйти из нее, преодолев все преграды…

По словам Смирнова, состояние 18-й армии было бы еще более скверным и даже непредсказуемым с самого начала боев, если бы не «пожарная команда», созданная командованием Южного фронта и несколько раз спасавшая положение. Еще в первых числах июля крупные силы немецкой и румынской пехоты прорвались на стыке 9-й и 18-й армий и начали охватывать левый фланг последней. Восемнадцатая, отходившая в это время за Днестр, сразу оказалась в трудных условиях. Чтобы помочь ей, наше командование нанесло северо-западнее Кишинева удар по войскам противника, прорвавшимся к городу Бельцы и далее — на Сороки. Несколько дней вели успешные наступательные бои 48-й стрелковый корпус генерал-майора Р. Я. Малиновского, 2-й механизированный корпус генерал-майора Ю. В. Новосельского и 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П. А. Белова. Действовали эти кадровые соединения столь слаженно и умело, что не только остановили вклинившегося врага, но и отбросили с большими для него потерями. Обескровлены были 22-я и 198-я немецкие пехотные дивизии. По тем временам это была изрядная удача, и командование Южного фронта приняло решение: без особой необходимости не дробить само собой возникшее неофициальное объединение. И очень правильно поступило. Через несколько дней эта «пожарная команда» нанесла удар в стык 11-й немецкой и 4-й румынской армии, чем фактически сорвала быстрый захват Кишинева.

Успех, еще успех — и вынужденный отход в связи с общим положением на передовой. Но отход организованный, по приказу, с арьергардными боями. Под Оргеевом, под Балтой и Котовском «пожарная команда» вновь и вновь контратаковала противника, спасая 18-ю армию от охвата слева, от окружения. Однако всему есть предел. Потеряв в боях, на дорогах отступления технику, ослаб и почти прекратил существование 2-й механизированный корпус. В 48-м стрелковом корпусе, сражавшемся упорно и стойко, к концу июля тоже сохранился лишь костяк. От «пожарной команды» остался только 2-й кавалерийский корпус, и он продолжал «работать» за всех. Его перебрасывали туда, где возникал

кризис. Это он остановил немцев, ринувшихся из Первомайска на Вознесенск, дал возможность остаткам 18-й армии выйти из полукольца, даже мост для них навел и охранял. И 9-ю армию прикрыл от удара с севера. Это он, совершив очередной марш-бросок к городу Новый Буг, опять встал на пути немецких танков, в очередной раз спас 18-ю армию от окружения. Это он потом прикроет названные армии от ударов со стороны Кривого Рога, даст им уйти за Днепр, за широкую водную преграду, и тем спастись.

К сказанному добавлю: приняв немыслимую, казалось бы, нагрузку, 2-й кавалерийский корпус ни разу не отошел перед немцами или румынами без приказа, ни один его полк или эскадрон не оставил боевых позиций, не получив соответствующего распоряжения. И это в те дни, при тех же условиях, когда отступали, бежали, рассеивались целые армии, располагавшие неизмеримо большими силами и средствами. Что такое, к примеру, тогдашний стрелковый корпус? Громада! Свыше тридцати тысяч личного состава, техника, шесть, а то и восемь артиллерийских полков. А 2-й кавалерийский корпус — это всего лишь две кавалерийские дивизии тысяч по семь. В каждой дивизии (не считая небольших пушек) — один артиллерийский дивизион, двенадцать орудий на конной тяге. По штату положен был танковый полк, но его устаревшая техника ушла на замену, новой не получили, немногих оставшихся в корпусе танкистов использовали как пехотинцев. И вот это соединение, типичное для периода гражданской войны, но отнюдь не для «войны моторов», добивалось удивительнейших успехов буквально с помощью лишь лошадиных сил. Из всех соединений, встретивших войну на границе, кавалерийский корпус оказался единственным, не потерпевшим ни одного поражения. Потери, конечно, были, но корпус стал сплоченнее, боеспособнее. В него влилось отличное пополнение, две тысячи добровольцев-кавалеристов из Николаевской области, закаленных ветеранов мировой и гражданской войн. Такому подкреплению можно было радоваться, за счет него командир корпуса не только укрепил полки, а сразу создал не предусмотренный штатным расписанием, но очень нужный тогда разведывательный дивизион.

Действия кавалеристов представлялись прямо-таки сказочными. Я спросил Андрея Кирилловича Смирнова, чем объясняет он постоянные успехи кавкорпуса? Конечно, вопрос этот в какой-то степени задевал его самолюбие, и ответ командарма не показался мне полностью объективным:

— Корпус сколоченный, укомплектованный, и война началась для него без утрат. Не попал под удар в первый же день, собрался, организовался.

Доля истины была в этих словах. Первые дни для кавалеристов и впрямь были удачны. В районе населенного пункта Фэлчиул противник, правда, захватил два моста через Прут, шоссейный и железнодорожный, но к вечеру 22 июня кавалеристы разбили вражеские подразделения и мосты вернули. Более того, 26 июня два спешенных полка прорвались по железнодорожному мосту на западный берег и разгромили там 6-й румынский полк. Так что, действительно, войну корпус начал с побед, у личного состава не было того завораживающего страха перед противником, который испытывали бойцы многих других соединений, особенно мобилизованные резервисты. Однако есть и другая сторона: 48-й стрелковый корпус генерала Малиновского тоже не попал под первый массированный удар неприятеля, тоже сражался хорошо, но за месяц

иссяк, истаял. А кавалеристы продолжали воевать, умело уклоняясь от ударов неприятеля, не боясь охватов и окружений, нанося врагу ощутимые потери, путая его планы. Было над чем поразмыслить.

Основную массу вооруженных сил любой крупной военной державы составляют обычные номерные части и соединения, без глубоких корней, создаваемые и рассыпаемые по мере необходимости. Иначе не обойдешься. Но есть и такие, как правило, «именные» соединения, служить в которых — высокая честь, которые являются постоянной основой, школой воспитания хороших бойцов и умелых командиров. Да, 2-й кавалерийский корпус генерала Белова состоял всего из двух дивизий, но какие это были дивизии! С богатой историей, со славными традициями. Мне довелось бывать в каждой из них, считаю нужным хотя бы кратко сказать об этих соединениях, тем более что мы еще не раз встретимся с ними в этой книге.

5-я Ставропольская имени Блинова[46] кавалерийская дивизия. Сформировалась она на основе двух конных полков старой армии, 5-го и 6-го Заамурских, перешедших на сторону Совдепов. Влились в дивизию донские и кубанские казаки, много было людей из Саратовской губернии, с Украины. Конечно, личный состав до сорок первого года сменился несколько раз, но слава, завоеванная в сражениях гражданской войны, сохранилась: о дивизии знали по всей стране все те, кто имел хоть какое-то отношение к коннице. «Служил в блиновской дивизии» — это являлось высокой аттестацией среди кавалеристов. Ведь дивизия была не столичная, не для парадов, а полевая, стоявшая на границе, в опасных районах, поддерживая постоянную готовность к бою.

Командовал 5-й Ставропольской полковник (вскоре он получил генеральское звание) Баранов Виктор Кириллович, личность незаурядная, в какой-то степени ошеломляюще-анекдотическая, в хорошем понимании этого определения. Настоящий отец-командир, кои, по моим наблюдениям, встречаются редко. К тому же еще и прирожденный кавалерист, с самой гражданской не оставлявший седла. Рослый, плотный, тяжеловесный (не всякий конь выдерживал!), Баранов обладал голосом густым, громоподобным. Даст команду в атаку — не то что листья, деревья дрожат. Сам рвался вперед, наравне с командирами эскадронов. Бой — его стихия.

Людей своих, даже очень провинившихся, Баранов старался не наказывать, из дивизии не изгонял. Однако сам мог поговорить круто: у виновных холодный пот проступал. И рядовые, и командиры любили его: этот всыпет горячих, но на расправу не выдаст. А проступок, провинность можно в бою искупить, и опять воюй с чистой совестью.

Истинный конник, Виктор Кириллович не пользовался привилегиями, возможностями, которые есть у начальства, тем более у командиров дивизии, корпусов — он потом командовал и корпусом. Никаких вещей не имелось у него в обозе, ничего отягощающего. Разве что патроны или гранаты. Как у казака — все при себе. Необъятная теплая бурка, заменявшая дом и кровать. Наперехлест ремни бинокля и полевой сумки. Старая надежная шашка, кобура с наганом. Бритва, мыло, полотенце в седельной сумке. И, как говорится, весь тут.

Баранов считал так: в медлительной пехоте даже командир батальона может руководить боем со стороны, из укрытия, по телефону. А одно из главных качеств кавалерии, оправдывающее существование конницы в век техники, наравне с моторизованными войсками — это маневр,

быстрота, способность передвигаться без дорог, по пересеченной местности. При этом издали, по телефону, много не наруководишь. Необходимо другое. Противник вечером установил, где ты находишься. Утром — бомбит. А ты на рассвете наносишь ему внезапный удар в двадцати километрах от этого места, где враг ничего не ждет. Вот тебе и успех конницы!

Виктор Кириллович стремился держать свои полки собранно, вместе, в постоянной готовности к маневру. Сам всегда в боевых порядках. И при этом очень ценил свой штаб, как руководящий и обеспечивающий центр, старался располагать его там, где было спокойно, не рисковать им. А о себе не заботился. Фаталист: как на роду написано, так и будет. Здоровенный басмач рубанул с размаху, до пояса развалил бы, но конь рванулся, шашка отсекла лишь самый кончик носа, «украсив» Виктора Кирилловича на всю последующую жизнь. Впрочем, на отношении женщин к нему это не сказывалось. Нравился им этот увалень-богатырь, не лишенный, как и все истинные кавалеристы, этакого щегольства и гусарства. Однако и семьянин был хороший.

Ну как мне было тогда, в разгар боев, не повидать Баранова?! Вместе с генералом Беловым приехал к Виктору Кирилловичу на его командно-наблюдательный пункт, очень удачно выбранный: на левом берегу Южного Буга, на холме, откуда видно было верст на пять окрест. Но что это был за командный пункт по стандартным понятиям — смех и горе! Под соснами — несколько мелких окопчиков, в которых на разные голоса гомонили связисты. В тени деревьев сгустившейся к вечеру (маскировка от самолетов?), возлегал на расстеленной бурке полковник Баранов, наблюдая за немецкой колонной, которая в клубах пыли бесконечно тянулась по противоположному берегу. За пределами бурки стояли два пузатых бочонка и несколько кружек. Судя по всему, содержимым бочонков здесь не пренебрегали. Причастился и я: в одном был спирт, а в другом — терпкое прохладное молдавское вино из черного винограда: им приятно запивать спирт в жаркую погоду.

Знать, по привычке, да и для того чтобы не смолчать при мне — представителе, — командир корпуса упрекнул Баранова в том, что не отрыл даже щелей для укрытия. И услышал привычное, вероятно, заверение: в следующий раз постараемся… Заговорили о том, что же делать с немецкой колонной, которая текла и текла вдоль правого берега.

— Ничего сейчас не буду, фриц сильнее, сразу сомнет меня, — сказал Баранов. — А у нас один полк еще за рекой, за боевыми порядками немцев, выводить надо. В двадцать один ноль-ноль немец по своему расписанию остановится на ужин и на ночлег, дорога очистится, тогда мое время. В полночь дам огонь двумя батареями, отсеку коридор, мои вырвутся. А кто на пути попадет — пусть молится своему немецкому богу.

— Разумно. Пусть молятся. — сказал командир корпуса, не вникая в подробности, зная, что со своими заботам и Баранов управится. И тут же распорядился: основные силы блиновской дивизии за ночь отвести к реке Ингул.

— Опять без передыха?

— Какая может быть передышка… Под Вознесенском мы не дали противнику замкнуть кольцо, теперь гитлеровцы хотят сделать это восточнее. Их танки идут на Новый Буг, а там у восемнадцатой и девятой армий никакой защиты, — объяснил генерал Белов. — Осознаешь, Виктор Кириллович?

— Я осознаю, и люди тоже понять могут, — пробасил Баранов, — осознали бы кони! На пределе конский состав. На что уж выносливы дончаки, но и те подбились…

— Овсом корми. Хлебом корми. Со всех складов. Не жалей ничего. Бери лошадей на конных заводах, в колхозах. Самых лучших бери. А ослабевших гони за Днепр под присмотром легкораненых. Чтобы врагу — ни одного коня!

— Так и делаю. По возможности, — ответил полковник, зачерпывая кружкой из бочонка.

В моем представлении Баранов был и остался одним из лучших кавалерийских командиров, одним из лучших полевых командиров, или, как их еще называют, командиров поля боя. Мы еще встретимся с ним в сложнейшей обстановке, услышим его голос, подобный иерихонской трубе, зовущий в атаку, вперед, на прорыв в самые критические дни войны.

Кто-то из старых кавалеристов, кажется, сам Буденный, любивший пошутить, сказал: во 2-м кавкорпусе, как нарочно, подобрались командиры дивизий с фамилиями напрямую от скотоводства. Грубовато, но точно. 9-й Крымской дивизией (она когда-то участвовала в разгроме Врангеля) командовал полковник Николай Сергеевич Осликовский. Я хорошо знал его, встречался и после войны, когда он, будучи генерал-лейтенантом в отставке, консультировал на «Мосфильме» военные картины, особенно связанные с использованием конницы. В том числе и «Войну и мир» режиссера Сергея Бондарчука.[47] Несколько раз Осликовский обращался ко мне за советами по сложным или спорным вопросам. Так что о Николае Сергеевиче могу высказать совершенно определенное мнение. Он — полная противоположность Баранову, этакому народному полководцу, умному, грубоватому добряку с широкой душой, любимцу бойцов. А Осликовский принадлежал к тому типу командиров, для которых главным принципом было: победа любой ценой. Конечно, без потерь на войне не обойдешься. Если началось сражение, его надо выиграть хотя бы потому, что проигравший в принципе теряет больше, он обязан возвращать упущенное. Николай Сергеевич Осликовский был крут, решителен, настойчив, себе на уме: умел добиваться того, чего хотел. Сам готов был на риск, но и людьми рисковал без сожаления. Был далек от подчиненных, передвигал их, как игрушечные фигурки. Не берег.

Вероятно, сама жизнь ожесточила Николая Сергеевича. На гражданской войне он прошел суровую школу в корпусе Котовского. В тридцать седьмом уволили из армии, и судьба его висела на волоске. Оправдали, вернули звание и возвратили в строй только в сороковом году, когда, как мы помним, при Берии начали исправлять некоторые ежовские перегибы. Сказалось, наверное, и то, что я систематически, настойчиво, при любой возможности предлагал Иосифу Виссарионовичу разобраться в виновности каждого арестованного военачальника и возвратить на посты тех, кого еще можно было использовать. Осликовский оказался среди них, как генералы Горбатов, Рокоссовский, Букштынович и целый ряд других командиров.

К сведению тех граждан, которые не гнушаются односторонне жонглировать цифрами и фактами не ради справедливости, а в корыстных, чаще всего политических целях, карьеры ради. На заседании Политбюро, когда обсуждалось «шолоховское дело», я назвал, отвечая на

вопрос Сталина, количество командиров высокого звания, репрессированных после процесса над группой Тухачевского. В сухопутных войсках, в том числе в авиации, примерно сорок тысяч человек. Среди военных моряков — около трех тысяч. Однако эти цифры, ставшие после сталинской эпохи притчей во языцех, сами по себе ничего не определяют.

Затрудняюсь сказать с абсолютной точностью, но могу примерно назвать количество крупных командиров армии и флота, расстрелянных по приговорам. За все годы обоснованных или там необоснованных репрессий тысяча восемьсот человек, во всяком случае, не больше двух тысяч. А всего из сорока трех тысяч арестованного комсостава было расстреляно и погибло (умерло) в лагерях с 1937 по 1954 год около пяти тысяч командиров и политработников. Если учитывать, что люди в основном были немолодые, процент смертности в лагерях (за семнадцать-то лет!) был почти такой же, как на свободе. Почести, разумеется, были другие. Репрессированные, оставшиеся в живых (а это большая цифра), не проявили себя на поле брани, но и в лагерях, добросовестно трудясь, внесли вклад в нашу общую победу над супостатами. Из лагерей потом, при Хрущеве, многие возвратились к своим семьям, благоденствуют до сих пор. А из тех, кто был реабилитирован до сорок первого года, с фронта не возвратился почти никто. Вот такой оборот.

Не помню, подвергался ли Николай Сергеевич Осликовский арестованию или был только удален из рядов армии, во всяком случае незадолго до войны он был полностью оправдан, обрел свое прежнее воинское звание, назначен заместителем комдива, а когда начались бои, сам возглавил 9-ю Крымскую (первые же стычки с врагом показали полную несостоятельность прежнего полуграмотного командира).

Сколь ни различны были по характерам, по образу действий Баранов и Осликовский, но сражались они, каждый по-своему, вполне успешно. И все же прямо скажу: во многом не от них это зависело. Они были обычными хорошими командирами, каких немало имелось у нас в войсках. После перелома войны, после битвы на Курской дуге, подобные командиры довели дело до победы. Но в сорок первом нужен был талант, дар божий, чтобы бить врага, сохраняя свои силы. Этот год выделил воистину талантливых военачальников. Их было немного. И среди них одно из первых мест занимает Павел Алексеевич Белов, чье имя, чьи успехи не пользуются известностью в нашей стране, хотя во многих исторических исследованиях по сорок первому году и у нас, и за рубежом Белов упоминается не реже, чем Жуков, его друг и соперник.

Только один эпизод. Белов получил задачу прикрыть Кривой Рог со стороны населенного пункта Новый Буг. 12 августа повел свои соединения в этот район. Сведениями о немцах Павел Алексеевич не располагал. Знал только, что севернее Кривого Рога танковые и моторизованные части противника движутся к Днепру, не встречая сопротивления советских войск. Идут на Донбасс.

Ни справа, ни слева соседей не было. В степи попадались лишь группы красноармейцев — остатки разбитых или вырвавшихся из окружения подразделений. С удивлением и радостью смотрели эти люди на стройные колонны конницы, двигавшиеся по проселкам и прямо по целине. Марш был организован Беловым особенно тщательно. 5-я Ставропольская имени Блинова дивизия шла по восточному берегу реки Ингул. Командир ее

генерал Баранов был предупрежден: противника можно встретить в любую минуту.

Правее блиновцев, уступом назад, следовала 9-я Крымская дивизия. Она составляла резерв командира корпуса и готова была действовать в любом направлении. Постоянная готовность к бою — это стало законом. Далеко на севере слышались редкие орудийные выстрелы. А вокруг — тишина и спокойствие, как в мирное время. Кое-где работали на полях колхозники. Духота разморила кавалеристов, люди подремывали в седлах.

После полудня 96-й Белозерский полк, составлявший передовой отряд корпуса, достиг населенного пункта Новый Буг и прошел через него, не обнаружив противника. Километрах в шести за передовым отрядом двигался штаб Ставропольской дивизии с броневиками. Следом — артиллерийский дивизион.

Получилось так, что в Новый Буг одновременно вступили две колонны. С юга — штаб блиновской дивизии, а с запада — немецкие танки и грузовики с пехотой. Вспыхнул редчайший в военной практике бой — встречный бой в населенном пункте. Неожиданный встречный бой. Тут — кто не растеряется, кто ударит первым — у того и успех.

Броневики с ходу хлестнули из пулеметов по ошеломленным фашистам. Перекрывая стрельбу, гремел бас полковника Баранова. Выполняя его команду, три артиллерийские батареи галопом вынеслись на пригорок и ударили по гитлеровцам беглым огнем. Двенадцать орудий с близкого расстояния.

Командир 96-го Белозерского полка Есаулов, услышав стрельбу позади, ни секунды не колеблясь (выучка!), повернул свои эскадроны на Новый Буг. Артиллеристы белозерцев тоже начали бить по фашистам. Враг оказался под шквалом перекрестного огня.

Немецкие танки и грузовики двигались по дороге густо, в два ряда. И когда голова колонны, охваченная паникой, повернула назад, получилось нечто невообразимое. Машины сталкивались, лезли одна на другую. Черные танки шли напролом, круша грузовики и мотоциклы. А пушки гремели, не переставая: в клубах пыли, в гуще сцепившихся автомашин, среди бегущих толп раз за разом сверкали огни взрывов.

131-й Таманский полк находился в это время километрах в десяти от места событий. Подполковник Синицкий сразу сообразил, в чем дело, как лучше помочь своим. Его полковая батарея ударила в хвост немецкой колонне по мосту через Ингул. Фашисты попали в огненный мешок.

А тут еще появились три советских бомбардировщика и сбросили свой груз на гитлеровцев, которые пытались закрепиться у переправы. Оставив технику, немцы кинулись к реке и начали перебираться на западный берег, кто как умел: вплавь и на бревнах.

Такую панику Павел Алексеевич наблюдал впервые. И очень важно, что бегство врага видели многие бойцы, в том числе новички. Для них это хорошая школа.

Вражескую колонну разгромили полностью. На протяжении двух километров дорога забита была изуродованными, горящими грузовиками, танками и мотоциклами. Валялись сотни трупов. Конники вылавливали спрятавшихся солдат.

Павла Алексеевича радовали не трофеи, не внушительная цифра уничтоженных гитлеровцев, хотя само по себе это было превосходно. Корпус почти не понес потерь — очень хорошо! И все-таки главное было не это. Самое важное — корпус отлично показал себя во встречном бою,

проявив зрелость и мастерство. Напряженная схватка продолжалась полчаса. За это время генерал не отдал ни одного приказания. Не понадобилось. Все решали люди, которые непосредственно вели бой.

Думаю, что «танковый бог» немцев генерал Гейнц Гудериан не узнал об этом бое местного значения, а если и узнал, то не обратил внимания на то, как кавалеристы громили танкистов. Слишком упоен был своими успехами, чтобы придать значение какой-то там неудаче. Тем более не в его 2-й танковой группе, прославленной и победоносной, а где-то на юге, в 1-й танковой группе генерала Клейста. Слишком далек был раскат грома, слишком далеко блеснули всполохи той грозы, которая поразит самоуверенного, удачливого полководца и всю его рать. Да и как можно было предположить, что какой-то кавалерийский корпус, действующий в низовьях Днепра, окажется вдруг на пути лучшего воинского объединения Германии, рвущегося к Москве. Но неисповедимы пути Господни. И первый раскат грома уже прогремел.

Я говорил о соперничестве Жукова и Белова на предыдущих страницах этого романа, а сейчас лишь напомню и уточню некоторые подробности. Они — ровесники. Но Жуков из крестьян, из бедняков, что имело значение. А Белов — из служащих, из интеллигентной семьи, успел получить неплохое для своего времени образование, что вообще-то при определенном подходе тоже существенно. Оба к концу мировой войны были унтерами: Жуков, если не ошибаюсь, пехотным, а Белов кавалерийским. Первый таковым и остался и пришел потом бойцом в Красную Армию, а второй перед самой революцией обрел погоны юнкера, учился сначала в Киеве, потом в Ростове-на-Дону. Два месяца — при белогвардейцах, что, безусловно, «не украшало» в дальнейшем его послужной список. Спасало лишь то, что Белов, вернувшись в родную Шую, стал активным участником гражданской войны. Обучал, кстати, перед отправкой в чапаевскую дивизию легендарный Иваново-Вознесенский полк. Возглавлял эскадрон в борьбе с Деникиным. Дослужился в Первой Конной армии до командира полка: каково было обрести такое доверие среди бывалых, закаленных в боях, полуанархичных вояк-кавалеристов? Выделялся не только командирскими способностями, но и лихостью, этаким романтизмом, что особенно ценилось в коннице. Уже после гражданской умыкнул супругу своего комбрига Дмитрия Ивановича Рябышева. Посадил на коня, увез на всю ночь, а наутро Павел Алексеевич Белов и Евгения Казимировна объявили, что отныне они — муж и жена. И прожили потом всю жизнь вместе, родив двух дочерей, старшая, увы, очень рано скончалась. Счастливы были или нет — это другой разговор, у каждого свое представление о счастье. А вот что ни он, ни она не убоялись ни осуждений, ни взысканий, ни ломки карьеры — это показатель характера. «Да, были люди в наше время». Что-то не слышно теперь, чтобы движимые любовью офицеры похищали жен у своих генералов. Мужчины, что ли, не те стали или женщины изменились?..

По службе Жуков и Белов шли «голова к голове». Почти одновременно и тот, и другой стали помощниками инспектора кавалерии РККА Семена Михайловича Буденного. Жуков, правда, больше активничал по общественной линии, возглавлял партийное бюро управления боевой подготовки, куда входила инспекция. Вместе работали Белов и Жуков над проектом нового Боевого устава конницы. Их фамилии остались рядом на одной из страниц устава в примерном приказе командира отделения. У

резкого, колючего, непокладистого Георгия Константиновича во всю жизнь, пожалуй, не было друзей, трудно сойтись с ним. А вот с Беловым на какой-то период они сошлись, были на «ты», встречались вне службы. И тогда же постепенно начали превращаться из друзей в друзей-соперников. Причем шло это от Георгия Константиновича, не терпевшего рядом с собой людей столь же сильных, как и он сам.

Жуков прежде всего — сгусток энергии, твердой воли, а затем уж и самобытный ум, самостоятельное мышление. А у Белова на первом плане знание, ум, логика, а затем воля, может быть, не менее твердая, чем у Жукова, но осознанная, что ли, управляемая. Чувствовал, понимал Георгий Константинович, что среди новых, сравнительно молодых полководцев Белов ни в чем не уступает ему. Недаром же крупнейший, на уровне Шапошникова, практик и теоретик наших сухопутных сил Владимир Кириакович Триандафиллов передавал Белову свои знания, считал его хорошим специалистом по организации взаимодействия на поле боя разных родов войск. А «первый советский танкист» Константин Брониславович Калиновский не случайно интеллигентного, эрудированного командира — Белова, хорошо разбиравшегося в тактике конницы и пехоты, способного к анализу и обобщению, привлек для составления первой инструкции по совместному использованию танков с пехотой. Тяжелый был человек Калиновский, трудно с ним было работать, но Павел Алексеевич умел отстаивать свои взгляды, свои принципы: Константин Брониславович в конечном счете со многим соглашался, проникаясь уважением к Белову.

Самолюбие Жукова было особенно задето во время событий на Халхин-Голе. Читатель, вероятно, помнит, что я предложил Иосифу Виссарионовичу направить в Монголию для исправления положения многообещающего командира Белова, но мой совет не был принят по двум причинам. Белов не командовал к тому времени корпусом, не имел опыта руководства воинскими объединениями (Жуков, кстати сказать, тоже). А главную роль сыграло то, что как раз в тот период Белов был исключен из партии и боролся с выдвинутыми против него облыжными обвинениями — об этом мной говорилось.

Уверен, что конечный результат на Халхин-Голе, окажись там командующим Белов, был бы таким же, что и при Жукове. Только Белов действовал бы неторопливо, обдуманнее. Пути двух полководцев разошлись. В монгольских степях воссияла звезда Георгия Константиновича. Он вскоре оказался в Москве, возглавил Генеральный штаб. А Павел Алексеевич, отбившись с помощью Буденного и с моей помощью от мерзких наветов, был послан Семеном Михайловичем подальше от центра, на юго-западный рубеж, и там достойно сделал свое дело, превратив 2-й кавалерийский корпус в отличное соединение.

Напряженный ритм повседневной службы, подготовка каждого бойца и командира, освоение техники, забота о людях и лошадях — не перечесть, сколько забот у добросовестного, думающего командира соединения, да еще с обостренным обидами честолюбием. Не стану углубляться в подробности, но с глубоким удовлетворением повторю: Белов оправдал надежды, 2-й кавалерийский корпус был в наших сухопутных силах единственным воинским соединением, которое с самого начала войны не имело поражений и, нанося врагу большие потери, ни разу не покидало без приказа своих позиций. Корпус был «пожарной командой» не только для Южного фронта, но, как мы еще увидим, и для других фронтов. А

тогда, при всеобщем бегстве на юге Украины, я взял на заметку для доклада Верховному Главнокомандующему одну характерную особенность в действиях корпуса. Отход был всеобщим и повсеместным, но ведь и отходить можно по-разному. Для Белова незыблемым было правило: даже при отступлении не подчиняться воле противника, а диктовать свои условия. Он отходил по принципу «волна за волной». Вечером, положим, 9-я Крымская кавдивизия полковника Осликовского снялась с позиций, прошла через боевые порядки 5-й Ставропольской имени Блинова дивизии и к утру заняла оборону километрах в двадцати — тридцати позади блиновцев. На следующую ночь подобный маневр производила 5-я кавдивизия. Кавалеристы отходили перекатами, всегда имея надежный тыл. Что бы ни предпринимали фашисты, они всегда встречали на участке конников жесткое сопротивление. Я покидал кавалерийский корпус Белова с чувством, которого не испытывал еще ни на Западном, ни на Юго-Западном, ни здесь, на Южном фронте. Ни у пехотинцев, ни у танкистов, ни у летчиков. В спаянном, крепком соединении Белова я, наконец, обрел то, чего подспудно не хватало мне с самого начала войны — ощутил уверенность. Есть у нас бойцы и командиры, которые совсем не страшатся врага, есть полки и дивизии, которые на равных сражаются с неприятелем и способны бить его, повернуть ход событий в свою пользу.

18

Дочка моя, знакомясь с черновыми набросками этой книги, сказала однажды:

— Па, иногда ты далеко уходишь от главной цели.

— От какой?

— Ты ведь пишешь о дяде Осе… Об Иосифе Виссарионовиче, — поправилась она. — А сам, бывает, надолго оставляешь его. В семнадцатом году. Или вот в сорок первом, когда уехал на Южный фронт.

— Но так было.

— Понятно, что было. Но ты хоть вспоминай в поездке о Сталине, по телефону с ним говори. Какой-нибудь литературный прием используй.

— Для чего?

— Чтобы все время высвечивать основной персонаж, сводить к нему все нити. Этому даже в школе учат.

Я крепко призадумался: права моя умница или нет? Лишь после долгого размышления дал ответ ей и себе. Прежде всего: это книга не только о Сталине, это моя исповедь, повествование о собственной судьбе, в силу ряда обстоятельств неразрывно связанной с судьбой Иосифа Виссарионовича. Уже сама наша близость говорит о некоторых чертах его характера, душевного склада. По принципу: с кем поведешься, от того и наберешься. Или: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Такова одна сторона. Но есть еще и другая — правда жизни. Можно, разумеется, использовать различные литературные приемы, различные конструкции. Пожалуй, даже интереснее было бы читать. Надобно ли показывать процесс моих рассуждений, поисков… Вот возвращаюсь я с Южного фронта, докладываю Сталину о поездке, о своих наблюдениях, мы в живом разговоре делаем какие-то выводы, намечаем планы. Похоже на правду, почти правда, но ведь было все же не так. К Сталину стекалась информация по многим каналам, он выслушивал различные соображения и предложения. В том числе и мои. Вот и хочу показать, как и какие мысли

рождались у меня, видевшего события собственными глазами, советовавшегося с товарищами. Хочу раскрыть хотя бы один источник сведений и идей, питавший Верховного Главнокомандующего. Так что читатель простит, вероятно, мне довольно продолжительные разлуки с основным персонажем. Ведь так или иначе все сказанное здесь прямо или косвенно «работает» на Сталина, как и вообще всегда работал на него я, видя в нем и только в нем ту силу, которая способна управлять нашим огромным многонациональным, невероятно сложным государством.

Нужен ли мой подробный рассказ о пребывании в начале августа на юге Украины? Думаю — да. Не только для того, чтобы дать представление об общей обстановке, о состоянии разноизвестной 18-й армии, о 2-м кавкорпусе, которому предстоит сыграть заметную роль в развернувшихся битвах, но главным образом для того, чтобы было понятно, как оценка положения на юге повлияла на последующие очень важные решения.

В Днепропетровске разыскал меня по ВЧ главнокомандующий Юго-Западным направлением Семен Михайлович Буденный. Сказал, что обо мне дважды с беспокойством спрашивал «хозяин», а следом каждый раз звонил Лаврентий Павлович, расспрашивая, где Лукашов. Органы Берии явно не срабатывали там, где мотала меня фронтовая судьба. Естественно, Семену Михайловичу ни к чему были подобного рода заботы. Он сказал, что немедленно высылает за мной самолет.

На автомашинах (в Днепропетровске до аэродрома и затем в Полтаве до штаба Юго-Западного направления) ехал гораздо дольше, нежели летел. Семен Михайлович еще в гражданскую привык устраиваться с комфортом в лучших домах с богатыми подвалами, с дородной купчихой или поповой дочкой. Теперь по возрасту и по маршальскому положению последние атрибуты были не обязательны, зато некоторые другие требования возросли, вошли в привычку. Для своего штаба Буденный выбрал весьма благоустроенный дом отдыха в большом сосновом лесу на песках, там даже воздух, настоянный на хвое, сам по себе был целебен. Тишина. Аккуратные дорожки. Красивые домики типа коттеджей, в которых разместились многочисленные сотрудники, от вольнонаемных до генералов. Я невольно подумал: сколько же лишних людей! А впрочем, это солидный резерв. Рано или поздно никто из военных товарищей не избежит отправки на передовую.

Семен Михайлович занимал особнячок, лишь немного превышавший соседние и, в общем-то, ничем не выделявшимся снаружи. Зато очень хорошо отделан был внутри. И мебель была редкостная: массивная, черного дерева. Забыл спросить, перевозили ее вслед за маршалом или каждый раз находили подобную на новом месте. Тогда еще можно было найти, еще сохранились кое-где остатки былой российской роскоши.

Буденный принял меня сразу и, как говорится, по-свойски, без церемонии. Он отдыхал. Был в форме, но без сапог, в теплых носках и шлепанцах, при такой обуви его широкие кавалерийские галифе казались еще шире, а сам он вроде бы ниже ростом. Попахивало жареным луком и чуть-чуть спиртным. Настроение у Семена Михайловича было неважное. Минорное настроение, если такое определение применимо к нему — грубоватому, сильному, волевому, с пышными седеющими усищами на смуглом, с чеканными чертами лица.

Сели на диван. Между ним и мной оказался баян, — вероятно, Буденный играл до моего прихода. Во время разговора он машинально касался

пальцами инструмента, поглаживал перламутр, но, спохватившись, отдергивал руку.

Речь сразу пошла о том, что особенно занимало и его, и меня: о замыслах вражеского командования группы армии «Юг». Фашисты не то чтобы отказались от захвата Киева, нет, бои на дальних подступах к украинской столице продолжались, но основные ударные силы, в том числе 1-я танковая группа, ушли далеко на юг, к Черному морю, к устью Днепра — мотопехота и танки быстро распространялись в большой излучине этой реки вплоть до Кривого Рога, угрожая Никополю и Запорожью. Передовые отряды неприятеля уже форсировали в нескольких местах Днепр в его нижнем течении с явным намерением отрезать Крым. Что же это, в конце концов? Изменение стратегического плана? Я еще не расстался с предположением о том, что практичные немцы движутся туда, где встречают меньше сопротивления, где легче и быстрей можно добиться успеха. Но очень уж упорно, очень уж целенаправленно стремились фашисты захватить южную Украину.

— Немец расчетливый, он по проторенной дорожке идет. — Семен Михайлович тронул клавиши баяна, и тот отозвался коротким стонущим звуком. — В восемнадцатом году после Бреста немец этим путем прошел до самого Дона, до самого Харькова. Пограбил и нажился так, как нигде не наживался. Сказочно. Гнал к себе эшелоны с пшеницей, со скотом, с сахаром и салом. Сколько донецкого угля вывез, сколько металла! И теперь зарится. Несравнимо больше грабануть может.

— До осени, до распутицы, фашисты хотят захватить богатые области, — согласился я. — Хотят лишить нас хлебных ресурсов, подорвать металлургическую базу.

— А сами воспользуются. При их бедности-то. Они каждую железку экономят, а тут только бери.

— Правильно, Семен Михайлович, германцы расчетливы и далеко смотрят. Главный поставщик нефти для них — Румыния. Район Плоешти — основной источник естественного горючего. Без горючего вся техника встанет. А этот источник в пределах досягаемости нашей авиации от Одессы, из Крыма. Но если немцы дойдут до Азовского моря, захватят Крым — безопасность источников гарантирована. А фашисты начнут бомбить наши нефтепромыслы в Майкопе и Грозном, если, конечно, не намерены захватить их целыми, действующими. А дойдут немцы до Кавказа, тут Турция осмелеет, двинет на нас свои войска, не упустит возможности кусок отхватить. Значит, и бакинская нефть нами будет потеряна.

— Вот она — стратегия. Большая стратегия, — невесело произнес Семен Михайлович. — А Киев что же: если немец на юге успехов добьется, Киев от него не уйдет. С тыла к нему подберутся.

— Давайте считать, что по этому вопросу у нас с вами единое мнение. Так и буду докладывать товарищу Сталину.

Семен Михайлович остался доволен этим разговором, рассеявшим, вероятно, его колебания, подтвердившим предположения. Имея союзника в моем лице, ему легче было отстаивать свою точку зрения перед Генштабом и Ставкой. В столице еще не оценили угрозу на юге, там еще господствовало представление о трех главных направлениях немецких ударов: на Москву, на Ленинград, на Киев. Да, фашисты, нападая на ту или другую страну, прежде всего стремились захватить столицу, поразить сердце. Да, германцы любят испытанные, проверенные методы и приемы,

но не до такой степени, чтобы упустить явную выгоду. Мы уже убедились, насколько авантюристичен, непредсказуем Гитлер, почему же не допустить, что подобными качествами обладают и некоторые, стремительно выросшие при нем полководцы?

Буденный предложил пройти в столовую, закусить чем бог послал. Семен Михайлович всегда был хлебосольным хозяином, любившим закуски и блюда простые, но основательные. На этот раз стол украшали миски с солеными огурцами и грибочками, с капустой, с вареной курятиной, а также тарелки с салом и колбасой. Жаркое велено было подать через тридцать минут. Естественно, после скитания по фронтовым дорогам, когда кормиться приходилось скудно, от случая к случаю, я не мог не воздать должное предложенным яствам.

Беседа затянулась до ночи. Семен Михайлович, обладавший цепкой памятью, хорошо знал состояние армий и корпусов. И опять мы сошлись во мнении: боеспособных войск Южный фронт почти не имеет, на 9-ю и 18-ю армии надежды мало, они рассеяны, обескровлены, их надо переформировывать, укреплять, практически возрождать заново. Но как это делать при продолжающемся отходе? Отдельные полки и даже дивизии, бросаемые из резервной армии навстречу врагу, затыкают на какой-то срок самые опасные дыры, но не могут остановить массированное продвижение неприятеля, создать паузу для отдыха и пополнения наших измотанных войск. Надо было прочно занять выгодный рубеж, стабилизировать положение. Но где? Когда? Использовать все ту же резервную армию генерал-лейтенанта Н. Е. Чибисова, базировавшуюся в районе Днепропетровска? Но эта армия не только по названию, но и по структуре, по сути своей предназначалась не для самостоятельных действий, а именно для подготовки резервов. К тому же ее основательно раздергали в последние дни, забирая на передовую все более-менее сколоченные подразделения. Людские запасы имелись, но какой прок от необученной массы. Да и с оружием было плохо. Не говорю об артиллерии, о минометах — винтовок и тех не хватало. Чибисов изымал их у истребительных батальонов, созданных местными властями.

Было у меня соображение, которым я и поделился с Семеном Михайловичем. Базу для подготовки резервов создать глубже в тылу, в Ростове-на-Дону, в Харькове или даже в Сталинграде, а резервную армию быстро преобразовать в действующую, дав ей соответствующий номер. Суть, разумеется, не в формальном переименовании. Надо пополнить управленческий аппарат опытными кадровыми командирами хотя бы за счет штаба Юго-Западного направления («Лишних у вас тут много», — сказал я Буденному). Влить в армию остатки частей, уже побывавших в боях, главным образом артиллерию, инженерные подразделения. Усилить техникой, поступающей на пополнение из тылов.

— Костяк нужен. Костяка там не имеется. С бору по сосенке, разномастное стадо, — грубовато выразился Семен Михайлович, — Да и сам Чибисов не потянет.

— Насчет Чибисова не знаю, а костяк найти можно, — ответил я и рассказал о «пожарной команде» Южного фронта, о том, как умело и полезно действовали 48-й стрелковый и особенно 2-й кавалерийский корпуса. Семен Михайлович, слушая, аж покряхтывал от удовольствия. Красная конница — его детище. Павел Алексеевич Белов-то из конармейцев, из Майкопской дивизии, песню Харупанского полка сочинил,

которым командовал: очень даже удачная была песня. Не зря его от «ежовых рукавиц» спасли…

Я не стал напоминать Семену Михайловичу, что он не очень спешил «спасать» Павла Алексеевича, дотошно расспрашивая меня, а не брат ли он того самого Белова, который командовал Белорусским военным округом, признан врагом народа, за что и расстрелян… Ну письмо-то с выражением доверия Павлу Алексеевичу подписал все же тогда Буденный, за что и спасибо товарищу маршалу. А любопытный документ этот, кстати, сохранился.

Так вот. Командующим новой армией (она вскоре станет 6-й, взамен разгромленной) я предложил назначить генерал-майора Белова. Его закаленный в боях корпус послужит костяком нового войскового объединения. Однако Буденный не согласился.

— У общевойсковой армии свои задачи, у кавалеристов — совсем другие. Войдет корпус в состав армии и утратит свои качества, превратится в ездящую пехоту. Помните, сколько сил тратили мы в гражданскую, чтобы сохранить наш корпус, а затем Конную армию как самостоятельную боевую единицу, чтобы не растащили. Белову можно доверить армию, но кавкорпус пусть сам по себе.

— Тогда возьмите кавкорпус под свою руку, а то ведь задергали его. Сначала был в оперативном подчинении девятой армии, потом восемнадцатой. Теперь командующий Южфронтом взял его в свое подчинение, бросает на самые опасные участки. Так и загубить не мудрено. Подчините кавкорпус непосредственно главкому Юго-Западного направления, будет у вас резерв не для затыкания дыр, а для решительных действий.

— Над этим помозгуем, — согласился Семен Михайлович. — А новую армию начнем создавать на основе сорок восьмого корпуса. Там и артиллерия есть, и командный состав. Вольем полки из резервной армии, истребительные батальоны.

Так и порешили. Переночевав у Буденного в тихом и спокойном доме отдыха, я на следующий день добрался до Полтавы, а оттуда поездом — в Москву. И там спустя время узнал: новая армия действительно создана на базе 48-го стрелкового корпуса Родиона Яковлевича Малиновского, он же стал и ее командующим, начав тем самым восхождение к маршальскому званию, к посту министра обороны. А Павел Алексеевич Белов, первый кандидат на должность командарма-6, от такого предложения отказался, попросив Семена Михайловича оставить в родном, сколоченном его усилиями кавкорпусе. Мне тогда это было не очень понятно. Честолюбие — не самое плохое качество для человека, а для военного — тем более. Редко встречаются люди, сознательно отказывающиеся от более высокого назначения, от быстрой карьеры. Не знаю, какие аргументы приводил Павел Алексеевич, а скажу вот что: самим Провидением, значит, были предначертаны Белову и его корпусу значительные свершения; шаг за шагом, не отклоняясь, шел Павел Алексеевич к выполнению в недалеком будущем своей исторической миссии.

19

О поездке на Юго-Западное направление я докладывал Сталину в присутствии маршала Б. М. Шапошникова и генерал-майора А. М. Василевского. Точнее, не докладывал, а рассказывал: в

непринужденной обстановке домашнего кабинета Иосифа Виссарионовича.

В неспешной беседе меня расспрашивали о подробностях событий, излагались мнения, предложения. Подобные доверительные беседы не только, разумеется, со мной, но и с различными другими специалистами отнимали много времени, зато приносили Иосифу Виссарионовичу большую пользу, он не отказывался от них даже в самые напряженные месяцы войны. Они обогащали его, позволяли лучше знать положение, поднимали выше других руководителей партии и государства. Те пользовались лишь официальными служебными сообщениями, документами, а Иосифу Виссарионовичу плюс к этому были еще известны соображения и предложения специалистов. Он приходил на заседания, на встречи с различными деятелями подготовленный по каждому вопросу, еще и еще раз подтверждая мнение: Сталину известно все. Сталин может принять самые правильные решения. И если говорить о мудрости, то разве это не мудрость?!

Для Бориса Михайловича Шапошникова и для меня приватные беседы со Сталиным были обычны, а вот Александр Михайлович Василевский еще только начинал привыкать к ним, чувствовалась его скованность, напряженность. Хотя, конечно, Василевский понимал, что Сталин относится к нему весьма благожелательно, причислив к разряду тех людей, которым доверял, от которых получал пользу и, что очень важно, присутствие которых не раздражало его.

Странно: Василевский человек интеллигентный, вежливый, муху зря не обидит, но у него имелось довольно много недоброжелателей. А может, не так уж и странно. К ворошиловско-буденновскому клану, из которого вышло подавляющее большинство новых генералов, он не принадлежал. Рьяные ревнители классовых интересов, главным жизненным козырем которых было бедняцкое происхождение (из рабочих, из батраков), считали его скорее чужаком, нежели своим. Тоже мне, нашли богача — сына священника из провинциального городка, кажется, из Кинешмы. Вероятно, люди недалекие, лишенные способностей, просто завидовали Василевскому, его культуре, умению мыслить масштабно и своеобразно. А вот Сталин сразу, при первой же встрече, оценил широкий военный кругозор Василевского, добросовестность в работе, отрешенность от всего личного ради дела. Как у самого Иосифа Виссарионовича. И еще, Василевский имел мужество говорить правду о положении на фронте, в войсках, с достоинством отстаивал свое мнение, как правило, продуманное и обоснованное. При этом был скромен, никогда не выпячивал себя, не подчеркивал свои заслуги, не претендовал на авторство идей. Как раз то, что нужно было Иосифу Виссарионовичу. Думаю, что при определенных условиях Василевский, будь он ближе по возрасту к Сталину, знай его личные качества, семейные обстоятельства и тому подобное, мог бы играть при Иосифе Виссарионовиче почти такую же роль, какую играл я, мог бы стать его личным советником если не по всем, то хотя бы по военным вопросам. Из этих моих слов понятно, сколь высоко и без ревности ценил я этого человека.

В тот раз первый заместитель начальника Генерального штаба Александр Михайлович Василевский участвовал в нашей беседе потому, что сам непосредственно «вел» Юго-Западное направление, занимаясь его проблемами и перспективой. Он одним из первых, а может и самый первый в Москве, в Генштабе, ощутил угрозу, разраставшуюся на юге. Может,

потому, что досконально знал положение на том участке фронта, а может, не отягощенный правилами-привычками минувших сражений, лучше, чем мы, пожилые люди, Шапошников, Сталин и я, чувствовал особенности, специфику новой войны с ее быстротой, техникой, сложными внезапными поворотами. У Василевского еще не было твердого мнения, но он явно склонялся к тому, что главная опасность грозит теперь Киеву не столько с запада, сколько с юга, со стороны 1-й танковой группы Клейста, которая в любой момент может изменить направление и оказаться восточнее столицы Украины, а мы там ничего не сможем противопоставить врагу.

Василевский высказал два предложения: усиливать нашу тыловую линию обороны в районе Ростова-на-Дону, дабы надежно прикрыть «ворота» Кавказа, а также быть готовыми к повсеместному отводу наших войск за Днепр. Освободившиеся при этом войска послужат резервом… Но уйти за Днепр — значит потерять Киев. Это было бы не только тяжелым стратегическим уроном, но и поражением политическим, с большими неприятными последствиями; ко всему прочему сложилась бы благоприятная обстановка для активизации украинских националистов всех мастей и оттенков… Василевский, разумеется, понимал все это и говорил не о немедленном отводе войск за Днепр, а лишь о готовности к быстрому отходу за водную преграду, если возникнет явная угроза окружения возле Киева и севернее его, в, полосе Центрального фронта, где образовался опасный для нас выступ.

Не отрицая мнения своего помощника, которое к тому же было подкреплено и моими сообщениями, Борис Михайлович Шапошников, рассуждая, высказался в том смысле, что главным направлением боевых действий было и остается московское. Тем более, что здесь сложилось весьма своеобразное, чреватое неожиданностями положение.

— Во всех войнах, которые Россия вела на Западном театре, всегда так или иначе присутствовала Припятская проблема. Чаще всего как положительный для нас фактор, — напомнил Шапошников. — Казалось, так будет и теперь. Ан нет. Теперь эта проблема вызывает особое беспокойство.

Иосиф Виссарионович кивнул в знак согласия. Подошел к карте. Шапошников хотел подняться, приблизиться к нему, но Сталин сказал: «Сидите, пожалуйста, Борис Михайлович». Рядом со Сталиным, за его спиной, остановился генерал-майор Василевский, готовый отвечать на вопросы. Все мы, находившиеся в кабинете Иосифа Виссарионовича, один лучше, другой хуже, знали, разумеется, историю и суть военной проблемы Полесья, или, как она именуется в документах, научных трудах, — Припятскую проблему. Для людей несведущих поясню коротко. Почти все большие реки на великой русской равнине текут в основном с севера на юг или с юга на север. А из тех немногих, которые текут на запад, особо выделяется Припять, имеющая огромную площадь водосбора в труднодоступной лесисто-болотистой местности. Ширина этой полосы, начинающейся от Бреста и Владимира-Волынского, колеблется от 150 до 200 километров и тянется между Белоруссией и Украиной в глубь страны примерно на 600 километров: просторы, согласитесь, немалые.

Вся эта местность, именуемая в общем Полесьем, испокон веков считалась непригодной для ведения крупных боевых действий и разбивала на два потока все вражеские войска, пытавшиеся с запада проникнуть в Россию. Не вдаваясь в давнюю историю, вспомним о Наполеоне. Он со своими армиями прошел на Москву севернее Полесья, не

затронув южных, богатых и жизнетворных губерний. Германский фронт 1914–1918 годов был раздвоен Припятью, немцы смогли продвигаться по двум изолированным направлениям севернее и особенно южнее припятских болот. Для нас же они особых препятствий не представляли. Более того, особо уважаемый мною генерал А. А. Брусилов очень удачно использовал условия местности при своем знаменитом прорыве. Наша прославленная 8-я армия нанесла сокрушительный удар по германцам от края Полесья, южнее Полесья, обезопасив свой правый фланг от любых неожиданностей. Я еще тогда, в шестнадцатом году, думал: откуда такое название — Припять? Может, как препятствие для наших врагов, движущихся с запада? Или с севера, от Литвы, на Украину?

Вот какую характеристику этому обширному региону дает известный немецкий генерал Гюнтер Блюментритт, воевавший в Полесье дважды, в 1915 и в 1941 годах:

«Сама область отнюдь не представляет единого целого. Леса, растущие нередко на мокром грунте, как правило, превратились в дикие, непросматриваемые заросли, но местами прерываются довольно значительными свободными участками. Населенные пункты, за исключением небольшого числа местечек, представляют собой примитивные деревни. Особенно неприятны для действий войск многочисленные мелкие реки и ручьи, впадающие в Припять. Они являются фронтальным препятствием для всякого противника, который пожелал бы прорваться через болота с запада на восток или с востока на запад. Годных для передвижения дорог совсем мало. Легкие деревянные мосты построены в давние времена и выдерживают лишь местные телеги…

Хотели того или не хотели гитлеровские стратеги, но Припятская проблема дала себя знать и в самом начале Отечественной войны. Опять у немцев не получилось единого, монолитного фронта, два наступающих потока были разобщены, между группами армий «Центр» и «Юг» образовался разрыв, где довольно прочно держались советские силы, основу которых составляла 5-я армия генерал-майора М. П. Потапова, умело извлекавшего выгоды из своеобразного положения своих войск. Они постоянно давили на правое крыло немецкой группы армий «Центр» и на левое крыло группы армий «Юг», создавая фланговую угрозу для тех и других, притормаживая их движение. А силы Потапова постоянно пополнялись за счет остатков других советских соединений, разбитых в боях и искавших укрытия в припятских лесах и болотах. Там же зарождалось и партизанское движение.

С июня в Полесье действовала 1-я (и единственная в немецких вооруженных силах) кавалерийская дивизия, входившая тогда в состав танковой группы Гудериана. Гитлеровцы считали, что болотистые леса для конницы не преграда: во всяком случае, русская кавалерия активно действовала там в годы гражданской войны. Ан обманулись стратеги. Немецкая конница, привычная к хорошим дорогам, завязла, застряла со своей тяжелой техникой на мокрых проселках среди редких населенных пунктов. Фашисты вынуждены были подкрепить свою конницу целым пехотным корпусом, если не ошибаюсь, 35-м армейским корпусом, и уж он стал медленно выдавливать, теснить наши части на восток. В Полесье немцы значительно отстали от своих войск, продвинувшихся правее и левее болотистой местности.

Вот она, беспристрастная карта, много говорящая глазу военного человека. Севернее Полесья немцы, захватив Смоленск, далеко вырвались вперед, взяв Ельню и образовав выгодный для них ельнинский выступ, нацеленный на Москву. Южнее Полесья гитлеровцы пробились на подступы к Киеву. Между этими двумя клиньями зияло пространство, контролировавшееся нашими войсками. Этакий опасный мешок. От Киева до Гомеля, на протяжении 250 километров, почти не было вражеских войск, мы располагали там свободой маневра, но не имели достаточно сил и средств, могли вести только оборонительные действия. Этот разрыв мог сулить нам в будущем определенные выгоды, но теперь доставлял большое беспокойство. Ударят немцы с севера и с юга, возьмут в гигантские клещи наши дивизии, и у нас не окажется войск, способных прикрыть брянское направление, дорогу от Брянска к Москве. Такой вот головоломкой обернулась пресловутая Припятская проблема.

— Что вы предлагаете? — обратился Сталин к Шапошникову и Василевскому.

Как заведено в таких случаях, первым ответил младший по званию:

— Постепенно выводить войска из угрожаемого района за Днепр, за Сож для создания прочной обороны и чтобы лишить немцев соблазна отсечь весь выступ. — Так сформулировал свое мнение Василевский.

— И активизировать наши действия в районе Ельни, — дополнил Шапошников, — связать там боями подвижные силы противника, танковую группу Гудериана.

— Согласен с вами. — Чубук сталинской трубки, будто указка, «ходил» над картой. — Выводить войска будем, но в том случае, когда угроза окажется реальной. Ельнинским выступом занимается товарищ Жуков. Там немцы слишком близко подошли к Москве… Слишком, — повторил Иосиф Виссарионович. — Надеюсь, товарищ Жуков отбросит их… Но то, что вы предлагаете, это еще не решение вопроса… Не полное решение, — смягчил он. — Брянское направление остается недостаточно прикрытым как со стороны Ельни, так и с запада и с юга. Даже когда мы оттянем туда из-за Днепра наши войска. Их будет мало. Мы уже говорили прежде о создании нового, Брянского фронта, помните, Борис Михайлович?

— Да, предварительный разговор был, разработка ведется.

— Считаю — пришло время. Брянский фронт не только обезопасит важное направление, но и послужит барьером между немецкими группировками «Центр» и «Юг», между силами противника в районе Смоленска и в районе Киева. До сих пор таким барьером была наша пятая армия, но теперь, когда мы оставляем Полесье… — Сталин не закончил фразу, но все было ясно.

Борис Михайлович, подавив вздох, вынул из портсигара папиросу, закурил. И, поскольку Сталин молчал, поднялся: не пора ли уходить.

— Какие войска мы можем сейчас включить в Брянский фронт? — спросил Иосиф Виссарионович.

— На первом этапе пятидесятую и тринадцатую армии. Затем часть войск Центрального фронта, — ответил Шапошников. — К двадцати четырем часам могу доложить подробности.

— Хорошо. Вместе с Николаем Алексеевичем подумайте о кандидатуре командующего фронтом. — Сталин коротко взмахнул правой рукой: ставший привычным отпускающе-благословляющий жест.

Я не принадлежу к числу людей, которые считают начальный период войны катастрофическим для нас. Думаю, это облегченная формулировка однопланово мыслящих или не искушенных в военных делах сограждан. Начало действительно было неудачным. Даже очень неудачным, но не более того. Катастрофа — это разгром, а до разгрома было далеко. Да, мы понесли весьма ощутимые потери как в личном составе, так и материальные. И моральные. Да, мы утратили значительную часть территории, пропустив неприятеля в глубинные, жизненно важные районы страны. Успех гитлеровцев был очевидным. Но что стояло за этим успехом?

Потери были не только у нас, их несли и немцы, причем такие потери, каких у фашистов еще не было. Потом, после войны, мы узнали, какой кровью платили гитлеровцы за свои победы, а тогда, летом сорок первого, я буквально всем существом своим ощущал, как слабеет, истощается напор вражеских войск. Цифры теперь названы неоднократно, и все же я повторю некоторые из них. За два месяца войны на просторах нашей страны легли костьми 400 тысяч немецких солдат и офицеров. А ведь это — кадровые войска, покорители всей Европы, цвет вермахта. Количество потерянных самолетов приближалось к двум тысячам. Но особенно большие утраты понесли танковые группы противника. Они потеряли от пятидесяти до шестидесяти процентов боевой техники. В основном в сражениях с советскими танковыми частями. Ударная сила сократилась более чем наполовину.

4 августа на совещании в штабе группы армий «Центр» а городе Борисове Адольф Гитлер, узнав о таких потерях, не удержался от горького восклицания: «Если бы я знал, что у русских действительно имеется столько танков, я бы не начал эту войну!» Поздно спохватился! Пожар уже полыхал, Россия уже качнулась, сдвинулась, а это страшно для любого врага. Великую страну, великий народ трудно всколыхнуть, но уж если весь этот необозримый и бездонный океан всколыхнется…

Короче говоря, даже само немецкое руководство начало понимать: потери велики, но результатам не соответствовали. Ни на одном из трех направлении немцы решающего успеха не достигли, все более втягиваясь в затяжные бои. Блицкриг не удался, «молниеносной войны» не получилось. Более того, устанавливалось примерное равновесие сил, что было очень страшно для фашистов. Ведь начинали действовать такие факторы, как количество населения и территория, экономический потенциал государства, в чем фашисты уступали нам. А ведь против них воевали не только мы, но и другие государства: хоть вяло, но воевали. Время работало против гитлеровцев.

Клаузевиц в свое время писал: «Наступающему так же трудно остановиться, как лошади, везущей тяжелый воз». Правильно сказано. Тяжелый воз по инерции еще катился вперед, но это было уже не планомерное стремительное движение немцев по всему фронту, а отдельные судорожные рывки то в направлении Ленинграда, то в нижнем течении Днепра. И вот теперь, при шатком равенстве положения, очень много зависело не от войск, а от компетентности высшего командования.

Задача со многими неизвестными, возникшая перед нашей Ставкой и Генштабом, была в общем решена правильно. Мы предусмотрели, предугадали замыслы фашистского военного руководства. Свидетельство тому хотя бы своевременное создание Брянского фронта на том направлении, которое было пассивным, но стало вдруг очень важным. Мы

правильно поняли, что, пройдя восточнее полесских болот, немцы обязательно постараются сомкнуть фланги групп армий «Центр» и «Юг». Все верно, однако это не помешало нам потерпеть поражение более тяжелое, чем в приграничных боях, предопределившее, на мой взгляд, развитие многих дальнейших событий, действительно поставившее нашу армию, нашу страну на грань катастрофы. Мы переоценили свои возможности и недооценили вражеский потенциал, способности вражеских полководцев.

Приказ о создании Брянского фронта был подписан 16 августа. А накануне произошло вот что. В присутствии членов Государственного Комитета Обороны и начальника Генерального штаба Сталин принял двух генералов, срочно вызванных в Москву. При этом из-за поспешности или по чьему-то умыслу случилась такая путаница, что я тогда в ней не разобрался, да и некогда было разбираться.

На должность командующего Брянским фронтом я предлагал генерала В. И. Кузнецова (прошу читателя не смешивать двух генералов Кузнецовых, о которых пойдет речь, с нашим замечательным адмиралом Н. Г. Кузнецовым — наркомом ВМФ СССР). Мое предложение со стороны Шапошникова возражений не встретило. Да и с чего бы возражать: Борис Михайлович знал Василия Ивановича Кузнецова не хуже меня. Офицер нашей старой армии, он в гражданскую войну командовал красным полком. Не из политических выскочек. Образованный, рассудительный, волевой. Отечественную войну встретил на границе, на Немане, возглавляя 3-ю армию, дислоцировавшуюся в районе Гродно, на одном из самых ответственных участков, на стыке Прибалтийского и Белорусского военных округов, или с 22 июня соответственно Северо-Западного фронта, которым, кстати, командовал его однофамилец Ф. И. Кузнецов, и Западного фронта. А стыки — всегда самое притягательное место для ударов противника.

Так было и в тот раз. Именно на стыке фронтов нанесла удар мощная 3-я танковая группа гитлеровцев. Она глубоко охватила нашу 3-ю армию (кузнецовскую армию) с севера. А с запада обрушилась на нее 9-я фашистская армия. Как это выглядело на практике? Вот пример. 56-я танковая дивизия оборонялась в полосе сорок километров. Это слишком большое расстояние. Против нее действовал 8-й армейский корпус гитлеровцев из трех пехотных дивизий, каждая из которых по силам и средствам вдвое превосходила нашу стрелковую. Получалось соотношение один к шести. Вполне естественно, что 3-я армия В. И. Кузнецова, оказавшись в окружении, в изоляции, вынуждена была отступать, пробиваться к своим, неся большие потери. Но какова была школа для командарма, продолжавшего сражаться в самых немыслимых условиях!

В то лето, в лето наших неудач, редко кто из полководцев удостаивался наград, благодарности Верховного Главнокомандования. А вот В. И. Кузнецов и еще несколько человек удостоились такой чести в приказе № 270 от 16 августа 1941 года. За мужество, за умение руководить войсками. Конкретнее — за то, что организовал выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий и лично вывел из вражеского кольца пятьсот бойцов и командиров своей армии.

Василий Иванович Кузнецов, проведя на передовой всю войну от первого до последнего залпа, стал в конце ее генерал-полковником, Героем Советского Союза. Мы еще не раз встретимся с ним. Он принял на

себя вражеский удар на границе утром 22 июня 1941 года. Он будет в числе тех полководцев, которые опрокинут фашистов под Москвой, и он же поставит самую последнюю точку в Великой войне: это ведь Кузнецов приведет в Берлин свою 3-ю армию, простите, к тому времени прославленную 3-ю ударную армию, воины которой возьмут рейхстаг и водрузят над ним победное знамя. Фамилии тех знаменосцев известны. А замечательный русский офицер, советский генерал Василий Иванович Кузнецов окажется в числе многих позабытых теперь славных сынов Отечества. Увы, даже побежденные нами немцы больше знают о генерале Василии Ивановиче Кузнецове, чем знают о нем люди в нашей стране. Печально.

Товарищи дорогие! Что случилось с россиянами, с нашим патриотизмом, с нашим отношением к родной истории в хрущевские и последующие времена?! Такого в нашем государстве не бывало: и печатно, и устно воспевают не героев, а наоборот — дезертиров, диссидентов, предателей, перевертышей, то есть тех, кто приносил и приносит не пользу, а вред своей стране. Благодаря усилиям демагогов обеляются и превозносятся генералы-вероотступники, христопродавцы. Задумайтесь, молодые, кто и зачем с завидным постоянством настойчиво подрывает ваши корни, отравляет ваше сознание, образуя в мозгах ваших вакуум, чтобы заполнить его ядовитым снадобьем, чтобы новые поколения, не помнящие родства, пляшущие под чужую музыку, стали послушными роботами для определенного рода господ! Враг теперь стал дальновиднее, хитрее, глумливее и коварней. И, в конечном счете, безжалостнее: он не остановится ни перед чем.

(Извинившись за небольшое отступление, возвратимся к тем непредвиденным обстоятельствам, с которыми столкнулся Н. Лукашов в кабинете Сталина. — В. У.).

На прием к Иосифу Виссарионовичу был вызван (по согласованию с Шапошниковым) генерал Кузнецов. Но, как говорится, Федот, да не тот. Не Василий Иванович, а его однофамилец генерал-полковник Федор Исидорович, командовавший, как мы уже говорили, Северо-Западным фронтом. Каким образом это произошло — один Бог знает. Вообще-то, сие не было особенно огорчительно: я мало знал Федора Исидоровича, но представлял себе, что достоинства обоих Кузнецовых как полководцев примерно равны, а для дела важно лишь это. Но одновременно с Ф. И. Кузнецовым в кабинете Сталина появился генерал-лейтенант Андрей Иванович Еременко. Вот уж это было для меня полной и неприятной неожиданностью. И для Шапошникова тоже.

Конечно, я стараюсь быть справедливым в изложении событий, в оценке людей, но понимаю, что мои симпатии или антипатии не могут не сказываться. Знаю товарищей, которые не разделяют моего отношения к Еременко, а я никогда не скрывал, что Андрей Иванович и человеки его типа — нахрапистые, беспардонные, ограниченные и в то же время очень даже себе на уме, были, мягко выражаясь, неприятны мне. Удивляло вот что: когда и как умудрился Еременко произвести на Сталина хорошее впечатление, какую услугу ему оказал, войдя в доверие? Может быть, еще на гражданской? А может, на Дальнем Востоке, когда там убрали Блюхера и Штерна, начались осложнения у генерала И. Апанасенко, бывшего буденновского комдива, в котором Еременко мог видеть конкурента-соперника? Во всяком случае, Андрей Иванович благополучно рос в должностях и званиях и перед началом войны возглавлял одно из

крупнейших наших объединений — 1-ю Краснознаменную дальневосточную армию.

Срочно вызвав Еременко в Москву, Сталин и Тимошенко столь же срочно присвоили ему звание генерал-лейтенанта и назначили командовать вместо Павлова самым опасным и трудным фронтом — Западным. Исправляй положение! Все это делалось поспешно, без учета мнения Генштаба, вызвало удивление не только у меня, но и у Жукова и Шапошникова. Почему именно Еременко, полководческим талантом не отягощенный и, как известно, не сталкивавшийся на поле боя с немцами?! Скорее всего, это Тимошенко и Буденный предложили: требуется, мол, человек твердый, уверенный в себе. Уж чего-чего, а самоуверенности Андрею Ивановичу действительно хватало. Умел идти напролом. Да и здоров был детина — быку рога свернет. Косая сажень в налитых силой плечах — он даже чуть сутулился под их тяжестью. Соратники, давно знавшие Андрея Ивановича, между собой звали его «гориллой». Он, по-моему, не обижался.

На посту командующего Западным фронтом Еременко ничем себя не проявил, положения не выправил, да и не мог он ничего сделать, явно не по нем были масштабы. Прокомандовал лишь несколько дней. На Западный фронт прибыл Тимошенко, а Еременко остался его заместителем. Однако и вкус высокого положения изведал, и некоторую известность приобрел. В должности зама помотался по военным дорогам, насмотрелся и обрел кое-что на передовой, в штабах. Однако в историю начального периода войны вписался главным образом полуанекдотичным случаем, когда полковнику Мишулину было присвоено сразу, через ступень, звание генерал-лейтенанта и вручена Звезда Героя.

И вот неожиданно для меня Еременко на приеме у Сталина вместе с генералом Кузнецовым. И ни Шапошников в кабинете Иосифа Виссарионовича, ни я, находясь в комнате за кабинетом и слыша все, ничего уже не могли изменить. Теперь решал лично Сталин. О том, как это было, поведал в своих воспоминаниях (Воениздат, 1959 год) сам Еременко. Стремясь к объективности, посмотрим на случившееся глазами самого Андрея Ивановича.

«Сталин… подчеркнул, что нужно остановить продвижение противника как на брянском направлении, так и в Крыму. Затем он сказал, что именно для этой цели создаются Брянский фронт и Отдельная армия на правах фронта в Крыму. Закончил Сталин неожиданным вопросом, обращенным ко мне:

— Куда бы вы желали поехать: на Брянский фронт или в Крым?

Я ответил, что готов ехать туда, куда он сочтет нужным меня направить. Сталин пристально взглянул на меня, и в выражении его лица мелькнула неудовлетворенность. Стремясь получить более конкретный ответ, он спросил кратко:

— А все-таки?

— Туда, — быстро сказал я, — где обстановка будет наиболее тяжелой.

— Она одинаково сложна и трудна и в Крыму, и под Брянском, — последовал ответ.

Стремясь выйти из этого своеобразного тупика, я сказал:

— Пошлите меня туда, где противник будет применять мототехчасти, мне кажется, там я сумею принести больше пользы, так как сам командовал механизированными войсками и знаю их природу и тактику действий.

— Ну хорошо! — сказал Сталин удовлетворенно. И тут же обратился к Кузнецову, спрашивая о его намерениях. Кузнецов ответил весьма кратко:

— Я солдат, товарищ Сталин, буду воевать там, куда меня направят.

— Солдат-то солдат, — несколько растянуто проговорил Сталин, — но у вас есть же какое-то мнение? Кузнецов повторил:

— Я солдат, товарищ Сталин, и всегда готов служить и работать в любом месте, куда меня пошлют.

Тогда, обращаясь снова ко мне, Сталин объявил:

— Вы, товарищ Еременко, назначаетесь командующим Брянским фронтом. Завтра же выезжайте на место и немедленно организуйте фронт. На брянском направлении действует танковая группа Гудериана, там будут происходить тяжелые бои. Так что ваши желания исполняются. Встретите там механизированные войска вашего «старого приятеля» Гудериана, повадки которого должны быть вам знакомы по Западному фронту».

Разговор воспроизведен в принципе правильно, хотя сами по себе мемуары Еременко вызывают и сомнения, и нарекания. Андрей Иванович приводил факты, полезные для него, и «забывал» о тех, которые могли повредить ему. Пользовался не всегда достоверными слухами. Ну, например, приводит слова Сталина, высказанные якобы на одном из совещаний высшего комсостава, но Сталина-то на том совещании вообще не было. Это отмечал Георгий Константинович Жуков и устно, и через печать. Но приведенная цитата в общем-то дает правильное представление, если исключить некоторые вольности в выражениях, кои Еременко мог позволить себе лишь после смерти Сталина, но отнюдь не в сорок первом году. «Старый приятель» Гудериан, знакомство с его повадками — это выдумка. И тяжелые бои с танковой группой под Брянском тогда еще не предвиделись. А вот категорические обещания Еременко создать сильный фронт и остановить немцев — это факт. Причем обещания прозвучали столь горячо и убедительно, что Сталин поверил в возможности волевого, решительного, самоуверенного генерала. Тем более что хотелось верить.

Командовать Отдельной Приморской армией было, естественно, поручено Ф. И. Кузнецову. Огорченный случившимся, я после приема нашел возможность увидеться с ним. Спросил напрямик:

— Как вы могли отказаться от фронта, да еще в пользу Еременко не ахти с каким опытом?

— Разве я отказался? Я действительно готов воевать там, куда направят. А обещать, что остановлю немецкие танки, не могу. Буду стараться — как получится.

— Но Еременко-то обещал!

— Это дело его чести и совести.

А ночью, оставшись в кабинете наедине, я высказал свои сомнения Сталину, удивление его выбором. Ведь Кузнецов явно сильнее Еременко.

— У товарища Кузнецова я не почувствовал уверенности, — ответил Иосиф Виссарионович.

— Он скромен и знает свои возможности. А у Еременко нет ни того, ни другого.

— Товарищ Еременко хочет бить моторизованные войска противника, и мы даем ему такую возможность. Он вызвался сам, он взял на себя ответственность. И это будет подстегивать его, он будет стараться.

В чем-то Сталин был прав. С человека, который напросился, можно потребовать… Но меня не оставляла другая мысль: Еременко вызвался потому, что не знал своих сил, не представлял полностью, какие сложности его ожидают. Не хотел упускать шансов. Командующий фронтом — это же карьера! Тем более что положение под Брянском было сравнительно устойчивое, впереди находились еще войска Центрального фронта. Авось и получится… А я всегда очень опасался этого пресловутого «авось», зная, какие могут быть неудачи и потери.

Слишком многое ставилось на карту. Помните, как благородно поступил Павел Алексеевич Белов, попросив не выдвигать его на пост командующего армией, а оставить командиром кавкорпуса. Не о карьере думал, а о том, на каком месте способен в трудные дни принести больше пользы. Его конникам, кстати, и придется вскоре встать на пути танковой армады Гудериана. И совсем другое — самонадеянный, я бы сказал, эгоистично-самоуверенный Еременко: процитирую небольшую выдержку из его телеграфных переговоров с Верховным Главнокомандующим вечером 24 августа:

Сталин:

«У меня есть к вам несколько вопросов, Не следует ли расформировать Центральный фронт, 3-ю армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряжение соединенную 21-ю армию? Мы можем послать вам на днях, завтра, в крайнем случае послезавтра, две танковые бригады с некоторым количеством КВ в них и 2–3 танковых батальона, очень ли они нужны Вам? Если Вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?»

Еременко:

«Мое мнение о расформировании Центрального Фронта таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и безусловно разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать. А это значит — прочно взаимодействовать с ударной группой, которая будет действовать из района Брянска. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне. Я очень благодарен Вам, товарищ Сталин, за то, что Вы укрепляете меня танками и самолетами. Прошу только ускорить их отправку, они нам очень и очень нужны, а насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу, поставленную Вами, выполнить, то есть разбить его. У меня к Вам больше вопросов нет…»

Заверил, значит, наобещал, успокоил Верховного Главнокомандующего… и завалил важнейшую операцию.

Во всех своих опубликованных воспоминаниях Андрей Иванович Еременко со свойственной ему настойчивостью, я бы даже сказал, с чрезмерной назойливостью, в разных вариантах повторяет одно и то же: Брянский фронт, дескать, создавался для того, чтобы предотвратить прорыв противника из района Могилев, Гомель на Брянск и далее на Москву. И эту задачу Брянский фронт якобы выполнил. Ан нет! Фронт задумывался и создавался на стыке немецких групп армий «Центр» и «Юг» еще и для того, чтобы мешать взаимодействию вражеских сил, остановить вражеские танковые клинья, уже начинавшие двигаться с севера и с юга в район Киева, дабы отрезать, окружить там огромную группировку советских войск.

Вопреки воле своих генералов, Гитлер сделал еще один совершенно неожиданный «финт», свидетельствующий о его неординарности и даже талантливости. Встретив сильное сопротивление под Ельней, он прервал

«поход на Москву» и выбрал более длинный, но зато более надежный в его представлении путь. Сначала — Киев. Окружить, разбить, пленить там русские армии, развалить все юго-западное направление, оттянуть туда все резервы, еще оставшиеся у Сталина, и лишь после этого продолжить марш к советской столице.

Танковую группу Гудериана, которая шла к Киеву с севера, мог остановить только Брянский фронт, других возможностей для этого не было. Мог, если бы предпринял самые решительные, умелые, дерзкие действия. Но Еременко этого не сделал, он даже не понимал, как много от него зависит. Немцы-то шли не на его фронт, не на Брянск, а вдоль фронта, спускаясь все дальше на юг, прикрываясь от войск Еременко лишь пехотными заслонами. Можно, можно было опрокинуть эти заслоны, ударить во фланг и тыл гудериановской группировки. Во всяком случае, надо было рискнуть.

Мне горько, очень горько писать о проигранном сражении за Киев, о наших огромных потерях (более полумиллиона пленных взяли тогда немцы). Об этой трагедии, об упущенных возможностях предотвратить ее сказано и написано много. Тома исследований! Нет необходимости излагать ход событий. Вспомню лишь некоторые подробности.

Как ни странно, а крупнейшее наше поражение под Киевом, предопределившее весь ход дальнейших событий, нисколько не изменило отношения Иосифа Виссарионовича к одному из тех военачальников, на совести которых наш тяжелейший срыв, к Андрею Ивановичу Еременко. Даже, наоборот, словно бы сблизило их. Едва тяжелораненого генерала привезли в Москву, в госпиталь, Иосиф Виссарионович навестил его. Нашел время, и ведь какое: ночью 15 октября, когда немцы стремительно приближались к Москве, когда в городе уже началась паника, было объявлено военное положение. Других-то генералов Сталин и в более спокойные периоды не навещал, а к Еременко поехал, расспросил его, подбодрил. И это не было жестом, работой «на публику», это шло от души. Все мы были тогда замучены, напряжены до предела, у меня вырвалась не лишенная злой иронии фраза о том, что не следовало бы расходовать драгоценные часы Верховного Главнокомандующего. А Сталин ответил рассудительно:

«Я знаю ваше отношение к Еременко, знаю, что вы приписываете ему большую долю ответственности за поражение. Но он сделал, что мог. Товарищ Еременко звезд с неба не хватает, но он добросовестный и надежный генерал. А вина за поражение лежит не только на товарище Еременко, но и на мне. Это я выдвигал его командовать Брянским фронтом. Его побили, но за битого, как известно, двух небитых дают». — «Слишком много побито еще и вокруг него…» — «Не будем спорить, — остановил меня Иосиф Виссарионович. — Ваше отношение к Еременко мне хорошо известно», — повторил он.

Вполне понятно, что при столь явном расположении Сталина никакого наказания Андрей Иванович не понес. Разве что самое малое: после выздоровления получил назначение с понижением, на должность командующего армией. И то, думаю, лишь потому, что «свободного» фронта для него тогда не нашлось. Но зато потом вдоволь накомандовался поочередно пятью или шестью различными фронтами, в том числе знаменитым Сталинградским. Удивительно, у Иосифа Виссарионовича теплело лицо, когда речь при нем заходила о Еременко. Обязательно передавал ему привет. А я советовал почаще напоминать

Андрею Ивановичу, чтоб не занимался рукоприкладством, не пускал в ход свои дюжие кулачищи. Сталин усмехался, но напоминал. Сам он был категорически против мордобития в армии, но Еременко прощалось и это. Не по злобе, дескать, не ради удовольствия бил подчиненных, а токмо для пользы дела, поднимая их на врага, в атаку. У Андрея Ивановича даже целая теория была на этот счет, известная Сталину. Солдату, офицеру страшно броситься навстречу пулям. А надо. Чем, кроме кулака, оторвешь бойца от земли?! Только, мол, тыловики-чистоплюи этого не понимают, морщатся… Но другие-то командиры поднимали: и словом, и собственным примером. Конечно, на войне, где льется кровь, гибнут массы людей, случается всякое. И все же рукоприкладства на фронте почти не было. Я могу назвать лишь несколько генералов, допускавших это в критической ситуации. А чемпионом среди них являлся Еременко.

21

Киевская трагедия, разгром под Киевом — отнюдь не поражение наших войск на поле боя с превосходящими силами противника. Нет, это результат первой из двух крупнейших ошибок, допущенных нашим высшим и самым высшим командованием уже в ходе самой войны. Не оценили правильно обстановку, не заглянули вперед, не приняли верных решений. А кто конкретно в ответе за все это.

Виноватых много. Генштабисты Шапошников, Василевский, да и ваш покорный слуга, к середине августа отчетливо понимали опасность, исходившую от вражеских клиньев, вбитых далеко на восток севернее и южнее Киева. Теперь, когда им не мешали припятские болота, они могли сделать решительный поворот и соединиться за спиной нашей киевской группировки. Мы поняли это и настояли на создании Брянского фронта еще до того, как Гитлер отдал соответствующий приказ, определивший цели нового наступления. Приказ был подписан им 21 августа, когда наш Брянский фронт уже существовал. Но создание его, как выяснилось, было лишь полумерой. На восток он немцев не пустил, но Гудериана не остановил. Наверное, мы, генштабисты, обязаны были более настойчиво подводить Сталина к мысли о том, что центр тяжести событий перемещается к югу.

Виноваты, безусловно, Тимошенко и Буденный. Они должны были добиться у Иосифа Виссарионовича разрешения на вывод войск из угрожаемого района, они должны были принять самые решительные меры, чтобы остановить немецкие танки, стремившиеся замкнуть кольцо. Виновен командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос, утративший в сложной обстановке управление войсками, не сумевший организовать борьбу внутри кольца и прорыв из окружения. Очень виноват генерал Еременко, много наобещавший, заверивший Сталина в том, что остановит Гудериана, но по существу ничего не сделавший. Он только «не пропустил» на Москву немцев, которые в то время к нашей столице и не рвались. Зато пропустит потом, едва они повернут на это направление.

Главная вина за киевскую трагедию ложится, конечно, на Сталина, до самого последнего момента надеявшегося на какое-то чудо, не разрешавшего выводить войска из кольца, которое вот-вот должно было замкнуться. Упорство Иосифа Виссарионовича обернулось на этот раз тяжелейшим поражением. Но ведь и его надо понять. Не так-то просто без боя отдать врагу большую территорию со столицей республики, с бывшим

центром нашей Древней Руси. Там миллионная, неплохо оснащенная армия, неужели она не может остановить противника?! Сталина потом упрекали за то, что он в начатой немцами стремительной маневренной войне вел борьбу «на удержание территории». И невдомек таким критиканам, что маневрируют, ищут слабые места противника, стремительно перемещаются войска наступающие, обладающие возможностью выбора. А обороняющимся ничего не остается, кроме как удерживать территорию. Всю. Потому что неизвестно, какое направление будет главным сегодня или окажется решающим завтра.

Возьмем тех же немцев: они, когда начали отступать, цеплялись за каждый пригорок, за каждый дом, особенно на своей территории.

Хочу еще сказать о том, как много на войне зависит от мастерства каждого командира. В распоряжении Кирпоноса и Еременко были огромные массы войск, исчисляемые сотнями тысяч. Обычные для той поры войска, одни чуть лучше, другие чуть хуже. Некоторые части и подразделения геройски дрались с противником, нанесли ему урон, задерживали его продвижение. Но основная масса войск, лишившись централизованного руководства, развалилась, рассыпалась, стала легкой добычей для неприятеля.

Помните «пожарную команду», которая в первые недели войны не раз спасала, исправляла положение на Южном фронте? Да, 2-й кавалерийский корпус, действиями которого я восхищался, о котором подробно рассказывал Семену Михайловичу Буденному, а затем, в Москве, Борису Михайловичу Шапошникову и — кратко — Сталину. Слова мои не забылись. В критический момент, когда требовалось отдать все, мобилизовать любые возможности для спасения окруженных войск, кому-то пришло на ум использовать «пожарную команду» там, где замыкалось стальное кольцо вражеского окружения, где сошлись передовые танковые части Гудериана и Клейста. Не знаю, чья это была инициатива, Сталина или Шапошникова, но если судить здраво: что могли изменить в сложившемся положении тысяча двести кавалеристов? Миллионная группировка войск и конный корпус — несравнимо! А может, это все же та последняя соломинка, которая удержит на плаву утопающего?

10 сентября 1941 года в 6 часов 45 минут начальник Генерального штаба маршал Шапошников вызвал к аппарату главкома Юго-Западного направления маршала Буденного:

Шапошников. Здравствуйте, Семен Михайлович! Верховный Главнокомандующий поручил мне передать вам следующее приказание: срочно отправить походом 2-й кавалерийский корпус в район Путивля, где он поступит в распоряжение командующего Брянским фронтом Еременко. Корпус необходим для закрытия прорыва между Юго-Западным фронтом и Брянским фронтом на участке Конотоп, Новгород-Северский. Исполнение прошу подтвердить.

Буденный. Здравствуйте, Борис Михайлович! 2-й конный корпус является единственным средством командующего Южным фронтом в направлении Днепропетровск, Харьков. Противник, как вам известно, все время настойчиво пытается выйти на оперативный простор.

Известно также, что на участке Переволочная, Днепропетровск на 60-километровом пространстве находится одна 273-я стрелковая дивизия. И, наконец, противник охватывает с севера правый фланг Юго-Западного фронта. Если переводить туда 2-й корпус, то почему его нужно передавать Еременко?

Я прошу вас вообще обратить внимание на действия Еременко, который должен был эту группу противника уничтожить, а на самом деле из этого ничего не получилось. Если вы все точно представляете, что происходит на Юго-Западном и Южном фронтах, и, несмотря на то, что ни тот, ни другой фронт не располагают никакими резервами, решили корпус передвинуть и передать его в состав Брянского фронта, то я вынужден буду отдать приказ о движении корпуса…

Шапошников. Это мне все понятно, Семен Михайлович. Но для того, чтобы Юго-Западный фронт дрался, необходимо закрыть прорыв на участке Новгород-Северский, Конотоп. Для этой цели и двигается 2-й кавкорпус. Ответственность за эту операцию Верховный Главнокомандующий возложил на Еременко. Прошу, незадерживая, двинуть корпус на Путивль.

Буденный. Хорошо. Начальника штаба Южного фронта уже вызвал к аппарату, и сейчас ему будет отдан приказ о движении кавкорпуса. Мое мнение прошу доложить Верховному Главнокомандующему, и в частности о действиях Брянского фронта. До свидания!»

И он пошел, этот героический корпус, из одного сражения к другому, пошел походом за четыреста километров, через Полтаву, по украинским проселкам, под ясным небом, в котором хозяйничали вражеские самолеты. За сабельными эскадронами катились пулеметные тачанки, не отставали от своих полков обозы с боеприпасами, под надежной охраной везли артиллерию: всего-то по двенадцать орудий на каждую из дивизий. На 5-ю Ставропольскую генерала Баранова и на 9-ю Крымскую полковника Осликовского.

Конечно, не очень убоялись бы такой «силы», узнав о ее приближении, командующие немецкими танковыми группами генералы Гудериан и Клейст. Озабочены были другим: уплотнить кольцо вокруг окруженных советских войск, раздавить их. Не убоялись, но все же обратили внимание на кавалеристов, сразу после длительного марша вступавших в бой. Вот как вспоминает об этом генерал-полковник Гейнц Гудериан: «18 сентября сложилась критическая обстановка в районе Ромны. Рано утром на восточном фланге был слышен шум боя, который в течение последующего времени все более усиливался. Свежие силы противника — 9-я кавалерийская дивизия и еще одна дивизия совместно с танками — наступали с востока на город тремя колоннами, подойдя к городу на близкое расстояние. С высокой башни тюрьмы, расположенной на окраине города, я имел возможность хорошо наблюдать, как противник наступал. 24-му танковому корпусу было поручено отразить наступление противника. Для выполнения этой задачи корпус имел в своем распоряжении два батальона 10-й мотодивизии и несколько зенитных батарей… Затем последовал налет авиации противника на Ромны. В конце концов нам удалось все же удержать в своих руках город Ромны и передовой командный пункт. Однако русские продолжали подбрасывать свои силы по дороге Харьков — Сумы и выгружать их у Сумы и Журавка. Для отражения этих сил противника 24-й танковый корпус перебросил сюда из района котла некоторые части дивизии СС «Рейх» и 4-й танковой дивизии…

Угрожаемое положение города Ромны вынудило меня 19 сентября перевести свой командный пункт обратно в Конотоп. Генерал фон Гейер облегчил нам принятие этого решения своей радиограммой, в которой он писал: «Перевод командного пункта из Ромны не будет истолкован

войсками как проявление трусости со стороны командования танковой группы».
Вот, пожалуй, и все, чего достигли тогда кавалеристы. Пробить танковое кольцо, проложить коридор для вывода окруженных они не могли, не было сил. Упоенные своими успехами, немцы не придали значения появлению на этом участке советской конницы, их разведка не засекла переброску корпуса. Не прозвучала фамилия генерала Белова. И вскоре Гудериан поплатился за чрезмерную самоуверенность.

22

Возвращаясь из поездок на фронт, я все свое время проводил либо в Кремле, либо на московской квартире: в любой момент мог понадобиться Сталину. Был почти на казарменном положении. Дочку видел мимолетно и очень скучал, беспокоился, как и чем она живет. Вот и махнул, как молодой солдат, в самоволку: в субботу, во второй половине дня, взял дочку на городской квартире и увез на дачу, где томилась без нас экономка, где все лето ржавели без применения наши прогулочные велосипеды. Вечером мы немного покатались на них, потом посидели, поговорили втроем о приятных пустяковых заботах, совсем не связанных с войной. О том, что надо бы сменить две подгнившие ступени крыльца, о том, что дочке трудно дается в школе география (странно, я всегда любил этот предмет и преуспевал в нем). И о том, что поблизости от нашей дачи, где когда-то охотился на лис Владимир Ильич, в этом году особенно много появилось лисят: рыжие плутовки, воруя кур, изрядно досаждают жителям Жуковки, Калчуги, Горок-Вторых, Знаменского. Утащили там даже самого задиристого, самого горластого, самого ярко-красного петуха.
Я отдыхал душой, слушая эти новости, любуясь через окно пожелтевшими березами, слюдяным блеском речной излучины, наслаждаясь тишиной: только кроны высоких сосен монотонно шумели под ветром. А утром, когда пили чай на осенне-прохладной солнечной террасе, дочка, внимательно всмотревшись, сказала не без удивления:
— Папа, ты очень помолодел.
— Жирок сбросил. И загорел в южных степях.
— Загорел — не то слово. Прокалился. Зубы блестят, как у шахтера после работы. Как у Стаханова в кино. И глаза… Будто лет десять сбросил.
— Война — это же моя стихия! — отшутился я.
Вспомнил этот разговор в машине, возвращаясь в Москву. Правильно подметила моя умница: не только я, но и многие, почти все мои знакомые, изменились с начала войны. По-разному. Я действительно как-то встряхнулся после довольно однообразной жизни, ощутил прилив энергии, почувствовал себя не пожилым штабным чиновником, а боевым офицером. Запах пороха — он ведь одних угнетает, а других бодрит. Даже пошучивал мысленно: появилась реальная возможность избежать унылой смерти в старческой постели, погибнуть на поле брани. Сказывалось наследие многих поколений моих военных предков.
Ну я — ладно, не велика фигура, от моего состояния не многое зависело. Первое время меня очень беспокоило, как война с ее физическими и нравственными потрясениями, с неожиданными поворотами событий отразится на неустойчивой психике Иосифа Виссарионовича. Особенно встревожился после двух депрессий, перенесенных им еще в июне. Не будут ли приступы повторяться систематически, выдержит ли нервная

система? Ведь раньше бывало: накапливается, накапливается в нем усталость, озлобление, нарастает напряжение, загоняемое вовнутрь усилиями воли. Затем взрыв, всплеск гнева и ярости, болезненная разрядка. И опустошенность, вялость, нежелание видеть людей. Не участятся, не возрастут ли такие циклы, очень вредные для дела всегда, а во время войны особенно?!

Проходили, однако, недели, месяцы, а Сталин, несмотря на неудачи, на титанический труд, был здоров, собран, умеренно-спокоен, рассудителен. Такой, значит, человек: понимая, что нельзя раскисать, распускаться, крепко держал себя в узде. И еще. В предвоенное время всех нас нервировало, взвинчивало ощущение предгрозовой атмосферы, предчувствие тяжких испытаний, болезненных перемен. Такое состояние изматывало. А теперь появилось то, что так важно было для Сталина с его сложным характером, — появилась определенность. Началась великая битва, и надо было отдать все силы, использовать все свои возможности, чтобы ее выиграть. Требовалось одно: работать ради победы. А трудиться Сталин не только мог, но и любил. И других, как известно, умел вдохновить, направить, заставить действовать.

Большое поражение под Киевом, к счастью, не выбило Иосифа Виссарионовича из седла. Понимая тяжесть последствий, он все же правильно считал, что проиграно еще одно сражение, но отнюдь не война. Из этого и исходил. Да ведь и не одни поражения были у нас, имелись и успехи, достигнутые, правда, дорогой ценой, не очень существенные на первый взгляд, но все же были. Самый заметный и самый известный из них — успех под Ельней. Еще во время боев за Смоленск дивизии Гудериана продвинулись на восток южнее этого областного центра, захватили Ельню и там завязли в лесисто-болотистой местности. Не в прямом смысле завязли, а были остановлены нашими войсками на этом опасном для нас направлении: от Ельни до Москвы около трехсот километров. Немцы к тому времени понесли существенные потери, нужно было отдохнуть, подтянуть резервы. Главная ударная сила противника — танковые дивизии повернули на юг, на Киев, а ельнинский выступ заполнила пехота, закрепилась на этом плацдарме для следующего броска к нашей столице.

С моей точки зрения (а ее во многом разделял и Шапошников), названный выступ не представлял для нас особой опасности. Там ведь действительно кругом леса и болота, с немецкой техникой не развернешься. Железнодорожные и шоссейные магистрали, ведущие к Москве, пролегали значительно севернее и южнее, где и следовало ожидать в первую очередь активных действий противника. Но на Иосифа Виссарионовича выступ в линии фронта, резко выпиравший в нашу сторону, действовал, как красный цвет на быка. «Это кинжал, нацеленный в наше сердце», — говорил он. И у меня при взгляде на карту возникало желание перехватить довольно узкое основание выступа, завязать мешок, задушить оказавшихся в нем гитлеровцев. Соблазн был велик, и опасность для немцев, конечно, существовала. Иосиф Виссарионович приказал Жукову ельнинский выступ срезать, противника уничтожить. Тем более что танки Гудериана ушли на юг. Однако вражеская пехота успела уже там усилиться. Бои местного значения, начавшиеся возле выступа со второй половины августа, подтвердили, что противник основательно закрепился и подтягивает новые части.

Есть закон взаимного притяжения войск. Если одна сторона наращивает свои силы на каком-то участке, то и другая вынуждена делать то же

самое, чтобы успешно противостоять неприятелю. Начинается своеобразная гонка, нарастает напряженность. Мы можем спровоцировать немцев, вынудим их создать сильный ударный кулак в выступе, который хотели ликвидировать. Однако, поразмыслив, я не сказал об этом Сталину, дабы не вселять в его сердце сомнения. В наступлении на Ельню я усматривал по крайней мере два положительных фактора. Мы могли если не остановить, то хотя бы затормозить продвижение вражеских сил на юг, на Киев: это направление становилось все более опасным. И еще, успех, хотя бы частичный, поднял бы дух наших воинов, порадовал бы весь народ.

Опять же не стану описывать ход сложных и своеобразных боевых действий под Ельней — читатель найдет это в других произведениях. Скажу только, что Георгий Константинович Жуков взялся за дело с присущей ему решительностью и энергией, с явным намерением перехватить горловину ельнинского выступа. Местность способствовала скрытному сосредоточению войск. Держа немцев в постоянном напряжении атаками на разных участках, Георгий Константинович подтянул к горловине с севера и с юга несколько боеспособных соединений. Это 100-я стрелковая дивизия генерал-майора И. Н. Руссиянова, получившая задачу перерезать немцам пути отхода на запад (отличившись в Ельнинской операции, стала 1-й гвардейской стрелковой дивизией). Это 127-я стрелковая дивизия полковника А. З. Акименко, 153-я стрелковая генерал-майора Н. А. Гагена, 161-я стрелковая полковника П. Ф. Москвитина, 107-я стрелковая полковника П. В. Миронова, ставшие соответственно 2, 3, 4 и 5-й гвардейскими стрелковыми дивизиями.

Возьмем для примера хотя бы 107-ю. В отличие от других, она не имела еще боевого опыта, прибыла на фронт из Сибири, зато была кадровой, полностью укомплектованной, имела около двенадцати тысяч человек личного состава, свою артиллерию. К тому же на месте получила еще артиллерийское и танковое усиление. 30 августа вместе с другими соединениями сибиряки перешли в наступление и целую неделю, беспрерывно атакуя, прогрызали оборону противника, продвинувшись за это время лишь на пять километров. Потери в этой дивизии, как и в других, были такие, что в бой пришлось бросить всех тыловиков, даже музыкантские команды. Но и немцы не устояли. 6 сентября была освобождена Ельня, через двое суток наши войска, наступавшие с севера и с юга, соединились. Однако противник успел вывести из кольца остатки семи пехотных, двух танковых и одной моторизованной дивизии. Общие потери гитлеровцев в боях за ельнинский выступ составили примерно пятьдесят тысяч человек. У нас, у наступающей стороны, потери, естественно, были значительно больше. Одна из поставленных целей была достигнута, мы добились первого крупного успеха, который благотворно, вдохновляюще подействовал на войска и народ: побили немцев под Ельней, побьем и в других местах. А вот вторая цель: оголить фланг или даже выйти на тылы танковой группы Гудериана, двигавшейся на юг, нам не удалась. Выдохлись, штурмуя оборону противника. Одна лишь упомянутая нами 107-я стрелковая (5-я гвардейская) дивизия потеряла под Ельней 4200 человек убитыми и ранеными. Для сравнения скажу: в конце войны эта дивизия, штурмуя Кенигсберг, за такой же срок, очистив полсотни городских кварталов, захватив полторы тысячи пленных, сама

потеряла лишь 186 человек убитыми и 570 ранеными. Другое мастерство солдат и командиров, другое вооружение…

Не один раз доводилось мне слышать вопрос: а добились бы мы успеха под Ельней, если бы операцию возглавлял не Жуков, а кто-либо другой? Мое мнение твердое: нет, не добились бы. Почему? На это есть причины как субъективные, так и объективные. Жуков — недавний начальник Генерального штаба, человек известный и авторитетный, мог требовать того, чего не могли другие товарищи. Он знал наличие и состояние войск, их боеспособность, в его распоряжении был Резервный фронт. Я уже говорил о том, что Георгий Константинович собрал под Ельней очень хорошие, сколоченные, полноценные дивизии. А еще он стянул туда большое (для того времени) количество «катюш», которые нанесли противнику ощутимый урон, повергая его в панику. Особенно помогла реактивная артиллерия на первом этапе операции. А вот танков было мало, даже Жукову не удалось их собрать, что и сказалось.

И еще. За несколько суток боев наши стрелковые дивизии измотались, выдохлись, а жесткие приказы Жукова гнали и гнали их в новые атаки. Помните, даже музыканты были посланы на передовую. Но всего этого было мало для «развития наметившегося успеха», как докладывал в Ставку Георгий Константинович. Зная, что Верховное Главнокомандование ничем не способно помочь ему, Жуков до предела использовал свои собственные возможности. Резервный фронт имел достаточное количество людей и мог затребовать их еще сколько угодно. Мобилизованные томились в казармах, работали на строительстве укреплений. Их должны были обмундировать, вооружить, обучить хотя бы элементарно. Но у фронта не имелось достаточно обмундирования, достаточно вооружения, достаточно командиров для обучения, а главное — не хватало времени, чтобы проделать все это. И когда в бой под Ельней при острой нехватке людей пошли тыловики и музыканты, Жуков направил туда только что сформированные, неподготовленные полки и батальоны, уповая на то, что среди мобилизованных есть люди, воевавшие в Финляндии. Особенно не повезло тулякам и рязанцам. Эшелонами и даже пешим порядком, прямо с формировочных пунктов они были отправлены на передовую и сразу же брошены в бой для «развития наметившегося успеха». Они не имели артиллерии, пулеметов, но самое страшное то, что они не имели даже личного оружия — винтовок. Только молодые командиры взводов (выпущенные досрочно) успели получить при отправке из училищ пистолеты. Про остальных Жуков сказал: «Подберут оружие убитых и раненых».

Когда мне стало известно об этом, я напомнил Иосифу Виссарионовичу полное горечи и сарказма стихотворение, относившееся к первой войне с германцами. Сталин знал это стихотворение. Там говорилось про сформированный полк:

Дней пяток потом в Сувалках Обучался он на палках. И, обученный вполне, Чрез неделю был в огне. Ружья выдали пред боем, Хоть не всем, того не скроем, И с патронами опять Хоть у немцев призанять, Шли стрелков живые стены На ружьишко по три смены, И палили во всю мочь Три патрона за всю ночь…

В двадцатых-тридцатых годах Сталин возмущался, и по-моему искренне, бездарностью и безжалостностью царского командования, гнавшего в бой невооруженных людей. А на этот раз он задумался, покачал головой, произнес:

— Товарищ Жуков находится на очень ответственном, на решающем участке. Товарищ Жуков — человек очень самостоятельный и не любит, когда вмешиваются в его распоряжения. Не будем одергивать его. Там, действительно, наметился успех, который надо развить и закрепить.

— Но там сотни, тысячи человек без винтовок. Детский сад против гимназистов старших классов! Частушку сложили:

Скоро с елочки иголочки На землю упадут. Скоро нам с тобой под Ельней По винтовочке дадут.

— Товарищ Жуков сказал, что они возьмут оружие погибших товарищей. Это, разумеется, увеличит наши потери, но вмешиваться не надо, — твердо повторил Иосиф Виссарионович.

Ну что же: когда победа необходима, ее добывают любой ценой. После успешного завершения Ельнинской операции, Сталин произнес фразу, которую, варьируя, повторил потом в декабре и еще несколько раз:

— Нам бы трех-четырех таких полководцев, как товарищ Жуков, и мы навели бы порядок на всех фронтах.

Впрочем, завершалась Ельнинская операция уже без Георгия Константиновича. В связи с крайне обострившимся положением под Ленинградом, Иосиф Виссарионович отправил Жукова спасать северную столицу.

Тут автор хотел сделать сноску, чтобы сказать кое-что от себя, но в сноску не уложился и решился на вполне законное отступление. В самом начале работы над этой книгой, отнюдь не канонического, а свободного жанра, автор заручился согласием Н. А. Лукашова на собственные пояснения, которые посчитает необходимыми, как это было на первых страницах повествования. И сейчас надо высказать соображения, которые (думаю) совпали бы с мнением ныне покойного Николая Алексеевича. Собственно, продолжу его рассуждения, но на современной основе. Речь пойдет о соотношении целей и средств их достижения, о тех утратах, без которых не обходятся военные действия.

Цифры потерь, приведенные в отрыве от конкретной военной и политической обстановки, сами по себе мало о чем говорят, зато для жонглирования ими в заданных, чаще всего корыстных целях, очень пригодны. Николай Алексеевич, безусловно, был бы возмущен тем, как строят свою карьеру на костях воинов, погибших в Афганистане, трибунно-митинговые деятели. А если вникнуть в суть, посмотреть глубже?

К началу восьмидесятых годов положение в Афганистане стало очень сложным. Доселе нейтральное, даже дружественное нам государство грозило стать опаснейшей базой агрессии против Советской страны. Враждебные блоки не только хотели попользоваться афганскими богатствами, но, в первую очередь, создать там плацдарм для нанесения удара (на их жаргоне) «в мягкое подбрюшье огромного русского медведя». Поставить ракеты, нацеленные на Среднюю Азию, на Казахстан и Сибирь. Угроза стремительно нарастала. Те же американцы готовы на все, лишь бы незыблемо закрепиться на нефтеносном Ближнем Востоке. Да что там американцы: в соседнем воинственном Пакистане полным ходом осуществлялась программа создания собственных ядерных боеприпасов под кодовым названием «Проект 706». Создавалась атомная бомба, которую там именовали «исламской». Ядерный центр неподалеку от города Равалпинди имел десять тысяч газовых центрифуг, нарабатывавших оружейный уран. Обстановка осложнялась еще и межпартийной, межнациональной борьбой, буквально раздиравшей

Афганистан. Советское руководство (по просьбе афганского правительства) вынуждено было пойти на крайнюю меру самозащиты, ввести свои войска, сорвать замыслы наших врагов, дабы южный сосед остался по крайней мере нейтральным. Может, действовать следовало быстрее, решительнее, но это уже другой вопрос. Цель в принципе была достигнута, мы не позволили превратить Афганистан в базу агрессии против нашей страны. Оставалось только сохранить, закрепить положение.

Десятки, сотни тысяч молодых людей прошли в Афганистане суровую школу, физически и нравственно закалились в походах и сражениях. Большинство из них (хотя в семье не без урода) — патриоты, интернационалисты, сознательные борцы за единство и могущество Российского государства. Слава им, укрепляющим силу и оборону Родины! Теперь за страну в ответе Отряды афганских бойцов: Воевавшие дети Не знавших войны отцов.

За девять лет пребывания в Афганистане (а это, напоминаю, был не авантюристический поход, задуманный Троцким, а необходимость обезопасить государство), за девять лет советские войска по международно-выверенным данным потеряли максимум 15 000 человек убитыми, пропавшими без вести, оказавшимися в плену. То есть утрачивали мы, примерно, 1400–1500 воинов в год. Безусловно, жаль, очень жаль каждого погибшего. Горе родителей, родственников в каждом отдельном случае вызывает глубочайшее сочувствие, смягчаемое, может быть, только одним обстоятельством: ребята отдали свои жизни не просто так, а с честью, во имя стратегических интересов своей Родины, а это почетно всегда и везде. Склоняются головы наши над прахом погибших бойцов, как испокон веков склонялись головы россиян пред памятью тех, кто погиб за Отчизну.

Справедливость требует сказать еще вот о чем. Приведенные цифры потерь сами по себе мизерны, почти не превышают в процентном отношении тех утрат, которые в мирное время несет любая армия от болезней, несчастных случаев, действий на учениях в экстремальных условиях. Сотни свинцовых гробов запаивают ежегодно в каждой большой армии: явление настолько обычное хотя бы в той же Америке, что об этом молчит пресса, молчат болтуны-ораторы, только и ждущие сенсаций. Соображают: на будничных событиях не заработаешь, не выделишься. Малые потери в Афганистане — свидетельство высокого мастерства наших генералов и офицеров, их заботы о подчиненных. Погибшие там воины, возвышенно и правильно выражаясь, принесли судьбы свои на алтарь Отечества. Герои достойны почтения и воспевания. А у нас их охаивают. Ажиотаж вспыхнул вокруг наших потерь. Очерняя все, что связано с Афганистаном, до хрипоты кричал с заграничных и съездовских трибун присноизвестный академик Сахаров, не гнушаясь даже клеветой для разжигания антирусского, антиармейского бума (чем слабее, чем униженнее Россия, наша армия, наши органы правопорядка, тем легче господствовать нынешнему всемирному жандарму, американо-израильской клике). Вместе с сахаровской группой кричали разномастные, особенно с желтым оттенком, псевдодемократы. Бесстрашные ораторы, вылезшие из каких-то темных щелей, мужественно осуждали задним числом партию, бывших руководителей государства, лили помои на покойников, демонстрируя верноподданичество новому руководству, новым порядкам. Афганский экстаз взвинтили до такой степени, что одна

из матерей положила на стол перед министром обороны орден, которым посмертно был награжден ее сын, совершивший осознанный подвиг в борьбе с врагом. Рядом — возвышенный дух, героизм — и низкое, мерзкое грехопадение. Ну, чужда, непонятна тебе слава сына-героя, так верни награду, не устраивая шумный спектакль при свете юпитеров, не оскорбляя чести погибшего воина. А то ведь сделала это с явным расчетом на эффект, публично, красуясь на телевизионных экранах. Не для сына, для себя старалась, ища дешевую популярность, не думая о том, что навсегда, непростимо обидела павшего солдата, унизила славного героя. За что такое посмертное издевательство? За то, что всегда и везде считается святым делом, за неукоснительное выполнение воинского долга?! Да он в гробу перевернулся, узнав о таком поступке матери! И будет теперь, преданный ею, лежать лицом вниз?

Жизнь коротка, пролетает стремительно. Мы все умрем. Но о тех, кто честно, добросовестно трудился, воевал, сохранится светлая хорошая память, они останутся среди потомков. А о тех, кто уклонялся от дел, ругал наши недостатки, критиковал, палец о палец не ударяя для их исправления, кто жил только собственными интересами — не останется ничего.

Теперь — необходимые сравнения. Итак: наши невозвратимые потери в Афганистане составляли 1400–1500 человек в год. Хорошенько запомните эту небольшую цифру. И подумайте о том, что в это же самое время страна наша несла и другие, гораздо более страшные, ничем не оправданные бессмысленные утраты. Вот они:

15000 трудящихся ежегодно расставались с жизнью на производстве в результате нарушения техники безопасности. В десять раз больше людей погибало в цехах и на строительных площадках, чем в Афганистане!

58651 человек в стране убит и 347402 человека ранены в 1989 году (год вывода наших войск из Афганистана) в результате дорожно-транспортных происшествий. Задумайся же, читатель, напряги свои умственные способности! Не буду говорить о десятках тысяч людей, которые абсолютно бессмысленно гибнут ежегодно на водах. Это уж их личное, чисто индивидуальное дело. Приведу лишь еще одну безобразную цифру:

50000 человек, примерно, каждый год увозятся в нашей стране в крематории или на кладбище в результате отравлений. Причем после того, как было принято непродуманное, вредоносное постановление о борьбе с алкоголизмом, количество отравлений возросло вдвое и продолжает расти… Еще раз цифры тебе, объективный читатель: 1400 погибших в боях за укрепление нашей обороноспособности — и 50000 отравившихся и отравленных. Вопиющая, на мой взгляд, статистика! И совершенно естественный вопрос: почему же те, кто истерически кричат о наших ошибках, о наших потерях в Афганистане, зарабатывая на этом популярность у обывателей, не упоминают о наших страшных потерях внутри страны, которые увеличиваются с каждым месяцем (я не назвал жертв уголовных преступлений и многое другое). Действительно, почему? Причин много. Назову лишь несколько основных.

Наши политические, экономические противники и конкуренты заинтересованы в том, чтобы ослабить, разложить российское государство, перепилить, разорвать, образно говоря, те обручи, которые скрепляют нашу государственную бочку. В том числе Вооруженные Силы. Любым способом очернить их, вбить клин между генералами и офицерами, между офицерами и срочнослужащими. А главное — между

Вооруженными Силами и народом. При этом афганская тема, замешанная на крови, особенно выгодна для наших противников, для финансируемых ими политических игроков. Денег не жалеют. Вот и получается, что мы — скверные. А США, к примеру, предел совершенства. Миротворцы. При этом почему-то скромно умалчивается об американской агрессии в Гренаде, в Панаме, об их поддержке фашистских устремлений Израиля. Американцам, оказывается, все можно.

Афганская тема — золотое дно для политических спекулянтов, для делегатов-депутатов, которые ищут популярности. Модная, общедоступная, выигрышная тема. Пролил крокодиловы слезы, показал себя гуманистом и — подсчитывай дивиденды. Прокукарекал, а там хоть не рассветай. А попробуй заговорить о 15000 тружеников, гибнущих на производстве, о 60000 человек, ежегодно расстающихся с жизнью на улицах и автострадах, так хлопот не оберешься. Это не прошлое, это настоящее, за это надо отвечать, с этим надо вести борьбу не говорильней, а реальными действиями. А действия требуют напряжения, больших знаний, больших усилий. Кому же охота взваливать такой груз на собственные плечи? Давайте лучше порассуждаем о сталинщине, о застойном периоде, о потерях в Афганистане. Раздолье для оплюрализованных ораторов, для оплюрализованной прессы. Но цифры, если анализировать их применительно к конкретной исторической обстановке, с учетом достигнутой или недостигнутой цели — цифры говорят сами за себя.

На этом заканчивается очередное авторское пояснение. Возвращаемся к рассказу Н. А. Лукашова о некоторых успехах наших войск в первый период Великой войны.

23

Успех очень важный, известный, но недооцененный. Это про Ленинград. У некоторых товарищей мои слова могут вызвать скептическую усмешку: город-то, мол, оказался в блокаде, судьба его висела на волоске. Но не торопитесь усмехаться, я берусь утверждать, что события вокруг нашей северной столицы принесли немцам первую неудачу, и военную, и политическую. Два с лишним месяца фашистская группа армий «Север», имевшая в своем составе мощную танковую группу под номером четыре, пробивалась к Ленинграду, не считаясь с потерями. Если при этом немцам удалось сохранить значительную часть техники, то личный состав войск сократился чуть ли не на половину. Пополнения не хватало. И вот, наконец, фашисты почти добрались до города нашей славы, бои шли в пригородах. Еще натиск — и победа. Веселись, грабь, отдыхай. 8 сентября кольцо вокруг Ленинграда замкнулось, он был отрезан от страны. Казалось — все.

Захват немцами Ленинграда грозил нам многими бедами. Вырос бы престиж Германии и упал наш. Мы потеряли бы важнейший промышленный центр, крупные воинские формирования, Балтийский флот. Были бы отрезаны Карелия, Кольский полуостров с Мурманском. Нам пришлось бы создавать новый фронт, чтобы преградить врагу путь на Москву с севера. У фашистов высвободились бы крупные силы для дальнейшего наступления. Всех неприятностей просто не перечислишь. Так что город на Неве надо было удержать любой ценой. Иосиф Виссарионович разуверился в том, что командующий Ленинградским

фронтом К. Е. Ворошилов способен сделать это. По распоряжению Сталина из-под Ельни срочно вызван был Жуков, и после беседы в Ставке немедленно вылетел в блокированный город, имея самые широкие полномочия. Он прибыл туда 10 сентября, когда враг штурмовал уже Урицк и Пулковские высоты.

В ту осень мне ни разу не довелось побывать в Питере, у меня нет собственных наблюдений, поделиться могу лишь косвенными впечатлениями. Смененный Жуковым Ворошилов возвратился в Москву усталым, размочаленным стариком, похудевшим настолько, что мундир висел на нем, как на вешалке. Выслушав краткий доклад, Сталин посочувствовал старому другу, ни в чем не упрекнул его, посоветовал отдохнуть две-три недели. Груз пережитого в Ленинграде давил, видимо, на Климента Ефремовича, ему хотелось выговориться, облегчить душу, поделиться сомнениями, утвердиться в мысли, что он не виноват, что любой другой командующий на его месте тоже не остановил бы немцев. А старых приятелей в Москве не было, все на фронтах. Вот и провел он у меня целый вечер, возбужденно и не очень связно рассказывая о событиях.

Запомнилось мне: вражеская пехота прорвала наш оборонительный рубеж и продвигалась к окраине города. Морской батальон, который должен был контратаковать немцев, залег под огнем. Минуты решали все. Тогда разгневанный Климент Ефремович схватил винтовку убитого, выбежал на пригорок, закричал яростно: «Это я, товарищи, маршал Ворошилов! Слушай мою команду: вперед, за мной!» И побежал первым, а за ним поднялся и ударил в штыки весь батальон. Правда, сопровождавшие охранники остановили Климента Ефремовича, не допустили до рукопашной. А вообще это было в его характере. Он всегда был вспыльчив, горяч. Впрочем, с возрастом, как казалось мне, вспыльчивость его становилась какой-то расчетливой. В середине тридцатых годов был случай: катал он у себя на даче по озеру Иосифа Виссарионовича. Сидел на веслах. Оба малость в подпитии. Сталин был мрачен. О чем-то они поспорили, Иосиф Виссарионович назвал Ворошилова скрытым троцкистом и вражеским агентом. «Как ты смеешь! Утоплю за такие слова!» — вскипел Климент Ефремович и в ярости перевернул лодку. Холодная вода остудила обоих. Сталин потом говаривал: «Вот что значит искренний человек. Меня готов был утопить, защищая свою правоту». Выглядело все это действительно впечатляюще. Тем более, что Ворошилову было хорошо известно: Сталин совсем не умеет плавать. Но не мог не знать Климент Ефремович и другого: глубина озера не превышала полутора метров, а там, где лодка опрокинулась, вообще было им, низкорослым, по пояс.

С недоумением, с уважением и даже с оттенком робости, ему не свойственной, рассказывал Ворошилов о решительности Жукова. Едва разобравшись в обстановке, Георгий Константинович бросил навстречу немцам 10-ю стрелковую дивизию, последний резерв, предназначавшийся для боев непосредственно в городе. Ворошилов не пошел бы на такой риск.

Жуков оголил всю противовоздушную оборону Ленинграда, отправив зенитные батареи на передовую, навстречу вражеским танкам, перекрыв артиллерийским огнем дороги. Жуков снял с кораблей всех, кого только можно было снять, сплотил их в морские бригады и послал на самые ответственные участки… Жуков был резок и груб, на «вы» обращался

только к Жданову и адмиралу Исакову. На маршала Ворошилова, на командарма-54 маршала Кулика, на генералов и полковников кричал, как на мальчишек. Он сразу же пообещал «навести порядок» и наводил его так, что даже видавшему виды Клименту Ефремовичу становилось не по себе. (По его словам, командующий самолично, на месте, без суда и следствия расстреливал командиров, отступавших без приказа, потерявших управление своими частями. Даже в собственном кабинете, в Смольном, на большом ковре. Ворошилов назвал примерную цифру, которая тогда показалась мне слишком большой. Зато порядок действительно был восстановлен. Люди подавляли в себе растерянность, страх. Лучше с честью погибнуть в бою, чем принять позорную смерть от пули своего генерала).

Напряженные бои вокруг Ленинграда продолжались сутки за сутками, и Сталин не был уверен, что нам удастся спасти город. Он не говорил об этом, он повторял одно: удержать любой ценой. Но это — слова, а были еще и поступки, позволявшие делать определенные выводы. В середине сентября Сталин позвонил Борису Михайловичу Шапошникову, предупредил коротко: сейчас к вам приедет адмирал Кузнецов, согласуйте с ним особо важный документ. Шапошников сказал, что в его кабинете нахожусь я, Лукашов. «Это хорошо, пусть присутствует», — произнес Иосиф Виссарионович. Умудренный большим опытом, Шапошников всегда старался обсуждать важные вопросы в присутствии надежных свидетелей.

Рослый, добродушный нарком Военно-Морского Флота Николай Герасимович Кузнецов, отличавшийся завидным спокойствием и выдержкой, на этот раз был явно взволнован. Сталин, оказывается, предупредил его: положение Ленинграда опасное, ни один корабль Балтийского флота не должен попасть в руки немцев, надо немедленно дать распоряжение командующему флотом подготовить корабли к уничтожению, минировать их. Николай Герасимович, собравшись с духом, ответил, что послать такую телеграмму от себя он не может. Оперативно Балтийский флот подчинен сейчас командующему Ленинградским фронтом Жукову, для которого директива наркома ВМФ — не указ. Даже для командующего флотом в таком исключительном случае требуется документ, подписанный самим Сталиным. Выслушав адмирала, Иосиф Виссарионович не возразил, однако отправил его обсудить дело к Шапошникову.

Втроем мы довольно долго держали совет. Ясно было одно: директива не будет достаточно весомой, если будет исходить от наркома ВМФ и начальника Генштаба. Подготовка кораблей к уничтожению на всякий случай велась и будет вестись согласно имевшимся планам. Но официально потребовать немедленной готовности к самоуничтожению — это совсем другой ракурс даже в психологическом плане. Тут действительно требовался самый высокий авторитет.

Я составил соответствующий документ. Кузнецов и Шапошников, скрепив его своими подписями, отправились к Сталину. На этот раз Иосиф Виссарионович подписал без колебаний. Директивная телеграмма ушла в Ленинград.

После войны Николай Герасимович Кузнецов расскажет в своих воспоминаниях о том, что в сорок втором году какой-то сверхбдительный наблюдатель напишет донос на командующего Балтийским флотом В. Ф. Трибуца, обвинит его в паникерстве, чуть ли не в сознательном

стремлении уничтожить путем минирования боевые корабли. Намек был более чем ясен. Для Трибуца такой донос мог стать гибельным, да и наркому Кузнецову грозили большие неприятности. Может, по незнанию, может, потому, что нельзя было касаться некоторых аспектов, Николай Герасимович не сказал, кто был инициатором доноса. Наверно, все же не знал. А шкатулка-то просто открывалась. Помните, после того как Л. П. Берии не удалось утвердить своего человека наркомом ВМФ, после того как вынужден был подать в отставку Фриновский, а Кузнецов основательно, прочно встал у руля, мстительный Лаврентий Павлович включил моряка в число тех людей, с которыми рано или поздно рассчитается. И вот появилась превосходная возможность: обвинить Трибуца, а значит, и Кузнецова, в попытке уничтожить Балтийский флот. Но с кондачка, с налету приступил к этому делу самоуверенный Лаврентий Павлович. Не было ему известно самое главное: директива-то исходила от Сталина, подпись Иосифа Виссарионовича имелась на документе. Берия об этом не знал, а Сталин помнил. И лопнула, провалилась провокация. Лаврентий Павлович, правда, при этом не пострадал, остался в тени, но самолюбие его было задето еще раз, ненависть к Кузнецову усилилась. Однако нельзя было не учитывать, что к адмиралу очень хорошо относился Сталин. Пришлось Лаврентию Павловичу отложить расплату с моряком до другого, более подходящего времени. Берия умел выжидать.

Выражаясь по-флотски, я несколько отклонился от курса. Итак, Ленинград. К радости измотанных, державшихся на пределе защитников города, в самом конце сентября появились признаки того, что немцы выдохлись. Слабее и реже становились атаки. Массированное наступление разбилось на отдельные бои местного значения. И вот из Питера пришла наконец радостная, невероятная новость: противник повсеместно закапывается в землю, создает прочные оборонительные рубежи, собирается зимовать! Я был счастлив! Мы выиграли важнейшую битву, и кто не понял этого, тот вообще ни черта не смыслит в военном искусстве! Вода там лилась теперь на нашу мельницу. Некоторые государства, готовившиеся выступить на стороне Германии, должны были призадуматься, а не слишком ли они торопятся?! Одна из трех группировок немецких войск, группа армий «Север» была прикована к блокированному городу и практически отключена от активных действий. Из ее состава была изъята и отправлена под Москву ударная сила, 4-я танковая группа. Но она была значительно ослаблена в предыдущих боях, да и включилась в Московскую битву с большим опозданием.

Так что были, были у нас в ту пору удачи, и не помнить о них значит искажать историю, оскорблять память тех воинов, которые пали на поле брани в самое тяжкое для нас время. А ведь они закладывали тот фундамент, на котором воздвигалось потом величественное здание нашей Победы.

И еще один успех, добытый малой кровью, имевший серьезные последствия, но почти неизвестный. Говорил я о том, каким собранным, внешне спокойным был в те дни Сталин, как крепко держал он себя в узде, проявляя при этом колоссальную работоспособность. Чрезмерная перенапряженность могла прорвать железную плотину его воли, он мог не выдержать, психический срыв вывел бы его из строя на неопределенный срок, а это грозило большими неприятностями. Наши удачи приносили ему определенное удовлетворение, но не давали желаемой разрядки. Слишком много было усилий вложено в них, не все шло так, как хотелось

бы, не достигался полностью тот результат, на который рассчитывали. Окружить немцев под Ельней, к примеру, не удалось. Как и прорвать блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Растянутые по времени, направляемые им самим события не приносили яркой, вдохновляющей вспышки. А вот неожиданная радость — это, как говорится, двойная радость. Приятно было видеть, сколь остро, заинтересованно, с каким-то особым любопытством воспринял Иосиф Виссарионович то, что произошло в самом конце сентября — начале октября возле малоизвестного райцентра Штеповки.

Войска Гейнца Гудериана, закончив ликвидацию окруженной советской группировки под Киевом, отдыхали, готовясь к новым боям, улучшали исходные рубежи перед новым броском. Потеснили они и 2-й кавалерийский корпус генерал-майора Белова, переброшенный, как мы знаем, с Южного фронта в тот район. Не только потеснили, но и урон нанесли танкисты конникам. Радисты Белова перехватили победную реляцию командира 25-й моторизованной дивизии о том, что кавалерийский корпус разбит и рассеян.

Гитлеровцы вошли в Штеповку — узел дорог, и остановились, пережидая дожди, подтягивая технику, подвозя горючее. Сейчас бы, в непогоду, внезапно обрушиться на противника, но слишком неравными были силы. Особенно в танках. У немцев их в райцентре не менее пятидесяти, а в танковой бригаде, приданной Белову, всего лишь шестнадцать. И все-таки обстановка подсказывала — нанести удар надо. Фашисты не ждут нападения. К тому же неподалеку сосредоточилась 1-я гвардейская мотострелковая дивизия полковника А. И. Лизюкова, только что скрытно для противника прибывшая на этот участок фронта. Она теперь нависала над Штеповкой. Вот бы обрушиться на гитлеровцев с двух направлений!

Генерал-майор Белов поехал к Лизюкову. Мотострелки, разумеется, имели свою задачу, к тому же входили в состав другой армии. И все же два талантливых военачальника поняли друг друга, не упустили открывшейся возможности. Удар состоялся. Был он хорошо продуман, хорошо подготовлен. Генерал-лейтенант П. Бодин так писал тогда об этом в «Красной звезде»:

«Форсировав реку, бойцы с боем вошли в Штеповку. Впереди шли танки. Они прорвали оборону на юго-западной окраине и устремились к центру. Действовавшая в конном строю с юга и юго-востока часть майора Высоцкого стремительно ворвалась в населенный пункт и стала истреблять фашистов. К этому времени, проломив левый фланг немецкой обороны, в Штеповку вступили и части Лизюкова.

Началось побоище. Зажатые в тиски, немцы попытались было оказать отпор, отстреливаясь с чердаков и из окон домов. Но вскоре они побросали оружие и стали разбегаться. Тысячи фашистов были зарублены конниками. В тот день шел дождь, образовалась густая грязь. Машины забуксовали. Не помогали ни шинели, ни одеяла, которые бросали под колеса немецкие солдаты. На дорогах, выходящих из Штеповки в тыл, образовались непроходимые пробки. Русская осень оказалась на руку Красной Армии, а не немецким оккупантам. Весь автопарк 25-й моторизованной дивизии был захвачен нашими частями, 8000 немецких солдат и офицеров нашли могилу в Штеповке. Враг оставил здесь 20 подбитых танков, много оружия и боеприпасов.

Бои продолжались 5 дней. Наши войска заняли больше 20 сел, в том числе и районный центр Аполлоновку. Помимо живой силы, фашисты потеряли в этих боях до тысячи машин, 150 орудий, 5 минометных батарей, десятки пулеметов, 500 мин, в панике было оставлено казначейство 119-го немецкого моторизованного полка со всей его казной».

К словам Бодина остается еще добавить, что генерал-полковник Гудериан был очень встревожен нашим контрударом под Штеповкой. Чтобы спасти положение, ему пришлось направить туда часть своих сил, уже изготовившихся для наступления в сторону Москвы, в том числе подразделение 9-й танковой дивизии.

Когда об успехе Белова и Лизюкова стало известно в Москве, Иосиф Виссарионович радовался, как ребенок. Чрезмерно радовался. Вероятно, это была своеобразная разрядка, вызванная неожиданной незапланированной победой. Накопившаяся в нем напряженность на этот раз излилась не вспышкой ярости, а, наоборот, радостью, может быть, несколько истерической, но не расслабляющей, а укрепляющей. Иосиф Виссарионович узрел в событиях под Штеповкой показательный симптом. Наши командиры, дескать, проявляют разумную инициативу, используют выгодную обстановку, не боясь ответственности за принятые решения. Это надо приветствовать и поощрять. К тому же победа над сильным противником достигнута умело, малой кровью. И действительно, в этот раз наступавшие понесли значительно меньше потерь, чем оборонявшаяся сторона.

В общем, удача по тем временам была существенная, заметная. К Белову были посланы корреспонденты разных газет, несколько его фотографий успели появиться в печати. Пресса тогда прославила бы его. Но достижения под Штеповкой не получили широкой известности. Слишком короткий срок был отпущен для радости. Началась операция «Тайфун», немцы двинулись на Москву, и все другие события разом померкли, отступили на задний план.

Одно дополнение. По-своему прав, очень прав был Буденный, не хотевший отпускать с Юго-Западного направления спасательную «пожарную команду» — кавкорпус Белова, отпустивший его лишь под большим нажимом сверху. Где тонко, там и рвется: ушел на север 2-й кавалерийский корпус, сыграл свою роль, а на юге отсутствие оного, отсутствие надежного подвижного резерва привело к событиям весьма неблагоприятным.

В начале октября 1-я танковая группа немцев, сломив сопротивление наших войск в районе Днепропетровска, устремилась на юг вдоль левого берега Днепра, отрезая наши 18-ю и 9-ю армии, оборонявшие мелитопольское направление. Беда нам грозила большая. Уж кто-кто, а мой давний знакомый, создатель 18-й армии Андрей Кириллович Смирнов понимал суть начатой немцами операции. Весь левый фланг советского фронта оголился бы, окружи фашисты две армии. А спасать положение некому, ни у главнокомандующего Юго-Западным направлением, ни у командующего Южным фронтом не имелось в запасе никаких сил. Единственное, на что способно было высокое руководство, это отдать приказ: командарму-18 развернуть на линии Пологи, Орехов, на рубеже реки Конки, фронтом на север, не менее двух дивизий.

Удержать намеченный рубеж — значит вывести из-под удара, спасти основные силы 18-й и 9-й армий. Это было главным в тот момент. Андрей

Кириллович создал группу из 99-й и 130-й стрелковых, дивизий и 4-й противотанковой бригады. Немногочисленны были они после отходов и потерь, и лишь, может быть, то, что сам Смирнов возглавил группу, в какой-то мере цементировало, укрепляло ее.

Я не знаю, и никто не узнает, случайно ли все получилось, или Смирнов осознанно пошел на риск ради спасения войск… А было так. Немецкая разведка установила нашу группировку на реке Конке (по старым картам река Конская), выявив и то, что здесь находится сам командарм-18 с генералами и офицерами своего штаба. Значит, здесь и главные силы армии, главный узел сопротивления. Фашисты, приостановив движение на юг, сосредоточили в районе Токмак, Поповка, Куйбышево части тринадцати дивизий (тринадцати!), наступавших с запада, с севера и даже с востока. Более ста тысяч солдат и офицеров против восьми-девяти тысяч наших бойцов. В заблуждение ввел фашистов бывший поручик царской армии — советский генерал Смирнов. Попались враги на военную хитрость. И день, и другой, и третий стояла группа Смирнова на пути вражеских войск. Приковала к себе немецкие силы, превосходившие раз в пятнадцать. А было там наших — по убывающей — семь тысяч, пять тысяч, потом пятьсот человек, потом пятьдесят… Остались в основном штабники, от майоров до генералов. И не по присказке, а воистину держались они до последнего человека. До последнего патрона. До последнего живого генерала. Совершили подвиг, на мой взгляд, не уступающий подвигу защитников Брестской крепости. Но ведь все подвиги не возвеличишь, не воспоешь. И осталось то событие среди многих других — неизвестным.

Результат таков. Задержавшись для ликвидации нашей группы войск на реке Конке, приняв ее за главные силы 18-й армии, немцы потеряли по меньшей мере четверо суток. За это время вся 9-я армия и значительная часть 18-й армии успели уйти на восток, не попали в запланированный противником котел. Но те, кто спас их, погибли. В том числе и генерал-лейтенант Андрей Кириллович Смирнов. Принял смерть в бою, как подобает российскому офицеру.

Немцы по достоинству оценили полководческое умение и личное мужество Андрея Кирилловича. Похоронили его с воинскими почестями. На могиле воздвигли большой крест. Не могу утверждать абсолютно, но надпись была примерно такая: «Русскому генералу: лишь сильнейшие смогли победить его!»

О судьбе Смирнова я докладывал Сталину дважды. В сорок первом — о его героической гибели. И еще в конце 1943 года, когда те места, где он был захоронен, освободили наши войска. Был такой, никому теперь не известный, генерал Н. П. Анисимов, начальник тыла 4-го Украинского фронта, порядочный человек, знавший Смирнова. Он оказался первым нашим военачальником, увидевшим при наступлении крест с надписью на могиле Андрея Кирилловича. И понял: непорядок с нежелательными последствиями. Велел крест снять и поставить доску с надписью: «8 октября 1941 г. генерал-лейтенант Смирнов Андрей Кириллович, командарм-18, погиб смертью храбрых». Я же при случае сказал Иосифу Виссарионовичу, что обнаружено захоронение генерала Смирнова, упомянув об этой доске. О кресте с немецкой надписью, думаю, он так и не узнал, слава Богу! Прах Смирнова был перенесен впоследствии с воинскими почестями в село Поповку, и оное было названо его именем. А я так думаю: останься на месте «пожарная команда» Белова, все было бы иначе, как бывало до этого несколько раз.

Мы не строили иллюзий. В Генштабе и Ставке не было сомнений в том, что главной целью своей фашисты продолжают считать захват столицы. О какой-то внезапности, о каких-то неожиданностях вроде бы не могло быть и речи. Замыслы гитлеровцев были понятны, подтверждены данными нашей, вновь начавшей действовать агентурной и войсковой разведки вдобавок к авиационной, которая не переставала работать никогда. Вот самый общий обзор положения сверху вниз, с севера на юг, как это принято в военной документации. На конец сентября — начало октября сорок первого года крупномасштабная отчетная карта военных действий выглядела так.

Кольский полуостров. Фашистские войска, наступавшие на Мурманск, остановлены и отброшены моряками. Незамерзающий порт, через который осуществлялась связь с англо-американскими союзниками, остался в наших руках. Даже пограничный знак № 1 на обрыве над Баренцевым морем не сумел захватить противник. Ниже, в Карелии, продвижение немецко-фашистских войск тоже было остановлено. О Ленинграде мы уже говорили, там наше положение становилось все более прочным. Так что северное и северо-западное направление не вызывали чрезмерного беспокойства, мы в какой-то степени могли контролировать ситуацию, в отличие от южного крыла советско-германского фронта, где положение было гораздо сложнее и неопределеннее. Добившись большого успеха под Киевом, немецкие войска распространялись на юго-восток, почти не встречая сопротивления. Мы рассчитывали задержать их примерно на линии Харьков, Таганрог.

На юге, значит, беспокойство и неопределенность. Зато в центре мы достигли довольно устойчивого равновесия. На участке, который считался решающим. Нам было известно, что здесь, на кратчайшем пути к Москве, немцы сосредоточили свои основные ударные силы. Элементарная логика говорила о том, что противник будет наступать именно тут. У фашистов безвыходное положение. Не смогут они в ближайшее время захватить Москву, значит, рухнут все их стратегические замыслы. О каком уж мировом господстве думать, зимуя в землянках на дальних подступах к советской столице.

В принципе, мы были готовы отразить вражеский натиск. Дорогу немцам преграждал Западный фронт, который мы считали особенно сильным после удачных действии под Ельней. Только новоявленный командующий этого фронта, недавний командарм-19 генерал-лейтенант Конев не внушал лично мне доверия как полководец. Хотя у Жукова, который рекомендовал его на столь высокий пост, было, естественно, другое мнение.

Значительно окреп Брянский фронт генерал-лейтенанта Еременко. Имелись у нас и резервы.

Без лишнего оптимизма оценивая обстановку, я считал, что бои будут очень трудные, напряженные, но добиться большого, решающего успеха немцы не смогут. И когда группа армий «Центр» на огромном пространстве перешла в наступление, сообщение об этом не застало нас врасплох. Было это 2 октября, день выдался солнечный, и я, помнится, подумал о том, что погода сработала на немцев: сухие дороги для автомашин и танков, ясное небо для авиации.

Сражение развертывалось с переменным успехом. На некоторых участках наши войска удерживали свои позиции, на других отошли. Фронт гнулся, но положение нигде не казалось угрожающим, наше командование пока не вводило в бой крупных резервов. Я был спокоен. И вдруг…

3 октября, в конце дня меня разыскал по телефону Поскребышев. Басовитый голос его был непривычно взволнованным. Зная, что поскребышевские интонации точно передают интонации хозяина, я понял: произошло что-то очень серьезное.

В просторном кабинете Иосифа Виссарионовича было сумрачно, и, как показалось мне, пусто. Лишь приглядевшись, я увидел Сталина. На непривычном месте, возле стены, где были окна, стоял мягкий диван. Иосиф Виссарионович иногда отдыхал на нем. А сейчас сидел там, в углу, сжавшись, маленький и неприметный. Он не встал навстречу, не поздоровался, голос глухо прозвучал в тишине:

— Николай Алексеевич, немцы захватили Орел.

— Не может быть! — У меня так стиснулось сердце, что перехватило дыхание. Орел — на магистралях, связывающих с югом. Если там фашисты, значит, они уже в тылу Брянского фронта, на прямой дороге к Москве! — Не может быть! — повторил я. — Двести верст до передовой. Надо проверить.

— Уже проверяли и перепроверяли. Немецкие танки в Орле… Что ви-и скажете, Николай Алексеевич?

Я молчал. В голове была одна мысль. Все, что мы пережили с начала войны, оказалось лишь затянувшейся прелюдией к трагедии. Настоящая трагедия надвинулась только теперь, а может быть — катастрофа.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

По просьбе Иосифа Виссарионовича 5 октября, глубокой ночью, я выехал на юг, в сторону фронта. Не оговорился: действительно в «сторону», в неизвестность, так как никто не знал, где немцы, где наши и, вообще, существует ли фронт. Точно можно было сказать одно: гитлеровцы в Орле, в нашем глубоком тылу, а в Туле фашистов еще нет, с Тулой имелась надежная связь. Тревога в Ставке была огромная, вот и отправился я хоть что-то выяснить, попытаться определить обстановку. В темноту ехал, в пустоту, где можно было столкнуться с любой неожиданностью, с немецким десантом, с засадой, поэтому вызвал из Ногинска, из 36-го мотоциклетного полка, находившегося в резерве, пять мотоциклов с колясками: две машины были с легкими дегтяревскими пулеметами. Эти две следовали вместе с моей эмкой, а остальные ушли вперед, разведывая дорогу. Шоссе асфальтированное, пустынное, моя легковушка неслась быстро и плавно. За стеклом — чернота, ничего отвлекающего. Было время поразмышлять.

Понимая, сколь страшны последствия обрушившегося на нас удара, я при всем том не мог не восхищаться гениальным (это не гипербола, это определение вполне здесь уместно) маневром генерала Гудериана, точнее, целым каскадом его решительных и дальновидных поступков. Врагу надо воздавать должное, иначе ничему не научишься и всегда будешь битым. Сколько уж раз с начала войны этот немец ставил нас в

тупик своими стремительными, неожиданными действиями, но теперь превзошел самого себя. Его дивизии ринулись в наступление на трое суток раньше, чем все другие войска немецкой группы армий «Центр». И не только потому, что танки Гудериана находились дальше их от желанной цели — Москвы. Погода-то была хорошая, и немецкая авиация, еще не занятая на других участках, прокладывала дорогу танкистам бомбовыми ударами, надежно прикрывала колонны от советских самолетов. А еще важнее вот что. Наступая с шумом и треском на широком фронте, Гудериан сосредоточил наиболее сильные и маневренные свои части на очень узком участке, на шоссе Глухов — Орел. И если еще в Польше и Франции Гудериан довольно высокомерно различал свои действия как «марш без боя» или «марш с боем», то на этот раз именно марш особенно удался ему. Марш сам по себе, почти без боев, с ошеломляющей скоростью. За сутки 1 октября его 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии сделали бросок в 130 километров, захватив Севск и Дмитровск-Орловский. А на следующий день, когда группа армий «Центр» только начала наступление, 4-я танковая дивизия ворвалась в город Кромы и повернула на Орел, перерезав наши стратегически важные магистрали. Уже сама по себе эта вражеская операция объективно достойна была самой высокой оценки, но и это не все: увы, далеко не все! По данным нашей воздушной разведки, 3 октября стало понятно, а потом эти данные подтвердились: немецкие танковые дивизии идут не только на север, на Тулу, но все круче поворачивают по шоссе от Орла на Карачев и дальше на Брянск, то есть с востока на запад. Вот и получилось: войска нашего Брянского и частично Резервного фронтов оказались между молотом и наковальней. С запада наступала пехота группы армий «Центр», а с востока, с тыла, катилась танковая лавина Гудериана. И естественно, Брянский фронт не мог устоять…

Вспомнилось мне. Вскоре после того как Гейнц Гудериан вернулся в Германию из Казани, из того центра, где по великодушию российскому обучали мы немецких вояк, будущих реваншистов, оный Гейнц взялся за перо, статьи его появлялись одна за другой. Времени свободного много, танков-то у немцев тогда почти не было, на деревянных макетах тренировались. Однако мыслями уносились далеко. В 1935 году Гудериан писал: «Однажды ночью откроются ворота ангаров и гаражей, будут запущены моторы, эскадры поднимутся в воздух. Первый, неожиданный удар будет направлен на то, чтобы захватить часть важнейших промышленных центров и источников сырья, а другую их часть вывести из строя путем налетов с воздуха. Бомбы парализуют пространство и военное командование противника, нарушат транспорт… После достижения первых целей танковые соединения не остановятся, дожидаясь подхода артиллерии или кавалерии. Они завершат прорыв обороны противника».

Иосиф Виссарионович, вместе с которым мы читали статью, сказал тогда, что Гудериану не дают покоя лавры писателя-фантаста Герберта Уэллса. Да, всего лишь в середине тридцатых годов такая картина имела налет фантазии. Но то, что творилось теперь, превосходило любую выдумку, а Гудериан показал себя явным реалистом, умеющим достигать самых трудных целей. Одно только хоть как-то успокаивало меня: немецкому «танковому богу» везло, он еще не сталкивался впрямую с некоторыми нашими полководцами, с тем же Жуковым. А вот встретились его танкисты под Штеповкой с эскадронами генерала Белова, и сразу же

срыв у немцев, прокол. Эпизод, не событие из ряда выдающихся, но факт все-таки был показательный, надеждами питавший.

Тут мысли мои пошли-покатились в другом направлении. Роль Гудериана в броске на Орел ясна и понятна. Но кто же не смог разгадать его замыслы, противостоять ему, остановить прорыв, граничивший с авантюризмом, а авантюризм, как известно, может быть чреват сложными последствиями. Прежде всего для самого автора авантюрного замысла. И сразу всплыли две фамилии. Две фигуры. Уже знакомый нам самонадеянный командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант А. И. Еременко и командующий Орловским военным округом генерал-лейтенант А. А. Тюрин. Последнего я знал мало, от характеризации воздержусь, изложу только ход событий. Вероятно, Тюрина, как и Еременко, подвела крестьянская, этакая мелкособственническая психология: вот мой двор, мой плетень, а что за плетнем — это не мое дело, хоть трава не расти. Не могли они подняться до обобщений, до забот не только о своем, но и о соседском огороде, помыслить о совместных интересах. К сожалению, много у нас расплодилось руководителей подобного рода, которые дальше своего носа не способны, да и не хотят посмотреть. Иосиф Виссарионович взыскивал за бездеятельность, за непредусмотрительность, за безынициативность, да видно, мало.

Еременко, правда, утверждал (хотя доказательств нет), что 30 сентября он позвонил в Орел, связался с начальником штаба округа (генерала Тюрина в тот день в городе не было) и сообщил об угрозе: немцы начали продвигаться из района Шостка, Глухов, Путивль на восток и главным образом на северо-восток. Таким образом, предупреждение в Орле было получено. О немецком наступлении информировала и воздушная разведка. Для меня было и осталось тайной, как же в таких условиях командование округа не предприняло никаких защитных мер? Не выслало даже дозоры, заставы, разведотряды по дорогам, ведущим к передовой? Это же элементарное требование военного времени, понятное, думаю, для каждого младшего офицера, не говоря уж о генералах.

Может, у Тюрина не было сил и средств? Отнюдь. Стрелковых частей в Орле, правда, было немного, зато там располагались четыре противотанковых артиллерийских полка (по штату трехдивизионный полк — 36 орудий!) и еще гаубичный артиллерийский полк. Да поставь ты всю эту артиллерию на дорогах на подходах к городу — любой враг споткнется, завязнет в боях. Но беспечность и безответственность были таковы, что все войска находились в казармах, совершенно не готовые к встрече с противником. Гаубицы — без снарядов. И вся артиллерия попала в руки немцев без единого выстрела. Немецкие танки шли по улицам города, когда ничего не подозревавшие жители пешком и на трамваях добирались к месту работы. А командование округа «испарилось», будто его и не бывало. Я, к примеру, ехал на юг, совершенно не зная о том, что стало с незадачливыми орловскими руководителями.

Наш провал под Орлом — одно из самых постыдных, труднообъяснимых событий с самыми скверными последствиями: я уверен, что мы сдержали бы наступление группы армий «Центр», не допустили бы немцев к Москве, если бы танковая армия Гудериана (к этому времени танковая группа была переименована во 2-ю танковую армию) не разгромила бы наши глубокие тылы, не развалила бы наш фронт на протяжении сотен километров. Позорная страница в нашей военной истории, я тоже принимаю на себя определенную долю стыда. А самым дальновидным, самым

предусмотрительным оказался Лаврентий Павлович Берия. Еще в начале сентября, когда угроза Орлу никому не представлялась реальной, Лаврентий Павлович за поздним ужином на Ближней даче высказал в осторожной форме предложение: а не «убрать» ли тех политических заключенных, которые могут так или иначе оказаться в руках наших врагов? Немцы используют их для своих целей. Сталин равнодушно отнесся к этим словам. Обеспокоило его лишь упоминание о Марии Спиридоновой, бывшей руководительнице левых эсеров. Уточнил, в Орле ли она? Я сказал: а кому она мешает, эта взбалмошная, но давно безвредная женщина. Она ненавидит германцев, она и с большевиками-то разошлась по Брестскому миру, на сотрудничество с фашистами никогда не пойдет. «Но немцы могут воспользоваться ее именем», — возразил Берия. А я напомнил вот что: 6 июля 1918 года Спиридонова руководила мятежом левых эсеров против большевиков, против Ленина. Но Владимир Ильич не опустился до жестокой мести политической противнице. Спиридонова была приговорена к году тюремного заключения. Условно. Потом уже была в ссылке, на поселении в Орле, оказалась в местной тюрьме.

Сталин промолчал, но Берия, как всегда, уловил ход его мыслей. На следующий же день по указанию заместителя наркома внутренних дел Б. З. Кобулова был подготовлен список на 170 человек, осужденных за политические преступления и отбывавших наказание в Орле. Из них 76 человек добавочно обвинялись в проведении антисоветской агитации теперь, в военное время. Знаю также, что Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны, в котором пересмотр дел всех поименованных в списке поручался военной коллегии Верховного суда СССР, то есть фактически В. В. Ульриху, диапазон решений которого не отличался разнообразием. Как правило — расстрел. Вот и в тот раз 161 человек из названного списка был приговорен к высшей мере. Их, в том числе М. А. Спиридонову, врача Д. Д. Плетнева, обвиненного в умерщвлении А. М. Горького и В. В. Куйбышева, расстреляли ночью 11 сентября возле тюремной стены и так запрятали останки, что их не обнаружили и после войны. Не берусь утверждать категорически, но по моим предположениям, там же были расстреляны жены Тухачевского и Уборевича. Какая же в этом была суровая надобность? Не лучше ли расстрелять тех, кто бездарно сдал Орел, открыв фашистам прямой путь на Москву?!

Но это уже свершившееся. Мне надобно было думать не столько о том, что было вчера, а что будет сегодня и завтра. Смотреть вперед гораздо труднее, чем подводить итоги, анализировать минувшее, что вообще-то само по себе тоже важно. Вчерашнее — это фундамент, на котором предстоит строить дом. Но какой, как, из какого материала?!

Еще в середине сентября появилась у меня идея, подсказанная, вероятно, успешными действиями «пожарной команды», кавкорпуса Белова на Южном фронте. А что, если создать и под Москвой некое подобие такой команды, только более крупного масштаба? Резервный фронт — это само собой. Формирование и подготовка новых частей в тылу — тоже. По плану. Но кроме этого, хорошо бы иметь непосредственно в подчинении Ставки сильное, надежное соединение или объединение. Для подстраховки на случай вражеского прорыва. Для нанесения мощного удара по врагу, если представится выгодная возможность.

Борис Михайлович Шапошников, с коим я поделился своими соображениями, сперва только руками всплеснул: «Что вы, голубчик, что вы?! Где войска-то возьмем?! Не до жиру, быть бы живу!» Прав был, конечно. Бушевали сражения под Ленинградом, под Киевом, на юге Украины, всюду требовались подкрепления, не хватало оружия, а тут я со своим прожектом. Однако доводы мои выслушал. Я предлагал создать объединение не сразу, а постепенно, включая в него войска, освобождавшиеся на фронте, хорошо обученные в тылах части. Без ущерба для боевых операций. И понял, что идея-то сама была Борису Михайловичу по душе, но он, реалист, сомневался в возможности ее осуществления. Во всяком случае, я заручился если не поддержкой Шапошникова, то его благожелательным нейтралитетом. Он не стал возражать, когда я высказал предложение Иосифу Виссарионовичу и дал предварительные расчеты.

Сталин высказал свое мнение сразу и категорично. «Положение сложное, но мы не можем жить одним днем. Мы не имеем права не думать о завтрашнем дне. Нам позарез нужна сильная армия. Ударная армия, — сформулировал он. — А чтобы ввести противника в заблуждение, формируйте не армию, а корпус, очень сильный корпус, который в любой момент можно будет развернуть в армию». «Ударный корпус», — сказал Шапошников. «Гвардейский корпус, — уточнил Сталин и, улыбнувшись, добавил: — Я уже думал над этим, а вы предвосхитили мои соображения… Побольше танков, побольше артиллерии, побольше опытных бойцов и командиров. Это должно быть очень сильное объединение», — по своей привычке выделять главное, повторил он.

27 сентября решение о формировании 1-го гвардейского стрелкового корпуса было принято и утвержден его состав. Это 5-я и 6-я гвардейские стрелковые дивизии, имевшие боевой опыт, но требовавшие пополнения. 41-я кавалерийская дивизия из числа новых, сформированных по урезанным штатам, примерно в три раза меньше довоенных кавдивизий. Эти новые формирования называли «легкими дивизиями». Ударную силу будущего корпуса составляли 11-я и 4-я танковые бригады. Особенно выделялась 4-я танковая, которую возглавлял полковник Михаил Ефимович Катуков. Сформирована была эта бригада из танкистов, уже прошедших горнило войны. Новейшую технику — замечательные танки Т-34 получали прямо в цехах Сталинградского тракторного завода, рабочие и инженеры помогли изучить и освоить узлы машины, использовать все ее технические возможности. Формированием этой бригады интересовался, кстати, Иосиф Виссарионович, предполагавший перебросить ее в район Москвы еще до моего предложения.

В 1-й гвардейский стрелковый корпус вошли также два артиллерийских полка, три дивизиона «катюш». Предполагалось включить в него воздушно-десантный корпус. Так что это фактически была бы целая армия (прообраз 1-й ударной армии). Штаб решили создать за счет комсостава военных управлений, учреждений, училищ, находившихся в Москве. Наблюдать за развертыванием нового объединения было поручено мне. Осуществлять на практике свои предложения должен автор этих предложений — таким принципом руководствовался обычно Иосиф Виссарионович. Ты обдумал идею, ты ее выдвинул, вот и доказывай свою правоту. У нас ведь много говорунов, которые наболтают, накрутят с трибун черт-те что, обрисуют красивые, заманчивые перспективы, заработают популярность, а сами в кусты. Пусть другие делают. Но

наболтать-то можно, что хочешь, не считаясь с реальностью, а вот попробуй-ка воплоти! Сталинский принцип «предложил — сделай» заставлял безответственных говорунов-краснобаев держать язык за зубами.

Итак, на бумаге 1-й гвардейский стрелковый корпус уже существовал. И не только на бумаге, 4-я танковая бригада сосредоточивалась под Москвой, в районе станции Кубинка. 11-я танковая находилась в ста пятидесяти километрах от столицы. Перебрасывались в новый район части 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Но все еще было в зачаточном, аморфном состоянии, не имелось ни штаба, ни человека, который возглавил бы новый корпус, а по существу, повторяю, новую особую армию. У меня имелось две кандидатуры на эту должность. Генерал-майор П. А. Белов, уже доказавший свою способность бить врага в условиях современной войны, и опытный военачальник генерал-лейтенант В. И. Кузнецов, тот самый Василий Иванович Кузнецов, которого мы с Шапошниковым предлагали назначить командующим Брянским фронтом. Но Белова лично не знал Сталин, мог заартачиться. А пока я рассуждал да советовался с Борисом Михайловичем, обстановка резко переменилась, Гудериан начал свое стремительное наступление, надо было принимать меры быстрые и решительные.

Хватились: кто сейчас в Москве из фронтовых генералов, кто способен возглавить сегодня формируемый корпус? Было названо несколько фамилий, но Сталин обратил внимание только на одну: Лелюшенко. «Вызовите товарища Лелюшенко немедленно». Я не удивился, эта фамилия была знакома Иосифу Виссарионовичу больше других, тогда упомянутых. Он слышал ее еще во время гражданской войны, да и в мирное время тоже. Семен Михайлович Буденный, любивший похвастаться своими орлами-конармейцами, не упускал случая сказать о Лелюшенко. Вот, мол, простой парнишка с Дона семнадцатилетним вступил добровольно в его, буденновскую, дивизию. В восемь утра получил коня, шашку, встал в строй. А в десять утра вместе со всеми помчался в атаку на беляков под хутором Камышеваха. И себя показал, и жив остался. Так и учились орлы, не слезая с седел. Дорос до генеральского звания… Сталин и я столько раз слышали эту историю, что могли бы дословно повторить ее, даже с интонациями Семена Михайловича.

Из Первой Конной — значит свой, значит надежен. На финской командовал бригадой. Не хуже и не лучше других, но проявил личное мужество. В начале войны с немцами генерал-майор Дмитрий Данилович Лелюшенко возглавлял 21-й механизированный корпус, опять же сражался не лучше и не хуже соседей: как во многих других частях и соединениях, потери были столь велики, что мехкорпус сошел на нет, его пришлось расформировать. А Лелюшенко отозвали в столицу и назначили заместителем начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии и начальником Главного управления формирования и укомплектования автобронетанковых войск — такая должность, что на одном дыхании не произнесешь. Да еще с совершенно конкретным заданием: в сжатые сроки сформировать двадцать две танковые бригады. Срок оказался слишком коротким, но кое-что успели.

Последовал вызов к Сталину, из его приемной Лелюшенко вышел командиром 1-го гвардейского стрелкового корпуса, не имея еще реальной силы, но получив боевую задачу остановить Гудериана, не пропустить немецкие танки от Орла на Тулу. Командный пункт — в

Мценске. А войск-то всего у Лелюшенко было — ногинский полк подполковника Т. И. Танасчишина со ста пятьюдесятью мотоциклами и одним танком. Такому полку только разведку вести. С ним и отправился Лелюшенко к Орлу, подбирая, вероятно, по пути отступавшие подразделения. Где он находится и что с ним, я не знал. И сам теперь ехал туда же, в неизвестность.

О том, что Лелюшенко жив и действует, я выяснил в Туле, куда прибыл ранним холодным утром. Сразу — в обком партии. Опыт идущей войны приучил меня к тому, что самой устойчивой структурой являются именно партийные органы, отвечающие практически за все. В прифронтовой полосе бесследно растворялись местные Советы разных рангов, исчезали всякие там профсоюзы, работники аппарата внутренних дел. А вот партийное руководство держалось до последней возможности, до вступления немцев в город или район, и только тогда либо отходило с армией, либо оставалось в подполье. Очень сказывалась роль единой дисциплинированной партии, скреплявшей сверху донизу все наше сложное многонациональное государство. Без такой партии в трудные моменты государство не выдержало бы, сломалось. Сам я человек беспартийный, но с полной уверенностью говорю об этом. В американских Штатах все проще, там случайно собравшиеся разноплеменные народы не имеют своих территорий, своих корней. Объединяются по горизонтали: одной экономикой, общими законами, гражданством. А у нас у каждой самой малой народности есть свои истоки, своя культура, свои территориальные притязания. Отпусти вожжу — разнесут.

В Тульском обкоме, конечно, не спали: дежурил один из секретарей с небольшой группой помощников. Здесь-то мне и сказали, что Лелюшенко проехал через город, в обкоме не появлялся, был только в артиллерийском училище, которое теперь выступило в сторону Орла. Обстановка неясная, штаб Орловского военного округа неизвестно где, туляки готовятся к обороне. С Мценском есть связь: только что звонил секретарь Мценского горкома партии Иван Суверин, там никакой паники, идет эвакуация. Про Лелюшенко Суверин не знает, но есть хорошая новость: на станцию прибыл эшелон, выгрузились полтора десятка танков… Это очень обрадовало меня. И удивило. Танки? Откуда?!

Помня о том, что Сталин просил срочно сообщать о любых новостях, я связался из обкома с Москвой. Трубку снял дежурный генерал. Узнав, с кем разговаривает, заколебался:

— Спит. Лег недавно.

— Понятно. И не будите.

Продиктовал короткую телефонограмму, затем спросил, с кем из военного руководства могу связаться сейчас. Генерал ответил, что переключает на Василевского. Милейший Александр Михайлович не меньше меня обрадовался тому, что в Мценск начали прибывать танки. И пояснил:

— Целые сутки сижу на телефонах, задействовал всех, кого можно. Комбриг четвертой танковой Катуков сразу начал грузиться, это, наверно, его машины и проскочили. Одиннадцатая танковая готова к отправке. Поворачиваем на Орел эшелоны шестой гвардейской дивизии. Отправляем два дивизиона реактивной артиллерии. Надо выиграть хотя бы день-два. Да! — вспомнил Александр Михайлович. — В районе Мценска есть пограничный полк Пияшева, он выдвигается на шоссе.

— Спасибо за ориентировку.

— Организуем поддержку с воздуха, сегодня постараемся прикрыть Мценск и железную дорогу… Звоните чаще, у нас очень скудная информация.

Разговор этот взбодрил меня. Холодное утро не казалось слишком уж хмурым. Не в пустоте я, не один, многие люди волновались, действовали, выполняя свой долг. Словно бы плечами ощутил плечи друзей. И как бы ни было трудно, отразим, уничтожим всех врагов, намерившихся раздробить наше Великое государство. Без такой веры и жить нет смысла. Ради себя одного, что ли, жить-то? Так это не жизнь, а животное существование.

2

После войны, как всегда бывало, на прилавки книжных магазинов хлынул поток мемуаров. Первыми начали немцы, от Гудериана до Типпельскирха. Сотни книг. Битые генералы оправдывались, сваливая вину за поражение на Гитлера, на погоду, друг на друга. Но главным образом все же на Гитлера. У нас, мол, у военных, были блестящие замыслы, но безграмотный фюрер вмешался в дела командования и все завалил. Гитлер был мертв, его и сделали козлом отпущения. На живых-то не отыграешься. На Сталине начали отыгрывались лишь после его смерти.

Быстро росло количество торжественно-горделивых воспоминаний английских и американских полководцев, выставлявших себя творцами победы. На мой взгляд, они не столько боев провели, сколько поведали печатно о своих планах, замыслах, предполагаемых успехах. А заодно о женах, детях, собственных привычках и т. п. Явная диспропорция между делом и болтовней. Может, потому что и дел-то существенных насчитывалось маловато. И лишь со временем, отдалившись на расстояние, с которого видны не только подробности, но и ширина, глубина событий, начали создавать мемуары настоящие победители, для которых вторая мировая война стала главным событием жизни. Люди, потрясенные войной.

Стараниями и усилиями бывшего журналиста «Красной звезды», бывшего работника ГлавПУ полковника Михаила Михайловича Зотова начала выходить в Военном издательстве уникальная, единственная в мире серия военных мемуаров. Михаил Михайлович, сам литератор, автор нескольких книг о природе Подмосковья, уроженец Смоленщины, земляк Александра Твардовского, начальник по газете и друг Константина Симонова, внешне был простоват, но натуру имел сильную, принципиальную. Он был не только умен, но дальновиден, терпелив, при необходимости — дипломатичен. К тому же знал политуправленческую систему, обладал широким кругом знакомых среди генералитета, среди писателей. Он и ко мне обращался за консультациями, зная о том, что Лукашову много и достоверно известно, хотя вряд ли догадывался, какую особую роль я играл при Иосифе Виссарионовиче.

У Зотова было два требования. Мемуарист должен излагать события, как их видел и понимал, не поддаваясь меняющейся конъюнктуре. А написаны мемуары должны быть интересно, на хорошем литературном уровне, чтобы их читали не только специалисты-историки, а читал народ. И Михаил Михайлович добился большого успеха. Книги серии открыли людям огромный пласт военных событий, было воздано должное многим героям, полководцам, рядовым воинам. Просто повезло, что серия оказалась в руках этого человека. А потом изменилась ситуация в стране.

Зотов ушел в отставку, ухаживать за своими певчими птицами и «осуществлять литературное редактирование» некоторых наших «ведущих» писателей, у которых не было времени или таланта грамотно работать самим. Сии писатели получали разнообразные премии, ораторствовали с трибун, занимали руководящие кресла, а Михаил Михайлович оставался в глубокой тени, довольствуясь скромными гонорарами.[48]

А мемуары в Воениздате постепенно сошли на нет. Сказывались определенные тенденции, да и основные авторы успели уже «отстреляться», начались повторы, перепевы. Но и при этих недостатках требования в мемуарной редакции по традиции оставались довольно высокими, правду истории старались соблюдать, отказывая порой даже именитым военачальникам, слишком уж «тянувшим одеяло на себя».

Году в шестьдесят седьмом или шестьдесят восьмом позвонил мне Георгий Константинович Жуков. Едва поздоровавшись, произнес саркастически:

— Знаете, кто Москву спас в сорок первом?

— Откуда бы мне? — шутливо ответствовал я, не очень-то удивившись тону маршала: в то время он был в опале, его роль всячески принижалась, он болезненно переживал, что его оставляют за бортом, фамилия не упоминается в связи с важными событиями минувшей войны. Честолюбив был человек. Да и вообще, не справедливо.

— Так кто все же спас нашу столицу? — поинтересовался я.

— Новый объявился великий полководец. Лелюшенко.

— Дмитрий Данилович? Имел честь…

— Вы же с ним под Орлом были, хотите знать, какой он мудрый стратег, как он все тогда распланировал, как немцев угробил?!

— Статья? Или книжка?

— Рукопись мне дали на отзыв (сам Жуков тогда только начал работу над собственными воспоминаниями, к этому мы еще вернемся).

— Большая рукопись?

— Весь свой путь живописует от Москвы до Праги. Могу вам переслать суток на трое. Время терпит.

— Буду признателен.

— Через полчаса шофер выедет.

— Хорошо, через час встречаю. — От дачи Жукова, где опальный маршал был вроде бы заточен в те дни, до моего домишка минут двадцать езды по Успенскому шоссе.

Не без любопытства читал я о том, как обдуманно и умело организовывал Лелюшенко оборону севернее Орла, как остановил вверенными ему войсками рывок Гудериана на Тулу, на Москву. Основным принципом при этом, оказывается, была подвижная оборона по рубежам: так, дескать, решили на военном совете в корпусе, так, дескать, и сделали, измотав немцев. Предусмотрительность командования (то есть самого Лелюшенко), четкое управление войсками явились залогом достигнутого успеха.

Успех действительно был, а вот четкого руководства, предусмотрительности — этого нет. Думаю так: даже если бы не было Лелюшенко с его наскоро сколоченным штабом, ничто не изменилось бы в ходе событий, они развивались сами по себе, генерал далеко не всегда знал, где и что происходит, не успевал вмешиваться. Ну, это уже хорошо,

если руководитель по крайней мере не мешает умелым людям делать то, что они считают необходимым.

Военное издательство не взялось печатать книгу генерала армии Д. Д. Лелюшенко «Москва — Сталинград — Берлин — Прага». Почему? Вероятно, потому, что в ней было много спорного, неточного, противоречащего другим, более документированным произведениям (например, книга Я. Ливщица «Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву». Воениздат, 1948 год). Мемуары Лелюшенко выпустило через четверть века после окончания войны издательство «Наука». Воспоминания не лишены интереса, но очень уж субъективны. Так и напрашивается в эпиграф латынь: «Пришел, увидел, победил». А вот на меня иное впечатление произвели некоторое из упомянутых Дмитрием Даниловичем событий.

Штаб генерал-майора Лелюшенко располагался на северной окраине Мценска, на тихой улочке, поодаль от объектов, которые обычно бомбят. В доме — десяток командиров. В просторном дворе — замаскированные мотоциклы. Здесь, в штабе, были озабочены одним: как установить связь с воинскими частями, имевшимися возле города и направляемыми сюда. Сам Дмитрий Данилович обосновался в городском саду, в штабном автобусе 4-й танковой бригады, прибывшем с первым эшелоном боевых машин. В зеленом комбинезоне без знаков различия, небритый и посеревший от усталости, Лелюшенко выглядел не генералом, а скорее воентехником. И озабочен был тем же, что и его немногочисленные помощники: установлением связи с воинскими частями, налаживанием управления, выяснением обстановки.

Не хочу преуменьшать достоинств Лелюшенко. Он отличался этаким мужицким хладнокровием. В обстоятельствах, казалось бы, безнадежных не утрачивал терпения, не терял надежды на лучшее, сам не бежал в безопасное место и подчиненных заставлял держаться до последней возможности. Закалка у него, конечно, была. Не о нем, о маршале Тимошенко Иосиф Виссарионович однажды сказал: «Это не хворостина, через колено не переломишь. Это бревно». Ну и Лелюшенко такого склада, такой закваски, только масштабом помельче.

Самое правильное решение, принятое Дмитрием Даниловичем в Мценске, — послать усиленную разведку на Орел: танки, прибывшие первым эшелоном, еще даже без командира бригады Катукова. Три тяжелых, непробиваемых КВ и несколько красавцев Т-34. Машины были на платформах, не успели сгрузиться, а экипажи уже получили боевой приказ. Но экипажи-то какие! Напомню: 4-я танковая бригада формировалась из добровольцев, побывавших в боях.

Дерзко действовали. От Мценска до Орла километров шестьдесят. Танкисты преодолели это расстояние одним броском, внезапным ударом подавили вражескую артиллерию на окраине города и пошли «гулять» по улицам областного центра прямо среди дня. Немцы, упоенные большой и легкой победой, отдыхали, грабили город, веселились, а тут вдруг танки, хлеставшие смертоносными струями пуль, разбивавшие снарядами, давившие гусеницами все, что попадалось на их пути: пушки, автомашины, черные бронированные машины с крестами. Несколько часов куролесили наши ребята в Орле, накорежили груды техники, перепугали фашистов и, представьте себе, все до единого вышли из боя, вернулись к своим. Вот что значит внезапность, мужество и мастерство!

Немецкое командование не сразу разобралось в случившемся, на это потребовались сутки. В Мценске успели выгрузиться танковые и мотострелковый батальон 4-й танковой бригады. Занял рубеж полк пограничников подполковника Пияшева. И грянули два решающих дня, спасшие, как я считаю, тогда Тулу, остановившие неудержимый вроде бы вражеский рывок к Москве.

На рассвете 5 октября Гудериан двинул свою армаду из Орла на север. Не сразу, а после артиллерийского обстрела. После того, как наши позиции пробомбила авиация. Нашим мотострелкам, окопавшимся возле шоссе, крепко досталось. А вот танки, которые Катуков группами расположил в засадах поодаль от дороги, совершенно не пострадали. И с места, из укрытий, прицельно ударили по вражеским колоннам. За короткий срок было разбито 11 немецких танков, 8 автомашин с пехотой, уничтожены на ходу зенитная и артиллерийская батареи. Не ожидавшие такого отпора фашисты попятились, отошли.

Немецкие генералы не придали, вероятно, этой неудаче большого значения. Значит, удар был недостаточно сильный, надо нанести более мощный. И ровно через сутки, в шесть утра 6 октября, гитлеровцы вновь начали наступление. Колонне танков и автомашин с пехотой, с орудиями на прицепе, казалось, не будет конца. Из Орла изливалась лавина техники, способная подавить любое сопротивление. Однако и танкисты Катукова не потратили минувшее время даром. Они прочно оседлали шоссе Орел — Москва в районе поселка Первый Воин, используя тот же способ, что и накануне. Катуков расположил шесть танковых засад в боевых порядках своего мотострелкового батальона и пияшевского полка, а еще больше боевых машин укрылось в рощах, в кустарнике поодаль от шоссе.

Я видел весь этот бой от первого выстрела на рассвете до последнего, прогремевшего уже в сумерках. Это был кровопролитный, страшный, но счастливый день. Наши КВ и Т-34, маневрируя от укрытия к укрытию, расстреливали немецкую колонну с флангов, лупили по бортовой уязвимой броне, сами не подставляя бортов. Уже в ходе боя было ясно, что успех сопутствует нам. Но когда подвели итоги, мне они сперва показались неправдоподобными. Немцы потеряли до 500 человек убитыми, 16 противотанковых орудий, другую артиллерию, а главное — отступили, бросив 43 разбитых танка. Так поработали катуковцы при поддержке реактивных установок. Техника натолкнулась на технику, мастерство соперничало с мастерством. Да, Катуков потерял почти весь мотострелковый батальон, но из бронированных машин только шесть. Причем сгорели лишь две, другие были эвакуированы в тыл и быстро восстановлены. А раздробленные нашими снарядами или выгоревшие изнутри немецкие машины превратились в груды металла и практически перестали существовать. Это кладбище разбитой техники осматривал потом генерал Гудериан, оно произвело на него гнетущее впечатление.

Считаю, что замысел немцев одним рывком дойти до Тулы и даже дальше (захватить переправы через Оку, чтобы непосредственно угрожать Москве) — этот замысел, в общем-то реальный в той обстановке, был сорван прежде всего танкистами Катукова, пограничниками Пияшева, дивизионом реактивной артиллерии. Они затупили острие вражеского тарана. Назову еще одного человека, очень способствовавшего успеху: генерал-майор Василевский. Это он настойчиво, без отдыха, несколько суток собирал и проталкивал в район Мценска воинские части, создавая фактически новый фронт.

Обидно было через много лет после войны слушать, а потом и читать соображения Дмитрия Даниловича Лелюшенко, не отличавшиеся объективностью. Да, конечно, Лелюшенко был в Мценске, кое-что сделал для общего успеха. Но не подоспей туда Катуков, не прояви наши танкисты и пограничники Пияшева высокое мастерство, мужество, самопожертвование — и ничто не остановило бы немцев. А про Катукова Дмитрий Данилович говорил неохотно, сквозь зубы, будто опасался, что слава нашего замечательного танкиста затмит его, лелюшенковскую славу. Да хватит ее на всех, была бы заслуженной!

Даже теоретическое основание под свои успехи заложил Дмитрий Данилович. Он, дескать, вел маневренную оборону, отводя войска с рубежа на рубеж от Орла к Мценску. Было почти так, да не так. Более двух суток оборону держали бригада Катукова и полк Пияшева. В силу необходимости, под давлением превосходящего противника, отступали они с одной позиции на другую, более выгодную, еще не разведанную гитлеровцами. А за их спиной по мере прибытия занимали оборонительные полосы новые части: воины 6-й гвардейской стрелковой дивизии, 11-й танковой бригады. Так получилось на практике, а объяснения возникли потом.

Ну и матушка-природа основательно помогла нам. В ночь на 7 октября выпал первый снег. Днем он почти растаял, поля размокли, непроезжими стали проселки, вся немецкая техника оказалась привязанной к узкой ленте асфальтированного шоссе. А пехоты у врага в этом районе было мало, она вела бои с окруженными в лесах дивизиями нашего Брянского фронта. Так что задача Лелюшенко заметно облегчилась. Конечно, фашисты продолжали давить, постепенно оттесняя наши части на север, но в общем-то положение перестало быть критическим, велись обычные боевые действия с некоторым преимуществом немецкой стороны. Результат положительный. Пока полковник Катуков раз за разом бил фашистские танки, пока генерал Лелюшенко создавал новый рубеж на пути гудериановской армады, стало малость полегче на других участках. В район Тулы отошли основные силы 50-й армии (потеряв, правда, свое тяжелое оружие), пробились по бездорожью остатки дивизий из других окруженных армий. Появился материал для переформирований и формирований. Хоть и небольшими силами, но все же заняла оборону северо-западнее Тулы 49-я армия.

За неделю боев, после того как немцы ворвались в Орел, в нашей обороне что-то образовалось, что-то наладилось, а по существу, конечно, возник новый фронт, оборонявший южные подступы к столице. Из пустоты и хаоса — нечто определенное, поддающееся руководству. Иосиф Виссарионович, судивший о людях не по их уверениям и обещаниям, а по конечному результату, переоценил, по моему мнению, роль Лелюшенко. Корпус он создал? Да. Немцев на Тулу не пропустил? Да. Значит, он способен быстро формировать новые воинские соединения и объединения, сразу же вводя их в сражение. Без раскачки. А в эти дни, в эти часы немцы приближались к Москве с запада, и их некому было остановить. На можайское направление, к Бородинскому полю спешно стягивались наши разрозненные части, с Дальнего Востока неслись эшелоны кадровой 32-й стрелковой дивизии. Кто-то должен объединить там войска, возглавить их, организовать взаимодействие. Выбор Сталина пал на генерала Лелюшенко. Его срочно отозвали из-под Мценска и назначили

командующим 5-й армией, воссоздаваемой на подступах к Можайску. Произошло это в ночь на 11 октября.

Пока Дмитрий Данилович находился в Ставке, пока выехал к войскам, свершилось главное: 12–14 октября советские воины повторили на Бородинском поле великий подвиг наших предков. 32-я дальневосточная стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина (он вскоре погиб) вступила в бой прямо с колес. Кадровая, повторяю, дивизия довоенного состава, имевшая, кроме стрелковых, два артиллерийских полка. Рядом с дальневосточниками стояли разрозненные подразделения и еще курсанты Московского военно-политического училища. Шестьсот человек — все коммунисты. Многие воины сложили головы в том страшном, геройском сражении, но вражескую лавину, катившуюся на Москву, остановили.

История полна казусов. Генерал Лелюшенко, только что назначенный командармом-5, фактически не успел принять руководства, в названных выше событиях почти не участвовал. А вскоре, 16 октября, он был ранен и вообще убыл в глубокий тыл на излечение. Командующим армией стал мой бывший коллега, дореволюционный офицер, превосходный артиллерист Л. А. Говоров. На его плечи легла вся тяжесть октябрьских и ноябрьских боев в районе Можайска, и к его чести, Говоров выиграл эти бои. Он остановил здесь немцев. Но вот ведь что. В ту неделю, когда фашистов задержали севернее Орла, командиром гвардейского корпуса номинально был генерал Лелюшенко. Лавры достались ему. И 5-й армией под Можайском с 11 по 16 октября, по официальным данным, командовал оный же полководец. И победу там, на западном пороге Москвы, чаще связывают с фамилией Лелюшенко, нежели с фамилией Говорова, не говоря уж об истинном герое Бородина, о полковнике Полосухине, о котором вообще мало кто помнит, разве только военные историки.

Удивительно везло Дмитрию Даниловичу и в сорок первом году, и в будущие времена, когда он, в частности, командовал 4-й танковой армией. Я вот не могу назвать ни одной победы, которая была бы одержана благодаря именно его воинскому таланту, в этом отношении он равнозначен Андрею Антоновичу Гречко, который если и добивался успеха, то лишь в «общем ряду», в ходе общей удачной операции. Злой на язык, Георгий Константинович Жуков называл Дмитрия Даниловича «генералом-затычкой», подразумевая, что Лелюшенко посылали туда, куда некого больше было послать. Но, может, в сложном хозяйстве вооруженных сил, как и в других государственных структурах, нужны такие фигуры, которые в случае необходимости обозначают должность, пока не выдвинутся, не найдутся для данного руководящего поста люди, достойные занять его?!

В любой государственной, нормально, без аварий, без вредных для народа потрясений функционирующей машине были и будут не только движители, энергоисточники, но и главным образом шестеренки, винты, винтики, другие детали, несущие вроде бы простую, но очень важную нагрузку, без которых машина перестанет действовать и даже рассыплется. Можете себе представить государство без четко отлаженного аппарата власти, налоговой системы, полиции, почты, экономических связей и тому подобного? Ту же Англию или Германию? Представить трудно: хаос, разложение, распад… Наивен или глуп (и вреден!) тот, кто считает, что государство в целом или какая-то часть государственной структуры способны обойтись без винтов и винтиков, через которые надежно распространяются от энергоносителя на

периферию все необходимые импульсы. Не будет такой надежности — рухнет страна. И чем она обширней, чем многонациональной, тем больше будет грохота и обломков, которые оглушат, придавят, расплющат, то живое, что укрывалось под общей крышей… Так рассуждал Иосиф Виссарионович, и я полностью с ним согласен.

3

Едва Лелюшенко убыл в Москву за новым назначением, со мной связался по ВЧ Борис Михайлович Шапошников. В голосе тревога и этакие извинительные нотки:

— Николай Алексеевич, голубчик, сиюминутное осложнение. Есть сведения, что в Мценске при отходе остались две особые установки. Понимаете какие?

В ту пору техника ВЧ — высокой частоты — была еще сравнительно новой. Мы знали, что в принципе она совершенно не прослушивается, но по старой «телефонной» привычке соблюдали осторожность.

— Представляю, — ответил я. — А Он знает об этом?

— Пока не докладывали. Думаю, есть надежда. Иначе многое изменится на вашем участке. С назначением Лелюшенко тоже… Будут приняты крайние меры для захвата. Нежелательные меры. А у вас есть полномочия, чтобы на месте…

— Полномочий достаточно, но как конкретно…

— Постарайтесь, Николай Алексеевич! Уже известно не только нам, так что чем скорее, тем лучше. Последствия могут быть сложными.

— Ясно. Действую.

Да — действую! Это один из тех случаев, когда на раздумье нет времени, когда решение надо принимать сразу и без промедления осуществлять его. Что мне известно? Где-то в Мценске при отходе остались (брошены?) две реактивные установки. А ведь эти машины и заряды — строжайшая тайна. Один из залогов наших будущих успехов, как не без оснований считал Иосиф Виссарионович. Имелась строгая инструкция. Установки прибывают к фронту при полной секретности, под усиленным прикрытием авиации и других средств. После залпов по противнику машины сразу отходят на десятки километров, дабы не подвергнуться артиллерийским или бомбовым ударам врага, чтобы немцы не захватили спецустановки своими особыми группами, созданными в войсках для этой цели.

Знал я о том, что в состав гвардейских подразделений РС отбираются лучшие, преданные люди, готовые на самопожертвование ради сохранения доверенной им тайны. В плен не попадать. Установку в случае угрозы захвата врагом взорвать: для этой цели в машине имелся заряд. Кстати, в немецких автомашинах, в обычных военных грузовиках, были тогда заряды для уничтожения двигателя. Чтобы нам не досталась техника. Так что наша-то предосторожность с ракетными установками была во сто крат закономернее и естественнее. Инструкция соблюдалась неуклонно. И вдруг — две установки в покинутом нами городе.

Как это произошло, разберемся после. Сейчас надо спасать! Тем более, что я представлял себе последствия, когда о случившемся узнает Сталин. Гроза поразит многих. Что он прикажет? Бросить на Мценск авиацию, раздолбить там все, что есть, до каждой автомашины, до каждого дома, до каждого кирпича. Способ надежный, но не уцелеют ведь и мирные

жители. Или даст распоряжение штурмовать город и взять его любой ценой. И цена эта, безусловно, будет очень большой. (Кстати, я узнал потом, что приказ о штурме города был отдан генералом Лелюшенко и даже частично выполнен — немцев на несколько дней оттеснили за реку Зушу).

Только быстрыми действиями можно было спасти город, сохранить от напрасной гибели множество жизней. Тут я, что бывало крайне редко, использовал свои чрезвычайные возможности. Наверно, не совсем правильно для своего положения и возраста, но ведь, черт возьми, мы, российские офицеры, в сложной обстановке не перебрасываем ответственность на чужие плечи, а берем все на себя; ради пользы дела и находя в этом высокое удовлетворение, в отличие от болтунов, способных лить словесную воду, но не способных бросаться в огонь, увлекая за собой других.

Итак, Лелюшенко в Москве, в полусформированном штабе его корпуса никто не знал о реактивных установках, застрявших в Мценске, — вероятно, сообщение поступило к Шапошникову по другим каналам. (В общем-то 1-й гвардейский стрелковый корпус тогда так и не состоялся). Возле штабного здания — выделенный для его охраны Т-34 из 11-й танковой бригады. Я подчинил машину себе. Потом спустя время пожалел о том, что, делая все быстро, экспромтом, не узнал даже фамилии замечательных ребят этого экипажа.

На этой машине добрался до командного пункта 4-й танковой бригады. Полковник Катуков был прокопчен пороховой гарью и едва держался на ногах от усталости. Ему и его людям нужен был отдых после двухсуточных боев. Прочитав мое чрезвычайное удостоверение, Катуков даже удивления не выказал, только вздохнул. И отдал мне свой резерв, свою надежду на завтра: три танка с полной заправкой, с полным боезапасом и выспавшимися экипажами.

Решившись на рискованный шаг, я рассуждал так. Удача оправдает все. Наша гибель — тоже, если мы используем все возможности. Добиться успеха и не попасть живыми в руки врага — имея такую цель, мы поехали на четырех танках в город, куда вошли главные силы двух немецких дивизий. Ну, молодые танкисты надеялись на меня, на пожилого командира. Молодым свойственна романтика, лихость. Но я-то на что надеялся? На везение? На свое умение быстро ориентироваться в обстановке? Не знаю. Но чувствовал я себя уверенно, как человек, убежденный в правильности своего решения, это точно.

Среди дня проникли в Мценск со стороны пустынного поля на пустынную же, безлюдную окраину. Рывками продвигались вперед, укрываясь за домами, сараями, среди деревьев. Пятеро разведчиков, прибывших с нами на броне, отправились в полугражданской одежде искать реактивные установки. Мы тоже не томились без дела. Мы осмотрели дом, школьное здание, в котором размещалось не менее сотни гитлеровцев. Вольготно чувствовали они себя. Мылись, по пояс голые. На губных гармошках играли. Дымились походные кухни. А мы всадили туда, в дом и во двор, десяток снарядов для полного уничтожения. И ретировались по огородам. Немецкая батарея начала бить по нашей прежней стоянке, но там было пусто. Говорю об этом не ради хвастовства, а даже с грустью: это был мой последний конкретный вклад в уничтожение врага непосредственно на поле боя.

Разведчики сообщили: обе реактивные установки находятся на базарной площади. Не просто брошены, но повреждены, вероятно, экипажами при отходе. Немцев рядом нет. Они не заинтересовались, не поняли еще, какие трофеи в их руках, какая награда ждет их за подобную добычу. Мало ли искалеченных грузовиков под обгорелым брезентом. Вот ведь как: специальные команды готовы на любой риск, чтобы захватить образец нового грозного оружия, а эти образцы под самым носом у отдыхающих немцев, заедающих шнапс яичками и жареным мясом. Помочиться ходят к машинам.

Я дал команду: «Вперед». Вырвались на базарную площадь. Вражеские артиллеристы успели выстрелить несколько раз. Танк из 11-й бригады вспыхнул и взорвался. Погибли те ребята, у которых я даже фамилии не спросил. А три катуковских танка расстреляли немцев из пушек и пулеметов, а затем расплющили, раскатали гусеницами обе реактивные установки: я своими глазами видел, что от них ничего не осталось.

Маневрируя и отстреливаясь, мы на полной скорости выскочили из города и скрылись в сгущавшейся темноте. Я был оглушен, задыхался от пороховых газов. А главное, при попадании вражеского снаряда от брони внутри машины отлетели мелкие осколки, угодившие мне в лоб над правым глазом. Ранение несущественное, но промыть ранки и сделать перевязку пришлось.

4

Иосиф Виссарионович принял меня 14 октября, едва я вернулся в Москву. Поскребышев дал мне понять, что с 6 по 8 октября Сталин чувствовал себя не очень хорошо. Была кратковременная вспышка. Двое суток почти не работал, но теперь все в порядке, никакой простуды, никаких насморков.

Встретились в комнате за кабинетом. Иосиф Виссарионович обеспокоился, увидев мою забинтованную голову, расспросил, что и как. А узнав подробности, усмехнулся:

— Теперь вы у нас настоящий Аника-воин. — В голосе звучала ирония, но мне показалось, что он испытывает некоторую зависть. Да, как ни странно. Вот его друг, побывавший в бою, проливший (хоть и немного) свою кровь, имеющий право называться фронтовиком. А Сталин при всех его военных заботах, при всей ответственности, при его огромной роли не фронтовик, тыловой деятель, он слышит только, как зенитки стреляют… Подобное ощущение возникало у него и впоследствии несколько раз, толкая на поступки, которые я считал далеко не обязательными, — на поездки к линии фронта… А в тот раз мне, может, лишь показалось. Время было строгое, не до эмоций. Впрочем, они всегда присутствуют, эмоции-то.

Разговор получился недолгий, но емкий. Я сообщил свои выводы о первом, по существу, массовом использовании наших средних танков Т-34 с опытными экипажами, побывавшими прежде в боях, к тому же хорошо обученными на новой технике. Результат — весьма положительный.

— Превосходство тридцатьчетверок определилось совершенно отчетливо, — сказал я. — Превосходство по всем статьям. Немецкий T-III вообще не выдерживает сопоставления, а T-IV с его короткоствольной пушкой заметно уступает тридцатьчетверке и по маневренности, и по броневой защите, и по силе огня.

— Но они добивались и добиваются успеха, — возразил Сталин. — За счет чего?

— Немецкие танки — это машины вторжения, рассчитанные на ошеломляющую, молниеносную войну. Скорость и плотность огня — вот чего добились немецкие конструкторы. Мощный карбюраторный двигатель, неотягощающая броня, узкие гусеницы, оснащенность средствами связи. Большое количество машин. Отсюда и тактика. Массированное применение. Стальные клинья взламывают оборону, затем быстрое преследование с опережением на флангах, пресловутые клещи. Немецкие танки вкупе с авиацией господствуют. А тридцатьчетверки сводят господство на нет, по крайней мере по танкам. Я убежден, Иосиф Виссарионович, что нам надо отказаться от выпуска устаревших БТ, от модернизации Т-26 и сосредоточиться на Т-34, на его массовом выпуске и усовершенствовании.

— Мы обсуждали эту проблему с товарищем Шапошниковым и товарищем Малышевым.[49] Трудно перейти на выпуск новой техники, когда заводы эвакуированы, находятся в пути или обживаются на голом месте. Выпуск боевых машин резко упал.

— И все же теперь лучше одна тридцатьчетверка, чем десять БТ.

— Согласен, Николай Алексеевич, но наши возможности пока ограничены.

— Американцы и англичане обещают ежемесячно поставлять нам пятьсот танков. Ведь так?

— Они очень нужны для новых формирований.

— Эти заморские машины значительно уступают не только тридцатьчетверкам, но и немецким средним танкам. Высоки, громоздки, легко воспламеняются и быстро горят. Пусть вместо танков союзники шлют нам металл, броневые листы, другие компоненты. Мы используем по-своему.

— Со временем, Николай Алексеевич. Пока вынуждены брать, что дают.

— Что им не нужно…

— У них свои трудности.

— Сравнимы ли с нашими? Гитлера они боятся, вот и дают. За свои шкуры трясутся. Добиваться надо того, что нам необходимо, а не того, что выгодно сбывать им. Мы диктуем условия. За общее с союзниками дело не только золотом, жизнями платим! Сколько наших людей гибнет в огне!

Не без волнения поведал я Иосифу Виссарионовичу о том, что видел во время боев между Орлом и Мценском: несколько эпизодов умелых и отважных действии танкистов Катукова. Слушал Сталин не очень внимательно, вроде бы рассеянно, думая о своем, но я знал, что главное из услышанного осядет в его памяти и, если понадобится, всплывет, будет использовано. И вскоре еще раз убедился в этом.

Обстановка была хуже некуда. Враг заканчивал уничтожение наших окруженных войск Брянского, Западного, Резервного фронтов и быстро продвигал свои ударные силы к Москве. Брянский фронт вообще развалился, перестал существовать, а его командующий генерал Еременко выбыл из строя с тяжелым ранением. Из остатков названных фронтов, из перебрасываемых подкреплений создавались практически два новых фронта: огромный Западный под энергичным руководством Жукова и Калининский во главе с Коневым. На северных подступах к столице фашисты захватили Калинин, грозя нам окружением. В центре после сражения на Бородинском поле враг взял Можайск, южнее — Калугу.

Приближался к Туле, к Серпухову. Целостной линии фронта не было, фашистские подвижные части появлялись неожиданно в разных местах.

Командование немецкой группы армии «Центр», не сомневаясь в том, что возможности советских войск исчерпаны, отдало 14 октября приказ № 1960/41, которым предписывалось без пауз продолжать наступление на Москву, взять ее в кольцо. Каким-то образом этот приказ (вероятно, из вражеских листовок) стал известен жителям столицы и пригородов, поползли тревожные слухи. А тут еще началась эвакуация государственных учреждений, усилились оборонительные работы на окраинах. От всего этого в Москве поднялась паника. Многие бежали, бросив квартиры и вещи. Участились грабежи, пожары. Потребовалось объявить осадное положение, навести порядок твердой рукой. А главное, опять же враг приближался. И в этот напряженный период Иосиф Виссарионович вспомнил мои слова о мастерстве танкистов Катукова. Вроде невелика сила — танковая бригада — при огромном размахе войны, но, как говорится, мал золотник, да дорог. Вечером 16 октября, когда трусы и паникеры штурмовали на вокзалах вагоны, когда перепуганные толпы народа истекали с восточных окраин города, Иосиф Виссарионович позвонил мне, сказал:

— Только что разговаривал по телефону с товарищем Катуковым. Связался с ним через Тулу. Настроение у товарища Катукова бодрое и боевое. Он обещал привести бригаду в Москву за трое суток, своим ходом. Реально ли это?

— Сутки на то, чтобы сдать участок соседям и организовать марш. Двое на движение, — вслух размышлял я — По плохим, по ночным дорогам, при возможном противодействии авиации противника… Поломка и ремонт техники. Подтягивание тылов…

— Нам очень нужны здесь самые надежные войска. Управится ли Катуков в срок? — повторил Иосиф Виссарионович.

— Если сказал — сделает… Хотя бы часть сил.

— Прошу, Николай Алексеевич, проследить за движением Катукова. Помогите ему, если потребуется. Жду сообщений от вас.

Если возможно, как говорится, превзойти самого себя, то Катуков, вдохновленный разговором со Сталиным, сделал это. Вечером 19 октября я встречал бригаду на окраине города, чтобы провести ее на Волоколамское шоссе, куда она направлялась. Бригада пришла в полном составе, в боевом состоянии, со всеми танками и автомашинами, с артиллерией, с ремонтниками, с зенитным дивизионом, с остатками своего мотострелкового батальона. В пути не было ни единой аварии. И, если не ошибаюсь, зенитчики бригады умудрились даже сбить в дороге вражеский самолет.

Я поблагодарил полковника Катукова от имени товарища Сталина, объяснил маршрут и задачу. Поинтересовался: в чем крайняя нужда? Катуков ответил: требуются запасные части для танков и автомашин. Желательно пополниться техникой. И еще просьба. На старом месте задержался танк лейтенанта Лавриненко, выделенный для охраны штаба армии. Один из лучших экипажей, отличившийся под Орлом. (Я, кстати, слышал о нем). Танк должен был догнать бригаду — каждая тридцатьчетверка на счету, — но почему-то не успел, за что он, Катуков взгреет лейтенанта. Но надо помочь Лавриненко выйти на маршрут, найти бригаду. Я пообещал выставить на шоссе пост, чтобы встретили. А вскоре,

узнал причину, по которой Лавриненко не смог присоединиться к бригаде на марше.

Днем танк, следовавший самостоятельно, остановился в центре Серпухова. Надо было отдохнуть, перекусить, а главное — привести себя в порядок, в столицу ведь направлялись! Всем экипажем: Лавриненко, Федотов, Борзых и Бедный — двинулись в парикмахерскую. Только устроились, блаженствуя, в креслах, прибежал запыхавшийся красноармеец: танкистов срочно в комендатуру! А там незнакомый пожилой комбриг объяснил: со стороны Малоярославца к Серпухову подходит немецкая колонна. До батальона пехоты с противотанковыми орудиями, с мотоциклистами. Фашисты близко, а наша пехота только что поднята по тревоге, да и мало ее, и артиллерии нет… Просьба к танкистам: задержать колонну, дать время для организации обороны.

Задача, разумеется, не из простых. Подумать требовалось, как немца остановить и самим уцелеть. А думать пришлось уже в пути, в грохочущем танке. Если на что и мог рассчитывать Лавриненко, так это на внезапность. Устроить в удобном месте засаду, катуковскую засаду, как это бывало под Мценском.

Удобную позицию лейтенант нашел возле деревни Высокиничи в роще, откуда хорошо просматривалось шоссе. Танкисты быстро замаскировались. Вражеские разведчики на мотоциклах проскочили мимо. А вот и колонна. Впереди опять же мотоциклисты, потом батарея противотанковых орудий, штабные машины и ряды растянувшейся на марше пехоты. Впервые увидишь такое — дрогнешь. Но Лавриненко и его товарищи не новички.

Четыре орудийных выстрела прицельно с места, с близкого расстояния. Снаряды разметали мотоциклистов, разбили три пушки. И — рывок вперед, на четвертую, которую немцы начали разворачивать. Стальная махина с ревущим двигателем, изрыгающая пушечный гром и свинцовый ливень двух пулеметов, врезалась в колонну, опрокидывая и давя все на своем пути. Пехота брызнула в обе стороны от шоссе. А тут и наши стрелки подоспели, чтобы уничтожить, рассеять бегущих.

Танкисты вернулись в Серпухов. Представляю картину: по улицам городка грохочет танк, волоча за собой на прицепе целехонькое немецкое орудие с запасом снарядов, десяток мотоциклов, в колясках которых навалом трофейные автоматы. А замыкала процессию штабная легковушка, за рулем которой был механик-водитель сержант Бедный. В этой машине оказались штабные карты и документы настолько важные, что их сразу отправили самолетом в Москву, они помогли выявить места концентрации и направление ударов вражеских войск.

Пока танкисты умывались в парикмахерской, стриглись и брились, комендант Серпухова написал такой восторженный отзыв об их действиях, что полковник Катуков вряд ли выполнил свое намерение крепко взгреть лейтенанта за задержку. Не по своей вине задержался! О том свидетельствовал соответствующий документ.

Вот такие орлы были в танковой бригаде, которую Сталин лично переместил с одного участка фронта на другой, более опасный — на волоколамское направление. И подобный факт не единичен. Это уж потом, после смерти Иосифа Виссарионовича, злые клеветники-политиканы, искавшие популярности, начали кричать о том, что Сталин не разбирался в военном деле, не знал положения на передовой, руководил войсками по глобусу. Спросили бы Жукова, Рокоссовского, Василевского и многих

других полководцев, хорошо знакомых с деятельностью Верховного Главнокомандующего. Указали бы они и на ошибки, упущения, к которым и сами причастны, но общая их оценка, без сомнения, положительная, высокая. А глобус в кабинете Сталина действительно имелся. Очень большой глобус. Это естественно. Руководитель великой державы, втянутой в мировую войну, должен был знать, где и какие события происходят на земном шаре. Это, конечно, второстепенно по сравнению с событиями нашими, внутренними, но знать все-таки нужно.

Закончим, однако, короткий рассказ о командире танкового взвода Дмитрии Федоровиче Лавриненко. Действуя в составе своей бригады, его взвод не раз отличился еще в боях на Волоколамском шоссе, на берегах Истры. Только лишь за те сутки, когда двадцать восемь героев-панфиловцев в неравном бою отразили удар немецких танков, группа старшего лейтенанта из шести машин, сражавшаяся в том же районе, из засад и неожиданными атаками уничтожила двенадцать вражеских T-III и T-IV. И это был не последний бой. Мужественный танкист погиб в середине декабря, когда мы наступали на Волоколамск, после долгих поражений испытав наконец радость победы. Погиб возле станции Горюны, где его и похоронили.

Ох уж эти Горюны — станция и деревня! На страдном пути от Волоколамска до Истры, до Дедовска и потом обратно до Волоколамска в октябрьских-декабрьских боях бессчетно и безвестно полегли многие тысячи наших воинов. Там, если похоронить каждого убитого по-христиански, в отдельной могиле, обочь дороги, то могильные холмики тянулись бы непрерывной чредой. А так — кого в братской зарыли, а кто остался лежать, засыпанный листвой да хвоей, со временем затянутый мхом: большие деревья выросли над павшими воинами, скрыв солдатские кости среди корней. Где-то там лежат девушки — подруги Зои Космодемьянской из группы, с которой она первый раз переходила через линию фронта. В лесах и на полях остались танкисты Катукова, пехотинцы Панфилова, кавалеристы Доватора. Я в ноябре часто бывал там и еще расскажу об этом. А сейчас добавлю только вот что. Ходом сражения на Волоколамском шоссе каждый день, а то и по нескольку раз в день интересовался Иосиф Виссарионович. Это направление особенно тревожило его. Он знал не только фамилии генералов и полковников, но и многих командиров среднего звена, таких, как Лавриненко. Часто звонил командарму-16 К. К. Рокоссовскому, подбадривал, старался помочь ему из скудных наших резервов. Сказал мне:

— Надо не скупиться на награды для тех, кто сражается под Москвой. Эти люди заслуживают самого высокого поощрения. Они дерутся как львы, как гвардейцы!

— Иосиф Виссарионович, почему бы не дать гвардейский статус — танковой бригаде Катукова?! Это будет первое в мире гвардейское танковое соединение. Катуковцы достойны.

— Гвардия была только пешая или конная, — полувопросительно произнес Иосиф Виссарионович и, подобрев лицом, шагнул ко мне. — Это правильное предложение, Николай Алексеевич. Возьмите на себя труд подготовить соответствующий документ.

Сознаюсь, с большим удовольствием составлял я черновик приказа, представляя, какой радостью озарятся прокопченные дымом, задубелые на морозе лица знакомых танкистов! Сам поехал бы к Катукову с хорошей вестью, но не довелось, были другие дела. А танкисты, их боевые друзья

по 16-й армии действительно радовались, прочитав в одном и том же номере «Правды» постановление о присвоении полковнику Катукову звания генерал-майора танковых войск и указ о награждении его орденом Ленина. Об этом я не знал, это Сталин сделал по своей инициативе. В тот же день в подразделениях бригады был зачитан подготовленный мной документ. Вот они, слова, прозвучавшие перед строем танкистов возле заиндевелых машин, где-то на лесных полянах, на окраинах населенных пунктов, а то и в открытом поле. Слова признания воинской доблести и заслуг перед Родиной:

«ВСЕМ ФРОНТАМ, АРМИЯМ, ТАНКОВЫМ ДИВИЗИЯМ И БРИГАДАМ

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№ 337

11 ноября 1941 г.

г. Москва

О переименовании 4-й танковой бригады в 1-ю гвардейскую танковую бригаду

4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями с 4.10 по 11.10, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск.

Две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров 4-й танковой бригады.

В результате ожесточенных боев бригады с 3-й и 4-й танковыми дивизиями и мотодивизией противника фашисты потеряли: 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 минометов и другие средства вооружения. Потери 4-й танковой бригады исчисляются единицами.

(…)

Боевые действия 4-й танковой бригады должны служить примером для частей Красной Армии в освободительной войне с фашистскими захватчиками.

Приказываю:

1. За отважные и умелые боевые действия 4-ю танковую бригаду впредь именовать:

«1-я гвардейская танковая бригада».

2. Командиру 1-й гвардейской танковой бригады генерал-майору танковый войск Катукову представить к правительственной награде наиболее отличившихся бойцов и командиров.

3. Начальнику ГАБТУ и начальник ГАУ пополнить 1-ю гвардейскую танковую бригаду материальной частью боевых машин и вооружением до полного штата.

Народный комиссар обороны Союза ССР

И. СТАЛИН

Начальник Генерального штаба Красной Армии

Маршал Советского Союза

Б. ШАПОШНИКОВ».

Так родилась она, наша танковая гвардия, и я горд, что хоть в какой-то степени причастен к ее появлению. От окраины Москвы пройдет потом 1-я гвардейская танковая бригада долгий путь через всю войну: завершающий выстрел ее тридцатьчетверки прозвучит возле Силезского вокзала в Берлине. А Михаил Ефимович Катуков закончит войну командующим 1-й

гвардейской танковой армией. Станет он маршалом бронетанковых войск, две Звезды Героя украсят его грудь. На одной из редких наших встреч в мирное время я спрошу Михаила Ефимовича, что вспоминает он чаще всего из той неимоверно длинной войны. И он ответит без колебаний: «Бои под Орлом и на Волоколамском шоссе. Это было самое трудное, самое напряженное и, не удивляйтесь, счастливое время. Я ощутил свою силу, обрел уверенность, что могу бить любого врага. И эта уверенность никогда потом не покидала меня». Нечто подобное чувствовали, вероятно, и многие другие наши воины — участники великого сражения за Москву.

Глубокая ночь. В кабинете Сталина кроме него трое. У Берии красные, воспаленные глаза на бледном одутловатом лице. Настороженный, напряженный начальник Особого отдела РККА Абакумов. И ваш покорный слуга. Я редко встречался тогда с особистом, мало знал его, а он меня — еще меньше. Осторожен он был, любил перестраховаться. Власик однажды намекнул: интересуется, мол, вами Абакумов. «Спрашивал?» — «Да». — «А вы что? Посоветовали не совать нос?» — «Вроде бы начальство…», — уклончиво ответил Власик. А я предупредил: «Сообщите товарищу Сталину, иначе могут быть неприятности, и для вас в том числе». Сообразительный Власик, вероятно, таким образом и поступил. Не ведаю, как было, но при следующей встрече Абакумов почтительно вытянулся передо мной. Это уж слишком привлекало внимание к моей персоне. Пришлось еще раз предупредить через Берию.

В общем-то я был равнодушен к нему, такие, как он, исполнители появлялись в различных ведомствах, функционировали, исчезали почти бесследно. Рядовые граждане-товарищи, взаимозаменяемые. Но — каждый сверчок знай свой шесток. Абакумов же со своей подозрительностью вклинивался куда не следует. Когда я вернулся из Мценска, Борис Михайлович Шапошников вроде бы бесстрастно, подавляя возмущение, рассказал мне вот о чем. Рано утром 5 октября в воскресенье два летчика 120-го истребительного полка Московской зоны обороны, возвращаясь с задания, заметили две длинные колонны, приближавшиеся к Юхнову. Что за войска? Сделали круг и убедились — идут немецкие танки и мотопехота.

В Москве, в штабе ВВС округа, летчикам не очень-то поверили. Юхнов — глубокий тыл, откуда там гитлеровцы? Командующий ВВС округа Николай Александрович Сбытов послал на Юхнов для уточнения очень опытного летчика, майора, и в то же время сообщил о случившемся по начальству и в Генеральный штаб. Шапошников, кстати, тоже засомневался: танки, мотопехота — полная неожиданность, прямая угроза Москве! Но дополнительная разведка подтвердила: да, две колонны приближаются к Юхнову.

Сталин спал. Шапошников сам принял экстренные меры. Готовились для выдвижения навстречу врагу несколько воинских частей. Летчики установили наблюдение за колоннами. Командованию ВВС было приказано задержать противника ударами с воздуха. Для этой цели было выделено несколько сотен самолетов. Вероятно, массированный налет остановил бы немцев, а может быть, вообще сорвал бы их замысел. Но… В 14 часов за генералом Сбытовым пришла машина. Генерала доставили к Абакумову. А тот заявил: все намеченные мероприятия отменяются до выяснения обстановки. Летчики — паникеры, они приняли за немцев своих. Потому что фашистов там просто не может быть. Не должны быть там гитлеровцы!.. Веский довод.

К чести Николая Александровича Сбытова надо сказать — он не дрогнул перед главным особистом Красной Армии. К этому времени пятеро летчиков подтвердили, что немцы идут на Юхнов, а он верил своим людям. И готов был ответить за них.

Протоколируемый разговор или, вернее, полуофициальный допрос продолжался недолго. Абакумов на всякий случай обзавелся спасительным для него документом. Он, дескать, сомневался, предостерегал от паники, от того, чтобы нанести удар по своим. А Сбытов до конца выдержал характер. Он не просто подписал протокол, а запечатлел на ответственном документе следующее: «Последней разведкой установлено, что фашистские танки находятся уже в районе Юхнова, к исходу 5 октября город будет занят ими». Очень большое мужество, очень большая боль за судьбу Отечества требовались для того, чтобы написать такие слова. Что было бы с генералом, если бы немцы в тот день не заняли Юхнов?! Но они, увы, заняли этот важный опорный пункт на дороге к Москве. Не встретив сопротивления, не подвергшись ударам сотен бомбардировщиков, уже готовых для вылета.

Виновник один — Абакумов. Не удержаться бы ему на посту, не сносить бы головы, узнай обо всем Иосиф Виссарионович. Но как раз тогда он заболел, на двое суток вышел из строя, а когда выздоровел, юхновская история уже потеряла остроту, отодвинулась в прошлое, заслоненная новыми.

В ту ночь, о которой сейчас говорим, Абакумов докладывал о действиях немецких диверсантов, войсковой и агентурной разведки в нашей прифронтовой полосе и в Москве. Подчеркнул, что последнее время немцы проявляют повышенный интерес к району дач на Успенском шоссе от Барвихи, от Жуковки до деревни Борки. Иосиф Виссарионович обратил на это внимание:

— Может быть, они ищут и стремятся уничтожить наши зенитные батареи? Может, они ищут штаб Жукова? (Штаб Западного фронта разместился тогда в густом лесу неподалеку от станции Перхушково, в небольшом военном городке с таким же названием).

— По нашим данным, местонахождение штаба противнику неизвестно. Там надежная маскировка, надежная система охраны. Немецкая разведка не проявляла себя. А в районе дач уничтожены две группы диверсантов. Дважды в Горки Вторые пытались прорваться мотоциклисты. По проселкам, по лесным дорогам. Один раз со стороны Звенигорода, а другой — из-за реки, через Уборы и Дмитровское. Только бдительность наших…

— Цель? — прервал Абакумова Сталин. — Что нужно немцам?

— Предположительно: захват руководителей партии и правительства или членов их семей. Захват документов, в том числе и личных.

— Молотов, Микоян предупреждены?

— Так точно.

Сталин прошелся по кабинету, остановился перед Берией:

— Эти дачи не должны достаться врагу. Но уничтожать их пока преждевременно. Только в крайнем случае. И пусть каждый отвечает за свою дачу. Товарищ Берия — за свою, мы с Николаем Алексеевичем тоже. А дачу товарища Микояна можно превратить в надежный опорный пункт на перекрестке дорог. Посадить туда гарнизон с пушками и пулеметами.

— Там есть наше подразделение.

— Ваши люди — охранники, а не солдаты, а там нужна настоящая пехота и артиллеристы.

Отпустив Берию и Абакумова, Иосиф Виссарионович предложил мне:

— Николай Алексеевич, поезжайте на Дальнюю дачу, позаботьтесь, чтобы там все было в порядке.

— Не думайте больше об этом.

Он удовлетворенно кивнул. Он знал, что я хорошо понимаю его, и безоглядно доверял мне. А я был доволен, что освобождаю Иосифа Виссарионовича хотя бы от некоторых второстепенных забот.

Короткий тусклый денек угасал, когда я выехал на Успенское шоссе. Дорога, перегороженная кое-где рядами ежей, была пустынна. Предупрежденные заставы без проверки пропускали мою машину. Большая застава была возле Барвихи, а дальше, до поста № 1, вообще никого. Ветер трепал ветви придорожных лип, сбивая последние листья. На вершинах оголенных деревьев чернели грачи. Остывшее, расплывшееся солнце появилось на несколько минут в разрыве серой пелены и, не порадовав и не обогрев, утонуло в непроглядной хмари.

Решил заночевать на своей дачке. Соскучился по уютному гнезду. А уж с утра, при свете, разобраться с делами на сталинской даче. В домике под старыми соснами — промозглый холод. Дочь моя и экономка с конца лета жили в Москве, иногда наезжая сюда по выходным дням. Сторож ушел в армию, его жена с детьми перебрались куда-то к родственникам, то ли в Калчугу, то ли в Лайково. И соседние дома были пусты. С наступлением темноты — ни одного огонька (затемнение), ни голоса, лишь уныло, с подвывом, жаловались на судьбу брошенные голодные собаки.

Когда истопил печку, оттаяли, появились в доме родные, привычные запахи. Будто бы даже звуки ожили. И затосковал я. Вот ведь странно: редко вижу свою дочь, занятый делами, бывая в поездках. И ничего: помню постоянно, но не скучаю. Даже когда один где-нибудь в гостинице, в чужом доме, в вагонном купе. Но если оказываюсь без дочери там, где бывал с ней, — не могу, задыхаюсь от грусти. Вижу ее, слышу ее, не могу без нее. Особенно на даче, где все связано с ней, все проникнуто ее теплом, ее звучанием. Такая грусть, такая тоска и охватили меня, когда оказался в пустом доме, оглушенный тишиной, одиночеством, воспоминаниями. Готов был вернуться в город, побыть с дочерью, помолчать рядом с ней. Но машину отпустил до утра.

Откинув светомаскировку, долго сидел у окна, прислонясь лбом к холодному стеклу, глядя на клумбу, на смутно черневшие, побитые заморозками цветы, еще недавно такие яркие, душистые, беззаботные. И думал: увижу ли еще весеннюю прелесть, летнюю, животворную красоту?! Ну, я-то уж так-сяк, насмотрелся. А молодые?! Следующий день выдался столь же хмурым, как и предыдущий. Небо было затянуто плотным, серо-грязным сукном окопной шинели. Накрапывал дождик, перемежавшийся редким снежком. Машина с двумя охранниками пришла часов в десять. На этот раз Успенское шоссе не было пустынным, как вчера вечером. В лесах обочь дороги можно было заметить военных. На шоссе — беженцы. Горько было смотреть на них. Навстречу нам брели женщины, дети, старики с узлами и чемоданами, усталые, грязные, прокопченные дымом костров. Гнали отощавших коров, коз. На тележках везли остатки домашнего скарба. Особенно трудно было людям преодолевать спуск к Медвенке у дачи Микояна, а затем крутой подъем к Калчуге.

Скользили, падали. Там встретился нам эвакуировавшийся детский дом. Измученные воспитательницы тащили на себе груз — продукты. Ребята постарше несли на руках малышей, закутанных в шали, в платки, в куски материи. Шли привычно, вероятно, не первые сутки, без голосов, без плача. Сердце защемило. Приказал водителю сделать несколько ездок, перебросить всех детей к станции Усово, а сам с охранниками пошел на микояновскую усадьбу. Там было все в порядке. Хозяйственная семейка перебиралась в Куйбышев, подальше от войны, с собственными запасами. Во дворе загружали две полуторки. В одну — бочонки и бочки. В другую — мешки. Работники бережно несли из подвалов ящики со стеклянными банками — варенье. Воинское подразделение для обороны дачи-крепости еще не прибыло, и мне нечего было там делать.

В Горках Вторых обратил внимание на людей, тащивших стулья, столы, оконные рамы, двери, какие-то объемистые узлы. Это были явно не беженцы.

— Курочат, — ухмыльнулся шофер. — Лучше уж своим, чем немцу достанется.

— Правь туда, откуда несут.

Вскоре за Горками — знакомый поворот вправо, мостик через овраг, скрытый в лесном массиве забор. Всегда запертые массивные ворота, преграждавшие путь к роскошной молотовской даче, были распахнуты настежь, оттуда и тянулась цепочка людей, тащивших добычу. Одни — по шоссе к Горкам. Другие сворачивали на Знаменское. Рослые, крепкие бабы пересекали дорогу, направляясь к большому двухэтажному дому в зарослях: бывший хутор, превращенный в совхозное общежитие. Эти несли не барахло, а кур и визжавших поросят, окорока и бутыли с вином.

Молотовский дворец на поляне над рекой, с красивым белоколонным фасадом, зиял теперь черными проемами окон и дверей. Тускло блестели в пожухшей траве осколки стекол. Валялись затоптанные в грязь бумаги и книги. Молча, воровато, не показывая лиц, сновали окрестные жители — грабили. Первым желанием моим было разогнать их, но тут же подумал: может, действительно, пусть своим достанется, чем фашистам. Да и бесполезно гнать: я уеду, а они опять возникнут здесь, как черви на разлагающемся трупе.

Нет, наверно, не сдержал бы я гнева, если бы не одна картина, отвлекшая внимание, поразившая меня. Правее крыльца стоял, опираясь на клюку, сутулый старик в заскорузлых сапогах, в истертом, с клочьями шерсти, кожушке, в ветхом картузе, надвинутом на седые брови, под которыми настороженно, зло поблескивали глаза. Он не просто стоял, он охранял вынесенное из дома и прислоненное к стене высокое, в рост человека, трюмо в дорогой, черного дерева, резной оправе. А в чистейшем этом зеркале отражалась тусклая река, невысокий песчаный обрыв противоположного берега, издырявленный гнездовьями ласточек, и плоский обширный луг, и широкий, возвышающийся простор между Уборами и Грибановом, и зубчатая кромка леса, замыкавшая горизонт. А на фоне этой красоты, на первом плане, две женщины, не поделившие полосатый матрац, тянувшие каждая на себя, с перекошенными злыми лицами. И по-городскому одетая девочка, как куклу, прижимавшая к груди большую белую статуэтку…

Замер я, потрясенный. Ведь это же все было, было давно, в такой же вот осенний день, когда крестьяне растаскивали, разоряли родовую усадьбу моей милой жены Веры. И белоколонный дворец и прекрасный пейзаж,

отраженный венецианским зеркалом, и грабеж, разгром, дикость на фоне умиротворяющей вечной природы. Только тогда грабили как-то откровенней, азартней, без смущения, без боязни расплаты. Но суть — все та же.

Я не стал вмешиваться. Может, надо было пройти по комнатам, по кабинетам, посмотреть, не осталось ли важных бумаг. Но это заняло бы слишком много времени. Да и следовало предполагать, что опытный политик и дипломат Молотов позаботился не бросить тут, на радость врагу, секретные документы.

Лишь в полдень оказался я, наконец, на Дальней даче. Несколько охранников, находившихся там, обрадовались моему появлению. Немцы-то приближались, были уже на Нарских прудах, а от Власика не поступало никаких указаний. Взрывать ли дом, сжечь ли постройки? И когда, кому?

Обитатели дачи разлетелись кто куда. Светлана, бабка ее Ольга Евгеньевна Аллилуева, няня Шура Бычкова, относившаяся к детям Сталина, как к родным, — все уехали в Куйбышев. Сергей Яковлевич Аллилуев — в Тбилиси. А здесь, в просторном доме, в сосновом лесу между двумя дорогами, было спокойно, царствовала осенняя тишина, нарушаемая лишь приглушенным постукиванием металла о металл. Это в подвале, в слесарной мастерской Сергея Яковлевича, продолжал в одиночку трудиться давний напарник Аллилуева из местных жителей. По фамилии, кажется, Бовин. Обычно они вместе с удовольствием ремонтировали примусы, велосипеды, даже часы. Два мастера на все руки. А теперь Бовин восстанавливал невесть как попавший к нему ручной пулемет Дегтярева, запросто называемый в войсках «дегтярь». Бовин почему-то решил, что я выдворю его с дачи, и сразу заявил, что никуда не уйдет. У него есть оружие (ремонтируемый РПД), и, если появятся немцы, сможет постоять за себя, уж одного-то фашиста пристрелит, и это будет его вклад. А в армию его не берут по здоровью. Я успокоил пожилого мастера.

Пообедали вместе в столовой, за большим столом, где усаживалось прежде много народа. Теперь были охранники, Бовин, три минера и я. Оказывается, повариха Настя, жившая в соседней деревне, продолжала дважды в день кормить обитателей дачи. Готовила она превосходно. Подала нам щи из квашеной капусты с грибами, а на второе жареную картошку со шкварками. Мы ели с аппетитом, а она, скрестив руки под грудью, прислонившись к дверному косяку, грустно смотрела на нас. Спросила, как ей быть. Все уехали, а про нее забыли, но если придут немцы, то как же она. Ведь числится в органах, у нее воинское звание… Я дал ей два телефона по ведомству Власика. Поколебавшись, дал еще и свои координаты, зная, как поморщится Иосиф Виссарионович, если узнает об этом. Не хотел он раскрывать меня. К счастью, немцы до тех мест не дошли, повариха моим адресом не воспользовалась, но об этой женщине мы еще вспомним, когда будем говорить о попытке гитлеровцев физически уничтожить Иосифа Виссарионовича.[50]

После обеда мы с охранниками и Бовиным осмотрели весь дом, начиная с чердака до подвала. Обнаружилось довольно много различных бумаг, в том числе написанных рукой Иосифа Виссарионовича. Наброски статей, несколько неотправленных почему-то писем Светлане. Наверное, черновики. И письма Светланы, адресованные отцу. Детские, наивные письма, но все же… Ничто не должно было попасть в руки гитлеровцев. А уничтожить жалко.

Поступил таким образом. Все бумаги, написанные рукой Сталина, все письма от него или к нему завернул в клеенку, затем в бумагу. Довольно большой пакет получился. Взвесил на безмене и отправил с одним из охранников в Москву на имя Поскребышева. А уж он разберется. Надо бы Власику, но тот находился в Куйбышеве, готовил там место для работы и надежное убежище для Сталина — на всякий случай.

Всю остальную документацию, показавшуюся мне второстепенной, уложили в зеленый ящик (не помню, металлический или деревянный). Рассуждал так. Если на даче будет бой, все разрушится, землю изроют разрывы. А где безопасней, где памятное место? С тыльной стороны ограды осталась когда-то грудка неиспользованных кирпичей. Ее присыпали землей. Выросла трава. Этакий зеленый холмик, довольно приметный. Возле него и закопали мы ящик.

По совести говоря, в череде важных событий забыл я о той захоронке. Но вот почти через два десятка лет после смерти Сталина пришел ко мне на дачу совсем уже старый Бовин. И рассказал вот что. Он, мол, иногда собирает малину в лесу, с северо-западной стороны Дальней дачи. Грибы попадаются. И несколько раз встречал там высокого худого человека с какими-то ненормальными, испуганными глазами. Тот шарахался и исчезал. А в руках-то был тонкий стальной щуп, которым он вонзал в землю в разных местах. Разыскивал что-то?

Я заинтересовался, вспомнил о ящике, о свидетелях захоронения. У меня хватило сил дважды съездить туда и дойти до ограды дачи. В малиннике, в лесу я никого не встретил и памятного бугорка не нашел. Вроде бы ясно представлял, где он, помнил, сколько шагов от калитки в заборе. Но за многие годы все изменилось, что-то стерлось, вырубались старые деревья, росли новые. Появились другие холмики, другие ямы…

В общем, провозился я на Дальней даче до сумерек. А когда начало вечереть, меня позвал к воротам охранник: какой-то майор, дескать, подъехал на машине и вас спрашивает. Да кто бы это мог быть?! Оказывается, командир 193-го зенитно-артиллерийского полка Михаил Геронтьевич Кикнадзе собственной персоной. Каким-то образом ему стало известно, что я нахожусь в зоне, где расположены его батареи, и он не мог лишить себя радости увидеться — по его словам. Хотя главным скорее всего было желание узнать новости, определиться в необычной, неясной обстановке, когда враг рядом, когда неизвестно, что в Москве. И я был доволен встречей с хорошо знакомым боевым комполка.

Поехали к нему на командный пункт. Там я первый и последний раз в жизни стал свидетелем того, как зенитные орудия готовили для борьбы с танками. Мне, разумеется, был известен приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 12 октября 1941 года, параграф первый которого гласил: «Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи отражения воздушного противника быть готовыми к отражению и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника…»

В ту пору приказы и указы принимались не с бухты-барахты, не для того чтобы очиститься перед современниками и историей, а для неукоснительного исполнения. На зенитные орудия надевали щиты. В автомашины, которые должны были доставить эти орудия с боевыми расчетами к недалекой (Нара!) линии фронта, грузили бронебойные снаряды.

— Михаил Геронтьевич, жаль отпускать орудия? Не ослабит ли это противовоздушную оборону столицы? — поинтересовался я мнением командира полка.

Он ответил спокойно, как говорят про обдуманное:

— Мы понимаем необходимость, хотя, конечно, жаль… Расчеты сработавшиеся, обстрелянные, накопившие опыт ведения огня по воздушным целям. А в наземном бою надо все познавать заново. Но мы посылаем лучших. Они быстро освоятся.

— Посылаете, рискуя ослабить себя? — повторил я вопрос.

— В какой-то степени. В смысле уменьшения количества боевых единиц.

— Это как раз восполнимо.

— А насчет людей наверху пусть не беспокоятся. Мы проучили противника. Начиная с третьего октября немцы активных действий в нашей зоне не ведут. Пытаются прорваться лишь отдельные самолеты или мелкие группы. Восемнадцатого числа сбили «юнкерс» над Баковкой… Они не рискуют летать, а мы в это время готовим наших зенитчиков по всем специальностям. Люди у нас есть, мы ко всему готовы. Давайте нам только технику…

Наступившая ночь была в общем-то тихой, хотя подморозило, в разрывах туч появились звезды: погода благоприятная для летчиков. Вероятно, немецкая авиация полностью была задействована на фронтовой линии, фашистам уже не хватало сил для одновременных ударов по войскам и по нашим тылам. Мне тогда довелось наблюдать удивительную картину. Пожалуй, я вообще слишком восприимчив, чувствителен к световым эффектам, к оттенкам красок, может, получился бы и художник (на высокое звание живописца не посягаю, но не уступил бы малеваниям представителей всяких там «измов»). Не было времени, не было возможностей основательно испытать себя в этом отношении. Если и оставил несколько реалистических пейзажей Подмосковья, района «особых дач», то лишь для семейного пользования.

А тогда, осенним поздним вечером и наступившей ночью, с холма, с командного пункта полка, мы видели вот что. На западе, на большом пространстве, между Акуловом и Звенигородом, полыхали тусклые красноватые всполохи пушечных выстрелов. Но это лишь слабый, колеблющийся фон. Ярче вспыхивали желтые, почти золотые. Шарики — разрывы зенитных снарядов. И все это — в мрачной темноте, озарявшейся довольно продолжительным голубовато-мертвенным светом, который источали шары медленно опускавшихся осветительных бомб. После такой картины любая фантастика покажется заурядной реальностью.

Не знаю, о чем думал тогда Кикнадзе, а я вспоминал лишь одно обстоятельство. Четыре месяца назад мы с Иосифом Виссарионовичем стояли на Катиной горе и были приведены в недоумение взрывами на Нахабинском полигоне. Тогда фронт под Москвой казался совершенно нереальным. Сто двадцать дней назад. А теперь с возвышенности чуть западнее Катиной горы видел отблески пушечных выстрелов, слышал гул моторов вражеских самолетов.

Примерно в то время поэт Семен Кирсанов (если не ошибаюсь) написал самую первую поэму об Отечественной войне. Называлась она кратко — «Фронт» и была напечатана в одном из толстых журналов. Это не шедевр, чувствовалась торопливость, недоработка, неточность формулировок. Но, как говорится, дорого яичко к Христову дню. Оптимистическое, вдохновляющее произведение очень нужно было именно тогда, в тот

тяжелый период. К тому же броско, взволнованно было написано, с реальными картинами, с переживаниями, характерными для тех дней. Даже с особым, каким-то грохочущим, звуковым ладом. Во всяком случае, поэма произвела впечатление на Иосифа Виссарионовича (он даже тогда успевал читать), и мне понравилась. Я возвращался к ней несколько раз, запомнились целые главы. Теперь поэма эта прочно забыта, появилось много других, но мне хочется воспроизвести выдержки из нее (по памяти, с возможными ошибками), чтобы читатель лучше представил себе обстановку сентября — ноября сорок первого года.

В осеннем небе плавал вой, Ноющий, хриплый, надоедный. В рокоте хриплом отзвук медный. В трех километрах над Москвой Ищет МоГЭС крылатый боров. В кабине аса блеск приборов. В искателе плывут дома, Подернутые сизой тучей. Контрастная мигает мгла При свете молнии падучей. Ас ловит землю в объектив, Перчаткой ручку обхватив. Вот заданный к бомбежке сектор, Дугой — блестящая река, Но, как гигантская рука, Протягивается прожектор Цум тойфель — двести килограмм, Свист — и далекий взрыв заряда. Плывет к подлунным берегам Шмутц — летчик первого разряда. Он рад, что сброшен полный груз. К девчонкам заберется завтра Убийца живописных муз На круглом потолке театра. Теперь и выплыть нипочем. Но луч смыкается с лучом, И цокот раздается быстрый, И по лучу цветные искры Бегут в исчерченную ночь. «Скорей, скорей из света прочь!» Но водят, как жука на нитке, Его жестокие лучи, И, хлопая, пекут зенитки Московской кухни калачи. А калачи-то горячи, Как говорит зенитчик Хромов. А Хромов зорок и хитер. Он посылает гром за громом В белесоватый метеор. Поправка: выше, ниже, точно! Взрыв, дым, дыра, багровый хвост! И на окраине восточной Лежит завоеватель звезд!

Ну, все, как было!

Вернувшись в Москву, я рассказал Иосифу Виссарионовичу о положении на дачах. Более подробно говорили мы о противовоздушной обороне столицы, о явном спаде активности немецкой авиации. Пытались понять, чем вызвано и долго ли будет продолжаться такое затишье. Это, естественно, интересовало и заботило все наше военное и политическое руководство, но особенно задумывался над этим Иосиф Виссарионович: ему предстояло решать, проводить ли, как всегда, ноябрьский революционный праздник в Москве или отмечать традиционную годовщину иначе и в каком-то другом месте?!

Да, несколько слов еще о введении с 20 октября осадного положения в Москве и в прилегающих к городу районах. По разному пишут о принятии Государственным Комитетом Обороны этого постановления. Мне запомнилось вот что. Вечером 18 октября в кабинете Сталина собрались Молотов, Маленков, Берия, Щербаков, Пронин, еще кто-то. Сталин не обсуждал с ними, следует или нет защищать Москву. Это вовсе не было чем-то вроде кутузовского «совета в Филях». Ранее поговорив с Жуковым, с Шапошниковым, со мной, Иосиф Виссарионович пришел к твердому решению драться за столицу до последней возможности, сковывая здесь силы врага, подтягивая войска для контрударов. Сталину требовалось только документально оформить свое решение и наметить конкретные организационные мероприятия. О них он и говорил с собравшимися. Настроен был категорично:

— Время не терпит малейшего промедления! — и к Маленкову, который сидел крайним, ближе к нему: — Пиши постановление о введении осадного положения.

Я находился в комнате за кабинетом и невольно улыбнулся, услышав слова Сталина. Это Маленкову-то, сугубо штатскому человеку, штафирке, столь чрезвычайное постановление сочинять?! Он и представления не имеет, что такое осадное положение. Засопел, запыхтел волнуясь. Ну, этот наработает!

Сразу же быстро, крупными буквами, начал набрасывать проект. Конечно, писал в спешке, получилось не очень логично, однако и форма была соблюдена, и все основные положения определены. При этом еще и слушал, о чем говорят в кабинете, дабы не упустить чего-либо существенного. Справился с делом быстрее Маленкова, передал листы Поскребышеву, тот вошел в кабинет и положил их на стол Иосифа Виссарионовича — перед глазами, через несколько минут Сталин обратился к Маленкову:

— Готово? Читайте.

Тот начал примерно так:

— Товарищи! В связи с тем, что полчища ненавистных фашистских поработителей, несмотря на огромные и всё возрастающие потери, продолжают изо всех…

— Хватит! — резко оборвал его Сталин. — Не то. Будто волостной писарь… Совсем не то… Пиши так… — И принялся медленно, чуть склонясь над столом, читать мой текст, внося небольшие поправки: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 километров западнее Москвы поручена командующему Западным фронтом генералу Жукову». Далее: оборона подступов к городу и самого города возлагалась на начальника гарнизона Москвы. Затем абзац, мотивирующий необходимость ввести осадное положение. И соответствующие пункты.

Один из пунктов Иосиф Виссарионович усилил. У меня было: «Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала». Сталин же еще раз почти дословно повторил то, что уже было во вводной части: «а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Это было существенное добавление, дававшее неограниченные права нашим военным, сотрудникам НКВД, добровольческим рабочим отрядам. И тогда это, действительно, было необходимо.

Упоминаю об этом эпизоде не в укор Маленкову, нет. Такова была моя служба, таковы были мои обязанности, не определенные никакой инструкцией, исходившие каждый раз из конкретной обстановки. Не перестаю удивляться той огромной, напряженной работе, которую в очень короткий срок проделали Генштаб, Верховное Главнокомандование, сам Иосиф Виссарионович. Из ничего, казалось бы, из лоскутов и осколков, был создан на подступах к Москве новый шестисоткилометровый фронт. Всенародную известность получили наши славные военачальники, сражавшиеся под Москвой, такие, как Рокоссовский, Говоров и особенно Жуков, с именем которого вообще связывают спасение нашей столицы. Ну, по славе и честь. Только для того чтобы сражаться, им нужны были войска, а таковых не имелось.

Ставка и Генштаб бросали навстречу противнику все, что могли: курсантов, зенитчиков, ополченцев, остатки разбитых, отступивших частей. Выиграть хотя бы часы! Василевский, Шапошников, Сталин забыли об отдыхе, засыпая на самое короткое время у себя в кабинетах. И результаты сказались. За несколько суток из резерва Ставки и с других

фронтов под Москву было переброшено ни много ни мало — 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад и 40 артиллерийских полков. Наши военачальники получили в свои руки реальную силу. На какой-то срок мы прикрыли три основных направления: волоколамское, можайское, малоярославецко-калужское, однако совсем остановить катившуюся на нас вражескую армаду эти войска не могли. Они таяли в боях, но их упорство позволило нам подтягивать на опасные участки другие дивизии. Из Сибири, даже Дальнего Востока. У новых, свежих соединений был существенный недостаток: они еще не участвовали в сражениях, а сталкивались с опытнейшими, привыкшими к победам, самоуверенными фашистскими солдатами и офицерами. Иосиф Виссарионович понимал это, по мере возможности стараясь скрепить новые блоки во фронтовой линии надежным цементом испытанных, закаленных войск, но таких у нас было тогда очень мало. Это ведь Сталин по своей инициативе перебросил отличившуюся под Орлом танковую бригаду Катукова на опаснейшее волоколамское направление, значительно усилив тем самым пехоту Панфилова и конницу Доватора. Туда же, кстати, была направлена еще одна, только что созданная танковая бригада, но она в отличие от катуковцев не оказала заметного влияния на развитие событий. Действовала нерешительно, неумело, неся большие потери.

Я не напоминал Иосифу Виссарионовичу о «пожарной команде», о кавкорпусе Белова, не раз спасавшем положение на Южном и Юго-Западном фронте. Сталин сам помнил, сам вместе с Шапошниковым принял решение о переброске корпуса под Москву, понимая, разумеется, что ослабляет тот участок, на котором действовал корпус. Приведу полную запись переговоров по прямому проводу генерал-майора А. М. Василевского с начальником штаба Юго-Западного фронта П. И. Бодиным в ночь на 28 октября 1941 года. Эта запись не только говорит о нашем тогдашнем положении, но и характеризует стиль руководства высшего командования, самого Сталина.

«Бодин: Доложите товарищу Василевскому, что маршал товарищ Тимошенко болен, подойти к аппарату не может. На узле связи генерал-майор Бодин… Здравствуйте, слушаю вас.

Василевский: Здравствуйте, товарищ Бодин. Москва нуждается в срочной помощи конницей. Ставка Верховного Главнокомандования просит военный совет фронта, не может ли он для этой цели перебросить под Москву свой 2-й кавкорпус… Прошу сейчас же выяснить мнение военного совета по этому вопросу и сейчас же передать его мне для доклада Ставке.

Бодин: Прошу минут 15–20 для доклада маршалу… Пошел докладывать… У аппарата ли товарищ Василевский? Товарищ Василевский, я доложил маршалу и получил следующий ответ: «2-й кавкорпус в течение 17 дней ведет беспрерывные бои и нуждается в пополнении боевого состава. В связи с общей обстановкой главком не считает возможным передать его в ваше распоряжение». Все.

Василевский: Хорошо. Сейчас иду докладывать товарищу Сталину… Чем болен маршал? Что с ним?

Бодин: Болен ангиной и на воздух не выходит…

Василевский: Прошу немедленно доложить товарищу маршалу следующую записку товарища Сталина: «Передайте товарищу маршалу, что я очень прошу его согласиться с предложением Ставки о переброске 2-го кавкорпуса в распоряжение Ставки. Я знаю, что это будет большая

жертва с точки зрения интересов Юго-Западного фронта, но я прошу пойти на эту жертву. Сталин. 24 ч 00 м». Бодин: Все ясно, иду доложить лично…

Бодин: Докладываю ответ маршала: «Мне не жаль отдавать 2-й кавкорпус для обшей пользы. Однако считаю долгом предупредить, что он находится в состоянии, требующем двухнедельного укомплектования, и его переброска в том виде, в каком он находится, ослабляя Юго-Западный фронт, не принесет пользы и под Москвой…»

Василевский: Товарищ Бодин, сейчас ответ маршала доложу товарищу Сталину… Прошу принять и доложить ответ товарища Сталина: «Товарищ Тимошенко! Составы будут поданы. Дайте команду о погрузке корпуса. Корпус будет пополнен в Москве. Сталин». Все. Передал Василевский».

Помните, где встретил 2-й кавалерийский корпус войну и какой трудный путь прошел он под руководством талантливого генерала Белова?! От границы с Румынией до излучины Днепра, затем под Киев, в район Штеповки. Многих он выручал, а сам ни разу не был бит, не отходил без приказа, сохранив свое спаянное боевое ядро. Сравнительно небольшой орешек, но крепчайший орешек. Другого столь закаленного соединения у нас тогда просто не было. И вот приказ — на защиту столицы!

О переброске кавалеристов я узнал, когда распоряжение было уже отдано, когда первые эшелоны корпуса двинулись со станции Новый Оскол на север. Меня проинформировал Василевский. А Сталин, считавший, что каждый специалист в своей отрасли должен знать все, предпочитал не объяснять, а сразу приступать к делу, по народному выражению, брать быка за рога.

— Николай Алексеевич, вы хорошо знаете генерала Белова, бывали у него в корпусе, вам и карты в руки. Корпус сосредоточивается в районе станции Михнево, поезжайте туда. На двое суток. Белова надо пополнить людьми, вооружением, конским составом.

— Не так-то просто, особенно с лошадьми. Люди есть. Маршевые эскадроны готовы в Коврове, в запасном полку.

— Товарищи Щаденко и Хрулев получили указания обеспечить все… Ваша задача, Николай Алексеевич, выяснить, в чем нуждается корпус, и добиться, чтобы требования были удовлетворены. Кавалеристы хорошо воюют с фашистами, но с нашими снабженцами воевать не привыкли, а это не намного легче. Так что помогите им.

— Перспектива использования корпуса?

— Поступает в распоряжение командующего Западным фронтом товарища Жукова. Для действий в районе Серпухова и севернее. Там возможен наш контрудар. По обстановке. Хочу предварительно побеседовать с товарищем Беловым, хочу посмотреть на этого непобедимого генерала, — чуть усмехнулся Иосиф Виссарионович.

— Когда?

— После того как корпус будет укомплектован и получит задачу… после ноябрьского праздника, — уточнил Сталин.

7

Нас хоронили. Во всем мире. Все люди, хотя бы малость следившие за обстановкой. Картина представлялась однозначной. Немцы блокировали и вот-вот задушат северную столицу России. На юге вышли к устью Дона, открыли ворота Кавказа. А главное — фашисты достигли порога Москвы и

уже занесли ногу, чтобы переступить его. И все, конец Советской стране. Ведь Москва не только важнейший узел дорог, не только огромная промышленная база, но главный политический центр, объединяющий многочисленные народы. Без этого центра государство рассыплется на национальные территории, не имеющие значения ни в военном, ни в экономическом отношении. Москва — наследница Древнего Рима, Москва — это третий Рим, а четвертому, как известно, не бывать, сие историей предусмотрено.

Советская столица была надеждой и оплотом мирового коммунизма, интернационализма, всех тех, кто боролся против эксплуатации человека человеком, против колониального рабства. Москва притягивала к себе стремлением к высшей цели, равенству, к братству, к счастью для всех. А в последнее время стала главным форпостом борьбы с фашизмом, главной преградой для смертоносной коричневой чумы, быстро распространявшейся по земному шару. И вот этот форпост — на грани гибели. Советы — на краю пропасти. Остался последний шаг, последний шажок.

С горечью и душевной болью, с затаенной надеждой на чудо смотрели на нас издалека соотечественники за рубежом, коммунисты, друзья-антифашисты. С огромной тревогой, со страхом, даже с ужасом воспринимали нашу трагедию союзники по борьбе с гитлеризмом, а это в основном англичане и североамериканцы, если еще точнее — англосаксы и евреи. Наше поражение лишало их всякой надежды на будущее, на выживание. Вот упрощенная, но реальная перспектива. После падения Москвы в войну вступают на стороне немцев Япония и Турция. Гитлеровцы захватывают большую часть России, примерно до Енисея, Ближний Восток, Среднюю Азию. Японцы — всю остальную Азию. Весь огромный евразийский сверхматерик с его неисчислимыми природными и огромными людскими ресурсами оказывается в руках немецких фашистов и японских милитаристов. Значит, полное господство в мире. Но ведь и это еще не все. Италия и Испания захватывают Северную Африку и распространяют свое влияние на Латинскую Америку, где и прежде имели сильные позиции — ведь там господствуют испанский и португальский языки. Против англосаксов — народы всех колониальных стран, которых долго эксплуатировали заморские господа, особенно англичане. В том числе и огромная Индия, давно стремящаяся освободиться от колониального ига.

Можно было рассуждать о том, как поступят с теми или иными народами фашисты, добившись мирового господства. Одно не вызывало сомнений: нацисты уничтожат под корень тех, кого они считают своими исконными, ненавистными, непримиримыми врагами — евреев. И англосаксов, которых Гитлер считал плутократами, беспринципными торгашами, подонками. И, что тоже очень важно, — главными, постоянными экономическими и политическими конкурентами немцев. Такая вот участь грозила англосаксам и евреям: все зависело теперь от исхода войны в России, многое решалось в великом сражении, развернувшемся на полях Подмосковья. Уинстон Черчилль, умный и дальновидный руководитель, напомнил в то время, что он был самым непримиримым борцом с большевизмом, с Советской Россией, но теперь готов всеми силами поддержать русских в схватке с фашизмом, так как от этого зависит будущее всего мира: быть ему свободным или погибнуть под пятой нацистов.

За победу Красной Армии молились в христианских храмах, в мусульманских мечетях, в синагогах. Спасибо, что хоть поддерживали нас перед Богом. Но, как уж не раз бывало в истории, тяжкая искупительная миссия опять легла на славян, главным образом на простого российского человека. Опять он, спасая цивилизованный мир, приносил в жертву себя.

Естественно, хоронила нас и фашистская пропаганда, хотя тон ее по сравнению с серединой октября стал несколько сдержаннее. Немцы кое-чему научились. Их пропагандисты по радио и через печать утверждали, что дни Москвы сочтены. На передовую приехали фоторепортеры, снимавшие вступление немецких войск в Афины, Амстердам, Брюссель, Париж, Осло, Варшаву, Копенгаген. Им была оказана высокая честь: запечатлеть для истории взятие армией третьего рейха русской столицы. И возможно, церемониальный марш немецких войск по знаменитой Красной площади. Теперь уже только «возможно». Потому что немецкие генералы понимали: борьба за огромный город и в самом городе способна затянуться на неопределенный срок. И уже появились сомнения: надо ли вообще вводить войска в столицу, ввязываться в тяжелые уличные бои, не лучше ли окружить Москву, задушить ее голодом, разбить снарядами и бомбами?! Однако Гитлер торопил. Гитлер хотел потрясти мир своим марш-парадом у стен Кремля. На фронт под Москву прибывали из Германии вагоны не с зимним обмундированием, а со специально сшитой парадной формой, в которой победители должны были маршировать перед кинооператорами по Красной площади.

Готовились, разумеется, и мы к своему традиционному празднику. Разрабатывались три варианта. При всех условиях торжественное заседание и парад войск должны были состояться в Куйбышеве (Самаре), куда эвакуировалась значительная часть государственных, партийных учреждений, редакции центральных газет, дипломатические представительства. Организацией торжественных мероприятий занимался Климент Ефремович Ворошилов, специально выехавший туда. У него имелся немалый опыт по этой части, можно было не беспокоиться.

Вариант второй, параллельный. Иосиф Виссарионович собрал в своем кабинете краткое совещание. Насколько я помню, присутствовали: командующий войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны генерал П. А. Артемьев, член военного совета округа и зоны генерал К. Ф. Телегин, первый секретарь Московского горкома партии, член военного совета Московского округа А. С. Щербаков, председатель Моссовета В. П. Пронин, несколько членов Политбюро. Не было Жукова — Иосиф Виссарионович беседовал с ним часа за два до этого совещания, Сталин сказал примерно так. Враг рядом, обстановка опасная, но это еще не значит, что мы должны отказаться от традиций. Наоборот, если столица торжественно отметит двадцать четвертую годовщину Великой Октябрьской революции, это поднимет боевой дух, укрепит веру в успех у советских людей и у наших сторонников за рубежом. Надо подумать, как и где провести заседание, позаботиться о полной безопасности. Есть также предложение: в первой половине ноября устроить возле Крымского моста небольшой смотр воинских частей, готовых к отправке на фронт. Об этом просят трудящиеся. Пусть москвичи увидят тех, кто их защищает. Должны быть представлены все рода войск.

Щербаков и Пронин подтвердили: действительно, поступают такие просьбы. Слово «парад» не было произнесено, однако собравшиеся руководители были достаточно опытны, чтобы уяснить суть дела. Не

случайно же присутствовал на совещании маршал Буденный, большой специалист по организации и проведению церемониалов. Генерал Артемьев спросил, возможны ли изменения сроков и места смотра воинских частей.

— Понимаю, — сказал Сталин. — Вы, товарищ Артемьев, готовя войска к смотру, хотите знать, не сможем ли мы провести их по Красной площади. Этот вариант не исключен, но пока только для нас, для присутствующих здесь. Все будет зависеть от обстановки. А теперь мы ведем речь о смотре в районе Крымского моста. О небольшом смотре перед отправкой на фронт. Думаю, меня правильно поняли все товарищи.

Решение было принято, но как трудно оказалось выполнить его! Ко многим нашим заботам прибавились еще и новые: в тайне для врага провести праздник в буквальном смысле под грохот канонады. Не знаю, чем и как занимались гражданские товарищи, а нам, военным, требовалось прежде всего изыскать войска для смотра и для парада, для второго или третьего варианта. И не только изыскать, но и хотя бы элементарно подготовить их к торжественному маршу, чтобы пехотинцы с ноги не сбивались, чтобы у машин моторы не глохли. В этой работе, в формировании парадных расчетов, я тоже принял некоторое участие.

Основой, костяком для наших военных парадов были всегда несколько частей и соединений, дислоцировавшихся в Москве и возле нее. Строевая подготовка, сколоченность подразделений, моральное состояние — все это постоянно было на очень высоком уровне. Имелась соответствующая форма, вооружение. То есть эти части можно было в любой момент выводить на смотр, на парад. Или в бой. Они теперь и были в бою. На Волоколамском шоссе, истекая кровью, отбивали танковые атаки остатки курсантских рот замечательного нашего училища имени Верховного Совета РСФСР. А ведь оно (начиналось училище с пулеметных курсов) участвовало, если не ошибаюсь, во всех предыдущих столичных парадах. Как и Московское Краснознаменное артиллерийское училище имени Красина. Они и теперь были вместе. Курсанты-артиллеристы поддерживали своим огнем курсантов-пехотинцев. Однако я знал, что один дивизион артиллеристов остался в Москве и продолжает заниматься. Это были курсанты, осваивавшие новое оружие, готовившиеся стать командирами «катюш». Привычные к строю, к смотру. Надежные. Я по своей инициативе посоветовал Семену Михайловичу Буденному не только привлечь их к параду, но и пустить первыми. Тот согласился и позвонил генералу Артемьеву.

Проще было с дивизией имени Дзержинского. Она хоть и отдала часть людей фронту, но пополнилась запасниками и сохранила свой состав. Теперь эта дивизия, не прекращая нести патрульную и караульную службы, срочно сколачивала сводные батальоны. «Парадники» до предела сил занимались строевой подготовкой, отрабатывая движение в длинных, по двадцать человек, шеренгах. Получали и подгоняли новое обмундирование.

Артиллеристы и дзержинцы стали основой предстоящего смотра или парада. К другим выделенным для этого войскам я отношения не имел, за исключением 31-й танковой бригады полковника А. Кравченко, только что сформированной во Владимире. 4 ноября, едва я вернулся со станции Михнево, где выгружались кавалеристы Белова, Семен Михайлович Буденный попросил меня съездить в Ногинск, где сосредоточивалась бригада. Беспокоился: что представляет собой это совсем новое

соединение, каковы люди, какова техника? Может, не то что на парад, на смотр допускать нельзя. А нас, людей, которые знали, какие требования надо было предъявить бригаде, знавших тайну предстоявших событий, по пальцам пересчитать. Мне понятна была тревога Семена Михайловича, и я поехал, продремав в машине весь путь до Ногинска.

Полковник Кравченко, как я понял, уже догадался: с бригадой происходит что-то необычное. Вместо отправки на фронт (было известно и время, и место) неожиданный марш по направлению к Москве, распоряжение усилить отработку совместного движения, маневрирования танковых взводов, рот, батальонов. Я сказал о возможном смотре войск возле Крымского моста, и это отнюдь не успокоило командира бригады. Техника-то у него была новая, хорошая, но еще не обкатанная. А главное, ни Кравченко, ни начальник политотдела бригады П. Тюрнев, ни другие командиры и политработники не знали людей, кто на что способен, кому что доверить и можно ли доверять вообще. При формировании тщательно отбирались лишь механики-водители: из бывших танкистов, шоферов, трактористов. Машина движется, значит, живет. А до членов экипажей, даже до командиров танков у командования просто руки не дошли, некогда было. Это я запомнил.

При мне «погоняли» по плацу машины. В простых условиях водители действовали вполне нормально. Я посоветовал использовать каждую минуту для сколачивания подразделений, для ознакомления с личным составом. И быть готовыми для перехода в Москву. С тем и уехал. В тот же вечер сообщил свое мнение Семену Михайловичу. Тот поблагодарил. Ничего лучшего у него под рукой не имелось — буквально на следующий день 31-я танковая бригада была переброшена в столицу.

На совещании, если помните, Сталин сказал: все будет зависеть от обстановки. А она складывалась, на мой взгляд, довольно благоприятно. По мнению Генштаба, противник, понесший значительные потери, не был способен в ближайшие дни предпринять крупное наступление. Немцы вынуждены были восполнить утрату в людях и технике, перегруппироваться, накопить боеприпасы, горючее. Бои за улучшение позиций, за отдельные населенные пункты существенного значения не имели и на наши планы повлиять не могли. Такой же была точка зрения командующего Западным фронтом Г. К. Жукова, чье слово в те дни было особенно весомым.

На земле сравнительно спокойно. Сложнее в воздухе. Мы уже говорили о том, что с 18 октября немцы не предпринимали массированных налетов на Москву. Их фронтовая авиация пробивала путь наземным войскам, а тяжелые бомбардировщики перебазировались на новые аэродромы, ближе к нашей столице. Прорывались или прокрадывались к Москве лишь одиночные самолеты, бомбовозы или разведчики. Я считал, что это продлится еще некоторое время, до начала нового вражеского наступления. Обычно немцы предпочитали бить массированно, используя сразу все средства. Однако 6 ноября произошло событие, заставившее нас основательно призадуматься. Выдалась хорошая погода. И едва рассвело, в небе появились вражеские самолеты. Около ста бомбардировщиков в сопровождении истребителей.

Фашисты рассчитывали, вероятно, на неожиданность. После большого перерыва, да еще в необычное время, утром, когда противовоздушная оборона отдыхает после ночного бдения. Но врасплох они нас не застали. Зенитчики встретили врага прицельным и заградительным огнем. Взмыли

наши истребители, в том числе те, которые были стянуты к Москве для парада. Однако и фашисты проявили упорство. В полдень подошла вторая волна, более мощная — около ста пятидесяти машин. И эта волна была рассеяна на подступах к столице. И не просто рассеяна: противник получил жестокий урок, наши зенитчики и истребители сбили тридцать четыре машины. Это много, очень много, от таких потерь не сразу оправишься.

Во второй половине дня Иосиф Виссарионович снова советовался с Артемьевым, Буденным, Щербаковым, со мной и с Жуковым по телефону. Вопрос стоял так: воспользовалось ли немецкое командование летной погодой, чтобы «поздравить» нас с нашим праздником, или знает, что в Москве готовятся традиционные торжества, и пытается сорвать их? Последнее казалось мне сомнительным: откуда врагу знать о параде, если даже у нас об этом не знал никто, даже само слово «парад» не употреблялось. И все же: не нанесут ли гитлеровцы завтра, в обычное для наших парадов время, массированный воздушный удар, бросив на Москву многие сотни самолетов, часть из которых прорвется к городу, к Красной площади… И погода опять же. Беспокойно, нехорошо было у меня на душе. А Иосиф Виссарионович был деловито-спокоен, сосредоточен. Он уже принял решение и не колебался.

В шесть вечера я приехал на станцию метро «Маяковская», где намечено было провести торжественное заседание Моссовета. Почему Сталин выбрал именно эту станцию, ведь были и другие, не менее надежно укрывавшие от авиабомб? Вероятно, потому, что она просторна, вмещает много людей. Так считалось. Но я-то знаю и другое. «Маяковская» — любимое детище личного советника Сталина по строительству Ильи Давидовича Гоциридзе: самое лучшее, пожалуй, сооружение, созданное под его руководством. Он привозил сюда Сталина, когда шли отделочные работы, советовался с ним. Вроде бы посвятил эту станцию Иосифу Виссарионовичу, тем более что и Сталину она очень нравилась. Он несколько раз приезжал полюбоваться ею. Поздно ночью, когда прекращалось движение. Впрочем, бывал он и в других подземных дворцах, гордясь тем, что они сооружены в его эпоху. И мечтал о дворцах надземных, вознесенных к небу, чтобы многие годы украшали столицу.

«Маяковская» была залита ярким светом. У бюста Ленина — букеты цветов. Рядами стояли две тысячи кресел, принесенных сюда из ближайших театров. Слева (если от центра) путь был занят вагонами с распахнутыми дверями. Там — буфеты. Чай и бутерброды с колбасой, сыром, с икрой и семгой. Но люди, дорогие наши москвичи, давно не евшие досыта, прибывшие сюда прямо с заводов, из институтов, учреждений, не очень-то стремились к притягательной еде. Не толпясь, степенно заходили в вагоны, брали один-два бутерброда, не спеша запивали чаем. А некоторые вообще не заходили, стеснялись, что ли?..

В общем, для торжественного заседания все было готово. Ровно в девятнадцать ноль-ноль справа появился поезд. Двигался он медленно и бесшумно, не все даже обратили на него внимание. Остановился. Из первого вагона вышли члены Политбюро, и среди них — Сталин. Следом — наркомы. Просто, деловито, без восторгов и приветствий заняли отведенные им места в президиуме. Только председатель Моссовета Василий Прохорович Пронин не справился с волнением: дрогнул голос, когда предоставлял слово Иосифу Виссарионовичу Сталину. Можно понять Пронина: заволнуешься, зная, что в такой ответственный момент

человеческой истории тебя слышит вся страна, друзья и враги во всем мире.

А вот мне выслушать тогда доклад Сталина не довелось. У меня и у ряда других товарищей, военных и гражданских, была особая задача. Мы разъехались по воинским частям, по райкомам партии, по предприятиям и учреждениям, руководители которых находились на торжественном заседании. Там ожидали их возвращения.

Все участники заседания остались в полной уверенности, что других праздничных мероприятий в Москве не будет. Никто не упоминал о демонстрации, о параде. Не вручали пригласительных билетов на Красную площадь. Более того, каким-то путем распространилось известие, что парад состоится в Куйбышеве. С тем и разошлись люди. Об этом в ту же ночь стало известно немецкой разведке, немецкому командованию. Наши чекисты гарантировали, что сведения попали к противнику по крайней мере по одному из каналов, не вызывавшему у фашистов никаких сомнений.

Порадовали синоптики, предсказав назавтра низкую облачность, снегопад. Хотелось бы верить.

Я находился в казармах, где разместился личный состав 31-й танковой бригады. В штабе, возле телефона. Сюда же пришел вернувшийся с торжественного заседания полковник Кравченко. Он не знал, кто я, но нетрудно было догадаться, что не зря торчит здесь генштабист.

Наконец — звонок. Как было условлено, говорил Буденный. Официально и коротко:

— Товарищ Лукашов. Действуйте. С двадцати трех ноль-ноль. — И, помолчав, добавил: — Ну, успеха, Николай Алексеевич.

8

Итак, за час до полуночи командирам воинских частей, готовившихся к «небольшому смотру в районе Крымского моста», было объявлено о завтрашнем параде. Соответствующие сообщения и указания получили райкомы партии, руководители крупных предприятий и учреждений. Им надлежало составить списки приглашенных на Красную площадь, изготовить пригласительные билеты и, начиная с пяти утра, вручить их соответствующим лицам. Для доставки билетов по адресам использовать весь имеющийся в городе автотранспорт. Гражданским руководителям предстояла бессонная ночь. Военным тоже.

Мне понравилась выдержка полковника Кравченко, которому предстояло вести на глазах Верховного Главнокомандования и Политбюро только что сформированную, едва сколоченною бригаду. Ни один мускул, как принято говорить, не дрогнул на его обветренном грубоватом лице. Наоборот, радость засветилась в глазах. Да и вообще все, с кем я встречался тогда, были счастливы и горды тем, что им доверено в столь трудный момент продемонстрировать нашу стойкость, уверенность. Пошли бы, не дрогнув, не сломав ряды, под бомбежкой, под артиллерийским обстрелом. Не из фанатизма, — понимая вдохновляющее значение этого парада. И разве не умен, не дальновиден был Сталин, прочувствовавший все это, принявший трудное, но очень правильное решение.

Времени в нашем распоряжении было очень мало. Политработники, получив инструктаж, сразу отправились в подразделения готовить людей,

объяснять им задачу. Весь технический персонал проверял исправность и готовность танков. Больше всего полковника Кравченко беспокоило то, что многие из танкистов никогда не бывали в Москве, а уж на Красной площади тем более. Не знали, как она выглядит, как ориентироваться на подходах к ней и на самой площади. Это было очень существенно. Используя свои возможности, я получил разрешение привезти к Кремлю ночью людей на автомашинах (город-то был на осадном положении). Кравченко собрал командиров танков и механиков-водителей. Отправились на нескольких грузовиках. Фары, естественно, не включали. Улицы темны и совершенно пусты. Тишина. Ни сигнала воздушной тревоги, ни пальбы зениток. Немцы, знать, не оправились от вчерашних потерь в воздухе. Да и погода была явно нелетная. Начал падать снег, крепчал ветер.

Провели рекогносцировку, пройдя с людьми от Охотного ряда на площадь и мимо Мавзолея к мосту. Объясняли механикам-водителям, где трудные участки, как выдерживать заданное направление. На все это ушло более двух часов, но польза, думаю, была очень большая. Водители обрели уверенность. А вскоре после того как вернулись в расположение бригады, раздалась команда: «По машинам».

Вот что удивительно: никто ведь не объявлял о параде, никто не знал, что он будет, да и как он мог быть вблизи от линии фронта, и все-таки москвичи ждали его, надеясь на чудо, и чудо свершилось! Тысячи людей вышли на улицы, стояли толпами на тротуарах, приветствуя войска. Те, кто не имел сил спуститься, распахивали заклеенные окна, выходили на балконы, махали руками, радуясь и плача.

В шесть утра голова танковой колонны вышла к Охотному ряду, бригада заняла отведенное ей место. На этом моя миссия была закончена. Последнее, о чем мы условились с Кравченко: только его машина, возглавляющая танковую группу парада, пойдет с открытым люком. Все остальные — с закрытыми. На всякий случай.

Изрядно намерзшись за ночь, поспешил в Кремль, на квартиру Сталина. Там у Валентины Истоминой имелось кое-что из моей одежды. Переобулся, утеплился, выпил крепкого чая с коньяком.

Узнал, что Иосиф Виссарионович в эту ночь лег необычно рано, сразу заснул (сказывалась усталость) и отдыхал с часу до пяти утра. Потом перекусил и ушел к себе в служебный кабинет, будучи в хорошем расположении духа. Пошутил с Истоминой: «Помолись за нас, попроси снега побольше».

Не в десять утра, а значительно раньше, в восемь (опять же для безопасности), должен был начаться нынче парад. Как раз в момент восхода солнца. Но когда группа руководителей партии и правительства поднялась на Мавзолей, сумерки еще только рассеивались: низко висело темное небо, валил снег, разыгралась пурга. Возле кремлевских стен, возле Мавзолея намело сугробы. Но, несмотря на ветер, на холод, гостевые трибуны были заполнены.

Сталин распорядился: авиацию, собранную для воздушного парада, в воздух не поднимать, нет смысла. Триста самолетов, которые должны были пройти над Красной площадью, так и остались на подмосковных аэродромах. Никто не сожалел об этом. Наоборот, радовались тому, что природа накрыла нашу столицу непроницаемым пологом.

Я с несколькими работниками безопасности стоял слева от Мавзолея. Взглянул на часы — без пяти восемь. И дрогнуло сердце мое: вот сейчас

радио по всему свету разнесло торжественно-ликующий голос Левитана, сообщавшего о параде на Красной площади, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Миллионы людей, и радующихся, и злобствующих, прильнули к репродукторам, к приемникам, слушая репортаж. Этот голос сорвет с постелей немецких генералов, самого Гитлера. Ну что, волосы они будут на себе рвать от ненависти и бессилия?! Нет, не они торжествуют победу, а мы, как всегда, отмечаем на главной площади страны свой праздник!

Точно в восемь, секунда в секунду, из ворот Спасской башни выехал на высоком красавце коне Маршал Советского Союза Буденный, громко и четко прозвучал рапорт командующего парадом генерал-лейтенанта Артемьева. Зацокали копыта: начался объезд выстроившихся войск. И загремело, покатилось над площадью родное наше «Ура!». А затем раздался спокойный, размеренный голос Сталина. Выступление его было коротким, но очень сильным. Думаю, каждый советский человек должен знать эту речь Иосифа Виссарионовича и перечитывать ее, особенно в трудные времена безвластия, разброда, шатаний.

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна, — вся наша страна, — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, — мы ее только начали создавать, — не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких

захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина, его победоносное знамя вдохновляет нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не сможет выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина — вперед к победе!»

Как всегда, Иосиф Виссарионович сам писал свое выступление, посоветовавшись со мной по некоторым военным вопросам. При чтении черновика его речи у меня возникло два соображения. Первое: я не считал, что потери немцев столь велики. Вся немецкая армия обновилась бы, потеряй фашисты четыре с половиной миллиона. Но против нас продолжали сражаться кадровые дивизии гитлеровцев, личный состав которых сменился (по опросам пленных) примерно наполовину, а то и на одну треть. Но данные о потерях — почти всегда дело спорное, а цифры зачастую служат не выявлению истины, а пропагандистским целям. Иосиф Виссарионович знал мою точку зрения, поэтому о потерях я говорить не

стал. Но то, что через несколько месяцев, через полгода Германия лопнет под тяжестью своих преступлений, — с этим я не мог согласиться. Красиво, конечно, звучит, вдохновляюще, но нереально. При самых благоприятных условиях невозможно разгромить фашистские войска в такой короткий срок. Даже зима нам не поможет. Но если конкретный срок назван, то нужно будет потом отвечать, оправдываться. Нельзя жить одним днем. Посоветовал Сталину увеличить время хотя бы до года. Он тут же добавил в черновике: «…может быть годик». Так эта фраза и прозвучала…

После речи Сталина, после того как оркестр исполнил «Интернационал», раздалась команда, благозвучная для каждого, кто любит парады: «К торжественному маршу! Одного линейного дистанции…» И шевельнулась, двинулась по площади наша славная сила. Первым, как условились, шел сводный курсантский батальон Московского артиллерийского училища — будущие командиры «катюш». Ребята на подбор: молодые, рослые, с отличной строевой подготовкой. Красиво и гордо шли — ради прохождения хотя бы нескольких таких батальонов стоило устраивать парад не только в военное, но даже в мирное время. Залюбуешься!

Потом — моряки. Одна из морских бригад, срочно вызванных с флотов для защиты столицы. У этих, в контраст, с маршировкой было неважно. Шагали вперевалочку, совсем другим ритмом, чем сухопутчики: всего восемьдесят, а не сто двадцать шагов в минуту, заказав соответствующую музыку оркестру. Литые ребята в тельняшках под распахнутыми воротами шинелей и бушлатов. В хромовых ботинках, в бескозырках, несмотря на мороз, на вьюгу. Им еще в эшелонах валенки и шапки выдали, а они, черти, вышли на площадь в своей форме. Да и что за моряк, если клеши засунуты в голенища? Смотрелись эти орлы так, что не хотел бы я столкнуться с ними в бою, против них. А следом опять строгие, ровные, в двадцать человек шеренги строевиков, безупречно печатавшие шаг: воины дивизии имени Дзержинского. И опять же в противопоставление, что ли, — рабочие батальоны в полугражданской одежде, разновозрастные, разнооружные, готовившиеся к уличным боям в Москве.[51]

За честь почту перечислить воинские части, прошедшие по Красной площади на том параде, который изумил весь мир. Тем более что некоторые из них даже и не упоминались никогда. Например: два сводных батальона 1115-го полка и рота автоматчиков 332-й стрелковой дивизии имени Фрунзе, недавно прибывшей из города Иваново и занявшей оборонительные рубежи на юго-западной окраине нашей столицы. Следом батальоны ополченцев 2-й Московской стрелковой дивизии. Несколько кавалерийских эскадронов с тачанками. Но кавалерия была представлена слабо, и это показалось даже обидным мне. Потом моторизованные подразделения, артиллерия — тоже не густо, тоже лишь обозначив свой род войск.

Особый интерес представляли для меня танкисты, в подготовке которых к параду я принял некоторое участие. Завершая прохождение, не испортили бы они общее впечатление, тем более что пурга усилилась, сократилась видимость, снег залеплял смотровые щели. Я даже пожалел о своем настоятельном пожелании, чтобы танкисты шли через площадь с закрытыми люками. Но ничего! Ни один танк не застрял, ни один не нарушил строй. Ни в 31-й бригаде, ни в 33-й, проходившей следом за ней. Вероятно, высокое чувство ответственности, огромная напряженность

обостряют интуицию. Мне говорили потом, что танкисты, вернувшись в казармы, когда снялось напряжение, спали беспробудно по пятнадцать — двадцать часов. А потом — на передовую, в бой.

Ну что же, мы могли радоваться, даже ликовать. Парад не только вдохновил наших сторонников, но и нанес огромный, непоправимый удар по престижу Гитлера, руководства Германии. Во всем мире, начавшем привыкать к мифу о непобедимости, о превосходстве немцев, люди распрямили плечи и подняли головы. Нет, оказывается, советское руководство не бежало за Волгу, на Урал. Нет, Москва-то живет, на Красной площади не гитлеровцы, а танки Красной Армии. У меня сохранилось несколько вырезок из англоязычных газет того времени. Вот что писала «Ньюс кроникл»: «Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги». А вот «Дейли мейл», цитирую: «Русские устроили на знаменитой Красной площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место за время войны». Полностью согласен с этими утверждениями. И каково же мне сейчас воспринимать клевету, появившуюся не только в западной прессе и в западных «голосах» (это естественно для наших врагов-ненавистников), но и в советских органах печати, на радио: недобросовестные, не в меру свободные журналисты договорились до того, что Сталина якобы не было 7 ноября 1941 года на Мавзолее. Сталин, дескать, опасаясь бомбежки, отсиживался в безопасном месте, а на параде был и речь произнес его двойник, подставное лицо. До каких только гадостей не скатятся фальсификаторы в стремлении очернить наше прошлое, спалить нашу славу, чтобы возвести на пепелище собственные умозаключения, рассчитанные на своих и иностранных клиентов.

Иосиф Виссарионович никогда не имел двойников, никого не подставлял под удары вместо себя. Он и замечателен-то тем, что не уклонялся от ответственности, сам решал все и отвечал за свои деяния. И, если хотите, в истории самого знаменитого парада на Красной площади есть одна подробность, которую мало кто знает, но которая, на мой взгляд, давно уже не представляет никакой тайны. Все хорошо было на том параде, и все же я, стоявший возле Мавзолея, ощущал некую пустоту, что ли, во всяком случае неполноту. Вероятно, потому, что Мавзолей был пуст, в нем не было Владимира Ильича Ленина. Да, Мавзолей оставался святым местом, он охранялся, ему воздавался почет, но Ленина в нем не было, и уже давно…

9

Не устану говорить о дальновидности, о предусмотрительности Иосифа Виссарионовича. Через неделю после начала войны, когда никто и предположить-то не мог, что немцы приблизятся к Москве, Сталин дал секретное распоряжение готовить саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина для эвакуации в глубь страны. На всякий случай. Подальше от вражеской авиации. Для сокрытия от возможных диверсий. Знал об этом, естественно, весьма ограниченный круг лиц, а возглавлял работу Борис Ильич Збарский — создатель и руководитель специальной лаборатории при Мавзолее. Мне доводилось встречаться и беседовать с ним, ощущая чувство взаимной симпатии. Он был представителем замечательной

российской интеллигенции, глубоко эрудированной, готовой на самоотречение ради народного блага, той интеллигенции, которая во всем, в том числе по скромности и по мастерству, значительно превосходила своих западных коллег, чрезмерно меркантильных, специализированных, лишенных душевной широты и душевной щедрости. Там были интеллигенты по профессии, а у нас — по призванию, по самой сути своей. В том числе и Збарский.

Борис Ильич окончил два университета: в Петербурге и в Женеве. Хорошо разбирался в медицине, химии, биохимии. К тому же обладал организаторскими способностями. И внешность имел примечательную и привлекательную. Высокий, до старости сохранивший статность, одевался он не броско, но элегантно, держался с чувством собственного достоинства, отнюдь не перераставшим в зазнайство и чванство. Сразу после Октябрьской революции Збарский вместе с А. Н. Бахом создал Московский химический институт, а в 1920 году — Биохимический институт Наркомздрава РСФСР. Имелись у него и другие заслуги — не случайно удостоен был звания Героя Социалистического Труда. Но нас-то особо интересует лишь одна, самая главная сторона его деятельности, забота многих лет его жизни.

Как известно, после смерти Ильича в Москву пришли сотни писем и телеграмм с просьбой, с требованием сохранить облик вождя. Писали не только так называемые трудящиеся, но и купцы-нэпманы, дети, старики. Просил и требовал народ. Телеграммы поступали даже из-за границы, особенно от коммунистов и социалистов. Только лишь Надежда Константиновна Крупская с непонятным упорством добивалась того, чтобы тело Ленина было предано земле.

Однако мнение народа было весомей. А на капризы и на доводы Крупской Иосиф Виссарионович не обращал внимания. После скандала, поднятого из-за его грубости с Надеждой Константиновной (а она и сама была виновата, вопреки запрету ЦК приобщая больного Ленина к делам) Сталин просто терпел ее как жену глубокоуважаемого человека. Категоричность требований Крупской похоронить мужа только лишь подтолкнула упрямого Сталина к принятию другого решения, хотя он понимал, как трудно и хлопотно будет сберечь тело Ленина. Но ведь это символ революции, в этом символе огромная притягательная и объединяющая сила.

Задача была не просто трудная, а по тем временам невероятная, фантастическая. Надо было найти совершенно новый способ бальзамирования, чтобы не исказить облик вождя, сохранить на долгие годы открытым для постоянного посещения народных масс. Ничего похожего в мировой практике не было, учиться не у кого и не на чем. Впрочем, такие люди, как Збарский, предпочитают самостоятельно прокладывать путь, не перенимать чужой опыт, а делиться собственным. Вместе с профессором В. П. Воробьевым Борис Ильич в очень короткий срок разработал и применил свой метод бальзамирования, оказавшийся, как показало время, весьма эффективным. «Нет таких крепостей, которые наука не может взять», — говаривал Збарский. Он ли перефразировал известную фразу «Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики», или его формулировку перефразировали — этого я не знаю.

Подготовка поезда для эвакуации саркофага с телом Ленина в безопасное место заняла больше недели. Специальный вагон был оборудован установками для обеспечения необходимого микроклимата.

Смонтированы амортизаторы, оберегавшие саркофаг от толчков и тряски. В других вагонах разместились оборудование лаборатории и ее сотрудники с семьями. Охрана. Запас продовольствия.

В ночь на 7 июля 1941 года Иосиф Виссарионович спустился в Мавзолей. Сопровождали комендант Кремля и Збарский. Глубокая стояла тишина. Неярко горели светильники. Несколько минут всматривался Иосиф Виссарионович в восковое лицо Ленина, произнес почти шепотом:

— Как тогда в Горках… Совсем такой же… Прощай, дорогой Ильич, — И сразу поправился: — До свидания, дорогой Ильич!

Когда вышли из Мавзолея, спросил Збарского:

— У вас все готово?

— Можем отправиться хоть сегодня.

— Нынче же и отправляйтесь. Ваши пожелания, просьбы?

— Спасибо. Пусть Поскребышев сообщит на место время прибытия.

— Не беспокойтесь. Мы будем контролировать ваше движение.

С Ярославского вокзала поезд отправился незадолго до сумерек, в 21 час. Это был один из немногих составов, которые шли на восток по «зеленой улице». Пропускали вне всякой очереди. Останавливался поезд только для смены паровоза и на самое короткое время. 10 июля он был уже в намеченном пункте, в Тюмени. Этот город выбрал сам Збарский, прежде бывавший в Сибири. Но почему именно Тюмень? Место безопасное, Зауралье, и в то же время не слишком далеко от центра страны, это все же не Красноярск, не Иркутск, до которого надо трястись еще трое суток. Железная дорога. Надежная связь с Москвой. Городок старинный, первый русский город в Сибири, о котором говорили: Тюмень — мать сибирских деревень. Имел он перед войной около восьмидесяти тысяч жителей, известностью не пользовался, вражеского внимания не привлекал. Провинция, оживившаяся лишь с прибытием заводов, вывозимых с запада.

Довольно долго искали подходящее помещение — Збарский был осмотрителен и требователен, по разным причинам отвергал один дом за другим. Не устроило его даже четырехэтажное здание городского комитета партии, которое горком готов был освободить для временного Мавзолея. Волновался секретарь горкома Дмитрий Семенович Купцов, коему поручено было из Москвы выполнять все, что потребует Збарский. Наконец выбор был сделан — здание сельскохозяйственного техникума. Он хоть и находился в центре города, но обнесен был массивной оградой. Помещений — классов — хватало для того, чтобы разместить оборудование, семьи сотрудников, воинов поста № 1 и охрану. Сразу же начали монтировать привезенные термальные установки рядом с траурной комнатой. Подтянули отдельный электрокабель, чтобы обезопаситься от всяких случайностей. В общем, устроились надежно, полностью сохранив секретность. Иосиф Виссарионович порой интересовался, как там, в Тюмени, звонил Збарскому и Купцову: все было в порядке.

Война была уже на переломе, шел сорок третий год, когда возникла ситуация, которая могла обернуться трагедией для хранителей временного Мавзолея. Берия доложил Сталину: по Тюмени ползут упорные слухи о том, что в городе находится саркофаг Владимира Ильича, и даже называют дом. Допущена утечка информации, разглашена государственная тайна, и, вероятно, самим Збарским. Что предпринять? Кому поручить расследование?

Дело, конечно, было серьезное, упущения такого рода обычно никому не прощались. Но Сталин давно знал Збарского и верил ему. Да и не имелось

у нас тогда другого специалиста, которому можно было без колебаний, с полной верой в успех доверить хранение тела Владимира Ильича. Более того, Иосиф Виссарионович, не строя иллюзий насчет своего возраста, подумывал о том, что и его после смерти столь же надежно, как и Ленина, забальзамирует Збарский.[52]

Поразмыслив, Сталин попросил меня съездить в Тюмень и на месте выяснить объективно, как и что произошло. «Не надо спешить с выводами, не надо нервировать людей», — напутствовал Иосиф Виссарионович, и я понял, что ему не хочется менять отношение к Збарскому, что он будет доволен, если убедится: произошло недоразумение, но отнюдь не преступление.

В Тюмени провел я пять дней. Встретился за чашкой чая, приятно провел несколько часов в обществе Бориса Ильича Збарского и уже от него, несколько смущенного случившимся, узнал некоторые подробности происшествия. Побеседовал с начальником городского отдела НКВД Козловым (имени не помню). А также с секретарем горкома партии Дмитрием Семеновичем Купцовым и с его женой Ниной Ефимовной, директором одной из школ. Эти хорошие, честные люди, сами того не подозревая, оказались замешанными в деле опасном и подсудном — с точки зрения Берии. А с моей точки зрения — жертвами случайности, которую невозможно было предусмотреть.

Штат лаборатории при временном Мавзолее был не очень большой, но состоял из людей образованных, энергичных. А делать им после того, как все устроилось, было почти нечего. Только контроль за техническими условиями. Ленина никто не посещал. Сотрудники томились, хотели приносить больше пользы. И сам Борис Ильич то же. С его разрешения сотрудники, имевшие медицинское образование, работали в госпиталях, в городских больницах. А Збарский обратился к Купцову: есть, мол, свободное время, есть знания, которые пропадают втуне. В Тюмени острая нехватка преподавателей, он мог бы давать уроки в старших классах. Купцов, в свою очередь, поговорил с женой, ничего, кстати, не знавшей, как и другие тюменцы, о траурных комнатах в бывшем сельхозтехникуме. Сказал Купцов жене: «К тебе придет человек по фамилии Збарский. Не требуй с него никаких документов, не задавай вопросов. Пусть преподает в девятых-десятых классах». А Нина Ефимовна и рада была. Тем более что новый преподаватель оказался универсалом, мог вести математику, химию, биологию, даже физику. Куда уж лучше-то!

Борис Ильич старался держаться в тени, поменьше общаться с коллегами в школе, ему казалось, что он ничем не выделяется, не привлекает внимания. Но увы. Увлекаясь, он вел уроки так интересно, знания его были столь обширны и разнообразны, что это сразу выделило его из среды других учителей. Эрудицию трудно втиснуть в какие-то рамки, она прорывается, дает себя знать. К тому же мужчин-преподавателей было тогда очень мало, а этот пожилой, седеющий человек был настолько элегантен, имел столь хорошие манеры, что произвел впечатление не только на учительниц, но и на учениц старших классов, особенно склонных к созданию кумиров и поклонению оным. Одна из поклонниц, вероятно, случайно, листая энциклопедию, наткнулась на фамилию Збарский. Имя-отчество как у любимого учителя. Возраст примерно тот же. А в тексте сказано было, что он и Воробьев бальзамировали Ленина, приводились другие сведения из биографии Бориса Ильича. Об этом узнал класс, узнала школа, узнали родители,

узнал город. Строились соответствующие предположения, Збарский, если можно так выразиться, ушел в глубокое подполье, перестал преподавать, почти не появлялся на улицах днем, но было уже поздно. Жители «вычислили» даже дом, где находился Ленин. Случись это годом раньше, в самое напряженное военное время, последствия могли быть тяжкими для Бориса Ильича и его сотрудников. Но в сорок третьем было полегче, я представил Иосифу Виссарионовичу эту историю как курьез, с легким юмором: вот, мол, какие казусы, совершенно непредвиденные, могут происходить с привлекательными мужчинами. Сталин оценил шутку, весело блеснули глаза. Развивая достигнутый успех, я сказал о предложении Збарского открыть во временном Мавзолее доступ к саркофагу Ленина. С технической точки зрения это вполне возможно. Однако у Иосифа Виссарионовича было другое мнение: «Не нужно официально раскрывать местонахождение Ильича. Тюмень город маленький, а неподтвержденные слухи так и остаются слухами, вы сами мне так говорили. Для советских людей Москва, Кремль, Мавзолей Ленина — это сердце нашей страны, главный источник боевого настроения и патриотизма. Не будем ослаблять этот источник. Наоборот, будем укреплять и усиливать этот источник». Считаю, что Сталин был прав. Для большого государства стабильность, последовательность, соблюдение традиций важны всегда, но особенно в трудные времена, в период войны, смут, раскола. Люди на фронте и в тылу спокойней, уверенней чувствовали себя, зная, что руководители партии и народа по-прежнему находятся в Кремле, что, как всегда, под перезвон курантов чеканят двести десять шагов от Спасских ворот до Мавзолея часовые ленинского поста. Хорошо это было, полезно. Ведь даже я, человек много переживший, далеко не сентиментальный, и то ощущал некоторую сиротливость, что ли, зная, что Мавзолей пуст. На других это могло подействовать гораздо сильнее.

Саркофаг с телом Владимира Ильича был возвращен в столицу, когда миновала всякая опасность, когда ни один вражеский самолет не мог уже появиться над Красной площадью. Свершилось это победной весной, в апреле бои шли не на подступах к Москве, а на окраинах Берлина. В первую же ночь после того, как саркофаг был установлен на прежнем месте, к нему пришел Иосиф Виссарионович. Долго стоял, как изваяние, у изголовья Ильича. Редкие крупные слезы скатывались по щекам Сталина, но он, наверное, не замечал их. Это были слезы радости, это была разрядка после долгого и огромного напряжения.

10

Успех ноябрьского парада очень приободрил всех нас, в том числе и Иосифа Виссарионовича, укрепил веру в наши силы и возможности. Через двое суток, вечером, я пришел к Сталину, чтобы сообщить о состоянии кавкорпуса генерала Белова. Иосиф Виссарионович был в хорошем расположении духа, не пыхал своей пресловутой трубкой, как паровоз, а, поглядывая на карту, напевал, несколько даже игриво (вообще-то пел Сталин редко, хотя голос и слух были хорошими). Повторял одну и ту же фразу:

«Уж полночь близится, А Германа все нету…»

— Он и не появится сегодня, как не появился вчера, — сказал я. — Немцам нужно еще несколько суток, чтобы завершить подготовку массированных ударов и на земле, и с воздуха.
— Может, у Германа Геринга очень велики потери и он опасается нас?
— Не думаю. Я говорил по телефону с майором Кикнадзе, со штабом шестого авиакорпуса, с командным пунктом ПВО. Все отмечают, что вчерашней ночью и особенно нынче днем активность вражеской авиаразведки резко возросла. Были попытки бомбардировщиков прорваться к Москве. Характерно вот что: увеличилось количество истребителей прикрытия; кроме авиации дальнего действия, в налетах принимают участие машины фронтовой авиации, пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87» и истребители «Мессершмитт-110».
— Значит, немцы перебазировали свои самолеты на аэродромы ближе к передовой, — посерьезнел Сталин. — Мы предполагали это. Так сколько, Николай Алексеевич, по вашему мнению, потребуется времени германскому командованию, чтобы завершить подготовку к новому наступлению?
— Трое или четверо суток. Причем на разных направлениях они могут начать раньше или позже.
— Борис Михайлович тоже назвал такие сроки. А Жуков пока молчит… — Сталин нахмурился. — А что у нас с контрударом, что с кавалерийским корпусом? У Шапошникова нет полной ясности, а Жуков молчит, — повторил Иосиф Виссарионович, начиная раздражаться. Чтобы успокоить его, я доложил об успешной переброске известной нам «пожарной команды», 2-го кавалерийского корпуса. Основные силы его, до 8 тысяч бойцов и командиров, вместе с лошадьми перевезены были эшелонами на станцию Михнево и скрытно сосредоточены в лесистой местности. В основном это сабельные и пулеметные эскадроны. Часть артиллерии, обозы, автомашины завязли на раскисших дорогах между Корочей и Новым Осколом. Они постепенно подтягивались к железной дороге и грузились в вагоны.
— Еще только грузятся, неизвестно, когда прибудут и сколько прибудет, — недовольно произнес Иосиф Виссарионович. — Мы с вами говорим о кавалерийском корпусе, считаем артиллерию побатарейно, а немцы, как утверждает наш Генеральный штаб, нацелили на Москву больше половины всех своих бронетанковых сил.
— Да. В сороковом году, сражаясь с французскими и английскими войсками на территории Франции, фашисты имели там на всем фронте одиннадцать танковых и моторизованных дивизий. А теперь под Москвой сосредоточили вдвое больше.
— Танки против клинков, — невесело усмехнулся Сталин. — Или наоборот: клинки против танков.
— Но и патриотизм, опыт, мастерство командиров!
— Мало! Мало! Мало! — Каждое слово Сталин подчеркивал резким жестом правой руки. — Надо использовать все средства, чтобы укрепить корпус Белова. Впрочем… — Он на несколько секунд задумался. — Впрочем, завтра я поговорю с ним. Надо же мне увидеть генерала, о котором вы, Николай Алексеевич, отзываетесь так лестно. И Буденный хвалит, и Шапошников, а я не знаком… Пусть явится сюда с товарищем Жуковым. Время согласует Поскребышев.
Встреча состоялась 10 ноября в Кремле, в 16:00, продолжалась около часа и различное впечатление произвела на ее участников. Вероятно, мы

слишком перехвалили Белова перед Сталиным, он ожидал увидеть этакого бравого генерала, грозу для фашистских вояк, а перед ним предстал человек, ничем не выделявшимся внешне. Эффекта не было. Позволю себе такое сравнение. Как среднерусская наша природа, скромная и неброская, раскрывает свою глубину, красоту, силу и величавость лишь тем, кто пристально вглядывается в нее, так и многие россияне не поражают при первом взгляде своей внешностью, не выказывают себя, свой характер, в отличие от представителей некоторых других народов. Это не скрытность. И необязательно застенчивость. Это обычная скромность, которая частенько вводит в заблуждение поверхностных экспансивных собеседников.

В такие лица, как у Белова, надо всматриваться внимательно. Не очень-то похож он на бравого командира-кавалериста. Никакой лихости, ничего эффектного. Простота, сдержанность. Короткий зачес, чуть оттопыренные уши. Напоминал он мне этакого аккуратного, справедливо-строгого преподавателя гимназии. Разве что подтянутость, собранность, энергичность, выдавали в нем военного, завзятого конника. И только при третьей или четвертой встрече проявились для меня черты, определявшие и внешность, и характер Белова. У него был довольно большой рот, всегда плотно сжатые ровные губы: прямая линия, будто нанесенная ударом клинка. Углубления от крыльев носа к уголкам рта, тоже вроде бы высеченные клинком, образовывали вместе с линией губ резко проступающий треугольник. Но этого природе показалось мало, был еще один штрих, для симметрии что ли, было еще одно узкое углубление, узкая щель над переносицей, между бровями, почти до половины лба. Такое лицо могло быть твердым и жестким, но преобладало все же другое начало: мягкий овал, оттопыренные уши и спокойный взгляд незлого умного человека.

А что увидел Сталин, когда Павел Алексеевич вслед за Жуковым вошел в кабинет? Генерал-майор среднего роста, отнюдь не косая сажень в плечах, исхудавший, с серым от усталости, от недосыпа лицом, на котором выделялись небольшие, двумя вертикальными полосками усики, совсем не буденновские, не генеральские, а скорее интеллигентские. Угадывалось напряжение: еще бы, первый раз у Сталина, у Верховного Главнокомандующего. Особенно проигрывал Павел Алексеевич рядом с осанистым, уверенным в себе Жуковым, который говорил громко, с этакими категорическими нотками. Рисовался Георгий Константинович перед давним другом-приятелем, желая того или нет, подчеркивал, что здесь, в этом кабинете, он как дома. У Жукова лакированные сапоги, китель, брюки — все с иголочки. А Белов, срочно вызванный в Наркомат обороны, явился в Москву в повседневной одежде (другой, как выяснилось, у него при себе и не было). Китель поношенный, выцветший на солнце и под дождями, к тому же грубо заштопанный на спине явно мужской рукой (садануло осколком авиабомбы еще на Днепре). А на ногах-то у генерала охотничьи резиновые сапоги с отворотами. Это вместо того, чтобы хромовые да со шпорами. Павел Алексеевич и сам, вероятно, испытывал неловкость.

Сталин удивлен был внешностью Белова, но вида не показывал. Впервые, пожалуй, перед ним был фронтовой генерал этой войны, который сражался с самого первого дня без отдыха, водил свой корпус из боя в бой, бил немцев, а сам не был битым. Другого такого соединения и не назовешь. Сталин осознал все это, с любопытством глянул несколько

раз на Белова и, давая ему освоиться, заговорил с Жуковым. Точнее, продолжил начатый еще до праздника очень серьезный разговор, и не случайно в присутствии Белова. Учитывая важность дела, имевшего существенные последствия, и разнотолки по этому поводу, я, стремясь к объективности, приведу сперва мнение Жукова, изложенное в его «Воспоминаниях».

«В начале ноября у меня состоялся не совсем приятный разговор по телефону с Верховным.

— Как ведет себя противник? — спросил И. В. Сталин.

— Заканчивает сосредоточение своих ударных группировок, и, видимо, скоро перейдет в наступление.

— Где вы ожидаете главный удар?

— Из района Волоколамска. Танковая группа Гудериана, видимо, ударит в обход Тулы.

— Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там собираются крупные силы, чтобы ударить на Москву.

— Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы будем наносить эти контрудары? Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны.

— В районе Волоколамска используйте правофланговые соединения армии Рокоссовского, танковую дивизию и кавкорпус Доватора. В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии.

— Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет подкрепить оборону войск армий, когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками.

— Ваш фронт имеет шесть армий. Разве этого мало?

— Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась; с изгибами она достигла в настоящее время более шестисот километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта.

— Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите сегодня вечером, — недовольно отрезал Сталин.

Минут через пятнадцать ко мне зашел Н. А. Булганин и с порога сказал:

— Ну и была мне сейчас головомойка!

— За что?

— Сталин сказал: «Вы там с Жуковым зазнались. Но мы и на вас управу найдем!» Он потребовал от меня, чтобы я сейчас же шел к тебе и мы немедленно организовывали контрудары.

— Ну что же, садись, вызовем Василия Даниловича и предупредим Рокоссовского и Захаркина.

Часа через два штаб фронта дал приказ командующим 16-й и 49-й армиями и командирам соединений о проведении контрударов, о чем мы и доложили в Ставку. Однако эти контрудары, где главным образом действовала конница, не дали тех положительных результатов, которых ожидал Верховный».

Наверно, подзабыл кое-что дорогой Георгий Константинович, создавая свою книгу через много лет после войны, а кое в чем вольно или невольно лукавил, как на протяжении всей истории человечества в той или иной

степени лукавили все, даже самые добросовестные воспоминатели-мемуаристы. Легче пишется не то, как действительно развивались события, а то, как ты видел, воспринимал их. Сие замечание относится и к моей исповеди.

Ну, прежде всего тогда, в октябре — ноябре сорок первого, Жуков, на мой взгляд, ей-богу зазнался, чувствуя себя спасителем Москвы, хозяином решающего Западного фронта. Верно, он очень много сделал для защиты столицы. Но вот перло из него то, чему не надобно было переть. Был резок со всеми, грубил, только, пожалуй, к Сталину и Шапошникову обращался не на ты. Выполнял лишь прямые приказы Верховного, да и то неохотно, проявляя недовольство, если эти приказы не соответствовали его замыслам. Именно так отнесся он к идее Шапошникова, поддержанной Сталиным, — нанести контрудары на важнейших направлениях по противнику, нуждавшемуся в передышке для накопления сил и средств перед новым броском. Но ведь в том же самом, может быть, даже больше, чем немцы, нуждались и мы.

Формально Жуков распоряжение выполнил. Приказ о контрударах был отдан, соответствующие указания тоже. В полосе 16-й армии у Рокоссовского все свелось к атакам нескольких кавалерийских полков, нисколько не изменившим положение. Нельзя считать контрударом и бои местного значения за населенный пункт Скирманово, начавшиеся 4 ноября и продолжавшиеся дней десять. Схватка была жестокой, потери с обеих сторон велики, но и наши, и немцы дрались здесь за то, чтобы улучшить свое положение. Долго готовилась небольшая конно-танковая группа, она проявила активность как раз в тот день, когда немцы перешли в решительное наступление, и заметной роли в боевых действиях не сыграла.

В общем, на Волоколамском шоссе контрудара фактически не было, но Сталин и Шапошников вроде бы не придали этому значения, ни в чем не упрекнули Жукова. И не потому, что не хотели конфликтовать с Георгием Константиновичем, а молча признали его правоту: у 16-й армии действительно не имелось сил для того, чтобы нанести ощутимый удар противнику, значительно превосходившему Рокоссовского и по численности, и в технике.

С другим контрударом дело обстояло совсем иначе. В первых числах ноября заметно возросло давление гитлеровцев в районе Серпухова на нашу 50-ю и особенно на 49-ю армию генерала Захаркина. Там тоже велись вроде бы бои местного значения в масштабе полков и дивизий за отдельные населенные пункты. Считалось, что силы там примерно равны, у немцев небольшое превосходство. Однако противник шаг за шагом приближался к железной и шоссейной дорогам из Москвы в Тулу, явно намереваясь отрезать южный бастион нашей столицы, получить с юга прямой выход к Москве. Это была опасность реальная, очень понятная Сталину, и он проявил твердость и настойчивость, не считаясь с мнением и самолюбием Жукова. А может, Верховный Главнокомандующий и знал больше, и видел дальше, чем командующий фронтом. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович категорически требовал от Жукова нанести контрудар быстрее и эффективнее. О том же самом мягко, но бескомпромиссно ежедневно напоминал Жукову по телефону Шапошников. Под их нажимом была сформирована (пока еще на бумаге) группа войск генерала Белова. Основой ее, естественно, стал 2-й кавалерийский корпус. Из резерва Западного фронта придавались 415-я

стрелковая и 112-я танковая дивизии, две танковые бригады, 15-й полк гвардейских минометов подполковника Дегтярева. Включались также 5-я гвардейская и 60-я стрелковая дивизии из 49-й армии, в полосе которых намечено было нанести контрудар. Наименований-то много, но все войска эти были ослаблены в предшествующих боях, имели большой некомплект людей и техники, кроме 31-й танковой бригады полковника А. Г. Кравченко, которая, кстати, была еще далеко от места действия. Та самая бригада, которую я готовил к ноябрьскому параду, которую провел ночью через Красную площадь. Теперь ей предстояло вступить в бой.

Не совпадали, к сожалению, замыслы Верховного Главнокомандующего и Генштаба, с одной стороны, и командующего Западным фронтом — с другой. Сталин и Шапошников видели задачу в том, чтобы отбросить немцев от магистрали Москва-Тула, закрепиться пехотой на выгодных рубежах, а подвижные соединения, танки и конницу, вывести в резерв. Жуков же предусматривал еще два варианта. В случае большой удачи повернуть группу войск Белова на север, отрезая с тыла немецкие войска на подступах к Москве. Я считал, что сил для этого у нас мало, мы скорее погубим группу войск Белова, чем добьемся успеха. Не вызывал энтузиазма и нижеследующий вариант. Пехота закрепляется на достигнутых рубежах, а кавкорпус Белова, усиленный одним полком войск НКВД, уходит рейдировать по немецким тылам, нарушая коммуникации, сея панику, активизируя партизанское движение. С моей точки зрения, нецелесообразно было отрывать от главных сил и забрасывать в неизвестность опытное ударное соединение. Да и маршрут конников и полка НКВД (до двух тысяч человек) был несколько странным. Направлялись они прямиком в Угодско-Заводский район, где в деревне Стрелковке жили мать и сестра Жукова, его племянники.

Может, родня там осталась у Георгия Константиновича, хотел спасти? Или землякам оказать какую-то помощь? По-человечески это понятно, но нельзя ставить в зависимость от таких факторов судьбу целого корпуса.

Последние свои соображения я решил Иосифу Виссарионовичу не докладывать. Хотя бы для того, чтобы не осложнять отношения между ним и Жуковым. А если сам поймет — ну и ладно. А вот против того, чтобы вообще отправлять кавкорпус в рейд, высказался решительно.

Планировали мы, рассчитывали, но жизнь внесла такие коррективы, какие никто из нас не мог и предполагать. Но об этом чуть позже.

Итак, дав освоиться в непривычной обстановке командиру формируемой группы войск, Сталин наконец обратился непосредственно к генерал-майору Белову. Обратился мягко: генерал, вероятно, показался ему слишком интеллигентным, впечатлительным.

— Вам все понятно по намеченной операции? — И был удивлен твердым ответом:

— Нет, не все.

Настолько удивлен, что оборотился от Жукова к Белову, даже хмыкнул: так отвечали ему редко, обычно подробности уточнялись за пределами кабинета. А этот генерал знаком с планом, сейчас двадцать минут слушал разговор и не уяснил? А ведь на тугодума не похож.

— Докладывайте, что у вас, — предложил Сталин.

— Данные о противнике скудные и приблизительные. А там леса, сеть дорог, удобный район для скрытого сосредоточения.

— Так, — кивнул Иосиф Виссарионович.

— Это частность, надеюсь, штаб фронта поможет нам выяснить… Более существенно, что неясна цель операции. Достигнем намеченного рубежа, а дальше?

Тут впервые Сталин посмотрел на Белова пристально и заинтересованно. Генерал уловил, почувствовал самое слабое место замысла, как раз то, в чем не было согласия между Сталиным и Жуковым. Иосиф Виссарионович оценил это. А Георгий Константинович не сдержался.

— Будут уточнения по ходу операции, — ворчливо произнес он.

— Товарищ Жуков считает, что контрудар может стать началом большой операции по разгрому вражеской группировки, — произнес Сталин. — Если такой успех будет достигнут, ваши войска, товарищ Белов, будут особо отмечены. Вся группа, — подчеркнул Иосиф Виссарионович. — А теперь скажите, что требуется вам для успешного ведения боевых действий. Корпус укомплектован?

— Так точно, полный штат, почти пятнадцать тысяч. Люди прибыли. Необученных — подготовим. К сожалению, кони поступают малорослые, много неподкованных. Обмундированием обеспечены. Некоторые маршевые эскадроны пришли без винтовок, без шашек, а у нас нет. Особенно плохо с седлами.

— Николай Алексеевич, — укоризненно произнес Сталин.

— Упустили, — сказал я. — Седла уже отправлены из Коврова и из Владимира.

— Желательно получить артиллерию, — продолжал Белов. — Очень нужны автоматы. Преимущество немецкой пехоты в том, что она навязывает нам ближний бой, в котором автоматическое оружие особенно эффективно. Каждый наш боец стремится обзавестись хотя бы трофейным автоматом.

— Как вы предполагаете использовать автоматы? В организационно-тактическом смысле? — Сталина интересовал не только сам ответ, но и уровень компетентности отвечающего. Такова была подоплека многих вопросов, которые он задавал людям при первой встрече, чтобы составить собственное мнение. Тем более если просишь — объясни для чего.

Белов ответил без задержки:

— Вооружим автоматами разведку. Целесообразно создать три взвода автоматчиков в пулеметном эскадроне каждого кавалерийского полка.

— Почему именно в пулеметных эскадронах? — отреагировал Сталин.

— Пулеметные эскадроны имеют по штату больше людей, чем сабельные. Многие пулеметы потеряны в боях, поэтому значительная часть пулеметчиков используется с винтовками, как стрелки. Еще пулеметные эскадроны могут перевозить автоматчиков на тачанках, а это при спешивании даст больше людей для боя. Коноводов меньше потребуется, — объяснил Белов. — И последнее, командир полка может использовать автоматчиков централизованно, по надобности. Группой или россыпью.

— Понятно, — Иосиф Виссарионович был доволен ответом, а я радовался тому, что Сталин начинает понимать достоинства и возможности Павла Алексеевича. Взяв телефонную трубку, Иосиф Виссарионович связался с вооружениями, с Яковлевым, выяснил, сколько автоматов ППД или ППШ могут они дать немедленно.

— Товарищ Белов, полторы тысячи автоматов получите завтра. Это пока все. У нас есть некоторое количество новейших 76-миллиметровых пушек ЗИС. Нужны ли они вам?

— Артиллерия очень нужна, но я не знаю, что это за пушки.

— Это советская пушка, равной которой нет в других армиях и в ближайшее время не будет, — оживился Сталин. Об этой пушке, о ее простоте, надежности, дальнобойности он говорил с особой охотой. Пушка действительно была замечательная, в тот период лучшая в мире.

— Очень прошу дать их нам, — сказал Белов.

— Вы получите две батареи, — заверил Сталин. И после паузы произнес на прощание: — Желаю удачи, товарищ Белов. Если успех будет достигнут, мы сумеем по достоинству оценить действия вашей группы войск, — еще раз подчеркнул он. А такие обещания вдохновляют.

Жуков и Белов ушли. Я ждал, что скажет Иосиф Виссарионович о Белове, какое впечатление произвел на него генерал. Но Сталин долго молчал, расхаживая по комнате. Остановившись возле меня вдруг спросил:

— Почему на нем охотничьи сапоги?

Я привык к неожиданным поворотам мыслей Иосифа Виссарионовича и в свою очередь поинтересовался:

— Помните Велико-Михайловку, где в девятнадцатом вы создавали Первую Конную?

— Мы создавали, — усмехнулся он.

— Там чернозем, там все развезло после осенних дождей. Дороги — реки грязи. Лошади падали. А Белов по этим дорогам оттягивал корпус с передовой, грузил в эшелоны. За несколько суток передать участок фронта, перебросить корпус под Москву, принять пополнение, обмундировать по-зимнему, получить боевую задачу… Тут не до сапог.

— Но в резиновых теперь холодно, у нас здесь снег.

— Найдется у него что-нибудь под портянку.

— Почему «что-нибудь!» — рассердился Сталин. — Для боевого генерала надо не что-нибудь, — ворчал он, вызывая по телефону Андрея Васильевича Хрулева, заместителя наркома обороны. — Товарищ Хрулев? Здравствуйте… Корпус Белова получил зимнее обмундирование?.. Полностью?.. Удовлетворены все заявки?.. Спасибо, товарищ Хрулев. Но почему у нас сам товарищ Белов без сапог? Почему он в старом, зашитом кителе?.. Этого вы не знаете? Я знаю, а вы не знаете… Что, у нас не осталось генеральских сапог? Сколько угодно?.. Где сейчас Белов? — это он ко мне.

— Сегодня и завтра в Москве, в гостинице.

— Белов в Москве, — это в телефон. — Сшейте ему самую лучшую зимнюю форму. Кавалерийскую бекешу. Самые хорошие сапоги и самые хорошие валенки… Можете не докладывать. Знаю, что выполните.

Сталин положил телефонную трубку, устало опустился на стул. Он был искренен во вспыхнувшей вдруг заботливости. Но вспышка уже прошла.

11

Как было решено, конно-механизированная группа войск генерала Белова (такое наименование появилось тогда впервые в военной практике) перешла в наступление северо-западнее Серпухова 14 ноября. Попытаюсь поделиться своими соображениями и привлечь внимание к

тому, что осталось «за кадром» при освещении событий, вершившихся там.

После войны Павел Алексеевич Белов сказал мне однажды, что у него никогда не было так муторно на душе, как перед началом той операции. Ну что такое интуиция? Инстинкт тонко чувствующего человека, обостренный большим опытом, дающий возможность предвидеть, предчувствовать? Белов привык думать, сопоставлять, рассуждать, а на этот раз вступал в ответственную операцию буквально с завязанными глазами. Перед ним леса, а кто в них, генерал не знал. Его разведка не имела права действовать, дабы не выдать присутствие корпуса. А разведывательные данные, полученные из штаба Западного фронта и из штаба 49-й армии, вызывали большое сомнение. В полосе предполагаемого контрудара были отмечены три-четыре батальона немецкой пехоты, занимавшей оборону в крупных населенных пунктах. Примерно пехотный полк, усиленный танками. Это опять же примерно около четырех тысяч солдат и офицеров с большим количеством минометов, со значительной артиллерией. Но и у нашей пехоты имелось достаточно возможности, чтобы прорвать такой вражеский заслон, пропустить в прорыв конно-механизированную группу войск, которая пойдет в сторону Малоярославца на важные коммуникации гитлеровцев.

С тем и начали. И в первый день довольно успешно. Захватили несколько деревень, оттеснили фашистов с передовых рубежей. Опрокинули те три-четыре батальона, наличие которых предполагалось. А дальше началось непонятное. На второй, на третий день сопротивление немцев вопреки логике не только не ослабело, но и возросло. Все населенные пункты были заняты вражескими войсками. Наши выбивали из деревни немецкую роту — тотчас контратаковал батальон. Белов приказал своим избегать лобовых штурмов, обтекать узлы сопротивления по лесам, но все проселочные дороги, все просеки контролировались немцами. Сколько же их было? Примерно две пехотные дивизии, а это, согласитесь, не четыре пехотных батальона, это равные с наступающими силы. Но откуда они взялись в этих лесах?

Белов не знал, чем располагает противник, а немцы, по показаниям пленных, не представляли, кто действует против них. Удар оказался неожиданным. Но у фашистов было одно явное преимущество — авиация. Со второго дня операции гитлеровцы начали постоянно бомбить дороги и населенные пункты в нашей прифронтовой полосе, наносить удары по колоннам войск, по обозам, по нашим атакующим частям. Только густые леса и спасали.

Выдохлась немногочисленная пехота, приданная Белову. Но приказ о наступлении оставался в силе, и пришлось кавалеристам в пешем строю, вместо того чтобы стремительно идти в прорыв, — пришлось упорно прогрызать сплошную, глубоко эшелонированную оборону противника, потеряв надежду выполнить первоначальный замысел. Пять больших лесных сел с крупными гарнизонами окружили кавалеристы. Надо было подавить их сопротивление, обеспечить свой тыл, а командование Западного фронта требовало только одного — вперед и вперед! Звонил сам Жуков, тон его с каждым часом становился все грубее и резче (я тогда находился в его штабе, в Перхушкове). Человек конкретных решений, конкретных целей, Жуков требовал от Белова во что бы то ни стало взять опорный пункт немцев село Высокое, считая его почему-то главным узлом вражеской обороны. Дальше, мол, оперативный простор. И это несмотря

на доклады Белова о том, что Высокое обороняют крупные силы неприятеля, а населенные пункты, расположенные далее, тоже заняты сильными вражескими гарнизонами, что кавалеристы не могут сами прорвать фронт. И вообще ведь это не для конницы, у которой свои возможности. Жуков не воспринимал никаких доводов, требуя бросить на прорыв остатки пехоты, все танки, бить «катюшами», артиллеристам катить орудия в боевых порядках наступающих, подавлять прямой наводкой огневые точки врага. К вечеру 17 ноября раздражение Жукова достигло предела. Когда дали очередную связь с Беловым, он схватил телефонную трубку, закричал:

— Ты чего копаешься? Струсил?! Гони всех вперед! Ночью задачу не выполнишь — пеняй на себя!

Белов, вероятно, что-то возразил, обидевшись. Георгий Константинович едва не задохнулся от ярости:

— Ответишь по всей строгости! Сам приеду! Застрелю за невыполнение! Мне Родина дороже генералов! — И бросил трубку.

Сие выходило за все рамки, но Жуков способен был это сделать, такое уже случалось. В какой-то мере я мог понять состояние Георгин Константиновича. Двое суток назад началось второе (ноябрьское) наступление на Москву, тщательно готовившееся гитлеровцами более полумесяца. Мы, естественно, знали, что так будет, принимали свои меры, но вражеский удар оказался более сильным, чем ожидалось. Немецких солдат подстегивала мысль о близком богатом городе, о наживе и зимних квартирах. Не очень-то учли мы и вот какой фактор: распутица кончилась, морозы, достигавшие ночью десяти градусов, сковали землю, а небольшой еще снег не мешал передвижению танков, автомашин, даже мотоциклов — враг, как и летом, имел возможность маневрировать по проселкам и даже без дорог. И вот теперь 3-я танковая группа гитлеровцев двигалась к городу Клину на стыке Калининского и Западного фронтов. 4-я танковая группа рвала оборону Рокоссовского, намереваясь захватить Истру, а ведь от этого города до самой Москвы всего пятьдесят километров, час быстрой езды на машине… Жуков, отвечавший за исход сражения, в ночь на 16 спал очень мало, а потом вообще все время был на ногах. Не только колоссальная ответственность держала его в напряжении, он чувствовал: что-то странное, непонятное происходит наверху, в Ставке. Вроде бы все идет заведенным порядком, да не совсем так.

А случилось вот что. Заболел Иосиф Виссарионович. Точнее, ощутил знакомые неприятные симптомы возможного приступа. И потрясений-то чрезмерных не было, но то ли нетерпеливость южанина, то ли возраст дали себя знать. Недавно очень уж радовался Сталин тому, что в октябрьских боях мы остановили немцев, гордился парадом на Красной площади — моральной победой над Гитлером. Мало-помалу убедил себя в том, что перелом наметился, еще полгодика, год — и враг будет разгромлен. И первые же неудачи очень подействовали на него. У противника опять превосходство в воздухе. И на земле тоже. Немцы раскололи на части 30-ю армию генерал-майора Лелюшенко, прорвались на стыке двух фронтов. Значит, ничего не улучшилось в общей обстановке, значит, опять неопределенность, беспросветное напряжение. Хватит ли сил выдержать?..

14 ноября, начав свое второе наступление на Москву, немцы прямо среди дня произвели массированный авианалет на нашу столицу с явным намерением подавить боевой дух защитников города. Бросили сразу 120

бомбардировщиков — небо гудело. Этакая воздушная психическая атака. Время светлое — можно было наблюдать за ходом сражения, основная схватка между нашими и немецкими самолетами развернулась в треугольнике Кунцево — Рублево — Павшино. Впоследствии выяснилось, что там было сбито 43 бомбардировщика. Это много. Это очень много. И все же наиболее решительные, наиболее умелые вражеские летчики прорывались сквозь заслон наших истребителей, через завесу зенитного огня. Бомбы падали в центре города. Несколько фугасок угодили в Кремль, в том числе на зенитную батарею, стрелявшую с Болотной площади. Артиллеристы, среди них девушки, были убиты. Вот куда добралась смерть! Гибель этой батареи поблизости от кабинета Сталина, вкупе с дерзостью дневного налета и другими неблагоприятными факторами, угнетающе подействовала на Иосифа Виссарионовича.

На этот раз проявились не только внешние симптомы болезни. Желтизна глаз, насморк, чрезмерное внешнее спокойствие, скованность движений — все это было, но не очень, в начальной стадии.

Я сперва заметил другое: колебания, сомнения, неспособность принять твердое решение. И обнаружилось это как раз применительно к 30-й армии, действовавшей южнее Калинина. Противник там угрожал Клину, а это уже полоса Западного фронта. Жуков требовал немедленно подчинить ему 30-ю для укрепления правого фланга. Конев был против, надо было заткнуть брешь на своем левом фланге. Генштаб, соглашаясь с Жуковым, предлагал до передачи названной армии в состав Западного фронта срочно закрыть образовавшийся разрыв резервными частями. Решить проблему мог только Верховный Главнокомандующий. Он возвращался к ней несколько раз в течение 16 ноября, но окончательного мнения так и не высказал, удивляя окружающих и самого себя неуверенностью, неспособностью разрубить узелок. А узелок-то затягивался все туже, во вред нам и на пользу противнику.[53]

В тот день, а вернее, вечером Иосиф Виссарионович вызвал к себе в кабинет Шапошникова, Власика, Поскребышева и меня.

Сидел за своим столом, устало уронив на колени руки. Долго молчал. Медленно, очень медленно достал из коробки папиросу, начал разминать ее восковыми, плохо гнувшимися пальцами. Папироса лопнула, он аккуратно положил ее в пепельницу, взял другую. И, не прикурив, произнес:

— Я простудился. Насморк и повышенная температура. В таком состоянии нельзя заниматься важными делами. В таком состоянии можно допустить ошибки, а любая ошибка в настоящий момент чревата особыми последствиями. О моей простуде не знает никто. Ни члены Политбюро, ни наркомы, ни военные товарищи. И не должны знать. Сталин находится на посту, это сейчас важно для всех. — Выдержал паузу, закуривая. — Борис Михайлович, в ближайшие дни прошу вас решать в Генштабе все вопросы, согласовывая со мной только самые важные, не терпящие отлагательства… Поскребышеву и Власику сделать соответствующие выводы, одному из вас постоянно быть вместе со мной. А Николаю Алексеевичу придется поехать к Жукову. В его штаб, — уточнил Сталин. — Там сейчас главное, и мы должны знать все…

Да, это был первый случай на моей памяти, когда Иосиф Виссарионович сам сослался на свое нездоровье и частично отстранил себя от работы. Осознал опасность своего состояния для дела. И вылечиться, поправиться хотел как можно скорее. Это и помогло ему избежать кризиса. Он

чувствовал себя неважно примерно с неделю, то хуже, то лучше, но срыва не произошло. Он работал с бумагами, изучал сводки, общался с членами Политбюро, с другими необходимыми людьми, но недолго. Меньше курил, больше спал.

Дважды в сутки прогуливался на свежем воздухе. Очень хотел выздороветь и победил-таки свою хворь. А я почти все это время, переживая за Иосифа Виссарионовича, провел вдали от него. И вот Жуков, значит, чувствовал, что в Ставке не все ладно. Да и как не почувствовать, если даже по важным вопросам, которые обычно решал сам Сталин, теперь Поскребышев переключал Жукова на Шапошникова. Значит, Сталин не хочет или не может.

Понимая состояние Георгия Константиновича, я не мог взять в толк, зачем же, когда обстановка в корне изменилась, когда враг перешел в наступление на флангах фронта, — зачем же продолжать контрудар, к которому сам Жуков с самого начала относился без всякого энтузиазма?! Даже если войска Белова возьмут Высокое, продвинутся на десяток километров, что это даст, кроме потерь? К тому же Белов рискует быть отрезанным, окруженным.

Жуков видел меня в штабе фронта, но моего мнения, естественно, не спрашивал, у него своих советчиков было много, да и знал он, что выделять меня не следует. А я держался при начальнике штаба Василии Даниловиче Соколовском, и это было очень удобно. Жуков с Соколовским сработался, старался все важные дела решать, все переговоры вести в его присутствии, чтобы начальник штаба был в курсе всех дел, мог в любой момент заменить командующего. Ну и я был в курсе.

Имея прямой провод с Москвой, связался в ночь на 18 ноября с Шапошниковым, коротко изложил свое мнение по поводу группы войск Белова, высказав опасение за ее существование.

— Нас это тоже тревожит, но вмешиваться не будем, — ответил Борис Михайлович. — У Жукова свои доводы. Поймите, голубчик, немцы продвигаются севернее Белова, продвигаются южнее Белова, а у него, в центре, не только стоят, но даже пятятся.

— Не ловушка ли?

— Сомнительно.

— Беспокоюсь за жизнь Белова. Жуков кипит. Сказал, что утром поедет сам… Он способен на все.

— Он не имеет права выехать на фронт без разрешения Верховного. Тем более в прорыв, в пасть противника. А разрешения не будет.

— Вызовет Белова к себе.

— Не думаю. Погорячился Жуков, остынет. А Василия Даниловича я попрошу подготовить приказ о прекращении наступления, о передаче Беловым своей полосы пехоте… Во всяком случае, спасибо, что предупредили.

Разговор этот несколько успокоил меня, однако окончательно опасения рассеялись лишь на следующий день. Утром пришло сообщение о том, что Высокое взято ночным штурмом. После залпа гвардейских минометов в атаку пошли спешенные эскадроны 9-й Крымской кавалерийской дивизии полковника Н. С. Осликовского вместе с машинами 145-й танковой бригады. Зацепились за окраину населенного пункта, развили успех, к рассвету вышибли немцев и продвинулись дальше на запад. Потери большие, а впереди обнаружены новые узлы сопротивления. Павел Алексеевич Белов, болезненно переживавший оскорбление, ни к телефону,

ни к телеграфу не подходил. Ответ был один: генерал на передовой, в войсках.

К концу дня от Белова в Перхушково прибыла легковая автомашина. В ней — немецкий капитан из штаба 12-го армейского корпуса, взятый ночью в плен, и большой пакет на имя В. Д. Соколовского. В пакете донесение Белова, а также захваченный у противника боевой приказ по войскам 12-го армейского корпуса и трофейная карта с нанесенным на ней расположением соединений и частей корпуса. Выражаясь современным языком, сведения эти оказались сенсационными. Из документов следовало (а пленный капитан-штабист подтвердил), что в полосе контрудара генерала Белова находились мощные силы, которые командующий 4-й полевой армией фельдмаршал фон Клюге скрытно сосредоточил для наступления на Москву. Белов натолкнулся на 17, 137 и 260-ю пехотные дивизии противника. Понятно, что их сопротивление не только не ослабевало, но и возрастало. И это еще не все. Контрудар оказался для немцев неожиданным, нарушил их планы, вызвал большое беспокойство. Не зная состав и количество наших наступающих войск и опасаясь глубокого прорыва, неприятель начал перегруппировывать с других участков в район нашего контрудара еще одну пехотную и две танковые дивизии — такую вот силищу!

Фельдмаршал фон Клюге вынужден был послать в Берлин, в генеральный штаб, объяснение, в котором говорилось:

«Командование 4-й армии докладывает, что оно вследствие больших успехов, достигнутых противником на ее правом фланге, было вынуждено ввести в бой резервы, сосредоточенные в тылу для намеченного на завтра наступления, и поэтому не в состоянии перейти в наступление в районе между р. Москва и р. Ока».

Сей документ отправлен был в то самое время, когда командующий Западным фронтом генерал армии Жуков распорядился наконец прекратить контрудар группы войск генерала Белова. Неохотно, но подписал приказ, подготовленный Соколовским и согласованный с Шапошниковым. От себя Жуков добавил в самом начале: «В связи с невыполнением задачи группой Белова и положением на флангах фронта…» Ругнул, значит, еще разок.

Темным пятном стали те события в многолетней дружбе Жукова и Белова, отразились потом на их общих делах. Трудно было Павлу Алексеевичу забыть полученные обиды, хотя Георгий Константинович публично, можно считать, извинился перед ним. В сорок пятом году в Берлине, в роскошном, с сияющими люстрами банкетном зале, на торжественном приеме в честь победителей-полководцев, поднимет Жуков бокал за командарма-61, произнесет тост, в котором будут и такие слова: «Вот Белов до сих пор обижается на меня за Серпухов, но его группа сорвала прорыв крупных сил немцев к Москве, а ведь это главное!»

12

Большое, как известно, видится на расстоянии. Я уделяю много внимания действиям Белова не только потому, что он сорвал очередную попытку противника отсечь от столицы южный бастион — Тулу, не только потому, что его контрудар был первым в серии контрударов по врагу под Москвой, которые переросли потом в наше контрнаступление, но главным образом потому, что хочу сломать некоторые устоявшиеся стереотипы,

воздать должное тем, кто остался в тени. Не случайно, знать, говорят, что скромность — прямой и надежный путь к безвестности.

Возьми, читатель, карту Подмосковья. Впрочем, необязательно карту, она только усложнит дело. Возьми лист бумаги и нанеси на него четыре точки. В центре листа — Москва. Выше, севернее — город Калинин. Ниже, южнее, примерно на таком же расстоянии — Тула. А восточнее, правее и ближе к Москве — городок Ногинск. С помощью этой несложной схемы постараемся понять общий замысел второго (ноябрьского) наступления немцев ни нашу столицу. В сорок первом мы не знали целиком этого замысла, но некоторые детали предвидели, некоторые особенности предполагали. Потом, разумеется, выяснилось все.

Четыре клина намеревались вбить немцы, четырьмя клешнями рассчитывали охватить и задушить наши войска. В самом простом виде это выглядело так. Сделайте пометку возле Калинина: 4-я и 3-я танковые группы немцев. Здесь широкое основание стрелы, которая, суживаясь, острым концом врезается в район Ногинска. Это — большая левая клешня вражеской группы армий «Центр», двигавшейся на Москву. Теперь укажем расположение 2-й танковой армии генерала Гудериана юго-восточнее Тулы. Оттуда тоже протянем стрелу в район Орехово-Зуева и Ногинска. Мощные клешни смыкаются. Вот вам и кольцо вокруг Москвы, к созданию которого, начав операцию, фашисты приступили вполне успешно.

К месту скажу кратко и о том, что намеревались немцы делать внутри кольца. Наши пропагандисты раздували много страстей. Гитлер, мол, намерен стереть столицу большевиков с лица земли, уничтожить Кремль. Затопить всю территорию города, чтобы следа не оставалось от центра и символа славянской, российской государственности. Возможно, что и так, но я подобных документов не видел. Зато знаю те распоряжения и указания, которые имелись в немецких войсках, участвовавших в Московском сражении. Войскам надлежало сохранять и учитывать для пользы рейха материальные и культурные ценности, захваченные у русских. Заводы, фабрики, научные лаборатории, медицинские учреждения, а также музеи, картинные галереи, учебные заведения, различные склады, предприятия транспорта, связи и т. д. и т. п. Мародерство не поощрялось. Немцы не дураки, чтобы терять доставшиеся им богатства. Захватом Москвы для них война не кончалась ни с Советами, ни тем более со всемирной империей англосаксов. Немцам нужен был прочный тыл, надежная материальная база для снабжения войск, для создания и вооружения новых формирований. А в первую очередь Москва нужна была им как главная база в центре России для отдыха и укомплектования измотанных дивизий.

Штурмовать Москву фашисты не намеревались. Это принесло бы огромные потери в уличных боях, вызвало бы пожары, разрушения, то есть уничтожение тех колоссальных ценностей, которые гитлеровцы хотели прибрать к рукам. Одни запасы сырья чего стоили! Аккуратные немцы распорядились бы ими в лучшем виде. Не сбрасывался со счетов и горький опыт французских захватчиков. Вспоминали, наверное, балладу одного своего соотечественника, написанную с присущей немецким литераторам прямолинейностью, грубовато, но достоверно воспроизводившую обстановку. Балладу я читал по-немецки (звучит лучше) и в русском переводе. На авторов у меня память плохая, а стихи помню:

В сгоревшей Москве голодуху Не выдержал Наполеон. Вороны клевали трупы. Французы жрали ворон. Когда истощились силы, Дело кончилось так: Вороны остались живы, Французы погибли в снегах.

А немцы хотели спокойно провести зимние месяцы в теплых московских домах, отъедаясь на трофейных продуктах. При этом обогревать и кормить трехмиллионное (как считали гитлеровцы) население города и ближайших пригородов фашисты, разумеется, не намеревались. В Москве должно было остаться лишь минимальное количество людей, необходимых для работы в промышленности, на транспорте, для обслуживания оккупационных войск и учреждений, все остальные жители должны были в кратчайший срок покинуть город. Для этой цели в районе Ногинска и Орехово-Зуева создавалось несколько контрольно-пропускных пунктов. Без задержки пропускались бы с носильными вещами женщины, дети, старики. Мужчины военно-активного возраста подвергались бы проверке. Таким образом немцы достигали сразу несколько целей. Отбрасывали все хлопоты, связанные с местным населением. Наводняли беженцами те районы, где еще предстояло вести бои. Советам надо было размещать, лечить, кормить недееспособных людей, нахлебников, а с доставкой продовольствия у русских уже были трудности… Беженцы, ко всему прочему, сеяли панику.

Ну, довольно нам о больших клещах, это ведь только часть немецкого замысла. Вернемся опять к нашей простенькой схеме. Немцы, значит, нанесли удары из района Калинина и Тулы. И там, и там шли вперед танки. Ну а что же в промежутке между этими городами, на пространстве западнее Москвы, на очень большом пространстве: я не мерил, но протяженность линии фронта с изгибами составляла километров триста.

В этой полосе непосредственно на нашу столицу должна была наступать в ноябре 4-я полевая армия фельдмаршала фон Клюге, насчитывавшая в своем составе более двадцати пехотных, танковых и моторизованных дивизий. И не просто наступать по всей полосе, оттесняя советские войска, а тоже нанести два мощных удара, вбить два клина: один от Можайска вдоль Москвы-реки, в основном по ее правому берегу, а второй из района северо-западнее Серпухова, вдоль железнодорожных и автомобильных магистралей киевского направления. Это были малые клешни, малые клещи. Цель — охватить, окружить, уничтожить советские войска, оборонявшиеся в центре нашего Западного фронта. Сомкнуться две клешни должны были в ближайшем пригороде столицы, в Кунцеве, чтобы затем вытеснять, выбивать из Москвы ее защитников.[54]

По плану, все четыре ударные группировки, две большие и две малые, начинали наступление почти одновременно, с разносом не более двух суток. Четыре мощных удара лишили бы советские войска возможности маневрировать силами и средствами. Ан не получилось такой опасной для нас одновременности. Правая малая клешня фельдмаршала фон Клюге перед самым началом наступления сама попала вдруг под удар группы войск генерала Белова. Немцы были ошеломлены, немцы начали отступать, неся потери, строить оборонительные рубежи, втянулись в изнурительные бои. Сам не зная того, генерал Белов практически исключил малую правую клешню из общего ноябрьского наступления. И левая малая надолго зависла в нерешительности: что ей делать, идти ли вперед или помогать соседям?

О делах судят по конечным результатам. Не знаю, чья заслуга больше, Шапошникова и Сталина, коим принадлежит замысел; Жукова ли, который

твердо добивался достижения намеченной цели, или непосредственного исполнителя Белова, — не знаю, но результат был явно в нашу пользу. Единого наступления у немцев не получилось, и это осложнило их положение. Большие фланговые клинья продвигались вперед, а фон Клюге стоял на месте, приходя в себя после основательной взбучки. В центре нашего Западного фронта, в полосе обороны 5, 33 и 43-й советских армий, сохранялось относительное спокойствие. Конечно, и там велись бои, и там обстановка складывалась иногда трудная, но это было совсем не то напряжение, которое царило на флангах. 19 ноября немцы атаковали наши позиции на звенигородском направлении, 21 ноября — правый фланг 33-й армии, но это были атаки, а не зубодробящие удары. Фон Клюге окончательно опомнился и активизировал свои действия лишь к концу ноября, когда большие клешни уже ослабли и нам стало полегче. «В общем стабильное положение трех центральных армий Западного фронта и относительно спокойная обстановка там в начале второй половины ноября дали возможность командованию фронта использовать часть сил этих армий для переброски на наиболее угрожаемые участки на флангах фронта, где развернулись ожесточенные сражения. Однако было ясно, что и здесь с часу на час следует ожидать вражеского наступления»… Это не мои слова, это я цитирую В. Д. Соколовского, возглавлявшего тогда штаб Западного фронта и досконально знавшего обстановку.

Общее положение в период ноябрьских боев под Москвой было очень напряженным. До предела? Нет, скорее почти до предела. Линия обороны прогибалась, отодвигалась назад, но противнику нигде не удалось прорвать ее. Фронт держался как единое оперативное целое, и это очень важно. Командующий вражеской группой «Центр» фельдмаршал фон Бок произнес тогда фразу, получившую широкую известность: «Исход сражения за Москву будет решен последним батальоном, введенным в бой с той или с другой стороны». У немцев в ноябре такого батальона не нашлось. Да что там батальоны, три вражеские дивизии, готовые к наступлению, были задержаны на длительный срок контрударом Белова. Значение этой операции, как говорится, трудно переоценить. Но почему же о ней не знают в народе, почему историки упоминают о ней редко и скупо по сравнению с другими, даже менее важными операциями? Тут редчайшее сочетание случайных и долгодействующих причин. Скажу лишь о некоторых.

Контрудар группы войск генерала Белова готовился в строжайшей тайне. О Белове, о его кавкорпусе ни в каких документах не упоминалось. Речь шла о контрударе 49-й армии генерала Захаркина. Но какой там контрудар: возможности пехоты иссякли через двое суток. Однако история документально зафиксировала действия именно 49-й армии. Верно, Белов наступал в ее полосе, оперативно взаимодействуя с ней, но выполняла его группа приказы командующего Западным фронтом, подчинялась непосредственно Жукову и Ставке. Все руководство шло напрямик.

Сыграла, разумеется, отрицательную роль и строка, вписанная Жуковым в распоряжение о прекращении наступления. Помните:

«В связи с невыполнением задачи группой Белова…» Значит, очередная неудача, только и всего…

А каково мнение Сталина, имевшее решающее значение? Да просто не было тогда в той ситуации никакого мнения. Здоровье Иосифа

Виссарионовича, как мы знаем, колебалось на грани срыва. Он не способен был осмысливать всю обширную информацию, стекавшуюся к нему. Сосредоточился на том, что тогда представлялось главным. Волоколамское и Ленинградское шоссе, канал Москва — Волга были рядом, от событий там напрямую зависела судьба столицы. Иосиф Виссарионович знал досконально, какие части и как сражаются на ближних рубежах. А лесной массив возле Серпухова — это все же подальше, не на первом плане.

Ну и, конечно, не могли не сказаться личные взаимоотношения между Жуковым и Беловым, между этими друзьями-соперниками. После войны на новой даче Жукова (об этом вскоре расскажу подробнее) задал я Георгию Константиновичу вопрос: почему генерал Белов, сорвавший наступление 4-й вражеской армии, добившийся ряда других успехов, обречен у нас на безвестность? Рокоссовского, Панфилова, Доватора знают все по боям под Москвой, а про Павла Алексеевича Белова редко кто слышал, хотя сделал он не меньше названных генералов. Жуков был настроен добродушно, ответил полушутя:

— Такая у него планида… Знаменитыми становятся те, кто ближе к руководству, на виду у начальства, у журналистов. А Павла черт носил незнамо где, по лесам и болотам.

— Он же не сам выбирал, его направляли туда. И вы в том числе.

— Но его не просто посылали куда подальше, — сострил Жуков. — Ему доверяли трудные участки, ставили трудные задачи. А для настоящего генерала это честь, это важнее, чем в газете о тебе напечатают.

Наверно, Георгий Константинович опять был прав, как и тогда, когда любой ценой требовал от Белова развивать контрудар, казавшийся бессмысленным, но принесший в конечном счете очень большую пользу.

13

Почти целую неделю, первую неделю нового немецкого наступления, Иосиф Виссарионович военными делами практически не занимался. Он лишь, казенно выражаясь, кратковременным присутствием обозначал свое пребывание на должностях. Хорошо отлаженные аппараты Ставки и Генерального штаба действовали сами по себе. Руководили войной двое: маршал Шапошников и генерал армии Жуков. Сама жизнь, без указаний свыше, определила тогда их задачи, функции и меру ответственности каждого. Генеральный штаб, естественно, занимался не только московским направлением. Значительные события происходили и на других участках. Анализ, предвидение, планирование, согласование, обеспечение текущих и предполагаемых операций силами и средствами, новые формирования, выпуск боевой техники — вот только часть того, что входило в круг обязанностей Бориса Михайловича и «мозгового центра», который он возглавлял. Возьмем хотя бы замысел и проведение ноябрьской серии контрударов по фашистским войскам. Мы знаем, что один из них, на Волоколамском шоссе, успеха не принес, зато другой, генерала Белова, дал ощутимые результаты. Но эти контрудары лишь часть замысла, который в случае успеха мог бы привести к перелому в ходе событий. Ведь одновременно с упомянутыми контрударами наносились в разных местах еще два.

В середине ноября началось наше наступление под Ленинградом, рассчитанное на то, чтобы облегчить участь северной столицы, не дать

немцам соединиться с белофиннами и полностью блокировать город. Да и конфигурация линии фронта была там такова, что просто грех не воспользоваться: фашисты клином прорвались к Тихвину, идея срубить этот клин так и напрашивалась. Там начал вырисовываться наш успех, его требовалось развивать, наращивать, координируя действия нескольких армий.

Еще своеобразней и сложнее было положение на юге. 1-я танковая армия немцев методично и, казалось, неудержимо двигалась к устью Дона, к Ростову-на-Дону, чтобы захватить этот важный стратегический пункт — ворота Кавказа, открыть Германии доступ к нефтеносным районам. Цель была близка, немцы так увлеклись ее достижением, что не придали значения контрудару наших войск с северо-востока, из района Ровеньки, Бирюково. Наша хорошо укомплектованная 37-я армия перешла там в наступление 17 ноября, почти одновременно с контрударами под Серпуховом и под Тихвином. 37-ю поддерживала справа 18-я армия, а слева более успешно 9-я армия. На штабных картах ситуация вырисовывалась неординарная. Немецкие танки и мотопехота клином шли на Ростов, а с северо-востока и с севера на основание клина давили наши войска, грозя перерезать вражеские коммуникации. Опьяненные победами, фашисты пренебрегли угрозой. Захватим, дескать, Ростов, достигнем главного, а потом и наступающих с севера разобьем. Действительно, взяли немцы Ростов 23 ноября, но к этому времени и сами оказались в мешке, их связывал с тылом, с Таганрогом, лишь узенький коридор. Продержавшись в Ростове несколько дней, фашисты попятились, побежали. Не вырваться бы им из мешка, если бы не помощь крупных сил, спешно брошенных на выручку из района Харькова.

Связанные неудачными для них боями под Ленинградом и под Ростовом, немцы ничем не могли помочь своим войскам, наступавшим на главном направлении, на Москву. А это уже само по себе было очень важно. Конечно, по долгу службы Шапошников занимался и обороной столицы, но тут положение было особое. Сражение за Москву вел и отвечал за него человек, принявший на свои плечи тяжкий крест, — Георгий Константинович Жуков. Его голос был главным, никаких подсказок, никакой опеки он не терпел, готов был встретить в штыки любое вмешательство. А Шапошников напрямик и не вмешивался. У Жукова была одна цель — не допустить немцев в Москву, продержаться как можно дольше со своими быстро таявшими войсками. И было одно жесткое требование — ни шагу назад! Никто не мог бы лучше осуществить это требование, чем он сам с его твердым характером. А Генштаб, как и положено, не только жил нынешним днем, но и заботился о будущем. В Генштабе думали не только о том, как остановить фашистов, но главное — как и чем отбросить их от Москвы. Генеральный штаб готовил резервы, накапливал силы для контрударов, причем накапливал их не возле Москвы, а в глубинных военных округах. Чтобы противник не знал. И чтобы свои не претендовали, не раздергивали новые формирования. Умудренный опытом Шапошников понимал: окажись резервы поблизости от столицы, Жуков сумеет подчинить их себе, они растают в оборонительных боях, не добившись перелома событий. А так что же: Георгию Константиновичу известно было о готовящихся резервах, но дотянуться до них он не мог, он вынужден был оперировать тем, что есть, упорно выигрывая час за часом, день за днем. Жуков был в тот период главной фигурой решающей битвы,

и все, желая того или нет, признавали это. Жукову тогда позволялось и прощалось многое.

Показательный случай приводит в своих воспоминаниях Константин Константинович Рокоссовский, в ту пору командарм-16. Он рассказывает о том, что было известно ему, что задело его, а я позволю себе дополнить и уточнить кое-что. У Рокоссовского, оборонявшегося на двух важнейших направлениях, на Волоколамском и Ленинградском шоссе, полностью иссякли резервы, в частях оставалось примерно тридцать процентов бойцов, а враг все давил и давил, особенно на Клин и Солнечногорск. Рокоссовский видел такой выход из положения: те войска, которые держались в 12–13 километрах западнее Истринского водохранилища, быстро отвести на восточный берег, занять очень удобные для обороны, подготовленные позиции. Тут и водная преграда, и заранее поставленные минные поля. Гораздо легче держать немцев, чем на голом месте. А высвободившиеся силы перебросить на самые угрожаемые участки.

Требовалось разрешение командующего фронтом. Рокоссовский обратился к нему с обоснованным предложением, упомянув об измотанности войск, о том, что немцы с ходу, на плечах наших отступающих частей форсируют реку и водохранилище, если заранее не занять выгодные рубежи. Но Жуков категорически отказал: для всех один закон, один приказ — стоять насмерть.

Особенности Георгия Константиновича давно и хорошо известны были Рокоссовскому. Служба не один раз сводила их. В начале тридцатых годов Жуков был командиром полка в дивизии, которой командовал Рокоссовский. Затем арест приостановил его продвижение. Перед началом войны Жуков возглавлял военный округ, куда направлен был командиром корпуса освобожденный из заключения Рокоссовский. Знали друг друга. Понятно было Константину Константиновичу: если Жуков упрется — не сдвинешь. Но и Рокоссовский умел добиваться того, что считал нужным. Обратиться через голову Жукова непосредственно к Верховному Главнокомандующему он не имел права, поэтому избрал другой путь. Послал мотивированную телеграмму в Генштаб. Шапошников положительно оценил предложение Рокоссовского, понял его маневр и позвонил Сталину. Сам-то Шапошников решений по конкретному руководству войсками обычно не принимал, а обратиться к Верховному — его право и обязанность. Сталин же тогда, как мы знаем, был нездоров и особенно полагался на Шапошникова. Спросил:

— Вы считаете, что Рокоссовский прав?

— Предложение разумное.

— Пусть выполняет.

Получив из Генштаба разрешение, Константин Константинович не медлил. Оставив на рубеже заслоны для задержания немцев, главные силы войск приготовились к ночному отходу за водохранилище. Некоторые подразделения уже снялись с мест. А тут телеграмма:

«Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков». Пришлось срочно все переигрывать, получилась неразбериха. Ну и что ни говори, а когда распоряжение выполняется неохотно — это тоже имеет значение. Короче говоря, немцы продолжали наступление, отбросили левый фланг 16-й армии за Истру, захватив плацдарм на восточном ее берегу.

Я вовсе не желаю осуждать кого-то, разбираться, кто виноват, просто говорю об авторитете, которым пользовался Жуков, о том, какую власть он имел, позволяя себе не считаться ни с кем. У Рокоссовского — обида и неприятности. В несколько странном положении оказался Шапошников, ведь Жуков отменил приказ, подписанный им. Памятуя одну из заповедей русского офицерства «жизнь — Родине, честь — никому», Борис Михайлович должен был бы высказать свое недовольство, вплоть до подачи в отставку. Но в сложнейшие для страны моменты в отставку уходят только трусы, да и честь начальника Генштаба была не очень задета. Ведь приказ-то согласован с Верховным Главнокомандующим и фактически исходил от него. Но Сталин в тот момент не хотел, видимо, конфликтовать с Жуковым, сделал вид, будто ничего не случилось, хотя, конечно, на ус намотал. Задержавшись после вечернего доклада в кабинете Сталина, Шапошников сказал:

— Поступок Жукова пока без последствий.

— Пусть он таким и останется. Без последствий. — Похоже, Иосиф Виссарионович обрадовался найденной формулировке. Это как раз тот случай, когда все правы. Рокоссовский хотел как лучше. Но и Жуков прав — он командует фронтом, мы спрашиваем с него.

— Представляю, каково сейчас настроение Рокоссовского, — произнес Борис Михайлович. — Чувство вины за неудачу, резервов нет, немцы атакуют. Приободрить его хотя бы словом…

— Одних слов мало, — ответил Иосиф Виссарионович. — Я позвоню, поговорю с ним. Его надо поддержать. Лучшие его дивизии заслужили звание гвардейских, и не будем медлить… А какими войсками мы можем сейчас подкрепить товарища Рокоссовского?

— Очень мало.

— И все же? Что я могу ему пообещать?

— Полк «катюш», два противотанковых полка, три танковых батальона.

— Немного, но все же… А людьми?

— Не более двух тысяч москвичей.

— Так и скажу — две тысячи. Я сейчас свяжусь с товарищем Рокоссовским. А вы позаботьтесь, чтобы все перечисленные подкрепления утром находились у него в армии.

Указание, разумеется, было выполнено.

Еще эпизод тех дней, когда Сталин боролся с болезнью. Во вторник, 25 ноября, развернул я газету, начал читать сообщение о потерях советских и немецких войск за пять месяцев войны, и даже виски заломило: вероятно, подскочило давление. То, что наши потери не очень велики, это ладно — кто не преуменьшает своих утрат! Есть даже старая формула исчисления собственных потерь — по минимуму. А противника — по возможному максимуму. Но на этот раз максимум оказался столь невероятным, что мне кроме всего прочего стыдно стало за тех, кто составлял и подписывал сообщение.

Связался по телефону с Василевским. Он сразу понял, о чем речь, сказал, что в Генштабе удивлены, что в Генштабе нет тех сведений, которые опубликованы. Попросил позвонить ему, если я что-либо выясню. А как выяснишь? Самое верное — через Поскребышева. Поехал к нему. Поскребышев несколько сконфуженно сказал мне, что было уже несколько звонков по этому поводу, что в случившемся отчасти повинен он сам. А произошло, с его слов, вот что. В тот день, когда Иосиф Виссарионович чувствовал себя особенно плохо, Поскребышев, как условились, оберегал

его от трудных забот, ответственных решений. Была лишь видимость работы. А проект сообщения о потерях показался Поскребышеву документом не особенно важным. Как раз по состоянию здоровья Иосифа Виссарионовича. Вот и понес на доклад. Но реакцию Сталина даже многоопытный Поскребышев мог предугадать не всегда. Сталин, обычно быстро просматривавший подобные бумаги на этот раз медленно вчитывался в сообщение, все больше и больше хмурясь. В кабинете находился начальник Главного политического управления Лев Захарович Мехлис. Сталин обратился к нему:

— Мы что, воюем с фашистами или воду в ступе толчем? Мы пять месяцев бьем немцев. Газеты каждый день пишут о потерях противника. Немцы сами признают, что не ожидали таких потерь. Мы говорим о том, что фашизм близок к поражению, что надо потерпеть еще полгодика, может, год, а если судить по этой бумажке… Думаю, потери у немцев значительно выше, чем указано здесь. Вот, ознакомьтесь.

Лукавый Мехлис, и бумагу-то не прочитав, поспешил присоединиться к «хозяину».

— Цифры, безусловно, не отвечают… Цифры должны не разочаровывать, а вдохновлять наших воинов.

— Совершенно верно, — сказал Сталин. — А иначе зачем печатать такие сообщения?

Сел за свой стол, взял карандаш. Поскребышев хотел вставить свое слово: данные, дескать, проверены, но не решился. Сталин был в таком состоянии, что напряженное спокойствие его в любой момент могло кончиться непредсказуемым взрывом. А Иосиф Виссарионович, подумав, спросил Мехлиса:

— Могли фашисты потерять за пять месяцев девять миллионов солдат и офицеров?

У Мехлиса глаза забегали, когда услышал. Кашлянул аккуратненько в сторону раз-другой, ответил:

— Это реально.

— А одиннадцать миллионов?

— Возможно, — поддакнул Лев Захарович.

— Ну вот, а ведь это входит в ваши обязанности, товарищ Мехлис, следить за достоверностью информации.

— Учту, товарищ Сталин.

Иосиф Виссарионович был удовлетворен. Внес карандашом свои поправки в документ, отдал Поскребышеву и закурил с чувством исполненного долга. Потом, прочитав сообщение, будучи уже здоровым, он сразу понял свою оплошность. Слишком уж его занесло, он одним росчерком пера уничтожил три состава немецких войск, действовавших против нас. Получалось так, что нам и сражаться-то было уже не с кем, а мы почему-то не Берлин штурмуем, а с трудом отстаиваем Москву. Неловко чувствовал себя Сталин перед Шапошниковым, перед другими генералами. Тактичный Шапошников не выказал укоризны, а вот Жуков прилюдно, в присутствии Сталина рубанул без обиняков:

— Бред собачий! Не сообщение, а бабкины сказки на смех курам! Ну, куры-дуры, а уж немцы-то посмеются…

Иосиф Виссарионович молча проглотил эту пилюлю от Жукова. Георгий Константинович был тогда на коне!

Не припомню случая, чтобы Сталин даже в самые трудные дни, в самое опасное время хоть раз поинтересовался, кто и как его охраняет, какие меры предусмотрены, предположим, на тот случай, если немцы окружат Москву или ворвутся в нее. Он, разумеется, знал, что его берегут, но не желал вдаваться в подробности, раздражался, если замечал, ощущал такого рода заботу о себе. Есть люди, которые должны заниматься этим. Им доверие, с них спрос.

Ну а действительно, может же так быть: столица окружена, бои идут в городе, вражеские подразделения приближаются к Кремлю. Что делать? Был же случай, когда батальон немецких мотоциклистов, маневрируя по проселкам между Ленинградским и Волоколамским шоссе, на большой скорости проскочил от линии фронта до самого города, до Сокола. Батальон, правда, только по названию, остатки батальона, группа дерзких мотоциклистов, но прорвались же и были уничтожены лишь на рубеже речки Таракановки (после войны эта речка, взятая в трубу, скрылась под землей). А если бы не мотоциклисты, если бы сотня танков и автомашин с пехотой неожиданно прорвались? От Сокола до Кремля рукой подать. Но… Берия и его люди тоже не задаром ели свой хлеб.

В первые месяцы войны в охране Сталина, его дач, помещений, где он работал и отдыхал, никаких принципиальных изменений не произошло. Охрану увеличили, но и только. Но вот в начале октября, когда угроза нависла непосредственно над Москвой, мне позвонил Лаврентий Павлович, что случалось весьма редко, и пригласил приехать к нему на важное совещание. Зная о том, что я не очень расположен был посещать его учреждение, повторил несколько раз:

— Необходим ваш совет. Приезжайте вместе с Поскребышевым, мы договорились.

Присланный за нами капитан госбезопасности[55] Максимов доставил нас не в служебный кабинет Берии, а в подземное бомбоубежище, где, впрочем, большая комната почти ничем не отличалась от кабинета, и размер тот же, и отделка, и мебель. Там нас уже ждал Власик. И еще несколько незнакомых мне работников НКВД. Берия без обиняков сказал, что обстановка сложная, надо быть готовым к самому худшему, вплоть до уличных боев. Надо прежде всего позаботиться о безопасности товарища Сталина, Политбюро, Ставки и Генерального штаба. Для этой цели необходимо создать специальную воинскую часть, точнее, специальное соединение, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения — ОМСБОН. Численность — до пяти тысяч отборных бойцов. Разместить рядом с Кремлем (в обширном здании ГУМа). Это даст определенные гарантии.

Лаврентий Павлович попросил высказывать предложения. Я, помнится, посоветовал: командиром бригады или начальником ее штаба обязательно должен быть не сотрудник НКВД, не чекист, а войсковой командир, к тому же с фронтовым опытом. Мне затем еще дважды приходилось заниматься вопросами, связанными с формированием ОМСБОНа, вместе с командиром бригады полковником Орловым и начальником штаба капитаном Злобиным определял задачи бригады, разрабатывал ее штат, готовил приказ наркома внутренних дел № 00481, узаконивший создание этого необычного воинского соединения, родившегося на стыке двух ведомств — военного и государственной безопасности.

Бригада состояла из двух мотострелковых полков и нескольких отдельных подразделений. При этом каждый батальон формировался с

учетом определенных целей. Один батальон полностью состоял из чекистов и работников милиции, главным образом тех, кто находился прежде на территории, которую оккупировали теперь немцы. В этом батальоне готовились группы для заброски во вражеский тыл, чтобы вести там разведку, совершать диверсии, развивать партизанское движение. Через этот батальон прошли многие наши замечательные партизанские командиры и разведчики, в том числе Д. Н. Медведев, Н. И. Кузнецов.

Другой батальон сформирован был из воинов-интернационалистов, по разным причинам оказавшихся в нашей стране. В основном это были коммунисты, значительная часть которых прошла через горнило войны в Испании. Каких только языков и наречий не звучало! Этих людей, защищавших в сорок первом Москву, в конце войны и после нее можно было встретить в разных странах мира, они получили известность как военные и политические деятели.

Еще один батальон — сплошь спортивный, основу его составляли преподаватели и студенты институтов физкультуры. Впрочем, «спортивных» батальонов было два, в них были сосредоточены лучшие наши физкультурники со всей страны, чемпионы и призеры соревнований, чьи имена до сих пор широко известны среди спортсменов. Лыжница Любовь Кулакова, борец Григорий Пыльнов, гребец Александр Долгушин, превосходные легкоатлеты братья Серафим и Георгий Знаменские… В этих батальонах готовились отряды и группы для выполнения особых заданий. Часть людей направлялась отсюда на оперативную работу в разведку и контрразведку.

В общем, так: у каждого подразделения отдельной бригады особого назначения была своя цель, а вместе они выполняли важнейшую задачу по обороне центра нашей столицы. Примерно по линии Садового кольца. Мне довелось инспектировать рубежи 1-го мотострелкового полка ОМСБОНа, который обязан был не допустить прорыва противника со стороны Ярославского шоссе, Рижского вокзала и от Бутырской заставы. Дома были приспособлены к обороне, имелись инженерные заграждения, чтобы быстро перекрыть улицы, проходные дворы. Рубеж постоянно и тщательно охранялся, проникновение в центр подозрительных лиц со второй половины октября было почти исключено. В этом отношении Берия мог быть спокойным. Он и успокоился, особенно после того как Сталин заявил: Москву не сдадим, будем защищать до последней возможности.

А вот Поскребышев, заботясь о Сталине, да и о себе, пошел значительно дальше. Может быть, и не по собственной инициативе, может быть, ему намекнул Иосиф Виссарионович — этого я не знаю. Во всяком случае, у Поскребышева состоялся разговор с генерал-лейтенантом авиации Павлом Федоровичем Жигаревым, который руководил в Московской битве действиями наших военно-воздушных сил. Сказал ему Поскребышев о мерах, которые приняты для эвакуации Ставки в случае необходимости. О спецпоезде, об автомашинах. Ну а если вдруг срочно потребуется вывозить в безопасное место Верховного Главнокомандующего? Если даже аэродромы, в том числе и Центральный, будут под контролем противника? Как быть, на что способна авиация? У вас, мол, у командующего ВВС, есть все права и возможности. Детали — это ваша забота.

Бывший буденновец (и этот тоже!), сменивший в двадцатые годы кавалерийское седло на кресло летчика, быстро набравший высоту после волны репрессий, особенными способностями не отличался, но человек

был энергичный, исполнительный, дисциплинированный. Слова Поскребышева воспринял как указание, узрев в них доверие и честь для себя. И принял меры. Быстро создал взлетную площадку так близко, что ближе некуда. На широком и прямом отрезке Садового кольца, от Красных ворот до Колхозной площади, были сняты все уличные провода, убраны все препятствия. В двух дворах, в укрытиях, стояли в полной готовности два «Дугласа» с лучшими экипажами. В самолетах имелась теплая одежда, продовольствие, медикаменты. От Кремля или от здания у Кировского метро, где размещалась Ставка, до самолетов не то что доехать, добежать можно было в случае необходимости за считанные минуты. Там же, во дворах, замаскированы были и истребители прикрытия в готовности к немедленному взлету. Охрану несло подразделение из отдельной бригады: этот участок защищен был особенно надежно. Всю систему объединяла безотказная, дублированная схема связи. Кто, кроме Поскребышева и Жигарева, знал о том, для кого и для чего предназначены самолеты? Во всяком случае, знали Берия, Власик, Шапошников и я. Не сомневаюсь, что было известно и Сталину. Но одно дело знать, а другое — говорить. Иосиф Виссарионович умел молчать, а простодушный авиатор Жигарев — не всегда. И вот однажды в конце зимы или в начале весны, когда обстановка под Москвой нормализовалась, фронт отодвинулся, в столице наладился определенный жизненный ритм, Жигарев спросил Сталина, не пора ли снимать с постоянного дежурства «дугласы» и истребители, предназначенные для срочной эвакуации. Ну, осведомился бы через Поскребышева или наедине, а то ведь, ничтоже сумняшеся, спросил при членах Политбюро, при генералах. И это у Сталина, о котором все знали, что он не собирался покинуть столицу, у вождя, который теперь, когда пришло облегчение, гордился своим поведением в трудные осенние дни.

— А кого вы собирались срочно эвакуировать на этих самолетах?

— Вас, товарищ Сталин.

— Странно, товарищ Жигарев, очень странно. У нас никогда не было желания улететь из Москвы. Скажите, кто приказал вам держать наготове машины, чье это распоряжение?!

В нелегкое положение попал Жигарев. Приказа-то у него не было, а ссылаться на разговор с Поскребышевым — это даже неловко. Иван кивает на Петра, так, что ли! Ответил:

— Мы сами, товарищ Сталин, на всякий случай.

— Значит, товарищ Жигарев, вы не верили в то, что мы отстоим Москву?

— Война есть война, всякое бывает.

— Значит, все-таки сомневались… Сомневались и позаботились. — Усмехнулся Сталин. — И о себе тоже?

— Мое место было здесь, с летчиками, а ваше — со всей страной.

— Да, тяжелое время мы пережили, — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. — Это было испытание для всех. А не переменить ли вам, товарищ Жигарев, место службы, не поехать ли вам на Дальний Восток? Там поспокойней. Посмотрите на события со стороны, подумаете.

— Как будет приказано, — растерянно ответил Жигарев. Да ведь растеряешься. От неожиданности, от знания того, что подобные отстранения и перемещения для многих руководителей заканчивались весьма печально. Удивлен был и я. Наедине потом спросил Сталина, чем же провинился Жигарев, ведь воевал он неплохо, во всяком случае, не хуже других.

Глаза Иосифа Виссарионовича лукаво блеснули.
— Что за люди у нас, Николай Алексеевич! Ведь мы направляем Жигарева не в пекло, даже наоборот, перебрасываем его в тыл, на более спокойный участок. Подальше от опасности. А Жигарев воспринимает это как наказание… Хорошие люди у нас, Николай Алексеевич, прямые, откровенные люди, — посерьезнел Сталин. — У нас на Дальнем Востоке осталось мало войск, мало авиации, а ведь там тоже пожар… Чем можно возместить нехватку личного состава и техники? Хотя бы опытом наших военачальников. Товарищ Жигарев хорошо показал себя под Москвой. Его знания, его мастерство будут полезны на Дальнем Востоке.
Разве возразишь? По существу все правильно. Как я понял тогда, а вскоре убедился окончательно, уже в то время, в разгар войны на западе, Сталин думал о предстоящих событиях на далеком восточном театре. Вслед за Жигаревым отправились к Тихому океану некоторые другие полководцы, пережившие и горечь отступления, и радость наших успехов. Среди них был генерал Пуркаев, командовавший 3-й ударной армией, а затем и фронтом. Сталин ценил Пуркаева, надеялся на него и не ошибся: в сорок пятом году войска Пуркаева проведут блестящую операцию против японцев.
Ну и еще о «пострадавшем» Жигареве. Пройдет время, после войны встанет вопрос о назначении нового главнокомандующего Военно-воздушными силами. Обсуждалось несколько кандидатур. А Иосиф Виссарионович предложил… Жигарева.
— Он воевал на западе, он воевал на востоке, его хорошо знают наши боевые летчики. Человек он добросовестный и надежный. Помню, как осенью сорок первого года он позаботился о нашей безопасности. Мы тогда поругали его, но по-своему он был прав, совершенно прав… Давайте назначим его.
Бывший кавалерист Павел Федорович Жигарев возглавил мощную воздушную армаду нашего великого государства, распростершегося от Атлантического до Тихого океана. Огромное небо открылось ему. На плечах Жигарева засияли золотые погоны главного маршала авиации.

15

Определимся по времени: самый разгар ноябрьского наступления немцев на Москву. Иосиф Виссарионович, колебавшийся на грани психического срыва, успешно преодолел эту грань, был здоров, дееспособен, энергичен. Его внимание, как и внимание Жукова, было приковано к тому, что происходило в Подмосковье. Северная большая клешня немцев представлялась наиболее опасной. Возле Истры, Солнечногорска, канала Москва-Волга фашисты подошли к пригородам столицы, наращивали здесь свои удары. Казалось, именно на Ленинградском и Волоколамском шоссе у Рокоссовского решается вопрос: быть или не быть? Да, решался, но не более чем на некоторых других направлениях. Увлеклись там немцы, ободренные успехами, бросали в бой последние силы: вот она — Москва, рядом совсем. Для Сталина, не очень-то опытного в военных делах, для конкретномыслящего Жукова это был не самый плохой вариант. Держи врага и накапливай резервы, что, как мы знаем, и делалось.
Стоявшая против центра Западного фронта немецкая 4-я полевая армия все еще залечивала раны, полученные при контрударе Белова, и только

приступала к решительным действиям. На южном крыле, возле Тулы, тоже было полегче. Впрочем, не знаю, кому как, а мне тошно бывало при одном упоминании о Гейнце Гудериане, наиболее умном и дерзком фронтовом генерале противника. В памяти стремительные броски его танков во Франции, рейд через всю Польшу. Да и у нас: внезапные прорывы на Минск, Киев, Орел, в значительной мере определившие ход летне-осенней кампании. 2-я танковая армия Гудериана и теперь была сильна, но считалось, что она завязла под Тулой, пытаясь окружить и захватить этот город.

Не вся, впрочем, армия была скована. Ее подвижные соединения продолжали медленно продвигаться на северо-восток и восток в общем направлении на Каширу, Рязань. Но боеспособность этих соединений заметно снизилась. Наша разведка перехватывала прямо-таки мольбы о помощи, адресованные высшему командованию. Кончилась для фашистов сравнительно легкая война. Немцы жаловались на вшивость, на холода, на отсутствие зимнего обмундирования (112-я пехотная дивизия почти полностью переоделась, используя запас теплых вещей, захваченных на наших складах, но не всем дивизиям так повезло). Перед запуском двигателей немцам приходилось разогревать их, так как горючее замерзало, а смазка густела (но в таких же условиях находились и мы, только двигателей у нас было поменьше). В трех танковых дивизиях Гудериана осталось около 600 танков, примерно половина. В моторизованных дивизиях процент еще ниже. В передовом ударном отряде полковника Эбербаха — 50 танков. По нашим тогдашним понятиям это много, но немцы считали иначе.

Успокаивало вот что. Нам удалось создать довольно многочисленную группировку, преграждавшую путь Гудериану. Называли ее по-разному: веневский боевой участок, веневская группа войск. По наименованиям — солидно: 413, 294, 173-я стрелковые дивизии, 31-я кавалерийская, 108-я танковая дивизии, 11-я и 32-я танковые бригады, несколько отдельных танковых батальонов, артиллерийские дивизионы. Карта района Венева испещрена была номерами частей и соединений. Психологически это действовало. Неужели такая группировка не отразит натиск двух-трех немецких дивизий?! Но ни в Ставке, ни в Генштабе тогда, при быстро менявшейся обстановке, не имели точных данных о состоянии перечисленных войсковых единиц. А состояние после многочисленных боев было плачевное, как выяснилось потом при расследовании. В веневской группировке номеров соединений и частей было едва ли не больше, чем личного состава. 299-я стрелковая дивизия насчитывала менее 800 человек, одну десятую штата: батальон, а не дивизия. В 11-й и 32-й танковых бригадах, вместе взятых, имелось всего три десятка устаревших легких танков. Туда, правда, должна была подойти полностью укомплектованная 239-я стрелковая дивизия, только что прибывшая с Дальнего Востока, но не успела.

Генерал-полковник Гейнц Гудериан еще раз, и теперь уже последний раз, проявил на восточном (для немцев) фронте свои недюжинные способности, хотя действовал не столько по собственному желанию, сколько по настоятельному требованию Гитлера. Медленно ползла и ползла южная большая клешня Гудериана, оттесняя наши войска, нащупывая удобное место для решающего удара. И вот 23 ноября всей своей мощью обрушилась на нашу веневскую группировку, обходя ее с двух сторон и рассекая наступлением в центре. Короче говоря, на

следующий день, менее чем через сутки, эта группировка перестала существовать. Она пыталась сопротивляться, но была разгромлена, рассеяна, много людей попало в плен. Гудериан открыл себе путь на Рязань, к нашим важнейшим коммуникациям, связывавшим Москву с юго-востоком и востоком страны, по которым поступали резервы, шло горючее, продовольствие. Но еще страшнее было другое. Выполняя личный, приказ Гитлера, танки Гудериана, не встречая противодействия, двинулись на Мордвес, в сторону Каширы, чтобы захватить переправы через Оку. А дальше — хоть на Ногинск, чтобы замкнуть кольцо вокруг нашей столицы, хоть прямо на Москву: немцы знали, что на этом пути у нас, у русских, нет никаких войск. Скорость продвижения определялась лишь наличием горючего, состоянием техники и дорог.

Воистину тяжел был понедельник, 24 ноября. В тот день немцы захватили Клин и Солнечногорск. Кавалерийская группа генерала Л. М. Доватора попыталась выбить противника из Солнечногорска, но сил не хватило, не получилось. Панфиловская дивизия под натиском вражеских танков оставила опорные пункты Рождествено и Алехново, отошла на восточный берег Истринского водохранилища. Плотину водохранилища взорвали не очень удачно, однако вода в реке все же поднялась, став дополнительной преградой на пути неприятеля. И в довершение всего — неожиданный, дробящий удар Гудериана на южном крыле Западного фронта. Было от чего нашему командованию потерять голову. К счастью, этого не произошло. В Москве работали довольно спокойно. Жуков латал дыры, снимая части и даже отдельные подразделения с менее опасных участков, и срочно на автомашинах, поездами, электричками перебрасывал туда, где было особенно скверно. Подчищал тылы, отправляя на передовую последние пушки, учебные подразделения, формируемые Западным фронтом резервы. Под метелку!

Нет, чрезмерного уныния, а тем более паники у нас не было. Уверенность объяснялась тем, что мы к тому времени имели кое-что в запасе. Дальновидный Шапошников придерживал в глубоком тылу довольно крупные силы, предназначенные для контрударов под Москвой. Готовились к переброске 1-я ударная армия, которой командовал знакомый читателю генерал-лейтенант В. И. Кузнецов, 20-я армия генерал-майора А. А. Власова и 10-я — генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова. Вводить эти армии в сражение намечалось в тот момент, когда противник начнет выдыхаться, и не частями, а целиком, чтобы добиться перелома событий. Ожидаемый момент еще не наступил, но Гудериан, черт бы его побрал, опять спутал нам карты. В кабинет Сталина прибыли срочно вызванные им Шапошников и Жуков. Выслушав краткие доклады того и другого, Иосиф Виссарионович подвел неутешительные итоги. Спросил Жукова:

— Сколько способен продержаться Рокоссовский при полном использовании всех возможностей?

— Двое суток гарантирую. Потом полное истощение. Войска правого крыла фронта измотаны до предела, в полках по двести, даже по сто человек.

— Держитесь до самого последнего бойца. Кое-что мы вам дадим из того, что есть в Москве. Но немного. — Иосиф Виссарионович оборотился к Шапошникову: — Что же мы будем делать, Борис Михайлович? Не пора ли тронуть Кузнецова и Власова?

— Вынуждены. Предлагаю с двадцать пятого ноября начать переброску войск Кузнецова из внутренних округов в районы Загорска, Дмитрова, Яхромы. Для войск Власова — Лобня, Сходня, Химки. Армию Голикова — в район Рязани. Голиков еще слаб, доукомплектовывать и вооружать будем в пути следования.

— Это еще сброд в шинелях, а не армия, — буркнул Жуков.

— Что есть, то и есть, время не терпит. Ко второму декабря Голиков закончит сосредоточение. Документация по трем армиям подготовлена.

— Улита едет, когда-то будет. Не опередят ли нас немцы? Наши в пути, а немцы в Москве, — сказал Сталин. В ответ Шапошников только руками развел, а Иосиф Виссарионович продолжал нетерпеливо: — Что с Мордвесом? Как под Каширой?

— Изменений нет.

— Сто километров расстояния от Оки. Хорошее шоссе для танков Гудериана, — хмуро произнес Иосиф Виссарионович. — Товарищ Жуков, какие меры приняты?

— Я повернул туда кавкорпус Белова.

— А, «пожарная команда»! Спасательная команда, — припомнил Сталин. — Что там сделает Белов на своих лошадях…

— Придадим танковую дивизию Гетмана.

— Остатки дивизии… Делайте как можно быстрей. Где находится Белов?

Трое склонились над столом, над большой картой. Я на диване развернул свою. Жуков сообщил:

— Девятая кавдивизия на марше, двигалась в район Лопасни. Приказано повернуть на новый маршрут. Ей до Каширы сто пятьдесят километров. Пятнадцатому полку гвардейских минометов — тоже. У пятой кавдивизии расстояние короче, но она еще не снялась с передовой, сдает свою полосу пехоте.

— Когда ожидаете немцев в Кашире?

— Двадцать шестого.

— Когда подойдет корпус Белова?

— Приказано завтра, к концу дня.

— За сутки сто пятьдесят километров, это нереально, — вмешался Шапошников. — А время на подготовку марша? Довести задачу до командиров, выбрать маршруты, распределить силы по колоннам…

Георгий Константинович не ответил на эту реплику. Спросил Сталина:

— Можно отсюда связаться с Беловым? Я звонил от себя, но он был в войсках.

На этот раз Белов оказался поблизости от телефонного аппарата. И сразу, если судить по словам, по выражению лица Жукова, в резкой форме высказал ему свои соображения. Сталин внимательно прислушивался к разговору.

— Расстояние?.. Что ты мне толкуешь, сам знаю. Не считай меня за дурака, карта передо мной… Гололед, а лошади не перекованы по-зимнему? Понимаю, Паша, все понимаю, но и ты тоже пойми: там дыра, и закрыть ее некому, кроме тебя. Пусть твои орлы берут любые машины, любой транспорт. Гони в Каширу все, только бы опередить немцев. Кто у тебя по разведке, Кононенко? Это же ас! Сам давай на машине в Мордвес, найдешь там командарма пятидесятой Болдина, уточнишь обстановку. Каширскую электростанцию береги до последней возможности. Подчиняй себе всех, кого сочтешь нужным. Тебе даем все права, но на тебе

персональная ответственность за удержание Каширы. Персональная! Не пропусти Гудериана, Павел! Действуй! До связи!

— Значит, вопрос сейчас в том, кто окажется быстрее, конница или танки, — негромко произнес Сталин. — И кто окажется сильнее… Борис Михайлович, подумайте, чем нам подкрепить Белова.

— Будет сделано… И все-таки это нереально, — качнул головой Шапошников. — За сутки, за полутора суток столько километров по зимней дороге, по гололеду… Без сна, без отдыха. И с марша — в бой… От усталости падать будут… Нет, это невыполнимо.

— Согласен, — сказал Жуков, и Сталин резко повернулся к нему, глянул вопросительно, гневно. — Согласен, что теоретически невозможно. И никто другой не выполнит такой приказ. А Павел… А генерал Белов, — поправился Георгий Константинович, — он выполнит. Сделает все, чтобы выполнить.

— Ладно, будем надеяться, что Павел не подведет, — невесело усмехнувшись, завершил разговор Иосиф Виссарионович.

16

От Сталина я ушел вместе с Шапошниковым. Он предложил мне заглянуть к нему несколько минут. По делу, разумеется: в гости, разговоры городить тогда не ходили. Генеральный штаб той осенью размещался вместе со Ставкой в большом здании на улице Кирова, поблизости от метро. Если начиналась бомбежка, люди укрывались под землей, где оборудованы были комнаты и кабинеты, снабженные всем необходимым для работы, в том числе надежной связью с фронтами. Если что и мешало, так это грохот метропоездов, проносившихся за тонкой фанерной стеной. Но поезда тогда ходили редко, с вечера вообще прекращалось движение.

Мы с Борисом Михайловичем спустились в бомбоубежище. Кабинет Шапошникова был невелик, скромно обставлен. Письменный стол, несколько телефонов. Все хорошо, если бы не запах табачного дыма, пропитавшего, как мне казалось, там все. Ей-богу, я не выдержал бы долго в такой атмосфере, потерял бы работоспособность. Кстати, на это сетовал и Жуков, никогда не куривший и обалдевавший, по его выражению, от запаха табака. Бывая в этом подземелье, торопился скорее уйти.

При мне Шапошников не курил. Мы немного посидели молча, расслабившись, отдыхая. Немолоды ведь были. У него, наверно, устали глаза. Сняв пенсне, ладонями со сцепленными пальцами закрыл от электрического света верхнюю часть лица. На секунду показалось, что передо мной не Шапошников, а Жуков: такой же волевой подбородок, столь тяжелый, что оттягивает нижнюю губу, она, чуть отвисая, выступает вперед. И даже когда Борис Михайлович опустил ладони на стол, ощущение схожести между ним и Жуковым не исчезло. И у того, и у другого большая «львиная» голова. Крупный нос, крупные, прижатые уши, просторный лоб, ничего лишнего, никаких мелких штрихов. Разница в том, что у Жукова черты лица грубые, топорной (извиняюсь) работы, а у Шапошникова все смягчено, облагорожено, будто вылеплено искусным мастером. Ну и, конечно, необычайная шапошниковская прическа, которая была только у него одного. Затылок и виски высоко оголены под ноль, как у новобранца. Короткие волосы только от уголков лба и до макушки, но и они разделены широким пробором, плотно и гладко уложены.

Нам принесли чай, коротенький отдых закончился. На лице Бориса Михайловича блеснули стекла пенсне.

— Николай Алексеевич, не в службу, а в дружбу… Не пойму, что в Истре. Рокоссовский сообщил, что немцы обошли город с севера и с юга. Однако Белобородов еще в Истре, его семьдесят восьмая дивизия ведет бой… Я пока не докладываю Верховному.

— Хватит ему неприятностей на сегодня.

— Не докладываю потому, что нет ясности. Но теперь о другом. Новоиерусалимский монастырь, насколько я знаю, западнее города…

— На западной окраине, на холме над рекой. Отличный обзор, идеальная оборонительная позиция, контроль над местностью.

— Она и держится, эта позиция, запирает Волоколамское шоссе. Монастырь в наших руках, хотя неизвестно, кто там. Какая-то воинская часть отражает атаки.

— Как это может быть — неизвестно?

— Я привык не удивляться, Николай Алексеевич, но на этот раз… В штабе Рокоссовского не знают. Дозвонились до Белобородова, он категорически утверждает: его людей в монастыре нет. Были там какие-то саперы или зенитчики…

— Зенитчики не продержались бы против пехоты. Да и саперы…

— Все может быть. Они там почти отрезаны, а кто даст приказ об отходе? Немцы бомбят и обстреливают нещадно. Гибнет прекрасное творение рук человеческих, великолепные храмы, целый ансамбль, наши святыни… Поезжайте, Николай Алексеевич. Если город придется сдать, то зачем напрасные жертвы и разрушения?! Верю, мы вернемся туда, и хочу, чтобы там были не только руины. Некоторым товарищам такой подход не по душе. Поэтому и обращаюсь к вам. Если вы, конечно, согласны со мной. Что-то еще можно спасти, хотя бы основу.

— Воинская часть без хозяина, это упрощает дело. Белобородов будет знать обо мне?

— Как о представителе Генштаба.

— Если позвонит Поскребышев, я послан выяснить обстановку в Истре.

— Камень с плеч, Николай Алексеевич! И берегите себя. Да простятся нам прегрешения наши! — напутствовал меня Шапошников.

До деревни Высоково, что перед Истрой, доехал я на эмке быстро и без приключений. На контрольном пункте предупредили: дорога впереди простреливается немцами. Непрерывно гремела канонада. Истры отсюда еще не было видно, да, наверное, и не разглядеть бы город сквозь дым пожарищ, наползавший оттуда. По времени — день, а здесь было сумрачно, даже снег был серым, а местами черным от гари и копоти.

В низине между деревней и окраиной города было много свежих воронок. Стояли среди развалин четыре танка, два справа от дороги, два слева. Один из них стрелял куда-то с большими паузами. Жестом руки остановил мою машину танкист в комбинезоне, обгоревшем ниже колен, хриплым, простуженным голосом попросил:

— Встретишь начальство, скажи: у Щеглакова снаряды кончаются. Не подвезут снаряды — в Дедовск уйду!

— Какое начальство-то?

— Любое. Пусть самому Белобородову докладывают поскорей! Не забудь!

Я пообещал.

Сразу за танковой позицией въехали мы в дымную полутьму, пронизанную вспышками, прожилками пламени. Вообще-то горят все города, подвергшиеся бомбежке и артобстрелу, и уж обязательно те, в которых идут бои, но Истра горела как-то по-особому: разом, целиком, как единый факел. Деревянный городок на возвышенности, обдуваемый ветрами, разносившими пламя и искры. Впрочем, деревянные постройки уже догорали, некоторые пепелища только чадили, огонь бушевал в строениях каменных, плясал над крышами, выплескивался из окон со шлейфом черного дыма, преграждая улицы. В некоторых местах мы проскакивали огневой заслон затаив дыхание, чтобы не сжечь легкие. В треске и гуле пламени, в грохоте рушившихся потолков, перекрытий слабыми и безопасными казались выстрелы и даже разрывы. А посвист пуль, мяукающий звук летящих мин можно было услышать лишь там, где пожар завершался или был только в самом начале.

Как тут воевать среди пожарищ, в дыму, где за сто метров ничего не видно? Заблудишься, не зная, куда повернуть, где можно пройти, пробежать. Но ведь воевали, и, как я убедился, очень даже организованно. Есть такой парадоксальный военный закон: если у тебя больше людей, то это еще не значит, что у тебя будет больше успехов, а вот много потерь — это наверняка. Пулям и осколкам есть в кого попадать. А тогда в Истре людей почти не было видно. И у нас, да, наверно, и у немцев. Только в укрытых местах, куда не залетали пули и редко попадали снаряды. А бой шел своим чередом, судя по сгусткам пальбы, были какие-то узловые пункты, была линия соприкосновения. Я еще подумал, что здесь воюют не новички, они спокойно работают, делают свое дело. Такое вот ощущение овладело мной в полуокруженном горящем городе, в общем-то обреченном на сдачу. Но отступление отступлению рознь. Да, сила солому ломит. Но войска наши не бегут в панике, они достойно отходят на новые рубежи, бой не прерывается, а только перемещается в пространстве. Здесь воюют на равных, успеха добивается тот, у кого сегодня больше возможностей. Мне казалось, что и немцы понимают это, осторожничают. Еще раз хочу сформулировать свое тогдашнее ощущение: в Истре и наши, и немцы работали, профессионально делали свое привычное дело. Это вселяло удовлетворение и уверенность.

Среди огня и дыма, где, казалось, вообще никого невозможно разыскать, мы, спрашивая красноармейцев, без особого труда нашли командный пункт одного из командиров полков белобородовской дивизии. Звание не определил, он был в полушубке, а фамилия, если не изменяет память, Суханов. В надежном подвале разрушенного кирпичного здания сидели у аппаратов телефонисты, отдыхали разведчики, связные. Даже удушливой гари почти не чувствовалось, во всяком случае, ее перебивал густой запах махорки и приятный запах жареного мяса: как уж там умудрялись его жарить — не знаю.

Командир полка, будем называть его Сухановым, вывел меня и приданного мне еще в Москве капитана наверх, к дощатому павильончику или киоску. Среди всеобщего разрушения это хилое строение оставалось совершенно невредимым, если не считать нескольких осколочных дырок в стенке. Улица, а вернее, Волоколамское шоссе шло здесь под уклон, и, когда ветер рассеивал дым, видна была развилка: прямо — въезд в Новоиерусалимский монастырь, вправо — Бужаровское шоссе, а Волоколамка убегала влево, к реке, огибая монастырский холм. Вся эта развилка была буквально перепахана большими и малыми воронками и, по

словам Суханова, простреливалась немцами из винтовок и пулеметов — для автоматов расстояние было велико. А еще командир полка сказал, что удерживает свой рубеж только потому, что держится крепость, то есть монастырь на возвышенности с его массивными, стенами. Закрыта для противника Волоколамская магистраль. Но положение обороняющихся очень тяжелое. Большие потери, на исходе боеприпасы. А он, Суханов, и командир дивизии Белобородое ничем не способны помочь. Самим помощь нужна.

Там, на бугре, возле дощатого киоска, в чаду и дыму пожаров, в треске огня, в грохоте разрывов мне совсем не показалось странным, что никто, даже командир полка, не знает, какая же воинская часть держит крепость, то бишь монастырь. Важно было не кто воюет, а как воюет. Суханов знал только, что не из их дивизии, но все равно и патроны туда посылал, и раненых его полковые медики выносили при первой возможности. Кстати, раненые, доставленные из монастыря, чувствовали себя здесь, возле командного пункта, спокойно, как в глубоком тылу. А мне-то казалось, что мы на самой передовой линии.

Пока я опрашивал раненых, сопровождавший меня капитан вместе с тремя полковыми разведчиками «сбегал» (через узкий простреливаемый перешеек перед воротами) в монастырь и часа через полтора вернулся оттуда. В общем, картина вырисовывалась такая. Еще в конце октября волею какого-то высокого начальства в Новоиерусалимский монастырь был отправлен 18-й отдельный прожекторный батальон. Кадровый, полностью укомплектованный: почти тысяча человек с большим количеством пулеметов, со своим автотранспортом, с прожекторами для ведения ночного боя. Цель — превратить монастырь в надежный узел сопротивления и оборонять его, если прорвутся немцы. Но в октябре немцы не прорвались, время шло, начальство менялось. Отдельный батальон надо было кому-то подчинить, а поскольку он технический, прожекторный, пустили его по фронтовому инженерному ведомству, а там штабные мудрецы, опять же по формальному признаку, включили его в саперный отряд, действовавший по линии Волоколамского шоссе. Несколько саперных батальонов этого отряда возводили оборонительные сооружения в Истре и восточнее, минировали мосты, готовили к подрыву заводы, крупные здания даже в самой Москве, в том месте, где сливаются шоссе Волоколамское и Ленинградское. Ну и прожекторный батальон пристегнули. Вероятно, командир саперного отряда просто не знал, что с ним делать. Побывал в монастыре, проверил готовность к обороне, повторил общеизвестное категорическое распоряжение: без приказа — ни шагу назад. За оставление позиций — под трибунал. И убыл, по горло занятый своими саперными делами. А 18-й прожекторный батальон, превратив Новоиерусалимский монастырь в крепость, встретил подступивших немцев сам по себе, без связи с начальством, без распоряжений, без помощи. Держал фашистов у слияния двух речек, на перекрестке дорог. Держал, погибая от бомб и снарядов, разрушавших великолепный ансамбль русского церковного зодчества.

Через посланного мной капитана командир прожекторного батальона сообщил мне: может покинуть монастырь только по приказу командира саперного отряда. И назвал фамилию — майор Чернов. Это было уже кое-что.

Знаете рассказ Леонида Пантелеева о мальчике, которого старшие ребята, играя, оставили на посту, забыли о нем, а он находился там до

вечера, до тех пор, пока появился военный, «освободивший» его от данного им честного слова. Дорого ценится такое слово у настоящих людей. Вспоминается мне этот рассказ каждый раз, когда думаю о боях в Истре.

Спросил у командира полка Суханова: долго ли продержится город? Тот ответил, что начали выводить тылы. Продержаться-то можно и сутки, и больше, немцы не пускают в Истру танки из-за пожаров, наверное, но город, того гляди, окажется в кольце, вражеские танкисты уже возле Манихино. Для меня это означало, что снимать с позиций прожектористов надо как можно скорее.

Поехали в Снегири. Там мне удалось связаться по телефону с Шапошниковым. Он обрадовался и моему сообщению, и тому, что я обнаружился: оказывается, звонил Поскребышев, разыскивая меня. Остальное, как говорится, было делом техники. Через штаб Западного фронта разыскали командира сводного саперного отряда Чернова, ему было передано соответствующее распоряжение. И вот ведь очередное коленце фортуны: оказывается, Чернов в это время тоже находился в Снегирях, поблизости от того дома, откуда я звонил Борису Михайловичу. Но разве угадаешь!

18-й прожекторный героический батальон, то, что уцелело от него, удалось вывести из монастыря. Новоиерусалимская святыня не подверглась полному разрушению, было с чего начать потом восстановление. А вообще в Истре после тех боев уцелело лишь несколько зданий. Да, во всем городе три-четыре дома и еще дощатый киоск на пригорке, тот самый киоск, за стенами которого «укрывались» мы с Сухановым. С командиром полка тогда еще обычной сибирской дивизии Афанасия Павлантьевича Белобородова, в будущем дважды Героя Советского Союза. Дивизии, которая через несколько дней станет 9-й гвардейской. Заслужить звание гвардейцев при отступлении — такое бывает редко.

И согласитесь, хороший рассказ о мальчике, умевшем держать слово, написал Леонид Пантелеев. Может, тот повзрослевший мальчик как раз и командовал 18-м прожекторным батальоном в Новоиерусалимском монастыре?![56]

17

Бессмысленно делить славу. Она равно принадлежит и тем, кто сражался на безвестном болоте у безвестной деревни Борки, и тем, кто держал последние рубежи в Подмосковье. Да и кто властен определить, когда, на какой черте начинались события, изменившие ход второй мировой войны, развенчавшие миф о непобедимости немецких армий?! Может, между Орлом и Тулой, где танкисты Катукова затормозили прорыв бронированной гудериановской лавины?! Может, на Бородинском поле, где 32-я дальневосточная стрелковая дивизия полковника Полосухина трое суток держала противника?! Может, в отчаянных контратаках кавалерийской группы Доватора?! Или при героической обороне волоколамско-истринского направления, когда потери в 16-й армии генерала Рокоссовского были такими, что из строя выбывали девять бойцов из десяти?! Подвиг всех воинов одинаков для Родины.

Нет смысла делить славу, но с той же очевидностью надобно отдавать должное тем, кто ее заслужил. И, говоря о Московском сражении, я бы

опять особое внимание уделил войскам генерала Белова. Меня упрекали и упрекают в том, что я отношусь к этому полководцу с пристрастием, которое, дескать, исключает объективность оценок. Так часто упрекали, что я и сам начал сомневаться: а вдруг личная симпатия к умному интеллигентному человеку берет верх? Решил перепроверить себя. Взял книгу генерала Гудериана «Воспоминания солдата». И что же? Там корпус Белова упоминается по 1941 году чаще всех других наших соединений. В дневниках начальника германского генерального штаба Гальдера фамилия Белова с осени 1941 по весну 1942 года встречается чаще всех других наших полководцев.

Есть очень добросовестный труд — справочная книга «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», выпущенная Воениздатом в 1964 году. Редактировал ее Маршал Советского Союза В. Д. Соколовский, выдающийся штабист, известный своей скрупулезной точностью и принципиальностью. Так вот, в этой книге фамилия Белова упоминается чаще всех других, на 45 страницах! Второе место у Гудериана — на 22 страницах. Для сравнения: Доватор — на 7, Катуков — на 6, Рокоссовский и Панфилов — каждый на 5. Показательная цифирь. Так что не случайно привлекаю я внимание читателей к не очень-то известному противоборству двух выдающихся полководцев, немецкого «танкового бога» Гудериана и нашего кавалериста Белова. Тут как в зеркале, ход первого периода войны.

И еще одно соображение. Лет через двадцать после того, как отгремели последние залпы, меня пригласили выступить в День Победы в одну из школ Звенигородского района. Обычное выступление ветерана. Увлекся, рассказывая детям, как в моем представлении развивались военные события в Подмосковье. Думалось, хорошо выступил. А в раздевалке случайно услышал разговор. Женщина, вероятно мама, спросила девочку с красным галстуком, на вид пяти- или шестиклассницу.

— Не скучно было про войну слушать?

— Нет, дяденька на доске карту рисовал, потом стрелы — наша стрела на немецкую. Про Сталина говорил, про Жукова, а про войну-то и ничего…

Устами ребенка глаголет истина. Конечно, я излагал события на том уровне, который был мне ближе. Как подметила ленинградская поэтесса: У каждого была своя война, Свой путь вперед, своя дорога к бою. И каждый был во всем самим собою, И только цель у всех была одна.

Судьба битв и сражений решалась не только замыслами и делами Шапошникова, Сталина, Жукова, других высших руководителей, но и в значительной степени действиями фронтовиков, так называемых генералов поля боя. Позвольте подробнее показать, как это происходило. В тех сложных условиях, когда кавкорпус Белова брошен был под Каширу, навстречу танковой армаде Гудериана.

* * *

Ровно в полночь с севера въехала в Мордвес легковая автомашина. Медленно двигалась она по центральной улице, огибая свежие воронки. Старый маленький городок будто вымер. Ни огонька, ни человеческого голоса. Днем Мордвес бомбили немцы, окна многих домов зияли черными провалами. На перекрестке дотлевали остатки пожарища.

Старший лейтенант Михайлов, адъютант Белова, весь в напряжении. Палец — на спусковом крючке автомата. Тишина обманчива, не наскочить бы на гитлеровцев!

В это же самое время в Мордвес с юга, со стороны Венева, въехала другая автомашина, в которой находились два генерала: командующий 50-й армией Болдин и его предшественник на этом посту, только что сдавший свои дела. Как и было условлено, машины встретились в центре города. Михайлов и адъютант Болдина пошли искать место, где можно поговорить. Ходили от дома к дому, стучали в окна — никто не отзывался. Наконец в небольшом домике им открыли дверь. У хозяйки нашлась керосиновая лампа. При ее тусклом свете генералы разложили на столе карты.

Болдин познакомил Белова с обстановкой. Советские дивизии в районе Венева отброшены и рассеяны, 50-я армия разрезана надвое. У Болдина осталась только охрана и группа связистов. С ними он намерен пробиваться к главным силам армии в полуокруженную Тулу.

Павел Алексеевич хорошо понимал, какую угрозу несет новый рывок Гудериана. Нет сомнений, что фашисты хотят выйти к Оке и захватить переправы через нее, чтобы наступать на Москву. Потерять Каширу — значит лишиться мощной ГРЭС, оставить Ожерельевский железнодорожный узел. А самое страшное — открыть фашистам прямую дорогу к столице. И на всем этом направлении нет сил Красной Армии, способных отразить удар танкового тарана. Никаких сил, если не считать поредевший в боях кавкорпус Белова. Только успеют ли конники, колонны которых растянулись по проселкам в лесных массивах между Серпуховом и Ступино, выйти к Кашире раньше немецких войск? Путь слишком долог, а времени мало. Но даже если кавалеристы и успеют, что смогут сделать они в единоборстве с лавиной бронированных машин?

— Ну, Павел Алексеевич, ваши предложения? — Болдин с надеждой смотрел в усталое, землистое лицо кавалерийского генерала, о боевых делах которого был изрядно наслышан.

Белов задумчиво поглаживал большим пальцем правой руки щетку усов. Ответил негромко:

— Сейчас пошлю делегатов связи к командирам дивизий. Объясню обстановку и потребую использовать все средства, чтобы ускорить марш. Политработники расскажут людям, люди поймут… В первую очередь прикрою мосты через Оку. Это главное. С утра буду в Кашире. А сейчас — спать. Прошлую ночь я не ложился.

— Немцы близко, — предупредил Болдин. — Может появиться разведка.

— Утром появится, — ответил Павел Алексеевич. — По ночам они не воюют, если мы их не вынуждаем. Да и холодно, в избах сейчас отсиживаются. На всякий случай шофер подежурит во дворе возле машины.

— Останусь и я! — решился Болдин. — На ногах засыпаю, а день завтра трудный, ох и трудный! — вздохнул он.

Утром, напившись крепкого чая из хозяйского самовара, Павел Алексеевич вышел на улицу. До рассвета было еще далеко. Морозец настолько крепок, что перехватывало дыхание. Сыпался мелкий, едва приметный снежок, причем сыпался, наверно, давно — все вокруг было белым и чистым.

Генерал Болдин отправился на запад. Павел Алексеевич выехал в Каширу. После его отъезда не прошло и часа, как в Мордвес ворвались

немецкие танки. Не задерживаясь в городе, они двинулись дальше. Дорога на север была пустынна. На свежем снегу виднелись только следы колес, оставленные машиной Белова.

* * *

Деревня Пятница вытянулась вдоль шоссе двумя рядами старых, почерневших от времени домов. Лишь немногие крыты жестью или дранкой, на остальных — черная, улежавшаяся солома. Гнулись под ветром гибкие ветви ветел. В овраге, куда полого сбегало шоссе, намело уже небольшие сугробы.

Павел Алексеевич вышел из машины, огляделся. Нет, здесь не особенно выгодное место для обороны. Да и до Каширы далековато: километров семь-восемь.

— Поехали дальше, — сказал шоферу.

Было уже совсем светло. Справа вдали виднелась красная черепичная крыша в деревне Чернятино. Скорее всего, школа. Промелькнул небольшой голый лесок. Перевалили гребень, и дорога снова пошла вниз, спускаясь в просторную глубокую долину, промытую ручьем Мутенкой.

«Препятствие для танков, — подумал Павел Алексеевич. — Мост деревянный, взорвать или разрушить немедленно. Пусть повозятся фрицы. С северного ската хороший обзор и обстрел, далеко просматривается дорога. Окапываться надо вон там, чуть повыше. А Кашира за гребнем. Ока и мосты тоже. Немцам не видно… Тут и станем. А второй рубеж — на гребне…»

Машина поравнялась с приземистыми постройками, похожими на свинарники. Павел Алексеевич удовлетворенно хмыкнул: как раз в том месте, где он наметил первую линию, вправо и влево от дороги тянулись зигзаги окопов с ячейками для стрелков, с пулеметными площадками. Видны были даже несколько дзотов. Все запущено, присыпано снегом. Но главное — не нужно будет долбить мерзлую землю! Спасибо жителям — не зря потрудились.

Из-за построек выскочили пятеро в гражданской одежде, с винтовками. Пальто подпоясаны ремнями с подсумками. Противогазы через плечо. Парни молодые, допризывного возраста. Лишь командир постарше. Видно, учитель.

— Предъявите документы! — потребовал он. Павел Алексеевич вытащил удостоверение. Учитель прочитал, моргнул удивленно несколько раз, козырнул неумело.

— Кто вы такие? — спросил Белов.

— Бойцы каширско-ступинского истребительного батальона, — сказал учитель и добавил не без гордости: — Все добровольцы!

— Регулярные части в городе есть?

— Не знаю… Зенитчики, кажется… Тюренков, что ты говорил о зенитчиках?

— Четыре пушки в садах стоят, сам видел.

Павел Алексеевич вырвал из блокнота лист, положил на планшет, написал приказание зенитчикам: немедленно выдвинуться к ручью Мутенке на городской оборонительный рубеж и приготовиться к отражению немецких танков. Мост уничтожить. Об исполнении донести генерал-майору Белову на каширский почтамт не позже 10:30.

— Товарищ боец, — повернулся генерал к пареньку в мохнатой ушанке и больших растоптанных валенках, которого называли Тюренковым, — Быстро эту записку — зенитчикам!

— Сделаю! — У паренька перехватило от волнения голос. Глотнул воздуха: — Я пулей!

И помчался по целине, высоко вскидывая ноги. Белов пожалел его: перестарается, запалится парень. Кто-то из ребят напряженно засмеялся:

— Во нарезает Колька!

— Недаром лучший бегун в классе!

— Шапку не потерял бы. У младшего братишки шапку-то взял.

Садясь в машину. Павел Алексеевич придержал дверцу, спросил командира истребителей:

— Вы педагог?

— Да. Эти мальчики — из моего выпускного… А в чем дело? Не так что-нибудь? — встревожился тот.

— Нормально. Передайте комбату — всем благодарность за бдительное несение службы!

Произнес бодро-весело, по-генеральски, скрывая горечь. Разве можно посылать необученных людей, ребятишек-школьников навстречу кадровым, отлично вооруженным солдатам?! Появится немецкая разведка, и лягут трупами все пятеро, не причинив врагу никакого вреда… А педагог этот еще и беспокоится: может, не так что-нибудь…

— Остановись! — снова приказал Павел Алексеевич водителю. Они поднялись на гребень — самое лучшее место, чтобы осмотреть незнакомый город, уяснить особенности его расположения.

Кашира раскинулась по огромному косогору, спускавшемуся к Оке. Справа дымили вдали высокие трубы электростанции. Ближе — железнодорожные пути, мосты через замерзшую реку. Несколько церковных колоколен среди приземистых домов, заборов, голых садов. Прямо перед собой видел Белов центральную улицу, бежавшую вниз. На ней больше кирпичных зданий. Особенно выделяется массивная соборная церковь. Почтамт где-то поблизости от нее…

Если немцы прорвутся вот сюда, на гребень, к крайним домам, Кашира будет потеряна. Враг сможет контролировать огнем весь город и переправы, будет господствовать над низким равнинным левобережьем. Значит, обязательно нужно удерживать рубеж на ручье Мутенке.

Чем удерживать?!

С надеждой смотрел Белов за Оку, на однообразно сиреневые массивы лесов — не покажется ли оттуда колонна войск? Нет, незачем предаваться иллюзиям. Перед ним лежал пустынный город, затаившийся в тревожном ожидании. Что впереди? Кровопролитие, бой, пожары? Или наши уйдут, а на тихие родные улицы ворвутся чужие солдаты, насильники, грабители, убийцы, от которых не будет никакой защиты, никакого спасения…

Словно бы тысячами детских, женских, старческих глаз смотрел город на генерала, который стоял на гребне косогора. Нет, не он осматривал в бинокль монастырь за рекой и левобережные леса — это они: эти леса, поля, города Кашира и Ступино — с волнением и надеждой глядели на одинокую человеческую фигурку в длинной шинели. И наверно, сама Москва видела его издали, этого человека, стоявшего на последнем перед столицей выгодном рубеже, на последней водной преграде.

А что он мог?

По дороге, по которой он приехал, ползли следом за ним танки Гудериана. Может быть, пятьдесят. Может быть, восемьдесят или еще больше. А путь им преграждала одна зенитная батарея. И еще школьник Тюренков с тремя товарищами и со своим учителем…

Никогда еще не попадал Белов в такое положение. Он был генералом без войск. Как в кошмарном сне! Видишь страшное чудовище, надвигающееся на тебя, а остановить не способен. Время, время! Вот в чем вся суть! Как угодно, лишь бы выиграть часы до подхода кавалерийских полков!

Он поехал на почту — так было условлено с начальником штаба корпуса полковником Грецовым. Телефонная станция, к счастью, работала. Дежурили две женщины. Одна пожилая, степенная, по фамилии Козлова. Вторая, молоденькая, так робко назвала себя, что Павел Алексеевич не расслышал.

— Товарищ генерал! — обрадовалась Козлова. — Вы Белов? Вам все время звонят, даже из Москвы. Сейчас я вас со Ступино соединю.

У Павла Алексеевича сердце дрогнуло, когда услышал в трубке спокойный голос Грецова. Не сдержался, крикнул обрадованно:

— Михаил Дмитриевич, вы здесь?!

— Прибыл с частью штаба, начал работать. Передовые полки подойдут вечером. В Кашире есть истребительный батальон.

— Знаю. Пусть возводит баррикады в черте города.

— Ясно, товарищ генерал… Я связался с командиром триста пятьдесят второго отдельного зенитного дивизиона майором Смирновым. Он прикрывает мосты.

— Достаточно там пока одной батареи. Все остальные орудия — на ручей Мутенку, на главный рубеж.

— Понятно. В Кашире, кроме того, школа младших лейтенантов сорок девятой армии и курсы сержантов. При электростанции есть инженерный батальон особого назначения. В селе Богословском стоит сто семьдесят третья стрелковая дивизия. Она московская, добровольческая, понесла большие потери и переформировывается. В ней три тысячи бойцов при одном орудии. Считаю, что все эти войска надо объединить. Этим может заняться Баранов.

— Он здесь?

— Только что прибыл.

— Пусть немедленно едет ко мне. На почте будет мой временный командный пункт.

Радость охватила Белова, когда в дверь коммутатора протиснулся громоздкий, раскрасневшийся на ветру командир 5-й кавалерийской дивизии генерал Баранов. Сбросил бурку, расправил мощные плечи, загремел густым басом. Павел Алексеевич прервал доклад, обнял комдива. Нет, черт возьми, не зря столько раз отстаивал он Виктора Кирилловича перед начальством. Бросив в пути сломавшуюся эмку, намного опередив свои полки, верхом прискакал в Каширу Баранов. Прискакал потому, что знал: там он позарез нужен своему командиру.

Пять минут понадобилось им, чтобы согласовать действия. Баранов — начальник гарнизона. Все части в Кашире и окрестностях подчинены ему. Всех поднять по тревоге и сразу — на рубеж Мутенки, в подготовленные окопы. Инженерный батальон — туда же. Пусть ставит мины. За час-два надо создать хоть жиденькую, но оборону. На улице рвались бомбы. Низко проносились немецкие самолеты. Баранов не стал ждать конца налета.

Выскочил, даже не захватив бурку, побежал поднимать школу младших лейтенантов и курсы сержантов.

Из штаба Западного фронта пришла телефонограмма, подписанная Жуковым и Соколовским. Военный совет фронта возложил на генерала Белова ответственность за удержание Каширы. Ему предписывалось действовать решительно и отбросить врага на юг. Читая телефонограмму, Павел Алексеевич одновременно говорил с Зарайском, с майором Шреером, который должен был встретить там 9-ю танковую бригаду подполковника И. Ф. Кириченко, приданную корпусу. Но от танкистов не было до сих пор никаких известий.

С ревом проносились над крышей немецкие самолеты. Стлался по улице черный дым. Молодая телефонистка вздрагивала при разрывах. Неожиданно засигналили автомашины. Два грузовика с бойцами проехали мимо почты. Третий остановился возле самого дома. Замерзшие красноармейцы прыгали из кузова, хлопали рука об руку. У бойцов автоматы, пулеметы — настоящее воинское подразделение.

Кто-то вбежал в коридор, хлобыстнула дверь. Белов оглянулся, увидел большие, сияющие глаза. Майор Кононенко звякнул шпорами, вскинул к ушанке руку, а сказал вдруг не по-уставному:

— Товарищ генерал, это я!

— Молодец, разведчик, молодец! Машины где взял?

— Грузовики мобилизовал под свою ответственность. Сюда спешил… Разведгруппу послал по шоссе в деревню Пятницу. Сейчас организую поиск на флангах.

Убежал Кононенко столь же стремительно, как и появился. Сел в машину и покатил со своими орлами в неизвестность. Навстречу немцам, добывать о них сведения. А Павел Алексеевич подумал, что никогда не забудет трех боевых товарищей, оказавшихся рядом с ним в самые критические часы: Баранова, Грецова и Кононенко.

Почта качнулась от взрыва. Павел Алексеевич бросился в простенок. Новый удар — земляной столб взметнулся напротив, во дворе горсовета. Звон стекол, вонючий дым. Ахнув, оцепенела от страха молодая телефонистка. Козлова продолжала работать. Она вздрагивала, сутулилась при взрывах, но безошибочно, быстро соединяла Белова то с Грецовым, то с командирами местных воинских подразделений.

В полдень на рубеже ручья Мутенки завязалась перестрелка. Немецкие передовые отряды, встретив сопротивление, остановились и в свою очередь начали вести разведку. Даже этих отрядов было достаточно, чтобы прорвать жидкую цепочку обороняющихся. Но немцы не знали, кто противостоит им. А действовать они привыкли основательно, наверняка. Они вызвали авиацию, чтобы обработать рубеж, заговорила их артиллерия. А минуты бежали и бежали одна за другой.

У Павла Алексеевича истощилось терпение. Сел в машину и поехал навстречу кавалерийским полкам, чтобы самому поторопить их. Улица, делая зигзаг, так круто спускалась к Оке, что машина шла юзом, шофер напряженно вцепился в баранку. На этом обледенелом спуске будут скользить кони, буксовать грузовики. Сюда надо послать людей, чтобы посыпали песком или золой… Но это потом. Не для немцев же посыпать!

Головные части корпуса Павел Алексеевич рассчитывал встретить километрах в двадцати от города. Машина, миновав Оку, быстро понеслась по ровной дороге. И вдруг, проехав немного, шофер резко

затормозил. Белов приподнялся на сиденье. Несколько мгновений он молча смотрел вперед, потом выпрыгнул из машины.

Из-за леса, из-за поворота, появилась колонна. Шел сабельный эскадрон. Люди вели коней в поводу. Павел Алексеевич сразу узнал — это же таманцы! 131-й кавалерийский полк! Обгоняя строй, грузно бежал к генералу подполковник Синицкий. Доложил громко и четко, а сам стоял, покачиваясь от смертельной усталости, часто мигая воспаленными глазами.

С трудом передвигая натруженные ноги, проходили мимо бойцы. При виде Белова подтягивались, выравнивали тройки-звенья. Те, кто опирался на палки, отбрасывали их. Ряд за рядом шли шатающиеся, обмороженные, обвешанные оружием люди. Они тянули за собой в поводу измученных, ослабевших коней, набивших некованые ноги в долгом пути.

С гордостью и радостью смотрел на бойцов генерал. Они двигались двое суток без сна и почти без отдыха, делая лишь короткие привалы. Им было трудно, неимоверно трудно. Они знали, что впереди их ждет бой и, может быть, смерть. И все же они, настоящие солдаты, выполнили приказ. О многих подвигах, о многих славных боевых делах рассказывал впоследствии Павел Алексеевич автору этих строк. Но ни о чем другом не вспоминал он с таким волнением, как о встрече с таманцами.

— Я хорошо знаю, что такое массовый героизм, — говорил Павел Алексеевич. — Однако подобное видел раз в жизни. Полк пришел с артиллерией, пулеметами, почти не имея отставших. Люди падали в снег, ползли, их поднимали товарищи… Таманцы совершили невероятное… К тому же полк был головным и задал темп всей Ставропольской дивизии…

131-й Таманский прибыл в Каширу на три часа раньше срока и в 15:00 занял оборону на самом опасном участке, перекрыв шоссе из Пятницы на Каширу. Бойцы залегли в окопах, установили пулеметы. В окраинных садах быстро занимали позиции артиллеристы. А из-за Оки втягивались в город все новые и новые подразделения.

Немцы тем временем закончили подготовку атаки. Их авиация отбомбила последний раз. Последний огневой налет произвели минометчики. В 16:00 гитлеровцы нанесли удар вдоль шоссе. На узком участке двинули вперед тридцать танков и батальон мотопехоты. Шли фашисты уверенно, не рассчитывая на сильное сопротивление.

Когда лавина танков спустилась к ручью Мутенке, загрохотала артиллерия 5-й Ставропольской имени Блинова дивизии. Снаряды ложились точно. Несколько танков остановилось, другие, сломав строй, начали расползаться в стороны, лавируя среди разрывов. Машина, выскочившая вперед, подорвалась возле свинарника на минном поле. Из окопов летели гранаты, бутылки с горючей смесью.

За крепостью железных лат Гудериановский солдат, Лавочник в прошлом Людвиг Мейер. Без каски, в масле и в поту, Бьет пулеметом по кусту, Разбрызгивает медный веер. Открыл солоноватый рот С выбитым зубом, выжал газу И видит страшный разворот Руки с бутылкой. В угол глазу Плеснуло красным, корпус весь Лижет термическая смесь. И, обгорелый рот разинув, Рукой отталкивая огонь, Вдыхает жженую резину И собственного мяса вонь. Лопнула сталь, ни поворота, Внутри взрывается снаряд, И в страшной судороге гад Сдыхает с огненною рвотой.

Это опять же из поэмы Семена Кирсанова. С жесткой реальностью.

Немецкую пехоту прижал к земле густой, плотный огонь пулеметов. В Таманском полку пулеметчики были отличные. Фашисты откатились, оставив шесть подбитых танков. Бой затих.

Павел Алексеевич с тревогой ждал, что предпримет противник. Ударит в другом месте? Или пропашет позиции таманцев снарядами, бомбами, а затем обрушится на этот участок более крупными силами?

Генерал прислушивался к звукам стрельбы. Перестрелка, хоть и без особого напряжения, велась по всей линии обороны. Артиллерия фашистов молчала. Ночь становилась все темнее, и, казалось, все ярче разгорались пожарища в городе.

Возможно, гитлеровцы, встретив отпор, решили больше не рисковать до утра? Им хватит, они продвинулись сегодня километров на тридцать — сорок. Они утомились. А у русских здесь оборонительный рубеж… Если так, то генерал мог поздравить себя: первый успех достигнут!

В тот день, 26 ноября, фашисты имели полную возможность с ходу захватить Каширу и переправы через Оку. Во всяком случае, полную возможность до подхода таманцев. Импровизированные заслоны, выставленные Беловым, не смогли бы отразить удар танков. Однако эти заслоны сыграли свою роль — они заставили немцев развернуться для боя, вести разведку и терять время.

Один день гитлеровцы упустили. И какой день! К городу успели подойти полки закаленного кавалерийского корпуса. Хотя противник по-прежнему имел над войсками Белова перевес в силах и средствах, обстановка все же несколько разрядилась. Теперь Павел Алексеевич чувствовал себя более уверенно. Теперь ему, по крайней мере, было чем воевать.

* * *

Штаб корпуса обосновался за Окой, в деревне Суково, наладив оттуда прямую связь со штабом Западного фронта. В Кашире и Ступино, на железнодорожных станциях и в поселках бушевали пожары, яркое пламя оттесняло ночной мрак, окрестности залиты были тревожным багровым светом. Несмотря на позднее время, вражеская авиация продолжала бомбить узлы дорог. В пути Павлу Алексеевичу пришлось дважды останавливаться и пережидать налеты. Зато в Суково было темно и тихо. Офицеры штаба работали в спокойной обстановке.

Павел Алексеевич вспомнил, что с раннего утра ничего в рот не брал. Поужинал жареной картошкой с солеными огурцами, согрелся чаем и сел вместе с Грецовым и комиссаром корпуса Щелаковским за карту: подумать о завтрашнем дне. В принципе, все трое мыслили одинаково: скорее подтягивать части корпуса, действовать решительно и настойчиво. Но это только общая идея. Как именно действовать — в этом вся проблема. Тут первое слово за командиром.

Едва начал Павел Алексеевич выкладывать свои соображения — позвонили из Каширы: генерала Белова вызывает к прямому проводу Верховный Главнокомандующий. Для переговоров прибыть в городской комитет партии.

— Какое внимание нам, чувствуешь? — сказал комиссар. — Из штаба фронта то и дело запрашивают положение, Грецов отбиваться не успевает. А теперь сам товарищ Сталин…

На этот раз Павел Алексеевич добрался до города без всякой задержки. Немецкие летчики отработали свои часы и теперь отдыхали. Меньше

стало пожаров. На крутом подъеме от Оки к центру Каширы было многолюдно. Бойцы руками и плечами подталкивали скользившие, буксовавшие орудия и повозки. Никто из красноармейцев не знал, где помещается горком партии. А местных жителей не найти: кроме главной улицы, везде темнота и выморочная тишина, люди сидели в подвалах и бомбоубежищах.

Старший лейтенант Михайлов с трудом разыскал какого-то мужчину. Тот даже удивился, услышав вопрос: уж не шутят ли товарищи военные? Вот горком партии, рядом, возле соборной церкви.

Белова ждали. У двери встретил его секретарь горкома Александр Егорович Егоров. В кабинете тускло горела керосиновая лампа, трудно было рассмотреть лица собравшихся. Подошел генерал Баранов, приглушив бас, сказал, что товарищ Сталин звонил десять минут назад. Обстановка в Кашире ему доложена, но Верховный Главнокомандующий ждет, телефон с Москвой остается неразъединенным. Павел Алексеевич взял трубку.

— У телефона генерал-майор Белов.

— У телефона Поскребышев. Передаю трубку товарищу Сталину.

Пауза. Потом негромкий, с характерным акцентом голос:

— Как ваше здоровье, товарищ Белов?

— Прекрасно, товарищ Сталин.

— Товарищ Белов, есть возможность послать вам для подкрепления два танковых батальона.

— Спасибо.

— Куда их направить?

— Мост через Оку у Каширы очень слаб и не выдержит тяжелых танков, поэтому прошу направить через Коломну в Зарайск. В Зарайске мой представитель встретит танковые батальоны.

— Не нужны ли вам еще автоматы ППШ?

— Очень прошу прислать.

— Не нужны ли вам две стрелковые бригады?

— Это было бы очень кстати. Прошу направить их прямо в Каширу.

— Я их пришлю. Это легкие бригады новой организации. Они укомплектованы отборными людьми и приспособлены для маневренных действий.

Верховный Главнокомандующий умолк. Молчал и Белов, не зная, о чем говорить. Пауза неприятно затягивалась. Почувствовав неловкость, Павел Алексеевич хотел попросить разрешения положить трубку, но Сталин заговорил снова:

— Товарищ Белов! Представьте свои кавалерийские дивизии к званию гвардейских. Надо было сделать это раньше: ваши дивизии отлично дрались на Украине и имели большие потери в тяжелых боях под Москвой.

— Завтра же представлю, товарищ Сталин!

— Желаю вам успеха.

— Спасибо.

В трубке раздался щелчок. Разъединили. Павел Алексеевич посмотрел на трубку, положил ее медленно, осторожно… Верховному Главнокомандующему хорошо известна обстановка. Он не приказывает, не требует. Он предлагает все, что имеется, чтобы помочь Белову удержать Каширу и переправы через Оку. Он хочет, чтобы Белов понял важность доверенного ему дела. Наверное, так…

— Ну, товарищи военные, сумеете защитить город? — спросил секретарь горкома. — Чувствую, драться тут будете. Посоветуйте, что делать с населением: эвакуировать или подождать?

В кабинете все смолкли: От слов Белова зависело сейчас многое. Разве мог он дать полную гарантию? Фашисты прошли от границы до Оки, захватив тысячи населенных пунктов. Будет ли Кашира тем городом, о который сломается острие вражеского тарана?

— Мы сделаем все возможное, — сказал Павел Алексеевич. — Но женщин, детей, стариков надо эвакуировать, чтобы избежать потерь от бомб и снарядов.

— А что делать с ГРЭС? — обратился к генералу председатель горсовета. — Часть оборудования мы вывезли. Электростанция пока работает, дает ток в Тулу и в Москву.

— Пусть работает. Защищаться приказано до последней возможности. Так и объясните людям, чтобы не было других настроений. Теперь просьба, товарищи. Вы должны нам помочь. Надо посыпать подъем от Оки песком и золой. Лошади падают там.

— К утру будет готово. — Егоров сделал пометку в блокноте.

— Нам позарез нужны подковы. Нельзя ли наладить их производство на предприятиях города?

— Это мы возьмем на себя, — ответил секретарь Ступинского горкома партии Золотухин, сидевший возле керосиновой лампы. Улыбнувшись, добавил: — Поможем по-соседски каширянам. С утра начнем делать.

— Раз по-соседски, то попрошу еще вот что: организуйте в Ступино выпечку хлеба для войск. И горячую пищу готовить неплохо бы… В городской больнице помогите развернуть госпиталь.

Простившись с гражданскими товарищами, Павел Алексеевич поехал на южную окраину города, где оборудован был наблюдательный пункт. Там дожидался его Кононенко. Разведчик сидел возле столика над картой и… негромко похрапывал — вымотался человек. Услышав голос Белова, вскочил, провел рукой по глазам. Секунда — и он, как всегда, бодр, собран, готов действовать.

— Докладывайте! — Павел Алексеевич опустился на скрипнувшую табуретку.

За день подчиненные Кононенко успели многое выяснить. Они определили силы врага, наступавшие непосредственно на Каширу. К вечеру в населенных пунктах Пятница, Барабаново, Зендиково, Мицкое сосредоточились части 17-й танковой дивизии гитлеровцев и отдельный танковый отряд СС под командованием полковника Эбербаха. Враг подтянул более ста танков и штурмовых орудий. Правее 17-й действует 4-я танковая дивизия фашистов, нацеленная против нашей 112-й танковой. Другие силы немцев пока не установлены.

— В штаб, — приказал генерал шоферу.

Откинулся на заднем сиденье, подняв воротник бекеши. Наступили минуты, когда он, определяя завтрашние события, не мог, не имел права ошибиться.

Итак, общая обстановка. Враг продолжает наступление на Москву. Фашисты вышли к пригородам столицы с северо-запада. А что под Каширой? Город обороняют кавалерийская дивизия генерала Баранова и объединенные им подразделения местного гарнизона. Танков нет, орудий немного. Справа 112-я танковая дивизия скована боями с сильным противником. Слева, в районе Озер, сосредоточивается 9-я кавалерийская

дивизия Осликовского. В Зарайск должна прибыть 9-я танковая бригада. Это все. Дальше на восток наших войск нет почти до самой Рязани.

У немцев превосходство в воздухе. У них много танков, да и людей не меньше, чем у Белова. При таком соотношении сил вывод напрашивается сам собой: жесткой обороной остановить и измотать противника, выиграть время для подхода возможных резервов. Это классическое решение, оправданное обстановкой. Но что будет, если кавалеристы займут оборону? Утром фашисты обрушат на наши позиции огонь артиллерии и минометов. Перепашут окопы авиационными бомбами. Потом пустят лавину бронированных машин. Уцелевшие бойцы будут драться героически, подобьют десять, пятнадцать, может, двадцать танков. Остальные ворвутся в город… Немецкие генералы умеют воевать, умеют добиваться поставленной цели. Сейчас они отдыхают, отдав распоряжения. Спит, вероятно, и командующий 2-й танковой армией Гейнц Гудериан, человек хитрый, с большим практическим опытом. Один раз Белову удалось проучить этого выскочку, возомнившего себя Наполеоном. Под Штеповкой кавалеристы основательно подпортили его репутацию. И он, конечно, помнит об этом. Он знает, какие войска сейчас противостоят ему. Повторить Штеповку не удастся. Фашисты учли возможность неожиданной контратаки, прикрылись сильным охранением. А что еще может Белов?

Только то, что сделал бы на его месте каждый, — отдать приказ о жесткой обороне. Но пассивной обороной город не удержать… Получается замкнутый круг.

А если отступить от известных, классических форм и принять решение, противоречащее логике? Очень рискованное решение, которое не способны предугадать немецкие генералы, привыкшие к действиям обоснованным, целесообразным, правильным. Что, если быстро подготовить наступление и начать его на рассвете, опередив удар фашистов? Не наскок, а широкое фронтальное наступление, практически немыслимое при сложившейся обстановке. Немцы, безусловно, будут удивлены, ошарашены, их планы нарушатся. Фашисты втянутся в бой с наступающими частями. А полковник Осликовский начнет тем временем обходить врага со стороны Озер, давить на открытый фланг.

Да, но дивизия Осликовского еще на марше, артиллерия ее отстала, 9-я танковая бригада не прибыла… Может, хоть часть этих войск подойдет за ночь? А если нет? Значит, Баранов будет наступать один. Гитлеровцы разберутся в обстановке, опрокинут кавалеристов танками и войдут в город… Но они захватят Каширу и во всех других случаях.

Риск огромен, зато есть и надежда. Самое скверное сейчас сидеть сложа руки, уступив врагу инициативу на поле боя. Утром начнется атака. Будут убитые и раненые, будет горе и боль. Будут герои, которым вручат ордена и медали. Может, отметят и командира корпуса, если операция пройдет хорошо. Но никто не узнает, сколько седых волос прибавилось у генерала, когда он пытался мысленно выиграть завтрашний бой.

* * *

Алексея Варфоломеевича Щелаковского мучила застарелая болезнь почек. Он лежал на топчане, укрытый несколькими шинелями. Шутил, балагурил, но, когда никто не смотрел на него, губы комиссара кривились от боли. Неподвижность — каторга для Щелаковского, тем более в столь

напряженное время. Надо поехать в Ступино — пекут ли там хлеб для войск? Позарез нужно к Осликовскому: дивизия его третьи сутки в пути — как там люди, как с горячим питанием? Сотни вопросов, сотни дел, а комиссар прикован к месту.

Когда Белов сказал, что требуется немедленно писать представления на присвоение дивизиям гвардейских званий, Щелаковский не выдержал, поднялся. От возбуждения даже про боль забыл.

— Ну, Павел Алексеевич, наши орлы-казаки и так высоко летали, а если гвардию получат, в поднебесье взовьются!

— Летать не стоит. Мы уж как-нибудь к земле поближе. На лошади или пешком, по-пластунски.

Писать представления взялись сами, не отвлекая штабных офицеров, занятых разработкой решения о наступлении. Офицеры торопились закончить боевой приказ и отправить его командирам частей. Предварительные указания уже были переданы по телефону.

Щелаковский принес пачку чистой бумаги, попросил у ординарца крепкого чая. Работали молча. В кратком документе следовало сказать об истории соединения, о боевых традициях, об успехах в борьбе с фашистами.

Ходики на стене отсчитывали минуты. И вдруг, распахнув дверь, стремительно ворвался Грецов. С порога сказал громко:

— Товарищ генерал! Только что по телефону поступил приказ: нашему корпусу присвоено звание гвардейского!

— Как? Мы еще представления пишем…

Щелаковский вскочил с табуретки, бросился обнимать генерала. Потом вихрем вылетел в соседнюю комнату, оттуда донесся его ликующий голос:

— Товарищи, ура! Мы — гвардейцы!

Полковник Грецов положил перед Павлом Алексеевичем текст полученного сообщения:

«О преобразовании 2-го и 3-го кавкорпусов и 78-й стрелковой дивизии в гвардейские части.

За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество и героизм личного состава 2-го и 3-го кавалерийских корпусов и 78-й стрелковой дивизии Ставкой Верховного Главнокомандования преобразованы:

а) 2-й кавалерийский корпус в 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Командир корпуса генерал-майор Белов Павел Алексеевич.

б) 5-я кавалерийская дивизия в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Баранов Виктор Кириллович.

в) 9-я кавалерийская дивизия во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии полковник Осликовский Николай Сергеевич…»

Над плечом Белова горячо дышал вернувшийся в комнату комиссар. Локтем Щелаковский легонько толкнул генерала:

— Теперь никак нельзя в грязь лицом. Я разошлю сейчас в полки, в эскадроны всех политработников, пусть до каждого бойца донесут новость, чтобы даже в боевом охранении знали.

— Точно, — кивнул Белов. — Офицеры, которые повезут в части приказ о наступлении, возьмут с собой текст постановления. Утром мы пойдем в атаку гвардейцами. Я возвращаюсь в Каширу, поздравлю Баранова. Если будет возможность, соберу небольшой митинг.

К утру окреп мороз. На командном пункте было так холодно, что Белов выходил на улицу поразмяться и разогреться. В безветрии далеко разносился хруст шагов — ломались под сапогами сухие, твердые, как песок, снежинки. С резким скрипом ехали где-то внизу, в городе, подводы. Запахло теплым дымком — в каком-то доме хозяйка затопила печь. Война войной, а суп варить надо!

Сейчас немцы, наверно, встают. Поеживаясь, выбегают из хат, кутаются в шинели, в русские полушубки. Повара готовят кофе. Водители танков и автомашин отогревают горячей водой двигатели. А на артиллерийских позициях выкладывают возле орудий снаряды, расчеты готовятся открыть огонь. У немцев все расписано до минуты.

«Привычка к порядку, — усмехнулся Павел Алексеевич, взглянув на часы, — но порядка у них сегодня не будет. Пора начинать!»

Обвальный грохот смел предрассветную тишину. Батареи 1-й гвардейской кавдивизии ударили по целям, которые разведали за ночь. Снаряды сыпались на позиции немецких артиллеристов, на скопления автомашин, на пехоту возле кухонь, получавшую кофе.

Полчаса напряженно работали пушкари. Немецкие артиллеристы начали отвечать им. Дуэль усиливалась. И вдруг яркое пламя полыхнуло над городом, накрыло его багровым пологом. Это дали залп три дивизиона «катюш». Сразу стало тихо. Артиллерия смолкла. Ухо различало теперь отдаленный треск пулеметов, который после оглушительной канонады казался слабым и бесполезным.

Белов взял телефонную трубку:

— Ну, Виктор Кириллович?

— Двинулись! — возбужденно прохрипел Баранов. — Пошла наша гвардия!

По радостно-задорному голосу командира дивизии Павел Алексеевич понял, что Баранов находится в том приподнятом состоянии, когда человеку не страшны сложные ситуации. Сейчас Баранов в напряженной работе, в привычной стихии. Пусть действует.

— Михайлов! — позвал Павел Алексеевич.

— Здесь!

— Завтрак неплохо бы сообразить. Потом некогда будет.

Павел Алексеевич ел медленно, стараясь скоротать те томительные минуты, которые всегда бывают в начале операции. Весь войсковой организм приведен в действие, события нарастают, а результаты еще не ясны, рано делать выводы и принимать решения.

Прошел час, не принесший никаких новостей. Но вот к генералу стали поступать доклады и донесения из штаба Баранова, от командиров полков, от разведчиков и наблюдателей. Павел Алексеевич начал вживаться в развернувшийся бой. Неожиданный огонь артиллерии и «катюш» на некоторое время ошеломил гитлеровцев. Этим воспользовались подполковники Данилин и Князев. Едва стихла артподготовка, они подняли своих людей, сами пошли впереди и ворвались в деревню Мицкое. Немцы отошли.

Оба полка — 96-й Белозерский и 160-й Камышинский — попытались сходу атаковать Пятницу, где фашисты сосредоточили основные свои силы. Однако спешенных кавалеристов остановила непроходимая огневая завеса: открыли беглый огонь сразу семь вражеских батарей. С окраины Пятницы, из деревень Верзилово и Дудылово строчили по наступающим десятки пулеметов. Полки залегли, укрылись в овражках.

Едва рассвело — появились немецкие самолеты. Белову нечем было отогнать их, фашистские пилоты действовали спокойно и нагло. Сверху им отчетливо видны были группы бойцов на фоне свежего снега. Высыпав бомбы, летчики бросали свои машины в пике, секли из пулеметов боевые порядки.

И все же эскадроны, хоть и медленно, продолжали продвигаться. Укрываясь среди кустов, в ложбинах, в промоинах, бойцы все ближе подходили к немецким позициям. Спешенных конников поддерживали минометчики и дивизионная артиллерия. Давление на противника не ослабевало. Враг вынужден был обороняться, а это главное.

Первая часть замысла удалась полностью. Карты противника спутаны. Немецким генералам нужно разобраться в обстановке, наметить новый план действий, отдать новый приказ. Однако Павел Алексеевич понимал: враг ошеломлен, но не ослаблен, сил у него много. Успеха при лобовом наступлении добиться невозможно. Удача может быть только на флангах. Но фланги не радовали. Справа, в районе Иваньково, 112-я танковая дивизия не смогла выполнить приказ о наступлении. Утром танкисты долго раскачивались, и враг опередил их. Теперь они с трудом отражали атаки 4-й танковой дивизии немцев, не помышляя о том, чтобы идти вперед.

На левом фланге 2-я гвардейская кавдивизия Осликовского вступила в бой прямо с марша. Люди были утомлены. Отстала почти вся техника. И все же Осликовский давил на противника, отвлекая на себя часть его сил. Оставив у себя в тылу железнодорожный узел Ожерелье, кавалеристы оттеснили вражеский батальон с пятнадцатью танками. А советских танков, выделенных в помощь корпусу, до сих пор не было. Застряли где-то в пути. Надо послать в Зарайск надежного энергичного человека, который сможет поторопить танковые подразделения и решительно использовать их. Кого направить туда? Самая подходящая кандидатура — полковник Грецов. У него хватит воли двинуть вперед людей, не спешивших в бой. Он сам участвовал в разработке плана операции, знает, как важен успех на фланге.

Разговор с Грецовым занял несколько минут. Михаил Дмитриевич понял все с первых же слов.

— Танкисты должны выступить сегодня, — напутствовал его генерал. — Хотя бы часть сил, но непременно сегодня!

Чтобы не терять времени, Грецов рискнул подняться в воздух на У-2. Летчик опытный, проскользнет низко над землей, ныряя в овраги.

И вот — звонок из Зарайска. Не прошло и двух часов, а Михаил Дмитриевич уже на месте, в курсе всех дел. Докладывал быстро и, как всегда, обстоятельно, с точными цифрами. Главная новость — на железнодорожную станцию прибыли два отдельных танковых батальона, которые обещал Верховный Главнокомандующий. Всего в них сорок шесть танков, но в строю пока восемнадцать легких машин. У КВ и Т-34 мелкие неисправности, их устраняют на месте.

— Кириченко подтянул машины?

— Еще нет.

— Михаил Дмитриевич, начинайте с тем, что у вас в руках. Подчините себе мотострелковый батальон — и немедленно вперед! Держите связь с Осликовским, усиливайте свой отряд за счет прибывающих и отремонтированных машин.

— Будет выполнено.

— Среди танкистов наверняка много новичков. И тех, кто только отступал. Они боятся, не знают своих сил и возможностей. Сломайте этот психологический барьер. Для начала нужен успех. Хоть маленький, но обязательно.

Павел Алексеевич вытер платком лоб — жарко. В комнату то и дело входили офицеры связи. По телефонам поступали доклады из частей, ведущих бой. Непрерывным потоком лились сверху указания, распоряжения, запросы и уточнения. На столе быстро росла стопка бумаг. Теперь, когда улетел начальник штаба, весь поток информации направлялся непосредственно к Белову. На него обрушились сотни вопросов хоть и важных, но в общем-то второстепенных, отвлекавших от главного — от управления боем.

— Товарищ генерал, вас Соколовский к прямому проводу!

— Генерал-майор Белов слушает.

— Товарищ Белов, чрезвычайное происшествие: осажденная Тула перестала получать ток с Каширской электростанции. Остановились заводы, дающие боеприпасы. Линия высокого напряжения между Тулой и Каширой не повреждена. Надо искать повреждение на самой станции. Из Москвы послана группа инженеров. Распорядитесь встретить их, организуйте охрану.

Еще одна забота! Надо побывать там самому. Немцы не бомбили ГРЭС, видимо, берегли для себя. Даже странно. Поблизости грохочет бой, рвутся снаряды, бомбы, горят дома. А трубы станции дымят преспокойно…

В каждом сражении, в каждом бою обязательно окажется какое-то место, на котором сосредоточивается внимание враждующих сторон, возле которого разгораются особо горячие схватки. Обычно такими местами становятся господствующие высоты, перекрестки дорог, удобные для обороны населенные пункты. На подступах к Кашире такой точкой притяжения стала высота 211, что неподалеку от деревни Пятницы.

Утром 1313-й стрелковый полк, приданный гвардейцам Баранова, удачной атакой сбросил противника с этой высоты и начал закрепляться. Командир полка сообщил о трофеях, о захваченных танках. Павел Алексеевич одобрил его действия, а Баранова специально предупредил: «Виктор Кириллович, смотри, чтобы пехота не успокоилась. Пусть скорей зарывается в землю. Немцы высоту просто так не уступят».

Вскоре фашисты действительно открыли по высоте 211 шквальный огонь из орудий и минометов. Гвардейская артиллерия ответила, но гораздо слабее. Подавить батареи гитлеровцев пушкари не могли. К тому же немцы нацелили на высоту свою авиацию. Самолеты появлялись группами по двадцать — тридцать машин. Причем группы шли одна за другой, не давая защитникам высоты передышки. Черная, обугленная, она издали похожа была на дымящийся вулкан. Просто чудо, что в этом кромешном аду уцелели люди. Когда немцы поднялись в атаку, на высоте зазвучали выстрелы. Короткими очередями, словно задыхаясь, застрочил станковый пулемет.

Фашистов было много: батальон пехоты и десять танков. Остановить их защитники высоты не могли. Подкрепления днем по открытой местности не подбросишь. Понимая это, Белов и Баранов начали заранее готовить контратаку. Ближе к высоте подтягивались резервные подразделения 1313-го стрелкового полка. Туда же выдвигался 11-й Саратовский кавполк майора Зубова. На базарной площади Каширы заняли позицию для нового залпа два дивизиона «катюш».

Немцы захватили высоту незадолго до темноты. Еще час — и фашисты лишатся одного из своих преимуществ — авиации, которая в светлое время не позволяла гвардейцам маневрировать, от которой кавалеристы несли основные потери. Воспользовавшись тем, что внимание врага привлечено к высоте 211, подполковники Князев и Данилин снова подняли в атаку свои полки. Спешенные кавалеристы ворвались в деревни Базарово и Чернятино. Немцы сразу же перенесли на эти деревни огонь своих батарей, и тут пошел в атаку 11-й Саратовский кавполк, еще не участвовавший в бою и сохранивший все силы. Меткий залп «катюш» расчистил ему дорогу.

Как продвигается Саратовский полк, Павел Алексеевич не видел. Было уже темно. По всему горизонту полыхали пожарища. То в одном, то в другом месте мелькали короткие яркие вспышки разрывов.

Баранов доложил по телефону: высота 211 снова наша. Туда выдвигается артиллерия на прямую наводку. Деревни Базарово и Чернятино полностью очищены от противника. По карте хорошо было видно — гвардейцы все глубже охватывают Пятницу с северо-запада.

От полковника Гетмана, командира 112-й танковой дивизии, пришло сообщение: все атаки гитлеровцев отражены. Дивизия удержала свой рубеж.

Полковник Осликовский донес: 2-я гвардейская кавдивизия выбила передовые части фашистов из населенных пунктов Кокино и Ягодня.

Особенно порадовал Павла Алексеевича полковник Грецов. Штабной работник, связанный с бумагами человек, он оказался блестящим организатором и решительным командиром. Сколотив в Зарайске отряд из восемнадцати танков и мотострелкового батальона, Грецов начал наступать восточнее Осликовского, целясь на вражеские тылы. Разгромив несколько разведывательных групп противника, отряд Грецова атаковал и захватил два населенных пункта. Итог закончившегося дня был в пользу Белова. Немцы не смогли продолжать наступление, не сумели захватить город и переправы через Оку. Больше того, они вынуждены были остановиться, попятиться. Корпус вырвал у противника инициативу.

Генерал армии Жуков поздно вечером сообщил Верховному Главнокомандующему: «Белов с утра начал действовать. Продвигается вперед. Против Белова действуют части прикрытия противника. По состоянию на 16:00 27.11 противник отошел на три-четыре километра. Захвачены пленные. Сегодня в бою танковые батальоны и танковая бригада не участвовали. Задержались в пути из-за мостов. Подойдут ночью и будут участвовать с утра. 112-я танковая дивизия ведет бой в шестнадцати километрах юго-западнее Каширы». Иосиф Виссарионович несколько раз перечитал донесение. Будто сомневался. Да ведь и то сказать — за десять суток немецкого наступления это была первая приятная новость. Первая светлая полоска на черном фоне событий, проблеск, вселявший надежду. Сталин не убрал донесение, оставил его на столе, на видном месте. Ни Верховный Главнокомандующий, ни командующий Западным фронтом, ни командир гвардейского кавкорпуса, ни танковый бог немцев Гудериан — никто еще не знал тогда, что эти четыре километра, потерянные фашистами, окажутся необратимыми. Это были самые первые победные километры на том огромном пути, который советским войскам предстояло пройти от Москвы до Берлина.

По всей линии соприкосновения с противником еще не завершился нынешний бой, а Белов жил уже завтрашним днем, продолжая мысленное

сражение с вражескими генералами. Что думают высокомерные, уверенные в победе немцы о его контрударе? Для них это — агония умирающих войск, одна из последних яростных вспышек сопротивления. «Тем лучше, русские скорее выдохнутся». Фашисты спокойны. Они даже не ввели в бой главные силы. Они берегут танки для броска на столицу. Генерал-полковник Гудериан тревожится сейчас, вероятно, лишь об одном — как бы не упустить лавры завоевателя Москвы! На некоторых участках фронта немцы подошли к городу на сорок километров. В бинокль окраины видно. А войска Гудериана топчутся под Тулой и под Каширой. Надо спешить, не то опоздаешь в гонке за почестями.

И все же завтра Гудериан наступать не будет. Его войска заняли оборонительные боевые порядки, их трудно сразу поднять на новый бросок. Гудериан подождет еще сутки, постарается окончательно измотать атакующих. Ну что же, Белов «поможет» ему. Дивизия Баранова с остатками стрелковых подразделений завтра продолжит наступление. Дело не в том, чтобы захватить одну-две деревни. Задача другая — непрерывно давить и давить на противника, сковывая его силы и обтекая Пятницу с запада.

Вражеские генералы, как и Белов, тоже смотрят сейчас на карту. Они тоже видят, что советские войска начинают обходить пятницкую группировку с запада и с востока. Это, наверно, волнует их. Гитлеровцы выделят дополнительные подразделения, чтобы надежно прикрыть фланги. Они, вероятно, уже поняли замысел Белова: удар в центре сочетается с более опасными ударами на флангах. Они должны быть довольны — разгадали маневр советского генерала. Вот и пускай радуются. У них свои заботы, а у Павла Алексеевича — свои.

За спиной у пятницкой группировки только одна дорога, доступная для автомашин, — шоссе на Мордвес. Единственная тонкая ниточка среди заснеженных полей, единственная артерия, связывающая войска противника с тылом. И не это ли у врага самое уязвимое место?!

И вот снова вечер, такой же, как и вчера, и снова машина движется по главной улице Каширы, по крутому спуску к Оке. Опять взметывается в разных местах пламя пожаров, а истоптанный снег кажется грязно-розовым в отсветах пламени. Но обстановка в городе уже иная. На перекрестках возведены баррикады. В кирпичных зданиях зияют пулеметные амбразуры. Возле костров и догорающих пожарищ греются конники и бойцы истребительного батальона. Повстречалась походная кухня: повар кашеварил на ходу, из топки сыпались мелкие искры.

Повсюду в укрытиях виднелись лошади. Их оставили тут с коноводами наступающие полки. Работали походные кузни. Подполковник Синицкий, к которому заехал Павел Алексеевич, доложил, что из Ступино привезли подковы.

— Это хорошо. Но не расслабляйтесь, угроза не миновала. У немцев сто танков. Если ударят разом, через час будут здесь.

— Встретим, товарищ генерал. У нас все готово, — заверил командир таманцев.

* * *

Ночью гвардейцы Баранова заняли еще несколько деревень. Однако утром фашисты показали, что пятиться они больше не намерены. Сопротивление резко возросло. Самолеты с крестами на крыльях

непрерывно висели в воздухе. Грохотала артиллерия обеих сторон. Во многих местах вздымались клубы дыма: горели дома, сараи, стога сена, подбитые машины. Там, куда ложились залпы «катюш», горела даже сама земля.

Убедившись, что немцы скованы боем за Пятницу и о броске на Каширу пока не помышляют, Павел Алексеевич все свое внимание сосредоточил на флангах. Продвинуть вперед 112-ю танковую дивизию Гетмана он не надеялся. Хорошо хоть, что она сдерживает 4-ю танковую дивизию гитлеровцев.

Полковник Осликовский медленно теснил фашистов на своем участке. Немцы там не только упорно сопротивлялись, но и пытались контратаковать 2-ю гвардейскую кавдивизию. Это говорило о том, что противник вполне оценил угрозу, нависшую над Пятницей с востока.

Имей сейчас Белов две стрелковые бригады, которые обещал по телефону Сталин, Пятницкую группировку можно было бы окружить. Но о стрелковых бригадах речь больше не заходила, а напоминать Верховному о его обещании Павел Алексеевич считал неудобным. Не прибыло подкрепление, значит, есть серьезные на то причины…[57]

Увлеченные боем, фашисты не замечали, как постепенно, исподволь, начинает осуществляться главная идея Белова — идея двойного охвата. 2-я и 1-я гвардейские кавдивизии обтекали Пятницу на глазах у противника, создавая реальную, понятную немцам угрозу. А полковник Грецов действовал тем временем вдали от основных сил. За ночь он укрепил свой отряд, который насчитывал теперь семь танков Т-34 и пятнадцать легких Т-60. Посадив на броню мотострелковый батальон, Грецов в полдень начал стремительное наступление.

Для немцев появление в их тылу танкового отряда было столь же неожиданным, как гром с зимнего ясного неба. Не встретив серьезного сопротивления, танкисты захватили населенные пункты Наумовское и Барабаново, что на дороге из Мордвеса в Каширу. По дороге шли неприятельские обозы, машины с горючим и боеприпасами, маршировали резервные подразделения. Попав под огонь танкистов, фашисты бросились кто куда.

Единственная вражеская артерия была рассечена. Прекратился приток свежей крови в Пятницкую группировку. А Грецов, зная замысел операции, повел отряд еще дальше, к населенному пункту Жижелна. Там он ударил в тыл 4-й танковой дивизии гитлеровцев, которая вела бой со 112-й дивизией Гетмана. У немцев порвалась связь, нарушилось управление войсками. Началась неразбериха — преддверие паники. Враг снимал с передовой свои части, поворачивал их против Грецова. На Барабаново была перенацелена вся вражеская авиация. Грецову пришлось туго. Он рассредоточил танки и прекратил активные действия. Зато легче стало гвардейцам Баранова. Едва исчезла вражеская авиация, они овладели деревней Умрыщенки. 112-я танковая дивизия тоже пошла вперед. Фашисты с трудом затыкали теперь бреши, возникавшие то в одном, то в другом месте. Павел Алексеевич чувствовал: враг растерян, враг не может понять, что случилось, он торопится, ошибается. Теперь — ни малейшего послабления. Теперь надо бить и бить! Белов не удивился, когда узнал, что фашисты вновь захватили Барабаново, вытеснив оттуда заслон, оставленный Грецовым. Это естественно. Немцы задохнутся без единственной своей артерии. Они стянули в Барабаново сорок танков и полк мотопехоты — все, что у них было свободного. Теперь все силы

противника введены в бой, резервы задействованы. И смотрят немцы не на Каширу, а в свой тыл. Барабаново им удалось вернуть, но они не знают, что туда подошли уже подразделения Осликовского, что генерал Белов не спешит с решающим ударом только потому, что ждет темноты.

Когда ночь согнала с неба фашистскую авиацию, полковник Грецов повернул назад свой отряд и атаковал Барабаново с запада, а 2-я гвардейская кавдивизия — с востока. Гитлеровцы оказались между молотом и наковальней. Бросив технику, они хлынули по дороге на Мордвес. Танки Грецова ворвались в населенный пункт.

Дождавшись этого момента, Белов отдал несколько коротких распоряжений. Грецову — всеми силами удерживать Барабаново. Осликовскому — наступать на Пятницу с востока и юго-востока, Баранову — взять Пятницу ночным штурмом. У врага значительные потери, он частично деморализован. Не очень уверенно чувствует себя солдат, слыша стрельбу и справа, и слева, и за спиной. Фашисты измотаны боем и неопределенностью. Их генералы не знают, что предпринять.

* * *

Для ночного штурма генерал Баранов выделил три эскадрона автоматчиков. Люди поспали несколько часов, получили горячий приварок. Патронов и гранат — без ограничения.

Пользуясь темнотой, бойцы скрытно приблизились к окраинам Пятницы. Фашисты, как выяснилось потом, отдыхали в избах, оставив на морозе лишь усиленное боевое охранение. Незадолго до полуночи взвились в черное небо ракеты. Сразу застучали сотни автоматов. Поливая свинцом избы, бойцы с трех сторон ворвались в деревню. Полетели гранаты. Их бросали в окна домов, в погреба и сараи. Очумевшие со сна фашисты толпами валили на улицу, под автоматные очереди. Визжали от ужаса, падали, метались. Но их было много, гораздо больше, чем гвардейцев.

Баранов докладывал: в Пятнице рукопашный бой. Немцы отходят к центру деревни. Там у них танки, там скопилась сильная группа.

— Перекрывай дорогу на Мордвес! Они туда бросятся. И усиливай нажим с фронта. Вводи все резервы, Виктор Кириллович! Еще немного — и они побегут!

— Я сам чую! — басил в трубку Баранов. — Князева посылаю, сто шестидесятый полк! Князев им жару подсыпет!

Павел Алексеевич вышел на улицу. Ночь морозная, с ветерком. Потоптался у входа в КП, прислушиваясь к стрельбе. Трудно определить что-либо по звукам. Но стрельба отдалялась, это точно. Белов старался подавить в себе радостное возбуждение. Рано еще ликовать, рано! Мало ли что он чувствует, предугадывает… Вот доложат командиры дивизий, тогда будет ясно. А сейчас бой еще в разгаре, хотя развязка приближается неотвратимо.

Фашисты, сосредоточившись в центре Пятницы, попытались пробиться на юг. Всей массой устремились они по дороге на Мордвес. Но гвардейцы уже подтянули станковые пулеметы, поставили на прямую наводку орудия. И началось избиение! Пулеметчики выкашивали бегущих. Лишь небольшой группе гитлеровцев удалось вырваться из огневого мешка. Сотни немцев сдались в плен, разбежались по окрестным полям.

Невелика деревня Пятница. Всего-то в ней домов шестьдесят. Но осталось в этой деревне больше семисот трупов и десять разбитых танков.

Генерал Баранов посадил один полк на отдохнувших, подкованных лошадей и послал вслед за гитлеровцами. Захватывая в плен отставших, уничтожая тех, кто сопротивлялся, гвардейцы в конном строю ворвались в населенные пункты Тимирязево и Стародуб. А танковый отряд Грецова установил возле Жижелны локтевую связь со 112-й танковой дивизией.

С пятницкой группировкой гитлеровцев было покончено. Остатки ее беспорядочно отходили к Мордвесу.

Утром Павел Алексеевич выслушал подробные доклады генерал-майора Баранова и полковника Осликовского. Голоса у обоих уверенные, радостные. Поздравив комдивов с успехом, Белов предупредил: ни малейшего зазнайства! У врага много сил. Для преследования отступающих выделить специальные отряды. Остальным бойцам — сутки полного отдыха. Сон вволю. Хозяйственникам — работать. Пополнить до нормы все запасы. Продолжить ковку коней. Ну а командирам дивизий прибыть на товарищеский обед.

— Не то что у вас — консервы да колбаса целыми неделями. Даже горячий борщ будет! — весело пообещал Белов.

Надев бекешу, Павел Алексеевич вышел с КП. На улице было непривычно тихо. Ни выстрелов, ни гула авиационных моторов. Чуть дымились догоравшие пожарища. Прошли женщины в валенках и теплых платках. Ребятишки съезжали с горки на санках.

Минуло ровно трое суток, как Павел Алексеевич приехал в этот город, казавшийся тогда беззащитным, вымершим. Положение Каширы было почти безнадежным. Где находились бы теперь немецкие танки, если бы им удалось захватить переправы через Оку? На окраине столицы? В самом городе?

18

Обстановка под Москвой не только оставалась трудной, но и еще более осложнилась. На стыке ноября — декабря развернулись события, которые я привык называть третьим немецким наступлением на нашу столицу. Западный фронт трескался и гнулся под натиском гитлеровцев. Судите сами. На правом, северном крыле фронта немцы 3 декабря овладели Красной Поляной и деревней Катюшки, от которой до Москвы всего 25 километров. Действительно, в бинокль можно было разглядывать с колокольни. Чтобы спасти положение, здесь раньше срока была введена в бой часть сил 1-й ударной армии, сосредоточившейся для наступления.

Дабы закрыть брешь, срочно перебросили туда 2-ю коммунистическую дивизию, формировавшуюся на Воробьевых горах. Своего транспорта у нее не имелось, Моссовет предоставил 140 трамвайных платформ и вагонов, на них дивизию вместе с артиллерией доставили в Лихоборы.[58]

На Волоколамском шоссе дивизия Белобородова вела бой за поселок Ленино: от этого поселка до стен Кремля около сорока километров. Но самым опасным участком оказался вдруг центр Западного фронта, считавшийся весь ноябрь наиболее спокойным. Здесь дала знать о себе сила, которую мы почти сбросили со счетов. Оправившись от неудачи, нанесла удар 4-я полевая армия фельдмаршала фон Клюге. Очень сильный удар. Немцы попытались прорваться с юга к Кубинке, на автостраду Минск — Москва. Там, на Нарских прудах и в районе Акулово, оборонялась 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина, прославившаяся на Бородинском поле. В жесточайших боях она остановила противника. В

жесточайших — другого слова не подберу. Напряжение было такое, что в окопы пошли все, от обозников до офицеров штаба 5-й армии генерала Л. А. Говорова. На этом направлении фашистов не пропустили. Но южнее, в стыке с 33-й армией генерала М. Г. Ефремова, немцы прорвались, их танки устремились на восток, нацеливаясь на Голицыно. 3 декабря непосредственная угроза нависла над Перхушково, где со штабом фронта находился генерал Г. К. Жуков. И здесь нам пришлось досрочно нанести контрудар теми войсками, которые были подтянуты для общего наступления. Опять мы опасно дробили свои силы. Сам замысел большого удара по противнику уже ставился под сомнение.

На южном крыле Западного фронта инициатива тоже принадлежала неприятелю. Не везде, но в важном районе — под Тулой. Фашисты предприняли еще одну попытку отрезать южный бастион от столицы. Они потеснили войска 49-й и 50-й армий, кольцо вокруг Тулы могло замкнуться с часу на час. А у нас там не было резервов для противодействия. 3 декабря в 16 часов прервалась телефонная и телеграфная связь штаба фронта со штабом 50-й армии, линию перехватили немцы. Но связь с Тулой поддерживалась по подземному кабелю, о котором противник не знал.[59]

Куда ни кинь, везде клин, везде кризис. И в этой сложной обстановке был один вроде бы совершенно невероятный нонсенс: Белов наступал, Белов громил войска самого лучшего немецкого войскового объединения — 2-й танковой армии генерала Гудериана. Белов под Каширой начал бить немцев на десять суток раньше запланированных наступательных действий и гнал теперь гитлеровцев так, как еще никто и никогда не гнал их. Быстро, напористо, целеустремленно. Немцы привыкли наступать и побеждать. Везде: и в Западной Европе, и у нас. Это у них неплохо получалось. Умели они и обороняться. Правда, хуже, чем наступать, но все же умели. Но есть еще и такой, может быть, самый сложный вид боевых действий — отступление. А отступать гитлеровцы не умели, у них не было никакой практики. И перед опытным генералом Беловым, который сам прошел сложнейшую школу, отводя свой корпус от Бессарабии до Москвы, немцы оказались в положении самонадеянных, но ничего не знающих учеников. И людей у них было не меньше, чем у Белова, и техники несравненно больше, а вот покатились они назад, стремительно покатились, теряя и то и другое.

К критическому дню Московской битвы, к 3 декабря, когда фашисты подошли на самое близкое расстояние к нашей столице, Павел Алексеевич Белов на своем направлении отбросил фашистов на сорок километров, почти до Венева. До того города, где менее двух недель назад Гудериан разгромил нашу веневскую группу войск. А теперь Белов громил фашистов, отбивая захваченные противником трофеи, освобождая пленных. Родилась тогда в кавкорпусе песня, которая быстро облетела все эскадроны:

Гнали немцев конники Белова. Орудийный гром не умолкал. От Каширы до ворот Венева Гудериан все танки растерял.

Положим, не все, по официальным данным, около семидесяти танков. Тоже, согласитесь, неплохо. Особенно если учесть, что потери-то безвозвратные. При наступлении немцы тоже теряли танки. Ну, выбьет снаряд каток, повредит гусеницу. Отремонтировали машину, и снова в строй. А теперь им пришлось бросать технику, она оказывалась в наших руках. Для противника это было чувствительно.

Как тут не привести еще раз слова тогдашнего начальника штаба Западного фронта В. Д. Соколовского: «Поспешный отход врага на юг превратился в бегство. Несмотря на строжайший приказ генерала Гудериана, гитлеровцы массами бросали свои танки, боевую технику, артиллерию, снаряжение и имущество, в частях противника часто возникала паника. Преследовавшие противника советские войска захватывали большие трофеи, все дороги были усеяны трупами немецких офицеров и солдат. Таков был результат внезапного для врага контрудара группы войск генерала Белова под Каширой. В период 27 ноября — 7 декабря войска группы не только остановили наступление немецко-фашистских войск на Москву с юга, но нанесли им жестокое поражение и отбросили к Веневу. Прорыв немецкой 2-й танковой армии к Кашире был ликвидирован, и гитлеровский план сомкнуть танковые клещи к востоку от Москвы полностью был опрокинут на юге так же, как и на севере. Оперативная обстановка на левом крыле Западного фронта сразу изменилась в нашу пользу».

Припомним: в середине ноября Белов нейтрализовал малую клешню немцев, нацеленную на Кунцево, и надолго задержал наступление 4-й полевой армии фон Клюге. А теперь, через две недели, еще до начала общего контрнаступления под Москвой, разгромил южную большую клешню, лишив Гудериана всякой надежды на окружение нашей столицы. Но и это еще не все. При оценке действий генерала Белова правомерны самые восторженные выражения. А я скажу так: Белов творил чудеса! Двигаясь на юг и на юго-запад, его корпус (а точнее, группа войск) подрезал коммуникации, заходил в тыл немецким дивизиям, нацеленным на Рязань. В этих дивизиях смотрели теперь не столько на восток, сколько на запад, на свои тылы.

Наша новая 10-я армия, развертывавшаяся под Рязанью, была еще недоформирована, недовооружена, не имела боевого опыта. И сразу же застряла, едва начав наступать на Сталиногорск и на станцию Узловая. Немцы имели приказ удерживать эти населенные пункты как базы для ведения дальнейших операций. А как поступает Белов? Понимая, что кто-то должен обеспечивать его фланги, закреплять достигнутые успехи, он помогает соседней пехоте. Поворачивает два гвардейских кавполка и одну танковую бригаду (всего-то пять уцелевших танков) на восток. Эти силы подошли скрытно и ударили с тыла по немцам, оборонявшим Сталиногорск-2. Атаки с запада фашисты не ожидали, не смогли даже в скоротечном бою использовать как следует имевшиеся у них пятьдесят танков. Побежали в панике. Одних только артиллерийских орудий конники захватили около полусотни. А затем вместе с 330-й стрелковой дивизией 10-й армии освободили Сталиногорск-1.

Еще своеобразнее развернулись события на большой станции Узловая, где при наступлении гитлеровцы захватили много эшелонов с важными грузами. Пехота 10-й армии без заметных успехов атаковала Узловую с востока. И туда Белов тоже направил свой полк, оказавшийся ближе других к станции, — 108-й кавалерийский полк подполковника В. Д. Васильева из 2-й гвардейской кавдивизии. По штату кавалерийский полк примерно вдвое меньше стрелкового. Тысяча бойцов и тысяча коней — четыре сабельных эскадрона, один пулеметный эскадрон и несколько небольших подразделений, У Васильева в строю после многих боев насчитывалось человек шестьсот. И приданная полку батарея 76-миллиметровых орудий ЗИС, которые пообещал и прислал Белову сам

Верховный Главнокомандующий. Орудия были замечательные по всем параметрам. Командир батареи капитан Обуховский, выслав к станции корректировщиков, открыл огонь с расстояния в одиннадцать километров, надежно укрыв свою технику. Немцы не могли понять, откуда летят снаряды, точно попадавшие в цель. Начались пожары. Гитлеровцы попрятались в укрытия. А тем временем Васильев, используя складки местности, незаметно подвел свой полк к Узловой и, не дав немцам опомниться, стремительно атаковал станцию в конном строю. Это вообще-то бывало очень редко. Какие уж конные атаки на пулеметы и автоматы — самоубийство. Но на Узловой обстановка была подходящая. Конная лава захлестнула станцию, ошеломленные немцы вылезали из подвалов, из блиндажей и поднимали руки. А пытавшиеся сопротивляться падали под пулями и ударами шашек. Все было кончено очень быстро.

По давним неписаным законам конница, захватившая город, имела право от одних до трех суток хозяйничать в нем. Но времена изменились, да и город-то наш. Однако приз конногвардейцы не упустили, эшелоны на станции они по праву считали «своими». А в многочисленных вагонах чего только не было! Обнаружили более пятисот новеньких советских станковых пулеметов — немцы не успели их вывезти. Снимай смазку — и в бой! Это особенно обрадовало Белова: за все время войны кавкорпус ни разу не получал пулеметы, а потерял много. Теперь же полки, эскадроны брали, кому сколько нужно, выделив часть для пехоты. «Опулеметились» все, оставив резерв в обозах. Огневая мощь корпуса возросла чуть ли не вдвое. А когда фронтовые интенданты попытались предъявить претензии, обвиняя в самоуправстве, Белов ответил: помалкивали бы, недотепы, умудрившиеся «подарить» противнику столько техники. А он взял пулеметы по праву победителя.

Любопытно, как немецкие и наши военные специалисты, историки, исследователи объясняли успехи Белова, достигнутые в трудное время и при несопоставимых вроде бы масштабах: кавалерийский корпус против танковой армии! Писано много и разное. Корень неудачи «танкового бога» Гудериана некоторые немцы видят вот в чем. Гудериан всегда придерживался правила, сформулированного еще Мольтке: «Идти порознь, драться вместе». Принцип этот известен любому фендрику. Гудериан лишь несколько модернизировал его применительно к современной войне моторов, к маневренной, быстрой войне. «Маневрировать порознь и на большом пространстве, а бить сообща, достигая одной цели». Он так и поступал до ноября сорок первого года. Он бил всегда кулаком, а в ноябре растопырил пальцы. Значительная часть его войск «осела» возле Тулы, пытаясь захватить этот город. Еще одна часть двигалась на восток, на Рязань. Наиболее боеспособные подвижные соединения были нацелены на Каширу и далее. И не потому, что Гудериан забыл свой принцип. Нет — война заставила. Упорное сопротивление советских войск на разных, больших и малых, рубежах ослабило его танковые и моторизованные соединения, более чем наполовину сократило численность пехотных дивизий. Кулак Гудериана был ослаблен, пальцы разъединены, он уже не бил, а тыкал пальцами, но все еще самонадеянно рассчитывал на быстрый успех. И просчитался: Белов сотворил с ним то, что он недавно сделал с веневской группировкой советских войск.

У нас опыт наступательных действий генерала Белова осенью и зимой 1941/42 года изучался некоторое время в академиях. Был специально

отозван в тыл начальник штаба корпуса Грецов, он в короткий срок написал отчет — учебное пособие для служебного пользования. Потом дела Белова были заслонены другими военными успехами.

Наши исследователи, за исключением теоретика и практика В. Д. Соколовского, просто теряются, когда пишут о событиях под Каширой. Даже неловко, мол, говорить о том, что кавалеристы опрокинули танковую армию, это похоже на блеф, на вымысел. И для очистки совести, для правдоподобия притягивают к Белову что-нибудь посолиднее. Например: «50-я армия и кавалерийский корпус Белова…» Или: «Корпус Белова совместно с войсками 10-й армии…» Так внушительнее, благопристойнее. А на практике Белов лишь оперативно взаимодействовал с той и с другой армиями. Более того, на протяжении ста пятидесяти километров Белов шел впереди 10-й армии, прокладывая ей дорогу, а она расширяла полосу наступления.

Чем конкретно располагал Павел Алексеевич Белов? Прежде всего это его родной 1-й гвардейский кавалерийский корпус из двух дивизий, насчитывавший тогда около двенадцати тысяч человек (по численности и по огневым средствам это примерно немецкая пехотная дивизия того времени). Полк «катюш». Две танковые бригады (обе вскоре были изъяты по причине утраты всей техники). И одна стрелковая дивизия пятидесятипроцентного состава, без тяжелого вооружения. И все. Именно этими войсками без чьей-либо помощи он гнал немцев от Каширы до Венева (затем будет создана более сильная группа войск генерала Белова). Одну из причин его необычайных успехов я, грешным делом, усматриваю в том, что Павлу Алексеевичу тогда никто не мешал, он пользовался полной самостоятельностью. Сталин и Жуков, да и Шапошников тоже, поглощенные событиями на ближних подступах к Москве, не занимались делами Белова. Задача перед ним поставлена, он ее выполняет, жалоб от него нет, подкреплений не просит, ну и ладно. У Белова были развязаны руки, он поступал так, как считал нужным. Для многих начальников, военных и гражданских, привыкших лишь выполнять указания свыше, это трудно. А Белов чувствовал себя как рыба в воде.

По моему мнению, у нас было три полководца с явно выраженными наклонностями к импровизации. Это — Ватутин. Это — Черняховский. И, конечно, Белов. Самостоятельные генералы, оригинально мыслившие и поступавшие, не терпевшие мелочной опеки. Регламентация лишь сковывала их. В борьбе с Гудерианом Белов учел и использовал все свои козыри, от условий погоды до опытности своих кавалеристов. Действовали в основном ночью, когда нет вражеской авиации. Немецкая техника была привязана к хорошей дороге, а конница шла по проселкам, по лесам, обходя укрепленные пункты противника. Кавалеристы, воевавшие уже несколько месяцев, хорошо знали сильные и слабые места немцев, понимали, в чем они превосходят неприятеля. Гитлеровцы, например, воюя на чужой территории, панически боялись обходов и окружений, им жутко было при одной лишь мысли оказаться изолированными, отрезанными от своих, да еще там, где они изрядно насвинячили, навредили населению. Они опасались расплаты. А стремительное продвижение конницы как раз и создавало угрозу мешков. Ну и погода содействовала нам. 3 декабря ртуть термометров упала до отметки -24°. На следующий день опустилось еще на два деления. А 7 декабря до -28°. Мерзли немцы без зимнего обмундирования, отказывало и оружие — Белов

со своими войсками сделал многое. Но не менее важное, что он сделает для победы в Московской битве, у него еще впереди.

19

3 или 4 декабря, точно не помню, Иосиф Виссарионович поручил мне съездить в Перхушково к Жукову, поздравить его с днем рождения (Георгию Константиновичу стукнуло сорок пять), вручить подарок — небольшой сверточек. Это, так сказать, торжественная часть. Кроме того, Сталин попросил меня посмотреть, каково состояние Жукова, и физическое, и моральное. Было известно, что командующий Западным фронтом в эти критические дни заболел, но насколько серьезно и не отражается ли это на его действиях, Иосиф Виссарионович не знал. И третье: целесообразно ли Жукову со штабом фронта оставаться в Перхушкове, куда приблизились немецкие танки? Жуков не желает перемещать штаб, мотивируя это вот чем: если отодвинется он, то отодвинутся и штабы армий, штабы дивизий, а там и штабы полков. Нет, он с охраной и со штабом будет оборонять Перхушково до последней возможности, как требовал от войск. Сталин в довольно резкой форме сказал мне, что это слишком. В Москву и Подмосковье прибывают соединения, предназначенные для контрударов. Кто будет руководить сражением, кто организует контрудары, если погибнет штаб фронта?! Сталин, знавший упрямство Жукова, был озабочен еще и этим.

Последний пункт поручения я выполнил в первую очередь, накоротке поговорив с начальником штаба фронта Василием Даниловичем Соколовским. Враг действительно подошел близко, даже в помещении слышался гул канонады, стены подрагивали от сильных взрывов. Однако покидать хорошо оборудованный для руководства войсками центр, имевший надежную связь с армиями, с московскими организациями, было преждевременно. Соколовский заверил меня, что оборона продержится по крайней мере несколько дней, а для того чтобы отбросить противника, в районе Апрелевки создана ударная группа, которая уже начала действовать.

Соколовский же сказал мне и о здоровье Георгия Константиновича. У него обострился радикулит, ему трудно ходить, трудно наклоняться. Ну и нервное перенапряжение, бессонные ночи дали о себе знать. И контузия, полученная еще на первой мировой войне. Мучают головные боли, иногда они настолько сильны, что Жуков бледнеет, стискивает зубы, чтобы не застонать, уходит на несколько минут отдохнуть. Раздражителен. Соколовский старается не переутомлять его.

Георгий Константинович принял меня в кабинете. Предложил сесть, а сам все время стоял или прохаживался медленно, подшучивая над своей хворобой. Вот, мол, как бревно: ни сесть, ни согнуться. Развернув сверточек, присланный Иосифом Виссарионовичем, не скрыл своей радости:

— Как раз то, что нужно, у нас тут нет такого лекарства. А то ведь замучился с этой дурной башкой… Спасибо товарищу Сталину за заботу. Узнал ведь… И вам тоже… Чокнемся, Николай Алексеевич, по обычаю за сорок-то пять. Вам водки или коньяку?

— Давайте, что вам полезней.

— Мне снадобья врачи прописали. Но вроде бы на спирту.

Жуков свернул на столе пополам карту боевых действий, поставил на освободившееся место тарелку с закуской и две стопки: мне побольше, а себе поменьше — красивую, серебряную, с какой-то надписью. Пояснил:

— Александра Диевна, жена, прислала по случаю праздника. С вами и обновлю.

— Ну, Георгий Константинович, еще, как минимум, столько же вам и в полном здравии!

— Благодарю. И за успех нашего контрнаступления.

— А не сорвется?

— Нет. Оно уже началось. Контрудары у Кузнецова, у Рокоссовского. Контрудар Белова. У нас здесь в центре… Они сольются… Наступление уже началось, — повторил Георгий Константинович.

Мы чокнулись и выпили. Я — водку, а Жуков — лекарство.

Об этом дне рождения, о нашем разговоре мы вспомнили без малого через три десятилетия, когда вышла, наконец, его мемуарная книга. Работая над ней, он особенно часто звонил мне, советуясь по разным вопросам. Он тогда, при Хрущеве и Брежневе, находился в глубокой опале — правители завидовали его всенародной славе, его авторитету. С улицы Грановского, из правительственного дома, переселился Георгий Константинович на улицу Алексея Толстого, фактически находился под домашним арестом и, чтобы чувствовать себя более свободным, почти безвыездно жил и работал на даче. Оттуда и звонил.

Радовался я вместе с Жуковым завершению большого труда. И огорчался тем, что право на издание принадлежало Агентству печати «Новости» (АПН): это могло означать, что за рубежом-то книгу прочтут, а познакомятся ли с ней советские люди, еще неизвестно. Колебались высокомудрые руководители Хрущев и Брежнев вкупе с деятелями, приближенными к их персонам: не потускнеют ли их военные лавры, когда наш читатель узнает и осмыслит со слов великого полководца, как все было. Вдруг рубанет такую правду-матку, что развенчает все новоявленные идеалы. А как предотвратить? И надежных помощников по написанию к Жукову приставляли, и постоянным редактором определили сообразительную, гибкую, умную еврейку А. Миркину, умевшую достигать компромиссов, а все же не было полного спокойствия у лиц, в то время господствовавших. Особенно почему-то тревожился идеологический главноблюститель Суслов. Опасался, видимо, не только за себя, но и за свои концепции.

Знал я и такую подробность. Работу над рукописью Георгий Константинович закончил в основном в 1965 году, об этом он радостно сообщил мне, а вот в свет вышла книга лишь четыре (четыре!) года спустя. Почему? Мощные силы давили на постаревшего Жукова, чтобы постепенно снять «ненужное», «необязательное», привести все в «надлежащее состояние». Месяц за месяцем давили, выжимая уступку за уступкой. А ведь из-за снятия «мелочей» и некоторых эпизодов принципиальные подходы постепенно меняются. Тем более что у Жукова совсем не было литературного опыта, той стойкости, которой и профессиональные-то писатели не все обладают, хотя известно, к каким скверным последствиям может привести любая уступка. Не совсем понимал Жуков, сколь сложен и труден идеологический бой.

Телефонный разговор с Георгием Константиновичем был тогда коротким.

— Прошу приехать, — пригласил он. — Сам бы привез книгу, да вот расковался опять на обе ноги. А увидеться охота.

— Решено, — сказал я, уточнив время. — Приеду.

Дачу герою Московской битвы подарил Иосиф Виссарионович. Точнее, не подарил, а предложил Жукову: выбирайте, где нравится и что нравится, вы заслужили. Георгию Константиновичу по душе пришлось место неподалеку от развилки Рублевского и Успенского шоссе, в бору между Рублево, Сосновкой и Черепкове. Рядом с Троице-Лыково, до Москвы-реки — рукой подать, купальня. С крутого берега, с высоты птичьего полета, открывается замечательный вид на Серебряный бор, на всю столицу. Тихо и спокойно было в том благословенном уголке до тех пор, пока не проложили поблизости кольцевую дорогу (о последующих стройках промышленной зоны уж не говорю). А в то время, о котором идет речь, опальный маршал, лишенный всех постов, жил на даче, довольствуясь природой, радуясь подраставшей дочке, вселявшей надежду на продолжение русского рода, удерживавшей его «на плаву».

От кольцевой дороги к даче Жукова, к Сосновке-5, вела прямая, как стрела, дорога, длиной километра полтора. Рядом с ней, слева, тянулась асфальтированная пешеходная тропа. Литератор Елена Ржевская, однажды побывавшая у Жукова, так живописует эту дорогу: «Машина шла по кольцевой. Мы оставили позади указатель на Рублево и вскоре съехали, ответвились в лес. Теперь мы двигались по неширокой асфальтированной просеке, прорезавшей лиственный редкий лес. Было сухо и довольно тепло. По обочинам — тонкоствольные березы…»

Экая, право, несообразность. «Ответвилась» женщина, проскочила на авто, ничего не успев разглядеть. Лес там не лиственный и не редкий. Там, на песчаных почвах, раскинулся один из прекрасных подмосковных боров. Лиственных деревьев почти нет. Густой подлесок, молодой подрост и высоченные, красивейшие сосны, которые принято называть корабельными. Готовые мачты для больших парусников. А какой запах в этом густом бору, особенно летом и осенью, воздух настоян на хвое… Ничего, короче говоря, похожего на «лиственный редкий лес». Мелочь вроде бы, но сразу возникает недоверие.

Едва машина моя свернула на «жуковскую» дорогу, слева на тропинке у видел я моложавую, крепко сбитую женщину с густой копной темных волос. Возле нее — девочка с лохматой собачкой. Женщина приподняла руку, я узнал жену Георгия Константиновича, и мы остановились.

— Галина Александровна, сочту за честь, садитесь.

— Спасибо, гуляем. Погода-то… Пройдитесь с нами. — Приглашение прозвучало так, что можно было понять: встретились мы не случайно.

Девочка, играя с собакой, то отставала, то забегала вперед, а мы шли неторопливо, ведя деловой разговор. Галина Александровна сказала, что Георгий Константинович чувствует себя неважно, хотя и бодрится, особенно при гостях. Однако гости-то редко бывают у опального. Василевский вот приезжал, да года два назад — Рокоссовский. При них он был гоголем. А на самом деле ослаб. Голова болит часто, ухудшился слух.

— Постарайтесь не расстраивать его, теперь ведь ничего не изменишь, — попросила Галина Александровна.

— Почему вы считаете, что я могу расстроить?

— Он волнуется, ожидая встречи с вами. Он ведь понимает, что сказал в книге не все, что надо было сказать. Ему твердили, что книга для заграницы, что не нужны мелкие подробности, что не надо выносить сор…

Он мне сказал вчера, что вы, Николай Алексеевич, можете подумать так: на войне, на службе Жуков ничего не боялся, а теперь в книге гражданского мужества не хватило… Вы не считайте так, ладно?!

— Галина Александровна, я не критик и еду не спорить, а поздравить Георгия Константиновича с завершением трудного дела. Но кое-что обсудить нужно.

— Поберегите его, я говорю не только как жена, но и как врач.

Такой вот «инструктаж» получен был мною перед самой встречей с Жуковым. Беспокойство Галины Александровны представлялось закономерным, но с другой стороны — кривить душой я не мог. Да Георгий Константинович и сам понял бы мою неискренность, а это подействовало бы на его состояние не лучшим образом. Самое разумное в подобных случаях — побольше шутить. С чего мы и начали. Я с улыбкой поинтересовался, скоро ли его примут в Союз писателей и кем он там будет — рядовым членом или секретарем правления, как его давний знакомый Константин Симонов? Жуков, в свою очередь, посоветовал мне не отставать на этом поприще, чтобы со временем мы вместе возглавили писательскую организацию. Пообещал поделиться накопленным опытом. И действительно, поделился — это уже серьезно. Показал копию заключения на его рукопись: под этим заключением красовались фамилии военных руководителей, занявших при Брежневе самые высокие позиции. Это А. Гречко, А. Епишев, М. Захаров, К. Москаленко. Издание книги Жукова они считали нецелесообразным, утверждая, что он преувеличивает свою роль в истории Великой Отечественной войны, недостаточно показывает роль партии (этакая стандартная ссылка). «Книга может принести вред советскому народу». Вот даже как! Суть была в том, что перечисленные выше военные деятели привыкли уже считать себя выдающимися полководцами, а Жуков не очень-то возвеличивал их.

— Такие вот редуты довелось взламывать, — посетовал Георгий Константинович. — Без потерь не обошлось. Как на фронте: и стратегия нужна, и тактика, и маневр.

Я ответил, что мне, вероятно, предстоят подобные испытания, но я пойду другим путем и попрошу Жукова встретиться с литератором, которому намерен доверить свою исповедь, — это решение уже созрело тогда во мне.

Вернувшаяся с прогулки Галина Александровна вошла в комнату, спросив, не помешает ли, и, удостоверившись, что мы спокойно беседуем, предложила кофе, коньяк и чай. Вопрос о коньяке был адресован только мне, Жуков ограничился чаем, а я не отказался и от коньяка, но без лимона (никогда не нравилось мне это сочетание — коньяк и лимон, тем более с сахаром). И чай был хорош, не очень крепкий, но ароматный, с приятным привкусом. Расслабившись, я не хотел говорить ни о чем спорном, раздражающем, однако Жуков, понимавший, разумеется, что я далеко не со всем согласен в его книге, вернулся к разговору о ней.

— Николай Алексеевич, что-то вы очень щадите меня. Или я, по-вашему, слаб, или книга такая сильная, что и ругнуть не за что? Ведь поругивали, когда читали?

— Случалось.

— И часто?

— Не очень.

— За что конкретно? Хотя бы один пример.

И я высказал свое мнение. Разгром немцев под Москвой — это самое важное свершение второй мировой войны, подорвавшее силу и дух доселе непобедимых гитлеровских армий. Но нельзя рассматривать это великое событие только само по себе. Оно ведь явилось логическим завершением всей предыдущей кампании, хоть и принесшей нам большие потери, но измотавшей силы врага. Сопротивление наших войск и всего народа поставило немцев, с их утратами, на грань катастрофы. А по воспоминаниям Жукова получается вроде бы не совсем так. Откройте книгу. Георгий Константинович сообщает о том, что контрнаступление под Москвой (подчеркиваю, он пишет — контрнаступление, а не контрудары) было якобы запланировано заранее на всех направлениях, что все шло по утвержденному плану. Верховное Главнокомандование и командование Западного фронта заранее подготовили события, стянули войска, наметили сроки. Так в книге у Жукова. Для широкой читательской массы. Но я ведь знал, что почти ничего этого не было. К тому же у меня в кармане лежало несколько помятых страниц, вырванных из статьи Г. К. Жукова «Контрнаступление под Москвой», опубликованной в «Военно-историческом журнале» № 10 за 1968 год. Авторитетный журнал для военных. Цитирую:

«Когда в последних числах ноября и в первые дни декабря мы организовывали сопротивление противнику, а затем применили более активную форму — наносили контрудары, в наших замыслах еще не было четко обоснованного мнения о том, что нами затевается такое грандиозное контрнаступление, каким оно потом оказалось. Первая постановка задач 30 ноября на контрнаступление преследовала хотя и важную, но пока ограниченную цель — отбросить наиболее угрожавшие прорывом к Москве вражеские силы. Глубина ударов намечалась: на севере — до 60 км, на юге — около 100 км. Но уже в ходе контрударов, наносившихся в начале декабря, стало ясно: противник настолько измотан предыдущими сражениями и так обессилен, что не только не может продолжать наступление, но и не в состоянии организовать прочную оборону. И когда и на правом, а особенно на левом крыле нашего фронта противник начал отходить, командование фронта распорядительным порядком стало наращивать силу ударов не только по фронту, но и по глубине. 5–6 декабря контрнаступление стало уже реальностью. Как мне помнится, специального приказа или общей директивы на контрнаступление не отдавалось. Боевые задачи войскам, как ближайшие, так и последующие, ставились последовательно отдельными директивами штаба фронта.

Таким образом, контрнаступление под Москвой не имело резко выраженного начала, как это было, например, под Сталинградом. Оно явилось развитием контрударов. Были усилены удары авиации, введены дополнительно общевойсковые соединения и пр.».

Вот и получилось: в книге — одно, а в статье того же автора нечто иное. Так оно, кстати, и было: контрудар Белова под Каширой, другие контрудары постепенно переросли в общее контрнаступление. И я спросил, чему же верить: аргументированному утверждению в научном журнале или беллетристическим, с «прямой речью», рассуждениям в книге, рассчитанной на массового читателя? Жукову, конечно, не очень приятно было услышать такое.

— Сразу и не скажешь, — огорченно, по-стариковски вздохнул он. — Статья обдуманная, взвешивал каждую мысль… Но потом мне стали

известны некоторые документы, некоторые дополнительные факты. Пришлось развить, расширить, уточнить. Что-то вспомнил сам, что-то мне помогли вспомнить. — Это прозвучало не без иронии.

— И все же? Для будущих историков?

— Вот историки пусть и разберутся. А мы дело делали, и вроде бы успешно, если судить по результатам. Мы люди заинтересованные, а историки смотрят со стороны, как мы шли и к чему пришли. Пусть изучают, это их хлеб!

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

Принято считать, что наше контрнаступление под Москвой началось 6 декабря 1941 года. Это усреднение. Некоторые соединения нанесли удары значительно раньше (Белов, Кузнецов), другие попозже (Говоров). Нельзя представлять дело так, будто по всей полосе Западного фронта загрохотали вдруг артиллерийские орудия, полыхнули залпы «катюш», устремились в атаку густые цепи нашей пехоты. Кое-где было и так, но вообще на разных участках — по-разному. В каком-то населенном пункте наши начали постепенно вытеснять немцев из домов, погребов и подвалов, где-то вспыхивали встречные бои, где-то наши дружно атаковали врага. Фашисты не сразу ощутили наметившиеся перемены. Они пытались продолжать наступление и 6, и даже 7 декабря. Я сам читал показания пленного офицера, своеобразно подтверждавшие, что контрудары наши явились для врага полной неожиданностью. Еще в ночь на 8 декабря этот офицер со своими приятелями поднимался на возвышенное место, чтобы «полюбоваться» фейерверком над нашей столицей. Удовольствие получали, глядя, как совсем близко полосуют небо голубоватые клинки прожекторов, вспыхивают многочисленные разрывы зенитных снарядов, тускловатые на фоне зарева от пожаров. А утром в войска группы армий «Центр» поступил приказ, показавшийся даже странным: повсеместно прекратить наступление и перейти к жесткой обороне на достигнутых рубежах. Немецкие генералы наконец почувствовали, что ситуация изменилась не только на южном крыле, в полосе наступления генерала Белова, но и на других участках обширного подмосковного фронта. Противнику требовалось по крайней мере разобраться в новой обстановке.

Наша разведка сработала безупречно: приказ о приостановлении наступления группы армий «Центр» был доставлен в Москву, размножен и лег на столы наших высших военных руководителей раньше, пожалуй, чем дошел до всех вражеских подразделений. Иосиф Виссарионович ознакомился с этим приказом в ночь на 9 декабря. Новость была, безусловно, приятная, но восторженных эмоций не вызвала. Было уже нечто подобное в октябре: немцы приостанавливали наступление на столицу, но это была лишь передышка для накопления сил. Новый приказ по вражеским войскам говорил прежде всего о том, что противник понял угрозу, противник насторожился и начинает принимать ответные меры.

Планы наших контрударов держались, естественно, в полном секрете, о них не упоминалось ни по радио, ни в печати. Пусть неприятель теряется в догадках. Теперь, судя по приказу, враг кое-что осознал. Но ведь и нам, рано или поздно, надо донести новость до народа, до армии. А как, когда,

в какой форме, чтобы не навредить себе? Излагать ход событий в повседневных сообщениях Совинформбюро? Или дать концентрированно, в обобщающем, вдохновляющем документе?

Вопрос вроде бы не первостепенный, но вызвавший разногласия. Иосиф Виссарионович не принимал решения, выслушивая лично и по телефону различные мнения. Партийно-политические руководители Щербаков и Мехлис предлагали опубликовать сообщение как можно быстрее, чтобы порадовать москвичей, весь народ, воинов армии и флота. А Жуков и Василевский, наоборот, считали, что с «радованием» можно и подождать ради более важных интересов. Не надо открывать противнику наши замыслы, пусть враг как можно дольше гадает на кофейной гуще. Их в принципе поддерживал Берия, но с одной оговоркой: опубликовать сообщение 21 декабря, ко дню рождения товарища Сталина, с чьим именем и под чьим руководством и т. д. и т. п. Однако против этого сразу возразил сам Иосиф Виссарионович.

— Мы благодарны товарищу Берии за уважительность, — усмехнулся он, — но политически это было бы неправильно. Совершенно неправильно. Если мы добьемся успеха, это будет подарок не товарищу Сталину, а подарок всему народу, всему государству. Нельзя смешивать одно и другое. День рождения человека, какой бы пост он ни занимал, ничего не значит по сравнению с большим военным успехом. Если такой успех будет…

Предложение Берии отпало. Но было еще одно, которое мне представлялось наиболее разумным. Борис Михайлович Шапошников считал, что исходить надо из обстановки. О чем мы можем теперь сообщить? О частных успехах на некоторых направлениях, об освобождении нескольких десятков деревень и поселков? Этого мало, это не прозвучит. И нет еще полной уверенности, что контрудары получат развитие. Людей особенно не порадуем, а немецкому командованию дадим достоверную информацию. Лучше повременить, посмотреть, как пойдут дела. Возьмем два-три города, таких, как Истра и Клин, вот тогда и бухнем в колокола.

Иосиф Виссарионович поддержал Шапошникова, предложил ему подготовить предварительный текст сообщения «В последний час» для радио и печати. Ну а фактически под верховенством Шапошникова этой работой занимались непосредственно Василевский, автор этих строк и генерал Соколовский как начальник штаба Западного фронта, знавший обстановку лучше других. О всех новостях он сразу сообщал нам с Василевским по телефону. Мы ждали. А в газетах шла подготовка общественного мнения к восприятию важных событий. Было уже известно о поражении немецко-фашистских войск на юге под Ростовом, о наших успехах возле Ельца и Тихвина. Ощущение значительных перемен буквально витало в воздухе. Люди тянулись к репродукторам, надеясь на хорошие новости.

Наконец, Василий Данилович Соколовский доложил, что 16-я армия Рокоссовского освободила Истру, а 20-я армия Власова очистила от противника Солнечногорск. 1-я ударная армия Кузнецова полуокружила Клин и вот-вот должна взять его. Неизвестно, сколько могло продолжаться это «вот-вот», однако и без Клина сообщение выглядело бы убедительно. Мы вписали названия населенных пунктов, освобожденных за последние сутки, в приготовленный текст. Документ пошел к Сталину, к

членам Политбюро. 13 декабря вся страна, весь мир узнали о нашем контрнаступлении под Москвой, о достигнутых успехах.

Не случайно привлекаю я внимание к данному документу. Он был первым в своем роде и послужил своеобразным эталоном для последующих многочисленных сообщений, благодарственных приказов. Иосиф Виссарионович любил краткость и четкость, а это как раз и отличало тот документ. Он состоял из трех частей. Очень короткая сводка. Затем назывались фамилии командующих армиями и излагалось, кто и что сделал. В завершение — общие цифровые итоги. В присутствии членов Политбюро Иосиф Виссарионович сказал:

— Такую бумагу могли составить только специалисты, глубоко вникающие в свою работу. Все есть — и ни слова лишнего. Знающие, серьезные специалисты.

Через несколько дней Иосиф Виссарионович пригласил меня пообедать с ним (по времени скорее поужинать) на Ближней даче. Чувствовал он себя хорошо. Опять похвалил емкость и четкость нашего документа и поинтересовался: по какому принципу мы перечисляли армии? Чем определена очередность? Вот что значит отсутствие у человека фундаментального военного образования. Сколько уж войн пережил Иосиф Виссарионович, основательно изучал военные труды и пособия, общался с военными руководителями, имел немалую практику. А вот в мелочах, в пустяках вроде бы обнаруживались элементарные пробелы. Для кадровых офицеров, тем более для генштабистов, само собой разумелось: расположение воинских объединений, соединений, частей указывать по карте сверху вниз, с севера на юг, справа налево, за исключением особых случаев. По-моему, Иосиф Виссарионович даже обрадовался такой простоте, такому целесообразию. Это отвечало его склонностям. Не надо шарить по карте, просто иди по ней, сверяя географические названия с нумерацией войск. Разговор наш свелся к тому, что Сталин предложил мне каждые десять дней составлять лично для него сводку о боевых действиях с упором не на информативность, а на анализ.

— По всем фронтам?

— Со всеми фронтами, думаю, не управитесь, Николай Алексеевич. Только по Западному и ближайшим соседям.

— Сводки штаба Запфронта и Генштаба достаточно полны и объективны.

— Добросовестные сводки, но они безлики. А мне хотелось бы знать ваше мнение, ваше суждение, чтобы полней представлять картину. Когда есть несколько мнений, легче выявить истину.

— Систематизация и анализ… Работа объемная, текучая, одному не успеть.

— Держите постоянную связь с Соколовским, не объясняя подробностей. Подберите себе энергичного, толкового генштабиста… Да что это я вам объясняю, Николай Алексеевич, вам виднее. Докладные записки — в одном экземпляре. Побудете в Москве, в Перхушкове, отдохнете от поездок, — с улыбкой закончил он.

Считаю, что Иосиф Виссарионович поступил правильно, приняв такое решение. Руководство войной, руководство государством в новых условиях только налаживалось, еще не было опыта, соответствующих структур. Сотни военных, экономических, политических вопросов решал каждый день Сталин. И вперед, в весьма туманное будущее требовалось смотреть,

выбирая курс. Ему необходимы были концентрированные сведения, подводящие к практическим выводам. И он стремился максимально использовать потенциал окружающих его людей, особенно тех, кому полностью доверял.

Две сводки представил я Иосифу Виссарионовичу до начала 1942 года. Они не сохранились, да и не было бы смысла приводить их целиком, они суховаты и, несмотря на мои старания ужать их, были довольно объемны. Однако в моем сейфе уцелели некоторые наброски, кое-что удержала память, и я предлагаю читателям изложение сути и смысла того, что было в тех документах.

2

Калининский фронт генерала И. С. Конева активно участвовал в наступательной операции, содействуя армиям Г. К. Жукова. Уж очень выгодное положение имели войска Конева, развернувшиеся от Осташкова до северной окраины Калинина и далее до Волжского водохранилища. Нависали они с севера над тылами фашистов, выдвинувшихся к Москве. В дальнейшем, в случае успеха, мы надеялись использовать это. А на первом этапе Конев должен был сделать вот что: освободить Калинин, открыв тем самым движение по железной дороге на Бологое, и не допустить, чтобы немцы перебросили от Калининского фронта хотя бы часть сил против наступающих войск Жукова.

Начал Конев неудачно. Почти без продвижения. На Западном фронте уже обозначился успех, а дивизии Конева прямолинейно, разрозненно штурмовали населенные пункты, одолевая за день один-два километра и неся большие потери. Такие большие, что некоторые полки и даже дивизии истекали кровью, обессилевали за сутки, их требовалось выводить из боя, заменяя другими. При этом роль Конева сводилась к непрестанному давлению сверху: атаковать! Наступать! Не было поисков, многообразия использования ситуации, быстрых и разумных решений. Но и враг перед Коневым на участке от Калинина до Волжского водохранилища был силен — об этом нельзя не сказать. Здесь немцы имели много танков. К тому же противник не хуже нас понимал, чем грозит продвижение войск Конева, угрожавших тылам группы армии «Центр». Немцы не снимали отсюда войска, наоборот, перебрасывали подкрепления с других участков. Так что эту задачу — сковать противника — Конев выполнил. Но только этого было мало.

Общие интересы требовали помочь Коневу. 11 декабря ему были переданы две свежие стрелковые дивизии. Затем в состав Калининского фронта была включена только что сформированная 39-я армия, состоявшая из шести стрелковых и двух кавалерийских дивизий. Это, согласитесь, было весьма солидное усиление. Одновременно Ставка особо указала генерал-полковнику Коневу на серьезные просчеты в проведении операций. Пришлось напомнить ему простые истины, которые он, разумеется, знал, а вот на практике использовать еще не умел.

В конце концов, за десять суток наступательных действий Калининский фронт расшатал-таки вражескую оборону.

Немцы попятились, начали выводить свои части из Калинина, прикрывшись сильными арьергардами, разрушавшими при отходе город. Сбивая эти арьергарды, войска 31-й армии генерал-майора В. А. Юшкевича 16 декабря освободили Калинин. Хоть и с опозданием, но важный

оперативный успех был достигнут. Теперь наш Западный фронт был надежно обеспечен с севера. Да и сам Калининский фронт получил выгодные условия для дальнейшего продвижения. Причем его опять усилили, передав Коневу еще одну общевойсковую армию. Он, конечно, воспользовался такими возможностями, но мог бы и лучше. За двадцать суток Конев вывел основные силы своих войск в район Ржева, что значительно осложнило положение вражеской группировки в Подмосковье. А Генштаб и Ставка связывали со Ржевом дальнейшие планы по разгрому названной группировки. И все же, повторяю, от Конева ожидали большего. Не выталкивания противника из населенных пунктов, как это было в Калинине, а решительного уничтожения войск и техники неприятеля.

В первой своей докладной записке Сталину я особо подчеркивал, что сам Конев, многие из подчиненных ему генералов и командиров не имеют наступательного опыта, действуют неуверенно, с ошибками. Но опыт постепенно накапливается, исчезает страх перед противником, крепнет уверенность в себе, то есть назревает психологический перелом. Гораздо хуже то, что некоторые наши генералы не только не умеют воевать, но по сути своей не способны управлять войсками, грамотно, профессионально выигрывать бои и сражения. И приводил пример, на который сошлюсь сейчас.

Не желая обидеть Ивана Ивановича Масленникова и ничуть не сомневаясь в его человеческих качествах, я лишь характеризую его полководческие возможности. Неплохо воевал он на гражданской, командовал эскадроном, кавалерийским полком и даже кавалерийской бригадой. Справлялся. Окончил Академию имени М. В. Фрунзе. Но с 1928 года служил во внутренних войсках, в органах ОГПУ и НКВД, а там ведь иные требования, иная практика, нежели в полевых частях и соединениях. Вновь возник Иван Иванович и Наркомате обороны перед самой войной с гитлеровцами, причем в высоком звании генерал-лейтенанта. Некоторым нашим товарищам военным это показалось странным. Мне — нет. Я уже говорил о том, как стремился Берия расширить свое влияние в Вооруженных Силах, выдвигая на командные посты своих людей. В Военно-Морском Флоте это ему не удалось. Там специфика. Ну какой к дьяволу нарком ВМФ из следователя Фриновского?! Сорвалась попытка, только злобу на адмирала Кузнецова, как мы знаем, Берия затаил. И в авиации не получилось. С танковыми войсками, с конницей было проще, а уж в пехоте — тем более. Так появился среди фронтовиков генерал Масленников — и сразу в строй, в бой. Ему бы в заместителях пообтереться, выполняя указания более знающих руководителей, а его поставили на самостоятельную должность, доверили 29-ю армию, которая должна была взять Калинин, но так и не смогла этого сделать ни в намеченный срок, ни позже. Другая взяла.

Я, повторяю, ничего дурного не хочу сказать об Иване Ивановиче как о человеке, но отсутствие боевого опыта было бедой не только для него, но и для его подчиненных, и для начальников, в данном случае для Конева.

Об Иване Степановиче Коневе в моей докладной было сказано еще вот что. Сравнивая командующих двумя соседними фронтами, я писал, что Жуков повернут лицом к противнику, а спиной к начальству, он воюет самостоятельно, сообразуясь с обстановкой, все подчиняя разгрому врага. А Конев вертит головой туда-сюда. Впечатление такое, что его волнует не

только ход операций, но и в не меньшей степени то, о чем говорят, о чем думают в Ставке, в Генштабе. Не выбиться бы из струи.

— Та крайность нехороша, но и другая тоже, — сказал на это Иосиф Виссарионович. Мне известно о недостатках Конева. Более того, были предложения заменить его другим генералом. Называли Рокоссовского и Ватутина. Но Рокоссовский без году неделя командует армией, не надо срывать его. Товарищ Ватутин опытнее, но он нужен на своем месте. А Жуков вообще у нас только один. И не вижу веских причин менять Конева. Вы же сами, Николай Алексеевич, утверждаете, что он ошибается, но учится, как учимся все мы. Не так ли?

— Конева не за что хвалить. Но, с другой стороны, он не допустил ни одного такого срыва, за которым отстранение обязательно. А вообще, во время операций, тем более успешных, командующих не меняют. Это плохо действует на войска.

— Время покажет, — рассудил Иосиф Виссарионович.

3

Теперь о событиях на Западном, основном тогда фронте, которым командовал, как мы знаем, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Фронт этот был настолько огромен и разнообразен, что я излагал свое мнение по каждой входившей в него армии, руководствуясь все тем же принципом: справа налево, с севера на юг.

30-я армия генерала Д. Д. Лелюшенко (он возглавил ее, поправившись после ранения, полученного в октябре под Можайском). Армия эта к 6 декабря насчитывала дюжину дивизий и бригад, но особых надежд Ставка с ней не связывала. Большие потери эта армия понесла, обороняясь южнее Волжского водохранилища в широкой полосе (до 80 километров, это много), в той же полосе должна была и наступать (для сравнения — соседние армии имели полосу наступления до 30 километров). А враг противостоял сильный, с большим количеством танков. Армия Лелюшенко считалась своего рода промежуточным звеном между Калининским и Западным фронтом. Но ведь известно, что на войне, с ее многообразными слагаемыми, даже самые тщательные расчеты оправдываются далеко не всегда, причем не обязательно в худшую сторону.

В отличие от соседа справа, генерала Масленникова, о котором мы только что говорили, Лелюшенко принял простое, грамотное решение. Не распыляясь по всей полосе, он создал две ударные группы, включив в них свои наиболее боеспособные силы. Два кулака. Участки для ударов были неширокие, цели конкретные. Обе группы сразу же начали успешно продвигаться вперед, одна из них через двое суток заняла крупный населенный пункт Рогачево. Достижение тактическое, предполагавшееся. А вот вторая ударная группа, состоявшая из стрелковой дивизии и двух танковых бригад, отличилась более основательно. Прорвав немецкую оборону, она стремительно пошла по вражеским тылам. Без отдыха, не ввязываясь в затяжные бои. И к концу дня 8 декабря, преодолев значительное расстояние по скверным зимним дорогам, захватила населенный пункт Ямуга в пяти километрах северо-западнее Клина, перерезав таким образом важную артерию — Ленинградское шоссе. Это отличилась в смелом броске 8-я танковая бригада П. А. Ротмистрова. И, закрепив успех, повела наступление на Клин с севера.

Вот судьба. Над Ротмистровым прежде иронизировали, называли «интеллигентом» — наверное, за щепетильную аккуратность. Но Сталин не забывал тех, кто находился с ним в трудные дни. Он ценил не внешнюю сторону, а дела. Ротмистров хорошо воевал и к концу Отечественной был уже маршалом бронетанковых войск.

Конечно, теми небольшими силами, которыми располагал Лелюшенко, трудно, а скорее всего и невозможно было захватить город Клин, обороняемый танковыми и моторизованными соединениями гитлеровцев, но обстановка в том районе благодаря 30-й армии резко изменилась. Быстрее пошли вперед соседи — войска 1-й ударной армии, возникла реальная возможность окружения Клина. А ведь это узел дорог, очень нужный врагу для отвода своих сил с дмитровского и солнечногорского направлений. Эх, как зашевелился вражеский муравейник! Опасаясь окружения, немцы начали отводить с передовой 1, 2, 6 и 7-ю танковые дивизии — такую махину! Для укрепления позиций в район Клина перебрасывались полки 5-й и 10-й танковых дивизий — последняя вообще оказалась «раздерганной», на колесах. Фашистская авиация использовала каждый час летной погоды, чтобы нанести бомбовые удары, но дни были короткие, часто снегопадные, да и наши летчики не дремали. Ничего не значил вроде бы тот факт, что на Ленинградском шоссе между Калинином и Клином появилось еще одно вражеское соединение — прибыла 900-я моторизованная бригада. Я вот не придал значения, а в штабе Западного фронта сей факт вызвал оживление. Соколовский потом рассказывал: как только пришло сообщение, он сразу сам пошел к Жукову, который занимал небольшой домик штабного городка в Перхушкове. Георгий Константинович был все еще нездоров. У него как раз находилась военфельдшер Л. Игнатюк, молодая стройная женщина. Расспросив подробно Соколовского, Жуков отложил лечебную процедуру на следующий день и связался по телефону с Верховным Главнокомандующим:

— У Лелюшенко севернее Решетниково отмечены части 900-й моторизованной бригады противника.

— А что это значит? — спросил Сталин.

Обычно докладывал Жуков суховато, без эмоций, а тут прорвало, не сдержал своего торжества:

— Это значит, что командование группы армий «Центр» задействовало свой последний резерв, еще не участвовавший в боях! Самый последний резерв!

Сталин долго молчал, дыша в трубку, обдумывал новость. Поинтересовался:

— Не навредит ли нам эта свежая моторизованная бригада?

— Здесь у меня Соколовский, мы примем меры…

Напряженный бой за Клин беспрерывно продолжался потом еще несколько суток на подступах, а затем на окраинах города. Лишь в ночь на 15 декабря части 30-й армии, наступавшие с северо-востока, и части 1-й ударной армии, атаковавшие с юго-востока, прорвались в центр города и добили там сопротивлявшегося неприятеля.

С окончанием этой славной операции, весьма способствовавшей, кстати сказать, и освобождению Калинина, завершилось пребывание 30-й армии в составе Западного фронта. Она была возвращена Калининскому фронту, откуда ее взяли в ноябре. Возвращение армии соответствовало

укреплявшемуся в Ставке замыслу об охвате с севера основных вражеских сил, действовавших на московском направлении.

Для самого Лелюшенко Клинская операция имела очень большое значение. «Надежный командарм», — сказал тогда Сталин о Лелюшенко. Были потом у генерала ошибки, серьезные неудачи, но слова Иосифа Виссарионовича служили для него надежным щитом.

1-я ударная армия моего давнего знакомою, бывшего офицера царской службы генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова. Армия, создававшаяся в глубоком тылу для контрудара именно под Москвой. Отсюда и целеустремленно-определяющее название. Оно, это название — ударная, возникло в разговорах между Сталиным и Шапошниковым, а затем обрело официальный статус. И тому, и другому нравилось это слово, это определение, хотя воспринимали они его неодинаково. Сталин, можно сказать, разнообразно, диалектически. Первоосновой сего распространенного определения (это подмечено по мной, об этом говорится в литературе) послужил довольно узкий технический термин. Боек, ударник — одно из важнейших и самая подвижная динамичная деталь огнестрельного оружия. Удар, выстрел, достижение цели — такие вот ассоциации. В мирной жизни, в труде для Сталина это молотобоец, шахтер, машинист — человек, полный энергии, пробивающий путь вперед, увлекающий за собой массы.

Такие люди, ударники труда, нужны были государству в двадцатые-тридцатые годы, когда требовалось в короткий срок преодолеть экономический разрыв, образовавшийся между нами и другими ведущими государствами, но пострадавшими в ходе мировой войны. Наоборот, обогатившимися, насосавшимися чужой крови. К 1920 году национальный доход нашей полуразрушенной страны составлял лишь 4 (четыре!) процента, если брать за сто процентов доход разжиревших на заокеанских войнах американцев. Полуколония, база сырья — такими хотели видеть нас иностранцы. Но вот чудо! К началу второй мировой войны соотношение изменилось разительно: 60 к 100! Невероятно, да? И ведь мы сами, не торгуя ни честью, ни средствами, подняли себя, хотите того или не хотите, но не под руководством троцкистских болтунов, а под твердым руководством Сталина. И большая заслуга в этом тех добросовестных тружеников, которые считались передовиками, ударниками.

В отличие от всех последовавших за ним руководителей, эгоистичных прагматиков, Иосиф Виссарионович, при всем своем рационализме и жестокости, сберег в глубине души некий романтизм, идеализм, еще теплившиеся в российском обществе после своего расцвета в девятнадцатом веке. Мы знаем о женском батальоне, который в часы Октябрьского восстания до последней возможности охранял Зимний дворец. Не изменив присяге. А ведь создавался-то этот батальон по другому поводу, для другой цели. После отречения царя, после февральского буржуазного переворота, вылезли из щелей, понаехали из-за границы разношерстные, клопообразные визгуны-политиканы, схлестнувшиеся в борьбе за власть, за рынки, сходясь лишь на одном принципе: чем слабее государство, чем слабее армия и правоохранительные органы, чем ближе полное разложение и анархия, тем лучше. Для кого? Для беспринципных грабителей. Отечественных и зарубежных бизнесменов. Очернили, охаяли предатели нашу историю, наш народ. С грязью смешали нас зарубежные выскочки. Фронт против

немцев тогда еле держался. И чтобы выказать свое презрение к тем мужчинам, которые не способны охранить границы великой державы, женщины-патриотки решили создать свои воинские формирования. Так возник в Петрограде из добровольцев первый женский ударный батальон. Вступили в него и заводские работницы, и служащие, и курсистки, и аристократки. Молодые, красивые, самоотверженные, объединенные святой идеей. Трудностей перенесли они не меньше воинов-мужчин. На передовую брошен был этот батальон и сражался так, что угасли гнусные усмешки, застряли скабрезные словечки у трусоватых, глумливых выродков.

На куски разрывали немецкие снаряды-«чемоданы» женские тела, пронзали их пули, калечили осколки. И устыдились тогда российские офицеры, сами пошли в окопы, а отважный женский ударный батальон был отведен назад, в Питер. Как-то забылось все это, но Сталин знал и даже рассказывал однажды шутливо, что такие привлекательные были там девицы и дамы, такие видные, что он готов был пойти в батальон хотя бы каптенармусом — опыт по этой части обрел в Красноярске, в запасном сибирском полку. Я, помнится, подумал, что не ему бы туда, к ударницам, в его возрасте, с его не самым привлекательным обличьем. Но как знать, как знать: ведь именно тогда влюбилась в него, сорокалетнего, юная гимназистка Надя Аллилуева… Эвон куда завели меня рассуждения об ударниках-то!

Знал Сталин и о том, что после революции на Балтике и особенно на Черном море создавались для защиты флотов от различных посягательств отряды добровольцев-ударников. Особенно на Черноморском флоте, до которого нашлось в ту пору много охотников. И Крым защищали лихие севастопольцы, и Ростов-на-Дону, и носило их в эшелонах аж до Харькова и Белгорода. Беспощадно громили ударники всякую в их понимании сволочь: кайзеровских оккупантов, петлюровцев, анархистов, местную контру… Ну и последнее. Много раз, как известно, смотрел Иосиф Виссарионович кинофильм «Чапаев», особенно любовался кадрами, где идут в психическую атаку белогвардейские ударные офицерские батальоны: уверенно, бесстрашно, красиво! Иначе, проще воспринимал термин Борис Михайлович Шапошников. Да и я тоже. В российской армии в разные войны и для разных целей (для штурмов, для прорыва во вражеский тыл и т. д.) создавались ударные группы, отряды, основой которых служил умелый батальон, полк, а то и дивизия. Наименование определяло суть временного формирования — на срок выполнения задачи. Но разве подобное формирование с таким названием не могло быть постоянным? До окончания сражения или даже до завершения войны? Все когда-нибудь делается, возникает впервые. Армию, которая создавалась для контрудара под Москвой, в разговорах все чаще называли ударной. А когда дело дошло до официального наименования, ее и посчитали 1-й ударной. За ней потом появились и другие ударные армии, по замыслу предназначавшиеся для наступательных действий (3-я ударная армия, кстати, штурмом возьмет рейхстаг и поставит последнюю точку в войне с гитлеровцами).

Название-то кузнецовской армии дали хорошее, почетное, но своему давнему знакомому Василию Ивановичу Кузнецову я бы не позавидовал. В трудном положении он оказался. Задание армии дано ответственное, а вот насчет ударности сомнений хоть отбавляй. Скорее не ударным, а пестрым можно было считать это объединение. Вот каков состав: две

стрелковые дивизии, одна кавалерийская дивизия, восемь стрелковых бригад и двенадцать отдельных лыжных батальонов — это уж совсем дробинки для армейского-то подчинения. А основной ударной силы как раз и не имелось. Артиллерии мало, танков совсем нет. Ни одной бронированной машины, хотя действовать Кузнецову предстояло против танковых дивизий противника. Я обратил внимание Сталина на такой парадокс. Оказывается, он уже обсуждал это с Жуковым. Нет танков, нечем усилить «ударную». Жуков заверил, что первое время Кузнецов обойдется и без брони. Он должен наступать между Клином и Солнечногорском в полосе, где нет хороших дорог. По сугробам. Для этого ему и добавили лыжников. А когда выйдет на Ленинградское шоссе, получит, возможно, и танки. Разъяснение логичное, хотя утешение слабое.

Были у Кузнецова и другие сложности. Армия ввязалась в бои 1 декабря, не завершив сосредоточения, прямо с колес. Обстановка заставила — чтобы закрыть оголенный участок фронта, чтобы выручить часть войск 16-й армии, оказавшихся в окружении. А люди-то необстрелянные, новички. Формировались в тылу, на взвод приходилось по два-три фронтовика, направленных из госпиталей. Комсостав — либо призванный из запаса, либо прошедших трех- четырехмесячную подготовку. Доучиваться предстояло на практике. И вот тут как раз и требовался такой человек, как Кузнецов, умудренный возрастом и разнообразным опытом: самостоятельный, спокойный, рассудительный, не бросавшийся выполнять приказы очертя голову, а всегда успевавший подумать, позаботиться о том, чтобы и дело было сделано, и людей пострадало как можно меньше. Я ведь уже упоминал о том, что Василий Иванович отличился в первые дни войны, выведя из уготованного врагами кольца значительную часть своих войск.

Настоящие профессионалы, мастера, в том числе и военные, обычно не гонятся за внешним успехом. Кузнецов старался «работать» добросовестно, с малыми затратами. Его основательность иногда воспринималась Жуковым как чрезмерная осторожность, неоправданная медлительность. Характеры уж больно разные. Вот и тогда, в декабре, Жуков чаще других поторапливал 1-ю ударную, хотя темп ее наступления был примерно таким же, как у соседей. (Хотел написать «подстегивал», но рука не поднялась. Кузнецов не из тех, кого можно было подстегивать. Жуков был вежлив с ним, очень ценил его, всегда стремился перетянуть в тот фронт, которым доводилось командовать.) А Кузнецов откладывал директивные жуковские бумажки для штабного архива и продолжал действовать так, как считал нужным. В разрезе общих указаний, в общих интересах, но по-своему.

Сосредоточившись на главном, Кузнецов уже 7 декабря взял Яхрому. Бои были очень напряженные, переломные, и на подступах, и в самом городе. Командарм сознательно использовал там значительную часть своих войск, больше, чем требовалось, дабы одержать убедительную победу, чтобы люди не только обстрелялись, но почувствовали уверенность. Этого он и добился.

Потеряв важный узел сопротивления, немцы начали отходить в сторону Федоровки — крупного населенного пункта. Дорога единственная среди заснеженных полей, маневра нет. И дорога эта, и сама Федоровка были буквально забиты вражеской техникой. Лезть на нее — значит нести большие потери. А не взяв Федоровку, не выйдешь к Ленинградскому шоссе, к Клину. И что же сделал в таких условиях Кузнецов? Его пехота

давила вдоль дороги, держа немцев в напряжении: наступают русские! Но успех Кузнецов искал не там. Он послал свои лыжные батальоны правее и левее дороги. По сугробам, по полям и лесам обошел, почти окружил Федоровку. Медленно, но верно. Очередная грозная директива из штаба фронта не заставила командарма изменить замысел. Немцы сами почувствовали, что еще несколько часов — и они окажутся в мешке. И побежали, бросая технику. А лыжники и пехота преследовали их.

Тем, на кого надеются, в ком уверены, всегда бывает трудно. Вот и на этот раз: после боев за Клин, который освободили вместе Лелюшенко и Кузнецов, 30-я армия Лелюшенко была передана в Калининский фронт, а ее полосу приказано было принять 1-й ударной армии. Войска растянулись в ниточку, подкреплений не прибывало. А сопротивление немцев, естественно, возросло. Не только, впрочем, у Кузнецова, но и на участках соседних армий. Враг начал чаще контратаковать, некоторые населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки.

4

20-я армия генерала А. А. Власова.

Да-да, того самого Андрея Андреевича Власова… Об этой армии мало рассказано, мало написано, хотя сделала она в декабре сорок первого не меньше других. После того как стало известно, что генерал Власов переметнулся к немцам, журналисты и историки избегали упоминать об успехах этой армии в Московской битве. А зря: воины-то в чем виноваты?!

До курьезов доходило. В сообщении «В последний час», известившем о контрнаступлении под Москвой, перечислялись отличившиеся армии. Без указания номеров, а по фамилиям командармов. Одинаково. По пунктам. Например: «Войска генерала Кузнецова, захватив г. Яхрому, преследуют отходящие 6-ю, 7-ю танковые, и 23-ю пехотную дивизии противника и вышли юго-западнее Клина». Следующий пункт сообщения таков: «Войска генерала Власова, преследуя 2-ю танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли г. Солнечногорск». Документ этот из истории не выкинешь, он цитировался много раз. А как же с предателем Власовым? Наши мудрецы в 1942 году придумали такой ход: вместо Власова поставили фамилию начальника штаба армии Сандалова и несколько изменили формулировку пункта: «Войска под руководством генерала Сандалова» — и далее по тексту. Внимательного читателя или слушателя такая формулировка, отличавшаяся от других пунктов, заставляла задуматься. Такой она осталась и до сих пор. А уважаемый Леонид Михайлович Сандалов нисколько не повинен в том, что ему приписали чужие заслуги. К тому же он действительно внес изрядную лепту в успехи 20-й армии.

Я мало знал Власова. Он не принадлежал к когорте участников первой мировой и гражданской войн, к той когорте, которая была хорошо известна, близка и Сталину и мне. Власов — из новой поросли. В тридцатых годах у нас много выдвинулось молодых генералов, я просто не успевал близко знакомиться с ними. Было известно, что Власова ценит маршал Тимошенко, считая его командиром исполнительным и в то же время инициативным. Кроме того, запомнился мне такой случай. Раза два-три в год, перед большими праздниками, Сталин просматривал списки военных, представленных к наградам, присвоению генеральских званий, к повышению по службе. Все было соответствующим образом оформлено,

прошло все положенные инстанции, Иосиф Виссарионович лишь знакомился с бумагами, ставил свою подпись, если это требовалось. Мое присутствие было обязательным и, не скрою, приятным. Хорошо, когда людей поощряют, доставляют им радость. Так было и в феврале 1941 года, накануне Дня Красной Армии. После обеда мы сидели вдвоем в кабинете Сталина на Ближней даче. Иосиф Виссарионович отдыхал, откинувшись на спинку дивана, потягивал свою трубку. Я просматривал наградные листы, выписки из личных дел, передавал Сталину с краткими комментариями или предложениями. Некоторые документы (на хорошо знакомых товарищей) он даже не читал, иные пробегал взглядом и лишь некоторые бумаги изучал внимательно, от первой строки до последней. В руках у меня «Наградной лист на командира 99-й стрелковой дивизии генерал-майора Власова А. А.», подписанный командиром 8-го стрелкового корпуса. Представлен за успехи в службе к ордену Красной Звезды. Совсем недавно, в прошлом году получил генеральское звание, теперь вот орден. Быстро растет…

Просмотрел автобиографию. Написана грамотно. Четкий почерк. Из крестьян Нижегородской губернии. Окончил духовное училище в 1917 году. Затем два года в духовной семинарии, год в университете. В 1920 году мобилизован в Красную Армию. Через десять лет вступил в партию. Учился на Высших стрелково-тактических курсах «Выстрел», где традиционно хорошо была поставлена подготовка. Назначен начальником учебного отдела курсов военных переводников (это уже по линии Главного разведывательного управления). Потом командировка в Китай, получил там боевой опыт.

Привлекла мое внимание аттестация, подписанная командующим войсками Киевского Особого военного округа генералом армии Жуковым 26 ноября 1940 года. Известно, что Жуков скуповат был на похвалу, а в аттестации одно слово лучше другого. За короткий срок Власов вывел свою дивизию в передовые… Про эту аттестацию я и сказал Сталину. Тот заинтересовался, начал читать, с удовольствием попыхивая трубкой, делая какие-то пометки. Потом о мраморную пепельницу выбил трубку, отложил подальше, позвал меня. Я сел рядом.

— Порядочный человек этот Власов, — сказал Иосиф Виссарионович. — У нас есть хитрецы, которые выпячивают в своих биографиях то, что им выгодно, и затеняют то, что может повредить им. А вот Власов, смотрите, пишет слово «духовная» с большой буквы, подчеркивая свое отношение и уважение. Так может поступить только порядочный человек, который ничего о себе не скрывает…

Я не возражал. Я знал вот о чем. С нелегкой руки Троцкого и его сторонников, преследовавших, искоренявших, преследовавших, искоренявших у нас православие, принадлежность к касте церковнослужителей считалась большим минусом. Выходцам из «поповской породы» надобно было преодолевать в службе, в работе препятствия, а то и гонения, чинимые отделами кадров, рьяными политическими дельцами. А Сталин, сам бывший семинарист, испытывал определенную симпатию к этим людям, ценил их образованность, доверял им. Тому же Микояну, тому же Василевскому.

— Жуков аттестует Власова наилучшим образом. Дивизию он поднял, стала передовой, — продолжал Иосиф Виссарионович. — Командир корпуса его хвалит. Надо поощрять таких людей… Почему орден Красной

Звезды? Это хороший орден, но товарищ Власов достоин более высокой награды.

Вот так, совершенно неожиданно для всех, в том числе и для самого виновника торжества, генерал-майор Власов получил орден Ленина. И вскоре — повышение в должности.

В самом начале Отечественной войны 4-й механизированный корпус, которым командовал Власов, неплохо сражался под Перемышлем, затормозил продвижение немцев, но и сам лег костьми почти полностью. А Власов сделал еще один шаг вверх — был назначен командующим 37-й армией, которая защищала Киев. Действовала армия не хуже других, вместе со всеми оказалась во вражеском кольце, некоторые ее части дрались до последней возможности. Из окружения выходили небольшие группы, одиночки. Власов пробился, вывел ядро армейского комсостава, генералов и офицеров — это было тоже оценено по достоинству, как свидетельство мужества, преданности, мастерства. Власову поручили сформировать 20-ю армию, предназначавшуюся для защиты Москвы.

Начало у 20-й было почти таким же, как у 1-й ударной армии. Обе вступили в бой передовыми частями с ходу и раньше намеченного срока. Их бросили на самый опасный участок, прикрывать который у Рокоссовского уже не было сил, — в район Белого Раста и Красной Поляны, где немцы ближе всего подошли к Москве и продолжали атаковать (напомню, до нашей столицы оставалось лишь 25 километров). Фашисты были остановлены совместными контрударами этих двух армий. С этого рубежа они и начали гнать противника.

По составу 20-я армия была невелика, скорее усиленный корпус: две стрелковые дивизии, три стрелковые бригады и две таковые, в том числе 31-я, уже показавшая себя в боях. Около 60 танков имел Власов, а это уже кое-что, особенно по сравнению с Кузнецовым, у которого вообще не было бронированной техники. С этой точки зрения 20-й армии надо было бы называться ударной. Ну и, конечно, повезло Власову с 64-й бригадой: она была не просто стрелковой, а морской стрелковой бригадой. Костяк ее составляли моряки-добровольцы, посланцы Тихого океана, отважные ребята, спаянные флотской дружбой, флотскими традициями, не боявшиеся ни бога, ни черта и уж тем более каких-то там дерьмовых фашистов. В первых же боях под Белым Растом моряки покрыли себя неувядаемой славой. Сбрасывали перед атакой шинели, ватники, шапки, оставаясь в черных бушлатах, в летней форме с голубыми воротничками-гюйсами, надевали бескозырки с названием своих кораблей. И — только вперед, только напором, чтобы добраться до рукопашной, до вражеского горла. Страшны были моряки в своей ярости, особенно после первых потерь, после первых похорон своих товарищей. Потери у них, у отчаянных, были большие, но и на немцев они навели такой страх, что фашисты ужас испытывали при виде «черных дьяволов».

Дело не только в мужестве, в спаянности, в физической силе моряков. Среди немцев тоже немало было вояк и смелых, и крепких, к тому же более опытных. Тут еще и психика играла роль. Немцы не привыкли сходиться грудь на грудь, опасались и даже боялись рукопашного боя. Они привыкли воевать металлом, уничтожая противника издалека пулями, снарядами, минами. Потери при этом у гитлеровцев были, естественно, гораздо меньше, чем у другой стороны. А рукопашный бой — это не размеренная работа, это вспышка ярости, это штык, нож, кулак, пальцы на глотке, наверняка гибель или увечье. В понимании немцев это война не по

правилам, это драка. Они осознают, что это тоже война, когда бои развернутся на их территории, когда они будут защищать свои города, свои семьи.
В одном только Белом Расте наши моряки и танкисты уничтожили 17 вражеских танков и 6 бронемашин. Улицы были усеяны немецкими трупами. Там на месте боя воздвигнут достойный памятник славной 64-й бригаде.
Моряки и танкисты рвались вперед, пехота закрепляла достигнутое, генерал Власов умело направлял быстрый поток. Начав с тех позиций, где немцы ближе всего подошли к Москве, с освобождения Белого Раста и Красной Поляны, войска 20-й армии в двухсуточном кровопролитном бою освободили Солнечногорск и погнали врага на запад быстрее своих соседей. Предвижу упреки: не слишком ли превозношу успехи предателя Власова? Отнюдь. Я стараюсь быть объективным, освещаю события так, как освещал их в своем обобщающем донесении Сталину, а не так, как смотрят на них теперь. Факты упрямы. Неисторично, просто даже глупо умалчивать, что именно Власов, правильно оценив обстановку, дерзким маневром вывел подвижную группу своих войск в полосу 16-й армии, на тылы немецких дивизий, упорно оборонявшихся вдоль западного берега Истринского водохранилища — против Рокоссовского. И побежал враг! Эх, как побежал — спринтером на короткой дистанции, вытаптывая сугробы, бросая технику на обледенелых дорогах. Даже ваш покорный слуга, видавший военные виды, был удивлен, читая сводку за 16 декабря: на этом участке было за сутки захвачено 106 фашистских автомашин и 32 артиллерийских орудия — вооружение целого артполка.
Немцы попытались остановить 20-ю армию массированными ударами с воздуха, привлекли все бомбардировщики фронтовой авиации, способные дотянуться с аэродромов в тот район. Притормозили они движение ударной группы, но не более того. И не только погода помешала: линия соприкосновения менялась так быстро и так сложно, что немецкое командование теряло ориентировку — где свои? Где чужие?! Попадали и по своим, на войне не без этого. Своевременное и правильное решение принял тогда командующий Западным фронтом Жуков. Видя, что 16-я армия продвигается медленно, с большим трудом, а у 20-й армии удача, он передал от Рокоссовского Власову подвижную группу генерала Ремизова (кавалерийская дивизия, танковая и стрелковая бригады). Вместе с двумя танковыми бригадами и легендарной 64-й морской бригадой эта группа превратилась в сильный кулак, продолжавший крушить оборону противника. 19 декабря группа Ремизова завязала бои за важный опорный пункт неприятеля — город Волоколамск. В атаках опять же, который уж раз, отличились моряки 64-й бригады. Везде были они первыми, дрались геройски и, увы, несли очень большие потери. Чуть позже к Волоколамску подошла еще одна подвижная группа (из 16-й армии) — группа генерала Катукова, основу которой составляла так хорошо знакомая мне 1-я гвардейская танковая бригада. Совместными усилиями город был взят. Танкисты и моряки продолжали двигаться дальше, на Шаховскую.
На этом завершилось участие генерала Власова в подмосковном сражении. Он заболел, был отправлен в госпиталь. Но дело свое он сделал: армия, которой он командовал около месяца, воевала очень удачно. Естественно, что Ставка уделяла этой армии особое внимание, фамилия Власова часто звучала в кабинете Сталина. Его фотография была напечатана 13 декабря в «Известиях» вместе с фотографиями других

отличившихся генералов — Жукова, Рокоссовского и Говорова. Особенно почему-то достижениями Власова восхищался Вячеслав Михайлович Молотов, в тот период постоянно находившийся при Иосифе Виссарионовиче. Молотов так говорил о генерале: «Наполеоновская хватка, бьет и гонит, гонит и бьет». Сталин, пребывавший в ту пору в хорошем расположении духа, подхватил словечко, по нескольку раз в день спрашивал полушутливо: «А как Наполеон?», «Что нового у нашего Наполеона?» Только Шапошникову подобных вопросов не задавал, зная, что Борис Михайлович не то чтобы скептически, а как-то настороженно относится к достижениям Власова. «Слишком мало расчета, слишком много случайностей, а это, знаете ли, чревато… Измотал армию, а нам еще воевать и воевать». В Генштабе, в узком кругу, при мне называл Власова не иначе как «долговязым Буонапартом». Впрочем, для Шапошникова это было естественно: он часто имел свое мнение. А общее мнение, сложившееся о Власове, точнее всех выразил, пожалуй, Георгий Константинович Жуков в январе 1942 года, давая боевую характеристику прославившемуся генералу: «…В оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками армии справляется вполне». Получить такую оценку Жукова мог далеко не каждый. В то время, до предательства Власова, эта оценка, на мой взгляд, была справедливой. О странной его измене, о странном его поведении я расскажу позже.

5

Вернемся к свободному, по памяти, изложению сути моих докладных записок (или, если хотите, донесений), которые я составлял для Иосифа Виссарионовича в декабре 1941 года. Как условились: по карте сверху вниз.

16-я армия генерала К. К. Рокоссовского действовала там, где немцы наносили свой главный удар, на Волоколамском и Ленинградском шоссе, выдержала, отступая, немыслимую моральную и физическую нагрузку. И вперед потом пошла вместе с соседями. Заслуги ее велики, но в моих донесениях о 16-й говорилось меньше, чем о других армиях. Почему? Да потому что за положением на том участке внимательно следили Сталин и Жуков, я почти ничего нового не мог добавить. К тому же фамилия Рокоссовского в октябре-ноябре, ежедневно звучавшая в Генштабе и в Ставке, с началом контрударов ушла вроде бы в тень. Так бывает. Черновая работа достается одним (роют котлован, ставят фундамент), а на виду оказываются те, кто возводит стены, отделывает, украшает. Армия Рокоссовского выполнила свою труднейшую задачу, остановила врага и даже потеснила, погнала немцев на запад от знаменитого крюковского рубежа. Но дивизии Рокоссовского были не только обескровлены, но и измотаны. Они долго держались на пределе возможного и даже за этим пределом. И вполне закономерен был спад. Войска 16-й вместе с войсками 20-й сумели в декабре вернуть Истру, взять Волоколамск и пока все; от нее не надо и нельзя было требовать большего. К тому же и усиления она не получала, даже наоборот, из нее брали наиболее боеспособные части. Жуков похмыкивал скептически: не слишком ли вознесли Рокоссовского с его панфиловцами, Доватором, Белобородовым, Катуковым?! Кстати, Панфилова и Доватора уже не было в живых. Не слишком ли много славы? Не одна только 16-я под Москвой

отличилась… С моей точки зрения, никто Рокоссовского особенно не расхваливал. Георгию Константиновичу в общем-то не нравилось другое: самостоятельность, самобытность Константина Константиновича. Как бы там ни было, а количество соединений в 16-й армии сократилось, полоса наступления значительно сузилась, она как-то потерялась между двумя энергично действовавшими соседями. Рокоссовский и его штаб работали в полсилы. И я первым высказал предложение использовать одаренного генерала более целесообразно, с полной нагрузкой.

— Ми-и подумаем над этим, ответил Иосиф Виссарионович.

5-я армия генерала Л. А. Говорова. Это, пожалуй, самая стабильная армия во всем Западном фронте. Она восстанавливалась, а по существу рождалась вновь прямо во время боев из войск, сражавшихся на Бородинском поле. И отошла она оттуда, формируясь, отошла только один раз: от Можайска на рубеж Нарские озера, Кубинка, Звенигород и почти до Волоколамского шоссе. Попятилась и встала недвижимо, перекрыв немцам прямой путь к Москве с запада, по Минской и Можайской дорогам. Можно считать, что 5-й армии в какой-то степени повезло, ноябрьское наступление на этом участке было несколько ослаблено упреждающим ударом войск генерала Белова северо-западнее Серпухова, о чем уже писалось. Но суть не только в этом, суть в стойкости прославленной 32-й стрелковой дивизии полковника В. И. Полосухина и других, в мастерстве самого командарма.

Я знал Леонида Александровича Говорова как очень способного артиллериста, высокообразованного, ищущего, расположенного к предвиденью. Он командовал батареей в Уфимском корпусе адмирала Колчака, но при первой же возможности вместе со своими солдатами перешел на сторону красных. В 51-й стрелковой дивизии В. К. Блюхера он фактически создал всю артиллерию и возглавил ее. В конце гражданской войны недавний подпоручик Говоров был награжден орденом Красного Знамени. Да и пушкарем он считался превосходным, но вот потребовался в самый напряженный момент генерал, чтобы остановить фашистов под Москвой на можайском направлении, и Жуков направил туда Говорова. На время вроде бы. И там, в ожесточеннейших схватках с врагом, военный талант Леонида Александровича раскрылся вдруг с другой стороны. Немецкой технике он противопоставил прочную, продуманную систему обороны. Его войска зарылись в землю, укрылись в дотах и дзотах, загородившись противотанковыми рвами, надолбами, эскарпами, контрэскарпами, минными полями, фугасами, высокими валами из хвороста, которые поливали бензином и поджигали при наступлении немцев. Недаром был Говоров когда-то студентом-отличником кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института. Сказалась подготовка, инженерская жилка. О его хорошо укрепленные позиции, оборонительные узлы и районы разбились все волны немецких атак. И даже когда в начале декабря немцы прорвались на участке соседней армии, двинулись на Голицыно, охватывая левый фланг Говорова, его войска не дрогнули, остались на занимаемых рубежах. У Жукова прямо-таки в поговорку вошло: «Упрись, как Говоров». Когда домогались подкреплений, отвечал, как когда-то Кутузов на Бородинском поле: «А вот Говоров подкреплений не просит». И тот действительно не просил, хотя войск у него было немного, а оборонительная полоса довольно широкая.

Голь на выдумки хитра — это общеизвестно. Тогда под Москвой, впервые в армейском масштабе, Говоров применил систему почти сплошных траншей, связавшую оборонительные позиции, укрепленные районы в единое целое. Это сцементировало его рубежи, позволило уменьшить потери, скрытно маневрировать силами и средствами по фронту и из глубины, сосредоточивать подразделения там, где опасней. Это было очень интересное начинание. Став в июне 1942 года командующим Ленинградским фронтом, Говоров применит эту новинку во фронтовом масштабе, создаст систему сплошных траншей вокруг всего осажденного города.

Не только в обороне, но и в наступлении генерал-артиллерист хорошо показал себя. Его войска действовали неторопливо, избегая потерь, но уверенно и умело. Насколько я помню, Говорову удалось (опять же самому первому) полностью окружить южнее Тростенского озера 78-ю немецкую пехотную дивизию. Окружить и уничтожить: лишь мелким группам посчастливилось вырваться из кольца и уйти по лесам в сторону Рузы.

Шаг за шагом продвигаясь на запад, войска 5-й армии 20 января 1942 года захватили город Можайск, а еще через два дня — Уваровку — последний крупный опорный пункт противника на территории Московской области. Подмосковье было полностью очищено от гитлеровцев.

Георгий Константинович Жуков считал: за тот участок, который возглавляет Говоров, можно не беспокоиться, он сделает все, что нужно. Я был полностью согласен с Жуковым. И разумеется, Сталин знал наше общее мнение.

33-я армия генерала М. Г. Ефремова. Именно в ее полосе немцы предприняли последнюю попытку прорваться к Москве. 1 декабря, когда на некоторых участках наши войска уже наступали, гитлеровцы нанесли внезапный и сильный удар из района Наро-Фоминска, за двое суток дошли, как мы знаем, почти до Перхушково, до штаба Западного фронта, и были остановлены резервными частями. Пока противника отбросили на прежние рубежи, пока 33-я и соседняя 43-я армия, тоже попавшая под этот удар, оправлялись после перенесенных потрясений, прошло две недели. Им приказано было включиться в общие наступательные действия лишь с 17–18 декабря. Основная задача — сковать противника, чтобы фашисты не могли перебросить войска с этих участков на другие, более опасные для них. Объяснение простое: немцы не только не уступали Ефремову и его соседу слева в силах и средствах, но имели значительный перевес: по пехоте — в полтора, по артиллерии в два раза. Попробуй-ка при таком соотношении наступать и добиться успеха! Но и сложа руки сидеть ни к чему. Пусть проявляют активность, пусть действительно сковывают — решение нашего командования было правильным. Но тут возникло, как это иногда бывает, совершенно неожиданное обстоятельство.

Близился день рождения Иосифу Виссарионовича. По традиции вождю делались этакие символические подарки: рапортовали об успехах на полях и стройках. А в военное время какой подарок от действующих армий? Освободить в честь товарища Сталина город, разгромить какое-то вражеское соединение. Жуков и Соколовский с определением «подарка» не торопились — какой город возьмем 21 или 22 декабря, такой и «преподнесем». В перспективе вроде бы им мог стать город Одоев в Тульской области, узел шоссейных дорог и сильный укрепленный пункт. Генерал Белов приближался к нему, а телеграмма о том, что это будет «подарок», могла вдохновить и подхлестнуть кавалеристов. Однако член

Военного совета Западного фронта Н. А. Булганин высказал вдруг особое мнение. Посидел он, человек сугубо штатский, над военной картой часок-другой и заявил: Одоев — это далеко от Москвы и проблематично. Да и вообще, слышал ли Сталин про такой райцентр? А тут у нас под носом, рядом со столицей, крупный населенный пункт Наро-Фоминск, о котором Сталин часто читает в сводках. И вообще этот опорный пункт, закрывающий путь на Малоярославец, как бельмо у нас на глазу. Взять бы его, тем более что наши войска достигли окраин я даже частично обошли город.

— Нет, не успеем, — сказал Соколовский. — У немцев там двойное превосходство.

Булганин, в общем-то человек разумный, покладистый, сумевший сработаться с колючим и самолюбивым Жуковым, лишний раз в споры не вступал, но тут застрял на своем, заупрямился. Понятно: аспект политический — по его части. И подстраховаться хотел. А Жукову и Соколовскому возражать было трудно. Получилось вроде бы, что не желают они порадовать товарища Сталина хорошим подарком. Только таких осложнений им и не хватало!

— Усилим Ефремова двумя дивизиями — город возьмем, но дивизий нет, — отрубил Жуков. — Мы их не имеем, а значит, и толковать нечего.

— Надо добиться, надо просить у Шапошникова, у товарища Сталина, — упорствовал Булганин.

— На каком основании? План действий 33-й и 43-й армий разработан и вчера утвержден Верховным… Для чего, спросит Верховный, товарищ Жуков, еще вам две дивизии, о чем вы думали сутки назад?.. Узнает зачем — к черту пошлет и прав будет.

Разговор закончился так: приказ будет отдан, атаковать Наро-Фоминск будем, но надежды на успех мало. Однако Булганин проявил в тот раз редкую для него настойчивость. Сам съездил в Генштаб, поговорил с глазу на глаз с Борисом Михайловичем Шапошниковым. Тот, добрая души, понял состояние политработника, наполовину сумел выполнить его просьбу, не привлекая к этому делу внимания Сталина. И я оказался втянутым в эту акцию благодаря Борису Михайловичу. Но чтобы яснее было — немного предыстории.

Через несколько недель после начала войны ЦК Коммунистической партии Латвии обратился в Государственный Комитет Обороны с просьбой сформировать дивизию из латышей, эвакуировавшихся в глубинные районы нашей страны. Иосиф Виссарионович дал согласие. Создавалась дивизия на добровольной основе. Среди комсостава было немало ветеранов из числа латышских стрелков — участников гражданской войны. Были те, кто сражался с фашистами в интернациональных бригадах в Испании, были молодые ребята — выпускники Рижского пехотного училища. Из госпиталей направляли лучших русских командиров-фронтовиков. Рядовой состав — партийные и советские работники, студенты, рабочие и служащие, успевшие уйти из оккупированной республики.

Поскольку подобная национальная дивизия была у нас первой, Сталин особенно интересовался ею, требовал хорошо вооружить, обеспечить всем, что положено по штату. Ну и беспокоился: как поведет она себя в бою? Не будет ли перебежчиков? Съездить к латышам у меня не нашлось времени, но я был в курсе всех дел и готов был ответить Сталину на любые вопросы. Дивизия именовалась 201-й Латышской, хотя я лично

назвал бы ее интернациональной. В ней много было белорусов, поляков. Один из трех стрелковых полков, а именно 122-й, в значительной мере состоял из литовцев.[60] Основу артиллерийского полка этой дивизии составляли русские. Но во всяком случае это соединение являлось притягательной, объединяющей силой для латышей, в ней они чувствовали себя как дома. Из 11 тысяч бойцов и командиров 1100 были коммунистами. Несколько больше — комсомольцев. Это был надежный костяк.

По наметкам Генштаба Латышская дивизия должна была в середине декабря войти в состав Западного фронта и использоваться в полосе наступления 1-й ударной армии для развития ее успеха. Так оно и осуществлялось. Дивизия выгрузилась на станции Мытищи и своим ходом двинулась к городу Клин. Дороги были заснежены, мороз — за двадцать. Пулеметы и минометы несли на руках. Конные обозы отстали, артиллерия тоже. Люди основательно вымотались, пока добрались до линии фронта. Но вступить в бой не успели. Едва расположились на отдых — поступил приказ повернуть обратно. Выгадали те, кто больше отстал.

Люди недоумевали: в чем дело? А это Булганин уговорил-таки Шапошникова использовать прибывшую из резерва дивизию на другом направлении. Ну, день рождения Сталина — это не тот аргумент, который решительным образом подействовал бы на Бориса Михайловича. Суть была в том, что 1-я ударная армия справлялась пока и без подкреплений, тесня немцев, а под Наро-Фоминском фашист уперся — и ни с места. До Москвы рукой подать. Один раз противник уже ударил оттуда, вышел в район Голицыно. Где гарантия, что не ударит еще? И у Жукова не было возражений по той же причине. Пока в Наро-Фоминске немцы — штаб Западного фронта под угрозой.

Во время вечернего (ночного) доклада Шапошников предложил Сталину направить в Латышскую дивизию меня, чтобы проконтролировать переброску и на месте оценить боеспособность нового соединения. А мне потом сказал по телефону, что преследовал еще и другую цель. Командир дивизии полковник Я. Я. Вейкин и комиссар Э. А. Бирзит люди новые, не разобрались еще в обстановке, я должен помочь им организовать марш. Очень быстрый марш, иначе переброска лишается смысла. Выделены грузовики. Их надо направить навстречу дивизии, обеспечить не один рейс каждой машины, а несколько. Это в мороз-то, по заснеженным дорогам… Я поблагодарил Бориса Михайловича за дополнительную нагрузку. А как мне еще было реагировать?

Короче говоря, в срок мы уложились. Передовые подразделения дивизии начали прибывать под Наро-Фоминск вечером 19 декабря. А утром предстояла атака. Я решил понаблюдать, как действует 122-й стрелковый полк, первым прибывший к месту сосредоточения. Он должен был наступать в районе населенного пункта Елагино, в полосе 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, обескровленной в предыдущих боях. Едва забрезжил рассвет и потускнели звезды, мы с командиром полка поднялись на чердак дачного дома среди высоких елей на краю леса. Вдоль опушки суетились командиры подразделений, вытягивая цепи бойцов. Люди в маскхалатах поверх полушубков были еще едва различимы. Но вот и краешек солнца показался в морозном тумане. Цепи зашевелились, пошли: за каждым бойцом тянулась полоска в глубоком снегу. А снег был голубовато-белый, девственно-чистый, а поле ровное-ровное, без кустарника, без бугорков, без укрытий. Вдали виднелись

высотки-холмы, поросшие молодым березовым лесом. Там — противник. За холмами, недоступная взору, тянулась железная дорога, связывавшая немцев в Наро-Фоминске с их тылом. Латыши, то есть, извините, подразделения Латышской дивизии, должны были перерезать эту дорогу. Я понимал то, что еще не осознал, наверное, командир полка: фашисты ничего не пожалеют, чтобы сохранить для себя эту жизненную артерию.

Между тем бойцы шли, как на учении, несколькими длинными, во все поле, цепями, умудряясь выдерживать даже некоторое равнение. Враг молчал. Полная тишина. Напряжение нарастало. Вот цепи на середине поля. Чего ждут фашисты? Неужели покинули рубеж?!

И тут грянули взрывы. Не выстрелы, только взрывы. Взметнулись черные комья, окутанные серым дымом. Наступающие попали на минное поле. Замедлилось движение, особенно в центре. Некоторые бойцы останавливались, залегали, другие выбирались на следы ушедших вперед командиров, цепи разомкнулись, преобразуясь в коротенькие колонны-цепочки.

Я резко спросил, была ли проведена разведка, на что командир полка огорченно ответил: только на левом фланге, больше не хватило времени. Упрекать его не было смысла.

Белое поле, как язвами, покрылось черными воронками, в бинокль видны были на снегу большие красные пятна. И лежащие люди. Не поймешь, кто живой, кто мертвый. А немцы, дождавшись, когда наши втянулись на минное поле, ударили из минометов и винтовок. Пулеметов у них, к счастью для нас, оказалось мало. Зато минометчики били прицельно, расстреливая тех, кто пытался двигаться. Люди зарывались в снег. Гибли без пользы. Мины вокруг, на земле. Мины с характерным мяукающим звуком сыпались сверху. Жуткая ситуация для коченевших в снегу бойцов. Как сказал фронтовой поэт:

Снег минами изрыт вокруг И почернел от пыли минной. Разрыв — и умирает друг, И смерть опять проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота. Будь проклят сорок первый год И вмерзшая в снега пехота.

Да, будь проклят этот год с его страшной фронтовой зимой! И во веки веков пусть славятся наши воины, одержавшие победу в великом сражении!

Командир полка уже не управлял боем, утратил связь с залегшими подразделениями. Но там, в цепях, под огнем, нашлись мужественные командиры, опытные бойцы, принявшие правильное решение. А оно могло быть только одно: хочешь жить — броском вперед, на сближение с врагом, чтобы выйти из-под обстрела, чтобы с ненавистью — штык в горло! И пошли, побежали бойцы по склонам высот вверх; первая, поредевшая, волна захлестнула немецкие траншеи, исчезла из вида, но за первой волной накатилась вторая, и приближалась уже третья волна, не понесшая потерь от минометов. Сигнальные ракеты взлетели над березняком, показывая, что холмы в наших руках. Характер боя изменился. Немцы били теперь по оставленным позициям, готовя контратаку. Подключилась их артиллерия. Снаряды крупных калибров рвались на опушке леса и глубже, в наших тылах. Командиру полка нечего было противопоставить фашистам, вся артиллерия Латышской дивизии находилась еще в пути. Я посоветовал вывести в захваченные траншеи пулеметные роты, не участвовавшие в атаке (в трех пульротах полка насчитывалось восемнадцать станкачей), чтобы надежно закрепиться на

высотах. А пехоту проталкивать дальше — к железнодорожной насыпи, к путевым сооружениям. Там она меньше будет страдать от вражеского огня. Командир полка не понял меня, пришлось пояснить: контратаковать немцы, безусловно, будут, но снаряды и мины кидать на железнодорожное полотно не станут. Оно им нужно неповрежденное. У них в Наро-Фоминске эшелоны с боеприпасами, с техникой, вагоны с ранеными.

Позже я узнал, что так оно и было. В тот день узкая полоса возле железной дороги двенадцать (!) раз переходила от одних к другим. Полк потерял треть личного состава, причем большинство в первой атаке через минное поле. Получил ранение и выбыл из строя командир Латышской дивизии. Погиб комиссар дивизии. Трудным был тот бой, но люди выдержали испытание. Вскоре дивизия будет преобразована в гвардейскую.

Атака возле населенного пункта Елагино припомнится мне со всеми подробностями три года спустя, далеко от Подмосковья, в Восточной Пруссии. Выполнив там, в штабе фронта, очередное поручение Иосифа Виссарионовича, я подумал о том, что давно не был на передовой, слежу за событиями из высоких штабов и как-то утратил ощущение реальной войны. Попросил подбросить меня на передовую, никого не предупреждая, ничего не подготавливая, чтобы все как есть. В ту пору шли бои местного значения. Полк, в который мы приехали, день за днем продвигался на несколько километров. И опять был чердак — в кирпичном доме под красночерепичной крышей, но не на краю леса, а на окраине маленькою разбитого городка. И было просторное заснеженное поле, за которым виднелись какие-то постройки, наполовину рухнувшая заводская труба. Оттуда постреливали немцы.

Командир батальона, капитан лет двадцати пяти, обосновавшийся на чердаке, не очень-то обрадовался, когда привалило начальство — со мной были командир полка и еще три офицера. Давно известно: чем больше руководителей, тем хуже. Стесненно чувствовал себя капитан. Сухо доложил обстановку. Здесь мы — там немцы. К двадцати четырем приказано взять маслозавод. Обороняется пехотная рота с тремя орудиями. На ее флангах — фольксштурм. Утром к немцам прибыло подкрепление неустановленной численности. Перед самим заводом, где труба, — минное поле. Определив во мне главную фигуру, залетного гостя (по слишком уж аккуратной, «столичной» форме, по солидному возрасту), капитан вежливо, но решительно попросил тех, кому «необязательно здесь находиться», покинуть чердак, а то одним случайным снарядом стольких накроют… Он был прав, и я потребовал от сопровождавших спуститься в надежный подвал соседнего дома, а командира полка заниматься своими делами. Тот ушел, оставив на первом этаже на всякий случай отделение автоматчиков. А на чердаке со мной — комбат, телефонисты, артиллерийские наблюдатели и застенчивый юноша-лейтенант, командир приданного танкового взвода.

Обо мне «хозяева» позаботились. Предложили место у слухового окна на диване, принесенном из комнат. Укрыли колени теплым ковриком. Спрашивали, не нужно ли еще чего-нибудь, с определенным намеком. Я ответил: стопка после боя, а сейчас только хороший бинокль. И пусть не обращают внимания, делают то, что делали бы без меня. Они так и поступили. Капитан уточнял с каким-то старшиной, сколько тот доставит завтра патронов. Артиллеристы определяли ориентиры, согласовывали их по телефону с батареями. Телефонист, приглушив голос и косясь на меня,

жаловался кому-то, что опять, третий раз подряд, не получил «наркомовские» сто грамм. А день между тем заканчивался, близились сумерки. Я спросил капитана: успеет ли до полуночи взять завод?

— Куда он денется, — ответил командир батальона. — Вчера ферму, сегодня это заведение, завтра железнодорожную станцию… Сработаем. — Глянул на часы. — Отдохнули мои. Скоро подойдут.

Через несколько минут действительно тремя группами, тремя ротами, подошли бойцы. В шинелях, в ватниках, кое-кто успел уже обзавестись белым маскхалатом. Две роты привычно, без команд, растворились на рубеже, среди руин, в подвалах, в домах. Третья задержалась за стеной большого кирпичного, выгоревшего изнутри дома. Бойцы перекурили, проверили обувку, оружие. Рассыпались в реденькую цепь, метров на пятнадцать один от другого, и вышли в поле. Офицеры, одинаково с рядовыми одетые и в общей линии, — не различишь, не выбьешь.

Заработали немецкие минометы. Но такой жидкой цепи урон нанести трудно, да к тому же минометчиков сразу, нащупали наши пушкари, ударили на подавление. Ответила вражья батарея. Бухнули танковые орудия. Густел пулеметный треск. Бойцы двигались короткими перебежками. Многие лежали не шевелясь. Было такое впечатление, что немцы выкосили роту и только сгущавшиеся сумерки укроют, спасут уцелевших. Все ярче становились вспышки выстрелов, и от этого казалось, что их — все больше. А капитан будто забыл про свою перебитую роту, уточнял с танкистом, куда выдвинуть машины, намечал маршруты артиллеристам, чтобы сопровождали пехоту колесами и били прямой наводкой. Все он делал правильно, однако я не выдержал и посоветовал спасти остатки гибнувшей под огнем роты. «Какие остатки?! — удивился капитан. — Они огонь вызвали на себя, оборону немца раскрыли, а теперь лежат, покуривают в кулаки. Ждут, когда огневые точки подавим и весь батальон в атаку пойдет. Сегодня не холодно, не простудятся».

Вот так-то, не сорок первый год. О простуде задумывались.

Дальше все было деловито и просто. Немецкие пулеметы были уничтожены нашими артиллеристами в самом начале атаки. Такая же участь постигла вражескую батарею и два оказавшихся у немцев танка. Батальон обошел справа и слева минное поле перед заводом и выбил фашистов с их рубежа. Бой продолжался всего лишь полтора часа. Наши потери: трое убитых, двое отправлены в госпиталь, двое «легких» остались в строю. Торопыга-лейтенант на бегу ногу вывихнул. И один танк все же сумели подбить немцы. А в общем эта атака никак не сравнима была с атаками под Наро-Фоминском. И немец был не тот, и, главное, наши были совсем другими. В полном смысле брали не числом, а уменьем. Но в моей памяти и тот, и другой бой связаны неразрывно. По контрасту, наверное…

А булганинского подарка к дню рождения Сталина тогда, в сорок первом, так и не получилось. Требовалась по крайней мере еще одна дивизия, чтобы взять город. Вообще-то, положа руку на сердце, командарм-33 Ефремов мог 20–21 декабря освободить Наро-Фоминск. Но при одном условии — если бы он бросил на штурм все имевшиеся у него войска, оголив другие участки, если бы гнал и гнал эти войска вперед, невзирая на потери. Однако Ефремов был достаточно опытен и разумен, чтобы не сделать этого. Не скажу, чтобы он блистал особым талантом, зато в порядочности ему никак не откажешь. И еще. Приказ о взятии Наро-Фоминска исходил из штаба Западного фронта, а Ефремов хотя и

выполнял, конечно, жуковские приказы, но со скрипом, неохотно. По-разному они мыслили. Ефремов считал Жукова выскочкой, карьеристом, готовым на чужом горбу въехать в рай. Это очень сказывалось на взаимоотношениях двух генералов, на их общих делах, и, разумеется, не в лучшую сторону. Возможно, отразилось это и на боях за Наро-Фоминск. Его взяли лишь 26 декабря.

Насчет «подарка» Иосифу Виссарионовичу тогда опять отличился генерал Белов. Как и намечал Жуков, «в честь дня рождения товарища Сталина» конногвардейцами был освобожден (это я забегаю вперед) город Одоев. О чем и было доложено Иосифу Виссарионовичу поздно вечером 22 декабря. Он подошел к карте, несколько минут рассматривал маленькую точку, обозначавшую райцентр на реке Упе, вдали от железных дорог. Не знаю, о чем он думал, что представлял себе. Он ведь никогда не бывал там, в этом старинном городке, в этой древней русской крепости, возникшей когда-то на рубеже дремучих лесов и бескрайних степей… Не бывал, не знал, но к тому времени он уже полностью сознавал себя русским.

43-я армия генерала К. Д. Голубева. Весь декабрь существенных успехов она не имела. Медленно теснила противника в сторону Малоярославца. Объяснение простое: у нее не было превосходства над немцами ни по численности, ни в тяжелом оружии. Требовалось усилить армию по крайней мере вдвое, тогда и она пошла бы энергичней, однако у Западного фронта для этого не было возможности.

Голубев просил подкрепить его, но ему направляли только маршевые роты и батальоны, едва восполнявшие потери. Немцы имели время для того, чтобы создать разветвленную сеть оборонительных сооружений. Я предполагал, что продвижение наше на Малоярославецком направлении и далее будет связано с большими трудностями.

49-я армия генерала И. Г. Захаркина вполне справилась с той ролью, которая была отведена ей в период оборонительных боев. Удержала она свою широкую полосу юго-западнее, западнее и северо-западнее Серпухова, не дала немцам отрезать от столицы южный бастион — Тулу. Транспорт ходил меж двумя городами без больших перерывов. Но 49-я армия измоталась и оказалась в таком же положении, как и соседняя — голубевская, дивизий насчитывалось много, а людей и техники — кот наплакал. Командование даже не ставило перед 49-й крупных задач, давая ей возможность хотя бы частично восстановиться.

Это еще не конец изложения моих докладных записок, но тут я позволю себе маленькое замечание. Те читатели, особенно читательницы, которых не очень интересует военная история, наверное недоумевают: для чего, дескать, перечислять армии, их неудачи, успехи?! Но я делаю это не случайно, а вполне сознательно, чтобы люди получили хотя бы некоторое представление, насколько многообразен, сложен был Западный фронт, сколько коллизий возникало на нем в течение одного месяца, сколько разных характеров сталкивалось. Это ведь я одни лишь армии перечисляю, а сколько было во фронте дивизий, бригад, тыловых служб, какое напряжение, какое умение, какие знания требовались от Жукова и Соколовского, чтобы управлять этим огромным хозяйством! Хотя бы только для того, чтобы постоянно обеспечивать всю эту большую перемещающуюся массу людей и техники всем необходимым, от портянок и ружейного масла до боеприпасов и географических карт. Да ведь и

думать требовалось, и не только сегодняшнем, но и на неделю, а то и на месяц вперед.

Разговор — в масштабах фронта. А всего в ту пору от Баренцева до Азовского моря было 8 подобных фронтов (в дальнейшем их количество доходило до дюжины) и три действующих флота! Соответственно возрастали и заботы, да и думать приходилось не только на месяцы, но и на годы вперед. Этот невероятный груз нес на себе Сталин, а в Генеральном штабе трое его надежных умных соратников: Шапошников, Василевский, Ватутин — мозговой центр наших Вооруженных Сил. Все эти люди жили ради дела, ради победы, потому и добивались успеха. Мне вот на старости лет, после смерти Иосифа Виссарионовича, довелось видеть немало политических деятелей, тем или иным способом, вплоть до обмана, дорвавшихся до высшей власти. Маленькие это человечки, и чем дальше, чем мельче. Полное отсутствие масштабности, чувства ответственности. С областным кругозором, но с безмерным честолюбием. А главное — не ради великого государства живут они, не ради блага всего народа, а ради своих корыстных целей, ради групповых интересов. А это очень опасно, это ведет к тому, что деятель, дабы удержаться у власти, не брезгует союзом с зарубежными «доброхотами», с сомнительными элементами внутри страны. Это у меня не старческое брюзжание, нет. Сами попробуйте назвать такую личность, которую можно было бы поставить не вровень, а хотя бы в один ряд со Сталиным. Их просто нет. Их забивает быстрорастущий бурьян. Незыблемо возвышался только Юрий Гагарин, но он уже из другого измерения, он начало новой эпохи в развитии человечества, хотя в космос подняли его мысль и энергия, копившиеся еще в сталинские времена.

Извините, что опять отклонился от прямого пути. Но прошлое — оно ведь переплетено с настоящим и будущим. Не разорвешь. Итак, глава пойдет новая (в ней — новый поворот событий), а тема пока прежняя.

6

50-я армия генерала И. В. Болдина. Шутка была — кто кого спас: 50-я армия спасла Тулу или Тула спасла эту армию? Вопрос такой, что не сразу и ответишь. В начале октября армия, входившая тогда еще и состав Брянского фронта, была окружена, но вырвалась из кольца, потеряв почти все тяжелое оружие. По разбитым осенним дорогам, через Белев и Одоев, уцелевший личный состав успел добраться до Тулы раньше, чем туда подошли немцы. Врага на подступах к городу (танкистов Гудериана) остановили и задержали рабочие полки, зенитчики, ополченцы, формирования НКВД. А 50-я армия тем временем приводила себя в порядок, получала пополнение и вооружение. А окрепнув, взялась за оборону Тулы и ее окрестностей.

Я не считаю себя хорошим психологом, не берусь судить обо всех людях, но о военных — пожалуй. Есть с кем и с чем сравнивать. И в общем-то почти не ошибался, оценивая качества, способности того или иного военачальника. С моей точки зрения, командарм-50 Болдин был руководителем заурядным, дотягивавшим разве что до среднего уровня, не более. В решениях прямолинеен, по принципу — как учили. Скорее передаточная инстанция, нежели инициатор. Удача была не с ним, хотя и бродила где-то поблизости. Лавры защитника южного бастиона столицы разделил с туляками. То какой-то его дивизии повезет, то соседям, а

значит, и ему повезло. Мне, по совести говоря, больше помнятся неудачи Болдина, чем успехи. А вот Иосиф Виссарионович считал его надежным исполнителем. Сталину было важно именно это. А уж кому что исполнять, с учетом возможностей, определит он сам.

Так вот: туляки под руководством комитета обороны города, возглавляемого секретарем обкома партии В. Г. Жаворонковым, совместно с 50-й армией южный бастион отстояли, немцев на Москву не пропустили. А в декабре, когда начались наши контрудары, стали даже помаленьку теснить фашистов. Но решающие события, определившие дальнейшую судьбу города, назревали не у его стен.

1-й гвардейский кавалерийский корпус, а точнее — группа войск генерала П. А. Белова. Говорю о кавалеристах для того, чтобы не нарушить очередность и чтобы определить их место. К ним мы скоро вернемся, а пока только напомню, что конногвардейцы Белова действовали чрезвычайно успешно, на грани чуда, повернув от Каширы вспять танки Гудериана. Кавалеристы нанесли контрудар раньше других войск Западного фронта и продвигались быстрее всех. Сперва ни юг: взяли Мордвес, Венев, нанесли с тыла удар по вражеским группировкам в Сталиногорске и на Узловой, расчистив тем самым путь своему соседу, 10-й армии. Затем кавкорпус повернул на запад. К середине декабря он прошел, наступая, путь втрое больший, чем любое другое наше воинское соединение, и приблизился южнее Щекино к важнейшим магистралям, к Симферопольскому шоссе, к железной дороге между Тулой и Орлом. Именно там назревали события, которые я считаю важнейшими, определяющими для наших наступательных действий того периода. А пока речь пойдет о самой южной, левофланговой армии Западного фронта, переданной Жукову из резерва Ставки в начале декабря.

10-я армия генерала Ф. И. Голикова. Убедительный пример того, что собранные воедино, распределенные по подразделениям и даже хорошо вооруженные люди — это еще не боевая сила. Сто раз, а может, и больше говорил я об этом Иосифу Виссарионовичу, начиная еще с гражданской войны. Но магия цифр и чисел будто завораживала его, он трудновато воспринимал факторы, не поддающиеся прямому учету, прямой логике. Он гордился тем, что в ходе оборонительных боев нам удалось создать в районе Рязани крупное воинское объединение. Действительно, по численному составу 10-я армия была тогда у нас, пожалуй, самая большая. И вооружена хорошо. В нее входили восемь стрелковых и две легкие кавалерийские дивизии. Более 80 тысяч человек личного состава и около 700 орудий и минометов калибра 76 миллиметров и крупнее. Не удержусь от соблазна привести здесь слова Василия Даниловича Соколовского: «В итоге перед началом нашего контрнаступления соотношение сил на левом крыле Западного фронта по людям уравнялось, хотя в орудиях, минометах и танках противник продолжал иметь перевес. Однако 2-я танковая армия противника (армия Гудериана. — Н. Л.), растянувшись в ходе своего наступления к 6 декабря уже на 359 км, была остановлена и оказалась зажатой между главными силами 50-й армии, стойко оборонявшей Тулу, и вновь развернутой 10-й армией в районе Михайлова и нависающей с севера над Веневом группой генерала Белова. Обошедший левое крыло Западного фронта генерал Гудериан сам оказался обойденным, притом его силы были разбросаны на огромном фронте.

Создался исключительно интересный в оперативном отношении момент. Противник, обладавший абсолютным перевесом в подвижных войсках и

построивший свою операцию, используя образовавшийся разрыв на стыке Западного и Юго-Западного фронтов, на обходном маневре (при высоких темпах продвижения) оказался в оперативной ловушке. Причины этого — героическая оборона Тулы, своевременно нанесенные нами контрудары у Каширы и Лаптево и выдвижение 10-й армии от Рязани на Михайлов. Этот случай является одним из самых поучительных военно-исторических примеров битвы под Москвой, когда значительно меньшими силами был разбит более сильный, но допустивший грубые ошибки и оперативный авантюризм противник».

Здесь все верно, только слишком обще, академично. И с одной точки зрения — с точки зрения начальника штаба фронта. А ведь воевали-то по-разному. 50-я армия, продолжая делать свое важное дело, сковывать противника возле Тулы, продвижения в первой половине декабря почти не имела. В 10-й армии положение было сложное. Не повезло ей с командующим. Генерал Голиков Филипп Иванович (будущий маршал) пользовался доверием Сталина и Берии, перед войной возглавлял Главное разведывательное управление. Но, как говорится, не люби друга-попутчика, люби друга-встречника. А Голиков был потатчиком, давал Сталину информацию, которая соответствовала умонастроению Иосифа Виссарионовича. Ошибок в оценке противника допустил много, однако Берия каким-то образом увел его от ответственности. «Выплыл» Голиков в должности командарма. Хоть и понижение, но самостоятельная работа, возможность проявить себя. Он и проявил, быстро создав 10-ю. Администратор, организатор он был умелый, энергичный этого у него не отнять. Но генерал он кабинетный, а не фронтовой, не из тех, кто виден в сражении. Не отличившись на командных должностях, Голиков весной 1943 года возглавил Главное управление кадров Вооруженных Сил (учреждение на стыке наркоматов обороны и внутренних дел), где и пришелся к месту. А полководческого дара было ему не дано.

Читая сводки, Иосиф Виссарионович никак не мог понять, почему 10-я столь медленно ползет на запад. Тем более что ей помогает, расчищает дорогу гвардейский кавкорпус Белова. Вот, по карте же видно: кавалеристы все время опережают армию на пятнадцать-двадцать километров, буквально тянут за собой ее правый фланг. А Голиков каждый день сообщает: упорное сопротивление противника, превосходящие силы противника, потери…

— Ви-и можете объяснить, Николай Алексеевич, почему Голиков со своей большой армией то и дело спотыкается, а у Белова успех за успехом? Он даже не докладывает о противнике, он сообщает о занятых пунктах, о трофеях. А ведь у Белова сил раз в восемь меньше. Может, перед ним нет неприятеля и он идет по ничейной территории? — Такая «шутка» свидетельствовала, что Иосиф Виссарионович раздражен. А я в который раз говорил ему о таланте комкора, об опыте войск, которые уже били противника и морально превосходят его, о том, что корпус Белова — едва ли не единственное у нас воинское соединение, сохранившееся с начала войны, что Белов не ввязывается в затяжные бои, а обходит, обтекает опорные пункты противника, не боясь того, что немцы окажутся на флангах или даже в тылу. А Голиков, наоборот, прямолинейно атакует вражеские узлы сопротивления. Ну и так далее.

Положительным результатом подобных разговоров и моих докладных записок было то, что Сталин по моим предложениям постоянно наращивал потенциал группы генерала Белова. Ему передали из 10-й армии

стрелковую дивизию и, что очень важно, три легкие кавалерийские дивизии. У Голикова эти дивизии были незаметны, а оказавшись в руках настоящего боевого генерала, сразу проявили себя.

Теперь самое время сказать о том событии, которое я считаю важнейшим в декабрьском сражении под Москвой и которое в общем-то выпало из поля зрения многих наших историков: видели, что поближе, что легче понять.

Общая картина из того, что сказано мною впереди, вырисовывается такая. Нанеся контрудары по противнику, войска Западного фронта на нескольких направлениях заметно продвинулись вперед. Угроза, нависшая над нашей столицей, стала менее острой, но не исчезла. По сути дела, фашисты были отброшены на те рубежи, с которых они начали свое ноябрьское наступление. Фронт проходил по линии Волоколамск, Дорохово, Наро-Фоминск, а ведь это ближнее Подмосковье. К тому же примерно к 25 декабря нам, военным специалистам, стало ясно, что наступление выдыхается. Этого следовало ожидать. Значительного перевеса над противником мы не имели. Метели и морозы — они ведь хуже для наступающих, чем для обороняющихся, засевших в населенных пунктах. Людей у нас в ту пору хватало, но нечем было вооружить их. Маршевые батальоны, прибывшие на фронт, собирали для себя оружие на местах недавних боев. Плохо было с боеприпасами. А немцы подтянули свои войска на угрожаемые участки, возвели разветвленную сеть оборонительных сооружений. Противнику, увы, повсюду удалось сохранить целостность своих линий. Еще несколько дней, неделя — и фронт стабилизируется, застынет, немцы получат необходимую им передышку, и опять труднопредсказуемым будет дальнейшее. Что предпринять, чтобы чаша весов склонилась бы в нашу пользу, — над этим ломали голову в штабе Западного фронта, в Генштабе, этим был весьма озабочен Иосиф Виссарионович. А между тем чаша уже качнулась, уже свершилось то, что спрессует все предыдущие контрудары и разовьет их в общее контрнаступление под Москвой. Уже лопнул немецкий фронт, лопнул непоправимо, хотя тогда, в сумятице дел и забот, с нашей стороны на это почти не обратили внимания. Ну, молодым генералам, даже сравнительно молодым, таким, как Жуков и Василевский, простительно. Непрофессиональному военному Сталину — тем более. Но мы-то с Шапошниковым, имея за плечами не одну войну, мы-то как просмотрели… Впрочем, даже сами «виновники» случившегося, генерал Белов и генерал Гудериан, не сразу осознали важность того, что произошло, как это отразится на их судьбах, изменит всю обстановку на фронте.

После нескольких неудач занервничал Гейнц Гудериан, впервые за свою военную службу вынужденный отступать. И перед кем?! Стыдно даже говорить: его прославленные на всю Европу танкисты не смогли сдержать конницу! (Он ни разу не упомянет в своих мемуарах, что не сумел справиться с русской кавалерией!) Опыта отступления, отвода войск у него не было, однако ум и интуиция помогли Гудериану сделать наиболее правильный выбор. Он решил пожертвовать частью территории и быстро отвести свою танковую армию на линию Орел, Калуга, заняв оборону по рекам Зуша и Ока. Фронт сокращался вдвое, высвобождались войска. И очень важно, что по берегам этих рек сохранились оборонительные сооружения, созданные еще летом и осенью (в промерзшую землю не закопаешься).

Соответствующий приказ был отдан и начал выполняться. Основа танковой армии — ее танковые дивизии отводились к Орлу для отдыха и пополнения. Остатки нескольких пехотных дивизий под прикрытием полка «Великая Германия» оттягивались к Оке, чтобы освоиться и закрепиться на новом рубеже. От Тулы в сторону Калуги, тоже к Оке, начал отходить 43-й армейский корпус.

Все это Гудериан сделал по собственной инициативе. Но не учел одного обстоятельства. Прежде ему прощалось многое, вернее прощалось все: и авантюризм, и чрезмерная самонадеянность, и даже сумасбродство. Ему всегда сопутствовал успех, а победителей, как известно, не судят. Фюрер щадил самолюбие прославленного танкиста. Однако до поры до времени. Узнав, что Гудериан самочинно отводит войска на новый рубеж, Гитлер взъярился. Это полностью противоречило его концепции: удерживать до последней возможности каждый опорный пункт, умирать, но не отступать, жесткой обороной измотать русских, сорвать их замыслы. К этому вроде и шло, а Гудериан вдруг решил оставить большую территорию с крупными населенными пунктами, с узлами дорог. Ни по телефону, ни в личной беседе Гудериану не удалось убедить фюрера в своей правоте. Распоряжение об отводе войск было отменено.

Возникла неизбежная в таких случаях сумятица. Одни части еще выполняли старый приказ, другие новый, третьи ждали дополнительных указаний, а русские тем временем продолжали давить по всему фронту, еще больше осложняя и запутывая обстановку. Танковая армия как бы разделилась на три большие обособленные группы, перемещавшиеся по расходящимся направлениям. Гудериан терял управление, а наши наступавшие войска действовали слаженно и уверенно.

В ночь на 18 декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус, а если быть точным — его 1-я гвардейская кавалерийская дивизия генерал-майора Баранова (помните богатыря-кавалериста с громовым голосом, любимца конников, отца-командира, у которого все имущество помещалось в седельных сумках) — дивизия этого воистину фронтового генерала пересекла железную дорогу из Тулы на Орел и завязала бой за большое село Карамышево, что на шоссе опять же из Тулы на Орел, на так называемом Симферопольском шоссе. Запомните это малоизвестное название — село Карамышево.

По мнению командира корпуса Павла Алексеевича Белова, бой предстоял трудный. Логика: немцы не пожалеют сил, чтобы оставить за собой важнейшую рокаду, связывавшую два крупных города, позволявшую маневрировать силами и средствами. Исходя из этого, генерал Белов начал подтягивать резервные полки, дабы обойти сильный оборонительный узел с севера и с юга. В лоб он, как известно, не штурмовал. Я потом, приехав в гвардейский кавкорпус, подробно расспрашивал самого Белова, начальника штаба Грецова, начальника разведки Кононенко о событиях тех часов и дней, но эти товарищи не очень охотно говорили о себе, о своих делах, как-то все сбивались на шутку. В отличие от тех, кто сделает на грош, а шумит на червонец. В ту ночь в штаб корпуса заявилась из Москвы фотокорреспондент Галина Санько, женщина напористая, смелая и хороший мастер своего дела. Она прямо-таки замучила интеллигентного, по-кавалерийски галантного генерала Белова — корпус, мол, гвардейский, геройский, о нем много пишут, с восторгом и удивлением — клинки против танков! — но нет ни одного снимка конной атаки. Где заснять, как заснять? Напрасно Павел

Алексеевич и люди его штаба увещевали энергичную корреспондентку, объясняя, что теперь другие времена, в конном строю с шашками наголо не атакуют, что преимущество наше в маневренности, в быстроте, в проходимости, в умении вести ближний бой… Для Галины Санько это были пустые слова, ей нужны были броские кадры. Она знала, что после успеха под Каширой в корпус приезжали кинооператоры, недавние коллеги по Мосфильму командира 2-й гвардейской кавдивизии полковника Осликовского. Он выделил им несколько эскадронов для съемок в тылу «лихой кавалерийской атаки». Эта «атака» попала в кинохронику, смотрелась с интересом, но была в общем-то заурядной «липой». А Санько хотела настоящих, живых кадров. И была очень разочарована тем, что важный опорный пункт противника — село Карамышево — взяли быстро, без кавалерийских атак, в обычном ночном бою, когда одни спешенные эскадроны сковывают врага с фронта, а другие обтекают с флангов. Ну, стреляет боец из пулемета, ну, перебегают люди от укрытия к укрытию — обыкновенные снимки. Но, сама того не сознавая, Галина Санько запечатлела самое интересное, самое важное — обычные будни войны: выдвижение эскадронов по заснеженной целине к передовой, вступление конницы в населенный пункт, генерала Белова на перекрестке дорог. Теперь эти неброские правдивые снимки лежат у меня, очень жаль, что жанр этой книги не позволяет использовать их здесь.

Если Галина Санько была огорчена тем, что не удалось сделать впечатляющих кадров, то Павел Алексеевич Белов был обрадован и в какой-то мере удивлен быстрым успехом под Карамышево. Взяли почти без потерь. Гвардейцы, выставив заслоны, разошлись по домам греться и отдыхать. Большое-то, оно зачастую начинается не очень заметно. Павел Алексеевич сознавал, разумеется, что достигнут важный успех, перерезана единственная рокада танковой армии Гудериана, который лишен теперь свободы маневра. Белов был уверен, что враг попытается восстановить положение, оттеснить вырвавшуюся вперед конницу, но… Еще до полудня к Белову прибыл начальник разведки корпуса майор Кононенко. Без вызова. И с интереснейшим сообщением. Позволю себе сказать, что Кононенко, выдающийся разведчик, воистину «глаза и уши» командира, считал, что по своей должности обязан по крайней мере за сутки знать, что замышляет, на что способен противник. Так понимал свою работу этот мужественный, смекалистый человек, с виду обычный усатый крепыш-кавалерист. Но Белов умел разбираться в людях и не случайно доверил молодому командиру дело весьма ответственное. Еще в Испании Александр Кононенко, владевший румынским языком, понимавший испанский, был не кем-нибудь, а… советником по разведке командира республиканской дивизии. Еще там, на пробном полигоне второй мировой войны, встретился с немецкими фашистами, понял их суть, возненавидел их. Теперь перед Кононенко самые отъявленные, самые наглые гитлеровцы стояли навытяжку, ощущая его силу, знания, ненависть. Он получал на допросах пленных все, что требовалось. А сам Кононенко, поняв и оценив талантливость и человеческие качества Белова, был предан ему с первых дней совместной службы, с 1940 года, и до самой смерти Павла Алексеевича.

Так вот, еще до полудня 18 декабря майор Кононенко незванно прибыл к Белову с необычным сообщением. Сначала, как всегда, кратко и четко изложил суть. После взятия Карамышево перед группой войск генерала Белова обнаружился разрыв в боевых порядках немцев: между

населенными пунктами Щекино и Сумароково (один в двадцати, а второй в сорока пяти километрах южнее Тулы) немцев нет. В полосе танковой армии Гудериана дыра шириной в двадцать, километров, и не где-нибудь, а на важнейшем шоссе. И первым вопросом Павла Алексеевича (и к Кононенко, и к самому себе) было: почему? как могло такое случиться? Он ведь не знал о просчете, который был допущен Гудерианом, а точнее, о той ошибке, которую сам же Белов своими действиями заставил совершить немецкого генерала. Майор Кононенко уточнил: главные силы 43-го пехотного корпуса из армии Гудериана медленно отходят на северо-запад, в сторону Калуги. Остатки танковых дивизий оттягиваются к Орлу. Непосредственно перед группой Белова отступают через Крапивну и Одоев к Оке остатки 112, 167 и 226-й вражеских пехотных дивизий с многочисленными обозами и тыловыми подразделениями. Прикрывает их полк СС «Великая Германия», хоть и потрепанный, но еще достаточно сильный.

Павлу Алексеевичу пришлось в тот день поступиться галантностью, препоручив милую гостью Галину Санько заботам своего расторопного ординарца, земляка Дмитрия Бобылева. А сам с начальником штаба полковником Грецовым и его заместителем майором Батуриным, с Александром Кононенко обсуждал сложившуюся ситуацию. И размышлял. Анализировать, советоваться — забота общая, а принимать решение и нести ответственность должен командир.

Для лучшего уяснения обстановки хочу сказать следующее. Бывали и до этого разрывы в боевых порядках противника, разных размеров, в разных местах. Хотя бы возле той же Тулы. Но ни один из наших военных руководителей, вплоть до Ставки, не решился глубоко ввести в эти разрывы войска. Не лезть же самим в окружение, на верную гибель?! Запугали нас немцы летом и осенью, сложился стереотип, боязнь дерзких бросков, отрыва от своих главных сил. А ведь без таких смелых действий вообще невозможно крупное наступление, невозможен большой выигрыш. И вот теперь перед Беловым встала задача с несколькими неизвестными. Что предпринять? Ожидать, пока подтянемся 10-я армия, отставшая на два суточных перехода, — значит дать немцам уйти из-под удара, закрепиться на новых рубежах. Терять время нельзя — это Белов отверг сразу. Самое простое и легкое — повернуть на север, к Туле, Но зачем? Оттуда нет угрозы. Разъезды, посланные Кононенко, уже встретились возле Ясной Поляны с передовыми частями 50-й армии Болдина; осада Тулы фактически снята. Тогда что же, повернуть свои силы на юг, на Мценск и Орел, на эти важные опорные пункты? Успех вполне возможен, но опять же какой смысл? Через двое-трое суток к Мценску должна выйти пехота 10-й армии, а южнее, к Орлу, дивизии 61-й армии. Это их полосы. Они прикроют группу Белова с юга. А что же он?

И тут Павел Алексеевич на свой страх и риск принял, как я считаю, смелое и мудрое решение, изменившее вскоре весь ход боевых действий на Западном фронте. Выставив заслоны на шоссе в сторону Орла, где концентрировались танки Гудериана, Белов бросил главные силы — две гвардейские и три легкие кавдивизии вперед, и разрыв, на отходящего, деморализованного противника. Первый рывок — на тридцать километров до райцентра Крапивна. Второй рывок — опять на такое же расстояние по правому и левому берегу реки Упы до Одоева, важного опорного пункта противника. Стоящий на высоком холме, Одоев словно бы самой природой создан для обороны (его-то — помните? — и приказано было Жуковым

взять в честь дня рождения товарища Сталина как подарок). Белов торопиться и штурмовать не стал. Обошел город с юга и севера, а когда немцы попятились, боясь окружения, состоялась-таки редкая по тем временам атака в конном строю с шашками наголо по ровному, обдутому ветрами полю в сторону Стрелецкой слободы. События этой атакой были ускорены, город от разрушения гвардейцы спасли, а вот Галине Санько опять не повезло. На рассвете это случилось, а она приехала в Одоев только днем. Не запечатлела…

Между тем Белов, и без того далеко оторвавшийся от пехоты, сделал еще один стремительный бросок километров на сорок. 23–24 декабря его 1-я и 2-я гвардейские кавдивизии на широком фронте вышли к реке Оке между Лихвином и Белевом и сразу же форсировали по льду эту водную преграду, преодолев тем самым рубеж, который был намечен Гудерианом для длительной обороны. Наметил, да занять не успел! И пошла, понеслась конница по зимним дорогам еще дальше, в стратегический тыл противника, на Козельск, на Сухиничи и Юхнов, срывая все планы и замыслы противника. Свершилось, немецкий фронт лопнул!

Результаты этого события станут понятны позже, и интересно то, как оценили их тогда, по горячим следам воюющие стороны. Ни маршал Шапошников, ни я — увы! — дальновидности не проявили. Внимание наше было приковано к большим городам. Вот 50-я армия движется от Тулы на Калугу — это важно. 10-я и 61-я армии теснят противника на орловском направлении — это существенно. А то, что Белов ушел далеко вперед, оставив позади эти города, ушел по бездорожью, по лесам, это хорошо, хотя и рискованно, однако это всего лишь наскок, кавалерийский рейд. Так нам казалось вначале, так мы докладывали товарищу Сталину. И Жуков, придерживался такого же мнения. Довольный успехом Белова, он среагировал быстро, но размаха не ощутил и своей директивой поставил узкую конкретную цель. Цитирую: «Командующему конно-механизированной группой генерал-майору т. Белову, Вам поручает Военный совет фронта особо ответственную задачу: быстро выйти в район Юхнова и разгромить тылы и штаб 4-й армии немцев. Для обеспечения флангов и тыла группы нужно захватить и прочно удержать Сухиничи, Мещовск, Мосальск…»

Поспешным и непродуманным было это распоряжение. С одной стороны — совершить лихой набег на тылы врага (более ста километров!), а с другой — теми же незначительными силами захватить три города на большом расстоянии один от другого и удерживать их. (Для взятия Сухиничей пришлось потом заново создавать там 16-ю армию во главе все с тем же Рокоссовским.) А самым предусмотрительным и расчетливым в тех условиях оказался Павел Алексеевич Белов. Получая распоряжения свыше, он, однако, выполнял только то, что способен был сделать его корпус, не растаяв, не исчезнув там, в глубоких вражеских тылах.

Успех Белова равноценен успеху Гудериана, когда тот в первых числах октября сломал наш фронт, стремительным броском захватил Орел, создав катастрофическую для нас ситуацию, которую мы выправили с огромным напряжением. Это был талантливый ход немецкого полководца. А теперь сам Гудериан оказался жертвой не менее талантливых действий советского генерала. Подвиг Белова полностью так и не осознан у нас. А вот немцы поняли, оценили сразу, отреагировали на прорыв 1-го гвардейского кавкорпуса не только бурно, но, я сказал бы, даже панически.

Начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер, с немецкой педантичностью делавший ежедневные записи, в течение месяца почти каждый день упоминает конницу Белова. Мы только что убедились, сколько советских армий было в составе одного лишь Западного фронта, но многие армии этого и других фронтов даже не названы, а о прорыве на Оке Гальдер не может забыть хотя бы на сутки.

Из дневника Ф. Гальдера:

«25 декабря 1941 года. 187-й день войны.

Очень тяжелый день…

На фронте группы армий «Центр» этот день был одним из самых критических. Прорыв противника вынудил части 2-й армии отойти. Гудериан, не считая нужным посоветоваться с командованием группы армий, также отходит на рубеж Оки и Зуши. В связи с этим командование группы армий потребовало сейчас же сменить Гудериана, что фюрер немедленно выполнил…

Группа армий пытается задержать противника, прорвавшегося на ряде участков за Оку, для этого в первую линию выведены 24-й моторизованный корпус и штаб 216-й пехотной дивизии…»

Итак, «танковый бог» немцев, непобедимый генерал, любимец фюрера потерпел полное поражение, был отозван с фронта и отправлен в резерв, в почетную отставку. Павел Алексеевич Белов одержал победу не только военную, но и моральную. Это ведь он первым проучил заносчивого танкиста под Штеповкой, это он задержал под Каширой танковые колонны Гудериана, опрокинул их и погнал назад, заставив бросить почти всю технику, и вот теперь добил вражеского кумира, врезавшись в тыл его армии, расколов ее на части. Фактически самая знаменитая немецкая танковая группировка — армия Гудериана — перестала существовать. И это в тот важный период, когда наши контрудары под Москвой начали затухать, когда фронт почти стабилизировался на октябрьских рубежах. А Белов, как и под Каширой, опять повернул ход событий в новое русло.

Из дневника Ф. Гальдера:

«26 декабря 1941 года. 188-й день войны.

Противник пока еще не сумел расширить свой прорыв на Оке, несмотря на то, что через реку переправился целый кавалерийский корпус русских».

Ну, как мы знаем, «целый кавалерийский корпус» по личному составу не больше немецкой пехотной дивизии, а по вооружению даже слабее. Вот бойцы и командиры в корпусе были выше всяких похвал — это действительно так. Второе: Белов не очень старался расширить прорыв, он углублял его, все дальше вбивая клин в немецкие боевые порядки, что совершенно новым было для противника, да и для нас в тот период войны. Ну и мешали, разумеется, расширить полосу прорыва отчаянные попытки немцев задержать корпус. Наибольшие потери причиняла вражеская авиация. Дни стояли морозные и солнечные. С рассвета и до сумерек немецкие бомбардировщики небольшими группами, а то и в одиночку, не опасаясь наших истребителей, висели над дорогами, над населенными пунктами, не жалея бомб; уходили на недальние аэродромы и вновь возвращались с грузом.

Днем дороги в районе прорыва пустели, но не замаскируешь, не укроешь же все войска и обозы. Медлительным санным обозам, подвозившим издалека, от Тулы, боеприпасы, доставалось особенно. И вот чего не мог понять Павел Алексеевич. Войска его по ночам стремительно шли вперед. У немцев хаос, неразбериха, порвана связь. Но вот утром, к

примеру, заняли Одоев, а днем его уже бомбят немцы, бьют по самому острию наступления. И с другими населенными пунктами такая же история. Уж не шпион ли завелся в кавкорпусе, наводит вражескую авиацию? А нашей все нет и нет… Но вот слушал как-то Павел Алексеевич по радиоприемнику очередное сообщение Совинформбюро, чтобы узнать общее положение на фронтах, услышать о населенных пунктах, только что освобожденных его группой, и сообразил — а ведь немцы тоже слушают! Он сам, его штаб, пользуясь любой возможностью, передают сводки в штаб Западного фронта, составители сообщений для радио и газет торопятся порадовать советских людей новыми успехами. Немцам остается только записывать да принимать меры.

После трудного дня, когда вражеские бомбардировщики нанесли конникам особо большие потери, Белов не выдержал, взорвался. Отправил в штаб фронта и в Совинформбюро телеграмму с требованием не распространять информацию, приносящую вред корпусу. А в Тулу, командиру базировавшейся там авиационной группы, послал радиограмму: «Прекратите нейтралитет, начинайте воевать!» Эту радиограмму перехватила контрольная радиостанция, вечером она стала известна в Ставке. А в Совинформбюро поднялся переполох: еще бы, выдают военную тайну, сообщают противнику важные сведения! К счастью, все замкнулось на Шапошникове. Он побранил кого следует, попросил Сталина основательно помочь Белову авиацией. Тот, в свою очередь, позвонил Жукову, чтобы все истребители, способные дотянуться до ушедшего далеко Белова, прикрывали его корпус. Так и было два дня: истребители фронтовой авиации работали на кавалеристов. Но лететь туда было действительно далеко и рискованно, были задачи более близкие, где использовать авиацию было целесообразней. До Белова добирались лишь отдельные самолеты.

Из дневника Ф. Гальдера:

«28 декабря 1941 года (воскресенье), 190-й день войны.

Брешь на Оке — по-прежнему предмет особой заботы. Кроме передовых частей 208-й пехотной дивизии в район Сухиничей подтягивается 10-я моторизованная дивизия. Главные силы этой дивизии перебрасываются по железной дороге, остальные части — на автомашинах. С севера на этот участок будет также переброшена 10-я танковая дивизия…

Вечерние данные об обстановке: крайне тяжелое положение на участке разрыва фронта в районе Оки…»

(Немецкое командование заметалось, штопая дыры. Что означала, к примеру, переброска хотя бы 10-й танковой дивизии, действовавшей на стыке наших 16-й и 5-й армий? Наши там вздохнули бы с облегчением, решительнее пошли вперед.)

«29 декабря 1941 года. 191-й день войны.

Очень тяжелый день!.. В районе разрыва фронта у Оки (в районе Сухиничей) создана сильная боевая группа, которая ведет разведку боем (Штумме). Однако это не мешает главным силам противника беспрепятственно продвигаться в направлении Юхнова…

Придется сдать участок фронта у Калуги и севернее ее (выдвинутая вперед дуга фронта восточнее Малоярославца). Это необходимо, чтобы высвободить часть сил с этого участка фронта и бросить их против частей противника, прорвавшихся через Оку…»

Я не стану больше цитировать Гальдера, и так все ясно. Если до сей поры наши войска лишь вытесняли фашистов, то теперь, впервые, в

результате действий Белова, вражеский фронт раскололся, и теперь действительно наши контрудары, начавшие было затухать, переросли в общее контрнаступление. Генерал Белов еще не раз отличится в ходе войны, но главная, величайшая его заслуга — это победа под Каширой и прорыв через Оку.[61]

Плоды созрели и начали падать, наши войска один за другим освобождали города, крупные населенные пункты. В ночь под Новый год взяли Калугу. Возвращены были Малоярославец, Можайск, Уваровка… В первых числах января 1942 года на фронтах сложилось новое, многообещающее положение, требовавшее пересмотра наших планов. Я уже подумывал, что Иосиф Виссарионович был близок к истине, объявив народу, что через полгода, в крайнем случае через год с фашистской Германией будет покончено. Дело вроде бы шло к тому.

8

На очередном докладе Верховному Главнокомандующему генерал армии Жуков, подробно осветив положение на южном крыле Западного фронта, сказал:

— Есть мнение преобразовать группу войск генерала Белова в армию.

Сталин, спокойно и благожелательно слушавший, оторвал взгляд от карты:

— Какая в этом необходимость, товарищ Жуков?

— У Белова армейская полоса наступления. По количеству соединений, по личному составу и вооружению он превосходит некоторые армии. А Белов фактически лишь командир кавалерийского корпуса, аппарат управления у него минимальный.

— Но он неплохо справляется.

— Пока, — с нажимом произнес Жуков, — пока еще справляется. Одна группа уходит все дальше, полоса ее продолжает расширяться, трудности прибавляются. Я считаю, что генералу Белову пора быть командармом.

Сталин ответил не сразу и заговорил негромко, вроде бы сам с собой:

— Группа войск генерала Белова сложилась в ходе боев и воюет с похвальным успехом. Это мобильное объединение рождено самой жизнью. Объективные условия потребовали создать его. В подвижности, стремительности и решительности сила этой группы. А мы вмешаемся, дадим Белову штаб, тылы, управления, службы… Нет, пусть пока останется группа войск, которую можно легко рассыпать и быстро воссоздать на нужном направлении. Когда такая форма перестанет приносить реальную пользу, мы возвратимся к этому вопросу, товарищ Жуков. — Помедлив, Сталин добавил: — А генерал Белов действительно очень хорошо проявил себя. Его надо особо отметить.

— Он представлен к ордену Ленина.

— Это правильно. И правильно было бы повысить его в звании. Это укрепит его авторитет, ему легче будет командовать, общаться с соседними командармами, да и с вами, товарищ Жуков. Меньше будет ощущаться разница в положении. Как вы считаете?

Георгий Константинович уловил, конечно, сарказм. Ответил:

— Я об этом не думаю, есть заботы поважнее.

— Это тоже имеет значение, — усмехнулся Иосиф Виссарионович.

Вообще в те предновогодние и новогодние дни, после успехов под Ленинградом, под Ростовом и под Москвой, впервые довольно щедро

давались награды. Если говорить про особо отличившийся Западный фронт, с которым я был тогда непосредственно связан, то там ордена получили все командармы, начиная от Кузнецова, от Власова и до южного крыла — до Болдина и Голикова (Белов был в том же списке, хотя официально командовал лишь кавкорпусом). Практически все командиры частей, соединений и объединений были повышены в звании (Лелюшенко, Власов, Рокоссовский, Белов и некоторые другие товарищи из генерал-майоров стали генерал-лейтенантами). Справедливо и закономерно. Однако в списках поощренных, кои были обнародованы 3 января 1942 года, не оказалось самых главных фигур: не упоминались Сталин, Жуков и, если не изменяет память, не упоминался Шапошников. Ну а меня-то вообще никогда ни в какие официальные списки не заносили.

Между тем, и я это категорически утверждаю, Жуков был в числе представленных к награде и к повышению в звании. У меня сомнений не было в том, что он должен стать маршалом. Представлял его Генштаб. А вычеркнул из списков Сталин — и на повышение, и на награду. Как, кстати, вычеркнул и самого себя. Но почему? Я мысли не допускал о мести со стороны Иосифа Виссарионовича за то, что Жуков в какие-то дни и недели подмосковной битвы превосходил, подавлял Сталина, был непочтителен, груб с ним. Нет, Иосиф Виссарионович не забывал обид, но до мелких пакостей не опускался. Да и нужен был ему Жуков, как и всем нам. На мой вопрос о справедливости Сталин, ответил если и не коротко, то уж во всяком случае вразумительно:

— Отмечены люди, которые непосредственно сражались за Москву или, скажем, за Ростов… которые руководили боями, участвовали в боях. А товарищ Сталин и также товарищ Жуков не только руководят сражением за столицу, не только отвечают за это направление, но возглавляют и ведут всю большую войну. Вот если мы будем выигрывать, если мы выиграем эту войну, тогда народ и партия воздадут нам по заслугам. А пока рано хвалить нас.

Нас? Он подразумевал, думаю, и Шапошникова, и Василевского, и меня, грешного. Однако Сталин не был бы Сталиным, тем внимательнейше-скрупулезным руководителем, который не оставляет без наказания даже проступки, не говоря о преступлениях, но, с другой стороны, обязательно поощряет отличившихся. Генералу армии Жукову, несомненному герою Московской битвы, без лишних слов было предложено выбрать для себя любую дачу в лучших местах ближнего Подмосковья. В пожизненное пользование. Независимо от любых обстоятельств. Дар правительства от имени народа. Жуков и выбрал тогда упоминавшуюся уже Сосновку, полюбившуюся ему, где и провел опальные, но по-своему счастливые последние годы, согретые семейным теплом, любовью к дочери Машеньке, очень похожей на отца. Там бы музей создать Жуковский, но нет: едва Георгий Константинович ушел от нас в мир иной, новоявленные дельцы сразу захапали прибежище замечательного полководца!

Ну и меня не оставил без внимания Иосиф Виссарионович, сделал существенный, с его точки зрения, шаг: еще более четко определил мое официальное положение, мой формальный статус, подчеркнув особое доверие.

Как известно, все формы деятельности в нашей стране, превратившейся поневоле в военный лагерь, борьбу с фашистами, вообще всю жизнь нашей Родины организовывал, направлял в ту пору Государственный Комитет Обороны, сосредоточивший у себя всю полноту власти. Ход

событий показал, что уровень руководства ГКО в целом оказался значительно выше уровня соответствующих структур противостоявшей нам стороны. Мы все же победили, а не немцы при их прекрасной организованности, при их внушительном начальном превосходстве. О делах судят по результатам.

За время своего существования, с июня 1941 года и до сентября 1945 года, до полной капитуляции японских вояк, ГКО принял почти десять тысяч постановлений и решений, в основном по военным и военно-экономическим вопросам. И все — с участием Сталина. Труд колоссальный. При этом ни одно постановление не повисло в воздухе, все вершилось точно и по возможности в срок. Выполнение жестко контролировалось. Для этого имелась четкая, бесперебойно действовавшая система. Вот лишь часть ее. Более чем в 60 городах страны были созданы местные комитеты обороны, объединявшие гражданскую и военную власть, непосредственно выполнявшие постановления Государственного Комитета Обороны. Немаловажной составной частью этой системы были уполномоченные ГКО, наделенные очень большими полномочиями. Они выезжали на места для контроля, для организации того или иного дела, чаще всего выпуска военной продукции, подолгу оставались на крупных заводах, стройках, на предприятиях транспорта.

Так вот, в разряд уполномоченных ГКО Иосиф Виссарионович зачислил и меня. Но не просто зачислил. По его желанию я стал тогда единственным особоуполномоченным, обретя уникальные права и уникальный документ, подтверждающий их. Иосиф Виссарионович вручил мне красно-кирпичного цвета книжечку с золотым тиснением. На развороте моя фотография и типографски отпечатанный текст:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

в одном экземпляре

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ СЕГО ЛУКАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, В КАКОМ БЫ ЗВАНИИ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ ОН НИ ПРЕДСТАВИЛСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ ИМ ОТ ЛИЦА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГКО, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СССР».

Две подписи: И. Сталин и Л. Берия.

На другой стороне разворота, внизу, напечатано помельче: «Любые запросы по этому удостоверению направлять только через органы государственной безопасности лично народному комиссару внутренних дел».

Я видел, что Иосифу Виссарионовичу нравился сей документ, еще раз подтверждавший его открытость ко мне. Доволен был он, что нашел возможность сделать приятное. И совет присовокупил:

— Николай Алексеевич, вы можете являться в любой ипостаси, в любом звании, но желательно не выше генерал-лейтенанта, чтобы избежать лишнего любопытства к себе.

— И кривотолков, — понял и согласился я. — Генерал-полковников, а тем более генералов армии, у нас единицы, они известны. А генерал-лейтенантов значительно больше. Только я, Иосиф Виссарионович, предпочитаю все-таки форму без знаков различия. Так свободней. И полезней.

— Дело ваше, — улыбнулся Сталин. — Но все же в зеркало на себя полюбуйтесь в форме генерал-лейтенанта. Перед дочерью покрасуйтесь. Интересно, что она скажет? Привыкайте.

— С этого и начнем, — согласился я. И, не дав Сталину передышки, повернул разговор: — Раз уж о наградах и поощрениях… У нас теперь в войсках очень много людей старших возрастов, сражавшихся с германцами еще в ту войну. Есть даже такие, которые в русско-японской участвовали. Это опытные, умные бойцы, а стоят они в одном ряду с зеленой молодежью, стрельбы не слыхавшей. Никакого отличия. Многие награждены Георгиевскими крестами, а ведь эта награда давалась только нижним чинам, и только за подвиг, за личное мужество. Обидно ветеранам, что забыли об этом, что ими помыкают неоперившиеся мальчишки. Почему бы не дать разрешение носить Георгиевские кресты наравне с советскими наградами? Это повысит авторитет ветеранов, они станут заметнее, к ним будут прислушиваться, перенимать опыт.

— Пожалуй-пожалуй, — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. — Еще одна укрепляющая цепочка.

— В самом начале войны, — продолжал я, — в кавкорпус генерала Белова влился добровольческий кавалерийский полк, созданный в Николаеве из тех, кто раньше воевал с германцами, с четырнадцатого года по восемнадцатый. Две тысячи сабель. Их, этих ветеранов, распределили по эскадронам. На шесть-семь молодых и неопытных пришелся один видавший виды кавалерист. В каждом отделении один-два ветерана. Это же цемент! Правая рука командира. При надобности и командира заменят. Прошлые награды сразу выделили бы их.

— Пожалуй, — повторил Сталин. — У нас товарищ Буденный полный георгиевский кавалер?

— Да, один из немногих. Два серебряных, два золотых креста. Полный бант.

— Интересно, будет ли Семен Михайлович носить эти награды? — тихо засмеялся Иосиф Виссарионович, вероятно представив себе кресты на широкой груди Буденного рядом с теперешними орденами.

— А почему бы и нет?

— Согласитесь, Николай Алексеевич, несколько странно: Буденный командует парадом на Красной площади, а у него царские кресты блестят…

— Почему царские? Русские награды, заслуженные в борьбе с супостатами, с врагами Отечества.

— Меня вы убедили, я ценю традиции русской армии. Польза будет. Но как отнесутся к этому наши военные? Тот же товарищ Ворошилов… Я постараюсь повлиять на них… Мы говорим сейчас только про Георгиевские кресты или и про офицерский орден Святого Георгия?

— Только про кресты. С орденом сложнее. Давался он редко, удостаивался лишь тот, кто не только обязанность свою воинскую исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх того ознаменовал себя на пользу и славу российского оружия особым отличием, — так примерно записано в статусе. Получивший Святого Георгия автоматически становился потомственным дворянином… Боюсь, что теперь носить будет некому. Может быть, найдутся единицы… А Георгиевские кресты хранятся у многих. Не полные банты, конечно, но по одному, по два.

— Пожалуй, пожалуй. — Привязалось к Сталину это словечко. — Разница существенная… Подготовьте проект решения.

Прошло еще некоторое время, и засияли на гимнастерках ветеранов рядом с новыми традиционные награды нашего доблестного воинства. Бывало потом на фронте, и не раз бывало: в тяжкий момент боя, когда не оставалось в цепях решительных командиров, когда по призыву «Коммунисты, вперед!» уже некому было подняться, звучало, как прежде над полем брани: «Георгиевские кавалеры, вперед!» И вставали, и шли ветераны навстречу смерти, на штурм, на прорыв!

9

Хорошо встретили мы Новый год. Со всех точек зрения хорошо. Радовали успехи, не по воле богов сыпавшиеся из рога изобилия, а завоеванные, достигнутые нашими ратными трудами. Калугу мы взяли, Белев, Боровск. Генерал Белов кромсал немецкие тылы от Сухиничей до Мещовска. На юге черноморцы освободили Керчь и Феодосию, облегчив тем самым положение осажденного Севастополя. На севере открылось сквозное движение поездов на ветке Тихвин — Волхов. Если до декабря угнетали нас ежедневно сообщения горькие и печальные, то теперь вдохновляли радостные. Имелись все основания весело отметить праздник. Конечно, кто-то встречал его в промерзшем блиндаже, в стылой траншее или даже в сугробе перед атакой, может быть, истекая кровью, но моя совесть перед ними была чиста. Бывало, не в лучшем положении отмечал торжества и я. Тут уж без зависти и без злости: какой кон тебе на войне выпал сегодня, с таким и мирись. Мне в этот раз повезло, я встретил Новый год дома, по-семейному: с дочерью и нашей экономкой Анной Ивановной. Возле елочки, на которой горело несколько тоненьких свечек.

Беспокоило лишь одно: не преподнесут ли немецкие авиаторы нежелательный «подарок». В предыдущую ночь, на 31 декабря, большая группа вражеских самолетов пыталась прорваться к Москве, некоторые машины достигли столицы, сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. Не разведка ли это перед массированным налетом? Немец, конечно, не тот, что летом, но все же. Для противовоздушной обороны тревожной была новогодняя ночь, однако, фашисты на массированную атаку не решились. Пытались пройти, прокрасться лишь отдельные самолеты, но до Москвы не допустили ни одного.

Впрочем, разговаривая с дочерью, я отвлекался от внешних обстоятельств, отдыхал от них, она посетовала, что очень редко видит меня, и сказала полушутливо, что начинает отвыкать, тем более, по ее словам, я сильно изменился за последнее время даже внешне, будто высох, реже улыбаюсь, шучу, глаза холоднее стали. Отдалился от нас и от тети Ани. Я, конечно, сослался на непомерную занятость, не оставляющую времени для себя, для семьи, для личных переживаний. Сказал, что Иосиф Виссарионович вообще с лета не видел Светлану, только по телефону разговаривал несколько раз.

— А насчет того, что отдалился, ты не права. В чем это выражается?

— Ну, в разном, — сдвинула дочь черные брови и продолжала не без лукавства. — Раньше ты, уезжая, наставления мне делал, целовал меня… И тетю Аню… В щеку, — пощадила она зардевшуюся нашу хозяюшку. — А теперь ни меня, ни ее. «До скорого свидания, мои дорогие!» И пошел.

— Повзрослела ты.

— И тетя Аня?

— Обе мы повзрослели, грустно пошутила Анна Ивановна. — Время меняет.

Правы они были, и та и другая, правы в том, что суть изменений — не только в ожесточившей войне, но еще и в том, что сдвинулась, изменилась взаимосвязь наших возрастных пластов, это резче высветилось именно теперь, когда мы стали реже видеться. Постепенность, каждодневность сглаживает перемены, а для нас теперь они проявлялись скачками, ступенями. И не столько, может быть, я изменился, сколько дорогие мои домочадцы, и поэтому воспринимали меня несколько иначе. Под другим углом зрения, что ли.

Ранее я уже писал о том, что первое время о моей дочери, оставшейся без мамы, едва появившись на свет, заботилась та простая, добрая и мудрая русская женщина, которая кормила и нянчила Светлану Сталину, Васю. Потом были и другие — на небольшой срок. Но вот когда моей дочке исполнилось три года, в нашем доме появилась Анна Ивановна. Мне порекомендовали ее как очень обязательного, образованного человека. Правда, замкнутого, труднораскрывающегося. Это была шатенка тридцати лет, среднего роста, полноватая, напоминавшая провинциальную купчиху, привыкшую чаевничать у самовара. Но глаза в преждевременной сети морщин выказывали и характер, и проницательность, и глубину переживаний. Она не любила, чтобы ей заглядывали в глаза, понимая, вероятно, что они разрушают простоватость ее образа. Первое время меня раздражала и настораживала эта двойственность, непонятность, не нравилась словно бы нарочитая медлительность движений, скупость в словах. Не спешит, а все успевает. Да и вообще, что это за купчиха, цитирующая вдруг по-французски высказывания Вольтера о воспитании, читающая Диккенса на английском, а Гете — по-немецки. И убаюкивающая ребенка деревенскими колыбельными песнями. Все это я узнавал, слышал случайно. При мне — сдержанность. Я бы отказался от услуг этой странной женщины, но очень скоро понял, что ей, как никому другому, можно доверить заботу о дочке, а это для меня было самое главное.

Раскрывалась наша няня-гувернантка, действительно, неохотно и постепенно. Отец — филолог, преподавал в провинциальном университете. Мать, не закончив полностью Бестужевских курсов, вела дом, воспитывала детей. Была ли Анна замужем? «Да, — ответила она, и помолчав, уточнила: — Была, но не долго…» Все близкие ее, включая и молодого мужа, горного инженера, умерли от тифа зимой 1920 года. Анна находилась в это время у сестры в другом городе, поэтому уцелела и даже не знала, в какой общей могиле зарыты ее родственники. Где и как скиталась она потом, зарабатывая на жизнь, вспоминать не любила. Имея за собой гимназию и хорошую домашнюю подготовку, преподавала в трудовой школе, была совслужащей, переводчиком в редакции, жила в семье крупного советского деятеля, помогая его жене воспитывать многочисленных отпрысков, пока не поняла, что это совсем не тот человек, за которого себя выдает, а просто приспособленец, беспринципный жулик, наживающий черные деньги на людских трудностях. Этакий капиталец для тех самых отпрысков, которым Анна прививала хорошие манеры, которых обучала правильному произношению по-французски и по-английски… Про это, кстати, при ее порядочности, Анна рассказала мне лишь много лет спустя.

Был в отношении наших один важнейший переломный момент. Свыклись, сжились мы втроем. Я уж, ей-богу, начал опасаться: Анна еще

довольно молода, недурна, хозяйка замечательная, чистюля и аккуратистка — вдруг выйдет замуж, ославит нас?! Но испытание подступило с другой стороны. В тридцать пятом соду в приволжском городе заболела, слегла старшая сестра Анны, у которой она когда-то спаслась от тифа. Сестра одинокая, болезнь безнадежная. Уход требовался. Помучившись раздумьями, Анна уехала к ней. И будто сумерки сгустились в нашей квартире, на даче. Все было неуютно, пусто, уныло. Новая прислуга — не ко двору, дочь не могла ни к кому привыкнуть, плакала по ночам. Я извелся, беспокоясь о ней, особенно в командировках. И обида нарастала: вот привязала нас к себе Анна — и бросила. Ей-то что, шлет деловые рассудочные письма. Я даже не отвечал на них. Дочка писала. До того дня, когда пришло от Анны коротенькое письмо — вопль, крик души: она истерзались без дочки, она больше не может, пусть дочь едет к ней, здесь хороший деревянный дом, своя библиотека, большой сад, дочке будет хорошо, Анне тоже, а я смогу работать спокойно…

Я тогда сел в поезд и поехал к Анне сам. Чтобы забрать ее и ее сестру. Пусть ухаживает за сестрой у нас на даче. И всем будет хорошо. Но Анна не согласилась. Не хотела быть обузой. Да и сестра не выдержала бы переселения из родного гнезда в новую обстановку. Так и промучились мы вдали друг от друга целое лето и почти всю осень. Лишь похоронив сестру, Анна вернулась к нам…

Вскоре после этих испытаний я и Анна стали совсем близки. Но считали, что никто, в том числе и дочь, не догадываются об этом. Я был бы рад предложить Анне руку и сердце, она была бы хорошей женой и не мачехой, а матерью для моей дочери, но мистический страх, даже ужас сковывали меня при мысли об этом. Двум дорогим мне женщинам наша женитьба не дала счастья, хуже того: принесла смерть. Я ведь дал себе клятву не испытывать судьбу в третий раз. И теперь формально вроде бы и не испытывал ее, капризную. Кто такая Анна Ивановна? Экономка. Наши отношения? А кого это может интересовать? Мало ли что бывает между мужчиной и женщиной, живущими в одном доме. Нет-нет, черные силы, не подступайте, отриньте, у вас нет никаких прав!.. Наивно это? Пусть кажется наивным, но это была единственная возможность успокоить себя: я не рискую жизнью близкой мне женщины. Побывав в моей шкуре, не поддались бы и вы подобному суеверию?!

Помнится, перед поездкой на Финский фронт мы с Анной провели ночь на даче — дочь была в городе. Проговорили долго. Намекнул я, что война есть война, всякое случается, а дочь в том возрасте, когда все еще впереди: поиски, переломы, ошибки… «Видит бог, Коля, как я люблю вас, — строго ответила Анна, всегда обращавшаяся ко мне только на «вы». — Видит бог… Но если с вами что-то случится, я переживу… Да, переживу. Потому что не одна в пустыне, потому что есть росток, которому я нужна… Я буду с ней до последней своей возможности. Или до той минуты, когда перестану быть нужной».

Как благодарен я был этой женщине! Была война, и впереди, я знал, будут войны. Я не очень-то опасался за себя — двум смертям не бывать, а одной не минуешь. Я переживал за дорогих мне людей, казавшихся такими беззащитными. Как они без меня? Особенно дочка. Но теперь была уверенность — она под надежным крылом. И, наверно, поэтому (без хвастовства) был смелее многих других. А смелым сопутствует удача.

Это предисловие к тем переменам, которые открылись мне в Анне и в дочери в ту новогоднюю ночь. У Анны Ивановны появилась этакая

спокойная уверенность, которой ей чуть-чуть недоставало прежде. Все же была она не хозяйкой, а няней, гувернантской, экономкой. Это сказывалось. Вроде бы полноправный член семьи, но… А теперь что произошло? За шесть тяжких месяцев, почти не видя меня, одинаково тревожась обо мне, деля скудный паек, согреваясь под одним одеялом в промерзшей квартире, подбадривая друг друга при бомбежке, дочь и Анна Ивановна обрели привязанность неразрывную. Если раньше в отношении дочери к тете Ане бывало всякое, вплоть до неосознанной эгоистичной ревности ко мне, то теперь Анна была уже не тетей, а незаменимой матерью, со всеми сложными чувствами и простотой отношений, которые вмещает это понятие. Анна Ивановна ощущала это, свою неотделимость от дочери, подсознательно гордилась этим, чувствовала себя желанно-полновластной хозяйкой дома. И уже несколько иначе относилась ко мне, хоть и дорогому, хоть и главе семьи, но в общем-то к человеку приезжающе-уезжающему, переложившему на ее плечи заботы о подрастающей девочке, о себе самой, да и в какой-то степени и обо мне. У дочери и у нее были теперь свои секреты, может, и малые, а может, уже и большие. И не я отодвинулся от них, а они несколько отгородились от меня, не все знавшего, не все понимавшего теперь в их жизни.

А дочь изменилась еще и тем, что очень вытянулась за минувшую осень, из девочки оформилась в девушку. Пышные густые волосы, большие глаза. Она ощущала, конечно, свою привлекательность, это придавало ей уверенность в мыслях, в поступках, даже в жестах. Она еще взрослела, но, как бывает в таком возрасте, опережая события, уже считала себя взрослой, в душе оставаясь ребенком и зачастую поступая по-детски. Очень опасный период. Как я тревожился бы за нее, не будь рядом с ней очень любящей ее женщины. И нам было хорошо всем вместе.

Пребывая в столь благостном расположении духа, я спросил дочку, чего ей сейчас хочется больше всего? Не только потому, что интересно было это знать — я постарался бы сделать для нее, для Ани все, что в моих силах. Все же возможности у меня были большие, даже очень большие; хотя я никогда не пользовался ими, но тут захотелось сделать приятное моим близким, доставить им радость. Дочь надолго задумалась, беззвучно шевеля губами, будто перебирала мысленно варианты. Аня, затаив улыбку, не сводила с нее глаз. Тоже любопытно было — о чем мечтает девочка? О красивом платье, об интересной книге, о коробке шоколадных конфет? А она сказала:

— Помните, когда-то зимой мы все вместе пошли в лес на лыжах? Вечером или даже ночью. Был мороз, сугробы были под луной голубые, а на них черные тени деревьев. Все дачи спали, было тихо, только снег скрипел под лыжами, а лыжи катились будто сами. Оттолкнешься палками и катишься. Мы даже ни о чем не говорили, только смотрели и слушали. Было так празднично, так легко… Папа! — протянула она руки ко мне. — Папа, я хочу в тот лес, в ту тишину! Чтобы ничего не бояться, чтобы не ждать все время сирены и телефонных звонков…

Встала и быстро вышла из комнаты Анна. Показалось, что всхлипнула. Я опустил голову. Выполнить такую неожиданную и такую простую просьбу дочери я был не в состоянии при всех своих обширных возможностях. Любимый наш лес все еще находился в прифронтовой полосе. Дальняя дача Сталина, где мы тоже иногда катались на лыжах, была взорвана. А по телефону меня могли вызвать в любую минуту: неизвестно зачем и неизвестно насколько.

Как встретил Новый год Иосиф Виссарионович — сие, выражаясь языком романтической классики, окутано загадочной дымкой. К этой «дымке» мы вынуждены будем вернуться в одной из последующих глав, чтобы понять, кому и для чего понадобилось напускать туман. А пока — известные мне факты. Примерно до полуночи Сталин находился в рабочем кабинете. Поскребышев принимал телефонные звонки, на некоторые отвечал сам, некоторых абонентов переключал на «хозяина». Я поздравил Сталина часа в двадцать три. Потом мне звонил адмирал Кузнецов Николай Герасимович и после соответствующего поздравления сказал, что несколько минут назад говорил с Верховным и что у всех «приподнятое настроение». Я, естественно, такое состояние постарался не омрачить.

Сам Иосиф Виссарионович или Поскребышев отвечали по телефону до часа ночи. После этого трубку брал дежурный генерал. Говорил всем: товарищ Сталин отдыхает. Только Шапошникову, поколебавшись, добавил уклончиво: «хозяин» не один и лучше его не тревожить. Отдыхал Иосиф Виссарионович до полудня и в тот раз нарушил не только свой распорядок, но и в какой-то степени и привычный строгий ритм всего управленческого механизма.

По одной из многочисленных градаций люди, как известно, делятся на «сов» и «жаворонков». Понятно, что «жаворонки» начинают сновать с рассветом, они быстры, суетливы, к вечеру выдыхаются и рано ложатся спать. А «совы», наоборот, ночью бодры, поздно ложатся, поздно встают, пробуждаются вяло, постепенно набирая трудовой темп. Был ли Сталин от природы «совой» — утверждать не берусь. На его образ жизни большое влияние оказывали внешние обстоятельства. В разные годы по-разному складывался его режим. Детство провел в полусельской местности, а там встают с петухами. В тюрьме, в ссылке он, конечно, и спать ложился и поднимался вместе со всеми. Ну а если взять полярные дни или полярные ночи, длившиеся месяцами, то они просто ломали представление о распорядке.

Знаю, что во время обороны Царицына Сталин ложился поздно и подчиненных держал в напряжении, они засыпали позже него. Это не каприз. Сводки о событиях за день поступали по телефонам, по телеграфу, с нарочными вечером, иной раз к полуночи. Тогда же подводились итоги, намечались планы на завтра, отдавались распоряжения. Глядишь, уже и светает. Труднее всех было легкому на подъем, кипучему Клименту Ефремовичу Ворошилову. Энергии ему хватало только до вечера. Выдохнется, а дела-то еще впереди. Едва задремлет под опекой своей заботливой, уравновешенной женушки (Екатерина Давыдовна Горбман следовала за мужем по всем фронтам), только начнет похрапывать — звонок Иосифа Виссарионовича: «Товарищ Ворошилов, тебе известно, куда переместился штаб генерала Фицхелаурова? Нет? Узнай и подумай, куда и зачем он переместился». Какой уж тут сон!

Впрочем, в ту пору Сталин еще как-то щадил своих соратников, не очень докучал им после полуночи. Это уж потом стало привычным, естественным: если он сам работает, то почему же другие ответственные товарищи должны отдыхать?!

Более-менее нормальная жизнь наладилась у Иосифа Виссарионовича в двадцатые годы, в то недолгое время, когда он был счастлив с Надеждой

Сергеевной, когда она поддерживала добрую, спокойную обстановку в семье. Сталин тогда покидал кабинет до полуночи, бывал в театрах, в концертах. Весел был, бодр, часто шутил, пополнел.

После смерти Аллилуевой тоже складывалось по-всякому. Обычно работал Сталин до двадцати четырех. До часу можно было позвонить ему на квартиру. А резкий слом режима произошел с началом войны. Опять же все объяснимо. Сведения с фронтов стекались в Генштаб, в Ставку до позднего вечера. Их обобщали и анализировали, прежде чем представить Верховному Главнокомандующему (за исключением экстренных случаев, когда Сталин получал информацию сразу). Ему докладывали, он вникал в подробности. Тут же намечались дальнейшие действия. Лишь после этого, часа в четыре, Иосиф Виссарионович уходил отдыхать. Иначе не получалось.

Практика, сложившаяся под влиянием военных событий, в свою очередь в какой-то мере влияла и на режим, на порядок боевых действий. Атаки, как правило, начинались утром, на рассвете. Я не раз высказывался против этого штампа. Это же на руку противнику. Да откажитесь же, генералы, от этого шаблона, начинайте наступление среди дня, под вечер, поломайте стереотип, к которому привыкли немцы. Сами-то они ломают свои стандарты, когда это им выгодно. Однако реальная действительность сильнее теоретических выкладок. Наши полевые командиры ссылались на то, что ночью можно подготовить атаку незаметно для противника. Завязав бой на рассвете, можно потом, среди дня, разобраться в обстановке, лучше управлять подразделениями. Лишь немногие наши офицеры поступали иначе, атаковали в разное время. К концу войны таких офицеров становилось все больше: сказывался накопленный опыт. А немцы, наоборот, постепенно утратили охоту к импровизации, чем дальше, тем шаблоннее действовали. Пожалуй, это закономерно. Разнообразить время и формы боя на войне чаще позволяет себе тот, кто сильнее, кто полон уверенности…

Ну, мы речь повели о том, что Иосиф Виссарионович в новогоднюю ночь отступил от режима: не выслушав вечернего доклада Генштаба, удалился в свои скромные апартаменты и, как можно было предположить, не оказался там в одиночестве. Хорошо, если действительно так. Разрядка для человека. Во всяком случае, на следующий день он был добродушен, спокоен. Я понял его состояние по голосу, когда он позвонил мне, часов этак в семнадцать. Поздравили друг друга с наступившим, Сталин справился о моем самочувствии. Он и до войны, случалось, начинал разговор с немолодыми людьми вопросом о здоровье. А в напряженные дни подмосковного сражения и в последующее время спрашивал об этом почти обязательно. Впечатление производилось сильное. Представьте себе генерала на передовой, ведущего тяжелые бои без сна и отдыха. Или директора завода, которому поручено сделать невероятное: развернуть цеха в чистом поле и за месяц наладить выпуск военных самолетов. Нервы на пределе. Где уж тут думать о себе, о своем состоянии! Да у некоторых даже собственная жена не решалась спрашивать о самочувствии. А тут вдруг звонит Верховный Главнокомандующий и начинает не с разноса, а участливо, по-отечески:

— Здравствуйте, товарищ Еременко. Как ваше здоровье?

Дальше Сталин претензии выскажет, и обругать сможет, и с должности снять, но забота оставалась в памяти, вселяла любовь и уважение к

вождю, некоторых трогала до слез: вот ведь помнит, думает, беспокоится…

Кое-кто, правда, считал этот интерес к здоровью собеседника просто восточной вежливостью или даже наигранным, расчетливым психологическим ходом. Если и да, то и одно, и другое лишь в небольшой степени. Как и нельзя считать это только сложившейся привычкой. Иосифа Виссарионовича действительно интересовало физическое и душевное состояние людей, находившихся на ответственных постах. Сам испытывавший недомогание довольно часто (и по возрасту, и из-за глубоких переживаний, потрясений), он хорошо понимал, как важен здоровый дух в здоровом теле. И учитывал состояние того или иного исполнителя в своих замыслах, планах. Вот конкретность. В декабре сорок первого Сталину доложили о том, что генерал-полковник Еременко (возьмем его, раз уж вспомнили) завершает лечение в госпитале и хотел бы получить новое назначение. Иосиф Виссарионович засомневался: очень уж быстро поправился генерал, торопится, хотя, конечно, организм у него крепкий. Навел справки. Велел Поскребышеву связаться с Еременко по телефону. Ну, и обычное начало:

— Здравствуйте. Как ваше самочувствие?

Тот, к счастью для себя, ответил честно: рана еще побаливает, но воевать он способен. Обидно сидеть без дела.

— Хотите воевать или можете воевать? — уточнил Сталин.

— Могу!

— Уверены, что здоровье не подведет?

— Полностью уверен.

— Хорошо, товарищ Еременко, мы подумаем.

Верно, Иосиф Виссарионович и подумал, и посоветовался. Учел не только физическое состояние Андрея Ивановича, но и наше с Шапошниковым пожелание не возвращать пока Еременко на должность командующего фронтом. Он морально не восстановился после разгрома Брянского фронта, ему нужно, не горячась, постепенно обрести былую уверенность. Лучше поручить ему пока армию. Хотя бы создаваемую 4-ю ударную, которая по боевым возможностям не уступала тому фронту, которым Еременко неудачно командовал. И назначение состоялось. Так что вопрос о здоровье, повторяю, не был для Сталина пустой формальностью, проявлением восточной вежливости. Вот и тогда, в первый день нового года, Иосиф Виссарионович прежде всего справился о моем самочувствии, потом произнес весело:

— Николай Алексеевич, послезавтра у нас суббота, я сказал Власику, чтобы топили баню в Блинах… Давненько мы с вами не парились, а морозы стоят сибирские… Можете приехать к двадцати трем?

— С удовольствием. А веники-то есть? Запасли в этом году?

— Власик говорит, что есть сеголетошние. Немного, но запасли… И просьба к вам, Николай Алексеевич. Давно не брал в руки шахмат. (По голосу я чувствовал, что он улыбается.) Захватите с собой шахматы… Наши, старые, еще целы?

— С «Сетанкиной фигурой»? — не удержался от улыбки и я. — Берегу как память.

— Захватите, пожалуйста, их.

Вот о чем вспомнил Иосиф Виссарионович в новогодний день! О временах давно минувших, сравнительно спокойных, с забытыми неприятностями, теперь уже согревающих, радующих душу. «Что пройдет,

то будет мило», — сказал поэт. Я, разумеется, готов был доставить Сталину (да и самому себе) разрядку, удовольствие. К тому же и история, связанная с шахматами, была довольно любопытной. Незначительная, но памятная. Когда любимый ребенок Иосифа Виссарионовича, его радость и надежда, его дочка была еще совсем маленькой, она некоторое время не выговаривала букву «в». Не то чтобы не выговаривала, а будто проглатывала, что вообще-то случается довольно редко. На обычный вопрос взрослых «Как тебя зовут?» отвечала: «Сетана… Сетана». Братик у нее был не Вася, а «Ася», вместо «виноград» — «иноград» и так далее. Любящего папу все удивляло и умиляло в его несравненной крохе, в том числе и особенности, отличавшие ребенка от других, придававшие индивидуальность. Эти маленькие, очень личные, семейные особенности как-то размягчали его душу.

До самой войны Светлана была в его представлении ребенком, милой, умной, послушной девочкой, его будущей опорой. В коротких и ласковых письмах своих он по-прежнему называл ее Сетанкой, не желая расставаться с той радостью, которую подарила она ему в детстве. Это была его надежда. Хотя не только я, но и другие уже начали замечать то, чего не мог осознать любящий отец: это, в общем, вполне естественно. Меня поражало, как округлялись, становились белесыми и зло блестели глаза девушки, когда что-то было ей не по нутру, как искажалось при этом неприятной гримасой ее лицо. Все чаще искала она поддержки у «дяди Лаврика» — у потакавшего ей Лаврентия Берии. Метания, издержки молодости? А мне казалось, что нет у нее внутренней опоры, крепкого корня, как, например, у моей дочери. Тут все твердо: «Я русская (хотя в роду у нас были и татары, и украинцы), по сути своей я русская; вот мое огромное, замечательное государство, я неотделима от него; мои интересы — это прежде всего интересы моего Отечества». А у Светланы, вырожденной из неопределенного многонационального месива, такого корня словно и не было. Немцы, цыгане, евреи, грузины, русские — кто же она в конце концов, какому ей Богу молиться, какую землю любить? Вообще-то национальность определяется не только происхождением. Я спрашивал многих людей, кто в их представлении россиянин, русский? И мне часто отвечали: тот, кто душой предан России, кто готов идти на плаху ради ее интересов, могущества и величия. У Светланы же не было ничего этого. Довлела космополитическая сущность, осложненная обостренной страстностью аллилуевских женщин, вплоть до утраты всех других восприятий, кроме чувственности. Слава Богу, что Сталин не дожил до ее позора.

После его смерти Светлана свершит тройное предательство. Она предаст дела и заветы отца, отречется от него, взяв другую фамилию. Она предаст сына и дочь, бросит их на произвол судьбы, бежав с любовником за границу, не сумев справиться с чрезмерной сексуальностью, которая выбивала из колеи, калечила жизнь семей ее бабки Ольги Евгеньевны и матери — Надежды Сергеевны. Самим этим женщинам подобное их состояние приносило удовольствие и удовлетворение, но мужьям, близким родственникам — только беды. А Светлана вообще пошла дальше бабки и матери, она предала самое святое, что есть у человека, предала Родину. Не только изменила, но и в своих печатных трудах охаяла наши нравы, порядки, обычаи. Нас, русских, оскорбляет, унижает она от имени русской женщины, хотя русской крови в ней разве что десятая капля; о русских имеет она смутное представление, потому что росла, училась, работала

хоть и в СССР, но зачастую среди людей чуждого нам племени, чуждого духа. При полном непонимании русской натуры С. Аллилуева позволяет себе самоуверенно судить о нас. Какое искажение реальности для иностранных читателей! Какая субъективность, предвзятость, неуравновешенность! Где кончит Светлана Иосифовна свой путь? В сумасшедшем доме? А ведь Иосиф Виссарионович связывал с ней большие надежды, о которых нам еще предстоит рассказать.

Простите, опять я одергиваю себя — ушел в сторону. Перегруженная память мешает укладываться в сюжетные рамки, отступления торчат, как колючки у ежа. Но ведь и ежа не было бы без этих колючек. Так вот, в первой половине двадцатых годов, когда семейная жизнь Сталина доставляла ему радость и успокоение, когда маленькая Сетанка проглатывала букву «в», мы с Иосифом Виссарионовичем нередко сражались в шахматы. И был такой случай. Расставили фигуры, а белой туры не хватает. Обшарились — нету. Спросили Надежду Сергеевну, спросили Шуру Бычкову — нет, не видели. Ну, потеря не у нас первых — мышь утащила. Поставили вместо туры спичечный коробок, и Иосиф Виссарионович сделал ход.

Партия была в разгаре, смирились мы с коробком вместо туры, как вдруг возникла возле отцовских колен рыжеватая детская головенка. И прозвучало очень серьезно:

— Па-па, Сетанка нашла!

Девочка протянула отцу почти новую катушку от ниток. Деревянную белую катушку — поясняю это потому, что теперь наматывают нитки на какую-то бесформенную пластмассу. А деревянными-то катушками, не лишенными определенной эстетики, дети играли.

— Спасибо, ты помогла нам, — Иосиф Виссарионович ласково коснулся ладонью виска дочери.

Спичечный коробок мы сняли. И вот с катушкой Иосифу Виссарионовичу тогда повезло. Он спас почти безнадежную партию и уверовал, что «Сетанкина фигура» приносит ему удачу.

Сейчас пишу и чувствую, что ни по здоровью, ни по отпущенному мне сроку уже не будет возможности вернуться хоть и не к первостепенной, но любопытной теме: Сталин и шахматы. Не надо забывать, что все или почти все российские революционеры, проведшие долгие годы в тюрьмах и ссылках, неплохо освоили старинную игру, которая помогала коротать время, не давая засохнуть мозгам. В камерах вылепливали фигурки из хлебного мякиша, чтобы быстро смять или проглотить при досмотре. В ссылках вырезали фигуры из дерева, даже из камня. В туруханской ссылке Иосиф Виссарионович сражался за шахматной доской особенно часто и столь же часто добивался победы.

Играл он действительно хорошо. Сочетание двух особенностей способствовало ему. Быстрая реакция, умение точно оценить тактическую обстановку сразу после хода противника, даже очень коварного хода. И врожденная способность заглядывать вперед, думать о последствиях, мысленно прокатывать различные варианты, учитывая технические, материальные и моральные возможности соперника — это уже стратегия. Но играл Сталин неровно, в зависимости от настроения, от отношения к человеку у противоположной стороны доски. На мой взгляд, шахматы вообще вождям противопоказаны. Общеизвестно: для серьезного в них слишком много игры, а для игры они слишком серьезны. Одно дело тренировать умственные способности в ссылке, где и заняться-то больше

нечем, и совсем другое расходовать мыслительную и нервную энергию, когда и то и другое на пределе, требуется восстановление, накопление, а не бесполезная трата. Проиграл — выиграл, выиграл — проиграл: азартный бег на месте. Даже опасный бег для натур, самолюбивых, обидчивых, мстительных. Когда Иосиф Виссарионович выигрывал, он начинал подозревать соперника в том, что тот поддается ему, и подозревал зачастую не без оснований. Если же проигрывал раз за разом, то злился, раздражался, подсознательно затаивал неприязнь. Это потом сказывалось.

Во мне Иосиф Виссарионович не видел сильного шахматиста. Я и правда часто оказывался сраженным, хотя и старался добиться успеха. А Сталин играл со мной спокойно, без напряжения. Отдыхал, а порой даже обдумывал что-то свое. Побеждая — искренне радовался. Проиграв — слегка досадовал и, как правило, предлагал реванш. Я чаще всего отказывался: это, мол, засасывающая трясина, это алкоголь, способный опустошать, но ничем не обогащающий.

А еще Иосифу Виссарионовичу правилось играть с Ежовым (может, поэтому и приблизил к себе человека, не отличавшегося порядочностью). Ежову он проигрывал чаще, чем мне, общий счет у них был примерно равным, и каждая победа давала Сталину удовлетворение. Он считал, что Ежов всегда ведет борьбу честно, с полной отдачей и на нем, дескать, можно проверить свои способности. К концу карьеры, правда, Ежов стал сознательно проигрывать, но это не пошло ему на пользу. Наоборот, Сталин укрепился в мысли, что перед ним приспособленец. Кстати, одна из их партий, в которой победил Иосиф Виссарионович, была признана шахматными корифеями весьма оригинальной, поучительной и опубликована в соответствующем справочнике… Рьяным борцам с культом личности поясню: не у нас воспевались шахматные успехи Сталина, их заметили и отметили за рубежом.

Если говорить о предвоенном и теперь уже военном периоде, то Иосиф Виссарионович действительно «давненько не брал в руки шахмат», не до этого было, поэтому предложение прихватить на Ближнюю дачу нашу старую коробку с белой катушкой порадовало меня. Тоска ли это у Сталина по прошлому, возвращение ли полного душевного равновесия — я не знал. При всех условиях, независимо от причины, — хорошо и полезно.

Ну а банька наша кунцевская, полусибирская, как всегда, доставила нам удовольствие, тем более после долгого перерыва. И парок был на славу, и веники, предусмотрительно заготовленные Власиком, показались на редкость духмяными. Самый настоящий был отдых, особенно для Иосифа Виссарионовича.

Пусть простят меня за излишние подробности, но ведь речь идет не о рядовом человеке, а о руководителе великой страны, о самом крупном политическом деятеле определенной эпохи, и тут, по моему разумению, все детали важны для вдумчивого читателя. На протяжении многих лет мне доводилось частенько видеть Иосифа Виссарионовича обнаженным. И когда он полнел, обзаводясь брюшком, и когда по той или иной причине терял вес. Не стоило упоминать об этом, если бы не худоба, поразившая меня в тот первый субботний вечер 1942 года. Впалый живот. Обтянутые желтоватой кожей ребра. Словно бы заострившиеся, потерявшие округлость локти, плечи, колени. На сколько он похудел? Килограммов на десять или на целый пуд? И подвижнее стал… А подумал я, глядя на него,

вот о чем: война войной, но вот тучный Черчилль ни грамма не сбросил. Другая война или другое восприятие?!

Не отощал, впрочем, и генерал Власик, всегда любивший закусить обильно и сытно. Сталин подшучивал над ним, просил хлестать веником посильнее, чтобы хоть в этой физической работе растряс начальник охраны избыток калорий. Советовал отказаться от сала, поменьше употреблять мучного. Власику было неловко, это при его-то непробиваемости.

О делах не толковали. Всплыл почему-то уже известный читателям банный же разговор о народном артисте Москвине, который призывал любителей рыбной ловли 22 июня попытать счастья на Москве-реке, так как день ожидался теплый, а клев хороший… Сталин вспомнил, а вспомнив, даже разволновался, как рыбачил он в туруханской ссылке. Не каких-то окуньков да подлещиков ловили, нет: в устьях ручьев и речушек, бурливших после дождей, добывали огромных (как бревна!) жирных тайменей. Подробно поведал нам Иосиф Виссарионович: из большой реки таймень идет к таким устьям кормиться, ведь мутная вода несет не только таежный хлам, но и всякие погибшие, утопленные существа, среди них и не мелкие. И зайчат, и бурундуков, и птиц. Особенно много мышей. Тайменю только пасть разевать. А тут и рыбаки, в том числе и ссыльные. Нацепят на большой крючок кусок звериной шкурки или материю, свернутую наподобие мышки, алчный таймень и заглатывает. Лучше всего наживка из сукна солдатской шинели, но при бедности, в которой жили ссыльные, об этом можно было только мечтать. Однако все равно уловы были большие, в запас.

— Какая уха… Северная рыба особая. Давно енисейской рыбы не пробовал, — прочувственно произнес Иосиф Виссарионович.

А я нарочно поерничал:

— Угости вас теперь ухой или жареным тайменем, вы что скажете? Откуда, мол, это? Народ живет на строгом пайке, а товарищ Сталин, злоупотребляя своим положением, питается вкусной сибирской рыбой. Почему так? Кто виноват?

— Скажу, — засмеялся Иосиф Виссарионович. — Скажу, потому что это правильно. Как товарищ Сталин сможет понять жизнь людей, жизнь народа, если он одевается не как все, питается не как все, лечится не как все.

— Но тайменя, однако, хочется.

— Конечно, хочется, да что поделаешь, — развел руками Иосиф Виссарионович.

— И мне тоже, — сказал я. — В Красноярске таймень не такой уж деликатес. У меня там знакомые, могут прислать замороженного. Хоть самолетом, хоть поездом. Тем более для товарища Сталина. Вагон рыбы пришлют.

— Нет, — посерьезнел Иосиф Виссарионович. — Для Сталина как раз не нужно. Это было бы совсем неверно.

На том и закончили. А я все же решил доставить удовольствие нашему исхудавшему Верховному Главнокомандующему, для общей пользы подкрепить его. Связался с Красноярским крайкомом партии. Там был тогда молодой работник Константин Устинович Черненко, кажется, второй секретарь. Я знал о нем: он собирал материал о туруханской ссылке товарища Сталина, о его пребывании на берегах Енисея. Остальное не требует объяснений. Дней через десять Иосифу Виссарионовичу

приготовили уху, а затем предложили и жареного тайменя. Он, конечно, понял, откуда сие. С жареной рыбой мы расправились вместе…

Ну а после баньки продолжили привычную процедуру. Обсохли, оделись и, закутавшись в тулупы, вышли на террасу. Расположились в креслах. Власик принес коньяк, рюмки, фрукты. Все это — на столик между нашими креслами, куда Иосиф Виссарионович велел поставить и шахматы. Те, старые, с «Сетанкиной фигурой». За прошедшие годы катушка, заменявшая туру, потемнела, обветшала, надо бы новую, но я знал приверженность Сталина к привычным вещам. Он взял катушку, согрел ее в руках, поднес к щеке и долго держал, ощущая ее тепло, казавшееся, наверное, ему теплом любимой дочки.

Поставил фигуру на место. Сделал ход, другой. Я отвечал. Паузы между ходами становились все длиннее. Ночь была морозная, тихая. Редкие выстрелы зениток, разрывы снарядов лишь контрастно подчеркивали эту тишину, которая делалась еще более глубокой, звенящей. Иосиф Виссарионович подремывал. Я взглядом показал Власику, чтобы удалился. Меня тоже после долгого дня, после парилки и коньяка охватывало блаженное состояние, я погружался в приятное полузабытье. Но какой-то свет резанул по глазам. Вдали, на западе, медленно опускалась к черной зубчатой кромке леса осветительная авиабомба. Глянул на спавшего Сталина. При неестественном трепетном свете сомкнутые губы его казались бескровными, белыми. Щеки — восковые. Вместо глаз — черные провалы. Показалось, что он не дышит. Неподвижное, остывающее тело! Я даже вскрикнул. Иосиф Виссарионович открыл глаза, осмотрелся, вздохнул глубоко, спросил:

— Мой ход, Николай Алексеевич?

Врезалось в память восковое его лицо, неподвижность, провалы глаз. В тревожных снах видел его потом таким. И ведь не предугадаешь. Через одиннадцать лет смерть придет за ним именно сюда, на эту террасу. В ночь после бани проберется к нему через теплый тулуп. Но одиннадцать лет — это довольно большой срок, вместивший в себя много очень важных исторических событий.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1

Вечером 5 января 1942 года состоялось совместное заседание членов Ставки Верховного Главнокомандования и членов Государственного Комитета Обороны. Присутствовали также руководители Генерального штаба. Людей набралось много, поэтому и я находился не в комнате за кабинетом, а в самом кабинете, затерявшись среди других. Случай для меня исключительный, поэтому особо запомнился.

Необычность этого освещения не только в большом количестве участников, но главное — в его важности, да и в странной форме проведения. Оно замышлялось не только деловым, но и праздничным. В этом особенно проявилось естество Иосифа Виссарионовича того периода: становясь все более военным, он не утратил черты политического, партийного деятеля. Некоторые поступки, решения, в том числе и удачи, и срывы можно объяснить сочетанием и противоборством этих двух качеств. Плюс, конечно, характер, натура, опыт.

Среди тех, кто готовил это совещание и готовился к нему, на сей раз не было единодушия, однако, я надеялся, что разногласия сгладятся, и не предполагал, что они проявятся в столь резкой форме, как это произошло. Даже начало совещания не предвещало вроде бы конфликта. Борис Михайлович Шапошников кратко подвел итоги сражения под Москвой и наших контрударов под Ростовом и Тихвином. Начальнику Генштаба как раз бы предложить и обосновать подробный план предстоящих действий, прояснить ближайшие и дальние перспективы — это его заботы, но о перспективах Шапошников сказал еще короче и суше, чем о достигнутых успехах. Противник, дескать, еще не сломлен, однако Ставка считает: немцы не выдержат наших настойчивых последовательных ударов на различных участках от Ладоги до Азовского моря. На такой оценке базируется соответствующее решение Верховного Главнокомандования развернуть наступление по всему фронту, чтобы до весны освободить большую территорию, заставить противника израсходовать силы до летних боев.

Без огонька, без твердой уверенности, в несвойственной ему казенной манере изложил все это Борис Михайлович. И не от усталости, не от нездоровья: говорил не совсем то, что считал нужным, а то, что обязан был сказать по долгу службы. Его тон в какой-то мере повлиял на оптимистическое настроение Сталина. Но незначительно. Иосиф Виссарионович поздравил собравшихся с большими успехами, подчеркнул, что эти успехи необходимо закрепить и развить. Сие выступление Верховного Главнокомандующего многократно приводилось в исторических исследованиях, в мемуарах, поэтому я процитирую только определяющие фразы и сосредоточусь на том, что, как теперь принято выражаться, «осталось за кадром». А осталось немало. Изложенное маршалом Шапошниковым в общих чертах Сталин начал детализировать, уже одним этим подчеркивая, где и у кого созрел замысел:

— Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к зиме, рассчитывая на быструю победу, — говорил Иосиф Виссарионович. — Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчитывает сорвать, задержать наше наступление, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть время, получить передышку. А наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, чтобы они не могли создать, накопить резервы. Тогда к лету у нас будут резервы, а у немцев не будет больше резервов…

Разъяснял все это Сталин ровным негромким голосом, прохаживаясь по, кабинету вдоль длинного стола, за которым сидели присутствующие. Сообщал то, что было обдумано им, не вызывало сомнений у него, с уверенностью, что не вызовет сомнений, возражений и у других. Даже тише обычного говорил, сдерживая свои радостные эмоции, вызванные боевыми успехами. Слушавшие напрягались. В том числе Жуков, и особенно в те моменты, когда Сталин удалялся от него, спиной к нему. Мы уже упоминали о том, как бессонные ночи, переутомление, длительное нервное возбуждение отразились на состоянии Георгия Константиновича. Давали знать себя контузия, полученная в первой войне с германцами. С ноября у Жукова часто болела голова, ломило уши, обострялась раздражительность.

— Погромче, — не выдержал он.

— В чем дело, товарищ Жуков? — остановился Сталин, удивленный тем, что его прервали.
— Бубните себе под нос, половины не слышно.
Иосиф Виссарионович опешил. Мог бы взорваться. Но силен был гипноз Жукова, героя Московской битвы, несгибаемого генерала, ломавшего все авторитеты.
— Ми-и не бубним, товарищ Жуков, ми-и говорим об очень серьезных вещах.
— Поэтому и прошу говорить громче, чтобы все слышали.
Сталин уже полностью взял себя в руки:
— Не надо просить за всех. Если у вас плохо со слухом, это не значит, что и у других тоже. Но я постараюсь, чтобы меня слышали, чтобы меня поняли все.
И действительно заговорил громче, остановившись возле своего стола. Изложил замысел. Общее наступление должно было вестись по трем направлениям. Войска Ленинградского, Волховского фронтов должны нанести поражение вражеской группе армий «Север», отбросить противника как можно дальше от Ленинграда. Войскам Юго-Западного и Южного фронтов ставилась задача разгромить группу армий «Юг» и освободить Донбасс. А Черноморскому флоту и Кавказскому фронту освободить Крым… Вроде бы все правильно, надо наращивать активность там, где были достигнуты успехи. Но почему все больше мрачнел Жуков, почему хмурился Василевский, почему неподвижным как маска было выразительное обычно лицо Шапошникова?! Не знаю, как выглядел в тот момент я сам, но беспокойство не покидало меня. А Сталин между тем продолжал развивать свой план. Главные события должны были развернуться в центре, где противнику нанесено особо ощутимое поражение. Войскам левого крыла Северо-Западного, Калининского фронтов и главным образом Западного фронта, предстояло, охватив противника с севера и с юга, окружить крупную группировку врага в районе Ржева, Вязьмы, Смоленска. А окружив — уничтожить, открыв тем самым путь на Минск. Обстановка складывалась так, что это представлялось вполне возможным. Наши войска уже нависали над Вязьмой с севера, навстречу им с юго-востока туда же двигалась группа генерала Белова. А взять Вязьму — значит перерезать все пути, связывающие большую вражескую группировку с ее тылом, перехватить горловину огромного «мешка».
То, что намечалось осуществить на главном, на западном направлении, у собравшихся не вызывало сомнений. Фактически Жуков уже осуществлял этот замысел. А вот по поводу северного (ленинградского) и южного (ростовского) направлений единства при разработке планов не было; не оказалось его и на заседании. Едва Иосиф Виссарионович предложил желающим высказаться, сразу встал Жуков, заговорил резко, напористо:
— На западном стратегическом направлении, где создались благоприятные условия и противник не успел восстановить боеспособность своих частей, надо продолжать наступление. Но для этого необходимо пополнить фронты личным составом, боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями, без чего трудно выполнить планируемые задачи. Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там они стоят перед необходимостью прорывать серьезную оборону и без мощных

артиллерийских средств не смогут сделать этого, а только измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я настаиваю на том, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести решающее наступление. А от наступления на других направлениях воздержаться, — с нажимом на последнем слове закончил Жуков.

В этом и была суть спорной проблемы. Георгий Константинович хотел добиться большого успеха на своем участке: на одном участке, но наверняка. А Иосиф Виссарионович стремился выполнить свое обещание достичь победы если не через полгода, то, во всяком случае, через год. И у того, и у другого имелись веские доводы. Однако Жуков высказался «с ходу», прибыв с фронта, не зная о том, что предшествовало заседанию. А у Сталина была уже твердая, подготовленная позиция. Его поддерживали политические деятели, даже некоторые военные специалисты. Маленков ратовал за наступление под Ленинградом, как и Жданов, возглавлявший оборону северной столицы. Надеялись хотя бы облегчить положение осажденного города. За активизацию действий на юге выступал Мехлис, у которого, как выяснилось впоследствии, были особые соображения в отношении Крыма. Настойчиво доказывал необходимость освобождения Донбасса и юга Украины маршал Тимошенко. Понятно — не сидеть же ему сложа руки, когда другие наступают, получая для этого подкрепления, не оставаться же в тени… Ну, а Берия поддерживал Сталина хотя бы потому, что вообще всегда и во всем был на стороне вождя, стараясь не возражать, не раздражать, а только исполнять, сохраняя расположение «хозяина». Все остальное для Лаврентия Павловича значения не имело.

Особую позицию занимал Борис Михайлович Шапошников. По его мнению, основные усилия надо было сосредоточить для окружения и разгрома группы армий «Центр», для чего имелись основательные предпосылки. В этом отношении он поддерживал Жукова. Но наступать нужно и на других участках: не везде, а лишь там, где противник слаб, где успеха можно достигнуть без привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов. Тем самым сковывать врага, не позволяя ему маневрировать. Не обязательно под Ростовом или Ленинградом, где силой взаимного притяжения сконцентрировались крупные противостоящие группировки, — искать удачу надо в любом выгодном для нас месте, тем более сейчас, когда немцы упали духом, когда не везде у них сплошной фронт. Прорыв и продвижение на каком-либо, казалось бы, второстепенном участке могут поставить гитлеровцев в трудное положение.

Шапошников был предусмотрителен и осторожен. Но Сталин, категорически поддержанный Тимошенко, был настроен очень решительно. И я, грешным делом, склонялся в его сторону, считая, что надо ковать железо, пока горячо.

Как и он, тоже слишком обольщен был достигнутыми успехами. Однако была у меня и своя идея, которую до совещания и даже после него я излагал Иосифу Виссарионовичу. Точнее сказать, идея была не только моя, но и Шапошникова, во всяком случае исходила из предложения Бориса Михайловича наступать там, где противник слабее, где само начертание линии фронта представляло нам неплохие шансы.

Вспомним: пробившись за Оку на запад, группа войск генерала Белова «протащила» за собой слева две армии: 10-ю и 61-ю. Они глубоко вошли в прорыв, оставив южней себя, в Орле, полуразгромленные войска 2-й танковой армии Гудериана и некоторых других вражеских соединений.

Наша пехота оказалась там значительно западнее немецкой группировки, причем «висела» вся эта орловская группировка на двух «нитках», на двух железнодорожных линиях. Одна — в Курск и далее, кружной путь. Другая — через Брянск, прямо на фатерлянд. Перерезать бы эту «нитку» — и орловская группировка оказалась бы в тяжелейшем положении, да и весь вражеский фронт был бы расколот. Ведь западнее Орла начинаются Брянские леса, труднодоступные для гитлеровцев, а еще дальше — огромное Припятское бездорожье до самой границы. (Об особенностях «Припятской проблемы» мы уже говорили). По нашим прикидкам, частная вроде бы операция, выход из района Сухиничей на магистраль Орел-Брянск, могла дать значительный эффект. Вплоть до того, что немцы от Орла вынуждены были бы откатиться на Курск, на Белгород, а может и еще дальше. А всего и надо для этого — преодолеть несколько десятков километров по заснеженным полям и лесам, где у немцев не было крупных сил, оборонительных сооружений. Тем более, что и саму железную дорогу не обязательно было перерезать, достаточно подойти на дистанцию, доступную для артиллерии, подтянуть орудия и минометы, огнем перекрыть артерию.

Мы с Шапошниковым не только теоретизировали, но и действовали при молчаливом согласии Сталина и Жукова. Они понимали, что от запасного варианта хуже не будет, а развитию основных событий наши действия не мешали, даже наоборот: мы усиливали растянутое левое крыло Западного фронта, защищая его от возможного удара со стороны Орла. Конкретно: с того участка Подмосковья, который еще недавно считался важнейшим, из района Волоколамска мы сняли прославленную 16-ю армию генерала Рокоссовского. Это соединение было очень ослаблено, нуждалось в восстановлении, но уже одно упоминание о Рокоссовском заставляло вздрагивать немецких генералов. А мы перебросили управление 16-й с одной ее дивизией (с 11-й гвардейской) в район Сухиничей, где подчинили Рокоссовскому еще несколько действовавших там дивизий.

Военные историки утверждают, что 16-я армия была переброшена для усиления, для защиты левого крыла Западного фронта. Ну, и это тоже. Однако главная цель была все же другая. Появление там Рокоссовского сразу произвело должный эффект. Немцы почти без боя оставили город Сухиничи, ушли из-под удара подальше, на подготовленные выгодные позиции. Но и оттуда Рокоссовский вскоре их вышиб. И уже потихоньку, полегоньку начал осуществляться наш замысел, уже партизаны, диверсионные и разведывательные группы 16-й и 61-й армий начали по ночам перехватывать то в одном, то в другом месте железнодорожную магистраль. Немцы в Орле чувствовали себя очень неуверенно, наверняка не выдержали бы более сильного нажима. Но… ранен был и отправлен в Москву, в госпиталь, Рокоссовский, потом обострилось положение под Вязьмой, и наш с Шапошниковым замысел так и не удалось довести до конца.

2

Вернемся в кабинет Сталина, к тому моменту, когда Жуков завершил свое выступление словами: «Я настаиваю на том, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести решающее наступление. А от наступления на других направлениях воздержаться». После этих слов воцарилось молчание. Многие, вероятно, испытывали удивление и даже

раздражение, возникавшее в тех редких случаях, когда кто-то категорически возражал Сталину. Одни, наверно, думали: «Зачем это?», другие: «Как посмел?!» И сам Сталин — уже не добродушный хозяин, а официальный руководитель, закованный в броню спокойствия, с глухим, без интонаций, голосом.

— Кто еще желает высказаться?

И вместо ожидаемой всеми, в том числе им самим, поддержки получил еще один афронт. Поднялся редко выступавший на подобных заседаниях Николай Алексеевич Вознесенский, первый заместитель председателя Совнаркома СССР, председатель Госплана: этакий лобастый, сравнительно молодой человек (ему еще не было сорока) без седины в темных, зачесанных назад волосах. Начиненный цифрами, умеющий защищать свое мнение. Его недолюбливали «старики» из ближайшего окружения Сталина, им не по нутру были такие, как он, деловые люди, вооруженные конкретными знаниями. Принося ощутимую пользу, они начинали оттеснять от «хозяина» просто политиков, говорунов, интриганов. Косо поглядывал на Вознесенского и Берия. А Сталин, ценя знания, самостоятельность, организационные способности Вознесенского, нуждался в нем, терпеливо выслушивал его мнение. Этот мой тезка Николай Алексеевич — был тогда главным советником вождя по экономическим вопросам.

Это ведь он, Вознесенский, еще до войны неоднократно предлагал Сталину создавать большие стратегические резервы, настоял на том, чтобы никому не продавали алюминий, экономили и складировали его. Только благодаря созданным запасам нам удалось за первый год войны выпустить около 20 тысяч самолетов и восстановить боеспособность нашей авиации. Что бы мы делали без алюминия? И вообще: государственный преступник тот, кто не увеличивает, а разбазаривает мобилизационные резервы, богатство нации и основу военно-промышленного производства.

А сказал Вознесенский вот что. Материально-технически обеспечить общее наступление на трех направлениях невозможно. Эвакуированная промышленность только обживается на новых местах. Речь может идти об обеспечении хотя бы одного, главного направления, да и то с большой натяжкой. Особенно трудно с боеприпасами. В январе заявки Западного и Калининского фронтов будут выполнены по снарядам на 45 процентов, по реактивным зарядам примерно на столько же, так что часть артиллерии придется отвести в тыл за невозможностью использования. Не больше указанного поступит и мин для минометов разных калибров. Особенно скверно с боеприпасами для 50-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов, можно рассчитывать лишь на пять процентов от заявок для первых и процентов на тридцать для вторых. Это при условии, что централизованное снабжение всех других фронтов вообще будет сведено до минимума. Даже прекращено. А в феврале будет еще хуже. Производство возрастет на несколько процентов, но надо создавать базу для больших летних сражений.

— Как же так?! — не испросив разрешения, вмешался Жуков. — Для наступательных действий Западному фронту в феврале потребуется девятьсот вагонов артвыстрелов.

— Двести, — ответил Вознесенский. — Это максимум, который сможем дать, если не делить на три направления. Если делить, то вам сто двадцать. — И, помолчав, подвигав бровями, сказал то, на чем не

догадался или не решился сосредоточить внимание ни один из военачальников и политиков. О резервах на лето: — Нельзя рассчитывать на то, что немцы израсходуют все свои ресурсы в зимних боях. Фашисты тоже думают о будущем, о благоприятном для них сезоне. И возможностей у них гораздо больше. На немцев работает вся мощная индустрия Европы. И у союзников Германии, и в оккупированных странах. Во Франции и Чехословакии, в Италии и Испании, в Польше и Голландии… Потенциал огромен. А мы пока еще восстанавливаем свою промышленность, многое создаем заново. Если и есть равенство, то по производству артиллерийских систем. По производству танков у немцев десятикратное количественное превосходство. Количественное, но не качественное. По выпуску самолетов тоже большой разрыв, но опять же по качеству наши новые машины гораздо лучше. Быстро наращивает выпуск боевых самолетов новый завод, своевременно созданный в Комсомольске-на-Амуре. Однако это скажется не завтра, а позже…

В общем, Николай Алексеевич Вознесенский поддержал Жукова, вслед за боевым генералом, нарушив торжественный настрой заседания. Приведенные им факты и цифры были по отдельности известны Иосифу Виссарионовичу и другим присутствовавшим. Но взятые вместе, в единой связке, применительно к конкретной обстановке, они произвели если не ошеломляющее, то далеко не обнадеживающее впечатление. Даже на Сталина, я видел, подействовали. Он не спешил высказаться, раздумывал. А Берия не удержался, бросил сердито, не встав, не оторвав от стула тяжелый зад:

— У Вознесенского всегда находятся трудности. А вникнешь — можно преодолеть. Надавить и преодолеть.

Маленков подал свой голос следом за ним:

— Трофеев много захвачено. Их надо строго учитывать и использовать повсеместно, результативно и эффективно…

Иосиф Виссарионович пропустил вроде бы эти реплики мимо ушей, как несущественные… Не знал Маленков, звезда восходящая, что по поводу трофеев был уже разговор у Сталина с Шапошниковым в моем присутствии. И выявился при этом еще один пробел в военных знаниях нашего Верховного Главнокомандующего, вполне естественный для человека, не имевшего специальной подготовки. Сталин высказал недоумение: трофеев берем много, в том числе артиллерию и боеприпасы, почему они не становятся подспорьем для наших войск? Пришлось познакомить его с простой истиной: трофейное оружие (зачастую испорченное), трофейные боеприпасы с различными характеристиками не могут служить основой огневой мощи регулярных частей. Их может хватить на несколько боев каких-то подразделений, вооруженных вражеской техникой. Но это эпизод, случайность, а не постоянная надежная основа в большой войне.

3

По предварительным наметкам, после одобрения плана Ставки Иосиф Виссарионович должен был огласить директиву или, точнее сказать, составленное им самим директивное послание о том, как впредь, с учетом опыта недавних сражений, вести боевые действия. Документ любопытен тем, что, пожалуй, впервые Сталин претендовал в нем сразу на роль военного практика и теоретика, знатока и законодателя военного

искусства. Должен заметить, что появление этого послания вызвало определенное беспокойство у руководителей Генштаба. В смысле: пусть Верховный претендует на любые лавры, лишь бы не ухудшил, не запутал основные разработки, на которые опирались в своих действиях наши командиры разных звеньев и рангов. На все случаи рецептов не дашь, а командиров можно по рукам и ногам сковать тактическими и оперативными догмами.

После осторожной доработки тезисов Сталина в Генштабе мы пришли к выводу, что документ содержит общие понятия и конкретного вреда не принесет. Может, даже полезен будет для эмоционального взбадривания. Приведу лишь несколько абзацев из той директивы, те абзацы, которые не вызвали у Шапошникова, у Василевского и у меня никаких сомнений, не подвергались правке, осталась такими, какими были написаны Сталиным. Здесь и стиль, и образ мышления, и отзвуки той давней операции, того артиллерийского удара под Царицыном, который был предложен мной, одобрен Иосифом Виссарионовичем и хорошо организован Ворошиловым и Куликом. Превосходная операция Брусиловской школы, предопределившая тогда ход боевых действий на юге… А вот сталинские абзацы:

«У нас нередко бросают пехоту в наступление против оборонительной линии противника без артиллерии, без какой-либо поддержки со стороны артиллерии, а потом жалуются, что пехота не идет против обороняющегося и окопавшегося противника. Понятно, что такое «наступление» не может дать желательного эффекта. Это не наступление, а преступление, — преступление против Родины, против войск, вынужденных нести бессмысленные жертвы. Это означает, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а должна наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах во все время наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее глубину.

Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой «артиллерийской подготовке», а вместе с наступлением артиллерии, под гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки.

Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброс, а сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе действия ударной группы армии, фронта, и только в этом районе, ибо без этого условия немыслимо артиллерийское наступление».

Идти вперед «под звуки артиллерийской музыки» — это неплохо звучит, это идеально по существу. Были бы стволы, были бы боеприпасы… С болезненным напряжением я ждал, когда Иосиф Виссарионович начнет читать присутствующим свою празднично-приподнятую директиву: она совсем не соответствовала тому духу, тому настроению и борьбе мнений, которые возникли на заседании. Не то, совсем не то было настроение после выступлений Жукова и Вознесенского. И облегченно вздохнул, когда стало ясно: Иосиф Виссарионович почувствовал, понял ситуацию и отказался от своего замысла. Не стал даже, как обычно, подводить итоги, давать указания. Сказал, как о чем-то будничном:

— Поговорили, посоветовались. Спасибо. На этом, пожалуй, закончим.

Разъехались. Самым первым, с кем долго и подробно толковал потом Иосиф Виссарионович, был маршал Тимошенко, непреклонный сторонник наступления на юге. Очень важно, дескать, освободить Киев. Столица Украины наша — и вся Украина наша. Это был удивительно упрямый человек, «непробиваемый маршал», в любой неудаче искавший прежде всего вину других и свою выгоду. Неудача? А на сколько дней мы врага задержали? А какой урон нанесли противнику?.. Он считал: поражений самих по себе не бывает, поражение терпит лишь тот, кто признает себя побежденным. Остальное поправимо. Эта его абсолютная уверенность и самоуверенность оказывали влияние на Сталина. Во всяком случае, снимали с Верховного часть ответственности, она ложилась на плечи маршала. События разворачиваются по-всякому, для опытного политика важно, с кого спросить.

Да, политические соображения возобладали тогда над военной целесообразностью. На следующий день директива о всеобщем наступлении и директива Верховного Главнокомандующего о том, как вести боевые действия, были отправлены в штабы всех фронтов. Силы наши были распылены по трем направлениям, а в результате ни на одном из них мы не добились намеченной цели. Хотя в центре, у Жукова, большая победа в январе — феврале была близка, очень близка. Не хватило десятка стрелковых дивизий и нескольких танковых бригад. Конечно, история непоправима, но извлекать уроки из нее все-таки надо. А еще пишу об этом для того, чтобы показать, какие характеры и как сталкивались в высшем руководстве, почему вскоре после войны подвергнется гонениям Жуков, а среди «врагов народа» окажется талантливый экономист и организатор производства Николай Алексеевич Вознесенский. Ему припомнят все, в том числе и выступление на заседании, о котором рассказано здесь.

4

Скривил бы душой, утверждая, что отправлялся на передовую охотно. Осенью, пока не началось наше контрнаступление, было не до сомнений, не до колебаний: нужно или не нужно. Работали на пределе. Многие очень устали, в том числе и те, кто был значительно моложе меня. Выдохся, поддался болезням даже такой крепыш, как Жуков. Нуждался в отдыхе Шапошников, не щадивший остатков здоровья. Об отдыхе думал и я. А вот Сталин переживал особый подъем душевных и физических сил, был полон энергии. Он и Василевский казались совершенно неутомимыми, совместная работа все больше сближала их.

Иосиф Виссарионович не часто тревожил меня, советуясь лишь по оперативно-стратегическим вопросам, нащупывая, определяя перспективы. Зато Борис Михайлович Шапошников особенно стремился использовать тогда мои возможности… В жизни вообще, а на фронте в особенности бывает так: плохое событие, чрезвычайное происшествие есть, а виновных, допустивших оные по злому умыслу, нет. На войне зачастую война виновата. Но соответствующие органы обязаны расследовать, выявить, наказать. И летят головы… Милейший Борис Михайлович считал, что есть два человека, которые не только способны объективно, доброжелательно разобраться в событиях, но твердо отстаивать свою точку зрения, в том числе и перед Верховным Главнокомандующим. В чью непредвзятость Сталин верит и с чьим

мнением считается. Это Василевский и я. Думаю, что и сам Шапошников был в этом отношении третьим по счету и, может быть, первым по авторитету. А поскольку Василевский постоянно нужен был Сталину по всем текущим делам, безотлучно находился при Верховном, то для разбора сложных, неформальных вопросов, требовавших самостоятельных, ответственных решений, Борис Михайлович привлекал меня. Сталина это устраивало. Освобождалось его время. К тому же решение, принятое не им, в случае необходимости можно было пересмотреть. И брал он себе на заметку, как можно, подходить к событиям не строго официально, а по-доброму, по-русски, по совести. Хотя события были разноплановые, разновеликие, но даже самые, казалось бы, незначительные из них, чуть ли не полуанекдотические, могли обернуться для некоторых товарищей очень крупными неприятностями.

23 января 1942 года Совинформбюро торжественно объявило о том, что войска Северо-Западного фронта освободили несколько городов, в том числе важный опорный пункт город Холм. Я обрадовался, услышав сообщение по радио. Наконец-то! Напряженные бои за Холм вели несколько дивизий 3-й ударной армии, в том числе довольно сильная по составу 33-я стрелковая дивизия полковника А. К. Макарьева. Восстановленная осенью после выхода из окружения, эта дивизия получила хорошее пополнение — на командирские должности туда были направлены из Москвы слушатели военных академий. И вот, значит, успех. Однако радость была недолгой. Через два дня меня пригласил к себе Борис Михайлович. Выглядел он несколько смущенным. Сказал:

— Только что у Верховного пережил несколько неприятных минут. Холм не взят. Бои по-прежнему в окрестностях и на окраинах. Кого-то черт дернул за ниточку, поторопились сообщить. А немцы кричат теперь на весь мир о лживости советской пропаганды. С конкретным примером. Раздувают ажиотаж и, значит, будут держать этот город… Верховный, как понимаете, очень недоволен. Требует выяснить, и наказать… Если поедет специальная комиссия, она там накопает… Я заверил, что разберемся сами… Теперь, Николай Алексеевич, многое зависит от вас. Как вы?

— Самое простое — проверить цепочку донесений.

— Я понимаю, голубчик, но лучше посмотреть на месте. Это не очень далёко и займет два-три дня. Судьбы ведь человеческие.

Что тут возразишь, как откажешься?! Совесть потом замучает. Я, разумеется, поехал и правильно поступил, лишив, таким образом, особые органы возможности вынести скорый и строгий вердикт по фактам, казавшимся несомненными. Нет, я вовсе не собирался защищать кого-то, если была сознательно или злостно запущена дезинформация. Не могли рассчитывать на большое снисхождение и разгильдяи, допустившие оплошность. Но уже одно то, что узелок пытается развязать представитель Верховного Главнокомандования, весьма умеряло пыл тех, кто ищет не истину, а материал для обвинения, демонстрируя энергичные действия и тем самым показывая свою важность, необходимость. А мне, как профессионалу, кроме всего, интересно было понять, что же произошло.

Принялся разматывать клубок сверху. Вот оперативная сводка Северо-Западного фронта № 41/ОП за 20:30 21.1.42 года, переданная по телеграфу в Генеральный штаб. В ней сказано: «3 ударная армия в течение дня вела упорные бои за Холм и к исходу дня овладела таковым». В итоговой сводке Верховному Главнокомандующему за 21 января опять

же сказано: «После упорного боя части 33 сд овладели городом Холм». Но откуда все это взялось? Посмотрел донесения из 33-й стрелковой дивизии, сводки оперативного отделения штадива, политотдела. Там сведений о занятии города не было. Там говорилось, что дивизия ведет уличные бои и отражает контратаки противника с юго-западного направления. Значит, получив подобные сообщения, в штабе 3-й ударной армии кто-то посчитал, что не сегодня-завтра Холм будет в наших руках, и малость «спрямил» сводку с учетом перспективы. Пока, дескать, сводка дойдет до самого верха, факт свершится. А в штабе Северо-Западного фронта так и поняли: город наш.

Я мог назвать в своем заключении по крайней мере две фамилии штабных офицеров, допустивших просчет. Не очень-то опытных штабников, проявивших крайний оптимизм, но не более того. Вся их вина была в этом и в отсутствии скрупулезности. А оптимизм, даже чрезмерный, все же не та «провинность», за которую человека обязательно надо подвергать остракизму. В заключении я написал о низкой штабной культуре офицеров разных уровней, особенно первичных, подчеркнул необходимость точно указывать в документах полностью ли взят населенный пункт или только ведется бой за него, пусть даже в самом центре. Упомянул о беседе-семинаре по составлению документов, который был проведен с работниками различных штабов 3-й ударной армии. Меры, значит, были приняты. А тут еще такое совпадение: 22 января 3-я ударная армия была передана из Северо-Западного фронта в состав Калининского фронта. Одному фронту в самый раз было откреститься от расследования, лавров не сулившего, а люди Конева на Калининском фронте могли только плечами пожать: зачем нам чужие грехи?! Да и командир 33-й стрелковой дивизии сменился.

Можно было бы не упоминать историю с Холмом, если бы этот частный случай не имел долгих последствий, раздражавших Иосифа Виссарионовича. Дело в том, что дотошные немцы полностью использовали ошибочное наше сообщение о взятии города. Пропагандистская машина гитлеровцев «выжала» из этого все, что можно, с большой пользой для себя. Вражеский гарнизон, окруженный в Холме, держался потом несколько месяцев. Самолетами немцы доставляли подкрепления, боеприпасы, вывозили раненых. Холм превозносился Геббельсом как символ стойкости, ставился в пример другим войскам, находившимся в трудном положении. Как для нас — защита Брестской крепости. С натяжкой, конечно. Наши дрались в полной изоляции, а гарнизон Холма имел постоянную связь со своими, снабжался, вдохновлялся и поощрялся высшим командованием. Даже свежие газеты с описанием своего героизма регулярно получали немецкие солдаты в Холме.

Осажденным вражеским гарнизоном командовал упорный и упрямый генерал Шерер, получивший лично от Гитлера распоряжение удерживать город во что бы то ни стало. Во всех подразделениях был зачитан приказ фюрера: «Борцы Холма! Еще немного времени до часа освобождения. Держитесь храбро! Холм имеет решающее значение для предстоящего наступления!» Исполнительные немцы держались. В начале мая 1942 года фашисты нанесли внезапный удар по нашим войскам возле Холма. У врага было много танков. Блокада гарнизона, длившаяся более ста дней, была снята, немцы достигли успеха. Всем участникам обороны города была

вручена специальная медаль «За Холм» и представлен двухнедельный отпуск на родину.

Борьбу за этот город и упорство, с которым держался гарнизон, фашисты рассматривали как образец успешных действий в окружении. Оборону Холма они ставили впоследствии в пример войскам, окруженным под Сталинградом. Немецкий писатель Гельмут Вельц, участник Сталинградских событий, в своей книге «Солдаты, которых предали» вспоминает с иронией о том, как в соседнем блиндаже группа офицеров вела для сравнения специальный календарь. «Офицеры гордились каждым зачеркнутым днем, который приближал их к побитию рекорда Холмской группы».

Такова история, начавшаяся с обычного сообщения и возведенная до принципиального пропагандистского противостояния. История, имевшая не столько военное, сколько политическое значение. А я доволен хоть тем, что в этом конфликте, из-за которого могли полететь головы и правых, и виноватых, с нашей стороны никто не был обвинен, никто не пострадал.

Ну а Холм мы, разумеется, взяли. Только не в январе сорок второго, а на два года позже. Тут к месту привести сообщение Совинформбюро от 21 февраля 1944 года о «новом» и теперь уже окончательном освобождении не очень большого населенного пункта, получившего широкую известность в годы войны:

«Южнее озера Ильмень наши войска после ожесточенных боев овладели районным центром Калининской области городом Холм. Немцы в течение длительного времени укрепляли этот город и превратили его в мощный опорный пункт. Наши войска, действуя с юга на север, прорвали оборону противника и, быстро продвигаясь вперед, перерезали шоссе Холм — Локня, являвшееся основной коммуникацией немцев. Одновременно советские части форсировали реку Ловать севернее и южнее города Холм и завязали уличные бои. К исходу дня, разгромив противника, наши войска овладели городом Холм.

На улицах города немцы оставили более 500 трупов своих солдат и офицеров. Захвачено 20 танков, 32 орудия, 120 пулеметов, свыше 1000 автоматов и винтовок, склады с боеприпасами и продовольствием. На аэродроме захвачено 45 немецких самолетов, часть из которых повреждена и разбита. Взято значительное число пленных».

На этот раз сообщение было составлено с абсолютной точностью, все факты и цифры полностью соответствовали действительности.

5

К генералу Белову срочно отправился я по поручению Иосифа Виссарионовича, едва завершив продолжительный разговор с ним. Надо заметить, что после известного заседания 5 января Сталин значительно меньше, чем раньше, уделял внимания ведению боевых действий. Понятно: напряжение на фронте ослабло, мы наступали, ближайшие цели были определены, задачи доведены до исполнителей. Сталин занимался экономикой, политикой, партией, идеологией, то есть тем, к чему я прямого касательства не имел. Советов моих не спрашивал, разве что делился иногда по-дружески своими сомнениями, соображениями. Естественно, что и виделись мы реже, и не в официальной обстановке, а, как прежде бывало, — за поздним ужином, ближе к двадцати четырем

часам. Для Сталина это была небольшая передышка, подкрепление сил перед дальнейшей ночной работой.

— Николай Алексеевич, что там за стычка опять между Георгием и Пашей, — спросил он и, заметив мое недоумение, усмехнулся в усы:

— Между Жуковым и Беловым. Недавно Жуков нахваливал его, а теперь петушит в пух и прах. Грозит крутыми мерами.

— Честолюбив зело Георгий Константинович, ни с кем не хочет славу делить. Пригибает тех, кто поднимается вровень с ним.

— Это так… А если посмотреть в корень?

— Корней, конечно, несколько, но в принципе все сводится к одному, к установке на полную победу еще в этом году. Тут и ножницы. Белов исходит из своих реальных возможностей. Он наступает непрерывно почти полтора месяца, он прошел путь в полтора раза больше любого другого соединения…

— Мы это знаем.

— Я отвечаю на ваш вопрос. Белов по бездорожью, не получая боеприпасов и фуража, пробился к Юхнову. Мог взять этот город. Да что там «мог» — почти взял его, Варшавское шоссе было бы перерезано. В окружении оказалась бы часть сил группы армий «Центр», ее 4-я полевая армия. Сто тысяч солдат и офицеров, много техники. Все остальные дороги в районе 4-й армии занесены снегом, резервов у фон Клюге нет… Для немцев это был бы крах, во фронте образовалась бы брешь, открылся бы нам прямой путь на Вязьму…

— Хотите сказать, что это была синица в руках, — полуутвердительно произнес Сталин.

— Безусловно. Однако Жукова это не устраивало, у него свой размах, у него директива: силами Калининского и Западного фронтов окружить всю группу армий «Центр». Всю. А как? Мы не усилили Жукова за счет других направлений. Вот он и ищет возможности, маневрирует, давит на подчиненных. Срочно перенацелил Белова, перебросил в другой район: оттуда, мол, выгоднее прорваться прямо на Вязьму. А Юхнов, дескать, пехота возьмет, 50-я армия Болдина. Ан не взяла… Теперь Белов обижен, победа упущена, потеряно время, немцы очухались. Группа Белова уткнулась опять же в Варшавское шоссе, только в другом месте, не может пробиться через магистраль.[62]

— За это и ругает его Жуков. Почему перешел к обороне, нарушая общий замысел? По словам Жукова, своей нерешительностью Белов срывает план важнейшей операции.

— Но почему опять все требования к Белову, все шишки на Белова?! Он исчерпал свои возможности. Пополнялся за счет освобожденных пленных, местных жителей. К себе брал. Сейчас во всей его группе двадцать тысяч едоков. А у левого соседа, в 10-й армии Голикова, которая только подтягивается, закрепляя успехи Белова, в строю около семидесяти тысяч. У правого соседа, в 50-й армии Болдина, — более сорока тысяч.

— С середнячков всегда меньше спроса, и на войне, и в мирное время, — согласился Сталин. — Кто больше делает, тот более заметен, к тому внимание… Насчет корней мы с вами выяснили, — пошутил он. И сразу посерьезнел: — Жуков не ограничивается угрозами. Он посылает к Белову своего заместителя генерала Захарова с самыми широкими полномочиями. Мы ценим Захарова за его преданность, за решительность на поле боя, но в другом он способен лишних дров наломать.

— Захарова, кстати, как и Жукова, зовут Георгием. О Захарове говорят: жестокий дурак. В отличие от Жукова, про которого идет молва: жестокий, но умный. Такие вот разные Георгии.

— А про меня что говорят в этом аспекте? — Сталин был явно в хорошем, игриво-приподнятом настроении.

— Вы же не Георгий, — ответил ему в том же ключе.

— Не уклоняйтесь, Николай Алексеевич, зачем вам…

— Действительно, зачем?! Вы же знаете, что по нашу сторону фронта о вас — только хорошее… Что там хорошее — самое лучшее. Всем говорунам известно, сколь длинные уши и сколь цепкие пальцы у Лаврентия Павловича.

— А других причин говорить обо мне хорошо вы не видите?

— Отнюдь. Подавляющее большинство населения благодарно вам. Особенно сейчас, когда враг потерпел поражение под Москвой.

— Мы с вами, Николай Алексеевич, дискутировали когда-то о моей жестокости, или о моей жесткости, я уже подзабыл…

— На войне не дискутируют о командовании, а выполняют приказы. Иначе, особенно в период неудач, все вообще необратимо развалится.

— А Жукова, Захарова обсуждать и осуждать можно?!

Тут попрошу читателя извинить меня за позднее и, может быть, не совсем обязательное пояснение. Вспомнился вдруг сейчас, годы спустя, очень явственно голос Иосифа Виссарионовича, и как-то даже по сердцу полоснуло. Своеобразно произносил Сталин фамилию нашего прославленного полководца. Получалось у него нечто среднее между «у» и «ю», причем звучало мягко, жужжаще, протяжно. Пытаюсь повторить — нет, непроизносимо. Пишу — Жюков. Нет, не то. Скажу только, что самому Георгию Константиновичу правилось, как звучит его фамилия у Сталина.

Ладно, не будем больше об этом… Я повторил свои слова о том, что о Жукове, о Захарове, о том же Шапошникове в разных кругах отзываются по-разному, а вот о нем, о Сталине, насколько мне известно, или хорошо, или ничего. Есть вымпелы, есть флажки, есть флаги, но есть и Знамя, которое должно быть безупречным.

— Не все вы знаете, Николай Алексеевич, а мне приходится знать… И ругают, и сплетни обо мне распускают. Настоящие бабьи сплетни… Но это другое, — оборвал он себя, — это потом. Генерал Захаров сейчас отправляется в дорогу. Надо позаботиться, чтобы он не наломал этих самых дров, но позаботиться так, чтобы наш честолюбец Жуков не был задет. Когда вернетесь, расскажете мне, что за человек Захаров. И оденьтесь потеплей. Валенки обязательно. Козий полушубок хорошо, но тулуп еще лучше, поверьте моему сибирскому опыту, он побогаче вашего, — напутствовал меня Иосиф Виссарионович.

6

В ту пору на военных наших горизонтах, не беря в счет упоминавшегося нами командарма-49 генерала Ивана Григорьевича Захаркина, имелось еще по крайней мере трое почти его однофамильцев: генералов Захаровых. Видать, много было Захаров — их прародителей на Руси. Скажу о них, что бы не было путаницы, воздав каждому должное. Для их потомков хотя бы.

Один из этих генералов, Матвей Васильевич Захаров, будущий Маршал Советского Союза, имел основательный боевой опыт, возглавлял штаб

стрелковой бригады еще на гражданской войне, теперь он вполне управлялся со штабом Калининского фронта, подкрепляя своими знаниями, своим умением напористость Конева. Второй Захаров, генерал-майор (имя-отчество я, извиняюсь, запамятовал), был заместителем командарма-16 Рокоссовского и без преувеличения, весьма проявил себя в трудные дни под Москвой. Его фамилия появлялась в сводках в самые критические моменты. Это он, возглавив наскоро сколоченную группу из двух потрепанных дивизий, двух танковых бригад и курсантского полка, боролся за Клин на стыке 16-й и 30-й армий. Сражался стойко и умело. Группа оказалась в окружении, но отходила организованно, сковывая большие силы немцев на самом коротком пути к Москве. Удостоился чести: сам генерал-фельдмаршал фон Бок упоминал эту группу в своих приказах, требуя скорей уничтожить ее. Но не получилось. Группа Захарова организованно прорвалась в районе Белого Раста к своим, соединилась с 1-й ударной армией и приняла участие в контрударах. Прогремел, в общем, Захаров, а потом как-то исчез в безвестности, не знаю, что стало с ним. Я вот имя-отчество его забыл, а историки и фамилию, и дела его упустили из виду.

С третьим Захаровым, с Георгием Федоровичем, получившим звание генерала лишь в июне сорок первого года, я не был знаком. Знал только, что его «тянет» щедрый на слова, на обещания Андрей Иванович Еременко: кто-то должен был подкреплять его заверения, хотя бы частично осуществлять их. Вот и взял Захарова к себе начальником штаба Брянского фронта. Это тогда, когда Еременко уверил Сталина в том, что разгромит Гудериана. Ну а каков результат — мы знаем: сам был разбит, и с тяжкими последствиями. Однако вину взял на себя, что и оценил Иосиф Виссарионович. Когда Еременко в октябре был ранен и по счастливой случайности вывезен из окружения (встретил в Брянских лесах радиста-авиатора, тот сумел связаться с ближайшим аэродромом, прислали самолет), когда, значит, Еременко вывезли, Брянский фронт, разбитый и полуокруженный, возглавлял короткое время Георгий Федорович Захаров. Вывел какую-то часть войск из кольца, чем и привлек внимание Сталина. Не растерялся генерал, не сдрейфил. И получил повышение в звании. А главное — поднят был на высокий пост, на должность заместителя командующего самым важным тогда фронтом, сделался замом Жукова. И, судя по всему, вполне устраивал Георгия Константиновича. Он посылал Захарова туда, где надо была нажать, надавить, протолкнуть, добиться успеха любой ценой. Тот и налетал, как ястреб, и взрывался неожиданно, как тяжелая авиабомба. В войсках ему дали прозвище «пикировщик».

К Захарову я присоединился в Туле. Василевский через Соколовского (по телефону) предупредил Георгия Федоровича, что с ним поедет представитель Ставки. И все. Ни звания, ни должности моей Захаров не знал, отнесся настороженно. Кто и зачем этот пожилой гражданин, чего ждать от него? Меня такое его отношение не обеспокоило, даже наоборот: по особенностям службы чуждался я расспросов, да и по характеру замкнут. Не от рождения, жизнь приучила. Порадовался тому, что Захаров занял место на переднем сиденье вездехода, может, даже демонстративно спиной ко мне, рядом со своим шофером-адъютантом Зайцевым. Мне просторней было в тулупе на заднем сиденье, можно было расслабиться, отдохнуть. Да и вообще не люблю я разговоры городить, когда можно наблюдать, воспринимать, замечать изменения… Случалось, вернешься из поездки с говоруном, проболтавшим всю дорогу, спросишь о

впечатлениях, а ему и припомнить, и проанализировать нечего. Все время на анекдоты извел.

Путь наш проходил не по магистральным шоссе, а по проселкам, которые только и связывали с тылом далеко ушедшую за Оку группу Белова. До Крапивны дорога была хорошо расчищена, прикрыта зенитчиками, здесь царил полный порядок. Работали снегопахи (громоздкие треугольные сооружения из окованных железом бревен и досок, влекомые тракторами) и на тридцатикилометровом участке от Крапивны до Одоева, но там местность сложней, не равнина, а типичный рельеф Среднерусской возвышенности. Два или три оврага (ближе к Одоеву) настолько глубоки, а склоны их настолько круты, что они представляли собой настоящую зимнюю ловушку для техники. И не объедешь. Слева покрытые сугробами перелески и поля с редкими деревеньками — верст на тридцать, до железнодорожной станции Арсеньево. Справа обрывистые берега замерзшей Упы, недоступные технике крутояры, а за ними, за речкой, темные леса знаменитой тульской Засеки.

Молчаливыми свидетелями трагедий, разыгравшихся в этих ловушках, были сотни разбитых, взорванных, сброшенных с дороги немецких автомашин возле оврагов и на дне их. Заметенные снегом танки. Оставленные орудия — их не смогли втащить на обледеневшие склоны ни конные упряжки, ни тягачи. Немало было и наших застрявших грузовиков, наших танков. Возле них у костров грелись водители, танковые экипажи, опасливо поглядывая на небо: немецкие летчики знали, что на этих участках дороги всегда найдется добыча легкая и беззащитная.

В последнем возле Одоева овраге, у деревни с характерным двойным названием Ломиполозово-Навыполоз, не выдержав крутого подъема, безнадежно застрял крытый грузовик с охраной, сопровождавшей Захарова. Генерал обматерил начальника охраны, обругал шофера, назвав его вредителем и пообещав отправить под суд. Но криком ничего не исправишь. Дальше поехали одни.

За Окой, за Лихвином, в условленном мосте, в деревне, нас встретил начальник разведки 1-го гвардейского кавкорпуса майор Кононенко: коренастый, усатый, с карими умно-веселыми глазами, в лихо заломленной кубанке с малиновым верхом. Сказал, что у него две упряжки с легкими санками и верховые лошади. Дорога, конечно, расчищается по мере возможности, но если снегопад, метель…

— Сколько на санях? — перебил Захаров.

— За два дня доберемся.

— К чертям собачьим! Садись в вездеход, а сани пусть сзади, на всякий случай.

— Слушаюсь! — козырнул Кононенко. — Да ведь как бы верхом не пришлось.

— Поговори еще! Разболтались тут! — побагровел Захаров, недовольно покосившись на меня; вероятно, присутствие мое сковывало его.

Бывалый разведчик Кононенко, о котором мы уже упоминали, был несколько обескуражен поведением генерала и, как я понял, внутренне взъерошился, насторожился. На вид-то он этакий простоватый неунывающий казачина, бойкий заводила, надежный исполнитель, да еще по внешности своей беспощадный кавалер, неотразимый покоритель женских сердец. Но я-то знал, что в активе Кононенко — должность советника по разведке командира республиканской дивизии в Испании,

опыт общения с иностранцами, полнейшее доверие замечательного полководца Павла Алексеевича Белова. А насчет покорения женских сердец вот что: Александр Константинович был стопроцентный однолюб, как встретился в тридцатых годах со своей Лидией Петровной, так и ни в мыслях, ни в желаниях не имел никого другого до последнего вздоха…

Как я понял, поведение неуравновешенного генерала произвело на Кононенко самое неблагоприятное впечатление. Но замкомфронта — большой начальник, каждое его указание — закон, одна его фраза могла решить судьбу какого-то майора. Так что обстановка в тесном пространстве вездехода, ползущего по обледеневшей дороге среди сугробов меж пустынных полей, создалась довольно своеобразная. Взаимное недоверие, ожидание неприятностей. Напряженность ощущалась в позе Захарова, в обиженно-хмуром выражении его лица, профиль которого видел я… Потом, спустя время, мне стало известно странное и даже страшное свойство Захарова — источать напряженность своим постоянным недовольством, недоверием: воистину страшная особенность создавать вокруг себя нервическую, чреватую конфликтами ситуацию. Присмотритесь, такие люди есть и вокруг вас. Особенно опасны они на высоких постах.

Время от времени Захаров начинал вдруг странно сопеть, глубоко дыша, по нарастающей — все чаще и громче. Сперва я подумал: простудился человек, надо бы подлечить. Однако вскоре понял, что причиной сопения является не простуда, а недовольство, раздражение. Основания для этого имелись. Кроме всего прочего, досаждали санные обозы. Ну, если пяток-десяток саней на узкой дороге, то можно их остановить, обогнать. А если полсотни, да еще не военных, а так называемых с прошлой войны «обывательских» саней, управляемых бабами, стариками, подростками. Со снарядами, с патронами, с сеном для сабельных эскадронов?! За ними надо было тащиться до очередной деревни, кои в заокских лесах попадались не часто. Застревали мы в сугробах, вытаскивая вездеход. Есть было нечего — продукты остались в грузовике охраны.

Я давно привык в трудных ситуациях смирять свое нетерпение, молитвенно повторяя слова Лермонтова: «Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен; у Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Захаров же, как представитель новоявленной аристократии из низов, стихи Лермонтова или не читал, или не воспринял их близко к сердцу. Он то и дело начинал «вскипать», лицо и толстая шея его багровели, дыхание становилось хриплым, клокочущим. Я понимал, что он рано или поздно взорвется, скорее рано, чем поздно, и наверняка детонатором послужит какой-либо пустяк, то есть та капля, которая переполнит чащу его неврастенического, неглубокого терпения. Скопившийся пар начал выпускать Захаров по адресу майора Кононенко, ворча:

— Встретил?.. Дорогу показываешь?! Без тебя не нашли бы… Ты бы лучше порядок навел. К стенке ставят за такие дороги…

Разведчик помалкивал, пожимая плечами; это еще больше раздражало зама комфронта. И вдруг раздался крик, такой громкий и яростный, что я даже вздрогнул:

— Стой, Зайцев! Останови!

Шофер резко затормозил.

Захаров выскочил из машины, так хлобыстнув дверцей, что та едва не отлетела. Кононенко и шофер Зайцев, прихвативший автомат, бросились за генералом. Я пошел следом.

Впереди — недостроенный мост через речушку. Сани переправлялись по льду, по временному настилу. Туда же вела и автомобильная колея. Поодаль, на опушке, толпились бойцы с котелками возле походной кухни.

— Командира ко мне! — прохрипел генерал. Его пальцы рвали ворот гимнастерки, врезавшийся в шею. Не задохнулся бы!

Подбежал командир саперов: худой, высокий капитан в длинной шипели, в больших растоптанных валенках. Видно, что из гражданских. Неумело поднес руку к шапке, хотел доложить.

— Ты что тут делаешь? — ткнул его пальцем в грудь генерал.

— Мост строим.

— Ты строишь? Они? — показал Захаров на солдат у костра. — Врешь, саботажник!

— Простите, у нас перерыв на обед. Кухня быстро остывает на холоде, — пояснил капитан, с удивлением глядя на генерала. — Люди покушают, отдохнут и продолжат работу.

— Покушают! Ресторан развел на войне! Пробки создаешь!

— Пробки нет. Два грузовика и танк стоят без горючего.

— Ты с кем споришь!? Ты видишь, с кем споришь? Бойцов распустил! На врага работаешь, гад!

Капитан заморгал, открыл было рот, но Захаров оглушил его криком:

— Зайцев! Расстрелять саботажника! Зайцев, где ты?

— Здесь!

— Прикончи у всех на виду! Чтобы знали! Никакой пощады мерзавцам!

— Слушаюсь!

Зайцев подтолкнул прикладом одеревеневшего капитана. А Захаров быстро пошел, почти побежал к машине. Там расслабленно упал на мягкое сиденье, дыша тяжело, будто загнанная лошадь.

Я был настолько ошеломлен, что не успел даже сообразить, — вмешаться ли мне?.. Протрещала за деревьями автоматная очередь.

Шофер Зайцев, заняв свое место, взглянул на генерала с такой укоризной, что тот вновь помрачнел.

Машина миновала злополучный мост. Ехали молча. Тишина была гнетущая. Захаров обмяк, скис — словно наступило похмелье после большой пьянки. Часто вздыхал. Потом вытянул из кармана красную тряпицу и долго сморкался. Заискивающе прозвучал его голос:

— Зайчик, ты бумаги-то посмотрел? Семейный он?

— Детишек трое. Две девочки и пацан… Сразу и вдова, и трое сирот… — Молчание. Вздохи.

— Зайка, ты значит…

— Ваше приказание выполнено.

— Ах, Зайка, Зайка!

Почудилось — всхлипнул генерал.

— Зайка, голубчик, может, ты не того…

— Вы велели.

— Зайка, ты же знаешь… — Шофер пожал плечами.

— Зайка, поклянись своей матерью! — Шофер молчал, устремив взгляд на бегущую под колеса дорогу. Генерал воспрянул, потянулся к нему:

— Ага, Зайчик, меня не проведешь, нет! Ну, скажи правду, я тебе все прощу. Ты в воздух стрелял?

— В воздух, — проворчал Зайцев.
— Честное слово?
— Честное.
Вздох облегчения вырвался у Захарова. Потрепал водителя по плечу, произнес ласково:
— Спасибо, Зайка! Грех с души!..
Когда остановились в перелеске, выпустив генерала по малой нужде, Кононенко спросил шофера, осторожно подбирая слова:
— Он что — нервный такой?
— У каждого свои странности, — сухо ответил Зайцев. — Мы привыкли, смягчаем… Когда он спокоен — лучше не сыщешь. А в гневе безудержный…
Случай этот изрядно испортил мне настроение, заставил внутренне собраться, быть готовым к любым эскападам неуравновешенного генерала. Такое состояние не оставляло меня до самого прибытия в месторасположение частей Белова, коего достигли мы уже в сумерках. Это было большое село среди лесов. Погода пасмурная, ползли низкие тучи, надежно укрывавшие от авиации. На широкой улице необычное для прифронтовой полосы многолюдье. Бойцы, женщины, ребятишки. Несли воду от колодцев, разгружали подводы с сеном, просто перекуривали люди, разговаривая. Во дворах кормили, обихаживали лошадей. Кололи дрова. Мне это было по душе: устоявшийся военный быт, люди с толком использовали передышку. Повеселел майор Кононенко, оказавшийся среди своих. А Захарову такая мирная картина явно не понравилась, опять побагровело лицо.
Оставив машину возле полуразрушенного кирпичного здания, пошли по переулку. С тыльной стороны этой кирпичной коробки горел большой костер: говор, смех, заглушаемые гармошкой. Завел гармонист что-то веселое, быстрое, и сразу чертом выскочил в круг кавалерист без шапки, с русым чубом, в меховой душегрейке поверх гимнастерки, в широченных галифе, в сапогах, начищенных до зеркального блеска — голенища вспыхивали отражением багрового пламени. Прошелся, звучно пришлепывая ладонями по каблукам.
— Давай, взводный! Жми, топтало! — весело подзадоривали его.
И он зачастил под музыку, рассыпая частушки:
Эх, конь вороной, Белые копыта, Как вернемся домой, Полюблюсь досыта.
Ну, насчет действий по возвращении домой выразился он несколько проще, категоричней, полностью раскрыв свои намерения, но, думаю, не откровенная грубоватость взводного и не зависть к его потенциальным возможностям вызвали раздражение генерала:
— Там саперы обедают — здесь кавалеристы пляшут… Бардак развели! — грузно повернулся он к Кононенко. Я сообразил: сейчас вспыхнет, накричит, «виновных» накажет. И поспешил вмешаться.
— Молодцы, гвардия! И воевать умеют, и отдыхать. Это сабельный эскадрон?
— Разведывательный дивизион, — охотно пояснил Кононенко, сразу понявший мой ход. — Орлы, с первых дней в седле!
— Орлы не здесь, а в бою, — проворчал Захаров.
— Э, генерал, плясать тоже надо уметь, — усмехнулся я, озадачив замкомфронта своим снисходительно-насмешливым тоном. Еще бы: молчал этот представитель всю дорогу, а тут разговорился да вроде бы еще поучает…

7

Павел Алексеевич Белов встретил нас у крыльца крайнего в переулке дома, за которым начинался лес. Кстати, очень важно выбрать каждый раз такое место для штаба, которое меньше всего может привлечь внимание противника. В опасении бомбежки, диверсантов. У беловцев это всегда хорошо получалось. Провел нас Павел Алексеевич в просторную горницу. Посреди стол с расстеленной картой, две лавки. Больше никакой мебели. Находились здесь десятка полтора командиров: в шинелях, бекешах, ватниках. Белов спросил, хочет ли Захаров отдохнуть, с дороги или ознакомится с обстановкой? Захаров был голоден (с раннего утра не ели), и устал, и намерзся, но — сразу за дело:

— Докладывайте.

Только что поступило донесение: 57-я легкая кавдивизия и 115-й лыжный батальон отбросили немцев от населенного пункта Подберезье у Варшавского шоссе. Стрелковый полк атакует мост севернее Подберезья. Дивизия Осликовского готова пересечь шоссе и войти в прорыв.

Захаров слушал рассеянно, вроде бы давая понять, что подробности его не интересуют. Спросил:

— Письмо Жукова получено?

— Да, — нахмурился Белов.

— Товарищ Жуков требует прорваться на Вязьму немедленно и любой ценой. Почему не выполняете?

— Я как раз и говорю о том, как это указание выполняем.[63]

— Один ваш полк уже выходил на Варшавское шоссе. Но был отброшен. Почему? — напирал Захаров.

— Потому, что Варшавское шоссе — это коридор за ледяным валом, там противник свободно маневрирует на хорошей дороге мотопехотой и танками. А у меня танков нет. Немцы не жалеют боеприпасов, а мы распределяем снаряды поштучно. И еще. Враг бьет с воздуха, а наши истребители сюда не летают. Далеко.

Видя, что Захаров не воспринимает его доводов, Белов — умолк. А Захаров обвел взглядом людей, находившихся в горнице, произнес, обращаясь не столько к Белову, сколько к ним:

— Командира полка, отступившего от шоссе, — расстрелять.

Тишина. Потом негромкий сдержанный голос Белова:

— Полк сделал все, что мог. Его отбросили превосходящие силы.

— Я сказал — расстрелять! Пусть знают, что пощады не будет, — жестко повторил Захаров.

— Передадим дело в трибунал.

— Никаких трибуналов! — сорвался на крик Захаров. — К стенке!

Чтобы как-то разрядить накалившуюся атмосферу, шагнул вперед высокий, худой комиссар кавкорпуса Щелаковский. Заговорил о том, что войска не имеют не только боеприпасов, но и продовольствия. Держатся за счет населения. За спиной группы очень плохие дороги, а кавкорпус — соединение подвижное, у него нет тылов, специальных транспортных подразделений… Хотел как лучше комиссар, но, сам не зная того, лишь подлил масла в огонь, напомнив Захарову о неприятностях, которые были только что испытаны им на этих самых дорогах.

— У вас люди бездельничают, с девками пляшут, а вы жалуетесь! — вскипел Захаров. — Почему заносы, почему не расчищаете?! — ткнул он пальцем в широкую грудь Кононенко, глядя на майора белесыми

ненавидящими глазами. Нашел опять козла отпущения, как недавно капитана возле моста.

— Я начальник разведки, за дороги не отвечаю.

— Уклоняешься? Встречать ездишь?! А кто отвечает? Никто?

— Я начальник разведки, — громче повторил майор.

— Молчать! Саботажник!

И тут Кононенко не выдержал:

— А вы на меня не орите!

— С кем говоришь? Под трибунал пойдешь!

— А ты не пугай! Пугливых здесь нет!

Кононенко напрягся, подавшись вперед, будто готовясь к прыжку. Захаров, отшатнувшись, царапнул пальцами кобуру. Но не успел еще раскрыть ее, а разведчик уже выхватил свой пистолет. Дальнейшее свершилось мгновенно, многие из находившихся в комнате даже не поняли, что и как произошло. Белов бросился к Кононенко и встал перед ним, я шагнул к Захарову, двумя руками схватив его сильную руку на кобуре. Комиссар Щелаковский вырос между мной и Беловым — третьей преградой. И дал команду:

— Все свободны! Все до одного! Быстро, товарищи, быстро!

Вместе со всеми оказался за дверью и Кононенко, вытесненный Беловым. Я почувствовал, как ослабла и безвольно повисла рука Захарова. Вспышка прошла, Захаров опустился на лавку. Все четверо молчали. Слышалось только тяжелое дыхание, и с улицы доносились звуки гармошки. Первой мыслью моей было: не надо раздувать конфликт. Начнется расследование, нервотрепка, пострадают люди из-за чиновного дуролома. И сказал тоном, не допускающим возражений:

— Здесь ничего не было… Павел Алексеевич, прошу вас, докладывайте обстановку.

Белов благодарно посмотрел на меня и продолжил свое сообщение, стараясь говорить спокойно и ровно. Мы со Щелаковским делали вид, что внимательно слушаем. Вынужден был слушать и Захаров, хотя и сопел тяжело, недовольно. Раздумывал, наверно, замять ли дело или дать официальный ход? Обязанности «толкача», «пикировщика» да и сама натура его требовали вроде бы обострить ситуацию, «нагнать страха» на всех, но нас-то тут было трое, а он один. К тому же осторожничал, чувствуя по моему поведению, по очень уважительному отношению ко мне Белова, что за мной стоит большая сила. Ни до чего не додумавшись, посопел да и ушел отдыхать в отведенный для него дом, бросив с порога:

— Утром разберусь.

Ничего хорошего это обещание и тон, которым оно было высказано, Белову не сулили. Тем более что вот-вот должен был прибыть грузовик с охраной и помощниками Захарова, что несомненно придаст ему самоуверенности. Однако январская ночь длинна, а Белов со своими войсками как раз и привык действовать в темное время суток, маскируясь от авиации. За ночь два лыжных батальона, одни стрелковый полк и 57-я легкая кавдивизия продвинулись по снежной целине вдоль речки Пополты и перехватили Варшавское шоссе. Образовался «коридор». Небольшой, километра три. Но этого было достаточно, чтобы шоссе пересекли основные силы 2-й гвардейской кавдивизии генерал-майора Осликовского и сабельные эскадроны 75-й легкой кавдивизии. Значит, войска Белова выполнили приказ и пошли на Вязьму. Как, каким образом — эти

подробности при успехе остаются обычно вне интереса вышестоящего начальства.
Утром немцы подбросили к месту прорыва пехоту на автомашинах, подтянули танки, враг простреливал весь «коридор», в светлое время двигаться там не было никакой возможности, но факт оставался фактом: полки двух кавдивизий через шоссе перешли, а на следующую ночь Белов готовил прорыв основных сил своей группы. Тут только не мешать бы ему, многоопытному талантливому генералу поля боя. Но «пикировщик»! Он же обязательно будет соваться туда, где от него никакой пользы! Предвидя это, я рано утром, пока Захаров отдыхал, навязал разговор Павлу Алексеевичу Белову: как он намерен локализовать Захарова? И еще раз убедился в том, насколько рассудителен и решителен Белов, которого многие руководители, оценивая по манерам, по интеллигентности (матом хлестать не умел!), считали слишком мягким для военачальника. Сказал же он следующее:
— Терпеть вмешательство Захарова в конкретные дела не намерен. Командую группой войск и кавалерийским корпусом я. Должности наши примерно равны.
— Так, так, — это было любопытно.
— По званию мы оба генерал-лейтенанты. Но полную ответственность за все действия несу я. Могу принять от Захарова только советы, не более.
— А конкретно — что вы намерены? Вот он придет и начнет распоряжаться…
— Пресеку, — сказал Белов. — Обезоружу его и охрану. И в сопровождении эскадрона выдворю за пределы моей группы.
— Превосходно! По-рыцарски благородно, по-генеральски категорично, по-интеллигентски умно.
— Смеетесь, Николай Алексеевич.
— Ни в коем разе, все правильно. Но как оценит Жуков? Он доложит товарищу Сталину просто: этот самый Белов зазнался до того, что дал пинком под зад заместителю командующего фронтом.
— А вы?
— Я могу только сказать, что это аллегория, что физического пинка в зад генерал Захаров не получал. Верховный, конечно, спросит, заслуживал ли? С моей точки зрения — вполне. А вот как отреагирует товарищ Сталин — ручаться не могу.
— Спасибо за объективность, — чуть наклонил голову Павел Алексеевич. — Но есть ли другой вариант?
— Есть, — ответил я. И, движимый расположением к симпатичному мне человеку, объяснил, что надо сделать.
Выспавшийся, бодрый, агрессивно настроенный Захаров явился в штаб Белова в девять утра. Павел Алексеевич встретил его спокойно, с достоинством, уважительно. Я сидел в углу горницы, грея спину у вытопленной печки, Белов сообщил заместителю комфронта о достигнутых за ночь успехах и посвятил в ближайшие планы. Они были таковы. Первый эшелон группы войск, возглавляемый генералом Осликовским, продолжает за Варшавским шоссе движение на Вязьму. С наступлением темноты шоссе пересечет второй эшелон в составе 1-й гвардейской кавдивизии генерала Баранова, 57-й и 41-й легких кавдивизий. Вместе с ними пойдет штаб корпуса с разведдивизионом и другими подразделениями — до пятисот человек. Естественно, и Белов, и комиссар Щелаковский. А все остающиеся пока на месте части, которым

надлежало удерживать линию фронта, защищать и расширять «коридор», что было особенно важно — все эти части Белов предложил объединить под командованием… Захарова, поскольку других генералов поблизости не было, а обстановка исключала всякое промедление. Думаю, от этого предложения короткие волосы Захарова, видимо, брившегося до недавних пор наголо «а-ля Тимошенко», встали дыбом, как колючки у ежа. На минуту он лишился дара речи, представив себе перспективу. Слева от группы Белова огромная дыра, 10-я армия генерала Голикова далеко отстала. Справа неизвестность возле Юхнова: подошла туда 50-я армия генерала Болдина или нет? Определенность только в тридцатикилометровой полосе группы Белова. Но если Белов уйдет в прорыв, то надо нести ответственность за «коридор» на шоссе, надо думать о голых флангах (хотя именно командованию Западного фронта надлежало об этом заботиться). Но одно дело указывать, требовать, руководить сверху или сбоку, а другое — взять все на себя.

Я хорошо знал особенности психики таких неуравновешенных людей, как Георгий Федорович Захаров. Их спасал развитый инстинкт самосохранения, обострявшийся при ощущении опасности, перераставший в этакую тщательно замаскированную трусость. Как я и ожидал, Захаров отреагировал отрицательно-бурно:

— Запрещаю уходить за Варшавское шоссе! — это он Белову.

А Павел Алексеевич ответил:

— Извиняюсь, но запретить вы не можете. У меня письменный приказ товарища Жукова, неоднократно подтвержденный: любой ценой пробиваться на Вязьму. Да и вы требуете этого. — Белов мог позволить себе поторжествовать над «пикировщиком». — Так что вы уж покомандуйте, пораспоряжайтесь тут, будьте любезны. Под вашим авторитетным руководством…

— Я обязан сегодня же выехать в штаб фронта и лично доложить товарищу Жукову.

Подобной рокировки следовало ожидать. Убоявшись даже временно пойти на такой риск, который был обычен для Белова, не чувствуя себя способным ориентироваться в невероятно сложной обстановке, Захаров воспользовался возможностью оказаться подальше от событий непредсказуемых. Отбыл, не дождавшись вечера: угроза подвергнуться нападению с воздуха показалась ему менее страшной, чем принятие на себя руководства. Но перед отъездом, злопамятный, все же спросил:

— Где этот… вчерашний майор?

— Далеко. За Варшавским шоссе, в немецком тылу, — ответил Белов.

— Сбежал, предатель! А я говорил, говорил… В трибунал его! Поймать и судить!

— Майор ушел в прорыв с дивизией Осликовского. Среди первых, — по-учительски объяснил Павел Алексеевич. — Майор со своими казаками добывает сведения, которые требуются для действий второго эшелона.

Белов, конечно, получил удовольствие, неторопливо рассказывая сердито сопевшему Захарову о начальнике разведки, находившемся теперь в полной недосягаемости для заезжего генерала. А я в тот вечер поднялся на крыльцо почты, что в центре села, смотрел, как эскадрон за эскадроном уходят в белесую снежную муть. Привычно покачивались в седлах кавалеристы в белых накидках поверх шинелей, а командиры — в бурках, свисавших до шпор. Видел, как буксуют колеса пулеметных тачанок, как артиллерийские расчеты толкают, помогая лошадям, свои

пушки, и тревогой наполнялась душа. Это ведь здесь, на проселке наезженном, а как дальше, где сугробная целина?! И даже вздрогнул, услышав вдруг высокий озорной голос:

Эх, конь вороной, Белые копыта…

О, Господи! Я-то пожилой, кроме дочери да экономки никому не нужный, скоро вернусь в Москву, в квартиру, но увы — кто из этих молодых, прекрасных, налитых силой людей возвратится в свои дома, к своим родным и любимым? Один из десяти? Один из ста?.. Какие же это были люди, уходившие в бездорожье, в мороз, в пургу, в неизвестность — навстречу смерти! Без громких слов — за Великое наше государство. И самое мое большое счастье, что я был вместе с ними, воедино с такими, как они, от генералов до рядовых — всегда: на первой мировой, на гражданской, в годы Отечественной войны. С ними, а не с теми перевертышами, для которых собственное благополучие, собственные судьбенки дороже единой и неделимой нашей Державы.

8

Вернувшись в столицу, я более двух часов рассказывал Иосифу Виссарионовичу о своей поездке. Два часа — это солидный срок для Верховного Главнокомандующего, для высшего руководителя воюющей страны. И все же наша беседа продолжалась столь долго. Тут вот что: нельзя понять Иосифа Виссарионовича, не учитывая тех черт его характера, которые все резче и сильнее проявлялись у него к старости. Смолоду он не был общительным, и, естественно, с возрастом общительности не прибавилось. Влияли на него некоторые физические недостатки, для посторонних не имевшие значения, а для Сталина, для его самолюбия — да. Низкий рост, узковатый лоб, рябинки на желтоватом лице, малоподвижная рука — он не любил демонстрировать все это, особенно, когда бывал в дурном настроении.

Еще одна важная особенность: чем дальше, тем больше Иосиф Виссарионович считал себя русским, выразителем чаяний и интересов народов России, а внешность-то была не очень соответствующая, да еще акцент, с которым Иосиф Виссарионович не мог справиться и который в представлении Сталина как-то отдалял его от русских людей. Хоть и говаривал я ему, что в стране нашей множество языков, оттенков, акцентов, наречий, что произношение хотя бы архангельских северян значительно отличается от произношения рязанских жителей, что он излагает свои мысли грамотнее, гибче, интереснее многих.

Действовали мои увещевания, но не каждый раз. Иосиф Виссарионович не всегда мог побороть скованность, общаясь с людьми новыми, незнакомыми, опасался, может быть, что при непосредственных контактах развеется окружавший его ореол необычности. Предпочитал выступать со сцены, с трибуны, создававшей определенную дистанцию. При всем том он прекрасно понимал, что успешно руководить государством можно и нужно, основываясь не только на идеях, на официальных сведениях, но и на знании людей, их быта, их забот, их настроений, учитывая интересы разных слоев общества. Но сам-то Сталин с этими слоями не общался, и вот я был для него одним из посредников, через которых он получал живую житейскую информацию. Иногда самую обычную, заурядную информацию с мелкими подробностями, которыми он не пренебрегал.

Расспрашивал меня о случае с капитаном-сапером в растоптанных валенках, о разбитых на дороге обозах, о плясуне-кавалеристе возле костра, о майоре Кононенко. Даже о том, чем кормили меня в штабе Белова, как питается сам Белов, окружающие его люди. Ну, и о многом другом. То есть, не устраивая встреч с населением, с воинами (а такие встречи заранее организуются и носят показушно-пропагандистский характер), Сталин имел реальное представление о происходящем, о быте, о настроениях.

Я вернулся из поездки к Белову позже генерала Захарова, уже после того, как Жуков соответствующим образом доложил Верховному и в какой-то мере настроил его отнюдь не в пользу кавалериста. Разговор для меня был не из легких, тем более что от результатов беседы напрямую зависело будущее некоторых товарищей. С одной стороны, Захарова, с другой — Белова, Щелаковского, Кононенко. Зная пристрастие Сталина к точным сведениям, захватил с собой документы. Когда Иосиф Виссарионович привел довод Жукова, что Белову, дескать, помогли всей авиацией Западного фронта, я уточнил, что эта помощь продолжалась всего два световых дня, а все остальное время и по сю пору немцы хозяйничают в воздухе. А когда Сталин, начиная раздражаться, заявил о том, что Белову передана сильная, полностью укомплектованная танковая бригада, я сказал, что у Белова нет ни одного танка.

— Но приказ был…

— Приказ был, соответствующие распоряжения отданы, а танков нет.

— Где же они?

Я положил на стол перед Сталиным две машинописных странички. Он привычным движением руки взял карандаш, начал читать. К месту скажу: знакомство с первичными документами — еще одна сильная сторона Сталина. Много довелось мне повидать военных деятелей самого высокого ранга, и смею утверждать, что практически никто из военных министров, наркомов обороны и им подобных не «опускался» до чтения переписки полкового, дивизионного или корпусного масштаба. В лучшем случае выслушивали краткое сообщение со ссылкой на документ. А вот Верховный Главнокомандующий русской армией генерал Брусилов читал. И Верховный Главнокомандующий Сталин читал тоже, получая с помощью этих, порой коряво, торопливо составленных бумаг правдивое представление о действительности. Ощущал он такую потребность и находил время, как и для выборочного чтения поступавших на его имя писем, доносивших реальное дыхание жизни из разных уголков страны.

У меня сохранилась копия тех страничек, которые положил я на стол Сталина:

Прокуратура Союза ССР

Военная прокуратура 1-го Гвардейского кав. корпуса

14 января 1942 года

ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ДИВВОЕНЮРИСТУ тов. РУМЯНЦЕВУ

Копия: КОМАНДИРУ 1-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВ. КОРПУСА Генерал-лейтенанту т. БЕЛОВУ

Военная прокуратура 1-го Гвардейского кав. корпуса произвела проверку причин отставаний танков, полученных 2-й Гвардейской танковой бригадой на станции Тула 25 декабря 1941 года. Этой проверкой установлено, что командир 2-й Гвардейской танковой бригады подполковник Кириченко не только проявил преступную халатность к

этому столь важному вопросу, но даже не выполнил приказания командира 1-го Гвардейского кав. корпуса генерал-лейтенанта т. Белова от 22.12.1941 года по вопросу о приеме этих танков.

22 декабря генерал-лейтенант т. Белов в письменной форме сообщил командиру 2-й Гвардейской танковой бригады подполковнику Кириченко о том, что на станцию Тула прибыло около 50 танков для пополнения 2-й Гвардейской танковой бригады. В этом же сообщении говорилось, что танки прибыли только с экипажами, в отсутствии командного и политического состава и средств технической помощи, в связи с чем подполковнику Кириченко было приказано, чтобы за получением танков было послано необходимое количество командно-политического и технического состава, средства технической помощи и бензовозы.

Получив такое сообщение с приказанием генерал-лейтенанта т. Белова, подполковник Кириченко вызвал к себе 23 декабря своего помпотеха майора Окунева и капитана Чижикова и приказал им отправиться в Тулу за получением танков, не выполнив при этом приказания генерал-лейтенанта т. Белова в части посылки необходимого количества командно-политического и технического состава, средств технической помощи и бензовозов. Командный и технический состав к этому моменту в бригаде был, однако послан за приемом танков не был. К тому же подполковник Кириченко отдал нечеткое приказание в части приема танков, их технического осмотра, в результате танки на станции Тула осмотрены не были, акт технического осмотра не соответствует своим требованиям.

В результате принятые 27 танков на станции Тула из 35 прибывших шли по своему маршруту без надлежащего руководства самотеком в отсутствии командного состава, без надлежащих средств технической помощи на марше, а все это привело к тому, что от станции Тула до района сосредоточения 1-го Гвардейского кав. корпуса (село Каленьтево) из 27 принятых танков не прибыло ни одного. Из ранее имевшихся танков в бригаде в этот район прибыло 5 легких танкеток системы Т-60, и те стояли в с. Тарасове несколько суток без горючего и не могли принимать участия в боевых операциях. Таким образом, 2-я Гвардейская танковая бригада к моменту выполнения задачи в части отреза путей отхода противника, то есть Варшавского шоссе, числилась только на бумаге. Со стороны противника в этом районе действовали группы танков, а танковая бригада не поддерживала 1-й Гвардейский кав. корпус в выполнении указанной задачи.

В результате 1-й Гвардейский кав. корпус не выполнил своевременно задачи в части отреза Варшавского шоссе, то есть не были отрезаны своевременно коммуникации отхода противника.

За преступную халатность в части приема танков, оказания технической помощи на марше помпотех 2-й Гвардейской танковой бригады майор Окунев мной предан суду Военного Трибунала. Дело следствием окончено и направлено в ВТ 1-го Гвардейского кав. корпуса для рассмотрения по существу в судебном заседании.

В части командира 2-й Гвардейской танковой бригады подполковника Кириченко прошу войти в ходатайство перед Военным Советом фронта о наложении на него дисциплинарного взыскания.

Военный прокурор 1-го Гвардейского кав. корпуса военный юрист 1-го ранга МУСАБАЕВ

Отложив документ, Сталин раскурил трубку, подошел к окну и немного приоткрыл штору. Кремлевский двор был покрыт свежей белой пеленой; снегопад продолжался. Сказал ворчливо:

— Дороги, дороги… Дороги оказываются сейчас сильнее самых хороших командиров. Позаботьтесь, Николай Алексеевич, пусть прокуратура не очень усердствует… Только как же это получается, — рассуждал он, закрыв штору, — Белов умелый генерал, а прорваться через Варшавское шоссе своевременно не сумел. Получил строгие приказы Жукову, но не смог. А вот приехал к нему Захаров и сразу, в одни сутки протолкнул конницу за шоссе. Чем это объяснить?

— Вот именно — протолкнул. Уйти за шоссе Белов мог в любую ночь без вмешательства со стороны. Готовился к этому. А получилось что? Белов увел с собой только сабельные эскадроны и часть артиллерии, боевое ядро своих кавалерийских дивизий. Около шести тысяч человек. Не прошли почти все обозы, различные службы обеспечения, в том числе медицина. «Коридор» на шоссе пехота не удержала. По существу, Белов сейчас в полном окружении, ведет своих людей на Вязьму по вражеским тылам. Окружает немецкую группировку, сам будучи окруженным, — уточнил я. — Небывалый случай в военной практике.

— Товарищ Жуков обещал усилить Белова воздушным десантом и наладить снабжение по воздуху. Но дело сделано, общий замысел выполняется, и генерал Захаров сыграл в этом свою роль.

Что я мог возразить, когда факт, как говорится, действительно налицо. О способностях человека судят по результатам, а не по планам и обещаниям. Вот и получилось, что Жуков опять во многом был прав. На жестокой войне, когда решается судьба Отечества, необходимы такие руководители, как он, даже такие «пикировщики», как Захаров. Но нужна и смягчающая сила, тормозящая прокладка — эту функцию выполняли Шапошников, Василевский и, в частности, ваш покорный слуга. А еще обязательно должен быть некто, умеющий сочетать, комбинировать то и другое. Считаю, что это удавалось Иосифу Виссарионовичу.

Жизнь, как известно, переменчива. Судьба Георгия Федоровича Захарова вскорости повиснет на тоненьком волоске. В августе того же сорок второго года, когда обострится обстановка на юге, когда немцы стремительно продвинутся к Волге, весьма раздраженный Иосиф Виссарионович спросит меня:

— Помните наше неожиданное и почти катастрофическое поражение в октябре на Брянском фронте, когда немцы захватили Орел, пошли на Тулу и на Москву?

— Я был там по вашему поручению.

— А теперь такой же внезапный и тяжелый для нас прорыв врага на Сталинградском направлении. И все те же фамилии. Командующий фронтом и тогда и теперь Еременко. Начальник штаба фронта и тогда и теперь Захаров. Начальник оперативного отдела штаба фронта Рухле. Одни и те же генералы.

— Эти лица, безусловно, ответственны. Но не названа еще одна фамилия — генерала Тюрина. А он, командовавший Орловским военным округом, должен был бы ответить в первую очередь.

— Генерал Тюрин тогда не находился в Орле. Уезжал на несколько дней по поручению Берии.

— Это не уменьшает его вины ни с какой точки зрения. Бросил город, не организовав оборону.

— Но и сейчас Тюрина не было и нет под Сталинградом, а орловский сюжет опять разыгран противником. Что это? Бездарность, очередная ошибка или чья-то злая воля, точно осведомляющая немцев о слабых местах нашего фронта, может быть, даже создающая такие слабые места? Кто работает на врага?

— Вероятно, успешно работает сам враг, его разведка и его командование.

— Мы послали депешу в Сталинград нашим представителям Василевскому и Маленкову, чтобы проанализировали, чтобы органы разобрались.

— Фамилии в депеше названы?

— Еременко, Захаров и Рухле.

— Пострадает стрелочник, — сказал я.

— Не совсем понимаю…

— Еременко и Захаров просто не способны на двойную работу, на нас и на немцев, их возможностей и для одной работы не всегда хватает. К тому же их охраняют, они постоянно под контролем. Их не решатся тронуть без вашего прямого указания. Тем более что есть младший по званию и по должности генерал-майор Рухле.

Да, как я предполагал, так и вышло. Еременко гроза обошла стороной, Захаров, как говорится, отделался легким испугом, а генерала И. Н. Рухле арестовали, хотя и Василевский, и я высказывали сомнение в его виновности. Однако сомнения наши, вероятно, не прошли бесследно. В ходе следствия, при анализе документов, захваченных у немцев после Сталинградской битвы, не нашлось ничего конкретного для обвинения Рухле в предательстве. Насколько я знаю, со временем он был оправдан.

С Георгием же Федоровичем Захаровым мне, к счастью, в дальнейшем непосредственно сотрудничать не довелось. Могу только сказать, что он так и остался «толкачом», любой ценой обеспечивавшим выполнение замыслов вышестоящего командования. Сколько должностей сменил он за годы войны — не упомнить. Наверно, своеобразный генеральский рекорд поставил в этом отношении. Был заместителем у командующих на нескольких фронтах, начальником штаба фронта, направления, командовал одной, другой, третьей армией, в 1944 году ему на несколько месяцев доверили даже Второй Белорусский фронт. Из-за неуравновешенности, грубости, самодурства Захаров нигде долго не задерживался: взаимоотношения с подчиненными обострял до крайности, а военными успехами не блистал. Нелестно отзывались о Захарове все, кому доводилось служить с ним. Не переводятся, к глубокому сожалению, такие горе-руководители, которые способны только конфликтовать и разрушать. Беда от них. Но у Сталина и Жукова было особое мнение: они использовали «пикировщика» для достижения своих целей.

В феврале стало известно о гибели писателя Аркадия Гайдара. Эта новость не то что порадовала Иосифа Виссарионовича, было бы кощунственно выразиться именно так, но она успокоила Сталина, сняла груз сомнений, в какой-то мере подтвердила ему самому, что он не ошибается в оценке людей. О том, что Гайдар пропал без вести, мы знали давно. Будучи корреспондентом «Комсомольской правды», он оказался в кольце, которое создали фашисты вокруг Киева. О многих, кто попал в то кольцо, не было ни слуха ни духа. В том числе и о Гайдаре. Хотя один зловредный слушок прошелестел еще осенью: писателя — певца революции, воспитателя советской молодежи, видели, мол, в плену, не то

в Виннице, не то в Житомире, где он нескучно проводил время в кругу определенного сорта девиц вместе с какими-то немцами в военном и в штатском. Идейный, а переметнулся… Ядовитый слушок, неизвестно кем пущенный, дополз и до Сталина, заметно огорчив его, несмотря на нелепость. Но ведь и слух о том, что Яков Джугашвили попал в плен, тоже вначале казался нелепым.

За творчеством Аркадия Петровича Гайдара следил Сталин с конца двадцатых годов. Проще сказать — читал все его опубликованные произведения. Особенно ценил «Школу» и «РВС», видел в этих произведениях правдивое отражение гражданской войны, непримиримого противостояния, новизны и романтики, которые свойственны были тому необычному периоду. У Иосифа Виссарионовича, да и у меня тоже, воспоминания о минувшей драматической междоусобице вызывали не только горечь, но и возвышающее ощущение, какое испытывают, вероятно, те люди, которые искренне сражаются за светлые идеалы, за счастье не для себя, а для всех. Гайдар же наиболее полно и красочно воспроизвел тот пафос, с которым вступало в революционную борьбу молодое поколение.

С детских лет, оказавшись в водовороте сражений, заняв в этих сражениях определенную твердую позицию, Аркадий Петрович, обладая обостренным писательским восприятием, впитывал, как губка, новые впечатления, был неравнодушным участником событий и даже предугадывал их развитие. Началась борьба с кулачеством — сразу откликнулся новой книгой. Едва Сталин выдвинул тезис «дети за отцов не отвечают», как пионерская газета начала печатать «Судьбу барабанщика» — будто заранее подготовлена была эта повесть.

Где-то на той грани, когда заканчивался период «ежовых рукавиц» и начиналась малая бериевская либерализация, по инициативе Иосифа Виссарионовича решено было отметить тех писателей, которые пользовались популярностью в нашей стране. Не сторонников или противников всяческих там «измов», а просто литераторов, одаренность которых была заметна, ну и при том не приносивших вреда государству. Неплохая была идея.

Список, составленный и утвержденный в соответствующих ведомствах, лег на стол Иосифа Виссарионовича. Как мы уже знаем, Сталин любил не спеша, с удовольствием просматривать реестры о поощрениях, о наградах, о повышениях. Обычно делал это вместе со мной в конце дня: и работа, и отдых. Прочитал он тогда документ, недоумевающе произнес «г-мм», прошелся по кабинету, снова всмотрелся в текст. Сказал:

— Вижу здесь молодых детских писателей: Льва Кассиля, Агнию Барто. По совести говоря, я не знаю, какие они писатели, какая от них польза. Вероятно, достойны награды, раз их представляют. Но почему здесь нет замечательного детского писателя, преданного делу партии?

— Если имеете в виду Аркадия Гайдара, то мне это тоже кажется странным.

— Именно его… — Сталин вызвал секретаря и, когда тот вошел, поинтересовался: — Товарищ Поскребышев, вам известно, почему в списке нет очень хорошего писателя Гайдара?

Поскребышев, естественно, сразу оценил суть и тон вопроса. Ответил осторожно:

— С Гайдаром были недоразумения… Подробности могу доложить завтра.

— Разберитесь вместе с Николаем Алексеевичем.

Дело оказалось довольно обычным для того времени, хотя обстоятельства, причины были несколько странными, нестандартными, что ли… Вернувшийся с гражданской войны молодой многообещающий, житейски-наивный писатель очутился в цепких объятиях достаточно опытной женщины по имени Лия Лазаревна, редактора детской киностудии. Обзавелся не менее цепкой и ухватистой тещей. Радовался сыну — Тимуру. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. Вероятно, не по нутру пришелся Голикову-Гайдару троцкистский, сионистский душок. Он, может, и терпел бы это, но отношения обострились и по другой причине — Лия Лазаревна желала всегда иметь, по крайней мере, свежую булку и хороший кусок масла, а у молодого писателя не было ни постоянного заработка, ни имущества. Только большевистские убеждения, звучный псевдоним да старая, изношенная военная форма. Этого оказалось мало. Как писал тогда Маяковский: Бросают женщины думать о нас. Нужны, им такие очень. Они поворачивают свой пудреный нос На тех, кто лучше обносочен. Найти растет старание Мужей поиностраннее…

Решительная Лия Лазаревна бросила не только думать о Гайдаре, но и его самого. Ушла к более обеспеченному мужчине, забрав с собой ребенка. Аркадий Петрович оказался разом без жены, без квартиры, без маленького сына, с которым ему не позволяли видеться. Переживал, что воспитывают Тимура чуждые люди, считавшие себя представителями «избранной нации». Уехал на долгое время работать на Дальний Восток. Бывшая жена даже не писала ему.

В 1937 году муж Лии Лазаревны Соломянской был арестован. Вскоре в тюрьме оказалась и она по делу группы вредителей с киностудии «Союздетфильм». А групповщина, как известно, — обстоятельство весьма усугубляющее… Вот тогда-то бывшая теща, после семилетней разлуки, вспомнила о своем зяте. Вместе с писателем Вениамином Абрамовичем Ивантером кинулась к Гайдару. Помоги, выручи, не помня зла: как-никак, а Лия — мать твоего ребенка. И Аркадий Петрович, добрая душа, все простил, использовал весь свои авторитет, всех знакомых, «достучался» до самого Ежова, дело Соломянской начали «спускать на тормозах», через некоторое время ее выпустили, она вернулась домой взращивать сына, а для Аркадия Петровича и его семьи (он женился на женщине, у которой была дочка по имени Женя) начались черные дни. В ведомстве, которое после Ежова возглавил Берия, писатель Гайдар числился чуть ли не защитником врагов народа, со всеми вытекающими последствиями.

— Конкретно, в чем его обвиняют? — спросил Сталин Поскребышева, когда тот изложил вышеприведенные обстоятельства.

— Его не обвиняют, но…

— На всякий случай держат на прицеле, — вставил я.

— Нехорошо, когда смешивают в одну кучу семейные дела и политику… Не очень хорошо, когда мужчина защищает женщину, бросившую его, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Однако, действительно, можно понять, когда человек заботится о матери своего ребенка… Товарищ Поскребышев, вы включили товарища Гайдара в список награжденных?

— Да. Орденом «Знак Почета».

— Давайте сюда, я подпишу.

Все. Отныне без ведома Сталина никто не мог тронуть Гайдара.

Сильное впечатление произвела на Иосифа Виссарионовича повесть «Тимур и его команда». Вместе со Светланой, а затем вместе со мной смотрел он фильм, снятый по этой повести. Но книга была лучше. Гайдар опять чутко уловил дыхание времени, отразил его с романтизмом и оптимизмом. Ощущалась в повести предгрозовая атмосфера надвигавшейся войны, но атмосфера не удушливая, не гнетущая, а вдохновляющая, с уверенностью в победе, с гордостью за нашу Красную Армию. Эти мальчишки, о которых писал, которых воспевал Гайдар, они ведь вступят вскоре в великую битву и выиграют ее.

А еще вот что тронуло Сталина: отцовская боль, отцовская тоска, острое, но несбыточное стремление соединить несоединимое. Тимур и Женя — это ведь не случайно. Гайдар как бы свел на страницах книги своего сына, которого почти не знал, и свою падчерицу, которая была ему очень близка. Две половинки его сердца. Он хотел, чтобы они были вместе, чтобы все было хорошо. Но, увы, так только в повести. Печальная нота, подспудно звучащая в книге, отозвалась в душе Иосифа Виссарионовича, отца-одиночки, переживавшего за своих детей, особенно за сыновей, желавшего объединить всех в дружной семье. Затронула повесть самые тонкие, самые потаенные сердечные струны Сталина, сблизила его с товарищем по несчастью. Сроднила, можно сказать.

Он не верил, не хотел верить, что Аркадий Петрович попал в плен или переметнулся к немцам. Не мог допустить этого Гайдар по своим убеждениям, по сути своей. А если допустил, то кому же остается верить? Не только как измену Родине, но как измену ему лично воспринял бы это Сталин. И вздохнул, хоть и с горечью, но и с облегчением, когда органы НКВД установили точно место и время гибели Аркадия Петровича Гайдара, попавшего в засаду вместе с бойцами отряда, в котором оказался по воле военной судьбы. Могилу Гайдара на оккупированной территории приказано было беречь, но осторожно, не привлекая внимания. Это уж потом, после войны, будет воздано должное писателю-герою и возвысится памятник на берегу Днепра.

До конца своей жизни Иосиф Виссарионович не забывал Аркадия Гайдара, просматривал новые выпуски его книг, поощрял разраставшееся тимуровское движение, несколько раз спрашивал меня о семье писателя. После кончины Сталина я продолжал отслеживать, анализировать те направления, те участки государственного состояния и движения, которые вел при нем. Не в силу необходимости, а по инерции, по многолетней привычке. Да ведь и интересно было наблюдать за суетным делячеством новых политиканов, вырвавшихся из четких рамок сталинского правопорядка, пустившихся во все тяжкие в борьбе за место у власти. Понимал, что всем этим скороспелым дельцам, скользящим по поверхности, не нужны мои обширные разносторонние знания, накопленный десятилетиями очень большой опыт. Да если бы и востребовали они, не стал бы я, после близкого общения с великим человеком, служить беспринципным пигмеям и перевертышам, интриганам, обманщикам и заговорщикам, способностей которых хватало разве что на то, чтобы управлять малогабаритной, полуколониальной республикой. Но, повторяю, отслеживать те многочисленные линии, которые отслеживал при Сталине, я, по мере возможности, продолжал. Феноменальна и поучительна судьба двух, Тимуров, порожденных писателем Голиковым-Гайдаром. Один из них, главный герой повести, созданный высоким творческим порывом, обрел как бы плоть и кровь,

получил добрую известность во всем мире, стал идеалом для нескольких новых поколений в нашей стране, символом справедливости, чистоты, милосердия. Пионерское тимуровское движение — это ведь прежде всего бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, не бессмысленная трата времени, как это часто бывает у молодых, а созидательная деятельность, нужная не только тем, кому помогают, но и самим подросткам: для отвлечения от дурного, для раскрытия того лучшего, что заложено в их душах. А благородство, а мужество? Сколько полезных зерен посеял в мальчишках и девчонках главный персонаж повести «Тимур и его команда», ставший для миллионов хорошим живым примером! Воспринимался он только положительно, со словом «да», чего я, к сожалению, не решусь сказать о другом, о физическом, что ли, Тимуре. Представляется, что жизнь его чрезмерно изобилует отрицанием «не».

Утверждают, что талант, а тем паче гениальность накапливаются постепенно из поколения в поколение. Потом всплеск, взрыв, разрядка. Восхождение обрывается, и вновь идет ровная общечеловеческая линия. Иногда природа может переусердствовать так, что обедненными остаются потомки. А если без философствования, если проще: сказывалась, вероятно, на Тимуре Аркадьевиче специфическая окололитературная среда, в которой он рос и общался, двусмысленность его положения (сын знаменитого писателя, которого, в общем-то, не знал), возможно, и понимание того, что живет не сам по себе, а донашивает славу, обретенную отцом. Прикрыт даже не фамилией отцовской, а его славным литературным псевдонимом. Странный случай.

Не покомандовав кораблем, не говоря уж об эскадре, Тимур Аркадьевич стал адмиралом: это высокое звание он заслужил в сухопутной Москве, заведуя военным отделом в брежневской «Правде». Автор газетно-журнальных опусов, не создавший самостоятельно ни повести, ни романа, ни одного художественного произведения, был принят в Союз писателей СССР… Перечислять другие «не» просто желания нет. И этих достаточно.

Разными путями, оставляя после себя разную память, шли по жизни два Тимура, имевшие одного отца.

10

Нет, не случайно спрашивал меня Иосиф Виссарионович, что, дескать, о нем говорят? Я, правда, не сразу понял, чем вызван его интерес, да и недосуг было размышлять по этому поводу. Не связался в моем представлении его вопрос с тем романтическим флером, скрывавшим новогоднюю ночь, о котором я где-то упоминал. С легким намеком… А разговоры, сплетни-пересуды, оказывается, действительно были, и во множестве, о чем я, как ни странно, узнал не в строгой военной Москве, а на Волге, в Куйбышеве, куда были вывезены из столицы дипкорпус, наркоматы, различные центральные ведомства, учреждения, редакции вместе с сотрудниками и, как правило, с семьями этих сотрудников. Ну и родня их туда потянулась. Если говорить по старинке, то в недавно тихой, богоспасаемой Самаре оказался весь столичный «свет» и «полусвет» — они уже сложились у нас после революции в обновленном виде. А в «свете», особенно в «полусвете», без толков и кривотолков не обойтись: многие желают показать свою осведомленность, близость к верхам, особенно женщины, жены.

У меня была целая гроздь поручений, в основном от Сталина, но кое-что и Шапошников добавил по-дружески. Были и не очень существенные. Иосиф Виссарионович, к примеру, недоумевал: почему Центральный Дом Красной Армии, эвакуированный в Куйбышев, оказался не там, не в резервной столице, а в Казани, и как-то заглох вместе со всеми своими культурными подразделениями. И это во время войны, когда пропагандистская роль творческих сил ЦДКА особенно важна. Какие-то сигналы по этому поводу поступали к Иосифу Виссарионовичу.

Сложностей с выяснением не возникло. В Куйбышеве как раз оказался заместитель начальника ЦДКА, с которым я и побеседовал. Был он замкнут, на мои вопросы отвечал осторожно, и все-таки я «разговорил» его с глазу на глаз. Да, действительно, Центральный Дом в восемнадцати вагонах, пассажирских и товарных, прибыл по адресу в конце октября. Ему надлежало разместиться в здании местного Куйбышевского Дома Красной Армии. Но… Дом был уже «заселен». Это хорошее, просторное здание облюбовали для своего ведомства высокопоставленные сотрудники Берии, успевшие покинуть Москву раньше, чем ЦДКА. А когда зам. начальника оного попытался предъявить претензии, то едва ноги унес, отделавшись клятвенным обещанием немедленно убраться «со всей своей конторой» куда подальше, да еще и помалкивать. Людей и имущество погрузили на два пароходика и отчалили на Казань. В спешке часть имущества оставили, его теперь пытался разыскать и отправить по назначению зам. начальника.

Связываться вновь с «органами» у зам. начальника не было никакого желания. Он понимал: если и отвоюет здание с помощью Москвы, то здесь, на месте, все равно не дадут житья. Упаси бог конфликтовать с госбезопасностью, с НКВД. Сочувствуя ему, я предложил два варианта: расширить возможности для ЦДКА в Казани или решить вопрос о возвращении коллектива в столицу, хотя бы части коллектива. Зам. начальника склонялся ко второму. Я заверил в содействии.

А вообще-то история с ЦДКА послужила лишь маскировкой, прикрытием той особо секретной миссии, которая привела меня в приволжский город. Настолько секретной, что о ней знали только первый секретарь обкома партии и начальник строительных спецподразделений Московского метрополитена, возглавлявший тогда работы по так называемому «Государственному проекту № 1», полное содержание которого было известно весьма узкому кругу лиц: знали человек десять, включая Сталина и Берию. А дело вот какое. В октябре сорок первого года было принято решение создать в Куйбышеве подземный командный пункт, в котором, в случае необходимости, могла разместиться оперативная группа Ставки, высшее руководство страны и, естественно, сам Верховный Главнокомандующий. Хочу подчеркнуть, что с самого начала строительство задумывалось не как бункер, не как укрытие для Сталина и его приближенных, а именно как командный пункт, как центр руководства страной, с соответствующими помещениями, с системой связи и тому подобное.

Наши успехи под Москвой притормозили начало строительства, но уже в январе, когда ослабла победная эйфория, Сталин потребовал развернуть стройку на полную мощь и завершить ее за восемь месяцев. Скажу прямо: создание в такой срок огромного, трудоемкого сооружения, требовавшего больших затрат, большого количества квалифицированных специалистов и дефицитных материалов, казалось мне невозможным, тем более в

военное время. Да еще в обстановке полной секретности на территории многолюдного города. Разве что года за два, за три, но тогда строительство утрачивало бы смысл. Зная такое мое мнение, Иосиф Виссарионович направил меня в Куйбышев отнюдь не для того, чтобы проследить за графиком работ, а чтобы в срочном порядке уточнить с военной точки зрения два положения: надежность укрытий и возможность подключения будущего узла связи к уже существующим государственным и военным линиям связи. Ну и, как всегда, хотел знать, каковы будут личные мои впечатления.

То, что увидел, сперва разочаровало меня. Рядом с домом обкома партии и облисполкома находилась небольшая площадка, обнесенная невзрачным забором со ржавой колючей проволокой поверх досок. Холмики мерзлого грунта, строительный мусор, бревна, какие-то металлические конструкции. Одиночные автомашины, разгружавшиеся на площадке или, наоборот, загружавшиеся землей и мусором. При той стройке, которая развернулась тогда в Куйбышеве и окрестностях (возводились, возрождались спешно на новом месте десятки цехов, целые заводы), на ту площадку, которую увидел я, никто внимания не обращал. Так, ремонтируют что-то… Но работа велась не только отсюда, но и из подвала обкомовского здания. Однако все еще было в начале, контуры запасного командного пункта можно было представить только по проектной документации. Мне доведется побывать на этом объекте осенью того же сорок второго года, когда пункт будет полностью готов к действию, и наперед скажу: строители совершили подвиг, создав в считанные месяцы сооружение уникальное, на самом высоком инженерном уровне, по-своему даже красивое. Во всяком случае, ни по глубине, ни по надежности, ни по жизнеобеспечению и комфорту такого не было тогда во всем мире. По сравнению с ним известный гитлеровский бункер в Берлине просто мрачный грязноватый подвал.

Вниз вела лестница, имевшая около двухсот ступеней. На первом от поверхности этаже, на глубине в пятнадцать метров, кабинеты для членов ГКО и Ставки, комнаты для сотрудников. Здесь могли работать до тысячи человек. Зал заседаний. В просторном кабинете Верховного Главнокомандующего не ощущалась тяжесть многослойных железобетонных перекрытий. Потолок арочный, полусферический — угадывался «почерк» московских строителей.

Разрушить убежище нельзя было самыми крупными бомбами. Но на всякий случай имелся еще один этаж с нижней отметкой в 37 метров. Там, под массивными, наглухо задвигавшимися крышками могли жить и работать сто человек с запасами, которых хватило бы минимум на десять дней. Система жизнеобеспечения в подземелье была дублирована несколько раз: подача воды — дважды, воздуха — трижды. Имелась своя дизельная. Особенно надежно продублированы и замаскированы были линии связи. По телефону ВЧ, по телеграфу, по радио можно было связаться с любым фронтом, с любым городом нашей страны, со многими зарубежными столицами. В этом имелась и моя некоторая заслуга.

В тот первый приезд обсуждал я с секретарем обкома и руководителем стройки еще один не запланированный в Москве вопрос — нужен ли эскалатор? Верховный Главнокомандующий не молод, да и другие наши руководители тоже. Но эскалатор — сооружение громоздкое, капризное, требующее дополнительных помещений. Оба мои собеседника склонялись к тому, чтобы обойтись лифтами. Это проще и надежнее. Но сомневались.

Проект проектом, а вдруг, оказавшись здесь, на месте, кто-нибудь проявит недовольство? Я посоветовал товарищам работать по проекту, а насчет эскалатора все же обещал поговорить в Москве, чтобы была полная ясность. В конце концов лифтами и ограничились.

Сам Верховный Главнокомандующий на запасном командном пункте так и не побывал. К счастью, не понадобилось. Но труд не пропал зря. После сорок пятого года, когда возникла угроза применения атомных бомб, у нашего высшего командования уже имелся хорошо оборудованный, не известный вероятному противнику центр управления, надежно защищенный от ядерного оружия.

Ну а при чем тут дамы «света» и «полусвета», толки да пересуды, — вправе спросить читатель. Скоро будут и они, но не за этим же я ехал в Куйбышев… Самым приятным поручением, да и просто радостным для меня событием, была намеченная там встреча с давним знакомым еще по старой армии, с бывшим графом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым (везло мне в жизни на Алексеев вообще и на Алексеев Алексеевичей, в частности). Думаю, нет надобности особо представлять Игнатьева, достойного продолжателя древнего рода, издавна верно служившего Отечеству, потомственного военного. Русские люди старшего поколения, тем более офицеры, помнили о подвигах молодого графа в Маньчжурии. Верхом на белом коне водил он в атаку на японцев своих подчиненных. Среднее поколение не могло не восхищаться стойкостью, принципиальностью, патриотизмом, которые проявил Алексей Алексеевич на военно-дипломатической работе. Об этом немного подробней.

Первая мировая война застала графа в Париже, где занимал он высокую должность Военного Агента России во Франции. На него легла забота о Русском экспедиционном корпусе в этой стране, о сохранении русского военного имущества и денежных средств, контроль за выполнением военных заказов, за доставкой продукции в родную страну и многое другое. Большие богатства сосредоточены были в его руках. Но вот грянула революция, затем другая. Фронты отрезали генерал-майора Игнатьева от России, он оказался в стране, воюющей против государства, интересы которого граф представлял и защищал. Законного начальства — никакого. Чьи распоряжения выполнять — неизвестно. В этой сложнейшей обстановке Алексей Алексеевич сделал свой выбор. Не то чтобы он сразу принял революцию, нет — но одно было ясно безоговорочно: он обязан сохранить для своей страны, для своего народа все имущество и все средства, доверенные ему.

Он оказался часовым на посту, который остался без начальника караула, без разводящего, наедине с собственной совестью. Он мог стать сказочно богатым. Его пытались подкупить. Французское правительство предлагало ему большие деньги сразу и пожизненную пенсию. Разными хитростями пытались обмануть бежавшие из России дельцы, торгаши, чиновники: царские и Временного правительства. Игнатьев указывал им на дверь, иногда корректно, иногда не очень. Его запугивали, ему предъявляли ультиматумы белогвардейские лидеры, военные и гражданские, окопавшиеся в Западной Европе. И получали твердый отказ. А без его подписи никто не имел юридического права взять под свой контроль то, что принадлежало России во Франции.

Он потерял друзей. Даже мать, графиня Софья Сергеевна, была настроена против него. Только любящая жена, верный друг Наталья Владимировна, делила с ним все тяготы, морально поддерживая его.

Одинокий часовой во враждебном окружении генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев выстоял до того времени, когда Франция восстановила дипломатические отношения с новой Россией. Лишь после этого часовой покинул свой пост, передав Отечеству все имущество, все средства и подробный отчет о проделанной работе, о расходах и доходах. Игнатьев бедствовал в Париже, но не истратил на себя ни единой казенной монеты. Не знаю, как оцениваются сохраненные им материальные ценности, но одна цифра врезалась в память: двести двадцать пять миллионов золотых франков передал граф Игнатьев представителю СССР во Франции Леониду Борисовичу Красину. Совесть Алексея Алексеевича была чиста. Отчизна оценила его верность, его заслуги. Он продолжал служить Отечеству за рубежом, а затем вернулся на родную землю. Произошло это в 1937 году, когда по западным странам ползли страшные слухи, отчасти справедливые, но в значительной мере раздутые вражеской пропагандой. Запугивали русских, мечтавших возвратиться домой. Едва, мол, границу переедешь, как на Лубянке окажешься. А Игнатьев не убоялся, пренебрег «разумными предупреждениями». И вопреки мрачным пророчествам, сразу включился в дело, взялся за работу по подготовке наших военных кадров. И получил не пулю в затылок, а повышение в звании, стал генерал-лейтенантом Красной Армии.

А напомнил то, что знали об Игнатьеве мои ровесники, люди помоложе меня. А послевоенному поколению он известен еще и как писатель, автор книги «Пятьдесят лет в строю».

После возвращения Алексея Алексеевича на родину мы с ним встречались дважды, последний раз незадолго до нападения фашистов. Высокий, статный, с отличной выправкой, несмотря на возраст, Игнатьев имел благородно-простое обличье. Мягкий овал лица, усы подковки, малость приплюснутый нос с широкими крыльями, седые, зачесанные назад волосы. Особенно выделялись глаза: на удивление молодые, всегда добрые, чуть-чуть озорные. Я понимал Наталью Владимировну, когда она после стольких-то лет совместной жизни исподволь любовалась мужем, особенно в те минуты, когда он самозабвенно играл на гитаре. Хорошо играл. Мы с ним вспоминали минувшие годы, общих знакомых: и тех, кто волею судьбы оказался за рубежом, и тех, кто выше своей жизни ставил службу Отечеству, особенно в годы испытаний. Трудными, зачастую трагическими путями шли наши сотоварищи-офицеры, но подавляющее число их, и на родине, и за границей, с достоинством и честью несли свой крест.

Поговорить нам было о чем. Ведь мы не только давние знакомые, члены одной, не очень-то обширной, касты русских генштабистов, но к тому же еще, можно считать, дальние родственники, правда, настолько дальние, что почти невозможно было определить точки пересечения. Отец моей первой жены Веры, Вероники Матвеевны, имел двоюродное отношение к матери Алексея Алексеевича Игнатьева, к графине Софье Сергеевне. А муж ее, то есть отец Алексея Алексеевича, был в конце века девятнадцатого генерал-губернатором и командующим войсками Восточной Сибири. После его возвращения в Центральную Россию в Сибири остались определенные связи, поэтому мы с Вероникой и оказались в 1916 году в Красноярске, где судьба впервые свела меня с Иосифом Джугашвили. Это в общих чертах, не вдаваясь в подробности, а то ведь и сам запутаюсь в родословных. Добавлю только, что отец Алексея

Алексеевича, граф Алексей Павлович, занявшийся на склоне лет политикой, боровшийся за развитие русской промышленности, против засилья иностранного капитала, известен еще и тем, что внес в зал Государственное знамя при открытии Первой Государственной Думы. Чужеродные пришельцы, стремившиеся превратить Россию в полуколонию, а русский народ — в дешевую рабочую силу, ненавидели графа-патриота. В декабре 1906 года в Твери на него было совершено покушение. Во время перерыва в губернском земском собрании эсер Ильинский наповал сразил графа, выпустив пять отравленных пуль.

И вот — город Куйбышев. Алексей Алексеевич остановился в военной гостинице. Я приехал к нему утром и, хоть он был уже на ногах, не отказал себе в удовольствии приветствовать генерала, много лет проведшего в Париже, известной французской фразой:

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

На что он, смеясь, ответил словами столь же известными:

— Да-да! Близится полдень, но ничего еще не сделано для бессмертия! — Мы обнялись, и он продолжал уже серьезно: — Насчет вклада в бессмертие у меня действительно неважно. Отсиживаюсь в глубоком тылу, беседую с дипломатами, развлекаю французскую миссию. Училища инспектирую. Для меня будто и войны нет. Мог бы принести больше пользы, возраст не помешает.

— Не сетуйте, Алексей Алексеевич, куда уж нам с вами батальоны в атаку водить, споткнемся на первом же бруствере. А работа предстоит такая, что вздохнуть некогда будет.

— Привезли что-то?

— И от самого Верховного, и от Шапошникова.

Вместе отправились в здание, где размещались некоторые отделы Генштаба, эвакуированные сюда и еще не возвратившиеся в Москву. Беседа продолжалась долго. Обсуждали вот что. В высших военных кругах зрела мысль об официальном возвращении в наши вооруженные силы термина «офицер», отмененного после революции: С соответствующей атрибутикой. Не ради красивого слова, но ради преемственности традиций великой русской армии, ради усиления роли командиров-единоначальников для повышения авторитета и их ответственности, для укрепления дисциплины. При этом отменялся бы институт комиссаров, вводились заместители по политчасти, а лучшие комиссары, имевшие боевой опыт и способности, зачислялись в комсостав, пополняя наши поредевшие кадры. Аспектов было много. Предстояло, кстати, преодолеть сопротивление политработников, в том числе самого крупного масштаба. Выступал против «офицерства» Буденный, как выступал он до войны вместе с Ворошиловым против возвращения генеральских званий. Для них все это ассоциировалось с «белогвардейской контрой», которую они еще недавно били и громили. «Золотопогонники» — это вызывало ненависть. А теперь, значит, полный откат?! Однако Шапошникова и других сторонников возрождения офицерства поддерживал Сталин, поддерживала когорта фронтовых генералов, как успевших послужить в старой армии (Кузнецов, Говоров), так и сравнительно молодых (адмирал Кузнецов, Жуков, Василевский). Выжидательную позицию занимал Конев. Помалкивал Ворошилов. В глубине души он, наверно, был против погон, но возражать ему было неловко. Это о нем давно и по всей стране пели: «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер…» Не выступать же против такой своей популярности.

Я передал Игнатьеву предложение Сталина подготовить обстоятельную записку по введению в армию и на флоте офицерского корпуса. Когда это лучше сделать? Каковы будут права и обязанности? Какие изменения внести в уставы и наставления? Какие звания отменить или ввести? Форма, знаки различия? Ну и многое другое в том же разрезе. Шапошников же просил Игнатьева тщательно изучить, как нововведение отразится на программах подготовки комсостава в военно-учебных заведениях разных уровней, какие потребуются поправки и дополнения.

Так что, Алексей Алексеевич, некогда будет сетовать на излишек свободного времени, пошутил я. — Сроки сжатые, одному не управиться, сами подбирайте помощников.

Он уже загорелся, поняв важность порученной ему работы. Как бы отодвинулся, отгородился от меня, погружаясь в свои мысли.

— Нет, Алексей Алексеевич, так не пойдет… Путь в бессмертие начнем прокладывать завтра с утра. А сейчас прошу ко мне, поужинаем чем бог послал. Маленькая гусарская холостяцкая пирушка. Впрочем, вы же из кавалергардов…

— А что?! — встрепенулся Игнатьев. — Кавалергарды ни в чем гусарам не уступали!

Пирушка у нас, прямо скажем, получилась довольно скромная. Без цыган, без звона бокалов и даже без музыки, если не считать того, что звучало из репродуктора. На закуску по военному времени грех было жаловаться: из кухни нам принесли котлеты с жареной картошкой, была копченая колбаса и рыбные консервы. Ни гусарские, ни кавалергардские вечеринки не обходятся, естественно, без бутылок. Мне известно было, что Игнатьев знает и любит французские вина, в Москве их можно было найти, но я в спешке не догадался, а в Куйбышеве даже в доме для высокопоставленных лиц, где я остановился, имелась только водка да свежее жигулёвское пиво, которым мы охотно побаловались.

Заговорили о том, что многие люди, недавно эвакуированные из Москвы, даже бежавшие оттуда по своей инициативе, теперь рвутся назад, хотя знают, что угроза столице отодвинулась, но не миновала, что там холодно и голодно. Бомбы по ночам падают, в убежища надобно бегать. Особенно рвутся жены руководящих работников, готовые даже детей забрать с собой, подвергая опасности. Московские квартиры боятся потерять? Так они опечатаны, а грабителей в Москве нет: при чрезвычайном положении уголовников расстреливали на месте преступления.

— Подоплека другая, — пояснил Игнатьев. — И сами чиновники, и их жены страшатся того, что в Москве сложится новая элита, а те, кто в эвакуации, останутся на третьих ролях, как тыловой придаток, который может рассосаться.

— Резонно. В московских кабинетах Генштаба много новых товарищей, фронтовиков. Растут быстро. В центральных газетах — в «Правде», «Красной звезде», «Комсомолке», которые оставляли в столице лишь оперативные группы из нескольких человек, теперь сложились обновленные коллективы.

— Это половина проблемы, может быть, даже меньше. Упорно циркулируют слухи о том… как бы это лучше сформулировать? — Алексей Алексеевич сделал паузу, — слухи о том, что Кремль захватил Каганович… Немцам не удалось, а он сумел. Так называемое общество, а оно есть и здесь, как везде, очень взволнованно, в первую очередь дамы. Новости,

одна тревожней другой, идут от Доры к Фире, от Фиры к Кларе… Приплюсуйте эффект испорченного телефона.

— Да что за новости такие?

— Каганович, его родственник Берия, их союзник Мехлис прибрали к рукам все ключевые посты. Этот триумвират обладает такой властью, что Верховный вынужден считаться с его растущим влиянием… Однако дам волнует не столько это, сколько событие конкретное и, с их точки зрения, наиболее важное. Утверждают, что Верховный опять, — Алексей Алексеевич выделил последнее слово, — опять сблизился с Розой Каганович. Об этом говорят в полный голос. А ночная кукушка, дескать… Скажите ради Бога, что это за Роза? Сестра или дочь Кагановича? И какова доля истины? Может, дым без огня: и такое случается?

— Скорее рецидив недолеченной болезни. А триумвират действительно обрисовался, и влияние его сейчас увеличилось. И новых людей набирают эти лидеры в свои аппараты.

— Но какова болезнь недолеченная?

Конечно, добропорядочный, благородный граф — генерал, четверть века проработавший за границей, далек был от всяких скрытных течений, от невидимого противостояния, которое то затихало, то вспыхивало с новой силой в глубинных каналах власти. Это есть в каждом государстве, но у нас накал поднимался до особо высокого градуса. Троцкистам, сторонникам Запада, повторяюсь, нужна была слабая, легко управляемая ими полуколония, а Сталину и его сторонникам — великая мировая держава. Внешне — продолжение и обострение классовой борьбы. Одно переплеталось с другим. Даже человеку сведущему нелегко было разобраться в этом конгломерате, в его сложных, порой самых причудливых формах.

К концу тридцатых годов на первый план в окружении Сталина выдвинулись две фигуры, поддерживавшие друг друга: Каганович и Берия (об особых отношениях Сталина и Жданова речь пойдет позже). Названные руководители были, безусловно, жесткими, но умелыми организаторами. Каганович, к примеру, навел полный порядок на железнодорожном транспорте, поставил дело так, что даже в труднейшие дни войны железные дороги действовали с точностью хороших часов, без аварий и пробок, а ведь это так важно было для огромной страны, для фронта.[64]

Сталин перед войной проводил с Кагановичем довольно много времени, а в какой-то период зачастил к нему на дачу. Даже оставался ночевать. Прогуливался там летними вечерами, смотрел, как играет в волейбол молодежь. Тогда и поползли слухи о том, что Иосифа Виссарионовича привлекает дочь Кагановича, что он любуется ею… Справедливости ради — полюбоваться было чем: девушка подвижная, гибкая, с красивой фигурой. Но ведь очень уж юной была, лет пятнадцать-шестнадцать. Примерно как Светлана.

С участившимися поездками Иосифа Виссарионовича к Лазарю Моисеевичу, с новым якобы увлечением Сталина в московских осведомленных кругах связывали быстрое продвижение вверх не только самого Кагановича, но и его родни. Лазарь Моисеевич получал важнейшие государственные посты буквально один за другим. Нарком путей сообщения. Нарком тяжелой промышленности. В 1939 году занял пост наркома угольной промышленности. В 1940 году обрел еще две должности, стал наркомом нефтяной промышленности и первым

заместителем Председателя Совнаркома. Куда больше-то?! Да еще и братья его возрастали стремительно. Михаил Моисеевич с 1939 года — нарком авиастроительной промышленности. Юлий Моисеевич — первый секретарь Горьковского обкома и горкома партии. Кагановичам завидовали те, кто был оттеснен ими. Кагановичей боялись. Кагановичей ненавидели. Не имея возможности выяснить, какие могущественные силы стоят за спиной Лазаря Моисеевича и его братии, люди находили объяснение простое, доступное пониманию. Свел, дескать, Каганович Сталина со своей дочерью, и закружилась поседевшая голова. Об этом толковала «вся Москва». Одни — осуждая. Другие с удивлением и даже с восхищением: вот, мол, дает! Как ни странно, ни Берия, ни Каганович подобных толков не пресекали, хотя знали, где рождаются, откуда плывут «новости». В частности, от некоей Натальи Сац, деятельницы детского театра, оказавшейся в «свете» благодаря своему мужу Попову, директору Промбанка. Выгодно, что ли, кому-то было? Но не пресекались толки до поры до времени. Когда стало «достоверно известно», что у Розы Каганович будет ребенок и что Сталин намерен жениться на ней, источники слухов сразу были заглушены, разговоры прекратились, а когда началась война, вроде бы вообще все забылось. Оказывается нет! Ослабла военная напряженность, и вот опять: пронесся по Куйбышеву слух, что все вернулось «на круги своя», что Сталин провел с Розой новогоднюю ночь и это отразится теперь на назначениях, на перемещениях, на повышениях и на многом другом. Вот какие события-то в Москве, а мы — на Волге, в провинции, на отшибе… Как тут не рваться в столицу… И смешно, и грустно, да ведь у каждого свои интересы, свои заботы.

— Что верно, то верно, — сказал я. — Влияние триумвирата сказывается, особенно самого Лазаря Моисеевича. Сталин занят фронтом, а Каганович полный хозяин в своих отраслях… Кстати, как вам «Жигулевское»?

— Хорошее. Вкус своеобразный.

— За это пиво, за его название мы должны быть благодарны все тому же Лазарю Моисеевичу.

— Да вы что? — поперхнулся граф. — Вы шутите?!

— Нисколько! — заверил я. — Кроме всех других обязанностей, у Лазаря Моисеевича есть и такая, которую выполняет он охотно и со знанием дела. С тридцать шестого года возглавляет комиссию по производству напитков. В Куйбышеве создали сорт пива, который Кагановичу пришелся по вкусу, он утвердил его название, комиссия рекомендовала производить «Жигулевское» повсеместно и в большом количестве.

— А не Микоян?

— Нет, верно вам говорю.

— Ну, пострел, везде поспел! — качнул головой Алексей Алексеевич, вытирая платочком усы. — И все же Роза Каганович, кто она? Сестра, дочь? Насколько я знаю, у дочери Лазаря Моисеевича другое имя.

— Эту юную особу зовут Маей. Я никогда не видел ее вместе со Сталиным и не слышал, чтобы он говорил о ней.

— А сестра? Младшая сестра Лазаря Моисеевича?

— Таковой не имеется и не имелось. По-моему, он вообще самый младший в семье, среди братьев. Была только одна сестра, гораздо старше Лазаря Моисеевича. И не Роза, а Рахиль. Она давно умерла, если не ошибаюсь, в двадцать четвертом году.

— Прямо как у Горького: а был ли мальчик? Может, мальчика и не было?

— Разговоры велись о ребенке женского пола, о дочке Розы и Сталина.

— Но Розы-то нет?
— Почему же, она есть. — Мне интересно было смотреть, как морщит лоб Алексей Алексеевич, пытаясь разобраться. Посочувствовал: — Эка, напустил я тумана. Роза Каганович — племянница Лазаря Моисеевича, дочь его брата. Молода, привлекательна, экстравагантна. Жила в Ростове, частенько наведывалась к дядюшке в столицу, отдыхала на его даче. Где она сейчас — не знаю. С Лазарем Моисеевичем стараюсь не общаться, как, впрочем, и он со мной.
— Странно все это.
— Помилуйте, Алексей Алексеевич, обычная житейская коллизия, кто-то набирает очки, играя на определенных струнах. Политики в борьбе за первенство не брезгуют никакими средствами, вы же знаете.
— К сожалению, хорошо знаю, испытал в Париже на собственной шкуре.
— Давайте выпьем за Париж, за обольстительных парижанок. Как они теперь там со своим восхитительным легкомыслием под тяжелым немецким сапогом?..
— Француженки хороши, — промолвил Игнатьев. — Они прекрасны, почти как русские женщины. Но много пустых орехов. Вид заманчивый, а раскусишь — пустота.
— Слушайте, верно ведь подмечено: как встретятся за рюмкой мужчины, обязательно поведут речь о женщинах. Даже если эти мужчины с серебром в бороде…
Посмеялись.
Через неделю в Москве я, выбрав удобный момент, рассказал Иосифу Виссарионовичу о слухах, будораживших общество в Куйбышеве. Без упоминания при этом об Игнатьеве.
— Ми-и знаем, — ответил Сталин. — Не только о триумвирате, как вы его называете, но и про разговоры о любовнице, о новогодней ночи. Во время войны не к месту такие пересуды. Они не нужны и даже вредны… Ми уже приняли меры. Подобное не повторится.
— Ваши слова можно понять двояко.
— Поймите их правильно, дорогой Николай Алексеевич. Какой сейчас из меня мужчина, — невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович, в голосе его прозвучала грусть.

11

Чем ближе подступала весна, тем быстрее испарялась эйфория, вызванная нашими недавними успехами: новые заботы и тревоги вытесняли ее. Было ясно, что тех целей, которые намечались на зимний период, достигнуть не удалось. Успехи, конечно, имелись, и на юго-западном направлении, и, частично, под Ленинградом, но это были успехи больше тактические, чем оперативные, мы их не переоценивали. Главную же задачу — силами Западного и Калининского фронтов окружить и уничтожить, вражескую группу армий «Центр», открыть себе дорогу на Смоленск, на Минск — эту задачу мы выполнить не смогли. Причин много. Усталость войск, отсутствие резервов, нехватка боеприпасов… И резко возросшее сопротивление противника. Сосредоточив свои части на основных транспортных магистралях, вдоль железных и шоссейных дорог, немцы упорно защищали каждый населенный пункт. Так распорядился фюрер. Отступивших без приказа солдат и офицеров расстреливали, отправляли в штрафные батальоны, генералов отдавали под суд.

Наши армии Калининского фронта, выполняя общий стратегический замысел, в январе — феврале действовали вполне успешно. Наступая с севера, они оказались гораздо западнее немецких войск, удерживавших длинную и узкую полосу вдоль железной дороги от Вязьмы до Ржева — эта полоса теперь уже вонзалась в наш тыл. Но… У писателя Э. Казакевича есть хорошая фраза: «Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее…» А тут не дивизия, а целых три армии оказались в огромных, на десятки, на сотни километров раскинувшихся лесах, в медвежьей глухомани, где нет ни шоссейных, ни железных дорог. И растворились армии в этом заснеженном бездорожном пространстве, оторвавшись от тылов, от баз снабжения, от госпиталей, даже от своего командования. Правый фланг (с запада) не прикрыт на многие версты, оттуда нависает угроза. Левый фланг (это с востока, теперь уже со стороны Москвы) — под нараставшим давлением врага, подтягивающего резервы по железной дороге в район Ржева. Несмотря на все это, передовые части армий, обессиленные и обескровленные, вышли, добрались, доползли до подступов к стратегической стальной магистрали на большом пространстве от Вязьмы до Ярцева (а там уж и до Смоленска рукой подать!). Но преодолеть последние десятки километров, кое-где просто даже самые последние километры — не хватило сил. Более того, пробившиеся в глубокий тыл противника армии сами оказались в тяжелейшем положении, там началась трагедия, достигшая потом апогея весной.

Далее. Прорвавшаяся с запада к Вязьме 33-я армия генерала М. Г. Ефремова тоже попала в кольцо: в марте командарм-33 думал уже не о том, как перерезать артерию противника, а как спасти остатки своих окруженных дивизий. Известные читателю 43-я, 49-я и 50-я армии Западного фронта многократно пытались преодолеть пресловутое Варшавское шоссе, помочь Ефремову, поддержать общее наступление на Вязьму. Но не смогли. Решимости и мастерства не хватило. Понятно, что 33-ю ждала очень тяжелая участь.

Как всегда, меньше всех проблем было у генерала Белова, хотя и сил у него имелось не столько, сколько у других, и в тыл врага врезался он дальше соседей. Вывел он свой кавкорпус с юго-запада к железной дороге, на участке Дорогобуж — Вязьма, даже атаковал Вязьму, где находились танковая и пехотная дивизии немцев. Бросил на них несколько тысяч кавалеристов, не имевших тяжелого оружия, только карабины да автоматы. Сковал там противника. А тем временем 41-я легкая кавдивизия полковника М. И. Глинского выбила фашистов западнее города из сел Бекасово и Яковлево, перерезав таким образом железную дорогу из Смоленска на Вязьму. Движение прекратилось. Враг начал задыхаться без подкреплений и боеприпасов. А конники продвинулись дальше на север, к автостраде Смоленск — Вязьма, которую должен был перехватить наступавший с севера 11-й кавалерийский корпус полковника Соколова из состава Калининского фронта. Но этот корпус не дошел, не сумел, был рассеян противником. В результате немцы, срочно подтянув пехоту, танки, бронепоезда, восстановили положение. Белов отошел южнее железнодорожной магистрали и надежно закрепился там, контролируя большое пространство.

В конце февраля, в марте линия фронта на главном нашем, центральном направлении выглядела так, как не бывало ни в одном военном учебнике. Фантасмагория какая-то! Изгибы, извивы, прерывистые линии, клинья,

кольца, «мешки». Многие наши дивизии находились западнее немецких войск, гораздо дальше от Москвы, чем противник, в тылу неприятеля. Здесь — очаги окруженных или полуокруженных немцев в глубине наших боевых порядков, там — наши части и целые соединения, оказавшиеся в расположении вражеских войск. Ничего общего с привычными классическими схемами, вариантами. Кто лучше оценит и использует ситуацию, тот будет ближе к успеху. Немцы, разумеется, размышляли над этим. Мы тоже. «Мы» — это Генштаб, в первую очередь Шапошников, Василевский, Ватутин, Штеменко. Конечно же, Сталин. Однако он старался смотреть шире.

Не давала тогда покоя Иосифу Виссарионовичу назойливая мысль: что было бы, если бы Гитлер захватил Москву, выстояла бы после этого наша страна или нет? Несколько вечеров провели мы с ним, взвешивая разные варианты. Это был не праздный интерес. Анализируя прошедшее, мы пытались заглянуть в будущее: ведь угроза Москве оставалась, а впереди было лето, благоприятное больше для немцев, нежели для нас. Долгий световой день — для авиации. Просторы без сугробов — для маневрирования. Проезжие дороги — для техники, для снабжения…

После того, как события произошли, не очень трудно разобраться, где поступили правильно, где допущены ошибки. Но до чего же сложно предвидеть, смотреть вперед, особенно в критические моменты истории, когда сталкиваются в непримиримой схватке многочисленные и разнообразные силы! Упомянутые наши беседы были обстоятельными и продолжительными, я же представлю их конспективно и в той части, которая касалась не столько анализа минувшего, сколько попыток приоткрыть завесу времени. Я и тогда, и теперь отдаю должное политико-стратегической предусмотрительности Сталина. Много усилий приложил он перед войной вместе с Молотовым, чтобы отодвинуть от Ленинграда финскую границу, вернуть нам наши территории в Прибалтике, Западную Белоруссию, Западную Украину, Бессарабию. Преодолевая это обширное предполье, немецкие войска потеряли недели и месяцы, понесли большие потери, прежде чем добрались до города на Неве, до Подмосковья. Тем, кто после войны принялся поносить наше руководство, обвиняя его в агрессивности, молиться бы надо на Сталина за то, что остановлен был Гитлер, не расплющены, не уничтожены были нынешние критиканы вместе со своими народами, особенно малыми, участь которых была предрешена.

Особо тщательно рассматривали мы вариант, который был возможен в сорок первом году и не исключался нами и в будущем: немцы, оголив свою оборону в Западной Европе (где не ощущали особой угрозы), бросили все резервы на нас, захватили Москву, продвинулись даже дальше, положим — до Горького. При этом вступила бы в войну Турция, захватив Кавказ. А на Дальнем Востоке — Япония. Ее агрессия была вполне вероятной даже и после того, как она нанесла в декабре вероломный удар по американскому флоту и втянулась в битву на Тихом океане. Однако огромная сухопутная армия ее была почти не задействована и представляла большую угрозу для нас, могла бы посягнуть на Приморье, на Хабаровский край и далее на Забайкалье. Да, обстановка могла сложиться очень и очень тяжелая в сорок первом году, чего мы, повторяю, не исключали и в будущем, тем более что надежды на открытие второго фронта у меня не было. Сталин еще рассчитывал на порядочность союзников, но я хорошо помнил одно из постоянных правил англосаксонской политики: до последней возможности

воевать чужими руками, чтобы потом господствовать над соперниками, взаимно измутузившими, ослабившими один другого. Значит, военное поражение мы не исключали, но это не обязательно привело бы к поражению политическому, к уничтожению нашего государства. Если такая опасность и существовала, то лишь в первые месяцы войны. Мы с Иосифом Виссарионовичем, теоретизируя, допускали и это. А почему только в первые месяцы войны — сейчас объясню. Немцы начали свой поход на восток под пропагандистским лозунгом, который многим людям представлялся нормальным и даже, увы, привлекательным. Мы, дескать, воюем не против народов России, а только против жидов и комиссаров, которые являются злостными врагами всего человечества. Освободим вас от гнета коммунистов и установим новый, справедливый порядок. Бейте своих жидов и комиссаров, перебегайте на нашу сторону, мы гарантируем вам свободу, сытость, возвращение к семьям.

Просто, доходчиво и действенно, если учитывать, что в нашем государстве имелись люди, по тем или иным причинам не желавшие проливать свою кровь за непонятные им идеалы, немало было обиженных, пострадавших при советской власти (как и при всякой власти) — от политических конкурентов до уголовщины. А пострадавшим, ущемленным — своя рубаха, естественно, ближе к телу. Более глубокие, патриотические, скажем, соображения приходят не сразу и не ко всем. В этом одна из причин того, что немцев сперва встречали без враждебности, а в западных районах, особенно в Прибалтике, даже с распростертыми объятиями. В войсках, в наспех созданных формированиях, много было перебежчиков, дезертиров, осевших при отступлении в родных местах.

Жизнь, однако, быстро рассеивала дурман вражеской пропаганды. Реальную действительность, как ни старайся, невозможно долго скрывать от народа. Воины, вырвавшиеся из окружения, бежавшие из концлагерей, мирные жители, сумевшие выбраться с оккупированной территории, разносили по всей стране правду о том, что творится на захваченных немцами землях. О грабежах, о насилиях, о расстрелах. О том, как люди мрут за колючей проволокой под открытым небом от голода, от холода, от болезней. О том, как фашисты приканчивают раненых, ослабевших. А наши политработники разъясняли, что это не случайность, не изуверство отдельных фанатиков, а продуманная фашистская политика по уничтожению населения восточных районов, с тем чтобы превратить эти районы в сельскохозяйственный и сырьевой придаток процветающей Великой Германии. Это подтверждали многочисленные документы, захваченные у гитлеровцев и получившие широкую известность.

К концу сорок первого года резко возросла ненависть к захватчикам в нашей армии и во всем народе, особенно после того, как советские люди своими глазами увидели, что творилось на освобожденной от гитлеровцев территории. Увеличилась стойкость наших войск. Конечно, на войне без пленных не бывает, но теперь это была не массовая сдача, — в плен стали сдаваться лишь при последней крайности. Ситуация изменилась. Враг проиграл политически! Немцы могли рассчитывать на полный успех, только изменив свои цели и свои методы на востоке, рассматривая наши народы как союзников и соответственно относясь к ним. Но это, конечно, было невозможно.

От предположений — в реальность. Цель фашистов на востоке — захватить жизненное пространство с ресурсами, необходимыми для завоевания мирового господства. Средства — уничтожение всех, кто

способен сопротивляться, кого невозможно в дальнейшем рационально использовать для Третьего рейха. Это оправдывает любую жестокость. Но и без коварства, без хитрости не обойтись. Геббельс в своем кругу настойчиво повторял: «Россию необходимо расчленить на составные части. Каждой республике надо предоставить «свободу». Тенденция такова: не допускать больше существования на востоке гигантской империи. Это останется в прошлом. Тем самым мы выполним нашу историческую задачу».

— Не он первый, не он последний, — сказал Сталин, когда я напомнил ему эти слова. — Сколько их было… Урок не впрок.

— Соратники Гитлера и не помнят этих уроков. Слишком мало знаний, слишком много самоуверенности. А между тем еще канцлер Бисмарк фон Шенхаузен, человек очень даже неглупый и в мире весьма уважаемый, считал, что Германия без сотрудничества с Россией просто не может существовать и что Россия вообще непобедима.

— Как это — вообще? — заинтересовался Иосиф Виссарионович. — Какая у него формулировка?

Я процитировал по памяти: — «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это — неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей»…

— Бисмарк имел в виду не только великороссов?

— Разумеется. В его понимании, как и в понимании каждого здравомыслящего человека, Россия, Малая и Белая Русь — это нерасторжимые части единого целого, чем и сильны.

— А Гитлер и Геббельс что же, не читали Бисмарка? — усмехнулся Сталин.

— Не знаю. Для нынешних правителей Германии нет авторитетов ни в прошлом, ни в настоящем. Бисмарк разумно попытался заглушить давний клич тевтонов «Drang nach Osten», а Вильгельм Второй поторопился возродить этот призыв и поплатился короной.

— У кого нет прошлого, у того не может быть будущего. Гитлер заплатит нам не короной, которой не удостоился, он заплатит нам во сто крат дороже, — с угрозой произнес Сталин.

12

Во время наших бесед с глазу на глаз Иосиф Виссарионович неоднократно, возвращался к довольно щекотливой теме, постепенно конкретизируя ее. Он уже смирился с мыслью, что в наступившем году война не закончится, мировой пожар продолжал разгораться и мог затянуться надолго. Победит в конечном счете не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее, предусмотрительнее, расчетливее и хитрее в политике, в использовании всех допустимых средств для достижения цели. По его, да и по моему мнению, почти все военные, политические, экономические возможности, внутренние ресурсы страны были нами задействованы. А вот для того, чтобы ослабить тылы противника, подорвать его мощь изнутри, делилось еще мало… Наши военные руководители воспринимали это соображение в том смысле, что надобно шире развертывать партизанское

движение, активизировать деятельность диверсионных групп. Так думал и я, не догадываясь, сколь необычные, далеко идущие планы вынашивает Иосиф Виссарионович.

Нельзя сказать, что партизанское движение возникло и развивалось у нас стихийно. Конечно, многие люди, очутившиеся на оккупированной территории, ограбленные и униженные захватчиками, готовы были к борьбе. А организационной основой служили подпольные райкомы партии и комсомола, специально оставленные люди или случайно оказавшиеся в том или другом месте бойцы и командиры Красной Армии, недавние окруженцы, подлечившиеся после ранения. Определенную роль играла и армейская разведка, засылавшая в прифронтовые тылы свои диверсионные и разведывательные группы, вокруг которых зачастую и сплачивались народные мстители. Лучше, чем у других, эта работа поставлена была на Западном фронте, где имелся разведывательно-диверсионный центр, руководимый майором А. К. Спрогисом. Там быстро и хорошо готовились необходимые кадры, умело проводилась их переброска через фронт. Располагался центр в Кунцеве, неподалеку от Ближней дачи, мне доводилось бывать там. Майор Спрогис, кстати, формировал и отряд Бориса Крайнева, в составе которого во второй раз ушла во вражеский тыл Зоя Космодемьянская.

Успехи были, но все же общенародное сопротивление врагу на оккупированной территории оставалось на уровне местной партийно-советской и армейской самодеятельности. Это был наш резерв, которому особенно много внимания уделял Сталин в конце зимы и весной 1942 года. Он ведь всегда стремился к тому, чтобы каждое начинание обретало прочный фундамент и крепкий каркас, даже такое по сути своей стихийное явление, как партизанщина. Разве не из партизанских отрядов и отрядиков создали Сталин, Ворошилов, Егоров, Буденный те дивизии, которые успешно сражались с белогвардейцами, составили основу Красной Армии вообще и Первой Конной армии в особенности?! А ведь Первая Конная стала самой организованной, самой грозной силой на фронтах гражданской войны. И на всей дальнейшей нашей военно-революционной истории влияние ее, бывших буденновцев, ощутимо сказывалось вплоть до шестидесятых годов.

Во время финской кампании и в начале Отечественной войны Иосиф Виссарионович убедился, что наш первый маршал и недавний железный нарком Ворошилов в новой обстановке возросшим требованиям не соответствует. Отстал человек, устарели его взгляды, его опыт. Надежный друг и соратник Сталина, популярный в народе и армии деятель, все это так, но на фронте от него польза сомнительная, а может, и вообще больше вреда, чем пользы. Не поручить ли дорогому Климу руководство партизанским движением? Он до войны возглавлял военное обучение народа, подготовку «ворошиловских стрелков», «ворошиловских всадников», фамилия известная, фигура авторитетная, вот и пускай займется. С этим участком работы он должен справиться, особенно если подберет в штаб энергичных людей, специалистов. А кадры — и военные, и партийные — он знает.

Факт малоизвестный, может, даже совсем неизвестный: Климент Ефремович назначен был Главнокомандующим партизанским движением, однако пробыл на этом посту лишь несколько месяцев. Или управлялся не лучшим образом, или пост такой сам по себе оказался не очень нужным и даже несколько одиозным — что это за народное движение, которым

руководит из Москвы маршал-главнокомандующий?! Должность как-то незаметно исчезла, а Климент Ефремович продолжал наблюдать за развитием партизанской борьбы по линии Политбюро. А вот Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), созданный в мае 1942 года под руководством П. К. Пономаренко, оказался структурой вполне действенной и очень даже полезной.

Однако поиски форм, создание ЦШПД — это не начало, а, скорее, завершение большой работы, которая была проделана в первые месяцы 1942 года. Удалось заложить материально-техническую базу, некоторые заводы, фабрики или отдельные их цеха переключились на выпуск вооружения и снаряжения специально для народных мстителей и диверсантов (взрывчатка, различные мины, портативные рации и многое-многое другое). Скомплектованы были авиаотряды для полетов в глубокий тыл противника на партизанские аэродромы — костяк этих отрядов составили опытные летчики гражданского воздушного флота.

Не могу умолчать о том, какую теоретическую лепту внес Климент Ефремович. Ему принадлежит примерно такая формулировка: «На оккупированных территориях кипят гнев и ненависть к фашистам, бушует жажда отмщения. Готовый материал для крутого замеса. Нужно лишь побольше дрожжей, побольше закваски. Другими словами — детонаторов для взрыва». На практике это выглядело так. С февраля по май сорок второго года в тыл врага были отправлены с «Большой земли» сотни партизанско-диверсионных групп, численностью каждая от пяти до двадцати человек. С соответствующим снаряжением. Некоторые группы забрасывались самолетами, даже в такую даль, как Западная Украина или Литва. Однако большинство отправлялось к месту дислокации своим ходом, чтобы на пути вести разведку, активизировать партизанское движение, устраивать взрывы на транспортных магистралях, уничтожать мелкие группы гитлеровцев и их прислужников. В лесные районы Украины, Белоруссии, западных областей России засылались такие отряды. Причем с точными адресами. Туда, где пролегали основные вражеские коммуникации (особенно стальные пути), где после минувших боев осело много окруженцев под видом настоящих и мнимых местных жителей — их метко именовали «зятьками». Эти «зятьки», перезимовавшие в деревнях и городах, под не очень надежным прикрытием женских юбок, готовы были в любой момент включиться в борьбу: злости хватало, только организуй и вооружи. А еще Климент Ефремович холодно и здраво рассчитывал вот на что. Прибудет в сравнительно спокойный для немцев район отряд из десяти, положим, человек, учинит несколько взрывов, обстреляет комендатуру, убьет одного-двух гитлеровцев. Немцы, по принятой ими системе, сразу ответят жестокими карательными мерами. Произведут аресты, расстреляют заложников. А у каждого заложника родственники, друзья — они начнут мстить за своих, пойдут в партизаны. И так — виток за витком.

В принципе одобряя ворошиловский метод «дрожжей и закваски», я высказал Сталину свое сомнение: нет ли в этом дурного привкуса? Катализатор — да, но искусственная провокация — это чревато очень отрицательными последствиями. Страдающее, гибнущее между двух огней население проникается непримиримой враждебностью не только к немцам, но и к нашим же людям, разжигающим смертельную борьбу. Это может сказаться впоследствии. Иосиф Виссарионович ответил мне так: «Когда горит дом, его должны спасать все жильцы».

Конечно, Сталин занимался партизанским движением в течение всей войны, но подчеркну опять же, что основное внимание уделял он этому делу во время некоторого спада фронтовой напряженности, с февраля по май 1942 года. Причем, как всегда, со стремлением сразу же претворить свои теоретические изыскания в практику. По его мнению, не утратил значения старый (от Дениса Давыдова?!) способ ведения партизанской войны: «Ударь — отскочи». Но теперь размах иной, в сражение втянуты огромные массы на огромных территориях. В тылу врага сами по себе, без всякого давления из центра, возникали целые партизанские соединения, бригады и даже дивизии, по численности, по вооружению не уступавшие соединениям регулярной армии. Иосиф Виссарионович был не против такой размашистой самодеятельности, однако выдвигал одно необходимое условие. Партизанская дивизия или даже армия не должны иметь жесткую структуру и заниматься обороной на определенном участке. Это обрекает их на окружение и уничтожение. Партизанские части должны при необходимости растекаться, а потом вновь сливаться. Подвижность — обязательный фактор. Чем крупнее соединение, тем больше внимания мобильности, маневренности. Пусть переходят с места на место, совершают явные и тайные рейды в глубоком тылу врага, вводя немцев в заблуждение. А долгое стояние на базе, глухая оборона — значит, рано или поздно бои с регулярными частями противника, окружение, большие потери, а то и разгром.

Не берусь судить, насколько прав был Иосиф Виссарионович. Многое зависело от конкретных условий: от людей, от местности. На практике бывало всякое. И тысячекилометровые рейды партизан Ковпака от Днепра до Карпат, и защита больших освобожденных районов, где сохранялась советская власть. По моим прикидкам, потери среди воинов и мирных жителей в полосе активных партизанских действий были примерно одинаковыми. В освобожденных районах Белоруссии жителей погибало даже больше. Впрочем, какие уж там мирные жители, все воевали. Общеизвестно, что в Белой нашей Руси были очень большие утраты, двадцать пять процентов населения погибло во время войны, каждый четвертый.

Когда-то (мы упоминали) Михаил Иванович Калинин говорил о том, что Сталин являл собой особый тип революционера: редко появляясь «на поверхности», среди людей, в массах, он умело вел тайную организационную работу в подполье, подготавливая крупные мероприятия, операции. Такие свои способности — предвидеть, загодя плести канву событий — Иосиф Виссарионович с возрастом не утратил, во всяком случае, не потерял стремления к этому. По его настоянию, Центральный штаб партизанского движения вместе с ведомством Берии, с военной разведкой и контрразведкой приступил к широкому внедрению своих людей во все немецкие структуры, военные, гражданские и особенно оккупационные, начиная от районов, городов и до гауляйтеров Украины, Белоруссии и даже дальше, до самого Берлина. Работать наши органы умели. К концу сорок второго года, еще до великой победы под Сталинградом, изменившей повсюду умонастроения в нашу пользу, агентура закрепилась во многих вражеских организациях.

Позволю себе конкретный пример. Сразу после Нового года в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН) в числе многих других групп была создана разведывательно-диверсионная группа, получившая вскоре название «Бесстрашная» — ее действиями несколько

раз интересовался Верховный Главнокомандующий. Численность — двадцать один человек. Почти все так или иначе знакомы с теми местами, где предстояло действовать, с районом, прилегавшим к железнодорожной магистрали Минск — Борисов. Кто-то родился там, кто-то жил, у кого-то остались там родственники. Почти все — чекисты, связанные с работой на железной дороге, что тоже соответствовало задачам группы — дезорганизации мероприятий противника на станциях и на перегонах стратегически важной артерии. Причем всеми способами — от диверсий, от элементарного разрушения пути до внедрения своей агентуры во вражеский аппарат. И третье «почти» — больше половины людей группы уже побывало в немецких тылах как диверсанты или разведчики. Опыт такой был необходим, ведь «бесстрашные» отправлялись на задание далеко и надолго.

Возглавлял группу Петр Григорьевич Лопатин, человек средних лет, тоже чекист, до войны работавший в международных вагонах поездов дальнего следования, пересекавших всю нашу страну от Минска до Тихого океана. Неторопливость, осмотрительность не мешали ему при необходимости проявить решительность и последовательность. Пусть это не покажется странным — ценилась его непредвзятость, доброта, способность доверять людям. И люди верили ему, шли за ним. Это ведь очень важно: разобраться в сложнейших взаимоотношениях на оккупированной территории, когда человек душой болеет за Отечество, за советскую власть, а поставлен в такие условия, что служит врагу. Это надо уметь понять и использовать.

Заместителем Лопатина по разведке был Владимир Рудак, до войны студент Ленинградского технологического института. Насколько известно, средний был студент, если и выделялся, то на спортивных соревнованиях, держал институтское первенство в барьерном беге. А на войне раскрылись совсем другие задатки: умение организовать разведку, в том числе и агентурную, способность накапливать, анализировать сведения и предпринимать соответствующие действия.

В середине марта 1942 года «бесстрашные» были доставлены на передовую. Нагруженные боеприпасами и снаряжением, они на лыжах пересекли линию фронта. Потом, в конце марта, лыжи пришлось бросить, шли пешком. После многочисленных приключений, стычек с противником, диверсий на дорогах группа добралась до места дислокации и там, на берегу озера, в глухих белорусских лесах, развернула наконец 1 мая свою базу, установив надежную радиосвязь с Москвой. Со временем группа превратится в большой партизанский отряд, затем в партизанскую бригаду, возьмет под контроль обширный район. Будут истреблены сотни гитлеровцев, пущены под откос десятки эшелонов, но я выделю лишь несколько эпизодов, соответствовавших настоятельному требованию Сталина внедрять наших людей во все вражеские структуры.

Немецкий полковник полюбил красивую женщину. Это был не просто полковник, по долгу службы оказавшийся в Минске, а весьма осведомленный офицер, знавший местонахождение всех крупных фашистских аэродромов, особенности их оборудования и многое другое. А повстречал он женщину не случайно. Другое дело, что чувство оказалось настоящим и обоюдным. От этого полковника поток сведений шел через женщину в партизанский лагерь к Владимиру Рудаку и далее в Москву, в адрес некоего «Андрона». А когда обстановка для полковника осложнилась, он был тайком вывезен на партизанскую базу вместе с

женой. Весь багаж при них — желтый портфель, туго набитый ценнейшими секретными документами. С этим портфелем и опять же вместе с женой полковника доставили самолетом на «Большую землю». Впоследствии он принимал активное участие в антифашистском движении. Удивительная история с драматической и радостной любовью, с идейным и психологическим преображением, со сломом всего прошлого образа жизни. А еще утверждают, что немцы-де расчетливые педантичные сухари…

Регулярно получал «Андрон» подробные и точные сведения обо всем, что происходило в минском штабе «Ворона» — так именовался в радиограммах генерал Власов, формировавший в Белоруссии части РОА — Русской освободительной армии. «Андрону» известно было многое — от настроений личного состава этой армии до изменений в форме одежды, в знаках различия. Ну, это можно понять, но меня поражало, как умудрялись наши разведчики узнавать, когда и куда выехал «Ворон», в какой гостинице остановился, например, в Берлине, кто из высшего гитлеровского руководства принял его…

Люди Петра Лопатина и Владимира Рудака проникли в тщательно оберегаемую резиденцию гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе, близкого друга Адольфа Гитлера. Работали непосредственно во дворце Кубе, этого кровавого палача, истреблявшего население на управляемой им территории. Но пролитая кровь мирных жителей никому не прощается, расплата обязательно наступает. Несколько месяцев партизаны тщательно готовили операцию под кодовым названием «Ирод». Поздним сентябрьским вечером палач спокойно улегся в просторную кровать в своем дворце. А чего ему было беспокоиться, если и подступы к зданию, и само здание надежно охраняли эсэсовцы с овчарками, при малейшем нарушении установленных правил сработала бы сигнализация. Но — лег и не проснулся. В три часа ночи прямо в кровати взорвалась мина с часовым механизмом, незадолго перед этим доставленная из-за линии фронта.

Подобная участь ожидала и нового гауляйтера, прибывшего вместо Кубе. На него тоже начали готовить покушение, едва он вступил в должность. Но это, пожалуй, было уже не на грани, а за гранью риска. Немцы предприняли все возможное и невозможное, чтобы обезопасить нового гауляйтера. Владимир Рудак попал, видимо, в одну из поставленных гитлеровцами ловушек и сгинул бесследно, безвестно… А те, кто занимался потом разведкой в партизанской бригаде Петра Лопатина, не имели такого таланта, такой интуиции, которыми обладал Рудак. Одного мужества мало в столь тонкой работе. Первой же ошибкой «провалили» они бургомистра города Борисова, два года успешно сотрудничавшего с Рудаком. Этот бургомистр по фамилии Парабкович пользовался полным доверием немцев, снабжал Рудака важнейшими сведениями, чистыми бланками подлинных документов. Немцы арестовали и казнили Парабковича, когда фронт уже приближался к городу.

Теперь вот смотрю я в кино какой-нибудь заграничный боевик, листаю книжку о высосанных из пальца приключениях американских пастухов-ковбоев, об их пьяных драках, гонках, бессмысленной пальбе в кабаках и думаю: кому и зачем нужна вся эта дрянь, какая от нее польза? Ни в какое сравнение не идет это с теми коллизиями, с теми реальными приключениями, которые выпали на долго разведчиков хотя бы только одной группы «бесстрашных». А сколько их было, таких групп, таких отрядов! Тут и острейший сюжет, и сила характеров, и высота духа.

Конечно, рассказать об этом, воспроизвести это в кино, на сцене неизмеримо сложнее, чем сорганизовать развлекательный детективный пустячок. Вот и накатываются одна за другой мутные волны так называемого массового искусства, не возвышающего, не очищающего и не укрепляющего душу, а, наоборот, разлагающего, пробуждающего грязные низменные инстинкты. А замечательные примеры нашего прошлого забываются, уходят в песок.

13

Министр иностранных дел Великобритании Антони Иден, дотошный дипломат, находившийся в Москве в декабре сорок первого года, проявил настойчивое желание побывать на линии фронта. Своими глазами хотел убедиться, как идут дела. Когда доложили Верховному Главнокомандующему, тот не стал возражать. Сказал только: «Предупредить об опасности. О том, что ответственность за жизнь лорда Идена и всех его сопровождающих лежит на самом Идене. И пусть едут куда захотят, хоть к чертям на рога».

Англичане выбрали Клин, куда и прибыли 15 декабря. Кортеж из полутора десятков легковых автомашин был бы легкой добычей для немецких авиаторов, но погода, к счастью, была нелетная. С любопытством разглядывали иностранцы разрушенный сгоревший город, фотографировали. И фотографировались, выбирая впечатляющий фон. Захотелось поближе к фронту. Им сказали — пожалуйста. Однако проехать смогли километров пять-шесть, потом пришлось оставить машины. Дорога и обочины забиты были искореженной техникой, особенно много было немецких грузовиков и танков. Впрочем — всего хватало: и бронетранспортеров, и орудий, и повозок, и мотоциклов. А главное — тысячи окоченевших трупов в сугробах, в кюветах, расплющенных на самой дороге. Жуткая эта картина поубавила любопытства и прыти гостей. Мистера Идена в дрожь бросило, хоть и одет был тепло. Там, на дороге, задал министр иностранных дел советскому генералу вопрос, получивший известность: «Часто ли бывает на фронте Верховный Главнокомандующий господин Сталин?» На что и получил четкий ответ: «Товарищ Сталин на фронте находится ежедневно».

Было именно так, хотя дипломат, наверно, хотел узнать, часто ли Верховный Главнокомандующий выезжает на передовую, видит ли сам потрясающие поля сражений? Может, озноб помешал лорду правильно сформулировать вопрос, а может, переводчик был недостаточно точен. Я же упоминаю этот случай в связи с тем, что и во время войны, и после нес многие историки, исследователи, политики, просто люди любопытствующие очень даже интересовались: а действительно бывал ли Сталин на передовой, когда, где, зачем? Сообщения и рассуждения на этот счет крайне противоречивы, одни доказывают, что Верховный Главнокомандующий вообще не выезжал из Москвы до Тегеранской конференции, руководя боевыми действиями из кабинета по пресловутому глобусу, а другие, наоборот, утверждают, что Сталин самолично на месте возглавлял оборону Кавказа и даже штурм Берлина. Такой вот размах. Причем путаются в своих сообщениях даже люди, по долгу службы сопровождавшие Сталина в поездках, охранявшие его. Это можно понять. Секретность строжайшая, каждый знал лишь то, за что отвечал, свой небольшой участок. Память несовершенна, а записей не велось. Военным

вообще запрещено было вести дневники (могли попасть в руки противника), а лицам из окружения Верховного Главнокомандующего запрещалось тем более. Наверное, и я не внесу полную ясность насчет поездок, хотя бы потому, что не всегда сопровождал Иосифа Виссарионовича, однако некоторыми соображениями поделюсь. В сентябре сорок первого Сталин дважды отправлялся на автомашине осматривать оборонительные рубежи. Причем первая поездка по калужскому направлению оказалась неудачной. Началась она вечером, на рубеже оказались темной ночью, ничего не увидели, Иосиф Виссарионович вернулся усталый и недовольный. В самом конце того же месяца или в начале октября он совершил поездку на Можайскую оборонительную линию, проехав среди дня от Можайска до Рузы, затем через Звенигород до своей Дальней дачи. Сопровождал его оба раза опытный чекист генерал Н. Румянцев и, если не ошибаюсь, Н. Булганин.

Я скептически относился к этим экскурсиям: практическая польза невелика, а риск реальный — и под бомбежку угодить можно, и на диверсантов нарваться. Ведь всех случайностей не предусмотришь. Одна из них дала себя знать, когда Сталин отправился в расположение 16-й армии К. Рокоссовского. Очень хотелось ему посмотреть, как ведут залповый огонь реактивные установки — «катюши». Зрелище, конечно, впечатляющее, особенно ночью, когда темноту озаряют багровые пологи пламени, когда ракеты, прочерчивая огненные трассы, уносятся вдаль.

«Катюши» отстрелялись и, как положено, сразу покинули позиции: надо уходить как можно скорей и подальше. Немцы же, опомнившись, открыли артиллерийский огонь по тому месту, откуда произведены были залпы. Вызвали авиацию. Подвесили над всем районом осветительные бомбы-люстры. Шофер Сталина А. Кривченков, вероятно, занервничал, тяжелый бронированный лимузин застрял на грязном проселке. Тут мгновенно сориентировался Берия, сопровождавший тогда Верховного Главнокомандующего. Буквально за руку вытащил Сталина из его машины, посадил в свою и укатил с ветерком. А сталинский лимузин засел так крепко, что его удалось вытащить и дотянуть до шоссе только на следующий день, с помощью танка.

После этого происшествия я в довольно резкой форме напомнил Иосифу Виссарионовичу, что в его обязанности не входит посещение передовых линий, предложил не увлекаться рискованными поездками, а коль скоро такие будут, обязательно брать меня, заранее предупреждая. Чтобы мог произвести негласную рекогносцировку маршрута и принять хотя бы самые элементарные меры безопасности.

— Есть люди, которые обязаны об этом заботиться, — возразил Сталин.

— Это паркетные, асфальтовые шаркуны. Они справляются с доверенным делом здесь, в Кремле, в городе, на даче, но в полевых условиях они как слепые котята, у них нет навыков. Начиная с Берии. А я мотаюсь по фронтам уже на пятой войне, кое-что видел, кое-что знаю. Поэтому не только прошу, но и требую.

— Хорошо, Николай Алексеевич, принимаю ваше предложение, — заверил Сталин. — Буду предупреждать вас.

Довольно скоро он сообщил, что хочет выехать по Волоколамскому шоссе в район Дедовска — Снегирей, осмотреть те рубежи, на которых были остановлены немцы. Это примерно сороковой километр. Желание Сталина было понятно, его притягивали те населенные пункты, с которыми связаны были напряженные, волнующие события: названия этих

пунктов навсегда врезались в его память. Ну и для истории, для биографов, наверно, в тот раз старался, избрав для остановки небольшой придорожный поселочек Ленино. Он ведь постоянно соотносил свою фамилию с фамилией Владимира Ильича, видел в этом сочетании нечто символическое, магическое, приносившее удачу. Не то чтобы прикрывался авторитетом Ленина, а искренне считал себя самым верным и последовательным продолжателем идей и дел Ильича.

Не могу вспомнить точную дату поездки, скажу только, что стоял крепкий мороз и снег был уже довольно глубок (для Сталина приготовили тулуп). Иосиф Виссарионович, с сопровождавшими на трех машинах, должен был выехать из Кремля в полдень, а мы с генералом Румянцевым отправились на рекогносцировку рано утром в обшарпанной «эмке», не привлекавшей внимания. Что мог увидеть на сороковом километре Иосиф Виссарионович? Обгорелые печные трубы среди сугробов, искореженную немецкую технику. Трупы были убраны или заметены снегом, как и воронки и траншеи. В одном из уцелевших домов около шоссе размещался полевой госпиталь, где раненые проходили первичную обработку и сортировались для дальнейшей отправки по назначению.

Вышли из машины возле церкви в Садках. Отсюда, с пологого, но довольно высокого холма далеко просматриваются и шоссе, и окрестности, видна железная дорога рижского направления. «Прощупали» местность с помощью биноклей. Сама церковь, стройная и некогда очень изящная, была изрядно побита осколками, но уцелела, хотя арочные ворота ее выходят прямо на Волоколамку, по которой прошло за осень множество войск и которую так часто бомбили. Впрочем, от кирпичных арочных ворот остались только два закопченных, выщербленных стояка, торчавших, как поломанные зубы. Возле одного из стояков виднелось заснеженное углубление от большой воронки. Из домика, что левее храма (в одной с ним ограде), вышел пожилой человек с двумя или тремя ребятишками. Сказал, что он бывший церковный сторож, а теперь рабочий, но живет с семьей по-прежнему в сторожке, а священник уехал вскоре после революции неизвестно куда. Семья, как мне показалось, была большая и жила скудно, судя хотя бы по одежде детишек.

Съезд с шоссе к паперти был расчищен, поэтому Румянцев предложил: машины Сталина и его сопровождающих остановятся под церковной стеной, Верховный Главнокомандующий осмотрит отсюда окрестности, а дальше, если захочет, пройдет пешком. Однако я не согласился. Машины надо рассредоточить, укрыть поодиночке возле домов, под деревьями, замаскировать сверху. И ни в коем случае не рядом с церковью, потому что такие броские ориентиры, как она, привлекают особое внимание летчиков. На холме воронок было значительно больше, чем в низине.

Погода была пасмурная, изредка сыпался мелкий снежок, скорее даже сухая изморозь. Но серая, недвижимая пелена облаков держалась высоко, под ней вполне могли проскочить самолеты. Мы ходили с опаской. А когда уже возвращались к церкви, из-за леса, правее Снегирей, действительно появились два самолета. Они пронеслись к Дедовску, развернулись назад и прошли над шоссе, обстреляв из крупнокалиберных пулеметов несколько грузовиков, порознь кативших в сторону Истры. Пули высекли розовую пыль из кирпичей стояка, запорошив сторожа, ждавшего нас у ворот. Успел лечь, его не поцарапало. А мы «опоздали» под эту пулеметную очередь буквально на минуту… К счастью, у нас была возможность и достаточно времени, чтобы связаться с командованием

ПВО, еще раз предупредить о необходимости всеми силами и средствами прикрыть Волоколамское направление. Да и снежок усиливался.

Еще о том стояке, по которому полоснули пули и возле которого виднелась заметенная воронка. Нет, скорее о стороже. Через много лет после войны, в период так называемой «хрущевской оттепели», станет известна мне из вторых уст такая история. Объявился вдруг священник, покинувший свою церковь в Садках. За рубежом где-то, в Америке, что ли, объявился. Прислал письмо в наше правительство. Так, мол, и так: стар, в России побывать не смогу, но по любви своей к Отечеству предлагаю вот что. Покидая приход, укрыл золото и серебро в надежном месте. На большую сумму, не в тысячи, а может, в миллионы долларов (по тому-то времени!) Половину пусть возьмет государство, а половина пойдет на восстановление храма и службы в нем. Согласие священнику было дано. И он указал человека, который знает, где спрятан клад большой ценности. Сторож церковный знал это место и хранил тайну многие годы, пронеся ее сквозь бедность, сквозь военное лихолетье. А ведь и взял бы — кто бы дознался? Взрывом, мол, выбросило сундук.

Короче говоря, клад был извлечен, а хранился он… под кирпичной стойкой арочных ворот, остатки которой торчали над замерзшей землей, как разрушенный зуб. Храм был восстановлен, территория вокруг приведена в порядок, обнесена забором: тут и лесок, и кладбище, и хороший дом для приезжих. И служба, естественно, возобновилась. Особенно много венчаются здесь. Из храма молодожены едут к вознесенному на пьедестал танку Т-34, который высится на той символической линии, с которой начали гнать гитлеровцев. Вот как дело-то обернулось. Священнику, конечно, спасибо; а вот церковному сторожу, думается, вдвойне и втройне. Он первый кандидат на награду «За верность», если бы таковая имелась в нашем Отечестве…

Ну а поездка Сталина прошла вполне спокойно и благополучно. Вражеская авиация больше не появлялась. Иосиф Виссарионович проехал до Снегирей, вернулся назад, целый час провел в большой избе, в которой размещался полевой госпиталь, расспрашивал раненых, особенно интересуясь их впечатлением о боевых качествах и моральном состоянии вражеских солдат и офицеров. Это полезно было знать, с учетом того, разумеется, что людям пострадавшим многое представляется в темном свете. Говорили они горячо и искренне, еще не остыв от боя. Что же, и такое, порой нелицеприятное мнение должно быть известно Верховному Главнокомандующему. Важно еще и то, что Сталин видел тесную операционную с усталыми до предела медиками, видел искалеченные окровавленные тела, страдавших от боли воинов: далеко не каждый высший руководитель государства лично знаком с такими сторонами действительности.

Непосредственным, реально ощутимым результатом той поездки стала большая картина, довольно известная, но имя художника я запамятовал. Хорошая, кстати, картина, очень удачно скомпонованная. Темная ночь, снег, мороз, крупным планом Иосиф Виссарионович в тулупе: наблюдает с высоты за боем, а бой этот происходит за темным лесом, там небо озарено всполохами залпов и взрывов, рассекают небо клинки прожекторов. Есть в этой картине и реальность, и настроение. Не знаю, где она теперь, неужели и ее загубили ретивые корректоры от истории?..

И последнее, связанное с этой поездкой. Провожая из Москвы министра иностранных дел Великобритании лорда Антони Идена, наш Вячеслав

Михайлович Молотов сказал англичанину в неофициальной беседе примерно следующее: «В последней поездке на фронт товарищ Сталин беседовал с ранеными. Пострадавшие люди, только что доставленные с поля боя, очень интересовались, а помогают ли нам союзники?»

У Молотова были все основания еще раз выделить этот важный вопрос.

14

В развитие предыдущей главы о поездках Сталина на фронт, тем более о самой важной и продолжительной поездке, лучше сказать сейчас, не считаясь с хронологией… Весь 1942 год и всю первую половину 1943 года Иосиф Виссарионович непосредственно в действующей армии не бывал. Сложная обстановка не способствовала, да и крайней необходимости не возникало. Засобирался он лишь в конце июля, когда стало ясно, что грандиозная битва на Курско-Орловской дуге нами выиграна, немцы понесли потери, которые не позволят им в ближайшее время вести наступательные действия и даже надежно обороняться на всех направлениях. Исход летней кампании был предрешен, можно было вздохнуть с облегчением, позволить себе то, что невозможно было осуществить раньше.

На сей раз Иосиф Виссарионович вознамерился совершить вояж в штабы двух фронтов, Западного и Калининского, которые располагались довольно далеко друг от друга, и оба — на почтительном расстоянии от Москвы. Официальная причина поездки: разобраться с положением на этих фронтах, подключить их к общему наступлению, развивавшемуся возле Орла и Курска, воспользоваться благоприятным моментом, чтобы освободить Смоленск, отодвинув линию соприкосновения подальше от нашей столицы. Всю подготовительную работу к этой операции можно было (и даже лучше было) провести в Москве, в спокойной обстановке, вызвав командующих фронтами. Или послать на места представителей Ставки — такая практика уже сложилась у нас и вполне оправдала себя. Но Иосифу Виссарионовичу нужна была в данном случае акция не столько военная, сколько политическая, для использования теперь и в будущем: Верховный Главнокомандующий в переломный период войны лично направляет и контролирует ход боевых действий, находясь непосредственно на передовой. Хорошая возможность для историков и пропагандистов поговорить о мудром руководстве, о дальновидности, о мужестве нашего дорогого вождя… Ирония оправданная, но я не позволил себе тогда проявить ее, ничего не возразил против замысла. Потому что понимал: Сталин засиделся в кремлевском кабинете, ему нужно было глотнуть реальной действительности, увидеть, выполнимы или нет на практике самые хорошие планы и замыслы.

Намеченный маршрут пролегал по районам, где два года бушевала война, и обычная, и партизанская, где немцы окружали и били наших, а потом, наоборот, наши окружали и били немцев, где население вынуждено было обогревать, кормить, снабжать то своих защитников, то оккупантов, где свирепствовали карательные отряды. Там, особенно на печально известной железнодорожной магистрали Вязьма-Ржев, почти от всех населенных пунктов остались только развалины и пепелища, а уцелевшие люди обнищали до последнего предела, земля была настолько изрыта воронками и траншеями, напичкана таким количеством мин, невзорвавшихся боеприпасов, усыпана таким количеством осколков

рваного металла, что обрабатывать ее не было никакой возможности. В пустыню превратились эти щедрые края, лишь кое-где струился дымок над землянками. И я хотел, чтобы Сталин увидел, прочувствовал горе народное, чтобы понял, какую цену платит народ в этой войне.

У меня была лишь одна просьба к Иосифу Виссарионовичу: я с несколькими товарищами еду по тому же маршруту, но на сутки раньше его. С широкими полномочиями. Он согласился.

В самом начале подготовки было допущено изрядное головотяпство, которое можно было бы расценивать даже как вредительство. Но никакого сознательного вредительства не было, сказалось отсутствие опыта у исполнителей, их тугодумие, стандартность мышления, если не сказать хуже. Руководил закодированной секретнейшей операцией энергичный генерал А. Серов, пользовавшийся доверием и особым покровительством Берии. Он же, ничтоже сумняшеся, и дал команду подготовить для Сталина спецпоезд с таким салон-вагоном, в каких Иосиф Виссарионович разъезжал по фронтам гражданской войны, в каких ездил отдыхать в Крым, на Кавказ. Я уже писал об этих непревзойденных деревянных вагонах, коричневых, с красноватым оттенком, которые выпускались в России еще до четырнадцатого года и долго служили потом. Серов, естественно, знал о таких вагонах международного класса. И вот — один для Сталина, один — для Берии со свитой, третий — для сопровождавших генералов и полковников. Еще несколько обычных пассажирских вагонов для охраны, для запаса продовольствия. Красавец паровоз «ИС» с опытным машинистом — и спецпоезд готов. Картинка на загляденье, а я, когда увидел, за голову схватился: лучшей приманки для немецких воздушных разведчиков, для их наблюдателей на прифронтовых станциях, для диверсантов, просто для любопытствующих ротозеев — лучшей приманки трудно было придумать. Проследят враги маршрут. А потом (или сразу же) разбомбят, или обстреляют мост, или путь заминируют.

Переменили все почти полностью, только паровоз оставили прежний, придав ему с помощью несложных манипуляций вид побывавшего в передрягах локомотива. Платформы с бревнами, с гравием, с песком. Они примут на себя удар, если взорвется мина, спасут, если рельсы раздвинуты или насыпь осела. И восстановительный материал при себе, под рукой. За платформами несколько обычных пассажирских вагонов и ничем не выделявшийся среди них так называемый «малый салон-вагон». Снаружи ничего особенного, а внутри — все удобства. И опять две или три платформы вперемешку с теплушками. Этакий заурядный сборный состав, на который не польстится вражеский летчик — бомбы дороже.

Спецпоезд подан был для посадки на перегон между Давыдковом и Кунцевом, прямо к Ближней даче, к «Блинам». Сталин и Берия, успевшие поужинать, подъехали на автомашинах. Было это незадолго до полуночи на 2 августа. Но я при этом не присутствовал. Выехав накануне вечером, я с тремя помощниками находился уже на станции Мятлево. Дальше до Юхнова, возле которого находился штаб Западного фронта, железной дороги не было. Командующий фронтом, наш хороший знакомый В. Д. Соколовский, прислал за мной машину — «виллис», точно такую, на какой должен был добираться до штаба Иосиф Виссарионович. Дорога была скверная, разъезженная, разбитая бомбами и снарядами. Воронки засыпаны на скорую руку, машину бросало на ухабах, как на штормовых волнах. Но это еще полбеды. Беспокойство мое вызывали мосты и мостики,

наспех восстановленные после боев фронтовыми саперами. Особенно подозрительным показался мост через небольшую речушку с крутыми берегами. Походил, посмотрел. Шатко, ненадежно. Меня уверяли, что недавно здесь проходили танки, мост выдержал. Но кто его знает, выдержит ли он на этот раз автомашину — не было у меня полной уверенности. Вот ведь как: множество оперативников привлечено было для охраны маршрута, целая дивизия НКВД скрытно сосредоточена была в районе Юхнова, контролировала все подступы, готовая отразить нападение вражеских диверсантов, высадку парашютистов, прорыв подвижной группы противника — все, что угодно. И привлекший мое внимание мост охранялся, а на состояние его не обратили внимания. Видимо, прошедшие здесь танки доканали и без того не очень надежное сооружение. Пришлось срочно вызвать роту саперов, чтобы за несколько часов укрепили мост.

Штаб Западного фронта размещался не в самом Юхнове, а в стороне от него, в обширном лесном массиве. Несколько домиков на поляне (один из них подготовлен для Сталина) были затянуты сверху сплошной маскировочной сетью. Я прежде всего поинтересовался, давно ли она натянута, не произошло ли в последние дни изменения видимого сверху пейзажа? Меня успокоили — маскировка произведена еще в начале лета.

В короткой беседе Соколовский сказал, что его тревожит возросшая активность вражеской авиаразведки. Немецкие разведчики появляются над дорогами два-три раза в день, пытаются проникнуть в наши тыловые районы. Он видел две возможные причины. Скорее всего, противник пытается определить, не собирается ли Западный фронт начать наступление, развивая успехи южных соседей? Где и примерно когда будет нанесен удар? Или немцам что-то известно о прибытии Верховного Главнокомандующего? Сравнили сроки усиления авиаразведки и решения Сталина о поездке: нет, разведка активизировалась раньше.

Вечером я прогулялся вокруг дома, умудрился даже найти целую семейку белых грибов: два больших и штук шесть мал мала меньше. Размечтался — хорошо бы приехать сюда, когда кончится война… И после нескольких напряженных суток выспался наконец, сняв с окна маскировку и открыв форточку. А отдохнув — двинулся вновь по маршруту: на машине, до станции Мятлево, оттуда по железной дороге на Вязьму — Сычевку — Ржев и далее опять же на машине в деревню Хорошево, где намечена была встреча Сталина с командующим Калининским фронтом Еременко. И снова заботы: проверка, насколько плотно перекрыты частями НКВД подступы к деревне, как подготовлен отведенный для Иосифа Виссарионовича просторный, чистый дом с небольшой терраской, с резным балкончиком под самой крышей, над трехоконным фасадом. Хозяйке, работнице местной льняной фабрики, пришлось на время освободить помещение. Туда подтянули связь.

И опять непредусмотренное обстоятельство. На станцию Ржев один за другим прибывали эшелоны с людьми и лошадьми Третьего кавалерийского корпуса. Командовал им Николай Сергеевич Осликовский. Читатель помнит его. В начале войны он был полковником в кавкорпусе Белова, водил в бой 9-ю Крымскую кавдивизию, отличился под Каширой: там дивизия стала 2-й гвардейской, а Осликовский — генералом. Приятно, конечно, было увидеться с Николаем Сергеевичем, но разгрузка его корпуса была совершенно не к месту и не ко времени. Немцы, конечно, засекли сосредоточение войск, бомбили эшелоны на подходе, пытались

бомбить на станции. Привлек, в общем, корпус внимание немцев к Ржеву, а приостановить сосредоточение кавалеристов было уже поздно, да и не имело смысла. Все равно противник держал бы станцию под контролем. А спецпоезд Сталина тем временем уже шел по тому маршруту, которым приехал я.

Сделал единственное, что представлялось возможным: сообщил об опасности и посоветовал остановить спецпоезд еще до станции. И очень хорошо, что успел предупредить. Вскоре после того, как Сталин и Берия прибыли в деревню, немцы произвели ночной массированный налет на железнодорожный узел. Не знаю, чему уж было гореть в разбитом и сожженном Ржеве, но зарево было большое. Били многочисленные зенитки, в том числе и батареи, стоявшие между городом и нашим месторасположением. Осколки зенитного снаряда сыпанули по кустам возле дома, изрядно напугав Берию и молоденького автоматчика-часового. Лаврентий Павлович резво кинулся в дом, споткнулся на крыльце, ушиб ногу и не показывался потом до конца воздушного боя. Сталин пошучивал, высказывая свое мнение о спортивных способностях «дорогого Лаврентия». Не без юмора рассказал он о «рекордном рывке» Берии приехавшим утром Еременко и Ворошилову. Потом начался деловой разговор о предстоящих задачах Калининского фронта.

Добавлю еще вот что: находясь в Хорошеве, Иосиф Виссарионович получил сообщение об освобождении нашими войсками Орла и Белгорода. Сразу же обсудили, как отметить столь радостное событие. Сталин предложил произвести торжественный салют. Связался с Москвой, выяснил, сколько орудий можно использовать, отдал необходимые распоряжения.

Ровно в полночь 5 августа 1943 года небо над столицей озарилось огнем первого нашего победного салюта, гром которого раскатился над всей страной, над всем миром. А через несколько дней, выполняя планы, намеченные в Юхнове и Хорошеве, перешли в наступление войска Западного и Калининского фронтов.

15

Не было бы поездки Сталина и Лукашова в Юхнов — не появилась бы эта книга, хотя, наверно, была бы какая-то другая, того же автора и на ту же тему. Но не этот роман-исповедь. Чтобы разобраться в сложном переплетении событий, предлагаю АВТОРСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ, может, и странное, но необходимое.

Давно известно, что каждое произведение искусства, уйдя от своего создателя в большой мир, обретает собственную биографию. Иногда короткую и ничем не примечательную, иногда долгую и бурную — варианты самые разнообразные и непредсказуемые. Биографию романа «Тайный советник вождя» долгой еще не назовешь, но история его уже настолько своеобразна, что можно написать о нем целую книгу, в которой сочетались бы все жанры — от детектива, от фантастики до трагикомедии. Подробный разговор об этом увел бы нас далеко от основной темы. Однако выявились и такие события, без которых сам роман был бы неполным. Об одном из таких событий, об одном эпизоде, буквально потрясшем самого автора, логика велит поведать сейчас, именно в этом месте ввести эпизод в ткань произведения.

Вернемся к самым первым страницам романа. Ко мне обратился очень пожилой человек благородной внешности и с военной выправкой. Сообщил, что многие годы был близок с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и очень хочет, чтобы о Сталине, об их дружбе и сотрудничестве была создана объективная книга, рассчитанная на широкого читателя. В те годы, когда произошла наша встреча, даже сама идея создать такую книгу могла вызвать весьма нежелательные последствия. Но почему же тот человек разыскал меня, доверился именно мне? Такой вопрос, как помнит читатель, был мною задан. Николай Алексеевич Лукашов, от лица которого и пойдет повествование в книге, сошлется на мнение обо мне генерала Белова, маршала Буденного, на то, что ему очень импонируют концепция, суть, стиль моего романа «Неизвестные солдаты». И, цитирую по «Тайному советнику»: «Есть, правда, еще одна причина, но это уже личное, об этом скажу потом, если будем работать…»

Работать мы начали, но третью причину Николай Алексеевич так и не открыл. Не успел. Или не захотел.

После пребывания в подполье, после долгих мытарств по издательствам первая часть романа пробилась к читателям, взорвав и развалив редколлегию журнала «Простор», принеся автору много сторонников и не меньше противников, активных врагов. Похвалы смешивались с угрозами, однако это уже не имело значения, главное было достигнуто. Книгу читали. Читала ее и моя восьмидесятилетняя мама, одна из старейших педагогов в стране, имеющая шестьдесят лет трудового стажа. Неожиданно и как-то уж очень взволнованно начала она вдруг разговор:

— Разве я рассказывала тебе об офицере, который еще в ту войну, до гражданской, излечивался в Красноярске? Что-то не помню.

— Нет, — насторожился я. — Этого не было.

— Разве я рассказывала тебе, как в Новочеркасске изнасиловали его беременную жену, и как он ночью руками раскапывал могилу, чтобы убедиться, что там действительно она?

— Нет, никогда не говорила об этом. — Рука сама потянулась к сердцу, так учащенно оно колотилось. Мама была бледна. И продолжала:

— Откуда же ты знаешь все это? Ты пишешь так, будто сам видел или сам слышал. Или я сошла с ума и ничего не понимаю… Я знала давно, но такие подробности…

— Кто? Кто тебе говорил? — почти выкрикнул я, начиная догадываться.

— Он сам, этот офицер. Но у него было другое имя…

— Конечно, другое! Это в книге он Лукашов, я дал слово…

Весь вечер проговорили тогда мы с мамой, она приоткрыла мне те страницы своей жизни, о которых я не знал, не ведал. И понятно стало то личное, что хотел высказать мне Николай Алексеевич, и еще раз убедился я в том, как просто и сложно плетутся на небесах тончайшие кружева судеб.

Предвидя недоверчивые ухмылки скептиков, я попросил мать изложить все то, что сообщила мне, на бумаге. Слова, сказанные — дым, улетучились — и нету. А написанное пером, как известно, не вырубишь топором. Но прежде чем привести странички воспоминаний, для лучшего понимания немного о ней самой.

Моя мать, Сечкина Нина Николаевна, родилась в 1907 году в небольшом уездном городе Одоеве Тульской губернии, в богатой купеческой семье. В очень богатой — это надо подчеркнуть, хотя здесь не место вдаваться в подробности. Училась в гимназии, а после революции — в трудовой школе.

И всей душой горячо восприняла то новое, что принес стране семнадцатый год. Странно? Нет, объяснимо. Ее коробила несправедливость. Буржуи, спекулянты, чиновники жили припеваючи, а в деревнях — голод, грязь, болезни, неграмотность, лапти, соломенные крыши, земляные полы. И это — у девяноста процентов людей, а то и больше. А постыдное, унижающее неравенство сословий?! Почет и преклонение перед заурядной семейкой князей Козловских, презрительно, свысока смотревших даже на богатую семью Сечкиных, не говоря уж просто про обывателей. А чем она, Нина, хуже, тем более что и в роду были люди знатные, всей России известные.

Короче говоря, Нина Сечкина стала в своем городе первой девушкой-комсомолкой, создавала пионерскую организацию и обрела должность очень даже ответственную, стала председателем У-бюро ЮП, в переводе на обычный язык — уездного бюро юных пионеров. Такие, как она — святое и самоотверженное поколение революционеров, искренне боровшихся за лучшую жизнь для народа, сотворивших чудо в развитии экономики, в подъеме культуры. Позабывали об этом оболваненные антирусской пропагандой потомки еще не так давно нищих рабочих и крестьян. Пряники приедаются, для разнообразия кнута хочется.

Особым для Нины Сечкиной стал 1927 год. В этом году она вышла замуж и родила сына — в будущем автора этих строк. В том же году окончила тульскую совпартшколу, а вернувшись в Одоев, узнала, что ее отлучили от партии, от комсомола. Вычистили. Ей прощалось то, что выросла в богатой семье, что отец у нее лишенец, но того, что полюбила Дмитрия Успенского из семьи священнослужителей, — рьяные блюстители классовых интересов простить не могли.

Жизнь пришлось начать заново. Пошла работать в школу, окончила заочно Московский педагогический институт. Хорошей была учительницей, нашла свое призвание. Но когда началась война, — новый удар. Мужа арестовали по пятьдесят восьмой статье, он сгинул бесследно, а семью отправили в ссылку, в Красноярский край. Было многое. А я запомнил вот что. Маленький городок Артемовск, затерянный в горах, в глухой тайге — комбинат «Минусазолото». Уроки в ремесленном училище ведут молоденькие учительницы, сами-то полуграмотные. А в коридоре за дверью две ссыльных женщины с тряпками в руках, уборщицы мест общего пользования, моя мать и еще одна — кандидат химических наук.

Справедливость восторжествовала. Семья была реабилитирована. Меня взяли на фронт, на войну. Мать стала преподавать в средней школе, затем вернулась на запад, в Москву. И при всех невзгодах, в самые тяжелые дни и часы, она всегда оставалась патриоткой, судьба страны, судьба народа были для нее главным, определяющим. «Будь мужественным и честным» — такими словами проводила она меня в военную неизвестность в 1944 году.

Сразу после Победы в столице начала работать мужская школа № 206 на Старом шоссе, неподалеку от Тимирязевской академии. Естественно, из других школ туда сплавили самых отпетых барачных ребят. Очень тяжело было с ними, с новым педагогическим коллективом. За пять лет сменилось семь директоров, и только завуч Сечкина неизменно оставалась душой и грозой этой школы, ставшей родным домом для многих мальчишек. И учились, и кормились вместе со школьного огорода. Бывшие хулиганы, полуголодные оборванцы стали со временем инженерами, журналистами, профессорами, академиками и долго потом не забывали тех, кто вывел их на правильную дорогу.

В этой школе работала некоторое время Елена Яковлевна Бердникова, вместе со своими детьми отдыхавшая летом в Юхнове. Пригласила она и Нину Николаевну, вот только забылось, в каком году это было, в пятьдесят втором или в пятьдесят третьем. Прельстила Елена Яковлевна рассказами о лесной тишине, о грибах, о парном молоке. И полусекретно сообщила, что отправятся они к ее мужу, к подполковнику Бердникову, директору Юхновского музея И. В. Сталина. Как было не поехать, не отдохнуть после напряженной работы по двенадцать, а то и четырнадцать часов ежедневно. Да и любопытство тянуло.

В записях Нины Николаевны много эмоций, повторов, отступлений, третьестепенных подробностей, кое-что пришлось убрать, но я постарался сохранить все, что имеет отношение к нашей теме. Не обессудьте.

«И я решилась. Тем более привлекали глухие места, недавние следы войны, еще звучавшее иногда в ушах: «На Юхновском направлении…» Все говорило о спокойствии и безлюдье в течение долгих 2–3 недель. Ура! Еду!

О том, что представляли тогда разрушенные войной Малоярославец, Юхнов, сам музей Сталина в шести километрах от Юхнова, огражденная проволокой от лесного массива усадьба, если так можно назвать место, где находились здания: дом для директора, гостиница в полтора этажа, хозпостройки, гараж, банька да неподалеку, в глухом бору, домик, где ночевал вождь, — обо всем этом я хорошо помню. А сейчас хочу описать встречу с интереснейшим человеком.

Я удивлялась себе сама. На меня так подействовала обстановка, природа, что, во-первых, не собираясь, не взвешивая за и против, бросила курить. Во-вторых, стала заниматься физкультурой, в-третьих, решила основательно перечитать три первые тома Горького, пять его пьес и последний роман «Клим Самгин». И делать записи для себя, для 10-го класса, который мне надлежало в предстоящем году вести. Затем — насушить и насолить много грибов, собрать брусники для приправы на зиму.

Вставала рано, уходила в лес. После завтрака садилась на веранде гостиницы в плетеное кресло, рядом такой же столик (все это чистое, новое, красивое) и работала часа 4–5. После обеда снова прогулка и опять чтение в полное удовольствие.

Елена Яковлевна целый день была занята по хозяйству и с детьми. Их у нее четверо. Изредка помогала ей, но, извинившись заранее, предупредила, что буду только отдыхать и ей — плохая помощница. Да она и сама меня не подпускала ни к чему, понимая, какую ношу на плечах несу в учебном году. Вечером изредка общалась с Наденькой (научный сотрудник при музее), хотя она самостоятельно, без директора Дмитрия Ивановича ничего не делала. Анекдот — не иначе: он без себя не разрешал провести со мной посещение Дома-музея. А я сама посетила, посмотрела, послушала старика сторожа, дежурившего по ночам. А караулить-то было нечего и не от кого. Вот только я посетила музей рано утром. И как же рассердился Дмитрий Иванович, узнав, что я, не дождавшись его, взяла себе в качестве гида старика сторожа. Оказывается, что этот домик новый, а тот, где ночь провел Сталин, сгорел. Вот с тех пор и караулили, а что — сами не знали. Ночную вазу, что ли.

Дмитрий Иванович был увлечен своим хозяйством. С утра пораньше он в Юхнове на строительстве собственного дома (за что потом имел неприятности по службе), затем запасал сено для коровы и телки. Кроме того, у него были две свиньи, стадо кур, гусей. Телка, огромная и

нахальная, оставляла большие лепешки на клумбе. Вечерами я бесцеремонно разъясняла Дмитрию Ивановичу, что он не прав, уделяя много внимания своим нуждам, что из Москвы, из ПУРа приезжают товарищи, спрашивают директора, а его никогда нет на месте. Что скотина на участке — безобразное явление, что в музее за две недели, проведенных много, я видела лишь несколько посетителей. Были муж и жена — москвичи. Приехали на машине и даже не ночевали в гостинице, а Наденька скупо и сухо рассказала о музее только то, что разрешил Дмитрий Иванович. Не показала окрестностей, а они являли собою свежие раны войны. Земля вся была изрыта (дзоты, окопы). И вторые посетители — семья молодогвардейца Радика Юркина (жена его из Юхнова) да двое их детишек. Мы с ними поиграли в волейбол, погуляли — и они уехали домой в Юхнов. Был еще отряд пионеров из лагеря.

На мое недоумение Дмитрий Иванович не реагировал, ссылаясь на то, что послан сюда из-за ранений на поправку, что скоро возьмется за дело. Кончилось тем, что его освободили и перевели куда-то в военное училище, не знаю в качество кого.

Однажды сидела и работала на веранде, в гостинице. Ясное утро. Легко и весело на душе. Беззаботно. Люблю ранние рассказы Горького, его смелых, стремящихся к свободе и труду героев. Увлеченно читала. Услышала обращенные ко мне слова: «Вы что же, здесь отдыхаете? Не знаете ли случайно, где директор?»

Передо мною стоял в военной форме без погон довольно высокий пожилой мужчина. Какая-то неуловимая приятность в голосе, в манерах привлекли мое внимание. Я ответила вежливо, смягчив свой резкий, чрезмерно громкий голос. Разговор приобрел легкий, непринужденный характер. Человек не торопился. Видимо, рад был побеседовать и расслабиться.

Бывает, правда, очень редко, когда вдруг без видимых причин почувствуешь необыкновенное расположение к впервые увиденному человеку, с которым и разговаривать приятно, и просто быть, общаться хорошо. Так случается: не ждешь, не гадаешь, а неожиданно находишь. Как-то все вписывалось тогда в единую картину спокойствия, благостности. И гостиница — чистая, свежестью насыщенная, пахнущая березой и сосной, не тронутая еще рукой человека, только приготовленная для него. И плетеные кресла, и столики на веранде, опоясывающей здание, и цветы на клумбе, яркие и душистые, и банька с березовыми вениками, где одно наслаждение было попариться, и «шоколадный» домик (три комнаты) директора, и, наконец, каждое утро букетик свежих цветов на раскрытом окошке Наденьки (она, конечно, знала, кто их приносил, хотя и отнекивалась) — все создавало особую обстановку романтичности, праздничности, располагало к доверию, к тихой грусти и радости.

Сначала симпатия. Слово забытое почти, но справедливо отображающее чувство, которое возникло между нами (мною и человеком, обратившимся ко мне). Потом — доверие. Потом желание рассказать друг другу, приоткрыть краешек завесы из прожитой жизни.

Буду называть его Николаем Алексеевичем, раз он сам выбрал такое имя для книги. Хорошо воспитанный и образованный. Надо подчеркнуть большие познания его, огромный разносторонний кругозор, осведомленность в области искусства, литературы. Приходилось напрягаться при разговоре, чтобы не оказаться ниже его. Однако его такт,

умение вести беседу выручали: он избегал сложностей, затруднений, часто придавая беседе шутливый характер. Несколько вечеров мы провели вместе.

Проклятое мое свойство — свойство педагога-литератора: все замечать, видеть, даже ненужные мелочи. Так или близко к этому сказал Горький. Это утомляет. Мои сокурсницы ворчали, когда например, по пути в институт, да еще на госэкзамен, я говорила, обращаясь к ним: «Смотрите, какие шикарные косы у девушки!» «Ну, о чем ты думаешь! — удивлялись они. — Ведь экзамен идешь сдавать».

— Такая наблюдательная, а меня не заметила, как я подошел, — пошутил Николай Алексеевич. — Ну, волшебница-наблюдательница, скажите, есть ли что во мне отличающее от других?

— Скажу. Грусть в глазах, задумчивость, озабоченность.

— Вы угадали. Думал, что застегнут на все пуговицы, на все крючки, ан нет. Какой-то крючочек выскочил из петли… Знаете, как хочется поговорить по-дружески. Или уже к старости годы клонятся, одиночество тяготит. Уходят друзья. Совсем уходят. У дочери все больше своих интересов и проблем.

— Она взрослая?

— Да. Кончила университет.

— А жена?

— Были жены. Схоронил…

Ощущая мое сочувствие, Николай Алексеевич начал говорить, часто прерывая рассказ долгим молчанием. «И поведаю печаль свою». Зачем только я эгоистично всполошила в его памяти ту страшную, даже теперь, после мучений военных лет, душу раздирающую картину насильственной смерти первой жены и неродившегося ребенка. Сцена прощания с ней и с дитем настолько потрясла меня, что я разрыдалась.

— Не надо, не надо дальше! — Я об этом уже писала на листочках и отдала сыну, поэтому не стану повторять, так как и теперь мне страшна та безумная ночь Николая Алексеевича у разрытой могилы.

Обхватив его голову, я поцеловала его.

О той ночи он, оказывается, прежде не говорил никому. Об этом можно было рассказать только человеку постороннему, с которым, наверное, больше не встретишься. Слабину такую себе не простишь… Мы стали близки друг другу. Но надо было расставаться.

— Я снова, — сказал он на следующий день, — застегнут на все крючки. Они в своих привычных петлях. Спасибо, что способствовали в какой-то мере восстановлению душевного равновесия.

Мы вместе позавтракали — двое в пустой гостинице. Он заранее, оказывается, договорился с поваром обо всем. Ни о чем вчерашнем не было помянуто. Но глаза, полные грусти и тревоги, не отпускали меня. Они и потом мне долго-долго вспоминались и снились.

Посмотрев на часы, Николай Алексеевич сказал, что через два часа за ним придет машина, и предложил в последний раз пройтись к домику Сталина, погулять. Решили не искать друг друга. Рассказала ему о дочке-студентке, о сыне-журналисте, который писал тогда книгу о войне в Корее. Это его особенно заинтересовало. Спросил, где будет напечатана книжка. Лишь теперь, спустя много лет, я поняла, что ему уже тогда, вскоре после смерти Сталина, хотелось поведать людям о виденном и пережитом.

И все. Больше мы не встречались, хотя мысли мои тянулись к нему и часто расстояние, разделявшее нас, было очень коротким.

Много лет подряд месяц-полтора проводила я в Петрово-Дальнем, в пансионате на высоком берегу, где Истра впадает в Москву-реку. С этим местом у меня связаны разные воспоминания. Любила голубую беседку над обрывом. Из нее далеко просматривались расположенные на том берегу реки Москвы окрестности. Зеленели и пестрели разноцветьем заливные луга, шумели, водопадом низвергаясь, каскады на большой плотине, выстроенной при Хрущеве. Летели брызги, сверкая на солнце. Великолепное зрелище. Вдали темнеют густые леса. Там расположены за зелеными заборами правительственные дачи в Усове, Жуковке, Ильинском, там жил дорогой человек Николай Алексеевич. Слышал ли он приветы мои, долетали ли до него мои жалобы на тяготы жизни, желание увидеться?.. Постарел, конечно. Ведь многое после Сталина коснулось лично его.

Густые леса — если смотришь из беседки чуть влево. А если взглянешь прямо, то увидишь на том берегу, за лугом, село Знаменское, церковь, избу, которую год за годом снимал на лето сын с семьей. Однажды сидела в беседке и думала о своем. Увидела какое-то движение на том берегу по направлению к кладбищу. Видимо, хоронили военного, при спуске гроба в могилу произвели салют. Вскоре стремительно подъехали несколько казенных машин, всполошились охранники особого района, но они опоздали. На земле остался лишь свежий холмик. Люди, отдав должное, расходились. Позже узнала, что на старом кладбище схоронили какого-то подполковника. Были только пожилые мужчины да одна женщина. И видели все это мои внучки, Маша и Катя. Недаром так щемило тогда мое сердце…»[65]

Автор счастлив тем, что и сейчас, в девяностых годах, работая над этой книгой, имеет возможность посоветоваться с матерью, Ниной Николаевной, что-то выяснить, уточнить. Несколько раз задавала она мне вопрос: будет ли названа настоящая фамилия Лукашова? Когда? Этот же вопрос повторяется и на читательских конференциях, и в тысячах писем, получаемых автором. Мне даже странно, почему такой интерес. Ведь настоящая фамилия почти ничего не даст, разве что историкам знакома она да людям весьма пожилым. Тем не менее одна женщина, например, кандидат наук, обращалась ко мне раз за разом, обосновывая предполагаемые кандидатуры. Я отвечал коротко: нет. Потом сообразил: она идет методом исключения, математического отбора. Все ближе, ближе. Как в детской игре: тепло, еще теплее. Когда получил от нее двадцать четвертое (!) письмо, понял — еще немного и будет совсем горячо. Переписку пришлось прекратить.

Прошу многочисленных корреспондентов понять и извинить меня; ответить на все вопросы, просто на письма, на просьбы выслать книгу нет никакой возможности. Если бы я занимался только письмами, и то не управился бы, а ведь надо и книгу продолжать, и жить. А на встречах с читателями, когда речь заходит о Лукашове, я отвечаю так. Прообраз Николая Алексеевича, если хотите точности, это семьдесят три процента реального. Остальное — от автора. Ведь это все же не сухое жизнеописание, а роман для широкого круга читателей. С выверенными фактами.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

1

Весна 1942 года. В кабинете Сталина находились только мы с Шапошниковым, когда Иосиф Виссарионович попросил уточнить, сколько же сейчас у немцев наших военнопленных. Шапошников, предпочитавший выражению «сдались в плен» выражение «оказались в плену», повторил уже известную цифру: с начала войны, главным образом в первые месяцы, противник захватил около четырех миллионов наших бойцов и командиров, считая тех, кто был только что мобилизован, но не успел получить оружия. Часть этих людей, чьи семьи находились на оккупированной территории, была отпущена по домам. Многие скончались от ран, от голода и холода в пунктах сбора пленных за колючей проволокой под открытым небом. Слабых и больных добивали немцы. Кому-то удалось бежать.

— Нам важно знать, сколько сейчас, — повторил Сталин.

— Полных данных нет. Однако можно считать, что в стационарных немецких концлагерях находится примерно два с половиной миллиона наших военнопленных.

— Такая сила пропадает без всякой пользы для нас… Пытаются ли фашисты использовать эту силу в военных целях?

— Полицейские формирования на добровольной основе. Есть сведения, что в глубоком тылу противника появились небольшие подразделения, укомплектованные пленными. Используются для охраны второстепенных объектов.

— Надо учитывать, что таких подразделений будет появляться все больше. Батальоны, а может быть, и полки, — сказал Иосиф Виссарионович. — Думаю, не много найдется негодяев, которые будут служить гитлеровцам с оружием в руках. Но найдутся. Думаю также, что большинство пленных либо нейтральны, либо готовы искупить свою вину перед Родиной. Мы должны дать им такую возможность. Мы просто обязаны ради них и ради государства перехватить инициативу, использовать в дальнейшем эту силу в наших общих интересах. Но нужны люди, очень умные и самоотверженные люди, которые займутся этой работой Там, в немецком тылу, оказавшись среди пленных, не чураясь носить чужую форму. Способные убедить немцев, что будут добросовестно служить им, что другого пути у них нет.

Судя по тому, что слова Сталина не вызвали у Шапошникова ни малейшего удивления, можно было понять: подобный разговор возник не впервые, В беседах с ним, значит, как и со мной, Иосиф Виссарионович уже развивал и конкретизировал для себя этот замысел. Едва заметная болезненная гримаса пробежала по красивому благородному лицу Бориса Михайловича. Чувствовал себя неважно, или неприятно ему было слушать? А Сталин продолжал:

— Самое главное — нужен закоперщик, инициативный и самостоятельный организатор, безупречный артист, для которого первая же фальшивая нота среди врагов станет последней нотой. Нужен капитан, который без лоции проведет судно среди мелей и рифов в незнакомом море. Требования самые высокие. Этот человек должен иметь достаточные основания, чтобы перейти на сторону немцев и служить им.

Этот человек должен быть известен гитлеровскому руководству как умелый боевой генерал, иначе ему не доверят командования. Этот человек должен быть известен среди пленных, пользоваться авторитетом, иначе пленные не пойдут за ним. Хорошо, если бы он успел повоевать на разных фронтах в приграничье, в Белоруссии или на Украине, здесь, под Москвой, чтобы шире была известность… Я прошу вас, Борис Михайлович и Николай Алексеевич, вместе подумать и дать нам несколько кандидатур.

— Не лучше ли, если этим займется Берия? — суховато возразил Шапошников.

— Нет, не лучше. Берию мы не ставим в известность.

— Странно, — вырвалось у меня, — Это ведь по его части.

Иосиф Виссарионович пристально посмотрел на каждого из нас, в глазах промелькнула лукаво-веселая искорка.

— А-а-а, понимаю, — приподнял он руку с оттопыренным указательным пальцем, будто нацеленным в потолок. — У нас нет никаких сомнений в товарище Берии, мы полностью доверяем ему, но сейчас случай особый. Берия хуже вас знает военные кадры, причем знает односторонне, без учета индивидуальных особенностей. У Берии свои представления о долге, о чести, о совести, с которыми мы не всегда согласны. Берия должен быть искренне убежден, что генерал-перебежчик враг, и принимать такие же меры, как против других подобных. Иначе Берия может сделать какое-то послабление, допустить ошибку. Чем меньше круг знающих, тем лучше. Будут знать пятеро, включая нас с вами.

— Не уверен в своей полезности, — сказал Шапошников.

— И все же подумайте, вместе о возможных кандидатурах. До завтрашнего вечера, — напутствовал Сталин.

Мы вышли в кремлевский двор, в тихую ночь, под темное небо, усыпанное яркими блестками звезд. С легким звоном лопался под сапогами тонкий ледок, затянувший лужицы. Приятно было вдыхать чистый воздух после прокуренного кабинета. Это — для меня. А заядлый курильщик Шапошников вроде бы захлебнулся таким воздухом, закашлялся.

— Не нравитесь вы мне, Борис Михайлович, в последнее время.

— Я и сам себе, голубчик, не правлюсь, и чем дальше, тем больше.

— Перенапряжение, переутомление…

— И это тоже. Профессор Вовси после обследования пошутил: у вас, говорит, уникальные внутренние органы, нет ни одного без отклонения от нормы. Глухие тоны сердца, претабиальная отечность, недостаточное кровообращение, эмфизематозность с какими-то влажными хрипами, увеличение печени… Я и сам чувствую: одышка, постоянная слабость… Трудно нам угнаться за молодыми.

— Но ведь и Сталин не молод…

— Есть еще одно обстоятельство. Я не всегда теперь понимаю Иосифа Виссарионовича, а он меня. Не как человека, нет. В моем представлении начальник Генштаба — лицо самостоятельное, а не только аранжировщик… Да зачем это, — оборвал он себя и после большой паузы спросил тихо: — Вы сознаете, что ждет человека, кандидатуру которого мы предложим?

— Отчасти.

— Ему придется сломать себя, потерять прошлое, отказаться от будущего. Там его станут подозревать, здесь его будут проклинать как лютого врага. И умрет он наверняка не своей смертью, не в честном бою,

его казнят, и казнят с позором, чтобы скрыть великий обман, искупить трагедии многих тысяч людей.

— Подобное уже бывало в истории. И среди генштабистов…

— Не для меня все это, Николай Алексеевич, голубчик, душа не приемлет. Может, и душа моя с отклонением от нормы, спрошу у профессора. — Шапошников из тех тактичных людей, которые не высмеивают недостатки других, а только свои. — Скажите, кого мы с вами можем рекомендовать? Я вижу только одну кандидатуру — маршала Кулика. То есть теперь не маршала, а генерал-майора. Он осужден, разжалован за сдачу Керчи, не везет ему на войне, но человек-то надежный, крепкий. Повод опять же убедительный: обида на власть, на Сталина. Вы знаете мое критическое отношение к Григорию Ивановичу, но даже его мне было бы жаль… Однако других кандидатур я просто не вижу.

— Подумаем. Время еще есть.

На следующий вечер обстоятельного разговора на эту тему не получилось, оттеснили какие-то неотложные дела. Сталин ограничился лишь двумя-тремя фразами. Потом вообще не упоминал несколько дней, а мы с Шапошниковым тем более. Я начал подумывать, что Иосиф Виссарионович либо отказался от своей идеи, либо, не видя нашего энтузиазма, решил не привлекать нас к ее разработке. Во втором я оказался частично прав. Замысел раскручивался, подготовка шла. Это мы с Шапошниковым узнали, когда все пятеро посвященных собрались вместе.

Явились в кабинет Сталина. Там уже находился Андрей Андреевич Андреев: суховато-вежливый, худощавый, молчаливый, с усами-подковками над плотно замкнутыми губами. Две особенности были в его лице. Глубоко запрятанные большие глаза: в них странным образом сочетались сердечность, внимательность с пронизывающей твердостью. Когда он хмурился, а глаза щурились, доброта уходила вглубь, исчезала, зато пронзительность становилась настолько резкой, жутковатой, что не многие могли выдержать такой взгляд, способный пригвоздить к стенке.

Считалось, что Андрей Андреевич Ильин (фамилию Андреев он взял когда-то, уходя в подполье) — крестьянин из затерянной в смоленских лесах деревушки. Но как бы скромно он ни одевался, как бы ни старался держаться в тени, угадывался в нем некий аристократизм. В узком кругу шутили: сын-то крестьянский, да вид дворянский. Прямой нос с тонкими чуткими крыльями, легкое подрагивание которых только и выдавало иногда волнение, возбуждение этого человека, казавшегося совершенно бесстрастным. Однако это можно было заметить лишь при внимательном рассмотрении, что редко кому удавалось. Андрей Андреевич умел оставаться незаметным. Вроде тут он — и нет его. На аккуратной неброской одежде взгляд не зацепится. Однообразные имя, отчество, фамилия проскальзывали мимо ушей. Голос негромкий. Превосходная выучка конспиратора. Редчайший случай — Андреев был в числе тех немногих большевиков, до которых ни разу не добралась царская охранка (Калинина, к примеру, арестовывали шестнадцать раз!). А ведь Андреев не отсиживался по закоулкам, постоянно вел революционную работу, и не где-нибудь, а на передовой линии, в самом Питере, да еще на ответственных должностях. Возглавлял партийную организацию на Путиловском заводе, в Нарвском районе столицы, был членом Петербургского городского комитета партии. Какую же осторожность, осмотрительность надо было иметь, чтобы не попасться в жандармско-

полицейские сети! Маленькая подробность. Он очень любил музыку, особенно Брамса, Бетховена, Чайковского. Наверно, самым первым в стране, еще в двадцатые годы, начал собирать фонотеку. Друзья и знакомые Андреевых знали: лучший подарок для их семьи — хорошая редкая запись. Мы приносили новинки, привозили из разных стран. Записей набралось столько, что, если бы послушать все хотя бы но одному разу, потребовалось бы несколько месяцев. И дети, Наташа и Владимир, пошли в этом отношении по стопам отца. Да и внуки, Андрей и Алена Куйбышевы, унаследовали пристрастие к хорошей музыке.

Взаимоотношения Сталина и Андреева имели налет загадочности. Иосиф Виссарионович с тех самых пор, как я впервые увидел их вместе (еще при жизни Ленина), испытывал безоглядное доверие к Андрееву, это при пресловутой сталинской подозрительности. Никогда не контролировал его и уважал почти так же, как Шапошникова (напомню, Борис Михайлович был единственным человеком, который закуривал при Сталине, не испрашивая разрешения). Берию мог Иосиф Виссарионович при людях пренебрежительно назвать Лаврентием, Кагановича — Лазарем, Молотова — по-дружески Вече. А вот Андреева — только по имени-отчеству, хотя порой и на «ты». Или такой штрих. Сталин ни с кем не связывался сам по телефону, не тратил время. Этим занимался Поскребышев, дежурный секретарь или дежурный генерал. Исключение составляли только сугубо личные звонки из квартиры или с дачи, и то очень редко. Светлане, мне, знакомой женщине. А вот Андрееву Иосиф Виссарионович звонил всегда собственноручно, причем знал голоса всех членов его семьи. «Наташа? Здравствуй. Отец дома? Позови, пожалуйста».

Откуда это пошло? Может, с той поры, когда Андреев помог Сергею Яковлевичу Аллилуеву, собиравшему средства для отправки в Туруханск? Сталин в то время очень нуждался, просил: «Неловко как-то писать, но приходится. Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного состояния. Деньги все вышли, начался какой-то подозрительный кашель в связи с усилившимися морозами (37 градусов холода), общее состояние болезненное, нет запасов ни хлеба, ни сахара, ни мяса. Здесь все дорогое. Нужно молоко, нужны дрова, но деньги… Нет денег.[66] У меня нет богатых родственников или знакомых, мне положительно не к кому обратиться». Андреев же, имевший связи в больничных кассах петроградских предприятий, проявлял заботу о ссыльных.

Ну, еще с Лениным работал Андреев, очень ценилась его добросовестность, исполнительность. С Дзержинским. Друг Калинина, всей семьи. Но разве у Молотова, у других товарищей меньше подобных биографических фактов, революционных заслуг?! Взаимоотношения со Сталиным у них хорошие. Однако не было у Иосифа Виссарионовича к ним той уважительности, даже почтительности, как к суровому, не способному на панибратство Андрееву. Связывала их какая-то глубокая тайна, возможно, замешанная на крови. Много лет это интриговало меня. Однако спрашивать Сталина было бы бестактно, к тому же он терпеть не мог, когда касаются того, о чем он умалчивает. Обращаться к Андрееву, с которым я не был близок, — еще бестактней. Да и бесполезно, из этого молчуна слова не вытянешь, разве что о своей фонотеке несколько фраз скажет. И все же за долгое время что-то отрывочное, случайное узнавалось, накапливалось. Глухая штора приоткрылась, хотя и не знаю насколько.

Придется опять свернуть с прямого русла повествования в извилистую протоку, надеясь на то, что в тихих заводях этих малоприметных проток встречаются неожиданности, способные заинтересовать читателя… В 1915 году в Риге «провалилась» нелегальная типография. Кто не был арестован, искал укрытия в других городах. Молодой, красивый, интеллигентного вида чиновник Ильин — Андреев работал тогда в больничной кассе Путиловского завода. По просьбе товарищей из горкома партии устроил в бухгалтерию этой же кассы Дору Хазан, скрывавшуюся под именем Анны Сермус. Образованная барышня со знанием нескольких языков пришлась к месту. Тоже молода была и тоже красива. Густые, темные, бронзового отлива волосы, черные брови. Нос, правда, великоват, если в профиль. В общем — не совсем равнодушны были они друг к другу, особенно Андрей Андреевич. Вместе встретили Новый год на балу в Тенишевском театральном училище. Через несколько месяцев он спас, скрыл ее, когда в больничную кассу явилась полиция, чтобы арестовать Анну Сермус, то есть Дору Хазан.

Партия направила молодую большевичку в Ревель, работать среди военных моряков. Там ее и выдал провокатор. Дору Моисеевну и ее товарищей по группе должен был судить военно-крепостной суд «за деятельность в пользу врага в военное время», и можно было предполагать самое худшее. Андреев писал ей письма в тюрьму, поддерживал морально. Обратился к известному адвокату А. Ф. Керенскому, а когда тот отказался защищать «ревельскую группу», попросил другого опытного адвоката сделать это.

Февральская революция, распахнувшая перед «ревельцами» двери камер, закрутила Дору в водовороте событий среди моряков-балтийцев, начал забываться недавний спаситель… Однако судьба свела их вновь, на этот раз в Смольном, на II съезде Советов, как раз в ту ночь, когда пал Зимний дворец. Вместе слушали они Луначарского, зачитавшего написанное Лениным воззвание к народу, в котором говорилось, что восставшие петроградские рабочие и солдаты победили…

В ноябре-декабре семнадцатого года член Ревельского комитета партии Дора Хазан часто бывала в столице, несколько раз встречалась с Яковом Мовшевичем Свердловым. Он, председатель ВЦИК и руководитель секретариата ЦК партии, собирал вокруг себя надежных людей. Но уж очень однородны были эти люди, слишком заметна тенденциозность. И когда Дора Моисеевна упомянула Андрея Андреевича Андреева, Свердлов подробно расспросил о нем. Результаты сказались быстро. Через три дня секретарь Московско-Заставского райкома партии Андреев был срочно вызван к Свердлову. Не он один. Человек двадцать активистов и партийных работников Питера. Свердлов объяснил: на местах, в губерниях, мало большевиков, надо устанавливать и укреплять там советскую власть. Каждому было позволено выбирать себе место: Архангельск или Мурманск, Майкоп или Астрахань. Только одному Андрееву сразу был указан точный адрес: поедете в Екатеринбург, чтобы наладить и возглавить там профсоюзную работу. Попытки возражать успеха не имели. Свердлов был тверд.

В ту пору Андрей Андреевич не знал о том, что Екатеринбург является опорным пунктом, своего рода тыловой базой Якова Мовшевича. Там он продолжительное время вел подпольную работу, там остались многие его соратники и выученики, власть сосредоточил в своих руках преданный друг Исаак (Шая) Голощекин, практически возглавлявший всю уральскую

партийную организацию. А помогал ему жестокий и коварный Яков (Янкель) Юровский, выкрестившийся в лютеранство. Однородность правления там слишком уж бросалась в глаза, требовалось как-то разбавить, прикрыть, но, естественно, теми, кто по крайней мере не будет противодействовать линии Свердлова и его ставленников. По наивности, по недомыслию не будет, по сверхтерпимости или по склонности к приспособленчеству. Андрея Андреевича можно было причислить к разряду первому и даже частично ко второму и третьему.

Сразу после распределения Андреева позвал к себе присутствовавший тут член Наркомата внутренних дел Борис Моисеевич Элькин. Пригласил одного и беседовал с ним битый час. Внешне похожий на Троцкого, с такой же козлиной бородкой, Элькин очень отличался поведением от своего экспансивного кумира: был сдержан, осторожен в словах, не открывался сам, а прощупывал собеседника. Как бы между прочим, он предупредил Андреева, что в Екатеринбург, возможно, будет переведена из Тобольска царская семья. Под охрану уральского пролетариата. Так надежнее. Но в связи с этим в городе и окрестностях могут возникнуть различные эксцессы, надо быть готовыми к любым неожиданностям.

Уехал Андрей Андреевич. Осваиваться на новом месте, среди новых людей ему, замкнутому и малообщительному, помогали письма Доры Хазан. Причем переписка нарастала стремительно и с такой страстностью, что очень скоро понадобилось решать: что же дальше? Он звал ее. Дора сообщила: получила назначение на Урал. В первую же ночь после ее приезда они стали мужем и женой. Все это естественно для молодых, тем более что ночь была мартовская, весенняя. Но именно с этого момента началась цепь странных, не всегда объяснимых событий.

К удивлению Андреева, желанная Дора Моисеевна приехала не одна. Вместе с ней прибыл в Екатеринбург ее старший брат Наум Моисеевич, которого она ласково именовала Наумчиком. Андрей Андреевич слышал о нем, о члене партии с довоенным стажем, но увидел впервые. Чем он занимался в партии — неизвестно. Зачем явился в Екатеринбург — трудно понять. Не сестру же оберегать. Вроде бы, как и Андреев, направлен был от Свердлова организовывать профсоюзы. Но никакого рвения в этом деле не проявлял, если не считать того, что пару раз съездил вместе с Андреем Андреевичем на уральские заводы. Андреев-то почти все время находился в разъездах, а Наум Моисеевич был обременен в Екатеринбурге какими-то своими особыми заботами. Кстати, его приезд почти совпал по времени с переводом в Екатеринбург царской семьи. А еще Наум Моисеевич настоял на том, чтобы молодожены поселились на железной дороге, возле вокзала. Посланцам центра, самого Свердлова, нашлась бы, конечно, квартира в городе (много повыселяли буржуев), однако Андрею и Доре пришлось приспосабливать под жилье комнату на привокзальной электростанции, где раньше дежурили монтеры. Ни мебели, ни удобств. Но с милым рай и в шалаше.

В начале июля восемнадцатого года со станции Екатеринбург отправился в Москву коротенький состав из пассажирских вагонов. Ушел без гудка, глубокой ночью. Провожало несколько человек, в том числе и Наум Хазан. В этом поезде без огласки отбыл в Москву Исаак Голощекин. В столице остановился он у старого друга Якова Свердлова. Из квартиры почти не выходил, зато каждый вечер приятели подолгу, до полуночи, обсуждали что-то.

14 июля Наум Хазан снова был на вокзале, вместе с Яковом Юровским и Я. М. Свикке — командиром особого латышского отряда, недавно присланного из Москвы все тем же Яковом Мовшевичем (Свикке, кстати, имел постоянную связь со столицей, пользуясь при этом шифром, который был известен только Свердлову, Ленину и Дзержинскому). Голощекин вернулся в том же поезде, но увеличившемся на два вагона. Одни обычный, пассажирский, в нем находилась охрана. Другой, темной окраски, выглядел необитаемым. Окна были наглухо задернуты черными непроницаемыми шторами. Эти вагоны отвели в укромное место, на запасной путь, сразу, же подключили электричество, телефон и, вероятно, телеграф. Возле подножек встали часовые из прибывшей охраны. Чуть поодаль — оцепление из латышей. Не подступишься.

В темный вагон в ту ночь были допущены только Голощекин, Хазан и Юровский. В тамбуре их встретил не кто иной, как Борис Моисеевич Элькин, в аккуратном костюмчике-тройке с коротковатыми брючками. Провел в салон. Дверь плотно закрылась, щелкнул замок. Началось заседание тайного штаба. Кто руководил заседанием — разговор впереди. А практические результаты таковы. Заменена была охрана в просторном, с большим подвалом, доме, реквизированном у известного предпринимателя, горного инженера Ипатьева: там содержался Николай Второй вместе с семьей и приближенными, всего одиннадцать человек. Местных красногвардейцев сменил интернациональный отряд, в нем половина бойцов даже не знала русского языка. Юровский подбирал надежных людей в расстрельную группу. Голощекин «обрабатывал» председателя Уральского областного совета Александра Георгиевича Белобородова, проявлявшего некоторые колебания, сомнения, хотя решение об уничтожении царской семьи было уже принято. Мотивировка — к Екатеринбургу приближаются белые, в ближайшее время город может пасть, царь окажется в стане противника и послужит знаменем, вокруг которого сплотятся враги.

Исполком областного совета единодушно проголосовал за расстрел. Подготовка заканчивалась, формальность была соблюдена: решение, мол, приняли местные власти, спрос с них, а не с Москвы.

Не буду говорить о самой казни, о ней много писали, пишут и будут писать. И добросовестные исследователи, и те, кто цинично использует эту трагедию в политических игрищах, добиваясь своих целей. К тому же, как ни странно, упомянутое событие, безусловно важное, не очень коснулось лично меня. Ни в моей семье, ни в семье моей первой жены Вероники не было почитания царской фамилии. Особенно низко престиж Николая Второго упал в моих глазах, в глазах многих моих товарищей-офицеров после бездарного поражения в русско-японской войне, ослабившей наши позиции на Дальнем Востоке, после расстрела демонстрантов в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Что это за «царь-батюшка», который велит убивать своих же сограждан? Чужак он для русских вместе со своей нерусской женой. Какое могло быть уважение к такому правителю?!

Гибель царской семьи не задела, не царапнула меня еще и потому, что летом восемнадцатого года я был потрясен собственным несчастьем, трагической смертью жены, и в полубезумном состоянии разыскивал в южных степях убийц моей Вероники, чтобы отомстить им. И впоследствии я не очень интересовался подробностями казни царя, тем более что в различных свидетельствах очень много сомнительного, спорного.

Хотелось лишь выяснить, какое отношение имел к тем событиям Андреев, не здесь ли кроется тайна, связавшая его со Сталиным.

У меня нет сомнений в том, что преступление готовилось заблаговременно, тщательно и имело если не ритуальную, то, во всяком случае, символическую окраску. Случайно ли, что династия Романовых, начавшаяся в Ипатьевском монастыре, через триста лет завершилась в Ипатьевском доме?! Случайно ли оказался тогда в ипатьевском подвале некто, начертавший на окровавленной стене тайные каббалистические знаки, известные лишь очень узкому кругу лиц из высшего масоно-сионистского руководства?! Английский журналист Р. Вильсон, причастный к расследованию событий, так писал в своей книге «Последние дни Романовых»: «Рядом с окном, как раз против того места, где был убит сам царь, оказалась каббалистическая надпись». И далее: «…надписи сделаны с преднамеренной целью и сделаны лицом, близко знакомым с каббалистикой, и также, судя по почерку, лицом, обладающим сильным, даже жестким характером».[67]

Знал ли о подробностях убийства областной комиссар Андрей Андреевич Андреев? Безусловно, хотя бы уж потому, что постоянно общался с Наумом Хазаном, встречался, вероятно, с Борисом Элькиным. Другое дело — степень участия. С его слов и судя по некоторым документам, он постоянно разъезжал по городам, по заводским поселкам огромной Уральской области, включавшей в себя несколько губерний, — целая Уральская республика. Так что подготовкой убийства в Екатеринбурге конкретно не занимался. И на заседании исполкома, принявшего решение о расстреле, вроде бы не присутствовал, опять находился в поездке, в городе Кушва. А вот где был в трагическую ночь с 16 на 17 июля и на следующий день — сказать не могу. Да и не так это важно. Ход и детали событий известны. Не выяснено до сих пор главное: какие силы подготовили и провели кровавую акцию, кто стоял за спиной исполнителей и направлял их? Как ни суди, а нити тянутся к вагону, стоявшему на запасных путях неподалеку от вокзала. Он упоминается в некоторых свидетельских показаниях, но очень смутно, неопределенно. Кто был в этом вагоне? Не тот ли обладатель сильного, даже жестокого характера, что оставил каббалистические знаки на окровавленной стене?

Внешний облик примерно известен. Одеяние черное, похожее на хитон или балахон, — в нем прогуливался в сумерках возле вагона. С черной же бородой. Причем эта борода была настолько заметна, настолько выделялась, что упоминается в нескольких свидетельствах. А лица-то не разглядели за ней. Опять цитирую Р. Вильсона: «Вечером 5/18 июля проехал железнодорожный переезд в Коптяки легкий автомобиль с шестью молодыми солдатами и одним штатским, по описанию свидетеля, «еврей с черной как смоль бородой». Автомобиль направлялся к месту уничтожения тел убитых. Никто из екатеринбургских руководителей, имевших возможность разъезжать на автомашине, столь приметную бороду не носил.

В темном вагоне, безусловно, находилось лицо, занимавшее весьма высокое положение в той империи, которая тайно правит если не всем миром, то значительной частью его. Настоящие имена таких людей не называются, их как бы нет, но они есть, их влияние ощущается всюду, и чем дальше, тем сильнее. Даже такой человек, как Сталин, старался не упоминать их, не говорить о них, хотя с их влиянием боролся всеми доступными ему способами, под разными предлогами.

Одно имя было все же произнесено Андреем Андреевичем в моем присутствии — Яков (Янкель) Шифф, крупнейший американский банкир. Среди банкиров-то он величина мирового класса, но для верхушки тайной империи был, вероятно, просто надежным высокопоставленным исполнителем. Какова же тогда высота тамошней верхушки, извините за тавтологию! Я понял так, что этот Шифф лично передал Свердлову распоряжение высшего руководства тайной империи об уничтожении царской семьи. Вполне возможно, что именно Яков Шифф и был тем лицом, которое непосредственно на месте руководило всей операцией, побывало там, где уничтожались трупы, чтобы увидеть все своими глазами, а затем точно проинформировать хозяев. Такая вот получается связь.

Через несколько суток и опять в сумерках все тот же небольшой поезд с темным вагоном посреди состава отбыл в Москву. Ушел без гудка, тишком, окутанный клумбами пара и разнообразными невероятными слухами. Вот «крайние» из них. Самый хороший: увезены царские дети — Анастасия, Алексей и другие. Император, императрица, прислуга убиты, а дети оставлены по требованию немецкого императора Вильгельма, захватившего тогда всю Украину и часть Белоруссии. Пожелал Вильгельм спасти своих юных родственников, их переправят в Германию.

Самый худой слух. В салон-вагон Голощекина были погружены три ящика средних размеров, в которых находились якобы образцы снарядов для Путиловского завода. Однако молва утверждала, что в ящиках — отрубленные головы жертв, дабы в Москве могли убедиться, что царской семьи действительно больше не существует. С прибытием поезда в столицу эти слухи быстро распространились и по первопрестольной. Есть свидетельство того, что в ночь с 27 на 28 июля в Кремле, во флигеле, где раньше находилась кухня, избранным лицам демонстрировался сосуд с заспиртованной головой Николая Второго: вызывало удивление то, что волосы на голове и борода императора были совершенно седыми. Назывались и фамилии присутствовавших: Троцкий, Лацис, Бухарин, Дзержинский, Крыленко и даже женщина — Коллонтай. Ей стало дурно.

Вполне возможно, что это действительно слухи и домыслы, хотя для них имеются основания. А если не домыслы, то куда же девались заспиртованные головы? Уж не увез ли их за океан своим хозяевам Яков Шифф? Для отчета. Как вещественные доказательства проделанной работы?! Не сбрасываю со счетов и другое предположение: голова православного императора была переправлена в масонский храм в Чарльстоне. А вывез ее за границу Ф. Э. Дзержинский, совершивший в октябре 1918 года вояж в Швейцарию якобы за женой. Но зачем сопровождал его А. Аванесов, секретарь ВЦИКа и доверенное лицо Свердлова, и почему для самой жены приезд Дзержинского оказался внезапным? Она даже не предполагала, что инициатором этой поездки был Свердлов, о чем поведала недавно, уже после войны, друзьям и знакомым, а потом подтвердила на страницах воспоминаний.

Что касается Исаака Голощекина, то он отчитался перед Яковом Свердловым, опять остановившись на квартире старого друга. А когда через неделю отправился дальше, в Петроград, то никаких ящиков при нем не было.

В этом же странном поезде из Екатеринбурга в Москву возвратился Борис Моисеевич Элькин, пребывавший в хорошем настроении, как человек, добросовестно выполнивший свой долг. И из опасной

прифронтовой полосы удалось благополучно выбраться. Однако радость продолжалась недолго, и невдомек ему было, какая расплата ожидает его. 25 июля колчаковская армия с помощью уральских казаков и белочехов захватила Екатеринбург. Началось следствие по делу о казни царской семьи, но вначале продвигалось оно медленно и малоуспешно, пока за это не взялся добросовестный профессионал Н. Соколов. Увы, расследование он не успел донести до конца: город заняли красные. Тут и грянул для Элькина гром: его послали в Екатеринбург на постоянную работу. Как областной прокурор, как руководитель карательных органов, он был облечен очень большой властью, которую использовал для того, чтобы пресечь все попытки нежелательных розысков, чтобы замести следы преступления. По сути, он был в городе представителем, наблюдателем, карающей десницей тех сатанинских сил, которые организовали цареубийство.

Основательно укоренился в «столице Урала» Борис Элькин, обзавелся деловыми и родственными связями, чувствовал себя некоронованным правителем, вершителем судеб. Вот только ипатьевский дом, возвращенный, кстати, прежнему хозяину, мозолил глаза. Хозяину какое житье в таком жутком доме?! А Элькину он постоянно напоминал о совершенном злодействе. И настало время, когда суд свершился. В 1937 году Борис Элькин был арестован, а затем расстрелян: вполне возможно, что в том самом подвале, где оборвалась жизнь членов царской семьи.

А что же Андреев? Покинув перед приходом белых Екатеринбург, он вместе с Дорой Моисеевной жил в вагоне на станции Пермь. Там, кстати, как раз в те дни уничтожали последних членов царской фамилии и их приближенных. Затем Андреев оказался в Вятке. На каком-то странном положении. Его и жену обеспечивали пайком, но держали «на задворках», как определил он сам. Точнее — скрывали. Уже потом ему стало известно то, что знала красная контрразведка. Колчаковские следователи составляли списки тех, кто был причастен к уничтожению Николая Второго и его семьи. Числился в списках и комиссар Уральского областного совета Андреев. Документ был разослан по штабам белых, по отделам разведки с тем, чтобы «разыскивать и задерживать поименованных, находящихся по ту или эту сторону фронта», а затем препровождать их в комиссию по расследованию. Для принятия дальнейших мер. Понятно каких.

Короче говоря, об Андрееве позаботились, упрятав его подальше, в безопасный Харьков, определив на хорошую и полезную должность. Он налаживал профсоюзную деятельность в республике, только что освобожденной от немцев. Затем был переведен в Москву.

С Иосифом Виссарионовичем сблизился Андрей Андреевич на совместной работе. В 1924–1926 годах он был секретарем ЦК ВКП(б), то есть одним из ближайших помощников Генерального секретаря Сталина. Последний сумел оценить надежность, исполнительность, скромность молодого тридцатилетнего соратника. Особенно после того, как Андреев счел возможным полностью раскрыться перед Сталиным, поведал ему все свои секреты. В Андреева Иосиф Виссарионович поверил, как мог верить только он: полностью, до конца.

С ведома Иосифа Виссарионовича в 1927 году в Москву прибыл некто Ф. Варбург, близкий знакомый банкира Якова Шиффа. Ему был оказан теплый прием — случай по тому времени редкий. Сталин был достаточно брезглив для того, чтобы якшаться с заморским капиталистом, берег

классовую честь мундира. Но, с другой стороны, и достаточно практичным для того, чтобы извлечь из визита Варбурга всю возможную выгоду. Переговоры с гостем вел Андрей Андреевич. В отличие от разрекламированного миллионера А. Хаммера, который шумно помог нашей стране на копейку, а молчком заработал при этом в тысячи раз больше, посланец Якова Шиффа о прибылях не заикался. У него были другие заботы — установить связи в самом верхнем эшелоне власти. По инициативе Варбурга впервые зашел тогда разговор о создании на территории Советского Союза некой «земли обетованной», которая смогла бы стать объединяющим центром еврейской диаспоры. Даже место предлагал: юг Украины или Крым. С соответствующим финансированием. (Сталин, как мы знаем, лишь частично, на свой манер, реализовал это предложение, организовав на Дальнем Востоке Еврейскую автономную область).

И еще высказал Варбург одну просьбу: уничтожить в Екатеринбурге Ипатьевский дом, сровнять с землей, чтобы следа не осталось от того подвала, где пролилась кровь царской семьи и где начертаны были каббалистические цифровые надписи, уже тогда привлекавшие исследователей. Вероятно, имел Варбург контакт и с Борисом Элькиным, главным блюстителем закона и порядка в городе, который носил имя Свердлова. Несколько раз «прощупывал» потом Элькин мнение члена Политбюро ЦК ВКП(б) Андреева на предмет снесения ипатьевского дома, обосновывая это различными причинами, в том числе и политическими. Андреев, естественно, советовался со Сталиным, а у того был свой резон:

— Нет, пусть стоит. Пусть им на психику давит… Понадобится, мы в этом доме еще и музей откроем. Филиал музея Революции…

Прочный старинный дом пережил период большой войны, пережил самого Сталина и мог бы еще простоять долго, в той или другой форме служа людям. Но защитить его было некому, и недавно, в конце семидесятых годов, первый секретарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин распорядился снести его, якобы для того, чтобы расширить улицу.

Узнав об этом, я расспросил одного своего знакомого, что за человек столь решительный секретарь. «Странный, — прозвучало в ответ. — По образованию строитель, а по призванию — разрушитель. Если что и создает, то лишь конфликты. Всегда у него какие-то враги, на борьбу с ними расходует свою незаурядную энергию и завоевывает известность. Не поймешь, какому богу он служит…» Ну что ж, нечто подобное можно сказать не только о Ельцине, но и о некоторых других партийных руководителях новой послевоенной когорты.

Вскользь упоминал я о том, что в нашей стране имелось как бы две разведки, работавших в зарубежных странах. Одна обычная. Основу ее составляли люди, добывавшие сведения, выполнявшие задания центра в силу своего патриотизма, а то и просто ради заработка. Резиденты, агентура, связники — большая и сложная сеть, создаваемая и руководимая специальным управлением в системе НКВД — госбезопасности военного ведомства. Здесь довольно часто менялись наркомы, менялось командование, менялись взгляды, методы, что отражалось и на разведке. При Ежове одни требования, при Берии — другие. Кого-то перепроверяли, кого-то отзывали, кому-то начинали не доверять. Все эти пертурбации не шли на пользу, хотя и в таких условиях разведка действовала смело и виртуозно, надо отдать ей должное.

Превосходство же наше над разведками всех стран заключалось в том, что мы имели за рубежом еще одну надежную и очень устойчивую сеть, какой не способно было обзавестись любое другое государство. Я бы условно назвал эту сеть политической. В ней не было агентуры в привычном понимании этого слова. Обычного агента можно и перекупить, и перевербовать. Нет, на нас работали не за плату, не за страх, а за совесть убежденные коммунисты-интернационалисты, члены Коминтерна. Некоторые из них занимали значительные посты в своих странах, пользовались влиянием. К их помощи прибегали редко, лишь в крайнем случае, исключая всякую возможность провала, компрометации. Создал эту сеть лично Дзержинский, он и передоверил ее потом Андрею Андреевичу Андрееву. Только Андреев знал всех этих людей и еще один его помощник, только они встречались с этими политическими агентами в нашей стране или за рубежом. Всего их было, если не ошибаюсь, к началу войны сто два или сто три человека. Даже Сталину были известны далеко не все, да он и не стремился к этому, доверив тонкое и деликатное искусство Андрею Андреевичу.[68]

Были в двух наших разведках такие лица, которые работали сразу и в одной, и в другой системе, если этого требовала необходимость. Разница состояла лишь в том, что Андреев всегда знал, кто из его людей одновременно сотрудничает и в ведомстве Берии, а вот Лаврентий Павлович о таком двойном подчинении не знал никогда и вообще о существовании второй (или первой) сети мог только догадываться. Случалось, что возникали некоторые недоразумения, но Андреев быстро и тактично ликвидировал их, лишь изредка используя авторитет Сталина, дававшего соответствующим руководителям указания без объяснения причин.

Рихард Зорге, например, чье имя получило широкую известность после войны, числился в ГРУ — Главном разведывательном управлении Генерального штаба. Начальник ГРУ по должности являлся заместителем начальника Генштаба. А сменялись эти ответственные работники, от которых требовалась особая осмотрительность, последовательность, перспективность, знание кадров, — сменялись они в конце тридцатых годов с быстротою необыкновенной. Каждый год — новенький и, разумеется, умнее предыдущих: со своим уставом в чужой монастырь. Не стало опытного разведчика и умелого организатора Я. К. Берзина — высокий пост занял выдвиженец Ежова некто С. Г. Гендин, «прославившийся» своей подозрительностью, уничтожением собственной агентуры. При нем разведчики опасались каждого вызова в Москву — редко кто потом возвращался или уходил на другое задание. Некоторые предпочитали не приезжать, а остаться за рубежом (как Вальтер Кривицкий), хотя и знали, что у наших карательных органов длинные руки, никакие границы им не преграда.

Сомневаясь во всех (или сознательно стремясь уничтожить самых активных разведчиков), старший майор государственной безопасности троцкист Гендин не обошел своим вниманием и Зорге. Вот документ, подписанный им в декабре 1937 года:

«ЦК ВКП(б), тов. Сталину. Сов. секретно. Представляю донесение нашего источника, близкого к немецким кругам в Токио. Источник не пользуется полным нашим доверием, однако некоторые его данные заслуживают внимания. Военно-политическая обстановка в Японии позволяет прийти к заключению, что выступление Японии против СССР

может последовать в непродолжительном будущем…» События подтвердили правоту Зорге, вскоре развернулись бои на озере Хасан, затем на Халхин-Голе. А сверхбдительный Гендин рухнул с высокого поста вместе со своим покровителем Ежовым.

«Старшего майора госбезопасности» сменил комдив И. И. Проскуров, до этого отличившийся в Испании, сражаясь с фашистами. Если не ошибаюсь, он был танкистом, хорошо знал свое дело, но к разведке имел отношение весьма отдаленное и заметных следов в деятельности ГРУ не оставил. Ладно хоть собственную агентуру не искоренял. В 1940 году во главе ГРУ был поставлен генерал Ф. И. Голиков — фигура теперь известная и достаточно одиозная (мы уже говорили о его неудачном командовании 10-й армией). Умел он «держать нос по ветру», чутко улавливал настроение Сталина и представлял ему такие сводки, какие Иосифу Виссарионовичу хотелось бы видеть, вольно или невольно вводя в заблуждение человека, от которого зависело все. И это как раз накануне войны. Предупреждение Зорге о сроках нападения немцев не было принято во внимание именно потому, что Голиков высказал сомнение и снабдил полученное донесение соответствующими комментариями. И, как не справившийся со сложными делами разведки, был смещен и направлен формировать 10-го армию, сдав свои дела А. Н. Панфилову. Не позавидуешь разведчикам при таком мельтешении начальников.

Так вот, проработав пять лет за границей без отпусков и без отдыха, Зорге почувствовал, что здоровье, нервы — на пределе. И, подготовив себе временную замену, запросился в конце 1940 года в Москву, к жене Екатерине Александровне, чтобы набраться душевных и физических сил. И операция требовалась после недавней дорожной катастрофы. Получив шифровку с такой просьбой, ГРУ обратилось для согласования в контролирующий отдел НКВД. Оттуда поступил ответ за подписью комдива П. М. Фитина: «По нашим данным, немецкий журналист Рихард Зорге является одновременно немецким и японским шпионом в Токио. По этой причине он будет арестован при пересечении границы СССР…» Воистину, правая рука не знает, что делает левая!

Однако Зорге-то был привлечен к разведывательной работе прежде всего по политической линии, по линии Андреева. Учитывалось то, что мать у него русская, а дед по отцу — немец Фридрих Адольф Зорге, — близкий соратник Карла Маркса, революционер. За идею боролись и дед, и внук… В тот же день, когда документ из НКВД поступил в ГРУ, копия этого документа легла на стол члена Политбюро, председателя Контрольной партийной комиссии ЦК ВКП(б) Андрея Андреевича Андреева. А через неделю Зорге получил сообщение, в котором высоко оценивалась его работа и высказывалась просьба: в сложившейся напряженной ситуации продержаться еще некоторое время. При первой же возможности он получит необходимый отдых.

Нет, Рихарда Зорге не арестовали бы при пересечении госграницы, об этом Андреев позаботился. Но обстановка была действительно сложной, разгоралась мировая война, и никак нельзя было терять разведчика, имевшего тесные связи в немецкой колонии в Токио, дружившего с немецким послом, пользовавшегося его полным доверием. Статьи журналиста Зорге печатались во влиятельных немецких газетах, к его мнению прислушивалась гитлеровская руководящая верхушка.

По инициативе Андреева, в Москве, в глубочайшей тайне готовился дублер, который должен был подменить Зорге, назовем его Михаилом

Ивановичем (он жив и не открыт полностью). Я не оговорился: не заменить, а подменить настоящего Зорге, таковы были тогда уникальные возможности нашей зарубежной разведки, особенно той ее ветви, которая замыкалась на Андрееве. Михаил Иванович, по росту, по внешности схожий с Рихардом, месяц за месяцем вживался в роль, вырабатывая не только манеры, но и разговорный стиль, образ мышления. Часто встречался с женой Зорге. Уехал бы настоящий Рихард в Китай, чтобы написать о том, как воюют японские солдаты. Недели через три возвратился бы в Токио, к своим немецким и японским друзьям. Точно такой же, может быть, лишь осунувшийся, загоревший, несколько замкнутый после увиденного кровопролития.

Все было готово, но не получилось. Грянула война с Германией, а в октябре 1941 года наш замечательный разведчик был арестован японцами. Однако и после этого Андреев не оставил его своим вниманием. Дублер был отправлен в Токио, но уже не как Зорге, а как один из работников посольства. Предпринимались определенные шаги. И вот тут возникают вопросы, на которые мог бы подробно ответить только Андрей Андреевич. Приговоренный к смерти, Рихард Зорге три года провел в камере. Официально казнили его лишь 7 ноября 1944 года, в тюрьме, в обстановке полной секретности. Не странно ли: когда японцы побеждали на фронтах, чувствовали свою силу, могли позволить себе не считаться ни с кем и ни с чем, они нашего разведчика не трогали. А когда дела самураев стали плохи, когда победа Советского Союза над Германией не вызывала сомнений, когда добрые отношения с Россией были особенно важны — японцы вроде бы нарочно пошли на обострение. Кстати, накануне 6 ноября, советское посольство в Токио впервые за всю войну посетил самолично японский министр иностранных дел Мамору Сигимицу. Был приятно-любезен, беседовал с послом без протокола.

И еще не менее странное обстоятельство. Не было и нет ни одного человека, который видел труп Зорге, мог бы удостоверить его смерть. Живым в тюрьме видели, а мертвым — нет. Единственное свидетельство, на которое обычно ссылаются исследователи, — это слова женщины-японки, которая любила Рихарда Зорге. Через некоторое время после войны она на свой страх и риск разыскала и вскрыла могилу, в которой он был якобы захоронен. Увидела скелет, принадлежавший рослому человеку. Но рослые люди встречаются и среди японцев, особенно на северных островах. Да и мало ли у самураев было в ту пору высоких пленных из числа американцев, англичан, австралийцев. Женщина говорила, что у скелета повреждена кость ноги, как это было у Зорге. По ее мнению, имелись и еще некоторые совпадения. Но ведь все это только слова.

Не берусь судить о судьбе Зорге хотя бы еще и потому, что знаю, как много людей по тем или иным причинам «растворилось» на огромных просторах нашей страны. «Раствориться» — это не только жаргон, но и полуофициальный термин в определенных кругах. Живет где-то в тихом городке (а может, и в шумном столичном городе) скромный человек, выращивает, скажем, цветы или увлекается резьбой по дереву, а может, и статьи пишет о том же цветоводстве или по истории революционной борьбы в некоем государстве. Добрый семьянин, о прошлом рассказывает скупо. Сколько таких!..

В Москве, на перекрестке Хорошевского шоссе и улицы Зорге, есть уютный скверик перед новым большим зданием Военного издательства. А

в скверике — хороший, с элементом романтики, памятник прославленному разведчику. Ближе к фотографии, чем к обобщению. В полный рост, с чертами сходства в лице, в фигуре. К этому памятнику приходит иногда, обычно в сумерках, пожилой человек. Встать бы ему вместо скульптуры на пьедестал, и не отличишь, кто тут настоящий, а кто дублер. Впрочем, человек приходит все реже…

В 1971 году, на десять лет пережив свою жену, скончался Андрей Андреевич Андреев, навсегда унеся с собой память о многих событиях, не зафиксированных в документах, о многих людях, чьи деяния были известны лишь очень узкому кругу лиц. Иногда только ему и Иосифу Виссарионовичу. Но унес не все. Незадолго до смерти Андрей Андреевич решил поведать свои тайны (для будущего) надежному товарищу, связанному с ним тесными узами: назвать его фамилию я не имею морального права. Товарищ был в расцвете сил, физически крепкий, весьма образованный, подготовленный к неожиданностям. Но тайны оказались столь тяжкими, что придавили, а может быть, и сломали его. Он замкнулся, ушел в себя, чурается людей, не хочет, опасается говорить о прошлом, о том, что ему известно. А знает он о делах Андрея Андреевича, вероятно, гораздо больше меня. Я же привел несколько фактов и предположений для того, чтобы высветить еще одну грань, показать человека, одного из самых авторитетных в окружении Сталина и самого неизвестного среди них. А через него в какой-то степени и самого Иосифа Виссарионовича.

Все, извилистая протока позади. Возвращаемся в главное русло.

2

Итак, когда мы с Шапошниковым вошли в кабинет Сталина, Андрей Андреевич уже находился там. Рядом с ним сидел за столом и некто пятый, посвященный в замысел Иосифа Виссарионовича. Если уж Андреев умел не выделяться, не привлекать внимания, то этот Некто даже превзошел его, вероятно, своего начальника и наставника. Мужчина средних лет, довольно крупный, однообразно-серой внешности от пепельных волос до темно-серых ботинок. С лицом приятным, но лишенным каких-либо примет: отвернешься — и не воспроизведешь зрительной памятью. Имя-отчество сразу вылетели у меня из головы, едва Андрей Андреевич представил его. А между тем он явился основным персонажем в начавшемся деловом разговоре. Он называл фамилии тех, кто, оказавшись во вражеском тылу, мог бы завоевать доверие немцев, создать вооруженные формирования из военнопленных и в критический для нас момент или просто в нужный момент обратить эти формирования против гитлеровцев. Он давал краткую характеристику каждому кандидату. Иногда несколько уточняющих фраз добавлял Андреев. Потом высказывался каждый из нас троих: Шапошников, я и Сталин. Первой прозвучала фамилия Кулика — о нем предварительно говорил со Сталиным Борис Михайлович. Я поддержал, напомнив: Григорий Иванович Кулик успел уже дважды оконфузиться на этой войне. Первый раз — в районе Минска, где не смог организовать действия наших войск, сам оказался в окружении и едва выбрался оттуда в лаптях и крестьянских портках. Второй раз — когда умудрился сдать Керчь, не использовав возможностей, имевшихся для обороны. Судим, разжалован из маршалов в рядовые, но Верховный Главнокомандующий порадел старому приятелю,

дав ему звание генерал-майора. Немцы, конечно, знали об этом, могли понять, что Кулик обозлен, затаил обиду.

— Нет, Николай Алексеевич, товарищ Кулик дорог нам с вами как память, — пошутил Сталин. И продолжал серьезно: — Переход Кулика на сторону немцев может оказать нежелательное действие на наших людей. Фигура известная. Мало кто осведомлен, что он уже не маршал. Подумают: если уж Кулик переметнулся… Он слишком много знает о наших делах, о нас с вами, а гитлеровцы умеют извлекать сведения. К тому же Кулик пьянствует, а напившись, теряет контроль над собой.

Сталин на этот раз не утверждал и не отрицал, только высказывал свое мнение. Весомое, безусловно. После того, как прозвучало еще несколько фамилий, я, воспользовавшись паузой, внес свое предложение: комкор Михаил Фомич Букштынович. Сталин, конечно, знал его. Поинтересовался:

— Где он? В лагере?

— И да, и нет, наполовину.

— Гм, — хмыкнул Иосиф Виссарионович. — Когда-то я спросил одну женщину, замужем ли она. Женщина ответила: да, замужем… но не очень.

— Вы знаете, что на севере заново формируется сейчас 28-я стрелковая дивизия. Рядовой состав рекрутируется из добровольцев-заключенных, готовых искупить вину. Так называемая штрафная дивизия. Органы сочли возможным отпустить в эту дивизию Букштыновича.

— Рядовым?

— Насколько мне известно…

— Черт знает что творится у нас в органах! Держат за проволокой человека, которого, оказывается, можно и не держать. Опытного командира, хорошего штабного работника посылают солдатом, а у нас большие штабы задыхаются без людей.

— Есть общее положение о добровольцах из числа заключенных.

— Букштынович признал свою вину?

— Нет.

— Пусть дадут ему хотя бы батальон для начала.

— Дивизия предположительно будет направлена в 3-ю ударную армию, в район Великих Лук. Букштыновичу, который находился несколько лет на Лубянке и в лагерях, немцы, безусловно, поверят.

— Они-то поверят… — задумчиво произнес Сталин. — Но фигура не та. Для немцев он не авторитет, да и наши пленные не слыхали о нем. Вокруг него не будут объединяться. И фамилия подгуляла.

— Белорусская фамилия.

— Подгуляла с точки зрения гитлеровцев. Но вы, Николай Алексеевич, не теряйте Букштыновича из виду.

— Если не погибнет в первых же боях.

— Сие от нас не зависит…[69] Кто следующий?

Пошли кандидатуры с одинаковым обоснованием: был репрессирован, некоторое время провел в заключении. Константин Константинович Рокоссовский. Перенес в тюрьме все испытания, не дрогнул на допросах, не подписал ни одной бумаги. Человек железной выдержки, честный, умный, абсолютно надежный. Прославился под Москвой… Видно было, что Сталин готов поддержать предложение, но против выступил Шапошников.

— Каких бы обходных путей мы ни искали, главное будет решаться на фронте. А Рокоссовский у нас один из лучших фронтовых генералов. Хорошо понимает современную войну. Его ни в коем случае нельзя отпускать.

Сталин промолчал. Зато сразу высказался против генерала Горбатова Александра Васильевича, тоже не сломавшегося после ареста и получившего свободу незадолго до войны.

— Прямой, как штык, — сказал Иосиф Виссарионович. — Не актер. Не сыграет.

Сомнение вызвала у меня кандидатура Кирилла Афанасьевича Мерецкова. Не слишком ли велика ставка?! Немцы, конечно, давно и хорошо знают его, хотя бы по войне в Испании. Был начальником Генштаба, заместителем наркома обороны. Арестовывался, едва не попал под расстрел. Гитлеровцы, конечно, ухватились бы за него. По существу, возразить было нечего. Но Шапошников нашелся и тут.

— Мерецков семьянин образцовый. Жена Евдокия Петровна за ним, как нитка за иголкой. Повсюду вместе. На фронте с ним и через фронт вместе или следом пойдет. Да ведь и слишком он информирован…

Сталин опять удержался от реплики, хотя несогласие его ощущалось.

Необычные возражения вызвал Андрей Андреевич Власов. Да, известность у него широкая. И наши, и немцы знают, как воевал он в районе Киева, затем под Москвой. Но с чего бы ему, боевому удачливому генералу, прославленному прессой, удостоенному наград, имеющему большие перспективы, вдруг переметнуться к противнику?!

— У Власова нет никаких причин, — усомнился Иосиф Виссарионович. — Как он объяснит немцам свое решение? Когда нам было очень трудно — сражался с противником не щадя живота. Легче нам стало — сдался врагу… Совсем неубедительно.

— Причины есть.

Взгляды устремились на помощника Андреева, на этого серого, неприметного человека, Кстати, и глаза у него были серые, цвета брони. Он заговорил ровным, без интонации, голосом:

— Генерал Власов неравнодушен к женщинам.

— Не монах, — сказал Сталин.

— Генерал Власов слишком неравнодушен к женщинам, это его слабость. В Китае имел платную наложницу. После освобождения Львова вошел в связь с местной жительницей по имени Ева, католического вероисповедания. Тридцати лет. Привлекательна. По непроверенным данным, работала на польскую разведку, а значит, и на английскую разведку.

— Не проверено вами — проверят немцы.

— Связь с Евой бесспорна. Есть донесение Особого отдела. Это козырь Власова. Скажет, узнал от преданного человека, от своего адъютанта, что началось расследование о передаче сведений польско-английской агентуре. Адъютант — особист. Расследование можно начать.

— Насколько это весомо? Смотрите, чтобы комар носа не подточил, — посоветовал Сталин.

Последней прозвучала фамилия генерала Говорова Леонида Александровича, командарма-5, недавно отличившегося в боях возле Можайска. Обоснование такое.

Говоров беспартийный. Не согласен, мол, с большевиками, но любит свое Отечество, готов сражаться против коммунистов во главе русской армии за освобождение России.

— Это пища для немецкой пропаганды, — произнес Иосиф Виссарионович. — Геббельс раструбит на весь мир, что народ не с

партией, не с большевиками, народ готов поддержать немцев в их борьбе с коммунистами. К немцам переходят беспартийные генералы.

— Говоров откажется при всех обстоятельствах, лучше ему не предлагать, — добавил Шапошников. — Игра не для него, он крайне щепетилен в вопросах чести.

— Значит, у каждого названного здесь генерала есть свое «за» и свое «против», — резюмировал Сталин. — Андрей Андреевич, взвесьте все и начинайте действовать. Если потребуется, посоветуйтесь с нами еще раз.

Прежде чем расстаться, обменялись мнениями о том, как правдоподобней и в каком районе организовать переход через линию фронта. Все согласились, что на юге, в степях, провести такую сложную операцию будет трудно. На западном направлении, где у нас сейчас наибольшие успехи, не соответствует психологическая обстановка. Лучше всего на северо-западном участке, под Ленинградом. Там, среди лесов и болот, в бездорожье, изломанная линия соприкосновения, в некоторых местах сплошного фронта нет, зато в изобилии вклинения, выступы, вмятины.

Все, больше к этому разговору мы не возвращались; конкретной работой занимались, видимо, только Андреев и его помощник. Естественно — в подобных делах нужна максимальная осторожность. Лишь по косвенным признакам я мог представлять, как развиваются события. В апреле командующим группой войск Ленинградского фронта был назначен генерал Говоров. Почти в то же время 2-ю ударную армию того же фронта возглавил генерал Власов. Соседний, Волховский фронт принял генерал Мерецков. Производилось это, разумеется, не без ведома начальника Генерального штаба Шапошникова. Дальнейшее зависело от того, как сложатся обстоятельства.

3

Весной 1942 года Верховный Главнокомандующий допустил вторую (и последнюю) стратегическую ошибку, которая вновь поставила нашу страну на грань катастрофы; первая ошибка была в августе-сентябре сорок первого, когда немцы выиграли крупномасштабное Киевское сражение, сломав складывавшееся равновесие и открыв себе дорогу на Москву. Во второй стратегической ошибке, как и в первой, виноват был, конечно, не только Сталин, виноваты были Тимошенко, Хрущев, Жуков, другие генералы, некоторые генштабисты, да и автор этих строк тоже. Если уж кто и был совсем неповинен, так это дальновидный Шапошников, отстаивавший свою точку зрения до той последней черты, за которой кончалась дискуссия и начиналась суровая дисциплина, без коей армия не может существовать. Тем более, что есть давний и очень правильный моральный закон: ответственность несет не тот, кто выдвигает предложения, а тот, кто принимает решение. Да, высший руководитель обязан знать и понимать больше разработчиков, обязан соотносить их мнение со своим и брать на свои плечи тяжкий крест окончательного выбора. С готовностью отчитаться на любом суде перед народом и историей, обрести славу или проклятие.

Для понимания дальнейших важных событий нужна хотя бы краткая оценка сложившейся обстановки: в этой оценке у Генштаба и Ставки было почти единое мнение. Считалось, как только придут погожие летние дни и подсохнут дороги, немцы начнут активные боевые действия. Фашисты

были просто обречены на это, оборона для них гибельна, они должны добиться успехов любой ценой, время и обстоятельства работали против гитлеровцев. Однако после больших зимних потерь немцы не имели возможности вести наступление сразу на всем советско-германском фронте, как в прошлом году. Значит, выберут одно направление, которое посчитают наиболее важным. Но какое?

Северное крыло, от Ленинграда до Мурманска, особенного беспокойства не вызывало. Ни немцы, ни финны не создавали там новых группировок, а уже имевшиеся, если и усиливались, то незначительно. Возле Питера фашисты были скованы кровопролитными изнуряющими боями со 2-й ударной армией и другими нашими войсками, пытавшимися разорвать кольцо блокады. Дела там шли с переменным успехом. Туда направлены были мастера оборонительных сражений генералы Мерецков и Говоров, активный генерал Власов, там находился умелый, самостоятельный организатор Жданов. Там — леса, болота и бездорожье, губительное для вражеской техники. Если бы даже немцы нанесли на севере свой главный удар, они не смогли бы продвинуться дальше линии Архангельск-Вологда, намеченной ими еще в прошлом году. Отрезали бы нас от северных портов, через которые поступала помощь союзников, осложнили бы наше положение, но это был бы лишь частный успех противника, не решавший его главных проблем. Немецкое командование, безусловно, отдавало себе в этом полный отчет.

Наиболее опасным Генштаб и Ставка считали центральное Московское направление, включавшее в себя Калининский, Западный и Брянский фронты. Враг здесь был отброшен, но положение оставалось сложным и невероятно запутанным: часть наших сил, как я уже говорил, сражалась в окружении, в полуокружении, а с другой стороны, и немецкие войска были отрезаны или полуотрезаны нами или держались в блокированных гарнизонах. Бои не затихали. Здесь находились наши наиболее, закаленные и опытные соединения, накапливались резервы, но и противник сосредоточил тут свыше 70 дивизий, имел наиболее короткие и надежные транспортные пути, связывавшие с оперативным и стратегическим тылом: через Минск и Варшаву до Берлина. Вроде бы со всех точек зрения немцы должны были искать решения своих военно-политических проблем именно на этом направлении. К примеру, нанести удар от Брянска и Орла на север, подрезать весь наш Западный фронт, выдвинувшийся далеко вперед, почти до Вязьмы, до Ржевского выступа. Само начертание линии фронта подсказывало. Но немцы вынуждены были терять время, ликвидируя наши многочисленные вклинения, преодолевая сопротивление наших войск, отбиваясь от наших атак. Силы сторон были примерно равны, положение и у тех и у других неустойчивое. Отсюда и неопределенность: какие шаги предпринять?

Иначе обстояли дела на южном крыле огромного фронта, если брать от Ельца до Азовского, до Черного моря. Тут наблюдалась определенная закономерность, достаточно четко обрисовывались вражеские группировки, способные не только обороняться, но и наступать. Немцы накапливали силы в районе Орла и Курска. Но куда они двинутся, эти силы — на север, на Москву или на восток, на Воронеж?

Немалую опасность представляли для нас вражеские войска, особенно танковые дивизии, сосредоточенные в Донбассе и в районе Таганрога (нацеленные на Ростов, на «ворота Кавказа»). Они успели отдохнуть и пополниться после зимних потерь. Много войск немцы имели в Крыму, но

там наша оборона под Севастополем и на Керченском полуострове представлялась прочной, на Крымском фронте (Керчь) мы даже имели перевес. Ну и в конце концов не Крымом же ограничатся немцы в новой кампании.

Итак, близилось лето, время решающих действий, а замыслы врага не были вскрыты нами, что влияло и на наши планы. Не было у нас в верхах единого мнения, не просматривалась перспектива, а это всегда плохо для государства, особенно для государства воюющего. Легко рассуждать задним числом, анализируя успехи или ошибки, а попробуй заглянуть вперед на год, на месяц, хотя бы на неделю: тьма-тьмущая. Но на то ведь и государственные деятели, чтобы предвидеть варианты, сводить до минимума ошибки, а допущенные исправлять быстро. Во всяком случае, не допускать просчетов с тяжкими последствиями. А в ту пору вернее всех оценил обстановку и занял самую правильную позицию Борис Михайлович Шапошников. Позицию столь же верную, сколь и простую: преднамеренно использовать конец весны и лето только для оборонительных действий на всех фронтах. Это позволит нам свести до минимума неприятности, связанные с превосходством немцев в технике, накопить силы для осенне-зимнего наступления.

Маршал Шапошников заметил и то, чего не осознал никто другой: неопределенность, которая была не только у нас, но и у немцев. По всем данным, фашисты, как и мы, выжидали, не решив, где нанести главный удар. Наша разведка до середины весны ни на одном участке не отметила вражеской группировки, готовой для большого наступления. Колебались гитлеровцы, хотя имели крупные резервы в глубине. Значит, говорил Шапошников, не надо спешить, не надо нам своей активностью провоцировать фашистов на ответные действия. Немцы колеблются, а время течет. Неожиданности, конечно возможны. Но и Генштаб не спал (конкретно опять же Шапошников, Василевский, Ватутин), сосредоточивал наши стратегические резервы на трех наиболее опасных направлениях: под Москвой, в районе Воронежа и возле Сталинграда. Иосиф Виссарионович понимал, что с военной точки зрения предложения Шапошникова были правильными. Но над ним, над политиком, все еще довлели и другие соображения, он еще не до конца понял, что в войне только победа оправдывает все. А поражение — это конец всего. Сталин же хотел скорее подтвердить свое обещание народу близкого успеха, хотел добросовестно выполнить наши обязанности перед союзниками, надеясь на их соответствующие действия. А ведь сколько раз я твердил ему, что прагматичные, беспринципные англо-американцы никогда не предпримут ничего, что не сулит им близкой и очевидной выгоды. Разве можно порядочным людям сотрудничать на равных с бессовестными, беспардонными торгашами и игроками!

Давление на Сталина возрастало с нескольких сторон. Особенно, как и в январе, со стороны Тимошенко и Хрущева, которые предлагали, просили, доказывали необходимость наступать на юге, освободить хотя бы часть Украины, тем самым вдохновить украинский народ на борьбу с оккупантами. И условия для этого есть: концентрация наших войск в районе Изюм-Барвенковского выступа, откуда выгодно наступать на Харьков. Напористость, активность Хрущева были хорошо известны Сталину, и он ценил их. Немалое значение имела и неколебимая уверенность маршала Тимошенко в себе, в том, что он никогда не проигрывает. Если и случаются поражения, то это лишь трамплин

будущего успеха, как говорил о себе Тимошенко. Искренняя убежденность — она ведь воздействует. Тем более, что всем нам хотелось успехов, а Хрущев и Тимошенко их гарантировали. Почему Верховный Главнокомандующий не должен был верить людям, ответственным за положение на своем участке, почему бы, обороняясь на всех других направлениях, не позволить Хрущеву и Тимошенко нанести удар, имеющий не только военное, но и политическое и экономическое (освобождение Донбасса) значение?! Действительно, силы для этого у них есть, начертания линии фронта выгодны для наступления (хотя Барвенковский выступ при неблагоприятных условиях мог превратиться в ловушку для наступающих, что и случилось потом).

Раздрай, колебания. Шапошников сравнивал позицию, к которой склонялся Сталин, с позицией Троцкого на переговорах с германцами в Бресте в восемнадцатом году. У Троцкого было: ни мира, ни войны; договор с кайзером не подписываем, но армию распускаем. У Сталина так: переходим к стратегической обороне, но наносим удар для освобождения Украины… Нелестные слова Шапошникова дошли до Иосифа Виссарионовича и, конечно, обидели его. Сталина хоть с чертом сравни, он как похвалу воспринял бы, но чтобы с ненавистным врагом… Однако открыто обида не проявилась, уважение к Борису Михайловичу пересилило, да и понимал Сталин, что печется Шапошников лишь об интересах дела.

На Верховного Главнокомандующего давили не только Хрущев и Тимошенко, добивались своих целей командующий Калининским фронтом генерал Конев и командующий Западным фронтом генерал Жуков. Им рано было думать только про оборону, надо было с наименьшими утратами завершить масштабную Ржевско-Вяземскую операцию. У Конева гибли две его армии, вырвавшиеся далеко вперед на юго-запад, и теперь полуотрезанные немцами. У Жукова немного полегче, хотя бы потому, что у него погибала во вражеском кольце только одна 33-я армия генерала Ефремова.

Спасать надо своих, исправлять положение, добиться этого можно было не пассивной обороной, а только активными действиями. Но какими? Сил-то для наступления ни у Жукова, ни у Конева не имелось. И в этот сложный период на первый план опять выдвинулась фамилия Белова, командира «пожарной команды» на юге в прошлом году, «генерала критических ситуаций» в боях под Москвой, разгромившего танковую армаду Гудериана. А весной сорок второго года Павел Алексеевич Белов, со своей незаурядностью совершил то, чего не бывало в военной истории, создав на своем участке положение, не укладывавшееся ни в какие каноны и открывавшее большие перспективы. О чем и пойдет речь.

4

Вспомним: под жестким давлением Жукова и его заместителя Захарова, в конце января генерал Белов пробился через Варшавское шоссе и увел в рейд на Вязьму, по тылам противника, боевое ядро 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Вязьмы достиг, однако окружить и уничтожить двумя нашими фронтами вражескую группу армий «Центр» не удалось. Удержали немцы неширокую кочергаобразную полосу вдоль железной дороги от Днепра до Ржева, этакую кривую занозу. И вот тут начинается то, что можно объяснить только военной талантливостью Белова,

проявлявшейся именно тогда, когда он обретал независимость от начальства, действовал по своему усмотрению, под свою ответственность.

Детализируем ситуацию. Две армии Конева, прорывавшиеся к Вязьме с северо-востока, отброшены и почти уничтожены. Такая же беда и в 33-й армии, узким клином выдвинувшейся к Вязьме с запада. Она тоже гибнет, задыхается в кольце. Генерал Ефремов застрелился, предпочтя смерть позору плена. Не обряжаясь в судейскую тогу, я, тем не менее, должен отметить вот что. Не хотел, не любил вспоминать о той трагедии уважаемый мною Георгий Константинович Жуков. Скупо высказался в своих мемуарах: «…считаю, что нами в то время была допущена ошибка в оценке обстановки в районе Вязьмы. Мы переоценили возможности своих войск и недооценили противника». Однако, признав сие, упустил или запамятовал Георгий Константинович некоторые подробности. В марте, мол, «по просьбе генерала П. А. Белова и М. Т. Ефремова командование фронта разрешило им выводить войска на соединение с нашими главными силами. При этом было строго указано выходить из района Вязьмы через партизанские районы, лесами, в общем направлении на Киров, где 10-й армией будет подготовлен прорыв обороны противника, так как там она была слабее…»

Сразу две существенных неточности. Во-первых, Белов с просьбой о выходе из немецкого тыла не обращался. А второе и главное состоит в том, что Ефремов как раз и выполнил хоть не этот, а другой приказ все о том же — пробиваться к своим, результатом чего и был полный разгром его армии. Лишь небольшая часть личного состава вышла в район группы войск Белова, и Павел Алексеевич объединил прорвавшихся в одной стрелковой дивизии. А сам-то Белов и не помышлял об отходе, о прорыве назад, к своим. Он, как увидим, имел иные планы.

Значит, в апреле — мае наши войска Калининского и Западного фронтов, пытавшиеся окружить немцев в районе Ржев — Вязьма, потерпели неудачу, были разгромлены, рассеяны, отброшены. А у Белова, глубже других вонзившегося во вражеские тылы, опять чудеса: Павел Алексеевич, образно выражаясь, как всегда, был на коне даже в той немыслимой ситуации, в которой оказался. Многомудрый Шапошников на вопрос Сталина — каково положение у Белова, ответил очень даже своеобразно: «Положение? Между невероятным и невозможным». Что же крылось за столь экстравагантным определением?

Если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить свое отношение к ним и извлечь из них всю потенциальную пользу, — таким правилом руководствуются умные, самостоятельные люди. Белову выпала доля возглавить редчайшую и сложнейшую операцию, провести рейд воинского соединения по тылам противника. Можно убояться такой ответственности, но можно и за честь почитать. Белов, как и все наши командиры-кавалеристы, знал, конечно, мнение Виталия Марковича Примакова, под руководством которого в годы гражданской войны дивизия (а затем корпус) Червонных казаков совершили несколько весьма успешных рейдов по белогвардейским, петлюровским, польским тылам. (Помните, в одном из таких рейдов участвовал мой друг Алеша Брусилов? Сам Примаков проходил по делу группы Тухачевского, был осужден и погиб в 1937 году). Вот слова Виталия Марковича:

«Рейд — могучее средство, дающее победу слабому числом над более численным противником, даже в момент наступления последнего… Прорыв фронта пехотой, в первый день большой пробег, который выводит

конницу из зоны, насыщенной фронтовыми частями, затем идет удар по коммуникациям, по снабжению, по тылам и, наконец, бой с отходящими частями противника… В эпоху механизации, связанной с громоздкими тылами, значение рейда вырастает пропорционально сложности тылов. Рейд — мощное средство в руках командования, если он связан с общим планом операции».

Генерал Белов в полной мере использовал открывшиеся в рейде возможности. Общая неудача под Вязьмой не обескуражила его, он понял, что, находясь в тылу противника, можно рассчитывать только на себя, на собственную инициативу. А это как раз соответствовало его натуре, тем более, что и разнообразное начальство было теперь далеко, за линией фронта. Мы говорили о том, что в конце января сорок второго года Белов прорвался через Варшавское шоссе в тыл неприятеля с боевым ядром своего гвардейского кавкорпуса, с сабельными и пулеметными эскадронами. Около шести тысяч человек ушли тогда в рейд вместе с ним. По заснеженным лесам, по бездорожью — на Вязьму. А три месяца спустя, после многочисленных боев и потерь, группа войск генерала Белова насчитывала около тридцати тысяч человек и контролировала в немецком тылу пространство, равное, примерно, территории Бельгии, с несколькими городами и райцентрами, в том числе город Дорогобуж. На всем этом пространстве была восстановлена советская власть, немцы носа сунуть не смели туда. Не до этого! Части девяти (!) гитлеровских дивизий, обложившие территорию Белова, заботились лишь о том, чтобы оный легендарный Белов не продвинулся дальше на запад, за Днепр или не нанес бы новый удар по Вязьме.

Как он силу-то нарастил, непостижимый Павел Алексеевич, начав свое пребывание в немецком тылу с упомянутыми шестью тысячами конников и двумя тысячами воинов-парашютистов 4-го воздушно-десантного корпуса, включенными в состав его группы? Самый простой ответ: энергично использовал все местные возможности. Еще летом в тех районах, куда прорвался Белов, гремели большие бои, в том числе — известное Ельнинское сражение. Затем при осеннем наступлении немцы окружили там, в огромных лесных массивах, несколько соединений Красной Армии, рассеяли их. Воины укрывались в глухих деревнях. В импровизированных госпиталях лечили раненых. Возникали партизанские отряды, костяком которых были армейские бойцы и командиры. На полях осталось под снегом большое количество оружия, боеприпасов. Целые склады. Местные жители знали, где и что есть. Генерал Белов использовал все это.

В то время когда немцы одну за другой уничтожали три наших армии, участвовавших в Ржевско-Вяземской операции, Белов, находясь в тылу врага, расширял зону своих действий и укреплял свою группу. Добившись специального разрешения Верховного Главнокомандующего, укомплектовал полки бывшими окруженцами, мобилизовал местное мужское население от 17 до 49 лет. И вот чем располагал он к середине апреля сорок второго года. Основу группы войск составляли, как и прежде, 1-я и-2-я гвардейские кавалерийские дивизии, пополненные за счет трех расформированных после больших потерь легких кавдивизий. Затем 4-й воздушно-десантный корпус генерала Казанкина, хоть и немногочисленный, но крепко сколоченный, с боевым опытом. Со стороны Вязьмы группу прикрывала 329-я стрелковая дивизия, остатки которой пробились к Белову из 33-й армии: дивизия была пополнена и восстановлена.

Некоторое количество своих кадровых командиров Белов направил на формирование партизанских соединений. Ему удалось создать 1-ю и 2-ю партизанские дивизии, достаточно вооруженные и вполне боеспособные. Кроме того, Отдельный партизанский полк майора Жабо, батальон противотанковых ружей, различные специальные подразделения, несколько вполне сносных госпиталей разного профиля, вплоть до инфекционного. И даже почти немыслимое: уходивший в рейд без единого танка, Белов создал в тылу немцев целую танковую бригаду. Разыскивали подбитые машины, ремонтировали в сельских кузнях, собирали из двух одну. Среди окруженцев нашлись танкисты и трактористы. Двадцать готовых к бою танков — это не шутка! И ведь буквально из ничего.

Генерал Жуков, относившийся к Белову с долей ревности, говорил тогда, усмехаясь: «Паше только собственной авиации не хватает. Посидит еще в немецком тылу, и самолетами обзаведется». Но не точное определение изобрел Георгий Константинович. Суть как раз в том, что Белов не «сидел» во вражеском кольце, отбиваясь от противника, а постоянно действовал, причем действовал изобретательно, смело, с этакой кавалерийской лихостью, с ощущением превосходства над противником. Войска Белова, сковывая немцев у Вязьмы, освободили город Дорогобуж, вышли к Днепру, вели бои за Спас-Деменск, за Ельню и южнее ее. Фактически Белов контролировал пространство, совпадавшее с огромным треугольником железнодорожных магистралей Смоленск — Вязьма, Вязьма — Спас-Деменск и Спас-Деменск — Ельня — Смоленск, частично перекрывая названные дороги. И это почти без помощи с Большой земли, на подножном корму, как говорят кавалеристы.

Все бы хорошо, но была и другая, не очень приятная сторона. Белов выпал из круга наиболее острых интересов высшего руководства, как это бывает с людьми, не требующими особых забот и внимания. На других участках постоянно что-то случилось. Командующие разных рангов сообщали о боях, о потерях, ждали указаний, просили помощи: подкреплений, боеприпасов, обмундирования и всего прочего. С ними Генштаб и Ставка постоянно работали.

А генерал Белов, находившийся в странном положении «между невероятным и невозможным», гораздо реже других обращался к начальству, скупо и скромно докладывал о своих делах, а, если просил, то самого минимального: подбросить по воздуху патроны и медикаменты. Иногда, впрочем, удивлял штаб Западного фронта и московских военных чиновников обращениями странными и вроде бы неуместными. Потребовал несколько бочек коньяка доставить к майским праздникам — это можно понять. Но вот просьба — срочно прислать большое количество комплектов женского обмундирования и во что бы то ни стало, в первую очередь, женские чулки, чуть ли не пятьсот пар… Интенданты обратились за разъяснением. По радио пришел ответ по всей форме, с номером и подписями. Зима, мол, кончилась, наши медички и другие военные женщины переобулись в сапоги, в грубые солдатские ботинки. А их ноги более привычны к чулкам, чем к портянкам. Снаряды сами добудем, а чулки взять негде… И ведь добился Белов, послали ему за линию фронта необычный груз.

Чулки — это штришок к портрету и, думаю, вполне уместный в этой серьезной главе, рассказывающей об очень важном, о стратегической раскладке на летнюю кампанию сорок второго года. И не кто иной, как Белов, внес в наши замыслы такую существенную поправку, которая могла

бы изменить весь ход дальнейших военных событий. Ставка еще не сделала свой выбор. Обороняться? Наступать на юге? Мы теряли драгоценное время. Особенно тревожился Борис Михайлович Шапошников, привыкший рассчитывать несколько ходов вперед. Трещина, наметившаяся между ним и Иосифом Виссарионовичем, с каждым днем становилась заметней, хотя на взаимном уважении это не сказывалось. И вот в этот период споров, неуверенности, колебаний на имя Жукова поступил документ, который сразу стал известен в Генштабе и в Ставке, вызвавший надежды одних, огорчение других и, во всяком случае, подтолкнувший развитие событий.

Речь идет о радиограмме за номером 1596, подписанной генералом Беловым и его ближайшими соратниками, комиссаром Милославским и начальником штаба Вашуриным. Потом еще пришло дополнение к ней, детализирующее некоторые аспекты. Но я для лучшего понимания буду говорить об этих документах сразу вместе. Радиограмма большая, из общей части и одиннадцати пунктов, там много географических названий, наименований воинских частей и соединений, непосвященному человеку трудновато разобраться в подробностях, поэтому процитирую лишь вводную часть, которая раскрывает суть дела.

«Докладываю на Ваше рассмотрение оценку обстановки и предложения. Протяженность фронта по окружности превышает 300 км. Силы противника: на линии Милятино — Ельня разведано шесть пехотных дивизий. К Ельне подходят подкрепления со стороны Рославля и Смоленска. Западнее реки Днепр обороняются неустановленные силы. На севере — Ярцево, Семлево, ст. Волоста-Пятница — прикрывают подступы к железной дороге разрозненные сборные части, в том числе 35-й и 23-й пехотных дивизий.

Вывод: группа участвует, в окружении Вяземской, Ельнинской, Спас-Деменской группировок противника и в свою очередь находится в оперативном окружении.

Силы группы и протяжение фронта вынудили меня перейти к оборонительным действиям. Инициатива заметно переходит в руки противника. Резервов нет. В этих условиях выдвигаю НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН».

Вот весь он тут, Павел Алексеевич Белов! О чем думал бы любой другой генерал, находясь в окружении, лишенный снабжения, не имеющий резервов?! В лучшем случае, об отходе: как выбраться из вражеского кольца. И поступали так, отдавая врагу инициативу, и проигрывали, и погибали. А у Белова мысль о том, как бить неприятеля. И не просто замысел, не идея вообще, а подробно разработанный план с учетом всех плюсов и минусов. При этом он даже не просил значительных подкреплений, намереваясь обойтись в основном силами своего же 1-го гвардейского кавалерийского корпуса.

Тут требуется небольшое пояснение. В конце января, как мы знаем, Белов увел с собой за линию фронта через Варшавское шоссе лишь основное ядро корпуса, сабельные и пулеметные эскадроны с полковой и частью дивизионной артиллерии. Все тылы, обозы, некоторые штабы, раненые и больные люди, целые подразделения, не успевшие прорваться через шоссе, остались на Большой земле. Остался даже полк, ожидавший пополнения конского состава. Всем им приказано было сосредоточиться в месте сбора возле Калуги. Туда же направлялись маршевые эскадроны, выписавшиеся из госпиталей раненые, поступало вооружение и

снаряжение, предназначенное для конногвардейцев. И получилось так, что к середине весны возле Калуги сформировался второй состав корпуса, которым командовал заместитель Белова энергичный генерал И. А. Плиев. Причем этот второй состав по численности и по вооружению значительно превосходил те соединения, которые сражались в тылу неприятеля. Кроме 1-й и 2-й гвардейских кавдивизий, в новый состав корпуса была включена еще 7-я гвардейская кавдивизия. И танковая бригада. Второй состав корпуса насчитывал почти двадцать пять тысяч человек и имел довольно сильную артиллерию.

Павел Алексеевич Белов предлагал вот что. Используя период весенней распутицы, сковывавшей маневренность вражеской техники, 50-я армия генерала Болдина наносит удар с внешней стороны вражеского кольца на Варшавском шоссе. Белов, продолжая удерживать освобожденную территорию, бьет по немцам изнутри кольца. У противника там полоса шириной всего 20–30 километров, удара с двух сторон он не выдержит. Образуется коридор, который должны удерживать и расширять войска 50-й и, возможно, соседней 10-й армии. А Белов из кольца не уходит, наоборот, к нему присоединяется второй состав корпуса. Хорошо бы получить для большей устойчивости хотя бы одну стрелковую дивизию и несколько противотанковых артиллерийских полков. С этими силами Белов закрепится в освобожденных районах и сможет наносить удары по флангам и тылам противника возле Вязьмы или в направлении на Смоленск.

Фамилия Белова вновь, многократно повторяясь, зазвучала в больших штабах, в Ставке Верховного Главнокомандования. В разных инстанциях предложение было встречено очень даже неодинаково. Странно, поспешно, на мой взгляд, даже нервозно отреагировал на него командующий Западным фронтом Жуков. Едва ознакомившись с радиограммой, сразу дал ответ: замысел в принципе правильный, но 50-я армия к наступлению сейчас не готова и пробить коридор навстречу Белову не сможет. Думаю, дело было отнюдь не в готовности 50-й, что подтвердят ближайшие события. Сказались, по меньшей мере, два разнородных, но единонаправленных фактора. Только что Западный фронт понес большую утрату, немцы уничтожили 33-ю армию генерала Ефремова, действовавшую севернее группы Белова. Болезненно переживал Жуков это тяжелое поражение и осторожничал, может быть, даже чрезмерно. И второе: самолюбие Георгия Константиновича было таково, что он часто, особенно под настроение, в штыки встречал любое предложение, инициатором которого являлся не он сам, а кто-то другой. И чем интересней, чем масштабней было предложение, тем болезненней была первая жуковская реакция. А в этот раз восприятие обострено было тем, что замысел исходил от человека, которого Георгий Константинович интуитивно опасался, как достойного соперника по воинской славе. Однако умен был Жуков, а начальник его штаба В. Л. Соколовский — семь пядей во лбу — способен был не только найти решение, но и обуздать командующего, направить энергию в нужное русло. Не прошло и недели, как мнение Жукова изменилось на прямо противоположное. Почему?

Повлияло то, что предложение, «с порога» отринутое Георгием Константиновичем, тем не менее продолжало обсуждаться в Генштабе, было доведено до сведения Верховного Главнокомандующего. Но еще важнее было другое. Соколовский ли подсказал, или сам Жуков сообразил: план Белова полностью соответствовал его намерениям, конкретизировал

их применительно к сложившейся обстановке. Чего хотел Жуков? В начинавшейся весенне-летней кампании сосредоточить основные силы на центральном, западном направлении и вести здесь наступление, добиваясь прежде всего той цели, которую до сих пор не удалось осуществить: окружить и уничтожить Ржевско-Вяземскую группировку противника, уже и так в значительной степени изолированную от главных немецких сил. С юга на Вязьму будет давить Белов. С востока по району Ржев-Зубцов ударит 20-я армия, которая под руководством генерала Власова продвинулась далеко за Волоколамск, до станции Шаховской. Правда, Власова там теперь нет, он под Ленинградом, но армия достаточно сильна и боеспособна. Не тут ли надо искать успех? А план Белова — это ключ к успеху. И ключ этот уже поворачивается в замке: не ожидая, пока начальство разберется с его замыслом, Белов исподволь осуществляет свои намерения. Его 2-я гвардейская кавдивизия и две воздушно-десантных бригады значительно продвинулись к Варшавскому шоссе, захватив станцию Вертерхово и еще несколько населенных пунктов… Нельзя же командующему фронтом плестись в хвосте событий, этак и обскакать могут.

Придя к такому выводу, Георгий Константинович допустил еще одну поспешность, а точнее сказать — ошибку, причем самую элементарную, приведшую к скверным последствиям. За лаврами, что ли, погнался? Не позаботившись усилить 50-ю армию, не подкрепив ее артиллерией, не обеспечив авиационной поддержки, приказал генералу Болдину немедленно нанести удар по немцам в районе Зайцевой горы, захватить эту господствующую высоту, соединиться с Беловым, обеспечить проход к нему второго состава корпуса, а затем прочно удерживать коридор.

Неожиданной, совершенно неподготовленной была эта операция, и место для нее, на мой взгляд, выбрано было весьма неудачно. Конечно, Зайцева гора господствует над окружающей местностью, кто владеет этой высотой с отметкой 269.8, тот контролирует значительный участок Варшавского шоссе и территорию километров на десять окрест. Это в одинаковой степени понимали как и мы, так и немцы. Бои здесь шли с февраля, обе стороны сосредоточили значительные силы. Немцам-то было легче, они зарылись в землю, укрепились и оборонялись. А наши штурмовали, атаковали в лоб, с бессмысленным упрямством, неся большие потери. Эту возвышенность солдаты окрестили Чертовой горой, и никак не следовало бы прокладывать коридор к Белову именно здесь. Ударить бы километрах в двадцати от горы, где у немцев меньше сил, где нет укреплений, где леса способствуют скрытому передвижению. Так нет же, понесло опять на эту возвышенность.

Возле Чертовой-Зайцевой горы развернулся долгий изнурительный бой. Войскам 50-й армии удалось, наконец, штурмом взять господствующую высоту, но на этом армия и выдохлась. Части Белова пробивались в этот район с запада. Всего два километра отделяли кавалеристов от пехоты. Всего два! Еще бы усилие, еще бы дивизию сюда — и кольцо было бы разорвано, важный замысел был бы осуществлен. Но у Болдина резервов не имелось, командование фронта о наращивании удара позаботиться не успело. А немцы бросили к месту прорыва авиацию, спешно подтянули танки, мотопехоту. Зайцеву гору пришлось оставить.

(Ох, уж эта досадившая нам гора, долго стоявшая непреодолимой преградой перед 50-й армией. Захватывали ее, отдавали… Склоны были обильно политы кровью. В конце концов командарм Болдин решил

поступить с ней, как Иван Грозный с укрепленным кремлем при осаде Казани: сделать подкоп и взорвать. Со всей армии собрали бывших шахтеров, заложили колодец глубиной в 6 метров и повели тоннель высотой 110 и шириной 70 сантиметров. Трудились круглосуточно несколько недель. Под немецкие позиции был заложен заряд из 9 тонн взрывчатки, усиленный большим количеством противотанковых мин. Утром 4 октября 1942 года Зайцева гора взлетела в воздух вместе с вражескими укреплениями. Взрыв был настолько силен, что в радиусе нескольких километров сдетонировали все минные поля. Опорный пункт противника перестал существовать.)

Неудачные события в полосе 50-й армии, вызванные поспешными и несогласованными действиями, отнюдь не повлияли на отношение к плану Белова. Жуков расценивал неудачу как срыв, который можно исправить. Для Генштаба это была мелкая частность, которую следовало учесть, но которая никоим образом не могла повлиять на крупномасштабный замысел. Угроза, если так можно выразиться, нависла совсем с другой стороны, от своих. Сторонники южного наступательного варианта Тимошенко и Хрущев, узнав о новом западном плане, ринулись по всем доступным каналам отстаивать свое направление. Мы, мол, готовим большую операцию в Барвенковском выступе для освобождения Харькова, уже войска сосредоточиваем, а нам палки в колеса?! Центр тяжести всей летней кампании передвигается в другое место?! Пытались давить на Генштаб, на Шапошникова, но у интеллигентного Бориса Михайловича манеры мягкие, а характер твердый, не поколеблешь. Давили на Верховного Главнокомандующего, подключив к этому делу своих авторитетных сторонников Берию и Микояна, беспокоившихся за Кавказ. И начальник ГлавПУРа Мехлис был заодно с ними. Он курировал Крымский фронт, считал, что успех под Харьковом облегчит положение Севастополя, поможет скорее освободить Крымский полуостров. У каждого имелись веские резоны. А в результате опять неясность перспектив, бездействие.

Простовато-лукавый мужичок Хрущев, изменив свою тактику, убедил Сталина считать готовившуюся в районе Харькова операцию внутренним делом Юго-Западного направления (командующий Тимошенко), с тем, чтобы Генштаб, особенно лично Шапошников, не вмешивались: сами готовим, сами в ответе. Сталин пошел на это, ущемив права Генерального штаба и поставив Бориса Михайловича в довольно неловкое положение. Со своей стороны, Жуков, опираясь на план Белова, укрепился в мысли о возможности ликвидировать наконец Ржевско-Вяземскую группировку противника, ближе других выдвинутую к Москве, выдернуть эту занозу. Он даже свой командный пункт решил перенести из Перхушкова ближе к району предполагаемых действий, штаб Западного фронта начал постепенно перемещаться к деревням Пяткино и Самсоново, к маленькому поселку с веселым названием Бодрая Жизнь. (После войны на месте этих деревень и поселка возник достославный город Обнинск, где ученые-физики занимались использованием атомной энергии и в 1954 году дала ток первая в мире атомная электростанция.)

Наиболее правильную, на мой взгляд, позицию по-прежнему занимал Борис Михайлович Шапошников. Стоял на своем: нам не наступать надобно, а держать глухую оборону, измотать атакующих немцев на заранее подготовленных, глубоко эшелонированных рубежах. А замысел Белова не противоречил его концепции, это ведь будет сражение не на наших оборонительных линиях, а далеко впереди, на аванпостах, если оно

и не принесет большого успеха, то при всех условиях привлечет к себе значительные силы немецких войск.

И раз, и другой напоминал Шапошников Иосифу Виссарионовичу, что наступление, в успехе которого нет уверенности, гораздо хуже наступления возможного, но не начатого. Во втором случае войска держат противника в ожидании, сковывают его, изматывают нервы. А наступление неудачное напряженность сразу снимает, позволяет неприятелю маневрировать силами и средствами, вдохновляет на ответные действия.

Я, беспартийный, классиками марксизма не увлекавшийся, для вящей убедительности даже статью Фридриха Энгельса о войне процитировал Иосифу Виссарионовичу. «Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита».

Сталин колебался: какое же окончательное решение принять? А время шло. Нет, не шло, а стремительно летело. Немцы могли в любой момент начать свою игру, опередив нас.

В ночь на 9 мая за линию фронта к Белову вылетел начальник оперативного управления штаба Западного фронта генерал-майор Голушкевич Владимир Сергеевич. Об этом договорились Жуков и Шапошников, не поставив в известность Сталина. Опытный, добросовестный Голушкевич должен был на месте оценить обстановку, а главное, — с глазу на глаз сообщить Белову, что план его одобрен. В 50-ю армию направлено пополнение, она будет усилена танками и артиллерией, получит авиационную поддержку. Будут приняты все меры, чтобы 50-я пробила коридор к группе Белова и удержала его. К Белову пройдет второй состав гвардейского кавкорпуса, пройдет противотанковая артиллерия и пехота. Возможно, целая армия. Этими войсками Белов должен заблокировать железную дорогу Смоленск — Вязьма, по крайней мере, от Ярцево до Вязьмы. Одновременно удар по Ржевско-Вяземской группировке противника нанесет 20-я армия. Наступление начнется не позже 5 июня.

Возвратившись, Голушкевич доложил Жукову и Шапошникову, что Белов готов начать активные действия в любой день и просит только не затягивать сроки. К середине июня подсохнут дороги, немцы двинут свою многочисленную технику, остановить которую группа Белова не сможет. И буквально в тот же день о поездке Голушкевича стало известно Берии, а через него Хрущеву и Тимошенко. Ну и конечно Сталину. Ситуация в Ставке еще более осложнилась.

5

Позвонил Шапошников, попросил зайти к нему. Начал без обиняков:

— Тимошенко и Хрущев торопят события. Это не стратегия, а борьба авторитетов, возня под ковром. Их наступление слабо подготовлено, скрытность не обеспечена, и вообще не укладывается в разумные рамки. Авантюризмом попахивает, Николай Алексеевич. Длинный световой день на руку немецкой авиации. Нашим войскам, нашим танкам негде укрыться в степи от атак с воздуха. Раздолье для вражеской техники… Да что я вам говорю, сами все знаете.

— Знает и Верховный. Докладывали не раз.

— И все же хочу попытаться снова переубедить его. Встреча назначена на вечер. Прошу вас присутствовать, высказать свое мнение о возможностях группы Белова.

— Верховный раздражается, когда присутствуют не званные им.

— Он будет предупрежден, это беру на себя. — Шапошников помолчал, закуривая, произнес с горечью: — Не понимаю, почему он так упорствует? Никакие доводы, самые бесспорные доводы не действуют на него.

— Борис Михайлович, вы взываете к рассудку, к здравому смыслу, но ведь Верховный тоже человек, как и все мы, грешные, у него свои причуды, свои особенности.

— Конечно, конечно, голубчик, но что вы имеете в виду в нашем конкретном случае?

— Сталин хорошо знает южный театр военных действий. Еще по гражданской войне. Там ему всегда сопутствовала удача. Оборона Царицына, разгром Деникина. А западный театр знаком ему меньше, успехи если и были, то скромные. Это не может не отражаться.

— Согласен.

— И еще. Говорят, что Гитлер теперь вздрагивает при слове «Москва», генералы стараются реже произносить… И Сталину не очень-то приятно вспоминать прошедшую осень, обрушившиеся на нас напасти, край бездны, на котором мы балансировали. Один пережил величайшее разочарование, другой величайшее напряжение. Ни тот, ни другой не хотят повторения. Скажу резче: боятся повторения. Разум диктует одно, а внутренние душевные силы противятся, не приемлют… Да ведь и мы с вами не хотели бы еще раз быть участниками некоего варианта Московской битвы.

— Не хотелось бы, — согласился Борис Михайлович.

— А Сталин, с его грузом ответственности, тем более. Вот и стремится он, может быть даже не совсем осознанно, интуитивно, не приковывать внимания немцев к Москве, отвести удар от нашей столицы. Москва — символ. Наше поражение где-нибудь в южных степях — это эпизод войны. Утрата Москвы — крах. Поэтому доводы южан благосклонно воспринимаются им.

— Конечно, эмоции со счетов не сбросишь, — сказал Шапошников. — И все-таки я обязан еще раз изложить Верховному мнение Генерального штаба. В вашем присутствии, надеясь на вашу поддержку, — повторил Борис Михайлович. И добавил извиняющим тоном: — Трудно мне одному, неважно себя чувствую. Очень неважно.

А ведь он не любил жаловаться на здоровье.

Разговор состоялся в кабинете Иосифа Виссарионовича после обычного вечернего (ночного) доклада. Поскольку суть дела известна была всем присутствовавшим, Шапошников был весьма краток, перечислив лишь плюсы, связанные с операцией группы войск генерала Белова. Самое главное состояло в том, что эта операция не нарушала целостности нашего фронта, а проводилась впереди, практически в тылу неприятеля. И не требовала привлечения крупных сил, сохраняемых на будущее. Все тот же 1-й гвардейский кавкорпус, несколько стрелковых дивизий, несколько танковых бригад и артиллерийских полков. Это мизер, это окупится при любых вариантах. В случае удачи Белов, взаимодействуя с 20-й армией, замкнет, наконец, кольцо вокруг Ржевско-Вяземской группировки противника, и это откроет для нас новые оперативные и даже стратегические возможности. Если события будут развиваться

неблагоприятно, мы ничего не теряем. Своими сравнительно небольшими силами Белов будет сковывать до десяти германских дивизий, оттянет на себя вражескую авиацию.

— Долго ли он продержится? — ворчливо произнес Сталин. — Немцы сомнут его танками.

— Там лесные болотистые массивы, не самое удобное место для машин. Бог создал небо и землю, а черт — Дорогобуж, Ельню и Смоленскую губернию, — с улыбкой напомнил Шапошников старое присловье. — На два месяца у Белова возможностей хватит, а ведь это самое трудное для нас время. И опять же подчеркиваю: если Белов и будет разбит, то в предполье, наш фронт останется сплошным, немцы окажутся перед целостной линией наших оборонительных рубежей.

— Все это привлекательно. И даже убедительно. И Жуков рвется в бой, — произнес Сталин, чуть склонившись к расстеленной на столе карте. Указал чубуком трубки. — Наш выступ на западном направлении не только полезен для нас, но и таит в себе угрозу. Большую угрозу. Немцы накопили крупные силы по линии Харьков, Курск, Орел. То, что предлагает Тимошенко, нацелит эти силы на восток и юго-восток. А если Тимошенко не будет наступать? Тогда немцы нанесут удар от Орла на север, на Тулу и на Москву. Как раз под основание нашего выступа. Во фланг и тыл всего Западного фронта. Отрежут две-три армии и того же Белова. Вот где угроза. А мы лезем все дальше и дальше на запад, к Днепру, в мешок. Не заманивают ли нас? Не есть ли это главная стратегическая ловушка?

Шапошников посмотрел на меня, рассчитывая на поддержку. Я кивнул, заговорил полушутливо, чтобы смягчить обстановку:

— Иосиф Виссарионович, Орел — это вроде бы моя вотчина. И в гражданскую, и минувшей осенью бывал я там по вашему указанию. Положение на Орловском направлении сейчас достаточно прочное. От города Белёва до Тулы сто километров почти сплошная оборонительная полоса. Траншеи, доты, дзоты, проволочные заграждения. От Тулы до Москвы усилены осенние оборонительные рубежи. По Оке тоже. Немцам везде придется прогрызать каждый километр.

— Укрепления, не занятые войсками, сами по себе ничего не стоят.

— Оборонительные рубежи ближе к линии фронта заняты и освоены нашей пехотой и артиллерией. Есть резервы, готовые быстро выдвинуться на угрожаемые направления.

— Двое на одного, — усмехнулся Сталин. — Борис Михайлович, у вас еще что-то?

— К сожалению… Да, на Западном направлении резервы у нас достаточные, мы собрали здесь все, что могли. Вы знаете, что в районе Тулы сосредоточена танковая армия, отдельные танковые корпуса. Это почти две тысячи новых боевых машин. Это сюрприз для немцев. Танки укрыты в лесах и готовы нанести контрудар хоть в Западном, хоть в Южном направлении. Только не дай бог вывести их из лесов на открытые места, под удар немецкой авиации, — Шапошников сделал большую паузу, никак не мог продохнуть, не хватало воздуха. Почувствовав облегчение, продолжал: — Танками, пехотой, артиллерией мы значительно усилили Брянский фронт. И правильно, этот фронт на самом угрожаемом направлении, прикрывает левый фланг нашего западного выступа. Но нет уверенности, что командующий фронтом генерал Голиков сумеет правильно использовать вверенные ему силы и средства, — Борис Михайлович был, как всегда, корректен.

— Генерал Голиков ни в чем не проявил себя, — поддержал я. — Ни в руководстве разведкой, ни на посту командарма десятой. Вяло командовал, неумело командовал. Голикову армия не по плечу, а ему дали фронт, наиболее ответственный фронт.

— Товарищ Берия считает его очень надежным человеком, — возразил Сталин.

— К надежности хорошо бы еще способности, — вздохнул Шапошников.

— Товарищ Голиков назначен недавно и действительно еще не показал себя ни с хорошей, ни с плохой стороны. Когда покажет, тогда посмотрим, какой из него командующий фронтом.

— Не было бы поздно, — устало произнес Борис Михайлович и возвратился к сути разговора. — Жуков, Белов, Болдин ждут указаний…

— Когда их войска будут готовы нанести удар? — спросил Сталин.

— К концу мая.

— Есть еще время подумать.

— Очень мало времени.

— Мы подумаем. С учетом того, что осложнилась обстановка в Крыму, — Сталин явно ушел от прямого ответа. Воцарилось молчание. Наконец Шапошников медленно, тяжело поднялся со стула. Голос его чуть заметно дрогнул:

— Мне очень неприятно, но я должен сказать… Последнее время мое состояние ухудшилось.

— Это мы знаем, дорогой Борис Михайлович… Василевский возвращен с фронта в Москву?

— Прибыл.

— Пусть больше работает он, пусть больше работают ваши заместители, начальники управлений… Кто вас лечит, Борис Михайлович?

— Профессор Вовси.

— Вовси способен залечить вовсе, — грубовато пошутил Сталин и сразу же поправился: — Нет, он хороший профессор, но вы не церемоньтесь, требуйте с него, с докторов. Ваше здоровье важно для государства. Может, необходимо вмешательство?

— Ради бога, не беспокойтесь, спасибо.

Я вышел из кабинета вместе с Шапошниковым, проводил его по пустынному коридору. Вид у маршала был непривычно удрученный.

— Вот и все, — сказал он, прощаясь. Рукопожатие было слабым.

Когда я вернулся, Сталин стоял на прежнем месте, склонившись над картой и посасывая погасшую трубку. Спросил:

— Вы убеждены в том, что Шапошников прав?

— Да.

— А вот они считают иначе и тоже убеждены в своей правоте. (Кто «они», мне было понятно.)

— Они отстаивают свои интересы, у них свои амбиции. А у Шапошникова только наши общие интересы.

— Борис Михайлович действительно плох?

— Не только здоровье ухудшилось, но и моральное состояние, — сказал я и тут, к месту, напомнил случай, который в свое время произвел на Сталина сильное впечатление. Провинился однажды высокопоставленный генерал, занимавший должность начальника штаба фронта. Уличен был в недобросовестности, завышал заслуги своих войск и свои собственные. Ну, а Сталин, как известно, бесчестности, корыстолюбия не прощал, на расправу был крут. Делом проштрафившегося занимался Шапошников.

Доложил Сталину: разобрались, виновный наказан, ему объявлен выговор. «И это все?» — изумился Иосиф Виссарионович. — «А разве мало? — в свою очередь был удивлен Шапошников. — Генерал, получивший выговор от начальника Генерального штаба, должен подать в отставку, если он порядочный человек».

Сталин терпеливо выслушал меня, посмотрел внимательно:

— Почему вы заговорили об этом сейчас?

— Борис Михайлович дал понять, что он не способен осуществлять замысел, с которым не согласен.

— Значит, дело не только в здоровье… Но ведь решение еще не принято, хотя Тимошенко и Хрущев уже раскручивают маховик, — голос Сталина звучал неуверенно, и мне было жаль его, оказавшегося на распутье. Чью сторону принять, куда повернуть и как этот поворот отразится на ходе войны, на судьбе государства?! Не хотел бы я тогда оказаться на его месте.

6

Пришла беда — открывай ворота. Мы так и не успели перекреститься, пока не грянул гром. Да и грянул-то он в совершенно неожиданном месте, на Керченском полуострове, где наш Крымский фронт имел двойное превосходство над противником по танкам, полуторное — по артиллерии, при равном количестве самолетов. Да вот фронтовое руководство оказалось никуда не годным (об этом позже). Начав наступление 8 мая, немцы за одну неделю, увы, разгромили наши войска на Керченском полуострове и сбросили их в море, лишь часть людей удалось вывезти на Тамань. Эти события еще больше приковали внимание Сталина к югу. Однако то, что произошло в Крыму, — только драматический эпизод войны, но еще не трагедия. Настоящая трагедия разыгралась на подступах к Харькову. 12 мая войска Тимошенко-Хрущева без должной подготовки перешли в наступление и несколько суток продвигались успешно, не обращая внимания на то, что все глубже залезают в уготовленный немцами «мешок». Не тревожился этим и Сталин. Он радовался тому, что завершились, наконец, сомнения, колебания, дискуссии и началось конкретное дело, к тому же удачно. Радовался настолько, что резко упрекнул Шапошникова и меня в том, что по нашему настоянию чуть не отметил операцию, которая развивается теперь без сучка без задоринки. «Хорош бы я был, если бы послушался вас!» — в сердцах бросил он. Это было уже слишком. Борис Михайлович Шапошников сразу же обратился в Государственный Комитет Обороны с просьбой об отставке, а точнее — о переводе его на менее ответственный участок работы, порекомендовав вместо себя Александра Михайловича Василевского, которому только что было присвоено звание генерал-полковника. Ну, а мне какую отставку можно было просить? Из числа старых друзей? Не те основания: расхождения во мнениях, упреков, даже необоснованных, еще недостаточно, чтобы бить горшок о горшок, рвать старые связи. В дружбе многое приходится взаимно принимать и прощать.

Гроза надвинулась 17–18 мая, когда немцы перешли в контрнаступление, нанесли сильный удар, прорвали наш фронт и начали отсекать Барвенковский выступ. Тот же самый Хрущев возопил о необходимости прекратить наступление и бросить все войска навстречу прорвавшемуся противнику. Сталин, не терпевший поспешности, резких

изменений, на прекращение наступления не согласился и вообще на звонки Хрущева и Тимошенко отвечать перестал. Тогда они обратились к тем, кого еще недавно всячески отсекали от подготовки операции: в Генеральный штаб, к Василевскому. Но и Василевскому Иосиф Виссарионович не внял.

События между тем развивались более чем стремительно. 19 мая мощная вражеская группировка, действовавшая в Барвенковском выступе, зашла в тыл наших все еще наступавших войск, отрезав сразу три армии Южного и Юго-Западного фронтов. Понимая, чем все это грозит, Василевский попросил больного и отлученного от дел Шапошникова пренебречь самолюбием и позвонить Верховному Главнокомандующему, что Борис Михайлович и сделал. Лишь после этого Сталин распорядился движение на Харьков прекратить, все войска бросить на отражение прорвавшейся немецкой группировки. Но было уже поздно. Из вражеского кольца удалось уйти немногим.

Тяжелы были наши утраты. Погибли многие известные генералы, в том числе К. П. Подлас, А. М. Городнянский, Л. В. Бабкин, Ф. Я. Костенко. По сути дела, Юго-Западный и Южный фронты утратили почти все, что удалось им накопить в период весеннего затишья. Соотношение сил на южном крыле советско-германского фронта изменилось в пользу гитлеровцев. Враг создал себе надежные предпосылки для наступления в сторону Кавказа, на Сталинград, на Воронеж. В этом, не желая того, своими крупными просчетами помогли противнику наши высокопоставленные руководители, чьи фамилии я называл.

Колесо покатилось, и чем, дальше, тем быстрее. Одно событие цеплялось за другое и влекло за собой последующее. Без малого сто вражеских дивизий двинулись к нижнему и среднему течению Дона, то есть опять же к Кавказу и на Сталинград. Немцев подпирали войска их союзников: итальянцы, румыны, венгры. Как остановить эту лавину? Напрягая силы, наши войска едва сдерживали ее, тормозили, сохраняя целостность фронта. Мы, правда, еще не задействовали крупные резервы, накопленные в районе Москвы и Тулы. У нас еще была надежда восстановить равновесие и провести летнюю кампанию без чрезмерных утрат. Такая надежда несколько померкла, но не угасла даже после того, как в конце июня враг перешел в наступление восточнее Курска, стремительно бросив вперед крупные массы танков. Теперь начал полностью просматриваться масштабный замысел высшего вражеского командования. Коварный и страшный для нас замысел. Окружив и уничтожив Брянский фронт и выйдя к Воронежу, немцы намеревались повернуть быстро-подвижные танковые и моторизованные дивизии на юг, на тылы наших Юго-Западного и Южного фронтов, чтобы взять их в тиски, рассеять и добить в степных просторах. Наступил решающий этап. Пора было вводить в действие наши резервы.

Если говорить о военной катастрофе сорок второго года, то началась она не только и не столько с поражений в Крыму и в районе Изюм-Барвенково, у нее были более глубокие корни. Главное: ошибка нашей Ставки в определении стратегических целей и способов их осуществления. И вытекающее из этого неправильное использование накопленных резервов, усугубленное бездарностью непосредственных исполнителей. Задача была в том, чтобы собрать резервы в кулак, нанести мощный стремительный удар во фланг и тыл немецким войскам, двигавшимся на Воронеж, подрезать основание образовавшегося там

вражеского клина. И разве генералов, способных осуществить это, выиграть большое сражение у нас не было?! Отнюдь! Мы имели уже целую когорту полководцев, хорошо проявивших себя. Многоопытный, расчетливый и смелый Василий Иванович Кузнецов, Константин Константинович Рокоссовский с его твердым характером, светлым умом и глубоким пониманием особенностей современной войны, энергичный Павел Алексеевич Белов, удивительно сочетавший предусмотрительность и осторожность с кавалерийской дерзостью, создавший свой фронт в немецком тылу, генерал-романтик Николай Федорович Ватутин, прекрасный аналитик и организатор, обладавший даром предвидения. И другие товарищи, не говоря уже о Георгии Константиновиче Жукове. Так нет же, на посту командующего важнейшим тогда Брянским фронтом оказался Филипп Иванович Голиков, человек, конечно, «надежный», коль скоро ему весьма доверял Берия, но генерал-то не боевой, а кабинетный, известный своей способностью угадывать умонастроение начальства, в том числе Сталина, и под оное настроение подстраиваться. Находясь, к примеру, в подчинении Тимошенко, стал наголо брить голову, как известный наш маршал. Тоже способствовало карьере. Единственно, где Голиков был более-менее на месте, это в Главном управлении кадров, которое возглавил с весны сорок третьего года, предварительно показав свою полную неспособность на полях сражений. А от своих плохих полководцев зачастую больше вреда, чем даже от вражеских генералов.

Так вот, в июне сорок второго года Брянский фронт имел в резерве 4 стрелковые дивизии, 2 кавалерийских корпуса, 4 отдельные танковые бригады и аж целых 5 танковых корпусов! Одних бронированных машин около тысячи! Что было бы с немцами, если бы эта силища слитно и мощно обрушилась на их фланг?! Но ни слитности, ни мощности не получилось. Такое впечатление, будто Голиков просто не представлял, что надо делать, как организовать удар. Отдал приказ о наступлении, и все. Отписался чиновник, подшив в папку отправленный документ.

Танковые соединения пошли вперед всяк по себе, вразнобой, не имея четких указаний. Добравшись до позиций нашей оборонявшейся пехоты, танкисты втянулись вместе с ней в бои, затыкая пробитые врагом бреши, теряя драгоценное время и все больше рассеиваясь вдоль линии фронта. К тому же немцы, оценив возникшую угрозу, срочно стянули авиацию, которая начала охоту за нашими машинами, используя все преимущества: и открытую местность, и светлое время, и господство в воздухе.

Истинного положения дел в Москве, в Ставке, не знали. Вернее, знали плохо. По донесениям Брянского фронта можно было понять лишь одно: операция началась, танки продвигаются, встречая упорное сопротивление. А если судить по карте, обстановка была столь заманчивой… Огромный немецкий клин, устремленный на Воронеж, был узок, войска противника уже понесли потери, растянулись, ослабли. Теперь бы только прорвать их поредевшие линии, отсечь, окружить, уничтожить! Время подбрасывать дрова в костер!

2 июля, по согласованию с Генштабом, Ставка передала Голикову из своего резерва две общевойсковых армии, чтобы не пустить немцев к Дону. Самому Голикову предписывалось находиться в Воронеже и организовать надежную оборону этого города. Одновременно Сталин по своей инициативе передал в состав Брянского фронта, опять тому же Голикову, нашу главную ударную силу, только что сформированную 5-ю танковую армию (по существу нашу первую полностью укомплектованную

танковую армию). Еще почти тысяча боевых машин (не считая колесных) сосредоточивалась южнее Ельца, чтобы наверняка выполнить главную задачу: «срубить» немецкий клин. А поскольку Брянский фронт стал теперь огромным и по протяженности, и по количеству войск. Сталин в тот же день, 2 июля, отправил к Голикову своего представителя, нового начальника Генштаба генерала Василевского. Сделал, в общем, Иосиф Виссарионович все, что было тогда в его силах.

Следующие сутки, 3 июля, прошли сравнительно спокойно, в том смысле, что слишком скверных сообщений из района боевых действий не поступало. Василевский скупо докладывал, что налаживает фронтовое управление, что на остатки танковых корпусов рассчитывать не приходится, что 5-я танковая армия продолжает выдвижение в исходный район под сильным воздействием вражеской авиации.

В ночь на четвертое Иосиф Виссарионович впервые за несколько недель хорошо отдохнул, поставив своеобразный рекорд для себя по военному времени: спал восемь часов подряд. Выглядел бодро; посветлели белки глаз, при утомлении и во гневе покрывавшиеся желтоватым налетом. Хладнокровно отнесся к сообщению о том, что резко осложнилось положение на правом крыле Юго-Западного фронта, где добилась успеха 6-я вражеская армия: немцы последовательно осуществляли свой план окружения наших войск. Поздно вечером Сталин вызвал меня в кабинет:

— Николай Алексеевич, нет связи ни с Василевским, ни с Голиковым. А товарищ Василевский теперь необходим здесь. Прошу вас немедленно вылететь в штаб Брянского фронта. Если Василевский еще не выехал — поторопите. И оставайтесь там, посмотрите, что происходит… Мы не можем понять, что там происходит. Будем ждать от вас оценки и предложений. Когда отправитесь?

— Сейчас.

— Докладывайте обо всем подробно, чтобы мы могли своевременно принять меры.

С рассветом я был на аэродроме. Лететь решил на легком безотказном «У-2». Неизвестно, как там, возле Ельца, с посадочными площадками, не разбиты ли немцами, а «уточка» может приземлиться хоть в чистом поле. До Оки летели без опаски, немецкая фронтовая авиация не рисковала забираться в Московскую зону ПВО, да и далековато было вражеским истребителям со своих баз. Но чем ближе к Ельцу, тем безрадостней становилась картина. Дороги изъязвлены воронками авиабомб, свежие черные ямы зияли и на полях, исполосованных следами танковых гусениц, здесь вражеские летчики гонялись за нашими машинами, много их стояло разбитыми, некоторые еще чадили.

Немцы хозяйничали в воздухе. Проплывали косяки бомбардировщиков, проносились истребители, кругами ходила двухфюзеляжная разведывательная «рама», не прекращая наблюдать за землей. Правильно я поступил, выбрав «уточку»: ни на тяжелом самолете, ни в автомашине не проскочил бы в светлое время в район Ельца и южнее его. Летчик мой вел У-2, лавируя вдоль балок и речных долин, так низко, что мы почти стригли вершины деревьев, рискуя сбить телеграфные столбы или печные трубы. Зато для немцев были недосягаемы, истребители не пикировали на нас, опасаясь врезаться в землю. А едва приземлились на уцелевшем клочке разбомбленного аэродрома, летчик с топором кинулся в лес рубить кусты и молодые деревца, забросал ими нашего крылатого друга.

На командном пункте Брянского фронта Василевского не было, он уже получил указание Ставки и ночью выехал в Москву, оставив категорическое распоряжение: одновременным ударом всех сил 5-й танковой армии при поддержке всей имевшейся артиллерии и авиации, перерезать коммуникации вражеской группировки, прорвавшейся к Дону. Правильное было распоряжение, только кому и как его выполнять?! Обязан был командующий фронтом генерал Голиков, но он находился далеко от места событий, в Воронеже, связь с командным пунктом, со штабом фронта имел ненадежную, прерывавшуюся и на развитие событий почти не влиял. Выражаясь по-военному, потерял управление войсками. Заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Чибисов Никандр Евлампиевич, только что назначенный на эту должность, прибыл на командный пункт за сутки до меня, был ошеломлен неразберихой и едва начал, как говорится, входить в курс дела. Начальник штаба фронта генерал М. М. Казаков при живом командующем и его заместителе не имел никакого права брать на себя руководство контрударом, его приказы в данной ситуации были бы просто недействительны. Реальным было только указание Василевского: 5-й танковой армии наступать без промедления, пока немцы не разгромили ее с воздуха. И командующий армией генерал-майор А. И. Лизюков бросил свои танки вперед, не имея поддержки пехоты и артиллерии, без надежного авиационного прикрытия, без разведывательных данных о противнике. Вслепую. И в довершение всего сам повел в бой передовые отряды, выпустив из рук управление всей армией.

Несколько слов об Александре Ильиче Лизюкове. Хороший, многообещающий, образованный, волевой был командир. Летом сорок первого года отличилась под его руководством 1-я Московская мотострелковая дивизия, ставшая 1-й гвардейской мотострелковой дивизией. Это ведь Лизюков оценил смелый замысел генерала Белова и помог ему своими гвардейцами нанести под Штеповкой первое поражение танкистам Гудериана, прежде не терпевшим неудач. Но, как известно, у каждого человека свой дар, свои возможности. Лизюков был смелым и умелым генералом поля боя, превосходно справлялся с дивизией, покомандовал короткое время корпусом без особого успеха, а вот армия оказалась ему не по плечу. Сложным армейским организмом надо было не столько командовать, сколько управлять, эта должность в значительной мере административная. А у Александра Ильича не было к этому тяготения, не было опыта. И вот цепочка. Бесталанный командующий фронтом не смог организовать и направить контрудар, фактически отстранился от этой главнейшей задачи. Командующий танковой армией, действуя на свой страх и риск, бросился в огонь без всякой поддержки, командуя лишь частью своих сил и потеряв связь с остальными. Танковые полки, танковые батальоны воевали разрозненно, немцы били их поодиночке. И безнаказанно громили с воздуха.

В одном из боев исчез генерал Лизюков. Его долго считали пропавшим без вести, пока не выяснилось, где и как он погиб. Танкисты вообще остались без руководства. Танковая армия была уничтожена противником, ценой своей гибели не остановив, а лишь замедлив на несколько дней движение немецкой армады. Враг вышел к Дону и устремился к Волге. В считанные дни мы лишились своих стратегических резервов, на которые возлагали столь большие надежды. Летне-осенняя кампания, по существу, была уже нами проиграна и потребовались невероятные усилия всей

страны, чтобы восстановить равновесие, а затем добиться перелома в ходе войны. Такова страшная цена второй (и последней) стратегической ошибки Верховного Главнокомандующего Сталина.

Мне больно и трудно говорить о том необязательном для нас поражении, которое свело на нет все предыдущие усилия и успехи, вновь поставило страну на грань поражения, принесло большое количество жертв, которых вполне можно было избежать. Но говорить надо. Хотя бы потому, что та черная страница оказалась вырванной из нашей истории. О ней почти не вспоминали. Да и кому вспоминать-то? Участники тех событий полегли на полях сражений или оказались в плену — мало кто возвратился. Исследователи не рисковали касаться запретной темы при жизни Сталина. И после его смерти — тоже. На пути непреодолимым заслоном высилась мощная фигура Филиппа Ивановича Голикова, получившего в хрущевские времена звание маршала и возглавлявшего Главное политическое управление армии и Военно-морского флота. Внимательнейшим образом следил Голиков за тем, чтобы ни печатно, ни устно не обсуждались его полководческие способности вообще, а деятельность на посту командующего Брянским фронтом — в особенности. Попытки были, но пресекались. И наползал туман забвенья.

7

Провалившийся контрудар, трагедия сорок второго года окончательно убедили Иосифа Виссарионовича в том, что во время войны надо слушать военных специалистов, отодвигая на задний план эгоистично-меркантильные соображения политических игрунов. Этого правила он старался придерживаться вплоть до Победы, хотя и не всегда получалось. Во всяком случае, крупных военных ошибок Сталин больше не допускал. А непосредственно после неудачи последовали изменения быстрые и решительные. Был отстранен от должности генерал Голиков, сразу, кстати, попавший под защиту Берии. Непомерно растянувшийся и частично раздробленный Брянский фронт был разделен надвое, от него отпочковался самостоятельный Воронежский. Новым командующим Брянским фронтом был назначен Константин Константинович Рокоссовский. Сразу и без всяких сомнений. А вот на должность командующего Воронежским фронтом несколько суток не могли подобрать нужного человека. Там напряженные бои, там решается не только судьба города, но и возможность продвижения гитлеровцев к важнейшим экономическим центрам страны, а войска наши без общего руководства. Нет достойной кандидатуры, нет личности, способной возглавить трудный, весьма ответственный участок борьбы. После провалов Голикова осторожничал с выбором Иосиф Виссарионович. И тут произошел случай, единственный в сталинские времена при назначении на высокий пост. Всегда кандидатуры предлагались соответствующими ведомствами, обсуждались и, обычно, утверждались. Но вот на совещании в Ставке, в кабинете Иосифа Виссарионовича, начальник Генштаба Василевский и его заместитель Ватутин назвали фамилию одного военачальника, другого, третьего, и все они были отвергнуты. Перечень был исчерпан. Все, тупик. И тут поднялся Николай Федорович Ватутин и предложил вдруг… сам себя.

— Товарищ Сталин, прошу назначить командующим Воронежским фронтом. Надеюсь, что справлюсь.

Потрясение и изумление вызвали эти слова. Нарушил порядок?! Назвался груздем?! (А, значит, полезай в кузов со всеми последствиями!) Выскочка?! Самоуверенный наглец?! Дурак, сующий голову в петлю?! Растерялся Александр Михайлович Василевский, не желавший, естественно, лишаться лучшего аналитика, хорошего организатора и надежного помощника. Удивление отразилось даже на непроницаемом обычно лице Сталина.

— Надеетесь справиться или убеждены, что справитесь? — уточнил он.

— Дальше Воронежа немцев не пустим. Я знаком с обстановкой.

— Вы ведь воронежский? — спросил Иосиф Виссарионович (и такие подробности он держал в памяти).

— Из Воронежской области. Там мать и родные.

— Понимаю… Как вы, товарищ Василевский?

— Наилучший выход. Но…

— Но вы не хотите утратить первого заместителя, — снял у него с языка Сталин. — Нам одинаково важна и работа Генерального штаба и положение на участке, который сейчас самый ответственный. Но что все-таки нам важней сегодня?

— Положение на Воронежском фронте.

Сталин помолчал, повернулся к Ватутину, стоя ожидавшему решения:

— Мы согласны. Поезжайте, товарищ Ватутин, и наведите там порядок. Мы на вас очень надеемся.

Вот так выдающийся наш генштабист, человек с теоретическим складом ума, стал одним из лучших практиков великой войны, провел несколько блистательных операций и, к глубокому сожалению, погиб в сорок четвертом. По моему разумению, входит он в когорту самых замечательных советских полководцев: Жуков, Рокоссовский, Ватутин…

Развяжем узелки еще нескольких судеб, неразрывно связанных с тяжелой ошибкой нашего верховного командования. Группа войск генерала Белова удерживала обширный плацдарм в тылу противника до середины лета, сковывая боями крупные силы врага, столь необходимые немцам для развития успехов на юге. Пять месяцев продолжался этот беспримерный в военной истории рейд, доставивший гитлеровцам много забот и неприятностей. И ничего не удалось сделать немцам с талантливым генералом. Оставив партизанские формирования продолжать борьбу в тылу неприятеля, Белов с регулярными частями прорвал два вражеских кольца и вышел к своим. А я не устану повторять военным историкам, в разных вариантах пережевывающим одни и те же, хоть и важные, но набившие оскомину события: не под силу, что ли, вам понять и оценить то, что сделал Павел Алексеевич Белов?! И еще раз вернусь к известным военным дневникам скрупулезного генштабиста Гальдера. За полтора года войны с нами в этих дневниках упомянуты только фамилии Сталина, Ворошилова, Буденного и Тимошенко. Даже Жукова нет. А вот к Белову и его войскам Гальдер возвращается одиннадцать раз! И начинаешь понимать, как выглядели события с той, с немецкой стороны.

В жизни Павла Алексеевича было два великолепных, потрясающих взлета: разгром танковой армии генерала Гудериана и пятимесячный рейд. Белов и еще способен был на многое, на необыкновенное, но провидение слишком уж позаботилось о том, чтобы ограничить его возможности, ввести в жесткие рамки обычной военной службы, в те рамки, которые удобны для заурядных людей и не позволяют раскрыться

талантливым. После возвращения из рейда Жуков предложил ему занять пост командующего 61-й общевойсковой армией. Как упирался Белов, прося оставить его в кавалерийском корпусе, что давало ему хоть какую-то самостоятельность! Но Жуков категорически настаивал на своем: ты, мол, еще в прошлом году отказался от 6-й армии, у нас людей нет, а ты после группы войск снова на корпус?! Не выйдет! Принимай 61-ю — и точка! Опять разгорелся конфликт между друзьями-соперниками.

Я, естественно, поддержал Белова, высказав Сталину свое мнение: самобытный, самостоятельный человек, мастер неординарных дерзких решений и действий, генерал Белов закиснет в общевойсковой армии, где надо быть не столько инициатором, сколько исполнителем спущенных свыше решений. А ему нужен простор, маневр. Если уж выдвигать с повышением, то на танковую армию, это соответствует его натуре, тем более, что танками он занимался еще в начале тридцатых годов вместе с Калиновским. Однако Сталину в то трудное время было не до психологических изысков, да и вакантной должности танкового командарма не имелось. Вот и пошел Павел Алексеевич на повышение помимо своей воли, подрезали ему крылья. Стал он хорошим командармом, его войска отличились при форсировании Днепра, при освобождении Бреста и Варшавы, участвовали в Берлинской операции, не обделили Белова и наградами, но не было больше в его военной судьбе ни одного головокружительного, из ряда вон выходящего взлета. Друзьями с Жуковым они так и остались, но о соперничестве уже не было речи. Жуков-то вскоре стал маршалом и заместителем Верховного Главнокомандующего. Достиг потолка.

Ну, а кто же ответил за стратегическую ошибку, за провал кампании сорок второго года? Деликатный вопрос. С одной стороны, должен же быть виновный, должен же кто-то нести ответственность? А с другой — решения-то принимались на самом высоком уровне: Иосиф Виссарионович выслушал мнение Шапошникова (только оборона), Жукова (оборона с наступлением на центральном участке), Хрущева и Тимошенко (решительно наступать на юге), но последнее слово оставалось за ним, за Верховным. Он его и произнес, да ведь не Сталина же судить! И не тех, мной перечисленных, отстаивавших свое мнение, — в ведомстве Берии понимали это. Для отчетности нашли все же козла отпущения, арестовали начальника оперативного управления штаба Западного фронта генерал-майора Голушкевича Владимира Сергеевича, который в начале мая по поручению командующего фронтом летал к Белову, убедился в реальности беловского плана и потом активно поддерживал замысел Жукова: прочно обороняясь на занятых рубежах, нанести удар по противнику силами группы Белова и 20-й армии. В этом как раз Голушкевича и обвинили: настаивал на проведении операции, которая противоречила, дескать, мнению Верховного Главнокомандующего. Однако жизнь показала, кто был прав. После провала тимошенко-хрущевского наступления Сталин высказался об этих деятелях в самой грубой форме. Берия собственными ушами слышал эту оценку и поспешил направить следствие в совсем другое русло. Голушкевича принялись обвинять в противоположном: почему генерал, понимая правильность беловско-жуковского плана, недостаточно твердо настаивал на его осуществлении? Это что, бесхарактерность или вредительство?

Расследование велось вяло, с постоянной оглядкой, а какое мнение теперь в Ставке? А мнение было не очень ясным, неудача, особенно гибель

наших танковых резервов, замалчивались, и в конце концов следователи безнадежно запутались. Держали Голушкевича за решеткой, а в суд дело не передавали, ничего определенного у них не было. И стоило ли вообще касаться больного вопроса? Насколько я помню, долго, очень долго тянулась эта история. Несколько лет. И не судят, и из тюрьмы не отпускают. Затем все же предъявили какое-то обвинение. Осудили. Потом полностью оправдали. Но Голушкевич-то хоть жив остался, и военную академию окончил, и генерал-лейтенантские звезды получил. Повезло ему по сравнению с теми многими, кто сложил тогда, в горестном для нас сорок втором, головы на полях сражений.

8

В середине мая, как только окончательно определился стратегический замысел Верховного Главнокомандования, маршал Шапошников, сославшись на здоровье, ушел с поста начальника Генерального штаба. Не мог Борис Михайлович, в силу своей порядочности, осуществлять замысел, с коим не был согласен. Да и состояние его здоровья действительно внушало опасения. По военному времени требовался человек, при всех других качествах обладавший крепким здоровьем, способный работать сутками. Сталин отнесся к просьбе Шапошникова с пониманием и весьма тактично. Борис Михайлович остался заместителем Наркома обороны, то есть практически военным советником Сталина. Кроме того, Шапошникову поручено было курировать военные академии и возглавить работу по сбору материалов для будущей истории Великой Отечественной войны. А чтобы не переутруждался, Государственный Комитет Обороны принял беспрецедентное постановление, обязывающее Бориса Михайловича трудиться не более шести часов в сутки и выполнять все требования врачей. Это ли не пример сталинской заботы о людях!

Конечно, деятельному Борису Михайловичу тесны были шестичасовые рамки, и работать он продолжал, как всегда, сколько мог. К тому же и Сталин добавлял и добавлял ему новых забот. В том числе доверил Шапошникову дело ответственное и хлопотливое: разработку новых уставов — Боевого и Полевого. Год войны изменил многие наши представления о ведении боевых действий, обогатил большим опытом, который надо было обобщить и изложить коротко, четко, доступно для понимания каждому командиру, но без упрощенчества. И создать новые уставы как можно быстрее. Такой вот «благоприятный режим» обеспечен был Борису Михайловичу. Но он, разумеется, не сетовал: привычная работа, ощущение своей нужности помогали ему бороться с болезнями.

И это не все. Была еще одна обязанность, о которой никогда не писали, не упоминали биографы Шапошникова, авторы многочисленных статей о нем. По той простой причине, что сами не знали. И тут не обойтись нам без подробностей. Несмотря на чистки и пертурбации, которые производили всяк для себя Ягода, Ежов, Берия, в особых органах сохранились все же чекисты со стажем, с опытом. Среди них далеко не последнее место занимал Павел Анатольевич Судоплатов: молодой (к началу войны ему только перевалило за тридцать), одаренный, разносторонний разведчик с приятной внешностью, располагающей улыбкой, хорошими манерами. Красавец-мужчина. Только, пожалуй, глаза не вязались со столь обаятельной наружностью: холодные глаза волевого, расчетливого человека. Молодость не помеха — Судоплатов успел сделать многое.

Внедрившись после Гражданской войны в организацию украинских националистов (ОУН), действовавшую под крылом немецких фашистов, «ликвидировал» в Роттердаме одного из руководителей этой организации — ярого антисоветчика Евгения Коновальца. Возглавлял испанское отделение нашей зарубежной разведки. Это ему поручено было руководить сложной операцией по уничтожению Льва Давидовича Троцкого, что и было осуществлено. А в первые дни Отечественной войны была создана так называемая Особая группа Судоплатова, преобразованная в 1942 году в Четвертое управление НКВД — НКГБ СССР. О том, чем занимаются люди Судоплатова, было известно лишь узкому кругу лиц: Сталину, Берии, Андрееву, частично Шапошникову. Я видел Судоплатова несколько раз, уже после описываемых событий, когда его вызывал Сталин: тот являлся всегда только с Берией. Не общался, не разговаривал я с Судоплатовым, и был несколько удивлен, когда о нем заговорил со мной Лаврентий Павлович. От Верховного Главнокомандующего прошел ко мне в комнату за кабинетом, осмотрелся, сел на скрипнувший под его тяжестью стул.

— Николай Алексеевич, управление Судоплатова ведет сейчас агентурную разработку, которую товарищ Сталин и я считаем очень перспективной. Хочу заручиться вашей поддержкой.

— Какой из меня агент на старости лет, — пошутил я.

— Вербовать не буду, — засмеялся Берия. — А посоветоваться нужно.

Лаврентий Павлович коротко изложил суть дела (некоторые детали мне стали известны позже). А тогда я узнал вот что. Решено провести операцию по передаче дезинформации гитлеровскому руководству на самом высоком уровне. Для этой цели в Москве нашими органами создана монархическая антисоветская пронемецкая подпольная организация, некоторые члены которой имеют якобы доступ к военным секретам. Первый акт спектакля уже состоялся. Еще в декабре к немцам ушел наш агент по кличке Гейне. Фашисты, разумеется, не сразу поверили ему, долго и по-всякому проверяли, вплоть до имитации расстрела. И хотя в Москве все было продумано заранее, подозрения, возможно, и не рассеялись бы, если бы не случайность, которая могла стать для Гейне трагической, а обернулась в его пользу. Для прохода через линию фронта наши саперы заранее проделали «коридор» в минном поле. Потом, в спешке, произошла какая-то путаница, кто-то ошибся, и Гейне пошел через фронт не по «коридору», а по самому минному полю. Чудом не подорвался. Немцы, можно сказать, спасли его. Увидели, что бежит к ним человек по земле, нашпигованной минами, закричали, чтобы лег, послали навстречу своего сапера-проводника. При проверке это повлияло даже на самых рьяных контрразведчиков абвера. Не могли же русские послать агента напрямик через свое минное поле, на верную гибель… И такие, значит, коленца выкидывает неистощимая на выдумки фортуна.

Поверили немцы перебежчику. Дали ему кличку Макс. И ответственное задание: вернуться в Москву, создать на базе монархической организации агентурную сеть для проникновения в военные штабы, в руководящие учреждения. Вот и возвратился в столицу уже не агент советской разведки Гейне, а вражеский резидент Макс. Со своими радистами для связи с абвером. Надежный канал для дезинформации был готов. Управление Судоплатова приступило ко второму акту, и Берия, естественно, был очень заинтересован в том, чтобы спектакль

разыгрывался как можно лучше. И Сталин тоже. Но какова при этом моя роль?

Лаврентий Павлович назвал настоящую фамилию Гейне — Александр Петрович Демьянов. Эта фамилия была мне известна, и я не мог не отдать должное тому мастерству, той предусмотрительности, с какой был выбран агент. Не «липой», не «легендой» его снабдили, а все было настоящим, биография такая, с которой самый вроде бы прямой путь к немцам.

Несколько поколений семейства Демьяновых верой и правдой служили царю. Причем один из корней был немецким. Другой — казачьим. Прадеду нашего агента до революции даже памятник стоял на Кубани. Отец — офицер, умер от ран во время первой мировой войны. Дядя возглавлял контрразведку белогвардейцев на Северном Кавказе, после гражданской войны был сослан в Сибирь, где и скончался. Так что нашему Гейне — Александру Демьянову — ничего не надо было выдумывать. Ну, и естественно, натерпелся Александр от советской власти, от большевиков: притесняли его и мать, арестовывали, институт не позволили окончить. Скрыл Александр от немцев только один факт: еще в 1930 году он дал согласие добровольно сотрудничать с ГПУ «с целью предотвращения террористических действий и шпионажа в СССР со стороны известных его семье деятелей белой эмиграции», — такая была формулировка.

Берия показал фотографию. Интеллигентное лицо, не лишенное аристократизма. Прямой, римского типа нос, высокий лоб, аккуратная простая прическа, спокойный взгляд человека без чрезмерных претензий, но знающего себе цену. Небольшая, аккуратная щеточка усов давала если не налет фатовства, то некоего артистизма. Но ничего, к месту были усики на своеобразном продолговатом лице. Этой продолговатостью он даже походил на меня в молодости, только к растительности на челе я всегда относился скептически.

— Такое впечатление, будто встречал его.

— Вполне может быть, — согласился Берия. — До войны Демьянов работал на должности инженера в Главкинопрокате, квартира в центре Москвы. Общительный. Театрал, с актерами на короткой ноге. Компанейский. Конным спортом увлекается, тренировался в манеже. Бегами не брезговал. Дружен с сыновьями Качалова и Москвина, а это ребята бойкие и озорные. С ними бывал в доме маршала Шапошникова.

Вот оно что! Жена Бориса Михайловича — милейшая Мария Александровна, — многие годы связанная с Большим театром, издавна примечала артистическую молодежь, не всегда, естественно, отделяя зерно от плевел, талант от околотеатральной богемы. Сам Борис Михайлович вполне терпимо относился к увлечению жены.

— В чем заключается ваша просьба? — спросил я.

— Надо поговорить с товарищем Шапошниковым. Просто, по-дружески. Вы же знаете его щепетильность, а нам не желательно получить отказ.

— Не совсем понимаю.

— Хорошо, если Александр Демьянов будет состоять при маршале Шапошникове для поручений. Демьянов — кавалерист, нужное воинское звание ему присвоим. В дом к Шапошниковым он вхож. Тут все естественно, без натяжек. Только согласился бы маршал.

— Смысл?

— Большой и разный. Близость к Шапошникову неизмеримо повысит авторитет Макса в глазах немцев, придаст особый вес его сообщениям. Они пойдут не в средние звенья разведки, а сразу к высшему руководству.

Еще бы: сведения из мозгового военного центра, — усмехнулся Лаврентий Павлович. Сообщения будут готовить наши люди и согласовывать с товарищем Шапошниковым. Чтобы было правдиво, но и чтобы ценная информация не утекла.

— Между Сциллой и Харибдой… Проскользнет что-то важное — своих подведешь. Пойдет мелочевка, неправда — немцы почувствуют фальшь… Конечно, Борис Михайлович лучше других ощущает грань между слишком и почти…

— Так вы поговорите с ним, Николай Алексеевич? Пусть не побрезгует нашим черным хлебом. Дело стоит того… Если ему неприятно, может не встречаться с Демьяновым. Нам важно, чтобы Демьянов числился при маршале и чтобы Шапошников знал содержание сообщений… Это не только моя просьба, — Берия многозначительно повел головой в сторону двери, за которой находился Сталин.

— Постараюсь, — сказал я.

Правильный путь выбрал Лаврентий Павлович. У Берии или у его представителя доверительный разговор с Шапошниковым не получился бы. Предложение особых органов могло бы даже оскорбить, обидеть его: не вербуйте, дескать, в агенты. Иосиф Виссарионович вообще не стал бы касаться такой темы. Но неофициальная товарищеская беседа — совсем другой коленкор.

К Борису Михайловичу я отправился в тот же вечер. Посидели, попили чайку. Он понял меня с первых же слов. Уточнил некоторые подробности и ответил примерно так: готов делать все, чтобы скорей покончить с кровопролитием и разрушениями, с бедами войны. Согласен вести игру с германским командованием по самому большому счету. Но общаться по этому вопросу будет только с хорошо известными товарищами из Генерального штаба, с Василевским или Штеменко… Дверь, значит, была приоткрыта. Я же, выполнив свою часть задачи, отошел в сторону.

Крупномасштабная игра по дезинформации высшего германского руководства, начавшись в сорок втором году, продолжалась потом до конца войны, и маршал Шапошников, пока мог, принимал в ней участие: всего лишь сорок четыре дня не дожил он до великой Победы. Немецкое командование всегда «знало» мнение Шапошникова по тем или иным проблемам, чем он занимается, о чем беседует с окружающими, чем озабочен. Источника, более близкого к Ставке, к самому Сталину, у гитлеровцев не было.

Тонкой и сложной была эта игра, в которой малейший просчет грозил полным провалом. Условно-правдивые материалы готовил в Генштабе один человек — Сергей Матвеевич Штеменко. Почему правдивые условно? Да потому, что все сообщения, поступавшие через Демьянова к немцам, подтверждались реальными событиями, но… Сообщалось, к примеру, о нашем предстоящем наступлении, указывалось место и время. И наступление действительно начиналось. Однако было оно (даже большое по размаху) лишь второстепенным, отвлекающим внимание противника от нашего главного удара. Ну и тому подобное…

Дважды Макс переходил линию фронта, лично доставлял немцам особо важные документы и сведения. Получал инструкции. Доверие завоевал полное. При последней встрече с руководством абвера Максу был торжественно вручен «Железный крест». По времени это почти совпало с награждением агента Гейне орденом Красной Звезды.

Германская разведка гордилась тем, что сумела внедрить Макса в самый центр советского военного руководства. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер регулярно читал его донесения. И вообще, ни одно важное решение в Берлине не принималось без учета последних сведений, полученных от «лучшего разведчика второй мировой войны», как считали, да, пожалуй, и сейчас считают в Германии. Восторженно пишут там о деятельности Макса. Печатаются статьи, серьезные исследования, книги. Историки научные степени получают, не догадываясь о том, что Макс — надежнейший агент Гейне из Четвертого управления НКВД НКГБ СССР, которое долго и весьма успешно возглавлял молодой генерал Павел Анатольевич Судоплатов. А сам Макс-Гейне, то есть Александр Петрович Демьянов, славный представитель русского офицерского рода, после войны жил себе спокойно в Москве, не пропускал театральных премьер, слыл среди друзей-артистов человеком очень порядочным, не только любителем, но и знатоком театра. Актером, конечно, его не считали, а ведь какую великолепную роль сыграл он на сцене театра самой великой войны!

Замечательного неизвестного актера Демьянова уже нет среди нас. Он скончался в 1975 году.

9

Часто случается так: ушел человек с должности (даже хороший работник с высокого поста) и словно не было его, забыли о нем, припоминают по случаю. Новая метла метет в свое удовольствие. А вот история с Шапошниковым — веское подтверждение того, что не место красит человека, а человек место. Должен, по крайней мере, красить. Командир отошел от компаса, но выученный им экипаж продолжал успешно выдерживать курс, будучи уверенным, кстати, что всегда может получить поддержку, дельный совет. В Ставке витали идеи Шапошникова, в войсках и в Генеральном штабе трудилась целая плеяда взращенных им специалистов. И вообще, Генштаб наш был в ту пору лучшим в мире, что и подтвердила победа над Германией, чей Генштаб прежде всегда признавался сильнейшим, слыл генератором передовой военной мысли, теоретических и практических разработок. «Школа Шапошникова», — как уважительно говаривал Сталин, оказалась значительно выше пресловутой германской школы.

В июле 1942 года, когда определились цель и направление немецкого наступления, когда в короткий срок погибли почти все наши танковые резервы, Борис Михайлович предложил Ставке провести отвлекающую операцию на центральном участке, там, где враг находился близко к Москве. Сталин сказал с долей удивления и укоризны:

— Не вы ли настоятельно убеждали нас в необходимости преднамеренной стратегической обороны? А теперь говорите о наступлении.

— Обстоятельства изменились.

— Но не в лучшую сторону.

— Это и имеется в виду, — ответил Шапошников и обосновал свое предложение. — В районе Ржевско-Вяземского выступа немцы имеют крупную группировку, в том числе, по меньшей мере, три полностью укомплектованных танковых дивизии (1-я, 2-я и 5-я танковые). Есть сведения о том, что противник намерен перебросить часть войск для

укрепления своих сил, успешно действующих на юге. Этого нельзя допустить. Враг не должен снять с центральных участков ни одного солдата. И более того — пусть направит сюда подкрепления.

— Мысль абсолютно правильная, — сказал Сталин. — Но как этого добиться, какие у нас возможности?

— На правом фланге Западного фронта есть войска, предназначавшиеся для развития успеха 20-й армии в случае ее одновременного удара с группой Белова. Удар не состоялся, но войска на месте. Их не много, но это достаточно крепкий кулак. Их надо использовать, пока не растащили для затыкания дыр. Танки и кавалерия — единым кулаком, — подчеркнул Шапошников. — Общевойсковые армии правого крыла Западного фронта и левого крыла Калининского фронта взламывают оборону противника, в прорыв входят подвижные группы в общем направлении на Ржев — Зубцов — Сычевка, к железной дороге. Сумеем срезать Ржевский выступ — очень хорошо. Не срежем — закрепимся на рубеже реки Вазуза. При всех условиях цель будет достигнута, немцы не снимут свои войска. Больше того, они могут расценить наши действия, как продолжение зимнего наступления. Это отвлечет их внимание от Дона и от Кавказа.

— У вас все, Борис Михайлович? — осведомился Сталин.

— Извините, есть еще одна важная сторона, — было заметно, что Шапошников заволновался. — Мы воюем вот уже год и за это время не провели ни одной, да-да, ни одной запланированной и подготовленной наступательной операции.

— Как так?! — не выдержал Жуков, находившийся в кабинете Верховного. — А Ельня, а Москва, а Тихвин?!

— Это были контрудары, перераставшие в контрнаступление, это было использование обстановки, а не предвидение и планирование. Наши штабы всех уровней, вплоть до Генштаба, работали на потребу дня, так диктовала ситуация. Штабы отвыкли от свойственной им работы, они почти не вели разработку наступательных операций в условиях нынешней войны. В штабах много новичков. Сейчас появилась уникальная возможность без спешки, основательно, с тщательной проработкой всех вопросов провести своего рода учебно-показательную подготовку наступления, с привлечением специалистов, а главное — с привлечением людей из штабов разных уровней, слушателей академий. Не командно-штабные учения, а масштабную практическую операцию. Это необходимо для будущего.

И опять не выдержал Георгий Константинович:

— Разрешите, товарищ Сталин… Сказано правильно, вперед смотреть нужно, учиться нужно. Только обстановка на фронтах такая, что не до жиру, быть бы живу.

— Значит, товарищ Жуков тоже согласен, что учиться необходимо, — не без иронии произнес Иосиф Виссарионович. — Согласен с тем, что ученье — свет, а неученых у нас тьма. И не в этом ли одна из причин наших больших неудач на Юго-Западном и на Южном фронтах? — Помолчал, пыхнул трубкой: — Продолжайте, Борис Михайлович.

— Основные усилия, в том числе по накоплению и обобщению опыта, желательно сосредоточить в 20-й армии, она должна стать основной, базовой в намечаемой операции.

— Почему именно 20-я, она сильнее соседних? — поинтересовался Сталин.

— Количественно нет, но высок боевой дух. Это наступательная армия. Сколоченная в ноябре-декабре генералом Власовым, она, как мы знаем, громила немцев в районе Красной Поляны, освобождала Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую. Без неудач. В армии — слаженный, хорошо подобранный штабной аппарат. У начальника штаба Леонида Михайловича Сандалова есть чему поучиться, и педагогических способностей он не лишен… И последнее по счету, но не по значению: очень удачное расположение армии. Она «сидит» на железнодорожной магистрали, не будет трудностей со снабжением, с переброской войск. А впереди до Ржева и до Сычевки лесисто-болотистая местность, полное отсутствие шоссейных дорог, только проселки, немцам негде развернуть технику. Это создает трудности и для нас, но для противника — значительно большие. Немцы никак не ждут нашего наступления от Погорелого Городища на запад.

— А при чем тут Погорелое Городище? — снова подал голос Георгий Константинович Жуков. — Этот населенный пункт в полосе соседней, 31-й армии.

— Передадим участок вместе с находящейся там 251-й стрелковой дивизией в полосу 20-й армии. Район Погорелое Городище — Матюгино наиболее подходит для нанесения главного удара.

— Подведем итоги, — сказал Сталин. — У товарища Шапошникова не только интересный замысел, не только полезная идея, но и подготовлен план. При осуществлении этого плана мы ничего не теряем, а приобретения могут иметь место… Не думаю, что у командующего Западным фронтом товарища Жукова будет достаточно времени руководить этой операцией. Он, как наш заместитель, будет занят и в Ставке, и на юге. Давайте поручим общее руководство этой операцией начальнику штаба Западного фронта товарищу Соколовскому. Под контролем товарища Шапошникова. Пусть поработают наши штабы.

Ну, чем не мудрое решение? Все довольны. Те, кто предложил идею, будут ее осуществлять. Не проявивший энтузиазма Жуков остался вроде бы в стороне, хотя формально отвечал за все события на Западном фронте. От вмешательства других инстанций замысел был надежно защищен авторитетом Шапошникова. Видимо, Иосиф Виссарионович быстро дал согласие не только потому, что операция действительно, представлялась целесообразной, но еще и потому, что хотел улучшить свои отношения с Борисом Михайловичем. Недавние печальные события подтвердили истину: послушаешь Шапошникова — не ошибешься. Не было ошибки и на этот раз, погорело-городищенская операция стала событием незаурядным, оказавшим заметное влияние на дальнейший ход военных действий. Исследования писать бы об этом, но исследования — другой жанр, я же попытаюсь дать хотя бы общее представление о названной операции.

Подготовка велась самым тщательным образом, с использованием классических правил и образцов, с привлечением того нового, что дала ведущаяся война. На 16 июля 20-я армия, оборонявшая рубеж протяженностью в 43 километра, имела в своем составе две стрелковые дивизии, четыре стрелковые и две танковые бригады. Не густо. Гитлеровцы спокойно чувствовали себя на этом участке и никакого подвоха не ожидали. Загорали на солнышке, рыбку ловили на реке в непростреливаемых местах. И первое, что должны были сделать мы — это не нарушить спокойствия немцев, не всполошить их, соблюдать

строжайшую оперативную маскировку. Не так-то просто, если учесть, что на участке армии, в ее тылах, требовалось сосредоточить большое количество войск. В короткий срок силы 20-й армии должны были по меньшей мере утроиться. В нее включили стрелковый корпус, состоявший из стрелковой дивизии и четырех стрелковых бригад, затем еще три стрелковые дивизии, три танковые бригады, самокатно-мотоциклетную бригаду (велосипеды и мотоциклы), полки артиллерийские, минометные, зенитные, дивизионы «катюш», дивизион бронепоездов, саперные части.

Простое перечисление мало что дает читателю, поэтому разложу на составляющие хотя бы саперную группу. Для ведения инженерной разведки, для форсирования реки Держа и других речек, для проделывания проходов в минных и проволочных заграждениях, для оборудования позиций, для прокладки дорог, армия получила саперную бригаду из одиннадцати батальонов, четыре инженерных батальона и два понтонно-мостовых батальона. Одних только мостов, требовавшихся для сосредоточения войск, было построено 75, и все это по ночам или в плохую погоду, когда не летала авиация.

Особенно много прибывало в армию артиллерии разных систем. Все это надо было принять, разместить, укрыть в глубине лесов. Вместе со складами боеприпасов, продовольствия, фуража и другими необходимыми службами. Какими? Ну, хотя бы медицина. Потребовалось развернуть шесть полевых госпиталей, два госпиталя для легкораненых, два инфекционных и еще санэпидемотряд. Они могли пропускать до 2000 человек в сутки. Подключили фронтовой госпиталь на 700 человек. И автосанрота, имевшая 27 автомашин. И санрота с конным транспортом. И три ветеринарных лазарета.

Это не все, далеко не все. В тылах армии сосредоточивалась фронтовая подвижная группа, которая должна была войти в брешь, пробитую пехотой, и развивать прорыв в направлении на Сычевку. В леса в районе станций Шаховская — Княжьи Горы выдвинулись 6-й танковый корпус генерала А. Л. Гетмана (осенью воевавшего под Каширой), 8-й танковый корпус генерала М. Л. Соломатина и 2-й гвардейский кавалерийский корпус, которым после гибели Л. М. Доватора командовал генерал В. В. Крюков. Лесные массивы были наполнены людьми, лошадьми, техникой. И при всем том немцы ничего не заметили, не узнали. Смею утверждать, что именно практический опыт, полученный при подготовке погорело-городищенской операции, помог нам через несколько месяцев скрытно сосредоточить большие массы войск под Сталинградом и нанести там по врагу удар столь же внезапный и дробящий, как это было в 20-й армии. Не было бы такого опыта у Погорелого Городища, не было бы таких успехов у Сталинграда.

Вот лишь некоторые элементы отработанной тогда нами оперативной маскировки. Начнем с того, что никакой документации не велось, письменных приказов или распоряжений не отдавалось. Боевой приказ по армии и плановые таблицы были доведены до исполнителей лишь перед самым началом наступления. А до этого было так. Командующий 20-й армии генерал-лейтенант М. А. Рейтер и начальник штаба армии генерал-майор Л. М. Сандалов были вызваны в штаб Западного фронта. Жуков устно поставил перед ними задачу, а Соколовский ответил на все вопросы, познакомил с подробностями. Таким же образом указания спускались вниз по инстанциям, но лишь в той степени, в которой они касались того или другого исполнителя. Каждый знал только свой участок работы. Разведка

боем не проводилась, зато оборонительная полоса противника была сфотографирована с воздуха и тщательно изучена. Командиры дивизий, бригад, полков на местности уточняли свои действия вместе с командирами поддерживающих частей. Но только мелкими группами. Выходили на передний край до рассвета и не более, чем по четыре человека. Все в солдатском обмундировании. Наблюдение вели весь день, а ночью — обратно в тыл. Уточняли исходные районы для атак, разграничительные линии, места переправ через реку, проходы в минных полях.

Повезло с командующим армией. Макс Андреевич Рейтер, весной сменивший на этом посту генерала Власова, фантазиями не отличался, пороха не изобретал, но слыл добросовестным, по-немецки педантичным исполнителем, способным организатором и требовательным начальником в отведенных ему рамках. Имел склонность к штабной работе. Подготовкой погорело-городищенской операции занимался охотно, со свойственной ему скрупулезностью, провел ее хорошо, чем и заслужил выдвижение на более высокую должность.

Генералы Рейтер и Сандалов, по совету Шапошникова, удачно выбрали место для нанесения главного удара: десятикилометровый участок южнее районного центра Погорелое Городище, с тем, чтобы в дальнейшем разгромить противника между реками Держа, Вазуза и Гжать. Линия фронта, кстати, на участке прорыва проходила по реке Держа, это несколько осложняло первый этап операции, зато немцы там, за водной преградой, были уверены в своей неуязвимости и беспечны.

Все до мелочей определили Рейтер с Сандаловым: действия первых и вторых эшелонов, использование резервов, нанесение отвлекающего удара на левом фланге, порядок ввода в прорыв подвижных групп… Каждая стрелковая дивизия должна была прорывать фронт на участке от двух до двух с половиной километров, имея впереди два стрелковых полка, а третий полк во второй линии. Примерно так же строились боевые порядки батальонов и рот. Волна шла за волной, подкрепляя и наращивая удар. Пехоту поддерживали 225 танков и около тысячи артиллерийских орудий и минометов, не считая реактивных установок. По 120 стволов на километр фронта — такая плотность была впервые достигнута нами с начала войны! Опыт сосредоточения и использования артиллерии тоже весьма пригодился вскоре под Сталинградом и в других сражениях. Ну и, конечно, вся эта большая работа проводилась не только штабом и командованием 20-й армии, не только штабом Западного фронта под руководством В. Л. Соколовского, но и при активной поддержке Генерального штаба, при зорком догляде заместителя Наркома обороны маршала Шапошникова. С привлечением большой группы штабных работников разных родов войск.

Сталин и Жуков погорело-городищенской операцией почти не занимались, их внимание было приковано к неудачно развивавшимся событиям на юге. Так что Погорело-городищенское сражение готовилось и проводилось не столько строевым командованием, сколько штабниками, и в этом тоже его своеобразие.

Зачинатель операции Борис Михайлович Шапошников, чей рабочий режим был ограничен самим Сталиным, настолько близко к сердцу принимал происходившее, что не смог усидеть в Москве и, махнув рукой на здоровье, в автомашине отправился в 20-ю армию. На только что созданный неподалеку от Княжьих Гор вспомогательный пункт

управления Западного фронта, где уже находился Василий Данилович Соколовский, фактически командовавший теперь этим фронтом, замещая занятого в Москве Жукова. В машине Шапошникова нашлось место и для меня: он попросил отправиться с ним. Не без расчета на то, чтобы смягчить недовольство Сталина, весьма не одобрявшего поездок руководителей высокого ранга к линии фронта, всегда связанных с определенным риском. Тем более выезды по собственной инициативе. Но мы с Шапошниковым надеялись на то, что путь недалек и обернемся быстро.

Поскольку мы, как и все, обязаны были соблюдать маскировку, то и экипировались соответствующе. Борис Михайлович обрядился в форму военного юриста среднего ранга, а я — в форму военного врача: что оказалось под рукой. Ну и плащ-палатки. Гимнастерка была тесна Борису Михайловичу, рукава коротковаты, выглядел он в таком наряде непривычно: моложе и как-то несерьезно. Да и я, пожалуй, не лучше.

День был пасмурный, дождливый. Ехали, не опасаясь авиации. За Волоколамском на коротком привале перекусили, подкрепились: Шапошников лекарствами, я содержимым своей фляги. Дорога пошла незаметней, нахлынули воспоминания. Борис Михайлович, оказывается, знал моего однокашника по училищу и сослуживца штабс-капитана Станислава Прокофьева. В пятнадцатом году Стаса завалило землей при разрыве немецкого «чемодана». Лишь через пять суток нам удалось разыскать, откопать его труп.

Мы, друзья боевого офицера, подшучивали, бывало, над увлечением Стаса: все свободное время до войны и даже на войне отдавал он любимому занятию — топонимике, изучал географические названия и все, что связано с ними. Но, подшучивая, понимали, что увлечение это для офицера отнюдь не самое бесполезное, всем нам, особенно штабникам, артиллеристам, топографам, приходилось часто иметь дело с географическими картами, «прочитывать» их. И вот выяснилось, что Стас Прокофьев статьи когда-то печатал в специальных журналах, Шапошников помнил их, а одной воспользовался совсем недавно, обдумывая предстоящую операцию. Той статьей, в которой Прокофьев описывает топонимические особенности обширного района, простирающегося западнее и юго-западнее Москвы, где в старину обитало большое племя, большая община людей зарождающейся Руси. Даже по одним только старым географическим названиям можно очертить определенный круг, связанный, кстати, с типом местности, растительным покровом, климатическими условиями. Сколько одинаковости, созвучности в названиях! Речки Лузы (московская и гжатская), Вазуза, Зубцов, Зуша, Клязьма, Калязин, Вязьма, Гжатск, Осуга, Можайск, Ярцево, Руза (в некоторых источниках Руса), две Тарусы (город и речка, разделенные многими километрами. Читай: Та-Руса). Нашел Шапошников в статье даже описание речки Держа, того отрезка ее южнее Погорелого Городища, где намечен был наш прорыв. Ширина Держи там от 50 до 30 метров, глубина кое-где до 2 метров, но много и мелких перекатов, бродов с каменистым дном, удобных для форсирования. Однако во время дождей (а лето как раз было дождливым) уровень воды поднимается на 50–70 сантиметров, а иногда и до метра…

Повздыхали, пофилософствовали мы с Борисом Михайловичем о странностях бытия. Давно уж истлело в земле тело Станислава Прокофьева, даже могила затеряна, не осталось ничего материального, а

нечто эфемерное, мысли его, соображения его, плоды работы мозга прошли сквозь время, живут, приносят пользу. И сейчас, во Второй мировой войне, штабс-капитан Прокофьев продолжал вместе с нами сражаться с германцами. В ушах, у меня, как наяву, звучал его звонкий веселый голос с часто повторявшейся присказкой: «Эх, Руза-Вазуза!»

10

На вспомогательном пункте управления штаба Западного фронта нас встретил Василий Данилович Соколовский. Человек спокойный, рассудительный, он не мог на этот раз скрыть своей озабоченности. Двое суток в районе намеченного прорыва шли проливные дожди. Броды на реке Держа затоплены, болота разбухли, почва размокла, на проселках застряли сотни автомашин с боеприпасами. Пехота и артиллерия заняли исходное положение, а вот подвижные группы, танки и конница, выдвинуться на свои рубежи не успели. Им требуются еще сутки. К тому же наступление, начатое накануне правым соседом, успеха не принесло, развивается вяло и грозит заглохнуть. Понимая всю сложность положения, Соколовский своею властью перенес начало операции на 4 августа, полностью сохранив при этом плановую таблицу боя для всех родов войск, в том числе для авиации. О своем решении сообщил Жукову и Василевскому, но ответа пока нет.

— Вы правильно поступили, голубчик, — одобрил Борис Михайлович. — Вот мы теперь ехали и сами видели, каковы дороги. В таких условиях поспешишь — людей насмешишь. Можете ссылаться на это мое мнение. И отдохните-ка вы, голубчик, поспите, а мы с Николаем Алексеевичем подежурим возле ВЧ.

Соколовский еще не успел выйти из комнаты, как раздался звонок. Я был ближе к телефону и взял трубку:

— Здесь Лукашов. Слушаю.

— Военный врач Лукашов, вы уже доехали? — в голосе Сталина ирония и недовольство. — Как ваше самочувствие, товарищ военный врач, не намокли, не простудились?

— Спасибо, все в порядке.

— Как дела у товарища Соколовского?

— Все готово, плюс сутки из-за дождя.

— А ваш приятель, военный юрист, рядом с вами?

— Да.

— Спросите, пожалуйста, у товарища военного юриста, знатока законов, какие меры принимаются к лицам, в военное время покинувшим свой гарнизон, не поставив в известность непосредственного начальника?

— Какие меры? — не сразу нашелся я. — Зависит от того, в какую сторону направились, на фронт или подальше в тыл.

— Шалуны! — с резким акцентом произнес Иосиф Виссарионович. — Два больших шалуна… Ужо вам! — и положил трубку.

— Верховный? — угадал Борис Михайлович. — Что он?

— Ворчит… Ворчит и завидует. Он-то лишен возможности самовольной отлучки, начальства над ним нет.

— Достанется нам, — улыбнулся Шапошников. — Домашним арестом не грозил?.. Зато от Соколовского, как понимаю, мы гнев отвели. Работайте спокойно, Василий Данилович. Но сначала все-таки отдохните. А мы над картами покумекаем и погоду получше закажем.

Действительно, насчет погоды мы хоть и не очень, но преуспели. Дождь помаленьку сошел на нет. И вот наступило памятное для нас утро, наступил, выражаясь военным языком, артиллерийский рассвет. Мы с Шапошниковым встали рано, к шести часам успели привести себя в порядок, позавтракать. Вышли, поеживаясь, из дома, поднялись на небольшую возвышенность, на наблюдательный пункт. Небо затянуто было как будто серым брезентом, потемневшим кое-где от влаги. На траве, на листьях тускло блестели капли. Горьковато-остро, освежающе пахло мокрой березой. Медленно, длинными волнами полз туман, открывая поля и луга, накапливаясь, густея в лесных чащобах: лишь макушки высоких деревьев плыли над белым пологом. И тишина — полнейшая, первозданная, от которой закладывало уши и которую, казалось, ничем невозможно было нарушить, она поглотила бы все звуки… Но нет, не поглотила. Кончилась она разом и на много дней.

В 6 часов 15 минут начался наш долгожданный праздник! Абсолютно неожиданно для врага потрясающий гром расколол окрестности, содрогнулась земля, всколыхнулась вода в озерах и реках. Тысяча орудий беглым огнем ударила по восьмикилометровому вражескому рубежу, разрушая траншеи и блиндажи, разбивая технику и проволочные заграждения.

Точно по нотам, словно повинуясь палочке невидимого дирижера, играл могучий артиллерийский оркестр. Десять минут снаряды и мины кромсали передний край неприятеля. Затем огневой вал обрушился на позиции вражеской артиллерии, на его резервы и командные пункты. Это была прелюдия, после которой пушкари приступили к методичному подавлению заранее разведанных и вновь проявившихся целей.

Ровно в семь — антракт. Артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обороны, да и темп огня снизился, били только крупные калибры. Батарейцы получили возможность малость передохнуть, сбросить мокрые от пота гимнастерки. Появились наши самолеты, поставили дымовые завесы: в низких местах клубы дыма смешивались с туманом. Противник, естественно, решил, что сейчас начнется штурм, вывел свои уцелевшие подразделения из укрытий в траншеи. И по этим подразделениям вновь шквальным огнем полоснула вся тысяча артиллерийских стволов. Нахлынули эскадрильи наших бомбардировщиков, громя не только передний край, но и штабы, узлы связи, уцелевшие еще вражеские батареи. Последние десять минут этого великолепного концерта вся наша артиллерия работала на полную мощность, и как заключительные аккорды прозвучали залпы шестнадцати дивизионов «катюш», добивая на позициях врага все, что еще можно было добить. В 7 часов 45 минут «под гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки», о чем мечтал Сталин, о чем писал он в своей январской директиве, пошли вперед штурмовые батальоны, двинулись передовые части стрелковых дивизий, поддерживавшие их танки. По штурмовым мостикам, на лодках, на плотах, вплавь и вброд, стремительно форсировали они Держу и ворвались во вражеские траншеи. Преодолели первую оборонительную позицию, затем вторую, открыв путь для подвижных групп. Немецкая оборона рухнула на всем участке прорыва, а потери наши при этом были самые минимальные. Потери начались потом, через несколько дней, когда фашисты, опамятовавшись, начали бросать навстречу нашим войскам одну дивизию за другой.

Погорело-Городищенская операция продолжалась двадцать дней. Представление о ней дают некоторые цифры. Войска 20-й армии продвинулись на запад на 45 километров. О количестве погибших с той и другой стороны, о разбитой технике судить не берусь, утраты, конечно, были большие, исчислялись десятками тысяч, но не напрасно гибли люди, как в некоторых других местах. Скажу о трофеях, они были подсчитаны точно. Мы захватили 203 вражеских танка, в том числе 62 исправных, 380 артиллерийских орудий и почти столько же минометов. И полторы тысячи автомашин. Таковы масштабы.

Однако не трофеи были главным достижением этой операции. И даже не то, что немцы, в период решающих боев на юге, не взяли из группы армий «Центр» ни одной дивизии, ни одной эскадрильи, а наоборот, вынуждены были направить сюда часть стратегических резервов. Важно, что германский Генеральный штаб, опасаясь за центральное, московское направление, прозевал, не заметил потом сосредоточения больших масс наших войск для контрнаступления под Сталинградом. С учетом ведь навыков погорело-городищенских событий создавали и маскировали мы возле Сталинграда свой ударный кулак. Но самым важным, самым главным результатом был многогранный опыт проведения крупных наступательных операций, полученный и осмысленный нами. Как в новых условиях прорывать оборону противника? Как вводить в прорыв подвижные танковые и конно-механизированные группы?

Как управлять войсками, когда дивизии и полки ведут боевые действия с отходящим, маневрирующим, контратакующим неприятелем? И многое другое, что мы применяли и развивали потом в ходе войны.

Вспоминается разговор с Леонидом Михайловичем Сандаловым в сорок пятом году, когда он был начальником штаба 4-го Украинского фронта. Беседовали о подробностях одной очень удачной операции: таких тогда было много, но эта особенно выделялась. Перефразировав крылатое изречение знаменитого писателя о том, что все современные ему литераторы «вышли из гоголевской «Шинели», Сандалов сказал так: «Все мы, штабные генералы и офицеры, вышли из Погорелого Городища». Очень, на мой взгляд, образная, многослойно-образная формулировка.

11

Одно время казалось, что Иосиф Виссарионович, занятый войной, сложностями экономики внешней политики военного времени, совсем отошел от внутриполитической борьбы, столь привычной и успешной для него. Он вроде бы не замечал того, что даже мне, далекому от интриганства, представлялось вполне очевидным: быстрого усиления влияния в Москве так называемого «триумвирата». Это — Каганович, Мехлис, Берия и склонявшиеся в их сторону Микоян и Маленков. Действовали они все более самостоятельно и согласованно, порой не ставя даже в известность Верховного Главнокомандующего и Политбюро. Они из той породы млекопитающих, которые сразу наглеют, едва почувствуют слабинку, отсутствие жесткого контроля. Беспардонность — их первейшее свойство. Порядочности — кот наплакал.

Как и бывает в подобных случаях, когда возрастает магнетизм на одном полюсе, сразу же усиливается и противодействие, причем получается это вроде бы само собой, в политике — по целенаправленности, дальновидности, особенностям характера тех или иных деятелей. В конце

сорок первого — начале сорок второго года окрепла близость к Сталину надежных, проверенных временем и испытаниями ветеранов: Молотова, Ворошилова, Калинина, Андреева. Кто-то из этих товарищей обязательно был возле Иосифа Виссарионовича весь его рабочий день, чаще всего старый друг Вячеслав Михайлович. Можно сказать, что и Жданов постоянно находился со Сталиным, хотя редко наведывался из блокированного Ленинграда. Верховный Главнокомандующий всегда помнил о нем, связывался с ним, советовался по сложным вопросам. Повторял: спокоен за Север и Северо-Запад, за вторую столицу потому, что там надежный руководитель. Случись тогда что-нибудь со Сталиным, он рекомендовал бы на свое место Андрея Александровича Жданова, в этом я не сомневался.

Иосиф Виссарионович понимал, что «триумвират» — это пока еще не оппозиция, не группа, нацеленная на захват власти, а лишь сплочение людей, близких но духу, имеющих общие интересы, одних и тех же последователей. Крутых мер Сталин принимать не хотел, время было не самое подходящее, чтобы учинить погром. Коней, как известно, на переправе не меняют, а Каганович, Берия, Мехлис и иже с ними были существенной тягловой силой в той упряжке, которую возглавлял Иосиф Виссарионович. Болезненную реакцию вызвали бы прямолинейные меры у западных союзников. Да ведь и интересно было Сталину, изощренному мастеру политической борьбы, посмотреть, далеко ли зайдут в своих игрищах распоясавшиеся деятели, каковы их планы и замыслы? Тем более что потенциальные возможности у разраставшейся группы были очень велики. В руках Берии все карательные органы, разведка и контрразведка, дивизии НКВД, пограничные формирования. Мехлис — заместитель наркома обороны, начальник Главного политического управления Красной Армии, самый старший по должности комиссар. Каганович — это транспорт, связь, промышленность. Такие вот ключевые позиции. Хирургическая операция была бы слишком сложна и болезненна. Хорошо, что в богатом арсенале Иосифа Виссарионовича имелось достаточно других средств, которыми он и воспользовался.

Сталин, как усатый кот, внимательно следил из засады за расшалившимися мышами, выжидая момент для прыжка. И постепенно проучил каждого из нашкодивших, надолго отбив охоту объединяться в группы да группочки. Отбил надолго, но, как еще увидим, не навсегда.

Первым получил то, что причиталось ему, моложавый, кучерявый приспособленец Лев Захарович Мехлис, надменный, самолюбивый и крайне жестокий по отношению к подчиненным. У него была какая-то патологическая ненависть к русским, которую он маскировал громкими фразами и правильными партийными лозунгами. Как и другой Лев, укрывавшийся под псевдонимом Троцкий. Любопытно: и тот, и другой очень старались выглядеть людьми военными, соответственно должностям, но и у того и у другого комически выпирала их суть. У Троцкого хотя бы нелепая походка, о которой я уже упоминал, а на «вояку» Мехлиса я вообще не мог смотреть без усмешки. Фуражка болталась на оттопыренных ушах, как на корове седло, к тому же была она с большим прямым козырьком, как у первогодка или тылового сержанта, не обмятого фронтовым бытом. Так вот — горькая пилюля Мехлису была преподнесена, я бы сказал, элегантно, в неотразимой упаковке: хоть радуйся, хоть плачь, но бери.

Дело было связано с Крымом. Напомню: когда Берия и Мехлис в тридцатых годах, поддерживая друг друга, пробрались на московскую политическую авансцену, как раз муссировался вопрос о создании на Украине еврейской республики. Тогда это не прошло, тогда была выделена малонаселенная территория в Приамурье. Ну и желающих переселиться туда оказалось в сотни раз меньше тех, кто требовал автономии, независимости. «Не климат», как говорят на Севере.

Незадолго до начала войны в Москве, в Ленинграде, в Киеве, Минске, Одессе и других городах, где покинув местечки, обосновалось после революции еврейское население, нарастали сетования на то, что Биробиджан слишком далек, отрезан от западного мира и условия там не ахти. Желательно создать еврейскую республику в Крыму, куда поедут охотно, куда потекут вложения из-за рубежа. Америка поможет благоустроиться. (Вопрос о воссоздании иудейского государства Израиль на арабских землях тогда еще не стоял, на Ближнем Востоке господствовали англичане, не допустившие бы утраты равновесия. Это уж война потом изменила ситуацию.)

Доводов нашлось предостаточно. Крымских татар, дескать, не так уж много, целые районы, даже на благословенном Южном берегу, пустынны, особенно от Ялты на восток, до Феодосии. Да и разве только татар можно считать коренными жителям Крыма? Столь же долго и даже дольше татар там обитают караимы, потомки хазарского иудейского каганата. Вот даже и Лазарь Моисеевич Каганович такой же, хотя и родился севернее, на Украине. И вообще: почему бы нет, почему бы не добиться своего?! Каше, аваль тов — тяжело, но хорошо!

Не раз, пуская пробный шар, заговаривал об этом Мехлис, осторожно ссылаясь на «общественное мнение». На руководителя и ведущего актера Московского еврейского театра Соломона Михайловича Михоэлса и его родственника, известного медика профессора Вовси. На дипломата Соломона Абрамовича Лозовского. (Сплошь мудреная соломонщина!) На академика Лину Соломоновну Штерн, чьими работами по физиологии, по продлению жизни интересовался Сталин. Внимание к «крымской идее» проявляли и Каганович, и Берия. Однако Иосиф Виссарионович до поры до времени пропускал все намеки мимо ушей, давая понять, что сия проблема обсуждению не подлежит. Крым отвоеван и закреплен за Россией в многолетней борьбе русским оружием. Это наш бастион и плацдарм на юге и юго-западе. Это — замечательная здравница для трудящихся всей страны. И никаких домыслов, никакой болтовни.

Разговоры на время прекратились.

В самом конце сорок первого и начале сорок второго года наши моряки и армейцы провели крупную десантную операцию, освободили Керченский полуостров, сняли угрозу, нависавшую над Северным Кавказом, а главное — облегчили участь осажденного Севастополя, создали предпосылки для полного освобождения Крыма. На Керченском полуострове спешно создавался новый Крымский фронт под руководством генерала Д. Т. Козлова, включавший в себя три общевойсковых армии и части усиления. Сложностей там было много. Снабжение, связь с «Большой землей» — через пролив. Или, скажем, согласованность, взаимодействие с Черноморским флотом, с Азовской флотилией, с войсками в Севастополе, на кавказском побережье. Козлов — воин, а не дипломат, по характеру человек скромный, непробивной. Просто специалист. В Керчь требовалось направить представителя Ставки с большим авторитетом, с большими

правами. Предложен был Семен Михайлович Буденный, который находился тогда на Северном Кавказе, но до обсуждения его кандидатуры дело даже не дошло. Сталин неожиданно для всех обратился к начальнику ГлавПУРа, армейскому комиссару 1-го ранга Мехлису. Ласково так обратился:

— Ви-и постоянно интересовались Крымом. Поезжайте туда, помогите товарищу Козлову. Ему трудно, а у вас широкие возможности. И учтите, Крымскому фронту мы придаем особое значение, а на вас возлагаем серьезные надежды.

Проявил, значит, доверие Верховный Главнокомандующий. Отправил Мехлиса к морю на курортный сезон… Я потом сказал Сталину, что Мехлис говорун, а не практик, голый идеолог, а не организатор, какая от него польза?!

— Ничего, пусть поучится. Что за начальник Политуправления, если пороха не нюхал? Когда нанюхается вдоволь, лучше будет людей понимать, лучше будет работать.

Вылетел Мехлис в конце января и прочно засел в Керчи до середины мая. Формально он продолжал оставаться начальником ГлавПУРа Красной Армии, но фактически был отстранен от дел. Попробуй руководить с далекого плацдарма, откуда даже с Верховным Главнокомандующим не всегда можно было связаться. Да еще заботы о «своем» фронте. Ну а московский аппарат Политуправления вполне справлялся без своего начальника. Даже лучше, на мой взгляд, справлялся. Влияние же Мехлиса распространялось лишь на три армии. Даже черноморские и азовские моряки не подчинялись ему, у них был свой наркомат, свое политуправление. От грубости и военной некомпетентности Мехлиса страдал только Крымский фронт и особенно командующий — генерал Д. Т. Козлов. Подавлял его Мехлис своим знанием, своим высоким положением, нахрапистостью и беспринципностью человека, живущего одним днем, готового на любые жертвы ради нынешнего успеха.

В том, что в мае 1942 года Крымский фронт был разгромлен немцами и сброшен в море, виновата, конечно, неблагоприятная обстановка, сложившаяся тогда для нас, но в значительной мере виноват и Мехлис, не помогавший, а мешавший Козлову действовать профессионально. Лез не в свои дела, создал конфликтную нервозную обстановку. Не было бы этого, наверняка не было бы катастрофы, очень больших потерь. Это тем более обидно, что в Крыму мы имели превосходство над немцами и по танкам, и по артиллерии… Не воспользовались. Ну и конечно, Лев Захарович не был бы самим собой, если бы не поспешил оправдаться, свалить всю вину на чужие плечи. Вот его телеграфный донос Верховному Главнокомандующему:

«Теперь не время жаловаться, но я должен доложить, чтобы Ставка знала командующего фронтом. 7 мая, то есть накануне наступления противника, Козлов созвал военный совет для обсуждения проекта будущей операции по овладению Кой-Асаном. Я порекомендовал отложить этот проект и немедленно дать указание армиям в связи с ожидаемым наступлением противника. В подписанном приказе комфронта в нескольких местах ориентировал, что наступление ожидается 10–15 мая, и предлагал проработать до 10 мая и изучить со всем начальством, командирами соединении и штабами план обороны армии. Это делалось тогда, когда вся обстановка истекшего дня показывала, что с утра противник будет наступать. По моему настоянию ошибочная в сроках

ориентировка была исправлена. Сопротивлялся также Козлов выдвижению дополнительных сил на участок 44-й армии».

Иосиф Виссарионович прочитал телеграмму поздно вечером, при Шапошникове и при мне. Расстроенный, тяжело ступая, несколько раз прошелся по кабинету. Сказал:

— Как в одесском анекдоте… Сара после ужина танцует на вечеринке. Убеждает себя: «Не пукну, не пукну, не пукну». Сорвалось, пукнула. «Не я, не я, не я». — Остановился, гневно блеснули глаза, брезгливо дернулись плечи: — Сучонка с желтым клеймом!

Шапошников постарался пресечь вспышку, спросил буднично-деловито:

— Что ответить? Оставим без последствий?

— Я сам напишу, — сказал Сталин. — Вы завтра посмотрите.

Вот ответ Иосифа Виссарионовича Мехлису. Поправок не было:

«Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте Вы — не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался из рук вон слабым. Если «вся обстановка показывала, что с утра противник будет наступать», а вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже для Вас. Значит, Вы еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в качестве Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки.

Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у Вас в Крыму несложные, и Вы могли бы сами справиться с ними. Если бы Вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы противника, противник не прорвал бы фронта и танки не прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя два месяца на Крымфронте».

У Льва Захаровича достало ума покаяться в грехах. «Мы опозорили страну и должны быть прокляты» — так завершил он свою объяснительную записку после полного разгрома фронта. Такая самокритичность в какой-то мере смягчила недовольство Сталина. Он не «проклял» Мехлиса, а понизил его в звании и сместил с высокой должности. Начальником Главного политического управления Красной Армии стал первый секретарь МК и МГК партии, один из организаторов обороны столицы Александр Сергеевич Щербаков. При нем, кстати, вскоре в вооруженных силах был упразднен институт комиссаров, командиры стали единоначальниками, а у них — заместители по политчасти. Ну а Мехлис продолжал «нюхать порох» в качестве члена Военного Совета армии, затем некоторых фронтов. Своим несносным скандальным характером и склонностью к доносительству много крови попортил работавшим с ним людям. Умер он в том же году, что и Сталин. Странно, что урна с прахом Льва Захаровича оказалась в Кремлевской стене, на почетном месте. Не по чину вроде бы. Впрочем, какая там странность: Берия и Каганович посодействовали.

И еще штрих к биографии Мехлиса, уж и не знаю, хороший или плохой: в разное время можно воспринимать по-разному. Он одним из первых, а может, и самым первым привлек внимание Сталина и Берии к действиям тех крымских татар, которые перешли на сторону гитлеровцев, помогали

фашистам в боях против советских войск. Особенно большие потери несли от крымских татар, досконально знавших местность, наши партизанские отряды, подпольщики, а также диверсионные и разведывательные группы, высаживавшиеся на побережье. Наших убивали из засад, устраивали ловушки. Страшна была судьба людей, захваченных для допросов. Враг был жесток.

В одном из своих докладов Берия сообщил Сталину примерную цифру потерь среди военнослужащих от крымских татар. Если не ошибаюсь, около 16 тысяч. Три стрелковых дивизии. Не знаю, входят ли в это число мирные жители, партизаны. Тогда же возникла идея очищать все освобождаемые районы от тех, кто наносил нам коварные удары в спину.

12

Пока Мехлис обретался в Крыму, Иосиф Виссарионович нашел возможность вполне обоснованно осадить другого занесшегося деятеля — Кагановича. Мы помним, сколь хорошо работал железнодорожный транспорт в начале войны, справляясь в трудных условиях с возросшими перевозками. Буквально из-под носа у немцев вывозили железнодорожники беженцев, промышленное оборудование, культурные ценности. Эвакуировали раненых. Прямо к передовой подгоняли вагоны с войсками, техникой, боеприпасами. Быстро очищали пути от разбитых составов, восстанавливали разбомбленную колею, мосты. Соблюдался четкий порядок. Даже в самое напряженное время, на самых загруженных участках, где составы двигались чуть ли не впритык, один за другим, почти не было «пробок», почти не случалось аварий. В этом была заслуга и наркома путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича, ему воздавалось должное. К сожалению, достигалось это не столько умелой организацией, сколько чрезвычайным перенапряжением людей и техники. Все тот же принцип, что и у Мехлиса: сегодня — любой ценой, не заботясь о завтрашнем дне.

Продолжаться так до бесконечности не могло. С наступлением зимы участились сбои. Техника требовала ремонта, истощились запасы топлива, людям надо было восстановить силы. А на улице снегопад, заносы, морозы. Сроки перевозок срывались. Верховный Главнокомандующий несколько раз высказал Кагановичу свое недовольство. Тот обещал разобраться, исправить… Ну и разобрался в свойственной ему манере, нашел виновника — Управление военных сообщений Красной Армии. Сложность была в том, что пресловутого стрелочника под удар в данном случае не поставишь, мелка фигура. Требовалась гораздо крупнее. Сам Каганович, может, и не справился бы, но рядом находился специалист по таким делам, дорогой друг Лаврентий Павлович. От Кагановича потребовалось лишь несколько «острых» фактов. А различных недоразумений в ту трудную зиму было, повторюсь, предостаточно. Важно, как подать и расценить их.

Короче говоря, начальник Управления военных сообщений генерал-лейтенант Н. И. Трубецкой, человек порядочный, трудившийся с пользой, был внезапно арестован вместе с несколькими сотрудниками. Всех их обвинили в измене Родине, в саботаже на транспорте и после двух-трех допросов расстреляли. С чрезмерной поспешностью. Виновники, дескать, понесли заслуженную кару, факт свершился. Задокументировано — комар носа не подточит. Вот вам негодяи, а вот Каганович, беспорочная душа:

упрекнуть его можно разве лишь в том, что не сразу разглядел вражеские происки. Да ведь таились-то саботажники не в его транспортном ведомстве, а в Наркомате обороны, так что у Лазаря Моисеевича и в этом отношении все чисто.

Когда маршал Шапошников с едва скрываемым возмущением сообщил Верховному Главнокомандующему о разгроме, учиненном в Управлении военных сообщений, Сталин сказал, что уже познакомился с делом генерала Трубецкого. У сдержанного, интеллигентнейшего Бориса Михайловича вырвалось: «Гораздо полезней было бы выслушать его самого». На что Сталин ответил: «Согласен с вами».

Шапошников счел необходимым напомнить, что ни лично генерал Трубецкой, ни Управление военных сообщений Красной Армии за состояние транспорта не отвечают, перевозки обязан обеспечивать НКПС со всеми вытекающими последствиями. Сталин тут же заверил, что «замести следы и уйти от наказания никому не удастся».

Шапошников в тот вечер грустно и уже не в первый раз посетовал на то, что работать ему становится труднее, и не только из-за расстройства здоровья. Меня очень огорчили его слова.

А что с Кагановичем? За многие годы на высоких постах не довелось ему выслушать столько резких упреков, сколько обрушилось на заседании Государственного Комитета Обороны 25 марта 1942 года. Пробить толстую кожу «Кабана Моисеевича», всегда готового резко и грубо отбить любые выпады, было чрезвычайно трудно. Не усовестишь, краснеть от стыда он не умел. Факты, приводимые Сталиным, отлетали от Кагановича, как от стенки горох. Считал: покритикуют, и ладно, не в первый раз. Даже сам Верховный не посмеет больно ударить его. Ан — обманулся, не зная, что на столе Иосифа Виссарионовича уже лежит проект постановления Ставки, выдержанный в жестких тонах. Лишь когда Верховный сказал: надо разобраться, почему за срывы, за саботаж на транспорте наказаны не руководство НКПС, а генерал Трубецкой — лишь тогда Каганович сообразил, что пол качнулся у него под ногами, дело может кончиться скверно. И умолк, перестал оправдываться обвиняя.

В постановлении, принятом ГКО, было записано: «Каганович не сумел справиться с работой в условиях военной обстановки». И — оргвыводы: с должности наркома снять, назначить вторым заместителем председателя Транспортного комитета. Одним ударом Лазарь Моисеевич был сброшен с вершины Олимпа куда-то на малозначительный склон, оказался не в чести, утратил руководящие нити. Ему предстояло или прозябать в каких-то замах, или опять, со свойственной ему энергией, упрямо карабкаться вверх. Он выбрал второе.

Сталин мог теперь не опасаться интриг со стороны Кагановича. Но не нажил ли себе Иосиф Виссарионович льстивого, услужливого, но коварного и злопамятного врага? На все последующие годы…

13

Значит, стараниями Сталина «триумвират» был расколот. Однако основа-то осталась, слишком глубоки были незримые корни, питавшие определенную группу лиц. К тому же Берия не только сохранял, но и наращивал свои возможности. Укрывшись завесой секретности, правил «государством в государстве», никого не посвящая в действия тех

многочисленных служб, которые объединялись расплывчатым, пугающим людей понятием «органы».

После начала войны расширились и укрепились связи Лаврентия Павловича с зарубежными странами, с союзниками. Для руководителя, ведающего тайными службами, это естественно: имелись общие интересы, надо было обмениваться сведениями. Однако по «линии Андреева» Иосифу Виссарионовичу было известно, что Берия обзавелся каналами, которыми пользовался, не испросив разрешения Верховного Главнокомандующего, руководителя партии. Справедливости ради скажу, что дозволение на любые формы, методы, средства при добывании особо важных сведении Берия имел. Но два его сверхсекретных канала настораживали. Один — по добыванию данных о разработке нового мощнейшего оружия в Англии и США: эти разработки находились под особым контролем тамошних спецслужб, доступ можно было получить только пользуясь их полным доверием. Но какой ценой достигалось это доверие? Не слишком ли дорогой?! И второй канал — через Швецию — на влиятельнейшие сионистские круги нескольких стран, в том числе оккупированных гитлеровцами, эти круги каким-то образом «уживались» с фашистами, немцам было выгодно сохранять и использовать их. Причем конспирация была настолько надежной, что даже люди Андреева, способные, кажется, добыть любые сведения за рубежом, не всегда могли определить, куда ведут нити.

Да, силен был Лаврентий Павлович в том тяжелейшем для нас сорок втором году, настолько силен, что сам Сталин остерегался тронуть, ущемить его, хотя внешне относился к нему по-прежнему свысока, с некоторой насмешливостью, что вызывало теперь раздражение заматеревшего Берии, хотя он и скрывал недовольство привычными льстивыми фразами, льстивой улыбкой, изображавшей безмерную преданность «вождю и учителю». Сталин понимал все это, однако Берия необходим был ему как энергичный, сообразительный исполнитель, способный с намека понять и сделать то, что Иосиф Виссарионович считал нужным. Сталин знал: Лаврентий достаточно хитер и умен, чтобы в трудное для страны время не рваться к высшей власти. Сила-то у Берии имелась, но не было сталинского ума и воли, не было сталинского авторитета и обаяния, не было мужества, самоотверженности, способностей вести страшную войну, не сулившую пока ничего, кроме крайней напряженности и высочайшей ответственности. Вот со временем, когда что-то определится, тогда видно будет…

«Грядущие события бросают перед собой тень» — эти мудрые слова принадлежат, если не ошибаюсь, Гёте. Они, эти тени, приходят к нам в снах, как предчувствия, в других проявлениях. К сожалению, лишь очень немногие люди способны воспринимать и понимать их, предугадывать будущее, видеть по отброшенным теням сами события. Иосиф Виссарионович в какой-то мере обладал таким даром, но он был слишком перегружен текущими заботами и увлечен повседневной борьбой, чтобы всегда замечать призрачные знаки грядущего. В этом отношении он доверял мне, моей интуиции, потому что я был раскрепощенней, свободней и духовно, и по конкретно-временным связям, а может, и способностей воспринимать тени грядущих свершений имел больше.

Важен и удивителен, конечно, подобный дар, но иногда он доставляет ощущения жуткие. Помните первый субботний вечер сорок второго года, когда на террасе Ближней дачи я вроде бы увидел закутанный в тулуп

остывающий труп Иосифа Виссарионовича? Я не сказал ему об этом, но та страшная картина преследовала меня потом более десяти лет, до самой его кончины. А о своем очень тревожном предчувствии, связанном с Берией, о том, что он широко расправит свои черные крылья и клюнет в темя самого Сталина, я несколько раз говорил Иосифу Виссарионовичу. Ссылался не только на свое ощущение. Не случайно же так ненавидела Лаврентия Павловича Надежда Сергеевна Аллилуева, называя его посланцем Сатаны, будто предвидела те беды, которые причинит он ей и вообще всей семье Сталина… Подливал я, конечно, масла в огонь, молчать не считал возможным. Впрочем, напряжение между Сталиным и Берией нарастало и без меня, какая-то вспышка должна была произойти. А обусловил ее сам ход событий.

Весь июнь и июль Иосиф Виссарионович нервничал, с переменным успехом скрывая это от окружающих. Он уже понимал, к каким последствиям ведет стратегическая ошибка, допущенная весной, хотя ни он, и никто другой не представляли еще, сколь страшны будут эти последствия, поставившие нашу страну почти на грань гибели. Сталин искал возможности хоть как-то поправить положение, возлагая надежды на стойкость наших войск, на отвлекающий удар по немцам на западном направлении между Сычевкой и Ржевом: он надеялся на союзников, верил, точнее — старался верить в их обещание открыть второй фронт. Ждал этого вопреки утверждениям маршала Шапошникова, генерала Игнатьева, вопреки моим доводам о коварном эгоизме англосаксов, граничащем с подлостью и возведенном в ранг национальной политики. Плутократам выгодно было, чтобы два гиганта, Россия и Германия, измотались в борьбе, — тогда англичане и американцы без больших потерь окажутся победителями, хозяевами мира. Для чего им своих людей губить на Втором фронте без крайней необходимости?! А Сталин дипломатически маневрировал, чтобы, не дай Бог, не задеть, не обидеть союзников, не вызвать их недовольства на таком важном историческом этапе. Лишнее все это было.

Прилетев 12 августа в Москву, Черчилль, по его собственному выражению, «все равно что привез большой кусок льда на Северный полюс». «Порадовал» сюрпризом-подарочком. Во время переговоров он, поддержанный представителем США Гарриманом, официально уведомил советскую сторону, что обещанный ранее Второй фронт в 1942 году создан не будет. Возможностей, мол, недостаточно… И это в то время, когда положение наше с каждым днем ухудшалось, когда гитлеровские армии рвались к Сталинграду, к Воронежу, на Северный Кавказ, к нефтеносным районам Майкопа, Грозного, Баку. Когда изготовилась к удару подталкиваемая немцами и жаждавшая поживы Турция: ее двадцать шесть дивизий, сосредоточенных на нашей границе, намеревались выйти через Иранское нагорье на западный берег Каспия, все к тому же приманчивому «черному золоту». Когда Япония, пользуясь тем, что мы сняли часть своих войск с Дальнего Востока, вновь готова была осуществить планы захвата советских земель — как только немцы достигнут Волги и победа фашистов будет предрешена. Когда вместе с гитлеровцами сражались против нас финские, итальянские, румынские армии, войска других сателлитов. А мы были одни. И обещанного Второго фронта, как говорит поговорка, действительно пришлось ждать долгих три года. А ведь за общее вроде бы дело боролись.

Подлый удар, нанесенный нам союзниками, оказался очень ощутимым как для нашего руководства (надо было ломать все планы и замыслы), так и для всего народа (разочарование, утрата надежд). Хорошо, что Сталин был в какой-то мере подготовлен к такому повороту событий, воспринял это менее болезненно, чем могло быть. Даже так: еще раз проявилась неординарность, необычность его натуры, его характера. Этот удар помог ему окончательно отказаться от всяких иллюзий, надеяться только на собственные силы, на свой народ. Иосиф Виссарионович не раскис, а, наоборот, словно бы окреп духом, стал еще более деятельным, энергичным, решительным. И как-то подобрел, помягчел к людям, к своим соратникам, особенно к военным. Но не ко всем. Не к Берии во всяком случае. Именно тогда, в период нашего большого отхода, самых больших военных и экономических трудностей, начал Иосиф Виссарионович свое наступление на создателя «государства в государстве». Прорвалось наболевшее.

При ночном докладе Верховному Главнокомандующему 17 или 18 августа (на сутки могу ошибиться) особо обсуждалось положение на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах. Новый начальник Генерального штаба Василевский был в отъезде, поэтому сообщение сделал генерал-лейтенант Павел Иванович Бодин, только что назначенный начальником Оперативного управления Генштаба (в книге приводился отрывок из статьи Бодина о разгроме немцев под Штеповкой). Штабист он был опытный, мнение свое высказывал без обиняков, обрисованная им картина выглядела мрачнее, чем представлялась в Ставке. Разбитая в очередной раз 18-я армия откатывалась к Туапсе. Новороссийск удерживали моряки и отошедшие туда разрозненные части. Немцы достигли Главного Кавказского хребта, со стороны Марухского и Клухорского перевалов нависли над Сухуми и Поти. Танковые колонны врага нацелились от Нальчика и Моздока на Грозный и Махачкалу. Оба наших фронта на Кавказе понесли большие потери. Чтобы преградить немцам дорогу на Баку, брошены были в бой войска НКВД, несколько дивизий и отдельных полков. Однако эти войска, предназначенные для охранно-карательной службы, в полевых условиях действовали неумело, хотя и стойко. Командиры и начальники теряли управление, особенно при отходе, часто принимали безграмотные решения. Бодин назвал при этом фамилию генерала, которого частенько похваливал Берия. Поймав на себе вопрошающий взгляд Верховного, Лаврентий Павлович поспешил заверить:

— Вызову, разберусь, семь шкур спущу.

— Куда же их денешь? — иронически прищурился Сталин. Шкуры куда денешь, целых семь?

— Подошьем в личное дело для назидания другим, — попытался Берия попасть в унисон.

— Слишком толстыми личные дела будут, где держать будешь, места много займут… Но наказать и подсказать нужно.

— Спустим три шкуры, и все поймет.

— Не перебарщивай. Людей оставишь без шкур, а сам останешься без людей.

На этом вроде бы и кончилась короткая перепалка, но после доклада, когда начали расходиться, Сталин предложил Берии задержаться, пригласил из комнаты за кабинетом, меня. Произнес тоном, не терпящим возражений:

— Нас тут трое с Кавказа. Ты, Лаврентий, Микоян и я. Мы знаем Кавказ, кто-то из нас должен быть там, спасать положение. Микоян штатский многодетный человек, от него на войне мало проку. Мне, сам понимаешь, нельзя надолго покинуть Москву…

Сталин продолжал говорить о мерах, о полномочиях, а Берия уже понял все, лицо его разом увяло, осунулось, еще более выпуклыми казались глаза. Слишком много мнил и пекся он о себе, чтобы быть смелым, когда опасность грозила лично ему. Война шла уже больше года, а он ни разу не побывал на передовой. Теперь же предстояло отправиться на фронт и нести полную персональную ответственность за тот участок, который представлялся почти безнадежным. А не выправишь положение — Верховный спросит по всей строгости.

— Возьми генерала Бодина, он будет при тебе как начальник штаба, — посоветовал Сталин. — Подберите людей в Генштабе, знающих обстановку, они помогут разобраться на месте. С вами полетит товарищ Лукашов. Для прямой связи со Ставкой и с товарищем Василевским… И позаботься, Лаврентий, чтобы твой самолет не сбился с курса, не приземлился где-нибудь в Тегеране.

— Ха! — через силу улыбнулся Берия. — Хорошая шутка.

— И хорошо, что ты все правильно понимаешь. Желаю тебе большого успеха. Покажи, на что ты способен.

— Отдам всю силу, — прижав ладони к груди, заверил Лаврентий Павлович, хотя, конечно, мысленно проклинал в этот момент Сталина. Да и мне внезапное предложение сопровождать Берию не доставило ни грана радости. Вероятно, Иосиф Виссарионович полагал, что в моем присутствии Берия будет меньше заниматься кутежами и женщинами, больше работой. Знал Сталин и то, что в случае необходимости я не постесняюсь высказать Лаврентию Павловичу свое мнение и довести оное до сведения Верховного Главнокомандующего. Так что пришлось снова собирать дорожный свой чемоданчик.

Прямого пути на Тбилиси к тому времени уже не было, в небе над Кавказом господствовала немецкая авиация. Поднявшись до рассвета с Центрального аэродрома, наш военно-транспортный Си-47 взял курс на юго-восток, на Красноводск. Отдохнув, пересекли Каспийское море и приземлились в столице Грузии. Там Берию торжественно встретило местное руководство и скромно — командование Закавказским фронтом. Кортеж машин понесся к резиденции высокого гостя. А я вместе с работниками Генштаба отправился в штаб фронта.

Удивило вот что: в городе почти не чувствовалась война. Фронт близко, бои на перевалах, над Эльбрусом поднят фашистский флаг (германская пропаганда расценивала этот символический акт как конец советского Кавказа), Грузия отрезана от страны, зажата между немецкими и турецкими войсками, захватчики грузин не пощадят, — но в Тбилиси этакая мирная, благодушная обстановка. Был поздний вечер, а на освещенных улицах людно, прогуливались парочки и компании, слышался смех, пахло дымком мангалов, жареным шашлыком — и это после затемненной суровой Москвы с ее строгим порядком, со скромным пайком. Много было цивильных мужчин военно-активного возраста. Или плохо знали здесь обстановку, или слишком уж верили, что война не нагрянет сюда, не допустит этого Джугашвили — Сталин.

Утром изложил свои впечатления Берии. Тот сказал, что тоже обратил внимание на расхлябанность и отсутствие бдительности. В выражениях

Лаврентий Павлович себя не стеснял. Местным руководителям заявил, что они развели бардак, и он покажет, как надо наводить порядок. И, посоветовавшись с генштабистами, принял меры крутые, но необходимые. 24 августа во всем Закавказье было объявлено военное положение. Произведена поголовная мобилизация мужчин призывного возраста. Обученных запасников немедленно отправляли в войска, создававшие линию обороны по реке Терек, в предгорьях Кавказского хребта, на Новороссийском и Туапсинском направлениях. Необученных — во вновь формируемые дивизии.

Партийных и военных работников, по мнению Берии, не проявивших достаточно способностей, он заменил другими, которые казались ему более энергичными. В том числе заменил и командующих армиями. Заслуженного ветерана генерала И. В. Тюленева, командовавшего Закавказским фронтом, без согласования со Сталиным тронуть не решился, а вот начальника штаба фронта генерала А. И. Субботина, человека вполне достойного, с должности снял, назначив вместо него прилетевшего из Москвы П. И. Бодина. Подобное происходило потом и в Сухуми, и в других местах, где появлялся Берия. Видимость деятельности была полная. В другое время и головы летели бы, и «шкуры сдирал бы и подшивал в личное дело», но на этот раз, как правило, Лаврентий Павлович ограничивался понижениями, отстранениями, отправкой в резерв — запомнился, значит, разговор со Сталиным насчет этих самых «шкур».

Отдаю должное — Берия умел напористо добиваться своего. С помощью представителей Генштаба он стабилизировал обстановку на Кавказе, создал, по существу, новый фронт, который не только остановил немцев, но и заложил основу для будущего нашего наступления здесь. Чего стоило хотя бы то, что он одним махом «вытряс» всех резервистов в Закавказье, под разными предлогами отсиживавшихся в тылу, в том числе многочисленных родственников всевозможных начальников и руководителей. «Вытолкнул» в войска десятки тысяч армян, азербайджанцев, но особенно «прочистил» свою родную Грузию: процент мужчин, отправленных на войну из этой республики, был очень высок. Так что у Лаврентия Павловича имелись определенные заслуги.

Был ли Берия убежден, что нам удастся отстоять Кавказ? Думаю, что нет, особенно в первые дни по приезде. Но он действительно отдал все свои силы, приложил все старания, чтобы добиться успеха. Другого выхода у него просто не было. Полный крах. Или пулю в лоб, или спасаться где-нибудь в Иране, под крылом англичан. Но он лучше кого-либо другого знал, какие длинные у Сталина руки.

Свидетельством того, что полной уверенности у Лаврентия Павловича не имелось, служит хотя бы такой факт. Прилетев в Тбилиси, Берия сразу принял секретные меры для того, чтобы в случае необходимости вывезти прах матери Сталина — Екатерины Георгиевны. Могила ее была взята под охрану, выделена и проинструктирована эвакуационная команда, подготовлены два самолета на разных аэродромах, основной и запасной. Не думаю, что Иосиф Виссарионович давал конкретные указания на этот счет, скорей всего лишь намекнул. Потому и нужен был Берия Сталину, что безошибочно угадывал его намерения.

Имей Берия определенное распоряжение — не стал бы советоваться со мной. А он спросил меня, куда лучше направить самолет с останками Екатерины Георгиевны, в Ташкент (наиболее безопасный маршрут через

Красноводск) или в Тюмень (где находился тогда саркофаг с телом Ленина). Я ответил, что вернее всего будет — в Куйбышев. Потому что при больших наших неудачах в этот город, в заранее подготовленный командный пункт, переберется Ставка во главе с Иосифом Виссарионовичем. А он уж и примет окончательное решение.

К счастью, тревожить прах покойницы не понадобилось.

14

В сложной ситуации Берия ориентировался — этого у него не отнимешь. Как и целеустремленности. Но способностями военными он не обладал, о тактике, об оперативном искусстве имел представление смутное. Это и понятно, всю жизнь на другом подвизался поле. Армейские кадры не знал и, естественно, больше доверял своим людям из войск НКВД. А таковых на Кавказе в ту пору оказалось непропорционально много, ведь эти войска гораздо меньше несли потерь, чем пехота или, скажем, танкисты. Не они были в непосредственном соприкосновении с противником, обретались главным образом в тылах, при отходе пополнялись местной милицией, истребительными батальонами. А такого пополнения было достаточно много на путях отхода из Донбасса, от Ростова-на-Дону, на Тамани и на Кубани. Короче говоря, к осени сорок второго года войска НКВД составляли примерно процентов тридцать всех наших сил на Кавказе, причем сил наиболее организованных, дисциплинированных, неплохо вооруженных. На них Берия опирался, черпал свои кадры. Но беда в том, что не вояки они были, тем более на первых порах.

Кто отвечал за оборону Главного Кавказского хребта, за перевалы? 46-я армия, подчинявшаяся, естественно, командованию фронта. Лаврентий Павлович посчитал, что полоса для армии слишком велика, перевалы отдалены один от другого, задача важная, а отвечающих мало. С одного командарма за все спрашивать? Не внушительно. Да и фигура для Берии ничего не значащая, генерал-майор В. Ф. Сергацкий. Заменить! Вместо Сергацкого поставлен был хорошо известный Берии участник боев за Москву генерал-лейтенант Леселидзе Константин Николаевич, возглавлявший здесь же, на Кавказе, 3-й стрелковый корпус. Это можно было понять: Леселидзе знает местные условия, хорошо известен Сталину. Но тут же и подстраховался Лаврентий Павлович в смысле перекладывания ответственности, создав при штабе фронта еще и специальный орган — «штаб войск обороны Кавказского хребта» под руководством генерала войск НКВД Г. Л. Петрова (не путать с другими Петровыми, фронтовыми генералами, особенно с прославленным нашим генералом армии Иваном Ефимовичем Петровым, героем Одессы и Севастополя, Керчи и Новороссийска, которого почему-то особенно недолюбливал и всячески третировал Мехлис). А генерал Г. Л. Петров, имевший, вероятно, заслуги по своей части, в «органах», военному командованию совсем не был известен, закалки боевой не имел. «Воин скромный средь мечей», по выражению А. С. Пушкина. Сказать о генерале — «мальчик для битья» вроде бы неловко, выразимся помягче: еще одна инстанция для сваливания ответственности. Ну и результаты были соответствующие. Если в делах домашних требуются семь нянек, чтобы дитя оказалось без догляда, то у военных достаточно двух параллельных штабов, чтобы учинить конфузию.

Штаб «энкавэдэшника Петрова» был инстанцией не только лишней, но и вносившей разлад, создававшей путаницу. Командование 46-й армии принимало одно решение, а штаб Петрова — другое, случалось, что совсем противоположное. Командованию фронтом приходилось согласовывать, увязывать, мирить… Хорошо хоть, что просуществовал этот штаб недолго. Тюленев, Бодин и я единодушно выступили против, и Берия с нашим мнением согласился.

Еще до приезда Лаврентия Павловича по указанию Ставки было усилено очень опасное направление — Бакинское. Там создавалась оборонительная полоса по рекам Терек и Урух протяженностью до четырехсот километров. Из отступавших дивизий (в том числе НКВД), из резервов, перебрасываемых из Закавказья и — по Каспийскому морю — из Астрахани. Возникла Северная группа войск, получившая определенную самостоятельность. Решение было правильным. Но Берия настоял на том, чтобы командующим этой сильной группой (три общевойсковых армии, гвардейский стрелковый корпус, несколько резервных дивизий и бригад) был назначен его протеже генерал-лейтенант И. И. Масленников, тот самый, который «вырос» в органах ОГПУ и НКВД, а в войска был «передвинут» перед самой войной, не имея навыков, возглавил в сражении под Москвой 29-ю армию, ничем не блеснув, а известность получил лишь тем, что не смог взять город Калинин. Для Берии же Иван Иванович был «своим человеком» в вооруженных силах, поэтому и пользовался поддержкой. Это не в обиду Ивану Ивановичу, человек он был неплохой, но так судьба складывалась.

Командуя Северной группой войск, Масленников заслужил больше упреков за упущенные возможности, нежели похвал. Но в общем группа войск свою задачу выполнила, не пропустила немцев в нефтеносные районы и к Каспийскому морю. Берия говорил об Иване Ивановиче: «Наш надежный боевой кадр». Не без содействия Лаврентия Павловича впоследствии выдвинут был Масленников на должность командующего фронтом. Срывался он, понижали его, но с помощью высокого покровителя всплывал вновь и вновь.

Значит, после энергичных мер, принятых Берией на Северном Кавказе и в Закавказье, положение там стабилизировалось, хотя и оставалось напряженным. По тому времени это был заметный успех, особенно по сравнению с быстрым движением немцев на Сталинград. Повторяю: сам Лаврентий Павлович профан в военном искусстве, но тогда сложилось своеобразное и полезное сочетание: энергичность, напористость, широкие диктаторские возможности Берии и знания, воинское мастерство приехавших с ним работников Генштаба, в первую очередь генерала Бодина и полковника Штеменко. Берия не мешал им, верил им, учился у них. Хороший мозговой центр и сильное руководство — это давало ощутимые результаты. К сожалению, назначенный начальником штаба Закавказского фронта Павел Иванович Бодин пробыл в этой должности слишком короткий срок. Вскоре после того, как Берия возвратился в Москву, Бодин погиб в бою возле города Орджоникидзе. Достойный конец для генерала, но, увы, преждевременный. Бодин еще проявил бы себя.

Ежедневно общался Лаврентий Павлович на Кавказе с Сергеем Матвеевичем Штеменко, занимавшим в ту пору должность начальника Ближневосточного отдела Оперативного управления Генерального штаба. И не просто общался: Штеменко постоянно находился рядом, «под рукой», без него Берия не выслушивал ни одного военного доклада, не принимал

ни одного решения. Уверовал в способности полковника, которые действительно были недюжинными. Штеменко — штабист образованный, цепкий, умевший выделить в потоке событий основное, дать четкую формулировку, предложить реальные меры действия или противодействия. К тому же дипломат, по мелочам начальству не противоречил, самолюбие не испытывал, но в главном мог настоять на своем. Не болтлив. Хитроват. Все это Лаврентий Павлович оценил и в дальнейшем использовал, предрешив таким образом карьеру Штеменко. А тот понимал, что без такой вот руки ему быстро не вырасти.

Втянут был Сергей Матвеевич в те сферы, куда допускались немногие, и вырваться из этих сфер он уже не мог, если бы даже очень захотел. Да он и не старался, используя плюсы своего нового положения — тайного советника и осведомителя Берии по военным вопросам. Вскоре после поездки на Кавказ был назначен заместителем начальника Оперативного управления — основного подразделения Генерального штаба. С мая 1943 года — начальник этого управления, облеченный доверием докладывать обстановку самому Верховному Главнокомандующему. И так далее, вплоть до 1948 года, когда, к удивлению многих, генерал Штеменко, в сражениях не отличившийся, тыловой, в общем-то, чиновник, был вознесен на должность начальника Генерального штаба, заместителя министра Вооруженных Сил СССР. Не было сомнений, что этот стремительный бросок подготовил его покровитель. Наверно, и в министры продвинулся бы, если бы не нараставшая рознь между Берией и Сталиным.

Конечно, в Генеральном штабе, как и во всех других военных и гражданских структурах, всегда имелись люди, «по совместительству» работавшие на нашу же разведку или контрразведку. Это не только у нас, это везде было и есть. Обычно такие люди занимают средние должности, ничем не выделяясь, а Штеменко был в этом отношении фигурой незаурядной. Безусловно, по должности он обязан был взаимодействовать на своем уровне с особыми органами, сообщать необходимые им данные, пользоваться их сведениями, рекомендациями. Так поступали и Шапошников, и Василевский, и Ватутин, и Антонов. Но они никогда не переступали официальный порог, не служили сразу двум ветвям власти. А Штеменко этот порог переступил, служа непосредственно Берии.

Иосиф Виссарионович, довольно часто видевший Штеменко, выслушивавший его доклады, через некоторое время «раскусил» молодого генштабиста. Не мог не заметить, как защищает и продвигает его Берия. Не в открытую продвигает, через других лиц, но уши-то бериевские торчат. Или вот факт удивительный: генерал Штеменко трижды (!) умудрялся терять или забывать в неположенных местах секретнейшие документы, предназначавшиеся для доклада Сталину. Исчезни такой документ по вине кого-то другого, крах был бы полный. Конец карьеры, суд, приговор. А Штеменко каждый раз выходил сухим из воды, отделываясь легким испугом. Затихал на какое-то время, потом опять возникал как ни в чем не бывало. Не буду сейчас утверждать, что исчезновение некоторых важнейших документов очень устраивало Берию. К этой ответственной теме мы еще вынуждены будем вернуться.

Почему же Иосиф Виссарионович до определенного срока не только терпел Штеменко, но и благосклонно относился к нему? Мог бы избавиться без труда. Мне самому интересно было узнать. Сказал он мне вскоре после войны так: Штеменко, видимо, порядочный человек и работая с Берией, считает, что работает на государство, на нашу партию. Не видит грани. Ну

и еще один аспект. Будет убран Штеменко, в Генштабе появится кто-то другой от Лаврентия Павловича. Это ведь его обязанность — иметь повсюду «глаза и уши». Нам лучше, когда известен облик соглядатая. «Лаврентий не знает, что мы знаем, но мы-то знаем», — скупо улыбнулся Иосиф Виссарионович.

Мнение Сталина изменилось лишь в самом начале пятидесятых годов, когда подспудный и необратимый конфликт с Берией приблизился к апогею, когда уже не было путей к компромиссу, оставалось только «или-или». Тогда Сталин, уже утративший доверие к Поскребышеву, попросил меня без огласки принести ему «личное дело» Штеменко. Внимательно читал Иосиф Виссарионович автобиографию Сергея Матвеевича, написанную им 30 марта 1948 года. Там действительно было кое-что интересное. Отвечая на вопрос, где был во время войны, Штеменко с особым нажимом выделил два периода:

«Август-сентябрь 1942 г. — Закавказский фронт, выполнял задания тов. Берия, который на месте руководил обороной Закавказья… Март 1943 г. — Северная и Черноморская группа войск, выполнял задания тов. Берия, который был в этот период в этих группах войск…»

— Приспособленец, — сказал Иосиф Виссарионович, отложив «личное дело». — Приспособленец и хамелеон. Не поручения командования, а, видите ли, поручения некоего многоуважаемого Берии. Будто не в Генштабе, а на Лубянке служил… Пора осадить его, пора прервать эту связь. Где у нас вакансии, Николай Алексеевич?

— Освобождается должность начальника штаба Группы войск в Германии.

— Очень хорошо, — сказал Сталин. — Пусть за рубежом послужит, подальше от непосредственного влияния Лаврентия. Пусть поработает. Работы там много.

В июне 1952 года был этот разговор, незадолго до гибели Иосифа Виссарионовича. А едва Сталин ушел в лучший мир, Берия сразу вернул своего подопечного в Москву, опять же в Генштаб. Но всего лишь месяца на три. Как только Берия был арестован, Штеменко вновь подвергся остракизму, был отправлен для продолжения службы в Сибирский военный округ. Поучительная, в общем-то, история.

15

Любопытно: с кратковременной поездкой Лаврентия Павловича на Кавказ связаны в разной степени еще несколько существенных событий. И даже такое, как важные перемены в нашем Генеральном штабе, не считая того, что уже сказано о Штеменко. Дело в том, что Василевский, сменивший на посту начальника Генштаба маршала Шапошникова, пользовался наравне с Жуковым особым расположением Сталина, он посылал то того, то другого, а то и обоих вместе, туда, где было особенно трудно, где готовились и развертывались важнейшие сражения. И получилось, что Василевский частенько находился далеко от Москвы, а замещали его люди не очень компетентные, менявшиеся. В предыдущей главе говорилось о генерале Бодине: его увез на Кавказ Берия, и оттуда генерал не вернулся. Бывало, что с вечерним докладом к Верховному Главнокомандующему являлся, за отсутствием других должностных лиц комиссар Генштаба генерал-майор Боков Федор Ефимович, человек добрый, улыбчивый, неглупый, перед Сталиным не очень робевший, но

далекий от специфики генштабовской работы. Он добросовестно излагал составленную сотрудниками сводку, ни на йоту не выходя за ее рамки: а сводку Иосиф Виссарионович мог прочитать и сам. Случайно как-то выявилось, что Боков не слышал даже о способе ведения артиллерийского и минометного огня внакладку. Как, впрочем, и о многом другом. Сталин же принимал и выслушивал Бокова только для того, чтобы не ломать привычный, установившийся порядок. А сведения уточнял по телефону с непосредственными действующими лицами — работниками Оперативного управления Генштаба или звонил командующим фронтами и армиями. В надежде на лучшие времена, когда докладывать будет сам Василевский. Однако ожидание могло продлиться долго, требовался человек, вполне способный заменять Василевского во время его отъездов. Найти такого человека было тем более трудно, что Сталин всегда настороженно воспринимал появление в ближайшем окружении новых людей. И если первое впечатление было отрицательным, то перед человеком не просто захлопывалась дверь, могла пострадать его служба, работа.

На Кавказе Берия познакомился с опытным штабным работником, интеллигентным и образованным, закончившим две военные академии, с генерал-лейтенантом Антоновым Алексеем Иннокентьевичем. Среди генштабистов он был хорошо известен, да и посты занимал немалые: в сорок первом заместитель начальника штаба Киевского Особого военного округа, затем начальник штаба Южного фронта, Закавказского фронта. Увереннее, спокойнее чувствовали себя командующие фронтами за спиной Антонова. Скромность или что-то в его биографии мешали более быстрому его росту. А вот Берия оценил. А вернее — подсказали ему мы, сопровождавшие. Я посоветовал использовать потенциал Антонова в Москве. В этом, как выяснилось, был заинтересован и «тайный советник» Лаврентия Павловича полковник Штеменко, надеявшийся почему-то сработаться с одаренным генералом. И вот в ноябре 1942 года, когда положение в Генштабе было прямо-таки плачевным (Василевский — на Волге, Ватутин — в Воронеже, Бодин погиб), зазвучала фамилия Антонова. Вполне возможно, что первым назвал ее в Ставке Берия. Или тот же Штеменко. Я обрадовался, когда эту кандидатуру поддержал Александр Михайлович Василевский. Горячо поддержал, даже посетовал: как же, мол, раньше сам не додумался.

Василевский настоятельно рекомендовал Верховному Главнокомандующему назначить Антонова начальником Оперативного управления и, соответственно, заместителем начальника Генерального штаба. И Шапошников тоже. Сталин, лично Антонова не знавший, отнесся к предложению без энтузиазма. Я понимал его: ведь с этим, почти неизвестным ему человеком придется встречаться и работать ежедневно, от того, что и как он будет докладывать, расценивать, зависит многое. Но ведь рекомендуют Василевский, Берия…

«Под вашу ответственность, — сказал Сталин. — Вызывайте в Москву».

Большой неожиданностью для военных кругов было появление в столице генерала, прочно числившегося в разряде «полевых» и «провинциальных». Александр Михайлович Василевский тревожился, придется ли Антонов «ко двору»? Волновался и я. Оба, всяк по-своему, оттягивали первую встречу Антонова с Верховным, давая возможность Алексею Иннокентьевичу освоиться в Генштабе, изучить обстановку. То, что происходило на Кавказе, на южном крыле советско-германского фронта, он знал досконально, сам оттуда, но начальник Оперативного

управления должен был видеть все пространство от Баренцева до Черного моря.

Сталин, понимая нашу уловку, не торопил, но и оттягивать до бесконечности мы не могли, тем более что Василевский опять должен был уехать, как представитель Ставки, в район Сталинграда. Ну и «смотрины» состоялись. Внешне все было буднично. Новый начальник Оперативного управления — заместитель начальника Генштаба представился Верховному Главнокомандующему, тот спросил о самочувствии и предложил приступить к докладу. Слушал вроде бы безучастно, но я-то видел, что с интересом оценивая и суть, и форму сообщения. Антонов был несколько суховат, резок — подавлял, вероятно, волнение. Иосиф Виссарионович не перебивал его, это был хороший симптом. А когда Антонов произнес: «У меня все», — Сталин задал такой вопрос, от которого у автора этих строк дрогнуло сердце.

— Товарищ Антонов, какова сейчас пропускная способность железной дороги от Обозерской до станции Кемь? Сможем ли мы до Нового года вдвое увеличить перевозки?

Верховный не высосал эту проблему из пальца, не поступил как экзаменатор, стремящийся «засыпать» испытуемого. Вывоз грузов, поступавших в северные порты от союзников, был очень важен для сражающихся войск. Архангельский порт зимой замерзал, все шло через разбомбленный, но сражавшийся Мурманск. Еще в прошлом году Кировская железная дорога (Ленинград — Мурманск) была перерезана финнами, но нам удалось быстро проложить новый путь по берегу Белого моря. Одноколейка пролегла по гибельным мостам, по дремучим лесам и болотам. Движение было медленным. Дорогу улучшали, надежда была и на то, что болота скуют морозы… Откуда бы знать все это южанину Антонову? Думаю, что Сталин и не ждал от него точного ответа, хотел видеть, как поведет себя новичок, дать понять ему, насколько широк круг забот заместителя начальника Генерального штаба. А тот, умница, воспринял вопрос как должное, назвал цифры, средние сроки промерзания тамошних болот, указал на карте опасные участки пути, требовавшие технического укрепления, высказал предложение усилить воздушное прикрытие дороги в связи с возросшей активностью вражеской авиации.

Иосиф Виссарионович был приятно удивлен, ни о чем больше не спрашивал и отпустил генерала. Походил по кабинету, остановился возле Василевского, усмехнулся по-доброму:

— Утер нос этот ваш Антонов… Утер. — И повел речь о том, чем надлежало заняться Василевскому под Сталинградом.

Бывают же такие удачи: Алексей Иннокентьевич оказался как раз тем человеком, которого требовала обстановка. Умный, добросовестный, твердый в убеждениях, он полностью снял проблемы, полгода после ухода Шапошникова лихорадившие наш «мозговой центр». Сразу и полностью сработался с Василевским. Зная, что выдвинут не без участия Берии, Антонов проявил характер, влиянию Лаврентия Павловича не поддался, поддерживал с ним чисто деловые связи, но в то же время не отталкивал Штеменко, не портил с ним отношения. Это устраивало и того, и другого.

Антонов снял значительную часть повседневной рутинной нагрузки не только с Василевского, но и с самого Сталина, у которого отпала необходимость вникать во многие подробности. Знал, есть человек, который правильно оценивает все. «Антонов сделает, как я, и даже лучше меня». Незаметный труженик, чья фамилия известна немногим, Антонов

долгие военные месяцы исправно тянул свой тяжелый воз. Иосиф Виссарионович проникся к нему почти таким же уважением, как к Шапошникову. В 1945 году, когда возникла необходимость, Сталин без колебаний назначил Антонова начальником Генерального штаба.

16

И еще о событиях, связанных с поездкой Берии на Кавказ. Пока Лаврентий Павлович трудился, наводя порядок возле хребта и за хребтом (а он действительно трудился, ограничивая себя в застольях и в женщинах), Иосиф Виссарионович, несмотря на занятость, размышлял о том, как сократить размеры бериевского «государства в государстве». И не только размышлял, но и сокращал. За месяц-другой он практически вывел из-под влияния Берии Главное разведывательное управление Наркомата обороны, организацию сильную, с большими возможностями и крепкими кадрами, пронизывающую все Вооруженные Силы, со своей агентурой за рубежом. Кому должна подчиняться такая организация? Верховному Главнокомандующему и Генеральному штабу. Так и стало.

Начал прибирать он к рукам и контрразведку. Долго хранил я оказавшийся у меня лист бумаги, на котором Сталин записал варианты названия будущей организации, ища наиболее короткое и точное. Там, в частности, значилось: «Военная контрразведка НКО СССР». «Управление «Смерть шпионам». И в завершение ряда — наиболее четкое, таинственно-угрожающее название «Смерш НКО СССР». Однако тогда, осенью сорок второго, осуществить свой замысел Иосиф Виссарионович не сумел, слишком сложна была фронтовая обстановка. Сделал он это лишь в сорок третьем, когда можно было без особых осложнений реорганизовать руководящие структуры. Тогда и появился у нас «Смерш», ставший воистину грозой для врагов по ту и по эту стороны фронта. И подчинялась эта военная организация, естественно, непосредственно Верховному Главнокомандующему. А Берия лишился влиятельнейшего канала. Да «взамен» еще получил нагрузку, требовавшую много усилий, забот и уводившую в сторону от прямого влияния на власть и политику.

Дело вот в чем. Еще до войны, а особенно с лета сорок первого года, от нашей агентуры начали поступать сведения о том, что в Англии и в Соединенных Штатах наращиваются работы по созданию сверхмощного оружия. Было известно даже кодовое название англосаксов: «Производство сплавов для труб», Сталин и Берия имели это в виду, но вначале ни они, ни наши военные специалисты особого значения не придавали этим разработкам на неопределенное будущее. Мало ли где и какие ведутся исследования, еще неизвестно, возможны ли положительные результаты. Я, как и многие практики, вообще не думал об этом. Война требовала вооружений, способных помочь нам сегодня и завтра. На совершенствование и массовое производство артиллерии, обычной и реактивной, танков, самолетов, стрелкового оружия уходило все наше внимание, все наши средства. А Сталин, утверждаю, имел особое чутье на то новое, что могло быть полезно в будущем. Вперед старался смотреть. И вот в марте 1942 года у него на столе появился первый официальный (подчеркиваю — официальный) документ, связанный с разработкой атомной бомбы: докладная, подписанная Берией. В ней пять страниц машинописного текста. Приведу лишь несколько абзацев:

«В ряде капиталистических стран в связи с проводимыми работами по расщеплению атомного ядра, с целью получения нового источника энергии, было начато изучение вопроса использования атомной энергии урана для военных целей.

В 1939 году во Франции, Англии, США и Германии развернулась интенсивная научно-исследовательская работа по разработке метода применения урана для новых взрывчатых веществ. Эти работы ведутся в условиях большой секретности.

…Исходя из важности и актуальности проблемы практического применения атомной энергии урана-235 для военных целей Советского Союза, было бы целесообразно:

1. Проработать вопрос о создании Научно-Совещательного органа при Государственном Комитете Обороны СССР из авторитетных лиц для координирования, изучения и направления работ всех ученых, научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросом атомной энергии урана.

2. Обеспечить секретное ознакомление с материалами НКВД СССР по урану видных специалистов с целью дачи оценки я соответствующего использования.

Примечание: Вопросами расщепления атомного ядра в СССР занимались академик Капица — в Академии наук СССР, академик Скобельцин — Ленинградский физический институт и профессор Слуцкий — Харьковский физико-технический институт».

Именно с этого момента, с появления докладной записки, началось у нас тщательное отслеживание всего того, что связано было с созданием атомных бомб в зарубежных странах. Это, как говорится, особая тема, особая статья, не буду детально вдаваться в нее, за исключением тех аспектов, которые непосредственно касаются взаимоотношений Сталина и Берии. Когда Иосиф Виссарионович в начале сорок третьего года который уж раз посетовал, что у Лаврентия Павловича явный переизбыток политической энергии, что он повсюду сует свой нос, я посоветовал:

— Используйте его энергию целенаправленно. Дайте ему, как Иванушке-дурачку в сказках, дело столь же нужное, сколь и невыполнимое.

— Но Иванушка-то выполнял.

— Хорошо, если и Берия совершит невыполнимое. Однако у Иванушки был конек-горбунок.

— У Лаврентия в лагерях горбунков много и любой масти, — скупо улыбнулся Иосиф Виссарионович.

Разговор не прошел бесследно. Через некоторое время в присутствии Берии, Молотова, Андреева и Маленкова, сразу после заседания ГКО, Сталин вернулся к назревшей проблеме.

— Наши безусловно надежные противники и не очень надежные союзники скрытно от нас ведут разработку оружия еще невиданной и даже непредсказуемой силы. Одни продвинулись довольно далеко, другие стараются не отстать. Одни называют это оружием возмездия, другие — сверхмощными бомбами. Основа — использование энергии атома. А у нас этим серьезным делом теоретически занимаются все, кому не лень, а по существу не занимается никто. Что говорить о наших дилетантах из военной разведки или из НКВД. Нет, они у нас неплохие разведчики, но кто из них разбирается в сложных физических и химических процессах расщепления атома? С другой стороны, есть хорошие, может быть, даже очень хорошие ученые, академики, но они не объединены ни общей

целью, ни организационно. Поэтому вношу предложение: поручить товарищу Берии объединить и возглавить всю деятельность по изучению и использованию в нашей стране атомной энергии… Это высокое доверие, товарищ Берия, — подчеркнул Сталин, — но и ответственность тоже. Отныне весь спрос с тебя.

— Я не специалист, — только и нашелся сказать Берия, ошеломленный таким поворотом.

— А тебе и не надо быть специалистом, — успокаивающе, даже ласково произнес Иосиф Виссарионович. — Ты только собери нужных ученых, инженеров, обеспечь им все условия для творческого труда. Любые условия… Но учти, с фронта отзывать людей не позволим, поройся в других закромах. У тебя найдутся умные коньки-горбунки, если ты не умудрился их угробить, — окреп голос Сталина. — Я уверен, что ученые, даже враги нашей партии, нашей советской власти, даже они будут добросовестно работать, если не для нас, то против фашизма, против Гитлера. Важно, чтобы это понимал ты и твои исполнители… И не медли, начинай сегодня же.

Через неделю Лаврентий Павлович представил Сталину список № 1 по освобождению из мест заключения лиц, привлекаемых для особо важных оборонных заданий. Восемьдесят фамилий. Иосиф Виссарионович читал внимательно, хмурился, наталкиваясь на тех граждан, которых когда-то знал, которые причинили ему вред. Но характерно: ни разу не спросил, кто на какой срок осужден, как вел себя в лагере. Эти люди нужны были сейчас стране, могли принести пользу — остальное не имело значения. Дело важнее всего. Утвердив список, вернул его Берии.

— Сколько там у тебя на очереди?

— Девятьсот двадцать.

— Занимайся сам, тебе с ними работать.

Берия, конечно, кого угодно освободил бы и реабилитировал, лишь бы Сталин не упрекнул его в нерадивости, в неисполнительности. Думаю, Лаврентий Павлович тогда не догадался о подоплеке внезапного назначения. Считал, что его бросили временно подтянуть важное звено. Так бывало. Но Сталин привязал Берию на долгие годы к тем заботам, которые требовали очень много энергии, сложность которых не уменьшалась, а нарастала месяц за месяцем. На какое-то время атомные проблемы почти целиком захватили Берию, не оставляя времени и сил для борьбы внутриполитической. В создании атомной бомбы все надо было начинать с азов, с материальной базы, с научно-исследовательских институтов, заводов, полигонов. С добывания и систематизации сведений из-за рубежа. Года на три-четыре Лаврентий Павлович настолько завяз в атомных проблемах, что почти не встречался приватно с Кагановичем, не общался с Мехлисом. Разве что по телефону.

Работа шла напряженная и успешная. Если американцы не жалели средств для раскрытия атомных тайн и создания атомного оружия, направляя на это 20 процентов денег, выделенных для военно-технических исследований, то мы не жалели сил для раскрытия американских секретов. И не только американских. На атом, на урановую бомбу были нацелены наши лучшие разведчики в Штатах, в Англии, в Германии, в Скандинавии. Назову хотя бы несколько имен, чтобы понятен был уровень. Григорий Хейфец, наш резидент в США, укрывавшийся под маской мистера Брауна, советского вице-консула в Сан-Франциско. Этот незаурядный разведчик, имевший тесные связи с руководящими

еврейскими кругами в Америке, еще до войны начал «разрабатывать» выдающегося ученого Э. Ферми, того самого, который смог осуществить первую в мировой практике цепную ядерную реакцию. Был знаком Хейфец с Р. Оппенгеймером и некоторыми другими учеными-атомщиками. Значительно помогал нам наш агент — британский дипломат Дональд Маклин. Задание считалось настолько важным, что к нему привлечена была даже глубоко законспирированная резервная агентура в Штатах, не использовавшаяся десять лет.

Особо отмечу очаровательную авантюристку Елизавету Зарубину, образованную (шесть языков!), хорошо подготовленную к разведывательной работе женщину, умело и расчетливо использовавшую свое обаяние, свою сексуальную притягательность. Работать в ЧК она начала еще при Дзержинском, и настоящая фамилия у нее была, естественно, другая. А первым мужем был не кто иной, как тоже известный авантюрист Я. Блюмкин, убивший в 1918 году в Москве немецкого посла графа Мирбаха, что обострило отношения между нашей страной и Германией. Тогда обошлось у Блюмкина, отделался, в общем-то, символическим наказанием. Но вот в тридцатом примерно году авантюрная парочка оказалась в Турции, где начала создавать агентурную сеть, нацеленную против англичан, хозяйничавших на Ближнем Востоке. Прикрывались коммерческой деятельностью. Суммы им были выделены основательные, дела шли бы гораздо лучше, если бы Блюмкин использовал все средства по назначению. Но заядлый троцкист пошел на подлог: значительную часть денег он передал в распоряжение своего кумира Льва Давидовича, высланного к тому времени из СССР. Елизавета-Лиза была возмущена таким предательством и сообщила об этом в Москву. Блюмкин был отозван, арестован, расстрелян.

Некоторое время спустя общительная красавица вышла замуж за дипломата и разведчика Василия Зарубина. Вместе с ним отправилась в Соединенные Штаты, имея, кстати, звание капитана госбезопасности. И заблистала там среди дипломатов, среди ученых, очаровывая и покоряя. «Охмуряя», как выразился однажды Берия. Вербовщицей она была отменной. Очень скоро на нее начали работать несколько сотрудников из секретных лабораторий в Лос-Анжелесе и Теннесси. Кроме того, Г. Хейфец свел ее с Кэтрин, женой Роберта Оппенгеймера, которого впоследствии назовут «отцом американской атомной бомбы».

К началу сорок третьего года мы знали многое, но этого было еще недостаточно для наших ученых, запятых в соответствующей отрасли. И тогда Сталин поставил перед Берией задачу: «Мы должны знать все». И уточнил, что для этого надо получать сведения не от тех, кто находится рядом с разработчиками, а от самих разработчиков, потому что главное известно только им. Перечислил фамилии: Эйнштейн, Оппенгеймер, Ферми, Бор, Сциллард. И подсказал: запугать, спровоцировать этих людей невозможно, они принципиальны, смелы, имеют сильных покровителей. Подкупить — тоже, они богаты. Но есть два моральных фактора, которые надо использовать. Ученые не могут не понимать, что если одна держава будет монопольно владеть сверхмощным оружием, то последствия будут непредсказуемы, опасны, катастрофичны. И второе: Советский Союз несет на себе основную тяжесть войны с фашизмом, с тем злом, которое хочет установить господство над всем миром, уничтожить многие народы и в первую очередь евреев. И чем дольше продлится война, тем больше людей погибнет на оккупированных территориях, в лагерях. Высший долг

ученых — помочь Советскому Союзу выстоять и победить как можно скорее.

— Это очевидно, и на это сделайте особый упор, — указал Сталин. — Подготовьте предложения вместе с Судоплатовым. Доложите через неделю.

Ну и задачка, куда как сложнее, чем Иванушке было изловить жар-птицу! Конек-горбунок не поможет. Надо было вести тонкую психологическую игру, рассчитывая намного вперед сложные и опасные ходы. Так началась одна из самых удивительных и великолепных в мировой истории разведывательных операций. Единственная в своем роде, глобальная по своим последствиям и проведенная, кстати, без единого выстрела, без единой капли крови. Идея, как видим, была высказана Сталиным, общее руководство возглавлял Берия, а детали разрабатывались и осуществлялись созданной в составе НКВД особой «Группой С» (группой Судоплатова), которая координировала все действия разведки по проблемам атомного вооружения. При этом — главной, ведущей фигурой был, безусловно, Павел Анатольевич Судоплатов, генерал молодой, красивый, талантливый, из тех, о которых говорят — «всем взял». Безудержный выдумщик и даже фантазер, он был при этом человеком расчетливым, предусмотрительным, в меру осторожным. Редкое сочетание. Большая удача в том, что в годы войны именно он был у нас главным разведчиком на зарубежье. Другого такого разведчика не имелось тогда во всем мире, даже у американцев, обладавших огромными материальными и техническими возможностями. Но, в общем-то, примитивно-школярской была американская разведка по сравнению с нашей, использовавшей весь многообразный спектр профессиональных приемов и постоянно расширявшей арсенал этого спектра.

В сентябре сорок первого года, для объединения в общей борьбе с фашизмом различных социальных групп у нас и за рубежом, в Советском Союзе было создано несколько общественных организаций: Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет советских ученых, Антифашистский комитет советской молодежи… Тогда же возникла идея создать в Москве Еврейский антифашистский комитет — под одну гребенку. Поддерживали и продвигали эту идею личности достаточно известные, среди них П. Маркиш, С. Маршак, П. Молотова-Жемчужина (Полина Карп) и даже начальник ГлавПУРа Л. Мехлис. Казалось бы, никаких преград. Но на заседании Политбюро получился сбой. Сталин прочитал проект решения о создании Еврейского антифашистского комитета, поморщился, перечитал еще раз, произнес себе под нос:

— И в эту щель… — Поднял голову, обвел глазами присутствующих, остановился на Мехлисе. — Комитеты нужны для сближения сил, а не для того, чтобы разбивать нашу борьбу по национальным направлениям, не для того, чтобы разделять наш советский народ по национальному признаку. Это не усилит, а только ослабит антифашистское движение.

— Мы привлечем к борьбе с гитлеризмом широкие еврейские массы за рубежом, — не очень уверенно возразил Мехлис.

— А разве мало за рубежом русских, украинцев, татар, армян, латышей… Что же нам, создавать антифашистские комитеты по всем нациям и народностям? Белорусский антифашистский комитет, Узбекский антифашистский комитет, Антифашистский коми комитет… Сто

комитетов. Раздробление вместо единства! Это будет совсем неправильно!

Никто больше не возражал, и вопрос, как говорится, отложили в долгий ящик. Однако «пробивание» этого дела не прекратилось. На Сталина оказывали подспудное, но постоянное, нарастающее давление с разных направлений. Со стороны общественности — ученый П. Капица и писатель И. Эренбург. Не без влияния своей активной супруги В. Молотов несколько раз заговаривал о значении еврейского капитала в зарубежных странах: в Соединенных Штатах и экономическая, и политическая власть принадлежит сионистам, они захватывают командные высоты в Великобритании, в Швеции. По многим военным и политическим вопросам с руководством этих стран легче договариваться через еврейские круги, чем на официальном уровне. Особенно в разрезе экономической помощи… Схожую позицию занимал и Берия, оперируя сталинскими же доводами: угроза уничтожения всколыхнула и сплотила евреев во всем мире без различия государственной принадлежности, растут и крепнут симпатии к России, почти в одиночку сражающейся с фашизмом, растет готовность помогать Советскому Союзу в этой борьбе. Эту ситуацию нужно использовать во всех смыслах. От требования ускорить открытие второго фронта до такой конкретики, как внедрение и расширение нашей разведки по всем интересующим нас позициям.

Иосиф Виссарионович, хоть и неохотно, однако прислушался к советам, в общем-то, правильным и практически полезным. В феврале 1942 года Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был создан. Были колебания: кто возглавит? Полина Карп-Жемчужина-Молотова? Слишком близка к официальной власти. Писатель Илья Эренбург? Сталин не захотел. Эренбург, как мы знаем, был его особым, индивидуальным, что ли, каналом для связи с зарубежными политическими и культурными деятелями, раскрывать, а значит, и терять этот канал Иосиф Виссарионович не хотел. Старый испытанный посредник сохраняется, а Еврейский комитет — это новые линии связи, использование новых возможностей. Наконец, Берия предложил на должность председателя комитета фигуру, вроде бы не связанную с официальными кругами, но достаточно широко известную и авторитетную — руководителя еврейского театра, актера, деятеля культуры С. М. Михоэлса. «Опытный лицедей. Кандидатура подходящая», — одобрил Сталин.

Подробно рассказываю об Еврейском антифашистском комитете потому, что именно его решила использовать наша разведка для проникновения в тайная тайных американских научных исследований, для получения сведений об атомной бомбе непосредственно от разработчиков, из первых рук. Давно известно, что чем проще план, тем он надежней. А замысел нашей разведки был, в общем-то, прост до гениальности. В 1943 году руководителю Еврейского антифашистского комитета было предложено побывать в США. Вместе с известным тогда поэтом И. Фефером, давно и надежно сотрудничавшим с нашей госбезопасностью. Перед отъездом эту делегацию принял сам Лаврентий Павлович, посоветовал, что делать, как вести себя в Соединенных Штатах. Пусть американцы знают о том полном равноправии, которым пользуются евреи в СССР, о том, как ценят у нас еврейских деятелей науки и культуры, что никакого антисемитизма у нас не существует. Что мы сейчас спасаем цивилизованное человечество от гитлеровской чумы.

В довершение всего Берия дал Михоэлсу и Феферу такую козырную карту, которая в ту пору была совершенно неотразимой, приближала к исполнению многовековой мечты всей еврейской диаспоры о создании своего государства под горячим солнцем на берегу теплого моря, о возрождении «земли обетованной». Михоэлс и Фефер получили возможность говорить о том, что в Москве, дескать, серьезно рассматривается вопрос об организации Еврейской республики в Крыму. После того, естественно, как Крым будет освобожден от гитлеровцев. Одновременно слухи об этом пошли по другим каналам, в частности — по дипломатическим. И по «бабьим» — тут очень старалась П. Карп-Жемчужина-Молотова, страстно желавшая внести свой ощутимый вклад в создание упомянутой республики, облагодетельствовать своих единородцев.

Демарши, связанные с Крымом, имевшие долгие трагические последствия, были предприняты с молчаливого согласия Сталина, который расценивал их не более чем неофициальные ходы в очень важной игре. Выселение и возвращение крымских татар, передача Крыма Украине, чтобы отделаться от острых проблем, — все это еще далеко впереди… А тогда я обратился к Иосифу Виссарионовичу с достаточно взволнованной тирадой: неужели он действительно согласится отдать в чужие руки нашу кровную российскую территорию, которая к тому же очень быстро может превратиться в плацдарм враждебных нам сил? Выслушав такую мою речь, Сталин усмехнулся:

— Дорогой Николай Алексеевич, поставьте свой вопрос по-другому.

— Каким образом?

— Поинтересуйтесь: Иосиф Виссарионович, что вам дороже, квадратный метр советской земли в Москве, на Кавказе, на Таймыре, на Сахалине, где угодно, — или собственная жизнь?

— Звучит риторически.

— Без риторики, — посерьезнел Сталин. Вас это интересует?

— Если без риторики — да.

— Тогда вы должны понять… Вы уже должны были понять, дорогой Николай Алексеевич, что я готов отдать свою жизнь за любой клочок нашей общей земли… Уступишь кончик пальца — потеряешь всю руку, потеряешь все. А для меня нет выше ценности, чем наше великое государство, которое служит гарантом жизни и счастья всех народов нашей державы: и ведь я говорю только об одном квадратном метре, а вы о целом Крыме, — улыбнулся Иосиф Виссарионович, сглаживая некую невольную выспренность…

Ну а Михоэлс и Фефер очень удачно использовали доверенную им «крымскую карту», козыряя ею в Америке на встречах с еврейской общественностью, призывая евреев всего мира оказывать Советскому Союзу любую помощь в его борьбе с фашизмом и тем самым не только спасать сородичей от истребления, но и приближать возрождение «земли обетованной» на солнечном полуострове теплого моря. Ради этого допустимо все!

Советский резидент в Штатах Г. Хейфец, организационно обеспечивавший поездку И. Фефера и С. Михоэлса, помог им донести всю информацию до ведущих ученых-атомщиков Р. Оппенгеймера и Э. Ферми. Очень тронут был Оппенгеймер словами о том, как заботятся о его единокровных в Советском Союзе, как мужественно сражаются евреи наряду с другими народами против фашистов. Особое впечатление,

конечно, произвело на него сообщение о возможном создании Еврейской республики в Крыму. До слез был тронут. Высказал даже желание стать коммунистом. Но и ему, и Ферми посоветовали политикой не заниматься, не привлекать к себе особого внимания в этом отношении, а если и помогать сражающейся России, то конкретными делами, конкретными сведениями. С той поры эти источники секретнейшей информации стали фигурировать у нас под псевдонимами: «Стар» — это «отец» американской атомной бомбы Р. Оппенгеймер; «Редактор» — это Э. Ферми, осуществивший первую ядерную реакцию. О подробностях, о тайных связях, встречах, передаче материалов и обо всем таком же интригующем будет, вероятно, рассказано в детективных исследованиях, в еще более детективных романах, это за пределами моей исповеди. Могу лишь подтвердить, что о работе над американской ядерной бомбой мы знали если не все, то почти все. Достаточно сказать, что подробное описание конструкции первой атомной бомбы стало известно нашим ученым в январе 1945 года, больше чем за полгода до взрывов в Хиросиме и Нагасаки. А потом вскоре и догнали мы Америку по атомному оружию, восстановили военное равновесие, обеспечили на долгие годы мирное существование крупнейших государств. Низкий поклон за это нашим известным и неизвестным разведчикам и ученым. И особенно низкий земной поклон тогдашнему руководителю нашей внешней разведки генералу Павлу Анатольевичу Судоплатову, который разрабатывал и проводил операции, казавшиеся мне иногда просто немыслимыми. Кому, как не ему, должно бы наше государство, наш народ воздать высокие почести?! Но правильно сказано: ни одно хорошее дело не останется безнаказанным. Я вот пишу эти строки, представляю облик молодого, обаятельного генерала, а сам он, Павел Анатольевич, много лет уже томится в каменном мешке, в одиночной камере, где от стены до стены всего три мужских шага.

За что же «упрятали» нашего лучшего разведчика и диверсанта, ведь он не изменник, не предатель, не перевертыш?! Не приносил вреда своему народу, зато пользу принес великую. А за то его убрали подальше от глаз и ушей людских, что слишком много знал он о правящей верхушке, о самом Никите Хрущеве, умудрившемся свалить все ошибки, все беды на Сталина и представить чистенькими перед страной себя и свою когорту.

Закрытое судилище над Судоплатовым состоялось в августе 1958 года. Обвиняли его в «бериевском заговоре» против правительства, в руководстве спецлабораторией, в которой якобы испытывали на людях разные яды… Обвинители-то были, а вот в праве на защиту специальным решением Верховного суда было отказано. Защищаться, значит, не моги, для судей только одна сторона — обвиняющая. А потом и того хлеще: Павлу Анатольевичу не позволили ознакомиться с протоколом судебного заседания. Что там говорилось, в этом протоколе, он даже не знал, а наврать можно всякое… И вообще это факт невероятный в судебной практике, ведь без подписи обвиняемого на протоколе приговор не считается вступившим в законную силу. Однако, как видим, при хрущевской «демократической оттепели» все было возможно, любой беспредел. Посадили Судоплатова на долгое время, без надежды на возвращение.

Краткое добавление автора. В апреле 1978 года в Издательстве политической литературы скромно отметила свое десятилетие редакция всемирно известной серии книг «Пламенные революционеры». Более ста

интересных документально-художественных произведений о выдающихся людях разных времен и народов выпустила эта редакция. Среди авторов были ведущие писатели нашего времени — считали за честь. Подобрались образованные, требовательные редакторы, умевшие доказывать и убеждать. Кто знал про юбилей, кто был близок к серии, собрались под вечер в просторной редакционной комнате, сдвинули столы. Выпили в складчину, закусили, повспоминали. Тем более — многим было что вспомнить. Там познакомила меня писательница Ирина Гуро, бывшая разведчица, со скромным, молчаливым человеком, выглядевшим значительно старше своего возраста. Сама инвалид, Ирина Гуро опекала его, помогала передвигаться. Павел Анатольевич (фамилию тогда не называли) незадолго перед тем покинул одиночную камеру, пробыв за каменной стеной пятнадцать лет. В тюрьме он перенес три инфаркта, ослеп на один глаз и почти разучился ходить. Такова была злобная месть нарождавшейся демократуры одному из тех, с помощью которых был отправлен в лучший мир Троцкий, и главному среди тех, кто добыл у американцев важнейшие сведения, столь необходимые в свое время для могущества нашей державы, для равновесия ядерных сил, а значит, и для безопасности всего мира.

17

Может показаться нелогичным, что Сталин ограничивал, ослаблял влияние Берии внутри страны несколько странным способом, направляя энергию Лаврентия Павловича на решение конкретных проблем, особенно проблем, связанных с ядерным оружием, а потом и с доставкой этого оружия до цели. Доверил вроде бы мощное средство Берии. Но, во-первых, работа эта, изматывавшая Лаврентия Павловича, была еще далека от завершения, а во-вторых, и в этом деле имелся опять же секрет сверх секрета, дававший возможность постоянно контролировать не только решения и поступки Берии, но и важнейшие его связи за рубежом. Все тот же тишайший наш Андрей Андреевич Андреев занимался этим, располагая сетью неофициальных и полуофициальных соратников, надежных политических друзей. Повторяю, это не агенты, точнее — далеко не все были агентами, это товарищи по убеждениям, по борьбе. И очень-очень разные люди по происхождению, по национальности, по возрасту и характеру. Я иногда просто поражался, узнав от Сталина, из какого источника получены сведения. Впрочем, узнавал редко и, как правило, лишь после того, как источник по тем или другим причинам переставал функционировать.

Еще до революции слышал я о талантливом и своеобразном скульпторе и графике Сергее Тимофеевиче Коненкове. Вот, мол, выходец из крестьян, почти самоучка, но какая одаренность, какая смелость, какая работоспособность! Видел даже на какой-то выставке несколько его странных работ, но, в общем, к новомодным искусствам был всегда равнодушен и ничего не запомнил. Разве что мастерство резьбы по дереву. А наверно, он и впрямь был талантлив: в 1916 году удостоился высокой чести, стал действительным членом Императорской Академии художеств. Говорят, отбор был чрезвычайно строгий. Ну и впоследствии доводилось что-то узнавать об известном скульпторе. Он, как и многие другие деятели искусства и науки, особенно из простонародья, принял новую Советскую власть как свою, участвовал в разработке ленинского

плана монументальной пропаганды, возглавлял какой-то союз художников или скульпторов, связанный с Пролеткультом. Знаком Коненков был со Сталиным, встречался с ним. Как и с Дзержинским, и с Андреевым. Еще на более «короткой ноге» был с Владимиром Ильичом. Достаточно сказать, что 1 мая 1919 года Ленин выступил с горячей речью на Лобном месте по поводу открытия там композиции Коненкова из дерева и бетона «Степан Разин со своей ватагой»… Собственного мнения об этой композиции высказывать не буду, дабы не продемонстрировать невежество и не прослыть ретроградом. Каких только «измов» не было тогда в искусстве, некоторые из них сохранились, но многие отсеялись, как шелуха.

Потом Коненков уехал за границу и надолго исчез из моего поля зрения. Перед войной и во время войны Сталин изредка получал от него письма. Приходили они открыто, обычным путем, секретов в них не было, их читал Поскребышев, что-то наиболее интересное зачитывал вслух Иосиф Виссарионович. Пояснил однажды: «У него главное-то между строк… Хитры смоленские мужички, что Андреев, что этот Сергей Тимофеевич. Никому не известно, что он английский знает, болтают при нем, не стесняясь, не опасаясь, а он все понимает. Надо же, за столько лет не сорвался…» Письма Коненкова забирал на сутки, на двое Андрей Андреевич Андреев, потом возвращал, и Поскребышев передавал их Берии. В его канцелярии они и оставались.

После войны, на досуге, возник случайно разговор об этой переписке, Иосиф Виссарионович рассказал некоторые любопытные подробности: фигура Коненкова, патриарха искусств, привлекала тогда внимание. Оказывается, в 1924 году член Императорской Академии художеств, он же деятель Пролеткульта, Сергей Тимофеевич повез в Нью-Йорк свои работы на выставку русских и советских художников. А после выставки, получив несколько интересных заказов, задержался там. Надолго. На два десятка лет. Жил не бедно, пользовался почетом, работы хоть отбавляй, ему несколько раз предлагали принять американское гражданство, но он отказывался. Заявлял, что его цель — пропаганда великого русского искусства на Западе, в первую очередь в Америке, не имеющей своих глубоких эстетических корней, художественных традиций.

Преуспевал Сергей Тимофеевич, создал портретную галерею ведущих американских ученых, политических деятелей. А самым, пожалуй, высоким творческим взлетом в этой галерее стал портрет знаменитого создателя теории относительности, «дедушки атомной бомбы» Альберта Эйнштейна: великий ученый называл этот портрет своим лучшим изображением. Знакомство скульптора и физика переросло в дружбу. В доме его Коненков встречался с Оппенгеймером, с иными атомщиками. А друг моего друга, как известно, это и мой друг. При этом общаться с учеными скульптору, «не знавшему» английский, помогала его постоянная спутница, приехавшая с ним в Америку, молодая жена, знавшая не только английский, но и немецкий язык — на этом языке предпочитал писать и говорить Эйнштейн. Жена Коненкова — лирическая легенда, неразгаданная тайна! Что там сокрыто: горькая трагедия двух душ или состоявшееся, но неполное счастье? Или яркая вспышка, согревшая надолго теплом? А может, просто очередной жизненный фарс, да еще связанный с элементарной разведывательной прозой? Или, как это иногда бывает, слилось, сплавилось все вместе?! Я не берусь разгадывать, изложу лишь некоторые факты, да и то с оглядкой. Мне уже довелось слышать упреки в том, что в этой исповеди значительное место уделяю интимным

взаимоотношениям моих персонажей, рассказываю порой о том, о чем, в общем-то, не принято говорить, особенно когда речь идет о реально существовавших или существующих людях. На это у меня такой ответ. Если, к примеру, трагедия у токаря, ему изменила жена, он пришел на работу в расстроенных чувствах, что при этом может грозить обществу? Ну, в худшем случае «запорет» две-три детали. Не велик убыток. И совсем другое дело, когда домашние нелады у крупного руководителя, когда он, положим, угнетен тем, что не удовлетворяет молодую жену, когда у него ссоры, бессонница, когда он является на службу возбужденным, взвинченным, полубольным, на грани психического срыва, способный к поспешным, ошибочным решениям. От его настроения, от его состояния зависят судьбы миллионов людей, судьбы государства. И не писать об этом, о причинах его состояния, значит, уйти от правды жизни, от объективного исследования и по возможности объективных оценок. А я не хочу уклоняться от истины, поэтому и балансирую иногда на самой грани приличия, и впредь, увы, буду еще балансировать.

Значит, наш академик-скульптор привез в Штаты молодую высокую и стройную женщину Маргариту Ивановну Коненкову (в девичестве Воронцову). Из дворян. Образованную: окончила в Москве юридические курсы, знала несколько языков. Сергей Тимофеевич считал ее своей вдохновляющей музой. Именно она подвигла его и стала моделью для одной из лучших его работ — «Обнаженной фигуры в рост». Любил ли он ее? Наверно. Во всяком случае, они не расставались всю жизнь и похоронены вместе. Но отношения у них были по меньшей мере странные, и там, в Америке, ведущую роль играл не он, а она.

При всей своей женственности, при всем обаянии, Маргарита Ивановна имела характер решительный, твердый, была человеком целеустремленным, с большими организаторскими способностями. Муж занимался творчеством, а жена всем остальным. Отбором клиентов, заключением договоров, денежными расчетами, укреплением нужных связей. Как, например, со всемирно известным ученым. И при первой же встрече произвела на Альберта Эйнштейна такое потрясающее впечатление, от которого он не избавился до конца дней своих.

Впрочем, чему удивляться! Биография Эйнштейна исследована и вдоль и поперек, перечислены имена представительниц прекрасного пола, которыми он когда-либо увлекался. Даже такими путями некоторые женщины входят или попадают в историю. Их оказалось немало. Живи Эйнштейн у нас и будь он обычным гражданином, его запросто зачислили бы в разряд бабников. Но со знаменитостями молва обходится мягче, корректней.

Когда они впервые встретились, Маргарите Ивановне было под сорок, но она сохранила и стройность, и моложавость, и даже этакую порывистость. Он — на семнадцать лет старше, седовлас, но еще полон сил, творческих замыслов. И понимания того, что началась его лебединая и, может быть, самая красивая песня. Ну, конечно же, рядом с коренастой, грубовато-агрессивной женой Эйнштейна, рядом с его приемной дочерью, носатой и угловатой, с неестественно короткой, как у матери, шеей, высокая Маргарита Ивановна с ее обольстительной фигурой, с ее милым лицом выглядела совершенно неотразимой. Да ведь и умна была, и в меру кокетлива, умела подать себя.

Маргарита Ивановна часто гостила у Эйнштейнов, подолгу оставалась наедине с Альбертом. Он объяснял ей теорию относительности,

иллюстрируя рисунками, делился успехами и неудачами новых работ в области физики, сомнениями, которые охватывали порой его и непосредственного руководителя работ по атомной бомбе Оппенгеймера. И тоже иллюстрировал свои откровения рисунками, формулами. Впрочем, Маргарита Ивановна и сама встречалась с моложавым улыбчивым Робертом Оппенгеймером, ему тоже приятно было беседовать с доброжелательной женщиной. Вероятно, и у него, как и у Эйнштейна, тоже не было такого терпеливого и внимательного слушателя, с которым приятно было поделиться, «открыть душу». Они и открывали. Причем чувства Альберта Эйнштейна были настолько серьезны, что он писал Маргарите Ивановне письма до конца своей жизни, уже и после того, как по состоянию здоровья отклонил в 1952 году предложение стать президентом Израиля. Читатель, наверно, сам составит представление о взаимоотношениях Маргариты и Альберта, если узнает несколько стихотворных строк, которые написал и прислал Коненковой Эйнштейн в разгар их дружбы, скучая о ней. Перевод подстрочный, не обработанный, но смысл передающий:

Все же прекрасно поступил Бог, Позволив мужчине и женщине Вместе проводить время. Я зову Амура, Который был благосклонен к нам. Ты говоришь, что любишь меня, Но сомнения овладевают мной. Будь же милосердна ко мне.

Все, тема Альберт и Маргарита на этом завершена. Остается другой аспект: Коненковы и Эйнштейн. Наступил 1945 год, у нас близилось к завершению строительство первого атомного реактора. Но возникли сложности с делящимися материалами. Необходимы были добавочные сведения, а еще лучше было бы направить в Америку к Ферми и Оппенгеймеру несколько наших атомщиков, чтобы там они посмотрели, «попробовали на зуб». Уверенность в том, что Оппенгеймер, Сциллард и Ферми от встречи не уклонятся, была. Помогут они нам. Но как организовать такую поездку, такую встречу, как пробить занавес секретности, заслон американских спецслужб? Вероятно, в прямой связи с этим Коненковы (или Коненкова) получили очередное задание, столь же ответственное, сколь и опасное: свести Эйнштейна с одним из крупных советских разведчиков, с Павлом Петровичем Михайловым, который работал тогда в Нью-Йорке под маской дипломата. Я, конечно, могу ошибиться, но Михайлов, по-моему, проходил не по линии Берии — Судоплатова, а был человеком Андреева. А, может, замыкался и на то, и на другое ведомство. Сами же Коненковы к тому времени уже находились под доглядом американской контрразведки, активно действовать не могли. И как только благодаря Маргарите Ивановне тайная встреча Михайлова и Эйнштейна состоялась, семью Коненковых со всеми произведениями мастера и со всем домашним скарбом работники советского посольства срочно погрузили на пароход.

В середине декабря победного сорок пятого года Сергей Тимофеевич и Маргарита Ивановна приехали в Москву. Здесь им уготована была нешумная, но очень теплая встреча. Они сразу же получили квартиру, а через короткий срок большую, удобную мастерскую. Самую лучшую по тому времени художественную мастерскую в столице. Сергей Тимофеевич будто помолодел на родной земле, и талант его расцвел с новой силой. В 1954 году он второй раз стал российским академиком — действительным членом Академии художеств СССР. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Родина воздала должное талантливому мастеру

и замечательному патриоту. А он долго еще радовал поклонников своими произведениями, прожив девяносто семь лет.

18

Что-то я все о серьезном, да о серьезном, есть ведь события и полегче, и покурьезнее, связанные хотя бы с той же поездкой Берии на Кавказ… Кому не известны монументальные творения художника-баталиста Ф. Рубо, его замечательные панорамы «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва»? Но есть у Рубо еще одно незаурядное произведение, не ставшее столь популярным, как названные, хотя репродукция его некоторое время печаталась даже в школьном учебнике по истории. Может, репродукция и погасила интерес, ведь она передавала только сюжет, да и то мелко, в общих чертах, без красноречивых деталей, без настроения, создаваемого хотя бы сочетанием красок. «Пленение Шамиля» — так названо это большое по размеру полотно, на котором горделиво высятся заснеженные склоны Кавказского хребта, ощутим спокойный уют долины, и на этом фоне — полный достоинства Шамиль среди русских офицеров: замиренный, сдавшийся, но сжимающий рукоятку оставленного ему кинжала. Символика!

Поскольку события, изображенные Рубо, происходили на территории Чечено-Ингушетии, то картина после Октябрьской революции по справедливости была передана из Тбилисского музея в Грозный, где и заняла достойное место. А потом исчезла. В августе 1942 года, когда к Грозному приблизился фронт. Вот ведь как: ценой героических усилий морякам-черноморцам огромную панораму «Оборона Севастополя» удалось демонтировать под вражеским огнем, вывезти, прорвав блокаду, спасти. А картина «Пленение Шамиля» пропала в городе, который не был занят противником. Причем похищена была из здания музея как раз в то время, когда там располагался тщательно охраняемый штаб обороны Грозного и обосновался сам городской комендант.

Версии были разные, вплоть до такой. В штаб якобы явилась группа искусствоведов, чтобы эвакуировать картину, но бдительная охрана выяснила: никакие это не искусствоведы, а немецкие диверсанты, намеревавшиеся взорвать штаб, нефтехранилище и вокзал. В перестрелке два диверсанта в форме советских офицеров были убиты, а третьего, подполковника, вроде бы взяли в плен, хотя дальнейшая судьба его неизвестна. Растворился. История, в общем, странная, запутанная, тем более что года через полтора картина, считавшаяся утраченной, объявилась вдруг в Москве, в служебном кабинете Лаврентия Павловича, заняв там половину стены просторного помещения. Ладно хоть уцелела, и то хорошо.

Прошло несколько лет после войны. Отношения между Сталиным и Берией явно ухудшались. Однажды в теплый летний вечер съехались на Ближнюю дачу гости, тогда это бывало довольно часто: Иосиф Виссарионович ужинал в кругу соратников, партийных и государственных деятелей. Беседы велись разные, в том числе и деловые. Выпивали основательно — об этом сказ еще впереди. Сталин больше помалкивал, слушал да мотал на ус. Берия, любивший и умевший выпить до определенной грани, был в хорошем настроении. Этакий бодрый толстяк с пухлыми раскрасневшимися щеками, веселивший компанию анекдотами. Я даже запомнил:

— Встретились двое. «Как живешь, как семья?» — «Хорошо. Жена у меня ангел. А у тебя?» — «Моя все еще на земле».

Сталин поглядывал на Лаврентия Павловича поощряюще, ласково. Слишком уж ласково. Спросил сочувственно:

— Товарищ Берия, как продвигается твое строительство картинной галереи?

— Галереи? Мое?

— Говорят, ты собираешь картины Рубо и строишь круговую галерею для панорамы «Бородинская битва». Чтобы рассматривать полотно в выходные дни и получать персональное удовольствие. Где строишь, в городе или на даче?

— Этого я еще не решил, — тон Сталина сбил Берию с толку, он искал соответствующую ноту, смешивая шутливость и лесть. — А вам и это уже известно! Но для чего мне целая панорама?

— Не по частям же ее… А для чего тебе кинозал на даче? Не много ли для одного? Почему «Пленение Шамиля» не в музее, а в твоем кабинете? По какому праву ты захватил отважного горца и держишь его под замком на Лубянке?

— А где же еще держать пленника?

— Шамиль кому сдался? Русской армии, русскому царю, а не министерству внутренних дел. Не твоя заслуга.

— Готов отпустить в любую минуту.

— Правильно сделаешь.

Этот мимолетный разговор в полушутливом ключе не привлек особого внимания подвыпившей компании, хотя люди здесь были многоопытные. Кое-кто призадумался, нет ли в его пользовании того, что считается достоянием общенародным? А Берия, безусловно, уловил скрытую угрозу. Мгновенно отрезвел. С лица отхлынула кровь, пухлые щеки обрели мертвенно-белый оттенок. Постепенно, незаметно переместился к краю длинного стола, подальше от Иосифа Виссарионовича, стараясь не смотреть в его сторону, А когда я случайно перехватил взгляд Берии, то содрогнулся втуне: столько ярости было к его выпуклых, обычно льдисто-холодных глазах! Бесовским багровым пламенем полыхнули они, наверно, отразился в них огонь фонарей, вспыхнувших на аллее.

19

В июле 1942 года пропал командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант А. А. Власов, тот самый, который отличился в сражении под Москвой. К разгрому этой армии, к исчезновению генерала Сталин отнесся гораздо спокойнее, чем бывало в подобных случаях. Как это объяснить? Главные события развивались тогда на юго-западном и на южном направлениях, там решался исход летней кампании, а Власов находился под Ленинградом, на участке, который оказался не первостепенным. Ну и попривык уже Сталин к глобальному измерению успехов или потерь: гибель воинских соединений или объединений не воспринимал столь болезненно, как год назад. Бывало уже, что не только сразу несколько армий, но и целый фронт доводилось исключать из состава действующих.

И раз, и другой, и третий докладывали Верховному (Василевский и Берия) о том, что с Власовым нет связи, что немцы сообщили о переходе генерала на их сторону, что есть сведения о готовности Власова

сотрудничать с гитлеровцами. Однако Иосиф Виссарионович с выводами не спешил, отделывался однообразными советами:

— Проверьте как следует… Проверьте еще раз, жив ли Власов? Не подсовывают ли нам фальшивку?

Лишь 5 октября 1942 года, примерно через три месяца после «исчезновения» генерала и через два месяца после того, как он обратился к немецкому командованию с предложением формировать воинские части из советских пленных для борьбы с жидами и комиссарами, лишь тогда у нас был издан приказ о том, чтобы числить Власова… без вести пропавшим. Всего лишь. С соответствующими последствиями для его реноме, для его родственников. (К этому приказу мы еще вернемся). Власова не проклинали ни письменно, ни устно. Ругательный накат начался с середины сорок третьего года и нарастал потом постепенно. Особенно после смерти Сталина. Много грехов списывали за счет генерала-предателя. Если сказать очень коротко, получается так: Власов сознательно завел 2-ю ударную армию в болотистые леса, позволил окружить ее и сдал немцам. Или вот обвинения несколько другого рода: не смог руководить отходом армии, растерялся, струсил, бросил войска на произвол судьбы. Версии выгодные и удобные для журналистов, для историков из числа тех, которые работают по принципу: побыстрей да перца побольше.

Нисколько не намереваясь защищать Власова, а токмо следуя правилу «не очернять и не обелять», стремясь к полной объективности, я просто не могу не сказать о том, что известно по этому делу мне. Действительно, леса в том районе, где сражалась 2-я ударная армия, огромны и труднопроходимы, болот великое множество. Но Власов в эти леса и болота армию не заводил. До него завели. Выполняя замысел Верховного Главнокомандования, 2-я ударная еще зимой включилась в большую операцию по деблокированию Ленинграда. Силенок у нас тогда не хватило, однако 2-я ударная действовала вполне успешно, продвинулась на 70 километров по направлению к Любани. Бои были упорные, потери большие, войска армии тонкой ниточкой растянулись по фронту на 140 километров, резервов никаких. А тут нагрянула весна, развезло дороги, прекратился подвоз боеприпасов, продовольствия, фуража. Стрелять было нечем. Люди варили для еды болотную траву. Несколько дней можно, конечно, прожить на мучнистых корнях иван-чая, а потом?..

Ничего не оставалось, как отходить назад, к своим. Но к этому времени армия была уже окружена, удалось пробить лишь узкий «коридор», с двух сторон простреливавшийся немцами. Через это «горлышко» и отступали остатки 2-й ударной. Такое вот чрезвычайное положение. А суть в том, что было все это не при Власове, не он «завел армию в леса и болота», а его предшественник, генерал-лейтенант Н. К. Клыков. И только 16 апреля, когда значительная часть армии уже вышла из окружения, а оставшиеся в кольце были ослаблены и находились в безнадежном положении, Клыков заболел, возникла необходимость срочно заменить его.

Спасать положение послан был заместитель командующего Волховским фронтом генерал Власов. При этом историки упускают из виду весьма существенную подробность. Прислать Власова предложил, обратившись к командующему фронтом Мерецкову, не кто иной, как политический руководитель, член Военного совета 2-й ударной армии дивизионный комиссар Иван Васильевич Зуев. Сравнительно молодой, кстати, интеллигентный человек, знавший иностранные языки, воевавший в

Испании, приятель Романа Кармена, персонаж некоторых документальных карменовских фильмов. Не просто предложил Зуев, а просил и настаивал, чтобы направили именно Власова, хотя прежде совсем не знал его. Почему такая настойчивость? Косвенный ответ можно найти, если учесть, что Зуев сам и через члена Военного совета Волховского фронта армейского комиссара 1-го ранга А. Запорожца мог связываться с Центральным Комитетом партии, мог получать указания непосредственно от Андреева и даже от Сталина.

Два месяца потом остатки 2-й ударной армии в невероятных условиях, отрезанные от своих, продолжали вести бои, сковывая немцев, просачиваясь небольшими группами на восток. 21 мая Верховный Главнокомандующий разрешил, наконец, вывести части 2-й ударной армии из окружения. Но как прорваться обессиленным войскам через плотное кольцо окружения? Бои продолжались. Лишь к 19 июня Власову удалось организовать и провести последний отчаянный и довольно удачный бросок. Вражеское кольцо было рассечено на узком участке, через эту щель вышло несколько тысяч измученных, изможденных воинов, вынесли на руках много раненых. Выбрались те, кто оказался ближе к месту прорыва, а те, кто прикрывал фланги, так и остались на своих позициях и сражались потом еще несколько дней. Среди тех, кто вышел к своим, не оказалось генерал-лейтенанта Власова и дивизионною комиссара Зуева. О них было известно лишь то, что оба до последней возможности руководили прорывом, подтягивали и проталкивали через «щель» войска.

Тем, кто поносил и поносит 2-ю ударную армию, я скажу вот что: героями были воины этой армии, несколько месяцев сражавшиеся в тылу врага в самых сложных условиях. Да, эта армия, руководимая Н. Клыковым, не смогла прорваться к Ленинграду и деблокировать его.

Ну, не получилось. Но эта армия под командованием того же Клыкова, а затем Власова, своим героическим сопротивлением, своей стойкостью, сковала большие силы противника, оттянув их от северной столицы. Фактически 2-я ударная армия, погибая, спасла Ленинград от штурма, планировавшегося немцами на весну — лето 1942 года.

Сталин понимал и соответственно оценивал ситуацию. 2-я ударная не была вычеркнута им из списков. Наоборот. Ее восстановили, и не под другим номером, а под все тем же. 2-я ударная вписала потом немало славных страниц в нашу победную историю.

А что с Власовым? Проталкивая в июне свои войска через «щель» из «котла», не смог или не захотел он, как и комиссар Зуев, уйти на «Большую землю», разделил участь тех, кто остался в кольце, в болотистых лесах. Проскитавшись двадцать дней по этим лесам и болотам он, раненный в ногу, укрылся в деревенской баньке южнее города Чудова. Местный староста сообщил о нем немцам. 11 июля фашисты взяли Власова вместе со штабной поварихой Марией Вороновой, не покинувшей любимого генерала. Впрочем есть и другие варианты пленения, отличающиеся лишь некоторыми подробностями.

Иосиф Виссарионович, значит, довольно спокойно отнесся к исчезновению Власова, хотя вообще-то на «пропажу», на переход к врагу генералов реагировал всегда болезненно. На этот раз его тревожил не столько Власов, сколько дивизионный комиссар Зуев. Справлялся о Зуеве, надеялся, что объявится. Слышал я от него пару раз: «Зуев не должен… Зуев обязан вернуться». Перестал беспокоиться лишь после того, как наши органы точно выяснили, что Зуев не у немцев.

Судьба дивизионного комиссара прояснилась со временем. Тогда, летом сорок второго он, выполнив все, что было ему поручено, отделился от той маленькой группы, которая еще оставалась с Власовым. Все уже было ясно, можно было возвращаться к своим. Зуев добрался до железной дороги, вышел на 105 километр магистрали Ленинград — Москва возле полустанка Бабино. Один. Увидел рабочих, ремонтировавших путь. Оголодал человек, попросил хлеба. Бригадир послал на полустанок своего помощника якобы за едой. А тот… привел немцев. Комиссар Зуев отстреливался из пистолета. Последнюю пулю — себе.

Мне встречаться с Иваном Васильевичем Зуевым не выпадало. Видел лишь в кинохронике Романа Кармена. Слышал, что справедливым и совестливым был, красивой наружности молодой комиссар. Мог он спастись, могли его, как, впрочем, и Власова, вывезти из вражеского тыла на самолете. Но комиссар полностью испытал на себе все то, что выпало на долю многих бойцов в его армии.

20

Сразу уж, в один заход, расскажу все, что мне известно о Власове, что думаю о нем, в чем сомневаюсь. Вскоре после разгрома немцев под Сталинградом, в конце марта или начале апреля 1943 года, в кремлевском кабинете Иосифа Виссарионовича состоялся запомнившийся разговор. В ту пору заседания Политбюро или Ставки в полном составе практически не проводились. Попробуй собери всех. Да и зачем? При Сталине постоянно находился кто-то из его ближайших соратников. Чаще всего Молотов и Ворошилов. Пореже — Берия, Калинин, Андреев, Микоян, Щербаков. Текущие дела обсуждались без промедления, в случае необходимости вызывались специалисты, наркомы-исполнители. Сразу принимались и подписывались решения.

Я в тот раз, как обычно, находился в комнате за кабинетом, где слышно было все, о чем говорилось за перегородкой. Там, кстати, хорошо было работать: справочные материалы, карты, глобус — все под рукой. Речь в кабинете шла о посевной кампании, об удобрениях, о запасных деталях для сельскохозяйственной техники. Это напрямую не касалось меня, слушал вполуха, только чтобы не пропустить чего-либо по своей части. Через приоткрытую дверь мне видно было, что Андреев и Калинин, как всегда в последнее время, сидят за длинным столом рядышком. Неразлучная пара давних друзей: одряхлевший, согбенный, с седой бородкой Михаил Иванович и крепкий, сухой, строгий Андрей Андреевич. Кроме дружбы, связывали их взаимная надобность. У Калинина настолько ослабло зрение, что очки почти не помогали, ходил с палочкой, иногда держась за рукав Андреева. А у того ухудшился слух, ему труднее других было воспринимать монотонную речь Сталина, особенно если не видел губ. Калинин крупно писал на листе, о чем говорилось. Андреев же на ухо сообщал Михаилу Ивановичу свои зрительные впечатления. Все это служило поводом для шуток. Андреев, мол, страдает от своей фонотеки, переслушал. Сталин посмеивался наедине со мной: «Ну и работнички, дом инвалидов какой-то! У Жукова голова болит от контузии, Вече заикается, и эти двое…» Но не сердито посмеивался, понимая, что и сам хорош со своей малоподвижной рукой и с физиономией, на которой, как говорится, черти горох молотили.

Мне казалось, что Андреев и Калинин, смоленский и тверской мужички, иной раз даже пользу извлекали из своих недомоганий, имея возможность сослаться на то, что не услышали, не увидели, выигрывая время, чтобы подумать. Это имело значение, так как Сталин довольно часто менял вдруг тему разговора, и требовалось осмыслить крутой поворот, попасть в новую колею. Вот и в этот раз Иосиф Виссарионович после дел сельскохозяйственных сразу повел речь… о генерале Власове. Уловив переход, я достал из кипы папок нужную, черную, и положил на край стола: могла понадобиться. В этой папке находились документы, поступавшие на Власова по ведомству Берии, они не считались особо секретными и хранились не в сейфе.

— Складывается впечатление, что немцы играют с Власовым, как кошка с мышкой, — доносился до меня голос Сталина. Власов достаточно сделал для того, чтобы пользоваться доверием немецких фашистов. Сломал свою карьеру, бросил на произвол судьбы родственников, сам предложил свои услуги.

— Еще в августе, через три недели после того, как переметнулся, — уточнил Берия. — Осмотреться не успел, в ноги кинулся, пес!

(У меня в папке сверху — листки с текстами обращений Власова к немецкому командованию, датированные августом 1942 года. «Согласен воевать против Сталина, но только если мне разрешат создать русскую армию, а не армию наемников. Она должна подчиняться русскому национальному правительству…» «Новая Россия без большевиков и капиталистов с помощью своей освободительной армии уничтожит сталинскую тиранию и заключит почетный мир с Германией»… Как-то не согласовывались такие заявления Власова с идеями Гитлера, ненавидевшего славян, русский народ, намеревавшегося навсегда разрушить Советский Союз, вообще уничтожить великое русское государство.)

— В прошлом году немцы не очень нуждались во Власове, — это голос Андреева. — Уверены были в скорой победе, не хотели делить лавры. Теперь, после Сталинграда, обстановка другая. Вынуждены считаться с Власовым. Создано руководство так называемой Русской освободительной армии.

— В какой-то мере считаются, — согласился Сталин. — Командование РОА действительно существует, но лишь как организатор вербовки военнопленных для работы на заводах, для службы во вспомогательных частях. В распоряжении Власова нет ни одного боевого батальона. Все воинские формирования из военнопленных созданы немцами по национальным признакам и входят в состав немецких войск, подчиняются только немецкому командованию, в основном по линии СС. А Власова держат наподобие свадебного генерала.

— Военная ма-ма-марионетка номер один, — это голос Молотова.

— Считаешь — марионетка? — задумчиво и с оттенком осуждения произнес Сталин. — А знаешь, Вече, не прошло еще и года с тех пор, как ты называл Власова «нашим Наполеоном»… Не возражай, я слышу, как ты скажешь: «Все течет, все меняется…» Если бы Власов был только послушной куклой в руках немцев, если бы они дергали за ниточки, как хотели, они больше доверяли бы Власову. Но при этом его авторитет упал бы и среди пленных и для самих немцев.

— Набивает себе цену.

— Одну минуту, товарищи, — Иосиф Виссарионович пошел в комнату за кабинетом, я указал ему папку на краю стола, он взял, кивком поблагодарил меня и вернулся в кабинет. На все это и впрямь потребовалось не больше минуты: — Последние сообщения. В середине февраля Власов побывал в Берлине, затем ездил по нашим прибалтийским и западным районам, временно оккупированным. Это Рига, Гатчина, Могилев, Минск, Смоленск. Выступал со своей программой. Любопытно, как отметил годовщину Красной Армии. Держал речь в смоленском театре, где, конечно, преобладали немецкие офицеры, была администрация, были прислужники фашистов. И словно бы предугадал твою реплику, Вече. Читаю его слова: «Я не марионетка Гитлера, я могу бороться против него, как и против Сталина, если это в интересах России». И еще, пожалуйста: «Кончится война, мы освободим себя от большевизма, а затем примем немцев, как дорогих гостей, в Ленинграде, которому впоследствии возвратим его исконное название». Это Власов в Гатчине заявил. Он, видите ли, как и мы, не намерен сдавать фашистам северную столицу. Потом, понимаете ли, немцев пригласит. Чтобы погостили денек-другой, и назад. — Иосиф Виссарионович сделал большую паузу, обдумывая то, что хотел сказать: — Нам известно: Гитлер очень недоволен выступлениями Власова и теперь содержит его под домашним арестом в Берлине, поручив охрану гестапо. А знаете, кто особо критикует сейчас Власова? Не угадаете, сам назову. Вы помните: когда Бухарин редактировал «Известия», был у него первый заместитель — Зыков? Конечно, помните. Он отсидел года полтора при Ежове, а потом наш умник товарищ Берия, который, оказывается, лучше всех разбирается в людях, выпустил Зыкова на волю. А тот, едва попал на фронт в звании майора, при первой же возможности зыканул к немцам, состоит теперь вроде бы политкомиссаром при Власове, глаз с генерала не спускает. Вот где она, отрыжка-то троцкистско-бухаринская. В любой форме, только бы против нас.

Не последовало никаких реплик, и Сталин, снова помолчав и успокоившись, продолжал:

— В изменившихся условиях, после поражения на Волге, фашисты будут более активно использовать военнопленных и предателей. Не грех и нам поучиться у немцев сберегать собственные силы, людские ресурсы за счет использования всех других возможностей. У нас теперь есть сдавшиеся немецкие генералы и высшие офицеры, надо максимально и в разных формах привлекать их к борьбе с гитлеризмом. Немцы ничего не теряют, используя Власова для вербовки наших военнопленных или угнанных в Германию. Но кое-что приобретают. У них теперь есть свой казачий полк.

— Там казаков — раз-два и обчелся, вставил Берия. — И командует полком немец Эдгар Томпсон, майор.

— Это только одна карательная часть. Есть батальоны и полки прибалтийские, украинские, кавказские… Товарищ Берия, вы должны в течение трех суток представить свои предложения, согласовав с Генштабом и ГлавПУРом. Доколе мы будем кормить ораву пленных, не используя их…

На этом закончили. Все разъехались. Иосиф Виссарионович, бодро державшийся на людях, сразу обмяк, вялыми стали движения, опустились плечи, померкли глаза. Такие переходы все чаще случались у него, мгновенно словно бы старел на несколько лет. На внутреннем напряжении, на силе воли держался он, много работая и мало отдыхая.

Вошел в комнату за кабинетом, положил на стол папку-досье, грузно опустился в кресло. Дав ему отдохнуть несколько минут, я сказал:

— Хорошие качества немцев — их обязательность, аккуратность, исполнительность. Однако продолжением достоинств всегда бывают недостатки. Полезная пунктуальность перерастает в махровый бюрократизм, в формализм.

— Не ново, — глухо отозвался Сталин.

— Да, не открытие… А будет ли германское командование или наше командование доверять генералу, который сдался в плен, но почему-то продолжает состоять в списках военнослужащих противоположной стороны?

— Проще, Николай Алексеевич.

— По приказу от пятого октября сорок второго года генерал Власов числится у нас без вести пропавшим, а следовательно, не считается перебежчиком, предателем. Он проходит по нашему военному ведомству, не так ли?

— Логично.

— Немцы знают об этом и не сбрасывают со счетов. Могут отнести за счет нашей безалаберности, но ведь и повод есть, чтобы числить Власова на нашей службе. Требуется определенность.

— Объявить Власова изменником и предателем? Но какая будет реакция?

— Смотря чья. У немцев не останется причин для колебаний.

— Мы посоветуемся. С Берией. И с Андреевым.

Прошло несколько дней, и 11 апреля 1943 года появился приказ, отменявший предыдущий: отныне Власов считался не пропавшим без вести, а изменником и врагом народа. Но это — лишь через девять месяцев после того, как оказался в плену, и через восемь после того, как вызвался работать на немцев. Случайность?

Апрельский приказ словно бы подстегнул Власова, развязал ему руки. Не знаю, какие сведения о его деятельности шли к Сталину от Андреева, но то, чем пополнялось досье Власова через ведомство Берии, вызывало у меня удивление: поступки и заявления Власова представлялись мне порой чрезмерно дерзкими и даже безрассудными. В мае-июне 1943 года он как-то исчез, затих, вероятно, гестапо с особым тщанием опекало его. Будущее зависело от исхода летней кампании. Судьба человечества решалась на Курско-Орловской дуге. Добьются фашисты успеха — игры с Русской освободительной армией отойдут на второй план, от услуг амбициозного генерала можно отказаться, отправив его в концлагерь. Найдутся другие, хоть и менее авторитетные, зато более покладистые. Но осторожные немцы не торопились. И после разгрома под Курском и Орлом всерьез осознали, что РОА может стать если и не очень надежным, то достаточно весомым фактором в той игре, которую фашисты явно проигрывали. Отношение к Власову изменилось, его позиции укрепились. Он становился общепризнанным лидером тех, кто готов был сражаться «за Россию без Сталина и без большевиков». И, как подразумевалось, без Гитлера в ней. Повторяя эту формулировку, Власов вроде бы сам раскачивал перетирающуюся нить, на которой висел дамоклов меч над его головой. С обоюдоострым лезвием. В городе Луга при большом скоплении народа генерал задал собравшимся вопрос:

«Хотите стать рабами немцев?» Ему, естественно, ответили: «Нет!» — «И я тоже, — продолжал он. — Немецкий народ поможет нам освободить

Россию, как наш народ освободил Германию от Наполеона. Остальное довершим сами».

В досье на Власова появились новые документы, требовавшие осмысления. В Минске, в Осинторфе, где дислоцировались подразделения из военнопленных, русские офицеры по пьянке говорили о том, что их цель — создать двухмиллионную русскую армию, вооружить ее, и тогда «плевать на немцев, сами восстановим великую державу». Причем толковали об этом не столько те, кто пришел к Власову из плена, сколько бывшие белогвардейцы, стекавшиеся теперь со всего света под знамена РОА.

Или вот сообщение о том, как среди голодных, измученных людей в концлагерях вербуют так называемых добровольцев. Является в барак офицер-инструктор с власовской эмблемой на рукаве и начинает доверительный разговор: «Вы, доходяги, передохнете здесь от тяжелой работы, от болезней и голодухи. Без всякой пользы. А мы куда вас зовем? Организуемся, вооружимся, получим участок фронта, а там уж сами хозяева. А не дадут нам отдельный участок, пошлют вместе с немцами, все равно у каждого будет два выхода. Рвани вперед, да фрица с собой прихвати, вот и заслуга перед своими…» Такая агитация действовала, хотя вообще военнопленные шли в РОА неохотно. Кому-то не позволяли гордость и честь, кто-то опасался подвоха.

Немцы сквозь пальцы смотрели на рискованную самодеятельность власовских вербовщиков. Важно, чтобы пленный качнулся, клюнул на приманку, а потом будет еще соответствующий отбор. Кого-то на военный завод, кого-то в воинское подразделение. Оружие доверяли наиболее надежным, чаще всего перебежчикам-юберлейтерам, которые еще при переходе линии фронта получили от немецкого военного командования синий билет — удостоверение, пользовались в лагерях различными привилегиями. Однако немцам все острее не хватало рабочих рук, не хватало солдат и на фронте, и во вспомогательных войсках. Тотальная мобилизация помогла залатать лишь большие дыры, а мелкие прорехи приходилось штопать, не брезгуя побочными материалами.

Крепла связь Власова с такими крупнейшими бонзами Третьего рейха, как Геббельс и Гиммлер — с родственницей последнего дошло до интимных отношений. Если бонзы и не верили полностью генералу, то понимали, что назад ему пути нет ни при каких обстоятельствах, он стал заложником сотен тысяч предательств, принял на себя грехи отступников, объединив разноликое антисоветское движение в Германии своим именем. Только Гитлер с его болезненно-обостренной ненавистью к славянам — только он продолжал интуитивно чувствовать в русском генерале непримиримого врага, воспринимал как оскорбление и угрозу попытки Власова усилить свою армию, отвергал все предложения о смягчении режима на оккупированной территории и в лагерях для советских военнопленных. Воистину фанатик и кумир своего народа. А фанатики добиваются больших успехов, но лишь до тех пор, пока их деяния не входят в несовместимое противостояние с интересами других, более сильных личностей, более сильных народов.

Даже после крупных поражений и потерь Адольф Гитлер во второй половине сорок третьего года, не посчитавшись с рекомендациями генералитета и ближайших соратников, подтвердил свое решение: в составе германских вооруженных сил РОА как оперативное объединение не существует, это всего лишь пропагандистская организационно-

мобилизационная структура с ограниченными возможностями. Как ни тяжело было немцам на Восточном фронте, Гитлер приказал снять оттуда все национальные части, так или иначе тяготевшие к РОА, считая их ненадежными. Перебросили на Запад, в том числе в Италию и Францию. Там они воевали не против «своих», а против неизвестных им местных партизан и держались достаточно стойко. А Власов со своим штабом так и оставался генералом без войск, «голым королем», не способным влиять на фронтовые события.

21

В истории вообще многое зыбко, особенно в истории XVIII–XX веков, когда и людей на земле стало много, и событий, соответственно, тоже, когда господствовать стали не цари и полководцы, способные предупреждать «иду на вы», а политиканы, в борьбе за власть готовые на любую подлость: особенно относится это к веку, завершающему наше тысячелетие. Слова, заявления политиков надобно зачастую понимать в противоположном смысле, а уж официальные документы, составленные с изощренным правдоподобием, тем паче. Я вот до сих пор не могу понять, был ли Андрей Андреевич Власов трусливым изменником или человеком, принявшим тяжкий крест во благо Отечества.

Люди склонны конкретизировать, упрощать, персонифицировать сложные события и явления, стремясь к четким символам. Для лучшего понимания и запоминания. Петр Первый и Иосиф Сталин — символы борьбы за расширение и укрепление нашей державы. В противовес хотя бы Борису Годунову и Льву Троцкому, с коими связано уничтожение народа, разложение государственности, беспорядок, обнищание, продажничество иностранцам. Ярлык наклеен — не отдерешь. Так и Власов в годы войны и после нее стал воплощением предательства, хотя основания для этого не бесспорны.

Столкнется наша часть в бою с противником, у которого форма вроде бы не совсем немецкая, команды знакомые, русские, матерятся не хуже наших, ну, значит, власовцы. Хотя это могло быть литовское, эстонское, азербайджанское или какое-то иное формирование. Всех власовцами считали, поэтому их много казалось. А на деле не совсем так. Лишь осенью 1944 года, когда вся территория Советского Союза была уже освобождена, когда сражения шли в Польше, Венгрии и Чехословакии, когда угроза гибели нависла непосредственно над Третьим рейхом, немцы решились наконец создан, Комитет освобождения народов России (КОНР) под руководством Власова. И позволили ему формировать боевые воинские соединения.

16 сентября на встрече Власова с рейхсфюрером Гиммлером были оговорены условия и подробности. Русская освободительная армия — составная часть немецких войск СС, то есть подчиняется тому же Гиммлеру и его «правой руке» Кальтенбруннеру. Задача РОА — борьба со сталинским режимом за освобождение России от жидов и коммунистов. Границы страны в пределах 1939 года, то есть без Прибалтики, без Западной Белоруссии и Западной Украины, без Бессарабии. Крым отходит к Германии, как важная стратегическая позиция и прекрасный курортный район, госпитально-лечебная зона. Все нерусские народы получают широкую автономию (на формулировку о суверенитете и независимости республик Власов не согласился, и Гиммлер не настаивал, не та была

обстановка). Власова повысили в звании, он стал генерал-полковником. Сбылось то, к чему он стремился, находясь два года у немцев: обрел политическое влиянии и реальную военную силу. Когда обо всем этом было доложено Сталину, тот задал несколько уточняющих вопросов и долго, очень долго мерил шагами кабинет, размышляя. Потом сказал:

— Поздно, Андрей Андреевич. Слишком поздно.

К кому обращался Иосиф Виссарионович, чье имя и отчество произнес: верного соратника Андреева, находившегося рядом, или далекого генерала Власова? Возможно, имел в виду и того, и другого. «Словам тесно, а мыслям просторно» — это говорено было не о Сталине, но полностью относится к его манере коротко и четко выражать мысли. Причем с возрастом фразы его делались все короче, а формулировки точнее, объемнее. Из того, что он произнес тогда, Андреев должен был понять: отпала необходимость каким-либо образом использовать Власова и его движение. Война практически выиграна, дорога к победе прямая, и больше нет надобности искать обходные пути и тропинки. Генерал остался на обочине.

Хорошо зная Сталина, из той памятной фразы я уяснил, что Власову вынесен приговор, окончательно определяющий статус предателя, изменника, с соответствующей расплатой за это. Впрочем, любой добровольный участник тайных сражений знает, что в случае неудачи ему не следует ждать открытой помощи от своих. А тут случай был особо болезненный. Власов стал фигурой слишком уж известной и одиозной, не просто генералом-предателем, а своего рода символом борьбы против Советской власти, против Сталина, против жидов и большевиков. Конечно, в движении, которое он возглавлял, были очень разные люди, и слабовольные, и обманутые, и запуганные, но много было и сознательных, злобных врагов России, Советского Союза, народа. Когда-то и кем-то обиженные, они затаили лютую ненависть и теперь выплескивали ее. Особенно бывшие уголовники, убийцы, грабители, потерявшие человеческий облик. Эти охотно шли в каратели, вместе с эсэсовцами уничтожали населенные пункты, расстреливали мирных жителей, издевались над пленными. По их мерзким деяниям и судили о власовцах.

После войны можно будет разобраться, определить вину каждого, кого-то поставить к стенке, кого-то отправить в лагерь или отпустить домой, но позорное клеймо, вызывавшее народное негодование, смыть было невозможно. И прежде всего с тех, кто организовывал и возглавлял власовское движение. Если у этого движения и имелась какая-то оправдывающая подоплека, то показать ее не решился бы никто, даже сам Сталин. Это означало бы, что десятки, сотни тысяч людей были введены в заблуждение, что принятые муки и огромные жертвы предусматривались и допускались заранее. Это было страшно и для тех, кто пострадал от власовцев, и для тех, кто вольно или невольно носил форму Русской освободительной армии. Сколько людей убило бы морально и даже физически подобное откровение! Но таких откровений в большой политике, как правило, не бывает. А деятели, которые, повторяю, играют в эти игры, заранее знают, на что они могут рассчитывать.

Никаких новых указаний Верховный Главнокомандующий не дал, наши органы в прежнем режиме продолжали наблюдать за РОА, за национальными формированиями по ту сторону фронта. Составлялись сводки, но Иосиф Виссарионович уже не проявлял к ним интереса. За исключением нескольких случаев. В конце января 1945 года его внимание

привлекли сведения гитлеровского министерства по делам восточных территорий, добытые нашей разведкой. Впервые получили мы тогда исчерпывающие и не вызывавшие сомнений данные, числившиеся у немцев под грифом «совершенно секретно». В национальных воинских частях в тот период гитлеровцам служили: латыши — 104000 (почти половина из них в войсках СС); литовцы — 36800; азербайджанцы — 36500; татары — 20500; грузины — 19000; народы Северного Кавказа — 15000; крымские татары 10000; эстонцы — 10000; армяне — 7000; калмыки — 5000.

Бросался в глаза высокий процент прибалтов. Сталин карандашом подчеркнул грузин: тоже, наверно, показалось многовато. Русские, украинцы, белорусы объединены были в одном пункте и далее именовались как «русские». Всего 310000 человек, служивших немцам в различных военных, карательных, вспомогательных формированиях. Они могли быть, по мнению авторов документа, включены в состав РОА. Столько, значит, имелось более-менее благонадежных. Однако, как стало известно позже, Власов не использовал все потенциальные возможности. Или не успел, или немцы его ограничивали.

Реальность такова. К сорок пятому году на территории Германии была сформирована 1-я дивизия, числившаяся у немцев как 600-я русская пехотная дивизия. Достаточно сильная, насчитывавшая 20000 солдат и офицеров. Костяком ее служили славянские подразделения, прежде входившие в состав немецких эсэсовских частей. И шесть батальонов, созданных еще в 1942 году, несших ранее службу на Украине, в Белоруссии, в Польше. Командовал этой дивизией полковник С. Буняченко, о котором было известно, что он смел, напорист и «себе на уме».

2-я дивизия РОА, или 650-я русская пехотная дивизия, была послабее, насчитывала 12000 человек, командовал ею генерал-майор Г. Зверев. Кроме того, Власов имел запасную бригаду, офицерскую школу, строительно-саперные батальоны. А в феврале начал даже создавать свою авиацию, рассчитывая сформировать по меньшей мере смешанный авиаполк. Но ни времени, ни техники не было уже для этой затеи.

Если раньше немцы затягивали сколачивание и вооружение дивизий РОА, то когда пушки загрохотали на Одере, поспешили вытолкнуть власовцев на фронт, прикрыть хоть какую-то брешь. Полковник Буняченко получил приказ из Берлина: быстро выдвинуться к реке, контратаковать и отбросить прорвавшихся русских. Подставляли под дробящий удар. Но кому охота губить себя за немцев, да еще без надежды на успех! По словам очевидцев, полковник Буняченко, ознакомившись с приказом, произнес флегматично: «Быстро робят — слепых родят», — и затеял переговоры с фашистским командованием, доказывая, что подчиняется непосредственно генералу Власову, будет выполнять только его распоряжения. И умудрился доказывать двое суток. Немцы, привычные к субординации, вынуждены были согласиться. Связались со штабом Власова. Тот, в свою очередь, напомнил Буняченко, что приказы существуют для того, чтобы их выполнять, но выполнять можно по-разному.

13 апреля полковник Буняченко вывел свою дивизию в указанный ему район. Головные подразделения завязали перестрелку с русскими и даже инсценировали атаку. Но едва стычки начали перерастать в настоящий бой, Буняченко бросил позиции, свернул свои части в походные колонны и направил их на юг, в сторону Чехословакии, куда уже перебрался Власов

со штабом и остальными войсками РОА. Немецкое командование пыталось вернуть дивизию Буняченко на фронт, грозило расстрелом и полковнику, и самому генералу Власову. Не подействовало. А остановить дивизию силой фашисты не решились. Кто смог бы: юнцы из гитлерюгенда, старики-фольксштурмисты, недолечившиеся раненые?! А у Буняченко — опытные вояки, бывалые головорезы, откормившиеся на немецких харчах. Они сумели бы постоять за себя.

Так получилось, что в самом конце войны в руках Власова оказалась хорошо организованная, хорошо вооруженная и подготовленная сила, способная в какой-то мере влиять на события. И находилась она как раз в тех районах, где гитлеровцы имели свою последнюю крупную группировку. В Чехословакии генерал-фельдмаршал Шернер объединил более миллиона немцев из отступивших туда групп армий «Центр» и «Австрия». При двух примерно тысячах танков. Всю эту массу Шернер рассчитывал вывести из-под ударов советских войск, чтобы сдать американцам. Три наших фронта (1-й, 2-й и 4-й Украинский) не только преследовали врага, но и старались окружить, расколоть, ликвидировать группировку Шернера, неся, естественно, значительные потери. Всегда обидно и горько терять людей, а уж тем более, если война фактически завершалась, судьба Берлина была решена. В этот момент, перед самым началом Пражской операции, генерал Власов связался по телеграфу со штабом 1-го Украинского фронта и передал маршалу Коневу предложение: «Могу ударить в тыл пражской группировке немцев. При условии — прощение мне и моим людям…» Осторожный Иван Степанович сам, конечно, не стал принимать решения, а срочно связался с Генштабом. Доложили Иосифу Виссарионовичу. Тот был занят другими заботами и только рукой махнул: «Сколько лет Коневу? Не может без няньки?!» Так что Конев четкого, снимающего ответственность указания не получил и, насколько я знаю, в свою очередь, оставил телеграмму Власова без ответа, будто ее и не было. Кровопролитные бои продолжались.

Между тем 4 мая чехи, узнав о том, что Берлин пал, а к Праге приближаются советские войска, впервые с начала мировой войны всерьез взялись за оружие и решили «освободить» сами себя. В Праге поднялась стрельба. Однако немцы были еще сильны, особенно эсэсовский гарнизон. Восставшие, казалось, были обречены. Но как раз в это время через чешскую столицу должна была пройти 1-я дивизия Буняченко, спешившая укрыться под крылом американцев. Не знаю, в силу ли необходимости или не разобравшись в обстановке, или желая помочь чехам, — власовцы нанесли сильнейший удар по фашистам.

Представляете, какая неразбериха царила на улицах Праги! Чехи, слыша русскую речь, приняли власовцев за советских воинов. Немцы, видя знакомую, почти как у них, форму, не сразу сообразили, кто их атакует и что надо делать.[70] Заварушка вышла изрядная, в конечном счете сыгравшая на руку чехам. Дивизия Буняченко пробилась через город и ушла на юг. Немцы были ослаблены и частично деморализованы. Благодаря этому чехам удалось продержаться в Праге до подхода спасительной лавины советских танков.

История с генералом Власовым началась туманно и завершилась расплывчато. Есть детали, которые заставляют крепко задуматься. Состоял при Власове некто Ю. С. Жеребков, приставленный немцами. Как консультант и советник. Из белоэмигрантов. Странный хотя бы тем, что пользовался доверием не только фашистов, но и руководства

антисоветского НТС (народно-трудового союза), именно той его части, которая ориентировалась на англо-американцев. Этот Жеребков в апреле сорок пятого, когда финал не вызывал сомнений, предложил Власову вылететь с ним в Испанию, отсидеться там, чтобы потом продолжить борьбу против Советского Союза под другими знаменами. Самолет имелся, в Испании готовы были принять и укрыть их.

Жеребков действительно улетел и потом, насколько я знаю, активно сотрудничал с американцами. А Власов наотрез отказался. Значит, на что-то надеялся?!

Была у Власова полная возможность сдаться не нам, а нашим тогдашним союзникам, как это сделали многие, почти все его соратники. Выдали бы потом генерала нам или нет — это еще вопрос. Если утопающий за соломинку хватается, то для Власова сдача американцам могла стать не соломинкой, а спасательным кругом. Ведь многие власовцы уцелели, даже создали в США некий «Союз борьбы за освобождение народов России». Но генерал сдался не американцам, а русским. Предпочел советскую тюрьму заокеанской свободе?! Или опять же какая-то надежда, вера во что-то не оставляли его?

Следствие по делу Власова длилось долго. Слишком, пожалуй, долго, что вызывало недовольство людей, пострадавших от предателей, и тех, кто еще недавно боролся с изменниками, карателями на фронте, на оккупированной территории. Всяких там бургомистров, полицаев, офицеров РОА расстреливали, а самую верхушку никак не могли отрубить. Берия не проявлял инициативы, ожидая прямого или косвенного указания от «хозяина». Хотя бы какого-то жеста. Но Сталин будто забыл о Власове, не упоминал о нем. По крайней мере, при мне. Лишь 2 августа 1946 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила А. А. Власова и его ближайших помощников к смертной казни через повешение. И было объявлено, что приговор приведен в исполнение немедленно, на Лубянке, в тот же день.

22

28 июля 1942 года Сталин подписал приказ № 227.[71] Он не был секретным: какой уж секрет, если его зачитывали перед строем во всех ротах, эскадронах, батареях, на кораблях и в эскадрильях, во всех подразделениях, ведущих боевые действия. Приказ шел под грифом «Без публикации», в войсках его знали не по номеру, а по самородившемуся названию «Ни шагу назад!». Знали все, но говорили об этом приказе мало, он словно бы завораживал своей жестокой правдой, резкой суровой требовательностью. Он повлиял на ход событий сильнее многих других приказов Верховного Главнокомандующего, его держали в памяти солдаты и офицеры до самого конца войны. Закономерный и очень своевременный был приказ. И лишь много лет спустя подняли вокруг него истошный вой и визг всевозможные платные и бесплатные очернители, очумевшие от вседозволенности любители сенсаций, для которых безразлично, на чем заработать, лишь бы заработать капиталец, и не важно в каком виде: хоть политическим, хоть сухим пайком — сребренниками или в валюте. При этом и особых трудов не требовалось. Зачем рыться в архивах, искать какие-то факты, сопоставлять, изучать, когда есть известный документ, который остается только препарировать, умело процитировать и снабдить своими комментариями, гневно осуждая

деспота Сталина, его окружение, социальный строй и вообще всё, что заблагорассудится.

Созданы были по приказу «Ни шагу назад!» заградительные отряды? Да, созданы. Введены были штрафные батальоны и штрафные роты? Да, введены. Вот он каков, этот кровавый диктатор, безжалостно губивший тела и души. Прочитайте строки из его приказа, сразу волосы дыбом встанут, сами поймете-разберетесь, каким зверюгой был Верховный Главнокомандующий. Вот и мне хочется разобраться, копнуть поглубже, еще раз дать отпор поверхностным крикунам, злопыхателям и сознательным осквернителям вашей истории.

Читатель убедился, что я не скрываю просчетов Сталина, даже более того, пишу о его ошибках, которые не были известны, которых не касались историки. Осуждаю некоторые решения и поступки Иосифа Виссарионовича. Но справедливость прежде всего. Нельзя же в самом деле сваливать все грехи на тех, кто был до тебя, и дурманить народ: ищите, мол, в прошлом истоки всех нынешних бед. До нас были плохие, а мы хорошие… Итак, конкретный случай — пресловутый приказ № 227 — излюбленный аргумент антисоветской, антисталинской пропаганды.

Начнем с того, что заградительные отряды — не выдумка Сталина или Жукова. Такого рода формирования имелись во многих армиях, в том числе и у Наполеона. А в нашей стране первым взялся за создание подобных отрядов Троцкий. Еще в 1919 году. Сторонники Льва Давидовича замалчивали и замалчивают этот факт. Так я напомню хотя бы один не очень известный, правда, документ — приказ Предреввоенсовета Троцкого № 213 от 9 мая 1920 года по комиссарскому и командному составу Западного фронта. Пункт VII этого приказа гласит:

«Организация заградительных отрядов представляет собой одну из важнейших задач командиров и комиссаров. Каждое крупное воинское соединение должно иметь за своей спиной хотя бы тонкую, но прочную и надежную сетку заградительных отрядов, умело и централизованно управляемых в соответствии с оперативными заданиями данного воинского соединения… Молодой солдат, пытающийся вырваться из огня, в который попал впервые, должен встретить твердую руку, которая властно возвращает его назад с предупреждением о суровой каре всем нарушителям боевого долга. Удирающий шкурник должен наткнуться на револьвер или напороться на штык…»

Эмоционально, убедительно излагал Лев Давидович, этого у него не отнимешь. Однако созданные по его указанию заградительные отряды просуществовали недолго и были отменены сразу после гражданской войны. Уместно сказать и о том, что гитлеровцы опередили нас, сформировав специальные отряды, как только начали терпеть поражение под Москвой. Поставили эти отряды позади своих дивизий с приказом расстреливать на месте паникеров при попытке самовольно покинуть позиции или при попытке сдаться в плен. Не обошлось при этом без изуверской немецко-фашистской подоплеки: отряды создавались из подонков, из уголовников, которым нечего было терять. И, увы, из предателей, которые переметнулись из Красной Армии к врагу. Брали, конечно, с большим разбором, отдавая предпочтение националистам из крымских татар, из чеченцев, таивших недружелюбие к России с давнего времени. Немецкий солдат оказывался между двух огней: впереди — наступающие советские войска, а за спиной — бандиты-каратели. Вот и держали немцы свои позиции до последней возможности, как это было в

Холме и во многих других местах. В крайнем случае предпочитали сдаться русским, чем иметь дело с заградотрядниками.

Теперь о штрафных ротах, которые вводились у нас в каждой армии для рядового и сержантского состава и об офицерских штрафных батальонах в масштабе каждого фронта. В этом тоже не было особого новшества, разве что в наименовании. Дисциплинарные батальоны были, есть и будут в вооруженных силах всех крупных государств. Для дезертиров, для лиц, совершивших различные воинские преступления. А штрафные роты и батальоны — это те же дисциплинарные формирования, только в военное время, с более жестким режимом, с возможностью искупить вину кровью в бою. И опять же фашисты опередили нас, бросив в сражение штрафников еще под Москвой. Они вместе с заградительными отрядами приостановили бегство немецких войск. Мы учли этот вражеский опыт и использовали его, когда возникла крайняя необходимость. Жизнь заставила.

Крах надежд, разочарование и уныние принес нам июль сорок второго года. Разгром в Крыму, потеря Керчи и Севастополя. Большое поражение в районе Харькова, обескровившее наши войска на южном крыле, поглотившее значительную часть наших стратегических резервов, особенно танковых. Немцы наносят удар за ударом, фронт раздроблен от Воронежа до Кавказа, вражеская лавина достигла Дона, там уж и до Волги рукой подать. Не обойтись нам без крутых мер. А непосредственным толчком для появления приказа № 227 послужило оставление нескольких крупных городов войсками, которыми командовал генерал Р. Я. Малиновский. И полководец он одаренный, и немцы там не имели подавляющего превосходства, но сказалась общая обстановка, утрата уверенности. Все, дескать, отходят, бегут, и мы не удержимся.

Цитирую документ. «Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором». И это в такое время, когда страна потеряла значительную часть территории с населением более 70 миллионов человек, когда каждый клочок утраченной нами земли усиливал врага и ослаблял нашу оборону. Отступать далее — значит загубить себя и загубить нашу Родину. «Нельзя терпеть дальше, когда командиры… допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу…» «Паникеры и трусы должны истребляться на месте… Ни шагу назад без приказа командования!.. Командиры, отступающие с боевых позиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины».

О чем речь-то идет? О верности присяге, об исполнении воинского долга, о строгом соблюдении дисциплины в трудные дни войны, когда судьба страны висела на волоске. Остановить, в крайнем случае, застрелить бегущего с поля боя труса вообще должен любой командир, любой воин, а для заградотрядов это вменялось в обязанность. И не только такое крайнее средство, задачи заградительным отрядам ставились более широкие и значительно отличавшиеся от тех, которые были у немцев. Наши отряды создавались не для устрашения, а для стабилизации положения там, где оно становилось безнадежным, для спасения слабых духом, необстрелянных бойцов. Это ложь, что заградотряды формировались из войск НКВД. По приказу № 227 в отряды направлялись только солдаты и офицеры полевых, стрелковых частей, и

не все подряд, а побывавшие в боях, награжденные орденами, медалями или вылечившиеся после ранения. Испытанные огнем, знавшие, почем фунт лиха. Они должны были останавливать отступающие в беспорядке подразделения, собирать рассеянных по степям солдат и офицеров, потерявших свои части, отправлять их на формировочные пункты. А при появлении врага стоять насмерть, не пропускать прорвавшихся немцев в наши тылы. Это было не менее важно, а может, и более важно для заградотрядов, чем все остальное. Немногочисленные, но закаленные воины заградительных отрядов принимали на себя удар наступающих фашистов там, где им некому было противостоять, где бессильны были наши разбитые, деморализованные полки. Но вот об этой роли заградотрядов неутомимые критиканы вообще умалчивают. Воистину: потрясения и беспорядки, а не организованность, законность и дисциплина потребны всегда врагам нашей русской державности!

Конечно, документ такого масштаба, как приказ или директива Наркома обороны, Верховного Главнокомандующего — это обобщенное руководство к действию. Практическое применение такого документа во многом зависит от исполнителей, от их должности, характера, ума, национальности, порядочности. Жуков, к примеру, как и многие другие наши военачальники, расценивал приказ «Ни шагу назад!» с точки зрения усиления боевой стойкости войск. Берия видел другое: необходимость более активно искать виновных, быстрее и жестче карать их, используя прямолинейную, но приносившую видимые результаты тактику: «великий, и мудрый решил — верный слуга первым выполнил и доложил». Причем доложил не вообще, но о конкретных фактах. А поскольку в приказе № 227 назван был Южный фронт, Берия сразу сообразил, кого надо «брать за жабры». Не мелкую рыбешку, а командующего этим фронтом генерала Р. Я. Малиновского и члена Военного Совета дивизионного комиссара И. И. Ларина. Тем более, что и обстановка была самая подходящая: оба уже отстранены от должности и вызваны в Ставку. Не хвалить же их вызвал Сталин, не награды вручать.

До Москвы генерал и комиссар летели в попутной транспортной машине, не приспособленной для перевозки пассажиров. Было очень холодно. Пустой самолет то проваливался в воздушные ямы, то подскакивал вверх. Болтанка была такая, что у богатыря Малиновского, обладавшего железным здоровьем, началась мучительная рвота. А может, от переживаний, от нервного перенапряжения.

Всегда при вызове в Ставку или в ЦК партии высокопоставленных лиц к этому делу автоматически подключалось соответствующее обслуживающее подразделение: встречающие обеспечивали автомашину, гостиницу, питание и вообще все, что полагалось по чину. А в этот раз Малиновского и Ларина никто не встретил на Центральном аэродроме. Была ночь. Продрогшие, они добрались до дежурного. Тот сообщил, что есть устное распоряжение: прибывшим ждать в комнате отдыха. От себя добавил: имеется кипяток и можно подремать в креслах. Но не до сна им было, мучили дурные предчувствия. В эти минуты действительно их судьба решалась в Кремле.

Начальник Генерального штаба Василевский закончил итоговый суточный доклад, который уж раз отметив, что противник быстро продвигается на Северный Кавказ и в большой излучине Дона. Положение там вызывало нарастающую тревогу. В кабинете Сталина находились несколько членов Политбюро. Берия сказал:

— Прилетели Малиновский и Ларин… Судить их, или без суда, по приказу «Ни шагу назад»?

— В любом случае объявить в войсках, — внес предложение Маленков. — В назидание другим. Чтобы знали: приказ распространяется на всех, без должностей и званий.

— Твое мнение? — повернулся Иосиф Виссарионович к Молотову.

— Если наказывать, то каждого своей порцией. В порядке очередности поражений. Тимошенко за Барвенково, Голикова за Брянский фронт. А над ними не капает. И над Мехлисом тоже за его крымские подвиги.

— Мехлис понижен, — возразил Сталин.

— А Малиновский чем хуже? Он, кстати, держал свой участок дольше всех названных, пока немцы на его оперативные тылы не вышли.

— Сила солому ломит, — поглаживая седой клинышек бороды, негромко произнес Калинин.

— Кому нужны соломенные генералы! — это Берия.

— Соломенные? — переспросил Сталин. — Товарищ Василевский, а вы считаете Малиновского соломенным генералом, слабым генералом?

— Нет, не считаю. Положение Южного фронта было чрезвычайно трудным.

— Где Малиновский?

— Он и комиссар на Центральном аэродроме.

Сталин понимающе глянул на Берию, нахмурился.

— Торопишься… Пусть через сорок минут будут здесь.

Когда Малиновский и Ларин предстали перед Верховным, вид у них был не ахти какой, особенно у дивизионного комиссара. Форма помятая, на рукаве кителя маслянистое пятно. Бледен был комиссар, впервые оказавшийся в этом кабинете, и не по приятному случаю. Малиновский держался лучше, спокойнее. Но и его на несколько мгновений ошеломил вопрос Сталина:

— Зачем вы развалили фронт?

Не знаю, случайно ли Иосиф Виссарионович путал иногда слова, или поступал преднамеренно, загоняя собеседника в тупик, словно бы заранее обвиняя его. «Почему развалили фронт» или «как развалили» — это одно. А «зачем» — совсем другой смысл. Но Малиновский не дрогнул, быстро собрался с мыслями и вроде бы даже осерчал.

— Фронт не развален. Войска потерпели поражение…

— Войска бегут.

— Основные силы отходят с боями.

— Кто виноват? — приподнялся в кресле Берия, но Сталин взглядом указал: сиди! И опять к Малиновскому:

— Почему фашисты разгромили ваш фронт?

— Немцы бросили на нас все, что освободилось в Крыму.

— Нам понятны причины, товарищ Малиновский. А вот вы и комиссар еще не разобрались, не осознали своих ошибок. Подумайте, сделайте выводы. Пока все, — резко закончил Сталин.

Двое суток потом генерал и комиссар пребывали в полном неведении о своей участи, безвылазно находились в гостинице фактически под домашним арестом. Ждали телефонного звонка сверху. И те, кто «охранял» их, тоже ожидали указаний, но по своему ведомству. Старый солдат Малиновский, привычный ко всяким передрягам, использовал выпавший отдых для укрепления сил: хорошо ел и много спал. В запас, на всякий случай. У Ларина слабей были нервы, мучился неизвестностью,

переживал, изнуряясь бессонницей. За считанные часы поседела его голова.

Не берусь судить, что предпринимал в эти двое суток Берия, но мы, военные, сделали все, что смогли, чтобы спасти своих товарищей от показательной расправы. Знаю, что Василевский связывался по этому поводу с Жуковым, с Шапошниковым. В свою очередь Борис Михайлович позвонил мне:

— Николай Алексеевич, вы ведь знаете, что Малиновский военачальник милостью божьей, нельзя отдавать его на заклание. Я теперь занимаюсь этим. Прошу, голубчик, озаботьтесь, придумайте что-нибудь, повлияйте.

Как я мог повлиять, если меня не спрашивали? На мои доводы Сталин мог бы резонно ответить: «Николай Алексеевич, вы же не бывали на Южном фронте, не знаете, что там произошло». Однако, поразмыслив, я нашел, как мне казалось, ход, который мог подействовать на Иосифа Виссарионовича. Он прямолинеен, он упрям, переубедить его нелегко. А вот отвлечь, открыть перед ним какой-то неожиданный поворот, особенно если с юмором, вполне возможно. Ему это даже нравилось: под настроение, разумеется. Написал я небольшую характеристику (справку) на Малиновского. Когда родился, где служил, где воевал, и все, что положено в таких случаях. Особо выделил летние события сорок первого года, когда Малиновский умело командовал в Бессарабии 28-м стрелковым корпусом, сражался за Кишинев. Тогда корпус Малиновского вместе с кавкорпусом Белова являли собой ту самую «пожарную команду», которая не раз спасала положение на нашем южном крыле. И 6-й армией Малиновский потом неплохо командовал, и возглавляемый им Южный фронт не раз отличался в зимне-весенних боях.

Зная, что Сталин внимательно читает каждый документ, я вставил в характеристику несколько фраз, на которых он не мог не задержаться. Упомянул о том, что во время Первой мировой войны пулеметчик Малиновский входил в состав Русского экспедиционного корпуса, который был отправлен морем во Францию на помощь союзникам, что этот корпус не только отличился в боях, но и внес заметный вклад в укрепление обмельчавшей французской нации.

— Как это понимать? — спросил Иосиф Виссарионович, обнаруживший у себя на столе справку-характеристику с моей подписью. — Какой вклад?

— В экспедиционный корпус собрали красавцев-богатырей, не ниже метра восьмидесяти. Немцам в плен не сдавались, а вот перед экспансивными француженками богатыри наши устоять не могли.

— Атаковали? — улыбнулся Сталин.

— Еще как! Своих мужчин по военному времени мало было, да и закваска у француза не та. А тут такая гвардия! Где корпус стоял, там втрое рождаемость увеличилась. Светловолосые крепыши.

— Это Малиновский вам рассказывал? Он что, тоже след там оставил? Крепышей…

— Насчет следа не знаю, а рассказывал мне генерал Игнатьев Алексей Алексеевич, он ведь был тогда нашим военным представителем во Франции, — напомнил я.

— Ему, конечно, известно, — большим и указательным пальцами Иосиф Виссарионович расправил прокуренные усы. — Чем занимается сейчас наш граф?

— В основном работает с Шапошниковым над новыми уставами.

— Это правильно. Это поможет сохранить лучшие традиции русской армии. И обогатит их опытом современной войны… А этот Малиновский… Этот интернационалист вместе с комиссаром пусть является в двадцать один тридцать, — в голосе Сталина прозвучали жесткие нотки. Но если назначил встречу, это уже хорошо. А он продолжал: — Дадим возможность восстановить репутацию. И строго предупредим: если не оправдают доверия — пусть пеняют на самих себя.

23

Без хронологии — о судьбе генерала Малиновского и дивизионного комиссара Ларина, попавших под приказ № 227, об их особом, малоизвестном вкладе в Сталинградскую эпопею. И не только о них.

Если осенью сорок первого года внимание всего мира было приковано к Москве, где решалось будущее человечества, то год спустя по всему земному шару разнеслись слова «Волга» и «Сталинград», ибо там происходили теперь важнейшие исторические события. Город, конечно, имел большое значение как промышленный центр, как транспортный узел, связывавший, в частности, срединную Россию с южными нефтеносными районами, как стратегический пункт. И ко всему прочему — чье имя-то носил он! Немцам не удалось захватить город Ленина, не смогли они взять Москву, и теперь им особенно хотелось отвоевать крепость на Волге, город-символ. Падение Сталинграда подорвет авторитет советского вождя, повлияет на политическую обстановку, подтолкнет Турцию и Японию к решительным действиям против СССР. Ну и, конечно, в борьбе за престиж столкнулись два твердых характера, уперлись лоб в лоб, готовые отстаивать каждый свое любой ценой. Весь мир, затаив дыхание, следил за сражением на великой русской реке, которое, увы, складывалось в пользу немецких фашистов, их румынских и итальянских союзников. На задний план отодвинулись все другие события, происходившие где-то на третьестепенных участках мировой войны. В Северной Африке немецкие танкисты генерала Эрвина Роммеля гоняли по горячим пескам англичан и отпихнули их почти до Суэцкого канала. За что и получил Роммель высшее звание генерал-фельдмаршала. Но он вышел на подступы к Александрии всего с полутора десятками танков и несколькими тысячами солдат, измученных в пустыне голодом и жарой. А генерал Паулюс привел к Сталинграду триста тысяч первоклассных бойцов со многими сотнями бронированных машин, с сильной артиллерией. Поднапрягшись, англичане бросили в бой свое пестрое воинство, состоявшее из индусов, потомков буров, африканских евреев, французов и прочих представителей разных народностей. Пестрое, но многочисленное. Газеты закричали вскоре о великой победе, о разгроме Роммеля у Эль-Аламейна. Покричали и смолкли: люди-то понимали, чего стоит частный успех по сравнению с событиями в России. Это уж потом, после войны, западные историки попытаются поднять бои в Северной Африке на уровень Сталинградской битвы и вообще так затуманят мозги западного обывателя, что тот потеряет всякое представление о разгроме фашистской Германии Советским Союзом. Туманно, в общих чертах будут упоминать о том, что Россия тоже воевала и понесла потери.

Стрельба велась на всем земном шаре. Немецкие подводные лодки охотились в океанах и морях за конвоями, топили транспорты с военными грузами. Падали бомбы на Англию. Японцы преуспевали в Индокитае, на

тихоокеанских островах, утвердились на подступах к Австралии. Все это, конечно, имело значение, но не там решалось будущее человечества. Весь мир смотрел на Сталинград.

Немцы считали, что победа почти достигнута. Они почти захватили город, на шестьдесят километров вытянувшийся вдоль реки. Почти перехватили Волгу. Но все это лишь «почти», все не было завершено, нигде не поставлена точка. Битва за Сталинград, начавшись в августе, продолжалась и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. И все это время немцам казалось, что еще рывок, еще нажим, и дело будет закончено. В костер швыряли все новые и новые дрова, причем, самые лучшие.

Странным и даже вроде бы необъяснимым представляется одно обстоятельство, как это опытные и осторожные гитлеровские полководцы и знаменитый германский Генштаб не учли, полностью проигнорировали то, что бросалось в глаза даже людям неискушенным при первом взгляде на карту: мощная немецкая группировка вышла к Сталинграду длинным узким клином, имея растянутые, слабозащищенные фланги. Возникала соблазнительная мысль — ударить с двух сторон под основание этого выступа, срезать его, взять противника в кольцо. Во всяком случае, такое желание постепенно овладевало многими советскими военачальниками, в том числе и Жуковым, и Ватутиным, и Шапошниковым, и Василевским. И не важно, кто первым высказал при Верховном Главнокомандующем эту идею, она, как говорится, витала в воздухе. Достоверно известно лишь то, что Сталин, Жуков и Василевский впервые обсуждали эту идею в середине сентября, то есть еще в самый разгар триумфального вроде бы шествия гитлеровцев к Волге. Уже тогда намечено было провести в районе Сталинграда разгромное контрнаступление, которое привело бы к краху южного крыла вражеского фронта. Не все же было германцам вынашивать дальние коварные замыслы. Мы тоже использовали открывшуюся возможность. Началась подготовка. Пока лишь в самых верхах.

Немцы, безусловно, понимали фланговую уязвимость своей сталинградской группировки, но, учитывая обстановку, реальной угрозы не видели. Подвела немцев самоуверенность, они нисколько не сомневались в том, что со Сталинградом вот-вот будет покончено, а там уж можно позаботиться о флангах и обо всем прочем. Фюрер категорически требовал взять крепость на Волге, остальное не имело значения… Не менее важным являлось и то, что немцы были убеждены: летом и осенью советские войска потерпели сокрушительное поражение и не имеют никаких возможностей для нанесения контрударов. Какие там удары, если русские подчищают последние резервы, напрягают в Сталинграде последние силенки. Разведка сообщала, что русские не вводят в бой полноценные, укомплектованные части за отсутствием таковых. Пополнение идет разрозненное, слабо обученное, не полностью обмундированное, в маршевых ротах преобладают среднеазиаты: узбеки и туркмены, а также казахи. Многие даже команд русских не понимают. Среди последнего пополнения люди пожилого возраста с различными заболеваниями: взяты в плен несколько эпилептиков, чего не случалось прежде. Или такой факт: курсанты военно-морского училища, эвакуированного из Ленинграда в Астрахань, переодеты в сухопутную форму, получили звания младших лейтенантов и брошены в Сталинград командирами взводов. На немецких аналитиков-генштабистов это произвело особое впечатление: у русских, мол, не осталось в запасе ни полноценных солдат, ни командиров. Подтверждение этому немцы видели

и в захваченном ими приказе Сталина № 323 от 16 октября 1942 года, который развивал некоторые положения известного приказа № 227. Еще раз говорилось о том, что теперь особая надежда на дисциплину, на стойкость войск. Да и весь советский пропагандистский аппарат с несвойственным ему трагизмом вещал, что отступать больше некуда, новые силы черпать негде, в Сталинграде решается все. «Стоять насмерть, за Волгой для нас земли нет!» — в этом убеждали население нашей страны, в это поверили и немцы. Тем более что положение наше после летне-осенних потрясений было, действительно, очень тяжелым. Но не таким уж безнадежным, как это рисовалось для врагов. И для союзников, которые затягивали открытие Второго фронта. Хоть бы техники, особенно автомашин, побольше слали зажиревшие американские буржуи на нашу бедность. И сапоги и ботинки миллионами солдатских ног быстро изнашивались, промышленность не успевала…

Конечно, некоторые сомнения в полном военном благополучии у наиболее осмотрительных немецких генералов имелись и крепли. Кому на пользу изнурительная борьба за разрушенный город, сковавшая там, очень далеко от Германии, от пунктов снабжения, лучшие силы вермахта, крупнейшую группировку? И уж так ли ослаблены русские, что остались у них в резерве лишь неграмотные инородцы да болезненные старики? А где, к примеру, сотни тысяч воинов, излечившихся после ранений в летних боях? Где техника с тех военных заводов, которые начали работать в глубоком тылу? Тут надо сказать, что в силу хорошо оглаженной нашей секретности, немцы не получали верных сведений о продукции советских заводов. Как выяснилось позже, наиболее точное представление фашисты имели о нашей авиации, да и то не полное. А между тем, начиная с июля 1942 года, промышленность давала фронту каждый месяц 2260 прекрасных боевых самолетов Ил-2, Як-7, Пе-2, Ла-8, ни в чем не уступавших немецким машинам. Но где они? В районе Сталинграда новых русских самолетов появлялось немного, хозяевами воздуха продолжали считать себя германские асы истребительных эскадрилий «Удэт», «Ас-Пик» и других менее известных: номерных, без названия.

Новая русская артиллерия, хоть и в ограниченном количестве, но в Сталинград поступала. А где русские танки? Неужели все уничтожены? Немцы считали, что советская промышленность дает по меньшей мере тысячу бронированных машин в месяц (на самом деле давала больше). Но под Сталинградом их практически не было. Может, русским не хватает летчиков и танкистов? Может, новая техника сосредоточивается где-то на других фронтах?

Встревожил немецкую разведку и немецкое командование праздничный приказ Народного Комиссара Обороны Сталина от 7 ноября 1942 года. И даже не весь приказ, а один абзац в нем, особенно короткая фраза из этого абзаца, которой суждено было стать крылатой, разлететься по всему миру, запасть в душу каждого советского человека. Сталин, как известно, никогда не озвучивал, словно попка-дурак, тексты, состряпанные помощниками. И в ноябре сорок второго он сам подготовил свой доклад для торжественного заседания и свой приказ, советуясь с членами Политбюро, с военными. Это были итоговые документы, не скрывавшие горькую правду. Помню, как долго и упорно искал Иосиф Виссарионович единственную емкую фразу, которая вселила бы надежду в наших людей, ничего конкретного не выдав при этом противнику. Сталину предлагали

разные варианты. В том числе я: «Сколько веревочка не вьется, все равно оборвется». Но он нашел свое.

«Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!» Сказано настолько просто, что в эти слова поверили все, кто хотел поверить. И шатнулась убежденность тех, кто уже во второй раз за эту войну поспешил схоронить Россию.

Когда и где — вот два вопроса, которые озаботили всех: и советских людей, и наших союзников, и врагов. На первый отвечали с понятным единодушием: как только грянет зима и ударят морозы. Немцы считали — не раньше, чем через месяц. А вот где — этого не знал никто, за исключением, естественно, высшего командования в Москве. Впрочем, в Берлине полагали, что им примерно известен район возможного советского контрнаступления: центральный участок фронта по линии Великие Луки — Велиж — Ржев — Вязьма — Юхнов. Особенно там, где завершилась недавно удавшаяся русским Погорело-Городищенская операция, где леса и снега, где советское командование усиливало свои войска танками и артиллерией, где возросло количество советской авиации. Причем возросло настолько, что русские летчики бомбят Восточную Пруссию и даже нанесли несколько бомбовых ударов по Берлину. И это при их тяжелейшем положении под Сталинградом.

Парадокс: Гитлер с часу на час ждал сообщения о полной победе на Волге, а германский Генштаб озабочен был возможностью удержания Ржевско-Вяземского выступа, если русские начнут наступление в центре. На всякий случай создавали запасную оборонительную линию западнее Вязьмы, по Днепру. И полностью прохлопали немцы самое главное: подготовку мощного русского контрнаступления именно в районе Сталинграда, в степях, где просто невозможным казалось сосредоточить скрытно большое количество войск. Как детишек, как школяров-недотеп вокруг пальца обвело немцев наше военное командование. Советские войска концентрировались в указанных им районах в обстановке полной секретности. Ставка методично, хладнокровно, с учетом нескольких вариантов, без спешки, но наверняка готовила обещанный народу праздник.

Операция предстояла такая, какой не бывало в военной истории: и по размаху, и по количеству войск, и по намеченным целям. Привлекались три фронта: Юго-Западный генерала Н. Ф. Ватутина, Донской генерала К. К. Рокоссовского и Сталинградский, которым командовал А. И. Еременко. Они должны были выполнить сложнейшую триединую задачу: прорвать вражескую оборону и окружить Сталинградскую группировку противника, создать вокруг окруженных плотное кольцо и при этом как можно дальше оттеснить все другие немецкие войска, чтобы они не могли бы деблокировать окруженных. Требовалось вывести на исходные рубежи большие массы войск и техники, накопить огромное количество боеприпасов, организовать взаимодействие пехоты, танков, артиллерии, авиации во всех звеньях, от фронтовых до полковых. Да мало ли еще что. Чтобы координировать работу трех фронтов на пространстве от Воронежа и до Астрахани, чтобы конкретно и быстро решать все возникавшие вопросы, в районе предстоящих действий почти безотлучно находились авторитетные представители Ставки с широкими полномочиями: заместитель Верховного Главнокомандующего Жуков и начальник Генерального штаба Василевский. Именно тогда сложилось и

надолго утвердилось это удачное и полезное сочетание. Рассудительный, предусмотрительный, дотошный Василевский, советуясь с Жуковым, готовил и вносил предложения. Сталин их утверждал. А выполнял с помощью того же Василевского напористый Жуков, ломавший для пользы дела любые преграды. Жукова, как известно, побаивались и опасались старшие офицеры и генералы, его приказания выполняли стремглав, не всегда даже осмыслив. В штабах к такой практике относились со скрытым скептицизмом, и это сказывалось не лучшим образом. Зато в тех же штабах глубоко уважали Василевского, очень ценили его в отличие от прямолинейных строевых командиров, для которых Василевский был «интеллигентом», а для рьяных блюстителей классового подхода еще и чужеродным «поповичем».

Сработавшиеся, отлично понимавшие друг друга, Жуков и Василевский являли собой монолитный неформальный руководящий центр, настолько действенный и своеобразный, что его просто сопоставить не с чем. Тем более что центр этот, не отягощенный аппаратом, мог быстро перемещаться туда, где был нужен в данный момент. Требовалось ответственное решение на месте — Жуков и Василевский сразу же принимали. Требовалось действовать через Москву — у каждого из них было в столице свое ведомство, у каждого — влияние в Ставке. Иосиф Виссарионович вполне оценивал эту самосложившуюся форму управления и использовал связку Жуков — Василевский на самых важных участках в течение всей войны.

Утро 19 ноября выдалось туманное. Шел снег. Авиация не летала. Для немцев начинался будничный день. И артиллерийский грохот, на огромных просторах разорвавший утреннюю тишину, оказался для врага столь же внезапным, как это было у Погорелого Городища. Но там была только репетиция, мощь и размеры начавшегося сражения были на порядок выше.

Военные знают, что полного успеха нельзя ожидать ни от каких стратегических планов. Всегда встретятся неожиданные препятствия, что-то придется переосмысливать, менять на ходу. Конечно, имелись шероховатости и в Сталинградской битве, но в целом успех был достигнут блестящий, грандиозный и беспримерный. До 24 ноября немцы вообще не могли понять, что происходит. В короткие снегопадные деньки их авиаразведка не работала, многие линии связи были порваны, уничтожены. А когда погода улучшилась и авиация поднялась в воздух, немцы обнаружили, что советские войска уже со всех сторон обложили сталинградскую группировку, советские ударные части, наступавшие с двух сторон, сомкнулись возле города Калач, плотно замкнув кольцо окружения.

У вражеского командования оставалась надежда на господство в воздухе: разбомбить, остановить, уничтожить прорвавшиеся советские дивизии. Это всегда был их козырь. Но просчитались и тут. До сей поры немцы имели дело под Сталинградом с 8-й воздушной армией генерала Хрюкина Тимофея Тимофеевича, которую считали малочисленной, не способной оказать серьезного противодействия. Так оно и было. В августе 1942 года 4-й воздушный флот генерала Рихтгофена, развернутый в Придонье, имел в боевом строю 1200 самолетов различных типов, а противостоявшая ему армия генерала Хрюкина всего лишь 77 машин. Но немцы прозевали тот момент, когда нашу 8-ю воздушную укрепили новыми авиадивизиями, новой техникой. Прозевали и то, что в районе

действий полностью развернулись 16-я и 17-я воздушные армии. Ну, насчет этих армий можно понять, но ведь с 8-й у немцев был постоянный боевой контакт и все же удалось скрыть изменения в ней. «Даже Хрюкина прохрюкали!» — веселился по этому поводу Георгий Константинович Жуков. Спохватились гитлеровцы, да поздно. Несколько дней борьба в небе шла на равных, но к концу ноября немецкая авиация была перемолота, в воздухе господствовали теперь советские истребители, советские бомбардировщики и штурмовики громили вражеские войска. Над окруженной группировкой не осталось никакой крыши. Даже дырявой. Летали, правда, по ночам транспортные Ю-52, доставляли продовольствие и боеприпасы. Но с каждым разом все меньше. Их сбивали. Вскоре подступы к окруженной группировке превратились в огромное кладбище для немецкой транспортной авиации. Ни вражеское командование, ни сам Гитлер не могли, безусловно, смириться с тем положением, в котором оказались. Они вообще еще не осознали случившегося. Все шло хорошо, и вдруг — крах?! Так не бывает. Это последний всплеск русской силы, их агония. Воспользовались просчетом. Теперь надо исправить ситуацию, отбросить и окончательно добить советские войска. Нанести сильный удар с фронта. А Паулюс ударит из кольца. Русские окажутся между молотом и наковальней. Уж теперь-то у них, безусловно, нет никаких резервов, способных помешать этому.

Две недели потребовалось немецкому командованию, чтобы создать сильный ударный кулак. Снимали все, что можно, с других участков фронта, и вблизи и вдали, подтягивали резервы. Из Германии прибывали танки, предназначавшиеся для Роммеля. Странно выглядели они, выкрашенные под цвет пустыни, в заснеженных русских степях. Всего в общей сложности собрали пятьсот бронированных машин, десять пехотных и моторизованных дивизий, в том числе дивизию СС «Викинг». Вся эта сила сосредоточилась возле станции Котельниково, чтобы наступать вдоль железной дороги на северо-восток. До Сталинграда около ста километров, полторы-две заправки для танков. Немцы рассчитывали преодолеть расстояние одним броском и где-то на дистанции соединиться с войсками Паулюса, прорывавшего кольцо изнутри. Хлынули бы многотысячные массы голодных, вшивых, озверевших солдат, кто бы смог удержать их? Тем более, что между двумя немецкими группировками находились лишь части небольшой по составу 51-й советской армии, к тому же поредевшей, и уставшей в боях. Лопнули бы все замыслы русских, напрасными оказались бы их недавние достижения, бесполезными понесенные жертвы. Немецкая разведка докладывала, что на обозримом пространстве у русских нет сил, способных предотвратить такой ход событий, все войска задействованы в боях. Фортуна вновь улыбалась немцам. В Сталинградской битве близился кульминационный момент.

Пришла пора нам вспомнить, наконец, о двух страдальцах, об отстраненном от командования Южным фронтом генерале Малиновском и члене Военного Совета дивизионном комиссаре Ларине. Где же они оказались после тяжелых неприятностей, пережитых в Москве, после того как Сталин дал им возможность искупить вину, а если не оправдают доверия — «пенять на самих себя»? Исчезли куда-то два крупных военачальника, и мало кто знал, чем занимаются, какое задание выполняют. А доверие им было оказано высокое, работа поручена сложная.

То, что предпринял тогда Сталин, можно называть по-разному. Предусмотрительностью. Коварством. Железной выдержкой — как угодно. В тяжелейшие дни обороны Сталинграда он с невероятной скупостью, в минимальном количестве разрешал бросать туда подкрепления, только чтобы не сдать город, не развязать руки немецкой группировке. Казалось, что все новые формирования, все новое вооружение шло в войска, которые должны были окружить вражескую группировку. И окружили. В тех условиях все это само по себе представлялось невероятным. А Сталин предусмотрел уже и следующий ход, известный лишь очень узкому кругу лиц: затевая крупнейшую операцию, мы подстраховали себя от неожиданностей и случайностей. Двум опытным военачальникам Малиновскому и Ларину приказано было создать в Тамбовской провинции новую армию. Конечно, генерал и комиссар получили назначение с понижением, но иногда и понижение бывает не ущемляющим достоинства, позволяющим раскрыть свои возможности.

Армия, получившая название 2-й гвардейской, рождалась в обстановке строгой секретности и должна была по количеству и качеству, по вооружению и другим показателям стать самой сильной среди имевшихся у нас формирований подобного рода. Вот куда поступали воины, выписавшиеся из госпиталей, закаленные в боях. Вот куда щедро шла новая техника. Одна существенная деталь. Еще с гражданской войны Иосиф Виссарионович считал, что наиболее стойкими и дерзкими являются части, укомплектованные моряками, сошедшими с кораблей. Не буду сейчас объяснять почему, но это действительно так. Там, где они сражались — всегда успех. Ни один город, который защищали моряки, не был сдан немцам, а если и оставлен, то лишь организованно, по приказу свыше. Они прославили Одессу и Севастополь, Мурманск и Ленинград. А Москва, в боях за которую особенно отличились морские бригады! Не случайно же в сорок втором году Сталин поручил адмиралу Кузнецову снять с кораблей еще сто двадцать тысяч краснофлотцев и морских офицеров. Морскую пехоту бросили туда, где особенно трудно. Так вот: во 2-й гвардейской армии моряки составляли половину, может быть даже больше. А начальником штаба к Малиновскому направлен был очень хороший, знающий работник — генерал Бирюзов Сергей Семенович (будущий маршал). И очень удобное географическое положение занимала в районе Тамбова 2-я гвардейская: в случае необходимости ее можно было быстро перебросить на угрожаемый участок хоть под Москву, хоть к Воронежу, хоть к Сталинграду. Немцы на свою беду не знали об этом.

12 декабря деблокирующая группировка гитлеровцев двинулась от станции Котельниково к Волге. И сразу стало понятно, что 51-й армии ее не удержать. Верховный Главнокомандующий приказал ввести в сражение 2-ю гвардейскую. Выйти на рубеж речки Мышковы, что на полпути между Котельниково и Сталинградом, остановить и разгромить наступающих немцев. Для командующего армией и дивизионного комиссара наступил решающий день.

Очень сильной была 2-я гвардейская. В ней два стрелковых корпуса, каждый из трех дивизий, со своим танковым полком. В ней механизированный корпус и танковый корпус, много артиллерии, много автомашин. Не враг как таковой страшен был ей, страшны были время и расстояние. Немцев отделяло от Мышковы менее пятидесяти километров. Заслоны нашей пехоты могли лишь на краткий срок задержать гитлеровцев. А воинам 2-й гвардейской, чтобы достичь Мышковы, надо

было пройти от места выгрузки двести километров, огибая с юга окруженную группировку. Дороги были заметены сугробами, днем было тепло и валил мокрый снег, а ночью прихватывал мороз. Армия шла без отдыха, люди опережали застрявшую технику, тащили артиллерийские орудия, минометы, пулеметы, боеприпасы. И достигли Мышковы чуть раньше немцев. Сначала наиболее выносливые бойцы, небольшие подразделения, роты и батареи. Разгорелось сражение, в которое с обеих сторон вливались все новые и новые силы. А метель не прекращалась, войска перепутались, ни наше, ни немецкое командование не представляло, что происходит. Окруженные в Сталинграде гитлеровцы уже ликовали, слыша далекую канонаду. Многие судьбы повисли на волоске, да и судьба всей грандиозной операции, судьба всей войны тоже.

Есть очень правдивая повесть писателя Юрия Бондарева — участника этих событий: «Горячий снег». И хороший кинофильм с таким же названием. В них все верно. Естественно, автора художественного произведения никто не ограничивает в домысле, в типизации, в обострении ситуации. Ни в коей мере на все это не покушаясь, я хотел бы уточнить лишь одну подробность. Юрий Бондарев дает такой эпизод. В разгар сражения на Мышкове, когда стоят насмерть тысячи людей, а командарм посылает в огонь новых бойцов, приходит известие о том, что погиб сын самого командарма. Тяжело переживая это, командарм, скрывая свое горе, продолжает руководить битвой. Вероятно, писатель, усиливая драматизм, хотел подчеркнуть моральное право этого человека, не просто начальника, а именно человека, отправлять на верную гибель людей, своих подчиненных, своих, по большому счету, детей. Это, повторяю, дело автора. Жаль только, что Юрий Бондарев не упомянул о настоящей трагедии, постигшей армейское руководство. Может, не знал, может, время было такое, что не все выносили на бумажный лист, может, в сюжет не укладывалось.

А случилось вот что. Член Военного Совета армии, дивизионный комиссар больше суток провел на дорогах, подбадривая воинов, помогая организовать питание, медицинское обеспечение, поддерживая людей словом и делом. Сам выдохся, перенервничал, слыша грохот боя. И впереди, и за спиной, не понимая, что происходит. Разыскал командный пункт дивизии в разрушенном хуторе метрах в двухстах от дороги. Хотел поговорить с Малиновским, но связисты не нашли его, тоже был где-то в войсках.

Во второй половине дня стало ясно, что пехота не выдержала, отходит. Командир дивизии доложил: прорвались вражеские танки, не менее пятидесяти, остановить их нечем. Член Военного Совета и сам слышал уже гул двигателей где-то за белой мутью пурги. Отсюда, с этого рубежа, около тридцати километров до окруженной группировки. Именно сейчас войска Паулюса должны нанести встречный удар. Немцы стиснут с двух сторон рассеянную среди снегов гвардейскую армию. И что? Разгром? Позор плена? Вспомнился, наверное, комиссару разговор с Верховным Главнокомандующим, резкий тон и жёсткий взгляд Сталина… Рука сама потянулась к пистолету. Доверия не оправдал, оставался, значит, только один выход…

Малиновский говорил мне потом, что, увидев мертвого комиссара, ясно представил себе ход его мыслей, его состояние в последние минуты. Будто сам вытаскивал из кобуры свой пистолет. Но больше выдержки, больше боевого опыта было у генерала, больше веры в своих солдат.

Через час, всего лишь через час после трагического выстрела, немцев встретили пробившиеся к дороге артиллеристы, прошли по снежной целине гвардейские танки. Прорвавшаяся немецкая группа была полностью уничтожена. А ночью генерал Малиновский отдал новый приказ. Уже не о том, чтобы остановить противника, о переходе в наступление. Подписали приказ командующий армией и начальник штаба. Подпись члена Военного Совета отсутствовала.

Меня не было в Кремле, когда Верховному Главнокомандующему доложили о гибели дивизионного комиссара. Знаю только, что Сталин высказал свое недовольство: пример стойкости, а не слабости должны подавать подчиненным политработники. Фамилия комиссара была вычеркнута из всех списков, имя его редко всплывало даже в частных разговорах. Ушел, как говорится, в небытие. А для Малиновского события на Мышкове стали отправной точкой нового взлета. Перед войной полковник, он в конце войны стал маршалом. Десять лет, начиная с 1957 года и до самой смерти, продержался Родион Яковлевич на посту Министра обороны СССР. Трудно ему было при «реформаторе» Хрущеве, начавшем разрушать нашу армию и наш флот. Но это уже другой разговор.

24

В ту осень я не уезжал из Москвы, чем и доволен был. Вдосталь намотался по военным дорогам при своем возрасте. Вокруг Сталина появилась новая поросль помощников: помоложе, повыносливей и с достаточным военным опытом. И не было, вероятно, таких особых событий, которые Иосиф Виссарионович хотел увидеть и оценить только моими глазами. Я отдыхал, если можно назвать отдыхом выполнение разнообразных поручений и ненормированный рабочий день, а точнее ненормированные рабочие сутки. Как маршал Шапошников: считалось, что он получил возможность отдохнуть и подлечиться, занимая при этом три должности и не отстраняясь от дел общественных. Впрочем, я уже говорил, что Борис Михайлович и не мог бы без этого, погиб бы в вакууме.

По выражению Иосифа Виссарионовича, мы учились всю войну. Это верно. И прошли весь курс от образованности средней, до самой высотой, профессорско-академической. При этом пик учебы пришелся на 1942 год, когда бои, операции носили разносторонний характер, когда мы уже полностью оправились от шока внезапности, способны были анализировать и делать выводы.

Войскам как воздух требовался новый Боевой устав. Жизнь торопила. Сталин был достаточно тактичен, чтобы не напоминать Шапошникову о сроках, но было ясно, что ждет с нетерпением. Я, как мог, помогал Борису Михайловичу. Нельзя было допустить ошибок в документе, определявшем организацию и проведение боя — это ведь самое важное на войне. Даже наиболее сложные требования надобно было изложить кратко и понятно, чтобы они были доступны любому командиру, начиная от полуграмотных, и чтобы надолго врезались в память.

Подготовка уставов всегда занимает много времени, к этому делу привлекаются генералы-практики, военные ученые и специалисты Генштаба. А Шапошников пошел по другому пути, и я поддерживал его в этом. Упор делали на фронтовиков, на тех, кому предстояло непосредственно действовать по тем законам, которые долженствовало

закрепить в уставе. Старались мы привлечь как можно больше людей. Мнения Жукова, Василевского, Рокоссовского, Ватутина, Конева, Тимошенко, Мерецкова, Говорова и других полководцев — это само собой. Но вот чего не бывало раньше — это беседы с командирами взводов, рот, батальонов, полков. Как? Прибывали в Москву отличившиеся фронтовики, Калинин вручал им награды в Кремле, а потом этих людей «перехватывали» мы, приглашали на заседание Уставной комиссии, задавали вопросы, выслушивали мнения. Или еще проще. Вот готов, сформулирован пункт. Я еду с ним в Тимирязевскую академию, в госпиталь. Собираю выздоравливающих лейтенантов, капитанов, майоров с различных фронтов, из разных родов войск. Зачитываю проект пункта, прошу высказываться. И начинаются словесные баталии, в которых всегда можно почерпнуть что-то полезное.

1 октября 1942 года Уставная комиссия провела совещание в кремлевском кабинете Верховного Главнокомандующего. Об этом стоит упомянуть хотя бы потому, что в кабинете Сталина никогда до этого не собиралось столько простых фронтовых командиров, вызванных нами из госпиталей и прямо с передовой. От ротных до командиров дивизий. Народ самостоятельный, задиристый, болевший за дело, которое касалось непосредственно их самих. Сперва тушевались в присутствии Сталина, трех прославленных маршалов. Потом разговорились, высказали, что считали нужным. Иосиф Виссарионович никого не перебивал, не давил своим авторитетом, держась доброжелательным распорядителем, лишь подвел краткие итоги, пообещав, что все предложения будут учтены при окончательной доработке Боевого устава. Хочу особо отметить, что речь на том совещании шла не только об уставе, но и гораздо шире. Воспользовавшись присутствием фронтовиков, Сталин хотел услышать их мнение по целому ряду других вопросов, связанных с постепенной, но неуклонной реорганизацией наших Вооруженных Сил, проводившейся в ту пору. Это был целый комплекс мероприятий, подсказанных жизнью: отмена комиссаров и введение единоначалия, унификация воинских званий и многое другое. Почему же отмечаю это особо? А вот почему. Весь мир, все наши друзья и враги уперты (простите, но мне нравится это слово) — уперты были в Сталинград и, словно зашторенные, ничего больше не видели. Но под Сталинградом решались заботы нынешнего дня и ближнего будущего. А Москва, занимаясь всеми текущими вопросами, уже тогда готовила фундамент дальнейших событий. Этого как раз и недоставало, и недостает сиюминутным политическим выскочкам, калифам на час, которые приносят много бед своим странам, особенно нашей стране: чем больше государство, тем сильнее страдает оно от резких, неподготовленных перемен, спонтанных реформ.

Новый Боевой устав был утвержден 9 ноября 1942 года: через два дня после того, как Иосиф Виссарионович пообещал, что будет и на нашей улице праздник. И за десять суток до начала Великого наступления под Сталинградом. Своевременный был документ. Многие положения его воспринимались как должное, не вызывая никаких возражений. Например, старый устав предписывал строить оборону по ячейковой системе. Вроде бы правильно, спасительно от вражеского огня. Каждый боец зарывался в глубокую узкую яму, защищавшую его от пуль, от снарядов, от бомб. Начиналась вражеская атака — боец высовывался и открывал огонь. Однако практика показала, что человек, изолированный в своей ямке, не ведавший, что творится справа и слева, терял ориентировку, падал духом,

был практически неуправляем. Жуков и Рокоссовский, сами посидевшие в изолированных ячейках под вражеским огнем, говорили, что даже они, с их опытом, испытывали обреченность, страх, нестерпимое одиночество. А каково же молодым, необстрелянным воинам?! Сама практика заставила вернуться к траншейной системе, при которой бойцы видели и слышали своих командиров, ощущали, как говорится, локоть соседей.

Опыт Погорело-Городищенской операции показал нам ошибочность глубокоэшелонированного построения войск во всех звеньях от взвода до дивизии при прорыве вражеской обороны. Как наступала стрелковая дивизия на рубеже, положим, 2–3 километра? Имея в своем составе 27 стрелковых рот, она атаковала оборону противника непосредственно лишь 8 ротами. Остальные шли за первым эшелоном с целью подкреплять его и развивать успех. Но самый-то первый, самый важный удар оказывался слабым, те девятнадцать рот, что действовали сзади, несли потери от вражеской артиллерии, минометов, бомб, стремились к передовым подразделениям, которые, как ни странно, несли меньше потерь от снарядов, мин и бомб из-за близкого контакта с противником. Боевые порядки перемешивались, терялось управление. Путаница, одним словом. А новый устав требовал, чтобы все подразделения развертывались для наступления в одну линию с интервалами 3–4 метра между бойцами, чтобы пулеметчики, минометчики, расчеты противотанковых ружей двигались в интервалах между взводами пехоты, вообще в наиболее уязвимых для контратак противника местах. То есть, полк или, скажем, дивизия вкладывали в удар по врагу все, чем располагали в данный момент, чтобы одолеть неприятеля.

Я нарочно привожу этот пункт устава, потому что он был одним из многих, которые не применялись всегда и повсеместно. В 1942 году этот пункт был почти безусловен, так как противник не имел сплошной глубокой линии обороны, война носила в основном маневренный характер. Но в дальнейшем, особенно в Германии, на подступах к Берлину, немцы создавали такие прочные рубежи, что нам приходилось возвращаться к многократно эшелонированному построению войск при прорыве. Но наши командиры умели пользоваться и тем и другим способом, поступали как целесообразнее.

Или — положения нового устава о месте командиров в бою… Нет, я слишком увлекся, всего не перечислишь. Скажу лучше вот что. Для всех стран мира немцы были своего рода законодателями в тактике и в оперативном искусстве. До сорок второго года. А потом наши командиры батальонов и полков превзошли германцев по всем показателям — и до конца войны. Не говоря уж о стратегии: в этом отношении наше превосходство выявлялось многократно и достигло той недосягаемой вышины, на которой развевался наш победный флаг над поверженным германским рейхстагом. Более весомых доказательств история мировых войн не зафиксировала.

Что такое реформы вообще? Это значит — безболезненно отбросить все устаревшее, ненужное и сохранить, поддержать, развить все новое, перспективное. Реформа ничего не ухудшает, а только улучшает. Иначе это не реформа, а преступление. В масштабе государства — государственное преступление, за которое надлежит карать самой высшей мерой.

Сосредоточившись на Боевом уставе, я, чтобы не рассеивать внимание читателя, не упоминаю о многих других преобразованиях, назревших к

тому времени, к осени сорок второго. Есть невидимые миру слезы, а есть и невидимая обществу работа, проводившаяся буквально под каждодневным доглядом Иосифа Виссарионовича. Опять же уточню: внимание всего мира тогда, всех историков до сих пор по тому периоду приковано к боям под Сталинградом. Ткнул туда всех носами Иосиф Виссарионович, завязли там их носы, до сих пор не могут вытянуть. А для нас не менее важными, чем события на фронте, были заботы о будущем. Сами по себе свершения вроде бы частные, но очень заметные. Ну, возьмем авиацию. С довоенных времен боевые самолеты действовали звеном в три машины. Но и самолеты улучшились, и скорости возросли, и опыт показал, что третья машина в тактической связке является лишней. И вот с ноября сорок второго вся наша авиация начала действовать звеньями в две машины: ведущий и прикрывающий его ведомый. Это было значительно выгодней. А вместо двух эскадрилий по девять самолетов в истребительных и штурмовых авиаполках вводилось три эскадрильи… Или: повсеместно восстанавливались в войсках, для улучшения управления, корпусные звенья.

Читаю я вот теперь книги о войне, даже исторические исследования, и встречаю в них слово «офицер». Смотрю фильмы о первом периоде войны и вижу наших воинов с погонами на плечах. Не во всех, конечно, книгах в фильмах, но часто. А ведь это неверно. До 1943 года не было в нашей армии погонов, не было такого понятия — «офицер». Даже зловредным считалось оно по памяти о гражданской войне, о междоусобном братоубийстве. Потребовалась решительность Сталина, чтобы сломать все наносные представления о золотопогонниках, о многовековой атрибутике. «Будут офицеры, будут традиции, будет Великая Русская держава» — так думал и повторял вслух Иосиф Виссарионович. И погоны он согласился ввести: не только для сохранения традиций, но и для укрепления дисциплины, для определения меры ответственности, для удобства различия. А то ведь путаница была невероятная. Даже теперь, после войны, по упрощенной системе, молодой солдат не сразу запоминает все воинские звания. Каково же было до введения погонов со всеми этими треугольниками, кубиками, шпалами на петлицах, как было при тех же кубиках отличить лейтенанта от политрука, военфельдшера — от воентехника или интенданта?! А при шпалах — подполковника от комиссара, военврача от военюриста?! Тем более в военное время, когда не до нашивок на рукавах, не до особых символов на петлицах. Положение об офицерах сразу снимало путаницу, устанавливало единую строгую прямую подчиненности.

И вся эта огромная, многообразная работа была проведена нами в очень короткий срок, за осень сорок второго года. Это не какие-то теоретические изыски, нет — этого требовали наши окрепшие, набравшиеся опыта Вооруженные Силы. В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года прозвучали слова, точно определившие новое положение дел. Вот они:

«Гитлеровская армия вступила в войну против Советского Союза, имея почти 2-летний опыт ведения крупных военных операций в Европе с применением новейших средств войны, Красная Армия в первый период войны, естественно, не имела еще и не могла иметь такого военного опыта. В этом состояло преимущество немецко-фашистской армии. За двадцать месяцев положение, однако, изменилось и в этой области. В ходе войны Красная Армия стала кадровой армией. Она научилась бить

врага наверняка с учетом его слабых и сильных сторон, как этого требует современная военная наука».

Да, действительно, наша армия стала кадровой, достигшей высокого уровня — Иосиф Виссарионович определил это своевременно и точно. В мире тогда было только две таких армии, наша и немецкая. И где-то на полпути к кадровой — японская. Все остальные армии представляли собой лишь воинские формирования разной степени подготовленности. Мировая война свелась к борьбе между двумя могучими опытными гигантами. А поддержкой им в этой непримиримой борьбе были не столько союзники, сколько идеология. У одних — нацеленная на уничтожение и разрушение, на установление мирового господства. У других — на спасение себя и всего человечества.

В начале войны один из наших генералов старой закалки, наблюдая за ходом боя, воскликнул с горечью: «Это не атака, это набег легковооруженных половцев на доменную печь! Шума много, а что делать — никто не знает!..» Да, случалось такое. Но наши солдаты и командиры довольно быстро освоили науку воевать и науку побеждать. Во всех подразделениях и частях, даже во вновь созданных, имелись теперь люди с фронтовой закалкой. Однако кадровая армия — это не только полки и дивизии, способные умело действовать в любых условиях, это еще и профессиональное руководство на всех уровнях, в том числе на уровне оперативном, требующем сочетать теорию и практику, то есть вынашивать правильные замыслы и самому решительно осуществлять их. Соитие призвания и опыта, ума и энергии.

Блестяще задумана, подготовлена и проведена была операция по окружению и уничтожению сталинградской группировки противника. Результат коллективного творчества, коллективного действия, в которых принимали участие и Генеральный штаб, и Ставка с ее представителями на местах Жуковым, Василевским, и командующие фронтами, чьи фамилии я уже называл. Ни в коей мере не умаляя их заслуги, хочу все же сказать: первым, кто оценил и использовал возможности достигнутого успеха, оказался Николай Федорович Ватутин, возглавлявший в ту пору Воронежский, а затем Юго-Западный фронт. Не дал Ватутин угаснуть пламени сталинградского костра, добавил такое горючее и раздул такой огонь, в котором сгорело вражеских войск не меньше, чем непосредственно у стен волжской твердыни. Не имел Николай Федорович преимущества над противником ни в количестве людей, ни в технике, но действовал так умело, так дерзко и осмотрительно, что значительно расширил масштабы зимнего сражения и во многом предопределил его удачный исход. Пока наши войска добивали в Сталинграде 22 окруженные дивизии, генерал Ватутин провел западнее Воронежа две изумительных с точки зрения военного искусства операции, Воронежско-Касторненскую и Острогожско-Россошанскую, разгромив и уничтожив 26 немецких, итальянских и венгерских дивизий, освободив большую территорию. К сожалению, ослепительное сияние Сталинграда оставило в тени те славные операции, не оказалось литераторов и историков, способных достойно поведать о них.

В нескольких местах войска Ватутина раздробили, раскромсали немецкие боевые порядки, образовались такие дыры, которые врагу нечем

было заткнуть. В эти разрывы входили наши подвижные части, отсекали, окружали противника, гнали уцелевших дальше на запад. И у нас, конечно, были потери, и мы ослабли, но тут с особой силой проявился военный талант Николая Федоровича, его стремление и умение действовать во имя общих стратегических целей, создавать обстановку для общих успехов. От Воронежа до Харькова дошли за пару месяцев войска Ватутина. Виктория впечатляющая, казалось, можно бы остановиться, отдохнуть, переформироваться, получить пополнение, подтянуть тылы… Но ведь это — потеря времени и темпа, упущенные возможности. И Николай Федорович принял решение совершенно неожиданное не только для немцев, но и для нашего высшего командования. Решение, вызвавшее недоумение Жукова («ну и размахнулся генерал-романтик!»), зато поддержанное Василевским и Шапошниковым, что заставило Сталина занять выжидательную позицию и Ватутину не мешать.

Суть в том, что Николай Федорович не пошел дальше на запад, преследуя разбитого врага, а повернул основные силы своего фронта на юг, бросил в сторону Запорожья все оставшиеся у него подвижные части. Не близок путь от Харькова до Запорожья и далее до Мелитополя, до Азовского моря, но если бы этот маневр удался, были бы отрезаны все вражеские войска на огромной территории восточнее излучины Днепра: в Донбассе, в районе Ростова, на Северном Кавказе и на Кубани. Рухнула бы треть гитлеровскою фронта в нашей стране, от такой катастрофы немцы вряд ли могли бы оправиться.

Понимал ли Николай Федорович, что у него не хватит сил осуществить полностью столь грандиозный замысел и что Ставка в данное время не имеет возможности помочь ему? Конечно, понимал. Он и не рассчитывал дойти до Мелитополя, отрубив все вражеские коммуникации. Но угрозу-то он создавал, увеличивая нервозность и хаос, царившие у противника после Сталинграда, способствуя успеху других наших наступавших фронтов. Немцы запаниковали, боясь за свой тыл, вражеское командование заботилось уже не столько об удержании позиций, сколько о том, как бы вывести свои армии из угрожаемых районов. Проскочить бы через узкое горлышко возле Ростова-на-Дону и создать новые оборонительные линии западнее его. А наша Ставка, используя благоприятный момент, сосредоточила внимание на том, чтобы закупорить проход на нижнем Дону, не выпустить из «мешка» остатки отборных немецких войск, еще недавно маршировавших в сторону Сталинграда и Баку, любовавшихся гитлеровским флагом, развевавшимся над Эльбрусом. Теперь же немцы пытались оттянуть назад, спасти хотя бы самые боеспособные танковые дивизии.

Рассуждаем мы сейчас об особенностях кадровой армии, о том, что в это понятие входят не только хорошо обученные войска, владеющие различными формами ведения боя, но и генералы, способные умело готовить и осуществлять операции. Однако есть и еще важный фактор, без которого мастерство войск и полководцев не дадут желаемого результата одержания победы с наименьшими утратами для себя. Это способности высшего военного руководства страны, в первую очередь человека, облеченного полномочиями Верховного Главнокомандующего. В нашем случае — Иосифа Виссарионовича Сталина. Говорили мы о том, что в начальный период войны допустил он несколько стратегических ошибок, две из которых (сражение за Киев и план летней кампании сорок второго

года) привели к очень тяжелым последствиям. Но Иосиф Виссарионович был достаточно умен и самокритичен, чтобы сделать правильные выводы из своих срывов. Он учился многому, в том числе — терпеливо выслушивать военных специалистов, считаться с их мнением. С лета сорок второго года и до конца войны Сталин существенных ошибок больше не допускал, мастерство его, как военного руководителя, быстро и заметно росло буквально из месяца в месяц. Обретенные знания и навыки применял творчески, сообразуясь с обстановкой, того же требуя от маршалов и генералов. Хотя бы такой пример. Приказывал не вытеснять противника, что не приносит врагу крупных потерь, а при первой возможности окружать неприятеля, устраивая большие и малые «котлы», пленяя или уничтожая врага. Сталинград был только началом. Чем дальше, тем чаще попадал противник в окружение, безвозвратно теряя личный состав и технику.

Способности Сталина, как Верховного Главнокомандующего, высоко оценены военными профессионалами, работавшими под его непосредственным руководством, вместе с ним. Это и маршал Жуков, и адмирал Кузнецов — люди честные, мужественные, подвергавшиеся, кстати, гонениям при Сталине. Но истина важнее собственных амбиций. Весьма лестно говорили и писали они о Верховном Главнокомандующем уже после его смерти, когда приспособленцы вслед ему камни кидали.

Много общался со Сталиным по военным делам Александр Михайлович Василевский. Если в послевоенные годы его расспрашивали о полководческой деятельности Сталина, маршал Василевский, не пускаясь в рассуждения, предлагал познакомиться с некоторыми документами, чаще всего с телеграфной директивой командующему Закавказским фронтом И. В. Тюленеву от 4 января 1943 года. Подчеркивая, что Верховный Главнокомандующий продиктовал эту телеграмму без всякой записи, сразу формулируя свои указания. По мнению Василевского, этот документ очень точно характеризует самого Сталина, его компетентность, способность анализировать обстановку, смотреть вперед, доскональное знание им не только событий, но и людей, особенностей характера того или иного руководителя, учитывание этих особенностей. Привожу текст:

«Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, сжигая склады и взрывая дороги. Северная группа Масленникова[72] превращается в резервную группу, имеющую задачу легкого преследования противника. Нам невыгодно выталкивать противника с Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской группы осуществить его окружение. В силу этого центр тяжести операций Закавказского фронта перемещается в район Черноморской группы, чего не понимают ни Масленников, ни Петров.[73]

Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый корпус из района Северной группы и ускоренным темпом двигайте в район Черноморской группы. Масленников может пустить в дело 53-ю армию, которая болтается у него в резерве и которая в обстановке нашего успешного наступления могла бы принести большую пользу. Первая задача Черноморской группы — выйти на Тихорецкую и помешать таким образом противнику вывезти свою технику на запад. В этом деле Вам будет помогать 51-я армия и, возможно, 28-я армия. Вторая и главная задача Ваша состоит в том, чтобы выделить мощную колонну войск из состава Черноморской группы, занять Батайск и Азов, влезть в Ростов с востока и закупорить таким образом северокавказскую группу противника с целью

взять ее в плен или уничтожить. В этом деле Вам будет помогать левый фланг Южного фронта — Еременко, который имеет задачей выйти севернее Ростова.

Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое наступление в срок, не оттягивая этого дела ни на час, не дожидаясь подхода всех резервов. Петров все время оборонялся, и у него нет большого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он должен дорожить каждым днем, каждым часом.

Четвертое. Немедленно выезжайте в район Черноморской группы и обеспечьте выполнение настоящей директивы».

Действительно, очень показательная телеграмма. Она ясно и четко определяет важнейшую задачу. И указывает конкретные, наиболее целесообразные способы достижения намеченных целей.

26

Далеко, слишком далеко залетел на восток Адольф Гитлер. 17 февраля 1943 года его самолет приземлился на берегу Днепра в Запорожье. На столь рискованное путешествие фюрер решился для того, чтобы на месте разобраться в обстановке и принять любые меры, на которые только способен глава государства — даже самые крайние меры… И основания для этого были веские. Положение всего южного крыла немецкого фронта — от Курска до Азовского моря — стало критическим. С великим трудом, с большими потерями, фашистам удалось «вытащить» с Кавказа, с Маныча остатки некогда грозных 1-й и 4-й танковых армий. А пехота, артиллерия, инженерные и тыловые части остались за Доном, в низовьях Кубани: русские отсекли их, взяв Ростов. Немцы срочно создавали новый фронт западнее, по реке Миус, но и он был уже под угрозой: с севера, заходя в глубокий тыл этой новой оборонительной линии, вел свои армии генерал Ватутин, прославившийся мастерством вбивать клинья и создавать котлы.

Удручающую для немцев картину являла карта военных действий, с нанесенным на ней положением войск. Они, эти войска, находились на тех же рубежах, с которых девять месяцев назад начали великое победоносное наступление, дошли до Воронежа, до Волги, до Кавказского хребта. Туда двигались быстро, а оттуда катились еще быстрей. Итоги были плачевны. В самый раз для объективности процитировать наиболее известного германского военного историка Курта Типпельскирха по его толстенной «Истории Второй мировой войны». Вот его мнение:

«Результат наступления оказался потрясающим, одна немецкая армия (6-я армия фельдмаршала Паулюса в Сталинграде. — Н. Л.) и три союзные армии были уничтожены, три другие немецкие армии понесли тяжелые потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий больше не существовало. Остальные потери составляли в общей сложности еще примерно двадцать пять дивизий. Было потеряно большое количество техники танков, самоходных орудий, легкой и тяжелой артиллерии и тяжелого пехотного оружия. Потери в технике были, конечно, значительно больше, чем у противника. Потери в личном составе следовало считать очень тяжелыми, тем более что противник, если он даже и понес серьезные потери, все же располагал значительно большими людскими резервами. Престиж Германии в глазах ее союзников сильно пошатнулся. Поскольку одновременно и в Северной Африке было нанесено

поражение, надежда на общую победу рухнула. Моральный дух русских высоко поднялся».
Добавим: была ослаблена и потеряла бесспорное превосходство в воздухе прославленная немецкая авиация, краса и гордость рейха. Истощены были запасы горючего. Короче говоря, у разбитого корыта оказались немцы через девять месяцев после начала «великого наступления». Рубежи те же, но уже не целостная линия фронта, а заплата на заплате с дырами меж лоскутов. В районе Ростова прорехи закрывала наспех сколоченная группа генерала Холлидта. Севернее — столь же пестрая группа генерала Фреттер-Пико. Переброшены с запада несколько авиаполевых дивизий.
Об этих, об авиаполевых стоит сказать особо. Тут немцы хоть и не напрямик, но все же позаимствовали наш опыт. Жизнь заставила. В первый период войны мы вынуждены были срочно формировать и бросать на самые трудные участки фронта морские стрелковые бригады. (Всего за время войны в составе этих стойких воинских формирований сражалось до полумиллиона моряков, взятых с флотов.)
После Сталинграда, когда нам стало легче, морских специалистов начали возвращать на корабли, а морские бригады постепенно расформировались. У немцев же произошло вот что. В Германии, как известно, авиацией занимался Герман Геринг, правая рука Гитлера и второй после фюрера человек в государстве. Он считал военно-воздушные силы своим детищем, всячески опекал их. В авиацию призывали людей наиболее здоровых, технически грамотных, благонадежных. И без ограничения количества. Сколько хотели авиационные генералы, столько и получали. Образовался перебор. В пехоте людей не хватало, а в авиационных частях, на аэродромах, в училищах, на заводах — везде солдаты и офицеры сверх штата. Особенно это стало заметно, когда немцы потеряли много самолетов. Количество техники, аэродромов резко сократилось, а обслуживающего персонала — хоть пруд пруди. Гитлер велел отправить на фронт молодых и здоровых бездельников. Геринг, естественно, расставаться со своей «гвардией» не хотел, старался сохранить подчиненные ему войска, свою опору, мотивируя это тем, что надо иметь кадры для восстановления авиации. Выход нашли такой: Геринг формирует так называемые авиаполевые дивизии, они остаются в его системе, но временно подчиняются командованию сухопутных сил. Вот и начали затыкать этими дивизиями дыры на разных участках фронта. Людей в них были достаточно, солдаты крепкие и выносливые, но вооружение слабее, чем у пехотинцев, а опыта — никакого. Первое время большие потери были в этих дивизиях, но роль свою они сыграли. И чем меньше у немцев оставалось самолетов и аэродромов, тем больше авиаторов оказывалось в авиаполевых дивизиях.
Вернемся, однако, в Запорожье. Здесь, в казарме неподалеку от аэродрома, для совещания с Гитлером, были собраны высшие военные руководители, в том числе Йодль, Клейст и Манштейн, назначенный командовать вновь созданной группой армий «Юг». Известно, что Гитлер недолюбливал Манштейна, вероятно, за чрезмерное самомнение, знал его недостатки («Манштейн хорошо воюет, когда у него хорошие войска, а когда таких войск нет, его лучше не посылать») и при этом был почему-то уверен в преданности этого довольно молодого и одаренного полководца. Направлял его, вопреки собственному высказыванию, не туда, где имелись хорошие войска, а туда, где было особенно трудно. Вот и теперь

Манштейн должен был спасти положение на юге. Гитлер передал в его распоряжение три десятка дивизий, в том числе тринадцать танковых и моторизованных — все те соединения, которые успели «вытянуть» через Ростов с Кавказа, с Маныча.

Совещание высшего немецкого командования длилось двое суток. Не знаю, велась ли стенограмма, я не видел таковой у Иосифа Виссарионовича. Но кое-что нам стало известно. Гитлер в общем правильно оценил обстановку. Потребовал от генералов собрать в мощный кулак все имевшиеся на юге танковые и моторизованные дивизии, нанести встречный удар по наступающим войскам Ватутина, любой ценой остановить и отбросить их. Не считаясь ни с чем — такова была твердая позиция фюрера. «Если не остановим здесь, не остановим нигде: они дойдут до Берлина!» — упрямо повторял Гитлер.

Известно также, что к окончательному решению совещание прийти не успело. 19 февраля на окраине Запорожья появились советские танки. Передовой отряд войск генерала Ватутина, далеко оторвавшийся от своих. Несколько танков, израсходовавших почти весь боезапас и почти все горючее. Но паника поднялась изрядная. Гитлер срочно выехал на аэродром, приказав, вместо прощальных слов, наступать немедленно, ввести в бой все, что есть! А когда фюрер сел в самолет, на аэродроме разорвалось несколько снарядов. Не знали наши танкисты, кто в этот момент поднимается в воздух. А то, конечно, не экономили бы, израсходовали бы последний боезапас.

Манштейн выполнил приказ фюрера. Ценой больших усилий ему удалось остановить и оттеснить назад, к Харькову, войска Ватутина. Там образовался южный фас так называемого Курско-Орловского выступа, где развернется решающее летнее сражение 1943 года. Но сейчас не об этом. По свидетельству адъютанта Гитлера, в самолете фюрер потребовал карту и почти до самой посадки не отрывался от нее. О состоянии Гитлера адъютант умалчивает, но не трудно предположить, каким было оно после вынужденного бегства, да еще под обстрелом. Может, впервые тогда задумался фюрер над тем, чем кончится эта война: ведь русские действительно способны дойти до Берлина! Что видел он, не лишенный прозорливости, на этой военной карте и за ней, за ее пределами?! Не пытался ли угадать, вздрагивая от волнения, словно в ознобе, где то воинское соединение русских или та часть, которая достигнет немецкой столицы, ворвется в святая святых третьего рейха, в имперскую канцелярию. Кто командует этой частью? Где то артиллерийское орудие, которое выпустит первый снаряд по убежищу фюрера?

Военная карта, пересеченная голубыми линиями рек, отметками высот, испещренная черточками болот, зелеными массивами или пятнами лесов, другими разнообразными знаками, как много может поведать она тому, кто разбирается в ее символике! Во всяком случае несравнимо больше, чем карты гадальные. Там игра, предположительность, а на географической карте — суровая реальность.

Военный язык, в том числе язык военных карт, отшлифованный веками, лаконичен, точен и по-своему романтичен. Давайте вместе прикинем, что мог видеть Гитлер на подробной военной карте, возвращаясь из Запорожья, изучая не свою, а нашу таинственно-тревожную для него сторону театра военных действий. Ну, естественно, он видел полосы наших фронтов и армий, то есть воинских объединений, как их принято называть. Они занимали на карте заметное место. Фронт — километров

триста или четыреста, и более. Армия: у одной полоса километров под сто, у другой — пятьдесят. Организм гибкий, зависимый от многих условий, от местности и количества личного состава, до поставленной задачи.

Менее заметны на большой карте полосы воинских соединений — корпусов, дивизий, бригад. Сантиметра два на бумаге и — номер маленькими цифрами. Ну, а дальше и того мельче. Соединение, как известно, состоит из воинских частей, то есть из полков или приравненных к полкам отдельных батальонов. Это наиболее устойчивое звено сложного военного организма, со своим постоянным номером, со своей печатью, а самое главное — со своей святыней, полковым Знаменем. Утративший Знамя полк перестает существовать, его расформировывают. Ну, а полк, в свою очередь, делится на подразделения: на простые (не отдельные) батальоны, на роты, на взводы.

Отличительная особенность самых сильных и практичных в мире армий, русской (советской) и германской, заключается в том, что основой их был и остается именно полк. Он имеет свое учебное и материальное хозяйство в мирное время и несет на себе основную нагрузку во время войны — ведет бой. В годы Отечественной войны штат стрелкового полка у нас менялся в зависимости от разных обстоятельств. Посмотрим, что представлял из себя полк (повторяю, основная тактическая и административно-хозяйственная единица в наших войсках) к 1945 году.

3 стрелковых батальона;

2 роты автоматчиков;

3 батареи (артиллерийская, минометная, истребительно-противотанковая);

взвод крупнокалиберных зенитных пулеметов;

отдельные подразделении боевого обеспечения и тыла (разведка, саперы, медики, снабженцы и т. п.);

личный состав — 2398 человек;

пулеметы (ручные и станковые) — 162;

орудия (45-мм, 57-мм, 76-мм) — 24;

минометы (83-мм, 120-мм) — 24.

Конечно, штатный состав полка не всегда выдерживается даже в мирное время, не говоря уж о военном. Редко бывает больше, зато почти всегда — меньше. К концу наступательных операций в полку, случалось, оставалось человек по пятьсот, а то и по триста — двести. Но полк пополнялся и воскресал вновь.

Теперь вот я все о войне пишу, так читателю, наверно, небезынтересно знать, что такое полк, каковы его численность и задачи. (Немецкий полк, кстати, во второй половине войны был по штату примерно вдвое больше нашего, это надо иметь в виду.) Ну, а наш стрелковый полк при обороне занимал полосу от 3 до 5 километров, согласно тому Боевому уставу, о котором мы уже говорили. А в наступлении прорывал оборону противника на протяжении 700-1500 метров, в зависимости от ее насыщенности огневыми средствами.

Так что же искал Адольф Гитлер на военной карте, летя из Запорожья, что предполагал? Вот они обозначены на самом коротком направлении от Москвы до Берлина, известные ему русские гвардейские армии и корпуса. Танковые. Стрелковые. Десять кавалерийских корпусов, причем все гвардейские, и среди них 1-й гвардейский кавалерийский корпус, еще недавно потрясавший немецкий Генштаб. Они ли придут к Берлину? Или это сделают ударные армии Северо-Западного, Ленинградского

направлений, для которых путь в Германию куда как короче, чем для тех русских войск, что сражаются сейчас на юге против Манштейна?!

А действительно — где он, тот полк, который первым пробьется к имперской канцелярии, к укрепленному логову Гитлера? Их будет несколько, этих полков, по крайней мере три полка будут действовать непосредственно на этом участке. Они достойны внимания и славы. А я расскажу только об одном, о самом обычном и потому, наверно, самом типичном, который был создан, сформирован усилиями народа после наших больших поражений, в наиболее трудное для нас время. Самый типичный и при том совершенно своеобразный полк, как, впрочем, и все другие полки.

Зря шарил Адольф Гитлер по аккуратно выписанным на карте номерам армий и дивизий, выискивая среди них наиболее прославленные. Тот полк, который ворвется в рейхсканцелярию, в фюрербункер, был гораздо ближе многих других к тому городу на Днепре, из которого только что улетел претендент на мировое господство. Ничем еще не отмеченный 902-й стрелковый полк. Дата рождения — 3 сентября 1942 года, когда завязывались бои на подступах к Сталинграду. Место рождения — город Астрахань. По крохам, по малости, напрягая силы, собирала измученная, истощенная войной, страна этот новый номерной полк. В заводские общежития на окраине города направлялись из госпиталей воины, опаленные огнем в Крыму, в Керчи, на Кубани. Прибывала местная молодежь, каспийские моряки. «Старички» из 45-й запасной бригады. Ленинградские парнишки из эвакуированной сюда военно-морской спецшколы и морского училища: на должности командиров взводов. Но две трети личного состава и более половины командиров уже имели боевой опыт. А это много значило.

Да, с трудом собирала страна этот полк. Гремело сражение в Сталинграде, к этому сражению было приковано общее внимание, а 902-й стрелковый формировался за счет того немногого, что доставалось ему. Люди были замечательные, это да. Но с вооружением было скверно, каждое артиллерийское орудие воспринималось, как подарок. И с обмундированием плохо, опустели уже к тому времени воинские склады. Местные умельцы шили воинам шинели, тачали простенькие сапоги.

Не было автомашин. Не осталось лошадей в астраханских степях. На Дону, на Кубани, в Калмыкии — везде немцы. Пополнение из Казахстана, из Туркмении пришло вместе с верблюдами. И свои, астраханские верблюды имелись. Какая-никакая, а тягловая сила. Для артиллерии, для обозов. Вообще-то говоря, стыдновато это было для прославленной русской артиллерии, но куда же денешься, если нет ни коней, ни машин, ни тракторов. Вот так и появились в боевом расчете командира орудия сержанта Григория Нестерова, астраханского богатыря-моряка с пышными усами, два горбатых верблюда. Громадный Мишка со светлой шерстью и спокойным характером, и нервная, норовистая Машка, отмечавшая всех, кто ей не нравился, метким плевком.

Боевое крещение принял полк в декабре сорок второго года при освобождении города Яшкуль. Трудно пришлось полку в столкновении с 16-й моторизованной дивизией гитлеровцев. Дрались до последнего снаряда и до последнего патрона. Были большие потери. Конечно, Адольф Гитлер подписывал много документов, наверняка даже не читая, доверившись своим сотрудникам. Запомнил ли фюрер свой приказ о том, что, в связи с окружением и уничтожением 902-го стрелкового полка

русских, он жалует отличившемуся офицеру, подполковнику Александру Впалу, высокую награду — Железный крест!? Мало ли жаловал Гитлер этих крестов!

А он был цел и боеспособен, этот «уничтоженный» полк. Он сражался за Батайск, штурмовал Ростов, отрезая северокавказскую вражескую группировку. А в те минуты, когда Гитлер летел из Запорожья, 902-й полк походным порядком шел как раз на запад в сторону этого города. Шел неторопливо, буднично, с той обстоятельностью, которая отличает войска, привычные сражаться в любых условиях. Шагали по раскисшим дорогам молодые бойцы — комсомольцы и усатые «сорокоты», месили грязь солдатские стоптанные башмаки (вклад американцев в общую победу!), торопились по обочинам юные лейтенанты из флотских в истрепавшихся хромовых ботиночках под черными обмотками. Девчонки-медики старались сберечь свои зеленые брезентухи-сапожки, хоть и кокетливо-привлекательные, но мало пригодные по такой погоде. А что тогда могла дать им взамен напрягавшая все силы страна? Не о том ли полку пела Шульженко:

Под весенним солнцем развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять, Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…

Он идет, он неотвратимо идет, этот номерной полк, которому еще невероятно далеко до Берлина, до фюрербункера. В нем уже прибавилось артиллерии, прибавилось автомашин. Но автомашины и вязнут, и ломаются на наших невероятных дорогах, а неприхотливые верблюды Мишка и Машка, давно уже привыкшие к грохоту бомб и снарядов, тянут и тянут свою пушку. И до самого Берлина не поменяют их на капризную технику командир орудия сержант Нестеров и заряжающий татарин Кармалюк. Удивительно: семь — восемь раз сменятся за войну все номера орудийного расчета, но эти двое, и два верблюда, останутся живы. А где-то на уральском заводе какой-то полуголодный паренек уже вытачивает, может быть, корпус того снаряда, который, после команды Нестерова, пробьет первую дыру в стене гитлеровской рейхсканцелярии.

Пора, наверно, сказать и о командире этого обычного полка, который, кстати, так и останется обычной, не прославленной воинской частью. Командиров было несколько, одни погибли в боях, другие убыли по ранению или по новому назначению. А тот, кому суждено довести 902-й стрелковый до фюрербункера, тот еще в госпитале после очень тяжелого ранения, его еще лечат и опять же буквально «по деталям» собирают медики. В этом смысле, как и ожидающий его полк, командир в определенной степени символичен.

Георгий Матвеевич Ленев — сын железнодорожника. Рано остался без родителей. Рос в Ленинграде. Примечательная страница биографии — работа в экспедиции, искавшей и нашедшей уголь на Печоре. В начале войны — капитан. Воевал в 61-й армии, которой с лета сорок второго года командовал известный читателям Павел Алексеевич Белов. В одной из атак майор Ленев был тяжело ранен разорвавшимся сзади снарядом. Более чем ранен — искалечен. Возили по госпиталям. Из Одоева (где был тогда автор этой книги) — в Тулу. Там вытащили осколок из позвоночника и отправили в Рязань. Лечить поврежденное бедро и раздробленную пяточную кость левой стопы. Стопу хотели ампутировать — Ленев настоял, чтобы не трогали, чтобы перевели в другой госпиталь. Оказался в

Сызрани. Потом в Вольске. Ленев повторял одно: сохраните ногу, я хочу воевать!

Он просил, казалось бы, невозможного. Но, к счастью, есть на свете люди, которые в невозможное верят. Половину пяточной кости необходимо было удалить. Тогда сильная хромота, никакой речи о возвращении на фронт. И хирург в Вольском госпитале медлил. Вот если бы наложить скобу. Не подверженную коррозии, из чистого золота!.. Да где его взять?..

Весной Ленева в очередной раз положили на операционный стол. Он не ждал ничего, кроме нового наплыва боли. Ему дали наркоз. Очнулся майор через два часа. Пожилой хирург устало улыбнулся ему. «Не знаю, как насчет военных парадов, но воевать будете!» А Ленев не догадался сразу, что произошло, он лишь на следующий день увидел и понял: в ушах красавицы-медсестры Антонины Петровны Самойловой не было золотых сережек.

Всем миром вытянули, вылечили, подняли на ноги люди добрые своего защитника — воина Георгия Ленева. У него еще многое впереди. Где-то в неведомой дали Золотая звезда Героя Советского Союза, погоны генерал-лейтенанта, должность начальника самого престижного в стране военного училища. А пока он, еще малость прихрамывающий офицер, ждет назначения на фронт. А Гитлер летит в Берлин в свой фюрербункер. А 902-й стрелковый полк, теперь уже кадровый полк кадровой Красной Армии, уверенно и неостановимо идет на запад.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

1

Осенью 1942 года, в самое трудное время, когда с фронта, особенно из Сталинграда, приходили сообщения одно хуже другого, когда тяжкой глыбой давили на людей неудачи, разочарование, накопившаяся усталость — в это время в Москве и в других городах с большим успехом шел кинофильм «Джордж из Динки-джаза» и подобные ему развлекательно-сентиментальные, в общем-то пустяковые американские фильмы, где основными действующими лицами были танцовщицы из мюзик-холла. Пресловутого «Джорджа» даже в кремлевском кинозале показывали, Сталин посмотрел его вместе с несколькими членами Политбюро и военными товарищами. Остался доволен. Во всяком случае, отрицательно не высказывался, на потерю двух часов не сетовал. А я задумывался — в чем же притягательность этих фильмов? Вероятно, они давали возможность хотя бы на короткий срок забыть о суровых буднях, перенестись в иной полусказочный мир, полный веселых звуков, легких движений, улыбок, привлекательных женских нарядов, с благополучной развязкой всех сюжетов. Разрядка была безусловная. А вот десятикласснице Светлане Сталиной легковесные американские фильмы, ничего не дающие ни уму, ни сердцу, не понравились, и сей незначительный факт, как ни странно, послужил в какой-то степени завязкой большой и длительной трагедии.

Началось вот с чего. В октябре сорок второго года полковник Василий Сталин привез на Дальнюю дачу известного киносценариста Алексея Яковлевича Каплера, чтобы «за рюмкой чая и чашкой водки» потолковать о создании фильма о героях-летчиках. Были там и другие

кинематографисты, другие военные. Закончив деловое обсуждение, вместе посмотрели «гвоздь сезона», того самого «Джорджа из Динки-джаза». Фильм модный, отставать от моды никто не хотел, вместе с Василием зрители похлопали, повосторгались. Один лишь Каплер пожимал плечами: «Дешевая оперетка. Работа примитивного режиссера с одной извилиной в мозгу. По сравнению с этой белибердой наша «Волга-Волга» просто гениальная классика!» Присутствовавшие пытались возражать, но Каплера с молодой горячностью поддержала Светлана Сталина. Всегда такая молчаливая, застенчивая, она вдруг осмелела, глаза загорелись. Это, мол, пошлость, и вообще американские фильмы, которые ей довелось видеть, поражают приземленностью, безвкусицей, будто люди остановились в своем развитии, будто не было в мире высоких достижений искусства, культуры, по которым надо равняться. Фильм для тупого обывателя на уровне пивнушек, где зарождался германский фашизм, только на другом, на заокеанском фоне.

Максимализм, конечно. И вообще — о вкусах не спорят. Я вот удивляюсь популярности Чарли Чаплина, не вижу в его мелкотравчатой дурашливости ничего интересного. Но ведь смешно кому-то, когда торт размазывают по лицу… Однако сейчас не об этом, Алексей Яковлевич Каплер и Светлана Сталина выступили тогда против всей компании со своим мнением. Так и познакомились. И возникла какая-то общность.

Следующая встреча состоялась примерно через месяц, была более продолжительной и определяющей. 7 ноября отметить очередную годовщину Октябрьской революции, на Дальнюю дачу приехало много гостей, приглашенных Василием. Был ужин с тостами, потом, естественно, танцы. На дружеской вечеринке оказалась и Светлана. Все было для нее внове, воспринималось свежо и остро. Впервые попала она во взрослую праздничную компанию, да еще к каким взрослым! Тут и красавец поэт Константин Симонов, и кинооператор Роман Кармен, чье имя после испанских событий стало почти легендарным, и герои-летчики… Впервые на ней было платье не покупное, а сшитое у портнихи: нарядное, к лицу, скрывавшее плоскость фигуры. А на платье — брошь, оставшаяся от мамы.

Алексей Яковлевич Каплер пригласил Светлану на фокстрот, убедил неуверенную в себе девушку, что она прекрасная партнерша, и потом танцевал с ней весь вечер. Светлана была польщена. Столько красивых женщин, известных актрис: и Серова, и Целиковская, а Леля-Люся (так называли Каплера в своем кругу) танцует только с ней. И ведь это известный всему миру сценарист, создатель фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», — с ним любая женщина сочла бы за честь хотя бы несколько минут поговорить, а он не отходит от Светланы, кружит в вальсе до радостного сердцебиения, так что в глазах темнеет. Со стороны эта пара выглядела несколько странно: почти сорокалетний самоуверенный бодрящийся толстячок и худенькая шестнадцатилетняя школьница с хрупкой фигурой, с наивно-счастливой улыбкой на веснушчатом полудетском лице. Но кто видит себя со стороны в том возрасте, в котором находилась Светлана!

Разгоряченные танцами и вином, вышли они на воздух, прогуляться вокруг дачи. Было тихо, морозно, сквозь кроны высоких сосен светила луна. Ну, все атрибуты романтического свидания — прямо как в театре. Разве мог опытный киношник не использовать такой антураж! Приправленный горечью девичьего откровения. Вот на ней рубиновая мамина брошь, но ведь никто даже не вспомнил, что сегодня десять лет,

как мама ушла из жизни. Каплер, конечно, выразил и сочувствие, и сожаление.

Первое объятие, первый поцелуй — можно понять, какое впечатление это произвело на Светлану, как потрясло ее! Она ведь жила, как в башне неприступной крепости, изолированная от сверстников, от молодых людей. А возраст требовал своего — южанки созревают рано. Неудовлетворенность, томление, не находившее никакой разрядки, влияли на психику, расстраивали воображение, нервную систему. Нарастал комплекс неполноценности: Светлана с отроческой беспощадностью оценивала свою внешность, чрезмерно преувеличивая непривлекательность — кто из девочек не прошел через это! И нос длинный, и рот широкий, и плечи узкие. Отсюда и болезненная застенчивость, и неуверенность, и резкость суждений. Ребята не решались ухаживать за ней, за дочерью вождя, а она думала, что никого не может привлечь. А уж когда привлекла — свет в окошке! Потому и пробил разом Каплер брешь в стене башни, проник к юному беззащитному сердцу. Бросилась Светлана в открывшиеся объятия, обретая уверенность в себе рядом со взрослым, опытным человеком, умевшим обольщать красиво и тактично.

Встречались они часто. Каплер ждал ее возле школы, укрывшись от любопытных глаз в подъезде соседнего дома. Светлана вбегала туда, и несколько минут они оставались вдвоем, пока охранник медлил у входа. Потом гуляли по улицам, шли в Третьяковку, или на какую-нибудь выставку, или в кино. В театрах бывали. Во всезнающем столичном «полусвете» поползли соответствующие слухи. Пикантные, щекотавшие нервы.

Комиссар госбезопасности 3-го ранга Власик, непосредственно отвечавший за охрану, за быт и благосостояние вождя и его семьи, не торопился докладывать Иосифу Виссарионовичу об увлечении дочери. Надеялся, что порыв угаснет и все образуется. Однако дело шло по нарастающей. В конце ноября Николай Сергеевич Власик обратился ко мне за советом, как быть? Если Сталин узнает со стороны — это плохо. Не возьмусь ли я поговорить с ним о Светлане? Подумав, я согласился при условии, что кто-то из людей Власика без нажима побеседует на эту тему с Каплером, предупредит о возможных последствиях.

Ни мое сообщение о свиданиях Светланы с известным киношником Иосиф Виссарионович почти не отреагировал, но это не ввело меня в заблуждение. Некоторые считали: не проявил Сталин особого интереса, значит все нормально. Ан нет! Вопросы текущие, не очень задевавшие его, Иосиф Виссарионович решал сразу. А то, что представлялось более существенным, сложным, требовало осмысливания, воспринималось с внешним равнодушием, откладывалось, не в долгий, а я бы сказал, в дистанционный ящик. Чтобы основательно разобраться. В тот раз, в самом конце разговора, Сталин только поинтересовался, как охраняется дочь, потребовал сообщать ему донесения агента, постоянно находящегося при Светлане. Не у меня потребовал, а с Власика — это по его части. Я тоже получал соответствующую информацию.

Примерно через неделю, поздно вечером, после обсуждения обстановки под Сталинградом, Иосиф Виссарионович, отпустив военных товарищей, устало опустился в кресло, расстегнул ворот кителя. Спросил:

— Николай Алексеевич, как у Светланы, насколько серьезно?

— Увлеклась основательно.

— Зачем дуре такой плешивый? Помоложе нету? Зачем он окручивает? С какой целью? — Сталин смотрел на меня, ожидая ответа. Я медлил. Он сообразил, почему, и продолжил: — Николай Алексеевич, ви-и хотите напомнить, что история повторяется, что ее мать-гимназистка полюбила меня, когда мне было сорок. Разница в двадцать два года, почти такая же, как у Светланы. Добром это не кончится, несовместимы пласты жизни… Но я хоть джигитом был, с казачьим чубом, не такая квашня…

— А ее бабушка Ольга Евгеньевна? В четырнадцать лет сбежала ночью через окно с нашим уважаемым Сергеем Яковлевичем Аллилуевым… Вы же только шутили на этот счет, не осуждали.

— Наследственность. Тяжелая наследственность все время дает о себе знать, — сказал Иосиф Виссарионович. — Пресечь надо.

— Никакой хирургии. Первая любовь — это и восторженность, и глупость, и самопожертвование без мысли о будущем. А самое лучшее лекарство — время, естественный ход событий.

— Мы не можем, мы не имеем права допустить вредных случайностей, — недовольно произнес Сталин.

Конечно, какому отцу приятно, если его неокрепшее чадо становится предметом домогательств мужчины в два с лишним раза старше. Но Иосиф Виссарионович, отнюдь не фарисей, сам изрядный грешник, смирился бы со сложившимся положением, если бы на месте Каплера оказался кто-то другой, более приемлемый с его точки зрения. Это мое предположение подтвердилось буквально через несколько суток. Опять же вечером у него в кабинете. Весело-возбужденный, Сталин встретил меня такими словами:

— Что я вам говорил, Николай Алексеевич, никакой любви, никакого чувства, только голый расчет.

— Положим, вы мне ничего этакого не говорили.

— Но вы же понимаете… У него обдуманный, разработанный план… Он даже не жуир, не бонвиван, а в лучшем случае самонадеянный авантюрист.

— А в худшем?

— Организованная акция. Очередная попытка проникновения, очередная мина пятой колонны.

— Иосиф Виссарионович, вы преувеличиваете. Из обычной истории…

— Из обычной?! — протянул он мне лист бумаги. — А вы прочитайте.

— Что это?

— Агентурное донесение. Власик и Берия молодцы, подняли довоенные дела, обнаружили.

Это был даже не донос, а скорее отчет секретного сотрудника о поездке группы киносценаристов и режиссеров в подмосковный совхоз «с целью изучения сельской жизни». На один день. В служебном автобусе. Тридцать два человека — в том числе Каплер. Несколько строчек в отчете были Иосифом Виссарионовичем подчеркнуты, на них я и обратил внимание. Оказывается «изучать жизнь» киношников отправили не куда-нибудь, а в Горки-II, в совхоз, который снабжал весь особый район государственных дач куриным мясом, яйцами, картофелем и другими продуктами. В том числе Дальнюю дачу Сталина. На полях и на птицефабрике было на что посмотреть. Но Каплера интересовало другое. Он был восхищен красотой тех мест, особенно поразил его краснокирпичный замок Микояна на крутом берегу Медвенки (где я проводил когда-то ревизию).

«Как в сказке! Потрясающе! Какой волшебник живет здесь? Или здесь санаторий?!» Ему в общих чертах, без подробностей, дали понять, где проезжает автобус. «Я тоже хочу жить тут! Я буду жить тут!» — воскликнул Алексей Яковлевич, что и было зафиксировано в отчете, составленном одним из членов делегации.

— Теперь вам понятно, Николай Алексеевич? — спросил Сталин. — Он уже давно нацелился сюда, задумал влезть к нам. И воспользовался наивностью совсем неопытной девочки.

— Может, он любит ее.

— Он разыгрывает спектакль, этот бабник. Он привязывает ее к себе, возбуждает в ней женщину. Он приносил ей эротические книги, водил на просмотр трофейного фильма, где всякая дрянь… Даже Климов плевался.

— Кто такой Климов? — вставил я, чтобы сбить нараставший гнев.

— Это простой человек, который ее охраняет. Даже ему понятно, а эта дура совсем ослепла.

— И все-таки надо без хирургии, — в который уж раз повторил я. — Чтобы не повредить прежде всего Светлане… Хотя бы вот что. В совхоз он ездил жизнь изучать? Пусть и на фронт съездит, поизучает. В длительную командировку. Туда, где главные события. Глядишь, сценарий создаст, для кино польза будет. И десятиклассница наша спокойно школу закончит.

У Иосифа Виссарионовича посветлели глаза, подобрело лицо.

Да, только посочувствовать можно было тогда Сталину как отцу: неприятности доставляли все трое детей — о Василии я скажу позже. Особенно тяжело было ему разочаровываться в своей любимице, которую надеялся видеть продолжательницей его дел. Хотел, чтобы она мыслила, как Екатерина Вторая: «За честь и славу России я бы сама в последнем баталион-каре голову свою положила». А Светлана к потертому Люсе на свидание бегает. Унаследовала, значит, от бабки, от матери их повышенный темперамент, подавлявший рассудок. А исторической масштабности, огромности Сталина и его дел не прочувствовала, не восприняла. Слишком мала была дистанция, чтобы охватить величие. Воспринимала его привычно, по-домашнему, только как отца, как обычного человека, со всеми присущими слабостями. Это вообще-то закономерно: если редко бывают пророки в отечестве своем, то уж в семье тем более. Особенно не везет в этом отношении людям выдающимся, деятельным, сильным. Может, слишком много дает природа им самим за счет потомков. У царя Петра — безвольный и плаксивый сын Алексей. У той же Екатерины Второй — чудаковатый, мягко выражаясь, Павел. Ну и у Сталина ни сыновья, ни дочь, как начало выясняться, не пошли в отца. Слабое, конечно, утешение эти аналогии, но куда от них денешься…

2

Пока великовозрастный ухажер по командировке «Правды» изучает фронтовую жизнь где-то под Сталинградом, а успокоившаяся Светлана прилежно занимается в московской школе № 175, получая заслуженные «пятерки», самое время сказать о том вреде, который причинил многим людям, миллионам людей, Каплер своим необдуманным поведением. У таких деятелей, как Сталин, личное неразрывно связано с общественным. Хотел того Каплер или нет, скорее всего не хотел, но он спровоцировал Иосифа Виссарионовича на новую вспышку антисионизма, которая не

угаснет до самой смерти, превратив интернационалиста Сталина в убежденного активного «жидоеда». Увы, это так.

Пунктирно проследим предысторию. Сразу после Октябрьской революции Сталин становится наркомом по делам национальностей и лучше других видит удивительную аномалию. В стране, где евреев всего два-три процента, они захватывают почти все руководящие посты в партии, в государстве, в карательных органах. Нагло осуществляют местечковый лозунг: «Дайте нам равные права, а остальное мы возьмем сами». И берут, отбрасывая тех, кто мешает. Свердлов и Троцкий приступают к уничтожению казачества, Сталин, Ворошилов, Буденный срывают их замыслы, к середине тридцатых годов вообще восстанавливая донскую и кубанскую конницу даже с ее особой традиционной формой. Далее. В ответ на «белый террор» объявляется «красный террор». Только в Петрограде под руководством Зиновьева при одобрении Троцкого без суда и следствия ликвидировано около десяти тысяч лучших представителей русской интеллигенции. В этом огромном трагическом списке нет ни одной еврейской фамилии. Зато освободившиеся квартиры и должности сразу же были заняты новыми лицами, понятно какими. Сталин в ту пору еще не имел такого влияния, чтобы остановить расправу.

Многие годы своей жизни отдал Иосиф Виссарионович борьбе с Троцким и его приспешниками за превращение Советского Союза в могучую независимую державу. Против тех, кто хотел видеть Россию полуколонией, сырьевым придатком американо-английского империализма. Помню, как сетовал: «До чего нахальны, до чего беспардонны. Гонишь через дверь — они в окно лезут. Выбросишь из окна — они через форточку… Дали им область на Амуре, они теперь Крым под свою республику требуют».

К концу тридцатых годов, когда был уничтожен Троцкий, смещены с высоких постов его последователи, установлена в руководящих звеньях некая национальная пропорциональность, пресловутый «еврейский вопрос» начал затухать сам собой. Наверное, он и вообще исчез бы, если бы представители еврейской нации не возбуждали его. Они действительно стучали во все двери, лезли во все щели, требуя особых преимуществ. Добились же, что создан был у нас Еврейский антифашистский комитет, единственный такой комитет по национальному признаку. «Триумвират» соорганизовался — ну, не могли они жить спокойно, как все. Одни неприятности от их претензий.

В свое время Иосиф Виссарионович очень болезненно воспринял женитьбу Якова на Юлии Мельцер. Считал, что ее специально «подсунули» для проникновения в семью Сталина, чтобы влиять на него. У многих руководящих деятелей жены были еврейки, это сказывалось, а тут еще и сталинского сына окрутили. Однако с годами заросла и эта боль, особенно с началом войны, сплотившей людей разных национальностей против общей беды. И вот снова соль на едва зажившую рану. Иосиф Виссарионович надеялся породниться в будущем с русской семьей верного друга Жданова, а тут вдруг этот Люся Каплер.

Прошел месяц, наполненный сложными военными событиями: судьба человечества решалась на Волге. Не до ухажера-киношника. Лишь однажды Иосиф Виссарионович спросил меня:

— Где этот евреец?

Вероятно, по ассоциации с привычными словами «горец», «чеченец», «европеец», «абхазец» вырвалось у Сталина слово «евреец», и впоследствии он все чаще употреблял его: без уничижения, но с иронией.

Я ответил, присовокупив, что вот вроде все и обошлось, затихло. Иосиф Виссарионович с сомнением покачал головой. И оказался прав. Каплер вскоре вновь заявил о себе, причем самым неожиданным и скандальным образом. В «Правде» появился его материал, а точнее письмо из Сталинграда от некоего лейтенанта Л. любимой женщине, живущей в Москве. Ладно, если бы рассказывал о боях, о военных переживаниях, так нет же: значительная часть письма была посвящена лирическим воспоминаниям о встречах, о прогулках — этакое своеобразное объяснение в любви. Был указан и адрес: центр столицы. «Ты видишь из окна зубчатые стены Кремля».

Флер был слишком прозрачен, намеренно прозрачен. Те, кто хоть что-то слышал о взаимоотношениях Каплера и Светланы (а слышали к тому времени многие), сразу поняли, и о чем и о ком идет речь. Сценарист попер напролом, заявив о своих притязаниях. Для Иосифа Виссарионовича это была весьма неприятная новость.

Что толкнуло Каплера на столь решительный и рискованный поступок? Безрассудство любви? Ну, какое уж там безрассудство у опытного сорокалетнего мужчины, избалованного вниманием женщин. Скорее наоборот — Каплер осознанно пошел на риск, считая, что теперь самая подходящая обстановка для достижения цели. Упустишь время — Светлана повзрослеет, задумается, прислушается к советам. Куй железо, пока горячо, используй невероятнейшую удачу — возможность подняться на самую вершину Олимпа. Письмо с фронта, дым сталинградского сражения — это романтика для юной девичьей души. Светлана сейчас готова на все, она восхищена его смелостью, она защитит его перед грозным отцом. И не только она, но и сами обстоятельства. Каплер не какой-то «человек с улицы», а создатель киноленинианы, орденоносец, всему миру известный, его просто так со сцены не уберешь. Зачем честолюбивому Сталину семейный скандал, зачем выставлять себя на посмешище?! Не лучше ли сесть рядком да поговорить ладком. Любовь побеждает, брешь пробита, и все довольны. А почему бы нет?! Алексей Яковлевич Лениниану создал, а еще и Сталиниану сотворит. Вместе со Светланой.

Вернувшись в Москву, Каплер пошел на дальнейшее обострение ситуации. Он знал, что за ним следят, что телефонные разговоры прослушиваются. Светлана просила, умоляла его быть осторожным. Он не внимал. Он искал свиданий. Впрочем, и она тоже. Обстановка накалялась. Через Власика Каплеру было предложено место в одном из дипломатических представительств в далекой спокойной стране. Он отказался. Предложили поехать в Ташкент снимать новый фильм. Это его больше устраивало, но он не спешил.

28 февраля 1943 года Светлане исполнилось семнадцать лет. Условились отметить праздник вдвоем. Заранее был взят у Василия ключ от пустой квартиры на улице Чкалова, где брат встречался и развлекался обычно с друзьями-подругами. Охранник вынужден был остаться в первой комнате. Светлана и «милый Люся» ушли в соседнюю. Там был широкий диван. Некоторые подробности этого последнего свидания поведала в своих воспоминаниях сама Светлана. «Мы обнялись с Люсей, прижались друг к другу».

Сталину доложили не сразу. Власик ждал подходящего момента, чтобы взрыв был не слишком оглушительным, и, как нередко случалось у него, получил результат «полностью наоборот». В ночь на 3 марта Иосиф Виссарионович особенно долго задержался в своем кабинете. Новости с фронта были хорошие, настроение, соответственно, благодушное, чем и воспользовался прямолинейный Николай Сергеевич. Но слишком резким был контраст, слишком тяжела новость для утомленного, расслабившегося человека. На какое-то время он утратил контроль над собой. Власик потом говорил мне, что никогда не видел Сталина в таком бешенстве. Дрожали побелевшие непослушные губы.

— Скурвилась! — выдавил он. — Меры?

— Каплер арестован. Вчера.

— Основание?

— Связь с английской разведкой, запись телефонных переговоров с иностранными корреспондентами.

— На север! К черту на рога!.. Где она?

Власик взглянул на часы:

— Собирается в школу.

Задыхаясь от гнева, от быстрой ходьбы, ворвался Сталин в комнату дочери. Вид его был настолько страшен, что Светлана отшатнулась.

— Мразь! — выкрикнул он. — Твои ровесники на фронте! Гибнут! У станков падают. А ты бесишься! За спиной отца! Блядствуешь!

Светлана слова вымолвить не могла, только рот открывала и пятилась за спину няни-прислуги.

— Где его письма, где фотографии?

— Но я люблю его! — вырвалось, наконец, у нее.

— Шантажиста, английского шпиона…

— Люблю!

— Шлюха! — Сталин ударил ее по щеке. И еще раз. Оттолкнул бросившуюся к нему няню: — Где бумаги?!

Трясущимися руками Светлана открыла ящик стола, на пол посыпались конверты, фотоснимки, листки машинописного текста…

Чуть успокоившись с помощью няни, Светлана уехала в школу. А Иосиф Виссарионович так и не лег отдыхать. Сидя в столовой, он читал письма Каплера, наброски нового сценария, подаренные Светлане. Гнев прошел, и Сталин почувствовал угрызения совести: никогда прежде он не был груб с дочерью, никогда пальцем не тронул ее. Пощечины, испуганный голос Светланы звучали, вероятно, в ушах.

Дождался возвращения, позвал в столовую, где на большом обеденном столе валялись клочки разорванных бумаг и фотографий. Сказал мягко:

— Подумай сама, с кем ты связалась?! Этот евреец даже писать по-русски прилично не может.

Светлана молчала, опустив голову. Вид у нее был жалкий. Сталин искал убедительных слов.

— Вокруг него столько женщин. А ты? Посмотри на себя — птенец в перьях. Какая любовь! Не тебя он хочет, к нам пролезть хочет. Устроиться на всю жизнь. Бедная девочка!

Светлана вздрогнула. Не желая того, отец ударил ее в самое больное место: она ведь считала себя гадким утенком, дурнушкой, которая не способна нравиться мужчинам. Каплер зажег в ней надежду, дал счастливое ощущение желанной женщины. Но отец, наверное, прав, ведь у нее самой были сомнения… Да, этот удар был сильнее пощечин… Она

так и не поняла, любил ли ее Алексей Яковлевич или умело играл предусмотренную роль? Об этом Светлана сама говорила и писала впоследствии. Неуверенность и сомнения помогли ей быстро преодолеть свое первое чувство. Всего лишь через год она вышла замуж. И, вероятно, в пику отцу, за еврея Григория (Марка) Мороза — сына завхоза той школы, которую окончила. Студент. На четыре года старше. Узнав о таком решении, Сталин сказал Светлане:

«Делай, что хочешь. Иди к черту с этим очередным хуппе.[74] Выезжай из Кремля и не показывайся мне на глаза вместе с ним. Квартиру дадут». Так он благословил ее.

Ну и еще о некоторых последствиях описанной выше любовной болезни или любовного приключения — понимайте как хотите. Самое, может быть, главное — Сталин потерял дорогого, близкого человека, с которым связывал многие надежды и планы на будущее. Теплые, доверительные отношения со Светланой не восстановятся никогда. Больше того — отчужденность будет расти. Светлана даже не поцелует отца в гробу, а после похорон сменит фамилию, возьмет материнскую — Аллилуева.

Из участников разыгравшегося спектакля меньше всех понес потерь инициатор — Алексей Яковлевич Каплер. Выигрыш: влез в историю и получил настоящую возможность «изучить жизнь», что никак не вредно для сценариста вообще и киношника в частности. Высланный на пять лет в Воркуту, работал там в театре, вдали от фронта, от ранящих и убивающих пуль и осколков. Берегли одаренного человека.

В 1948 году отбывший срок Каплер был освобожден, но без права жить в Москве или посещать ее. Отправился в Киев к своим родителям. Однако скучно показалось ему в древнем городе. А может, встречи со Светланой искал. Во всяком случае, нарушил запрет и явился в белокаменную. На обратном пути его сняли с поезда и вновь отправили — в уже освоенные места и опять на такой же срок. Но теперь уже не в Воркуту, а в Инту, и не в театр, а в лагерь при шахте. Однако руки углем он не замарал. Пристроился «посылочником», то есть принимал поступавшие с воли посылки для заключенных. Вернулся в Москву живым и здоровым летом 1953 года. Со Светланой они виделись, разговаривали, но никаких высоких чувств не возникло. Да и Сталина уже не было, уже поругивали скончавшегося вождя.

Женился Каплер на Юлии Друниной, замечательной поэтессе и еще более замечательном человеке. Семнадцатилетней хрупкой девочкой из интеллигентной семьи добровольно ушла она на войну. Не в тыловой госпиталь, а медицинской сестрой в роту, на передовую, где кровь и слава, где мужество и неимоверные тяготы будничной фронтовой жизни. Видела, познала, преодолела все, что только было на той безжалостной и страшной войне. Сквозь раны и муки пронесла свою впечатлительную чистую душу.

Слышал я, что жизнь Друниной с Алексеем Яковлевичем (после первого не очень удачливого замужества) складывалась хорошо, спокойно, без изнурительных материальных забот, хотя, конечно, доставляли огорчение не только разница в возрасте (двадцать лет), но разность опыта, разность мироощущения, восприятия происходивших событий. Что выливалось и в стихах чуткой, искренней Юлии:

«Сверхчеловеки»! Их немало Меж нами, серыми людьми. И человечество устало От суперменов, черт возьми!.. От тех, кому ничто другие… И мне поднадоели «те», И мне знакома ностальгия По уходящей Доброте. И

позабыть ли, как когда-то Без гордых поз и громких слов Вошли обычные солдаты В легенды, в песни, в даль веков? И суперменов клан надменный Во всей красе раскрылся мне: Когда иные супермены Хвост поджимали на войне…

Ладно, что уж судить да рядить. Алексей Яковлевич скончался в сентябре 1979 года в Старом Крыму. Там и похоронили.[75]

Ну и еще один последний аспект этой истории, о котором я уже упоминал вскользь. Своими домогательствами Каплер нарушил то равновесие, ту национальную взаимотерпимость, которые сложились во время войны. Присущая Сталину неприязнь к троцкистам и сионистам, пропущенная теперь через призму личных переживаний, превратившаяся в постоянную боль, переросла в неугасимую ненависть к тем, кого он называл «еврейцами» и «жидами». Что, впрочем, не мешало ему нормально относиться к тем евреям, которые не блистали своей беспардонностью, не попадали в его представлении в разряд мерзких «хуппе».

Характерная деталь. На первом же после скандала с Каплером Пленуме ЦК Иосиф Виссарионович произнес (цитирую по памяти) такие фразы: «Необходимо опять заняться проклятым вопросом, которым я занимался всю жизнь, но, как видно, немногого достиг. Это национальный вопрос…

Некоторые товарищи еврейского происхождения думают, что эта война ведется за спасение еврейской нации. Эти товарищи ошибаются. Великая Отечественная война ведется за спасение, за свободу и независимость нашей Родины во главе с великим русским народом».

На местах — и в тылу, и на фронте, — из этих слов были сделаны соответствующие выводы. Началось пока еще неофициальное следствие по «крымскому вопросу», нацеленное против тех, кто слишком усердствовал в старании создать на теплом полуострове еврейскую республику. В частности, заведено было соответствующее «дело» на жену второго лица в государстве — на Полину Семеновну Карп-Жемчужину-Молотову.

3

Едва завершилась история со Светланой — «порадовал» отца разлюбезный сынок Василий. Дождливым весенним вечером, когда пилотам, как известно, делать нечего, полковник Сталин и его приятели в очередной раз «приземлились за столом», поговорили за бутылкой водки о том о сем, и решили от скуки устроить большую рыбалку. Дабы развлечься и разнообразить рацион питания личного состава своей геройской воинской части. Сказано — сделано! Наутро, изрядно опохмелившись, поехали в город Осташков, что в Калининской области. На берегу реки был накрыт стол опять же с соответствующими бутылками. А кончилось тем, что один из авиаснарядов «РС», которыми принялись глушить рыбу (что уже само по себе деяние незаконное) взорвался в руках полкового инженера. При этом инженер погиб, а Василий Сталин и еще один летчик получили ранения.

Вот документы, которые красноречиво говорят сами за себя.

Секретно.

Зам. начальника 1-го Отдела НКВД СССР

Комиссару Госбезопасности 3-го ранга

т. Власику Н. С.

Заключение о состоянии здоровья полковника

СТАЛИНА ВАСИЛИЯ ИОСИФОВИЧА

т. Сталин В. И. доставлен в Кремлевскую больницу 4/IV-43 г. в 11 часов по поводу ранений осколком снаряда.

Ранение левой щеки с наличием в ней мелкого металлического осколка и ранение левой стопы с повреждением костей ее и наличием крупного металлического осколка.

В 14 часов 4/IV-43 г. под общим наркозом проф. А. Д. Очкиным произведена операция иссечения поврежденных тканей и удаления осколков.

Ранение стопы относится к разряду серьезных.

В связи с загрязнением ран введены противостолбнячная и противогангренозная сыворотки.

Общее состояние раненого вполне удовлетворительное.

Начальник Лечсанупра Кремля

Бусалов

4 апреля 1943 г.

И еще:

ПРИКАЗ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР

26 мая 1943 г.

Командующему ВВС Красной Армии Маршалу авиации тов. НОВИКОВУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника СТАЛИНА В. И. и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения.

2) Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул и за то, что он портит и развращает полк.

3) Исполнение донести.

Народный Комиссар Обороны

И. СТАЛИН

26 мая 1943 г.

Комментарии, полагаю, излишни.

4

История несостоявшегося обмена сдавшегося в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса на попавшего в плен старшего лейтенанта Якова Джугашвили стала своего рода притчей, которую толкуют или тенденциозно (в зависимости от отношения к Сталину), или слишком уж упрощенно. И в том, и в другом случае искажается и само событие, и характер, образ Иосифа Виссарионовича как вождя и как человека. Даже крылатую фразу, облетевшую весь мир, излагают по-разному, с примитивной отсебятиной. Чаще всего она звучит так: «Я офицеров на фельдмаршалов не меняю». Нелепо хотя бы потому, что офицерский статус у нас в ту пору только устанавливался, термин еще не был обиходным, Иосиф Виссарионович привык к нему только в сорок пятом году и уж тем более никогда не употреблял его задним числом применительно к Якову. Ну и насчет фельдмаршала — это погоня за броским словцом, сводящая обобщенное мнение Верховного Главнокомандующего к частному случаю. А ведь Иосиф Виссарионович

даже на сугубо личные дела смотрел с государственной колокольни, особенно во время войны, глубоко сознавая свою ответственность за все.

До 1943 года вопрос об отношении к пленным, об их использовании почти не затрагивался в нашем руководстве. Некогда было думать об этом, да и пленных-то было мало. Процесс развивался сам по себе, начиная с отметки, возникшей у нас где-то на рубеже двадцатых — тридцатых годов. Не вдаваясь в подробности классовости и интернационализма, приведу лишь несколько строк известного в ту пору стихотворения: «В бою столкнулись двое, чужой солдат и наш. Чужой схватил винтовку, сразиться он готов. Постой, постой, товарищ, винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты…» Для меня этакий слюнявый пацифизм всегда равнялся предательству. Никакой немецкий или румынский солдат, будь он самый что ни на есть распролетарий, брат по классу, не бросит винтовку при виде нашего красноармейца. Он же присягу принимал, у него инстинкт самосохранения сработает: кто первым выстрелит, тот останется жив. Страшная штука этот пацифизм и вообще вмешательство политики в войну, это приводит к переговорам, к затягиванию военных действий, к неоправданным надеждам, в конечном счете значительно увеличивает количество жертв. Чем быстрее разрешается конфликт, тем меньше гибнет и военных, и гражданских лиц. Каждый боевой генерал знает об этом и терпеть не может политиканов-переговорщиков, путающихся под ногами.

Отношение к противнику как на поле боя, так и к пленным, начало у нас меняться во время короткой, но жестокой финской кампании 1939–1940 годов. Кто участвовал в ней, тот понял, что церемониться с врагом — значит увеличивать риск для себя. Но много ли было тех участников и свидетелей?! Короче говоря, в первые дни, в первые недели Великой Отечественной войны наши бойцы и командиры относились к фашистским молодчикам слишком уж мягко, терпя их чванливость, высокомерие. Это уж потом накопилась злость, перераставшая в ненависть. Но если и допускались с нашей стороны злоупотребления по отношению к пленным, то лишь на самом первичном уровне: в горячке боя, на передовой линии. Пристреливали поднявших руки на месте или при отгоне в тыл, пока пленных не пересчитали, не переписали. Кто разберется, как погиб немец, да и будут ли разбираться? Самим жрать нечего, сами загибаемся от холода, от ран, а тут еще пленных корми, лечи, охраняй… Мстили за погибших товарищей, за казненных фашистами родственников. Командиры и особенно политработники разъясняли: чем больше немцев сдадутся, тем меньше урона будет у нас, не надо пугать фрицев, пусть идут в плен. Но убеждения действовали далеко не всегда, ведь воины знали, слышали и сами видели, как зверски расправлялись фашисты с нашими людьми.

Официальные наши установки по отношению к пленным кардинально отличались от гитлеровских. У фашистов — чем больше будет уничтожено, тем лучше. У нас — создание условий для нормального существования. Если немецкий пленный миновал фронтовую полосу и оказался в нашем тылу, он чувствовал себя в полной безопасности. Практически все лагеря военнопленных обеспечивались так же, как наши запасные полки. Такая же продовольственная норма, такие же сроки носки обмундирования (за счет трофеев), такие же казармы или бараки. Скудно, разумеется, но ведь не хуже, повторяю, чем в наших запасных полках, сидевших на тыловом пайке; ни в коей мере даже сравнивать нельзя с немецкими концлагерями,

которые можно считать фабриками смерти. Я уж не говорю о положении у нас тех немецких пленных, которые участвовали в строительстве, в других работах. Они получали повышенное довольствие, вплоть до курева… Тут я полностью разделял мнение Иосифа Виссарионовича, который считал, что подобное отношение к пленным, их снабжение, порой даже в ущерб своим, окупится сторицей. Вражеские солдаты и офицеры по ту сторону фронта знали о нашей гуманности и все чаще выходили из кровавой игры, сдаваясь нам. А у нас, соответственно, уменьшались боевые потери, сохранялись многие тысячи жизней.

Одно не нравилось сдавшимся немцам, особенно офицерам: наши пропагандисты, вещавшие по радио на Германию, зачитывали длинные списки оказавшихся в плену. Сообщали вроде бы родственникам хорошую новость: ваш отец или муж не погиб, он вполне здоров и находится в лагере. В доме отдыха, если считать по военному времени. Вернется после победы союзников, ждите! Но послушать радио мог тогда далеко не каждый немец, а вот гестапо слушало и записывало от первого до последнего слова. Родственники сдавшихся подвергались репрессиям, лишались привилегий, пайков, жилья, некоторых даже за колючую проволоку отправляли. Это, безусловно, действовало на немецких солдат, особенно на семейных. Однако с середины войны, когда количество пленных увеличилось и невозможно стало перечислять всех, чтение списков прекратилось, и поток сдавшихся сразу возрос.

Надо сказать, что в высшем эшелоне власти у нас отношение к пленным было далеко не одинаковым. Это зависело, в частности, и от чисто человеческих качеств. Лазарь Моисеевич Каганович, люто ненавидевший немцев вообще, не упускал малейшей возможности сделать им плохо. Для перевозки пленных, например, — самые скверные вагоны. Успешно «сражался» с пленными и Лев Захарович Мехлис, объясняя свои действия все той же ненавистью к гитлеровцам. Сталину известно было письмо Мехлиса, отправленное весной сорок второго года с Крымского фронта сыну-курсанту. Там были такие строки: «Кровь стынет от злости и жажды мстить. Фашистов пленных я приказываю кончать. И Фисунов (адъютант) тут орудует хорошо. С особым удовлетворением уничтожает разбойников». Но, извините, это уже не война, это просто бойня. Ни героизма, ни воинского мастерства не требуется для «уничтожения» тех, кто сложил оружие. А дурной пример заразителен, тем более если он исходит от высокого должностного лица. Наряду с военной бездарностью, приведшей к тяжелому поражению в Крыму, чрезмерная жестокость Мехлиса послужила причиной снятия его с поста начальника Главного политического управления Красной Армии и понижения в звании.

Лаврентий Берия, с полным безразличием относившийся ко всему, что не затрагивало лично его интересов, добросовестно придерживался по отношению к пленным того мнения, которое было у Сталина и Молотова. Создавал надлежащие условия. Пленные содержались лучше, чем наши люди, находившиеся в лагерях. Иногда даже лучше, чем воины в запасных полках: на таком же пайке, но без занятий, учений и прочих утомительных нагрузок.

Проводя политику своего рода «заманивания» немцев в плен и тем самым ослабляя вражеские войска, наше руководство одновременно ужесточало отношение к собственным сдавшимся военнослужащим, превращая в заложников их родственников. Особенно это проявилось в трудные месяцы 1942 года, когда положение страны осложнилось до

крайности, когда были задействованы все людские и материальные ресурсы. Отсюда и крайние меры.

Вернемся еще раз к известному приказу Верховного Главнокомандующего № 227 — «Ни шагу назад», появившемуся тогда, когда наши войска отступали на всем протяжении от Орла до Кавказа, когда в некоторых местах наш фронт был разорван, раздроблен. Наряду с другими крутыми мерами по наведению порядка этим приказом все советские военнослужащие, оказавшиеся в плену, объявлялись изменниками. Семьи сдавшихся в плен командиров и политработников высылались в Сибирь или в другие отдаленные районы. Родственники рядовых бойцов лишались всех льгот, которыми пользовались семьи участников войны. В числе многих других пострадала и жена Якова Джугашвили — Юлия Мельцер. Никаких исключений Сталин не делал, поблажек родне не допускал: порядок одинаков для всех. На самого же Иосифа Виссарионовича, на отца пленного Якова, действие приказа не распространялось, так как он состоял в рядах воюющей армии.

Таково, значит, в общих чертах положение с военнопленными нашей и другой стороны. Но вот произошла резкая перемена. В январе 1943 года, всего за один месяц, мы захватили в плен только в районе Сталинграда 91 тысячу немцев и румын, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Едва успевали отводить их в тыл, сортировать, размещать. Почти в полном составе сдался штаб 6-й немецкой армии, а самое главное — ее командующий, один из наиболее известных немецких полководцев Фридрих Паулюс. Его капитуляция послужила как бы прологом будущей капитуляции всей фашистской Германии. Мало того, что Паулюс нарушил приказ фюрера удерживать Сталинград до последней возможности, до последнего солдата, он еще и создал небывалый для фашистских войск прецедент, взяв на себя ответственность за спасение армии от гибели ценой собственной измены, — так считал Гитлер. И сам фюрер, и весь его пропагандистский аппарат стремились создать вокруг 6-й армии ореол славы и самопожертвования, превратить ее в символ стойкости, преданности интересам Германии, самого Паулюса возвысили до уровня национального героя. В конце января Гитлер оказал ему высокую честь, присвоив звание фельдмаршала, будучи уверенным, что в случае крайней необходимости Паулюс застрелится, показав еще один пример высокого духа немецкого воинства. А Паулюс буквально через несколько дней поставил авторитетную, теперь уже фельдмаршальскую подпись под актом о капитуляции своей армии и приказал солдатам сложить оружие.

Гитлер, естественно, был взбешен. Он распорядился объявить трехдневный траур по героям, погибшим в Сталинграде, и дал себе клятву расправиться самым жестоким образом с предателем-фельдмаршалом, обманувшим доверие. Но как дотянуться до него, проживавшего теперь в благоустроенном коттедже в надежно охраняемом лагере для пленных генералов и офицеров? Вот и родилась идея обменять Паулюса на сына Сталина, то есть старшего лейтенанта на фельдмаршала, уже самим этим неравнозначным обменом (при немецком-то чинопочитании!) унизив его. А затем судить за измену и устроить такую казнь, чтобы никому неповадно было помышлять о неисполнении приказов, о нарушении воли фюрера.

Неофициальная связь между нашими и немецкими дипломатами поддерживалась в столицах по крайней мере двух нейтральных государств. При желании всегда можно было довести до сведения другой стороны любое сообщение. Естественно, что о предложении немцев

первым в Москве узнал нарком иностранных дел Молотов. С глазу на глаз сообщил Сталину. Кстати сказать, Вячеслав Михайлович имел в этом деле определенную заинтересованность: его племянник Скрябин тоже находился в плену. Мне Иосиф Виссарионович сказал о немецкой инициативе где-то на рубеже зимы и весны, в разгар конфликта со Светланой. Военных забот тогда стало поменьше, вот и выкроил он несколько часов для смены обстановки, для психической разрядки: по моей просьбе приехал на мою дачку, погулять при легком морозце по тропинке меж высокими соснами. Потом чай сели пить с его любимым вареньем из грецких орехов. По его тону я понял, что выменивать Якова он не намерен, однако заметил:

— Сын все же.

— Кто воюет — все наши сыновья. Кто в плену — все чьи-нибудь сыновья. Что скажут матери, что скажут отцы, когда узнают: советские воины в кровавом сражении захватили немецкого полководца, а Сталин этого полководца на сыночка своего променял. Ни у кого такой возможности нет, а у Сталина есть, использовал в личных целях служебное положение. Как ми-и после этого с людей требовать будем?

— Поймут.

— Может, и поймут, и простят, а в душе тень затаится. Не хочу, Николай Алексеевич. Не могу так поступить. Совесть не позволяет… В Грузии до сих пор чтут национального героя Георгия Саакадзе, который в борьбе с иранским шахом пожертвовал своим сыном Паатом. По всей нашей стране славится Тарас Бульба, не простивший сына-изменника. Вот что знает и помнит народ. У каждого своя жертва на алтаре истории. — Иосиф Виссарионович поднял стакан чая, помолчал, глубоко дыша, будто высматривая что-то в глубине стакана, и поставил, не прихлебнув. — Повернем медаль другой стороной. Что сделает Гитлер с Паулюсом? Проведет громкий позорный суд. Учинит позорную, устрашающую казнь под девизом: так будет с каждым, кто изменит великой Германии. После этого ни один генерал к нам в плен не пойдет и свои войска не сдаст. Да что там генералы — ни один офицер не поднимет руки, каждый вражеский солдат поколеблется. Лучше в бою умереть, чем с позором. Мы же в их глазах как выглядеть будем, никакой веры нам. Сотни тысяч таких окажется, миллионы… И соответственно возрастут наши трудности, наши потери.

— В этом отношении вы правы.

— Но есть еще и третья сторона.

— У медали-то? — усомнился я.

— Не ловите на слове. Повернем не стороной, а ребром. Когда Вече сказал мне о предложении немцев, то через несколько минут упомянул вместе с Паулюсом генерала Зайдлица. Тоже, мол, фигура крупная, известная вермахту и всей Германии. Случайно вроде бы упомянул…

— У Молотова случайностей не бывает.

То-то и оно. Напрямик Зайдлица со своим племянником не связывал, но почву прощупал. Если вести переговоры об одном обмене, то почему бы и не о двух? А у нас совсем другие планы на этот счет. Комиссар госбезопасности Мельников работает сейчас по использованию пленных в психологической войне. Успешно работает. — Подумав, добавил: — И не только в психологической, но и просто в войне. Зайдлиц дальновидный человек, он идет на сотрудничество с нами. Он важен дня нас не меньше, чем Паулюс.[76]

На этом и закончился наш разговор о судьбе Якова. За Сталиным пришла машина, ждали дела. Но он хоть душу отвел со мной: переживал все же за старшего сына. Вероятно, убеждая меня, окончательно убедил и себя, преодолев все колебания, если таковые и были. Через несколько дней по его инициативе вопрос об обмене Паулюса на Джугашвили был поставлен перед членами Политбюро, собравшимися в кремлевском кабинете Сталина. Короткое сообщение сделал Молотов, осторожно добавив от себя, что над предложением немцев надо бы подумать не торопясь. Его столь же осторожно поддержал Берия: можем ли мы получить какую-нибудь выгоду и каким образом? Простодушный Калинин заметил, что решать должен сам Сталин, и как Верховный Главнокомандующий, и как отец. Такое уж тут дело: и военное, и семейное.

— Товарищ Калинин не разобрался, — возразил Иосиф Виссарионович. — Мы занимаемся не семейными делами, а обменом старшего лейтенанта на генерал-фельдмаршала. Это будет очень неравный обмен, который не принесет нам никакой пользы, и даже наоборот. Это будет неправильный поступок во всех отношениях. — Прошелся по кабинету, остановился возле стола и, повысив голос, обобщил, будто в камень врезал: — Рядовых на генералов не меняю!

5

Принципиальность Иосифа Виссарионовича выступает особенно рельефно при сравнении с поведением других высокопоставленных родителей, которые оказывались в таком же сложном положении. И даже не в очень сложном, просто когда над их детьми нависала какая-либо угроза. Вспомнить об этом надобно не токмо для сопоставления, но еще и для того, чтобы показать одну из причин, способных посеять рознь, вызвать недоброжелательство, затаенную ненависть. А коль скоро речь идет о птицах самого высокого полета, то подобные эмоции рано или поздно отражаются на больших событиях государственной важности. Иллюстрацией к такому утверждению служит хотя бы история с Никитой Сергеевичем Хрущевым и одним из его сыновей.

Я мало общался с Хрущевым, только по военным делам, родственников не знал, о случившемся мне известно в основном из чужих уст, поэтому в подробности вдаваться не стану, очерчу лишь канву. Несколько молодых командиров (впредь буду употреблять термин «офицеры») коротали время в тыловом городе, кажется, в Куйбышеве. Папенькины сынки-лоботрясы придумали развлечение, нервы щекочущее: стрелять из пистолетов в яблоки или бутылки на головах своих подружек, девиц определенного толка. Ладно бы в офицерскую рулетку сыграли, собственными жизнями рисковали, по крайней мере, это порядочно, а то ведь других под пули-то ставили. Прямо в номере гостиницы, после выпивки и постельных упражнений. В глазах муть, руки некрепкие, да и у девиц, вероятно, головы покачивались после предыдущих радостей. Вот и всадил сын Хрущева пулю не в яблоко, а прямо в лоб полуголой красавице. Наповал.

Суд поступил, на мой взгляд, не очень даже и строго. Штрафника разжаловали и отправили на фронт. Ему бы потерпеть, похлебать солдатской каши в окопах или отличиться в атаке, смыть с себя позор кровью. А он, видите ли, обиделся. И на власть, которая за шалости карает, и на отца, за то что не выручил, и на непосредственное начальство, которое относилось к нему, как ко всем, без поблажек. А

обидевшись — при первой возможности перемахнул к немцам. Сначала у нас думали, что просто в плен попал, всякие случайности бывают. Однако вскоре Хрущев-сын стал появляться во вражеских траншеях с радиоусилителем, уговаривая советских воинов последовать его примеру, переходить к немцам. Сдавайтесь, мол, поскорее, войну все равно проиграете, а немцы к перебежчикам относятся хорошо: тепло одевают, сытно кормят, увозят подальше в тыл, в спокойные места. Хочешь жить — штык в землю!

Нелепая ситуация: отец — первый секретарь ЦК ВКП(б) Украины, член Военного совета фронта, организует борьбу с оккупантами, воспитывает, вдохновляет людей, а сын его по радио, в листовках, в газетах призывает всех плюнуть на партию, на советскую власть и сотрудничать с гитлеровцами. Вот Яков Джугашвили тоже в плену, но на предательство не пошел, за фашистов не агитирует, вреда не приносит, немцы держат его за семью замками где-то в глубине Германии. А молодой Хрущев гастролирует вдоль фронтовой линии, горланит перед микрофоном, вселяя сомнения, колебания в души воинов. Ведь это не кто-нибудь, а сын всем известного Никиты Сергеевича. Действовало. Особенно на украинцев.

Иосиф Виссарионович высказал Берии и Андрееву свое недовольство: провокатор, изменник наносит вред, а у нас что, нет возможности ему глотку заткнуть?! Сразу же были отданы соответствующие распоряжения нашей агентуре по ту сторону фронта, и буквально через несколько дней группа партизан проникла в оккупированный город и в короткой стычке отбила Хрущева-младшего, захватив его живым и почти здоровым — с несколькими синяками и шишками. Пришло время расплачиваться за грехи. Изменник должен был предстать перед партизанским судом. А у народных мстителей за линией фронта законы были особые, похлеще, чем государственные. И вот тут впервые в дело вмешался Никита Сергеевич. Вызванный в Москву на какое-то совещание, он нашел возможность поговорить со Сталиным о своем сыне. Не защищал его, а лишь попросил вывезти из немецкого тыла и судить обычным военным судом. При этом, конечно, появлялась какая-то возможность сохранить сыну жизнь.

Очень просил Никита Сергеевич, даже унижаясь. Понимал всю сложность положения, но ведь как не порадеть своему, родному… Иосиф Виссарионович ответа сразу не дал. С одной стороны, провокатор уже обезврежен, а Никита Сергеевич мучается, страдает. Может, не надо усугублять его переживания? Но с другой стороны, за сыном не одно, а несколько тяжких преступлений — заслуживает самой суровой кары. С какой стати ему поблажку давать?! Руководящие товарищи, их семьи на виду, на них смотрят, с них спрос особый. Никакого попустительства, а то ведь игумен за чарку, а чернецы за ковши.

Сталин велел запросить партизан о возможности переброски провокатора самолетом на Большую землю. Ответ пришел неожиданный и столь резкий, что его сразу доложили Иосифу Виссарионовичу. Партизаны сообщили, что при захвате предателя погибли несколько боевых товарищей. Для чего старались, для чего были жертвы, чтобы вывезти изменника в безопасное место, укрыть от заслуженного возмездия? Очень это обидно. Раненых, которым сложные операции требуются, отправить не на чем, а за предателем самолет придет, летчиков на риск пошлют?! Нет у партизан на это согласия.

— Они правы, — сказал Сталин. — Пусть судят сами. Как решат, так и будет.

Изменника расстреляли. Хрущев-старший отказался от сына, о нем нигде не упоминали, будто он и не существовал никогда. Однако в глубине души Никита Сергеевич сохранил обиду на Сталина: мог, дескать, посодействовать, а отказал. Возникла язвочка, которая растравлялась потом другими обидами, большими и малыми, в общем-то неизбежными при совместной работе в трудное время. Рос нарыв, который через несколько лет подтолкнет Никиту Сергеевича в стан недоброжелателей стареющего вождя. Лопнет этот нарыв после смерти Сталина: с высокой партийной трибуны обрушит злопамятный Хрущев на Иосифа Виссарионовича поток критики, смешивая то, что было, с мутными домыслами, сваливая на покойника все грехи, в том числе и свои. Отомстит, отведет душеньку.

С отпрыском другого высокопоставленного деятеля было иначе. Заботливым, смекалистым папашей показал себя Лаврентий Павлович Берия, да и сынок не подкачал. Летом 1941 года Сергей (Серго) Берия окончил школу. Это был стройный юноша, улыбчивый и привлекательный, ярко выраженной восточной внешности. Хорошо знал немецкий и английский языки. По возрасту мобилизации не подлежал (семнадцать лет ему исполнилось в ноябре), да и не призвали бы его в обычном порядке, учитывая положение отца. Но не сидеть же возле маминой юбки, когда вся молодежь рвется на фронт! И Лаврентий Павлович так считал. У товарища Сталина оба сына воюют, молодой Микоян тоже, сейчас все мужчины должны надеть форму и взять в руки оружие. Хотя воевать, конечно, можно по-разному. Один сражается на земле, другой в воздухе, третий на незримом фронте наносит ущерб противнику. Для Сергея больше подходит незримый. Он не только языками владеет, но и еще и радиолюбитель-радиотелеграфист первого разряда. Почти готовый разведчик.

Позанимавшись несколько месяцев в разведшколе, Сергей в декабре получил звание лейтенанта и начал готовиться к заброске в Германию для получения сведений о новых видах вражеского вооружения. Вместе с двумя немецкими радиоинженерами-антифашистами. Обо всем этом Сталину в моем присутствии доверительно поведал сам Лаврентий Павлович, не без гордости подчеркивая, что и в разведшколу сын пошел добровольцем, и в Германию вызвался отправиться сам.

— Серго молодец, — одобрил Иосиф Виссарионович. — А ты, Лаврентий, не очень.

— Но почему?

— Сын у тебя совсем молодой, еще усы не растут. Железной закалки нет. За границей не жил. Провалится.

— Он же пойдет с опытными товарищами.

— В таком деле собственный опыт нужен, а ты его с горшка сразу на раскаленную сковородку! Возьмет его гестапо, какой подарок немцам, какой заложник!

— Живым его не возьмут, — с достоинством произнес Берия и, сообразив, что задел болезненную для Сталина струну, поторопился объяснить: — Серго подготовлен к крайностям, предусмотрены все варианты.

— Дело ваше, — резковато ответил Иосиф Виссарионович.

Когда Берия ушел, Сталин, утонув в кресле, молча выкурил трубку. Поинтересовался:

— Почему вы, Николай Алексеевич, скептически слушали? Я по вашим глазам видел.

— Да никуда не пошлет он своего единственного, ни в какую Германию. На московском асфальте с незримым противником будет сражаться Серго. Тем более после вашего совета, который Берии очень кстати.

— Он остался при своем мнении.

— Мнение можно изменить со ссылкой, кстати, на ваши слова. Не одобрил, дескать, великий и мудрый.

— Не ерничайте… Серго поступает искренне.

— Я не про Серго, я про Лаврентия Павловича. Уж ему-то опыта не занимать. Не пашет, не сеет, а сыт будет.

Надо было сгладить неприятное ощущение, вызванное невольно возникшим сравнением попавшего в плен Якова с сыном Лаврентия Павловича. Мне удалось сделать это.

Прав я оказался на все сто процентов. Первая попытка забросить радиоспециалистов в Германию сорвалась, даже не начавшись. По техническим причинам. Сложное время, разгар зимнего контрнаступления, сильные морозы, ну и тому подобное. Вторая попытка хоть и началась, но тоже завершилась ничем. Перед самой отправкой выяснилось, что явка в Германии провалена, надо искать другие пути. Решили, что кривой дорогой ближе. Сергея Берию и двух немцев отвезли в Тегеран, чтобы оттуда, через Турцию, они добрались, наконец, в намеченный район где-то на немецком побережье Балтийского моря. Вот какой крюк.

Немецким товарищам удалось осуществить замысел. Один из них внедрился в секретнейший научно-производственный центр, принес нам большую пользу. А вот Сергей Берия по каким-то причинам не смог преодолеть рубеж между дружественным Ираном и враждебной нам Турцией. Те роковые месяцы сорок второго года, когда на полях сражений решалась судьба страны, Серго провел в спокойном Тегеране на скромной чиновничьей должности. Шифровал информацию, отправляемую в Москву. В случае крайних осложнений туда же, в Тегеран, мог улететь и Лаврентий Павлович. Было кому встретить.

К концу года, когда обстановка несколько разрядилась, Сергей Берия возвратился в нашу столицу и был зачислен на локационный факультет Академии связи. Для повышения квалификации. Вспомнили о нем лишь следующей осенью, когда готовилась Тегеранская конференция глав союзных государств. Сталин вспомнил:

— Лаврентий, чем занят твой геройский разведчик? Болтается по Москве?

— Учится.

— До конца войны учиться будет? Дело для него есть. Английским в совершенстве владеет?

— Не в совершенстве, но основательно.

— Оттенки, настроение говорящего уловить может?

— Думаю, да.

— Ладно. Отправь его в Тегеран вместе с аппаратурой для прослушивания. Пусть устанавливают в комнатах, где поселится Рузвельт. Нам нужен будет там надежный человек. Очень надежный свой человек, — резким движением правой руки Сталин словно бы подчеркнул важность своих слов.

В начале 1943 года Иосиф Виссарионович и я получили по одинаковому подарку: каждый по книге обычного формата, страниц на двести в добротном красном переплете. Со скромной дарственной надписью в несколько строк. Сюрпризами в ту пору баловали редко. Пустячок, как говорится, но приятно. Впрочем, насчет пустячка я зря, не стал бы помнить о нем. А эта книжка вызвала целую череду событий и, выражаясь по-современному, явилась первой ступенью ракеты-носителя, которая со временем вывела на самую высокую орбиту новую политическую звезду. Вывела — это точно, а насчет яркости — судить не берусь.

Прислана была книга спецпочтой, соответствующий экземпляр принес Иосифу Виссарионовичу я, надеясь доставить ему разрядку, отвлечь от напряженной, но в общем-то однообразной работы. Чтобы прошлое вспомнил, встряхнулся. И сразу понял — это удалось. Иосиф Виссарионович заинтересовался, посмотрел выходные данные. «И. В. Сталин в сибирской ссылке». Красноярское краевое издательство. Подписано к печати 22.09.42 г. Тираж 15000. Цена 10 рублей. Ответственный редактор К. У. Черненко. Он же и составитель, как можно было понять из дарственных надписей. Полистав страницы, Иосиф Виссарионович наморщил лоб:

— Большая работа. Интересная работа. Черненко? Это тот самый…

— Да, Константин Устинович, второй секретарь Красноярского крайкома партии. Секретарь по идеологии. Помните, я говорил: он обращался ко мне за советом, где разыскивать материал для книги, как ее строить. Обменялись несколькими письмами.

— Это тот, который присылал нам тайменей? Простите, не нам, а мне, по моей просьбе, а уж я потом предложил вашему повару.

— Разница, действительно, есть, — усмехнулся Сталин. — Подношений не принимал, а ухи похлебал. И чист, как стеклышко, благодаря вам, Николай Алексеевич. Спасибо.

— Не за что, лишь бы для здоровья пошло, — в тон ответил я.

— Значит, это Черненко…

— Инициатива которого по реквизиции нечестно нажитого во время войны различными спекулянтами была поддержана в прошлом году Центральным комитетом партии. Как и отправка пятидесяти вагонов с продовольствием и теплой одеждой в Ленинград. В качестве внепланового подарка.

— Николай Алексеевич, вы не даете мне слова молвить.

— Я же знаю, что вы теперь скажете. Разве не так?

— Авгуры, — засмеялся он. — Что еще у меня на языке по поводу Черненко?

— Последнее решение Центрального комитета по итогам работы комиссии, побывавшей в Красноярске. Выяснилось, что там есть непорядки на крупных предприятиях, задерживается ввод важных строек, срывается сдача хлеба государству, плохо работает специальное управление крайкома по контролю за выполнением заказов фронта — председатель Черненко. Хотя все это имеет лишь косвенное отношение к его главным обязанностям, к идеологии. Но первого секретаря крайкома комиссия под удар не поставила, все тумаки достались второму. Вот и записали в решении ЦК, что Черненко занимался многочисленными текущими делами и упускал из виду главное.

— А разве не так?

— Доля истины есть. Константин Устинович человек молодой, увлекающийся до анекдотизма. Но нельзя же валить на него всю ответственность. Хвалили, одобряли, а теперь сместили со всех постов, даже из бюро вывели.

— Может, он этой книгой задобрить нас хочет? Это у него не пройдет.

— Посмотрите, когда она к печати подписана. Еще в сентябре, в самые черные для нас дни, когда немцы к Волге рвались, когда кое-кто уже в кусты посматривал, логово где-нибудь в Тегеране подыскивал. Да и послана нам книга еще до того, как Черненко был снят. Нет оснований плохо думать о нем.

— Ну, что же, — Сталин поудобней устроился в кресле. — Вижу, вы достаточно знакомы с этим Константином Устиновичем. А я совсем не знаю его. Расскажите, пожалуйста. И какие там у него анекдоты?

Я, конечно, обязанностью своей считал иметь сведения о человеке, который готовит книгу о Сталине. Не только по долгу службы. Интересно было, что и как: ведь именно в Красноярске состоялась моя первая встреча с рядовым из ссыльных Иосифом Джугашвили. И вот все, что было известно мне о Черненко, я изложил Иосифу Виссарионовичу. А читателям заодно поведаю и некоторые подробности, которые всплыли позже.

Константин Устинович Черненко появился на свет в 1911 году в сибирском селе Большая Тесь. Крестьянское хозяйство вела мать, женщина рослая, сильная, самостоятельная. У отца — отхожий промысел, работал на медном руднике, на золотых приисках. Без особого успеха, но семье хватало. Сына, слабого здоровьем, подлечивали и учили. Но ни в начальной школе, ни затем в интернате знаниями не блистал, числился в средних. Затем — боец продотряда, изымавшего излишки по деревням. С 1926 года в комсомоле, организатор «легкой кавалерии», помогавшей чекистам. Вскоре его назначают заведующим отделом агитации и пропаганды горкома ВЛКСМ в небольшом городе Новоселово. Это — первые шаги на извилистой политической стезе.

Настоящую закалку, и физическую и моральную, Черненко получил на военной службе в 1930–1933 годах. Повезло ему, попал в пограничные войска, в Казахстан, на отдаленную заставу, где и климат был тяжелый, и сложных событий хватало. Нападали басмачи, пытались пересечь границу нарушители всякого рода — от диверсантов до контрабандистов. Редкий день обходился без команды: «Застава, в ружье!» Для довершения картины надобно прибавить еще малярию, жару, нехватку воды, перебои со снабжением. Суровая, в общем, академия для молодого человека. Кто выдержит, того потом трудно сломать.

В характеристике на красноармейца Черненко сказано, что он метко стреляет из винтовки и пулемета, хороший кавалерист, показал умелые действия, возглавляя конный пограннаряд, проявил мужество в схватках с бандитами и при задержании нарушителей. Особенно отмечена политическая грамотность молодого бойца, ему было поручено проводить политинформации и даже политзанятия. Принят в партию. Вскоре коммунисты заставы избрали его секретарем первичной партийной организации. Такое доверие надобно заслужить. Это ведь не в тихой заводи, а в боевых условиях, где человек виден как на ладони.

С такого надежного трамплина начал Черненко быстро и уверенно подниматься по партийной лестнице, когда возвратился на «гражданку». Заведуя отделом пропаганды Уярского райкома партии Красноярского края, Константин Устинович принес заметную пользу на ниве образования.

При нем в районе была полностью ликвидирована неграмотность, все дети соответствующего возраста начали ходить в школы, хорошо работали клубы, библиотеки. Для молодежи это важно, а молодых людей много приезжало тогда по комсомольским путевкам в Уяр. Там же, кстати, случился у Черненко первый анекдотический «прокол», вызванный чрезмерной энергичностью, направленной не совсем в нужное русло. Ему бы о жилье для молодежи позаботиться, о быте, а он все больше об отдыхе, о развлечении. Задумал построить стадион. Настоял на своем. Вложили в это дело средства из скромного районного бюджета, привлекли платных строителей, энтузиастов. Материалов не пожалели. Хороший получился стадион. Но малость великоват. На двадцать тысяч мест. И это при том, что в Уяре имелось всего тринадцать тысяч жителей, считая стариков и грудных младенцев. В крае смеялись. А стадион вскоре пришел в запустение. Да ведь кто же не ошибается…

С 1939 года Черненко — заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды Красноярского крайкома партии. Не прошло и полутора лет — и снова большой рывок вверх: Константин Устинович становится секретарем крайкома по пропаганде, по существу вторым человеком на огромной территории (как Западная Европа!) с сорока тремя районами и несколькими национальными структурами. Необъятные просторы, несметные природные богатства. Дерзай, руководи освоением, молодой секретарь! И он впрягался в любые дела, брал на себя любую нагрузку, даже превышавшую его возможности и способности.

Стараниями Черненко было достигнуто многое. Несмотря на трудности военного времени, в крае работали все образовательные и культурно-массовые заведения, даже открывались новые. Их бесперебойно обеспечивали теплом, светом, учебными пособиями. Регулярно выдавались положенные пайки. Нашли возможность создать шесть новых районных газет. Организовали полтысячи пунктов для коллективного слушания радио — далеко не у всех оно было, а новостей с фронта ждали с нетерпением. И всюду старался поспеть сам: подсказать, наладить, проконтролировать, не упустить из вида.

Провел декаду по проверке политико-воспитательной работы среди подрастающего поколения. Съездил в один из детских садов, посмотрел, как там насчет этого воспитания. Остался в общем доволен, но все же сделал коллективу садика замечание: совсем нет наглядной агитации. Директор и сотрудники долго ломали головы, что бы такое придумать для несмышленышей? А когда Черненко приехал вновь, с гордостью продемонстрировали. На одной стене — портрет Сталина, на противоположной — карикатурный портрет Гитлера. Под портретом крупные буквы «Сталин ляка». А под карикатурой — «Гитлер кака». Можно воспринимать как шутку, но рассказывают именно так.

С началом войны в край хлынул поток эвакуированных, административно-ссыльных. С двух миллионов население возросло почти до четырех. Всех надо было принять, обеспечить жильем, едой — хотя бы самыми элементарными условиями. Воспрянули местные спекулянты, любители поживиться на чужой беде. У голодных людей за кусок хлеба выменивали золото, серебро, последние вещички. Беженцы, ссыльные все отдавали бессердечным хапугам: только бы выжить, детей сохранить. Вот и получилось резкое расслоение, как в капиталистическом обществе: подавляющее большинство местных жителей и приезжих едва сводит концы с концами на скромном пайке, а несколько тысяч жуликов

обогащаются баснословно, запасая добро впрок. Да ладно бы еще за счет продуктов со своего огорода, а то ведь за счет ворованного с продовольственных баз, с закрытых распределителей, обеспечивавших золотодобытчиков и приравненных к ним. Среди дельцов черного рынка, сколачивавших бешеные состояния, были, увы, советские и партийные работники, имевшие доступ к различным государственным запасам. Их выявляли, арестовывали, приговаривали, но борьба с одиночками не давала эффекта. И тогда Черненко, вспомнив продотрядовскую юность, решил нанести по черному рынку лихой удар, хоть и не в рамках закона, зато результативный и, безусловно, полезный для общества. За одну неделю у спекулянтов были реквизированы все мерзкоприобретенные богатства, разорваны подпольные связи менял-торгашей-воров, многие из них получили возможность созерцать мир через решетку тюремных окон.

Конфискованное имущество, продовольствие, ценности были использованы для нужд армии и местного населения. Люди были довольны. Москва одобрила полезную инициативу. А неутомимый Черненко выискивал, придумывал все новое и новое. В крае создавались, формировались банно-прачечные поезда, отправлявшиеся на фронт. В каждом — десяток вагонов с нехитрым оборудованием (тазы да лоханки, утюги да скалки), склад на колесах, общежитие на колесах для обслуживающего персонала. Но Черненко и тут проявил смекалку, включив в каждый банно-прачечный поезд по пассажирскому вагону, полностью подготовленному для ведения агитационно-пропагандистской работы. Плакаты и листовки, музыкальные инструменты, библиотека и даже киноаппаратура. По этому поводу из Главного политического управления поступил документ, суть которого сводилась к разъяснению разницы между чистотой тела и духа. Заведению агитационно-пропагандистскому совсем не обязательно соседствовать с баней и вошебойкой.

Это не шутка, это истинная правда. Опять Константин Устинович своими чрезмерными стараниями создал основу для анекдота. Но кто знает, что лучше: переборщить или сидеть сложа руки. Как у всякого деятельного человека, у Черненко, имевшего больше энтузиазма, чем опыта, были и успехи, и заметные срывы. Вот и стал он козлом отпущения при проверке работы крайкома столичными партревизорами.

— Где он сейчас? Чем занимается? — спросил Иосиф Виссарионович, не без интереса выслушав мой длинный монолог.

— Ждет назначения с понижением. Вероятно, на фронт.

— На фронте кадры нужны. Но еще нужнее они для будущего. Судя по всему, товарищ Черненко не глуп, имеет организаторские способности, — неторопливо рассуждал Сталин. — Как я понимаю, товарищ Черненко — человек, преданный нашему делу, нашей партии. Но ему не хватает знаний, надо с ним поработать, надо его поучить. Как вы считаете, Николай Алексеевич?

— Образованности у него, действительно, маловато. Идеологией ведь занимается.

— Это поправимо, — решил Иосиф Виссарионович.

Через несколько дней Черненко был вызван в Москву и стал слушателем Высшей партийной школы.

В книге, присланной Константином Устиновичем Черненко, внимание Сталина привлекло его собственное письмо, датированное 1930 годом и в печати ранее не появлявшееся. Ничего вроде бы особенного, письмо частного характера, но как раз поэтому, на мой взгляд, и представляющее интерес. Дело в том, что к Иосифу Виссарионовичу, собравшись с духом, обратился некто Михаил Мерзляков. Жаловался, что местные власти притесняют его как бывшего стражника и просил подтвердить, что он хорошо, даже дружески, относился к ссыльным.

Иосиф Виссарионович нашел время ответить собственноручно.

«Емельяново, Красноярского края и округа.

Копия: Михаилу Мерзлякову.

Мерзлякова припоминаю по месту своей ссылки в селе Курейка (Турух. край), где он был в 1914–1916 годах стражником. У него было тогда одно-единственное задание от пристава — наблюдать за мной (других ссыльных не было тогда в Курейке). Понятно поэтому, что в «дружеских отношениях» с Мих. Мерзляковым я не мог быть. Тем не менее я должен засвидетельствовать, что если мои отношения с ним не были «дружескими», то они не были и враждебными, какими обычно бывали отношения между ссыльными и стражниками. Объясняется это, мне кажется, тем, что Мих. Мерзляков относился к заданию пристава формально, без обычного полицейского рвения, не шпионил за мной, не травил, не придирался, сквозь пальцы смотрел на мои частые отлучки и нередко поругивал пристава за его надоедливые «указания» и «предписания». Все это я считаю своим долгом засвидетельствовать перед вами.

Так обстояло дело в 1914–1916 годах, когда М. Мерзляков, будучи стражником, выгодно отличался от других полицейских.

Чем стал потом М. Мерзляков, как он вел себя в период Колчака и прихода советской власти, каков он теперь, — я, конечно, не знаю.

С коммунистическим приветом И. СТАЛИН

Москва, 27/II-1930 г.»

Прочитав это письмо, я подумал: ни один знакомый мне политик, ни один государственный деятель высокого ранга не стал бы восстанавливать истину, заботиться о своем бывшем тюремщике. Отмахнулся бы от жалобы стражника, как от назойливой мухи. Или еще хуже: обругал бы, охаял. А Иосиф Виссарионович вник, вспомнил, бумагу послал местным властям. И не для показухи, не для демонстрирования своей справедливости, а только истины ради.

Самого же Сталина после ознакомления с книгой заинтересовало другое: как сложилась судьба Мерзлякова. Жив ли, чем занимается? Не ошибся ли в оценке его… Попросил меня выяснить приватно, не привлекая внимания. Я сделал это и был рад, что давнее письмо пошло на пользу Мерзлякову и его семье. После свидетельства Сталина к бывшему стражнику больше не придирались. Его приняли в колхоз, работал он на сушилке, и так хорошо, что в 1939 году был послан на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и занесен в книгу почета. А главное, пожалуй, вот что: четыре сына Михаила Мерзлякова геройски сражались на фронте, защищали подступы к Волге, громили гитлеровцев у стен Сталинграда.

Придумай такую историю — не всякий поверит. Но так было.

От забот семейных и личных вернемся к делам военным, а точнее к военно-политическим. Идея очистить Северный Кавказ от нежелательных, от враждебных элементов возникла у нас после завершения Сталинградской битвы. Дело не в том, что ингуши, балкарцы, калмыки или кто-то еще дарили «от имени народа» белых жеребцов «освободителю» Гитлеру. В каждой нации найдется и конъюнктурный коневод, и жеребец белой масти. Дело в том, что в некоторых местах Северного Кавказа фашистов встречали с распростертыми объятиями и, хуже того, помогали им, сражались вместе с ними. По советским войскам наносились предательские удары с тыла, увеличивая наши потери. Причем действовали не только мелкие отрады, но и крупные формирования. Материалов об этом достаточно накопилось в наших особых органах, в Главном разведывательном управлении. Со всем этим предстояло разобраться, выяснить причины, принять строгие меры, чтобы обезопасить от бандитов нашу армию, коммуникации, мирных жителей. Ядовитую траву надобно выдирать с корнем: так всегда поступал Иосиф Виссарионович. И уж тем более — в военное время. Наболевший вопрос должен был обсуждаться членами Политбюро. По соответствующим линиям готовилась необходимая документация. Я не сомневался, что Иосиф Виссарионович и меня привлечет к этой неприятной работе. Почему меня? Сталин, конечно, помнил мои соображения о том, как поступить с немцами Поволжья. Знал о моем разговоре с Мехлисом по поводу нейтрализации крымских татар, содействовавших гитлеровцам. Не сбрасывал со счетов, что я недавно, осенью, вместе с группой Берии побывал на Северном Кавказе, своими глазами видел, что там творилось. Понимал Сталин, что моя точка зрения будет отличаться от точки зрения Лаврентия Павловича, если не в принципе, то хотя бы по деталям. А Иосиф Виссарионович, как всегда, для обоснованного решения хотел знать все аспекты проблемы, взвесить разные предложения.

Короче говоря, Иосиф Виссарионович поручил мне составить объективную памятную записку для него лично, и, возможно, для членов Политбюро. По Чечено-Ингушетии. Другими народностями занимались другие товарищи. Калмыкией, к примеру, генерал-полковник Ока Иванович Городовиков, хорошо знакомый Сталину еще по гражданской войне (командовал дивизией в Первой конной армии, а затем некоторое время возглавлял Вторую конную армию). Ока Иванович сам калмык, и находился как раз поблизости от родных мест. Генерал-инспектор кавалерии и командующий кавалерией Красной Армии, он был направлен Ставкой под Сталинград контролировать использование кавалерийских соединений. И обстановку в Калмыкии его группа должна была изучить. Я же дал согласие заняться Чечней не только потому, что недавно побывал там: еще обучаясь в Академий Генерального штаба, особо интересовался войнами, которые Россия вела на Кавказе, знал кое-что из истории этих войн.

Меня всегда удивляло и раздражало неизвестно как сложившееся в российском обществе, особенно среди литераторов и даже у части историков, странное мнение: Россия, дескать, пришла на Терек, на Сунжу в начале XIX века, захватила плодородные земли, оттеснила в горы местные народы, насильно присоединила их к империи. И прочая чушь, которая на руку только нашим недоброжелателям. Ну, эмоциональным поэтам и даже прозаикам это простительно, они вдохновение черпают в необычных условиях, в непривычной природе Кавказа. Но историкам-то

следует знать и правильно оценивать факты, строить надежный мост из прошлого через настоящее — в будущее. Без сомнительных, перекошенных или гнилых опор.

Начнем с того, что русские пришли в район Терека — Сунжи не в XIX веке, а гораздо раньше, на триста лет раньше, и отнюдь не как завоеватели, а как друзья и союзники тамошнего населения. Можно даже сказать, по-родственному. Вот цепочка событий. В середине XVI века царь Иван Грозный овладел Астраханью и прочно закрепился в устье Волги, на берегу Каспийского моря. Россия вела тогда тяжелую затяжную войну с Турцией и Крымским ханством. С этим же неприятелем сражались адыги и кабардинцы, пытавшиеся уберечь себя от порабощения и истребления жестоким противником. Но слишком неравны были силы. Ну и обратились адыги и кабардинцы к своему естественному союзнику, к русскому царю. И не только за военной помощью, но и с просьбой принять их в подданство, защитить от смертоносных враждебных набегов. Что и свершилось. Более того, Иван Грозный полюбил дочь верховного кабардинского князя Марию Темрюковну и взял ее в жены. А поскольку владения кабардинских князей простирались до реки Сунжи, то вся эта территория на ЗАКОННОМ основании вошла в состав России. Жившие на этих землях кабардинцы, адыги и кумыки были, наконец, избавлены от вторжения турок и крымских татар. Спокойнее стало на Северном Кавказе, особенно после того, как (опять же по просьбе кабардинцев) русские возвели на Сунже город-крепость, вокруг которой расселились казаки. По Тереку, соответственно, терские. В междуречье Терека и Сунжи, на Терском хребте, по-местному на Гребне, казаки гребенские. С тех далеких времен долетели до нас песенные отзвуки о совместных сражениях против крымчаков и турок. Как на буйный Терек, как на буйный Терек Грянули татары в сорок тысяч лошадей. И покрылся берег, и покрылся берег Трупами порубанных, пострелянных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится тужить…

А где же тогда чеченцы-то находились, которые ныне так обижаются на русских, на другие народы: покоряли, мол, их, притесняли, территорию отбирали. Еще при царе жаловались на это чеченские националисты, а после Октябрьской революции тем паче, раздувая рознь и сея вражду. Но давайте опять посмотрим на факты. В середине XVI века на равнинах и в предгорьях Северного Кавказа, куда пришли русские, чеченцев не было. В глаза их не видели, только слухом пользовались, что к югу от Сунжи, в диких горах, покрытых дремучими лесами, обитает какое-то небольшое воинственное племя. «А мужики в том племени зело злы, вероломны и черным волосом обросли, яко шерстью».

Ну, это слухи-догадки. Постепенно выяснилось, что в горах за Сунжей действительно есть народ со своим языком и обычаями, разделенный словно бы на три части. Малая (или западная) Чечня. Большая (или восточная) Чечня. А еще дальше за Большой, среди самых труднодоступных гор, находится Ичкерия, которая, собственно, и является настоящей Чечней. А загнали якобы этот народ в места, малопригодные для житья, орды Чингисхана и Тамерлана, волна за волной прокатившиеся по Кавказу. Теперь же скудные возможности пропитания, ограниченность района расселения, изолированность от окружающего мира могли привести к угасанию и даже к исчезновению этой народности: бывало, что и более крупные нации растворялись бесследно. Во всяком случае,

увеличение численности и рост благосостояния чеченцам никак не грозили. Но тут случился резкий зигзаг.

Приход русских значительно уменьшил давление турок и крымских татар на различные народы Северного Кавказа. Установилось затишье, особо благоприятное для мелких, раздробленных народностей. Чеченцы начали стекать со своих гор, расселяться на плодородной равнине. Приобщались к сельскому хозяйству, вели себя спокойно, не агрессивно. Кабардинские и кумыкские князья не противодействовали, царская власть тоже. А что, земли много, пусть пользуются вайнахи (чеченцы и ингуши), пусть пасут стада, хлеб выращивают, белому царю служат. Раз на нашу землю пришли, значит, наши подданные, со всеми правами и обязанностями. Благодушные россияне даже заставы свои сняли южнее Терека, по существу ликвидировав боевое войско гребенских казаков. Ох, уж эта чрезмерная доверчивость и уступчивость, не к добру, а к трагедиям приводит она.

Между тем у чеченцев, оказавшихся на равнине в очень благоприятных условиях и сохранивших надежные тылы в горах, произошел вполне закономерный взрыв рождаемости. Количество их стремительно возрастало, особенно в петровские времена, затем в первой половине XVIII века. Крепла сила, обострялся захватнический аппетит. Изгоняя или убивая кабардинских и кумыкских князей, чеченцы объявили их угодья своими. Доставалось от воинственных вайнахов и другим соседям. Разбойные набеги чеченцев стали обычным делом. Перехватывались торговые пути, ведущие из России в Закавказье. Основательно насолили вайнахи нашим терским казакам. Помните, у Михаила Юрьевича Лермонтова:

По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал.

А полная картина развернута в другом стихотворении, ставшем песней:

Вдали бежит гремучий вал, В горах безмолвие ночное. Казак усталый задремал, Склонившись на копье стальное. Не спи, казак: во тьме ночной Чеченец ходит за рекой. По берегам пустынных вод Цветут богатые станицы. Веселый ходит хоровод. Бегите, русские девицы! Спешите, красные, домой: Чеченец ходит за рекой. Рыбак плывет на челноке, Влача по дну речному сети. Рыбак, утонешь ты в реке, Как тонут маленькие дети, Купаясь, летнею порой: Чеченец ходит за рекой.

Если бы он только ходил-гулял за Тереком, если бы не нападал, не убивал, не грабил, не захватывал женщин, не угонял скот, лошадей! А то ведь совсем обнаглел, особенно в екатерининские времена. «Чечен гордый, ему все можно». Как будто другие не гордые. Более терпеливые, но это до поры до времени. По выражению В. И. Голенищева-Кутузова, мирные дотоле чеченцы «превратились в неукротимых хищников». Они объявили своими все земли по Тереку и Сунже, постоянными набегами терроризировали соседние народы. И более того: начали захватывать территорию севернее Терека, отвоевывая ее у казаков. Произошло это после 1785 года, когда в Чечне невесть откуда возник вождь-фанатик Учкерман, провозгласивший себя посланцем Аллаха имамом Мансуром, которому предначертано свыше установить повсюду истинно мусульманский порядок. Во как размахнулся! Этот «посланец» не только возглавил борьбу, но и подвел под нее своего рода идеологическое основание; объявив «газават» — священную войну против русских. Такая любопытная подробность. Если сионисты считают, что не еврейское

имущество — это повсюду ничье имущество, его надо отбирать и захватывать, а заодно и власть (особого успеха они достигли в России), то Учкерман и его последователи заявляли и заявляют: мир разделен на землю Аллаха, на мусульманскую землю, и землю войны, землю неверных, которую надо захватывать и присоединять — имелось в виду к Чечне.

Собрав значительную по тем временам армию (около десяти тысяч человек), Учкерман повел ее на русскую крепость Кизляр. Агрессия была явная, наглая и по сути дела развязала ту долгую войну на Кавказе, которая продолжалась потом почти целый век. Царское правительство, дотоле занятое борьбой на западе, закреплением на Балтийском и Черном морях, осознало, наконец, необходимость осадить агрессора, вернуть захваченную чеченцами территорию. Штурм Кизляра был отбит. Не помогли Учкерману и турецкие полки, поспешившие на помощь. Армия Учкермана была рассеяна, сам фанатик попал в плен и последние годы жизни провел в каменном мешке Шлиссельбургской крепости. В отличие от благоразумного Шамиля, который сам отстранился от кровопролития, жил в Калуге, окруженный уважением, на склоне лет побывал в Мекке, очистился от грехов и со спокойной душой переселился в тот мир, где нашло приют подавляющее большинство человечества.

Кавказская война, повторяю, развязанная Учкерманом и его сторонниками, первое время со стороны русских велась вяло, с надеждой, что чеченцы образумятся и все утрясется само собой. Внимание было приковано к Наполеону, начавшему войну в Европе. Но чеченцы не воспользовались шансами для примирения: с захваченных земель не ушли, российскими подданными себя не признали, набеги и грабежи продолжались. Известный поэт начала XIX века Иван Дмитриев писал: Опасен крупный враг, А мелкий часто вдвое.

Царское правительство осознало эту истину лишь после разгрома Наполеона. И двинуло высвободившиеся войска на Кавказ, чтобы навести там порядок, восстановить нарушенные границы. На Сунже выросла русская крепость Грозная.

Излагая дальнейшее развитие событий, я напомнил Сталину один послереволюционный документ, направленный ему, как Наркомнацу. На мой взгляд, очень даже красноречивый документ: письмо от К. Е. Ворошилова.

«21.1. 1923 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Поздравляю тебя еще с одной автономией! 15/I в ауле Урус-Мартан, что в 24 верстах от г. Грозный, на съезде представителей аулов (по 5 человек от аула) чеченского народа при торжественной обстановке провозглашена автономия Чечни. Выезжали в Чечню Микоян, Буденный, Левандивский и я. Впечатление: чеченцы, как и все горцы, не хуже, не лучше. Муллы пользуются неограниченным влиянием, являясь единственной культурной силой. Свое положение служителя аллаха используют со всем искусством восточных дипломатов. Население пребывает в первобытной темноте и страхе «божием». Наши велеречивые и многомудрые коммунисты, работавшие и работающие в Чечне и Горреспублике, по-моему, ничему не научились и не могли ничему научить. Расслоение, «опора на бедняцкие элементы», «борьба с муллами и шейхами» и пр. прекраснозвучные вещи служили удобной ширмой для прикрытия своего убожества и непонимания, как подойти к разрешению стоящих на очереди вопросов.

После наших (официальных) выступлений говоривший главмулла заявил, что он от имени всего чечнарода приносит сердечную благодарность высшим органам Советской власти и выразил свои пожелания (требования), сводящиеся к следующему:

1. Нужно организовать такую власть, которая будет служить народу, а не обворовывать его.

2. Немедленно, беспощадными мерами ликвидировать бандитизм, воровство и разбои.

3. Разрешить сформировать в достаточном количестве чечмилицию.

4. Допустить существование шариатских судов.

…Заправилами, как нужно было ожидать, были муллы. До тех пор, пока мы не создадим в Чечне кадры преданных, знающих Чечню и ей знакомых работников, придется иметь дело с муллами.

Муллы народ продувной и не много нужно, чтобы их забрать под свое влияние. Дураки только могут верить в возможность проведения в Чечне всяческих «расслоений», «влияний через бедноту» и пр. чепуху…

К. Ворошилов»

И еще всего лишь один абзац из другого письма Климента Ефремовича Иосифу Виссарионовичу — от 1 февраля 1923 года. «На днях Али-Митаса заключил с нашим ГПУ в Грозном договор на охрану линии железной дороги Хасавюрт — Грозный. Все данные за то, что с чечбандитизмом удастся покончить с помощью самих чечбандитов».[77]

В своей памятной записке Сталину я сознательно уделил большое внимание истории вопроса, чтобы подчеркнуть, что русские никогда не нападали на чеченцев, ничего у них не захватывали — все было наоборот. Может, и сохранилась-то чеченская народность лишь благодаря приходу русских. А что в ответ? Неприязнь, беспричинная месть, кровь, приводившие к новым конфликтам.

Огонь, погасший вроде бы с окончанием Кавказской войны, подспудно тлел, оказывается, у вайнахов, питаясь злой памятью, ущемленной гордыней. И вновь вспыхнул, когда на нашу страну обрушилось великое бедствие — напали фашисты. Большинство народов и народностей у нас и во всем мире общая борьба с гитлеровцами сдружила, сплотила. Но некоторые воспользовались бедой, чтобы свести старые счеты, нанести коварный удар в спину. И одними из первых оказались чеченцы.

Конечно, предатели, пособники немецким фашистам были в каждом народе. Кто по трусости, кто по слабости характера. Кто из-за обиды на власть, кто по идейным или по шкурническим соображениям оказался на другой стороне баррикады. Но то, что происходило в Чечне, трудно с чем-нибудь сравнивать. У меня сложилось впечатление, что к поддержке гитлеровцев там были готовы заранее — идеологически и организационно.

Внимательно вчитывался я в листы политдонесений, поступавших летом и осенью сорок первого года в Военный совет Северо-Кавказского военного округа. С самого начала войны положение в некоторых автономных республиках, входивших в состав тогда еще тылового округа, характеризовалось как напряженное и даже опасное. Например, в Чечено-Ингушской АССР, особенно в Советском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Выписал несколько показательных цифр и фактов. Мобилизация в этих районах была практически сорвана. От призыва уклонилось до 65 процентов мужчин военно-активного возраста. И не просто уклонились, а ушли в горные леса, создав там много мелких и несколько крупных отрядов, располагавших оружием, в том числе

пулеметами и даже артиллерией. Местное вайнахское население укрывало дезертиров, снабжало их продовольствием.

Чеченские представители пытались сорвать мобилизацию в Северо-Осетинской автономной республике, где, кстати, призыв был проведен полностью. Угрожали: скоро в войну вступит Турция, и, как только турки захватят Кавказ, будут вырезаны все осетинские и русские семьи, чьи мужчины сражаются на стороне России… Как прикажете расценивать такие враждебно-провокационные действия?

Чем ближе подходил фронт, тем больше наглели и активизировались бандитские формирования. Они нападали на отдельных военнослужащих и даже на небольшие подразделения, грабили и убивали мирных жителей, устраивали диверсии на железных дорогах, уничтожали цистерны с горючим, склады боеприпасов. Ущерб был значителен, а главное — люди же гибли: и военные наши, и эвакуируемые женщины с детьми в пущенных под откос вагонах. Ну и разведка в пользу фашистов. Немцы забрасывали в Чечню не только вооружение (пулеметы, минометы, пушки), но и большое количество радиостанций. С немецкими инструкторами, с радистами. Гитлеровское командование получало очень важные сведения. Сосредоточились, к примеру, скрытно наши танки. И вдруг бомбежка. Точно по цели. А кто дал сведения — попробуй найди! У чеченских бандитов в каждом селе, на каждой станции свои глаза, свои уши. Кланы, родня, подспудные связи.

Куда же, как говорится, милиция смотрела? Работники НКВД, местные партийные и советские органы? Не видели разве, что у них под носом творилось? Нашел я ответ и на этот вопрос. Увы, почти вся руководящая верхушка в Чечено-Ингушетии была на стороне изменников, если чем и руководила, то не борьбой с ними, а, наоборот, созданием и укрытием бандитских формирований в тылу советских войск. Узконациональные интересы, слепая мстительность была для них гораздо важнее и ближе, чем интересы государственные. Коварство и продажность омерзительные. Вот удалось мобилизовать большую группу честных вайнахов. Их обмундировали, обучили, дали оружие. А незадолго до отправки на фронт в казарму явились несколько авторитетных местных руководителей и приказали следовать за ними в горы. Люди, сами того не желая, из бойцов Красной Армии превратились в бандитов. И таких случаев было несколько.

Или. При приближении линии фронта, партийным работникам и работникам НКВД Чечено-Ингушетии, как и везде в подобных случаях, было поручено создавать партизанские отряды для борьбы с немцами и закладывать в лесах тайные базы для обеспечения этих отрядов. Поручение было выполнено во всех районах республики. Отбирали якобы самых надежных активистов. Но в один, отнюдь не прекрасный день, почти все эти «партизанские» отряды, хорошо вооруженные и оснащенные, как по команде покинули населенные пункты и вместе со своими начальниками ушли в банды.

И еще. Почти все чеченские формирования возглавляли недавние высшие руководители республики, в том числе и партийных органов, и НКВД, совершив двойное и тройное предательство. Как было устоять под их нажимом рядовым вайнахам: кто не хотел, тех силком гнали в горы, превращая в преступников.

По договоренности с немцами, чеченские вожаки создавали не только мобильные отряды, диверсионные группы и разведывательную сеть, но и некое подобие регулярных войск из числа дезертиров, местных жителей и

тех бойцов Красной Армии, которые добровольно перешли к гитлеровцам или согласились служить им, оказавшись в плену. Так был сформирован Северо-Кавказский легион, в состав которого, кроме чеченцев и ингушей, входило некоторое количество осетин. Так появился чечено-ингушский пехотный полк. Эти воинские части действовали вместе с гитлеровцами против советской армии.

Наиболее рьяных националистов, наряду с уголовниками, садистами, жестокими убийцами, неотмываемо запятнанными кровью, отбирали в карательные отряды. Они расправлялись с непокорными, с «подозрительными», расстреливали и вешали, сжигали населенные пункты, наводя страх на мирных жителей. «Очищали» немецкие тылы, выполняя за фашистов наиболее грязную работу…

Почти полностью процитировал я одно из донесений политотдела 9-й армии, датированное сентябрем 1942 года. В нем сообщалось: группа воинов, раненых в боях под Моздоком, была отправлена в тыл на повозках. Вместе с сопровождающими — шестьдесят человек. В десяти километрах от передовой на них напала чеченская банда. Из всей группы в живых случайно осталось лишь двое. Других бандиты умертвили с особой жестокостью. Вспарывали животы, отрезали уши, выкалывали глаза. Изуродованы все трупы. Некоторые были облиты бензином и подожжены. В полосе 9-й армии случай не единичный.

Представь себя, читатель, на месте раненого, беспомощного человека. Тебя вывезли с поля боя, ты обрел надежду, расслабился, и вдруг видишь, как кромсают кинжалы тела твоих товарищей, слышишь их жуткие крики. И над тобой занесен клинок. Страшно.

Вот, пожалуй, и все, что изложил я в памятной записке Иосифу Виссарионовичу, за исключением некоторых фактов и фамилий, которые общеизвестны или которые я подзабыл. Сталин основательно познакомился с документами, а потом состоялся у нас такой разговор.

— Передам записку товарищам, — сказал Сталин. — Им полезно будет знать объективное мнение. Спасибо, Николай Алексеевич. Однако в записке не хватает, на мой взгляд, конкретных выводов.

— Они ясны. Мы имеем дело с явным предательством. Чеченские националисты воюют против нашей страны, подло укрываясь за спиной своего же народа. К ним надо относиться, как к пособникам Гитлера.

— Вайнахские националисты хуже немецких фашистов, — желтоватым пламенем полыхнули глаза Сталина. Немецких солдат погнали воевать против нас, а эти взялись за оружие сами.

— Не все.

— Но многие. Мы можем разом стереть их в порошок, — сжатый кулак правой руки опустился на стол. — Но вы правы, при этом пострадают и невиновные. Этого не нужно. Воздадим, кому следует.

— Там и теперь, когда фронт на Кубани и за Доном, обстановка тяжелая. Не все бандиты ушли с немцами, многие скрываются в горах, в отдаленных населенных пунктах.

— Я знаю эти леса и горы, там есть где запрятаться. Бандиты залезут в щели, а выкурить трудно. Будут жалить, как ядовитые змеи. Будут надеяться, что немцы вернутся или придут турки… Значит, надо лишить бандитов всех корней, которые их питают. Пусть подохнут в горах или запросят пощады.

— Долго придется ждать.

— Нет, не долго, усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Мы поступим решительно и справедливо. Мы переселим всех чеченцев подальше от Ичкерии, мы переселим всех вайнахов подальше от Кавказа, всех горцев, изменивших нам, подальше от их лесов и ущелий. Хотя бы в Казахстан, в открытые степи, где каждый виден… Пусть живут. А бандиты, оставшись без поддержки, не усидят в укрытиях. Сами передохнут или придут за милостью, — повторил Иосиф Виссарионович. — Освободятся для фронта наши полки, которые отвлечены для борьбы в тылу, мы будем спокойны за наши тылы… Мы не станем ловить бандитов поштучно на всем Северном Кавказе, мы разрубим узел одним ударом. Как вы считаете, Николай Алексеевич?

— Это допустимо в условиях военного времени. Фронт близко, и еще неизвестно, как повернутся события. Пятая колонна очень опасна.

— Допустимо или необходимо? — уточнил Сталин.

— Переселять народы — мера крайняя и достаточно жесткая. Но в сложившихся условиях это целесообразно.

— Вот и пришли к общему знаменателю, — устало произнес Иосиф Виссарионович, садясь в кресло.

Во время этого разговора сложный вопрос не был решен окончательно. Потребовались месяцы, чтобы определить степень и последствия предательства, наметить места для переселения, обеспечить организационную и техническую стороны. А это не так-то просто, хотя бы с транспортом. Берия и его опытные сотрудники работали над этим основательно, в обстановке секретности. Результат соответствующий: операция по переселению вайнахов (как и некоторых других народностей) была проведена четко и быстро. Вайнахов выселили буквально за трое суток во второй половине февраля 1944 года. И практически без жертв. Чеченцы, вероятно, сознавали свою вину перед властью, меру своей ответственности за пролитую кровь советских воинов и мирных граждан. Это лишало нравственной опоры для сопротивления. Понадобилось всего два или три полка (даже не боевых, а из внутренних войск), чтобы разом очистить все города, села, горные аулы и сосредоточить чечено-ингушское население в местах сбора возле железнодорожных станций. И отправить по назначению. Но я в этом участия не принимал. Молодых бойцов хватало, чтобы управиться там.

После войны доводилось слышать, что несправедливо, слишком круто поступили с некоторыми народами Северного Кавказа. Подумаешь, жеребцов своих дарили Гитлеру! Но при этом жалельщики не упоминают о том, какой ущерб был причинен этими народами нашей сражающейся стране, сколько наших воинов пало от чеченских пуль, сколько поездов пошло под откос. Можно поставить вопрос по-другому: а достаточно ли полно расплатились хотя бы те же чеченцы за свое коварство, не слишком ли мягко обошлись с ними? Смею утверждать, что это была вполне справедливая в тех условиях гуманная акция, когда заслуженно наказывая одних, тем самым спасали жизнь, здоровье многих других.

Рассказывая о переселении немцев Поволжья, я уже сравнивал, как поступали в схожих ситуациях государства, громко именуемые цивилизованными и демократическими. Немецкие фашисты возвели в ранг государственной политики истребление народов, которых считали враждебными или неполноценными: евреев, цыган, поляков. Уничтожали миллионами. Подобным образом поступали и японцы на захваченных территориях, особенно в Китае. Но с этими преступлениями наши

действия даже и близко ставить нельзя. Уж если с чем и сопоставлять, то с поступками англичан и американцев. С учетом того, разумеется, что на их территории не было вражеских солдат, никто на собственной земле не стрелял им в спину. Напомню: едва началась Вторая мировая война, все лица немецкого происхождения, проживавшие в Англии, были «профильтрованы» специальным трибуналом, подавляющее большинство изолировано на каменистом, продуваемом всеми ветрами острове Мэн. Однако этого показалось мало. Интернированных отправляли в Канаду, в особый лагерь со строгим режимом, созданный в Квебеке. Условия там были тяжелейшие, обращение очень жестокое. Достаточно назвать такой показатель: Квебекский лагерь «прославился» тем, что держал первое место в мире по количеству самоубийств среди заключенных.

А что же американцы, благоденствовавшие за океанами, вдали от фронтов? Они тоже продемонстрировали демократию высокого класса. Когда началась их война с Японией, сенат США принял решение изолировать лиц японского происхождения, проживавших на территории страны, в том числе имевших американское гражданство. До одной шестнадцатой японской крови. Без различия пола и возраста. Только в первую очередь в концентрационные лагеря, созданные в пустынной местности, было отправлено сто тридцать тысяч человек. Сколько выжило — данных нет. А ведь эти люди не выступали против американцев. Допустим, были среди них потенциальные противники, но разве можно карать за несовершенные действия? Разве не верх жестокости — гноить за колючей проволокой ни в чем не повинных людей?! Когда знаешь обо всем этом, трудно воспринимать жалобы тех, кто был на какое-то время переселен из одной местности в другую. Тем более, что причины имелись веские, а отношение к переселенцам достаточно гуманное. Высланным в Казахстан, например, по прибытии на место, выдавали по барану на человека для обзаведения хозяйством. Если вайнахи страдали и голодали в трудное время, то не больше, чем все другое население нашей страны. Дети продолжали учиться, многие впоследствии получили высшее образование, среди чеченцев появились «свои» профессора, политики, военные высокого ранга.

После смерти Сталина, в пятидесятых годах, вайнахи, как известно, вернулись на Северный Кавказ. При этом не очень афишировался «подарок», преподнесенный чеченцам Никитой Хрущевым — первым разбазаривателем русских советских земель. Он передал чеченцам исконные казачьи территории на северном берегу Терека, входившие в состав Ставропольского края. И сразу же началось вытеснение русского населения с этих благодатных земель. Была заложена первая мина для будущих опасных конфликтов. Как и в Крыму, который Хрущев умудрился передать Украине.

Работая над памятной запиской по Чечено-Ингушетии, я прочитал изрядное количество трофейных документов, в том числе и секретных донесений немецких разведывательных служб. Одно из них доставило мне удовольствие посмеяться от души. Сначала одному, а затем вместе с генерал-полковником Окой Ивановичем Городовиковым, которому я показал трофейную бумагу. Командующий кавалерией РККА генерал Городовиков занимался в то время делом, которое схоже было с моим. Сам Ока Иванович или, во всяком случае, члены его инспекторской группы, находившейся в районе Сталинград — Элиста, готовили соответствующий материал по Калмыкии.

Думаю, Городовикову было легче, чем мне. Он хорошо знал обстановку на месте, людей, подспудные течения. Да и ситуация была попроще, без длинного исторического «хвоста». Про калмыков не скажешь, что все они с радостью ждали немцев как «освободителей». Суть в том, что при царе калмыки зачастую рекрутировались в карательные, охранные подразделения. И белыми генералами в период гражданской войны. Карательные отряды калмыков вызывали ужас и ненависть, «наводя порядок» с помощью нагаек и виселиц в Донбассе и других рабочих районах. Победившая советская власть, естественно, сводила счеты с карателями, определяя, кого поставить к стенке, а кого отправить в места отдаленные. Среди калмыков старшего возраста, подвергавшихся гонениям, немало было таких, кто затаил обиду и злость, кто готов был под любым знаменем выступить против Советов. Из них немцам удалось создать несколько разведывательно-диверсионных подразделений. Дальше этого не пошло. У молодежи были другие настроения. Так я предполагал, не навязывая кому-либо свое мнение, в том числе и Оке Ивановичу Городовикову. Он сам должен был делать выводы.

Теперь о любопытном документе, подтверждавшем старую истину: ум и глупость, слезы и смех — они всегда рядом и в таком взаимопроникновении, что не враз определишь демаркационную линию. Военная контрразведка немцев имела свои группы при всех штабах гитлеровских войск, от штабов дивизий и выше. Это — подразделения тайной полевой полиции, выполнявшие функции гестапо непосредственно в зоне боевых действий и в прифронтовых тылах. Название труднопроизносимое — Гехаймфельдполицай (ГФП). При разгроме 16-й немецкой моторизованной дивизии возле Элисты нами были захвачены бумаги одной из групп ГФП, действовавшей в на местах. Особой пользы для работы я из них не извлек, но один документ заинтересовал своей необычностью.

Пусть простят меня калмыцкие женщины за пикантные подробности, но без них нельзя обойтись, в них вся интрига. В донесении контрразведчиков, направленном вверх по инстанции, сообщалось, что среди немецких и румынских военнослужащих распространился и упорно держится слух: калмычки — женщины необыкновенные, единственные в мире, у кого детородный орган расположен не вертикально, а горизонтально. В этом их неповторимая особенность. Многие военнослужащие хотят убедиться в этом сами, добиваются расположения калмычек любыми способами и средствами, от ухаживания и подкупа до насилия. Настойчивые и повсеместные посягательства такого рода вызывают раздражение, недовольство и даже активное противодействие жителей, еще недавно встречавших оккупационные войска доброжелательно или нейтрально. Ситуация в Калмыкии, в прифронтовом тылу опасно обостряется. Разъяснения не действуют. Исходя из этого, ГФП обращается к командованию с просьбой принять строгие конкретные меры, вплоть до особого приказа о наказании тех, кто посягает на женское достоинство калмычек.

Затрудняюсь предположить, какой выход из неординарного положения нашло бы немецкое командование, но долго размышлять на сей счет фашистам не довелось, советские войска лишили их подобной необходимости, освободив Калмыкию. Так и живут где-то в Германии и Румынии бывшие вояки, не сумевшие удовлетворить своего любопытства. Теперь они могут только теоретизировать по этому поводу. Ну, это их

заботы. А мы, значит, посмеялись с Окой Ивановичем вместе, когда я показал ему в Москве документ.

Хотел повеселить и Иосифа Виссарионовича, но попал, видимо, не под настроение. Он отнесся к донесению ГФП без юмора, слишком даже серьезно. Прочитав, резюмировал:

— Один балбес, распустив дурацкий слух, способен принести больше пользы или вреда, чем целый отряд профессиональных пропагандистов… Больше вреда, если дело отдано на самотек… Чего еще ждать от полуграмотного немецкого крестьянина в шинели, умеющего лишь считать доходы и расходы в пределах таблицы умножения. Чего вы хотите от неграмотного похотливого румына, для которого свет клином сошелся на мамалыге… И у нас всякие найдутся, когда за границу придем. Одни думают, что к каждому солдату по немецкой бабе прикрепят для развлечения, другие молочные реки с кисельными берегами искать будут. Надо позаботиться, чтобы без глупостей.

— Не рано ли?

— Чем раньше, тем лучше. Уже сейчас надо готовить материалы по каждой стране. Для политработников, для распространения через радио и печать. Войдем в Польшу или в Венгрию — чтобы наши люди знали, что за страна, как себя вести. Надо создать в ГлавПУРе группу, чтобы работала над такими материалами, разрабатывала методику, инструкции. Учитывая историю данного государства, политическое устройство, экономику, народные традиции и обычаи, другие особенности. Перспективы наших взаимоотношений. Чтобы каждый боец, вплоть до последнего обозника, имел представление. — Иосиф Виссарионович снял телефонную трубку. — Товарищ Щербаков, здравствуйте… Чем занимаетесь?.. Так. Через час к вам приедет товарищ Лукашов, познакомит с некоторыми бумагами. Передаст мое мнение. Посоветуйтесь, подумайте вместе с ним. — Глянул на календарь, сделал пометку карандашом. — В четверг, в девятнадцать, доложите мне… До свидания.

10

Победа под Сталинградом принесла нам, кроме всего прочего, первую с начала войны большую передышку, я бы сказал стратегическую передышку. С марта и до июля. Конечно, бои продолжались, были и большие успехи, и серьезные неудачи, но это — обычные будни войны. Одно дело балансировать на грани полного поражения, напрягая все силы, а другое — заботиться о том, как ловчее побить противника с наименьшими утратами для себя. Непосредственное руководство военными операциями переместилось из центра вниз, где оно вообще-то и должно осуществляться: к командующим фронтами и армиями. Ставка и сам Верховный Главнокомандующий, освободившись от частных забот, обрели возможность заниматься тем, чем надлежало: основными проблемами, планированием и прогнозами. При этом пригодился и обретенный опыт непосредственного ведения военных действий, способствовавший правильному пониманию ситуации, принятию обоснованных решений. Чего, кстати, не было во всю войну у высшего немецкого командования (включая фюрера), осуществлявшего руководство в общих чертах, больше теоретизируя и следуя интуиции, нежели опираясь на практику.

Мы готовились к новым сражениям, имея целью закрепить и развить перелом, наметившийся после Сталинграда. Значительное количество наших армий, танковых и механизированных корпусов, обескровленных в боях, было выведено в резерв для переформирования, пополнения личным составом и техникой. Как ни странно, положение с техникой было лучше, чем с людьми. На полную мощь работали заводы Урала и Сибири, в том числе и эвакуированные туда. А вот призыв юношей 1925 года рождения дал нам вдвое меньше, чем призывы предыдущие: следствие того, что почти половина населения страны оказалась на территории, оккупированной гитлеровцами. Уже одно это говорило о необходимости как можно скорее освободить занятые врагом республики и области. Хорошим, надежным пополнением являлись воины, возвращавшиеся в войска из госпиталей. Росла прослойка мобилизованных из Средней Азии, но это был трудный контингент. Люди разных возрастов, не знавшие военной службы, дисциплины, плохо владевшие (или делавшие вид, что не владеют) русским языком, с трудом приспосабливались к непривычной обстановке. Некоторые любой ценой старались вернуться в родные края — об этом я еще расскажу.

Слабым, но все же утешением было то, что противник не менее нашего исчерпал наличные резервы. В Германии по новой тотальной мобилизации возрастная планка была поднята выше пятидесятилетней отметки. Брались в армию рабочие с военных заводов, подчищались тыловые учреждения. Упор и у нас, и особенно у немцев, делался не на количество войск, а на новое, более эффективное вооружение. При этом наши перспективы были значительно лучше, мы рассчитывали на пополнение за счет мужчин военно-активного возраста на освобождаемых территориях.

Переформированные, пополненные, отдохнувшие войска перебрасывались в районы, где их использование предполагалось наиболее целесообразным. Забот невпроворот, но все же это не представлялось трудным или утомительным после пережитых потрясений, после минувшего кризиса. Теперь главным было не допустить стратегической ошибки, как это случилось прошлой весной, выработать правильную концепцию проведения летне-осенней кампании 1943 года, которая, по мнению наших специалистов, предопределяла исход всей войны. Враждующие силы были примерно равновелики и одинаково напряжены. При таком положении стратегический просчет мог привести к непоправимой трагедии.

Из чего исходили у нас в Генштабе и в Ставке? Летом 1941 года, используя ряд преимуществ, немцы наступали на всем советско-германском фронте от Баренцева до Черного моря. В зимних боях, особенно в Московском сражении, противник основательно поиздержался. В 1942 году фашисты могли наносить удары не повсюду, а лишь сосредоточив основные силы на одном направлении. Они выбрали южное крыло фронта от Орла до Кавказа и добились вначале изрядных успехов. И потерпели еще более изрядное поражение. Теперь им требовалось показать и доказать, что война не проиграна, что все еще можно изменить. Не наступать, не вести активные действия они не могли. Время работало против них. Не сидеть же им сложа руки в глубинных просторах России, видя, как крепнет Красная Армия, как разрастается партизанское движение, как все решительнее начинают действовать союзники русских. Значит, надо упредить летнее наступление советских войск, первыми нанести удар, ослабить неприятеля (то есть нас) и вновь двинуться на

восток. Добиться успеха, хоть и не решающего, но заметного, обнадеживающего. А там время покажет.

Все это, в общих чертах, было понятно. Как и то, что немцы не имеют сил, дабы наносить удары на всем фронте и даже на каком-то направлении. Теперь они способны вести активные действия лишь на одном участке, наиболее выгодном с оперативной точки зрения, создав там крепкий кулак. Но где и когда? — стояли перед нами классические вопросы. Не прозевать бы, не подставиться под первый дробящий удар, способный отбросить и опрокинуть противника (то есть опять же нас). Что в такой ситуации должны делать мы? Прежде всего определить главное: наступать нам или обороняться?!

На этот раз Верховный Главнокомандующий, наученный горьким опытом, был очень осторожен, поняв, наконец, что во время войны надобно слушать не политиков, а военных. Первым, с кем посоветовался Сталин, был маршал Шапошников, ушедший из Генштаба, но по-прежнему пользовавшийся незыблемым авторитетом. Многомудрый Борис Михайлович высказался однозначно: не наступать, создать на всех угрожаемых участках надежную глубокоэшелонированную оборону (как под Москвой). Настолько глубокую, чтобы в ней завяз, раздробился немецкий клин — панцеркайль. Сохранив при этом резервы для контрударов и контрнаступления. В принципе правильно, однако, Иосиф Виссарионович (и я вместе с ним) опасался, что наша оборона может не выдержать, лопнуть, немцы перехватят стратегическую инициативу со всеми вытекающими последствиями. По нашим прикидкам, гитлеровцы довели численность своих войск на советско-германском фронте до 5 миллионов человек. С этим нельзя было не считаться, хотя мы и имели в действующей армии на миллион больше.

Ставка письменно запросила командующих всех фронтов о состоянии, боеспособности их войск и мнение о предстоящей летне-осенней кампании. Командующие ответили неодинаково. Предлагалось упорной обороной на заранее подготовленных позициях измотать противника и лишь после этого самим перейти в наступление. Риск есть, но войска обладают достаточными силами и средствами, достаточной стойкостью, чтобы выдержать и погасить вражеский натиск. Высказывались и иные предложения. Командующие Западного, Брянского и Центрального фронтов, будто сговорившись, хотели бы уничтожить орловскую группировку противника, пока она не окрепла после зимних боев. Заманчиво было срезать вражеский выступ. А потом уж обороняться. Но не приведет ли это к тому, что случилось летом прошлого года?! Свою точку зрения имел командующий Северо-Западным (бывшим Калининским) фронтом Иван Степанович Конев, которому осточертело, видимо, сидеть в обороне. Он предлагал срубить, наконец, ржевско-вяземский сапог, решить задачу, над которой мы бились со времени контрнаступления под Москвой. Так что каждый генерал мыслил по-своему, а выбирать, принимать решение и нести ответственность за него предстояло Верховному Главнокомандующему.

Вечером 12 апреля у Иосифа Виссарионовича состоялось совещание, мало сказать в узком — даже в самом узком — кругу. Четыре человека, если не считать меня, в комнате за кабинетом. Предосторожность для максимальной секретности. Присутствовали: заместитель начальника Генерального штаба А. И. Антонов и два заместителя Сталина — Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Причем эти двое впервые явились в

новехоньких мундирах, сверкая позолотой маршальских погонов. Даже несколько смущены были своим непривычным блеском. За выдающиеся успехи в руководстве Сталинградской битвой Иосиф Виссарионович (как сам выразился) «повысил и подравнял» их. Я уже говорил о том, что Жуков и Василевский, как представители Ставки, действовали слаженно, умело и весьма плодотворно. Воля, настойчивость одного дополняла ум и дальновидность другого. И наоборот. Это было очень удачное сочетание. Однако Василевский имел звание на одну ступень ниже, и это сказывалось на их общей работе. Воля пересиливала, тем более при твердом, бескомпромиссном характере Жукова.

В середине января 1943 года Георгию Константиновичу было присвоено звание Маршала Советского Союза, а Александру Михайловичу — звание генерала армии. Это если что-то и изменило, то лишь в худшую сторону, давление Жукова усилилось. Вот тут Сталин и «подравнял» их, приняв решение, беспримерное в военной истории. Не было случая, чтобы высшие воинские звания давались без временной дистанции. А Василевскому, едва успевшему прикрепить четвертую звездочку, пришлось срочно менять погоны: 16 февраля был опубликован указ о его новом внезапном повышении, он тоже стал маршалом. Кое-кто удивился, кое-кто позавидовал, но Сталин, я считаю, был прав. Теперь воля и ум сочетались при одинаковых условиях.

На совещании в узком кругу докладывал Жуков. Выступление его было довольно обширным, я же приведу лишь одну ключевую фразу: «Переход наших войск в наступление с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем врага на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление добьем основную группировку противника». Все в принципе согласились с Жуковым, основополагающее решение по летне-осенней кампании было принято.

Очень важно было не ошибиться в определении района, где немцы нанесут свой главный удар. На первый взгляд эта задача не представлялась сложной, вывод подсказывала сама конфигурация линии фронта, сложившаяся к концу марта. Войска наших Центрального и Воронежского фронтов, продвинувшись значительно западнее Курска, оказались как бы в полукольце. С севера над ними нависала орловско-мценская группировка противника. С юга — белгородская. Обе были достаточно сильны, имели значительное количество танков и, по нашим сведениям, получали больше пополнения, чем армии на других участках. Разве не заманчиво для противника мощным ударом замкнуть кольцо вокруг двух наших фронтов, уничтожить их, открыть себе путь на восток, предопределив успех на ближайшие месяцы. Мы не сомневались, что мысли высшего вражеского командования прикованы именно к Курской дуге. Удар готовится здесь — это подтверждали различные данные, если не прямые, то косвенные.

Хотя бы такое сообщение. Внимание партизанской агентуры на одной из узловых станций Белоруссии привлекли воинские эшелоны, проходившие на восток. Десятки платформ с сеном, накрытые брезентом. Ничего особенного, верно? Да, если бы они двигались в противоположную сторону, в Германию, куда немцы вывозили сельскохозяйственную продукцию. А зачем же в глубь России? Конницы у фашистов практически нет, наш скот подкармливать им вроде бы не с руки. И для чего усиленная охрана, как у воинских эшелонов? Чтобы выяснить это, двое разведчиков

ночью забрались на платформу и покатили на ней в неизвестную даль. В пути сразу же обнаружили, что под брезентом, под слоем сена находятся танки, да не какие-нибудь, а громадные, доселе неизвестные. Осторожно ползая под сеном, отважные хлопцы умудрились определить основные параметры машины: длину и ширину, калибр пушки, размер гусеничных траков и даже примерную толщину брони. Это было нечто совсем новое. Один из разведчиков «сошел с поезда» на очередной остановке, чтобы вернуться к своим и передать сообщение в Центр. Второй смельчак, затаившись, без воды и пищи, ехал до тех пор, пока стало ясно: эшелон следует в район Орла, свернуть некуда.

Из подобных крупиц, при их сопоставлении и перепроверке, создавалась общая картина. Кроме всего прочего, мы тогда узнали некоторые особенности нового вражеского танка, о котором прежде только слышали. Так что появление на поле боя немецких «тигров», как и «пантер», не стало для наших войск неожиданностью. Мы были готовы бороться с ними.

Многое говорило за то, что фашисты ударят по Курскому выступу. И все же в Ставке еще оставались сомнения. А вдруг — дезинформация, крупномасштабный обман. От немцев можно ждать любых трюков. Мы сосредоточим свои силы для отражения ударов со стороны Орла и Белгорода, а враг обрушится на нас совсем в другом месте. Слишком велика была бы цена просчета. Забегая немного вперед, скажу, что полная уверенность появилась у нас лишь 23 мая.

Почему именно в этот день? Помните, в одной из глав я рассказывал о разведывательно-диверсионной группе чекиста Лопатина Петра Григорьевича, которая в марте 1942 года была отправлена «пешим ходом» из Москвы в глубокий вражеский тыл, чтобы обосноваться в районе железнодорожной магистрали Минск — Борисов. Группа действовала очень успешно, со временем превратившись в большой партизанский отряд, а затем в партизанскую бригаду. Упоминал я о том, как немецкий полковник полюбил нашу разведчицу и вместе с ней ушел к партизанам Лопатина, прихватив желтый портфель с бумагами. А от партизан вместе с любимой женщиной и с портфелем сразу же был отправлен на самолете в Москву, где и дал ценнейшие показания, подкрепив их документами.

Пора назвать фамилию героя этой романтической истории. Сотрудник разведывательного отдела штаба немецких военно-воздушных сил группы армий «Центр» полковник Карл Круг оказал нам большую услугу. Он дал подробные сведения о 32 аэродромах в полосе группы армий «Центр», о количестве сосредоточенных на них бомбардировщиков и истребителей, о боевых качествах новых воздушных машин «Фокке-Вульф-190А» и «Хеншель-129». А самое главное, сообщил о секретном приказе, в соответствии с которым с 5 апреля началась скрытная переброска к Орлу и Белгороду большого количества войск для проведения крупной операции. Ни на один участок не направлялось столько танков, артиллерии и самолетов, сколько сосредоточивалось на фасах белгородско-орловской дуги, именовавшейся у нас курско-орловской. Сообщения Карла Круга по возможности были перепроверены, у меня тогда отпали последние сомнения. Как, вероятно, и у Иосифа Виссарионовича. Во всяком случае, он их больше не высказывал.

Вернемся, однако, к совещанию 12 апреля, к решениям, которые были на нем приняты. Первое и основное: мы переходим к преднамеренной обороне, давая возможность противнику нанести удар первым. Поскольку вражеское наступление ожидается из районов Орла и Белгорода, создать

в тылу угрожаемого направления мощную оборонительную полосу глубиной до 200 километров, с соответствующим количеством войск. Эта укрепленная линия являлась как бы продолжением, составной частью Государственного рубежа обороны (ГРО), созданного на подступах к Москве и продлеваемого теперь далеко на юг. Там же сосредоточить значительную часть наших стратегических резервов. К исполнению этих решений приступить немедленно… И можно без преувеличения сказать, что основа наших летних успехов была заложена именно тогда, на «совещании четверых».

Еще несколько частностей. Поскольку генерал Конев засиделся на одном фронте и поглощен лишь одной идеей — срезать в конце концов Ржевско-Вяземский выступ, в борьбе за который за полтора года было пролито много нашей и немецкой крови, то будет лучше, если Иван Степанович сменит обстановку, встряхнется — это предложил Сталин. Пусть возглавит Резервный фронт, создающийся восточнее Курского выступа. (Через некоторое время этот фронт будет переименован в Степной).

Не сбросили со счетов и предложение командующих Западным, Брянским и Центральным фронтами о подготовке совместного удара по Орловской группировке противника. Сталин рассудил так: все может случиться, противник может изменить свои планы, захочет отсидеться в обороне, накапливая силы. А у нас уже будет подготовлено наступление, выберем удобный момент и двинем войска вперед. Но при всех условиях не раньше второй половины лета, когда намерения немцев окончательно прояснятся. А пока укреплять позиции, сосредоточивать резервы, обучать бойцов и терпеливо ждать грядущих событий.

11

Возможное наступление трех наших фронтов, о котором сказано выше, получило кодовое название: операция «Кутузов». Чтобы ознакомиться с положением на месте и довести до сведения командующих решение Ставки, в войска должен был отправиться маршал Василевский. Накануне его отъезда, 17 мая, Сталин предложил:

— Николай Алексеевич, не составите ли компанию товарищу Василевскому?

— Чтобы ему не было скучно?

— Есть дело посерьезней. На Брянском фронте кавалерист ваш бунтует. Генерал Белов. Не ужился с Рейтером. Разберитесь, в чем причина, какие меры принять. Чего они там не поделили? — в голосе Иосифа Виссарионовича я уловил угрозу и понял, что у конфликтующих сторон могут быть серьезные неприятности. Вообще-то сам факт трений между двумя этими людьми удивил меня. Читатель помнит, конечно, Павла Алексеевича Белова, чей кавалерийский корпус зело отличился в боях под Москвой. После чего Белов был поставлен командовать 61-й армией. Человек он интеллигентный, прямодушный, к склокам не способный. Кадровый военный, он знал, что такое дисциплина, обладал в полной мере чувством ответственности. Может, ему, энергичному, дерзкому, смелому, трудно было сработаться с неторопливым, по-немецки педантичным и сдержанным Рейтером Максом Андреевичем, назначенным командовать Брянским фронтом после того, как успешно провел Погорело-Городищенскую операцию, подготовленную Шапошниковым и

Соколовским? Может, обидно было Павлу Алексеевичу, разгромившему Гудериана, достигшему других выдающихся успехов, подчиняться ничем не прославившемуся, заурядному генералу? Но ему ли, Белову, не знать, что воинских начальников, как и родителей, не выбирают!

В общем — поехали. Я предложил Василевскому остановиться в расположении 61-й армии, мотивируя тем, что она находится на стыке Западного и Брянского фронтов, от нее примерно одинаковое расстояние до штаба Соколовского и до штаба Рейтера. Александр Михайлович счел это разумным. В первый же день, вернее, в первый же вечер после напряженного рабочего дня, я встретился с генерал-лейтенантом Беловым неофициально, в небольшом аккуратном домике, который он занимал. Естественно, что и стол был накрыт белой скатертью, и на скатерти красовалось все, что положено. За то время, пока мы не виделись (с января 1942 года), Павел Алексеевич заметно изменился. Не было в нем этакой кавалерийской лихости, задора, блеска в глазах, как тогда, при прорыве фронта, при уходе в рейд по немецким тылам. Пополнел, потяжелел, отпустил большие усы, как и начальник разведки армии подполковник Кононенко, разделявший с нами вечернюю трапезу. На несколько минут присела к столу молодая женщина в военной форме («наша телефонистка-хозяюшка», — представил ее Кононенко). Присутствие женщины заметно смущало Павла Алексеевича, и вскоре она ушла вместе с начальником разведки.

Из открытого окна тянуло запахом сирени. На опушке недальнего леса гремел оркестр птичьих голосов. А когда он умолкал, раздавалась пулеметная трель дятла, наминавшая о войне. Потом начинала потрескивать пеночка, вступал соловей, и все повторялось снова. Обстановка располагала к откровенности. Я даже не спрашивал Павла Алексеевича, он открылся сам:

— Закис я тут на задворках. Весь первый год войны, с июля по июль, в напряжении, в боевой обстановке, в походах. Тяжело, но по мне. А здесь десять месяцев сиднем сижу. Мхом оброс. Где-то сражения, судьба страны решается, а в полосе моей армии за сутки, бывает, ни одного выстрела. Зарылись в землю, отгородились проволокой, минными полями и скучаем, боеприпасы экономим.

— И ни наград, ни славы.

— Поймите, закис я, — повторил, не приняв мою шутку, Белов. — Когда после Сталинграда зимнее наступление шло, предлагал, настаивал: давайте ударим на Мценск, на Волхов, во фланг орловской группировки. А в ответ — у нас другая задача, у нас мало сил. Никакой инициативы. Задницу, извините, от стула оторвать не желает. Конечно, так спокойнее, — Павел Алексеевич не называл фамилию, но было ясно, о ком идет речь.

— Может, необходимая выдержка?

— Равнодушие! — отрубил Белов. — Приказ будет — выполнит, а так — хоть трава не расти.

— Вы бы все же без кавалерийского натиска, — посоветовал я. — Командующий фронтом человек солидный…

— Тяжелый на подъем, это точно. Я держу себя в узде, но не всегда получается.

Не получилось у Павла Алексеевича и на следующий день во время совещания, которое проводил в штабе Рейтера маршал Василевский. Собрались командующие армиями, начальники штабов, члены военных

советов. Не раскрывая решения о переходе к преднамеренной обороне, Василевский говорил о двуединой перспективе. Войска должны при любых условиях удерживать свои рубежи. Но и оборона, и расположение, и обучение войск должны строиться с учетом возможности немедленно, без всякой задержки и неразберихи, начать наступление. Судя по всему, Макс Андреевич Рейтер воспринял слова маршала слишком прямолинейно, не как примерную установку, а как конкретное указание. И сказал, что в полосе Брянского фронта существует равенство сил, при таком раскладе наступление обречено на провал, тем более что фашисты за долгое противостояние создали прочную, глубокую оборону. И даже получив усиление, войска в ближайшие недели добиться успеха не могут. После таяния снегов идут дожди, в низинах стоит вода, ручьи и реки разлились, поля набухли, разбитые дороги по обе стороны фронта превратились в грязное месиво. Ни проехать, ни пройти. Вот тут и не выдержал Белов:

— Погода одинакова для обеих сторон, и распутица тоже. Это немец не пройдет по полям и болотам. А наш солдат пройдет. И пушку протащит. А где один пройдет — там и вся армия.

Рейтер обиделся не на суть, не на резкий тон возражения, а на слово «немец», которое особенно выделил Павел Алексеевич. Обоснованно или нет, но принял как выпад в свой адрес. Сглаживанию отношений между двумя генералами это отнюдь не способствовало.

Вернувшись в Москву, я подробно доложил обо всем Иосифу Виссарионовичу, вызвав его недовольство:

— Он что, националист, этот ваш Белов? Русский шовинист?

— Такие же ярлыки на Суворова можно повесить. Белов только повторил суворовский афоризм: где олень пройдет, там русский солдат пройдет, а где один солдат пройдет, там и вся армия.

— Знаю, знаю… Он, видите ли, закис на обочине. Южные подступы к столице мы доверяем защищать самым надежным, а для него — обочина.

— Он — как Денис Давыдов, как атаман Платов. Разве усидели бы они в обочине?

— Что это вас в историю клонит?..

— Вы же помните, как сражался Белов со своим корпусом. Беспримерно. Ему бы самостоятельность, а он под крылом осторожного Рейтера.

— Помню, — смягчился Сталин. — Будут ему еще и самостоятельность, и сражения. А с Рейтером что делать? У Рейтера не только с Беловым отношения не сложились. Мы уже заготовили приказ о перемещении его на другую, равноценную должность. Ждали вашего мнения. Надеюсь, Рейтер не обидится?

— Считаю, будет доволен.

— Переместим, как только подберем кандидатуру на его место, — утвердил Верховный Главнокомандующий…

А я привожу этот случай для того, чтобы показать, насколько хорошо Сталин знал кадры, в какие подробности вникал. От стратегических замыслов до особенностей человеческого характера — Иосифа Виссарионовича хватало на все.

Итог этой маленькой главки таков: готовясь к летне-осенней кампании 1943 года, Генштаб и Ставка правильно использовали накопленный опыт, не наступили еще раз на одни и те же грабли, не допустили ошибок прошлого года. А немцы не сумели или не смогли проявить подобных способностей. Все пошло так, как мы предвидели и планировали. Вплоть до операции «Кутузов», которую готовили фронты, не участвовавшие

непосредственно в отражении вражеского наступления на орловско-белгородской дуге. Но когда оборонительное сражение там увенчалось успехом и начало перерастать в наше контрнаступление, двинулись вперед, на Орел, войска фронтов, ждавших своего часа. И враг побежал, бросая знамена!

12

О грандиозной Курской битве писать не буду. О ней сказано много. К тому же, по мере возможности, стараюсь соблюсти давний (до нашего века) принцип артиллеристов: не вижу — не стреляю. На орловско-белгородской дуге я не был, не направлял меня туда Сталин. Начал щадяще относиться ко мне, к моему возрасту. Да и надобность уменьшилась получать мою оценку событий. Окрепли, вошли в силу более молодые помощники — советники, хорошо разбиравшиеся в особенностях современной широкомасштабной войны. На мою долю выпадали лишь частные, особо доверительные поручения. Скучновато, как для умелого пулеметчика, не стрелять, а подносить патроны, однако я понимал, что каждому овощу свое время. Хотя, если очень понадобится, способен еще не на службишку, а на серьезную службу.

Вот одно из поручений, не ахти какое доверительное, но потребовавшее времени и напряжения. С середины неудачного для нас лета сорок второго года резко возросло количество членовредительства среди военнослужащих, участились случаи дезертирства. Причем и то и другое — в тыловых частях, особенно в запасных полках. Одна из причин была ясна: тяжелое положение на фронте и в связи с этим боязнь оказаться на передовой. Но вот после Сталинграда события повернули совсем в другое русло, однако членовредительство если и уменьшилось, то не на много. Значит, сказывалась не только названная причина, но и что-то другое?! И вообще, следовало разобраться с теми службами, которые занимались обучением призывников, подготовкой, формированием маршевых подразделений. Раньше руки не доходили, а передышка после Сталинграда дала возможность. Была организована комплексная проверка, в частности в известных Гороховецких лагерях, где традиционно готовилось большое количество пополнения. А мне Иосиф Виссарионович предложил поехать в самый заурядный запасный полк, каких много. И не с инспекцией, а с корреспондентом военной газеты или с товарищами из политотдела. Посмотреть изнутри, снизу. Я наугад выбрал один из полков, дислоцированных на средней Волге. По опыту знал, что именно в тех краях в запасных частях бывают сложности от перегрузок, от разномастности, многонациональности личного состава, от недостаточности снабжения. Одно дело Урал, где готовятся танковые экипажи (элита, можно сказать), а другое — глубинное Поволжье, поставляющее в основном пехоту.

Известно, что самая тяжелая служба — в учреждениях исправительных, дисциплинарных: в штрафных ротах и батальонах. А на втором месте по трудности — запасные полки, где концентрируется масса самых разнообразных людей. Надо всех принять, разместить, определить степень пригодности, обучить кого следует военному делу, создать требуемые войсками команды, доставить их к месту назначения. А паек плохонький, тыловой, обмундирование зачастую БУ (бывшее в употреблении). Постоянный состав в этих своеобразных учебно-

пересыльных заведениях невелик, от трехсот до четырехсот человек, включая писарей, интендантов, банщиков и прочую обслугу, а вот количество переменного состава колеблется, можно сказать, от нуля до бесконечности. Во время больших сражений, когда передовая требует пополнений, запасные полки пустеют, зато в период затишья, особенно если он совпадает с очередным призывом, эти полки «разбухают» до нескольких тысяч, до десятка тысяч человек. Люди временные, и отношение к ним соответствующее. Возможны всякие издержки, недоразумения и необязательно по злому умыслу. Не успевает кадровый состав своевременно «переварить» этакую массу. Ну и злоупотребления, конечно, случаются, особенно с продовольствием, с обмундированием. Короче говоря, служба в запасных полках нелегка, но начальство всегда смотрело на это сквозь пальцы: обстановка должна быть такой, чтобы люди не старались отсиживаться в тылу, а стремились бы скорее попасть на фронт, где и довольствие лучше, и жизнь вольготней, и вообще ощущаешь себя личностью. Логика в этом есть.

Запасный полк, и который приехала наша группа из трех человек, располагался довольно удачно. Не в землянках среди чистого поля, а на месте прикрытого лет десять назад конного завода. Штаб, кадровый состав и приписанные офицеры размещались в старых кирпичных зданиях. Переменный состав — в бараках. Имелись также полуземлянки на случай большого наплыва людей, но они тогда пустовали, хотя и поддерживались в порядке. Рядовых и сержантов без малого шесть тысяч. И триста лошадей. Тяжелой техники (танков и артиллерии) не имелось. За неделю до нас прибыли полторы сотни совсем еще «зеленых» лейтенантов и младших лейтенантов, только что закончивших училища или курсы: на должности командиров взводов маршевых рот.

Переменный состав можно было бы разделить в основном на три неравных части. Большинство — призывники 1925 года рождения или старше, снятые с брони, лишившиеся отсрочки. В том числе и процентов десять недавних заключенных — уголовников. Вторая значительная группа — представители Средней Азии, в основном узбеки и таджики. Причем группа (около тысячи человек) весьма специфичная. Этих людей в возрасте от двадцати до сорока лет мобилизовали еще в прошлом году на трудовой фронт. Почему именно на трудовой? Да потому, что взяли их из сельской местности, были они полуграмотны, плохо знали или совсем не знали русский язык, привыкли жить по своим национальным канонам, с болезненной трудностью приобщались к иным порядкам, к казенной еде и одежде. Пока вместе с сородичами рыли котлованы, возводили стены цехов — еще ничего. Но вот отправили их, крепких физически мужчин, в запасный полк, там на общем основании распределили по ротам, по взводам, по отделениям, и оказались они в среде, чуждой для них, зачастую становясь объектом придирок и насмешек.

Взять хотя бы команды: «на ру-ку!», «на пле-чо», «на ре-мень!», «на кара-ул» или, скажем, «на первый-второй рас-считайсь!», «ряды вздвой!». Тут и русский новобранец теряется, а каково без понимания языка? Ну и тосковали азиаты, не зная, как избавиться от напасти. А обучавшие их сержанты и солдаты-фронтовики, прибывшие из госпиталей (это третья большая группа), поблажек никому не давали, муштровали без всякой скидки, на своей шкуре испытав верность таких правил, как «тяжело в ученье — легко в бою», «смел да умел — в бою уцелел», «лучше отрыть двадцать метров траншеи, чем два метра могилы». И заставляли

окапываться, бегать, переползать до седьмого пота. Все это правильно: плохо обученный солдат в бою опасен не столько для противника, сколько для своих же товарищей (не прикроет огнем, отстанет в атаке, граната взорвется у него в руке, покалечив соседей, да мало ли еще что!). Как и плохо подготовленная армия опасна для существования самого государства. Все, повторяю, правильно, только каково полуголодным, затурканным новобранцам-нацменам рыть, не соображая для чего, эти самые двадцать метров учебной траншеи, отбывать наряды вне очереди, не понимая за что. По команде «правое плечо вперед!» повернул направо, а нужно почему-то брать влево. В общем, беда и безвыходность. А впереди еще хуже — фронт.

Санитарная часть полка, имевшая сто коек, была переполнена. Особенно много людей поступало перед отправлением маршевых рот. Медицинский персонал (пожилые врачи и фельдшера, призванные из запаса) изнемогал от перегрузки. И лечили, и по-всякому боролись с теми, кто калечил себя, стремясь получить инвалидность, избежать отправки на передовую. Применялся старый варварский способ, который использовали симулянты в царской армии, да и в других армиях мира. Мокрую тряпицу, мешочек с сухим горохом засовывали поглубже в задний проход, а когда горох набухал, тряпицу выдергивали, при этом выпадала прямая кишка. Какой уж тут вояка! И к ответственности не всегда привлечешь: попробуй доказать, что это членовредительство, а не болезнь.

Новым способом «обогатили» арсенал самоистязателей представители среднеазиатских республик, особенно узбеки. Врачи долго не могли понять, почему солдаты вдруг слепнут, по несколько человек в день. Их роту давно уже отправили на фронт, слепые остались в госпитале, а как их лечить — неизвестно. Однако через две-три недели больные начали прозревать. А вскоре «прозрели» медики, особенно после осмотра личных вещей заболевших. Они, оказывается, собирали какие-то цветы, высушивали их, растирали, а пыльцу засыпали в глаза. Ослепнешь наверняка, но не навсегда.

Симулянты из числа недавних сидельцев-уголовников использовали свой тюремно-лагерный опыт. Примитивный, но надежный. Суровой ниткой туго перетягивали ноги у стопы. Съедали две — три ложки соли, чтобы вызвать жажду. Пили, сколько влезет. Часов через двенадцать начинался отек. Ноги распухали, как бревна. Нитка заплывала, подобраться к ней, чтобы снять, было невозможно. Приходилось делать надрезы у основания отеков. Операция болезненная, надрез заживал долго. Симулянты отделывались гауптвахтой, лишь некоторых, «вторичных», отдавали под суд.

Познакомившись с личными делами членовредителей, я без труда уловил закономерность: калечили себя не просто уголовники, а в основном рецидивисты, для которых тюрьма, лагерь были привычней, чем запасный полк и во всяком случае безопасней, чем фронт. Лучше прокантоваться на нарах до конца войны, чем рисковать жизнью за какую-то там родину, за какой-то народ. А мои выводы, мои рекомендации по этому поводу были просты: при первой же попытке членовредительства для рецидивиста одна дорога — штрафной батальон. Вот и выбирай, подонок: обычный фронт или тот же фронт, но в особых условиях.

По поводу узбеков и таджиков я посоветовал командиру запасного полка вот что. Не надо распылять их по подразделениям, лучше объединять нацменов взводами, даже ротами. Командирами назначать их

единородцев или, по крайней мере, людей, живших в Узбекистане или Таджикистане, знающих тамошние языки, обычаи. Командир так и поступил. Но вообще, вопрос был гораздо шире полкового масштаба, он касался всех наших вооруженных сил. Его обсуждали и в Центральном Комитете партии, и в Наркомате обороны. С учетом проведенных проверок. Пришли к выводу о целесообразности создавать не только национальные подразделения, но и целые полки, даже дивизии. Первой, если не ошибаюсь, была создана дивизия азербайджанская. Я лично считал, что это слишком. Столь крупные формирования ничего не дадут, кроме разжигания и укрепления национализма. Взаимопонимание, взаимодействие должны достигаться в более низких звеньях, на уровне личностного общения. Но это мое мнение, которое, кстати, не разделял Сталин, занимавший промежуточную, не совсем понятную мне позицию.

Еще одним фактором, существенно влиявшим на обстановку в запасных полках, было, безусловно, снабжение. Большое скопление людей, неразбериха, постоянная смена личного состава создавали благоприятные условия для жульничества, для хищения и обмана. Такая обстановка развращала даже добросовестных людей, которые долго засиживались на «доходных» должностях. Прежде всего тех, кто ведал продовольствием и обмундированием. В проверяемом нами полку имелась своя хлебопекарня, этот вид довольствия люди получали своевременно и в пределах нормы. Хотя качество, конечно, оставляло желать лучшего. Во всяком случае, командир полка, боевой офицер, попавший на эту должность после тяжелого ранения, к хлебопекам претензий не имел. Но хозяйственник он был очень даже неважный. Занимался тем, что считал главным: обучением бойцов и подготовкой маршевых рот, неохотно отвлекаясь на бытовые заботы. А зря.

Проведя несколько суток в расположении полка, побывав на занятиях, в бараках, я «примелькался», про меня говорили: «этот седой из газеты». Не стеснялись, не опасались. На перекуре, возле костра на опушке рощи, услышал частушку:

На охоте в понедельник Подстрелили муравья, Всю неделю мясо ели Не осталось ни…

Подобные сочинения беспричинно не возникают. Увидев потом бойкого сержанта-исполнителя частушки возле походной кухни, прозванной там «гороховой пушкой», я поинтересовался:

— Кормят как?

— А ничего, — прищурился сержант. — Каждый день.

— Что на обед?

— И первое, и второе. Каша в ладошке да щи без ложки.

— Без ложки-то почему?

— Лишняя тягость. Плеснут в кружку, выпил и шагом марш!

Щи из кислой, даже очень кислой капусты (я попробовал) были действительно жидковаты, о присутствии мяса можно было догадаться только по легкому запаху. Вечером, ужиная с командиром полка (картошка, приправленная тушенкой, и чай), я полушутя поделился с офицером своими соображениями по поводу кислой (квашеной) капусты. Сама по себе она полезна как для солдат, так и для матросов, особенно в мирное время, при добротном регулярном питании. На царском флоте корабельному моряку фунт мяса в день полагался. Естественно кровь играла, «по бабам», извините за грубость, хотелось пойти. А квашеная капуста, потребляемая хоть и в небольших дозах, но постоянно, снижает

мужской потенциал, действует успокаивающе. Интенданты, знающие об этом, с помощью капусты вносят свой вклад в укрепление воинской дисциплины. Однако применение одной лишь капусты без других компонентов рациона укреплению здоровья и морального состояния воинов отнюдь не способствует и даже приводит к обратному результату.

Командир полка оказался смекалистым и быстро сообразил, куда я клоню. Махнул рукой:

— Проверяли, взыскивали. И я, и комиссар. Да разве за всем уследишь? К каждому котлу наблюдателя не приставишь.

— И не надо к каждому. Вы на продовольственном складе давно были?

— В начале месяца. Там все в порядке, и наличность, и отчетность.

— Днем были?

— Да.

— Давайте сходим сейчас.

— Содержатель склада спит уже, — поколебался офицер. — Пожилой, нестроевик. Часовой выставлен.

— Заодно караульную службу проверим.

Мы отправились. И случилось, то, что я предполагал. Командир полка, строевик, далекий от интендантских хитростей, и в этот раз не заметил никаких нарушений. Не обратил внимания на то, что многие мешки и ящики с сахаром, с крупой, с лапшой распакованы. Даже ящики с махоркой в дальнем конце склада. И повсюду, не очень даже и скрытно, оставлены на ночь ведра с водой. А ведь это самый простой и надежный способ повысить влажность продуктов, увеличить вес, покрыть недостачу. На большом складе речь идет не о килограммах, а о десятках, может быть, и о сотнях кило. О центнерах. Местный интендант преподнес сюрприз и мне, имевшему некоторый опыт борьбы с жуликами как в царской, так и в Красной Армии. У него даже упаковки со сливочным маслом были раскупорены.

— И масло все набирает? — удивился я.

— И оно тоже, — уныло подтвердил интендант.

Полученный урок пошел, думается, на пользу командиру полка. А в Москве, по результатам ряда проверок, были сделаны соответствующие выводы. В частности, о замене нестроевиков, «окопавшихся» слишком далеко от войны, фронтовиками, которые утратили здоровье в боях, но еще способны нести службу в тылу.

13

На Востоке бытует поверье: люди, очень любящие виноград, склонны к недоверчивости, скрытны, надежно хранят свои и чужие тайны. Иосиф Виссарионович любил виноград. Но есть и другая примета: тот, кто с удовольствием пьет виноградные вина, отличается радушием, находчивостью, остроумием. Тем, что требуется для хорошего тамады. А Сталин любил вина не меньше, чем виноград. Такое вот сочетание, такое многообразие. Это я в качестве предисловия к короткому рассказу о винно-виноградных делах.

Перед войной мы прочно входили в четверку самых «виноградных» стран мира. По размерам виноградных насаждений нас опережала, пожалуй, только Испания, а по количеству виноградной продукции мы соперничали с такими теплыми странами, как Италия и Франция. Среди трех десятков перерабатывающих заводов одним из лучших считался

ровесник нашего века — «Абрау-Дюрсо», расположенный неподалеку от Новороссийска. Здесь и виноградники рядом, и подземные подвалы для выдержки шампанского просторные, хорошо оборудованные, и давно сложившиеся традиции, и отличные специалисты, и добротное оборудование, и уникальная коллекция вин. И вот в 1942 году все это, во всяком случае все, что можно было вывезти, оказалось в Москве. Сталин распорядился полностью эвакуировать завод, когда нависла вражеская угроза над Северным Кавказом. И не куда-нибудь, а в столицу, обеспечив помещением, техникой, материалами. Отвечал за это Анастас Иванович Микоян. Уж как он сумел в трагедийной сумятице отступления поднять и вывезти такую махину оборудованием, специалистами, виноматериалами, полуфабрикатами — этого я не знаю. Но ведь смог. Более того, чтобы обеспечить завод кадрами, в том же голодном и холодном сорок втором году, по предложению Сталина и стараниями Микояна, при Институте технологии пищевой промышленности открылась кафедра технологии виноделия, что позволило к тому же сохранить специалистов самой высокой квалификации, объединить их усилия.

И вот заработал в столице «Абрау-Дюрсо», превратившийся со временем в знаменитый Московский экспериментальный завод шампанских вин, прославившийся хотя бы уж тем, что здесь, кроме использования классического способа, открыли и освоили так называемые «второй способ» и «третий способ» изготовления шампанского. Если классика требовала трехлетней выдержки, то по новому методу такой же результат достигался за три недели.

Я, кстати, даже не знал, что Иосиф Виссарионович в разгар Сталинградской битвы ко всему прочему еще и «Абрау-Дюрсо» занимался. Но вот летом сорок третьего года, после очередного обсуждения дел военной промышленности, в кабинете Верховного Главнокомандующего речь зашла о шампанском, что явилось полной неожиданностью почти для всех присутствовавших. Иосиф Виссарионович, тая довольную улыбку в рыжеватых усах, сообщил, что усилиями трудящихся эвакуированного завода «Абрау-Дюрсо», подготовлена партия замечательного шампанского, отвечающая самым высоким требованиям.

— Пятьдесят тысяч бутылок! — не без гордости произнес Сталин. — Надо решить, как правильно использовать это богатство. У кого есть соображения по этому поводу?

Слово сразу же взял Микоян и добавил к словам Иосифа Виссарионовича, что, кроме партии в пятьдесят тысяч, уже удовлетворена заявка Наркомата иностранных дел, а также создан резерв для предстоящего открытия Большого театра… Качество солнечного напитка можно оценить прямо сейчас.

Анастас Иванович вопросительно глянул на Сталина. Тот кивнул. На большом столе, где обычно лежали военные карты, появился поднос с бокалами и большая ваза с фруктами. Микоян откупорил бутылку. Не менее умело это сделал и Берия. Присутствовавшие пробовали, похваливали игривость и вкус, наливали еще. Дегустация грозила затянуться. Сталин напомнил:

— Какие предложения будут, товарищи?

Глава государства, всесоюзный староста Калинин Михаил Иванович, последнее время редко подававший свой голос, угнетенный не только возрастом, но и хворобами, и неопределенностью с арестованной женой, на этот раз, взбодренный парой глотков, высказался первым:

— После вручения наград… Героям и генералам.
— Героям и генералам надлежит пить спирт или водку. В крайнем случае коньяк, — полуиронически возразил Иосиф Виссарионович. — Ну что это за генерал, который пьет шампанское?!
— Летчикам, — предложил Берия. — После возвращения из полетов. Для разрядки.
— Почему именно летчикам? — поморщился Сталин, вспомнив, видимо, о чрезмерном пристрастии к «разрядке» своего сына Василия. Чем хуже наши моряки, наши танкисты, наша пехота? Надо использовать возможность целенаправленно, но не избирательно.
— Раненым, — сказал Молотов. — Не по родам войск, а просто раненым, которым это на пользу.
— Да разве до них дойдет, — вздохнул разговорившийся Калинин, поглаживая белый клинышек бороды. — Это же спиртное, разопьют по дороге.
Иосифа Виссарионовича начала раздражать затягивавшаяся дискуссия. Особенно подействовали слова о том, что шампанское к раненым не попадет — не дотечет. Неужели у нас такие беспорядки?!
— Все пятьдесят тысяч немедленно отправить в госпитали, — резко произнес он. — Микоян, Берия — под вашу ответственность. Давать шампанское раненым по назначению медицинского персонала. А медицинскому персоналу давать по назначению главных врачей только после дежурства. Особенно хирургам. — Помолчал, хмурясь. — Конечно, шампанское вещь соблазнительная. Но если хоть одна бутылка не дойдет до госпиталей, виновного расстрелять сразу. За саботаж по закону военного времени. Товарищ Берия, товарищ Микоян, вам понятно? Расстрелять на месте! — повторил он.
Необычным было то, что Сталин, вообще-то редко расточавший угрозы даже по серьезным поводам, на этот раз так разошелся. «К стенке», «казнить», «расстрелять» — это не из его лексикона, это слова Троцкого, в какой-то степени Ленина. Иосиф Виссарионович обычно ограничивался общими фразами типа: «разобраться, виновных наказать» или «подобные безобразия искоренять без всякой пощады». А тут его словно бы прорвало. Это с ним редко случалось. Хотя принцип его был известен: посади карманного воришку на пять лет, тогда и настоящий грабитель в квартиру не полезет, опасаясь еще более суровой кары.
Интересным, на мой взгляд, представляется финал этой винно-шампанской истории. Распределение бутылок строго контролировалось, каждый начальник госпиталя дал письменный отчет о получении и использовании шампанского. В результате оказалось, что госпитали получили не 50000, а 50500 бутылок. Отправители и доставщики подстраховались на всякий случай.

14

После того, как прогрохотали праздничные орудийные залпы в честь освобождения Орла и Белгорода (а фактически в честь нашего большого успеха на Курской дуге), после того, как впервые озарили небо Москвы огни победного салюта, начала заметно меняться жизнь столицы, многолюдней становилось на ее улицах. Из Куйбышева, с Урала возвращались государственные учреждения разных рангов и величин, со множеством ответственных работников, служащих, с большим

количеством их родственников, пережидавших лихолетье в эвакуации. Из безопасной дали, из хлебного Ташкента и солнечной Алма-Аты торопились вернуться семьи творцов, певцов, киношников, создававших в глубоком тылу художественные произведения о войне. Как ни странно, даже хорошие: «Два бойца», например. Ажиотаж усиливался по мере нарастания успехов на фронте. Пока мы, мол, в эвакуации сидим, в Москве с дверей квартир пломбы снимут, других людей поселят. И вообще, кто раньше успеет, тот лучше должность займет, ближе к руководству окажется. Значит, вперед, на запад!

Тех, кто получил пропуск и вернулся в столицу, удивлял деловито-спокойный ритм. Будто и не было ожесточенных боев на подступах к городу, будто не налетали на Москву армады вражеских бомбардировщиков. Везде чистота, порядок, не видно руин и воронок. Просторней стало: заборы пошли на дрова. А разговоры велись не столько о войне, о трудностях с продуктами и топливом, сколько о новой линии метрополитена с прекрасными станциями, о завершении ремонта Большого театра, затянувшемся по вине все тех же проклятых гитлеровцев.

К капитальному ремонту обветшавшего здания нашего самого лучшего, самого многообразного в мире театра начали готовиться еще до войны. Основательно и всесторонне готовились с тем, чтобы не лишать удовольствия поклонников-зрителей, не повредить уникальным ансамблям, оперным и балетным, ни в коей мере не ослабить талантливый коллектив — гордость советской России. Продолжались все запланированные репетиции. Балетные спектакли постепенно перемещались в филиал ГАБТа (на ту сцену, которую впоследствии займет театр оперетты). В апреле 1941 года Большой закрылся официально, начал обрастать строительными лесами. Работа предстояла большая. В том числе замена несущих конструкций чердака и крыши.

Начавшаяся война хоть и сократила, но не прервала ремонтные работы. Тем пигмеям, которые пытаются измерить Россию общим аршином, не уразуметь, не понять происходившего: по ночам на крыше театра артисты и служащие с риском для жизни гасили вражеские зажигательные бомбы, а днем дымили горны ремонтников, стучали на чердаке топоры, в репетиционных залах шли соответствующие тренировки, а свободные от них артисты, записавшиеся в народное ополчение, занимались военной подготовкой на основной сцене театра, превращенной в своеобразный закрытый плац. В одном строю, плечом к плечу, стояли известные всему миру артисты С. Лемешев и М. Рейзен, И. Козловский и С. Кнушевицкий, О. Лепешинская и Г. Нечаева… Не самая подходящая публика для выполнения ружейных приемов и поворотов в строю. Но обучающие проявляли и выдержку, и терпение. Кстати, очень выросло тогда в театре количество людей, пожелавших вступить в партию, принять на себя долю ответственности за судьбу Отечества. Понимали: на любое трудное дело коммунистов поднимут первыми. Время было такое — для настоящих людей, а не для гибких приспособленцев. Один из лучших балетных танцовщиков мирового класса Михаил Габович, отказавшись от брони, стал политруком 1-й роты истребительного батальона, созданного Свердловским районом столицы.

28 октября 1941 года на площади перед главным входом Большого театра взорвалась фугасная авиабомба. Это — одна из непредсказуемых нелепостей, кои случаются всегда, а на войне особенно. В те сутки шесть

раз объявлялась воздушная тревога. Часть вражеских самолетов сбили, часть рассеяли, меньше половины прорвалось к столице, сбросили бомбы. Противовоздушная оборона наша, как всегда, сработала неплохо. Прозвучал отбой тревоги. Люди, укрывавшиеся в метро, поднялись на поверхность, начали расходиться по домам. Тут-то и грянул взрыв у подъезда Большого театра.

Что это было? Может, немецкий экипаж, опытный и коварный, держался где-то за тучами на большой высоте до тех пор, пока затих над городом бой, а потом ударил неожиданно, исподтишка, метя по самому центру? Вряд ли можно предположить такие ухищрения всего-то из-за одной бомбы. Скорее всего, это был случайный самолет, пробившийся в одиночку через зону противовоздушной обороны, потерявший ориентировку, швырявший свой груз куда попало и угодивший последней бомбой в самый центр Москвы.

С бомбой связаны разные версии. Говорили, что самолет специально нес полтонны взрывчатки, чтобы разбить театр. Но почему именно его, а не находящийся рядом Кремль или Третьяковскую галерею, не Библиотеку имени Ленина или Генштаб, Наркомат обороны? Бомба, сброшенная с большой высоты да еще при ветре, могла угодить в любой из названных объектов. Да и была она, судя по разрушениям, меньше, чем пятисотка. Я пришел к такому выводу, осмотрев воронку в непромерзшей еще земле. Взрывная волна опрокинула забор у главного подъезда, выбила несколько оконных рам. Колонны и фасад были иссечены осколками, в стене зияла небольшая дыра. Все эти повреждения можно было быстро устранить, что и сделали. Хуже другое. На потолке зрительного зала, а также Белого и Бетховенского возникло множество трещин. Прежде чем ликвидировать их, требовалось оценить степень повреждений. Во всяком случае необходимо было спустить огромную хрустальную люстру зрительного зала. Надо было пересмотреть план-очередность действий. Работы почти приостановились, выполнялось лишь самое необходимое для содержания в порядке огромного здания, для сохранения театральных ценностей. Поддерживались все системы технического обеспечения, бесперебойно подавалось тепло.

Конечно, возникни все эти проблемы с Большим театром теперь, в мирное время, когда есть и техника, и материалы, и инженеры, и умелые рабочие руки — ремонт произвели бы легко и просто. Но каково было морозной зимой во фронтовом городе, возможности которого были минимальны! И все же: тогда не занимались болтовней, тогда решали и делали. В феврале сорок второго, едва немцев отбросили от пригородов столицы, Иосиф Виссарионович вызвал к себе председателя исполкома Моссовета Пронина Василия Прохоровича вместе с секретарем МК и МГК партии Щербаковым Александром Сергеевичем. А я предварительно, по поручению Сталина, проконсультировался с инженером Большого театра по фамилии, если не ошибаюсь, Никольский. Так что Иосиф Виссарионович знал детали обстановки не хуже, чем непосредственные руководители нашего города.

Меня удивляло, каким образом сработались два этих человека, абсолютно не схожих ни по характеру, ни даже внешне. Нарочно столь разных не подберешь. Разве что возраст сближал. Болезненно тучный, с пухлыми бледными щеками, тяжело дышавший Щербаков носил свободный «партийный» китель, не расставался с очками и выглядел старше своих сорока лет. А аскетически худощавый, лобастый, с короткой

стрижкой Пронин предпочитал простой, строгий гражданский костюм, и обязательно с галстуком. Подвижный, быстрый, он казался моложе своих тридцати пяти. Про Щербакова говорили — «рыхлый», а Пронина называли «железным». Но это — от внешности. Щербаков был руководителем предусмотрительным, думающим, с широким кругозором. И жестким. Сам работал на износ и беспощадно требовал полной отдачи от других, без ссылок на недомогание, на неумение. Заряжал идеями и энергией целеустремленного исполнителя Пронина, умевшего организовать любое дело спокойно, без нервов, без угроз. Тяжелый на подъем Щербаков, возглавлял московскую партийную организацию, а затем, после Мехлиса, ГлавПУР, руководил в основном из кабинета, давая указания на совещаниях, по телефону, через печать. А Пронина в кабинете застать было трудно, он на местах: на заводах, на стройках, в институтах — среди людей. Сталин считал, что эти двое удачно дополняют друг друга и долго не разлучал их. (К сожалению, Александр Сергеевич Щербаков, как говорится, сгорел на работе и скончался в победном сорок пятом году.)

— Что будем делать с Большим театром? — спросил Иосиф Виссарионович. — Ваши соображения, товарищи?

— Большой театр — гордость нашей столицы, — переводя дыхание, ответил Щербаков. — Ремонт будем продолжать. Создали бригаду для реставрационных работ.

— Кто возглавляет?

— Художник Корин.

— Со всей семьей, — подсказал Пронин. — Четверо Кориных да еще трое Чураковых. За позолоту отвечает Пашков, за лепнину — скульптор Мотовилов.

— Фамилии известные, — одобрил Иосиф Виссарионович. — Материалы? Сроки?

— Материалы изыщем, — это опять Щербаков. — Ориентировочный срок — два года.

— Полтора, — укоротил Сталин. — Мы дадим все, что потребуется. Объясните людям, что их работа не менее важна, чем успехи на фронте. Вы хотите спросить, товарищ Пронин?

— Надо отозвать несколько специалистов из армии и с военного завода.

— Отзовите только самых необходимых. Привлекайте для реставрации женщин, у них хорошие руки… Следующий раз обсудим положение в сентябре. У меня все.

После этого разговора работы по восстановлению Большого театра начали нарастать с каждым месяцем. Реставраторы и строители трудились по двенадцать часов в сутки, многие и ночевали прямо там, в театре. К лету сорок третьего года стало ясно, что восстановители укладываются в намеченный срок. Заядлые московские театралы взволнованно обсуждали каждую новость, гадали о дне открытия. В Большом новый сезон, первый военный сезон, это же великолепно! И никто не удивился, когда стало известно: основная труппа готовит к открытию театра оперу «Иван Сусанин», самую подходящую и по времени, и по обстановке.

Оперу дали 26 сентября 1943 года, она стала заметным событием в жизни страны, подняла общий тонус, укрепила веру в победу. Я сейчас не могу точно сказать, был ли на первой постановке Иосиф Виссарионович или другие дела отвлекли его, но он, во всяком случае, собирался

присутствовать. Помните, позаботился о том, чтобы по столь торжественному случаю буфет Большого был обеспечен шампанским.

И еще две подробности, связанные у меня с открытием театра. Так получилось, что к этому времени готов был маршальский мундир Иосифа Виссарионовича — это воинское звание он получил после разгрома немцев под Сталинградом. Роскошный наряд со сверкающими погонами, с золотым шитьем, с лампасами на брюках и прочими аксессуарами. Подогнан был хорошо. И новые ботинки, и новая красивая фуражка. Сталин даже несколько оторопел, увидев себя в большом трюмо. Этакий невысокий элегантный маршал с седыми бровями, с серебром на висках. Чувствовалось — понравилось. Иосиф Виссарионович не любил привыкать к обновам, «носил он китель и в пир и в мир, но облачился вдруг в мундир». Словно помолодел, вглядываясь в зеркало заблестевшими глазами. И вроде застеснялся передо мной, или разволновался: непривычно порозовели изжелта-смуглые щеки.

— Не слишком ли броско, Николай Алексеевич? На кого я похож?

— Всей статью шибаете на царского генерала Фицхелаурова, — пошутил я, но Сталин был в таком состоянии, что юмор до него не дошел.

— Очень похож?

— Внешне один к одному!

— Это казачий генерал, которого мы опрокинули под Царицыном, — припомнил Иосиф Виссарионович. — Боевой был генерал, однако мы с ним управились… И усомнился: — Хорошо ли, когда такая схожесть?

— Так ведь внешне. Форма — она нивелирует.

— Теперь можно и за мемуары садиться, — прищурился Сталин, явно обретая себя. — Воспоминания под названием «От солдата до маршала».

— Ни в коем случае. Во-первых, это стандартный путь, и заглавие тоже…

— А во-вторых?

— Иосиф Виссарионович, вы же единственный человек в мире, который от досолдатского звания, от ратника, от ополченца, минуя все другие ступени, шагнул сразу в маршалы.

— Чему вы так радуетесь, Николай Алексеевич?

— Тому, что дожили мы до этого славного дня. Тому, что на «Ивана Сусанина» Верховный Главнокомандующий пойдет в мундире, который очень к лицу — это совершенно серьезно.

— Ни в коем случае! — возразил Сталин.

— Почему? Непривычно?

— Для всех непривычно, — теперь уже шутил он. — Куда зрители смотреть будут? Не на сцену, а на мундир смотреть будут. Интересно, как товарищ Сталин вырядился?! Спектакль сорвем. Нет уж, дорогой Николай Алексеевич! Мундир хорош, спору нет. Для торжественных приемов. Для парада. Для официальных встреч — иностранцам в глаза пыль пустить. Так что пока он без надобности. В шкафу повисит.

И облачился опять в привычный свой китель. Однако маршальские погоны по долгу службы носил.

Ну и последнее, что связано у меня с открытием Большого театра. Неожиданные сложности возникли при распределении билетов. Желающих оказалось во много раз больше, чем мог вместить зал. Соскучились, заждались театралы, их стремление было понятно. Однако проявилось еще и то, чего не замечали раньше. Некое соревнование престижей. Особенно среди жен и взрослых детей руководства высокого

ранга. Попасть на открытие, на первую постановку означало для них подчеркнуть свое положение в столичной элите, закрепиться в ней — этим были озабочены прежде всего те, кто вернулся из эвакуации и еще не утвердился в изменившейся Москве. Но, увы, сплошные разочарования!

Определяя дату открытия театра, Сталин, Щербаков и Пронин договорились и о распределении билетов. В первую очередь — ремонтникам и реставраторам театра, воинам из госпиталей или прибывшим с фронта за получением наград, деятелям культуры, лучшим рабочим, служащим, подмосковным колхозникам. Броня ЦК партии, броня Наркомата иностранных дел. Для других вроде бы ничего не оставалось, и все же на премьеру попало немало околокремлевских дам: через мужей, через родственников, другими разными путями. Поскребышев, самолично занимавшийся цековской броней, возроптал: «Одни неприятности с этими билетами! Звонят, просят, обижаются! Врагов наживу…» И, тяжело вздохнув, передал мне конверт с приглашениями на три лица без указания фамилий — как я заказывал.

Конечно, и дорогая мне женщина Анна Ивановна, и дочь-десятиклассница с удовольствием побывали бы на спектакле. И сам тоже. Я, правда, не горячий поклонник «Ивана Сусанина», предпочитаю слушать и смотреть «Лебединое озеро», «Евгения Онегина», «Князя Игоря», но дело-то было не в том, что на сцене, а когда и где. Присутствовать на военном возрождении Большого было бы и славно, и памятно. Однако я подумал, что есть много людей, для которых это важнее и нужнее, чем для моей семьи. К тому же не нравился мне ажиотаж нового «света» и «полусвета», кои все явственнее вырисовывались в Москве. Это было еще не очень заметно, но я-то видел. Целой свитой обросла, например, «рыбная дама» Полина Семеновна Карп-Жемчужина-Молотова, ведавшая некоторое время рыбной промышленностью. Рауты для избранных устраивала под прикрытием отца своего Самуила Борисовича Карпа, руководящего работника Госплана. Голда Меир, кстати, первый посол Израиля в СССР, а затем премьер-министр того же Израиля, была самым желанным гостем в салоне Полины Семеновны, супруги «второго лица» в государстве. Не знаю, сколько дипломатов, скажем, удостоилось чести побывать на открытии театра, но всех своих приближенных Жемчужина-Молотова приглашениями обеспечила. Просочились, вездесущие. Противно, когда к хорошему святому делу на завершающем этапе примазывается дрянь по принципу: вы трудитесь, а мы вместе с вами порадуемся успеху.

Дочь и Анна Ивановна поняли меня, особенно после того, как поделился с ними задумкой, которую вынашивал уже давно. Рассказывая в этой книге о первых месяцах войны, я довольно много внимания уделил славным защитникам московского неба, воинам 193-го зенитного артиллерийского полка (с ноября 1942 года 72-й гвардейский зенитный артиллерийский полк) и его бравому командиру майору Кикнадзе Михаилу Геронтьевичу — мы с ним сошлись на короткой ноге. К этим зенитчикам возил я Александра Сергеевича Щербакова, затем своего давнего знакомца графа и генерал-лейтенанта Игнатьева Алексея Алексеевича, занимавшегося программами военных училищ и разработкой новых уставов. И того, и другого особенно интересовала работа новейшей техники — радиолокационной станции. Игнатьев даже «засек» самолет, чем остался очень доволен. А командир батареи и командир полка оказались достаточно тактичными, чтобы не разочаровывать пожилого генерала,

«освоившего» сложную аппаратуру. Самолет-то был наш, зенитчиков предупредили заранее.

Предполагаю, что различное начальство охотно навещало этот полк не только потому, что дела в нем шли хорошо, не только потому, что дислоцировался он близко от города и добраться не составляло трудностей, но еще, как ни странно, отдохнуть там можно было, расслабиться, пользуясь гостеприимством майора Кикнадзе. Он был не только отличным артиллеристом, заботливым командиром-воспитателем, но и радушным человеком, хорошим хозяином, смекалистым и предприимчивым. В полку имелась различная техника: автомашины и трактора. Майор попросил местное руководство выделить 120 гектаров пустовавшей земли. Днем свободные от дежурств зенитчики, особенно из крестьян, охотно работали в поле, на огородах, построили несколько ферм. К осени сорок второго года полк перешел на собственное довольствие, собрав богатый урожай картофеля, моркови, капусты, имея в достатке говядину и свинину, молоко и яйца, запас фуража на предстоящую зиму. Что греха таить, многие представители, в том числе и я, грешный, ездили к Кикнадзе гораздо охотнее, чем в другие части, чтобы посидеть за хорошим столом, разнообразя казенный паек, пропустить стопку-другую, закусывая солеными огурчиками, маринованными грибами, домашним салом.

Такой вот был полк: и себя, и других кормил. Но меня опять в сторону занесло. Главной-то являлась боевая слава полка, доставшаяся ему тяжелой ценой. Опасна была служба зенитчиков и трудна, особенно для девушек, для женщин, которых все больше становилось на батареях. Изматывали частые тревоги, дежурства у орудий и в дождь, и в жару, и в лютый мороз. Да что там говорить, 125 боев провел полк, обороняя столицу! Не прорвавшись сквозь завесу зенитного огня, вражеские самолеты сбрасывали свой груз на позиции артиллеристов. Более 800 фугасных авиабомб от 50 килограммов до тонны и 9000 бомб зажигательных, предназначавшихся для Москвы, «принял» на свои позиции полк. А осколки собственных снарядов, железным дождем сыпавшиеся на головы зенитчиков?! Мужчинам трудно, а каково же девушкам-девчонкам, чуть старше моей дочери, которые по ночам оказывались в грохочущем аду?! Особенно молоденьким актрисам, которые после московского уюта очутились возле изрыгавших пламя и смерть орудий!

Я уже писал о том, что еще до войны над 193-м зенитным артиллерийским полком шефствовала оперно-драматическая студия Станиславского. Связь была тесная. Естественно, что в сорок первом году актеры и работники студии, как подлежавшие призыву, так и добровольцы, попросили направить их в «свой» полк. Напомню несколько фамилий. Артисты Лифанов, Леонидов, Глебов, Беспалов, Кругляк, Головко после короткой подготовки стали командирами зенитных орудий, огневых взводов. Актрисы Давиденко и Веселова — санитарными инструкторами на батареях. Режиссер — старший лейтенант Муромцев, — командуя взводом управления, «по совместительству» создал и возглавил самодеятельный полковой ансамбль песни и пляски. В перерывах между боями актеры отправлялись по точкам, разбросанным на значительном расстоянии. Сколько радости, когда ансамбль прибудет на батарею, где неделями, месяцами одни и те же лица, однообразные боевые будни!

Перечислил я фамилии достаточно известные, но кроме них немало было «станиславцев» совсем еще молодых, ничем не выделявшихся, служивших на рядовых должностях. По Москве, по театру скучали они, мечтая хоть на часок вырваться в город, побывать в своей студии, узнать новости. Однако такое счастье улыбалось редко. До столицы рукой подать, но за два года лишь нескольким актерам-зенитчикам удалось съездить в Москву. Ну и, конечно, верхом мечтаний было для них не только отправиться в город, но и попасть в Большой театр, да еще и на его открытие после ремонта. В мирное-то время на открытие сезона не попадешь, а в военной обстановке это было вообще за пределами воображения.

Короче говоря, написал я Михаилу Геронтьевичу Кикнадзе коротенькое письмецо, приглашая на «Ивана Сусанина» его и двух актеров-зенитчиков по его усмотрению, желательно из женщин: пусть порадуются. Запечатал письмо в конверт с билетами и отправил с офицером-порученцем по назначению. Об исполнении он доложил лишь на следующий день, в полной мере воспользовавшись гостеприимством зенитчиков. В ответной записке майор Кикнадзе извинялся за то, что по техническим причинам не смог сразу отправить порученца обратно и горячо благодарил меня за приглашение, за бесценный подарок, который «навсегда останется в сердцах трех отважных и прекрасных женщин-артиллеристов».

Все правильно: Михаил Геронтьевич был настоящим рыцарем: не только в бою, но и по образу жизни. А какой рыцарь не воспользуется возможностью уступить место даме!

15

Великая Отечественная война полностью опрокинула давно сложившееся убеждение: когда говорят пушки — музы молчат. Удивительно, что произошло это на самой огромной войне, когда грохотало больше пушек, чем во всех предыдущих войнах, взятых вместе. Музы что ли стали закаленней, выносливей, звончей?! Или дело не только в количестве пушек и громкоголосии муз, но еще и в характере самой войны, которая, в зависимости от своей сути, подавляет или, наоборот, вдохновляет творцов-певцов, отражающих жизненные реалии?! Великая Отечественная была для нашего народа войной освободительной, ради жизни на земле. Высочайший духовный подъем, рожденный справедливой борьбой, не мог не повлиять на все виды искусства. Музы трудились. А мне по долгу службы доводилось в то время общаться если не с самими музами, то с некоторыми их избранниками. Не последнего десятка.

Сразу же и стремительно ринулась в бой легкая кавалерия искусств — поэзия, имея в авангарде ударный передовой отряд — лирику. И чем жестче, чем беспощадней становилась действительность, огрублявшая души, заставлявшая черстветь людей, тем сильнее тянулись они (в противовес, что ли?!) к чистым источникам, омывавшим сердца живой водой, помогавшим сохранить лучшие человеческие качества: доброту, нежность, любовь, верность светлым идеалам, а главное — преданность своему народу, своему Отечеству. До самопожертвования.

Едва прозвучали на западных рубежах первые залпы, возникла и стремительно разнеслась повсюду песня, зовущая на справедливую битву:

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой, С фашистской силой темною, С проклятою ордой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, Идет война народная, Священная война!

Сквозь все сражения от Москвы до Берлина прошли мы с этим вдохновляющим гимном. Это произведение, о котором поэт сказал:
И любовь, и боль, и смертный бой Песня все пережила с тобой. Если умирая можно петь, Я хотел бы с песней умереть.

«Священная война» была и осталась объединяющим гимном дня всех тех, кто, не щадя себя, боролся и борется с врагами, стремящимися разрушить, ослабить, унизить наше Великое государство. Воистину — гимн честных, отважных бойцов, гимн патриотов!

Следующим успехом на литературном фронте была, по моему мнению, «Землянка» Алексея Суркова, появившаяся зимой сорок первого года в заснеженном фронтовом Подмосковье и всю войну согревавшая солдатские души ласковым огоньком любви и надежды. С автором «Землянки» мне беседовать не доводилось, а вот с другим поэтом, с Константином Симоновым, чей талант раскрылся под грохот канонады, судьба сталкивала несколько раз, в том числе на торжественных мероприятиях, на заседаниях Комитета по Сталинским премиям и при обстоятельствах менее приятных — в частности при первой встрече весной 1943 года.

Иосиф Виссарионович поручил мне тогда съездить на Дальнюю дачу, выяснить, какие оргии устраивает там Василий. Ну, насчет «оргий» Сталин переборщил. Вырвалось сгоряча. Раздражало его, что там в трудное время устраивались веселые сборища, что именно на Дальней даче Светлану «свели» (как он выражался) с Алексеем Каплером. Поручение не из радующих, но я не отказался, опасаясь того, что щекотливое дело будет поручено более ретивому исполнителю. И, получив от Власика сообщение об очередной «гулянке», поехал. Сразу скажу, что ничего особенного там не было. Собрались офицеры-летчики, артисты, несколько молодых симпатичных женщин. Танцевали, пели, шутили. Разве что стол накрыт был не совсем скромно, особенно в отношении разнообразной выпивки. Однако присутствовавшие напитками не злоупотребляли, никто не перебрал, заметно навеселе были только двое — Василий Сталин и жена Симонова — Валентина Серова.

Не очень трудно было определить сущность этой миловидной хрупкой женщины. Привлекательна, возможно, что и умна. Однако натура слишком эмоциональная, способная быстро возбудиться под влиянием обстановки, музыки, вина, а возбудившись — слишком увлечься, переступить грань, наделать ошибок, за которые сама же будет терзаться. Симонов, наученный горьким опытом, не спускал с нее влюбленных, настороженных глаз. Да, это была женщина, способная терять голову, но такая, из-за которой не грех и самому голову потерять. Как бы там ни было, а Серова доставляла Симонову много радости и огорчений, поднимала до высот любви и бросала в темную пропасть ревности, а в общем, вдохновляла его, постоянно держала в напряжении, питала чувствами его творчество. Ведь вся его лирика, лучшая лирика военных лет, обращена и посвящена только этой женщине. О стихах и пойдет речь, но после одного необходимого абзаца.

Я доложил Иосифу Виссарионовичу, что ничего предосудительного на Дальней даче не нашел. Обычная молодежная компания с неким налетом богемы. Но у Сталина были и другие сведения, и свои соображения.

Вскоре, сразу после того, как Василий был ранен при глушении рыбы в реке, доступ на Дальнюю дачу был закрыт. Для Василия, для Светланы с их друзьями-приятелями. До конца войны.

Теперь о стихах. Талант Симонова проявился в том, что он острее других поэтов уловил, понял, прочувствовал одну из главных болевых точек, которая особенно проявилась на всеобъемлющей и беспощадной войне, надолго оторвавшей миллионы мужчин от любимых женщин и девушек, от матерей и детей, без особой надежды увидеть их вновь. Тоска по далеким и желанным, тревога за них, мечты о встрече, а у кого-то и болезненные сомнения: дождется ли Она, выдержит ли разлуку, будет ли вспоминать, если погибну, — в той или иной мере такие чувства испытывал каждый фронтовик. Кто смутно, кто более отчетливо. А Симонов отлил эти чувства в простые, понятные, сердечные строки, посвященные, кстати, все той же Валентине Серовой:

Жди меня, и я вернусь, Только очень жди!

Это же горячая просьба каждого, кто разлучен был с любимыми, молитва воинов, идущих навстречу смерти!

Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. … … … Не понять не ждавшим им, Как среди огня, Ожиданием своим Ты спасла меня.

Точное попадание в цель! Как и в неумирающем произведении другого автора, В. Агатова, — в той песне, при звуках которой доныне обнажают седые головы ветераны:

Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи, Вот и теперь надо мною она Кружится. Ты меня ждешь, И у детской кроватки не спишь, И поэтому знаю: со мной Ничего не случится!

Можете поверить мне, прошедшему горнило трех самых больших войн: неколебимая, не ослабленная сомнениями вера в то, что тебя любят и ждут, спасала на фронте если не всех, то многих. Это — без всякой мистики. Воины одинокие, не имеющие надежного семейного тыла или мучимые ревностью, гибнут гораздо чаще тех, у кого за спиной прочный домашний очаг. Последние более уравновешены, осмотрительны, сражаются умнее, увереннее и осторожней. Даже в самой жестокой схватке, когда человек забывает о себе, его бережет инстинкт, опасение причинить боль дорогим людям, осиротить их. А тот, у кого ни девушки, ни жены, ни детей, и уж тем более человек, оскорбленный изменой, чувствующий себя никому не нужным, — тот действует по принципу «мне терять нечего». Безразличие губит таких даже в самых простых ситуациях. Ну, обстрел, артналет. Надо бы укрыться в траншее, в воронке. А он: «Что в луже с водой мокнуть, пузом в грязи елозить? А, двум смертям не бывать…» Присядет на пенек, прикурит. В последний раз.

Собственно говоря, об этом другое замечательное стихотворение Симонова, облетевшее все фронты — «Открытое письмо женщине из г. Вичуга». Маленькой этой трагедией Симонов опять точно выразил то, что подспудно тревожило многие души… Погиб в ночном бою лейтенант, чей-то муж. А на рассвете пришла почта.

Письмо нам утром принесли. Его, за смертью адресата, Между собой мы вслух прочли Уж вы простите нам, солдатам.

… … …

Вы написали, что уж год Как вы знакомы с новым мужем, А старый, если и придет, Вам будет все равно не нужен… Что вы не знаете беды, Живете хорошо. И, кстати, Теперь вам никакой нужды Нет в лейтенантском

аттестате. Чтоб писем он от вас не ждал, И вас не утруждал бы снова… Вот именно: «не утруждал» — Вы побольней искали слово.

Всякое случается и на войне, и в мирное время. Однако на войне, когда люди балансируют на узкой грани между жизнью и смертью, некоторые события воспринимаются больней, обостренней.

Не вам, а женщинам другим, От нас отторженным войною, О вас мы написать хотим, Пусть знают — вы тому виною, Что их мужья на фронте тут Подчас в душе борясь с собою, С невольною тревогой ждут Из дома писем перед боем. Мы ваше не к добру прочли, Теперь нас втайне горечь мучит: А вдруг не вы одна смогли, Вдруг кто-нибудь еще получит?

… … …

Примите же в конце от нас Презренье наше на прощанье. Не уважающие вас Покойного однополчане. По поручению офицеров полка К. Симонов.

Стихотворение это заучивали, переписывали, посылали родным и близким. Оно имело прямое практическое значение, влияло не только на чувства и настроение, но и на разум и на поступки. Я же выделяю два названных произведения Симонова еще и потому, что они привлекли особое внимание Сталина, понравились ему. «Открытое письмо» — безусловно. А вот по поводу «Жди меня» он однажды спросил:

— Николай Алексеевич, вы не знаете, жива ли мать поэта Константина Симонова?

— Это легко выяснить.

— Не надо. Обидно за нее. Жива она или нет, автор поступил нехорошо по отношению к ней. «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, пусть друзья устанут ждать, сядут у огня…» Поэт переборщил, погнавшись за эффектом. Друзья перестанут ждать, сын перестанет ждать, жена перестанет ждать, это возможно, а мать — никогда. Товарищ Симонов тут не прав.

— Может, у них особо сложные семейные отношения?

— Все равно. Настоящая поэзия — это всегда обобщение. Симонов не прав по большому счету. Очень хорошо написано, а в отношении матери — червоточинка.

У меня не было оснований возражать. Поэзию Иосиф Виссарионович знал, разбирался в ней лучше меня, глубже понимая ее силу и красоту. Напомню, что в юности Сосо Джугашвили писал неплохие стихи, их печатали не только в Грузии, но и журналы, газеты в России, в Финляндии. Более того, классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе, оценив достоинства стихотворения «Утро», включил его в букварь «Деа Эна» («Родная речь»). Согласитесь, это и большая честь, и признание одаренности. После революции, занятый множеством дел, Сталин стихов не писал, но поэзия всегда оставалась предметом его повышенного внимания и забот, как, впрочем, и литература вообще. Тот же Константин Симонов после смерти Сталина повторял и печатно, и устно, что «по всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясавшую меня осведомленность».

Да, Иосиф Виссарионович находил время читать все существенное, что появлялось в печати. Только у него и у Жданова была тяга ко всем видам искусства. Андреев, к примеру, увлекался музыкой. Калинин — российской историей, но это была так сказать «узкая специализация». Широким кругозором обладали лишь приведенные выше руководители. Ну, а те, кто пришел после них, вообще ничего не читали, кроме речей, справок и сводок. Это касается Хрущева, Брежнева и прочих других. Зато охотно

выносили свои фамилии на обложки толстых унылых томов — снотворников, сочиненных услужливыми помощниками.

Еще до войны Иосиф Виссарионович обратил внимание на новую, малоизвестную звезду, появившуюся в небе российской поэзии — на Александра Твардовского. Сколько было удивления в литературной среде, когда молодой парень, явившийся откуда-то из смоленской глубинки, стал вдруг орденоносцем. Завистники и злопыхатели распускали ядовитые слухи о том, что Твардовский, мол, из богатого хутора, семья его раскулачена, выслана, а он скрыл, затаился, пролез… Действительно, родственники поэта находились в местах отдаленных. Сталин, с которым согласовывали список награжденных, знал об этом. Ну и что? Стихи-то у Твардовского настоящие, чистые и светлые, как лесной ручей. Новый певец земли русской заслуживал внимания и поощрения.

Атака на Твардовского была отбита. Но сколько было еще потом выпадов против него, различных недоразумений. Общеизвестно, что лучшей книгой о войне прямо во время войны стала полюбившаяся народу «книга про бойца» — поэма Твардовского «Василий Теркин», каждая глава которой рождалась на фронте, впитывая в себя боль и радость, страх и мужество, тоску и юмор, лихой героизм и терпение будней — все, что бывает в бою. Самая, безусловно, правдивая поэма о солдате на войне, и к тому же «все понятно, все на русском языке». На превосходном, сочном и образном языке! Однако в этой самой читаемой, самой популярной поэтической книге высокое начальство усматривало большой недостаток, вызывавший подозрения и тревогу. В ней ничего не сказано было о вожде, о Верховном Главнокомандующем товарище Сталине. Будто и не существует человек, с именем которого, как утверждала пропаганда, всякий раз поднимались в атаку бойцы. Не нашлось места — случайно или сознательно?! Заметил ли это сам Сталин? Что думает по этому поводу, во что это выльется?!

Очень даже не глуп и самостоятелен был начальник Главного политического управления Красной Армии Александр Сергеевич Щербаков, но и его, оказывается, мучили сомнения по поводу «Теркина». И вот до чего досомневался. Попросил меня приехать к нему. На столе кипа свежих оттисков нового издания книги про бойца. Отдельно — глава «В наступлении». Предложил мне прочитать несколько страниц… И сейчас я вынужден привести большую цитату из названной главы, иначе трудно будет понять, из-за чего разгорелся сыр-бор.

Глядя в карту, генерал Те часы свои достал, Хлопнул крышкой, точно дверкой, Поднял шапку, вытер пот… И дождался, слышит Теркин:

— Взвод! За Родину! Вперед!.. И хотя слова он эти — Клич у смерти на краю — Сотни раз читал в газете И не раз слыхал в бою, — В душу вновь они вступали С одинаковою той Властью правды и печали, Сладкой горечи святой, С тою силой неизменной, Что людей в огонь ведет, Что за все ответ священный На себя уже берет. — Взвод! За Родину! Вперед!.. Лейтенант щеголеватый, Конник, спешенный в боях, По-мальчишески усатый, Весельчак, плясун, казак, Первым встал, стреляя с ходу, Побежал вперед со взводом, Обходя село с задов.

… … …

Только вдруг вперед подался, Оступился на бегу, Четкий след его прервался На снегу… И нырнул он в снег, как в воду, Как мальчонка с лодки в вир. И пошло в цепи по взводу: — Ранен. Ранен командир!.. Подбежали. И тогда-то — С тем и будет не забыт, — Он привстал:

— Вперед, ребята! Я не ранен. Я — убит… Край села, сады, задворки — В двух шагах, в руках вот-вот. И увидел, понял Теркин, Что вести его черед. — Взвод! За Родину! Вперед!..

Подавляя волнение, вызванное столь правдиво показанным боевым эпизодом, я положил лист на стол. Щербаков, пытливо смотревший на меня сквозь очки, спросил:

— Впечатляет?

— Весьма.

— А ведь может быть еще правдивей, еще лучше.

— Куда больше-то?

— Обратите внимание, товарищ Лукашов, три раза подряд звучит команда: «Вперед!» Одними и теми же словами. Просто вызывающе. Диву даюсь, как автор не заметил. Или не хотел замечать? Ладно, лейтенант командует как учили, по-уставному. Но у рядового бойца мог вырваться другой клич: от души, от сердца. Так и бывает в жизни.

— По-всякому бывает, — ответил я, смекнув, куда клонит Щербаков.

— Вот именно, по-всякому, по-разному, — обрадовался Александр Сергеевич, приняв мои осторожные слова за поддержку. — Не помочь ли нам автору? — протянул он бумагу, которую дотоле держал в руке. Это был такой же оттиск, который прочитал я, только одно слово печатного текста было зачеркнуто, а над ним чернилами выведено другое. Получалось:

Край села, сады, задворки В двух шагах, в руках вот-вот. И увидел, понял Теркин, Что вести его черед. — Взвод! За Сталина! Вперед!

— Автор знает? — спросил я.

— Пока нет. Думаем, как поговорить с ним, на каком уровне.

— А надо ли вмешиваться?

— Для пользы дела. Для самого же Твардовского.

— А если он возмутится? Вы его под удар поставите.

— Не будет же он плевать против ветра.

— А может, он пишет отдельную главу или даже произведение о том, как люди идут в бой с именем Сталина и не хочет мельчить, разменивать важную тему?

— Кашу маслом не испортишь.

— Но если масла больше, чем каши, то аппетит пропадает.

— Вот и я о разумной пропорции, — вздохнул Щербаков. Провел ладонью по пухлой белой щеке, будто успокаивая зубную боль. Товарищ Лукашов, мне самому неудобно говорить по этому поводу с товарищем Сталиным. Не тот вопрос. Не могли бы вы выяснить его мнение?

— Не раскрывая карты? — улыбнулся я.

— Почему же, хороший повод пошутить: вот, мол, какая дилемма у начальника ГлавПУРа, куда бедняге податься…

— Приемлемый вариант. — Раз уж узелок завязался в столь высоких сферах, надо было скорее ликвидирован, его без неприятностей, без нервотрепки для талантливого поэта. Переживаний ему на фронте хватало.

У Сталина в то время окрепла привычка вечером, после обеда, посидеть в кресле минут десять, а то и полчаса (в зависимости от дел, от настроения). Не спеша выкурить пару трубок, помолчать в кругу соратников, разделивших недавнюю трапезу, или поговорить о чем-нибудь, давая разрядку и себе и им перед возвращением в кабинет, к серьезным заботам.

Этим временем я и воспользовался, с легким юмором поведав о литературных трудностях главного армейского политработника. Молотов, слушая, усмехался. Ворошилов вопросительно поглядывал на Сталина, пытаясь понять, как это воспринимает Иосиф Виссарионович. А тот помалкивал, блаженствуя в клубах табачного дыма. И лишь после того, как я закончил свое повествование, спросил:

— У товарища Твардовского какое звание?

— Майор.

— Николай Алексеевич, вы пошли бы с майором Твардовским в разведку?

— Нет.

— Почему?

— Не могу на равных с молодыми. Мне теперь в штабе сидеть, данные разведчиков анализировать.

— А вот товарищ Сталин пошел бы, — это он о себе. — Не в смысле выносливости, а в смысле надежности. Судя по всему, Твардовский человек искренний, он не заискивает, а значит, и не предаст, не подведет в бою… Ну, кто еще с нами в разведку, товарищи?

— Хоть сейчас, — сказал Ворошилов.

— Если ползком, перебежками, то не осилю, — отшутился Молотов. — Но ради тебя…

— Хорошенькая боевая компания для майора Твардовского, — я не удержался от шпильки.

— Ладно, раз Николай Алексеевич против, в разведку мы не пойдем, останемся в Кремле на своих постах, — сказал Иосиф Виссарионович. — И примем во внимание, что у каждого поэта свое виденье, свой подход. Один напрямик выражает свои чувства, в том числе по отношению ко мне: А в те же дни на расстояньи За древней каменной стеной, Живет не человек — деянье, Поступок ростом в шар земной.

— Пастернак, — узнал Молотов.

— Верно, это Борис Пастернак нас возвысил или, лучше сказать, расширил до такого размера. А поэт Твардовский скромнее в оценках. Или, воспевая подвиг солдата, подвиг народа, тем самым воспевает и нас, руководителей. Вот что надо понять. Нельзя от птицы требовать, чтобы она пела не своим голосом. Петь перестанет. Указывать поэту, чтобы он писал о нас, я не могу, прав у меня таких нет. А указать начальнику Главного политического управления, чтобы он не вмешивался в творчество Твардовского, мы можем и даже обязаны. Николай Алексеевич, дайте, пожалуйста, чистую корректуру без художеств товарища Щербакова.

Взял оттиск, размашисто начертал под текстом свою фамилию и поставил дату.

16

У нас в России поэзию любят и знают, как нигде. Стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского и многих других поэтов известны всем от мала до велика и в деревне, и в городе. Издавались они огромными тиражами, немыслимыми в других странах, где основным читателем был и есть не народ, а элита, где интерес к литературе определяет не душевное тяготение, не высокая образованность, а мода, шараханье толпы. У нас же поэзия из категории сугубо личностной давно

переросла в явление общественно-нравственное, политическое, даже государственное.

Особенно это ощущалось при Сталине, который, повторяю, внимательно следил за литературной жизнью, воспринимая не только факты, но и направления, оттенки творчества, по мере возможности влияя на литературный процесс, руководствуясь в своих оценках двумя основными критериями: уровнем мастерства и пользой, приносимой стране тем или иным произведением. Помню его реакцию на стихотворение, промелькнувшее в дни войны в одном из журналов. Там были такие строчки:

Сейчас не время колыбелей, Но время траурных гробов.

— Это очень нехороший человек написал. Это глупый человек написал. Если не будет колыбелей, не будет вообще ничего. Надо поставить этого сочинителя на самую низкую должность, чтобы ни на кого не влиял, не приносил вреда. Наша партия позаботится о том, чтобы колыбелей было как можно больше. Всегда и по всей стране.

Сталин был прав хотя бы уж потому, что именно в военное лихолетье, очерствлявшее души, ломавшее нестойких, особенно нужны были стихи добрые, сердечные, сильные — укреплявшие веру в успех, в победу, в будущее России. Показательно: резко возрос тогда интерес к творчеству Сергея Есенина. Было в его произведениях нечто тонкое, неуловимое, волнующее, прочно скреплявшее людей с родимой землей, и эти незримые связующие нити не способен был разорвать никакой враг, даже сама смерть.

Есенина любили еще при жизни, его читали, несмотря на притеснения и гонения, которые обрушивали на поэта те, кому чужд, ненавистен был русский дух, российское самосознание. По поводу смерти Есенина троцкисты, устами своего вождя, твердили:

«Поэт погиб потому, что был не сроден революции». Вот только о какой, о чьей революции шла речь?

Иосиф Виссарионович относился к Есенину с благосклонным равнодушием, посмеиваясь над его разного рода прижизненными чудачествами, в том числе и творческими. Над известной строчкой Есенина «задрав штаны, бежать за комсомолом», раздражавшей слишком уж рьяных партийцев, шутил: «Если хочется, пусть бегает хоть с голым задом, только не по людным улицам, чтобы детей не пугать». Стихи Есенина считал слишком уж национальными, не до всех доходящими. С удовольствием читал только «Анну Снегину». Однако распространению произведений Есенина не препятствовал, скорее даже содействовал.

У меня на полке стоят книги поэта разных лет. Их немало. В 1926–1927 годах было осуществлено четырехтомное издание его сочинений. Сборники стихов выходили в 1931 и 1934 годах. Особенно интересен, пожалуй, большой сборник в четыреста с лишним страниц, появившийся незадолго до войны, в 1940 году. Солдаты-книголюбы хранили его на фронте в вещевых мешках вместе с нехитрым скарбом, с письмами от родных.

Следующий сборник Есенина, по вполне понятным причинам, появился только в 1944 году. Зато сразу после победы, в 1946 году, было выпущено «Избранное» — плотная книга почти в пятьсот страниц. И так далее. Привожу эти сведения не только для того, чтобы подтвердить, какой популярностью пользовался поэт, но еще и для того, чтобы опровергнуть домыслы черных хулителей, утверждающих, что при Сталине якобы

Есенин был запрещен, а военнослужащих, читавших крамольного сочинителя, отправляли прямой наводкой в штрафные батальоны… Ну, профессиональных лгунов не исправишь, а тем, кто ошибается, один совет: прежде, чем бухать в колокола, заглянули бы в святцы.

17

Начальник охраны Власик и очередной комендант Кремля знали: если Сталин поздно вечером или ночью один выходит на прогулку, значит, надо заранее отпереть дверь Успенского собора и частично осветить его изнутри. Обычно в таких случаях Сталин пересекал несколько раз Тайницкий сад и возвращался не в рабочий кабинет, а прямо на квартиру. Но иногда сворачивал в собор и оставался там минут пятнадцать, а то и полчаса. Что он делал: молился? каялся? размышлял? На этот вопрос невозможно ответить: ни Власик, ни я, и никто другой никогда не заходили в собор вместе с Иосифом Виссарионовичем. Да никому и неизвестно было об этом, кроме нескольких избранных лиц, умевших молчать. Может, он просто молодость семинаристскую вспоминал или глубоко веровавшую маму свою — Екатерину Георгиевну Джугашвили. До войны такие посещения случались редко, а с лета сорок второго года все чаще.

В брежневские времена появились воспоминатели, которые изустно и письменно делятся своими впечатлениями о встречах с вождем. Уже и стандарты выработались. Охотно рассказывают, как по праздникам после застолья в «Блинах» Семен Михайлович Буденный разворачивал меха баяна, заводил песню, а присутствовавшие члены Политбюро, наркомы, генералы и сам товарищ Сталин дружно подхватывали. Песни, конечно, были революционные, военно-походные, популярные. Подчеркивалась близость нашего руководства к народу, приверженность к простой музыке (баян — это не виолончель, не скрипка). Ну и репертуар соответствующий. От «Вихрей враждебных» до бродяги, бежавшего с Сахалина. Всякое, конечно, бывало. Я сам с удовольствием подпевал, когда начинали «По долинам и по взгорьям», «Три танкиста», «Катюшу», «Хороша страна Болгария». Слова всем известные, мелодия красивая, пелось легко, приятно. Однако бывало и нечто другое, о чем воспоминатели или не знают, или почему-то умалчивают.

В просторной столовой на первом этаже Ближней дачи стояло очень даже приличное пианино. Пользовались им редко. На моей памяти — только Жданов, особенно когда в конце войны переехал из Ленинграда в Москву. Подсаживался к инструменту, если на обеде (а это часов в десять вечера) присутствовали лишь давние друзья-приятели. Пустячками Андрей Александрович не баловал, только классика, только серьезная музыка, в том числе и церковная.

Задавал тон маленькому, но уникальному по составу и хорошо спевшемуся хору, все участники которого в разное время прошли одну и ту же строгую школу, освоили один и тот же репертуар: были церковными певчими.

Когда-то в Луганске регент церковного хора несколько лет основательно поработал с молодым Климом Ворошиловым, развивая заложенный от природы дар. Не стал бы Климент Ефремович революционером, — пошел бы в артисты: это он сам говорил. Неплохой слух имел Молотов (его брат, кстати, был композитором), в детстве и

юности игравший на скрипке. Ну, а Иосиф Виссарионович в своеобразном хоре скромно держался на вторых ролях: бывший семинарист знал и помнил все церковные песнопения, однако голос имел глуховатый, несильный. Вот и пришлось довольствоваться амплуа не заводилы, а подпевалы, но ведь это тоже надо уметь. Удовольствие получали все трое. И немногочисленные слушатели тоже. Сталину особенно нравилось петь «Да исправится молитва моя» — ее исполняли при каждой встрече у пианино. Очень профессионально, я бы даже сказал, очень душевно, проникновенно звучало «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…».

Иногда к хору не очень уверенно, будто опасаясь не попасть в лад, испортить пение, присоединялся Николай Александрович Булганин — человек со многими странностями и слабостями. Весьма увлекался женщинами, любил преподносить им подарки, при этом его интересовало не столько достижение цели, сколько сам процесс ухаживания, обольщения. Партийные, политические посты занимал он крупные, был членом Военного совета важнейших фронтов, членом Ставки Верховного Главнокомандующего, членом Государственного Комитета Обороны, членом Политбюро, наконец, при этом тайно не расставаясь с иконкой, что не являлось секретом для Сталина. Когда в 1947 году встал вопрос о присвоении Булганину звания Маршал Советского Союза, всезнающий Берия счел своим долгом сообщить: Булганин, называя себя коммунистом, верит в Бога и каждый день возносит молитвы Всевышнему. Сталин ответил кратко и холодно: не важно, что человек молится, важно кому и о чем… И не суй, мол, свой нос, когда не спрашивают.

Приведенные здесь вроде бы разрозненные факты вкупе, с другими подобными, заставили меня задуматься об отношении Иосифа Виссарионовича к религии, вернее об изменении отношения к религии с возрастом, когда каждый вольно или невольно начинает заботиться о душе. Он уже вступил в эту полосу, я приближался к ней. Но мне было гораздо легче, чем ему, в религиозном смысле я шел обычным путем среднего православного россиянина, без особых зигзагов и отклонений. С младенчества христианство воспринималось как обычная составная часть жизни, скорее как часть ритуальная, торжественно-праздничная, нежели практически необходимая. Достижения естественных наук в девятнадцатом веке поколебали веру в церковные действа, обряды. Толстовская мысль о том, что Бог должен быть в душе, что вера не выражается во внешних проявлениях, в показной приверженности каким-то символам, в формальном выполнении каких-то правил (например, посещение церкви) — эта мысль овладела значительной частью интеллигенции, в том числе офицерства. Сужу по себе: я жил с Богом в сердце, стремясь выполнять христианские заповеди, но церковь или молебны посещал только в силу служебной необходимости, искренне считая, что Всевышнему нужна сердечная вера, а не церковная мишура равнодушных крестоносителей.

Четыре года Первой мировой войны, втянувшей в гигантскую мясорубку все мужское население России, вызванные войной голод, разруха и другие беды, как мне казалось, основательно подорвали веру народа в высшую справедливость и добродетель. Жестокая и бессмысленная, никому не понятная та война многих заставила задуматься, а почему, зачем это кровопролитие, эти страдания? Откуда такая напасть, когда людей травят газами, давят танками, рвут на куски снарядами и бомбами. Сказано в

Писании, что без воли Господней ни один волос с головы не упадет, а падали миллионы голов. Солдаты на фронте и женщины, мучавшиеся в тылу, теряли надежду на милость Всевышнего, ожесточались до крайности. «За Веру, Царя и Отечество» — на этих столпах держалась великая империя. Первый столп подвергся тяжкому испытанию, второй рухнул совсем. Мое внимание привлек тогда такой факт. После Февральской буржуазной революции, подчеркиваю — после Февральской, а не Октябрьской, — была отменена обязательная ежедневная молитва для военнослужащих. И что же? В казармах Петроградского гарнизона на молитву перестали являться до семидесяти процентов рядовых и унтер-офицеров. Было над чем поразмышлять.

Раздор и безверие увеличила в России война гражданская. Общество непримиримо раскололось сверху донизу. Богатый зубами вцепился в свои праведно или неправедно обретенные капиталы и привилегии. Доведенный до нищеты крестьянин и рабочий, разжимая «буржуйскую пасть», требовал справедливого раздела и равенства. Церковь, увы, оказалась на стороне тех, кто не желал расставаться ни с накопленным имуществом, ни с особым положением в государстве. Излагая все это, я пытаюсь объяснить, почему гонения на церковь, начавшиеся при большевиках, не встретили решительного противодействия со стороны населения, считавшегося дотоле глубоко верующим. Интеллигенция в массе своей отнеслась к этому безразлично, ее возмущенный ропот почти не был слышен. А среди крестьян и рабочих немало нашлось таких, кто охотно включился в поход против попов и монахов. По собственной инициативе высмеивали, преследовали священнослужителей, а то и издевались над ними. С молчаливого согласия паствы. Лезли на колокольни и сбрасывали колокола, видя в этом особую доблесть. Дьявол ли попутал? Бог ли разума лишил? Или объективно сказалось все то, на что я указывал выше?!

Сложности с церковью, продолжавшиеся в двадцатых-тридцатых годах, почти не касались меня и не очень — поволновали. Мой Бог, хранимый в душе, всегда оставался со мной, а внешние религиозные события как-то меркли на фоне огромных перемен в стране, на фоне политической борьбы, экономических свершений, личных переживаний, радостей и неурядиц. Во всяком случае они, эти религиозные события, касались меня несравненно меньше, чем Сталина, который изначально, с детства был ближе к церкви и по долгу руководителя партии и государства обязан был заниматься вопросами веры, свободы совести. Его жизнь в православии, его взаимоотношение с церковью были гораздо многообразнее и сложнее, чем мои.

Пусть не покажется странным, но в революционное движение Иосифа Виссарионовича привело не что-либо другое, а глубокое изучение и обостренное восприятие христианства сначала в церковно-приходской школе, а затем в духовной семинарии. Да плюс еще влияние фанатично верующей матери.

Коммунистическая теория привлекала молодого бунтаря тем, что основой ее являлись простые и правильные заповеди Иисуса Христа, она впитала в себя все лучшее, что было накоплено умами и сердцами людей за всю историю человечества. Равенство, братство, честность, добродетель, справедливость — разве не на этом стоит христианская вера?! Внедряли ее и убеждением, и принуждением, порой жестоким. А коммунизм пошел дальше лишь в одном отношении: воплотил

религиозные заповеди, заветы, постулаты в программу борьбы за осуществление идеалов не когда-нибудь и где-нибудь, не на мифическом «том свете», а сегодня и завтра, прямо на нашей земле. Такой в самых общих чертах была исходная теоретическая точка, с которой Джугашвили-Сталин начал свой путь в революцию.

В отличие от многих своих коллег и соратников, Иосиф Виссарионович никогда не был воинствующим атеистом. Вспомним. Сразу после Октябрьской революции церковь оказалась в чрезвычайно трудном положении. К гонениям, зачастую справедливым, которые обрушились на имущий, правящий класс, для церкви прибавились еще и особые беды. Подавляющее большинство высших государственных и партийных постов (до девяноста пяти процентов!) захватили после Октября иудеи, исповедовавшие свою религию, свои обычаи. У них был особый счет к православной церкви, издавна стоявшей на пути проникновения евреев в Россию. Мракобесами, погромщиками, черносотенцами считали иудеи православных священнослужителей и, конечно, воспользовались возможностью «воздать должное» носителям истинной веры.

Церковь отделена от государства, лишена всяких прав, церковное имущество (земли, здания, капиталы, храмовые драгоценности) реквизируются, национализируются. Монастыри закрываются. Священнослужители, естественно, выступают против, они на стороне белых — защитников старого порядка. Тогда на церковь обрушивается карающая десница, тысячи священнослужителей уничтожаются физически, в том числе монахини. На чьей совести все это? Ответственность ложится на Ленина, Свердлова, Троцкого и их ближайших помощников. Кому-то из них принадлежит сомнительная «заслуги» в переиначивании правильного выражения «религия — опиум народа» (поиск людьми средства забвения от тяжкой действительности, облегчения страданий) на выражение «религия — опиум для народа». Тут уж совсем другой смысл с обвинительным уклоном. К подобным ухищрениям Сталин отношения не имел. Он занимался делами военными, межнациональными, продовольственными — чем угодно, только не вопросами религии. Так, по крайней мере, было при жизни Ленина. Да и потом Иосифу Виссарионовичу хватало груза других первостепенных забот. Единственно заметное, что он делал по отношению к религии в двадцатых и тридцатых годах — это не позволял рьяным атеистам слишком уж перегибать палку.

В Москве неутомимым организатором и вдохновителем «антирелигиозного наступления» являлся Л. М. Каганович. Будучи долгое время первым лицом в столице, с яростным упорством громил православные церкви и соборы, в буквальном смысле слова сравнивая их с землей. По его инициативе, как известно, был взорван Храм Христа Спасителя. Замахнутся Кабан Моисеевич и на церковь Василия Блаженного, однако Сталин успел своевременно остановить маньяка-разрушителя.

С самой скверной стороны показал себя Никита Сергеевич Хрущев. Трудно даже понять, откуда у него, человека крещеного, взялся страстный антирелигиозный пыл. До войны он действовал тихой сапой, постепенно изничтожая «религиозный дурман» в тех местах, где правил, особенно на Украине. Опасался, знать, сталинского окрика. Не возражая наблюдал за тем, как Сталин при поддержке Калинина и Ворошилова все решительней проводит линию на сближение государства с православием. Из партийно-

комсомольской лексики исчез термин «антирелигиозная пропаганда». Более того, государство вроде бы даже взяло опеку над церковью. Сразу после Победы, в 1946 году, в стране были открыты духовные семинарии и академии, ликвидированные в году 1918-м. По предложению Ворошилова, Московскому патриархату была возвращена Троице-Сергиева лавра. Возобновилась Киево-Печерская лавра, некоторые монастыри. Открылись около 22 тысяч храмов. Великий молитвенник за святую Русь митрополит гор Ливанских Илия, непрестанно просивший Матерь Божью о спасении России от вражеского нашествия, удостоился в 1947 году Сталинской премии: денежную часть награды Антиохийский иерарх отдал детям, чьи родные погибли в войне. Сталин неоднократно интересовался, как идет восстановление православных святынь, разрушенных немецкими захватчиками, особенно Новоиерусалимского монастыря, оказывал содействие. Кое-кто из партийных ортодоксов недовольно ворчал о «братании с попами», но открыто выступить против такой линии не решался.

Во время войны храмы, как, кстати, и водокачки, пострадали больше других построек. На этих высоких сооружениях устраивались наблюдательные пункты, «гнездились» корректировщики. Для артиллерии и авиации враждующих сторон это были первостепенные цели. То, что уцелело, надо было беречь. И берегли по мере возможности, навешивая таблички «охраняется государством». Но вот не стало Иосифа Виссарионовича, и Хрущев словно с цепи сорвался. Может, в отместку Сталину, может, из-за искренней неприязни к религии вновь повел атаку на «вредные пережитки». Только лишь в 1954 году по его инициативе было принято два постановления ЦК КПСС по поводу «успокоения и благодушия» в борьбе против «христианского дурмана». С резкими выводами и категорическими указаниями на сей счет. В результате за недолгое царствование Никиты Сергеевича, пресловутого зачинателя советско-российской демократии, в городах и селах страны было закрыто несколько тысяч (по моим непроверенным данным, около семи тысяч) действовавших храмов и молельных домов различных конфессий. Такова печальная арифметика.

18

Нет, Сталин не был воинствующим атеистом, как не был он и активным защитником религии. До поры до времени она не очень интересовала его, занятого политической борьбой, экономическим и военным укреплением державы. И не только забота о душе, а, прежде всего, деловые практические интересы побудили его на первые шага по сближению со священнослужителями, хотя, конечно, огонек православия, горевший в нем с детства, тоже давал себя знать.

А началось вот с чего. В довоенной нашей стране религиозные вопросы были в какой-то степени утрясены, сглажены — острые углы не торчали. Христиане вполне уживались с мусульманами, влияние других вероисповеданий практически не ощущалось. Ситуация изменилась, когда в 1939–1940 годах в состав Советского Союза вошли Западная Украина и Западная Белоруссия, Молдавия, республики Прибалтики, то есть регионы, отличавшиеся многообразием конфессий, сложными отношениями между христианами православными во главе с патриархом Московским и всея Руси, и христианами неправославными, для которых верховным владыкой

был папа римский. Это католики разных мастей, лютеране, протестанты, сторонники других религиозных направлений. Местные националисты, выступавшие против воссоединения названных территорий с Россией, получали благословение тамошних служителей церкви, опасавшихся за отток своих прихожан от католицизма к православию, более чистому и притягательному для истинно верующих. А это — утрата влияния не только на души, но и на кошельки, на политику. Многие ксендзы тайно или даже явно поддерживали националистов, сепаратистов, разжигали неприязнь к православию, к новой советской власти, подталкивали на противодействие, на борьбу, в том числе и на вооруженную. Это вызывало соответствующую реакцию Москвы, как государственной власти, так и духовенства. Совпадение интересов сближало.

И еще один благоприятный фактор. Тогдашний глава Русской церкви Патриарший Местоблюститель Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский Сергий, пересекший уже семидесятилетний рубеж, был слаб здоровьем, но неколебимо тверд духом, почитая православие самой высокой и праведной верой, а русский народ самым последовательным и надежным хранителем этой веры в ее первозданности и чистоте. Почти так же рассуждал и Сталин, хорошо знавший историю церкви. По его мнению, от православия когда-то откололись те, кого не устраивали строгие религиозные требования.

У католиков преобладает рассудок, рационализм, у православных — совесть, чувство ответственности перед Богом, перед окружающими. Все то же стремление к справедливости, к равенству, к коллективизму, послужившее основой создания коммунистических идеалов. Поэтому православные легко и естественно восприняли идеи коммунизма, сменив только форму верования, но не суть. Коммунизм — развитие лучших сторон христианства. Теория верна и прекрасна, ну а практика всегда трудна и груба.

На мой взгляд, между помыслами, устремлениями митрополита Сергия и генсека Сталина при определенном различии, было все же немало точек соприкосновения. Весной 1941 года Иосиф Виссарионович неофициально навестил Патриаршего Местоблюстителя в его деревянном домике в Бауманском переулке — возле Елоховского (Богоявленского) собора. Пробыл там больше часа, с глазу на глаз беседуя с седобородым архипастырем. Было, значит, о чем поговорить, посоветоваться. Кстати, вскоре после этой встречи из тюрем и лагерей были выпущены почти все церковнослужители, за исключением тех немногих, кто совершил особо тяжкие преступления.

Готовясь к войне с Советским Союзом, Гитлер, сам искоренявший в Германии религию, рассчитывал, между прочим, на то, что «колосс на глиняных ногах» рухнет при первом же ударе, в частности потому, что коммунистов не поддержит православное и мусульманское духовенство, помня нанесенный ущерб и обиды. А следовательно, не поддержат и широкие массы верующих. Однако первые же дни великого сражения показали, как глубоко ошибался фашистский фюрер. Внутренние неурядицы, личные обиды — это одно, а борьба за православную веру, за Святую Русь — это совсем другое.

22 июня 1941 года, сразу после того, как по радио прозвучало сообщение о нападении гитлеровцев, митрополит Сергий собственноручно написал обращение ко всем пастырям и верующим, благословляя православных на защиту священных границ нашего Отечества.

Разосланное по всем приходам обращение высшего духовного лица сыграло заметную роль в сплочении населения перед нависшей угрозой. Вот лишь несколько фраз из этого важного документа: «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить наш народ на колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытаний всем, чем каждый может… Господь нам дарует победу».

Воистину — святые слова! Как и последовавшие за ними дела Патриаршего Местоблюстителя, подававшего пример пастве. В начале октября, когда немцы приблизились к Подмосковью, когда танки Гудериана рвались от Орла Туле, митрополит Сергий обратился к Сталину с предложением освятить район предстоящих сражений, пронести по московской оборонительной линии икону Смоленской Божьей Матери, ту самую икону, с которой в 1812 году шли русские воины против французов на Бородинском поле. Несмотря на физическую немощность, Сергий хотел сделать это сам. Однако Сталин, охотно приняв предложение, настоятельно попросил архипастыря не участвовать в осуществлении замысла, опасаясь за его жизнь и здоровье. Дело доверено было, если не ошибаюсь, Ленинградскому и Новгородскому митрополиту Алексию, находившемуся тогда в столице. Во всяком случае, икону Божьей Матери на самолете провезли вдоль подмосковного оборонительного рубежа, как бы с неба благословляя места предстоящих битв. Пару кругов сделал самолет над Бородинским полем, где буквально через несколько дней развернулось сражение, во многом решавшее судьбу столицы. И опять повторилось там то, что произошло в 1812 году. Наши войска не потерпели поражения, добились успеха, нанеся большой урон басурманам, но в силу сложившихся обстоятельств вынуждены были покинуть свои позиции, уйти с легендарного поля. Отошли, правда, недалеко, на считанные километры, чтобы перекрыть там путь к Москве. В связи с начавшейся эвакуацией и опять же по просьбе Сталина, митрополит Сергий 14 октября покинул столицу в сопровождении близких ему священнослужителей, избрав местом пребывания город Ульяновск — он ведь сам родом с берегов Волги. В пути Сергий тяжело занемог, вероятно, простудился, была очень высокая температура. С одной из станций, через которую проходил поезд, поступило сообщение, что Сергий принял предсмертное причастие. Узнав об этом, Иосиф Виссарионович произнес известную фразу: «Это очень большая утрата. Это ведь он спас православную церковь от обновленческого раскола». Имелось в виду, что именно Сергий в свое время призвал верующих быть терпимыми к советской власти, чем предотвратил борьбу между государством и церковью, что имело бы гибельные последствия.

К счастью, митрополит Сергий, поборов недуг, благополучно прибыл в Ульяновск. Отказавшись от большого особняка, окруженного садами,

архипастырь поселился в обычной квартире неподалеку от прибрежных откосов, именуемых местными жителями Старым венцом. И уже 30 ноября провел первую службу в церкви Воскресения, вознося молитвы о победе российского воинства. Как раз в тот день, когда было в основном остановлено вражеское наступление на Москву.

С берегов Волги по всей стране расходились вдохновляющие послания и призывы Патриаршего Местоблюстителя, обращенные к верующим, к братьям-славянам, в том числе и к тем, кто оказался на оккупированной территории. Послания эти укрепляли силу, утешали скорбящих христиан, вселяли надежду. И как всегда непримиримо, твердо боролся Сергий против раскольников, перевертышей, христопродавцев. По его настоянию были отлучены от сана изменники, переметнувшиеся во вражеский стан и вносившие смуту в православную церковь: архиерей Сергий Воскресенский из Прибалтики, Поликарп Сикорский с Западной Украины и Николай Амасийский из Ростова-на-Дону.

А сколько средств на строительство танков и самолетов собрали по призыву архипастыря верующие и священнослужители! Помню, как дрогнуло мое сердце, когда в конце войны возле Берлина увидел я колонну могучих танков, на каждом из которых светлой краской было начертано: «Построен на средства Православной церкви». Люди добрые отдали все, что имели, и мы дошли до логова фашистского зверя, чтобы испепелить его!

В конце августа 1943 года, когда я находился в Поволжье с инспекцией запасных полков, меня разыскал по телефону ВЧ Поскребышев и передал поручение Сталина отправиться в Ульяновск и посмотреть, как идет подготовка к возвращению в столицу Патриаршего Местоблюстителя с его свитой. Обеспечить помощь, если таковая потребуется. Однако у тамошних властей все шло без сучка без задоринки, мое содействие не понадобилось. Тем более что смиренный архипастырь по скромности своей не просил для переезда ничего лишнего, ограничиваясь лишь самым необходимым. Семидесятишестилетний митрополит, совершенно седой, с аккуратной белой бородой, чувствовал себя вполне сносно. Военные успехи наши, давшие возможность вернуться в Москву, питали энергию Сергия. Ум его был ясен и быстр. Изъяснялся он, кстати, на всех европейских языках. Глуховат стал, вслушивался с некоторым напряжением, глядя на губы собеседника.

Вечером 4 сентября 1943 года Председатель Совнаркома СССР Сталин принял в Кремле трех владык Русской Православной Церкви: митрополита Московского и Коломенского Сергия, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия и Экзарха Украины митрополита Николая. Присутствовал первый заместитель Председателя Совнаркома Молотов. Обоюдное согласие сторон было полным. Встреча продолжалась долго и явилась предтечей важнейшего события в православном мире. А именно: 8 сентября в Москве состоялся епископский Собор. Девятнадцать церковных иерархов, съехавшихся с разных концов страны, избрали Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Им стал блаженнейший архипастырь Сергий (в миру Страгородский). Доселе Патриарший Местоблюститель, он первым после долгого перерыва принял столь высокий сан. Причем принял в трудное время, требовавшее объединения всех сил для борьбы за честь и независимость Родины. Государство и церковь становились крепче от взаимной поддержки, Сергий и Сталин хорошо понимали это. Воистину: престол царя — опора алтаря, алтарь — опора царского престола.

Интронизация состоялась в Богоявленском (Елоховском) кафедральном соборе. Но, увы, недолго пришлось состоять Сергию в высочайшем церковном сане. Он скончался менее чем через год, успев сделать за долгую жизнь очень много для укрепления русского православия.

Отпевали Святейшего в том же Елоховском соборе, сохраненном его стараниями, в котором часто правил службу он сам. А в стране праздновалась Пасха, бушевало цветение майских садов, и на горизонте алела уже заря Победы, в достижение которой немалую лепту внес Патриарх.

Находясь среди тех, кто провожал Сергия в последний путь, с волнением слушал я прощальные слова митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия:

— Христос Воскресе! Мы веруем, что пред лицом Воскресшего Господа нет умерших, а все живые, в видимом ли, или невидимом мире, и для всех Он Един есть и воскресение и жизнь. В муках скорби глубокой и тяжкой стоим мы у гроба Святейшего Отца нашего и Патриарха и провожаем дух его «в путь всея земли». Не только отца лишились мы с кончиною Святейшего Патриарха, мы лишились в нем доброго пастыря и мудрого Кормчего корабля церковного. На короткое время судил ему Господь восприять высокое звание Патриарха Московского и Всея Руси, главы Церкви Российской, как бы для того только, чтобы дать ему полноту славы церковной в воздаяние его великих заслуг церковных, и для того, чтобы увенчать его церковные заслуги. Не только Русская Церковь, но и весь православный Восток приветствовали его избрание и свидетельствовали об его высоких достоинствах. Когда страну нашу настигло испытание вражеского нашествия, тогда с особой силой проявилась в почившем Патриархе присущая ему горячая любовь к Родине. В многочисленных посланиях к пастырям и пастве он призывал всех русских людей стать на защиту любимой Родины. Он раскрывал всю ложь и сатанинскую мерзость фашизма, все величие подвига любви, какой совершают на поле брани наши доблестные воины. Он призывал всех приобщиться к их великому делу…

По завещанию Святейшего патриарха Сергия высшее руководство Русской Православной Церкви перешло к митрополиту Алексию (в миру — Симанский). Возведенный в сан, он стал Патриархом Алексием I, достойным и настойчивым продолжателем славных дел своего мудрого предшественника! Приведу еще одно высказывание Алексия, характерное для него, разделившего со своей паствой ужасы Ленинградской блокады, — высказывание праведное, не утратившее своего значения на многие годы:

«Война есть страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает ее без нужды, без правды, с жаждою грабительства и порабощения; на нем лежит позор и проклятие неба за кровь и за бедствия своих и чужих. Но война — священное дело для тех, кто предпринимает ее по необходимости, в защиту правды, отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за родину, идут вслед мучеников к нетленному и вечному венцу. Потому-то Церковь и благословляет эти подвиги и все, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества».

Добавлю только: так было и так должно быть.

10 апреля 1945 года Патриарха Московского и Всея Руси Алексия принял Сталин. Состоялась откровенная дружеская беседа. Между церковью и государством установились нормальные доверительные отношения, которые продолжались, как я уже говорил, до смерти Иосифа Виссарионовича, до наступления пресловутой хрущевской оттепели.

Необходимое пояснение автора. Разделяя восхищение Николая Алексеевича Лукашова деяниями Патриархов — патриотов Сергия и Алексия I, нельзя умолчать о церковных руководителях, ничем не украсивших, не возвысивших свой сан, а, наоборот, принизивших его величавость. Речь пойдет о том, кто именуется Патриархом Алексием II (в миру — Ридигер). Чего больше в нем, святости или греха? Кому он служит, власти небесной или новоявленным хищникам — господам земным? Ему недостало совести и мужества в октябре 1993 года встать Божьим посредником между сторонниками законности, защитниками Конституции, осажденными в так называемом «Белом доме» — с одной стороны, и теми, кто по приказу кровавого диктатора расстреливал их из танковых пушек, продав души свои за доллары. А мог бы Патриарх выйти со святой иконой к враждующим людям, примирить соотечественников, прекратить братоубийство, используя дарованное ему свыше право «вязать и решать». Но не воспользовался, уклонился от решительного поступка, укрывшись в тихой больничной палате, за надежными стенами привилегированного лечебного заведения.

Еще более тяжкий грех лежит на Алексие II перед десятками миллионов погибших воинов, замученных в гитлеровских застенках страдальцев, перед умершими от голода и холода в военное лихолетье, перед неродившимися из-за войны младенцами. В то время, когда страна наша и весь мир отмечали пятидесятилетие Великой Победы и гибели исчадия ада, когда по Красной площади под красными победными знаменами в последний раз прошли торжественным парадом чудом уцелевшие, дожившие спасители человечества от гитлеровской чумы, Алексий II отправился в Германию, дабы свершить там позорный глумительный акт самоуничижения и самопредательства. В евангелическом соборе Берлина на совместном молении он торжественно извинился за те «страдания многих немцев» от тоталитарного режима, который «пришел на эту землю именно из нашей страны, а многие мои соотечественники поддержали его своими неправедными деяниями. За это я ныне прошу у вас прощения от имени многомиллионной и многонациональной паствы».

Вот те на! А мы-то, да и сами немцы, пятьдесят лет наивно считали, что как раз советские, русские, войска освободили народы Европы, в том числе и народ Германии, от страшного гитлеровского засилья, от превращения в рабов, от уничтожения. Какие же верующие или неверующие россияне уполномочили Алексия II на омерзительный акт самооплевывания? Да никакие! Только от самого себя произнес он кощунственные извинения, практически приравняв наши «грехи» к преступлениям немецких фашистов, совершив предательство, от которого мертвецы перевернулись в гробах и братских могилах, содрогнулись оскорбленные ветераны-освободители и все патриоты земли Русской. Только Поместный собор, действительно представляющий многомиллионную паству, мог бы дать Патриарху полномочия на «покаяние» перед немцами. Но ни на одном Поместном соборе, в том числе и на последнем, который состоялся в 1990 году, даже не упоминалось ни о каком раскаянии или извинении. Так что это чистейшая самодеятельность Алексия II, а, если точнее сказать, —

самодеятельность Алексея Ридигера, нарушившего один из канонов Святой церкви, который гласит: «Епископ или пресвитер, или диакон да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет извержен от священного чина». Это 6-е правило Святых Апостолов.

Вот так: один Алексий, самозабвенно служа Богу и людям, возвысил и укрепил православие, а другой, вкупе с диктаторами земными, раболепствуя перед ними, ущербно оскорбил доверенный ему сан и глубинные народные чувства.

«Безродные шатуны никогда не были и никогда не будут великими в истории; они везде — только обуза человечества» — это слова выдающегося деятеля православной церкви протоиерея Иоанна Восторгова. Они относятся не только к Алексию II, но и к тем, кому он выгоден, кто поддерживает этого патриарха, умножая под его прикрытием бедствия на Руси.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

1

Весь ноябрь 1943 года для Сталина и его ближайшего окружения прошел под знаком подготовки к небывалому и важнейшему политическому событию — к первой в истории встрече руководителей трех великих держав, противостоявших государствам оси Рим — Берлин — Токио. Работа велась в обстановке строжайшей секретности. А чем выше секретность, тем меньше привлекается исполнителей. На плечи особо доверенных людей в Наркомате иностранных дел, в Наркомате обороны, в Генштабе, в органах НКВД — НГБ легла большая нагрузка и, конечно, ответственность. Продумывались, просчитывались, согласовывались различные варианты вплоть до мелочей. Сам Иосиф Виссарионович, советуясь с Молотовым, разрабатывал основную линию поведения, определял главные цели предстоявших переговоров. Прежде чем принять решения, не спеша «раскладывал по полочкам» все доводы «за» и «против».

Летом 1941 года, когда немцы двинули войска на восток, Черчилль заявил: «Опасность, грозящая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам». Бороться с сильным врагом лучше было сообща. Совместными усилиями разгромить германо-итальянский фашизм и японский милитаризм — такова была платформа, объединившая страны антигитлеровской коалиции. Но каждая из этих стран искала свои, наиболее выгодные ей, пути решения проблемы, имела свои взгляды на конечные результаты, на будущее. Наши планы сводились в общем к тому, чтобы понудить союзников к быстрейшему открытию давно обещанного Второго фронта, скорее и с меньшими жертвами закончить войну, получить материальную и политическую компенсацию за понесенные утраты, установить порядок, гарантирующий длительный мир на земле.

Наша позиция была простой, открытой и поэтому прочной. При этом Сталин и Молотов не строили иллюзий насчет откровенности наших временных друзей по несчастью, особенно Черчилля, считали, что эти друзья будут вести двойную, а то и тройную игру, будут ловчить, торговаться: это вообще в характере англосаксов. Понятно, что по ряду вопросов англичане и американцы станут проводить общую линию, навязывая нам свои решения. Конечно, и те, и другие заинтересованы в

разгроме Германии и Японии — это на поверхности. Но как? И англичане и американцы желали бы в затянувшейся войне руками немцев ослабить Россию, вплоть до ликвидации Советского государства. Таков их общий политический фронт — явный и тайный. А имеются ли трещины, могущие расколоть монолит, уменьшить его весомость?

Молотов обратил внимание Сталина на расхождения между правящими кругами Англии и США, быстро нараставшие после наших побед под Сталинградом и в Курско-Орловской битве. Перелом в ходе войны наступил, рано или поздно она закончится победой союзников. А что дальше? Задача ослабевшей в войне Англии состояла в том, чтобы сохранить свою мировую колониальную империю и по-прежнему править на морях и на половине земной суши. А усилившаяся Америка стремилась к установлению своего господства над миром — Pax Americana. Именно в этом принципиальном расхождении и видел Молотов щель, в которую следовало вбивать клинья, дабы расколоть монолит. А Сталин, со свойственным ему практицизмом, воспринял эту мысль как руководство к действию. И предпринял ход, гениальный по простоте и важнейший по своим политическим последствиям.

Несколько часов провел Иосиф Виссарионович над большой схемой Тегерана, испещряя ее пометками. Не менее тщательно изучал план нашего посольства в иранской столице. Судя по всему, остался доволен… Да, я еще не объяснил, почему именно Тегеран был выбран местом встречи «большой тройки». Ясно, что престиж каждого государства требовал, чтобы конференция состоялась на нейтральной почве. При этом (редкий случай!) полностью совпали интересы Советского Союза и Англии. В северном и центральном Иране находились советские войска, введенные туда в начале войны в соответствии с договором 1921 года. А на юге Ирана расположились войска английские, обеспечивавшие доставку грузов из Персидского залива в СССР. Соответствующие органы той и другой стороны имели возможность позаботиться о безопасности своих делегаций. У Сталина был еще один веский довод: как Верховный Главнокомандующий, непосредственно ведущий войну, он не мог надолго покидать свое государство. А Тегеран вот он, рядом. И связь с Москвой постоянная, надежная.

Возражал Рузвельт. Слишком, дескать, далеко от Америки, придется лететь на край света. К тому же конституция запрещает президенту на длительный срок покидать Вашингтон. Но в данном случае срок — понятие относительное, и, покапризничав для престижа, Рузвельт в конце концов согласился. А это, в свою очередь, дало возможность Сталину сделать тот гениальный ход, о котором я упоминал, а теперь расскажу подробней.

Иосиф Виссарионович любил поразмышлять вслух, в присутствии доброжелательного слушателя. Не потому, что нуждался в возражениях и поправках; а скорее из-за того, что расхаживать по кабинету и толковать с самим собой было просто скучно.

Да и вообще — не тронулся ли умом человек?! При этом слушатель должен был обладать по крайней мере двумя качествами: терпением и молчаливостью. И того, и другого у меня было достаточно. Как и у Вячеслава Михайловича Молотова. Он, случалось, слушает, слушает Сталина и полчаса, и час. Вот Иосиф Виссарионович и себя убедил, и Молотова вроде бы тоже. «Ну что, Вече, я прав?» А тот в ответ: «Нет, не прав». И несколькими фразами опрокинет все рассуждения. Но так бывало

редко, гораздо чаще Молотов соглашался со Сталиным, добавляя к его умопостроениям некоторые штрихи.

Изучив схему Тегерана и план расположения советского посольства в Иране, Иосиф Виссарионович, в моем присутствии, рассуждал таким образом:

— Черчилль, как наш Каганович: упрям, тяжеловесен, ломит, как кабан, через любую преграду, умеет добиваться своего и напором, и убеждением. А Рузвельт умнее, дальновиднее, тоньше и впечатлительней, к тому же устает быстро из-за болезни[78] и от этого податливей, уступчивей, особенно по вопросам второстепенным. Между нашими сторонами меньше противоречий, чем у нас с Англией, нет застарелых претензий. Значит, Рузвельт в большей степени наш союзник. Но надо вывести его из-под влияния Черчилля. Чтобы там, в Тегеране, они не встречались вдвоем, не вырабатывали в ходе совещания свою общую линию. Разделить их нужно, позаботиться о больном человеке. Пригласим его остановиться в нашем посольстве. В главном особняке. Он уже подготовлен для американского президента. Есть все удобства. Вокруг большой парк. Тишина. Чистый воздух. Высокий надежный забор отделяет от города. Чего еще надо?

— Рузвельта уже приглашали поселиться в английском посольстве, — не сдержался я. — Там же, у англичан, и переговоры вести. Но президент приглашение отклонил: он будет чувствовать себя более независимым не в гостях, а в стенах своей американской миссии.

— Не убедительно приглашали, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — В нашем особняке условия гораздо лучше, чем у англичан. Просторные апартаменты. И тут же рядом большой зал для пленарных заседаний. Вкатывайся на коляске без пересадок. Устал — вот она дверь в твое жилье, катись отдыхать. Но это не главный довод. А главный — безопасность всех участников конференции, в первую очередь самого Франклина Рузвельта. О нас и об англичанах беспокоиться особенно нечего. Наши посольства примыкают одно к другому, каждое надежно охраняется. Перегороди улицу высокими щитами — и гуляй спокойно по такому коридору из одной усадьбы в другую. А вот до американской миссии на окраине города от нас полтора километра. Это значит, что Рузвельту, Черчиллю и мне придется ездить туда-сюда по улицам восточного города. А что за улицы в Персии? Два осла с вьюками не разойдутся. Людей полно, торгашей полно, нищих полно — толпа, крик, шум. Попробуй уберечься от снайперов, от диверсантов, от бомбометателей. С учетом того, что Тегеран всегда был бойким перекрестком между Востоком и Западом, а сейчас особенно. Из Европы, спасаясь от немецких, итальянских, испанских фашистов, хлынул туда поток беженцев разных национальностей. Немцы просто не могли не воспользоваться возможностью заслать с этим потоком свою агентуру. Тем более, что еще до войны гитлеровская спецслужба имела в Иране свою разветвленную сеть. Она не вскрыта до сих пор, а ее руководитель, резидент абвера Шульце-Хольтус, до сих пор, по сведениям нашей и английской разведки, действует под видом муллы в окрестностях Тегерана, а его сторонники — в самом городе.

— Рузвельт знал об этом, когда дал согласие на встречу в Тегеране.

— Это ему было известно, — с оттенком снисходительности согласился Иосиф Виссарионович. — Но ни Рузвельт, ни Черчилль не знают, что в каком-то звене союзников есть утечка информации, что немцам известно, где и когда состоится встреча руководителей трех держав. Заманчивая и

реальная возможность для Гитлера одним махом срубить три главных головы и обеспечить себе преимущество с самыми радужными последствиями. По данным нашей разведки, в Тегеран засланы до ста опытных немецких диверсантов из числа тех, кто недавно выкрал из-под носа охраны итальянского дуче Муссолини. Руководил той операцией любимец Гитлера, авантюрист Отто Скорцени — шеф эсэсовских террористов и диверсантов VI отдела Главного управления имперской безопасности. Теперь он возглавляет операцию «Дальний прыжок», цель которой — ликвидировать в Тегеране всю Большую тройку и разом изменить ход войны. Мы сообщим обо всем этом президенту Рузвельту, чтобы он осознал: на территории Ирана находятся наши войска, соответственно действуют органы нашей разведки и контрразведки. В советском посольстве мы гарантируем стопроцентную безопасность. В противовес тому риску, которому Рузвельт подвергнет не только себя, но и Черчилля, и меня, если нам по нескольку раз в день придется ездить по улицам в американскую миссию. Полтора километра городского пути обезопасить трудно. А немцы, как мы знаем, попытаются не сразу уничтожить Рузвельта, а похитить его, держать заложником, диктовать свои условия. Это убедительно?

— Американцы захотят доказательств.

— Мы удовлетворим их любопытство, — опять же не без легкой иронии произнес Сталин. — У нас есть донесение из группы Медведева, которая действует в районе Ровно. Одному нашему разведчику, удачно выступающему в роли офицера вермахта, предложено перейти в СС, включиться в подготовку важной операции, которая будет проведена Отто Скорцени в Тегеране. Офицеру обещаны повышение в звании и награда.

— Значит, немцам известно?

— Это не столь важно, — поморщился Сталин. — Важна реакция Рузвельта. Вече уже говорил по этому поводу с Гарриманом.[79] Подчеркнул: если с Черчиллем или со Сталиным произойдет несчастье на пути в американскую миссию, ответственность за это ляжет на Рузвельта. Если, конечно, он не воспользуется нашим сердечным и разумным приглашением. Совесть его загрызет. Гарриман разделяет нашу точку зрения и со своей стороны будет влиять на президента.

Доводы Сталина были весомыми. В конечном счете они подействовали на Рузвельта. К большому неудовольствию Черчилля, американский президент остановился в советском посольстве, по соседству с Иосифом Виссарионовичем. Они могли встречаться и беседовать до и после заседаний, чего практически был лишен английский премьер. Из настороженного соперника Рузвельт превратился в доброжелательно настроенного гостя, достойно и благодарно воспринимавшего оказывавшееся ему щедрое внимание и высокое уважение. Это не говоря уж о том, что особняк, в котором остановился Рузвельт, стараниями молодого Сергея Берии и его помощников был основательно оснащен подслушивающей аппаратурой, которая передавала не только сами разговоры, но и оттенки, эмоциональную краску слов и фраз. Так что еще до начала политической баталии Сталин если не наполовину, то во всяком случае на треть предопределил в свою пользу успех сложнейших дискуссий.

Для меня во всем этом деле неясным осталось вот что: известно ли действительно было немцам время и место встречи руководителей трех великих держав? Были ли реальными сообщения наших разведчиков из-

под Ровно и из других регионов о том, что в Тегеран заброшено сто диверсантов, которые под руководством Скорцени должны обезглавить антигитлеровскую коалицию? Немецкие диверсанты и разведчики в Тегеране, безусловно, имелись, и в большом количестве. Наверно, больше, чем сто. Ну, а все остальное? Впрочем, не так уж важно, где безусловная правда, а где правдоподобная выдумка. Главное, что Сталин осуществил задуманное.

С самого начала подготовки к конференции Иосиф Виссарионович решил: наша делегация должна быть небольшой, но сильной и авторитетной. Кроме самого Сталина, в нее включен был нарком иностранных дел Молотов. А вот третья кандидатура — военного представителя — определилась не сразу. По логике должен был ехать Жуков, как член Ставки, как первый заместитель Верховного Главнокомандующего, хорошо знающий положение на фронтах. Ну и как выдающийся полководец, чье имя было известно и у нас, и за рубежом: его мнение по военным вопросам было бы веским. Но Сталин, советуясь с членами Политбюро, сказал: «Нет, товарищу Жукову нельзя покидать свой пост. Мы не можем оголять наше военное командование. Он должен вести войну, пока я буду там, в Тегеране». А оставшись с Молотовым и со мной, присовокупил еще один довод: «Жуков прямой, как штык. Он не политик, не дипломат, может поскользнуться на паркете. Тем более при встрече с американским госсекретарем». Иосиф Виссарионович произнес это вполне серьезно, но ни Молотов, ни я не удержались от улыбки, понимая, что он имел в виду. Несколько месяцев назад в кремлевском зале заседаний, где присутствовало много людей, в том числе военные и дипломаты, зашел разговор о том, что Черчилль, как и в прошлом году, возможно, приедет в Москву.

— Ну и Хелл с ним![80] — громко сказал, как выругался, Жуков, причем фамилия прозвучала несколько искаженно и кое-кому резанула слух, особенно дипломатам. Даже Сталин замер на несколько секунд, смекая, пропустить ли грубость мимо ушей или осадить маршала. Однако быстро нашелся. Когда-то, еще при жизни Надежды Сергеевны Аллилуевой, он начал самостоятельно изучать английский язык, который, в отличие от немецкого, плохо давался ему. Он забросил это дело, но кое-что осталось в памяти.

— Товарищ Жуков, почему вы так недружелюбно настроены, почему черт с ним? (Hell — по-английски — черт.)

— Потому, товарищ Сталин, что ни Черчилль, ни этот Хелл Второго фронта нам не привезут. Никаких результатов. — Жуков опять, и теперь уже подчеркнуто «подправил» сразу две фамилии.

— Какой странный язык, — тая улыбку, произнес Иосиф Виссарионович. — Пишется одно, а читается другое. Написано вроде бы Ливерпуль, а произносится как Манчестер. Вы уж поаккуратней с произношением.

— Постараюсь, товарищ Сталин, — заверил Георгий Константинович.

В ту пору наши дипломаты и военные много общались с американцами и англичанами, бывали застолья с основательным возлиянием, кто-то кому-то рассказал про случай с Жуковым в качестве веселого курьеза, случай получил известность, дошло и до Корделла Хелла, не лишенного, вероятно, чувства юмора: он посмеялся, но, кажется, не обиделся. И не забыл, разумеется.

Не знаю, какой из двух приведенных Сталиным доводов Против поездки Жукова в Тегеран оказался более серьезным, но факт остается фактом: вместо Георгия Константиновича в состав делегации был включен другой маршал — Климент Ефремович Ворошилов, деятель не столько военный, сколько военно-политический, в общении с высокопоставленными иностранцами поднаторевший.

Открыть конференцию намечено было 28 ноября. Сталин покинул Москву на несколько суток раньше. Дело в том, что Иосиф Виссарионович, весьма ценивший авиацию, заботившийся о ее развитии, сына определивший в летчики, сам возможностями скоростного транспорта не пользовался, предпочитая поезд или автомашину — даже на дальнее расстояние. Непривычен, старомоден был, а может, неважно чувствовал себя в воздухе. Вот и на этот раз решил ехать до Баку в салон-вагоне своего спецпоезда. Поздно ночью я и еще несколько человек проводили Иосифа Виссарионовича на вокзал. Машина въехала на перрон, Сталин поднялся в тамбур, помахал рукой, и состав сразу же тронулся.

В Баку делегацию ожидали два пассажирских самолета типа Ли-2. Они прошли специальную проверку на техническую надежность, были переоборудованы со всем возможным комфортом. Имели, в частности, звуконепроницаемые салоны, в которые почти не проникал шум двигателей. Командиром одного экипажа был сам командующий авиацией дальнего действия генерал-полковник А. Голованов. Другой экипаж возглавлял полковник В. Грачев. Предполагалось, что Сталин полетит в машине Голованова, но Иосиф Виссарионович рассудил иначе. «Генералы водят самолеты от случая к случаю. Полетим с Грачевым, это надежней. И фамилия подходящая». Запасной экипаж стал основным. Он благополучно доставил Иосифа Виссарионовича в Тегеран, а потом обратно — в Баку. Единственный, кстати, экипаж, удостоившийся чести и доверия возить Сталина. Насколько я знаю, ни до, ни после этого вояжа Иосиф Виссарионович в воздух не поднимался.

2

Тегеранская конференция давно изучена, описана в разных ракурсах, обросла легендами. Много сказано правды, но и нафантазировано с три короба. Бесспорно одно: встреча руководителей трех великих держав стала событием воистину историческим по своим важным последствиям. Решения Большой тройки, принятые тогда, заметно повлияли на ход войны, на послевоенное мироустройство. Сказываются они и до сих пор. Взять хотя бы деятельность Организации Объединенных Наций, основа которой была заложена в Тегеране.

Одним из важнейших был, естественно, вопрос об открытии Второго фронта. Доколе же Советскому Союзу нести на себе основную тяжесть войны?! Доколе союзники будут отделываться обещаниями?! Как ни ловчил Черчилль, пытаясь выдать за Второй фронт бои в Северной Африке и в Италии, спокойная твердость Сталина и поддержка Рузвельта, оценившего справедливость требований советской делегации, преодолели сопротивление англичан. Как ни хитрил Черчилль, стараясь доказать, что союзникам выгоднее всего развивать активные действия на Балканах (а значит, упредить продвижение советских войск в южную и центральную Европу. — Н. Л.), замысел его завершился провалом. Вторым фронтом можно было считать только широкомасштабную высадку союзников во

Франции, только появление их на важном стратегическом направлении могло отвлечь с советско-германскою фронта какую-то часть немецких дивизий.

Черчилль горячился, возражал, протестовал, по под давлением Сталина и Рузвельта вынужден был дать согласие на проведение операции «Оверлорд» — на высадку во Франции весной 1944 года. А когда Сталин, сославшись на многочисленные невыполненные обещания по этому поводу, на желание советской стороны знать полную правду о предстоящей операции, чтобы соотносить с ней свои планы, предложил назвать конкретную дату хотя бы в пределах двух недель, сообщить основные данные замысла и фамилии ответственных исполнителей, Черчилль заявил высокомерно: «В военное время правда столь драгоценна, что ее должны оберегать телохранители из лжи». «Значит, и на этот раз могут быть изменения?» — напрямик спросил Сталин. Черчилль пожал плечами. А Рузвельт, смягчая конфликт, поспешил заверить советскую делегацию, что все будет выполнено в намеченный срок. Но даже и после такого заявления американского президенты Черчилль оттягивал начало «Оверлорда» сколько мог, сберегая своих солдат, придерживаясь принципа: чем больше немцы и русские ослабят себя в драке, тем легче будет справиться с одними, а если понадобится, то и с другими. Войска союзников высадились на побережье Франции не весной, а лишь 6 июня 1944 года.

В дни, когда шла конференция Большой тройки, еще далеко было до окончания войны, еще застилал горизонт истории туман неизвестности, смешанный с пороховым дымом, однако американцы и англичане настояли на том, чтобы обсудить послевоенное устройство Европы, в частности, Германии. Особенно стремился к этому Рузвельт, желавший если не навсегда, то по крайней мере надолго предотвратить угрозу новой агрессии со стороны государства, дважды развязывавшего кровавую мировую бойню. Американский президент предложил план четкий, категоричный, но, мягко говоря, несколько наивно-самоуверенный. По замыслу Рузвельта, Германию нужно было разделить на пять отдельных независимых государств: Баварию, Саксонию и т. д. Кроме того, из состава Германии выделялись Рурская и Саарская области, а также районы Кильского канала и Гамбурга: они переходили под управление Организации Объединенных Наций или специально созданного для этой цели общеевропейского органа. Короче говоря, Германия как единая сильная страна прекращала существовать. И никакой больше угрозы со стороны пресловутого прусско-немецкого милитаризма. Тишь да гладь во всем мире.

Иосиф Виссарионович сразу усмотрел в американо-английском плане изъяны, сводившие на нет весь замысел, казавшийся на первый взгляд выполнимым и перспективным. Не вступая в спор, Сталин корректно изложил свои соображения. Как только этот замысел станет известен немцам, фашистская пропаганда воспользуется им для еще большего разжигания национализма, ненависти к антигитлеровской коалиции. Немцы будут сражаться с двойным и тройным упорством, отстаивая не государственный строй, не Гитлера, а то, что несравненно дороже каждому, — свое Отечество. И как ни разделяй страну на части, как ни изолируй их, но Германия есть и будет единым организмом с единой культурой, экономикой, территорией, языком. Стремление к воссоединению будет нарастать, создавая напряженность на континенте.

Рано или поздно отдельные части страны вновь сольются, преодолев все преграды, — возможно, новой войной. И вообще: разве можно валить ответственность за злодеяния фашистской верхушки на все население?!.. Вот тогда и образовалась, оформилась замечательная фраза Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, а государство германское остаются». Появился лозунг, определивший впоследствии наше отношение, — отношение победителей, — к поверженному противнику. С этим лозунгом наши войска вступили в Германию, ожидавшую от нас кровавой мести за причиненные нам беды и страдания, вплоть до искоренения носителей зла вместе с их очагом. Но слова Сталина вселили немцам надежду на спасение, на прощение, на выживание. И остудили справедливые, но чрезмерные страсти наших бойцов.

В Тегеране решение по Германии не было принято, отложили на будущее: убедил Иосиф Виссарионович своих коллег. Да, не зря мы в Москве тщательно готовились к конференции Большой тройки. Наша делегация имела прочные, обоснованные позиции по всем пунктам. Черчилль пытался добиться своего самоуверенным напором, эмоциями, экспансивностью, по такой метод, даже подкрепленный находчивостью, далеко не всегда помогал ему. Рузвельт был рассудительней, стремился к объективности, к справедливым, устраивавшим всех решениям. А основным оружием нашей делегации были логика, точность, убедительность фактов. Пример тому — хотя бы определение послевоенной границы между Советским Союзом и Польшей.

Все участники конференции были согласны с тем, что Польша должна стать экономически сильным, независимым государством, дружественным по отношению к Советскому Союзу. Территориальные интересы ее будут удовлетворены за счет побежденной Германии. Для Рузвельта, как и для Сталина, все было ясно. Однако премьер-министр Англии, всегда имевший в Польше особые интересы и побуждавший ее к конфронтации с Россией, и на этот раз не удержался от того, чтобы выторговать для себя какую-то выгоду. Со скрежетом зубовным признав границу между Польшей и СССР, установленную в 1939 году, после возвращения в родное лоно Западной Украины и Западной Белоруссии, подтвердив тем самым законность так называемой «линии Керзона», которая была предложена самими же англичанами после нашей гражданской войны, Черчилль начал оспаривать некоторые существенные детали этой линии, особенно южной ее части. Предъявил карту, на которой линия проведена была восточнее Львова, что означало — этот большой город должен был отойти к Польше. При этом Черчилль, подогретый солидной порцией коньяка, настойчиво утверждал, что никакого другого начертания границы не существует.

Иосиф Виссарионович не стал возражать, только переглянулся с Молотовым. Тот кивнул своему помощнику, который вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с черной папкой солидного размера. Извлек из нее и расстелил на столе большую старую карту, на которой четко прослеживалась нанесенная когда-то линия раздела. Это была карта, над которой потрудился сам лорд Керзон. Чтобы не осталось никаких сомнений, Молотов зачитал и предъявил Черчиллю текст радиограммы, подписанной опять же самим Керзоном. В ней перечислялись населенные пункты, расположенные восточнее и западнее намеченной границы. Львов, конечно же, принадлежал России. Черчилль недовольно засопел, потеряв все свои легковесные козыри. А Рузвельт, как

рассказывал Ворошилов, опершись на подлокотники кресла и всем телом подавшись вперед, с любопытством наблюдал за необычной дискуссией. Как азартный зритель на увлекательном спортивном состязании. Его, заокеанского властелина, не очень-то интересовало, на сколько километров туда или сюда будет передвинута какая-то там европейская граница, его привлекал сам процесс спора, в котором агрессивная наглость одной стороны столкнулась со спокойной уверенностью другой. По утверждению Ворошилова, уважение и чуть ли не восторг светились в глазах президента, когда Сталин почти без слов одержал убедительную аргументированную победу… Вполне возможно. Считается, что люди ущемленные, с физическими недостатками, углубленные в себя, как правило, весьма любопытны и азартны. А для такой натуры, как Рузвельт, особый интерес представляла, вероятно, схватка интеллектуальных борцов.

3

Из Тегерана пришло сообщение: Лукашову срочно выехать в Сталинград. Ясно, что вызывал Иосиф Виссарионович, но зачем? И почему туда? Ну, сборы привычны и недолги — походный чемоданчик всегда наготове.

В приволжском городе на вокзале меня встретил Власик. Повел в дальний конец станции. На том самом запасном пути, где стоял в восемнадцатом году поезд Сталина, я увидел знакомые, старого образца, вагоны. В салоне навстречу мне вышел Иосиф Виссарионович: улыбающийся, довольный, будто помолодевший, сменивший официальный маршальский мундир на привычный полувоенный китель. Сразу предупредил: час на отдых и отправимся в город.

К поезду подали три лимузина. Сталин облачился в свою старую простую шинель без пуговиц и знаков различия, надел фуражку, по-моему, ту самую, которую носил на гражданской войне. Только не набекрень, по-казацки, как прежде, а без всякой лихости. И буйная шевелюра, увы, не виднелась из-под нее. Иосиф Виссарионович сел в среднюю машину рядом с водителем. На заднем сиденье разместились Ворошилов, Власик и я.

Ехали медленно. Сталин помалкивал, разглядывая руины. Ворошилов, который уже побывал в этом городе после боев и видел его разрушенным, теперь возбужденно рассказывал о том, что было на конференции. Как Черчилль в торжественной обстановке вручил Иосифу Виссарионовичу большой меч с двуручным эфесом и инкрустированными ножнами, изготовленный лучшими английскими мастерами. С выгравированной на лезвии надписью: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа». Этот почетный меч уже передан героическому городу.

— Клим, посмотри, — вмешался Иосиф Виссарионович. — Кажется, здесь ты жил с Екатериной Давыдовной? Узнаешь?

— Похоже, — неуверенно произнес Ворошилов.

— Здесь, — подтвердил Власик. — Николай Алексеевич тоже потом в этом доме квартировал.

Я вгляделся. Нет, ничего нельзя было определить. Ночной полумрак, наполовину рухнувшая стена, груды битого кирпича. Уничтожено, исчезло все, что сделано было человеческими руками. Неизменным осталось только то, что сотворила природа. Я сразу узнал место, когда мы вышли из

машины и остановились на краю крутого берегового откоса. Земля была изъязвлена воронками, окопами, какими-то ямами, но это были всего лишь поверхностные шрамы, общий абрис остался прежним.

— Знаете, что предложил нам Черчилль? — негромко заговорил Иосиф Виссарионович. — Он сказал, что Сталинград является символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом невероятных человеческих страданий. Надо сохранить этот символ на века, чтобы потомки могли ощутить здесь величие победы и ужас войны. Сохранить как предупреждение будущим поколениям. В этом он прав. Но он посоветовал не трогать руины, оставить их, как большой памятник для паломничества, для поминаний. А по соседству возвести новый, красивый город…

— И вы согласились?

— Нет, в этом Черчилль не прав. Можно и нужно сохранить какую-то разрушенную улицу или часть ее в память об Отечественной войне. Но город мы должны восстановить, отстроить. Это ведь тоже символично. Это будет символ возрождения жизни. Ворошилов согласен со мной. А как считаете вы?

— Мечтать никогда не вредно. Но нам сейчас не до роскоши, людям жить негде, а восстановить город с уцелевшими домами, фундаментами, коммуникациями гораздо легче и быстрее, чем строить на новом месте.

— И это тоже, — кивнул Сталин и поправил съехавшую на глаза фуражку.

— Какое впечатление произвел Черчилль? — поинтересовался я. — Впервые общение было долгим.

— Мое мнение о нем осталось прежним. Это господин, вечно беременный политикой. Двуликий Янус, утверждающий, что сейчас правда столь драгоценна, что ее должны оберегать телохранители из лжи… Хотелось бы верить его обещаниям, но не могу заставить себя.

— А Рузвельт?

— Он внушает доверие. Это большой умный ребенок. Непосредственный ребенок, но себе на уме, — улыбнулся Иосиф Виссарионович.

Слушая Сталина, я одновременно думал о странностях судьбы, которая снова привела меня в город, так сильно изменивший когда-то мою жизнь. Здесь завязалась наша дружба с Иосифом Виссарионовичем, здесь впервые увидел я Ворошилова, Власика. И вот через четверть века, после многих событий, после многочисленных свершений и невозвратимых утрат, мы все четверо снова тут, на том же береговом откосе, где бывали и прежде. Совсем близко, за пологом темноты, стрежень Волги, где затопили мы баржу с пленными офицерами, где свел я свои счеты с Давнисом и Оглы. Было ли все это?

Повернувшись к Власику, встретил его вопрошающий взгляд: «Помнишь?» Я молча кивнул: «Да, конечно».

Громкий голос Ворошилова возвратил меня к действительности. Климент Ефремович звал нас в машину, опасаясь, что простудимся на ветру. Мы пошли.

В ночь на 7 декабря 1943 года поезд с советской делегацией прибыл в Москву. После долгого отсутствия Сталин возвратился в столицу. А днем в печати появилось сообщение о Тегеранской конференции, была опубликована Декларация, подписанная главами трех великих держав и свидетельствовавшая о том, что солидарность антигитлеровской коалиции достигла зенита.

Среди многих поручений, коими обязывал меня или доверял мне Иосиф Виссарионович, одной из самых продолжительных и самых неприятных была необходимость постоянно знать, что представляют собой вооруженные силы Польши и вообще, что происходит у нашего беспокойного соседа, не подменяя, естественно, того отдела Главного разведывательного управления (ГРУ), который занимался странами Восточной Европы. Польская проблема существовала с давних пор, являясь причиной раздоров между Россией и Германией, между Советским Союзом и Великобританией. Но особенно интерес к этой проблеме возрос после Тегеранской конференции, наметившей обустройство послевоенной Европы. Для нас Польша — стратегическое предполье, обеспечивающее безопасность с запада. Великобритания, рассчитывавшая после победы господствовать над ослабленными войной странами Центральной и Западной Европы, намеревалась использовать Польшу, как и Балканы, в качестве буфера, барьера на пути распространения влияния нашей Великой державы. Черчилль готов был использовать любые средства в этой подспудной борьбе.

У Главного разведывательного управления своя специфика: там выводы, основанные на секретных сведениях, на документах, на фактах. От меня же требовалось другое — личное мнение по тем аспектам, которые в тот или иной момент интересовали Сталина. Мое мнение он сопоставлял с оценками специалистов, определяя собственное отношение. Касательно проблем польских это было для Иосифа Виссарионовича не только необходимостью, но и многолетней привычкой, с которыми, как известно, он расставался весьма неохотно.

Еще в начале 1920 года, когда белополяки затеяли свой авантюрно-агрессивный поход на восток, захватив значительную часть Белоруссии и Украины вплоть до Киева, еще тогда Сталин часто обращался к Александру Ильичу Егорову и ко мне с вопросами о Пилсудском, о строении и вооружении только что созданных польских войск; об их офицерских кадрах (все ведь из русской царской армии!), и о многом другом. Я знал и наших военных, судьбы которых так или иначе были связаны с событиями в Польше. Хотя бы Г. Гая (Гайка Бжишкяна), который удачнее некоторых других проявил себя в польской кампании, смог после контрудара противника вывести свою армию из окружения, пробиться на территорию Германии. Об этом я уже писал, как и о трагедии Гая, который пострадал при аресте из-за горячности своего характера (сбежал от охраны из вагона). То, что известно было о польской кампании, о польских войсках Егорову, Тухачевскому, Гаю и другим товарищам, обретавшимся теперь уже на ином свете, должен был знать и я: во всяком случае так считал Сталин. И едва возникала необходимость, обращался ко мне. Хорошо, что такая надобность появлялась не часто, однако я должен был постоянно находиться «во всеоружии», если и не помнить деталей, подробностей, то всегда иметь свое суждение.

Мнения наши по польским делам не совпадали, кстати, чаще, чем по другим позициям, но Сталин обычно признавал мою правоту. А заговорил я теперь об этом потому, что в сорок третьем году, перед Тегеранской конференцией и особенно после нее, стало ясно: польская проблема разрастается в крупное яблоко раздора между нами и союзниками, особенно между нами и англичанами, которые претендовали на особую

роль в Польше. Не углубляясь в политическую сторону этого сложного конфликта, скажу немного о том, что касалось меня, — о стороне военной. Вскоре после того, как фашисты напали на нашу страну, советское правительство заключило соглашение с польским эмигрантским правительством Сикорского, обосновавшимся в Лондоне, о формировании польской армии, которая будет в оперативном отношении подчиняться нашему Верховному Главнокомандованию. Эту идею, кстати, опять же поддерживали англичане, явно желавшие иметь на нашей территории польские войска, поддающиеся влиянию британцев. На всякий случай. Мы согласились, хотя и знали капризность, амбициозность необрусевших поляков. Хлопотно иметь с ними дело, но несколько добавочных дивизий на фронте не помешали бы нам. А дальше время покажет. Пусть повоюют поляки вместе с нами за свою Родину, не прятать же их за спинами наших бойцов.

Сформировать польскую армию намечалось на Урале к 1 октября 1941 года. Первоначально численность определялась в 30 тысяч человек, однако людские ресурсы оказались такими, что вскоре эту цифру увеличили втрое. Откуда кадры? На нашей территории находились десятки тысяч польских солдат и офицеров, плененных и интернированных Красной Армией при освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии. Многие из них бежали к нам, не желая оказаться под немецким сапогом. Это были обученные воины, которых требовалось только организовать и направить. Кроме того — поляки, проживавшие в нашей стране, и не только на западных окраинах, но даже в Сибири, — потомки вольных и невольных переселенцев еще с царских времен. Короче говоря, людей хватало. Вооружение должна была поставлять Англия. Но англичане, как известно, щедры лишь на обещания… Нам самим пришлось при скудных в то время возможностях выделять для поляков все: от продовольствия до пулеметов и артиллерийских систем. Англичане же «позаботились» лишь о кандидатуре командующего польской армией, навязав нам через Сикорского генерала Андерса. Я не мог без раздражения слышать эту фамилию и при первой возможности высказал Иосифу Виссарионовичу свое мнение.

— Почему вы так настроены против него? — спросил Сталин. — Потому, что Андерс командовал в двадцатом году кавалерийской бригадой в походе на Киев?

— Бездарно командовал. Ничего, кроме жестокости. И к подчиненным, и к мирным жителям. Каратель, а не офицер.

— Тем самым способствовал разгрому белополяков, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Гораздо хуже, если бы он удачно командовал своей бригадой. Но это прошлое, Николай Алексеевич, кто из нынешних польских генералов безгрешен перед нами? Других-то нет.

— Андерс выдает себя за католика, коих большинство в Польше, а на самом деле он протестант.

— Это имеет для нас значение?

— Во всяком случае характеризует его как приспособленца, жулика, человека бесчестного. Его нечистоплотность известна была в польской армии. Транжирил казенные деньги, содержал собственных скаковых лошадей, целую конюшню — за казенный счет. Устраивал кутежи. Его уличали, переводили на другое место. Без повышения, но и не понижали. За двадцать лет командовал шестью разными бригадами — это своеобразный рекорд.

— Кто покровительствует ему?

— В лондонском правительстве Сикорского кандидатуру Андерса выдвинул епископ Гавлина. В первой мировой войне унтер-офицер немецкой армии. Андерс, кстати, тоже немецкого происхождения, по некоторым данным из курляндских баронов. Поддерживает Андерса его друг профессор Кот, дипломат и соратник Сикорского. Этим деятелям генерал служит верой и правдой.

— За своего ставленника они сами несут ответственность. За его моральные качества. Нам важно, как он будет командовать.

— Боюсь, как и в пресловутом «походе на Киев».

— Не допустим, — сказал Сталин. — Мы укрепим польскую армию нашими опытными военными советниками, мы направим туда надежных польских товарищей.

— Андерс и его подручные не лыком шиты. Коммунистов подвергают остракизму, задвигают на низшие должности или вообще изгоняют. Как и тех польских офицеров, которые всерьез намерены воевать с немцами.

— Что значит «всерьез?» — нахмурился Иосиф Виссарионович. — Скажите прямо: польские дивизии готовы к отправке на фронт?

— Нет. Полученное от нас вооружение либо лежит на складах, либо рассеяно по разным полкам и дивизиям таким образом, что везде некомплект, недостача того или другого. Одна дивизия без винтовок и автоматов, другая без пулеметов и артиллерии. Нет ни единой полностью сколоченной части.

— Что это, неумение или саботаж?

— Позиция. Вот запись выступления Андерса на совещании доверенных офицеров штаба, — протянул я Сталину страницу текста:

«В связи с тем, что на советско-германском фронте положение тяжелое, следует польскую армию перевести на юг, по возможности ближе к Афганистану, а в случае катастрофы на фронте вывести ее в Персию или в крайнем случае в Индию или в Афганистан.

Исходя из этого, всех прибывающих в армию людей направлять не в запасные части, находящиеся на Урале, а в Ташкент и южнее.

Иметь своих представителей на узловых станциях, которым вменить в обязанность направлять людей на юг, чем поставить Советы перед совершившимся фактом и вынудить их согласиться на перевод армии».

Прочитав, Иосиф Виссарионович долго молчал, набивая трубку, прикуривая. Произнес огорченно:

— Да, вы правы — это позиция. И позиция не просто дезертира, а злонамеренного, сознательного противника. Нам каждый боец важен на фронте, а Андерс намерен увести за границу сто тысяч… Мы их одели, обули, вооружили, а они бегут от войны в такой трудный момент. Это нож в спину…

Сам собой возникает вопрос: мог ли в то время Сталин разрушить замысел генерала Андерса и его лондонских покровителей, не допустить предательского ухода поляков с нашей территории? Безусловно. Только зачем иметь в своем тылу крупное воинское объединение, явно не стремящееся сражаться на нашей стороне?! Разоружить, расформировать? Но люди-то, недружелюбно настроенные, останутся, еще больше ожесточатся, затаятся, будут вредить. Да и не хотел Иосиф Виссарионович портить отношения с англичанами, которые очень поддерживали стремление генерала Андерса увести свою армию. И Сталин разрешил.

В те тяжкие дни, когда советские войска истекали кровью на подступах к Волге, когда в великой битве под Сталинградом решалась судьба не только нашего народа, но и всего человечества, в том числе и поляков, генерал Андерс со своими подручными вписал самые грязные, самые омерзительные страницы в историю Польши. Когда Россия, истощив людские резервы, отправляла в приволжские степи юнцов, стариков, инвалидов, чтобы остановить фашистские орды, с соседнего Урала и из тех же приволжских степей по ночам, втихаря отправлялись на юг, к иранской границе десятки тысяч крепких, здоровых мужчин самого боевого возраста от двадцати до сорока лет. Постыдно уклонялись от войны сытые, хорошо обученные солдаты. Впрочем, какие уж там солдаты — гнусные дезертиры! Девяносто шесть тысяч! Ровно столько, сколько мы потом взяли в плен немцев под Сталинградом! А польские дезертиры отсиделись в странах, где не звучали выстрелы. Спасли свои шкуры, но покрыли несмываемым позором себя и свой народ.

Сосчитаны только вооруженные польские военнослужащие, официально зачисленные в армию, которую увел Андерс в Иран и далее. Но были и не занесенные в списки, были утаенные, были члены офицерских и солдатских семей, гражданская обслуга. По некоторым данным, общее количество беглецов от войны достигло трехсот тысяч. Многие ли из них понимали, что, уходя из России, с прямого пути, ведущего к освобождению Польши, они обрекают на муки, на уничтожение гитлеровцами своих родных и близких, еще уцелевших на оккупированной территории?! Некоторые поляки плакали, но подчинялись своим командирам. Однако слезы — это не кровь.

Справедливость требует сказать, что, несмотря на приказы, на враждебную нам агитацию, на посулы и обещания, Россию покинули не все польские воины. Немало солдат и офицеров осталось в нашей стране с одним желанием — скорее попасть на фронт, сражаться с ненавистным противником. Главным образом — польские коммунисты. Были и те, кто по тем или иным причинам не попал в армию Андерса. Были советские граждане польского происхождения, готовые вступить в бой с фашистами. Были евреи, глубоко переживавшие за своих польских родственников. Эти люди, объединенные Союзом польских патриотов, обратились к Советскому правительству с просьбой о сформировании первой польской народной дивизии. Разрешение было получено, поддержка оказана.

В мае 1943 года возле деревни Сельцы на берегу Оки появились палатки нового военного городка. Со всего Советского Союза хлынули сюда добровольцы, может, и не такие опытные, как солдаты Андерса, но готовые отдать жизни свои за освобождение Польши от гитлеровского ига. Их принимали польские офицеры — патриоты во главе с полковником Зигмунтом Берлингом, не запятнавшие свою совесть предательством. Так зарождалась польская дивизия имени Тадеуша Костюшко, которая пройдет потом славный боевой путь, кровью смывая позор андерсовской измены. Из этой дивизии, из добротного семени, вырастет и окрепнет Народное Войско Польское.

5

Примерно через полгода после того, как андерсовские «вояки» покинули нашу страну, польская проблема обострилась вновь, причем с самой неожиданной стороны, доставив беспокойство нашему руководству и

весьма неприятные заботы мне лично. Прибыв по звонку Поскребышева в Кремль, я застал Сталина в таком раздражении, в каком не видел после истории со Светланой, когда дело дошло до пощечины. Окно квартиры, выходившее на Царь-пушку, было открыто, но это не приносило прохлады, поздний летний вечер был таким душным, что Иосиф Виссарионович, сбросив китель, остался в бязевой солдатской рубахе. Придерживая правой рукой полусогнутую левую (ныла она иногда, а может, ушиб ее), быстро расхаживал в полутьме от стены до стены. Спросил резко:

— Что известно о расстреле польских офицеров, взятых в плен в тридцать девятом?

— Собственно, ничего, — пожал я плечами. — Только заявления Геббельса и его молодчиков о том, что неподалеку от Смоленска в дачной местности Катынь якобы обнаружено массовое захоронение убитых поляков.

— Якобы или действительно? Когда, сколько, кто убивал, могут спросить Рузвельт и Черчилль. Что должен им ответить?

— Есть только заявления Геббельса, — повторил я. — В Катыни работает созданная немцами комиссия. Похоже, еще одна пропагандистская атака.

— Клин между нами и союзниками, — сформулировал Иосиф Виссарионович.

— Пропагандистский крючок с новой наживкой.

— Польское правительство в Лондоне этот крючок заглотило. И по-моему, сделало это очень охотно. Слишком быстро и слишком шумно. Помогают немцам сеять недоразумения. А у нас никакого противоядия. Это недопустимо, Николай Алексеевич. Ну что мы скажем англичанам и американцам? Они не пройдут мимо, будьте уверены. А этим двум дуракам, Лаврентию и Меркулову, ничего, видите ли, неизвестно. Так они утверждают. Может сами и напортачили, а спрятать концы ума не хватило. Надеются, что пронесет. Начните с этих болванов, поговорите с ними, пройдите по всей цепочке. Мы должны опираться на истину.

— Чтобы в любом случае не попасть впросак, — поддержал я. — Но в Катыни немцы.

— Пока немцы. А вы работаете здесь.

Значит, понял я, опять привычная схема: официальные органы ведут свое расследование, а я независимо от них готовлю объективные материалы для Иосифа Виссарионовича, чтобы он, сопоставив факты и мнения, сделал свои выводы.

Методика, конечно, плодотворная, но для меня все это — добавочные заботы, поиски, встречи с людьми, которых и видеть-то не хотелось. Я к тому же, если впрягался в воз, то тянул его — изо всех сил, иначе не мог, натура не позволяла, а силы были уже далеко не те, что прежде.

Считаю нужным поведать о своем видении и понимании катынских событий хотя бы потому, что конфликт этот не закрыт до сих пор. Наши враги на Западе, достойные наследники геббельсовской пропаганды, всякие там Би-би-си, «Свободы», картавые американские «голоса» и прочая антисоветская, антирусская шушера с завидным постоянством бьет и бьет в одну точку, продолжая раздувать катынские страсти, бессовестно манипулируя памятью погибших поляков. Повторяю, в общем, то, что в свое время докладывал Иосифу Виссарионовичу.

С чего началось? Летом 1942 года рабочие тодтовской (военно-строительной) организации, в которой под руководством немцев трудились лица разных национальностей (оружие им не доверяли),

обнаружили среди деревьев ров, наполненный трупами, еще не успевшими разложиться. Большинство составляли польские офицеры в своей традиционной форме, но были трупы и в русских гимнастерках, и в гражданской одежде. Это были не погибшие в боях, не умершие от болезней, а главным образом расстрелянные. Тодтовские рабочие-поляки заинтересовались, естественно, прежде всего своими согражданами. Стали копать дальше, счет трупам пошел на сотни. Начались споры-разговоры, возникли вопросы. О случившемся сообщили в Берлин. Срочно прибывшие оттуда представители гестапо распорядились все работы в Катыни прекратить, ров засыпать и заровнять, рабочих-поляков разослать по другим строительным подразделениям, а наиболее осведомленных ликвидировать. Ни единого сообщения не просочилось в печать. Над Катынью опустилась завеса секретности, и все же слухи о захоронении расстрелянных полностью пресечь не удалось, они продолжали распространяться, дошли до Польши. Назревал скандал, очень и очень невыгодный немцам в той обстановке, которая сложилась весной 1943 года.

Поражение под Сталинградом не только подорвало могущество фашистской армии, но и оказало огромное моральное влияние на сателлитов Германии, на население оккупированных государств. Пошатнулась вера в непобедимость Гитлера. Подняли головы противники немецких фашистов. Авторитет Германии резко упал. Она вынуждена была уже не столько диктовать свою волю захваченным странам, сколько искать их расположения, даже заискивать перед ними. Особенно перед населением тех стран, которые лежали на пути советских войск в Германию, тех территорий, на которых немцы рассчитывали измотать, остановить наступающие русские армии. А это прежде всего Польша и республики Прибалтики. Если не поддержка, то хотя бы нейтралитет населения этих территорий требовался теперь немцам. Нельзя было разжигать ненависть. Но фашисты натворили там уже столько черных дел, что сокрыть их становилось все труднее, заслоны секретности лопались то в одном, то в другом месте.

Известия о планах уничтожения целых народов, об истреблении евреев, цыган и поляков, о многочисленных лагерях смерти распространялись повсюду, но подлинных фактов, подлинных свидетельств о злодеяниях фашистов на контролируемых ими территориях было недостаточно. Дисциплинированные немцы умели хранить тайны. Лишь в сорок третьем году начала обрисовываться подлинная картина гитлеровского «нового порядка», удушливый запах печей фашистских крематориев ощутили жители не только Европы, но и всего мира. Получил известность целый пакет документов о поведении захватчиков в прибалтийских республиках. Приведу хотя бы один, он короткий и в то же время показывает положение не вообще, а в конкретном месте на конкретных примерах.

«Секретно! Государственной важности.

Шеф полиции безопасности и СД

Берлин, 12 октября 1941 года

Тираж 50 экз.

Обзор событий в СССР № 111

ЕВРЕИ В ЭСТОНИИ

К началу 1940 года в Эстонии проживали примерно 4500 евреев. Из них 1900–2000 жили в Ревеле. Крупные еврейские общины были в Тарту, Нарве и Пярну, в сельской же части Эстонии было мало евреев…

Во время продвижения германских войск по эстонской территории примерно половина евреев приготовилась к бегству, так как эти евреи сотрудничали с советскими властями и с ними же собирались бежать в восточном направлении. Лишь немногие были схвачены в Ревеле, поскольку путь к бегству им был отрезан. После занятия страны в ней, вероятно, находилось около 2000 евреев.

Созданная в момент вступления вермахта служба самообороны немедленно приступила к арестам евреев. Спонтанных демонстраций против евреев не было, так как население предварительно не получило разъяснений.

Поэтому с нашей стороны было предписано следующее:

1. Подлежат аресту все евреи мужского пола старше 16 лет.

2. Подлежат аресту все работоспособные еврейки в возрасте от 16 до 60 лет, живущие в Ревеле и его окрестностях. Их следует использовать на торфоразработках.

3. Евреек, живущих в Тарту и его окрестностях, разместить в синагоге и одном из жилых домов.

4. Подлежат аресту все работоспособные евреи и еврейки, живущие в Пярну и его окрестностях.

5. Подлежат взятию на учет все евреи с указанием возраста, пола и степени пригодности для работ и на предмет помещения в сооружаемый лагерь.

Евреи-мужчины старше 16 лет, за исключением врачей и назначенных на должности старшин, под надзором зондеркоманд были казнены членами эстонских отрядов самообороны. В городе и окрестностях Ревеля казни продолжаются, так как поимка прячущихся евреев не закончена. Количество до сих пор расстрелянных в Эстонии евреев составляет 440.

По завершении этого мероприятия в живых останутся 500–600 евреек с детьми.

Сельские общины уже сейчас полностью свободны от евреев…

В качестве немедленных мер предусмотрены следующие:

1. Обязательное ношение всеми евреями старше 6 лет желтой размером не менее 10 сантиметров звезды, нашиваемой на одежду с левой стороны груди и сзади на спине.

2. Запрет на выполнение любых общественных работ и занятие промыслом.

3. Запрещение на пользование тротуарами, общественным транспортом, посещение театров, кино, закусочных.

4. Изъятие всех ценностей, принадлежащих евреям.

5. Запрет на посещение школ».

И все это — по отношению лишь к одной группе населения, только в одной маленькой республике, которую и на карте-то не разглядишь. А раздвиньте рамки пошире, на простор всех оккупированных стран, да еще не таких дружественных, каковой немцы считали Эстонию, а государств, намеченных к уничтожению… Мерзость всплывала, преступления фашистов проявлялись, а тут еще болезненные слухи о массовом расстреле поляков в Катынском лесу, грозившие окончательно испортить отношения немцев с поляками, превратить Польшу из надежного тыла, из широкого предполья во враждебную территорию, в благоприятный плацдарм для противника, то есть для советских войск. Из уст в уста передавались сообщения о том, что в Катыни немцы расстреляли не только офицеров, но и женщин, и детей, привезенных из Западной

Белоруссии, из самой Польши. Называлась ошеломляющая цифра — до 400000 убиенных. Ну, это слишком, я в это не верил. Однако молчание гитлеровцев подливало масла в огонь. Немцам требовалось переломить обстановку. И они решились на провокацию, преследуя, по моему мнению, двоякую цель: обелить себя и скомпрометировать нас. Катынь все еще была у фашистов, они могли провести там любые мероприятия. А опыта фальсификаций им было не занимать.

Весной 1943 года немцы «открыли» наконец Катынь для общественности. Подняли пропагандистский шум, утверждая: злодейство совершили советские карательные органы. Дезинформация велась на высоком государственном уровне, в нее включились вслед за Геббельсом Гиммлер и Риббентроп. Были созданы комиссии: польская и «международная», из представителей дружественных Германии стран. Понятно, кого отбирали в эти комиссии. Первая из них прибыла на место 11 апреля. Ей продемонстрировали часть вскрытых захоронений. Самостоятельным расследованием они не занимались. Немцы принимали приехавших «гостей», как экскурсантов, водили, куда считали нужным, показывали и рассказывали то, что хотели. Членам первой и последующих комиссий, прошедшим по заранее подготовленным маршрутам, оставалось только подписывать протоколы. Суть сводилась к одному: профильтровав пленных офицеров в различных лагерях, выявив наиболее опасных и нежелательных, органы НКВД свезли их в одно место, в район Смоленска, где тайно уничтожили и захоронили. Примерное количество поляков — от 12 до 15 тысяч, точную цифру установить было трудно, так как в могилах имелось много «посторонних вкраплений», от истлевших трупов до совсем «свежих».

Во всех материалах комиссий, с какими мне довелось познакомиться, выделялась главная мысль: поляков расстреляли весной 1940 года и никак не позже, не летом или осенью 1941 года, когда в Катыни были уже немцы. То есть навязывался, утверждался вывод: польских офицеров уничтожили советские органы. В данном случае сроки решали все. Но вот аргументов было маловато. Да, собственно говоря, аргумент имелся только один: все комиссии ссылались на то, что немцы, выкопав и осмотрев 5 тысяч трупов, не нашли у них никаких бумаг (писем, дневников, квитанций, документов, справок и т. д.), датированных позже весны 1940 года. Датированных ранее, причем хорошо сохранившихся на трупах, оказалось якобы много и разных, а с весны — ничего. Но помилуйте — убедительно ли это? Немцы могли просто не предъявить комиссиям документы, противоречащие выдвинутой версии. Сожгли, и все тут. Возможны и другие варианты. Так что главная ссылка, подтверждавшая срок расстрела, для меня лично отпала сразу и полностью.

Как ни настраивали немцы членов комиссий, как ни отшлифовывали вместе с ними материалы, предназначавшиеся для опубликования, скрыть полностью все факты, «работавшие» против инициаторов акции, было невозможно, они просачивались, проявлялись если не прямо, то косвенно. Не имелось, например, подтверждений того, что в районе захоронений обнаружены стреляные гильзы русского образца. Зато немецких оказалось в изобилии: любой профан способен отличить немецкую гильзу от русской. У немцев кольцевой вырез, а у нас кольцевой выступ для выбрасывания гильзы при открывании затвора. И обоймы, соответственно, разные. И убиты были поляки немецкими пулями. Можно, конечно, выдать все это за

хитроумие НКВД, предусмотрительно замаскировавшего свое преступление применением чужого оружия, но не слишком ли это сложно, не слишком ли высока оценка дальновидности наших органов — будто знали, что в Катынь немцы придут! И еще. Трупы поляков, оказывается, хорошо сохранились, будто не пролежали кучно, едва присыпанными, три лета и три зимы.

Вот немецкий документ:

Управление генерал-губернаторства

Телеграфный отдел

Телеграмма № 6

Отправитель: Варшава, 3 мая 1943, 17:20, Отдел внутренней администрации Варшавы

Получатель: Управление генерал-губернаторства, Главный отдел внутреннего управления,

Главному административному советнику

Вайраух — Краков.

ВЕСЬМА ВАЖНО

НЕМЕДЛЕННО

Секретно: Часть польского Красного Креста вчера из Катыни возвратилась. Служащие польского Красного Креста привезли гильзы патронов, которыми были расстреляны жертвы Катыни. Оказалось, что это немецкие боеприпасы калибра 7.65 фирмы Геко.

Письмо следует. Хайнрих.

Обстоятельно изучая в Москве распространяемые немцами материалы, связанные с Катынью, я находил в них все больше несообразностей, рассчитанных на простаков или допущенных по собственному недомыслию. Вот пример. 130240 польских военнослужащих, оказавшихся у нас в плену, содержались в нескольких лагерях, в том числе возле Харькова, Калинина, Козельска. Допустим, в этих лагерях действительно были выявлены «нежелательные элементы», представлявшие, по мнению соответствующих органов, какую-то опасность. Их расстреляли бы и похоронили на месте, вот и вся недолга. Без лишних свидетелей. И в Козельске, и в Калинине условия для этого были идеальные: леса, глухомань, безлюдье. Какой же смысл молодых офицеров — артиллеристов, пехотинцев, моряков, — везти за многие сотни верст с востока на запад, поближе к Польше, к Германии, собирать в густонаселенной местности 15 тысяч обреченных, тайком в течение многих ночей (сразу не управишься) расстреливать их, рыть и затем закапывать огромные траншеи-могилы! Абсурд какой-то. Я не переоцениваю умственные способности руководящих работников Наркомата внутренних дел, но и не считаю их круглыми идиотами, действовавшими себе во вред, нарушавшими одну из главных заповедей своего ведомства — секретность.

К тому времени, о котором идет речь, союзники уже объявили о том, что все фашисты, совершившие преступления против человечества, виновные в истязаниях и убийствах, получат соответствующее возмездие, их найдут и покарают, где бы ни прятались, и без срока давности. Получив столь серьезное предупреждение, гитлеровцы разных рангов, от рядовых гестаповцев до высших чинов рейха, принялись заметать следы своих злодеяний, особенно на территориях, близких к линии фронта. Именно так воспринимался нами первое время шум, поднятый немцами по поводу захоронений в Катынском лесу. В Англии и Соединенных Штатах

расценили эту акцию как очередной продукт геббельсовской пропаганды, ставшей притчей во языцех. Думаю, что и сами немцы покричали бы, извлекли какие-то дивиденды из очередной кампании и забыли бы о ней, переключившись на следующую выдумку. Однако нашлись силы, узревшие в фашистской версии большую пользу для себя, поспешили превратить ее в козырную карту большой политической игры.

Польское эмигрантское правительство в Лондоне — вот кто подхватил и принялся раздувать геббельсовскую гипотезу, узрев в ней последний шанс для своего спасения. Враждебно настроенное к Советскому Союзу, недавно в очередной раз «насолившее» Сталину, добившись того, что армия Андерса в самый трудный момент войны была выведена в нейтральное государство — это коварное правительство обречено было на полный провал, на самоликвидацию. Красная Армия, наступая, приближалась к Польше, и эмигрантское правительство в Лондоне становилось попросту никому не нужным. В том числе даже покровителям англичанам, пригревшим кучку «министров» без территории, без реальной власти. И вдруг появилась возможность громко, скандально заявить о себе, выступив в защиту соотечественников. Нет, не тех миллионов поляков и польских евреев, которые уничтожались гитлеровцами (это общеизвестно, осуждено, политического капитала не наживешь), а тем, кто якобы подвергался репрессиям со стороны советских властей. Тут что-то новенькое, свежее. Такой ход показался эмигрантскому правительству столь выгодным, что оно решилось на него даже вопреки настоянию американцев и англичан, не желавших обострять отношения с Советским Союзом. Прибыльным делом стала Катынская трагедия для тех, кто ради собственных интересов готов был спекулировать на самом святом, на крови единородцев.

Узрел я в поведении эмигрантского правительства черту, вообще характерную, на мой взгляд, для польской элиты. Еще до революции, общаясь с польскими аристократами, обратил внимание на их двуликость, лукавую уклончивость, прикрываемые заносчивым высокомерием, внешним лоском, граничащим с бутафорской манерностью. Был у меня даже разговор по этому поводу со Сталиным, который, с присущим ему стремлением во всем докапываться до сути, своеобразно определил особенности польской элиты, увидев их истоки в географическом положении, в истории развития государства. «Испокон веков норовят усидеть на двух стульях», — сказал Иосиф Виссарионович.

И верно. Зажатые между двумя могущественными соседями, Россией и Германией, поляки всегда вынуждены были лавировать, заискивать, хитрить, дабы потрафить несовместимым интересам той или другой стороны. Польша часто превращалась в огромное поле сражения, ее территорию много раз делили, разрывали на части. Если и пожили поляки какое-то время спокойно, развивая экономику и умножая население, то лишь в ту пору, когда входили в состав Российской державы. А потом, с началом первой мировой войны, опять все закрутилось в водовороте самолюбивых страстей, которые швыряют страну то к одному, то к другому берегу: никак не может обрести она надежный причал. Отсюда, от географии и истории, идет и раздвоенность, и приспособленчество, и другие черты, особенно заметные у аристократии.

Слова, построение фраз в польском языке схожи с русскими, — как-никак славяне, следовательно, и мировосприятие, мироосмысливание имеют много общего. Но славянские слова пишут они чужеродными

буквами, алфавит почти такой же, как у немцев. Умудряются вот воспринимать, думать по-славянски, а излагать, выражать себя совсем в другом ключе. И в Бога веруют не православно, а католически. Бывая в польских губерниях России, я всегда удивлялся крайней бедности основного крестьянского населения, той беспредельной алчности, с которой обирали землепашцев и вообще весь трудовой люд ясновельможные паны и буржуа. Рабы и хозяева — два совершенно различных мира: черное быдло в хижинах и высокомерная элита во дворцах, изо всех сил старавшаяся выпятить, показать себя, блеснуть внешним лоском в соответствующих кругах других государств: мы, дескать, не хуже! Над этим стремлением посмеивались, бывало, в петербургских салонах: сверху шелк, а в брюхе щелк.

Очень уж носились поляки со своим особым патриотизмом, стремлением к независимости. Как с модой. А дошло дело до большой драки — и пропала их спесь. Самые крикливые и кичливые разбежались кто куда, уклоняясь от битв. Как вышеупомянутые «вояки» армии Андерса. Доводилось мне слышать тогда, что в польских формированиях если кто и рвется в бой с немцами, так это польские евреи, стремившиеся спасти своих сородичей в Варшаве и других городах или хотя бы отомстить за погибших. Еврей — самый лучший польский солдат — таков парадокс! Нет, не интриганы из эмигрантского правительства в Лондоне и не подчиненные ему польские формирования защитили честь государства, спасли польский народ от полного уничтожения фашистами, а сделала это ценой больших жертв Советская Русская Армия-освободительница при содействии Войска Польского, возрожденного на нашей территории вопреки лондонским злопыхателям. Это наша и только наша заслуга в том, что «аще польска не сгинела», как поется у них. А эмигрантское правительство не содействовало обшей победе, не спасало собственных граждан, но, наоборот, объективно способствовало немецким оккупантам, разжигая рознь между нашими народами, стираясь вбить клин между союзниками по антигитлеровской коалиции, используя любые, даже самые неблаговидные возможности. В том числе и Катынь.

6

Значит, главное, что надо было определить в катынском деле, это время расстрела, от чего зависели все другие выводы. Если поляков уничтожили весной сорокового года, как утверждали немцы, то ответственность, безусловно, ложится на НКВД. Если после июня сорок первого года, то виноваты только фашисты, захватившие Смоленщину в начале войны. Изучая имевшиеся у нас материалы, я обратил внимание на один малозаметный факт, который мог бы стать решающим в определении даты акции. Однако молчал до поры до времени: надо было самому побывать в Катыни, увидеть захоронения собственными глазами и лишь после этого с чистой совестью докладывать Иосифу Виссарионовичу свои соображения. Поехать в Катынь я не мог, она все еще находилась за линией фронта, и надежда на объективное расследование с каждым днем уменьшалась. Гитлеровцы творили там с захоронениями что хотели, могли какие-то трупы увезти, уничтожить, заполнить могилы другими, подобранными на поле боя, соответственно переодев их. Могли доставить из Польши, где велось массовое физическое истребление поляков и евреев, и трупов было в сотни, в тысячи раз больше, нежели в Катыни, любой давности и любого

возраста — выбор неограниченный. Учитывая это, я все же надеялся, что подмеченный мною факт не утратит своей значимости и окажется в конечном счете решающим на чаше весов. К этому факту мне предстояло вернуться после освобождения оккупированной территории, а пока я исследовал ту часть «цепочки», которая находилась на нашей стороне и была полностью мне доступна.

Никаких официальных бумаг об уничтожении пленных поляков, никаких документов на сей счет, исходивших из высших органов власти, в том числе из Политбюро, мне найти не удалось, хоть я и старался. Лучше ведь, если бы их обнаружил я, а не кто-то другой, способный использовать подобные документы для каких-либо своих целей. Мне могут возразить, что бумаг вообще могло не быть, отчетности вообще могли не вести, поляков «убирали» по устному секретному распоряжению — и концы в воду. Однако рассуждать так способен либо дилетант, совершенно незнакомый с работой наших особых органов, либо демагог от политики, болтающий абы что доверчивым слушателям.

Много обоснованных претензий можно предъявить действиям НКВД — НКГБ, но их никоим образом нельзя обвинить в нарушении существовавших тогда законов и тем более в отсутствии или искажении отчетности. Скрупулезно документировалось все, от подробностей обыска при аресте до медицинского заключения в случае казни. Не берусь судить о квалифицированности таких фиксаций, но порядок соблюдался неукоснительно. И не потому лишь, что должностные лица, занимавшиеся подобной работой, были заядлыми законниками или отличались особой педантичностью (хотя имелось немало и таких) — сама служба заставляла их строго соблюдать все правила и формальности. Они ведь имели дело не с какими-то второстепенными вопросами, а с самыми главными: с судьбами, с жизнями человеческими. А события менялись быстро, тот, кто вчера был в седле, оказывался вдруг под конем, сподвижник становился заклятым врагом, а того, кого недавно расстреляли, поднимали до уровня героя. При этом за ошибки отвечали не только высокие партийно-государственные руководители, но и рядовые исполнители — куда, мол, смотрели?!

Мы уже говорили, что, по разным соображениям, в конце двадцатых годов была изрежена когорта первых чекистов дзержинско-ленинского призыва. Их сменила волна троцкистско-еврейская, которая в массе своей была ликвидирована при Сталине руками Ягоды и Ежова. Затем Берия «пропалывал» и укреплял кадры. При этом головы свои сохраняли лишь самые предусмотрительные, сумевшие оградиться оправдывающими документами, не позволявшими безболезненно «убирать» их.

Постепенно многие чекисты привыкли к осторожности, к необходимости строго выполнять приказы, постановления, инструкции. От буквы до буквы. И документировать все свои действия. Если, к примеру, вести допрос, то лишь в тех пределах, которые предусматривались для подозреваемых или обвиняемых данной категории. Физическое воздействие, пытки — только к лицам, попадавшим под определенные пункты инструкций. К другим ни-ни, самому боком выйдет. Во всех случаях обязательно указывалось, на основании какого пункта — параграфа выполнялись те или иные действия и чем они завершались, опять же со ссылкой на конкретное обоснование. Так что смею заверить публику: в наших особых органах как нигде строго соблюдались установленные свыше правила, а отчетность была полной и добросовестной. Если и

случались искажения истины, то делалось это крайне редко, и с такой виртуозностью, что комар носа не подточил бы. На фальсификацию шли очень неохотно, лишь под сильнейшим нажимом, видя в этом преступление, угрозу для самого себя, опасаясь расплаты при изменении ситуации.

По отношению к пленным полякам никакой подтасовки просто не требовалось, отчетность была самая обычная, простая, порой даже без обычного для органов грифа «секретно», — в чем я лично убедился. Хроника такова. Первые шесть месяцев после нашего похода в Западную Украину и Западную Белоруссию, то есть до марта 1940 года, все пленные и интернированные поляки содержались в нескольких лагерях в примерно равных условиях. Шло определение, кто есть кто, разбивка на категории: по званиям, по специальности, по возрасту, по здоровью. Выясняли, кто сознательно перешел к нам, не желая попасть к немцам, кто сдался без боя, кто сопротивлялся. Учитывались аспекты не только политические, международно-правовые, но и возможность использования людей в польских военных формированиях, которые намечалось создать на нашей территории.

Ну и сторона экономическая. В нашей строящейся, быстро развивавшейся державе не хватало рабочих рук, особенно квалифицированных тружеников. А тут почти сто пятьдесят тысяч бездельничающих мужчин, не приносящих никакой пользы. Не настолько богаты мы были, чтобы ни за что ни про что содержать такую ораву. Каждому из этих «лагерных страдальцев», с подъема до отбоя бивших баклуши, обеспечивалось медицинское и бытовое обслуживание, выделялся очень даже неплохой паек. Пленный офицер получал 800 граммов хлеба в сутки, 75 граммов мяса, соответствующий приварок, почти полтора килограмма сахара в месяц и все прочее. Футбол гоняли от скуки и избытка энергии. Да еще добились, что НКВД выплачивало ежемесячно по 20 рублей для личных расходов. На такие деньги можно было приобрести 40 пачек папирос среднего качества.

Неофициальная статистика смертности в лагерях для военнопленных в различных странах за первую половину двадцатого века, собранная самодеятельными специалистами-старателями, говорит о том, что больше всего погибало людей в лагерях японских и немецких. При Гитлере смертность достигала восьмидесяти и в некоторых случаях даже ста процентов, при среднем уровне у немцев до тридцати процентов в год. Понятно, скверное питание, непосильный труд, отсутствие медпомощи, истязания, казни — фашисты сознательно превращали лагеря военнопленных в фабрики смерти. Тяжелейшая обстановка была в лагерях английских и американских. А самый низкий процент «отсева» военнопленных был, пусть это не покажется странным, в нашей стране. Конечно, лагеря — не курорт, зачастую умирали раненые, больные, ослабевшие. Особенно в трудных 1942-43 годах. Но если средний мировой процент годовой гибели пленных колебался в пределах 10 процентов, то у нас он был значительно ниже.

Пленных, естественно, у нас не баловали, но условия для выживания создавали. В лагерях, где с 1945 года содержались, к примеру, японцы, смертность составляла всего 1.5–2 процента, то есть была ниже, чем естественная убыль населения того или иного государства в мирное время (к этому уникальному явлению мы вернемся позже). То же самое и в лагерях для поляков, о чем сейчас идет речь. Понятно, и там болели и

умирали люди, как и везде, бывали несчастные случаи, расстреливали преступников, но общая смертность была ниже, чем среднестатистическая в мирных, домашних условиях. Сказывалось и то, что контингент был в основном молодой, крепкий, выносливый. И все же многое зависело от отношения к пленным, а отношение к полякам, как я уже говорил, было вполне благожелательное. Более того. Им было хорошо, а нам один лишь материальный ущерб. Какой-то выход из положения требовалось искать.

В Управлении НКВД по делам военнопленных, начальником коего был в ту пору П. К. Сопруненко, нашлись умные головы, разработали документ — предложение в адрес Берии и Меркулова о «разгрузке» лагерей, о переводе пленных поляков на своеобразный хозрасчет. Предусмотрели различные меры. Из лагерей освобождены были 300 больных и старых офицеров. И еще около 500 пленных, чьи семьи оказались на территории, вошедшей в состав СССР, распустили по домам. Отныне это были наши граждане. Основную массу пленных составляли рядовые и сержанты — младшие командиры. Их направили работать в народное хозяйство, в первую очередь специалистов. Они трудились на заводах и фабриках без конвоя, на тех же правах, как и все наши люди, не только содержали себя, но и приносили заметную пользу.

С освобожденными и расконвоированными все было ясно. Я сосредоточил внимание на двух других группах военнопленных, вокруг которых, собственно, и поднялась пропагандистская шумиха, которые стали предметом спекуляции как гитлеровцев, так и польского правительства в Лондоне. Враждебные нам злопыхатели кричали о том, что Сталин, расстреливая пленных польских офицеров, мстит за поражение, которое потерпел на берегах Вислы в 1920 году, уничтожает цвет польской нации, обескровливая ее, подрывая стремление к независимости. Как и положено в клеветнической пропаганде, все здесь с расчетом на простаков, совершенно не знающих действительности.

О каком поражении можно говорить, если Юго-Западный фронт под руководством Егорова и Сталина, при участии Ворошилова и Буденного блистательно разгромил агрессивных белополяков и в кратчайший срок отбросил их от Киева до Львова: были созданы предпосылки для того, чтобы победоносно завершить военную кампанию 1920 года. Это уж Троцкий, Тухачевский и Гай допустили на Западном фронте столько глупостей, что умудрились утратить все наши достижения, позволили Пилсудскому удержать Варшаву, восстановить свои силы и совершить им же превознесенное затем «чудо на Висле». (Смотри книгу первую «Тайного советника вождя» — в моей исповеди, как в жизни, события проистекают одно из другого, в закономерном развитии. — Н. Л.) Кстати, и Ленин в той ситуации был далеко не безупречен; опять политики добивались своих целей (в данном случае мировой революции), мешая войскам достигать успехов чисто военных, для чего войска вообще-то и существуют. Ну, с виновных и спрос. А Сталину-то за что было «мстить» полякам? За собственные успехи в борьбе со шляхетским воинством? Да и кому мстить? Главная «месть» уже свершилась, польское государство, растоптанное гитлеровцами, перестало существовать, превращенное в генерал-губернаторство. С этого же и Вторая мировая война началась.

Если и стоило говорить о какой-то расплате с поляками, то не на государственно-политическом, даже не на военном, а совсем на другом уровне, на бытовом, на уголовном: кто-то должен был нести ответственность за преступления, совершенные поляками по отношению к

нашим воинам, попавшим в плен в дни нашего поражения на Висле в 1920 году. Подробности я знал достаточно хорошо: некоторое время после гражданской войны вместе с Гаем входил в состав комиссии, расследовавшей злодеяния белополяков. Это вроде бы стерлось, забылось, а напомнить нелишне — коли уж ликвидировать «белые пятна» истории, то не односторонне, а объективно.

Определить общее количество плененных красноармейцев за время войны с белополяками, в том числе и во время польского контрудара под Варшавой, очень трудно. Хотя бы из-за анархичности событий на месте. Кого-то брали, кого-то убивали, кого-то отпускали по разным причинам и прихотям. Доказано: сотни пленных использовались пилсудчиками в качестве живых мишеней на стрельбищах для обучения и «закаливания» молодых легионеров. Нижняя планка попавших в плен красноармейцев определяется в 90 тысяч человек. В ноте же НКИД РСФСР от 9 сентября 1921 года фигурирует другая цифра: «В течение двух лет из 130 тысяч русских пленных в Польше умерло 60 тысяч». И далее: «Нет никакого сравнения между содержанием тех мелких обвинений, которые польское правительство предъявляет России, и той страшной громадной виной, которая лежит на польских властях в связи с ужасающим обращением с российскими военнопленными в пределах Польши».

Еще цитата, теперь из отчета российско-украинской делегации о своей работе в Варшаве за 1921–1923 годы. О нарушении, в частности, Женевской конвенции, о гибели российских военнопленных от тифа, холеры, дизентерии — о смертности, достигавшей более тридцати процентов от общего числа заключенных. «Содержа военнопленных в нижнем белье, поляки обращались с ними не как с людьми равной расы, а как с рабами. Избиения военнопленных практиковались на каждом шагу»… Прибавим к сказанному голод, отсутствие медицинской помощи. И вот результат. По официальным данным погибли:

В лагере Пулава — из 1500 человек 570.

В лагере Стржалково — около 900 человек.

В самом большом лагере Тухоля — 22000 человек.

И так далее, с такими же страшными цифрами. Полную ответственность за преступления сии несет II Речь Посполитая, просуществовавшая с 1918 по 1939 год, именно то государство, чьи пленные оказались в наших лагерях с начала Второй мировой войны. Эта ответственность не снимается с тех политиков, которые ныне величают себя восприемниками этой самой II Речи. В том числе и за клевету на нас, схожую с геббельсовскими ухищрениями. Будем же считаться не с домыслами и болтовней, а только с реальными фактами и цифрами.

При тщательной фильтрации польских военнопленных 1939 года нашими органами было выявлено около 500 жандармов, полицейских, сотрудников разведки, контрразведки, пограничной охраны, часть которых — люди старшего возраста — была так или иначе связана с уничтожением российских воинов, оказавшихся в концлагерях после «чуда на Висле». Кое-кого в лицо опознали те, кому довелось пережить польский плен и вернуться на Родину. Безусловная вина была установлена в отношении примерно 100 карателей. Большинство из них находилось в лагере под Калинином, где и понесли заслуженное наказание: с контрольной пулей в голову. Уверяю, что Иосиф Виссарионович никакого участия в подобных разбирательствах не принимал, для этого имелись

специальные ведомства, руководствовавшиеся соответствующими законоположениями.

Из выявленных жандармов, полицейских и иже с ними получили возмездие наиболее злостные. Остальные 400 человек (в этой главе я округляю цифры, может быть, немного больше или меньше), признанные Особым совещанием НКВД уголовными преступниками, были отправлены в места, считавшиеся наиболее трудными для проживания: в Заполярье, на Кольский полуостров. На тяжелые физические работы — строить аэродром возле Мурманска. Конечно, нелегко было там бывшим карателям — полагаю, малую толику вины они искупили, но обратите внимание на такую подробность: почти все они уцелели, даже окрепли, трудясь на чистом воздухе, и со временем вернулись в свою Польшу. Отсюда следует, что наши органы никоим образом не ставили перед собой задачу «ликвидации» поляков, даже тех, кто запятнал себя русской кровью. А уж тем более молодых, невиновных. Немцы же до Мурманска не дошли и поляков-строителей не уничтожили. Разве это не ключ к разгадке Катынской трагедии?! Однако вокруг этого дела накручено столько измышлений, напущено столько тумана, что одним ключиком всех замков не откроешь.

7

Вернемся к основному событию. По версии немецко-польских пропагандистов, примерно 15000 пленных польских офицеров были привезены из Старобельского, Харьковского и других лагерей в район Смоленска и там тайком расстреляны по ночам. Повторюсь: в этом нет никакой логики, никакого смысла. Если понадобилось убрать молодых офицеров, то гораздо проще и надежней было осуществить это небольшими группами в местах постоянного пребывания. И быстрее, и затрат меньше. Для чего же грузить офицеров в разных местах в эшелоны, везти открыто за сотни верст — на всех узловых станциях знали бы про эти поезда с пленными. Какая необходимость доставлять их из лесной тверской глухомани поближе к границе, в густонаселенные места, где и поляков, кстати, проживало немалое количество. Зачем расстреливать тайком и зарывать рядом с дачным поселком, под боком у большого пионерского лагеря? Нет, не сходятся тут концы с концами.

По моему мнению, сотрудники НКВД нарушили лишь одно международное правило, а именно то, которое запрещает использовать пленных офицеров на принудительных работах. Понимаю, тошно было видеть и сознавать, что 15000 молодых бездельников трескают свой паек, спят как сурки и резвятся в спортивных играх. Вот и решили «бросить» их в район Смоленска на строительство дорог, весьма необходимых и для народного хозяйства, и на случай войны: немцы-то в полной готовности стояли не так уж далеко, на реках Нарев и Западный Буг. Такова первая причина того, что пленных офицеров собрали вместе. Но была и вторая, не менее существенная. Летом 1940 года, то есть уже после того, как пленные офицеры, по утверждению вражеской пропаганды, были «уничтожены», на территории нашей страны, опять же в преддверии войны с Германией, начинают формироваться польские воинские подразделения. А вербовкой польских офицеров, желавших сражаться с фашистами, занимается не кто иной, как заместитель Берии Меркулов. Определяет наиболее надежных и достойных среди тех, которые

сконцентрированы были возле Смоленска, а по версии наших врагов находились уже на другом, недосягаемом, свете.

Офицеров требовалось не сотни, а тысячи. Многие давали согласие, но работа эта была еще в стадии развертывания, лишь небольшая группа отобранных успела получить назначение в воинские части. Почти все они ушли потом от нас в Иран с предательской армией Андерса, но это другой разговор.

Основная масса офицеров оставалась в районе Смоленска, строя дороги. Грянула война. В спешке и сумятице отступления поляков не успели эвакуировать, они остались на территории, стремительно захваченной фашистами. И если для нас эти поляки были только пленными или интернированными, бежавшими к нам от немцев, то для гитлеровцев, превративших Польшу в свое генерал-губернаторство, польские офицеры были непримиримыми врагами, от которых лучше всего избавиться раз и навсегда.

Так размышлял я, не делая окончательных выводов, пока не побываю на месте действия, сознавая, что сам ход моих рассуждений приносит пользу нашей стороне, вооружая ее, в том числе Иосифа Виссарионовича, аргументацией на случай, если таковая потребуется. А в Катынь отправился лишь после того, как осенью 1943 года наши войска отбросили фашистов от Смоленска на запад. Поехал вместе с большой и представительной комиссией, имевшей широкие полномочия. В нее входили люди, способные иметь свое мнение и не боявшиеся высказывать его, такие, как писатель Толстой и академик Бурденко. Были представители Православной Церкви, органов прокуратуры.

Очень важно, что во все время работы комиссии, при вскрытии захоронений, вместе с нашими товарищами находились американские и английские журналисты, дотошно вникавшие в подробности и, как известно, очень падкие до сенсаций. Но таковых практически не оказалось. Было лишь очень тяжелое, угнетающее зрелище, способное свести с ума слабонервных. Многие могилы раскапывались во второй, в третий раз, а некоторые еще больше. Летом 1942 года рабочими немецкой военно-строительной организации Тодта. В апреле следующего года так называемой «международной комиссией», созданной и направляемой Геббельсом. Теперь, в 1944-м, могилы вскрывали мы. Это официально. А установить точно, сколько раз захоронения раскапывались и закапывались вновь, не было никакой возможности. Трупы в некоторых из них были от очень старых до совсем свежих.

Выяснилось, что небольшое кладбище в Катынском лесу существовало с начала века. Там еще в Первую мировую войну убитых и умерших от ран хоронили. Затем в гражданскую. Можно представить, что от них осталось. Большинство недавних трупов — это действительно поляки, убитые немецким оружием. Как и 500 советских пленных, расстрелянных немцами при отступлении. Как и множество мирных жителей, казненных и захороненных фашистами за время оккупации: коммунистов, комсомольцев, партизан, советских служащих. Всего гитлеровцы на Смоленщине убили, замучили пытками, заморили в тюрьмах 132000 человек, во время войны погиб каждый третий житель этой многострадальной области. Значительное количество умерщвленных советских граждан оказалось в тех же могилах, что и поляки. Но вокруг поляков поднято столько шума, что за ним о наших людях ничего не слышно.

Из какого оружия, чьими пулями расстреливали поляков, было ясно и для нашей комиссии, и для иностранных журналистов, о чем они и писали. Гораздо труднее было по мешанине разновременных, зачастую раздетых трупов установить их национальность, приблизительную дату гибели. А это и было главным. Напомню суть. Если поляки расстреляны весной 1940 года, значит, это дело рук НКВД, в чем хотели убедить мир гитлеровцы и польское правительство в Лондоне. Если казнь произошла осенью 1941 года, значит, это могли совершить только фашисты.

Не входя официально в состав комиссии, я тем не менее знал все подробности ее деятельности. И параллельно с двумя помощниками вел собственное контрольное расследование. Мы опрашивали уцелевших местных жителей, в Смоленске разыскали несколько человек из числа тех, кто бывал в пионерском лагере возле Катынского леса, и даже одну пионервожатую. Все они, опрошенные порознь, сказали, что летом 1940 года никаких захоронений в Катыни не было. Больше того, двое парней выезжали в лагерь с первой группой отдыхающих в июне 1941 года, а поскольку флигеля были еще закрыты, пионеры разбили палатки рядом со старым кладбищем, то есть почти там, где обнаружились потом могилы. Не заметить, не увидеть их было просто невозможно.

СПРАВКА

Промстрахкасса по Смоленской области настоящим удостоверяет, что район «Козьих гор» и прилегающих к нему Катынского леса и Красного Бора являлся местом организации пионерских лагерей, принадлежавших системе Промстрахкассы по Смоленской области.

Последний раз пионерский лагерь в этом месте был организован летом 1941 года и был ликвидирован в связи с занятием немцами города Смоленска в июле 1941 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГБЮРО ПРОМСТРАХКАССЫ

по Смоленской области

КОСЬМИНА

Местные жители сообщили нам, что после прихода немцев в дачном поселке и на территории пионерского лагеря размещалась воинская часть, туда и в Катынский лес пригоняли много пленных, а каких и что там происходило — не знал никто. Глубокой осенью воинская часть куда-то ушла и ее место в поселке заняла организация Тодта.

Теперь, наконец, о той малозначимой подробности, которая привлекла мое внимание еще в Москве и стала для меня одной из решающих. В материалах немецко-польской «международной комиссии», вскрывавшей захоронения в апреле 1943 года, есть запись о том, что в могильной земле много остатков березовых листьев. Замечено и зафиксировано. Но что это значит? А вот что. Приехав в Катынь, я собственными глазами убедился, что могилы находятся среди сосен, земля в лесу покрыта хвоей. А березы растут лишь поодаль. И осыпается березовая листва, как известно, в конце лета и осенью, ветер сбивает ее и разносит по всей округе. Весеннюю-то листву никакой ураган не сорвет с ветвей. Вот вам и первый вывод: поляков расстреливали и хоронили осенью, а не весной, как утверждали наши враги.

Вполне нормально, что листва пролежала в земле до лета 1942 года, когда могилы обнаружили рабочие Тодта; ошметки ее сохранились и до апреля 1943 года, когда начались раскопки «международной комиссии». Но чтобы листва попала в могилы до немецкой оккупации, то есть в 1940 году, и сохранилась бы два лета и три зимы — это невероятно. Так не

бывает — слишком хрупка материя. На это, кстати, обратили внимание и дотошные американские журналисты. Они тогда вместе с нами искали правду, и их выводы, опубликованные в западной прессе, полностью совпадали с выводами нашей комиссии.

Ни мы, ни англичане, ни американцы нисколько не сомневались, что кровавая бойня в Катыни, как и во многих других местах, была учинена немецкими фашистами, а затем использована вражеской пропагандой с лживо-корыстной целью для одурачивания населения оккупированной Польши, для того, чтобы посеять рознь между союзниками по антигитлеровской коалиции. Тогда это не получилось, но ядовитый туман вокруг Катынского леса до сих пор не рассеян. К спекуляции Катынской трагедией вновь и вновь возвращаются те, кто люто ненавидит наш народ, кто готов заложить честь и совесть ради того, чтобы лишний раз запакостить нашу историю, зарабатывая политическим проституированием сомнительные дивиденды.

8

Мы уже говорили, что летом 1941 года немецко-фашистские войска имели достаточно сил, чтобы наступать во всему фронту от Баренцева до Черного моря, по трем главным направлениям: северное — на Ленинград, центральное — на Москву, и южное — на Киев и далее к устью Дона. После зимнего поражения, особенно чувствительного под Москвой, немцы не способны были действовать столь размашисто, летом 1942 года они сосредоточились лишь на одном, на южном (на «нефтяном») направлении, поставив себе цель выйти на линию Воронеж — Сталинград — Баку. Общеизвестно, какой катастрофой закончился для них этот поход.

К лету 1943 года фашисты несколько оправились от поражения, провели тотальную мобилизацию сил и средств, однако о наступлении на каком-то решающем направлении не могло быть и речи. От активных действий противник не отказался, пытаясь перехватить инициативу, но возможностей его доставало лишь на то, чтобы нанести удар на одном, сравнительно небольшом, участке: на Курско-Орловской дуге. Там наступательный потенциал гитлеровцев был погребен окончательно, после Курско-Орловской битвы немцы только оборонялись или отступали, огрызаясь контрударами, теряя при бегстве и в «котлах» невосполнимые массы живой силы и техники. С 1943 года потери вражеских войск стали больше наших потерь и стремительно увеличивались. Но отходил противник, разумеется, не сам по себе, а лишь под сильным давлением наших войск. Огненный вал сражений откатывался на запад. И хотя немцы были еще очень сильны, наша сила оказалась больше, выносливей и, если хотите, умнее. Мы отказывались от шаблонов и учились в боях гораздо быстрей, чем противник. Вот в такой благоприятной обстановке намечали мы планы ведения военной кампании 1944 года. На этот раз нам было проще, легче вырабатывать замыслы и осуществлять их.

Боюсь, как бы меня не восприняли слишком прямолинейно, упрощенно, вот, мол, свершился перелом в ходе войны, и все покатилось-поехало. Ан нет, было гораздо сложнее. В начале 1944 года линия фронта проходила отнюдь не на подступах к Германии, немцы владели почти всей Правобережной Украиной и Крымом, всей Белоруссией, Прибалтикой, западными областями России, держались под Ленинградом. Чаша весов хоть и клонилась в нашу сторону, но с колебаниями. Соответственно

колебались и некоторые наши товарищи, старавшиеся заглянуть в будущее. Требовалось не только правильно оценивать события, но и улавливать и использовать в своих целях такую трудно ощутимую тонкость, как общая военно-политическая тенденция. Кое-кому это было не по плечу. Чрезмерно осторожничали много раз ошибавшиеся в ходе войны маршалы Тимошенко и Ворошилов, не заглядывал вперед Хрущев, удовлетворенный тем, что вернулся в славный град Киев. Зато полностью раскрылся, достиг апогея талант Сталина, сплотившего вокруг себя самых одаренных людей, надежных помощников и исполнителей.

Вопрос о предстоящей кампании несколько раз обсуждался в Ставке и Генштабе, запрашивалось мнение командующих фронтами и других авторитетных лиц. Жуков и Ватутин, Василевский и Шапошников, как и многие другие товарищи, единодушно высказывались за непрерывное наступление на разных участках, дабы не дать немцам возможности отдохнуть, укрепить свои силы. Чем решительней и быстрей будет вестись наше наступление, тем меньше станут наши потери и тем больший урон нанесем мы неприятелю. При этом очень важно не просто вытеснять, гнать противника, а окружать его в больших и малых «котлах», уничтожая его технику, ликвидируя или пленяя живую силу. Таков в самых общих чертах был план наших действий. А осуществление его зависело прежде всего от первого, зимне-весеннего этапа, от сражения за Правобережную Украину, где сосредоточены были на большом пространстве огромные силы противоборствующих сторон.

Скажу так: битва на Правобережье по своему масштабу и по своему результату превосходит многие войны, которые велись между целыми государствами или даже группами государств. Широкой известности она не получила лишь потому, что явилась действом промежуточным, совершенно необходимой, но черновой, что ли, работой, подготовившей такие громкие успехи, как разгром центральной вражеской группировки в Белоруссии, перенесение боевых действий за наши границы, на чужую территорию. Подобных «черновых» операций во время огромной Отечественной войны было немало, они не привлекли особого внимания историков и широкой публики. История вообще шагает по вершинам событий, а история военная — по вершинам крупнейших побед или поражений той или другой стороны. Остальное в тени. Ну, всего-то ведь и не упомнишь, не изучишь.

Сейчас нам важно для понимания дальнейших событий изложить хотя бы кратко итоги боевых действий за Днепром. Как известно, еще в конце октября 1943 года, в связи с изменившейся обстановкой, ряд наших фронтов получил новое название, которое сохранилось потом до конца войны. Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин), Степной фронт — во 2-й Украинский (командующий — генерал армии И. С. Конев), Юго-Западный фронт — в 3-й Украинский (командующий — генерал армии Р. Я. Малиновский). Южный фронт стал 4-м Украинским (командующий — генерал армии Ф. Н. Толбухин). Все эти четыре фронта, развернув совместное грандиозное наступление, за пять месяцев разгромили несколько немецких армий, освободили почти всю Украину и вышли на линию Камень-Каширский (недалеко от Бреста) — Броды — Тернополь — Коломыя — Пашкани (это уже на территории Румынии!), далее Оргеев и Аккерман в устье Днестра. В наших руках были Крым и Одесса. Мы частично перенесли войну на территорию неприятеля. В освобожденных

заднепровских областях в 1941 году проживало почти 20 миллионов человек. К тому времени, конечно, меньше, но все же мы получили значительный контингент мужчин активного возраста для пополнения наших войск.

Достигнутые нами успехи резко изменили не только стратегическую, но и мировую военно-политическую обстановку. И нам самим, нашим друзьям и врагам — всем стало понятно: Советский Союз способен своими силами полностью разгромить Германию вместе с ее сателлитами. Это трудно, это связано с большими потерями, но русские добьются своего, освободят от гитлеровцев всю Европу. Сию истину осознали не столько немцы, увлеченные войной, верующие в своего фюрера, сколько наши дорогие союзники — англичане и американцы, по-прежнему кормившие нас обещаниями, слишком надолго затянувшие открытие Второго фронта. А осознав — испугались: как бы не опоздать, не оказаться за бортом европейских событий. И решили, хватит околачиваться на задворках мировой войны, пора браться за дело всерьез, высаживать войска на территории Франции. К чему и приступили в июне 1944 года.

9

В битве за Днепр, при освобождении Донбасса, в сражениях на Правобережной Украине снова отличились два наших замечательных полководца — маршалы Жуков и Василевский, по поручению Ставки координировавшие на месте действия фронтов, зачастую на свой страх и риск принимавшие ответственные решения. За Сталинград, как мы помним, оба получили маршальские звезды. А весной 1944 года и тот и другой были отмечены недавно учрежденным высшим военным орденом «Победа». Причем Георгию Константиновичу был вручен орден № 1, а Александру Михайловичу — № 2. Третий орден, по моему разумению, должен был получить Николай Федорович Ватутин, который провел свой фронт от Воронежа до Западной Украины и все время задавал тон нашим наступательным операциям на южном крыле. Однако судьба распорядилась по-своему.

Пощадили Николая Федоровича немецкие пули, снаряды, бомбы и мины. А вот в последний день февраля ехал с охраной по тыловой дороге из штаба 13-й армии в штаб 60-й и совершенно неожиданно угодил в засаду, вероятно бандитов-бандеровцев. Откуда только взялись они там, в местах прочесанных и очищенных?! В перестрелке Ватутин был ранен, отправлен в Киев. 1-й Украинский фронт, оставаясь на всех прежних должностях, временно принял Жуков.

У Ватутина дела шли вроде на поправку. И вдруг через месяц началась гангрена. Лучшие врачи, в том числе академик Бурденко, ничего не смогли сделать.

В середине апреля Николай Федорович скончался. Нелепой, а потому и вдвойне тяжелой была эта утрата. Выдающийся наш полководец ушел из жизни, не успев получить ни маршальского звания, ни высшего ордена. Так бывает — потеря в пути. А слава венчает тех, кто дошел до конца. Орден «Победы» № 3 был вручен Верховному Главнокомандующему Сталину. А далее по порядку номеров — Рокоссовскому, Коневу, Малиновскому, Толбухину, Говорову, Тимошенко, Антонову и Мерецкову. Затем по второму разу ордена были удостоены Сталин, Жуков и Василевский.

Обстоятельства ранения Ватутина известны. О них достаточно подробно рассказывал и писал член Военного совета фронта генерал-майор К. В. Крайнюков, сопровождавший Николая Федоровича в трагической поездке. И все же осталось в этой истории что-то сомнительное, не выясненное до конца. Ведь маршрут и время движения были известны лишь очень узкому кругу лиц. Случайной ли была засада? А если нет — кто подготовил ее? Немецкая агентура? Или, действительно, националисты-бандеровцы?

Ни на кого не желая бросать хотя бы самую слабую тень, я все же обязан упомянуть один факт, не ставший достоянием гласности. А иначе не исповедь у меня будет, а одноплановая подборка воспоминаний. Вскоре после войны резко осложнятся отношения между Сталиным и Жуковым, о чем я поведаю в свое время. И вот тогда, в очень трудный для Георгия Константиновича период, на имя Сталина пришло письмо, попавшее прежде не в его руки, а ко мне. Штабной офицер невысокого звания, рядовой, можно сказать, товарищ, сообщил о том, что был свидетелем некоторых странных событий, человеческая и партийная совесть не дают ему покоя, заставляют изложить то, что он видел и слышал.

Крик души. Я не мог остаться равнодушным, постарался вникнуть. Тем более, что не голословным было письмо, а с указанием фактов, дат и фамилий. Осведомленный человек писал, вероятно, один из доверенных исполнителей при генерале Ватутине. А сообщал о том, что маршал Жуков, являясь представителем Ставки, предвзято относился к Николаю Федоровичу, третировал его, умаляя его успехи и, наоборот, преувеличивая роль свою или других генералов. По этой причине между ними возникали конфликты, иной раз очень резкие. Пример. В феврале 1944 года 1-й Украинский фронт генерала Ватутина подготовил и в основном своими силами провел блестящую операцию по окружению Корсунь-Шевченковской группировки противника. Однако на завершающем этапе, когда оставалось только добить окруженного и деморализованного противника, Ставка, по предложению Жукова, распорядилась передать все войска, занятые ликвидацией «котла», во 2-й Украинский фронт генерала Конева. И получилось так, что вся слава, связанная с этой выдающейся операцией, досталась последнему. 18 февраля Москва салютовала войскам 2-го Украинского фронта, одержавшим большую победу, взявшим в плен около 20 тысяч гитлеровцев, ну и т. д. А 1-й Украинский фронт не был даже упомянут в благодарственном приказе Верховного Главнокомандующего. Естественно, что Ватутину было очень обидно не только за себя, но и за солдат и офицеров, много сделавших для общего успеха. За тех, кто головы сложил в этой битве, а упоминания не удостоился. И авторитет командующего фронтом подрывался: не постоял, дескать, за своих. А Николай Федорович не такой человек, чтобы смолчать: высказал недоумение Жукову в самой решительной форме. Конфликт более или менее сглаживал другой представитель Ставки маршал Василевский, тоже находившийся тогда на Украине. Обладая характером твердым и решительным, Александр Михайлович был при этом значительно человечней, тактичней и благоразумней своего постоянного напарника и, как считал Сталин, являлся в сложных ситуациях своеобразным противовесом Жукову.

В ту пору Жуков несколько раз упрекал Ватутина: редко, мол, бываете в войсках, в частях на передовой. Ватутин действительно не из тех военных

руководителей, которые лезут в окопы, демонстрируя свою смелость и вдохновляя людей собственным примером — в этом отношении особенно «отличались» Ворошилов, Еременко и вообще генералы буденновской школы, выходцы из Первой конной. А Ватутин правильно считал, что у командиров, у штабных работников высокого ранга есть свои важные обязанности, от хорошего исполнения которых зависит исход операций, количество потерь тех же самых солдат, которых сегодня можно обласкать вниманием, обнадежить в разговорах, а завтра погубить в неподготовленном бою. Из-за того, что болтал с ними, а не сидел над картой, обдумывая, как лучше переиграть противника.

Так вот, речь о поездках в войска велась и 28 февраля, то есть накануне того злосчастного дня, когда Ватутин попал в засаду. Но велась эта речь с обратным знаком. На этот раз Жуков, ссылаясь на то, что в штабе фронта много работы, отговаривал Ватутина от поездки в 13-ю и 60-ю армии, куда тот собрался. Однако Николай Федорович, уязвленный предшествовавшими нареканиями, категорически настаивал на своем. Так что Жуков был одним из тех немногих людей, которые знали время и маршрут: Ровно, Гоша, Славута. Это особенно подчеркивал автор присланного письма, даже слишком подчеркивал, хотя намек и без того был ясен.

Я, конечно, был убежден, что Георгий Константинович не способен на мерзкое деяние: самое худшее, что можно предположить, это утечку информации от него или от лиц, которым он доверил ее. Положение, однако, складывалось щекотливое. В те послевоенные дни Сталин, по ряду причин решивший отстранить Жукова от большой власти, способен был воспринять любой компрометирующий материал, ужесточить меры по отношению к полководцу вплоть до самых крайних. Сознательно или нет, но автор письма лил воду именно на эту мельницу. Ведь Иосиф Виссарионович знал о большом честолюбии Жукова, о его жестком отношении к тем, в ком Георгий Константинович видел конкурентов. Это он поставил своего давнего друга-соперника Павла Алексеевича Белова в такое положение, что прославленный генерал лишен был возможности проявить свой самобытный военный талант, так блиставший в 1941–1942 годах. И в Ватутине, безусловно, видел Георгий Константинович сильного соперника, главного своего конкурента. Тем более, что Николая Федоровича очень ценил и выделял Верховный Главнокомандующий. Так что Ватутин со временем вполне мог «обскакать» Георгия Константиновича.

Учитывая все названные обстоятельства, я доложил о письме очень осторожно, не придавая вроде бы ему существенного значения. И был доволен, что не последовало ни вспышки гнева, ни раздражения. Вероятно, Иосиф Виссарионович уже определил судьбу Жукова, меру его наказания. Произнес спокойно:

— Все могло случиться… В конце концов, нельзя же валить весь груз на одни плечи. — Помолчал, раздумывая, усмехнулся: — Николай Алексеевич, вы хорошо знаете почерк Лаврентия?

— Да. И в прямом, и в переносном смысле.

— Не кажется вам, что это его почерк? Слишком уж к месту.

— У меня сразу возникло сомнение.

— Дайте-ка сюда этот донос. — Иосиф Виссарионович взял исписанные листки, разорвал на четыре части и бросил в корзину для мусора.

К разговору об этом письме мы больше не возвращались.

Смерть Ватутина Иосиф Виссарионович воспринял так болезненно, что удивил даже меня, привыкшего к своеобразности его эмоций. Потеря Ватутина не то что испугала, а насторожила, обеспокоила Сталина. Вероятно, потому, что оказалась одним из пунктов в ряду сложных неприятных событий. Разберемся, чтобы понять. У нас имелось достаточное количество полководцев самого крупного калибра, способных вести операции любого размаха. Это прежде всего Жуков, Рокоссовский, Мерецков, Говоров, Малиновский, Толбухин… Перечень велик и разнообразен, было кому возглавить войска на поле боя. Имелись и штабные мыслители самого высокого полета, значительно превосходившие генштабистов других государств, как союзных, так и враждебных. Это Шапошников, Василевский, Антонов… Непревзойденный мозговой центр. Но у каждого военного деятеля свой талант с уклоном в ту или другую сторону. И лишь редко, крайне редко появляются люди, сочетающие способность не только стратегически мыслить, предвидеть, но и не в меньшей мере осуществлять идеи, планы на практике. Объединяющие в одном лице дарование стратега и генерала поля боя. В России наиболее ярким представителем такого уникального сочетания был фельдмаршал Кутузов. Во время Первой мировой войны этими качествами выделялся наш славный генерал Брусилов. В Красной Армии ими обладал только Егоров, безвременная и бессмысленная потеря которого нанесла нам невосполнимый урон. Сталин понимал это, чувствовал, как нам его не хватает: особенно это ощущалось в первый год борьбы с гитлеровцами, пока не окреп в сражениях наш новый подрост. И в этом подросте Ватутин выделялся особо. Как талантливый штабист-аналитик и как замечательный практик, способный бить любою врага, даже не имея превосходства над ним в силах и средствах. Колошматил он и немцев, и итальянцев, и венгров.

В Ватутине видел Сталин не только военачальника, способного провести операции любой сложности, не только человека, способного выдвинуть интересные и важные соображения, но еще и свой надежный военно-кадровый резерв. Понадобится — Ватутин займет пост начальника Генерального штаба, он же был заместителем не у кого-нибудь, а у самого Шапошникова. Народный комиссар обороны? — тоже вполне созрел. Подумывал Сталин даже о том, чтобы назначить Ватутина наравне с Жуковым заместителем Верховного Главнокомандующего, дабы впоследствии вообще передать Ватутину все бразды военного правления. Справится, это безусловно. А поскольку Ватутин сам никогда не стремился к власти, то никаких политических амбиций от него можно было не ожидать. Но вот Николая Федоровича не стало, и одновременно до крайности истончилась другая важнейшая для Сталина ниточка: резко ухудшилось здоровье Бориса Михайловича Шапошникова, не посоветовавшись с которым Иосиф Виссарионович не принимал ни одного крупного военного решения. Шапошников даже по телефону-то плохо говорил, но его одобрение было для Сталина уже не столько практической необходимостью, сколько привычным благословением, вселявшим уверенность в правильности замысла, обещавшим успех.

На Шапошникова, значит, надежды мало. Ватутин погиб. Остались два военных деятеля, чьими мыслями, чьими интеллектуальными способностями пользовался Верховный Главнокомандующий. Это

заместитель начальника Генерального штаба Антонов, с мнением коего Сталин считался, но к нему самому еще не очень привык, и начальник Генштаба Василевский, человек настолько близкий, что Иосиф Виссарионович откровенно делился с ним своими соображениями, сомнениями, чьи предложения подхватывал и развивал. Но — неприятность за неприятностью. В середине мая, как только был освобожден Севастополь, Александр Михайлович Василевский решил побывать в городе русской славы. Посмотреть, порадоваться. В районе Мекензиевых гор его машина подорвалась на мине. Передние колеса и двигатель были отброшены взрывом метра на четыре. Водитель и маршал были ранены. Василевский попал в руки медиков, после оказания первой помощи Александра Михайловича самолетом отправили в Москву, где ему учинили строгий постельный режим.

На некоторый срок, до выздоровления Василевского, я вновь оказался единственным доверенным советником вождя по военным проблемам. Хотя оба мы понимали, что я не способен уже, как прежде, охватить неизмеримо возросший круг военных вопросов. Просто постоянная поддержка надежного человека требовалась Иосифу Виссарионовичу. Подзарядка душевных аккумуляторов. Это мне было еще по силам. На протяжении месяца он не отпускал меня от себя, я буквально дневал и ночевал на Ближней даче или в Кремле, проводя много часов в комнате связи, а еще больше в комнате за кабинетом. Именно тогда произошел случай, ввергнувший в заблуждение некоторых поверхностных наблюдателей и послуживший потом поводом для спекуляции тем гражданам, которые ненавидели Сталина, всячески пытались охаять его.

Еще в тридцатых годах у Иосифа Виссарионовича укоренилась привычка в полном смысле слова «уходить» от решения тех дел, которые представлялись ему не совсем ясными, не до конца подготовленными. «С этим пока подождем. Подумаем, посоветуемся», — говорил он и покидал собравшихся руководителей, отправляясь в соседнее помещение, где действительно советовался с кем-либо из доверенных лиц, в том числе и со мной. В случае необходимости я или кто-то другой срочно связывался по телефону с соответствующими специалистами. Механизм срабатывал быстро и четко, обычно к концу совещания или заседания Сталин имел свое обоснованное мнение и предлагал собственный вариант решения. Все чаще Иосиф Виссарионович покидал на некоторый срок собравшихся в его кабинете товарищей во время войны, и особенно после того, как по болезни оставил свой пост маршал Шапошников… Возникла заминка, появились сомнения — Сталин уходил в комнату за кабинетом, звонил Борису Михайловичу. Если требовалось — вызывал на связь Василевского или Антонова, Ватутина или Жукова: вообще того, кто требовался.

С середины мая 1944 года совещания и заседания в Ставке и в Генеральном штабе следовали одно за другим, почти ежедневно. Обсуждался подготовленный Генштабом план крупнейшей Белорусской операции под кодовым названием «Багратион». Одновременно рассматривались и уточнялись планы ударов по противнику, которые готовили Ленинградский и Карельский фронты. На одном из заседаний впервые присутствовал молодой генерал-полковник Иван Данилович Черняховский, зело отличившийся в должности командарма и недавно выдвинутый на должность командующего 3-м Белорусским фронтом. Немало удивлен он был, когда Сталин произнес привычную всем другим фразу: «Подумаем, посоветуемся», — и удалился в комнату за кабинетом…

«С кем же он советуется?!» — вырвалось у Ивана Даниловича. Сидевший рядом опекун и покровитель его Василевский, занятый своими мыслями, ответил рассеянно. «С самим собой. С товарищем Сталиным»… По существу Василевский был прав, Сталину требовалось время помозговать, уточнить какие-то детали.

А недоумение Черняховского привлекло внимание присутствующих, вызвало улыбки, легкий смешок.

В тот раз Иосиф Виссарионович позвонил начальнику артиллерии Красной Армии генералу Воронову Николаю Николаевичу (прозванному за свой рост «коломенской верстой») по поводу усиления фронтов артиллерией Резерва Главного Командования — РГК. Уточнил цифры, возвратился в кабинет, заседание продолжалось. Однако небольшая конфузия с Черняховским каким-то образом стала известна Иосифу Виссарионовичу — ему, вероятно, преподнесли ее в виде шутки. На следующий день во время такого же обычного для Сталина заседания ему опять понадобилось выйти в комнату за кабинетом для какой-то консультации. Настроение у него было хорошее, и он не упустил возможности слегка поиронизировать. Сказал:

— Дело не совсем проработанное. Не будем спешить. Подумаем, посоветуемся… — Глянул с веселым лукавством на молодого генерала: — Посоветуемся с товарищем Сталиным. Как вы считаете, товарищ Черняховский?

Острый возник момент. Присутствующие замерли. Андреев ладонь к уху приложил, чтобы лучше слышать. Напрягся Жуков, стеснявшийся своей глухоты. Иван Данилович, к вящему удовольствию собравшихся, не дрогнул, не растерялся. Встал, произнес спокойно, с достоинством:

— Посоветоваться с товарищем Сталиным всегда полезно. Хуже не будет.

Вторично вызвал Черняховский легкий смешок, столь редкий на слишком уж засерьезненных совещаниях в Ставке. Этим он тоже остался в памяти тех, кто знал его, а не только своими безусловными воинскими достижениями. Он, кстати, первый и последний раз поработал тогда в Ставке. Заболел, вернулся на передовую, а затем его не стало: командующий 3-м Белорусским фронтом Иван Данилович Черняховский был смертельно ранен на территории Польши в феврале 1945 года, не дожив до сорока лет, не успев поседеть. А Иосиф Виссарионович после того случая, запавшего в память, довольно часто, находясь в хорошем расположении духа, пошучивал: «Отложим пока этот вопрос. Подумаем, посоветуемся… с товарищем Сталиным». В привычку вошло. Постоянными участниками заседаний и совещаний такие слова вождя воспринимались соответственно без какой-то подоплеки. Но они, конечно, поражали тех, кто слышал их в первый и скорее всего в единственный раз и не решался обратиться к кому-либо за разъяснением. Так родились сомнения, загоняемые в самую глубину души, а затем на этих сомнениях сыграли враги Сталина, не упускавшие любой возможности охаять его.

После смерти Иосифа Виссарионовича среди других слухов поползли сплетни о том, что у него имелся, дескать, тайный двойник, который появлялся на людях, когда настоящий Сталин был нездоров или опасался покушений. Настолько хорошо подстроился под него, что даже самые близкие люди не могли распознать — догадаться. Речи за Сталина говорил, стоя на Мавзолее, якобы парад Победы принимал. Нашлось, конечно, и несколько самозванцев, претендовавших на высокую роль

сталинского дублера. Один грузинский еврей, другой из Житомира или Одессы, доживавший свой век где-то в Ташкенте и Алма-Ате. Падкие до сенсаций желто-бульварные журналисты охотно писали об этом… До чего же прав был классик, давно уже предупреждавший легковерную публику о том, что «все врут календари»!

11

Иосиф Виссарионович не только сам, бывало, покидал кабинет или зал заседаний, чтобы немного побыть наедине или со мной, поразмыслить, посоветоваться, глянуть на дело как бы со стороны, — не только сам использовал этот способ, но, случалось, предлагал его и другим лицам. Не выгонял из кабинета, нет, а просил выйти на какое-то время в приемную, в библиотеку: остыть, взвесить свои соображения, свои доводы, осмыслить ситуацию. Достаточно известен подобный случай с Константином Константиновичем Рокоссовским, об этом случае рассказывалось в некоторых мемуарах, но освещался он только как «острый» факт, а не как своего рода переменное событие, имевшее предысторию и, что важнее, значительные последствия. Попытаюсь возместить сие упущение.

1944 год был так насыщен успешными для нас важными крупномасштабными событиями, что сразу охватить их, разобраться, осмыслить было очень трудно даже для военных специалистов. Сталин же, с его всегдашним стремлением отсеивать второстепенное, определять и объяснять причины и сущность явлений, свел все основные военные события того периода к десяти пунктам и изложил их в речи, которую произнес 6 ноября при праздновании 27-го юбилея Октябрьской революции, которую мы вот уже четвертый раз отмечали в условиях войны с фашистскими захватчиками. Классическая по насыщенности и аналитичности речь позволяет ясно понять, что в ту пору происходило, важна не только для современников, но и для потомков. У нас много, чрезмерно много пишут и говорят о трагедиях сорок первого — сорок второго годов и слишком мало, ничтожно мало о наших последующих успехах, о наших победах сорок четвертого года, значительно превосходящих все достижения немцев.

Лупили мы их нещадно, гнали и в хвост и в гриву подальше от нашей земли. Почту за честь хотя бы в сокращенном виде привести здесь выдержки из речи Иосифа Виссарионовича, перечислить удары наших войск, названных им: они вошли в историю как «десять сталинских ударов». Тем более, что и к Рокоссовскому все это имеет прямое отношение. Цитирую.

«Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области.

Второй удар был нанесен в феврале — марте этого года на Буге, когда Красная Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара Правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Третий удар был нанесен в апреле — мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса.

Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов в глубь Финляндии…

Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года, когда Красная Армия наголову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилевом и завершила свой удар окружением 30 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска: а) полностью освободили Белорусскую советскую республику; б) вышли на Вислу и освободили значительную часть союзной нам Польши; в) вышли на Неман и освободили большую часть Литовской советской республики; г) форсировали Неман и подошли к границам Германии.

Шестой удар был нанесен в июле — августе этого года в районе Западной Украины, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за Сан и Вислу. В результате этого удара: а) была освобождена Западная Украина; б) наши войска форсировали Вислу и образовали за Вислой мощный плацдарм западнее Сандомира.

Седьмой удар был нанесен в августе этого года, в районе Кишинев — Яссы, когда наши войска разбили наголову немецко-румынские войска и завершили свой удар окружением 22 немецких дивизий под Кишиневом, не считая румынских дивизий. В результате этого удара: а) была освобождена Молдавская советская республика; б) была выведена из строя союзница Германии — Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии; в) была выведена из строя союзница Германии — Болгария, которая также объявила войну Германии; г) был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в Европе; д) открылась возможность протянуть руку помощи союзной нам Югославии против немецких захватчиков.

Восьмой удар был нанесен в сентябре — октябре этого года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из Прибалтики. В результате этого удара: а) была освобождена Эстонская советская республика; б) была освобождена большая часть Латвийской советской республики; в) была выведена из строя союзница Германии — Финляндия, которая объявила войну Германии; г) более 30 немецких дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь доколачиваются нашими войсками.

В октябре этого года начался девятый удар наших войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В результате этого удара, который еще не завершен: а) наши войска оказали прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и освобождения Белграда; б) наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи союзной нам Чехословацкой республике, часть территории которой уже освобождена от немецких захватчиков.

Наконец, в конце октября этого года был осуществлен удар по немецким войскам в северной Финляндии, когда немецкие войска были вышиблены из района Печенга и наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам Норвегии.

Таковы основные операции Красной Армии за истекший год, приведшие к изгнанию немецких войск из пределов нашей страны.

В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 120 дивизий немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против

нашего фронта в прошлом году, из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем теперь против нашего фронта после всех «тотальных» и «сверхтотальных» мобилизаций всего 204 немецких и венгерских дивизии…

Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии нужно считать тот факт, что Красная Армия вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущие годы, а совместно с войсками наших союзников. Тегеранская конференция не прошла даром…»

Конечно, перечисленные Иосифом Виссарионовичем битвы были различны как по размаху, так и по достигнутым результатам. Но для тех, кто находится на фронте, война везде война, смерть везде смерть, а радость победы везде одинакова. Не вдаваясь в оценки, выделяю лишь две операции, которые представляются мне наиболее важными. Об одной из них, о сражении за Правобережную Украину, создавшем условия для последующих наступательных действий, мы уже говорили, объединив то, что Сталин назвал вторым и третьим ударами, на Буге и в Крыму: они неразрывны по времени и пространству. Теперь сосредоточимся на другом важнейшем ударе, на пятом, на сражении в Белоруссии, известном под названием «Багратион».

Успешно наступая на правобережье Днепра, украинские фронты, особенно 1-й Украинский фронт генерала Ватутина, вырвались далеко вперед, приблизившись с юго-запада к Бресту, проломив границу с Румынией. А севернее, из района Бреста, линия соприкосновения круто, под прямым углом поворачивала на восток и вдоль Полесья уходила далеко в глубь нашей страны в сторону Жлобина. Немцы удерживали Могилев, Оршу, Витебск, то есть оставались все еще неподалеку от Смоленска, угрожая нашим центральным районам. Образовался своеобразный огромный «балкон», всей массой нависавший над освобожденной Правобережной Украиной, стратегически опасный для нас как на западном, так и на южном направлении. Фашисты имели на этом «балконе» большие, самые надежные силы и дрались с особым ожесточением, прикрывая прямой путь на запад к своим землям, к своим домам: в Восточную Пруссию и в саму Германию. А это особый счет.

Сказалась опять же и пресловутая Припятская проблема, о которой мы рассуждали, рассказывая о главных событиях начала войны. Тогда болотистое многоводное Полесье, протянувшееся на сотни километров, разделило весь советско-германский фронт на две части, одна севернее, другая южнее названной выше труднопроходимой местности. И вот снова, как в военной истории это случалось уже не раз, долина Припяти с ее притоками, с густыми лесными массивами, отсекла, отделила наши войска украинских фронтов от фронтов белорусских. Весьма способствовали этому теплая зима и ранняя дождливая весна, вызвавшие невиданную распутицу, сделавшие огромную и сырую Припятскую низину не просто труднодоступной, а вообще непроходимой для техники, для регулярных войск. Если кому и было раздолье, так это партизанам да мелким разведывательным группам, «гулявшим» по немецким тылам.

Сама жизнь подсказывала и нам, и гитлеровцам, что летом 1944 года на советско-германском фронте развернутся события, которые окончательно предопределят весь ход и исход войны, срок ее завершения. И обе стороны готовились к этим событиям. Фашисты укрепляли свою оборону, собирая резервы для контрударов. Мы накапливали силы для мощного

решающего наступления, одновременно проводя крупные отвлекающие мероприятия, дабы ввести противника в заблуждение относительно места я целей наших предстоящих действий. По принципу: куда соперник клонится, в ту сторону его и толкай.

Нам было известно, что основное внимание вражеского командования приковано к южному направлению. Все правильно — срабатывала четкая немецкая логика. Действовавшие на юге четыре Украинских фронта добились больших успехов, продвинувшись далеко на запад. Там сосредоточены ударные силы русских, а снять с передовой и перебросить эти силы в другой район, к примеру, в Белоруссию, очень даже непросто. Это не осталось бы незамеченным германской разведкой — так они считали. А у самих немцев на юге войск было маловато: испепелились в наших «котлах». Там преобладали гитлеровские союзники, в основном венгры, которые были хуже вооружены и закалены и вообще менее боеспособны. Германское командование решало вопрос: куда нацелятся Украинские фронты, особенно 1-й Украинский фронт, которым после Ватутина командовал сам Жуков: на запад, в Польшу, на Балканы, в южную Европу? Или попытаются эти фронты с юга срезать белорусский «балкон»? Второе столь же опасно, но менее вероятно: мешает Припять, мешает Полесье, отсутствие дорог, растянутость коммуникаций. Учитывая все это, мы, в свою очередь, наши Генштаб и ставка, старались не «разочаровывать» немецкое руководство, исподволь помогали врагу укрепиться в правильности его оценок и выводов. И помогли настолько умело, что немцы не сумели заметить перемещения больших масс наших войск с разных участков, в том числе с Украины, к белорусскому выступу. А ведь это продолжалось почти два месяца. Практически мы подтянули к «балкону» все наши танковые армии. Когда фашисты хватились, было уже поздно.

Сталин, всегда тяготевший к символике, сам определил срок: начать грандиозное наступление 22–23 июня, то есть ровно через три года после того, как гитлеровцы напали на нашу страну. Тогда горько было нам, пусть же теперь фашисты нахлебаются лиха. Никогда прежде мы не сосредоточивали для проведения одной операции столько сил и средств, сколько задействовали на этот раз. Для того, чтобы разгромить и уничтожить крупнейшую вражескую группу армии «Центр», должны были одновременно начать наступление четыре наших фронта: 1-й Прибалтийский генерала И. Х. Баграмяна, 3-й Белорусский генерала И. Д. Черняховского, 2-й Белорусский генерала Г. Ф. Захарова и 1-й Белорусский генерала К. К. Рокоссовского. Еще — Днепровская военная флотилия контр-адмирала В. В. Григорьева, корабли и части которой дислоцировались не только на Днепре, но и на Березине, и на Припяти. Да плюс еще более трехсот тысяч партизан, находившихся в тылу врага в полосе намеченного наступления. О масштабах действий народных мстителей можно судить хотя бы по одному факту. В ночь на 20 июня они повсеместно вышли к железнодорожным линиям, атаковали станции и полустанки, взорвали примерно сорок тысяч рельсов. Дороги были парализованы, враг лишился возможности маневрировать силами и средствами.

Наибольшее внимание Верховный Главнокомандующий и Генштаб уделяли 1-му Белорусскому фронту. От успеха Рокоссовского во многом зависела судьба всей операции. Константин Константинович глубоко понимал это. Человек покладистый, очень скромный во всем, что касалось

лично его, он становился требовательным и даже жестким, когда это необходимо было для дела. И чем оно было важнее, тем тверже стоял на своем. Доверили ответственное задание — позвольте выполнять его так, как считаю нужным. Вот тут, увы, и возникли шероховатости в отношениях между Рокоссовским и Сталиным, грозившие крупными неприятностями со стороны Иосифа Виссарионовича, подспудно уже считавшего себя полководцем крупным, опытным и непогрешимым.

По первоначальному замыслу, фронт Рокоссовского должен был наступать севернее Припяти в направлении на Бобруйск, Барановичи и далее в Польшу. То есть с востока на запад, имея слева — труднопроходимое болотистое Полесье, сковывавшее маневр, изолировавшее от левого соседа. Все та же Припятская проблема. И Рокоссовский впервые в военной истории блестяще решил ее, предложив объединить все войска, действовавшие севернее, южнее и в самом Полесье под единым командованием, включив их в 1-й Белорусский фронт. Конечно, управление при этом значительно усложнялось, но выгоды были очевидны: не буду утомлять читателей их перечислением, поверьте на слово. Ради общего блага Рокоссовский решил взвалить на себя тяжелый груз, взять дополнительную ответственность. С чем и обратился к Верховному Главнокомандующему.

Новаторские доводы Рокоссовского были вполне убедительны. Его поддержали Василевский и Антонов. Одобрил в телефонном разговоре со Сталиным маршал Шапошников. Иосиф Виссарионович, не любивший концентрации большой власти в одних руках, кроме собственных, не очень охотно, а все же согласился. Соответствующая директива последовала. Константин Константинович стал «хозяином» не только всего Полесья, но и обширных районов севернее и южнее его. Власть Рокоссовского (и это на пути в Польшу!) действительно увеличилась небывало. Протяженность 1-го Белорусского фронта возросла до 900 километров, от Быкова до Владимира-Волынского, это примерно втрое больше, чем протяженность других фронтов, участвовавших в операции «Багратион». Для сравнения скажу: в период Московской битвы Западный фронт, которым командовал Жуков, достигал, со всеми изгибами, 600 километров, это представлялось нам, специалистам, протяженностью чрезмерной, огромной, снижающей целенаправленность, грозившей утратой эффективного управления войсками. Не превратится ли удар кулаком в тыканье пальцами? Только, дескать, Жуков способен был держать на своих плечах такой фронт. А Рокоссовский размахнулся совсем уже необычно, и силы получил соответствующие. В его распоряжении оказалось десять (!) общевойсковых армий (другие фронты имели по две, по три), одна танковая, две воздушные армии и Днепровская военная флотилия. И это еще не все. Приплюсуем три танковых, три кавалерийских и один механизированный корпус, предназначавшийся для ввода в прорыв, для опережающего параллельного преследования и окружения войск противника. Такую мощь доверил Константину Константиновичу Сталин.

С учетом изменений, предложенных Рокоссовским, намечен был Генштабом план действий его фронта, скоординированный с другими фронтами. Рокоссовский должен был нанести основной, главный удар из района Рогачева на Бобруйск — Осиповичи. А вспомогательный южнее города Паричи. Теоретически, в общем, все было правильно. Имелись некоторые сомнения, обычные при столь крупных замыслах. Они решались, как принято говорить, в «рабочем порядке». Но…

Ничто вроде не предвещало 23 мая 1944 года каких-то конфликтов при утверждении грандиозной операции «Багратион», которая считалась детищем Сталина, в подготовку которой он вложил не только свои знания, обретенный опыт, по и душу, и темперамент. Повторю: как бы подчеркивалось — три года назад гитлеровцы напали вероломно, предвидя иезуитский успех, а теперь получайте расплату на тех же рубежах. Обстоятельный военно-политический план. И все же гром, неожиданный для Ставки и для Генштаба, грянул в Кремле. Совсем вроде не раскатистый, мало кем услышанный за пределами сталинского кабинета, но по результату, по накалу страстей сравнимый с такими явлениями, после которых резко меняется сложившаяся обстановка — погода меняется. Сами подобные грозы, подобные переломы зело опасны для тех, кто находится в их эпицентре. Непредсказуема направленность испепеляющей молнии… А теперь от абстракции — к фактам.

На совещании по «Багратиону» командующий 1-м Белорусским фронтом Константин Константинович Рокоссовский предложил свой вариант, ломавший то, что было намечено Ставкой. Не просто переиначивавший какие-то детали, а действительно менявший подход к намеченным действиям, да и вообще к сложившимся у нас представлениям о прорыве обороны противника, о ведении крупномасштабного наступления. Рокоссовский заявил: анализ расположения сил неприятеля, его тактических и оперативных резервов, учет географических условий заставляют пересмотреть разработанный в Москве план. Неизменным остается одно: своим левым крылом, выдвинутым далеко на запад южнее Полесья, 1-й Белорусский фронт наносит удар от Ковеля на Люблин и далее на Варшаву, частью сил подрезая при этом «белорусский балкон». По этому поводу возражений не было. Сомнения возникли, когда Рокоссовский сказал, что с восточной стороны вместо одного главного, а другого вспомогательного, отвлекающего удара он намерен нанести два равноценных по силам и средствам. То есть два главных удара, как из района Рогачева, так и из района нижнего течения Березины.

— Почему? — насторожился Сталин — Зачем?

Рокоссовский ответил буквально следующее — цитирую по своей стенограмме:

— Местность на направлении Рогачев — Бобруйск лесисто-болотистая, позволяет сосредоточить там в начале наступления силы только 3-й армии и лишь частично 48-й. Если этой группировке не помочь сильным ударом на другом участке, противник может не допустить здесь прорыва обороны, у него останется возможность перебросить сюда войска с не атакованных нами рубежей. Только два сильных удара решат все проблемы.

— Как это? Как решат? — В голосе Иосифа Виссарионовича прозвучало едва уловимое раздражение.

— В сражение будет одновременно введена вся основная группировка войск правого крыла фронта.

— Ну и вводите.

— Товарищ Сталин, это недостижимо на одном участке из-за его ограниченности. А отвлекающее наступление малыми силами заметного эффекта не даст. Необходимы два главных удара, — повторил Рокоссовский.

— У вас получается даже не два, а три, — съехидничал кто-то.

— Два главных удара на правом крыле фронта, — уточнил Константин Константинович.
Молча, не мигая, Сталин вглядывался в лицо Рокоссовского, будто видел его впервые или обнаружил что-то новое, неизвестное для себя. Наконец произнес:
— Ви-и хорошо продумали свое предложение? Не придется ли раскаиваться в нем?
— Два удара гарантируют нам успех и снизят наши потери.
— А подумайте еще, взвесьте все шансы. Посоветуйтесь с самим собой в соседней комнате. — Сталин показал на дверь. — Десять минут вам хватит?
— Так точно, — спокойно ответил Рокоссовский, хотя щеки его побледнели. Собрал свои бумаги и вышел. В приемной при виде его Поскребышев удивленно и укоризненно покачал головой. Совещание в кабинете продолжалось, но настрой был уже иной, деловитость сменилась напряженностью. Почувствовав это, Верховный Главнокомандующий обратился к своему первому заместителю:
— Товарищ Жуков, помогите товарищу Рокоссовскому разобраться в обстановке и возвращайтесь вместе с ним.
Высокий, худощавый, подтянутый Рокоссовский, истинно военная косточка, стоял посреди комнаты, держа в руке папку с документами. Коренастый, плечистый Жуков остановился рядом, сказал неофициально, по-дружески:
— Зря копья ломаешь. Все уже взвешено и разложено по полочкам. Верховного не покачнешь.
— Дело требует.
— Убежден?
— Абсолютно.
— А без этого не обойтись?
— Другая цена, Георгий Константинович. Общий успех будет, но какой ценой?!
— Ты хоть понимаешь, что наступил на любимую мозоль? На неприкасаемую мозоль?
— В том-то и штука, — кивнул Рокоссовский.
— Вот и смекай.
Этот диалог, понятный разве что самому узкому кругу военных специалистов, нуждается в расшифровке. Попробуем разобраться, что скрывалось за словами двух полководцев. Не только присущая якобы Сталину нетерпимость к возражениям (дельные советы он и выслушивал, и воспринимал), но нечто гораздо большее. Для лучшего уяснения прибегнем к сравнению. С самого начала Второй мировой войны четко определился принцип наступательных действий немецких войск. Простой и многообещающий. Имея преимущество перед противниками в танках и автотранспорте, немцы сделали упор на стремительный маневр своими подвижными силами. Они нигде не штурмовали укрепленные позиции неприятеля, не тратили на это драгоценное время, не несли потерь в затяжных боях. Столкнувшись с сопротивлением, они маневрировали вдоль фронта, тыкаясь то там, то тут, нащупывая слабые места. А прорвав слабые рубежи, на полной скорости неслись вперед «до последней капли бензина» (по выражению Гудериана), окружая, деморализуя и пленяя части противника, оказавшиеся в их тылу. Так было во Франции, где немцы обошли с севера считавшуюся неприступной «линию Мажино» и

захватили Париж, победив без серьезных потерь. «Выключили из игры» эту мощнейшую линию обороны, вот и весь сказ. Так было и в Польше, где немцы, особенно танкисты Гудериана, на полной скорости неслись на восток, обходя узлы сопротивления: до того момента, пока столкнулись со сплошной массой советских войск, срочно выдвинувшихся в Западную Белоруссию и Западную Украину.

Так было и на советско-германском фронте в 1941 году, когда немцы, внезапно напав на нас, активно маневрировали, нащупывая слабые или неприкрытые места на наших оборонительных рубежах, и нагло лезли все дальше в глубь нашей страны. То же самое повторилось и летом 1942 года. Значителен был элемент авантюры, но в тех конкретных условиях немецкий наступательный шаблон вполне оправдывал себя. Только ведь и мы не лыком шиты, мы искали способы противодействия вражеским стандартам, которые достаточно хорошо изучили. Шаблон, не требуя самостоятельности, легко усваивается среднекомандным составом. Особенно у немцев, в характере которых преобладает стремление к организованности, к дисциплине. Летом 1942 года, когда немцы дошли до Воронежа, Сталинграда и до Эльбруса, стандарт сработал в их пользу. Однако любой шаблон рушится, когда противник улавливает закономерность и находит соответствующие способы борьбы. В 1943 году на Курско-Орловской дуге гитлеровцы напоролись на нашу прочную, глубокоэшелонированную оборону. Ткнулись в одном, в другом, в третьем месте — нигде не пробились… Короче говоря исчерпала себя их идея наступательных действий. До самого конца той величайшей войны.

А что у нас? Не поверхностному читателю, который случайно познакомился с каким-то интригующим «куском» романа-исповеди, а людям основательным, осилившим всего «Тайного советника вождя», — своеобразную хрестоматию по многосложной истории сталинского периода, — этим людям напомню эпизод из первых глав книги. Осенью 1918 года критическое положение возникло в районе Царицына. Казалось, ничто не может спасти крепость на Волге. И тогда я, хорошо знавший деяния и наставления своего замечательного учителя генерала Брусилова Алексея Алексеевича, дал Сталину, Ворошилову и Кулику совет: быстро собрать на решающем направлении возле станции Садовая все наши силы, особенно артиллерию, оголив другие участки фронта, и встретить наступление врага мощным ударом по его атакующим частям. Успех тогда был полный, мы разгромили неприятеля и отстояли Царицын. А Сталин, дотоле дилетант в военном искусстве, оценил и навсегда запомнил важнейшее правило: не распылять войска, концентрировать их на главном направлении для решения основной задачи.

Со временем Иосиф Виссарионович оценил и другой важнейший фактор — введение противника в заблуждение относительно намеченных нами целей. При наступлении одновременно с главным ударом обязательно должен наноситься вспомогательный, отвлекающий, который заставляет врага рассосредоточивать свои силы, терять время на уяснение реальной обстановки. Правила эти в общем-то не новы, но Сталин впервые дал им четкую формулировку. Гордился тем, что создал теорию наступательных действий, которую некоторые граждане-товарищи так и окрестили — сталинской. На основе этой теории обучали комсостав. Использовать ее требовали приказы Наркома обороны и Верховного Главнокомандующего. Ничего не скажешь: принцип концентрации сил и вспомогательного удара был и остается правильным. Плохо лишь, когда он становится шаблоном,

утрачивает гибкость, не дает использовать другие возможности. Да ведь и противник не дурак, он приспосабливается к схеме, находит способы противодействия.

В кабинете Сталина не просто столкнулись два мнения: решение Ставки, подготовленное по привычным канонам, и предложение командующего фронтом, исходившего из реального положения на его участке; нет, столкнулась теория, создателем и носителем которой считал себя Иосиф Виссарионович, и новация генерала, дерзнувшего отступить от твердых правил, поставить их под сомнение. Вошли в противоречие уязвленное самолюбие высокого руководителя и разумные поиски добросовестного человека. Суть была не в одном лишь данном конкретном случае. Отойдя от своего принципа, Сталин тем самым признал бы оный не всегда пригодным, не всеобъемлющим. Вероятно, Иосиф Виссарионович подсознательно желал, чтобы Рокоссовский каким-то образом смягчил свою позицию, пошел бы на компромисс. Но Рокоссовский не смог или не захотел. Вернувшись с Жуковым в кабинет, Константин Константинович подтвердил свои соображения и даже привел новые доводы в их защиту.

— Нанося два главных удара в лесисто-болотистой местности с малым количеством дорог, мы лишаем противника возможности маневра. Успех, достигнутый нами пусть даже сначала на одном из двух участков, сразу поставит немецкие войска в тяжелое положение, а нашему фронту обеспечит энергичное развитие наступления.

С каменным спокойствием выслушал Иосиф Виссарионович генерала, не поднимая глаз, чтобы не выдать закипавший гнев, который Сталин сдерживал напряжением воли. Лишь ледяной тон выдал его состояние:

— Ваша беседа с товарищем Жуковым не принесла заметной пользы. У вас есть время поразмышлять еще несколько минут. Идите и думайте.

Вслед за Рокоссовским в соседнюю комнату выскочил Молотов, петушком налетел на высокорослого генерала:

— Вы с кем спорите? Вы отдаете себе отчет, с кем спорите?! С Верховным Главнокомандующим! С самим товарищем Сталиным!

— Отнюдь. Нам, генералам, никак не положено спорить с Верховным.

— Тогда в чем же дело? Идите и извинитесь.

— У нас не спор, а обсуждение. Каждый вправе изложить на военном совещании свое мнение, начиная с младших по званию, — пояснил Рокоссовский. — Если Верховный Главнокомандующий прикажет, его распоряжение будет выполнено беспрекословно, точно и в срок. Но он не приказывает, он требует высказать соображения. И я выполняю это требование.

Смекалистый, острый на язык Вячеслав Михайлович в этот раз не нашелся, как возразить. Поперхнулся, отступился, скрылся за дверью.

Обстановка в кабинете накалилась. Все понимали, что судьба Рокоссовского повисла на волоске, на совещание он может вообще не вернуться. Грозило по меньшей мере отстранение с поста, разжалование, но могло быть и гораздо хуже. Однако из всех собравшихся всю сложность ситуации полностью сознавали лишь четверо: сам Сталин, командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал Баграмян Иван Христофорович, представитель-координатор Ставки на том же фронте маршал Василевский Александр Михайлович и я, как обычно находившийся в комнате за кабинетом. А дело вот в чем. Буквально за несколько суток до означенного совещания в Кремле маршал Василевский проверял на месте готовность 1-го Прибалтийского фронта к операции «Багратион». И

обнаружил такой отход от существующих правил, что, по его же словам, «за голову схватился». Генерал Баграмян на свой страх и риск не только отказался от нанесения двух ударов, главного и вспомогательного, но совершил нечто прямо противоположное. Вместо сосредоточения войск ударной группировки на узком участке, наоборот, растянул ее в непомерно длинной полосе, достигавшей 25 километров. Василевскому объяснил так. Озера и болотистые леса, раскинувшиеся северо-западнее Витебска, не позволяют ввести в бой крупные массы войск на каком-то целостном участке. Ударные «кулаки» созданы изолированно на междуозерных и междуболотных проходах, отсюда и растянутость исходного рубежа. Но «кулаки» сильные, насыщенные техникой, вражескую оборону проломят. Дипломатичный Баграмян сослался даже на указание Ставки о правильном использовании условий местности.

Пехота и артиллерия были уже выдвинуты в намеченные районы, подвезены боеприпасы, развернута тыловые службы. Переиначивать было очень трудно, да и просто поздно. Учитывая это, Василевский лишь высказал Ивану Христофоровичу свое неудовольствие, по ничего не стал менять. Даже постарался смягчить вину Баграмяна перед Верховным Главнокомандующим. Прошло без последствий. Но вот сегодня — еще одно резкое отклонение от сталинского принципа наступательных действий, теперь со стороны Рокоссовского. Это уже не случайность. Что, принцип устарел и больше не действует? Или вольнодумство, зазнайство молодых полководцев, желающих продемонстрировать свои особые способности? Или самое скверное — фронда, сговор занесшихся генералов, совместно выступивших против линии Верховного Главнокомандования?!

Сталин, вполуха слушая выступавших, размышлял, что произошло и как реагировать на случившееся, как быть с Рокоссовским? Я понял: Иосиф Виссарионович находится в таком неопределенном состоянии, что маятник дальнейших событий может качнуться в любую сторону и с какой угодно силой. Если сейчас Сталин «сломает» Рокоссовского, то «сломаются» и другие генералы, лишатся инициативности, самостоятельности. А их, самостоятельных, и без того по пальцам пересчитаешь. Теперь вот нет Ватутина, может не стать и Рокоссовского… Кто крупные операции проводить будет!.. Я не мог больше оставаться в роли постороннего наблюдателя, надо было повлиять на развязку. Но не скажешь ведь свое мнение при всех, не посоветуешь открыто… Оставался только один испытанный способ, против которого Иосиф Виссарионович еще никогда не возражал.

Рокоссовского позвали. Все решали секунды. Войдя в кабинет, встретит он настороженный взгляд Берии… Невозможно даже представить, что пережил в те короткие мгновения мужественный генерал. Он ведь знал, чем все может кончиться, если не откажется от своих предложений. Он уже провел два с половиной года в тюрьме, перенес изнурительные допросы, унижения. Сидел не только на Лубянке, но и в самом страшном месте, в каменном мешке Шлиссельбургской крепости, которую мало кто из заключенных покидал на своих ногах. Его пытали, но он не признал за собой никакой вины, не оговорил ни единого человека… Его реабилитировали незадолго до войны. И вот все темное, все страшное могло повториться. Один жест Сталина, и на нем вместо кителя с генеральскими погонами опять окажется арестантская роба.

Две двери открылись одновременно. Все присутствовавшие повернулись к Рокоссовскому. А я, сделав несколько бесшумных шагов, положил на стол перед Сталиным лист бумаги с двумя крупно написанными словами: «ОН ПРАВ». Иосиф Виссарионович скользнул по бумаге взглядом, отодвинул ее ко мне и едва заметно кивнул. Я вышел и сразу же порвал лист.

— Так что вы надумали? — спросил Сталин. — Что вы нам скажете?

— Товарищ Сталин, я могу только повторить то, что изложено в нашем плане.

— Без колебаний?

— Так точно, без колебаний, — твердо произнес Рокоссовский.

Сталин взял из коробки папиросу, подержал в руке, не стал крошить табак в трубку, а лишь чуть размял пальцами, прикурил. Пауза показалась невероятно долгой. Наконец произнес:

— Настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления тщательно продумана им и его штабом. А это надежная гарантия успеха. Считаю, что план товарища Рокоссовского надо утвердить в таком виде, в каком представлен. Пусть выполняет.

Смог Иосиф Виссарионович переступить через свое самолюбие, признать правоту другого и подавить собственную гордыню. Общий вздох облегчения прошелестел в кабинете. Воспряли генералы, заулыбался Баграмян. Мне показалось, что слезой затуманились глаза Константина Константиновича. И уж не показалось, а точно: в тот день прибавилось седины у него на висках… Большие сражения выигрываются полководцами не только на поле боя.

Ну вот, в какой-то мере раскрыл я памятный фрагмент подготовки большой наступательной операции, то есть одного из тех ударов 1944 года, которые принято называть «Сталинскими ударами». А ведь их в том году было десять, мы их уже перечисляли. И с каждым связано множество разнообразных событий, великие множество судеб.

13

В тот период Сталин почти каждый день встречался с начальником Главного Политического управления Красной Армии Александром Сергеевичем Щербаковым, часто говорил с ним по телефону. Очень ценил его осведомленность, ясный ум, а главное — добросовестность. Не обладая хорошим здоровьем, Щербаков, преодолевая болезни, нисколько не щадил себя, работал на износ и скончался в сорок пятом победном году. Но до самых последних дней на состояние свое не жаловался, выполнял все, что ему поручалось.

Имел Александр Сергеевич одну особенность, не знаю уж, чем и объяснимую, его прирожденной тактичностью или крайней почтительностью к Сталину: он старался не докучать Иосифу Виссарионовичу вопросами, которые хоть и были важны сами по себе, но не относились к самым срочным, принципиальным. Которые, по его мнению, можно было решать между другими делами, не перегружая Сталина, сберегая его время. Случалось, Щербаков обращался ко мне, чтобы я по своему усмотрению выбрал удобный момент, дабы доложить что-то или сообщить о чем-то Иосифу Виссарионовичу. Для меня это не составляло особого труда, тем более, что Сталин, полностью доверяя Щербакову, положительно воспринимал все от него исходившее: зачастую

даже не читал документы, завизированные Александром Сергеевичем, только спрашивал, в чем суть, и ставил свою подпись. Более высокого уровня сталинского доверия я не знаю. А из вопросов, которые Щербаков решал через меня, запомнилось несколько казусно-серьезных. Или просто казусных.

Однажды в присутствии Александра Сергеевича Верховный Главнокомандующий посетовал на обстановку возле Бердичева. Наши наступавшие войска, имея преимущество над противником, почему-то застряли возле этого города, не сообщая о его взятии.

— Чего они там колупаются, почему темпы теряют? — ворчливо произнес Сталин. — Сколько у нас разных каналов, а никто не может объяснить, что происходит.

Щербаков, вероятно, принял упрек и в свой адрес. Во всяком случае, вернувшись в ГлавПУР, поднял на ноги свою осведомительную команду. Причина задержки выяснилась быстро, но такая, что хоть вздыхай, хоть смейся: сообщать Сталину вроде бы неудобно, да ведь нужно. Тут следует вспомнить вот что. Испокон веков в состав русской армии входили «именные» части и соединения, получавшие свое название по разным причинам. Одни по месту создания (Преображенский и Семеновский гвардейские полки), другие по месту постоянной дислокации, третьи удостаивались высокой чести в память о достигнутых успехах. С осени 1943 года, когда мы начали одерживать победу за победой, освобождать город за городом, последних становилось все больше. Чуть ли ни каждый день сообщалось о присвоении полкам и дивизиям почетных наименований. Это вдохновляло воинов, вселяло гордость. Прослеживался, закреплялся в истории боевой путь части.

Не всегда присвоение почетных наименований проходило гладко. Хорошо, ежели твоя дивизия стала Орловской или, к примеру, Львовской. Приемлемо, если Чугуевской или Глуховской. А как быть с теми войсками, которые с боем взяли город Пропойск?! Они-то не виноваты, что такой (вполне, кстати, приличный) городок оказался на их дороге! Случай сей описан одним из литераторов, если не ошибаюсь — Константином Симоновым. Тогда поступили просто и, на мой взгляд, вполне правильно: населенный пункт срочно переименовали в Славгород. И жителям было приятно, и войска получили наименование не «пропойских», а «славгородских». Хотя шутники посмеивались: еще неизвестно, что точнее, первое или второе. А возле Бердичева вообще сложилось такое положение, что и на пьяную голову не придумаешь.

Политработники сообщили: наши войска, подступившие к Бердичеву, не хотят штурмовать город, уклоняются от участия в боях за него, дабы не получить соответствующее наименование. Почему? Не знаю, существовал ли до гражданской войны такой термин «бердичевский казак» или «казак из Бердичева». Нет, пожалуй. Думаю, возник он после того, как на юго-западе Украины появились формирования Котовского и Якира, с соответствующими кавалерийскими вкраплениями. Там много было евреев, особенно одесских, житомирских, бердичевских, тех евреев, которые вырвались из зловонных местечек, из зоны оседлости и готовы были на все в драке за свою неограниченную свободу. Все тот же извечный лозунг: дайте нам равенство, а остальное мы возьмем сами. В боях-то эти изгои не ахти, а вот выставить, показать себя очень даже умели. И понахрапистей, пограмотней были, чем русские и украинские красноармейцы, вчерашние крестьяне.

Когда по тем южным местам, громя белополяков, махновцев и врангелевцев, прошла закаленная в сражениях Первая конная армия, многие кавалерийские формирования, оказавшиеся в зоне ее притяжения, влились в эту армию, как ручейки в реку. При этом деятельные и пронырливые евреи, уже осознавшие свои возможности при новой власти, не желали оставаться рядовыми, в коих летят пули, полезли на штабные должности, в комиссары, в интенданты. А кому это понравится, если расталкивают локтями и лезут?! Истинные кавалеристы-буденновцы, две трети которых составляли выходцы с Дона, с Маныча и Кубани, насмешливо называли новоявленных джигитов «бердичевскими казаками». Или хлеще: «корова в седле». Ну и ненависть, конечно, была после того, как в 1918 году, по распоряжению Янкеля Свердлова и Льва Троцкого, свершилась массовая кровавая расправа над настоящим казачеством — месть за погромы.

Не хочу возвращаться к этой печальной теме, которую теперь стараются представить не как смертельную борьбу между казаками и троцкистами, пытавшимися искоренить казачество, а как конфликт между зажиточными казаками-крестьянами и советской властью. Воины Первой конной, особенно ее комсостав, сделались самыми надежными сторонниками Сталина в борьбе с Троцким и его приверженцами. А словосочетание «бердичевский казак» превратилось после гражданской войны в презрительную кличку, особенно с середины 30-х годов, когда, по настоянию Иосифа Виссарионовича, были восстановлены казачьи войска с их особой формой, особыми традициями. Помните песню:
Оседлаю я горячего коня, Крепко сумы приторочу в перемет, Стань, казачка молодая, у плетня, Проводи меня до солнышка в поход. Мчатся сотни из-за Терека-реки, Под копытами дороженька дрожит, Едут с песней молодые казаки Красной Армии, республике служить. Газыри лежат рядами на груди, Алым пламенем пылают башлыки, Красный маршал Ворошилов, погляди На казачьи богатырские полки.

И надо же такому случиться, — как черт подстроил! — первой на подступы к Бердичеву вышла прославленная гвардейская казачья дивизия! Вместе с другими войсками ей надлежало взять город и неминуемо обрести соответствующее наименование: энская гвардейская бердичевская кавалерийская дивизия. Для казака-конногвардейца унизительней не измыслишь.[81]

Командир казачьей дивизии, рискуя быть снятым с должности, наотрез отказался брать город. Медлила и пехота, затормаживая продвижение войск справа и слева. Кавалерийский комдив твердил одно: «Дайте гарантию, что нас бердичевскими не назовут — через десять часов город будет в наших руках. Костьми ляжем, но возьмем. А позор на свою голову не приму, перед казаками не осрамлюсь». Ну, что тут скажешь? Начальники разных ведомств и разных уровней, и армейские, и фронтовые и даже в Генштабе, плечами пожимали, посмеиваясь. Вроде бы анекдотический случай, шутка, а дело-то оборачивается всерьез, влияет на оперативную обстановку, может жизнь кое-кому испортить. Начальник ГлавПУРа Александр Сергеевич Щербаков попросил меня приехать к нему. Находился в недоумении: как поступить? Политическая подкладка просматривалась. А обращаться к Сталину специально по этому вопросу вроде бы неудобно, нарвешься на ответ: «Орава руководителей, а в пустяках разобраться не можете». Или вдруг заострит политическую сторону, прикажет принять меры, полетят головы, не очень-то и повинные.

Что я мог посоветовать? Раз войска не хотят бердичевского почета, то и не надо настаивать. Лучше всего смягчить ситуацию и там, на фронте, и тут — в Ставке. Казакам дать заверение, что взятие города останется без последствий. А в традиционном благодарственном приказе освобождение Бердичева не выделять, назвать его в числе других населенных пунктов. Ну, взяли, и ладно. Приказ же дать на подпись Сталину в тот момент, когда он будет озабочен проблемами более существенными.

— Он вникает, — уважительно произнес Щербаков, потирая пухлую, болезненно-бледную щеку.

— Было бы во что… Если с вашей визой и визой Генштаба…

— Попробуем, — вздохнул Александр Сергеевич.

Щербаков сделал все от него зависящее, но и черт не дремал. Казаков одолеть не смог, зато каким-то образом подсунул в благодарственный приказ одну из лучших наших дивизий, которая под руководством известного полководца Гая, в свое время освободила родной город Владимира Ильича и еще на гражданской войне обрела звание Ульяновской и Железной. Теперь ей, вместе с казаками, довелось участвовать в боях за Бердичев и, как говорится, получить по заслугам. Отныне полный ее титул (без перечисления орденов) был таков: 24-я мотострелковая, Самаро-Ульяновская, Бердичевская, Железная, Краснознаменная дивизия.

Мои советы помогли тогда «спустить на тормозах» каверзную историю. Никто не пострадал. А случай этот вскоре стал известен на всех фронтах, его передавала из уст в уста «солдатская почта». Дошло и до Иосифа Виссарионовича. Посмеялся задним числом.

14

Летом и осенью 1944 года Генштаб и его составная часть ГРУ провели несколько неофициальных встреч с новоплененными немцами, которые представляли для нас интерес: с генералами разных родов войск, с офицерами крупных вражеских штабов, с техническими специалистами. Определяющим было не звание, а степень осведомленности, кругозор, уровень мышления того или иного человека. Бывает ведь, что не по анекдоту, а в жизни генералы спрашивают у своих адъютантов, скоро ли начнется наступление, а те, в свою очередь, адресуются к солдатам: рядовым видней, они пользуются слухами, на себе ощущают те или иные изменения обстановки.

Встречи действительно были неординарные, разнообразные, ни в коей мере не напоминающие допросы, а скорее похожие на товарищеские беседы профессионалов. Мы небольшими группами, иногда втроем или даже вдвоем отправлялись в подмосковный Красногорск, в лагерь военнопленных, и там в достаточно уютной обстановке обменивались мнениями с немцами за чашкой кофе, порой и с коньяком. Никакие протоколы не велись, никто ничего не записывал, поэтому разговоры получались вполне откровенными, что нам и требовалось.

Иосифа Виссарионовича, а следовательно и меня, интересовал взгляд профессионалов на продолжение и завершение войны. По этому вопросу среди пленных резко обрисовывались две группы с противоположным мнением и настроением. Старые, кайзеровской закалки генералы и офицеры, не очень-то подвергшиеся фашистской обработке, служившие не Гитлеру, а фатерлянду, считали, что оный Адольф Гитлер, бездарно и

дилетантски вмешиваясь в дела военных, уже полностью проиграл эту войну, суть теперь только в сроках и в том, кто оккупирует Германию и утвердится в Берлине: русские, наступая с востока, или союзники с запада. При этом шансы считались примерно одинаковыми, а настроение отнюдь не у всех немцев было в пользу англо-американцев, особенно опасались мести англичан, поляков, французов, хотя и от нас, конечно, добра не ждали. Лучше всего, если войну осторожно завершат политики, как можно меньше считаясь с обидами.

Более молодые генералы и офицеры, «созревшие» уже в Третьем рейхе, впитавшие в той или другой степени фашистскую идеологию, мыслили иначе. Они еще надеялись на успех, во всяком случае хотели надеяться. Некоторые из них верили в могущественное «оружие возмездия», которое готовилось где-то в тайных подземных заводах, с помощью которого Германия не только вернет утраченные победы, по и достигнет целей, намеченных фюрером. Другие, кто поскромнее и реалистичней, считали: чем ближе полный крах вермахта и неизбежный после этого передел Европы и даже всего мира, тем стремительнее будет расти пропасть между членами антигитлеровской коалиции. Это и спасет Германию.

Очень даже не лишенными интереса показались мне рассуждения моложавого генерал-майора, этакого с виду грубого мужлана, но, как ни странно, с хорошими, проницательными, даже добрыми глазами. Он был уверен, что союзники передерутся в самое ближайшее время, сделав тем самым хорошую услугу Берлину. И перессорятся даже не потому, что этого захотят Черчилль или Рузвельт — первый захочет скорее. Нет: в Англии, как и в Соединенных Штатах, много влиятельных сил, для которых коммунизм столь же неприемлем, как и немецкий национал-социализм. Эти силы имеют возможность развалить антифашистское содружество. Устроят крупные провокации, как политические, так и военные. Насчет политических генерал-майор гадать не взялся, зато о военных высказался довольно конкретно. Конфликты возникнут там, где русские дальше продвинулись на запад и при этом сблизились с войсками союзников. Капиталисты жестоки с конкурентами. И, — добавил генерал, — большая провокация будет приурочена к какому-либо советскому празднику. Всем известно, что в торжественные дни русские выпивают, отдыхают, утрачивают бдительность. Да и резонанс от праздничного «подарка» будет громче.

Об этом разговоре я доложил Сталину — в присутствии Молотова. Иосиф Виссарионович слушал внимательно. Главный наш специалист по международным делам Вячеслав Михайлович — усмехаясь. Он же и заговорил первым, едва я умолк.

— Не оракул этот генерал. В лучшем случае смышленый констататор. Попытки вбить клин между нами и союзниками были, есть и будут. Закономерность. А самая серьезная попытка — это августовские события в Польше. Немец говорит о провокациях военных или политических, а наши противники пошли дальше и развернулись шире, совершив в Варшаве акцию комплексную. Сразу и то, и другое. Попытались навязать нам военно-политическое сражение.

Сталин помалкивал, раздумывая. А я воспользуюсь этой паузой, чтобы дать читателю представление о трагических событиях того периода в многострадальной Польше, оказавшейся своего рода шахматной доской для кровавых игрищ. Хорошо подготовленная и великолепно проведенная нами Белорусская наступательная операция, о которой я писал выше,

завершилась самым крупным поражением немецких войск за время Второй мировой войны. Я имею в виду не целую систему операций, а поражение именно в одной отдельно взятой битве. За короткий срок наши войска разгромили самую мощную вражескую группировку — группу армий «Центр», захватили огромное количество пленных и техники (как немцы захватывали в 41 году) и продвинулись из центральной России, почти от Смоленска, аж до Вислы. Рывок на 600 километров совершил фронт Рокоссовского и его соседи. И не только добились выдающихся успехов, но, как настоящие мастера своего дела, позаботились о будущем, захватив южнее Варшавы несколько плацдармов на западном берегу Вислы. Наиболее крупным и важным среди них оказался плацдарм Магнушевский, взятый 8-й гвардейской армией Василия Ивановича Чуйкова. Так именовалась теперь знаменитая 62-я армия, зело отличившаяся в Сталинграде, удержавшая последние метры на правом берегу Волги. Теперь немцы, узрев большую угрозу для себя, всеми силами старались столкнуть прославленную армию в Вислу. А генерал Чуйков опять был с гвардейцами на «огненном пятачке» впереди фронта, отрезанный от своих широкой рекой.

Освободив в ходе Белорусской операции значительную часть Польши, запутанную обстановку увидели мы там. Конгломерат раздираемых противоречиями сил. Речь не о мирных жителях, большинство которых с радостью встречало наши войска, речь о многочисленных боевых отрядах, боровшихся с немецкими оккупантами под разными знаменами, за разные идеалы и, нередко, на чужие деньги. До нашего прихода участников польского Сопротивления, людей разных политических убеждений, объединяла общая цель: все против гитлеризма. Но вот определенная территория очищена от фашистов, и сразу последовало размежевание. Бойцы партизанских отрядов, которые зачастую возглавляли советские офицеры (бежавшие из плена или специально засланные во вражеский тыл), охотно вливались в наши войска или в 1-ю армию Войска Польского. Пополняли польскую армию так называемые «батальоны хлопские», отряды Гвардии Людовой и Армии Людовой.

Иначе вели себя формирования так называемой Армии Крайовой — АК, отличавшиеся своей организованностью и хорошим вооружением: их финансировало и снабжало эмигрантское правительство в Лондоне, черпая средства из английских источников. Интересы этих двух «хозяев» Армия Крайова представляла и защищала. Значительная часть ее командного состава была заброшена в Польшу по воздуху: офицеры продолжали носить свою старую форму, сохраняя худшие традиции пилсудского воинства, в том числе барскую спесь и высокомерие. Среди этих офицеров оказалось много тех, кто в трудный момент предательски покинул нашу страну в составе армии генерала Андерса. Конечно, новая встреча с нашим военным руководством не доставила им ни политического, ни морального удовлетворения. Как, впрочем, и нам. Свой статус на освобожденной территории командование АК определило так: «Оружие против Красной Армии применять не станем, но и никаких контактов иметь не будем». Очень шаткое состояние на грани нейтралитета и враждебности, не исключающее тайной борьбы и даже боевых столкновений.

Положение Армии Крайовой, подчинявшейся эмигрантскому правительству в Лондоне, особенно осложнилось после того, как на освобожденной части Польши, в Люблине, был создан Комитет

национального освобождения, по существу настоящее правительство, взявшее на себя руководство всеми военными и хозяйственными делами на месте, в борющейся республике. И, значит, польские политэмигранты в Лондоне, давно уже оторванные от своей страны, лишались последних возможностей и надежд. С этим не желали смириться не только они, но и стоявшие за их спинами английские политические кукловоды.

1 августа 1944 года в оккупированной Варшаве вспыхнуло восстание, спровоцированное офицерами АК по приказу господ из Лондона. Сделать это не составляло особого труда: подожгли фитиль, и взорвался давно копившийся народный гнев. В едином порыве взялись за оружие и стар и млад, выполняя приказы руководителя повстанцев генерала Бур-Коморовского. Поднялись патриоты, ничего не зная о том, заложниками какой военно-политической авантюры стали они. Восторженность и энтузиазм помогли в первые дни восстания добиться успеха, освободить от гитлеровцев часть Варшавы. Чем не радость! Да и наступающие русские недалеко, где-то за Вислой, на подступах к Праге — к восточной, заречной, окраине города (не путать с Прагой чешской). Подоспеют, помогут братья-славяне!

Заблуждались, ох как заблуждались польские граждане, искренние патриоты, взявшиеся за оружие в немецком тылу, обрекая себя на риск без компромисса: или-или. Не предполагали, не сознавали они, что, с военной точки зрения, момент для восстания выбран был не просто худший, а наиболее худший, это как раз и устраивало эмигрантское правительство в Лондоне и его покровителей. Этакое военное безвременье. Немцы бросили резервы на передовую, чтобы остановить русских. Наши войска действительно находились на подступах к Варшаве, но они уже были на пределе, они ослабли, понесли потери, коммуникации растянулись: требовался отдых, пополнение, накопление боевых средств. Именно эту ситуацию и попытался использовать Черчилль, чтобы вернуть в Варшаву надежных польских политиков, которых прикармливал все военные годы. Ради этого можно было пойти на любую авантюру, на любой риск. При провале — гибель нескольких десятков тысяч поляков. Не англичан же. А вдруг — удача! В Варшаве — «законное» правительство, отсидевшееся в Лондоне и до мозга костей преданное Великобритании. Только за ниточки дергай, управляя марионетками. Центр Европы — в руках Черчилля. То-то будет чертыхаться «дядюшка Джо»! Как это у него по-грузински, цис рисхва?!

Радовался, значит, наш дорогой союзничек. Но не рано ли? Сталин, безупречно соблюдавший все договоренности с коллегами по антигитлеровской коалиции, при любых обстоятельствах сохранявший высокое достоинство и дипломатическую вежливость, внутренне готов был к любым эскападам, особенно со стороны английского премьера. О восстании в Варшаве мы узнали через сутки после начала, и не от поляков, не от союзников, имевших все возможности известить нас, а от своей разведки.

Заместитель начальника Генштаба Алексей Иннокентьевич Антонов во второй половине дня прибыл с неурочным докладом к Верховному Главнокомандующему, находившемуся на Ближней даче и занимавшемуся заботами совсем не военными. В кои времена выкроил часок побывать в своем любимом саду, посмотреть, как и что, потолковать с садовником, отвести душу в спорах с ним: эти споры, по моим наблюдениям, доставляли обоюдное удовольствие, а Иосифу Виссарионовичу приносили

еще и разрядку. Очень своеобразным человеком был этот кунцевский садовник. Тихий и незаметный в быту, он, как и многие хорошие, но узкие специалисты, влюбленные в свое дело, живущие своей работой, совершенно менялся, когда кто-то вторгался в его епархию, лез в его монастырь со своим уставом. Никто не мог так спорить со Сталиным, как он: неуступчиво, громко, до хрипоты (касательно сада, конечно). Недвусмысленно подчеркивая при этом: я в твои дела не лезу, но и ты тоже не суйся. Повтори, что нужно, а как выполнить — это моя задача. Сталин зачастую оказывался побежденным в бурных садово-огородных дебатах, но это не огорчало его, а даже приносило некое удовлетворение: ведь с признанным специалистом, с большим знатоком он дискутировал без всяких подсказок и почти на равных.

В тот раз у них опять завязался шибко научный спор: каким способом и когда формировать кроны плодовых деревьев в условиях средней России? Садовник, помнится, говорил о том, что крона особенно разрастается с южной стороны, но нельзя каждый год резать только здесь, лучше затенять это направление, чтобы крона увеличивалась равномерно со всех сторон… Что-то в этом роде; за точность не ручаюсь, я не вникал в столь ответственный диспут, любуясь цветами и наслаждаясь их запахом. Вспоминал названия: это табак, это, пожалуй, фиалки, это, наверно, гортензии. Тут и появился генерал Антонов — подтянутый, собранный, быстро шагал по аллее. Сопровождавший его Власик едва поспевал следом, тяжело переваливаясь, как добротно откормленный гусь.

Первое, что услышал Алексей Иннокентьевич в саду, были, вероятно, громкие голоса Сталина и его собеседника: «Рэзать!.. — Не резать!», «Рэзать!.. — Не резать!» Нисколько не смутившись столь необычными восклицаниями, Антонов приблизился к Верховному Главнокомандующему и, получив разрешение, начал докладывать о Варшаве. Иосиф Виссарионович, остывая от спора, старался переключиться на восприятие необычной новости. Следя за выражением его лица, обретавшего непроницаемую сосредоточенность, я уловил тот момент, когда он полностью отрешился от садовых забот и, как говорится, вошел в курс дела. Не перебивая Антонова, осмысливал поворот событий.

Алексей Иннокентьевич закончил доклад свой вопросом: какие будут указания по этому поводу? Сталин ответил: пока никаких, пока ничего не надо менять в наших замыслах. С нами не посоветовались, нас не предупредили, от нас ничего не просят. Значит, там особые интересы, особая самодеятельность. А у нас свои планы. Таскать для англичан горячие каштаны из огня мы не будем. Вот когда поляки или англичане нас попросят, тогда подумаем. «А они попросят, — уверенно подытожил Сталин, — обожгутся и запоют Лазаря. Варшаву им Гитлер не отдаст… Мы ее возьмем — это понятно, это война. Но чтобы польскую столицу захватили повстанцы, подав пример другим оккупированным столицам, другим городам, — такого позорища гитлеровское руководство не допустит. — И, помолчав, добавил: — Сколько жителей погибнет из-за политических авантюристов. Ни за понюшку табаку пострадают».

Прав, оказался Иосиф Виссарионович. Немцы ничего не пожалели, чтобы быстрее погасить вспыхнувший в Варшаве пожар. Подтянули резервы, взяли город в кольцо, бросили вперед специальные подразделения, кромсали польскую столицу тяжелыми снарядами и авиабомбами. Продвигались медленно, но верно, методически уничтожая дом за домом, квартал за кварталом вместе с теми, кто там находился, будь то

повстанцы, дети или старики. За спиной наступавших карателей оставались только мертвые руины.

Весь сентябрь варшавяне держались стойко. Но слабели силы, иссякали боеприпасы, почти не осталось продовольствия. А главное — росло понимание того, в какую страшную кровавую игру втянуло жителей столицы командование Армии Крайовой. Взявшиеся за оружие варшавяне, бойцы Армии Людовой, поверившие генералу Бур-Коморовскому и пошедшие за ним, за аковцами, все глубже осознавали трагичность и безнадежность своего положения. Что впереди? Полное уничтожение города и всех, кто в нем находится: фашисты не знают пощады. Единственное спасение повстанцы видели в том, чтобы обратиться за помощью к советским войскам, которые уже вышли к Висле, к заречному пригороду — Праге. Но командование Армии Крайовой, по требованию господ из Лондона, упрямо стояло на своем: против русских не воюем, но никаких контактов с ними иметь не будем и другим не позволим. И действительно, пресекали все попытки, надеясь только на помощь с запада. Англичане, мол, доставят по воздуху боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Высадят большой воздушный десант. А следом и само правительство прилетит из эмиграции в осажденный город. Повстанцы надеялись на эти обещания, хотели верить, но вера быстро слабела. Начались распри.

Перелом наступил в первой половине сентября, в тот день, когда англичане попытались хотя бы частично осуществить обещанное. К Варшаве подошла воздушная эскадра из 80 «Летающих крепостей» в сопровождении большого количества истребителей. Немцы встретили эскадру плотным зенитным огнем. Два самолета рухнули на землю. Остальные, не рискуя снижаться, принялись сбрасывать груз с большой высоты, от четырех до пяти километров. Тюки рассеивались во все стороны, и лишь небольшая часть их попала к повстанцам. Остальное оказалось в руках гитлеровцев, фашисты порадовались богатой добыче. После этого случая варшавяне поняли: запад не способен помочь ничем, кроме моральной поддержки. Под давлением повстанцев руководство Армии Крайовой решило наконец через Лондон обратиться к советскому командованию. Просьба дошла до Сталина.

Вызвав к телефону командующего 1-м Белорусским фронтом генерала Рокоссовского, Иосиф Виссарионович задал короткий вопрос: могут ли войска фронта провести сейчас операцию по освобождению Варшавы? Константин Константинович, русский по матери и поляк по отцу, с особой болью воспринимавший то, что происходило теперь за Вислой, готов был всячески содействовать восставшим, спасти красавец-город, однако на четкий вопрос Верховного Главнокомандующего вынужден был дать столь же четкий однозначный ответ: войска полностью выдохлись в длительном наступлении, на данном этапе фронт способен только обороняться. И тогда Иосиф Виссарионович попросил-посоветовал: «Товарищ Румянцев, [82] сделайте для них все, что сочтете возможным». Дал генералу полную свободу действий.

У Рокоссовского очень мало оставалось пехоты, но еще имелось значительное количество артиллерии и авиации. В Варшаву к повстанцам были переброшены наши офицеры-корректировщики с радиостанциями. Наши орудия и минометы, ведя огонь с восточного берега Вислы, подавляли немецкие батареи. Наша зенитная артиллерия, в пределах своей дальности, прикрывала повстанцев от воздушных налетов

противника. Наша авиация, по заявкам повстанцев, бомбила вражеские позиции. Ночные бомбардировщики, летавшие на малой высоте, доставляли варшавянам боеприпасы и продовольствие. Две с половиной тысячи раз сбрасывали они груз в указанные районы.

Подготовил Константин Константинович действия более решительные, с далеким прицелом. По договоренности с командованием Армии Крайовой, решил высадить десант на прибрежной окраине Варшавы, где держали оборону повстанцы, захватить и наращивать там плацдарм для переброски войск. Однако операция эта, хорошо задуманная и подготовленная, кончилась провалом. И отнюдь не по вине Рокоссовского. Когда десантники приблизились к набережной, которую должны были удерживать подразделения Армии Крайовой, то встречены были не дружескими приветствиями, а огнем в упор. Как выяснилось впоследствии, командование Армии Крайовой пошло на прямое предательство. За несколько часов до намеченной высадки аковцы покинули свой рубеж, который, естественно, тотчас заняли немцы. Под удар попал не только первый бросок десанта — в критическом положении оказались воины Армии Людовой, оборонявшиеся по соседству с аковцами. Десантная операция была сорвана. Таковы последствия замешанного на ненависти и политическом эгоизме принципа — никаких контактов с русскими не иметь.

После этого случая наша помощь восставшим пошла на убыль. Да и некому было помогать, все меньше становилось защитников в разрушенном городе. 2 октября прозвучали последние выстрелы. Не больше ста уцелевших повстанцев переправилось к нам через Вислу. Там, где была Варшава, дымились руины.

15

Трагические события в Польше как раз и имел в виду Молотов, когда мы вместе со Сталиным обсуждали заявление пленного генерал-майора, предупреждавшего о неизбежных провокациях со стороны союзников, причем в самое ближайшее время. По-своему прав был Вячеслав Михайлович, но он анализировал то, что уже произошло, а пленный немец пытался заглянуть в будущее и говорил о провокациях не политических, а военных; они, разумеется, тоже получили бы политический резонанс, но разница все же имелась. Сталин отнесся к словам немецкого генерала более серьезно, согласившись с тем, что осложнений надо ждать там, где наши войска продвинулись дальше на запад, и с тем, что провокации, ежели таковые свершатся, будут приурочены к праздничным, к торжественным дням. По календарю ближайшим большим праздником было для нас 7 ноября — очередная годовщина Великой Октябрьской революции, на торжественном заседании в честь которой Сталин должен был выступить с подведением итогов военного года, с сообщением о десяти ударах Красной Армии. Сие было учтено. Войска предупредили о необходимости повысить бдительность, активизировать разведку, усилить охрану объектов, выделить дежурные подразделения, и все прочее, что положено в таких случаях. Однако всего не предусмотришь.

7 ноября, когда в Москве господствовало приподнято-праздничное настроение, когда Сталин после официальных церемоний намеревался отдохнуть вечером в «Блинах», на самом удаленном от столицы участке фронта произошло вот что. Из югославского города Ниш, находившегося

уже в тылу наших войск, выступила к линии фронта большая колонна 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Впереди, как положено, головная походная застава, затем техника: грузовики с воинским имуществом, артиллерия, автомашины специального назначения. В середине колонны штаб корпуса и его командир генерал-лейтенант Г. П. Котов, один из тех, кого называли генералами поля боя. Или еще проще — чернорабочими войны. Внешне он запомнился мне крупными правильными чертами лица и наголо бритой головой, как у маршала Тимошенко. Чем-то даже похож был на него Котов.

За штабом далеко растянулась привычная к большим переходам пехота со своими повозками, с легкими орудиями, минометами. День был солнечный, яркий, прохладный, дорога каменистая, сухая; не натужный марш-бросок, а приятная прогулка на чистом осеннем воздухе. Двигались открыто, без всякой опаски, два или три полка даже с развернутыми знаменами — по случаю праздника. Вражеской авиации на этом участке фронта практически уже не было, а если и появится в небе немец, то его перехватят наши летчики, дежурившие возле истребителей на недалеком аэродроме. И вдруг из-за горизонта стремительно вырвались самолеты незнакомого нашим бойцам типа, с белыми звездами на фюзеляжах. Их было много, и неслись они группами. Первая обрушила огонь крупнокалиберных пулеметов на центр колонны, на штаб, вторая «прочесала» огнем нашу технику, третья расстреливала с воздуха тех, кто бежал от дороги.

Живо представляя себе то страшное положение, в котором внезапно оказались наши гвардейцы, я все же не стану рассказывать об этом своими словами, а уступлю место официальному документу: они всегда точнее, а порой и красноречивей самых красочных описаний. Вот выдержка из письма заместителя начальника Генштаба Алексея Иннокентьевича Антонова главе американской военной миссии в СССР генерал-майору Джону Р. Дину:

«Уважаемый генерал Дин! Настоящим довожу до Вашего сведения, что в 12 часов 50 минут 7 ноября с. г. между Ниш и Алексинац (Югославия) автоколонна войск Красной Армии была атакована группой американских истребителей в составе 27 самолетов «Лайтнинг».

Взлетевшая с аэродрома Ниш дежурная группа советских истребителей в количестве девяти самолетов также была атакована этими «Лайтнингами» в момент набора высоты, несмотря на то, что были ясно видны опознавательные знаки самолетов ВВС Красной Армии.

Тем не менее, американские самолеты «Лайтнинги» в течение 15 минут продолжали свои атаки советских истребителей, вынужденных обороняться.

Атаки «Лайтнингов» прекратились лишь после того, как ведущий группы советских истребителей капитан Колдунов, рискуя быть сбитым, подстроился к ведущему группы американских истребителей и показал ему опознавательные знаки своего самолета.

В результате налета американских самолетов на советскую автоколонну убит командир корпуса генерал-лейтенант Котов, два офицера и три рядовых. Сожжено 20 автомашин с имуществом.

Из состава группы советских истребителей сбито три самолета, погибло два летчика и, кроме того, в районе аэродрома огнем американских самолетов убито четыре человека.

Этот из ряда вон выходящий случай нападения американских самолетов на колонну войск и группу самолетов Красной Армии вызывает у нас крайнее недоумение, так как нападение совершено в тылу, в 50 км от линии фронта, между городами Ниш и Алексинац, о которых еще 14–16 октября было опубликовано в сводке Советского Информбюро, что они заняты советскими войсками.

Ясно видимые опознавательные знаки советских самолетов также исключали возможность ошибки в определении принадлежности самолетов. Действия американской авиации в районе Ниш не были согласованы с Генеральным штабом Красной Армии, что также не находит себе оправдания…»

Не стану вдаваться в подробности последовавших за этим письмом разбирательств, извинений с американской стороны, выработки совместных решений, исключающих в дальнейшем столкновения наших и англо-американских войск как в воздухе, так и на суше. Нам важна реакция Сталина. Ему доложили о случившемся во время праздничного обеда. Он помрачнел, резко отодвинул тарелку, молча встал и направился в кабинет. Антонов и я — за ним. Иосиф Виссарионович связался по ВЧ со штабом 3-го Украинского фронта, в полосе которого произошел инцидент. Не помню, с кем он тогда говорил, знаю только, что на вопрос «случайность или провокация?», получил совершенно четкий ответ — «провокация». Никогда прежде союзники не залетали без согласования так далеко в наш тыл, американцы не могли не заметить наших красных знамен, красных звезд на наших истребителях. Да ведь и форма одежды, цвет одежды у воинов Красной Армии совсем иные, нежели у наших противников-гитлеровцев. И праздничный день выбрали обдуманно, чтобы неожиданней и весомей оказался «подарок».

Чугунно-темным сделалось лицо Сталина, налившееся кровью. Еще секунда, и он сорвется, прикажет поднять в воздух всю авиацию, разнести к чертовой матери американские аэродромы, передовые части союзников. Последствия будут непредсказуемы, те, кто хочет поссорить нас с союзниками, добьются своей цели на радость Гитлеру. И этой ответственнейшей секундой умело воспользовался Антонов, хорошо изучивший в ежедневном общении особенности характера Иосифа Виссарионовича. Его надо было ошеломить, отвлечь, чтобы появилось время для размышления. Антонов сказал:

— Товарищ Сталин, наши войска форсировали Дунай и захватили плацдарм. Там очень сложная обстановка.

— Как? Где? — Сталин еще ничего не понял, но секунды бежали, и смотрел теперь Верховный не только внутрь себя, но и воспринимал нас с Антоновым. А Алексей Иннокентьевич продолжал:

— Наши войска захватили плацдарм возле Батина и Апатина. Это большой успех. Войскам надо помочь.

— Чем? Ваши предложения?

— Разрешите доложить прямо сейчас? — Антонов принялся разворачивать на столе свою карту.

У Иосифа Виссарионовича постепенно светлело лицо, потускнел желтоватый налет в глазах — признак крайнего гнева. Привычным движением взял трубку. Я же мысленно благодарил Алексея Иннокентьевича.

К американской провокации вернулись позже, когда Сталин совсем остыл. Было решено не поднимать вопрос на самый высокий уровень, а

пустить его по военной линии через Генштаб. При этом не устраивать никакого шума, чтобы не давать пищи гитлеровской пропаганде. Инцидент у города Ниш был не столько исчерпан, сколько приглушен и замят. На долгие годы остался он одной из тайн военного времени. А скверным последствием его было вот что. Сталин, веривший в искренность и добросовестность президента Рузвельта, питавший к нему большое уважение, после провокации в Нише отношения к самому Рузвельту не изменил, но еще раз убедился в том, что в США имеются могущественные силы, враждебные Советскому Союзу. Возросла его подозрительность к американцам, особенно после смерти Рузвельта, когда в апреле 1945 года пост президента занял Гарри Трумэн, чьи слова и дела никак не внушали доверия. Тот самый Трумэн, который, еще будучи сенатором буквально через два дня после нападения фашистов на нашу страну, заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И, таким образом, пусть они убивают как можно больше…»

У Сталина были все основания подозревать, что Трумэн являлся одним из тех активных недоброжелателей, которые устроили провокацию в Нише, готовили другие акции, направленные против Советского Союза. Еще продолжалась война с гитлеровской Германией, но чуткие уши уже улавливали погромыхивание той холодной войны, которую вскоре развяжут Трумэн и Черчилль.

16

Вернусь к нашим не лишенным пользы неофициальным встречам-беседам с немецкими генералами и полковниками в Красногорском лагере военнопленных. Не называю фамилий, потому что никаких стенограмм, записей не велось, разговоры были непринужденно-общими, и я могу ошибочно приписать кому-либо слова, которых он не произносил. Да и какое значение имеют в данном случае фамилии, важна суть. Немецкие генералы внимательно следили за сообщениями с фронтов, из Берлина, в том числе и по зарубежной печати, за сведениями, которые поступали не только по различным официальным каналам, но и от вновь прибывших пленных (а их прибывало все больше!). И, как истинные профессионалы, продолжали активно «воевать» на предоставленных им военных картах, одобряя или критикуя действия как немецкой, так и нашей стороны, высказывая при этом любопытные соображения. Вплоть до того, почему тот или иной германский генерал или фельдмаршал поступил в определенной ситуации в силу своего характера именно так, а не по-другому. Нашим специалистам из Генштаба полезно было знать такие подробности. Почти все наши собеседники были убеждены, что для движения на Берлин маршал Сталин сосредоточит наиболее прославленные воинские соединения и объединения, отличавшиеся в сражениях под Москвой и в Сталинграде, что это сосредоточение уже началось в ходе последних наступательных операций. Назывались факты. Далеко вперед продвинулась, дескать, в Польше 8-я гвардейская армия генерала Чуйкова, удержавшая последние метры земли на правом берегу Волги. На главное направление выходит особо известный немцам 1-й гвардейский кавалерийский корпус — могильщик Гудериана и застрельщик контрнаступления под Москвой. Русские не только берут реванш, но хотят сделать это с торжественной символикой.

Мне проще всего сказать, что нет, специально какие-то особые войска для наступления в сторону Берлина не отбирались и не перебрасывались. Не до этого нам было: дивизии, корпуса и армии использовались там, где они в тот период были необходимы… Но и немцы оказались не совсем не правы, они как бы подспудно осознали стремление Сталина и Жукова собрать для завершения войны во вражеской столице тех самых полководцев, которые в свое время отстояли Москву; это и Рокоссовский, и Белов, и Кузнецов, и другие. А вот на мои вопросы о том, с какого направления предполагает гитлеровское командование прорыв к Берлину союзнических войск, какие советские соединения могут первыми достигнуть столицы рейха, никто из немецких генералов ответа не дал, хотя бы уклончивого. Даже в конце 1944 года они, вероятно, все еще не верили полностью в возможность гибели гитлеровской цитадели, фюрер по-прежнему представлялся им сверхчеловеком, которому само Провидение подскажет выход из критической ситуации. Ведь стояли же недавно немецкие войска в пригородах русской столицы! Кто тогда ждал внезапного и катастрофического перелома!

Ну а я был уверен, что после разгрома немцев на Правобережной Украине и в Белорусской наступательной операции, после того, как наши союзники высадились в Нормандии, Адольф Гитлер, оставаясь наедине с собой, все чаще и чаще с беспокойством смотрит на карту, пытаясь представить свое будущее и угадать, где же то воинское соединение, где та воинская часть, солдаты которой первыми приблизятся к главной его резиденции, к фюрербункеру? Но где бы он ни искал эту дивизию или этот полк, можно с полной уверенностью сказать, что искал их не там, где они находились.

Неисповедимы пути Господни вообще, а уж тем более на войне. Так где же он, уже знакомый читателям обыкновенный, ничем особо не выделяющийся 902-й стрелковый полк Красной Армии?! Тот самый полк, который в труднейшие дни Сталинградской битвы из живых кусочков слеплен, создан, сформирован был в Астрахани: из остатков подразделений, отступавших от Черноморского побережья, от устья Дона, с Северного Кавказа, из недолечившихся в госпиталях раненых, из мальчишек-добровольцев, из каспийских рыбаков, отказавшихся от брони. Полк, где взводами командовали ничего вроде бы не смыслившие в делах пехоты досрочные выпускники эвакуированного из Ленинграда военно-морского училища, не успевшие сменить свои хромовые ботиночки на кирзовые сапоги, где медичками были вчерашние школьницы, окончившие месячные курсы. Тот полк, для которого не то что автомашин или тягачей, но даже лошадей тогда не нашлось, и вместо конского состава использованы были верблюды. Воистину, самое последнее, что могла, отдавила тогда страна.

За два года далеко, очень далеко ушел от места своего рождения 902-й. Причем только своим ходом, ни разу не поднимаясь на железнодорожные колеса. С боями, пехом и ползком, одолел он такие расстояния, что циркулем не сразу измеришь. Если только по прямой: Элиста, Батайск, Ростов-на-Дону, форсирование Днепра, освобождение Одессы. Лето сорок четвертого застало его в обороне на восточном берегу Днестра. Эвон где! Многое изменилось в этом полку. Поступила новая техника, влилось пополнение взамен убитых и раненых. Отозвали на флот уцелевших морских специалистов, лишь в полковом разведвзводе, где порядки были помягче, один бывший старшина 1-й статьи донашивал черную форму:

беззаветно и, как говорили, безответно влюбленный в девушку-санинструктора, он каким-то образом умудрился остаться в своей части. Отчаянная головушка.

Дошла до Днестра и примерно половина астраханских верблюдов, в том числе и два уже примеченных нами: громадный, спокойный Мишка и норовистая капризная Машка. Привычно тянули они от боя к бою артиллерийское орудие усатого сержанта, недавнего рыбака Нестерова и юркого, веселого татарина — заряжающего Кармалюка. Не меньше, чем люди, привыкли, пожалуй, верблюды к военному быту. По звуку определяли, кто в воздухе, наши или немецкие самолеты. Заслышав чужих, спешили лечь на землю, маскируясь где-нибудь в тени дерева, забора или строения. Даже звуки выстрелов и разрывов различали: когда наши бьют и не надо тревожиться, а когда враг…

Обычным скотским кормлением, или, выражаясь по-интендатски, фуражным довольствием, верблюды не ограничивались, считая себя, вероятно, полноправными военными едоками. Вместе с людьми становились в очередь к походным кухням, причем самыми последними: остатки сладки. Вновь прибывшие в полк бойцы, особенно из числа любивших поесть, поначалу ворчали: «Развели горбачей, никогда добавки не получишь, все пожирают». Мишка на таких внимания не обращал с высоты своего ростоположения, а злопамятная Машка, выбрав удобный момент, по-снайперски поражала очередного ворчуна сочным плевком. Воздействие было таким, что повторять не приходилось.

На днестровском рубеже полк принял новый командир майор Ленев Георгий Матвеевич, тот самый Ленев, который в определенной степени символичен, как и 902-й стрелковый. Усилиями всей страны собран был этот полк «по кусочкам, по деталям». И уже знакомого нам Ленева тоже буквально «по деталям» восстановили, выпестовали умелые руки и заботливые сердца из многих городов нашей Родины. Напомню: Георгия Матвеевича, искалеченного взрывом вражеского снаряда во время контрнаступления под Москвой, оперировали, лечили в разных госпиталях, — в Одоеве, в Туле, в Рязани, в Сызрани, в Вольске. Наконец «поставили на ноги», но не совсем. Требовалось удалить раздробленную пяточную кость левой стопы. Но тогда сильная хромота и непригодность для фронта. Ленев просил врачей не спешить, не резать, придумать хоть что-нибудь. Он же кадровый командир, без него нельзя там, на передовой… А что могли придумать врачи? Только одно: наложить скобу, не подверженную коррозии. Из чистого золота. Да где же его возьмешь-достанешь?! И тогда красавица медсестра Антонина Петровна Самойлова сняла свои золотые серьги… Ленев узнал об этом, лишь очнувшись после продолжительной операции. И вот он опять на фронте, в 902-м стрелковом полку 248-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии генерала Берзарина Николая Эрастовича. Боевой офицер родился во второй раз.

Мечта сбылась, и все хорошо было у Георгия Матвеевича. И ясность была. Впереди, естественно, наступление. За рекой Молдавия, потом Румыния, может быть Югославия. Уже переводчика, знавшего румынский язык, в полк прислали. Но, повторюсь, неисповедимы пути, особенно на войне. В далекой Москве, в Генштабе обсуждали важную проблему. После освобождения Правобережной Украины войска левого крыла нашего фронта получили существенное пополнение. Только в первую очередь на освобожденном правобережье было мобилизовано более миллиона человек. Планировалось призвать еще столько же. Там много мужчин

уцелело на быстро захваченной немцами территории. Теперь войска на юге нужды в людях не испытывали. А в центре, на Белорусских и Прибалтийских фронтах, было плохо. Потери большие, а пополнение поступало скупо: за счет партизан, за счет излечившихся раненых. В тылу призывались юнцы 1926 года рождения, но их еще требовалось научить, помуштровать. На совещании в Ставке Верховный Главнокомандующий, выслушав доклады Василевского и Антонова о пополнении войск, действующих на главном направлении за счет частичного перераспределения сил и резервов, перечитал сводную таблицу укомплектованности фронтов, сказал:

— Берлин прежде всего… Россыпью брать людей с Украины не будем. Себе дороже. Надо перебросить на решающее направление опытные, хорошо сколоченные соединения. Отлаженный механизм, чтобы начал действовать сразу и успешно. Желательно с Третьего Украинского фронта.

— Почему именно с Третьего? — спросил Василевский.

— Ясско-Кишиневская операция завершается. Потери были, но войска там скоро опять смогут пополниться. Из освобожденной Молдавии, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Проведем мобилизацию. Население Молдавии — это полноправные граждане нашей страны, надо дать им возможность внести хотя бы малую лепту в победу над немецким и румынским фашизмом. Товарищ Василевский, какие будут предложения? Кто там сейчас наиболее боеспособнее?

— Пятая ударная армия.

— Согласуйте с командованием Третьего Украинского и действуйте.

17

В 902-м стрелковом полку ничего, естественно, не знали, зачем и почему их отводят в тыл, в сторону Одессы. После длительного марша сосредоточились на железнодорожной станции Мигаево. Началась подготовка к погрузке в вагоны. И тут возникли многочисленные непредвиденные трудности. Как уже говорилось, за два года своей жизни полк ни разу не «поднимался на колеса», привык к самопередвижению, к самообеспечению, накопил много имущества, необходимого в военном быту, обзавелся солидным обозом с различными запасами на все случаи жизни, от патронов до мешков с крупой, что и выручало в боях и походах. Разновозрастных жеребят целый табун — опять же для пополнения убыли в конском составе. Теперь все, что сверх штата, требовалось оставить в Мигаево по принципу: перевози людей и оружие, прочее дадут на новом месте. Но дадут ли? И когда? И сколько? Каждый рачительный командир и боец стремились прихватить с собой привычное, необходимое. Но вагонов-то в обрез, и они, как известно, не резиновые.

А еще — верблюды. По строгим железнодорожным правилам перевозить тягловую силу, то бишь лошадей (а следовательно, и верблюдов) можно, оказывается, только в закрытых оборудованных вагонах и ни в коем случае на платформах. Что делать? Это волновало весь полк. Некоторые высказывались за то, чтобы передать верблюдов местным колхозникам; тут, кстати, и климат подходящий, теплый, даже арбузы растут. Другие, особенно ветераны полка, и слышать об этом не хотели. Один верблюд — это ж две выносливые лошади. И прет он по любой дороге, по песку, где угодно. А главное — это же фронтовые товарищи, вместе с которыми так много пережито, так много потеряно и приобретено! Столько тягот

делили, а теперь кинуть, расстаться! Ни за что! На этом стоял помощник начальника штаба полка капитан Рамазанов, воевавший в 902-м от самой Астрахани, причем всей семьей, вместе со своим отцом и дочерью — радисткой. Поддерживал Рамазанова и замполит полка капитан Эрайзер, учитывавший настроение людей.

Что уж совсем необычно для армии — к майору Леневу отправилась целая группа артиллеристов во главе с командиром орудия старшим сержантом Григорием Нестеровым, известным всему полку не только геройскими делами, но и внешностью: богатырский рост и пышные пшеничные усы. Просьба все та же: разрешите захватить верблюдов. Разговор происходил на платформе в присутствии командира дивизии полковника Н. З. Галая. Тот, пожилой человек, опытный вояка и хитрющий хохол, не остался в стороне. Я, мол, понимаю ваши чувства, но какая уж теперь надобность в верблюдах-то? Техника на смену идет. Машины получим… «На этой войне мы все верблюды, дерзко ответил Нестеров. — Я со своими Мишкой да Машкой в одной упряге пушку от Волги до Днестра дотянул. Ел-спал вместе с ними, а теперь кину неизвестно кому?.. Да меня совесть сгрызет!» — «Понимаю, сержант, — вздохнул Галай и не упустил случая блеснуть своею эрудицией: — Рано или поздно, а придется избавляться от этого анахронизма. Впрочем, дело хозяйское, командиру полка думать — решать».

Много лет спустя начальник самого престижного в нашей стране военного училища имени Верховного Совета РСФСР Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ленев расскажет мне, в каком затруднительном положении он тогда оказался. Грузить верблюдов некуда, командир дивизии хоть прямо не говорит, но склонен избавиться от них (много шума, ревут по ночам, враг за десять верст слышит), а с другой стороны, почти весь полк, все ветераны с душевным напряжением ждут: что будет? «Все мы здесь верблюды». И понял Ленев, что вот сейчас решается всерьез и надолго, как будут относиться к нему люди. Кто он, заботливый отец-командир или только добросовестный исполнитель своих офицерских обязанностей… Командиры приходили в полк и уходили, воевали не хуже, а может даже и лучше Ленева, но память о них держалась недолго. И тоном, не допускающим возражений, Георгий Матвеевич произнес: «Разговоры закончены. Верблюдов берем с собой».

Обрадованные воины даже не спросили, каким образом брать-то? Сами помозговали, сообразили. Нарастили борта платформ крепкими досками в полный верблюжий рост и даже поболе. Железнодорожники возражать не стали. А Ленев после такого решения стал незыблемым авторитетом для солдат и офицеров полка, что облегчило ему повседневную службу и очень помогло в последующих боях.

Трое суток железнодорожники гнали эшелоны по «зеленой улице», за все время сделав только одну остановку, лишь на короткий срок удалось вывести из вагонов и напоить «тягловую силу». Лошади изнывали от жажды, пробивали копытами полы вагонов, озверев, кидались на коноводов. Когда прибыли наконец на станцию Ковель, многие животные едва держались на ногах, часть из них пришлось отдать местным жителям. А верблюдам хоть бы что. Впряглись в постромки и потянули свои орудия в сторону Бреста.

3-я ударная армия генерала Берзарина вошла в состав 1-го Белорусского фронта маршала Рокоссовского и включилась в сражение на польской земле. 902-й стрелковый полк, достигнув Вислы, переправился

на Магнушевский плацдарм, удержанный гвардейцами генерала Чуйкова, откуда и двинулся в наступление вместе с другими войсками. Так оказался он на самом главном направлении великой войны.

В 14 часов 00 минут 26 января 1945 года 902-й стрелковый полк подполковника Ленева пересек границу Германии и вступил на территорию гитлеровского рейха. Впереди была река Одер. За ней — Берлин!

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Развязка приближалась. Этого, разумеется, не могли не понимать руководители «Третьего рейха» и сам Гитлер. Он продолжал прокрикивать свои взвинченные сверхэмоциональные речи, стремясь вдохновить немцев обещанием предстоящих побед, суля достижение всех его первоначальных замыслов, от господства на всей земле до полного благоденствия арийцев. И многие еще верили ему вопреки очевидным фактам. Масса — она ведь инерционно-доверчива. А в смысле обещаний принцип известен: чем несостоятельней политик, чем неустойчивей его положение, тем больше заманчивых благ высвечивает он обывателю. Язык без костей, а обещающий ничего не теряет. Если успех — он провидец. Если провал, то какое значение будет иметь все, что наболтано им: когда отсекут голову, кто вспомнит о волосах! Есть избитая, но не стареющая истина — утопающий хватается за любую соломинку, даже за самую тонкую и гнилую. Ощущая, что идет ко дну, Гитлер начал исступленно барахтаться. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что фюрер решился на такой сомнительный шаг, к которому не прибегал раньше, — покушение на главную персону противостоящего лагеря. Существует неписаная, но строго соблюдаемая этика: даже самые беспринципные, жестокие руководители традиционных, устоявшихся государств не идут на убийство равновысоких коллег в других странах, как бы их ни ненавидели. Такого рода покушение — это расписка в полном бессилии, потеря политического лица. Обратите внимание, все или почти все заговоры против глав государств осуществлялись не зарубежными правителями, а своими же соотечественниками. От цивилизованного Древнего Рима до современной Америки (Джон Кеннеди и др.), овладевшей пока что первой степенью культуры — материальной культурой. Ну, и Гитлер, естественно, не хотел пятнать себя, превращаясь из фюрера великого рейха в банального заговорщика. До той поры, когда начал тонуть и, чтобы удержаться на плаву, годились любые средства.

Читатель, конечно, уже понял, что в этой главе пойдет речь о том, имели ли место попытки со стороны Гитлера или Сталина физически устранить своего основного противника, когда и как это задумывалось и осуществлялось. Надо разобраться в этом хотя бы потому, что есть много вымыслов, домыслов, предположений, даже пикантных историй, которые невероятно запутывают сию особую сторону взаимоотношений двух вождей — сторону, долго покрытую завесой секретности, что давало простор для разгула воображения сочинителей, в том числе и недобросовестных. А реальной фактуры для исследователей имеется, как ни странно, очень даже немного. Основные события в общих чертах известны и не несут какой-то особой интриги. Я хочу лишь обобщить

главное и прибавить от себя то, что было «временем сокрыто». Начну со Сталина — это мне ближе.

Иосиф Виссарионович никогда не отдавал распоряжений готовить покушение на Гитлера. Не было даже косвенных указаний. Причин этому несколько. Прежде всего этика уважающего себя главы великого государства. Мне могут возразить: какая, мол, к черту, этика, ежели Сталин явно и тайно отправил на тот свет множество своих противников, в том числе всемирно известного Троцкого! Но какие это противники? Это были политические соперники Сталина, его личные враги, в первую очередь тот же Лев Давидович со своими сторонниками и продолжателями. На какой бы территории ни велась борьба с ними не на жизнь, а на смерть, она была и осталась борьбой внутренней, за определение курса корабля, за место у кормила, а для кого-то за собственные меркантильно-шкурнические интересы. Свара внутри страны — это одно, а межгосударственные отношения — совсем другое: тут Сталин грехов на себя не брал.

Да и так называемых «врагов народа», внутренних врагов при его долгом, тридцатилетием правлении в тюрьмах и лагерях погибло не больше, чем погибало при царе или при «оттепели», при разгуле демократии, когда начало даже уменьшаться количество коренного российского населения.

Позиция вторая. За многие годы, особенно во время войны, Сталин привык к Гитлеру, познал его особенности, чем дальше, тем безошибочней предвидел его ходы в большой игре. Зачем же менять такого партнера?! Предположим, Гитлер убит — кто займет его место? Возможно, бывший германский рейхсканцлер, а затем посол в Турции Франц фон Папен, к которому Сталин относился с особой подозрительностью, считая его человеком хитрым, коварным, двуличным. И в самом деле. С одной стороны, фон Папен настойчиво склонял Турцию к тому, чтобы она вступила в войну с Советским Союзом, особенно в сорок втором году, когда судьба юга нашей страны, судьба Кавказа висела на волоске; каково, если бы турецкий ятаган полоснул по этому волоску?! Хорошо, что в Стамбуле проявили благоразумие и не поддались немецкому нажиму. С другой стороны, было известно, что предусмотрительный фон Папен поддерживает контакты с некоторыми политическими деятелями Англии и США. Сговор Гитлера с англосаксами за нашей спиной практически исключен, союзники не пойдут на это. А с фон Папеном — вполне вероятно и даже охотно. Нам проще и полезней «убрать» немецкого посла в Стамбуле, чем фюрера в Берлине.

А в-третьих, вполне понятное желание Сталина победить Гитлера, главного изверга рода человеческого, руководителя высочайшего уровня, навсегда вошедшего в историю. Это неизмеримо почетнее, нежели одолеть какого-то деятеля второй шеренги, будь то фон Папен, Герман Геринг или Гюнтер фон Клюге. Другие масштабы, другая слава. Большая история ведет отсчет только по самым крупным вершинам.

Зная мнение Сталина, дальновидный Берия учитывал все же, что настроение и замыслы вождя могут измениться под влиянием каких-то обстоятельств, и создавал определенный «задел» для того, чтобы в случае необходимости не начинать с первых шагов, а быть готовым к быстрейшему устранению германского фюрера. Этим постоянно занималась уже упоминавшаяся в книге группа Павла Судоплатова,

заместителями которого были такие мастера своего особого дела, как Дмитрий Мельников и Наум Эйтингон.

Хорошо зная о работе этой группы, Иосиф Виссарионович никогда не касался только одного аспекта — подготовки возможного покушения на Гитлера. Сознательно отстранялся, чтобы никакая тень не легла на него.

Я ненавижу Берию, как и Ягоду, Ежова и других носителей патологической жестокости, но не могу не отдать должное работоспособности, энергичности Лаврентия Павловича, тому звериному чутью, с которым он ориентировался в политической обстановке, заранее подстилая солому во всех местах, где можно было поскользнуться и упасть. Не знаю, насколько уверен был Берия осенью сорок первого года в том, что Москву мы удержим, однако соответствующие меры принимал по разным направлениям. Под непосредственным руководством начальника Управления НКВД по Москве Василия Журавлева в нашей столице создавалась обширная подпольная организация со своей системой связи, с запасами оружия и продовольствия, с диверсионными отрядами. Предполагалось, что в захваченную Москву приедет вся фашистская верхушка во главе с фюрером: не упустят же они возможность со злорадной торжественностью отметить победу над поверженным колоссом — Россией, над ненавистным Сталиным. Обещал ведь Гитлер провести 7 ноября парад немецких войск на Красной площади! С учетом этого несколько диверсионных групп были нацелены на то, чтобы поездка Гитлера в Москву стала для него вообще последней поездкой, а Третий рейх остался бы без своего вожака. Захочет фюрер издевательски покрасоваться на Мавзолее или возле кремлевской стены, принимая парад, мощный фугас взорвется под тем местом, где он будет стоять. Или там, где он соизволит заночевать. Или там, где устроит торжественный прием — пир победителей. Сорвется почему-либо одно, другое, третье — сработают снайперы.

Тогда, в сорок первом, Иосиф Виссарионович против физического устранения фюрера не возражал, хороши были все средства. Но фюреру, как известно, не удалось совершить вояж в нашу столицу. Вот и судите, повезло ему с Москвой или не повезло.

Следующий эпизод возник неожиданно, не по ведомству Берии, и был краток. Или Андрееву, или в Главном разведуправлении Генштаба, сейчас уж не помню, стало известно: 13 марта 1943 года в район Смоленска к фельдмаршалу фон Клюге прибудут два визитера — Гиммлер и сам Гитлер. Сообщение поступило накануне, чтобы принять какие-то меры, оставались считанные часы. Начальник Генштаба Александр Михайлович Василевский сразу отправился к Верховному главнокомандующему, буквально на ходу обдумывая предложение. На ум пришло только одно: поднять в воздух фронтовую авиацию и авиацию дальнего действия, нанести мощный удар по Смоленску и его окрестностям, но не по «площади», а по тем объектам, где может остановиться Гитлер, по аэродромам, по автомашинам на дорогах. Местонахождение штаба фон Клюге примерно известно. В случае неудачи мы ничего не теряем: если Гитлер не попадет под удар, враг все же понесет урон. Тем более, что массированного налета на Смоленск немцы сейчас не ждут, эпицентр военных событий находится гораздо южнее, возле Харькова.

Предложение Василевского заинтересовало Сталина. Соблазнительным было вот что: сели Гитлер погибнет под бомбами, то Иосиф Виссарионович не будет выглядеть заговорщиком, его репутация не пострадает. Все

другие доводы «против» оставались в силе. И даже прибавились новые в связи с конкретной обстановкой.

— Мы много потеряем, возразил Сталин Василевскому, — операция не подготовлена, проводится в спешке, будут всякие неурядицы. Потеряем самолеты, потеряем летчиков. Погибнут люди там, на земле, от случайных бомб, от промахов. Да и бомб у нас мало, чтобы швырять незнамо куда. Под Харьковом бомбы нужнее. — И, заметив огорчение на лице Василевского, добавил весело: — Да вы не расстраивайтесь. Совсем не расстраивайтесь. Никуда он не денется от нас, этот сумасшедший Гитлер!..

Так, с двумя случаями мы разобрались. Ну, а третья история настолько сложная, многоходовая, долгая и капитальная, что о ней надобно писать целую книгу — исследование. О том, как наша агентура в Берлине подбиралась к Гитлеру, а потом целый год буквально держала его на прицеле. Об этом, вероятно, расскажут те, кому известны захватывающие подробности, в мою задачу, сие не входит, я изложу лишь основные факты длительной, сложной, рискованной работы и сообщу результат.

По указанию Берии группа Судоплатова упорно искала пути подхода к германскому фюреру. Чтобы так: если сегодня возникнет необходимость убрать Гитлера, приказ об этом мог бы быть выполнен не позже чем завтра. Трудно? Почти невероятно? Но изобретательности и опыта нашим чекистам-разведчикам было не занимать.

Осенью сорок первого года при странных обстоятельствах к немцам попал известный тогда артист Всеволод Блюменталь-Тамарин, сын не менее известной актрисы Малого театра. Версия такова. Имел человек слабость: если загуляет, то не иначе как на неделю. Вот и загулял он на своей даче под Истрой в Новом Иерусалиме. А когда «оклемался», увидел возле себя фашистского офицера, который вежливо предложил ему опохмелиться и начать без промедления сотрудничать с победоносной немецкой армией, уже достигшей Москвы. Иначе ни опохмелки и вообще никаких перспектив, кроме концентрационного лагеря. Ну и согласился неуравновешенно-эмоциональный актер, своеобразный голос его зазвучал на немецких радиоволнах, призывая советских воинов смириться с поражением и сложить оружие. Поезд, дескать, ушел — проиграли, — и точка.

Обесчестив, скомпрометировав себя, полностью отрезав возможность возвращения к прежней жизни, Блюменталь-Тамарин тем самым заслужил доверие высшего германского руководства, стал своим в избранном берлинском обществе, близко познакомился и дружески сошелся со знаменитой немецкой актрисой, прославленной кинозвездой мирового класса, родившейся, между прочим, в России, точнее, на Кавказе, в семье инженера-железнодорожника Книппера, к тому же игравшей в театре Станиславского, побывавшей замужем за актером Михаилом Чеховым. В 1921 году двадцатипятилетняя обаятельная и практично-рассудительная женщина Ольга Константиновна Книппер-Чехова, убоявшись революции, уехала за границу. (Просьба не путать с нашей прославленной актрисой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, женой писателя Антона Чехова, которая жила, трудилась и скончалась в Москве. — Н. Л.)

Ставши национальной немецкой знаменитостью, Ольга Чехова близко сошлась с самыми высокими руководителями фашистского государства, с Герингом и Геббельсом, а особенно с Адольфом Гитлером, часто виделась с ним до появления у фюрера Евы Браун. Потом — реже. Гитлер ценил не

только женские достоинства Ольги Чеховой, но и ее проницательный ум, смелость, оригинальность суждений. Советовался с ней, чего не делал ни с одной другой представительницей прекрасного пола. При всем том знаменитую актрису чем дальше, тем больше тяготила раздвоенность, она тосковала по своей фактической родине, по настоящему русскому театру, по бурной и радостной молодости. Ольге Константиновне достало мужества выступать против войны Германии с Россией, за союз и дружбу двух великих народов, которым принадлежало ее сердце. Этим ее настроением, а также естественной ревностью экстравагантной решительной женщины сочла возможным воспользоваться наша разведка.

Прямого выхода на Ольгу Чехову советская агентура не имела. Но, как известно, кривой дорогой зачастую бывает ближе. Это ведь только в геометрии гипотенуза всегда и безусловно короче суммы двух катетов. А в жизни случается по-всякому. Проанализировав ситуацию, специалисты из группы Судоплатова сделали вывод: надо послать в Берлин человека с задачей войти в доверие к Ольге Константиновне, а затем действовать по обстоятельствам, имея главной целью устранение Гитлера, коль скоро в этом возникнет необходимость. Но кого послать, кому поручить осуществление столь хитроумного замысла, требующего от исполнителя многих разнообразных качеств, в том числе и образованности, высокой культуры? Вот тут и вспомнили, что у артиста Блюменталь-Тамарина, подвизавшегося теперь во вражеском стане, есть племянник Игорь Миклашевский. Разыскали его — он воевал под Ленинградом. Оказалось, что это симпатичный парень, достаточно самостоятельный, к тому же умелый боксер, отличавшийся тем, что хорошо «держит удары» противника: до войны был чемпионом Ленинградского военного округа. Чего еще желать?! Побеседовали с ним, предложили работать в тылу врага. Игорь согласился без колебаний. Затем полгода интенсивного обучения и переброска через линию фронта.

Немцы, разумеется, учинили перебежчику тщательную, изощренную проверку. Много натерпелся Игорь, пока отпали разные подозрения и его определили в одно из власовских подразделений. А главное, разрешили видеться с дорогим дядей Севой — со Всеволодом Блюменталь-Тамариным. Ну, еще и повезло новичку. Продолжая заниматься боксом, популярным в Германии, Игорь начал выступать на ринге. Его заметил Макс Шмелинг, чемпион мира и вообще личность широко известная: его спортивными достижениями гордились все немцы, в том числе и руководители рейха. Он имел доступ к самому фюреру. Таким образом, у Игоря Миклашевского оказались в Берлине два авторитетных покровителя: знаменитая актриса и знаменитый спортсмен. А следовательно — два пути, ведущих на самый верх фашистской иерархии. К тому же Игорь был уже не один, к нему «подключили» трех опытных подпольщиков-диверсантов, переброшенных в Берлин из Югославии. Эти бывшие офицеры царской армии готовы были на все ради победы нашего Отечества над врагом, с которым они сражались еще на той мировой войне.

Итак, схему я обрисовал. Подробное описание действий наших разведчиков, хотя бы даже и увлекательное, увело бы нас слишком далеко от главной линии этой книги. Оставим сие для других литераторов, не голых выдумщиков, а добросовестных реалистов-исследователей. Нам сейчас важна развязка замысловатого сюжета.

В конце 1943 года Берия и тогдашний нарком госбезопасности Меркулов впервые доложили Сталину о нашей агентуре, способной провести ликвидацию Геринга и с большой долей вероятности самого Гитлера. Иосиф Виссарионович тогда промолчал, и это было воспринято как согласие на продолжение и развитие операции до дальнейшего согласования с Верховным главнокомандующим. Прошло несколько месяцев, и ситуация потребовала конкретных решений и действий. Берия и Меркулов, взяв с собой Судоплатова, осведомленного во всех подробностях, вновь обратились к Сталину со своим щекотливым вопросом. Иосиф Виссарионович благосклонно выслушал их, поинтересовался некоторыми деталями, особенно насчет Ольги Чеховой, и сказал:

— Не надо… Этого делать не надо.

— Совсем? — вырвалось у Меркулова.

— Совсем. Переключите наших товарищей в Берлине на другую плодотворную работу. — И, заметив огорченность, разочарованность докладывавших, снизошел до объяснения: Нам теперь не опасен Гитлер. Англичане и американцы ни в коем случае не пойдут на сговор с такой одиозной фигурой. А с тем, кто займет его место, могут пойти. Пусть останется Гитлер. Потерпим еще его. Недолго осталось.

Категорическое решение Сталина явилось тяжелым и горьким «сюрпризом» для тех, кто вложил много сил, готовя покушение на Гитлера, рискуя своей головой. Особенно переживал Игорь Миклашевский, настроившийся совершить подвиг любой ценой. И вдруг — внезапный нокаут от своего же начальства. Однако Игорь не зря слыл боксером, который может «держать удар». Он продолжал работать в Берлине до начала 1945 года, затем через Францию вернулся в Советский Союз. Не с Золотой Звездой, но все же с орденом Красного Знамени… Сколько же у нас удивительных, легендарных людей, чьи имена остаются почти безвестными! О всякой дряни, о выскочках говорят, пишут, спорят, а истинные герои тихо и скромно доживают свой век.

Имелся и еще один, так называемый «транспортный» вариант устранения Гитлера, но существовал он лишь в виде замысла: о нем помнили, однако практическая разработка почти не велась, хотя мне лично этот вариант представлялся наиболее реальным. С учетом того, что специалисты зачастую слишком все усложняют, запутывая не только противника, но и самих себя. А дело вот в чем. Гитлер много ездил, гораздо больше, чем тучный, но энергично-подвижный Черчилль, не говоря уж о таких домоседах, как Сталин и Рузвельт. В дороге же охрана не столь монолитна, как в стационаре, у покушающейся стороны возрастает возможность успеха: лишь бы знать, куда, когда и на чем отправится «объект».

Адольф Гитлер пользовался несколькими командными пунктами или, как называли сами немцы, выносными Ставками. Главной, естественно, была центральная берлинская Ставка, о которой нам кое-что было известно. Ее охранял отборный «батальон сопровождения фюрера» из дивизии СС «Великая Германия». Комендантом до войны был генерал Роммель. Гитлер доверял ему и ценил его, что обеспечило быстрое продвижение Роммеля по службе. О других Ставках, приближенных к фронтам для конкретного руководства боевыми действиями, мы знали мало, о наличии некоторых до поры до времени только догадывались. Общим для них являлась хорошая маскировка, надежная защита от бомб и

снарядов, развитая система связи. И удобства. В том числе обязательно ванна с горячей водой.

Теперь-то я пишу с учетом тех сведений, которые были получены к концу войны или после нее, обретя возможность назвать все Ставки фюрера — это имеет определенный интерес. Чаще, чем в других местах, Гитлер бывал в Ставке «Вольфсшанце» («убежище волка», «волчий окоп») в Восточной Пруссии возле города Растенбурга. Очень надежный бункер оборудован был для фюрера в Ставке «Вервольф» («волк-оборотень»), которая укрывалась под видом дома отдыха для раненых офицеров в окрестностях украинского города Винницы. На бельгийско-французской границе в районе Прюз де Пеш располагалась Ставка «Вольфсшлюхт» («ущелье волка»).

Внимание: все перечисленные названия связаны с хищным зверем, готовым сожрать Красную шапочку с ее бабушкой и вообще любую добычу. Такова прихоть Гитлера. На древнегерманском языке «адольф» — это волк. Прямая символика. Кстати, в одном из своих выступлений (27 июля 1942 года) Гитлер назвал Сталина тигром, а Черчилля — шакалом. Такой вот зверинец.

Для полного комплекта пополним сей зоопарк еще одним, крупным и вальяжным животным. В нескольких километрах западнее Смоленска, на автостраде, ведущей к Минску, располагалась гитлеровская Ставка «Беренхалле» («медвежья берлога»). От партизан, от наших разведчиков мы знали, что там находится какой-то секретный объект. Предполагалось, что это запасной командный пункт немецкой группы армий «Центр», а вот до мысли, что там оборудована выносная Ставка самого фюрера, не дошли. Слишком уж близко к Москве. А ведь могли бы разбомбить «берлогу» в марте 1943 года, когда стало известно, что к фельдмаршалу фон Клюге должны прибыть два визитера — Гитлер и Гиммлер. Не сообразили. Да наверно и не получилось бы. Осторожный как настоящий волк, Адольф, чуя опасность, пробыл в тот раз в «Беренхалле» всего несколько часов, а затем отправился в штаб группы армий. Это, кстати, был последний выезд Гитлера непосредственно к линии фронта. Лишь ровно через два года он промелькнет на Одере, пытаясь вдохновить немецкие войска, сдерживавшие наше наступление на Берлин.

Для своих частных перемещений фюрер использовал несколько видов транспорта. Имелся у него специальный поезд по образцу тех, которые «состояли на вооружении» русского командования с начала XX века и до конца Второй мировой войны. При наших просторах и ненадежной связи «штабы на колесах» были очень важны. Для немцев — меньше: у них и расстояния куцые, и связь устойчивее. Личный поезд Гитлера, находясь в полной готовности, подолгу простаивал на запасном пути, имея в своем составе тринадцать вагонов и две бронеплощадки с 20-миллиметровыми зенитными установками. Сам фюрер пользовался только одним вагоном — с кабинетом, спальней, ванной и купе для адъютантов. Особой защиты вагон не имел. К концу войны его намеревались частично бронировать, но не успели.

Предпочтение Гитлер отдавал автомобильному транспорту, располагая двумя машинами типа «Мерседес-Бенц»: одна открытая, а вторая — лимузин с мотором в 150 лошадиных сил. А еще был вездеход марки «Штейер». Езда по хорошим дорогам доставляла фюреру удовольствие, он расслаблялся и отдыхал в пути лучше, чем в обычных условиях. Однако

постоянная нехватка времени заставляла его чаще летать по воздуху, чем получать успокоение на автотрассах.

Самолетов, как и автомашин, тоже было три. Основной — четырехмоторный «Кондор» фирмы «Фокке-Вульф». Запасные: «Юнкерс-52» и «Хейнкель-111», специально оборудованные для Гитлера. Главным пилотом был Баур. И еще шесть первых пилотов сменилось за годы войны. Брали людей не только благонадежных, но и очень опытных, налетавших не менее миллиона километров. Но им не везло. Пилот Гейн потерпел аварию на аэродроме города Орла в декабре 1941 года. Шнабеля в 1942 году убили партизаны в окрестностях Житомира. Пилот Домди сбит советским истребителем в районе Лодзи в 1944 году. И все это без Гитлера на борту.

Наша разведка старалась отслеживать передвижения фюрера, хотя и не всегда удачно. Велик соблазн охотника подстрелить хищника на бегу или на лету. Но на «отстрел» не было согласия Сталина, да и хищник обладал острым чутьем, помогавшим ему избегать опасностей. Гитлер порой рассчитывал не столько на надежную охрану, сколько на почти полное отсутствие оной. На поступки, непредсказуемые как для своих, так и для чужих — для нас. Характерный пример — посещение фюрером Восточного фронта в феврале 1943 года, о чем мы уже писали в связи с историей 902-го стрелкового полка, которому доведется штурмовать рейхсканцелярию.

Предупреди Гитлер свою охрану о том, что собирается в Запорожье к фельдмаршалу Манштейну — поднялась бы суета. На Днепр отправились бы гестаповцы, тайные агенты, сотрудники абвера. Начались бы поиски и оборудование помещений, специальные мероприятия. И это в прифронтовой полосе, где русская разведка наверняка имела свои «глаза и уши», могла принять встречные меры. А фюрер взял да и вылетел неожиданно, сообщив о своем решении только Манштейну. Отправился с элементарными мерами предосторожности. Разве что истребителей сопровождения на всем пути было больше обычного. Но летчики, поднимаясь в воздух в своих зонах, не знали, кого они сопровождают.

И еще. Первую ночь Гитлер провел даже не в Запорожье, а в Мариуполе, в гостинице на берегу моря, наблюдая из окна за бытом прифронтового города. Спал на редкость спокойно и крепко: весенний морской воздух способствовал.

Наша разведка узнала о том, что Гитлер побывал в Мариуполе, лишь после войны. А местное население вообще ничего об этом не знает.

В Запорожье фюрер находился почти двое суток, проводя совещания с генералами, обсуждая план контрудара по советским войскам в районе Харькова. Жил в помещении авиационной казармы, не привлекая внимания никакими охранными мероприятиями. Подстраховывался лишь тем, что находился поблизости от своего самолета: в крайнем случае не то что доехать — добежать можно. Это пригодилось. Когда на окраине Запорожья появились советские танки а на улицах начали рваться снаряды, Гитлер сразу же улетел. Именно в тот день он произнес вещую фразу: «Если мы не остановим русских здесь, то не остановим их нигде до Берлина». Впереди было сражение на Орловско-Курской дуге. Чем оно закончилось — общеизвестно.

А покушение на Гитлера все же состоялось. В 1944 году. Но покушались не мы и не союзники, а немецкие заговорщики, стремившиеся убрать фюрера для того, чтобы как-то смягчить для Германии приближавшуюся катастрофу. 20 июля во время совещания Гитлера с генералитетом в зале

взорвалась бомба принесенная в портфеле полковником графом Клаусом Шенком фон Штауфенбергом. Взрыв был сильный, но фюреру повезло, ему лишь повредило правую руку, барабанную перепонку и евстахиеву трубу правого уха. Через несколько дней Гитлер оправился от потрясения, но заметнее проступила его застаревшая нервная болезнь: сильнее и чаще, почти непрерывно, подергивались левая рука и нога.

После войны довелось мне слышать разговоры о том, что к покушению графа Штауфенберга причастна якобы советская агентура. Упоминалось имя Ольги Чеховой, благополучно здравствовавшей на Западе. Ничего определенного на этот счет высказать не могу, никаких сведений у меня нет. Но не думаю, что кто-то из наших деятелей мог взять на себя смелость хотя бы косвенно нарушить распоряжение Сталина. А о «деле Штауфенберга» упоминаю потому, что оно имеет отношение к нашему дальнейшему повествованию.

2

Сталин, значит, не был заинтересован в устранении Гитлера и даже вроде оберегал его. А германский фюрер, наоборот, к концу войны готов был использовать любую возможность, чтобы обезглавить советское руководство, спутать карты своих противников, выиграть время, найти выход из тупика. Давайте же перевернем пластинку, узнаем, какие заговоры плелись тогда вокруг Сталина, кто и как пытался покушаться на его жизнь.

Не удивляйтесь: приоритет принадлежит любезно-коварным японцам. После победы в 1905 году над разлагающейся, погрязшей в жульничестве и разврате верхушкой Российской империи, над бездарными царскими генералами, но отнюдь не над русской армией, всегда сражавшейся героически, — после своей сомнительной победы японские самураи, вырвавшиеся вдруг на просторы из тесной островной изоляции, возомнили себя великими героями, способными господствовать над всей Азией, от Персидского залива на юге до Урала на севере. И началась непрерывная ползучая агрессия. Отхватив у России кусок Маньчжурии, Южный Сахалин и Курильские острова, самураи в 1910 году без особых трудностей оккупировали весь Корейский полуостров и стали продвигаться дальше, в Северный и Центральный Китай. Воспользовавшись неразберихой нашей гражданской войны, двинули свои войска в Приморье, в Хабаровск и далее, вплоть до Читы.

Ладно, японцам вроде бы простительно, они, только-только вылезши из дремучего средневековья, первый раз столкнулись с русской необычностью. Не понимали еще со своей скороспелостью, как опасно затрагивать русский народ. Илья Муромец ведь долго, лет тридцать, лениво сидел на печи, пока, наконец, расшевелился, взял дубинку и пошел крушить по всем сторонам.

Страшна и ничем не удержима Россия, если ее «раскачать». Недотепы самураи, вместе со своими американскими коллегами, на собственной шкуре ощутили это в конце нашей гражданской войны. Сунулись к нам со своими интересами и получили такие щелчки, что долго потом чесали незадачливые лбы. Сильны были американские и японские интервенты на Дальнем Востоке, с их техникой, с редкими тогда бронемашинами и самолетами, а что вышло?

По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот. Наливалися знамена Кумачом последних ран. Шли лихие эскадроны Приамурских партизан. И останутся, как в сказке, Как манящие огни, Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни. Разгромили атаманов, Разогнали всех господ И на Тихом океане Свой закончили поход.

Это не только хорошее стихотворение, не только замечательное музыкальное произведение, не только прекрасная песня, никого (даже потерпевших поражение белых офицеров) не оставлявшая равнодушными, — это ведь краткая, но очень емкая, образная глава из истории нашего государства. Да, разгромили японцев и их ставленников-атаманов, разогнали всех доморощенных и заокеанских «господ-воевод» и в октябре 1922 года закончили свой легендарный поход во Владивостоке, на причалах бухты Золотой Рог. Той бухты, из которой поспешно ретировались последние корабли американцев. А главное — японцев, они ведь успели пустить если не корни, то крепкие корешки на нашем Дальнем Востоке. Цепкие они человечки, используют любую щель, чтобы забросить свои семена.

Вместе с интервентами ушли и те белогвардейцы, которые совершили столько преступлений на территории нашей страны, что никак не могли рассчитывать на прощение. В основном колчаковцы. Но много ли их было? Мы с генерал-лейтенантом Советской Армии графом Игнатьевым Алексеем Алексеевичем удосужились подсчитать: из офицеров, числившихся по Генеральному штабу русской армии, а это ведь были самые образованные, самые деятельные офицеры, примерно 80 процентов признали Октябрьскую революцию и вместе с Верховным главнокомандующим русской армии Алексеем Алексеевичем Брусиловым пошли на службу в новые войска новой Советской Республики. Судьба их потом была различна, но само по себе примечательно: передовые люди России, в том числе и офицеры, пошли вместе с народом, доведенным до отчаяния, против власти предателей, торгашей, спекулянтов.

Непримиримые белогвардейцы, бандиты-каратели, бежавшие из России, многочисленные служащие и рабочие Китайско-Восточной железной дороги, осевшие вместе с семьями в Маньчжоу-Го, стали той средой, откуда китайская и, главным образом, японская разведка черпали свои кадры для тайной войны с Советским Союзом. Не счесть, сколько шпионов и диверсантов засылали самураи в нашу страну до конфликта на КВЖД и после него. Один только общеизвестный пограничник Карацупа вместе со своей не менее известной собакой Индус (после войны, дабы не обижать, что ли, наших индийских друзей, стали писать «пограничник Карацупа и его собака Ингус»), — так вот, один лишь этот умелый пограничник задержал такое количество нарушителей, которое исчисляется цифрой с двумя нулями.

Надо, однако, отдать должное и белогвардейцам, завербованным японской разведкой. Среди них были такие асы, которые много раз «гуляли» по нашему Дальнему Востоку, даже пересекали всю страну от Харбина, от Хабаровска, от Владивостока до Варшавы, до Праги и до Берлина. В наших особых органах имелась специальная служба по борьбе с дальневосточным «осиным гнездом». В своей исповеди я несколько раз упоминаю чекиста Петра Григорьевича Лопатина, который весной 1942 года ушел со своей группой из Москвы в глубокий вражеский тыл и весьма успешно действовал возле железнодорожной магистрали Минск-Борисов,

выполняя не только разведывательно-диверсионные, но и военно-политические задания. Так вот, до войны Лопатин был скромным проводником международного вагона в поезде, курсировавшем от Китая до станции Негорелое, что немного западнее Минска: там проходила тогда наша западная граница. Участник раскрытия нескольких вражеских операций, он еще тогда, до войны, имел звание старшего лейтенанта. Не с бухты-барахты брались наши кадры.

К чему я все это? А к тому, что главную преграду в осуществлении своих паназиатских замыслов, в продвижении на запад вплоть до Урала, японские самураи видели в быстро растущем могуществе русской, теперь уже Красной Армии, в стремительно увеличивавшейся экономической, технической мощи Советского государства. Сталинского государства, как считали они, еще недавно разгромившие войска царской российской державы. Именно Сталин превращался для прагматичных японцев во врага номер один, как, к примеру, для Троцкого и троцкистов. Напрягши усилия, японцы могли бы разгромить в Маньчжурии и Корее партизанскую армию Ким Ир Сена. Способны были добиться успехов в борьбе с китайскими вождями Чаи Кайши и Мао Цзэдуном. Дипломатично-озорная песенка тогда бытовала:

На Дальнем Востоке акула Охотой была занята. Злодейка акула дерзнула Напасть на соседа-кита. «Сожру половину кита я, И буду, наверно, сыта я Денек или два, а затем Еще половину доем». Но слопать кита, как селедку, Акула никак не могла: Не лезет в акулью он глотку — Для этого глотка мала.

О величине глотки спорить не берусь, однако напомню о том, что за спиной корейского и китайского народов стояла не мифическая, а вполне реальная сила огромной России с ее неколебимым вождем Сталиным, о предъявлении которому каких-либо территориальных претензий даже помыслить было нельзя. Что оставалось самураям? Штыками испытать крепость новой России? Это они и попытались сделать на Хасане и на Халхин-Голе, получив и там, и там зубодробильные ответные удары. В полном соответствии с тогдашним нашим лозунгом: «Любой агрессор разобьет свой медный лоб о советский пограничный столб…» Другой вариант для японцев — найти возможность убрать Сталина. У нас, во всяком случае, такие поползновения коварных самураев со счета не сбрасывались.

Опасность конкретизировалась летом 1938 года, когда к японцам перебежал начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю Г. Люшков. Это была большая неприятность для нас. Перебежчик унес за кордон много секретнейших сведений. Серьезное беспокойство в Москве вызвало то обстоятельство, что Люшков работал прежде в центральном аппарате особых органов, знал систему охраны государственных и партийных учреждений, высших политических деятелей, самого Сталина. Можно было не сомневаться, что такие сведения в полной мере будут использованы японской разведкой. А сбежал Люшков потому, что убоялся ответственности. При Ежове он был одним из руководителей НКВД на нижнем Дону, в Ростовской области и отличился там чрезмерным усердием. После того, как состоялся разговор Шолохова со Сталиным, подробно изложенный в этой книге, и Ежова сменил Берия, в Ростов, разобраться на месте, был послан молодой чекист Виктор Семенович Абакумов. Он и разобрался. Из 205 арестованных, содержавшихся,

например, в Шахтинской тюрьме, было оправдано и отпущено 204 человека. Всего по области — 1570 человек.

Чувствуя за собой вину и предвидя расплату, Г. Люшков, переведенный к тому времени на Дальний Восток, при первой возможности переметнулся к японцам. И обрел доверие самураев, представив им важнейшие секретные сведения.

На Люшкова «нацелен» был один из наших агентов, действовавших на востоке. Он подписывал свои донесения именем Лео. Подробностей о нем я не знаю, могу лишь предположить, что он человек, в свое время пользовавшийся известностью в Германии, был близок к Гитлеру. После «ночи длинных ножей», когда фюрер расправился со своими недавними сторонниками, с боевиками Рема, он выступил с резкой критикой и оказался в тюрьме. Однако заслуги перед нацистской партией имел большие, да и родственники были высокопоставленные: его простили, но отправили подальше от Берлина — в Китай, советником Чан Кайши. Оставаясь убежденным нацистом он, затаив кровную обиду на Гитлера, начал сотрудничать с нашей разведкой, снабжая нас достоверной информацией по Германии и по Японии. В Москве он проходил под именем «Друг».

Так вот: этот наш друг Лео разыскал на территории Маньчжоу-Го перебежчика Люшкова и каким-то образом вошел с ним в контакт. Руководству НКВД стало известно, что перебежчик встречается и подолгу беседует с несколькими бывшими белогвардейцами — всегда в присутствии японского представителя. Наши аналитики в Москве обратили внимание на такие подробности: все белогвардейцы, посещавшие Люшкова, ненавидели советскую власть и способны были жизни свои положить в борьбе с ней. И еще: все эти белогвардейцы были либо выходцами с Кавказа, либо служили или воевали там. Речь явно шла о шпионской или диверсионной группе, готовившейся к выполнению какого-то единого задания. Но какого?

Завеса приоткрылась, когда Лео сообщил, что вся группа тайком переправлена в Турцию. На территории этой страны Лео работать не мог, но главное он сделал. Наши органы знали, откуда ждать «гостей». Была резко усилена охрана границы с Турцией, и без того, кстати, оберегавшаяся довольно надежно. Вскоре был задержан один незваный визитер, за ним другой, третий, четвертый… Переправлялись они через кордон поодиночке, в разных местах, разными способами, но все попадали в уготованные им западни и ловушки. Показания давали весьма неохотно, но постепенно нашим следователям удалось выяснить и общий замысел, и подробности большой операции, которую подготовила японская разведка.

Собравшись в районе Сочи, группа должна была дождаться, когда в лечебный павильон Мацесты прибудет Сталин, систематически принимавший там процедуры. По системе подземных коммуникаций, с которой детально познакомил террористов перебежчик Люшков, они намеревались проникнуть к месту лечения и расстрелять там Сталина и тех, кто окажется с ним, разрывными пулями. Тщательно разработанный план гарантировал надежность акции. Вполне возможно, что террористы осуществили бы свой замысел, если бы не наш нелегал на Востоке по имени Лео.

Предпринимали японцы и другие попытки физически устранить Сталина, но они по разным причинам срывались еще на подготовительной

стадии. Самой коварной и опасной была, на мой взгляд, именно та попытка, о которой я рассказал.

3

А что же Гитлер, каково его отношение к физическому устранению Сталина? Тут, как ни странно, между немецким фюрером и нашим вождем прослеживается нечто общее. Как и Иосиф Виссарионович, Гитлер, не исключая полностью возможность ликвидации своего противника, тем не менее решительных шагов на этом пути не предпринимал. Будучи убежден, что хорошо знает как сильные, так и слабые стороны Сталина, Гитлер предпочитал сражаться с ним, а не с каким-то другим, новым руководителем. И опять же за честь почитал не растоптать мелкую кочку, а свалить могучий утес — торжествовать победу над знаменитым вождем, а не над какой-то случайной личностью, тем более что в успехе не сомневался. По крайней мере, до поражения под Сталинградом, а затем на Курско-Орловской дуге. До этого практической подготовки покушений на Сталина не велось, первые варианты немцы начали рассматривать лишь летом 1943 года и сразу взялись за дело разносторонне, с присущей им обстоятельностью.

Хочу обратить внимание читателя на странную особенность, к которой мы еще вынуждены будем вернуться: ни об одном из готовившихся покушений на Сталина не сказано, не написано так много и с такими подробностями, как о той попытке, о которой я кратко расскажу ниже. Ну, прямо детектив какой-то, захватывающее детальное повествование: чуть ли не инструкция по проведению операций подобного рода. И о соответствующих контрмерах. Мне довелось слышать мнение, что сей интригующий материал рассекречен и «пущен в оборот» для того, чтобы показать хитрость и мастерство немецкой разведки, а с другой стороны, подчеркнуть бдительность наших особых органов, в том числе органов контрразведки — СМЕРШ. Не задаром, мол, хлеб ели.

В самых общих чертах организация любого покушения сводится вот к чему: подбор и подготовка исполнителей; доставка их к месту действия — выход на цель; сам террористический акт; меры прикрытия. Точно по такой схеме, не без ведома Гитлера, немцы приступили после поражений 1943 года к действиям, направленным персонально против Сталина.

При всей строгости проверки, основного кандидата определили быстро: у немцев имелся достаточный запас лиц для разных антисоветских каверз. Выбор пал на ротного командира Красной Армии по фамилии Политов,[83] который в 1942 году, в дни ожесточенных боев подо Ржевом, переметнулся на сторону гитлеровцев. Его оценили сразу: высокий, представительный мужчина с приятной физиономией был смекалист, расчетлив, решителен, а главное, эгоцентричен, влюблен в себя, и, следовательно, готов на все, лишь бы сохранить собственное здравие и благополучие.

Перспективного перебежчика направили в школу абвера — военной разведки — и при этом основательно «замарали», чтобы отрезать все пути назад, лишить всякой возможности вести двойную игру. Участвуя в особых операциях, Политов исполнял то, что положено карателям: расстреливал, вешал, грабил. Такие «подвиги» никакой советский суд не простит. Лишь убедившись в полной надежности агента, немцы взяли его в восточный отдел СД для специальной индивидуальной подготовки. И не стало

больше на белом свете перебежчика Политова, а возник некий майор СМЕРШ Таврин, заместитель начальника особого отдела дивизии с соответствующим удостоверением за № 298. С надежной биографией. С пятью боевыми орденами, с Золотой Звездой Героя Советского Союза, с безупречными документами, в том числе с вырезками из центральных газет, опубликовавших якобы Указ о присвоении высокого звания. С подобающими для такого случая фотографиями. В качестве жены, спутницы, помощницы и контролера определена была новоявленному герою не очень броская, но вполне миловидная женщина с твердым характером по фамилии Адамичева. Радистка-шифровальщица, она тоже прошла особую подготовку, умела стрелять и минировать, водить машину и прыгать с парашютом. Ей тоже «сменили вывеску», превратив из Адамичевой в младшего лейтенанта Шилову — секретаря особого отдела той же дивизии, в которой, по легенде, служил майор Таврин. Одновременно с подбором и обучением исполнителей готовилось техническое оснащение. Немецкие конструкторы и механики, известные своим мастерством и гораздые на выдумки, получив необходимый заказ с неограниченным финансированием, потрудились, пофантазировали в свое удовольствие. На авиационном заводе, гнавшем серийную военную продукцию, в короткий срок создан был специальный самолет с уникальными возможностями, получивший название «Арадо-332». Это был четырехмоторный моноплан с высоко расположенным крылом, с фюзеляжем типа «вагон», с откидным трапом, по которому могла въехать легковая автомашина. Четыре бака с запасом горючего выполнены с особой надежностью из нескольких слоев разных материалов — алюминия, фибры, лосиной кожи и каучука: ни пули, ни осколки им не страшны.

Новейшие достижения науки и техники использовали немцы при оборудовании «Арадо». Он мог подниматься на большую высоту и развивать необычную скорость. Точные навигационные приборы позволяли ему летать ночью и в любую погоду, приземляться на необорудованных площадках сравнительно малого размера. Для этой цели «Арадо» имел особые посадочные устройства, делавшие честь немецким авиастроителям. Для приземления на твердый грунт — обычные шасси, только колеса огромных размеров. А кроме того, еще и шасси специальные, вездеходные для посадки на неровную заболоченную местность, покрытую кустарником или высокой травой. С каждой стороны под фюзеляжем смонтировано по двенадцать гуттаперчевых колес-катков, похожих на катки танков. Были и другие конструктивные, технические новинки и особенности. Просто удивительная машина.

Уникальным было и вооружение, изготовленное для диверсантов. «Панцеркнакке» — буквально переводится как «прогрызающий броню». Это была крохотная безоткатная пушечка, а точнее — приспособление из короткой трубочки, ременных пристежек к правой руке, нескольких проводков и кнопочного включателя. Бесшумный выстрел производился из рукава пальто. Боекомплект состоял из девяти реактивных снарядов кумулятивного действия калибром 30 миллиметров, похожих на маленькие черные бутылочки. Каждая такая бутылочка способна была пробить 45-миллиметровую броню на расстоянии до 300 метров. То есть «прогрызть» борт бронированной автомашины, на которой ездил тогда Сталин. А мы-то были уверены, что автомобиль Иосифа Виссарионовича очень даже

надежен, только разве артиллерийским снарядом пробить можно. Но устроить на охраняемом маршруте засаду с пушкой — это нереально.

На случай, если Таврину и Шиловой по какой-то причине не удастся поразить из «панцеркнакке» машину Сталина, немцы разработали другой вариант покушения. Диверсантов снабдили магнитной миной очень большой мощности, с дистанционным управлением… «Супруги» имели также несколько ручных гранат советского образца и пистолеты — причем разрывные пули для одного из них были начинены смертоносным ядом. А еще всякая мелочь: деньги, более ста подлинных и поддельных печатей и штампов, множество чистых бланков для изготовления документов. И, разумеется, портативная рация. Груза, в общем, набралось столько, что все не уместилось в чемодане и вещевом мешке. Да и не солидно Герою и его спутнице — офицеру таскать багаж. Таврин настоял на том, чтобы немцы выделили ему мотоцикл М-72, закамуфлированный зеленой краской с черными пятнами. Его закатили в «Арадо» и закрепили.

К этому времени, то есть в самый разгар подготовки операции, Политов-Таврин оказался вдруг в поле зрения советской разведки. Впрочем, не «вдруг», не случайно, а в какой-то степени закономерно. Слишком много суеты было вокруг этой фигуры, находившейся тогда в Риге, где особенно многочисленна и сильна была наша агентура. Гитлеровцы использовали Восточную Пруссию и Прибалтику для формирования и обучения там различных групп, засылавшихся потом в наши тылы. Зная об этом, наша разведка и контрразведка тоже действовали в Прибалтике с особой активностью. К тому же некоторые немцы, так или иначе причастные к подготовке операции, не зная о ее сути и важности, выполняли свою узкую часть задачи формально, не соблюдая особой предосторожности. Не до строгой дисциплины, не до энтузиазма было им тогда, летом 1944 года. Подумывали не только о возможных успехах, но и о том, как бы самим уцелеть.

Имелось в Риге пошивочное заведение с мастерами высокого класса, обслуживавшими офицеров оккупационных войск. К директору этого заведения явился эсэсовский чин, вручил ему большой сверток хорошей хромовой кожи и письменное распоряжение штурмбанфюрера Краусса быстро сшить из этого материала пальто, в соответствии с требованиями клиента, который прибудет завтра в такое-то время. Бывалый директор сразу сообразил, что клиент ожидается необычный. И действительно, для снятия мерки пришел рослый самоуверенный человек, явно не из немецких офицеров. Он не стал выбирать предложенные ему фасоны, а попросил сделать пальто «как у русских». Назвать свой адрес для доставки ему изделия клиент отказался, заявив, что через двое суток придет сам. Директор и это взял на заметку.

Пальто пришлось впору и понравилось. Заказчик высказал лишь два пожелания: удлинить правый рукав, а на левом борту пальто вделать два кармана. Что и было выполнено немедленно. Клиент поблагодарил директора и вышел со свертком на улицу. Следом выскользнул из двери мальчишка-разносчик. Он и «проводил» заказчика до фешенебельного отеля «Эксельсиор», где останавливались только немецкие генералы и старшие офицеры. А вечером директор мастерской, связанный с подпольщиками, сообщил кому следовало о странном клиенте. За ним было установлено наблюдение. Выявляли круг людей, с которыми он общался. Ничего конкретного это вроде бы не дало, по настороженность наших разведчиков в Риге нарастала.

Чуть позже, в разгар лета, Главному разведывательному управлению стало известно: немцами подготовлена агентурная группа «Л», которая будет заброшена в смоленские леса, чтобы подыскать и подготовить площадку для посадки какого-то специального самолета. Точно в срок группа действительно объявилась в указанном районе. Ей дали возможность потрудиться, оборудовать площадку, сообщить по радио, что к приему самолета готовы. После этого чекисты группу захватили, а на площадке устроили засаду. Радиста склонили работать на них, вести радиоигру: он регулярно докладывал немцам, что в группе «Л» все нормально, все по плану. Кстати сказать, возможное приземление самолета и наблюдение за «странным заказчиком», у которого один рукав пальто длиннее другого, тогда напрямую не связывались, хотя факты, конечно, сопоставлялись. Может, это звенья единой цепи? Но никто не предполагал, что развертывается акция, одобренная Гитлером и направленная непосредственно против Сталина.

И для нас, и для немцев, участвовавших в начавшемся действе, потянулись дни ожидания, особенно томительные для фашистов, у которых все было готово для того, чтобы «спустить свору». Нашим чекистам было легче, особенно тем, кто «отдыхал» в засаде. Поочередно купались в соседнем озере, разнообразили казенный паек свежей рыбой, грибами да ягодами. Чем не курорт?

Вечером 5 сентября небо над посадочной площадкой, подготовленной группой «Л», затянули тучи, начал накрапывать дождь. Неблагоприятная погода для воздушных «гостей». Но именно в эту ночь немцы начали свою операцию. Один из передовых постов Особой московской армии ПВО сообщил, что со стороны Риги линию фронта пересек вражеский самолет и идет курсом на восток. Подключились другие посты ВНОС. Случай был не совсем обычный. К этому времени немецкая авиация уже редко углублялась в наши пределы, а тут одиночная машина крадется дождливой ночью где-то за тучами. Куда? С какой целью?

На подходе к Смоленску самолет был встречен зенитным огнем. Набрав высоту, он ушел в сторону Вязьмы, где снова попал под обстрел. На этот раз машина резко сманеврировала, и посты ВНОС потеряли ее. О чем было извещено командование ПВО и органы безопасности. Засада на посадочной площадке готова была принять самолет. Туда же подтянулась оперативная группа СМЕРШа. Но самолет не появлялся. Не повернул ли он вспять, когда летчики поняли, что обнаружены?!

Около трех часов ночи старший сержант Мартынов, начальник поста ВНОС в Кармановском районе той же Смоленской области, услышал нарастающий гул авиационных двигателей. Дождевые тучи сюда еще не добрались, на фоне неба четко проступил силуэт большого самолета незнакомого типа. Машина быстро снижалась. Ночную тьму прорезал яркий свет фар. Еще минута-другая, и фары погасли, звук моторов затих. Самолет приземлился километрах в десяти от поста, где-то возле деревни Куклово, от которой после боев осталось лишь несколько домов и землянок. Вообще места там были глухие, обезлюдевшие в военное лихолетье. Доложив по телефону командиру полка о случившемся, старший сержант Мартынов вместе с четырьмя бойцами бросился к месту посадки. Туда же выехала оперативная группа районного отдела НКВД.

Самолет разыскали по зареву над лесом. Машина села там, где и предположить-то было нельзя: на большом кочковатом лугу. Вероятно, это был запасной вариант. Опытные летчики ошиблись самую малость, не

заметив отдельно растущего дерева. Самолет ударился о него крылом, крайний мотор, оторвавшись, отлетел далеко вперед — он и горел. Мартынов и его товарищи увидели аппарат необычной конструкции с открытым грузовым люком. Возле трапа валялись несколько комбинезонов, упакованный парашют, оброненный впопыхах бинокль. Ни экипажа, ни пассажиров не оказалось.

Утром район посадки был оцеплен, окружающие леса прочесаны, но это ничего не дало. А между тем о происшествии уже знало высокое начальство в Москве, оттуда поступали приказы один грознее другого: найти! достать хоть из-под земли! Командование СМЕРШа и руководство НКВД принимали срочные меры. На всех дорогах, ведущих с запада к Москве, были усилены контрольно-пропускные пункты, выставлены дополнительные посты и патрули, на железнодорожные станции посланы оперативники-розыскники, подняты на ноги чекисты-территориалы. Но все это могло оказаться напрасным, если бы не пресловутый его величество случай.

На одном из контрольно-пропускных пунктов у развилки дорог возле Ржева приступила к несению службы очередная смена. Удивительное, кстати, совпадение: пост этот находился неподалеку от того места, где в 1942 году на сторону немцев перешел ротный командир — тогда еще Политов… Заступивший наряд был проинструктирован и нацелен на тщательную проверку всех лиц, как военных, так и гражданских, в связи с тем, что в Смоленской области высадилась группа лазутчиков-диверсантов. Были даже указаны некоторые приметы. Диверсанты могут быть в форме летчиков. Среди них может находиться высокий человек в новом кожаном пальто с двумя карманами на левом борту.

По шоссе двигалось много автомашин, повозок, пешеходов. Патрульные едва успевали проверять документы, осматривать кузова машин. Глянул, оценил — езжай дальше. Чего из сил-то выбиваться: здесь Ржев, а где тот Смоленск, сколько до него верст-километров?.. И таких вот проверяющих постов между ними десятка полтора — мышь по шоссе не проскочит.

Остановился возле шлагбаума закамуфлированный мотоцикл с коляской. Круглолицый майор со звездой Героя, с планками орденов на кителе, разминая ноги и добродушно улыбаясь, протянул документы: свои и спутницы — младшего лейтенанта. Та зевнула несколько раз прикрываясь ладошкой: растрясло, знать, на чиненой-перечиненной дороге.

Я не знаю ни звания, ни фамилии того человека, который разговаривал с майором (Берия приписал все заслуги своим сотрудникам). Наверно, это был офицер, начальник КПП, ведь проверялся не рядовой шофер и даже не просто майор, а представитель военной контрразведки, даже сразу два представителя, у которых и права были соответствующие. Но служба есть служба. Офицер внимательно осмотрел документы. Фактура, шрифты, подписи и печати — соответствуют. Особый знак — двоеточие после слова «что» в командировочном удостоверении — на месте. И вообще этот улыбчивый, мужественного вида майор настолько располагал к себе, что офицеру, которому надоела однообразная служба, захотелось перемолвиться с ним парой неказенных фраз. Этот не оборвет, не отвернется высокомерно. Все в порядке, сказал офицер, возвращая документы.

— У вас все в порядке, товарищ майор… Издалека в Москву-то? У нас теперь аж от самой границы едут.

— Нет, мы не очень, — и майор назвал населенный пункт километрах в двухстах от Ржева.

Трудно понять, почему Политов-Таврин упомянул тот район, где была подготовлена посадочная площадка, где «Арадо» должен был приземлиться, но не приземлился. Сработала усвоенная схема? Расслабился после удачного начала, потерял осторожность? Или сознательно не хотел связывать себя с местом посадки самолета, которое, возможно, уже обнаружено? А выдумывать что-то новое было опасно — как бы не попасть впросак. И он назвал именно тот район, который был оборудован для приземления. Значит, не знал, что там поджидает засада. А патрульного офицера, которому ничего не было известно ни про засаду, ни про «Арадо», как током, вероятно, ударило. Из того района, который назвал майор, прошло уже несколько автомашин. Все они были забрызганы грязью, водители говорили, что там был ливень и дорогу развезло, машины и буксовали, и застревали. А мотоцикл только запылен, одежда у майора и его спутницы сухая, чистая… Ну, вообще-то сотрудник СМЕРШа не обязан сообщать свой маршрут, но все же… Зачем ему говорить неправду? Дрогнул ли голос, офицера когда он повторил:

— Все в порядке, можете ехать, только зайдите в комендатуру вместе с младшим лейтенантом. Выезжаете из прифронтовой полосы, вам сделают отметку. Так положено. Да и вам лучше, а то ближе к Москве на каждом посту задерживать будут, выяснять… Я провожу.

— Раз нужно, так нужно, — согласился майор.

Вместе зашли к коменданту, а тем временем оперативник, контролировавший в тот день работу поста, быстро осмотрел мотоцикл. Пистолеты, нечто похожее на мину особых подозрений не вызвали, — сотрудник СМЕРШа может провозить все, что ему требуется. Но на дне коляски, среди других вещей, обнаружилось аккуратно сложенное пальто из мягкого хрома.

При выходе из комендатуры Политов-Таврин и Адамичева-Шилова были обезоружены и задержаны. Дальнейший путь к Москве они продолжали порознь и не на быстроходном мотоцикле, а в машинах для арестованных. И уже на первом допросе Политов-Таврин признался, что послан убить Сталина. И, попросив сохранить жизнь, поклялся откровенно сообщить все подробности.[84]

4

О неудавшейся попытке покушения на нашего Верховного главнокомандующего я рассказал примерно так же, с теми же подробностями и акцентами, как доложили об этой операции Иосифу Виссарионовичу двое ответственных руководителей — Берия и Абакумов. В присутствии членов Политбюро и некоторых членов Ставки. Лаврентий Павлович позаботился, чтобы сообщение прозвучало на самом высоком уровне. Он, собственно, и докладывал, отведя своему младшему коллеге, Виктору Семеновичу Абакумову, лишь роль специалиста, растолковывающего подробности. Амплуа довольно обидное, если учесть, что подчиненные Абакумова потрудились и сделали по крайней мере не меньше, чем подчиненные Берии. Но Лаврентий Павлович, как всегда, шел напролом, коли дело касалось большого выигрыша. Такая натура: кого угодно готов был отбросить, смести с дороги ради конкретной выгоды, не испытывая малейшего угрызения совести.

Мне, находившемуся в комнате за кабинетом, вполне понятно было, почему столь ликующе звучал голос Берии. Это был успех, который он мог приписать себе, это была заслуга, возвышавшая его в глазах Сталина, оправдывавшая его существование при «великом и мудром». Появилась возможность подтвердить реальными фактами действенность его организации, причем не только вообще, в государственном масштабе; а по отношению лично к вождю. Подтвердить преданность. Первая за время войны попытка покушения на жизнь вождя — и вот финал: преступники выслежены и схвачены. Великолепный козырь для Лаврентия Павловича!

Слушал я его красноречивые излияния, заинтриговавшие и заворожившие тех, кто присутствовал в кабинете, и крепло у меня решение высказать свои сомнения, возникшие при ознакомлении с «делом» Таврина — Шиловой и возросшие при чрезмерном ликовании Лаврентия Павловича. Не перегиб ли беспардонного игрока? А еще внешний вид Виктора Семеновича Абакумова, его поведение усугубили мои соображения. Слишком сдержан и даже хмур был жизнелюбивый красавец генерал, представлявший военную контрразведку. Он явно не торжествовал, скупо подтверждая, когда к нему обращались, слова Берии. Не поделили лавры? Нет, тут что-то не так… Когда Сталин зашел в комнату за кабинетом, я попросил его:

— Задержите, пожалуйста, Берию, Абакумова и Андреева.

— А что, есть вопросы?

— Да, несколько.

— У меня тоже, — сказал Иосиф Виссарионович. Со своего вопроса он и начал разговор, когда в кабинете остались только названные лица. И, как часто случалось, с вопроса совершенно непредсказуемого.

— Сколько весит звезда Героя?

Берия пожал плечами, а Иосиф Виссарионович продолжал:

— Проверяли звезду этого самозванного майора? Настоящая?

— Разрешите? — вмешался Абакумов. — В звезде двадцать семь граммов чистого золота. Принадлежит генералу Шепетову, погибшему в бою.

— Это уже кое-что, — кивнул Иосиф Виссарионович. — Теперь Николай Алексеевич хочет что-то сказать. Давайте послушаем.

Я постарался изложить свое мнение как можно короче. Да, наши чекисты проделали очень большую и важную работу. Те, кто отличился при этом, заслуживают благодарности и наград (экивок для Берии). Но предаваться чрезмерному ликованию преждевременно и даже опасно. Предотвращен один выпад или имитация выпада против Сталина, но где гарантия, что параллельно не осуществляются другие подобные акции с различными прикрытиями? В деле Таврина — Шиловой многое вызывает сомнение. Слишком грубо сработано. И кем? Опытными немцами-аккуратистами. Начиная с подбора исполнителей. Ясно, что Политов-Таврин не идейный борец, не фанатичный мститель, способный идти до конца, а всего лишь авантюрист, эгоист, готовый переметнуться в любой лагерь ради сохранения своей жизни и благополучия. Для серьезнейшего задания гитлеровцы могли бы найти исполнителя понадежней.

Далее. Случай с пошивом по заказу СС в обычной мастерской кожаного пальто «на русский манер» для русского человека, причем пальто особого, с удлиненным рукавом и двумя карманами на одном борту, — это случай просто шокирующий. Либо свидетельство полного идиотизма немецкой разведки, чего никак нельзя предположить, либо стремление заранее «засветить» исполнителя, привлечь к нему внимание. О странном пальто

могла знать если не половина жителей Риги, то хотя бы три-пять процентов. И это в городе, который был особо насыщен нашей агентурой, служил своего рода перевалочной базой для нашей разведки — о чем немцам, безусловно, было известно. Вообще не следовало готовить покушение на Сталина именно в этом городе — других, что ли, мало? И уж тем более шить в мастерской необыкновенное пальто и демонстрировать человека, которому оно предназначено. Разве своих особых ателье нет у СС и других немецких спецслужб?

И последнее из нескольких моих соображений. Почему «Арадо-332», летевший на посадочную площадку, подготовленную группой «Л», находясь в пути, вдруг изменил курс и сел в безлюдной местности на каком-то кочковатом лугу? Испугался зенитного огня? Ерунда. Даже наоборот: если стреляют, значит, зенитчики не предупреждены о том, что надо пропустить самолет, дабы он достиг своей цели, доставил на место пассажиров и груз. Значит: русские про «Арадо» ничего не знают, не приготовили западню. А приземлился самолет в другом районе для того, чтобы не было встречающих, чтобы никто не видел и не знал, кого и сколько привезла в русский тыл большая машина. Чтобы перебросить двух террористов с мотоциклом, достаточно было послать обычный серийный самолет, а не гнать уникальный четырехмоторный аппарат, способный брать на борт тонны груза. Таврин и Шилова занимали отведенный им отсек в хвостовой части фюзеляжа, не зная о том, каков экипаж, сколько еще людей летят вместе с ними. Вполне возможно, что «Арадо» и не должен был вернуться. Лишь бы сесть; пусть русские ищут его в лесах, а обнаруживши, осматривают, исследуют, теряют время, организуют прочесывание местности. Те, кто прилетел, успеют уйти далеко. Вполне возможно, значит, что вместе с Тавриным и Шиловой прибыло еще несколько групп, о которых названная парочка не была осведомлена: эти группы исчезли, как исчез и экипаж самолета. Так что надо искать и искать, а не благодушествовать, захватив двух террористов.

Излагая свое мнение, я внимательно следил за выражением лиц присутствующих. Аскетическая физиономия Андрея Андреевича Андреева, совершенно не приспособленная для демонстрации эмоций, оставалась как всегда сурово-спокойной, но я, за многие годы научившийся замечать оттенки его настроения, видел, что сообщение мое Андреева не задевает. Значит, по линии неофициальной политической разведки поддержки или возражений не будет. А вот Виктор Семенович Абакумов, пребывавший ныне явно не в духе, слушая меня, все больше хмурился и мрачнел. Ни разу не промелькнул даже отблеск его обычной располагающей улыбки. Я догадывался о его состоянии. До войны замеченный и выдвинутый Берией, он теперь все больше отдалялся от своего недавнего хозяина и покровителя, чем, естественно, вызывал раздражение Лаврентия Павловича. Особенно после того, как Сталин в 1943 году, добивая пресловутый «триумвират», о котором я упоминал много раз, сделал великолепный, всесторонне полезный организационный ход: создал помимо Главного разведывательного управления Красной Армии еще и военную контрразведку СМЕРШ (смерть шпионам). И ГРУ, и СМЕРШ, как организации армейские, подчинялись непосредственно ему, Верховному главнокомандующему. Тем самым были не только ограничены возможности НКВД — НКГБ, которые курировал Берия, но и все, что происходило в них, становилось известным Иосифу Виссарионовичу. А главным действующим лицом в военной контрразведке стал генерал

Абакумов, превратившийся, таким образом, в конкурента Лаврентия Павловича. Служить двум господам он не мог, фальшь обнаружилась бы, и вот теперь Абакумов оказался перед очень трудным выбором: поддержать ликующий, самовосхваляющий доклад Берии или мою скептическую точку зрения, разделять которую у него, как я понимал, были веские основания.

Ну, а Лаврентий Павлович, сознавая крушение триумфа, буквально налился гневом. Мясистые щеки стали темно-багровыми и источали жар. С не меньшим интересом, чем я, за реакцией двух чекистов следил и Иосиф Виссарионович, бросая взгляды то на одного, то на другого, сначала любопытствующие, а чем дальше, тем все более ироничные. Когда я закончил, он, помолчав, произнес:

— Так-так… Николай Алексеевич одним махом перевернул ситуацию, превратил зрительный зал в сцену, а сцену в зрительный зал. Товарищ Андреев, твое мнение?

— По этому вопросу у меня данных нет.

— Товарищ Берия?

— Что получается?! Что же это получается! — загорячился тот. — Мы вырвали жало у ядовитой гадюки, а нам говорят, что никакой опасности не было, что была только игра в поддавки.

— Зачем столько шума, — прервал его Сталин. — Мы вправе предполагать, что имеется не одна гадюка, а несколько. Или многоголовый дракон, у которого отрубили только одну голову.

— Получается, что ничего не было, одна приманка, — упорствовал Берия. — Получается, что Таврина с Шиловой на прогулку послали. С магнитной миной и этим… «панцеркнакке», который за триста метров броню пробивает.

— Не передергивайте, — возразил я. — Таврина и Шилову готовили, вероятно, с двойной целью. Повезет им, совершат покушение — немцам хорошо. Провалятся — отвлекут наше внимание от других, более подготовленных террористов.

— Так-так, — опять раздумчиво произнес Иосиф Виссарионович. — А ваши соображения, товарищ Абакумов?

Считаю, что в жизни Виктора Семеновича это был переломный момент. Покривить душой он не мог, Сталин сразу понял бы это, пошатнулось бы доверие вождя — с непредсказуемыми последствиями… Не поддержать своего недавнего руководителя-покровителя тоже опасно. Но ведь речь-то шла о чем? О покушении на самого Сталина, на жизнь вождя! Абакумов был необычайно бледен, голос звучал напряженно.

— Таврин и Шилова не получили ни одной связи, которая выводила бы их на подступы к Кремлю. Или у немцев нет в Москве таких фигур, в чем мы обязаны сомневаться, или этой паре не очень доверяли. Действительно, можно понимать так: повезет им, выявят режим передвижения машины Верховного главнокомандующего, совершат акт — немцы будут довольны; провалятся — значит, пустят нас по боковой ветви, а не по главному ходу! Считаю, что операция не закрыта. Ее надо продолжать и вести более целенаправленно, особенно в плане наблюдения за лицами, которые имеют прямой или хотя бы опосредствованный контакт с Верховным главнокомандующим на всех ближних и дальних подходах, — несколько витиевато закончил Виктор Семенович. Практически он поддержал меня, окончательно подорвав торжество Лаврентия Павловича.

К словам Абакумова Сталин отнесся одобрительно. Этот факт, как впоследствии еще несколько подобных, весьма укрепил веру Иосифа Виссарионовича в преданность и честность Абакумова и резко ухудшил взаимоотношения последнего с Берией. Вскоре после войны, когда отпадет надобность в военной контрразведке СМЕРШ, Сталин назначит Абакумова министром государственной безопасности, оставив в руках Лаврентия Павловича министерство внутренних дел. По древнему принципу — разделяй и властвуй. Но борцы были все же разного опыта, разных весовых категорий. Когда стареющий вождь начнет слабеть, теряя бразды правления, Берия, готовя переворот, примется убирать из окружения Сталина людей, наиболее преданных Иосифу Виссарионовичу. Стараниями Лаврентия Павловича будет устранен и моложавый генерал Виктор Семенович Абакумов. Но об этом в свое время.

5

В обширных подвалах Главного разведывательного управления наших Вооруженных Сил хранятся запаянные металлические гробы-ящики с документами строгой секретности. Ничего особенного, обычная практика спецслужб многих стран, особенно характерная, скажем, для Англии. На ящиках обозначения: вскрыть не раньше такого-то года. А на некоторых вообще нет маркировки, срок не указан. Такие ящики, на мой взгляд, лучше никогда не вскрывать, а если и делать это, то лишь в самом узком кругу специалистов, давших клятву не разглашать узнанное, а при нарушении клятвы — подвергнуться смертной казни. Через повешенье — это страшнее.

Почему такая строгость? Да потому, что государственные тайны надлежит не разбазаривать, а соблюдать соответствующим образом. А еще, и это, пожалуй, главное, потому, что последствия разглашения могут быть самыми неожиданными, трагическими и даже губительными для ни в чем не повинных людей. Назову примерную возможность, одну из многих. Вот есть хорошая семья, где все любят и уважают друг друга, гордятся своим прошлым и настоящим. И вдруг всплывают такие обескураживающие сведения, которые вроде бы переворачивают все с ног на голову. Хоть беги на кладбище и разбивай там надгробную плиту деда, прадеда или дяди, а детям, внукам и правнукам впору волосы на себе рвать, от людей скрываться, боясь стыда и позора. Причем может быть и так, что даже сами граждане, фигурирующие в секретных документах, не знали о своей причастности к какому-то преступлению, к какой-то богомерзкой афере, являлись просто неосведомленными исполнителями — случается и такое.

Чекисты правильно поступают, далеко не все предавая огласке. Нас же с вами берегут, дорогие сограждане. А доберись до особых документов падкие на сенсации журналисты, сколько бед доставили бы они своими сенсациями ныне живущим людям! Они же готовы очернить, охаять кого угодно, к примеру, даже таких чистых, честных, хороших писателей, как Михаил Булгаков, Федор Гладков, Алексей Новиков-Прибой, Вячеслав Шишков, Сергей Сергеев-Ценский… Это я навскидку… И спасибо тем чекистам, которые хоть как-то, наперекор враждебным веяниям, оберегают славные российские имена от гнусных посягательств представителей второй древнейшей профессии.

К чему я все это? А для того, чтобы продолжить тему покушений на Сталина, но не интригуя читателя детективным сюжетом, а показывая, как подобные события хоть и не сразу, однако заметно повлияли на психику Иосифа Виссарионовича, на его образ жизни, отразились на его деятельности.

Значит, так: из всех попыток покушений на Сталина наибольшую известность получила акция Таврина — Шиловой. Понятно почему: сотрудники Берии по горячим следам систематизировали материал, выделив интересные детали, выгодные для Лаврентия Павловича, с которыми он предстал перед Сталиным и членами Политбюро с надеждой заслужить высочайшую похвалу. Но не вышло с собственной рекламой и рекламой своего ведомства. А после того, как возобладала версия Абакумова — Лукашова, злопамятный Лаврентий Павлович старался приглушить, замолчать значение тех событий, которые работали не на него, а в подтверждение наших предположений.

Лишь в общих чертах, без всяких интригующих подробностей, как о деле заурядном, доложил Берия Верховному главнокомандующему о том, что вскоре после группы Таврина — Шиловой была разоблачена еще одна, тоже из двух человек. Хотя, на мой взгляд и на взгляд Абакумова, эта вторая группа была гораздо более опасна, чем прямо-таки театрализованная пара супругов — представителей СМЕРШа: героя-майора и младшего лейтенанта. Опасней хотя бы потому, что оба члена второй группы в свое время пострадали от советской власти, имели основания мстить ей, в том числе лично Сталину. И шла вторая группа в Москву не наобум-лазаря, а с точным прицелом. Ей дали адрес механика правительственного гаража, где содержалась и обслуживалась сталинская автомашина. Причем один из террористов был знаком с этим механиком еще до войны, мог рассчитывать на его сознательную или хотя бы бессознательную поддержку. На содействие при устройстве на нужную работу. Или выудить у него сведения, важные для диверсантов.

Каждый член группы имел при себе взрывное устройство большой разрушительной силы, способное разнести не то что лимузин, но и броневик. Внешне заряд похож был на грязный камень, а вернее, на ком грязи. Его можно было оставить на трассе движения сталинского кортежа или заранее прикрепить к определенной автомашине. В комплект входил миниатюрный радиопередатчик размером менее коробки «Казбека». Он мог посылать сигнал на расстояние до 15 километров. Нажатие кнопки — и мина срабатывала. К счастью, до этого не дошло.

Иосиф Виссарионович не мог не обратить внимание на то, что и первая, и вторая группы террористов имели задачи схожие: произвести нападение на Сталина в пути следования, за пределами Кремля или Ближней дачи, где он обычно пребывал. Значит, немецкая разведка или вообще не имела доступа в эти тщательно охраняемые места, либо проникновение в святая святых готовилось по какой-то особой линии. Я заметил повышенный интерес Сталина к оснащению диверсантов, от «панцеркнакке» до устройства мин. И вообще к разговору о покушениях на дорогах он возвращался несколько раз и с нарастающим любопытством. Особенно после войны, после того, как такой способ расправы с неугодными лицами начал практиковать Берия. Любопытство постепенно переросло в опасение за себя с маниакальным оттенком.

Чем дальше, тем непредсказуемее становились поездки Иосифа Виссарионовича на автомашинах. Он мог вызвать свой «ЗИС» в любое

время: и в полдень, и в полночь, и рано утром. Иногда вызывал два схожих лимузина, свой и, к примеру, молотовский. Порой садился в автомобиль охраны, в машину, следовавшую впереди или позади его «персоналки». Угадать, где Сталин, было невозможно. И маршруты часто менял. Вот до какой степени разрослась в нем болезнь, семена которой были заронены в его душу немецкими террористами осенью 1944 года. Но все это обострится потом, к концу жизни. А пока давайте посмотрим, как, по моему мнению, зародилась и окрепла у Иосифа Виссарионовича другая болезнь — опасение, что его отравят, тоже усилившееся со временем до чрезвычайных размеров.

Я не случайно упомянул о металлических ящиках в подвалах ГРУ, о запечатанных тайнах, раскрывать которые не пришел срок, да, может, и вообще не нужно. Во всяком случае, не следует предавать гласности то, о чем я намерен рассказать сейчас лишь в общих чертах, с существенными оговорками. История эта долгая, весьма запутанная, могущая бросить тень на несколько поколений ныне живущих граждан — детей, внуков и правнуков, абсолютно ничего не знавших о деянии своих родственников. К тому же есть надежда, что в архивах ГРУ и других ведомств отсутствуют следы того дела, о котором пойдет речь, потому что велось оно на самом высоком уровне. А люди Абакумова привлекались лишь в качестве оперативных исполнителей.

Читателю известно, что я, не уходя от острых вопросов, повсюду называю реальные фамилии политических, военных и иных деятелей, даже если это грозит мне нареканиями и неприятностями. Но в данном случае я изменяю почти все фамилии. Дабы наследники «действующих лиц» жили совершенно спокойно. Тем более, что акция до конца не раскрыта, полной ясности нет. Да нам и неважно это, нам важна реакция Сталина.

Осенью 1914 года, в самом начале первой мировой войны, в немецком плену оказался рядовой Яков Туркин. В деревне близ Калуги осталась его семья: русоволосая красивая жена и трое или четверо детей. Мужик был видный, крепкий, работящий и себе на уме. На балалайке, кстати, играл весело-хорошо. Чем-то сразу выслужился он у немцев, его вскоре отпустили из лагеря на хутор, помогать хозяйке, муж которой пропал без вести. А у нее пяток лошадей, десять коров и все прочее. Как управишься без сильных умелых рук?! Присмотрелись соломенная вдова и пленный друг к другу, притерлись, да и прикипели всерьез. В положенный срок родила немка сына, лицом в нее, а чернявостью в Якова. Ну, а Туркин из батрака превратился в приказчика, вел все дела, все расчеты, разъезжал в тарантасе с кучером: в перчатках и с тростью. Подобный «плен» и покидать неохота. Когда в 1918 году появилась такая возможность, Туркин торопиться не стал. На вопросы земляков, с радостью покидавших чужбину, отвечал: «Тут я при месте, а там опять навозным жуком копаться?!»

Наверно, остался бы совсем, но объявился вдруг муж немки, проведший войну в русском лагере на Урале. Прибыл инвалид, к работе негодный. Немка и видеть его не желала, но ведь он законный супруг, законный хозяин имущества, а в Германии на этот счет порядки строгие. Вмешались власти, и Яков Туркин вынужден был собирать чемоданы. Обо всем этом доверительно поведал Андрею Андреевичу Андрееву немец-антифашист, соратник по Коминтерну, бежавший от гитлеровцев к нам в середине тридцатых годов. Случай вообще-то банальный, нередко бывало такое с

пленными на той и на другой стороне. Однако имелась существенная подробность. По сведениям антифашиста, с Туркиным перед его возвращением в Россию основательно поработала немецкая спецслужба. Использовали и привязанность к соломенной вдове, и чувства к сыну, и деньги… С большим опозданием по сравнению с другими пленными, но Германию Туркин все же покинул.

Хотя конкретных обличающих данных у антифашиста не имелось, наши чекисты все же решили Туркина разыскать и проверить. Нашли под Калугой его семью, начали разматывать ниточку, но она оказалась бесперспективной и короткой. Жена и дети приняли вернувшегося Туркина, хотя и знали от земляков о заграничном его бытии. Однако жизнь не заладилась. Чужим он стал и для дома, и для деревни. Чурался черной работы: ни пахать, ни картошку сажать. Придумал себе какую-то странную болезнь — катар желудка. Семья в поле, а он дома отлеживается. Потом вообще подался куда-то, сказал, что в город, видать, в Москву. Никто этим не опечалился, тем паче, что Туркин оставил жене и детям солидную сумму денег: чекисты особо отметили это в протоколе.

Дальнейшие поиски велись без особого усердия. Других, более конкретных забот хватало. А Туркин, может, умер безвестно, может, под чужой фамилией укрылся от семьи на далекой стройке. Ищи свищи. «Дело» его, как говорят в таких случаях, «повисло». И надолго.

Упоминал я в этой книге о двух Настях-поварихах. Одна из них, Настя Воронова из деревни Сареево, четверть века проработавшая на даче Микояна, отличалась от иных тружеников пищеблока тем, что за все это время не растолстела (при ее-то возможностях!), а осталась худощавой, подвижной. Другая Настя, более солидная, фигуру не уберегшая, творила кулинарные чудеса на Дальней даче. Иосифу Виссарионовичу особенно нравилась уха ее приготовления, да чтобы обязательно с ершами. Обе женщины пользовались полным доверием охраны Сталина, их привлекали к работе на кухне в «Блинах» и в Кремле, когда затевался какой-либо прием и ожидалось много гостей. Не только из-за мастерства, но и для догляда за другой обслугой.

В конце 1944 года у одной из этих достойных тружениц (запамятовал, у какой именно) появились некие странные галлюцинации. Началось на продовольственной правительственной базе, где Настя вместе с экспедитором получала продукты для большого ужина на одной из дач. Дело привычное: овощи-фрукты, рыба-мясо, масло да специи. Но вдруг внимание ее привлек смех, раздавшийся за дощатой перегородкой. Там бубнили несколько мужских голосов, кто-то покашливал, и вот этот смешок: сперва негромкий, потом раскатистый, с самоуверенным оттенком. Ну, всяк радуется по-своему, но именно такой особенный смех Настя уже когда-то слышала. И никак не могла припомнить: где, от кого?

Вышла в подсобку. Там работали трое мужчин: что-то перетаскивали, что-то перекладывали, а четвертый, лет двадцати пяти, в солдатской форме без погон, сидел за столиком возле весов и записывал в толстую конторскую книгу. При виде женщины они умолкли, ответили на ее «здравствуйте» и продолжали свою работу. Настю удивило, что никого из них прежде она не встречала, а значит, и слышать никак не могла. Почудился, выходит, характерный смешок, напутала-перепутала. Вот до чего замаялась баба.

И забылось бы вскоре, если бы не повторилось. Через несколько дней опять резанул по ушам вроде бы давно знакомый смешок. И где! На

заднем дворе сталинской дачи, куда прибыла автомашина с продуктами, а среди разгружавших ее находился тот мужчина, который сидел в подсобке над конторской книгой. Он и смеялся. Но Настя могла дать голову на отсечение, что никогда не встречала его, не слышала голос. Или забыла?

Наваждение какое-то. Желание вспомнить, понять мучило ее. Казалось, еще одно напряжение, и все будет ясно. Однако как ни старалась — не получалось. А смех назойливо звучал в ушах. Скажи кому — за больную сочтут, с работы уволят.

Те люди, которые хоть вместе, хоть порознь трудились на правительственных дачах в особом районе, так или иначе знали друг друга, хотя бы понаслышке. Почти все они были жителями близлежащих населенных пунктов, к примеру, от Ромашково до Успенского. Не составляло для Насти большой сложности через общих знакомых узнать, что заинтересовавший ее гражданин квартирует у пожилой женщины, долго работавшей подсобницей на микояновской, на сталинской и на других дачах. Была уборщицей, прачкой, посудомойкой. Свой человек. Настя решила к ней в гости сходить, найдя какой-то повод и прихватив для улучшения разговора заветно хранимую четвертинку. А у той нашлось из чего яичницу изготовить.

Посидели тетки, расчувствовались, слезу пустили, вспоминая тех, о ком пришла казенная бумага с войны.

Поведала хозяйка о своем постояльце. Сержант он, сильно пораненный: жила в ноге побита. Родня в Ленинграде погибла. Дали ему срок для окончательного излечения, и осел он тут, поблизости от госпиталя. Документы у него в порядке, и временная прописка имеется. Да вот он и сам…

Боюсь, что история эта, окончившаяся, с одной стороны, фактически ничем, а с другой, повлекшая большие последствия, может надоесть читателю, посему излагаю ее как можно короче. Молодой мужчина присоединился к гостеванию, выставив бутылку грузинского вина, что тоже было отмечено Настей. Под выпивку дал понять кавалер, что об ответственной должности своей собеседницы очень даже догадывается. С почтительностью. Таким обаятельным показался он Насте, что даже смех его на сей раз воспринимался нормально. И только потом, возвращаясь в сумерках домой и будучи, вероятно, несколько навеселе, Настя вдруг совершенно неожиданно вспомнила, что точно так, именно так смеялся когда-то Яков Цыганов, работавший до войны на товарном складе возле станции Кунцево: склад обеспечивал район правительственных дач всяческой древесиной, скобяными изделиями и другими строительными материалами. Да, был такой человек в солидном возрасте, но общительный и веселый, как молодой. Бабам нравился. А потом исчез; говорили, что на финской пропал.

Вспомнила все это Настя и на короткий срок почувствовала некое облегчение, будто трудный узелок развязала. А потом стало еще смутнее: откуда же такой смех и вроде даже походка, схожие с тем самым Яковом? Хотя обличье совсем иное: тот был чернявый, смуглый, а этот рыжеватый, веснушчатый, лопоухий. Но, может, сродники? Зря не спросила… В следующий раз встретив свою знакомую, поинтересовалась, но та ничего не знала, пообещала поговорить с постояльцем, выяснить.

Существовало правило, по которому все работники высоких правительственных организаций, тем более те, кто имел какое-то отношение к обслуживанию Сталина, при возникновении малейших подозрений или сомнений обязаны были немедленно докладывать своему непосредственному начальству. Это соблюдалось неукоснительно, тем паче что вся обслуга, в том числе и женщины, имела воинские звания, соответствующие должности, от сержантов до младших офицеров. Но припозднилась на этот раз Настя, насторожив, вероятно, своим любопытством молодого мужчину.

Пока в отделе кадров проверяли документы-бумаги (они действительно были в полном порядке), пока «поднимали» старые дела, отыскивая следы Якова Цыганова, минуло несколько суток. Насте показали довоенную фотографию, и она узнала на ней того, кто именовался Цыгановым и чей смех она помнила: это был давно уже разыскиваемый чекистами Яков Туркин. Тот самый, который благополучно устроился в немецком плену, а затем вернулся в Россию, оставив в Германии ребенка мужского пола, коему теперь было около двадцати пяти лег. Круг вроде бы замкнулся. Однако, когда чекисты явились на квартиру, жильца там уже не оказалось. Ушел накануне с чемоданчиком, сказав хозяйке, что вызван в военкомат. Только его и видели...

Был произведен тщательный обыск, осмотр оставленных вещичек. Привлекла внимание только одна деталь. Уголок воротника старой гимнастерки был надрезан и слегка деформирован, в него вшивалось что-то. Такой след могла оставить ампула с ядом.

Если бы связкой Туркин-Цыганов — молодой мужчина занималось только ведомство Берии, то Лаврентий Павлович наверняка не доложил бы Сталину, позволяя себе решать, какая информация обязательна для «хозяина», а какой не следует отнимать у вождя драгоценное время. Тем более, что лавров не предвиделось, а даже наоборот, можно было навлечь на себя гнев. Факт вопиющий: среди обслуживающего персонала Сталина, в его даче, чуть ли не на кухне оказался подозрительнейший гражданин. Как проник, почему не раскрыли, не взяли? С другой стороны, ничего вроде бы не произошло, враждебных действий не допущено, расследование продолжается, зачем беспокоить занятого человека... Однако кроме людей Берии о происшедшем знал еще и Власик, а главное — знали сотрудники Абакумова. Последний же имел твердую привычку обязательно сообщать Сталину все, что хотя бы в малейшей степени касалось его безопасности. Ни о чем не умалчивая, не просеивая сквозь сито собственного разумения. Иосиф Виссарионович знал об этом и очень ценил, полностью доверяя Абакумову.

Докладывали вдвоем, дополняя один другого, причем Берия напирал на дополнительные меры, принятые для охраны вождя. Оба отделались резким замечанием Сталина о дармоедах: едоков много, а толку мало. Иосифа Виссарионовича удивило и насторожило то, что оба фигуранта по делу — Яков Туркин и его возможный сын — не пойманы, а следы их затерялись.

— Почему такое ротозейство?! Они могут появиться в любое время, в любой ипостаси.

— Не появятся. Мы на них нацелены, — заверил Берия. — Перекрыты все подходы.

— Я вижу, как перекрыты… У каждой двери по диверсанту, — недовольно произнес Иосиф Виссарионович. — Товарищ Абакумов, с этого дня держите вопрос под личным контролем.

Из последней фразы явствовало, между прочим, что отныне Сталин в смысле своей безопасности больше надеется на генерала КГБ, нежели на огрузневшего политико-карательного деятеля Берию. Во всяком случае, такой подход еще больше обострил отношения между руководителями двух чекистских организаций, между органами внутренних дел, с их агентурой и контрагентурой, и военными коллегами, тоже имевшими свою разведку, контрразведку и карательные подразделения. Все это со временем отразится на судьбах наших действующих лиц.

Тогда, в 1944–1945 годах, в победное время, изложенные выше факты казались не очень важными на фоне великолепных всемирных событий. Появились, потревожили — и вроде бы канули… Для многих, но не для Сталина с его феноменальной памятью вообще и с особо болезненным восприятием того, что было направлено против него лично. После войны для Иосифа Виссарионовича наступит такой период, к которому применительны вещие слова поэта:

…под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить. Тут соседи беспокоить Стали старого царя, Страшный вред ему творя.

Иосифа Виссарионовича «беспокоили» не столько «соседи», с которыми он управлялся твердой рукой и достаточно мудро, — Сталина больше тревожили деятели внутренние, потаенные, оперившиеся под его крылом, знавшие его слабости, способные использовать их, чтобы избавиться от старого правителя, от зависимости от него, самим вкусить полноту власти. Ну, и грехи многочисленные Иосифу Виссарионовичу вспоминались все чаще: ошибки, жестокие решения, пролитая кровь. Не с неба ждал он отмщения, но скорее со стороны тех, кто пострадал при его правлении, их многочисленных родственников, которые имелись повсюду, даже в Кремле. Чем стремительнее и величественнее ход истории, тем больше людей попадает под ее колеса. Кто-то понимает это и способен подняться выше своих обид, а кто-то за деревьями леса не видит и одну лишь злобу вынашивает в душе. У того же Кагановича есть осужденные родичи, у того же Молотова жена отбывает срок…

Болезненные приступы чрезмерной подозрительности проявлялись у Иосифа Виссарионовича еще в тридцатых годах, особенно после смерти Кирова. Периодически разыгрывалась фантазия, что доставляло много хлопот Власику и вообще всей охране. Сталин начинал вдруг бояться длинных кремлевских коридоров с многочисленными дверями. Ему представлялось, что кто-то может оказаться в коридоре и выстрелить, как это было с Сергеем Мироновичем. А ходил он по этим коридорам почти каждый день по нескольку раз: из квартиры в кабинет, затем на квартиру обедать, потом на отдых. Об этом постоянном маршруте забота была особая. Там всегда свежо и приятно пахло смолистой древесиной, вероятно, пицундской сосной: не знаю, как по-научному, но всякие микробы-бактерии боятся этого запаха. Причем путь этот Иосиф Виссарионович проделывал всегда без посторонних людей, даже без тех, кого только что пригласил в кабинете к себе на ужин. Гости выходили в кремлевский двор, а уж затем через гардероб попадали в квартиру Сталина. Он же, придя раньше других, имел время привести себя в порядок и поразмыслить, ежели требовалось.

При обычном следовании от кабинета до квартиры особых охранительных мер не принималось. Сталин не спеша, с трубкой в руке, иногда в накинутой на плечи старой шинели, шествовал по маршруту, порой разговаривая с тем, кто удостаивался возможности сопровождать его. Такие — наперечет. Один охранник и Власик — по долгу службы. Иногда Жданов, Берия, Василевский, Антонов, я и, как ни странно, несколько раз Рокоссовский, а также маршал артиллерии Воронов. И в последние месяцы жизни молодой генерал, комендант Кремля Петр Косынкин, о котором разговор будет особый.

Когда обострялась подозрительность Иосифа Виссарионовича (а многоопытный Николай Сергеевич Власик сразу замечал это), ситуация резко менялась. За несколько минут до того, как Сталин покидал кабинет, по коридорам проходили охранники, загонявшие всех сотрудников в их рабочие комнаты, в туалеты — куда попало, лишь бы с глаз долой. И запирали все двери. Очень спокойный, чрезмерно спокойный Сталин медленно вышагивал по коридору, подавляя внутреннее напряжение. И уж тут не дай Бог, если бы распахнулась какая-то дверь…

Он не любил видеть охрану. Не желал, чтобы кто-то маячил перед ним. Но всегда хотел, чтобы за его спиной находился надежный человек, способный прикрыть сзади, принять удар на себя, предвосхитить своим выстрелом чужой выстрел, чужой удар. А таких людей было лишь несколько. Берия отметался: «Жирный боров, ни на что не способен». Хотя не менее толстому генералу Власику доверие было полное, может быть, потому, что он хорошо стрелял. Спокойно чувствовал себя Иосиф Виссарионович, когда за ним шел я или Василевский, генерал Антонов или адмирал Кузнецов. Или опять же преданный ему генерал Косынкин, отравленный незадолго до смерти самого Иосифа Виссарионовича. Такая вот была у него послекировская реакция, «коридорная болезнь» или попросту бзик, как говорят в народе. Однако главное его опасение за собственную жизнь, особо обострившее подозрительность, возникло и укрепилось по другой причине, которая оказалась для него наиболее впечатляющей и которую он долго скрывал, прежде чем она проявилась. Я имею в виду связку Яков Туркин, он же Яков Цыганов, и молодой мужчина, чей странный смех звучал не только на правительственной продбазе, но и на заднем дворе сталинской дачи, возле кухни.

В 1948 году неожиданно скончался герой Ленинградской эпопеи Андрей Александрович Жданов, в котором Иосиф Виссарионович видел самого надежного продолжателя своих дел, с которым давно хотел породниться через его сына Юрия и свою Светлану. Потеря для Сталина была тяжелая, удар сам по себе оказался таким болезненным, что заметно отразился на здоровье Иосифа Виссарионовича, на его устоявшейся было психике. Суть не только в потере близкого друга, но и в том, что Жданов идейно и организационно возглавлял борьбу с низкопоклонством перед Западом, с космополитизмом, то есть со всесторонним наступлением американо-сионистской идеологии, с экспансией агрессивного зарубежного капитала. Был на острие нараставшей «холодной войны». Ненависть к нему за рубежом была велика. Да и внутри страны. Среди затаившихся троцкистов, среди космополитов и среди тех, кто надеялся оказаться на самой вершине власти, сменив стареющего вождя.

Берия и официально, и доверительно убеждал Сталина, что Жданов умер естественной смертью, что было сделано все, дабы сохранить его жизнь. Не удалось, медицина оказалась бессильна. У Иосифа

Виссарионовича вроде бы не имелось оснований сомневаться, однако не покидала его мысль о том, что переправиться верному соратнику на другой берег черной реки «помогли» виртуозные эскулапы, сработавшие так, что комар носа не подточит. Свидетельством этих сомнений является хотя бы то, что по секретному поручению Сталина глава нашей госбезопасности Абакумов вел свое особое расследование случившегося вплоть до того момента, когда был арестован по настоянию Берии.

Да, после смерти Жданова здоровье Иосифа Виссарионовича явно ухудшилось. Вновь обострились недоверчивость, подозрительность и некоторые другие отрицательные черты его характера, в том числе боязнь расплаты за прошлые грехи. Ровные полосы опять начали перемежаться вспышками раздражительности, гнева и следовавшими за ними депрессиями: в такие периоды он старался не появляться на людях, доступ к нему имели лишь несколько человек, иногда только Власик и я.

Осенью на Ближней даче за поздним обедом вспоминали Жданова. Сталин или выпил больше обычного, или пребывал в дурном состоянии — во всяком случае, заметно охмелел. Слушал разговоры и тосты, не поднимая глаз, чтобы не выдать нараставшее раздражение. Взял из вазы виноград, пощупал несколько ягод, зачем-то обнюхал кисть, положил на пустую тарелку, брезгливо вытер салфеткой пальцы и повернулся к Берии:

— Тех двоих поймал?

— Кого?

— Забыл? Память короткая… Немецких диверсантов, отца и сына, которые на кухню к нам пробрались.

— Один был… Не на кухне, на базе, — начал возражать Берия, но под мерцанием желтых сталинских глаз запнулся, обмяк, потерял уверенность. — Старший предположительно скончался. В лагере.

— Почему предположительно?

— Не опознан.

— Сам не знаешь… А где другой?

Берия пожал плечами. Сталин продолжал зло:

— Сходи на кухню, может, он там закуску для нас готовит. Вместе с Власиком посмотри.

— На кухне только женщины.

— На базу сходи. К тем, кто продукты нам доставляет.

Берия поднялся, произнес официально:

— Я пойду. Но обязан доложить, что весь личный состав проверен, надежен и находится под контролем.

— Ладно, сядь. Попробуй виноград. И узнай потом, почему нам дают такой виноград. Пыль на нем или что? Откуда привезли? Да ты бери, угощайся, когда предлагают…

Еще раз вытер пальцы, скомкал салфетку и бросил ее рядом с тарелкой.

Впервые открыто проявилась тогда новая мания Сталина, не дававшая, вероятно, ему покоя с конца войны и разраставшаяся с течением времени. Причем среди других опасений эта мания стала вскоре первостепенной, самой навязчивой. Боялся, что его отравят. Еда, питье, лекарственные препараты — все вызывало у него подозрение. Не постоянно, а в какие-то периоды, связанные с ухудшениями общего состояния, с неудачами. Периоды эти становились длиннее и повторялись все чаще. Тогда он ел и пил только после того, как пищу и питье пробовали другие, в первую очередь повар, врач, начальник охраны. Лекарственные таблетки выбрасывал.

Окружающие, от членов Политбюро до обслуги, постепенно привыкли к тому, что Иосиф Виссарионович опасается отравления, мысль об этом стала вроде бы обычной, и если кто-то действительно решился свести счеты с вождем, то наверняка прибег бы именно к этому способу. Сталин сам распространил идею, сам словно бы накликал на себя беду. Так закручивалась пружина.

7

Наше великое наступление, продолжавшееся на советско-германском фронте почти весь 1944 год, приостановилось лишь в ноябре. Страна полностью очищена была от вражеской скверны. Пушки погромыхивали теперь в дальней дали: на Балканах и на Дунае, на Висле и в Восточной Пруссии — в этом извечном рассаднике агрессивного германского милитаризма. И пока на передовой велись бои местного значения, с особым напряжением работали штабы и хозяйственники всех уровней и специализаций. Надо было усилить армии пополнением и вооружением, передвинуть тыловые базы, госпитали и аэродромы, обеспечить войска боеприпасами, продовольствием, обмундированием, проложить надежные коммуникации, линии связи и уяснить — не ошибиться: на каких участках сосредоточить основные усилия, какие направления будут главными в предстоящих сражениях? Это решали в Москве.

Впервые за всю войну при оценке обстановки и выработке планов предстоящей кампании не возникло существенных разногласий между Генеральным штабом и Верховным главнокомандованием. Поговаривали, что заместитель начальника Генштаба, рассудительный и корректный генерал А. И. Антонов, ежедневно общавшийся со Сталиным (Василевский постоянно находился на фронтах как представитель Ставки), что Антонов неспособен был противостоять давлению Верховного. Отнюдь, уважаемый Алексей Иннокентьевич всегда имел свое мнение и умел защищать оное. Да и Иосиф Виссарионович не потерпел бы при себе безликого потатчика. Дело в том, что военная обстановка резко изменилась в нашу пользу. Мы полностью владели инициативой, могли навязывать противнику свою волю, не ожидая крупных подвохов с его стороны. Решать многие вопросы, составлять планы и выполнять их стало если и не легче, то проще.

А обстановка в конце 1944 — начале 1945 годов в самих общих чертах была такова. Война откатилась за пределы нашей страны, однако враг был еще достаточно силен, чтобы оказывать стойкое сопротивление и нам, и нашим союзникам на Западе. Даже наносил контрудары. Наша действующая армия имела в своем составе примерно шесть миллионов бойцов (без учета тыловых, резервных частей, военно-учебных заведений и т. п.). Считалось, что немцы держат на советско-германском фронте немного более трех миллионов солдат и офицеров. Но их отступавшие войска постоянно пополнялись за счет различных тыловых служб, охранных отрядов, строительных и полицейских подразделений, батальонов аэродромного обслуживания и т. д. Заметно возросло количество личного состава после октября 1944 года, когда Гитлер (по нашему примеру сорок первого года) объявил о создании народного ополчения — фольксштурма. В строй ставили всех, кто мог держать оружие, невзирая на возраст, от юнцов-подростков до глубоких стариков. Оборонять населенные пункты зачастую выходило (или выгонялось) все мужское население. Получалось так, что по численности силы той и

другой стороны оказывались равными, иногда немцы даже превосходили нас в этом отношении. Но качество было разное.

В чем мы, безусловно, были сильнее немцев, так это в артиллерии: во всем мире и всегда военные специалисты считали русских артиллеристов самыми умелыми, а наши артиллерийские системы (в том числе минометы, «Катюши») самыми лучшими. Справедливо считали. Так вот, с учетом реактивных установок мы имели на фронте 94 тысячи различных систем, а немцы раза в четыре меньше. Всю войну наш «бог войны» господствовал на полях сражений, а уж теперь тем паче. При штурме населенных пунктов противника и его укреплённых районов артиллерия играла первостепенную роль. Мы имели 11 тысяч танков и самоходных установок против 4 тысяч немецких, причем и танки наши считались тогда лучшими в мире, особенно по сравнению с американскими и английскими «гусеничными гробами». Про авиацию вообще не говорю. Фашисты давно уже утратили господство в воздухе, еще с 1943 года, после грандиозных воздушных сражений над Курско-Орловской дугой, на «Голубой линии» над Кубанью, над Таманью. Теперь мы имели на фронте до 15 тысяч самолетов против 2 тысяч немецких.

Да, мы были уже настолько «богаты», что жили не одним днем, позволяли себе роскошь держать значительные резервы в глубинных районах страны. Возьмем, к примеру, контингент 1927 года рождения. Призванный в сентябре 1944 года, он за три месяца прошел полный курс молодого бойца и практически готов был влиться в действующую армию. А ведь это без малого миллион подготовленных парней, возросших и окрепших в суровые годы, что имело существенное значение для их закалки. О готовности последнего призывного контингента А. И. Антонов доложил на заседании Ставки в конце декабря.

— У нас что, катастрофически не хватает людей? — спросил Сталин.

— Примерно сто стрелковых дивизий укомплектованы меньше чем на две трети.

— Это превышает среднюю укомплектованность войск, ведущих бои?

— Нет. Это нормально при постоянном притоке пополнения. Но есть другая сторона. Ощущается нехватка технических специалистов, в том числе радистов, саперов, водителей, танкистов, наземного персонала в авиации. Особенно остра нехватка специалистов в военно-морском флоте в связи с получением кораблей по ленд-лизу. И у пограничников в связи с восстановлением всей западной границы, от Баренцева до Черного моря.

— Вот и готовьте специалистов, хорошо и без спешки. И не в запасных полках, а в школах, на курсах, в училищах. Они нам очень еще пригодятся… Сколько им сейчас лет?

— Последнему призыву? Семнадцать.

— Совсем еще зеленые. Пусть окрепнут. Эти молодые люди знают, что такое война. Их стрельбой не испугаешь. Они должны стать основой наших вооруженных сил на ближайшие годы. Поэтому учите их всему новому. А пополнение мы найдем и без них. Посылайте на фронт тех, кто отсиживался в тылах.

— Таких почти нет, — сказал Антонов.

— Ну и хорошо, потому что это справедливо, — продолжал Иосиф Виссарионович, — используйте освобожденных пленных после проверки. Если даже есть на некоторых небольшая вина, пусть смывают ее кровью. Берите людей в освобожденных районах Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтике, там еще есть ресурсы. Вот сколько источников,

только черпай, — улыбнулся Сталин. — А молодых людей мы придержим, побережем для государства. И это еще не все. Сколько сейчас воюет на нашей стороне польских формирований, чешских, болгарских, румынских?

— Общая численность до трехсот пятидесяти тысяч. Мы передали им более пяти тысяч орудий и двести танков.

— Дайте им еще столько же. Дайте больше. Не жалейте для них техники, увеличивайте количество формирований, особенно польских. Для поляков фашистская Германия — злейший враг. Как, впрочем, для чехов и для других тоже… Вы меня поняли, товарищ Антонов?

— Так точно. Продолжим эту работу.

Я почти дословно передаю разговор, имевший, на мой взгляд, большое значение и серьезные последствия. Мы действительно почти полностью сохранили контингент 1927 года рождения — последний военный призыв. Не только сохранили, но и хорошо обучили этих юношей, морально закаленных военным лихолетьем. Дали им окрепнуть физически хоть и не на богатом, по на регулярном питании, чего многие из них не имели дома. Однако и судьба им выпала трудная и необычная. Сразу после войны началась демобилизация старших возрастов, а новые призывы решено было не проводить некоторое время: нельзя же без крайней нужды брать на службу шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек. Пусть подрастут, получат школьное образование. Основная тяжесть легла на плечи юношей 1927 года рождения, они стали основой, костяком армии и флота. Нести срочную службу пришлось не два, не три, даже не пять лет, а очень и очень долго, с 1944 по 1951 год. Это были уникальные кадры, знавшие и умевшие все, что от них требовалось. Их мастерство сочеталось с опытом офицеров, прошедших фронтовую школу. В тот период наши вооруженные силы достигли высшей точки развития и способны были разгромить любого противника: такой армии не было тогда больше ни в одной стране.

8

С обстановкой мы в общих чертах познакомились. А какие же выводы делало наше главнокомандование, как представлялись нам завершающие операции Великой войны? В том, что они станут завершающими, сомнений почти не было. Но как лучше, как быстрее и успешнее их провести? На этот счет у Генштаба и Ставки тоже не возникало существенных расхождений. Определяющим являлся так называемый «Берлинский фактор». Наши войска находились примерно на таком же расстоянии от немецкой столицы, как и войска союзников, двигавшиеся из Франции. Наши, что греха таить; были опытнее и сильнее, но союзники имели большой численный и технический перевес над противостоявшими им фашистскими дивизиями. Так что шансы захватить Берлин были равными. Тот, кто возьмет гитлеровскую столицу, получит львиную долю лавровых венков, а главное — станет потом долго определять положение во всей центральной Европе. Да и просто по-человечески обидно, если союзники, явившись на европейскую арену войны под занавес, влезут в историю как покорители фашистской столицы. Мы-то шли к Берлину неимоверно длинной кровавой дорогой, от своих западных границ до Волги, а оттуда обратным путем до Германии. Мы сломали хребет фашистского зверя. А союзники что же: высадились в Нормандии летом 1944 года и сразу оказались на финишной прямой. Где справедливость?

Ясно, главной целью нашего наступления будет Берлин. Три фронта нацеливались на это направление: 1-й Украинский, 1-й Белорусский и 2-й Белорусский. Задача: планомерно, всесторонне, без спешки подготовиться к операции, затем стремительно преодолеть расстояние от Вислы до Одера, а при благоприятных обстоятельствах до самой немецкой столицы (эта операция известна как Висло-Одерская). Особое внимание уделялось скрытности подготовки. Верховный главнокомандующий многократно говорил о том, что удар должен быть внезапным для противника, неожиданным по времени и пространству и по своей силе. Неожиданным не только для врага, но и для наших союзников, которые, как было известно, накапливали резервы, готовясь двинуться на Берлин в конце января или в первых числах февраля 1945 года. Зная об этом, Ставка наметила начать наше опережающее наступление 20 января. Срок для подготовки был оптимальным, с учетом наших трудностей. Например, растянутости коммуникаций, которые к тому же нарушались диверсионными актами, особенно в Польше. Или вот еще тормоз: за рубежом колея железных дорог уже, чем у нас. Все было взято на заметку. А для того, чтобы отвлечь внимание неприятеля, решено было активизировать действия наших южных фронтов, создавая реальную угрозу юго-восточным пределам рейха, не позволяя немцам снимать оттуда свои войска. В общем, в этот раз на бумаге все было особенно гладко, ну, а без корректировки реальной действительностью не обойдешься. Овраги встретятся, мы об этом не забывали.

О событиях завершающего периода войны в разное время написано много, с разных позиций, с различными оценками. При желании есть что почитать, сопоставить точки зрения авторов. Я же опять сосредоточусь на фактах малоизвестных либо на деяниях Верховного главнокомандующего, до сих пор вызывающих недоумение исследователей: на решениях, не имеющих вроде бы логического обоснования. Забывают, что Сталин не механический истукан, а человек со своими слабостями, как и все мы.

В середине ноября 1944 года, во всяком случае, после ноябрьских праздников, Иосиф Виссарионович ужинал однажды с Молотовым, со мной и Маленковым, который все чаще появлялся тогда возле Сталина. Будучи личностью вполне заурядной, Маленков отличался двумя качествами: он, как и Берия, понимал Сталина с полуслова, угадывал те желания, которые не всегда облекались Иосифом Виссарионовичем в четкую формулировку официального распоряжения. И решительно выполнял невысказанное или недосказанное пожелание, не ссылаясь при этом на указания Сталина. Брал ответственность на себя. Сталин ценил это.

Так вот, за ужином Иосиф Виссарионович выглядел утомленным, сказывалась и напряженная работа, и осенняя погода: в солнечной Пицунде отдыхать бы пожилому человеку, на Рице, а не трудиться денно и нощно в московской слякоти. Но — «отпуска нет на войне солдату», как справедливо утверждал Р. Киплинг, стихи которого Сталин перечитывал, помнил. От Иосифа Виссарионовича редко можно было услышать какие-то сетования, а тут вдруг вроде бы пожаловался, ища сочувствия:

— У нас хорошие маршалы и генералы, они научились побеждать неприятеля. Но некоторым нашим маршалам и генералам успехи вскружили головы. Некоторые совсем отбились от рук. Своевольничают и капризничают. Недавно Вече посоветовал нам поторопиться со взятием Будапешта. Политика требовала. Как раз формировалось новое правительство Венгрии, и освобождение мадьярской столицы упрочило бы

наши позиции, повлияло на деятелей буржуазных партий, которые не очень охотно шли на сотрудничество. Так, Вече?

— Т-т-так, — подтвердил Молотов.

— Мы сразу связались с командующим Вторым Украинским фронтом и предложили немедленно начать наступление. И знаете, что ответил Малиновский? Он сказал, что понимает политическую обстановку, но может приступить к операции не раньше, чем через пять суток. Потому что одна сорок шестая армия с задачей не справится, надо подтянуть хотя бы два механизированных корпуса… Я говорю: штурмуйте Будапешт, а он свое — без подкреплений город с ходу не взять, втянемся в затяжные бои. Я настаиваю: действуйте немедленно, а он — пять суток на подготовку и столько же на проведение операции. Хоть кол на голове теши! Пришлось приказать категорически: наступление начать завтра! Из-под палки. А город так и не взят.

— Малиновский блокирует в Будапеште двухсоттысячную группировку противника, а основными силами идет дальше, — негромко произнес я. — Город потому и не взят, что начали без подготовки.

— Дело даже не в результатах, Николай Алексеевич, — повернулся ко мне Сталин. — Понятно: орешек оказался более крепким, чем мы предполагали. Но я о нашем разговоре. Как было и как должно быть? Верховный предложил, Верховный распорядился, тот же Малиновский выслушал, ответил «будет выполнено» и приступил… А теперь и Малиновский, и другие командующие гонора набрались, слишком уж самостоятельные.

— Какой там г-г-гонор, — смягчающе улыбнулся Молотов. — За свои участки переживают. А самостоятельность нашим маршалам и генералам теперь просто необходима.

— Почему именно теперь?

— У того же Малиновского размах на три государства. Румыния, Венгрия, к Вене подходит. Что же ему, с каждым вопросом в Москву обращаться? Нам отсюда, издалека, не все видно. Есть общая установка, и ладно. Чем самостоятельней, тем лучше. Ты же сам от них самостоятельности, инициативы требуешь.

— В меру, — ворчливо сказал Сталин. — Все хорошо в меру, а у нас одно к одному. Василевский хандрит.

— Александр Михайлович? — удивился Молотов. — Что с ним?

— Просит освободить от должности начальника Генерального штаба.

— Это еще п-п-почему?

— Считает, что непродуктивно совмещать работу представителя Ставки на фронтах и штабную в Москве. То там, то тут. Тем более, что его заместитель товарищ Антонов вполне, дескать, готов выполнять обязанности в полном объеме. Фактически Антонов все сам тянет. Может, обижается Василевский, что мы редко общаемся с ним, но ведь действительно весь Генштаб на Антонове. А от Василевского большая польза там, на фронтах.

— Устал Василевский, — сказал я. Два года, как неприкаянный, то в Сталинграде, то на Украине, теперь в Прибалтике. И за Генштаб спрос с него. Воюет на одном направлении, а охватывать надо весь фронт. Разномасштабность, двойная ответственность. Да еще и ходит с трудом, в аварию угодил.

— В аварию? — у Сталина шевельнулись седые брови. — Когда? Почему не знаю?

— Его машина с другой столкнулась. Повредил ногу. Мелочью считает.

— Почему столкнулась? Он что, без охраны ездит? Без отличительного флажка? Было указание командующим ездить с желтым флажком. Не выполняют, не докладывают, ну что это такое? — недоумевающе развел руками Иосиф Виссарионович. — А Рокоссовский? Так и ездит в машине Паулюса?

— От Сталинграда до Варшавы.

— Старая машина…

— Зато большая. Рокоссовский и Паулюс — они же двухметровые. Константину Константиновичу в других тесно, а в этой он сидит не сутулясь, отдыхает на ходу, спит в ней, работает. Как дома.

— Мы что, не можем ему нашу большую послать?

— А в той, в трофейной, вроде бы символичней. Рокоссовский намерен в ней в самый Берлин въехать.

При последних моих словах Сталин слегка поморщился. Я уловил, но не понял почему. А он продолжал:

— Только Конев дисциплинированный: все выполняет, обо всем докладывает, с флажком ездит. Не как Василевский…

— Там же не асфальтированный проспект, а разбитая осенняя фронтовая дорога. Одна из машин пошла юзом.

— Это и есть безобразие… Своевольничают наши товарищи маршалы. Распустились далеко от Москвы.

— А как же вы осенью сорок первого в шестнадцатую армию ездили, залп «Катюш» посмотреть?! Тоже ведь без флажка, — не без иронии напомнил я. — Ваша машина ночью на проселке застряла, танком вытаскивали…

— Ладно, кто старое помянет… — смягчился Иосиф Виссарионович. — Тогда еще и указания насчет флажков не было… А про Василевского надо подумать, надо найти решение, которое всех устраивает. Чтобы Василевский доволен был, чтобы обиженным себя не чувствовал и вообще не отдалился от нас. Оставить его только представителем Ставки на фронтах, он и в Москве бывать не будет. А он нужен нам. Очень светлая голова, очень опытный надежный человек.

— Может, так? — заговорил Молотов. — Генштаб передать Антонову, он вполне справится, а Василевского оставить не только координатором на фронтах, но и ввести в состав Ставки? И для дела польза, и честь для него.

Иосиф Виссарионович надолго задумался, возясь со своей прокуренной трубкой. А я пытался проследить ход его мыслей. Состав высшего органа стратегического руководства войной — Ставки Верховного главнокомандования — сложился у нас летом 1941 года. В нее вошли: Сталин, его заместитель Жуков, маршалы Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Шапошников, адмирал Кузнецов и один не военный — Молотов. Больше трех лет этот состав не менялся, хотя в разное время были предложения ввести в Ставку начальника ГлавПУРа, начальника Генштаба, некоторых командующих фронтами, в первую очередь Ватутина и Рокоссовского. Однако предложения даже не рассматривались, так как Сталин имел твердое мнение по этому поводу. Ставка — орган стратегический, можно сказать, законодательный, определяющий главное направление действий. Все остальные органы, сверху донизу, исполнительные, они разрабатывают способы и методы реализации решений Ставки и практически осуществляют их. Если в Ставке окажутся представители исполнительных органов, то они волей-неволей будут

отстаивать интересы своих ведомств, будет утрачена объективность. Разграничительная линия должна быть четкой… Однако на этот раз Иосиф Виссарионович прервал свое затянувшееся молчание рассуждением совсем неожиданным, во всяком случае, для меня.

— А что, товарищи?! — весело произнес он, — Вече, пожалуй, прав. Война изменилась, совсем другая теперь война. Мы не защищаемся, мы освобождаем. И техника, и темпы другие. Политическая ситуация изменилась. А Ставка какой была, такой и остается. Мы законсервировались и, если прямо сказать, одряхлели. Пора омолодить, оживить Ставку, нацелить ее на будущие действия. Влить новую кровь, привести в соответствие с временем. Товарища Василевского, безусловно, надо ввести в состав Ставки. И не только его. Что и сделаем в ближайшее время.[85]

9

Я хорошо запомнил тот ноябрьский вечер, потому что тогда, в обыкновенном вроде бы разговоре, оформились или полуоформились несколько важных решений. Вообще это характерно для Сталина военного и особенно послевоенного периода, когда все реже и реже устраивались совещания и заседания с его присутствием: в больших залах, с президиумом, со стенографистками. Зачем людей собирать, если все можно взвесить в узком кругу?! В будничной повседневной работе завязывались какие-то памятные узелки, всплывали, обозначались какие-то проблемы, идеи. Они накапливались, разрастались, обретали определенные контуры. А окончательно дозревали в спокойных приватных беседах, когда Сталин излагал свое мнение, надеясь на подпитку со стороны тех товарищей, соображения которых имели вес для него. В тот раз он разговаривал в основном с Молотовым, изредка обращаясь ко мне. Маленков молчал, внимая, запоминая, вникая. Возможно, что именно для этого он и оказался на ужине, а не случайно, как мне показалось вначале.

К концу ужина появился генерал Власик. Бесшумно, умело придвинул кресла к небольшому столику, на который водрузил несколько бутылок с разными марками коньяка и вина. Поставил пять рюмок — себя не забывши. Четыре объемистых и одну маленькую, для Иосифа Виссарионовича. Тот повторил привычную шутку:

— Каждый наливает себе сколько хочет, а мне, как всегда, полную.

Власик с ловкостью настоящего официанта наполнил его рюмку всклянь, не пролив ни капли. Так что дальнейший разговор велся на более высоком, можно сказать, градусе. После второй рюмки Сталин не очень охотно, словно бы преодолевая нежелание, произнес:

— Насчет въезда в Берлин… Медведь пока в берлоге, а наши маршалы уже делят его шкуру… Товарищ Жуков дважды напоминал мне, что в Московском сражении именно на нем лежала военная ответственность за оборону столицы. С намеком напоминал…

Вероятно, все присутствовавшие сразу поняли, куда клонит Сталин. На вражескую столицу были нацелены три наших фронта. 2-й Белорусский, которым командовал Жуков (он оставался при этом заместителем Верховного главнокомандующего), двигаясь на запад, выходил бы севернее Берлина. Прямо на фашистское логово должен был наступать самый крупный в то время по размаху и по силам 1-й Белорусский фронт Рокоссовского. Южнее — 1-й Украинский фронт Конева. Эти три

группировки должны были сказать последнее слово в Великой войне, добить раненого зверя в главной гитлеровской цитадели, обретя соответствующую славу. Не было сомнений, что ведущую роль в Берлинской операции станет играть 1-й Белорусский фронт, занимавший выгодное положение для наступления и, повторяю, располагавший большими силами.

— А ведь Жуков де-де-действительно под Москвой отличился, — качнул головой Молотов. — Самым заметным был. Конечно, и Конев, и Рокоссовский тогда проявили себя, но они все же как пристяжные в упряжке. Жуков вел.

— И опять хочет быть коренником, — сказал Сталин. — Если по совести, у него на это первое право… Вы не согласны, Николай Алексеевич?

— Заслуги Георгия Константиновича несомненны. И коренник он, если использовать такую терминологию, наилучший. Но упряжка сложилась, и надо ли сейчас перед последним этапом пути, перепрягать лошадей? Рокоссовский превосходно провел операцию «Багратион», ближе всех подошел к Берлину. Рокоссовский продолжает успешно действовать на главном направлении. Как будет выглядеть его снятие? За что?

— Не снятие, а перемещение. Мы просто поменяем их местами, — уточнил Иосиф Виссарионович.

— Из коренника в пристяжные? Из центра на обочину? Как воспримет Рокоссовский? Хотя первое право брать германскую столицу, конечно, у Жукова. Но решать надо как можно быстрее, пока не разгорелась борьба честолюбий. Во всяком случае, до начала наступления, а то ведь каждый будет тянуть в свою сторону. Поссорим мы старых приятелей.

— Власик, ты?

— Щекотное дело, — рука тучного генерала потянулась к затылку. — Жуков потяжелей, повесомей.

— Товарищ Маленков?

— Под Москвой Рокоссовский армией командовал. Хорошо командовал. А Жуков всем Западным фронтом. Самым ответственным и самым большим. Ему бы и теперь…

— Понятно. Что скажешь, Вече?

— Дело де-де-действительно щекотливое, — поправил Власика педантичный Молотов. — Международный авторитет Жукова, безусловно, выше. А впереди встречи с союзниками. Коль скоро перестановка неизбежна, произвести ее желательно без промедления и не формально, а в самой мягкой форме.

— В какой?

— Позвони ему, поговори с ним. Он, наверно, еще не спит.

— Прямо сейчас? — с некоторым недоумением спросил Иосиф Виссарионович и, опустошив свою рюмочку, сам же ответил: А почему бы нет… Раз болит — надо лечить. Власик, пусть вызовут по ВЧ.

Вслед за Сталиным я перешел из столовой в кабинет. По памяти воспроизвожу состоявшийся разговор. Иосиф Виссарионович начал его не очень уверенно:

— Товарищ Рокоссовский, добрый вечер. Еще не спите? Чем занимаетесь?

— Ужинаем, товарищ Сталин, — чуть помедлив, ответил Константин Константинович.

— Ми-и тоже. Только что из-за стола… Товарищ Рокоссовский, есть новость для вас. Вы получаете новое назначение, будете командовать войсками Второго Белорусского фронта.
— Почему? — далекий собеседник был явно ошеломлен. — За что такая немилость?
— Это не немилость…
— С главного направления на второстепенный участок.
— Вы ошибаетесь, товарищ Рокоссовский. Тот участок, на который вас переводят, входит в общее западное направление, в берлинское направление, которое и является теперь главным. Успех решающей операции зависит от тесного и умелого взаимодействия Первого Украинского, Первого Белорусского и вашего Второго Белорусского фронта.
— Кому прикажете передать дела?
— Через два дня вас сменит товарищ Жуков. Как вы смотрите на такую кандидатуру?
Константин Константинович уже успел взять себя в руки, нашел достойные слова:
— Товарищ Жуков является заместителем Верховного главнокомандующего. Выбран самый способный.
— Мы довольны таким ответом, — Сталин еще испытывал некоторую неловкость и вроде бы даже оправдывался, подслащивая пилюлю. — Ставка возлагает на Второй Белорусский фронт очень ответственные задачи и большие надежды. Ваш фронт получит дополнительные силы и средства…
— Спасибо.
Сталин помолчал, негромко кашлянул несколько раз.
— Товарищ Рокоссовский, вы сознаете, что если не продвинется ваш фронт, если не продвинется Конев, то никуда не продвинется и Жуков? Только вместе.
— Сознаю, товарищ Сталин, и приложу все старания. Разговором Иосиф Виссарионович остался доволен, во всяком случае, вернувшись к накрытому столику, произнес удовлетворенно:
— Как Эльбрус с плеч свалил! — Пыхнул трубкой, укорил себя: — Мы все время его обижаем. Такой замечательный полководец — Багратион, — а мы обижаем!
Я не был согласен с таким сравнением. Рокоссовский, разумеется, значительно выше славного генерала Багратиона, отличившегося по сути лишь в Бородинском сражении, однако возражать не стал, памятуя, что о вкусах не спорят. Просто «намотал на ус», дабы при случае напомнить Сталину его слова. Но он и сам не забыл. Его уважение к Рокоссовскому, способному не только отстаивать свое мнение, но и подавлять собственное честолюбие ради общих интересов, еще более возросло. Вскоре Рокоссовскому будет доверена высочайшая честь командовать историческим Парадом Победы.
Эта глава не будет завершенной, если я умолчу еще об одном результате вечерней беседы — о самом неприятном. Молчаливый Маленков, буквально впитывавший все сказанное Сталиным, ловивший оттенки его настроения, сделал тогда свои выводы, никому другому не пришедшие в голову. Почуял едва заметно проявившееся у Иосифа Виссарионовича недовольство военными руководителями, их возросшей самостоятельностью, что умаляло вроде бы значимость Сталина как

Верховного главнокомандующего, как творца всех наших успехов. Лишь какими-то нюансами прозвучало еще, пожалуй, и самим Сталиным не осмысленное чувство, похожее на ревность. А Маленков уловил, вник.

Своими соображениями, не ссылаясь прямиком на Иосифа Виссарионовича, Маленков осторожно, доверительно поделился с руководством особых органов, с Берией и Абакумовым. Многоопытный Лаврентий Павлович сразу смекнул, сколь каверзную задачу ему подбрасывают: маршалы и генералы теперь в большой силе, по крайней мере до завершения войны, лучше не связываться с ними. Да и сам Сталин не позволит сейчас принижать, дискредитировать военную верхушку. И вообще: маршалы и генералы не совсем по его части, есть же военная контрразведка Абакумова, это ее заботы.

Что оставалось делать Абакумову, получившему достаточно прозрачный намек не от кого-нибудь, а от авторитетного работника партийного аппарата?! Абакумов дал соответствующие указания наиболее надежным своим подчиненным. Были посеяны первые семена, из которых вскоре после Победы вырастет раскидистое древо так называемого «генеральского заговора», фигурантами которого станут семьдесят пять маршалов и генералов. В том числе Георгий Константинович Жуков.

10

Начать Висло-Одерскую операцию, то есть продвижение из Польши на Берлин, было намечено 20 января 1945 года. Впервые за всю войну мы имели достаточно времени для тщательной всесторонней подготовки наступления. По плану, без спешки, без суеты. Работа велась огромная. Три фронта, нацеленных на вражескую столицу, имели в своем составе 2 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров, 33 тысячи орудий и минометов, более 7500 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Всю эту огромную массу людей и различной техники надо было скрытно подтянуть к передовой линии, сосредоточить на плацдармах, на исходных рубежах, обеспечить всем необходимым, от боеприпасов, горюче-смазочных материалов до продовольствия и зимнего обмундирования.

Возьмем для примера 3-ю ударную армию, переброшенную со 2-го Прибалтийского фронта на усиление 1-го Белорусского фронта, к Жукову. Ко дню погрузки в железнодорожные эшелоны эта армия, после тяжелых боев, имела лишь половину личного состава и техники. В дивизиях насчитывалось примерно по 3000 человек. Армию пополняли, довооружали, дообмундировывали прямо в пути, в район сосредоточения она прибыла почти полностью укомплектованной. Как и направленная с юга на усиление Жукова 5-я ударная армия генерала Берзарина… Многому, очень многому мы научились.

Любопытное, кстати, совпадение: не прославленные наши гвардейцы, составлявшие костяк 1-го Белорусского фронта, а именно эти обычные, полевые, лесные, болотные армии, всю войну протопавшие пешком, только раз, для переброски на главное направление, «поднятые на колеса», — именно эти армии первыми продвинутся к Берлину и поставят завершающие точки в величайшей мировой битве. 5-я ударная армия захватит рейхсканцелярию, в бункере которой покончит с собой Гитлер, а 3-я ударная штурмом возьмет рейхстаг. Но до Берлина еще надо было дойти.

Значит, в график подготовки Висло-Одерской операции мы укладывались. И все было бы хорошо, но подвели союзники. Крепко нас подвели. Дело вот в чем. В ноябре 1944 года, когда завершились все наши десять ударов и активность боевых действий на советско-германском фронте значительно снизилась, немцы получили наконец долгожданную передышку, которой воспользовались быстро и умело. У них появилась возможность направить часть своих сил против союзных войск, надвигавшихся с запада, из Франции. К тому же и природа способствовала немцам. Туманы, нескончаемые дожди, короткие дни лишали англо-американцев их главного преимущества — полнейшего господства в воздухе. А очень большому превосходству во всех других видах техники и в людях немецкое командование рассчитывало противопоставить мастерство и стойкость войск, дерзость и стремительность действий. Цель операции заключалась не только в том, чтобы окружить и уничтожить значительную часть англо-американских сил, но — главное — стремительно выйти к устью реки Шельды, захватить город Антверпен, основной порт, через который снабжались союзники. Достижение таких результатов изменило бы все военное положение на западе в пользу немцев. У англичан, например, к тому времени почти не имелось резервов, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации. И вообще руки чесались у немцев: как бы проучить самодовольных англосаксов, возомнивших себя непобедимыми. А чего заноситься-то, если трое на одного: несколько откормленных молодчиков против тощего юнца 1928 года рождения или дряхлого фольксштурмиста!

Обретя наконец возможность продемонстрировать союзным войскам в Европе, что представляет собой настоящий немецкий солдат (уже не такой, каким был в сорок первом — сорок третьем годах, но все же...), германское командование быстро сосредоточило в районе Арденнской возвышенности ударный кулак. Основу его составляли 6-я танковая армия СС, имевшая четыре полностью укомплектованных танковых и столько же пехотных дивизий, и 5-я танковая армия, примерно такая же по силам и средствам.

Начав наступление 16 декабря 1944 года, немцы раздробили противостоявшие им американские дивизии, решительным броском достигли реки Ур, форсировали ее и устремились дальше, к реке Маас. Если что и тормозило немецких танкистов, то не сопротивление деморализованного неприятеля, а пробки на скверных, размытых дождями дорогах, взорванные мосты и нехватка горючего, которым они надеялись разжиться на базах богатых американцев. Да еще авиация, появлявшаяся в воздухе, едва улучшалась погода.

Сказать, что союзники отступали, отходили, было бы слишком мягко. Они бежали, в панике бросая раненых, оружие, технику, большими группами сдаваясь в плен. Мы в Москве, в Генеральном штабе, внимательно следя за ходом событий, анализировали и оценивали боеспособность союзных войск, впервые попавших в Европе в такой переплет. Если у кого-то есть вооруженные силы, мы всегда должны знать, что они из себя представляют. Выводы были неоднозначны. На наш взгляд, достаточно стойкими показали себя французские подразделения: понятно, за спиной были родные края, недавно освобожденные от гитлеровцев. Хорошие слова можно сказать об англичанах. Тоже ясно: они натерпелись от немцев, разрушавших бомбами их города, теряли друзей и близких в морских и воздушных сражениях. А вот канадцы, прибывшие из-

за океана и не имевшие личных счетов с гитлеровцами, действовали с прохладцей, не перетруждая себя.

Наименее подготовленными морально к ведению настоящей войны, беспощадной, изнуряющей войны на уничтожение, оказались американцы. Смотрели на свой вояж в Европу как на увлекательные похождения, на интересные приключения, за которые к тому же хорошо платят и выдают награды. Избалованный янки, привыкший к комфорту, мог отказаться идти в атаку, если не получил на обед причитающуюся ему ежедневную порцию фруктового сока. Не обеспечили, чем положено, — и с меня не требуйте. Не мудрено, что при таких порядках 10-я американская бронетанковая дивизия, оборонявшая город Бастонь, была разбита и уничтожена менее чем за двое суток всего лишь учебной танковой дивизией немцев, не имевшей превосходства в количестве людей и техники. Качество другое, настрой и традиции совершенно иные.

Еще одна особенность. Если белые американцы как-то проявляли характер, обороняясь даже в сложных условиях, то негры, составлявшие изрядный процент в заокеанских формированиях, бросали свои рубежи при первой серьезной опасности со стороны немцев, особенно при появлении слухов об окружении: тут их — бегунов — ничем нельзя было остановить, даже угрозой отдания под суд. Почему они так вели себя, сея панику в американских войсках? Чужой для них была эта война, чуждой была Европа, с которой они не имели ничего общего, никаких коренных связей, куда приехали лишь ради того, чтобы подзаработать. А еще их ужасало отношение герр-мана, человека-господина к неграм как к дикарям, полуобезьянам, едва научившимся в Америке носить штаны и ботинки. Если уж нормальный (или ненормальный?) немецкий националист был убежден в необходимости уничтожать евреев, цыган и поляков, как носителей и распространителей признаков вырождения, если уж он считал недочеловеками русских, украинцев и белорусов, способных лишь обслуживать немецких хозяев (считал до тех пор, пока славяне не надавали фашистам по мордасам и заставили уважать себя), то негры вообще были для герр-мана грязной рабочей скотиной, вредной и опасной для белой расы. И вот стаи этих вооруженных полуобезьян обнаглели до того, что явились в Европу, они уже на границе рейха, где остались жены и дети немецких солдат, беззащитные перед нашествием похотливых животных. Им мало распутных француженок, они рвутся к строгим немецким женщинам. Увидишь черного — убивай на месте, даже если он сдастся в плен… Отсюда и патологический страх негров перед немецким солдатом.

С огромным трудом, введя в сражение все резервы, сняв некоторые дивизии с других участков фронта, используя малейшее улучшение погоды для нанесения бомбовых ударов, союзникам удалось остановить продвижение немцев в Арденнах. Однако гитлеровские генералы передышки не дали: 1 января 1945 года немцы нанесли новый удар, как раз там, откуда союзники сняли свои части. Намереваясь вернуть Эльзас, фашисты прорвали укрепленную «линию Мажино» и устремились на юго-запад. У союзников опять поднялась паника, особенно в районе Страсбурга. Американский генерал Эйзенхауэр заявил, что не сможет удержать этот город — «ворота во Францию». Генерал де Голль резко потребовал обороняться, чего бы это ни стоило. Начался скандал, посыпались взаимные упреки — и это в столь напряженный момент!

Генерал де Голль, между прочим, ссылался на шаткое, сложное положение в его стране, только что освобожденной от гитлеровцев. Далеко не все французы выступали против немцев, много было и сторонников фашизма, четыре года сотрудничавших с оккупантами, явных и тайных сторонников Германии. Они воспрянут духом, если немецкие войска опять окажутся на территории Франции, могут взяться за оружие. Волнения уже начались. А ведь через Францию пролегли коммуникации, связывающие союзные армии с базами снабжения в портах атлантического побережья. Порвутся эти кровеносные сосуды, и тогда полный крах!

11

Командование союзников пришло к выводу, что ситуация выходит из-под контроля, исправить положение своими силами оно не способно. Мы в Москве узнали об этом, получив известие от Черчилля: сквозь дипломатическую вуаль явственно проступало если не отчаяние, то очень сильное беспокойство.

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению, наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.

6 января 1945 года.

С этим посланием Сталин сразу ознакомил членов Политбюро, членов Ставки, находившихся тогда в Москве, и генерала Антонова. Подчеркиваю: только ознакомил, без обсуждения, не спрашивая советов и мнений. Избегал встреч, разговоров, будто опасался, что кто-то может повлиять на ход его мыслей. Раньше обычного покинул рабочий кабинет, желая побыть в полном одиночестве, поразмышлять.

В тот день необычайное послание английского премьера обдумывали, вероятно, Молотов и Берия, генштабист Антонов и адмирал Кузнецов, определяя возможные последствия и линию своего поведения. Обдумывал и я, испытывая смешанное чувство глубокого возмущения и злорадства. Три года мы, преодолевая невероятные трудности, теряя миллионы людей, несли на своих плечах практически всю тяжесть борьбы с фашизмом, три года просили союзников существенно помочь нам, открыв второй фронт, но каждый раз Черчилль отделывался только обещаниями, даже когда мы,

казалось, стояли на краю пропасти. Он и дальше тянул бы время, если бы не давление Рузвельта, если бы не опасался прийти на европейский материк слишком поздно. А теперь, всего лишь после трех недель неудачных боев, возопил о помощи. Вот уж действительно, ни стыда, ни совести!

Провидение дало нам возможность хотя бы частично отплатить английскому лидеру такой же черной монетой, какой он одаривал нас год за годом. Будь моя воля, я не стал бы спешить на помощь союзникам, «покормил» бы их обещаниями, как «кормили» они нас. Пусть в какой-то мере ощутят ни собственной шкуре, каково было нам. Теперь у нас есть возможность поберечь своих воинов, наблюдая издали за событиями, выбирая выгодный момент для вмешательства. Чем больше сил оттянут на себя союзники, тем легче будет нам. Чем дальше отбросят гитлеровцы союзников от Берлина, тем значительнее наши шансы быстрее и с наименьшими утратами поднять красное знамя над поверженной столицей Германии. Важно лишь не позволить немцам вообще ликвидировать второй фронт, а уловить тот день и час, когда нужно будет решительно повлиять на ход военных действий.

Свои соображения я готов был изложить Иосифу Виссарионовичу, но в тот раз он ни о чем не спросил меня. Ну что же, бывают такие случаи, когда высший руководитель должен только лично принять решение. Сталин, разумеется, понимал и переживал то, что переживали мы, его соратники, но он обязан был отказаться от всего превходящего, субъективного, найти и занять наиболее разумную, государственную позицию. При этом, как я понимал, по крайней мере два фактора не могли не влиять на него. Очень скоро, в начале февраля, в Крыму намечена была вторая встреча руководителей великих держав — Сталина, Рузвельта и Черчилля, дабы выработать и согласовать общую линию поведения не только по завершению второй мировой войны, включая разгром Японии, но и по дальнейшему мироустройству. На какой-то период определялась судьба человечества. На этот важнейший политический форум Сталин должен прибыть с чистой совестью, с безупречной репутацией надежного коллеги, в критический момент доказавшего верность союзническому долгу.

И еще. Имей Сталин дело с одним лишь Черчиллем, с этим напористым торгашом и ловчилой, Иосиф Виссарионович мог бы позволить себе «поиграть» с деятелем такого рода, преследуя свою прямую выгоду. Но Сталин глубоко уважал Рузвельта, считал его весьма порядочным человеком, с которым можно и нужно вести только открытый, прямой диалог. Не мог Иосиф Виссарионович не обратить внимания и на то, что за помощью обращается Черчилль, а не американский президент, хотя именно американские войска находились в наиболее тяжелом положении и несли самые большие потери. Вероятно, впечатлительному и совестливому Рузвельту неловко было просить помощи, памятуя о затяжках с открытием второго фронта. Это беспардонному Черчиллю все равно, а Рузвельту — нет. Иосиф Виссарионович не мог не учитывать и этот оттенок.

После нескольких часов размышления ответ был готов:

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.

7 января 1945 года.

Премьер-министр Великобритании остался, конечно, доволен:

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

1. Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!

2. Битва на Западе идет не так уж плохо. Весьма возможно, что гунны будут вытеснены из своего выступа с очень тяжелыми потерями. Это битва, которую главным образом ведут американцы; и их войска сражались прекрасно, понеся при этом тяжелые потери.

Мы и американцы бросаем в бой все, что можем. Весть, сообщенная Вами мне, сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как она даст ему уверенность в том, что немцам придется делить свои резервы между нашими двумя пылающими фронтами. В битве на Западе, согласно заявлениям генералов, руководящих ею, не будет перерыва.

9 января 1945 года.

Вот он весь в этих трех абзацах — лукавый политик Черчилль. Своего он добился, получил твердое обещание Сталина оказать помощь, даже с указанием срока. Теперь надо не только поблагодарить, по и намекнуть, что англичане хоть и будут обязаны за содействие, но не очень: они и сами, возможно, «вытеснят гуннов». Вот американцам действительно тяжело, советское наступление для них гораздо важнее, чем для англичан. Так что не слишком заноситесь перед нами, маршал Сталин, на предстоящей встрече в Крыму.

Иосиф Виссарионович воспринял последнее послание как стремление и капитал приобрести, и честь соблюсти. Но факт оставался фактом: крупный политический выигрыш был на его стороне. Оставалось только начать операцию, обещанную союзникам. И это не вызывало вроде бы сложностей. Напомню, что двинуться от Вислы к Берлину три наших главных фронта должны были 20 января, а всеобъемлющая подготовка к этой дате велась строго по плану. Так что заверение Сталина «открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половине января» вполне укладывалось в наши замыслы. Исходя из этого, в Генеральном штабе не ждали никаких перемен, работали спокойно. Когда я заговорил об этом с генералом Антоновым, он ответил, что все идет по графику, как было намечено, и даже пошутил: вторая половина января начинается 16 числа, а там и до 20 рукой подать. Я же счел необходимым несколько охладить оптимизм

Алексея Иннокентьевича и предупредил, что в таких сложных ситуациях, как сейчас, Сталин предусматривает обычно не один, а несколько вариантов. Рамки намечены, за их пределы Сталин не выйдет. Но слова «не позже» отнюдь не противоречат понятию «раньше».

— Но зачем? — вырвалось у Антонова. Он даже побледнел от волнения. — Зачем спешка, ломка! Ради чего?!

— Не для того, чтобы ублажить союзников, не ради них, — заверил я. — Товарищ Сталин уже высказывал беспокойство по поводу того, что некоторые сведения из его переписки с Черчиллем становятся известны немцам. Или где-то есть информатор, или кому-то выгодна дозированная утечка…

— И что же?

— А вот что. Если немцы и на этот раз узнают из своего источника о содержании последних посланий, то они будут до второй половины января драться на западе, не оглядываясь на восток, не перебросят навстречу нам ни одной дивизии. Что в какой-то степени компенсирует нашу не полную готовность к наступлению.

— Николай Алексеевич, это мнение Верховного? — напрямик спросил Антонов.

— Нет, это только мои предположения, но вы не сбрасывайте их со счетов.

Без излишней самоуверенности позволю себе сказать: я так давно и хорошо знал Иосифа Виссарионовича, его характер и особенности мышления, что мог почти всегда предугадать его поведение, его поступки в той или иной конкретной обстановке. По аналогии, по интуиции. Не ошибся и в тот раз. Буквально на следующий день после нашего разговора с Антоновым Верховный главнокомандующий отдал приказ изменить сроки начала Висло-Одерской операции. 1-му Украинскому фронту маршала Конева предписывалось перейти в наступление 12 января, то есть на восемь суток раньше намеченного. 1-й Белорусский фронт маршала Жукова и 2-й Белорусский фронт маршала Рокоссовского наносили удар 14 января, утратив шесть суток. Опять не смогли мы полностью и всесторонне подготовить наши войска. Впрочем, к подобным изменениям планов у нас привыкли — планы на любой войне вообще понятие, требующее большой гибкости и корректировки. Особенностью было лишь то, что начало наших предшествовавших операций по разным причинам затягивалось, откладывалось на какое-то время. Впервые, пожалуй, сроки были передвинуты не назад, а вперед, что явилось полной неожиданностью как для наших генералов и офицеров, так и для союзников, и для немцев. Фашисты были застигнуты врасплох, что сыграло в нашу пользу на первых порах.

Это еще не все. Одновременно с Висло-Одерской операцией 13 января началась операция Восточно-Прусская, в которой главная роль отводилась 3-му Белорусскому фронту генерала Черняховского, после гибели которого в командование вступил маршал Василевский. Этот фронт должен был отсечь и изолировать от других вражеских сил немецкую группировку в Восточной Пруссии, прижать к морю и уничтожить. Таким образом, два удара слились в один мощный удар, раздробивший вражескую оборону на протяжении сотен верст.

В тот день, когда началось наше наступление, гитлеровцы сразу сняли с Западного фронта четыре дивизии для переброски на восток. Затем еще и еще. Союзники почувствовали большое облегчение. Немцы отошли на свои

прежние позиции, и сражение затихло. Американцы и англичане принялись зализывать раны, оказавшиеся для них не смертельными, но очень чувствительными. 77 тысяч солдат и офицеров потеряли они в Арденнах.

12

Преждевременные роды всегда чреваты последствиями. Союзников мы выручили, политические козыри перед началом Крымской конференции получили, но достижения военные оказались не совсем такими, на которые мы рассчитывали. Хотя вообще-то успех был, и успех большой. К концу января наши войска продвинулись от Вислы до Одера, ломая возраставшее сопротивление неприятеля. Немцы бросали сюда, на главное направление, свои дивизии не только с запада, но и из Восточной Пруссии, и с других участков фронта. Наше быстрое, удачно начавшееся наступление постепенно переросло в вязкую изнуряющую борьбу за населенные пункты, за отдельные рубежи — в бои местного значения.

Особенно отличилась 5-я ударная армия генерала Берзарина. Ее передовые части, в том числе 902-й стрелковый полк подполковника Ленева, стремительным броском, опережая отступавших немцев, вышли к Одеру, с ходу форсировали реку по льду и захватили в районе Гросс-Ноендорфа плацдарм, очень важный для дальнейшего наступления. В первый день февраля жители немецкой столицы были потрясены негаданной новостью: русские уже на левом берегу Одера, в семидесяти километрах от Берлина, в дачной местности! Туда, к плацдарму, германское командование направляло все, что могло собрать на скорую руку, потянулись колонны танков и автомашин с пехотой.

В тот день (или накануне?) у меня состоялся продолжительный разговор с Иосифом Виссарионовичем. Он тогда был озабочен не столько делами военными, которые были привычны и будничны, сколько подготовкой к Ялтинской конференции — она начиналась 4 февраля. Надежды на нее возлагались большие: определялась судьба мира не на месяцы, а на годы вперед.

К этому времени была уже обсуждена и согласована общая линия нашей делегации, определены принципиальные позиции, «обкатывались» лишь детали, подробности. Берия и Абакумов доложили, что американская и английская делегации будут доставлены в Крым с острова Мальта самолетами, которые совершат посадку у нас с интервалами в десять минут. Всего в составе этих двух делегаций более семисот человек, начиная с министров, генералов, дипломатов, членов семей и до секретарей, радистов, шифровальщиков, филиппинских поваров, без которых не может обойтись семья американского президента. (Дня через четыре, кстати, Рузвельт и его дочь, оценив достоинства русской кухни, досрочно отправили своих поваров обратно в Штаты.) Сталин уточнил, как будет охраняться «вся эта орава», и напомнил, чтобы всем прибывшим были обеспечены наилучшие условия, дабы не поступало никаких жалоб.

Вячеслав Михайлович Молотов принес альбом с русскими и советскими марками, который предполагалось преподнести президенту Рузвельту. Рассматривая альбом, Иосиф Виссарионович высказал сомнение, не слишком ли скромен подарок, на что Молотов возразил:

— Рузвельта трудно чем-нибудь удивить или порадовать, кроме здоровья у него есть все. Но та-та-такого набора марок он не имеет, как и никто другой. Для заядлого филателиста это самый лучший сюрприз.

Наш искушенный дипломат оказался прав. По рассказам очевидцев, Рузвельт радовался от души. Присовокуплялось также полушутя: получив этот дар, президент проникся таким расположением к Сталину, что поддерживал его почти по всем пунктам, изрядно досаждая тем самым Черчиллю.

Когда текущие дела были завершены и в кабинете остались только Василевский и я, Сталин попросил Поскребышева принести всем чая, внимательно посмотрел на меня: Николай Алексеевич, как ваше самочувствие, как ваше здоровье?

Что за этим последует, было понятно. Сталин часто и со многими людьми начинал разговор лично или по телефону именно с такого вопроса. Не только ради вежливости — его действительно интересовало состояние собеседника, которому намеревался дать какое-либо серьезное поручение. Способен ли справиться? В таких случаях следовало говорить только правду: открылась рана, побаливает сердце… Сталин должен был знать и учитывать.

— Самочувствие соответствует летоисчислению, — ответил я, а Иосиф Виссарионович по достоинству оценил такую формулировку.

— Дорогой Николай Алексеевич, мы тут посоветовались с товарищем Василевским: нет ли у вас желания тряхнуть стариной, побывать на фронте? Давно ведь не были.

— Давненько, — я начал догадываться, о чем пойдет речь. В последние месяцы как-то сама собой отпала необходимость использовать представителей Ставки, координировавших действия войск на важнейших направлениях. Большую пользу принесли посланцы Верховного главнокомандующего во время Сталинградской битвы, на Курско-Орловской дуге, в сражении за Правобережную Украину, при операции «Багратион». Удачно действовала при этом связка Жуков — Василевский, неплохо проявил себя Ворошилов. Но теперь фронтов у нас стало меньше, обстановка спокойнее, управление шло непосредственно из Москвы, да и командующие армиями и фронтами многому научились, достигли высокого мастерства. Не требовались более посланцы Верховного. Ну, а я-то вообще никогда не был официальным представителем Ставки, ездил на передовую только в самые трудные дни, чтобы оценивать обстановку и сообщать Сталину свои соображения.

— Мы с Антоновым отправляемся в Ялту больше чем на неделю, — продолжал между тем Иосиф Виссарионович. — В Москве остается товарищ Василевский, в его руках все нити, все управление будем осуществлять через него. Мы доверяем нашим командующим, они добросовестные военачальники, но каждый заботится прежде всего о своем хозяйстве, поэтому мнения их не всегда достоверны.

— Куда выехать? — спросил я.

— Наш Наполеон Бонапартович Македонский не желает идти на Берлин, — усмехнулся Сталин. — И его приятели тоже.

— Жуков?

— У него там подобралась теплая компания, — в голосе Иосифа Виссарионовича я улавливал больше шутливости, чем недовольства. — Как в сорок первом году. Рокоссовский там, Конев там, Соколовский, Белов, Кузнецов, Катуков с танковой армией.

— Второй гвардейский кавкорпус, бывший Доватора, — прибавил Василевский.

— Совершенно верно. Не поймешь, какое там направление, Берлинское или Волоколамское, — Иосиф Виссарионович явно пребывал в хорошем расположении духа. — И вся эта компания не хочет идти на Берлин.

— И Конев тоже? — спросил я, зная сугубую осторожность Ивана Степановича по отношению к начальству.

— Конев делает то, что ему скажут, — это Василевский.

— Все будут выполнять то, что мы потребуем, — уточнил Иосиф Виссарионович. — Но прежде чем будем приказывать, надо самим вникнуть. Сейчас раздрай. Наш сталинградец Чуйков предлагает продолжать наступление и брать Берлин. Чуйкова поддерживал Берзарин, пока его не остановили за Одером. А товарищ Жуков с компанией считают, что обстановка на Берлинском направлении теперь такая же, как в ноябре сорок первого под Москвой, только с обратным знаком. Столица неприятеля близко, но все войска втянуты в бои, сил для штурма недостаточно, а с фланга нависает угроза, противник способен начать контрнаступление.

— Угроза реальная. Из Померании, с севера Польши, — это опять Василевский.

— Так что, Николай Алексеевич, вылетайте в штаб Жукова, погостите у него, подышите фронтовым воздухом, определите, какая там атмосфера.

— Еще конфликт между Жуковым и Симоняком, — напомнил Василевский.

— И это тоже. Вы потом обсудите вдвоем.

— Иосиф Виссарионович, а не лучше ли мне отправиться в штаб шестьдесят первой армии к Белову, а Жукова вы пригласите туда?

— Соскучились по старому знакомому?

— С лета сорок третьего не виделись. Но дело не в этом. Армия Белова — на правом фланге Жукова, на стыке со Вторым Белорусским фронтом, оттуда грозит вражеский контрудар. А Белов скажет все, что думает, он под начальство не подстраивается. Можно и Рокоссовского пригласить, он лицо заинтересованное.

— Рокоссовский очень загружен, — поторопился возразить Василевский, и Сталин понял его:

— Не надо сейчас сталкивать Жукова и Рокоссовского, они еще не перекипели. Вызывайте в штаб Белова заместителя Рокоссовского — генерала Трубникова. На третье февраля. Согласны, Николай Алексеевич? Успеете?

— Вполне. Удачи вам в Ялте.

— А вам под Берлином, — улыбнулся Иосиф Виссарионович.

13

Транспортный самолет приземлился в районе города Кройц, что северо-восточнее Берлина. На аэродроме встретил меня Павел Алексеевич Белов. Мы обнялись, сели в машину.

За то время, пока мы не виделись, Павел Алексеевич располнел, потяжелел, мало чего осталось в нем от худощавого лихого кавалериста, разве что небольшие рыжеватые усы с тонко закрученными кончиками-пиками. Остепенился талантливый воин, свершивший чудо, сумевший со своей конницей, «лошадиными силами», свалить с пьедестала немецкого

«танкового бога» — Гудериана. Остепенился, можно сказать, в прямом и переносном смысле. Внешне «остепенило» его начальство при особом усердии друга-соперника Жукова, возвысив в ранг командарма, украсив погонами генерал-полковника и заслуженной звездой Героя Советского Союза. Это — одна сторона. Не менее существенна другая. Полководец, окружавший немцев в их тылах, сам будучи в окружении, сражавшийся и побеждавший в положении «между невероятным и невозможным», как сказал о нем маршал Шапошников, человек, способный думать не только за себя, но и за противника, генерал особого склада, будто рыба в воде чувствовавший себя в самой сложной обстановке, требовавшей точных решений и стремительных действий, он, помнится, воспринял свое выдвижение в командармы так, будто ему гири привязали к ногам. Но вот притерпелся, поостыл, втянулся в управление обширным общевойсковым хозяйством, превратился в умелого исполнителя приказов свыше, оперативных замыслов, на несколько ступеней отстал от Жукова как в звании, так и в должности. Смирился с тем, что командующими фронтами в обход его назначают то молодого Черняховского, то бездарного Захарова. А у Белова никогда не было высоких покровителей, влиятельной поддержки: все сам, ни перед кем не склоняя головы, никому не кланяясь. И, пожалуй, достиг потолка. Ну, зато Жуков не видел теперь в нем соперника, и ничто не омрачало больше их давнюю дружбу.

Когда приехали в штаб 61-й армии, невольно припомнил я еще одну особенность Павла Алексеевича Белова, его непревзойденное умение выбирать места для размещения штабов и командных пунктов. За всю войну, даже в то время, когда немцы полностью господствовали в воздухе, им ни разу не удалось обнаружить и разбомбить те центры, откуда Белов командовал, управлял своими войсками. А как старались гитлеровцы сделать это, особенно в дни переломных боев под Москвой, при наступлении группы войск Белова от Каширы к Лихвину и далее за Оку, при его пятимесячном рейде по немецким тылам. Искали с воздуха, засылали агентуру, отправляли разведывательные и диверсионные отряды — все бесполезно. Белов неистощим был на выдумку.

Наша машина остановилась на окраине полуразрушенного городка возле двухэтажного особняка в стиле осовремененной готики. За особняком простирался сад, переходивший в небольшой лесок с прудом, с черепичными крышами хозяйственных построек под кронами сосен. В господском доме, имевшем все удобства: уютные спальни, обширную столовую, удобные кабинеты, кухню, несколько туалетов, — в этом приметном доме располагался… взвод автоматчиков. И повар со своими помощниками и официантками. Лишь по вечерам, когда отпадала возможность появления вражеской авиации, сюда приходили генералы и офицеры — поужинать, отдохнуть, пообщаться. А сам штаб располагался в полукилометре от дома, за прудом, в постройках, где жила раньше прислуга, рабочие, где были гаражи, склады, подвалы-хранилища, переоборудованные под бомбоубежища. Штабные автомашины укрывались в гаражах и конюшнях. Пучки проводов, разбегавшиеся от узла связи, скрывались среди ветвей. Там, в аккуратном домике управляющего имением, бежавшего со всей семьей, мы с Беловым провели половину дня: к нам присоединился прибывший почти одновременно со мной заместитель командующего 2-м Белорусским фронтом генерал-полковник Кузьма Петрович Трубников.

Это была приятная встреча. Белов знал Трубникова по боям под Тулой, когда тот командовал стрелковой дивизией, а я был знаком с Кузьмой Петровичем еще раньше, с двадцатых годов, часто встречался с ним перед войной, когда он занимался тактической подготовкой комсостава на широко известных Высших стрелковых курсах «Выстрел». У него, представителя старой гвардии в прямом и переносном смысле, было чему поучиться. Еще в 1909 году, когда наши будущие полководцы Жуков, Рокоссовский, Белов (все ровесники, все 1896 года рождения) бегали босиком по лужам, Трубников начал службу рядовым в старейшем Лейб-гвардии Семеновском полку, куда брали только высокорослых богатырей, грамотных и «не мордоворотов», дабы царю с семьей приятно было лицезреть своих бравых солдат.

На первой германской войне стал прапорщиком, дослужился до командира роты. В Красной Армии стал командиром бригады. А затем неистощимое на выдумки провидение настолько замысловато и нерасторжимо переплело судьбу Трубникова с судьбой Рокоссовского, что их иногда путали даже хорошие знакомые, настолько эти статные красавцы были похожи внешне и едины в своих делах и суждениях. Про них говорили: «встретил Рокоссовского, а им оказался Трубников». Или: «поздоровался с Трубниковым, а это был Рокоссовский». Разница между ними в конечном счете оказалась одна, но существенная. Константин Константинович вошел в историю, а про Кузьму Петровича вспоминают лишь седые ветераны, которых становится все меньше. Их общая слава по стечению обстоятельств, по чрезмерной скромности самого Трубникова досталась одному Рокоссовскому, сконцентрировалась на нем, озаряя его особенно ярким, сдвоенным светом… У нас теперь есть возле Кремлевской стены мемориал в честь неизвестных солдат, а я, между всем прочим, хочу оставить в памяти поколений имена хотя бы некоторых неизвестных генералов, самоотверженно и весьма полезно потрудившихся ради нашей Победы.

Два комбрига, Рокоссовский и Трубников, познакомились в тюрьме в 1939 году — даже там возникала путаница из-за их внешности. Оба держались твердо, никакой вины за собой не признали, никого не оклеветали и были реабилитированы. Оба со своими семьями восстанавливали здоровье в сочинском санатории. Потом их пути разошлись, но только до осени сорок первого года. Когда Рокоссовский возглавил 16-ю армию, сражавшуюся на Волоколамском направлении, заместителем его стал генерал Трубников. Затем Сталинград. Рокоссовский командует Донским фронтом, а Трубников опять его заместитель — первый помощник. Почему не наоборот? Да потому, что некоторые военачальники, от которых зависели назначения, в том числе и Жуков, считали, что у Трубникова «слишком мягкий характер», путая вежливость, тактичность, интеллигентность с отсутствием резкости, грубости. Не горласт, тем более не хамоват был, что особенно нравилось мне в нем. А насчет того, что твердости ему якобы недоставало, скажу так. Это он-то слабохарактерный и мягкий? — он, еще на первой германской войне командовавший взводом пешей разведки и лезший в самое пекло, добывая языков; он — один из немногих, кто не сломался в тюрьме; он — сражавшийся за Москву плечом к плечу с Панфиловым и Доватором; он, будучи заместителем командующего фронтом, принимавший на себя ответственность за важнейшие решения?! Нет, просто Трубников, сложившийся как воин еще до революции, когда высоко

ценились скромность, благородство и честь, не совсем вписывался в когорту новых полководцев, рожденных войной гражданской, ожесточившихся в борьбе классовой, политической. Кузьма Петрович оказался где-то посредине, между представителями старой школы, к которым принадлежали Егоров, Шапошников, ваш покорный слуга, и новой порослью, выраставшей сплоченно и быстро.

После Донского фронта Рокоссовский и Трубников на тех же ролях возглавили самый мощный у нас 1-й Белорусский фронт, блестяще провели операцию «Багратион».

Рокоссовский полагался на Трубникова, как на самого себя. Уезжая в Москву, в Ставку, или еще куда-либо, был совершенно спокоен за свой участок. Трубников сделает все не хуже, а может быть, даже и лучше. Об этой полезной неразрывности знал, кстати, и Верховный главнокомандующий. Переводя Рокоссовского с 1-го на 2-й Белорусский фронт, Сталин, чтобы смягчить неприятное, приказал, даже без просьбы Рокоссовского, перевести вместе с ним и Трубникова, хотя в принципе «перетаскивание» за собой на новое место «хвоста» сослуживцев не поощрялось.

Так и провоевали Константин Константинович и Кузьма Петрович вместе до самой Победы, и даже после нее не расстались. Когда Рокоссовский командовал Северной группой войск, Трубников по-прежнему был его заместителем. А после того, как Рокоссовский получил новое назначение, эту группу возглавил Трубников.

Самый, пожалуй, примечательный и несколько грустный казус, вызванный схожестью и близостью двух боевых друзей, произошел в июне 1945 года. На Параде Победы сводными полками фронтов командовали сами командующие этими фронтами, маршировали по Красной площади под сенью знамен во главе своих батальонов. Рокоссовский же, командовавший всем парадом, вести сводный полк своего фронта не мог. По настоятельной просьбе Константина Константиновича вести полк 2-го Белорусского фронта было доверено отличному строевику Кузьме Петровичу Трубникову.

Зрители на трибунах не могли понять: вот только что Рокоссовский гарцевал на коне, докладывал Жукову о готовности войск, вот они оба стоят на Мавзолее вместе со Сталиным, и вот он же, Рокоссовский, высокий красавец, «рубит шаг» по брусчатке перед колонной, своего фронта! Раздвоение? Мистика?! Вот до чего довоевались! При всем том Трубников в своей парадной форме был настолько элегантен и фотогеничен, что снять его спешили все корреспонденты, и наши, и зарубежные, допущенные на торжество. Два особо выдающихся снимка облетели тогда всю прессу мира, появились на страницах самых популярных газет и журналов. Это кадр, показывающий, как наши воины швыряют к подножию ленинского Мавзолея штандарты разгромленных фашистских армий, и второй снимок — портрет русского полководца, участника того исторического парада.

Удивительный снимок! Не мундир, не ордена и кресты — лицо победителя привлекает внимание. Открытое, одухотворенное лицо умного, волевого человека с добрым пытливым взглядом, озаренное мудростью и долготерпением. Я бы сделал под этим портретом такую подпись: «Мы никого не тронем, но и нас, пожалуйста, лучше не трогайте». Однако при первых публикациях под этим снимком было совсем иное: значилась фамилия Рокоссовского. Вскоре ошибка была

исправлена, позаботился, вероятно, сам Константин Константинович. Его фамилию сняли, а другой просто не знали. Печатали повсюду без подписи. Безымянная фотография стала своего рода символом, являла собой достоверный образ неизвестного генерала Великой армии Великой России.

Итак, встретившись в штабе 61-й армии, мы с Беловым и Трубниковым обсудили положение, сложившееся на стыке 1-го и 2-го Белорусских фронтов. При взгляде на карту все выглядело так же, как и на соответствующих картах в столице, в Ставке. Красные и синие линии, кружочки, «подковы», стрелы. Однако здесь, в прифронтовой полосе, под аккомпанемент отдаленной канонады и пальбы зенитных орудий, ситуация воспринималась иначе, острей, чем в московском кабинете, в Генштабе. Центр 1-го Белорусского фронта вырвался вперед, к Одеру, на подступы к вражеской столице. А фронт Рокоссовского отстал, наступая не на запад, а все круче поворачивая на север, откуда угрожала нашим войскам сильная немецкая группировка, сосредоточенная в Восточной Померании. И правофланговые соединения Жукова вынуждены были разворачиваться в ту сторону, хотя бы для того, чтобы сузить разрыв, образовавшийся между фронтами. Сейчас он достигал ста километров, и на всем этом пространстве действовали лишь наши разведчики и подвижные группы, старавшиеся хоть как-то контролировать эту «дыру», создавая лишь видимость присутствия наших войск. В этот разрыв в любой момент могли хлынуть немецкие дивизии, вбивая клин между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. А у Рокоссовского не хватало сил, чтобы быстро разгромить восточно-померанскую группировку или хотя бы оттеснить ее дальше на север, к морю. Рокоссовскому нужна была помощь.

Белов и Трубников помогли мне основательно разобраться в обстановке, подготовиться к предстоящему разговору с Жуковым. Хорошо поужинали втроем. Для отдыха готова была широкая кровать сбежавшего управляющего. Долго не мог я сомкнуть глаз, вслушиваясь в звуки артиллерийской пальбы, ощущая, как подрагивает дом от далеких, но сильных разрывов. За стеной раздавались команды, гудели двигатели приезжавших и уезжавших автомашин. Резко протарахтели где-то за лесом автоматные очереди. Отвык я от всего подобного, давно не выезжая на передовую. Тревожно было. И непривычно лежать на слишком уж мягкой пуховой перине. Я встал, снял с вешалки свою кобуру с пистолетом, положил в изголовье и только после этого, наконец, заснул.

14

Георгий Константинович Жуков приехал на следующий день — утром 4 февраля. Генерал Белов, встретив его, провел в дом, маршал поздоровался с генералами, пожимая мне руку, спросил, будто не знал:

— Василевский не прибыл?

— Александр Михайлович в Москве на хозяйстве, — я не имел права говорить о том, что Верховный главнокомандующий отправился в Крым, а Василевский замещает его.

— Павел Алексеевич, где у тебя оперативный отдел? — это Жуков Белову. — Небось, в овощехранилище, от греха подальше?

— От бомб подальше, но не в овощехранилище, а в соседнем доме с надежным подвалом, — спокойно ответил генерал, привычный к манерам своего приятеля. — Перейдем туда?

— Через полтора часа встретимся там, а пока прогуляюсь с Николаем Алексеевичем, если он не возражает.
— С удовольствием, — понял я его желание остаться вдвоем.
На улице — легкий морозец; хорошо, освежающе пахло сосной. Ночная пороша отвердела и похрустывала под сапогами, как сухая крупа. Мы шли по аллее вокруг пруда. Жуков выглядел более коренастым, осанистым, чем прежде, словно раздался в плечах. Вероятно, новая просторная шинель с большими, тяжелыми на вид погонами делала его таким. Но, впрочем, и щеки стали полнее, резче выступал большой подбородок, а округлая ямочка на нем, как след штыкового укола, казалась еще глубже. Действительно, посолиднели, окрепли наши военачальники, оказавшись в чужих странах, ощутив силу и власть. И Кремль давал им больше самостоятельности.
— К нам приехал ревизор? — полувопросительно произнес Жуков.
— Помилуйте, Георгий Константинович, вы прямо по Гоголю… Верховный посоветовал подышать фронтовым воздухом, ну, и несколько поручений, — с Жуковым не следовало начинать прямо и резко, на резкость же и нарвешься.
— Не секрет?
— Какие секреты при ваших должностях и званиях, — вроде бы польстил я. — Сейчас, у края пропасти, гитлеровцы могут пойти на любые подлости, на любую крайность. Верховный обеспокоен, готовы ли мы к этому.
— Что имеется в виду?
— Есть сведения, что в полосе пятой ударной немцы применили против наших войск на плацдарме отравляющие вещества.
— Знаю, Берзарин докладывал. Там выясняют, что это было, ядовитые газы или просто дымы. Берзарин выводы сделал.
— Но есть сообщения иного порядка. В полосе третьей ударной взят в плен немецкий майор, начальник химической службы корпуса. Насколько мне известно, это первая столь крупная химическая птичка за всю войну, — пошутил я.
— Не знаю, — отрезал Жуков. — Этот Симоняк ни хрена вовремя не доложит.
— Пленный допрошен в штабе армии и теперь препровожден в штаб фронта.
— Но вы-то вот знаете.
— По линии химической службы. И вам, конечно, доложат, если узрят интерес.
— Наказал нас Господь этим Симоняком, — продолжал свое Георгий Константинович. — Транспорт еле-еле справляется с подачей минимального количества боеприпасов, половину продовольствия на местах берем. Все химические склады за Вислой остались. С войсками следуют только армейские химические летучки, а в них противогазов и прочих средств с гулькин нос. Применит немец ОВ — хоть караул кричи.
— Думаю, кричать не придется. По данным, полученным от майора и из других источников, можно считать, что немцы к химической войне не готовы и не готовятся, тем более на собственной территории. Отравляющие средства в войсках не сосредоточиваются, противохимическая дисциплина очень низкая. Однако нельзя исключить, что отдельные командиры, доведенные до отчаяния, отдельные гитлеровские маньяки решатся на самые опасные шаги. Особенно в боях

за Берлин. Свое население не пожалеют. Мы должны быть готовы и к таким неожиданностям.

— Это указание товарища Сталина?

— Об этом он говорил при последней встрече. Впрочем, тогда еще не было пленного майора-химика.

— О котором я до сих пор ничего не знаю, — Жукова раздражало даже косвенное напоминание о командующем 3-й ударной армией генерал-лейтенанте Симоняке. Надо было срочно лечить или вскрывать этот болезненный нарыв.

— С Симоняком-то что, полный конфликт?

Жуков помолчал, сердито сопя. Ускорил шаги. Злей повизгивал под сапогами снег. Заговорил:

— Входит мужик в избу. «Баба, чего делаешь?» — «Козла дою». — «Ты же печку растапливаешь!» — «А раз знаешь, чего спрашивать».

Ну, не каждую грубость прощать маршалу, я ответил в его же тоне:

— Если дуб сучковатый, то это уж навсегда… Может, прекратим демонстрировать характеры, терять время?

— Вам же действительно все известно…

Положим, не все, но о неприязни Георгия Константиновича к одному из наших одаренных военачальников я был осведомлен в той же степени, что и Сталин.

Николай Павлович Симоняк слыл в военных кругах человеком незаурядным и быстро поднялся по ступеням служебной лестницы, может быть, даже слишком быстро, не успевая осваиваться на каждой из них. При обороне полуострова Ханко, будучи полковником, командовал стрелковой бригадой, прославившейся своей стойкостью и переброшенной на защиту Ленинграда, когда северная столица оказалась в кольце. Здесь он командовал стрелковой дивизией, а затем 30-м стрелковым корпусом, который неофициально именовался «корпусом прорыва» и сыграл ведущую роль при снятии блокады. Очень высоко ценили Симоняка Андрей Александрович Жданов и командующий Ленинградским фронтом Леонид Александрович Говоров, выдвигавшие его на новые посты, выделяя при этом два качества: смелость и мужество Николая Павловича и его близость к подчиненным. Это был «солдатский генерал», большую часть времени проводивший в ротах и батальонах, деливший с людьми все фронтовые трудности, обучавший их личным примером. Его знали, его уважали, за ним шли. Такой метод был хорош, пока он командовал бригадой, дивизией, но уже в корпусе он не успевал охватывать все стороны работы, а когда начал командовать 3-й ударной армией, стало видно, что способностей и опыта у него явно не хватает для управления сложным, многообразным военным организмом.

Опыт, впрочем, дело наживное. Симоняку повезло в том, что начальником штаба армии являлся уже известный нам генерал Букштынович Михаил Фомич (до войны командир корпуса), вернувшийся в войска из заключения в 1942 году и успевший за короткий срок превосходно проявить себя на командирских и на штабных должностях. К тому же и человек понимающий, терпеливый. В общем, Букштынович и Симоняк сработались, и со временем последний стал бы неплохим командармом, но случилось вот что. При подготовке Висло-Одерской операции 3-я ударная армия была выведена из состава 2-го Прибалтийского фронта и переброшена на усиление 1-го Белорусского фронта, на главное, Берлинское направление. Генерал Симоняк оказался в

непосредственном подчинении у маршала Жукова, с которым имел в начале войны очень крупную неприятность. Это когда Жуков всеми способами, вплоть до расстрела, наводил порядок под Ленинградом. Столкнулись два кремневых характера, да так, что искры разлетелись. Едва Георгий Константинович переступил предел нормального общения, Симоняк зная, на что тот способен, резким движением выбил пистолет из руки Жукова. Выстрел не грянул, оба уцелели, но разошлись отнюдь не друзьями. Говоров и Жданов постарались замять этот конфликт. Он вроде бы и забылся, тем более что воевали Жуков и Симоняк на разных участках, но вот фронтовая судьба свела их вновь и так плотно, что не разминешься, не отстранишься. Тут и совещания в штабе 1-го Белорусского, и доклады по телефону командующих армиями командующему фронтом. А у начальника, у старшего по званию, всегда, при желании, найдется возможность уязвить подчиненного, раздуть огонек до пожара.

Хотя бы так. У Николая Павловича Симоняка слабело зрение, развивалась дальнозоркость. А очки он не носил. Ну что это за фронтовой генерал в очках?! У каждого свое мнение, свои причуды: он вообще считал, что его дело — воевать, а отчитываться, докладывать по инстанции должны работники штаба. А у Жукова была другая привычка: каждый вечер он связывался по телефону лично с командармами и заслушивал их отчеты. Требовал детального знания обстановки, какой населенный пункт взят, за какой хутор или фольварк идет бой. А написания на подробных картах мелкие, совсем даже не для Симоняка. Поэтому при разговорах с командующим фронтом при Симоняке всегда находился либо начальник штаба, либо начальник оперативного отдела, обладавшие безупречным зрением и обязанные по должности знать все особенности обстановки.

Симоняк не «отбарабанивал» свои доклады, хоть и приблизительно, но четко, а сообщал сведения, советуясь со своими штабистами, повторяя за ними названия населенных пунктов. Это раздражало Жукова, вызывало нарекания. Дошло до вспышки. «Что вы телитесь! — разозлился Жуков. — Кто командует армией, вы или ваш подсказчик?! Обстановку не знаете, ничего не знаете! Я вас отстраняю! Выезжайте в штаб фронта, сдадите дела моему заместителю генералу Кузнецову»!».

На что Симоняк резонно ответил: «Армию до сдачи дел оставить не могу, если приказываете, пусть Кузнецов приезжает сюда». — «Я вам приказываю явиться в штаб фронта», — распорядился Жуков. Погорячился, конечно, Георгий Константинович. Командармов назначал не он, а Верховный главнокомандующий, снять Симоняка у Жукова не было прав, по отстранить на какое-то время он мог, поставив в известность Сталина. Командарм 3-й ударной прибыл в штаб фронта. Состоялся его телефонный разговор с Верховным. Симоняк изложил свое мнение. И по другим источникам Иосиф Виссарионович знал о придирках Жукова к Симоняку. Вызвав Георгия Константиновича по ВЧ, Сталин не стал ссылаться на мнение Жданова, Говорова, Василевского. Спросил:

— Товарищ Жуков, на вашем фронте есть хорошие врачи, хорошие окулисты? Направьте их к товарищу Симоняку, пусть помогут ему, пусть изготовят хорошие очки. Пять пар очков на все случаи жизни. А вы своей властью обяжите товарища Симоняка эти очки носить. И не надо капризничать, товарищ Жуков, ни вам, ни ему. Несолидно… Справитесь с такой задачей или из Москвы окулистов прислать?

— Справимся сами, — мрачно ответил Жуков.

— Мы не сомневаемся в ваших больших способностях, — одобрил Иосиф Виссарионович и продолжал: — Есть и другой вариант. Близится двадцать третье февраля, годовщина нашей армии и нашего флота. Хороший повод преподнести подарок товарищу Симоняку. Подарите ему большую лупу, чтобы видел на карте самый мелкий шрифт. Найдется трофейная лупа? Нам говорили, что в Германии есть очень хорошие лупы… Видите, товарищ Жуков, какие у вас широкие возможности, — тон Сталина сделался более жестким. Так что вы вполне можете обойтись без поспешных и неоправданных мер, — закончил он.

Симоняк вернулся в свою армию, но участь его представлялась мне незавидной. Упрямый Жуков был последователен и тверд в борьбе с любыми своими неприятелями. Буквально через несколько дней возник новый конфликт. Немцам удалось упорными контратаками потеснить наши части и закрепиться в полосе 3-й ударной на линии железной дороги. Штаб армии сообщил об этом в штаб фронта. Однако там по какой-то причине не нанесли на отчетную карту новую обстановку. Может, не успели, может, ожидали окончания боя. Всяко бывает. Но Жуков опять встал на дыбы: почему расхождение данных, кто виноват? Не хотят признаваться в неудачах! А тут еще я со своим майором-химиком, о котором было известно в Москве, но ничего не знал Георгий Константинович. В общем, взаимоотношения между двумя военачальниками не улучшались, а осложнялись, что шло во вред общему делу. Можно было не сомневаться, что Жуков добьется своего не мытьем, так катаньем. Я вынужден был спросить:

— Кого же вы видите командующим третьей ударной?

— Кузнецова, — сразу ответил он, как говорят о давно решенном. — Василия Ивановича Кузнецова. Не Симоняку, а ему самый резон армию на Берлин вести. Симоняк уже получил все, что заслужил. От полковника до командарма дорос, хватит ему и чести, и званий. А Василий Иванович еще в гражданскую полк возглавлял. В начале этой войны свою третью армию из окружения вывел. Многие драпали, а он сумел. В особом приказе Сталина еще тогда был отмечен среди лучших генералов, помните? Под Москвой первой ударной командовал, контрнаступление начинал. Да что говорить, сами знаете. А теперь Кузнецов в тени, не виден и не слышен. Должность вроде высокая, заместитель командующего фронтом, вся повседневная работа на нем, но зам и есть зам. А ему бы самостоятельно войну завершать. Заслужил.

Разумом сознавая, что Жуков не совсем прав или даже совсем не прав по отношению к Симоняку, я по-человечески понимал Георгия Константиновича и склонялся в его сторону, в сторону своего давнего и уважаемого коллеги генерал-полковника Кузнецова. И опять же сама судьба подсказывала справедливое решение. Василий Иванович Кузнецов действительно отличился в приграничном сражении, с боями отводя свою 3-ю армию. Факт, что успешно громил он гитлеровцев под Москвой, командуя 1-й ударной армией. И вот теперь, когда мы пересекли границу в обратном направлении и подступили к Берлину, не Кузнецову ли по праву возглавить армию, к тому же опять 3-ю, но не простую, а ударную! Случайны ли эти совпадения, или это указующая подсказка свыше, восстанавливающая справедливость?!

Жуков смягчился, уловив, что я разделяю его мнение. Пришлось несколько разочаровать его.

— Насчет Кузнецова вы правы, но, считаю, не более. Симоняк — достойный человек и хороший командир. С сильным характером, не гнется.

— А мало ли у нас достойных должностей для достойных людей! — повеселел Георгий Константинович. — Навоевался Симоняк, хватит с него, может в тылу покомандовать или на другом фронте.

— Верховному доложу, — пообещал я. — Он сам решит.

Завершая этот эпизод, должен сказать, что с переводом Симоняка в Москве торопиться не стали. Иосиф Виссарионович надеялся, что два кремня все же притрутся друг к другу. Но нет, искры от столкновении продолжали лететь. Сознавая, что столь ненормальное положение идет во вред общему делу, Николай Павлович Симоняк в середине марта направил Сталину телеграмму с просьбой отозвать с поста командарма. Не желая обострять взаимоотношения с Жуковым и учитывая мое мнение, Иосиф Виссарионович просьбу удовлетворил. Симоняка перевели на другую должность, подальше от Жукова. А 3-ю ударную армию возглавил генерал Кузнецов.

15

Разговор о конфликте с Симоняком, о возможном применении немцами отравляющих веществ и достигнутое в какой-то мере при этом взаимопонимание с Жуковым облегчили мне переход к главному вопросу, ради которого я и приехал. Георгию Константиновичу ясно было, зачем прислал меня Сталин, поэтому и встретил настороженно, колюче, но вот постепенно смягчился и сам приступил к основной проблеме, когда мы уединились в одной из комнат оперативного отдела 61-й армии, возле большого стола с разномасштабными картами.

Ситуация на 1-м Украинском, на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, то есть у Конева, Жукова и Рокоссовского, сложилась действительно странная, необычная и непривычная. Особенно у Жукова. В ходе Висло-Одерской операции его войска достигли рубежей в 70 километрах от Берлина и в принципе могли продолжать наступление, хотя и понесли ощутимые потери, далеко оторвались от снабжающих баз. Каким представлялось положение самому Георгию Константиновичу, показывает ею приказ-ориентировка, отданный в конце января.

«Военным советам всех армий, командующим родами войск и начальнику тыла фронта. Сообщаю ориентировочные расчеты на ближайший период и краткую оценку обстановки:

1. Противник перед 1-м Белорусским фронтом каких-либо крупных контрударных группировок пока не имеет.

Противник не имеет и сплошного фронта обороны. Он сейчас прикрывает отдельные направления и на ряде участков пытается решить задачу обороны активными действиями.

Мы имеем предварительные данные о том, что противник снял с Западного фронта 4 танковые дивизии и до 5–6 пехотных дивизий и эти части перебрасывает на Восточный фронт. Одновременно противник продолжает переброску частей из Прибалтики и Восточной Пруссии.

Видимо, противник в ближайшие 6–7 дней подвозимые войска из Прибалтики и Восточной Пруссии будет сосредоточивать на линии Шведт — Штаргард — Нойштеттин, с тем чтобы прикрыть Померанию, не

допустить нас к Штеттину и не допустить нашего выхода к бухте Померанской.

Группу войск, перебрасываемую с Запада, противник, видимо, сосредоточивает в районе Берлина с задачей обороны подступов к Берлину.

2. Задачи войск фронта — в ближайшие 6 дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть все отставшее, пополнить запасы до 2-х заправок горючего, до 2-х боекомплектов боеприпасов и стремительным броском 15–16 февраля взять Берлин».

Казалось бы, все ясно. Захват вражеской столицы — это не только огромный успех, не только грандиозная слава для победителей, но и — главное — фактический конец войне, с ее ежедневными многотысячными жертвами и прочими разными бедами. Еще Мольтке, помнится, утверждал: «Самое благое дело, какое можно осуществить воюя, это завершить войну как можно быстрее». Подразумевая, конечно, завершить победой… Замысел Жукова был одобрен Ставкой. Сообразуясь с действиями «коренного» 1-го Белорусского фронта, должны были вести свои операции смежники: 1-й Украинский фронт южнее и 2-й Белорусский фронт севернее. Цель обозначена — вперед, на Берлин, дабы завершить мировую бойню в середине февраля, во всяком случае, до весны 1945 года! И вдруг, нечто невероятное: буквально через несколько дней после приведенного выше приказа Жуков в корне меняет свое решение, отказывается от желанного всеми быстрого успеха, от скорой победы, чести и славы! Завершение войны отодвигается на неопределенный срок. Почему, по какой причине?

Жуков довольно охотно ответил на мой вопрос о столь крутом повороте, вероятно, болезненно выстраданном и не дававшем ему покоя. Говорил, иллюстрируя соображения пометками на собственной отчетной карте.

— Давно думал: что противопоставят нам немцы? Не сдадут же они столицу за здорово живешь. У них не дураки в Генштабе. Что Гудериан, что Кейтель. И фюрер твердит: немцы тоже были возле русской столицы, но это еще ничего не значит — колесо вертится! На каждой стене малюют: «Берлин бляйб дойч!» Геббельс кричит по радио: «В этой войне может случиться все, кроме капитуляции Германии!» На ветер, что ли? Нет, в чем-то они убеждены. Где собака зарыта? Голову ломал, Николай Алексеевич, до боли ломал, хоть она в вашем представлении из суковатого дуба, — не обошелся без шпильки Георгий Константинович. — И сообразил. Оборону Берлина немцы усиливают. Но не так чтобы очень. Уверены, что с ходу мы не возьмем. Там у них людские ресурсы, склады-запасы, каждый дом — крепость. Те войска, которые доставляют с запада, везут кораблями из Восточной Пруссии, концентрируются главным образом не возле столицы, а вот где, в Восточной Померании, у нас на фланге, даже за флангом. Смотрите на карту: весь север Германии, все балтийское побережье — это же черная грозовая туча, нависшая над нашим правым флангом, и хуже того, над нашими тылами, над нашими растянутыми коммуникациями. Вот они — немецкие группировки в Восточной Померании, на севере Польши, не говоря уж о больших силах, блокированных в Восточной Пруссии. По проверенным данным, только группа армий «Висла», которая угрожает с севера Рокоссовскому и мне, имеет более полумиллиона кадровых солдат и офицеров, ее-то немцы и пополняют.

— Не преувеличиваете?

— Нисколько. Прибавьте сюда тыловые формирования, полицию, зенитчиков, фольксштурм… Немцы на своей территории, у них запасы, люди — все под рукой. А нам с Одера наших границ не видать, тонкие артерии связывают через Германию, через Польшу. Рвутся и рвут их то в одном, то в другом месте, укреплять надо… Теперь развертываю перспективу и вширь, и вглубь. Плацдарм за Одером у меня есть. Предположим, что с Кюстринского плацдарма я продолжаю наступление на Берлин. Какими силами? У меня восемь общевойсковых армий и две танковые. Но все они после многих боев укомплектованы людьми и техникой только наполовину, все задействованы. Прифронтовые аэродромы еще не оборудованы… Ну ладно, я все же собираю кулак и бью, — Георгий Константинович стиснул пальцы правой руки так, что побелели суставы. — Но весь этот кулак — лишь три с половиной армии.

— Почему с половиной? — не удержался я.

— Все войска либо в обороне, либо, как Белов, разворачиваются на север, чтобы вместе с Рокоссовским защититься от Померании. А насчет половины… Три армии я могу бросить на Берлин целиком. Но как? Армию Берзарина немцы бомбят непрерывно, за последние трое суток до пяти тысяч боевых вылетов. Град бомб, представляете? Но Берзарин пойдет, как и его соседи. А вот Чуйков…

— Он утверждает, что для наступления есть все возможности, надо только не дать немцам опомниться.

— Чуйков видит лишь то, что в его полосе. Он тоже пойдет, но опять же с чем? Половина его восьмой гвардейской армии блокирует в нашем тылу город Познань и никак не может взять эту крепость, где держатся до пятидесяти тысяч немцев. Такая вот кровоточащая язва в организме нашего фронта, она тоже даст знать о себе, если немцы начнут контрнаступление.

— Действительно, три с половиной армии, как-то не очень солидно для большого штурма.

— Ладно, — продолжал Жуков. — Бросаю на Берлин все, что могу, ослабив другие участки. До стен дойду, а как брать буду? Вонзимся узким клином, и тут немцы сделают то, к чему готовятся, как готовились мы под Москвой… Зарвались тогда фрицы, ну, мы их и проучили. Помните, Паша Белов своей группой, одним, можно считать, кавалерийским корпусом рубанул по гудериановскому клину и подрезал весь южный фланг, погнал немцев за Оку, аж до Вязьмы. А здесь у гитлеровцев не корпус, не армия: говорю вам, что только в Восточной Померании у них более полумиллиона солдат с большой техникой. Вся эта лавина хлынет на юг через долины рек Варта и Нитце, да и вообще на всем пространстве от Одера до Вислы, затопит, угробит наши тылы. Наши войска, и Рокоссовского, и мои, окажутся в огромной западне, между молотом и наковальней. Это крах, это хуже, чем у немцев под Москвой. Хуже, чем было у нас в двадцатом году возле Варшавы!

— М-да, под Нарвами, под Аустерлицами учились мы Бородину…

— Не понял? — нахмурился Георгий Константинович.

— Так, вспомнилось… Но не сгущаете ли вы краски? В крайнем случае Конев окажет помощь, от Померании он далеко.

— Этот поможет, — скептически усмехнулся Жуков. — Подсадит шилом на печку. У него своя рубаха… Так что с Берлином лучше повременить. Сперва вместе с Рокоссовским снимем угрозу с севера, ликвидируем померанскую группировку, а уж потом, подкрепившись, грянем на запад.

Чтобы наверняка. Это мое последнее слово. Хоть ругайте, хоть снимайте, а другого решения не будет… Вы-то как, Николай Алексеевич, убедил я вас? Думаете, легко мне себя-то корежить, от берлинских лавров отказываться?!

— Не думаю. Доложу Верховному, будем надеяться, что поймет. Тем более, что время упущено. Напомню ему его же слова про огульное продвижение вперед. Это ведь он говорил: не бывало и не может быть успешного наступления без перегруппировки сил в ходе самого наступления, без закрепления захваченных позиций, без использования резервов для развития успеха и доведения до конца наступления. При огульном продвижении вперед, то есть без соблюдения этих условий, наступление должно неминуемо выдохнуться и провалиться…

— Огульное продвижение вперед есть смерть для наступления, — продолжил цитату Жуков. — Еще в двадцать девятом году Сталиным сказано.

— О, даже год помните!

— Азбука нашего времени… Но сами-то вы как, Николай Алексеевич? Одобряете меня или нет?

— Откровенно?

— А как же еще! — Георгий Константинович пытливо смотрел на меня. С явным удивлением, переросшим в удовлетворенность, воспринял ответ.

— По-моему, это наиболее трудное и наиболее правильное решение, которое вы приняли за всю войну. Наиболее принципиальное и важное, — подчеркнул я. — Это как раз тот случай, когда тише едешь, но дальше будешь. (Хотел я еще назвать решение Жукова смелым и мудрым, но слишком уж выспренно прозвучало бы подобное определение в той деловой, будничной обстановке. Зато вполне приемлемо упомянуть это определение теперь, спустя время.)

— Спасибо, Николай Алексеевич. От всего сердца. Дышать легче буду.

— На здоровье. Но свинью я вам все-таки подложу.

— Это еще что?

— Посоветую Верховному забрать у вас Первую гвардейскую танковую армию Катукова и передать ее Рокоссовскому. Она ему нужнее сейчас для разгрома восточно-померанской группировки. И не возражайте, Георгий Константинович, вам же будет легче, спокойней за фланг.

— Ничего себе поросеночек, — пробурчал Жуков.

— На время. К походу на Берлин Катукова вернут.

— Подкузьмили вы меня, — даже такая неприятность не могла сейчас омрачить настроение Жукова. — Ладно, Верховный спросит — возражать не стану. Но Костю пусть предупредят, чтобы танкистов моих берег и возвратил всех, до последнего экипажа. Гвардия Катукова под Москвой родилась, на Берлин нам вместе идти. Чтобы от и до, от Оки, от Истры до Шпрее-реки.

— Ваше указание будет выполнено, товарищ маршал! — шутливо заверил я, и оба засмеялись, довольные.

16

Чего ждал от меня Иосиф Виссарионович, отправляя во время войны то на один, то на другой участок огромной битвы? Не столько выяснения обстановки — об этом он получал сведения по разным каналам, — сколько неофициальной оценки положения, увиденного глазами, которым он

доверял, как собственным. С коррекцией на субъективность. Он хотел знать нравственное и физическое состояние людей, их настроение: боевой дух солдат, офицеров и генералов, находившихся в определенный момент в определенном месте, их возможности. Это помогало ему ощущать пульс войны.

Впечатления мои не были бы полными, если бы не побывал на передовой; без таких впечатлений не мог бы полностью удовлетворить интерес Сталина к тому, что там происходит. А он нуждался в этом, пожалуй, даже больше, чем в сорок первом — сорок втором годах, когда пушки грохотали под Москвой и Сталинградом и канонада докатывалась до Кремля. Теперь он уже не слышал ее, особенно сейчас, в Ялте, играя в большую политику с Рузвельтом и Черчиллем. Понимая это, я острее ощущал свою ответственность.

Решил отправиться в 5-ю ударную армию генерала Берзарина. Она ближе других подошла к Берлину, удерживала плацдарм за Одером. Недаром немцы, реально оценивая угрозу, неистово бомбили боевые порядки этой армии, делая по полторы-две тысячи самолетовылетов в сутки. Там — наиболее сложное положение. К тому же именно на плацдарме у Берлина было применено немцами неизвестное химическое вещество. То ли особые дымовые шашки, то ли какой-то газ. Верховному главнокомандующему могли потребоваться точные данные для принятия как военных, так и политических мер. Когда сообщил свои намерения Жукову, тот сказал:

— Не советую к черту на рога лезть. Остановить вас не имею права, но кое-что могу. Напоить коньяком до потери сознательности и отправить самолетом в Москву, чтобы очухались на Центральном аэродроме. Есть такой опыт с представителями.

— У меня, Георгий Константинович, давняя и твердая норма. Ни на грамм больше.

— Тогда пишите завещание на всякий случай: в моей гибели прошу никого не винить, — это уж он пошутил. — Не ставьте нас под удар Верховного. И если поедете на плацдарм, не берите с собой Берзарина.

— Нужный человек?

— Обыщешься — не найдешь, — заверил Жуков. Заменить некем.

Такое вот получилось сопоставление. Поскольку Берзарин не знал, кто я, и не должен был знать, по чьему поручению еду, Георгий Константинович позвонил командарму, предупредил:

— Николай Эрастович, направляем к тебе товарища Лукашова. Он из Москвы. Без погон, но ты его встречай как положено. Покажи все, что захочет… Да-да, полностью и без всяких яких, — подчеркнул Жуков и хохотнул в трубку. — И побереги гостя, он хоть и бодрится, но уже не в том возрасте, чтобы по траншеям шастать. — Перехватил мой укоризненный взгляд. — А вообще как он сам решит, он сам себе голова.

С таким напутствием прибыл я в штаб 5-й ударной армии, где и познакомился еще с одним славным, по малоизвестным героем Великой войны. Верю в первую реакцию, она редко обманывает, хотя последующие оттенки неизбежны. Во всяком случае, Николай Эрастович произвел на меня самое благоприятное впечатление. Среднего роста, полноватый, толстощекий, несколько медлительный, он словно бы излучал радушие, создавал вокруг себя спокойную доброжелательную атмосферу, исключавшую вспышки гнева, казенщину, брань. Сам улыбался часто, и вокруг него улыбались. И глаза хорошие: светлые, незамутненные. А ведь

повидал-то он много. В 1918 году четырнадцатилетним подростком вступил в Красную Армию, и с тех пор все войны да служба. Хватил лиха, но сердцем совершенно не зачерствел. Мне же приятно было с ним еще и потому, что он одно время был заместителем командарма-61 Белова, обрел беловскую закваску и относился к Павлу Алексеевичу с таким же уважением, как и я.

Имелась у Николая Эрастовича одна привычка, кого-то веселившая, у кого-то вызывавшая раздражение. Увлекшись разговором, он начинал жестикулировать правой рукой, причем не всей, а лишь кистью, а еще точнее — пальцами, которые как бы искали, за что ухватиться, что теребить. То цеплялись за рукав собеседника, то за пуговицу и принимались крутить ее, а поскольку не каждый подчиненный набирался духа остановить начальника, то кручение-верчение часто заканчивалось тем, что пуговица отрывалась, Николай Эрастович спохватывался, извинялся. Адъютант, зная такую особенность генерала, старался подсунуть ему то зажигалку, то карандаш: верти на здоровье, не причиняя ущерба личному или казенному имуществу. Но стоило Берзарину увлечься, как какая-либо деталь одежды очередного собеседника оказывалась в его беспокойных пальцах. Был случай — у самого Жукова, к вящему конфузу, пуговицу на плаще открутил. Георгий Константинович не обиделся, посоветовал Николаю Эрастовичу коллекцию собирать. Ну, у каждого свои привычки-причуды, у Берзарина-то далеко не самая худшая.

Николай Эрастович пригласил меня поужинать, и как я понял, в еде он знал толк. Огорчался, что на столе только трофейные продукты, — свои, издалека, доставлять было трудно. Зато вся Европа: колбаса немецкая, сыр голландский, рыбные консервы из Норвегии и даже оливки, испанские или итальянские. А Берзарин вздыхал: рыжиков бы, грибочков бы наших соленых — с разварной картошечкой и настоящим подсолнечным маслом. И за ужином, без всякой тягомотины, вроде бы между делом, обсудили мы все вопросы. Берзарин понимал с полуслова и тут же предлагал решения. Кроме представителя химической службы, посоветовал мне взять направленца от штаба армии при 9-м стрелковом корпусе подполковника Гончарука. Офицер, мол, грамотный, добросовестный, бывал за Одером, дорогу знает, обстановка ему известна. И только потом, в пути и на самом плацдарме, я сообразил, какую услугу оказал мне Николай Эрастович. Без Гончарука я не узнал бы и половины того, что помог мне увидеть и уяснить этот тактичный, вдумчивый и скромный офицер, ненавязчиво заботившийся, кстати, о моей безопасности, что было совсем нелишне на заречном клочке земли, где бомбежки чередовались с артобстрелами, а короткие затишья — с атаками неприятеля.

Чем ближе подъезжали мы к Одеру, тем хуже становилось шоссе, изуродованное свежезасыпанными воронками.

И даже пейзаж менялся. Снег в придорожной полосе был зачернен, засыпан земляной кроткой. Жалкий вид являли покалеченные, расщепленные деревья, тянувшие к хмурому небу обугленные ветви. Угнетающая картина. Улицы разбомбленных селений, через которые пролегал наш путь, были усеяны пухом от перин, вмерзшим в грязь и снег, скопившимся сугробиками возле кирпичных стен, тротуарных бордюров, — как скапливается летом у нас в Москве тополиный пух. Такое впечатление, что до разрушения все немецкие дома битком набиты были перинами и подушками.

Иван Сергеевич Гончарук, молодой еще подполковник с черными бровями на красивом лице тонкой строгой чеканки, выглядел очень усталым, даже измученным. Глаза покраснели от постоянного недосыпа, под ними тени. Он, однако, не подремывал, вроде бы даже развлекал меня разговором, и не пустой болтовней, а своеобразно вводя в курс дела. Рассказывал, правда, монотонно, не имея сил для эмоций, но настолько интересно, что я не пропускал ни слова. Тогда впервые услышал я о 902-м стрелковом полке и его командире Георгии Матвеевиче Леневе, которому немало места уделено в этой книге.

По словам подполковника Гончарука, немцы, препятствуя движению наших войск к Одеру, к последней водной преграде на пути к столице, активно бомбили дороги и населенные пункты. А Ленев вел свой полк по проселкам, по заснеженным полям и лесам, действуя главным образом ночью. Ну, не только он, но и некоторые другие опытные командиры. И вот 1 февраля два полка 248-й стрелковой дивизии, а именно 899-й полк полковника Бушина и 902-й полк подполковника Ленева, не замеченные противником, вышли к широкой замерзшей реке, к тому укрепленному рубежу на подступах к Берлину, который, по утверждению вражеской пропаганды, русские никогда не смогут преодолеть. Однако бросок двух наших полков был настолько стремителен и скрытен, что фашисты, грубо говоря, «прошляпили» их маневр. Наша разведка, переправившаяся через Одер, сообщила: немцы спокойно отдыхают в теплых домах, оставив в траншеях лишь редкие посты. Лед на реке прочный, но есть полыньи, разводья, возле которых вода выступает над ледяным панцирем до полуметра и выше.

Ночь выдалась холодная, с резким колючим ветром. Валил снег, крутилась поземка. Видимость — почти нулевая. В такую погоду пресловутый хозяин пресловутую собаку на улицу не выгонит. А хороша ли такая погода или, наоборот, совершенно непригодна для наступления в незнакомой местности, по скользкому льду, тем более не везде цельному?! Это уж зависит от того, каковы войска и насколько умелы командиры. Подполковник Ленев распорядился: каждому солдату и офицеру взять как можно больше боеприпасов, каждому иметь при себе прочную жердь или доску, дабы удержаться в полынье, пока не помогут товарищи. Идти небольшими группами, от отделения до взвода, ощущая соседа. Обозникам следовать за подразделениями, везти сухое обмундирование, сухую одежду, какая только есть или можно собрать в окрестных населенных пунктах. А отдавши приказ, Георгий Матвеевич сам возглавил переправу, вступил на лед вместе со штабом полка, со взводом разведчиков и со связистами. Пошли в неизвестность, во вьюжную мглу, палками прощупывая лед там, где поверх него текла черная, парящая на морозе вода. Справа и слева молча, без выстрелов шли ведомые своими командирами батальоны. Треснет лед, вскрикнет провалившийся боец, и опять напряженная, глухая тишина над рекой. Упавших поднимали, провалившихся вытаскивали, обледеневших, не способных передвигаться, волокли на себе. И всем полком, почти без потерь, выплеснулись, выбрались, вскарабкались на западный берег.

Немцы спохватились, очухались и открыли огонь, когда их передовые позиции и окраины Гросс-Ноендорфа были уже в наших руках. А бой на суше, где можно укрыться в траншеях, в домах и подвалах, — дело привычное. И обозники не подвели, доставили сухую одежду. Самому

Леневу, промокшему до пояса, по плечу пришелся теплый трофейный реглан.

Переправились, в общем, очень успешно, пронесли станковые пулеметы и противотанковые ружья, протащили по льду даже пушки малых калибров. К утру плацдарм был раздвинут и вширь, и вглубь. Но само форсирование реки, что представлялось особенно дерзким и трудным, оказалось на этот раз делом простым по сравнению с тем адом, который начался, когда рассвело. Немецкое командование в Берлине осознало, какая промашка допущена, сколь опасен для них наш бросок через реку. И направило в район Гросс-Ноендорфа пехоту и танки, чтобы любой ценой ликвидировать опасный плацдарм, чтобы ни одного русского солдата не осталось на западном берегу Одера.

Прежде всего немецкая авиация и артиллерия разбомбили, раздолбали лед на реке, отсекли переправившиеся полки от тылов, от резервов. Командование не могло помочь им ни людьми, ни боеприпасами. Затем последовали атаки, сила которых увеличивалась по мере подхода из Берлина свежих сил. К середине дня подтянулись немецкие танки и бронетранспортеры. Количественно противник значительно превосходил нас, но качество было разное. Против наших закаленных воинов, мастеров своего дела, гитлеровцы бросали в бой наскоро сколоченные разношерстные подразделения, где со школой унтер-офицеров, к примеру, соседствовали юнцы-очкарики в мешковатых, не по росту, шинелях, за несколько дней обученные стрелять из автоматов и владеть новейшей техникой — фаустпатронами.

Сбросить наши полки в реку немцы не сумели, но им удалось раздробить нашу оборону на отдельные изолированные очаги. Сами собой создавались батальонные, а то и ротные узлы сопротивления, занимавшие круговую оборону и отражавшие натиск противника. Опять же только очень опытные войска могли действовать вот так, по собственной инициативе, без локтевой связи, без единого командования.

Подполковник Ленев с частью своего штаба заблокирован был в просторном подвале сахарного завода, где находился склад готовой продукции, наполовину заполненный мешками с сахарным песком. Сверху надежный кирпично-бетонированный свод. Дверь и зарешеченные окна забаррикадировали сахарным песком, который оказался в смысле защиты не хуже настоящего. Вместе с Леневым — шестнадцать человек, в том числе знаменосец полка со святыней — полковым знаменем — и радистка Марьям Рамазанова, о которой мы уже упоминали: лезгинская семья Рамазановых, отец, дочь и сын, прошла в составе 902-го стрелкового полка весь путь от Астрахани до Одера.[86]

Попытки немцев ворваться в подвал отражались гранатами и автоматным огнем. Неудачные атаки противника сменялись обстрелами. Однако вражеские снаряды средних калибров, неспособные пробить бетонированные перекрытия подвала, лишь разрушали кирпичные стены завода, которые, превращаясь в руины над подвалом, даже увеличивали надежность защиты обороняющихся. Но долго ли можно выдерживать осаду, отбивая атаку за атакой, сберегая каждый патрон?! Без сна, без отдыха. Телефонная связь порвана, все реже выходила в эфир Рамазанова, экономя питание рации. Надежды на быструю помощь почти никакой…

Рассказывая о захвате и удержании плацдарма, Иван Сергеевич Гончарук ни разу не упомянул о себе. Об этом скромном и мужественном офицере поведал мне впоследствии Ленев. Да и Берзарин весьма

положительно отзывался о подполковнике Гончаруке — даже голос теплел. Образцовым офицером-направленцем считал его.

В шутку про себя я именовал направленцев своими младшими братьями: в их специфической работе много было такого, чем мне пришлось заниматься при Сталине, с той разницей, что я был советником неофициальным, а они занимали штатные должности. Офицеры-направленцы имелись в штабах всех воинских объединений, то есть армий и фронтов, и в Генеральном штабе. Каждый из них «вел» свой определенный участок. Направленец Генштаба, к примеру, «отвечал» за какой-либо фронт или даже несколько соседних фронтов. Разбуди его среди ночи и задай любой вопрос о положении на его участке — обязан знать. Направленцы из штаба фронта были прикреплены к армиям в составе оного. Ну, а один из направленцев штаба 5-й ударной армии, подполковник Гончарук, «ведал» соответственно 9-м стрелковым корпусом генерал-лейтенанта Рослого. Через Гончарука шли все донесения, вся документация, поступавшие из этого соединения, он вел отчетную карту, отмечая любое изменение в положении каждой из трех дивизий, входивших в состав корпуса. Обязан был регулярно бывать в дивизиях, в полках и батальонах, дабы знать их состояние не по бумагам, а в действительности. В общем — знать все о своем участке, вплоть до личных качеств представителей комсостава.

Офицер-направленец должен обладать не только большой работоспособностью, не только умением систематизировать, обобщать различнее данные, но и принципиальностью, самостоятельностью в сочетании с дипломатическими способностями. Часто общаясь с лицами, более высокими по званию, являясь представителем командования, он при этом не имел распорядительных прав. В дела на местах не вмешивался, мог лишь посоветовать, если спросят. Но от его доклада командованию, от его объективности зависело многое. Ну, и доставалось ему первому в случае неудачи на его участке, первые гневные эмоции начальства обрушивались на его неповинную голову. Истинный виновник, предположим, командир корпуса, где-то далеко, к тому же генерал, на него не покричишь, а направленец, сообщивший новость, — вот он, под рукой и звание у него невысокое. Но это к слову. Генерал Берзарин, в отличие от некоторых других, направленцев ценил, понимая их важную и трудную роль, в обиду не давал, особенно расположен был к подполковнику Гончаруку, который значительное время проводил не в штабе, а непосредственно в частях, ведущих бои.

Иван Сергеевич Гончарук перешел по льду через Одер вместе с одним из батальонов 902-го стрелкового полка, вместе с этим батальоном, удерживающим свой «пятачок» на западном берегу, оказался в окружении. Однако ночью сумел с двумя автоматчиками прорваться через вражеский заслон и добрался до сахарного завода, где была заблокирована группа подполковника Ленева. Обсудили положение. Назад пути нет. Полк будет держаться до последней возможности, но возможности эти быстро тают. Какая помощь нужна от командования? Прежде всего переправить через реку подкрепление — роты второго эшелона. Установить надежную связь. Оказать огневую поддержку с правого берега. И все это как можно скорее, пока на плацдарме еще есть наши.

Ленев говорил потом: не очень-то он верил, что Гончаруку удастся дойти до своих. Но Иван Сергеевич в темноте, по битому льду, который то

там, то тут взметывали вражеские снаряды, сумел где бегом, где ползком, где прыжками пересечь широкую реку. Разыскал штаб 248-й дивизии и с горечью убедился в том, что командир дивизии полковник Галай решительных мер по закреплению плацдарма не принимает. Более того, осторожный комдив, не высказываясь прямо, склонялся к мысли, что «пятачки» за Одером не удержать, даже с помощью подкреплений. Подоплека была ясна: не хотел рисковать своими стрелковым и артиллерийским полками. Если даже плацдарм и будет потерян, то это еще не разгром, это лишь поражение для дивизии, которая хоть и утратит часть своих сил, по сохранит боеспособность. От неудач никто не застрахован, это не помешает Галаю получить положенное ему генеральское звание… Да и возможности Галая были в общем-то невелики. Не имелось никаких переправочных средств.

По телефону Гончарук связался со штабом 9-го стрелкового корпуса. Ему сказали, что генерал Рослый недавно уснул и велел не будить, если не поступит распоряжение сверху. А время шло, за Одером гремел бой, в неравной схватке истаивали наши передовые батальоны. И тогда Гончарук, минуя все промежуточные инстанции, вызвал к телефону командарма Берзарина, доложил ему обстановку и попросил приехать в штаб дивизии, чтобы на месте разобраться и навести порядок. Николай Эрастович выехал без промедления.

За остаток ночи было сделано многое. Берзарин приказал активизировать действия во всей полосе 5-й ударной армии, чтобы отвлечь внимание и силы немцев от плацдарма в Гросс-Ноендорфе. Через реку удалось переправить несколько небольших, но хорошо вооруженных групп. Выделены были роты для переброски на тот берег: люди разыскивали лодки, вязали плоты, готовили щиты для перекрытия полыний. Подтянули к реке артиллерию двух дивизий. Верблюды Мишка и Машка вывезли на огневую позицию орудие старшего сержанта Григория Нестерова. В пути были пушкари из армейского резерва.

Наступивший день стал на плацдарме критическим. Немцы понимали, что время работает против них, и приложили все старания, чтобы сбросить советские войска в реку. Опять бомбежки, опять атака за атакой. К сахарному заводу гитлеровцы подогнали автомашину с радиоустановкой, громогласно предлагали окруженным сложить оружие, обещая сохранить жизнь. А у Ленева закончились боеприпасы. Оставалось только уничтожить знамя полка и кинуться на врага врукопашную. Но Ленев медлил. Утрата полкового знамени, по закону и традициям, влечет за собой расформирование, ликвидацию самого полка, утратившего свой символ, святыню. Такая воинская часть исключается из состава Красной Армии. Не станет дружной семьи, прошедшей огромный и трудный путь, исчезнет память о славных боевых делах, о дорогих товарищах, могилы которых остались на Волге, на Дону, на Днепре, на Днестре и на польской Висле-реке. Нет, все что угодно, только не это, не утрата святыни!

Какой-то странный запах ощутили вдруг люди, вроде бы запах горелой каши, который быстро усиливался. Подвал начал наполняться тошнотворным дымом, проникавшим то ли через вентиляционные приспособления, то ли снаружи, через щели треснувшего при обстрелах бетона. Гитлеровцы пошли на крайность, решив либо «выкурить» защитников подвала, либо задушить их там. У кого были противогазы — надели. У кого нет, — легли на пол, где легче было дышать. Радистка Рамазанова поочередно связалась с командирами всех трех батальонов,

каждый из которых по отдельности сражался в кольце врагов. Подполковник Ленев отдал каждому приказ стоять насмерть до последнего человека. Лучше гибель, но со славой… Затем радистка вызвала штаб дивизии, но трубку там взял не Галай, а сам командарм — Ленев сразу узнал голос Берзарина. Выслушав короткий доклад, генерал спросил:

— Чем я могу помочь?

— С нами знамя. Мы задыхаемся. Вокруг до батальона немцев. Помирать, так с музыкой, не зазря. — Оглядел лица затихших товарищей, глянул в черные, полные решимости очи Марьям Рамазановой и потребовал: — Товарищ первый, дайте огонь на меня! Ориентир — заводская труба. Бейте крупными, мелкие нас не берут.

Берзарин не ответил. Рация отключилась. Командарм думал, надеясь на что-то лучшее, на какое-то чудо. А в подвале ждали. Ядовитый дым выжимал слезы из глаз, разъедал гортань, легкие. Люди, прижимаясь к полу, хрипели, задыхались от кашля…

Припомним, читатель, одну из предыдущих страниц этой книги. День 19 февраля 1943 года, когда Адольф Гитлер едва успел улететь из Запорожья, на окраину которого ворвались танки генерала Ватутина. На борту самолета фюрер произнес свою известную фразу: «Если мы не остановим их здесь, то не остановим нигде. Они дойдут до Берлина». И долго-долго размышлял потом над подробной картой, пытаясь, вероятно, предугадать, какое из многочисленных советских соединений, помеченных номерами, первым приблизится к немецкой столице. Кто ворвется к нему в фюрербункер?! Где эта дивизия, этот полк? Во всяком случае, по свидетельству тех, кто был близок к Гитлеру, он впервые сказал тогда о такой возможности и содрогнулся от этой мысли.

Фюрер, разумеется, не мог предвидеть, чьи штыки несут ему погибель. Но мы-то с вами, зная историю, выяснили, каким советским войскам доведется штурмовать рейхсканцелярию, чье полковое знамя взметнется над логовом фашистского вождя. Мы разыскали на полях войны 902-й стрелковый полк, рожденный на Волге в самые трудные дни Сталинградской битвы, собранный из последних возможностей усилиями страны, усилиями народа; полк, для которого, напомню, не то что автомашин, лошадей для артиллерии тогда не нашлось: вместо них запрягали верблюдов. И вроде бы символом этого полка стал его командир Георгий Матвеевич Ленев, израненный в боях за Москву, а затем вылеченный, восстановленный с большим старанием и усилиями в шести (!) госпиталях, где его буквально поставили на ноги, скрепив разбитую пяточную кость золотою скобой.

И вот теперь 902-й полк, ближе всех подошедший к Берлину, истекал кровью на плацдарме, а командир его задыхался в мрачном подвале рядом со знаменосцем, который лежал на полу, прикрыв знамя своим телом. Если бы Адольф Гитлер, засевший в недалеком уже теперь фюрербункере, смог увидеть сейчас этот подвал, увидеть погибающий полк, несший ему смерть, он воспрял бы духом и решил, что удача вновь засветилась на его горизонте. Другие русские полки, может, и ворвутся в Берлин, но уж этот-то никогда!

В задымленном подвале вновь заработала рация. Марьям протянула Леневу микротелефонную трубку. Раздался голос генерала Берзарина:

— Как у тебя? Без изменений?

— Дайте огонь! Скорее! — прохрипел Ленев.

Обвальным грохотом раскатился за Одером артиллерийский залп. Били полковые и дивизионные батареи, били тяжелые пушки, подтянутые из резерва. Пламя бушевало над тем местом, где был завод, над позициями окружавших его немцев.

Артиллеристы знали, что бьют по своим, по штабу полка. Злыми слезами плакал командир орудия Нестеров, плакал наводчик Кармалюк, но, матерясь и проклиная злодейку судьбу, посылали снаряд за снарядом, выполняя последнюю волю своего уважаемого командира.

17

Подполковник Гончарук был единственным человеком, который смог несколько раз подряд переправиться через Одер и остаться живым. В первую ночь — вместе с воинами 902-го стрелкового полка. Во вторую вернулся на восточный берег, чтобы доложить командованию о положении на плацдарме и выполнить просьбу Ленева о помощи. Наступила третья ночь, и измученный бессонницей, невероятным физическим и моральным напряжением подполковник нашел все же силы опять преодолеть реку вместе с резервными подразделениями, дабы выяснить и сообщить генералу Берзарину, каково реальное положение на «пятачке». Сопровождавшие Гончарука автоматчики несли упаковки с листовками: это был текст телеграммы командующего 1-м Белорусским фронтом, только что размноженный в типографии армейской газеты:

«ВОЕННОМУ СОВЕТУ 5-Й УДАРНОЙ АРМИИ, КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ 5-Й УДАРНОЙ АРМИИ.

На 5-ю ударную армию возложена особо ответственная задача удержать захваченный плацдарм на западном берегу р. Одер и расширить его хотя бы до 20 км по фронту и 10–12 км в глубину, Я всех вас прошу понять историческую ответственность за выполнение порученной вам задачи и, рассказав своим людям об этом, потребовать от войск исключительной стойкости и доблести.

К сожалению, мы вам не можем пока помочь авиацией, так как все аэродромы раскисли, и взлететь самолеты в воздух не могут. Противник летает с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы. Рекомендую:

1) зарываться глубоко в землю;

2) организовать массовый зенитный огонь;

3) перейти к ночным действиям, каждый раз атакуя с ограниченной целью;

4) днем отбивать атаки врага.

Пройдет 2–3 дня — противник выдохнется.

Желаю вам и руководимым вами войскам исторически важного успеха, который вы не только можете, но обязаны обеспечить.

Г. Жуков»

Даже Георгий Константинович с его твердокаменным характером понимал, что бывают такие обстоятельства, когда просьба может оказаться сильнее, действеннее любого приказа. Тут был именно такой случай. А я взял листовку для того, чтобы при докладе Верховному главнокомандующему этим документом подтвердить, если возникнет необходимость, что в начале февраля нам было не до наступления на Берлин — требовалось закрепиться на достигнутых рубежах и накопить силы для решающего броска.

К тому времени, когда я вместе с Гончаруком (он, как выяснилось, уже в седьмой раз) переправился через Одер, наше положение за рекой улучшилось, но все еще оставалось сложным. На плацдарме сражались уже четыре стрелковые дивизии, им удалось оттеснить фашистов от уреза воды на четыре-пять километров и раздвинуться до двадцати пяти километров вдоль берега. Это уже не «пятачок», простреливаемый даже автоматным огнем. Сложность же заключалась в том, что немцы продолжали бомбить, обстреливать, атаковать всю нашу длинную, но узкую полосу, имея возможность маневрировать силами и средствами, подтягивая резервы, а у нас за спиной была широкая река, очень затруднявшая не только маневрирование, но и снабжение войск всем необходимым, вывозку раненых. По Одеру плыл битый лед, несло трупы, обгорелые бревна, доски, ящики из-под боеприпасов. Если ночной морозец спаивал льдины, то немцы сразу же разбивали тонкий покров, не давая ему окрепнуть.

В Гросс-Ноендорфе не сохранилось ни одного дома, только руины, между которыми тянулись траншеи и ходы сообщения. Территория возле сахарного завода метров на триста окрест была буквально перепахана нашими снарядами. Тут уж, конечно, не уцелело ни одного фашиста. А вот бетонные перекрытия подвала выдержали попадания даже тяжелых снарядов. Образовалось лишь несколько трещин, через которые и вытек ядовитый дым, душивший наших людей. Крепко строили немецкие инженеры и рабочие, старались на совесть, чем и помогли сохранить жизнь советским бойцам. Если бы знали немцы, кого сберегут эти надежные стены!

Подполковник Гончарук, одним из первых прибывший на завод после обстрела, рассказал мне, как в наступившей темноте приведенные им солдаты разбирали завал, расширяли трещины, вытаскивали и выводили из подвала полузадохнувшихся, оглушенных, контуженых воинов, как знаменосец и Георгий Матвеевич Ленев вынесли сохраненное знамя полка…

Прибывший с нами представитель армейской химической службы вместе с дивизионными и полковыми коллегами тщательно обследовал подвал и соседние руины, пытаясь определить, чем гитлеровцы «выкуривали» наших людей: просто дымом или какой-то разновидностью боевых отравляющих веществ? Но не было специальных приборов и препаратов, не оказалось свидетелей среди пленных немцев. Безусловное мнение не складывалось. Дело, конечно, можно было повернуть в ту или другую сторону, однако мне нужен был ответ четкий и твердый, нужен был официальный акт для отправки в Ялту, чтобы Верховный главнокомандующий мог использовать документ на продолжавшейся конференции руководителей трех великих держав. Требовалась полная доказательность, бесспорные факты, а этого мы не имели — только предположения. Договорились, что химики продолжат работу, и они действительно занимались этим вопросом еще некоторое время, до штурма Берлина. Нахлынули другие заботы, и дело заглохло само собой.

По глубокому, надежному ходу сообщения Иван Сергеевич Гончарук провел меня до командного пункта 902-го стрелкового полка и познакомил с подполковником Леневым. Имея рост выше среднего, он выглядел очень длинным от чрезвычайной худобы, происходившей, вероятно, от переутомления, от недосыпа и недоедания. Правильные, симметричные черты продолговатого лица казались несколько

крупноватыми из-за впалости щек. Прямого разреза упрямого склада рот. Неулыбчивость. Суровость. Подумалось, что его недолюбливает непосредственное начальство за прямолинейность, отсутствие гибкости и почтительности. За дерзость. За неумение угождать. Таким трудно служить, особенно в мирное время, когда ценится прежде всего послушная исполнительность. Если, конечно, не заметит, не оценит, не поддержит такого умный, дальновидный руководитель. Но умные-то встречаются гораздо реже, чем разные прочие.

На ногах у Ленева очень большие сапоги, слишком просторные. Заметив, что он прихрамывает, я спросил, не ранен ли.

— Нет, — ответил он, — не ранен, и старые не открылись, ни в позвоночнике, ни на ноге. — Глянул на меня с некоторым смущением. — Врач говорит, что нога разболелась от нервов. После подвала. Курам на смех.

— Случается, — авторитетно подтвердил Гончарук. — Ни одной царапины, а боль сильная. После контузии.

Ленев повернулся к нему:

— Иван Сергеевич, ты Берзарину не докладывай, ладно?

— А то отоспался бы в госпитале, раздевшись и на простыне, подхарчился бы…

— Нет, — отрезал Ленев. — Я со своими. Мне уже лучше.

И, будто забыв про нас, надолго прильнул к окулярам стереотрубы. Из скупых его слов мы поняли, что полк ведет бой за небольшую высоту 13.0 и что успех пока не на нашей стороне, у немцев много минометов, а подавить нечем. Что там думают, за рекой, о доставке снарядов?.. Было ясно, что подполковнику теперь не до нас, ему будет лучше и спокойней, если мы удалимся куда-нибудь подальше, в безопасное место. Так мы и сделали.

В тот день командный пункт 902-го стрелкового полка отделяло от подземного кабинета Адольфа Гитлера расстояние в семьдесят километров. И без малого три месяца времени.

Мы с Гончаруком благополучно вернулись за Одер, ни разу не попав под бомбежку. В штабе 5-й ударной армии я узнал от генерала Берзарина, что Георгию Матвеевичу Леневу присвоено звание Героя Советского Союза. Но это пока секрет. Николай Эрастович намеревался вскорости отправиться на плацдарм и самолично поздравить Ленева.

* * *

Пройдет немного времени, и мне вновь доведется побывать на 1-м Белорусском фронте, встретиться с маршалом Жуковым, генералом Берзариным, с подполковниками Леневым и Гончаруком. В конце апреля 1945, года, когда бои развернулись непосредственно в немецкой столице. Доведется увидеть, как взметнулось над куполом рейхстага победное знамя. Большое ликование, прекрасный подарок народу к празднику 1 Мая. Однако рейхстаг — это лишь мощное своеобразное здание, в какой-то мере символизирующее немецкую государственность. Но реальное управление страной и войной осуществлялось не оттуда, а из рейхсканцелярии, из кабинета Гитлера, скрытого в глубоком подземелье. После падения рейхстага канонада в германской столице отнюдь не прекратилась, кровопролитные бои продолжались за самый центр города, превращенный в «крепость внутри крепости», защищаемый отборными

подразделениями СС. Трудная и высокая честь в полном смысле слова добить врага в его собственной берлоге выпала воинам 248-й стрелковой дивизии полковника Н. З. Галая и 301-й стрелковой дивизии полковника В. С. Антонова из состава 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии генерала Н. Э. Берзарина.

30 апреля около полудня командир 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии подполковник Георгий Матвеевич Ленев из развалин только что очищенного от фашистов дома увидел впереди массивное угрюмое серое здание рейхсканцелярии, на фасаде которого распластал крылья огромный хищный орел со свастикой. Бетонная ограда окружала двор-сад, и где-то там, за этой оградой, скрывался фюрер со своими приближенными, все еще пытаясь командовать очагами сопротивления, надеясь на помощь Берлину извне.

Расстояние до рейхсканцелярии невелико, несколько сотен метров, но все подступы простреливались ураганным огнем из автоматов и пулеметов. Самоходки и танки не могли приблизиться к зданию, их подбивали фаустпатронами. Оставалась надежда только на артиллерию, на бога войны, который всегда прокладывал путь матушке пехоте, царице полей, а теперь вот и городских кварталов. Георгий Матвеевич Ленев приказал начальнику артиллерии полка выдвинуть все имевшиеся орудия на прямую наводку, бить по окнам, по крыше, продалбливать стены.

По засыпанной битыми кирпичами улице, среди дымящихся руин, под грохот пальбы со всех сторон два верблюда, Мишка и Машка, протащили свою пушку, ту самую, в которую впряглись когда-то в астраханских степях, к полуразрушенному дому. Командир орудия старший сержант Нестеров и наводчик Кармалюк установили орудие под уцелевшей аркой. Верблюдов отвели за стену, в укрытие. Светловолосый богатырь Нестеров, волжский рыбак, сам вогнал в казенник снаряд, шагнул в сторону, привычно вскинул руку с флажком. Наводчик татарин Кармалюк вздрагивал от волнения и нетерпения.

— Огонь!

Первый снаряд, пушенный прямой наводкой, влетел в окно рейхсканцелярии, там, внутри, полыхнуло пламя и повалил дым. Но ни Ленев, ни Галай, да и вообще никто из воинов, находившихся тогда на подступах к фюрербункеру, не знал и не мог знать, что происходило в те мгновения во вражеском подземелье. Как стало известно потом, в 15 часов Адольфу Гитлеру доложили: русская артиллерия с близкого расстояния начала бить непосредственно по рейхсканцелярии, в здании вспыхнули пожары, выходы перекрыты. В 15 часов 50 минут Гитлер, потеряв всякую надежду на спасение, покончил с собой.

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ

1

При решении важных международных вопросов, тем паче вопросов геополитических, да еще в напряженное военное время, высокие договаривающиеся стороны редко получают равноценное удовлетворение. Почти всегда кто-то оказывается в проигрыше или считает себя ущемленным. Ялтинская конференция — приятное исключение. На ней сложные проблемы были решены приемлемо для всех участников. Лидеры трех государств без особого упрямства шли на уступки — даже

твердолобый Черчилль. Были согласованы позиции по послевоенному устройству Европы, по созданию Организации Объединенных Наций, очерчены, наконец, границы Польши за счет расширения оной на запад и на север. Определен срок вступления Советского Союза в войну с Японией: через три месяца после капитуляции Германии. Надо же было помочь войскам союзников, застрявших на тихоокеанских островах и рассчитывавших справиться со Страной восходящего солнца лишь к 1947 году.

Три руководителя великих держав продекларировали полный успех конференции. Случай действительно редчайший: не было ни выигравших, ни проигравших — победили все. Фарватер был расчищен, хотя, конечно, некоторые подводные камни остались. Каждая делегация, отправлявшаяся на конференцию, имела программу-минимум и программу-максимум, задачу и сверхзадачу — как получится. Иосиф Виссарионович, кроме всего прочего, ставил перед собой цель, не вписывавшуюся в рамки конференции, но очень важную для нас: сверхсверхзадачу, если так можно выразиться, которая должна была во многом предопределить дальнейшую политику нашего государства, степень доверия к союзникам и взаимоотношения с ними. К этому времени мы знали от своей разведки (о чем я уже писал), что американцы создали новое мощнейшее оружие и готовятся применить его. Знали если не всё, то многое и намеревались не отстать от заокеанских атомщиков. А вот Рузвельту и Черчиллю неизвестно было, что Сталин достаточно полно проинформирован об атомной бомбе. И конечно, Иосифу Виссарионовичу небезразлично было, доверят ему союзники или нет свою тайну. Если Рузвельт и Черчилль не упомянут об атомной бомбе при обсуждении завершающего этапа войны на западе и совместных боевых действий на востоке, то против кого же будет направлено это тщательно скрываемое от нас оружие? Против Германии и Японии, которые и без того обречены на поражение? Или против Советского Союза?!

Иосифу Виссарионовичу осточертели войны, ему хотелось мира и спокойствия, необходимых для восстановления и развития своего государства. Путь к коммунизму будет проложен не пушками, а достижениями в экономике, в культуре, в развитии личности. К тому же собственное честолюбие Сталина было полностью удовлетворено. Он был руководителем державы, которая приняла на себя главную тяжесть Всемирного сражения и фактически уже выиграла эту битву. Он достиг вершины земной славы и влиятельности. Он желал жить без больших конфликтов, в согласии с соседями. Но для согласия, для взаимного понимания требовалось доверие. Сталин надеялся, что американцы и англичане откроют ему, надежному союзнику, свою главную тайну. Иначе будет просто непорядочно с их стороны. Нельзя же дружить с теми, кто держит за пазухой камень против тебя.

Обстановка для работы конференции была создана наилучшая, не просто комфортная, но и уютная, располагающая к спокойствию, к доброте, к откровению. Огромные усилия потребовались для этого. Еще ведь и года не прошло, как Крым освобожден был от гитлеровцев. После них — руины, пожарища, разбитые дороги, минные поля. Срочно нужно было восстановить и оборудовать Ливадийский, Юсуповский и Воронцовский дворцы. Работали многие сотни людей. Водопровод в царском Ливадийском дворце удалось запустить лишь перед самым началом конференции.

На дороге между аэродромом и Ливадией было оборудовано несколько охотничьих домиков, чтобы гости могли отдохнуть в пути. Рузвельт, правда, не остановился ни разу, зато Черчилль не пропустил ни одного, в полной мере отведал и армянского коньяка, и различных массандровских вин, воздав должное шашлыку по-карски и прочим закускам. На заснеженном аэродроме, выйдя из самолета, поеживался от холода, но в дороге нагрелся так, что шинель нараспашку, а фуражка с гербом, утратив равновесие, скользила то на одно, то на другое ухо. Дочь Сарра несколько раз приводила премьера в порядок.

Конечно, февраль не самый лучший месяц на Южном берегу Крыма. Прохладно. Однако погода стояла хорошая. Не омраченное тучами высокое синее небо, на фоне которого алмазно блистала ледяная корона Ай-Петри. Чистейший бодрящий воздух. Робкое зацветание абрикосовых деревьев. Ровный, успокаивающий шум моря: ничего общего с плеском волн на Одере, за спиной Берзаринского плацдарма. Мне говорили, что Иосиф Виссарионович почти каждый день спускался к воде, подолгу стоял меж каменных глыб, обдаваемых ядреными брызгами, любовался накатом прибоя. Даже рыбу ловил удочкой. И небезуспешно.

Работала конференция планомерно, без спешки, в щадящем режиме. Первую половину дня каждая делегация в своей резиденции готовилась к заседанию, которое начиналось всякий раз ровно в 16 часов в зале Ливадийского дворца. За пять минут до этого в холл из разных дверей входили Сталин и Черчилль со своими помощниками — советниками. Распахивалась дверь из апартаментов американской делегации, рослый негр вывозил кресло-коляску Рузвельта. Три деятеля обменивались приветствиями, рукопожатиями и, во главе своих свит, направлялись в зал. Протокол был составлен так, что за все время конференции с 4 по 11 февраля руководители государств ни разу не оставались вдвоем, с глазу на глаз, — только втроем. Сталина это не устраивало. Он понимал, что, когда они все вместе, тем более при членах делегаций, ни премьер, ни президент не раскроют их общую тайну, даже не обмолвятся нарочно или вроде бы случайно об атомной бомбе. Иосиф Виссарионович не любил нарушать правила, но в конце концов нельзя же соблюдать принцип: если протокол мешает делу, брось дело и соблюдай протокол.

Сталин договорился о личной встрече с Черчиллем и побывал в его резиденции. Состоявшаяся беседа ни пользы, ни удовлетворения не принесла. Английский премьер был изрядно навеселе или умело прикидывался таковым. Сталин высказал свое беспокойство: вот сейчас, на грани краха, немецкие фашисты, впадая в отчаяние, способны пойти на любое преступление. В том числе на массовое применение боевых отравляющих средств. Данные о такой возможности есть. (Подтвердить это предположение бесспорными фактами с фронта мы тогда не смогли.) Известно, что и немцы, и японцы имеют средства ведения войны бактериологической, особенно самураи, создавшие секретный научно-производственный центр в Маньчжоу-Го и уже испытавшие бактериологическое оружие на пленных, в том числе на англичанах и на американцах. Что смогут противопоставить немецким фашистам и японским милитаристам объединенные силы трех союзных держав, если враг решится на применение отравляющих веществ и бактерий?

Злободневный и острый вопрос требовал серьезного ответа. Однако Черчилль полностью уклонился от него, сведя всю беседу к рассуждениям о качестве армянского коньяка, об его отличии и превосходстве над

ромом, бренди и другими подобными напитками. Поиграл, значит, премьер-министр в свое удовольствие, посмеиваясь втуне над попыткой Сталина проникнуть в планы и замыслы англосаксов, еще больше сблизить позиции союзников. Иосифу Виссарионовичу хватило выдержки ни словами, ни жестами не выразить своего недовольства. Улыбался спокойно и добродушно, давая возможность поторжествовать самодовольному собеседнику. Черчилль даже не осознал своей промашки. Он очень высоко ценил способности «дядюшки Джо», но все-таки недооценивал их. Иосиф Виссарионович не оставлял без последствий любой поступок, задевавший его самолюбие. Соответствующий урок был преподнесен незамедлительно.

На следующий день, как всегда, за пять минут до начала общей встречи, Уинстон Черчилль со своей всюду проникающей Саррой вошел в холл Ливадийского дворца, вальяжно подставился швейцару, почтительно и осторожно снявшему с тучного тела шинель. Появился Сталин в своей аккуратно подогнанной маршальской форме. Поприветствовав Черчилля, он неторопливо пересек холл, направляясь, однако, не в сторону зала заседаний, а к широкой двухстворчатой двери, ведущей в кабинет Рузвельта. Английский премьер в некотором недоумении последовал за Сталиным. Американский охранник, развалившийся в кресле, вскочил, распахнул перед Сталиным дверь и сразу же закрыл ее, возвысившись перед Черчиллем, показывая, что вход воспрещен. Премьеру ничего не оставалось, как отвернуть в сторону и проследовать по блистающему паркету дальше, к окну. Все, кто находился в холле, а таковых было много, застыли в оцепенении: как же так? что случилось? что будет? Первым взял себя в руки сам Черчилль, сделав вид, что ничего не произошло. Изобразив на лице улыбку, заговорил о чем-то с лысым маршалом авиации Порталом, окутываясь завесой сигарного дыма.

Странно-конфузное положение сохранялось долго. Английскому премьеру пришлось ждать двадцать три минуты, пока, наконец, дверь открылась, появилась коляска с седовласым улыбающимся Рузвельтом, вслед за которой шествовал добродушно-спокойный Сталин. Вид у обоих был такой довольный, что Черчилль не решился высказать претензий, не стал обострять конфликт, предпочел проглотить пилюлю. Тем более что Рузвельт сообщил, как бы между прочим: они со Сталиным условились встретиться, а Черчилля, к сожалению, предупредить не успели.

— Беседа была приятной? — полувопросительно произнес мучимый любопытством премьер.

— И приятной, и полезной, — подтвердил Рузвельт.

— Мы побеседовали о почтовых марках, — не без насмешки прищурился Сталин. Президент знает о них столько интересного…

— Не следует преувеличивать. — Польщенный Рузвельт был явно доволен: ведь филателия — это его слабость. — Маршал Сталин сам хорошо разбирается…

— Он во всем разобрался — и в марках, и в коньяке, — проворчал Черчилль.

Можно не сомневаться, что, проведя двадцать три минуты вдвоем (не считая личных переводчиков), Рузвельт и Сталин успели поговорить не об одной лишь филателии. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович был удовлетворен не только тем, что проучил самонадеянного Черчилля, очень удачно для себя соорганизовав встречу с Рузвельтом, но и некоторыми результатами состоявшейся беседы. Подробностями не делился. По моему

разумению, об атомной бомбе речь не шла, но Рузвельт дал понять Сталину, что до конца войны с Германией союзники не намерены применять какое-либо новое оружие. Ну, вроде бы и на том спасибо.

Думаю, что Рузвельт и Черчилль допустили большую ошибку, не приобщив Иосифа Виссарионовича к своей тайне, не продемонстрировав тем самым откровенность и дружелюбие. Для Сталина с его недоверчивостью и подозрительностью это было особенно неприятно. Соответствующие выводы он сделал: дружба дружбой, а табачок врозь. Хотя, повторяю, результатами Крымской конференции был удовлетворен вполне. По его словам, урожай созрел на всех грядках, даже в слякотном и капризном британском климате. Пора собирать.

2

Не упомню, чтобы какое-нибудь мероприятие охранялось у нас столь же тщательно, сверхнадежно, как ялтинская встреча «Большой тройки». Сказывалось несколько факторов. Прежде всего то, что конференция проводилась на нашей территории, мы в первую голову отвечали за безопасность участников встречи, а если уж Сталин брался за что-либо, особенно в международном плане, то вершил дело по самому большому счету, без сучка без задоринки. Давала знать себя осторожность Иосифа Виссарионовича, резко возросшая после раскрытия группы Таврина — Шиловой, после выявления других попыток организовать покушение на него. Ясно, что Гитлер, скатившись до терроризма, не упустил бы малейшей возможности обезглавить сразу всю противостоявшую ему коалицию.

Внешний охранно-оборонительный обвод «объекта особого значения» состоял из пяти колец. На дальних подступах к Крыму непрерывно, и днем и ночью, барражировали истребители-перехватчики. На них, на воздушный патруль, как и на второе кольцо из двух зенитных дивизий, работала новейшая техника, операторы тогда еще вручную крутили антенны радиолокаторов, внимательно вглядываясь в отметки, которые высвечивали на голубоватых экранах движущиеся полоски. В полной боевой готовности находились корабли и береговые части Черноморского флота. Во всех населенных пунктах Крыма, особенно в тех, что ближе к Ливадии, несли службу сотрудники НКВД, прибывшие из разных городов и весей на усиление местных органов. Это — на подходах к объекту. А сам объект охранял, составляя пятое кольцо, Отдельный сводный правительственный полк войск НКВД, которым командовал опытный полковник Шимберев, по штатной должности командир 236-го конвойного полка, который дислоцировался в Москве, в Сокольниках.

Являясь формированием временным, предназначенным для выполнения лишь одной конкретной задачи, Отдельный правительственный полк создан был за полгода до начала конференции из курсантов сержантских школ конвойных, охранных, железнодорожных соединений все тех же войск НКВД и, частично, за счет бывалых бойцов из отдельных мотострелковых бригад особого назначения — ОМСБОН. Отбирались молодые люди с безукоризненными биографиями, главным образом деревенские, имевшие крепкое здоровье и рост не ниже 170 сантиметров. Всему остальному их обучили.

Солдаты и офицеры Отдельного правительственного полка охраняли Юсуповский дворец, где размещалась советская делегация, а также

Воронцовский дворец, отведенный для англичан, и наиболее комфортабельный царский Ливадийский (он же Свитский) дворец, где обретался малоподвижный Рузвельт и где для его удобства проводились все заседания. Это охранно-оборонительное кольцо считалось наиболее важным. Несение службы, кроме командира полка и других должностных лиц, систематически проверяли такие высокопоставленные деятели, как Абакумов и сам Берия. Ходили с поста на пост вместе с разводящими и начальниками караулов, испытывая часовых нестандартными действиями в ответ на уставный вопрос: «Стой, кто идет?!» Но солдаты свои обязанности и возможности знали досконально, на искушения и хитрости не поддавались. Не пропустили бы самого изощренного домогателя.

Но и это еще не все. На ночь у стен и у входа каждого дворца заступали на пост оперативные работники госбезопасности, лучшие «волкодавы», владевшие приемами меткой стрельбы и рукопашной борьбы, натренированные для противодействия вражеским лазутчикам, «паршам» — парашютистам, диверсантам. Их можно считать шестым кольцом. Ну а кроме этого, у каждого из членов «Большой тройки» имелась личная охрана. Непосредственно самого президента Рузвельта оберегали преданные ему парни из морской пехоты и наглые агенты службы «Сикрет сервис». Черчилль же, как человек более эмоциональный и разухабистый, сочетавший эгоистичную расчетливость и практицизм с фатализмом, помноженным на постоянно-оптимизирующий алкогольный допинг, к собственной безопасности особого внимания не проявлял: кому положено, тот пусть и заботится.

Старательно потрудились наши особые органы. Абакумов, говорят, пошучивал удовлетворенно: жук не проползет, посторонняя муха не пролетит. И мух во дворцах действительно не было. Померзли, наверно, в полуразрушенных зданиях, которые лишь недавно быстро восстановили. Да и вообще, «не сезон» для них. Организаторы наши были довольны собой и в последние дни конференции уже прикидывали, на какую награду можно рассчитывать: нет чрезвычайных происшествий — готовь дырку для ордена. Однако ЧП все же произошло, хотя и не по нашей вине — капля дегтя подпортила вкус меда. Правда, меда американского, но мы тогда очень уж хорошо относились к своим союзникам и сопереживали с ними.

Персональный самолет президента Рузвельта дожидался своего хозяина на основном аэродроме Черноморского флота. Если говорить об особенностях этой машины, то их было по крайней мере две. Самолет оснащен был особым подъемником для кресла-коляски Рузвельта и специальным приспособлением, на котором оная коляска крепилась. А еще машина имела свое название — «Священная корова» нечто связанное, вероятно, с индусскими поверьями, в которых пользоприносящая корова всепочитаема и неприкосновенна. Американцы, естественно, пасли свою «корову» с большим усердием. Ее оберегал экипаж во главе с шеф-пилотом президента, караул из морских пехотинцев, сотрудники секретной службы. Они были в ответе за все. С ними поддерживали контакт несколько наших специалистов под руководством авиационного инженера в майорском звании — Деменкова Николая Ивановича. Нормально сотрудничали до того дня, когда был назначен срок отправления Рузвельта в обратный путь.

Совместными усилиями «Священную корову» заправили всем, чем положено, «накормили» досыта. В контрольном облете должен был

принять участие майор Деменков, дабы произвести запись в формуляре о полной готовности машины и проводить американцев со спокойной душой. Но едва запустили моторы, один из них зачихал и заглох. Осмотр показал, что разрушилась так называемая кулачковая шайба. Как это произошло, уму непостижимо, такого практически не случалось, фирма гарантировала сверхпроцентную надежность этой детали. Шеф-пилот был потрясен: а если бы авария произошла в воздухе с президентом на борту?! Этого, слава Богу, не случилось, но и без того неприятность из ряда вон выходящая. Лететь с неисправным мотором нельзя, ремонт же возможен только на заводе, а завод-то на другой половине земного шара.

Засуетились, задергались все инстанции снизу до самого верха — и американские и наши. Что делать? Задержать вылет Рузвельта на неопределенный срок — удар по престижу не только американской техники, американской администрации, но и самого президента. Это мелкотравчатый правитель какой-нибудь банановой республики, безответственный алкоголик и демагог, может переносить сроки мероприятий или отменять их, способен опоздать или проспать протокольную встречу, но чтобы президент великою государства допустил бы нечто подобное, даже по объективным причинам — это непростительно. Хотя бы потому, что время таких людей точно рассчитано, сбой в одном месте влечет за собой целую цепочку других сбоев. Точность, как известно, — вежливость королей. И мера их достоинства.

Рузвельту предложили лететь на советской машине. Однако такой вариант его не совсем устраивал. И не только потому, что «Священная корова» была оборудована под его кресло-коляску, но опять же из соображения престижа. А на аэродроме тем временем специалисты пытались спасти положение. Майор Деменков сказал шеф-пилоту: у нас есть однотипный американский самолет, давайте снимем с него вполне исправный мотор и поставим на вашу злополучную «корову». Шеф обрадованно согласился, но с условием, что все работы по установке двигателя будут вести только сами янки.

Николай Иванович Деменков, прирожденный инженер с большими знаниями, обладавший недюжинной силой, был по натуре человеком уравновешенным, покладистым, но на этот раз очень обиделся. Проморгали американцы, недосмотрели за двигателем, может, по небрежности, может, от диверсии не убереглись на аэродроме подскока на острове Мальта. Им посоветовали, им подсказали, как дело поправить, а они еще и куражатся, недоверием оскорбляют — ну и хрен с ними, пусть разбираются как хотят.

Экипаж «Священной коровы» состоял, конечно, из специалистов высокой квалификации. Но слишком избалованы были янки благостным житьем. Техники у них навалом. Забарахлил какой-то узел, его выбрасывают, заменяют новым. Капризничает машина — давай другую. И уж двигатели-то у них заменяли не члены экипажа в полевых условиях, а производилось это на стационарных ремонтных предприятиях, на фирме. Повозились американцы с мотором и запнулись: не смогли снять шплинты с узлов крепления двигателя. Так оные шплинты расположены, что добраться до них было действительно почти невозможно. Не помогла даже электродрель. Янки вновь забили тревогу: наступила ночь, утром вылет, а дело на мертвой точке. Представители американской делегации официально обратились к советской делегации: помогите! Любой ценой!

Командующий Черноморским флотом вызвал командующего авиацией флота. Тот, в свою очередь, майора Деменкова.

— Николай Иванович, справишься?

— Они сами с усами. Не доверяют.

— Сверху приказано. Срок — до рассвета.

— Тогда не будем терять время, — ответил майор.

У него предусмотрительно подготовлен был подъемный кран и необходимые материалы. Осмотрел все четыре шплинта. Нет, к ним не подступишься. Однако до гаек, через которые проходили шплинты, можно было дотянуться ключом. Деменков выбрал гаечный ключ помассивней, хоть и не без труда, но зацепил гайку, чтобы «срубить» ее вместе со шплинтом.

— Вы не знаете нашу сталь, она не поддастся, — сказал шеф-пилот.

Николай Иванович только усмехнулся в ответ: он-то не знает?! Слабое представление у служителя «Священной коровы» о русских авиаспециалистах, три с половиной года ремонтировавших, восстанавливавших самолеты в условиях войны, то есть почти без всяких условий: в аэродромных походных мастерских, в разрушенных цехах, а то и просто в сараях, в колхозных кузнях. Искалеченные машины вновь превращались в полноценные летательные аппараты, в истребители и бомбардировщики. Чего стоила одна лишь битва за господство в воздухе в 1943 году над «Голубой линией» — над Кубанью, над Таманским полуостровом, над Керчью! Бои непрерывные, на истощение, на полный моральный и физический износ, на уничтожение. Лучшие летчики и с той, и с другой стороны плюхали на аэродромы искореженные, иссеченные снарядами и пулями обгорелые груды металлолома. Из них, из ничего, опять делали самолеты и отправляли навстречу противнику. И пересилили, одолели немецких асов, немецкую технику, добились-таки перелома, превосходства над вражеской авиацией.

Довелось Деменкову восстанавливать не только ниши МиГи, Илы и Яки, но и машины самых разных конструкций, в том числе и заокеанские с такими устрашающими названиями, как «Томагавк» или «Аэрокобра». Ну, названиями-то немцев не запугать, а сами машины, присланные нам, оставляли желать много лучшего, наши летчики всячески открещивались от них, предпочитая отечественные истребители и штурмовики. Ироническую песенку кто-то сложил:

Аэрокобра — чудесная машина, Аэрокобра — вся в тумблерах кабина,
Аэрокобра — механики кругом, Моторчики завоют, как сумасшедший дом.

В бою простой, надежный самолет гораздо предпочтительней шумного «сумасшедшего дома». А вот транспортные «дугласы» и тяжелые бомбардировщики у американцев были хорошие, тут ничего не скажешь.

Деменков примерился. Тяжелый удар по гаечному ключу был точным и резким, шплинт снесло словно острейшей бритвой. И никаких зазубрин или царапин, никаких повреждений возле него. То же самое произошло и с тремя другими шплинтами. Остальное, как говорится, было делом техники, в данном случае делом наших и американских авиатехников. Один мотор сняли, другой поставили. Затем, как положено, опробовали все двигатели, «вывели на режим», взлетели. Сделав несколько кругов над аэродромом, «Священная корова» приземлилась. И — никаких замечаний.

В пять ноль-ноль майор Деменков доложил командующему авиацией Черноморского флота о том, что самолет американского президента готов

и испытан. Задержки не будет. Сообщение стремительно полетело вверх по инстанциям, вызывая облегчение и удовлетворение у должностных лиц. Обрадован, доволен был сам президент Рузвельт. Настолько доволен, что пожелал перед вылетом увидеть умельца и лично поблагодарить его. Николай Иванович едва прилег после бессонной ночи, как его подняли на ноги, посадили в автомобиль.

Русский майор Деменков оказался последним военным человеком, который удостоился рукопожатия и благодарственных слов великого американского президента. Вскоре после возвращения Рузвельта на родную землю у него обострилась застарелая болезнь и он скончался, к глубокому огорчению не только соотечественников, но и тех, кто ценил и уважал его, как ценил и уважал Иосиф Виссарионович Сталин.

3

Во время Ялтинской конференции и после нее Иосиф Виссарионович впервые за всю войну заметно отодвинулся от непосредственного руководства ходом боевых действий. А если выразиться точнее, перестал вникать в многочисленные детали-подробности. Осуществлял общее руководство, что вообще-то и положено Верховному главнокомандующему. Причины понятны. Магистраль проложена, ближайшие станции обозначены, опытные исполнители проинструктированы: пусть действуют сами, а если собьются с пути или застрянут — поправим, подскажем. Сталин в значительной степени жил уже тем, что будет потом, после Берлина, после капитуляции Германии. В военном отношении — ликвидация очага войны на востоке, где Япония держала под ружьем более 7 миллионов солдат и офицеров, успешно противостоявших нашим союзникам. 30 тысяч боевых самолетов и около 500 боевых кораблей защищали подступы к островной державе. А у нас создавалось Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, возглавлял которое, пока еще неофициально, уважаемый маршал Александр Михайлович Василевский, недавно оставивший пост начальника Генерального штаба, но введенный в состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

5 апреля 1945 года Советское правительство заявило о денонсировании пакта о нейтралитете между Японией и СССР. Это был не просто дипломатический шаг, подтверждавший верность союзническому долгу. Сталин пустые угрозы не расточал, в мире знали обоснованность его заявлений, за ними обязательно стояли конкретные поступки, при необходимости тщательно скрываемые, но всегда весомые. Словоблудием воздух не сотрясал. В том же апреле маршал Василевский прямо с заводов отправил на восток более 600 новейших танков, для замены там устаревшей техники. Наши войска еще сражались на Одере, а четыре общевойсковые армии, высвободившиеся в Прибалтике и на других участках, уже грузились в эшелоны, отправлявшиеся через всю страну на Амур и к берегам Тихого океана.

Быстро нарастало количество новых, полумирных и мирных забот. Развертывалась весенняя посевная, особенно трудно проходила она в освобожденных районах, где поля надо было очищать от мин и осколков, от неразорвавшихся боеприпасов, захоранивать останки погибших. Везде нехватка рабочих рук, почти полное отсутствие сельскохозяйственных

машин. Не успели вернуть с фронта к посевной хотя бы часть мужчин пожилого возраста, теперь надеялись демобилизовать их к уборочной.

С востока на запад возвращались на руины и пепелища промышленные предприятия, оставив в районах эвакуации созданные там и обосновавшиеся заводы и фабрики. Где брать специалистов, сырье, энергию, стройматериалы, транспорт?! Захлестывала лавина дел! И ведь справлялись. У того же Сталина при всех военных, экономических, политических заботах хватало сил и интереса самому заниматься созданием будущего киногорода — студии Мосфильм, закладкой большого Ботанического сада в Останкино… На восторженном победном подъеме жила страна, Иосиф Виссарионович сетовал лишь на то, что в сутках всего двадцать четыре часа, к тому же пять приходится тратить на сон, чтобы не выдохнуться, не потерять рабочую форму. Ему ведь шел шестьдесят шестой.

Успехи поднимали настроение, нивелировали усталость, накопившуюся в тяжелые военные годы: забывался возраст, отметались болезни. Иосиф Виссарионович даже внешне помолодел, хотя, конечно, стал уже совершенно седым. И весна взбадривала. Состояние у Иосифа Виссарионовича было очень хорошее, на редкость ровное, он шутил, охотно воспринимал шутки других, чаще и без внутренней напряженности общался с новыми для него людьми, и это не было ему в тягость. Его добродушие или даже великодушие возросло до такой степени, что он способен был прощать не только оступившихся сотоварищей, но даже и врагов нашей державы. Столь раскованным и уверенным он, пожалуй, не чувствовал себя никогда раньше и не будет, к сожалению, чувствовать потом. Победная весна, победный год — это время его самого высокого взлета. Нашего взлета. Поскольку и я, под влиянием тех же обстоятельств, помолодел и взбодрился не менее, чем Иосиф Виссарионович, и как-то само собой вернулась прежняя надобность (и возможность) моего присутствия там, где Сталину нужен был «свой глаз». Без всяких возражений с моей стороны. Я опять, как в первый, самый трудный период войны, готов был к любым поездкам, но теперь уже не только в силу необходимости, а даже из-за собственного интереса, не считаясь с возрастными трудностями (простите, но меня «растрясало» в дороге), со всевозможными опасностями. Разве откажешь себе в удовольствии стать свидетелем величайших исторических событий?! К примеру — не каждое десятилетие и даже не в каждый век русские войска берут немецкий город Берлин. Году этак в 1750-м, во время Семилетней войны, генерал-фельдмаршал Шувалов изрек: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно!» — и с такими словами принял ключ от поверженного населенного пункта. Ну, насчет ключа от городских ворот, преподнесенного на бархатной подушечке, мы надежд не питали — не та эпоха, но стать очевидцем издыхания самой бесчеловечной в истории империи — это, согласитесь, такое событие, ради которого можно рискнуть и здоровьем, и самой жизнью. Впрочем, о жизни, как и большинство людей, привыкших к войне, я не особенно-то и думал — дело случая. Здоровьишко бы не подвело.

Когда Иосиф Виссарионович в очередной, и, как оказалось, в последний раз предложил мне отправиться на фронт, на запад, я воспринял это как должное. Но чтобы понятней были особенности сей чрезвычайной командировки, надобно сказать о некоторых предшествовавших событиях. В самом конце марта 1945 года Сталин получил сообщение от

доброжелателя с запада о том, что представители наших дорогих союзничков, вопреки решениям Ялтинской конференции, ведут закулисные переговоры с немцами. Если и не о сепаратном мире, то, во всяком случае, о том, чтобы гитлеровцы, продолжая сражаться с русскими, сложили бы оружие перед англо-американскими войсками, позволив им быстро оккупировать значительную часть Германии вместе с Берлином.

Сообщение, поступившее по линии политической разведки Андрея Андреевича Андреева, или по линии личной разведки Сталина, как именовали ее те, кто имел некоторое представление о ней, сомнений не вызывало. Известно, что летом 1943 года официально прекратил свое существование Коминтерн, но многие давние надежные связи с единомышленниками в зарубежных странах остались и даже расширились благодаря нашим военно-политическим успехам. Коммунистическое и социалистическое движение нарастало во всем мире. Сведения, полученные Андреевым, косвенно подтверждались другими источниками да и реальной действительностью: сопротивление немцев на западе ослабело, гитлеровцы перебрасывали свои войска на восток, против нас. В такой обстановке нельзя было ограничиться соответствующим демаршем перед руководством союзных держав, требовались меры более решительные и действенные.

На 1 апреля в Москву были вызваны командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Жуков и командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев. В Ставке Верховного главнокомандующего были заслушаны их сообщения о готовности войск к наступлению на Берлин. Начальник Генерального штаба Антонов доложил об общем плане предстоящей операции. Если сказать очень коротко, замысел выглядел так. Главная роль отводилась Жукову. Его фронт, прорвав вражескую оборону, штурмовал город, одновременно обтекая его, создавая «внутреннее кольцо» окружения. Южнее города, изолируя берлинскую группировку от других фашистских войск, наступал фронт Конева, имея цель стремительно выдвинуться далеко на запад, на рубеж реки Эльбы в широкой полосе от Дрездена до Магдебурга.

Это было бы вторым, то есть «внешним кольцом» окружения, отрезавшим берлинскую группировку от всякой поддержки и помощи с названного направления. При этом имелось в виду, что в случае больших трудностей у Жукова маршал Конев повернет две свои танковые армии с юга непосредственно на Берлин.

С севера операцию обеспечивал 2-й Белорусский фронт Рокоссовского, очищавший от немцев Балтийское побережье и территорию вдоль нижнего течения Эльбы. Таким образом, Жуков, имея надежные фланги и, более того, даже с запада по рубежу Эльбы прикрытый как от немецких войск, так и от наших союзников, мог сосредоточиться на одном — на овладении Берлином. Это была задача не только почетная, но и весьма трудная. Для защиты огромного города немцы имели более миллиона солдат и офицеров, большое количество укреплений, военной техники. Одних лишь зенитных орудий, способных вести огонь по наземным целям, в районе Берлина было около шестисот, не говоря уж о танках, о полевой артиллерии, о фаустниках и всем прочем, помноженном на мастерство и стойкость немецких бойцов, да еще и на фанатизм защитников собственной столицы. Планы, представленные Антоновым, Жуковым и Коневым, Верховный главнокомандующий утвердил практически без

изменений. Начать наступление решено было 16 апреля. Прощаясь с маршалами, Сталин сказал:

— Сил у вас достаточно. Резервы есть. Обстановка ясна. Остальное решайте у себя на местах… Желательно преподнести хороший подарок нашему народу к празднику Первого мая. Наш народ заслуживает такого большого подарка.

4

Никто не застрахован от неприятностей, от срывов, особенно на войне, где постоянно присутствует реальная сила, генерирующая условия для неудач противостоящей стороны и использующая эти условия при первой возможности, едва соперник просчитается, допустит сомнительный шаг. А ведь споткнуться-то можно даже на ровном месте.

Для наступления на вражескую столицу Георгий Константинович Жуков имел такие возможности, какими не располагал никогда прежде. Превосходство над противником в людях и технике, высокий боевой дух опытных войск, почти полная свобода действий — до Бога высоко, до Кремля далеко. Да и утвержденный Ставкой план был хорош… Многими страницами раньше, рассказывая о Московской битве, я привел перечень армий, входивших тогда у Жукова в состав Западного фронта. Любопытно, что и теперь, под Берлином, количество воинских объединений было примерно таким же, основу 1-го Белорусского фронта составляли десять армий, но качественные изменения были, конечно, разительны. Насыщенность техникой, особенно артиллерией, танками, авиацией возросла, как говорят математики, на порядок. Автоматическим оружием — еще больше. Под Москвой каждая наша армия состояла из нескольких дивизий, нескольких бригад, частей усиления и, по существу, являла собой стрелковый корпус. Теперь же, когда корпусное звено у нас было восстановлено, армия имела обычно три корпуса, то есть в среднем девять дивизий с корпусными и армейскими частями усиления. Причем усиливались армии не только батальонами или полками, но и танковыми и артиллерийскими бригадами, дивизиями, даже целыми корпусами. Совсем другой счет. Ко всему прочему, в сражении под Москвой армии Жукова растянуты были на шестьсот километров: не то что взглядом — мысленно охватить трудно. Теперь же Георгий Константинович имел возможность сосредоточить свои силы в полосе, равной примерно двумстам километрам. Давайте и в этот раз хотя бы бегло посмотрим на его боевые порядки, перечисляя воинские объединения, как принято, сверху вниз, с севера на юг.

61-я армия давно уже знакомого читателям Павла Алексеевича Белова занимала крайний правый фланг 1-го Белорусского фронта, смыкаясь с левым флангом 2-го Белорусского фронта. А стыки, как известно, — места трудные и опасные, сбережение их не всякому доверяют. 61-я армия, поспешно созданная на южных подступах к нашей столице, первое время не привлекала к себе особого внимания. Долго стояла в обороне в минимальном составе. Белов, после своих громких подвигов «брошенный» на эту армию ревнивым к славе Жуковым, сетовал на то, что закисает в бездействии — и это в напряженное время, в сорок втором, в первой половине сорок третьего года. До самого Сталина эти сетования дошли, вызвав определенное недовольство Иосифа Виссарионовича, — об этом уже говорилось.

Но вот спущен был курок и пошла 61-я победным маршем на запад. Павел Алексеевич Белов, герой Московской битвы, стал героем форсирования Днепра. Переправлял свою армию через Буг, через Вислу, освобождая Брест и Варшаву. И вот теперь оказался северо-восточное Берлина. Ставя ему задачу, закадычный соперник Жора, он же маршал Жуков, неофициально предупредил (или попросил) старого друга-кавалериста: «Ты, Паша, под занавес разгуляйся, как душа просит, но за два пункта головой отвечаешь, отсеку — не пожалею. Стык нашего фронта с фронтом Кости держи так плотно, чтобы ни одного зазора, чтобы немец штыка нигде не проткнул, а я чтобы на север не смотрел и в уме не держал. И второе. Выйди на Эльбу первым, хоть на час, но опереди союзничков. Чтобы любой американец, который доберется до реки, увидел бы на восточном берегу наш красный флаг. А в остальном как хочешь. Гуляйте, ребята, как душа просит. Чать заслужили».

Что касается «гулянья», то Павел Алексеевич, точно определив для своих войск рубежи возможного и допустимого, в смысле боевых действий позволил себе такую же свободу — рискованность, какие были под Москвой: рванул на запад, к Эльбе, увлекая за собой, как когда-то увлекал нашу пехоту, польские дивизии, действовавшие южнее его.

1-я армия Войска Польского, зародившаяся в 1943 году в палаточном городке на Рязанщине после того, как сбежали в Иран формирования генерала Андерса, — эта армия к концу войны являла собой крепкий орешек. От Оки до Одера прошла она тяжелыми фронтовыми дорогами, и вот впереди была Эльба. Передав часть своих испытанных кадров в новую, только что созданную 2-ю армию Войска Польского, 1-я армия уступала соседям по силам и средствам, но отнюдь не по надежности и боевому духу. А ведущим, направляющим соседом у нее была, повторяю, наша 61-я армия, с которой поляки хорошо и привычно взаимодействовали. При этом опять же немалое значение имела сама личность генерала Белова. Не знаю, чего тут больше: случайного или закономерного, однако польская армия часто оказывалась рядом с армией Белова. Бок о бок сражались в Польше, освобождали Варшаву. Жуков, что ли, старался держать их вместе, учитывая некоторые особенности Павла Алексеевича, его семьи? После гражданской войны в Красной Армии началось увлечение эсперанто — искусственным языком международного общения. Поветрие это шло сверху от апологетов мировой пролетарской революции, в том числе от Троцкого и его сторонников. И вообще: командир, выучивший какой-либо язык и сдавший экзамен на звание военного переводчика, получал не только возможность служебного роста, но и вполне приличную добавку к денежному содержанию. Павел Алексеевич Белов, избежав увлечения эсперанто, взялся за польский язык и с помощью своей жены — полячки Евгении Казимировны овладел им не только на специально-военном, но и на бытовом уровне. Познакомился с польской историей, культурой, обычаями. Польские коллеги ценили это, общались с генералом Беловым куда как охотней, чем с другими нашими товарищами. Быстро и безболезненно сглаживались возникавшие противоречия. Тут положение было прочным.

47-я армия, столь же славная, как и многие другие наши воинские объединения, однако с незавидной судьбой: неудачниками бывают не только отдельные люди, но и целые коллективы. Создалась она летом сорок первого года в Закавказском военном округе для прикрытия границы между Советским Союзом и Ираном. А использовали ее для

десантирования в Крыму. Там она и была разгромлена первый раз весной сорок второго года при большой нашей неудаче на Керченском полуострове. Существенный «вклад» в нее внес приснопамятный деятель Мехлис. На Тамань удалось эвакуировать лишь управление армии да разрозненные подразделения. Справедливость требует сказать, что 47-я участвовала затем во многих крупнейших сражениях: под Новороссийском и на Северном Кавказе, на Левобережной Украине, на Буге, на Висле, проявила себя при ликвидации Восточно-померанской группировки. Но всегда оставалась как-то в тени, на вторых ролях, состав ее многократно менялся, по сути, стабильным оставалось только само армейское управление, которое и использовали там, где возникала надобность. 47-я поставила своеобразный рекорд: за неполных четыре года в ней сменилось пятнадцать командующих. Среди них были и довольно известные, такие, как генерал А. А. Гречко, как генерал К. Н. Леселидзе… Но представьте себе, что будет, к примеру, с колхозом или с заводом, где каждые несколько месяцев меняется руководитель, приходит новый начальник со своими знаниями, со своим опытом и характером?! А ведь армия — не колхоз из нескольких деревень, армия — сложная структура, насчитывающая в среднем от 30 до 90 тысяч человек с разнообразной техникой. Стабильность в этом деле очень важна. Все тот же Павел Алексеевич Белов как принял летом сорок второго года под Москвой свою 61-ю, так и довел ее до Берлина.

Вместе с другими войсками 47-я армия шаг за шагом продвигалась на запад и волею судьбы оказалась в конце войны на самом главном направлении. Сразу скажу: сражалась она у стен вражеской столицы не лучше, но и не хуже других, несла потери, к тому же ее, малозаметную, «растаскивали» для усиления более известных и авторитетных соседей. Противостоять этому очередной командарм генерал-лейтенант Ф. И. Перхорович не смог. И армия сошла на нет, словно бы растворилась, исчезла, почти не оставив следа в истории знаменитого Берлинского сражения.[87]

3-я ударная армия, которую после удаления генерала Симоняка возглавил герой приграничных боев и Московской битвы Василий Иванович Кузнецов, была хорошо сколочена, полностью укомплектована, сильна. Она пришла к Берлину из самого центра России, от истоков Волги. О ней речь впереди.

5-я ударная армия генерал-полковника Н. Э. Берзарина, столь же сильная, как и ее сосед, тоже пришла от великой Волги-реки, но не от ее истоков, а от устья, из южных степей. До гитлеровского логова ей теперь рукой подать.

8-я гвардейская армия (бывшая 62-я) в представлении не нуждается. Под руководством Василия Ивановича Чуйкова она особо отличилась в боях за Сталинград. Этот же командарм довел ее до Берлина. Рядом с 8-й гвардейской действовала 69-я армия, обеспечивающая с юга наступление главных сил маршала Жукова.

33-я армия прикрывала стык с 1-м Украинским фронтом маршала Конева.

Такова была первая линия. При этом наступать непосредственно на Берлин должны были не все общевойсковые армии, а лишь четыре из них: 47-я, 3-я ударная, 5-я ударная и 8-я гвардейская. После того, как они взломают вражескую оборону, развить их успех должны были 1-я гвардейская танковая армия генерала М. Е. Катукова (выросшая из 1-й

гвардейской танковой бригады, родившейся под Москвой в боях под Орлом и на Волоколамском шоссе) и 2-я гвардейская танковая армия генерала С. И. Богданова. Во втором эшелоне фронта, в резерве, находилась еще одна общевойсковая армия, 3-я армия генерала Александра Васильевича Горбатова, известного своеволием и упрямством. Его, как Рокоссовского, Букштыновича и многих других военачальников, не сломили месяцы, проведенные в ежовских застенках. Каким был, таким и остался. Даже Сталин, заслышав об очередных эскападах Александра Васильевича, отмахивался с усмешкой: «Горбатова только могила исправит».

Действия наземных сил 1-го Белорусского фронта прикрывали и поддерживали две воздушные армии: 16-я и 18-я. Кроме того, «под рукой» у Жукова находились несколько танковых корпусов, два гвардейских кавалерийских корпуса и множество других отдельных полков, бригад, дивизий усиления: артиллерийских, зенитных, инженерных… Перечислять их нет смысла, и без того ясно, какой мощью располагал Георгий Константинович для того, чтобы выполнить приказ Ставки: за две недели овладеть Берлином, всем центром Германии, выйти на Эльбу и поприветствовать там наших союзничков, поспешавших с запада. И как ни парадоксально, а именно сознание своего могущества, своего всестороннего превосходства над противником, послужило, на мой взгляд, корнем той ошибки, которую допустил тогда Жуков. Чрезмерная самоуверенность привела его к срыву как раз в той области военного искусства, в которой он был особенно умудрен, которую любил и которой занимался, по его же словам, особенно охотно — в тактике. А точнее — на зыбком рубеже, где тактика смыкается с оперативным мастерством, проявляясь его весомым составляющим фактором.

В самые трудные дни войны Жуков всегда умел собраться, сосредоточиться, проявить мужество и железную силу воли, добивался успеха даже там, где положение представлялось совершенно безнадежным. А тут, у порога вражеской столицы, в благоприятной обстановке, взял да и расслабился, заблагодушествовал. Думал, наверно, не столько о том, как лучше добиться победы, в которой, впрочем, никто уже не сомневался, сколько об эффекте, о торжественности при добивании фашизма. Талантливые люди обычно не лишены артистизма, тяготеют к зрелищности. Иногда, грубо говоря, к показухе. А от показухи один шаг до конфуза.

Войска, значит, развернулись на исходных рубежах, готовые перейти в сокрушающее наступление. Обычно артиллерийско-авиационную подготовку, да и саму атаку, начинают утром, чтобы активная сторона имела в запасе для развития боя световой день. А на этот раз Жуков повелел нанести удар по врагу на всем фронте не на заре, а в середине ночи на 16 апреля. Для чего? А для того, чтобы зрелище получилось повпечатлительнее, поярче. И действительно эффект был великолепен. На подступах к Берлину будто взорвался огромный огнедышащий вулкан. В полосе четырех армий разом громыхнули тысячи артиллерийских стволов, ударили «катюши», минометы. На тридцать минут они полностью смели ночную мглу. Затем — мрак, оглушающая тишина. Взвились гроздья ракет, и на протяжении тридцати километров ночь превратилась в белый день, это вспыхнули 140 мощных зенитных прожекторов, освещавших наземные цели. Вновь загрохотала артиллерия, и под ее прикрытием в атаку на ослепленных немцев двинулась пехота и танки.

Жуков любовался началом наступления вместе с Чуйковым, специально выехав на наблюдательный пункт командарма 8-й гвардейской. Картина была, конечно, потрясающая, единственная в истории войн всех времен и народов. (Нечто подобное было применено в войсках Ватутина при освобождении Киева осенью 1943 года. Но там были совсем другие возможности, там танки дерзко пошли в ночную атаку с включенными фарами-прожекторами, ослепляя врага.) Представляю, как рад и горд был Георгий Константинович, следя вместе с другими организаторами исторического штурма за продвижением наших войск, за волнами наших бомбардировщиков, расчищавших дорогу пехоте. Да что там говорить! В то утро и в тот день авиация 1-го Белорусского фронта совершила более шести тысяч самолетовылетов, а артиллерия наша обрушила на позиции гитлеровцев 100 тысяч тонн смертоносного металла: для перевозки такого количества снарядов и мин требовалось 2500 вагонов.[88]

Недолго, однако, ликовали наши военачальники. Люди опытные, много повидавшие, они хорошо знали некоторые практические истины, в том числе и такую: как ни «обрабатывай» снарядами и бомбами заранее подготовленную оборону противника, как ни круши артиллерией и авиацией его рубежи, все равно какое-то количество обороняющихся, хотя бы треть, спасется в землянках, в блиндажах, в капопирах, в дотах и, малость очухавшись, встретит наступающие войска огнем. А из тыла подойдут подразделения для контратак. Но на этот раз ничего подобного не наблюдалось.

Наши наступающие части шли за огневым валом артиллерии, преодолевая различные трудности, однако это были трудности не первостепенные, а особого рода. Дымилась выжженная реактивными снарядами земля, исполосованная траншеями и ходами сообщений, изрытая воронками. Преодолевали остатки заграждений из колючей проволоки, разметанные нашими снарядами, многочисленные минные поля. Но это сопротивление, так сказать, пассивное, активного же противодействия почти не было. Кое-где давали знать о себе отдельные очаги, огрызаясь пулеметными очередями или огнем пушек небольшого калибра, их сразу подавляли. А серьезного, организованного сопротивления не было. Почему?

Обстановка прояснилась ближе к полудню. Наступающие войска, преодолев первую и вторую оборонительные полосы противника, продвинулись на разных направлениях от шести до восьми километров, то есть прошли расстояние от исходных рубежей до Зееловских высот, до длинной гряды, господствовавшей над окружающей местностью: за этой грядой с крутыми склонами, труднодоступными для танков, начиналось плато, простиравшееся до Берлина. Вот на эту стену, насыщенную всеми видами вооружения и практически не пострадавшую при мощной артиллерийской подготовке, наткнулись наши бойцы. Попробовали проломить с ходу — не получилось. Подтянули вторые эшелоны, опять принялись атаковать — результат тот же. Губительный встречный огонь, большие потери. А наши артиллеристы не видели позиций противника за гребнем высот, стреляли «по площади», что дает, как известно, малые результаты.

Каким же образом мы обмишулились?.. Немцы, безусловно, предполагали, что скоро мы начнем наступление на Берлин. Но когда? Как отразить штурм русских? — вот над чем размышляли гитлеровские генералы. Есть известное правило: активная сторона за некоторое время

до начала операции проводит по всей линии пробные атаки, так называемую разведку боем, дабы уточишь линию вражеской обороны, выявить состав сил, засечь огневые точки, определить цели для своей артиллерии. Так было и в этот раз. Но Жуков, да и командующие армиями, — все они «переборщили» от избытка имевшихся у них возможностей. Разведка боем началась в полосе четырех армий 14 апреля, то есть за двое суток до общего наступления. Пошли вперед не взводы, не роты, а целые батальоны с саперами, с танками непосредственной поддержки пехоты. При сильном артиллерийском прикрытии. И таких батальонов, а точнее боевых групп, было более тридцати. Они не только «вскрыли» первую полосу немецкой обороны, но в некоторых местах вклинились во вражеские позиции.

Немецкое командование сделало соответствующие выводы. Если только в разведку боем брошены такие силы, так интенсивно работает артиллерия, то каков же будет сам штурм? И под покровом ночи, под прикрытием туманов оттянуло значительную часть людей и техники с передовых линий на тыловой рубеж, в заранее подготовленные укрепления на Зееловских высотах. Так что наш эффектный мощный удар в ночь на 16 апреля был нанесен почти по пустому месту. Наши войска без особого труда вышли к высотам и, наткнувшись на жесткое сопротивление, ввязались в кровопролитные бои, грозившие стать затяжными. По существу, штурм требовалось организовывать заново: выявлять систему вражеского огня, подтягивать резервы, выдвигать артиллерию, подвозить боеприпасы…

Во второй половине дня Георгий Константинович Жуков, проанализировав ситуацию, сообщил Сталину по телефону ВЧ о том, что обстановка усложнилась. Однако доклад его звучал довольно оптимистически: немцы, мол, бросили из Берлина на Зееловские высоты крупные подкрепления, нам выгоднее перемалывать живую силу противника в полевых условиях, а не в городских укрытиях… Может, оно и так, но были утрачены внезапность и темп, поставлен под угрозу замысел операции. Да и сам Жуков в следующем докладе об относительной вышеупомянутой выгоде уже не говорил, сообщив о том, что сегодня, 16 апреля, прорвать Зееловский рубеж не удастся. Но завтра — обязательно.

Я видел, как нарастает раздражение Сталина, несколько раз пытался отвлечь его, порадовать успехами наших войск на других участках советско-германского фронта. Не помогало. И тогда поздно вечером, незадолго до ночного итогового доклада начальника Генштаба, я позволил себе обратиться к Иосифу Виссарионовичу с просьбой не давить на Жукова, не торопить его, а главное, не ставить в пример маршала Конева, который, не имея перед собой столь сильной группировки, как Берлинская, выполнил план: прорвал вражескую оборону и вывел свои армии на оперативный простор.

— Опасаетесь, что это слишком уязвит нашего Наполеона Македонского? — сразу понял Иосиф Виссарионович. — Он загорячится, сорвется, наделает глупостей?

— Вы же знаете его самолюбие, его характер. Он пойдет на все, чтобы быть первым.

— Хоть на еже, но сверху, — проворчал Сталин.

— Он ни с чем не посчитается и пойдет напролом.

— Жуков уже сорвался, — резко двинул правой рукой Сталин. — Он бросил на Зееловские высоты танковую армию Катукова. В лоб на крутые склоны, на минные поля, на противотанковые препятствия…

Это было новостью для меня: Георгий Константинович решился на крайнюю меру! Гвардейские танковые армии Богданова и Катукова должны были стремительно развивать наступление на Берлин лишь после того, как пехота проложит им путь, взломав вражеские рубежи… Находясь в некотором смятении, я все же сделал еще один шаг для того, чтобы предотвратить взрыв негодования Иосифа Виссарионовича, последствия которого были бы непредсказуемыми. Напомнил:

— В ночь на второе апреля, подписывая директиву Ставки о проведении Берлинской операции, вы заявили Жукову и Коневу: «Действуйте, как считаете нужным, на месте видней». То же самое вы повторили в телефонном разговоре с Жуковым в ночь на четырнадцатое апреля.

— Николай Алексеевич, а вы, оказывается, буквоед и начетчик… Каждое лыко в строку.

— А Верховный главнокомандующий не мальчик, который может бросать слова на ветер, — парировал я. — Вы полностью развязали Жукову и Коневу руки, доверив им принимать решения по собственному разумению, и сейчас главное — не мешать им, не вносить сумятицу.

— Даже так… Совсем без Верховного?

— Сами разберутся, сами исправят. Им ведь действительно на месте видней, чем отсюда, из Москвы.

Меня поддержал генерал Антонов, явившийся с итоговым докладом. События в общем-то развивались довольно успешно. Застрял Жуков, зато Конев продвинулся вперед, и теперь его танковые объединения можно было перенацелить на подступы к Берлину с юго-востока и с юга. Расстояние, правда, великовато, но перед 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями генералов Рыбалко и Лелюшенко не было крупных вражеских сил и укрепленных рубежей. Сталин распорядился такой поворот произвести. И вроде бы успокоился. Присутствие уравновешенного, рассудительного Антонова, как и его предшественника по Генеральному штабу Василевского, всегда действовало на Иосифа Виссарионовича положительно. Последовавший затем телефонный разговор с Жуковым оказался вполне нормальным, хотя и не без колкостей.

— Товарищ Жуков, при разработке плана операции вы докладывали, что вашему фронту противостоит миллионная группировка.

— Так точно, товарищ Сталин. Но за прошедшее время она выросла тысяч на двести, в основном за счет фольксштурма.

— Если не изменяет память, вашему фронту было подано семь миллионов снарядов.

— Так точно. Семь миллионов, сто пятьдесят тысяч выстрелов.

— Значит, примерно по семь на одного немецкого вояку. Насколько я знаю, за сутки вы использовали миллион снарядов.

— Больше, но еще не подсчитано.

— Значит, если вы будете стрелять такими темпами и продвигаться с такой же скоростью, как сегодня, вам потребуется шесть-семь дней, чтобы достигнуть только окраин Берлина. Чего при этом не останется? Ни одного снаряда у вас или ни одного немца перед вами, на каждого из которых вы израсходуете по семь снарядов, не считая мин, авиабомб, патронов…

— Не беспокойтесь, всего хватит, — резко ответил Георгий Константинович. — И снарядов, и уж немцев тем более.

— А вы не сердитесь, вы лучше подумайте над этой арифметикой, — посоветовал Сталин и не удержался, подчеркнул уже известную Жукову новость: — Чтобы вам было легче, мы поворачиваем с юга на Берлин танковые армии от Конева… Желаю успеха…

Наутро Жуков, подтянув резервы, бросил на штурм Зееловских высот большие силы. Однако и немцев было много, они цепко держались на своих рубежах. Прорвать вражескую оборону 17 апреля, как обещал Георгий Константинович, не удалось, хотя кровопролитные бои продолжались непрерывно и днем, и ночью. Лишь на следующие сутки обозначился успех на нескольких направлениях. И только 19 апреля остатки вражеских войск начали отходить с Зееловских высот на внешний обвод Берлинского городского оборонительного района. Жуков, наконец, получил свободу маневра.

Почему я уделил столько места первым дням Берлинской операции? Да потому, что они принесли нам последнюю неудачу в той великой войне, а главное — неудачу обидную, случайную, происшедшую не от нашей слабости или неумения, а, наоборот, от ощущения собственной силы, чрезмерной уверенности в том, что мы просто обречены на успех. Но успех успеху рознь, в зависимости от цены. А цена такова: более трехсот тысяч воинов недосчитались мы после окончания битвы за вражескую столицу. Цифра, сопоставимая со всеми потерями американцев во Второй мировой войне. Осечка на Зееловских высотах отняла у нас трое суток, отодвинув день Победы. А каждые сутки той в общем-то удачной и даже замечательной Берлинской операции приносили нам (не говоря уж о немцах) весьма ощутимый урон: от 17 до 19 тысяч солдат и офицеров.[89]

Не хочу, чтобы меня обвинили в какой-то предвзятости по отношению к Жукову: с глубоким уважением относясь к нему, к его полководческому таланту, я при этом не считаю возможным замалчивать недостатки Георгия Константиновича, превращать его в непогрешимого. Тем более что он и не нуждается в чрезмерном восхвалении, у него достаточно мужества для того, чтобы публично признавать свои оплошности и срывы. Цитирую строки из его опубликованных воспоминаний:

«При подготовке операции мы несколько недооценивали сложность характера местности в районе Зееловских высот, где противник имел возможность организовать труднопреодолимую оборону. Находясь в 10–12 километрах от наших исходных рубежей, глубоко врывшись в землю, особенно за обратными скатами высот, противник смог уберечь свои силы и технику от огня нашей артиллерии и бомбардировок авиации. Правда, на подготовку Берлинской операции мы имели крайне ограниченное время, но и это не может служить оправданием.

Вину за недоработку вопроса прежде всего я должен взять на себя».

Это, подчеркиваю, оценка самого Жукова. К собственной персоне он был беспощаден почти так же, как и к другим. К нему неприменимы сопоставления, сравнения — плохой он или хороший. Он во всем сам по себе.

5

В разговорах по телефону Поскребышев всегда был до предела лаконичен: ни одного случайного слова. Вот и теперь:

— Николай Алексеевич, товарищ Сталин ожидает вас. Машина вышла.

На часах — поздний вечер. К концу войны Иосиф Виссарионович обычно не тревожил меня в такое время, считаясь с возрастом и памятуя, что он-то не только признанный орел, но еще и сова в смысле ночных бдений, а я если и не ласточка, то «птица», предпочитающая нормальный режим. Но вот ничего вроде бы из ряда вон выходящего не случилось, а он вызвал. Я оделся, ворча, и спустился по лестнице.

В машине обдумывал: почему и зачем? О чем мы говорили с ним накануне, каким поручением он озаботит меня? Разговор шел о кандидате на пост коменданта Берлина. В период Ялтинской конференции и после нее Сталин, как уже говорилось, несколько отдалился от конкретных военных дел. А я был последним, кто из близких ему людей вернулся с подступов к немецкой столице, с Одера, с 1-го Белорусского фронта, нацеленного на Берлин. Знал обстановку. По мнению Иосифа Виссарионовича, комендант главного города в центре Европы должен был соответствовать многообразным требованиям и в военном, и в хозяйственном, и, особенно, в политическом отношении. Сложное сочетание.

Начали мы тогда с командующих фронтами: Жуков, Рокоссовский, Конев. Иосиф Виссарионович, подумав, сказал: маршал — слишком много чести для побежденных, если комендантом даже нашей собственной столицы является генерал-лейтенант. И вообще у маршалов много других забот, они должны вести и выигрывать сражения. Для покоренной столицы достаточно генерала в должности командарма. Я согласился с таким подходом, присовокупив, что комендантом Берлина должен стать не человек со стороны, а тот, кто сейчас воюет там, кто достигнет немецкой столицы со своими дивизиями, дабы иметь авторитет и надежную поддержку: коменданту потребуются не только благие намерения, но и реальная сила.

Сталин назвал фамилию — командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков. Пришлось возразить: человек, конечно, достойный, но как воспримут его немцы? Герой Сталинграда Чуйков для них фигура известная, с карающим мечом в руке. Предвзятость, страх осложнят сотрудничество. Иосиф Виссарионович сказал, что время терпит, надо все хорошенько взвесить. С чем мы и расстались.

Сутки — достаточный срок, чтобы поразмышлять не только о кандидатуре «хозяина» немецкой столицы, но и вообще о «комендантской проблеме», которая оказалась далеко не простой. Пока мы освобождали свою территорию, у этой проблемы выделялась одна сторона — отвлечение людей из действующих войск. Конечно, назначить комендантом города, райцентра или железнодорожной станции можно было почти любого офицера в соответствующем звании, после определенного инструктажа. Но сколько их требовалось! На одну область 60–70 офицеров, а то и больше, да ведь каждому придавался как минимум комендантский взвод из 25–30 человек. Использовали для такой службы бойцов пожилого возраста, ограниченно-годных, поправлявшихся после госпиталей. Однако от такой практики пришлось отказаться уже при освобождении прибалтийских республик, где осталось много местных эсэсовцев, карателей, ушедших в подполье, скрывшихся в лесах и продолжавших борьбу, как и националисты-бандеровцы Западной Украины. Там даже усиленные комендатуры не всегда справлялись, приходилось привлекать войска НКВД.

Предвидя сложности, могущие возникнуть при освобождении зарубежных территорий, особенно Германии и ее сателлитов, Верховное Главнокомандование еще в конце лета 1944 года подготовило директиву командованию фронтов о заблаговременном формировании комендатур, предлагая выделять для этого опытных командиров и политработников, которые до войны были инженерами, агрономами, плановиками, учителями, экономистами, имели средне-техническое или высшее образование, желательно со знанием языка и особенностей того государства, где предстояло работать. Разрешалось брать специалистов не только из тыловых, резервных частей, госпиталей, но и непосредственно из действующих войск, с передовой. Вот комендант Берлина, к примеру, еще не был назначен, еще не определена была структура, которую он возглавит, а для будущей работы в немецкой столице уже готовились на 1-м Белорусском фронте около ста офицеров. Их, кстати, потребуется намного больше. Кроме городской комендатуры с солидным штатом, в Большом Берлине будут действовать еще 20 районных и 52 участковых комендатуры.

Вообще говоря, для наведения и поддержания строгого порядка на освобожденных территориях, для создания прочных тылов наших войск и надежных коммуникаций требовалось иметь комендатуры почти в каждом населенном пункте, на каждой железнодорожной станции, в узлах шоссейных дорог. А войска наши в 1945 году находились ни много ни мало на территориях десяти стран от Норвегии и Финляндии до Ирана, от Польши до Венгрии и Югославии. Представляете, каков размах, сколько нужно было личного состава для разного рода комендатур! Выделение людей для них, особенно офицеров, стало настоящим бедствием не только для дивизионного звена, где постоянно испытывалась нехватка комсостава, — это бедствие ощущали в корпусных и даже в армейских пределах. Только для того, чтобы возглавить каждую из районных комендатур венгерской столицы Будапешта, потребовалось десять майоров и подполковников, взятых с должностей командиров полков. А отбирать, подчеркиваю, предписано было офицеров наиболее образованных, опытных, то есть тех, кто особенно нужен был на передовой.

Существует известная закономерность: в большую длительную войну первыми вступают офицеры профессиональные, кадровые, они же и гибнут в первый трудный период, прикрывая мобилизацию, развертывание резервов, превращение войск мирного времени, войск «казарменных» в полевые, фронтовые войска. Завершает же длительные войны в основном командный состав, пришедший из запаса, с «гражданки», одолевавший служебную лестницу не выслугой лет, а жесточайшим отбором в боях. Таковых у нас к концу войны было более шестидесяти процентов, практически почти весь комсостав в звене рота-батальон. А ведь это основное звено, воплощающее замыслы и приказы начальства непосредственно на поле боя. Выше — уцелевшие кадровые офицеры, выросшие до полковничьих и даже до генеральских званий. Ниже молодые лейтенанты, «ваньки-взводные», быстроиспеченные в училищах и на курсах по короткой программе. Получалось, что массовый отбор офицеров в комендатуры осуществлялся как раз за счет среднего звена, заметно ослабляя его. Естественно, что командиры дивизий, корпусов, командующие армиями не очень-то стремились расстаться со своими лучшими кадрами, всячески старались придержать их, исхитрялись

«спихивать» тех, расставанье с которыми огорчений не доставляло. Так бывало на разных, даже на высоких, уровнях. Приведу случай не очень типичный в смысле воинского звания и положения, но характерный по сути.

Иван Терентьевич Замерцев — человек в военной среде довольно известный. Воспринимается по-разному. Упоминание о нем у одних вызывает улыбку, у других — хмурость и чертыхание. Естественно, человек — сочетание сложное, хотя, конечно, с уклоном в ту или другую сторону. Ничего дурного не желая сказать об Иване Терентьевиче, имевшем немало хороших качеств (он продукт, а мягче выражаясь, дитя своего времени), я выделю в основном лишь одну сторону его биографии — служебную. Лет до двадцати, до призыва в Красную Армию, Иван Замерцев не был знаком даже с азами грамоты. В этом отношении ум его представлял поле более девственное, чем просторная южнорусская степь, где он безмятежно пас скот. Армейским командирам и политработникам было над чем потрудиться, вспахивая целину. К счастью, парень оказался восприимчивым, смекалистым, с хитрецой, с практической хваткой. Привычен к тяготам — служба давалась легко. Ему помогли освоить таблицу умножения, научили читать и писать, хотя, конечно, освоить каллиграфию, а тем паче такие премудрости, как синтаксис и орфографию, было несколько поздновато. Зато сделался Иван Терентьевич хорошим пулеметчиком, выдвинулся в командиры отделения, был послан на курсы и без особых хлопот быстро зашагал вверх. Точка опоры у него была прочная — из бедняков, из пастухов: кто был ничем, тот станет всем.

С должности командира батальона Иван Терентьевич, набравшись духу, рванул в Москву, поступать в Военную академию. Почему бы и нет, если он надежный рабоче-крестьянский кадр, имевший полное право повторять известную фразу Семена Михайловича Буденного: «С меня партия человека сделала». Раз уж идет такая работа, такое деланье — чего же останавливаться, надо проталкиваться вперед. Однако в Москве начались курьезы. Как и следовало ожидать, кандидат в «академики» закономерно и с блеском полностью провалился на трех экзаменах. И хотя был несколько обескуражен, решил все же пойти на четвертый.

Требовалось решить задачу по взаимодействию стрелкового батальона с танками непосредственной поддержки пехоты. В ту пору менялись взгляды на этот вопрос, отрабатывались новые формы, и так совпало, что учения по новой методе проводились недавно, наряду с другими подразделениями, в батальоне, которым командовал Замерцев. Он и изложил, как было. Но оказался единственным в своей группе, кто провалился и в этот раз. Все решили задачу, руководствуясь прежними инструкциями и наставлениями, а Замерцев получил «неуд» за незнание оных либо за пренебрежение ими. Тут уж Иван Терентьевич взорвался, написал рапорт с просьбой послать его работу на консультацию специалистам бронетанковых сил. Тем самым, которые опробовали свои новации в войсках, в том числе и в батальоне Замерцева. Естественно, что отзыв поступил самый положительный. Было особо отмечено, что товарищ Замерцев — командир перспективный, передовой, быстро схватывающий и использующий достижения современной военной науки. Таким образом, Иван Терентьевич показал себя в группе поступавших единственным, кто шагал в ногу, а все остальные брели вразнобой. Случай получил известность, дошло до наркома Ворошилова, а может, и до самого

Сталина. Передового командира приняли на подготовительное отделение академии. Увы, он же оказался и единственным в своей группе, кому гранит науки пришелся не по зубам и кого через два или три года, теперь уже точно не помню, потребовалось от прогрызания оного гранита освободить и отправить из академии в Киевский военный округ для прохождения дальнейшей обычной службы.

Учитывая возможности Ивана Терентьевича, ему поручили возглавить один из укрепленных районов. Тогдашние УРы являли собой формирования неповторимо-своеобразные, наполовину военные, наполовину строительные, возводившие, маскировавшие и защищавшие приграничные оборонительные полосы, состоявшие из дотов, дзотов, капониров, траншей, линий связи, складов и тому подобного. А время было такое, что из-за неопределенности военно-политической обстановки (это всегда чревато крупными неприятностями) вышеозначенные работы велись ни шатко ни валко: на старой нашей границе сооружения остались без гарнизонов и разрушались, а на новых рубежах после освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии укрепрайоны только начинали осваиваться, обустраиваться, «врастать в землю».

На новой должности Иван Терентьевич проявил себя неплохим организатором, хозяйственная деятельность была ему по плечу. Удостаивался поощрений. Но вот грянула война, и недостроенный, недовооруженный, полуукомплектованный УР в первые же часы был сметен немцами, его отступавшие подразделения оказались в окружении, рассеялись, растворились. Сам же Иван Терентьевич, помотавшись по военным дорогам, в конце июля объявился в Днепропетровске, куда стекались остатки наших разбитых войск и где формировались новые соединения. Если помнит читатель, я в ту пору тоже обретался в тех же краях, выполняя поручения Верховного главнокомандующего. Видел, что происходило.

В Днепропетровске хватало людей для новых дивизий. Хуже было с вооружением. И совсем плохо с командным составом. Требовалось много, а где взять? И вот как подарок появляется Иван Терентьевич: полковник, учившийся в академии, даже малость повоевавший. К тому же человек, знакомый секретарю Днепропетровского обкома партии Л. И. Брежневу — ныне первому заместителю начальника Политуправления Южного фронта. Рекомендация — лучше некуда! Замерцева немедленно назначают командиром 255-й стрелковой дивизии, которая входит затем в 6-ю армию: эту армию, после того, как генерал Белов отказался покинуть свой кавалерийский корпус и принять ее, возглавил генерал Малиновский, сделав тем самым шаг к маршальским звездам. Уже тогда смог Родион Яковлевич оценить способности Ивана Терентьевича, определявшиеся в основном такими принципами: строго выполняй приказы и всегда будешь прав; воюй как все, держись посерединке, не выделяясь, не привлекая внимания начальства. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.

Прошел, как и все, «действуя в составе армии» долгий путь отступления: дивизия несколько раз обескровливалась, затем пополнялась. Но это ведь не только 255-я стрелковая, и соседи тоже. Трагедия случилась летом 1942 года, в предгорьях Кавказа. По неумению, по недосмотру командира дивизия была разбита, обращена в бегство и фактически перестала существовать. Командующий фронтом решил отдать виновника под суд, расстрелять: это полностью соответствовало

появившемуся тогда строгому приказу «Ни шагу назад». Однако в хаосе тех горячих дней Замерцева найти не смогли. Исчез полковник: то ли в госпитале он, то ли отозван стараниями высокопоставленных приятелей для другой службы. Объявился хитрец лишь тогда, когда изменилась ситуация, был назначен новый командующий фронтом, а новая метла метет по-своему. Уцелел Иван Терентьевич.

«Как и все», наступал он потом от Северного Кавказа до западной границы. Без особых успехов, но и без больших срывов. «Довольно счастлив был в товарищах своих, вакансии как раз открыты: из списка выключат иных, другие, смотришь, перебиты». Получил звание генерал-майора, стал командовать 11-м стрелковым корпусом, входившим в состав гвардейской армии генерал-полковника А. А. Гречко. Это был 4-й Украинский фронт, возглавляемый генерал-полковником И. Е. Петровым, а членом Военного совета являлся Л. З. Мехлис, известный своей вспыльчивостью, взбалмошностью, умением создавать конфликты. На новом посту Ивану Терентьевичу было легче, нежели на прежней должности. Меньше конкретных решений, меньше ответственности. Корпус, объединявший три стрелковые дивизии и части усиления, служил как бы промежуточным звеном между штабом армии и сражающимися войсками. Командование армии ставит задачи, командование корпуса «распределяет» эти задачи между дивизиями и контролирует исполнение. А главный спрос с тех, кто непосредственно осуществляет спущенные сверху приказы и распоряжения. Жилось Ивану Терентьевичу гораздо спокойнее. Но вот поручили генералу Замерцеву самостоятельно провести довольно сложную операцию, и заварил он такую кашу, что расхлебывать пришлось в Москве на самом высоком уровне.

Осенью 1944 года, когда командиры наших воинских соединений давно уж позабыли, как попадать в окружение, а сами гнали, окружали, уничтожали противника, 11-му стрелковому корпусу было приказано наступать параллельно Карпатам, отрезая пути отхода большой вражеской группировки из района Львова. Не вдаваясь в подробности, скажу главное: получилось так, что не Замерцев отрезал немцев, а они взяли его в кольцо, управление войсками было потеряно, с 271-й стрелковой дивизией не было связи четверо суток, и она, не зная обстановки, продолжала наступать на запад, в то время как немцы наступали на нее с тыла. Иван Терентьевич стал последним нашим генералом той войны, умудрившимся угодить в «мешок».

Командование помогло, соседи помогли — выручили из беды, но корпус понес значительные потери. 271-я стрелковая дивизия вышла из окружения по бездорожью, по лесам, утратив свою артиллерию, тыловые подразделения, обозы. Скандал! Член Военного совета фронта Мехлис поспешил сразу определить виновных, чтобы доложить «наверх» о принятых мерах. Приказал командира дивизии судить как изменника Родины, а командира корпуса Замерцева от должности отстранить, дело передать в прокуратуру. Но Иван Терентьевич не лыком шит: и практическую хватку имел, и друзей-приятелей в разных инстанциях. Припекло — надо крутиться. Срочно отправил в Москву объяснительную записку на имя заместителя Верховного главнокомандующего маршала Жукова. Копию — начальнику Генерального штаба Антонову, вместе с которым воевал на Северном Кавказе. Выиграл время на разбирательство. А вслед за бумагами и сам прибыл в столицу.

По просьбе Замерцева для выяснения обстоятельств на фронт был послан представитель Генштаба в звании полковника. А Иван Терентьевич, не ожидая результатов, нашел путь к самому Председателю Верховного Совета СССР. Михаил Иванович Калинин был тогда уже слаб здоровьем, плохо видел, на людях почти не появлялся, но вот «достучался» до него Замерцев. Добрый человек, Михаил Иванович всегда старался поступать «по справедливости», никого не обижая, особенно опекал выходцев из крестьян. А тут такой случай: бывший пастух, поднятый, обученный и взращенный народной властью, генеральских погонов достиг, воюет с первого дня. Ну, обмишулился малость, с кем не бывает. Тем более что людей-то вывел из окружения, сохранил, а пушки, машины, повозки — это все наживное.

Калинин позвонил Антонову. Тот, получив результаты расследования, на одном из докладов коротко сообщил о случившемся Сталину. В доброжелательном тоне. Упомянув при этом и Мехлиса. А фамилия эта после провалов в Крыму ничего, кроме раздражения, у Иосифа Виссарионовича не вызывала. Проворчал: «Опять крови требует… Мало ему крови… А этого окруженца отправьте с понижением. По вашему усмотрению».

Алексей Иннокентьевич Антонов почел за лучшее конфликтующие стороны развести и позаботился о том, чтобы Замерцева направили не на 4-й Украинский, а на 2-й Украинский фронт к маршалу Р. Я. Малиновскому, под командованием которого Иван Терентьевич воевал в 1941–1942 годах и который, естественно, лучше других знал способности ныне опального генерала. Обычно уравновешенный, богатырь Малиновский даже икнул от неожиданности, когда узнал, какой кадр прибыл в его распоряжение. Но раз прислан — генеральскую должность давать надо. А какую? Доверь ему войска, он и в третий раз под расстрельную статью угодит, а главное, опять может людей подвести. Пока суд да дело, Родион Яковлевич обременил Замерцева такими заботами, в которых тот не очень-то мог проявить лично себя. Назначил его заместителем командира 25-го гвардейского стрелкового корпуса, а затем — для исполнения особых поручений при командующем 7-й гвардейской армией (бывшей 64-й, оборонявшей Сталинград), при генерал-полковнике М. Г. Шумилове. А тут как раз подвернулся случай окончательно определиться с Иваном Терентьевичем.

Потребовался генерал на должность коменданта освобожденной от гитлеровцев венгерской столицы. Когда спросили Малиновского, тот сразу и даже с некоторой поспешностью назвал фамилию. И тепло распростился с давним знакомым, пожелав ему больших успехов на новом посту. Сам же Замерцев радости не проявил, понимая, что перемещается из знакомой сферы в иную: в военно-административную, в военно-дипломатическую, и, значит, с командирской карьерой покончено. Трудно, однако, угадать, на каком поприще человек окажется к месту, где раскроется весь его потенциал. Город Будапешт стал для Замерцева высшей точкой его взлета, там проявились его организационно-хозяйственные возможности, его умение общаться с простыми людьми. Как-то сразу комендант расположил к себе жителей столицы, они поверили в него, потянулись к нему. Полезным оказался, вероятно, этакий жизненный, бытовой практицизм Ивана Терентьевича.

К концу войны в Будапеште скопилось большое количество фашистских прислужников, чиновников и полицаев, да и просто всякой уголовщины,

спекулянтов и торгашей, бежавших сюда от Красной Армии из Польши, с Западной Украины, из Румынии и Болгарии. Осели в окруженном нами городе. После длительных боев в полуразрушенном Будапеште осталось много гитлеровцев, раненых и здоровых, укрывшихся в подвалах, на чердаках, в квартирах. Вся эта орава добывала еду, курево, одежду и все прочее с помощью оружия, выползая по ночам из своих щелей и терроризируя мирных жителей. Массовыми были грабежи, убийства, насилия. Советская комендатура не имела достаточно сил, чтобы навести порядок. Не поставишь же патрули на всех улицах, на всех перекрестках огромного, к тому же неосвещенного города, не возьмешь под охрану каждый дом, мрачные руины.

Генерал-майор Замерцев собрал в своем кабинете комендантов всех десяти городских районов Будапешта и их помощников. Обсуждали, что предпринять для помощи жителям. Иван Терентьевич помалкивал, щурился, мозговал. Потом предложил: «Пусть они орут». — «Кто?» — не поняли генерала. «Жители пусть орут». — «Как?» — «Громко. Во всю глотку. Стоят у окон, смотрят, где бандиты, и зовут патрулей».

На удивление полезным оказалось элементарное вроде бы предложение коменданта, доведенное до всего населения венгерской столицы. Представьте: ночь, темнота, настороженная тишина. Вдруг кто-то взывает о помощи, у кого-то ломают дверь или просто на пустой улице появились подозрительные фигуры. Человек, осознавший опасность, начинает кричать возле окна, хотя бы возле открытой форточки: «Пат-руль! Пат-руль!» Вскакивают соседи. Все скандируют этот призыв. Дом гремит. Бандиты бросаются в бегство, но их видят из соседних домов, сотни глаз из сотен темных окон. Грабители устремляются в проходные дворы, в переулки, по окна-то есть везде и повсюду, сменяя умолкнувший дом, звучит призыв следующего: «Пат-руль! Пат-руль!» И обязательно подоспеют советские автоматчики.

Суток десять после того, как жители приняли к исполнению пожелание коменданта, вспыхивали по ночам многочисленные перестрелки патрулей с бандитами. Убедились преступные элементы, что от русских солдат, в полном смысле слова поддержанных гласом народным, им не спастись. Те бандиты, которые не погибли в ночных схватках, начали сдаваться или покидать город. Постепенно мир и спокойствие воцарились на улицах венгерской столицы.

Забегая вперед, скажу, что Ивану Терентьевичу удалось быстро восстановить городское хозяйство, обеспечить жителей продовольствием, водой, теплом и вообще тем, что положено. Во всем разбирался хозяйственный генерал. Его ставил в пример председатель Союзной контрольной комиссии по Венгрии маршал Ворошилов, его хвалил командующий Центральной группой войск маршал Конев, а главное — уважали и хвалили сами венгры, надолго сохранившие добрую память о нем. Не случайно же Замерцев пробыл на посту коменданта одной из европейских столиц дольше всех других наших генералов, занимавших подобные должности.

Покинув Венгрию, Иван Терентьевич обосновался в Москве, получив квартиру в казарменном городке возле площади трех вокзалов. Его фамилия прозвучит среди военных еще раз, когда с высокого кресла спихнут Н. С. Хрущева, а на трон вознесется Л. И. Брежнев. В числе тех, кто готовил эту непростую и рискованную акцию, были фронтовые приятели Замерцева: знакомый еще по Днепропетровску Н. Р. Миронов,

заведовавший важнейшим отделом ЦК КПСС, маршалы К. С. Москаленко и А. А. Гречко. Лезли вверх, подставляя друг другу плечи, «тянули» своих. Генералы Юго-Западного направления, умевшие не только сносно воевать, по и активно интриговать, добились победы в политических играх. Однако это уже тема для исповеди других советников — при вождях совсем иного ранга, иного калибра, нежели Сталин.

6

Итак, поздним апрельским вечером 1945 года я был внезапно вызван в Кремль. Ехал, недоумевая: зачем столь срочно понадобился Иосифу Виссарионовичу в неурочное время. По вопросу кандидатуры на пост коменданта Берлина? Об этом можно было поговорить по телефону. Скорее всего, что-то другое. А насчет комендантских дел я был спокоен, успел все обдумать, обосновать свое мнение. Исходя из согласованных со Сталиным требований: «хозяином» немецкой столицы будет один из тех командармов, которые ведут сейчас сражение за Берлин, войска которого и послужат ему опорой на ответственной должности. Берлин — это не Будапешт, где достаточно способностей генерала Замерцева; Берлин — центр Европы, средоточие военно-политических и экономических интересов всех воюющих держав. Сложностей будет много.

Кандидатуру командарма 8-й гвардейской генерала Чуйкова, как помнит читатель, мы с Иосифом Виссарионовичем отклонили: пугающе-грозным мстителем был герой Сталинграда в сознании немцев. Командующие 1-й и 2-й гвардейскими танковыми армиями генералы Катуков и Богданов тоже, на мой взгляд, не совсем соответствовали. Это люди техники, быстрых решений, стремительных напористых действий. Им даже физически трудно на месте долго сидеть, дорога зовет. Танки не для тесных городских улиц, танкистам простор нужен.

Выбор сузился. Оставались лишь три командующих общевойсковыми армиями. Генерала Перхоровича, возглавлявшего 47-ю армию, я знал как добросовестного скрупулезного исполнителя, успешно справлявшегося с обязанностями в обычных ситуациях, но несколько терявшегося при резкой смене обстановки. Случалось, пасовал перед начальством, особенно перед Жуковым. Вот и теперь, при наступлении на Берлин его армия таяла не только из-за потерь, из нее брали войска для усиления соседей, а Франц Иосифович Перхорович не мог возразить. Армия таяла. Авторитета ему не хватало. Ну и фамилия. Для наших людей все равно, белорус он или русский, поляк или еврей, но как воспримут его немцы, взращенные в духе ненависти к еврейству?! Как издевательство над ними, как унижение побежденных?!

Кто же у нас еще? Мой старый знакомец командующий 3-й ударной армией боевой генерал Кузнецов и командующий 5-й ударной армией генерал Берзарин, недавно произведший на меня весьма благоприятное впечатление… Стоп, приехали.

В кабинете Сталина находились два человека, пользовавшихся особым доверием Иосифа Виссарионовича: руководитель его личной разведки суровый молчальник Андрей Андреевич Андреев, занимавшийся одному лишь ему известной зарубежной политической агентурой, и жизнерадостный красавец — генерал Абакумов — начальник Главного управления контрразведки СМЕРШа, созданной самим Сталиным во время войны и подчинявшейся только ему, Верховному главнокомандующему.

Таких деятелей сводят вместе только в особых случаях. Слова Иосифа Виссарионовича, обращенные ко мне, сразу же подтвердили это.

— Николай Алексеевич, мы тут посоветовались о высших руководителях германского рейха. О Гитлере, Гиммлере, Геринге, Геббельсе, все на «г», — усмехнулся Сталин. — И о тех, кто помельче, но тоже из той кучи. Негоже, если они попадут к союзникам. Их могут использовать в разных целях, в том числе против нас. Наше право, даже наша обязанность не допустить этого, взять гитлеровскую верхушку. Живыми или мертвыми. Как поступить с ними — потом видно будет. Товарищ Жуков получил необходимые указания. Но вопрос слишком сложный, чтобы доверить его только военным товарищам. Я бы даже сказал — деликатный вопрос. У маршала Жукова много забот. Поэтому мы, не ставя в известность товарища Жукова, чтобы не отвлекать его от главных дел, решили направить в Берлин особую группу, которая самостоятельно будет заниматься приближенными Гитлера, а также отбором и изъятием наиболее важных документов правительственных учреждений Германии. При помощи только органов СМЕРШа. В Берлин поедет надежный помощник товарища Абакумова. — Сталин глянул в его сторону, и тот ответил весело:

— Крепкий человек поедет, Иван Серов.

— Да, генерал Серов, — кивнул Сталин, то ли не расслышав имя, то ли сознательно заменив его званием. Не знаю, был ли заместитель Абакумова до той поры генералом, но с этой минуты безусловно стал таковым. А Иосиф Виссарионович продолжал:

— Это неофициальная группа, даже без списочного состава. Серов возьмет с собой двух-трех контрразведчиков, а других людей, других специалистов будет при необходимости привлекать на местах. А ваши полномочия, Николай Алексеевич, как всегда неограниченные.

— Я поступаю в распоряжение Серова?

— Ни в коем случае. Вы сами по себе, только согласовывайте действия. — Иосиф Виссарионович подошел к моему креслу, дружески опустил руку на мое плечо. — Прошу извинить, что не спросил о вашем самочувствии, о вашем согласии, но дело не терпит отлагательств, и я подумал, что вы не откажетесь. Дело не только важное, но и деликатное, — повторил он.

— Считаю это поручение для себя самым почетным. Спасибо, — поблагодарил я, поднимаясь.

— Сидите, Николай Алексеевич. Знал, что так и воспримете. О деталях договоритесь с Абакумовым и Серовым. Если понадобится привлечь наших немецких друзей в Германии, наших товарищей в других странах, то выходите на них через Андрея Андреевича. Последнюю фразу Сталин произнес громче обычного, чтобы расслышал глуховатый Андреев. Тот подтвердил коротко:

— В любое время.

— Николай Алексеевич, у вас есть вопросы ко мне? — Это опять Иосиф Виссарионович.

— Жуков, конечно, узнает о моем появлении на фронте.

— Странно, если бы он не узнал.

— Поинтересуется целью. Не турист же.

— Совершенно верно, не турист. — Сталин прошелся по кабинету от стены до стены. — В вашей командировке есть другая сторона, о которой вы можете сообщить товарищу Жукову. Посмотреть своими глазами и

глазами Верховного главнокомандующего, каковы последние, завершающие дни войны. Известно, что поражение — это всегда круглая сирота, никто не желает признавать себя ее родителем. Зато у победы находится много матерей и отцов. И чем победа красивее, тем больше у нее родителей и родственников. А нам, всему народу, надо точно знать степень родства каждого, кто претендует. Убедительно?

— Вполне. Тем более что Жуков воспримет это в свою пользу.

— Имейте в виду не только Жукова, но и каждого, кто вносит свой конкретный вклад в конкретном месте. Чтобы лавры достались по заслугам, а не выскочкам и крикунам. Смотрите и записывайте. Для истории, товарищи, для истории. — Это он ко всем. — После войны много найдется желающих выдвинуть себя, фальсифицировать события в свою пользу. Опровергать будет трудно. У нас мало документов по сорок первому, по сорок второму годам. Что и было — утрачивалось при отступлении. И теперь ненамного лучше. На днях я разговаривал по ВЧ с товарищем Соколовским. Он сказал, что в звене фронт — армия непосредственное управление операциями на пятьдесят процентов ведется по телефону. В звене корпус — дивизия эта цифра еще больше, за шестьдесят процентов. А телефонные разговоры не оставляют никаких следов, их к делу не подошьешь, для истории не используешь.

— Потом составляются донесения, отчеты, — сказал я.

— Именно потом. Это не объективная фиксация, а чаще всего документы оправдательные. Нам важны впечатления беспристрастного очевидца.

— Но они субъективны.

— Они важны как свидетельские показания, они нужны хотя бы для сопоставления… Еще вопросы?

— Ни мне, ни Серову не обойтись без контактов с армейским командованием. Могут возникнуть конфликты, наверняка понадобится привлекать войска.

— Вполне возможно, — согласился Сталин. — О ваших задачах мы проинформируем коменданта Берлина. Только его. Кстати, Николай Алексеевич, вы подумали над кандидатурой?

— Генерал Берзарин или генерал Кузнецов. Первый предпочтительней.

— Почему?

— При всех равных способностях Николай Эрастович Берзарин более гибок, более заботлив, хороший администратор. После прорыва к Одеру широко известен немцам как удачливый полководец. Они это ценят.

— Более заботлив, — выделил Сталин. — Это положительно, это скажется… Медлить нельзя, надо назначать. Мы согласуем с товарищем Жуковым. Но кто бы ни стал комендантом, важно, как он понимает обстановку. Наши воины полны справедливой ненависти к фашистам. Кипят горячие страсти, кипит гнев, жажда отмщения. И тут нельзя допускать перехлеста, нельзя забывать, что у каждого народа есть свое достоинство, свои идеалы, свои кумиры. Не все немцы виноваты, что их кумиром стал Гитлер. Немцы люди практичные, дисциплинированные. Они осознают закономерность своего поражения, стерпятся с ним. Но они не поймут и не простят тех, кто станет глумиться над их идеалами, изгаляться над их кумирами, оскорблять чувства национального достоинства. Скажите об этом и Берзарину, и Кузнецову. Напоминайте об этом всем, с кем будете встречаться. — Иосиф Виссарионович помолчал, потом засмеялся чуть слышно:

— Берзарин — это тот, который у собеседников пуговицы крутит и отрывает?
— Есть такой грех.
— Предупредите его, чтобы у немцев пуговицы не откручивал. Неудобно все-таки.
— Конечно. И пуговицы по военному времени в дефиците, — с серьезной миной ответил я под недоумевающими взглядами Андреева и Абакумова.

7

К концу войны каждый наш командующий фронтом имел свой «дом на колесах» — специально оборудованный железнодорожный состав с такими удобствами, как вагон-салон, кабинет для работы, отсек для отдыха, душевая, кухня. Конечно, это не шикарный состав с вызывающей роскошью, в каком разъезжал по фронтам гражданской войны наркомвоенмор Л. Д. Троцкий, это скорее поезд, созданный по образу и подобию того, в каком работали А. И. Егоров и И. В. Сталин, возглавляя Южный фронт при разгроме Деникина. С некоторыми техническими новациями и усовершенствованиями.
Удобны и полезны были такие составы. Фронты-то наши размахнулись на сотни километров, иной и на два-три европейских государства, от армии до армии, от города до города на автомашине не всегда доберешься, авиация зависела от погоды, от состояния аэродромов. Поезд же пройдет всюду, где есть рельсы. А рядом с рельсами, как правило, проложены основные линии связи, телеграф и телефон, электроснабжение, другие коммуникации. Прибыл на станцию назначения, подключился к уцелевшим магистралям обслуживания — и действуй. Понадобилось двигаться дальше — поднимай, машинист, пар до марки и трогай вперед без гудка, как положено по военному времени. Если же дальше нет стального пути или узкая европейская колея еще не перешита на нашу широкую, основательную, — это преграда не из непреодолимых. На платформах поезда стоят автомашины, в том числе и легковушка командующего. В нашем конкретном случае — «газик» Александра Николаевича Бучина, шофера непьющего и некурящего, с которым Георгий Константинович Жуков, сам непьющий и некурящий, проездил почти всю войну. Спусти машину с платформы на землю и кати, куда требуется, хоть на самый передний край.
При командующем фронтом в спецпоезде находились оперативная группа штаба, включавшая в себя необходимых специалистов — от разведчиков до метеорологов. Все под рукой. Главным недостатком таких поездов была их уязвимость с воздуха. Обнаружит враг — разбомбит. Но с тех пор, как наша авиация стала господствовать в «пятом океане», такая опасность значительно уменьшилась, а при тщательной маскировке и надежном прикрытии истребителей — практически сошла на нет.
В таком поезде обосновались мы с Серовым, прибыв на 1-й Белорусский фронт. Мне выделили в «гостевом» вагоне отдельное купе с телефоном, с умывальником, с похожим на сейф шкафчиком, где можно было хранить документы. В соседнем купе разместился Серов со своими помощниками.
Начав сию исповедь, я поведал читателю о том, как едва не сделался нарушителем давней семейной традиции — служить Отечеству на военном поприще. Мальчишеское воображение мое потрясли… паровозы, могучие железные кони, стремительно помчавшиеся по российской земле,

сближая народы, сокращая расстояния, меняя весь образ жизни. Хотелось создавать эти умные машины, управлять ими. К счастью, выбор свой сделал я в пользу другой техники: артиллерии и только что появившихся тогда пулеметов. К счастью, потому, что я все же человек военный и по наследству, и по натуре; на военном поприще обрел себя, но к «первой любви», к паровозам, к железнодорожному транспорту, так и остался неравнодушным. Горжусь тем, что наша железнодорожная система не только самая масштабная, но и самая отлаженная в мире, как и наша железнодорожная техника — с момента ее рождения и до сей поры. Причем с одной весьма существенной особенностью. Паровозы и вагоны во всех других странах, даже в Америке с ее большими пространствами, — это всего лишь рациональное средство передвижения. Только функциональность. Паровозы уродливые, вагоны легковесные, ветром продуваемые. Не случайно до революции американцы в массовом порядке закупали наши локомотивы. Российские паровозы славились не только экономичностью, выносливостью, долголетием: и они, и наши вагоны, и все железнодорожные сооружения (вокзалы, мосты, будки стрелочников и т. д.) отличались особым изяществом, аккуратностью, четкостью линий — несли в себе эстетический заряд, радуя своей строгой красотой.

Вспомним, насколько хороши были хотя бы простые наши маневровые паровозы типа «О», которых любовно называли «овечками», как трудолюбиво бегали они по пристанционным путям, обмениваясь деловито-бодрыми гудками, а при необходимости отправлялись и в дальние рейсы. Даже эти «овечки» превосходили зарубежных уродцев по всем показателям, а что уж говорить о таких мощных и стройных красавцах, как «ФД», о стремительных, благородных локомотивах типа «С»… Ими любовались, они восхищение вызывали. Даже скучно и уныло стало на железных дорогах, когда этих почти одухотворенных, дышащих красавцев заменили хоть и более выгодные, но совсем безликие электровозы и тепловозы. Таковы гримасы прогресса: массовость, стандарт и голый практицизм вытесняют своеобразие и индивидуальность. И конечно, не только в технике.

Не первый раз возвращаюсь я и к нашим уникальным салон-вагонам еще дореволюционного времени, оставшимся непревзойденными, самыми удобными для путешествий, для отдыха, для работы в дороге. Царская семья разъезжала в этих «домах на колесах», в таком поезде размещалась Ставка генерала А. А. Брусилова — лучшего полководца Первой мировой войны. Эти вагоны прошли через войну гражданскую, затем ездили в них руководители партии и правительства, дипломаты, передовики производства, деятели культуры: сам Иосиф Виссарионович предпочитал их всем другим видам транспорта, ценя удобства и надежность. Уцелевшие, хотя и одряхлевшие салон-вагоны сослужили полезную службу и в годы Великой Отечественной войны. Они стали основой железнодорожных составов для командующих фронтами, о чем сейчас и идет речь. В одном из таких вагонов, укрытом в лесу километрах в ста от Берлина, нашлось место и для нас с Серовым. По телефону ВЧ можно было в любое время связаться с Москвой: ему с Абакумовым, а мне со Сталиным, Антоновым и Андреевым.[90]

Контактировали мы с Серовым мало, слишком различны были уровни — от возрастного до служебного. Всю работу по линии СМЕРШа вел, естественно, Иван Серов, я не вникал и не контролировал его, он был доволен тем, что руки развязаны. Условились: будем обмениваться

существенными новостями. И все. Я же, сознавая, при каких исторических событиях присутствую, с удовольствием сосредоточился на втором пожелании Сталина: как можно больше увидеть своими глазами, оценить и запомнить. Для этого надобно было находиться в тех войсках, которые быстрее других продвигались вперед, обретая тем самым больше возможностей захватить главные немецкие госучреждения с их архивами и, если повезет, самих гитлеровских главарей. Так что в общем наши с Серовым интересы совладали, переплетались, только способы были разные: у него тайные, через военную контрразведку, а у меня обычные, открытые, легальные — если можно применить такое определение.

Что я знал тогда об Иване Александровиче Серове? Учился он в военной академии на японском факультете, но прошел только два курса: в 1938 году, вместе с семью другими слушателями этого факультета, был направлен на укрепление органов внутренних дел. Где и выдвинулся довольно быстро.

Подчиненные, прибывшие с Серовым — типичные чекисты, вполне заурядной внешности, не привлекавшие внимания ни одеждой, ни поведением. Это культивировалось в их службе. А Иван Александрович — незауряден. Высокий лоб (чтобы думать?), большие уши (чтобы слушать?), прямой приметный нос… Неулыбчив, сосредоточен: все видит, все впитывает, все оценивает. И держался с достоинством.

К сожалению, ни размер, ни цели этой книги не позволяют мне использовать многочисленные интересные документы, прошедшие через мои руки, подробно рассказать о завершающих военных событиях, которые либо вообще остались неизвестны, либо поданы тенденциозно, однобоко. Чтобы не слишком злоупотреблять терпением читателей, поведаю лишь о том, что произвело на меня особое впечатление, позволю себе внести несколько собственных штрихов в картину великой Берлинской битвы.

К моменту моего приезда в окрестности немецкой столицы, к 20 апреля 1945 года, обстановка там была такова. Армии 1-го Белорусского фронта маршала Жукова, коим по всем планам и замыслам надлежала честь брать столицу Рейха, потеряли несколько суток на Зееловских высотах и теперь с упорными боями продвигались к кольцевой дороге, за которой, собственно, и начинался Большой Берлин. Все реальней становилась возможность того, что первыми достигнут этой важнейшей цели не войска Жукова, а войска 1-го Украинского фронта маршала Конева, двигавшиеся к городу, с юго-востока, почти с юга. Расстояние там было великовато, зато немцы не имели на том направлении значительных сил, все резервы бросались против Жукова.

Получив указание Сталина помочь 1-му Белорусскому фронту своими танковыми армиями, маршал Конев не просто активно, а очень активно включился в гонку за славой, за неожиданно открывшиеся шансы первым достичь Берлина. Его 3-я гвардейская танковая армия под командованием деятельного генерала Рыбалко стремительно шла одной мощной колонной, растянувшейся на десятки километров, круша оказавшиеся на пути вражеские заслоны. В первые же сутки наступления рывок на 25 километров! Правда, чем ближе к Берлину, тем заметней возрастало сопротивление фашистов. Темп падал. Немецкие генералы, поняв замысел Рыбалко, перестали растягивать свои силы, а сосредоточили их на одном направлении, на той дороге, по которой двигались советские танки: в районе города Цоссен, где болотистая местность способствовала обороне,

сковывая маневр подвижных советских частей. Своеобразное состязание двух наших фронтов, двух наших маршалов разгоралось. Теперь уже не только дни, но и часы решали, кому быть героем Берлинской битвы. Тот, кто первым вступит во вражескую столицу, ярче других увековечит свое имя на скрижалях истории. Самолюбие Жукова, считавшего, что брать Берлин должен только он, и никто иной, было уязвлено. В свою очередь Конев шел на любой риск, понимая, что победителю простится все. Георгий Константинович гнал вперед генералов 1-го Белорусского фронта, Иван Степанович подхлестывал своих. Вот хотя бы пара радиограмм, отправленных маршалами примерно в один и тот же час:

«Тов. Рыбалко. Опять двигаетесь кишкой. Одна бригада дерется, вся армия стоит. Приказываю: рубеж Барут — Луккенвальде через болото переходить по нескольким маршрутам развернутым боевым порядком. Не теряйте время. Исполнение донести. Конев. 20.4.45 г.»

И еще.

«Катукову, Попелю.

1-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача первой ворваться в Берлин и водрузить знамя Победы. Лично вам поручаем организовать исполнение. Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Берлин и поставьте им задачу не позднее 4-х часов утра 21.IV любой ценой прорваться на окраину Берлина.

Жуков, Телегин, 20.IV.45 г.»

Выполняя это распоряжение, сразу ринулась вперед, напролом самая прославленная наша 1-я гвардейская танковая бригада, отличившаяся еще в сражении за Москву: та бригада, которая затормозила продвижение армии Гудериана от Орла на север, а потом, под руководством Михаила Ефимовича Катукова, тогда еще полковника, умело действовала на Волоколамском направлении. Я в ту пору писал представление на преобразование бригады в гвардейскую; из нее, из этого корня, выросли все наши гвардейские танковые армии. Она, конечно, заслужила честь, и здесь, под Берлином, быть первой. Но вообще-то вводить танки в большой город с лабиринтами узких улиц, к тому же заваленных обломками рухнувших зданий, перегороженных баррикадами, — это совершенно противу правил. Танки — они же для открытых пространств, для маневра, для стремительного удара. В городе они теряют все свои преимущества, становятся легкой добычей для засевшего в укрытиях неприятеля, в том числе для гранатометчиков и фаустпатронников. Оба маршала безусловно знали об этом, по пренебрегли, бросив вперед не пехоту, а бронированные машины, дабы скорее достигнуть желанной цели.

Когда-то при расстреле царским правительством демонстраций трудящихся, в апартаментах Зимнего дворца возникла пресловутая фраза: «Патронов не жалеть!» Почти забыв о ее происхождении, фразу эту повторяли на полях Первой мировой, а затем и гражданской войны. С боеприпасами всегда было туго, но при решительной схватке звучали команды: «Патронов не жалеть!» Или: «Снарядов не жалеть!» Теперь Жуков и Конев дали указания, сводившиеся в общем к одному смыслу: танков не жалеть! Однако как ни состязались маршалы, а война шла по своим непредсказуемым законам. Даже полководцы с таким твердым характером, как у Жукова, с такими средствами и возможностями, какими располагал он, далеко не всегда способны определять развитие событий. И первыми в Берлин вступили вовсе не те и не там, где и кому было предписано. И не танкисты. И даже не пехота.

Для объективности приведу цитату из книги воспоминаний Георгия Константиновича Жукова:

«20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которой командовал генерал-полковник В. И. Кузнецов, открыла огонь по Берлину. Начался исторический штурм столицы фашистской Германии. В это же время 1-й дивизион 30-й гвардейской пушечной бригады 47-й армии, которым командовал майор Л. И. Зюкин, также дал залп по фашистской столице.

21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армий ворвались на окраины Берлина и завязали там бои. 61-я армия, 1-я армия Войска Польского и другие соединения 1-го Белорусского фронта быстро двигались, обойдя Берлин, на Эльбу, где предполагалась встреча с войсками союзников».

Из этого отрывка, согласитесь, невозможно понять, кто же все-таки был первым и как это произошло. О важном событии Жуков говорит как-то вскользь, сквозь зубы. Не хотел, что ли, выделять кого-либо особенно, тем самым недооценивая других: все, дескать, воевали, все молодцы. Столь же скупо об историческом свершении донес в Ставку Иван Степанович Конев, сообщивший, что 22 апреля 3-я гвардейская танковая армия под командованием генерала П. С. Рыбалко ударом с юга на север прорвала внешний оборонительный обвод Берлина и к исходу дня захватила его южную окраину. Сдержанность Конева можно понять: гонку за славой он не выиграл. Но Жуков-то почему так скуп на слова, хотя о событиях менее значительных пишет куда как подробнее. Уверен, у него нашлись бы интересные факты, проявилось больше эмоций, если бы самой первой в Большой Берлин ворвалась рожденная под его крылом и выпестованная им 1-я гвардейская танковая армия генерала Катукова, на что Жуков, собственно, и рассчитывал. Или прославленная сталинградская армия генерала Чуйкова, тоже близкая сердцу Георгия Константиновича. Ну, хотя бы 5-я ударная армия генерала Берзарина, которую Жуков привык уже считать «своей». Но нет, отличилась 3-я ударная армия, которая была для Георгия Константиновича вроде бы падчерицей. Она хоть и зарождалась в Москве, в Серебряном бору, но возле столицы не воевала, а начала свой путь от истоков Волги, от Селигера и оттуда, через леса и болота, дошла до Балтийского моря. За время войны Жуков бывал в этой армии наездами несколько раз, когда Сталин посылал его на месте решать возникавшие сложности. А главным, пожалуй, являлось то, что 3-ю ударную Георгий Константинович получил на усиление своего фронта вместе с командармом — генералом Симоняком, которого терпеть не мог: при одном лишь упоминании этой фамилии наливался гневом и терял объективность. Перед началом Берлинской операции, как мы уже говорили, Жуков добился своего, не мытьем, так катаньем «выжил» генерала Симоняка, а командовать 3-й ударной назначил своего заместителя, уважаемого и достойного генерала Кузнецова. Однако въевшуюся недоброжелательность сразу не искоренишь. Радовался, конечно, Георгий Константинович достигнутому успеху, но не было на душе безоблачного торжества. Вот и поделил славу на всех.

Правильно говаривал Иосиф Виссарионович: поражение — всегда сирота, а у победы обязательно объявятся сто отцов. Настоящий-то один, но кто? В военной сумятице не сразу отыщется, а то и не найдется вовсе,

затмится теми, кто умеет себя показать. У Твардовского есть такие строчки:
Срок иной, иные даты. Разделен издревле труд: Города сдают солдаты, Генералы их берут.

Точно! В первый период войны, когда отступали, с горечью слушали мы по радио и читали сообщения Совинформбюро, от которых щемило сердце: «После упорных боев наши войска оставили город…» Наши безымянные войска, солдаты и офицеры. А потом, гордясь и радуясь, воспринимали приказы Верховного главнокомандующего с перечислением освобожденных населенных пунктов, городов и столиц, с обязательным перечислением генералов, чьи армии, корпуса и дивизии отличились в боях. Вот они, творцы побед, и где-то в тени оставались те, кто шел в атаку, в разведку, бросал гранаты, стрелял… Но, ей-богу, не генерал же первым перебежал, перескочил, прорвался через кольцевую дорогу в Большой Берлин! А кто? Кого надлежит вписать в праведную книгу истории? О ком я должен буду доложить Верховному главнокомандующему?

Выяснить оказалось не просто. Донесения поступали, с запозданием и необязательно в письменном виде, чаще по телефону. Свидетелей попробуй разыскать в кипенье огромной битвы. Я съездил в 79-й корпус, перелистал доклады-донесения в штабе 3-й ударной армии и в штабе фронта, пока составил свое мнение. Однако читателю интересней познакомиться не с моими выводами, а со свидетельством непосредственного участника тех событий. После войны у меня на столе оказался документ (нечто среднее между воспоминаниями и служебной запиской), который я хочу привести почти целиком, исключив лишь второстепенные подробности и длинноты. Вот безыскусные достоверные строки, написанные бывшим командиром батареи 86-й Краснознаменной тяжелогаубичной артиллерийской бригады Резерва Главного Командования (РГК), которая в апреле 1945 года действовала в составе 79-го стрелкового корпуса генерала С. Н. Переверткина. Запомните, пожалуйста, номер корпуса и фамилию его командира — о них пойдет речь впереди. А сейчас — слово бывшему комбату Леониду Иннокентьевичу Дурсеневу.

«Четверо суток взламывали оборону, возведенную гитлеровцами от Одера до самой фашистской столицы. Задача осложнялась тем, что мощные оборонительные укрепления были укрыты в вековом лесу. Плохая видимость мешала артиллерии и танкам оказывать действенную помощь нашей пехоте. Однако стрелковые части медленно, но верно пробивались вперед, каждая борясь за честь первой ворваться в Берлин.

Только во второй половине дня 20 апреля части 79-го стрелкового корпуса, которому была придана наша бригада, смогли наконец выйти на западную окраину лесного массива. Дальше расстилалась чистая равнина. На ней в 3-х километрах виднелся город Вернойхен, а перед ним аэродром с пятью или шестью самолетами.

До Берлина оставалось каких-нибудь 15 километров!

Появилась возможность на полную мощность использовать артиллерию. После массированного артналета пехота организовала быстрый бросок и захватила аэродром, а вместе с ним и все оказавшиеся совершенно исправными самолеты. Затем последовал штурм Вернойхена. Город взят был с ходу.

Захваченные пленные показали, что их части понесли огромные потери и что перед нами находились лишь немногочисленные пехотные подразделения почти без артиллерии. По-видимому, на нашем участке фронта обозначился прорыв и нужно было срочно развивать успех, бросив вперед танки. Однако у генерала Переверткина танков под рукой не было. В этой обстановке инициативу проявил наш комбриг полковник Н. П. Сазонов. Бригада была оснащена 152-миллиметровыми гаубицами, которые передвигались с помощью быстроходных гусеничных тягачей. По скорости они не уступали танкам. А во время марша по округе разносился такой гул, словно движется танковая колонна.

Эти тягачи бригада получила в 1944 году. И после этого высшее командование стало использовать бригаду не только как средство прорыва обороны, но и для совершения рейдов по тылам противника. Уйдя в прорыв и углубившись на большой скорости в тыл, бригада громила небольшие части противника, приближавшиеся к линии фронта, перерезала коммуникации и нарушала нормальное снабжение передовой. А столкнувшись со значительными силами, обходила их стороной и устремлялась дальше. Такие действия сеяли панику среди фашистов и помогали нашим наступавшим стрелковым частям быстро продвигаться вперед. Особенно успешно действовала бригада таким образом в Висло-Одерской операции.

При сложившейся в ночь на 21 апреля 1945 года обстановке полковник Сазонов дерзнул использовать особенности своей бригады, а также накопленный им боевой опыт. Обратился к генералу Переверткину с просьбой разрешить своими силами пробиться через передний край, далее попытаться на высокой скорости преодолеть оставшиеся до кольцевой Берлинской автострады 10–12 км, перевалить через автостраду и, развернувшись уже за порогом гитлеровской столицы, орудиями открыть огонь по центру города, а силами взводов управления захватить ближайшие дома и ждать там стрелковые части, чтобы начать штурм города.

Идея нашего комбрига генералу Переверткину очень понравилась. Понимая, какое большое моральное значение для нашей армии и народа имеет начало боев непосредственно на территории Большого Берлина, он дал Сазонову свое «добро».

По замыслу Сазонова, бригада должна была прорываться в Берлин двумя колоннами в разных местах. Третий дивизион капитана М. В. Струкова, совместно с первым дивизионом майора В. П. Кирпикова, обязаны были пробиваться по шоссе, идущему на Берлин от южной окраины Вернойхена. Остальным дивизионам приказано было двигаться километра на три севернее.

Около часу ночи дивизион Струкова уже сосредоточился на южной окраине Вернойхена. Чуть позже прибыл и пристроился ему в хвост дивизион майора Кирпикова. Командиры дивизионов довели предстоящую задачу до своих офицеров. Когда она была уяснена, кто-то из молодых офицеров вспомнил, что нам предстоит повторить ту же задачу, которую выполнял 185 лет назад, будучи в ту пору еще подполковником, великий А. В. Суворов. Это всех оживило.

Наконец, дивизионы выстроились для броска через передний край. Честь возглавить колонну была предоставлена 9-й батарее капитана Б. П. Лысенко. За нею должны были двигаться остальные подразделения 3-го дивизиона. Головным было поставлено орудие старшего сержанта

А. А. Костоусова. На бортах радиатора его тягача разместились в качестве прикрытия разведчики старшего сержанта Н. П. Волынца и радисты сержанта В. В. Грачева. Остальные взводоуправленцы заняли такие же места на других тягачах и на прицепах со снарядами.

Уже была подана команда «По машинам!», когда колонну нагнал танк Т-34. Командир его (ни фамилии, ни номер танка, к сожалению, не запомнились) доложил Струкову, что прислан для оказания помощи артиллеристам в проходе через передний край. Танку было указано место перед орудием Костоусова, для того чтобы в условиях ночи ввести в заблуждение гитлеровцев и создать иллюзию, что на них движутся не артиллеристы, а танки, и этим морально подавить их. Для внезапности нападения колонна набрала максимум скорости еще до подхода к переднему краю. Мощный гул наполнил окрестности.

При подходе к переднему краю был открыт огонь из всех видов имевшегося у нас стрелкового оружия. Застигнутые врасплох гитлеровцы смогли ответить только беспорядочной стрельбой из винтовок и автоматов. Прозвучало несколько орудийных выстрелов малых калибров. Однако в темноте огонь их был неприцельным и для нас все обошлось без потерь.

Таран удался блестяще!

Через несколько минут огонь противника остался позади, и колонна, не встречая больше сопротивления и не сбавляя хода, устремилась по шоссе, ведущему к Берлину. Вскоре справа от дороги показалось озеро. Проскочив его, колонна подошла к фольварку Блюмберг. Около него-то и проходила кольцевая Берлинская автострада. Это был порог гитлеровской столицы.

Танк, орудие Костоусова, а за ним и все остальные машины и орудия 3-го дивизиона перевалили через автостраду. Офицеры и солдаты ликовали — мечта каждого из них сбылась: ведь мы не только дошли до Берлина, но ворвались туда первыми. Самыми первыми! Причем — без единой потери!

Однако еще не успели пересечь автостраду все орудия замыкающего 1-го дивизиона, как по голове колонны ударил крупнокалиберный зенитный пулемет. В предрассветной мгле было видно, что он бьет с высокого строения, стоящего впереди справа от дороги. Появились первые раненые. Комбат Лысенко решил огнем головного орудия снести строение вместе с пулеметом. Был подан сигнал остановиться. Однако танк этот сигнал не заметил и, оторвавшись от артиллеристов, скрылся в темноте в направлении на запад.

Лысенко подал команду Костоусову развернуть орудие и поразить цель. Съехав на обочину дороги, расчет начал приводить орудие к бою. А это не такое быстрое дело: для развертывания 152-миллиметровой гаубицы требовалось 8-10 минут.

Весь остальной народ спешился и укрылся — кто за щитами орудий, кто за тягачами. А пулемет продолжал вести огонь. Никто не сомневался, что строчит он последние минуты — до выстрела Костоусова. После этого можно было протянуть вперед, развернуться и начать обстрел Берлина уже с его собственной территории. Радуясь, все с нетерпением ожидали этого момента.

Однако оказалось, что радоваться было рано. Еще не успел расчет Костоусова привести орудие к бою, как справа со стороны проселочной дороги, выходящей из прилегающей к автостраде рощицы, раздались винтовочные выстрелы. Пули понеслись над нашими головами.

Уже начался рассвет, и все увидели, что по проселочной дороге в походном порядке идет пехота. Все решили, что это наши соседи под прикрытием ночи успению продвинулись далеко вперед и тоже оказались в Берлине. В темноте они приняли нас за фашистов и начали обстреливать. Никто не сомневался, что скоро эта ошибка обнаружится и огонь прекратится. В то же время мы были разочарованы — наше первенство в прорыве в Берлин могло стать сомнительным.

Неожиданно пехота, повернувшись в нашу сторону и открыв ураганный огонь из всех видов оружия, всей массой, даже не размыкаясь в цепи, пошла на сближение. Однако и тогда никто не сомневался, что это свои: подойдут поближе, и все встанет на свое место. Расстояние между нами сократилось наполовину, кода из рощицы, прилегавшей к автостраде, послышались звуки запускаемых дизелей. Оттуда появилось пять немецких танков с десантом на борту. Ведя огонь, они бросились на дивизион Кирпикова, перерезали его хвост и на полной скорости умчались по автостраде на юг. Их молниеносное нападение нанесло дивизиону ощутимый урон. Был тяжело ранен даже и сам командир дивизиона, майор Кирпиков.

После нападения немецких танков стало ясно, что в темноте за своих была принята вражеская пехота. Она значительно превосходила нас численностью. Командир дивизиона Струков помнил о приказе комбрига Сазонова: при встрече с противником после прорыва в тыл не ввязываться в бой, а, оторвавшись за счет большой скорости, выходить на такое место, с которого было бы возможно открыть огонь в сторону центра города. В связи с этим он подал команду «Отбой! Моторы! За мной!» и сам устремляется влево вперед, в сторону небольшой впадины, чтобы при отрыве обезопасить людей и машины от огня противника. Согласно уставу, комбат Лысенко продублировал команду комдива. Едва успел он закончить фразу, как вражеская пуля ударила ему в голову, и он упал.

Вмиг взревели тягачи и стали сворачивать с шоссе, двигаясь вслед за Струковым. С одним из них был эвакуирован и потерявший сознание Лысенко. Шоссе быстро пустело. Около его обочины оставалось только орудие Костоусова, до этого почти полностью приведенное к бою. После команды комдива расчет начал было приводить его в походное состояние, но было очевидно, что при таком темпе движения вражеской пехоты гитлеровцы окажутся на огневой позиции раньше, чем будет произведен «отбой» и орудие прицеплено к тягачу. Тут же оставались разведчики батареи и радисты вместе со своими командирами (они ехали на тягаче Костоусова).

Пехота была уже близко. Стали различимы лица вражеских солдат. Только что они вынудили уйти от них целую колонну и теперь не сомневались, что копошащаяся горстка людей, оставшаяся с орудием, будет ими перебита без особых усилий.

У артиллеристов, правда, был еще выход: оставить орудие, сесть на тягачи (их было два: один от орудия, а другой от прицепа со снарядами) и, маневрируя под огнем, умчаться вслед за своими. Ведь никому не хотелось умирать, да еще в самые последние дни войны. Однако чувство долга заставило их оставаться при орудии и делать все, чтобы его вывезти. Ведь они только что ощущали себя героями — первыми прорвались в Берлин, и после этого превратиться в трусливых беглецов, бросивших гаубицу, они никак не могли себе позволить. В этой обстановке раздался голос командира взвода управления, который тоже остался с

орудием Костоусова и к которому, согласно боевому уставу, автоматически перешло командование батареей.

«Слушай мою команду! Костоусов, орудие к бою! Волынцу с разведчиками и радистами огонь из всех видов стрелкового оружия!»

Люди как будто только этого и ждали. Они поняли, что есть еще надежда что-то сделать. Как потом, уже после боя, рассказывал сам Костоусов, он с самого начала видел, что орудие вывезти не удастся. Однако оно ведь было почти приведено к бою. И если успеть развернуть его на 90 градусов и ударить по пехоте только один раз, хотя бы неприцельно, то громоподобный прямой выстрел с морем пламени, вырвавшимся при этом из ствола орудия, не может не деморализовать атаковавших, заставит их залечь. И, ведя методичный огонь, не позволять немцам подняться. А там, может, подоспеет наша пехота или поможет выйти из передряги комдив Струков.

Костоусов понял, что теперь все зависит только от него: успеет он произвести хотя бы один выстрел до того, как гитлеровцы окажутся на огневой — все будут спасены, а не успеет, значит, никто из них не доживет до долгожданной Победы. Костоусов и Волынец отдали соответствующие команды. И сразу же раздались очереди из автоматов разведчиков Ивана Лядова, Николая Сыстерова, Чемерикина (имя последнего не помню), а радисты Вениамин Грачев, Пузанов и Яков Троян стали бить одиночными выстрелами из своих карабинов. Николай Волынец снял с тягача ручной пулемет и начал разить противника из него.

Вражеская пехота до этого не встречала сопротивления и поэтому без опаски всей массой двигалась на орудие. Однако начавшийся огонь сразу стал вырывать из рядов гитлеровцев раненых и убитых. Движение в центре застопорилось и атакующие стали растекаться по сторонам.

А в это время расчет вновь привел орудие к бою. В создавшейся критической обстановке люди демонстрировали исключительную слаженность и мастерство: удмурт Василий Чиганашин, татарин Магадеев, казах Сыздыков вместе с водителями тягачей и их командиром сержантом Томиловым разворачивали орудие: азербайджанцы-земляки наводчик Мухтар Салахов и его помощник Мурад Ширипов действовали механизмами наводки; заряжающие во главе с башкиром Янгариевым делали свое дело.

Не успели гитлеровцы оправиться от неожиданного огня разведчиков и радистов, как прогрохотал выстрел. Первый разрыв — перелет! Однако грохот и пламя потрясли атакующих, они бросились на землю. Огонь с их стороны полностью прекратился.

Была внесена корректировка в прицел, и следующий снаряд разорвался уже в самой гуще врагов. За этим последовали по одному выстрелу на фланги. И вдруг вражеская пехота сначала группами, а потом всей массой поднялась и бросилась наутек.

С этого момента инициатива полностью перешла в руки артиллеристов. Огонь велся до тех пор, пока последний из фашистов не скрылся за близлежащими холмами (в прицепе к тому времени осталось всего три снаряда). Можно было отправляться догонять своих.

Была дана команда «Отбой!». Однако с загнанным в ствол снарядом ехать было нельзя, а выбить его — невозможно. Тогда Костоусов предложил развернуть орудие в сторону центра Берлина и «послать привет Гитлеру, — как он выразился — от советских артиллеристов». Идея эта всем пришлась по душе и немедленно была осуществлена. Раздался

выстрел, и первый советский снаряд, выпущенный непосредственно с территории Берлина, понесся к рейхстагу.[91]

Так закончился бой, который фактически положил начало штурму Берлина. Исход его был поистине счастливым: разбив целый батальон противника, горстка артиллеристов осталась целой и невредимой.

Поехали к своим. Вскоре послышались залпы гаубиц. Это развернувшиеся дивизионы нашей 86-й артиллерийской бригады начали бомбардировку города. Когда тягач Костоусова прибыл на огневые позиции 3-го дивизиона, бойцы взводов управления уже заняли первые дома Берлина и там ожидали подхода нашей пехоты: 171-й стрелковой дивизии полковника А. И. Негоды, которой непосредственно был придан наш дивизион. После того, как пехота подошла, начался штурм других зданий.

За то, что 9-я батарея первой ворвалась в Берлин, командир батареи В. П. Лысенко, командир орудия А. А. Костоусов и командир разведчиков Н. П. Волынец были представлены к присвоению звания Героя Советского Союза. Капитан Лысенко посмертно. Награждены были и все другие батарейцы, участвовавшие в бою вместе с орудием Костоусова.

В дальнейшем 86-я артбригада участвовала непосредственно в штурме рейхстага, за это ей присвоено звание Берлинской и вручен орден Богдана Хмельницкого. Особенно отличились в штурме рейхстага разведчики И. М. Лядов и Н. А. Сыстеров. Первый в связи с этим стал полным кавалером ордена Славы, а второй награжден орденом Красного Знамени. В бою за рейхстаг были ранены Костоусов и Волынец. А Чемерикин был убит в самые последние минуты боя. Это была последняя смерть, завершившая счет потерь воинов бригады за время Великой Отечественной войны.

Кто как, терпеливый читатель моей исповеди, а я, давно уже обзаведшийся сединой, чего только не повидавший на своем долгом веку, не перестаю удивляться и радоваться многообразию и внезапным поворотам реальной жизни: экие коленца выкидывает! Можно было предположить что угодно. Через кольцевую дорогу Берлина просочится, прорвется наша войсковая разведка, которая всегда впереди, об этом даже песни свидетельствуют. Прекрасные могучие наши танки, гремя огнем, пересекут асфальтированную полосу, оставив на ней белесые рубцы гусениц. Лихая кавалерия пронесется, цокая копытами, выбивая подковами искры. Пехота протопает, запечатлев следы сапог и ботинок. Осмотрительные саперы с миноискателями в руках проложат путь. Есть же, в конце концов, геройские воздушно-десантные парни, которые могли бы сигануть из-под облаков если не на крыши Большого Берлина, то хотя бы на поля возле кольцевой дороги. Но нет, ни те не отличились, ни другие, ни третьи, а въехали в немецкую столицу наши уральские трактора-тягачи, влекущие громадные гаубицы, которым надлежало находиться не на передовой, а бить по врагу издалека, из своего тыла, с закрытых позиций. Но так уж распорядилась необузданная выдумщица-судьба.

Каким же образом, скажите на милость, работать Генеральному штабу с его аналитикой, предвиденьем и планированием хода войны? Что делать другим многочисленным штабам: фронтовым, армейским, корпусным, дивизионным, бригадным, полковым, — определяющим перспективы, ставящим задачи, предусматривающим все, вплоть до плановой таблицы боя. И таблицы есть, бои есть, а дела вроде бы идут сами по себе. Куда

штабникам податься?! Но это, разумеется, шутка. Если действительно хочешь добиться успеха, то планируй, организуй, обеспечивай, добивайся его, не забывая о том, что события могут пойти не совсем так, как ты хочешь, памятуя о многовариантности реальной действительности. Случайность — это всего ведь составная часть закономерности, естественная и неизбежная.

8

24-25 апреля я провел в спецпоезде командующего 1-м Белорусским фронтом, в своем удобном купе. Выходил на прогулку. Пригородная дачная местность, сосновый лес, птицы поют. Весной пахнет. Все остальное время работал над документами… Написал сейчас последнюю фразу и невольно засмеялся. Не без причины. В нашей старой царской армии среди штабных офицеров, обязанных являться с докладами и донесениями к высокому начальству, бытовал некий шифр, доступный лишь узкому кругу посвященных. «Что генерал?» — спрашивали дежурного адъютанта. «Работает над документами». Значит, пьет и закусывает в свое удовольствие, самое лучшее не отвлекать его, не гневить, даже если Северный полюс поменяется местами с Южным. Потерпится с полюсами-то. А вот еще: «Как их превосходительство?» — «Занимаются с картами». Понятно: не только пьет, но и дама сердца при нем. Тут уж тем более нельзя мешать ни в коем разе, пусть хоть земля начнет вращаться в обратную сторону.

Вместе со штабистами вышеприведенный шифр перекочевал и в Красную Армию, только обращение изменилось: «Что начдив?» Или: «Что командарм?» Хотя вообще-то в новой армии высокопоставленным руководителям «работать над документами» и «заниматься с картами» было гораздо труднее, чем в старой. Тут тебе и комиссары начеку, и партийная ячейка не дремлет. Народный контроль, одним словом. Так что при Сталине своеобразный шифр основательно подзабылся. Однако во время войны некоторые крупные начальники, особенно из политработников, поверив во вседозволенность, и водкой баловались основательно, и без женщин не томились. На Северо-Западном фронте один член армейского Военного совета суток на двое, на трое полностью устранялся от забот и хлопот, вместе с веселой телефонисткой «урабатываясь над картой» до потери сознательности. За что и был отстранен. Партия боролась со ржавчиной, но она уже исподволь разъедала верхушку.

Сам я в те дни под Берлином был чист аки стеклышко. Даже коньяк во мною же установленном пределе не употреблял, не до того было. А женщин, кроме Анны Ивановны, обретавшейся в Москве с моей дочерью, — других женщин в ту пору для меня просто не существовало. Востребовать же некоторые оперативные документы и поразмышлять над ними заставила не столько прямая целесообразность, сколько то, что принято называть интуицией. Еще неясное предощущение какой-то возможной озаренности, проникновения в какую-то сущность. Основа, вероятно, вполне материалистическая: большой опыт, знание аналогий, способность видеть и развивать варианты. Но есть в предчувствии и нечто иррациональное, не подвластное логике и рассудку. Бывало у меня, хоть и не часто, но бывало этакое приподнятое, радостно-возбужденное

состояние, верный предвестник некоей вспышки, необъяснимого прозрения.

Подобное состояние возникло у меня после того, как побывал в 3-й ударной армии, в 79-м стрелковом корпусе генерала Переверткина, который первым прорвался в Большой Берлин. Умело и стремительно действовал этот корпус, продвигаясь быстрее других. Случайно ли? А номера-то какие! Тройка — хорошая цифра. Семерка — еще лучше, символ удачи. Ну и девятка, как ее ни крути, все равно не утрачивает смысла. Конечно, девятка-шестерка — это не туз, но и они, если козырные, бывают иной раз полезней, чем валеты и дамы. Какая-то символика чудилась мне и в фамилии командира корпуса: Семен Никифорович Переверткин — генерал без поражений, отмеченный делами, но не славой, скромный чернорабочий войны, которого судьба долго, до самой немецкой столицы, держала в тени. Но это я все скатываюсь на мистику, а на одной мистике далеко не уедешь. Реальность нужна.

Попросил заместителя Жукова — Василия Даниловича Соколовского, чтобы мне представили копию отчетной фронтовой карты с внесением изменения обстановки через каждые два часа, оперативные сводки, поступающие из армий, а также обобщенную сводку разведотдела со всеми новыми данными. И «зарылся в бумаги». Из них следовало, что на данный момент, то есть на 25 апреля, наибольшего успеха добились войска, действовавшие не в самом Берлине, а возле него и на более отдаленных участках. Передовые подразделения 58-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Русакова (1-й Украинский фронт) вышли на Эльбу в районе Торгау, где встретились с разведпатрулями 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Таким образом начала определяться фактическая разграничительная линия между нами и союзниками — путь на Берлин был для них перекрыт. Важным было и то, что единый фронт немецких войск оказался нарушенным, фашистские армии в Северной и в Южной Германии отрезаны друг от друга.

В тот же день западнее Берлина соединились войска 47-й армии генерала Перхоровича из состава 1-го Белорусского фронта с войсками 4-й гвардейской танковой армии генерала Лелюшенко из 1-го Украинского фронта. Кольцо вокруг вражеской столицы еще не было сплошным, сквозь него проходили, просачивались немецкие подразделения, но с каждым часом оно уплотнялось. Берлин был полностью окружен. Событие, безусловно, важное, хотя на боевых действиях внутри города это пока не сказывалось. Вражеская столица раскинулась на большой территории, имела крупные силы, защищавшие ее, сражавшиеся умело и фанатично. Более трехсот тысяч солдат и офицеров (в том числе отборные эсэсовские части) при трех тысячах орудий и минометов, при огромных запасах всякого другого вооружения. Продолжали формироваться отряды фольксштурма. Мне показали фотографию: седовласая старуха лет под восемьдесят, в военном кепи над полными ненависти глазами, целится фаустпатроном… А сколько их там в толстостенных домах, в подвалах-казематах таких яростных, вооруженных старух, стариков, подростков — это кроме регулярных частей. А сколько снайперов в гражданской одежде? Сколько выставлено противотанковых и противопехотных мин? Всего и не перечислишь. Вполне естественно, что наши войска, особенно наступавшие с востока, продвигались очень медленно, метр за метром. Преодолев оборонительный рубеж на берлинских окраинах, наши дивизии достигли так называемого городского оборонительного обвода, который

проходил внутри Берлина примерно по линии окружной железной дороги и фактически представлял собой заранее подготовленную мощную крепость, включавшую в себя все постройки, а также специальные оборонительные сооружения.

По данным нашей разведки, весь этот укрепленный район был разбит на девять секторов: восемь по окружности и один, самый мощный, в центре. Вот они передо мной на карте, обозначенные немцами по буквам латинского алфавита. Каждый городской квартал — это батальонный узел сопротивления. Четыреста железобетонных оборонительных сооружений, среди них врытые в землю бункеры, имевшие несколько этажей: ни бомбой не пробьешь, ни тяжелым снарядом. Гарнизон такого бункера достигал тысячи человек. А вообще основу обороны каждого сектора составляли примерно дивизия, пополнявшаяся отходившими на эти рубежи немецкими войсками.

Чем ближе к центру города, тем заметнее падал темп нашего наступления. В бой были брошены все резервы. Нервничал маршал Жуков, это было видно по его мрачности и особенно по возраставшей резкости отдаваемых распоряжений. Никто, конечно, не сомневался, что Берлин будет взят. Но когда? Намеревались к 1 мая, чтобы преподнести праздничный подарок советскому народу, но обстановка подсказывала, что сражение может затянуться надолго, потребует привлечения дополнительных сил. По опыту боев за Познань, за Кенигсберг мы знали, как упорно и умело способны немцы сражаться за крупные города, и уж тем более — за столицу. А ведь каждые сутки битвы за Берлин, напомню, вырывали из наших рядов по 17–19 тысяч человек. Слишком дорогая цена. Сколько жизней будет сохранено, если артиллерийские залпы смолкнут хотя бы на несколько дней раньше.

Наиболее успешно в тот день, как и в предшествовавшие несколько дней, действовала 3-я ударная армия генерала Кузнецова, меньше других пострадавшая на подступах к городу. Да и противник у нее, вероятно, был послабее, чем перед 8-й гвардейской, 5-й ударной и 1-й гвардейской танковой армиями, наступавшими прямо на центр Берлина. 3-я ударная прошла по северной окраине вражеской столицы как бы по касательной, не вгрызаясь в оборонительные сектора. Но теперь Жуков приказал и ей развернуться фронтом на юг, к центру города. И едва армия изменила направление, темп ее продвижения тоже резко упал. Два ее корпуса, левофланговый и серединный, затоптались на месте, и только 79-й стрелковый корпус генерала Переверткина, дальше всех продвинувшийся на запад, продолжал успешно наступать, углубляясь в столицу. Вот он-то как раз и привлекал мое внимание, не давая мне покоя. Здесь был ключ к какой-то разгадке. Но к какой?

Давно уже знаю одну свою особенность: если думаю над чем-то очень важным и срочным, упорно ищу решение, то оно, как правило, дается с большим трудом или вообще ускользает. Не идет на пользу чрезмерная сосредоточенность. Надо расслабиться, раздвоиться, отступить от поисков, занять себя чем-то иным. Это получалось. Но где-то в глубине мозга, в неподвластных тайниках души сама по себе продолжалась подспудная работа, синтезировались рациональное и интуитивное, — и внезапно возникало вдруг озарение. Если вообще возникало.

Так было в октябре 1918 года, когда безвыходным казалось положение, сложившееся под Царицыном, когда пал духом Ворошилов, когда дрогнул даже Иосиф Виссарионович, потеряв надежду удержать крепость на

Волге. Уже стоял под парами локомотив, готовый умчать на север вагоны сталинскою спецпоезда. И пароход для подстраховки дымил у причала. Я тогда был измотан физически, утомлен поисками решений для улучшения обстановки, и, сидя на срочном совещании у Сталина, безучастно смотрел на взвинченного Ворошилова, на растерянного начальника его артиллерии Кулика, недавнего унтера, обычно горластого и самоуверенного. Созерцал его окладистую смоляную бороду и думал, что он, наверное, из цыган и что такие вот унтеры, не поднявшиеся выше кругозора батарейного командира, приносят своим невежеством больше вреда, чем пользы. А ведь под его началом более двухсот артиллерийских стволов, многие сотни людей.

И пришла вдруг мысль: за ночь скрытно снять всю артиллерию, рассыпанную вдоль линии фронта, собрать ее в одном месте и нанести внезапный, уничтожающий огневой удар по войскам белых, сосредоточившихся возле станции Садовая для завтрашнего наступления. Что мы и сделали — о подробностях я уже писал. Сражение мы выиграли, но, может быть, еще важнее было то, что именно тогда сложилось у Сталина представление о роли артиллерии в бою, о важности сосредоточения сил и средств на решающих участках борьбы, о необходимости быстрого маневрирования, — то есть многое из того, чем руководствовался он в дальнейшем в своей военной деятельности, особенно в годы Великой Отечественной…

Вот и теперь мне надо было бы отвлечься от событий в Берлине, но не получалось. И час, и другой, и третий сидел над бумагами, с тупым упорством занимаясь бесполезной работой: переносил с большой штабной карты на план-карту Берлина вражеские оборонительные сектора и помечал их, как было у немцев, латинскими литерами. Марал чистую, хрустящую, очень подробную план-карту германской столицы, припоминая дома, кварталы, где мне доводилось бывать: давно, еще до революции. Такие карты, а точнее все-таки планы, перед наступлением на город получили наши офицеры, разведчики и вообще все, кому они требовались — на всех хватило.

Как и любой кадровый военный, я неравнодушен к топографическим картам, с удовольствием читаю их, как читают увлекательно-познавательные книги. Сверяю с местностью. Есть такой полуанекдот. Сидят на завалинке старухи, смотрят на проходящих солдат. Командир спрыгнул с коня, раскрывает планшет. Старухи уже знают: «Гля, девки, карты достал, чичас дорогу спрашивать будет». Смеются — ерничают местные жители, а как командиру не сопоставить карту с действительностью?! Ведь и местность меняется, и карты дряхлеют, словно люди. Вчера была проселочная дорога, а нынче ее нет, был мост через речку, да его взорвали или ледоходом снесло. Лучше спросить. Я и сам, бывало, расспрашивал и стариков, и женщин, и ребятишек.

Каждое сражение, каждый бой начинаются с работы над картой. Без нее слеп генерал, слеп офицер, слеп штаб. Для меня все карты интересны и притягательны, но та, берлинская план-карта была особенно дорога. Отпечатанная в семь (!) красок на четырех стандартных листах, превосходный образец топографического и типографского искусства являла собою она! При масштабе 1:5000 специалистам удалось нанести на план все основные городские объекты: улицы и парки, реки и пруды, мосты и памятники, железнодорожные и трамвайные пути, вокзалы и станции метро, отдельные сооружения, способные служить ориентирами.

Более двухсот объектов (заводы, казармы, военные училища, административные здания) были пронумерованы, список дан на полях плана. Под номерами 105 и 106 числились, соответственно, имперская канцелярия и рейхстаг. Сей подробный план во многом помог нашим войскам, штурмовавшим Берлин. А у меня план-карта вызывала особое чувство. И не только своею точностью, аккуратностью, красотой.

В самый разгар войны я, вернувшись с Северного Кавказа, подробно доложил Иосифу Виссарионовичу о результатах поездки. Упомянул в качестве курьеза о повышенном интересе немецких и румынских солдат к калмыкским женщинам, что вызывало раздражение местного населения, конфликты с оккупантами. Сталин тогда не воспринял юмора или не захотел воспринять, и сделал очень серьезные выводы: надо позаботиться о политико-просветительной работе в наших войсках, которые войдут на территорию Польши, Венгрии, других стран. Чтобы каждый наш солдат и офицер имел представление об истории, культуре, особенностях того государства, где окажется, знал основные правила поведения. Начальнику ГлавПУРа генералу Щербакову было поручено без промедления заняться этим вопросом. Повторяю, в самый разгар войны, когда бои шли под Харьковом, под Смоленском. Далеко смотрел Иосиф Виссарионович.

Осенью 1943 гола он вновь удивил меня даром предвиденья. «Николай Алексеевич, завтра в Ленинград вылетает товарищ Ворошилов. Составьте ему компанию. У него будет свое дело, у вас свое. Там сейчас готовят план Берлина. Посмотрите внимательно этот план вместе с товарищем Говоровым. Он с позиций командующего фронтом и завзятого артиллериста, а вы с позиции Генштаба. Поправьте картографов, если потребуется, помогите им».

Я не стал спрашивать, почему план-карту немецкой столицы разрабатывают в осажденном Ленинграде. Там находилась наша старейшая и лучшая топографическая воинская часть, сохранились лучшие специалисты, имелась хорошая техника. Я спросил о другом: хватит ли там необходимых материалов, справятся ли истощенные голодом люди со сложной, трудоемкой, физически тяжелой работой? Знал: кассеты, заряженные негативом на стекле, весом каждая от 40 до 50 килограммов, а ведь их требуется многократно передвигать, переставлять. Или печатники: им придется вручную вращать барабаны станков — это же нагрузка для сытых мускулистых спортсменов… Сталин ответил: «Мы говорили об этом с товарищем Ждановым, он заверил, что ленинградцы выполнят заказ в самом лучшем виде, что это для них высокая честь, что это поднимет настроение ленинградцев… А вы посмотрите, чем мы способны помочь». Такой вот был разговор, а бои в тот день шли еще на Днепре, возле Киева.

Вместе с Леонидом Александровичем Говоровым я пробыл в топографической воинской части с утра до вечера.

Для встречи был выстроен личный состав. Начальник топографической службы Ленинградского фронта полковник Сердобинцев представил нам офицеров, ведущих специалистов. В строю было много женщин. Сердце щемило при виде этих изможденных людей, но работали они действительно с радостью, с энтузиазмом. Скрупулезно исследовали, сопоставляли довоенные карты с аэрофотосъемками, сделанными нашими летчиками при бомбежке Берлина, туристические путеводители со сведениями, полученными от пленных, использовали фотографии, открытки с видами немецкой столицы, литературные источники.

Титанический труд! Гасло электричество — работали при коптилках. Температура в помещении не превышала восьми градусов, коченевшие пальцы отогревали дыханием. За время создания плана Берлина на территории топографической воинской части и поблизости от нее разорвалось, как я узнал потом, почти сорок тяжелых снарядов. Немцы методично обстреливали нашу северную столицу, а в ней уже готовилась план-карта, руководствуясь которой, через полтора года пойдут по берлинским улицам наши войска.

Пожелания, высказанные Говоровым и мной, были учтены топографами. На следующий день нас принял в Смольном А. А. Жданов, которому мы намеревались изложить свои соображения: чем и как помочь создателям плана. После длительной беседы Жданов пригласил маршала Ворошилова, генерала Говорова (он тоже вскоре станет маршалом) и меня пообедать в столовой. При входе в оную каждому из нас симпатичная официантка вручила по мешочку, похожему на кисет, с небольшой, граммов в сто, порцией хлеба. Сели за стол с букетиком багряных листьев в вазе. На блюдцах — по зеленому соленому помидору, их давали в тот день вместо первого. Оказывается, партию бочек с этим подспорьем переправили через Ладогу и нынче включили в паек всем ленинградцам. Затем нам принесли пшенную кашу, примерно по четыре ложки с каплями масла в углублениях. И по стакану горячего сладкого компота… Мне, оголодать не успевшему за краткое пребывание в Питере, обед в горло не шел при мысли: а что едят сегодня в воинской части наши топографы и картографы? Там ведь не Смольный. Всего-то, может, на обед по соленому помидору и по кружке кипятка.

А еще размышлял я о каверзах Провидения, которое совместило, казалось бы, несовместимое, свело за дружеским столом в бывшей столице людей совершенно различных. Вот подвижной, бодренький, несмотря на возраст, хорохорящийся Ворошилов, один из зачинателей большевистской партии, один из создателей Красной Армии, ярый борец с прошлым, со всеми там дворянами, буржуями, капиталистами. Речи у него пламенно-зажигательные, а в сорок первом провалил дело, допустил немцев на окраину Питера, пришлось срочно заменять его Жуковым, а затем уж стабильно-надежный Говоров, превосходный артиллерист и фортификатор, превратил Ленинград в неприступную крепость… И ведь кто? Бывший колчаковский офицер, русский интеллигент, суховатый и принципиальный, никогда ни под кого не подстраивавшийся! Даже внешний облик свой сохранил, нося вертикальные усики, какие бытовали еще до революции. У всех у наших усы либо горизонтальные, как у Буденного, либо подковкой, как у Сталина и Жданова, а у Говорова — неизменная черная щеточка от носа до губ. Голос суховатый, говорит мало, короткими чеканными фразами… Кстати, не забыть бы поздравить его, совсем недавно он, прославленный командующий прославленного Ленинградского фронта, подал заявление о вступлении в Коммунистическую партию. Не без влияния Жданова, разумеется: они хорошо сработались в осажденном городе, глубоко уважали друг друга.

Созерцая и сравнивая разнокалиберные усы, я краем уха слушал диалог Ворошилова и Говорова по вопросу, который не давал покоя Клименту Ефремовичу: о неудачах первых месяцев войны здесь, на Северо-Западном направлении. Они не спорили, просто излагали каждый свою точку зрения. Говоров спокойно и сдержанно, а Ворошилов как всегда горячась и даже подпрыгивая на стуле. Последний утверждал, что ошибки имели место,

однако главное было все же достигнуто, немецкие войска измотались на дальних и ближних подступах к Ленинграду и блокировали его с большим запозданием, с нарушением своего замысла. А что отвечал Леонид Александрович? Что гитлеровцы вовсе и не намеревались окружать нашу северную столицу, они планировали взять ее быстро, с ходу, а затем бросить освободившиеся дивизии под Москву или на другой трудный участок. Но немцы действительно утратили свой наступательный порыв в боях в Прибалтике, особенно под Таллином, на Лужском и других рубежах. Встретили нарастающее сопротивление на ближних подступах к городу. И начала проявляться объективная и зачастую очень коварная закономерность: войска стали распространяться туда, где было меньше сопротивления. Ленинград давал отпор, а южнее и восточное его почти не было наших сил, не было укреплений, этот вакуум засасывал немцев, они двигались по пути наименьшего сопротивления на восток до самых берегов Ладоги. То же самое произошло и с финнами, которые намеревались штурмовать город с севера, но утекли, ушли далеко на восток, до вышеупомянутого Ладожского моря-озера.

Не новость, конечно, высказал Говоров, но ведь даже самые известные истины надобно освежать, чтобы не забывались, использовать их в конкретной обстановке. Да, наступающие войска поворачивают и быстрее распространяются именно в ту сторону и туда, где меньше сопротивление неприятеля. Да, вакуум затягивает. Почему 79-й стрелковый корпус генерала Переверткина продвигается быстрее других? А потому, что оказался на северо-западной окраине Берлина и теперь все круче заходит правым флангом к центру города, ведя наступление в направлении почти противоположном тому, в котором шел до сих пор. Он практически с запада на восток идет, а западная часть города менее подготовлена к обороне, оттуда, кстати, снимались войска для боев на Зееловских высотах.

Вспомним осень сорок первого года. На Волоколамском направлении сдерживали гитлеровцев дивизии Рокоссовского, на Можайском направлении — дивизии Говорова. Но вот если бы какой-либо немецкий корпус прошел севернее нашей столицы и, круто повернув назад, начал бы наступать к центру города с востока, обстановка резко изменилась бы не в нашу пользу. Представьте, что фашисты наступают по Щелковскому или Горьковскому шоссе, рвутся к Кремлю со стороны Измайлова, где у нас нет укреплений и почти нет резервов. Вот в чем суть! И теперь очень важно закрепить и развить неожиданный успех Переверткина, не предусмотренный замыслами командования. Вот тот ключ, который при правильном использовании поможет нам быстрее распахнуть дверь вражеской крепости!

Я вызвал машину с охраной и не теряя времени выехал в 3-ю ударную армию.

9

Начальник штаба 3-й ударной генерал Букштынович Михаил Фомич встретил меня с холодком и вроде бы даже с опаской; во всяком случае, я никогда не видел его столь напряженно-настороженным по отношению ко мне. Тем более что он умел скрывать свои эмоции, всегда оставаясь спокойным и ровным. С довоенных времен считалось, что по вежливости и тактичности Букштынович второй человек во всей Красной Армии — после

маршала Шапошникова. У маршала привычно-любимое обращение ко всем «голубчик», а самое резкое ругательство: «выражаю вам полное неудовольствие» — после чего подчиненному оставалось только подать рапорт о переводе или об увольнении со службы. А те, кто знал Букштыновича, больше всего опасались услышать от него огорченное: «Я так на вас надеялся, а вы…» Командирская требовательность, даже самая высокая, выражается по-разному. Один наорет, обматерит, а кроме оскорбления никакого проку, разве что нагонит страха на некоторое время. А другой произнесет негромко несколько фраз, но они запомнятся на всю жизнь.

Необычайное состояние Михаила Фомича можно было бы отнести на счет его нездоровья — месяц назад он тяжело заболел, потребовалось хирургическое вмешательство. Врачи из медицинского управления фронта потребовали срочно отправить его в стационарный госпиталь, чуть ли не в Москву, однако Михаил Фомич решительно воспротивился, дозвонился до маршала Жукова, попросил разрешения оперироваться на месте, в госпитале своей армии.

Георгий Константинович внял и посочувствовал. Обидно же, в самом деле, пройти долгий и трудный боевой путь и выбыть из строя перед торжественным финалом, и не от пули, не от осколка, а от обычной цивильной хворобы. И не хотел, вероятно, Жуков, чтобы с его фронта убыл «безупречный знаток тактики», «великолепный организатор боя», — это я цитирую служебно-политическую характеристику. Слова-то какие в казенном документе. Заслужить надо! «Являет собой образец командира, которому можно подражать во всем» — сие начертал не кто-нибудь, а начальник политотдела 3-й ударной армии генерал Ф. Я. Лисицын.

Короче говоря, Жуков разрешил Букштыновичу оперироваться на месте. Тот поторопил своих армейских врачей, те прооперировали быстро и хорошо: к началу Берлинского сражения Михаил Фомич был на своем посту, а бинты с него сняли уже в самом городе. Физически ослаб, конечно, похудел, потерял много крови, был болезненно-бледен, как и в тот день тридцать восьмого года, когда я увидел его на Лубянке в камере, где Михаил Фомич сидел вместе со своим сослуживцем по 25-й стрелковой чапаевской дивизии Н. М. Хлебниковым: последний был у Чапаева начальником артиллерии, а Букштынович командовал 222-м интернациональным полком, который входил одно время в состав прославленной 25-й. Тогда при разговоре со мной в глазах его затеплилась надежда. А теперь смотрел он на меня испытующе и даже несколько настороженно, чему я вскоре нашел объяснение: опасался вмешательства в его смелый замысел, который уже осуществлялся, но еще не был осознан вышестоящим начальством. Узнав, что командующий армией Василий Иванович Кузнецов находится в войсках, я сразу же назвал точный адрес:

— И, конечно, у Переверткина?

— Да, Семену Никифоровичу особое внимание, — осторожно подчеркнул Букштынович, уловивший суть моего вопроса.

— Где сейчас Переверткин?

— Форсирует канал Берлинер-Шпандауэр-Шиффарст.

— В штаб фронта еще не докладывали?

— Нет. И в очередном донесении пока воздержимся.

— Есть основания?

— Идет бой, результаты пока неясны, — пожал плечами Букштынович. — Помните урок Холма? Доложили, что город взят, Совинформбюро объявило, и сели в лужу. Немцы еще два года держались там.

— Как не помнить, Михаил Фомич, меня тогда направляли в 3-ю ударную разбираться. Но там — укрепленный город, а здесь всего лишь канал, метров семьдесят-восемьдесят.

— Но глубина до трех метров. Крутые бетонированные берега с низко опущенным зеркалом воды. И шквальный огонь противника.

— Переверткин уже за каналом? — напрямик спросил я.

— Да, — неохотно подтвердил Букштынович.

— И мост наведен?

— Понтонный батальон наводит шестнадцатитонный. Дивизионные саперы восстанавливают взорванный. Спущены паромы. Ночью переправим артиллерию и танки.

— Ну что же, Михаил Фомич, картина объемная и понятная. За каналом — Моабит, центр города, рейхстаг. Но ведь это не ваша полоса.

— А мы и сейчас не в своей полосе. Мы там, где никто не предусматривал, ни наши, ни немцы. Повернули корпус Переверткина сначала на юг, потом на юго-восток, а теперь он фактически наступает в обратном направлении, с запада на восток. За ним, описывая крутую дугу, поворачиваются все другие соединения нашей армии.

— Михаил Фомич, это ваша идея?

— Не совсем. — Букштынович заколебался. — Все мы здесь прониклись этой идеей. Я только первым обратил внимание на открывшуюся возможность.

— Переверткин, разумеется, сразу понял и поддержал, и вы вместе, с двух сторон, убедили осторожного Кузнецова?

— Вы провидец, Николай Алексеевич, — впервые за весь разговор улыбнулся Михаил Фомич. Все почти так. И опасаемся мы одного, что нас остановят, перенацелят… Сейчас мы в ничейном пространстве, но как только войдем в полосу соседей, они сразу поднимут шум.

— А Жуков поддержит их и наведет порядок.

— Поддержит и наведет, подтвердил Букштынович. — Кто должен поднять над Берлином красное знамя? 1-я гвардейская танковая армия. Катуков — ему приказано. Чуйков и Берзарин должны брать центр, при этом Берзарин уже назначен комендантом Большого Берлина. Но все они пробиваются метрами, а мы идем километрами. Случайная, «чужая» для Жукова армия, которой доверили только городскую окраину очищать.

— Не прибедняйтесь, Михаил Фомич, не надо. В Ставке ценят 3-ю ударную. И командарма вашего, и вас тоже. А насчет Жукова вы правы. Он сориентирован на Катукова, Чуйкова и Берзарина, и он упрям. А мы поступим таким образом. Я свяжусь от вас по ВЧ с Генштабом, с Антоновым, введу его в курс событий, он доложит Верховному, а уж Верховный будет решать. Вы же со своей стороны без лишнего шума продолжайте делать свое дело. Наступайте до северного берега излучины Шпрее. За Шпрее полоса 5-й ударной армии. Как только достигнете берега, позвоните маршалу Жукову. Просите, добивайтесь разрешения наступать дальше: через Шпрее к рейхстагу. Позвоните лично вы, Михаил Фомич, у вас получится убедительней, чем у Кузнецова. Василий Иванович — он ведь сразу под козырек и «так точно!». А тут доводы требуются. Не стоять же корпусу Переверткина и всей армии на месте, когда сражение в полном разгаре. Каждый час, приблизивший победу, спасет тысячу

жизней, не говоря уж о сутках. Важно, чтобы разрешение исходило от самого Жукова, чтобы самолюбие его не взыграло. Соответствующая подготовка сверху будет проведена. И пусть эта маленькая тайна останется между нами…

С удовлетворением могу отметить, что в общем все так и получилось. Жуков учел сложившуюся обстановку, по достоинству оценил доводы генерала Букштыновича, которые тот изложил маршалу 28 апреля. Так что вот и я, долгое время вращаясь среди не столько военных, сколько политических интриганов, тоже обучился плести некоторые интриги. Ради общего дела. В данном случае ради нестандартного замысла, который осуществляли генералы Букштынович, Кузнецов, Переверткин и многие другие воины 3-й ударной армии, понимавшие, к какой высокой миссии причастны они.

10

Все последние дни апреля я безвыездно провел в 3-й ударной армии, а еще точнее в 79-м стрелковом корпусе генерала Переверткина вместе с командармом Кузнецовым. Там было средоточие главных событий, которые привлекали нарастающее внимание нашего высшего командования. А в самой армии жизнь сама по себе распределила обязанности между ответственными лицами. Начальник штаба Букштынович, оставаясь главной и неослабевающей пружиной, двигавшей армию к рейхстагу, отвечал одновременно и за «внешние связи»: принимал на себя все запросы, пожелания, советы, указания, хлынувшие сверху, и, по мере возможности, «хоронил» их в самом штабе, не дергая нервы тем, кто непосредственно руководил боями, то есть Кузнецову и Переверткину. Он же всеми правдами и неправдами заботился о состоянии 79-го корпуса, снабжая его материальными средствами, усиливая всем, что удавалось наскрести в тылах, изъять из других соединений; от артиллерии РГК, от инженерных частей и до батальона фугасных огнеметов. Все шло для поддержки войск, нацеленных на рейхстаг.

Генерал-полковник Кузнецов своим авторитетом объединял всю эту разноведомственную, разноподчинявшуюся ораву, направляя людей и технику в распоряжение генерала Переверткина или прямо в три стрелковые дивизии, составлявшие основу 79-го корпуса. Это 207-я стрелковая дивизия полковника В. М. Асафова, 171-я стрелковая дивизия полковника А. П. Негоды (первой пробившаяся в Большой Берлин) и 150-я стрелковая дивизия генерал-майора В. М. Шатилова. И хотя численность приданных частей в этих дивизиях была уже примерно такой же, если даже не больше, чем численность самой пехоты, главную роль играла все же она — матушка, царица полей и улиц. В атаку пошла пехота, а все остальные только поддерживали ее.

По данным разведки нам было известно, что Гитлер находится в своей рейхсканцелярии, но до его логова нашим войскам было еще далековато, а рейхстаг ближе: там обретались некоторые фашистские бонзы. Поэтому и генерал Серов, ответственный за захват гитлеровских главарей, тоже значительную часть времени проводил в 79-м стрелковом корпусе, усилив оперативниками и переводчиками корпусной отдел СМЕРШа за счет других соединений. Вообще, надо отметить, что военная контрразведка, лично сталинская контрразведка, едва зародившись, сразу прочно обосновалась именно в корпусном звене. Причин несколько. Корпусное

звено тогда, в 1943 году, возрождалось в наших войсках и, согласитесь, проще и незаметней было включить новый отдел в новую структуру, нежели ввести в штабы сложившихся, устоявшихся организмов. К тому же штабы корпусов дислоцировались на некотором расстоянии от передовой, от горячки боя, сотрудникам контрразведки удобней и целесообразнее было с определенной дистанции наблюдать, контролировать, «зачищать» как передовую, так и прифронтовые тылы. Ну и штабных офицеров много было в корпусном звене, среди них растворялись, не привлекая внимания, сотрудники СМЕРШа. А в те исторические дни отдел контрразведки 79-го стрелкового корпуса стараниями генерала Серова вырос раза в два, если не больше. Серов в общем-то правильно понимал обстановку и поступал, сообразуясь с ней.

28 апреля дивизии генерала Переверткина вели бой в старинном и густонаселенном районе Берлина, известном под названием Моабит. Он почти не изменился с тех пор, когда я бывал там еще до Первой мировой войны — не считая, конечно, разрушений. Сомкнутые монолиты мрачноватых домов, узкие улицы, похожие на ущелья. Теперь их преграждали баррикады и завалы. Все удобства для обороняющихся. Пехоте негде развернуться, не говоря уж об артиллерии и танках. Но наши люди быстро приспособились к таким условиям: действовали небольшими группами, не ломясь напрямик, а просачиваясь через проходные дворы, через проломы в подвалах и стенах. Особо угрюмым в том малопривлекательном районе выглядело массивное здание огромной тюрьмы Моабит, протянувшееся на целый квартал. Одна из крупнейших в мире тюрем, к тому же с самыми тяжелыми условиями и строгим режимом для арестантов. В тесных и холодных камерах германские власти «запечатывали» тех, кого считали особо опасными для себя: политических деятелей, противников существующего режима. Немцы, естественно, заранее готовили для обороны толстостенную тюрьму-крепость, но быстрый выход нашего 79-го корпуса в район Моабита с тыла оказался совершенно неожиданным для противника, гарнизон тюрьмы не смог оказать серьезного сопротивления. А фашистские подразделения, направленные на усиление гарнизона со стороны рейхстага, были разбиты на улицах, на подступах к тюрьме. Помогли нам и заключенные, постаравшиеся ускорить свое освобождение. Семь тысяч человек — сила немалая. Вырывались из камер, убивали охранников (значительная часть охраны была отвлечена боем), вооружались. Таким образом, важный опорный пункт неприятеля на подступах к рейхстагу достался нам почти без потерь. Более того, 79-й стрелковый корпус получил неожиданное пополнение. Факт этот историками и мемуаристами совсем не освещен по своей малости или по другим причинам, но и он, на мой взгляд, заслуживает упоминания. Нет одного штришка — и картина неполная.

Начав наступление на Берлин 16 апреля, корпус генерала Переверткипа за истекшее время понес значительные потери. В пехоте — до семидесяти пяти процентов, то есть три четверти. К примеру 150-я стрелковая дивизия генерал-майора Шатилова, воины которой водрузят знамя над рейхстагом, имела к началу операции около шести тысяч солдат и офицеров (не считая приданных частей и подразделений). А после освобождения района Моабита в ней оставалось чуть больше полутора тысяч человек: это ведь не полностью укомплектованный стрелковый полк. Плотность боевых порядков не снижалась лишь за счет того, что чем ближе к центру города, тем ощутимей суживалась полоса наступления: на

конус, на клин. Точно такое же положение было и в 171-й стрелковой дивизии полковника Негоды, действовавшей совместно со 150-й и столь же успешно. Ну и энтузиазм сказывался: Берлин, братцы, берем, историю делаем своими руками, Гитлера-суку поймаем и вздернем!

И вот в соединения Шатилова и Негоды влились вдруг две тысячи новых бойцов, считайте по тысяче на каждое. Это — узники, только что освобожденные из тюрьмы Моабит, в основном славяне, у которых хватило сил держать оружие. Утром, еще заключенные, они к вечеру уже сражались плечом к плечу с нашими воинами, жаждая расплатиться с фашистами за перенесенные страдания. Особенно помогли они нам на подступах к мосту Мольтке, к единственному; пожалуй, мосту через Шпрее, который немцы не успели взорвать или не захотели взрывать, рассчитывая использовать его для маневрирования силами и средствами. Подступы были перекрыты различными заграждениями, баррикадами, противотанковыми препятствиями, простреливались многослойным огнем. Несколько раз наши батальоны бросались в атаку, но откатывались назад, оставляя на раздолбленном асфальте серые, зеленые и полосатые бугорки убитых и раненых.

Почему полосатые? Да потому, что освобожденные узники так и пошли в бой в этой своей «форме», даже те, кто имел возможность переодеться. Чтобы видели гитлеровцы, кто мстит им, чтобы знали: не будет палачам никакой пощады. А чтобы как-то отличаться от других, от невоюющих узников, добровольцы сменили головные уборы, взяв у наших убитых и раненых бойцов пилотки, шапки, фуражки со звездочками. А с немцев стаскивали сапоги, потому что в деревянных арестантских бахилах не то что бегать — воевать, но даже ходить было трудно. Ну а всякого оружия на улицах тогда было полно; и немецкого, и нашего — только бери. Остроумные ребята-красноармейцы сразу же «окрестили» новоявленных вояк «полосатиками».

Необычное, разноязычное, но весьма своевременное пополнение в достаточной степени смущало наше командование. Указывать или не указывать этих добровольцев в сводках, докладывать или не докладывать о них по инстанции, да хотя бы включать или не включать их в списки на разные виды довольствия? Без проверки, без отбора, еще отвечать придется за кого-то из них перед разными ведомствами. Тот, глядишь, известный политик, которого надо беречь, а другой — уголовник, маньяк из числа тех, от которых любое общество готово избавиться. Командир корпуса Переверткин и командующий 3-й ударной армией Кузнецов закрывали глаза: ну, местная самодеятельность, ну, партизанщина — сами же рвутся в бой недавние арестанты, как им откажешь?! Притом, какая-никакая, а все же польза. Начальник штаба армии генерал Букштынович напрямик спросил меня: ему-то как реагировать? Он в ответе за все отчеты-бумаги, за всю документацию, с него спросят. Я посоветовал просто не вмешиваться в это дело. Осталось несколько дней, а потом все само по себе рассосется-уладится. Победителей не судят. И напомнил о том, как действовал под Москвой Павел Алексеевич Белов. В достигнутых им успехах, фантастических по тому времени, немалую роль сыграло и то, что Белов очень заботился, чтобы не ослабли, не истощились стремительно наступавшие войска его группы. Не считаясь ни с какими правилами и инструкциями, принимал в свои дивизии всех желающих: наших освобожденных пленных, отсидевшихся на оккупированной территории «зятьков», любых жителей, от допризывных юношей до

стариков, заменяя ими обозников и других тыловиков. Хочешь бить немца — бери винтовку и вперед! Всем народом шли! И сохранил Белов боеспособность: не только первым начал громить фашистов под Москвой, но и гнал потом их долго и дальше, чем все другие наши войска. Успех на войне — это главное… Михаил Фомич Букштынович передал, конечно, мои слова и Кузнецову, и Переверткину; они успокоились, и «полосатики» продолжали действовать в двух наших дивизиях на положении добровольцев — вольных стрелков.

Вскоре после того, как в тюрьме Моабит прозвучали последние выстрелы, мы с генералом Серовым прибыли туда вместе с группой сотрудников СМЕРШа в сопровождении взвода автоматчиков. Впрочем, хорошее слово «прибыли» в данном случае не совсем уместно, оттенок не тот. Вернее сказать, добрались, преодолевая завалы и баррикады, обходя воронки и заминированные участки, минуя пожарища, перебегая открытые пространства, простреливаемые снайперами. При этом один офицер был убит пулей в спину, а генерал Серов едва не угодил под лавину битого кирпича и штукатурки, хлынувшей откуда-то сверху. Держался там кусок разбитой стены, но рухнул от сотряссния, когда грянуло внизу наше тяжелое орудие. Быстрый Серов успел отскочить, лишь пологом едкой пыли накрыло его. Неподалеку грохотал бой, все вокруг гремело и содрогалось, трещало пламя пожаров, полз удушливый дым, а возле массивного здания тюрьмы, где было сравнительно безопасно, ликовали освобожденные люди. Звучали баян, флейта и губные гармошки. Песни — на всех языках: на французском, английском, итальянском, немецком и еще на каких-то. Даже пары кружились в танце. Ну, народное гуляние, да и только. Узники смеялись и плакали от радости, обнимая наших воинов. Помяли бока солдатам. Конечно, объятья силой не отличались, но ведь освобожденных-то тысячи, и каждый хотел выразить благодарные чувства. Точно подметил наш святой и грешный, простой и великий боец Василий Теркин:

И от тех речей, улыбок Залит краской наш солдат: Вот Европа, а спасибо Все по-русски говорят.

В одночасье освоила разноязычная публика наше добросердечное слово-понятие, слово-пожелание «спаси Бог за содеянное добро». Но сколь быстро освоила, столь быстро потом и позабыла, занявшись своими мелкотравчатыми меркантильными интересами: позабыла о том, как русский чудо-человек, себя не жалеючи, спас от геенны огненной, от гибельного мучительного ада, уготованного гитлеровцами на земле, не только европейские, но и все другие народы, в том числе и самих немцев. Коротка память неблагодарных. И, думаю, когда американцы, японцы или кто-либо другой с помощью разных там атлантических и прочих союзов и пактов опять примутся наводить на нашем шарике свой «новый порядок», захватывая территории, претендуя на мировое господство, не будет у нас особой охоты вновь защищать и оборонять те народы, у которых слишком короткая память. Отстоим свои интересы, охраним свои рубежи, сбережем своих людей, ну и ладно. А остальные — неблагодарные, — от израильтян до цыган, от чехов до поляков и все прочие пусть сами сопротивляются новому агрессору или ложатся под пяту новых изощренных изуверов.

У подъезда, ведущего в канцелярию тюрьмы, увидели мы десятка три женщин-немок из числа местной обслуги. Некоторые в надзирательской или эсэсовской форме, другие в гражданской одежде, почти у всех порванной. Перепуганные, избитые, они жались к стене, за спины наших

солдат, охранявших немок с винтовками наперевес. Не для того, чтобы не разбежались, а, наоборот, защищая от разъяренных тюремных сидельцев, среди которых были ведь не только политзаключенные, но и закоренелые уголовники разных мастей. Из толпы неслись угрожающие выкрики, вздымались сжатые кулаки, в женщин летели камни.

Солдат было немного и все молоденькие, видать, из самого последнего пополнения: в новых пилотках с жестяными звездочками, в обмотках, с тяжелыми подсумками на брезентовых ремнях. Ребятишки наши были бледны и растеряны: возле их ног в лужах крови валялись затоптанные, изуродованные женские трупы. Один труп, совсем голый, был буквально разодран за ноги до самой груди, вывалились все внутренности. Дикость какая-то! Война, конечно, страшна сама по себе, на ней насмотришься всякого, в том числе и разорванных снарядами или минами тел. Но ведь это в бою, при обстреле, при бомбежке. К этому привыкаешь, с этим смиряешься, как с неизбежной закономерностью. Но при виде истерзанных женщин даже мне стало жутко, сжалось сердце и боль разлилась в затылке, а каково же было ребятишкам-солдатам! Кого-то рвало, у кого-то крупными каплями пота осыпано было лицо. Старший в охране сержант отгонял, отталкивал, бил прикладом арестантов, но те продолжали напирать, пытаясь вытащить немок из-за солдатских спин. Трудно сказать, сколько было бы еще жертв, не подоспей сюда наша группа. Сопровождавшие нас автоматчики, вояки бывалые, быстро и бесцеремонно оттеснили толпу.

Генерал Серов, обругав сержанта за несообразительность, велел отвести всех женщин в общую камеру, под засов и надежно охранять там, оказав посильную помощь. Если среди них есть медики, пусть займутся ранеными немецкими солдатами. Выделил Серов двух переводчиков для опроса женщин, дабы выяснить, кто есть кто, имеются ли среди них такие, которые могут быть полезны для нас, хотя бы при разборе досье и картотеки, находившихся в канцелярии. Мы узнали, что женщины собраны были спешно для того, чтобы покинуть Моабит вместе с Геббельсом, который, оказывается, руководил из тюрьмы обороной этого района. Но волна наступающих накатилась так быстро, что Геббельс с охраной едва успел уехать через мост Мольтке, который, возможно, и берегли для него. А женщины так и остались возле канцелярии, где их окружила толпа.

Я предполагал, что рано или поздно мне доведется отвечать на связанные с Моабитом вопросы, которые будут интересовать Иосифа Виссарионовича. По крайней мере, на два вопроса, которые касались лично его. Не обнаружатся ли в тюрьме какие-либо сведения о Якове Иосифовиче Джугашвили? О нем давно уже не было достоверных известий. Мы считали его погибшим, но где, когда, как? И еще. Сталин не мог остаться равнодушным к тому, что связано было с Эрнстом Тельманом, выдающимся и несгибаемым вожаком немецких коммунистов. Сказав обо всем этом Серову, я выразил надежду, что какие-то факты, проливающие свет на судьбу сына Сталина и на участь его партийного друга, нам удастся найти в Моабите. Сам отправился осмотреть камеру, в которой долгое время томился товарищ Тельман. Найти ее среди сотен других помогла пожилая надзирательница, чем-то похожая на засохший стручок: тощая, лишенная фигуры, с прямыми, серыми от седины волосами.

Гулкий бесконечный коридор — как туннель в каменной толще. Скрипучая дверь. Меня поразила теснота камеры, размером примерно два на три метра. Холодные заплесневелые стены, холодный пол, сырой

затхлый воздух. Свет яркого весеннего дня с трудом проникал через зарешеченное окошко под потолком. И в этом каменном пенале находиться сутки за сутками, неделю за неделей, месяц за месяцем, не поддаваясь ни на шантаж и угрозы, ни на самые привлекательные посулы, не изменяя себе и тому делу, которому посвятил жизнь! Я представил себя в этой сырой тесной камере на месте товарища Тельмана и невольно содрогнулся. И подумал: да, есть на свете люди — борцы за общенародное дело, — достойные того, чтобы благодарные соотечественники и потомки ставили им самые прекрасные, самые впечатляющие, самые долговечные памятники.

11

Очень насыщен событиями был тот день — 28 апреля, особенно для воинов 79-го стрелкового корпуса генерала Переверткина, который, как мы знаем, умело воспользовавшись ситуацией, полностью развернулся фронтом назад и успешнее всех других наступал к центру Берлина с запада. К вечеру дивизии Шатилова и Негоды, освободив Моабит, достигли излучины реки Шпрее; за рекой были полосы, отведенные для наших армий, продвигавшихся с востока. Как мы условились заранее, начальник штаба 3-й ударной генерал Букштынович с молчаливого согласия командарма Кузнецова, связался по телефону непосредственно с маршалом Жуковым. Доложив о действиях Переверткина, сообшил, что войска с ходу атакуют мост Мольтке, а небольшие штурмовые группы уже переправились через Шпрее левее и правее моста и продвигаются к рейхстагу в полосе другой армии. Рейхстаг уже виден с командного пункта 756-го стрелкового полка из дивизии Шатилова. Положение осложняется тем, что расстояние между 3-й ударной армией и армиями, наступающими с востока, сократилось до трех, до двух с половиной километров. Возникла реальная опасность взаимного обстрела, даже стычек в неразберихе городского боя, тем более ночью. Желательно как можно точнее разграничить полосы продвижения армии и особенно районы, по которым могла вести огонь артиллерия каждого из соединений.

Жуков долго молчал, тяжело дыша в трубку. Букштынович замер в напряженном ожидании, хорошо понимая, каково Георгию Константиновичу изменить свои предыдущие решения, расстаться с мыслью о том, что победное знамя над центром Берлина поднимут выпестованные им, пришедшие сюда от Москвы первые гвардейцы — танкисты Катукова или сталинградская гвардия Чуйкова. Но было уже ясно, что сделать это до Первого мая, до праздника трудящихся, гвардейцы не успеют, не наверстают те несколько суток, которые были потеряны на Зееловских высотах, и что выполнить такую задачу способна лишь 3-я ударная армия.

— Где Лукашов? — неожиданно спросил Георгий Константинович.

— У Переверткина.

— Понятно. — Букштыновичу показалось, что Жуков вздохнул. Снова продолжительное молчание. Потом, отрезал: — Разграничительную линию пересмотрю. Берите рейхстаг!

Дальнейшие события, связанные со штурмом монументального здания, в какой-то мере олицетворявшего величие и могущество Германского государства, широко известны. О них писали журналисты и мемуаристы,

их исследовали ученые. Мне почти нечего добавить к сказанному, разве что некоторые собственные впечатления. Или подробности, о которых знают далеко не все. Например, история со знаменем Победы, до сих пор вызывающая споры: откуда оно взялось, каким было? — и все прочее. У кого-то шибко официальный подход, кто-то видит только одну самодеятельность. А истина, как обычно, посредине. Оно, это знамя, эта теперешняя святыня, зародилось в самый разгар войны и сложилось, можно сказать, из многочисленных красных флажков в самом центре России, в далеком от Берлина городе Невеле. Именно там впервые перед боем были розданы красные флажки и флаги лучшим солдатам 3-й ударной армии: орденоносцам, коммунистам, комсоргам, агитаторам — всем тем, кто в схватке с врагом является первым среди равных. В своем отделении, в своем танке, в своем орудийном расчете. В 3-й ударной армии таких воинов почтительно называли боевиками.

С тех пор так и пошло: возникшая и окрепшая традиция соблюдалась свято, культивировалась командирами и политработниками. Флаги перед боем тем, кто служит примером, ведет за собой всех других: необстрелянных, молодых, робких. Не только укрепляя моральный дух, но и обучая на практике личным примером. Красные флаги поднимали над высокими деревьями и над крышами деревенских изб, над улицами городов и над водокачками, над куполами церквей. Весь славный боевой путь 3-й ударной армии от истоков Волги до Восточной Пруссии и затем до самой немецкой столицы озарен был ярким светом наших флагов, порой очень простых, самодельных, изготовленных в батальонах, в ротах, даже во взводах: оструганная ножом палка с куском красной материи. Так и шли вперед. И они, между прочим, эти разнообразные, но одноцветные наши флаги, имели не только вдохновляющее значение, но играли существенную практическую роль, точно определяя линию соприкосновения с неприятелем, что особенно важно было в городских условиях.

На разрушенных улицах, среди дымящих пожарищ даже местные жители, случалось, теряли ориентировку, а красные флаги в окнах домов, на крышах, над руинами показывали, какой дом, какой район освобождены, где наши, а где чужие. Мы с генералом Серовым, кстати, благополучно добрались до тюрьмы Моабит не только благодаря проводнику из немцев-антифашистов, но и потому, что сообща выбирали направление по указующим флажкам и флагам. Особенно много флажков роздано было солдатам 79-го стрелкового корпуса, когда они приблизились к рейхстагу, накануне последнего броска, последнего штурма. Каждый воин достоин был такой чести: ощутимого личного вклада в огромнейшее дело общей победы!

Таковы, значит, были символы — предшественники знамен, которые учредил Военный совет 3-й ударной армии, когда эта армия вступила в Берлин. Их было девять — по числу дивизий. Каждое имело свой порядковый номер. Красное полотнище и номер на нем — больше ничего. О том, как они появились, — эти знамена, — есть свидетельство Г. Н. Голикова, служившего тогда в штабе 3-й ударной армии в звании майора. Привожу его слова: «Вызвал меня член Военного совета нашей армии Андрей Иванович Литвинов и говорит: «Вам, товарищ Голиков, поручается изготовить девять знамен и передать их политотделу армии…» Какие вопросы! Но ни добротного материала вроде красного бархата, ни инструмента, чтобы выточить древки, у нас не было. Пришлось

воспользоваться простой красной тканью, элементарным ножом. Художник В. Бунтов, киномеханик А. Габов и я сами кроили материал, обшивали его, ножом вытачивали древки и красили их красными чернилами».

Одно из этих знамен под номером 5 было доставлено в 150-ю стрелковую дивизию генерала Шатилова Василия Митрофановича, но в штабе дивизии оно долго не задержалось, его передали в 756-й стрелковый полк полковника Ф. М. Зинченко, который ближе всех подошел к рейхстагу. Другое знамя со следующим номером было доставлено в штаб 171-й стрелковой дивизии полковника Негоды, которая действовала вместе с шатиловской и столь же успешно. Далее лишь от малых колебаний капризной удачи зависело, какому из знамен суждено было взреять над куполом рейхстага и на все последующие годы, на всю историю человечества стать символом победоносного завершения самой кровавой войны. Считаю, что такой чести достойны все девять знамен, учрежденных Военным советом 3-й ударной армии, как и знамена, учрежденные в других армиях, штурмовавших Берлин. Но клин всегда сходится на чем-то одном, на то он и клин. Вместе с получением знамен командиры соединений и частей получили указание представить к званию Героя Советского Союза тех воинов, которые первыми ворвутся в рейхстаг, и тех, кто поднимет над ним красный стяг.

12

30 апреля в 10:00, в разгар боев за рейхстаг и соседствующее с ним здание Кроль-оперы, командир 756-го стрелкового полка Ф. М. Зинченко вызвал к себе полковых разведчиков во главе с капитаном В. Кондрашовым и приказал последнему выделить двух человек, которые должны проникнуть в рейхстаг с передовыми штурмовыми группами и установить знамя на самом видном месте, на куполе. После некоторого раздумья капитан произнес: «Сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария». И тот, и другой были настолько авторитетны среди своих товарищей, что их выдвижение не вызвало ни тени сомнения у других разведчиков. Эти двое — достойнейшие среди достойных.

Командир полка Зинченко впоследствии многократно, и устно и письменно, подтверждал, что фамилии Егорова и Кантарии были названы их непосредственным начальником капитаном Кондрашовым именно в то время и в той обстановке, которая показана сейчас мною. Никаких возражений не поступало от Егорова, от Кантарии, от других участников и свидетелей. Нет оснований не доверять им. И воистину невозможно предугадать, где и когда «слово наше отзовется». На ближайших страницах я поведаю о том, как отозвались слова Зинченко и Кондрашова в Кремле, как и на кого они повлияли.

Недавно вроде бы поэт Семен Кирсанов писал с болью душевной: Пробита градусная сетка, Вонзились армии в тылы. В три наших сердца — три стрелы, По плану Гофмана и Секта.

Давно ли синие стрелы на военных картах быстро ползли к Москве, Ленинграду и Киеву? Но нет их больше, стерли! Теперь красные стрелы, протянувшись издалека, вонзились в самое сердце Германии. Что-то частенько сбиваюсь я на символику, но не могу и сейчас не подчеркнуть еще раз одну особенность. Откуда наши-то стрелы? 1-я гвардейская танковая армия Катукова пришла от стен Москвы. 8-я гвардейская армия

Чуйкова — из Сталинграда. И вот ведь никто специально не старался, но само собой получилось, что дивизии 3-й ударной армии Кузнецова пришли сюда от самых истоков Волги, а 5-й ударной армии Берзарина — от самого устья нашей великой реки! Красные стрелы армий скрестились на Шпрее, в центре Берлина, заливая вражеской и собственной кровью главный очаг мирового пожара.

К пылающему, грохочущему, затянутому дымом «пятачку» было приковано внимание высоких политических и военных деятелей всех воюющих держав, но никто, даже наше командование не знало точно, что там происходит. По требованию Жукова начальник штаба 3-й ударной армии Букштынович лично (командарм Кузнецов все время находился в войсках, на передовой) докладывал в штаб 1-го Белорусского фронта об изменении обстановки теперь уже не два раза в сутки, не четыре, а буквально через каждый час. Оттуда сведения шли в Москву. Я отчетливо представлял себе состояние Иосифа Виссарионовича, напряженно ожидавшего: увидит ли Европа да и весь мир 1 мая Красное знамя над поверженной цитаделью фашизма? Полной уверенности не имелось. И вообще сухие данные о захвате того или иного здания, о продвижении вперед на двести или триста метров позволяли судить лишь о накале битвы, а не о ее эффективности и, уж конечно, не воссоздавали реальной картины своеобразного городского сражения, где на малом пространстве в смертельной схватке схлестнулись две огромные силы.

30 апреля я побывал на командном пункте генерала Переверткина, который оборудован был возле моста Мольтке, и почти час провел на командном пункте полковника Зинченко, откуда просматривалась Королевская площадь, а за ней — серое, массивное здание рейхстага, с окнами, заложенными кирпичом: оставались лишь амбразуры, узкие бойницы. Из всех своих впечатлений выделю два. Прежде всего — мощь заранее подготовленной обороны. Королевская площадь с трех сторон простреливалась ураганным артиллерийским, пулеметным и автоматным огнем, который буквально сметал все живое. Метрах в двухстах перед рейхстагом отрыты траншеи с пулеметными гнездами, с ходами сообщения, ведущими к зданию. Огневые точки под железобетонными колпаками. Глубокий ров, пересекавший площадь, был заполнен водой. Возле этого рва особенно много трупов, там до середины дня захлебывались все наши атаки. Хотя бы только по этим разноодетым, разномастным трупам, нашим и немецким, усеявшим всю площадь, можно было судить, сколько же всякого люда участвовало в сражении. Нечто похожее на вавилонское столпотворение — таково второе впечатление, о котором хочу сказать.

Гарнизон рейхстага насчитывал около двух тысяч человек — это много даже для очень большого здания. Примерно столько же солдат и офицеров оборонялись в Кроль-опере. И кого же там только не было! Черные мундиры эсэсовцев перемежались серой армейской формой. Группы фольксштурма в полугражданской одежде соседствовали с группами авиаторов, с танкистами в комбинезонах. Выделялась флотская форма: морские курсанты были переброшены из Ростока в осажденный Берлин по воздуху. Такой вот конгломерат.

На нашей стороне разнообразия еще больше. Основу нашей наступающей группировки составляла, естественно, пехота, все тот же 79-й стрелковый корпус, все та же 150-я стрелковая дивизия Шатилова и 171-

я стрелковая дивизия Негоды, целью которых был рейхстаг, и 207-я стрелковая дивизия Асафова, продвигавшаяся к Кроль-опере.

Для прорыва вражеского оборонительного рубежа каждая дивизия обычно концентрировалась в полосе от двух до трех километров, строя свои боевые порядки в несколько линий, в несколько эшелонов. А на Королевской площади, где действительно все сошлось клином, на каждую дивизию оставалось по триста — четыреста метров. Но ведь и людей в дивизиях было совсем мало: в стрелковых полках процентов по двадцать. Мы уже говорили об этом после Моабита, а через сутки насчитывалось еще меньше. Первой ротой 756-го полка, особо успешно действовавшей на Королевской площади, командовал, например, старший сержант Илья Сьянов: не потому, что был парторгом этой роты, а потому, что в ней не осталось ни одного из пяти офицеров. С этой ротой, кстати, шли знаменосцы Егоров и Кантария, сопровождаемые группой прикрытия.

Конечно, поредевшая пехота одна ничего не смогла бы сделать. Но вместе с корпусом Переверткина к рейхстагу вышли семь артиллерийских полков, четыре дивизиона «катюш», танковая бригада; отдельный танковый полк, другие части усиления. Редкий случай: приданных сил было не меньше, а может, даже больше, чем основных. Сто артиллерийских орудий крушили вражеские укрепления, долбили стены массивного здания. Грохот и сотрясение были такими, что трескались стены домов.

Прослышав о том, что наши штурмуют рейхстаг, к Королевской площади хлынул многочисленный и разнообразный тыловой люд, чтобы «добить Гитлера» или хотя б увидеть, как это будет. Ремонтники и ветеринары, обозники и музыканты, трофейщики, интенданты, писаря — все были тут. Вместе с пехотой в атаку поднимались освобожденные узники Моабита в полосатых пижамах-робах и солдаты из батальона аэродромного обслуживания, невесть как и почему оказавшиеся здесь. Виднелись цветные верха казачьих шапок-кубанок: группа излечившихся в госпитале бойцов 7-го гвардейского кавкорпуса, возвращавшаяся в свое соединение, «сбилась с пути», как магнитом притянутая рейхстагом. Мелькали даже женские платочки и платья, причем на самой площади, под огнем, возле рва с водой. Это вольнонаемные девчата из банно-прачечного отряда впервые за всю войну покинули котлы с солдатским бельем и добровольно явились помогать медикам. Перевязывали раненых, оттаскивали их в безопасные места, в ближайшие подвалы, где коротал время в ожидании своего часа народ творческий, намеренный запечатлеть для истории славный и волнующий миг победы: журналисты и писатели, фотокорреспонденты и киношники. Наиболее нетерпеливые выглядывали на площадь из-за угла, из развалин, из окон… Странным был этот бой с обычными жертвами, с обычной кровью и болью, но по-весеннему радостный, сумбурный, с приподнятым настроением. Бой-горе и бой-праздник!

Между тем начальник штаба 3-й ударной генерал Букштынович, к которому стекались сведения из всех частей армии, уже подготовил проект донесения о взятии рейхстага: написал от руки, оставив место для указания часа и минут. Поступило, наконец, сообщение, что самым первым на ступени главного входа прорвался младший сержант Петр Пятницкий, несший самодельный флаг. Здесь же, у двери, его сразила пуля, он упал замертво, но флаг подхватили другие бойцы, установили на колонне, обозначив: «Мы здесь!». И вот уже пробились в здание, на первый и на

второй этажи. Сразу за сообщением об этом в штаб, в адрес Военного совета армии поступила телефонограмма командира 79-го стрелкового корпуса генерал-майора С. Н. Переверткина. Поскольку текст ее малоизвестен и вряд ли имеется в архиве, привожу телефонограмму полностью.

«В 14:25 30.4.45 части корпуса в результате двухдневного ожесточенного боя над южной частью рейхстага водрузили Красное знамя. Идет очистка здания от остатков противника. Ваш приказ выполнен. В боях отличились части генерал-майора Шатилова, полковника Негоды, полковника Зинченко, подполковника Плеходанова, подполковника Николаева, майора Шаталина. О танкистах и артиллеристах будет донесено дополнительно».

Долгожданное радостное известие! Однако умудренный опытом Михаил Фомич Букштынович не торопился давать ему дальнейший ход. Чувствовал — сгоряча послано. Знамя-то водружено не над рейхстагом, а лишь над южной частью. Какое знамя? А «очистка» огромного здания может затянуться надолго. Поспешишь — и себя, и других огорчишь. Позвонил Переверткину, выяснил подробности. Знамя, оказывается, не дивизионное, а одно из многочисленных батальонных. И не видно его уже, сбито. Внутри здания продолжается ожесточенный бой, фактически захвачено лишь несколько комнат… Нет, рано докладывать маршалу Жукову о полном успехе. Потерпеть надо — куда как больше терпели! И, преодолев желание поделиться радостью, положил донесение Переверткина подальше от соблазна в ящик стола. И прав оказался в своей осторожности.

Гарнизон рейхстага потребовал, вероятно, от командования поддержки и подкрепления. В 19 часов со стороны Тиргартена и от Бранденбургских ворот началась мощная вражеская контратака. При поддержке танков и самоходных орудий бросились вперед более двух тысяч гитлеровцев, половину которых составляли эсэсовцы, предварительно взбодрившие себя шнапсом и оттого до дерзости осмелевшие. В сущий ад превратилась Королевская площадь и окрестности. На небольшом пространстве грохотали сотни артиллерийских стволов, скрежетали гусеницы танков, били минометы и огнеметы, рвались гранаты, свинцовым дождем хлестали пулеметы, автоматы, винтовки. Пули и осколки многократно пронизывали каждый метр пространства. Полегли те, кто не успел укрыться в развалинах, в подвалах или траншеях; в том числе большая группа «полосатиков» — узников Моабита. Она действовала на относительно спокойном фланге и вдруг попала под удар атакующих.

Все перемешалось. Представьте: в огромном здании рейхстага идет тяжелый бой в одной его части, в других еще держатся немцы, не подпуская к стенам воинов наших штурмовых групп. На помощь осажденным спешат немцы, дабы отрезать наших солдат, дерущихся в здании, и покончить с ними. Где свои, где чужие? Десятки эсэсовцев достигли главного входа, бегут по ступеням, ломятся в подъезд, в проемы окон. С первого и второго этажей, отбиваясь с двух сторон, наши бьют по набегающим немцам, с других этажей немцы бьют по нашим штурмовым группам. В огне, в дыму сходятся в упор, на штыковой замах, на удар кулака.

В течение часа положение оставалось неясным и крайне напряженным. Если бы немцы вернули себе район Королевской площади, ситуация в Берлине могла резко осложниться. У фашистов имелось в городе

достаточно сил и средств для продолжения сопротивления, к тому же они надеялись на поддержку извне. Но наши выстояли, выдержали, бросив в бой все, что имелось. После 20 часов побоище начало затихать. Немцы, контратаковавшие со стороны Тиргартена и Бранденбургских ворот, были уничтожены, уцелевшие отброшены. Лишь в самом рейхстаге сражение не ослабевало (остатки гарнизона капитулируют только 2 мая). Где-то там, внутри здания, находились знаменосцы Егоров и Кантария.

К этому времени из показаний пленных стало известно, что в рейхстаге нет никого из высших руководителей Третьей империи. Убедившись в этом, я решил отправиться в 5-ю ударную армию генерала Берзарина, которая достигла рейхсканцелярии, постоянного убежища фюрера и его бонз. Но как добраться туда? По прямой совсем близко, не больше километра, однако на пути две линии боевого соприкосновения, не пройдешь, не проскочишь. Значит — вокруг Берлина семь верст киселя хлебать? Решил посоветоваться с Букштыновичем, который в тот момент находился на командном пункте армии вместе с начальником оперативного отдела штаба Г. Г. Семеновым — моложавым полковником, проделавшим с 3-й ударной весь путь со дня формирования, досконально знавшим все, что в ней происходило и происходит. И командарм как раз возвратился на КП от Переверткина. Мой давний знакомый Василий Иванович Кузнецов был невысок, зато осанист, коренаст — танком не сдвинешь, — и крепок здоровьем. Однако и его настолько вымотало напряжение последних бессонных суток, что с тяжелым трудом передвигал он ноги. Намеревался отдохнуть хотя бы немного, но тут произошло событие, которое враз сняло усталость не только с него, но и со всех, кто был на КП. Позвонил генерал Переверткин. Не столько торжествующим, сколько усталым, осевшим до хрипоты голосом сообщил Кузнецову, что на куполе рейхстага укреплено Красное знамя.

— Чье?

— Номер пять. Из сто пятидесятой.

— Кто видел? Кто доложил?

— Доложил полковник Зинченко. Подтвердил генерал Шатилов.

— Безошибочно?

— Я перепроверял.

— Ну, поздравляю тебя, Семен Никифорович! От души поздравляю! Представляй отличившихся к Герою! — Повернувшись к нам, произнес радостно: — Шатиловское над рейхстагом! Наша взяла, друзья! Взяла все-таки наша! Дошли!

И не заметил, наверно, суровый командарм, как скатилась слеза по небритой, серой от усталости щеке. Не выдержал и Букштынович. Низко склонился над иссеченной стрелами картой-планом Берлина, несколько светлых капель, словно дождинки, упали и заблестели в самом центре немецкой столицы. У меня, прямо скажу, тоже основательно защипало в носу.

Вышли на улицу. Прохладный сырой ветер нес горьковатый запах дыма и гари. Канонада в городе продолжалась. Солнце уже зашло, но небо было еще светлым, а над Берлином багровым, с яркими вспышками. С нами был еще юный офицер, если не ошибаюсь, сын Михаила Фомича Букштыновича, тоже Михаил, повсюду на фронте сопровождавший отца. Он — позади. А мы стояли, положив друг другу руки на плечи. Трое немолодых вояк, офицеров еще царской армии, не сумевшие одолеть немцев в Первой мировой войне, но теперь расплатившиеся с ними за

прошлое и настоящее, за наших товарищей, погибших на той и на этой войне. Не могли сейчас наши взгляды проникнуть через расстояние, через сумерки, смешанные с дымом, до красного полотнища над рейхстагом, но мы счастливы были тем, что с первыми лучами майского солнца наше советское русское знамя, вознесшееся над самым центром Европы, увидит весь мир. И гордость, справедливая законная гордость переполняла нас. Не слишком торжественными, а вполне соответствовавшими обстановке были слова Букштыновича, негромко произнесенные им:

— Стоило родиться, стоило пройти через все испытания, преодолеть все трудности, чтобы дожить до этого счастливого часа!

Да, этот счастливый финал искупал все тяготы нашего прошлого: войны и разруху, революционные потрясения и личные беды, гонения, тюрьмы, голод — все, что ниспослано нам было на нашем тернистом, но, как оказалось, самом прекрасном пути — пути патриотов. Тех, кто не пошатнулся, не сломался под напором жгучих ветров истории, не отступился от Родины-матери, но полностью разделил со своим народом то, что выпало на нашу общую долю.

Русский офицер — честь и слава Отечества! Как жаль, что не дожил до светлого майского дня подполковник старой армии — советский маршал Борис Михайлович Шапошников, много сделавший для нашей Победы. Но, умирая с чистой совестью, он уже знал, что гитлеровская империя обречена, что наши войска добивают зверя в его собственной берлоге. Выполнил Борис Михайлович свой долг и ушел в другой мир легко и спокойно.

Вечная память тем офицерам, которые шли на смерть с верой в наше правое дело, прокладывая, пробивая дорогу к Берлину в снегах Заполярья и на берегах Волги, в белорусских болотах и причерноморских степях.

И мы дошли! Увы, далеко не все, но дошли! Со знаменами, красными от крови погибших и раненых воинов!

А где вы, мои бывшие приятели, однокашники и сослуживцы, по разным причинам сбежавшие из нашей бурлившей страны в зарубежную благодать?! Нас в России осталось теперь немного, но мы сберегли и приумножили свою честь. А вы? Сберегли свои шкуры?

Где ты, лихой казачий сотник, застреливший в порту Новороссийска верного коня и уплывший на последнем пароходе сначала в Крым, а потом в Турцию? До сих пор пробавляешься тем, что развлекаешь заморскую публику пресловутыми тараканьими гонками?

Где ты, военный инженер, возводивший когда-то под руководством генерала Карбышева мощные фортификационные сооружения во Владивостоке, строивший Брестскую крепость? Генерал-лейтенант Красной Армии Дмитрий Михайлович Карбышев, будучи тяжело раненным, попал в плен, но не польстился на заманчивые предложения гитлеровцев, не сломался и был замучен ими, облит на морозе водой, превращен в ледяной столб. А ты, инженер, изготавливаешь в Америке решетки для защиты золота, нажитого тамошними банкирами-бизнесменами на слезах и крови военного лихолетья!

Мой бывший друг штабс-капитан, что заставило тебя податься в Народно-трудовой союз (НТС), сотрудничающий с фашистами против нас? Нет, слово «друг», даже «бывший», неприменимо к тебе. Ты враг!

А юный корнет, так кичившийся своим благородством, ты по-прежнему тапер, барабанишь в ресторане по клавишам пианино и под его бравурные звуки дрыгаются, обнажаясь в стриптизе, низкопробные девки?

Вы сами выбрали себе судьбу полегче и оказались либо на грязной обочине, либо на задворках истории. А мы оправдали свое пребывание на этом свете.

Утром 1 мая 1945 года солнце, поднявшееся с нашей, с восточной стороны, осветило наше Красное знамя, вознесшееся над рейхстагом!

13

Погордились, и хватит. О буднях. В первой половине мая (дату не помню) Сталин собрал в своем кабинете членов Государственного комитета обороны и ведущих генералов Генштаба во главе с Антоновым. Присутствовали также маршал Жуков, адмирал Кузнецов и начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев. Рассматривались расчеты Генерального штаба по переброске войск, техники, материальных средств с запада на восток, против Японии. Требовались многие тысячи эшелонов. Обсуждалось, как сохранить в секрете столь широкомасштабную операцию. Уложиться требовалось, по договоренности с союзниками, в три месяца. Да ведь еще организовать там, на огромных просторах Дальнего Востока, от Байкала до Камчатки, новые фронты, определить их задачи, целесообразно распределить силы и средства.

Затем — впервые — речь пошла о проведении в Москве парада Победы: тут тоже возникло много проблем — о сроке, об участниках, о материальном обеспечении. Иосиф Виссарионович устал, а предстояло еще рассмотреть списки воинов, отличившихся в боях за Берлин и представленных к званию Героя Советского Союза. Докладывали Алексей Иннокентьевич Антонов и один из его помощников по Генштабу, ведавший наградными делами и оные списки готовивший. Я на том совещании не присутствовал, но подробности знаю. Практика показывает, что при массовых награждениях, да еще в спешке, всегда бывают ошибки: кто-то забыт, кого-то недооценили, а кого-то слишком перехвалили высокие покровители. В тот раз, к примеру, среди представленных к Герою не оказалось младшего сержанта Петра Пятницкого, который первым достиг рейхстага и был сражен на его ступенях. Справедливость будет восстановлена, но с большим опозданием, лет через десять.

Одним из самых длинных оказался список по 3-й ударной армии. Восемьдесят фамилий с кратким, в несколько фраз, обоснованием. Сталин аж поморщился, когда этот список лег перед ним на стол. Но делать нечего, надо читать, как читают копии списка все присутствующие. Да ведь и армия действительно отличилась. Штурмовать центр Берлина потруднее, чем списками заниматься… Однако некое недовольство Иосифа Виссарионовича заметили присутствовавшие, особенно Берия, чутко улавливавший настроение вождя. Сталин, читая, с удовлетворением произнес фамилии командарма Кузнецова, генерала Переверткина, командиров 150-й и 171-й стрелковых дивизий Шатилова и Негоды. И запнулся на Букштыновиче…

Наверно, была доля моей вины в том, что Михаил Фомич привлек повышенное внимание. Несколько раз я докладывал Сталину по телефону о том, что именно Букштыновичу принадлежит идея воспользоваться благоприятной обстановкой, повернуть 3-го ударную армию почти на 180 градусов и наступать на Берлин с запада, по немецким тылам. И не только идея: Михаил Фомич на свой страх и риск претворял замысел в действительность, приблизив тем самым на несколько суток завершение

боевых действий в германской столице, сохранив жизнь десяткам тысяч людей. Ну и Жуков докладывал Сталину об успехах Кузнецова и Букштыновича, так что фамилия последнего крепко врезалась в память, а у Сталина всегда возникало некое внутреннее противостояние с оттенком подозрительности, если кого-то слишком хвалили и выделяли. Произнеся фамилию Букштыновича, он бросил беглый взгляд на Берию:

— Тот самый?

Неизвестно, что подразумевалось под этим вопросом. Может, что отличался Букштынович в прошлых боях, может, что его, бывшего комкора, вернули из лагеря в армию всего лишь на батальон в трудные дни сорок второго года, а может, то, что называлась его кандидатура среди тех, кого намеревались направить к немцам, дабы вошел в доверие к ним и возглавил бы там антисоветские военные-формирования из пленных. Во всяком случае, на вопрос Берия ответил утвердительно.

— Это он. — И добавил: — Героя дают не только за подвиг, но чтобы всей жизнью примером был.

Сталин вроде бы пропустил эти слова мимо ушей, продолжая читать дальше, но бериевский яд все же сработал. Еще с 1 мая знал, конечно, Иосиф Виссарионович, что флаг над куполом рейхстага водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Эти фамилии, часто повторявшиеся в газетах, звучавшие по радио, стали уже привычны. Но их соседство в списке представленных к Герою вызвало вдруг внезапное раздражение. Не исключено, что уставшему Иосифу Виссарионовичу требовалась вспышка — разрядка, это с ним случалось.

— Почему такое сочетание? — ни к кому не обращаясь, произнес он. Кто выдумал? Сержант Егоров — это понятно, ни у кого не вызовет сомнений. У нас на фронте две трети русские. Ивановы, Петровы, Егоровы, Жуковы… А почему младший сержант Кантария? Потому что товарищ Сталин родом из Грузии и надо порадовать его земляком, чтобы приятно было? А это плохой подарок. Что подумают люди? Где справедливость? Почему вместе с Егоровым не белорус, не татарин, не украинец, не казах, не армянин? Люди все понимают, а некоторые наши сверхстарательные деятели не способны уразуметь, что такое медвежья услуга.

— Кантария абхазец. Из Очамчири, — осторожно произнес Берия.

— Кто будет разбираться, кто поймет, абхазец он или аджарец! Из Грузии — значит, грузин… Что вы хотите сказать, товарищ Антонов?

— Считаю, что это совпадение. Одна из военных случайностей. Из удачных случайностей, — подчеркнул Алексей Иннокентьевич.

— Вот как?! — усмехнулся Сталин. — Полез хозяин на чердак и случайно нашел там пулемет с двумя лентами… У тебя бывало такое, товарищ Буденный? — обратился он к Семену Михайловичу, сидевшему у дальнего конца стола. — Попадались тебе случайные пулеметы?

— Нет… Не везло.

— Случайно в сарае танк с полным боекомплектом, — проворчал Сталин. Тоже чья-то идея… Букштынович там очень сообразительный! — И, вероятно, машинально чиркнув карандашом, поставил галочку против фамилии Михаила Фомича. А она оказалась решающей. Осторожные чиновники посчитали ее знаком того, что Верховный главнокомандующий не одобряет присвоение Букштыновичу звания Героя. Обратиться за разъяснением не решились. Посчитали, что Букштыновичу довольно будет ордена Суворова 1-й степени. Не звезда Героя, разумеется, но ведь и вниманием не обошли. Узнав со временем об этой истории, я снял копию с

наградного листа, надеясь в удобный момент поговорить с Иосифом Виссарионовичем о заслугах Михаила Фомича. Но не довелось, забылось. А копию обнаружил теперь среди старых бумаг.

К месту скажу еще несколько слов о двух наших талантливых генералах, о Букштыновиче и Переверткине. Как свела судьба Михаила Фомича и Семена Никифоровича в 3-й ударной армии, так и не разлучала их больше, давая хорошую возможность дополнять друг друга: один — источник творческой энергии, идей и замыслов, образец военной культуры, а другой — умелый организатор, инициативный исполнитель. После войны и до внезапной смерти в 1950 году от сердечного приступа возглавлял Михаил Фомич в Министерстве обороны работу по обучению сухопутных войск. Семен Никифорович был его надежным помощником. Дослужившись до звания генерал-полковника, Герой Советского Союза Переверткин в мае 1961 года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Прошел невредимым сквозь огонь войны, а от случайности не уберегся.[92]

Букштыновичу, значит, орден. А вот с Егоровым и Кантария как поступить? Критику товарищ Сталин высказал, но никаких пометок возле их фамилий в списке не сделал. Тут и гадай. Эти сержанты известны уже всей стране, они вроде бы народные герои. Свершившийся факт, с этим тоже надо считаться. После некоторых колебаний чиновники оставили все же Егорова и Кантарию в списке 3-й ударной армии, сокращенном с восьмидесяти до семидесяти пяти человек. Но позаботились о том, чтобы имена двух сержантов пореже появлялись в центральной прессе, не мозолили глаза товарища Сталина. А дальше? Близился срок парада, который надлежало открыть знаменосцам со знаменем Победы. А кому нести? Вроде бы тем, кто водрузил его над рейхстагом. Но как отреагирует Сталин, увидев шагающих плечом к плечу Егорова и Кантария? Обрадуется? Или разгневается на организаторов парада?

Между тем подготовка к торжеству шла своим чередом. На Знамени, которое все еще находилось в Берлине, появилась новая атрибутика. Раньше на полотнище был только номер — 5. Теперь сделали надпись: «150-я стр. ордена Кутузова II ст. Идрицкая див. 79 ск ЗУА 1БФ». 19 июня это знамя было доставлено на аэродром и помещено в обычный самолет типа ЛИ-2 с номером 4 на зеленом борту. За штурвалом — старший лейтенант Павел Югер. Сопровождали Знамя в Москву те, кто особо отличился в сражении за рейхстаг: Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария, старший сержант Илья Сьянов, капитан Степан Неустроев и старший лейтенант Константин Самсонов. На Центральном аэродроме столицы Знамя было передано почетному караулу Московского гарнизона и отправлено в Генеральный штаб. А начальником караула был назначенный лично Жуковым участник Берлинского сражения, Герой Советского Союза статный красавец-капитан Варенников Валентин Иванович.

К этому времени порядок проведения парада был расписан по секундам и согласован с маршалом Жуковым. Решился вопрос и со знаменосцами. Хитроумные организаторы придумали вот что. Сержанты Егоров и Кантария — мужественные бойцы, но строевики, мягко говоря, слабые. Всю войну были на передовой, строевой подготовкой не занимались. Привыкли разведчики ходить крадучись, бесшумно, а не «рубить» шаг сапогами с подковками. На тренировке сбивались с ноги, отрывались от следовавшей за ними «коробочки». Поэтому организаторы, во избежание

случайностей, предложили не пронести Знамя по Красной площади, а провезти перед Мавзолеем в специально оборудованной машине. Развевающееся Знамя видно, а кто его держит — не сразу и разберешь. Проехали…

Сталин же, между прочим, никакого внимания на все это не обратил, не вспомнил недавнюю вспышку. Для него, как и для всех нас, Егоров и Кантария были людьми заслуженными, достойными уважения и почета. И их действительно многие годы знал и уважал весь наш народ.

После парада Знамя, в сопровождении почетного караула, было доставлено в Центральный музей Армии. Там Знамя находится до сих пор, его тщательно сохраняют для нас и для потомков. А на различные церемонии, даже самые торжественные, выносят не само Знамя, а его копию.

Необходимое добавление автора.

Генерал армии Варенников, известный борец с американо-израильскими ставленниками, с перевертышами, доведшими нашу страну до экономической разрухи, до утраты военного могущества и политического влияния, поставившими народ на грань вымирания — Валентин Иванович Варенников после неудачной попытки воспрепятствовать разрушению Державы в августе 1991 года, удостоился чести оказаться в камере Лефортовской тюрьмы вместе с другими борцами за правое дело, против агрессии империализма. Вся жизнь Героя, начиная с Великой Отечественной войны и по сию пору, — открытый бой с разношерстными врагами Отечества.

Еще о Егорове и Кантария. Первому, можно сказать, повезло, он не дотянул до того мрачного времени, когда под видом реформ нам навязали криминальную революцию, дикий, зверский капитализм, когда Верховный главнокомандующий приказывает войскам стрелять не по закордонному противнику, а по своему народу — на окраинах страны и даже в самой столице. Не испытал Егоров тех унижений и оскорблений, которые выпали на долю ветеранов, патриотов, защитников государственности. А вот Кантария испил эту горькую чашу.

«Лучший немец», заклейменный сатанинским знаком, организовал, а его преемник Борис-кровавый завершил позорное бегство наших войск из стран Европы, в том числе из Восточной Германии. Никто не торопил нас, не гнал оттуда, наши мощные армии, согласно договорам, на законном основании могли оставаться на месте столько же времени, сколько войска наших бывших союзников США и Англии, которые до сих пор находятся там. А Горбачеву, Ельцину и иже с ними — приспичило?! Можно ведь было спокойно, планомерно вывести наши армии в течение пяти-шести лет, сохранив воинское имущество, подготовив для солдат и офицеров военные городки на территории нашей страны. Так нет же: бежали впопыхах, словно после большого поражения, после разгрома, бросив аэродромы, казармы, другие многочисленные сооружения, военную технику: все это в такую баснословную стоимость, что на эти средства годами можно было бы безбедно содержать наши Вооруженные Силы. Этот саморазгром, этот невероятный материальный, политический и духовный ущерб никогда не будет прощен инициаторам самопоражения, всемирного позорища. Будут прокляты не только они, но и их потомки. На веки веков! Как Иуда Искариот и его богомерзкий украинский последователь:

Забыт Мазепа с давних пор. Лишь в торжествующей святыне Раз в год анафемой доныне, Грозя, гремит о нем собор.

В спешке покидала Германию легендарная 8-я гвардейская армия, бывшая 62-я армия генерала Чуйкова, оборонявшая Сталинград. Ее сократили до корпуса и погнали назад на Волгу. На наших глазах ненавистники русско-советской славы, противники наших боевых традиций прикончили множество других известных частей и соединений, ни в грош не ценя их заслуги. Из 2107 воинских формирований, удостоенных увековечивания, остались лишь считанные единицы. С горечью узнали ветераны еще об одном злостном издевательстве, о том, что в немецком городе Стендаль расформирован тот самый полк из 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса, воины которого первыми ворвались в рейхстаг и водрузили над ним Знамя Победы. Полк, известный не только в нашей стране, но и в Германии, и в других государствах, как Берлинский, служба в котором была особо почетной, воинами которого были навечно зачислены сержант Егоров и младший сержант Кантария. Разве не нашлось бы для этого полка казармы на родной земле? Так нет же, не упустили изверги возможность причинить людям и эту боль! Стыдясь, вероятно, содеянного, тогдашний министр обороны (еще СССР) приказал «перезачислить» Мелитона Кантария в один из полков Северо-Кавказского военного округа, но то ли приказ затерялся, то ли не оказалось в наличии той воинской части, куда «переадресовали» Героя — во всяком случае, дело заглохло.

У начальства не хватило мужества и порядочности поставить в известность знаменщика о том, как был разгромлен его славный Берлинский полк, а сам он оказался «навечно» никуда не зачисленным. Добрые люди, окружавшие ветерана, ничего не сказали ему, оберегая его здоровье. Пожалели старика, не усугубляя обрушившегося на него горя. Никак не мог Кантария уразуметь, почему, за чьи интересы льется кровь в междоусобной войне между грузинами и абхазцами. Может, за то, что Абхазия не хочет отъединяться от своего надежного испытанного союзника — России? Но почему тогда Россия не берет под защиту своих друзей, не прислушивается к их желанию жить по-прежнему единой семьей?!

В огне этой непонятной, бессмысленной войны погиб любимый внук старого солдата двадцатилетний Томаз. Пришла беда — открывай ворота. Не перенеся этой потери, тяжело заболела жена семидесятипятилетнего ветерана. А когда случайно узнал Мелитон Варламович, что нет больше его родного полка — не выдержало сердце. В безвестности ушел из жизни человек, чье имя во всем мире ассоциируется с победным завершением самой великой, самой страшной войны, с торжеством справедливости над мрачным злом. Не нужны новым властям такие вот настоящие герои. Ныне Золотые Звезды получают зачастую не те, кто отличился в борьбе за интересы Державы, интересы народа, а «прославился», стреляя в своих сограждан, защищая интересы банкиров и спекулянтов, воров в законе, чиновных хапуг и продажных правителей.

Весной 1999 года в городе Рудня Смоленской области скончалась жена Егорова Александра Федоровна. Умерла в нищете, получая пенсию в 345 рублей, да и то нерегулярно. У нее даже телефон отключили за неуплату. А вот строки из письма дочери героя Тамары Егоровой, которое было опубликовано в газете «Советская Россия» № 100 за 1999 год. «Осталась теперь я вдвоем с сыном. Не представляю, как будем жить на мою

зарплату (290 рублей в месяц. — В. У.), да и то полученную в последний раз еще только за март. Сыну моему только 13 лет, как мне его вырастить, хотя бы прокормить и одеть, не говоря уж об учебе, не знаю. У самой со дня похорон давление все время большое держится, а это значит, что без лекарств не обойтись, да и жить, вернее, мучиться, придется, наверное, недолго».

И еще — для сведения. К весне 1999 года, готовясь переезжать из Бонна в покинутый нами Берлин, правительство Федеративной Республики Германия полностью восстановило символ немецкого милитаризма — рейхстаг, опять ставший резиденцией германского парламента. Появился новый купол. При этом часть грознопамятных надписей, оставленных на стенах этого мрачного здания советскими воинами, пока сохранилась.

14

Некоторые послевоенные историки утверждают, что Сталин якобы дал приказ обязательно взять Гитлера живым. Я о таком приказе не знаю, хотя вместе с генералом Серовым имел некоторое отношение к судьбе фашистских главарей, получив на этот счет соответствующие указания Иосифа Виссарионовича, высказанные, впрочем, в форме советов и пожеланий. Да, Сталин распорядился «взять Гитлера живым или мертвым», но эта формулировка значительно отличается от вольной трактовки историков. Гитлер нужен был нам не для учинения расправы над ним, Сталин не дозволил бы изгаляться над поверженным противником, оскорбляя и возмущая немецкий народ, для которою фюрер в то время являлся кумиром. Чрезмерная жестокость унизила бы Иосифа Виссарионовича в собственных глазах. И постоянно возвращала бы к болезненным, до содрогания, представлениям: а что сталось бы с ним, окажись он в руках фашистских властей или, того хуже, в руках гитлеровской черни. Нет, Сталин, во-первых, хотел наверняка знать, что вождя немецкого и мирового фашизма нет в живых или он изолирован надежно и навсегда. Делать же из него мученика, идола для будущих поколений нацистов никак не входило в планы Иосифа Виссарионовича. А еще он вполне резонно желал, чтобы Гитлер, живым или мертвым, был бы захвачен именно нами, выигравшими эту войну, а не американцами или англичанами, высадившимися в Европе лишь год назад, когда никто уже не сомневался в наших успехах. Справедливое желание. Обычные события мирных и военных дней не врезаются во всенародную память, а вот о том, что американцы, к примеру, пленили Гитлера и как с ним поступили — об этом будет знать и помнить весь мир, такие сенсационные факты затмят деяния хоть и будничные, но гораздо более важные.

Генерал Серов, возглавлявший в Берлине всю работу «по Гитлеру», имел в своем распоряжении не только органы военной контрразведки СМЕРШа 1-го Белорусского фронта, но и несколько пограничных полков войск НКВД. Два из них Серов направил в 5-го ударную армию Берзарина, как только стало ясно, что Гитлер, Геббельс (отвечавший за оборону столицы) и еще некоторые соратники фюрера находятся в рейхсканцелярии. Пограничникам была поставлена задача: продвигаться вместе с передовыми частями наших войск, не ввязываясь в бои, плотно блокировать весь район, прилегающий к рейхсканцелярии, не выпускать из него без тщательной проверки ни одного немца, в том числе сдавшихся в плен. Перекрывались все возможные лазейки, подземные коммуникации.

Те несколько дней, когда завершалось Берлинское сражение, были до предела насыщены событиями: не то что на отдых — на еду подчас не хватало времени. Если и спали, то урывками, «на бегу», как шутили тогда. Для меня самыми трудными в этом отношении стали первомайские сутки. В Москве на Красной площади праздничная демонстрация, а в центре германской столицы орудийная пальба. Треск стрельбы, грохот рухнувших зданий, пламя и дым пожарищ, последние напористые атаки, неубранные трупы, стоны раненых, кровь…

Отправившись ночью кружным путем из 3-й ударной в 5-ю ударную армию, я не сразу добрался туда. Сопровождавший меня в машине радист с рацией типа А-7-А принял сообщение от заместителя командующего 1-м Белорусским фронтом генерала В. Д. Соколовского: товарищу Лукашову немедленно прибыть в район Темпельхофского аэродрома на улицу Шуленбургринг, дом 2. Ясно, что ни Соколовский, ни сам Жуков не стали бы давать мне какие-то распоряжения без указания свыше. Из ориентировки, полученной штабом 3-й ударной, я знал, что по указанному адресу находится командный пункт 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова. Но зачем я там понадобился?

Рассказывать, как ехал по разбитым пригородам, по охваченным пожарами улицам, где еще вспыхивали перестрелки — только время терять. Перешагнем. На рассвете я был уже в указанном месте. И с удивлением обнаружил, что в полностью уцелевшем доме 2 по улице Шуленбургринг разместились не один, а два армейских командных пункта: на первом этаже действительно находился Катуков, а в бельэтаже обосновался со своей оперативной группой командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков. Это — пренебрежение здравым смыслом, вопиющее нарушение правил, запрещавших командующим соединениями и объединениями располагаться поблизости друг от друга, не говоря уж о том, чтобы в общем помещении. Одной бомбой или одним снарядом, даже случайным, враг лишит управления сразу две армии! Почему же наши опытные генералы нарушили всем известное элементарное правило? Налетов авиации уже не боялись. Войскам, штабам, приблизившимся к центру Берлина со всех сторон, было тесно. А тут хорошее здание со всеми удобствами. Легче осуществлять взаимодействие, когда танковый командарм находится в квартире № 1, а общевойсковой — в квартире № 2. Между ними лишь лестница в несколько ступеней. Ну, и никто не обратил бы внимания на такое соседство, если бы не возникли чрезвычайные обстоятельства.

Первое, что я увидел в квартире № 1 — это вполне мирное чаепитие. Удобно расположившись за столом под копией картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, коротали время трое: тощий поэт Евгений Долматовский, основательный кряжистый драматург Всеволод Вишневский в морской форме, чья большая черная фуражка с «крабом» красовалась на буфете, разнообразя мещанский интерьер чистенькой немецкой квартиры, и еще смущенный, беспокойно ерзавший на стуле германский генерал пехоты, обличье которого показалось мне знакомым. Ба! Неужели это Кребс?! Не мерещится ли от усталости?! Ровно четыре года назад, день в день, в начале мая 1941 года с Белорусского вокзала Москвы отправлялся поезд, в котором убывал на родину помощник германского военного атташе в Советском Союзе. У нас он занимался тем, чем обычно занимаются помощники и заместители атташе во всех странах: легально и нелегально собирал сведения о наших вооруженных

силах, военно-промышленном потенциале. Мы знали, что этот полковник специализировался на наших военных кадрах, и, вероятно, небезуспешно, судя хотя бы по тому, что в Германии ценили его и отозвали в немецкий Генеральный штаб с повышением. В числе провожающих был тогда и я, в военной форме со «шпалами» подполковника на петлицах. Интересовал меня этот специалист по нашим военным делам. О нем мог спросить Сталин. Запомнилось: кто-то из наших, с приветливой улыбкой глядя на тронувшийся вагон, произнес негромко: «Посол он — пошел вон!» И хотя немецкий полковник не являлся послом, шутку приняли, засмеялись.

Дабы не быть голословным, приведу выдержку из служебного дневника начальника немецкого Генерального штаба генерала Гальдера, которая была сделана 5 мая 1941 года:

«Полковник Кребс возвратился из Москвы… По отношению к нему там была проявлена большая предупредительность. Россия сделает все, чтобы избежать войны… Русский офицерский корпус исключительно плох. России потребуется 20 лет, чтобы офицерский корпус достиг прежнего уровня».

Ан, обманулись самоуверенные немцы. Наш «исключительно плохой» офицерский корпус наголову разгромил кичливых германских вояк, имевших, надо полагать, «исключительно хороших» командиров и начальников. Прошло всего лишь четыре года, немцы так и не побывали в нашей столице, а мы здесь, в Берлине: не Кремль горит, а горит рейхстаг, над которым развевается наше Знамя. Как начиналось господство Гитлера с пожара в том мрачном здании, таким же пожарищем и заканчивается.

Не берусь судить, насколько осведомлены были немцы о наших военачальниках, весьма успешно проявивших себя на полях сражений, но могу сказать, что мы о наших противниках знали достаточно много. Наша разведка, наш Генеральный штаб тщательно отслеживали перемещение и продвижение по службе немецких генералов и некоторых высших офицеров. Было отмечено, что быстрее других шагает вверх по лестнице бывший помощник военного атташе в Москве. Вероятно, как крупный специалист по нашим кадрам. А 29 марта 1945 года Гитлер, сместив с поста начальника немецкого Генерального штаба генерал-полковника Гудериана, у которого, как и под Москвой, сдали нервы, назначил на высокую военную должность, по традиции особо ценимую в Германии, генерала Кребса. И вот он почему-то на нашем командном пункте «гоняет чай» с военными корреспондентами, членами Союза писателей СССР.

Я сообразил: здесь, на первом этаже, тянут время, развлекая немца. Поднялся в бельэтаж. Совсем иная была там обстановка: деловая, весело напряженная. Опередив меня, сюда уже прибыл заместитель командующего фронтом Василий Данилович Соколовский. Рядом с ним находился круглолицый, с густой шевелюрой, Василий Иванович Чуйков и еще несколько генералов. Среди них, что особенно приятно, заместитель Чуйкова генерал Духанов, которого я знал еще до революции. Уже тогда слыл он офицером интеллигентным и при этом весьма сведущим и волевым. Радостно поздоровались. Тем временем Соколовский связался с Жуковым, передал трубку мне. Последовал вопрос:

— Николай Алексеевич, вы Кребса видели?

— Только что.

— Это он? Который работал в Москве?

— Тот самый, лишь постарел лет на двадцать.

— Никаких сомнений?

— Абсолютно.

Жуков вроде бы облегченно вздохнул.
От Соколовского и Чуйкова я узнал, что произошло в эту ночь. Около трех часов поступило донесение: с советским командованием ищет встречи немец, называющий себя начальником Генерального штаба. Ему разрешили перейти к нам под белым флагом с одним сопровождающим: таковым оказался переводчик-полковник. В 3 часа 50 минут 1 мая немецкого генерала доставили на улицу Шуленбургринг, дом 2. Командующего 1-й гвардейской танковой армией генерала Катукова на командном пункте не оказалось. Кребса принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков. Заявив о том, что прибыл с чрезвычайно важным и секретным сообщением, Кребс сказал: вождь немецкого народа Адольф Гитлер покончил с собой, оставив завещание со списком нового имперского правительства. Затем переводчик зачитал послание Геббельса к Советскому Верховному Главнокомандованию, датированное 30 апреля:
«Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера мы уполномочиваем генерала Кребса в следующем. Мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 15 часов 50 минут добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Деницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс».
Чуйков немедленно доложил обо всем Жукову. Тот отправил на командный пункт 8-й гвардейской армии своего заместителя Соколовского для ведения переговоров, а я был вызван для того, чтобы удостоверить личность парламентера: никто из наших фронтовых генералов Кребса в лицо не знал, могло быть самозванство, какой-либо подвох.
Свидетельствует Георгий Константинович Жуков:
«Тут же соединившись с Москвой, я позвонил И. В. Сталину. Он был на даче. К телефону подошел дежурный генерал, который сказал:
— Товарищ Сталин только что лег спать.
— Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может.
Очень скоро И. В. Сталин подошел к телефону. Я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии.
И. В. Сталин ответил:
— Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?
— По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжен на костре.
— Передайте Соколовскому, — сказал Верховный, — никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если ничего не будет чрезвычайного, не звоните до утра, хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас первомайский парад».
Свои воспоминания Георгий Константинович писал через много лет после войны, когда события уплотнились, спрессовались временем, когда стало, например, известно все, что связано с Гитлером.
Отсюда и некоторое «осовременивание» материала. Я не помню, чтобы Кребс, сообщая о смерти фюрера, говорил о том, что оный был сожжен на костре. Первые сведения об этом поступили позже. Приведу такой факт. Через какой-то срок после окончания боев, через достаточно продолжительный срок в Берлине состоялась пресс-конференция

советских и иностранных журналистов, отчет о которой обошел всю мировую прессу. Отвечая на вопросы, Жуков заявил: «О Гитлере нам ничего не известно». Георгий Константинович не кривил душой, он действительно не имел никаких сведений о немецком фюрере, все расследования велись в обход его, члена Ставки, заместителя Верховного Главнокомандующего. И не только потому, что Жукова не хотели отвлекать от многочисленных военных и административных дел, но и по некоторым другим причинам, к которым мы еще вернемся.

А что же с Кребсом? По указанию Сталина, ему в ультимативной форме предложен был только один вариант: безоговорочная капитуляция. Кребс пытался выдвигать какие-то условия, но советская сторона была непреклонна. (Любопытная, на мой взгляд, подробность. Предусмотрительный Иосиф Виссарионович еще в сентябре 1943 года (!) создал комиссию, в которую вошли маршалы К. Е. Ворошилов и Б. М. Шапошников, адмирал И. С. Исаков, дипломат И. М. Майский, нарком просвещения В. П. Потемкин. Секретарь — сотрудник наркомата иностранных дел С. Т. Базаров. Эта комиссия подготовила основные положения Акта о безоговорочной капитуляции, которыми в дальнейшем руководствовались наши дипломаты и высшие военные руководители. 8 мая 1945 года Семен Тарасович Базаров и сопровождающие его лица самолетом доставили сей документ в Берлин, а потом на «виллисе» в пригород, в Карлсхорст, в здание военного училища, где и состоялось одно из величайших событий XX века: подписание представителями Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии и Франции, с одной стороны, и разгромленного гитлеровского рейха с другой, Акта о безоговорочной капитуляция Германии. Затем, когда немецкая делегация была удалена из зала, а союзники разъехались, участники торжества воспользовались возможностью отпраздновать это событие, порадоваться от души. Звучали тосты. Жуков и Чуйков даже в пляс пустились: под звуки духового оркестра, игравшего «Барыню», лихо, как в молодости, отщелкивали каблуками дробь-чечетку. Большой прием затянулся до рассвета. И самым серьезным, самым сосредоточенным человеком на этом приеме был Семен Тарасович Базаров, не прикоснувшийся к рюмке, не выпускавший из рук портфеля с подписанным Актом, который он должен был доставить в Москву, товарищу Сталину.

Ну, это будет в ночь на 9 мая, а пока у нас лишь первый день этого месяца. Переговоры с генералом Кребсом длились долго, до того момента, когда он заявил, что для решения вопроса о безоговорочной капитуляции полномочий не имеет и попросил, если это возможно, напрямую, связать его по телефону с фюрербункером, с Геббельсом. Ему не отказали. Несколько наших отважных связистов под охраной встретивших их эсэсовцев протянули провод в рейхсканцелярию, беспокоясь лишь о том, чтобы хватило катушки, затем спустились в подземелье, в смердящий ад. Там среди стонущих раненых, среди покончивших с собой справляли последнюю тризну одуревшие от пьянства и отчаяния гитлеровцы вместе со столь же пьяными и обалдевшими сотрудницами рейхсканцелярии. Утратив человеческий облик, они, голые и полуголые, «занимались сексом» с кем попало и как попало на заблеванном, залитом кровью полу.

Оргия, омерзительная для наших связистов, прибывших в мрачное подземелье из светлого весеннего дня. И вообще — это эпопея, требующая умного пера и выходящая за рамки моей книги. Представьте себе: трое наших связистов в осажденном здании, среди обезумевших врагов-

фанатиков. У кого-то из немцев челюсть отваливалась от изумления, кто-то с воплями бросался на наших воинов, эсэсовцы кулаками и оружием отбрасывали нападавших. И ничего, добрались до кабинета в бункере, поставили аппарат, к которому приковылял хромоногий Геббельс. Присутствовал глава нацистской партии Борман. Разговаривали не только с Кребсом. Несколько минут руководители рейха общались с генералом Серовым.

Геббельс подтвердил, что Гитлер мертв. Немцы согласны на капитуляцию, но почетную. Перечислил условия. Их отвергли. Стало ясно: толковать с Геббельсом — это все равно что торговаться с живым волком о цене его шкуры. Переговоры потеряли смысл. Генерал Кребс был отправлен обратно. Наши связисты вернулись к своим. А завершилось все это мощным огневым ударом по рейхсканцелярии и ее окрестностям. Били все стволы, которые могли «достать» до этого района. Немцам еще раз показали бессмысленность сопротивления. Со слов генерала артиллерии Вейдлинга, командующего зоной обороны Берлина, который явился к нам на следующий день с согласием отдать приказ своим войскам о прекращении борьбы, — со слов Вейдлинга стало известно: когда Кребс под аккомпанемент залпов, сотрясавших весь центр города, доложил Геббельсу о результатах своего визита, тот уныло спросил: что же теперь делать? Кребс ответил коротко: «Стреляться». Поняв полную безысходность, Геббельс принял страшное решение. Вместе с женой Магдой он отравил своих шестерых детей, после чего они отравились сами.

15

В ночь на второе мая добрался я, наконец, до передовых частей 5-й ударной армии, которые вели бои за рейхсканцелярию. Точнее — до позиций знакомого мне и читателям 902-го стрелкового полка, которым командовал Герой Советского Союза (после форсирования Одера) подполковник Георгий Матвеевич Ленев. В свете разгоравшегося дня увидел на углу Фоссштрассе огромное серое здание, напоминавшее гигантскую казарму. Моросил дождь. Тускло отсвечивал мокрый асфальт. За мощной бетонной оградой — деревья внутреннего сада. Именно в этом здании размещались канцелярия фюрера, адъютантура вооруженных сил при фюрере и рейхсканцлере, персональная адъютантура Адольфа Гитлера и канцелярия национал-социалистической партии Германии — ведомство Бормана. Такой вот букет или такой гадюшник — кому как нравится.

Командный пункт Ленева — в кирпичном полуподвале. Сквозь пробоины виднелось серое низкое небо, проникал дым. При близких разрывах взметывалась пылевая взвесь — першило в горле. Здесь же, за уцелевшей стеной рухнувшего дома, укрывались лошади и верблюды, доставившие на передовую пушки полковой артиллерии. А концентрация войск была такая, что до позиций пушкарей — рукой подать. Всего метрах в двухстах от нас находилось орудие старшего сержанта — волжского богатыря Нестерова, выпустившее, как я уже говорил, самый первый снаряд по логову Гитлера. Тот снаряд, который, возможно, подтолкнул фюрера побыстрее избавиться от суда земного с упованием на милостивость суда небесного.

Настроение на КП Ленева было не торжественно-приподнятое, что вроде бы соответствовало необычности обстановки, а деловито-спокойное, очень будничное. Устали люди в непрерывных боях, сутки за сутками в руинах, в грохоте, среди смертей и пожаров. Измотались. Это я видел даже по сопровождавшим меня офицерам (майор в форме пограничника и два старших лейтенанта) и по сержантам с рацией. Все они, пользуясь свободной минутой, повалились на затоптанные матрасы, которыми устлан был цементный пол полуподвала. А я присоединился к Георгию Матвеевичу Леневу, который устроился на венском стуле возле подобия стола из снарядных ящиков, накрытых планом-картой Берлина. Обсуждал со своими подчиненными, что делать дальше, как сломить сопротивление немцев.

Командир батальона, наступавшего непосредственно на главный вход рейхсканцелярии, Ковалевский, худощавый капитан с интеллигентным лицом, темным от копоти, доложил о больших потерях. С вечера до утра батальон пять раз поднимался в атаку на «эту чертову дверь», по продвинулся лишь на сто метров, а впереди — открытое пространство. Гитлеровцы бьют не только встречным огнем, но и с флангов, даже с тыла. При очистке домов и развалин расползаются, как черные тараканы, прячутся по щелям, уходят в подземные коммуникации, а затем возвращаются. В батальоне не осталось ни одного ротного командира, уцелело всего лишь четыре взводных. Скоро пехоты совсем не будет. Такое же положение и у соседа справа, а с соседом слева локтевой связи нет. Надо бы ворваться в «эту проклятую канцелярию» одним броском, пока есть кому.

— Как с ранеными? — спросил Ленев.

— По возможности выносим. Ночь прикрывали, сейчас дым. Ветер в ту сторону.

— Надо, надо ворваться, — произнес Ленев, потирая лоб.

— Выкатываем все пушки на прямую наводку, — сообщил начальник артиллерии полка.

— Триста первая дивизия Антонова преодолела бетонный забор и ведет бой в саду канцелярии, — доложил начальник штаба.

— Еще не в здании?

— Нет.

— На открытом пространстве немец как метлою метет. Но надо, надо, — повторил Ленев. — Всем пушкам ударить разом, не жалея снарядов. По окнам, по крыше. А ветер, говоришь, в ту сторону?

— Точно, — подтвердил Ковалевский. Помните, как они нас на Одере дымом травили… Сколько у нас дымовых шашек? — оживился Ленев.

— На Шпрее целый склад захватили, — это начальник штаба. Еще не подсчитано.

— Тащите сюда, сколько успеете. Быстрей, пока ветер не переменился. Ослепим этих… черных тараканов.

Новую атаку подготовили в какие-то полчаса: полковая и вся приданная артиллерия беглым огнем ударили по выявленным целям. Затем повалил густой дым из множества шашек. В белесой мгле смутно угадывались вспышки выстрелов и разрывов. Батальон Ковалевского одним броском достиг стен здания, в окна полетели гранаты, пехота ворвалась в помещение.

Теперь задымленная площадь почти не обстреливалась. Подполковник Ленев перебежал ее вместе с начальником штаба и пятью автоматчиками.

Следом связисты потянули телефонный провод. Минут через пятнадцать, когда пальба вокруг рейхсканцелярии заметно уменьшилась, площадь пересек я со своими сопровождающими. В здании дыма было больше, чем на улице, и он был ядовитее. Что-то горело. Трудно было дышать. Раздавались выстрелы, гулко рвались гранаты и фаустпатроны. Под ногами хрустела штукатурка и битое стекло, пружинили трупы. Из бокового коридора выскочил здоровенный всклокоченный немец, сбил с ног старшего лейтенанта, забрал что-то: майор-пограничник застрелил его из пистолета.

Добрались до просторного зала, где было светлее и воздух чище. Здесь, возле стены, уже развернул свой командный пункт подполковник Ленев. Работали два телефона, подбегали с донесениями связные. Явился командир взвода пешей разведки лейтенант Федор Горбатенко, в окровавленной гимнастерке, радостно-возбужденный. Доложил:

— Товарищ подполковник, полученная задача выполнена. Знамя полка установлено над канцелярией.

— Где?

— На крыше два световых плафона, один разбит, влезли по деревянным перекладинам.

Я взглянул на часы, было семь. Приказал записать время и фамилии разведчиков, поднявшихся на плафон. Впоследствии стало известно, что почти в этот же срок свое знамя подняли воины 301-й Донецкой стрелковой дивизии, ворвавшиеся в рейхсканцелярию с противоположной стороны здания.

Сопровождавший меня старший лейтенант-переводчик бегло опрашивал сдавшихся немцев. Один из них провел нас через зал для приема послов в «верхний» кабинет Гитлера. Массивная дубовая дверь. Просторная комната, отделанная красным деревом. Толстые ковры, глушившие звук шагов, и мягкая мебель были засыпаны битой штукатуркой. Посреди кабинета огромная, сорвавшаяся с потолка люстра.[93] Мои офицеры занялись бумагами, собирая их с пола, извлекая из ящиков стола. Переводчик выяснил у пленных, что Гитлер не появлялся здесь, наверху, давно, во всяком случае, несколько суток. Радист связался с генералом Серовым: я сообщил ему, где нахожусь, и сказал, что требуются специалисты из его ведомства. Он ответил — направляет немедленно. Вскоре действительно прибыло несколько офицеров контрразведки СМЕРШа из 79-го стрелкового корпуса. Трое из них занялись обгорелым колченогим трупом, который обнаружили солдаты Ленева, и выяснили, что это Геббельс. Но где же Гитлер или его тело? Никто из опрошенных немцев ничего не знал.

Посоветовавшись с Георгием Матвеевичем Леневым, я принял решение: спуститься в подземелье, о котором мы имели лишь общее и довольно смутное представление. Там, под многометровой толщей железобетона, в многочисленных помещениях и коридорах, еще продолжалась борьба. Но подполковнику Леневу смелости не занимать. Он взял с собой адъютанта, знавшего немецкий, и человек шесть разведчиков — все, что осталось от полкового взвода пешей разведки. Ну и я со своими. Мы были первыми, кто спустился в фюрербункер сразу вслед за очищавшими его бойцами.

На нескольких этажах подземного дома-бункера размещались десятки, а может, и сотни отсеков со стальными дверями в бетонированных стенах-перегородках. Ориентироваться, не имея плана, было очень трудно. Опасность — на каждом шагу: в некоторых отсеках, в темных нишах

коридоров укрывались гитлеровцы. Стрельба возникала неожиданно. Валялось много убитых. На наше счастье, в подземелье еще горело электричество, продолжала работать автономная электростанция. Лампочки горели тускло, по коридорам и переходам тянулся дым, смешанный с пороховой гарью, но мы хоть ступени могли видеть. Нам просто повезло. Электростанция перестала действовать вскоре после полудня, подземелье погрузилось во мрак. Через двое суток я побывал там снова вместе с Жуковым и Берзариным, спускались при свете фонариков и мало чего рассмотрели. Все было разбито, разрушено, к дыму и гари примешивался тошнотворный запах разлагающихся трупов.

Возле «нижнего» кабинета Гитлера коридор был заполнен пленными немцами. Военные, почти все в черных и коричневых мундирах, были либо ранены, либо растеряны свалившимися на них событиями, да еще с перепоя. Трезвыми и деятельными были лишь гражданские чиновники, отсидевшиеся за стальными дверями, сохранившие при себе удостоверения личности и портфели с секретными документами, рассчитывая заполучить снисхождение в обмен на ценные бумаги.

В кабинете Гитлера полный порядок, словно фюрер только что вышел. Карты на стенах и на столе. Расписание поездов. Письменный прибор: чернильница наполнена до краев. Сюда привели личного повара, обнаруженного в отсеке кухни возле апартаментов Гитлера. Этакий детина в грязном халате, весьма упитанный, как и положено повару, либо изрядно перепивший, либо напуганный до полусмерти. Стоял руки по швам, тщетно стараясь подавить икоту. Его спросили: когда он в последний раз видел или готовил еду для фюрера? Повар ответил, что это было позавчера, а время не запомнил. «Все-все смешалось!» — бормотал он. Я поинтересовался не без умысла, как же повар осмелился забросить своего господина, оставить голодным на такой срок? Повар опять икнул: «Не заказывали… Не требовали». И, сделав судорожный глоток, добавил: «Никому не нужно. Ничего никому не нужно…»

Более конкретных сведений мы от него не добились.

Пройти по всему фюрербункеру не было никакой возможности. В некоторых отсеках закрылись сопротивлявшиеся гитлеровцы, в других что-то горело. Мы не побывали ни в подземном госпитале, ни в столовой, ни в гаражах, надеясь на то, что наши воины, очищавшие помещения, по возможности живыми выловят и доставят наверх фашистских главарей, коли таковые окажутся.

На свет белый выбрались из бункера по другой лестнице и оказались в саду имперской канцелярии. После подземелья дышать стало легче, хотя и тут сырой воздух чистотой и свежестью не отличался. Дымились развалины. Огонь лениво лизал обугленные стволы деревьев. А в дальнем от нас конце, около полуразрушенного бетонного забора, бурно цвели кусты уцелевшей сирени.

Возле выхода мне показали скорченный труп в генеральском мундире с руками, охватившими живот. Искаженное предсмертной мукой темно-восковое лицо. Это был Кребс. Под ним натекла лужица. Но не крови, как при гибели от пули или осколка. У повешенных, у отравленных бывает иное. Ослабевают, распускаются все сдерживающие мускулы, опрастывая безвольное тело. А Кребс слишком уж много чая выпил накануне вместе с членами Союза писателей. И вот — скрюченное тело на мокром месте в подмоченном мундире: все, что осталось от последнего начальника прославленного германского Генерального штаба.

Пока мы с подполковником Леневым скитались по лабиринтам фюрербункера в поисках следов Гитлера, наверху случилось нечто такое, что могло вызвать насмешливо-добродушную улыбку, если бы не та серьезность, которую проявили организаторы действа. Я люблю причинно-следственный порядок изложения, поэтому и в данном эпизоде хочу соблюсти это правило.

1 мая, как мы знаем, разнеслась весть о том, что над рейхстагом развевается победное Красное знамя. Узнал об этом, естественно, и командир 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии генерал-майор Рослый (фамилия соответствует облику), писать о котором подробно я не хочу, спасаясь прослыть необъективным из-за своего особого отношения к этому человеку, не отличавшемуся скромностью, постоянно успевавшему подчеркнуть, выделить свои успехи, свои достижения, при этом не всегда считаясь с реальной действительностью, а главное с тем, как это отразится на других людях. Лез напролом по принципу: нахальство — второе счастье. Короче говоря, возмутился генерал Рослый: как же так? Рейхстаг должна была брать 5-я ударная армия, а взяла, вопреки диспозиции, 3-я ударная, имена ее героев-знаменщиков звучат по всем радиоканалам. А про 5-ю ударную армию, про 9-й стрелковый корпус генерала Рослого нигде ни гугу, хотя именно он, этот корпус, штурмует последнее прибежище фюрера. Несправедливо! Надо показать, что достижения 9-го стрелкового корпуса не менее, а даже более важны, чем дела 79-го корпуса генерала Переверткина. Повторять то, что было со знаменем над рейхстагом, нет смысла, над имперской канцелярией уже масса флажков и флагов из частей 248-й дивизии полковника Н. З. Галая и 301-й дивизии полковника В. С. Антонова, в том числе и к тому же первое по времени — знамя 902-го стрелкового полка подполковника Ленева, которого Рослый недолюбливал за излишнюю самостоятельность, за дерзость по отношению к начальству. Шибко строптив Герой. Взаимоотношения примерно такие же, как между маршалом Жуковым и генералом Симоняком. Только уровень малость другой.

Да, повторять вариант со знаменем над рейхстагом генерал Рослый не захотел. Там за знаменосцами люди шли на штурм, на смертельную схватку. А в рейхсканцелярии боя уже нет, штурмовую группу не пошлешь. Заметней и солидней будет направить туда женщину со стягом. Уже само по себе необычно. И не просто женщину, а политработника, чтобы привлечь к ее персоне, к руководящей роли партии особое внимание. Мастер был Рослый на подобные изобретения.

К 13 часам, когда бой в надземном здании рейхсканцелярии закончился и звучали только отдельные выстрелы, когда мы с Леневым уже выбрались из подземелья во внутренний сад, на объекте появилась группа политработников 9-го стрелкового корпуса. Они подняли на ноги людей батальона Шаповалова из 301-й дивизии, отдыхавших после ночного штурма, и те, чертыхаясь втуне, вынуждены были проводить гостей на крышу здания. В обстановке, приближенной к героической, единственная в группе женщина бережно несла доверенное ей полотнище, скрывая его под кожаной курткой на груди.

Глубокоуважаемый Георгий Константинович Жуков, широко используя в своих воспоминаниях донесения различных органов, итоговые сводки поднаторевших штабных и политотдельских сочинителей, живописует

поход политработников из тыла на крышу гитлеровского логова в тоне мажорно-приподнятом. Цитирую:

«Последний бой за Имперскую канцелярию, который вели 301-я и 248-я стрелковые дивизии, был очень труден. Схватка на подступах и внутри этого здания носила особо ожесточенный характер. Предельно смело действовала старший инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса: майор Анна Владимировна Никулина. В составе штурмовой группы батальона Ф. К. Шаповалова она пробралась через пролом в крыше наверх и, вытащив красное полотнище из-под куртки, с помощью куска телеграфного провода привязала его к металлическому шпилю. Над Имперской канцелярией взвилось знамя Советского Союза».

Насчет «предельной смелости» Георгий Константинович явно переборщил. Зачем она «предельная»-то, если в тебя не стреляют, не бросают гранаты. Достаточно и простой смелости, чтобы залезть на крышу здания, внутри которого еще уцелели очаги пожаров. Удивляюсь я тому, что среди множества мужчин, «пробравшихся через пролом» вместе с Никулиной (офицеры-политработники, Шаповалов с бойцами) — среди этих многих мужчин не нашлось ни одного, кто пощадил бы женские руки, взял бы да и привязал красное полотнище телеграфным проводом к металлическому шпилю. Женщина держала бы полотнище, а мужчина занимался бы проволокой. И, кстати, никакого металлического шпиля на той пресловутой крыше ни я, ни Ленев не видели.

Бог с ними, с подробностями. Суть. Поход корпусных политработников к рейхсканцелярии командир 9-го стрелкового корпуса генерал Рослый счел хорошим предлогом для представления участников сей операции к правительственным наградам. Ну и руководители в таких случаях награждаются тоже. Весьма хвалебные реляции дошли аж до Москвы. Начались рассуждения: за знамя над рейхстагом воины получили звания Героев, почему бы и женщину-политработника не возвысить на такую же ступень за рейхсканцелярию?! Однако объявились люди, способные различить грань между реальным подвигом, и организованной акцией. Звания Героя Никулину не удостоили. Смелую женщину наградили орденом, но главное — в историю она все же попала…

Мы с Леневым, возвратившись из подземелья, пообедали в «верхнем» кабинете Гитлера (наваристый суп с говядиной из походной кухни, пшенная каша с консервами и крепкий чай) и улеглись отдохнуть на свежих простынях, которые адъютант, позаимствовав в брошенной немецкой квартире, расстелил поверх толстого коричневого ковра. И все участники штурма тоже спали, оставив лишь караульных. А пока мы мирно похрапывали, расстегнув ремни и сняв сапоги, в рейхсканцелярию началось паломничество людей, желавших своими глазами увидеть главное фашистское логово. Сперва шли солдаты из ближних тылов, полковых и дивизионных, артиллеристы и танкисты, саперы и интенданты, затем накатилась волна из более высоких инстанций — корпусных и армейских. Многие брали себе сувениры на память, горстями черпая из ящиков различные фашистские награды. Из гитлеровского кабинета, в котором мы спали, кто-то «увел» белый телефонный аппарат, возможно из слоновой кости, ручки со стола, карты со стены. Адъютант сказал, что в кабинет после настойчивых просьб были допущены лишь писатели и журналисты. Ходили на цыпочках, чтобы не потревожить спящих. А сувениры умыкнули с ловкостью одесских жуликов.

Вторая половина дня в центре Берлина, в том числе и в районе рейхсканцелярии, прошла относительно спокойно. Спорадические перестрелки и мелкие стычки — это далеко не то, что массированные атаки и контратаки с применением всех видов оружия. Местные жители стали появляться на улицах. Но к вечеру обстановка опять накалилась. Начали вылезать из своих укрытий недобитые гитлеровцы, все еще на что-то надеявшиеся. Когда опустились сумерки, в подземельях рейхсканцелярии раздалось несколько взрывов. Вероятно — фаустпатроны. И в самом здании канцелярии начали потрескивать выстрелы. Немало, значит, уцелело фашистов в потайных убежищах. А ночь — для них.

Жутковато было от мысли, что под нами находится огромное обесточенное подземелье, еще не полностью очищенное. Там, в абсолютной тьме, разлагаются сотни трупов, теряют остатки сил сотни раненых, которых не успели вынести, там, возможно, блуждают десятки наших воинов, которые находились в фюрербункере в момент прекращения электроснабжения и оказались в беспросветной ловушке. А когда выстрелы и разрывы начали звучать в самой рейхсканцелярии, когда, оттеняя сгустившуюся темноту, вспыхнули несколько новых пожаров, подполковник Ленев принял, на мой взгляд, правильное решение: приказал личному составу своего полка покинуть рейхсканцелярию и разместиться в окружающих строениях и под открытым небом.

У главного входа в рейхсканцелярию чадило вонючим дымом огромное чудовище — из числа того «нового оружия», на которое надеялся, которым грозил Гитлер. Невиданных размеров сверхтяжелый (до 180 тонн!) танк с мощной пушкой, с броней башни чуть ли ни в метр толщиной. Крепость на гусеницах! Вокруг толпились наши воины, дивясь и рассуждая, кто и чем изловчился угробить столь мощное сооружение. Артиллеристы утверждали — снарядом. Пехотинцы — гранатами. Авиация претензий не предъявляла — летчиков поблизости не было.

Как я узнал позже, немецкая фирма Порше успела изготовить лишь три таких танка, типа «Маус» — по-нашему «мышонок». Один мы с Леневым осмотрели у входа в рейхсканцелярию. Второй тоже сгоревший, я видел в городе Цоссен, где размещался германский Генштаб. А третий, целый и невредимый, находится теперь в замечательном бронетанковом музее на территории военного НИИ в подмосковной Кубинке. Спасибо тем, кто сумел захватить это чудовище, привезти, сохранить. Чтобы не возвращаться к тем часам, которые я провел в Берлине с хорошим человеком, отважным и заботливым офицером Георгием Матвеевичем Леневым, скажу еще о нескольких связанных с ним эпизодах. Его полк, покинувший рейхсканцелярию, получил распоряжение взять под охрану находившийся поблизости так называемый «дипломатический квартал» с посольствами различных стран. Ну что же, за время войны наши офицеры привыкли к заданиям самым неожиданным, от таких, которые требовали мужества и воинского мастерства до решения национальных и политических проблем на территории различных освобожденных стран, с разными, естественно, особенностями. Все могли наши славные командиры и политработники. А я не упустил возможности «прощупать» такого осведомленного деятеля, как посол японцев в дружественной им Германии. По горячим следам, пока посол не оправился от потрясающего грохота рухнувшего Рейха. Самый подходящий момент попытаться понять,

известно ли что-нибудь самураям о секретом договоре союзников, предусматривавшем наше вступление в войну со Страной восходящего солнца ровно через три месяца после капитуляции гитлеровцев? Сия задача не входила в круг данных мне поручений, но я был уверен, что Иосифу Виссарионовичу полезна любая информация по этому поводу.

Дабы не выказать особый интерес к посольству японскому, мы с Леневым для начала побывали у греков. Сообщили, что советское командование берет под защиту дипломатов в Берлине. Возле греческого особняка будет выставлен пост, улица будет патрулироваться. Естественная предосторожность… Наша информация была с благодарностью принята. От кофе и шампанского мы отказались, сославшись на срочные дела.

В японском представительстве — растерянность и уныние. Выбитые стекла окон кое-как заменены фанерой. Полуупакованные ящики. Чемоданы. Сквозняк гонял по залу пепел сожженных бумаг. Сам посол давно не брит, рубашка не первой свежести. Он сразу спросил, когда дипломатам разрешат выехать из Германии и как это осуществить? Ленев ответил, что это будут решать соответствующие органы, а наше дело — охрана и оборона, чтобы иностранцы спокойно ожидали решения своей участи.

Разговор шел через переводчика на немецком, но я, наблюдая за послом, заметил, что он понимает и по-русски, улавливает смысл наших реплик. И вообще, хоть и небритый, и костюмчик скромненький, а глаза у опытного дипломата настороженно-внимательные, и даже было такое впечатление, что не только мы его «прощупываем», но и он нас. Особенно интересовал его я: пожилой человек в форменной фуражке, в военном плаще без знаков различия. Разговаривал японец с Леневым, а поглядывал на меня. А я, вполоборота к послу, смотрел сквозь проем выбитого окна на руины, на дымившиеся пожарища. Сказал:

— Берлин был монументален. А в Токио постройки более легкие, не правда ли?

— Господин… — Дипломат запнулся, не зная, как назвать меня. — Господин бывал на Востоке?

— Не далее Маньчжурии. Наш Порт-Артур был уже захвачен вашими соотечественниками. Как и другие русские территории, куда я не смог попасть. Впрочем, надеюсь еще полюбоваться красотой тех мест.

— Конечно, конечно, — закивал посол, приоткрыв в приятно-казенной улыбке желтоватые зубы. — На Востоке своя особая красота. И океан. Наше счастье, что он такой большой.

— Но море между вами и материком… Оно ведь не очень широкое.

— Оно спокойное. Оно не столь бурное, как океан, — ответил японец, и я не заметил при этом никакого изменения в его голосе, в выражении лица.

— А неожиданные штормы, тайфуны?

— Они редки и не внезапны. Обычно они достигают наших островов, уже получив имя.

У меня сложилось впечатление, что у такого осведомленного человека, как посол в первостепенном для Японии государстве, не имеется никаких данных о нашей договоренности с союзниками вместе погасить восточный очаг войны. Обо всем этом я без промедления сообщил в Москву.

И последнее, что связано с Георгием Матвеевичем Леневым и его славным полком, а еще точнее — с двумя историческими верблюдами, с рослым невозмутимым Мишкой и нервной, злопамятной Машкой, которые

дотянули-таки от Астрахани до Берлина свою пушку, которая первой ударила прямо по гитлеровской рейхсканцелярии. Согласитесь, что на счету этих тружеников войны немало заслуг, достойных быть отмеченными. Но как? Людей награждали орденами, повышали в звании, в должности, а верблюдов-то чем отблагодарить? Дать что-либо особо вкусное на обед? Так это же мимолетность, сшамали, и нету.

Помогла смекалка. В помещениях захваченной рейхсканцелярии высились штабеля ящиков с фашистскими крестами, орденами и медалями всех достоинств, от первоначальных до самых высоких. Ими был усыпан пол, они хрустели под сапогами. Ну и сообразили командир орудия старший сержант Нестеров и наводчик Кармалюк, что можно сделать. Нашли специалиста по гитлеровским наградам (каких только специалистов не было тогда в наших полках!), разыскали широкие муаровые ленты, и на каждой из них, в строго установленном порядке, по значимости, укрепили полный комплект фашистских отличий. Ни один гитлеровский вояка никогда не мог бы получить столько. Места не хватило бы ими обвешаться. Верблюды-то пообъемистей, повыносливей. Голубые ленты, свешиваясь по обе стороны горба, завязывались под брюхом. Сначала верблюдам не нравилась эта катавасия, раздражала непонятная тяжесть, действовало на нервы звяканье и бряканье при каждом шаге, но вскоре Машка и Мишка так привыкли к своим блестящим украшениям, что не желали выходить на улицу без наград. Походка у верблюдов медленная, горделивая, а с муаровыми лентами они выглядели особо торжественно. Народ расступался.

В конце мая верблюдов, прогуливавшихся по территории разрушенного берлинского зоопарка в сопровождении толпы немецких зевак, особенно детей, увидел проезжавший мимо комендант города генерал-полковник Берзарин. Человек, не лишенный юмора, он посмеялся, затем нахмурился, тиская в руках фуражку с большим козырьком. Отправился дальше, ничего не сказав, но в тот же день вызвал к себе не командира корпуса Рослого, не командира дивизии Галая, а непосредственно командира стрелкового полка Ленева. И, покручивая пуговицу на его гимнастерке, сказал, что история с верблюдами ему досконально известна, что они, конечно, заслуживают заботы и уважения, но то, что Мишка и Машка разгуливают по городу с набором немецких наград, может спровоцировать нежелательную реакцию жителей. И вообще, награды есть награды, нельзя принижать значение отличий противника, если не хочешь принизить значение своих. К тому же следует подумать о дальнейшей судьбе животных, тем более что вся артиллерия переводится на механическую тягу, а полк перебрасывается в другой район.

После этого разговора верблюды с наградами на берлинских улицах не появлялись. По поручению Берзарина работники комендатуры связались с Москвой и условились, что два верблюда будут доставлены в наш столичный зоопарк, обретут там заботу, внимание и заслуженный послевоенный отдых. Пофартило им больше, чем некоторым людям.

И вот на плацу военного городка, где прежде стояла дивизия СС, а теперь разместился 902-й стрелковый полк, собрались артиллеристы, демобилизующиеся ветераны и вообще все, кто хотел проститься с боевыми друзьями, а также с легендарными Мишкой и Машкой перед отправкой на железнодорожную станцию, где для верблюдов был оборудован саперами специальный вагон. Без малого три года вместе шли по фронтовым дорогам. И вот — пора… Грустно звучал полковой оркестр,

грустны были люди, да и верблюды, хоть и были при полном параде со своими голубыми лентами, прошли вдоль строя не торжественно-горделиво, а понурив головы, предчувствуя безвозвратное расставание. Никого не оплевала в тот день раздражительная Машка, что совершенно не соответствовало ее характеру.

До станции верблюдов проводили артиллеристы. Прощание вышло тяжелым. На командира орудия Нестерова и наводчика Кармалюка больно было смотреть.

Демобилизованные «старики», ехавшие через Москву, обещали доставить верблюдов в зоопарк в полном порядке. Вместе с сопроводительной описью, в которой, среди других, был и такой пункт: «На каждом верблюде — муаровая лента с полным комплектом фашистских наград».

Что было с Мишкой и Машкой потом, я не знаю. Хотел побывать в нашем столичном зоопарке, проведать их, да все недосуг. А потом и время прошло.

17

Второго мая свершились еще три существенных для меня события, наложивших отпечаток на дальнейшие поиски немецкого фюрера. В Политуправление фронта самолетом была доставлена из Москвы газета «Правда», датированная вторым днем начавшегося месяца. Меня разыскал по телефону генерал Серов и прочитал для сведения несколько абзацев из статьи в этом номере. Суть сводилась к одной фразе: «Распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение».

Без ведома Сталина такой материал в центральной, можно сказать директивной, газете появиться не мог. Значит, Сталин не хочет, чтобы Гитлера считали мертвым. Почему? Есть какие-то данные, что фюрер жив? Или нам требуется пугало, чтобы держать в напряжении союзников и вообще народонаселение? Во всяком случае, завязывалась какая-то новая интрига, на которые Иосиф Виссарионович издавна был большой мастер. Сейчас, значит, ему требовалось, чтобы обстановка до поры до времени оставалась неясной, каковой она, собственно, и была. Но зачем-то понадобилось еще сильнее замутить воду?!

В тот же день по решению Военного совета 1-го Белорусского фронта была создана специальная комиссия по поиску фашистских главарей, по установлению их личностей, в частности для исследования обгоревших останков — предположительно Геббельса. Возглавил ее человек, обладавший в масштабе фронта большой властью: член Военного совета генерал-лейтенант Телегин Константин Федорович. Это еще раз убедило меня в том, что маршал Жуков не знает про группу Серова, работающую непосредственно «по Гитлеру» и его ближайшим соратникам. Если бы знал — зачем заниматься параллельным расследованием? Берзарину известно, генерал Серов днюет и почует у коменданта, а вот Жукову — нет. По какой причине Верховный главнокомандующий не информирует своего первого заместителя? Не отвлекает его от других важных забот или не желает поднимать Георгия Константиновича на высокую политическую орбиту? Он и так, по мнению Иосифа Виссарионовича, пользовался слишком большой популярностью в Вооруженных Силах, в

народе, да и за рубежом. В этом Сталину мнилась некоторая опасность. После больших войн всегда обостряются внутренние конфликты. А в общем-то ни статья в «Правде», ни решения Военного совета фронта для нас с Серовым значения не имели. Задание, полученное непосредственно от Сталина, никто не отменял, поправки не вносились. Мы по-прежнему в обстановке полной секретности должны были искать Гитлера — живого или мертвого.

Ну и третье событие, настолько запутанное, что я не разобрался в нем ни тогда, ни до сих пор. И не только я. Вот факты. Георгий Константинович Жуков, оговорившись, что не помнит точного времени, поведал в своих воспоминаниях о том, что в ночь на 2 мая ему позвонил командующий 3-й ударной армией генерал В. И. Кузнецов и «взволнованным голосом доложил»: на участке одной из дивизий только что прорвались немецкие танки, примерно 20 машин, которые на большой скорости миновали северо-западную окраину города. Жуков понял, что кто-то пытается выбраться из Берлина; возможно, Гитлер и Борман. Были приняты все меры для ликвидации прорвавшихся танков. Чтобы перекрыть все пути, были привлечены 47-я, 61-я армии и 1-я армия Войска Польского. На преследование неприятеля были брошены также части 3-й ударной и 2-й гвардейской танковой армий. (Не слишком ли много для борьбы с 20 танками? — Н. Л.) Далее Жуков говорит о том, что утром 2 мая вражеские танки были обнаружены и уничтожены в пятнадцати километрах северо-западнее Берлина. Среди погибших не обнаружено фашистских главарей, но многие немцы сгорели в танках, опознать их было невозможно.

Есть и другие свидетельства, несколько отличающиеся. У начальника штаба 3-й ударной армии генерала Букштыновича и начальника оперативного отдела того же штаба полковника Семенова иная версия. Последний утверждает, что не генерал Кузнецов позвонил Жукову, а наоборот. Георгий Гаврилович Семенов — человек скрупулезной точности, и свидетельствует он не о том, что узнал от кого-то или вычитал в документах, а о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Поздно вечером 2 мая Военный совет армии устроил праздничный ужин в честь победы над берлинской группировкой врага. Во время ужина раздался телефонный звонок. Маршал Жуков вызывал нашего командующего. Маршал сказал, что, по имеющимся у него сведениям, через боевые порядки 3-й ударной армии из Берлина прорвались на запад немцы, которые вышли на тылы 47-й армии. Генералу Кузнецову было предложено разобраться на месте в случившемся и доложить. Командарм поручил это дело мне.

На рассвете я с группой офицеров штаба находился в пути. В штабе 47-й армии нас принял заместитель начальника оперативного отдела. Он подтвердил, что в ночь на 2 мая группировка противника численностью до 17 тысяч человек при поддержке 80 танков и штурмовых орудий прорвала юго-восточнее Вильгельмштадта растянутый фронт 125-го стрелкового корпуса 47-й армии и устремилась к Эльбе. Борьба с этой группировкой велась уже второй день.

Отряд в 20 танков или группировка из 80 танков и 17 тысяч пехоты — очень большая разница. И если на поле боя осталось 20 подбитых и сгоревших машин, то куда же делись остальные вместе со своими возможными «пассажирами»? Добрались до Эльбы, до аэродромов с самолетами, до самого моря, где поджидали гитлеровских главарей подводные лодки, готовые отплыть к гостеприимным берегам Южной

Америки не только с «пассажирами», но и с богатствами, которые те прихватили с собой. Вопрос, как говорится, остается открытым. Если же учитывать свидетельства противоположной стороны, то привлекает внимание самая последняя короткая запись в дневнике руководителя нацистской партии Мартина Бормана, сделанная им в фюрербункере. Дословно: «Вторник. 1 мая. Попытка прорваться из окружения». И все.

О каком прорыве написано? Да о том самом. Он был только один и до сих пор вызывает удивление. Как смогли блокированные, разбитые немцы сосредоточить в центре города, который весь простреливался и почти весь просматривался нами, столь сильную группировку и почему ее не обнаружили? Это ведь не грецкий орех за щекой у слона. Может, мы расслабились от своих успехов, потеряли всякую бдительность? Или кто-то знал о вражеской группировке, но сознательно выпустил ее из города? Во всяком случае, это не Жуков, не Соколовский, не наши командармы. А вот то, что к этому событию могли быть причастны генерал Серов и генерал Берзарин, это я хоть и с натяжкой, но допускаю. Они очень тесно общались. И если по указанию из Москвы потребовалось провести такую секретную акцию, то два названных генерала, представитель СМЕРШа и комендант города были самыми надежными исполнителями, располагавшими достаточными возможностями. Это предположение косвенно подтверждается для меня еще одним печальным фактом. После проведения столь ответственных операций убирают обычно ненужных свидетелей, даже из числа доверенных лиц. Умелый полководец, добросовестный администратор, много сделавший для жителей Берлина, и просто хороший человек, Николай Эрастович Берзарин не дожил до парада Победы. 16 июня его стараниями в немецкой столице было открыто метро. К этому времени в городе уже ходили трамваи, было отремонтировано более 20 тысяч домов, восстановлено электро- и газоснабжение, работали школы и кинотеатры, регулярно выдавались пайки, в том числе молоко для детей, а взрослые получали даже настоящий кофе, от вкуса которого, пользуясь лишь суррогатами, рядовые немцы давно отвыкли.

Сразу после торжественного открытия метро Николай Эрастович Берзарин «трагически погиб во время очередной поездки по Берлину», как было сказано в официальном сообщении. Подробности замалчивались. Но определенный почерк угадывался.

Прорыв из города большой вражеской группировки, которая могла увезти любого нацистского главаря, еще больше запутал вопрос о местонахождении фашистской верхушки. Где и кого искать? Я лично верил сообщениям столь разных людей, как изощренный демагог Геббельс и прямолинейный честный генерал Кребс, о том, что Гитлер покончил земные счеты. Однако, памятуя о статье в «Правде», мы с Серовым собственное мнение держали при себе. Продолжали искать, руководствуясь формулой «четыре Г. + Б.». Формула эта постепенно сокращалась, причем начиная от лиц просто крупных к более крупным, к самым крупным.

В такой же очередности и я продолжу свой рассказ, отступая от сложной и малоинтересной в данном случае хронологии.

Не стало Иозефа Пауля Геббельса — пятого по счету деятеля в неофициальной фашистской иерархии. В первых числах мая оказался в плену у наших союзников Герман Геринг. (Нюрнбергский трибунал приговорит его к смертной казни, но он умудрится покончить

самоубийством.) Вот уже упростилась вроде бы формула, превратившаяся в сочетание «два Г. + Б.». В том же месяце и еще на одно Г. станет меньше. За счет обнаружения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, самой, пожалуй, одиозной и мрачной фигуры из окружения Гитлера. По отношению к Гиммлеру замечу вот что. В исторических трудах, даже в авторитетной военной энциклопедии говорится, что упомянутый рейхсфюрер СС был арестован опять же союзническими войсками. Вот такие, значит, они расторопные, наши союзнички-то… Ничего не добавляя от себя, приведу несколько документов. Но сперва несколько слов о том, как они появились. 21 мая 1945 года военнослужащие Василий Губарев и Иван Сидоров, патрулируя окрестности сборного пункта военнопленных № 619, расположенного в английской оккупационной зоне, задержали трех немцев: танкиста-фельдфебеля с черной повязкой на глазу и его спутников, направлявшихся в сторону Австрийских Альп. Вот протокол опроса, проведенного 7 июня офицером отдела репатриации 2-й ударной армии майором Головановым. По существу дела Василий Ильич Губарев сообщил:

«Около 20 часов, в 500 метрах от деревни, из кустов на проселочную дорогу, крадучись, вышли три немца. Мы их заметили и пошли за ними. Немцы нас вначале не заметили, мы побежали бегом и метров 200 не доходя кричали, чтобы они остановились. Но неизвестные не останавливались. Тогда я дал предупредительный выстрел. Один остановился, двое других продолжали идти вперед. Тогда мы оба резким окриком «хальт» и изготовкой винтовок заставили остановиться всех троих и подошли к ним на дорогу. Спросили: «Солдаты?» Один ответил: «Да». На вопрос: «Есть ли документы?» — один из задержанных ответил: «Есть». Показали документы. Документы были без штампа и без печати. Задержанные были одеты в офицерские плащи, под плащами — шинели, обуты в ботинки, на оказавшемся впоследствии Гиммлером — гражданские брюки и шляпа. Левый глаз был повязан черным. Усов не было, в руках он держал палку. Задержанных мы привели в деревню и сдали английским солдатам. Задержанные доказывали английским солдатам, что они идут из госпиталя и что у одного болит нога, у другого болен глаз. Английский патруль хотел отпустить задержанных как больных, но мы настояли на том, чтобы не отпускать, а отвезти в лагерь. Я и Сидоров, вместе с двумя английскими солдатами, поехали сопровождать задержанных, а четверо их патрулей остались в деревне.

В лагере нас встретил английский офицер и переводчик. Принял от нас арестованных и отправил их на гауптвахту…» А вот докладная записка, отправленная 8 июня из отдела репатриации 2-й ударной армии в Москву, в политпросветотдел Управления уполномоченного СНК СССР по делам репатриации и, соответственно, начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШа Абакумову:

«…25 мая англичанами было установлено, что один из задержанных является начальником гестапо — Гиммлером. Гиммлер в этом признался, после чего раздавил ампулу с ядом, которая находилась у него во рту. Через 15 минут Гиммлер скончался.

После анатомирования тело Гиммлера было зарыто в г. Люненбурге. Точное местонахождение могилы установить не удалось».

Значит, еще одним Г. меньше. Осталось только Б. — «нацист номер 2», заместитель фюрера по партии Мартин Борман, и сам Гитлер. И если со всеми Г. вскоре будет все ясно, земля очистится от них, то судьба Б. до сих

пор вызывает споры, хотя версий об его исчезновении хоть отбавляй. Мое мнение таково. Сделав 1 мая запись в дневнике о прорыве из окружения, Борман со своими соратниками выбрался из Берлина и достиг балтийского побережья. Не секрет, что многие высокопоставленные фашисты, многие гестаповцы (Эйхман и др.) на подводных лодках добрались до Южной Америки, до Аргентины, и обосновались там в тайных колониях среди труднодоступных джунглей: некоторые из этих колоний сохранились до сих пор. Вполне возможно, что в одной из них доживал или доживает свой век «нацист номер 2».

Очень не устраивает кого-то такое предположение, особенно в Германии, кто-то всеми силами старается «похоронить» Бормана и тем самым обессмыслить продолжение поисков. В 1972 году при строительных работах в Берлине был обнаружен череп со следами цианистого калия в полости рта. Немецкие ученые высказали убеждение, что найдены останки Бормана. Закрыли вроде бы тему, но она «закрытию» не поддалась: мало ли кто травился в германской столице цианистым калием в те дни, когда рухнул Третий рейх. Версии продолжали возникать. Одной из них «порадовала» читателей немецкая газета «Бильд», сообщившая, что Мартин Борман являлся «агентом Иосифа Сталина». (Следует понимать — по линии личной агентурной разведки Иосифа Виссарионовича, которую возглавлял А. А. Андреев? — Н. Л.) После падения Берлина он, дескать, был переправлен в Советский Союз, где и скончался в 1973 году. Названо даже место захоронения: тюремное кладбище в Лефортово, недоступное для посторонних лиц. Экая, воистину немецкая, точность![94]

18

Известно, что рейхсканцелярию (имперскую канцелярию) с находившимся под ней фюрербункером, штурмовали и захватили воины 5-й ударной армии генерала Берзарина: конкретно 9-й стрелковый корпус генерала Рослого. В этом корпусе, как и во всех других, имелся свой отдел контрразведки СМЕРШа — достаточно сильный отдел с опытными людьми. Однако не им была доверена строжайше секретная миссия искать Гитлера. Почему? Казалось бы: захватили логово фюрера — ну и ищите. Но нет, к этому делу привлекли контрразведчиков 3-й ударной армии генерала Кузнецова, бравшей рейхстаг. А еще точнее — контрразведчиков 79-го стрелкового корпуса генерала Переверткина. Какой же смысл тасовать колоду? Ответ простой, и раньше я уже частично ответил на него: элемент случайности в сочетании с личным знакомством. Когда генерал Переверткин развернул свой корпус на 180 градусов и начал энергично продвигаться с запада к центру Берлина, генерал Серов, как, впрочем, и я, сделал вывод: главные события предстоят в хозяйстве Кузнецова, Букштыновича, Переверткина — прямой путь к логову Гитлера. Как и я, генерал Серов значительную часть времени проводил в 79-м корпусе среди своих коллег-контрразведчиков. Сблизился с ними, поверил в деловые качества начальника отдела СМЕРШа этого корпуса подполковника Ивана Исаевича Клименко. Ему доверил особые секреты, усилил его отдел не только чекистами 3-й ударной армии, но и людьми из других формирований 1-го Белорусского фронта.

В быстроменяющейся обстановке подполковник Клименко со своими подчиненными стал для Серова, чужака в армейской фронтовой

обстановке, надежной опорой, устойчивой базой, менять которую без веских причин он не хотел. С этим отделом ему легче и лучше было выполнять ответственную задачу: найти Гитлера живым или мертвым. Поэтому контрразведчики других воинских соединений были просто-напросто выдворены из рейхсканцелярии, вместо них туда прибыли чекисты, руководимые Клименко. С утра 3 мая они обследовали все наземные помещения и часть подземных отсеков, куда смогли проникнуть в полном мраке и при неослабевающей опасности со стороны затаившихся фашистских фанатиков. Осмотрели всю прилегающую территорию. При этом секретность была такова, что Клименко носил погоны лейтенанта и во всех отчетных документах значился в таком звании. А младшие офицеры контрразведки вообще были временно «разжалованы» до рядовых и сержантов. Чтобы не привлекать внимание любопытствующих, тем паче наших и зарубежных корреспондентов, жадной стаей слетевшихся в Берлин за сенсациями. Понятно: когда лейтенант или сержант таскается по руинам, переворачивает трупы, вглядываясь в лица мертвецов, — это одно. А когда таким образом поступает подполковник с целой свитой подчиненных — это нечто более существенное, заставляющее задуматься.

Искали наши чекисты активно и небезуспешно. За трое суток им удалось обнаружить по меньшей мере три трупа, нуждавшихся в опознании. Два вынесли из подземелья, из отсеков, расположенных рядом с отсеками фюрера. Оба либо самострелы, либо убиты с очень близкого расстояния. Похожи друг на друга и имели определенное сходство с Гитлером. Может, его двойники-дублеры, а может, и простое совпадение, всяко бывает. Третий труп обнаружили еще 2 мая в саду рейхсканцелярии у входа в бункер, в соседстве с другими обгоревшими трупами. По Гитлеру в день — это, согласитесь, неплохо. Всех их отвезли в тюрьму Плетцензее, где уже находились останки Геббельса, его жены Магды и шестерых детей. Туда же доставили несколько немцев, знавших Гитлера и Еву Браун-Гитлер при жизни. Среди них один эсэсовец из личной охраны и вице-адмирал Эрих Фосс. Наши чекисты малость успокоились: может, выберут из трех одного! Однако поиски продолжали, вновь «прочесывая» уже осмотренные места.

4 мая в 11 часов солдат Иван Чураков, в который уж раз исследуя сад рейхсканцелярии, решил порыться в большой воронке от авиабомбы метрах в четырех от бункера. Воронка была на две трети засыпана, а вокруг, кольцом, следы большого горения. Мимо воронки к тому времени прошли тысячи человек, не обращая на нее внимания, разве что чертыхались, поскользнувшись на земляной крошке. И Жуков тут побывал, и Берзарин, и Серов. Я чуть ногу не подвернул на осевшей под сапогом закраиной этой воронки, огибая ее еще 2 мая вместе с Леневым. Дым, ядовитый запах бензина, горелого мяса, горелой резины. Я нос платком прикрывал, ямы-то и не заметил, Ленев за локоть меня подхватил, когда оступился.

Покопавшись в воронке, Чуриков и его товарищи извлекли два трупа, настолько обугленных, что едва можно было различить: одно тело женское, другое мужское. И еще какие-то останки, вроде собачьи. Вызванный к воронке Иван Исаевич Клименко рукой махнул: безнадежно. Приказал завернуть трупы в одеяло и вновь зарыть, да поглубже.

Между тем группа опознания в тюрьме Плетцензее одного за другим отвергла всех предъявленных ей «Гитлеров». Адмирал Эрих Фосс категорически заявил, что фюрера среди них нет. Свое недовольство

результатами поисков высказал генерал Серов. Лишь после этого Иван Исаевич Клименко вспомнил о трупах в воронке от авиабомбы. Был составлен акт:

«Г. Берлин. Действующая армия. 1945 г. Мая месяца, 5. Мною, гв. старшим лейтенантом Панасовым Алексеем Александровичем, и рядовыми Чуриковым Иваном Дмитриевичем, Олейником Евгением Степановичем и Сероухом Ильей Ефремовичем в г. Берлине в районе рейхсканцелярии, вблизи места обнаружения трупов Геббельса и его жены, были обнаружены и изъяты два сожженных трупа, один женский, второй мужской. Трупы сильно обгорели, и без каких-либо дополнительных данных опознать невозможно. Трупы находились в воронке от бомбы, в 3-х метрах от входа в гитлеровское бомбоубежище, и засыпаны слоем земли. Трупы хранятся при отделе контрразведки «Смерш» 79-го стрелкового корпуса».

Обгоревшие тела были порознь уложены в большие деревянные ящики из-под реактивных снарядов и доставлены в Плетцензее. Двое из группы опознания, осмотрев трупы, заявили, хоть и не с полной гарантией, что перед ними действительно тело Гитлера. Через несколько дней допрошенный отдельно один из охранников фюрера Гарри Менгерсхаузен сообщил, что самолично сливал из баков автомобилей бензин для сжигания Гитлера, Евы Браун и собаки Блонди. Указал место сжигания, как раз ту воронку, на которую обратил внимание Иван Чураков. Все совпало, но сомнения еще оставались.

Тела сохраняли в режиме строгой секретности, с учетом того, что разыскать «живого или мертвого» Гитлера с нарастающей активностью стирались американская и английская разведки. У руководителей этих стран были свои соображения по поводу исчезнувшего Адольфа. Секретность, повторяю, была такова, что даже маршал Жуков, находившийся тогда в Берлине, ничего не знал про Гитлера, о чем и заявил журналистам на пресс-конференции и написал потом в своей книге.

Через несколько дней предполагаемые останки бывшего фюрера были переправлены в окрестности Берлина, в маленький, тихий городок Бух, не очень пострадавший от войны. Помещены в подвал особняка при местной клинике-госпитале. Это, кстати, та клиника, где немцы впервые по черепам, по основанию носа начали выявлять лиц еврейского происхождения, предназначая их для ликвидации. А теперь сюда, по воле рока, для анатомирования Гитлера, прибыла особая комиссия, составленная почти сплошь из этих самых «лиц». При этом не обошлось без инцидента: чекисты чуть было не пристрелили одного из членов комиссии, слишком ретиво, без соответствующих документов, рвавшегося на охраняемый объект.

А комиссия, назначенная для «производства ответственной экспертизы», была действительно авторитетная. Особенно, вероятно, с точки зрения наших западных союзников. Вот ее состав. Председатель или начальник — главный судебно-медицинский эксперт 1-го Белорусского фронта полковник Шкаравский Фауст Иосифович. Члены: судебно-медицинский эксперт 3-й ударной армии майор Ю. И. Богуславский, майор медицинской службы А. Я. Маранц (женщина), патологоанатом Ю. В. Гулькевич. В состав комиссии скромно входил также прибывший из столицы главный патологоанатом Красной Армии полковник Н. А. Краевский, крупный специалист по «мертвому делу». (Тот самый

Краевский, который спустя время, будучи уже академиком, подпишет официальные сообщения для прессы о смерти Брежнева, а затем и Андропова. Вот сколько позахоронит! — В. У.)

Первое, что распорядился сделать полковник Фауст Шкаравский, — немедленно обложить труп льдом, дабы предотвратить разложение и распад того, что осталось. Температура воздуха днем достигала на улице 20 градусов тепла, а в подвале особняка переваливала за 10. Это выполнили. Тем временем имя Гитлера не сходило со страниц мировой прессы. Заманчиво-выгодная тема для борзописцев. В зарубежье — сенсационные подробности о том, как русские чекисты ищут и уже изловили Гитлера. Или о том, как он улетел из Германии на специальном самолете или отплыл на подводной лодке. Даже наша строгая печать грешила сообщениями собственных корреспондентов и ТАСС такого примерно типа: Адольф Гитлер добрался до берега Южной Америки и высадился в женском платье в одной из бухт Аргентины. Ну, женское платье, — верх маскировки, — просто умиляло меня. И это в те часы, когда профессиональные медики привычно и хладнокровно полосовали труп бывшего фюрера.

Обстановка в подвале была мрачная, подавляющая для обычного человека. Эти холодные темные стены, эти люди-призраки в белом, кромсающие блестящими скальпелями нечто бесформенное, обугленное; наконец, этот трупный запах, от которого меня подташнивало. И еще запомнилось: на дальней, плохо освещенной стене — портрет того, кого резали тут врачи. Изображение фюрера с косой челкой на лбу в Германии можно было увидеть повсюду, к нему присмотрелись, на него перестали обращать внимание не только местные жители, но и наши воины. Висит и висит — хрен с ним. А мне стандартно-помпезный портрет Гитлера бросился в глаза именно здесь, в подвале. По контрасту. И была какая-то мистика в том, что обугленного посланца Сатаны резал не кто-нибудь, а доктор Фауст, с погонами советского полковника под халатом. Об этом упоминалось и до моей исповеди, я же позволю себе несколько развить сей пассаж напрашивающимся сравнением.

В марте 1953 года в Московском институте усовершенствования врачей тело Иосифа Виссарионовича Сталина будет исследовать не просто большой знаток своего дела, но и очень порядочный человек, патологоанатом Русаков-младший, брат доброго детского доктора и убежденного коммуниста, погибшего от рук белобандитов: именем Русакова-старшего названы в Москве улица и больница. Младший брат шел по пути старшего. Скальпель в руках доктора Фауста или в пальцах Айболитова брата — есть над чем задуматься. Перст Божий! — воскликнет верующий.

Заключение медиков, анатомировавших бывшего фюрера, было довольно обширным. В акте о вскрытии трупа «предположительно Гитлера» сказано, в частности: «Во рту обнаружены кусочки стекла, составляющие часть стенок и дна тонкостенной ампулы». Причина смерти — большая доза синильной кислоты. Врачи записали также, что главным аргументом для идентификации личности исследуемого являются его сохранившиеся зубы. Полковник Шкаравский передал двум нашим офицерам-чекистам, Андрею Севастьяновичу Мирошниченко и Василию Ивановичу Горбушину, золотой мост верхней челюсти с 9 зубами и сильно обгоревшую нижнюю челюсть с 15 зубами. Чекистам приказано было установить и документировать их принадлежность. То есть разыскать

стоматологов, лечивших Гитлера, найти историю болезни, рентгеновские снимки. Сделать это в огромном полуразрушенном городе, где еще дымились остатки пожарищ, в городе, часть жителей которого погибла, часть убежала, а оставшиеся ютились где придется, — осуществить это в тогдашнем Берлине казалось почти невозможно. И все же наши опытные чекисты выполнили приказ быстро и точно. Помогла сообразительность. А с другой стороны — немецкая педантичность.

Историю болезни обнаружили в клинике профессора Блашке — личного врача фюрера. Ассистентка профессора Кете Хойзерман (самого Блашке в городе не оказалось) помогла чекистам найти в зубоврачебном кабинете рейхсканцелярии рентгеновские снимки и даже несколько коронок, которые не успели поставить Гитлеру. Не до этого ему было в последнее время. Хойзерман к тому же назвала имя и адрес зубного техника Фрица Эхтмана, изготовившего протез челюсти. Оба они стали основными свидетелями по делу. Допрашивал их капитан В. И. Горбушин в присутствии, если не ошибаюсь, переводчицы Елены Моисеевны Ржевской, будущей писательницы. Вот слова Горбушина:

«Отвечая на мои вопросы, Кете Хойзерман и Фриц Эхтман подробно описали зубы Гитлера по памяти. Их описания коронок, мостиков и зубных пломб точно совпали с записями истории болезни, с рентгеновскими снимками, имевшимися в нашем распоряжении. Затем мы предъявили им для опознания челюсти, взятые у мужского трупа. Хойзерман и Эхтман безоговорочно опознали их как принадлежащие Адольфу Гитлеру».

Точка была поставлена, Иосиф Виссарионович знал все подробности. Ему докладывал Абакумов, а затем рассказывал я, отвечая на все уточняющие вопросы. Другие люди, причастные к этому расследованию, обязаны были молчать. Официальная версия оставались прежней: Адольф Гитлер исчез, не исключено, что он жив, находится либо в Южной Америке, либо в Испании под крылом диктатора Франко. Ну а захоронение и перезахоронения тела фюрера — это особая, полудетективная история, которая слишком далеко увела бы нас от главного русла. Скажу только, что в Москве, в двух архивах, хранятся несколько обломков черепа Гитлера, его челюсти и пропитанные кровью деревяшки, выпиленные из софы, на которой скончался претендент на мировое господство.

19

С 17 июля по 2 августа 1945 года проходила третья (и последняя) встреча руководителей великих союзных держав. Ее называют Берлинской или Потсдамской — второе, на мой взгляд, правильнее. Подыскать подходящее место для встречи и всесторонне обеспечить ее проведение было поручено главнокомандующему Группой советских войск в Германии, главноначальствующему Советской военной администрации в той же стране маршалу Жукову. Идею провести конференцию непосредственно в Берлине Георгий Константинович сразу отверг: в полуразрушенном городе нет условий. Зато приглянулся ему в недалеком Потсдаме большой дворец германского кронпринца, не пострадавший от войны, расположенный в старом обширном парке. Рядом полностью уцелевший Бабельсберг с комфортабельными виллами высокопоставленных фашистских чиновников и генералов, в спешке бежавших из уютных гнезд. Сады, цветники. Очень удобно для размещения делегаций. Ну и поработать пришлось нашим

воинам-саперам вместе с немецкими специалистами, чтобы за короткое время привести все помещения и окрестности в надлежащий вид.[95]

Всегда были и есть в нашей армии мастера наводить лоск. В тот раз, правда, траву и листья зеленой краской не подновляли. Такая маскировка хороша на день-другой, а конференция планировалась двухнедельная — краска облезет. Зато возвели возле дворца десятки, если не сотни, клумб, засадив их цветами. Перенесли из других мест около пятисот единиц декоративных деревьев и кустарников. Среди лета, в жару. Но ухаживали за растениями так, что почти все прижились. В общем, создали райский уголок.

Первым из глав государств в Потсдам прибыл Иосиф Виссарионович. Вместе с Молотовым. Летать Сталин не любил, приехал в своем спецпоезде, в привычном, обжитом салон-вагоне. Органам НКВД и СМЕРШа это доставило много хлопот по охране длинной дороги от Москвы, через Польшу до середины Германии. Зато Сталин и сопровождавшие его люди отдохнули, отоспались в пути.

Поезд подошел к пустому перрону утром. Сталин заранее предупредил, чтобы не было никакого шума, никаких торжеств с оркестрами и прочей атрибутикой. Встречали только члены нашей правительственной делегации во главе с Жуковым, прибывшие в Потсдам три дня назад: адмирал Кузнецов, генералы Антонов, Соколовский и Телегин, дипломаты Вышинский, Громыко… Поздоровавшись, Сталин проследовал к автомашине и отправился в Бабельсберг. Вместе с ним в лимузине Жуков и я. По дороге Георгий Константинович высказал недоумение и даже определенное недовольство тем, что генералиссимуса встретили без почетного караула, тогда как наши союзники готовят для своих руководителей пышные церемонии. Что, у нас возможностей меньше?

— А вы не казнитесь, товарищ Жуков, — засмеялся Иосиф Виссарионович. — Возможностей у нас побольше, чем у других. Но зачем? Ни веса, ни авторитета не прибавится, хватит нам и того и другого. Только обуза и трата времени. Торжества хороши по большим праздникам, а тут у нас работа. Чем меньше помпезности, тем лучше.

— Величие не шумливо, — сказал я. — Великий океан он же и тихий.

Сталин вопросительно посмотрел на меня: как понимать — ирония или шутка? Подумав, заметил:

— Изрядно… Ваше изобретение, Николай Алексеевич?

— Кто-то из классиков.

— Совсем недурно. Если не возражаете, возьмем на вооружение. Чтобы при необходимости окатить океанской водичкой кого следует. Как считаете, товарищ Жуков?

— Вам виднее, товарищ Сталин. Можно просто холодной, можно и океанской. По масштабности.

— Вы правы, — улыбнулся Иосиф Виссарионович: хорошее настроение не покидало его.

Резиденция, в которую мы прибыли, поправилась Сталину. Особенно его заинтересовало, что вилла и сад принадлежали прежде известному немецкому полководцу генералу Людендорфу. О нем Сталин много слышал, а в начале фашистского наступления на Волге перечитал, делая пометки, классический труд генерала «Мои воспоминания о войне 1914–1918 годов». Не без пользы перечитал.

Прошел по всем комнатам, разглядывая обстановку, картины. Распорядился, чтобы на время вынесли из дома часть тяжелой старинной

мебели: она давила, пригнетала своей громоздкостью. В освободившемся помещении легче стало дышать.

Начавшаяся конференция значительно отличалась от двух предыдущих. Исчезла главная идея, объединявшая союзников, — необходимость разгромить фашистскую Германию. Победа в Европе была достигнута, и теперь каждая из великих держав стремилась извлечь из этого факта наибольшую выгоду для себя. В 1943 году в Тегеране все главы государств находились, выражаясь спортивным языком, в равной весовой категории. Каждый сам по себе, каждый авторитетен, каждый стремился по возможности внести вклад в общее дело. Это способствовало укреплению доверия и чисто человеческих отношений. Спустя время, в Ялте, обстановка была уже несколько иная. О самом важном, о военном поражении Германии, заботились Сталин и Рузвельт, поддерживая один другого. А Черчилль был озабочен в основном тем, как перекроить в свою пользу карту Европы, да и всего мира.

Теперь, в Потсдаме, расклад сил был иной. Главенствовал, безусловно, Иосиф Виссарионович Сталин. Новый президент США Гарри Трумэн, заменивший мудрого Рузвельта, недавно скончавшегося (о чем Сталин искренне сожалел), — новый американский президент не имел ни такого опыта, ни такого авторитета, как его предшественник, да и вообще не представлял собой такой исторической вершины, каковыми были члены «Большой тройки». Обычный деятель, каких много.

В странном, в «подвешенном» состоянии пребывал Уинстон Черчилль, утративший значительную часть самодовольства и кабаньей напористости (но не утративший пристрастия к хорошему армянскому коньяку). Суть в том, что Потсдамская конференция совпала по времени с выборами премьер-министра Великобритании, и Черчилль далеко не был убежден, что ему снова доверят высокий пост. Это, кстати, и произошло. На выборах Черчилль потерпел поражение и, устроив на отведенной ему вилле прием, обменявшись прощальными тостами со Сталиным и Трумэном, отбыл на свои туманные острова. С 28 июля английскую делегацию в Потсдаме возглавил новый премьер-министр Англии лидер лейбористской партии К. Эттли. И ему, и Трумэну трудно было конкурировать со Сталиным, с его кругозором и несокрушимой логикой. К тому же, Иосифа Виссарионовича «подпирали» столь мощные «столпы», каковых не имелось ни у американцев, ни у англичан: изощренный, опытнейший дипломат Молотов, выдающийся знаток международного права Вышинский, несравненный полководец Жуков…

Много важных вопросов обсуждалось в Потсдаме. Сказать обобщенно — принятые там документы подтверждали и развивали решения, выработанные еще в Ялте. Это послевоенное обустройство Европы и — главное — демилитаризация, денацификация и демократизация Германии, ее административное деление, экономика… Если возникали споры, то разрешались они общим согласием и, как правило, в нашу пользу.

Каждая сторона, естественно, прибыла на конференцию со своими «домашними заготовками». Мы могли бы в случае необходимости резко обострить обстановку, заявив о необходимости покончить с последним очагом фашизма на Западе — с диктаторским режимом Франко, — тем более что там, в Испании, может находиться «исчезнувший» Гитлер, о котором у союзников не имелось достоверных сведений. Вырвать же последний корень фашизма мы можем сами, наша армия — сильнейшая на континенте. Американцы и англичане заняты борьбой с Японией, мы

поможем им на востоке, а здесь, на западе, обойдемся без их участия. Вот какие мы хорошие. То-то взвились бы Черчилль и Трумэн, получив такой сюрприз! Но Сталин не торопился, ожидая «подарка», который не мог не приготовить для нас хитроумный Черчилль. И дождались. Причем в тот раз английский премьер сделал это руками американцев.

Незадолго до отъезда Черчилля в Англию, после очередного заседания, когда в зале остались только руководители делегации с ближайшими помощниками, Гарри Трумэн сообщил Сталину, что у американцев готова к использованию особая бомба небывалой разрушительной силы: одним взрывом можно испепелить город средних размеров. Суть заявления, как я понял, была не в том, чтобы дружески проинформировать нас: оставалось всего две недели до запланированного сброса бомбы на Японию и весь мир узнал бы о новом оружии, — нет, союзники преследовали другие цели. Показать, насколько они откровенны с нами, и, основное, увидеть реакцию Сталина и других членов нашей делегации. По ответным словам, по выражениям лиц и глаз. Определить, известно ли нам об атомной бомбе? Есть ли у нас что-либо подобное?

Черчилль, наблюдая со стороны, прямо-таки пронзал испытующим взглядом Иосифа Виссарионовича. Однако Сталин основательно разочаровал своих «экзаменаторов». Ни один мускул не дрогнул у него, не изменился голос, когда благодарил за сообщение. Не над тем объектом опыт ставили, Иосиф Виссарионович мог безукоризненно владеть собой при любых неожиданных поворотах. Если естественная реакция проявлялась, то позже, когда обстановка позволяла расслабиться. А эта попытка союзников испытать его только повеселила Сталина. Союзники решили, что он просто не понял, о чем идет речь, не уяснил важность сообщения. А Иосифу Виссарионовичу стало ясно: мы-то немало знаем об атомной бомбе американцев, а им, значит, о наших разработках ничего не известно. Хотя люди Курчатова изрядно продвинулись на трудном пути. Ужиная вечером на вилле в обществе Молотова и Жукова, Иосиф Виссарионович весело иронизировал над психологическим экспериментом союзников, не подозревавших, что еще месяц назад из двух независимых друг от друга источников мы получили сообщения о сроках испытания американской атомной бомбы. С 10 июля они были перенесены на 16 — к началу конференции. Сразу после взрыва на полигоне Трумэну доставили кодированную телеграмму: «Роды прошли успешно. Ребенок жив и здоров». А смекнуть, какой «ребенок» особо интересует американского президента, было не очень трудно.

При всем том информация, предоставленная союзниками, была воспринята с должной серьезностью и не осталась без последствий. Ее можно было расценивать как предупреждение: знайте, мол, какая сила в наших руках, и делайте выводы. Думаю, именно поэтому Иосиф Виссарионович счел за лучшее воздержаться от заявления о нашем желании ликвидировать в Испании фашистский режим Франко. Что там ни говори, а атомной бомбы у нас тогда еще не было.

В связи с отъездом-приездом английских премьеров в работе конференции произошла пауза. Свободен был целый день. Сталин высказал вдруг желание посмотреть Берлин. Сразу воспротивился начальник охраны генерал Власик: ничего не предусмотрено, ничего не подготовлено для безопасности.

— И не надо, — весело произнес Иосиф Виссарионович. — Особый случай. Никто не знает о поездке, даже я не знал до сих пор. Поэтому никто не готовит нам ни горячую, ни холодную встречу.

Власик пытался возражать, но безуспешно, тем более что Иосифа Виссарионовича поддержал я: надо съездить, надо посмотреть, другой случай может никогда не представиться. Единственное, что успел сделать Власик, — это связаться по телефону с новым комендантом немецкой столицы генералом Горбатовым и потребовать, чтобы в связи с чрезвычайными обстоятельствами был срочно взят под охрану маршрут, намеченный мной для поездки. Горбатов понял и кое-что успел сделать.

Выехали на трех машинах. В автомобиле Сталина, кроме него, Поскребышев и я. Впереди и сзади охрана. Вместе с Власиком человек восемь. Где-то за пределами видимости двигались грузовики с автоматчиками, высланные Горбатовым.

…Немецкие женщины, разбиравшие завал возле рейхстага, передавая кирпичи по цепочке из рук в руки, увидели небольшую группу русских, военных и штатских. Впереди размеренно шагал коренастый человек в просторном кителе и брюках навыпуск. На что-то указывал чубуком трубки, зажатой в правой руке, о чем-то спрашивал спутников. Он был самым невысоким в группе и, вероятно, самым главным: держался спокойно, с достоинством, по-хозяйски.

Женщина, работавшая крайней, распрямилась, всмотрелась и ахнула: кирпич вывалился из рук, упал на ногу, по она даже не заметила этого. Пыталась что-то сказать соседке и не могла, беззвучно шевелились губы широко раскрытого рта. Другие женщины, прекратив работу, с любопытством и удивлением смотрели то на нее, то на группу русских. Что такое? В чем дело?

По центру Берлина, по Королевской площади, направляясь к рейхстагу, шел Иосиф Виссарионович Сталин.

ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Когда рассказываешь сразу о нескольких или даже о многих людях, вершивших события, широко разнесенные по времени и пространству, просто невозможно соблюсти прямую линию повествования. Чтобы показать причины, ход и последствия тех или иных деяний, чтобы хоть концы с концами свести в переплетениях судеб, приходится допускать всякие зигзаги: отступать назад, забегать вперед. А искусственно зауживать круг действующих лиц и событий ради упрощения изложения — значит отказаться от воссоздания объемного образа Сталина, от некоторых существенных подробностей исповеди. Не желая этого, я ограничиваю себя лишь одним барьером — степенью своих знаний. Вот поведал о победных свершениях в Германии, свидетелем которых довелось быть, и понял: для полноты картины этого недостаточно, ведь и в Москве в ту пору происходило много важного и интересного, о чем нельзя умолчать.

В гостях, как говорится, хорошо, а дома все-таки лучше, тем паче, что участие в Берлинской операции, в поисках «живых или мертвых» фашистских главарей трудно считать гостеванием. Накопилась усталость. За месяц в Германии соскучился я по дочери и Анне Ивановне, снилось

весеннее, расцветающее Подмосковье. Соловьиные трели чудились. И очень обрадовался звонку Поскребышева: товарищ Сталин ждет завтра в двадцать один час. А воздушный мост между Москвой и Берлином действовал бесперебойно.

Резонно было предположить, что Иосифа Виссарионовича будут интересовать подробности, связанные со смертью и опознанием Гитлера, но оказалось, что он детально осведомлен Абакумовым. Задал лишь два вопроса. Уверен ли я, что найден действительно труп Гитлера, а не кого-то другого? И насколько строго засекречены сведения о поисках и идентификации — не будет ли утечки информации? Список лиц, принимавших участие в вышеозначенной работе, лежал на столе Иосифа Виссарионовича: перечень был невелик, почти все фамилии я назвал в предыдущих главах этой книги. Получив уверенно-положительные ответы, Сталин напрямик к этой теме больше не возвращался, хотя она подспудно присутствовала во всей нашей продолжительной беседе, состоявшейся на Ближней даче.

После легкого ужина мы прогуливались по садовым дорожкам. Теплый майский вечер медленно переходил в ночь, такую светлую, что Иосиф Виссарионович распорядился не зажигать фонари на аллеях. Далеко за увалом, отделявшим сад от Москвы-реки, пылал багряный закат; яркие краски тускнели, смягчались, темнея и синея тем быстрее и заметней, чем дальше и выше были от того места, где скрылось светило: они будто стекались туда, сокращая розовую полосу, оставленную исчезнувшим солнцем. Ночной виртуоз-соловей настраивал свой голос, постепенно переходя от неуверенных коротких трелей к залихватскому посвисту и щелканью. Прислушиваясь к его радостному пению, Иосиф Виссарионович поинтересовался: когда, в какой момент я осознал, что с войной покончено, ощутил полное торжество победителя? Понятно, что это чувство созревало постепенно, в ходе успешных сражений, но все же был какой-то час, какие-то минуты, когда наступил перелом в сознании, возликовала душа?

— В ночь на девятое мая, когда Жуков и союзники подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.

— Это понятно, это общее настроение. А если конкретней, если более субъективно? Что особенно врезалось в память?

Мне, привыкшему анализировать и формулировать свои ощущения, не составляло труда удовлетворить любопытство Иосифа Виссарионовича. Всегда помня о том, что Сталин не хочет, чтобы я появлялся и проявлялся среди незнакомых людей, за пределами узкого круга осведомленных лиц, привлекая к себе внимание, тем более иностранцев, я уклонился от присутствия в зале военно-инженерного училища, где происходила торжественная церемония подписания акта. Слишком большая компания собралась там, в том числе журналисты, фотографы, кинооператоры. Наверняка попадешь в кадр. Потом в американском и английском разведцентрах аналитики будут головы ломать: это что за персона? Ну их к лешему.

Вечером 8 мая, в ожидании важного события, обосновался я в здании, которое находилось рядом с военно-инженерным училищем, в помещении, где только что спешно развернул свои телеграфно-телефонные и радиосредства узел связи 1-го Белорусского фронта. Приехал туда вместе с начальником войск связи этого фронта генерал-лейтенантом Максименко Петром Яковлевичем. Он же представил меня как офицера

Генштаба начальнику узла связи подполковнику Черницкому Леониду Михайловичу. Оба были явно взволнованы. Еще бы: впервые устанавливалась прямая телеграфная связь непосредственно из поверженного Берлина с Москвой, со Ставкой. И не случайно в экстренном порядке узел перебросили сюда, в Карлхорст, — предстояла какая-то очень ответственная работа. Из окон видны были флаги четырех союзных держав, развевавшиеся на фасаде двухэтажного училищного корпуса, видны были автомашины с иностранными делегациями, подъезжавшие к училищу со стороны аэродрома Темпельхоф. С наступлением сумерек окна закрыли плотными шторами: светомаскировка. Однако связисты, особенно девушки, обуреваемые любопытством, чуть-чуть приоткрывали шторы, подглядывая в щелки: что происходит на улице? И я, грешный, тоже не удержался, посмотрел разок-другой. Помолодел, что ли, среди молодых, расшалился.

Телеграфный канал был полностью готов к работе. По просьбе американцев наши радисты установили связь с Парижем, где находилась Ставка Верховного главнокомандующего силами союзников в Западной Европе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра. Росло напряженное ожидание. Связисты, свободные от службы, не уходили на отдых. И лишь после полуночи принесли, наконец, срочное сообщение.

Возле аппарата — симпатичная телеграфистка Мария Летишенко с двумя лычками на погонах (я записал для памяти ее фамилию). Привычно, не глядя на клавиши, отстучала кодовую фразу, без которой не начиналась никакая связь. Своеобразная проверка. И вдруг, в нарушение всех правил, приказов, инструкций, прозвучал ответ, поразивший всех присутствовавших. Без шифра, открытым текстом: «Я — Москва, я — Москва, я — Москва». Телеграфистка от неожиданности даже откачнулась от аппарата. Впервые за всю войну услышала такое!

Когда прошел шок, вызванный случившимся, словно прорвался давно сдерживавшийся поток чувств. Молодые смеялись и обнимались. Кто-то пустился в пляс, кто-то, из старших, заплакал. Подполковник Черницкий, комкая в левой руке носовой платок, ладонью правой плавно поводил над головой телеграфистки, чуть касаясь ее волос: успокойся, работай.

«Верховному главнокомандующему, — отстукивал аппарат. — О полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии»… Подполковник Черницкий шагнул к окну и резким движением сорвал штору. Необычная открылась картина: в корпусах военного училища двумя рядами сияли все окна. Там тоже сняли светомаскировку. И именно этот момент: четкий стук клавишей аппарата, счастливый смех, перемежавшийся всхлипываньем, шорох падающих тяжелых штор — именно этот момент врезался в память.

— Ми-и-и тоже запомнили эту минуту, — прочувствованно произнес Иосиф Виссарионович. — Ту минуту, когда я приказал телеграфисту ответить Берлину открытым текстом.

— Значит, опять мы с вами переживали совместно, хотя один в Москве, а другой в Германии.

— Да, вы на одном конце провода, а я на другом. Но это не имеет никакого значения. А значение имеет только то, что и в горе, и в радости мы всегда вместе.

Такова присказка. А главное — впереди. Иосиф Виссарионович перевел разговор в новое русло. Да, все мы пережили восторг победы, определенную эйфорию, особенно войска, услышавшие, наконец, тишину, получившие возможность отдохнуть. Но вот наши воины, отвыкшие от

строгих требований Устава внутренней службы, ушли в казармы и лагеря. Люди выспались, побанились, постирали портянки, надраили сапоги, а дальше что? Нудные будни, твердый распорядок дня, дисциплина. Строевые занятия на плацу, наряды на кухню, уборка помещений, стрижка с учетом года призыва: кто помоложе, тех наголо. В бою все равны перед смертью, а в казарме солдат под сержантом, сержант под офицером. Как не затосковать по вольготной фронтовой жизни, по остроте ощущений, по той романтике, которая, несмотря ни на что, всегда есть на войне.

Я согласился с тем, что высказал Иосиф Виссарионович. Сам видел, насколько труден был перелом, особенно для тех; кто не имел раньше гражданской специальности, собственной семьи, кто шагнул из юности сразу в войну, свыкся с ней, досконально овладев всеми ее премудростями, стал военным профессионалом, не зная и не умея ничего другого. И таких миллионы. Забылись тяготы, ужасы нашего отхода до самой Волги, а солдаты 1925–1926 годов рождения и вообще не испили той горькой чаши, привыкли только наступать и побеждать, ощущая свою силу. Да, гибли. Да, страдали от ран, недосыпали и недоедали. Но вчерашние беды-напасти заслонялись нынешними успехами, каждодневным разнообразием, новизной. Тем более, когда вступили на территорию других стран, вошли в Германию. Прав Теркин:

И война — не та работа, Ясно даже простаку, Если по три самолета В помощь придано штыку.

Наш солдат почувствовал себя своевольным хозяином-господином освобожденных земель. Вот город, из которого выбили немцев. Сегодня один, завтра другой. Брошенные магазины, дома, склады. Делай что хочешь, бери что желаешь. Почитай, все обзавелись наручными часами, прочей ценной мелочью: в вещевом мешке много не унесешь, да и не к чему — впереди новый бой. Сегодня мерзнешь в мокром окопе, а завтра спишь на роскошной перине возле горящего камина, сегодня в обед запиваешь речной водой черствый сухарь, а завтра за просторным столом под белой скатертью ешь наваристый борщ, уплетаешь жареную свинину и всякие деликатесы, присущие данной местности. Ну и заграничные расчетливые женщины встречались, конечно, готовые к мимолетным сближениям от страха перед завоевателями или для прямой своей выгоды.

Жилось в общем хорошо: разгульно, остро, раскованно — дышалось в полную грудь. И горделивость: дома, где-нибудь под Рязанью, ты паренек, каких много, а здесь — герой-освободитель, перед которым шляпы снимают. И вдруг — казарма! Будто тюрьма, будто клетка для птицы! Недели не прошло, а уже затосковали ребята. Эх, топать бы дальше, до самого конца этой Европы, поглазеть на нее, пощупать, тем более что впереди лето, до холодной зимы, остужающей боевой пыл, далеко-далече. Только гуляй!

Такое настроение владело и солдатами, и многими фронтовыми офицерами. Разговаривал я с капитаном Владленом Ан…ным, командиром дивизиона тяжелых минометов (фамилию не называю, чтобы его не обвинили в агрессивности). Он прямо сказал: и сам, и его люди готовы идти вперед до упора.

До Атлантики. Был бы приказ. Англичане и американцы не преграда. По сравнению с немцами они не вояки, тряхни разок — они и посыплются.

Иосиф Виссарионович слушал очень внимательно. А едва я закончил рассуждения, удивил меня тем, что прочитал вдруг несколько четверостиший из стихотворения Константина Симонова, написанного в

сорок третьем году. Начало, немного из середины и конец. Я же, для лучшего понимания, приведу это малоизвестное стихотворение полностью.

Кружится испанская пластинка. Изогнувшись в тонкую дугу, Женщина под черною косынкой Пляшет на вертящемся кругу. Одержима яростною верой В то, что он когда-нибудь придет, Вечные слова «Yo te quiero»[96] Пляшущая женщина поет. В дымной промерзающей землянке, Под накатом бревен и земли, Человек в тулупе и ушанке Говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, Греет раны он свои сейчас, Под Мадридом продырявлен в первый, А под Сталинградом — в пятый раз. Он глаза устало закрывает, Он да песня — больше никого… Он тоскует? Может быть. Кто знает? Кто спросить посмеет у него? Проволоку молча прогрызая, По снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, Делает последние круги, Светит догорающая лампа, Выстрелы да снега синева… На одной из улочек Дель-Кампо, Если ты сейчас еще жива, Если бы неведомою силой Вдруг тебя в землянку залучить, Где он, тот голубоглазый, милый, Тот, кого любила ты, спросить. Ты, подняв опущенные веки, Не узнала б прежнего, того, В грузном поседевшем человеке, В новом, грозном имени его. Что ж, пора. Поправив автоматы, Встанут все. Но, подойдя к дверям, Вдруг он вспомнит и кивнет солдату: — Ну-ка, заведи вдогонку нам. Тонкий луч за ним блеснет из двери, И метель их сразу обовьет. Но, как прежде, радуясь и веря, Женщина послед им запоет. Потеряв в снегах его из вида, Пусть она поет еще и ждет — Генерал упрям, он до Мадрида Все равно когда-нибудь дойдет!

— Девять десятых, — сказал я. — Мы прошли девять десятых пути, остался один бросок от Эльбы, от Праги до столицы Испании. Один большой бросок, и наши воины вернутся туда, где в тридцать шестом начинали битву с фашизмом Франко, Гитлера, Муссолини. Чтобы замкнуть кольцо. Там могилы боевых друзей, там их молодость и любовь. Насчет девяти десятых — это не мои слова. Помните Семена Кривошеина из Первой Конной?

— Мы достаточно знаем генерал-лейтенанта Кривошеина, командира гвардейского танкового корпуса. Он неплохо воюет.

— В сентябре тридцать девятого танковая бригада Кривошеина первой вошла в Брест, там мы встретились. А недавно увиделись снова — в Берлине. Не о нем ли стихи? В Испании его звали «коронель Мелле», он со своими танкистами насмерть стоял в Каса-дель-Кампо, защищая революционный Мадрид. А потом прошел всю Отечественную. Назад до Волги и вперед до Шпрее.

— У нас много таких героев, — кивнул Сталин.

— Насчет последнего броска — это его слова. Гвардейцы готовы.

— У нас много людей, которые мыслят подобным образом. Много упрямых генералов, думающих о Мадриде. И адмиралов тоже. Товарищ Кузнецов начал называться адмиралом там, в Испании, хотя у нас был еще капитаном первого ранга. Он тоже упрям. И тоже считает, что последний корень фашизма в Европе, диктатор Франко, должен быть вырван.

— Он прав.

— Возможно, возможно. — Иосиф Виссарионович надолго умолк, размеренно шагая по аллее. Тяжело вздохнув, заговорил вновь: — Когда вы, Николай Алексеевич, были в Берлине, когда там еще шли бои, мы в Ставке обсуждали проблему дальнейшего продвижения на запад. Докладывал товарищ Антонов, с учетом мнения командующих фронтами и

флотами. «Вперед до Ла-Манша!» — как выразился один наш маршал. Некоторые товарищи поддержали его.

— И что же?

— Мы не хотим продолжения войны, но сейчас появилась единственная, может быть, за всю историю реальная возможность высвободить из оков империализма все народы Европы, помочь им встать на рельсы социалистического развития. Больше того, если до сорок первого года мы были единственным в мире социалистическим государством…

— С дружественной Монголией.

— Да, конечно, — усмехнулся Сталин. — Если мы были единственным государством, то теперь можем создать вместе с Китаем великую социалистическую Евразию. Сложилось самое благоприятное сочетание всех военных и политических факторов. Наши войска сейчас самые сильные, самые опытные в мире. Уверены в себе. Хорошо вооружены. Занимают выгодные стратегические позиции в центре Европы. У нас в резерве полтора миллиона обученного контингента двадцать седьмого года рождения и возвратных раненых. С нами две польские армии, сильная югославская армия, чехословаки, румыны, болгары, даже финны. И немцы. На нынешний день мы имеем до полумиллиона пленных, склонных воевать против англосаксов. Только вооружи и двинь вперед к берегам ненавистной им Великобритании. Немцы дисциплинированны, умелы, будут сражаться добросовестно, чтобы потом спокойно вернуться домой… Короче говоря, наши резервы велики, а у союзников их практически нет. Американцы, англичане, австралийцы и иже с ними завязли на Тихом океане, без нашей помощи им не справиться с Японией года полтора-два. Тем более, если мы дадим возможность японцам снять с наших границ миллионную Квантунскую армию. Англосаксам не позавидуешь.

— Рухнет лев, и лапы врозь… У меня никаких возражений по существу.

— Фактор политический, — продолжал Сталин. — В Соединенных Штатах и в Англии разброд, обе страны обезглавлены. Рузвельт скончался, Черчилля в июле ожидают выборы, не сулящие ему успеха: у лейбористов большие шансы сбросить его. Премьер на шатких ходулях. И, напротив, наш авторитет в мире, особенно в Европе, огромен. Кто-то уважает, кто-то боится нас, одолевших Гитлера. Отсюда повсеместный рост влияния коммунистических и рабочих партий, готовых и способных взять власть в свои руки в Греции, в Италии, во Франции. Надо лишь посодействовать им, и вся Европа будет с нами.

— И что же? — повторил я вопрос.

— А то, что с военной точки зрения у нас нет сомнений в быстром и безусловном успехе. Но насколько долговечным и выгодным будет успех политический, чем он со временем обернется для нас? Не промахнуться бы.

— На мой взгляд, лучше пожалеть о сделанном, чем о несделанном. Нынешние возможности уникальны.

— Мы не хотим больших осложнений. Надо взвесить все по всем направлениям. Поговорите, Николай Алексеевич, с генерал-лейтенантом Игнатьевым, не раскрывая всех карт. Он долго жил во Франции, даже мать его, насколько помню, осталась там. Какова была бы реакция французов, других народов?

— Встречусь сегодня же.

Свернули на аллею, ведущую к дому. Вечерняя заря догорела, со стороны Москвы-реки потянуло прохладой. Сталин зябко повел плечами. И опять сменил тему:

— Знаю, что вы ездили в Цоссен.

— Провел там двое суток.

— Общее впечатление?

— Огромность, монументальность, целесообразие.

— А подробнее?

— Командный пункт германского Генерального штаба в районе Цоссена создан в тридцать шестом — тридцать восьмом годах. Это целый город площадью двести гектаров с комплексом надземных и подземных сооружений. Всего сто шестьдесят отдельных строений, более трех тысяч комнат и кабинетов на разных уровнях. Подъезжаешь — обычный для окрестностей Берлина дачный населенный пункт. Ухоженный лес, красивые поляны, сады. Аккуратные двухэтажные дома с высокими крышами. Для офицеров Генштаба и охраны. Под каждым домом еще два-три этажа: помещения для работы и отдыха. Стены в полтора метра бетона и почти такие же межэтажные перекрытия. Все входные двери бронированные, герметичные. На всякий случай таких городков там два: «Майбах-1» и «Майбах-2». Они почти идентичны. Первый немного побольше и имеет мощный узел связи — на всю Европу и на Северную Африку. О первом я и рассказываю. Он опоясан кольцевой бетонной дорогой. Тоже дело обычное. Однако под этой дорогой на глубине примерно семь метров тянется подземный ход, такая же дорога, ответвления которой подходят ко всем зданиям «Майбаха-1». От этого хода проложен осевой тоннель, который плавно спускается на третий, четвертый подземные этажи с рабочими помещениями. На шестом этаже — столовые, амбулатория, библиотека, кинозал. На седьмом — бомбо- и газоубежища, способные принять более четырех тысяч человек. Для самого высокого начальства есть особое ответвление тоннеля, связывающее подземный гараж пятого этажа с подвалом обычного дачного домика в соседнем поселке.

— Солидно, — сказал Иосиф Виссарионович. — А в каком он состоянии, этот командный пункт?

— «Майбах-2» в значительной мере разрушен. И немцами, и нами. Многие сооружения взорваны, засыпаны, замурованы. Подземелья-то, конечно, целы, но в темные запутанные лабиринты никто не рискует спускаться. «Майбах-1» пострадал меньше.

— Его можно восстановить?

— Если не весь, то частично.

— Надежные укрытия, проводная связь со всей Европой. Лучшего сейчас нет. — Сталин словно бы рассуждал сам с собой, а я, внимая ему, понял, что подготовка к нашему дальнейшему продвижению на запад основательно занимает Иосифа Виссарионовича. Вот уж и месторасположение возможного командного пункта интересует его. А предлог всегда найдется, было бы желание. В любой момент можно известить союзников о необходимости ликвидировать оставшиеся очаги фашизма, в частности режим генерала Франко, и двинуть наши войска по центру и югу Европы до Ла-Манша, до Атлантики, до Гибралтара.[97]

С Алексеем Алексеевичем Игнатьевым связался по телефону. Приветствовал его как всегда шутливо, переиначивая к месту известные крылатые фразы:

— Приезжайте, граф, нас ждут великие дела. Еще до полудня успеем сделать кое-что для бессмертия.

— Велю подавать карету.

— Но сначала передайте Наталье Владимировне мои уверения в совершеннейшем к ней почтении.

— Всенепременно.

Встретились в Кремле, что накладывало некоторый официальный отпечаток на нашу дружескую беседу, повышая ответственность за сказанное. Я, заметно огрубевший в жестокостях войны, утративший восприятие тонких оттенков, недооценил способность Алексея Алексеевича улавливать то, что скрыто за прямой речью. А он понял сразу, куда я клоню, и, как опытный дипломат, принялся затягивать время, дабы обрести возможность собраться с мыслями, найти решение. Начал «ходить кругами», рассказывая нечто не совсем новое и не очень существенное. Перебивать было бестактно и бесполезно. Я терпеливо слушал, давая возможность элегантному, рослому, седовласому красавцу графу определить свою точку зрения. Он говорил о том, как русские войска вступали в Париж после разгрома Наполеона. Припомнили тогда наши генералы, что пресловутый Буонапартий привел в 1812 году в Москву наемников, мародеров, насильников со всей Европы и как бесчинствовали они в нашей столице, грабя и убивая. До столь низкого уровня наши, конечно, опуститься не могли, однако для начала решили парижскую публику припугнуть-понервировать, пустив в авангарде вступающих войск калмыцкую конницу. Диковатые лошади, скуластые лица узкоглазых всадников в шапках-малахаях, да еще с лисьими хвостами. Резкие выкрики. Кривые сабли. Для кого-то экзотика, а кому-то страх перед нашествием «кровожадных восточных варваров», которым к тому же было за что мстить французам, с чьей земли пошла большая война… Улицы пустели перед джигитами.

Калмыков, однако, было немного. За авангардом хлынула в Париж живописная, разнообразная русская конница. На одномастных дончаках казаки с пиками, с чубами из-под папах, с залихватскими песнями степной вольницы. Потом кавалерийская аристократия — драгуны, гусары, уланы — в цветных расшитых мундирах с ментиками-кантиками. Затем пешая гвардия. К удивлению парижан, не только все русские офицеры, но и некоторые унтеры изъяснялись по-французски не хуже, а порой изысканней местных жителей, знали французскую литературу и музыку, могли подискутировать о пользе или вреде вольнодумства Вольтера. Так что пришли в Париж не просто воины-победители, знающие себе цену, но люди высокой культуры, строгой дисциплины и широкой души.

Французы, ощущавшие свою вину за развязывание общеевропейского кровопролития, быстро оценили сдержанность и дружелюбие русских солдат и офицеров. Наладилось тесное общение. Квартировали наши войска в основном в районе Монмартра, надолго оставив о себе хорошую память. Даже слова русские прижились там. У солдата, у младшего командира, отпущенного в город на увольнение или по делу, времени мало. Завернет в попутный кабачок промочить глотку, отведать чудной французской закуски и поторапливает прислугу: быстро, быстро — ждать недосуг. Местным что: они рассядутся за столиками, потягивая винцо-

водичку, и болтают промеж себя или с мадамами от полудня до вечера или с вечера до полуночи. А у наших и положение другое, и закваска не та. «Быстро, быстро, мамзель!» Ушла из Парижа наша армия-гвардия, а понравившееся французам энергичное словечко осталось, только переиначили они его на свой лад, с ударением на последнем слоге. Не «быстро», а «быстро'» или «бистро'» — так им было удобней. Постепенно такое название кафе-кабачков со скорым обслуживанием распространилось по всей Франции, а затем и по всему миру. Разве это не свидетельство хороших отношений и взаимного понимания?

Полушутя вроде бы говорил граф Алексей Алексеевич, генерал-лейтенант Игнатьев, но я начал улавливать логику его рассуждений. Особенно когда упомянул он случай, имевший место при наследнике Александра I, при императоре Николае I. Какие-то злопыхатели во Франции выпустили на подмостки пьесу явно антирусской направленности. Слабая, пошловатая, она привлекла внимание публики, вероятно, по контрасту с общественным мнением, такое бывает. Вызвала споры. Узнав об этом, наш государь-император не поленился пьесу сию прочитать, а, прочитавши, направил французам послание, указав на низкий уровень «произведения» и его пасквильность, обидную для россиян. И, склонный к поступкам решительным, повелел пьесу запретить, сняв ее со сцены всех французских театров, заявив: «В противном случае я приведу в Париж миллион зрителей в шинелях, которые освищут эту пьеску». Ее сразу же запретили. Но тон послания, диктат российского императора произвели на французов тяжелое впечатление. Известно, что при Николае I близость между нашими народами стала заметно ослабевать. Причины разные, а одним из толчков явилось резкое письмо-приказ государя императора с обещанием привести в Париж «миллион зрителей в шинелях». Алексей Алексеевич, умолкнув, всмотрелся в мое лицо: уразумел ли я? И сформулировал вывод:

— До Эльбы, до Праги мы освободители. За Эльбой, за Прагой мы агрессоры и оккупанты. Восстановим против себя не только союзников, но и народы Европы, в том числе и французов. И у всех есть оружие…

Я не стал бы подробно излагать наш разговор, если бы он не имел существенных последствий. На Иосифа Виссарионовича, любившего четкие определения, переданные мною выводы Игнатьева произвели серьезное впечатление. Он запомнил их, а затем использовал: в июне, когда перед Парадом Победы в Москву прибыли многие наши полководцы, командующие фронтами и армиями, некоторые из них были приглашены в Кремль для обмена мнениями о наших военных перспективах на Западе и на Востоке. В присутствии членов Политбюро. Вопросы затрагивались разные, но было видно, что Сталина в данном случае интересует одно: стоять ли нам в Европе на достигнутых рубежах или двигаться дальше? Сам он молчал, давая возможность высказаться всем, кто хотел. И практически все маршалы и генералы в той или иной форме выступали за то, чтобы развить наши успехи. До Ла-Манша и до Гибралтара.

Горячо выступил маршал Жуков — вероятно, после предварительной консультации со Сталиным. Обнародовал данные нашей разведки, заявив о том, что англичане нагло попирают Декларацию союзников о поражении Германии, подписанную 5 июня 1945 года, предусматривающую полное и повсеместное разоружение немецких войск. В своей зоне оккупации англичане сохраняют крупные контингенты всех родов и видов фашистских вооруженных сил: пехоту, артиллерию, танки, авиацию,

военно-морской флот. У них не только прежнее оружие, но и звания, и награды. Армейская группа «Норд» более двухсот тысяч личного состава. Только в провинции Шлезвиг-Гольштейн находятся около миллиона немецких солдат и офицеров, не переведенных на положение военнопленных, им выплачивается денежное довольствие, с ними проводятся занятия по боевой подготовке. Таких фактов множество. А против кого все это направлено? Против нас, разумеется. И надо ли ждать, пока немецкие войска полностью оправятся под защитой коварного британского льва?

После выступления Жукова все с особым напряжением ждали, что скажет Сталин. Момент был ответственный. А Иосиф Виссарионович спокойно, может быть, даже с подчеркнутой будничностью заговорил о том, что мы будем продолжать переброску некоторой части наших войск на Дальний Восток, как и обещали союзникам. Мы продолжим демобилизацию самых старших возрастов, заменяя их подготовленной молодежью. Будем укреплять на Западе не только свои силы, но и силы наших друзей, в первую очередь воинские формирования Польши, Чехословакии, Югославии… Затем Сталин плавно перешел к самому главному:

— У нас хорошие войска, товарищи. У нас умелые полководцы. Но мы обязаны соблюдать дух и букву соглашений с союзниками. Хотя наши упрямые генералы готовы немедленно дойти до Мадрида. — Улыбнулся и, выдержав паузу, продолжил: — Вы хотите наступать. Это хорошо, что наступательный порыв не угас. Здесь говорили о Ла-Манше. Да, мы можем стремительным броском дойти до Ла-Манша, основная проблема не в этом. Проблема в том, что к востоку от Эльбы мы освободители своего народа и народов Европы. А за Эльбой мы будем выглядеть захватчиками, поработителями. Нас не поймут ни в своей стране, ни в других странах. Нас спросят: зачем нужна новая война? И мы не можем начать ее, пока не найдем убедительного ответа на этот, самый важный вопрос.

— Разрешите, товарищ Сталин, — вскочил Жуков. — Значит…

— Это значит, товарищ Жуков, что решение откладывается. По крайней мере, до предстоящей встречи руководителей трех союзных держав. До полного выяснения обстановки.

3

24 июня 1945 года — Парад Победы на Красной площади. Самый великолепный парад в истории человечества! Случались, вероятно, смотры-парады более крупные по размаху, по количеству участников, может быть, даже лучше организованные, с более четким прохождением войск, специально вымуштрованных для такой цели. Но тот наш торжественно-строгий парад отличался от всех других особым душевным подъемом, праздничным ликованием. По Красной площади шли настоящие победители, в долгой и жестокой борьбе одолевшие самого мощного врага всех народов, вернувшие землянам надежду на мирную жизнь. По указанию Верховного главнокомандующего, в параде участвовало 10 сводных полков наших фронтов, полки Наркомата обороны, военно-морского флота, а также военные академии, училища, части Московского гарнизона, различная боевая техника. Каждый сводный полк формировался из пяти батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте. Плюс 19 командиров, плюс знаменщики. Получалось в полку

по 1059 солдат и офицеров, прибывших с фронта, и еще 10 запасных на всякий случай. За пешими парадными «коробками» двигалась артиллерия, представленная разными калибрами, в том числе самыми мощными, еще недавно дробившими на полях сражений броню фашистских «фердинандов», «пантер», «тигров» и прочего зверья. Потом легендарные «Катюши». Потом замечательнейшие наши танки «Т-34» и «ИС». А оркестр играл для каждого сводного полка особый марш, музыка гремела, заглушая даже грохот гусениц и рев моторов, будто в оркестре было не 1400 человек, а тысяч этак с десяток! И ни пасмурное небо, ни мелкий дождик — ничто не могло испортить в тот день нашего прекрасного настроения.

Впечатления колоссальные. Но у каждого, естественно, свои. Кто-то особенно запомнил, как под дробь барабанов падали к подножию ленинского мавзолея штандарты разбитых гитлеровских армий. Кто-то любовался четкими шеренгами наших героев. Кто-то восхищался танками. А внимание моих дорогих женщин привлекло нечто иное. Я не мог без улыбки слышать многократно повторенные воспоминания Анны Ивановны о том, что на гостевой трибуне она оказалась «почти рядом» с прославленным певцом Иваном Семеновичем Козловским, смотрела на него, на жену артиста, на их маленьких дочерей. А вот кульминацию торжества — швыряние на брусчатку штандартов — она попросту не заметила. Потом в кинохронике посмотрела.

Еще больше удивила и насмешила меня моя дочь, девушка уже достаточно взрослая, в студенческом возрасте. Никогда раньше не проявляла она интереса к лошадям, хотя и на довоенных парадах конницу видела, и в манеж я брал ее с собой несколько раз, и даже на конный завод, гордость Семена Михайловича, ездили вместе с Буденным. А тут ее буквально потряс Георгий Константинович Жуков, принимавший парад, командовал которым Константин Константинович Рокоссовский. Как выехал Жуков из Спасских ворот на высоком, с лебединой шеей, рафинадно-белом красавце коне под мелодию «Встречного марша Советской Армии», так больше и не спускала с них глаз. И конь, действительно, был прекрасен, и сам Георгий Константинович, опытный кавалерист, будто влит в седло со своей прямой горделивой осанкой. Он и Рокоссовский, отрапортовавший Жукову о готовности войск, представляли абсолютно синхронную, слаженную пару. Вполне естественно. Еще осенью 1924 года начали они учебу на кавалерийских курсах усовершенствования комсостава при Высшей кавалерийской школе в Ленинграде. В одной группе с такими опытными наездниками, как Еременко, Чистяков, Баграмян. Оба увлекались выездкой молодых лошадей, фигурной ездой, преодолением препятствий. В этих и в других видах конного искусства всегда были первыми. А за двадцать минувших лет почти не утратили ни формы, ни мастерства: любо-дорого было смотреть! Дочка моя так нагляделась, что вскоре записалась в конноспортивную школу и тренировалась там года два, пока не отвлекли другие дела-заботы.

Позволю себе несколько фраз о коне Жукова: в бою, в походе, на параде всадник и конь неотделимы — успех общий и неудачи тоже. Среди некоторых военных бытовало мнение о том, что Верховный главнокомандующий маршал Сталин сам якобы намеревался принимать Парад Победы — после смерти Иосифа Виссарионовича даже в печати это мелькнуло. Вместе с Власиком и сыном Василием побывал, дескать, Сталин в манеже, намереваясь объездить, приучить к себе белого скакуна.

Однако конь просто не понимал, чего хочет неумелый всадник, чего добивается хаотичными действиями. Повод натянут — значит, стой на месте. А зачем при этом бьет ногами в бока, толкает вперед?! Разозлился и понес самолюбивый конь мешковатого седока по кругу, приплясывая и подкидывая задом. Тот и повод бросил, и в гриву вцепился, но удержаться не сумел. Дважды скинул конь Сталина на опилки манежа. Иосиф Виссарионович ушиб плечо, голову и от дальнейших попыток отказался.

Откуда такие подробности? От сынка, от Василия. Он, оказывается, по секрету рассказал об этом Жукову и, возможно, еще кому-то. Известно, какие секреты у подвыпившего человека, тем более у такого выдумщика, как Василий Иосифович. Слух, в общем, пополз. Более того, Жуков, оказывается, вставил этот эпизод в рукопись своих воспоминаний: в книгу он не вошел, но рукопись-то осталась, ее цитируют.

О желании принимать Парад Победы самолично Иосиф Виссарионович никогда не говорил мне, о приключениях в манеже не рассказывал. Сомненье вызывает вот что. Будучи одним из создателей Красной конницы, в том числе Первой Конной армии Буденного, а затем и казачьих формирований, сам Иосиф Виссарионович тяги к седлу не имел. Я просто не представляю себе его верхом на коне. Из средств транспорта он предпочитал поезд, автомашину, сани, в крайнем случае тарантас или телегу, но никак не верховую езду. И, уж конечно, понимал, что овладевать конным искусством в шестьдесят пять лет не самое подходящее время. Тем более не для прогулки по тихим полям да рощам, где конь не будет пугаться и шарахаться, а для того, чтобы гарцевать на площади при громе оркестра, раскатах «ура!», резких командах. Даже не всякому джигиту доступно владеть и управлять в такой обстановке конем. Ну и еще. Пожилой человек дважды грохнулся с седла, причем на скаку, и при этом не получил ни переломов, ни вывихов, ни синяков? Странновато.

Со значительной достоверностью скажу вот что. С самого рождения Красной Армии, с 1918 года, сложилась у нас хорошая традиция: командующий парадом и принимающий парад выезжают к войскам на конях «военного», маскировочного окраса, на караковых, вороных или рыжих. Лишь в 1945 году, как исключение, для придания особой торжественности, решено было подобрать для принимающего Парад Победы коня белой масти. Сделать это оказалось нелегко. Война унесла почти всех элитных коней, которыми так гордилась Россия. Даже рыжих выносливых дончаков — лучшей породы для массовой конницы — сохранилось мало. В кавалерийских дивизиях преобладали лошади разномастные, разнопородные, в том числе трофейные или прибывшие из Якутии, из Монголии. «По-русски не понимают», — шутили бойцы.

Два коня белой масти нашлись в манеже Наркомата обороны, где по традиции готовили лошадей для особых случаев, для торжеств. Но оба были маловаты ростом, имели другие недостатки. Специалисты отправились на поиски по воинским частям и лишь к середине июня обнаружили, наконец, в кавалерийском полку дивизии внутренних войск имени Дзержинского рослого и статного Кумира арабско-кабардинского комплекса. Не просто белого, а с серебристым отливом. Этот красавец подходил по всем статьям, сразу понравился Жукову. В оставшиеся до парада дни Георгий Константинович каждое утро ездил в манеж, «обкатывал» Кумира, познавая его особенности и приучая к себе. Сработались безупречно. В этом заслуга как опытного наездника, так и чуткого дрессированного коня.

Со скакуном для командовавшего парадом маршала Рокоссовского особых хлопот не было. Семен Михайлович Буденный предложил Константину Константиновичу одного из своих любимцев — вороного Полюса. Статен, умен, обучен. Рокоссовскому хватило нескольких тренировок, чтобы полностью освоиться с ним.

4

Разливанное море водки, коньяка, всевозможных вин было выпито в тот торжественный день и праздничный вечер. Особенно «досталось» во всех смыслах нашим генералам и маршалам, так «досталось», что некоторые полководцы, хоть и закаленные в застольных баталиях, «выбыли из строя» еще до полуночи.

Началось с парада. Прошагав по площади во главе своих сводных полков, маршалы и генералы резко сворачивали вправо, оставляя полки на попечение заместителей, а сами направлялись к мавзолею, к его левому нижнему крылу, дабы наблюдать оттуда за дальнейшим прохождением войск и демонстрацией трудящихся. А поскольку, напомню, моросил дождь, полководцы намокли, потускнели погоны на мундирах, с козырьков красивых фуражек срывались крупные капли. Руководители партии и государства, стоявшие на основной трибуне мавзолея, были в плащах, а для парадных расчетов оные не предусматривались. Наград не видно. И что это за вояки, если перед погодой пасуют. Но генералы и маршалы не спасовали, держались бодро. А поскольку им предстояло еще некоторое время пробыть на открытом месте под дождиком, были приняты профилактические меры, спасающие от простуды.

Полководцев, подходивших к левому крылу мавзолея, встречали две улыбающиеся женщины. У одной на подносе бутерброды с красной и черной икрой, со сладостями. Другая «распоряжалась» бутылками коньяка, наливая его в граненые стаканы — по-фронтовому. Каждому маршалу и генералу — сколько потребно. Кому-то половину стакана, кому-то до краев. Покряхтывая от удовольствия, закусывали, расправляли усы, если таковые имелись. По второму стакану не брал никто. Неловко. Тем более что возле женщин стоял молодой смазливый подполковник госбезопасности, приговаривавший:

— Спасибо хозяину, это он о вас позаботился.

Покоробили меня такие слова. Выпить не вредно в сырую погоду, после нервного напряжения на площади. Разрядка. Но зачем упоминать «хозяина»! Вроде бы купчик ставит выпивку своим работникам или помещик косарям. Не только генералам унизительно, но и самому Верховному.

Обратился к Власику, обретавшемуся тут же, а он сразу даже не понял. В чем, мол, загвоздка? Забота о людях проявлена, а кашу маслом не испортишь. Пришлось разъяснить, какая разница между благодарностью, к примеру, полученной от товарища Сталина, и стопкой, налитой от его имени командарму или командующему фронтом. Власик, который сам, вероятно, придумал всю процедуру и успел основательно «снять пробу», побагровел, замигал растерянно. Однако быстро нашелся:

— Указание сверху.

— Оставьте, уровень очевиден. Отдаете себе отчет, в каком виде выставляете товарища Сталина?!

— Выпивку, что ли, убрать?

— Коньяк не помеха. Хозяина не трогайте всуе. Не тот повод.

Власик внял совету, под каким-то предлогом увел смазливого подполковника; женщины-официантки, угощая, заулыбались раскованней, веселей.

Маршалы и генералы, зарядившись с утра, подкрепились соответствующей толикой и в обед. В разумных пределах. Отдохнули и, аки стеклышки, явились на прием, устроенный в честь участников Парада Победы. Никогда, наверно, в Кремле не собиралось сразу столько прославленных полководцев, партийных и государственных руководителей, ученых, деятелей культуры — писателей, артистов. Две с половиной тысячи человек, и каждый с громким именем, у каждого свой вклад в наши общие успехи. Блеск шитых золотом мундиров и погон, сиянье наград…

Самыми скромными в этом высоком звездном собрании выглядели Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович Молотов, который, как заместитель Сталина по Государственному комитету обороны, вел на этот раз официальную часть приема и выполнял роль главного тамады. Сам Сталин отдыхал, помалкивал, улыбаясь в усы, как добрый папаша большого семейства при хорошем застолье. Смысл был в том, что ровно четыре года назад Вячеслав Михайлович, выступая по радио, сообщил народу о вероломном нападении гитлеровской Германии. Теперь ему же была поручена и речь, завершающая военный период. Он, под давлением исторической ответственности, даже заикался меньше обычного:

— Сегодня мы приветствуем участников Парада Победы. В их лице мы приветствуем нашу славную армию и морской флот, наш советский народ и всех тех, кто на фронте и в тылу ковал нашу Великую Победу, и прежде всего приветствуем того, кто руководил и руководит всем нашим делом, кто выковал нашу Победу как великий полководец и гениальный вождь Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье товарища Сталина!

Собравшиеся, разумеется, встают, устраивают овацию и опустошают бокалы до дна. Все. Даже непьющие…

Еще несколько дней назад, при разговоре об особенностях праздничного приема, я высказал Поскребышеву такую мысль; хорошо бы поздравить персонально командующих фронтами и армиями, отличившихся на заключительном этапе войны. Всех воевавших не перечислишь, а этих можно и нужно. Причем перечислить в том порядке, в каком сводные полки фронтов пройдут по Красной площади: с севера на юг, справа налево, начиная с Карельского. Поскребышев заинтересовал этой идеей Сталина и Молотова. А я не откажу себе в удовольствии сообщить, как эта мысль осуществилась на практике. Назову тех, за кого пили собравшиеся. Об этом скупо сообщалось когда-то в прессе. А ведь со многими маршалами и генералами, упомянутыми тогда, читатель уже знаком по моей книге. Вот они, тосты, провозглашенные в тот вечер Вячеславом Михайловичем Молотовым. Кому покажется скучным — пропустите этот перечень. А я хочу, чтобы имена героев как можно дольше не стерлись в истории.

За командующего Карельским фронтом Маршала Советского Союза Мерецкова и командующих армиями генералов Щербакова и Сквирского.

За командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Говорова и командующих армиями генерал-полковника Казакова и генерал-лейтенанта Симоняка.

За командующего 1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Баграмяна и командующих армиями генералов Чистякова, Чанчибадзе, Крейзера.

За командующего 3-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Василевского и генералов Галицкого, Белобородова, Гусева, Озерова, Хрюкина.

За командующего 2-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Рокоссовского и генералов Попова, Батова, Гришина, Федюнинского и Вершинина.

За командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Жукова и генералов Соколовского, Чуйкова, Кузнецова, маршала бронетанковых войск Богданова и генерал-полковника бронетанковых войск Катукова, генералов Горбатова, Белова, Колпакчи, Перхоровича, Руденко.

За командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Конева, за генералов Рыбалко, Лелюшенко, Жадова, Гусева, Гордова, Пухова, Глуздовского, Шафранова, Красовского, Коротеева.

За командующего 4-м Украинским фронтом генерала армии Еременко и генералов Москаленко, Гречко, Курочкина, Гастиловича, Жданова.

За командующего 2-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Малиновского и командующих армиями генералов Захарова, Манагарова, Шумилова, Плиева, Кравченко, Горюнова.

За командующего 3-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Толбухина и генералов Глаголева, Трофименко, Шарохина, Бирюзова, Судеца, Захватаева, Гагена.

За прославленных маршалов Ворошилова, Буденного, Тимошенко, Главного маршала авиации Новикова, маршала бронетанковых войск Федоренко.

За народного комиссара Военно-Морского флота адмирала флота Кузнецова.

За Генеральный штаб и его начальника генерала армии Антонова. За здоровье замечательных советских артиллеристов — Главного маршала артиллерии Воронова, маршалов артиллерии Яковлева и Чистякова, за командующих артиллерией на фронтах Великой Отечественной войны генерал-полковников Дегтярева, Одинцова, Хлебникова, Барсукова, Сокольского, Казакова, Баренцева, Фомина, Неделина.

После каждого тоста, каждой здравицы пили теперь уж кто хотел, что хотел и сколько хотел. Можно было лишь пригубить, но как не чокнуться с соседями за очередного названного товарища: все здесь знали друг друга по прошлой службе, по взаимодействиям на той или иной войне: первой мировой, гражданской, финской, по событиям в Испании, на Хасане и Халхин-Голе, и так далее, и тому подобное, не говоря уж о Великой Отечественной. Я заметил: один лишь выдающийся трезвенник Жуков не притронулся к бокалу, не встал и не чокнулся, когда прозвучала фамилия Симоняка. Вот, значит, насколько сильным было противостояние двух кремневых характеров.

Каждый из названных маршалов и генералов под аплодисменты присутствующих поднимался с места и при звуках марша подходил к столу президиума, где ему пожимал руку, персонально поздравляя, Верховный главнокомандующий, а затем и другие руководители партии и правительства. Трогательно и хорошо, но тостов было много, поздравляемых еще больше, прием затягивался. Людям артистов бы

выдающихся смотреть и слушать, а тут выяснилось еще одно обстоятельство. Оказывается, Поскребышев и Молотов на свой лад развили предложенную мной идею. Сочли несправедливым, если будут отмечены только военные товарищи, нельзя обойти-обидеть создателей нашей боевой чудо-техники, наших ученых и вообще тех, кто «ковал победу».

Дельное предложение чрезмерным старанием довели почти до абсурда. Вячеслав Михайлович аж охрип, зачитывая списки работников военного тыла во главе с генералом Хрулевым, присутствовавших в зале академиков от «а» и почти до «я», от Абрикосова до Прянишникова, оглашая фамилии лучших представителей из людей техники, передовой конструкторской мысли — и опять же длинный список от Грабина и Ильюшина до Токарева, Туполева и Яковлева. Воистину, терпение и крепкое здоровье надобно иметь на подобных приемах. А Поскребышев, кстати, первым же и пострадал от своей инициативы. Его, быстро хмелевшего, незаметно и почтительно «эвакуировали» из зала дюжие молодцы, отправив отдыхать.

Явный перехлест. Но Иосиф Виссарионович, стоически преодолевая усталость, поддерживал общее хорошее настроение, дружески улыбаясь тем, кого поздравлял, находя для каждого теплое слово. Уж не знаю, удалось ли Молотову довести до конца свой список, — в зале все громче и громче начали скандировать: Ста-ли-на! Ста-ли-на! Не выдержали даже наши дисциплинированные военные товарищи: вождя вызывали все настойчивей. Иосиф Виссарионович встал и заговорил явно не по-писаному, медленно подбирая нужные слова:

— Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которые считаются «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями — говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей.

Это экспромт. Главное выступление Иосифа Виссарионовича, долженствовавшее завершить прием, было еще впереди. Он сам тщательно подготовил его. Там были фразы, выношенные в глубине души, выражавшие сокровенные чувства и мысли. А пока торжество продолжалось. По залу, от одного к другому пошло вроде бы самозародившееся, длинное, не всем даже и знакомое слово «генералиссимус». В определенном контексте. Вон сколько у нас генералов, маршалов. И стоящий над ними Верховный главнокомандующий товарищ Сталин, творец всех наших побед, тоже носит лишь маршальские погоны, хотя может и даже обязан иметь более высокое звание.

Притягательное слово было запущено умело, своевременно и под настроение. Молва приписывала сие разным лицам, в том числе генералу Антонову, адмиралу Кузнецову, маршалу Коневу, Кагановичу… Не берусь

судить, поделюсь лишь некоторыми соображениями. Первым, кто еще до войны «присвоил» Иосифу Виссарионовичу высокое воинское звание, был Николай Иванович Бухарин. Выступая на XVII съезде ВКП(б), он призвал партию и народ к сплочению и бдительности, к готовности отразить нападение агрессоров. А завершил свою речь здравицей в честь «славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших — товарища Сталина». Но Бухарин, как известно, был осужден в 1938 году по делу правотроцкистского блока, и звание фельдмаршала, щедро преподнесенное им Иосифу Виссарионовичу, не прижилось. Лишь в разгар войны, в 1943 году, наш Верховный главнокомандующий в силу необходимости стал Маршалом Советского Союза, что было закономерно и правильно. И маршальская форма, пообмявшись на нем, «пришлась к лицу». А когда на приеме в честь победителей распространилась мысль о присвоении Иосифу Виссарионовичу высшего воинского звания всех времен и народов, это ни у кого, думаю, не вызвало сомнений. Логично и справедливо. Не возникло возражений и у самого Сталина, тоже поддавшегося праздничной эйфории.

Как бы там ни было, но через трое суток после парада, то есть 27 июня 1945 года, Иосифу Виссарионовичу потребовалось сменить привычное уже маршальское одеяние на одеяние генералиссимуса. Впоследствии он не раз высказывал сожаление, что согласился на это. Не нужна была ему такая формальность, она как бы даже принижала его, ограничивая горизонты всеобъемлющей деятельности, выделяя одно направление. Ведь он не только военный, он ведь политик, руководитель партии и государства, идеолог, вдохновитель и организатор всемирного коммунистического и социалистического движения. Носить при этом звание генералиссимуса совсем не обязательно — так он считал. А мне приятно было, что полководец, не пренебрегавший моими советами, имеет высочайшее воинское звание.

До Иосифа Виссарионовича генералиссимусов на Руси было четверо: Алексей Шеин (1662–1700), Александр Меншиков (1673–1729), Антон Брауншвейгский (1714–1774) и Александр Суворов (1730–1800). В качестве курьеза можно назвать и еще одного. Правители Турции, нашего извечного противника, разжигая борьбу кавказских горцев против России, присвоили звание генералиссимуса имаму Чечни Шамилю (1799–1871). Однако об этой сомнительной акции знали разве что сами турки да ближайшие сподвижники Шамиля, сдавшегося вскоре царским властям. А Иосиф Виссарионович, ежели строго судить по настоящим воинским заслугам, стал у нас не пятым, а вторым генералиссимусом — после Суворова, безусловно достойного такой чести.

Вообще Сталин, весьма уважительно относясь к наградам и другим отличиям, был равнодушен, когда дело касалось лично его. Ну, наградили — и хорошо, спасибо. При регалиях на людях не появлялся. Не из ложной скромности — ни к чему ему было.

Характерно, как получал Иосиф Виссарионович награды: с большим разрывом по времени и «оптом», сразу все, что накопилось. Указ о награждении Сталина орденом «Победа» был подписан 29 июля 1944 года, а принял Иосиф Виссарионович его из рук Михаила Ивановича Калинина лишь 5 ноября того же года. Одновременно с орденом Красного Знамени, которым был награжден ранее за выслугу лет в Красной Армии.

На длительный срок затянулось вручение второго ордена «Победа». Указ подписан был 26 июня 1945 года, а вручил его И. В. Сталину

Н. М. Шверник аж 28 апреля 1950 года. Вместе со звездой Героя и двумя орденами Ленина: все, что накопилось за пять послевоенных лет. Вот такие, значит, штришки к портрету.

А теперь хочу особо выделить завершающее выступление Иосифа Виссарионовича на приеме в Кремле в честь победителей. Никто из правителей никогда раньше и никогда позже не говорил с таким душевным волнением, с такой сердечной теплотой о русском народе, как сказал тогда Сталин. Он выразил правду, наполнив гордостью сердца многострадальных русских людей, всегда выносивших на своих плечах самые тяжелые грузы истории, заслоняя собой от тяжких испытаний многие другие народы. За одно лишь это выступление Сталину прощается многое. Цитирую полностью.

— Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. (Бурные продолжительные аплодисменты, крики «ура».)

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, по и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)

5

6 августа 1945 года американские летчики сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. 9 августа — на Нагасаки. Тротиловый эквивалент каждой — 20 тысяч тонн. Оба города были уничтожены. От двух взрывов погибло и пропало без вести до 300 тысяч человек, многие тысячи скончались от лучевой болезни спустя годы и даже десятилетия. Событие, конечно, из ряда вон выходящее, но не настолько, чтобы считать его началом новой эры в истории человечества, о чем затрубила и продолжает трубить продажная проамериканская пресса. Что с нее взять, такие уж там нравы.

Начинать отсчет новой эры с деяний варварско-разрушительных — это просто унизительно для всех нас, землян, знающих четыре правила арифметики и хотя бы одну молитву, не говоря уж о большем. Если американцам хочется так считать — пусть считают, по Сеньке и шапка, а у человечества имеются достижения гораздо более величественные и гуманные, поднимавшие и поднимающие людей все выше по ступеням развития. Покорение огня. Изобретение колеса. Создание двигателя внутреннего сгорания. Освоение электричества и радио. Этапы не менее важные и полезные, чем открытие ядерной реакции. И если уж всерьез говорить о начале новой эры, то отсчет ее пошел с того дня, когда человек, покинув Землю, проложил первую тропку к другим мирам, после чего стало вероятным расселение людей по другим планетам. Это теперь, после 12 апреля 1961 года, после полета Юрия Гагарина, вопрос лишь техники и времени. Главное сделано, прорыв совершен: человек расправил крылья и вышел за пределы своей колыбели.

Насчет прорыва в космос мы тогда, в 1945 году, могли лишь фантазировать и мечтать. Новшеством же явилась атомная бомба, которая, кстати, не вызвала у Сталина и вообще в нашем высшем руководстве каких-либо особых эмоций. Вероятно, потому, что о наличии такой бомбы мы уже знали: не только от нашей разведки, по и из официального уведомления союзников на Потсдамской конференции. Считалось, что создание таких бомб дело сложное, много не наштампуешь, решающего влияния на ход военных событий они в ближайшее время оказать не смогут. Не столько для войск опасны, сколько для мирного населения. Ко всему прочему мы — теперь можно сказать об этом — были достаточно полно осведомлены о планах-решениях, которые обсудил и принял Комитет начальников штабов вооруженных сил США на своем секретном заседании 29 марта 1945 года по поводу разгрома Японии, с учетом возможного применения девяти атомных бомб по мере их изготовления (две уже были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, то есть почти весь имевшийся запас: еще семь намечалось создать за год-полтора). Высшее американо-английское командование, на мой взгляд, оценивало положение, с учетом всех факторов, вполне реально и объективно.

Вот цифры — тут они уместнее слов. По данным американцев, расклад сил был таков. На море, то есть на Тихом океане, безусловно, господствовали янки, со свойственной им скороспелой самоуверенностью уже именовавшие этот огромнейший океан «американским озером». Основания? У них и у англичан в общей сложности 29 линкоров, а у японцев только 5. По крейсерам соотношение 70 к 10. По подводным лодкам — 220 к 57. В авиации разрыв несколько меньше. У американцев, англичан и австралийцев на Тихоокеанском театре военных действий имелось примерно 20 тысяч самолетов, многие из которых базировались на авианосцах, а у японцев — 7 тысяч, без учета тех, которые были задействованы в небе Китая.

Мощный военно-морской флот и большая авиация давали возможность союзникам преодолеть тысячекилометровые просторы сурового и капризного океана, достичь берегов Японии, но даже такая сложная операция была бы всего лишь прелюдией. Главное действие начиналось на самих японских островах, куда требовалось доставить огромные десанты, а затем подпитывать их пополнением, вооружением, боеприпасами, продовольствием и всем прочим. Задача неимоверной

трудности. Плюс фанатизм самураев, который возрастет до предела при защите своей земли, своих семей и домов. Японцы дрались бы до последнего человека, считая почетом принять смерть во имя национальных святынь.

Для достижения успеха на японских островах союзникам требовалось иметь двойное, а еще лучше тройное превосходство в сухопутных войсках, но к лету 1945 года реально картина была другая. Силы враждующих сторон не были даже равны, американцы, англичане и австралийцы, вместе взятые, значительно уступали японцам. На всем Тихоокеанском театре военных действий союзники имели 2 миллиона 500 тысяч человек против 7 с гаком миллионов японских военнослужащих. Цифры, конечно, впечатляющие, но сами по себе обстановку они полностью не раскрывают, нужны пояснения. Дело в том, что в период блестящих стремительных операций 1941–1943 годов самураи захватили огромнейшие пространства, в том числе страны Индокитая, вышли на подступы к Индии, даже к Австралии. Не говоря уж о бесчисленных океанских островах, и малых, и таких больших, как Новая Гвинея, о таких «близких» территориях, как Филиппины и Формоза (Тайвань). Посему все вышеупомянутые 2 миллиона 500 тысяч союзнических солдат и офицеров, при поддержке своей мощной техники, застряли, заковырялись на дальних подступах к Японии, медленно, с трудом отвоевывая островки и острова где-то у черта на куличках. Продвигались со скоростью старой черепахи, хотя вообще-то им, американцам и англичанам, противостояла на далеких подступах лишь меньшая часть тех сил, которыми располагала Страна восходящего солнца.

Уточняю. Примерно 3 миллиона японских военнослужащих различных родов войск находились непосредственно на территории Японии в полной готовности оборонять свои собственные острова, если противник приблизится к ним. То есть только в резерве на своих «коренных» островах самураи имели больше личного состава, чем американцы и их союзники на всем Тихоокеанском театре. И это не все. Японцы создали надежный тыл на континенте, прочную военно-промышленную базу, которая долго и неиссякаемо могла питать их боевой техникой и обученными военными кадрами. Это — Маньчжурия и Корея с их большими экономическими и людскими ресурсами. Кадровая, хорошо подготовленная Квантунская армия насчитывала 750 тысяч человек, плюс войска марионеточного правительства Маньчжоу-Го, численностью в 150 тысяч. Там же, кстати, возле сухопутных границ с Советским Союзом, японцы всю войну держали более половины всех своих танков, то ли оказывая давление на нас, то ли сберегая технику для особо трудного времени. Конечно, самурайские танки далеки были от того уровня, которого достигли наши и немецкие бронированные машины к 1945 году, уступали даже несовершенным американским и английским танкам. Соответствовали примерно нашим довоенным БТ-7. Но что там ни говори, а танк есть танк. И особенно показательным являлся тот факт, что японцам еще не понадобилось использовать эту боевую технику против союзнических войск. И без брони справлялись.

Я опять же не говорю о тех японских силах, которые действовали в Китае против армий Мао Цзэдуна и Чан Кайши. Это особый изолированный фронт. Однако обязан сказать, что кроме резервов на своих островах и в Маньчжурии, самураи имели 250 тысяч солдат и офицеров в Корее и до 70 тысяч на Южном Сахалине и на Курильских островах, где сооружены были

мощные оборонительные укрепления. Наши союзники, особенно американцы, как я уже упоминал, реально оценивали обстановку и понимали, что победный рассвет на востоке для них едва лишь забрезжил после мрачной пораженческой ночи. Не случайно, что еще на Тегеранской, а затем и на Крымской конференциях глав великих держав президента Рузвельта особенно интересовал вопрос о нашем вступлении в войну с самураями. В его личной папке с документами лежала сверху памятка военного командования США, в которой имелась такая фраза:

«Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией». За перевод слова «отчаянно» я не ручаюсь, тут могут быть какие-то языковые оценки, но смысл ясен.

Договоренностями, достигнутыми между Сталиным и Рузвельтом, американский президент был весьма удовлетворен: Россия открывает фронт на востоке ровно через три месяца после капитуляции Германии, восстанавливая при этом свои права на все территории, захваченные японцами в 1905 году, по крайней мере на южную часть Сахалина, на Курильские острова и на Порт-Артур.

Ударили, значит, по рукам, и все довольны, все в выгоде. Однако и после того, как союзники заручились поддержкой самого Сталина, они все же продолжали считать, что битва с самураями затянется надолго и обойдется им гораздо дороже, чем все предшествовавшие сражения Второй мировой войны. Для высадки непосредственно на японские острова американцам и англичанам требовалось по меньшей мере 5 миллионов солдат и офицеров — создать двойное превосходство. А у них на всем Тихоокеанском театре имелось, повторяю, всего 2.5 миллиона. Энергичной работы на целый год. Первую высадку на территории Японии планировалось произвести весной 1946 года. Вторую — летом. Использовав предварительно все атомные бомбы, которые будут готовы.

Считали-просчитывали наши союзнички, как да что, и пришли к выводу: без участия Советского Союза война с Японией продлится полтора-два года и обойдется американцам в миллион жизней, а англичанам — в полмиллиона. То есть потери будут в два-три раза больше, чем за все предшествовавшие боевые действия. Японцев же при этом погибнет до 10 миллионов: за счет массированных бомбардировок, атомных ударов по крупнейшим городам и из-за ведения войны на территории Страны восходящего солнца. Дыма, гари и пепла взметнется столько, что этого самого солнца и не видно-то будет. Если же в войну, как условились, вступит Советский Союз, то боевые действия завершатся вдвое быстрее. Соответственно вдвое уменьшатся и потери противостоящих сторон.

Должен признаться, что у меня тогда, и не только у меня одного, было очень большое желание не спешить с началом нашего восточного похода. Сослаться хотя бы на сложности переброски войсковых масс в отдаленные районы, на погодные условия, на другие причины и подождать, пока англосаксы и японцы взаимно и основательно помутузят одни других. Ослабнут и те, и эти — тогда и мы подоспеем. При немецком наступлении в Арденнах была у нас возможность подождать, поберечь свои силы, как это делали три года союзники, затягивая открытие Второго фронта. Сталин не пошел на это. Может, теперь используем благоприятную обстановку? Выбрав удачный момент, я сказал об этом Иосифу Виссарионовичу: а не занять ли нам позицию «третьего радующегося»? Ситуация уж очень располагающая. И в США, и в Великобритании сменилось высшее руководство, нет уже никого, с кем мы договаривались,

меняется политический курс этих государств. Уместно заново рассмотреть некоторые вопросы… Однако Сталин ответил сразу и твердо, как об окончательно решенном:

— Мы обещали покойному Рузвельту совместно и быстро погасить очаг агрессии на востоке. Мы при всех обстоятельствах сдержим свое обещание. Это не только в интересах наших союзников, но и в интересах нашей страны.

6

Разгром советскими войсками японских милитаристов в августе 1945 года — обширнейшее «белое пятно» в нашей истории, в научных исследованиях, в мемуарной и художественной литературе, а отсюда и в памяти народной. О войне на Западе мы знаем почти все, прямо-таки по часам и по минутам, тут боль касалась всех, расстояния сравнительно невеликие, что от Москвы до Минска, что от Минска до Варшавы и до Берлина. На карте — так совсем рядом. Многочисленные политработники, журналисты, писатели запечатлевали события в донесениях, публикациях и просто для себя или для будущего. А на огромных просторах Забайкалья и Дальнего Востока этого не было. Малолюдье. Не очень надежная связь, а то и отсутствие оной. И невероятная стремительность действий, по результатам сравнимых лишь с победой над Германией. С той только разницей, что последствия войны на востоке сказываются с течением времени все заметнее, все сильнее.

Разгром самурайской империи словно бы открыл миру Азиатско-Тихоокеанский регион, быстро становящийся новым эпицентром политических и экономических свершений и потрясений. Однако и теперь, при быстром развитии транспорта и средств связи, когда Дальний Восток стал гораздо «ближе», он интересует у нас в центральной России главным образом тех, у кого есть родственники где-нибудь во Владивостоке, в Хабаровске или на Камчатке. А в сорок пятом году многие в центральной России вообще не успели даже осознать и прочувствовать, что мы воюем с Японией. Тем более что и завершилось все со сказочной быстротой, фактически суток за десять. При минимальных потерях с нашей стороны: погибло около 30 тысяч солдат и офицеров.

Причины сказочного успеха различны. Назову лишь некоторые, может, и не самые главные, но существенные. Прежде всего — очень правильное решение принял Иосиф Виссарионович, доверив всю подготовку и ведение войны на востоке маршалу Василевскому Александру Михайловичу. Помните, в самые трудные годы сражения с Германией он ведь был не только начальником нашего Генерального штаба, но и подолгу находился на самых ответственных участках великих битв (Сталинград, Курско-Орловский выступ, правобережная Украина), в качестве представителя Ставки координировал, вместе с Жуковым, действия фронтов. Превосходное было сочетание. Расчетливый, дальновидный, стратегически мыслящий Александр Михайлович с его принципом: «каждый приказ должен быть продуман, целесообразен, исполним», и несгибаемо-твердый Георгий Константинович с его беспощадным требованием: «приказ получил — выполни любой ценой». Взаимно дополняя один другого, они многому научились друг у друга. Жуков основательно приобщился к оперативно-стратегическому мышлению, а

Василевский овладел мастерством безусловно и твердо воплощать в реальность задуманное. Подравнялись и маршалы.

Теперь Сталин разделил их, «отдав» Жукову всю Германию, весь Запад с его военно-административными проблемами: там нашего прославленного полководца знали и почитали все, а многие и побаивались его крутого характера, в том числе даже наши союзники — самоуверенные янки. Крохотный пример. По немецкой земле с шумом, с завыванием сирен носились на бешеной скорости автомашины заокеанских «победителей». Не считаясь ни с чем. И лишь однажды ревущий и воющий кортеж американского главнокомандующего Дуайта Эйзенхауэра вынужден был внезапно остановиться: улицу пересекал автомобиль маршала Жукова, сопровождаемый грузовиком с автоматчиками. А Жуков, как было известно, в Германии, и тем паче в Берлине, никогда и никому дорогу не уступал.

Георгий Константинович, значит, полновластно хозяйствовал в Европе, избавляя Сталина от множества возникавших там проблем и забот, а на восток отправился Василевский — маршал менее известный, но зато человек весьма предусмотрительный, неторопливо-последовательный организатор, к тому же любивший работать тихо, не афишируя себя и свою деятельность. К месту скажу еще об одном его принципе, который полностью разделял я и который, как понимаю, положительно воспринимал Иосиф Виссарионович. Чужд был Александру Михайловичу наполеоновский авантюризм чипа: «главное ввязаться в драку, а потом разберемся». На этом и сам Бонапарт, и многие его последователи разных величин сломали себе шеи. Василевский же считал, что любая война, любое сражение страшны и гибельны для множества людей, как военных, так и гражданских. Надо использовать все возможности, дабы избежать боевых столкновений, кровопролития, жертв, разрушений. Но если война неизбежна, надо тщательно подготовить ее, ввести в сражение максимум сил, чтобы быстрее ошеломить и сокрушить неприятеля: чем дольше тянутся боевые действия, чем дороже придется платить за успех, тем больше жертв будет с обеих сторон. Надобно, как в песне:
И на вражьей земле мы врага разгромим Малом кровью, могучим ударом!

На западе у нас не получилось, а вот на востоке как раз вышло, и большая заслуга в этом принадлежит нашему скромному Александру Михайловичу Василевскому, возглавлявшему тогда Главное командование советских войск на Дальнем Востоке. Он, в частности, определил количество и структуру сил, необходимых для нового театра военных действий (с учетом нашего возможного продвижения на западе до Ла-Манша и Гибралтара, не затребовав ни одного лишнего солдата), он подобрал высший командный состав, наиболее пригодный для осуществления его широкомасштабных замыслов. Стратегический план выглядел в общем так. Не рассеивая войска на огромном пространстве, сосредоточить их для трех основных ударов, используя при этом выгодную для нас конфигурацию советско-маньчжурской границы. Один удар — со стороны Забайкалья, из восточного выступа территории Монгольской Народной Республики. Второй — встречный — из Приморья. В «мешке» оказалась бы вся Маньчжурия вместе с находившимися там главными силами Квантунской армии. А вспомогательный удар из района Хабаровска дезориентировал бы вражеское командование, рассекал надвое японскую группировку, способствовал ее скорейшему уничтожению.

Расстояния-то какие! Многотысячеверстые, совершенно несравнимые с куцыми европейскими масштабами! А местность?! Горы и тайга, болота и пустыни, безлюдье и бездорожье. А мощные укрепленные районы, за десятилетия воздвигнутые японцами вдоль всей границы! Все это учитывал Александр Михайлович Василевский, предполагая в первые же часы и дни войны артиллерией и авиацией размолотить, разрушить вражеские позиции на участках прорыва, а затем стремительно, не обращая внимания на фланги, двигаться вперед: если хотите — как немцы в сорок первом году, то есть до последней капли бензина, до самой последней лошадиной силы. Необходимое возьмем у противника или подбросим самолетами. Но тут не гитлеровский авантюризм, не германская высокомерная самонадеянность, а точный расчет и предвиденье опытного полководца и его соратников.

Для выполнения поставленной задачи было создано три фронта — по количеству запланированных ударов. Забайкальский фронт возглавил маршал Малиновский Родион Яковлевич, которому ни мастерства, ни опыта было не занимать. Командармы у него один прославленнее другого: генерал И. И. Людников — герой Сталинграда, генерал А. И. Данилов, генерал И. М. Манагаров, генерал А. А. Лучинский. В составе фронта — 12-я воздушная армия маршала авиации С. А. Худякова. А рвануться вперед, увлекая за собой пехоту, должны были 6-я гвардейская танковая армия генерала А. Г. Кравченко и смешанная конно-механизированная группа советско-монгольских войск генерала И. А. Плиева.

Почти таким же сильным, со столь же прославленными армиями и военачальниками был и 1-й Дальневосточный фронт маршала Мерецкова Кирилла Афанасьевича, ранее командовавшего Волховским и Карельским фронтами. Достаточно назвать хотя бы 1-ю Краснознаменную армию генерала А. П. Белобородова, с которым мы встречались еще в Московском сражении на Истре-реке. Как раз Малиновский и Мерецков, первый наступая на Маньчжурию с северо-запада, а второй с востока, — как раз они и должны были взять в клещи Квантунскую группировку.

Несколько слабее по количеству соединений выглядел 2-й Дальневосточный фронт, наносивший вспомогательный рассекающий удар со стороны Хабаровска, от Амура. И командовал этим фронтом человек менее известный, а точнее, известный лишь в военной среде, генерал армии Пуркаев Максим Алексеевич. Это уж дело случая, о ком-то шумят, кого-то превозносят, а другие остаются в тени. А ведь это Максим Алексеевич создал и возглавил в сорок первом году прославленную 3-ю ударную армию, прикрыл с ней зияющую брешь у истоков Волги, намертво остановив там немцев. Да-да, ту самую 3-ю ударную, которая потом особо отличилась в Берлинском сражении, воины которой взяли рейхстаг! Сам же Максим Алексеевич Пуркаев, успешно прокомандовав некоторое время Калининским фронтом, в апреле 1943 года был отправлен на Дальний Восток, дабы поднять стоявшие там соединения до уровня наших воюющих войск, передать свой боевой опыт. Занимался этим весьма успешно, однако работа была будничная, кропотливая, малозаметная — особенно из далекой Москвы. Не мелькала фамилия в газетах, не гремела в победных реляциях на всю страну. И звания маршальского, как его равнодолжностные коллеги, не получил. А полководец был умный и достойный, на уровне — того же Малиновского или Мерецкова. Что и показал в развернувшихся вскоре событиях, став одним из творцов «дальневосточного военного чуда».

Свои специфические задачи в битве с самураями должны были выполнить Краснознаменная Амурская речная флотилия адмирала Н. В. Антонова и Тихоокеанский флот адмирала И. С. Юмашева — об этом флоте мы еще поговорим особо.

Итак, 9 августа 1945 года наши войска пошли вперед, началась кампания, самая необычная в мировой военной истории, не имеющая себе равных по размаху действий одновременно на суше и на море. А также по краткости: необъятные пространства были отвоеваны буквально за несколько суток, противник был разбит наголову, обескуражен, подавлен, пленен. Кампания не просто классическая, а, я бы сказал, сверхклассическая, достойная глубочайшего изучения. В полной мере сказалось тогда мастерство наших полководцев, наших солдат и офицеров, накопленное за четыре года. Одна хотя бы характерная подробность: в битве с самураями мы почти не имели численного превосходства. У японцев — округло — миллион человек, у нас — полтора, хотя общеизвестно, что для успешного наступления на противника надо быть по крайней мере втрое сильнее его. А мы если в чем и превосходили заметно самураев, то лишь в количестве и качестве техники и, повторяю, в воинском мастерстве.

Ко всему прочему, наши офицеры и солдаты, за три мирных месяца засидевшиеся, заскучавшие в нудной казарменной обстановке, рады были снова вырваться на простор, тряхнуть стариной, ощутить волнующее состояние — зов риска и приключений. Пошли в бой охотно, озорно и азартно. Это тоже сказывалось. Можно ли вообще использовать такое выражение — «воевали с удовольствием»? Но в данном случае беру на себя смелость его применить.

Невероятными успехами советских войск были потрясены и обескуражены не только японцы, но и наши американо-английские союзники. Есть опубликованная запись разговора американского государственного секретаря Гопкинса с президентом Трумэном, сделанная на площадке для игры в гольф при Белом доме. Оторвавшись от увлекательного занятия и отирая белоснежным полотенчиком пот с лица, президент поинтересовался: «Какова ситуация с советским наступлением в Северо-Восточном Китае?» На что получил прямой ответ добросовестного госсекретаря: «Оно идет потрясающе… Их войска за сутки преодолевают по восемьдесят — сто километров. Полагаю, что не пройдет и десяти дней, как они займут всю Маньчжурию и Курильские острова».

Гопкинс оказался прав. Но нас в данном случае интересует иное: как отреагировал новый президент Соединенных Штатов на оптимистическое по сути сообщение государственного секретаря? Возрадовался успеху? Отнюдь. Вот его ответ: «Передайте адмиралу Нимитцу (он командовал войсками США на Тихоокеанском театре. — В. У.), что мы должны первыми занять Порт-Артур, а также Далянь, Инкоу и другие портовые города. Недопустимо, чтобы СССР получил незамерзающие порты»… Каков союзничек, а? Ведь еще на Ялтинской конференции Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились, а в Потсдаме было подтверждено: Россия возвращает вышеназванные и все другие территории, утраченные в 1904–1905 годах.

Иосиф Виссарионович хорошо понимал, с кем имеет дело после смерти Рузвельта, но, следуя правилу: «не давши, слова, крепись, а давши, держись», — продолжал строго соблюдать достигнутые договоренности,

как и подобает всякому порядочному человеку, тем более руководителю великой державы. Однако выводы делал. Укреплялся, например, в мысли, что атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки накануне и прямо в день нашего вступления в войну с Японией, были нацелены не только против самураев, но и косвенно против нас. Пожелали янки продемонстрировать свою силу, припугнуть. Вы, мол, русские, воевать-то вoюйте, помогайте нам, но не зарывайтесь, помните о наших новых возможностях.

В Москве, конечно, не могли не считаться с тем, что атомные бомбы не просто существуют, но уже и применены. Потрясающая вроде бы новость. Однако эффект был гораздо меньше того, на который рассчитывали американцы. Мы были убеждены, что на ход и исход войны несколько таких бомб, при всей их разрушительности, существенно не повлияют. Для войск, рассредоточенных и укрытых в полевых условиях, они решающего значения не имеют, хотя потери, разумеется, увеличатся. Для кого страшны эти бомбы, так это для крупных военно-промышленных объектов и особенно для городов с большой плотностью населения. Идеальное средство для уничтожения мирных жителей. Дикость, варварство по отношению к детям, женщинам, старикам. Но варварство — как бывало и раньше — в конечном счете не приносило успеха безжалостным палачам, будь они в звериных шкурах или по-теперешнему во фраках. Бессмысленное убийство лишь разжигало ненависть к тем, кто уничтожал ни в чем не повинных людей.

Вот фашисты, со свойственной им жестокостью, разбомбили английский город Ковентри, не оставив камня на камне, превратив его в огромное кладбище для жителей. А чего добились? Да ничего, кроме озлобления англичан, жажды возмездия. Или вот наш Сталинград. Несколько суток кряду фашисты зверски бомбили город на Волге — остались сплошные руины. За двое суток около 40 тысяч мирных жителей погибли от бомб, задохнулись или сгорели в пожарищах. И что? Запугали нас гитлеровцы? Нет, лишь ненависть возросла к немецким фашистам, укрепилась стойкость — и не только защитников славного города, но и всей страны.

Имелся в этом отношении преступный (иначе не скажешь) опыт и у наших далеко не всегда корректных союзников. В самом конце войны на Западе, когда было ясно, что со дня на день большой и красивый город Дрезден займут советские войска, американцы и англичане совершили акт, бессмысленный с военной точки зрения и очень жестокий по-человечески: бросили на беззащитный город армады своих бомбардировщиков и фактически уничтожили его, погребли под развалинами жителей. Повлияло ли это на ход событий в пользу щедрых на бомбы союзничков? Нисколько! Наоборот, наши воины поспешили вступить в Дрезден, дабы спасти тех, кто уцелел, заслонить своим присутствием от воздушных бандитов. Уберегли многие тысячи жизней, а еще знаменитую Дрезденскую галерею, бесценные экспонаты которой были со временем возвращены Германии.

Атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки — это ведь тоже бессмысленная жестокость, от которой пострадали не войска, а только мирные люди. Пожелали янки и мир припугнуть, и новое оружие испытать на практике. К тому же густонаселенный полигон был весьма подходящим. Хотя бы с точки зрения американских расистов, в том числе ученых-антропологов, официально заявлявших, что японская нация — это нация «островных пиратов, вся новейшая история которых заполнена вероломством,

узурпациями и животной грубостью». Даже рассудительного, демократичного Рузвельта убедили в том, что «черепные коробки этих людей в своем развитии отстали от наших на две тысячи лет». Увы, восприняв подобную теорию, президент Рузвельт поручил ведущему американскому антропологу Хрдличке заняться вопросом «усовершенствования японцев» Как? Путем скрещивания и обогащения их представителями других, более совершенных, этносов. И это талантливый, разумный Рузвельт, а не его узколобые агрессивные последователи. На ком же еще, как не на «отсталых», «требовавших усовершенствования» японцах, новое оружие-то испытать?! К тому же и общественность не осудит, даже поддержит: многие американцы горели желанием отомстить самураям за вероломное нападение на Пирл-Харбор, за позор поражений, за понесенные жертвы. И реклама: имя малоизвестного президента Трумэна сразу прозвучит (и прозвучало!) на весь мир.

Взрывы грохнули, люди погибли, но на ходе военных действий это практически не отразилось. Японцы продолжали бы сражаться по-прежнему стойко, если бы не потрясшее их сообщение о молниеносном разгроме советскими войсками Квантунской армии, что лишало самураев всякой военной перспективы. Дух был сломлен.

Примечательный факт. 15 августа 1945 года ровно в полночь по токийскому времени японский император по радио обратился со скорбной вестью к своему народу. Сказал, что с вступлением в войну Советского Союза поражение неизбежно, призвал войска прекратить сопротивление и сложить оружие (что, кстати, было выполнено не сразу и не везде). Подчеркиваю: император даже не упомянул об атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки, будто их и не было. Советский Союз — вот кто разом решил исход сражения на Азиатско-Тихоокеанском театре. Уж кому-кому, а императору Страны восходящего солнца было виднее.

Реакция Сталина на взрывы известна. Он не осудил союзников, но и не приветствовал свершенное ими. Он принял конкретные меры. В том же августе Иосиф Виссарионович пригласил к себе директора Института атомной энергии Игоря Васильевича Курчатова, народного комиссара боеприпасов Бориса Львовича Ванникова и еще несколько ученых-атомщиков. Присутствовал Лаврентий Павлович Берия, курировавший эту важнейшую отрасль. Разговор был непродолжительным, но весьма насыщенным. Курчатов доложил о ходе работ над нашей бомбой, твердо заверил, что наш атомный реактор (первый реактор в Европе!) начнет действовать в следующем, 1946 году. Иосиф Виссарионович задал несколько вопросов, затем громко, чтобы слышали все, произнес:

— При любых трудностях, по любым вопросам обращайтесь к товарищу Берия. Требуйте, что надо: людей, деньги, технику. Он сделает для вас все, что возможно. И все невозможное. Мы правы, товарищ Берия?

— Так точно! — по-военному вытянулся мешковатый Лаврентий Павлович и — показалось — каблуками прищелкнул.

7

Меня удивляло и даже раздражало отношение Иосифа Виссарионовича к событиям на Дальнем Востоке. Не проявлял он постоянного внимания к восточным делам, которые, на мой взгляд, были весьма важны не только сиюминутно, а и на долгое будущее. За обычным спокойствием и сдержанностью виделось необычное для Сталина равнодушие к

названному вопросу. Я пытался понять: почему? Ну устал пожилой человек от продолжительной войны на Западе, поглощен заботами по восстановлению народного хозяйства. Обустройство Европы внимания требует. А на Дальнем Востоке, на Тихом океане Сталин, как и многие другие наши руководители, никогда не бывал, не видел потрясающей красоты тех мест, не осознал огромности и своеобразия природных богатств — гораздо ближе неосвоенные месторождения имелись. К тому же условия общей борьбы союзников против японцев были обсуждены, записаны в соответствующих соглашениях, было определено, что и сколько причитается каждому из членов альянса в случае победы. Иосиф Виссарионович считал, что этого достаточно, а вот мне совершенно не по душе были рамки, зафиксированные в этих соглашениях, ограничивающие Советский Союз только возвратом территорий, отобранных у нас японцами в начале века.

Для наглядности сопоставим общую ситуацию с частным случаем. На вас, на человека, внезапно и коварно напал бандит, добился успеха и ограбил, как ограбили Россию японцы в 1904–1905 годах, захватив огромные ценности, в том числе прекрасное «Курильское ожерелье». Нагло используя свое силовое превосходство, бандит долгое время не оставляет вас в покое, оказывает давление, бесчинствует во всей округе. Это опять же самураи. Они оккупировали Корею и Маньчжурию, выйдя к сухопутным границам России. Они захватили и ограбили многие районы нашей страны в период гражданской войны, пока их не вытурили. Они учинили конфликты на КВЖД, на Хасане, на Халхин-Голе.

Ощутив за спиной горячее дыхание американцев, своих новых противников-конкурентов в борьбе за господство на востоке, самураи пошли на заключение с Советским Союзом пакта о нейтралитете, который если и выполнялся, то лишь формально, что заставляло СССР даже в самые трудные дни сражений с гитлеровцами держать против японцев значительные силы. А уж если говорить откровенно, то верные друзья немецких фашистов — японские милитаристы — коварно и постоянно вели необъявленную войну с Советским Союзом. С 1941 по 1945 год авиация самураев 430 раз вторгалась в воздушное пространство нашего государства. Подразделения и части Квантунской армии 780 раз(!) нарушали сухопутную границу СССР, военно-морской флот Страны восходящего солнца незаконно задержал 178 советских торговых судов, а 18 судов с важными грузами для нашей воюющей страны были потоплены. Причем последнее судно пущено на дно Японского моря в середине лета 1945 года, когда наше сражение на западе уже закончилось, а на востоке еще не начиналось.

Много и долго вынуждены мы были терпеть. Слишком много и долго — сорок лет. И вот появилась, наконец, возможность восстановить справедливость, наказать бандита, воздать ему полной мерой за душегубство, грабежи и шантаж. Имеем такое право и не используем его, ограничиваясь лишь тем, что вернем территории, отобранные у нас в начале века?! Без возмещения моральных и материальных утрат? Без возмездия за содеянное? Справедливо ли это? Совсем нет! Нельзя оставлять преступления без наказания, хотя бы минимального. Так считал не только я. А Иосиф Виссарионович вел свою линию: строго выполнять соглашения, достигнутые главами трех держав в Ялте и Потсдаме. Как повлиять на него?

В наших взаимоотношениях бытовала, в частности, такая практика. Когда возникала необходимость, Иосиф Виссарионович поручал мне составить лично для него памятную записку по той или иной проблеме. С историей вопроса, с анализом настоящего положения, с выводами и предложениями. Некоторые памятные записки я излагал в этой книге довольно подробно: о переселении из прифронтовой зоны на восток российских немцев, о мерах по обузданию чеченских националистов и т. д. Подобного материала о японцах Иосиф Виссарионович от меня не требовал, но почему бы мне самому не проявить инициативу, не изложить свое мнение с учетом мнения моих единомышленников? Коллективных посланий Сталин не любил, усматривая в них плоды групповщины, оппозиционности, уход от персональной ответственности. А от одного меня стерпит и, хотя бы из вежливости, обязательно прочитает.

Рассказал о своем замысле наркому ВМФ адмиралу Кузнецову, начальнику Генерального штаба Антонову. И тот, и другой идею одобрили, даже дополнили. Алексей Иннокентьевич Антонов сказал о контрибуции, которую должна бы выплатить нам Япония. Много лет грабила она земные и морские богатства на Курильских островах, на Южном Сахалине, на Ляодунском полуострове, в зоне российских интересов в Маньчжурии. Одни только потопленные японцами наши суда с грузом сколько стоят! Надо заставить агрессора расплатиться за все.

Николай Герасимович Кузнецов заботился о своих интересах. Вернем себе Южный Сахалин и Курильские острова — богатое рыбопродуктами Охотское море станет нашим внутренним морем. Не менее важно и то, что мы получим несколько проливов для выхода нашего флота в открытый океан. Это на севере. А выход из Японского моря на юг остается по-прежнему проблематичным. Мы должны взять в свои руки район острова Цусима, «сбить замок» с Корейского пролива, обрести свободный доступ в южные акватории. Но как подступиться? Остров Цусима никогда не принадлежал нам, чем обосновать наши требования?

Третьим, с кем я держал совет, был генерал-лейтенант граф Игнатьев Алексей Алексеевич, активный участник войны 1904 года, болезненно переживавший наше тогдашнее поражение, мечтавший о реванше, хорошо знавший восточную ситуацию. Он сказал, что открыть свободный доступ к южным морям нам сейчас очень трудно. Нет формальных, юридических оснований для притязаний на остров Цусима, тем более что весь тот район по соглашению между союзниками входит в зону действий американских войск. И, видя мое огорчение, Алексей Алексеевич добавил с улыбкой:

— Однако и на этот раз есть возможность сделать кое-что для бессмертия. Не о малом островке Цусима думать-то надобно, а размахнуться пошире. У нас есть основания претендовать на самый северный и один из четырех крупнейших японских островов — остров Хоккайдо. Пока еще японский, — подчеркнул Игнатьев. — Веские основания. Помните дискуссию о дальневосточных территориях среди наших военных еще в начале века?

— Разумеется. В академии Генштаба говорили об этом, ученые выступали.

— И в ту пору, и теперь я стоял и стою на том, что Хоккайдо должен принадлежать нам, у нас на него больше формальных и исторических прав, нежели у самураев. Из-за этого есть смысл ломать копья. Давайте припомним аргументацию. В старых документах не грех покопаться. Ведь

японцы, волнообразно продвигаясь от острова к острову с юга на север, появились на Хоккайдо лишь в прошлом веке, постепенно оружием и обманом оттесняя коренных жителей — айнов, давно обосновавшихся на Хоккайдо, на Сахалине и на Курильской гряде.[98]

Разговор этот состоялся в середине июля, а к концу месяца моя памятная записка легла на стол в кремлевском кабинете Иосифа Виссарионовича. Кратко ее содержание. Айны, или «мохнатые курильцы», как называли их русские, — это наши родственники, у нас общие предки, общие корни. Каковы характерные черты всех народов Сибири, Дальнего Востока, Китая и вообще всего огромного Азиатско-Тихоокеанского региона от Чукотки до Австралии? Желтоватая, смуглая кожа, узкий разрез глаз, скуластость, чернота волос. А еще — скудная растительность на лице. Не растут у них почему-то бороды, и все тут! В лучшем случае — жидкие клинообразные бородки. А вот айны совершенно не походили на многочисленные народы и народности, населявшие упомянутый регион. Как белая ворона в стае. Своеобразный, не восточный язык, зачастую прямые «римские» носы, а в общем славянский тип лица, светлая кожа, большие, светлые, иногда голубые глаза и густая растительность: широкие, лопатой, бороды, словно у наших дореволюционных крестьян или купцов. Типичный скифский облик. Да и образ жизни, мироощущение айнов оказались очень близкими, привычными для русских землепроходцев, появившихся на Курилах более трехсот лет назад. А в 1712 году, при Петре Первом, Курильская гряда, земли айнов официально вошли в состав государства Российского.

Все исторические источники того времени свидетельствуют, что айны приняли русских не только дружелюбно, но и с большой радостью. Сразу возникло взаимное понимание, взаимное уважение. Айны, добрые по натуре, рассеянные мелкими группами на островах, очень страдали от набегов с моря. Вооруженные грабители-скупщики из разных стран, особенно с далеких тогда еще японских островов, различные авантюристы за бесценок или просто силой забирали меха, икру, увозили женщин. А русские сразу стали надежной защитой: умели наши предки пресекать любые попытки любых наглецов.

Ну и внешнее сходство русских и айнов, та же бородатость, на дружбе сказались. В середине восемнадцатого века, когда обучение народа и в Европе-то было редкостью, на Курилах открылась школа для айнских детей, где преподавание велось не только по-русски, но и по-айнски. Примерно тогда же, в 1779 году, появился императорский указ, в котором говорилось: «Приведенных в подданство на дальних островах мохнатых курильцев оставить свободными и никакого сбора с них не требовать, да и впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостью для чаемой в промыслах и торговле выгоды продолжать заведенное уже с ними знакомство».

Мудрый указ, для государства пользительный.

Откуда же взялась, как появилась на тихоокеанских островах эта уникальная народность — айны? С какой стороны они пришли — с севера, с юга или с запада? Ученые давно спорят об этом, отстаивая различные точки зрения. На мой взгляд, как и на взгляд генерала Игнатьева, наиболее достоверной является такая версия. Известно, что в свое время Александр Македонский послал из района теперешней Персии на восток очень большой разведывательный отряд, насчитывавший около пятидесяти тысяч человек. В том числе женщины, дети, отправившиеся в

далекий неизведанный путь вместе с мужьями и отцами. Основу этого отряда составляли скифы: были и греки, и римляне, выходцы с Кавказа и даже с Пиренеев, но подавляющее большинство — уроженцы причерноморских степей. Это не удивительно. Александр Македонский женат был на дочери скифского владыки, скифы охотно поддерживали дружественного удачливого завоевателя.

Ушел огромный отряд и сгинул безвестно. Куда он исчез? В разные времена историки пытались проследить его путь. Но лишь до Великой Китайской стены. Отряд прошел, прокочевал севернее ее. Сохранилось предание о том, что воины Александра Македонского где-то на краю земли загнали за высокую каменную стену два свирепых народа, угрожавших погубить все человечество: до сих пор Гогой и Магогой пугают детей. Но что стало с отрядом? Рассеялся? Был уничтожен врагами? Или добрался до Тихого океана на территории нынешнего Приморья, а дальше, по инерции, что ли, морем преодолел не столь уж большое расстояние до Хоккайдо, обосновался там задолго до японцев, заселил постепенно Курильские острова. С годами конгломерат представителей разных национальностей, в котором преобладали скифы, превратился в своеобразную народность — в айнов, в «мохнатых курильцев».

Есть доводы против этой версии, но есть и за нее. Причем доводы не только умозрительные, но, так сказать, материальные. О внешнем облике айнов уже говорилось. Но вот еще несколько фактов из разных областей науки. Не очень давно, уже в нашем столетии, спелеологи обнаружили в одной из старых карстовых пещер на реке Сучан (ныне Партизанская. — В. У.), неподалеку от впадения этой реки в Японское море, необыкновенную статую, окрещенную «Спящей красавицей». Снимки обошли весь мир. Дело в том, что в таежной дальневосточной глуши оказалось произведение, которое мог создать только мастер, хорошо знакомый с традициями, с законами греческого и римского искусства. Школа явно античная, а материал местный.

У японцев «не в моде» одежда из стеблей крапивы, какая была у наших предков-скифов. А айны не только носили одежды из этого сырья, но даже боевые доспехи-щиты изготавливали из одеревеневших стеблей крапивы. А язык? Откуда пришло к японцам слово «икра» — в их произношении «икура»?

Или еще феномен, из области орнитологии. Есть такое понятие — разорванный ареал. Когда одинаковые особи живут не сплошным массивом, а изолированными группами. Это бывает нечасто. Тем паче — если разрыв большой, необъяснимый. Так вот: на Дальнем Востоке, в Приморье широко распространена голубая сорока. А еще встречается она на противоположной стороне земного шара, на Пиренейском полуострове, и больше нигде. Как попала к Тихому океану сия не мигрирующая по сезонам птица? Не знаю. Скажу лишь, что стайки голубых сорок сопровождали отряды с Пиренеев, влившиеся в многонациональную армию Александра Македонского. Более того, некоторые пиренейцы, в память о родине, приручив эту птицу, держали при себе, свободно или в клетках, как держат привязавшихся к хозяевам попугаев.

Воистину, необъяснимы совпадения, случайности, неисповедимы пути, предначертанные свыше. И, к сожалению, трагическим оказался для айнов конец их дальней дороги. Когда укоренились, обжились они на Хоккайдо, на Курилах, двинулись с юга полчища настойчивых, жестоких самураев. В

короткий срок истребили они большинство айнов на Хоккайдо. За несколько десятилетий господства на Курильской гряде умудрились почти полностью ликвидировать проживавших там «мохнатых курильцев». Обдуманно, планомерно уничтожали самураи не только поселения русских и айнов, но даже их кладбища. Сравнивали с землей, чтобы никаких следов не осталось. Только, мол, красивая богатая природа и мы, японцы, вечные хозяева этих мест. Уцелевших айнов японцы постепенно ассимилировали, разрушив их культуру, лишив национального самосознания. Трудно сказать, сохранились ли хотя бы небольшие группы самобытного народа, еще недавно населявшего множество островов на протяжении полутора тысяч километров, от Шумшу на севере и включая Хоккайдо на юге. Если сохранились — кто защитит их?

Таковы основные доводы, которые привел я в памятной записке. Потрудился основательно, и даже обидно стало, когда увидел, что Иосифа Виссарионовича прежде всего заинтересовало приведенное мной наряду со словом «икра» слово «кацо», распространенное в Грузии. Сталин же несколько огорчился, узнав от меня, что в Японии «кацо» не есть дружественное обращение, это рыба — тунец.

— У нас на Кавказе хороших людей так называют, а они рыбу назвали.

— Полезную, хорошую рыбу, очень хорошую, — уточнил я, стремясь улучшить настроение Иосифа Виссарионовича. Подействовало.

— А как насчет «генацвале», Николай Алексеевич? И «генацвале» у них тоже есть?

— Почему бы и нет. Товарищ Микоян, например, убежден, что «Камикадзе» — это грузинская фамилия.

— Не Япония, а Батум какой-то или прямо Тбилиси. Поедем туда отдыхать — не нужно язык учить.

Все это — полушутя. На самом деле Сталин воспринял памятную записку вполне серьезно. В тот же день обсудил ее с членами Ставки генералом Антоновым и Булганиным. Затем связался по телефону с адмиралом Кузнецовым и главкомом советских войск на Дальнем Востоке маршалом Василевским, выяснил их мнение и сразу же дал соответствующие указания. Для Тихоокеанского флота остаются ранее поставленные задачи: охранять собственное побережье от возможных ударов противника с моря и с воздуха и, тесно взаимодействуя с сухопутными войсками, высаживать десанты в тылу неприятеля, в портах, в узлах коммуникации, нарушать линии снабжения, перехватывая пути отхода. Однако использовать для этих целей, наряду с подводными лодками и флотской авиацией, только лишь корабли небольших размеров: торпедные катера, морские охотники, тральщики, сторожевики, а также вспомогательные суда. Основные же силы флота — крейсер «Калинин», крейсер «Каганович» и десять эскадренных миноносцев — было приказано рассредоточить, укрыть в отдаленных от главной базы бухтах в готовности действовать в северо-восточном направлении, на остров Хоккайдо.

Главкому наших войск на востоке маршалу Василевскому, а через него командующему 2-м Дальневосточным фронтом генералу Пуркаеву было предложено сразу после освобождения Южного Сахалина перебросить один стрелковый корпус (три стрелковые дивизии и части усиления) через пролив Лаперуза на северный берег Хоккайдо и захватить там плацдарм для последующего продвижения в глубь острова.

Слово — документам. Вот шифрованное донесение, отправленное маршалом Василевским 20 августа 1945 года:

«Москва. Тов. Сталину

Копия: Генштаб, тов. Антонову

…На острове Сахалин с утра 19.8.1945 г, японцы приступили к капитуляции своих войск, находящихся непосредственно перед нашим фронтом. За день 19.8.1945 г. здесь капитулировало свыше трех тысяч японских солдат и офицеров 88 пд, и наши войска к исходу дня продвинулись на юг до 25 км. По нашим расчетам, остров Сахалин должен быть полностью оккупирован не позднее вечера 21.8.1945 г.

На Курильских островах до 19.8.1945 г. продолжались упорные бои, и отбивались контратаки противника на острове Сюмусю (Шумшу)…

В настоящее время я и командование Второго Дальневосточного фронта серьезно заняты подготовкой десантной операции на остров Хоккайдо. С Вашего разрешения морскую операцию здесь начнем немедленно после занятия южной части Сахалина. Ориентировочно 22.8.1945 г.

Василевский»

В ночь на 21 августа все тот же Василевский направил в войска директиву с подробным планом предстоящей операции. В директиве, в частности, говорилось:

«Немедленно, и ни в коем случае не позднее утра 21 августа, приступить к погрузке 87 ск с техвойсками. В предельно минимальные сроки сосредоточить его в южной части о. Сахалин, в районе порта Отомари и города Тойохара». (Соответственно порт Корсаков и город Южно-Сахалинск. — В. У.)

Для прикрытия и поддержки 87-го стрелкового корпуса с воздуха были выделены истребительная и бомбардировочная авиадивизии из состава 9-й воздушной армии. Общая задача: к исходу 1 сентября 1945 года занять (оккупировать) половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румои, то есть примерно до той линии, на которой еще в середине девятнадцатого века стояли укрепленные городища — «тяси» — наших давних сородичей айнов, из последних сил сдерживавших натиск захватчиков-самураев. Все было так, как предлагал граф Игнатьев, как было сказано в моей памятной записке Иосифу Виссарионовичу. 21 августа Верховный главнокомандующий подтвердил свои предшествовавшие распоряжения о десанте на Хоккайдо. Маршал Василевский в свою очередь довел порученные указания до сведения исполнителей — командующих Дальневосточными фронтами и Тихоокеанским флотом. 87-й стрелковый корпус приказано было полностью подготовить для операции к концу 23 августа. Корабли и части флота — тоже.

8

Все было готово для восстановления справедливости. И вдруг — совершенно неожиданный, никому непонятный, ничем не объяснимый срыв! 22 августа в середине дня Сталин связался с Василевским и, не вдаваясь в подробности, предложил подготовку к высадке на Хоккайдо немедленно приостановить. В 14 часов 55 минут Василевский отправил шифротелеграммы командующим обоими Дальневосточными фронтами, а также наркому ВМФ адмиралу Кузнецову и командующему Тихоокеанским

флотом адмиралу Юмашеву. Цитирую два пункта из шифротелеграммы № 677, поступившей в адрес названных адмиралов:

«2. От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки. Переброску 87 ск на Сахалин продолжать.

3. В связи с заявлением японцев о готовности капитулировать на Курильских островах прошу продумать вопрос о возможности переброски головной дивизии 87 ск с острова Сахалин на Южные Курильские острова (Кунашир и Итуруп), минуя остров Хоккайдо. Соображения по этому вопросу прошу сообщить мне не позднее утра 23 августа».

Не внес ясности в ситуацию и последовавший затем приказ, исходивший от начальника штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке генерала С. П. Иванова, содержавший требование:

«Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону о. Хоккайдо».

По воспоминаниям Николая Герасимовича Кузнецова, находившегося тогда на Дальнем Востоке для координации действий морских и сухопутных сил, его вызвал к телефону Сталин. Поздоровавшись, спросил:

— Все еще воюете?

— Воюем, товарищ Сталин.

— Не надоело?

— Никак нет, наша работа.

— Вы, товарищ Кузнецов, завершайте там поскорее и выезжайте в Москву, вы нужны здесь. — И, помолчав, словно бы неохотно сказал главное: — На Хоккайдо не высаживаться. Не надо. Закругляйтесь с Курильскими островами и возвращайтесь. Вы меня поняли?

— Да, будем закругляться, — бодрым голосом Кузнецов постарался скрыть огорчение.

Такова внешняя канва. А вот известная мне подоплека. Верный своим правилам строго соблюдать все договоренности с союзниками, сообщать им о своих планах, касающихся общих интересов, а также для избежания недоразумений между нашими и американскими войсками на японских островах, Иосиф Виссарионович отправил 16 августа телеграмму президенту Трумэну, в которой, в частности, заявил о желании: «Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо… Это последнее предложение имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1919–1921 годах держали под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории.

Я бы очень хотел, чтобы изложенные выше мои скромные пожелания не встретили возражений».

Увы, времена уже переменились, Трумэн — это не Рузвельт с его дальновидностью, умом, политической интуицией. Трумэн всего лишь типичный американский торгаш, всегда и во всем ищущий прямой очевидной выгоды. Вот его реакция:

«18 августа 1945 года

СТРОГО СЕКРЕТНО

ДЛЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА СТАЛИНА

ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА

Отвечая на Ваше послание от 16 августа, я выражаю согласие с Вашей просьбой изменить «Общий приказ № 1» с тем, чтобы включить все Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке. Однако мне хотелось бы пояснить, что Правительство Соединенных Штатов желает располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе, для военных и коммерческих целей. Я был бы рад, если бы Вы сообщили мне, что Вы согласны на такое мероприятие.

Что касается Вашего предложения в отношении капитуляции японских вооруженных сил на острове Хоккайдо перед советскими вооруженными силами, то я имею в виду — и в связи с этим были проведены мероприятия, — что генералу Макартуру сдаются японские вооруженные силы на всех островах собственно Японии: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Генерал Макартур будет использовать символические союзные вооруженные силы, которые, конечно, будут включать и советские вооруженные силы, для временной оккупации такой части собственно Японии, какую он сочтет необходимым оккупировать в целях осуществления наших союзных условий капитуляции».

Прежде всего — здесь явная передержка. Союзнических войск в то время на собственно японских островах еще не было, так что сдаваться Макартуру самураи там никак не могли. Просто некому было сдаваться аж до 28 августа 1945 года. Именно с этого дня на японской территории начали высаживаться американо-английские десанты, сразу в нескольких городах. Самый крупный десант в составе 24-й американской пехотной дивизии, только что прибывшей из Европы, высадился непосредственно в Токийском заливе. Одна подробность. На западе, как известно, советские и американские военные впервые встретились на Эльбе, и встреча эта была дружеской, радостной. А на востоке не совсем так. Когда американские воздушные и морские десантники высадились в главной военно-морской базе Йокосука, они обнаружили там трех россиян во главе с консулом советского представительства в Японии Михаилом Ивановичем Ивановым, которого я называл в этой книге «дублером Зорге» или «вторым Зорге». Имел ли он тогда звание генерала или еще нет — сказать не могу. Так вот, его вместе со спутниками американцы взяли под охрану и обвинили в том, что «в нарушение приказа генерала Макартура русские до высадки американского десанта проникли в базу и хозяйничают в ней». Такова была «встреча в Японии». Хорошо, что вскоре недоразумение выяснилось. Михаил Иванович представился командующему Тихоокеанским флотом США адмиралу Нимитцу, прибывшему в Йокосуку на крейсере «Нью-Джерси». Были дружеские рукопожатия. Увидев старую, потрепанную «эмку», на которой Михаил Иванович Иванов приехал из Токио, адмирал Нимитц приказал сбросить ее с пирса в море и подарил «товарищам по оружию» новенький «шевроле» вместе с негром-водителем. Потом, подумав, добавил: «Когда отпадет необходимость, негра верните». Так ведь это, повторяю, было 28 августа, а не на десять дней раньше, когда Трумэн прислал Сталину приведенную выше телеграмму и когда японцам на их островах попросту некому еще было сдаваться.

Иосиф Виссарионович был возмущен не только бесцеремонным отказом американского президента выполнить в общем-то не ахти какую по тем временам просьбу, но и самим тоном послания, а главное — требованием, вопреки прежним договоренностям, обзавестись военными базами на одном из центральных островов Курильской гряды.

— Выскочка и наглец, — сказал Сталин. — Он совсем ничего не понимает. Он не понимает, что на всем Дальнем Востоке у нас задействована только одна танковая армия — шестая гвардейская. Мы сейчас прикажем товарищу Рокоссовскому отправиться на восток, взять с собой с запада еще две гвардейские танковые армии. Даже три. И общевойсковых армий, сколько сочтет нужным. Через месяц не только Хоккайдо, но и все японские острова будут в наших руках. Через месяц потому, что дорога длинная… Нет, он просто не понимает, — сокрушенно качнул головой Иосиф Виссарионович. — На что он надеется? На третью имеющуюся у него атомную бомбу? На наше стремление к миру и согласию?

— С атомной бомбой американцы, конечно, совсем обнаглели, — ответил Молотов, находившийся тогда в кабинете Сталина. — Но не надо у-у-усложнять. Трумэн ищет выгоду и предлагает торг. Нам северную часть Хоккайдо в обмен на базы для американцев в центре Курильской гряды. Кому лучше?

— Кому же, Вече? — спросил Иосиф Виссарионович.

— Со своей базы они будут и с моря, и с воздуха контролировать все наше восточное побережье от Камчатки до Советской Гавани. Поставят под контроль все возвращенные от японцев наши проливы — выходы на океанский простор. А нам дополнительные заботы на чужой территории, отделенной водным пространством. Кстати, на Хоккайдо голод, придется кормить.

— Базар, — презрительно усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Дураков ищут.

— На базаре всегда два дурака — кто кого.

— Мы не торгаши, Вече. Мы можем требовать, можем договариваться… Но не с такими спесивыми. Осадить требуется.

«ЛИЧНО И СЕКРЕТНО

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. ТРУМЭНУ

Получил Ваше послание от 18 августа.

1. Я понимаю содержание Вашего послания в том смысле, что Вы отказываетесь удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной половины о. Хоккайдо в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам. Должен сказать, что я и мои коллеги не ожидали от Вас такого ответа.

2. Что касается Вашего требования иметь постоянную авиационную базу на одном из Курильских островов, которые, согласно Крымскому решению трех держав, должны перейти во владение Советского Союза, то я считаю своею обязанностью сказать по этому поводу следующее. Во-первых, должен напомнить, что такое мероприятие не было предусмотрено решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не вытекает из принятых там решений. Во-вторых, требования такого рода обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить

своему союзнику соответствующую базу. Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств. В-третьих, так как в Вашем послании не излагается никаких мотивов требования о предоставлении постоянной базы, должен Вам сказать чистосердечно, что ни я, ни мои коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств могло возникнуть подобное требование к Советскому Союзу. 22 августа 1945 года».

На это достаточно резкое послание через несколько дней последовал ответ Трумэна с разъяснением его позиции. А потом… Потом война закончилась. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, поставивший самую последнюю точку в истории Второй мировой войны. Соединенные Штаты, к их, конечно, глубокому сожалению, не обзавелись военной базой на наших Курильских островах. Не сбылись и наши чаяния заполучить половину большого острова Хоккайдо. Жаль. Но уж теперь, если распалившийся японский политикан начнет размахивать кулачишками и требовать себе Курильские острова, мы всегда можем показать ему большой кукиш со словами: «Не нарывайся, агрессор! Прежде чем толковать о Курилах, потолкуем про остров Хоккайдо. Отдай нам Хоккайдо! Весь. Или в крайнем случае половину», — таким должен быть разговор. И за это тоже большое спасибо товарищу Сталину!

9

Исторический нонсенс — не знаю, с чем и сравнить: акты о безоговорочной капитуляции японских войск мы подписывали дважды, чем, вероятно, и исчерпали отпущенный свыше миротворческий лимит, а вот мирного договора между нами и Страной восходящего солнца нет по сию пору, и не предвидится, судя по всему, до конца текущего столетия. Состояние войны не прекращено. Хотя, конечно, живем, соседствуем, поторговываем более или менее сносно, даже и без основополагающего документа.

А вот что было. Летом 1945 года маршал Малиновский, назначенный командовать Забайкальским фронтом, несколько дней провел в Москве, согласовывая важные для него вопросы. Был принят генералиссимусом Сталиным, которого особенно интересовали в ту пору темпы переброски войск, выделенных для войны с Японией. Чтобы своевременно прибыли в указанные им районы, не «растряслись» по дороге. А вместе с Малиновским со 2-го Украинского фронта, которым он прежде командовал, отправлялись с запада на восток две армии: 53-я общевойсковая и 6-я гвардейская танковая, созданная сравнительно недавно, однако имевшая заметные заслуги — она участвовала в сражениях за Будапешт, за Вену, в броске на Прагу. Начальник Генерального штаба Антонов, присутствовавший на встрече, обратил внимание Верховного на весьма продуманный план перевозки войск и техники, с точным расчетом не только количества эшелонов, но и вагонов и платформ в каждом из них, с указанием мест и времени погрузок, сроков движения от станции к станции, с учетом наличия продпунктов для получения горячего питания… Иосиф Виссарионович, ценивший не только обоснованность замыслов и планов, но и тщательную отработку всех деталей, поинтересовался, кто готовил документ, похожий на строгий диспетчерский график.

— Группа полковника Артеменко, ответил Малиновский.
— Вероятно, очень толковый полковник. Почему готовил именно он? Вы его хорошо знаете?
— Так точно. Иван Тимофеевич Артеменко в свое время окончил Институт железнодорожного транспорта. Начал службу в войсках с командира взвода. Учился заочно на оперативно-штабном факультете Академии имени Фрунзе. Войну прошел от границы до Сталинграда и обратно до Чехословакии.
— Какие кадры! Какие у нас люди! — прочувствованно произнес Иосиф Виссарионович. — С такими людьми мы все можем.
— Простите, товарищ Сталин, разрешите дополнить, — сказал генерал Антонов. — Отец товарища Артеменко был офицером старой армии, сражался с японцами в Порт-Артуре. Будучи контуженным, оказался в плену.
— Какие люди, какие биографии! — повторил Иосиф Виссарионович. — Товарищ Малиновский, вы обязательно возьмите полковника Артеменко с собой. В Маньчжоу-Го, в Порт-Артур. Дети сделают то, чего не смогли сделать отцы. Как поется о русских героях, спящих на сопках Маньчжурии: ваши потомки за вас отомстят и справят победную тризну, — Сталин не совсем точно воспроизвел слова, но его никто не поправил — важен был смысл.
Родион Яковлевич Малиновский крепко запомнил тот разговор. И когда понадобилось отправить парламентеров в город Чанчунь, столицу Маньчжоу-Го, чтобы вручить ультиматум главнокомандующему Квантунской армией генералу Ямада Отодзо, выбор пал на Ивана Тимофеевича Артеменко. Далее привожу строки самого Артеменко, как свидетельство не только важнейшего события, но и необычайной скромности наших людей, вершивших историю:
«Утром 18 августа 1945 года мы вылетели с одного из монгольских аэродромов и взяли курс на восток. Самолет прошел Большой Хинган в грозовых тучах и опустился на маньчжурской земле, у города Тунляо, на окраине которого еще шли бои. Здесь предстояло решить ряд задач, связанных с подготовкой предполагавшегося десанта. Нужно было также договориться о передаче информации из Чанчуня. Все это заняло почти весь день. Утром 19 августа вылетели в Чанчунь. Впереди более трехсот километров над вражеской территорией. Поэтому нас сопровождали истребители. Тем временем главнокомандующему Квантунской армией генералу Ямада Отодзо была направлена за подписью командующего войсками Забайкальского фронта Маршала Советского Союза Р. Малиновского телеграмма следующего содержания:
«Сегодня, 19 августа, в 8.00 парламентерская группа в составе пяти офицеров и шести рядовых, возглавляемая уполномоченным командующего Забайкальским фронтом полковником Артеменко И. Т., самолетом Си-47 в сопровождении девяти истребителей отправлена в штаб Квантунской армии с ультиматумом о безоговорочной капитуляции и прекращении сопротивления. В последний раз требую обеспечить и подтвердить гарантию на перелет. В случае нарушения международных правил вся ответственность ляжет на Вас лично».
Чанчунь еще был окутан утренним туманом, когда наши истребители подошли к японскому военному аэродрому. Шесть наших истребителей блокировали его с воздуха. Три истребителя приземлились на аэродроме. Вскоре вслед за истребителями приземлился и наш Си-47, который вел

капитан Н. Барышев. У самолета нас встретили представители командования японских войск. Отдав необходимые указания капитану Барышеву и майору Моисеенко, оставшимся на аэродроме, я вместе с переводчиком капитаном Титаренко, капитаном Беззубым и старшиной Никоновым отправились в штаб Квантунской армии. Через 30 минут произошла встреча с генералом Ямада.

Наши требования и особенно пункт ультиматума о безоговорочной капитуляции Ямада не хочет принимать. Он старался различными дипломатическими уловками свести результаты переговоров не к капитуляции, а к перемирию.

Развязка настала неожиданно. В кабинет вошел дежурный японский офицер и доложил, что к городу приближается армада русских самолетов-бомбардировщиков под сильным прикрытием истребителей.

— Наши истребители подняться не могут, — сказал он, — поскольку аэродром блокирован.

Ямада, казалось, потерял дар речи.

— Что это все значит? — спросил он наконец.

Я ответил, что если в указанный срок советское командование не получит сообщения о положительных результатах переговоров, Чанчунь будет подвергнут бомбардировке.

Несколько минут Ямада стоял словно в оцепенении. Затем резко вынул свой самурайский «меч духа», несколько раз поцеловал его и, подав мне через стол, склонил голову со словами: «Теперь я ваш пленник. Диктуйте свою волю». Его примеру последовали все присутствующие в кабинете японские генералы и офицеры, признавая себя пленными.

Тут же в 14:10 Ямада подписал акт о безоговорочной капитуляции. Началось разоружение войск Чанчуньского гарнизона и в прилегающих районах, а затем и на всей территории Маньчжурии».

У потомственного офицера Артеменко достало такта не оскорбить побежденного неприятеля, сохранить его честь. Подержав меч несколько секунд, полковник с достоинством вернул его старому, худенькому, низкорослому генералу, известному своим твердым характером и лисьей хитростью. И увидел благодарность в глазах японского командующего. На мгновение задумавшись, Ямада взял с этажерки фигурку бегущего слона и с легким поклоном подал ее Артеменко. «На память», — сказал переводчик.

Все вроде бы просто. Слетал в осиное гнездо, в самый центр вражеских сил, и принудил противника подписать акт о капитуляции. И ни слова не написал Артеменко, какой опасности подвергался сам и сопровождавшие его люди, оказавшись среди фанатиков-самураев, предпочитавших покончить с собой, нежели сложить оружие. А убить русских им вообще ничего не стоило, только бы пальцем шевельнул генерал.

О подвиге полковника Артеменко, о его миссии писали в 1945 году газеты во всем мире, печатались его фотографии, особенно часто та, на которой он запечатлен вместе с генералом Ямада. Однако пошумело благодарное человечество, да вскоре и напрочь позабыло о мужественном полковнике, как и о других скромных героях. После войны полковник отправлен был в отставку с семнадцатью (!) осколками в теле — это, конечно, сказывалось. Поработал начальником цеха, главным энергетиком завода. Вышел на пенсию, осел на Харьковщине — больше о нем ничего не знаю. А в официальной истории осталось другое событие: подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии, состоявшееся 2 сентября 1945

года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Этот день официально считается датой окончания Второй мировой войны.[99]

К подписанию токийского акта о капитуляции наша сторона, прежде всего сам Сталин, отнеслась без энтузиазма, как к простой формальности. Действительно, исход битвы был решен ликвидацией Квантунской армии, о чем существовал соответствующий документ. Но имелись и другие причины. Сталин был недоволен Трумэном, с которым так и не договорился о высадке наших войск на Хоккайдо, и намеревался подчеркнуть свое недовольство невысоким уровнем нашей правительственной делегации при подписании акта. Сперва намечалось, что делегацию возглавит кто-либо из военных, маршал Василевский или адмирал Кузнецов. Но и этого показалось слишком много после того, как стало известно: среди союзников, которые прибудут на «Миссури», будет находиться некий генерал Свердлов, он же Пешков, родной брат Якова Мовшевича Свердлова, которого Иосиф Виссарионович ненавидел чем дальше, тем сильнее. Ставил ему в вину провокационный расстрел царской семьи, разжигание междоусобного кровопролития, невиданного на Руси, в том числе жестокое «расказачивание» восемнадцатого года, беспардонное использование троцкистско-свердловскими националистами в своих корыстных целях христианско-коммунистических идей равенства и справедливости, которыми руководствовался сам Иосиф Виссарионович. А тут — как нарочно, как назло — свердловский братец, международный авантюрист, дезертир из России, каким-то образом «усыновившийся» нашим великим писателем, о чем отрицательно высказывался сам Пешков-Горький. Жулье!

— Неавторитетная компания, — презрительно высказался по этому поводу Сталин. — Пошлите туда зауряд-генерала. Грамотного, чтобы расписался красиво. И чтобы полученные от нас инструкции соблюдал. Большего не требуется, хватит с них.

В Японию срочно отправился генерал-лейтенант Деревянко К. Н., о котором я не могу сказать ничего хорошего или плохого, так как совершенно не знал его, даже из какого ведомства он взялся. Но с делом он справился, возглавив советскую делегацию: вместе с Деревянко на борт линкора «Миссури» поднялись генерал-майор авиации Н. Воронов, контр-адмирал А. Стеценко, представитель СССР в Японии Я. Малик, консул нашего представительства М. Иванов и два журналиста. Первым акт о капитуляции подписал от имени императора Страны восходящего солнца и от имени своего правительства министр иностранных дел М. Сигимицу. По поручению союзных наций, участвовавших в войне с Японией, расписался командующий союзными войсками генерал Д. Эйзенхауэр, за ним сражавшийся непосредственно на Тихом океане адмирал Ч. Нимитц. Спокойно, с достоинством скрепил документ своей подписью генерал Деревянко. Затем все другие: представители Великобритании, Франции, Китая, Австралии, Канады, даже таких стран, как Нидерланды и Новая Зеландия. Вот, оказывается, сколько государств участвовало в войне с самураями. Где уж было японцам устоять перед таким скопищем!

В тот же день, сразу после подписания исторического акта, наш «второй Зорге» Михаил Иванович Иванов вернул американскому адмиралу Нимитцу шофера-негра, данного напрокат. Отправил с благодарностью назад, в состав Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки — по принадлежности.

После каждого большого события принято подводить итоги. И чем событие сложнее, масштабнее, размашистей по времени и пространству, объемней по количеству участников, тем труднее его анализировать и в целом, и особенно в деталях, коих неимоверно много, и зачастую противоречивых. Субъективность подходов, разность восприятия, поиски оправданий или возвеличивание заслуг, политические интриги и спекуляции — все сказывается. Подведение итогов затягивается на долгие годы: некоторые проблемы, связанные с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, не решены до сих пор. Мне вот тоже довелось поучаствовать в выяснении истины, но не в трибунных дискуссиях, не в печати, а, как говорится, стреляя с закрытых позиций: изучать по поручению Иосифа Виссарионовича интересовавшие его аспекты, докладывать свое мнение только ему или ограниченному кругу лиц.

Был такой случай. Спустя порядочный срок после войны на Ближней даче состоялся обычный для Сталина поздний обед, можно сказать, семейный ужин: кроме Молотова и нескольких постоянных сотрапезников присутствовал нечастый гость — сын Василий, авиационный генерал. Наверно, поэтому и разговор пошел об авиации. Знающие люди пошучивали: Василий ведь либо о выпивке, либо о самолетах. Ну, о выпивке в присутствии отца Василий толковать воздерживался, зато об авиации с удовольствием, тем более что и Иосиф Виссарионович любил эту тему, охотно слушал, сам вставлял фразу-другую.

Василий, даже под бдительным оком отца умудрившийся основательно заправиться «горючим», несколько сумбурно излагал свои соображения о том, что в решающий период войны, в битве на Курско-Орловской дуге, главную роль сыграла не пехота, не танки, не артиллерия даже, а наша авиация, прежде всею штурмовики «Ил-2», наши бронированные «летающие танки», которым никакой противник ничего не мог противопоставить.

Сотрапезники ели, слушали вполуха, не возражая. А чего возражать-то, когда все знали: «Ил-2» действительно был лучшим боевым самолетом Второй мировой войны, это признавали как наши неприятели, так и друзья-союзники. Немцы величали его не только главным врагом люфтваффе, но и врагом всего, вермахта. Высший эталон самолета-штурмовика, высшее достижение авиационного прогресса. Надежность и живучесть непревзойденные, в изготовлении прост. Разил врагов крупнокалиберными пулеметами, пушкой, реактивными снарядами, бомбами.

Знали присутствовавшие и о том, что «Ил-2» стал самым тиражным военным самолетом за всю историю мировой авиации. Было выпущено более 36 тысяч таких машин (а всего за годы войны промышленность дала нам 125 600 воздушных машин всех типов). Второе место по тиражу среди самолетов различных классов и первое среди истребителей занимал пресловутый немецкий «Ме-109» (по разным данным, от 30 до 33 тысяч экземпляров). На третьем месте наш «Як-3» — более 28 тысяч экземпляров. Все ясно, спорить не о чем. Но заправившийся Василий, воспринимая молчаливое согласие слушателей как равнодушие к любимой им авиации, распалялся все больше, становился все красноречивей.

На что рассчитывали гитлеровцы, готовя между Курском и Орлом решающее летнее наступление 1943 года? Прежде всего на свои тяжелые,

с мощной броней танки нового поколения, которые считали неуязвимыми. Это «тигр», это «пантера», это «элефант», предназначенный для уничтожения на поле боя советских бронированных машин. Наши сухопутные войска готовились, конечно, к встрече с этим сильным «зверьем», но как с воздуха-то достать, расколошматить в пути, не допустить до ближнего боя, в котором только и сказывалось преимущество новой немецкой техники?! Опять же надежда на штурмовик «Ил-2». Но вот какая закавыка. Штурмовик тогда брал в полет четыре обычные стокилограммовые авиабомбы. При прямом попадании такая бомба разделает танк, как черепаху, при очень близком разрыве повредит. Но попробуй-ка с воздуха, на скорости, попасть в движущийся или хотя бы даже в стоящий танк! Если и попадешь, то бомба может срикошетить, отскочить от брони, взорваться в стороне.

— Иван Ларионов выручил, — энергично жестикулировал Василий, — Ванька из Ленинграда. Предложил бомбочку кумулятивного действия. Не бомбочку вроде даже, а детскую игрушку. Длина всего вот, — показал он пальцами, — тридцать сантиметров, вес — полтора килограмма. Положил в карман и гуляй. Никто не поверил в пользу-то. А на испытаниях ахнули: до чего додумался блокадник! Таких противотанковых бомбочек «Ил-2» брал триста штук… Триста двенадцать в четырех кассетах. Сыпал их сверху, как горох, на немецкие танки да на машины. Не всякая попадет, но уж та, которая попадет, не срикошетит, не отскочит, на то она и кумулятивная. Прилипала к броне, прожигала ее направленным взрывом. И каюк зверю… Я правильно сказал? — повернулся он к Сталину.

— Да, верно, — улыбнулся тот. — Мы когда узнали о ПТАБе, об эффективности этой противотанковой бомбы, приказали наркому Ванникову изготовить восемьсот тысяч штук к началу летних боев, а до той поры не применять, держать в строгом секрете. Фашисты никак не ожидали от нас такой новинки.

— Вы представьте, представьте! — обрадовался Василий поддержке отца. — Идет по степи колонна «тигров». Пятьдесят. Пусть восемьдесят. И вдруг над ними наши штурмовики. Всего-то, может, две пары. Пикируют. И на эту колонну — тысяча двести ПТАБов! Засевают бомбами всю окрестность. Не спасешься. Горят «тигры». Полный разгром бронетанковых войск!

— Не преувеличивай, — охладил сына Иосиф Виссарионович. — До полного разгрома было еще далеко. И пехоте, и артиллерии, и танкам нашим работы хватило… Извините, товарищи, я на минуту…

Сталин скрылся за дверью. Никто не придал этому значения. Довольные, сытые гости припоминали, какие имена-названия давались штурмовику военным народом. От панибратского «Илюхи», от «горбатого» до «летающего танка» и «черной смерти».

Иосиф Виссарионович возвратился с тоненькой папкой в руке. Сел на свое место, достал несколько листков бумаги, положил перед собой. Заговорил, как на обычном совещании-заседании.

— Тут у нас данные, которые вызывают недоумение. Мы знаем, сколько самолетов построили за время войны. Мы достоверно знаем, какой урон нанесли противнику. Наша авиация и зенитная артиллерия уничтожили на советско-германском фронте в обшей сложности 52 650 немецких воздушных машин всех типов. — Сталин глянул на бумажный лист. — Для сравнения: потери немецкой авиации от наших союзников за всю войну, с тридцать девятого по сорок пятый год, составляют примерно двадцать

четыре тысячи самолетов. Вдвое меньше поработали наши союзники при всей их технике и за более долгий срок. Хотя и предпочитали сражаться в воздухе, а не на земле… Эти данные бесспорны. Иосиф Виссарионович нахмурился. — А вот у нас здесь немецкие сведения, немецкие цифры, из которых следует, что гитлеровцы уничтожили втрое больше наших самолетов, чем мы у них.

— Получается даже больше, чем мы вообще выпустили? — полувопросительно произнес Молотов. — Значит, мы закончили войну без единого самолета? Чем же мы завоевали господство в воздухе, как победили?.. А-а-абракадабра.

— Все не так просто, Вече. Учитываются машины довоенною производства, а их было немало. Машины, поставленные нам по ленд-лизу. Но все равно цифры наших потерь неправомерно завышены. И ведь это немцы, привычные к точности, к строгой отчетности. Зачем им обманывать себя?.. Василий, сколько фашистов сбили наши лучшие истребители?

— Кожедуб — больше шестидесяти. Покрышкин почти столько же.

— Это много?

— Очень много, ты ведь сам знаешь.

— Но я знаю и другое. По немецким сведениям, ас Хартманн сбил 352 самолета, из них 347 — советских. Ас Баркхарн — 301 машину. Что за богатыри? Тебе известно о них?

— С потолка взято. Это практически невозможно, этого не может быть…

— Потому, что не может быть никогда, — сыронизировал Иосиф Виссарионович. — Веский довод. Но зачем немцам потолочные данные? Нас пугать?

— Не знаю, — Василий пожал узкими мальчишескими плечами, которые не выглядели шире даже от генеральских погонов на гимнастерке. — Не думал.

— А следовало бы подумать, это полезней, чем руками в застолье махать, распинаясь о прошлых успехах.

Молотов поспешил защитить Василия:

— Может, геббельсовская пропаганда по принципу: чем больше наврешь, тем скорее поверят.

— Нет, это не геббельсовская фантазия, — возразил Иосиф Виссарионович. Это официальные данные для высшего командования, для Геринга и Гитлера. Выдумывать не положено. И все-таки здесь что-то не так. Пусть этим займутся в Генштабе. И ты тоже, Василий, займись со своими авиаторами.

Озадачил, значит, Иосиф Виссарионович сына, так озадачил, что он потом, в машине, недовольно бурчал нечто вроде «не было печали, да черти накачали». Это когда мы вместе уехали из «Блинов». По пути было: мне в Жуковку, а ему на Дальнюю дачу.

— А что, самому-то разве не интересно выяснить? — спросил я.

— Очень даже интересно, только с какого конца подступиться? Посоветуйте. Николай Алексеевич.

— Ладно, — пообещал я, стараясь успокоить Василия. — Завтра в восемнадцать ноль-ноль. Устраивает?

— Вполне! — обрадовался молодой генерал.

Не на ветер слова были брошены. Еще за столом в «Блинах», слушая разговор, я прикинул, с чего начать, если бы дело поручено было мне. Вспомнил о своих поездках с несколькими генералами и офицерами Генштаба в Красногорск, в лагерь военнопленных, о наших

профессиональных беседах с немецкими военачальниками за чашкой кофе или рюмкой коньяка: даже в ту пору, когда еще шла война, немецкие коллеги делились с нами полезными сведениями, а уж теперь-то, после нашей победы, что им было скрывать. А сами встречи, обмен мнениями — это же приятное разнообразие в их монотонной жизни.

Поручил соответствующим товарищам пригласить на беседу несколько немецких авиационных генералов, старших и средних офицеров, строевых и штабников. С нашей стороны такой же состав. А Василия попросил заменить на время генеральские погоны на майорские да держаться в тени, поскромнее, чтобы не опознали немцы. С этим Василий справился, к тому же приехал на встречу в 27-й лагерь совершенно трезвым и до конца беседы спиртным не злоупотреблял, хотя стол, стараниями его подчиненных, был сервирован хорошо, разнообразно.

А шкатулка, над секретом которой умные люди ломали свои головы, — эта шкатулка, как часто бывало и бывает со времен дедушки Крылова и до нашей поры, просто открывалась, без всяких тайных запоров. Разная система учета у нас и у немцев — вот и все.

Наша — простая и строгая. Летчик докладывает командиру: сбил «фрица». Но для того, чтобы победа была зачтена и записана в летной боевой книжке, ее должны были подтвердить фотоконтроль и свидетельство еще двух летчиков, видевших, как был сбит противник. В крайнем случае свидетельство других военнослужащих, находившихся там, где упала вражеская машина. Немецкие же летчики фотоконтроля не имели. Для них достаточно было, что «русский Иван» задымил и отвалил в сторону, вышел из боя. А сколько таких машин возвращались потом в строй?! «Сбивали» ведь таким образом и Покрышкина, и Кожедуба, а они вновь и вновь поднимались в воздух на отремонтированных или на новых машинах.

Странным и непонятным для нас был немецкий метод учета по принципу «самолето-моторов». Сбивает фашистский ас двухмоторную машину — ему записывают два самолета. «Завалил» четырехмоторную — сразу четыре. Где уж было нашим летчикам-пилотам угнаться за такими темпами. Да ведь и это еще не все. Если немецкая эскадрилья в групповом бою сбивает, к примеру, три наших самолета, то по три машины начисляют каждому члену эскадрильи участнику вылета. А их дюжина. Попробуйте умножить — грандиозная арифметика! А если командир авиазвена или эскадрильи в какой-то день не взлетал, в бою не участвовал, но его подчиненные разбомбили на аэродроме или сбили несколько наших самолетов, то командиру все равно ставилось это в заслугу, его личный счет увеличивался соответствующим образом.

Не берусь судить, чья система учета, а следовательно, и поощрений была справедливей, лучше, но немецким летчикам она нравилась. Цифры-то какие: есть причина гордиться, носы задирать! Наша же система обеспечивала полную достоверность. Сбил Александр Покрышкин без малого шестьдесят вражеских машин, и это бесспорно, комар носа не подточит. А сколько реальных побед у немецкого аса-рекордсмена, определить невозможно: слишком много накручено.

Обо всем этом генерал Василий Сталин самолично доложил отцу генералиссимусу. Я же попросил Василия мою фамилию не называть, что он и сделал. Иосиф Виссарионович был удовлетворен и доволен. Василий тоже.

С итогами воздушных сражений разобрались. Спустимся на землю. Много недоразумений, противоречий возникало при подсчете потерь воевавших сторон. И теперь не утихают еще споры-раздоры, основанные зачастую не столько на желании выявить истину, сколько на политических и пропагандистских спекуляциях. Можно выделить по крайней мере два основных направления. Общие потери государства, к примеру, нашей страны. Это и воины, павшие в сражениях, и мирные жители, погибшие от пуль и снарядов, уничтоженные фашистами на оккупированных территориях — Белоруссия потеряла четверть своего населения. Это и люди, умершие от голода и болезней, хотя бы в том же блокированном Ленинграде. Это и неродившиеся из-за отсутствия мужчин дети. Тут прямая ответственность лежит на агрессоре, развязавшем Вторую мировую войну, не скрывавшем своего намерения очистить от других народов «жизненное пространство» для своей «избранной» нации. А второй аспект — чисто военные, фронтовые потери, характеризующие состояние вооруженных сил и способности высшего военного и политического руководства, от генералов поля боя до главы государства.

Отправной точкой расчетов служила нам первая всеобщая перепись населения России, состоявшаяся в 1897 году. В стране тогда насчитывалось 148 миллионов человек — для простоты я буду несколько округлять цифры. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков численность росла медленно. Жизненные условия для основной массы людей при царском правлении, в условиях развивавшегося капитализма, были очень тяжелые, особенно для крестьян. Медицинское обеспечение низкое. Отсюда и высокая смертность — прежде всего детская. По данным мобилизационного управления старой армии, к началу Первой мировой войны, к 1914 году, население России увеличилось примерно до 160 миллионов. (По «Энциклопедическому словарю» — несколько больше.) Таков, значит, был дореволюционный демографический фундамент.

Первую попытку новой, советской власти учесть население государства, предпринятую в 1926 году, удачной не назовешь. И опыта не имелось, и страна еще не утихомирилась после революционных потрясений, а в Средней Азии вообще еще продолжались бои. Многие люди по разным причинам уклонялись от учета, не желая «попасть в списки». Зато следующая советская перепись готовилась продуманно, тщательно, без спешки. Одних только счетчиков было выделено и обучено более миллиона. Чтобы каждого человека зафиксировали, даже в самых дальних и труднодоступных уголках. И вот 6 января 1937 года счетчики пошли по домам, по квартирам. В Москве день был солнечный, с хорошим морозцем. Я провел его вместе с Иосифом Виссарионовичем, которому, как и мне, и многим другим, не терпелось узнать результаты. Сколько же нас на просторах державы?!

Известно было, что во второй половине двадцатых годов и в тридцатых годах, в связи с улучшением условий жизни народных масс, рождаемость в стране увеличилась, значительно превысив смертность. Страна молодела. По сведениям профсоюзов, на одного гражданина пенсионного возраста приходилось десять работающих.[100] Но имелись и отрицательные факторы. И немало. До революции в состав России входили Финляндия, Прибалтика, Польша, Бессарабия (Молдавия) — теперь их не было. А это более 30 миллионов! Не могли не сказаться последствия

длительных кровопролитных войн: первой мировой, гражданской, борьбы с англо-американо-японской интервенцией. А голод, два тяжелейших неурожая, из тех, что систематически обрушиваются на нашу страну через каждые 12–14 лет?! Что же мы увидим теперь? Возместились ли все эти утраты?

Итоги оказались потрясающими! После всех бед, испытаний, утрат на нашей урезанной, уменьшившейся территории в январе 1937 года проживало 167 миллионов человек. Практически на 20 миллионов больше, чем во всей России к началу века. Огромный рывок вперед. Основательная пощечина тем, кто после Октября, бежав за границу или затаившись во «внутренней эмиграции», охаивал Советскую власть и «жалел» народ, совершивший революцию.

Далее — совсем иной счет, гораздо более скорый, быстро менявшийся и поэтому менее точный, хотя и вполне достоверный в общих чертах. В 1939 году мы возвратили себе обширные и плотно заселенные территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Затем всю Прибалтику и Бессарабию-Молдавию. Количество наших граждан резко возросло. А время было горячее: не до выяснения подробностей. Довольствовались приблизительными данными. Ученые-демографы общей точки зрения не имели, а мы, военные, считали, что к началу войны с Германией на просторах нашей расширившейся страны обитало около 190 миллионов человек, плюс-минус один или два миллиона. Эта цифра особенно важна в данной раскладке, только с ней можно было сравнить сведения о населении, полученные из всех областей, краев и республик в конце 1945 — начале 1946 годов. Суммировали в Москве, и получилось около 170 миллионов. Разница в 20 миллионов, опять же с каким-то плюсом или минусом. Настолько уменьшилось население нашего государства за четыре года войны. Все другие выкладки и рассуждения не ближе к истине, чем приведенные здесь.

При подсчете общих потерь, как и вообще при подсчете населения государства, важна, на мой взгляд, не столько скрупулезность (до единого человека!), сколько проявившаяся тенденция — основание для размышлений и широкомасштабных выводов. А вот вопрос о чисто военных, фронтовых потерях носит иной характер, требует особой точности и непредвзятости. Хотя бы потому, повторяю, что речь идет о готовности войск, о мастерстве полководцев, о престиже должностных лиц, о персональной ответственности военных и политических руководителей. Поэтому о боевых потерях, даже о методологии их исчисления споров было особенно много. После долгих дискуссий проявились, наконец, более или менее определенные цифры, которые были доложены Сталину и членам Политбюро. Безвозвратные потери наших вооруженных сил (убитые, без вести пропавшие, погибшие в плену, умершие от ран) составляли около 8 с половиной миллионов человек. Потери немцев на советско-германском фронте — примерно 5 миллионов 500 тысяч солдат и офицеров. Плюс 1 миллион 200 тысяч у гитлеровских союзников-сателлитов, воевавших против нас. Соотношение 1.3:1.

Сомнение в правильности подсчетов сразу же высказали несколько советских маршалов и генералов, в том числе и ваш покорный слуга. Утверждали, что потери фашистов оказались значительно заниженными. На чем мы основывались? А на том, что разработчики отчетности хорошо знали и учли все потери нашей стороны, в тем числе и народного ополчения, и добровольческих истребительных батальонов. Даже потери в

войне с Японией заодно включили. А вот немецкие потери не были достоверны, совсем не принимались в расчет фольксштурм, другие специальные полувоенные формирования. А западно-украинские националисты, сражавшиеся рука об руку с гитлеровцами?! А дивизии СС, созданные из граждан Прибалтийских республик?! Они, как и власовцы, оказались либо совсем не учтенными, либо вошли в число наших общегосударственных утрат. Такие вот завихрения.

Разработчики ссылались на то, что соотношение не в нашу пользу складывается из-за огромных потерь среди военнопленных, которые были истреблены в фашистских лагерях. В то время как подавляющее количество немецких пленных, благополучно отбыв свой срок, вернулись на родину. Это был веский довод. А вот с другой ссылкой — на наши слишком большие потери в 1941–1942 годах, перевешивавшие чашу весов, — я никак не был согласен. Потом-то ведь пришли победные годы, когда мы уничтожали фашистов не меньше, а даже больше, чем они нас в начале войны. Наши штабы снизу доверху вели строгую отчетность, а она такова.

Летне-осенняя кампания 1944 года. Безвозвратные потери Красной Армии — 470 тысяч человек. Германская сторона — 858 тысяч солдат и офицеров. Соотношение 1:1.8. Первая половина 1945 года. Наши безвозвратные потери — 376 тысяч человек. У немцев — 1 миллион 277 тысяч, то есть в три с лишним раза больше. Такие вот солидные гири на чашу весов.

Иосиф Виссарионович был в общем согласен с приведенными здесь выкладками, которые были сообщены ему при первой возможности. Однако воспринял их несколько иначе, чем я надеялся: смотрел с более высокой колокольни. Обстановка в Европе была тогда напряженной, наши недавние союзники во всю силу своих возможностей разжигали войну холодную, могущую перерасти в настоящую. Вспыхивали беспорядки в Берлине, поднимали головы наши враги в столицах других государств.

— Сколько венгров погибло на советско-германском фронте? — спросил Сталин.

— Точных данных нет. Однако известно количество мадьяр, сдавшихся в плен и учтенных в наших лагерях, — 513 тысяч.

— А существует ли в мировой практике среднеарифметическое соотношение между попавшими в плен и погибшими? Можно ли исходя из одного вычислить другое?

— Весьма приблизительно, в зависимости от разных этапов и исхода той или иной войны.

— И все же?

— Погибших обычно в два — два с половиной раза больше, чем попавших в плен. Но это применимо к настоящему стойкому воинству. К нам, к немцам. Когда борьба идет за собственные интересы с традиционным противником. А мадьяры вынуждены были воевать за гитлеровцев и без особой охоты. Случалось, сдавались гуртом при первой возможности. Как румыны и чехословаки.

— Сколько их подняло руки?

— Румын — 180 тысяч, чехословаков — без малого 70 тысяч.

— Большие получаются цифры, значительные потери, задевающие национальное самолюбие. Не следует сейчас много говорить об этом, привлекать внимание. Это не поможет, а только повредит нашим друзьям в странах народной демократии. У них там других сложностей хватает.

Пусть наши военные исследователи продолжают свою работу, уточняют и анализируют данные. Но без широкой огласки.

Так лучше. Тем более что сведения продолжают поступать.[101]

— А цифры у вас интересные, Николай Алексеевич. По памяти.

— Имеется список национального состава военнопленных. Много любопытного.

— Не сочтите за труд.

— Немцев примерно 2 миллиона 400 тысяч. Австрийцев — 156 тысяч. Поляков — 60 тысяч. Итальянцев — 499 тысяч. Французов — 23 тысячи. Югославов — 21 тысяча. Голландцев без малого 5 тысяч. Финнов — 2 тысячи 300. Бельгийцев — 2 тысячи. Люксембуржцев одна тысяча 600. Датчан и испанцев по 450. Норвежцев — 101.

— Вся капиталистическая Европа, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Географию изучать можно. Представители всех государств.

— И даже сверх того.

— А что может быть сверх? Эскимосы или зулусы?

— Цыгане, к примеру. Их оказалось в нашем плену ровным счетом 383.

— Немцы же уничтожали цыган, как недочеловеков.

— Да ведь и поляков тоже, и тем более евреев. Но находились евреи, верой и правдой служившие гитлеровцам.

— Мне докладывали, что переводчиком у фельдмаршала Паулюса был некто Коган. Сдался вместе с фельдмаршалом.

— Если бы он один… В наших лагерях для военнопленных официально зарегистрированы 10 тысяч 173 еврея, воевавших против Советского Союза на стороне фашистов.

— Так много? — удивился Сталин. — Если исходить из такого количества и вывести среднеарифметическое… Получается, что против нас, за Гитлера, сражались три еврейские дивизии.

— Нет, таких формирований не было. В рассеянии, без концентрации.

— Это не меняет сути…

Читателю, вероятно, нелегко воспринять сразу столько цифр, сосредоточенных так плотно, однако эта концентрация необходима для того, чтобы путем сопоставления прояснить хотя бы некоторые итоги Великой войны. Полезно для тех, кто стремится к истине.

Мы в тот раз не говорили с Иосифом Виссарионовичем лишь о пленных японцах, хотя по количеству они, после немцев, занимали второе место — 639 тысяч 635 человек. Дело в том, что с ними все было проще и понятней. В массе своей японцы капитулировали организованно, их легко было сосчитать, обустроить, разместив по Дальнему Востоку и в Сибири. Иногда даже в составе тех частей и подразделений, в которых они сложили оружие. И работали они столь же организованно, как и сдались, добросовестно выполняя указания своего высшего руководства, непосредственно самого премьер-министра Страны восходящего солнца Фумимаро Каноэ. Еще в 1945 году на переговорах с советскими представителями он передал предложение Сталину использовать японских военнопленных в трудовых лагерях, компенсируя потери, которые Советский Союз понес в войне с Японией. Своего рода контрибуция. К тому же и пленным легче коротать время, если они не киснут от безделья в бараках, а трудятся, зарабатывая при этом кое-что и для себя. Хотя бы прибавку к пайку. Соответствующие документы были представлены Сталину. Он согласился.

Конечно, скучали японцы по родным и близким, по своим островам, но жили они в щадящих условиях, ходили почти без конвоя, получали медицинскую помощь, питались не хуже многих наших людей. И опять без цифр не обойтись, очень уж они красноречивы и упрямы. Японские пленные начали возвращаться домой в 1954 году, а последняя партия отбыла в декабре 1956 года. В среднем пробыли у нас по 10 лет. За этот срок из 640 тысяч пленных умерло 62 тысячи, в основном за первый год. По разным причинам: смена климата, перемена питания и так далее. Значит, за 10 лет скончалось менее десяти процентов. То есть умирало менее одного процента в год, иными словами, меньше, чем один из ста. Ну, допустим, один. А это нормальная естественная убыль для взрослого населения по тому времени в той же Японии или у нас. Не плен, а прямо-таки курорт, оазис для долгожительства. И опять сравнение; за четыре года войны в немецко-фашистских лагерях было убито, замучено, умерло от голода и болезней 58 процентов советских военнопленных. Есть ли надобность что-то пояснять, добавлять к таким показателям?!

Обидно, что некоторые японцы, вернувшись на свои острова полными сил и здоровья, сразу же энергично включились в антисоветскую пропаганду, печатно и по радио распространяясь о том, какие тяготы и мучения перенесли в русском плену. И кто же рассуждает, кричит об этом? Те самые самураи, чья патологическая дикарская жестокость превосходила даже «цивилизованную» жестокость немецких фашистов! Это ведь самураи отрубали головы пленным американцам, англичанам, австралийцам, заподозренным или пойманным при попытке к бегству. Были случаи, когда у пленных вырезали печень и съедали ее: считалось, что при этом сила и мужество побежденного противника переходит к победителю-самураю. Это ведь японцы зверски истязали медицинскую сестру из морской пехоты Марию Цуканову, которая, будучи раненной, оказалась у них в когтях. Более зверски и изощренно, чем немцы Зою Космодемьянскую. Вонзали Цукановой штык в рану и проворачивали его. Говорить страшно, а приходится. Могила Героя Советскою Союза Марии Никитичны Цукановой на сопке над морем в корейском городе Чондин (по-японски Сейсин) — вечный позор и вечный укор самураям.

А известный теперь на весь мир лагерь смерти под кодовым названием «отряд 731», созданный японцами возле города Харбина для проведения изуверских экспериментов над людьми, в том числе над пленными, при разработке различных видов бактериологического оружия?! Кошмарнее не придумаешь! Ведь только в том сверхсекретном «отряде» японцы уморили, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек, среди которых были дети и женщины. И вот те же самые самураи, возвратившись из Советского Союза в полном здравии и благополучии, жалуются на жестокое якобы обращение с ними, беззастенчиво клевещут на нас. Какая черная неблагодарность!

Необходимое добавление автора. Еще более обидно, что распространяемая самураями клевета обрела сознательную и активную поддержку политических игрунов нашей страны, которые любой ценой ищут себе опору за рубежом, в стане извечных недоброжелателей России. Как же надо не любить свой народ и его историю, чтобы вопреки фактам униженно просить от имени того же народа извинения за грехи, которых не было. Дословно: за «бесчеловечные действия, которые были совершены в отношении японских военнопленных». Это Ельцин осенью 1993 года пластался таким образом в Токио перед японским императором, а затем

перед премьер-министром, оскорбляя своим лизоблюдством нас, нашу Россию.

Ах, ах — разнесчастные самураи, их так долго держали в лагерях и к тому же (какое варварство!) заставляли работать: лес пилить и дороги прокладывать. На такой ноте Ельцин с премьер-министром Морихиро Хосокава общался, не зная, вероятно (а советники куда смотрят?!), что не кто иной, как дед этого самого Хосокавы, бывший премьер-министр Фумимаро Коноэ, убедительно просил Сталина использовать японских пленных в трудовых лагерях для частичного возмещения материальных и моральных убытков, нанесенных Японией нашей стране. Ну и для облегчения участи самих пленных. Особая пикантность заключается в том, что как раз в дни ельцинских «покаяний» документы о взаимоотношениях Сталина и Коноэ впервые печатали азиатские газеты, в том числе и японские. Смешно? Да, если бы не было стыдно за нашего «правителя». И грустно.

12

Иосиф Виссарионович хорошо знал историю вообще, а нашей страны тем паче. История же убедительно демонстрирует, что каждая большая война чревата для России тяжелыми политическими и экономическими последствиями, а если сказать проще — народным недовольством, бунтами и, как правило, большим голодом. Возьмем победу над Наполеоном. Несколько лет провели тогда российские офицеры и солдаты в Центральной Европе, во Франции, насмотрелись на тамошние порядки, сравнивая их со своими. Многие офицеры настроились против неограниченного царского самодержавия. А бравые наши солдаты, побившие в сражениях все вражеские рати, прошагавшие до Парижа, попользовавшиеся прелестями Монмартра, возвращались в свое захолустье, в нищие деревни, ограбленные крепостниками-помещиками. Результат — восстание в декабре 1825 года, хотя и закончившееся неудачей, но надолго всколыхнувшее страну.

Всенародное возмущение, вызванное поражением в Крымской войне, заставило царское правительство срочно провести ряд важных реформ, в том числе и военную, отменить наконец крепостное право. Неудачи 1904–1905 годов на Дальнем Востоке, захват японцами наших земель сразу же аукнулись бурным революционным подъемом по всей стране, едва не снесшим с трона государя-императора, вынудившим его поделиться властью, созвать Государственную думу.

Логическим завершением Первой мировой войны, обострившей все внутренние противоречия, обнажившей все язвы, стали сразу две революции, расправившиеся и с самодержавием, и с буржуазией. Но ни Первая мировая война, ни тем более противонаполеоновская Отечественная не были столь грандиозны по размаху, по людским и экономическим потерям, по народным страданиям, как Вторая мировая война, а для нас еще и Великая Отечественная. Значит, и последствия будут соответствующе огромными. Ресурсы промышленности на исходе, сельское хозяйство в упадке, без техники и рабочих рук: все надо возрождать или создавать заново. А народ устал, народ раздражен. Если во время войны тяготы объяснялись напряженной борьбой с врагами-захватчиками, то теперь не всякий уразумеет, почему нет облегчения, почему жрать нечего и одеться не во что.

Немцам и японцам помогут американцы, экономикой перетягивая на свою сторону, привязывая к себе. А нас, больше всех пострадавших в битве с фашизмом, кто поддержит? Опять же американцы?.. Эти поддержат, как веревка повешенного. Постараются потуже петлю затянуть. Недовольство у нас, конечно, проявится. Но когда и в какой форме — это надо было предусмотреть, чтобы не допустить потрясений, не суливших ничего, кроме добавочных материальных утрат и, возможно, большой крови.

Знал Сталин и вторую нависшую над нами угрозу, способную усугубить первую. Это — большой голод. Я уже упоминал о том, что на нашу страну систематически, через каждые 12–14 лет, обрушивается неурожай. Высокомудрые ученые связывают это с периодами солнечной активности, но никто не объяснил, почему тяжкие неурожаи «накладываются» именно на те годы, когда нашей стране и без того бывает особенно трудно, доводят до предела ниспосланные нам испытания. Окинем взглядом хотя бы недалекое прошлое. Вскоре после поражения от японцев в 1904–1905 годах, взвихрившего волнения в стране, возник голод в целом ряде губерний, в больших городах. Затем страшный мор, охвативший в 1920–1921 годах все Поволжье с населением в 20 миллионов человек. Две войны, первая мировая и гражданская, забрали под ружье мужиков, чуть ли не подчистую вымели конское поголовье. Уже к 1918 году посевной клин в Поволжье сократился более чем наполовину. А затем грянули подряд два засушливых года: ни снега зимой, ни дождя летом. Даже то немногое, что было посеяно и посажено, сгорало под знойным солнцем на сухой почве. Вымирали деревни. Кто мог — уезжал. Пустели целые уезды.

В свой срок неурожай накатился снова, на этот раз обрушившись в основном на Украину, на южные хлебоносные районы. И как раз в то время, когда сельская местность еще не оправилась от потрясений коллективизации, не укрепились новые формы труда. Стихия, словно по заказу, опять выбрала такой период, когда ей легче, беспрепятственней было разгуляться на нашей земле, принести наибольший вред. Вот и теперь, по всем расчетам, неурожай должен был вновь обрушиться на нашу страну, ослабленную войной с фашистами. Мы ждали капризов природы, мы готовились к ним, но возможности-то наши были невелики. Посевные площади уменьшились, почти нет удобрений, мало семян, мало машин и скота.

Беду ждали, но она накатилась не сразу. Конец 1945 и начало 1946 года прошли довольно благополучно. На победной волне. С продовольствием было терпимо. Мы использовали свое законное право забрать у побежденных часть их запасов, в том числе зерно и мясомолочные продукты. И кое-что другое: различную технику, морские суда, станки… Хоть какая-то компенсация за то, что было увезено гитлеровцами, разграблено, уничтожено. Но надолго ли хватит чужого, если собственный карман пуст?!

После изматывающего напряжения военных лет даже молодым, здоровым людям требовался хороший отдых, а уж тем более Сталину, перед которым зримо обрисовывался семидесятилетний юбилей. Но отдыхать ему было некогда. Расслабился бы Иосиф Виссарионович, и покатилось бы расслабление вниз и вширь по всему государству. Однако Сталин трудился с полной нагрузкой, не щадя ни себя, ни своих соратников. И не через силу работал, а находя в этом удовлетворение.

Он достиг наивысшего взлета, самой большой славы и мировой авторитетности. Кроме всего прочего, еще и потому, что никто теперь не загораживал его горизонт, даже сопоставлять Сталина было не с кем. Померкла в британских туманах слава Черчилля, отошедшего от власти. Распрощался с земной суетой президент Рузвельт. В прямом и переносном смысле сгорел Гитлер. А в новой поросли политических деятелей не имелось никого, кто мог бы подняться до уровня Иосифа Виссарионовича, отвлечь на себя внимание общественности. Лишь холмы виднелись да бугры пучились. Президент Трумэн — это всего лишь преуспевающий студент по сравнению с академиком Сталиным. Мао Цзэдун, де Голль, Ким Ир Сен, Джавахарлал Неру — их время еще впереди.

Увы, за каждым подъемом неизбежно следует спуск… Иосиф Виссарионович сознавал это, но, как и всякому смертному, ему не хотелось утратить достигнутого, он старался закрепиться на сияющей вершине как можно прочнее, не замечая, что перевал уже позади. А может, и замечал, постепенно утрачивая то душевное равновесие, которое обрел при военных победах. Во всяком случае, повторяю, работал увлеченно и плодотворно, не выпуская из своих рук бразды правления партийно-государственными упряжками. Его пока хватало на все.

Круг главных забот определялся четко: быстрое восстановление промышленности и сельского хозяйства на новом научно-техническом уровне; расширение и укрепление социалистического лагеря с учетом особенностей входящих в него государств; создание ракетно-ядерного щита для охлаждения тех горячих голов, которые попытались бы воздействовать на нас силой… Работа в этом направлении развивалась особенно успешно. Что ни говори, а первый человек взлетит в космос именно с той платформы, которая была подготовлена Сталиным и его соратниками, причем не только талантливыми учеными, но и такими умелыми организаторами, как Берия. Иначе не держал бы его при себе Иосиф Виссарионович.

Такова работа на будущее. Но были еще и будни, повседневная многообразная действительность, требовавшая постоянных напряженных забот. Наиболее тяжкой трудностью стал для неокрепшей еще страны неурожай 1946 года. При этом удар стихии оказался более сильным, чем ожидалось. В юго-западных областях и все в том же Поволжье голод начал ощущаться с весны, охваченная неурожаем территория быстро расширялась. Ни овощей, ни фруктов, ни зерновых, ни кормов для скота… Иосифу Виссарионовичу докладывали только правду, какой бы страшной она ни была.

«Товарищу СТАЛИНУ

Представляю Вам полученные от т. Абакумова сообщения о продовольственных затруднениях в некоторых районах Молдавской ССР, Измаильской области УССР и выдержки из писем, исходящих от населения Воронежской и Сталинградской областей с жалобами на тяжелое продовольственное положение и сообщениями о случаях опухания на почве голода.

В ноябре и декабре с. г. в результате негласного контроля корреспонденции Министерством государственной безопасности СССР зарегистрировано по Воронежской области 4616 таких писем и по Сталинградской 3275.

Л. БЕРИЯ. 31.XII.46 г.»

«Сов. секретно

МИНИСТРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР

Генерал-полковнику тов. АБАКУМОВУ В. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

о заболевании населения дистрофией, атрофией и безбелковыми отеками в связи с продовольственными затруднениями в некоторых районах Молдавской ССР.

В связи с неурожаем в 1946 г. в районах сельской местности, особенно в южной части Молдавской ССР, ощущается острый недостаток хлеба у населения. В результате тяжелого продовольственного затруднения в селах Кагульского, Бендерского и Кишиневского уездов на почве недоедания отмечено 10834 случая заболевания дистрофией, атрофией и безбелковыми отеками.

В числе больных значительный процент составляют дети дошкольного и школьного возраста… В силу такого заболевания значительно возросла смертность населения в этих районах. Так: в Комратском районе в октябре мес. с. г. умерло 280 чел., в том числе 115 детей. В Чимишлийском районе умерло 70 чел. в месяц. В Волонтировском районе умерло в октябре мес. 16 человек. И в других приграничных пунктах зафиксировано умерших от истощения 65 чел.

Имеют место случаи обнаружения трупов на улицах, дорогах и в поле. В октябре мес. с. г. в Леовскую больницу был доставлен подобранный двухлетний ребенок с запиской, в которой было написано:

«Мой муж погиб на фронте, хлеба мне не дают. Прошу вас, делайте что знаете с ребенком, я ухожу, чтобы прокормить себя, и не знаю, что будет со мной, может, умру, но я не хочу видеть его, как он будет умирать».

На почве создавшегося продовольственного затруднения среди населения наблюдаются факты антисоветских пораженческих и эмиграционно-изменнических настроений. Так, жители села Шереуды Липканского района Тютюнник Е. Н. и Тютюнник В. Н. заявили: «Если так будет дальше, уйдем в Румынию, там условия жизни лучше, чем в Советском Союзе…»

Жительница села Старый Вотраж Бельцского уезда Вербова Мария заявила: «Советы забирают весь хлеб, но скоро их здесь не будет».

С целью своевременного предупреждения деятельности враждебного антисоветского элемента, предотвращения случаев ухода за кордон и выявления организаторов антисоветской работы мною даны соответствующие указания всем органам МГБ Молдавской ССР.

Министр государственной безопасности МССР

Генерал-майор МОРДОВЕЦ,

2 декабря 1946 года».

А вот всего лишь несколько выдержек из частных писем, прошедших «негласную проверку», — множество подобных выдержек подготовлено было для Сталина отделом «В» Министерства госбезопасности СССР. Опять же с грифом «совершенно секретно».

24. XI.46 г. «…Дома дела очень плохие, все начинают пухнуть от голода: хлеба нет совсем, питаемся только желудями».

(Ершов В. В., Воронежская обл., г. Борисоглебск)

24. XI.46 г. «…Мы погибаем от голода. Хлеба нет, ничего нет, есть нечего. Жить осталось считанные дни, ведь питаясь водой, можно прожить только неделю».

(Бобровских А. С., Воронежская обл., с. Бегрибановка)

20. XI.46 г. «…Тяжело жить и морально, и материально, а тут еще надвинулся голод. Ведь в Воронежской области страшный недород. Муки, хлеба коммерческого получить нет возможности, очереди тысячные, люди едят жмых. Вот и живи, как хочешь. Смерть хотя и близка, а страшно от голода умирать. Ну, да все равно, лишь бы поскорей. Я так устала, так тяжело жить».

(Иванова К. И., г. Воронеж)

По Сталинградской области

4. XI.46 г. «Бабушка у нас сильно болеет. Она и все мы опухли, уже три дня сидим голодные. Когда кончатся эти мучения? Хлеба по карточкам стали давать меньше: дети получают по 150 грамм, а мама с бабушкой по 100 грамм…»

(Бурова Г. В., г. Сталинград)

20. XI.46 г. «…Мы сейчас не живем, а существуем. И когда только кончатся эти мучения? Мы уже начали пухнуть, переживаем страшный голод, смерть стережет нас».

(Барыкин А. К., Сталинградская обл., Н-Чирский р-н, х. Демкин)

Голодающим, разумеется, старались помочь за счет тех областей, где урожай был получше, кое-что привозили из-за границы, но для огромной страны, залечивавшей военные раны и пораженной недородом, это были малозаметные крохи. Такова, значит, была обстановка, таким был фон событий, о которых хочу рассказать подробней, потому что они касались главным образом «моего» ведомства — военного ведомства.

Итак, Сталин знал, что в нашей стране после каждой большой войны возникают волнения, брожение, недовольство властью. Особенно когда положение осложняется неурожаем, голодом. То есть в такой ситуации, которая сложилась у нас. Надо было готовиться к подавлению волнений, а еще лучше не допустить их. При этом движущую силу возможного бунта Сталин видел в миллионах фронтовиков, вернувшихся после демобилизации в родные края. Самая активная и решительная часть населения, оказавшаяся далеко не в лучших условиях. Привыкли к твердому армейскому пайку, к казенной одежде-обувке, а тут все надо самим. Многие без специальности, без хорошей работы. Неустроенность, нудный и тяжкий быт. А если учиться, то на какие шиши?! На поле боя проблемы решались штыком и пулей, а тут как? Боевым напором семью не прокормишь. Может, не все правильно в государственном устройстве, что-то надо менять?

Вот она — горючая масса: чиркни спичкой, и вспыхнет. Хлынут фронтовики за вожаками, привычно сливаясь в роты и батальоны, умело пользуясь любым оружием. А вожаки кто? Да те же генералы, которые недавно вели в бой, которым фронтовики верили, чьи приказы привыкли исполнять. А над генералами прославленные маршалы, известные всей стране, — это прежде всего Жуков, Конев и Рокоссовский. И еще адмирал Кузнецов, за которым стоял военно-морской флот. Грозная сила, если все названные товарищи объединятся.

Такую возможность Иосиф Виссарионович предусмотрел заранее, еще на завершающем этапе войны. Перед началом наступления на Берлин сместил с поста командующего 1-м Белорусским фронтом Рокоссовского и отправил на соседний 2-й Белорусский фронт, а вместо Рокоссовского на главное, почетное направление назначил Жукова. Пустил черную кошку между давними друзьями-приятелями. Константин Константинович

пребывал в уверенности, что инициатива исходила от Жукова, стремившегося во всем быть первым. Охлаждение было заметно.

Взаимные отношения между Жуковым и Коневым не выходили за рамки служебно-официальных, хотя Георгий Константинович сделал для Ивана Степановича много полезного. В 1941 году выдвинул его на должность командующего фронтом. Но тот почему-то Жукова недолюбливал, может быть, завидовал его громкой славе. В апреле 1945 года Сталин обострил соперничество двух маршалов, понудив их соревноваться: какой фронт, 1-й Белорусский или 1-й Украинский, раньше ворвется в Берлин?!

Нет, объединиться три маршала и стоявший особняком адмирал не могли, хотя при определенных условиях поддержали бы друг друга. Если от кого и исходила реальная угроза, то лишь от Жукова — кумира фронтовиков, прямо-таки легендарного народного героя. Вознесся почти до уровня самого Сталина, во всяком случае, был вторым после Иосифа Виссарионовича и сознавал свою популярность. К тому же честолюбив, самоуверен, в поступках крут. Следовало принизить его авторитет, отдалить от войск. Но не по-топорному, а осторожно, не вызывая ни у кого недовольства. Вот и подошли мы к тому, как стал Георгий Константинович основным персонажем запутанной и трагической истории с нашими полководцами, в которой пострадало до сотни генералов и адмиралов, которую объединяют у нас под общим названием «дело генералов» или «дело семидесяти пяти». Все без разбора смешивается в одну кучу. Фактически же единого «дела семидесяти пяти» не существовало, был целый ряд отдельных дел разного направления, с разным уклоном: некоторые не имели никакого отношения к Жукову. Формально связывает их лишь то, что полководцы, арестованные в 1946–1948 годах, довольно долго ждали решения своей участи и многие из них были расстреляны в августе 1950 года в один и тот же день. А это, конечно, не совпадение, а указание свыше.

13

Печальную историю с генералами и адмиралами можно разделить на три части. Так называемый заговор против Сталина — это раз. Сведение под таким предлогом личных счетов некоторыми высокопоставленными деятелями — это два. А на последнем месте, как в повестке дня какого-либо совещания или собрания, — разное. Вот с этого «разного» и начнем, рассматривая названные пункты не по очереди, а в обратном порядке, приводя в каждом случае хотя бы по одному характерному примеру.

Среди первых пострадавших оказался мой давний знакомый Григорий Иванович Кулик, по словам Жукова, «вояка без определенного звания с отпечатками на заднице сталинского сапога». Накликал Кулик на себя беду собственной глупостью и неосторожностью. Удачливый вроде бы человек, пригретый судьбой. И — царапинка на моей совести: не без моей помощи сделал карьеру. Для Сталина Кулик — соучастник того первого военного успеха, который был достигнут Иосифом Виссарионовичем в 1918 году под Царицыном. Это когда я подал идею сосредоточить на узком участке фронта всю имевшуюся у нас артиллерию: Сталин мою идею поддержал, а командарм Ворошилов и начальник артиллерии Кулик осуществили. Есть даже некий оттенок суеверия в том, что Иосиф Виссарионович, помня о победе под Царицыном, многое прощал Ворошилову и Кулику, видя в них людей преданных, приносящих удачу.

Слишком много прощал. А если и наказывал, то достаточно мягко, не как других.

В мае 1940 года Григорий Иванович стал Маршалом Советского Союза. Когда грянула война, послан был на Западный фронт разобраться в обстановке и наладить управление войсками. Не разобрался и не наладил: сам попал в окружение, из которого вышел в крестьянской одежде, в лаптях. Сталин разжаловал его в генерал-майоры, однако с учетом прошлых заслуг через некоторое время простил — звание маршала было Григорию Ивановичу возвращено. Но не надолго. 16 февраля 1942 года Специальным присутствием Верховного суда СССР Кулик был осужден за сдачу гитлеровским войскам района и города Керчи в минувшем ноябре. Снова лишен маршальского звания, а также всех орденов и медалей. Написал Иосифу Виссарионовичу письмо, в котором не столько каялся в грехах, сколько отрицал свою вину. Сталин опять посочувствовал старому знакомцу, ему дали звание генерал-майора. Затем звание генерал-лейтенанта.

Непревзойденный чемпион по взлетам и падениям, Григорий Иванович Кулик возглавил 4-ю гвардейскую армию и в очередной раз «отличился» в дни Курской битвы. 18 августа 1943 года фашисты нанесли сильный контрудар из района Ахтырки. Для отражения контрудара из резерва Ставки была направлена 4-я гвардейская армия. Однако возлагавшихся на нее надежд не оправдала. Точнее, не оправдал командарм Кулик, действовавший вяло и неумело, а попросту плохо. Был снят с должности по настоянию маршала Жукова.

Что же делать с таким руководителем, куда пристроить? С одной стороны, полная бездарность, самоуверенное деятельное невежество, а с другой — некое покровительство Ворошилова и даже Сталина. В Главном управлении кадров Наркомата обороны долго искали для Кулика такое место, на котором он хотя бы вреда-то не приносил. Наконец, определили его вторым заместителем начальника Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии. Однако не быть полезным можно, оказывается, на любом посту, даже будучи вторым замом, что видно из докладной записки непосредственного начальника Кулика генерал-полковника Смородинова:

«Генерал-лейтенант Кулик Г. И. числится заместителем начальника Главупраформа по боевой подготовке. Изучая внимательно на протяжении года работу и личное поведение тов. Кулика, прихожу к выводу о необходимости немедленно снять его как не соответствующего своему назначению.

Генерал-лейтенант Кулик совершенно не работает над собой, не изучает опыт войны, потерял вкус, остроту и интерес к работе, вследствие чего не может обеспечить перестройку боевой подготовки запасных дивизий в соответствии с требованиями фронта и эффективно руководить ею… Поэтому считаю совершенно нецелесообразным и ненужным пребывание тов. Кулика в Главупраформе.

Бытовая распущенность, нечистоплотность и барахольство тов. Кулика компрометируют его в глазах офицеров и генералов»…

Вопль генерал-полковника Смородинова был услышан. Сталин в какой уж раз (я со счета сбился!) снял Григория Ивановича с должности и понизил на одну ступень, оставив на погонах Кулика только звезду генерал-майора. Грозила полная отставка. Однако Григорий Иванович (тоже в какой уж раз!) написал «душевные» письма соратникам по

гражданской войне — Семену Михайловичу, Клименту Ефремовичу и, конечно, Иосифу Виссарионовичу. И опять «удержался на плаву». Прочитав письмо, Сталин выругался беззлобно: «Когда же он утихомирится, старой печи кочерга!» — и отправил Кулика с глаз долой, в Куйбышев, заместителем командующего Приволжским военным округом. Поумнеть ему поздно, так хоть дров много не наломает. А получилось — пустили щуку в реку.

В Куйбышеве Кулик заважничал, спекулируя высокими связями в Москве, намекая на то, что его восстановят в маршальском звании, и «тогда кое-кто еще покланяется».

Подмял под себя командующего округом генерал-полковника Гордова Василия Николаевича, подмял Военный совет и политработников. Сойтись с Гордовым и возвыситься над ним не составило большого труда. Их объединяло хотя бы то, что оба считали себя незаслуженно обиженными, оба были недовольны своим положением; нашли взаимное понимание и сочувствие.

В начале войны Гордов командовал общевойсковой армией. Не хуже, но и не лучше других генералов. Во всяком случае, был замечен и в июле 1942 года вознесен на пост командующего Сталинградским фронтом. Однако пробыл в этой должности менее двух месяцев. Ни он и никто другой не смог бы задержать в те трагические дни немцев, рвавшихся к Волге. Но не остановил-то именно Гордов… А тут еще и неблагоприятное совпадение: в «Правде» была напечатана пьеса Александра Корнейчука «Фронт». Одобренная Сталиным, она получила широкое звучание. Впервые говорилось в ней об ответственности генералов, живущих старым багажом, не овладевших навыками современной войны. Не умом, а нахрапистостью, горлом пытались добиться успеха. И фамилия у такого типичного генерала из пьесы была соответствующая — Горлов. Знающие люди без труда угадывали ситуацию, обрисованную Корнейчуком, и настоящую фамилию генерала — Гордов. Даже сочувствие высказывали Василию Николаевичу.

Военный корреспондент полковник Корнейчук получил за свое произведение высокую литературную премию, а генерал Гордов — несмываемое клеймо на всю оставшуюся жизнь. От командования фронтом его отстранили, «бросили» на 33-ю армию. Заслужил он звание Героя, но выше генерал-полковника не поднялся, а ведь на большую маршальскую звезду мог бы рассчитывать. Отсюда и затаенная обида.

Лицо у Гордова вытянутое, сужающееся книзу. Прямой нос, острый, как клин, подбородок. Вспыльчив, упрям и, вероятно, злопамятен. После появления пьесы возненавидел журналистов, пишущую братию и вообще политработников, что явилось причиной еще одного осложнения. Вот какого: 274-я стрелковая дивизия вела трудный наступательный бой. А у нее в тылу, в блиндаже, где до начала наступления размещался политотдел дивизии, был обнаружен спящий капитан Трофимов, агитатор вышеназванного политотдела. Узнав об этом, генерал Гордов вспылил: трус, дезертир, укрылся в безопасном месте? Арестовать и расстрелять перед строем офицеров, дабы другим неповадно было. Приказ выполнили начальник политотдела и начальник отдела контрразведки СМЕРШ.

«Ну и что? — скажет знающий читатель. Мало ли кого расстреливали на войне под горячую руку». Да, бывало, особенно в первый период, когда мы отступали. Но случай с капитаном Трофимовым — это уже 1944 год, когда можно было не спешить, выяснить все обстоятельства. Их и выяснили, но

уже после того, как человека не стало: товарищи позаботились о том, чтобы спасти хотя бы честь офицера. Оказалось, что Трофимов, находясь на передовой, тяжело заболел и с высокой температурой, в полубреду не смог добраться до госпиталя, дошел лишь до знакомого блиндажа, где и свалился в беспамятстве. Случай этот стал предметом особого разбирательства Военного совета Западного фронта, который квалифицировал действия генерала Гордова как незаконное самоуправство. Неправедный приказ был отменен, а все лица, причастные к его появлению и исполнению, получили соответствующие взыскания.

Карьеру Василия Николаевича Гордова можно было считать законченной. Приволжский военный округ, затем отставка, и все. И вдруг горизонт посветлел, появилась надежда: прибыл новый заместитель, Григорий Иванович Кулик. По званию всего генерал-майор, но человек известный по всей стране, почти легендарный герой гражданской войны, соратник самого Сталина, бывший маршал, уверенный в том, что высокое звание ему снова вернут, он возвратится в Москву и, конечно, заберет с собой надежных товарищей, с которыми сдружился в опале. Вот и сошлись обиженные: Гордов обрел надежду на лучшее будущее, а Кулик нашел хорошего собутыльника и терпеливого слушателя воспоминаний и рассуждений.

Без третьего, как известно, в пьянке не обойтись. Таковым стал сослуживец по штабу округа генерал-лейтенант Ф. Т. Рыбальченко. А Григорий Иванович, оказавшись вдали от столицы, совсем «раздухарился», переваливая из запоя в запой. И не только в славном городе Куйбышеве, но все чаще наведываясь со своей компанией к самому Кремлю: в гостинице «Москва» у Кулика имелся «собственный» номер. По указанию генерала Абакумова этот номер прослушивался военной контрразведкой, как и некоторые другие помещения, в которых бывал и «гулял» Григорий Иванович. Квартира в Куйбышеве, служебный кабинет, дача. Сделано это было не без ведома Сталина, опасавшегося, что «старая кочерга Кулик по пьянке слишком много болтает».

Вместе с Иосифом Виссарионовичем мне довелось прочитать несколько донесений о поведении Кулика и Гордова, прослушать несколько записей, в которых упоминался Сталин. Иногда это была просто пьяная болтовня. Например: Кулик рассказывает о привычках Сталина, о том, что тот не сидит за столом, шастает по кабинету от стены до стены, будто шило у него в одном месте. А вот голос Гордова:

— Когда ходишь, больше возможности наткнуться на полезные мысли.

— А что, своих ему мало? — это Рыбальченко. В ответ Кулик ворчит что-то, можно разобрать только одну фразу:

— Вырос, а ума не вынес.

Ну и тому подобное. Вероятно, и эти фортели сошли бы Кулику с рук. Однако собутыльники, особенно Григорий Иванович, в разговорах все больше распоясывались. Гордов, упоминая о системе госбезопасности, употребил слово «инквизиция». «Уродливый режим» — тоже его выражение. А вот совсем уж криминал: Верховный главнокомандующий, дескать, совершил много ошибок в сорок первом — сорок втором годах, а вину свалил на генералов. Почитайте внимательно «Фронт». Что получается? Высшее командование у нас хорошее, войска наши стойкие, а генералы дураки-дундуки, с них и спрос. Военные поражения, послевоенный голод — все переложено на чужие плечи. В чем-то прав был

Василий Николаевич, но слишком обоюдоострой, слишком опасной была его правота.

Гордов переступил запретную черту, особенно с рассуждениями об «уродливом режиме». А Кулик не только не оспорил Гордова, но пошел еще дальше. Рассказывая собутыльникам о критических днях обороны Царицына, присвоил себе все заслуги в нанесении по белым массированного артиллерийского удара, решившего исход сражения. Сталин и Ворошилов люди цивильные, по военной части ничего тогда не смыслили, не умели. Был еще генштабовский офицер-теоретик, способный только советы давать (это значит я, Лукашов). Один Кулик с германцами бился, практику получил, до подпрапорщика дорос (а я и не знал, что у него столь «высокий» чин, считал заурядным унтером. — Н. Л.). Всю победную операцию он, Кулик, на себе вытянул. За одну ночь согнал артиллерию в район Садовой, а наутро «фуганул так, что от наступавшей казары только мокрое место осталось».

Ничего худшего для себя Кулик придумать не смог бы, если бы даже очень захотел. На любимую мозоль Иосифа Виссарионовича каблуком наступил. Чем особенно гордился Сталин? Как раз операцией под Садовой, положившей начало его военным успехам, приобщившей его к основополагающим военным знаниям, исходя из которых он создал потом свою теорию сосредоточения войск на решающем направлении, нанесения массированных огневых ударов и тому подобное. И соратников, которые были тогда с ним, способствовали удаче, ценил особенно, не давал в обиду. Ворошилова, Лукашова, того же Кулика, который теперь обгадил светлое прошлое, замахнулся на пальму первенства. Это — слишком. В Куйбышев для оценки деятельности командования Приволжским военным округом была отправлена специальная комиссия. По ее выводам был подготовлен приказ, подписанный министром вооруженных сил СССР 28 июня 1946 года.[102] В приказе говорилось:

«При проверке положения дел в Приволжском военном округе установлено, что заместитель командующего войсками округа генерал-майор Кулик недобросовестно относился к выполнению своих служебных обязанностей, работал плохо и в быту вел себя недостойно. Пользуясь покровительством командующего округом Гордова, вместо работы в округе Кулик неоднократно без служебных надобностей приезжал в Москву и бездельничал.

Как известно, генерал-майор Кулик во время Великой Отечественной войны не оправдал оказываемого ему доверия; ни на одном посту он не справился с работой, во многих случаях преступно-халатно относился к порученному делу, за что не раз снимался с занимаемых должностей, был судим и снижен в звании. В 1945 году за недостойное поведение, несовместимое с принадлежностью к ВКП(б) и как морально и политически разложившийся, Кулик был исключен из рядов партии.

Тем не менее, как это видно из вышеизложенного, Кулик и в Приволжском военном округе продолжал вести себя недостойно, чем окончательно показал нежелание исправить свое поведение и честно выполнять возложенные на него обязанности.

Признавая такое поведение Кулика несовместимым с пребыванием его на ответственной работе в армии, приказываю:

Заместителя командующего войсками Приволжского военного округа генерал-майора Кулика Г. И., как не оправдавшего доверия и за

недостойное поведение, спять с занимаемой должности и уволить из рядов армии в отставку.

И. СТАЛИН»

Логическое продолжение не заставило себя ждать. Через некоторое время Г. И. Кулик, В. Н. Гордов и Ф. Т. Рыбальченко оказались на Лубянке. Их обвинили в вынашивании террористических планов по отношению к членам Советского правительства. Несмотря на многочисленные допросы, даже на «допросы с пристрастием», ни один из трех генералов виновным себя не признал. Однако приговор состоялся. 24 августа 1950 года они были расстреляны.

Через семь лет их оправдали. При Хрущеве, который руководствовался принципом: посмотри, что было при Сталине, и сделай наоборот. Верховный Совет страны возвратил Кулику звание Героя Советского Союза, права на все его ордена и медали. Более того, даже звание Маршала Советского Союза посмертно вернули ему. На мой взгляд — перестарались. Ну какой из него маршал, война показала, на что он способен.

14

Мы, значит, разделили так называемое дело о заговоре генералов, или иначе «дело семидесяти пяти», на три составные части. Из-за неоднородности. Начав с «разного», разобрались более или менее с теми, кто попал в разряд заговорщиков совсем случайно. А теперь — о тех, с кем сводил счеты Берия, кто оказался жертвой интриг, исходивших, увы, от Сталина.

Лаврентий Павлович был одним из первых, кто уловил еще в конце войны нараставшее недовольство вождя некоторыми нашими военачальниками — теми, кто обрел в победах уверенность и проявил большую самостоятельность. И не только недовольство, но даже опасение, обострившееся с началом голодного 1946 года. Не слишком ли много у генералов власти и популярности? Не пора ли напомнить поговорку «каждый сверчок знай свой шесток» и показать, кто истинный хозяин страны?! За маршалом Жуковым армия, за адмиралом Кузнецовым флот, а за Сталиным вся держава с ее отлаженным государственным и партийно-политическим механизмом. Пусть это почувствуют все. Мысли и устремления Иосифа Виссарионовича по этому поводу, как высказанные, так и не высказанные, были понятны Берии, стали для него руководством к действию, тем более что они полностью соответствовали далеко идущим планам самого Лаврентия Павловича (о чем стало известно позже).

Суть такова. Близилось семидесятилетие Иосифа Виссарионовича. Было заметно, что он стареет. Малоподвижным, как маска, стало лицо, все реже оживляемое улыбкой, усмешкой или недовольной гримасой. Потускнели глаза: они теперь не блестели при радости и меньше желтели от гнева. Казалось, он чаще смотрел в себя, чем на окружающих. Раньше при раздражении глаза его суживались, начинали подергиваться нижние веки. С возрастом этот тик все заметней перерастал в мелкую дрожь — одрябли соответствующие мускулы. Верный признак того, что Иосиф Виссарионович может сорваться, но у него обычно хватало силы воли сдержаться, погасить вспышку, скрыть свое состояние за обычным спокойствием! А еще раздражала его левая рука, становившаяся все менее послушной и полезной. Она тонула в просторном рукаве кителя или

мундира: будто там протез или вообще нет ничего. Росло желание посидеть за рабочим столом, неспешно создавая задуманные труды. Практику хотелось заняться теорией, подвести некоторые итоги.

Да, Сталин старел, это видели окружавшие его люди, хотя никто никогда словечком не обмолвился на такую «скользкую» тему. Все понимали, что уход Иосифа Виссарионовича чреват большими, непредсказуемыми, опасными переменами. Среди тех, кого это особенно тревожило, был Лаврентий Павлович Берия. Слишком много грехов висело на нем, слишком много бед связывалось с его именем. Придется нести ответственность за все плохое, что было содеяно при Сталине. Или… Как там у драматурга Шварца выразился молодой человек, убивший дракона, владевшего городом? «Покойник (дракон) воспитал их так, что они повезут всякого, кто возьмет вожжи». Слова крамольные, но правильные. Повезут ведь. Значит, надо заранее готовиться к тому, чтобы захватить бразды правления в свои руки, опередив или убрав возможных конкурентов. Любой ценой. Третьего не дано.

Рыбак рыбака видит издалека. Без сговора, полуосознанно тянулись один к другому те, у кого совесть была нечиста, кто боялся ответственности и видел спасение только в захвате самых высоких партийно-государственных постов после смерти Сталина или даже при нем, когда стареющий вождь ослабеет. Кто палку взял, тот и капрал.

Окрепла давняя дружба Берии с Микояном. Завязалась новая — с Маленковым. К ним тяготел Каганович. Но все это было зыбко, неопределенно до того дня, когда произошло событие, по сути своей частное, не вошедшее в анналы истории, однако значительно повлиявшее на дальнейшее развитие событий в высшем эшелоне власти.

16 июля 1946 года Иосиф Виссарионович смотрел на стадионе «Динамо» парад физкультурников. Был доволен, радушен, сидел в своей излюбленной позе: руки скрещены внизу живота, колени раздвинуты, ступни сомкнуты. Без возражений позировал известному фотокорреспонденту Евгению Халдею. «Болел» за спортсменов, чаще обычного пуская табачный дым. Потом, за обедом, выпил свою норму. А вечером мне позвонил Власик: срочно приезжайте на дачу. Когда я прибыл, там уже находились Берия и, если не ошибаюсь, Андреев. Оба взъерошенные, растерянные, Иосиф Виссарионович полулежал на диване, накрытый серым плащом. Осунувшееся бледное лицо выражало нечто среднее между страхом и удивлением: сам, дескать, не понимаю, что произошло.

Власик рассказал: во время прогулки по саду Сталин вдруг почувствовал себя плохо. Стеснило грудь, накатывала тошнота, потемнело в глазах. Заболела голова. «Почернел, как чугунный, как шахтер из забоя, только зубы видны…» Власик и садовник отвели Иосифа Виссарионовича в кабинет, уложили его. Врача вызывать не велел. И вот вроде бы отошел, продышался, сетовал только на слабость в ногах.

Таков был первый звонок, возвестивший, что здоровье Сталина начинает давать сбои, напомнивший о том, что вождь отнюдь не бессмертен. Приступ мог повториться с непредсказуемыми результатами. Иосиф Виссарионович сделал для себя некоторые выводы. Неохотно, но прошел медицинское обследование, прислушался к совету врачей насчет режима и отдыха. Даже не курил несколько дней, что подействовало на него, заядлого табачника, не лучшим образом. Он нервничал, злился и вернулся в нормальное состояние лишь после того, как опять взялся за трубку.

Для партийно-политических и хозяйственных деятелей, окружавших Сталина, первый приступ явился новой точкой отсчета. Каждый задумывался о будущем, искал единомышленников, надежных соратников. Активнее начал проявлять себя Берия, расширяя сферу своего влияния. К нему, хитрому, осторожному, обладавшему большой властью, потянулись, вслед за Кагановичем, министр вооруженных сил маршал Булганин, генерал армии Штеменко, ставший вскоре начальником Генерального штаба, а главное — такой авторитетный человек, как Хрущев. Постепенно складывалось неофициальное руководящее ядро: Берия, Хрущев, Маленков. Опираясь на эту силу, Лаврентий Павлович принялся осуществлять свои планы, убирая тех, кто был опасен для него, мог стать на пути. Использовал при этом настроение и пожелания Сталина, развивая и варьируя их по собственному усмотрению. Особенно когда громил флотское руководство.

С моряками Берия всегда был не в ладах, не мог понять и принять их корпоративности, независимости. Как будто обособленное государство. У адмирала Кузнецова свой наркомат, свой Главный штаб, свои структуры, в том числе и разведывательные. А форма одежды, а звания? Лаврентий Павлович никак не мог запомнить, кто выше: капитан 2-го или 3-го ранга, контр- или вице-адмирал. Сам Николай Герасимович Кузнецов всегда вежлив, приветлив и в то же время холоден и недоступен. К тому же он человек Андрея Александровича Жданова, который, как бывший речник, курировал флот. А Жданов — главный соперник Берии. После войны Сталин все заметней выделял Жданова, все ближе сходился с ним на деловой и на личной основе, видя в Андрее Александровиче наследника и продолжателя. Породниться хотел, выдав свою Светлану за ждановского сына Юрия.

В Москве Андрея Александровича поддерживали Молотов, Андреев и Ворошилов. В его когорте молодые, но уже проявившие себя люди готовые руководители на все высшие посты в партии и правительстве. Это переживший со Ждановым всю блокаду Алексей Александрович Кузнецов (однофамилец адмирала) — первый секретарь Ленинградского областного и городского комитета партии, к тому же секретарь ЦК ВКП(б). Это академик-экономист Николай Алексеевич Вознесенский, член Политбюро Центрального комитета партии, прошедший практическую школу на посту председателя Госплана СССР, готовый в любой момент возглавить Совет Министров. И, кстати, всегда поддерживающий своего приятеля адмирала Кузнецова. Таков тесный круг, разорвать который Берия считал необходимым.

На Николая Герасимовича Кузнецова обида особая. Мы уже говорили о том, что, приняв пост наркома ВМФ, адмирал Кузнецов вытеснил из флотского руководства ставленников Лаврентия Павловича, сведя его влияние на моряков почти до нуля. Однажды Берия уже попытался рассчитаться за это, обвинив командование Балтийского флота и самого адмирала Кузнецова в паникерстве, граничащем с изменой. Это когда немцы приблизились к Ленинграду и был отдан секретный приказ подготовить корабли Балтфлота к взрыву, заминировать их, чтобы ни один не попал в руки гитлеровцев. Еще, мол, чуть-чуть, и загубили бы целый флот. А кто в ответе?..

Вопрос был поставлен со всей остротой. Ох и полетели бы адмиральские головы! Но попытка Берии сунуть нос в морские дела окончилась для него большим конфузом. Не знал Лаврентий Павлович, что распоряжение об

уничтожении в критической ситуации всех кораблей Балтфлота было подготовлено по указанию Верховного главнокомандующего, что документ этот скреплен тремя подписями: Кузнецова, Шапошникова и Сталина. А обвинять товарища Сталина в паникерстве, граничащем с предательством, — это уж слишком! Выслушав тогда, в 1942 году, резкие слова Верховного по поводу этой своей инициативы, Берия до поры до времени отступился от Кузнецова. Ждал изменения ситуации. И дождался.

Во время войны Сталин благосклонно воспринимал мнение адмирала Кузнецова, как и мнение других специалистов. Им лучше знать: они предлагают, им и выполнять. После победы обрисовался иной подход. Иосиф Виссарионович считал, что лучше и дальше видит политические, экономические и военные перспективы, нежели узкие специалисты. И вообще: слишком уж часто стали противоречить ему вместо того, чтобы внимать и выполнять. Прав Берия — подразболтались гайки, подтянуть надобно.

С осени 1945 года разрабатывалась у нас десятилетняя программа судостроения. Моряки, подчеркивая возросшую роль авиации, предлагали строить авианосцы, а также подводные лодки, которые трудно обнаружить даже с воздуха, которые менее уязвимы для нового ядерного оружия. Я считал, что они правы. А Иосиф Виссарионович настаивал на создании тяжелых крейсеров: по его мнению, это корабли универсальные, способные охранять свои воды, действовать далеко от своих баз в открытом море и даже у берегов противника. Адмирала Кузнецова поддержал экономист Вознесенский, утверждавший, что строить авианосцы и подводные лодки гораздо целесообразнее, так как за ними будущее. Оба они не понимали, почему упорствует Сталин, не учитывали одну важную черту его характера — устойчивость первого впечатления, первого ощущения. В удачный момент произошла встреча с кем-то или с чем-то, сложилось хорошее мнение, остались приятные воспоминания — это надолго, даже навсегда. И наоборот. А первым военным кораблем, на борт которого поднялся когда-то Сталин, был именно крейсер. Ощущение незабываемое. Строгий порядок, идеальная чистота, целесообразная деятельность всех служб, четкая работа машин и механизмов. Боевая мощь. Стремительный полет над всхолмленной зыбью морской стихией. Запомнилось: «крейсер волнам не кланяется». Корабли-то действительно были хороши. Для своего времени.

Мало кому известно, что в конце июля 1933 года Иосиф Виссарионович вместе с Ворошиловым и Кировым побывал на Кольском полуострове, где только-только создавался наш Северный флот. Побеседовал с военморами на борту подводной лодки «Д-1» — «Декабрист». Буксирное судно «Буревестник», где разместилась наша партийно-правительственная делегация, проследовало по Кольскому заливу. Сталин и его соратники осмотрели пустынную Екатерининскую гавань и другие бухты, выбранные для базирования военных кораблей. Тогда и зародились военно-морские базы Полярное и Ваенга. Последняя, переименованная после войны в Североморск, превратилась в большой город, в заполярный Севастополь. А я вспомнил о рейсе «Буревестника» потому, что Сталин сетовал на то, что на севере нет ни одного крейсера, и заявил: обязательно будут.

А вот история курьезная, но для Иосифа Виссарионовича характерная. Однажды летом он отправился отдыхать в Крым. Зная, что Сталин и на отдыхе занимается делами, на Южный берег приехали многие руководящие работники, чтобы быть «под рукой». С семьями, совмещая

полезное с приятным. Но в Крыму Иосифу Виссарионовичу в тот раз не понравилось. Было жарко, пыльно, сухо. Потянуло на Кавказ, к буйной зелени субтропической Гагры. Отправиться решил на крейсере: и быстро, и приятно, и для дела полезно — посмотреть, как моряки службу несут, побеседовать с офицерами.

Спущен был, как положено, парадный трап. Горнист сыграл свой сигнал. Командир крейсера доложил поднявшемуся на палубу Сталину о готовности корабля к походу. Иосиф Виссарионович был доволен. И вдруг заминка. Вслед за Сталиным по трапу потянулись сопровождавшие его деятели. Вахтенный у трапа, бравый капитан-лейтенант в парадной форме, при кортике, в щегольской фуражке с крутым, почти вертикальным «нахимовским» козырьком, пропускал гостей по списку. Но стоп — женщина! Кажется, это была жена Алексея Николаевича Косыгина. Скорее всего она, такая уж неразлучная были пара. Сталин оглянулся на повышенные голоса: в чем дело? Вахтенный взял под козырек:

— Женщины на военный корабль не допускаются.

— Плохая примета, — улыбнулся Иосиф Виссарионович. — Но может, сделаем исключение?

— Никак нет. Не положено!

Все присутствовавшие замерли в ожидании: что-то будет?

— Ви-и такой суеверный? — спросил Сталин.

— Традиция. Еще в первом морском уставе царя Петра сказано: а женщин на корабле не имать, буде имать, то по числу команды, дабы…

— Что же вы замолчали, продолжайте.

— Дабы не разводить блядства на корабле, — дерзко отрапортовал капитан-лейтенант.

Кто-то испуганно ахнул. Несколько обескураженный, Сталин спросил:

— Прямо такими словами?

— Так точно!

— Что же нам делать? — пожал плечами Иосиф Виссарионович. — По числу команды у нас женщин не наберется, да и разместить негде… Обойдемся без них. Женщин можно отправить на самолете или на пассажирском судне.

Все остались довольны: и моряки, и сам Иосиф Виссарионович. В кают-компании даже тост поднял «за смелых и находчивых офицеров этого крейсера, хранящих традиции русского флота».

Такое вот у него пристрастие к крейсерам, особенно к тяжелым, а Кузнецов возражал, настаивая на строительстве авианосцев и подводных лодок. И не только по этому поводу проявились расхождения. Сталину пришла мысль увеличить количество флотов. Думаю, не сама по себе явилась, а подсказал адмирал Исаков Иван Степанович — Ованес Исакян. В октябре 1942 года он был ранен на Северном Кавказе, ему ампутировали ногу, с тех пор прочно «стал на якорь» в Москве и, являясь заместителем наркома ВМФ, координировал действия морских сил с сухопутными войсками. А поскольку Николай Герасимович Кузнецов часто бывал в отъезде, на флотах, то Сталин обращался за советами по морским делам к старому знакомому Исакову. Сам или через Анастаса Ивановича Микояна. А когда начались разногласия с Кузнецовым, вызвал Ивана Степановича к себе, предложил ему должность начальника Главного морского штаба, чтобы «навести там порядок».

— Товарищ Сталин, я ведь без ноги, мне трудно бывать на кораблях.

Иосиф Виссарионович подумал и произнес фразу, получившую известность среди моряков:

— Лучше иметь на этом посту человека с головой и без одной ноги, чем с ногами, но без головы.

Кроме всего прочего эти слова означали, что Главный морской штаб, а следовательно, и нарком Кузнецов работали последнее время неудовлетворительно. Пришлось Исакову взяться за гуж. Тянул он его недолго: обострилась болезнь, потребовалась операция на культе, но кое-что сделать успел. За кабинетным столом сидючи и рассматривая морские карты, задумался-засомневался: а не мало ли у нашей великой морской державы оперативно-стратегических объединений? Всего четыре флота: Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, да две морские флотилии — Беломорская и Каспийская. Можно и побольше, посолидней.

Услышав такую идею от Сталина, адмирал Кузнецов сразу принял ее в штыки. Вернее, не всю идею, а половину. Ну действительно, флот на Дальнем Востоке можно разделить на две части. Там огромные, тысячемильные просторы, затрудняющие управление, разные климатические условия, разнородные задачи. Северо-Тихоокеанскому флоту, опираясь на Камчатку, контролировать северную часть Великого океана. Южно-Тихоокеанскому флоту с базами в Советской Гавани и Владивостоке действовать в Японском море и, по возможности, в направлении экватора, в центральной части океана. Но какой же смысл делить надвое Балтийский флот, дислоцирующийся в замкнутой акватории, не имеющий свободного выхода в другие моря-океаны, а следовательно, перспектив роста?

— Вами владеет дух противоречия, — недовольно произнес Сталин. — Вы подумайте, взвесьте.

— Балтийский морской театр невелик, там вполне достаточно иметь одного оперативного начальника.

— Соберите Военный совет, обсудите, — это уже приказ. — А мы посмотрим.

Между тем Берия не упускал ни одной возможности расширить трещину, образовавшуюся между Сталиным и Кузнецовым. Почти при каждой встрече с Иосифом Виссарионовичем пускал каплю яда. Сегодня: среди авиаторов нехорошие разговоры идут, почему это морской флот имеет свой наркомат, а у воздушного флота такового нет… Завтра: по непонятным причинам затягивает Кузнецов перегонку к нам военных кораблей, доставшихся по репарациям от Италии. Ссылается на нехватку людей. В войну хватало для спецкоманд, которые в Америке получали корабли по ленд-лизу, а теперь, видите ли, мало. Дождемся, что итальянцы все ценное оборудование растащат, оставят одни железки. А ведь свой наркомат у моряков, своя рука — владыка.

За неоперативную якобы работу по получению репараций адмирал Кузнецов получил выговор от Совета Народных Комиссаров. Лаврентий Павлович удовлетворенно потирал пухлые руки.

На Военном совете, который приказал созвать Сталин, по его поручению присутствовали Жданов и Микоян. Несмотря на это, Совет принял решения, не оправдавшие надежд Иосифа Виссарионовича. Все голосовавшие поддержали мнение Кузнецова. При молчаливой поддержке Жданова. Воздержался только Исаков.

И грянул гром. Наркомат ВМФ был упразднен. Кузнецов из наркома превратился в главкома одного из родов войск. Сталин дал понять, что и

на этом посту адмирал может не задержаться. А тут, как раз прямо ко времени, поступило письмо от сотрудника одного из военных научно-исследовательских институтов капитана 1-го ранга Алферова. С сообщением о том, что в трудные дни войны командование ВМФ передало тогдашним нашим союзникам секретную документацию по артиллерийскому вооружению, навигационные карты, а главное — образцы новой авиационной (парашютной) торпеды. Таким образом, был нанесен ущерб обороноспособности нашего государства. Нарком Кузнецов и его приспешники адмиралы Алафузов, Степанов и Галлер вели двойную игру, работая на американцев. Перечислены факты, названы даты.

На доклад к Сталину (а письмо было адресовано Иосифу Виссарионовичу) Берия пошел вместе с Булганиным. Аргументы настолько убедительные, что Лаврентий Павлович мог позволить себе держаться в тени. Свое он сделал, а о кознях моряков пусть сообщит вождю Булганин — адмиралы теперь в его подчинении.

Сталина донос не порадовал. Он ведь не намеревался остаться без нашего лучшего флотоводца. Одернул, ограничил полномочия, показал ему его место — и ладно. А донос давал делу другой поворот, осложняя положение. Без последствий не оставишь, без расследования не обойтись. И была еще одна сторона, о которой автор письма мог не знать, а Берия умалчивал. Еще в 1942 году между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами было заключено соглашение о взаимном обмене информацией и предметами вооружения, потребными той или другой стороне. Что и практиковалось. А парашютные торпеды и некоторые навигационные карты были переданы союзникам с разрешения Сталина — в рамках имевшейся договоренности. Письменного одобрения не требовалось. Кузнецов просто поставил в известность Верховного. Иосиф Виссарионович не возражал — это он помнил. Кузнецов, конечно, тоже. Как он теперь поведет себя… Решение, принятое Сталиным, было почти соломоновым:

— Для отстранения адмиралов не вижу пока достаточных оснований. Тем более для отстранения Кузнецова. Он нам нужен. Но судить будем. Судом чести. Узнаем, что скажут люди, какое мнение у моряков. — Помолчал, посопел сердито: — Выясним, что за человек Кузнецов, какое у него нутро.

Вряд ли Берия и Булганин обратили особое внимание на последнюю фразу Сталина. А я хорошо понял ее. Иосиф Виссарионович хотел проверить, возьмет ли адмирал Кузнецов ответственность на себя или будет отнекиваться, ссылаться на Сталина. Экзамен на преданность, на надежность. А поняв это, счел своим долгом предостеречь Николая Герасимовича от возможной ошибки, чтобы он, человек честный и откровенный, не навредил сам себе.

Связываться с Кузнецовым напрямик не хотелось. В сложившейся ситуации он, конечно, привлекал особое внимание бериевской агентуры. Поехал к своему младшему тезке, Николаю Алексеевичу Вознесенскому. Сказал, что надо побеседовать с Кузнецовым без посторонних глаз и ушей. Вознесенский сразу позвонил адмиралу: в Совмине, мол, возникли вопросы по кораблестроительной программе. Булганин против закладки больших кораблей, за мелкий, «москитный» флот — стоит дешевле. Надо посоветоваться. Прямо сейчас. Николай Герасимович приехал, а я «случайно» зашел в кабинет Вознесенского, потом проводил адмирала по коридору, по лестнице до подъезда. Посоветовал ему при любом

расследовании, при любых обстоятельствах не упоминать фамилию Сталина, не ссылаться на него.

— Таких намерений не было, — ответил Николай Герасимович. — Да и документов подтверждающих нет.

— Даже если появятся. Не ставьте Иосифа Виссарионовича в неловкое положение, он этого не забудет.

Суд чести состоялся в актовом зале Главного штаба ВМФ. Собраны были морские офицеры, адмиралы. Выступали свидетели и эксперты — последние явно подготовленные заранее. Председательствовал маршал Говоров Леонид Александрович, привлеченный для объективности «со стороны», из сухопутных войск, известный своей справедливостью и независимостью суждений (в партию вступил лишь в сорок втором году, будучи уже командующим Ленинградским фронтом). На такого не надавишь ни с какой стороны. С моряками знаком был по Ленинграду, где вместе с Балтфлотом защищал северную столицу. Хорошо знал заместителя Кузнецова адмирала Галлера Льва Михайловича, других соратников Николая Герасимовича Кузнецова, оказавшихся теперь перед судом чести. Мог оценить их беспристрастно и разносторонне — так, по крайней мере, считалось.

Адмиралы вели себя очень достойно и порядочно, вызывая уважение. Не сваливали «вину» с одних плеч на другие. На вопрос «кто основной виновник передачи за рубеж документов и оружия» отвечали так: «Могу определить только степень своего участия». Кузнецов не ссылался на секретное соглашение между нашим правительством и бывшими союзниками. На Сталина и намека не было. Адмиралы подтвердили, что парашютные торпеды и некоторые навигационные карты действительно были переданы американцам и англичанам. Не из-за потери бдительности, а в обмен на то, что нужно было для нас. Кузнецов подчеркнул: авиационная (парашютная) торпеда давно уже рассекречена, книга с ее описанием и чертежами продается в магазинах и киосках.

— Теперь рассекречена, а раньше военной тайной была. А навигационные карты используются и будут использоваться нашими возможными противниками, — привел свои доводы самый активный обвинитель вице-адмирал Н. Кулаков.

Конечно, «сухопутному» маршалу Говорову трудно было разобраться во всех тонкостях. Да это и не входило в его обязанности. Суд чести должен был установить и установил степень виновности Кузнецова, Алафузова, Галлера и Степанова в «совершении антигосударственного и антипатриотического поступка». И принял решение ходатайствовать перед Советом Министров о предании виновных суду Военной коллегии Верховного суда СССР.

Между Сциллой и Харибдой оказались члены Военной коллегии. С одной стороны, не покарать адмиралов нельзя. Вот факты, вот мнение военной общественности. С другой — понимание того, что адмиралы действовали с одобрения самой высокой власти. Осудив адмиралов, не осудишь ли того, кто стоял за ними, чью фамилию боялись даже произнести?! Всяко могло повернуться.

Приговор Военной коллегии был настолько мягок по тем временам и настолько обтекаем, что из него трудно было понять, за что же наказаны адмиралы. Получалось, вроде бы за утрату бдительности.

Пострадали главным образом непосредственные исполнители, Алафузов и Степанов. Им дали по 10 лет с лишением званий и наград. Галлеру — 4

года. Кузнецов был оправдан. Однако по предложению Военной коллегии он, носивший гордое звание Адмирала Флота Советского Союза, был разжалован в контр-адмиралы, то есть до низшего адмиральского чина. Его отправили на Тихий океан координировать там действия военно-морских сил Дальнего Востока.

Пройдет несколько лет, и Сталин осознает, какую ошибку он допустил, отринув честного скромного человека, знатока флотских дел, одного из авторитетнейших моряков мира. Жизнь покажет, что Николай Герасимович был прав во всем, от необходимости строить авианесущие корабли и подводные лодки до целесообразности иметь в государстве самостоятельный руководящий орган военно-морских сил. Признав свою оплошность, Сталин в 1950 году вернет Кузнецова в Москву и поручит ему возглавить воссозданное министерство ВМФ. И не вставлял больше морякам палки в колеса.

Спустя три года были полностью реабилитированы и возвращены на прежние должности Алафузов и Степанов. А вот Галлер, осужденный на небольшой срок, освобождения не дождался. Слабый здоровьем, он умер в тюрьме. И никто не знает, где похоронен бывший командующий Балтийским флотом, бывший начальник Главного морского штаба и заместитель наркома ВМФ. Родных у него не было — всю жизнь провел в корабельных каютах или в комнатке при служебном кабинете.[103]

А Кузнецова «доконает» пришедший к власти Никита Хрущев, одержимый необузданным стремлением ломать, переиначивать, перестраивать. Не обделил он своим вниманием и вооруженные силы, принявшись реформировать и сокращать их. Морякам приказано было резать на металлолом большие надводные корабли. Расчетливые американцы ставили свои линкоры, авианосцы и крейсера на консервацию, а наши моряки со слезами на глазах уничтожали то, что не по вкусу было новому московскому «стратегу». (Через четверть века, когда потребует обстановка, американцы расконсервируют свои корабли и пошлют их к берегам Азии, в Средиземное море, в Персидский залив. — В. У.)

Николай Герасимович Кузнецов, принципиально несогласный с Хрущевым, резко выступит в защиту нашего флота. За что будет вторично разжалован и уволен со службы с издевательски-малой пенсией. Чтобы прокормиться, будет подрабатывать переводами, благо знал несколько языков. (Уникальное звание Адмирал Флота Советского Союза будет возвращено Кузнецову посмертно — в 1988 году. — В. У.)

Процесс над Кузнецовым, Галлером, Алафузовым и Степановым являлся как бы промежуточным, примыкая одной стороной к «заговору генералов», а другой — к готовящемуся в ту пору «ленинградскому делу», к той расправе, которую Берия и Маленков учинят над руководителями северной столицы, видя в них конкурентов в борьбе за послесталинскую власть. Победа над группой А. А. Жданова была тогда полной. Сам Андрей Александрович при странных обстоятельствах умрет в Кремлевской больнице. Подробнее об этом будет рассказано позже.

15

Материалы, компрометирующие Георгия Константиновича Жукова, начали собирать с окончанием войны. Общее руководство осуществлял Берия. Разработку вел генерал Абакумов, возглавлявший военную

контрразведку СМЕРШ, а затем Министерство государственной безопасности. При этом особенно усердствовал Лаврентий Павлович. Для него прославленный маршал — помеха на пути к власти: могли возникнуть разные осложнения. А Виктор Семенович Абакумов занимался делом Жукова лишь по долгу службы. Интересы Берии были безразличны Абакумову, которого все заметней приближал к себе Сталин. И Жукова уважал молодой генерал. Однако Берия давил, Абакумов вынужден был выполнять его указание о фиксации всех фактов, о сборе всех документов, порочащих маршала: от морального облика до его отношения к Верховному главнокомандующему.

Вот содержание одного из донесений секретных сотрудников, типичное, на мой взгляд. О банкете, который устроил на своей даче Жуков после Парада Победы. Среди приглашенных — боевые друзья и соратники: Соколовский, Чуйков, Кузнецов (который командовал 3-й ударной армией), Федюнинский, Минюк (бывший генералом для особых поручений при Жукове) и Крюков со своей женой Лидией Андреевной Руслановой. О певице распространяться не буду, она общеизвестна, а про ее мужа скажу несколько слов хотя бы потому, что Крюкова посчитали одним из главных участников «антисталинского заговора», за что и упрятали в тюрьму одновременно с его благоверной.

Владимир Викторович Крюков родился в 1897 году в слободе Бутурлиновка Воронежской губернии в семье телеграфиста. Окончил реальное училище. В армии с восемнадцати лет. Прапорщик. Сражался с германцами, прошел всю гражданскую войну. Был ранен. Отличился в финской кампании: его полк в числе первых прорвал пресловутую линию Маннергейма. С весны 1942 года и до самой победы командовал 2-м гвардейским кавалерийским корпусом — это бывший корпус Доватора, получивший гвардейское звание в Московской битве вместе с 1-м гвардейским кавкорпусом генерала Белова. Герой Советского Союза. По-кавалерийски дерзок в бою и с начальством, зато обходителен и даже галантен с дамами. Обладал и другими мужскими достоинствами, позволившими ему не только завлечь, но и удержать при себе такую независимую вроде бы женщину, как Лидия Русланова.

Первым тостом на всех официальных и полуофициальных мероприятиях была, естественно, здравица в честь товарища Сталина, особенно среди военных: он ведь их нарком и Верховный главнокомандующий. А на дачном празднестве в Сосновке первый тост Жуков поднял не за Иосифа Виссарионовича, а за старейшего из присутствовавших командармов — за Василия Ивановича Чуйкова. И вообще Сталин упоминался лишь вскользь и без достаточной уважительности, что привлекло к злополучному банкету повышенное внимание.

Дословно приведен был тост Лидии Руслановой, обращенный к мужчинам:

— Кто стирал ваши портки и портянки, кто заботился о вашем здоровье? Правительство не подумало о награждении боевых подруг, а я награждаю лучшую из женщин…

И, сняв со своей груди роскошную бриллиантовую брошь в форме звезды, торжественно вручила ее жене Жукова. Тут надо уточнить: не той женщине, которая подарила Георгию Константиновичу старшую дочь Маргариту, а первой законной жене, родившей Эллу и Эру: обе похожи были на мать и друг на друга — возобладала южная кровь.

Руслановой, конечно, похлопали, но не очень. Переборщила насчет «лучшей из женщин». Сама-то она, вероятно, стирала на фронте своему мужу подштанники и портянки, заботилась о том, чтобы не мерзли у него ноги в теплых подшитых валенках. Пела для воинов в Берлине на ступенях еще дымившегося рейхстага… Но считать «боевой подругой» жену Жукова — это явное преувеличение. Даже «тыловой подругой» можно было называть лишь с натяжкой. Собравшиеся знали о неурядицах в их семье. Во время войны виделись они очень редко. В конце концов Георгий Константинович увлекся на фронте другой женщиной, которая была близка ему и по общим интересам, и просто по расстоянию. А законная жена принялась навещать прославленного супруга лишь после того, как наши войска вступили в Германию: проявился интерес к различным трофеям, особенно к драгоценностям. С соответствующим девизом: «Фашисты ограбили евреев, а мы только возвращаем свое». К столь своеобразному процессу «возвращения» энергичная дама привлекла офицеров и генералов из окружения Георгия Константиновича. Использовала даже генерала Серова — представителя органов госбезопасности, не понимая того, что Иван Серов хоть и идет ей навстречу, вроде бы запутываясь в ее сетях, но остается прежде всего сотрудником особого ведомства.

Знал ли Жуков о «подвигах» своей тогдашней супруги? Вероятно, кое-что ему было известно, однако далеко не все, что творилось под прикрытием его имени и авторитета. Те, кто помогал жене маршала, не забывали и о себе, о своих карманах — рыба гнила с головы. Доверенным лицам было известно, что жена Жукова не расстается с чемоданом, наполненным драгоценностями. А когда их накопилось слишком много, в чемодане оставлены были только те, которые представляли особый интерес, — в основном бриллианты, к которым «лучшая из женщин» питала особое расположение. Лидия Русланова попала в точку, подарив ей большую бриллиантовую брошь, пополнившую «коллекцию». Чемодан бриллиантов — сколько же он весит, на сколько тянет?! Не знаю. А вот сколько крови испортит он Георгию Константиновичу — об этом еще расскажу.

Документ за документом ложился в досье на Жукова. Чего только тут нет! Сообщение, подписанное Булганиным: «В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову.

Установлено, что и. о. Начальника тыла Группы советских оккупационных войск в Германии для провоза мебели была выдана такая справка: «Выдана Маршалу Советского Союза тов. Жукову Г. К. в том, что нижепоименованная мебель, им лично заказанная на мебельной фабрике в Германии «Альбин Май», приобретена за наличный расчет и Военным советом Группы СОВ в Германии разрешен вывоз в Советский Союз…

Опись мебели, находящейся в осмотренных вагонах, прилагается».

Иосиф Виссарионович с любопытством прочитал весь акт комиссии, осмотревшей вагоны: длинный акт, содержавший 8 разделов с описанием 194 предметов. По-новому, с неким недоумением оглядывал обстановку своего кабинета, столь же спартански-скромную и целесообразную, как и убранство комнат кремлевской квартиры и дачи. Удивлялся не только размаху стяжательства, проявившегося вдруг у хорошо вроде бы знакомого человека, но и его доскональной «мебельной» образованности.

Со специалистами консультировался, что ли? До отвращения противна была неуемная страсть к наживе и роскоши Иосифу Виссарионовичу, искренне считавшему, что люди, для своего же блага, должны не погружаться в бездонную пучину «вещизма», а пользоваться лишь тем, что необходимо для жизни, без всяких излишеств. Они — излишества — допустимы лишь в учебе, в познавании, в овладении культурой: в этих сферах от них только польза, и, следовательно, излишествами, как таковыми, они не являются.

Воспроизведение документа, заинтересовавшего Иосифа Виссарионовича, заняло бы слишком много места. Однако, учитывая впечатление, которое произвела опись на Сталина, да и на меня, хочется дать читателю некоторое представление о ней, перечислив лишь разделы акта.

«I. Гостиная для городской квартиры. (Светлое и красное дерево, обивка золотистым плюшем с голубыми цветами.)

II. Столовая для городской квартиры, модель «Шлибруни». (Светлый полированный орех, обивка малиновым плюшем.)

III. Гостиная для дачи. (Светлое и красное дерево, обивка золотистым плюшем с голубыми цветами.)

IV. Столовая для дачи. «Шлибруни» (Светлый полированный орех, обивка малиновым плюшем.)

V. Кабинет. Модель «Рафаэль» и «Грюнвальд». (Полированный орех Мозер с матовой инкрустацией под кожу.)

VI. Спальня для дачи. Модель «Элеонора». (Золотисто-желтая карельская береза, обивка голубым шелком с цветами.)

VII. Девичья комната. (Береза светло-полированная, обивка зеленый шелк с мелкими цветами.)

VIII. Детская комната. (Светлая вишня — обивка голубым материалом с цветами.)»

Всего, еще раз скажу, без малого 200 предметов. Неприятный осадок остался на душе после прочтения документа. Ко всему прочему, это ведь 1946 год, в стране послевоенная разруха, катастрофическая нехватка жилья, на полях неурожай, люди пухнут от голода. И — семь вагонов с шикарной мебелью. Кому, значит, чума, а кому пир горой.

Иное впечатление произвели на Сталина доносы, сообщавшие о взаимоотношениях Жукова с женщинами, — попытки и с этой стороны бросить тень на Георгия Константиновича. Были названы по крайней мере две фамилии: З-вой и К-вой. Дело это настолько щепетильное, что я, дабы избежать отсебятины, приведу лишь фразы из объяснительной записки самого Жукова, направленной им в Центральный комитет партии А. А. Жданову:

«Обвинение меня в распущенности является ложной клеветой… Я подтверждаю один факт — это мое близкое отношение к З-вой, которая всю войну честно и добросовестно несла свою службу в команде охраны и поезде главкома. З-ва получала медали и ордена на равных основаниях со всей командой охраны, получала не от меня, а от командования того фронта, который мною обслуживался по указанию Ставки. Вполне сознаю, что я также виноват в том, что с нею был связан, и в том, что она длительное время жила со мной. То, что показывает Семочкин, является ложью. Я никогда не позволял себе таких пошлостей в служебных кабинетах, о которых так бессовестно врет Семочкин.[104] К-ва действительно была арестована на Западном фронте, но она была всего

лишь 6 дней на фронте, и честно заявляю, что у меня не было никакой связи».

Вопреки замыслам собирателей компромата сообщения об амурных приключениях Георгия Константиновича (по мнению Сталина, в общем-то, весьма скромных) нисколько не очерняли Жукова в глазах Иосифа Виссарионовича. Он не был фарисеем, сам в свое время и влюблялся, и ревновал, и изменял, а потому и к чужим грехам относился вполне снисходительно, если они, разумеется, не выплескивались за нормальные общепринятые рамки.

Весной 1944 года было, как обычно: собрались в кабинете Сталина наши седовласые мудрецы-правители, разговор зашел о молодом и удачливом генерале Черняховском Иване Даниловиче. Ему еще сорока нет, а уже поставлен командовать 3-м Белорусским фронтом и справляется не хуже других. Один недостаток: слишком неравнодушен к женщинам. Сами тянутся к нему, красивому и энергичному. Недалеко и до скандала. Надо что-то делать? — этот классический вопрос был обращен к Иосифу Виссарионовичу.

— Надо, — согласился он, в глазах запрыгали веселые чертики. — Завидовать будем, что нам еще остается… Пусть скажут ему об этом.

Гораздо сложнее выглядела развязка любовной драмы, действующими лицами которой были незаурядные люди, пользовавшиеся широкой известностью. Прославленный полководец, стройный красавец маршал Рокоссовский, одним лишь видом своим воздействовавший на женские сердца, не говоря уж об интеллигентности и мужественности, — этот рыцарь стремительным штурмом овладел обаятельной актрисой Валентиной Серовой. А может, это она опалила и зажгла Константина Константиновича вспышкой своего пламени — от этого суть не меняется. Чувство было обоюдным и острым.

Серова — женщина раскованная, капризная, избалованная обожателями — любви своей не таила, делясь радостью с друзьями и знакомыми: новость вскоре обошла «всю Москву». Показывала золотые часики с гравировкой «ВВС от РКК». Аббревиатура воспринималась двояко. Одними расшифровывалась как «Валентине Васильевне Серовой от Рокоссовского Константина Константиновича», другие улавливали нечто иное: «Военно-Воздушным Силам (намек на самого первого мужа Серовой, прославленного летчика, чью фамилию она носила) от Рабоче-Крестьянской Красной…» отсутствовавшая буква угадывалась сама собой.

Для полного счастья (или удовлетворения честолюбия) Валентине Васильевне не хватало лишь одного — юридического оформления отношений. Что особенного: там развелся, тут расписался. О легкости ее представлений свидетельствует шуточная эпитафия, созданная вроде бы Константином Симоновым — угадывается его стиль:

Под камнем сим лежит Серова Валентина, Меня и многих верная жена.
Господь, спаси ее от сплина, Ведь первый раз она лежит одна.

Актриса искренне недоумевала: почему это маршал не ведет ее в загс? Не понимала, сколь сложные проблемы стоят перед ним. Время было такое, что за внебрачные связи, за разрушение «первичной ячейки государства» коммунисты получали взыскания — до исключения из партии. А главное — хорошим ведь семьянином был Константин Константинович, привык к своему гнезду, любил жену Юлию Петровну и дочь Аду. Черт попутал, но не разорваться же! А бесцеремонная актриса уже и на квартиру к Рокоссовским приезжала, предъявляя свои претензии

на Константина Константиновича. От разговора с посторонней дамой Юлия Петровна, конечно, отказалась, но скольких нервов стоил этот визит и ей, и самому маршалу. Охладил чувства Рокоссовского к напористой актрисе. И окончательно оттолкнула она его, когда направила письмо Генеральному прокурору СССР, сообщив о своей близости с Рокоссовским и требуя юридически закрепить этот факт. Бедный прокурор не знал, что и делать с такими персонами. Дай заявлению формальный ход — чем это обернется для маршала? Вплоть до того, что из партии вон и погоны долой. Нет уж, пусть разберутся на самом верху.

Иосиф Виссарионович покрутил головой, похмыкал, читая доставленное ему письмо Серовой, и начертал резолюцию: «Суворова сейчас нет. В Красной Армии есть Рокоссовский. Прошу учесть это при разборе данного дела. И. Сталин». Ну и учли, разумеется. А по поводу гравировки на золотых часиках выразился так: «Передайте товарищу Рокоссовскому, чтобы был поскромнее. Пусть не отождествляет себя со всей нашей Красной Армией, а понравившуюся женщину со всеми нашими Военно-Воздушными Силами». И не об этой ли резолюции, не об этих ли словах вспоминал потом Константин Константинович, когда стоял у гроба Иосифа Виссарионовича, не замечая бежавших по щекам слез. А ведь прежде никто не видел маршала плачущим.

По сравнению с любовной трагедией Рокоссовского увлечения Георгия Константиновича выглядели столь невзрачно, что не вызывали даже любопытства. Разве что повод для придирок. На соответствующие донесения Иосиф Виссарионович отреагировал не без юмора: «На этом фронте товарищ Жуков не добился заметных успехов». — Подумал и нашел объяснение: «Некогда было».

Более серьезно воспринял Сталин сообщение о том, что Жуков самолично наградил орденами двадцать семь артистов, приезжавших выступать в наши оккупационные войска в Германии. В том числе Русланову. «Какой щедрый! Присвоил себе права Верховного Совета, это никуда не годится!» За сей незаконный акт ЦК ВКП(б) объявил коммунисту Жукову выговор. Вообще говоря, весь компромат, поступавший на Георгия Константиновича, представлял собой лишь мелкие выпады-уколы, до поры до времени не опасные для грозного маршала. Но они создавали определенный фон, они закладывали ту платформу, с которой Берия и Абакумов намеревались нанести удар сокрушающий.

16

Первая стычка произошла в начале 1946 года. Страна переходила на мирные рельсы. Проводились соответствующие мероприятия. Сталин решил преобразовать наркоматы в министерства, передав часть властных полномочий из центральных в республиканские органы. Создаваемое Министерство вооруженных сил решил оставить за собой, как самую надежную опору. Но оставить лишь номинально, подобрав хорошего первого заместителя, который вел бы всю практическую работу. А кого назначить на столь высокий и ответственный пост? Ясно, что Жукова, являвшегося первым заместителем Верховного главнокомандующего. Сталин вызвал его из Берлина в Москву обсудить проект реорганизации, посоветоваться о кандидатах на новые должности. И при первой же встрече резко разошлись во мнениях по вопросу, не имевшему даже отношения к намеченному преобразованию.

К тому времени в Советский Союз вернулись почти все военнопленные, уцелевшие в фашистских застенках. Чуть более полутора миллионов человек. Все они, по нашим законам, как нарушившие присягу, являлись преступниками. Однако рядовой и сержантский состав были амнистированы по указу, принятому еще 7 июля 1945 года, за исключением тех, кто служил в гитлеровских формированиях — таких выявили немного. Лица, подлежавшие демобилизации, были отпущены по домам, остальных отправили дослуживать в строительные (рабочие) батальоны. А вот с офицерами, коих насчитывалось 123 с половиной тысячи, было сложнее. С них другой спрос. После проверки и перепроверки большинство из них оказались либо в лагерях, либо на спецпоселении в отдаленных районах, иначе говоря, в ссылке. Маршал Жуков возмущался тем, что эти воевавшие люди, может, в чем-то и виноватые, а может, и не очень, понесли наказание, а дезертиры, отсидевшиеся в тылу, были реабилитированы названным указом, вернулись к своим семьям, посмеиваясь над теми, кто честно прошел через фронтовое горнило, приковылял домой на одной ноге или с пустым рукавом.

Георгий Константинович приводил примеры. Вот политрук Серегин. Возглавил роту после гибели ее командира. Трое суток держал оборону. С десяток фашистов уложил, сняв тем самым с себя наперед все грехи до конца жизни. Измотанный до предела, мертвецки заснул в траншее, а разбудил его пинок немецкого сапога. Был без гимнастерки, сошел за рядового бойца — уцелел. Гитлеровцы заставили добывать торф на гнилых болотах — выжил. Теперь в Иркутской области лес валит. А дезертир, которого позарез недоставало в том бою, в котором насмерть стояла рота политрука, — этот дезертир самогон хлещет после субботней баньки, рассказывая своей благоверной, как отлеживался на сеновале, уклонившись от исполнения «священной обязанности». И теперь не в братской могиле червей кормит, теперь новую избу рубит, поворовывая сосну из казенного леса. Расстреливать надо таких паразитов! А политруку Серегину вернуть звание, награды и отправить в родные края, чтобы там встретили торжественно, с духовым оркестром.

Горячился Жуков, а Иосиф Виссарионович спокойно объяснял, что сдача в плен — это предательство и измена, или граничит с таковыми. А дезертирство просто трусость или глупость. С политруком надо разобраться персонально, а дезертиры на другой стороне не бывали, в стане врага не трудились, сознательного вреда государству не причиняли. Пусть работают, у нас везде умелые руки нужны. В деревнях один мужик на десять баб, а тут хоть какое-то прибавление. Однако Жуков стоял на своем: фронтовиков освободить, вместо них послать за колючую проволоку дезертиров, пускай хоть трудового фронта понюхают. По справедливости.

Иосиф Виссарионович начал раздражаться. Я склонялся к точке зрения Жукова, сочувствовал ему, по не имел возможности предупредить, что спор бесполезен и чем дальше заходит, тем хуже для Георгия Константиновича. Болезненную струнку, глубоко таившуюся в душе Иосифа Виссарионовича, задевал этот разговор. В определенной степени он ведь и сам когда-то мог считаться дезертиром, оказаться в черном списке и понести наказание. Обстоятельства помогли избежать клейма. Вспомним: в феврале 1917 года я позаботился о том, чтобы рядовой Иосиф Джугашвили не предстал за самовольную отлучку из части перед военным

судом. Помог перевестись из Красноярска, из запасного полка в Ачинск, в маршевый батальон, готовившийся к отправке на фронт. Там Джугашвили-Сталин дожидался ответа на прошение об «освобождении от службы вовсе» по состоянию здоровья. Однако терпения не хватило. Прослышав об отречении царя, вместе с несколькими товарищами, политическими ссыльными, тайком покинул Ачинск и отправился из Сибири в Петроград: делать революцию и покорять сердце юной гимназистки Нади Аллилуевой. Так что не очень удобно было ему оправдывать дезертиров перед Жуковым, особенно в моем присутствии. Потому и злился, потому и поспешил расстаться с маршалом, даже не поговорив о том, зачем вызывал. А расставшись, задумался: для чего ему, министру вооруженных сил, такой заместитель в мирное время? Слишком своенравен. Общая работа, частые встречи с ним — это же трата нервов, трата энергии, которых не так уж много у пожилого человека. Гораздо лучше, если первый заместитель будет просто исполнительным и покладистым. И остановился на кандидатуре Николая Александровича Булганина.

Надежный партиец, опытный руководитель. Не стратег, не кадровый военный, но в сражениях побывал. Будучи при Жукове членом Военного совета Западного фронта, неплохо проявил себя под Москвой. Член Ставки Верховного главнокомандования. Дисциплинирован, послушен. Дал ему поручение — и будь спокоен: аккуратно выполнит и своевременно доложит о результатах.

Весной 1946 года Жуков был окончательно отозван из Берлина в Москву, на новую должность, но не на пост первого заместителя министра, а главкомом сухопутных сил — самого крупного у нас вида войск. Это бы ничего, должность Георгия Константиновича устраивала — конкретное дело в руках. Однако обидно было ему, боевому маршалу, подчиняться генералу-политработнику Булганину, случайному человеку в военном ведомстве. И уж совсем не по себе стало Жукову, когда выяснилось, что по новым правилам он, привыкший общаться непосредственно со Сталиным, будет получать указания через первого заместителя и ему же докладывать об исполнении и вообще решать все вопросы. Навытяжку стоять перед этим «козлом», как именовал он Булганина за бородку, которую тот любил пощипывать. «Пустили козла в огород капусту стеречь». А Сталина под горячую руку несколько раз прилюдно называл «хозяином козла», что и было доведено до сведения Иосифа Виссарионовича.

Просьба Жукова восстановить прежнее положение, то есть прямой выход на Сталина, ответа не получила. А чтобы полководцам-главкомам не унизительно было подчиняться генералу, Иосиф Виссарионович вручил Булганину маршальские погоны. Ну и что? Не только ведь на поле брани заслуживают высокие звания. Хозяин — барин.

И вот в те дни, когда Сталин особенно заметно охладел к Жукову, очень «своевременно», как и в случае с адмиралом Кузнецовым, поступило письмо-заявление от бывшего главнокомандующего ВВС — Главного маршала авиации, а «ныне арестованного» А. А. Новикова, датированное 30 апреля 1946 года. Оно настолько отражает дух времени, что его стоило бы привести целиком, но письмо слишком длинное, рыхлое, с повторами, поэтому ограничусь лишь несколькими цитатами. В начале «послания» Новиков кается перед Сталиным в собственных неблаговидных поступках.

«Я сам попал в болото преступлений, связанных с приемом на вооружение ВВС бракованной авиационной техники. Мне стыдно говорить,

но я также чересчур много занимался приобретением различного имущества с фронта и устройством своего личного благополучия. (Была разобрана по кирпичику шикарная дача в Германии и на транспортных самолетах перевезена в Подмосковье вместе со всей не менее шикарной обстановкой. — Н. Л.)

Только теперь, находясь в тюрьме, я опомнился и призадумался над тем, что я натворил. Вместо того, чтобы с благодарностью отнестись к Верховному главнокомандующему, который для меня за время войны сделал все, чтобы я хорошо и достойно работал, который буквально тянул меня за уши, — я вместо этого поступил как подлец, всячески ворчал, проявляя недовольство, а своим близким даже высказывал вражеские выпады против министра вооруженных сил».

Это лишь подход к главной теме. Вся остальная часть длинного письма посвящена разоблачению антигосударственной, антисталинской деятельности Жукова, вплоть до обвинения в заговоре против существующей власти. Цитирую:

«Настоящим заявлением я хочу Вам честно и до конца рассказать, что кроме нанесенного мною большого вреда в бытность мою командующим ВВС, о чем я уже дал показания, я также виновен в еще более важных преступлениях. Я счел теперь необходимым в своем заявлении на Ваше имя рассказать о своей связи с Жуковым, взаимоотношениях и политически вредных разговорах с ним, которые мы вели в период войны и до последнего времени.

Хотя я теперь арестован и не мое дело давать какие-либо советы, в чем и как поступать, но все же, обращаясь к Вам, я хочу рассказать о своих связях с Жуковым потому, что, мне кажется, пора положить конец такому вредному поведению Жукова, ибо если дело так далее пойдет, то это может привести к пагубным последствиям».

Затем следуют факты. В основном мелкие, но зато много. Например: «Жуков очень хитро, тонко и в осторожной форме в беседе со мной, а также и среди других лиц, пытается умалить руководящую роль в войне Верховною Главнокомандования, и в то же время Жуков, не стесняясь, выпячивает свою роль в войне как полководца и даже заявляет, что все основные планы военных операций разработаны им».

В общем, враг и законченный негодяй этот Жуков. И как же поступить Сталину, имея на руках весомый обвинительный документ? Речь идет о маршале, известном во всем мире, об одном из авторитетнейших лиц в государстве, о человеке, которого много раз хвалил сам Иосиф Виссарионович. Арестовать его обычным порядком — как на себя плюнуть. Возникнут недоуменные вопросы, возрастет недовольство в голодном народе. Нет, нельзя брать ответственность только на свои плечи. Пусть разберется военная общественность, пусть степень вины определит суд чести.

По указанию Иосифа Виссарионовича в июне созван был Высший (Главный) военный совет. Собрались генералы и маршалы, приглашены были члены Политбюро. Сталин выглядел мрачным. Тяжело опустился на стул, разыскал глазами заместителя начальника Генштаба генерала Штеменко Сергея Матвеевича, выполнявшего обязанности секретаря Высшего военного совета, жестом указал на трибуну. Штеменко внятно, выделяя голосом наиболее существенные места, зачитал два документа: письмо Новикова и показания бывшего жуковского адъютанта Семочкина. Конечно, сидевшие в зале люди знали цену сведениям, полученным за

тюремной решеткой, но даже со скидкой на это оба документа произвели сильное впечатление.

Иосиф Виссарионович предложил желающим взять слово. Выступили Маленков, Молотов, Берия и Булганин. Говорили о том, что Жуков зазнался, не считается не только с Политбюро, но и с товарищем Сталиным, а вот теперь выяснились новые факты, над которыми надо подумать и принять меры. Примерно то же самое повторил и генерал Голиков, неудачник сорок второго года, снятый тогда с должности командующего фронтом по настоянию Жукова. Свел, значит, счеты.

Плохо, наверно, пришлось бы Георгию Константиновичу, если бы не веские слова Маршалов Советского Союза Василевского, Рокоссовского, выступивших в защиту своего коллеги и поддержанных даже Коневым, который больше других считался обычно с тем, откуда ветер дует. Покритиковав Жукова за разные упущения, маршалы дружно заявили, что никаким заговорщиком Георгий Константинович не был и не является, никого из них к противоправным действиям не склонял.

На этом заседание закончилось без какого-либо решения. У Иосифа Виссарионовича сошла с лица темная туча. Приблизившись к Жукову, спросил:

— А что вы сами можете нам сказать?

Маршал ответил твердо:

— Мне, товарищ Сталин, оправдываться не в чем. Я всегда честно служил партии и нашей Родине. К заговорам не причастен.

— И все-таки вам, товарищ Жуков, придется на некоторое время покинуть Москву. Так будет лучше… Сейчас свободна должность командующего Одесским военным округом.

— Когда прикажете выезжать?

— Сдавайте дела и отправляйтесь без промедления. Так будет лучше для всех, — повторил Иосиф Виссарионович.

В самый разгар лета Георгий Константинович прибыл на Черное море, сравнявшись по должности со своим давним другом-соперником генералом Беловым: обосновавшись в Ростове-на-Дону, Павел Алексеевич возглавлял Северо-Кавказский военный округ.

17

Не смогли Берия и Абакумов одним ударом опрокинуть тяжеловесного маршала. Пошатнули, но не свалили. Однако от замысла не отказались, тем более что Жуков стал еще более опасным для обоих, особенно для Лаврентия Павловича. Окажется выше в борьбе за власть — будет мстить.

Изменили тактику. Не получилось с наскока, в открытую — надо подтачивать исподволь. Дальнейшую секретную разработку повели по двум направлениям: причастность Жукова к заговору военных и его моральное разложение. На Лубянке и в Лефортовской тюрьме появлялись все новые генералы-арестанты, так или иначе связанные с маршалом, от которых можно было добиться показаний, убедительных для Сталина. И для суда, если таковой будет.

Упрятали за решетку генералов Терентьева, Минюка, Филатова, Верейникова. Долго не могли подступиться к генералу Крюкову, искали повод. Его «преподнесла» чекистам жена бравого кавалериста Лидия Андреевна Русланова. Приехала эта пара на подмосковную дачу Жукова, поздравить с Новым годом. Привезли в подарок подстреленных тетеревов:

окровавленных, жалких, обмякших. Певица вручила маршалу оригинальный презент со словами:

— Желаем, Георгий Константинович, чтобы так выглядели все твои враги.

А кто у Жукова враг в данное время? Берия, Абакумов, или выше смотреть? На эти и на многие другие вопросы неосторожным супругам пришлось отвечать порознь уже в тюрьме. Жену спрашивали о муже, а его о жене. Вот несколько фраз из показаний Владимира Викторовича Крюкова: «При всяком удобном случае я превозносил Жукова как непревзойденного полководца, в чем мне активную помощь оказывала моя жена Русланова, которой по адресу Жукова было пущено в обиход образное выражение «Георгий Победоносец»…» Вот, оказывается, откуда пошло: я узнал об этом, ознакомившись со следственным «делом» Крюкова. А для семейства вся эта история окончилась приговором: по десять лет каждому. Освободили их после смерти Сталина.

Особые надежды Берия и Абакумов возлагали на бывшего члена Военного совета 1-го Белорусского фронта, а затем Группы советских оккупационных войск в Германии генерал-лейтенанта Телегина Константина Федоровича, который много времени провел рядом с Жуковым, доверительно беседовал с ним. А человек он мягкий, его легче согнуть, чем генералов-строевиков. И «гнули» следователи Константина Федоровича, избивая по два-три раза в день. «Выбили» то, что им требовалось.

Состоялся суд. Председательствовавший генерал-майор юстиции Зырянов зачитал показания Телегина, из которых явствовало, что он, Телегин, считал Жукова достойным преемником Сталина и говорил об этом маршалу… Зырянов спросил подсудимого, верно ли записано. Константин Федорович ответил:

— Я искренне считал, что только Жуков может быть министром Вооруженных сил СССР.

— На листе дела 217 вы показали: «Я заключаю, что стремление Жукова стать во главе армии и через Серова прибрать к рукам и разведку объяснялось его намерением узурпировать в своих руках всю власть в стране, подобно тому, как в свое время это сделал Наполеон во Франции».

(Вот вам и заговор! — Н. Л.)

Ответ Телегина:

— Этот вывод органы предварительного следствия сделали сами. Я подписал этот протокол, но заявляю, что записано неправильно.

Мягким человеком был политработник Телегин Константин Федорович, а все-таки настоял на своем, отказался от «выбитых» у него показаний, Жукова не оклеветал. И получил максимальный в ту пору срок: 25 лет лагерей с поражением в правах.

Более успешно продвигалась у Абакумова вторая линия разработки: доказать моральное разложение Жукова, его пристрастие к наживе, к чрезмерному богатству, что позорит коммуниста, советского военачальника и несовместимо с высоким званием маршала. Предоставляю место красноречивому документу.

«Совершенно секретно

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

товарищу СТАЛИНУ И. В.

В соответствии с Вашим указанием, 5 января с. г. на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том,

чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями.

В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате. В шкатулке оказалось:

часов — 24 шт., в том числе: золотых — 17 и с драгоценными камнями — 3;

золотых кулонов и колец — 15 шт., из них 8 с драгоценными камнями;

золотой брелок с большим количеством драгоценных камней;

другие золотые изделия (портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями и пр.).

В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось, было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфотографировать, уложить обратно так, как было раньше, и произведенному обыску на квартире не придавать гласности…

В ночь с 8 на 9 января с. г. был проведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево, под Москвой. В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей. Например:

шерстяных тканей, шелка, парчи, пан-бархата и других материалов — всего свыше 4000 метров;

мехов — собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых — всего 323 шкуры;

шевро высшего качества — 35 кож;

дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и др. дворцов и домов Германии — всего 44 штуки;

дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной отделкой, хрусталь) — 7 больших ящиков;

серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов — 2 ящика;

аккордеонов с богатой художественной отделкой — 8 штук;

уникальных охотничьих ружей фирмы Голанд-Голанд и других — всего 20 штук.

Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом.

Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд и находиться в музее…

По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, ковры, гобелены, кожи и остальные вещи сложены в одной комнате, закрыты на ключ, и у двери выставлена охрана.

В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова… Что касается не обнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностям, о чем показал арестованный СЕМОЧКИН, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой.

Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где и находится в настоящее время.

Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями…

АБАКУМОВ

10 января 1948 года».

Вооружившись до зубов новыми материалами о «заговоре генералов», о моральном разложении маршала Жукова и выбрав подходящий момент, Берия и Абакумов вторично явились к Сталину с докладом о проделанной работе. В кабинете Иосифа Виссарионовича как раз находились сторонники Лаврентия Павловича Маленков и Хрущев, на поддержку которых он рассчитывал. Однако у Сталина сложилось к этому времени свое определенное мнение. Произнес, не дослушав Берию:

— Какой он заговорщик. Не верю, чтобы Жуков мог пойти на это дело. Он человек прямолинейный, резкий и может в глаза любому сказать неприятность. Но против ЦК он не пойдет.

Хрущев поддакнул. Маленков промолчал. Абакумов напомнил:

— Стяжательство.

— Потребуем от товарища Жукова объяснительную записку. Зачем ему столько золотых часов и охотничьих ружей? А чтобы растряс свое барахло, тряпье и сундуки, переведем его из Одессы на Уральский военный округ. Два переезда равносильны одному пожару. Пусть поостынет, пусть разберется с собой и с женой.

Разработка Жукова чекистами была прекращена. Но не могла же оказаться бесполезной вся деятельность, развернутая вокруг маршала. Тем более что все офицеры и генералы, арестованные по делу о заговоре, в той или иной степени, по тому или иному вопросу признали себя виновными. У каждого нашелся какой-то грешок — а кто на свете без греха?! Все они были осуждены, некоторые расстреляны.

Пройдет несколько лет. Стараниями Берии поредеет окружение Иосифа Виссарионовича, мало останется возле него надежных людей. Вспомнит он тех своих соратников, которым можно верить, которые не изменят, не покинут в беде. Вернет в Москву адмирала Кузнецова. Вызовет в столицу маршала Жукова, чтобы назначить его, наконец, первым заместителем министра вооруженных сил. У Георгия Константиновича появится возможность рассчитаться с Лаврентием Павловичем за все неприятности.

18

Фактически и юридически Вторая мировая война закончилась, однако в памяти, в сознании людей, перенесших ее, осталась навсегда. Да что там в памяти и в сознании — пули и смертоносные осколки из отгремевших сражений летели и продолжают лететь сквозь годы, разя не только души, но и тела. Сколько раненых, искалеченных людей умирало и умирает от полученных ран, от перенесенных потрясений, подорвавших здоровье… И меня, мою семью не миновала горькая чаша. Причем удар был особенно страшен своей нелепостью.

В самом начале этой книги писал я о необычной судьбе моего старшего товарища, лучшего полководца первой войны с немцами генерала Брусилова Алексея Алексеевича. Несколько десятилетий провел он на военной службе, участвовал во многих боях и ни разу не был ранен или хотя бы контужен. Даже неловкость испытывал: столько солдат и офицеров погибло, столько было изувечено при выполнении его приказов, а сам он словно заговоренный — ни турецким ятаганом, ни крупповской сталью не тронуло. А когда получил от Временного правительства отставку с поста Верховного главнокомандующего и мирно поселился в Москве, обрел, наконец, свое. В ноябре 1917 года дом Брусилова, стоявший неподалеку от штаба Военного округа, оказался в зоне боевых

действий между красными и белыми. Мортирный снаряд (неизвестно чей) пробил три стенки и разорвался в квартире. Осколки перебили Брусилову правую ногу. «Справедливость восторжествовала», — пошучивал он, когда я навестил его в лечебнице.

Меня, в отличие от Алексея Алексеевича, совесть не мучила. Имел ранения — и тяжелое, и легкое, имел контузию. И все же задумывался порой: не мало ли, все ли получено по справедливости, не в должниках ли числюсь? Ведь две мировые войны за спиной, вся гражданская, несколько малых войн; соратники-сослуживцы полегли на разных фронтах, а я не только жив, но и на здоровье не очень сетую, и при деле. Везение? Или, может, мой снаряд не долетел еще до меня?

Опять немного из прошлого. Первая моя жена, Вероника Матвеевна — Вера, не перенеся изуверского насильничества, ушла из жизни в восемнадцатом году в Новочеркасске, унеся с собой неродившегося ребенка. Я ведь тогда от горя умом тронулся и обрел себя лишь после того, как рассчитался с негодяями, а затем ощутил свою нужность, будучи рядом со Сталиным.

Вторая жена, Екатерина Георгиевна — Кето, одарив меня дочкой, скончалась от послеродовой гангрены. Я тогда сказал себе: двум самым дорогим женщинам моя любовь не принесла счастья. Наоборот… Не буду испытывать судьбу третий раз, никого не назову больше женой. Тем более что есть у меня родной человек — дочь — свет в окошке.

Милая Анна Ивановна неотъемлемо вошла в нашу маленькую семью в тридцатых годах, сначала гувернанткой и экономкой, затем старшей подругой и любящей матерью для нашей дочери, моей неофициальной супругой. Объявить ее женой я боялся, опасаясь повторения прошлого. Может, до сих пор дьявол в засаде сидит, ожидая своего часа?! Суеверием я не отличаюсь, а вот не мог преодолеть сомнений, мистического страха. Холодом сковывало грудь при мысли о возможных последствиях.

До поры до времени вступать в официальные отношения необходимости не было. До войны в Советском Союзе гражданский брак был делом самым обычным, никаких бумажек не требовалось. Но вот по настоянию Иосифа Виссарионовича положение резко изменилось, требования к бракосочетанию ужесточились. Не только от возросшего понимания того, что крепкая семья — надежная, краеугольная ячейка общества: время заставило. Ушел нерасписанный муж на фронт — кому денежный аттестат оставить, кого солдаткой считать, положенные льготы давать? А погиб — кто наследует его славу, да и имущество, кому фамилию носить? Удостоверяющих документов нет, а права предъявлять желающие найдутся.

Ну и расшалились к тому же мужчины, пользуясь тем, что их все меньше и меньше — спрос возрастал. Увеличивалось количество мимолетных связей, распадались семьи, много было «случайных» детей, не знавших отцов. Чтобы навести порядок, были приняты строгие, может, даже слишком строгие, меры. Жениться стало не просто, а развестись вообще почти невозможно: объявление в газете, две судебные ступени с собеседованием и разбирательством. А с коммунистов, с комсомольцев еще и по партийной линии спрос. За моральную неустойчивость как минимум выговор с занесением в личное дело.

Все государственные и партийные чиновники, вплоть до деятелей самого высокого ранга, поспешили оформить свои семейные отношения. В окружении Сталина один я остался без семейного статуса: гражданский

брак таковым уже не считался. Иосиф Виссарионович имел достаточно такта, чтобы не напоминать об этом, но мне неприятно было сознавать, что рано или поздно в той или иной форме, хотя бы в дружеском разговоре, щекотливый вопрос возникнет. Семья, мол, у вас сложившаяся, хорошая — за чем дело встало? В загс да пир горой. Не очень убедительно прозвучал бы мой ответ о суеверном страхе. Нелепость какая-то, если со стороны смотреть.

О необходимости расписаться никогда не говорила мне и Анна Ивановна, хотя, конечно, ее двойственное положение представлялось не только обидным, но и оскорбительным. Кто она, на каком положении? Прислуга, которую могут уволить в любое время, или хозяйка дома, полноправный член семьи? Для дочери как мать — другой не было и не будет, — а для отца, то есть для меня, всего лишь любовница? Дочка однажды, со свойственным молодости максимализмом, наедине подступила ко мне: «Она для нас все, а ты для нее ничего. Представь, случится что-то с нами, со мной и с тобой, ее же сразу и из квартиры, и с дачи выселят. И вообще… Не думала, что ты такой бессердечный. И не отмалчивайся, пожалуйста!» А я и рад был бы не отмалчиваться, но как объяснить моим дорогим мое состояние, мое стремление не навредить, сохранить наше семейное счастье!

После очень долгих колебаний я наконец решился. Весной 1947 года, когда все вроде бы установилось, успокоилось в послевоенном мире, не предвиделось каких-либо потрясений, угроз, плохих перемен, разве что совсем уж случайных или возрастных, но от этого, как ни старайся, не убережешься. И все было хорошо, радостно, в меру торжественно, без особых церемоний. Смешно было бы на старости лет слишком уж распространяться о бракосочетании, получать цветы и подарки. Вполне достаточно того, что нас поздравил Иосиф Виссарионович, несколько старых друзей и знакомых: Андреев, Жданов, Василевский, Игнатьев, адмирал Кузнецов, Берия, Власик… Анна Ивановна съездила на Арбат в церковь Воскресения Словущего, помолилась там за нашу семью. И свадебное путешествие мы совершили, пробыв неделю в Ленинграде, походив по музеям и театрам.

В привычной нашей жизни ничего не изменилось. Анна Ивановна и дочь были довольны, а мне от этого приятно. Тревога, владевшая мною (вдруг что-то случится!), постепенно улеглась, и я в текучке дел даже забыл о брачном штампе, о свершенной формальности.

Чтобы побаловать нашу усидчивую студентку-отличницу, Анна Ивановна предложила отправить ее отдохнуть на Черном море, где не бывала она с довоенных лет. Я не возражал, но при условии: поедет не одна, не с подружкой, а с Анной Ивановной. Молодо-зелено девицам одним развлекаться по курортным местам. А еще решили — отправятся не только загорать да соленой водичкой брызгаться, но и с познавательной целью. Начав с города-героя Севастополя, побывать в Ялте у Чехова, в Никитском Ботаническом саду, в Старом Свете у Грина — Гриневского, у Айвазовского в Феодосии. Возможности такие имелись.

В конце июля я посадил их, жену и дочку, в поезд Москва — Симферополь.

Как и следовало ожидать, дочка писала мне редко и мало. Новизна там захватила. Точнее, даже не писала, а отделывалась короткими приписками к подробным, почти ежедневным посланиям Анны Ивановны, которая, чувствовалось, скучала на юге обо мне, о нашей уютной даче, о

привычных заботах-хлопотах. Зная, что именно, какие подробности меня интересуют, на них и сосредоточивалась. Рассказывала, как быстро восстанавливается Севастополь, каким красивым возрождается он из пепла. Даже не верится, что всего лишь три года назад, при освобождении города, здесь были одни руины.

Намекала Анна Ивановна, что там много кавалеров, вполне симпатичных, образованных, в щегольской форме, и что наша красавица проявляет заметный интерес к военно-морскому флоту вообще, к военным морякам в особенности. А чтобы интерес этот не мешал отдыху, они ездят загорать и купаться подальше от города, на небольшой пляж в бухте Омега. Облюбовали себе спокойное место даже не на самом пляже, а чуть в стороне. Там, куда приходят люди искать подковы на счастье. Говорят, что в сорок первом году, при нашем отходе, немцы прижали к бухте кавалерийскую часть с большим обозом. Наши коней постреляли, повозки столкнули в воду с невысокого, до трех метров, обрыва, а сами ночью попытались пробить вражеское кольцо. Дочь тоже нашла подкову, подняла с морского дна. Взяли ее с надеждой, что принесет удачу. А над обрывом, под которым они загорают, сохранилась ржавая колючая проволока. Это немцы загораживались от наших десантов. Дальше поле, некошеная трава и цветы. Запах чудесный. К вечеру теплый воздух густеет от аромата.

Я прочитал это письмо бегло, не вдумываясь, был озабочен чем-то другим. Понял главное — у них там все в порядке — и отложил конверт «на потом». И как раскаяться-то пришлось: буквально волосы на себе рвал! Мог бы сообразить, обязан был сообразить, почему не убрана колючая проволока, почему трава-то не скошена.

Через трое суток после письма, вечером, позвонил мне на дачу министр госбезопасности Абакумов. Голос его звучал необычно, и слова были странные:

— Николай Алексеевич, вы меня простите, но надо приехать к вам по очень важному делу.

— Нельзя ли завтра?

— Поручение товарища Сталина.

— Ну, если так…

— Буду у вас через час.

Красавец генерал, всегда бодро-веселый, он шел от калитки к крыльцу как-то неуверенно, выставив левое плечо. За его спиной садилось солнце, вокруг головы, вокруг фуражки пылал слепящий багровый нимб. У меня защемило сердце.

Абакумов протянул телеграфный бланк с крупным грифом: «правительственная». Только это слово я и разобрал — яркие, красные круги плыли в глазах. Попросил:

— Прочтите сами.

Абакумов переступил с ноги на ногу, левой рукой расстегнул ворот кителя и произнес глухо, глядя не на меня, не в телеграмму, а куда-то в сторону:

— Сегодня в пятнадцать тридцать Лукашова Анна Ивановна подорвалась на немецкой противопехотной мине. Скончалась на руках дочери, не приходя в сознание.

Тьма обрушилась на меня. По словам Абакумова, я, даже не вскрикнув, начал валиться набок. Подбежал доктор, которого привез с собой предусмотрительный генерал.

На несколько месяцев я полностью выбыл из строя.

ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Советников-специалистов, досконально знающих свое дело, имели и имеют все главы народов и государств: фараоны и цари, императоры и вожди, председатели, премьеры и президенты. Разница между советниками в том, что одни являются официальными должностными лицами, а другие — меньшинство — остаются в густой тени, в неизвестности. Это зависит прежде всего от самолюбия и честолюбия того или иного правителя, в какой степени стремится он возвысить себя, приписать все себе, выглядеть гениальным, единственным и неповторимым. А еще и от уровня взаимоотношений вождя и советника: если они не просто соратники, а искренние друзья, то трений по поводу приоритетов не возникает, один в меру своих способностей охотно помогает другому. Это — наш уровень с Иосифом Виссарионовичем. Но такое бывает не часто. Из числа современников могу назвать лишь одного человека, который являлся не просто советником, но другом-советником главы великого государства, то есть играл почти такую же роль, какую я выполнял при Сталине.

Американец Джордж Кэтлетт Маршалл имел, как видим, высоковоенную фамилию, а звание — генеральское. С 1939 по 1945 год, практически всю Вторую мировую войну, был начальником штаба армии Соединенных Штатов, а также членом Объединенного англо-американского комитета начальников штабов. Посты высокие — известность малая. Так бывает. Слава достается генералам, которые сражаются на фронте, одерживают громкие победы. А «кабинетные военачальники» упоминаются редко. Что про них скажешь, что напишешь? Как они затылки чешут, обдумывая планы, как в бумагах копаются и локти над картами протирают? С такими «подвигами» не очень прославишься. Это — вообще. А у генерала Маршалла имелась еще одна важная причина не выдвигаться на первый план, не привлекать к себе повышенного внимания: считался с самолюбием своего друга — президента Франклина Делано Рузвельта, при котором многие годы являлся главным, но неофициальным военным советником, своего рода тайным советником. Без консультаций с генералом Маршаллом президент не принимал никаких военных решений. Более того — именно Маршалл обычно и готовил эти решения.

Рузвельт, как и Сталин, превосходно умел использовать в своих целях интеллектуальный и организационный потенциал верных людей, которые не кричат потом о своих заслугах, а довольствуются лишь сознанием принесенной пользы. Рузвельт не ссылался на мнение Маршалла, не расточал похвал, но очень высоко ценил ум, знания, опыт и надежность «старшего друга», как иногда в шутку называл своего советника: Джордж Кэтлетт Маршалл родился в 1880 году, а Франклин Делано Рузвельт на два года позже.

Начальник штаба армии Соединенных Штатов настолько старательно скрывался за креслом президента, что до конца войны мы не очень интересовались его персоной, занеся в разряд заурядных. Судили по результатам. Сильно показал себя американский военно-морской флот, особенно на Тихом океане. Заслуживали внимания действия

многочисленной американской авиации. И напротив, сухопутные силы, американская армия, одним из руководителей которой являлся Маршалл, — эта армия ни в чем не проявила себя, разве что в уклонении от активной борьбы, не оставила в военной истории ни единой операции, достойной изучения и подражания. Дралась навалом — семеро на одного. Нельзя же считать примером военного искусства высадку англосаксов во Франции летом 1944 года, когда было уже ясно, что Красная Армия, освободившая всю территорию своей страны, справится с Германией и без чужой помощи. Союзнички просто сорвали созревший плод.

Да, затягивать время англо-американские торгаши умели. Несколько лет, стараниями Черчилля, уклонялись от создания второго фронта. В Соединенных Штатах позицию английского премьера активно поддерживал главный военный советник Рузвельта. Вот пример. 29 мая 1942 года, в очень трудное для нас время, нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов прибыл в США, чтобы договориться с президентом Рузвельтом о скорейшем открытии второго фронта, подписать соглашение о взаимной военной помощи. В тот же день, приняв Молотова, президент подчеркнул, что он «готов сделать все в 1942 году, чтобы облегчить бремя борьбы СССР против Гитлера». Такова первая искренняя реакция Рузвельта, обрадовавшая Вячеслава Михайловича. А вот строки из протокола беседы, состоявшейся на следующий день. «Рузвельт спрашивает Маршалла, может ли Молотов передать Сталину, что американское правительство готовится к созданию второго фронта в 1942 году. Маршалл отвечает, что они делают все возможное». Уклончивая формулировка. И как результат переговоров о втором фронте — телеграмма Молотова, отправленная Сталину утром 31 мая: «Рузвельт и Маршалл заявили, что всячески хотят это сделать, но пока дело упирается в недостаток судов для перевозки войск во Францию. Ничего конкретного они мне не заявили».

Позиция Маршалла проявилась и на Тегеранской конференции «большой тройки» — генерал присутствовал там, как и на всех других встречах глав великих держав. Его влияние возрастало. К счастью, Рузвельт был умен, опытен, дальновиден и руководствовался классическим правилом: советы и пожелания выслушивай, но поступай так, как сочтешь нужным. А едва Рузвельта не стало — положение резко изменилось. В Берлин, на Потсдамскую конференцию, генерал Маршалл прибыл уже в качестве авторитетного соратника нового президента — Трумэна, задавая тон поведению американской делегации. Выдвинулся из-за кулис на авансцену, раскрыв свое истинное лицо.

Общеизвестно, сколь много сделал для создания антигитлеровской коалиции Франклин Делано Рузвельт, как заботился он о сближении Соединенных Штатов и Советского Союза. Он же был и сторонником дальнейшего развития советско-американского содружества в послевоенном мире, расходясь в этом вопросе со своим «старшим другом» и тайным советником Маршаллом. Зато с новым президентом, Гарри Трумэном, генерал Джордж Кэтлетт Маршалл сразу нашел общий язык. С тем самым Трумэном (помните!), который, еще будучи сенатором, через два дня после нападения фашистской Германии на Советский Союз заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше»…

Этот изощренный изувер стал в апреле 1945 года президентом США от демократической партии. Смерть Рузвельта открыла дорогу ему и тем демократам, которые поддерживали и продвигали его. Трумэн и Маршалл пошли вперед рука об руку, объединившись под лозунгом «Америка превыше всего». В 1947 году Джордж Кэтлетт Маршалл поднялся на высокую должность государственного секретаря США, в 1950 году занял пост министра обороны Соединенных Штатов.

Воистину, история учит лишь тому, что она ничему не учит. Трагический урок Германии — не впрок. Еще не убраны были руины недавней войны, еще не заросли травой холмики братских могил, а над земным шаром уже распластались черные крылья новых претендентов на мировое господство.

Георгий Константинович Жуков, основательно пообщавшийся на Потсдамской конференции с генералом Маршаллом, назвал его «Холодной котлетой». Ну, «котлета», вероятно, по созвучию с именем. А почему «холодная»? Из-за надменности? Или руки такие? Или уже тогда, летом сорок пятого, ощутил и понял Георгий Константинович, с кем имеет дело: с одним из вдохновителей и создателей в скором будущем агрессивного военного блока НАТО, с одним из главных разжигателей новой, теперь уже холодной, войны… В общем, попал в точку Жуков. Как и бывает в народе: влепят кличку — век не отмоешься. А у меня упоминание о холодных котлетах всегда, даже если бывал голоден, вызывало легкое омерзение и даже подташнивание. Как только представлю себе эти мясные комочки в белесом застывшем жире… Бр-р!

Примерно такое же ощущение возникало всякий раз, когда слышал про генерала Маршалла. А слышать, к сожалению, приходилось все чаще. Это ведь он выдвинул широкомасштабный план послевоенной американской помощи странам Европы, так называемый «план Маршалла», положивший начало экономическому и политическому расколу Европы, созданию нового опаснейшего очага напряженности.

В принципе, нет ничего дурного, если богатое государство намерено поддержать от щедрот своих другие — нуждающиеся — страны. Даже хорошо это, благородно. Почему бы, действительно, Америке, не пострадавшей от войны, а наоборот, нажившейся и окрепшей, не поделиться с народами, для которых мировая битва оказалась страшным бедствием? Те же самые янки уничтожали массированными авианалетами целые города, не говоря уж обо всем другом. Помощь помощи рознь, особенно когда она идет не от чистого сердца, не от искреннего желания, а замешана на политике, на достижении прежде всего собственной выгоды, на эгоистическом расчете, что особенно свойственно агрессивному американскому империализму.

Коварную суть мины замедленного действия, которую изготовила команда «Холодной котлеты», уяснили у нас не сразу и не все, не говоря уж о тех, кто сознательно закрывал глаза на последствия — были и такие. Заманчивым представлялось получить поддержку, облегчавшую тяжелый восстановительный период. Даже Иосиф Виссарионович, всегда остро реагировавший на любую попытку вмешаться в наши внутренние дела, — даже он не отринул сразу, с порога «план Маршалла». Обсуждал на Политбюро, с промышленными наркомами, с экономистами, особенно с академиком Вознесенским Николаем Алексеевичем. В какой мере разумно использовать американские предложения, какую пользу извлечь? И пришел к выводу: за временное облегчение придется расплачиваться слишком дорого. Я разделял эту точку зрения, не будучи специалистом, но

исходя из житейского опыта: дядя Сэм ничего не дает просто так, позволь ему ухватиться за палец, он и всю руку оттяпает.

Когда какая-то проблема представляется мне очень сложной, я, для лучшего понимания, стараюсь упростить ее, отбросив необязательное, найти конкретные примеры. При этом основа-то проблемы зачастую оказывается достаточно простой, общедоступной, а остальное лишь камуфляж, упаковка и этикетки для простаков. Американцы, значит, готовы оказать широкую поддержку пострадавшим от войны европейским странам, в том числе Советскому Союзу. Но куда и как будут они вкладывать свои средства, в чьих интересах, ради каких целей? Вот автомобилестроение. В 1930 году у нас в стране насчитывалось всего лишь 25 тысяч различных автомашин. В США — 24 миллиона. Мы лошадиными силами пользовались, а они — моторами. Не угонишься.

Мы совершили невероятное. Собрав тридцатитысячный строительный коллектив, за два года возвели на берегу Оки промышленный гигант — Горьковский автомобильный завод. Пересели с телег на машины. В несколько раз возросла накануне войны подвижность наших войск. Немцы понимали, сколь важна продукция ГАЗа для нашей победы. Пытались бомбить завод. Самый массированный, неожиданный и удачный для них налет произвели перед началом сражения на Курско-Орловской дуге, что явилось своеобразной прелюдией этой битвы. На заводе было разбито или повреждено шестьдесят построек. Но работа не прекращалась: давали продукцию для фронта, одновременно восстанавливая цеха.

В годы войны оборудование Горьковского автозавода использовалось на полную мощность. Оно не только износилось, но и устарело. Завод нуждался в переоснащении, в переходе на новую технологию. Такое же положение было и на большинстве других предприятий, составлявших основу нашей тяжелой, в том числе оборонной, промышленности. Без реконструкции этих предприятий не поднять ни легкую промышленность, ни сельское хозяйство. Но именно такой реконструкции и такого подъема нисколько не желали американцы, не предусматривал «план Маршалла». Зачем, дескать, переоснащать и расширять хотя бы тот же Горьковский автозавод, мы снабдим вас автомашинами в избытке, не по высокой цене и на любой вкус, от «форда» до «студебеккера». И запасными частями обеспечим. Зачем налаживать выпуск комбайнов и тракторов? Тоже дадим, пришлем, — только слушайтесь нас.

Как нам было известно, недавние союзнички намеревались прибрать к рукам или выключить из деятельности Кузнецкий металлургический комбинат, дававший нашей стране почти половину всей брони. Интересовались авиационной промышленностью. Искали подходы к нашим горнодобывающим центрам на Урале и в Сибири. Не менее трогательная «забота» проявлялась и о сельском хозяйстве. Здесь обрисовалась такая концепция. Шестьдесят процентов территории Советского Союза — это, мол, районы Арктики, вечной мерзлоты, это пустыни и горы, то есть регионы совершенно бесплодные, пригодные разве что для оленеводства, для охоты на диких зверей. Еще процентов двадцать — зона неуверенного, рискованного земледелия, подверженная заморозкам, засухам и прочим невзгодам. Никакого сравнения с Соединенными Штатами, где условия для сельского хозяйства просто идеальные.

По всей стране, от экзотической Мексики до пшеничной Канады, от Атлантического до Тихого океана. Как на Кубани или на юге Украины. Весной воткнули ветку — осенью яблоки собирай. Хлеба и кукурузы,

овощей и фруктов рождается столько, что приходится устанавливать квоты, дабы избежать излишества. Корма для скотины, для птиц, для людей — навалом.

Подсчитано: из-за природных условий крестьянам России надобно затрачивать усилий на производство единицы продукции в три-четыре раза больше, чем их коллегам в Соединенных Штатах, и несколько меньше в Западной Европе. Значит, и стоить она будет дороже, не выдерживая конкуренции. И все тот же вопрос: зачем вам нужны колхозы, совхозы, МТС, зачем вам вкалывать с утра до вечера, в три раза больше, чем американцы, если они вполне способны сытно накормить Россию?! И продукты привезут, и одежду с обувью, и детективно-дефективные кинофильмы. Все что угодно. Только вы, русские, не мешайте нам хозяйничать во всем мире, не возникайте со своими достижениями и претензиями. Ковыряйте лопатами земельные участки — для здоровья полезно. Запасайте на зиму картошку с капустой и хрен с редькой, собирайте развесистую болотную клюкву, орехи да грибы, готовьте закуску под самогон и виски для своих бесконечных праздников — выходных дней. Гуляй, безразмерная душа! А кто посмекалистей да покрепче характером — перепродавай заграничный товар, накручивай цены, спекулируй, набивай карман за счет дураков. Все при деле, и никаких возмущений типа «мы не рабы, рабы не мы». Полная демократия. С неафишируемой, но четко определенной целью: шагом марш в первобытное общество!

Я отнюдь не цитирую «план Маршалла», лишь излагаю суть и последствия, какими они представлялись мне и, в значительной мере, Иосифу Виссарионовичу. Американцы считают нашу страну богатейшей кладовой природных ресурсов, от нефти до древесины, от пушнины до золота. С неограниченными запасами разнообразных энергоносителей. С почти не нарушенной экологией. И при этом дешевая рабочая сила. Все эти особенности следует использовать для Запада, поддерживая в России самый низкий уровень производства, развивая там лишь промышленность вредоносную, связанную с химией, с расщеплением атома. Под строгим, конечно, контролем. То есть задача, говоря открыто, сводилась к тому, чтобы превратить Советский Союз в сырьевой придаток Западной Европы и Соединенных Штатов. Но сделать это постепенно и незаметно, под благовидным предлогом, дабы такой процесс не вызвал решительного противодействия. Пусть спохватятся, когда уже поздно будет. Цель — почти как у погоревшего фюрера. Только немецкие фашисты делали ставку на силу, на военное превосходство, а новые искатели мирового господства больше рассчитывали на экономическую экспансию, на политические выкрутасы.

От общего — к частному, к случаю, из-за которого сильно обиделся на Георгия Константиновича Жукова наш простоватый, но сметливый и памятливый Никита Сергеевич Хрущев. Было это еще до выдворения Жукова из Москвы. На Ближней даче у Сталина собрались вечером пообедать человек десять приглашенных, в том числе несколько военных товарищей. Неофициальный разговор шел на интересовавшую всех тему, все о том же «плане Маршалла», о стремлении американцев вести совместную разведку и добычу полезных ископаемых на нашей территории. Иосиф Виссарионович напомнил о том, как Николай Второй и разжиревшие при нем кровососы банкиры наживались на грабеже, продавая и сдавая в аренду зарубежным хищникам наши природные

ресурсы, рудники и заводы, то есть ту основу, тот фундамент, на которых зиждется государство, благополучие народа. Сколько золота англичане нахапали в одной лишь Якутии на Лене-реке! А каменный уголь! Новоявленные хозяева, иностранцы-инородцы, тормозили у нас добычу топлива, делая ее неэффективной, а к нам (с нашими-то запасами!) везли уголек с Запада, из Германии, и продавали втридорога. И это до 1914 года, вплоть до начала мировой войны. Двинулись на нас кайзеровские армии, а в России паровозы стоят без своего топлива, не на чем войска и оружие перевозить. Топали солдатики на своих двоих, со скоростью десятый день девяту версту…

Присутствовавшие, как всегда, слушали Иосифа Виссарионовича с большим вниманием, оторвавшись от тарелок. А Никита Сергеевич, прибывший из Киева, уставший в дороге и захмелевший после нескольких рюмок, боролся с дремотой, подпирая рукой тяжелую голову.

— Вот к чему приводит забота зарубежных доброжелателей в кавычках, хищническая сущность которых нисколько не изменилась. Но повторения прошлого мы не допустим, — закончил Сталин. И сразу же громко и невпопад прозвучал голос Жукова:

— Дун-ня!

— Какая Дуня? При чем тут женщина? — удивился Иосиф Виссарионович. — Объясните, пожалуйста.

— В деревне нашей так говорили. Если расшифровать по буквам — дураков у нас нет.

— ? — у Сталина приподнялась правая бровь.

— А я? — вскинул голову Никита Сергеевич, покачал коротким указательным пальцем: нас, мол, не проведешь. — А я где?

Дружный смех заставил его враз отрезветь, исчезла с глаз мутная пелена. Лицо и шея стали темно-багровыми от прилива крови.

— Купился, — произнес кто-то.

— Да я… — приподнялся Никита Сергеевич. — Да ты чего себе позволяешь? — Это он Жукову.

— Сядь, товарищ Хрущев. Не обижайся, — успокоил его улыбавшийся Сталин. — Сам любишь пошутить, а это хорошая народная подначка. Пусть «Холодная котлета» обижается на товарища Жукова. А мы не будем. Лады?

— Лады, — неохотно согласился Хрущев.

2

С возрастом усиливается не всеми сознаваемое, но почти для всех неизбежное стремление не кануть бесследно в вечность, оставить на земле какую-то память о себе. Вырастить детей и внуков, посадить лес или хотя бы дерево, чтобы цвело по весне. Написать хорошую книгу или подарить людям музыку, способную звучать сквозь годы. Построить дом, плотину или даже целый город — исходя из возможностей. Иосиф Виссарионович, человек многообразный, возможностей имевший достаточно, использовал за долгую жизнь разные варианты увековечивания с различными, конечно, успехами-результатами. С детьми, как мы знаем, был полный провал: не в него пошли, оказались чуждыми. Но вот в смысле строительства, к примеру, им сделано столько полезного, что изменился даже облик страны, ее география.

По инициативе Иосифа Виссарионовича и при его решительной требовательности многое было достигнуто еще до войны. Турксиб и Днепрогэс, Магнитка и Комсомольск-на-Амуре, редкие металлы Норильска и тракторно-танковый гигант Сталинграда — всего не перечислить! Чем отличается капиталист от настоящего коммуниста? Хотя бы тем, что капиталист заботится лишь о своей прямой выгоде. Вот дорог нынче лес, ну и рубит его под корень, наживаясь на продаже. А то, что на месте роскошных дубрав остается пустыня, что исчезают «фабрики кислорода», его не волнует. Плевать, лишь бы сегодня наполнить карман. Выгодно было американцам убивать бизонов — за несколько лет истребили многомиллионное стадо великолепных животных, оставив считанные единицы. А у нас, к примеру, когда еще и война не закончилась, в Москве, в Останкинском лесопарке, был заложен на 360 гектарах Главный ботанический сад страны, ставший крупнейшим и красивейшим в Европе.

Отхватить прямо сейчас кусок побольше да пожирнее — главный принцип буржуа, банкира, капиталиста. А Иосиф Виссарионович заботился не о собственном благополучии, об интересах державы, жил не только настоящим, но и будущим, не принимая хитро-коварных зарубежных инвестиций, не влезая в долги по всяким там «планам», за которые расплачиваются дети и внуки. А каким предвиденьем надо было обладать, чтобы своевременно развернуть огромную стройку, проложить канал Москва — Волга и создать рукотворное Московское море — водохранилище! Сколько было противников у этого начинания, они не перевелись и доныне: кричат, критикуют. А спроси этих столичных крикунов, откуда в их кранах вода, которую они пьют и вообще используют в неограниченном количестве? Не позаботься Сталин еще до войны о создании канала и водохранилища, уже в пятидесятых годах быстро растущий город и его окрестности «сели бы на мель», оказавшись на скудном «аквапайке». Но нет, до следующего века воды хватит. Не говоря уж о том, что Москва стала портом пяти морей, обретя прямой и дешевый транспортный путь к Азову и Черноморью, к Каспию, к Балтике и даже на Беломорье. И грузы идут по этим водным дорогам, и туристы катаются — путешествуют на белых теплоходах.

При Иосифе Виссарионовиче наша в общем-то плоская столица обрела еще два уровня. Появилось метро, сразу решившее многие проблемы передвижения, ускорившее даже темп самой жизни. Подземные красавцы дворцы одним своим видом облагораживали пассажиров. Безупречная эстетика, торжественно-строгий порядок, идеальная чистота. Совестно в грязной одежде зайти, скверное слово произнести и уж тем более бумажку бросить мимо урны. Даже во время войны не прекращалось строительство метрополитена, вводились в строй новые станции глубокого заложения, служившие к тому же и укрытиями при налетах вражеских бомбардировщиков. 1 января 1943 года был сдан в эксплуатацию Замоскворецкий радиус со станциями «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Автозаводская». Через год — Покровский радиус: станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Измайловский парк». Вот ведь и рабочие руки находились, и средства. После всего этого странными казались в мирные дни сетования Хрущева на нехватку денег для создания подземных линий, его стремление упрощать и удешевлять строительство. Вплоть до прокладки путей на поверхности. Нечто среднее между трамваем и электричкой. Куда деньги-то тратились? На поездки по заграницам? На пропой? На подкормку чиновников? Разворовывались?

Москва не только углубляла в землю свои корни: Иосиф Виссарионович хотел возвысить нашу столицу во всех смыслах, поднять ее архитектурный уровень. Теперь просто невозможно представить себе Москву без высотных зданий, изменивших после войны весь ее облик, раздвинувших ее центр от кремлевских башен до Садового кольца. Город перестал быть равнинным, плоским — город вознесся, в нем появились новые ориентиры, достойные любования. Посмотрите хотя бы с Ленинских-Воробьевых гор, убедитесь сами.

Иосифу Виссарионовичу особенно нравилось новое здание университета, которое он считал своим Детищем. Бывал на строительной площадке. Часто проезжал мимо, направляясь из Кремля на Ближнюю дачу, с удовольствием наблюдая, как растет это необычное сооружение, одновременно и величаво-монументальное, и классически-грациозное. Советовал строителям использовать в работе все достижения науки и техники. В частности — трубы из нового сорта пластмассы, из винидура или что-то вроде этого (в подобных делах я слабоват).

Огорчен был Иосиф Виссарионович лишь тем, что здание возводилось не совсем на том месте, где он первоначально замыслил. Сталин хотел, чтобы университет стоял близко к реке, над крутым обрывом Ленинских гор, являя собой великолепный символ могущества и красоты, видимый со всех уголков большого города. Однако специалисты предложили перенести сооружение с бровки склона подальше от берега, опасаясь оползней. Иосиф Виссарионович вынужден был согласиться. Построенное здание не получило предполагавшейся обзорности, но при всем том вид его своеобразен и замечателен, это один из лучших памятников, увековечивших сталинскую эпоху.[105]

Совсем что-то в предыдущей главе я «демобилизовался», отстранившись от своих непосредственно военных забот. Разрядка, что ли, после стрельбы и грохота?! Хорошо бы, конечно, рассказывать о прогулках с Иосифом Виссарионовичем, о том, как он ухаживал за цветами-розами, часто споря со своим упрямым садовником, но время было такое, что в мире опять запахло порохом и, хуже того, повеяло тлетворной жутью новой сатанинской силы — ядерного распада. И значит — мое место в строю. В строю привычном, но изменившемся настолько, что я чувствовал себя в нем все более и более одиноким.

Не осталось на службе моих ровесников из числа тех, кто сражался на русско-японской и в Первой мировой войне, моих дореволюционных коллег-генштабистов. Иногда лишь с графом Игнатьевым общался, да и то главным образом по телефону. В разное время и по разным причинам призвал к себе Господь многих полководцев гражданской войны. Даже ряды тех, кто на гражданской был солдатом или младшим командиром, а расправил крылья и взлетел уже при советской власти, как Жуков, Белов, Рокоссовский, — даже их ряды основательно выкосила последняя битва с германцами. Не стало Ватутина, Черняховского… Место ушедших занимала новая поросль, изрядно отличавшаяся от предшественников, более образованная, более приспособленная к новым реалиям и эти реалии создававшая. Подрастали технократы со своим особым мышлением, далеко не всегда понятным мне, как не совсем понятны были и некоторые научно-технические достижения.

Не только я, разумеется, оказался в положении старого солдата, отстающего от колонны на марше. Померк, отошел в тень Семён Константинович Тимошенко, превратившись в этакого «свадебного

маршала» — для украшения президиумов, для появления на парадах. Его перебрасывали с округа на округ, чтобы временно закрыть вакансию, пока подберут перспективного командующего. Семен Михайлович Буденный числился главкомом нашей кавалерии, которой после войны почти не осталось: кавалерийские корпуса расформировывались, перестали существовать. И другая еще была у него должность — заместитель министра сельского хозяйства по коневодству. Постов-то два, но оба не ахти какие. Жил прошлым легендарно-песенным авторитетом. При встречах с ним Сталин пошучивал:

— Что, Семен Михайлович, давно не брал в руки шашки?

— Давненько, — невесело подтверждал Буденный.

— А силенка-то еще есть врага рубануть? Не оскудела казацкая хватка?

— Резервы имеются, да враг не тот, в железо упрятан.

Если продолжить сравнение со старым солдатом, отставшим на марше, то крепче многих других ветеранов оказался Иосиф Виссарионович. Он не только не отставал, он шел впереди, ведя за собой колонну, задавая темп движению, определяя диспозицию. Иной раз и прихрамывал, зубы стискивал от напряжения, но с обязанностями своими справлялся вполне, как всегда далеко заглядывая вперед, «упрятывая в железо», по выражению Буденного, своих бойцов. А вот на биваке у костра (то есть по вечерам на даче) отдыхать предпочитал со старыми товарищами, в кругу которых меньше ощущал свой возраст. Все охотней предавался воспоминаниям. С молодыми-то надо было говорить о делах, о текущих заботах, а с ветеранами — о чем душа просит.

Кто был не в тягость, а в радость ему? Буденный с баяном — Иосиф Виссарионович охотно слушал бодрящие мелодии двадцатых-тридцатых годов: «Тачанку», «Каховку», «Дан приказ ему на запад». Жданов, случалось, садился за пианино, пел с Ворошиловым и даже с Молотовым-Скрябиным, который в молодости играл на скрипке и имел неплохой слух. Сталин подпевал им. Слушатели и зрители — это Андреев, я, Власик, Поскребышев, иногда Каганович. Неизменно — Берия, но у него была особая роль, о которой чуть позже.

Компания, прошу заметить, чисто мужская, не требовавшая особой сдержанности в разговоре. Выражайся, как хочешь. Доводилось мне слышать после смерти Иосифа Виссарионовича, каким якобы грубым был он в узком кругу: ругался непристойно, топал ногами, кричал, оскорбляя и унижая сотоварищей. Надо совершенно не представлять себе натуру Сталина или намеренно искажать действительность, чтобы утверждать такое. Ну зачем ему было кричать, браниться и топать, когда одного слова, даже одного жеста было достаточно для решения судьбы человека или какой-либо проблемы. Он и голос-то повышал очень редко, был сдержан до крайности, не выдавая своих переживаний, а загоняя их вглубь, чем, как я уже подчеркивал, осложнял иногда состояние собственного здоровья.

Да, бывали случаи, когда Иосиф Виссарионович срывался, мог вспылить, накричать, оскорбить хлесткой бранью, даже ударить, но это лишь в самых чрезвычайных обстоятельствах и только с людьми очень близкими, которых величают «домашними». Было: прилюдно изругал, унизил жену свою Надежду Сергеевну, после чего отправилась она на Суд Всевышнего. Грязно оскорбил и влепил пощечину дочери Светлане за ее связь с Алексеем Каплером, вопиюще противоречившую его отцовским и патриотическим чувствам, перечеркивавшую надежды на достойную

наследницу — продолжательницу его дел. Случалось, срывал свое раздражение, скверное настроение на Власике: и обзывал непристойно, и даже за дверь выталкивал. Иногда, наедине, доставалось Поскребышеву. Но, повторяю, происходило это очень редко и с самыми близкими людьми. А со всеми другими, в том числе и с друзьями, Сталин всегда был спокойно-вежлив, соблюдая определенную дистанцию.

Верхом наивности было бы полагать, что Иосиф Виссарионович не знал полного набора ругательств, как примитивно-пошлых, так и виртуозно-ярких, которыми необычайно богат наш действительно великий, могучий, красивый, гибкий и многообразный язык. Сталин овладевал русским языком не только в духовной семинарии, не только общаясь с интеллигентами-революционерами, с учеными и дипломатами, но и совсем с иными людьми. В тюрьмах и на этапах, живя в ссылке среди крестьян и уголовников, побывав на войне, где любезные и мягкие выражения не в почете. Диапазон — от самых низов до самых верхов. Впитал все особенности, всю образность говоров и диалектов, полюбил русский язык больше родного грузинского и пользовался так, как дай Бог каждому прирожденному русскому. Ну и ругаться мог бы виртуозно, демонстрируя свою «народность», но не опускался до этого. Хотя, конечно, при необходимости применял и такую сильнодействующую взрывчатку.

Интуиция безошибочно подсказывала ему, с кем и как надо держаться. Невозможно представить, чтобы Сталин выругался по-черному в присутствии маршала Шапошникова, маршала Василевского, маршала Рокоссовского, маршала Говорова или адмирала Кузнецова. Как и при мне. Никогда я не слышал, чтобы он матерно выражался при Молотове или при Жданове. Люди не те. А вот при Кагановиче, при Ворошилове, при Тимошенко, при Кулике мог — даже в их адрес. Доставалось Хрущеву. Насмешливо называл его «голубь Никита», а раздражаясь, характеризовал деятельность «Никиты», не стесняясь в выборе слов. Не в широком кругу, разумеется. Маленкова обругивал не как работника, а как личность. «Толстозадая Маланья» — это, пожалуй, самое безобидное.

Опять же о маршалах. Почему Сталин мог разговаривать резко и даже оскорбительно с Коневым или с Булганиным, но никогда не повышал голос, не произносил бранных, обидных слов при Жукове или о нем, даже в ту пору, когда Георгий Константинович был еще генералом? Приказывал, выражал недовольство, требовал — но все это деловым тоном, в рамках полной пристойности. Да потому, вероятно, что ощущал твердость жуковского характера, безграничность его возможного гнева и понимал: на любой свой резкий выпад получит столь же резкий отпор. Даже так: в годы войны Жуков в присутствии Сталина мог позволить себе выругаться, не напрямик в адрес вождя, но косвенно задевая его. А Сталин горькую пилюлю проглатывал безответно. «Товарищ Жуков честный человек, что думает, то и говорит прямо в глаза».

Теперь про неординарное положение Лаврентия Павловича Берии, которому доставалось от Сталина столько брани, что он вроде бы «страдал и отдувался за всех», но к которому Иосиф Виссарионович был привязан больше, нежели ко многим другим. Чем дальше, тем сильнее ненавидел Сталин Лаврентия и при этом все острее нуждался в нем. Диалектика жизни. С одной стороны, скверно, если кто-то проникает в твои мысли, понимает тебя без слов, а с другой — что может быть лучше, если за тебя делают желаемое тобой, но о чем ты не говорил, чего не приказывал. Ты чист, у тебя роль справедливого судьи. Берия выполнял ту

черную работу, которая представлялась Сталину необходимой, но которую ему никак не следовало озвучивать. Иосиф Виссарионович знал: честолюбивый Берия лелеет тайную мысль занять место вождя в Кремле, коль скоро оно освободится. Но понимает при этом, насколько незыблем авторитет Сталина, и не рискнет выступить против него, будет стелиться ковром под ногами Иосифа Виссарионовича, пока тот обладает силой и властью.

Ко всему прочему, Сталин не мог уже обходиться без того допинга, без того сладкого яда, которым постоянно, в нарастающих дозах отравлял его хитроумный Лаврентий, привязывая к себе. Без хвалы, без восточной лести, иногда изощренно-тонкой, иногда оглушающе-откровенной. «Великий и мудрый» — лишь один Берия обращался к нему так в обычное время, повседневно, а не только с трибуны. Ну, сама-то по себе похвала не отрава, даже полезна в определенных дозах, тем более, если уравновешивается критикой. Но в том-то и суть, что ничем не смягчаемая лесть Берии стала для Иосифа Виссарионовича привычной, необходимой, как наркотик для наркомана, как водка для алкоголика. Вред понятен, а отказаться нет сил. Ругаешься, злишься на себя, на угощающего, но принимаешь.

Ругать Берию, обзывать дурными словами — это тоже вошло в привычку, служило разрядкой для Иосифа Виссарионовича и, кстати, громоотводом для других товарищей. «Выпустив пар» при Берии, Сталин появлялся «на людях» умиротворенный, спокойный, сдержанный. Без такой разрядки он уже не мог обойтись, ему требовалось раз в несколько дней, хотя бы раз в неделю, выплеснуть «черную энергию», и Лаврентий Павлович сознательно давал ему такую возможность: терпел, понимая, что становится все более необходимым для Иосифа Виссарионовича. Иногда подобные сцены, в смягченной форме, без мата, возникали в моем присутствии, и чаще всего по самым пустяковым поводам. Было бы лишь за что зацепиться. Ну хотя бы так. В одном из своих выступлений Берия произнес по поводу отношения к «плану Маршалла» фразу, встреченную, между прочим, аплодисментами: «Если кто и способен прыгнуть в пустой бассейн, то это не товарищ Сталин».

Иосиф Виссарионович узнал, спросил:

— Лаврентий, зачем ты ставишь меня на край пустого бассейна?

— Хотел еще и еще раз показать твою мудрость и осмотрительность.

— В чем же тут мудрость? Подавляющее большинство нормальных людей вообще не ходят к пустым бассейнам и не задумываются, прыгать в них или нет. В пустые бассейны прыгают только сумасшедшие. Следовательно, ты утверждаешь, что товарищ Сталин еще не сошел с ума. Спасибо тебе за такую постановку вопроса. — Помолчал и добавил со злостью: — Прежде чем товарищ Сталин прыгнет в бассейн, Лаврентий Берия захлебнется в разбитом корыте или в собственном ночном горшке. На выбор.

Берия потом сетовал, вроде бы сочувствия моего искал:

— Сладким быть нельзя — проглотят. Горьким тоже нельзя — выплюнут. Вот и гадай, каким быть.

— Самим собой.

— Опять невыгодно. Один решит, что я умный и хороший, а другой — что плохой и вредный. Половина за меня, половина против. Шатко. Надо, чтобы почти все были за: и любили, и уважали, и боялись.

— Практически невозможно.

Лаврентий Павлович вздохнул и тщательно вытер платком кончик носа, прямо-таки растрогав меня: до чего, оказывается, тяжело жилось человеку.

При всем том Берия ни в коей мере не был при Сталине лишь «мальчиком для битья», а, наоборот, являлся весьма исполнительным, инициативным партнером — еще и по этой причине Иосиф Виссарионович не мог обойтись без него. Что требовалось нам сразу после войны с немцами? Создать щит, который надежно прикрыл бы нас и дружественные нам страны от атомных бомб, которыми монопольно владели американцы. Янки наглели, распространяя свое влияние на весь мир, угрожая непокорным применением силы. А что противопоставить новоявленным захватчикам? Только такую же грозную силу, какой обладал агрессор. Но у американцев богатейшие возможности, а у нас — поднимающаяся из руин страна. Нам нужны были таланты, способные в кратчайший срок вознестись на высочайший научно-технический уровень, нужны были организаторы, способные при нашей бедности осуществить, казалось бы, невозможное. И таковые нашлись.

В структуре Совнаркома создано было Первое главное управление — ПГУ, — занимавшееся всеми аспектами получения и использования атомной энергии, созданием атомной, а в перспективе и водородной бомбы. Руководил новой, сверхсекретной отраслью, как мы уже говорили, Борис Львович Ванников, а шефом проблемы, куратором от Политбюро являлся Лаврентий Павлович Берия, решавший все организационные вопросы, поставлявший рабочую силу, технику, материалы. И хоть жили они как своенравный кот со злой собакой (Ванников успел побывать на Лубянке и был освобожден лично Сталиным), но работали успешно, стремясь к одной наиважнейшей цели. Плоды этого сотрудничества мне довелось увидеть своими глазами.

После трагической гибели моей жены Анны Ивановны, в чем была и моя вина, я утратил интерес ко многому из того, чем занимался прежде. Однако поручения Иосифа Виссарионовича постепенно возвращали меня к прежней жизни, к выполнению привычных обязанностей. Осенью 1947 года он предложил мне отправиться в Астраханскую область на первый наш ракетный полигон Капустин Яр, дабы понаблюдать за стендовыми (огневыми) испытаниями и фактическими запусками наших первых баллистических ракет. Серии «Т» и серии «Н» — по десять штук в каждой. Хотя бы для того, чтобы на молодежь посмотреть. Среди 140 военнослужащих и 70 гражданских специалистов, выполнявших ответственное задание, действительно много было сравнительно молодых людей, неизвестных или почти неизвестных ни Сталину, ни мне. Да еще человек пятнадцать немцев, занимавшихся созданием ракет при Гитлере, а теперь сотрудничавших с нами. Иосифу Виссарионовичу хотелось не только знать официальные результаты испытаний и перспективы, но и посмотреть на новшество, оцепить его эффективность глазами соратника-ветерана. Это тоже одна из его привычек: сопоставлять, скрещивать различные мнения.

Ракеты, ракеты… Когда-то в молодости я увлекался ими почти как паровозами, как только что появившимися пулеметами, которые и пересилили все другие влечения. Знал историю этого вопроса. Не вдаваясь в дальнюю допетровскую даль, скажу, что серьезная разработка боевых ракет началась у нас в первые годы XIX века. Возглавлял это дело Александр Дмитриевич Засядько, боевой генерал, участник Отечественной

войны 1812 года, закончивший антинаполеоновский поход в Париже, заслужив шесть боевых наград.

Еще в 1815 году пиротехническая лаборатория, которой руководил Засядько, изготовила своего рода прообраз будущих «Катюш». Сконструированная там ракета состояла из трех частей: цилиндрическая железная гильза со специальным составом, колпак для зажигательной смеси и деревянный «хвост» — стабилизатор. Пусковой станок позволял вести залповый огонь сразу шестью ракетами (как немецкие шестиствольные «ишаки» 1941-45 годов). Сие оружие высоко оценил фельдмаршал Барклай-де-Толли, присутствовавший на испытаниях.

В 1826 году на Волковом поле возле Петербурга было создано специальное предприятие по производству боевых ракет, на котором в общей сложности было изготовлено без малого 50 тысяч этих изделий, а использовались они, кроме испытаний, в ракетной роте № 1, которая сформировалась почти одновременно с рождением вышеназванного завода. Ракеты наши с большим эффектом использовались в русско-турецкой войне 1828-29 годов, в Крымской войне, опять же в русско-турецкой войне 1877-78 годов, на кораблях Черноморского флота. Потом, в связи с быстрым развитием нарезной артиллерии, ракеты как-то утратили свое значение. У нас продолжали заниматься этим делом только энтузиасты. Ракетное оружие возобновилось в Советском Союзе лишь к началу Великой Отечественной войны, воплотившись в виде грозных реактивных установок. А вот немцы в поисках «оружия возмездия» шли другим путем, создавая большие ракеты единичного действия, рассчитанные на доставку мощных зарядов на значительное расстояние для ударов по Англии и даже по Соединенным Штатам. На эти сведения я и опирался, получив задание Иосифа Виссарионовича.

А еще вот что. Сталин знал, что перед каждым серьезным мероприятием, к которому имел отношение Берия, в его ведомстве заранее составлялся список лиц, которых можно привлечь к ответственности в случае неудачи. Вот свершившийся факт — вот виновники. А дело-то в Капустином Яре было сложное, на полигоне всякое могло произойти, Иосиф Виссарионович не желал терять ни одного из немногих наших специалистов по ракетам, за исключением разве что сознательных вредителей. Но вредительство представлялось маловероятным. Ракетчиков проверяли и перепроверяли, каждый их шаг был под контролем. Посему Иосиф Виссарионович счел необходимым особо предупредить меня:

— Мы в самом начале трудного пути. Очень нужны кадры. Посмотрите, пожалуйста, чтобы Берия не перегнул палку, чтобы обошлись без потерь.

Это указание я и счел для себя главным. Уже одно мое присутствие охлаждало всегдашнее стремление Лаврентия Павловича обрести «козлов отпущения» и свалить на них недостатки. Тут я мог принести пользу. А в смысле техники — где уж угнаться за специалистами.

Что мне было известно о ракетах дальнего действия? Попытки создать их велись еще до войны в нескольких странах, в том числе и у нас. Мы продвигались успешнее некоторых других государств. Однако всех опередили дотошные немецкие инженеры. К 1942 году они разработали и освоили баллистическую ракету ФАУ-2 (техническое название А-4). Дальность полета 275 километров с боевым зарядом в одну тонну. Грозное достижение. В Тюрингии, возле города Нордхаузен, руками пленных построили большой подземный завод «Миттельверк», способный

выпускать до 20 ракет в сутки. Всего же немцам удалось изготовить около 6000 ФАУ-2 и примерно половину использовать при ведении боевых действий, главным образом для ударов по Англии.

Вообще говоря, занять Нордхаузен должны были наши войска. Но американцы, располагавшие сведениями о подземном заводе, опередили нас и основательно «похозяйничали» в «Миттельверке». Уходя по требованию советского командования за демаркационную линию, они увезли с собой серийные и опытные ракеты, оборудование, приборы, основную техническую документацию. И более 500 специалистов вместе с ведущим изобретателем и конструктором фон Брауном. Все это помогло американцам быстро выйти на первое место по ракетостроению. Нам же досталось лишь то, что янки не смогли вывезти, но взорвали или испортили. Наши специалисты, прибывшие в район «Миттельверка», буквально по крохам собрали уцелевшие детали, восстановили, а вернее, воссоздали основные узлы ФАУ-2, аппаратуру наземного управления, многие технические документы. Заложили основу для создания наших собственных баллистических ракет типа Р-1 и дальнейших модификаций.

«Вооруженный» такими знаниями, в октябре 1947 года я впервые увидел на полигоне Капустина Яра три стендовых (огневых) испытания, а затем несколько фактических запусков советских ракет, тогда еще имевших нечто общее с ракетами ФАУ-2 (А-4). Но много уже и нашего было в них. А всего лишь через год взлетят в небо образцы ракет полностью нашего производства.

Запомнились не столько фактические запуски, сколько самый первый стендовый «экзамен». Не только потому, что решался главный вопрос — получится или не получится, важный для всех, кто имел отношение к этому делу, особенно для руководителей испытаний, собравшихся в бункере, но еще из-за одной существенной, чисто человеческой подробности. Сергей Павлович Королев дал команду. Двигатель ракеты, закрепленной на мощном стенде, запустился: это уже был успех, и все облегченно вздохнули. А двигатель разбушевался: гул его перерос в грохот, из сопла рвалось пламя. Сразу вспыхнули доски опалубки, ближайшие кусты и деревья. Реактивная струя выбивала из отражательного «зеркала» куски бетона. Стенд дрожал. Силища такая, что казалось, разнесет все вокруг. Королев замер, как завороженный, не в силах отвести взгляд от невиданной захватывающей картины. Она так увлекла его, что он пропустил какой-то срок, какие-то секунды. Мне показалось, что стенд не выдержит. Но в этот момент оператор крикнул:

— Разрешите выключить двигатель!

— Да! Выключай! — спохватился Королев и, вытирая платком лоб, пояснил: — Залюбовался.

У поэта Роберта Рождественского есть стихотворение о молоденьком лейтенанте, которому надо было поднять в атаку своих людей, самому встать и шагнуть навстречу вражескому огню. Ох, как это непросто!.. И там слова: на тебя издалека смотрит Гагарин, ты не поднимешься — он не взлетит… И еще. Встал лейтенант и наткнулся на пулю, на пулю твердую, как стена… Все мы, кто творил нашу победу на фронте и в тылу, погибшие и уцелевшие, все мы были потом там, где вознеслись в небо первые наши ракеты. Все мы были затем с нашим русским парнем, проложившим человечеству дорогу в космос. Все связано неразрывно.

В тот день, когда состоялся первый фактический запуск баллистической ракеты, Сергею Павловичу Королеву доложили: полет прошел успешно,

ракета приземлилась в степи, в заданном районе. И тогда Королев или кто-то из его окружения произнес вещую фразу, которую повторяют, варьируя, до сих пор; «Она приземлилась не в степи, а в другой эпохе». На это, кстати, обратил внимание Иосиф Виссарионович, когда я рассказывал ему о своих впечатлениях и выводах.

— Эпоха — это если заглядывать далеко, — удовлетворенно промолвил он. А что на сегодня, на завтра? Помните, как после гражданской грозил нам Чемберлен? Ультиматумы предъявлял. Как тогда могли ответить ему наши рабочие и крестьяне? Только символически. Лозунгами и речами на демонстрациях и митингах. С большими кукишами на плакатах. На, мол, выкуси… А ракеты — не просто символ. Это вполне реальный и весомый кукиш создателям «плана Маршалла» и всем другим, кто стремится к новой войне.

— Удар по «Холодной котлете», — пошутил я.

— Можно и так, — засмеялся Сталин.

4

Государственный секретарь США генерал Маршалл с соратниками и сам американский президент Трумэн — люди практичные. Они довольно быстро осознали, что все попытки навязать Москве свои планы, свои замыслы, поставить Советский Союз в зависимость от Соединенных Штагов сначала экономически, а затем политически — все это обречено на провал. Какая уж там «зависимость», когда за три-четыре года, оправившись от послевоенного неурожая, Россия почти полностью восстановила свою промышленность, подняла из руин Ленинград, Сталинград, Минск, Киев, Севастополь и многие другие города. В конце 1947 года Советский Союз первым в Европе отменил у себя карточную систему. Или вот бензин. Цена его (показатель благополучия для Запада) была у нас очень мала — 6 копеек за литр. Это же ведь общенародное достояние, бензин-то, как вода или уголь, почти бесплатный подарок природы. Если, конечно, без накруток для хищных капиталистов, для грабителей-спекулянтов. Заплатили добытчикам и переработчикам, взяли небольшой налог в пользу государства — вот и вся цена. Пользуйтесь, кому надо, этого добра у нас много. И никаких козырей для идеологов экономико-политической экспансии. Уяснив это и натолкнувшись на волю Сталина, твердо проводившего свою линию, новые претенденты на мировое господство принялись менять стратегию и тактику, переходя от экономического и дипломатического к откровенно силовому давлению. Опираясь на то, что у американцев уже есть атомные бомбы и средства их доставки на большое расстояние, а у русских еще нет… Пока нет.

Новый сценарий, разработанный вместо «плана Маршалла», был гораздо агрессивней и, на наш взгляд, примитивней пресловутого замысла «Холодной котлеты». Ставка делалась на ускоренное развитие военного блока НАТО, на восстановление как в Европе, так и в Азии традиционного баланса сил, мощных противовесов России. С преимуществом над ней. Ну, Восток подождет. Прежде всего — поднять экономический и военный потенциал Германии, как единственной страны, способной самостоятельно противостоять России на евразийском материке. Для этой цели богатые янки готовы были озолотить немцев, дать им не только деньги, а и новейшую технику, быстро развить и промышленность, и науку. Но как поднимать и развивать, если страна по договору между

бывшими союзниками от 12 сентября 1944 годы раздроблена на четыре оккупационные зоны, а Берлин, находящийся в советской оккупационной зоне, объявлен особым районом, который тоже разделен на четыре сектора: русский, американский, английский и французский. Нет ни территориального, ни правового единства, куда же американцам средства-то направлять для создания плацдарма против Советского Союза, для возведения «железного занавеса» между Россией и странами, впрягшимися под нажимом Вашингтона в натовскую колесницу?! Тупик? Для кого угодно, только не для американцев. Они поступили в своей обычной наглой манере: плюнув на все договоры и договоренности, на международный этикет, в одностороннем порядке отбросили все, что могло мешать их новым замыслам.

1 ноября 1947 года американцы и англичане заявили о слиянии своих оккупационных зон и соответствующих секторов Берлина. К ним присоединилась Франция. Через несколько месяцев эти страны открыто отказались от соблюдения четырехсторонних соглашений по совместному с Россией управлению Германией и Берлином. А завершили полный раздел немецкого государства проведением сепаратной денежной реформы. Особые законы, особое управление, особая денежная система — Германия была расколота, в ее западной части, как в своей колонии, прочно закрепились американцы.

Быстрота, нахальство и беспардонность действий недавних наших союзников, решительная демонстрация сил и возможностей произвели впечатление даже на Сталина, вообще не доверявшего англо-американским плутократам (кроме Рузвельта), всегда способным на коварство, на удары исподтишка. Иосиф Виссарионович в то время настроен был на мирный лад, озабочен нашими внутренними, «домашними» проблемами, и вдруг — такая провокация, ломавшая сложившееся послевоенное устройство! Никак нельзя было оставить ее без ответа. Соответствующая денежная реформа на востоке Германии, изменение управленческих структур — это само собой. Но сие — лишь полумеры. Требовалась крупная адекватная акция, однако при этом Сталин, не в пример американцам, не хотел выходить за рамки существующих соглашений. Он и всегда-то строго соблюдал подписанные нашей стороной договоренности, а в тот раз проявил особую сдержанность, надеясь, что бывшие союзники поймут, сколь опасную игру они затеяли, образумятся и смягчат свою позицию.

Из Берлина в Москву вызвав был Василий Данилович Соколовский, весной 1946 сода сменивший Георгия Константиновича Жукова на посту главнокомандующего Группой советских войск в Германии. Он же — главноначальствующий советской военной администрации в Германии и одновременно член союзнического Контрольного совета от СССР по управлению Германией. Вот сколько ответственных должностей! Однако не только по обязанности службы, но и по своему характеру, по опыту крупномасштабного дотошного штабника маршал Соколовский глубоко знал и достаточно объективно оценивал ситуацию, делал выводы для предложения контрмер. Он-то и подал идею перекрыть все наземные транспортные пути между Берлином и западными зонами Германии, изолировать от внешнего мира, от баз снабжения все американо-англо-французские силы и их администрацию, находившиеся в немецкой столице. Подобное действие, как подтвердил МИД, не противоречило никаким договоренностям по Германии. Суть в том, что ни в одном

соглашении на этот счет между нами и союзниками ничего не говорилось о порядке использования наземных сообщений между западными зонами и Берлином, о дорогах, пролегающих по контролируемой нами территории. А на нет и суда нет, если подходить не по дружески, а формально.

Результат таков. Советское правительство предъявило противоположной группировке резкое требование соблюдать прежнее четырехстороннее соглашение. А советская военная администрация в Германии сообщила, что немедленно и на неопределенный срок перекрывает все наземные транспортные пути, ведущие с запада к немецкой столице. Разумеется, нелегко будет без снабжения американо-англо-французским структурам в Берлине, как гражданским, так и военным, но что поделаешь: автомобильные и железные дороги поизносились, требуют ремонта, восстановления. Работы начались. А вас, соседей, приглашаем на переговоры по осложненным вами же вопросам: может, чего-нибудь и достигнем.

Американцы были ошарашены. Объединив три сектора, они фактически приняли на себя ответственность за все, что произошло и будет происходить в западной части Берлина с населением в два миллиона человек. За экономику, за благосостояние мирных жителей. Новыми, «сепаратистскими» деньгами западных берлинцев снабдили, но что на них покупать в условиях блокады, в условиях изоляции, которую наши недавние союзники получили от нас в качестве ответной меры? Пришла зима с ее холодами и длинными ночами. А западная часть Берлина — без угля и почти без электричества. Мерзли люди в неотапливаемых домах. Заходило солнце, и во мрак погружались западные сектора. Ни фонарей на улицах, ни света в окнах. Тьма.

С наступлением весны прибавилось, естественно, природного тепла и света, но до крайности обострились другие проблемы. Приведу некоторые официальные данные на середину июля 1948 года. К этому времени из-за отсутствия сырья и энергии остановилось примерно 3500 западноберлинских предприятий, то есть перестали действовать почти все основные фабрики и заводы, а люди остались без работы и без заработка. К концу подходили запасы продовольствия, пополнявшиеся доставками по воздуху. Американская администрация установила твердые нормы. Житель западного Берлина получал на сутки 400 граммов хлеба, столько же картофеля, 40 граммов мяса, 40 граммов сахара и 5 граммов сыра. И все. С голода не умрешь, но каково существовать на таком пайке из месяца в месяц?!

Советская военная администрация в Германии неоднократно заявляла: мы в любой момент готовы взять на себя нормальное снабжение западных секторов Берлина при одном условии — при соблюдении прежних четырехсторонних соглашений об оккупационных зонах. Мы не та страна, которой можно навязывать что-либо незаконное. Однако американцы и слышать не хотели о прошлых соглашениях, поигрывая нараставшими атомными мускулами. Даже не очень и скрывали, что стремятся восстановить сильную Германию как противовес Советскому Союзу, как свою опорную военную базу в Европе. Ну и конечно, Иосиф Виссарионович, давно уж искушенный в политических игрищах, четко понимал и оценивал ходы наших противников, прогнозируя их дальнейшие действия.

Многие люди во всем мире, в том числе в США, в Англии и во Франции, вполне сознавали, к каким страшным последствиям может привести навязанное американцами противостояние в Берлине. Раздавались голоса:

а не проще ли, не лучше ли вообще вывести войска союзников из немецкой столицы, оставив город русским? Это ведь их оккупационная зона. Тем более что у Западной Германии уже образовался свой центр — в Бонне. Но такой вариант опять же совсем не устраивал агрессивных американцев, на мой взгляд, даже напугал их. Они поспешили возразить. Официально. Печатано и устно. 28 июня президент Соединенных Штатов Трумэн категорически заявил: «Нет, мы не уйдем из Берлина! Мы будем снабжать население своих секторов города по воздуху».

Что же: решение, вполне соответствующее духу самоуверенных янки. Ни тогда, ни потом, несмотря на полученные уроки, они так и не поняли, с каким великим, древним, но не дряхлеющим государством имеет дело их капиталистическая скороспелость, подобная привлекательному мотыльку, рожденному помелькать какой-то миг в просторах истории. Они, безумцы, опьяненные обладанием нового разрушительного оружия, искали войны, по младости, по глупости не представляя, чем она может обернуться для них. Реальность третьей мировой битвы, нового страшного кровопролития с каждым днем становилась все ощутимей. Сознавая абсолютную нашу правоту, Сталин спокойно стоял на своем, не предпринимая обостряющих шагов. Американцы же нервничали, ощущая собственную уязвимость, бросались из крайности в крайность, пытаясь укрепить позиции, оправдаться в глазах мировой общественности.

В Западную Германию стянули американо-англо-французскую транспортную авиацию: все, что смогли. Жители Берлина страдали от круглосуточного гула и грохота авиационных двигателей. Подсчитано: в среднем каждые полторы-две минуты садился или взлетал один «грузовик». Да еще наши самолеты постоянно барражировали в воздухе, контролируя американские трассы, почти каждый день проводили учения, показывая, кто хозяин в воздушном пространстве. Оглохнуть можно!

Снабжение по воздуху облегчало положение города, но в небольшой степени. Для перевозки одного лишь угля сколько машин требовалось! А для картошки! Объединенный западный сектор Берлина еле-еле держался на скудной диете. Росло недовольство жителей, раздуваемое и направляемое, кстати, самими американскими пропагандистами. В сентябре 1948 года состоялся полустихийный митинг: возле разбитого здания рейхстага собралось не менее 250 тысяч берлинцев с требованием прекратить блокаду, вернуться к нормальной жизни. Простой человек, особенно обозленный, воспринимает только конкретику, состояние на нынешний день, не очень-то рассуждая о причинах и следствиях. Здравомыслящим людям, которые пытались напомнить первоистоки, сказать о нарушении американцами потсдамских и других договоренностей, о готовности Советского Союза в любой момент восстановить положение, обусловленное соглашениями, — таким людям не давали говорить платные провокаторы: заглушали, оттесняли, пуская в ход кулаки. Достижения американской демократии демонстрировались на немецкой земле.

Сталин, естественно, был непоколебим. Вызвав в Кремль послов западных стран, заявил им о необходимости соблюдать все пункты, закрепленные в документах, согласованных и подписанных главами четырех союзных держав. Никто эти документы не отменял, и только они могут служить основой для решения спорных вопросов по Германии. Ответственность за нарушение договоренностей лежит прежде всего на

американцах. Скажите об этом еще раз своим правительствам. Пусть думают.

Добрый совет опять не был воспринят. Американцы не желали остановить свое политико-экономическое наступление в Европе и Азии. Готовы были балансировать на краю пропасти, рассчитывая на свое военное превосходство. Вооруженное противостояние становилось все более опасным. Несколько видных американских генералов открыто предлагали прорваться через советскую зону оккупации в Берлин по сухопутью: если потребуется — применить атомную бомбу. Более того: за использование против Советского Союза ядерного оружия выступил не кто иной, как Форрестол — министр обороны Соединенных Штатов. Узнав об этом, Иосиф Виссарионович сказал: «Он ненормальный». И не ошибся. Вскоре Форрестол действительно сошел с ума и, если не ошибаюсь, выбросился в Пентагоне из окна своего служебного кабинета. А от таких, как этот психически больной министр, зависело многое.

Обстановка еще более накалилась, когда Национальный совет безопасности США принял решение перебросить в Англию и непосредственно в Западную Германию 60 боевых самолетов дальнего действия типа В-29, способных нести не только большой груз обычных бомб, но и ядерное оружие. Одновременно велось активное «прощупывание» наших воздушных рубежей. Короче говоря, нападения можно было ожидать с часа на час. Иосиф Виссарионович высказал даже предположение, что американцы, следуя примеру своих гитлеровских предшественников, нанесут коварный удар в самое неожиданное для нас время. Например — в день рождения Сталина или в праздничную новогоднюю ночь. Однако горький урок сорок первого года нами не был забыт. Наши войска, особенно противовоздушная оборона, авиация и флот находились в повышенной боевой готовности. Общевойсковые и танковые армии были укомплектованы, хорошо обеспечены техникой и боеприпасами. Наши генералы и офицеры, сержанты и рядовые обладали бесценным фронтовым опытом. Стратегические группировки располагались таким образом, что могли отразить наступление противника и сами рвануться вперед. До Ла-Манша на севере и до Мадрида на юге. Но атомные бомбы! Я почти физически ощущал, как сгустилась военно-политическая атмосфера. А люди, и у нас, и во всей Европе, жили обычной жизнью, многие даже не догадывались, сколь страшная угроза нависла над ними, над всем миром.

5

В середине января 1949 года сложившееся положение обсуждалось членами Политбюро. Не на официальном заседании, а, как это все чаще случалось в связи с возрастом Сталина, в узком кругу товарищей, наиболее близких Иосифу Виссарионовичу и имевших прямое отношение к делу. В данном случае — к обстановке в Германии. Присутствовали: Молотов, Берия, Андреев, Шверник. Из военных — маршал Булганин. Заранее выяснено было мнение маршала Жукова, которого продолжали держать от греха подальше (от своевольных решительных действий) в глубинных военных округах, а также мнение главнокомандующего Группой советских войск в Германии маршала Соколовского. Георгий Константинович, как всегда, выразился определенно и настолько образно, что я не поленился записать его слова:

— Змея шипит, готова куснуть, чтобы припугнуть нас, но соображает: как же ей быть с ядом? Самой страшно — ядом не шутят… Голову гадине отрубим, которая в Европе, а хвост пусть дрыгается за океаном.

Соколовский высказал примерно такую же мысль, но более осторожно, соответственно его характеру военачальника скорее штабного, нежели строевого, решающего:

— Американцы хорохорятся, блефуют, но побаиваются. Важно не пропустить момент, когда они могут сорваться.

Оптимизм Жукова и Соколовского базировался не только на превосходстве наших сухопутных войск над возможным противником, но и на некоторых других факторах. На величине наших пространств, менее уязвимых, нежели карликовые и густонаселенные территории западных стран. На расстоянии от американских аэродромов с носителями ядерного оружия до наших жизненно важных центров. На так называемом «подлетном времени». Бомбардировщикам В-29, стартовавшим в Западной Германии, предстояло прорваться через передовые заслоны нашей противовоздушной обороны в Восточной Германии, через нашу противовоздушную оборону в Польше и лишь после этого, если повезет, столкнуться с нашими силами ПВО на собственно советской границе в Белоруссии и на Украине. А впереди была еще одна мощная зона ПВО, защищавшая центральные районы страны и непосредственно Москву. Мы считали, что ни один, даже случайный вражеский бомбардировщик с обычным или атомным грузом не сможет долететь до Киева, до Минска, а уж тем более до белокаменной — настолько защищены они надежным предпольем. А вот Прибалтика и славный наш Ленинград могли, увы, пострадать от вражеской авиации, способной незаметно пробраться над морем или над территорией скандинавских стран. Там «подлетное время» было минимальным, там мы имели линию противовоздушной обороны лишь непосредственно на наших границах. Сие вызывало беспокойство у нашего военного и политического руководства.

Маршал Булганин, как обычно, собственного мнения не имел, готов был достойным образом выполнить любое распоряжение Верховного главнокомандующего Сталина. И вообще: никто из присутствовавших на том совещании-заседании, о котором идет речь, высказываться не торопился, понимая ответственность момента. За исключением Лаврентия Павловича Берии, который проявил особую активность, причем довольно-таки странную. Оценить его поведение, суть его рассуждений и предложений лучше всего по контрасту с другим выступлением того же Берии по такому же примерно поводу, но несколько раньше.

Осенью 1945 года, вскоре после завершения войны с Японией, в Политбюро заслушивалась информация о применении американцами атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Каков результат? Каковы характеристики этого нового вида оружия? В ту пору даже сами американцы имели лишь приблизительное представление по этим вопросам. А у нас вообще лишь теоретические выкладки да предположения. И как только в Москву прибыл человек, первым из «белых людей», из неяпонцев, побывавший на месте ядерного взрыва в Хиросиме, видевший все своими глазами и тем более способный оценить событие с точки зрения военного специалиста, его сразу вызвали в Кремль.

На страницах этой книги несколько раз возвращался я к человеку удивительнейшей судьбы, которого называю «дублером Зорге» или «вторым Зорге», — к Михаилу Ивановичу Иванову, ныне генералу в

отставке. Много лет легально и нелегально провел он на Дальнем Востоке, в Китае и в Японии, меняя, в силу необходимости, фамилии и должности, весь образ жизни. Когда громыхнул взрыв в Хиросиме, он находился в Токио, работал в нашем посольстве. Получил задание побывать на месте происшествия, собрать все возможные сведения. При этом уже сама поездка по воюющей стране, где ненавидят всех «белых», отождествляя их с врагами — американцами, уже сама эта поездка была событием незаурядным. Население однородное, иностранцев нет, в толпе не затеряешься. Михаил Иванович шутил потом, что он и его молодой помощник пострадали еще до прибытия к месту взрыва. В пути японцы забрасывали их камнями и всякой дрянью. Пришлось обратиться за помощью к местной полиции. Та, выяснив, что имеет дело с русскими, не отказала.

Ситуация почти фантастическая. Советские разведчики под охраной самурайской полиции осматривают место трагедии буквально по горячим следам, среди дымящихся руин, рядом с японцами, разыскивающими останки своих родственников. Помощник Иванова помогал переворачивать обугленные трупы, разгребал пепел… Никто же ведь тогда не знал, что ядерное оружие убивает не только сразу, но и со временем.

Михаил Иванович Иванов, человек волевой, умевший держать под контролем свои нервы, на заседании Политбюро заметно волновался. Еще бы: его слушают руководители партии и правительства, слушает сам товарищ Сталин! Сосредоточиться бы, излагать как можно точнее, но сердце колотится и вроде бы воздуха не хватает. Событие-то какое: один раз за всю жизнь! А Иосиф Виссарионович, великое множество раз видевший новичков в своем кабинете, понимал их состояние и давно уже выработал соответствующую «успокоительную» тактику. Никак и ничем не «давил» на новичка, позволяя ему освоиться. Почти не смотрел на него, зная силу своего взгляда. Если и задавал вопросы, то самые простые или конкретно-деловые. Прохаживался, помалкивал, покуривал, вроде бы даже не особенно прислушиваясь, однако слышал и запоминал, разумеется, все.

Михаил Иванович довольно быстро взял себя в руки, но волнение его проявилось вновь, когда, отвечая на вопросы, начал рассказывать о собственных впечатлениях от увиденного в Хиросиме. И настолько страшны, жутко-неправдоподобны были приводимые им подробности, что произвели весьма сильное, даже угнетающее впечатление на членов Политбюро. И на самого Сталина. Он слушал с интересом, впитывая каждое слово. Один лишь Берия скептически кривил губы, недоверчиво покачивал головой, бросил несколько реплик чипа: «У страха глаза велики». Нежелательно было ему, отвечавшему за создание нашей атомной бомбы, привлекать повышенное внимание к проблемам грозного ядерного оружия, которое американцы уже имели, а мы еще нет. Не преуспел в этом направлении Лаврентий Павлович.

— Бомба опасна, — сказал он, — но не так страшен черт, как его малюют. Не надо паниковать. — А когда Иванов вышел, пустил ядовитую стрелу ему вслед: — Трус! Краснобай! Сам испугался и нас запугивает. Но мы не из трусливых…

Повисло тяжелое молчание, прерванное затем Сталиным:

— Нет, он не трус. Наоборот, он очень смелый человек, раз пошел в такой ад. Он честен и откровенен, нам надо не критиковать его, а крепко

задуматься. В первую очередь товарищу Берии. Ему дано все, и мы вправе требовать с него, чтобы быстро ликвидировал отставание.

Добавлю еще вот что. Зная, как злопамятный Лаврентий Павлович умеет мстить людям, чем-либо не угодившим ему, начальник Генерального штаба Алексей Иннокентьевич Антонов, в чьем ведении находилось Главное разведывательное управление, подыскал для Иванова такую должность, что он не «мозолил глаза» Берии, а его «редкая» фамилия не резала слух высокопоставленного деятеля. В ГРУ были такие возможности.[106]

Вспомнив о поведении Лаврентия Павловича осенью 1945 года на заседании Политбюро, о его тогдашних высказываниях, вернемся в январь года 1949, в кабинет Сталина, где обсуждалось опасное положение в Берлине, грозившее обернуться Третьей мировой войной. На этот раз Берия занял иную, совершенно противоположную позицию. Говорил о том, насколько разрушительным и гибельным является ядерное оружие, какой ущерб, какие потери могут нанести нам десятки атомных бомб, имевшихся у американцев, причем каждая из них мощнее тех бомб, которыми разрушены были Хиросима и Нагасаки. Предлагал и даже просил не накалять обстановку хотя бы до конца текущего года. Он не связывал это напрямик с готовностью нашей атомной бомбы, об этом не принято было говорить, но все присутствовавшие понимали, что он имеет в виду.

Лаврентий Павлович очень усердствовал, чрезмерно усердствовал, отстаивая свою точку зрения, расписывая последствия возможной ядерной войны похлеще, чем генерал Иванов. Тут уж самого Берию можно было обвинить в паникерстве, в стремлении запугать наше высшее руководство. Хотя, конечно, истина в его словах была значительна, а аргументы весомы. Но он, повторяю, так усердствовал, настаивая на смягчении обстановки в Берлине, что поневоле закрадывалось подозрение: не защищает ли он американские или чьи-то еще интересы, не подкуплен ли он нашим противником? Возможно, тогда и зародилась мысль, отлившаяся после смерти Сталина в чугунную формулировку: агент американо-израильского империализма. Сам же Иосиф Виссарионович был гораздо ближе к пониманию истины. Считал, что Берия боится ответственности в случае наших военных неудач за то, что запоздал с созданием советской атомной бомбы. И вообще, ни к чему Лаврентию Павловичу новые осложнения, тем паче новая истребительная война. Он настроен на иное: дождаться, когда ослабеет, отойдет от дел постаревший вождь, и занять высшие посты в государстве, избежав тем самым расплаты за прошлые прегрешения и получив возможность поцарствовать в свое удовольствие. Сталин понимал это, как и другую печальную истину: близится время, когда он вынужден будет уступить руль кому-то другому. Но кому именно — еще не решил.

На том январском совещании Иосиф Виссарионович молча слушал выступавших товарищей, не подвел итоги, не высказал своего мнения, оставил себе время подумать. А через несколько дней, 27 января, отвечая на вопросы представителей иностранной прессы, неожиданно для всех дал понять, что он может пойти на снятие ограничений вокруг Берлина на переговорах без предварительных условий. Американцы, англичане и французы сразу ухватились за такую возможность — ведь и на Западе далеко не все хотели новой разрушительной войны. К тому же гадали на кофейной гуще: есть ли у Советского Союза атомная бомба или еще нет? Вдруг прогадаешь!

Начались изнурительные четырехсторонние переговоры, результатом которых явилось совместное коммюнике с нижеследующей фразой, которую можно считать ключевой: «Все ограничения, которые с 1 мая 1948 года были наложены советской стороной на торговлю, транспорт и сообщение между Берлином и западными оккупационными зонами, отменяются 12 мая 1949 года».

Опаснейшая авантюра, затеянная самоуверенными американцами, завершилась, слава Богу, без всемирного кровопролития. Одержала верх выдержка Сталина, его рассудительность и дальновидность. Стараниями наших недавних союзников Германия была расколота на две части, Западный Берлин полностью отделился от Восточного. Не берусь судить, кому это принесло больше пользы, кто выиграл. Во всяком случае, окончательно развеялись идеалистические представления о нашем возможном сотрудничестве, четко и надолго определилась непримиримость позиции.

29 августа 1949 года «ядерный гриб» высоко взметнулся над Семипалатинским полигоном в казахстанской степи — мы взорвали свою первую атомную бомбу. Всему свету стало известно: монополия американцев на разрушительное оружие утрачена. Создалась новая ситуация, с которой претенденты на мировое господство не могли не считаться.

6

«План Маршалла», вместе с дополнявшими его разработками, предусматривал массированное наступление на Советский Союз по трем направлениям: экономическое, военно-политическое, идеологическое. Подразумевалось, что решающий и прочный успех достигнут будет лишь при удачном сочетании действий на всех трех «фронтах». А вот этого-то как раз и не получилось. Россия, полностью отказавшись от заграничных займов, инвестиций, всяких разных подачек, ведущих к закабалению, быстро восстанавливала промышленность и сельское хозяйство, используя свои огромнейшие и разнообразные ресурсы, не подпуская к ним зарубежных «радетелей». Не влезала в долги, за которые расплачиваются потерей самостоятельности, обнищанием трудящихся масс, резким расслоением общества на бедное большинство и небольшую кучку жиреющих спекулянтов, банкиров, чиновных жуликов. Сталин руководствовался правилом: от каждого по способностям каждому по труду; благо лишь то, что на пользу всему народу, всему Отечеству. Сам жил по этим принципам, подавая пример скромности, и от других, особенно от партийно-государственных руководителей, требовал того же. Жестко требовал, сбрасывая с дороги мешавших идти вперед.

Не очень-то продвинулись исполнители «плана Маршалла» и на военно-политическом «фронте». Угрожающе размахивая атомной бомбой, они сумели лишь создать из трех оккупационных зон Западную Германию, не жалели средств для того, чтобы восстановить ее военно-промышленный потенциал, направленный против Советского Союза, и, кроме того, превратить в завлекательную витрину, показывающую, как хорошо, как привольно и сытно живется на Западе. Короче говоря, создали «железный занавес», отгородившись от Восточной и частично от Центральной Европы, где влияние России было господствующим. И вот в этой накаленной послевоенной и вроде бы даже предвоенной обстановке особое значение

для претендентов на мировое господство приобрел третий, идеологический «фронт», рассчитанный на разложение и покорение душ человеческих, на организацию внутри социалистического лагеря «пятой колонны», которая постепенно создаст нравственно-моральный плацдарм для экономического и политического вторжения в Советский Союз и в нужный момент проявит себя. Битва на этом не очень заметном «фронте» была не менее ожесточенной, чем на двух других. Враг, как хамелеон, менял окраску, приспосабливаясь к условиям, вместо одной отрубленной головы у гидры появлялась другая.

Первые залпы начавшейся идеологической битвы громыхнули, как ни странно, на территории самой Америки. Сразу после Второй мировой войны в США была создана Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, которую возглавил «бешеный расист» сенатор Джозеф Маккарти. Началась так называемая «охота на ведьм», или «очистка тылов». Проверялись все участники левых, либеральных движений, особенно те, кто имел хоть какой-то контакт с советскими людьми, кто доброжелательно отзывался о русских, о Советском Союзе, о Сталине. Страдали дипломаты, которые вместе с Рузвельтом или по его поручению сотрудничали с работниками нашего МИДа, страдали инженеры и ученые, сотрудничавшие с нами в годы борьбы с фашизмом. Искали шпионов. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», до 50 тысяч американских исследователей и изобретателей были по этой причине отстранены от работы. Страдали журналисты, деятели кино и литературы, писавшие о нас, показывавшие нашу жизнь добросовестно, без изощренной искаженности. А поскольку большинство научных работников и работников культуры были евреями, то «охота на ведьм» вполне резонно отождествлялась с охотой на иудеев. Это было проще и понятней для среднего американца, хотя, конечно, расследования и преследования комиссии Маккарти носили характер не столько национальный, сколько политический. Тылы действительно зачищали, идя в наступление. А мы, даже проницательный Сталин, не сразу восприняли это, с нежеланием осознавая тот печальный факт, что недавние союзники уже всерьез «вступили на тропу» всесторонней войны против нас.

В отличие от американцев, которые сразу принялись отлавливать своих «ведьм» организованно, в государственном масштабе, по плану и графику, у нас ничего подобного не было. Борьба с низкопоклонством перед Западом, переросшая затем в решительную борьбу с космополитизмом, началась просто с частного случая. В 1945 году поэт Александр Хазин порадовал читающую публику своим новым опусом, опубликовав то ли подражание, то ли пародию на пушкинский роман в стихах, с сохранением особенностей построения, рифмовки. Отважный сочинитель взял да и перенес Онегина из его времени в наше, в первый послевоенный год, подчеркивая, как хорошо жилось в давние времена и как скверно теперь. Этакое ерническое творение человека без святыни в душе, способного «продать отца ради красного словца». А произведение Хазина было вредоносно еще и потому, что написано умело, увлекательно. Глумливые ядовитые нотки сокрыты были под внешней безобидной игривостью. У меня дома нет текста, приведу по памяти выдержку, особенно возмутившую многих жителей Северной столицы. Онегин в Ленинграде:
В трамвай садится наш Евгений, О, бедный, милый человек. Не знал таких передвижений Его непросвещенный век. Судьба Онегина хранила, Ему лишь ногу отдавило, И только раз, толкнув в живот, Ему сказали «идиот».

Он, вспомнив старые порядки, Решил дуэлью кончить спор, Полез в карман, но кто-то спер Уже давно его перчатки. За неименьем таковых Смолчал Онегин и затих.

Весьма чувствительную для ленинградцев струнку задел поэт. Коренные жители Северной столицы всегда гордились своей особой культурой вообще и культурой общения в частности, болезненно переживали хамство новоприезжих, заполонивших город. А в этот раз суть была еще глубже и существенней. Если Ленинград стал символом народного мужества в военное лихолетье, то для самих питерцев, перенесших блокадный ад, материальным символом жизнестойкости их славного города являлся — пусть не покажется странным — трамвай.

Дело в том, что еще до начала войны трамвай был здесь главным видом транспорта и для самих горожан, и для жителей пригородов. Связывал, скреплял большое пространство. На 43 трамвайных маршрута ежедневно выходили без малого 2 тысячи вагонов, перевозивших за сутки 3,5 миллиона пассажиров, то есть примерно 92 процента от общего их числа. Остановить трамвай — замрет жизнь огромного города. Это хорошо понимали ленинградские руководители. И самого Сталина беспокоил этот конкретный вопрос, он обсуждал его вместе с Ждановым. Что будет, если в случае войны противник разбомбит наш крупнейший на северо-западе железнодорожный узел, прервет движение между городскими станциями, пресечет переброску поездов с ветки на ветку?! Нужен был «дублер». Таковым стала трамвайная сеть. Легкие трамвайные рельсы были повсеместно заменены тяжелыми, железнодорожными, с выходами их к военным объектам, оборонным заводам. На случай, если город лишится электроэнергии или будет повреждена контактная трамвайная сеть, — на этот случай на запасных путях стояли паровозы, способные водить по городским улицам сцепки трамвайных вагонов, что и было потом.

8 декабря 1941 года — один из самых черных дней в истории блокированного Ленинграда. На трамвайные подстанции перестала поступать электроэнергия. К этому времени от бомб и снарядов на своих боевых постах погибли три четверти тружеников трамвайной службы пути — около 800 человек. Но трамваи еще продолжали ходить. Редко, но все же ходили: с помощью паровозов, а вернее — с помощью той незримой силы, которую принято называть силой духа. 25 декабря того же года начала неуклонно расти норма ленинградского блокадного пайка, опускавшаяся перед тем до 125 граммов хлеба на человека в сутки. Паек рос, но смертность в городе резко увеличилась. Это произошло после того, как в новогоднюю ночь остановился и замер в снежных заносах последний из действовавших трамваев. Истощенные люди, неспособные передвигаться пешком по заснеженным улицам, умирали в квартирах без топлива, без воды, не в силах добраться до магазина за причитавшимся пайком. Мертвых отвозили до кладбища на санках-салазках.

Наступило самое страшное время. Затих темный, заснеженный, полуразрушенный город. Но уже вводились в строй энергоблоки на ленинградских ГРЭС, уже прокладывали по дну Ладожского озера силовые кабели с «Большой земли». И пошел в город живительный ток. 11 апреля 1942 года Ленгорисполком принял решение «О возобновлении пассажирского трамвайного движения». К этому сроку были уже, ценой невероятных усилий, вырублены изо льда, отремонтированы и покрашены уцелевшие трамвайные вагоны. И вот 15 апреля наступил, наконец, праздник: по рельсам пошли-побежали 317 трамваев, связывая воедино

весь огромный город, сокращая расстояния, которые еще вчера были непреодолимыми. Я не оговорился — это был действительно праздник: все жители, кто мог двигаться, вышли на улицы и проспекты, прильнули к окнам, радуясь таким привычным, таким милым сердцу трамвайным звонкам, заглушаемым то воем сирены, то взрывами… «Вновь бегут трамвайные поезда. В звоне их сигналов уже звучит далекий звон колоколов Победы» — это я цитирую «Ленинградскую правду» от 16 апреля 1942 года.

Впереди было еще много трудностей и горя, впереди было еще почти семьсот блокадных суток, но трамвайное движение больше не прерывалось. Трамваев становилось все больше, ходили они все регулярней. Несмотря ни на что! На разворотном круге маршрута, которым пользовались труженики Кировского завода, находились немцы. Поэтому каждая трамвайная сцепка состояла из двух моторных вагонов — моторными отсеками в разные стороны. Дошли вагоны до завода — и без разворота назад.

Воистину, трамвай стал для ленинградцев олицетворением надежды на освобождение, материальным символом возрождения, и вот по этому символу, по лучшим чувствам недавних блокадников — кощунственными, глумливыми стихами! Возмутились многие жители славного города, возмутился Андрей Александрович Жданов, отдавший все свои силы и здоровье защите и восстановлению северной столицы. Да и мне, хорошо знавшему Петербург — Петроград — Ленинград, побывавшему там в период блокады, очень неприятно было слышать или читать какую-либо скверну о нашей невской твердыне. А Иосиф Виссарионович был даже удивлен горячностью обычно весьма сдержанного Жданова, когда речь зашла о вышеупомянутых стихах. Посоветовал не принимать пасквиль близко к сердцу, предложил присмотреться к Хазину и подобным ему пасквилянтам: кто они, в каких редакциях «окопались», кто их пригревает, как осадить… Умел Иосиф Виссарионович от частностей перейти к обобщению… С этого, собственно, и началась, и потянулась полоса борьбы с низкопоклонством перед Западом, с безродными космополитами. А первый решающий шаг в этом направлении довелось сделать Андрею Александровичу Жданову.

Своеобразный, интересный он был человек. Во внешности, в одежде, в манере держаться было что-то общее со Сталиным, хотя, конечно, Андрей Александрович не подражал специально Иосифу Виссарионовичу. Само выходило. Всегда выглядел спокойным, хотя внутри постоянно напряжен и быстр умом — это видели те, кто хорошо знали его. Усы подковкой. Китель стального цвета, но менее «военный», нежели у Иосифа Виссарионовича: с отложным воротничком, с накладными нагрудными карманами. Отличие: у Сталина на карманах пуговицы, у Жданова — нет. Из дворян. Член партии с 1915 года, из числа последних революционеров-романтиков. Это не помешало ему быстро овладеть навыками практической работы.

Не берусь судить, какое систематическое образование он получил, но эрудицией своей выделялся: знанием литературы, музыки, живописи — вообще культуры в разных ее проявлениях. Был на короткой ноге с деятелями науки и искусства, с нашей военной интеллигенцией, особенно с морскими офицерами и адмиралами: флотские командиры еще с довоенных времен получали у нас, как правило, образование настоящее — высшее, уже этим отличаясь от комсостава других родов войск. Жданов от Политбюро курировал флот и был при этом, как говорится, на своем месте.

Мать Жданова окончила в свое время Московскую консерваторию, отец же по достоинству оценивал ее способности, хотя сам имел несколько другие наклонности: будучи строгим инспектором гимназий, он очень увлекался цветоводством, тонко воспринимал живую красоту. Неплохо музицировали и две сестры Андрея Александровича, о которых, кстати, ходили своеобразные легенды. Во время Первой мировой войны они — патриотки — добровольно вступили в армию, овладев чрезвычайно редкой и необыкновенно романтичной тогда специальностью шофера: кожаное одеяние, шлемы и очки-«консервы». Белорукие дворянки управляли грузовыми автомобилями. И потом, при советской власти, не изменили этой профессии, трудясь на наших нелегких дорогах и, как прежде самозабвенные интеллигенты-народники, совмещая свою официальную работу с просветительством, с распространением грамоты и знаний, приобщали простых людей к высокому искусству. И настолько заработались на этом благородном поприще, что не успели, как я слышал, обзавестись собственными семьями.

Имея большие организаторские способности и соответствующий практический опыт, Андрей Александрович тяготел все же к идеологии, к воспитательству, к поучительству. Это ведь Жданов сразу после войны предложил Иосифу Виссарионовичу как можно выше поднять значение Владимира Ильича Ленина, воспеть, до предела возвеличить его образ, превратить в общемирового кумира, в гения, в идеальный пример для обожания и подражания. Простому человеку надо верить во что-то возвышенное, величественное, всемогущее, а бог среди нас (имелся в виду Сталин) — это все же существо земное, доступное пониманию, не икона для всеобщей молитвы. Ленин — безусловный кумир, а Сталин его ученик, его преемник, продолжатель и осуществитель намеченных гением планов. А те яркие лучи славы, которые будут направлены на Владимира Ильича, станут прежде всего освещать самого Иосифа Виссарионовича. Примерно так. Во всяком случае, идея пришлась Сталину по душе и была осуществлена. Воспевание Владимира Ильича, и без того всегда активное, резко возросло.

Нравилась мне в Жданове его открытость в партийной работе, в службе, в быту. Требовал честности. Признал человек свою вину, осознал ошибку, раскаялся — можно простить. Скрывает, изворачивается, жульничает — никакой пощады. Партия укрепляется тем, что очищается от дряни. Стремился распознать, кто примазался, присосался к великой идее ради личной выгоды, и в три шеи гнал таковых из партии. Да ведь не сразу и различишь сладкоголосых шкурников. Но старался. За все это, за работу до самозабвения, Сталин очень уважал Андрея Александровича, видя в нем надежного, непреклонного коммуниста, своего преемника по руководству партией и страной, к тому же родственника по браку дочери своей, Светланы, и сына Андрея Александровича — Юрия. И личное расположение имело место. Они очень сблизились к концу войны, стали искренними большими друзьями.

Критерии духовной близости, взаимопроникающего понимания могут быть разными: иногда с резко-отчетливыми, иногда, наоборот, с размытыми, почти незаметными гранями. Есть вот у Чайковского Симфония № 6. Накал чувств в ней высок до жути, до едва переносимой трагичности. Откровенность, интимность симфонии такова, что, по моему мнению, невозможно слушать ее в концертном зале, среди разно воспринимающих лиц. Всю глубину Шестой можно ощутить только внимая

ей в одиночестве или с теми, кто испытывает такое же состояние, что и ты, — в унисон. Как Сталин и Жданов. А еще им не мешало присутствие Андрея Андреевича Андреева, из большой фонотеки которого, если не ошибаюсь, брали эту симфонию.

Неплохо разбираясь в музыке, Жданов первым заметил после войны очередной отход от большого искусства нашего крупного композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мастер к тому же постоянно в творческом поиске. Пик его достижений пришелся на военное лихолетье. В блокированном Ленинграде сочинил свою знаменитую Седьмую симфонию, которая была исполнена в северной столице 9 августа 1942 года, а затем стремительно разнеслась по всему миру, получив огромный общественный резонанс. Достаточно сказать: только до конца того же года и только в зарубежных странах симфония исполнялась более 60 раз! Но как и вообще многих талантливых людей, Шостаковича порой «заносило», поиски новизны ради новизны уводили на путь формализма, упрощенчества и, еще хуже, низкого натурализма. Для самого мастера это особого значения не имело: оступился — поправился. Но такие его провалы как бы открывали дорогу бездарным сочинителям, эстрадным барабанным кривлякам, ссылавшимся на Шостаковича: ну и что? Сам маэстро так сочиняет. Снижался высокий уровень общенародной культуры, за которую боролась наша партия и, естественно, Сталин и Жданов.

С большого художника и спрос большой, Шостакович подвергся соответствующей «проработке», причем критиковал его с высокой трибуны непосредственно Жданов. И не только словесно: сам тут же садился за пианино и проигрывал те места сочинений, которые представлялись ему особенно неудачными. Это действовало. Конечно, неприятно было композитору, что при всей известности его, Шостаковича, «гладят против шерсти», но он, умный человек, справившись с самолюбием, выводы для себя сделал верные. На пользу пошло.

7

Андрей Александрович Жданов, как всегда, добросовестно и инициативно выполнил пожелание Иосифа Виссарионовича не принимать близко к сердцу выпады пасквилянтов и клеветников, но присмотреться и разобраться: кто они, кто их пригревает, а главное — как их осадить. Андрей Александрович, прочными узами связанный с Ленинградом и «болевший» за этот город, основное внимание уделил культурной жизни северной столицы. Результатом его пристального и продолжительного внимания явилось широкоизвестное постановление Центрального комитета партии о журналах «Звезда» и «Ленинград» — в 1946 году. Досталось многим деятелям искусства и литературы. Главным образом прозаику Зощенко и поэтессе Ахматовой. Я названные журналы прочитал, особенно произведения критикуемых авторов. Действительно, этакие гнездования внутренней эмиграции. На мой взгляд, Зощенко получил порцию критики вполне заслуженно. Какой рассказ ни возьми, везде зловредные хохмы, везде русские люди выглядят дураками, обывателями, подонками. Как в статейках Льва Троцкого, но на другой, на литературный манер. Массированно охаял наш мужественный многострадальный народ — народ-победитель. Недаром же похваливали да поддерживали Зощенко хозяева западной антисоветской пропаганды. Нужны им были такие, как

он, внутренние эмигранты в стане Великой России — чем больше, тем лучше. А вот в стихах Анны Ахматовой я ничего предосудительного не обнаружил. Обычные сочинения: до уровня Маяковского им далеко, но они тоньше, умнее, красивее, чем, например, чириканье Мандельштама и подобных ему самовлюбленных творцов. Стихи Ахматовой — отзвук недозрелой суетности различных футуристов, акмеистов, символистов начала века, из среды которых она, собственно, и вышла. Тоскливая какая-то, унылая поэзия с дурманом винных паров. Но ведь у каждого свое представление о том, как жить и зачем жить. По-другому, знать, она писать не могла, так хоть не насиловала себя. Пела своим голосом, от души. А это волнует читателя.

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» А. А. Жданов огласил в большом зале Смольного. Сказал в частности: «Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К лицу ли нам, советским патриотам, такое низкопоклонство?..»

Особенно досталось уничижителю ленинградского трамвая Александру Хазину, вздумавшему переместить Евгения Онегина из индивидуальной кареты в послевоенный городской транспорт. Вплоть до того, что, разгорячившись, Жданов призвал ленинградцев объявить клеветнику Хазину бойкот, не здороваться с ним и не замечать его. Стекла побить и устроить кошачий концерт под окном. Иосиф Виссарионович добродушно посмеялся, узнав об этом. Ну зачем стекла-то колотить, дефицит в восстанавливаемой стране. Прикрыть глумливую журнальную лавочку, да и дело с концом. Что и выполнили. А постановление о двух ленинградских журналах было, естественно, воспринято соответствующими органами на местах как руководство к действию. В каждой республике, в каждой области, каждом большом городе начали искать и находили местных пасквилянтов и клеветников, ливших воду на мельницу вражеской пропаганды. Борьба с низкопоклонством, с пособничеством Западу разрасталась. Через пару лет она выйдет на новый, более острый этап, с другим обоснованием, с другими целями. Это — впереди.

Хочу подчеркнуть: нельзя воспринимать то, что происходило тогда, в одной плоскости, примитивно-критично. Другое было. Если небольшое меньшинство глумливых граждан подвергалось гонению и ограничению, то подавляющее большинство интеллигенции всячески поддерживалось и стимулировалось в трудах на благо Отечества. Хотя и не все подобные деятели пеклись именно о таком благе. Да ведь как отличить истинного радетеля от приспособленца? Ладно уж, приносили бы пользу. Показательна в этом отношении судьба питерского ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева. Некоторое время, не знаю, по какой причине, провел он в местах отдаленных, в том числе и в СЛОНе — Соловецком лагере особого назначения. Сим печальным фактом власти впоследствии Лихачева не упрекали, а наоборот, всячески поддерживали его в изысканиях из русской истории, в исследовании языка и письменности наших далеких предков. О полезности этих работ судить не берусь, но вот как официально оценивались они в период так называемого «преследования интеллигенции».

В 1938 году, в разгар репрессий, Дмитрий Сергеевич, человек еще молодой, становится ученым секретарем академического Института

русской литературы, то есть Пушкинского дома в Ленинграде. Большое доверие. А в 1946 году, когда появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и зашелестел испуганно под холодным ветром «мыслящий тростник», у Лихачева опять удача: он профессор Ленинградского университета. В 1951 году Сталинская премия II степени в 50 тысяч рублей — деньги по тому времени немалые, а славы еще больше. С 1953 года Лихачев — член-корреспондент Академии наук СССР. Таков путь «страдальца», как выяснилось впоследствии, затаившего злость на советскую власть, на Коммунистическую партию и, вероятно, на того же Жданова, помогавшего одаренной русской молодежи прокладывать путь к высотам науки и искусства.

Это как в семье — есть «необыкновенный» ребенок, о котором родители особенно заботятся, которого балуют. А вырастет такой любимчик наверняка эгоистом, забудет, кто и как его выпестовал. Еще и ругать станет: не той марки автомашину подарили, дачей не обеспечили. Нечто подобное и в государстве. Учат человека, воспитывают, создают условия для работы, для раскрытия задатков. Наградами украшают. По три звезды Героя Социалистического Труда, бывало, навешивали — со всеми положенными при этом привилегиями. Даже если в ссылку отправляли слишком о себе возомнивших, то щадяще, с условиями для работы и отдыха: не в таежную глухомань, а в большой город, в квартиру со всеми удобствами — на нормальную, не горькую жизнь. А сколько черной неблагодарности в ответ на все это?!

Не стало Сталина, ослабла советская власть, и принялись оные «страдальцы» — баловни судьбы — бессовестно охаивать прошлое. Отнекивались от минувших дел: я не я, и лошадь не моя. Но от полученных наград, званий и привилегий при этом не отказывались. Академик Лихачев в заслугу себе поставил: он, мол, хоть и не покинул Советский Союз, не сбежал за границу, не стал официальным эмигрантом, но являлся таковым в душе, был, так сказать, диссидентом внутренним, уходя в научной работе от современности в спокойное далекое прошлое… Ну и кого же обманывал? Прежде всего себя. Что это за существование — то под одной, то под другой личиной.

Тяжеловато.

Да, ядовито-мстительными оказались многие деятели науки и культуры, которых вырастила, возвысила, щедро наградила советская власть. Соревновались, брызгая слюной, плюя и харкая вслед Сталину: кто изощреннее, кто посмачнее? Геройски штурмовали крепость, в которой уже не было гарнизона. И соратникам Иосифа Виссарионовича досталось. Невыносимо мне слышать и читать мерзкие выдумки, изощренную клевету на Андрея Александровича Жданова, скончавшегося при странных обстоятельствах в 1948 году, на Александра Сергеевича Щербакова, ушедшего от нас еще раньше, в 1945 году, отдавшего все свое здоровье напряженной работе по обороне Москвы и вообще для достижения нашей победы. А Хрущев, сам, кстати, выпивоха не из последних, в своих опубликованных мемуарах не постеснялся употребить такую фразу: «Жданов умер от алкоголизма, этот же порок погубил Щербакова». Смею заверить, что ни тот, ни другой, в отличие от Никиты Сергеевича, спиртным никогда не злоупотребляли. О Щербакове все знали, что он вообще не пьет водку, лишь два раза в год, по большим праздникам, выпивает немного сухого вина. А Жданов страдал от диабета: встречались ли вам диабетики, злоупотребляющие горячительными напитками?!

Еще одна злонамеренная клевета в адрес Андрея Александровича Жданова. Его упрекали в том, что он якобы получал в блокированном Ленинграде особый полноценный паек, ел что пожелает, в том числе пользовался таким деликатесом, как испанские (в другом варианте — марокканские) апельсины. Даже потолстел за те трудные месяцы, когда рядовые питерцы тысячами умирали от голода… И опять ложь, действительность наизнанку. Я уже рассказывал, как скромно Жданов питался: самому довелось обедать вместе с ним в Смольном, в столовой, в 1943 году. Были еще за нашим столом Ворошилов и Говоров. Никакой диеты у Андрея Александровича не было, хотя она диабетику не помешала бы. В качестве деликатеса принесли веем присутствовавшим по соленому помидору — их только что доставили в город. По сморщенному зеленому помидорчику. Это была роскошь.

Однако нет, не дают покоя клеветникам заморские апельсины. Эх, было бы их тогда столько, сколько о них наговорено-написано, многим хватило бы! А Жданов, получается, прямо-таки объедался золотистыми фруктами. Может, от чрезмерного увлечения ими и диабет у него обострился? И вообще — полезны ли они при такой болезни? А толкуют выдумщики об апельсинах по той причине, что сей факт разом не опровергнешь, наличествует достоверность — были они. Только ведь любую достоверность можно исказить до неузнаваемости. А мне «фруктовая история» известна не понаслышке, могу доподлинно объяснить, как и что было.

В сорок первом году, вместе с немецко-фашистскими захватчиками, объявилась на нашей территории испанская «Голубая дивизия», укомплектованная добровольцами, приверженцами генерала Франко. Явились молодчики мстить нам за участие в самом первом этапе вооруженной борьбы с фашизмом — в гражданской войне на Пиренеях. Красуясь в своей полуопереточной форме, рассчитывали «голубые» на легкую прогулку по нашему северо-западу. Но боевой пыл их быстро угас, особенно в кровопролитных осенне-зимних боях при непривычном суровом климате. Чтобы поддержать воинский дух, правительство Франко не скупилось на расходы. Осыпало своих вояк наградами и подарками. В том числе фруктами, которых почти не знали в России. Большую партию этого груза захватили наши бойцы из того партизанского края, откуда по мере возможности хоть и тоненьким ручейком, но все же текла народная помощь голодающим ленинградцам.

Да, плотной была вражеская блокада — мышь не проскочит. И все же (и все же!) в мрачные осенние ночи, в дождь, в распутицу, по лесным дебрям, через набухшие болота, где, по всем нормальным понятиям, ни колесом, ни полозом, в любую стужу, в пургу, загонявшую фашистов в землянки и ослеплявшую часовых, — и все же проникали, проходили, пробивались в город жизнеспасательные партизанские обозы с картошкой, с зерном, с мясом, с сушеными грибами, с теми же солеными помидорами, с провиантом, отвоеванным у захватчиков. Так прошли в Питер и несколько повозок с трофейными апельсинами. Партизан, доставивших этот груз, принял второй секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), надежный помощник Жданова — Алексей Александрович Кузнецов. Он и вообще-то от природы был худ и узкоплеч, а за время блокады отощал до такой степени, что удивительно было, в чем душа держится. Талия, перехваченная поверх гимнастерки широким ремнем портупеи, как у осы, — пальцем перешибешь. Углядевши это, партизаны

поставили категорическое условие: апельсины не только детям и раненым, но и обязательно всем ответственным работникам обкома и горкома партии. Недоставало еще, чтобы и они поумирали от дистрофии.

Требование партизан было выполнено. Согласно составленному списку, по одному апельсину было выдано Жданову, Кузнецову и другим руководящим товарищам. Основную же часть фруктов отправили в госпитали. А вот я, дожив до преклонного возраста, многое повидав и испытав, до сей поры не знаю, как для диабетиков апельсины: полезны? Или не очень?

8

Хочу особо и настоятельно подчеркнуть: первый этап борьбы с низкопоклонством и космополитизмом никак не связан с пресловутым «гонением на евреев», как трактуют тенденциозные исследователи. Совсем наоборот. Первые послевоенные годы — это период, когда Иосиф Виссарионович наиболее благожелательно относился к иудеям и к тем проблемам, которые эти суетные граждане постоянно создают сами для себя и для соседствующих с ними людей. Война сблизила основные народы и нации нашей страны. Вместе сражались, несли потери — в том числе, естественно, и евреи. Ощущали надежные плечи соседей. И лично Сталину иудеи в этот период ничем не досаждали. Юлия Исааковна Мельцер, жена погибшего Якова Джугашвили, растила где-то ребенка, не давая знать о себе. Светлана — сталинская боль и надежда — давно уже охладела к Алексею (Люсе) Каплеру, а затем, на радость отцу, бросила своего первого мужа-еврея Григория Мороза и, более того, осуществила мечту Иосифа Виссарионовича: вышла за Юрия Жданова. Хоть не надолго, но сошла семейная благодать на многострадального отца-одиночку.

Все обращения, все просьбы еврейского сообщества Иосиф Виссарионович выполнял тогда вполне доброжелательно. Факты? Они просятся на бумагу. Помните, с каким скрипом создавался в разгар войны Еврейский антифашистский комитет — единственный комитет такого рода, созданный по национальному признаку, в отличие от антифашистских комитетов советских женщин или советской молодежи. Все эти организации после Победы были распущены за ненадобностью, а еврейский, по настоятельной просьбе его руководства, продолжал действовать и принес, как увидим, гораздо больше вреда, чем пользы. Зря согласился Сталин сохранить его.

Или вот дело Рауля Валленберга (в некоторых документах Валленбергера), запутанное настолько, что в нем не разобрались до сих пор. Мы же коснемся только той стороны, которая имеет непосредственное отношение к Иосифу Виссарионовичу. В конце 1946 или в начале 1947 года к председателю Советского Красного Креста Колесникову и лично к главе государства Сталину обратилась из Швеции некая «госпожа Дардель» с просьбой помочь ей отыскать сына Рауля Валленберга, следы которого затерялись в январе 1945 года в освобожденном Красной Армией Будапеште. Последний раз Рауля видели вместе с советскими офицерами, которые, вероятно, арестовали его.

Случай — не из ряда вон. Миллионы людей разных национальностей пропали, исчезли за время войны, огромное количество писем, запросов поступало в наши соответствующие органы. Там старались выяснить, дать ответ. Обычная работа. А вот о Валленберге доложили-таки самому

Сталину. Слишком много возни поднялось вокруг вышеназванного гражданина Швеции. Им интересовались не только шведские, но и американские дипломаты, обращаясь к нашим представителям за рубежом. Отмечено было внимание американской разведки. За Валленберга ходатайствовали какие-то иностранные общественные организации, богатейшие дельцы, банкиры-финансисты с широкой известностью. А поскольку давление это шло в основном по линии Министерства иностранных дел, то и сообщил о нем член Политбюро Вячеслав Михайлович Молотов. Для ознакомления. Самую суть.

Рауль Валленберг вырос в богатой семье, владевшей банками и различными предприятиями. Разветвленный клан, который именовали «шведскими Ротшильдами». Принадлежал к узкому кругу тех всемирных сионистских дельцов, которые тайно управляют еврейскими общинами обоих полушарий, не признавая государственных границ. Им известны подпольные каналы, по которым незримо и неофициально перемещаются огромные денежные средства и ценности, исчезая, будто высыхая, в одних странах и вдруг появляясь в других, где приносят больше доходов или нужнее в данный момент сионистской верхушке. Клан посвящен был также в тайны масонства и, вероятно, играл достаточно высокую роль в руководстве. Используя нейтральную позицию Швеции, семейство Валленбергов во время войны распустило свои щупальца-присоски по обе стороны фронта. Заводы этого клана поставляли снаряды и сталь для гитлеровской армии, двоюродный брат Рауля являлся главой торговой миссии в Германии. А другой двоюродный брат был таким же представителем в Великобритании, принимал заказы на вооружение для англичан. Экономическая проституция.[107]

Наживаясь на великом всенародном бедствии, Валленберги не просто торговали военной техникой, но использовали свои возможности и свое влияние и для достижения некоторых других целей. В середине 1944 года Рауль прибыл в Будапешт на должность первого секретаря шведского посольства, но это было лишь официальным прикрытием его настоящей работы: он должен был спасать от гибели богатых венгерских евреев. Не жалея денег. На подробностях технологии Вячеслав Михайлович не останавливался, лишь назвал некоторые цифры. По его словам, Рауль действовал очень активно, используя различные способы — от подкупа до шантажа, — умудрившись войти в доверие к шефу германского гестапо в Будапеште Эйхману, чья патологическая ненависть к евреям (как и евреев к нему) общеизвестна.

По нашим данным, Валленбергу удалось уберечь от расстрелов и печей крематория по меньшей мере 20 тысяч иудеев. Самых богатых. В обмен на это из Швеции и Швейцарии поставлялись немцам артиллерийские орудия, использовавшиеся против советских войск. В переговорах Валленберга с самим рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером речь шла не только об артиллерии, но и об обмене большого количества евреев на 10 тысяч грузовых автомашин, о продаже гитлеровцам по сходной цене сталелитейного завода в Гамбурге, принадлежавшего клану Валленбергов.

— Значит, он воевал против нас, — прервал Молотова Иосиф Виссарионович.

— Нет, сам он не в-в-воевал.

— Ты хочешь сказать, Вече, что этот Рауль не стрелял в наших солдат? Но стреляло оружие, которое он передал фашистам. Немцы быстро

перебрасывали свои войска на автомашинах, опережая нас и нанося нам урон. Одно артиллерийское орудие на войне — это, в среднем, пятеро убитых бойцов противоположной стороны. Каждая автомашина — это еще двое или трое потерянных нами людей. Если не больше. Вот какой вред причинил он нам и, между прочим, тем евреям, которые воевали в наших частях. Спасая богатеев, губил честных людей. Разве это не классовая борьба, а, Вече?

— Можно считать т-т-так.

— Где он сейчас?

— Затрудняюсь ответить.

— Какие у нас могут быть затруднения? — удивился Сталин.

— У меня здесь докладная записка т-т-товарища Вышинского. Зачитываю… «Ввиду настойчивости, проявленной шведами в этом деле, мы неоднократно, устно и письменно, запрашивали в течение 1945 и 1946 годов СМЕРШ, а позднее МГБ о судьбе и месте пребывания Валленберга, в результате чего лишь в феврале сего года нам сообщили, что Валленберг находится в распоряжении МГБ, и было обещано доложить лично вам…», значит, мне, — уточнил Молотов, — «о дальнейших мероприятиях МГБ по этому делу. Но поскольку дело Валленберга до настоящего времени продолжает оставаться без движения, я прошу вас обязать товарища Абакумова представить справку по существу дела и предложение о его ликвидации».

— Кого? Дела или Валленберга? — усмехнулся Сталин.

— Дела, ра-ра-разумеется… Я принял меры, но от Абакумова никакого ответа по этому поводу. Будто язык проглотил. Такое впечатление, что Валленберга уже не существует.

— Молчать могут по разным причинам, — это Берия: — Может, госбезопасность работает с ним, вычерпывая все, что есть за душой. Или внедрили куда-то. В таком случае молчать — самое лучшее.

— А ты узнай, — посоветовал Сталин. — Позвони Кобулову и выясни. Прямо сейчас. Тебе не откажут, — съехидничал Иосиф Виссарионович.

— Кому из Кобуловых?

— Решай сам.[108]

Лаврентий Павлович взял телефонную трубку. Разговор был коротким. Выслушав собеседника, Берия засмеялся и, повернувшись к Сталину, сообщил:

— За здоровье Богдан не ручается, но живой.

— Что тут смешного? Что конкретно сказал Кобулов?

Берия замялся, покосившись на Молотова, на Андреева.

— Здесь все свои, — повысил голос Иосиф Виссарионович. — Докладывай.

— Пердит комками.

Молотов, показалось, вздрогнул. Твердокаменный Андреев бровью не повел, будто не слышал. Сталин удивленно пожал плечами.

— Как это понимать? Выражайся прилично.

— За Кобуловым повторяю… Анекдот из Германии привезли. Киндер Пауль вызван к доске…

— Рауль, — поправил Молотов.

— В анекдоте Пауль. А он растерялся. Молчит, побледнел. «Что с тобой?» — «Извините, фрау учительница, пердеж кусками бывает?» — «Нет, только газом». — «Значит, я обосрался».

Сталин брезгливо поморщился, произнес:

— Похоже на Кобулова. Его репертуар. Но Валленберг?
— Наложил в штаны. От него узнали столько, что ему опасно к своим вернуться.
— А вы не настаивайте. И не держите. Войны нет, вреда от него не будет. Согласен, Вече?
— Считаю, пусть по-по-посоветуются Абакумов с Вышинским.
— С этим все, — Сталин резко, отсекающе двинул правой рукой. — Есть дела поважнее.
Разговор этот, свидетельствующий о тогдашнем непредвзятом отношении к евреям вообще и к их «спасателю» Валленбергу в частности, состоялся в середине мая 1947 года. А через два месяца, 17 июля, начальник Лубянской тюрьмы полковник Смольцов подписал рапорт на имя министра госбезопасности Абакумова о смерти тридцатишестилетнего заключенного Рауля Валленберга «предположительно вследствие наступившего инфаркта миокарда».
Причина? Может, всплеск радости от близкого освобождения; может страх расплаты за то, что слишком много сказал на допросах и ему не простят этого бывшие соратники; может, еще что-то… Во всяком случае, при Сталине к этому вопросу больше не возвращались.
История с Еврейским антифашистским комитетом, случай с Раулем Валленбергом — это лишь частности, не очень заметные детали на фоне того величайшего для иудеев события, которое свершилось вскоре после войны, и опять же благодаря ясной и твердой позиции Иосифа Виссарионовича Сталина. На Западе любят кричать о свободе, о гуманизме, о справедливости, о заботе о людях. Потоки красивых слов. А вот осуществить многовековую мечту всемирной еврейской диаспоры о воссоздании собственного государства помог лишь возглавляемый Сталиным Советский Союз, оказав иудеям моральную и материальную поддержку, воплотив их идеи и мечтания в реальную действительность. И далось это не без труда. Ведь все сильнейшие капиталистические державы были против. Пришлось ломать их сопротивление.
Великобритания не желала терять своего влияния на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, на территории которой должен был возникнуть Израиль. Такие государства, как США, Швеция и Швейцария, боялись большого оттока капиталов: многие богачи-банкиры там были евреями и могли укатить на прародину, прихватив мешки, туго набитые золотом. У Италии были свои интересы, у Франции — свои, у Турции — тоже. А все они вместе, весь западный мир, опасались того, что Израиль сразу станет государством просоциалистическим, ориентированным на Москву, оплотом Советского Союза в богатейшем нефтеносном районе. Короче говоря, весь Запад вначале был против. Стремление еврейской диаспоры, пострадавшей от гитлеризма, к объединению, к сплочению для сбережения нации, ее традиций и языка — это стремление решительно поддерживал только Советский Союз. И (не очень уверенно) дружественные нам страны народной демократии.
Позиция Сталина и Молотова была простой и справедливой. Мы — интернационалисты, мы — за равноправное и полноценное развитие всех народов и наций. А какое равноправие, какие возможности, когда у народа, рассеянного по всей земле, нет даже клочка собственной территории, если не считать нашей Еврейской автономной области. Но ведь это не государство.

В Советском Союзе решено было выезду евреев на Ближний Восток по возможности не препятствовать, за исключением особых случаев (причастность к важнейшим тайнам, нахождение под следствием и т. д.). Более того: новому государству, создаваемому на территории другой страны, требовалась армия для защиты своих интересов — землю за здорово живешь никто не отдаст. Иосиф Виссарионович пошел на необычную меру: дал согласие освободить от воинской присяги 750 офицеров еврейского происхождения, проявивших стремление отправиться в Израиль и создавать там свои вооруженные силы. Так что вам, иудеи, величайший памятник надо бы воздвигнуть вашему радетелю, Иосифу Виссарионовичу Сталину, одарившему вас государственностью. И перед этим памятником — камилавки долой!

Надеялся Сталин на то, что благодарные евреи, многие из которых у нас были коммунистами или комсомольцами, не только создадут дружественную нам страну, но и останутся носителями и распространителями марксистско-ленинских идей на Ближнем Востоке, да и во всем зарубежье. Однако надежды и чаяния Иосифа Виссарионовича и Вячеслава Михайловича у нас разделяли далеко не все: открыто против не выступали, но и одобрения не высказывали. Даже Лазарь Моисеевич Каганович, дававший понять, что советским евреям не будет лучше: и тем, кто уедет, и тем, кто останется в России. Одних зачислят в перевертыши, других — в пособников. Воссоздание Израиля — это новый узел сложнейших проблем, территориальных и политических, это новое повсеместное обострение еврейского вопроса, это новые войны, а следовательно, и новые беды для будущих поколений иудеев, восстановивших против себя огромный арабский мусульманский мир… Но увы — общеизвестно, что суматошные от природы евреи не способны жить и работать размеренно, спокойно, на крепких корнях: им нужны перемены и потрясения. Сами дергаются и других дергают.

Не считая меня специалистом в делах национальных, Иосиф Виссарионович все же в разговорах со мной несколько раз касался израильской темы и, думаю, не без пользы выслушал мои соображения. По крайней мере два. Первое. В самом начале нашей эры иудеи потерпели поражение в войне с Египтом, что привело к исходу из родных мест, рассеиванию по всему свету, тогда еще не слишком большому: от Испании до Северного Кавказа. Евреи приспосабливались к условиям тех мест, где оказались, усваивая нормы и правила поведения, язык, традиции и культуру, ничем внешне не отличаясь от аборигенов. Но это лишь мимикрия. В течение многих и многих веков, живя в различных странах, иудеи сохраняли свою сущность, свои внутренние связи, систему верований и подчиненности. Получается так. Все государства имеют вертикальную структуру, построены по принципу пирамиды. Основание — территория и народонаселение. Вершина — правители, а в развитых странах еще и культурная элита. Входя в такие пирамиды, еврейский народ, ко всему прочему, имеет еще свое особое постоянное всемирное государство горизонтального типа, без видимой власти, без писаных законов: государство-невидимку, не имеющее границ, иными словами, безграничное. Создание же Израиля послужит экономической и политической базой для усиления повсюду еврейского влияния, теперь уже не только завуалированного, но и открытого. Иудеи начнут строить свою собственную пирамиду, расширяя ее, постепенно захватывая экономику и власть в других государствах. Они, например, в значительной

мере прибрали к рукам Америку, а когда полностью оккупируют ее, возьмутся за нас.

— Почему именно за нас? — поинтересовался Сталин.

— Не за Германию же, которой они боятся, как черти ладана. Мелкие страны им не интересны. А у нас просторы, природные богатства, доброжелательные и доверчивые люди, разные национальности, терпимо относящиеся друг к другу. Идеальные условия для проникновения.

— Значит, чем больше их уедет, тем лучше для нас, меньше забот.

— Уедут самые неприспособленные, самые неустроенные или обиженные. Останутся умные, хитрые, агрессивные: будут осуществлять то, что подскажет им горизонтальное всемирное государство, получившее к тому же прочную вертикаль в виде Израиля.

Это — одно мое соображение. Другое я высказал полушутя, но на Сталина оно произвело, пожалуй, более сильное впечатление, нежели первое. Он, готовившийся когда-то стать священником, не был чужд мистике, а на склоне лет тем паче. Напомнил Иосифу Виссарионовичу, что в пророческих писаниях сказано: явится на землю антихрист, потомок Сатаны, сын четвероногого Зверя, то есть животного, изнасилованного Нечистым, но в облике человечьем. Этот дикий Мессия принесет ненависть и страх, насилие и кровь, приблизит гибель добра и справедливости. И обеднеет народ, и развалится Русь — насчет Руси это я от себя. То есть наступит конец света. А случится сие,

Когда еврей в Сион придет И небеса пошлют комету.

— Конец света? — переспросил Сталин. — Значит, грядет второе пришествие… Вы прямо-таки провидец, Николай Алексеевич, — усмехнулся он. — Но где же комета?

— За кометой дело не станет, мало ли их шастает вокруг Земли. А другая предпосылка уже создана собственными руками.

Как бы там ни было, Иосиф Виссарионович своего мнения не изменил. Факт свершился: «еврей пришел в Сион».

С 30 апреля 1948 года на географических картах появилось новое государство — Израиль. Родилось оно с болью и кровью, вопреки воле палестинцев, воле арабов, и с тех пор кровь там льется почти беспрерывно, один конфликт сменяет другой.

Западные страны довольно быстро, еще до официального признания Израиля, смирились с тем, что произошло, и даже поспешили извлечь как можно больше выгоды из события, против которого столь яростно возражали. Страны-банкиры поняли, что от них не убудет. Богатые евреи насиженных мест не покидали, «любили море с берега», как говорят о тех мореманах, которые предпочитают красоваться в морской форме на суше, не отправляясь в изнурительные рискованные рейсы. В Израиль уезжала еврейская голытьба, бесприютные бедняки, бесперспективные середнячки либо совсем уж распропагандированные националисты-фанатики, которых умеренные евреи боялись почти так же, как недавно боялись гитлеровцев.

Практично-беспринципные янки вообще сотворили такой кульбит, что неизощренному человеку оставалось только ахнуть и удивленно покачать головой. От полного отрицания идеи — сразу к безусловной поддержке и неограниченному финансированию. По принципу: если нельзя сражаться — можно купить. Тем более иудеев, склонных к торговле во всех ее разновидностях, от дерьма до души, от возвышенного до телесного. И купили, не жалея средств, практически взяв всех жителей Израиля на свое полное обеспечение, как берут на довольствие военнослужащих:

выполняй приказы и сыт будешь. А чего скупиться-то, платили все те же еврейские банкиры-предприниматели, «любившие море с берега». С далекого заокеанского берега. Но и банкиры просто так, без процентов, без «навара» денег не дают, даже своим собратьям. Платят — значит, за что-то. Но за что?

События, связанные с созданием Израиля, совпали по времени с неудачами, постигшими американцев в развязанной ими «холодной войне» против Советского Союза, с провалом пресловутого «плана Маршалла» как в военном, так и в экономическом отношении. Оставалось уповать только на третий раздел плана, на подрыв социалистического лагеря изнутри. Работа эта кропотливая, малозаметная, долговременная, но, по мнению наших противников, способная в конце концов дать ощутимые результаты: ржавчина медленно, но верно разъедает металл. Одной из главных баз для такой деятельности был избран Израиль. Почему? Да потому, что из западных стран он крепче всех связан был с Советским Союзом, с государствами Восточной Европы. Довольно свободный проезд туда и оттуда. Постоянное общение родственников, оказавшихся по ту и другую сторону «железного занавеса», еще не утраченное доверие московского руководства к своему «детищу». Ну, и другие возможности. В том числе использование действовавшей в России сионистской организации «Джойнт», прикрывавшейся маской благотворительности, захватившей в свои сети значительное количество евреев-интеллигентов, врачей и ученых.

После войны в Париже вышла небольшая книжечка стихов какого-то русского эмигранта, помеченная только инициалами, которые ничего для меня не значили. Одно время книжечка эта, в стопке другой эмигрантской литературы, лежала на столе Иосифа Виссарионовича — для ознакомления. Мне запомнились несколько четверостиший безымянного автора, злободневных в ту пору. Приведу такое:

Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. Ее нельзя завоевать, Зато возможно объевреить.

Четкая формулировка — руководство к действию для тех пропагандистов и осуществителей «плана Маршалла», которые поставили перед собой цель тихой сапой раздробить, развалить Советский Союз, превратить нашу Великую Державу во второстепенное государство, в полуколонию, в сырьевой придаток. Мы в Москве все заметней ощущали, что идеологическая агрессия против нас обретает новую окраску, втягивает в свою орбиту новые силы. Сопротивление этой агрессии постепенно перерастало из борьбы с низкопоклонством перед Западом в борьбу с космополитизмом, который зыбко балансировал на грани предательства. А заложниками в этой обоюдоострой борьбе стали в основном евреи.

9

При чтении книг Иосиф Виссарионович любил делать пометки на полях, выражая свои эмоции, соображения, как бы завязывая узелки на память. А поскольку заметки эти делались для себя, они интимны, искренни, раскрывают сущность человека глубже и вернее, чем официальные высказывания или обычные разговоры, где зачастую «мысль изреченная есть ложь». Много любопытного можно почерпнуть из заметок Сталина. Приведу лишь одну, сделанную в книге Анатоля Франса «Последние

страницы. Диалоги под розой». Подчеркнута фраза «Что же касается Бога христиан, то у него от его иудейского происхождения осталась ужасающая жестокость и крайняя мелочность. Во многих отношениях». А рядом слова Сталина: «Анатоль порядочный антисемит». Вижу, как при этом Иосиф Виссарионович осуждающе и не без иронии головой покачал: эко разбушевался категоричный писатель!

Я повторял и повторять буду, что убежденный интернационалист Сталин одинаково относился ко всем народам, чуть выделяя, пожалуй, лишь русских и грузин. К евреям, как и ко всем, — непредвзято. Ненависть к Троцкому — это ненависть к личному врагу, а не к представителю определенной нации. Понимал: если поп пьяница, это еще не значит, что Бога нет. Но именно потому, что Сталин относился ко всем одинаково, оберегая равноправие народов и наций, именно из-за этого ему часто приходилось осаживать евреев, всегда стремящихся обрести особые права, выскочить, выделиться, прибрать к рукам власть или деньги, оттеснить тех, кто слабее или порядочней, кто не пускает в ход острые локти. Он не обижал иудеев, но его справедливость обижала их.

Вспомним: фронты первой мировой, а затем и гражданской войны полностью разрушили черту оседлости. Из захолустных местечек Польши, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии еврейство устремилось в крупные центры — в Петроград, Москву, Минск, Киев, Одессу. Под двумя основными лозунгами: «дайте нам свободу, а остальное мы возьмем сами», а также «нееврейское имущество — ничье имущество, оно должно стать нашим». Ринулись в центр России и весьма преуспели. Достаточно сказать, что первое советское правительство почти полностью состояло из иудеев. Они чинили суд и расправу. Они заполонили государственные органы и организации, от ВЧК до жилищных управлений, реквизируя для себя нажитое «враждебными классами», в том числе и Православной церковью, и интеллигенцией. Как, например, притязания к профессору Преображенскому в известном произведении Булгакова «Собачье сердце». Склонный к характеристическому подбору фамилий, он впоследствии расшифровывал фамилию Швондер как «шибко вонючее дерьмо», противопоставляя талантливому ученому, стремящемуся преобразовать, улучшить мир. Показательно, что ни у кого из персонажей этого произведения не осталось детей-наследников, кроме духовных детей Швондера, сплотившего вокруг себя капеллу подобных. Нет детей у Шарикова. А дети и последователи Швондера во множестве расселились по Москве, главным образом в центре, на Арбате.

Мог ли нарком по делам национальностей, а затем Генеральный секретарь ЦК партии Сталин мириться с таким еврейским нашествием, явно ущемлявшим интересы других народов нашей страны? Сколько иудеев было в государстве? Не более двух процентов от общего числа населения. Значит, и в руководящих органах и вообще во всех организациях, учреждениях и учебных заведениях должно быть такое соотношение. Ан нет! Сосредоточившись в наиболее важных центрах, евреи занимали там ведущие посты не только в правительственных учреждениях, но и в образовании, в науке, в искусстве, в пропаганде в средствах массового воздействия на людей. Особенно это было заметно в Москве, где иудеи почти полностью «оккупировали» газеты, издательства, радио, различные институты. Лишь к концу тридцатых годов Иосифу Виссарионовичу удалось, ломая тайное и явное сопротивление, восстановить справедливость, в значительной степени освободить

руководящие органы от евреев и хотя бы частично очистить средства массовой информации и пропаганды. Однако не успела страна полностью оправиться от первого нашествия иудеев, как началось второе: в конце Отечественной войны и сразу после нее.

Наступление гитлеровцев буквально «выдавило» большинство евреев из западных и центральных районов нашей страны, в том числе из Москвы и Ленинграда. По понятным причинам. Они эвакуировались в первую очередь и подальше. Им вообще легче было менять местожительство, не имея прочных корней, вековой привязанности к родным местам и могилам. Чуть о войне заговорили Портной, сапожник и студент, Еще Одессу не бомбили, А Борух выехал в Ташкент.

Но вот опасность миновала, бои отодвинулись за рубежи, и евреи двинулись обратно, однако в основном не в те районы, откуда эвакуировались, а опять же в самые большие города — в Москву, Ленинград, Киев. Там имелись свободные брошенные квартиры, там были знакомые, близкие люди, готовые помочь сородичам. А те, устроившись, помогали другим, — опять сплетая незримую густую паутину, с большим трудом еще недавно разорванную Сталиным. Причем помощь шла с самого верха, но, разумеется, не по официальным каналам, а чаще всего через родственников, через жен высокопоставленных лиц. Ох уж эти жены — ночные кукушки, способные многое перекуковать, переиначить на свой лад. Для примера. У А. И. Рыкова — Иофан Сарра Михайловна, сестра архитектора Иофана Бориса Михайловича, автора проекта здания Дворца Советов, которое собирались возвести на месте взорванного по инициативе Л. М. Кагановича храма Христа Спасителя. У С. М. Кирова — Маркус Мария Львовна. У А. А. Андреева — Хазан Дора Моисеевна. У Ворошилова — Горбман Екатерина Давыдовна. У Молотова — Карп-Жемчужина Полина Самуиловна (Семеновна). У Мехлиса — Роза Абрамовна. У секретаря Сталина Поскребышева, много значившего при вожде, — Бронислава Соломоновна. И так далее.

Во какая шеренга вельможных жен! И не могли они не порадеть своим единородцам, не благоустроить в первую очередь. Наиболее деятельную из «кукушек» Полину Семеновну Карп-Жемчужину-Молотову в избранном узком кругу называли «царицей Эсфирью» — в честь известной по Ветхому Завету защитницы еврейства.

Метастазы национальной блат-болезни распространялись и вглубь, и вширь. Я не очень удивился, когда узнал, что Леонид Ильич Брежнев женат на белорусской еврейке Гольдберг Виктории Петровне, на племяннице Льва Захаровича Мехлиса, который возглавлял Главное политическое управление нашей армии и был разжалован Сталиным лишь после того, как блестяще продемонстрировал свое полное неумение приносить пользу общему делу в условиях военного времени. Не без содействия Мехлиса оный Брежнев выдвинулся на пост секретаря одного из украинских обкомов, вышел сухим из воды после передряг сорок первого года (о чем мы уже писали), был назначен заместителем начальника Политуправления Южного фронта, а затем начальником политотдела 18-й армии. Без такой поддержки не поднялся бы заурядный человек по крутым ступеням власти.

Ладно, получилось, в общем, так, что за два-три послевоенных года обе наши столицы, и Москва, и Ленинград, были буквально заполонены иудеями, они опять «оккупировали» учебные заведения, медицину, науку, средства массовой информации, частично экономику и политику — на

руководящих, конечно, постах. Сталин видел все это, но терпел, сочувствовал народу, весьма пострадавшему от гитлеризма, но не одобряя, разумеется, уже начавшуюся спекуляцию на этих самых страданиях. Другим-то народам тоже крепко досталось. Иосиф Виссарионович присматривался, ожидал: может, иудеи сами одумаются, остановят свою экспансию, — но те, не встречая решительного сопротивления, наглели все заметнее, входя в роль хозяев ситуации. Тем более что ощущали сильную поддержку из-за границы. А еще и то, что у них появился «запасной выход»: прижмут здесь, можно уехать в свое новое государство. Не образумила, не остудила горячие еврейские головы даже нараставшая борьба с низкопоклонством перед Западом. Иудеи, мол, не связаны ни с Востоком, ни с Западом, их избранная нация всемирна, космополитична и живет сама по себе, по своим традиционным установлениям.

Положение между тем осложнялось. Или, скажем так, его обостряли наши зарубежные враги, делая ставку, как я уже говорил, на разложение Советского Союза изнутри. В программе подрывной работы («дочерней» программе «плана Маршалла») упор делался на несколько категорий нашего населения: на продажных чиновников, на уголовные элементы, на националистов-шовинистов в республиках, на «обиженных» советской властью, но главным образом на иудеев, как на силу организованную, подвижную, пользующуюся влиянием в государстве и имеющую постоянные закордонные связи. Мы все заметнее ощущали это, знакомясь с зарубежной прессой, слушая зарубежное радио, читая инструкции и наставления, созданные американо-английскими специалистами из особых служб и попавшие в руки нашей разведки.

Откровенность и беспардонность подобных документов являли собой верх цинизма, верх неуважительности к народам социалистического лагеря, прежде всего к славянам. Даже к евреям, которым надлежало оные инструкции выполнять. Читать было противно, да вот знать было нужно, дабы целенаправленно противодействовать. Из многих таких советов-инструкций у меня сохранились лишь отдельные выписки. Цитаты или вольное изложение. Приведу некоторые для примера.

«Играйте на сердоболии русских, изображайте из себя бедных, больных и несчастных, вызывайте жалость и симпатию, распускайте слухи о народе — вечном страдальце, о гонении в прошлом и дискриминации в настоящем. Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетиями. Пусть русские имеют меньше вас, но все равно они помогут вам иметь еще больше. Русские любят быть благодетелями и покровителями».

Или: «Будьте во всем лидерами. Не уступайте ни в чем, старайтесь не уступать даже в мелочах, будь то место в общественном транспорте или очередь в магазине. В любом коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в ваших интересах. Административную и творческую часть производственного процесса должны выполнять вы. Пусть гои (коренное население. — Н. Л.) обеспечивают черновую, материально-техническую базу вашего творчества. Пусть они следят за чистотой рабочих помещений и охраняют плоды ваших трудов. Пусть они будут не выше вахтера и уборщицы.

К творчеству в виде исключения можно допустить гоев нерусского происхождения, но не допускайте к этому русских! Если у вас есть вакансия — берите только еврея. Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сделать ни того, ни другого —

берите азиата. Если нет такового, берите поляка, латыша, эстонца… После небольшой обработки они станут вашими союзниками.

Формируйте свои национальные кадры. Кадры сегодня — это ваше завтра. Каждый институт, каждая кафедра, каждая лаборатория должны стать кузницей ваших национальных кадров. Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету поколений. Пусть каждое поколение неевреев сталкивается с вашей глубоко эшелонированной обороной. Каждый раз, когда уходит старшее поколение, на его смену должна встать еще более мощная когорта заблаговременно подготовленных молодых евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности ваших молодых людей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть это не так, но они дозреют на должности. Кто у власти, тот и хозяин.

Информируйте друг друга обо всем, что может представлять вам вред или пользу. Деньги, кадры и информация — три кита, на которых зиждется ваше благополучие».

Прав Шатобриан: нашествие идей может быть опаснее нашествия варваров.

Еще. «Не разрушайте открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и они сами разрушатся. А хулиганы и «любители старины» растащат их по кирпичикам. Делайте вид, что не замечаете этого, будучи заняты решением больших народнохозяйственных задач. Народ без истории — как ребенок без родителей, из него можно вылепить все, что необходимо, вложить в него свое миропонимание, свой образ мыслей. Таким способом могут быть обезличены целые народы: сначала они лишаются истории и традиций, а затем вы формируете их по своему образу и подобию.

Если не удается блокировать молодых и перспективных русских, делайте их управляемыми. Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плотное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо вас. Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах, берите себе в жены красивых и здоровых русских женщин, пусть они принесут вам крепкое потомство и улучшают породу. Сожительство с еврейской женщиной — один из способов вовлечения талантливых русских в сферу вашего влияния».

Отвернувшись от народа, Бабе русской не поверив, Он пойдет в огонь и в воду За детей своих — евреев.

Это не из сионистско-американских инструкций, поступавших из-за рубежа, это из того сборника, который вышел в Париже только с инициалами автора.

Ну и последняя, итоговая цитата. «Либо ваш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где хотят обойтись без вас, должен быть хаос. Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои не попросят вас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнь».

Далеко, на несколько поколений вперед заглядывали идеологи подрывной деятельности против Советского Союза, против Великой России, преграждающей путь американо-израильским империалистам к мировому господству. Сталин, разумеется, знал обо всем этом, но терпел, не считая, что подобные наставления способны принести нам большой вред. Ну и не виноваты же наши евреи в том, что на них делают ставку за океаном, пичкая соответствующими инструкциями. Горючий материал,

однако, накапливался, и уже начали проявляться симптомы возможного взрыва.

Есть такое понятие — смещение прицела, или смещение мушки. Все вроде бы есть у бойца: хорошая винтовка, запас патронов. И целится он правильно, и на спусковой крючок нажимает плавно, а бьет все мимо да мимо. Пули летят не во врага, а куда-то в сторону, могут даже своих поразить. Оказывается, мушка винтовки чуть-чуть сдвинулась или сдвинута кем-то, отсюда и пальба мимо цели. Видимость активности, но никаких положительных результатов, даже вред. Особенно большие неприятности доставляют такие «сдвинутые мушки» в борьбе идеологической, где не сразу видно, попал стрелок в цель или промазал: польза или вред — это будет понятно только завтра, послезавтра или даже через месяцы, через годы. А «сдвигателей мушек» у нас немало, одни делали это по неумению, по глупости, другие в силу своих убеждений или по прямым указаниям наших противников.

Близился 1949 год, когда страна должна была отметить два больших события: семидесятилетие Иосифа Виссарионовича Сталина и стопятидесятилетие Александра Сергеевича Пушкина. Подготовкой собственного юбилея Сталин не интересовался, зная, что все сделают без него, лишь бы не переборщили. А вот подготовкой торжеств, связанных с Пушкиным, занялся заранее и всерьез, как это было в середине тридцатых годов, когда отмечали столетие гибели Александра Сергеевича. И тогда, и теперь случилась неприятность, первый раз вызвавшая раздражение Сталина, а при повторе через десятилетие — вспышку гнева по отношению к «безродным космополитам» (именно после этого и вошел в широкое обращение такой термин).

Случай первый, давнишний. Иосиф Виссарионович внимательно читал планы выпуска литературы к столетию смерти Александра Сергеевича. Просматривал присланные ему верстки произведений, учебников. Обратил внимание на то, что ни в одном массовом издании (кроме академического), то есть ни в хрестоматии, ни в юбилейных сборниках, нет «Песни о вещем Олеге». Выяснил почему. Посетовал:

— Некоторые литературные и окололитературные дамы, некоторые редакторы считают это стихотворение религиозно-мистическим, антиинтернациональным, вредным для народных масс. Ссылаются на то, что это любимое произведение деникинских офицеров, что «Песнь о вещем Олеге» была фактически гимном Добровольческой армии и других белогвардейцев.

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хазарам, Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожарам.

… … …

Так громче, музыка, играй победу. Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. И за царя, за Родину, за веру Мы грянем громкое ура! ура! ура!

— Припев, конечно, воинственный и впечатляющий, но ведь это не от Пушкина, — сказал я.

— О припеве вообще речи нет. Они против самого стихотворения.

— Они против Олега, который идет на хазар, посягнувших на русскую землю. Они боятся мести.

— Они боятся исторической правды, — кивнул Сталин. — Они опасаются, что кто-то последует примеру Олега, и хотят выбросить его из народной памяти вместе со стихотворением. Ни за что ни про что страдает товарищ

Пушкин, — улыбнулся Иосиф Виссарионович. Кстати, почему именно Олег? Разве он расправился с хазарами?

— Скорее Владимир Красное Солнышко.

— И я так считаю. А поход князя Олега — один из этапов борьбы плюс поэтическая вольность…

Для читателя, не очень сведущего в подробностях нашей древней истории, позволю себе дать коротенькую справку. Хазары — тюркский народ, перекочевавший в начале нашей эры из Азии на берега нижней Волги и расселившийся затем на большом пространстве от Урала до Днепра. Сюда же, в основном на Северный Кавказ, в Причерноморье, пришла значительная часть евреев, вынужденно покинувших Израиль. Они принесли свою веру, свои обычаи и стремление создать новую «землю обетованную». И преуспели. На рубеже VIII–IX веков возникло и окрепло сильное иудаистское государство — Хазарский каганат, — превратившееся в злейшего врага нашей Руси и Византии. Практически весь X век прошел в героической борьбе наших предков против хазаро-иудейской агрессии. Возрастала обоюдная ненависть. Половцы, печенеги, татары — все это было потом. Наши легендарные богатыри сражались не с ними, а как раз с хазарами: об этом свидетельствуют многие подробности былин, в том числе описание оружия, воинского снаряжения. Настрадался народ от набегов хазар, было за что мстить им. В 960 году князь Святослав совершил большой поход на столицу каганата Итиль и захватил ее. А окончательный удар по каганату нанес князь Владимир Святославович, поставив крест на этом враждебном государстве. Полное поражение хазар совпало с принятием христианства. Православная вера одержала победу над иудаизмом. Потомки же хазар, так называемые евреи-караимы, до сих пор живут на территории нашей страны в Причерноморье, в Крыму, на Южной Украине, в Одессе, а после революции вообще распространились повсюду. Лазарь Моисеевич Каган — Каганович, к примеру, из их среды.

Особую группу составляют таты или горские евреи, осевшие отдельными поселениями в разных местах Северного Кавказа, заметно «разбавившие» тамошние народы благодаря своей необычайной плодовитости. Отличительные внешние черты, не говоря о чернявости и курчавости: тяжеловесное туловище и непропорциональные конечности — короткие ноги. Чем старше — тем заметней. Стройные юноши и девушки быстро превращаются в тучных коротышей.

Любопытный факт. В 1992 году бывший ректор Грозненского университета Виктор Абрамович Канкалик заявил о том, что горским евреем был Дуд, дед Джохара Мусаевича Дудаева, чрезмерно выпячивавшего свое «чисто чеченское» происхождение для повышения собственного авторитета, что не помешало ему, кстати, жениться на белокурой девушке Алле — еврейке по матери. Через несколько дней после сделанного заявления Канкалик исчез. Потом тело его нашли зарытым в лесополосе. Следствие выяснило: ректора застрелил и упрятал тогдашний начальник охраны Дудаева (В. У.)

Потомки хазар хорошо помнят свою историю и не желают, чтобы другие знали, кому и за что мстил князь Олег. Вот «Руслан и Людмила», вот «Евгений Онегин», как и любое другое произведение Пушкина, даже стихи, где «жид венчается с лягушкой», никакого противодействия не вызывают, а «Песнь вещем Олеге» вредна, ее не следует пропагандировать, включать в учебники. Для определенного круга лиц это стихотворение — гимн белых офицеров, воевавших против тех армий,

которые создавал Троцкий со своими помощниками, то есть против «новых хазар». Но, кстати, и Сталин с Егоровым, с Ворошиловым и Буденным тоже сражались со сторонниками Троцкого, с теми же «хазарами» за свое влияние над этими армиями, за превращение их в российские формирования. Так что намеренье князя Олега «отмстить неразумным хазарам» отрицательных эмоций у Иосифа Виссарионовича не вызывало. Даже наоборот. И объективность требовала, чтобы Пушкина читали всего, а не избирательно, по чьему-то вкусу.

Было и кое-что личное, определявшее у Сталина и у меня особую симпатию к упомянутому стихотворению-песне. Ее ведь, чуть варьируя, пели не только деникинцы, но и дореволюционные русские кавалеристы, потом буденновцы и вообще наши славные конники: последний раз я слышал ее в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе зимой 1942 года. До сих пор мы говорили лишь о первом куплете, но были и другие. До революции:

И если начальник прикажет: веди! Я в бой кавалерию двину; Помчится лавина, а я впереди, Веду боевую лавину.

Белые переиначили:

И если Деникин прикажет: веди!

В Первой Конной пели по-своему:

И если Буденный прикажет: веди!

А в конце концов в нашей советской коннице вернулись к самому первому варианту:

И если начальник прикажет: веди!..

Не могу еще не сказать и о том, что исполнялась песня на мотив «Варяга», который после нашего поражения от японцев был до слез близок и дорог каждому русскому патриоту, в том числе Сталину и мне.

— Давайте не будем впутывать товарища Пушкина в теперешние разногласия, — без улыбки пошутил Сталин. — Люди не поймут нас, если в книгах не окажется этого замечательного произведения. И будем считать вопрос закрытым.

Мы так и посчитали. Но бесшумная борьба против «Песни о вещем Олеге», оказывается, продолжалась. «Окололитературные дамы и некоторые редакторы» использовали любую возможность, чтобы не включить «Песнь» в антологию, в сборник, в учебник, как можно реже упоминать о ней. И вот в 1948 году, накануне пушкинского стопятидесятилетия, история повторилась. Кое-кто посчитал, видимо, что дряхлеющий Сталин не способен самолично контролировать все многообразные процессы общественно-государственной жизни. Понадеялись и ошиблись. Просматривая юбилейные планы, верстки юбилейных книг, Иосиф Виссарионович сразу заметил, что ни в одной из них, ни в хрестоматии, ни в учебнике по литературе, ни в сборниках снова нет «Песни о вещем Олеге». Это вызвало уже не раздражение, а нечто большее. Из планов и версток он вычеркнул целый ряд фамилий, во многих местах вставил «Песнь», а составителей планов и книг резко обозвал «безродными космополитами» и посоветовал внимательно присмотреться к ним. Это был первый, еще негромкий разряд накопившегося гнева. Но, к сожалению, наши иудеи, ослепленные своими успехами на разных направлениях, прежде всего воссозданием Израиля, не обратили ни это внимания, не осознали этот симптом. А зря.

Для логического завершения сей главы скажу еще несколько фраз об упорстве и упрямстве иудейских пропагандистов-идеологов,

добивающихся осуществления своих замыслов любой ценой и не считаясь со временем. После смерти Сталина основательно поиздевались они над «Вещим Олегом». Припомним хотя бы одну общеизвестную сценку. К режиссеру Менакеру является на «пробу» Миронова, изображающая тупую, самоуверенную бабенку. Пришла наниматься в эстрадные артисты. Читает стихотворение и спотыкается на «трудном» слове:

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хазарам, Их села и нивы за буйный набег Обрюк… Обряк…

И «завязла» на этом месте, как «завяз», надо понимать, в походе Олег, не добившись своей цели. Вволю покуражилась дамочка, вызывая смех благодарной публики. А если смешно, значит, уже несерьезно.

Полный реванш «окололитературные дамы и некоторые редакторы» взяли-таки в 1979 году, умудрившись выпустить для школ Российской Федерации «Родную речь», в которой не оказалось не только «Песни о вещем Олеге», но и других произведений Пушкина, а также Чехова, Некрасова… Зато много места отведено таким сомнительным «классикам», как Кассиль, Маршак, Алигер, и даже, если не ошибаюсь, родственница Льва Троцкого Вера Инбер попала в эту когорту. Родная речь? Для кого?

Не обошел своим вниманием «острый вопрос» о князе Олеге и еврейский поэт Александр Галич, живя на доллары, сочувствуя нам из далекой Америки и «любя море с берега». Познакомьтесь с его творением, озаглавленным «Съезду историков».

Полцарства в крови, и в развалинах век, И сказано было недаром: «Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хазарам…» И эти, звенящие медью, слова Мы все повторяли не раз и не два. Но как-то с трибуны большой человек Воскликнул с волненьем и жаром: «Однажды задумал предатель Олег Отмстить нашим братьям — хазарам…» Уходят слова и приходят слова. За правдою правда вступает в права…

Трудно не согласиться с автором. У каждого народа, как и у каждого человека, своя правда. К тому же еще в разное время — разная. Только истина, пожалуй, бывает едина всегда и для всех.

10

Давно предполагавшийся мною взрыв произошел во второй половине 1948 года. И не только потому, что к этому времени Иосиф Виссарионович полностью осознал угрозу вражеской идеологическо-диверсионной агрессии, направленной на подрыв нашей страны изнутри, не только понял, на какие группы населения рассчитывают наши неугомонные противники, но и еще по ряду причин, дополнявших друг друга.

Начнем с провала в Израиле. Сталин, как известно, приложил немало усилий, чтобы восстановить это государство, преодолев инертность и даже нежелание США, противодействие Великобритании, будучи уверенным, что евреи всего мира по достоинству оценят сей исторический факт и мы обретем дружественную страну. А получилось наоборот. Натура иудеев проявилась сразу же, едва в новом государстве начались экономические и военные трудности, а дядя Сэм протянул евреям свою щедрую руку. Он был богаче, за ним и пошли. Продались мгновенно, переметнувшись за доллары в стан наших противников. Иосиф Виссарионович был очень разочарован, причем впервые, прошу это заметить, не в отдельных личностях, в Троцком или, скажем, в Ягоде, а в

целом народе. Однако даже и после этого Сталин продолжал считать, что поступил правильно и справедливо: иудеи, как и все другие нации, имеют право на свое государственное объединение. В короткий срок из Советского Союза и вообще из стран Восточной Европы в Израиль выехало около 300 тысяч человек. И продолжали уезжать. А ведь достаточно было Сталину сказать «нет», и вся эта катавасия разом бы прекратилась. Но он не сказал.

Весьма обеспокоила и насторожила Иосифа Виссарионовича, всегда опасавшегося покушений на собственную жизнь, обострила его мнительность внезапная смерть верного друга Андрея Александровича Жданова, представлявшаяся странной не только ему. Министр госбезопасности Абакумов считал, что Жданова «залечили» врачи в отместку за широкомасштабное и бескомпромиссное наступление на низкопоклонников перед Западом, а преклонялась-то в основном интеллигенция и главным образом все те же евреи, в том числе и врачи. Было учреждено сверхсекретное расследование, о котором не знал даже Берия — об этом будет сказано позже. А почему Лаврентия Павловича не уведомили? — да потому, что Берия придерживался другой точки зрения: здоровьем, мол, Жданов никогда не отличался, а после блокады тем более, вот и не выдержал. Сталину даже подозрительно было, почему это Берия настойчиво выступает против своего бывшего выдвиженца, а теперь соперника, Абакумова. Только ли ревность за межведомственные неувязки имеет место? Ох уж этот Лаврентий! Однажды Сталин спросил его: «За столом сидят трое: жулик, спекулянт и космополит. Что у них под столом?» — «Не знаю… Ноги». — «Под столом три обреза, не забывай об этом, Лаврентий».

Ну, а самое главное — «крымское дело». В соответствующем месте я подробно рассказывал, как в самый разгар войны в Америку была направлена делегация нашего Еврейского антифашистского комитета во главе с руководителем ЕАК, довольно известным актером и режиссером Соломоном Михайловичем Михоэлсом. Адресат — богатые иудеи, пользовавшиеся влиянием в США, и ученые, работавшие над новым видом оружия. Цель — добиться экономического и политического содействия в нашей тяжелой борьбе с гитлеровцами за спасение всех народов, в первую очередь еврейского, обреченного немецкими фашистами на полное уничтожение. Стимулятор переговоров — возможность создания на территории СССР (после полного освобождения) Еврейской республики: в хорошем месте и с элементами независимости. А самые лучшие места у нас — это Причерноморье, особенно Крымский полуостров. К тому же из Крыма предстояло выселить тамошних татар, всегда тяготевших к Турции, а во время войны переметнувшихся на сторону гитлеровцев и фактически воевавших против нас. Даже после освобождения полуострова не оставлять же в своем тылу плацдарм с враждебным, готовым на любые злодеяния, населением. До сих пор в памяти остались фотографии наших изуродованных воинов, партизан и подпольщиков: отрубленные головы с партийными и комсомольскими билетами в зубах. Даже немцы вынуждены были утихомиривать кровавый разгул, дабы не восстановить против себя все крымское население.

Миссия ЕАК закончилась весьма успешно. Мы получили некоторую экономическую помощь и, что еще важнее, установили тесный контакт с учеными-евреями, работавшими в Америке над расщеплением атома, над созданием атомной бомбы. Получили полезные для нас сведения. Со своей

стороны, Сталин пошел дальше, чем предполагалось. Он искренне верил, что воссоздание полноправного государства Израиль гораздо важнее, гораздо существеннее для иудеев, нежели организация искусственной республики на территории Советского Союза. А вот сами евреи, оказывается, посчитали, что одного Израиля для них мало: ухватился за палец, почему бы не оттяпать всю руку! Намекал ведь маршал Сталин на Крым — надо использовать и эту возможность. Идея муссировалась в зарубежной прессе, в дипломатических кругах, среди еврейской общественности. Кое-кто уже собирал чемоданы, готовясь перебраться с холодного Урала или из засушливого Казахстана к теплому морю благодатного полуострова.

Официальный документ, просьба-требование передать иудеям Крым, подготовленный Михоэлсом, Лозовским, Маркишем, Жемчужиной-Молотовой и другими деятелями сионистского толка, стал известен Иосифу Виссарионовичу и послужил детонатором того взрыва, который обрушился на «безродных космополитов». Назвав это требование нахальным и наглым, Сталин, как всегда, постарался докопаться до сути: для чего же все-таки евреям понадобился Крым, когда уже решен вопрос о воссоздании Израиля? То ни одного государства у них не было, а теперь сразу два требуют! Кто скрывается за спинами инициаторов евреизации Крыма, кто платит деньги и дергает кукол за ниточки? Ясно — американцы, все те же сторонники «плана Маршалла», которые повсюду упорно ищут новых путей для достижения своих целей. Иудейское государство в Крыму необходимо им для отторжения полуострова от Советского Союза, для усиления своего влияния на европейском континенте: в Болгарии и Румынии, на Балканах и в Турции, даже на Ближнем Востоке. Рухнет граница на Черном море, американский сионизм сомкнется не только с израильским, но и с крымским. Наши противники захватят крымский плацдарм без боя. Ладно, Жемчужина-Молотова может не понимать этого: дуре-бабе хоть немножко, да желтенького. Но опытный политик Лозовский, безусловно сознает все последствия, как и бывалый лицедей Михоэлс. Этот, пожалуй, особо опасен, потому что знает о наших связях с крупнейшими американскими учеными-атомщиками, сам устанавливал эти связи, способен использовать свои знания для шантажа, вплоть до угроз провалить агентуру. Трудно определить, насколько далеко он может пойти. Недаром же, как стало известно, готовит себе в Еврейском театре замену — некоего Вениамина Зускина.

«Агент сионизма» Соломон Михоэлс, часто разъезжавший по городам, где имелись его детища, — еврейские театры, — погиб в Минске 13 января 1948 года вместе с сопровождавшим его критиком Владимиром Голубовым. В метельную морозную ночь, возвращаясь от друзей в гостиницу, попали под колеса грузовой автомашины. Слухи, как бывает в подобных случаях, ползли разные. Кто-то утверждал, что оба были убиты по приказу министра госбезопасности Абакумова: исполнитель — министр госбезопасности Белоруссии генерал Л. Ф. Цанава. Проломили, дескать, обоим головы, а потом подбросили под автомобиль. Не первый, мол, случай. Другие же, в том числе известный медэксперт Збарский, утверждали, что «безусловно смерть Михоэлса наступила вследствие автомобильной катастрофы». При оказании своевременной помощи можно было бы спасти. Умер от замерзания, пролежав несколько часов в снегу.

Выезжал в Минск следователь по особо важным делам, будущий писатель Лев Шейнин, тоже, кстати, еврей, но ничего прояснить не смог. А

я допускаю даже мысль о том, что с Михоэлсом расправились сами же сионисты-националисты, избавившись от нежелательного свидетеля их тайных дел. Многие «собратья» недолюбливали и побаивались Михоэлса за сильный характер, за самостоятельность. Женат на русской, дома говорят только по-русски, дети не знают еврейского языка, в Израиль уезжать не намерен. Кто знает, куда он повернет?

Похоронили С. М. Михоэлса с почестями, в отличие от других еврейских деятелей, таких как Перец Маркиш и Лев Квитко, которые были арестованы по обвинению в измене Родине, в стремлении создать внутри Советского Союза свое сионистское государство, послужившее бы плацдармом для американской экспансии. Этих расстреляли на Лубянке.

Пройдут долгие годы, и кто-то сочтет выгодным для себя потревожить память покойного. В печати появится письмо, составленное якобы Берией вскоре после смерти Иосифа Виссарионовича, датированное 2 апреля 1953 года и направленное в Президиум ЦК КПСС тов. Маленкову Г. М. А в письме том недвусмысленно говорится, что Михоэлс и Голубов были убиты по прямому указанию И. В. Сталина, которое было дано тогдашнему министру госбезопасности Абакумову. Все свалено на того и на другого. Оба — негодяи, а Лаврентий Павлович хороший. У меня это послание не вызывает доверия. И стиль совсем не бериевский, и словечки не его, да и оправдываться ему в ту пору, охаивая других, не было необходимости: сам восседал на вершине власти. Так что подделка не исключается. Это уж потом, после ареста, Берия примется откровенно чернить Иосифа Виссарионовича, отмывая себя как простого исполнителя чужой воли. Но, повторяю, некоторым деятелям выгодно было через долгие годы запустить вслед Сталину еще один грязный камень.

Итак, борьба с низкопоклонством перед Западом, с безродными космополитами у нас нарастала и обострялась, как, впрочем, и «охота на ведьм» в Соединенных Штатах, постоянно подогреваемая там «бешеным сенатором» Джозефом Маккарти. В 1949–1950 годах особенно проявились черты, практически общие для оной борьбы в обеих великих странах. Если от Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности всегда страдали главным образом тамошние евреи-интеллигенты, то и мы в этом отношении сравнялись с бывшими союзниками — янки. И у нас доставалось в основном евреям, хотя, разумеется, не только им, но и всем тем, кто не жил интересами и заботами родной страны или позволял себе не руководствоваться решениями и указаниями нашей партии и правительства. Борьба шла именно в этом разрезе, без упора на национальную принадлежность: способность и возможность оказаться в немилости зависела от каждого отдельного человека. Академика Орбели, грузина, соратника знаменитого ученого Павлова, никакого отношения к евреям не имевшего, обвинили, например, в том, что он засоряет советскую науку вредоносными измышлениями менделистов-морганистов. А стопроцентный иудей Эммануил Казакевич в то же самое время получил Сталинскую премию за свой новый военный роман.

Споры-раздоры касательно низкопоклонства и космополитизма были настолько остры, что в значительной степени раскололи интеллигенцию по всей стране, расслоили даже такую спаянную группировку, как сообщество советских евреев. По крайней мере, на тех, кто, намеревался уехать в Израиль или другую страну, и на тех, кто считал Великую Россию своей настоящей Родиной и не способен был изменить ей. В 1949 году

особой популярностью пользовалась у нас песня с хорошей мелодией и задушевными словами:

Летят перелетные птицы В осенней дани голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, Шагая с винтовкой в руке. Но не было больше печали, Чем быть от тебя вдалеке. Пускай утопал я в болотах, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне слово, Я снова все это пройду. Желанья свои и надежды Связал я навеки с тобой, С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы Ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, А я не хочу улетать. А я остаюся с тобою, Родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна.

Суть ясна: это признание советского патриота в любви к Отечеству, отказ променять свою суровую родину на соблазны далеких краев. Но как же ополчились на исполнителя этой песни Владимира Абрамовича Бунчикова горластые стаи «перелетных птиц», уже успевших добраться до Израиля или еще только готовившихся к отправке. И отщепенец-то он, и низкопоклонник: не перед Западом, а перед партийным начальством. Появились статейки с намеками на бесталанность Бунчикова, что заставляет его быть конъюнктурщиком и приспособленцем.

Основательно доставалось от своих же сородичей и другим деятелям науки и культуры, не желавшим покинуть советскую землю, не воспринимавшим веяния и наставления, поступавшие из зарубежья. Своеобразного, замечательного артиста Марка Бернеса, певшего душой, трогавшего заветные струны людских сердец, пробуждавшего хорошие чувства и мысли, один из критиков назвал «безголосым исполнителем полублатных песен». А все из-за того же: не поддерживал «перелетных птиц», выбился из их космополитической стаи. Ругали и Утесова, и Райкина — по той же причине. Так что борьба с низкопоклонством и космополитизмом, на которую до сих пор жалуются иудеи, была отнюдь не преследованием еврейской нации, а целенаправленным наступлением на те личности или группы, которые так или иначе противопоставляли себя идеям коммунизма, деяниям советской власти, лично товарищу Сталину. Без различия национальности, пола и возраста.

11

В середине октября 1948 года, в хмурый дождливый вечер Иосиф Виссарионович по телефону попросил меня приехать к нему в Кремль, на квартиру. Такие внеплановые, внезапные вызовы-приглашения всегда связаны были с чем-нибудь личным: с состоянием здоровья, с огорчением или с радостью, которыми хотелось поделиться одинокому и замкнутому человеку. По делам службы я мог бы не спешить, отсидеться дома, сославшись на болезнь или еще на что-то, но при таких вот внезапных просьбах Сталина сразу в любом случае отправлялся к нему, понимая: это необходимо, только со мной может он «выпустить накопившийся пар», разрядиться от излишних эмоций или, наоборот, справиться с наступившим упадком, воспрянуть, войти в нормальное состояние. Несмотря на обстоятельства и угнетающую погоду.

Иосиф Виссарионович был раздражен и выглядел оскорбленно-обиженным, что случалось с ним чрезвычайно редко. Указал на стол с бумагами:

— Вот полюбуйтесь. Оказывается, предают не только живые, но даже и мертвые.

— Что случилось?

— Нам известны мемуары генерала Брусилова под названием «Мои воспоминания». Хорошие, полезные мемуары, их знают наши советские люди.

— Алексей Алексеевич выдающийся боевой генерал, патриот…

— Ми-и-и тоже так считали. А теперь нам принесли вторую часть мемуаров, которая обнаружена среди трофейных документов. Рукопись 1925 года, когда генерал Брусилов вместе с женой лечился в Чехословакии. За год до смерти. Предсмертные откровения, — съязвил Иосиф Виссарионович. — Раскрылась сущность. Одна черная краска. Поношение советской власти…

— Которую он защищал, укрепляя Красную Армию?

— Мы ему верили… Мы ему так искренне верили, а он оказался мелким обывателем, двурушником.

— Не может этого быть! Алексей Алексеевич человек честный и чистый. Поступал по совести и говорил, что думал.

— Он и сказал. На бумаге. Рукопись с его подписью. Мы глубоко уважали его, мы учились у него, а он, оказывается, держал камень за пазухой.

— Не представляю…

— Убедитесь своими глазами. Вот рукопись, читайте. Там подчеркнуто кое-что.

Сталин закурил, сел на стул и демонстративно отвернулся: смотрите, мол, сами, делайте выводы. Я перевернул титульную страницу. Почерк вроде бы знакомый, но содержание странное.

«Вселили нам в девятнадцатом году какого-то комиссара с нелегальной супругой и ее матерью. Он, вероятно, был конюхом когда-то у графа Рибопьера, так как рассказывал мне, что бывал на скачках с лошадьми его в Париже. Грубый, наглый, пьяный человек, с физиономией в рубцах и шрамах. Он говорил, что был присужден к смертной казни за пропаганду среди солдат на Юго-Западном фронте еще в 1915 году, а я отменил смертную казнь и заменил ее каторгой. Теперь он, конечно, большая персона, вхож к Ленину и т. д. Вот уж можно сказать, что отменил ему смертную казнь себе на голову. Пьянство, кутежи, воровство, драки, руготня, чего только не поднялось у нас в квартире, до сих пор чистой и приличной. Он уезжал иногда на несколько дней и возвращался с мешками провизии, вин, фруктов. Мы буквально голодали, а у них белая мука, масло, все что угодно бывало. А главное, спирту сколько угодно. У нас холод бывал такой зимой 20-го года, что лед откалывали от стен у калориферов. Топка давно прекратилась. У них была поставлена железная печка и дров было сколько угодно. Мы замерзали и голодали. Все наши переживания повседневной жизни не стану описывать, ибо они подобны всем остававшимся в России русским людям. Они описывались много раз и до меня, в особенности талантливо и верно у Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус. Но в противовес всем тяжким примерам хочется не забыть чего-либо отрадного, человечного, что испытывали мы не раз. Сейчас мне вспомнилось, как сестра Лена заказала крохотную печурку какому-то эстонцу. Он очень дешево за нее взял, и когда принес печурку ей и увидел меня рядом в комнате, в полушубке, в валенках и папахе, то на другой же день притащил и для меня железную печку большого размера, но ничего с меня не взял. Он говорил, что служил матросом на «Полярной звезде».

Больше я его никогда не видел. Не могу без улыбки вспоминать, как Лена и ее сослуживцы по архиву — восемнадцатилетняя Оля, шестнадцатилетняя Дуня и четырнадцатилетний Ваня, все советские «чиновники», — раздобывали где-то на задворках бывшего штаба какие-то доски, поломанную мебель и тащили к нам для топлива. В шутку это называлось «Архив идет». У кого ножка от ломберного стола. У кого сломанная табуретка, у кого доска от скамейки, и всегда веселы, несмотря на похлебку из хвостов селедок и черствую зеленоватую корку хлеба. У этой бедной девочки Оли отец умер вскоре буквально от голоду, а у нее самой развилось острое малокровие. Моя жена превратилась в щепку, ее сестра и брат также. Любимые собаки сдыхали от голода одна за другой. Меня еле-еле подкармливали обманно, уверяя, что и сами едят. Меня и самую маленькую собачку Мурзика общими силами кое-как питали. У этой собачонки даже была старая коробка от конфет, куда все крошки собирались, и это называлось «мурзилкин паек»».

— Господи, какая чушь! — не сдержался я. — Алексей Алексеевич всегда чурался бытовых мелочей. Боевой генерал, неприхотливый, привычный к походной жизни. А здесь бабье нытье, бабьи сплетни: собаки, дрова, дорогие родственнички… Сестра Лена — это что, описка? Не было у Брусилова такой сестры. Это сестра его жены Надежды Владимировны — Елена Владимировна Желиховская. Женщина, кстати, менее вздорная, чем Надежда… Нет, не мог так написать генерал.

— Хотелось бы верить, — вздохнул Иосиф Виссарионович. — Но почитайте дальше, там не только бабье, там профессиональное:

«Наступила весна 1920 года. С юга стал наступать Врангель, поляки — с запада. Для меня было непостижимо, как русские белые генералы ведут свои войска заодно с поляками, как они не понимали, что поляки, завладев нашими западными губерниями, не отдадут их обратно без новой войны и кровопролития. Как они недопонимают, что большевизм пройдет, что это временная, тяжелая болезнь, наносная муть. И что поляки, желающие устроить свое царство по-своему, не задумаются обкромсать наши границы. Я думал, что, пока большевики стерегут наши бывшие границы, пока Красная Армия не пускает в бывшую Россию поляков, мне с ними по пути…»

— И он действительно пошел по этому трудному пути вместе с нами, порвав с прошлым, вы сами об этом знаете. — Я отложил рукопись. — Здесь мысли Брусилова, но приправлены они враждебным ядом. И словечки встречаются совсем не его.

— Хотелось бы верить, — повторил Сталин, которому, конечно, горько было разочаровываться в одном из своих немногих кумиров. Во время войны он учился у Кутузова, у Наполеона, уважал Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова и особенно адмирала Федора Федоровича Ушакова, совершавшего невероятное, бравшего с моря неприступные вроде бы крепости. Но это — история. А талантливый полководец первой мировой войны, бывший Верховный главнокомандующий русскими войсками генерал Брусилов — это же современник, опыт которого перенимал Иосиф Виссарионович, относившийся к Алексею Алексеевичу почти с такой же почтительностью, как и я. Совсем недавно, уже после войны, с письмом к Сталину обратились два военных товарища: известный конструктор автоматического оружия генерал-лейтенант В. Г. Федоров и участник штурма Берлина гвардии полковник Е. М. Левшов. С горечью сообщали они

о том, что могила Брусилова возле Смоленского собора в Новодевичьем монастыре запущена и что есть ненавистники русской воинской славы, отнюдь не заинтересованные в обновлении захоронения замечательного полководца. Иосиф Виссарионович письмо прочитал и отдал соответствующее распоряжение. Могила была обихожена, на гранитном надгробье золотом засветилась надпись. Помнил Сталин, что сын Брусилова геройски погиб в борьбе за революцию. Не будет преувеличением считать: начиная с разгрома белогвардейцев под Садовой, мастерство, практика и теории Брусилова стали первоосновой всего того, чего достиг в военном искусстве Иосиф Виссарионович. И вдруг — такое разочарование! Оказывается, генерал-то не соратник, не полководец-патриот, достойный подражания, а временный попутчик, радушно улыбавшийся, но таивший озлобление. Позаботились о нем, помогли выехать на лечение за границу, там у него и выплеснулось — проявилась его сущность. Кому же, действительно, доверять? Я подумал даже: а не покачнулась ли в тот момент вера Иосифа Виссарионовича в меня?! И сказал:

— Я был близко знаком с Алексеем Алексеевичем. Не его это мысли. По крайней мере, не все, что есть в рукописи, написано им.

— Хорошо, что вы не меняете своего мнения, защищаете честь человека, который не может защититься сам, — помягчел Сталин. — Мы ведь тоже очень сомневались. Но вот последняя соломинка, которая сломала сомнения.

Протянул мне лист бумаги: заключение сотрудника Института криминалистики Главного управления милиции МВД СССР Б. М. Комаринца по рукописи «Мои воспоминания». Вывод графической экспертизы был категорически однозначен: рукопись и подпись на ней выполнены рукой генерала А. А. Брусилова.

Все — возражать бесполезно. У меня не имелось никаких веских доводов. Мое личное убеждение Сталин мог принять к сведению, но это отнюдь не юридический аргумент. Оставалось лишь смириться на какое-то время. А между тем по официальным каналам прошло уведомление для цензуры, для издательских работников, писателей, ученых, журналистов — о недопустимости упоминания впредь имени и деяний «генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова». Без объяснения причин. Полководца «закрыли» на долгие годы. Не менее скверным было и то, что эта неприятная история еще больше обострила подозрительность и недоверчивость Сталина, а это, в свою очередь, отразилось на судьбах некоторых людей.

Но я не смирился. Слишком много значил для меня Алексей Алексеевич, чтобы просто опустить руки. По мере своих возможностей продолжал бороться за то, чтобы очистить генерала Брусилова от скверны, возродить его славу, сделать общеизвестными полезные для державы свершения. С особым упорством занимался этим после смерти Иосифа Виссарионовича, ломая рутину сложившегося официального мнения. К счастью, у меня нашлось немало сторонников, и среди них Н. Р. Миронов, заведовавший отделом административных органов ЦК КПСС, — человек деятельный и в ту пору авторитетный. Не утомляя читателей перипетиями продолжительной борьбы, скажу лучше о результатах, доставивших мне большую радость. Приведу красноречивый документ, хоть и длинноватый, но обстоятельный, полезный и интересный.

«Подлежит возврату вместе с постановлением.

СТРОГО СЕКРЕТНО
По секретариату ЦК
К прот. С-та ЦК КПСС
№ 182 п. 81-гс
За — Суслов
Пономарев
Ильичев
Шелепин
Козлов
222/10.VII.62 г.
ЦК КПСС

В соответствии с поручением Секретариата ЦК КПСС, Министерство обороны СССР, Комитет госбезопасности и Главное архивное управление при Совете Министров СССР рассмотрели материалы, касающиеся личности Брусилова А. А. и его отношения к Советской России.

До 1948 года оценка деятельности Брусилова в советской историко-военной, художественной литературе и периодической печати была положительной.

После Великой Отечественной войны среди трофейных архивных материалов гитлеровской Германии была обнаружена рукопись «Мои воспоминания», в которой от лица А. А. Брусилова описывалась его жизнь в советский период. Воспоминания носят антисоветский характер и направлены на оправдание Брусилова перед белой эмиграцией, обвинявшей его в сотрудничестве с Советским правительством.

Бывшее Министерство внутренних дел СССР, не разобравшись в происхождении рукописи и не проведя тщательного ее исследования, доложило в 1948 году в ЦК КПСС, что рукопись написана лично А. А. Брусиловым во время пребывания его на лечении в Чехословакии в 1925 году. Официального решения по этому вопросу не принималось, однако все материалы, связанные с именем Брусилова, из открытого обращения были изъяты и переведены в закрытые фонды.

В настоящее время упомянутая рукопись «Мои воспоминания» вновь была подвергнута тщательному исследованию, проведены графические и лингвистическая экспертизы рукописи с целью восстановления ее автора, исследованы документальные архивные материалы о деятельности Брусилова, проверены следственные дела и дела оперативного учета в архивах КГБ, в которых есть упоминания или ссылки на имя Брусилова, установлены некоторые лица, лично знавшие Брусилова, и с ними проведены беседы.

Выводы графических и лингвистической экспертиз говорят о том, что рукопись «Мои воспоминания» была написана не Брусиловым, а его женой Н. В. Брусиловой, использовавшей отдельные наброски и отрывки, написанные под диктовку Брусилова или им самим, при этом антисоветскую направленность она придала рукописи при окончательном ее оформлении, уже после смерти мужа.

Этот вывод подтверждается оперативным документом от 21 февраля 1927 года, обнаруженным в материалах дела № 302286 т. 1, л. д. 327, хранящимся в учетно-архивном отделе КГБ при СМ Союза ССР. Из указанного документа видно, что после смерти А. А. Брусилова остались отдельные разрозненные заметки его «Воспоминаний» и что его жена Н. В. Брусилова предпринимала активные меры по обработке набросков этих «Воспоминаний».

В документе, в частности, говорится:
«Рукописи эти оставлены покойным Брусиловым в очень зачаточном состоянии в виде отдельных фраз, заметок, конспектов. После смерти А. А. Брусилова вдова его дала этот материал в обработку трем лицам: В. Н. Готовскому, Анд. Евг. Снесареву и своему родственнику Доливо-Добровольскому.
Дирижировала этим ансамблем сама Н. В. Брусилова… Обработано все должно было быть для заграницы в духе «твердолобых» Англии и монархистов Германии. Н. В. Брусилова обещала при благополучном окончании всего дела уплатить вышеупомянутым лицам известный процент с предполагавшейся крупной получки, что и соблазнило всех. В. Н. Готовский смеется, что с Н. В. Брусиловой можно иметь дело только за большие деньги, т. к. она прямо говорила в таком духе: я, мол, и без вас, дураков, сумела бы сама все «вспомнить», что хотел выразить Алексей Алексеевич, но мне нужно, чтобы имена, которых военная заграница все-таки немного знает, засвидетельствовали, что это действительно мемуары Ал. Ал. Брусилова… Но в некоторых местах Н. В. Брусилова диктовала нам со слов Брусилова такой военный абсурд, что мы сами понимали свою роль», — говорит В. Н. Готовский.
В 1930 году жена Брусилова выехала на жительство в Чехословакию. Предполагается, что там она сдала рукопись в «Русский исторический заграничный архив» в Праге, о чем в инвентарной книге архива имеется запись от 25 октября 1932 года, откуда во время войны рукопись была вывезена немцами.
Следует сказать, что проводивший в 1948 году графическую экспертизу рукописи эксперт Комаринец Б. М. и давший заключение о том, что рукопись написана рукой Брусилова А. А., в своем объяснении сообщил, что при проведении экспертизы им была допущена ошибка в связи с неблагоприятными условиями проведения экспертизы.[109]
В архивных документальных материалах, в следственных и оперативных делах не обнаружено конкретных данных, компрометирующих Брусилова. Лица, лично знавшие Брусилова и его семью, рассказали, что, по их мнению, Брусилов к Советской власти относился лояльно и, несмотря на имевшиеся в тот период определенные трудности, он никогда не высказывал намерения эмигрировать из Советской России.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что Брусилов был, несомненно, прогрессивным военным деятелем и русским патриотом. Принадлежа к высшим слоям старого общества и занимая высокие посты в армии, он после Великой Октябрьской социалистической революции не остался в лагере противника, а перешел на сторону Советской власти и принимал участие в строительстве Красной Армии… В 1924 году в силу преклонного возраста он вышел в отставку, но был зачислен на должность для особо важных поручений при Реввоенсовете СССР, на которой находился до самой смерти, последовавшей 17 марта 1926 года в Москве…
Отдел административных органов ЦК КПСС, рассмотрев материалы исследования и проведя дополнительно некоторую проверку, согласен с выводами Министерства обороны СССР, Комитета госбезопасности и Главного архивного управления при Совете Министров СССР. В целях восстановления положительной оценки деятельности Брусилова в период первой мировой войны, а также его службы в рядах Советской Армии, полагаем целесообразным:

— разрешить Главному архивному управлению при Совете Министров СССР открыть доступ исследователям к архивным материалам о Брусилове, которые могут находиться в открытых фондах;

— поручить Министерству обороны СССР опубликовать в Военно-историческом журнале ряд статей о Брусилове, определяющих его место и роль в развитии военного искусства и характеризующих его деятельность в рядах Советской Армии;

— рекомендовать Главлиту при Совете Министров СССР разрешить издательствам публикацию материалов о жизни и деятельности Брусилова. Просим согласия.

Зав. отделом

административных органов ЦК КПСС

Н. Миронов.

Зав. сектором органов госбезопасности

А. Малыгин. 6 июля 1962 г.»

Возникает вопрос: зачем же понадобилось Надежде Владимировне Желиховской-Брусиловой подделывать мемуары своего мужа, очернять его перед русским народом, которому он честно и безупречно служил всю жизнь?! Суть в том, что совершенно чужой по духу, по мировоззрению была для Брусилова эта одесская дамочка, не понимавшая, не любившая и самого Алексея Алексеевича, и его единственного сына от первой жены, не жалевшая усилий, чтобы разрушить их близость. Ничего не видела она в своем позднем браке с Брусиловым, кроме практической выгоды (положение в обществе, деньги). И добивалась этого. Вот свидетельство еще одной официальной бумаги, из подробной «Справки по материалам на А. А. Брусилова», составленной работниками госбезопасности совместно с военными и архивистами. Раздел IV, пункт «д»:

«По данным чехословацких друзей, во время нахождения А. Брусилова с женой и сестрой жены на лечении в Карловых Варах в 1925 году их принимал в Ланах президент Масарик. Наблюдение за А. А. Брусиловым и членами его семьи вел официально полицейский агент Виммер.

В ноябре 1926 года Масарик выслал вдове А. А. Брусилова на подставное лицо 10 тыс. крон. Установить лицо, на имя которого переведены деньги для Н. В. Брусиловой, не удалось…

С 1934 по 1938 год Н. В. Брусилова из фонда президента Чехословакии получала пенсию в сумме 2300 крон ежемесячно. После смерти Н. В. Брусиловой пенсия в сумме 1000 крон ежемесячно переводились ее сестре — Е. В. Желиховской».

За что им платили? Нет, без всяких причин денег не дают. Тем более расчетливые капиталисты. Заработали, значит.

Нелегко было очистить от скверны имя нашего замечательного полководца, восстановить его честь и славу, вернуть на скрижали отечественной истории. Справедливость восторжествовала, и я горжусь тем, что внес в это дело свою скромную лепту. Большое спасибо тем работникам Центрального Комитета партии, которые приложили значительные усилия, чтобы начать и довести до конца эту работу. Окажись на их месте черствые чиновники — могли бы просто отмахнуться от «лишних» забот. Особая благодарность заведующему отделом административных органов ЦК КПСС Н. Р. Миронову, проявившему настойчивость и последовательность в преодолении возникавших трудностей. К сожалению, этот достойный человек, бывший фронтовой политработник, вскоре завершил свой жизненный путь в авиакатастрофе

вместе с маршалом С. С. Бирюзовым. Самолет с делегацией на борту, направлявшийся в Югославию, разбился в горах. Очередной несчастный случай.
Как бы там ни было, мы сделали все, что могли для генерала Брусилова и для его сына, корнета Алексея, моего друга, командира кавалерийского полка Красной Армии, который под дулом винтовок не отказался от своих убеждений и принял смерть от рук белогвардейцев в Киеве в декабре 1919 года. Перед Брусиловыми — перед старшим и младшим — совесть моя чиста.

12

Большим теоретическим подспорьем для тех, кто непосредственно вел войну с космополитизмом на местах, послужили основополагающие работы, созданные Иосифом Виссарионовичем в то напряженное время. Подспорьем не для карательных органов, которые использовали свои особые средства, а для людей, которые имели дело с такими «подкованными» противниками, как менделисты, вейсманисты, морганисты, марристы и другие разнообразные «исты», вооруженные знаниями и со столь отточенными зубами, что палец в рот не клади. Я имею в виду труд Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», а также «Экономические проблемы социализма» — последнее произведение он не успел завершить. Нет необходимости излагать содержание. Умный или любознательный сам заинтересуется, прочитает, уяснит; дурак не поймет; обывателю все «до лампочки». Скажу лишь о своем понимании сути и значения некоторых аспектов проблем, высвеченных Иосифом Виссарионовичем.
Первую статью в «Правде» по вопросам языковедения Сталин начал фразой: «Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому делу я имею прямое отношение…» Не только имел отношение, но и разбирался — и в марксизме, и в языках. Грузинский, естественно, знал в совершенстве. Мог объясниться с армянином, с азербайджанцем. Учил когда-то греческий и латынь — основу многих европейских языков. Пытался с помощью жены овладеть английским, но почти безрезультатно: не нравилось, да и времени было мало — бросил. В Потсдаме, наслушавшись на Конференции англо-американского говора, сказал своим: «Орут, как мартовские коты на крыше»… Чуждое звучание.
Уважительней относился Иосиф Виссарионович к немецкому языку, даже передачи германского радио ловил, кое-что понимая, если диктор говорил медленно, чисто, «по-берлински», без тех акцентов, которые характерны для баварцев или, к примеру, для саксонцев. Ценил иврит за его почти латинскую четкость и краткость, хотя, конечно, никогда им не пользовался. Особенно же любил и глубоко чувствовал язык русский, ставший для него более родным, чем наречия Кавказа. Когда критики-космополиты подняли шум о неуместности использования в литературе таких обычных для нас, но кое-кому непонятных слов, как «заиндевелый» или «закуржавевший», издеваясь над ними, над «сермяжными», Сталин выразил свое недоумение. А я объяснил:
— Этим критиканам наши выражения если даже и доступны, то слух режут. В национализме готовы обвинить за такие слова. Им бы с заграничных столов огрызки.

— Я ведь тоже по рождению не русский.

— У вас народная академия. Высшая школа плюс отношение…

В свое время огласку получил такой факт. Читая «Правду», Иосиф Виссарионович обратил внимание на стихотворение Александра Межирова. Само произведение особых эмоций не вызвало, бросилась в глаза лишь концовка: «Комментарий не надо, это ясно и так». Возмутился! Безграмотность, и где: в центральной партийной газете, задающей тон всей нашей печати! Позвонил главному редактору «Правды» Поспелову. «Что за выражение — комментарий не надо? У вас что, настоящих корректоров нет? Может, мне пойти к вам в газету корректором?!»

Поспелову дан был хороший урок. Да и поэту тоже, тем более что стихотворение немедленно изъяли из подготовленного к изданию сборника.

О необходимости навести порядок в лингвистике, поднять уровень грамотности, повысить роль и престиж русского языка, ставшего важнейшим средством межнационального общения и сближения не только внутри страны, но и с зарубежьем — об этом я впервые услышал от Иосифа Виссарионовича 13 мая 1947 года, и вот при каких обстоятельствах. В конце того солнечного и очень жаркого дня Сталин, Жданов и Молотов приняли группу писателей и побеседовали с ними. Были: Фадеев, Горбатов, Симонов и другие товарищи. Иосиф Виссарионович, как всегда, к встрече готовился тщательно, прочитал последние произведения не только названных литераторов, но и Твардовского, Эренбурга, Тихонова, Павленко — двух последних он знал с двадцатых годов, когда они работали в Тифлисе в газете «Заря Востока», и с тех пор следил за их творчеством, как, впрочем, и Лаврентий Павлович Берия. В Грузии их считали «своими».

Я на той встрече не присутствовал, но со слов Сталина знал: разговор шел главным образом о материальном положении писателей — гонорары не обеспечивали им возможность спокойно работать над новыми произведениями. Обсуждалось, как и насколько повысить оплату и тиражи изданий. Сталин обратил внимание собравшихся на то, что у многих литераторов, особенно у молодых, пришедших с фронта, даже у очень одаренных, есть сложности с грамотностью, с общей культурой — война помешала получить образование. Надо помочь им наверстать упущенное.

Поздно вечером, делясь со мной впечатлениями от встречи, Иосиф Виссарионович как раз и упомянул о лингвистике, о значении языковедения. И надолго умолк, задумавшись. А продолжение разговора состоялось не скоро, года через полтора, на несколько другой основе. Это случилось в самый разгар идеологической битвы, когда стало ясно, что американцы и англичане используют любые средства, в том числе и навязывание своего языка, активно распространяя его по всему миру и справедливо считая: на каком языке люди говорят, на каком пишут и газеты читают, на том и думают и идеи воспринимают. Кто «продвинул» свой язык в ту или иную страну, тот и пользуется там влиянием.

Значит: распространение своего языка по всей земле — это одна из ступеней подъема к мировому господству. Вот янки и продвигали, и навязывали английский разными способами, повсюду и всем. В том числе и нам. А мы, как выяснилось, не очень-то были готовы противостоять. Хорошо хоть, что не в обычаях Сталина было обороняться: если на нас нападают, мы должны ответить — активнее и сильнее. Тем более что наш язык гораздо богаче, гибче, многообразней, красивей и выразительней

консервативно-унылого английского, более пригоден для международного общения. Последнее подтверждается всей жизнью нашей многонациональной России. Более ста народов, обитающих в нашей стране, охотно, с пользой для себя, общаются на русском языке: не только потому, что он официально считается государственным, но и главным образом потому, что прост, общедоступен, пластичен и зело пригоден во всех сферах взаимоотношений — от любви до политики. Имея широкую славянскую основу, он впитал в себя элементы греко-латинского, тюркского, угро-финского и других языков, а посему легко усваивается разными народами, даже очень далекими один от другого: к примеру, индусами и испанцами, китайцами и албанцами.

Партийно-государственный деятель Сталин испытывал нарастающую неприязнь к английскому языку, как к орудию ползучей экспансии новых претендентов на мировое господство, а я был солидарен с Иосифом Виссарионовичем хотя бы уж потому, что английский язык, в отличие, скажем, от строгого и точного немецкого, от певуче-веселого итальянского, никогда не нравился мне и даже вызывал раздражение. Тяжел для изучения и произношения, со множеством идиом. Не ощущал я в нем красоты и поэтики. Без хороших рифм, без ритмики, что особенно заметно в песнях. Да у них и песен-то в нашем понимании нет, разве что мелодекламация под хаос музыкального сопровождения, лишенного внутреннего ритма, теплой задушевности, откровения — их заменяет надсадный визг, какое-то хрюканье-бряканье, стук там-тамов первобытных африканских племен. Недостатки языка заставляют англо-американских певцов выражать свои чувства, эмоции самыми примитивными механическими способами: они тужатся, как при запоре, даже боязно за них — прямая кишка выпадет. Они орут и хрипят, они гундосят, картавят, вопят — и все это на грани истерики. С соответствующими телодвижениями. Бывают, конечно, талантливые исключения в этой какофонии джунглей, но редко.

Худшие качества английского языка особенно заметны в его американском варианте, более прямолинейном, более жаргонном и грубом. Мой давний друг Стас Прокофьев, упоминавшийся в этой книге, погибший еще на той войне от немецкого снаряда-«чемодана», выделялся среди офицеров не только добрым характером, но и весьма широкой эрудицией, оригинальностью суждений. Увлекаясь топонимикой, он владел без малого двумя десятками языков. Анализировал их опять же в целях своей любимой топонимики, для определения происхождения тех или иных географических названий, для изучения истории тех или иных регионов. Американский вариант английского языка Стас охарактеризовал с не свойственной ему резкостью (поэтому и запомнилось), как «язык простуженных сифилитиков». Заселяли, мол, Новый Свет выходцы из сырого, промозглого Альбиона, к тому же отправляли осваивать далекую территорию прежде всего «отбросы общества»: каторжников, бродяг, проституток, больных… Они сами рвались туда, подальше от властей, на свободу, рассчитывая на свою удачливость, на силу, на хитрость. В этом один из истоков американского прагматизма и эгоизма, жестокости в борьбе за личные интересы.

Слова Стаса Прокофьева, которые я вспомнил при Сталине, он признал если и близкими к истине, то для широкого использования непригодными. Частное мнение. И — нельзя оскорблять население целой страны. Тем более что и язык, которым пользуются американцы в нашем двадцатом

веке, значительно изменился, улучшился и обогатился за счет понаехавших в США людей из других государств. И вообще: главное для нас не критика языка как такового, а борьба с его искусственным насаждением, с навязыванием его народам всего мира. Вопрос в том, как остановить эту агрессию, как самим усилить повсюду значение и притягательность русского языка. Но для этого надо самим разобраться, что к чему, поспорить с последователями академика Н. Я. Марра, чьи ошибки становятся чем дальше, тем заметней, и основательно поправить доморощенных космополитов, которые готовы пренебречь и Отечеством, и нашим родным языком.

Лично я, как и многие граждане нашей страны, узнал о существовании вышеуказанного лингвиста в 1930 году, а еще точнее — в середине лета того года, во время XVI съезда партии, который длился с 26 июня по 13 июля и вошел в историю как съезд развернутого наступления социализма по всему фронту. Тогда Сталин сообщил о достижениях в индустриализации, в коллективизации сельского хозяйства и сказал: если по темпам развития мы догнали и перегнали передовые капиталистические государства, то по уровню промышленного производства все еще очень отстаем от них. Отсюда задача на будущее: продолжая усиливать темпы, догнать и перегнать эти государства также и по уровню производства.

Шел большой разговор о значении социалистического соревнования. И опять четкое определение Иосифа Виссарионовича: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, оно превращает труд из зазорного тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства».

В общем Сталин, что называется, «был на коне», и лучи славы впервые, пожалуй, столь ярко освещали и согревали его, недавно разгромившего своих основных конкурентов-троцкистов и вышвырнувшего за границу политически обанкротившегося Льва Давидовича. Такова была обстановка, на фоне которой опять же впервые хлынул на Иосифа Виссарионовича широкий поток славословия со стороны тех, кто искал расположения и поддержки вождя. Именно так оценил я выступление на съезде языковеда Н. Я. Марра, который приветствовал Сталина от имени беспартийных ученых. И при этом, в отличие от других ораторов, поднимавшихся на всесоюзную партийную трибуну, обратился к вождю… на грузинском языке, чем привлек к себе, естественно, особое внимание. В том числе и Иосифа Виссарионовича. Внешне Сталин никак не отреагировал, но я понял, лингвиста выделил особо. Во всяком случае, познакомился с научными трудами Марра, найдя их достаточно интересными, особенно работы дореволюционные, не окрашенные политикой, объективные. Обратил внимание на конъюнктурность последних лет. А еще запомнил Сталин неприятное ощущение из-за того, что Марр отнесся к нему не как к руководителю великого русского государства, всей многонациональной коммунистической партии, а прежде всего как к грузину, подчеркнув его происхождение. Зачем? Сам Иосиф Виссарионович считал себя больше русским, чем кавказцем, требовал, чтобы общесоюзная переписка велась только на русском. Ну, встретятся несколько грузин или, к примеру, татар — пусть говорят по-своему сколько угодно. Но если среди тех же грузин находится хотя бы один татарин или, положим, узбек, собеседников не понимающий, все должны говорить по-русски. Иначе — неэтично и просто

неприлично: все равно, что показывать кукиш за спиной. Объясняйтесь, товарищи, на нашем государственном общенациональном языке, хотя бы для того, чтобы не ставить в неловкое положение никого из присутствующих. Это, конечно, правильно. А Марр, стремясь, вероятно, сделать Сталину приятное, переборщил, зацепил болезненную струну. Иосиф Виссарионович, как у него часто бывало, навсегда втайне запомнил неприятное дребезжание этой струны.

Коль скоро трудами Марра заинтересовался Сталин, то и я счел необходимым ознакомиться с оными, чтобы иметь свое мнение. Пишет этот ученый-языковед нудно, тяжелыми фразами, но у меня все же хватило терпения одолеть его работы и, по возможности, вникнуть в суть. Квинтэссенция его теории сосредоточена, на мой взгляд, в одном абзаце, легшем на бумагу в 1926 году. Цитирую по второму тому «Избранных трудов» Н. Я. Марра, увидевшему свет в 1936 году. Страница 24:

«Поскольку жизнь неумолимо ставит перед нами всеми вопрос о живом орудии международного общения, то этот важнейший и ни на минуту не устранимый вопрос нового интернациональною общественного строительства нас вынуждает отвлечься от куцых перспектив настоящего… и говорить не о многочисленных международных языках, всегда классово-культурных и всегда неминуемо империалистических, а об едином искусственном общечеловеческом языке и говорить о нем не утопически и не кустарно-самодельнически во вкусе и в поддержание европейского империализма, а подлинно в мировом масштабе, с охватом языковых навыков и интересов не одних верхних тонких слоев, а масс, трудовых масс всех языков и стран… Будущий единый всемирный язык будет языком новой системы, особой, доселе не существовавшей, как будущее хозяйство с его техникой, будущая внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура».

Главное, как я уразумел, вот в чем. Язык — явление классовое. Когда свершится мировая революция, когда не будет разделения общества на классы, канет в вечность и языковая раздробленность, появится единый всемирный язык. Он будет отличаться от всех ныне существующих, в том числе и от русского. Совершенно особый, «коммунистический» будет язык… Черт его знает, может, и так. Сталин некоторое время идею Марра поддерживал, не активно, однако распространению не препятствовал. А я не пришел к определенному выводу: слишком далеко надо было заглядывать. Сначала требуется всеобщая победа пролетариата, мировая революция, а она не получилась, даже сама идея после ухода Ленина и Троцкого перестала носиться в воздухе. Получается: марровскую теорию практикой не проверишь. Любые инсинуации, любые предположения возможны, даже халтура. Может, Марр и его последователи просто приспосабливаются к политике, создав свою школу, извлекая какие-то выгоды?!

А они — выгоды — действительно были. Вскоре после XVI съезда партии Марра приняли в ВКП(б) даже без прохождения кандидатского стажа. В 1933 году получил редчайший в то время орден Ленина. Возглавил научный институт, пытавшийся претворить замыслы академика в реальную действительность. Под руководством Марра был разработан так называемый «аналитический алфавит» для всех народов Советского Союза, как прообраз всеобщего алфавита будущего. Внедрить это нововведение попытались для начала в Абхазии. Вероятно, потому, что Николай Яковлевич Марр родился где-то в тех краях от матери-грузинки и

отца-шотландца, охотно жил-отдыхал там на берегу моря, пользовался определенной известностью. Однако ничего не получилось. Абхазцы предпочли свой алфавит, готовы были говорить и писать на своем языке, на русском, на грузинском, но навязываемый им искусственный конгломерат не восприняли. А с началом войны попытка совсем заглохла.

Некоторые достижения выдающегося лингвиста-кавказоведа умиляли меня бесподобной простотой. По его палеонтологической теории, все слова всех без исключения языков мира имеют общую основу, состоят из четырех элементов, вначале служивших названиями древних племен — Сал, Бер, Йон, Рош. Племена-то, может, и были, но почему именно такие буквенные сочетания стали основой всех языков — уразуметь трудно. И откуда такое количество? Марр связывал это со сторонами света: таковых четыре, значит и элементов должно быть столько же. От каждой части света по племени, от каждого племени по элементу. Ну а когда слились, то и пошло словесное размножение.

Ладно, мало каких благоглупостей люди не навыдумывают, в том числе и академики. В конечном счете, отрицательный результат — тоже результат. Но беда в том, что от деятельности Марра и его агрессивных сторонников страдала наука, страдали лингвисты, не принявшие новую теорию, не желавшие участвовать в «марровских авантюрах». Этих ученых объявляли антиреволюционерами, адептами буржуазии, увольняли с работы, травили, даже арестовывали. Не избежал такой участи известный академик-русист В. В. Виноградов, автор книги «Великий русский язык». Оказался в тюрьме, а затем в ссылке по «делу славистов». А марристы торжествовали. Но рано.

Война многому научила Иосифа Виссарионовича, понудила его пересмотреть сложившиеся постулаты, в том числе соотношение классовых и национальных начал в государстве. Осознал, по его словам, что одно дело отражать и защищать интересы рабочего класса, людей наемного труда, а другое — выводить эти интересы за пределы их распространения, доводя до абсурда… Как доводили марристы. А работа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», появившаяся в 1950 году (Марра уже не было в живых), расставила все по своим местам. В моем понимании это — защита национальных языков, особенно русского, от посягательств с разных сторон: начиная с вредной маниловщины марристов до стремления американцев и англичан навязать через посредство собственного языка свою идеологию, свой образ жизни всему населению земного шара. Этакий марризм наизнанку, устраивавший наших низкопоклонников и космополитов. А что можно было противопоставить языковой экспансии? Не какой-то мифический, несуществующий, вненациональный язык, в котором нет даже таких понятий, как Отечество и патриотизм, а наш конкретный, сильный, великолепный русский язык, способный не только обороняться, но и атаковать. Сталин очень своевременно и глубоко осознал это. «История говорит, — писал он, — что национальные языки являются не классовыми, а общенародными языками, общими для членов наций и едиными для наций».

После выступления Иосифа Виссарионовича, после начатой им дискуссии, в которой он участвовал на равных со всеми правах, лингвистика превратилась у нас, наконец, в настоящую науку. Специалисты-языковеды обрели возможность нормально работать, не отбиваясь от постоянных наскоков марристов. На примерах языкознания

Сталин осудил «аракчеевский режим» в науке, призвал к борьбе мнений, к свободе критики: это сразу стало приносить заметные плоды. Тем самым Иосиф Виссарионович еще раз привлек на свою сторону широкие круги патриотически настроенной интеллигенции, в том числе сохранившуюся старую интеллигенцию, которая все еще задавала тон в научных поисках, в умонасторении новых научных кадров. А место ведущего языковеда по справедливости занял русист-академик Виктор Владимирович Виноградов.

13

Что побудило Иосифа Виссарионовича в послевоенные годы взяться за перо, создать несколько весьма существенных трудов? Сказывался возраст, склонявший Сталина к спокойной работе за письменным столом, давил груз многолетних раздумий, накопленных мыслей, соображений: не пропадать ведь им.

А более конкретным поводом можно считать все ту же разностороннюю (от экономики до лингвистики) экспансию американского империализма, претендующего на мировое господство. Надо было дать отпор «плану Маршалла» и всем другим агрессивным планам не только адекватными экономическими и военными средствами, но и укрепить теоретическую базу социализма, показать нынешнее положение дел и перспективы.

Сама жизнь подталкивала Иосифа Виссарионовича проанализировать накопленный опыт, сделать выводы из того экономического чуда, которое свершилось в нашей стране после необратимых, казалось бы, потерь. Крупнейшие западные специалисты, даже сочувствующие нам, предрекали, что Советскому Союзу потребуется несколько десятилетий, чтобы восстановить разрушенное народное хозяйство. Тем более без помощи капиталистических стран — не соблазнились русские на заманчивый с виду, а по сути ядовито-вредный жирок «холодной котлеты».

Ну и что? Промышленный потенциал был восстановлен к 1950 году, и при этом мы не влезли ни в какие долги. Всё сами, с полной независимостью, с чистой совестью. Заметно, прямо на глазах возрастал жизненный уровень населения. Начиная с 1948 года, неуклонно понижались цены на продовольственные и промышленные товары. Мы воспряли и уверенно пошли вперед всего лишь за пять лет. Люди спокойно смотрели в будущее: работа есть для всех, а добросовестно потрудишься, значит, получишь соответствующее вознаграждение, как материальное, так и моральное. Выдающиеся успехи наши не могли не признать даже зарубежные недоброжелатели. Вот что писал тогда известный западный экономист Ф. Линсей: «Россия переживает чрезвычайно бурный экономический рост… — и далее: — Советская экономическая угроза велика и быстро нарастает». Это слова не нашего сторонника, это вражеский провидец своих предупреждал. Но для кого угроза, а кому радость!

Обобщение наших успехов напрашивалось. Сущность политики, проводимой партией, надо было зафиксировать, сделать достоянием советских людей и наших сторонников в других государствах. Труд для одного человека практически неподъемный. Иосиф Виссарионович дал поручение Институту экономики АН СССР заняться созданием учебника политической экономии социализма. И выяснилось, что даже целому коллективу крупнейших специалистов, в том числе академиков, сия ноша

не по плечу. У каждого свои соображения, у каждого те или иные схемы, взятые из политэкономии капитализма — старые представления довлели над ними, сковывали их. Отбросить эти путы, пойти по совершенно новому направлению, прокладывая дорогу по целине, для наших умников оказалось слишком сложно.

После долгих дискуссий, споров-раздоров, проект учебника был, наконец, подготовлен и представлен Сталину вместе с материалами дискуссий. Иосиф Виссарионович, прочитав, остался недоволен. «Сырой материал, — сказал он. — Мы, конечно, основываемся на марксистском учении, это правильно отмечают товарищи. Но Маркс, Энгельс и Ленин социализма не строили. Они вооружили нас лишь теоретическими предпосылками, указали лишь общее направление. А нам требуется осмыслить уже имеющуюся практику. Академики не смогли… Очень сырой материал», — с досадой повторил он.

Сталин сам взялся за перо. Он не намеревался создать некий научный труд, он дал развернутые замечания по проекту учебника и по материалам дискуссий, затем публично ответил на несколько поступивших к нему писем, и сама собой сложилась книга, раскрывающая основы той экономической политики, которую Иосиф Виссарионович вел последовательно и неуклонно. Скажу по совести: я добросовестно, с карандашом в руке прочитал и перечитал «Экономические проблемы социализма в СССР», но понял далеко не все. Не имел соответствующей подготовки. Мне, человеку военному, это простительно. Удивило то, что многие наши партийно-государственные деятели не смогли вникнуть. Знаний, да и ума не хватило, как у Хрущева? Или ознакомились поверхностно, не пошевелив мозгами: лишь бы не попасть впросак в разговорах с товарищем Сталиным? Очень заметно проявилось такое верхоглядство у Берии, у Кагановича. Это когда Иосиф Виссарионович собрал на даче членов Политбюро и, после позднего обеда, обратился к ним не столько официально, сколько по-дружески:

— Все прочитали? Какие у вас есть вопросы? Какие предложения, пожелания автору?

Было ясно: здесь не место и не время хвалить и превозносить — Иосиф Виссарионович ждет откровенного мнения, деловых советов. Возражений ждет. Лаврентий Павлович привычно завел что-то насчет гениальности «великого и мудрого», но Сталин так осадил его взглядом, что Берия затих в углу дивана и больше не возникал.

Повисла пауза. Чем дольше она затягивалась, тем заметней мрачнел, наливаясь свинцовым спокойствием, Иосиф Виссарионович. Не прочитали? Обманывают? Или не дошло до них? Или сказать боятся?.. Все присутствовавшие вздохнули с облегчением, когда заговорил Молотов. Опытный дипломат, он, вероятно, решил разрядить обстановку. Сказал, что Карл Маркс, анализируя развитие капитализма, сделал важнейший вывод о неизбежной гибели капиталистической системы в силу ее внутренних противоречий, что на смену придет более справедливое социалистическое общество. Может быть, целесообразно, раскрывая экономические проблемы социализма, еще и еще раз подчеркнуть историческую закономерность, открытую и обоснованную в «Капитале»?

— Зачем талдычить одно и то же?! — Сталин несколько помягчел. — Зачем повторять правильную, но всем известную истину? Если предполагаемый читатель не знаком с основами марксизма, он ни черта не поймет в этой книге. Она не для ликбеза.

Почувствовав улучшение ситуации, дал знать о себе хитроумный Маленков. И не просто задал вопрос, а предварил его кратким выступлением, показав, кроме всего прочего, что обсуждаемую работу изучил досконально. Марксизм, мол, трактует: переход экономических отношений от товарных, рыночных к плановым — это целенаправленный процесс, обусловленный развитием средств производства, прежде всего орудий труда. Чем больше они развиты, тем меньше соответствует им товарная, рыночная система экономических связей, тем быстрее на смену идет плановое ведение хозяйства. От рынка к планомерности — в этом прогресс, за этим будущее. Если государственная власть действует в этом направлении, идет в ногу с прогрессом, она ускоряет экономическое развитие, если же нет, если сопротивляется, то становится тормозом и, как писал Карл Маркс, терпит крах через определенный промежуток времени.

— У нас сказано об этом. Мы основывались на этом, — подтвердил Сталин.

— Складывается впечатление, что автор не выступает решительно за полное господство новых плановых отношений, оставляя место для отношений товарных. Так ли это?

— Да, так. Нельзя, товарищ Маленков, оголтело гнать лошадей, не разбирая дороги. Нельзя, товарищи, не проходить через этапы развития, а пытаться перепрыгнуть через них. Упадешь, лоб расшибешь. Поэтому мы критикуем в своей работе, с одной стороны, тех, кто считает, что Советская власть «все может», что ей «все нипочем», что она способна уничтожать законы науки, формировать новые законы. Это неправильно. Это ошибочно… — Передохнув, продолжал: — С другой стороны, мы критикуем тех, кто считает: поскольку социалистическое общество не ликвидирует товарные формы производства, у нас должны быть якобы восстановлены все экономические категории, свойственные капитализму. Это столь же ошибочно. Еще раз подчеркиваю: продолжая движение по пути социализма к плановой экономике, мы при этом не будем нарушать научные законы, не станем перескакивать через этапы развития. Будем спокойно и уравновешенно строить будущее. Возможны, конечно, какие-то ошибки, какие-то зигзаги, но стратегия нам ясна. Время и история работают на нас, на социализм и коммунизм, — подвел итог Иосиф Виссарионович.

Вопрос Маленкова и ответ на него особенно заинтересовали меня, вспоминал их при тех «правителях», которые пришли после Сталина. Хрущев, например, стремясь напакостить Иосифу Виссарионовичу, напакостил прежде всего народу нашей страны. Вот хотя бы один факт разрушения того эффективного экономического механизма, который оставил после себя Сталин. В 1957 году было решено перейти от отраслевого управления промышленностью к территориальному. Полный идиотизм! Именно отраслевые министерства осуществляли единое, сбалансированное руководство производством и научно-технический прогресс на огромных, разнообразных по условиям и возможностям территориях нашей страны. Местные власти просто не могли в достаточной степени концентрировать в своих отдельных регионах материальные средства и научные силы. Координировала центральная власть. Но ее значение было подорвано. Вот и тормоз, помноженный на свистопляску всевозможных реорганизаций, на которые горазд был экспансивный и недальновидный Никита Сергеевич. Отсюда — нарастание

центробежных устремлений в союзных республиках, в автономиях, даже в областях. Были и другие новации, с которыми не только через двадцать лет, как безответственно обещал Хрущев, но и через сто лет невозможно подойти к коммунизму.

Выхолостил Хрущев учение об экономике социализма. А преемник его Брежнев вообще в сложных проблемах не разбирался, пустил все на самотек, кроме интриганства в борьбе за власть. Читал, причмокивая, заготовленные для него речи и был благостно удовлетворен своим существованием. Окружавшие его прихлебатели — тем более. Для них главное — не обострять обстановку, «не поднимать волны» жить ради собственного благополучия. Это были уже не коммунисты, не революционеры, а заурядные обыватели, чиновники-перевертыши без прочных политических и нравственных устоев.

Необходимое добавление автора.

В 1982 году группа экономистов, вылупившихся при Хрущеве и Брежневе, представила в Политбюро ЦК КПСС, на имя товарища Андропова, проект реформ, суть которых состояла в резком усилении товарных, рыночных отношений в ущерб плановому, организованному ведению хозяйства. Авторы проекта: Ясин, Ивантер, Гофман, покрыватель взяточников Гаврила Попов, Львов, Раппопорт и некоторые другие экономисты-политиканы того же сорта. Долго пребывали они в засаде, слушая по ночам «Голос Америки» и всякие другие взбадривавшие их «голоса», и вот проявились, имея поддержку рыночных (чуть не написал продажных) демократов типа Лившица, Арбатова, Шахрая, Уринсона, Старовойтовой, Авена, Гайдара, Шумейко, Собчака, Лациса, Шейниса, Бурбулиса, Чубайса, гнусного русофоба Альфреда Коха — непревзойденный парад фамилий! На разных этапах присоединились к ним махровые жучки-спекулянты Смоленский, Гусинский, Боровой, Черномырдин, Березовский. И молодая поросль: хитроглазый Потанин, неопрятный Дубинин, кучерявый Немцов, картавый говорун Шохин, сладкий красавчик Кириенко.[110] Сколько же дряни развелось на русской земле, выпестовалось в стенах некогда славного Московского университета!

Сперва ничего не получалось у этой, право же, не славной когорты. Андропов не принял предложенной ему программы, посчитав, что она приведет только к отрицательным последствиям во всей жизни страны, сказав примерно так: возврат от плановой экономики к рынку равносилен повороту «вперед, к обезьяне!». И занялся наведением строгого порядка во всех звеньях производства, что сразу же благоприятно отразилось на народном хозяйстве. Но здоровьем был слабоват, поусердствовал мало, не проявил полностью свою сущность. Бразды правления захватил свыше заклейменный Горбачев и, вместе со своим подельником, серым кардиналом Яковлевым, принялся ломать то, что было создано до него, как и поступают всегда не творцы, а разрушители. Он-то и оценил предложения «рыночников» и взялся внедрять их, заручившись поддержкой зарубежных «друзей», всегда мечтавших превратить Россию из великой державы в третьесортное «развивающееся» государство.

«Демократическая» банда действовала первое время осторожно, по-воровски, с оглядкой, прикрываясь путаными лозунгами ускорения, перестройки, реформирования. Затем, не встретив решительного отпора затурканных пропагандой масс, банда поперла напролом, калеча экономику и весь общественно-государственный строй ради возвращения

в капиталистический «рай», где каждый человек становится якобы хозяином-господином своей судьбы… Но поскольку все поголовно паразитирующими хозяевами быть не могут, кто-то и трудиться должен, то господ получается малая горстка, а весь остальной ограбленный народ превращается в рабов, «вкалывающих» за гроши, а то и вообще бесплатно. По выражению китайского мудреца Лао Цзы (IV–III век до нашей эры) «честные люди не бывают богаты, богатые люди не бывают честны». Ну и понятно, кто сказочно-зверски разбогател на народном горе при Ельцине, использовавшем для защиты рыночных господ-кровососов не только дубинки и пули, но и снаряды танковых пушек.

В нашей стране каждый человек со средним образованием, и уж тем более с высшим, способен уразуметь простую истину — взаимную связь между поступательным движением экономических отношений от рыночных к плановым, с соответствующим прогрессом средств производства, в первую очередь орудий труда: чем больше они, средства, развиты, тем непременней становится не хаотичное, а планомерное ведение хозяйства. По этому пути идут теперь Китай, Япония, Швеция, США. И, естественно, наоборот: искусственное разрушение планового хозяйства, возврат к рыночному хаосу, выгодному лишь жуликам, банкирам и спекулянтам, тормозят развитие средств производства, отбрасывают этот процесс назад, ведут к распаду наукоемкой промышленности, передовой технологии, к обнищанию страны, к превращению ее в аморфное государство, влезающее в долги, живущее подачками богатых стран, которые рано или поздно потребуют полной расплаты за все авансы, вплоть до продажи территории. Агрессия как при Гитлере, только помедленней да без выстрелов.

И вот вопрос: если даже наши обычные граждане осознают такую связь событий, то не понимать сего просто не могут, просто неспособны те ученые и политики, профессора и академики, которые заставили страну повернуть вспять, навязав ей гибельную рыночную экономику. Даже самые тупые из них не могут не знать уже приводившегося выше вывода Карла Маркса: когда государственная власть однонаправленно действует в рамках развития экономических отношений от рыночных к плановым, то она облегчает, ускоряет экономическое развитие страны, а если наоборот, если действует против, то она (власть) неизбежно потерпит крах со всеми тяжелыми для государства последствиями. Что и произошло у нас.

Нет, все знали-читали рыночные перевертыши, наизусть заучивавшие цитаты марксистско-ленинского учения, щеголявшие ими в своих выступлениях и диссертациях: кто больше! кто хлеще! И, значит сознательно пошли на разрушение известных им экономических законов, на подрыв нашей промышленности, нашей государственности, обрекая на нищету и вымирание коренных жителей нашей страны. А это — не что иное, как преступление. И не простое, а высшей категории, совершенное предумышленно и коллективно.

В предшествующих главах Николай Алексеевич Лукашов, вспоминая про космополитов, много хорошего сказал о прекрасном русском языке. Хочу отметить еще одну из многообразных особенностей нашего языка — точную избирательность. Он не только саморазвивается, но и обогащается за счет использования иностранных слов, которые более глубоко, или с такими оттенками, каких нет у нас, определяют, раскрывают, расцвечивают то или иное понятие. Пригодится — возьмет. И, как правило, берет не только по названным качествам, но еще и по звучанию слов, чем-

то, порой даже почти неуловимо, близкому для нашего восприятия. К примеру — ренегат. Это значит отступник, изменник, исповедовавший, превозносивший одну веру, а затем переметнувшийся, приспособившийся к более выгодной для него, понося при этом вчерашних соратников. Коварная змея подколодная — скользкая, извивающаяся. А кусачих ядовитых змей у нас именуют гадами. Слово «ренегат» пишется с буквой «т», но при произношении, особенно при быстром, звучит «д». Вот и характеристика существам мерзким и вредоносным.

Почему они, рыночники, пошли на свои пакостные антигосударственные деяния? Чтобы обогатиться, набить зелеными купюрами собственные карманы и карманы своих сородичей, а потом сбежать с капиталами из «этой страны» за границу, благоденствовать в Израиле, в Соединенных Штатах?! Или из-за каких-то иных идеологических, национальных соображений, добросовестно выполняя задания своих зарубежных наставников-покровителей, таких, как «друг Коль» или «Друг Билл»? В любом случае вина рыночных демократов огромна: и перед народами Советского Союза и, особенно, перед наиболее пострадавшими народами России. Это они довели русских до вымирания: население страны каждый год сокращается минимум на миллион человек, как во время страшной войны.

Прав градоначальник столицы Лужков, потребовавший в 1998 году привлечь к ответственности тех, кто виновен в несправедливой грабительской приватизации, во многих других наших бедах — именно в этом прав. Нет смысла оставлять их деяния на медлительный суд истории. Когда еще она разберется! Судить виновных следует теперь, при жизни ограбленных и униженных поколений, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы сами преступники, их родня, развращенные ими приспособленцы понесли заслуженное наказание, как понесли приспешники Гитлера, осужденные на Нюрнбергском процессе. Ну, вешать упомянутых вредоносцев, может быть, и не нужно (слишком много при этом вони и грязи, особенно от разжиревших свиноподобных фигур), достаточно полной конфискации имущества и «творческого труда» на всю оставшуюся жизнь в вечной мерзлоте сибирского рудника. Вкупе с угрызениями совести, которые бывают иногда даже у самых отъявленных христопродавцев и ренегатов.

14

Доводилось слышать от людей вполне серьезных и ответственных, что любой советский человек, изучивший «Краткий курс» истории ВКП(б), а изучали его повсюду и все, от школьников до пенсионеров, любой такой человек на голову выше каждого заграничного гражданина, не знакомого с названной книгой. Люди, более осторожные или склонные к афористичности, выражались завуалированнее, скрывая шутливостью свой скепсис: любой советский жираф на голову длиннее самого высокого капиталистического жирафа. Всяк волен воспринимать подобные утверждения на собственный лад, меня же интересует та доля правды, которая, как известно, присутствует в каждой шутке.

«История ВКП(б). Краткий курс» (официальное наименование) увидела свет в 1938 году и, без преувеличения, стала весьма заметным явлением в жизни и деятельности большевистской партии, в жизни всей страны. По словам А. А. Жданова, «за время существования марксизма это первая

книга, получившая столь широкое распространение». Ее ценили за то, что в ней обобщен был уникальный опыт нашей российской коммунистической партии, подобного которому не имела ни одна партия в мире любого направления. Можно относиться к этому опыту по-разному, хоть с плюсом, хоть с минусом, но факт остается фактом: революционные события в России были и остаются стержнем мирового развития с начала XX века и по сию пору.

С моей точки зрения, главное даже не в том, что «Краткий курс» действительно изложил четко и общедоступно вышеупомянутый опыт, главное в систематизированном показе тех великих событий той переломной эпохи, когда на историческую арену (это я видел своими глазами!) впервые в истории вышли широкие народные массы, в партия большевиков сумела понять их порыв, смогла сплотить эти массы и возглавить движение вперед, к новой историко-экономической формации и не только в нашей стране, но в значительной степени во всем мире. К тому будущему, которое непременно наступит, сломив ожесточенное сопротивление устаревших, отживших устоев. Как свидетельствует неподкупный современник:

Этот вихрь от мысли до курка И постройку, и пожара дым Прибирала партия к рукам, Направляла, строила в ряды.

Так и было. И на войне, и в труде. «Краткий курс» только зафиксировал и подытожил реальность. С этим не спорили даже завзятые враги Советской власти, охаивавшие все, что происходило в нашей стране. Было-то было, дескать, да не так подано: не объективно, а сугубо односторонне, тенденциозно. Что тут возразить? У каждого свой взгляд на события. У Керенского один, у Троцкого другой, у Джона Рида третий, а уж про Черчилля и говорить нечего. И неудивительно. Тенденциозны вообще все исторические труды. Иначе просто не может быть, так как каждый из них несет на себе отпечаток личности исследователя, отражает мнение того слоя общества, того класса, к которому исследователь принадлежал, чьи интересы выражал и отстаивал. Широко известна формулировка: история есть политика, опрокинутая в прошлое. При Сталине, в частности в «Кратком курсе», эта «опрокинутость» была не большей, чем в других исторических работах разных времен и в разных странах. Я вот читал американский учебник, в котором с примитивной наглостью сказано, что Вторую мировую войну выиграли только бравые янки при некотором содействии англичан и французов. О Советском Союзе, вынесшем всю тяжесть той войны и сломившем хребет гитлеровской империи, упоминается лишь вскользь. А «Краткий курс» от фактов не отходит, от правды не уклоняется, но, естественно, рассматривает и оценивает все с высоты своей партийной колокольни.

Неофициально считалось, что книгу создал Иосиф Виссарионович, но это не так, вернее не совсем так. Была его инициатива, он определял направление и структуру, контролировал работу, делал замечания, высказывал пожелания по рукописи, по верстке. А писал «Краткий курс» целый коллектив авторов под руководством, если не ошибаюсь, Петра Николаевича Поспелова. Впрочем, коллектив этот не столько писал, сколько подбирал материалы из произведений Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, из решений и постановлений пленумов Центрального комитета и съездов партии, скромно цементируя фундаментальные глыбы цитат тонким слоем собственных мыслей, соображений, утверждений. Отсюда и тяжеловесная скука многих страниц, оживляемая кое-где на

стыках официальных документов сталинскими, почти беллетристическими вставками. Однако общую тяжеловесность наукообразного изложения они изменить не могли.

Сам Иосиф Виссарионович от начала и до конца написал только одну главу — не составил, а именно написал. Причем самую существенную, самую интересную, но и самую трудную, постаравшись донести до широких читательских кругов разного возраста, разной образованности, разных классов и национальностей основы марксистско-ленинской философии, диалектического и исторического материализма. Задача на грани возможного, однако Иосиф Виссарионович сумел решить ее, посвятив этому всю пресловутую четвертую главу, известную хотя бы тем, что все изучавшие «Краткий курс» спотыкались на ней, преодолевали с таким трудом, что дальнейшие материалы усваивались без особого напряжения.

Сужу по себе. Еще в самом начале этой большой книги говорил о том, что до революции офицерам всех рангов, даже нам, генштабистам, военной элите, всесторонне образованным специалистам, являвшимся, по существу, еще и костяком военной разведки, — даже нам не рекомендовалось, объективности для, заниматься политикой и такими сопутствующими ей неконкретными вопросами, как философия. Что мне было известно про эту науку, которая, впрочем, и наукой-то не считалась? Не больше, пожалуй, чем среднему российскому, европейскому обывателю-интеллигенту с гимназическим багажом, не говоря уж про американцев, взращенных на голом практицизме: если выгодно — хапай и рви, все другое только помехи на пути к наживе, к обогащению.

Знал, что сам термин «философия» произошел от слияния греческих слов phileo (люблю) и sophio (мудрость), что жрецы и поклонники сей расплывчатой науки, то есть «любители мудрости», не снисходя до насущных земных забот, стремятся проникнуть в труднодоступные тайны мироустройства, познать наиболее общие (стратегические, что ли?) истины о природе, божестве, человечестве. Похвастаюсь: в отличие от многих своих коллег-офицеров, слышал даже кое-что об английском епископе Джордже Беркли, заядлом идеалисте, который отрицал объективное существование мира и утверждал, что вещи представляют собой только совокупность наших ощущений, и не более того. Вот, мол, дерево, к которому ты прислонился. Толкнул плечом — ага, есть таковое. А отъехал верст пять, дерева не видно, значит, его и вообще нет. Если размахнуться пошире, то, к примеру, и Питера для тебя не существует, пока ты живешь в Москве. И японская и германская армии, со всей их пехотой, конницей, артиллерией отсутствуют на белом свете, и нет необходимости готовиться к войне с ними. До тех пор, пока не схлестнемся в бою: представляете, какова при этом будет «совокупность ощущений»?! В общем — вражеской пули нет, пока она в тебя не попала. А тут уж конец всяческой философии. Бред какой-то.

Сумасшедшим считал я этого Беркли, как, впрочем, и других «любителей мудрости». Случайно попал, будучи еще молодым офицером, на философский диспут в Париже. Обсуждались два «принципиальных» положения. Что лучше для человека — родиться или не родиться? И второе: кто сильнее — Судьба или Бог (Судьба слепа, а Бог всевидящ и всезнающ, ему можно молиться, можно просить его, каяться перед ним). Наслушался столько чепухи, что только с помощью хорошего французского вина разогнал дурман, затуманивший голову. И пришел

тогда к выводу, что философия — бессмысленная схоластика и даже шарлатанство, образом и символом которых является вопрос, долго и всерьез занимавший средневековых мудрецов: сколько чертовых душ уместятся на острие одной иглы? И уверился: единственная философическая отрасль знаний, имеющая реальное значение, это гедонизм — производное от греческого слова, означающего «наслаждение». Этот термин, кстати, был довольно широко распространен среди дореволюционного офицерства. Учение сие, не требовавшее особых умственных способностей для его понимания, признавало высшим благом и целью жизни именно то состояние, от названия которого взялось и пошло. Под понятием добра подразумевалось то, что приносит наслаждение. И, соответственно, все иное, влекущее за собой неприятности и страдания, определялось как зло. Элементарно, разумеется, но общедоступно и привлекательно.

Четвертая глава «Краткого курса» изменила мое отношение к науке наук, и не только мое, но и всех тех, кто эту главу изучил, освоил. Во всяком случае, стало понятно, чем сия наука занимается, какова ее суть, кому и для чего нужна. Многие миллионы советских людей приобщились к настоящей философии, поднялись на новую ступень духовного развития, чего не получили зарубежные граждане всех сословий и уровней, включая обладателей университетских дипломов. А у нас не только профессора и студенты, но и простые рабочие, простые крестьяне уяснили различие между идеализмом и материализмом, всяк по-своему шевелил мозгами, «обкатывая» извечный вопрос отношения мышления к бытию, которое, по утверждению марксистов, определяет сознание.

Не будучи специалистом, я в данном случае не защищаю и не отрицаю позиций марксистско-ленинской философии, а лишь констатирую факт: сталинская четвертая глава «Краткого курса» принесла очень большую пользу для общенародной образованности, в том числе и для меня. Я понял, что философия действительно наука, что в ней есть разные, как реакционные, так и прогрессивные, направления, что отклонения и передержки ведут к ошибкам в практической жизни, а правильная оценка внутренней связи событий дает возможность надежно ориентироваться в обстановке, видеть перспективу, закладывать экономический и общественно-политический фундамент будущего.

Я, разумеется, и до выхода «Краткого курса» знаком был (после Гражданской войны) с произведениями марксистской литературы. Читал все работы Иосифа Виссарионовича, в создании некоторых из них принимал посильное участие. У Энгельса выбирал то, что касалось военных дел, полагая этого автора умным, образованным, оригинальным дилетантом. От таких дилетантов, не скованных узкими рамками профессионализма, бывает иногда польза: они дают объективную оценку событий и даже, сами не ведая того, осуществляют прорывы через вышеуказанные рамки вперед или в смежные отрасли.

Маркс военных вопросов касается мало. А к трудам Ленина меня не очень тянуло. Соответствующей подготовки не имел — в различных общественных плоскостях обретались мы в молодости. Чтобы читать Ленина, приходилось делать большие усилия над собой. Познания его, безусловно, огромны, ум проникающий, острый, но мне всегда казалось, что перед глазами не завершенная статья, не готовая полностью книжка, а черновик, заготовка с многословными отступлениями, отклонениями. Сократить бы наполовину, «вылить воду», упростить для лучшего

усвоения. Однако Ленин не мог, вероятно, писать иначе, в спокойном тоне, у него везде спор, полемический азарт, цитаты оппонентов, с которыми он борется. Отсюда и длинноты. Не только выводы, но и искания этих выводов, долгий путь к ним. Особенно заметно все это при сравнении с работами Сталина, где железная логика направлена на кратчайшее достижение главной цели, где нет лишнего, где ничего не требуется добавлять и ничего нельзя выбросить из крепкой цепи рассуждений и доказательств.

Возьмем талантливую книгу Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм», с которой сталкивался каждый, кто изучал четвертую главу. Сколько там фамилий, терминов, понятий, определений, совершенно неизвестных людям, не посвятившим свою жизнь глубокому изучению философии! Конечно, чтобы дискутировать с Э. Махом, Р. Авенариусом и А. Богдановым, надо объяснить читателям, кто они такие, а потом уж вскрывать вредоносность их ошибок. Чтобы доказать антинаучность эмпириокритицизма, эмпириомонизма и эмпириосимволизма, требовалось сперва раскрыть, что представляют собой эти философские направления: при одном лишь произношении язык сломаешь, а мозгам каково?!

Иначе говоря, и в этой, и в других своих работах Ленин переворачивал, просеивал груды пустой породы, разыскивая драгоценные алмазы, щедро одаривая ими всех желающих. Но «сырой» алмаз — это на вид всего лишь обычный камешек, оценить который способны только специалисты. Сталин же, как ювелир, шлифовал и огранивал эти камешки, превращая в бриллианты, вставляя в соответствующую оправу: они начинили сверкать и сиять, привлекая внимание, завораживая и запоминаясь. Мудрая формулировка «материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении» почти незаметна в ленинских работах. А как она блещет у Сталина, оказавшись на видном месте при умелом освещении! Не сочту лишним повторить фразу, уже сказанную мною однажды об Иосифе Виссарионовиче: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Воистину так.

Ленинское определение материи гениально. Хотя бы уж только тем, что оно приемлемо как для атеистов, так и для верующих всех конфессий. Речь ведь идет не о спорном вопросе происхождения этой материи, Богом ли она дана или самозародилась, — речь о том, что объективная действительность существует вне и независимо от нашего сознания и что единство мира в его материальности… Здравомыслящий возражать не станет.

Вернемся к началу этой главы. Я ведь хотел сказать, что труды Сталина по экономике, по языкознанию, его вклад в «науку наук» получили широчайшую известность, помогли многим людям по-новому взглянуть на действительность, раздвинули их умственные горизонты, приобщили к серьезным размышлениям, что важно само по себе. Уверен: значение сталинских трудов не подвержено тлетворности времени, их влияние заметно повсюду и на всех, даже на рьяных противников Иосифа Виссарионовича. В этом ракурсе шутка о том, что каждый советский жираф выше любого капиталистического жирафа, имеет под собой основу вполне серьезную и прочную.

Позвонила женщина, много лет проработавшая в секретариате Центрального Комитета. В середине двадцатых годов пришла милая девушка-комсомолка, тогда много таких было в аппарате. Выделялась аккуратностью, добросовестностью и, как говорится, прижилась на новом месте, стала хорошим специалистом. Со временем доверили ей ответственное дело — разборку почты, поступавшей от граждан непосредственно на имя Сталина. И я, как помнит читатель, занимался такими письмами. Отсюда и знакомство. Но не настолько близкое, чтобы звонить мне по домашнему телефону, через голову своего непосредственного начальства, что никоим образом не поощрялось.

— Николай Алексеевич, извините за беспокойство, но мне нужно проконсультироваться по сложному вопросу.

— Уверены, что именно со мной?

— Только с вами. Лучше поговорить у вас. Это не личное, это очень серьезное.

Голос звучал деловито-спокойно, однако я уловил напряженность: женщина, вероятно, опасалась отказа. Опытная сотрудница не стала бы добиваться встречи по пустякам, а она ведь даже телефон мой городской отыскала. Я согласился.

Надо сказать вот что. Много воды утекло с тех пор, как Иосиф Виссарионович занял пост Генерального секретаря партии, но система работы с почтой, сложившаяся в первые годы его деятельности, не претерпела больших изменений, хотя поток писем, адресованных лично Сталину, возрос неизмеримо. Увеличилось количество сотрудников, кое-что усовершенствовалось, но и только. Все письма читались, ставились на контроль, распределялись по отделам ЦК или по соответствующим ведомствам с обязательным ответом. Для Сталина составлялись справки, в которых указывалось количество писем, откуда и по какому поводу идет основной поток. Характеризовалось социальное, возрастное положение авторов. Такие справки Иосиф Виссарионович читал обязательно. Кроме того, примерно раз в месяц поручал мне или Поскребышеву выборочно знакомиться с почтой, поступившей в какой-то день, и докладывать ему свои впечатления. Довольно действенный контроль. Но и это не все. Иногда Сталин требовал доставить нынешнюю почту до разборки, до вскрытия конвертов, к нему в кабинет, чаще всего на дачу. Мешки с письмами опечатывали и отправляли в автомашине. Если почта была очень большая, я брал наугад один из мешков, и под моим доглядом курьер доставлял его по назначению. Сталин просматривал десятки, а то и сотни писем, делая на некоторых пометки.

О том, что Иосиф Виссарионович забирает почту, сразу становилось известно некоторым руководящим товарищам, в первую очередь Берии. Подобные «ревизии» вызывали большое беспокойство: вдруг попадется в письмах такое, о чем «хозяину» не следовало бы знать! И попадалось. И крепко доставалось виновным. В годы войны такие «ревизии» случались редко, но после Победы опять обрели регулярность. Особенно после того, как были опубликованы труды Сталина о языкознании, об экономических проблемах социализма. Иосиф Виссарионович требовал, чтобы все письма с вопросами по этим работам, с критическими замечаниями обязательно доставлялись ему. На некоторые отвечал.

Ксения, как звали позвонившую женщину, являлась поднаторевшей регулировщицей в многообразном потоке писем, точно знала свои обязанности и границы своих возможностей. Так что же подвигло ее на

очень рискованный шаг, на нарушение служебных рамок? Глубокая порядочность? Вера в то, что я не подведу? Письмо, которое она принесла, оказалось воистину из ряда вон выходящим. Даже у меня, видавшего виды, от негодования, от омерзения кровь прихлынула в голову, запылали щеки.

Обращение обычное: «Дорогой товарищ Сталин!» А дальше, почти дословно, было так... «Когда это письмо дойдет до Вас, меня уже не будет среди живых. Оставила записку маме и сынишке, чтобы не искали. Сейчас опущу конверт, сяду на электричку, чтобы подальше от дома, а там как Бог пошлет. Только бы дошло письмо до Вас, только бы Вы услышали этот мой крик и раздавили страшных ядовитых змей!.. До прошлой зимы я жила хорошо, даже очень хорошо, как теперь понимаю. Если трудности, то как у всех. И веселая была, и красивая, чему и радовалась, на свою беду... Мой муж-офицер служит на Кавказе. Зимой он переслал попутным самолетом две посылочки. Одну моей заболевшей маме, а другую просил меня завезти жене своего фронтового товарища и бывшего командира подполковника Щирова Сергея Сергеевича, Героя Советской страны (так было в письме. — Н. Л.).

Поехала по указанному адресу. Там, в просторной квартире, меня встретила жена Щирова по имени Софья, по отчеству, кажется, Иосифовна, и ее сестра Лидия. Молодые, красивые, похожие друг на друга, особенно фигурами, привлекательность которых подчеркивали хорошо пошитые платья. А еще там был полковник с пронзительными глазами на смуглом лице, очень галантный, со слащавой улыбочкой. Зовут его Рафаэль Семенович, а фамилия Саркисов, это я узнала позже. Он меня рассматривал как товар на базаре, разве что в рот не заглядывал. Будто раздевал взглядом. Сказал сестрам: «Вы остаетесь, со мной поедет она (это значит я). Провожу ее домой». Распорядился таким тоном, что никто не мог возражать.

Машина у него была черная, большая, в таких раньше не ездила. Шофер отделен стеклом и занавеской. Саркисов расспрашивал о семье, о муже, обещал помочь перевести его ближе к Москве, но при определенных обстоятельствах. Спохватился, что ему срочно нужно на узел связи, поговорить со штабом Закавказского военного округа, и попросил меня подождать несколько минут. Мы проехали за высокий забор мимо охранников. Саркисов оставил меня в пустой комнате, похожей на приемную перед кабинетом, а сам исчез. Там тихо и никого не было. Только два раза через комнату прошел из двери в дверь какой-то толстый человек в черном костюме. Смотрел на мои ноги и нижнюю часть тела. Где-то я его видела, но вспомнить не могла. Потом появился Саркисов, веселый и довольный. Отвез меня домой, а на прощание сказал, что я понравилась очень важному лицу и чтобы завтра к шести вечера была «помыта, одета и готова к свиданию», — он так и выразился. Я возмутилась, но он оборвал меня. Спросила, куда надо ехать, а он усмехнулся: «В театр, на представление».

Саркисов позвонил в квартиру в шесть, как и назначил. Я сказала, что никуда не поеду. А он объяснил, что я понравилась Лаврентию Павловичу Берии и это большая честь провести с ним вечер. Только дура может не понять, что не ехать невозможно, все равно отвезут. Если поеду по-хорошему, то будет для меня большая польза. А нет — крупные неприятности. Для начала муж узнает, что год назад я встречалась и сожительствовала с майором К. Это правда, было у меня такое увлечение,

несколько ночей провела с К., так что слова Саркисова на меня подействовали… Ну, а если уж очень буду упорствовать, то муж окажется без должности, а я с матерью лишусь московской прописки — была у нас такая сложность. Вот и решай: либо провести вечер в узком кругу, и тогда все к твоим услугам, либо полный крах во всем. Возможности у него, у Саркисова, неограниченные. Но я больше всего испугалась, что муж узнает о моей связи с майором К. И согласилась.

Первое время было противно и мучила совесть. Потом свыклась. Успокаивала себя тем, что свидания с Лаврентием Павловичем — неизбежность, что делаю это ради благополучия семьи. Ну и вообще: не я одна такая, у других женщин тоже бывают сожители, особенно если женщина по нескольку месяцев не видит своего мужа. Начальник охраны Берии полковник Саркисов или его помощник-армянин приезжали за мной примерно раз в неделю. Потом все реже. Видно, я надоела Лаврентию Павловичу своей бесстрастностью и всякими просьбами. Он чередовал меня с Софьей Щировой и Лидой, а может, и с другими женщинами. Он падкий на разнообразие. Однажды при расставании зевнул и сказал Саркисову: «Совсем холодная, без огня. Поделись своим мнением». Я не обратила внимания на эти слова, вспомнила лишь потом, когда в ту же ночь Саркисов силой взял меня у себя на даче, поступил со мной гадко, зверски, как никогда не бывало. Это было омерзительно, и я осознала, что качусь в пропасть. Впервые пришла мысль сразу освободиться от всех пут.

Но это еще не все. С дачи увез меня офицер-армянин. Я была потерянная, полуживая, насильно напоенная вином. Офицер сказал, что в таком виде нельзя являться домой, что я должна принять лекарство и отдохнуть. Доставил меня в какую-то квартиру, дал чего-то выпить, а потом поступил со мной так же омерзительно, как и его начальник. И пригрозил: он знает, в какой школе учится мой сын, и даже расписание уроков. А перед школой улица с большим автомобильным движением. Бывают несчастные случаи.

Кто-то из них «наградил» меня дурной болезнью, не самой страшной, но что я скажу врачу, да и время потребуется на лечение, а через неделю приезжает муж. Я вся в грязи, все у меня сломано, изгажено, я противна себе. Поэтому и покончу с собой на рельсах или в речке. Страха нет, избавлюсь от мучений, избавлю от бед своих близких. Но как же те распутные негодяи, они будут наслаждаться, будут губить другие души и тела?! Последняя моя надежда на Вас, товарищ Сталин, очень хочу верить, что Вы получите это письмо и узнаете горькую правду.

Не называю себя, боюсь, что письмо попадет в чужие руки и это отразится на моем сыне, на муже и на маме. Изверги способны на все. Но уже нельзя повредить Сергею Сергеевичу Щирову, он уже не подполковник, не Герой и вообще исчез неизвестно куда. Поэтому пишу о его страшной истории, которую легко проверить. Он заслуженный, про него все не утаишь, как про меня. В конце 1944 года его, командира авиаполка, отозвали в Москву на новую должность в Управлении Военно-воздушных сил. Жена Щирова говорила мне, что так сам Василий Иосифович Сталин хотел, они учились вместе в Качинской школе летчиков. Приехав в Москву, Сергей Сергеевич встретил свою Софу, очень ее полюбил и женился. А вскоре случилось несчастье. Ее увидел на улице проезжавший Берия и приказал Саркисову забрать привлекательную женщину. Увез домой на Садовое кольцо. А потом добрался до Лидии, сестры. Но Софья ему нравилась больше, у нее ноги полней и бедра

пошире. Софья даже специально худела, чтобы Берия отстал. Он действительно блудил с Лидией, с другими, но когда Софья поправлялась, опять присылал за ней.

Муж, конечно, узнал, это была драма. Он отважный, горячий, и любил очень, а что мог поделать?! Даже сказать нельзя, сразу бы рот заткнули. Он вроде умом тронулся. Это Софья тайком делилась со мной, когда узнала, что я тоже попала в сеть. Мы в спальне на Садовом кольце однажды столкнулись, Лаврентий Павлович в тот вечер сразу двух захотел. Мы вроде подружками по несчастью стали.

Сергей Сергеевич не смог оставаться в Москве, отпросился опять на фронт. Войну закончил в Югославии, там и служил. Потом его перевели в Армению. Софья приехала туда к нему, и у них вроде бы жизнь наладилась. Но Берия и там достал, будто других мало было. Приехал на выборы в Тбилиси, где баллотировался в Верховный Совет, и после гулянки отправил Саркисова за Софьей. Добил семью. Сергей Сергеевич поклялся отомстить Берии и Саркисову, вот на кого замахнулся! Говорил, что здесь у него руки скованы, за каждым шагом следят, а он уйдет за границу и оттуда дотянется до гадов. Сгоряча проболтался приятелю-актеру, что в Америке или во Франции заработает на самолет и на бомбы, долетит до Москвы и сбросит бомбы на Берию. Может, этот актер и донес, но ему не очень поверили. Сергея Сергеевича отстранили от должности и отправили подальше, в Ташкент, работать начальником аэроклуба. Он понимал, что скоро до него окончательно доберутся. Последнее, что через знакомых узнала о нем жена: Щиров собирается в отпуск, заедет в Москву и к сослуживцам в Армению. На этом все. Теперь его нигде нет. Из Ташкента действительно уехал, но ни в Москве, ни в Армении не появлялся. А Софью вызывали в МГБ, заставили написать заявление о своей семейной жизни с Щировым, про разные неурядицы и ссоры, а про Берию и Саркисова даже намека не было…»

— Кто, кроме вас, читал письмо? — спросил я Ксению.

— Никто. Писем на имя товарища Сталина в эти дни было немного, я сидела на них одна. И выловила.

— Зарегистрировали?

— Нет. Отложила и позвонила вам из автомата, из метро.

— Оставьте его пока у себя.

— А если это контроль? Бывают у нас такие проверки. Чем это грозит мне?

— Не похоже на провокацию. Берию не станут трогать, нашли бы птицу помельче. А вам обязательно регистрировать письмо в день поступления?

— Желательно. Есть штемпель на конверте. Но бывает, что регистрируем через день-два. Если выходные или праздники.

— Я возьму это письмо на сутки. Выясню насчет Щирова и обдумаю, как поступить.

— Хорошо, — неохотно согласилась она. — Только помните, что меня при малейшем подозрении…

— Не тревожьтесь. Позабочусь.

Я процитировал письмо по памяти, может быть, подзабыв или пропустив некоторые мелочи, но суть передана точно. Очень важным оказался этот документ. Начиная с него, с нескольких листков из школьной тетради, поступивших на имя Сталина в конце 1949 года, сорвалась и покатилась, стремительно разрастаясь, лавина сложных многообразных событий.

Впрочем, не случись этого письма, был бы другой толчок, вызвавший подобные же события. Слишком много накопилось тяжелого материала.

Прежде всего, я должен был срочно и осторожно убедиться, насколько достоверно письмо: не провокация ли, не клевета, не шутка — случается и этакое. Первым желанием было поехать к Василию Сталину, расспросить о Щирове. Авиационный генерал Сталин наверняка знал о судьбе героя-летчика, тем более бывшего однокашника. Но я отогнал эту мысль. Василий заинтересуется, почему любопытствую насчет Щирова. Держать язык за зубами Василий не привык, не умеет, тем более в пьяном состоянии, а трезвым он почти не бывает. Сболтнет о Щирове несколько слов, они дойдут до Берии, насторожат его, вызовут ответные меры. Нет, Василия я отверг.

По той же причине, опасаясь повредить невинным людям, решил не обращаться к высшим военным руководителям. Имелись товарищи, знавшие цену секретам и умевшие хранить их. Еще в 1943 году, завершая развал пресловутого «триумвирата» (Берия, Каганович, Мехлис), создавая военную контрразведку СМЕРШ, Иосиф Виссарионович принял в прямом смысле слова мудрое предусмотрительное решение: подчинил новую организацию непосредственно Верховному главнокомандующему. Получил собственные «глаза и уши» в вооруженных силах, вообще в стране. Конечно, военная контрразведка сотрудничала с органами МГБ и МВД, конечно, агенты Берии имелись и среди контрразведчиков, но их было немного, о них знали. Сотрудники СМЕРШ и госбезопасности соперничали друг с другом, оспаривая, кто важнее и нужнее. Это были конкуренты, старавшиеся подставить сопернику ножку, особенно на высоком уровне. Контрразведчики относились к госбезопасности свысока, считая работу ГБ не очень чистой, а методы — прямолинейными и грубыми. У меня же было в контрразведке несколько надежных знакомых. К одному из них и обратился, не вдаваясь, разумеется, в подробности, предупредив об особой осторожности.

Короче говоря, на следующий день я имел короткую, емкую, по-военному четкую справку. Сергей Сергеевич Щиров (по некоторым первоначальным документам — Щирый) родился в 1916 году в Акимовском районе Запорожской области. Действительно, закончил перед войной Качинскую авиационную школу. Направлен в 87-й истребительный авиационный полк. В декабре 1941 года младший лейтенант Щиров назначен командиром звена. В августе 1942 года он уже капитан, заместитель командира эскадрильи. Тогда же принят в ряды ВКП(б).

В боях дерзок, расчетлив, отважен. 13 декабря 1942 года присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В том же месяце майор, командир эскадрильи. С марта 1945 года — командир полка в 236-й истребительной авиационной дивизии. Подполковник. Далее служба в Армении, в Ташкенте… И вот самое важное для меня: 7 апреля 1949 года задержан при попытке нелегально перейти границу СССР — Турция в районе реки Аракс. При аресте пытался сделать какое-то важное заявление.

К справке контрразведчика были приложены копии двух документов, рассеявшие мои последние сомнения. Они короткие. «Постановление. Москва, 1949 год, октября 25 дня. Я, старший следователь по особо важным делам МГБ СССР майор Левшин, рассмотрев материалы следственного дела № 2508 по обвинению С. С. Щирова, нашел: Щиров арестован 7 апреля 1949 года за попытку измены Родине. Следствием

установлено, что Щиров решил совершить побег за границу. На основании изложенного постановил: Щирова, как изменника Родины, направить в особый лагерь».

И второй документ: копия выписки из протокола Особого совещания при министре ГБ СССР. «Слушали: дело по обвинению Щирова в измене Родине. Постановили: Заключить в особый лагерь сроком на 25 лет»![111]

И никаких, конечно, упоминаний о семье, о жене. Надежно сработано. Лаврентий Павлович мог теперь без всяких помех сожительствовать с двумя сестрами, с Софией и Лидией. Что он и делал время от времени, как мне удалось выяснить. К месту будь сказано: в сентябре 1953 года, после того, как Берию отстранили от власти, был допрошен начальник его охраны Р. С. Саркисов, поставлявший своему сластолюбивому хозяину женщин. Саркисову предложили составить список жертв. У него оказалась хорошая память. Он расположил всех под номерами, в порядке очередности. Точно не помню цифру, но две сестры оказались где-то во второй сотне. Под каким номером числилась женщина, написавшая Сталину письмо о злодеяниях Берии, я не знаю.

С Ксенией мы условились, что незарегистрированное письмо останется у меня, под мою полную ответственность. Но дальше-то что? Докладывать Иосифу Виссарионовичу? Какова будет его реакция, как она отразится на людях, начиная от той же Ксении и до самого Берии? Тут надо было взвесить все, и я решил не торопиться, дождаться удобного момента. Тем более что и формальный предлог для оттяжки имелся веский. В том декабре 1949 года Иосифу Виссарионовичу исполнилось семьдесят лет. В стране, да и во всем мире, дату сию отмечали широко, торжественно, с лавиной поздравлений и ценных подарков. А мой «подарочек» был бы не из приятных. Не хотелось портить Сталину настроение.

16

Все еще на вершине славы встречал Иосиф Виссарионович свой юбилей. До него никто не достигал при жизни столь широкой известности, столь большого почтения. И ненависти. Никто не внушал такого страха и удивления, как он, победивший в политических и военных сражениях всех своих бесчисленных соперников и врагов — от Троцкого до Гитлера. При его появлении поднимал с кресла грузное тело Черчилль, и сам Рузвельт при первой встрече со Сталиным сделал попытку встать, забыв о том, что давно прикован параличом к коляске. Даже те, кто ненавидел его, восхищались им. Ну что же: величием и красотой горных высот восторгаются и жители тех ущелий, где случаются гибельные обвалы, срывающиеся с этих вершин.

Образно говоря, Сталин восседал в лучах славы на мировом троне в своей излюбленной позе, скрестив руки внизу живота, развернув колени и сомкнув пятки — ноги циркулем. В позе спокойной, полной незыблемого достоинства. Таким его воспринимали. Но мало кто догадывался, сколь упорно и успешно разрушают этот трон многочисленные политические древоточцы.

Семьдесят лет — возраст не только почтенный, но и достаточно солидный, чреватый различными сложностями, особенно для человека, испытавшего такие бури, преодолевшего такие преграды, какие даже представить трудно. И вот что я заметил: до юбилея Иосиф Виссарионович держался в привычном ритме, но сразу после празднования случился

какой-то надлом; вероятно, сама мысль о том, что пошел восьмой десяток, давила, тяготила его. Не то чтобы сразу постарел внешне, но изменения, постепенно копившиеся, стали заметнее. Поредели седые волосы, в седых усах резче проступил коричнево-желтый налет прокуренности. Потускневшие глаза все реже вспыхивали гневом или светились радостью. Двигался медленнее и как-то по-крабьи, боком, вынося вперед левую, непослушную руку. С чрезмерной мнительностью относился к неизбежной стариковской неряшливости, особенно во время еды. Слишком уж заботился, чтобы крошка не выпала изо рта или не загрязнились усы. Чистоплотность хороша, но не до болезненности. Он по-прежнему собирал застолья на даче, но сам при гостях к пище почти не притрагивался, потягивая вино.

Появилась у него новая привычка: он выколачивал трубку о большую мраморную пепельницу. Так ему было легче, меньше требовалось сил, но своеобразный стук твердого дерева о камень был громким, мертвенно-неприятным, я слышал его в комнате за кабинетом, он раздражал меня. Я ведь тоже старел, нервы были не те.

Никто в окружении Иосифа Виссарионовича не говорил, конечно, о том, что возраст берет свое, что Сталин не вечен, как все смертные. Но думали об этом. И сам Сталин в том числе. Были и такие, кто исподволь готовился к неизбежным событиям, для одних печальным, а для других не очень и даже наоборот. В чьих руках окажется власть, кто станет наследником вождя, по какому пути поведет страну? Никакой ясности не было в этом важнейшем вопросе, неопределенность нагнетала тяжелую атмосферу в высших кругах партийной и государственной власти, порождала неуверенность, подозрительность, скрытое соперничество.

Схематично обстановка выглядела так. Родственников, способных принять бразды правления из слабеющих рук, у Иосифа Виссарионовича не имелось. Семейные неурядицы отца-одиночки Сталина известны. Старший сын Яков всегда был далек от родителя: и внешностью, и характером вышел не в него, а в семью Сванидзе. После того, как Яков попал в плен и погиб там, Иосиф Виссарионович не упоминал о нем, по крайней мере, на людях. Василий был неплохим летчиком, посредственным генералом и уж никак не тянул при своей несобранности, распущенности на важную партийно-политическую роль. Пил чрезмерно, забывая о делах, о служебных обязанностях, даже о женщинах. Спина отца, хотел того Иосиф Виссарионович или нет, всегда прикрывала Василия от суровых житейских ветров. Я опасался: не станет отца, и свалит Василия первый же резкий сквозняк.

Мы упоминали о том, какие надежды возлагал Иосиф Виссарионович на Светлану, как постепенно приучал ее к мысли об избранности, подогревал самолюбие, прививал властность, называя «хозяйкой», исполняя ее поручения, пожелания, даже прихоти. Старался закалить характер дочери, делился деловым опытом. Мечтал видеть ее у руля великого государства. Были же царицы в Грузии, были и в России, хотя бы Екатерина Вторая, — справлялись не хуже, а может, и лучше, чем некоторые венценосцы мужского пола. В детстве, в юности Светлана шла по пути, который наметил отец, охотно играла в предложенные им игры. Так было до начала войны. Потом Сталин уделял ей меньше внимания из-за нехватки времени, и еще потому, что сам уже поверил: Светлана способна стать его правопреемницей. Строил конкретные планы. Выйдет замуж за своего сверстника Юрия Жданова. Молодой человек серьезный,

многообещающий, из хорошей семьи давнего друга Андрея Александровича Жданова. Переплетется грузинская ветвь с русской дворянской ветвью. Чем не пара! Окрепнут, расправят крылья и со временем будут править сообща.

Есть любопытная фотография, сделанная на даче в 1936 году. На дощатой террасе, на фоне деревьев, сидят рядом Сталин и Жданов. Правее и левее их — Яков и Василий. А за спинами Иосифа Виссарионовича и Андрея Александровича стоит нарядная Светланка-Сетанка, положив обнаженные руки на их плечи, опираясь на них. «Два отца» — называл этот снимок Сталин.

Упустил из вида Иосиф Виссарионович, что браки свершаются не на грешной земле, а в недоступной небесной выси. Сам-то он, если и бог, то земной, и даже не для всей земли, а лишь части ее. Достигла Светлана определенного возраста, и закипела в ней чрезмерная страсть, унаследованная от бабки и матери, болезненно-обостренный женский потенциал возобладал над другими физическими и психическими особенностями организма, определил суть поведения. Сперва роман десятиклассницы с многоопытным Алексеем Каплером, кончившийся сталинской оплеухой и оттолкнувший отца от дочери. Потом замужество, неожиданное и неприятное для Сталина, когда в 1944 году Светлана сошлась с Григорием Морозом. И не только потому, что он еврей, способный перетянуть Светлану в антисталинский стан, но еще и потому, что вся порядочная молодежь была на фронте, защищала страну, а сынок завхоза Мороз сумел-таки определиться в студенты престижного вуза и «окопаться» в Москве. Иосиф Виссарионович ни разу не счел возможным лицезреть своего зятька. Нажима на молодую семью не оказывал, послав ее ко всем чертям, но был доволен, когда брак, продолжавшийся два года, развалился сам по себе.

Затеплилась, возродилась давняя надежда: вышла все-таки Светлана за Юрия Андреевича Жданова, вернулась вроде бы на стезю, намеченную отцом. Родила дочь, названную Екатериной — в честь матери Сталина. Он, естественно, был доволен. Однако и этот брак, к глубокому огорчению Иосифа Виссарионовича, оказался очень коротким. Светлана по своей инициативе ушла от Ждановых. Избаловавшейся, капризной женщине, искавшей чувственных удовольствий и разнообразия, трудно было ужиться в крепкой семье с православными домостроевскими устоями. Да и муж не баловал, был, по ее мнению, слишком сух, всерьез занимаясь наукой, а не удовлетворением страстей. Сталин плюнул с досады, узнав об этом разрыве: «Вся в аллилуевскую бабку, интернациональную коллекцию собирает!» Он больше не доверял Светлане, родственные отношения истончились до крайности. Его можно понять. Плохо человеку, посвятившему себя важнейшей работе и не обретшему на старости лет надежного продолжателя своего дела.[112]

Кого же числил Сталин после войны среди тех, кому можно было постепенно передать если не всю власть, то хотя бы основные ветви ее? Прежде всего, конечно, Андрея Александровича Жданова, выделявшегося среди других руководителей многими качествами: рассудительностью, эрудицией, самостоятельностью. После смерти Кирова долго стоял во главе всего северо-западного региона страны. Питер-Ленинград, как известно, слыл местом особо сложным, с сильной партийной организацией, с революционно-бунтарскими традициями. Многие жители России продолжали считать северную столицу главной, скептически

относясь к московским властям. Сильна там была оппозиция, особенно троцкистская, ее так и не удалось искоренить до конца. Жданов даже в таких условиях справлялся с работой успешно, без резких перегибов, пользовался авторитетом, уважением, особенно после того, как вместе с питерцами перенес все беды военной блокады. Чрезмерного честолюбия не имел, к личной власти не рвался, в сговорах, в группировках вроде бериевского «триумвирата» никогда не участвовал, добросовестно проводил линию партии. В быту был чист, к наживе, к роскоши не стремился. Опыт имел большой. Вот и прочил его Иосиф Виссарионович вместо себя на пост Генерального секретаря партии. Жданов почти на двадцать лет моложе: хороший запас времени.

Во втором эшелоне, в помощниках Жданову, в резерве, так сказать, виделся Сталину человек не очень известный в стране, но имевший крепкую деловую хватку, организаторские способности, к тому же давно и прочно сработавшийся с Андреем Александровичем Ждановым, — это Алексей Александрович Кузнецов, с 1938 года второй секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, после войны, после отзыва Жданова в Москву, ставший в Питере первым, к тому же секретарь ЦК ВКП(б) и член ЦК ВКП(б). Такая вот связка.

На посту высшего хозяйственного руководителя — председателем Совета Министров — Иосиф Виссарионович хотел бы видеть уже знакомого читателям Николая Алексеевича Вознесенского, председателя Госплана СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б) и прочая, и прочая… Всю войну занимался он вопросами производства вооружения и боеприпасов, в чем весьма преуспел при наших-то скромных возможностях. Затем — восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, возрождение городов, заводов и фабрик. Вознесенскому, в частности, обязаны мы тем, что за очень короткий срок, за каких-то пять лет, не влезая в кабалу к иностранцам, промышленность наша поднялась на довоенный уровень — рост почти сказочный. Укрепила положение Вознесенского, как практика, так и теоретика, его книга «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», вышедшая в 1947 году. Ее изучали. Сталин перечитал несколько раз. С основными положениями был согласен, однако ворчал: не преувеличивает ли автор свою роль, не слишком ли много берет на себя?! Ничего хорошего это не предвещало, при неблагоприятных условиях могло сыграть (и сыграло!) против нашего главного экономиста.

Вот, собственно, вершина той пирамиды, на которую хотел бы опереться стареющий Сталин. И чем явственнее сие проявлялось, тем больше возрастало у определенных групп стремление подточить, разрушить, уничтожить всю эту пирамиду и особенно ее верхушку. Две основные силы были заинтересованы в этом. Империализм с его американо-сионистскими монополиями и те, кто давно уже стремился к укреплению своих позиций внутри страны, к самой высокой власти в стране: группа государственных и партийных деятелей, во главе которой стояли Берия и Каганович, то есть группа, выросшая из пресловутого «триумвирата», разрушенного, но не добитого Сталиным. Подпитывалась эта группа духом и идеями троцкизма, продолжавшими существовать и испускать ядовитую антирусскую, антисоциалистическую отраву.

Интересы двух сил, зарубежных и внутренних, направленные против нашего Великого государства и против Сталина лично, — эти интересы объективно совпадали. Круши гиганта и господствуй на его обломках. Не случайно после смерти Сталина, после короткого правления Берии, его,

Лаврентия Павловича, назовут «агентом империализма». Не совсем так, но особого преувеличения нет. Берию в прямые агенты не завербовывали, денег за службу Англии или, скажем, Израилю он не получал, но фактически во многом был согласен с замыслами и действиями наших зарубежных врагов, в чем-то содействовал им и пользовался поддержкой с их стороны. Такое совпадение интересов извне и внутри усиливало наших недругов, обогащая и разнообразя арсенал борьбы против Сталина и его сторонников, в конечном счете против нашего государства и народа. Это следует понимать.

Знал ли Иосиф Виссарионович о планах группы Берии — Кагановича, о ее стремлении захватить власть, как только «хозяин» проявит слабость? Безусловно, знал. Тогда почему же не принял решительных мер? Ответить на этот вопрос не так-то просто, слишком много факторов воздействовало тогда на Иосифа Виссарионовича. Сам великий мастер борьбы за власть и за ее удержание, Сталин прекрасно понимал, что избежать интриг вокруг трона стареющего вождя невозможно. Не одни, так другие будут бороться. Пусть уж грызутся те, кого он знает, с чьими методами и способами знаком. Тем более Каганович, Берия, Маленков, Хрущев достаточно практичны, чтобы не выступить открыто против Сталина при его жизни — их мало кто поддержит. Драка за место на Олимпе и вокруг него обострится, когда трон опустеет. Ну и пусть пока интригуют, пусть тратят силы и выявляют себя — время терпит. Убрать со сцены игрунов, перемешать колоду карт — это, пожалуй, себе дороже. Останешься без опытных помощников, которые умеют проводить в жизнь идеи, устремления «хозяина». Ни к чему большой скандал в крепком и дружном на первый взгляд семействе: пошатнется авторитет партии, авторитет власти не только в глазах своего народа, но и за рубежом, возникнут ненужные сомнения.

Главным же, думаю, была полная уверенность Сталина в том, что он в любой момент может пресечь все интриги. Власть его в стране была практически безгранична, он имел опору во всех слоях населения, особенно среди рабочих. Позаботился и о том, чтобы по вековому опыту царей-самодержцев создать прочный каркас, пронизывающий все государство, выполнявший такие же функции, какие при царе выполняло дворянство. Это — новый многочисленный после войны офицерский корпус. Отобранные, надежно воспитанные люди. Выходцы из народа, прочно связанные с народом и влияющие на него, офицеры различных родов войск и служб превратились к тому же в хорошо обеспеченную касту с перспективой роста, с пожизненными привилегиями, с которыми, естественно, не хотели расставаться. Приличное денежное содержание, одежда, пайки. После увольнения пенсия, право на участок земли — иногда, в зависимости от звания, очень большой. И ведь заслужили: не жалко для героев-победителей, спасших страну и мир.

Новое «военное дворянство» готово было в любой момент выступить на защиту той власти, которая щедро обеспечивала эту прослойку, тем паче на защиту вождя и полководца генералиссимуса Сталина, способна была смести любых его противников. «Стоит нам только пошевелить пальцем, — говорил он, — и все хитроумное сооружение рухнет, раздавит своей же тяжестью Лаврентия и его клевретов…» До какого-то срока это было действительно так. Однако мне начинало казаться, что Иосиф Виссарионович все же недооценивает своих противников, их возможностей, их коварства. Они настойчиво шли к своей цели (взять

власть после Сталина), последовательно устраняя тех, кто мешал им или мог помешать. Вспомним хотя бы о том, как боролись они с маршалом Жуковым, с адмиралом Кузнецовым.

Камнем преткновения на пути Кагановича — Берии был, безусловно, Жданов. Ну, кто таков Берия? Вроде бы теневой правитель, в руках его большие силы: внутренние войска, вся карательная система, секретная наука и промышленность, в том числе и новейшая, атомно-ракетная. Но все это под покровом строжайшей тайны мало кому известно. Для страны, для подавляющего большинства людей Берия — ирод, который в тюрьмы сажает и в ссылку отправляет: наказание Господне, коим впору детишек пугать. А Жданов — живая легенда, защитник Ленинграда, герой войны. Теперь он главный идеолог партии, возглавляет борьбу с низкопоклонством и космополитизмом. Известность — шире некуда. К тому же, напоминаю, особая опасность для Берии заключалась в стремлении Иосифа Виссарионовича соединить свою дочь с сыном Жданова, передать этой паре бразды правления, освященные сталинским авторитетом. Ну, с ними еще будет время управиться, а вот с самим Ждановым пора было кончать.

В середине 1948 года Андрея Александровича Жданова не стало. Поползли слухи о том, что он либо отравлен, либо «залечен» врачами, что это месть иудеев убежденному антисионисту, организовавшему разгром космополитов в Ленинграде. Но как мог Иосиф Виссарионович упрекнуть Берию за смерть своего друга и последователя? Лишь в общих чертах: недоглядел, не уберег. «Сколько бездельников у тебя, Лаврентий! Куда смотрят! У нас лучшие люди гибнут, а они зря народный хлеб жрут!» Впрочем, Берия нашел возможность успокоить Сталина, убедив его в том, что Андрея Александровича постигла естественная кончина. Не выдержал организм, подорванный трудностями блокады.

Жданов умер, однако осталась выросшая под его крылом группа сравнительно молодых, но уже достаточно опытных и авторитетных деятелей. Новая команда, способная в любое время занять важнейшие политико-хозяйственные вершины в стране, и не только занять, но и успешно работать. Это прежде всего Алексей Александрович Кузнецов, сменивший Жданова ни посту первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии, а затем ставший одним из секретарей ЦК ВКП(б) и членом Центрального Комитета. Готовый руководитель партии во всесоюзном масштабе. Человек, особо неприятный для Лаврентия Павловича, так как с 1946 года, являясь секретарем ЦК по кадрам, контролировал органы безопасности, слишком подробно осведомлен был об оттенках работы Берии и Абакумова.

Вровень с Кузнецовым, даже помощнее его, член Политбюро ЦК Николай Алексеевич Вознесенский, теоретик и практик экономики, прошедший школу руководства Госпланом, прямой кандидат на должность председателя Совета министров СССР. Затем — действующий председатель Совмина РСФСР, член Оргбюро ЦК партии Михаил Иванович Родионов. Еще — первый секретарь партийной организации Ленинграда и области и тоже член Оргбюро ЦК Петр Сергеевич Попков. И многие другие товарищи отнюдь не из последней шеренги. Вкупе они являли собой быстро растущую стену на пути Берии к столь желанной ему высшей власти. Эту стену не обойти, не перепрыгнуть. Оставалось одно — разбить, развалить. Но она столь прочна, что самому не справиться, надо использовать и другие силы, не привлекая к собственной персоне

внимания Сталина: тот уже понимал, куда метит Лаврентий Павлович, мог проявить недовольство.

Прежде всего, Берия надавил на министра госбезопасности Абакумова. Зажрались, мол, твои ребята, успокоились, мышей не ловят, ни одной крупной акции не провели в последнее время. Может, всех врагов в стране выявили? Тогда зачем нам особые органы? Присмотрелись бы к Ленинграду. У Министерства внутренних дел есть подозрение, что недавний второй секретарь Ленинградского горкома партии, а ныне слушатель Академии общественных наук Капустин связан с английской разведкой. А шпионы, товарищ Абакумов, — это по твоей части. И вообще, в северной столице бардак и самоуправство. Без санкции Центрального Комитета готовят всесоюзную хозяйственную выставку. Иностранцы приедут. Это тоже по части госбезопасности — не прозевай.

Виктор Семенович Абакумов уяснил главное: если не проявит активности, Берия со временем прижмет его к стене. Обвинит в потере бдительности, а то и в укрывательстве врагов. Предупреждали, дескать, тебя, а ты что? Почему не отреагировал? И, уяснив сие, Абакумов принялся «рыть землю рогами», не особенно разбираясь, кто прав, а кто виноват. Лишь бы добыть компромат.

Иначе, более осторожно, побеседовал Лаврентий Павлович с членом Политбюро Георгием Максимилиановичем Маленковым — своим сторонником и приятелем. Знал, что толстощекий и толстозадый Маленков, соответствовавший внешним видом прилепившейся к нему кличке «Маланья», — человек очень осторожный, даже боязливый, уклоняющийся от риска. Как понудить его действовать на своей стороне? Намекнул, что в северной столице все заметней проявляется сепаратизм, Ленинградский областной и городской комитет партии противопоставляет себя Центральному Комитету. Как при Зиновьеве. Вынашивается идея создания компартии РСФСР с центром, конечно, все в том же Ленинграде. А ведь это раскол, подрыв влияния ЦК. И не мелкие сошки воду мутят, а сам первый секретарь Попков. В Москве его поддерживают Вознесенский, Родионов и Кузнецов — последний всему голова. Есть данные, что антипартийная группа контактирует с английской разведкой — этой версией занимается сейчас Абакумов.

Георгий Максимилианович натиску не поддался, занял выжидательную позицию. «Маланья не мычит и не телится», — досадовал Лаврентий Павлович. А суть была в том, что Маленков еще недавно сам попадал в опалу в связи с так называемым «делом авиационных работников» и по «делу работников Госплана». Убедился: следствие могут начать, но могут и закрыть по указанию свыше, и неизвестно, кому больше достанется, фигурантам этих «дел» или тем, кто создавал оные. К тому же и Кузнецова рекомендовал в секретари ЦК Георгий Максимилианович — вместо себя, уходя на повышение. Если теперь сразу согласиться с тем, что Кузнецов враг, то как же будет выглядеть рекомендатель?

Маленков оказался единственным членом Политбюро, выступившим против немедленного ареста Алексея Александровича Кузнецова. Вопрос не совсем, дескать, ясен, разобраться надо. Этим сразу воспользовался хитроумный Берия. Предложил направить Маленкова в северную столицу, чтобы довел до конца «Ленинградское дело». Георгий Максимилианович человек, дескать, принципиальный, к ленинградцам, как все видят, относится непредвзято, сможет разобраться объективно, по справедливости… Подбросил, значит, своему приятелю задачку с

подготовленным решением. Когда Маленков прибыл в северную столицу, вина ленинградцев была уже доказана следствием. Получены соответствующие признания. И Политбюро осудило уже организаторов «вражеской антипартийной группы», санкционировав их арест. Оставалось только выявить и привлечь к ответственности всех сторонников Кузнецова и Попкова. Вот пусть Маленков и выявляет, и привлекает. Ему тернии, а Лаврентию Павловичу лавры. Ну, и повязаны они будут еще одной веревкой, надежней станет содружество.

22 февраля 1949 года в Лепном зале Смольного открылся объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии. В президиум тяжеловесно проследовал Маленков, сопровождаемый двумя охранявшими генералами. Председательствующий предоставил ему слово. Георгий Максимилианович зачитал принятое неделю назад постановление Политбюро об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) Кузнецова и кандидатов в члены ЦК Родионова и Попкова. Довел до сведения и сошел с трибуны, ничего от себя не прибавив.

Последовал скорый суд. Военная коллегия приговорила всех вышеназванных к расстрелу с конфискацией имущества. Такая же участь постигла еще троих: Капустина, Лазутина и, увы, Вознесенского, который тоже проходил по «Ленинградскому делу». Остальные участники «антипартийной банды» получили разные сроки. Таковых оказалось около пятисот человек.

Как ни странно, отправить в небытие нашего замечательного экономиста, организатора промышленности Николая Алексеевича Вознесенского, столь авторитетного в глазах Сталина, оказалось не очень сложно. Отдадим должное изворотливости и ловкости Лаврентия Павловича. Сам он ни словом не обмолвился противу Вознесенского, даже похваливал. Но не по его ли наущению секретарь Сталина Поскребышев, досконально знавший все оттенки состояния Иосифа Виссарионовича, выбирал самые «удобные» моменты, чтобы сообщать о недовольстве Вознесенского тем, что Сталин якобы использует идеи из его трудов, не ссылаясь на настоящего автора. Знал Поскребышев, как уязвить самолюбие Сталина, ударить по больному месту, вызвать раздражение. Вознесенского, короче говоря, Иосиф Виссарионович не защитил.

Почему я до сих пор умалчиваю о человеке, которого и у нас, и за рубежом считали вторым в государстве, почти несомненным преемником Сталина, — о Вячеславе Михайловиче Молотове? Соратник Ленина, друг Иосифа Виссарионовича, проработавший на высших постах (председатель СНК, нарком иностранных дел, заместитель Верховного главнокомандующего в Государственном комитете обороны, член Политбюро), — ему и карты в руки. В узком кругу, подчеркивая особую близость со Сталиным, Вячеслава Михайловича называли «друг Вече» или еще прямолинейней — Молотошвили. Все так: и мировая известность, и расположение Сталина, но… Иосиф Виссарионович считал, что Молотов проявляет свои способности именно на второй роли, а первой скрипкой быть не может. Вернее, может, но не очень. Мягковат, дипломатичен, медлит с принятием важных срочных решений. Это мнение Сталина было известно Берии. И хотя Молотов оставался его соперником (мало ли как повернутся события), однако первостепенной опасности не представлял. Но некоторые меры против Молотова Лаврентий Павлович все же принял — об этом скажу к месту.

Так анализировал я для себя обстановку, обдумывая, когда познакомить Сталина с письмом о безобразиях растлителя Берии. На какую чашу весов оно ляжет: пользу принесет или вред?!

Иосиф Виссарионович понимал, конечно, что юбилей любого высокопоставленного руководителя — хорошая возможность для людей, оного руководителя уважающих и любящих, не стесняясь, не опасаясь упреков в подхалимстве, проявить свои чувства. Но еще больше возможностей такой повод представляет карьеристам, лизоблюдам и прочей дряни продемонстрировать свою прямо-таки несусветную преданность, замаскировать показухой истинное отношение и намерения. «Группа товарищей», среди которых значились Каганович, Маленков, предположительно Микоян и другие деятели, повела разговоры о том, что следовало бы переименовать Тбилиси в город Сталин. Это была бы большая честь для грузин. Дошло до Иосифа Виссарионовича. Он отреагировал равнодушно: «Не надо. Будет, наоборот, обидно для моих земляков». Потом, когда ехал в машине со мной и Власиком, усмехнулся скептически: «Теряют чувство реальности… Политический нюх притупился». — «А может, наоборот, обострился?» — предположил я.

Дальше всех продвинулся Берия, явно намеревавшийся в индивидуальном порядке перещеголять всех других. По его инициативе был подготовлен проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о переименовании аж самой Москвы. Столица мира должна, дескать, носить имя величайшего из великих. Надеялся ли Лаврентий Павлович на успех или нет — это не имело значения: выдвигая свое предложение, он не терял ничего, а приобрести кое-что мог. Старательность его, безусловно, станет известна Иосифу Виссарионовичу. Хотя бы потому, что для принятия подобного указа председатель Президиума Верховного Совета Николай Михайлович Шверник обязательно должен согласовать его в Бюро Президиума ЦК, то есть с тем же Сталиным.

А такая инициатива, надо понимать, не обязательно наказуема. Лаврентий Павлович мог даже проявить характер, повозражать Иосифу Виссарионовичу, упрекая его в чрезмерной скромности, в недооценке великой исторической роли. Ну и вышло так, или почти так. Ознакомившись с проектом, Сталин спросил:

— Твоя работа?

— Это выражение народного мнения.

— Значит ты, Лаврентий, выражаешь мнение широких масс. Не будем уточнять сейчас, кто дал тебе такие полномочия. Лучше скажи: кому мы, по воле народа, поставили недавно хороший памятник напротив Моссовета?

— Юрию Долгорукому, основателю…

— Тогда почему бы нам не переименовать Москву в город Долгорукий? Не торопись с ответом, — Иосиф Виссарионович жестом остановил собеседника. — Потому, Лаврентий, что тебе от этого нет никакой выгоды.

— Но…

— Помолчи и послушай. Москва — это символ, это объединяющий центр, вокруг которого сплотились народы нашей страны. Название ее неизменно и бессмертно, как бессмертен сам город. Не как мы с тобой… Что-нибудь одно, Лаврентий: или ты недооцениваешь значение Москвы, или опять, как с прыганьем в пустой бассейн, сознательно хочешь скомпрометировать товарища Сталина и ту идею, которой мы служим.

— Хотел сделать полезное и приятное… А массы поддержат.

— Люди могут смолчать, но наш авторитет будет подмочен. Изрядно подмочен. Ми-и никогда не допустим таких глупостей.

Отказ прозвучал, но Берия остался доволен: еще раз продемонстрировал всем свою преданность вождю и заботу о его возвеличивании. Сумел использовать юбилей.

На торжественном заседании в Большом театре в честь семидесятилетия случилась неприятность, испортившая Иосифу Виссарионовичу настроение. Все было хорошо, празднично: букеты, улыбки, музыка. Руководители партии и правительства, наши и иностранные гости степенно и чинно занимали места в президиуме. Иосиф Виссарионович оглядел сцену и вдруг нахмурился. Недоумение промелькнуло на лице. Шевельнул пальцами правой руки — призывающий жест. Из-за кулис появился Власик, склонившись к уху Сталина что-то произнес. Иосиф Виссарионович встал и ушел со сцены. Зал замер в тревожном ожидании. Через несколько минут Сталин вернулся и все облегченно вздохнули. Торжество продолжалось по программе.

А случилось вот что. За столом президиума не оказалось одного из самых надежных соратников вождя — Андрея Андреевича Андреева, место которого было возле Иосифа Виссарионовича. В отличие от других присутствующих, Сталин сразу заметил это и выяснил причину. Оказалось, что у Андрея Андреевича приступ — спазм сосудов головного мозга, он потерял сознание. На Сталина это подействовало угнетающе: почему приступ случился именно сейчас, в торжественный момент? Андрей Андреевич на полтора десятка лет моложе, на здоровье, кроме слуха, не жаловался. Опять чьи-то происки: не могут ударить непосредственно по Сталину, но выбивают его друзей?!

Покинул Большой театр до окончания концерта. Проходя через фойе, увидел свой бюст на красивой подставке, обрамленный цветами. Проворчал: «Этот здесь, а кого нужно не привезли».

Увы, даже не гнев, а старческое брюзжание, лишенное логики.

Вскорости, когда не стало Иосифа Виссарионовича, обнаружился среди его бумаг лист со стихотворением, написанным по-грузински, и тут же перевод. Последнее четверостишие было помечено красным карандашом. Острый сталинский почерк: «Это любимая песня царя Георгия Лаши».

И жизнь, как птица, улетит, Ища далеких теплых стран, А там, где прежде жили мы, Из пепла вырастет бурьян.

Задумывался, значит, о вечном.

17

Итак, 21 декабря 1949 года наша страна и наши друзья за рубежом торжественно отметили семидесятилетие Иосифа Виссарионовича Сталина. Были праздничные собрания и заседания, банкеты и застолья, речи и здравицы. Со всех концов Советского Союза и даже со всех концов мира поступали самые разнообразные подарки от коллективов и отдельных лиц, от коммунистов и капиталистов, от политических партий и государственных деятелей, по достоинству ценивших способности и свершения Сталина. А сам Иосиф Виссарионович держался в тени, будто и не его чествовали. К подаркам был равнодушен, осматривал лишь самые уникальные: их потом вместе с остальными дарами, иногда очень ценными, отправляли в государственный фонд, в музей, на специальную выставку.

Равнодушие Сталина не было притворным, не являлось ханжеством или «показухой». Подарки, восхваления, славословие мало трогали его, во всяком случае, гораздо меньше, чем при шестидесятилетней годовщине. Все это уже было. Когда-то радовало, теперь утомляло. К тому же имелась и еще одна важная причина, которую я сейчас не спеша постараюсь раскрыть.

Семидесятилетний юбилей — это не только возрастной, но и резкий психологический рубеж, по крайней мере, для нормальных мужчин. Полсотни лет для такого мужчины — возраст безущербный как в трудовой деятельности, так и в личной жизни. На шестидесятой ступени человек начинает сдавать, но еще полноценно работает и бодрится: какие наши годы! Шестьдесят девять тоже вроде ничего. А вот цифра семьдесят сразу обрушивает на психику тяжелый груз, который начинает определять не только настроение, но и физическое состояние. Восьмой десяток — это много, как бы ты ни хорохорился: лимит почти исчерпан, вышел на финишную прямую. Актуальным становится четверостишие:

Страсть была, и был задор, Сотрясались спальни, А теперь его прибор Превратился в чайник.

Если не ошибаюсь, это от Козьмы Пруткова, непосредственно от Алексея Константиновича Толстого, у которого немало подобных частушечных творений, почти скабрезных, но по сути своей жизненно-точных. Чего уж там: есть время обниматься и время уклоняться от объятий. Тем более что Сталин был на год старше, даже более чем на год старше официально отмечаемого возраста, в юбилейные дни ему шел уже семьдесят второй год. То есть трудный рубеж был уже пройден — со всеми вытекающими последствиями.

Дело в том, что Иосиф Джугашвили появился на белый свет не 21 декабря 1879 года по новому стилю, а 6 декабря 1878 года по старому стилю. О чем имеется запись в метрической книге Успенской соборной церкви села Гори Тифлисской губернии. Эта же дата наличествует и в свидетельстве о том, что вышеназванный Джугашвили в 1894 году окончил духовное училище — с отличными, кстати, оценками. И лишь в начале нашего XX века в документах Джугашвили-Сталина появилась новая, общеизвестная теперь, дата.

На мой вопрос, как это случилось, Иосиф Виссарионович ответил не очень охотно и не очень определенно. Чиновники, дескать, где-то напутали, а он не стал связываться, возражать… Может, разумею, не придал значения, а может, в его интересах это было. Заметались старые следы революционера Джугашвили, появился новый человек — Сталин. Да и откажет ли себе поживший мужчина, заглядывающийся на юных девиц, в том, чтобы его считали моложе! Какой-никакой, а козырь, к примеру, перед красивой гимназисткой Надей Аллилуевой. Вот и сделался Иосиф Сталин на год и несколько дней моложе, чем Сосо Джугашвили. Новая дата прочно утвердилась в его биографии. О другой дате знали — и каменно молчали — лишь несколько человек. Сам по себе факт особого общественного значения не имел, но все же лучше, если вождь во всех проявлениях монолитен и безупречен.

Как мы уже говорили, Иосиф Виссарионович не был оголтелым атеистом, не поощрял преследования церковнослужителей, разрушения храмов, хотя и не вступался решительно за них, не желая идти против ленинской линии, которую последовательно вели Троцкий, Зиновьев, Каганович, Мехлис, Хрущев… Ссориться с соратниками, терять

сотоварищей не хотел, да и не очень-то и удобно было ему, едва не ставшему священником, защищать церковь. С кем тогда он? Лишь во время войны и особенно после нее преодолел Иосиф Виссарионович такое состояние, начал активно сотрудничать с носителями веры, оберегая их от преследования, советуя сохранять и восстанавливать храмы.

Ощущение Бога всевышнего и всемогущего никогда не оставляло Сталина, хотя и хранилось в потаенных глубинах души. Знал, что мать его Екатерина Георгиевна, женщина истово верующая, при жизни неустанно молилась за сына, обращаясь прежде всего к пресвятой деве Марии-заступнице. И горячо обещала: после смерти, за вечной чертой, неотступно будет просить матерь Божью не оставить заботой чадо свое. Сам Сталин считал день Успения Богородицы своим свято очищающим днем для исповеди и покаяния хотя бы перед собственной совестью.

Успение составляло неотъемлемую частицу его существования, постоянно присутствуя в нем, напоминая о себе. От рождения до гроба и даже потом. И крестили-то его в Успенской церкви села Гори, и страной правил он тридцать лет из Москвы, находясь под сенью, под покровом Успенского собора, и силы свои восстанавливал на загородном Успенском шоссе, где любил прогуливаться и размышлять, где жили его дети, близкие ему люди, в том числе и я. Ну а после кончины Иосифа Виссарионовича — вот эта книга.

Осознавая и ощущая Высшую разумно-творящую господствующую силу, Сталин все отступления от истинной Христианской веры считал мракобесием и шарлатанством. Не гневался, но не упускал случая посмеяться над наукообразными ухищрениями и домыслами! Особенно забавляли его сочинения звездочетов-астрологов, предсказателей, составителей гороскопов, все «изыскания» которых относительно самого Иосифа Виссарионовича были изначально обречены на полный провал, так как «обсчитывали» его астрологи, исходя не из истинной, а из случайной даты рождения. Первичная точка была неверна, но никто из толкователей и предсказателей не догадывался об этом. Безнадежно запутал их Сталин, сам не желая того.

Особая пикантность ситуации состояла в том, что Иосиф Виссарионович разбирался в расположении, во взаимосвязи небесных светил, в их «влиянии» на человеческие судьбы не хуже многих мудрецов-звездочетов. Будучи исключенным за приверженность к марксизму и социал-демократии из Тифлисской православной духовной семинарии, Иосиф Джугашвили, человек не только одаренный, но и хорошо образованный (программа духовной семинарии не уступала программам гуманитарных факультетов лучших университетов), был принят в декабре 1899 года вычислителем-наблюдателем в Тифлисскую физическую обсерваторию. Каждую ночь, терпеливо и внимательно вглядываясь в звездное небо, практически осваивал основы астрономии. А поскольку всегда стремился уяснить суть явлений, познакомился и с теоретическими аспектами своей новой профессии, в том числе и предположениями-утверждениями астрологов. Сопоставлял, размышлял. И вот теперь, на склоне лет, не мог без юмора воспринимать время от времени доставляемые ему гороскопы, заведомо основывавшиеся на случайной, ничего не значащей для него, дате рождения.

Если исходить из официальной версии, из того, что Сталин явился в мир якобы с 21 на 22 декабря 1879 года, в самый короткий день, в тот день, когда Солнце оказывается в нижней своей точке, зависая над безысходной

пропастью, то время для рождения младенца было не самым лучшим. Ослабевшее Солнце балансирует на грани: продолжать падение или собрать силы для подъема?! Люди, родившиеся в этот трагически-переходный момент, по мнению астрологов, подвергаются тяжелым испытаниям, связанным с борьбой мрака и света, что и определяет особое, чрезвычайное духовное развитие появившихся тогда субъектов.

Второе составляющее. Солнце в ту пору находилось в созвездии Стрельца, а Стрелец — это получеловек-полулошадь, смешение животной, инстинктивной природы и природы Высочайшей, космической, недоступной для простого восприятия и понимания. Сочетание подсознания и сверхсознания — во как закручено!

Не менее любопытные астрологические открытия ожидают тех, кто взял бы за точку отсчета не «бумажную», а фактическую дату рождения мальчика из Гори: 6 декабря 1878 года. Ежели смотреть по восточному календарю (а Грузия все же Восток) — это год Тигра, и не простого, а почему-то железного. Почти стального! Трактовка же такова. Тигр по натуре своей бесстрашен, революционен. Всегда выступает против несправедливости и насилия по отношению к слабейшим. Предан своим идеалам, надежен с верными друзьями. А с другой стороны, люди, появившиеся в год Тигра (да еще железного!), чрезмерно тверды в своих убеждениях и при достижении поставленных целей: им противопоказана абсолютная неограниченная власть, к которой они, при всем том, очень стремятся. Плохо, если некому их сдерживать, нет противовеса. Примерно так.

Самого Сталина ни первое (по 1879 году), ни второе (по 1878 году) извлечения из горотеки не радовали и не привлекали, как, впрочем, и все другие изыскания толкователей и предсказателей, составляющих гороскопы, связанные с его персоной. Считал — от лукавого. Разве что забавляли — повод для шуток. Зато в ящике стола, за которым он работал в домашнем кабинете, с войны и до самой смерти лежала среди бумаг красиво, старинной вязью, исполненная выдержка из рукописи «О днях лунных», появившейся в Троице-Сергиевой лавре еще в XVI веке.

«В 22 день луны Иосиф родился.
В тот день дети добро учити, свадьбы творити,
аще родится мудр будет, аще разболится не умрет,
сон збудется, кровь весь день пущай, весь день добр».

Привлекали, значит, Иосифа Виссарионовича эти слова, ощущал в них какую-то истину, успокаивавшую и вдохновлявшую. Устойчивым и неизменным было его православие, как у тех инквизиторов, которые готовы были в борьбе за веру на любую жестокость по отношению не только к другим, но и к самим себе.

Реже, чем у многих современников, проявлялись у него свойственные всем людям темные остатки дохристианских, языческих представлений и поклонений — то, что называют мистикой. Однако имелось и это. Считал удачливым для себя самый темный месяц года, когда удостоился счастья родиться, и наоборот — тяжким противоположный декабрю наиболее светлый месяц июнь, действительно приносивший ему разные неприятности, осложнения. Нос закладывало — аллергия от цветочной пыльцы. Ночи короткие, мало спал, глаза побаливали, не успевал отдохнуть. Ну и самые катастрофические события его жизни: нападение гитлеровцев в июне 1941 года, разгром наших войск в июне 1942-го,

поставивший нашу страну на грань катастрофы… А в декабре все иначе — успех за успехом.

Не отрицал Иосиф Виссарионович так называемый «цикл Юпитера», согласно которому в жизни каждого человека через двенадцать лет наступает обострение неприятностей, — полоса испытаний, неудач, острых переживаний, болезней, срывов. Для него такими годами были (это уже при мне) 1917, 1929, 1941-й. И он, старея и слабея, с тревогой ждал, что принесет ему следующий «цикличный» год — 1953-й. Ну а пока — официальное семидесятилетие.

К подаркам, значит, Сталин был равнодушен. Бесконечным потоком посланий от коллективов, предприятий и учреждений, от зарубежных партий и государственных деятелей занимались специально созданные группы в Центральном Комитете и Совете Министров, в редакциях некоторых газет. Сам же Иосиф Виссарионович проявлял интерес лишь к приветствиям отдельных лиц, любопытствуя, кто и каким образом его поздравляет. Разборкой такой корреспонденции он, не без моей помощи, занимался на Ближней даче несколько вечеров, точнее, ночей. Особенно порадовало, я бы сказал, согрело его стихотворение Александра Николаевича Вертинского с автографом известного певца, в 1943 году возвратившегося из эмиграции в нашу страну и с большим успехом выступавшего перед разными аудиториями по всему Советскому Союзу. Сталину нравились некоторые его песни, он ценил талант Вертинского. И вот, пожалуйста, задушевное послание, красиво отпечатанное на большом листе глянцевой бумаги, оформленное как почетная грамота. Нельзя было читать без волнения.

Чуть седой, как серебряный тополь, Он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь, Сколько стоил ему Сталинград? И в седые морозные ночи, Когда фронт заметала пурга, Его ясные, яркие очи До конца разглядели врага. В эти черные тяжкие годы Вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы Создавала природа его? И когда подходили вандалы К нашей древней столице отцов, Где же взял он таких генералов И таких легендарных бойцов? Он взрастил их, над их воспитаньем Много думал он ночи и дни. Но к каким роковым испытаньям Подготовлены были они! И в боях за Отчизну суровых Шли бесстрашно на смерть за него, За его справедливое слово, За великую правду его. Как высоко вознес он державу, Мощь советских народов-друзей, И какую всемирную славу Создал он для Отчизны своей!

Проникновенные слова растрогали Иосифа Виссарионовича, запомнились ему на все оставшиеся дни. А еще подчеркну я благородство Александра Николаевича: он не отрекся от своего стихотворения в последующие годы, когда началось официальное охаивание Иосифа Виссарионовича, гонение на тех, кто остался верен его идеям, его памяти. Выступая перед публикой, Вертинский продолжал исполнять свою «Песню о Сталине». Еще один пример того, что настоящие русские интеллигенты куда как честней и принципиальней приспособленцев-интеллектуалов разных мастей.

В те же юбилейные дни широкую огласку получила публицистическая статья «Большие чувства» Ильи Эренбурга, не устававшего превозносить Иосифа Виссарионовича даже в самые напряженные месяцы борьбы с космополитизмом. Восторженно рассказывал Эренбург, как обожали Сталина люди на фронте, партизаны во Франции, республиканцы в Испании. В общем и целом — все прогрессивное человечество. Аж с

перехлестом хвалил, теряя, на мой взгляд, чувство меры. Я вспоминал эту статью через несколько лет: Эренбург, чутко уловив смену ветра в партийных вершинах, первым из писателей плюнул вслед ушедшему Сталину, поспешно опубликовав скороспелую повесть «Оттепель». Когда же этот литератор был искренним, когда же он был самим собой, до или после смерти Иосифа Виссарионовича? А может, и вообще никогда — крутился, как флюгер. Никто ведь не заставлял Эренбурга признаваться в любви, никто не тянул за язык, веля возвеличивать или охаивать вождя. Такова натура. Вот поэт Твардовский Сталина не хвалил, не воспевал его в своем творчестве, зато и не бросал грязные комья вдогонку гробу, хотя имел на это моральное право — родственники пострадали при раскулачивании. Порядочность не позволяла. Ладно, это всего лишь изменчивый пульс быстротекущих дней.

18

Юбилей позади. Идет 1950 год. У власти дряхлеющий Сталин. Авторитет его велик. Но он уже не в состоянии уследить за действием огромного государственного механизма. Силы слабеют. Почуяв эго, активизировалось черное воронье, еще опасаясь сбиваться в стаи, но уже совершая предварительные круговые облеты. Я считал, что слишком уж торопятся претенденты на власть, и старался всеми мерами мешать сплочению тех, кто не прочь был подтолкнуть Иосифа Виссарионовича к могиле.

Дождался момента, когда Сталин выразил недовольство Берией по каким-то текущим делам, и плеснул керосина в огонь. Не только попросил Иосифа Виссарионовича внимательно прочитать перехваченное письмо женщины, пострадавшей от высокопоставленных насильников, но и высказался, нарисовал словесную картину, которая не могла не повлиять на Сталина.

Вот Берия в черной машине медленно едет вдоль тротуара по улице Горького или по Садовому кольцу близ своей резиденции, обнесенной, как тюрьма, высоким глухим забором. Вид мрачный. Просторное черное пальто с поднятым воротником, широкополая черная шляпа надвинута низко, на самые брови (после войны он одевался во все черное). Шарф закрывает подбородок. Холодно поблескивают стекла пенсне над выпуклыми, белесоватыми, бесстыжими глазами. Осматривает женщин. Сначала со спины, потом в профиль. Ухмыляясь, с обострившимся акцентом, говорит начальнику охраны: «Жопа как орех, сама просится на грех… Привези эту…» Черный демон, наместник Сатаны на земле: не случайно, знать, выпало ему работать над дьявольским оружием, над атомными бомбами.

— Это вы слишком. Какой он наместник? Обнаглевший преступник, ряженный под слугу Сатаны, — сказал Иосиф Виссарионович. И, как частенько бывало, припомнил своего любимого Салтыкова-Щедрина: — Даже в самой зловонной луже есть такой гад, который иройством своим всех протчих гадов превосходит и затмевает. — Прошелся по кабинету, покачал седой головой: — В двадцать втором году, когда Ленин критиковал мой план автономизации, он вызывал к себе много представителей из республик, особенно из Закавказья. Советовался. И Берия приезжал. Лаврентий тогда молодой был, но уже лукавый, уже с гнильцой. Ильич долго с ним беседовал, потом сказал мне: «Дело знает, положение знает, работать будет. Сейчас за нас. Но бестия. Прожженная

бестия. С таким ухо востро надо держать…» А теперь заматерел дальше некуда.

Слушая Сталина, я понял, что вспышки гнева не будет. Перехваченное письмо — не последняя капля, способная переполнить чашу терпения. И он подтвердил это:

— Взрывной документ, очень взрывной. Ми-и давно знаем о шашнях Лаврентия, какой он хам по отношению к женщинам, но чтобы до такой степени… Мы ударим его по рукам и по более чувствительному причинному месту, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Он дождется своего часа. А пока письмо полежит у Бекаури…

Читатель помнит, наверно, мой рассказ о замечательном изобретателе Владимире Ивановиче Бекаури, который принес изрядную пользу стране, укрепляя наши военно-технические возможности. И об его увлечении я говорил. Отдыхая от основных трудов, Владимир Иванович создал собственноручно несколько уникальных, совершенно недоступных сейфов, легких по весу и даже элегантных — если этот термин можно применить к такой сугубо практичной вещи, как несгораемый шкаф. Один из таких сейфов, самый хороший, Бекаури создал лично для Сталина, доступ к этому шкафу имели только двое: Иосиф Виссарионович и я. Причем сам я ни разу сейф не открывал и бумаги, в нем хранившиеся, не читал — это было бы непорядочно. Знакомился только с тем, что предлагал Иосиф Виссарионович.

Бекауриевский сейф в комнате за кабинетом Сталина был, вероятно, единственным хранилищем, недоступным для Берии. И самым, естественно, интригующим, притягивающим. Несколько лет с разных сторон подступался Лаврентий Павлович к Бекаури, давил вплоть до того, что подвергал аресту, но упрямого и честного изобретателя не переупрямил. И сделал последнее, что мог: убрал, состряпав «дело» о предательстве.

Несгораемый шкаф стоял в углу комнаты, не привлекая внимания. Иосиф Виссарионович открыл его, снял с верхней полки несколько картонных светло-коричневых папок. В одну положил письмо с жалобой на Берию. Таких папок в сейфе было тогда не менее десятка. На Кагановича, на Микояна, на Абакумова, на Хрущева, на Голду Меир…

Дверца, лязгнув, захлопнулась.

19

Не знаток я социальных наук, не изучал оные, не составлял глубокомудрых диссертаций на неисчерпаемую тему превосходства одних «измов» над другими. Ориентировался в сложном мире с помощью жизненного опыта и интуиции, совести да логики. И, в частности, сделал для себя такой вывод: с середины девятнадцатого века, едва встав на ноги, зарубежный капитализм-империализм всегда относился к нам, к России и Советскому Союзу, недружелюбно, настороженно, даже враждебно. По двум определяющим направлениям. Англо-американские и частично германские воротилы (сионистские заправилы) всемерно старались принизить роль нашей страны, ослабить ее, видя в ней опаснейшего конкурента. Например: подтолкнули Японию к войне 1904–1905 годов, помогли ей отнять у нас Ляодунский полуостров, Южный Сахалин и т. п. Это одно. С другой стороны, империалисты из кожи вон лезли, чтобы дорваться до наших огромных богатств (недра, леса, хлеб),

нажиться, насосаться по дешевке (извините за вульгаризм) нашей экономической крови. Вспомним хотя бы английские, французские, немецкие концессии в Донбассе, в Сибири.

При царе кое-что у наших недоброжелателей получалось. И унижали нас, и грабили. А после революции, особенно при Сталине, лишились господа грабители всех возможностей. Не на бесполезные махинации ничего не производящих банков, не на обогащение спекулянтов так называемыми ценными бумагами, а на государственные, на народные нужды направлены были наши средства. Пошли деньги на развитие собственной промышленности, на медицину, на образование и науку. Изменилось и отношение к нам. Стремление добраться до наших богатств, хапнуть, нажиться — это осталось. Но — полный отбой по всем направлениям. Отсюда — усиление враждебности, перерастающей в ненависть, что, в свою очередь, подтолкнуло западные государства сквозь пальцы смотреть на зарождающийся и развивающийся фашизм. Очень хотели господа империалисты нацелить против нас Гитлера и Муссолини, Франко и Антонеску. И нацелили. Но просчитались. Спохватились, когда собственные штаны испоганили от страха перед неудержимой немецко-фашистской лавиной. «Полюбили» нас. Не очень искренне, но все же… Однако недолго продолжался этот брак по расчету. Едва кончилась война (а завершилась она совсем не так, как хотели американо-английские воротилы), ненависть к нам совсем уж переросла в лютую злобу, в ярость, которую невозможно было сокрыть никакой дипломатической парфюмерией, в том числе пресловутым «планом Маршалла».

Да ведь и то сказать: во второй мировой войне империализм, развязавший эту бойню, понес поражение, вполне сравнимое с поражением фашистской Германии, только исторические последствия оказались более глубокими. Не случайно же на Западе вскоре заговорили о третьей мировой. Назовем несколько факторов, определявших сложившуюся ситуацию.

Авторитет Советского Союза, спасшего мир от коричневой чумы, вырос неимоверно, он стал ведущей страной цивилизованного мира, задавая тон и темп развитию дальнейших событий.

Благодаря победе и могуществу Советского Союза развалились мировая колониальная система, питавшая империализм за счет грабежа стран Африки, Азии, Латинской Америки. И оказались империалисты без своей главной кормушки. Пришлось сбрасывать жирок, приспосабливаться к новым, более сложным, условиям. Особенно англосаксам.

Если до войны Советский Союз в одиночку (извиняюсь, вместе с братской Монголией) противостоял могучему капиталистическому миру, то теперь, по разным основаниям, за Советской державой следовали десятки государств, от огромного Китая на востоке до маленькой Албании на западе. На карте красная краска занимала уже третью часть суши.

И конечно — атомное оружие. Империализм был потрясен, когда в 1949 году Советский Союз объявил об успешном испытании атомной бомбы. Империалистические боссы на многие годы лишились возможности военного реванша, установилось военное равновесие: нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим!

Третью мировую войну империалистам пришлось вести новыми, непривычными способами. Делать ставку на разложение нашей страны изнутри — об этом мы уже говорили.

Справедливость требует отметить особую заслугу Лаврентия Павловича Берии в создании ядерного щита, остудившего боевой пыл наших противников. Он сделал невероятно много, чтобы в короткий срок вывести нашу страну на самые передовые научно-технические рубежи. Каким бы человеком он ни являлся сам по себе (мне он был неприятен, противен), но из истории факта не выкинешь. По заслугам была и честь, оказанная ему: награды, возросший авторитет, усилившееся влияние на политику. Это тоже было причиной того, что Сталин не торопился взнуздать зарвавшегося Лаврентия Павловича. Тем более что отношение к Берии — это лишь эпизод в той огромной геополитической битве с империализмом и сионизмом, которую вел Сталин. Он заботился о главном: готовил и наносил сокрушительные удары по врагу.

Среди этих ударов был один, достойный того, чтобы войти в перечень приведенных выше определяющих факторов своего времени. Интересно вот что. Вокруг этого удара, особенно болезненного для американо-сионистов, была создана такая завеса молчания, что о том важном событии известно лишь узкому кругу специалистов. Но и те не упоминают о нем, дабы не подать пример для повторения.

Коротко. В конце второй мировой войны, когда ослабла экономическая мощь Великобритании, упала ценность ее фунта стерлингов и, наоборот, возросла сила Соединенных Штатов, не пострадавших от битв, разжиревших за океаном на чужих бедах, в Бреттон-Вуде (июль 1944 года) состоялась конференция финансовых заправил. Воспользовавшись ситуацией, банкиры США добились признания в качестве мировой валюты своего доллара, оттеснив фунт стерлингов на задний план. Таким образом, не золото, не обеспеченный золотом фунт стерлингов, а просто американская бумажка стала мерилом стоимости. И была создана особая организация для давления доллара на валюты других стран, для их финансового и промышленного закабаления — родился Международный валютный фонд, который и начал тогда агрессивную деятельность в пользу американо-сионистского капитала.

Благодаря неустанной заботе своих создателей МВФ быстро окреп, распространив влияние на многие государства. С той поры и до сих пор он надежно служит своим «родителям», подавляя национальные валюты, высасывая богатства тех стран, которые попали в его орбиту, стали его должниками. Та же скверно известная лавочка еврея-ростовщика (смотри хотя бы Пушкина!), только увеличенная до огромных, всемирных размеров.

Сталин несколько лет присматривался к жиреющему пауку, собирал в своем бекауриевском сейфе документы о деятельности МВФ, поступавшие по разным каналам, главным образом по линии А. А. Андреева. И нанес удар, оказавшийся особенно сильным и болезненным для МВФ, потому что был совершенно неожиданным для зарубежных банкиров. Постановление Совета Министров СССР, подписанное Сталиным, гласило:

«Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля».

Госбанку СССР поручалось впредь соответственно менять курс рубля в отношении к другим валютам.

Всего несколько абзацев, на которые в нашей стране мало кто обратил внимание, но какой переполох вызвали они за рубежом, как потрясли основы капиталистической экономики! По сути дела, Сталин перекрыл

каналы перекачивания золота из государств всего социалистического лагеря в американские банки, подорвал авторитет доллара на мировом рынке. Для нас стоимость доллара сводилась к стоимости бумаги, на которой печаталась ассигнация, плюс краска, само печатание, перевозка, то есть к стоимости производства купюры. А это всего лишь жалкие центы.

Нужно учесть, что столь важная акция по подъему престижа и стоимости рубля была проведена после жесточайшей войны, в которой мы понесли огромные экономические утраты. На голом месте такую акцию не совершишь. Рачительный хозяин, Сталин сумел сохранить и увеличить золотой запас страны, который к моменту выхода постановления составлял 2500 тонн, что и явилось прочной основой для принятия важнейшего решения.[113]

Империалисты потерпели поражение, сравнимое разве что с поражением в глобальной битве за передел мира. Могущественный и самоуверенный Уинстон Черчилль, узнав о свершившемся, воскликнул в сильном волнении: «Что делает этот дядюшка Джо! Даже я в Бреттон-Вуде вынужден был согласиться променять фунт на доллар! Смертный приговор подписал себе дядюшка Джо!»

Черчилль, конечно, лучше других знал нравы финансовых акул. Они способны были простить многое. И расширение социалистического лагеря, и рост военных возможностей нашей страны, и конкуренцию, и так называемое гонение на их собратьев-евреев… Но простить крах, опустошивший их карманы, срывавший планы завоевания экономического мирового господства, они не могли. И готовы были теперь вести борьбу со Сталиным без всяких правил, в союзе хоть с самим Сатаной!

20

Исчезло письмо о распутстве Берии. Не из бекауриевского сейфа, а по рассеянности Сталина, что все чаще проявлялось с возрастом. Или из-за его небрежности: не внял моей просьбе никому письмо не показывать, ни с кем не говорить о нем, дабы уберечь от неприятностей тех, благодаря кому оно попало в наши руки. Сталин, с высоты своего положения, не осознал серьезности моих слов. Говорил об этом письме с Василием. С письмом в руках выходил в приемную к Поскребышеву уточнить что-то. Оставил этот документ то ли на столе у секретаря, то ли в своем кабинете, где побывало в тот день несколько человек. И уборщица в присутствии охраны убиралась утром. Может, сожгли письмо вместе с ненужными бумагами из мусорной корзины? Вариантов было много.

Иосиф Виссарионович сделал вид, что не придает значения мелкой пропаже, но с выводами не замедлил: впервые поколебался в полной благонадежности секретаря Поскребышева и давнего знакомца начальника охраны Власика. А я уж и не знал, что думать. По своим каналам пытался навести кое-какие справки. Ксения доверительно рассказала, что в экспедиции, в отделе первичной обработки почты, прошла проверка. С сотрудниками поодиночке беседовали товарищи с Лубянки. Вызывали и Ксению. Расспрашивали, как регистрируются письма, куда и кем направляются, просили охарактеризовать сотрудников. Впрямую о злополучном письме речь не велась, но я понял, что оно известно тому, кто не должен был о нем знать. Если Лаврентий Павлович поймет, что документ попал к Сталину через мои руки, то для меня это

ничего не значило. Над Берией тяготел давний категоричный приказ Сталина, подтвержденный, кстати, после войны: «Если хоть один волос упадет с головы Николая Алексеевича, то ты, Лаврентий, сам останешься без головы». Берия не только не строил мне козни, но и всячески оберегал от разных неприятностей. Случись что со мной, подозрения могли пасть на него. А уж он-то знал, как умеет Иосиф Виссарионович держать слово.

Я рассказал Сталину о своих соображениях и еще раз попросил его ничего не предпринимать пока по утраченному письму, чтобы не осложнить положение Ксении и того же подполковника Щирова, отбывавшего наказание. Иосиф Виссарионович вроде бы внял моим словам, но через некоторое время в самой вроде бы безобидной обстановке прорвался у него накопившийся гнев. После своего юбилея Сталин, как и прежде, привозил на Ближнюю дачу товарищей по работе для совместного ужина, для обсуждения в непринужденных разговорах каких-то вопросов. Иногда было два-три человека, иногда до десятка и поболее. Министры, военные, хозяйственники… В теплое время стол накрывался в саду, осенью и зимой — в столовой. Угощение простое, но обильное. На первое по желанию борщ, харчо или уха. Каждый заботился о себе, наливал или накладывал в тарелку что хотел и сколько хотел. Самому Сталину в то время нравился кавказский деликатес: печень индейки, особым образом приготовленная с перцем. Запивал из фужера, смешивая красное и белое виноградное вино, пребывая в убеждении, что сие для него, в умеренной дозе, очень полезно. Отличие от прошлых лет состояло в том, что ужины эти, к моему глубокому огорчению, все больше превращались в заурядные попойки. Я говорил об этом Иосифу Виссарионовичу, но он лишь усмехался в ответ: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке…» Хотел видеть и слышать, каков в подпитии каждый из соратников.

Для некоторых гостей такие ужины были сущим наказанием и кончались плачевно. Мишенью насмешек зачастую становился Александр Николаевич Поскребышев, не умевший определять меру, быстро пьяневший. Да и нарочно спаивали его, чтобы выместить свою неприязнь. Не любили его. Через него ведь шла связь со Сталиным, к нему обращались с просьбами, от него слышали отказы. Хорошее-то быстро забывается, а это нет. Ничтожество, мол, сталинский горшконосец, а какую власть держит! Министры заискивают. Но в общем-то зря все это, Александр Николаевич был достаточно скромен, другой на его месте занесся бы куда выше. Но все распоряжения, пожелания Сталина выполнял неукоснительно, строго, без малейшего послабления. Вот и куражились за все это над ним некоторые обидчивые граждане.

Поскребышев будто обалдевал от водки, становился беспомощным, безответным. Каждый раз просил почему-то завести граммофон, вероятно путая с патефоном. «Опять упился до граммофонной трубы», — говорили о нем. Однажды его, шутя, столкнули в пруд. А чаще всего укладывали спать в ванне — это почему-то казалось смешным. При таком вот пьяном состоянии развязался у него однажды язык, начал плести что-то о своих семейных трудностях, о недоверии, об исчезновении документов. Никто, пожалуй, и не слушал внимательно, кроме Сталина. А Иосиф Виссарионович процедил сквозь зубы: «В ванну его, пусть протрезвеет… И в три шеи домой… Как работать с таким!» Дошло сие до Берии, и он охотно позаботился о том, чтобы Поскребышев тихо покинул свою должность, которую занимал много лет. Без всяких для него последствий.

А Сталин остался без привычного, весьма полезного и, как мне казалось, преданного ему секретаря.

Так вот. Был обычный ужин. Выпили за «хозяина», потом за присутствовавших. Кто-то предложил «пустить анекдот по кругу» — такое бывало часто. Сталин сам не рассказывал, но слушал охотно, прощая сальности, если была изюминка, и сердясь, если анекдот был плоский, одна пошлость. По анекдотам судил о рассказчике. Начал, как обычно, грубовато-прямолинейный Буденный. Спросил:

— Чем отличается женщина от собаки? — Улыбнулся в усы, довольный тем, что никто не может ответить. Объяснил:

— Собака к своим ластится, на чужих лает. А женщина, особенно жена…

Ворошилов засмеялся, даже не дослушав:

— Семену Михайловичу можно верить, у него по этой части опыт большой.

— Да уж, не как у тебя! — весело парировал Буденный. Взгляд Сталина остановился на Молотове, который сидел рядом с ним, несколько чопорный и невозмутимый. Иосиф Виссарионович сказал не без подначки:

— А ты, Вече, все молчишь да молчишь. Неужели ни одного анекдота не знаешь?

— Отчего же, знаю.

— Порадуй нас, поделись.

— Хорошо. Чем отличается девушка от дипломата? — голос Молотова звучал ровно, бесстрастно. Если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если дипломат говорит «может быть», это значит «нет». Если дипломат говорит «нет», то он не дипломат. И наоборот. Если девушка говорит «нет», значит «может быть». Если девушка говорит «может быть», это значит «да». Если девушка говорит «да», — Молотов сделал паузу, — если говорит «да», то она уже не девушка.

— Твоя победа, Вече! — засмеялся Сталин. — Твой анекдот лучше всех!

— Но еще не все высказались, — возразил Берия, явно не желавший терять репутации заядлого анекдотчика.

— Высказывайся, пожалуйста, кто не дает!

— Известно: с мужской точки зрения «зануда» — это человек, который на вопрос «как живешь» начинает рассказывать, как он живет. А для женщины «зануда» тот, которому легче дать и отделаться, чем убедить, что он ей противен!

Лаврентий Павлович готов был торжествовать, но Сталин вдруг произнес сухо и желчно:

— Это не с точки зрения женщины, а с точки зрения махровой проститутки, не надо путать.

— Анекдот же!

— Не надо путать порядочных людей с теми, кто продает тело и душу.

Присутствующие скрыли свое недоумение, подобные перепады у Сталина случались. Но общее настроение было испорчено, шутки больше не звучали. Гости потолковали о том, о сем и начали разъезжаться. Иосиф Виссарионович никого не задерживал, только Берии сказал холодно:

— Останься.

Втроем прошли в соседнюю комнату. Сталин сел на диван, над которым висела любимая его репродукция: девочка из рожка кормит ягненка. Долго смотрел на девочку. Нарастала напряженность. Наконец спросил:

— Как считаешь, Лаврентий, ты кто? С точки зрения женщин? Не проституток, а порядочных женщин?

— Для какой как, — уклонился от ответа Берия. Заметно было: думает напряженно, пытаясь понять, куда клонит Сталин.

— Для тех, которых отлавливают на улицах твои бандиты.

Берия побледнел. Дошло до него.

— Сволочь ты, Лаврентий! Очень большая сволочь. Такая большая, что я даже не представлял!

Злоба вспыхнула в глазах Берии, он сорвался на крик:

— Не знал! Не представлял!.. С кем поведешься, от того и наберешься!

Сталин, непривычный к противодействию, опешил. Но быстро справился с собой, налился свинцовым спокойствием.

— Так, так… У кролика появились клыки. Откуда бы? — встал он с дивана. — А ну, подойди ближе.

— Зачем?

— Я сейчас вышибу твои клыки. Сам.

Чтобы прервать эту безобразную сцену, я встал между ними, но у Берии уже прошла мгновенная вспышка, он сник, обретая привычную льстивую покорность:

— Прости, великий и мудрый, но у меня тоже есть нервы! — попятился он. — Прости и забудь!

— Что простить? Гнусное распутство или твои слова?

— И то, и другое.

— Ты заплатишь, Лаврентий. Народу заплатишь!

— Я рассчитаюсь, великий и мудрый! Рассчитаюсь за все! — Берия низко склонил голову, слова его прозвучали двусмысленно.

По прошествии некоторого времени я осторожно попытался выяснить через военную контрразведку, не повлияла ли стычка Сталина и Берии на судьбу Щирова. Оказалось, что Сергея Сергеевича, отбывавшего срок в особом лагере на Крайнем Севере, судили вторично. За антисоветскую пропаганду среди заключенных (рассказывал то, что произошло с ним). Его делом занимался военный трибунал и вынес такое решение, с которым мне раньше не приходилось сталкиваться. К двадцатипятилетнему сроку Щирову прибавили еще столько же! То есть изолировали на всю жизнь.

К чему бы, казалось, подобные сложности в отлаженной карательной системе? Гораздо проще было совсем убрать человека. Причина всегда найдется, тем более для заключенного. Убит при попытке к бегству… Но тут, значит, не обошлось без самого Берии. Логика. Судьба Щирова известна мне, Василию Сталину, даже самому Иосифу Виссарионовичу, о подполковнике могут вспомнить, спросить. Следовало перестраховаться. Теперь проверяйте сколько угодно, все по закону. На особое совещание мог оказывать давление Берия? Ну что же, вот другой приговор, уже по другому ведомству. Если один отменят, второй будет действовать. Обезопасил себя с этой стороны Лаврентий Павлович. А я перестал беспокоиться за жизнь Щирова. Люди Берии будут оберегать его по крайней мере несколько лет. История со Щировым продолжала висеть над головой Лаврентия Павловича как дамоклов меч. Сделаешь резкое движение — может сорваться.[114]

21

Без работы Сталин не мог, но, работая, он теперь быстро уставал, это раздражало его, он спешил, злился — и уставал еще больше, чувствовал себя еще хуже. А показываться врачам не хотел, говоря, что только

бездельники таскаются по докторам, что организм сам должен справляться с хворобами, а если не справляется, то грош цена такому организму. Он не только избегал врачевателей, как многие сильные личности, он еще и опасался всегда, особенно после встречи с доктором Бехтеревым, что дотошные врачи опять докопаются до паранойи, до шизофрении, такой скандальный диагноз, получив огласку, скомпрометирует его и перед современниками, и в истории.

Однако ничто человеческое не чуждо: перебои в сердце, одышка, головные боли, бессонница пугали Иосифа Виссарионовича, и в конце концов нам с Василием удалось уговорить его показаться врачу, хотя бы не для общего обследования, а узкому специалисту — сердечнику. Кому — это должны были определить Власик и Берия (начальник охраны Сталина генерал Власик подчинялся не только непосредственно Иосифу Виссарионовичу, но и косвенно Лаврентию Павловичу, согласовывая с ним основные вопросы). Берия как раз и рекомендовал врача — профессора Виноградова Владимира Никитича, который считался одним из лучших терапевтов не только у нас, но и в мире (впоследствии к Виноградову приезжала на консультацию Элеонора Рузвельт и была весьма благодарна ему).

Сталин радушно встретил профессора в кремлевской квартире, осмотр прошел легко, с разговорами, с шутками. Человек, мол, с годами обрастает болезнями, как днище корабля ракушками, надобно очищать, ремонтировать. С этого и начал Виноградов свое заключение:

— Ремонт необходим, Иосиф Виссарионович, причем основательный. Металл изнашивается, а уж мы тем более. Организм ваш переутомлен, и я ни за что не могу ручаться, если вы не перестанете чрезмерно перегружать себя. Необходим строгий режим, необходим достаточный отдых, постоянное наблюдение врача.

— Устраниться от дел? Уйти на пенсию? — насупился Сталин.

— Если не ото всех дел, то от значительной части, — решительно подтвердил Виноградов. — Надо восстановить силы. Короткий отпуск мало что даст. Требуется ремонт капитальный.

— Ми-и подумаем над этим, — пообещал Иосиф Виссарионович.

Почти то же самое, что сказано было Сталину, профессор повторил потом мне и Власику.

— У него был крепкий организм, но сейчас держится на нервах, на силе воли, а это чревато любыми неожиданностями. Ему надо полностью снять с себя государственную нагрузку, это было бы идеально.

— Это невозможно, — возразил я.

— Увы, — развел руками Виноградов.

Через несколько дней профессор был приглашен к Берии. В кабинете находились Каганович, Маленков и Хрущев. Меня там не было, но некоторые подробности разговора мне известны. Вел его в основном Маленков, собеседник словоохотливый, цепкий, умевший выуживать то, что интересовало. А интересовало истинное состояние Иосифа Виссарионовича. Добросовестный профессор опять откровенно изложил свое мнение, присовокупив: для приведения здоровья в соответствие с возрастом Сталину надо отойти от дел хотя бы на время.

— Хотите обезглавить партию и государство? — в голосе Берии звучала угроза и, наверно, каждый дрогнул бы при таком вопросе. — Требуете отстранить от работы великого и мудрого вождя?

Однако Виноградов был не из пугливых:

— Я ничего не требую. Как врач констатирую состояние здоровья пациента и как специалист предлагаю пути и способы лечения. Прошу не выходить за эти рамки.

— Он прав, — подал Каганович единственную реплику. Хрущев вообще не произнес ни слова, мотая услышанное на несуществующий ус.

Никаких мер в отношении Владимира Никитича Виноградова принято не было. Он продолжал свою деятельность и был арестован лишь вместе с другими по делу врачей-вредителей. Но об этом позже.

А что же Сталин? Откровенное, я бы даже сказал, мужественное заявление Виноградова произвело на него заметное впечатление. Он впервые, пожалуй, всерьез задумался о собственном здоровье. Однако своеобразно.

— Если человек курит всю жизнь, ему нельзя сразу бросать, это принесет только вред. Если человек выпивает всю жизнь, ему нельзя сразу отказаться от вина, это будет трудная ломка. Если человек напряженно работает всю жизнь, ему нельзя сразу оставить работу, организм затоскует и ослабнет без привычной нагрузки. Значит, бросать нельзя, но сократить можно. Постепенно.

— Резко не тормози, особенно при гололеде зимой седой, — подытожил я.

— Без меня они пропадут. Передерутся и пропадут, — задумчиво произнес Сталин. — Мы не будем зачехлять все орудия. Мы оставим меньше орудий, но сосредоточим огонь на главных целях.

Не откладывая в долгий ящик, Иосиф Виссарионович сделал попытку практически осуществить свое умозаключение. 16 октября 1952 года на первом же после XIX съезда партии Пленуме ЦК (это, кстати, был последний Пленум, который вел Сталин) он выступил с речью, которая выбила из колеи многих присутствовавших. Недавно, на съезде, все вроде было хорошо, привычно, и вдруг… Сначала Иосиф Виссарионович резко, даже преувеличенно резко раскритиковал Молотова и Микояна, обвинив их в нестойкости, в нетвердости при проведении партийной линии, чем озадачил участников Пленума. Но мне подоплека была ясна: Сталин перекрыл названным руководителям путь на самую высокую ступень власти, намереваясь выдвинуть другую кандидатуру. А затем он перешел к главному:

— Товарищи, я уже в том возрасте, когда продолжать трудно, а начинать поздно. Пора отстраняться от дел, выращивать цветы в саду и без грусти провожать свой закат. Я стар, я устал и поэтому не могу одновременно исполнять обязанности Председателя Совета Министров, руководить заседаниями Бюро и в качестве Генерального секретаря вести заседания Секретариата. Поэтому прошу освободить меня от должности секретаря и поручить эту должность другому, более молодому и энергичному товарищу. (Думаю, Сталин имел в виду Дмитрия Тимофеевича Шепилова, известного экономиста, главного редактора «Правды», человека образованного, интеллигентного, ничем не запятнанного, одного из последних революционеров-романтиков, что импонировало Иосифу Виссарионовичу.)

Гром среди ясного неба! Были ошарашены даже те, кто желал отставки Сталина со всех постов, готовился к такому событию и готовил его. Но так внезапно, так неожиданно! На лицах удивление, растерянность, испуг. Может, Сталин просто испытывает своих соратников, желая выявить, кто и

как относится к нему, к его уходу? Молотов и Микоян отодвинуты в сторону, другим дорога открыта: рвись, вылезай вперед…

Ветераны партии знали, что почти за тридцать лет своей руководящей деятельности Иосиф Виссарионович несколько раз подавал в отставку с поста Генсека. Точнее — шесть раз, теперь седьмой. Считалось, что это один из его способов давления на окружающих, всегда повышавший авторитет, укреплявший положение. «Ну, коли не отпустили, коли доверили, то подчиняйтесь, выполняйте все мои требования».

Вполне возможно, что Иосиф Виссарионович действительно использовал угрозы об отставке в каких-то своих целях. Критиков много, а вот желающих взять руководство на себя, тянуть воз по неизведанной дороге — таких поискать. На мой взгляд, первые просьбы об отставке — в 1923 и две в 1924 году — были совершенно искренними, лишенными политической подоплеки. Не из-за трудностей работы, трудностей Сталин не боялся, а из-за неопределенности положения, из-за расхождения с Лениным по некоторым принципиальным вопросам (нэп, отмена плана автономизации и т. д.), из-за полного несогласия с делами и методами Троцкого, имевшего тогда много сторонников-единомышленников в руководстве партии и государства. Нет, Сталин не шантажировал своих товарищей, он искренне хотел избавиться от работы, на первых порах не приносившей ему удовлетворения. Тем более что в те времена пост Генсека был не столько политическим, сколько техническим. Это уж Сталин сделал его главнейшим в партии и в стране.

Как ни растерянны были участники Пленума, они все же обратили внимание на то, что Иосиф Виссарионович не просит освободить его от руководства Совмином и Бюро ЦК. Первый шаг, пробный шаг, оставляющий в его руках реальную власть (кроме огромного, незыблемого авторитета). И, повторяю, даже самые рьяные претенденты на трон были просто не готовы в тот момент к каким-то конкретным действиям. Когда в зале раздались голоса: «Нет! Просим остаться!»; когда участники Пленума стоя принялись скандировать эти слова, к ним присоединился и президиум, в том числе Каганович, Берия, Маленков.

Натура человеческая сложна. Сам желавший снять с себя часть нагрузки, хорошо понимавший, как необходимо это для убережения здоровья, Сталин тем не менее был доволен единодушием, с которым участники Пленума не пожелали отпустить его. Доволен, что вновь подтвердили его неограниченные полномочия. В заключающем слове прозвучало резкое, даже злое предупреждение тем, кто отклоняется от линии партии, то есть тем, кто способен выступить против него, против Сталина. Мне понятно было, кого имеет в виду Иосиф Виссарионович. И ничего другого, кроме обострения подспудной борьбы, я не ожидал.

Тревожные опасения подтвердились буквально через несколько дней. При мне Сталин имел в кремлевской квартире беседу с Андреем Андреевичем Андреевым, который даже в непринужденной домашней обстановке был сух, сдержан, немногословен. И говорил слишком тихо, как некоторые люди с плохим слухом: им трудно регулировать голос, они стесняются или опасаются излишней громкости. Приходилось напрягаться. Андрей Андреевич сообщил данные, полученные от зарубежных осведомителей и касающиеся тех связей Берии, которые не обязательны для него, превышают его полномочия и служебную необходимость. Были отмечены три направления. Контакты доверенных лиц Берии с руководством Израиля и израильской разведки. Контакты

таких же лиц с руководством Югославии, все более удалявшейся от нас. И главное — нащупывание связей с американским сенатором Маккарти и с Аденауэром. В частности, до сведения того и другого было доведено мнение о вероятном будущем Германии. В случае благоприятного (?) развития событий можно, мол, не рассматривать ГДР как буфер между Востоком и Западом, а взять курс на объединение всей Германии в нейтральное буржуазно-демократическое государство. Уступка политическая, военная, территориальная. За что?

— Это предательство, — сказал Сталин. — Лаврентий торгуется, ищет поддержки у наших врагов. Он пойдет на любую подлость.

— Еще не торговля, еще только зондирование, — возразил осторожный Андреев.

— Он уже замахнулся, мы не должны упускать момент, чтобы схватить его за руку. С кем он тягается? Он тягается со всей партией, со всем народом. Дурак не понимает, что рядом с троном всегда стоит эшафот. Ну, сам виноват… Андрей Андреевич, докладывай все новости по этому делу без малейшего промедления.

С тяжелым сердцем уехал я тогда от Иосифа Виссарионовича. А в бекауриевском сейфе прибавилось еще несколько документов особой секретности.

22

Профессор Виноградов и другие врачи, наблюдавшие за здоровьем Сталина, никогда не касались одной существенной стороны — его психического состояния. Это была запретная зона не только для них, но почти для всех людей в окружении Иосифа Виссарионовича. Давний диагноз Владимира Михайловича Бехтерева с термином «паранойя» был известен только мне, Власику да еще, вероятно, Берии, позаботившемуся о том, чтобы старый ученый быстро удалился в мир иной, не успев ни с кем поделиться своим открытием. До поры до времени Берия заикаться не смел о своей осведомленности, но при определенных обстоятельствах мог использовать состояние Сталина для достижения своих хитроумных целей. Этого я опасался — это и случилось.

Был период, когда даже я, неплохо знавший особенности характера и поведения Сталина, совсем перестал замечать в нем какие-либо отклонения от нормы. Абсолютно здоровый человек — и все. Началось это с сорок третьего года, с первого большого успеха, вселившего уверенность в нашей будущей победе, с разгрома немцев под Сталинградом. Фортуна повернулась лицом к нам, было ясно, кто враг, кто друг, что надобно делать. Пришел подъем духа, начался прилив сил. Иосиф Виссарионович был рассудителен, спокоен, весьма работоспособен. Случавшиеся неудачи не угнетали его, не вызывали бурной реакции. Ну, раздражался порой, как все мы, люди-человеки, злился, наказать мог. Остро реагировал на поведение Светланы, гневался на ее безнравственность (с его точки зрения). Но какой любящий отец не гневается, не переживает, когда дитя не оправдывает надежды, преподносит сюрпризы один похлеще другого…

Совершенно нормальное состояние продолжалось до 1948 года. А потом, видно, возраст начал сказываться, утомительная, изматывающая будничность, без каких-то ярких, заметных, вдохновляющих успехов. Болезнь опять давала себя знать, но теперь в иной форме, чем прежде. Я

отметил растущую подозрительность, недоверие, вызывавшие всплески раздражительности и гнева. Причин было по крайней мере две. Об одной мы говорили — это обострение борьбы за власть. А вторая причина сложней, тоньше, но глубже: подспудная боязнь расплаты за то зло, которое он принес людям, за пролитую кровь и причиненную боль. Побудительные причины, важные когда-то, постепенно теряли свое значение, иногда даже обретали обратный смысл, а память о горе и бедах жила в душах людей, переходила к новому поколению. То, что оправдывалось современниками в конкретных условиях, было непонятно молодежи, живущей при других обстоятельствах, в изменившемся мире. У тысяч погибших в тюрьмах, в лагерях остались десятки тысяч родственников, последователей, разве они не будут мстить, разве они не стремятся пролить кровь за кровь, разве не ненавидят они прежде всего Сталина?! Где они, как маскируются, через какие щели проникают, подбираясь к нему?!

По ночам мучили кошмары, являлись во сне погубленные соратники, просто знакомые. Он стонал, кричал, уходил спать из одной комнаты в другую, но, как известно, от себя не уйдешь. Подозрительно вглядывался Иосиф Виссарионович в каждое новое лицо, опасался даже тех, кого встречал не первый раз. Мнительность обострялась при изменении погоды, при похолодании, при затяжных серых дождях. В такие дни и недели ему, в сущности, одинокому старому человеку, полностью лишенному домашнего уюта, заботы детей, родных, — в такие дни ему было очень плохо. Все его соратники имели свои семейные норы, где можно было укрыться от невзгод, разделить с близкими горе и радость, разрядиться и восстановить силы, только у Сталина не было ничего подобного. Он вызывал меня, требовал, чтобы я неотлучно находился рядом с ним.

Особенно стал бояться охранников, резонно полагая: раз они служат в ведомстве Берии, значит, способны выполнить любой приказ своего начальника. Когда шел по длинным кремлевским коридорам, его раздражали агенты, стоявшие, вытянувшись, на каждом повороте, поедающие его глазами. Почему-то считал, что ему выстрелят в спину, а поэтому гордый человек вышагивал мерно, неторопливо, с поднятой головой и в невероятном напряжении. Он не просил меня, я сам догадался: Иосиф Виссарионович чувствовал себя гораздо спокойней, когда за его спиной есть Власик или я, когда прикрыты его «тылы». И в автомашине не волновался, если возле него сидел один из нас или комендант Кремля, молодой генерал Петр Косынкин, в котором Сталин чутьем угадал человека, фанатично преданного лично ему. Здоров, крепок был Косынкин — надежная физическая защита.

Теперь вот читаю, слушаю различные россказни о Сталине и диву даюсь фантазиям досужих сочинителей. Утверждают, что у Иосифа Виссарионовича была особая бронированная машина, которая, столкнувшись якобы однажды на полном ходу с бульдозером (или — вариант — с дорожным катком), вывела последний из строя, а сама как ни в чем не бывало помчалась дальше. Чушь несусветная! Не допустила бы никогда охрана, чтобы машина Сталина налетела на нечто встречное. Маршрут надежно контролировался. Но дело даже не в этом, а в том, что персональный ЗИС-115 был просто-напросто модификацией известного автомобиля ЗИС-110, довольно часто встречавшейся на московских улицах. Сооружен не из брони, а из обычного железа, из которого

делались корпуса очень удачной для своего времени машины «Победа». Индивидуальные отличия: двигатель мощностью 182 лошадиные силы; бронирующие салон восьмимиллиметровые плиты, скрытые под обшивкой; прочный триплекс вместо стенки, точно такой, какой использовался на наших боевых самолетах для защиты летчиков от пуль и осколков.

Просторный салон с диваном кремового окраса отделен был от водителя стеклянной перегородкой. А Иосиф Виссарионович располагался обычно не на этом удобном диване, а против него, на откидном сиденье, спиной к водителю, а лицом ко мне или к кому-либо другому, сидевшему на диване. Это Сталину было привычней, удобней. И виднее: что там позади, за машиной.

Безотлучное нахождение поблизости от Сталина, у него «под рукой», сильно изматывало меня. И дел-то существенных мало, только прихоти больного, скрывавшего свою хворь. Но не подводить же его. Зато когда приступ страха и подозрительности заканчивался, я со спокойной совестью уезжал домой и отдыхал в свое удовольствие несколько дней, а то и неделю, Сталин меня не тревожил. Я восстанавливал свои силы, но Сталин-то продолжал работать, и особенно плодотворно, когда был здоров. До следующего приступа, которые, увы, учащались.

Уже после смерти Иосифа Виссарионовича, вспоминая и анализируя минувшее, я осознал, насколько умело использовал Берия болезненное состояние Сталина, расчетливо усугубляя неприятности, влиявшие на его душевное состояние. Постепенно, осторожно, но с неумолимой последовательностью убирал Лаврентий Павлович людей, которым доверял Сталин, образуя вокруг него вакуум, в котором мог задохнуться престарелый вождь. При первой возможности устранил привычного и надежного секретаря А. Н. Поскребышева, о чем мы уже говорили. Оборвалась привычная линия связи с прошлым, с современниками.

А клин, вбитый между Сталиным и вторым человеком в партии, в стране, между вождем и его старейшим другом и соратником Вече Молотовым — Молотошвили! В середине 1948 года на стол Иосифа Виссарионовича легла объемистая папка с «делом» П. С. Жемчужиной-Молотовой. Она обвинялась в связях с сионистскими организациями, в тесной близости с послом Израиля в СССР Голдой Меир, в передаче через нее израильской разведке политических, научных и иных секретных сведений. И даже в подготовке покушения на Сталина. А поскольку вопрос касался первых лиц государства, «дело» было подготовлено особо тщательно и доказательно. Иосиф Виссарионович вынужден был поверить. Предложил Молотову разойтись с женой, а как только развод был оформлен, Полину Семеновну арестовали и увезли на Лубянку. Доверие Сталина к «другу Вече» было в какой-то мере подорвано, да и сам Молотов, чувствуя двойственность своего положения, старался не мозолить глаза Иосифу Виссарионовичу, по возможности избегал встреч с ним. А Берия исподволь продолжал углублять пропасть между тем и другим. Сталину сообщал новые подробности о подготовке пресеченного покушения. Молотову при встрече жал руку, шептал на ухо: «Полина жива, все будет в порядке». Доволен был Лаврентий Павлович тем, что усугубил одиночество Сталина.

Даже последнюю поездку Иосифа Виссарионовича на Кавказ к Черному морю летом 1952 года умудрился испортить. А портят по-разному. Можно пересолить до тошноты, а можно и пересластить до отвращения, причем сделать это из лучших вроде бы побуждений: чем слаще, тем приятней. Сталин был буквально затравлен излияниями любви тамошнего населения.

Ехал ли он через Пицунду в потаенное, сокрытое от посторонних глаз Четвертое ущелье, где ему нравилось отдыхать в тишине, в одиночестве — машину повсюду встречали ликующие толпы. На Рицу — то же самое. Выезжал из Сочи — возле каждого населенного пункта восторженный народ, приветствовавший с южной горячностью. Все это не надобно было ему, старому уставшему человеку, не нуждавшемуся уже в славословии и почестях, только раздражавших его. Он не выходил из машины. Случалось — приказывал разворачиваться и возвращаться. Нарушая режим, отправлялся в путь под утро по пустынным дорогам и улицам, когда никто не орал, не прыгал от радости при его появлении, не таращился, как на чудо.

Заметил, конечно, что народ ликовал не только искренне, но и вполне организованно, очень своевременно оказываясь на маршруте проезда и находясь на таком расстоянии, которое не мешало движению автомашин. Довел это до сведения Лаврентия Павловича, а тот не замедлил с ответом:

— Что особенного? Грузины любят тебя, великий и мудрый, абхазцы любят тебя, осетины любят, весь советский народ любит, лучшие люди всего мира чтут и любят тебя.

— Я говорю не про весь мир, а про Сочи и Гагру, про Пицунду и про Сухуми.

— Народ хочет видеть вождя, народ чувствует, где ты находишься, где ты появишься. Народ часами ожидает на перекрестках. Сутками ожидает без еды и без сна, счастливый тем, что встретит тебя, — в голосе Берии чудились не только почтение, но и глубоко, очень глубоко запрятанная издевка, к которой никоим образом не придерешься: мало ли что поблазнится.

— Ох, Лаврентий, Лаврентий! Если я по-своему великий и мудрый, то ты, по-моему, очень хочешь быть мудрее меня. Может, и будешь. Не теперь, потом, может, будешь, — невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Только смотри не перемудри.

С черноморского побережья, «не догуляв» весь запланированный отпуск, Сталин вернулся в Москву. Здесь, дома, он чувствовал себя увереннней и спокойней.

23

Труднее всего оказалось отколоть от Сталина Власика. Это была целая эпопея, многоходовая и сложная. Вероятно, начиная эту свою операцию, Берия даже не рассчитывал совсем убрать ближайшего слугу и надежного охранника Иосифа Виссарионовича. Шутка ли: тридцать лет и денно, и нощно находился Николай Сергеевич (Спиридонович) Власик рядом с вождем, делил и горе, и радость, на нем разряжалось скверное настроение, был он и собутыльником, и собанщиком, и вообще готов был ради Сталина на все. Знал мельчайшие подробности его жизни, особенности характера. Знал слишком много, гораздо больше, чем хотелось бы Иосифу Виссарионовичу, и порой своим присутствием напоминал то, что не вызывало положительных эмоций. На Востоке говорят, что лягушке не всегда приятно вспоминать, как она была головастиком. И особенно неприятно знать, что это известно другим. Лаврентию Павловичу знакома была сия истина.

История с письмом по поводу подполковника Щирова, с одной стороны, доставившая Берии массу неприятностей, с другой, позволила ему сделать

вывод, что Власик не столь уж неуязвим. Смог же Лаврентий Павлович сделать так, что подозрение в краже письма легло не на исполнителей этой акции, а прежде всего на Поскребышева и Власика. Значит, надо и дальше раскачивать отношения, расширять люфт между «хозяином» и его верноподданным. Не рубить сплеча, а потихоньку-полегоньку компрометировать Власика в глазах Сталина. Тем более что своим поведением Николай Сергеевич давал для этого много возможностей. Он давно уже занесся выше того уровня, которому соответствовал, слишком возомнил о себе. Раз он лично отвечает за охрану, за жизнь великого вождя, значит, никто ему не указ: все дозволено. Обнаглел Власик до крайности, так и перло из него хамство. Не при Сталине, конечно, при Иосифе Виссарионовиче он был словно шелковый. А уж когда с глаз долой, то давал полную волю своим потребностям. Поесть любил много, разнообразно и наедался до одышки, до изнеможения. Обвисли щеки, опухли глаза, генеральский мундир не мог скрыть чрезмерный живот. Однако главное не во внешности, при всей своей ограниченности Власик от природы был человеком сообразительным, хитрым, с крепким характером. А теперь мозги, заплывшие жиром, работали заметно хуже, и сила воли была уж не та, он начинал терять контроль над собой, особенно выпивши. К рюмке же прикладывался при первой возможности, а возможности его были почти безграничны.

Если бы просто выпивал… У многих людей из окружения Сталина, в том числе у охранников, была на совести какая-нибудь мерзость. Кто-то, выполняя приказ, участвовал в ликвидации предыдущего поколения чекистов, кто-то «убирал» тех, от кого требовалось отделаться. Да мало ли еще что. Под старость грехи начали сказываться, всплывали в памяти страшные кровавые сцены. Заглушали совесть коньяком и водкой, пили в узком кругу собутыльников по-черному, до такого состояния, что мочились в штаны. Берия подобным пьянкам не препятствовал, даже поощрял негласно, заботясь о том, чтобы особо пикантные подробности поведения Власика и его подчиненных становились известны Иосифу Виссарионовичу. Капля падала за каплей, а они ведь и камень продолбят. Сталин назвал компанию Власика «стадом грязных скотов», охладив на некоторое время пыл выпивох, но потом опять все пошло по накатанной стежке, только с большей осторожностью. Принимать крутые меры Сталин не хотел, потому что верил в преданность Власика и его людей, испытанную годами. И это так: они не могли существовать без него, а он не желал расставаться с ними.

Однако была и другая сторона, опять же в смысле лягушки, которая не хочет, чтобы ее помнили головастиком. Николай Сергеевич Власик знал такие подробности жизни Сталина, которых не знал никто, даже я. Умел молчать — слова не вытянешь. А теперь, напиваясь, становился болтливым, деградация нарастала, Иосифу Виссарионовичу, весьма заботившемуся о своем реноме и теперь, и в будущем, было о чем беспокоиться. Власик уже сейчас допускал лишнее. Сетовал на неудачную семейную жизнь Сталина с Надеждой Сергеевной, рассказывал о «загулах» на даче Василия Сталина во время войны. Может, это вскользь, может, и вообще не говорил, разве по пьянке упомнить?! Что-то было, наверно, раз утверждает Берия, предупреждая об осторожности. А Иосиф Виссарионович подумывал: Власик помоложе, переживет его, что и как будет излагать под винными парами о своем «хозяине»?!

Откуда средства на пьянки и пиршества? Блат? Использование служебного положения? И на такой струнке тоже сыграли недоброжелатели Власика. Известно, что Иосиф Виссарионович находился на полном государственном обеспечении, но никогда не злоупотреблял этим, жил очень скромно: он не ограничивал себя, пользовался тем, что нужно было ему, без излишества, без роскоши. С шинелью, к примеру, не расставался лет пятнадцать, чувствуя себя в ней привычно, удобно. У него не было даже так называемых карманных денег. Зачем? А между тем деньги для него поступали, причем суммы были большие, соответствовавшие должностям. Зарплата из ЦК партии, из Совета Министров, от Министерства обороны и других ведомств. Эти деньги учитывал и хранил аккуратный Поскребышев, выплачивая партийные взносы, отправляя иногда переводы по адресам, указанным Иосифом Виссарионовичем. После отставки Поскребышева эти суммы препровождались на Ближнюю дачу, где с довоенного времени находились личные, так сказать, «сбережения» Сталина. Гонорары за книги, за статьи, поступления из-за границы. Кто ведал этими деньгами — сказать затрудняюсь. Может, Власик, может, казначей — человек настолько маленький, юркий и незаметный, что я его совсем не помню: нечто темное, мелькающее.

Пакеты с деньгами, поступавшие на имя Сталина, складывались в ящики письменного стола с тяжелыми тумбами, стоявшего в проходе настолько неудобно, что я не раз синяки набивал. Тут бывали все кому не лень: и охранники, и обслуга, даже приглашенные гости, но к деньгам никто не прикасался, хотя со временем, когда ящики были заполнены, пакеты начали укладывать стопками на столе, прикрывая клеенкой. Сумма там, вероятно собралась колоссальная. Раза два или три Сталин брал оттуда по пакету, когда просила Светлана. И все.

Однажды Лаврентий Павлович при мне и при Власике высказал недоумение: количество пакетов с деньгами на столе почти не увеличивается. Хотя деньги поступают регулярно. При этом он столь пристально смотрел на Власика, что у того багрово-черными стали обрюзгшие щеки: я забеспокоился — как бы удар не хватил. И вопрос Берии, и вообще весь этот разговор как бы повис в воздухе. Но по некоторым признакам я понял, что намеки Берии стали известны Иосифу Виссарионовичу. Казначей, кстати, куда-то исчез, поступление денег, как я понимаю, вообще никто не контролировал, кроме начальника охраны.

Тут ведь вот какой нюанс: если бы Сталин дал понять, что не доверяет, подозревает в присвоении денег, то Николая Сергеевича Власика нужно было бы сразу убирать. А Сталин не хотел этого, не желал терять одного из самых давних, самых надежных, самых привычных помощников. Однако недоверчивость постепенно нарастала, накапливалось недовольство. И как случалось у Сталина, злость прорвалась не конкретно по главному поводу, а по пустяку, под настроение.

По долгу службы Власик обязан был проверять, контролировать все без исключения, что имело отношение к безопасности вождя. Дана была ему такая возможность с надеждой на правильное использование. Но и тут Николай Сергеевич утратил чувство реальности. К примеру: торжественное заседание, праздничный концерт в театре. Задача Власика — проверить персонал, актеров, помещение, дабы исключить возможность покушения, каких-либо неприятностей. Однако мало ему показалось. К старости начал он приговаривать: «Эх, седина в бороду!» Видать, крепко

саданул его бес не только в ребро, но и по мозгам. Вознесся до того, что начал принимать за Иосифа Виссарионовича решения по культурным вопросам. Не страдавший избытком образованности, читавший последние годы лишь служебные инструкции, труды Сталина да передовые статьи «Правды», Власик вообразил себя знатоком искусства, по своему разумению формировал репертуар праздничных концертов, определяя, что понравится «хозяину», а что нет. Желал продемонстрировать свою власть, покуражиться.

Репертуар очередного праздничного концерта показался Власику слишком большим. Не утомить бы товарища Сталина. Под этим предлогом вычеркнул несколько номеров. В том числе «убрал» известную актрису Рину Зеленую, всегда выступавшую там, где присутствовал Иосиф Виссарионович. Необязательной показалась ему эта стареющая дама с детским своим голоском. А ведь знал Власик, просто не мог не знать предысторию.

Еще в самом начале этой исповеди мною обещано было поведать читателю об одном из увлечений Сталина во время гражданской войны в городе Царицыне. Увлечении, ради которого он самолично надраивал щеткой сапоги, лихо, по-казацки, сдвигал набекрень фуражку на густой пружинистой шевелюре и отправлялся на ночные свидания, доставляя много хлопот охране. Тогда, в восемнадцатом году, Иосиф Виссарионович приезжал в Царицын несколько раз, причем однажды с юной женой Надей. А вот когда без жены, то охотно хаживал к молодым актерам, к студийцам московской театральной школы, прибывшим на юг подкормиться после столичного голода. Ну, не ко всем студийцам, а главным образом к хорошенькой бойкой актрисе Екатерине Зеленой (тогда у нее было еще полное имя, но как-то не хватило места на афише, пришлось урезать до «Рины»; это понравилось, да так и осталось). Увидел ее впервые Сталин в спектакле «Женитьба Белугина», она произвела впечатление, он на нее тоже. Насколько далеко зашло их знакомство, судить не берусь, но Иосиф Виссарионович в последующие годы часто вспоминал о ней, читал в газетах о ее поездках на фронт, хвалил. На концертах Рина Зеленая была для него как бы приветом из далекого прошлого, приятным воспоминанием. Хотел, значит, увидеть и услышать ее и в тот раз.

Первое отделение концерта прошло успешно. Иосиф Виссарионович был в хорошем расположении духа. Но в антракте, познакомившись с дальнейшей программой, насупил седые брови. Спросил директора театра:

— Что с Риной Зеленой? Нездорова?

— Вполне здорова, товарищ Сталин.

— Тогда почему ее нет сегодня, почему не включили заслуженную актрису?

— Видите ли, такие обстоятельства, — растерялся директор, — так получилось…

— А вы не юлите, вы скажите русским языком, почему ее нет?

— Она репетировала… Но были против…

— Кто был против?

— Товарищ ответственный…

— Я спрашиваю фамилию. У него есть фамилия? — начал раздражаться Сталин.

— Товарищ Власик убрал ее из списка.

— Власик? Где он?

Николай Сергеевич мгновенно появился в дверях, застыл, втягивая живот.

— Я здесь!

— Ты вычеркнул Рину Зеленую? — тон не обещал ничего хорошего.

— Моя обязанность просматривать списки.

— А кто дал тебе право переступать границы обязанностей, вмешиваться в дела режиссера и директора? Может, Рина Зеленая является диверсантом? Агентом иностранной разведки?

— Никак нет.

— Может, она готовила покушение на членов Политбюро и правительства?

— Нет, — понурил голову Власик.

— Тогда почему суешь рыло не в свой огород, почему шельмуешь наших работников искусства? Ми-и положим конец такому отъявленному самоуправству…

Все это Сталин произнес при свидетелях, а он ценил весомость своих слов, необдуманно не бросался ими даже в большом гневе. Я понял, что над головой Власика сгустились тучи. Большие, тяжелые тучи. Но грянет ли гром? Все же в судьбе Сталина Власик был человеком особым, единственным. Могло и пронести. И пронесло бы, если бы не последовавший вскоре какой-то странный, нелепый случай.

Немного простудившись, Иосиф Виссарионович несколько дней работал на Ближней даче. Приезжали члены Бюро ЦК, министры, еще какие-то люди. Сославшись на нездоровье, Сталин раньше обычного лег в постель. Но, видимо, не спалось. Вышел в комнату дежурного. Там находился только Власик, сидел за столом и читал какие-то бумаги. Сталин глянул и глазам не поверил: это были документы особой секретности о деятельности израильской разведки в нашей стране, о связях наших высокопоставленных лиц с этой разведкой. Иосиф Виссарионович считал, что документы находятся в надежном месте, в кремлевском кабинете, и вдруг они здесь!

— Где взял?

— Это?.. Эти? — отшатнулся вскочивший Власик — Я нашел. На полу.

— Случайно?

— Ну да, случайно, — не уловил ядовитого сарказма Николай Сергеевич.

— Шестидюймовку на чердаке?

— Что?

— Случайно обнаружил шестидюймовку на чердаке собственного дома… Иногда это бывает, — со сдержанной яростью пояснил Сталин. — Ты подлец, Власик. Ты вор! Ты хуже, чем вор, ты — предатель! Вон отсюда! — указал он на дверь. А когда тот шагнул к порогу, с такой силой толкнул его в плечо, что тучный, тяжеловесный Власик едва не упал.

В ту же ночь начальник охраны был арестован. Берия сразу постарался изолировать его от Сталина, отправил в тюрьму на Урал, кажется, в Челябинск.

Много, очень много странного в этой истории. Действительно, откуда взялись на даче важнейшие документы, долженствовавшие храниться в кабинете? Как оказались на столе перед Власиком? Так ли уж велика была эта капля для сталинской чаши терпения? Говорил же я о том, что ставленник Берии генерал Штеменко трижды (!?!) терял важнейшие документы, предназначавшиеся для Сталина, они исчезали, но все как-то улаживалось, обходилось. А с Власиком не обошлось. Верный Сталину

человек навсегда исчез из его окружения, возле Иосифа Виссарионовича расширился вакуум.

Из всей этой книги видно, насколько скептически всегда, начиная с первой встречи, относился я к Власику. Может, слишком уж выделял его недостатки. Человек другого уровня, другой системы взглядов, он неприятен был мне, как и я ему. Но справедливость требует сказать вот что. Не верил и не верю я в то, в чем обвинили Николая Сергеевича. Он был душой предан Сталину, преклонялся перед ним, как перед живым богом, и не мог допустить нечестности перед своим кумиром. Потому и служил Иосифу Виссарионовичу так долго. Не брал он злополучных денег со стола на Ближней даче. Это подтверждают даже самые простые факты. Не стало Власика, а деньги, по моим наблюдениям, продолжали исчезать, груда пакетов росла что-то уж слишком медленно. И буквально в тот день, когда Сталин скончался, стол вообще опустел. Кто-то утащил пакеты не только со стола, но выгреб и из всех ящиков. В мешках, что ли, уволокли огромную сумму, обогатившись бессовестно и безмерно?! Охрана? Обслуга? Ну, не члены же Бюро ЦК, приезжавшие к одру вождя! Во всяком случае, ворюга-преступник (или преступники) основательно и надолго обеспечил себя и своих близких. В капиталистической стране с такими деньгами протиснулся бы в высшую категорию правителей, стал бы уважаемым бизнесменом, каким-нибудь почетным сенатором. У нас ворюгам труднее, но и у нас жулье научилось отмывать грязь и кровь с денежек, использовать их для взяток, для дальнейшего обогащения. Если не напрямую, то в следующем поколении. Известно, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. А сколько повырастало личных домов-палат в хороших местах на Руси, сколько золотых бранзулеток цепляют на себя ворюги-грабители и их потомки!

Не знаю, как оказались у Власика секретнейшие документы, но совершенно убежден, что он не брал эти бумаги. Уж если бы взял, выкрал, то не лежали бы они открыто на столе в дежурной комнате. Кто-кто, а Власик имел возможность надежно укрыть их, переправить подальше. Убежден, что подкинули, подсунули ему эти документы те, кто хотел скомпрометировать Николая Сергеевича. Утром доложил бы он о случившемся Сталину, и не было бы эффекта «рояля в кустах». Но не захотел, не решился будить вождя. А с другой стороны, Сталин был уже основательно подготовлен к тому, чтобы при первом толчке излить на Власика свой испепеляющий гнев. Как бы там ни было, Берия мог удовлетворенно потирать руки: в окружении вождя образовалась еще одна обширная брешь.

Арест Власика имел много разных последствий, я назову пока два. С этого момента Иосиф Виссарионович перестал знакомить кого-либо, прежде всего Берию, со сведениями об Израиле, об израильской разведке, о готовившемся покушении на Сталина или, по крайней мере, об отстранении его от власти, — с теми сведениями, которые поступали только к нему по линии Андрея Андреевича Андреева. Или по другим, лично его, каналам. К примеру — от Эренбурга. Я понял, что Иосиф Виссарионович полностью перестал доверять Лаврентию Павловичу, всем бериевским службам. Значит, развязка была близка. При мысли об этом у меня замирало сердце: пройдет ли она спокойно или завершится разрушительным взрывом?!

Все сверхсекретные документы находили место в бекауриевском сейфе, доступ к которому, напоминаю, имели только Сталин и я, никогда своим

правом не пользовавшийся. А вот сам несгораемый шкаф никак не мог обрести постоянного места. Из служебного кабинета Сталина его перенесли в кремлевскую квартиру. Но и это не устраивало Иосифа Виссарионовича, он опасался, что при жизни или после смерти до содержимого сейфа доберутся те, кому не следовало. Узнают то, что им не надо знать, уничтожат то, что компрометирует их, используют документы для искажения истины, для клеветы на вождя. И вот глубокой ночью бекауриевский сейф совершил свое последнее при Сталине путешествие. Его вынесли из квартиры, подняли в кузов автомашины. Доставили на Курский вокзал и погрузили в вагон. Затем вагон этот перегнали на Белорусскую ветку, на одну из небольших подмосковных станций, где ждала другая автомашина. При этом на каждом этапе операции полностью менялась охрана и грузчики. Что везут и куда везут, знали лишь несколько сопровождающих: Петр Косынкин, я и молодая женщина, одетая в ту ночь в мужскую военную форму. Ей было доверено впредь хранить сейф в очень надежном месте, куда, кстати, мог спокойно, не привлекая внимания, наведываться Иосиф Виссарионович. Молодая женщина стала не только хранительницей, но узнала тайну замков и шифра. Она — третий человек (не считая изобретателя Бекаури), который мог открывать и закрывать сейф, за содержимым которого многие годы охотился Берия, на поиски которого затратили много энергии все последующие руководители государства. Особенно усердствовал в этом отношении Никита Сергеевич Хрущев, понимавший, какие «сюрпризы» может преподнести ему этот сейф.

Фамилию женщины я назвать не могу, не имею права. Просто забыл я ее: из памяти стариков, как известно, выпадают не только какие-то факты, имена, но и целые звенья событий. В данном же случае забыть фамилию было просто необходимо. Слишком большая опасность грозила женщине. Достаточно представить, насколько взбешен был Берия, узнав об исчезновении сейфа. Ежу, как говорится, ясно, что без ведома коменданта Кремля генерала Косынкина сейф вывезти не могли. Однако подступиться к честному генералу, преданному Сталину, ни люди Берии, ни сам он не сумели. Оставалось одно — уничтожить физически. Что и было сделано. За сейф и за другие подобные «прегрешения».

24

Когда состоялась последняя прогулка по дорогим нам местам? Время забыл (сколько их было, таких прогулок, за многие годы!), а вот обстоятельства помню. Вероятно, они в тот раз оказались превыше всего другого, хотя я всегда старался использовать наши традиционные прогулки не для обсуждения каких-то дел, а для отдыха, для разрядки, для укрепления духовных и физических сил Иосифа Виссарионовича.

Бесспорно: в тот раз не было с нами Власика, сопровождал Косынкин. И в охране не было примелькавшихся лиц, все новые, светловолосые парни, окающие по-волжски и цокающие по-вологодски. От первого поста мы со Сталиным шли вдвоем по дороге на Знаменское, эта дорога предварительно обследована была на предмет отсутствия взрывоопасных предметов и, конечно, заранее закрыта для всякого движения по ней (для жителей имелась другая, грунтовая, дорога от Знаменского на Горки-Вторые). Были, естественно, прочесаны окрестности и выставлена невидимая охрана. А мы шли по асфальтированной ленте, пересекавшей

открытые пустынные поля, где никто не мог нас услышать, подслушать. Даже Петр Косынкин почтительно следовал метрах в ста позади. Иосиф Виссарионович воспользовался возможностью быть предельно откровенным, спросил:

— Николай Алексеевич, как вы думаете, кто сейчас больше всех заинтересован в том, чтобы убрать меня?

— С руководящих постов или вообще с белого света?

— Совсем. Для кого я особо опасен?

— Для американцев, для президента Трумэна.

— Опасен, но не настолько.

— Для англичан?

— Не надо искать так далеко… Не ошибусь, если скажу: в моей политической и даже физической смерти заинтересован прежде всего Лаврентий. Вопрос только — как и чьими руками.

— Убеждены?

— Он обгажен с ног до головы, своим присутствием он обгаживает, дискредитирует всех нас, мы очистимся, если откажемся от него. Он это сознает. Он хочет сыграть на опережение, диктовать свои условия. Но пока я жив, такого не может быть.

— И боится спроса за содеянное.

— У каждого из нас есть причины каяться за сделанное. Или за несделанное… У Лаврентия только один выбор, сегодня не осталось никаких сомнений.

— Почему именно сегодня?

— Шакал опять оскалил острые зубы.

— Прежде вы называли его кроликом, у которого вдруг прорезались клыки.

— Из кролика он уже превратился в коварного шакала, который нападает на тех, кого считает обреченными.

— Склонность к аллегориям. А конкретно — в чем дело? — спросил я.

— Лаврентий предложил арестовать министра Абакумова. Представил документы о его предательстве. С этими документами Берия познакомил не только меня, но и всех членов Бюро, сотрудников своих органов. Позаботился об огласке.

— А что же вы?

— Я думаю, — сердито произнес Сталин и ускорил шаги.

Новость действительно выпадала из ряда обычных. Виктор Семенович Абакумов был личностью незаурядной, отличался от своих омерзительных предшественников — Ягоды и Ежова. Да и от самого Берии, который заметил Абакумова, выдвинул его, сделал своим заместителем. Не мелкотравчатый паук, предпочитавший темные углы, нет: Абакумов был мужчина высокий, статный, с военной выправкой, красиво носивший генеральскую форму. Появлялся на людях без охраны, в модных костюмах, любил прогуливаться по улице Горького в компании приятелей-артистов. Практик. Оперативную работу знал досконально, не то что другие бериевские выдвиженцы-дилетанты. Мог организовать, провести, документально оформить без сучка, без задоринки любое сложное «дело». Случалось, перегибал палку, но польза от него была большая.

Сталин оценил Абакумова еще во время войны, поверил в него и в октябре 1946 года назначил, в противовес Берии, министром государственной безопасности. Лаврентию Павловичу пришлось довольствоваться лишь тем, что заместителем министра Абакумова стал

ярый приверженец Берии, похожий на него и жестокостью, и коварством, и даже внешностью, — Богдан Кобулов. Полная, звероподобная противоположность обходительному Абакумову. У Кобулова непомерно большая голова, толстые щеки, глаза навыкате, короткие, мощные, поросшие шерстью руки. Огромный живот сластолюбивого чревоугодника. Волосатая обезьяна в мешковатом костюме, с дымящейся трубкой во рту. На допросах бил заключенных ногами. А табак позволял себе потреблять только самый пахучий и редкий — «Принц Альберт».

Сей Богдан с трубкой при помощи сети соглядатаев наблюдал за своим непосредственным начальником, министром госбезопасности Абакумовым, в пользу еще более высокого начальника и старого друга, члена Политбюро и т. п. — Лаврентия Павловича Берии. При этом Кобулов и Берия понимали, что Абакумов склоняется не в их сторону, что в большой скрытной игре министр госбезопасности находится на позициях Сталина, который приближает его к себе. Дошло до того, что Абакумов начал встречаться со Сталиным чаще, чем Берия, причем с глазу на глаз, на даче Иосифа Виссарионовича. Что они там обсуждают? — беспокоился куратор карательных органов. Однажды не выдержал Лаврентий Павлович, спросил: почему так? Сталин усмехнулся: «Понимаешь, Лаврентий, теннисом Абакумов увлекся. Приехал раз-другой, показал нам, как за рубежом бездельники мячик гоняют. Смешно, когда мужчина по площадке как козел скачет. Мы с Николаем Алексеевичем посмеялись. Нам все надо знать, Лаврентий».

Участившиеся встречи Сталина с Абакумовым привели к тому, что начали исчезать наиболее преданные сподвижники Берии. Того арестовали, тот в автомобильную катастрофу попал. Верным другом Берии был министр госбезопасности Белоруссии Цанава. Но вот и Цанава угодил за решетку. А Сталин прилюдно несколько раз повторил, обращаясь к Абакумову: «Вы рвете стебли ядовитых растений, а надо выдирать корни… Вы берете среднее звено мингрельской цепи, направленной против нас, а надо брать большого мингрела… Ищите самого большого мингрела»… Это был не просто намек, это было почти прямое указание, требовалось только обосновать, оформить его. Этим, в частности, и занимался Абакумов, но Берия не стал ждать.

На прием к Сталину попросился начальник следственной части по особо важным делам МГБ СССР М. Д. Рюмин. Этот «человек Берии» официально доложил о своем министре Абакумове следующее. Существует заговор еврейских буржуазных националистов в нашей стране, инспирированный американской разведкой, направленный против Советского государства и лично против товарища Сталина. Министр Абакумов о заговоре знает, но тщательно скрывает все сведения о нем, преследуя свои шкурнические интересы, в том числе материальные. На квартире и на даче министра находятся неизвестно откуда полученные изделия из золота с драгоценными камнями. Ковры, аккордеоны, картины. И три километра самых лучших тканей для пошива костюмов и пальто. За что получены?

При обыске, произведенном у Виктора Семеновича, сведения подтвердились. И эти вот «километры» произвели на бессребреника Сталина особо удручающее впечатление. Он помнил, как Абакумов осуждал стяжательство маршала Жукова, обнаружив у него на даче склад вещей и драгоценностей. Не забыл, как возмущался Абакумов, говоря о протоколе обыска в квартире руководителя НКВД Генриха Григорьевича Ягоды (Генаха Гиршевича Иегуды), арестованного в 1937 году. Список

накопленного Ягодой имущества состоял аж из 130 пунктов. Среди них такие. Денег советских почти 23 тысячи рублей — сумма большая по тем временам. Вин разных — 1229 бутылок, причем большинство коллекционных, урожая 1902 года, 1900 и даже 1897 годов. Вот как барствовал сынок бедного аптекаря из провинциального городка Рыбинска. А вот как развлекался, опять же судя по протоколу. Набор порнографических снимков — 3904 штуки. Порнографических фильмов — 11. Искусственный половой член из резины — 1. Тьфу, право!

Абакумов повторял бывало понравившиеся Иосифу Виссарионовичу слова Жан-Жака Руссо: «Пусть все имеют достаточно, и пусть никто не имеет слишком». И вот тебе на: Абакумов-то лжец, двурушник с темной душой. Жуков хоть не словоблудил, а этот… У маршала было четыре километра тканей, а у министра госбезопасности оказалось три: чуть-чуть не дотянулся. Как верить такому, как доверять важнейшие государственные тайны, охрану собственной жизни?! Ну и еще: по словам Рюмина, генерал Абакумов умертвил в тюрьме профессора Якова Этингера, от которого получал информацию о еврейском заговоре, надеясь тем самым спрятать концы в воду. Если так, значит, и сам замешан.

Тот, кто стоял за спиной Рюмина, позаботился, чтобы документы, компрометирующие Абакумова, оказались на столах партийных и государственных деятелей. Не скрыть, не отложить в «долгий ящик». Ни на той нашей прогулке в Знаменское, ни позже Иосиф Виссарионович совета по поводу Абакумова у меня не спрашивал, за это я был признателен ему, потому что не знал, как ответить. В измену министра я не верил. Но его алчность, гибель профессора Этингера…

Как-то очень уж единодушно выступили против Абакумова видные деятели партии и государства. То ли опасались: много знает о них, поскорей бы убрать. То ли дирижерская палочка сработала. Хрущев позвонил Сталину по этому поводу с гневным осуждением министра. Микоян тоже. Каганович, Маленков, Булганин высказались против Абакумова. Что мог предпринять Иосиф Виссарионович при таких обстоятельствах?! После десятидневного размышления дал согласие на арест с условием: следствие будет вестись строго по закону, без физического и психического воздействия. А еще, в связи с задержанием Абакумова, Сталин дал персонально Георгию Максимилиановичу Маленкову указание создать постоянную следственную группу при Комиссии партийного контроля для ведения тех дел, которые касались лиц высшего партийно-государственного эшелона. То есть частично вывести их из-под десницы особых органов, из сферы влияния Берии. Выделить для вышеозначенных лиц в «Матросской тишине» пяток не самых плохих камер.

Начальник тюрьмы полковник МВД Клейменов, получив указание, выполнил его как всегда добросовестно. Особенно постарался для своего бывшего сослуживца-начальника генерала Абакумова. Ему улучшили питание, выдали хорошее белье, домашний халат, тапочки и, что совсем трогательно, украсили окно камеры занавеской, скрывавшей решетку. Узнав об этом, Маленков посчитал, что Клейменов переборщил, и велел некоторые, наиболее очевидные, привилегии отменить. Занавеску сняли.

Наблюдение за ходом следствия, включая встречи с Абакумовым и ознакомление со всей документацией, Сталин поручил вести мне. Узнав об этом, Берия сразу понял, чем для него могли обернуться малейшие

перегибы. Тем более что Иосиф Виссарионович, санкционируя арест Виктора Семеновича Абакумова, категорически потребовал одновременно отстранить от работы Богдана Кобулова, с тем чтобы начать разбирательство по делу этого «верного пса» Лаврентия Павловича. Таким образом, в руках Сталина оказался конец большого клубка, который предстояло распутать. Кобулов и Абакумов превратились в своего рода заложников. Судьба одного зависела от судьбы другого.

Побеседовать с Абакумовым в тюрьме довелось мне только один раз. Вскорости Сталин умер, а затем и Берия отправился вслед за ним. Пришедшая к власти группа Хрущева позаботилась о том, чтобы убрать нежелательных свидетелей. В том числе и Кобулова. Абакумов и некоторые его соратники тоже были приговорены к расстрелу. Хотя Виктор Семенович не признал себя виновным ни по одному пункту.

Это я опять вперед забежал. А тогда, когда взяли под стражу Абакумова, я понял, что обстановка накалилась до предела. Не будет же Сталин без конца пасовать перед теми, кто рвется на его место! Отступать больше некуда.

25

В моем представлении Власик был неотделим от Сталина, как тень, а вернее — как привычная, неотъемлемая грань сложного образа Иосифа Виссарионовича. На протяжении многих лет они всегда или почти всегда были вместе, я воспринимал их неразрывно, найти другого такого человека для Иосифа Виссарионовича, на мой взгляд, не было никакой возможности. Его и не нашли. А вот кандидата на освободившуюся должность подобрали гораздо быстрее, чем я ожидал. Точнее — сразу трех кандидатов для формального выполнения тех обязанностей, которые долго и успешно исполнял Власик… Нет, он не исполнял, он жил своими обязанностями, видя в них смысл своего существования.

Продолжим распутывать паутину, все более прочную и липкую, которую плели вокруг Сталина недоброжелатели и завистники — претенденты на высшую власть в стране. После ареста министра госбезопасности Абакумова его кресло занял вовсе не чекист, не разведчик, а партийно-административный работник Игнатьев. Профессионал в госбезопасности никудышный, зато надежный исполнитель указаний свыше. И вся суть в том — чьих указаний?! Это был человек Маленкова. Поднимаясь по служебной лестнице, Маленков тянул и тянул за собой Игнатьева, передавая ему свои посты, прикрывая таким образом собственные тылы, хороня от посторонних глаз допущенные грехи и ошибки.

С помощью опытных заместителей Игнатьев с работой кое-как управлялся. Хорошо или не очень — для Маленкова это не имело особого значения: важно, что силовую организацию возглавлял преданный и послушный последователь. И вот в феврале 1952 года, когда был отстранен Власик, опять же по предложению Маленкова и по согласованию с Берией, министр госбезопасности Игнатьев назначен был одновременно исполняющим обязанности начальника Управления правительственной охраны. Берию он устраивал как приятель и выдвиженец Маленкова и как человек новый в особых органах, не чувствовавший себя уверенно, нуждавшийся в поддержке, в опеке. А опекали его те, кто давно уже работал с Лаврентием Павловичем. Своя рука — владыка.

Маленков и Берия понимали, конечно, что заниматься охраной правительства, в первую очередь Сталина, Игнатьев может лишь в общих чертах. Кто-то должен был ведать этим важнейшим делом конкретно, постоянно общаясь с вождем. Требовалась фигура, которая устраивала бы и двух названных выше деятелей, и тогдашнего их «союзника» Хрущева, и — главное — приемлемая для самого Сталина. Согласился бы вождь, не вытурил бы после первых же встреч. Сложная головоломка! Однако три приятеля с помощью Кагановича нашли удачное и перспективное для себя решение, может быть, самое выгодное для них в той запутанной обстановке. Непосредственное руководство правительственной охраной было поручено заместителю министра госбезопасности Василию Степановичу Рясному. Перед этим человеком открылись все подступы к Сталину. А почему Иосиф Виссарионович, чья осторожность и подозрительность возросли тогда до болезненной мнительности, согласился с предложенной кандидатурой — об этом надо поведать подробней.

О Рясном Сталин знал давно, еще с того времени, когда тот занимался в Промышленной академии вместе с Хрущевым и Надеждой Сергеевной Аллилуевой. На химическом факультете. Аллилуева рассказывала дома о своих товарищах по учебе, по партийному комитету, в том числе о председателе факультетского профкома Рясном — о боевом напористом участнике гражданской войны, прибывшем в Москву с партийной работы в Туркменистане. Можно считать, что Рясной даже пострадал из-за Надежды Сергеевны в связи с ее смертью: не дали ему доучиться. Вскоре после похорон Аллилуевой, на которых он присутствовал, его и других слушателей академии, много общавшихся с женой Сталина, во избежание толков и пересудов отправили в разные места подальше от столицы. В ЦК партии Каганович вручил несостоявшемуся химику Рясному направление в Сталинградскую область на должность начальника политотдела МТС.

Второй раз Василий Степанович Рясной появился в Москве лишь в 1937 году, когда после ареста Ягоды обновлялись кадры НКВД. Подбором людей занимался в Центральном Комитете партии Маленков. Он же и вызвал из глубинки Василия Степановича, сам привел его на Лубянку, представил новому наркому внутренних дел Ежову. Рясной стал чекистом — надолго определился его путь, сложились его знакомства и связи. Он вошел в ту когорту, к которой принадлежали Николай Кузнецов, Павел Судоплатов и многие другие бойцы «незримого фронта», заслуги которых в годы войны очевидны. Только известность разная. А фамилия Рясного если и звучала в ту пору, то не по всей стране, а на Украине, где он занимал ни много ни мало пост наркома внутренних дел УССР. Его люди очищали освобожденную территорию от бандитских формирований националистов, от предателей и диверсантов, обеспечивая тылы наших войск, безопасность важных коммуникаций.

Особо тяжелая обстановка сложилась к концу войны в районе Львова, возле западной нашей границы. Из России и со всей Украины вместе с отступавшими немцами откатились туда их прислужники и вообще все те, кому советская власть не сулила ничего хорошего: спекулянты, торгаши, уголовники и иже с ними. В других странах не очень-то рады были принять этот сброд, да и у немцев не было охоты тащить за собой грязный и бесполезный для них хвост. Вот и осела эта накипь на краешке украинской территории. Кто затаился, кто вредил исподтишка, а много было и таких, кто не расстался с оружием. Освобожденный Львов оказался во власти

бандитов. Они свирепствовали не только по ночам, но и среди бела дня: грабили, убивали мирных жителей и военнослужащих, обчищали склады, магазины.

О разгуле бандитов, о потерях от них узнал Сталин — вероятно, через военное командование. Разозленный, позвонил в Киев, Хрущеву. Говорил резко и грубо: «Мы Германию побеждаем, мы в Европе порядок наводим, а ты в одном городе навести не можешь! Кто у тебя за порядком смотрит? Рясной? Зажрался на украинском сале. Передай этой орясине: не очистит Львов — на передовую пойдет младшим командиром, у фронтовиков поучится!» Накрученный таким образом Хрущев, в свою очередь, обрушился на Рясного: «Делай что хочешь, а паразитов передави, загони в щели, чтобы не высовывались». — «Месяц потребуется». — «За неделю!» — отрезал Хрущев.

Рясной принял меры самые решительные, не укладывавшиеся ни в какие законы, зато очень действенные. Срочно отобрал самых смелых и опытных сотрудников, человек сорок, причем половина — женщины. Их одели в лучшие наряды, шикарные пальто и роскошные шубы, снабдили драгоценными украшениями. Вечером, когда город затихал, когда обыватели закрывались на все замки в страхе перед ужасами наступавшей ночи, оперативники вышли на улицы и бульвары, некоторые парочками, а наиболее отважные — в одиночку. Появившись и в центре, и на окраинах, они сразу привлекли внимание разномастных любителей легкой наживы. К ним подходили, предъявляли требования, а в ответ получали пулю. В голову, в живот или прямо в сердце. Без всяких слов. Так продолжалось всю ночь. А на рассвете по городу проехали грузовики со специальными командами, которые собирали бандитские трупы. В то же время были проверены подозрительные квартиры, возможные притоны и укрытия, обследованы больницы и госпитали, куда могли обратиться раненые злоумышленники. А заставы на дорогах проверяли всех, кто пытался уйти или уехать из города. В закинутые сети попала большая добыча: от бандеровских боевиков, от польских и украинских националистов до элементарных уголовников, ловивших рыбку в мутной воде.

Массированная операция была повторена три или четыре раза. Результат не замедлил сказаться. Во Львове стало спокойнее. Рясной получил широкую известность в определенных кругах. С одной стороны, его ставили в пример в органах НКВД — НКГБ, а с другой — его люто возненавидели украинские националисты и весь тамошний уголовный мир. За два года на него было произведено девять покушений. Ни одна пуля, ни один осколок не зацепили удачливого генерала. Но сколько же можно было испытывать судьбу?! Надежные покровители, Маленков, Хрущев и Каганович, помогли ему сменить место службы. Генерал-лейтенант Рясной Василий Степанович стал одним из заместителей министра внутренних дел СССР, занимаясь в основном возведением крупных объектов, при создании которых использовались значительные силы заключенных. И опять привлек внимание Сталина. Летом 1946 года Иосиф Виссарионович вознамерился отдохнуть в Крыму. Ехать решил на автомашине, чтобы заодно посмотреть «хозяйство»: как восстанавливаются разрушенные войной города, действительно ли плох урожай на полях? Однако отъехал недалеко, сумел добраться лишь до Орла или до Курска, точно не помню. Дорога была настолько разбита, настолько плоха, что пришлось вернуться в Москву. Сорвав на Берии свое раздражение, Сталин приказал ему найти

дельного руководителя, назначить начальником строительства шоссейной дороги Москва — Симферополь и немедленно приступить к работе. Лаврентий Павлович назвал фамилию Рясного, а затем представил его Сталину.

Василий Степанович оправдал доверие, оказался хорошим организатором, использовал для строительства воинские части и «зеков». Сталин был доволен его энергичностью и успехами. Наградил орденом. Затем лично сам выдвинул Рясного на должность начальника гигантской стройки — Волго-Донского канала. И потом не стал возражать, когда после ареста Власика возглавить правительственную охрану было поручено генералу Рясному. Маленков предложил, Берия, Хрущев и Каганович поддержали — всех удовлетворяла именно эта кандидатура.

Очень мало общего было между Рясным и Власиком. Последний, как я уже писал, не служил при Сталине, а жил при нем, вместе с ним, его заботами, его делами. Всегда был под рукой, предугадывая желания и даже настроение Иосифа Виссарионовича. А Рясной просто исправно работал. Квартировал где-то на северной окраине Москвы, в особняке посреди парка, каждый день являлся в установленный срок в Кремль или на Ближнюю дачу, проверял, как действуют его подчиненные, инструктировал их. У меня было такое впечатление, что он даже избегает встреч со Сталиным, да и Иосиф Виссарионович не очень-то жаловал генерала, не открывался перед ним, как перед Власиком или даже перед молодым комендантом Кремля Петром Косынкиным. Улавливал в Рясном что-то неискреннее, какую-то фальшь. Сказал однажды: «Лукавый, орясина. Но хорошо хоть глаза не мозолит».

Постепенно заменялись люди в личной охране Иосифа Виссарионовича. Появился и новый начальник этой личной охраны, человек молчаливый, малоприметный — я не запомнил его фамилии. Собственной инициативы он не проявлял, по каждому пустяку советовался с Рясным, в любое время дня и ночи звоня ему по телефону. Отсиживался обычно на Ближней даче, толстея на добротных бесплатных харчах. Сталин предпочитал ездить не с ним, а с Косынкиным или со мной. Иногда с сыном Василием или с Андреем Андреевичем Андреевым, присутствие которого действовало на Сталина успокаивающе, умиротворяюще.

Так получилось, что вместо одного Власика, полностью отвечавшего за охрану Иосифа Виссарионовича везде: на работе, дома, в дороге, — обеспечивать безопасность вождя должны были трое начальников: Игнатьев, Рясной и тот бесфамильный, который непосредственно возглавлял группу телохранителей. А как известно, чем больше нянек, тем меньше спроса с каждой из них, меньше догляда за дитятей. Как, впрочем, и за пожилым человеком. Кого-то такое положение очень устраивало.

26

Новый, 1953 год начался вроде бы спокойно. Иосиф Виссарионович физически чувствовал себя вполне сносно, умеренно работал, несколько раз пытался бросить курить, наладился режим в питании, в прогулках по заснеженному саду Ближней дачи. Явные успехи во внешней политике и внутри государства располагали к деятельности неспешной и плодотворной. Советский Союз был самой влиятельной страной, социализм распространялся по всей планете, мы подняли знамя борьбы за

мир во всем мире и твердо стояли на этой позиции в противовес хотя бы тем же американцам, которые уже третий год вели агрессивную кровопролитную войну в Корее, клонившуюся к позорному поражению Соединенных Штатов и их сателлитов. Еще сказывались у нас трудности военной разрухи, но по многим экономическим показателям мы вышли на довоенный уровень и даже превзошли его. Быстро росла рождаемость, значительно превышая смертность, а это самый надежный показатель благосостояния народа, уверенности в завтрашнем дне. Частенько ездил я на пригородном паровике по усовской ветке, молча слушал разговоры пассажиров. Бывали всякие высказывания, но в общем смысл был такой: теперь только и жить, лишь бы войны не случилось. Путейский рабочий (шпалы-рельсы менял), помню, радовался: «Жена в деревне, картошка-капуста своя, корову держим, на палочки-трудодни довесок перепадает. Дочка в ремеслухе за казенный счет обута-одета, маляром будет. Сын на заводе, а по вечерам в техникуме, в инженеры метит, не то что я, с таблицей умножения по ликбезу. Ну, мне и так благодать. Отработал, возле вокзала пивная, все чисто, ни соринки на полу, буфетчица в белой кофте. Порция известная: сто пятьдесят с прицепом, с кружкой, значит. Сосиски горячие на блюдечке. Горчица опять же. Выпил, поговорил душевно и — домой с полным удовольствием. И с получкой для жены. И насчет здоровья не жалуемся, каждый год в санаторий или в дом отдыха».

Добавлю: хорошей музыки всюду хватало. Появлялись новые дома культуры, кинотеатры, театры, библиотеки, музеи — и везде многолюдно. Уголовщину почти извели: гуляйте, люди, в полной безопасности в скверах и парках хоть всю ночь, только чтобы на работу, на занятия потом не опаздывать — с этим строго. Каждый год снижались цены, с каждым месяцем улучшалась жизнь для подавляющего большинства населения. Близилось время, когда, по задумке Сталина, не только вода, но и хлеб в нашей стране стал бы бесплатным. Объявлять об этом было еще рано, а планировать — пора. Затем и электричество. Это же дешевая энергия от многих возводимых электростанций. Окупят строительство, обслуживающий персонал, и пусть пользуется народ-хозяин наших земных и водных богатств…

Эти заметные практические достижения очень радовали Иосифа Виссарионовича, на этом корне он и держался. А отрицательно влияло на него постоянное ожидание подвохов и каверз, вплоть до покушений, и неизвестность: с какой стороны и какая змея попытается укусить. Благодатная почва для мистицизма, семена которого давно уже таились в душе Иосифа Виссарионовича. Вспомним хотя бы двенадцатилетний «цикл Юпитера», согласно которому тяжелыми годами для Сталина являлись 1917, 1929, 1941 и вот начавшийся 1953. Что принесет он пожилому человеку, которому все чаще вспоминались слова из любимой песни царя Георгия Лаши:

И жизнь, как птица, улетит. Ища далеких теплых стран.

Неприятно подействовало на Иосифа Виссарионовича лунное затмение в январе 1953 года и затем солнечное затмение в феврале. Два подряд. Узрел в этом дурное предзнаменование. Другой на его месте отстранился бы от мирской суеты, очищаясь и готовясь в дальний путь, но Сталин — человек дела: преодолевая физическую слабость и дурные предчувствия, он продолжал борьбу, не меняя тех целей, которые были намечены.

Одиночество пугало его. Днем при Сталине постоянно находился Андреев или Ворошилов. Иногда Молотов, Тимошенко, Шепилов или

Шверник. В поездках на дачу, даже в переходе по кремлевским коридорам из кабинета на квартиру обязательно сопровождал Петр Косынкин — вышагивал сзади. И почти каждый вечер в том январе и в том феврале коротал с ним я, это превратилось прямо-таки в служебную обязанность.

Ближняя дача. Тишина, неяркий свет. Сталин работает за столом. Я просматриваю бумаги или просто подремываю в кресле. Потом ужин. Все реже с гостями, чаще вдвоем. Обязательный отдых перед сном на террасе. Даже в сильный мороз. Сидим, закутавшись в тулупы. Чувствую, что Иосифу Виссарионовичу легко дышится, ему хорошо, и радуюсь за него. В молодости (относительной) спокойно и крепко спал он в Сибири, на холоде, с явным удовольствием вспоминал о том времени. Мы с ним и прежде собирались съездить на Енисей, но все откладывали, а теперь говорили о том, что обязательно отправимся летом, по возможности скрытно. Побываем в Курейке, в Туруханске, в Красноярске, конечно. Посмотрим, стоят ли казармы, в которых Иосиф Виссарионович провел несколько недель, цел ли дом, в котором мы встретились.

— Как насчет Дунькиной слободы? — пошутил я. — Может, наведаемся?

— Поздно, — не без грусти ответил он. — Не побывал и не побываю… Вам, пожалуй, еще есть смысл бойкой бабенкой полюбоваться, а мне совсем поздно.

— Э, на много ли я от вас отстал!

— Каждый год — как ступень высокая. Все больше сил уходит на преодоление. А вообще я давно хочу сказать вам спасибо, — потеплел голос Иосифа Виссарионовича. — Очень большое спасибо.

— Да за что же?

— За все. Опираться можно только на то, что сопротивляется, это ваши слова. Столько народа вокруг, и так мало людей… Либо страх, либо лесть… Вы не сожалеете, что связали свою судьбу с моей?

— Почему мне жалеть? Даже странно.

— Нет, не странно. Вам достанется заодно со мной. — Сталин помолчал и повторил вариацию того, что доводилось уже от него слышать, что тревожило его: — Меня будут помнить долго. Очень долго. За великие наши события, предопределившие ход мировой истории. За наши достижения. За пролитую кровь… Будут хвалить. Потом будут охаивать и меня, и всех, кто был со мной. Злобно, изуверски охаивать. Будут куражиться на наших костях. Но придет срок, утихнут личные страсти, отсеется наносное, и люди станут восхищаться тем, что нами сделано… Но вы, Николай Алексеевич, до этого, пожалуй, не доживете, вы как раз попадете в полосу самой отъявленной ругани, когда всплывет социальный гной и начнется сведение счетов.

— Я хотел бы умереть вместе с вами. Без вас для меня не останется смысла.

— Не торопитесь, дорогой Николай Алексеевич. Кто же расскажет обо мне, о нашей дружбе? Как видели, как воспринимали, по возможности объективно. Только на вас и надеюсь. Поживите и сделайте, — со строгой печалью распорядился он.

В тот вечер я не придал особого значения словам Иосифа Виссарионовича, не уразумел, что это было его завещанием перед началом решающего сражения, исход которого не был ясен самому Сталину. Впрочем, нет, не перед началом: сражение уже развертывалось, но пока еще без громкой огласки, без информационно-пропагандистской пальбы и шумихи. Это была разведка боем, проба сил, выяснение возможностей

противника, способности к ответным действиям. Удар был нанесен не в центре, а на фланге, и не самим Иосифом Виссарионовичем, а его другом и последователем Клементом Готвальдом. Минувшей осенью в Праге был арестован видный партийный руководитель Рудольф Сланский (Зальцман) с группой приверженцев, занимавших высокие посты в Чехословакии. 25 ноября 1952 года тринадцать человек, среди них одиннадцать евреев, были приговорены к смертной казни и сразу же расстреляны.

В связи с «делом Сланского» в нашей печати впервые прозвучало четкое определение: «сионисты и правительство Израиля являются агентами американского империализма», претендующего на мировое господство. Формулировка откровенная, равноценная древнерусскому военному предупреждению «иду на вы». Однако во враждебном зарубежье она не вызвала особой реакции, ее постарались «не заметить». Почему? Вероятно, по двум причинам. Какой смысл опровергать, оспаривать, поднимать шум, когда дело действительно обстоит так, как сказано. Да, Израиль стал послушным орудием, пробивной силой в руках американских заправил, а иудеи во всем мире, особенно в странах социалистического лагеря, превратились в заложников или в агентов заокеанских хозяев. С другой стороны, американцы, терпевшие позорное поражение в Корее, стремившиеся выйти из затеянной ими драки, не слишком замарав честь мундира, не хотели еще большего обострения обстановки. Вот и промолчали, проглотили пилюлю. Значит, проглотят и следующую. Иосиф Виссарионович решил: пора очищать от вредоносной накипи собственный дом.

27

13 января 1953 года Телеграфное агентство Советского Союза сообщило об аресте группы врачей-вредителей. Всего двадцать четыре фамилии. Крупнейшие медицинские светила, такие, как один из лучших терапевтов в мире В. Н. Виноградов, как профессор М. С. Вовси, известный лекарь и брат еврейского лидера Соломона Михоэлса (третий брат жил в то время в Израиле, занимался разработкой бактериологического оружия). Не буду утомлять читателя перечнем фамилий, хотя они, конечно, показательны, напомню только, что в сообщении особенно подчеркивалось: все арестованные давно связаны тайными узами с зарубежными спецслужбами, с международным сионизмом. Именно они направляли преступную деятельность по умерщвлению активных работников Советского государства. Последняя фраза — не досужий вымысел, не предположение, а слова профессора Вовси, внесенные в протокол допроса. Профессор признался в том, что «получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР» от пресловутого «Джойнта», от еврейской буржуазной националистической организации, созданной американской разведкой и действовавшей под маской благотворительности.

О «группе врачей» много написано, много сказано, с моей точки зрения, однобоко. А кое-что вообще осталось в тени или совсем неизвестно.

Вот и хочется по мере возможности осветить темные углы, хотя кому-то мои высказывания могут показаться спорными. Прежде всего вот что. Возникновение «дела евреев-врачей» связывали и связывают с именем Лидии Тимашук. Она, мол, написала письмо, разоблачила — отсюда все и

вспыхнуло, и закрутилось. Орден Ленина ей дали. Ну, вроде бы и похожая версия, но по существу далеко не так, даже по времени.

Письмо действительно было, однако не в 1953 году, а гораздо раньше. Еще в августе 1948 года заведующая электрокардиологическим кабинетом Кремлевской больницы Л. Тимашук сообщила начальнику Главного управления охраны МГБ генералу Н. Власику о том, что профессора В. Василенко, В. Виноградов, П. Егоров и врач Г. Майоров, лечащие А. Жданова, неправильно диагностируют его заболевание. У Жданова инфаркт миокарда, а медики считают, что инфаркта нет. Власик немедленно доложил о письме генерал-полковнику Абакумову и вместе с ним отправился к Сталину. Мер тогда никаких принять не успели, потому что на следующий день Жданов скончался. Однако по письму была учинена проверка: объективная и строго секретная. О ней, как мы говорили, не знал даже Берия. Все замыкалось на министре Абакумове. Чтобы не нести отсебятину в деле столь специфическом, процитирую информацию, которая со временем стала достоянием определенного круга лиц:

«С амбулаторных карт всех высших руководителей партии, государства и вооруженных сил страны, являющихся пациентами московских врачей, были сделаны 12 копий. Каждая карта получила специальный шифр. По специально разработанной схеме анонимные или с вымышленными фамилиями копии амбулаторных карт были разосланы фельдсвязью в различные города страны. Проверка материалов шла в Ленинграде, Омске, Киеве, Владивостоке, Ярославле, Орле, Курске. Копии историй болезни консультировали рядовые врачи городских и районных больниц, не подозревавшие о том, какая опасность грозила бы им в случае обнаружения намеренной ошибки. Проверка шла по правильности диагноза заболеваний, методов лечения и профилактики.

В результате перекрестного изучения всех проверявшихся амбулаторных карт было установлено, что имеет место целенаправленная работа по расшатыванию здоровья и обострению имеющихся заболеваний всех пациентов без исключения. В частности, установлено явное расхождение данных объективного обследования пациентов и поставленных диагнозов, которые не соответствовали характеру или остроте заболеваний. В ходе негласного расследования были установлены факты неправильного назначения лекарственных препаратов для данного больного, что имело очень тяжелое последствие для больного, который одновременно подвергался длительному психологическому воздействию с целью подавления потенциала сопротивляемости организма.

Было установлено, что жертвами лечащего персонала Кремлевской больницы были Куйбышев, Димитров, Жданов, Щербаков. Усиленно расшатывали здоровье руководства армии и флота».

Конечно, не все кремлевские эскулапы находились под подозрением, главным образом те, кто имел родственников за границей, в Израиле или в Америке. Да и степень подозреваемости была различной. Петр Косынкин, например, безоглядно преданный Сталину, даже после ареста врачей настойчиво, громкоголосо, в том числе и при Иосифе Виссарионовиче, заявлял: «На Виноградова-то, на Владимира Никитовича, зря собак вешают. Он доктор правильный. Он за здоровье товарища Сталина душой болел, не надо его в Бутырки-то со всякими разными». А профессора Виноградова, кстати, действительно держали не на Лубянке, а в Бутырской тюрьме.

Ну и второй мой «вклад» в освещение «дела врачей». Почему Сталин ждал так долго? Почему вредителей не арестовали поодиночке? Почему вспомнили вдруг о письме Лидии Тимашук? Суть в том, что Иосиф Виссарионович терпеливо ожидал, когда обстановка назреет настолько, что камень, брошенный с вершины горы, увлечет за собой грохочущую, расширяющуюся лавину, которая сметет все, что у нее на пути. 13 января 1953 года он столкнул этот камень и открыл путь этой лавине. Достаточно прочитать его выступление, опубликованное вместе с сообщением ТАСС. С учетом, конечно, того, что Сталин, в отличие от других, болтливых деятелей, не бросал ни одного слова на ветер. Вникаем:

«Некоторые наши советские органы и их руководители (кто? — Н. Л.) потеряли бдительность, заразились ротозейством. Органы госбезопасности не вскрыли вовремя террористической организации среди врачей… История уже знает примеры, когда под маской врачей действовали подлые убийцы и изменники родины… Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, советский народ раздавит, как омерзительную гадину. Что касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать свое веское слово». (Берия и К°, безусловно, приняли эту угрозу в свой адрес. — Н. Л.)

Лавина сорвалась. Остановить ее было уже невозможно. Первым, нервно и уголовно, отреагировал Израиль, чьи интересы, видимо, были затронуты больше других. 28 января еврейские молодчики подожгли магазин советской книги в Иерусалиме, и с этого же дня начался буквально пропагандистский шквал, направленный против нашей страны. В ход шла любая грязь, любая чудовищная клевета. Этот бум подхватила западная пресса и радио, особенно англо-американские. 9 февраля сионисты взорвали большую бомбу на территории посольства Советского Союза в Тель-Авиве. Тяжелое ранение получила жена нашего посланника К. В. Ершова и еще два человека. В этот же день Сталин дал указание прекратить дипломатические отношения с Израилем. В самом деле: какие могут быть отношения с государством, где причиняют ущерб гражданам нашей великой страны? Нанесение же по Тель-Авиву бомбового удара Иосиф Виссарионович счел пока мерой преждевременной, но возможной. Зарвавшихся надо учить.

Подчеркнуть хочу: не замкнуто, не келейно все это шло. Иосиф Виссарионович, как никогда, стремился к полной открытости. Потребовал, чтобы на середину марта, точнее, на 15 марта, был назначен гласный процесс по делу врачей-предателей. И, что особенно важно, процесс по так называемому «мингрельскому делу».

Нет Сталина. Кое-что связанное с ним теперь известно, опубликовано. А вот «мингрельское дело» — черная дыра для всех, в том числе, в какой-то степени, и для меня. Знаю, что вел его непосредственно министр госбезопасности Виктор Семенович Абакумов, беседуя по этому поводу только со Сталиным. О чем? О стремлении Берии к захвату власти. О разгуле Берии и его опричников, нарушающих законы и нравственные нормы. В том числе и о развращении женщин — фигурировала история с семьей подполковника Щирова. И главное — о связях Берии с английской разведкой, что подтверждалось показаниями сторонников Лаврентия Павловича — заговорщиков, арестованных в Грузии и Прибалтике. Словам тех, кто находится за решеткой, не всегда можно верить. Но суть в том, что на этот раз Сталин требовал абсолютной точности. В большой игре

надо отсеивать все сомнительные аргументы, иначе они могут сыграть не «за», а даже «против».

Еще одна подробность, никогда не получавшая огласки, но, по-моему, существенно повлиявшая на ускорение и ужесточение событий. Иосифу Виссарионовичу стало известно, что в тюрьме перехвачена записка Виктора Семеновича Абакумова, адресованная Берии. Дока-надзиратель взять-то послание согласился, но передал его не в руки Лаврентия Павловича а, как положено, сообщил своему непосредственному начальнику и следователю по делу. Обезопасился.

Текст записки особого значения не имел, там было что-то насчет режима, указывались какие-то малопонятные намеки. Важен был сам факт связи Абакумова с Берией, и Сталин использовал этот факт в своих целях. Неожиданно вызвал к себе в кабинет министра госбезопасности Игнатьева, его заместителя Гоглидзе и, что могло показаться странным, — молодого следователя, который непосредственно «работал» по Абакумову. Этого человека лишь недавно перевели в органы из ЦК ВЛКСМ. Старательный, добросовестный, но опыта с гулькин нос. Фамилия у него «заячья» (по аналогии с «лошадиной» фамилией в рассказе Чехова), а посему, не тратя время на точное припоминание, будем называть его Зайцевым.

Думаю, что приставили этого следователя к матерому мастеру-чекисту не случайно, а по молчаливому согласию между Сталиным и Берией. Дело Виктора Семеновича продвигалось ни шатко, ни валко и никто не был заинтересован форсировать его. Берия осторожничал, опасаясь, что бывший начальник СМЕРШа, бывший министр госбезопасности может дать показания, весьма неприятные для него — Лаврентия Павловича. Сталин же, повелев держать в тюрьме, как заложника, бериевского «цепного пса» Кобулова, а с Абакумовым обращаться достойным образом, все еще сомневался в виновности Виктора Семеновича и не утратил намерения вновь воспользоваться услугами человека, который многие годы надежно работал на него. С учетом сказанного можно понять, почему следователь Зайцев, не испытывая давления сверху, не столько допрашивал Абакумова, сколько проводил время в обоюдополезных и даже приятных беседах. Виктор Семенович, сидевший в благоустроенной «маленковской» камере, пользуясь улучшенным питанием, имея халат и ночные тапочки, порой скучал в одиночестве: хотелось поговорить, узнать неказенные новости, поделиться воспоминаниями, даже повоспитывать молодого чекиста. Зайцев же, набираясь опыта, старался переиграть, «ущучить» ветерана, но Виктор Семенович легко уходил от острых вопросов, да еще подсказывал коллеге, какие у него просчеты, где можно было бы надавить на подследственного, где смягчить. Так и коротали они время. И вдруг — неожиданный вызов.

Сталин спросил, как продвигается следствие. Осторожный аппаратный чиновник Игнатьев, пытаясь уловить, куда дует ветер, ответил уклончиво. Работа, мол, ведется постоянно, однако подвижек мало. Абакумов не раскрывается, приходится кропотливо собирать факты, нащупывать его связи с иностранной разведкой, со всех сторон проверять его окружение. «Вы, значит, ищете по сторонам и внизу?» — уточнил Сталин. — «Так точно». — «Но если такие поиски не дают результата, значит, не туда смотрите. Вы посмотрите не вбок, не вниз, а вверх».

Министр Игнатьев вздрогнул. Лицо Гоглидзе залила бледность. Они, в отличие от Зайцева, сразу поняли суть сказанного. Игнатьев произнес

растерянно: «Куда же вверх?.. Вверху только Бюро Президиума Центрального комитета». — «А разве в Бюро ЦК не такие же люди, как все? Они тоже могут ошибаться, их тоже надо проверять. Неприкосновенных у нас нет. Посмотрите на Берию, исследуйте его связи с Абакумовым. — И, не слыша ответа на свои ошеломляющие слова, добавил: — Мы всегда надеялись на Берию. Слишком надеялись. А он нашего доверия не оправдал. Поэтому выражаю ему политическое недоверие и хочу, чтобы вы трое, пока только трое и больше никто, знали об этом. Теперь вам понятно, в каком направлении надо работать?.. Записка Абакумова при вас?» — «Вот она», — показал Зайцев. «С нее и начинайте. Это прямое доказательство того, что Берия и Абакумов поддерживают связь. Вполне возможно, преступную связь. Вы, товарищ следователь, покрепче держитесь за эту нить и распутывайте клубок».

С того вечера, или, вернее с той ночи, спокойная жизнь Виктора Семеновича в «Матросской тишине» кончилась. Его отныне допрашивали двое: Зайцев и Гоглидзе. Выясняли, как, каким образом Абакумов и Берия действовали во вред Советскому государству, обманывая партию и самого товарища Сталина. Это был ход, очень выгодный Иосифу Виссарионовичу, если принять в расчет, что смекалистый Абакумов поймет отведенную ему роль, в очередной раз принесет пользу Сталину, хотя бы для того, чтобы смягчить свою участь. Показания, полученные от него, могли стать решающими при разоблачении и осуждении Берии.

Для меня в этой истории неясно вот что. Сталин мог бы вызвать одного Зайцева, или, скажем, Игнатьева и дать соответствующие указания. Зачем ему понадобилось высказывать свое политическое недоверие Берии сразу трем лицам? Знал ведь Иосиф Виссарионович, что Гоглидзе — верный человек Лаврентия Павловича, а Игнатьев — протеже, выдвиженец Маленкова, прикрывавший «тылы» оного. Хотел проверить, доложат ли тот и другой своим шефам? Тонкий психолог Сталин сразу понял бы это по косвенным признакам при первой же встрече с названными деятелями. Проверил бы благонадежность, личную преданность министра госбезопасности и его зама — кому они служат? Или совсем наоборот: хотел, чтобы его слова стали известны Берии и Маленкову, хотел обострить ситуацию, вызвать противников на резкие действия, дабы проявились их замыслы и возможности? Своего рода разведка боем, или «штыковая разведка», — как говаривал Иосиф Виссарионович до большой, до Отечественной войны.

Мероприятие состоялось, но в чью пользу — не знаю.

По-разному сложилась судьба тех, кого Сталин известил о своем недоверии к Лаврентию Павловичу. Во время похорон Иосифа Виссарионовича, когда Берия, вознесшийся к вершине власти, произносил свою речь с Мавзолея, у вчерашнего министра госбезопасности Игнатьева случился сердечный приступ, его увезли в больницу. Зато уверенно почувствовал себя Гоглидзе, обогретый другом Лаврентием. Но не надолго. Через несколько месяцев он будет арестован вслед за Берией и разделит его участь. А молодой следователь Зайцев, оказавшийся меж двух огней, был отстранен от дел, над ним нависла такая угроза, что вынужден был, по совету старших товарищей, сменить место работы, забиться в какую-то щель. Понимая, что Берия и Гоглидзе не оставят его в покое, Зайцев написал несколько писем с изложением того, чему был свидетелем. На случай ареста. Одно из писем передал Михаилу Александровичу Шолохову, рассчитывая на его честность, смелость и

авторитет. Если не сможет защитить, то хоть известно будет, почему пострадал человек. К счастью, за тот короткий срок, когда Берия был всевластен, ни он, ни Гоглидзе до Зайцева не добрались, — были заботы поважнее. Знаю, что потом Зайцев давал показания в Комиссии по расследованию деятельности Берии. А затем затерялся где-то на безмерных наших просторах.

28

Иосиф Виссарионович вел свое наступление активно и энергично. Но и враг опомнился, поднял голову. Ответный удар был нанесен с неожидаемой стороны и, при кажущейся невеликости, оказался очень болезненным. 17 февраля внезапно скончался человек, не подверженный никаким болезням, отвечавший за охрану Кремля, — молодой генерал Петр Косынкин. Заключение врачей, производивших вскрытие, было однозначным — отравление.

Смерть Косынкина — это не только гибель надежного соратника, но и точно рассчитанный болезненный укол психики Сталина. Ему дали понять, какими возможностями обладает противник. Одумайся, мол, остановись. Подозрительность Иосифа Виссарионовича, и без того повышенная, еще более обострилась. Как же не думать об опасности, если она реальна! Пищу, в том числе воду, принимал с различными осторожностями. Приготовленное блюдо обязательно отведывал повар, его помощники — в присутствии охраны и специалиста по ядам доктора Дьякова. Затем термос или сверток опечатывался и доставлялся к столу. Неприятно было все это.

Развязка приближалась. На воскресный день 1 марта 1953 года Сталин наметил секретную встречу с теми, кому абсолютно доверял и на поддержку которых рассчитывал. Это партийно-политические деятели: Председатель Верховного Совета СССР Шверник, заместитель Председателя Совета Министров и председатель Госплана СССР Сабуров, недавний министр иностранных дел и главный редактор «Правды» Шепилов, известный юрист и дипломат Вышинский, способный обеспечить правовую основу любого мероприятия. Это высшие военные руководители страны, олицетворявшие армию и флот: министр Вооруженных сил СССР Василевский, министр Военно-морского флота адмирал Кузнецов, маршалы Жуков, Конев и Тимошенко. А также генерал Василий Сталин. Если не изменяет память — Клемент Готвальд. Молотов был болен — гриппозная пневмония. Маршала Рокоссовского не пригласили по той причине, что он был в то время министром национальной обороны и заместителем Председателя Совета Министров Польской Народной Республики. Его срочный вызов из Варшавы мог бы нарушить секретность совещания. А готовилось оно в такой тайне, что даже место выбрано было не на дачах Сталина, где имелись соглядатаи Берии, а в небольшом поселке поблизости от «Блинов». Предосторожность не излишняя: на совещании должен был решиться вопрос о ликвидации заговора, назревшего в стране, об аресте почти всех членов Бюро Президиума ЦК КПСС (так называлось Политбюро после XIX съезда партии, на котором, кстати, была упразднена должность Генерального секретаря, а Иосиф Виссарионович стал просто членом Бюро и секретарем ЦК). Ну, и предстояли большие изменения в руководстве партии, государства, охранно-карательных органов.

Первые сообщения обо всем этом, в соответствующей интерпретации, должны были, кроме «Правды», дать еще пять газет, ориентируя в обстановке людей, в чьих руках было оружие и власть. Среди этих органов печати центральная газета ВМФ «Красный флот», где незыблем был авторитет адмирала Кузнецова, центральная газета ВВС «Сталинский сокол», для которой главной фигурой был свой человек — авиатор Василий Сталин, и газета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) «Патриот Родины», которую курировал Ворошилов, авиационный отдел которой тесно контактировал с тем же Василием Сталиным. Важно было сразу задать тон всей прессе. Не странно ли, что среди названных печатных органов не было основной нашей общевоенной газеты «Красная звезда»? По той, вероятно, причине, что в ней держался еще душок, привнесенный Мехлисом и Ортенбергом, теми кадрами, которые привлекали они. Ни Василевский, ни Жуков за твердость позиции этой газеты не могли бы ручаться.

Как ни скрывали мы место и время совещания, Берия узнал и то, и другое. Может, неопытный конспиратор генерал В. Сталин проявил неосторожность, связываясь с участниками встречи. А может, я, когда ездил в поселок осматривать помещение, подготовить и обезопасить его. И за Василием, и за мной следили, вероятно, бериевские агенты. Но это — если рассуждать очень самокритично. Было, пожалуй, проще. О том, что Иосиф Виссарионович намерен в воскресенье отправиться куда-то с дачи, могло быть известно по крайней мере двум лицам из ближайшего окружения Сталина: водителю автомашины и телохранителю Старостину, уехать без которого «хозяин» просто не мог, тот поднял бы на ноги всю службу. В свою очередь, Старостин, непосредственно подчинявшийся заместителю министра госбезопасности Рясному, ведавшему правительственной охраной, обязан был сообщать последнему о всех перемещениях своего подопечного. Ну, а Рясной — он кто? Прежде всего соратник и ставленник Хрущева и Маленкова, давний сотрудник бериевского аппарата. Прямая информационная линия. Вот и вышло как в присказке: военная тайна — кроме нашего и вражеского командования, не знает никто.

Короче говоря, нас опередили. Во второй половине дня 28 февраля, то есть за сутки до встречи, я, после контрольного звонка к Иосифу Виссарионовичу, должен был обзвонить военных участников совещания, а Василий Сталин — всех других лиц: ничего особенного, несколько условленных заранее фраз, подтверждающих, что совещание состоится. Однако вскоре после полудня со мной связался Василий и совершенно трезвым, очень взволнованным голосом сказал, что никак не может поговорить с отцом, даже с дежурными в Кремле и на даче: все телефоны отключены. Что делать? Я попросил его ничего не предпринимать, сидеть возле аппарата, но никому не звонить. И по мере возможности воздержаться от выпивки. Он обещал. Он еще не понял сути происшедшего. У Иосифа Виссарионовича с военных времен был особый канал связи на небольшое количество абонентов, совершенно недоступный для посторонних, в том числе и для Берии. Именовался так: Главное управление специальной службы — ГУСС. Не просто сверхсекретная, типа ВЧ, связь, но архисверхсекретная, по новейшей науке и технике, замыкавшаяся непосредственно на Сталина. Пользовались ей, кроме Иосифа Виссарионовича, всего лишь несколько человек: Андреев, Молотов, Шапошников, Ворошилов, я, Власик, Косынкин.

Не буду вдаваться в технические подробности, скажу лишь, что канал контролировался надежнейшими сотрудниками, подключиться к нему, подслушать не было никакой возможности. Но теперь, значит, Берия получил доступ и к этой связи, оборвал важнейшую нить. Нет, недооценивал Иосиф Виссарионович возможности этого паскудника!

Принялся обзванивать членов Бюро Президиума ЦК. Никого из них не оказалось ни на службе, ни дома. Кроме Андреева и Молотова, последний был, повторяю, болен. Лишь по косвенным данным, а больше интуитивно, я уразумел, что все высокопоставленные деятели находятся у Иосифа Виссарионовича. Это подтверждал и полученный в конце концов короткий ответ дежурного по Ближней даче: товарищ Сталин занят срочной работой, с ним никого не соединяют. В жизни Иосифа Виссарионовича случались и этакие эскапады: он не терпел, когда вмешивались даже в самые трудные для него ситуации. Оставалось только ждать.

Наступила тревожная ночь. Я мало и скверно спал, все время ожидая телефонного звонка. Утром чувствовал себя плохо, но при всем том об одном из поручений Иосифа Виссарионовича не забыл. В то воскресенье должна была впервые начать вещание на Советский Союз радиостанция с претенциозным названием «Свобода», финансируемая американскими врагами СССР, мне следовало познакомиться с формой и методами новоявленных пропагандистов от ЦРУ. И первое, что услышал, настроившись на нужную волну, был ликующий голос диктора, сообщившего о смерти Иосифа Сталина. Ошеломленный и потрясенный, я переключился на другие волны: ту же новость, торжествуя и радуясь, разносили по свету «Голос Америки», «Голос Израиля», «Би-би-си». Я тут же позвонил на дачу Иосифа Виссарионовича. Связь действовала. Дежурный сказал, что товарищ Сталин поздно лег и сейчас отдыхает. Я успокоился, но все же захотел самолично убедиться в его здравии и предупредил дежурного, что выезжаю.

Ошиблись, значит, зарубежные злопыхатели, но как-то очень уж странно ошиблись, слишком организованно, будто выполняли одну команду. Об этом подумал я, увидев Иосифа Виссарионовича. Выглядел он скверно, за одни сутки превратившись из пожилого деятельного человека в изможденного старика. Осунувшееся лицо было почему-то багровым, в глазах красные прожилки. Сказал, что у него болела голова и что ночью вырвало с кровью. Сейчас лучше, только слабость, и ноги как ватные.

— Врачи были?

— Нам не нужны врачи. Обойдемся без них. Я рассказывал вам, Николай Алексеевич, как исцеляют себя на Кавказе долгожители, — Сталин попытался улыбнуться. — Хорошим вином и чистым горным воздухом. Закутаются в бурки и сидят часами возле дома, в саду. Бурки у меня нет, у вас тоже, зато есть старые теплые тулупы. И воздух сегодня хороший, наверно, уже весенний. А вина не надо, — с болезненной гримасой передернулся он. — Вина сейчас не хочу.

Мы пошли на привычное место, на западную застекленную террасу, где любили коротать время вдвоем, особенно после субботней баньки, любуясь закатом, играя в шахматы или просто разговаривая, вспоминая прошлое. Или тихо подремывая, особенно с возрастом, в последние годы. Я обратил внимание: Сталин необычно приволакивал правую ногу, она плохо слушалась.

На террасе Иосиф Виссарионович несколько взбодрился, схлынула багровость с лица, задышал спокойней и глубже. Воздух действительно

был чист и свеж, да и день уже заметно удлинился. С южной стороны деревьев появились затайки в снегу. Звонко выводила свою веселую песенку синица-зинзивер. Не хотелось мне нарушать идиллическую обстановку, возвращать Иосифа Виссарионовича к событиям безусловно неприятным, но все же спросил, осторожно подбирая слова: почему вчера не поступило подтверждение о начале подготовленного совещания?

— Обскакал нас Лаврентий… Или Никита по кривой объехал… А скорей всего, оба вместе, — ответил Сталин и начал неторопливо, с большими паузами, словно обдумывая и взвешивая свои фразы, рассказывать о том, что произошло накануне. К нему в Кунцево, оказывается, без приглашения и даже без предупреждения нагрянули вдруг члены Бюро Президиума ЦК партии и учинили фактически самостийное заседание. («Расширенный триумвират заявился ко мне», — так выразился Иосиф Виссарионович.) Поименно: неразлучные в последнее время приятели Берия и Маленков.

Затем Каганович и Хрущев. А также Микоян — не член Бюро. Был ли Булганин — утверждать не берусь, во всяком случае, Сталин упоминал и его. Сопровождал эту группу начальник правительственной охраны генерал-лейтенант Рясной.

Настроены были явившиеся зело агрессивно, особенно вдохновитель всех противусталинских «триумвиратов» Кабан Моисеевич Каганович — за что ему и воздавалось. Теперь же упивался возможностью взять реванш. Резко, в ультимативной форме, поразившей Иосифа Виссарионовича, потребовал Каганович немедленно закрыть так называемое «мингрельское дело», грозившее крупными неприятностями Лаврентию Берии, прекратить критические нападки партийной печати на руководителей органов госбезопасности (опять же на Берию и его ближайшее окружение), не устраивать открытого процесса по «делу врачей», смягчить позиции по отношению к США, Англии и Израилю.

Сталина удивили не сами требования, он их предполагал, его удивил наглый тон, наглое поведение всей группы, что можно было объяснить только одним: полной уверенностью в успехе. Заговорщики шли на риск, прекрасно понимая, что ждет их в случае неудачи. Учитывая это, Иосиф Виссарионович решил не обострять ситуацию, не толкать противника на крайность, а начать своего рода переговоры, выиграть время. Этому, не желая того, способствовал старый приятель Микоян, которого Сталин вплоть до XIX съезда считал человеком вполне надежным. А на сей раз Анастас Иванович, поддерживая Берию, «проявил заботу» и об Иосифе Виссарионовиче, посоветовал ему поберечь здоровье, уйти в отставку со всех постов. На заслуженный отдых. То есть разоружиться целиком и полностью. Нетрудно было понять, чем грозило это Сталину, имевшему много врагов и во всем мире, и в стране, и в том же Бюро Президиума. Однако сразу Иосиф Виссарионович эти предложения не отверг, пообещал взвесить, подумать.

— Крика было много, — Сталина утомил долгий рассказ. — Орал Каганович, руками размахивал. Маланья повизгивала из-за спины Лаврентия.

В конце концов я сказал: надо прекратить базар, выпить вина и разойтись по-хорошему, чтобы не рубить с плеча, а найти общую линию. Они ведь понимали, что с ними будет, если я обращусь прямо к народу и армии. Мелкий порошок из них будет…

— И выпили? — поинтересовался я, вспомнив о том, что ночью Сталина рвало с кровью и как он содрогнулся недавно при упоминании о вине.

— Да, распили несколько бутылок. Вино было без привкуса, — пояснил Иосиф Виссарионович, поняв суть моего вопроса. — Все наливали из одних и тех же бутылок.

— Кто именно?

— Говорю — все. И Микоян, и Лаврентий, и я тоже… Нет, дело не в этом, — двинул он левой рукой, будто отмахиваясь от чего-то. — Я перенервничал, принял близко к сердцу. Голова разболелась. Лег спать. А потом стало плохо. Так бывает, когда очень переволнуешься. Мы отвыкли от поражений.

— Значит, совещание не состоится?

— Почему же, дорогой Николай Алексеевич?! — Сталин впервые за этот день улыбнулся широко и самодовольно. — Раз уж мы собрали в Москве наших надежных товарищей, совещание надо провести обязательно. Тем более после визита группы Лаврентия. Вот отдохнем несколько дней и проведем… Мы дадим вам знать…

На этом, собственно, и расстались, обменявшись еще несколькими фразами. Я знал, что на даче у него, как и на квартире, не имелось даже элементарной аптечки, однако поинтересовался, есть ли нитроглицерин, столь необходимый в экстренных случаях. Оказалось, что и этого нет. Сталин, воистину, принадлежал к тем немногочисленным людям, которые просто не способны заботиться о себе. Они заботятся, думают о самом разном, от судьбы планеты или государства до здоровья своих близких, своих знакомых. Только на себя не остается у них времени, да и стремления тоже. На неустроенность свою не сетуют, поэтому ее и не замечает никто. Помогать бы таким надо, а помогают-то, наоборот, тем, кто сосредоточен на личных интересах, кто жалуется на свои невзгоды.

Уехал я затемно, пожелав Сталину выспаться и отдохнуть. Он ответил, что с ним все в порядке, он немного поест, а потом, пожалуй, поработает над второй частью «Экономических проблем социализма». Ну что же, входил, значит, в привычную колею: раньше трех он не ложился. Это обстоятельство как раз и успокоило меня.

Утром, около одиннадцати, снова позвонил Василий Сталин. Говорил на этот раз не только взволнованно: растерянность и страх звучали в его голосе. Сказал, что охранники обнаружили отца на полу в кабинете возле письменного стола, перенесли в спальню на диван, что он без сознания, дышит тяжело, хрипло и не открывает глаз. К нему уже выехали министр здравоохранения Третьяков, главный терапевт Минздрава Лукомский и другие врачи. Василий сообщил о случившемся членам Бюро ЦК. Ворошилов, Булганин, Берия, Хрущев, Маленков и Микоян прибудут с минуты на минуту. Другие товарищи, которым он звонил, допуска на дачу не имеют, могут приехать только по разрешению Берии или Рясного. Я понял, кого Василий имел в виду. Но ко мне-то, с моим уникальным удостоверением, с подписями Сталина и Берии, это отношения не имело?!

Вызвал машину, поехал. Однако на повороте с шоссе в лесок, к даче, был остановлен на контрольно-пропускном пункте. Начальник пункта был новый, в лицо меня не знал. Сверился с каким-то списком, удивленно рассматривал мое удостоверение, долго звонил куда-то. Вышел из будки злой и смущенный. Сказал, что приказано никого не пускать. Пришлось повернуть обратно. Как я узнал впоследствии, доступ на дачу имели в те дни только члены бериевской группы, Василий и Светлана Сталины и почему-то Ворошилов. Ну и врачи по особому отбору. В списке не оказалось Молотова, Андреева, главы государства — Председателя

Верховного Совета Шверника, военных министров и вообще всех тех, кому предстояло участвовать в несостоявшемся совещании. Не должны они были видеть, как умирает Иосиф Виссарионович. Зато при Сталине безотлучно находился генерал-лейтенант Рясной.

В томительном ожидании новостей медленно текло время. Телефон мой действовал, но лучше было не пользоваться им. Так, вероятно, считали и другие товарищи, оказавшиеся в столь же неопределенном положении, как и я. Третьего марта, ближе к полудню, ко мне последний раз пробился по телефону Василий Сталин. Это был не разговор, это был вопль отчаяния с надеждой хоть на какую-то помощь. Отсеивая эмоции, я уяснил вот что. Состоявшийся утром консилиум поставил диагноз: кровоизлияние в левом полушарии мозга на почве гипертонии и атеросклероза. В боковых и передних отделах легких патологии нет. В работе сердца особых отклонений не отмечено, признаков инфаркта миокарда не обнаружено.

— У Жданова тоже не обнаруживали! Ни у кого инфаркта не обнаруживали! — кричал Василий. — А отец без сознания, стонет. С ложечки кормят, а у него кровавая рвота. Это что, от мозга? Не лечат его, добивают его! Убивают отца, Николай Алексеевич, а вступиться некому! Я сейчас приеду за вами. С конвоем! Дивизию подниму!

В трубке раздался громкий щелчок, и телефон умолк. На несколько месяцев. Василий Сталин не приехал. А за то, что он утверждал, будто Иосифа Виссарионовича «залечили», убили, — за это его вскоре надолго упрячут в тюрьму, жизнь его будет сломана и загублена.

29

Из официальных сообщений. Бюллетень о здоровье И. В. Сталина.

5 марта. К ночи на 5 марта состояние здоровья И. В. Сталина продолжает оставаться тяжелым. Больной находится в сопорозном (глубоком бессознательном) состоянии.

6 марта. 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров СССР и Секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества.

7 марта (за двое суток до похорон. — Н. Л.). Из постановления совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР.

I. О Председателе и первых заместителях Председателя Совета Министров СССР. Председатель — Маленков Г. М., заместители — Берия Л. П., Молотов В. М., Булганин Н. А., Каганович Л. М. (Причем Берия первый среди «первых замов» и с особыми полномочиями. — Н. Л.)

IV. О Министерстве внутренних дел СССР. Объединить Министерство государственной безопасности СССР и Министерство внутренних дел СССР в одно министерство — Министерство внутренних дел СССР. Министр Берия Л. П.

XI. Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н. С. сосредоточился на работе в Центральном Комитете КПСС, и в связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС.

Вот так над непохороненным трупом поспешно делили они высокие должности, стремясь закрепиться у власти. А труп оказался (да простится мне такое выражение!) в полном распоряжении Василия Степановича Рясного. Получилось вот что. Председателем комиссии по организации

похорон вождя назначен был Никита Сергеевич Хрущев, проводивший на тот свет немало своих соратников и имевший в таких делах изрядный опыт. Впрочем, ему требовалось только давать указания той группе, которая всегда занималась погребением высоких персон по соответствующему ритуалу. Кого — на Новодевичье кладбище, кого — к Кремлевской стене. Работали мастера высокого класса. Однако на этот раз они почти не привлекались. Все похоронные заботы Хрущев поручил лицу особо доверенному — генералу Рясному. Именно он перевез тело Сталина с дачи в Институт усовершенствования врачей, где под его зорким доглядом было произведено вскрытие и обследование трупа. А Хрущев в это время находился совсем близко, на противоположной стороне Садового кольца, в особняке Берии: поглядывал на институт и ждал вместе с Лаврентием Павловичем сообщений Рясного, чтобы принять меры, если возникнут острые вопросы. И они возникли.

Собирая медиков на вскрытие, Рясной в спешке и по незнанию людей допустил промах. Действовал по принципу: кто известнее, у кого пост выше, того и зови. Съехались медицинские светила, звезды, привыкшие сиять на конференциях, блистать в кабинетах руководящими способностями, но специалисты отнюдь не лучшие, забывшие, как скальпель держать, в том числе президент Академии медицинских наук Аничков, профессор-биохимик Мардашев, которому предстояло бальзамировать труп. Зато надежные, конечно, исполнители воли тех, кто оные звезды зажигает. Среди собравшихся оказался только один крупный практик — патологоанатом Русаков, человек принципиальный, честный, не боявшийся открыто высказывать свое мнение. Я не был близко знаком с ним, но не раз слышал от Сталина, что Русаков-младший (патологоанатом) очень похож на своего старшего брата (педиатра, детского врача), Ивана Васильевича Русакова: и специалист такой же отличный, и по характеру столь же отзывчивый, добрый, но в убеждениях непреклонный.

Легендарной личностью был Русаков-старший. В партии с 1899 года. Участник трех революций, не сломленный царскими тюрьмами и ссылками. После Октября возглавлял крупнейший район столицы — Сокольнический. В марте 1921 года участвовал в работе X съезда партии. Когда в Кронштадте разгорелся антисоветский мятеж, Ленин предложил отправить на подавление бунтовщиков всех военных делегатов съезда. Русаков-старший не был военным, но вызвался ехать в Питер, дабы выполнять свой врачебный долг, спасать раненых и той, и другой стороны. Оказался в руках мятежников. Его спросили: «Ты коммуняка?» Иван Васильевич счел ниже своего достоинства скрывать, изворачиваться. «Да, я коммунист. Большевик». В него всадили шесть пуль и зверски искололи штыками…

Именем Русакова-старшего была названа большая больница, Дом культуры и одна из улиц Сокольнического района Москвы. А младший брат, повторяю, был таким же, как старший.

Да, не знал Рясной человека, который непосредственно производил вскрытие Иосифа Виссарионовича. Если высокоприсутствовавшие члены комиссии, понимавшие, что от них требуется, дали обтекаемое заключение о причине смерти Сталина, то Русаков высказал и отдельно изложил письменно свое особое мнение. Каким оно было — об этом можно только догадываться. Его изъяли сразу, едва патологоанатом уехал из института. Вероятно, Берия и Хрущев тут же уничтожили полученный от Рясного документ. Он исчез. Как исчез вскоре и врач Русаков-младший.

Каким образом его ликвидировали — я не знаю. Не до того мне было тогда.

Утром после вскрытия генерал Рясной со своими людьми перевез тело Сталина в Колонный зал Дома союзов и оставался там почти безотлучно, охраняя труп с таким усердием, с каким, увы, не оберегал Иосифа Виссарионовича при жизни. И он же, Рясной, вместе с генералом Серовым (соратником Хрущева по работе на Украине) и с Гоглидзе (опытным помощником Берии), отвечал за поддержание порядка в столице, особенно в центре. Но не очень-то они справились.

Шестое, седьмое, восьмое и девятое марта 1953 года были объявлены днями траура. Со всей страны огромные массы людей устремились в Москву, к Колонному залу, чтобы проститься с усопшим вождем. Столпотворение было невиданное и малоуправляемое. Давка возникла страшная. Людей прижимали к стенам домов, к оградам. Раненые, обморочные попадали под ноги толпе и не могли подняться. Погибло около ста тридцати человек. Лишь после этого догадались закрыть все железнодорожные въезды в Москву. Для поддержания порядка были привлечены войска.

Все происходящее я воспринимал тогда как-то очень рассудочно. Может, инстинкт самосохранения не позволял дать волю чувствам? А может, и другое: осознать всю тяжесть утраты мешало оскорбленное самолюбие. Возле покойного — случайные люди, политические игроки, интриганы, даже противники Сталина, тайком торжествующие. А я, который много лет был очень близок к нему, которому доверял он свои секреты, переживания, сомнения, оказался отброшенным за невидимую, но вполне реальную черту. Мне уже не было места около Иосифа Виссарионовича, даже на подступах к нему. Лишь полулегально, используя старые связи, смог я дважды побывать в Колонном зале и, глядя со стороны, мысленно проститься со своим другом.

Внешне проводы вождя выглядели очень благопристойно. Скорбили люди в нашей стране, многие люди во всем мире. Правители наши старались показать, что и они скорбят вместе со всеми. Пышность была. Гроб, на казенном языке именуемый «изделием номер шесть», был, разумеется, наилучшего качества, из сухих дубовых досок. Причем было изготовлено четыре таких одинаковых гроба, тело Сталина перекладывали по ночам. Берия, Маленков, Каганович, Хрущев и их сторонники не жалели крокодиловых слез, всенародно демонстрируя в последний раз свою якобы преданность великому делу Ленина — Сталина и свою готовность продолжать и развивать это дело. Слезы действительно поблескивали, и лица были печальны, но я-то хорошо понимал, что кроется под этими масками. И не только я, разумеется.

В Колонном зале стоял я рядом с известным артистом Диким Алексеем Денисовичем. Случайно получилось. Очень хорошо сыграл он роль генерала Горлова в пьесе Корнейчука «Фронт». «Русские люди» Симонова поставил. В фильме «Кутузов» блеснул талантом. Счастливая судьба. Но мало кто знал, что по доносу двух завистников-артистов Дикий подвергался аресту, какое-то время провел в заключении. Алексей Толстой хлопотал о нем, и успешно. Дикий потом в «Третьем ударе» снимался, в «Сталинградской битве». Роль Сталина доверена ему была, он хорошо вжился в образ, Иосиф Виссарионович остался доволен, хотя достичь этого было очень трудно. Смотрел этот и заслуженный, и обиженный, и умудренный опытом человек на суету политиканов у гроба, да вдруг и

произнес задумчиво: «Мелкие грызуны… Мыши кота хоронят». Громко получилось, но кто-то из соседей не расслышал за траурной мелодией, спросил: «Что? Как?» — «С удовольствием!» — ответил Алексей Денисович, и вокруг него сразу поредела толпа, образовалась пустота, в центре которой находились двое: он и я.

Те, кто был у гроба, не слышали слов, но необычное движение привлекло их внимание. Особенно Берии. Он всмотрелся пристально, увидел меня и самодовольно-торжествующе ухмыльнулся. Порадовался, значит, тому, что отпал теперь строжайший запрет Сталина когда-либо трогать Лукашова, отныне я в его власти, он может удовлетворить свою мстительность, свое честолюбие. Так, во всяком случае, расценил я его ухмылку. Да и Берия не скрывал, кому она предназначена. Кивком головы, глазами указал на меня и произнес что-то на ухо склонившемуся к нему охраннику. Оставалось только гадать, когда и по какому поводу займутся мною бериевские молодчики. В ближайшие дни трогать не будут, скорее всего после похорон Сталина, чтобы не портить траурную торжественность. Мне с дочерью надо было готовиться к самому худшему.

Не только ядовитую ухмылку Берии увидел я в печальный тот день, но убедился и в том, что не отвернулась от меня Фортуна, не лишила надежды на будущее. Она, то есть надежда, не замедлила явиться передо мной в образе рослого, элегантного адмирала, излучающего уверенность и спокойствие. Едва покинув Колонный зал через служебный выход, я увидел Николая Герасимовича Кузнецова, направлявшегося к своей машине в сопровождении нескольких офицеров. Он, как показалось, тоже обрадовался встрече, предложил подвезти. В пути говорили о том, что тогда было на уме и на сердце у всех. Рассказал мне Николай Герасимович, как в двадцать четвертом году прибыли в Москву из Питера курсанты военно-морского училища, дабы нести почетный караул у гроба Владимира Ильича и вообще охранять Колонный зал от всяческих неожиданностей. Всю последнюю прощальную ночь провел тогда Кузнецов на хорах зала, не чувствуя усталости, не сводя глаз с красного постамента. И вот сегодня он снова поднялся на то же место, долго стоял там, вспоминал и размышлял.

— Вся сознательная жизнь вошла в эти тридцать лет! И какие годы, какие огромные перемены. Целая эпоха. По себе сужу: паренек из глухой деревни адмиралом стал! Первый раз на Северной Двине пароход увидал колесный, плицами шлепавший. А теперь наши корабли на всех океанах, и какие корабли, даже не верится! В деревне Медведка у нас грамотных по пальцам можно было пересчитать, а к началу войны вообще ни одного неграмотного не стало. Да что там, — махнул рукой Николай Герасимович. — Помню, в гражданскую на оккупантов в Архангельске, на англичан, на канадцев, на американцев — разинув рты, глядели. Ну, одежда! Ну, техника! Ну, танки! А теперь наши моряки, за океаном побывавшие, только сплевывают: «Бардак один в этой Америке…»

— Неужели конец всему? — невпопад спросил я. Но Николай Герасимович понял:

— При новых-то?

— Под себя мять будут, по-своему повернут. Счеты начнут сводить.

— Со мной тоже. И с Жуковым. С многими, — согласился Николай Герасимович. — Не доконали сразу после войны, Сталин не дал, теперь постараются. Но им еще машину раскочегарить надо, пар до марки поднять, а для этого время требуется.

— Они уже раскочегаривают, выражаясь по-вашему, по-флотски. Они уже начали. Нынче я почувствовал это.

Николай Герасимович внимательно посмотрел на меня, помолчал. Велел водителю-мичману остановить автомобиль у подъезда дома. Предложил мне:

— Пройдемся? Вечерок-то какой.

Морозило. Было скользко. Кузнецов поддерживал меня за локоть.

— Помните, Николай Алексеевич, как меня из наркомов вытурили, как звезды с погонов сняли?

— Дело Алафузова?

— Пусть так. Ликовал Берия: схарчил неподатливых моряков. А меня вызвал товарищ Сталин и предложил: принимайте должность заместителя главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам. Я удивился: нет такой должности, да и зачем она, кому нужна? А Сталин спокойненько: «Если нет должности, значит, будет. А нужна она нам с вами. От Москвы далеко, у вас там флот, даже два флота, вас там знают. У флотов свои силы, своя контрразведка, в конце концов».

— К чему вы это? — спросил я.

— А к тому, что и сейчас у нас свое военно-морское министерство, своя контрразведка, свои возможности. Хотите поработать или отдохнуть на любом флоте, под любым званием? На Тихом океане, на острове, начальником минно-торпедного склада? Ни один черт не доберется. Или подлечитесь в нашем санатории, хоть на озере Сенеж, хоть в Прибалтике, хоть в Крыму? Можете спокойно отдыхать по крайней мере до осени, это вам гарантирую.

— Спасибо, Николай Герасимович, — я был тронут его заботой. — Остров на Тихом океане — это слишком далеко и не очень привычно. Лучше поближе к Москве.

Все было решено и сделано к моему полному удовлетворению. Сразу же после похорон Иосифа Виссарионовича мы с дочерью оставили на попечение прислуги квартиру и дачный наш домик, а сами, выражаясь по-военному, отбыли к новому месту службы, имея надежные документы, которыми снабдили нас в Министерстве военно-морского флота. Я тогда впервые на несколько месяцев надел морской китель с двумя красными просветами и двумя звездами на погонах и узнал, что стал «красноперкой». Так называли на флотах офицеров с упомянутыми просветами, не имевших морского образования, в отличие от особой касты истинных моряков. Отношение к «красноперкам», вне зависимости от звания, было насмешливо-снисходительное, по принципу: «Корабельный кок равен сухопутному полковнику». И этакий нюанс, видите ли, довелось познать на старости лет мне, долго числившемуся советником вождя и главнокомандующего по военным вопросам. Может, как раз и хороша жизнь своим разнообразием и непредсказуемостью!

А на похоронах Иосифа Виссарионовича я все же побывал. Не простил бы себе, если бы не сумел сделать этого. Конечно, к тем, кто официально провожал Сталина в последний путь от Колонного зала до Мавзолея, меня и близко не подпустили бы. Я смотрел из окна одного старого здания, видел все шествие и сверху, и сбоку, имея при себе бинокль с сильным увеличением. Врезалась в память не только вся общая картина, но и отдельные детали, подробности. Искреннее горе выражало осунувшееся лицо Ворошилова под непомерно высокой, да еще и расширявшейся кверху папахой — будто с чужой головы. У других — казенная скорбь.

Мясистые, как у хомяка, щеки Маленкова разрозовелись на холоде и, казалось, больше, чем всегда, выпирали из-под какой-то малой шапчонки, прилепившейся на затылке. Хрущев обычен со своим «пирожком»: поворачивался туда-сюда, будто искал какой-либо непорядок, чтобы дать замечание, исправить: такой уж деятельный человек. Разглядеть выражение бериевского лица я не смог, его одутловатую физиономию скрывала широкополая шляпа, из-под которой поблескивали стекла пенсне.

Лафет с гробом Сталина влекли черные кони, заранее приученные к тому, чтобы идти медленно, равномерно, определяя темп торжественно-печальной процессии. Но в узком подъеме между Кремлевской стеной и Историческим музеем кони ощутили тяжесть груза и скользь под копытами, инстинктивно напряглись, ускорили шаг. Следовавшие за лафетом толстяки-коротыши Берия, Маленков, Хрущев и иже с ними сразу сбились с ритма, начали задыхаться, отстали, процессия растянулась, смешалась. Даже за мертвым Сталиным не под силу им было угнаться.

30

Увезли тело Иосифа Виссарионовича с Ближней дачи, и осиротела она, ставши бесхозной. Почти всю охрану сняли (в Колонный зал, в Кремль, к Мавзолею — для обеспечения безопасности нового руководства). Растерянная обслуга не знала, что делать, томилась неизвестностью. Агенты Берии сразу же «обследовали» кабинеты Сталина и в Кремле, и в «Блинах», увезли интересовавшие Лаврентия Павловича документы. Без разбора свалили в кузов грузовика груду бумаг и отправили на Лубянку.

Из руководящих работников по своей инициативе на даче и на квартире Сталина вскоре после его смерти побывал лишь Дмитрий Тимофеевич Шепилов. Наверно, материал собирал для «Правды». Потом поговаривали, что воспоминания намеревался писать, в том числе и о встречах с Иосифом Виссарионовичем. Не знаю, трудился ли он над мемуарами, но по крайней мере хорошее дело сделал: составил опись личного имущества товарища Сталина. Конечно, кое-чего к его приезду уже не оказалось, пуст был стол, в котором и на котором лежали пакеты с деньгами, и все же опись представляет определенную историческую ценность. К сожалению, при публикации ее в различных органах печати не обошлось без тенденциозности, без передержек, без ёрничества. Один из журналистов, к примеру, сосредоточил внимание на том, что в кабинете Сталина оказался географический атлас для средней школы. Таков, мол, уровень… И ни слова о подробнейших географических картах, с которыми работал Иосиф Виссарионович. А хороший атлас при этом совсем не помеха. Сталин хоть знал, чему в школе учат.

Похихикивая, перечисляют: четыре трубки, семь пар носков и всего лишь одни подтяжки…

Кстати, в том варианте шепиловской описи, которая есть у меня, ни носки, ни подтяжки не значатся… Впрочем, Шепилов, как я понимаю, и не претендовал на исследование сталинского быта, он просто назвал то, что увидел, а главная мысль при этом была такова: посмотрите, как просто и скромно жил великий человек, не позволяя себе никаких излишеств. И вот тут я бы чуть-чуть поправил Дмитрия Тимофеевича. В формулировке. Сталин не то чтобы не позволял себе излишеств, они органически были

чужды ему. Он просто не думал о них, не отказывая себе в том, что необходимо было для работы, для нормальной жизни.

Гардероб его действительно был невелик. Несколько кителей стального цвета и цвета хаки, а один — белый. Мундир маршала — Сталин надевал его довольно часто. Новый мундир генералиссимуса «не пришелся» Иосифу Виссарионовичу и висел в шкафу. Как, кстати, два или три гражданских костюма, в которые он почти никогда не облачался. Ну, еще шинель, плащ, мягкие кавказские сапоги, несколько пар ботинок. Старая шуба — тулуп — и не менее старые, подшитые валенки для «прогулок», то есть для отдыха на дачной террасе. Тулуп оказался у меня, в память о друге, а валенки, вероятно, выбросили вместе с прочим «хламом». Были еще какие-то мелочи на подмосковных дачах и на Кавказе, но это уж совсем пустяки. В смысле необремененности вещами Иосифу Виссарионовичу мог бы позавидовать любой аскет.

Очень жаль, что почти ничего не сохранилось для музеев Сталина: они будут, в этом я глубоко убежден. Растащено имущество его. И не только в Москве, но и на юге, где частенько бывал Иосиф Виссарионович. Вот маленькая подробность. Многие люди ездили на озеро Рица, любовались красотами природы, фотографировались на фоне гор, скал, бурной горной реки. Особенно охотно снимались на полпути к Рице у так называемого Голубого озера. А квитанции на получение фотографий оформлялись тут же, на старменском письменном столе. Я узнал его — это был стол, за которым работал на даче Иосиф Виссарионович… Потом, после Голубого озера, стол оказался в Пицунде, в известном «абхазском доме», где одним из энтузиастов, ревнителей старины, были собраны уникальные экспонаты. Там же находилась и деревянная вешалка, которой пользовался Сталин. Может, и еще что-нибудь уцелело?!

31

Не угадали мы с адмиралом Кузнецовым, предполагая, что новым правителям потребуется какое-то время, чтобы «раскочегариться и поднять пары». Или хотя бы соблюсти элементарную порядочность, не ломать сразу то, что было сделано предшественником. Однако группа Берии — Хрущева — Маленкова, дорвавшись до власти, так жаждала перемен, что не смогла придерживаться самых простых правил приличия. Не хватило терпения подождать, пока рассеется траур. Каждый день приносил новости, казавшиеся неожиданными, непонятными, но в общем-то закономерные. Буквально через несколько суток после похорон началась смена руководителей пропагандистских печатных органов, в первую очередь были закрыты газеты, которые Иосиф Виссарионович считал наиболее надежными: «Красный флот», «Сталинский сокол», «Патриот Родины»… Закрыть «Правду» решимости не хватило, но Хрущев взял ее под свои неусыпный контроль, с кадровыми, естественно, переменами. А зятя своего Аджубея вскоре «посадил» на «Комсомольскую правду» для формирования нового мышления у молодого поколения.

Новоявленные властители будто соревновались в том, чтобы хоть как-то отмежеваться от недавнего прошлого, прослыть справедливыми и заботливыми, расположить к себе народ, особенно такие важные структуры, как партия и армия. Не брезговали мелочами, чтобы проявить себя. Хрущев, например, предложил нарушить традицию военных парадов, соблюдавшуюся при Сталине. В частности — отказаться от

использования лошадей. Мотивировал тем, что конница как род войск изжила себя, многие наши генералы не умеют держаться в седле, а обучаться нет смысла. Жуков, возражал: верховая езда — лучший спорт для военачальников, а то вон какие животы распустили, из автомашин вылезают пыхтя. Мешки с овсом, а не генералы. Сам не желая того, Георгий Константинович кольнул в больное место. Несколько лет назад Никита Сергеевич опоздал на какое-то заседание из-за нелетной погоды. Сталин спросил раздраженно: «Где этот куль с отрубями?» Так что слова Жукова были восприняты Хрущевым как очень неприятный намек.

Короче говоря, традиция была сломана. Последний раз командующий парадом (это был генерал-полковник П. А. Артемьев) и принимавший парад (маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) появились на Красной площади верхом в ноябре 1952 года. А на следующем, на майском параде, первом без Сталина, вместо коней были использованы открытые автомашины ЗИС-110 серого, стального цвета. С удобствами. Имелись приспособления для закрепления ног, было за что держаться левой рукой — все это к вящему удовлетворению наших тучневших военачальников. Но пропала живинка. Вместо гарцующих всадников — сплошная техника. Потускнели парады. И грустная песня тогда появилась:

За что, не понимаю я, коней вы так обидели. Парады принимаете и то в автомобилях вы…

Это были первые, еще не очень заметные шаги оказавшихся у власти правителей. Со стремительным нарастанием. Особо отмечу: 14 марта 1953 года после обеда в Кремле внезапно умер друг Иосифа Виссарионовича Клемент Готвальд. Чехословацкий руководитель, как и члены делегации французских коммунистов, приехавшей на похороны нашего вождя, давал понять, что смерть Сталина представляется довольно странной. Готвальд знал больше многих других. Скончался с признаками отравления.

Без огласки было прекращено «мингрельское дело», грозившее раскрытием не только морального облика Берии, его бытовых преступлений, но и уличавшее Лаврентия Павловича в странных, запутанных связях с англо-израильской разведкой. Эта версия, к полному удовлетворению Берии, была прикрыта, концы обрублены. Скинув с плеч столь опасный груз, Лаврентий Павлович принялся с откровенной наглостью ликвидировать все и вся, что могло бросить на него тень. 4 апреля 1953 года, через месяц после смерти Иосифа Виссарионовича, появилось сообщение МВД СССР о полной реабилитации кремлевских врачей. Распахнулись перед ними ворота тюрьмы. В тот же день не забыли сообщить об отмене указа о награждении Л. Ф. Тимашук орденом Ленина. Не за что, оказывается, было ее награждать, не о том сигнализировала. А вот другая сторона этой страшной и до сих пор не выясненной истории замалчивалась полностью. Как и где погублен был врач-эксперт Русаков, анатомировавший Сталина, сразу после того, как высказал свое мнение о причине смерти Иосифа Виссарионовича?! Не стало человека, и все тут. Тогда же, по приказу Берии, был без долгих разговоров расстрелян начальник следственной части по особо важным делам МГБ Рюмин и его помощник. Не странно ли: врачи, обвинявшиеся в тяжких преступлениях, отпущены, а те, кто вел следствие, — уничтожены. Кому и для чего это потребовалось? «Дело врачей» было немедленно предано забвению, и столь же срочно были восстановлены дипломатические и все прочие связи с Израилем.

Опасаясь утомить читателя хоть и красноречивыми, но однообразными фактами, позволю себе напомнить еще о двух событиях. Вскоре после похорон Иосифа Виссарионовича за решеткой оказался генерал Василий Сталин, упорно утверждавший, что отца залечили, отравили, убили. Арестовать Василия именно за это — значит вызвать сомнения, недовольство, волнения. Его изолировали формально совсем по другому поводу — за злоупотребление якобы служебным положением. Вот начало длинного и нудного документа, который дает достаточно пищи для размышлений и выводов:

«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

арестованного Сталина Василия Иосифовича

от 9-11 мая 1953 года

Сталин В. И., 1921 года рождения, уроженец гор. Москвы, грузин, член КПСС, быв. командующий ВВС Московского военного округа.

Вопрос: На предыдущих допросах вы признали, что в бытность вначале заместителем, а затем командующим ВВС Московского военного округа допускали незаконное расходование государственных средств.

Правильны ли эти ваши показания?

Ответ: Да, правильны. Действительно с 1947 по 1952 г. включительно я, занимая вначале пост заместителя, а затем командующего ВВС Московского военного округа, допуская разбазаривание государственного имущества и незаконное расходование денежных средств, чем нанес большой материальный ущерб Советскому государству.

Я не отрицаю и того, что ряд моих незаконных распоряжений и действий можно квалифицировать как преступления.

Вопрос: В распоряжении следствия имеются данные о том, что вы, злоупотребляя своим служебным положением, кроме того, присваивали казенное имущество и денежные средства. Вы это признаете?

Ответ: Расхищения государственных средств и казенного имущества в целях личного обогащения я не совершал и виновным в этом себя признать не могу. Я намерен правдиво показать обо всем, в чем я виноват. Будучи в 1948 г. назначен на должность командующего ВВС МВО, я в первую очередь занялся переоборудованием переданного ВВС под помещение штаба округа здания Центрального аэропорта, на что было израсходовано несколько миллионов рублей, но сколько именно, точно не помню. Значительная часть этих средств по моему распоряжению была растрачена на излишне роскошную внутреннюю и внешнюю отделку здания и на приобретение дорогостоящей обстановки, которая была специально заказана в Германии».

Ну, и так далее. Ясно, что Василий Сталин деньги в свой карман не клал, за счет государства не обогащался, а в нецелесообразном на данный момент расходовании средств можно при желании обвинить почти каждого администратора, распределителя кредитов. Генералу Сталину такое расходование и перерасходование обошлось дорого. Непомерно дорого: тюрьма, длительная изоляция от внешнего мира. Пусть в одиночной камере рассуждает о чем хочет и как хочет. Никто не услышит и не узнает.

Много говорил я о разных недостатках Василия, начиная от его юношеского цинизма до пьянок уже в генеральском чине. Может, следовало его осадить, наказать, в звании понизить. А его с чрезмерной строгостью судили как уголовника, и на каком фоне! Как раз в те дни, когда по указанию Берии, Кагановича, Хрущева из тюрем и лагерей в

массовом порядке, без разбора, выпускались сотни тысяч убийц, насильников, спекулянтов, бандитов — отпетых и отъявленных рецидивистов. Не политических заключенных, подчеркиваю (с ними начнут разбираться позже, уже без Берии), а самых мерзких подонков. Сделано это было не только потому, что преступник всегда сочувствует преступнику и стремится облегчить его участь. Политические паханы столь высокого ранга, как Берия, беспринципны даже в этом отношении. Расчет был самый простой: запугать обывателя, нагнать на него страх, отвлечь внимание от более важных государственных перемен. Пусть дрожат за свои шкуры, боясь грабежей и убийств. Не до высоких проблем — лишь бы выжить! Испытанный прием — замутить воду, чтобы ловить в этой мути рыбку: какую нужно и сколько угодно. Сие тем более легко было совершить, что все тюрьмы, лагеря, карательные органы находились в руках Берии. Он и распахнул ворота.

Воспряла всякая дрянь. Улицы наводнила шпана. С наступлением темноты страшно стало выходить из домов, а ведь еще недавно люди спокойно могли гулять хоть всю ночь и на улицах, и в парках. Воистину: если в стране увеличивается преступность, значит, преступники управляют этой страной: ворон ворону глаз не выклюет.

Никогда в России разгул беззакония и коррупции не возрастал столь стремительно, как в период стодневного правления Берии. За три с половиной месяца он успел сделать много. Расставил на ключевые позиции людей, которых считал способными вместе с ним разбивать краеугольные камни фундамента Советского государства и укреплять собственную власть, сваливая все грехи, все беды на Сталина. За эти месяцы поведение Берии стало таким антирусским, антисоветским, фигура обрела такую одиозность, такую непопулярность, что даже недавние соратники по заговору постарались как можно скорее остановить его на пути к диктаторскому трону.

32

Вот уж не думал, не гадал, что доведется мне побывать на нелегальном положении. Знай где упасть — соломки бы постелил: посоветовался бы с Иосифом Виссарионовичем, который имел большой опыт подпольщика… Впрочем, новое состояние оказалось хоть и обидным, но не ахти каким трудным. Во всяком случае, в подпол, в подвал лезть не пришлось. Николай Герасимович Кузнецов, сам ожидавший козней со стороны давнего недоброжелателя — Берии, укрыл меня от возможных нападок Лаврентия Павловича в таком месте, где искать никому бы в голову не пришло. Не на далеком острове, а прямо в столице: до собственной квартиры при желании пешком можно было дойти. В Химках, поблизости от речного вокзала, в поселке Лебедь, о существовании которого я и не подозревал. Там была территория, полностью контролируемая моряками: казармы флотского полуэкипажа, помещения различных служб, склады, жилые здания, несколько отдельных строений для приема гостей. А главное — территория эта надежно охранялась, в том числе и флотской контрразведкой, подчинявшейся прежде всего министру военно-морского флота. Мирок, недоступный для посторонних. Здесь и поселился пожилой морской офицер в отставке, то бишь я. Вдвоем с дочкой, уволившейся с работы якобы в связи с болезнью отца.

Место хорошее. Сосны, чистый воздух, берег водохранилища, тишина. К тому же солнечные весенние дни, прозрачные дали. Мы много гуляли, иногда даже «срывались в самоволку» через контрольно-пропускной пункт военного городка: в магазин или в кино. Звонили из автомата нашей домработнице, но не на собственную квартиру, а на квартиру ее сына, куда она отправлялась с ночевкой каждую субботу посидеть с внучкой, а родителей на развлечения отпустить. От домработницы мы знали, что никто нас не ищет, а если звонили знакомые, объясняла: Николай Алексеевич заболел чахоткой и уехал поправлять здоровье.

Март и апрель прошли спокойно. Лаврентию Павловичу, утверждавшемуся во власти, было, вероятно, не до сведения счетов — с этим успеется. Первые тревожные сигналы появились лишь в самом конце мая. В квартире участились телефонные звонки. На даче побывали какие-то люди, дотошно расспрашивали тамошнюю нашу сторожиху, что да как. А их начальник, видать, генерал, скучал в большой красивой автомашине. Сторожиха же, простая женщина из тульских крестьян, умела, когда ей требовалось, притворяться придурковатой, чем, кстати, раздражала меня, понимавшего ее самозащитную хитрость. А с чужими-то в самый раз. Откель, мол, мне, полуграмотной, про хозяина знать. Подосвиданькался и укатил. Вроде бы кобылье молоко пить, а потом на море.

«Гости» уехали, предупредив, чтобы сразу позвонила, если будут новости о Лукашовых. Дали телефон и пригрозили: не выполнишь — шкуру спустим. По описанию внешности генерала, скучавшего в большой автомашине, я понял, что навестил нас не кто иной, как сам Сергей Матвеевич Штеменко, выдвиженец Берии, в 1948 году вознесенный на должность начальника Генерального штаба. Сталин снял Штеменко с этого высокого поста в 1950 году, когда обострилась борьба за власть. Личную гвардию вводил, значит, теперь в действие Лаврентий Павлович.

Поделился своими соображениями с Николаем Герасимовичем Кузнецовым. Адмирал сказал, что над его головой тоже сгущаются тучи. Берия не забыл, разумеется, про конфликт по поводу подготовки к затоплению кораблей Балтийского флота в 1941 году, когда судьба Ленинграда висела на волоске. Оконфузился тогда Лаврентий Павлович перед Сталиным. Не удалось ему доконать Кузнецова и после войны, по «адмиральскому делу», Сталин защитил нашего флотоводца. Опять удар по самолюбию злопамятного Лаврентия. А теперь у Берии развязаны руки, он фактически хозяин положения. Конечно, свалить министра, за которым весь военно-морской флот, не так-то просто, но Берия последователен и хитер, добьется своего не мытьем, так катаньем. При всем том Николай Герасимович настроен был как всегда спокойно-оптимистически. Сложилось впечатление, будто он что-то знает, но недоговаривает.

В отношении меня решили так. Если обстановка осложнится, нас с дочерью перевезут за Измайлово, на Щелковское шоссе, в дома моряков, обслуживающих флотский аэродром. Туда, где протянулись теперь улицы 16-я и 15-я Парковые, причем последняя прямо на взлетной бетонке. Затем на транспортном самолете в закрытый военный город-порт Балтийск, бывший немецкий Пиллау. Там на канале, соединяющем Калининград с морем, есть флотский гарнизон с особым режимом, на территории которого сохранились удобные дачки-коттеджи. Бериевским холуям туда путь заказан, по крайней мере до тех пор, пока флотами командует адмирал Кузнецов. План недурен, но долго ли Николай Герасимович продержится на посту министра? А что потом? Неужели остаток жизни

действительно придется провести в подполье, в бегах, под чужим именем? А дочь?!

Первую половину июня мы, что называется, просидели на чемоданах. Николай Герасимович не давал знать о себе. Но вот однажды позвонил морской офицер — единственный, кто поддерживал со мной связь, доверенный человек адмирала. Сказал коротко:

— Сегодня к вам гость от Козловского. После отбоя.

И все. Ну, волноваться не следовало. В Козловском переулке, что возле Красных ворот, размещалось военно-морское командование, значит, гость будет свой. Но кто? И почему после отбоя? Чтобы не видели его кому не следует? Значит, личность известная.

Я не ошибся. В полночь к подъезду бесшумно подкатил черный автомобиль, почти невидимый в сгустившейся, при малом дождике, темноте. Сразу знакомой показалась коренастая невысокая фигура в плаще без погонов, с надвинутым на фуражку капюшоном. Неужели Жуков? Себе не поверил, пока не ощутил сильное рукопожатие, не услышал хрипловатый голос.

— Чайком угостите, товарищ подполковник?

— Можно покрепче, да ведь компаньон вы не ахти… Или исправились?

— Не получается. Только символически, как напарник для чоканья.

Обычное шутливое начало мужского разговора для разминки: о рюмке или о женщинах. Но сколько же мы не виделись? Года четыре? Пока он командовал Одесским, а затем Уральским военными округами. Он не то чтобы постарел, а стал более грузным, отяжелели и укрупнились черты лица, особенно массивный подбородок: ямочка на нем — как штыковой укол — вроде бы углубилась… Незадолго до смерти Иосиф Виссарионович, собирая вокруг себя людей, в честность и добросовестность которых верил, вызвал Георгия Константиновича в Москву, чтобы назначить на должность первого заместителя министра обороны. И вот он у меня, причем не без содействия адмирала Кузнецова. И не потому, что соскучился, разыскать заставило что-то очень серьезное.

Георгий Константинович не из тех людей, которые ходят вокруг да около, у него принцип: боишься — не берись, взялся — не бойся. Сразу предупредил: предстоит настолько серьезный разговор, что надо избежать любой возможности прослушивания. Понято: на всякий случай я вывернул пробки, обесточил все комнаты и уединился с Жуковым на кухне, где не было телефона и имелась заправленная керосиновая лампа. Наглухо задернули шторы.

— Николай Алексеевич, встречи со мной добился генерал Москаленко. Вы его хорошо знаете?

— Меньше многих других… Так… Особенности. Москаленко Кирилл Семенович. В 1922 году в двадцатилетнем возрасте окончил Украинскую объединенную школу красных командиров. Учился на факультете усовершенствования комсостава военной академии имени Дзержинского. Выделился на финской, командуя артиллерией 51-й стрелковой дивизии. В Отечественную прямо-таки универсал. Командовал артиллерийской бригадой, затем стрелковым и кавалерийским корпусами, конно-механизированной группой, танковой и общевойсковой армиями. Теперь смотрит в небо, возглавляет Московский округ противовоздушной обороны. Вспыльчив, смел, желчен, страдает застарелой болезнью желудка. Самый тощий среди наших высокопоставленных генералов. Пользуется доверием и покровительством Хрущева.

— Да, знал Верховный, с кем совет держать, — не без удивления косвенно похвалил меня Жуков. — Без подготовки сразу в девятку… А он еще и осторожный, Кирилл Семенович-то. Полчаса прощупывал, прежде чем открылся… Короче говоря, двадцать шестого июня состоится заседание Президиума ЦК, на котором, неожиданно для Берии, будет поднят вопрос о его антипартийном поведении и о снятии со всех постов.

— Кто инициатор, не Москаленко же?

— Хрущев и Маленков. На их стороне Булганин, Молотов, Каганович, Сабуров.

— А Микоян? Он ведь друг Лаврентия.

— Молчаливая поддержка. Против не выступит. Сегодня утром со мной говорил Хрущев. Он и начнет критику.

— Заседания, критика — этого недостаточно, — остановил я Жукова, не очень удивленный новостью, в глубине души ждал чего-то подобного. — Словесное осуждение, снятие с постов, всего этого слишком мало. Полумеры очень опасны. Берия поднимет кремлевскую охрану, позвонит на Лубянку. В его руках огромные карательные силы, внутренние войска. Авторитет у него, страх перед ним. Скомандует — и за ним пойдут. А кто пойдет за Москаленко?

— Ради этого и встречались. Он просил меня…

— Вы согласились?

— Да.

— Адмирал Кузнецов с вами?

— Он ориентирован, но не привлекается. Не любит его Никита Сергеевич, как и товарища Василевского. Маршал для него «попович», а Кузнецов «интеллигент». Адмирал, видите ли, выражений не употребляет, английские статьи переводит, такие грехи, — съехидничал Георгий Константинович. — Да и какие у Кузнецова возможности в Москве? Вот этот полуэкипаж, караульная рота, штабные офицеры. Ну и Лукашов в резерве.

— А какие возможности сейчас у вас? Главным образом имя? За Жуковым, конечно, пойдут, но все ли?

— В этом загвоздка. Потому и приехал.

— Благословение получить?

— Совет, Николай Алексеевич. На кого в Москве, в Московском округе опереться? Оторвался, не знаю. С кем войска, как настроены?

— Кто первым возьмет инициативу, тот и выиграет. На Урале остались надежные части?

— Безусловно.

— Там теперь Павел Алексеевич Белов. Вызовите через него танковую дивизию. Срочно. На маневры в районе столицы. Имеете право, как заместитель министра. Пусть грузят в эшелоны только ядро, без тылов: боевую технику и мотопехоту. И по зеленой улице.

— Две, — повеселел Жуков. — Две дивизии с крепкими командирами. Мои выдвиженцы, не подведут.

— Это ваши проблемы.

— Значит, все же благословляете, Николай Алексеевич?

— Выбора нет. Или он нас…

— Мы его, — будто клинком разрубил Георгий Константинович нить разговора. С тем и отбыл, заронив в душу мою тревогу и напряженное ожидание.

О дальнейшем знаю со слов Жукова и других товарищей. Обсуждение персонального дела Берии на Президиуме ЦК оказалось для Лаврентия Павловича полной неожиданностью. Приехал есть полбу, а получил по лбу. Он был потрясен, растерялся. Однако растерянным выглядел и самоуверенный обычно толстяк Маленков, который вел заседание. Слишком уж осторожничал. И нашим, и вашим. Вдруг дело повернется не так, как намечено? Если Берия выскользнет из этого вот бывшего сталинского кабинета, он в тюрьме сгноит всех, кто против него. Но и отступать поздно.

Почти все участники заседания выступили с резкой критикой, с обвинениями. Единодушие нарушил лишь Микоян, попытавшийся оставить лазейку для Берии. Он, дескать, учтет все замечания, исправит свои ошибки. Человек опытный, знающий, способный приносить пользу партии и государству. Тут уж Маленков, опасаясь за свою шкуру, совсем сплоховал. Надо было подвести итог, сделать выводы, принять конкретные решения, а он мямлил что-то невразумительное.

Опасная пауза затягивалась. Берия оправился от шока, обрел способность защищаться. Однако Хрущев, быстро оценив ситуацию, поспешил взять инициативу в свои руки: предложил освободить Берию от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров, снять с поста министра внутренних дел. Лаврентий Павлович начал возражать. Повысил тон. Маленков совсем выпустил бразды правления. Губы не слушались. И в этот момент, когда судьба участников заседания висела на волоске, и не только их, но и судьба народа, всей страны, в этот момент Никита Сергеевич нажал тайную кнопку под крышкой стола. Дверь распахнулась. Топая сапогами, вошел маршал Жуков. Следом Москаленко. При виде их сразу воспрял духом Маленков, окреп его голос:

— Товарищ Жуков, как Председатель Совета Министров Советского Союза предлагаю вам сейчас же задержать Берию.

Медленно поднимаясь, Лаврентий Павлович потянулся к своему портфелю, но замер, увидев возле виска ствол пистолета.

— Руки! — скомандовал Жуков. — Руки вверх! Пошли!

Берия застыл как истукан, Жуков подтолкнул его:

— Тебя что, волоком тащить, бугая?! Шагай, гад!

Наиболее опасным в тщательно подготовленной операции оказалось самое последнее действие… Охрану Кремля несли чекисты, преданные своему министру. Они проверяли все въезжавшие и выезжавшие машины, заглядывая внутрь. Стоило бы Лаврентию Павловичу вскрикнуть или хотя бы подать своим нукерам сигнал жестом, мимикой, глазами, стоило охранникам заподозрить что-нибудь, трагедия была бы неизбежной.

Ни генералу Москаленко, ни кому-либо другому не удалось бы умыкнуть Берию из Кремля, кроме маршала Жукова с его известностью и авторитетом. Его знали в лицо, перед ним благоговели. Заглянули в машину, но, увидев маршала, откозыряли и пропустили кортеж.

Есть две версии. По одной из них, Лаврентий Павлович сидел в лимузине министра Булганина между генералами Москаленко и Батицким. Но это было бы слишком рискованно, а Булганин всегда чуждался риска. Он бородку выщипал бы, нервничая. Другое дело Жуков: ему риск привычен, как хрен или горчица к обеду. Выезжая из Кремля, он восседал не на обычном месте, а на жирной туше Лаврентия Павловича, который, с кляпом во рту, со связанными руками и ногами, лежал носом вниз на дне автомобиля, накрытый какой-то портьерой. Хоть и мягко на нем, но не

очень удобно. Особенно, когда Берия на выезде, осознав последнюю возможность вырваться из плена, заворочался под Жуковым, издавая какие-то звуки. И затих, ощутив затылком твердый ствол пистолета. Обошлось без выстрелов.

Лаврентия Павловича отвезли сначала в Лефортово, а затем на улицу Осипенко в бункер-бомбоубежище во дворе штаба Московского округа ПВО: там была подготовлена камера с надежной охраной.

По заведенному порядку, в Министерстве внутренних дел всегда знали, где находится Берия — в любой день и час. А 26 июня 1953 года он исчез незнамо куда. Отправился в Кремль на заседание — и нет его. В министерстве встревожились, принялись искать. Никаких следов, словно в воду канул. А когда начали строить предположения, приближаясь к разгадке, было уже поздно. На Лубянской площади, на прилегающих улицах и в переулках стояли армейские танки с пехотой на броне. Колонну из пятидесяти бронированных машин, по указанию Жукова, привел в центр столицы сам командир дивизии. Другая колонна вытянулась вдоль улицы Горького, хвост ее терялся где-то за Белорусским вокзалом. Гарнизону Лубянки нечего было противопоставить такой силище. Когда из ЦК партии сообщили, наконец, о снятии Берии с должности министра и об его аресте, на Лубянке восприняли это как неизбежность.

Полным хозяином положения стал Никита Сергеевич Хрущев. А Кирилл Семенович Москаленко, рассчитывавший на маршальские погоны, не ошибся — получил их.

Через некоторое время после переворота я услышал на улице озорную частушку:

На Кавказе алыча Не для Лаврентий Палыча, А для Климент Ефремыча И Вячеслав Михалыча…

Без всякого сожаления пелось о перераспределении фруктов.

Следствие по делу Берии длилось без малого полгода. Вел его Генеральный прокурор Советского Союза Роман Андреевич Руденко, с виду человек добродушный, мягкий, но обладавший стальной юридической хваткой и гибкой изощренной логикой. В 1945–1946 годах он был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, показал там свои способности, получил мировую известность. И вот теперь — Берия.

Меня, вернувшегося из «подполья» домой, Руденко пригласил к себе в начале декабря. Это было неприятно. Выступать в качестве свидетеля, засвечивать перед публикой свои отношения с Иосифом Виссарионовичем я никак не хотел. К счастью, обошлось без официальных показаний. Выяснилось, что приглашен я по настоятельной просьбе Лаврентия Павловича, требовавшего встречи со мной.

В штаб округа ПВО отправились вместе с Руденко. По дороге прокурор рассказал, какую тактику защиты выбрал Лаврентий Павлович. Он полностью признал свою вину по отношению более чем к двумстам женщинам, которым навязал свою близость: многим из них тем самым искалечил дальнейшую жизнь… За моральное разложение, да еще при полном раскаянии, могут и не расстрелять. А вот за преступное нарушение законности, за злоупотребления на допросах, за убиение невиноватых — за все это прощенья не будет. Поэтому первое время Берия юлил, открещивался от грехов, ссылаясь на неведенье, на плохую память. Но слишком много было уличающих фактов, и Лаврентий Павлович резко изменил линию поведения.

Роман Андреевич Руденко сказал также, что теперь Берия предъявленных ему обвинений не отрицает, но утверждает следующее: находясь на ответственных постах, не мог, не имел права не выполнять указаний и распоряжений, поступавших сверху, от Сталина. Это — служебная обязанность, как у всех других чиновников разных уровней в любом государстве. Иначе государство развалится. А откажись выполнять — сам пострадал бы. То есть виноват во всем только Сталин, а Берия вместе со своими коллегами по высшему эшелону власти являлся лишь простым исполнителем. А за выполнение приказов подчиненных не судят. Сталин-то на почетном месте в Мавзолее, а он, Берия, в каземате. Где справедливость?

— И что же?

— Формальные выкрутасы, — пожал плечами Руденко. — Не отвертится.

Между прочим, позаимствовав опыт Лаврентия Павловича, его тактику будут использовать вскоре и другие деятели сталинского периода, возвысив ее до стратегии. Тот же Хрущев со своими соратниками, разоблачая культ личности, свалит вину за все ошибки, беды и неудачи на Иосифа Виссарионовича, открестится от сотрудничества с ним. Сталин, мол, преступник, а мы все чистенькие и хорошие. Так что заразительным оказался пример Берии. Но его-то привлекли к ответственности, когда «культ» не был еще разоблачен, когда имя Сталина для многих людей оставалось святыней. А Берия так часто упоминал Иосифа Виссарионовича, так компрометировал вождя, что это коробило даже следователей. Ему посоветовали ссылаться не на Сталина, а на «высшую инстанцию», что он и выполнил. Перемена заметна, когда знакомишься с полусотней томов бериевского «дела» — эти тома пылятся на полках в архиве Главной военной прокуратуры.

Приехали в штаб ПВО. Руденко с начальником караула провели меня через яблоневый сад по дорожке среди будыльев бурьяна к малозаметной двери. Крутой спуск в оборудованное подземелье. Мягкий свет. Пол, застланный линолеумом, на котором слегка скользили подошвы. Коридор со множеством дверей. Самая последняя справа — в камеру Берии. Вошли, поздоровались. Лаврентий Павлович изменился разительно. Обмяк, как полуопустошенный мешок. Подслеповато щурил выпуклые глаза — в целях безопасности у него отобрали пенсне. Но сочувствия я не испытал. Он-то не жалел никого. Не пожалел бы и меня, и адмирала Кузнецова, и других товарищей, окажись мы в его когтях.

— Николай Алексеевич, я хочу только одного, — сказал он. — Прошу справедливости. Есть документы, подтверждающие, что я возражал Сталину, смягчал его распоряжения. Вы же знаете. Есть моя докладная записка по исправлению ошибок ежовщины. Тогда многих выпустили, особенно военных: Рокоссовского, Горбатова, Букштыновича… Правильно?

— Да, — подтвердил я.

— И по делу Михоэлса возражал. Прошу, чтобы такие документы были приобщены к делу. А их нет. Они в сейфе Бекаури.

— За отказ Бекаури открыть вам секрет замков несгораемых ящиков вы его расстреляли, — жестко произнес я.

— Его приговорил суд. У него была и другая вина. Но личного сейфа Сталина нигде нет. И нет оправдательных бумаг. Как найти их?

— Не знаю.

— Николай Алексеевич, не лишайте последней надежды. Куда увезли сейф? Кому он нужен?

— Миллионам людей. И сейчас, и в будущем. Самой истории.

— Николай Алексеевич, где он? Вам же известно!

— Нет! — я произнес это настолько категорически, что Лаврентий Павлович опустил голову и вопросов больше не задавал.

18 декабря 1953 года Берия и шестеро его соучастников по государственным преступлениям предстали перед Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР. Председательствовал маршал Конев. Членами этого специального суда были Шверник, Москаленко и еще несколько человек, представлявших партию, профсоюзы, общественность. Георгий Константинович Жуков участвовать в следственном процессе и в судебном разбирательстве категорически отказался, формально ссылаясь на то, что он лицо заинтересованное, не может быть объективным: сам преследовался Берией, а затем арестовывал его. А вообще-то еще раз проявилось различие между самостоятельным полководцем Жуковым и военно-политическим деятелем Коневым. Георгий Константинович сделал главное: в самый ответственный и рискованный момент приставил пистолет к виску Берии, вывез его из Кремля и изолировал в камере. Осуществил, можно сказать, бескровную революцию. Много лет Берия и Абакумов собирали на Жукова, на своего грозного соперника, компромат, убеждали Сталина, что маршал готовит антиправительственный заговор. Не убедили. И в этом сражении Георгий Константинович одержал победу: не его арестовал Лаврентий Павлович, а наоборот, Берия и Абакумов оказались в тюрьме. И не нужно суетиться, размениваться по мелочам — теперь и без Жукова справятся. А для Конева, который всегда чутко улавливал веяния с главных вершин, логично было воспользоваться ситуацией, дабы продемонстрировать свою преданность новой власти, Хрущеву и его окружению. И рассчитаться за прошлое. За осень сорок первого года, когда вся ответственность за разгром наших войск на дальних подступах к столице свалили на Конева, и Жуков буквально вытащил Ивана Степановича из когтей Берии, поручившись за него перед Сталиным, после чего Конева не только не расстреляли, но и поставили командовать Калининским фронтом. За сорок седьмой год, когда Конев, будучи заместителем министра Вооруженных сил, отстранил от должности командующего военным округом генерала Масленникова, не посчитавшись с тем, что генерал этот выходец из НКВД, выдвиженец Берии. И опять судьба Конева висела на волоске, мстительный Лаврентий Павлович ждал момента, дабы расправиться с прославленным маршалом… Не дождался.

23 декабря суд огласил решение: смертная казнь. После закрытия заседания Иван Степанович Конев вручил генералу Батицкому письменное распоряжение привести приговор в исполнение. Расстреляли Берию в тот же вечер, в 19 часов 50 минут, в том бункере-бомбоубежище, куда привозил меня прокурор Руденко. Стрелял Павел Федорович Батицкий, «правая рука» Москаленко, приверженец Хрущева и, естественно, в скором будущем маршал. Выпустил, насколько я знаю, несколько пуль из трофейного парабеллума.

Сразу после казни присутствовавшие при этом прокурор Руденко и генерал Москаленко вместе с Батицким от руки написали акт о том, что решение суда исполнено, и скрепили документ тремя подписями — повязали себя, как и Конев, кровавыми узами с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Настолько прочными, что все четверо не могли не поддержать Хрущева, когда тот решился на то, на что не пошел даже Сталин:

отстранил независимого и непредсказуемого маршала Жукова от воинской службы, изолировал от окружающих, учинив для него фактически домашний арест. Сиди, мол, на даче и огород разводи.

А с Берией наши умники поступили так. Труп его сожгли в крематории, а пепел развеяли, чтобы не осталось никаких следов от злодея, чтобы не было могилы, привлекавшей сторонников и последователей Лаврентия Павловича или, наоборот, его ненавистников — для глумления. Нет официального документа, нет места захоронения. Перестарались исполнители, создав еще одну тайну-загадку, питательную среду для предположений и домыслов. Поползли различные слухи. Начиная с того, что Лаврентий Павлович убит был без суда и следствия прямо в день ареста (такой страх он внушал), и кончая тем, что Берия не был расстрелян, его тайно вывезли в Аргентину, где он продолжает здравствовать. А я задался вопросом: почему именно туда, а не в Мексику или, скажем, в Бразилию? Потому, вероятно, что об Аргентине знают у нас слишком мало: какая-то далекая страна, покрытая дикими джунглями, в которых укрываются диктаторы и вообще высокопоставленные преступники: Гитлер, Борман, Берия и еще черт знает кто. В какой-то отстойник для международной нечисти превратила молва самое обычное и ни в чем не повинное государство.

33

Дворцовые перевороты всегда оплачиваются кровью: большой ли, малой ли, но обязательно. Тот, кому суждено победить, ликвидирует своих противников, а зачастую и наиболее активных соратников, вместе с которыми шел к успеху, но которые отныне либо превращались в его конкурентов, либо знали о победителе слишком много такого, что не соответствовало светлому образу нового господаря.

Хрущевский переворот, свершенный летом 1953 года, имел одну весьма существенную особенность. У Никиты Сергеевича не имелось непримиримых врагов, ему потребовалось лишь спихнуть с капитанского мостика и утопить несколько старых приятелей, соперничавших с ним в стремлении взять всю власть в свои руки. Хитроватый мужичок, выбрав удачный момент, первым пошел на риск и выиграл короткий, но очень опасный бой, устранив не противников, а своих же товарищей, сотрудников, даже некоторых собственных выдвиженцев. Не потому, что они намеревались сопротивляться воцарению Хрущева, — нет, они продолжали бы работать при нем, как работали прежде, но в принципе представляли потенциальную угрозу тем замыслам, тем планам, которые вынашивал Никита Сергеевич. Они связывали его старыми путами, ограничивали его маневр, рано или поздно могли причинить большой вред.

Принимая на себя высшую партийную и государственную власть, Хрущев становился преемником, наследником не только великих достижений сталинской эпохи, но и всех темных ее сторон, всех утрат, которые понесены были первопроходцами социализма на неизведанном ухабистом пути. На первое Хрущев был, конечно, согласен, но как быть с утратами? Тем более что не со стороны явился, сам долгое время правил второй по величине республикой Союза, сам наломал немало дров, перегибал палку, демонстрируя Сталину такое усердие, которое даже Иосиф Виссарионович считал порой чрезмерным, одергивал слишком уж

старательного эпигона. Не потускнела еще тень собственных грехов Никиты Сергеевича.

Понимал Хрущев, что твердо и ровно вести огромную, многообразную страну к намеченной цели, как это делал Сталин, он просто не способен. Силенки не те. И ум маловат, и характер мелковат: Федот, да не тот. И вообще, зачем ему тащить хоть и великолепный, но тяжелый крест передовой державы мира, устремленной в будущее? В своем дворе управиться бы. На это, считал Никита Сергеевич, его хватит. Отсюда вывод: спишем все грехи на Сталина, свалим на него все ошибки и жертвы, отряхнем старый прах не только с ног, но и со всего мундира. А очистившись, продолжим историю с новой страницы. Не с красной, а этак с розоватой, спрыснутой либеральным одеколоном.

Ко всему прочему, Никите Сергеевичу с его мелкотравчатой натурой, как и многим подобным ему обывателям, доставляло удовольствие хоть разок самоутвердиться, показать себя, отважно харкнув в то прошлое, которое породило и выпестовало его, воспитывая и пряником, и кнутом. Ну, за пряники, может, и спасибо, а за кнут вот вам — смачный плевок в спину. Персонально от Хрущева — за те взбучки, которые получал от Сталина, за уязвленное самолюбие, за отцовскую тоску по расстрелянному сыну-предателю. Вознамерился поплясать на костях мертвого вождя, поглумиться над ним, втихаря готовя к очередному съезду партии доклад о разоблачении культа личности. Однако в том хоре, который создал и которым руководил Иосиф Виссарионович, сам Хрущев тоже был не только заметным солистом, но и одним из главных помощников дирижера. Конечно, деятельность руководящей элиты документально оформлялась и отражалась почти безупречно. Официально — безгрешность. Это была лишь вершина айсберга, наибольшая и самая темная его часть находилась под водой, отраженная только в секретных документах, запечатленная в памяти сведущих людей из МВД — МГБ.

Ну, компрометирующие документы можно собрать, бросить в огонь. Этим займется надежный генерал Иван Серов, возглавлявший госбезопасность на Украине, а теперь вызванный в Москву. А вот из памяти тех, кто по долгу службы знал нижнюю часть айсберга, темные пятна не сотрешь, не вытравишь. Разве что вместе с самой памятью, то есть с ликвидацией ее носителей. И вот после переворота, после смерти Берии, полетели головы многих работников под предлогом того, что они сотрудничали с Лаврентием Павловичем. Не имело значения, как человек относился к Берии, важна была формальная зацепка для того, чтобы устранить знающих свидетелей. Расстреляли сторонников Лаврентия Павловича, таких, как Кобулов, Мешик, Меркулов. Однако подобная же участь постигла противника Берии — Абакумова, помощника, но отнюдь не рьяного сторонника, Гоглидзе и многих других ветеранов особых органов. Отличного разведчика Судоплатова упрятали в одиночную камеру на пятнадцать лег. Да разве только его! Хрущев безжалостно убирал всех, кто представлял хоть какую-то опасность новому вождю, — прямо как Иосиф Виссарионович в свое время. В этом отношении ученик оказался вполне достойным своего учителя и даже пошел дальше. Ведь Сталин не завещал перед смертью: «Сваливай все на меня, а делай — как я». Хрущев сообразил сам.

Лес, значит, после переворота рубили в очередной раз, щепки при этом летели соответствующим образом. И тут возникает вопрос: как же в горячке массового истребительно-профилактического мероприятия уцелел

один из видных ведущих работников особых органов с довоенным стажем, побывавший на посту заместителя министра внутренних дел и на посту заместителя министра государственной безопасности, уже знакомый нам генерал Василий Степанович Рясной?! Лес свалили, а этот дуб остался стоять как ни в чем не бывало, один среди новой поросли. Хрущев не только полностью доверял своему соратнику, но и нуждался в таких надежных помощниках — исполнителях замыслов: тех замыслов, которые не доводятся до сведения широкой публики.

Утвердившись во власти, Никита Сергеевич выдвинул Рясного на пост начальника Управления внутренних дел города Москвы: одним точным выстрелом убил столько зайцев, что сразу и не сосчитаешь. Однако попробуем. После дезорганизующей бериевской амнистии столица наводнена была всякой дрянью: бандитами, спекулянтами, проститутками, хулиганами, мелким жульем. Новый правитель страны для утверждения своего авторитета просто обязан был вымести отовсюду, прежде всего из Москвы, уголовный мусор, по возможности сгноить или сжечь его. А у кого большой опыт в таких делах? Это ведь Рясной решительно боролся с бандитизмом в Западной Украине, крутыми мерами наводил порядок во Львове, ему и карты в руки.

Генерал-лейтенант Рясной новое задание партии и правительства выполнил очень успешно, за короткий срок ликвидировал в столице уголовщину, сведя преступность на самый низкий, на бытовой уровень, который непредсказуем и избавиться от которого практически невозможно. Спасибо за это большое Василию Степановичу. Орясина-то орясина, а вот сумел. Люди вздохнули спокойно, старички безбоязненно прогуливались по вечерам, а влюбленные пары опять до утра не исчезали с улиц и скверов.

Еще. В послевоенной Москве обострился жилищный кризис. Требовалось строить быстро и много. Во всех управленческих звеньях нужны были руководители, имевшие тягу к строительству и знавшие, как это делать. А Рясной в недавнем прошлом прокладывал автомагистраль Москва — Симферополь, был начальником строительства Волго-Донского канала. Его знания и практический опыт пригодились в столице. Помните, как быстро росли пяти- и девятиэтажные дома, с какой радостью переселялись в отдельные квартиры обитатели коммуналок! Рясной и в это полезное дело внес свою лепту, активно содействуя строителям, ломая бюрократические преграды, возникавшие перед ними.

Такая вот общественная польза была от Василия Степановича. Однако оборотимся от очевидного к подспудному. Рясной, безусловно, знал, кто и почему спас его от горькой участи всех высокопоставленных коллег по Министерству внутренних дел, и госбезопасности, кто уберег его от суда, от расстрела или тюрьмы. Под надежным крылом находился генерал, поэтому и служить своему хозяину обязан был верой и правдой, оберегать, как самого себя, и даже еще пуще. В лице начальника столичного Управления внутренних дел Хрущев обрел силу, всегда готовую защищать лично его, Никиту Сергеевича. В распоряжении Рясного находилась не только милиция, но и части внутренних войск, агентурная сеть, пожарные команды и ряд других важных структур. К тому же полная информация о том, что происходит в Москве и Подмосковье, вплоть до настроения в различных слоях общества.

Ну и, пожалуй, последний по счету, но не по значимости, «заяц», который был очень важен для Хрущева. И для меня тоже. Произошло

событие, вызвавшее мое беспокойство, подвигнувшее еще и еще раз возблагодарить Бога за то, что сподобил меня держаться всегда незаметно, не заводить знакомств, не раскрываться. Лишь поэтому мало кто знал о степени моей близости к Иосифу Виссарионовичу. Видели, появлялся некто возле Сталина, но существенных ассоциаций это не вызывало. И все же встревожился я, когда узнал: по негласному поручению Хрущева генерал Рясной разыскивает личный архив Сталина. Причем очень настойчиво.

Понять Никиту Сергеевича было нетрудно. По его инициативе в недрах ЦК партии готовился к съезду пока еще секретный доклад с разоблачением культа личности Сталина, с осуждением его беззаконий, жестокости, ошибок — то есть намечена крупнейшая политическая акция с целью свалить все беды на умершего вождя, откреститься от него, обелив себя и выплеснув на предшественника всю грязную воду. Пусть отныне все камни критики колошматят по гробу покойника. Но не рискованно ли затевать очистительную операцию, когда у самого Хрущева рыло в пуху, когда не рассеяна черная хмарь собственных преступлений, — документальные подтверждения находятся неизвестно где и способны всплыть в любое время, а всплывши, смыть все замыслы Никиты Сергеевича, может, даже вместе с ним самим. Это заставляло Хрущева осторожничать с выпадами против Сталина. Он торопил своих людей, искавших и уничтожавших опасные для него документы. В Киеве и в Москве «чистились» архивы. Свидетели были убраны. Но оставался еще личный архив Сталина, наиболее страшный для Хрущева и его соратников. Там хранились досье на каждого из них. А что в этих папках? Пока они не окажутся в руках Никиты Сергеевича, он не мог чувствовать себя уверенно и спокойно. Какое спокойствие, когда сидишь на мине, способной взорваться!

Еще в 1953 году Хрущев создал комиссию по архиву Сталина, назначив себя председателем. То есть взял это направление полностью под свой контроль. Комиссия фактически не работала, зато Хрущев имел возможность действовать вроде бы не от себя лично, а от ее имени. Где сталинское хранилище, где пресловутый бекауриевский сейф, о котором с раздражением говаривал Берия? Сгинуть бесследно несгораемый шкаф не мог. Значит, надо искать. Активно, но не поднимая шума. Пусть занимается этим генерал Рясной, который из кожи должен лезть, чтобы отблагодарить своего заступника. Тем более что с февраля 1952 года и до смерти Сталина генерал Рясной ведал правительственной охраной, вхож был в помещения, где жил и работал Сталин, знал обслуживавших его людей. (Это действительно так: несмотря на скрытность и самоизоляцию Иосифа Виссарионовича, на замкнутость его приближенных, Рясному удалось выяснить кое-что, хотя, разумеется, далеко не все. — Н. Л.) Во всяком случае, Рясному известны были некоторые нити, способные привести к желанной цели. А возможности для поисков у начальника столичного Управления внутренних дел были неограниченные, он мог использовать любые средства, любых специалистов и производить это в служебном порядке, не привлекая постороннего внимания.

Я в ту пору, отстранившись от всяких дел, ничем не проявляя себя, коротал время на даче или в городской квартире, разбирая старые бумаги, делая кое-какие записи. Изредка виделся с Будённым, с Жуковым, с адмиралом Кузнецовым и генералом Беловым. Поддерживал связь с некоторыми товарищами, продолжавшими работать на высоких постах. Их

сообщения, а также логика и интуиция помогали мне следить за действиями Рясного и даже предугадывать его поступки. Изобретательностью он не отличался, но в последовательности ему не откажешь.

Вместе со своими помощниками генерал-лейтенант Рясной «профильтровал» все бумаги, вывезенные на Лубянку после смерти Иосифа Виссарионовича из его кремлевской квартиры, из кабинета и с кунцевской дачи. Там имелись документы, представлявшие интерес для истории: рукописи, черновики речей, постановлений, указов и приказов, наброски планов. Были письма. Вырезки из газет и журналов. Книги с пометками на полях. Нужный материал для исследователей, но совсем не то, что требовалось Хрущеву. Эти бумаги после отработки были переданы в ЦК партии, в ведомство Суслова.

Производился опрос обслуги, охранников: кто что видел, знает или предполагает? При этом никто не смог назвать даже дату, когда был вывезен из Кремля бекауриевский сейф. И уж тем более — кто его увез и куда.

Вспомнили о том, что из официальных лиц первым после смерти Сталина в одиночку побывал на Ближней даче Дмитрий Тимофеевич Шепилов. Составил там, в частности, опись имущества Иосифа Виссарионовича. Хрущев побеседовал с Шепиловым без свидетелей, но эта беседа не удовлетворила Никиту Сергеевича, если и рассеяла его предположения, то не все. Надо сказать, что Хрущев, в общем-то разбиравшийся в людях, относился к Дмитрию Тимофеевичу весьма уважительно, ценил его ум, образованность, организаторские способности, искреннюю веру в коммунистическое будущее человечества. Однако после упомянутого разговора с Дмитрием Тимофеевичем заметно охладел к нему, отодвинул подальше, а в конечном счете приписал к антипартийной якобы группе. И не просто включил в ее состав наряду с Молотовым, Кагановичем, Маленковым, Булганиным и Ворошиловым, но с насмешливо-уничижительной формулировкой: «и примкнувший к ним Шепилов». Вот и вошел в историю Дмитрий Тимофеевич не по своим заслугам, а только как человек «с самой длинной фамилией». Умел мстить Никита Сергеевич.

Мысль о пухлом досье, в котором собраны сведения не столько о достижениях Хрущева, сколько о порочащих его или сомнительных фактах, вызывала, вероятно, боль в большой бритой голове Никиты Сергеевича. Он ощущал, улавливал тягостное притяжение злополучной для него папки, она действовала как слабый, но постоянный магнит, дающий возможность стрелке прибора указывать лишь общее направление поиска, но не точное место. Не случайно же обзавелся Хрущев дачей в том прекрасном районе, где Истра впадает в Москву-реку. Проводил там много времени, построил большую плотину с проездом для машин, которая не только подняла уровень воды, но и соединила берега Москвы-реки, открыв прямой путь Никите Сергеевичу к Жуковке, Усову, Калчуге, к Знаменскому, к лесному массиву, укрывавшему дачу его сподвижницы Екатерины Фурцевой, обиталища еще ряда деятелей сталинского и хрущевского периодов. «Мы с тобой два берега у одной реки», — напевал Никита Сергеевич, прогуливаясь по этим местам. Тянул магнит.

Мне, между тем, стало известно, что люди Рясного с миноискателями и металлическими щупами обследуют территорию Ближней и Дальней дач,

даже за оградами той и другой. Я в общем понял главную ошибку Рясного: он шел сложным путем, считая, что такую ценность, как бекауриевский сейф, упрячут очень хитро. Подобным образом поступил бы он сам. Не дорос генерал до понимания того, что самая большая сложность — в простоте. Только прийти к простому решению очень трудно. Шкатулка баснописца Крылова тому пример.

Читатель вправе поинтересоваться, как это я, устранившийся от дел, мог все же знать почти каждый поступок Рясного в его поисках сталинского архива. Ну, раскрывать все способы не буду, напомню лишь, что в разных звеньях партийно-государственного аппарата продолжали работать мои давние знакомые-единомышленники, а также их родственники, их друзья-приятели. Не обязательно называть фамилии. А вот один источник, сугубо личный, раскрыть могу. Из своих детей Василий Степанович Рясной особенно любил дочь, если не ошибаюсь, младшую — она была на несколько лет моложе моей. Для Рясного — и радость, и слабость его. Наши девочки познакомились в спортзале, выступали за одно спортивное общество и не то чтобы дружили, но довольно часто встречались в одной компании. Собирались молодые люди чаще всего у Рясного в Серебряном бору — не хотел генерал отпускать свою любимицу далеко от дома. И вот именно от нее моя дочь услышала, что отец, то есть Рясной, разыскивает какого-то бывшего царского офицера, рассчитывая узнать от него нечто весьма важное. Это насторожило меня: очень густую сеть забросил Рясной, она могла причинить серьезные неприятности.

Недели через две, в самый разгар лета, моя дочь, смекавшая что к чему, сказала: завтра их компания едет в село Знаменское купаться и загорать. Не на паровике от Белорусского вокзала до Усова, а в автомашине, в небольшом автобусе. Отвезет туда сам Василий Степанович. Пока молодежь будет отдыхать, навестит там одного человека. Вероятно, того самого, которого искал… Да уж, не повез бы генерал Рясной компанию в Знаменское, не имея для этого веских причин. Насчет купания и загорания — версия для простаков: чем плох пляж возле дома в Серебряном бору, где и водный простор обширен, и вид красивый, и воздух напоен запахом хвои. Какой смысл от таких щедрот сорок верст киселя хлебать, менять шило на мыло? А вот прикрытие — выезд молодежи на отдых в выходной день — это придумано хорошо. Ходи по селу, смотри, разговаривай: в любой дом можно завернуть, хотя бы водицы напиться.

Кого же зацепил своей сетью Рясной? В самом центре села, наискосок от церкви, обосновался в небольшом, не лишенном скромного изящества доме пожилой человек, военный инженер царской армии, а затем офицер армии советской — В. Гудков. Вышедши в отставку в звании полковника, он получил земельный участок, который использовал для себя лишь частично, обустроив дом, взрастив сад, посадив вдоль забора кусты и деревья. А правее дома по своим чертежам и в основном на свои средства Гудков возвел гранитный обелиск в честь жителей Знаменского, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Не просто обелиск, а нечто вроде часовни с небольшим помещением внутри. На стеле начертаны фамилии погибших, в часовенке висят их фотографии. Много. Почти семьдесят. Сюда приходят родственники помянуть усопших, помолиться за них. Возле обелиска торжественно принимают в пионеры детей не только из ближних школ, но и со всего Одинцовского района. Местные молодожены начинают отсюда свой общий путь в будущее, испросив благословение отцов, дедов, прадедов, отдавших жизни свои за Отчизну.

Добропорядочный человек этот полковник Гудков, хотя внешне слишком уж строг, суховат, замкнут. А то, что Рясной вышел на него в своих поисках, ничего хорошего старому офицеру не сулило. Да и дальше ниточки могли потянуться. Значит, пришло время вмешаться, напомнить, что любой руководящий деятель живет не в вакууме, что тех, кто слишком зарвался, можно и нужно осаживать. Короче говоря, на столе Хрущева оказался запечатанный пакет, адресованный лично Никите Сергеевичу. А в пакете — несколько документов, способных освежить его память. Это — две выдержки из двух выступлений Хрущева, опубликованных в газете «Известия» 31 января и 17 марта 1937 года: Никита Сергеевич обильно подливал керосин в разгоравшееся пламя репрессий.

Первая цитата — клятва в преданности вождю, превознесение его до небес и даже выше. «Подымая руку против тов. Сталина, они (участники троцкистского блока Пятаков, Радек, Сокольников и другие. — Н. Л.) подымали ее против учения Маркса — Энгельса — Ленина! Подымая руку против тов. Сталина, они подымали ее против всего лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин — это надежда, это чаяния, это маяк всего передового и прогрессивного человечества. Сталин — это наше знамя! Сталин — это наша воля! Сталин — это наша победа!»

Нижеследующая выдержка свидетельствует о том, с каким тщанием и энтузиазмом первый секретарь Московской партийной организации Хрущев стремился к тому, чтобы в столице не притупилась до предела отточенная бдительность, чтобы не иссяк поток арестантов, заполнявших тюремные камеры.

«Некоторые директора и даже наркомы неправильно думают, что у них не было и нет вредительства. Такими настроениями, в частности, заражены руководители наркомата легкой промышленности. Сидит иногда человек, копошатся вокруг него враги, а он не замечает и пыжится: у меня, мол, в аппарате вредителей нет, чужаков нет. Это от глухоты, слепоты политической, от идиотской болезни — беспечности, а вовсе не от отсутствия врагов».

Прямое науськивание! Ищи и обрящешь. Ату его!

Для полноты картины в пакете, оказавшемся на столе Никиты Сергеевича, имелись документы, свидетельствовавшие о его «подвигах», о его чрезмерном усердии на посту руководителя украинской партийной организации. Например, стихотворение Владимира Сосюры «Люби Украину», присланное Сталину с сопроводиловкой — доносом Хрущева о необходимости заклеймить поэта как националиста, начав этим соответствующую кампанию по всем республикам. Принять самые крутые меры к враждебной и колеблющейся интеллигенции. Сосюра же будет арестован, как только выйдет из беспробудного запоя, в котором пребывает вторую неделю.

Здесь же письмо Сосюры на имя товарища Сталина со словами: «Отец, не убивай своего сына!» На этом листке резолюция Хрущева, клеймящая двурушника и приспособленца, то есть безусловный приговор поэту. И четыре размашистых слова Иосифа Виссарионовича: «Товарищу Сосюре жизнь сохранить».

Вместе с официальными бумагами в пакете находилась записка, напоминавшая Никите Сергеевичу о длинном перечне врагов народа, подлежавших ликвидации, который был прислан Хрущевым из Киева в Москву и оказался столь обширным, что заставил усомниться Иосифа Виссарионовича и вызвать инициатора в Кремль. «Неужели на Украине у

нас столько противников?» — «Их значительно больше, еще не все выявлены, продолжаем выявлять…» Ну и вопрос: а не является ли сам Хрущев одним из главных вдохновителей и организаторов тех чрезмерных репрессий, которые он теперь сваливает на одного Сталина? И целесообразно ли рыть яму для других, с риском самому свалиться в нее? В свете доклада Хрущева о культе личности, в свете решений XX и XXI съездов партии документы, полученные Никитой Сергеевичем, говорили сами за себя. Он оказался достаточно сообразительным, чтобы понять: дальше может быть хуже, на него самого обрушится бочка грязи не меньшего объема, чем обрушил он на голову Сталина. Накал «разоблачительства» заметно снизился. Поиски личного архива Иосифа Виссарионовича были прекращены или переведены в другую, более закрытую плоскость. Во всяком случае, генерала Рясного, не справившегося с особо доверительным заданием, Хрущев от поисков отстранил и, разочаровавшись в нем, убрал с глаз долой. Василия Степановича сняли с должности начальника столичного Управления внутренних дел и, как водится в таких случаях, «бросили на низовку», послали налаживать работу одного из дорожно-строительных трестов. Он долго и скромно трудился там, никому не рассказывая о своем бурном прошлом. А ему больше многих других было о чем рассказать.[115]

34

30 октября 1961 года XXII съезд КПСС, заседавший в Кремлевском дворце, по предложению некоего Спиридонова из Ленинградской партийной организации, принял решение вынести из Мавзолея тело Иосифа Виссарионовича Сталина. Для меня это не явилось ошеломляющей новостью, я ожидал какой-либо подобной мерзости от мстительного Хрущева и его прихлебателей, которыми он окружил себя, захватив государственный трон. Горлопанов-лизоблюдов, готовых заслужить милость нового руководства, всегда найдется немало. Как и лиц, «недооцененных» и «обиженных», по их мнению, прежде и жаждущих реванша на переломном этапе. Плюс родственники тех, кому крепко досталось при Сталине по их «заслугам» или при допущенных в борьбе перехлестах. Они тоже включились в хор критиканов.

Какой только яд не источали внутренние эмигранты, судачившие в узком кругу на своих кухнях под аккомпанемент зарубежных антисоветских радиовещаний, тайком почитывая литературную стряпню, распространяемую по той же «кухонной» системе! С гадливыми усмешками муссировали слух о том, что у Сталина, прежде чем бальзамировать труп, отрезали половой член, поместив его в сосуд с формалином, который хранится теперь в одном из НИИ Четвертого кремлевского управления (медицина). При вскрытии тел других деятелей оставляли часть мозга или тот орган, который пострадал от болезни, послужил причиной смерти. Для возможных дальнейших исследований. А от великого вождя сохранили гениталии, сочтя их особенно важными для данного субъекта. Гы-гы и хи-хи!

Однако и такого глумления мало тем, кто бесовски пляшет на трупах. Вынашивается новая «идея» — сжечь, испепелить все останки известных революционеров, начиная с Ленина и Сталина, и не только их тела, но и те органы, которые содержатся в медицинских хранилищах, а пепел развеять, чтобы ничего материального не осталось. Мавзолей разрушить.

Могилы заровнять. Даже научную платформу подводят под эту «мысль». Зарубежные ученые, дескать (ах, какие же там умы — в богатой Америке, в благословенном Израиле!), оживили тритона, пролежавшего тысячи лет в вечной мерзлоте. А в будущем намерены восстанавливать, воссоздавать живые существа, в том числе и людей, из сохранившихся клеток. Скоро начнут выращивать мамонта из мяса этого гиганта, труп которого уцелел во льду на Таймыре. А там и человек на очереди. Вдруг и до Сталина доберутся: тайком в лаборатории возродят и вырастят этого страшного деспота, который не пощадит никого из своих противников. Не случайно, значит, коварные коммунисты-сталинисты бережно хранят труп Иосифа Виссарионовича в Мавзолее. Есть с чего начинать.

Что можно предположить после таких слухов и домыслов, которые, кстати, не пресекались и не опровергались официально партийно-государственным руководством, а даже наоборот: молчаливо поощрялись этим руководством, генералами от пропаганды, ответственными за обработку и подготовку общественного мнения. Вот и результат — решение XXII съезда о перезахоронении Иосифа Виссарионовича.

Мне позвонил помощник Николая Михайловича Шверника и сообщил о случившемся, о результатах голосования. И что самому Швернику, как председателю Комиссии партийного контроля ЦК КПСС, поручено возглавить комиссию по перезахоронению, которое состоится, скорее всего, завтра. Я тут же собрался и отправился на Красную площадь. Ничего сделать, конечно, не способен, но и дома оставаться не мог. Хоть посмотреть, что там. День был холодный, промозглый, с угнетающе-низкими беспросветными тучами. Множество людей потерянно бродили по площади, молча грудились возле Мавзолея, у края гостевых трибун. Никто ничего толком не знал, иные говорили, что Сталина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой либо где-то здесь, у Кремлевской стены.

Несколько другой была обстановка на площади на следующий день — 31 октября. Столь же гнетущая погода. Но людей собралось значительно больше. Присутствовали, наверно, сторонники принятого решения, но они боялись торжествовать, проявлять себя, опасаясь всеобщего гнева. Помалкивали. А подавляющее большинство выказывало возмущение. Как так, почему решили без обсуждения с массами, не спросив общего мнения? Сталин был вождем не только партии, но и всей страны, всех населяющих ее народов, нам всем и давать окончательную резолюцию. Голоса звучали все громче и резче. Обстановка накалялась, мог последовать взрыв. Но тут появились милиционеры и начали вытеснять людей с площади, объясняя: в 18 часов все входы и выходы будут перекрыты, так как намечена репетиция войск Московского гарнизона перед праздничным парадом.

О том, что и как происходило на самом деле, подробно рассказал Николай Михайлович Шверник, навестивший меня несколько суток спустя. Не то чтобы покаяться приезжал, а просто выговориться, облегчить душу перед давним знакомым — ровесником. Как всегда ухожен, аккуратно одет, коротко пострижен, а голова совершенно седая, подковообразные «ждановские» усы тоже, и от бывшей строго-горделивой осанки ничего не осталось. Обмяк, плечи опущены. Иосифа-то Виссарионовича знал он еще с 1905 года, были соратниками-друзьями, но вот Хрущев додумался: не спросив мнения Шверника, зловредно выдвинул его возглавлять похоронную комиссию. Съезд, естественно, поддержал — многие ли

делегаты разбирались в тонкостях взаимоотношений, особенно молодые?! И вот пришлось Николаю Михайловичу на восьмом десятке лет выполнять поручение, которое морально, да и физически, подавило его.

Записываю то, что сказал мне Шверник, со всеми запомнившимися подробностями. Для истории.

В середине дня 31 октября в Кремль, в Управление личной охраны, были вызваны командир Кремлевского полка Ф. Конев и начальник хозяйственного отдела полковник Б. Тарасов. Им было приказано выделить одну роту, подготовить все необходимое для выноса тела Сталина из Мавзолея и предания земле за Мавзолеем у Кремлевской стены.

Когда стемнело, в 19 часов, солдаты огородили фанерой место, где намечено было вырыть могилу, и установили прожектор для освещения. Через два часа могила была готова. К ней поднесли десять железобетонных плит размером 100 на 75 сантиметров. Восемь опустили в могилу, соорудив из них подобие ящика-склепа. Двумя оставшимися предполагалось накрыть гроб.

В то же самое время научные работники и офицеры комендатуры Мавзолея перенесли тело Сталина из саркофага в деревянный, обшитый красной материей гроб, установленный в помещении рядом с Траурным залом. Срезали золотые пуговицы с мундира Иосифа Виссарионовича, заменив их латунными. Для чего? Не положено хоронить с золотом? Или из-за опасения хищных грабителей, способных ради желтого металла осквернить чью угодно могилу? Затем нижнюю часть тела накрыли темным покрывалом, не скрывавшим грудь и лицо.

В 22 часа прибыл Шверник с членами похоронной комиссии. Ни родственников, ни журналистов — никого посторонних. Разговоры вполголоса. Все чувствовали себя если не преступниками, то святотатцами, исполнителями чужой неправедной воли. Особенно, повторюсь, угнетен был Шверник, которому выпала тяжкая участь руководить перезахоронением своего старого друга-соратника.

Шверник кивнул и склонил седую голову. Гроб закрыли крышкой, и тут случилась заминка. Все вроде бы предусмотрела комиссия, но упустила мелочь: забыли про гвозди. Заколачивать нечем. Полковник Б. Тарасов срочно послал за ними. Этот хозяйственник, кстати, по словам Николая Михайловича Шверника, чувствовал себя спокойней и увереннней других, он в общем-то и распоряжался.

Восемь офицеров подняли гроб, вынесли его через боковой выход из Мавзолея прямо к могиле и опустили на подставки. Как раз в эти минуты по Красной площади шла боевая техника, назначенная к параду. Участники этой тренировки не подозревали о том, что делается рядом, за Мавзолеем. Но в случае какого-либо инцидента могли немедленно выполнить любой приказ командования.

Гул и грохот техники заглушали слова. Да их и вообще почти не было. Шверник снова кивнул, Тарасов поднял руку, и гроб медленно, бережно опустили в могилу. Прожектор освещал бледные от волнения лица, блестевшие слезами глаза. Часы показывали 22:15.

Требовалось накрыть гроб двумя оставшимися железобетонными плитами, замуровав склеп, но тут неожиданно воспротивился полковник Тарасов. Заявил: не надо придавливать гроб, а по-русски, по-православному следует засыпать его землей. Шверник не стал возражать. Тут же, вопреки намеченному порядку, не предусматривавшему никаких

ритуальных действий, один из офицеров взял горсть земли и, поклонившись, высыпал ее на крышку гроба. Этому последовали все остальные, в том числе Тарасов с Коневым: совершили обряд, не убоявшись недовольства Хрущева, которому, безусловно, доложат все подробности. К тому моменту, когда солдаты уложили на свежую могилу плиту с датами рождения и смерти Сталина (бюст появится потом. — Н. Л.), на Красной площади закончилось прохождение войск Московского гарнизона. Парад завершился. Погасли прожекторы. Сгустился осенний мрак. Наступила глухая зловещая тишина.

* * *

«Добродетель и вера, предписанные правительством, уже не вера и не добродетель; их начинают ненавидеть».

Жорж Санд

И вот я снова на знакомом, хоженом-перехоженном проселке, что бежит по опушке леса от Первого поста в сторону Знаменского. Один; без Иосифа Виссарионовича, без всякой охраны — сам по себе. Палочка в правой руке — трудно стало передвигаться без нее, с годами расстояния делаются все длиннее. Шагал не спеша, присаживаясь отдохнуть то на пенек, то на поваленное дерево. Погожий августовский вечер был очень тих, умеренно прохладен, не угнетал духотой. Прозрачный воздух чуть колебался вдали за рекой, придавая перспективе некую миражность.

Когда спустился с лесистой возвышенности на обширный луг, оставив слева коровью ферму, а справа бор, в котором скрывалась бывшая дача Василия Сталина, начали уже наползать медлительные летние сумерки, небесная голубизна приобрела розовато-зеленый оттенок, на этом почти бирюзовом фоне все резче проступали очертания двуглавой Знаменской церкви с купами окружавших ее деревьев. Над темными проемами звонницы, над провалами крыши, над покосившимся крестом засветился молодой прозрачный месяц, усиливая васнецовскую сказочность пейзажа.

Легкая грусть владела мною, и я решил дойти (может, в последний раз?!) до Катиной горы, где так часто бывали мы с Иосифом Виссарионовичем. Он, как и я, очень любил этот уголок нетронутой природы, эту непаханную возвышенность над рекой, с многообразным разнотравьем под медовыми соснами, с густым запахом полевых цветов в теплые дни. Сталину, наверно, нравилась еще и орлиная высота, в какой-то мере подспудно напоминавшая ему Кавказ. Я предлагал объявить Катину гору микрозаказником, взять под охрану ее уникальную растительность. Иосиф Виссарионович был согласен. Но не успели.

Мы, помнится, побывали здесь в самом начале войны, когда Сталин был подавлен вероломством фашистов, угнетен неудачами, падением Минска, когда Иосиф Виссарионович несколько растерялся, обострилась его болезнь. Ему надо было успокоиться, собраться с мыслями, окрепнуть духом, поверить в свои силы, чтобы принимать необходимые ответственные решения.

Сели мы на узловатые корни старой сосны, выбивавшиеся из песчаной почвы на самом краю обрыва, и долго молчали, оглядывая простор полей, покатый взлобок близкого противоположного берега, извилистую долину Истры, ленту Москвы-реки, просматривавшуюся далеко: за молотовскую дачу, почти до Успенского. Лесной массив тянулся от Петрово-Дальнего до невидимого отсюда села Степановского. На крутом берегу Истры хорошо

различимы были в зеленой массе желтые стволы старых высоченных сосен, а дальше леса сливались в сплошной ковер, лишь в одном месте рассекаемый просекой, убегавшей в сторону Нахабино. Все уместилось здесь, возле двух речек: и поля, и луга, и леса, и села, и древние храмы, — была тут в миниатюре вся наша грешная и святая Русь. Сталин, наверное, испытывал нечто подобное тому, что ощущал я. Глядя на солнце, спускавшееся между грибановским лесом и стройной колокольней Дмитровской церкви, Иосиф Виссарионович произнес: «Великая Россия! Сколько она вынесла! Татары, поляки, французы — все откатилось и сгинуло, а Россия незыблема. И эта война канет, а Россия останется»…

Я уже подробно рассказывал в книге обо всем этом, но теперь, когда, гонимый тоскою, один пришел на Катину гору, прошлое всколыхнулось, всплыло так отчетливо остро, что явь неразделимо смешалась с минувшим и трудно было понять, что реальнее. Посему продолжу о прошлом… Когда солнце исчезло за грибановской лесной гривой, все изменилось вокруг. Небо над головой словно бы налилось тяжелой синевой, а весь горизонт с западной стороны, от Петрово-Дальнего до Убор, охвачен был багряным пламенем, которое разгоралось все ярче, расширялось, а Москва-река и Истра казались кровавыми потоками в окантовке черных берегов. Лишь белая колокольня Дмитровской церкви гордо, светло и прямо высилась на черно-багряном фоне, чуть розовая в последних лучах солнца, еще касавшихся ее маковки. В глазах Сталина мерцали красные блики, а лицо, обращенное на запад, казалось багровым: во всем этом было нечто мистическое. С тяжелым вздохом, почти со стоном, вырвалось у него: «Там горят наши братья и сестры!»

У меня мурашки пробежали по коже: он был бы сильным священником, истовым проповедником… Страшная картина: псы-рыцари бросают в огонь детей. «Спасать надо!» воскликнул я и умолк, удивленный тяжкими взрывами, докатившимися из-за реки. Захлопали далекие пушечные выстрелы. Неужели с фронта, от границы?! Не с ума ли схожу? Но голос Сталина вернул к действительности: «Это на полигоне в Нахабино. Вечером хорошо слышно… Не пора ли нам в Москву?»

Я внимательно посмотрел на Иосифа Виссарионовича. Он, безусловно, воспрял духом, он вновь был спокоен, сосредоточен, здоров и полон энергии.

Вроде бы недавно это было, но как все изменилось! И возникла у меня мысль. Вот стоит на Катиной горе, в уникальном месте, нелепое сооружение, никак не украшающее ни саму гору, ни окрестности. Четырехгранная башня из металлических конструкций поднялась выше окружающих ее сосен. Башню видно отовсюду: с дороги от Дальней дачи на Знаменское, с обширной территории молотовской дачи, из Убор, из Дмитровского, из Петрово-Дальнего. А велико ли удовольствие смотреть на этот ржавый каркас? Не лучше ли облицевать его светлым мрамором: геодезисты или топографы, коим принадлежит сие сооружение, не станут, надеюсь, возражать, им ведь важен только ориентир, репер, точка привязки. Какой им ущерб от того, что вышка будет красивой? Пусть вознесется над величавым простором обелиск с барельефом Иосифа Виссарионовича, с золотой надписью на той стороне, что обращена к реке: Он много сделал, и об этом Судить истории самой, Он радость пережил и беды Со всей великою страной. При ярком солнце, в дымке синей Как эту землю он любил! Отсюда видел он Россию, С Россией вместе — победил!

Неужели у нас не найдется достаточно мрамора для памятника столь же необычного, своеобразного, как и тот человек, в чью честь обелиск был бы воздвигнут!

35

Кто из великих людей XX века посвятил свою долгую, девяностолетнюю жизнь постоянным нападкам на коммунистические идеи, противоборству с Советским Союзом, вступив в схватку сразу после Октябрьской революции? Кто любыми средствами — дипломатическими, экономическими, даже военными — пытался затормозить развитие и укрепление могущества нашей страны, видя в ней опаснейшего противника-конкурента по господству на земном шаре? Легендарный, умный, упрямый и коварный Уинстон Черчилль — вот кто. Предвидение не обмануло его, однако добиться успеха в сражении за свои интересы он не смог, встретив на пути непреодолимую преграду — Иосифа Виссарионовича Сталина. «Дядюшку Джо», как почтительно величал его Черчилль. Об эту преграду разбивались все хитроумные действа прославленного англичанина, он нес урон за уроном. Достаточно сказать хотя бы о том, что благодаря достижениям Советского Союза, ставшего примером, манящим маяком для многих других стран, в сороковых-пятидесятых годах развалилась мировая колониальная система, столь долго питавшая Великобританию, и сжалась, сузилась она до пределов невеликих своих островов. Изменилась жизнь на всей планете. Советская держава, руководимая Сталиным, сделала первые, самые трудные шаги в будущее, реально противопоставив дряхлеющему империализму, столь любезному Черчиллю, ростки нового, прогрессивного строя, который рано или поздно придет на смену обществу, замешенному на эксплуатации, на грабеже тружеников — на несправедливости.

Сталин и Черчилль — не только непримиримые противники, но и достойные соперники, хорошо знавшие один другого. Сблизились они только раз и на короткий срок, когда Гитлер напал на Советский Союз и Черчилль понял: если не устоят русские, то не устоит перед немецким фашизмом весь мир и самые тяжелые последствия обрушатся на англосаксов. Для победы над гитлеризмом Черчилль «готов был вступить в союз хоть с самим Сатаной» — как он сам говорил. Но едва фашизм был разгромлен, Черчилль сразу вернулся на свои прежние позиции, принялся раздувать новую войну, получившую название «холодной войны».

Взаимная борьба гигантов не на жизнь, а на смерть отнюдь не исключает взаимного уважения. К тому же одним из важнейших качеств большого политического деятеля является его объективность в оценке как союзников, так и противников — иначе сам себя введешь в заблуждение, совершишь слишком много ошибок. Черчилль понимал это и руководствовался этим. Отсюда — особая важность той оценки, которую дал он на склоне лет своему главному сопернику. В декабре 1959 года, в то время, когда зарубежные и доморощенные хулители поносили и позорили Сталина, когда восторженно засуетились пигмеи, поливая грязью Иосифа Виссарионовича, а заодно и все наше прошлое, Уинстон Черчилль произнес в палате лордов речь, посвященную 80-летию со дня рождения Сталина. Эта речь достойна того, чтобы с ней познакомился каждый человек, желающий знать правду. Цитирую по «Британской энциклопедии», изданной в 1964 году. Том 5.

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин. Он был выдающейся личностью, вполне соответствовавшей жесткому периоду истории, в котором протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи Сталин всегда писал сам, и в его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов.

Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.

Он обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути-выходы из самого безвыходного положения.

В самые трагические моменты, как и в дни торжества, Сталин был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью.

Сталин создал и подчинил себе огромную империю. Он был человеком, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставив даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народы не забывают».

Действительно, Иосиф Виссарионович был и остается единственным и неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. После него страна, скатившись до заговоров, до дрязг в руководящей верхушке, утрачивала свою мощь, свое величие. Так и бывает: вслед за гигантами появляются серые середняки, а затем наползает откровенная дрянь, обуреваемая стремлением нахапать, нажраться, готовая ради корыстных низменных целей на любую ложь, на предательство, попирающая интересы своего народа, имевшего несчастье породить и взрастить перевертышей… Но это уже за пределами сей исповеди, за гранью моего повествования об Иосифе Виссарионовиче Сталине. Это — для другой книги.

Март 1953 г. — январь 2000 г.

Примечания

1

Встреча произошла в начале семидесятых годов. Тогда там был старый пустынный лес. Теперь рядом новый микрорайон, Осенний бульвар, желто-

коричневый дом с просторными квартирами для семьи Ельцина, для его приближенных (Примеч. автора).
(обратно)

2

Не называю полностью некоторых фамилий, не зная, как к этому отнеслись бы ныне здравствующие родственники. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

3

Прошу извинить: запамятовал, Дунькиной или Акулькиной называлась слобода в Красноярске. Старожилы города должны помнить. Обретались там сезонные рабочие, потаенные обыватели, находили приют бродяги. Место было глухое, варначье. Грабежи не в диковинку. Славилась слобода кабаками-притонами да еще бабами, которые за умеренную плату пригревали загулявших мужиков и гарнизонных солдат. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

4

Могу предположить, что рядовой Джугашвили ходил тогда на нелегальную встречу с прапорщиком Сергеем Лазо, который тоже в ту пору служил в 15-м Сибирском запасном полку. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

5

Не только сам талантлив был Брусилов, но и взрастил целую плеяду известных генералов: его школу прошли Деникин, Каледин, Корнилов. А я один из многочисленных и верных последователей нашего замечательного полководца. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

6

Черт побери (груз.)
(обратно)

7

Первые пулеметы системы «максим» появились в русской армии в 1887 году. Серийное производство в Туле началось с 1904 года. (Примеч. Н. Лукашова)
(обратно)

8

Недвусмысленный намек на Конно-Сводный корпус Думенко (Примеч. Н. Лукашова.)

(обратно)

9

В историю гражданской войны Г. Гай (Гайк Бжишкян) вошел как командир стрелковой дивизии Восточного фронта. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона был ранен В. И. Ленин. Когда это известие дошло до бойцов дивизии Гая, они штурмом взяли Симбирск. В Москву была послана телеграмма: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую будет Самара!» Ленин ответил: взятие Симбирска «есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны…». Вскоре дивизия стала именоваться Самаро-Ульяновской Железной. Служба в ней считалась особо почетной. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

10

Наркомвоен Троцкий намеревался искоренить не только «аристократический», на его взгляд, род войск — русскую конницу, но и «элитную» часть Военно-морского флота, наши подводные силы, самые передовые и многочисленные в мире во время войны с германцами. По трудности и рискованности своей необычной службы подводники, действительно, находились в привилегированном положении, а посему не примкнули к революции, в отличие от моряков надводных. И вот стараниями Троцкого наши подводные лодки были загублены, специалисты уничтожены или разогнаны. Лишь в 1927 году, закрепившись во власти, подводный флот начал заново создавать Сталин. Но сколько времени было упущено, сколько средств и энтузиазма потребовалось, чтобы догнать немцев, англосаксов, японцев! Горько, что история повторяется в самых гнусных ее проявлениях. Опять враги государства Российского губят наш превосходный атомный подводный флот. (Примеч. автора, 1995 г.)
(обратно)

11

Считаю своим долгом помочь вам (франц.)
(обратно)

12

Вы офицер?
(обратно)

13

Да, мадам.
(обратно)

14

В. И. Ленин. «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в Центральный Комитет РСДРП» (см. Сочинения, изд. 3. т. XXI, стр. 350–352, 353–356).
(обратно)

15

Тело Бехтерева было кремировано поспешно и без вскрытия — сохранен только мозг. Родственники Владимира Михайловича были против кремирования, но на этом решительно настояла новая молодая жена семидесятилетнего ученого Берта Яковлевна, по некоторым данным родственница Ягоды. С середины тридцатых годов о ней ничего не известно. Как растворилась. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

16

Действительно, все тогдашние соратники Иосифа Виссарионовича, как и он сам, были невысокого роста: Молотов, Киров, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев… (Примеч. автора)
(обратно)

17

Удивительное дело: на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов черная роза была срублена, исчезла с надгробья. Кому и зачем понадобилось убрать этот символ аллилуевских женщин? Уж не Светлане ли, которая в тот период на некоторый срок возвращалась в нашу страну из эмиграции?! (Примеч. автора).
(обратно)

18

В 1942 году Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин разрешил передать документацию по электровизорам — этому величайшему новшеству двадцатого века, — нашим тогдашним союзникам — США и Англии. Там наладили массовое производство новой техники, снабжая наши ПВО и ВМФ. Пытались даже присвоить себе пальму первенства. А талантливый инженер, человек удивительной скромности, Павел Кондратьевич Ощепков много еще сделал для науки и техники. Создал, в частности, прибор ночного видения без подсветки, разработал теорию энергоинверсии, которой принадлежит будущее в энергетике. Скончался П. К. Ощепков в декабре 1992 года. (Примеч. автора.)
(обратно)

19

Вероятно, Н. А. Лукашова подвела память. Думаю, имеется в виду Юстин Юлианович (Иустин Ивлианович) Джанелидзе (1883–1950 гг.) С 1939 года главный хирург Военно-Морского флота, к концу жизни генерал-лейтенант медицинской службы, член президиума АМН СССР, лауреат Сталинской премии и т. д. (Примеч. автора)

(обратно)

20

Воспоминания участников встречи в каких-то деталях, подробностях расходятся между собой и с моими впечатлениями, но это естественно: каждый смотрел со своей точки зрения, воспринимал и оценивал факты по-своему (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

21

По-настоящему Гершель Иягуда, т. е. Иуда (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

22

Дмитрий Алексеевич Поликарпов был ответственным секретарем (не выбранным, а назначенным сверху) Союза писателей СССР (Примеч. автора)
(обратно)

23

Коровники — старая тюрьма в Ярославле. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

24

В 1990 году городу было возвращено его прежнее название Тверь. (Примеч. автора.)
(обратно)

25

То есть советский строй. Книга была написана, когда существовал СССР (прим. ред.)
(обратно)

26

Известный биограф Л. Д. Троцкого Исаак Дойчер в своей книге «Пророк в изгнании» написал так: «Согласно различным антисталинским источникам, Тухачевский, встревоженный террором, разрушающим обороноспособность страны и подрывающим моральный дух нации, готовил переворот с целью свержения Сталина и власти ГПУ, но не входил при этом в контакты ни с Троцким, ни тем более с Гитлером или какой-либо иной иностранной державой. Троцкий в существование заговора не верил, но характеризовал падение Тухачевского как симптом конфликта между Сталиным и командным составом Вооруженных Сил, который может поставить военный переворот «на повестку дня…» Таково одно из мнений. (Примеч. автора.)

(обратно)

27

Заместитель наркома обороны Я. Б. Гамарник, недавно отстраненный с поста начальника Политуправления Красной Армии, застрелился, поняв неизбежность ареста сразу после того, как был арестован Уборевич. По другим сведениям, Гамарника застрелил на его квартире заместитель Ежова Фриновский, а выдал это за самоубийство. Примеч. Н. А. Лукашова.)
(обратно)

28

Свидетельство постороннего: «Если сравнить печатное наследие Ленина, Троцкого, Бухарина и Сталина по мере их жестокости, внешнеполитической и внутриполитической агрессивности, готовности к беспощадному террору против различных слоев населении, то, вопреки ожиданиям, окажется, что отнюдь не Сталину принадлежит первенство в этом ряду. Сталин наименее агрессивен в своих публикуемых выступлениях…» Дора Штурман. Мертвые хватают живых. Тель-Авив, 1982, с. 545. (Примеч. автора.)
(обратно)

29

Кулик «отличился» в Испании тем, что был, пожалуй, единственным добровольцем-советником, который не выучил ни одной испанской фразы. Испанцы звали его «генералом но-но». Кулик возражал против всего, в чем ему не хватало ума разобраться, а не разбирался он почти ни в чем. (Примеч. Лукашова.)
(обратно)

30

Николай Александрович Морозов в молодости был революционером-народовольцем. Замечательный ученый, астроном и математик, физик и историк, химик и геолог, он один из тех людей, которые принесли великую пользу Отечеству. Выдающийся энциклопедист, автор многих открытий, инициатор создания воздушного флота нашей страны, он, кстати, предсказал, что «Двадцатый век будет веком окрыленного человечества, а люди Российской Земли проложат дорогу к звездам». В 1942 году, в возрасте 88 лет, Николай Александрович добровольно пошел на фронт, бил фашистов из снайперской винтовки с телескопическим прицелом собственного изготовления. Скончался в 1946 году (Примеч.
Н. А. Лукашова.)
(обратно)

31

М. Пешков работал в советском посольстве в Кабуле в то трудное время, когда воины-интернационалисты оказывали помощь афганцам. Проявил мужество, выдержку, высокое чувство долга. (Примеч. автора.)

(обратно)

32

То же самое повторилось полвека спустя, во время ельцинской операции в Чечне. От дураков, конечно, ни одно государство никогда полностью не избавится, но насколько же нужно быть безграмотным и бездарным, чтобы снова и снова наступать на грабли. (Примеч. автора.)
(обратно)

33

Отделом кадров Коминтерна заведовал Г. Алиханов — отец яростной противницы российской державности пресловутой Елены Боннэр (Примеч. автора).
(обратно)

34

Поправка, которую не мог предусмотреть при жизни Н. А. Лукашов. В восьмидесятых годах в Англии принято решение перенести рассекречивание документов на еще более поздний срок — на 2017 год. (Примеч. автора.)
(обратно)

35

Генерал армии И. В. Тюленев командовал в ту пору Московским военным округом. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

36

Н. Г. Кузнецов был в то время народным комиссаром Военно-морского Флота СССР. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

37

Н. Г. Кузнецов был в то время народным комиссаром Военно-морского Флота СССР. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

38

Вече — Вячеслав Михайлович Молотов. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

39

Германский посол граф фон Шуленбург в то утро был принят В. М. Молотовым и официально сообщил о том, что Германия объявила Советскому Союзу войну. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

40

В ночь с 21 на 22 июня Тимошенко и Жуков несколько раз звонили и Минск, расспрашивали командующего Белорусским военным округом генерала Павлова об обстановке, давали указания по развертыванию войск. Считали, что эти важные деловые разговоры Павлов ведет из своего служебного кабинета, а он находился не на своем посту, не на командном пункте, а в окружном Доме Красной Армии. Все командование округа: сам Павлов с супругой, начальник штаба генерал Климовских, член военного совета дивизионный комиссар Фоминых, начальник связи генерал Григорьев, начальник политуправления Лестев и другие ответственные лица наслаждались мольеровским «Тартюфом» в исполнении приехавших на гастроли артистов МХАТа. Телефон ВЧ, связывавший с Москвой, был установлен прямо в ДКА, где после спектакля состоялся ужин-банкет, официально завершившийся к часу ночи, то есть незадолго до того времени, когда на границе громыхнули орудийные залпы и в небе над Минском появились вражеские эскадрильи… По решению Тимошенко и Мехлиса, которых Сталин послал исправлять положение на Западном фронте, генералы Павлов, Климовских, Григорьев и другие военачальники были арестованы, а затем судимы и расстреляны. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

41

Высокую должность в Москве Михаил Петрович Фриновский получил после того, как летом-осенью 1934 гола выполнил в Ленинграде некое особое задание незадолго до покушения на С. М. Кирова. Арестован Фриновский в 1940 году. Расстрелян. Не реабилитирован. (Примеч. автора).
(обратно)

42

Маршал Шапошников в тот период выполнял обязанности начальника штаба Западного фронта. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

43

9 мая 1945 года на праздничном построении личного состава минно-торпедного авиационного полка будет зачитана телеграмма, присланная комендантом поверженного Берлина генерал-полковником Н. Э. Берзариным. Торжественно прозвучат слова: «Вы первыми начали штурм логова фашизма с воздуха. Мы его закончили на земле и водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Поздравляю вас, балтийские летчики, с

Днем Победы и окончанием войны». Но до этого было еще так далеко! (Примеч. автора)
(обратно)

44

Юлия Мельцер, танцовщица, отличавшаяся завидным здоровьем, любила, как и многие еврейские женщины, жаловаться на свое состояние, симулировать болезни. Яков Джугашвили, чистая душа, воспринимал это всерьез, сочувствовал, волновался. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

45

Заботу о Брежневе проявлял начальник ГлавПУРа Мехлис, дядя жены Леонида Ильича, белорусской еврейки Гольдберг. Не давал родственников в обиду, содействовал продвижению по службе. (Примеч. автора.)
(обратно)

46

Первый начальник этой дивизии казак М. Ф. Блинов геройски погиб в бою с белогвардейцами. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

47

Генерал Осликовский консультировал также широко известный фильм «А зори здесь тихие». (Примеч. автора.)
(обратно)

48

М. М. Зотов редактировал рукописи В. Кожевникова, К. Симонова, А. Чаковского и др. (Примеч. авт.)
(обратно)

49

Вячеслав Александрович Малышев был в то время наркомом танковой промышленности, заместителем Председателя СНК СССР. Вел большую работу по развитию военной промышленности, но наращиванию выпуска военной техники. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

50

Дачу при приближении фашистов поторопились взорвать. А через несколько месяцев восстановили, вернее, построили новую. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

51

Люди знали приказ: если вражеские самолеты все же прорвутся к городу, если в парадных расчетах будут потери от бомб — сомкнуть ряды и продолжать движение, и были готовы к этому. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

52

Борис Ильич Збарский скончался вскоре после смерти Сталина, в 1954 году. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

53

30-я армия была передана Западному фронту лишь в ночь на 18 ноября. (Примеч. Н. Лукашова.).
(обратно)

54

Девятиэтажная «хрущебка», в которой создастся эта книга, стоит над противотанковым рвом (это часть подвала) окраинного оборонительного рубежа, где должны были сомкнуться малые клешни 4-й полевой армии. Ров, заплывшие траншеи, воронки авиабомб местами еще сохранились, но разрастающийся город стирает, уничтожает последние следы великой битвы. (Примеч. авт.)
(обратно)

55

Соответствовало общевойсковому званию «полковник». (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

56

Вскоре после того, как эта глава была впервые опубликовала, меня разыскал через «Роман-газету» Михаил Анатольевич Барышев, последний, вероятно, доживший до наших дней воин героического батальона, сражавшегося в Новоиерусалимской святыне. Последний из тысячи… Кто же он, начинавший свой путь рядовым бойцом? Родился в 1916 году. С юности страдал пороком сердца, и был признан негодным к строевой службе. Однако с первых дней войны добровольцем вступил в армию, оказался в 18-м прожекторном батальоне, стал сапером. Прошел долгий путь от Москвы до Эльбы через Кенигсберг и Берлин. Ранен несколько раз. После окончания военно-инженерного училища работал на строительстве московского метро и других объектом, позже руководил бригадой («мастера — золотые руки») по изготовлению макетов для Политехнического музея (действующие макеты химических заводов, машины Ползунова, гидротурбины Красноярской ГЭС, первого атомного реактора), макетов для Академии наук («токамак-10», радиолокация

планет и др.), для международных выставок. Все сделанное умом и талантом М. А. Барышева отличается профессиональным мастерством, в чем могут убедиться посетители Московского политехнического музея.

Один из тысячи… Вместе с Михаилом Анатольевичем мы провели встречу с читателями — московскими учителями. Он вручил мне добротную красивую авторучку, пожелав писать ею последующие главы книги (Примеч. автора).

(обратно)

57

Эти бригады были брошены на другие участки Западного фронта. (Примеч. автора.)

(обратно)

58

Далее — пешим ходом (Примеч. Н. Лукашова).

(обратно)

59

Из одиннадцати железных дорог, соединявших столицу со страной, семь были перерезаны немцами, поезда ходили только в восточном направлении (Примеч. автора).

(обратно)

60

16-я Литовская стрелковая дивизия была сформирована позже, в начале 1942 года. (Примеч. Н. Лукашова.)

(обратно)

61

После войны по ходатайству ветеранов 1-го гвардейского кавалерийского корпуса одна из новых улиц Москвы была названа в честь Павла Алексеевича улицей генерала Белова. (Примеч. автора).

(обратно)

62

Вот что писал впоследствии в статье «Московская битва» бывший начальник штаба 4-й полевой армии генерал Блюментритт: «Что-то вроде чуда произошло на южном фланге 4-й армии. Нам было непонятно. Почему русские, несмотря на их преимущество на этом участке фронта, не перерезали дорогу Юхнов — Малоярославец и не лишили 4-ю армию ее единственного пути снабжения. По ночам кавалерийский корпус Белова, который во второй половине декабря причинил нам так много беспокойства, продвигался в нашем глубоком тылу по направлению к Юхнову. Этот корпус достиг жизненно важной для нас коммуникации. Но,

к счастью, не перерезал ее. Он продолжал продвигаться в западном направлении…» (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

63

Имеется в виду личное послание Г. К. Жукова, доставленное П. А. Белову 14 января 1942 года самолетом У-2. Не привожу это резкое письмо, так как оно было уже опубликовано, правда без нескольких фраз, оскорбительных для Белова. Для того чтобы читатель имел представление, процитирую лишь пару абзацев:

«Я Вас поднял в глазах правительства, в главах армии. Представил к двум высшим орденам, к званию генерал-лейтенанта, а Вы, вместо благодарности правительству и Военному совету фронта, видимо, зазнались и не желаете выполнять даже категорических приказов, срывая план операции. Видимо, считаете это Вашим правом. Ошибаетесь! Если так пойдет дальше, пеняйте на себя, и только на себя. Несмотря на мое хорошее к Вам отношение (которым Вы, видимо, злоупотребляете), я Вас не пощажу. Мне государство дороже, чем Белов.

Последний раз Вас предупреждаю и категорически требую: немедленно перейти шоссе всеми силами и выйти западнее Вязьмы, перерезав железную дорогу и все грунтовые пути». (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

64

Лазарь Моисеевич «отличался» не только жестокостью и грубостью, но еще и самодурством. При вспышках гнева лупил телефонной трубкой по аппарату или по стеклу на столе, чем «разряжался». Никто не разбил за свою жизнь столько телефонных аппаратов, сколько разбил Каганович. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

65

Эти воспоминания были опубликованы еще при жизни мамы. Нина Николаевна Сечкина-Успенская скончалась в Москве 26 августа 1995 года. Покоится в Митино на Красногорском кладбище. Участок № 1, захоронение 031. (Примеч. автора)
(обратно)

66

На содержание ссыльнопоселенца И. В. Джугашвили в Туруханском крае казна отпускала 15 рублей в месяц. Для сравнения: стражник там же ежемесячно получал 50 рублей. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

67

Надпись полностью расшифрована, но изложена на французском языке. В переводе примерно так: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был

принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы» (Примеч. автора).
(обратно)

68

В июле 1920 года Андреев участвовал в работе II конгресса Коммунистического Интернационала. Дзержинский и Ленин познакомили молодого надежного коллегу с коммунистами из тридцати семи стран, легально или нелегально прибывшими на конгресс. В дальнейшим Андрей Андреевич поддерживал с ними связь. Ездил за границу как профсоюзный деятель — секретарь ВЦСПС, встречался там с широким кругом лиц: от простых тружеников до руководителей правительств и партий. Его работа не привлекала особого внимания зарубежной контрразведки. (Примеч. автора).
(обратно)

69

В ноябре 1942 года М. Ф. Букштынович проявит высокое личное мужество при штурме Великих Лук. Затем в звании полковника возглавит свою 28-ю «штрафную арестантскую» дивизию, наведет в ней образцовый порядок, будет пользоваться непререкаемым авторитетом. Эта дивизия сыграет решающую роль в известной Невельской операции 3-й ударной армии. Сразу после этого, в ноябре 1943 года, Букштынович будет назначен командиром 100-го стрелкового корпуса. Впервые, если помните, мы познакомились с ним на Лубянке. А еще увидимся с генералом Букштыновичем в Берлине при обстоятельствах весьма любопытных. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

70

Через полвека после Победы, перестраивая Вооруженные Силы по американо-немецкому образцу, форму, смахивающую на власовскую, навяжет нашей армии министр обороны РФ генерал П. Грачев. (Примеч. автора).
(обратно)

71

Черновик приказа по указанию Верховного Главнокомандующего подготовил А. М. Василевский. (Примеч. Н. Лукашова).
(обратно)

72

Генерал-лейтенант И. И. Масленников — командующий группой войск на Северном Кавказе. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

73

Генерал-лейтенант И. Б. Петров — командующий Черноморской группой войск Закавказского фронта (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

74

Хуппе сложная еврейская идиома, означающая присутствие духа, дерзость до наглости, склонность к бесчинству, стремление выставить себя, выделиться, играть высокую роль. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

75

Юлия Владимировна Друнина, не сломленная годами войны и несколькими ранениями, оказались бессильной перед напором гнусностей и лжи так называемой перестройки и реформаторства. Покончила с собой осенью 1991 года, оставив записку: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл…» Она была так же уязвима, как уязвим всякий человек с чистой совестью. И погиб поэт, невольник чести… (Примеч. автора.).
(обратно)

76

Генерал артиллерии Вальтер фон Зайдлиц, бывший командир 51-го корпуса, находясь и лагере № 27 подмосковного Красногорска, стал президентом «Союза немецких офицеров», который создан был в сентябре 1943 года. С того же времени приступил к формированию воинского соединения со штатом 7 генералов, 1650 офицеров, 100 врачей, 100 военных чиновников и 12000 солдат. Некоторые подразделения участвовали в боях на советско-германском фронте, в частности при освобождении Крыма в 1944 году. Только на Сиваше и Перекопе они силой оружия или путем убеждения пленили более 400 немецких солдат и офицеров. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

77

Такое впечатление, что не в 1923 году, а семьдесят с лишним лет спустя писались процитированные послания руководства к действию. (Примеч. автора).
(обратно)

78

Паралич обеих ног. Франклина Делано Рузвельта возили в коляске. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

79

Аверелл Гарриман — посол США в Советском Союзе. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

80

Корделл Хелл — государственный секретарь США. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

81

К тому времени все кавалерийские корпуса, имевшиеся в Красной Армии, в том числе донские и кубанские, превосходно сражавшиеся с врагами, заслужили звание гвардейских. Это была лебединая песня русской кавалерии, и советские конники достойно спели ее! (Примеч. автора.)
(обратно)

82

Условная кодовая фамилия Рокоссовского в тот период. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

83

До 1939 года Шило. Трижды привлекался к ответственности за растрату казенных средств. Сменил фамилию, скрываясь от карательных органов. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

84

Есть и несколько иная версия задержания Таврина и Шиловой, более выгодная для чекистов, подчеркивающая их бдительность и мастерство. (Примеч. автора.)
(обратно)

85

Состав Ставки Верховного главнокомандования был существенно изменен 17 февраля 1945 года. Из прежних членов остались только Сталин, Жуков и адмирал Кузнецов. К ним прибавились Василевский, Антонов и Булганин. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

86

В 5-й ударной армии «семейственность», можно сказать, процветала. По примеру самого командира. Дочь Николая Эрастовича Берзарина юная

Лариса была медсестрой в одном из полевых госпиталей. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

87

Франца Иосифовича Перхоровича штабные шутники между собой именовали Францем XV. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

88

Если в 1942 году наша промышленность отгружала за сутки в среднем 265 вагонов артиллерийских боеприпасов. то к началу 1945 года — 450 вагонов. Доставка артбоеприпасов с тыла на фронт составляла треть всех общеснабженческих перевозок. При этом качество наших боеприпасов было значительно лучше, чем в армиях всех других стран. Это отмечали даже наши враги — немецкие военные специалисты. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

89

Для сравнения. В сражении за Берлин каждые двадцать четыре часа мы теряли людей примерно столько же, сколько утратили за десять лет в Афганистане. Такой масштаб. (Примеч. автора.)
(обратно)

90

После войны немногие сохранившиеся вагоны превратились в музейные экспонаты, в свидетелей великих событий великой эпохи. Но нет им покоя. При ельцинском перевороте, при воцарении дикого капитализма на эти вагоны «положили глаз» так называемые «новые русские», а вернее новые нерусские: недавние паханы, спекулянты, политические перевертыши, в короткий срок награбившие миллионы и миллиарды. С жиру бесятся «господа». Скупленные ими салон-вагоны были свезены в Орел, где лучшие краснодеревщики, слесаря и другие специалисты принялись восстанавливать их, прибавляя к прежним удобствам еще и современные. Чтобы не трясло, не качало, вода не выплескивалась из ванны. В таких вагонах будут теперь путешествовать не государственные деятели, не лучшие люди страны, не дипломаты и военные руководители, а торгаши, уголовные и политические воры в законе со своими проститутками и надежной охраной. Престижно! Шикарно! Однако в старых вагонах, хоть подремонтированных и подкрашенных, далеко не уедешь! (Примеч. автора.)
(обратно)

91

Просьба не смешивать обстрел и штурм рейхстага с обстрелом и штурмом рейхсканцелярии, где находился Адольф Гитлер. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

92

Дело Букштыновича-старшего достойно продолжал его сын Михаил Михайлович, тот молодой офицер, которого Н. А. Лукашов видел в Берлине вместе с отцом. Со временем, став генералом, Букштынович-младший умело командовал одним из наших старейших соединений, первым начальником которого был упоминавшийся в этой книге Г. Гай — прославленной 24-й мотострелковой Самаро-Ульяновской, Бердичевской, Железной, трижды Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизией. Затем этой дивизией командовал Игорь Николаевич Родионов, ставший в 1996 году министром обороны и боровшийся на этом посту против унижения и разрушения наших Вооруженных Сил. Его принципиальность и честность пришлись не по вкусу ближайшему окружению Ельцина, да и самому президенту. Родионова не только беспардонно сбросили с высокого поста, но и вообще выгнали со службы. Произошло это после того, как стараниями изуверов, разваливших Советский Союз, Железная дивизия перестала существовать. Части ее оказались за пределами России. В казармах на Западной Украине померкла и закатилась еще недавно столь яркая звезда ее боевых полков. (Примеч. автора.)
(обратно)

93

Через несколько дней обстановку «верхнего» кабинета срочно перевезли в Карлхорст, в здание военно-инженерного училища, где будет подписан Акт о безоговорочной капитуляции. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

94

10 июля и 17 августа 1945 года властям Аргентины сдались соответственно экипажи немецких подводных лодок U-530 и U-997, прибывших в порт Мар-дель-Плата. Третья лодка была обнаружена затопленной на дне пустынной бухты Попугаев. Власти США считали, что в Южной Атлантике находилось тогда от четырех до шести немецких субмарин. Судьбы остальных неизвестна. По примерным подсчетам, на подводных лодках в Аргентину прибыли до 150 высших партийных и государственных деятелей Третьего рейха. В 1996 году представитель Всемирного еврейского конгресса заявил: есть документы, подтверждающие, что на подводных лодках была вывезена в Южную Америку значительная часть золотого запаса фашистской Германии. (Примеч. автора.)
(обратно)

95

В пригороде немецкой столицы Бабельсберге, как выяснил писатель Юлиан Семенов, находилась дача знаменитого Штирлица. Смотри соответствующий фильм. (Примеч. автора.)
(обратно)

96

На испанском — «Я тебя люблю».
(обратно)

97

После Великой Отечественной войны в районе Цоссена — Вюнсдорфа, в бывшем «Майбахе-1», долгое время располагался подземный командный пункт Западной группы советских войск (ЗГВ). Он был брошен во время поспешного бегства наших войск из Германии при Горбачеве — Ельцине, как и многие другие важнейшие военные объекты. Превосходный «подарок» получили германские и натовские генералы, наши потенциальные противники. (Примеч. автора.)
(обратно)

98

Подтверждение словам генерала Игнатьева нашел в японской исторической энциклопедии выпуска 1964 года. Цитирую: «До конца 60-х годов XIX в. национальной территорией страны к северу от о-ва Хонсю являлась лишь узкая прибрежная полоса о-ва Хоккайдо, ограниченная с северо-запада, севера и северо-востока тремя оборонительными линиями айнских городищ — «тяси»… (Примеч. автора.)
(обратно)

99

Иван Тимофеевич Артеменко дожил до 50-летия Победы и встретил этот великий праздник в полном одиночестве и полунищете. Жена умерла, погиб сын-летчик. Украинская пенсия настолько мала, что не сведешь концы с концами. Бедствует человек, давно уже разменявший девятый десяток. Хорошо хоть, что по мере возможности морально и материально поддерживают его давние фронтовые друзья, сами уже старики. (Примеч. автора.)
(обратно)

100

Для сравнения. В 1997 году в связи с катастрофическим развалом народного хозяйства на одного пенсионера в России приходилось в разных регионах всего лишь двое-трое работающих. (Примеч. автора.)
(обратно)

101

Окончательные, строго документированные итоги безвозвратных боевых потерь были подведены уже после смерти Сталина. Убыль с нашей стороны — 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. У Германии с ее союзниками — 8 миллионов 649 тысяч 500 солдат и офицеров. Практически один к одному. (Примеч. автора.)
(обратно)

102

В марте 1946 года Наркомат обороны был преобразован в Министерство вооруженных сил, которое возглавил И. В. Сталин. Через год на этот пост был назначен Н. А. Булганин. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

103

В октябре 1999 года Льву Михайловичу Галлеру установлен памятный знак в Казани на Арском кладбище. Есть где поклониться славному адмиралу. (Примеч. автора.)
(обратно)

104

Подполковник Семочкин, бывший адъютант Жукова, давал свои показания в тюрьме на «допросах с пристрастием». (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

105

Настоящий политик современник будущего. Прошло пятьдесят лет, однако и теперь здание университета на Ленинских-Воробьевых горах продолжает считаться самым красивым и Европе и самым делоприспособленным, отвечающим той цели, для которой строилось: храм науки и безупречный образец эстетики, архитектуры. А рядом благопредусмотренная большая резервная территория — на будущее. Но увы — неймется суетливым временщикам, способным лишь изменять, ухудшать, искажать. 18 мая 1998 года средства массовой информации сообщили: решено создать под зданием МГУ (от самого здания до смотровой площадки) большой торгашеско-развлекательный комплекс. Рестораны, бары, казино, магазины, стоянки автомашин и прочие заведения, столь же необходимые, вероятно, для студентов. Для приобщения их к так называемой «западной цивилизации». Повод: необходимо капитально отремонтировать (?) смотровую площадку, то есть берег Москвы-реки, Воробьевы горы. Это похлеще, чем известная авантюра Остапа Бендера, собиравшего в Пятигорске деньги за осмотр лермонтовского «Провала» опять же на предмет «ремонта» оного.

Разница между эпохой созидания и периодом разрушительства: один правитель возносит над Третьим Римом, над столицей мира Москвой прекрасный храм науки (в трудное послевоенное время), а другой через полвека оскверняет этот храм, устраивая в подземелье рестораны, притоны для оргий, логовища для спекулянтов и проституток. (Примеч. автора.)

(обратно)

106

В мае 1998 года, поздравив друг друга с праздником Победы, мы с Михаилом Ивановичем Ивановым долго говорили по телефону. Приближаясь к девяностолетнему рубежу, он не утратил ни душевной бодрости, ни чувства юмора. Зрение, правда, подводит, затрудняя работу над книгой воспоминаний. Я спросил, не сказывается ли давняя поездка в Хиросиму на его здоровье, тем более что молодой помощник, сопровождавший тогда Иванова, скончался через несколько лет… Михаил Иванович высказал такое мнение. Он находился в самом эпицентре взрыва, откуда тем же взрывом выметена была наиболее опасная зараза, а помощник осматривал окрестности, где, как потом выяснилось, радиация оказалась гораздо выше. К тому же картина была настолько ужасающей, что Михаил Иванович, дабы избежать потрясений, принял солидную порцию виски. И в тот день, и в последующие сутки, чтобы как-то нейтрализовать полученные впечатления. А нейтрализовал, вероятно, проникшую в организм заразу. (Примеч. автора.)
(обратно)

107

Удачно сложилась, благодаря поддержке вышеупомянутого клана, карьера Кофи Аннана, возглавляющего ныне Организацию Объединенных Наций. Он женат на одной из родственниц Рауля Валленберга. (Примеч. автора. 1998 год.)
(обратно)

108

В тот период генерал-лейтенант Амаяк Кобулов являлся заместителем начальника Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР, то есть находился в той системе, которую возглавлял непосредственно Берия, и был надежным соратником последнего. А его брата, своего друга и «верного пса», генерал-полковника Богдана Кобулова, известного чрезмерной жестокостью, Лаврентий Павлович «приставил» к собственному выдвиженцу, а теперь сопернику — к министру госбезопасности Абакумову: добился, чтобы оного Богдана назначили заместителем Абакумова. И тот, и другой из братьев по долгу службы обязаны были знать о судьбе Валленберга и никаких секретов от Берии, естественно, иметь не могли. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

109

В письменном объяснении, которое Борис Максимович Комаринец дал 30 июня 1962 года, сказано: «Причинами моей экспертной ошибки в 1948 году послужило то, что на исследование была представлена не вся рукопись, а только два ее листа и малое количество образцов почерка А. А. Брусилова… отсутствовали образцы других возможных исполнителей

рукописи (в частности Н. Брусиловой), очень сжатые сроки на производство экспертизы»… (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

110

Фамилия скороспелого премьера Сергея Владиленовича Кириенко — это, извиняюсь, по матушке. А по отцу он Израитэль, что означает «часть Израиля» или «сын Израиля». Получается, что какая-то частица этого государства властвует над всей Великой Россией! Да ведь это откровенное, наглое глумление над русскими, над всеми народами нашей страны со стороны тех, кто упорно навязывал нам еще неоперившегося, но вполне вредоносного птенца, приведшего нашу Державу к очередному «демократическому» кризису (В. У.).
(обратно)

111

В то время это являлось высшей мерой наказания, так как смертная казнь в Советском Союзе, в связи с сокращением преступности, была официально отменена 26 мая 1947 года. Хотя, конечно, случалось всякое. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

112

Насчет «интернационального коллекционирования» Сталин как в воду смотрел. После его смерти Светлана некоторое время сожительствовала со своим родственником Вано Сванидзе. Затем уехала в Индию с Брадежем Сингхом, который был на два десятка лет старше ее. Потом родила дочь от американца в Соединенных Штатах. (Примеч. Н. Лукашова.)
(обратно)

113

С началом реформ в нашей стране золотой запас государства резко сократился и в 1992 году составлял всего 250 тонн, а наш рубль, еще недавно превышавший американский доллар, из золотого превратился в «деревянный» со всеми вытекающими отсюда последствиями. (Примеч. автора.)
(обратно)

114

Герой Советского Союза подполковник С. С. Щиров был освобожден из лагеря после смерти Берии. Здоровье было подорвано. Скончался в психиатрической больнице в 1956 году. (Примеч. Н. Лукашова.) И сюда же, к месту, еще одно примечание — от автора. После того, как главы о Щирове были опубликованы, появилось много разных откликов. Особенно интересен один. 22 ноября 1997 года в газете «Республика Татарстан» были напечатаны воспоминания четырехкратного рекордсмена мира по

парашютному спорту А. К. Фасхутдинова, всю жизнь посвятившего авиации. Абдулла Канафьевич подробно поведал, как он, будучи молодым семнадцатилетним авиатехником, вместе со старшим авиатехником Иваном Корнюхиным, предотвратил первую попытку начальника Ташкентского аэроклуба Сергея Сергеевича Щирова улететь за границу на учебной машине. Дежуря на стоянке, оба техника, точно соблюдая инструкцию, не дали возможности Щирову нарушить правила и подняться в воздух, определив тем самым его дальнейшую трагическую участь. Но раскаиваться Фасхутдинову и Корнюхину не в чем: они добросовестно выполнили свои служебные обязанности (В. У.)
(обратно)

115

Генерал Рясной, пережив всех своих родственников и оставшись в полном одиночестве, скончался в декабре 1995 года, раньше него в селе Знаменском умер полковник Гудков. (Примеч. автора.)
(обратно)

Оглавление

177

Записки старого книжника

Евгений Иванович Осетров

Александр Александрович Бушков

Славянская книга проклятий

397

Славянская книга проклятий

Александр Александрович Бушков

180

Оттепель. Как это было?

Армен Сумбатович Гаспарян

498

Хождение в Москву

Лев Ефимович Колодный

Роджер Мэнвэлл

Знаменосец «Черного ордена». Биография рейхсфюрера СС Гиммлера, 1939-1945

6012

Знаменосец «Черного ордена». Биография рейхсфюрера СС Гиммлера, 1939-1945

Роджер Мэнвэлл

382

Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья

Евгений Львович Мороз

Барбара Картленд

Женщина в мире мужчин. Курс выживания

3518

Женщина в мире мужчин. Курс выживания

Барбара Картленд

749

Ужасы французской Бретани

Александр Владимирович Волков

Вольдемар Николаевич Балязин

Тайны дома Романовых

4195

Тайны дома Романовых

Вольдемар Николаевич Балязин

202

Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины

Вера Георгиевна Глушкова

Евгений Вацлавович Вольский

Книга памяти железнодорожников жертв политических репрессий 1937-1938 гг., захороненных на Левашовском мемориальном кладбище. Выпуск первый

183

Книга памяти железнодорожников жертв политических репрессий 1937-1938 гг., захороненных на Левашовском мемориальном кладбище. Выпуск первый

Евгений Вацлавович Вольский

Валентина Григорьевна Григорян

Царские судьбы

7027

Царские судьбы

Валентина Григорьевна Григорян